Жизнь Клима Самгина

Глава 1

Иван Акимович Самгин любил оригинальное; поэтому, когда жена родила второго сына, Самгин, сидя у постели роженицы, стал убеждать ее:

— Знаешь что. Вера, дадим ему какое-нибудь редкое имя? Надоели эти бесчисленные Иваны, Василии… А?

Утомленная муками родов, Вера Петровна не ответила. Муж на минуту задумался, устремив голубиные глаза свои в окно, в небеса, где облака, изорванные ветром, напоминали и ледоход на реке и мохнатые кочки болота. Затем Самгин начал озабоченно перечислять, пронзая воздух коротеньким и пухлым пальцем:

— Христофор? Кирик? Вукол? Никодим? Каждое имя он уничтожал вычеркивающим жестом, а перебрав десятка полтора необычных имен, воскликнул удовлетворенно:

— Самсон! Самсон Самгин, — вот! Это не плохо! Имя библейского героя, а фамилия, — фамилия у меня своеобразная!

— Не тряси кровать, — тихо попросила жена. Он извинился, поцеловал ее руку, обессиленную и странно тяжелую, улыбаясь, послушал злой свист осеннего ветра, жалобный писк ребенка.

— Да, Самсон! Народ нуждается в героях. Но… я еще подумаю. Может быть — Леонид.

— Вы утомляете Веру пустяками, — строго заметила, пеленая новорожденного, Мария Романовна, акушерка.

Самгин взглянул на бескровное лицо жены, поправил ее разбросанные по подушке волосы необыкновенного золотисто-лунного цвета и бесшумно вышел из спальни.

Роженица выздоравливала медленно, ребенок был слаб; опасаясь, что он не выживет, толстая, но всегда больная мать Веры Петровны торопила окрестить его; окрестили, и Самгин, виновато улыбаясь, сказал:

— Верочка, в последнюю минуту я решил назвать его Климом. Клим! Простонародное имя, ни к чему не обязывает. Ты — как, а?

Заметив смущение мужа и общее недовольство домашних, Вера Петровна одобрила:

— Мне нравится.

Ее слова были законом в семье, а к неожиданным поступкам Самгина все привыкли; он часто удивлял своеобразием своих действий, но и в семье и среди знакомых пользовался репутацией счастливого человека, которому все легко удается.

Однако не совсем обычное имя ребенка с первых же дней жизни заметно подчеркнуло его.

— Клим? — переспрашивали знакомые, рассматривая мальчика особенно внимательно и как бы догадываясь: почему же Клим?

Самгин объяснял:

— Я хотел назвать его Нестор или Антипа, но, знаете, эта глупейшая церемония, попы, «отрицаешься ли сатаны», «дунь», «плюнь»…

У домашних тоже были причины — у каждого своя — относиться к новорожденному более внимательно, чем к его двухлетнему брату Дмитрию. Клим

был слаб здоровьем, и это усиливало любовь матери; отец чувствовал себя виноватым в том, что дал сыну неудачное имя, бабушка, находя имя «мужицким», считала, что ребенка обидели, а чадолюбивый дед Клима, организатор и почетный попечитель ремесленного училища для сирот, увлекался педагогикой, гигиеной и, явно предпочитая слабенького Клима здоровому Дмитрию, тоже отягчал внука усиленными заботами о нем.

Первые годы жизни Клима совпали с годами отчаянной борьбы за свободу и культуру тех немногих людей, которые мужественно и беззащитно поставили себя «между молотом и наковальней», между правительством бездарного потомка талантливой немецкой принцессы и безграмотным народом, отупевшим в рабстве крепостного права. Заслуженно ненавидя власть царя, честные люди заочно, с великой искренностью полюбили «народ» и пошли воскрешать, спасать его. Чтоб легче было любить мужика, его вообразили существом исключительной духовной красоты, украсили венцом невинного страдальца, нимбом святого и оценили его физические муки выше тех моральных мук, которыми жуткая русская действительность щедро награждала лучших людей страны.

Печальным гимном той поры были гневные стоны самого чуткого поэта эпохи, и особенно подчеркнуто тревожно звучал вопрос, обращенный поэтом к народу:

Ты проснешься ль, исполненный сил?Иль, судеб повинуясь закону,Все, что мог, ты уже совершил,Создал песню, подобную стону,И навеки духовно почил?

Неисчислимо количество страданий, испытанных борцами за свободу творчества культуры. Но аресты, тюрьмы, ссылки в Сибирь сотен молодежи все более разжигали и обостряли ее борьбу против огромного, бездушного механизма власти.

В этой борьбе пострадала и семья Самгиных: старший брат Ивана Яков, просидев почти два года в тюрьме, был сослан в Сибирь, пытался бежать из ссылки и, пойманный, переведен куда-то в Туркестан; Иван Самгин тоже не избежал ареста и тюрьмы, а затем его исключили из университета; двоюродный брат Веры Петровны и муж Марьи Романовны умер на этапе по пути в Ялуторовск, в ссылку.

Весной 79 года щелкнул отчаянный выстрел Соловьева, правительство ответило на него азиатскими репрессиями.

Тогда несколько десятков решительных людей, мужчин и женщин, вступили в единоборство с самодержавием, два года охотились за ним, как за диким зверем, наконец убили его и тотчас же были преданы одним из своих товарищей; он сам пробовал убить Александра Второго, но, кажется, сам же и порвал провода мины, назначенной взорвать поезд царя. Сын убитого, Александр Третий, наградил покушавшегося на жизнь его отца званием почетного гражданина.

Когда герои были уничтожены, они — как это всегда бывает — оказались виновными в том, что, возбудив надежды, не могли осуществить их. Люди, которые издали благосклонно следили за неравной борьбой, были угнетены поражением более тяжко, чем друзья борцов, оставшиеся в живых. Многие немедля и благоразумно закрыли двери домов своих пред осколками группы героев, которые еще вчера вызывали восхищение, но сегодня могли только скомпрометировать.

Постепенно начиналась скептическая критика «значения личности в процессе творчества истории», — критика, которая через десятки лет уступила место неумеренному восторгу пред новым героем, «белокурой бестией» Фридриха Ницше. Люди быстро умнели и, соглашаясь с Спенсером, что «из свинцовых инстинктов не выработаешь золотого поведения», сосредоточивали силы и таланты свои на «самопознании», на вопросах индивидуального бытия. Быстро подвигались к приятию лозунга «наше время — не время широких задач».

Гениальнейший художник, который так изумительно тонко чувствовал силу зла, что казался творцом его, дьяволом, разоблачающим самого себя, — художник этот, в стране, где большинство господ было такими же рабами, как их слуги,

истерически кричал:

«Смирись, гордый человек! Терпи, гордый человек!»

А вслед за ним не менее мощно звучал голос другого гения, властно и настойчиво утверждая, что к свободе ведет только один путь — путь «непротивления злу насилием».

Дом Самгиных был одним из тех уже редких в те годы домов, где хозяева не торопились погасить все огни. Дом посещали, хотя и не часто, какие-то невеселые, неуживчивые люди; они садились в углах комнат, в тень, говорили мало, неприятно усмехаясь. Разного роста, различно одетые, они все были странно похожи друг на друга, как солдаты одной и той же роты. Они были «нездешние», куда-то ехали, являлись к Самгину на перепутье, иногда оставались ночевать. Они и тем еще похожи были друг на друга, что все покорно слушали сердитые слова Марии Романовны и, видимо, боялись ее. А отец Самгин боялся их, маленький Клим видел, что отец почти перед каждым из них виновато потирал мягкие, ласковые руки свои и дрыгал ногою. Один из таких, черный, бородатый и, должно быть, очень скупой, сердито сказал:

— У тебя в доме, Иван, глупо, как в армянском анекдоте: всё в десять раз больше. Мне на ночь зачем-то дали две подушки и две свечи.

Круг городских знакомых Самгина значительно сузился, но все-таки вечерами у него, по привычке, собирались люди, еще не изжившие настроение вчерашнего дня. И каждый вечер из флигеля в глубине двора величественно являлась Мария Романовна, высокая, костистая, в черных очках, с обиженным лицом без губ и в кружевной черной шапочке на полуседых волосах, из-под шапочки строго торчали большие, серые уши. Со второго этажа спускался квартирант Варавка, широкоплечий, рыжебородый. Он был похож на ломового извозчика, который вдруг разбогател и, купив чужую одежду, стеснительно натянул ее на себя. Двигался тяжело, осторожно, но все-таки очень шумно шаркал подошвами; ступни у него были овальные, как блюда для рыбы. Садясь к чайному столу, он сначала заботливо пробовал стул, достаточно ли крепок? На нем и вокруг него все потрескивало. скрипело, тряслось, мебель и посуда боялись его, а когда он проходил мимо рояля — гудели струны. Являлся доктор Сомов, чернобородый, мрачный; остановясь в двери, на пороге, он осматривал всех выпуклыми, каменными глазами из-под бровей, похожих на усы, и спрашивал хрипло:

— Живы, здоровы?

Потом он шагал в комнату, и за его широкой, сутулой спиной всегда оказывалась докторша, худенькая, желтолицая, с огромными глазами. Молча поцеловав Веру Петровну, она кланялась всем людям в комнате, точно иконам в церкви, садилась подальше от них и сидела, как на приеме у дантиста, прикрывая рот платком. Смотрела она в тот угол, где потемнее, и как будто ждала, что вот сейчас из темноты кто-то позовет ее:

«Иди!»

Клим знал, что она ждет смерть, доктор Сомов при нем и при ней сказал:

— Никогда не встречал человека, который так глупо боится смерти, как моя супруга.

Незаметно и неожиданно, где-нибудь в углу, в сумраке, возникал рыжий человек, учитель Клима и Дмитрия, Степан Томилин; вбегала всегда взволнованная барышня Таня Куликова, сухонькая, со смешным носом, изъеденным оспой; она приносила книжки или тетрадки, исписанные лиловыми словами, наскакивала на всех и подавленно, вполголоса торопила:

— Ну, давайте читать, читать! Вера Петровна успокаивала ее:

— Напьемся чаю, отпустим прислугу и тогда…

— С прислугой осторожно! — предупреждал доктор Сомов, покачивая головой, а на темени ее, в клочковатых волосах, светилась серая, круглая пустота. Взрослые пили чай среди комнаты, за круглым столом, под лампой с белым абажуром, придуманным Самгиным: абажур отражал свет не вниз, на стол, а в потолок; от этого по комнате разливался скучный полумрак, а в трех углах ее было темно, почти как ночью. В четвертом, освещенном стенной лампой, у кадки с огромным рододендроном, помещался детский стол. Черные, лапчатые листья растения расползались по стенам, на стеблях, привязанных бечевками ко гвоздям, воздушные корни висели в воздухе, как длинные, серые черви.

Солидный, толстенький Дмитрий всегда сидел спиной к большому столу, а Клим, стройный, сухонький, остриженный в кружок, «под мужика», усаживался лицом к взрослым и, внимательно слушая их говор, ждал, когда отец начнет показывать его.

Почти каждый вечер отец, подозвав Клима к себе, сжимал его бедра мягкими коленями и спрашивал:

— Ну, так как же, мужичок: что всего лучше? Клим отвечал:

— Когда генерала хоронят.

— А — почему?

— Музыка играет,

— А что всего хуже?

— Если у мамы голова болит.

— Каково? — победоносно осведомлялся Самгин у гостей, и его смешное, круглое лицо ласково сияло. Гости, усмехаясь, хвалили Клима, но ему уже не нравились такие демонстрации ума его, он сам находил ответы свои глупенькими. Первый раз он дал их года два тому назад. Теперь он покорно и даже благосклонно подчинялся забаве, видя, что она приятна отцу, но уже чувствовал в ней что-то обидное, как будто он — игрушка: пожмут ее — пищит.

Из рассказов отца, матери, бабушки гостям Клим узнал о себе немало удивительного и важного: оказалось, что он, будучи еще совсем маленьким, заметно отличался от своих сверстников.

— Простые, грубые игрушки нравились ему больше затейливых и дорогих, — быстро-быстро и захлебываясь словами, говорил отец; бабушка, важно качая седою, пышно причесанной головой, подтверждала, вздыхая:

— Да, да, он любит простое.

И, в свою очередь, интересно рассказывала, что еще пятилетним ребенком Клим трогательно ухаживал за хилым цветком, который случайно вырос в теневом углу сада, среди сорных трав; он поливал его, не обращая внимания на цветы в клумбах, а когда цветок все-таки погиб, Клим долго и горько плакал.

Не слушая тещу, отец говорил сквозь ее слова:

— Гораздо охотнее играет с внуком няньки, чем с детями своего круга…

Отец рассказывал лучше бабушки и всегда что-то такое, чего мальчик не замечал за собой, не чувствовал в себе. Иногда Климу даже казалось, что отец сам выдумал слова и поступки, о которых говорит, выдумал для того, чтоб похвастаться сыном, как он хвастался изумительной точностью хода своих часов, своим умением играть в карты и многим другим.

Но чаще Клим, слушая отца, удивлялся: как он забыл о том, что помнит отец? Нет, отец не выдумал, ведь и мама тоже говорит, что в нем, Климе, много необыкновенного, она даже объясняет, отчего это явилось.

— Он родился в тревожный год — тут и пожар, и арест Якова, и еще многое. Носила я его тяжело, роды были несколько преждевременны, вот откуда его странности, я думаю.

Клим слышал, что она говорит, как бы извиняясь или спрашивая: так ли это? Гости соглашались с нею:

— Да, это понятно!.

Однажды, взволнованный неудачной демонстрацией его ума перед гостями, Клим спросил отца:

— Почему я — необыкновенный, а Митя — обыкновенный? Он ведь тоже родился, когда всех вешали?

Отец объяснял очень многословно и долго, но в памяти Клима осталось только одно: есть желтые цветы и есть красные, он, Клим, красный цветок; желтые цветы — скучные.

Бабушка, неласково косясь на зятя, упрямо говорила, что на характер внука нехорошо влияет его смешное, мужицкое имя: дети называют Клима — клин, это обижает мальчика, потому он и тянется к взрослым.

— Это очень вредно, — говорила она.

Со всем этим никогда не соглашался Настоящий Старик — дедушка Аким, враг своего внука и всех людей, высокий, сутулый и скучный, как засохшее дерево. У него длинное лицо в двойной бороде от ушей до плеч, а подбородок голый, бритый, так же, как верхняя губа. Нос тяжелый, синеватый, глаза деда заросли серыми бровями. Его длинные ноги не сгибаются, длинные руки с кривыми пальцами шевелятся нехотя, неприятно, он одет всегда в длинный, коричневый сюртук, обут в бархатные сапоги на меху и на мягких подошвах. Он ходит с палкой, как ночной сторож, на конце палки кожаный мяч, чтоб она не стучала по полу, а шлепала и шаркала в тон подошвам его сапог. Он именно «настоящий старик» и даже сидит опираясь обеими руками на палку, как сидят старики на скамьях городского сада.

— Все это — вреднейшая ерунда, — ворчит он. — Вы все портите ребенка, выдумываете его.

Между дедом и отцом тотчас разгорался спор. Отец доказывал, что все хорошее на земле — выдумано, что выдумывать начали еще обезьяны, от которых родился человек, — дед сердито шаркал палкой, вычерчивая на полу нули, и кричал скрипучим голосом:

— И-и ерунда…

Но никто не мог переспорить отца, из его вкусных губ слова сыпались так быстро и обильно, что Клим уже знал: сейчас дед отмахнется палкой, выпрямится, большой, как лошадь в цирке, вставшая на задние ноги, и пойдет к себе, а отец крикнет вслед ему:

«Ты, пап, мизантроп!»

Так всегда и было.

Клим очень хорошо чувствовал, что дед всячески старается унизить его, тогда как все другие взрослые заботливо возвышают. Настоящий Старик утверждал, что Клим просто слабенький, вялый мальчик и что ничего необыкновенного в нем нет. Он играл плохими игрушками только потому, что хорошие у него отнимали бойкие

дети, он дружился с внуком няньки, потому что Иван Дронов глупее детей Варавки, а Клим, избалованный всеми, самолюбив, требует особого внимания к себе и находит его только у Ивана.

Это было очень обидно слышать, возбуждало неприязнь к дедушке и робость пред ним. Клим верил отцу: все хорошее выдумано — игрушки, конфеты, книги с картинками, стихи — все. Заказывая обед, бабушка часто говорит кухарке:

— Отстань! Выдумай сама что-нибудь. И всегда нужно что-нибудь выдумывать, иначе никто из взрослых не будет замечать тебя и будешь жить так, как будто тебя нет или как будто ты не Клим, а Дмитрий.

Клим не помнил, когда именно он, заметив, что его выдумывают, сам начал выдумывать себя, но он хорошо помнил свои наиболее удачные выдумки. Когда-то давно он спросил Варавку:

— Почему у тебя такая насекомая фамилия? Ты — не русский?

— Я — турок, — ответил Варавка. — Моя настоящая фамилия Бей — Непалкой Акопейкой — бей. Бей — это по-турецки, а по-русски значит — господин.

— Это вовсе не фамилия, а нянькина пословица, — сказал Клим.

Варавка схватил его и стал подкидывать к потолку, легко, точно мяч. Вскоре после этого привязался неприятный доктор Сомов, дышавший запахом водки и соленой рыбы; пришлось выдумать, что его фамилия круглая, как бочонок. Выдумалось, что дедушка говорит лиловыми словами. Но, когда он сказал, что люди сердятся по-летнему и по-зимнему, бойкая дочь Варавки, Лида, сердито крикнула:

— Это я сказала, я первая, а не он!

Клим сконфузился, покраснел.

Выдумывать было не легко, но он понимал, что именно за это все в доме, исключая Настоящего Старика, любят его больше, чем брата Дмитрия. Даже доктор Сомов, когда шли кататься в лодках и Клим с братом обогнали его, — даже угрюмый доктор, лениво шагавший под руку с мамой, сказал ей:

— Вот, Вера, идут двое, их — десять, потому что один из них — нуль, а другой — единица.

Клим тотчас догадался, что нуль — это кругленький, скучный братишка, смешно похожий на отца. С того дня он стал называть брата Желтый Ноль, хотя Дмитрий был розовощекий, голубоглазый.

Заметив, что взрослые всегда ждут от него чего-то, чего нет у других детей, Клим старался, после вечернего чая, возможно больше посидеть со взрослыми у потока слов, из которого он черпал мудрость. Внимательно слушая бесконечные споры, он хорошо научился выхватывать слова, которые особенно царапали его слух, а потом спрашивал отца о значении этих слов. Иван Самгин с радостью объяснял, что такое мизантроп, радикал, атеист, культуртрегер, а объяснив и лаская сына, хвалил его:

— Ты — умник. Любопытствуй, любопытствуй, это полезно.

Отец был очень приятный, но менее интересный, чем Варавка. Трудно было понять, что говорит отец, он говорил так много и быстро, что слова его подавляли др\ г друга, а вся речь напоминала о том, как пузырится пена пива или кваса, вздымаясь из горлышка бутылки. Варавка говорил немного и словами крупными, точно на вывесках. На его красном лице весело сверкали маленькие, зеленоватые глазки, его рыжеватая борода пышностью своей была похожа на хвост лисы, в бороде шевелилась большая, красная улыбка; улыбнувшись, Варавка вкусно облизывал губы свои длинным, масляно блестевшим языком.

Несомненно, это был самый умный человек, он никогда ни с кем не соглашался и всех учил, даже Настоящего Старика, который жил тоже несогласно со всеми, требуя, чтоб все шли одним путем.

— У России один путь, — говорил он, пристукивая палкой.

А Варавка кричал ему:

— Европа мы или нет?

Он всегда говорил, что на мужике далеко не уедешь, что есть только одна лошадь, способная сдвинуть воз, — интеллигенция. Клим знал, что интеллигенция — это отец, дед, мама, все знакомые и, конечно, сам Варавка, который может сдвинуть какой угодно тяжелый воз. Но было странно, что доктор, тоже очень сильный человек, не соглашался с Варавкой; сердито выкатывая черные глаза, он кричал:

— Это уж, знаете, чорт знает что! Мария Романовна, выпрямляясь, как солдат, строго говорила:

— Стыдитесь, Варавка!

А иногда она торжественно уходила в самый горячий момент спора, но, остановясь в дверях, красная от гнева, кричала:

— Одумайтесь, Варавка! Вы стоите на границе предательства!

Варавка, сидя на самом крепком стуле, хохотал, стул под ним скрипел.

Потирая пухлые, теплые ладони, начинал говорить отец:

— Позволь, Тимофей! С одной стороны, конечно, интеллигенты-практики, влагая свою энергию в дело промышленности и проникая в аппарат власти… с другой стороны, заветы недавнего прошлого…

— Со всех сторон плохо говоришь, — кричал Варавка, и Клим соглашался: да, отец плохо говорит и всегда оправдываясь, точно нашаливший. Мать тоже соглашалась с Варавкой.

— Тимофей Степанович — прав! — решительно заявляла она. — Жизнь оказалась сложнее, чем думали. Многое, принятое нами на веру, необходимо пересмотреть.

Она говорила не много, спокойно и без необыкновенных слов, и очень редко сердилась, но всегда не «по-летнему», шумно и грозно, как мать Лидии, а «по-зимнему». Красивое лицо ее бледнело, брови опускались; вскинув тяжелую, пышно причесанную голову, она спокойно смотрела выше человека, который рассердил ее, и говорила что-нибудь коротенькое, простое. Когда она так смотрела на отца, Климу казалось, что расстояние между ею и отцом увеличивается, хотя оба не двигаются с мест. Однажды она очень «по-зимнему» рассердилась на учителя Томилина, который долго и скучно говорил о двух правдах: правде-истине и правде-справедливости.

— Довольно! — тихо, но так, что все замолчали, сказала она. — Довольно бесплодных жертв. Великодушие наивно… Время поумнеть.

— Да ты с ума сошла, Вера! — ужаснулась Мария Романовна и быстро исчезла, громко топая широкими, точно копыта лошади, каблуками башмаков. Клим не помнил, чтобы мать когда-либо конфузилась, как это часто бывало с отцом. Только однажды она сконфузилась совершенно непонятно; она подрубала носовые платки, а Клим спросил ее:

— Мама, что значит: «Не пожелай жены ближнего твоего»?

— Спроси учителя, — сказала она и, тотчас же покраснев, торопливо прибавила:

— Нет, спроси отца…

Когда говорили интересное и понятное, Климу было выгодно, что взрослые забывали о нем, но, если споры утомляли его, он тотчас напоминал о себе, и мать или отец изумлялись:

— Как — ты еще здесь?

О двух правдах спорили скучно. Клим спросил:

— А почему узнают, когда правда, когда неправда?

— А? — вопросительно и подмигивая воскликнул отец: — Смотрите-ка!

Варавка, обняв Клима, ответил ему:

— Правду, брат, узнают по запаху, она едко пахнет.

— Чем?

— Луком, хреном…

Все засмеялись, а Таня Куликова печально сказала:

— Ах, как это верно! Правда тоже вызывает слезы, — да, Томилин?

Учитель молча, осторожно отодвинулся от нее, а у Тани порозовели уши, и, наклонив голову, она долго, неподвижно смотрела в пол, под ноги себе.

Клим довольно рано начал замечать, что в правде взрослых есть что-то неверное, выдуманное. В своих беседах они особенно часто говорили о царе и народе. Коротенькое, царапающее словечко — царь — не вызывало у него никаких представлений, до той поры, пока Мария Романовна не сказала другое слово:

— Вампир.

Она сказала это так сильно встряхнув головой, что очки ее подскочили выше бровей. Вскоре Клим узнал и незаметно для себя привык думать, что царь — это военный человек, очень злой и хитрый, недавно он «обманул весь народ».

Слово «народ» было удивительно емким, оно вмещало самые разнообразные чувства. О народе говорили жалобно и почтительно, радостно и озабоченно. Таня Куликова явно в чем-то завидовала народу, отец называл его страдальцем, а Варавка — губошлепом. Клим знал; что народ — это мужики и бабы, живущие в деревнях, они по средам приезжают в город продавать дрова, грибы, картофель и капусту. Но этот народ он не считал тем, настоящим, о котором так много и заботливо говорят, сочиняют стихи, которого все любят, жалеют и единодушно желают ему счастья.

Настоящий народ Клим воображал неисчислимой толпой людей огромного роста, несчастных и страшных, как чудовищный нищий Вавилов. Это был высокий старик в шапке волос, курчавых, точно овчина, грязносерая борода обросла его лицо от глаз до шеи, сизая шишка носа едва заметна на лице, рта совсем не видно, а на месте глаз тускло светятся осколки мутных стекол. Но когда Вавилов рычал под окном: «Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас!» — в дремучей бороде его разверзалась темная яма, в ней грозно торчали три черных зуба и тяжко шевелился язык, толстый и круглый, как пест.

Взрослые говорили о нем. с сожалением, милостыню давали ему почтительно, Климу казалось, что они в чем-то виноваты пред этим нищим и, пожалуй, даже немножко боятся его, так же, как боялся Клим. Отец восхищался:

— Это обиженный Илья Муромец, гордая сила народная! — говорил он.

А нянька Евгения, круглая и толстая, точно бочка, кричала, когда дети слишком шалили:

— Вот я Вавилова позову!

По ее рассказам, нищий этот был великий грешник и злодей, в голодный год он продавал людям муку с песком, с известкой, судился за это, истратил все деньги свои на подкупы судей и хотя мог бы жить в скромной бедности, но вот нищенствует.

— Это он со зла, напоказ людям делает, — говорила она, и Клим верил ей больше, чем рассказам отца.

Было очень трудно понять, что такое народ. Однажды летом Клим, Дмитрий и дед ездили в село на ярмарку. Клима очень удивила огромная толпа празднично одетых баб и мужиков, удивило обилие полупьяных, очень веселых и добродушных людей. Стихами, которые отец заставил его выучить и заставлял читать при гостях, Клим спросил дедушку:

— А где же настоящий народ, который стонет по полям, по дорогам, по тюрьмам, по острогам, под телегой ночуя в степи?

Старик засмеялся и сказал, махнув палкой на людей:

— Вот это он и есть, дурачок!

Клим не поверил. Но когда горели дома на окраине города и Томилин привел Клима смотреть на пожар, мальчик повторил свой вопрос. В густой толпе зрителей никто не хотел качать воду, полицейские выхватывали из толпы за шиворот людей, бедно одетых, и кулаками гнали их к машинам.

— Экий народ, — проворчал учитель, сморщив лицо.

— Разве это народ? — спросил Клим.

— Ну, а кто же, по-твоему?

— И пожарные — народ?

— Конечно. Не ангелы.

— Почему же только пожарные гасят огонь, а народ не гасит?

Томилин долго и скучно говорил о зрителях и деятелях, но Клим, ничего не поняв, спросил:

— А когда же народ стонет?

— Я тебе после расскажу об этом, — обещал учитель и забыл рассказать.

Самое значительное и очень неприятное рассказал Климу о народе отец. В сумерках осеннего вечера он, полураздетый и мягонький, как цыпленок, уютно лежал на диване, — он умел лежать удивительно уютно. Клим, положа голову на шерстяную грудь его, гладил ладонью лайковые щеки отца, тугие, как новый резиновый мяч. Отец спросил: что сегодня говорила бабушка на уроке закона божия?

— Жертвоприношение Авраама.

— Ага. Как же ты это понял?

Клим рассказал, что бог велел Аврааму зарезать Исаака, а когда Авраам хотел резать, бог сказал: не надо, лучше зарежь барана. Отец немного посмеялся, а потом, обняв сына, разъяснил, что эту историю надобно понимать: '

— Ино-ска-за-тель-но. Бог — это народ, Авраам — вождь народа; сына своего он отдает в жертву не богу, а народу. Видишь, как просто?

Да, это было очень просто, но не понравилось мальчику. Подумав, он спросил:

— А ты говоришь, что народ — страдалец?

— Ну, да! Потому он и требует жертв. Все страдальцы требуют жертв, все и всегда.

— Зачем?

— Дурачок! Чтоб не страдать. То есть — чтоб его, народ, научили жить не страдая. Христос тоже Исаак, бог отец отдал его в жертву народу. Понимаешь: тут та же сказка о жертвоприношении Авраамовом.

Клим снова задумался, а потом осторожно спросил:

— Ты — вождь народа?

На этот раз задумался отец, прищурив глаз. Но думал он недолго.

— Видишь ли, мы все — Исааки. Да. Например: дядя Яков, который сослан, Мария Романовна и вообще — наши знакомые. Ну, не совсем все, но большинство интеллигентов обязано приносить силы свои в жертву народу…

Отец говорил долго, но сын уже не слушал его, и с этого вечера народ встал перед ним в новом освещении, не менее туманном, чем раньше, но еще более страшноватом.

И вообще, чем дальше, тем все труднее становилось понимать взрослых, — труднее верить им. Настоящий Старик очень гордился своим училищем для сирот, интересно рассказывал о нем. Но вот он привез внуков на рождественскую елку в это хваленое училище, и Клим увидал несколько десятков худеньких мальчиков, одетых в полосатое, синее с белым, как одевают женщин-арестанток. Все мальчики были бритоголовые, у многих на лицах золотушные язвы, и все они были похожи на оживших солдатиков из олова. Стоя около некрасивой елки в три ряда, в форме буквы «п», они смотрели на нее жадно, испуганно и скучно. Явился толстенький человечек с голым черепом, с желтым лицом без усов и бровей, тоже как будто уродливо распухший мальчик; он взмахнул руками, и все полосатые отчаянно запели:

Ах ты, воля, моя воля,Золотая ты моя!

Открыв рты, точно рыбы на суше, мальчики хвалили царя.

Знать, проведал наш родимыйПро житье-бытье, нужду,Знать, увидел наш кормилецГоремычную слезу.

Это было очень оглушительно, а когда мальчики кончили петь, стало очень душно. Настоящий Старик отирал платком вспотевшее лицо свое. Климу показалось, что, кроме пота, по щекам деда текут и слезы. Раздачи подарков не стали дожидаться — у Клима разболелась голова. Дорогой он спросил дедушку:

— Они любят царя?

— Разумеется, — ответил дедушка, но тотчас сердито прибавил: — Они мятные пряники любят, А помолчав, прибавил еще:

— Они есть любят.

Неловко было подумать, что дед — хвастун, но Клим подумал это.

Бабушка, толстая и важная, в рыжем кашемировом капоте, смотрела на все сквозь золотой лорнет и говорила тягучим, укоряющим голосом:

— Бывало, у меня в доме…

Все бывшее у нее в доме было замечательно, сказочно хорошо, по ее словам, но дед не верил ей и насмешливо ворчал, раскидывая сухими пальцами седые баки свои:

— У вас, Софья Кирилловна, была, очевидно, райская жизнь.

Тяжелый нос бабушки обиженно краснел, и она уплывала медленно, как облако на закате солнца. Всегда в руке ее французская книжка с зеленой шелковой закладкой, на закладке вышиты черные слова:

«Бог — знает, человек только догадывается».

Бабушку никто не любил. Клим, видя это, догадался, что он неплохо сделает, показывая, что только он любит одинокую старуху. Он охотно слушал ее рассказы о таинственном доме. Но в день своего рождения бабушка повела Клима гулять и в одной из улиц города, в глубине большого двора, указала ему неуклюжее, серое, ветхое здание в пять окон, разделенных тремя колоннами, с развалившимся крыльцом, с мезонином в два окна.

— Вот мой дом.

Окна были забиты досками, двор завален множеством полуразбитых бочек и корзин для пустых бутылок, засыпан осколками бутылочного стекла. Среди двора сидела собака, выкусывая из хвоста репейник. И старичок с рисунка из надоевшей Климу «Сказки о рыбаке и рыбке» — такой же лохматый старичок, как собака, — сидя на ступенях крыльца, жевал хлеб с зеленым луком.

Клим хотел напомнить бабушке, что она рассказывала ему не о таком доме, но, взглянув на нее, спросил:

— Ты о чем плачешь?

Бабушка не ответила, выжимая слезы из глаз маленьким платочком, обшитым кружевами.

Да, все было не такое, как рассказывали взрослые. Климу казалось, что различие это понимают только двое — он и Томилин, «личность неизвестного назначения», как прозвал учителя Варавка.

В учителе Клим видел нечто таинственное. Небольшого роста, угловатый, с рыжей, расколотой надвое бородкой и медного цвета волосами до плеч, учитель смотрел на все очень пристально и как бы издалека. Глаза у него были необыкновенны: на белках мутномолочного цвета выпуклые, золотистые зрачки казались наклеенными. Ходил Томилин в синем пузыре рубахи из какой-то очень жесткой материи, в тяжелых, мужицких сапогах, в черных брюках. Лицо его напоминало икону святого. Всего любопытнее были неприятно красные, боязливые руки учителя. Первые дни знакомства. Клим думал, что Томилин полуслеп, он видит все вещи не такими, каковы они есть, а крупнее или меньше, оттого он и прикасается к ним так осторожно, что было даже смешно видеть это. Но учитель не носил очков, и всегда именно он читал вслух лиловые тетрадки, перелистывая нерешительно, как будто ожидая, что бумага вспыхнет под его раскаленными пальцами. Он жил с мезонине Самгина уже второй год, ни в чем не изменяясь, так же, как не изменился за это время самовар.

После чая, когда горничная Малаша убирала посуду, отец ставил пред Томилиным две стеариновые свечи, все усаживались вокруг стола, Варавка морщился, точно ему надо было принять рыбий жир, — морщился и ворчливо спрашивал:

— Что — опять чтение премудростей сиятельного графа?

Затем он прятался за рояль, усаживаясь там в кожаное кресло, закуривал сигару, и в дыму ее глухо звучали его слова:

— Ребячество. Шалит барин.

— Мыслитель, — тоже неодобрительно мычал доктор, прихлебывая пиво.

Доктор неприятен, он как будто долго лежал в погребе, отсырел там, оброс черной плесенью и разозлился на всех людей. Он, должно быть, неумный, даже хорошую жену не мог выбрать, жена у него маленькая, некрасивая и злая. Говорила она редко, скупо; скажет два-три слова и надолго замолчит, глядя в угол. С нею не спорили и вообще о ней забывали, как будто ее и не было; иногда Климу казалось: забывают о ней нарочно, потому что боятся ее. Но ее надорванный голос всегда тревожил Клима, заставляя ждать, что эта остроносая женщина скажет какие-то необыкновенные слова, как она это уже делала.

Однажды Варавка вдруг рассердился, хлопнул тяжелой ладонью по крышке рояля и проговорил, точно дьякон:

— Чепуха! Всякое разумное действие человека неизбежно будет насилием над ближними или над самим собой.

Клим ожидал, что Варавка скажет еще: «Аминь!» — но он ничего не успел сказать, потому что заворчал доктор:

— Наивничает граф, Дарвина не читал.

— Дарвин — дьявол, — громко сказала его жена;

доктор кивнул головой так, как будто его ударили по затылку, и тихонько буркнул:

— Валаамова ослица…

На Варавку кричала Мария Романовна, но сквозь ее сердитый крик Клим слышал упрямый голос докторши:

— Он внушил, что закон жизни — зло.

— Довольно, Анна, — ворчал доктор, а отец начал спорить с учителем о какой-то гипотезе, о Мальтусе;

Варавка встал и ушел, увлекая за собой ленту дыма сигары.

Варавка был самый интересный и понятный для Клима. Он не скрывал, что ему гораздо больше нравится играть в преферанс, чем слушать чтение. Клим чувствовал, что и отец играет в карты охотнее, чем слушает чтение, но отец никогда не сознавался в этом. Варавка умел говорить так хорошо, что слова его ложились в память, как серебряные пятачки в копилку. Когда Клим спросил его: что такое гипотеза? — он тотчас ответил:

— Это — собачка, с которой охотятся за истиной. Он был веселее всех взрослых и всем давал смешные прозвища.

Клима посылали спать раньше, чем начиналось чтение или преферанс, но мальчик всегда упрямился, просил:

— Я посижу еще немножко, немножечко!

— Нет, — как он любит общество взрослых! — удивлялся отец. После этих слов Клим спокойно шел в свою комнату, зная, что он сделал то, чего хотел, — заставил взрослых еще раз обратить внимание на него. Но иногда отец просил:

— А ну-ко, почитай «Размышление» от строки:

Ты, считающий жизнью завидною.

Клим протягивал правую руку в воздухе, левой держался за пояс штанов и читал,

нахмурясь:

Упоение лестью бесстыдною,Волокитство, обжорство, игру, —Пробудись!

Варавка хохотал до слез, мать неохотно улыбалась, а Мария Романовна пророчески, вполголоса говорила ей:

— Он будет честным человеком.

Клим видел, что взрослые всё выше поднимают его над другими детьми; это было приятно. Но изредка он уже чувствовал, что внимание взрослых несколько мешает ему. Бывали часы, когда он и хотел и мог играть так же самозабвенно, как вихрастый, горбоносый Борис Варавка, его сестра, как брат Дмитрий и белобрысые дочери доктора Сомова. Так же, как все они, Клим пьянел от возбуждения и терял себя в играх. Но лишь только он замечал, что кто-то из больших видит его, он тотчас трезвел из боязни, что увлечение игрою низводит его в ряд обыкновенных детей. Ему всегда казалось, что взрослые наблюдают за ним, ждут от него особенных слов и поступков.

Вместе с тем он замечал, что дети всё откровеннее не любят его. Они смотрели на него с любопытством, как на чужого, и тоже, как взрослые, ожидали от него каких-то фокусов. Но его мудреные словечки и фразы возбуждали у них насмешливый холодок, недоверие к нему, а порой и враждебность. Клим догадывался, что они завидуют его славе, — славе мальчика исключительных способностей, но все-таки это обижало его, вызывая в нем то грусть, то раздражение. Ему хотелось преодолеть недружелюбие товарищей, но он пытался делать это лишь продолжая более усердно играть роль, навязанную взрослыми. Он пробовал командовать, учить, и — вызывал сердитый отпор Бориса Варавки. Этот ловкий, азартный мальчик пугал и даже отталкивал Клима своим властным характером. В его затеях было всегда что-то опасное, трудное, но он заставлял подчиняться ему и во всех играх сам назначал себе первые роли. Прятался в недоступных местах, кошкой лазил по крышам, по деревьям; увертливый, он никогда не давал поймать себя и, доведя противную партию игроков до изнеможения, до отказа от игры, издевался над побежденными:

— Что — проиграли, сдаетесь? Эх вы…

Климу казалось, что Борис никогда ни о чем не думает, заранее зная, как и что надобно делать. Только однажды, раздосадованный вялостью товарищей, он возмечтал:

— Летом заведу себе хороших врагов из приютских мальчиков или из иконописной мастерской и стану сражаться с ними, а от вас — уйду…

Клим чувствовал, что маленький Варавка не любит его настойчивее и более открыто, чем другие дети. Ему очень нравилась Лида Варавка, тоненькая девочка, смуглая, большеглазая, в растрепанной шапке черных, курчавых волос. Она изумительно бегала, легко отскакивая от земли, точно и не касаясь ее; кроме брата, никто не мог ни поймать, ни перегнать ее. И так же, как брат, она всегда выбирала себе первые роли. Ударившись обо что-нибудь, расцарапав себе ногу, руку, разбив себе нос, она никогда не плакала, не ныла, как это делали девочки Сомовы. Но она была почти болезненно чутка к холоду, не любила тени, темноты и в дурную погоду нестерпимо капризничала. Зимою она засыпала, как муха, сидела в комнатах, почти не выходя гулять, и сердито жаловалась на бога, который совершенно напрасно огорчает ее, посылая на землю дождь, ветер, снег.

О боге она говорила, точно о добром и хорошо знакомом ей старике, который живет где-то близко и может делать все, что хочет, но часто делает не так, как надо.

— Бога вовсе и нет, — заявил Клим. — Это только старики и старухи думают, что он есть.

— Я — не старуха, и Павля — тоже молодая еще, — спокойно возразила Лида. — Мы с Павлей очень любим его, а мама сердится, потому что он несправедливо наказал ее, и она говорит, что бог играет в люди, как Борис в свои солдатики.

Мать свою Лида изображала мученицей, ей жгут спину раскаленным железом, вспрыскивают под кожу лекарства и всячески терзают ее.

— Папа хочет, чтоб она уехала за границу, а она не хочет, она боится, что без нее пап пропадет. Конечно, папа не может пропасть. Но он не спорит с ней, он говорит, что больные всегда выдумывают какие-нибудь страшные глупости, потому что боятся умереть.

С этой девочкой Климу было легко и приятно, так же приятно, как слушать сказки няньки Евгении. Клим понимал, что Лидия не видит в нем замечательного мальчика, в ее глазах он не растет, а остается все таким же, каким был два года тому назад, когда Варавки сняли квартиру. Он смущался и досадовал, видя, что девочка возвращает его к детскому, глупенькому, но он не мог, не умел убедить ее в своей значительности; это было уже потому трудно, что Лида могла говорить непрерывно целый час, но не слушала его и не отвечала на вопросы.

Нередко вечерами, устав от игры, она становилась тихонькой и, широко раскрыв ласковые глаза, ходила по двору, по саду, осторожно щупая землю пружинными ногами и как бы ища нечто потерянное.

— Пойдем, посидим, — предлагала она Климу. В углу двора, между конюшней и каменной стеной недавно выстроенного дома соседей, стоял, умирая без солнца, большой вяз, у ствола его были сложены старые доски и бревна, а на них, в уровень с крышей конюшни, лежал плетеный из прутьев возок дедушки. Клим и Лида влезали в этот возок и сидели в нем, беседуя. Зябкая девочка прижималась к Самгину, и ему было особенно томно приятно чувствовать ее крепкое, очень горячее тело, слушать задумчивый и ломкий голосок.

Голос у нее бедный, двухтоновой, Климу казалось, что он качается только между нот фа и соль. И вместе с матерью своей Клим находил, что девочка знает много лишнего для своих лет.

— Про аиста и капусту выдумано, — говорила она. — Это потому говорят, что детей родить стыдятся, а все-таки родят их мамы, так же как кошки, я это видела, и мне рассказывала Павля. Когда у меня вырастут груди, как у мамы и Павли, я тоже буду родить — мальчика и девочку, таких, как я и ты. Родить — нужно, а то будут всё одни и те же люди, а потом они умрут и уж никого не будет. Тогда помрут и кошки и курицы, — кто же накормит их? Павля говорит, что бог запрещает родить только монашенкам и гимназисткам.

Особенно часто, много и всегда что-то новое Лидия рассказывала о матери и о горничной Павле, румяной, веселой толстухе.

— Павля все знает, даже больше, чем папа. Бывает, если папа уехал в Москву, Павля с мамой поют тихонькие песни и плачут обе две, и Павля целует мамины руки. Мама очень много плачет, когда выпьет мадеры, больная потому что и злая тоже. Она говорит: «Бог сделал меня злой». И ей не нравится, что папа знаком с другими дамами и с твоей мамой; она не любит никаких дам, только Павлю, которая ведь не дама, а солдатова жена.

Рассказывая, она крепко сжимала пальцы рук в кулачок и, покачиваясь, размеренно пристукивала кулачком по коленям своим. Голос ее звучал все тише, все менее оживленно, наконец она говорила как бы сквозь дрему и вызывала этим у Клима грустное чувство.

— До того, как хворать, мама была цыганкой, и даже есть картина с нее в красном платье, с гитарой. Я немножко поучусь в гимназии и тоже стану петь с гитарой, только в черном платье.

Иногда Клим испытывал желание возразить девочке, поспорить с нею, но не решался на это, боясь, что Лида рассердится. Находя ее самой интересной из всех знакомых девочек, он гордился тем, что Лидия относится к нему лучше, чем другие дети. И когда Лида вдруг капризно изменяла ему, приглашая в тарантас Любовь Сомову, Клим чувствовал себя обиженным, покинутым и ревновал до злых слез.

Девочки Сомовы казались ему такими же неприятными и глупыми, как их отец. Погодки, они обе коротенькие, толстые, с лицами круглыми, точно блюдечки чайных чашек. Старшая, Варя, отличалась от сестры своей только тем, что хворала постоянно и не так часто, как Любовь, вертелась на глазах Клима. Младшую Варавка прозвал Белой Мышью, а дети называли ее Люба Клоун. Белое лицо ее казалось осыпанным мукой, голубоватосерые, жидкие глаза прятались в розовых подушечках опухших век, бесцветные брови почти невидимы на коже очень выпуклого лба, льняные волосы лежали на черепе, как приклеенные, она заплетала их в смешную косичку, с желтой лентой в конце. Она была веселая, Клим подозревал, что веселость эта придумана некрасивой и неумной девочкой. Выдумывала она очень много и всегда неудачно. Придумала скучную игру «Что с кем будет?»: нарезав бумагу маленькими квадратиками, она писала на них разные слова, свертывала квадратики в тугие трубки и заставляла детей вынимать из подола ее по три трубки.

— Кольцо, звон, волк, — читала Лидия свои жребии, а Люба говорила ей старческим, гнусавым голосом гадалки:

— Ты, милая барышня, выйдешь замуж за попа и будешь жить в деревне. Лидия сердилась:

— Ты не умеешь гадать! Я тоже не умею, но ты — больше.

На билетиках Клима оказались слова:

— Луна, сон, лук.

Люба Клоун зажала бумажки в кулак, подумала минуту, кусая пухлые губы, и закричала:

— Ты увидишь во сне, что поцеловал луну, ожегся и заплакал; это — во сне!

— Чепуха, но — ловко! — одобрил Борис. Из всех сказок Андерсена Сомовой особенно нравилась «Пастушка и трубочист». В тихие часы она просила Лидию читать эту сказку вслух и, слушая, тихо, бесстыдно плакала. Борис Варавка ворчал, хмурясь:

— Перестань. Еще хорошо, что они не разбились. И смешная печаль о фарфоровом трубочисте и все в этой девочке казалось Климу фальшивым. Он смутно подозревал, что она пытается показать себя такой же особенной, каков он, Клим Самгин.

Как-то поздним вечером Люба, взволнованно вбежав с улицы на двор, где шумно играли дети, остановилась и, высоко подняв руку, крикнула в небо:

— Слушайте, слушайте…

Все примолкли, внимательно глядя в синеватые небеса, но никто ничего не услышал. Клим, обрадованный, что какой-то фокус не удался Любе, начал дразнить ее, притопывая ногой:

— Не yteena обмануть, никого не обманула! Но девочка, оттолкнув его, напряженно сморщила мучнистое лицо свое и торопливо проговорил:

Вчера надел мой папа шляпуИ стал похож на белый гриб,Я просто не узнала папу.

Замолчала, прикрыв глаза, а потом с досадой упрекнула Клима:

— Это ты спутал все…

— Он всегда суется вперед всех, как слепой, — сурово сказал Борис и начал подсказывать рифмы:

— Сшиб? Рыб? Погиб?

Клим, видя, что все недовольны, еще более не взлюбил Сомову и еще раз почувствовал, что с детьми ему труднее, чем со взрослыми.

Варя была скучнее сестры и так же некрасива. На висках у нее синенькие жилки, совиные глаза унылы, движения вялого тела — неловки. Говорила она вполголоса, осторожно и тягуче, какими-то мятыми словами; трудно было понять, о чем она говорит. Клима очень удивляло, почему Борис так внимательно ухаживает за Сомовыми, а не за красивой Алиной Телепневой, подругой его сестры. В ненастные дни дети собирались в квартире Варавок, в большой, неряшливой комнате, которая могла быть залою. В ней стоял огромный буфет, фисгармония, широчайший диван, обитый кожею, посреди ее — овальный стол и тяжелые стулья с высокими спинками. Варавки жили на этой квартире уже третий год, но казалось, что они поселились только вчера, все вещи стояли не на своих местах, вещей было недостаточно, комната казалась пустынной, неуютной.

Чаще всего дети играли в цирк; ареной цирка служил стол, а конюшни помещались под столом. Цирк — любимая игра Бориса, он был директором и дрессировщиком лошадей, новый товарищ Игорь Туробоев изображал акробата и льва, Дмитрий Самгин — клоуна, сестры Сомовы и Алина — пантера, гиена и львица, а Лидия Варавка играла роль укротительницы зверей. Звери исполняли свои обязанности честно и серьезно, хватали Лидию за юбку, за ноги, пытались повалить ее и загрызть; Борис отчаянно кричал:

— Не визжать поросятами! Лидка, бей их больнее! Климу чаще всего навязывали унизительные обязанности конюха, он вытаскивал из-под стола лошадей, зверей и подозревал, что эту службу возлагают на него нарочно, чтоб унизить. И вообще игра в цирк не нравилась ему, как и другие игры, крикливые, быстро надоедавшие. Отказываясь от участия в игре, он уходил в «публику», на диван, где сидели Павла и сестра милосердия, а Борис ворчал:

— Эх, капризуля! Павла, позови Дронова, чорт его… Сидя на диване, Клим следил за игрою, но больше, чем дети, его занимала Варавка-мать. В комнате, ярко освещенной большой висячей лампой, полулежала в широкой постели, среди множества подушек, точно в сугробе снега, черноволосая женщина с большим носом "и огромными глазами на темном лице. Издали лохматая голова женщины была похожа на узловатый, обугленный, но еще тлеющий корень дерева. Глафира Исаевна непрерывно курила толстые, желтые папиросы, дым густо шел изо рта, из ноздрей ее, казалось, что и глаза тоже дымятся.

— Клим! — звала она голосом мужчины. Клим боялся ее; он подходил осторожно и, шаркнув ногой, склонив голову, останавливался в двух шагах от кровати, чтоб темная рука женщины не достала его.

— Ну, что у вас там? — спрашивала она, тыкая кулаком в подушку. — Что — мать? В театре? Варавка — с ними? Ага!

«Ага» она произносила с угрозой и отталкивала мальчика сверлящим взором черных глаз.

— Ты — хитрый, — говорила она. — Тебя недаром хвалят, ты — хитрый. Нет, я не отдам Лидию замуж за тебя. В большой комнате Борис кричал, топая ногами:

— Оркестр! Мама же — оркестр!

Глафира Исаевна брала гитару или другой инструмент, похожий на утку с длинной, уродливо прямо вытянутой шеей; отчаянно звенели струны, Клим находил эту музыку злой, как все, что делала Глафира Варавка.

Иногда она вдруг начинала петь густым голосом, в нос и тоже злобно. Слова ее песен были странно изломаны, связь их непонятна, и от этого воющего пения в комнате становилось еще сумрачней, неуютней. Дети, забившись на диван, слушали молча и покорно, но Лидия шептала виновато:

— Она может лучше, но сегодня не в голосе. И спрашивала, очень ласково:

— Ты сегодня не в голосе, мама? Ответ матери был неясен, ворчлив.

— Вот видите, — говорила Лидия, — она не в голосе.

Клим думал, что, если эта женщина выздоровеет, она сделает что-нибудь страшное, но доктор Сомов успокоил его. Он спросил доктора:

— Глафира Исаевна скоро встанет?

— Вместе со всеми, в день страшного суда, — лениво ответил Сомов.

Когда доктор говорил что-нибудь плохое, мрачное, — Клим верил ему.

Если дети слишком шумели и топали, снизу, от Самгиных, поднимался Варавка-отец и кричал, стоя в двери:

— Тише, волки! Жить нельзя. Вера Петровна боится, что вы проломите потолок.

— На абордаж! — командовал Борис, и все бросались на его отца, влезали на спину, на плечи, на шею его.

— Приросли? — спрашивал он.

— Готово.

Варавка требовал с детей честное слово, что они не станут щекотать его, и затем начинал бегать рысью вокруг стола, топая так, что звенела посуда в буфете и жалобно звякали хрустальные подвески лампы.

— Уничтожай его! — кричал Борис, и начинался любимейший момент игры: Варавку щекотали, он выл, взвизгивал, хохотал, его маленькие, острые глазки испуганно выкатывались, отрывая от себя детей одного за другим, он бросал их на диван, а они, снова наскакивая на него, тыкали пальцами ему в ребра, под колени. Клим никогда не участвовал в этой грубой и опасной игре, он стоял в стороне, смеялся и слышал густые крики Глафиры:

— Так его, так!

— Сдаюсь, — выл Варавка и валился на диван, давя своих врагов. С него брали выкуп пирожными, конфектами, Лида причесывала его растрепанные волосы, бороду, помуслив палец свой, приглаживала мохнатые брови отца, а он, исхохотавшийся до изнеможения, смешно отдувался, отирал платком потное лицо и жалобно упрекал:

— Нет, вы нечестные люди…

Затем он шел в комнату жены. Она, искривив губы, шипела встречу ему, ее черные глаза, сердито расширяясь, становились глубже, страшней; Варавка говорил нехотя и негромко:

— Что? Ну, это выдумки. Перестань. Ладно. Я не старик.

Словечко «выдумки» было очень понятно Климу и обостряло его неприязнь к

больной женщине. Да, она, конечно, выдумывает что-то злое. Клим видел, что Глафира Исаевна небрежна, неласкова с детьми и часто груба. Можно было думать, что Борис и Лидия только тогда интересны ей, когда они делают какие-нибудь опасные упражнения, рискуя переломать себе руки и ноги. В эти минуты она прицеливалась к детям, нахмурив густые брови, плотно сжав лиловые губы, скрестив руки и вцепившись пальцами в костлявые плечи свои. Клим был уверен, что, если бы дети упали, расшиблись, — мать начала бы радостно смеяться.

Борис бегал в рваных рубашках, всклоченный, неумытый. Лида одевалась хуже Сомовых, хотя отец ее был богаче доктора. Клим все более ценил дружбу девочки, — ему нравилось молчать, слушая ее милую болтовню, — молчать, забывая о своей обязанности говорить умное, не детское.

Но, когда явился красиво, похоже на картинку, одетый щеголь Игорь Туробоев, неприятно вежливый, но такой же ловкий, бойкий, как Борис, — Лида отошла от Клима и стала ходить за новым товарищем покорно, как собачка. Это нельзя было понять, тем более нельзя, что в первый же день знакомства Борис поссорился с Туробоевым, а через несколько дней они жестоко, до слез и крови, подрались. Клим впервые видел, как яростно дерутся мальчики, наблюдал их искаженные злобой лица, оголенное стремление ударить друг друга как можно больнее, слышал их визги, хрип, — все это так поразило его, что несколько дней после драки он боязливо сторонился от них, а себя, не умевшего драться, почувствовал еще раз мальчиком особенным. Игорь и Борис скоро стали друзьями, хотя постоянно спорили, ссорились и каждый из них упрямо, не щадя себя, старался показывать, что он смелее, сильнее товарища. Борис вел себя, точно обожженный, что-то судорожное явилось в нем, как будто он, торопясь переиграть все игры, боится, что не успеет сделать это.

Когда явился Туробоев, Клим почувствовал себя отодвинутым еще дальше, его поставили рядом с братом, Дмитрием. Но добродушного, неуклюжего Дмитрия любили за то, что он позволял командовать собой, никогда не спорил, не обижался, терпеливо и неумело играл самые незаметные, невыгодные роли. Любили и за то, что Дмитрий умел, как-то неожиданно и на зависть Клима, овладевать вниманием детей, рассказывая им о гнездах птиц, о норах, о логовищах зверей, о жизни пчел и ос. Рассказывал он вполголоса, таинственно, и на широком лице его, в добрых серых глазах, таилась радостная улыбка.

— Этот Вуд — лучше Майн-Рида, — говорил он и вздыхал: — А еще есть Брем…

Туробоев и Борис требовали, чтоб Клим подчинялся их воле так же покорно, как его брат; Клим уступал им, но в середине игры заявлял:

— Я больше не играю.

И отходил прочь. Он хотел показать, что его покорность была только снисхождением умного, что он хочет и умеет быть независимым и выше всех милых глупостей. Но этого никто не понимал, а Борис бойко кричал:

— Иди к чорту, ты надоел!

Его рябое, остроносое лицо пестрело, покрываясь красными пятнами, глаза гневно сверкали; Клим боялся, что Варавка ударит его.

Лидия смотрела на него искоса и хмурилась, Сомовы и Алина, видя измену Лидии, перемигивались, перешептывались, и все это наполняло душу Клима едкой грустью. Но мальчик утешал себя догадкой: его не любят, потому что он умнее всех, а за этим утешением, как тень его, возникала гордость, являлось желание поучать, критиковать; он находил игры скучными и спрашивал:

— Разве нельзя выдумать что-нибудь забавнее?

— Выдумывай, но не мешай, — сердито сказала Лида и отвернулась от него.

«Какая грубая стала», — с горечью подумал Клим. Он выработал себе походку, которая, воображал он, должна была придать важность ему, шагал не сгибая ног /и спрятав руки за спину, как это делал учитель Томилин.

На товарищей он посматривал немного прищурясь.

— Что ты так. пыжишься? — спросил его Дмитрий. Клим презрительно усмехнулся и не ответил, он не любил брата и считал его дурачком.

Туробоев, холодненький, чистенький и вежливый, тоже смотрел на Клима, прищуривая темные, неласковые глаза, — смотрел вызывающе. Его слишком красивое лицо особенно сердито морщилось, когда Клим подходил к Лидии, но девочка разговаривала с Климом небрежно; торопливо, притопывая ногами и глядя в ту сторону, где Игорь. Она все более плотно срасталась с Туробоевым, ходили они взявшись за руки; Климу казалось, что, даже увлекаясь игрою, они играют друг для друга, не видя, не чувствуя никого больше.

Когда играли в жмурки и Лида ловила детей, Игорь нарочно попадался в ее слепые руки.

— Неправильно! — кричал Клим, и все соглашались, — да, неправильно! А Туробоев, высоко подняв красивые брови свои, убедительно говорил:

— Но, господа, она слабенькая.

— Нет! — возмущалась Лида. — Все-таки — нет!

— Я тоже слабенькая, — обиженно заявила Люба Клоун, но Туробоев, завязав себе глаза, уже бросался ловить.

Случилось, что Дмитрий Самгин, спасаясь от рук Лиды, опрокинул стул под ноги ей, девочка ударилась коленом о ножку стула, охнула, — Игорь, побледнев, схватил Дмитрия за горло:

— Дурак! Нечестно играешь.

А когда было замечено, что Иван Дронов внимательно заглядывает под юбки девочек, Туробоев решительно потребовал, чтоб Дронова не приглашали играть.

Иван Дронов не только сам назывался по фамилии, но и бабушку свою заставил звать себя — Дронов. Кривоногий, с выпученным животом, с приплюснутым, плоским черепом, широким лбом и большими ушами, он был как-то подчеркнуто, но притягательно некрасив. На его широком лице, среди которого красненькая шишечка носа была чуть заметна, блестели узенькие глазки, мутноголубые, очень быстрые и жадные. Жадность была самым заметным свойством Дронова; с необыкновенной жадностью он втягивал мокреньким носом воздух, точно задыхаясь от недостатка его. Жадно и с поразительной быстротой ел, громко чавкая, пришлепывая толстыми, яркими губами. Он говорил Климу:

— Я — человек бедный, мне надобно много есть. По настоянию деда Акима Дронов вместе с Климом готовился в гимназию и на уроках Томилина обнаруживал тоже судорожную торопливость, Климу и она казалась жадностью. Спрашивая учителя или отвечая ему, Дронов говорил очень быстро и как-то так всасывая слова, точно они, горячие, жгли губы его и язык. Клим несколько раз допытывался у товарища, навязанного ему Настоящим Стариком:

— Отчего ты такой жадный?

Дронов шмыгал носом, скашивал в сторону беспокойные глазки свои и не отвечал.

Но в добрую минуту, таинственно понизив высокий, резкий голос свой, он сказал:

— В меня голодный чевряк посажен.

— Червяк, — поправил Клим.

— То — червяк, а это — чревяк.

И быстреньким шопотом он поведал, что тетка его, ведьма, околдовала его, вогнав в живот ему червя чревака, для того чтобы он, Дронов, всю жизнь мучился неутолимым голодом. Он рассказал также, что родился в год, когда отец его воевал с турками, попал в плен, принял турецкую веру и теперь живет богато; что ведьма тетка, узнав об этом, выгнала из дома мать и бабушку и что мать очень хотела уйти в Турцию, но бабушка не пустила ее.

Заметив, что Дронов называет голодного червя — чевряком, чреваком, чревоедом, Клим не поверил ему. Но, слушая таинственный шопот, он с удивлением видел пред собою другого мальчика, плоское лицо нянькина внука становилось красивее, глаза его не бегали, в зрачках разгорался голубоватый огонек радости, непонятной Климу. За ужином Клим передал рассказ Дронова отцу, — отец тоже непонятно обрадовался.

— Слышишь, Вера? Какая фантазия, а? Я всегда говорил, что это способнейший мальчишка...

Но мать, не слушая отца, — как она часто делала, — кратко и сухо сказала Климу, что Дронов все это выдумал: тетки-ведьмы не было у него; отец помер, его засыпало землей, когда он рыл колодезь, мать работала на фабрике спичек и умерла, когда Дронову было четыре года, после ее смерти бабушка нанялась нянькой к брату Мите; вот и все.

— Да, Вера, — сказал отец, — но все-таки обрати внимание...

Дмитрий Самгин широко улыбнулся и проговорил:

— Клим тоже любит врать. Отец повернулся к нему:

— Ты сказал грубо, Митя. Надо различать ложь от фантазии...

Тут пришел Варавка, за ним явился Настоящий Старик, начали спорить, и Клим еще раз услышал не мало такого, что укрепило его в праве и необходимости выдумывать себя, а вместе с этим вызвало в нем интерес к Дронову, — интерес, похожий на ревность. На другой же день он спросил. Ивана:

— Ты зачем наврал про тетку? Тетки-то не было. Дронов сердито взглянул на него и, скосив глаза, ответил:

— А ты — не болтай, чего не понимаешь. Из-за тебя мне бабка ухи надрала... Бубенчик!

Каждое утро, в девять часов, Клим и Дронов поднимались в мезонин к Томилину и до полудня сидели в маленькой комнате, похожей на чулан, куда в беспорядке брошены три стула, стол, железный умывальник, скрипучая деревянная койка и множество книг. В комнате этой всегда было жарко, стоял душный запах кошек и голубиного помета. Из полукруглого окна были видны вершины деревьев сада, украшенные инеем или снегом, похожим на куски ваты; за деревьями возвышалась серая пожарная каланча, на ней медленно и скучно кружился человек в сером тулупе, за каланчою — пустота небес.

Учитель встречал детей молчаливой, неясной улыбкой; во всякое время дня он казался человеком только что проснувшимся. Он тотчас ложился вверх лицом на койку, койка уныло скрипела. Запустив пальцы рук в рыжие, нечесанные космы жестких и прямых волос, подняв к потолку расколотую, медную бородку, не глядя на учеников, он спрашивал и рассказывал тихим голосом, внятными словами, но Дронов находил, что учитель говорит «из-под печки».

Иногда, чаще всего в чае урока истории, Томилин вставал и ходил по комнате, семь

шагов от стола к двери и обратно, — ходил наклоня голову, глядя в пол, шаркал растоптанными туфлями и прятал руки за спиной, сжав пальцы так крепко, что они багровели.

Клим Самгин видел, что Томилин учит Дронова более охотно и усердно, чем его.

— Итак, Ваня, что же сделал Александр Невский? — спрашивал он, остановись у двери и одергивая рубаху. Дронов быстро и четко отвечал:

— Святой, благоверный князь Александр Невский призвал татар и с их помощью начал бить русских…

— Подожди, — что такое? Откуда это? — удивился учитель, шевеля мохнатыми бровями и смешно открыв рот.

— Вы сказали.

— Я? Когда?

— В четверг…

Учитель помолчал, приглаживая волосы ладонями, затем, шагая к столу, сказал строго:

— Это не нужно помнить.

У него была привычка беседовать с самим собою вслух. Нередко, рассказывая историю, он задумывался на минуту, на две, а помолчав, начинал говорить очень тихо и непонятно. В такие минуты Дронов толкал Клима ногою и, подмигивая на учителя левым глазом, более беспокойным, чем правый, усмехался кривенькой усмешкой; губы Дронова были рыбьи, тупью, жесткие, как хрящи. После урока Клим спрашивал:

— Ты зачем толкался?

— Хи, хи, — захлебывался Дронов. — Наврал он на Невского, — святой с татарами дружиться не станет, шалишь! Оттого и помнить не велел, что наврал. Хорош учитель: учит, а помнить не велит.

Говоря о Томилине, Иван Дронов всегда понижал голос, осторожно оглядывался и хихикал, а Клим, слушая его, чувствовал, что Иван не любит учителя с радостью и что ему нравится не любить.

— Ты думаешь — он с кем говорит? Он с чортом говорит.

— Чертей нет, — строго заявил Клим.

Дронов пренебрежительно заглянул в глаза его, плюнул через левое плечо свое, но спорить не стал.

Ревниво наблюдая за ним, Самгин видел, что Дронов стремится обогнать его в успехах и легко достигает этого. Видел, что бойкий мальчик не любит всех взрослых вообще, не любит их с таким же удовольствием, как не любил учителя. Толстую, добрейшую бабушку свою, которая как-то даже яростно нянчилась с ним, он доводил до слез, подсыпая в табакерку ей золу или перец, распускал петли чулков, сгибал вязальные спицы, бросал клубок шерсти котятам или смазывал шерсть маслом, клеем. Старуха била его, а побив, крестилась в угол на иконы и упрашивала со слезами:

— Матерь божия, прости, Христа ради, за обиду сироте!

Потом, сунув внуку кусок пирога или конфекту, говорила, вздыхая:

— На, Дронов, ешь, темная башка. Мучитель мой.

— Отец у тебя смешной, — говорил Дронов Климу. — Настоящий отец, он — страшный, у-ух!

Около Веры Петровны Дронов извивался ласковой собачкой, Клим подметил, что нянькин внук боится ее так же, как дедушку Акима, и что особенно страшен ему Варавка.

— Чертище, — называл он инженера и рассказывал о нем: Варавка сначала был ямщиком, а потом — конокрадом, оттого и разбогател. Этот рассказ изумил Клима до немоты, он знал, что Варавка сын помещика, родился в Кишиневе, учился в Петербурге и Вене, затем приехал сюда в город и живет здесь уж седьмой год. Когда он возмущенно рассказал это Дронову, тот, тряхнув головой, пробормотал:

— Вена — есть, оттуда — стулья, а Кишинев, может, только в географии.

Клим нередко ощущал, что он тупеет от странных выходок Дронова, от его явной грубой лжи. Иногда ему казалось, что Дронов лжет только для того, чтоб издеваться над ним. Сверстников своих Дронов не любил едва ли не больше, чем взрослых, особенно после того, как дети отказались играть с ним. В играх он обнаруживал много хитроумных выдумок, но был труслив и груб с девочками, с Лидией — больше других. Презрительно называл ее цыганкой, щипал, старался свалить с ног так, чтоб ей было стыдно.

Когда дети играли на дворе, Иван Дронов отверженно сидел на ступенях крыльца кухни, упираясь локтями в колена, а скулами о ладони, и затуманенными глазами наблюдал игры барчат. Он радостно взвизгивал, когда кто-нибудь падал или, ударившись, морщился от боли.

— Дави его! — поощрял он, видя, как Варавка борется с Туробоевым. — Подножку дай!

Если играли в саду, Дронов стоял у решетки, опираясь о нее животом, всунув лицо между перекладин, стоял, покрикивая:

— Хватай ее! Вон она спряталась за вишенью. Забегай слева…

Он всячески старался мешать играющим, нарочито медленно ходил по двору, глядя в землю.

— Копейку потерял, — жаловался он, покачиваясь на кривых ногах, заботясь столкнуться с играющими. Они налетали на него, сбивали с ног, тогда Дронов, сидя на земле, хныкал и угрожал:

— Я пожалуюсь…

Недели две-три с Дроновым очень дружилась Люба Сомова, они вместе гуляли, прятались по углам, таинственно и оживленно разговаривая о чем-то, но вскоре Люба, вечером, прибежав к Лидии в слезах, гневно закричала:

— Дронов — дурак!

И, бросившись в угол дивана, закрыв лицо руками, повторила:

— Ах, какой дурак!

Никому не сказав, что случилось, Лидия, густо покраснев, сбегала в кухню и, воротясь оттуда, объявила победоносно и свирепо:

— Он получил!

Дня три после этого Дронов ходил с шишкой на лбу, над левым глазом.

Да, Иван Дронов был неприятный, даже противный мальчик, но Клим, видя, что отец, дед, учитель восхищаются его способностями, чувствовал в нем соперника,

ревновал, завидовал, огорчался. А все-таки Дронов притягивал его, и часто недобрые чувства к этому мальчику исчезали пред вспышками интереса и симпатии к нему.

Были минуты, когда Дронов внезапно расцветал и становился непохож сам на себя. Им овладевала задумчивость, он весь вытягивался, выпрямлялся и мягким голосом тихо рассказывал Климу удивительные полусны, полусказки. Рассказывал, что из колодца в углу двора вылез огромный, но легкий и прозрачный, как тень, человек, перешагнул через ворота, пошел по улице, и, когда проходил мимо колокольни, она, потемнев, покачнулась вправо и влево, как тонкое дерево под ударом ветра.

— А недавно, перед тем, как взойти луне, по небу летала большущая черная птица, подлетит ко звезде и склюнет ее, подлетит к другой и ее склюет. Я не спал, на подоконнике сидел, потом страшно стало, лег на постелю, окутался с головой, и так, знаешь, было жалко звезд, вот, думаю, завтра уж небо-то пустое будет…

— Выдумываешь ты, — сказал Клим не без зависти. Дронов не возразил ему. Клим понимал, что Дронов выдумывает, но он так убедительно спокойно рассказывал о своих видениях, что Клим чувствовал желание принять ложь как правду. В конце концов Клим не мог понять, как именно относится он к этому мальчику, который все сильнее и привлекал и отталкивал его.

Вступительный экзамен в гимназию Дронов сдал блестяще, Клим — не выдержал. Это настолько сильно задело его, что, придя домой, он ткнулся головой в колена матери и зарыдал. Мать ласково успокаивала его, сказала много милых слов и даже похвалила:

— Ты — честолюбив, это хорошо.

Вечером она поссорилась с отцом, Клим слышал ее сердитые слова:

— Тебе пора понять, что ребенок — не игрушка… А через несколько дней мальчик почувствовал, что мать стала внимательнее, ласковей, она даже спросила его:

— Ты меня любишь?

— Да, — сказал Клим.

— Очень?

— Да, — уверенно повторил он. Крепко прижав голову его к мягкой и душистой груди, мать строго сказала:

— Надо, чтоб ты очень любил меня.

Клим не помнил, спрашивала ли его мама об этом раньше. И самому себе он не мог бы ответить так уверенно, как отвечал ей. Из всех взрослых мама самая трудная, о ней почти нечего думать, как о странице тетради, на которой еще ничего не написано. Все в доме покорно подчинялись ей, даже Настоящий Старик и упрямая Мария Романовна — Тираномашка, как за глаза называет ее Варавка. Мать редко смеется и мало говорит, у нее строгое лицо, задумчивые голубоватые глаза, густые темные брови, длинный, острый нос и маленькие, розовые уши. Она заплетает свои лунные волосы в длинную косу и укладывает ее на голове в три круга, это делает ее очень высокой, гораздо выше отца. Руки у нее всегда горячие. Совершенно ясно, что больше всех мужчин ей нравится Варавка, она охотнее говорит с ним и улыбается ему гораздо чаще, чем другим. Все знакомые говорят, что она удивительно хорошеет.

Отец тоже незаметно, но значительно изменился, стал еще более суетлив, щиплет темненькие усы свои, чего раньше не делал; голубиные глаза его ослепленно мигают и смотрят так задумчиво, как будто отец забыл что-то и не может вспомнить. Говорить он стал еще больше и крикливее, оглушительней. Он говорит о книгах, пароходах, лесах и пожарах, о глупом губернаторе и душе народа, о

революционерах, которые горько ошиблись, об удивительном человеке Глебе Успенском, который «все видит насквозь». Он всегда говорит о чем-нибудь новом и так, как будто боится, что завтра кто-то запретит ему говорить.

— Удивительно! — кричит он. — Замечательно! Варавка прозвал его: Ваня с Праздником.

— Мастер ты удивляться, Иван! — говорил Варавка, играя пышной своей бородищей.

Он отвез жену за границу, Бориса отправил в Москву, в замечательное училище, где учился Туробоев, а за Лидией откуда-то приехала большеглазая старуха с седыми усами и увезла девочку в Крым, лечиться виноградом. Из-за границы Варавка вернулся помолодевшим, еще более насмешливо веселым; он стал как будто легче, но на ходу топал ногами сильнее и часто останавливался перед зеркалом, любуясь своей бородой, подстриженной так, что ее сходство с лисьим хвостом стало заметней. Он даже начал говорить стихами, Клим слышал, как он говорил матери:

Когда из мрака заблужденьяГорячим словом убежденьяЯ душу падшую извлек,

— конечно, я был в то время идиотом…

— Это едва ли верно и очень грубо, Тимофей Степанович, — сказала мать. Варавка свистнул, точно мальчишка, потом проговорил четко:

— Нежной правды нет.

Почти каждый вечер он ссорился с Марией Романовной, затем с нею начала спорить и Вера Петровна; акушерка, встав на ноги, выпрямлялась, вытягивалась и, сурово хмурясь, говорила ей:

— Вера, опомнись!

Отец беспокойно подбегал к ней и кричал:

— Разве Англия не доказывает, что компромисс необходимое условие цивилизации… Акушерка сурово говорила:

— Перестаньте, Иван!

Тогда отец подкатывался к Варавке:

— Согласись, Тимофей, что в известный момент эволюция требует решительного удара…

Варавка отстранял его короткой, сильной рукой и кричал, усмехаясь:

— Нет, Марья Романовна, нет! Отец шел к столу пить пиво с доктором Сомовым, а полупьяный доктор ворчал:

— Надсон прав: догорели огни и у… как там?

— Облетели цветы, — добавил отец, сочувственно кивнув лысоватым черепом, задумчиво пил пиво, молчал и становился незаметен.

Мария Романовна тоже как-то вдруг поседела, отощала и согнулась; голос у нее осел, звучал глухо, разбито и уже не так властно, как раньше. Всегда одетая в черное, ее фигура вызывала уныние; в солнечные дни, когда она шла по двору или гуляла в саду с книгой в руках, тень ее казалась тяжелей и гуще, чем тени всех других людей, тень влеклась за нею, как продолжение ее юбки, и обесцвечивала цветы, травы.

Споры с Марьей Романовной кончились тем, что однажды утром она ушла со двора

вслед за возом своих вещей, ушла, не простясь ни с кем, шагая величественно, как всегда, держа в одной руке саквояж с инструментами, а другой прижимая к плоской груди черного, зеленоглазого кота.

Привыкнув наблюдать за взрослыми, Клим видел, что среди них началось что-то непонятное, тревожное, как будто все они садятся не на те стулья, на которых привыкли сидеть. Учитель тоже стал непохож на себя. Как раньше, он смотрел на всех теми же смешными глазами человека, которого только что разбудили, но теперь он смотрел обиженно, угрюмо и так шевелил губами, точно хотел закричать, но не решался. А на мать Клима он смотрел совершенно так же, как дедушка Аким на фальшивый билет в десять рублей, который кто-то подсунул ему. И говорить с нею он стал непочтительно. Вечером, войдя в гостиную, когда мама собиралась играть на рояле, kikm услыхал грубые слова Томилина:

— Неправда, я видел, как он…

— Ты что, Клим? — быстро спросила мать, учитель спрятал руки за спину и ушел, не взглянув на ученика.

А через несколько дней, ночью, встав с постели, чтоб закрыть окно, Клим увидал, что учитель и мать идут по дорожке сада; мама отмахивается от комаров концом голубого шарфа, учитель, встряхивая медными волосами, курит. Свет луны был так маслянисто густ, что даже дым папиросы окрашивался в золотистый тон. Клим хотел крикнуть:

«Мама, а я еще не сплю», — но вдруг Томилин, запнувшись за что-то, упал на колени, поднял руки, потряс ими, как бы угрожая, зарычал и охватил ноги матери. Она покачнулась, оттолкнула мохнатую голову и быстро пошла прочь, разрывая шарф. Учитель, тяжело перевалясь с колен на корточки, встал, вцепился в свои жесткие волосы, приглаживая их, и шагнул вслед за мамой, размахивая рукою. Тут Клим испуганно позвал:

— Мама!

Остановясь, она подняла голову и пошла к дому, обойдя учителя, как столб фонаря. У постели Клима она встала с лицом необычно строгим, почти незнакомым, и сердито начала упрекать:

— Вот, не спишь, хота уже двенадцатый час, а утром тебя не добудишься. Теперь тебе придется вставать раньше, Степан Андреевич не будет жить у нас.

— Потому что обнимал тебе ноги? — спросил Клим. Вытирая шарфом лицо свое, мать заговорила уже не сердито, а тем уверенным голосом, каким она объясняла непонятную путаницу в нотах, давая Климу уроки музыки. Она сказала, что учитель снял с юбки ее гусеницу и только, а ног не обнимал, это было бы неприлично.

— Ах, мальчик, мальчик мой! Ты все выдумываешь, — сказала она, вздыхая.

Не желая, чтоб она увидала по глазам его, что он ей не верит, Клим закрыл глаза. Из книг, из разговоров взрослых он уже знал, что мужчина становится на колени перед женщиной только тогда, когда влюблен в нее. Вовсе не нужно вставать на колени для того, чтоб снять с юбки гусеницу,

Мать нежно гладила горячей рукой его лицо. Он не стал больше говорить об учителе, он только заметил:

Варавка тоже не любит учителя. И почувствовал, что рука матери вздрогнула, тяжело втиснув голову его в подушку. А когда она ушла, он, засыпая, подумал: как это странно! Взрослые находят, что он выдумывает именно тогда, когда он говорит правду.

Томилин перебрался жить в тупик, в маленький, узкий переулок, заткнутый синим

домиком; над крыльцом дома была вывеска:

Повар и Кондитер

принимает заказы на свадьбы, балы и поминки.

У повара Томилин поселился тоже в мезонине, только более светлом и чистом. Но он в несколько дней загрязнил комнату кучами книг; казалось, что он переместился со всем своим прежним жилищем, с его пылью, духотой, тихим скрипом половиц, высушенных летней жарой. Под глазами учителя набухли синеватые опухоли, золотистые искры в зрачках погасли, и весь он как-то жалобно растрепался. Теперь, все время уроков, он не вставал со своей неопрятной постели.

— У меня болят ноги, — сказал он. «Ушиб коленки тогда, в саду», — догадался Клим. Заниматься Томилин стал нетерпеливо, в тихом голосе его звучало раздражение; иногда, закрыв скучные глаза, он долго молчал и вдруг спрашивал издалека:

— Ну, понял?

— Нет.

— Подумай.

Клим думал, но не о том, что такое деепричастие и куда течет река Аму-Дарья, а о том, почему, за что не любят этого человека. Почему умный Варавка говорит о нем всегда насмешливо и обидно? Отец, дедушка Аким, все знакомые, кроме Тани, обходили Томилина, как трубочиста. Только одна Таня изредка спрашивала:

— А вы, Томилин, как думаете?

Он отвечал ей кратко и небрежно. Он обо всем думал несогласно с людями, и особенно упряменько звучала медь его слов, когда он спорил с Варавкой.

— В сущности, — говорил он.

— В сущности, в сущности, — передразнивал Варавка. — Чорт ее побери, эту вашу сущность! Гораздо важнее тот факт, что Карл Великий издавал законы о куроводстве и торговле яйцами.

Учитель возразил читающим голосом:

— Для дела свободы пороки деспота гораздо менее опасны, чем его добродетели.

— Фанатизм, — закричал Варавка, а Таня обрадовалась:

— Ах, нет, это удивительно верно! Я запишу… Она записала эти слова на обложке тетради Клима, но забыла списать их с нее, и, не попав в яму ее памяти, они сгорели в печи. Это Варавка говорил:

— Нуте-ка, Таня, пошарьте в мусорной яме вашей памяти.

О многом нужно было думать Климу, и эта обязанность становилась все более трудной. Все вокруг расширялось, разрасталось, теснилось в его душу так же упрямо и грубо, как богомольны в церковь Успения, где была чудотворная икона божией матери. Еще недавно вещи, привычные глазу, стояли на своих местах, не возбуждая интереса к ним, но теперь они чем-то притягивали к себе, тогда как другие, интересные и любимые, теряли свое обаяние. Даже дом разрастался. Клим был уверен, что в доме нет ничего незнакомого ему, но вдруг являлось что-то новое, не замеченное раньше. В полутемном коридоре, над шкафом для платья, с картины, которая раньше была просто темным квадратом, стали смотреть задумчивые глаза седой старухи, зарытой во тьму. На чердаке, в старинном окованном железом сундуке, он открыл множество интересных, хотя и поломанных вещей: рамки для портретов, фарфоровые фигурки, флейту, огромную книгу на

французском языке с картинами, изображающими китайцев, толстый альбом с портретами смешно и плохо причесанных людей, лицо одного из них было сплошь зачерчено синим карандашом.

— Это герои Великой Французской революции, а этот господин — граф Мирабо, — объяснил учитель и, усмехаясь, осведомился: — В ненужных вещах нашел, говоришь?

И, перелистывая страницы альбома, он повторил задумчиво:

— Да, да — прошлое… Ненужное…

Клим открыл в доме даже целую комнату, почти до потолка набитую поломанной мебелью и множеством вещей, былое назначение которых уже являлось непонятным, даже таинственным. Как будто все эти пыльные вещи вдруг, толпою вбежали в комнату, испуганные, может быть, пожаром; в ужасе они нагромоздились одна на другую, ломаясь, разбиваясь, переломали друг друга и умерли. Было грустно смотреть на этот хаос, было жалко изломанных вещей.

В конце августа, рано утром, явилась неумытая, непричесанная Люба Клоун; топая ногами, рыдая, задыхаясь, она сказала:

— Скорее идите к нам, скорее — мама сошла с ума.

И, упав на колени пред диваном, она спрятала голову под подушку.

Мать Клима тотчас же ушла, а девочка, сбросив подушку с головы, сидя на полу, стала рассказывать Климу, жалобно глядя на него мокрыми глазами.

— Я еще вчера, когда они ругались, видела, что она сошла с ума. Почему не папа? Он всегда пьяный… Вскочив на ноги, она схватила Клима за рукав.

— Идем туда…

Клим не помнил, как он добежал до квартиры Сомовых, увлекаемый Любой. В полутемной спальне, — окна ее были закрыты ставнями, — на растрепанной, развороченной постели судорожно извивалась Софья Николаевна, ноги и руки ее были связаны полотенцами, она лежала вверх лицом, дергая плечами, сгибая колени, била головой о подушку и рычала:

— Нет!

Глаза ее, страшно выкатившись, расширились до размеров пятикопеечных монет, они смотрели на огонь лампы, были красны, как раскаленные угли, под одним глазом горела царапина, кровь текла из нее.

— Нет! — глухо кричала докторша. И немного выше:

— Нет, нет!

Ее судороги становились сильнее, голос звучал злей и резче, доктор стоял в изголовье кровати, прислонясь к стене, и кусал, жевал свою черную щетинистую бороду. Он был неприлично расстегнут, растрепан, брюки его держались на одной подтяжке, другую он накрутил на кисть левой руки и дергал ее вверх, брюки подпрыгивали, ноги доктора дрожали, точно у пьяного, а мутные глаза так мигали, что казалось — веки тоже щелкают, как зубы его жены. Он молчал, как будто рот его навсегда зарос бородой.

Другой доктор, старик Вильямсон, сидел у стола, щурясь на огонь свечи, и осторожно писал что-то. Вера Петровна размешивала в стакане мутную воду, бегала горничная с куском льда на тарелке и молотком в руке.

Вдруг больная изогнулась дугою и, взмахнув руками, упала на пол, ударилась головою и поползла, двигая телом, точно ящерица, и победно вскрикивая:

— Ага? Н-нет…

— Держите ее, что вы? — закричала мать Клима, доктор тяжело отклеился от стены, поднял жену, положил на постель, а сам сел на ноги ее, сказав кому-то:

— Дайте еще полотенцев.

Жена, подпрыгнув, ударила его головою в скулу, он соскочил с постели, а она снова свалилась на пол и начала развязывать ноги свои, всхрапывая:

— Ага, ага…

Клим прятался в углу между дверью и шкафом, Варя Сомова, стоя сзади, положив подбородок на плечо его, шептала:

— Ведь это пройдет? Пройдет, да?

Мимо их бегала Люба с полотенцами, взвизгивая:

— Господи, господи…

И вдруг, топнув ногою, спросила сестру:

— Варька, а что же чай?

Мать Клима оглянулась на шум и строго крикнула:

— Дети — вон!

Она приказала им сбегать за Таней Куликовой, — все знакомые этой девицы возлагали на нее обязанность активного участия в их драмах.

Дети быстро пошли на окраину города, Клим подавленно молчал, шагая сзади сестер, и сквозь тяжелый испуг свой слышал, как старшая Сомова упрекала сестру:

— Мать сошла с ума, а ты кричишь — чаю.

— Молчи, индюшка.

— Ты жадная и бесстыдная…

— А ты — праведница? Приостановясь, она сказала Климу:

— Не хочу идти с ней — пойдем гулять. Клим безвольно пошел рядом с нею и через несколько шагов спросил:

— Ты любишь твою маму?

Люба наклонилась, подняла желтый лист тополя и, вздохнув, сказала:

— А я — не знаю. Может быть, я еще никого не люблю.

Отирая пыльным листом опухшие веки, слепо спотыкаясь, она продолжала:

— Отец жалуется, что любить трудно. Он даже кричал на маму: пойми, дура, ведь я тебя люблю. Видишь?

— Что? — спросил Клим, но Люба, должно быть, не слышала его вопроса.

— А они женатые четырнадцать лет…

Находя, что Люба говорит глупости, Клим перестал слушать ее, а она все говорила о чем-то скучно, как взрослая, и размахивала веткой березы, поднятой ею с панели. Неожиданно для себя они вышли на берег реки, сели на бревна, но бревна

были сырые и грязные. Люба выпачкала юбку, рассердилась и прошла по бревнам на лодку, привязанную к ним, села на корму, Клим последовал за нею. Долго сидели молча. Разглядывая искаженное отражение своего лица, Люба ударила по нему веткой, подождала, пока оно снова возникло в зеленоватой воде, ударила еще и отвернулась.

— Какая некрасивая… Я ведь некрасивая? Не получив ответа, она спросила:

— Почему ты молчишь?

— Не хочется говорить.

— Что я некрасивая?

— Нет, обо всем не хочется говорить.

— Просто — тебе стыдно сказать правду, — заявила Люба. — А я знаю, что урод, и у меня еще скверный характер, это и папа и мама говорят. Мне нужно уйти в монахини… Не хочу больше сидеть здесь.

Вскочила и, быстро пробежав по бревнам, исчезла, а Клим еще долго сидел на корме лодки, глядя в ленивую воду, подавленный скукой, еще не испытанной им, ничего не желая, но догадываясь, сквозь скуку, что нехорошо быть похожим на людей, которых он знал.

Когда он пришел домой, мать встретила его тревожным восклицанием:

— Господи, как ты меня пугаешь!

Климу показалось, что эти слова относятся не к нему, а к господу.

— Ты испугался? — допрашивала мать. — Ты напрасно пошел туда. Зачем?

— Что с ней сделали? — спросил Клим.

Мать сказала, что Сомовы поссорились, что у жены доктора сильный нервный припадок и ее пришлось отправить в больницу.

— Это — не опасно. Они оба — люди нездоровые, им пришлось много страдать, они преждевременно постарели…

По ее рассказу выходило так, что доктор с женою — люди изломанные, и Клим вспомнил комнату, набитую ненужными вещами.

— Это — не опасно, — повторила мать.

Но Клим почему-то не поверил ей и оказался прав: через двенадцать дней жена доктора умерла, а Дронов по секрету сказал ему, что она выпрыгнула из окна и убилась. В день похорон, утром, приехал отец, он говорил речь над могилой докторши и плакал. Плакали все знакомые, кроме Варавки, он, стоя в стороне, курил сигару и ругался с нищими.

Доктор Сомов с кладбища пришел к Самгиным, быстро напился и, пьяный, кричал:

— Я ее любил, а она меня ненавидела и жила для того, чтобы мне было плохо.

Отец Клима словообильно утешал доктора, а он, подняв черный и мохнатый кулак на уровень уха, потрясал им и говорил, обливаясь пьяными слезами:

— Пятнадцать лет жил с человеком, не имея с ним ни одной общей мысли, и любил, любил его, а? И — люблю. А она ненавидела все, что я читал, думал, говорил.

Клим слышал, как Варавка вполголоса сказал матери:

— Смотрите, что выдумал.

— В этом есть доля истины, — так же тихо ответила мать.

Доктора повели спать в мезонин, где жил Томилин. Варавка, держа его под мышки, толкал в спину головою, а отец шел впереди с зажженной свечой. Но через минуту он вбежал в столовую, размахивая подсвечником, потеряв свечу, говоря почему-то вполголоса:

— Вера — иди, бабушке плохо!

Оказалось, что бабушка померла. Сидя на крыльце кухни, она кормила цыплят и вдруг, не охнув, упала мертвая. Было очень странно, но не страшно видеть ее большое, широкобедрое тело, поклонившееся земле, голову, свернутую набок, ухо, прижатое и точно слушающее землю. Клим смотрел на ее синюю щеку, в открытый, серьезный глаз и, не чувствуя испуга, удивлялся. Ему казалось, что бабушка так хорошо привыкла жить с книжкой в руках, с пренебрежительной улыбкой на толстом, важном лице, с неизменной любовью к бульону из курицы, что этой жизнью она может жить бесконечно долго, никому не мешая.

Когда бесформенное тело, похожее на огромный узел поношенного платья, унесли в дом, Иван Дронов сказал:

— Ловко померла.

И тотчас добавил, обращаясь к своей бабушке:

— Вот, — учись, нянька!

Нянька была единственным человеком, который пролил тихие слезы над гробом усопшей. После похорон, за обедом, Иван Акимович Самгин сказал краткую и благодарную речь о людях, которые умеют жить, не мешая ближним своим. Аким Васильевич Самгин, подумав, произнес:

— Кажется, и мне пора к праотцам.

— Не очень он уверен в этом, — шепнул Варавка в розовое ухо Веры Петровны. Лицо матери было не грустно, но как-то необыкновенно ласково, строгие глаза ее светили мягко. Клим сидел с другого бока ее, слышал этот шопот и видел, что смерть бабушки никого не огорчила, а для него даже оказалась полезной: мать отдала ему уютную бабушкину комнату с окном в сад и мелочно-белой кафельной печкой в углу. Это было очень хорошо, потому что жить в одной комнате с братом становилось беспокойно и неприятно. Дмитрий долго занимался, мешая спать, а недавно к нему стал ходить бесцеремонный Дронов, и часто они бормотали, шуршали почти до полуночи.

Туго застегнутый в длинненький, ниже колен, мундирчик, Дронов похудел, подобрал живот и, гладко остриженный, стал похож на карлика-солдата. Разговаривая с Климом, он распахивал полы мундира, совал руки в карманы, широко раздвигал ноги и, вздернув розовую пуговку носа, спрашивал:

— Ты что, Самгин, плохо учишься? А я уже третий ученик…

Расправляя плечи, двигая локтями, он уверенно сказал:

— Увидишь — я получше Ломоносова буду. Дед Аким устроил так, что Клима все-таки приняли в гимназию. Но мальчик считал, себя обиженным учителями на экзамене, на переэкзаменовке и был уже предубежден против школы. В первые же дни, после того, как он надел форму гимназиста, Варавка, перелистав учебники, небрежно отшвырнул их прочь:

— Так же глупо, как те книжки, по которым учили нас.

Затем он долго и смешно рассказывал о глупости и злобе учителей, и в память

Клима особенно крепко вклеилось его сравнение гимназии с фабрикой спичек.

— Детей, как деревяшки, смазывают веществом, которое легко воспламеняется и быстро сгорает. Получаются прескверные спички, далеко не все вспыхивают и далеко не каждой можно зажечь что-нибудь.

Климу предшествовала репутация мальчика исключительных способностей, она вызывала обостренное и недоверчивое внимание учителей и любопытство учеников, которые ожидали увидеть в новом товарище нечто вроде маленького фокусника. Клим тотчас же почувствовал себя в знакомом, но усиленно тяжком положении человека, обязанного быть таким, каким его хотят видеть. Но он уже почти привык к этой роли, очевидно, неизбежной для него так же, как неизбежны утренние обтирания тела холодной водой, как порция рыбьего жира, суп за обедом и надоедливая чистка зубов на ночь.

Инстинкт самозащиты подсказал ему кое-какие правила поведения. Он вспомнил, как Варавка внушал отцу:

— Не забывай, Иван, что, когда человек говорит мало, — он кажется умнее.

Клим решил говорить возможно меньше и держаться в стороне от бешеного стада маленьких извергов. Их назойливое любопытство было безжалостно, и первые дни Клим видел себя пойманной птицей, у которой выщипывают перья, прежде чем свернуть ей шею. Он чувствовал опасность потерять себя среди однообразных мальчиков; почти неразличимые, они всасывали его, стремились сделать незаметной частицей своей массы.

Тогда, испуганный этим, он спрятался под защиту скуки, окутав ею себя, как облаком. Он ходил солидной походкой, заложив руки за спину, как Томилин, имея вид мальчика, который занят чем-то очень серьезным и далеким от шалостей и буйных игр. Время от времени жизнь помогала ему задумываться искренно: в середине сентября, в дождливую ночь, доктор Сомов застрелился на могиле жены своей.

Искусственная его задумчивость оказалась двояко полезной ему: мальчики скоро оставили в покое скучного человечка, а учителя объясняли ею тот факт, что на уроках Клим Самгин часто оказывался невнимательным. Так объясняли рассеянность его почти все учителя, кроме ехидного старичка с китайскими усами. Он преподавал русский язык и географию, мальчики прозвали его Недоделанный, потому что левое ухо старика было меньше правого, хотя настолько незаметно, что, даже когда Климу указали на это, он не сразу убедился в разномерности ушей учителя. Мальчик с первых же уроков почувствовал, что старик не верит в него, хочет поймать его на чем-то и высмеять. Каждый раз, вызвав Клима, старик расправлял усы, складывал лиловые губы свои так, точно хотел свистнуть, несколько секунд разглядывал Клима через очки и наконец ласково спрашивал:

— Итак, Самгин, чем изобилует Озерный край?

— Рыбой.

— Да? Может быть, там леса есть?

— Есть.

— И что же: рыбы-то на деревьях сидят? Класс хохотал, учитель улыбался, показывая темные зубы в золоте.

— Что же ты, гениальный мой, так плохо приготовил урок, а?

Возвращаясь на парту, Клим видел ряды шарообразных, стриженых голов с оскаленными зубами, разноцветные глаза сверкали смехом. Видеть это было обидно до слез.

Мальчики считали, что Недоделанный учит весело, Клим находил его глупым, злым и убеждался, что в гимназии учиться скучнее и труднее, чем у Томилина.

— Ты что не играешь? — наскакивал на Клима во время перемен Иван Дронов, раскаленный докрасна, сверкающий, счастливый. Он действительно шел в рядах первых учеников класса и первых шалунов всей гимназии, казалось, что он торопится сыграть все игры, от которых его оттолкнули Туробоев и Борис Варавка. Возвращаясь из гимназии с Климом и Дмитрием, он самоуверенно посвистывал, бесцеремонно высмеивая неудачи братьев, но нередко спрашивал Клима:'

— Ты сегодня к Томилину пойдешь? Я тоже пойду с тобой.

И, являясь к рыжему учителю, он впивался в него, забрасывая вопросами по закону божьему, самому скучному предмету для Клима. Томилин выслушивал вопросы его с улыбкой, отвечал осторожно, а когда Дронов уходил, он, помолчав минуту, две, спрашивал Клима словами Глафиры Варавки:

— Ну, что у вас там, дома?

Спрашивал так, как будто ожидал услышать нечто необыкновенное. Он все более обрастал книгами, в углу, в ногах койки, куча их возвышалась почти до потолка. Растягиваясь на койке, он поучал Клима:

— Благородными металлами называют те из них, которые почти или совсем не окисляются. Ты заметь это, Клим. Благородные, духовно стойкие люди тоже не окисляются, то есть не поддаются ударам судьбы, несчастиям и вообще…

Такие добавления к науке нравились мальчику больше, чем сама наука, и лучше запоминались им, а Томилин был весьма щедр на добавления. Говорил он, как бы читая написанное на потолке, оклеенном глянцевитой, белой, но уже сильно пожелтевшей бумагой, исчерченной сетью трещин.

— Сложное вещество при нагреве теряет часть веса, простое сохраняет или увеличивает его. Помолчав, он добавлял:

— Вот, например, ты уже недостаточно прост для твоего возраста. Твой брат больше ребенок, хотя и старше тебя.

— Но Митя глупый, — напомнил Клим. Так же, как всегда, механически спокойно, учитель говорил:

— Да, он глуп, но — в меру возраста. Всякому возрасту соответствует определенная доза глупости и ума. То, что называется сложностью в химии, — вполне законно, а то, что принимается за сложность в характере человека, часто бывает только его выдумкой, его игрой. Например — женщины…

Он снова молчал, как будто заснув с открытыми глазами. Клим видел сбоку фарфоровый, блестящий белок, это напомнило ему мертвый глаз доктора Сомова. Он понимал, что, рассуждая о выдумке, учитель беседует сам с собой, забыв о нем, ученике. И нередко Клим ждал, что вот сейчас учитель скажет что-то о матери, о тон, как он в саду обнимал ноги ее. Но учитель говорил:

— Полезная выдумка ставится в форме вопросительной, в форме догадки: может быть, это — так? Заранее честно допускается, что, может быть, это и не так. Выдумки вредные всегда носят форму утверждения: это именно так, а не иначе. Отсюда заблуждения и ошибки и… вообще. Да.

Клим слушал эти речи внимательно и очень старался закрепить их в памяти своей. Он чувствовал благодарность к учителю: человек, ни на кого не похожий, никем не любимый, говорил с ним, как со взрослым и равным себе. Это было очень полезно: запоминая не совсем обычные фразы учителя, Клим пускал их в оборот, как свои, и этим укреплял за собой репутацию умника.

Но иногда рыжий пугал его: забывая о присутствии ученика, он говорил так много, долго и непонятно, что Климу нужно было кашлянуть, ударить каблуком в пол, уронить книгу и этим напомнить учителю о себе. Однако и шум не всегда будил Томилина, он продолжал говорить, лицо его каменело, глаза напряженно выкатывались, и Клим ждал, что вот сейчас Томилин закричит, как жена доктора.

«Нет. Нет».

Особенно жутко было, когда учитель, говоря, поднимал правую руку на уровень лица своего и ощипывал в воздухе пальцами что-то невидимое, — так повар Влас ощипывал рябчиков или другую дичь.

В такие минуты Клим громко говорил:

— Уже поздно.

Томилин взглянув в сумрак за окном, соглашался:

— Да, на сегодня довольно.

И протягивал ученику волосатые пальцы с черными ободками ногтей. Мальчик уходил, отягченный не столько знаниями, сколько размышлениями.

Зимними вечерами приятно было шагать по хрупкому снегу, представляя, как дома, за чайным столом, отец и мать будут удивлены новыми мыслями сына. Уже фонарщик с лестницей на плече легко бегал от фонаря к фонарю, развешивая в синем воздухе желтые огни, приятно позванивали в зимней тишине ламповые стекла. Бежали лошади извозчиков, потряхивая шершавыми головами. На скрещении улиц стоял каменный полицейский, провожая седыми глазами маленького, но важного гимназиста, который не торопясь переходил с угла на угол.

Теперь, когда Клим большую часть дня проводил вне дома, многое ускользало от его глаз, привыкших наблюдать, но все же он видел, что в доме становится все беспокойнее, все люди стали иначе ходить и даже двери хлопают сильнее.

Настоящий Старик, бережно переставляя одеревеневшие ноги свои, слишком крепко тычет палкой в пол, кашляет так, что у него дрожат уши, а лицо и шея окрашиваются в цвет спелой сливы; пристукивая палкой, он говорит матери, сквозь сердитый кашель:

— Пользуясь его мягким характером, сударыня… пользуясь детской доверчивостью Ивана, вы, сударыня… Мать вполголоса предупредила его:

— Говорите не так громко, в столовой кто-то есть…

— Я обязан сказать вам, Вера Петровна…

— Пожалуйста, я слушаю вас.

Мать подошла к двери в столовую и плотно притворила ее.

Отец все чаще уезжает в лес, на завод или в Москву, он стал рассеянным и уже не привозил Климу подарков. Он сильно облысел, у него прибавилось лба, лоб давил на глаза, они стали более выпуклыми и скучно выцвели, погасла их голубоватая теплота. Ходить начал смешно подскакивая, держа руки в карманах и насвистывая вальсы. Мать все чаще смотрела на него, как на гостя, который уже надоел, но не догадывается, что ему пора уйти. Она стала одеваться наряднее, праздничней, еще более гордо выпрямилась, окрепла, пополнела, она говорила мягче, хотя улыбалась так же редко и скупо, как раньше. Клим был очень удивлен, а потом и обижен, заметив, что отец отскочил от него в сторону Дмитрия и что у него с Дмитрием есть какие-то секреты. Жарким летним вечером Клим застал отца и брата в саду, в беседке; отец, посмеиваясь необычным, икающим смехом, сидел рядом с

Дмитрием, крепко прижав его к себе; лицо Дмитрия было заплакано; он тотчас вскочил и ушел, а отец, смахивая платком капельки слез с брюк своих, сказал Климу:

— Расстроился.

— О чем он плакал?

— Он? Он… о декабристах. Он прочитал «Русских женщин» Некрасова. Да. А я ему тут о декабристах рассказал, он и растрогался.

Неохотно и немного поговорив о декабристах, отец вскочил и ушел, насвистывая и вызвав у Клима ревнивое желание проверить его слова. Клим тотчас вошел в комнату брата и застал Дмитрия сидящим на подоконнике.

Обняв ноги, он положил подбородок на колени, двигал челюстями и не слышал, как вошел брат. Когда Клим спросил у него книгу Некрасова, оказалось, что ее нет у Дмитрия, но отец обещал подарить ее.

— Ты плакал о русских женщинах? — допрашивал Клим, — Дмитрий очень удивился.

— Что-о?

— О чем ты плакал?

— Ах, иди к чорту, — жалобно сказал Дмитрий и спрыгнул с подоконника в сад.

Дмитрий сильно вырос, похудел, на круглом, толстом лице его обнаружились угловатые скулы, задумываясь, он неприятно, как дед Аким, двигал челюстью. Задумывался он часто, на взрослых смотрел недоверчиво, исподлобья. Оставаясь таким же некрасивым, каким был, он стал ловчее, легче, но в нем явилось что-то грубоватое. Он очень подружился с Любой Сомовой, выучил ее бегать на коньках, охотно подчинялся ее капризам, а когда Дронов обидел чем-то Любу, Дмитрий жестоко, но спокойно и беззлобно натрепал Дронову волосы. Клима он перестал замечать, так же, как раньше Клим не замечал его, а на мать смотрел обиженно, как будто наказанный ею без вины.

Сестры Сомовы жили у Варавки, под надзором Тани Куликовой: сам Варавка уехал в Петербург хлопотать о железной дороге, а оттуда должен был поехать за границу хоронить жену. Почти каждый вечер Клим подымался наверх и всегда заставал там брата, играющего с девочками. Устав играть, девочки усаживались на диван и требовали, чтоб Дмитрий рассказал им что-нибудь.

— Смешное, — просила Люба.

Он садился в угол, к стене, на ручку дивана и, осторожно улыбаясь, смешил девочек рассказами об учителях и гимназистах. Иногда Клим возражал ему:

— Это было не так!

— Ну, пусть не так! — равнодушно соглашался Дмитрий, и Климу казалось, что, когда брат рассказывает даже именно так, как было, он все равно не верит в то, что говорит. Он знал множество глупых и смешных анекдотов, но рассказывал не смеясь, а как бы даже конфузясь. Вообще в нем явилась непонятная Климу озабоченность, и людей на улицах он рассматривал таким испытующим взглядом, как будто считал необходимым понять каждого из шестидесяти тысяч жителей города.

Была у Дмитрия толстая тетрадь в черной клеенчатой обложке, он записывал в нее или наклеивал вырезанные из газет забавные ненужности, остроты, коротенькие стишки и читал девочкам, тоже как-то недоверчиво, нерешительно:

— «На одоевском городском кладбище обращает на себя внимание следующая

эпитафия на памятнике «купчихе Поликарповой»:

Случилась ее кончина без супруга и без сына.

Там, в Крапивне, гремел бал;

Никто этого не знал.

Телеграмму о смерти получили

И со свадьбы укатили.

Здесь лежит супруга-мать

Ольга, что бы ей сказать

Для души полезное?

Царство ей небесное».

— Как это глупо! — возмущалась Лидия.

— Зато — смешно, — кричала Люба. — Ничего нет лучше смешного…

По широкому лицу сестры ее медленно расплывалась ленивая улыбка.

Иногда приходила Вера Петровна, скучновато спрашивала:

— Играете?

Соскочив с дивана, Лидия подчеркнуто вежливо приседала пред нею, Сомовы шумно ласкались, Дмитрий смущенно молчал и неумело пытался спрятать свою тетрадь, но Вера Петровна спрашивала:

— Записал что-нибудь новое? Прочитай. Дмитрий читал, закрыв лицо тетрадью:

У синего моря урядник стоит,А синее море шумит и шумит,И злоба урядника гложет,Что шума унять он не может.

— Это — зачеркни, — приказывала мать и величественно шла из одной комнаты в другую, что-то подсчитывая, измеряя. Клим видел, что Лида Варавка провожает ее неприязненным взглядом, покусывая губы. Несколько раз ему уже хотелось спросить девочку:

«За что ты не любишь мою маму?»

Но он не решался; после того, как уехал Туробоев, Лида снова ласково подошла к нему.

Однажды Клим пришел домой с урока у Томилина, когда уже кончили пить вечерний чай, в столовой было темно и во всем доме так необычно тихо, что мальчик, раздевшись, остановился в прихожей, скудно освещенной маленькой стенной лампой, и стал пугливо прислушиваться к этой подозрительной тишине.

— Оставь, кажется, кто-то пришел, — услышал он сухой шопот матери; чьи-то ноги тяжело шаркнули по полу, брякнула знакомым звуком медная дверца кафельной печки, и снова установилась тишина, подстрекая вслушаться в нее. Шопот матери удивил Клима, она никому не говорила ты, кроме отца, а отец вчера уехал на лесопильный завод. Мальчик осторожно подвинулся к дверям столовой, навстречу ему вздохнули тихие, усталые слова:

— Боже, какой ты ненасытный… нетерпеливый… Клим заглянул в дверь: пред квадратной пастью печки, полной алых углей, в низеньком, любимом кресле матери, развалился Варавка, обняв мать за талию, а она сидела на коленях у него,

покачиваясь взад и вперед, точно маленькая. В бородатом лице Варавки, освещенном отблеском углей, было что-то страшное, маленькие глазки его тоже сверкали, точно угли, а с головы матери на спину ее красиво стекали золотыми ручьями лунные волосы.

— О, ты, — тихо вздохнула она.

В этих позах было что-то смутившее Клима, он отшатнулся, наступил на свою галошу, галоша подпрыгнула и шлепнулась.

— Кто там? — сердито крикнула мать и невероятно быстро очутилась в дверях. — Ты? Ты прошел через кухню? Почему так поздно? Замерз? Хочешь чаю...

Она говорила быстро, ласково, зачем-то шаркала ногами и скрипела створкой двери, открывая и закрывая ее; затем, взяв Клима за плечо, с излишней силой втолкнула его в столовую, зажгла свечу. Клим оглянулся, в столовой никого не было, в дверях соседней комнаты плотно сгустилась тьма.

— Что ты смотришь? — спросила мать, заглянув в лицо его.

Клим нерешительно ответил:

— Мне показалось, тут кто-то был... Мать, удивленно подняв брови, тоже осмотрела комнату.

— Ну, кто ж мог быть? Отца — нет. Лидия с Митей и Сомовыми на катке, Тимофей Степанович у себя — слышишь?

Да, наверху тяжело топали. Мать села к столу пред самоваром, пощупала пальцами бока его, налила чаю в чашку и, поправляя пышные волосы свои, продолжала:

— Я тут сидела перед печкой, задумалась. Ты только сию минуту пришел?

— Да, — солгал Клим, поняв, что нужно солгать. Играя щипцами для сахара, мать замолчала, с легкой улыбкой глядя на пугливый огонь свечи, отраженный медью самовара. Потом, отбросив щипцы, она оправила кружевной воротник капота и ненужно громко рассказала, что Варавка покупает у нее бабушкину усадьбу, хочет строить большой дом.

— Он, очевидно, только что пришел, но я все-таки пойду, поговорю с ним об этом.

И, поцеловав Клима в лоб, она ушла. Мальчик встал, подошел к печке, сел в кресло, смахнул пепел с ручки его.

«Мама хочет переменить мужа, только ей еще стыдно», — догадался он, глядя, как на красных углях вспыхивают и гаснут голубые, прозрачные огоньки. Он слышал, что жены мужей и мужья жен меняют довольно часто, Варавка издавна нравился ему больше, чем отец, но было неловко и грустно узнать, что мама, такая серьезная, важная мама, которую все уважали и боялись, говорит неправду и так неумело говорит. Ощутив потребность утешить себя, он повторил:

«Ей стыдно еще».

Это было единственное объяснение, которое он мог найти, но тут память подсказала ему сцену с Томилиным, он безмысленно задумался, рассматривая эту сцену, и уснул.

События в доме, отвлекая Клима от усвоения школьной науки, не так сильно волновали его, как тревожила гимназия, где он не находил себе достойного места. Он различал в классе три группы: десяток мальчиков, которые и учились и вели себя образцово; затем злых и неугомонных шалунов, среди них некоторые, как Дронов, учились тоже отлично; третья группа слагалась из бедненьких, худосочных мальчиков, запуганных и робких, из неудачников, осмеянных всем классом. Дронов говорил Климу:

— Ты с этими не дружись, это всё трусы, плаксы, ябедники. Вон этот, рыженький, — жиденок, а этого, косого, скоро исключат, он — бедный и не может платить. У этого старший братишка калоши воровал и теперь сидит в колонии преступников, а вон тот, хорек, — незаконно рожден.

Клим Самгин учился усердно, но не очень успешно, шалости он считал ниже своего достоинства, да и не умел шалить. Он скоро заметил, что какие-то неощутимые толчки приближают его именно к этой группе забракованных. Но среди них он себя чувствовал еще более не на месте, чем в дерзкой компании товарищей Дронова. Он видел себя умнее всех в классе, он уже прочитал не мало таких книг, о которых его сверстники не имели понятия, он чувствовал, что даже мальчики старше его более дети, чем он. Когда он рассказывал о прочитанных книгах, его слушали недоверчиво, без интереса и многого не понимали. Иногда он и сам не понимал: почему это интересная книга, прочитанная им, теряет в его передаче все, что ему понравилось?

Однажды незаконнорожденный, скуластый и угрюмый мальчуган, фамилия которого была Иноков, спросил Клима:

— Ты читал Ивангоэ?

— Айвенго, — поправил Клим. — Это написал Вальтер-Скотт.

— Дурак, — презрительно сказал Иноков. — Что ты всех поправляешь?

И, криво усмехнувшись, предупредил:

— Смотри, вырастешь — учителем будешь. Мальчики засмеялись. Они уважали Инокова, он был на два класса старше их, но дружился с ними и носил индейское имя Огненный Глаз. А может быть, он пугал их своей угрюмостью, острым и пристальным взглядом.

Избалованный ласковым вниманием дома, Клим тяжко ощущал пренебрежительное недоброжелательство учителей. Некоторые были физически неприятны ему: математик страдал хроническим насморком, оглушительно и грозно чихал, брызгая на учеников, затем со свистом выдувал воздух носом, прищуривая левый глаз, историк входил в класс осторожно, как полуслепой, и подкрадывался к партам всегда с таким лицом, как будто хотел дать пощечину всем ученикам двух первых парт, подходил и тянул тоненьким голосом:

— Н-ну-ус…

Его прозвали — Гнус.

Почти в каждом учителе Клим открывал несимпатичное и враждебное ему, все эти неряшливые люди в потертых мундирах смотрели на него так, как будто он был виноват *в* чем-то пред ними. И хотя он скоро убедился, что учителя относятся так странно не только к нему, а почти ко всем мальчикам, все-таки их гримасы напоминали ему брезгливую мину матери, с которой она смотрела в кухне на раков, когда пьяный продавец опрокинул корзину и раки, грязненькие, суховато шурша, расползлись по полу.

Но уже весною Клим заметил, что Ксаверий Ржига, инспектор и преподаватель древних языков, а за ним и некоторые учителя стали смотреть на него более мягко. Это случилось после того, как во время большой перемены кто-то бросил дважды камнями в окно кабинета инспектора, разбил стекла и сломал некий редкий цветок на подоконнике. Виновного усердно искали и не могли найти.

На четвертый день Клим спросил всезнающего Дронова: кто разбил стекло?

— А тебе зачем? — недоверчиво осведомился Дронов. Они стояли на повороте коридора, за углом его, и Клим вдруг увидал медленно ползущую по белой стене

тень рогатой головы инспектора. Дронов стоял спиною к тени.

— Не знаешь? — стал дразнить Клим товарища. — А хвастаешься: я все знаю. — Тень прекратила свое движение.

— Конечно — знаю: Иноков, — вполголоса сказал Дронов, когда Клим достаточно раздразнил его.

— Ему надо честно сознаться в этом, а то из-за него терпят другие, — поучительно сказал Клим.

Дронов посмотрел на него, мигнул и, плюнув на пол, сказал:

— Сознается — исключат.

Нетерпеливо задребезжал звонок, приглашая в классы.

А на другой день, идя домой, Дронов сообщил Климу:

— Знаешь, кто-то выдал его.

— Кого? — спросил Клим.

— Кого, кого, — что ты гогочешь? Инокова.

— Ах, я забыл.

— Сейчас же после перемены вчера его и схапали. Выгонят. Узнать бы, кто донес, сволочь.

Клим действительно забыл свою беседу с Дроновым, а теперь, поняв, что это он выдал Инокова, испуганно задумался: почему он сделал это? И, подумав, решил, что карикатурная тень головы инспектора возбудила в нем, Климе, внезапное желание сделать неприятность хвастливому Дронову.

— Это ты виноват, ты болтал, — сердито сказал он.

— Когда это я болтал? — огрызнулся Дронов.

— А в перемену, мне?

— Так ведь не ты выдал? У тебя и времени не было для этого. Инокова-то сейчас же из класса позвали.

Они остановились друг против друга, как петухи, готовые подраться. Но Клим почувствовал, что ссориться с Дроновым не следует.

— Может быть, подслушали нас, — миролюбиво сказал он, и так же миролюбиво ответил Дронов:

— Никого не было. Это какой-нибудь одноклассник Инокова донес…

Пошли молча. Чувствуя вину свою, Клим подумал, как исправить ее, но, ничего не придумав, укрепился в желании сделать Дронову неприятное.

Весною мать перестала мучить Клима уроками музыки и усердно начала играть сама. По вечерам к ней приходил со скрипкой краснолицый, лысый адвокат Маков, невеселый человек в темных очках; затем приехал на трескучей пролетке Ксаверий Ржига с виолончелью, тощий, кривоногий, с глазами совы на костлявом, бритом лице, над его желтыми висками возвышались, как рога, два серых вихра. Когда он играл, язык его почему-то высовывался и лежал на дряблой бритой губе, открывая в верх-. ней челюсти два золотых зуба. А говорил он высоким голосом дьячка, всегда что-то особенно памятное и так, что нельзя было понять, серьезно говорит он или шутит.

— Скажу, что ученики были бы весьма лучше, если б не имели они живых родителей. Говорю так затем, что сироты — покорны, — изрекал он, подняв указательный палец на уровень синеватого носа. О Климе он сказал, положив сухую руку на голову его и обращаясь к Вере Петровне:

— В сыне вашем рыцарско, честно сердце, это — так!

А самого Клима поучал:

— Дабы познать науки, следует наблюдать, сопоставлять, и тогда мы обнажаем сердцевину сущего.

Наблюдать Клим умел. Он считал необходимым искать в товарищах недостатки; он даже беспокоился, не находя их, но беспокоиться приходилось редко, у него выработалась точная мера: все, что ему не нравилось или возбуждало чувство зависти, — все это было плохо. Он уже научился не только зорко подмечать в людях смешное и глупое, но искусно умел подчеркнуть недостатки одного в глазах другого. Когда приехали на каникулы Борис Варавка и Туробоев, Клим прежде всех заметил, что Борис, должно быть, сделал что-то очень дурное и боится, как бы об этом не узнали. Он похудел, под глазами его легли синеватые тени, взгляд стал рассеянным, беспокойным. Так же, как раньше, неутомимый в играх, изобретательный в шалостях, он слишком легко раздражался, на рябом лице его вспыхивали мелкие, красные пятна, глаза сверкали задорно и злобно, а улыбаясь, он так обнажал зубы, точно хотел укусить. В азартной, неугомонной беготне его Клим почувствовал что-то опасное и стал уклоняться от игр с ним. Он заметил также, что Игорь и Лидия знают тайну Бориса, они трое часто прячутся по углам, озабоченно перешептываясь.

И вот вечером, тотчас после того, как почтальон принес письма, окно в кабинете Варавки-отца с треском распахнулось, и раздался сердитый крик:

— Борис, иди сюда!

Борис и Лидия, сидя на крыльце кухни, плели из веревок сеть, Игорь вырезал из деревянной лопаты трезубец, — предполагалось устроить бой гладиаторов. Борис встал, одернул подол блузы, туго подтянул ремень и быстро перекрестился.

— Я — с тобой, — сказал Туробоев.

— И я? — вопросительно произнесла Лидия, но брат, легонько оттолкнув ее, сказал:

— Не смей.

Мальчики ушли. Лидия осталась, отшвырнула веревки и подняла голову, прислушиваясь к чему-то. Незадолго пред этим сад был обильно вспрыснут дождем, на освеженной листве весело сверкали в лучах заката разноцветные капли. Лидия заплакала, стирая пальцем со щек слезинки, губы у нее дрожали, и все лицо болезненно морщилось. Клим видел это, сидя на подоконнике в своей комнате. Он испуганно вздрогнул, когда над головою его раздался свирепый крик отца Бориса:

— Ты лжешь!

Сын ответил тоже пронзительным криком:

— Нет. Он — негодяй…

Потом раздался спокойный, как всегда, голос Игоря:

— Позвольте, я расскажу.

Окно наверху закрыли. Лидия встала и пошла по саду, нарочно задевая ветви кустарника так, чтоб капли дождя падали ей на голову и лицо.

— Что сделал Борис? — спросил ее Клим. Он уже не впервые спрашивал ее об этом, но Лидия и на этот раз не ответила ему, а только взглянула, как на чужого. У него явилось желание спрыгнуть в сад и натрепать ей уши. Теперь, когда возвратился Игорь, она снова перестала замечать Клима.

После этой сцены и Варавка и мать начали ухаживать за Борисом так, как будто он только что перенес опасную болезнь или совершил какой-то героический и таинственный подвиг. Это раздражало Клима, интриговало Дронова и создало в доме неприятное настроение какой-то скрытности.

— Чорт, — бормотал Дронов, почесывая пальцем нос, — гривенник дал бы, чтобы узнать, чего он набедокурил? Ух, не люблю этого парнишку...

Когда Клим, приласкавшись к матери, спросил ее, что случилось с Борисом, она ответила:

— Его очень обидели.

— Чем?

— Это тебе не нужно знать.

Клим взглянул на строгое лицо ее и безнадежно замолчал, ощущая, что его давняя неприязнь к Борису становится острей.

Однажды ему удалось подсмотреть, как Борис, стоя в углу, за сараем, безмолвно плакал, закрыв лицо руками, плакал так, что его шатало из стороны в сторону, а плечи его дрожали, точно у слезоточивой Вари Сомовой, которая жила безмолвно и как тень своей бойкой сестры. Клим хотел подойти к Варавке, но не решился, да и приятно было видеть, что Борис плачет, полезно узнать, что роль обиженного не так уж завидна, как это казалось.

Вдруг дом опустел; Варавка отправил детей, Туробоева, Сомовых под надзором Тани Куликовой кататься на пароходе по Волге. Климу, конечно, тоже предложили ехать, но он солидно спросил:

— А как же я буду готовиться к переэкзаменовке? Этим вопросом он хотел только напомнить о своем серьезном отношении к школе, но мать и Варавка почему-то поспешили согласиться, что ехать ему нельзя. Варавка даже, взяв его за подбородок, хвалебно сказал:

— Молодец! Но все-таки ты не очень смущайся тем, что науки вязнут в зубах у тебя, — все талантливые люди учились плохо.

Дети уехали, а Клим почти всю ночь проплакал от обиды. С месяц он прожил сам с собой, как перед зеркалом. Дронов с утра исчезал из дома на улицу, где он властно командовал группой ребятишек, ходил с ними купаться, водил их в лес за грибами, посылал в набеги на сады и огороды. Какие-то крикливые люди приходили жаловаться на него няньке, но она уже совершенно оглохла и не торопясь умирала в маленькой, полутемной комнатке за кухней. Слушая жалобщиков, она перекатывала голову по засаленной подушке и бормотала, благожелательно обещая:

— Ну, ну, господь все видит, господь всех накажет. Жалобщики требовали барыню; строгая, прямая, она выходила на крыльцо и, молча послушав робкие, путаные речи, тоже обещала:

— Хорошо, я его накажу.

Но — не наказывала. И только один раз Клим слышал, как она крикнула в окно, на двор:

— Иван, если ты будешь воровать огурцы, тебя выгонят из гимназии.

Она и Варавка становились все менее видимы Климу, казалось, что они и друг с другом играют в прятки; несколько раз в день Клим слышал вопросы, обращенные к нему или к Малаше, горничной;

— Ты не знаешь, где мать, — в саду?

— Тимофей Степанович пришел?

Встречаясь, они улыбались друг другу, и улыбка матери была незнакома Климу, даже неприятна, хотя глаза ее, потемнев, стали еще красивее. А у Варавки как-то жадно и уродливо вываливалась из бороды его тяжелая, мясистая губа. Ново и неприятно было и то, что мать начала душиться слишком обильно и такими крепкими духами, что, когда Клим, уходя спать, целовал ей руку, духи эти щипали ноздри его, почти вызывая слезы, точно злой запах хрена. Иногда, вечерами, если не было музыки, Варавка ходил под руку с матерью по столовой или гостиной и урчал в бороду:

— О-о-о! О-о-о!

Мать усмехалась.

А когда играли, Варавка садился на свое место в кресло за роялем, закуривал сигару и узенькими щелочками прикрытых глаз рассматривал сквозь дым Веру Петровну. Сидел неподвижно, казалось, что он дремлет, дымился и молчал.

— Хорошо? — спрашивала его Вера Петровна, улыбаясь.

— Да, — отвечал он тихо, точно боясь разбудить кого-то. — Да.

А однажды сказал:

— Это — самое прекрасное, потому что это всегда — любовь.

— Но — нет же! — возразил Ржига. — Не всегда. И, высоко подняв руку со смычком, он говорил о музыке до поры, пока адвокат Маков не прервал его:

— А моя жена, покойница, не любила музыку. Вздохнув, он добавил, негромко, ворчливо:

— Совершенно не способен понять женщину, которая не любит музыку, тогда как даже курицы, перепелки… гм. Мать спросила его:

— Вы давно овдовели?

— Девять лет. Я был женат семнадцать месяцев. Да.

Потом снова начал играть на скрипке.

Вслушиваясь в беседы взрослых о мужьях, женах, о семейной жизни, Клим подмечал в тоне этих бесед что-то неясное, иногда виноватое, часто — насмешливое, как будто говорилось о печальных ошибках, о том, чего не следовало делать. И, глядя на мать, он спрашивал себя: будет ли и она говорить так же?

«Не будет», — уверенно отвечал он и улыбался.

В ласковую минуту Клим спросил ее:

— Это у тебя роман с ним?

— О, господи, тебе рано думать о таких вещах! — взволнованно и сердито сказала мать. Потом вытерла алые губы свои платком и прибавила мягче:

— Ты видишь: он — один, и я тоже. Нам скучно. Тебе тоже скучно?

— Нет, — сказал Клим.

Но ему было скучно до отупения. Мать так мало обращала внимания на него, что Клим перед завтраком, обедом, чаем тоже стал прятаться, как прятались она и Варавка. Он испытывал маленькое удовольствие, слыша, что горничная, бегая по двору, по саду, зовет его.

— Куда ты исчезаешь? — удивленно, а иногда с тревогой спрашивала мать. Клим отвечал:

— Я задумался.

— О чем?

— Обо всем. Об уроках тоже.

Уроки Томилина становились все более скучны, менее понятны, а сам учитель как-то неестественно разросся в ширину и осел к земле. Он переоделся в белую рубаху с вышитым воротом, на его голых, медного цвета ногах блестели туфли зеленого сафьяна. Когда Клим, не понимая чего-нибудь, заявлял об этом ему, Томилин, не сердясь, но с явным удивлением, останавливался среди комнаты и говорил почти всегда одно и то же:

— Ты пойми прежде всего вот что: основная цель всякой науки — твердо установить ряд простейших, удобопонятных и утешительных истин. Вот.

И, барабаня пальцами по подбородку, разглядывая потолок белками глаз, он продолжал однотонно:

— Одной из таких истин служит Дарвинова теория борьбы за жизнь, — помнишь, я тебе и Дронову рассказывал о Дарвине? Теория эта устанавливает неизбежность зла и вражды на земле. Это, брат, самая удачная попытка человека совершенно оправдать себя. Да… Помнишь жену доктора Сомова? Она ненавидела Дарвина до безумия. Допустимо, что именно ненависть, возвышенная до безумия, и создает всеобъемлющую истину…

Стоя, он говорил наиболее непонятно, многословно, вызывая досаду. Теперь Клим слушал учителя не очень внимательно, у него была своя забота: он хотел встретить детей так, чтоб они сразу увидели — он уже не такой, каким они оставили его. Он долго думал — что нужно сделать для этого, и решил, что он всего сильнее поразит их, если начнет носить очки. Сказав матери, что у него устают глаза и что в гимназии ему посоветовали купить консервы, он на другой же день обременил свой острый нос тяжестью двух стекол дымчатого цвета. Сквозь эти стекла все на земле казалось осыпанным легким слоем сероватой пыли, и даже воздух, не теряя прозрачности своей, стал сереньким. Зеркало убедило Клима, что очки сделали тонкое лицо его и внушительным и еще более умным.

Но как только дети возвратились, Борис, пожав руку Клима и не выпуская ее из своих крепких пальцев, насмешливо сказал:

— Смотрите: вот — мартышка в старости. Люба Сомова жалостливо крикнула:

— Ой, каким ты стал совеночком!

Туробоев вежливо улыбался, но его улыбка тоже была обидна, а еще более обидно было равнодушие Лидии; положив руку на плечо Игоря, она смотрела на Клима, точно не желая узнать его. Затем она, устало вздохнув, спросила:

— Заболели глаза? Почему у тебя всегда что-нибудь болит?

— У меня никогда ничего не болит, — возмущенно сказал Клим, боясь, что сейчас заплачет.

Но с этого дня он заболел острой враждой к Борису, а тот, быстро уловив это

чувство, стал настойчиво разжигать его, высмеивая почти каждый шаг, каждое слово Клима. Прогулка на пароходе, очевидно, не успокоила Бориса, он остался таким же нервным, каким приехал из Москвы, так же подозрительно и сердито сверкали его темные глаза, а иногда вдруг им овладевала странная растерянность, усталость, он прекращал игру и уходил куда-то.

«Плакать», — догадывался Клим с приятной злостью. Все так же бережно и внимательно ухаживали за Борисом сестра и Туробоев, ласкала Вера Петровна, смешил отец, все терпеливо переносили его капризы и внезапные вспышки гнева. Клим измучился, пытаясь разгадать тайну, выспрашивая всех, но Люба Сомова сказала очень докторально:

— Это — от нервов, понимаешь? Такие белые ниточки в теле, и дрожат.

Туробоев объяснил не лучше:

— У него была неприятность, но я не хочу говорить об этом.

Лидия, наконец, предложила ему, нахмурясь и кривя губы:

— Побожись, что Борис никогда не узнает, что я сказала тебе!

Клим искренно поклялся хранить тайну и с жадностью выслушал трепетный, бессвязный рассказ:

— Бориса исключили из военной школы за то, что он отказался выдать товарищей, сделавших какую-то шалость. Нет, не за то, — торопливо поправила она, оглядываясь. — За это его посадили в карцер, а один учитель все-таки сказал, что Боря ябедник и донес; тогда, когда его выпустили из карцера, мальчики ночью высекли его, а он, на уроке, воткнул учителю циркуль в живот, и его исключили.

Всхлипнув, она добавила:

— Он и себя хотел убить. Его даже лечил сумасшедший доктор.

Черные глаза ее необыкновенно обильно вспотели слезами, и эти слезы показались Климу тоже черными. Он смутился, — Лидия так редко плакала, а теперь, в слезах, она стала похожа на других девочек и, потеряв свою несравненность, вызвала у Клима чувство, близкое жалости. Ее рассказ о брате не тронул и не удивил его, он всегда ожидал от Бориса необыкновенных поступков. Сняв очки, играя ими, он исподлобья смотрел на Лидию, не находя слое утешения для нее. А утешить хотелось, — Туробоев уже уехал в школу.

Она стояла, прислонясь спиною к тонкому стволу березы, и толкала его плечом, с полуголых ветвей медленно падали желтые листья, Лидия втаптывала их в землю, смахивая пальцами непривычные слезы со щек, и было что-то брезгливое в быстрых движениях ее загоревшей руки. Лицо ее тоже загорело до цвета бронзы, тоненькую, стройную фигурку красиво облегало синее платье, обшитое красной тесьмой, в ней было что-то необычное, удивительное, как в девочках цирка.

— Ему — стыдно? — спросил наконец Клим, — тряхнув головою, Лидия сказала вполголоса:

— Ну, да! Ты подумай: вот он влюбится в какую-нибудь девочку, и ему нужно будет рассказать все о себе, а — как же расскажешь, что высекли?

Клим тихо согласился:

— Да, об этом нельзя…

— Он даже перестал дружиться с Любой, и теперь все с Варей, потому что Варя молчит, как дыня, — задумчиво говорила Лидия. — А мы с папой так боимся за Бориса. Папа даже ночью встает и смотрит — спит ли он? А вчера твоя мама приходила, когда уже было поздно, все спали.

Задумчиво склонив голову, она пошла прочь, втискивая каблуками в землю желтые листья. И, как только она скрылась, Клим почувствовал себя хорошо вооруженным против Бориса, способным щедро заплатить ему за все его насмешки; чувствовать это было радостно. Уже на следующий день он не мог удержаться, чтоб не показать Варавке эту радость. Он поздоровался с ним небрежно, сунув ему руку и тотчас же спрятав ее в карман; он снисходительно улыбнулся в лицо врага и, не сказав ему ни слова, пошел прочь. Но в дверях столовой, оглянувшись, увидал, что Борис, опираясь руками о край стола, вздернув голову и прикусив губу, смотрит на него испуганно. Тогда Клим улыбнулся еще раз, а Варавка в два прыжка подскочил к нему, схватил за плечи и, встряхнув, спросил негромко, сипло:

— Почему смеешься?

Его изрытое оспой лицо стало пестрым, он обнажил зубы, а руки его дрожали на плечах Клима-

— Пусти, — сказал Клим, уже боясь, что Борис ударит его, но тот, тихонько и как бы упрашивая, повторил:

— Над чем смеешься? Говори!

— Не над тобой.

И, вывернувшись из-под рук Бориса, Клим ушел не оглядываясь, спрятав голову в плечи.

Эта сцена, испугав, внушила ему более осторожное отношение к Варавке, но все-таки он не мог отказывать себе изредка посмотреть в глаза Бориса взглядом человека, знающего его постыдную тайну. Он хорошо видел, что его усмешливые взгляды волнуют мальчика, и это было приятно видеть, хотя Борис все так же дерзко насмешничал, следил за ним все более подозрительно и кружился около него ястребом. И опасная эта игра быстро довела Клима до того, что он забыл осторожность.

В один из тех теплых, но грустных дней, когда осеннее солнце, прощаясь с обедневшей землей, как бы хочет напомнить о летней, животворящей силе своей, дети играли в саду. Клим был более оживлен, чем всегда, а Борис настроен добродушней. Весело бесились Лидия и Люба, старшая Сомова собирала букет из ярких листьев клена и рябины. Поймав какого-то запоздалого жука и подавая его двумя пальцами Борису, Клим сказал:

— Насекомое.

Каламбур явился сам собою, внезапно и заставил Клима рассмеяться, а Борис, неестественно всхрапнув, широко размахнувшись, ударил его по щеке, раз, два, а затем пинком сбил его с ног и стремглав убежал, дико воя на бегу.

Клим тоже кричал, плакал, грозил кулаками, сестры Сомовы уговаривали его, а Лидия прыгала перед ним и, задыхаясь, говорила:

— Как ты смел? Ты — подлый, ты божился. Ах, я тоже подлая…

Она убежала. Сомовы отвели Клима в кухню, чтобы смыть кровь с его разбитого лица; сердито сдвинув брови, вошла Вера Петровна, но тотчас же испуганно крикнула:

— Боже мой, что такое у тебя? Глаз — цел?

Быстро вымыв лицо сына, она отвела его в комнату, раздела, уложила в постель и, закрыв опухший глаз его компрессом, села на стул, внушительно говоря:

— Дразнить обиженного — это не похоже на тебя. Нужно быть великодушным.

Чувствуя, что все враждебны ему, все на стороне Бориса, Клим пробормотал:

— А ты говорила — не надо, что это — глупость.

— Что — глупость?

— Великодушие. Говорила. Я ведь помню. Наклонясь к нему, строго глядя в его правый, открытый глаз, мать сказала:

— Ты не должен думать, что понимаешь все, что говорят взрослые…

Клим заплакал, жалуясь:

— Меня никто не любит.

— Это — глупо, милый. Это глупо, — повторила она и задумалась, гладя его щеку легкой, душистой рукой. Клим замолчал, ожидая, что она скажет: «Я люблю тебя», — но она не успела сделать этого, пришел Варавка, держа себя за бороду, сел на постель, шутливо говоря:

— Зачем же вы деретесь, свирепые испанцы? Но, хотя он говорил шутя, глаза его были грустны, беспокойно мигали, холеная борода измята. Он очень старался развеселить Клима, читал тоненьким голосом стишки:

Драмы, дамы, храмы, рамы,Муравьи, гиппопотамы,Соловьи и сундуки —Пустяки все, пустяки.

Мать улыбалась, глядя на него, но и ее глаза были печальны. Наконец, засунув руку под одеяло, Варавка стал щекотать пятки и подошвы Клима, заставил его рассмеяться и тотчас ушел вместе с матерью.

А на другой день вечером они устроили пышный праздник примирения — чай с пирожными, с конфектами, музыкой и танцами. Перед началом торжества они заставили Клима и Бориса поцеловаться, но Борис, целуя, крепко сжал зубы и закрыл глаза, а Клим почувствовал желание укусить его. Потом Климу предложили прочитать стихи Некрасова «Рубка леса», а хорошенькая подруга Лидии Алина Телепнева сама вызвалась читать, отошла к роялю и, восторженно закатив глаза, стала рассказывать вполголоса:

Люди спят, мой друг, пойдем в тенистый сад,Люди спят, одни лишь звезды к нам глядят,Да и те не видят нас среди ветвейИ не слышат, слышит только соловей.

Лукаво улыбаясь, она проговорила следующие стихи еще тише:

Да и тот не слышит, песнь его громка,Разве слышат только сердце и рука,Слышит сердце, сколько радостей земли,Сколько счастия сюда мы принесли…

Она была миленькая, точно картинка с коробки конфект. Ее круглое личико, осыпанное локонами волос шоколадного цвета, ярко разгорелось, синеватые глаза сияли не по-детски лукаво, и, когда она, кончив читать, изящно сделала реверанс и плавно подошла к столу, — все встретили ее удивленным молчанием, потом Варавка сказал:

— Бесподобно, а? Вера Петровна, — каково? Приподнял ладонью бороду, закрыл ею лицо и, сквозь волосы, добавил:

— Вот как рано начинается женщина, а? Вера Петровна, грозя ему пальцем, зашипела:

— Шш…

И, прошептав ему несколько слов, заставивших Варавку виновато развести руками, она стала спрашивать:

— Где ты выучилась так читать? Девочка, покраснев от гордости, сказала, что в доме ее родителей живет старая актриса и учит ее. Лидия тотчас заявила:

— Пап, я тоже хочу учиться у актрисы. Клим сидел опечаленный, его забыли похвалить за чтение. Алину он считал глупенькой и, несмотря на красоту ее, такой же ненужной, неинтересной, как Варя Сомова.

Все шло очень хорошо. Вера Петровна играла на рояле любимые пьесы Бориса и Лидии — «Музыкальную табакерку» Лядова, «Тройку» Чайковского и еще несколько таких же простеньких и милых вещей, затем к роялю села Таня Куликова и, вдохновенно подпрыгивая на табурете, начала барабанить вальс. Варавка с Верой Петровной танцовали вокруг стола; Клим впервые видел, как легко танцует этот широкий, тяжелый человек, как ловко он заставляет мать кружиться в воздухе, отрывая ее от пола. Все дети дружно и восторженно аплодировали танцорам, а Борис закричал:

— Папа, ты — удивительный!

Клим подметил, что враг его смягчен музыкой, танцами, стихами, он и сам чувствовал, себя необычно легко и растроганно общим настроением нешумной и светлой радости.

— Дети, — кадриль! — скомандовала мать, отирая виски кружевным платком.

Лидия, все еще сердясь на Клима, не глядя на него, послала брата за чем-то наверх, — Клим через минуту пошел за ним, подчиняясь внезапному толчку желания сказать Борису что-то хорошее, дружеское, может быть, извиниться пред ним за свою выходку.

Когда он взбежал до половины лестницы, Борис показался в начале ее, с туфлями в руке; остановясь, он так согнулся, точно хотел прыгнуть на Клима, но затем начал шагать со ступени на ступень медленно, и Клим услышал его всхрапывающий шопот:

— Не смей подходить ко мне, ты!

Клим испугался, увидев наклонившееся и точно падающее на него лицо с обостренными скулами и высунутым вперед, как у собаки, подбородком; схватясь рукою за перила, он тоже медленно стал спускаться вниз, ожидая, что Варавка бросится на него, но Борис прошел мимо, повторив громче, сквозь зубы:

— Не смей.

Похолодев от испуга, Клим стоял на лестнице, у него щекотало в горле, слезы выкатывались из глаз, ему захотелось убежать в сад, на двор, спрятаться; он подошел к двери крыльца, — ветер кропил дверь осенним дождем. Он постучал в дверь кулаком, поцарапал ее ногтем, ощущая, что в груди что-то сломилось, исчезло, опустошив его. Когда, пересилив себя, он вошел в столовую, там уже танцевали кадриль, он отказался танцевать, подставил к роялю стул и стал играть кадриль в четыре руки с Таней.

Трудные, тяжелые дни наступили для него; он жил в страхе пред Борисом н в ненависти к нему. Уклоняясь от игр, он угрюмо торчал в углах и, с жадным напряжением следя за Борисом, ждал, как великой радости, не упадет ли Борис, не ушибется ли? А Варавка, играя собою, бросал гибкое тело свое из стороны в сторону судорожно, как пьяный, но всегда так, точно каждое движение его, каждый прыжок были заранее безошибочно рассчитаны. Все восхищались его ловкостью, неутомимостью, его умением вносить в игру восторг и оживление. Клим слышал, как мать сказала вполголоса отцу Бориса:

— Какое талантливое тело!

В тот год зима запоздала, лишь во второй половине ноября сухой, свирепый ветер

сковал реку сизым льдом и расцарапал не одетую снегом землю глубокими трещинами. В побледневшем, вымороженном небе белое солнце торопливо описывало короткую кривую, и казалось, что именно от этого обесцвеченного солнца на землю льется безжалостный холод.

В одно из воскресений Борис, Лидия, Клим и сестры Сомовы пошли на каток, только что расчищенный у городского берега реки. Большой овал сизоватого льда был обставлен елками, веревка, свитая из мочала, связывала их стволы. Зимнее солнце, краснея, опускалось за рекою в черный лес, лиловые отблески ложились на лед. Катающихся было много.

— Это мешок картофеля, а не каток, — капризно заявил Борис. — Кто со мной на реку? Варя?

— Да, — сказала тучная, бесцветная Сомова. Они подлезли под веревку, схватились за руки и быстро помчались поперек реки, к лугам. Вслед им медные трубы солдатского оркестра громогласно и нестройно выдували бравурный марш. Любу Сомову схватил и увлек ее знакомый, исключенный из гимназии Иноков, кавалер, неказисто и легко одетый в суконную рубаху, заправленную за пояс штанов, слишком широких для него, в лохматой, овчинной шапке набекрень. Посмотрев на реку, где Сомова и Борис стремительно и, как по воздуху, катились, покачиваясь, к разбухшему, красному солнцу, Лидия предложила Климу бежать за ними, но, когда они подлезли под веревку и не торопясь покатились, она крикнула:

— Ой, смотри…

Но Клим уже видел, что Борис и Сомова исчезли.

— Упали, — сказал он.

— Нет, — прошептала Лидия, толкнув Клима плечом так, что он припал на колено. — Смотри, — провалились…

И она быстро побежала вперед, где, почти у берега, на красном фоне заката судорожно подпрыгивали два черных шара.

— Скорей, — кричала Лидия, удаляясь. — Ремень! Брось им ремень! Кричи…

Клим быстро обогнал ее, катясь с такой быстротой, что глазам его, широко открытым, было больно.

Встречу непонятно, неестественно ползла, расширяясь, темная яма, наполненная взволнованной водой, он слышал холодный плеск воды и видел две очень красные руки; растопыривая пальцы, эти руки хватались за лед на краю, лед обламывался и хрустел. Руки мелькали, точно ощипанные крылья странной птицы, между ними подпрыгивала гладкая и блестящая голова с огромными глазами на окровавленном лице; подпрыгивала, исчезала, и снова над водою трепетали маленькие, красные руки. Клим слышал хриплый вой:

— Пусти! Пусти, дура… Пусти же!

Не более пяти-шести шагов отделяло Клима от края полыньи, он круто повернулся и упал, сильно ударив локтем о лед. Лежа на животе, он смотрел, как вода, необыкновенного цвета, густая и, должно быть, очень тяжелая, похлопывала Бориса по плечам, по голове. Она отрывала руки его ото льда, играючи переплескивалась через голову его, хлестала по лицу, по глазам, все лицо Бориса дико выло, казалось даже, что и глаза его кричат: «Руку… дай руку…»

— Сейчас, сейчас, — бормотал Клим, пытаясь расстегнуть жгуче холодную пряжку ремня. — Держись, сейчас…

Был момент, когда Клим подумал — как хорошо было бы увидеть Бориса с таким искаженным, испуганным лицом, таким беспомощным и несчастным не здесь, а

дома. И чтобы все видели его, каков он в эту минуту.

Но он подумал об этом сквозь испуг, стиснувший его обессиливающим холодом. С трудом отстегнув ремень ноющей рукой, он бросил его в воду, — Борис поймал конец ремня, потянул его и легко подвинул Клима по льду ближе к воде, — Клим, взвизгнув, закрыл глаза и выпустил из руки ремень. А открыв глаза, он увидел, что темнолиловая, тяжелая вода все чаще, сильнее хлопает по плечам Бориса, по его обнаженной голове и что маленькие, мокрые руки, красно поблескивая, подвигаются ближе, обламывая лед. Судорожным движением всего тела Клим отполз подальше от этих опасных рук, но, как только он отполз, руки и голова Бориса исчезли, на взволнованной воде качалась только черная каракулевая шапка, плавали свинцовые кусочки льда и вставали горбики воды, красноватые в лучах заката.

Клим глубоко, облегченно вздохнул, все это страшное продолжалось мучительно долго. Но хотя он и отупел от страха, все-таки его удивило, что Лидия только сейчас подкатилась к нему, схватила его за плечи, ударила коленом в спину и пронзительно закричала:

— Где… где они?

Клим смотрел, как вода, успокаиваясь, текла в одну сторону, играя шапкой Бориса, смотрел и бормотал:

— Она его утопила… Он кричал — пусти, ругал ее. Ремень он вырвал…

Лидия, взвизгнув, упала на лед.

Лед скрипел под коньками, черные фигуры людей мчались к полынье, человек в полушубке совал в воду длинный шест и орал:

— Разойдись! Провалитесь. Тут глыбко, господа, тут машина работала, али не знаете!

Клим стал на ноги, хотел поднять Лиду, но его подшибли, он снова упал на спину, ударился затылком, усатый солдат схватил его за руку и повез по льду, крича:

— Разгоняй всех!

А мужик, размешивая шестом воду, кричал другое:

— Образованные господа, распоряжаитись, а закону не знайте…

И особенно поразил Клима чей-то серьезный, недоверчивый вопрос:

— Да — был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?

«Был!» — хотел крикнуть Клим и не мог. Очнулся он дома, в постели, в жестоком жару. Над ним, расплываясь, склонялось лицо матери, с чужими глазами, маленькими и красными.

— Вытащили их? — спросил Клим, помолчав, посмотрев на седого человека в очках, стоявшего среди комнаты. Мать положила на лоб его приятно холодную ладонь и не ответила.

— Вытащили? — повторил он. Мать сказала:

— Он что-то шепчет.

— Бред, — оглушительно произнес седой человек. Клим пролежал в постели семь недель, болея воспалением легких. За это время он узнал, что Варвару Сомову похоронили, а Бориса не нашли.

Глава 2

На семнадцатом году своей жизни Клим Самгин был стройным юношей среднего роста, он передвигался по земле неспешной, солидной походкой, говорил не много, стараясь выражать свои мысли точно и просто, подчеркивая слова умеренными жестами очень белых рук с длинными кистями и тонкими пальцами музыканта. Его суховатое, остроносое лицо украшали дымчатого цвета очки, прикрывая недоверчивый блеск голубоватых, холодных глаз, а негустые, но жесткие волосы, остриженные, по форме, коротко, и аккуратный мундир подчеркивали его солидность. Не отличаясь успехами в науках, он подкупал учителей благовоспитанностью и благонравием. Сидел в шестом классе, но со своими одноклассниками держался отчужденно; приятели у него были в седьмом и восьмом.

Известно было, что отец Тихон, законоучитель, славившийся проницательностью ума, сказал на заседании педагогического совета о Климе:

— Струна разума его настроена благозвучно и высоко. Особенно же ценю в нем осторожное и скептическое даже отношение к тем пустякам, коими наше юношество столь склонно увлекаться во вред себе.

Нестареющий, только еще более ссохшийся Ксаверий Ржига внушал Климу:

— Не сомневаясь в благоразумии твоем, скажу однако, что ты имеешь товарищей, которые способны компрометировать тебя. Таков, назову, Иван Дронов, и таков есть Макаров. Сказал.

Клим корректно и молча поклонился инспектору. Он знал своих товарищей, конечно, лучше, чем Ржига, и хотя не питал к ним особенной симпатии, но оба они удивляли его. Дронов все так же неутомимо и жадно всасывал в себя все, что можно всосать. Учился он отлично, его считали украшением гимназии, но Клим знал, что учителя ненавидят Дронова так же, как Дронов тайно ненавидел их. Явно Дронов держался не только с учителями, но даже с некоторыми из учеников, сыновьями влиятельных лиц, заискивающе, но сквозь его льстивые речи, заигрывающие улыбки постоянно прорывались то ядовитые, то небрежные словечки человека, твердо знающего истинную цену себе.

Отец Тихон так характеризовал его:

— Оный Дронов, Иван, ведет себя подобно соглядатаю в земле Ханаанской.

Приплюснутый череп, должно быть, мешал Дронову расти вверх, он рос в ширину. Оставаясь низеньким человечком, он становился широкоплечим, его кости неуклюже торчали вправо, влево, кривизна ног стала заметней, он двигал локтями так, точно всегда протискивался сквозь тесную толпу. Клим Самгин находил, что горб не только не испортил бы странную фигуру Дронова, но даже придал бы ей законченность.

Дронов жил в мезонине, где когда-то обитал Томилин, и комната была завалена картонами, листами гербария, образцами минералов и книгами, которые Иван таскал от рыжего учителя. Он не утратил влечения к фантазиям, но теперь это уже не шло к нему. Климу даже казалось, что, фантазируя, Дронов насилует себя. Не забыв свое намерение быть «получше Ломоносова», он, изредка, хвастливо напоминал об этом. Клим находил, что голова Дронова стала такой же все поглощающей мусорной ямой, как голова Тани Куликовой, и удивлялся способности Дронова ненасытно поглощать «умственную пищу», как говорил квартировавший во флигеле писатель Нестор Катин. Но к удивлению Клима иногда примешивалось странное чувство: как будто Дронов обкрадывал его. Дронов перестал шмыгать носом и начал как-то озабоченно, растерянно похрюкивать:

— Хрумм… Ты думаешь, как образовался глаз? — спрашивал он. — Первый глаз? Ползало какое-то слепое существо, червь, что ли, — как же оно прозрело, а?

— Не знаю, — отвечал Клим, живя в других мыслях, а Дронов судорожно догадывался:

— Наверное — от боли. Тыкалось передним концом, башкой, в разные препятствия, испытывало боль ударов, и на месте их образовалось зрительное чувствилище, а?

— Может быть, — полусоглашался Клим.

— Это я открою, — обещал Дронов.

Он читал Бокля, Дарвина, Сеченова, апокрифы и творения отцов церкви, читал «Родословную историю татар» Абдул-гази Багодур-хана и, читая, покачивал головою вверх и вниз, как бы выклевывая со страниц книги странные факты и мысли. Самгину казалось, что от этого нос его становился заметней, а лицо еще более плоским. В книгах нет тех странных вопросов, которые волнуют Ивана, Дронов сам выдумывает их, чтоб подчеркнуть оригинальность своего ума.

— Лошадь, — называл его Макаров, не произнося звук «л».

Макаров тоже был украшением гимназии и героем ее: в течение двух лет он вел с преподавателями упорную борьбу из-за пуговицы. У него была привычка крутить пуговицы мундира; отвечая урок, он держал руку под подбородком и крутил пуговицу, она всегда болталась у него, и нередко, отрывая ее на глазах учителя, он прятал пуговицу в карман. Его наказывали за это, ему говорили, что, если ворот мундира давит шею, нужно расширить ворот. Это не помогало. У него вообще было много пороков; он не соглашался стричь волосы, как следовало по закону, и на шишковатом черепе его торчали во все стороны двуцветные вихры, темнорусые и светлее; казалось, что он, несмотря на свои восемнадцать лет, уже седеет. Известно было, что он пьет, курит, а также играет на биллиарде в грязных трактирах.

Он перевелся из другого города в пятый класс; уже третий год, восхищая учителей успехами в науках, смущал и раздражал их своим поведением. Среднего роста, стройный, сильный, он ходил легкой, скользящей походкой, точно артист цирка. Лицо у него было не русское, горбоносое, резко очерченное, но его смягчали карие, женски ласковые глаза и невеселая улыбка красивых, ярких губ; верхняя уже поросла темным пухом.

Клим не понимал дружбы этих слишком различных людей. Дронов рядом с Макаровым казался еще более уродливым и, видимо, чувствовал это. Он говорил с Макаровым задорно взвизгивая и тоном человека, который, чего-то опасаясь, готов к защите, надменно выпячивая грудь, откидывал голову, бегающие глазки его останавливались настороженно, недоверчиво и как бы ожидая необыкновенного. А в отношении Макарова к Дронову Клим наблюдал острое любопытство, соединенное с обидной небрежностью более опытного и зрячего к полуслепому; такого отношения к себе Клим не допустил бы.

Подсовывая Макарову книжку Дрэпера «Католицизм и наука», Дронов требовательно взвизгивал:

— Тут доказывается, что монахи были врагами науки, а между тем Джордано Бруно, Кампанелла, Морус…

— Пошли-ка ты все это к чорту, — советовал Макаров, раскуривая папиросу.

— Я хочу знать правду, — заявлял Дронов, глядя на Макарова подозрительно и недружелюбно.

— О ней справься у Томилина или у Катина, они тебе скажут, — равнодушно, с дымом, сказал Макаров. Однажды Клим спросил:

— Тебе нравится Дронов?

— Нравится? Нет, — решительно ответил Макаров. — Но в нем есть нечто раздражающе непонятное мне. и я хочу понять.

Затем, подумав, он сказал небрежно:

— С такой рожей, как его, трудно жить.

— Почему?

— Н-ну… Ему нужно хорошо одеваться, носить особенную шляпу. С тросточкой ходить. А то — как же девицы? Главное, брат, девицы. А они любят, чтобы с тросточкой, с саблей, со стихами.

Сказав, Макаров стал тихонько насвистывать сквозь зубы.

Клим Самгин легко усваивал чужие мысли, когда они упрощали человека. Упрощающие мысли очень облегчали необходимость иметь обо всем свое мнение. Он выучился искусно ставить свое мнение между да и нет, и это укрепляло аа ним репутацию человека, который умеет думать независимо, жить на средства своего ума. После отзыва Макарова о Дронове он окончательно решил, что поиски Дроновым правды — стремление вороны украсить себя павлиньими перьями. Сам живя в тревожной струе этого стремления, он хорошо знал силу и обязательность его.

Он считал товарищей глупее себя, но в то же время видел, что оба они талантливее, интереснее его. Он знал, что мудрый поп Тихон говорил о Макарове:

— Юноша — блестящий. Но однакож не следует забывать тонкое изречение знаменитого Ганса Христиана Андерсена:

Позолота-то сотрется, Свиная кожа остается.

Климу очень хотелось стереть позолоту с Макарова, она ослепляла его, хотя он и замечал, что товарищ часто поддается непонятной тревоге, подавлявшей его. А Иван Дронов казался ему азартным игроком, который торопится всех обыграть, действуя фальшивыми картами. Иногда Клим искренно недоумевал, видя, что товарищи относятся к нему лучше, доверчивее, чем он к ним, очевидно, они признавали его умнее, опытнее их. Но это честное недоумение являлось ненадолго и только в те редкие минуты, когда, устав от постоянного наблюдения над собою, он чувствовал, что идет путем трудным и опасным.

Макаров сам стер позолоту с себя; это случилось, когда они сидели в ограде церкви Успения на Горе, любуясь закатом солнца.

Был один из тех сказочных вечеров, когда русская зима с покоряющей, вельможной щедростью развертывает все свои холодные красоты. Иней на деревьях сверкал розоватым хрусталем, снег искрился радужной пылью самоцветов, за лиловыми лысинами речки, оголенной ветром, на лугах лежал пышный парчовый покров, а над ним — синяя тишина, которую, казалось, ничто и никогда не поколеблет. Эта чуткая тишина обнимала все видимое, как бы ожидая, даже требуя, чтоб сказано было нечто особенно значительное.

Выпустив в морозный воздух голубую струю дыма папиросы, Макаров внезапно спросил:

— Стихов не пишешь?

— Я? — удивился Клим. — Нет. А ты?

— Начал. Выходят скверно.

И как-то сразу, обиженно, грубо и бесстыдно он стал рассказывать:

— Вот уж почти два года ни о чем не могу думать, только о девицах. К

проституткам идти не могу, до этой степени еще не дошел. Тянет к онанизму, хоть руки отрубить. Есть, брат, в этом влечения что-то обидное до слез, до отвращения к себе. С девицами чувствую себя идиотом. Она мне о книжках, о разных поэзиях, а я думаю о том, какие у нее груди и что вот поцеловать бы ее да и умереть.

Он бросил недокуренную папиросу, она воткнулась в снег свечой, огнем вверх, украшая холодную прозрачность воздуха кудрявой струйкой голубого дыма. Макаров смотрел на нее и говорил вполголоса:

— Глупо, как два учителя. А главное, обидно, потому что — неодолимо. Ты еще не испытал этого? Скоро испытаешь.

Он встал, раздавил подошвой папиросу и продолжал стоя, разглядывая прищуренными глазами красно сверкавший крест на церкви:

— Дронов где-то вычитал, что тут действует «дух породы», что «так хочет Венера». Черт их возьми, породу и Венеру, какое мне дело до них? Я не желаю чувствовать себя кобелем, у меня от этого тоска и мысли о самоубийстве, вот в чем дело!

Клим слушал с напряженным интересом, ему было приятно видеть, что Макаров рисует себя бессильным и бесстыдным. Тревога Макарова была еще не знакома Климу, хотя он, изредка, ночами, чувствуя смущающие запросы тела, задумывался о том, как разыграется его первый роман, и уже знал, что героиня романа — Лидия.

Макаров посвистел, сунул руки в карманы пальто, зябко поежился.

— Люба Сомова, курносая дурочка, я ее не люблю, то есть она мне не нравится, а все-таки я себя чувствую зависимым от нее. Ты знаешь, девицы весьма благосклонны ко мне, но…

«Не все», — мысленно закончил Клим, вспомнив, как неприязненно относилась к Макарову Лидия Варавка.

— Идем, холодно, — сказал Макаров и угрюмо спросил: — Ты что молчишь?

— Что я могу сказать? — Клим пожал плечами. — Банальность: неизбежное — неизбежно.

Несколько минут шли молча, поскрипывая снегом.

— Зачем так рано это начинается? Тут, брат, есть какое-то издевательство… — тихо и раздумчиво сказал Макаров. Клим откликнулся не сразу:

— Шопенгауэр, вероятно, прав.

— А может быть, прав Толстой: отвернись от всего и гляди в угол. Но — если отвернешься от лучшего в себе, а?

Клим Самгин промолчал, ему все приятнее было слушать печальные речи товарища. Он даже пожалел, когда Макаров вдруг простился с ним и, оглянувшись, шагнул на двор трактира.

— Поиграю на биллиарде, — сказал он, сердито хлопнув калиткой.

Истекшие годы не внесли в жизнь Клима событий, особенно глубоко волновавших его. Все совершалось очень просто. Постепенно и вполне естественно исчезали, один за другим, люди. Отец все чаще уезжал куда-то, он как-то умалялся, таял и наконец совсем исчез. Перед этим он стал говорить меньше, менее уверенно, даже как будто затрудняясь в выборе слов; начал отращивать бороду, усы, но рыжеватые волосы на лице его росли горизонтально, и, когда верхняя губа стала похожа на зубную щетку, отец сконфузился, сбрил волосы, и Клим увидал, что лицо отцово жалостно обмякло, постарело. Варавка говорил с ним словами понукающими.

— Н-ну-с, Иван Акимыч, так как же, а? Продали лесопилку?

Уши отца багровели, слушая Варавку, а отвечая ему, Самгин смотрел в плечо его и притопывал ногой, как точильщик ножей, ножниц. Нередко он возвращался домой пьяный, проходил в спальню матери, и там долго был слышен его завывающий голосок. В утро последнего своего отъезда он вошел в комнату Клима, тоже выпивши, сопровождаемый негромким напутствием матери:

— Прошу тебя, — пожалуйста, без драматических монологов.

— Ну, милый Клим, — сказал он громко и храбро, хотя губы у него дрожали, а опухшие, красные глаза мигали ослепленно. — Дела заставляют меня уехать надолго. Я буду жить в Финляндии, в Выборге. Вот как. Митя тоже со мной. Ну, прощай.

Обняв Клима, он поцеловал его в лоб, в щеки, похлопал по спине и добавил:

— Дедушка тоже с нами. Да. Прощай. У… уважай мать, она достойна…

Не сказав, чего именно достойна мать, он взмахнул рукою и почесал подбородок. Климу показалось, что он хотел ладонью прикрыть пухлый рот свой.

Когда дедушка, отец и брат, простившийся с Климом грубо и враждебно, уехали, дом не опустел от этого, но через несколько дней Клим вспомнил неверующие слова, сказанные на реке, когда тонул Борис Варавка:

«Да — был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

Ужас, испытанный Климом в те минуты, когда красные, цепкие руки, высовываясь из воды, подвигались к нему, Клим прочно забыл; сцена гибели Бориса вспоминалась ему все более редко и лишь как неприятное сновидение. Но в словах скептического человека было что-то назойливое, как будто они хотели утвердиться забавной, подмигивающей поговоркой:

«Может, мальчика-то и не было?»

Клим любил такие поговорки, смутно чувствуя их скользкую двусмысленность и замечая, что именно они охотно принимаются за мудрость. Ночами, в постели, перед тем как заснуть, вспоминая все, что слышал за день, он отсевал непонятное и неяркое, как шелуху, бережно сохраняя в памяти наиболее крупные зерна разных мудростей, чтоб, при случае, воспользоваться ими и еще раз подкрепить репутацию юноши вдумчивого. Он умел сказать чужое так осторожно, мимоходом и в то же время небрежно, как будто сказанное им являлось лишь ничтожной частицей сокровищ его ума. И были удачные минуты успеха, вспоминая которые, он сам любовался собою с таким же удивлением, с каким люди любовались им.

Но почти всегда, вслед за этим, Клим недоуменно, с досадой, близкой злому унынию, вспоминал о Лидии, которая не умеет или не хочет видеть его таким, как видят другие. Она днями и неделями как будто даже и совсем не видела его, точно он для нее бесплотен, бесцветен, не существует. Вырастая, она становилась все более странной и трудной девочкой. Варавка, улыбаясь в лисью бороду большой, красной улыбкой, говорил:

— В мать пошла. Та тоже мастерица была выдумывать. Выдумает и — верит.

Глагол — выдумывать, слово — выдумка отец Лидии произносил чаще, чем все другие знакомые, и это слово всегда успокаивало, укрепляло Клима. Всегда, но не в случае с Лидией, — случае, возбудившем у него очень сложное чувство к этой девочке.

Летом, на другой год после смерти Бориса, когда Лидии минуло двенадцать лет, Игорь Туробоев отказался учиться в военной школе и должен был ехать в какую-то другую, в Петербург. И вот, за несколько дней до его отъезда, во время завтрака,

Лидия решительно заявила отцу, что она любит Игоря, не может без него жить и не хочет, чтоб он учился в другом городе.

— Он должен жить и учиться здесь, — сказала она, пристукнув по столу маленьким, но крепким кулачком. — А когда мне будет пятнадцать лет и шесть месяцев, мы обвенчаемся.

— Это — чепуха, Лидка, — строго сказал отец. — Я запрещаю…

Не пожелав узнать, что он запрещает, Лидия встала из-за стола и ушла, раньше чем Варавка успел остановить efc В дверях, схватись за косяк, она сказала:

— Это дело божие…

— Какая экзальтированная девочка, — заметила мать, одобрительно глядя на Клима, — он смеялся. Засмеялся и Варавка.

Но раньше чем они успели кончить завтрак, явился Игорь Туробоев, бледный, с синевой под глазами, корректно расшаркался пред матерью Клима, поцеловал ей руку и, остановясь пред Варавкой, очень звонко объявил, что он любит Лиду, не может ехать в Петербург и просит Варавку…

Не дослушав его речь, Варавка захохотал, раскачивая свое огромное тело, скрипя стулом. Вера Петровна снисходительно улыбалась, Клим смотрел на Игоря с неприятным удивлением, а Игорь стоял неподвижно, но казалось, что он все вытягивается, растет. Подождав, когда Варавка прохохотался, он все так же звонко сказал:

— И прошу вас сказать моему папа, что, если этого не будет, я убью себя. Прошу вас верить. Папа не верит.

Несколько секунд мужчина и женщина молчали, переглядываясь, потом мать указала Климу глазами на дверь;

Клим ушел к себе смущенный, не понимая, как отнестись к этой сцене. Из окна своей комнаты он видел: Варавка, ожесточенно встряхивая бородою, увел Игоря за руку на улицу, затем вернулся вместе с маленьким, сухоньким отцом Игоря, лысым, в серой тужурке и серых брюках с красными лампасами. Они долго ходили по дорожке сада, седые усы Туробоева непрерывно дрожали, он говорил что-то хриплым, сорванным голосом, Варавка глухо мычал, часто отирая платком красное лицо, и кивал головою. Пришла мать и строго приказала Климу:

— Тебе пора на урок, к Томилину. Ты, конечно, не станешь рассказывать ему об этих глупостям

Когда Клим возвратился с урока и хотел пройти к Лидии, ему сказали, что это нельзя, Лидия заперта в своей комнате. Было необыкновенно скучно и напряженно тихо в доме, но Климу казалось, что сейчас что-то упадет со страшным грохотом. Ничего не упало. Мать и Варавка куда-то ушли, а Клим вышел в сад и стал смотреть в окно комнаты Лидии. Девочка не появлялась в окне, мелькала только растрепанная голова Тани Куликовой. Клим сел на скамью и долго сидел, ни о чем не думая, видя пред собою только лица Игоря и Варавки, желая, чтоб Игоря хорошенько высекли, а Лидию… Он долго соображал, как нужно наказать ее, и не нашел для девочки наказания, которое не было бы обидно и ему.

Мать и Варавка возвратились поздно, когда он уже спал. Его разбудил смех и шум, поднятый ими в столовой, смеялись они, точно пьяные. Варавка все пробовал петь, а мать кричала:

— Да не так! Не так же!..

Потом они перешли в гостиную, мать заиграла что-то веселое, но вдруг музыка оборвалась. Клим задремал и был разбужен тяжелой беготней наверху, а затем

раздались крики:

— Что за дьявольская комедия! Лидии — нет. Татьяна дрыхнет, а Лидии — нет! Вера, ты понимаешь?

Клим вскочил с постели, быстро оделся и выбежал в столовую, но в ней было темно, лампа горела только в спальне матери. Варавка стоял в двери, держась за косяки, точно распятый, он был в халате и в туфлях на голые ноги, мать торопливо куталась в капот.

Климу велели разбудить Дронова и искать Лидию в саду, на дворе, где уже виновато и негромко покрикивала Таня Куликова:

— Лида? Ну, что за глупости! Лидуша? Клим чувствовал себя невыразимо странно, на этот раз ему казалось, что он участвует в выдумке, которая несравненно интереснее всего, что он знал, интереснее и страшней. И ночь была странная, рыскал жаркий ветер, встряхивая деревья, душил все запахи сухой, теплой пылью, по небу ползли облака, каждую минуту угашая луну, все колебалось, обнаруживая жуткую неустойчивость, внушая тревогу. Сонный и сердитый, ходил на кривых ногах Дронов, спотыкался, позевывал, плевал; был он в полосатых тиковых подштанниках и темной рубахе, фигура его исчезала на фоне кустов, а голова плавала в воздухе, точно пузырь.

— Наверное, она к Туробоевым в сад убежала, — предположил Дронов.

Да, она была там, сидела на спинке чугунной садовой скамьи, под навесом кустов. Измятая темнотой тонкая фигурка девочки бесформенно сжалась, и было в ней нечто отдаленно напоминавшее большую белую птицу.

— Лида! — вскрикнул Клим.

— Что ты орешь, как полицейский, — сказал Дронов вполголоса и, грубо оттолкнув Клима плечом, предложил Лиде:

— Что ж тут сидеть, идемте домой.

Клима возмутила грубость Дронова, удивил его ласковый голос и обращение к Лидии на вы, точно ко взрослой.

— Его побили, да? — спросила девочка, не шевелясь, не принимая протянутой руки Дронова. Слова ее звучали разбито, так говорят девочки после того, как наплачутся.

— Я упала, как слепая, когда лезла через забор, — сказала она, всхлипнув. — Как дура. Я не могу идти…

Клим и Дронов сняли ее, поставили на землю, но она, охнув, повалилась, точно кукла, мальчики едва успели поддержать ее. Когда они повели ее домой, Лидия рассказала, что упала она не перелезая через забор, а пытаясь влезть по водосточной трубе в окно комнаты Игоря.

— Я хотела знать, что он делает…

— Спит, — сказал Дронов.

Лидия подняла руку ко рту и, высасывая кровь из-под сломанных ногтей, замолчала.

На дворе Варавка в халате и татарской тюбетейке зарычал на дочь:

— Ты что же это делаешь?

Но вдруг испуганно схватил ее на руки, поднял:

— Что с тобой?

Тогда девочка голосом, звук которого Клим долго не мог забыть, сказала:

— Ах, папа, ты ничего не понимаешь! Ты не можешь… ты не любил маму!

— Шш! С ума сошла, — зашипел Варавка и убежал с нею в дом, потеряв сафьяновую туфлю.

— Разыгралась коза, — тихонько сказал Дронов, усмехаясь. — Ну, что же, пойду спать…

Но не ушел, а, присев на ступень кухонного крыльца, почесывая плечо, пробормотал:

— Придумала игру…

Клим шагал по двору, углубленно размышляя: неужели все это только игра и выдумка? Из открытого окна во втором этаже долетали ворчливые голоса Варавки, матери; с лестницы быстро скатилась Таня Куликова.

— Не запирайте ворот, я за доктором, — сказала она, выбегая на улицу.

Дронов бормотал сердито и насмешливо:

— Меня Ржига заставил Илиаду и Одиссею прочитать. Вот — чепуха! Ахиллесы, Патроклы — болваны. Скука! Одиссея лучше, там Одиссей без драки всех надул. Жулик, хоть для сего дня.

— Клим — спать! — строго крикнула Вера Петровна из окна. — Дронов, разбуди дворника и тоже — спать.

Через несколько дней этот роман стал известен в городе, гимназисты спрашивали Клима:

— Какая она?

Клим отвечал сдержанно, ему не хотелось рассказывать, но Дронов оживленно болтал:

— Некрасивая, потому и влюбилась, красивая — не влюбится, шалишь!

Клим слушал его болтовню с досадой, но ожидая, что Дронов, может быть, скажет что-то, что разрешит недоумение, очень смущавшее Клима.

— Я говорю ей: ты еще девчонка, — рассказывал Дронов мальчикам. — И ему тоже говорю… Ну, ему, конечно, интересно; всякому интересно, когда в него влюбляются.

Досадно было слышать, как Дронов лжет, но, видя, что эта ложь делает Лидию героиней гимназистов, Самгин не мешал Ивану. Мальчики слушали серьезно, и глаза некоторых смотрели с той странной печалью, которая была уже знакома Климу по фарфоровым глазам Томилина.

Лидия вывихнула ногу и одиннадцать дней лежала в постели. Левая рука ее тоже была забинтована. Перед отъездом Игоря толстая, задыхающаяся Туробоева, страшно выкатив глаза, привела его проститься с Лидией, влюбленные, обнявшись, плакали, заплакала и мать Игоря.

— Это смешно, а — хорошо, — говорила она, осторожно вытирая платком выпученные глаза. — Хорошо, потому что не современно.

Варавка угрюмо промычал какое-то тяжелое и незнакомое слово.

Детей успокоили, сказав им: да, они жених и невеста, это *решено;* они обвенчаются, когда вырастут, а до той поры им разрешают писать письма друг другу. Клим скоро убедился, что их обманули. Лидия писала Игорю каждый день и, отдавая письма матери Игоря, нетерпеливо ждала ответов. Но Клим подметил, что письма Лидии попадают в руки Варавки, он читает их его матери и они оба смеются. Лидия стала бесноваться, тогда ей сказали, что Игорь отдан в такое строгое училище, где начальство не позволяет мальчикам переписываться даже с их родственниками.

— Это — как монастырь, — лгал он, а Климу хотелось крикнуть Лидии:

«Твои письма в кармане у него».

Но Клим видел, что Лида, слушая рассказы отца поджав губы, не верит им. Она треплет платок или конец своего гимназического передника, смотрит в пол или в сторону, как бы стыдясь взглянуть в широкое, туго налитое кровью бородатое лицо. Клим все-таки сказал;

— Ты знаешь, что они тебя обманывают?

— Молчи! — крикнула Лидия, топнув ногою. — Это не твое дело, не тебя обманывают. И папа не обманывает, а потому что боится…

Покраснев, сердитая, она убежала.

В гимназии она считалась одной из первых озорниц, а училась небрежно. Как брат ее, она вносила в игры много оживления и, как это знал Клим по жалобам на нее, много чего-то капризного, испытующего и даже злого. Стала еще более богомольна, усердно посещала церковные службы, а в минуты задумчивости ее черные глаза смотрели на все таким пронзающим взглядом, что Клим робел пред нею.

К нему она относилась почти так же пренебрежительно и насмешливо, как ко всем другим мальчикам, и уже не она Климу, а он ей предлагал:

— Хочешь — пойдем, поговорим?

Она редко и не очень охотно соглашалась на это и уже не рассказывала Климу о боге, кошках, о подругах, а задумчиво слушала его рассказы о гимназии, суждения об учителях и мальчиках, о прочитанных им книгах. Когда Клим объявил ей новость, что он не верит в бога, она сказала небрежно:

— Это — глупость. У нас в классе тоже есть девочка, которая говорит, что не верит, но это потому, что она горбатая.

За три года Игорь Туробоев ни разу не приезжал на каникулы. Лидия молчала о нем. А когда Клим попробовал заговорить с нею о неверном возлюбленном, она холодно заметила:

— О любви можно говорить только с одним человеком…

К пятнадцати годам Лидия вытянулась, оставаясь все такой же тоненькой и легкой, пружинно подскакивающей на ходу. Она стала угловатой, на плечах и бедрах ее высунулись кости, и хотя уже резко обозначились груди, но они были острые, как локти, и неприятно кололи глаза Клима; заострился нос, потемнели густые и строгие брови, а вспухшие губы стали волнующе яркими. Лицо ее было хорошо знакомо Климу, тем более тревожно удивлялся он, когда видел, что сквозь заученные им черты этого лица таинственно проступает другое, чужое ему. Порою оно было так ясно видимо, что Клим готов был спросить девушку:

«Это вы?»

Иногда он спрашивал:

— Что с тобою?

— Ничего, — отвечала она с легким удивлением. — А что?

— У вас изменилось лицо.

— Да? Как же?

На этот вопрос он не умел ответить. Иногда он говорил ей вы, не замечая этого, она тоже не замечала.

Его особенно смущал взгляд глаз ее скрытого лица, именно он превращал ее в чужую. Взгляд этот, острый и зоркий, чего-то ожидал, искал, даже требовал и вдруг, становясь пренебрежительным, холодно отталкивал. Было странно, что она разогнала всех своих кошек и что вообще в ее отношении к животным явилась какая-то болезненная брезгливость. Слыша ржанье лошади, она вздрагивала и морщилась, туго кутая грудь шалью; собаки вызывали у нее отвращение; даже петухи, голуби были явно неприятны ей.

И мысли у нее стали так же резко очерчены, угловаты, как ее тело.

— Учиться — скучно, — говорила она. — И зачем знать то, чего я сама не могу сделать или чего никогда не увижу?

Однажды она сказала Климу:

— Ты много знаешь. Должно быть, это очень неудобно.

Таня Куликова, домоправительница Варавки, благожелательно и покорно улыбаясь всему на свете, говорила о Лидии, как мать Клима о своих пышных волосах:

— Мучение мое.

Но говорила без досады, а ласково и любовно. На висках у нее появились седые волосы, на измятом лице — улыбка человека, который понимает, что он родился неудачно, не вовремя, никому не интересен и очень виноват во всем этом.

Во флигеле поселился веселый писатель Нестор Николаевич Катин с женою, сестрой и лопоухой собакой, которую он назвал Мечта. Настоящая фамилия писателя была Пимов, но он избрал псевдоним, шутливо объясняя это так:

— Ведь у нас не произносят: Нестор, а — Нестер, и мне пришлось бы подписывать рассказы Нестерпимов. Убийственно. К тому же теперь в моде производить псевдонимы по именам жен: Верин, Валин, Сашин, Машин…

Был он мохнатенький, носил курчавую бородку, шея его была расшита колечками темных волос, и даже на кистях рук, на сгибах пальцев росли кустики темной шерсти. Живой, очень подвижной, даже несколько суетливый человек и неустанный говорун, он напоминал Климу отца. На его волосатом лице маленькие глазки блестели оживленно, а Клим все-таки почему-то подозревал, что человек этот хочет казаться веселее, чем он есть. Говоря, он склонял голову свою к левому плечу, как бы прислушиваясь к словам своим, и раковина уха его тихонько вздрагивала.

Он употреблял церковнославянские слова: аще, ибо, паче, дондеже, поелику, паки и паки; этим он явно, но не очень успешно старался рассмешить людей. Он восторженно рассказывал о красоте лесов и полей, о патриархальности деревенской жизни, о выносливости баб и уме мужиков, о душе народа, простой и мудрой, и о том, как эту душу отравляет город. Ему часто приходилось объяснять слушателям незнакомые им слова: п*а*морха, мурцовка, м*о*роки, сугрев, и он не без гордости заявлял:

— Я народную речь знаю лучше Глеба Успенского, он путает деревенское с мещанским, а меня на этом не поймаешь, нет!

Нестор Катин носил косоворотку, подпоясанную узеньким ремнем, брюки заправлял за сапоги, волосы стриг в кружок «а 1а мужик»; он был похож на мастерового, который хорошо зарабатывает и любит жить весело. Почти каждый вечер к нему приходили серьезные, задумчивые люди. Климу казалось, что все они очень горды и чем-то обижены. Пили чай, водку, закусывая огурцами, колбасой и маринованными грибами, писатель как-то странно скручивался, развертывался, бегал по комнате и говорил:

— Да, да, Степа, литература откололась от жизни, изменяет народу; теперь пишут красивенькие пустячки для забавы сытых; чутье на правду потеряно…

Степа, человек широкоплечий, серобородый, голубоглазый, всегда сидел в стороне от людей, меланхолически размешивал ложкой чай в стакане и, согласно помавая головой, молчал час, два. А затем вдруг, размеренно, тусклым голосом он говорил о запросах народной души, обязанностях интеллигенции и особенно много об измене детей священным заветам отцов. Клим заметил, что знаток обязанностей интеллигенции никогда не ест хлебного мякиша, а только корки, не любит табачного дыма, а водку пьет, не скрывая отвращения к ней и как бы только по обязанности.

— Ты прав, Нестор, забывают, что народ есть субстанция, то есть первопричина, а теперь выдвигают учение о классах, немецкое учение, гм…

Макаров находил, что в этом человеке есть что-то напоминающее кормилицу, он так часто говорил это, что и Климу стало казаться — да, Степа, несмотря на его бороду, имеет какое-то сходство с грудастой бабой, обязанной молоком своим кормить чужих детей,

По воскресеньям у Катина собиралась молодежь, и тогда серьезные разговоры о народе заменялись пением, танцами. Рябой семинарист Сабуров, медленно разводя руками в прокуренном воздухе, как будто стоя плыл и приятным баритоном убедительно советовал:

— «Выдь на Во-о-лгу…»

— «Чей стон», — не очень стройно подхватывал хор. Взрослые пели торжественно, покаянно, резкий тенорок писателя звучал едко, в медленной песне было нечто церковное, панихидное. Почти всегда после пения шумно танцевали кадриль, и больше всех шумел писатель, одновременно изображая и оркестр и дирижера. Притопывая коротенькими, толстыми ногами, он искусно играл на небольшой, дешевой гармонии и ухарски командовал:

— Кавалеры наскрозь дам. Бросай свою, хватай чужую!

Это всех смешило, а писатель, распаляясь еще более, пел под гармонику и в ритм кадрили:

Прибежали в избу дети,Второпях зовут отца:«Тятя, тятя, наши сетиПритащили мертвеца!»

Варавка сердито назвал это веселье:

— Рыбьи пляски.

Климу казалось, что писатель веселится с великим напряжением и даже отчаянно; он подпрыгивал, содрогался и потел. Изображая удалого человека, выкрикивая не свои слова, он честно старался рассмешить танцующих и, когда достигал этого, облегченно ухал:

— Ух!

Затем снова начинал смешить нелепыми словами, комическими прыжками и

подмигивал жене своей, которая самозабвенно, с полусонной улыбкой на кукольном лице, выполняла фигуры кадрили.

— Эх ты, мягкая! — кричал ей муж.

Жена, кругленькая, розовая и беременная, была неистощимо ласкова со всеми. Маленьким, но милым голосом она, вместе с сестрой своей, пела украинские песни. Сестра, молчаливая, с длинным носом, жила прикрыв глаза, как будто боясь увидеть нечто пугающее, она молча, аккуратно разливала чай, угощала закусками, и лишь изредка Клим слышал густой голос ее:

— Это — да! — Или: — В это трудно поверить. Она редко произносила что-нибудь иное, кроме этих двух фраз.

Клим чувствовал себя не плохо у забавных и новых для него людей, в комнате, оклеенной веселенькими, светлыми обоями. Все вокруг было неряшливо, как у Варавки, но простодушно. Изредка являлся Томилин, он проходил по двору медленно, торжественным шагом, не глядя в окна Самгиных; войдя к писателю, молча жал руки людей и садился в угол у печки, наклонив голову, прислушиваясь к спорам, песням. Торопливо вбегала Таня Куликова, ее незначительное, с трудом запоминаемое лицо при виде Томилина темнело, как темнеют от старости, фаянсовые тарелки.

— Как живете? — спрашивала она.

— Ничего, — отвечал Томилин тихо и будто с досадой.

Раза два-три приходил сам Варавка, посмотрел, послушал, а дома сказал Климу и дочери, отмахнувшись рукой:

— Обычная русская квасоварня. Балаган, в котором показывают фокусы, вышедшие из моды.

Клим подумал, что это сказано метко, и с той поры ему показалось, что во флигель выметено из дома все то, о чем шумели в доме лет десять тому назад. Но все-таки он понимал, что бывать у писателя ему полезно, хотя иногда и скучно. Было несколько похоже на гимназию, с той однако разницей, что учителя не раздражались, не кричали на учеников, но преподавали истину с несомненной и горячей верой в ее силу. Вера эта звучала почти в каждом слове, и, хотя Клим не увлекался ею, все же он выносил из флигеля не только кое-какие мысли и меткие словечки, но и еще нечто, не совсем ясное, но в чем он нуждался; он оценивал это как знание людей.

Макаров сосредоточенно пил водку, закусывал хрустящими солеными огурцами и порою шептал в ухо Клима нечто сердитое:

— Заветы отцов! Мой отец завещал мне: учись хорошенько, негодяй, а то выгоню, босяком будешь. Ну вот, я — учусь. Только не думаю, что здесь чему-то научишься.

За молодежью ухаживали, но это ее стесняло; Макаров, Люба Сомова, даже Клим сидели молча, подавленно, а Люба однажды заметила, вздохнув:

— Они так говорят, как будто сильный дождь, я иду под зонтиком и не слышу, о чем думаю.

Только Иван Дронов требовательно и как-то излишне визгливо ставил вопросы об интеллигенции, о значении личности в процессе истории. Знатоком этих вопросов был человек, похожий на кормилицу; из всех друзей писателя он казался Климу наиболее глубоко обиженным.

Прежде чем ответить на вопрос, человек этот осматривал всех в комнате светлыми глазами, осторожно крякал, затем, наклонясь вперед, вытягивал шею, показывая за левым ухом своим лысую, костяную шишку размером в небольшую картофелину.

— Это вопрос глубочайшего, общечеловеческого значения, — начинал он высоким, но несколько усталым и тусклым голосом; писатель Катин, предупреждающе подняв руку и брови, тоже осматривал присутствующих взглядом, который красноречиво командовал:

«Смирно! Внимание!»

— Но нигде в мире вопрос этот не ставится с такою остротой, как у нас, в России, потому что у нас есть категория людей, которых не мог создать даже высококультурный Запад, — я говорю именно о русской интеллигенции, о людях, чья участь — тюрьма, ссылка, каторга, пытки, виселица, — не спеша говорил этот человек, и в тоне его речи Клим всегда чувствовал нечто странное, как будто оратор не пытался убедить, а безнадежно уговаривал. Слова каторга, пытки, виселицы он употреблял так часто и просто, точно это были обыкновенные, ходовые словечки; Клим привык слышать их, не чувствуя страшного содержания этих слов. Макаров, все более скептически поглядывая на всех, шептал:

— Говорит так, как будто все это было за триста лет до нас. Скисло молоко у Кормилицы.

Из угла пристально, белыми глазами на. Кормилицу смотрел Томилин и негромко, изредка спрашивал:

— Вы обвиняете Маркса в том, что он вычеркнул личность из истории, но разве не то же самое сделал в «Войне и мире» Лев Толстой, которого считают анархистом?

Томилина не любили и здесь. Ему отвечали скупо, небрежно. Клим находил, что рыжему учителю нравится это и что он нарочно раздражает всех. Однажды писатель Катин, разругав статью в каком-то журнале, бросил журнал на подоконник, но книга упала на пол; Томилин сказал:

— А вот икону вы, неверующий, все-таки не швырнули бы так, а ведь в книге больше души, чем в иконе.

— Души? — смущенно я сердито переспросил писатель и неловко, но сердитее прибавил: — При чем здесь душа? Это статья публицистическая, основанная на данных статистики. Душа!

Писатель был страстным охотником и любил восхищаться природой. Жмурясь, улыбаясь, подчеркивая слова множеством мелких жестов, он рассказывал о целомудренных березках, о задумчивой тишине лесных оврагов, о скромных цветах полей и звонком пении птиц, рассказывал так, как будто он первый увидал и услышал все это. Двигая в воздухе ладонями, как рыба плавниками, он умилялся:

— И всюду непобедимая жизнь, все стремится вверх, в небо, нарушая закон тяготения к земле. Томилин спросил, потирая руки:

— Как же это вы, заявляя столь красноречиво о своей любви к живому, убиваете зайцев и птиц только ради удовольствия убивать? Как это совмещается?

Писатель повернулся боком к нему и сказал ворчливо:

— Тургенев и Некрасов тоже охотились. И Лев Толстой в молодости и вообще — многие. Вы толстовец, что ли?

Томилин усмехнулся и вызвал сочувственную усмешку Клима; для него становился все более поучительным независимый человек, который тихо и упрямо, ни с кем не соглашаясь, умел говорить четкие слова, хорошо ложившиеся в память. Судорожно размахивая руками, краснея до плеч, писатель рассказывал русскую историю, изображая ее как тяжелую и бесконечную цепь смешных, подлых и глупых анекдотов. Над смешным и глупым он сам же первый и смеялся, а говоря о подлых жестокостях власти, прижимал ко груди своей кулак и вертел им против сердца. Всегда было неловко видеть, что после пламенной речи своей он выпивал рюмку

водки, закусывая корочкой хлеба, густо намазанной горчицей.

— Читайте «Историю города Глупова» — вот подлинная и честная история России, — внушал он.

Макаров слушал речи писателя, не глядя на него, крепко сжав губы, а потом говорил товарищам:

— Что он хвастается тем, что живет под надзором полиции? Точно это его пятерка за поведение.

В другой раз, наблюдая, как извивается и корчится писатель, он сказал Лидии:

— Видите, с каким трудом родится истина?

Нахмурясь, Лидия отодвинулась от него.

Она редко бывала во флигеле, после первого же визита она, просидев весь вечер рядом с ласковой и безгласной женой писателя, недоуменно заявила:

— Почему они так кричат? Кажется, что вот сейчас начнут бить друг друга, а потом садятся к столу, пьют чай, водку, глотают грибы… Писательша все время гладила меня по спине, точно я — кошка.

Лидия вздрогнула и, наморщив лоб, почти с отвращением добавила:

— И потом этот ее живот… не выношу беременных!

— Все вы — злые! — воскликнула Люба Сомова. — А мне эти люди нравятся; они — точно повара на кухне перед большим праздником — пасхой или рождеством.

Клим взглянул на некрасивую девочку неодобрительно, он стал замечать, что Люба умнеет, и это было почему-то неприятно. Но ему очень нравилось наблюдать, что Дронов становится менее самонадеян и уныние выступает на его исхудавшем, озабоченном лице. К его взвизгивающим вопросам примешивалась теперь нота раздражения, и он слишком долго и громко хохотал, когда Макаров, объясняя ему что-то, пошутил:

— Ну, что, Иван, чувствуешь ли, как науки юношей пытают?

— А все-таки, братцы, что же такое интеллигенция? — допытывался он.

Докторально, словами Томилина Клим ответил:

— Интеллигенция — это лучшие люди страны, — люди, которым приходится отвечать за все плохое в ней… Макаров тотчас же подхватил:

— Значит, это те праведники, ради которых бог соглашался пощадить Содом, Гоморру или что-то другое, беспутное? Роль — не для меня… Нет.

«Хорошо сказал», — подумал Клим и, чтоб оставить последнее слово за собой, вспомнил слова Варавки:

— Есть и другой взгляд: интеллигент — высококвалифицированный рабочий — и только. Но и тут Макаров догадался:

— Похоже на стиль Варавки.

Чувство скрытой неприязни к Макарову возрастало у Клима. Макаров, посвистывая громко и дерзко, смотрел на все глазами человека, который только что явился из большого города в маленький, где ему не нравится. Он часто и легко говорил фразы и слова, не менее интересные, чем Варавка и Томилин. Клим усердно старался развить в себе способность создания своих слов, но почти всегда чувствовал, что его слова звучат отдаленным эхом чужих. Повторялось то же, что

было с книгами: рассказы Клима о прочитанном были подробны, точны, но яркое исчезало. А Макаров даже и чужое умел сказать во-время и ловко.

Однажды он шел с Макаровым и Лидией на концерт пианиста, — из дверей дворца губернатора два щеголя торжественно вывели под руки безобразно толстую старуху губернаторшу и не очень умело, с трудом, стали поднимать ее в коляску.

Вздохнув, Макаров сказал Лидии:

— Пушкин — прав: «Сладостное внимание женщин — почти единственная цель наших усилий».

Лидия осторожно или неохотно усмехнулась, а Клим еще раз почувствовал укол зависти.

Его раздражали непонятные отношения Лидии и Макарова, тут было что-то подозрительное: Макаров, избалованный вниманием гимназисток, присматривался к Лидии не свойственно ему серьезно, хотя говорил с нею так же насмешливо, как с поклонницами его, Лидия же явно и, порою, в форме очень резкой, подчеркивала, что Макаров неприятен ей. А вместе с этим Клим Самгин замечал, что случайные встречи их все учащаются, думалось даже: они и флигель писателя посещают только затем, чтоб увидеть друг друга,

Особенно укрепила его в этом странная сцена в городском саду. Он сидел с Лидией на скамье в аллее старых лип; косматое солнце спускалось в хаос синеватых туч, разжигая их тяжелую пышность багровым огнем. На реке колебались красновато-медные отсветы, краснел дым фабрики за рекой, ярко разгорались алым золотом стекла киоска, в котором продавали мороженое. Осенний, грустный холодок ласкал щеки Самгина.

Клим чувствовал себя нехорошо, смятенно; раскрашенная река напоминала ему гибель Бориса, в памяти назойливо звучало: «Был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?» Ему очень хотелось сказать Лидии что-нибудь значительное и приятное, он уже несколько раз пробовал сделать это, но все-таки не удалось вывести девушку из глубокой задумчивости. Черные глаза ее неотрывно смотрели на реку, на багровые тучи. Клим почему-то вспомнил легенду, рассказанную ему Макаровым.

— Ты знаешь, — спросил он, — Климент Александрийский утверждал, что ангелы, нисходя с небес, имели романы с дочерями человеческими.

Не отводя взгляда из дали, Лидия сказала равнодушно и тихо:

— Комплимент святого недорого стоит, я думаю… Ее равнодушие смутило Клима, он замолчал, размышляя: почему эта некрасивая, капризная девушка так часто смущает его? Только она и смущала.

Внезапно явился Макаров, в отрепанной шинели, в фуражке, сдвинутой на затылок, в стоптанных сапогах. Он имел вид человека, который только что убежал откуда-то, очень устал и теперь ему все равно.

«Надеется на свою дерзкую рожу», — подумал Клим. Молча сунув руку товарищу, он помотал ею в воздухе и неожиданно, но не смешно отдал Лидии честь, по-солдатски приложив пальцы к фуражке. Закурил папиросу, потом спросил Лидию, мотнув головою на пожар заката:

— Красиво?

— Обычно, — ответила она, встала и пошла прочь, сказав:

— Я иду к Алине…

Пружинной походкой своей она отошла шагов двадцать. Макаров негромко

проговорил:

— Какая тоненькая. Игла. Странная фамилия — Варавка…

Вдруг Лидия круто повернулась и снова села на скамью, рядом с Климом.

— Раздумала.

Макаров поправил фуражку, усмехнулся, согнул спину. И тотчас началось нечто, очень тягостно изумившее Клима: Макаров и Лидия заговорили так, как будто они сильно поссорились друг с другом и рады случаю поссориться еще раз. Смотрели они друг на друга сердито, говорили, не скрывая намерения задеть, обидеть.

— Красивое — это то, что мне нравится, — заносчиво говорила Лида, а Макаров насмешливо возражал:

— Да — что вы? Не мало ли этого?

— Вполне достаточно для того, чтоб быть красивым. Сидя между ними, Клим сказал:

— Спенсер определяет красоту…

Но его не услышали. Перебивая друг друга, они толкали его. Макаров, сняв фуражку, дважды больно ударил козырьком ее по колену Клима. Двуцветные, вихрастые волосы его вздыбились и придали горбоносому лицу незнакомое Климу, почти хищное выражение. Лида, дергая рукав шинели Клима, оскаливала зубы нехорошей усмешкой. У нее на щеках вспыхнули красные пятна, уши стали яркокрасными, руки дрожали. Клим еще никогда не видел ее такой злой.

Он чувствовал себя в унизительном положении человека, с которым не считаются. Несколько раз хотел встать и уйти, но сидел, удивленно слушая Лидию. Она не любила читать книги, — откуда она знает то, о чем говорит? Она вообще была малоречива, избегала споров и только с пышной красавицей Алиной Телепневой да с Любой Сомовой беседовала часами, рассказывая им — вполголоса и брезгливо морщась — о чем-то, должно быть, таинственном. К гимназистам она относилась тоже брезгливо и не скрывала этого. Климу казалось, что она считает себя старше сверстников своих лет на десять. А вот с Макаровым, который, по мнению Клима, держался с нею нагло, она спорит с раздражением, близким ярости, как спорят с человеком, которого необходимо одолеть и унизить.

— Пора домой, Лида, — сказал он, сердито напоминая о себе.

Лидия тотчас встала, воинственно выпрямилась.

— Вы неудачно оригинальничаете, Макаров, — проговорила она торопливо, но как будто мягче.

Макаров тоже встал, поклонился и отвел руку с фуражкой в сторону, как это делают плохие актеры, играя французских маркизов.

В ответ ему девушка пошевелила бровями и быстро пошла прочь, взяв Клима под руку.

— Отчего ты так рассердилась? — спросил он; поправляя волосы, закрывшие ухо ее, она сказала возмущенно:

— Терпеть не могу таких… как это? Нигилистов. Рисуется, курит… Волосы — пестрые, а нос кривой… Говорят, он очень грязный мальчишка?

Но, не ожидая ответа, она тотчас же отметила достоинства осужденного ею:

— На коньках он катается великолепно. После этой сцены Клим почувствовал нечто близкое уважению к девушке, к ее уму, неожиданно открытому им. Чувство

это усиливали толчки недоверия Лидии, небрежности, с которой она слушала его. Иногда он опасливо думал, что Лидия может на чем-то поймать, как-то разоблачить его. Он давно уже замечал, что сверстники опаснее взрослых, они хитрее, недоверчивей, тогда как самомнение взрослых необъяснимо связано с простодушием.

Но, побаиваясь Лидии, он не испытывал неприязни к ней, наоборот, девушка вызывала в нем желание понравиться ей, преодолеть ее недоверие. Он знал, что не влюблен в нее, и ничего не выдумывал в этом направлении. Он был еще свободен от желания ухаживать за девицами, и сексуальные эмоции не очень волновали его. Обычные, многочисленные романы гимназистов с гимназистками вызывали у него только снисходительную усмешку; для себя он считал такой роман невозможным, будучи уверен, что юноша, который носит очки и читает серьезные книги, должен быть смешон в роли влюбленного. Он даже перестал танцевать, находя, что танцы ниже его достоинства. Со знакомыми девицами держался сухо, с холодной вежливостью, усвоенной от Игоря Туробоева, и когда Алина Телепнева с восторгом рассказывала, как Люба Сомова целовалась на катке с телеграфистом Иноковым, Клим напыщенно молчал, боясь, что его заподозрят в любопытстве к романическим пустякам. Тем более жестоко он был поражен, почувствовав себя влюбленным.

Началось это с того, что однажды, опоздав на урок, Клим Самгин быстро шагал сквозь густую муть февральской метели и вдруг, недалеко от желтого здания гимназии, наскочил на Дронова, — Иван стоял на панели, держа в одной руке ремень ранца, закинутого за спину, другую руку, с фуражкой в ней, он опустил вдоль тела.

— Исключили, — пробормотал он. На голове, на лице его таял снег, и казалось, что вся кожа лица, со лба до подбородка, сочится слезами.

— За что? — спросил Клим.

— Сволочи. Клим посоветовал:

— Надень фуражку.

Иван поднял руку медленно, как будто фуражка была чугунной; в нее насыпался снег, он так, со снегом, и надел ее на голову, но через минуту снова снял, встряхнул и пошел, отрывисто говоря:

— Это — Ржига. И — поп. Вредное влияние будто бы. И вообще — говорит — ты, Дронов, в гимназии явление случайное и нежелательное. Шесть лет учили, и — вот… Томилин доказывает, что все люди на земле — случайное явление.

Клим шагал к дому, плечо в плечо с Дроновым, внимательно слушая, но не удивляясь, не сочувствуя, а Дронов все бормотал, с трудом находя слова, выцарапывая их.

— Голову сняли, сволочи! Вредное влияние! Просто — Ржига поймал меня, когда я целовался с Маргаритой.

— С ней? — переспросил Клим, замедлив шаг.

— Ну, да… А он сам, Ржига…

Но Клим уже не слушал, теперь он был удивлен и неприятно и неприязненно. Он вспомнил Маргариту, швейку, с круглым, бледным лицом, с густыми тенями в впадинах глубоко посаженных глаз. Глаза у нее неопределенного, желтоватого цвета, взгляд полусонный, усталый, ей, вероятно, уж под тридцать лет. Она шьет и чинит белье матери, Варавки, его; она работает «по домам».

Было обидно узнать, что Дронов и в отношении к женщине успел забежать вперед его.

— Что же она? — спросил Клим и остановился, не зная, как сказать далее.

— Только бы не снабдили волчьим билетом, — ворчал Дронов.

— Она позволяет тебе?

— Кто?

— Маргарита.

Дронов встряхнул плечом, точно отталкивая кого-то, и сказал:

— Ну, какая же баба не позволит?

— И давно ты с ней? — допрашивал Клим.

— Эх, отстань, — сказал Дронов, круто свернул за угол и тотчас исчез в белой каше снега.

Клим пошел домой. Ему не верилось, что эта скромная швейка могла охотно целовать Дронова, вероятнее, он целовал ее насильно. И — с жадностью, конечно. Клим даже вздрогнул, представив, как Дронов, целуя, чавкает, чмокает.

Дома, раздеваясь, он услыхал, что мать, в гостиной, разучивает какую-то незнакомую ему пьесу.

— Почему так рано? — спросила она. Клим рассказал о Дронове и добавил: — Я не пошел на урок, там, наверное, волнуются. Иван учился отлично, многим помогал, у него немало друзей.

— Это разумно, что не пошел, — сказала мать; сегодня она, в новом голубом капоте, была особенно молода и внушительно красива. Покусав губы, взглянув в зеркало, она предложила сыну: — Посиди со мной.

И, расхаживая по комнате легкой, плавной походкой, она заговорила очень мягко:

— Ржига предупредил меня, что с Иваном придется поступить строго. Он приносил в класс какие-то запрещенные книжки и неприличные фотографии. Я сказала Ржиге, что в книжках, наверное, нет ничего серьезного, это просто хвастовство Дронова.

Клим солидно вставил свои слова:

— Да, хвастовство или обычное у детей и подростков влечение к пистолетам...

— Очень метко, — похвалила мать, улыбаясь. — Но соединение вредных книг с неприличными картинками — это уже обнаруживает натуру испорченную. Ржига очень хорошо говорит, что школа — учреждение, где производится отбор людей, способных так или иначе украсить жизнь, обогатить ее. И — вот: чем ты мог украсить жизнь Дронов?

Клим усмехнулся.

— Несколько странно, что Дронов и этот растрепанный, полуумный Макаров — твои приятели. Ты так не похож на них. Ты должен знать, что я верю в твою разумность и не боюсь за тебя. Я думаю, что тебя влечет к ним их кажущаяся талантливость. Но я убеждена, что эта талантливость — только бойкость и ловкость.

Клим согласно кивнул головою, ему очень понравились слова матери. Он признавал, что Макаров, Дронов и еще некоторые гимназисты умнее его на словах, но сам был уверен, что он умнее их не на словах, а как-то иначе, солиднее, глубже.

— Конечно, и ловкость — достоинство, но — сомнительное, она часто превращается

в недобросовестность, мягко говоря, — продолжала мать, и слова ее все более нравились Климу. Он встал, крепко обнял ее за талию, но тотчас же отвел свою руку, вдруг и впервые чувствуя в матери женщину. Это так смутило его, что он забыл ласковые слова, которые хотел сказать ей, он даже сделал движение в сторону от нее, но мать сама положила руку на плечи его и привлекла к себе, говоря что-то об отце, Варавке, о мотивах разрыва с отцом.

— Я должна была сказать тебе все это давно, — слышал он. — Но, повторяю, зная, как ты наблюдателен и вдумчив, я сочла это излишним.

Клим поцеловал ей руку.

— Да, мама, — об этом излишне говорить. Ты знаешь, я очень уважаю Тимофея Степановича.

Он переживал волнение, новое для него. За окном бесшумно кипела густая, белая муть, в мягком, бесцветном сумраке комнаты все вещи как будто задумались, поблекли; Варавка любил картины, фарфор, после ухода отца все в доме неузнаваемо изменилось, стало уютнее, красивее, теплей. Стройная женщина с суховатым, гордым лицом явилась пред юношей неиспытанно близкой. Она говорила с ним, как с равным, подкупающе дружески, а голос ее звучал необычно мягко и внятно.

— Меня беспокоит Лидия, — говорила она, шагая нога в ногу с сыном. — Это девочка ненормальная, с тяжелой наследственностью со стороны матери. Вспомни ее историю с Туробоевым. Конечно, это детское, но... И у меня с нею не те отношения, каких я желала бы.

Заглянув в глаза сына, она, улыбаясь, спросила:

— Ты — не влюблен в нее? Немножко, а?

— Нет, — решительно ответил Клим. Поговорив еще немного о Лидии в тоне неодобрительном, мать спросила его, остановясь против зеркала:

— Тебе, наверное, не хватает карманных денег?

— Вполне достаточно...

— Милый мой, — сказала мать, обняв его, поцеловав лоб. — В твоем возрасте можно уже не стыдиться некоторых желаний.

Тут Клим понял смысл ее вопроса о деньгах, густо покраснел и не нашел, что сказать ей.

Пообедав, он пошел в мезонин к Дронову, там уже стоял, прислонясь к печке, Макаров, пуская в потолок струи дыма, разглаживая пальцем темные тени на верхней губе, а Дронов, поджав ноги под себя, уселся на койке в позе портного и визгливо угрожал кому-то:

— Врете! В университет я все-таки пролезу. Тотчас же вслед за Климом дверь снова отворилась, на пороге встала Лидия, прищурилась и спросила:

— Здесь коптят рыбу? Дронов грубо крикнул:

— Затворите дверь, не лето!

А Макаров, молча поклонясь девушке, закурил от окурка папиросы другую.

— Какой скверный табак, — сказала Лидия, проходя к окну, залепленному снегом, остановилась там боком ко всем и стала расспрашивать Дронова, за что его исключили; Дронов отвечал ей нехотя, сердито. Макаров двигал бровями, мигал и пристально, сквозь пелену дыма, присматривался к темнокоричневой фигурке девушки.

— Зачем ты, Иван, даешь читать глупые книги? — заговорила Лидия, — Ты дал Любе Сомовой «Что делать?», но ведь это же глупый роман! Я пробовала читать его и — не могла. Он весь не стоит двух страниц «Первой любви» Тургенева.

— Девицы любят кисло-сладкое, — сказал Макаров и сам, должно быть, сконфузясь неудачной выходки, стал усиленно сдувать пепел с папиросы. Лидия не ответила ему. В том, что она говорила, Клим слышал ее желание задеть кого-то и неожиданно почувствовал задетым себя, когда она задорно сказала:

— Мужчина, который уступает женщину другому, конечно, — тряпка.

Клим поправил очки и поучительно напомнил:

— Однако, если взять историю отношений Герцена…

— Краснобая «С того берега»? — спросила Лидия. Макаров засмеялся и, ткнув папиросой в кафлю печки, размашисто бросил окурок к двери.

— Что, это веселит вас? — вызывающе спросила девушка, и через несколько минут пред Климом повторилась та сцена, которую он уже наблюдал в городском саду, но теперь Макаров и Лидия разыгрывали ее в более резком тоне.

Напряженно вслушиваясь в их спор, Клим слышал, что хотя они кричат слова обычные, знакомые ему, но связь этих слов неуловима, а смысл их извращается каждым из спорящих по-своему. Казалось, что, по существу, спорить им не о чем, но они спорили раздраженно, покраснев, размахивая руками; Клим ждал, что в следующую минуту они оскорбят друг друга. Быстрые, резкие жесты Макарова неприятно напомнили Климу судорожное мелькание рук утопающего Бориса Варавки. Большеглазое лицо Лидии сделалось тем новым, незнакомым лицом, которое возбуждало смутную тревогу.

«Нет, они не влюблены, — соображал Самгин. — Не влюблены, это ясно!»

Дронов, сидя на койке, посматривал на спорящих бегающими глазами и тихонько покачивался; плоскую физиономию его изредка кривила снисходительная усмешка.

Лидия как-то вдруг сорвалась с места и ушла, сильно хлопнув дверью, Макаров вытер ладонью потный лоб и скучно сказал:

— Сердитая.

Закурив папиросу, он прибавил:

— Умная. Ну, до свиданья…

Дронов усмехнулся вслед ему и свалился боком на койку.

— Ломаются, притворяются, — заговорил он тихо и закрыв глаза. Потом грубовато спросил Клима, сидевшего за столом:

— Лидия-то — слышал? Задорно сказала: в любви — нет милосердия. А? Ух, многим она шеи свернет.

Грубый тон Дронова не возмущал Клима после того, как Макаров однажды сказал:

— Ванька, в сущности, добрая душа, а грубит только потому, что не смеет говорить иначе, боится, что глупо будет. Грубость у него — признак ремесла, как дурацкий шлем пожарного.

Прислушиваясь к вою вьюги в печной трубе, Дронов продолжал все тем же скучным голосом:

— Есть у меня знакомый телеграфист, учит меня в шахматы играть. Знаменито

играет. Не старый еще, лет сорок, что ли, а лыс, как вот печка. Он мне сказал о бабах:

«Из вежливости говорится — баба, а ежели честно сказать — раба. По закону естества полагается ей родить, а она предпочитает блудить».

И вдруг, вскочив, точно уколотый, он сказал, стукая кулаком в стену:

— Врете, черти! В университет я попаду, Томилин обещал помочь…

Терпеливо послушав, как Дронов ругал Ржигу, учителей, Клим небрежно спросил:

— Как же у тебя вышло с Маргаритой?

— Что — вышло? — не сразу отозвался Дронов.

— Ну, это — любовь?

— Любовь, — повторил Дронов задумчиво и опустив голову. — Так и вышло: сначала — целовались, а потом все прочее. Это, брат, пустяковина…

Он снова заговорил о гимназии. Клим послушал его и ушел, не узнав того, что хотелось знать.

Он чувствовал себя как бы приклеенным, привязанным к мыслям о Лидии и Макарове, о Варавке и матери, о Дронове и швейке, но ему казалось, что эти назойливые мысли живут не в нем, а вне его, что они возбуждаются только любопытством, а не чем-нибудь иным. Было нечто непримиримо обидное в том, что существуют отношения и настроения, непонятные ему. Размышления о женщинах стали самым существенным для него, в них сосредоточилось все действительное и самое важное, все же остальное отступило куда-то в сторону и приобрело странный характер полусна, полуяви.

Полусном казалось и все, чем шумно жили во флигеле. Там явился длинноволосый человек с тонким, бледным и неподвижным лицом, он был никак, ничем не похож на мужика, но одет по-мужицки в серый, домотканного сукна кафтан, в тяжелые, валяные сапоги по колено, в посконную синюю рубаху и такие же штаны. Размахивая тонкими руками, прижимая их ко впалой груди, он держал голову так странно, точно его, когда-то, сильно ударили в подбородок, с той поры он, невольно взмахнув головой, уже не может опустить ее и навсегда принужден смотреть вверх. Он убеждал людей отказаться от порочной городской жизни, идти в деревню и пахать землю.

— Старо! — говорил человек, похожий на кормилицу, отмахиваясь; писатель вторил ему:

— Пробовали. Ожглись.

Человек, переодетый мужиком, говорил тоном священника с амвона:

— Слепцы! Вы шли туда корыстно, с проповедью зла и насилия, я зову вас на дело добра и любви. Я говорю священными словами учителя моего: опроститесь, будьте детями земли, отбросьте всю мишурную ложь, придуманную вами, ослепляющую вас.

Из угла, от печки, раздавался голос Томилина:

— Вы хотите, чтоб ювелиры ковали лемеха плугов? Но — не будет ли такое опрощение — одичанием?

Клим слышал, что голос учителя стал громче, слова его звучали увереннее и резче. Он все больше обрастал волосами и, видимо, все более беднел, пиджак его был протерт на локтях почти до дыр, на брюках, сзади, был вшит темносерый треугольник, нос заострился, лицо стало голодным. Криво улыбаясь, он часто

встряхивал головой, рыжие волосы, осыпая щеки, путались с волосами бороды, обеими руками он терпеливо отбрасывал их за уши. Он спокойнее всех спорил с переодетым в мужика человеком и с другим, лысым, краснолицым, который утверждал, что настоящее, спасительное для народа дело — сыроварение и пчеловодство.

Клима подавляло обилие противоречий и упорство, с которым каждый из людей защищал свою истину. Человек, одетый мужиком, строго и апостольски уверенно говорил о Толстом и двух ликах Христа — церковном и народном, о Европе, которая погибает от избытка чувственности и нищеты духа, о заблуждениях науки, — науку он особенно презирал.

— В ней сокрыты все основы наших заблуждений, в ней — яд, разрушающий душу.

С дивана, из разорванной обивки которого бородато высовывалось мочало, подскакивал маленький, вихрастый человек в пенснэ и басом, заглушая все голоса, кричал:

— Варварство!

— Именно, — подтверждал писатель. Томилин с любопытством осведомлялся:

— Неужели вы считаете возможным и спасительным для нас возврат к мировоззрению халдейских пастухов?

— Кустарь! Швейцария, — вот! — сиповатым голосом убеждал лысый человек жену писателя. — Скотоводство. Сыр, масло, кожа, мед, лес и — долой фабрики!

Хаос криков и речей всегда заглушался мощным басом человека в пенснэ; он был тоже писатель, составлял популярно-научные брошюры. Он был очень маленький, поэтому огромная голова его в вихрах темных волос казалась чужой на узких плечах, лицо, стиснутое волосами, едва намеченным, и вообще в нем, во всей его фигуре, было что-то незаконченное. Но его густейший бас обладал невероятной силой и, как вода угли, легко заливал все крики. Выскакивая на середину комнаты, раскачиваясь, точно пьяный, он описывал в воздухе руками круги и эллипсы и говорил об обезьяне, доисторическом человеке, о механизме Вселенной так уверенно, как будто он сам создал Вселенную, посеял в ней Млечный Путь, разместил созвездия, зажег солнца и привел в движение планеты. Его все слушали внимательно, а Дронов — жадно приоткрыв рот и не мигая — смотрел в неясное лицо оратора с таким напряжением, как будто ждал, что вот сейчас будет сказано нечто, навсегда решающее все вопросы.

Лицо человека, одетого мужиком, оставалось неподвижным, даже еще более каменело, а выслушав речь, он тотчас же начинал с высокой ноты и с амвона:

— Хотя астрономы издревле славятся домыслами своими о тайнах небес, но они внушают только ужас, не говоря о том, что ими отрицается бытие духа, сотворившего все сущее…

— Не всеми, — вставил Томилин. — Возьмите Фламмариона.

Но, не слушая или не слыша возражений, толстовец искусно — как находил Клим — изображал жуткую картину: безграничная, безмолвная тьма, в ней, золотыми червячками, дрожат, извиваются Млечные Пути, возникают и исчезают миры.

— И среди бесчисленного скопления звезд, вкрапленных в непобедимую тьму, затеряна ничтожная земля наша, обитель печалей и страданий; нуте-ко, представьте ее и ужас одиночества вашего на ней, ужас вашего ничтожества в черной пустоте, среди яростно пылающих солнц, обреченных на угасание.

Клим выслушивал эти ужасы довольно спокойно, лишь изредка неприятный холодок пробегал по коже его спины. *То, как* говорили, интересовало его больше, чем то, о чем говорили. Он видел, что большеголовый, недоконченный писатель

говорит о механизме Вселенной с восторгом, но и человек, нарядившийся мужиком, изображает ужас одиночества земли во Вселенной тоже с наслаждением.

На Дронова эти речи действовали очень сильно. Он поеживался, сокращался и, оглядываясь, шепотком спрашивал Клима или Макарова:

— Который, по-твоему, прав, а?

Судорожно чесал ногтем левую бровь и ворчал:

— Н-да, чорт... Надо учиться. На гроши гимназии не проживешь.

Макарова тоже не удовлетворяли жаркие споры у Катина.

— И знают много, и сказать умеют, и все это значительно, но хотя и светит, а — не греет. И — не главное... Дронов быстро спросил:

— А что же главное?

— Глупо спрашиваешь, Иван! — ответил Макаров с досадой. — Если б я это знал — я был бы мудрейшим из мудрецов...

Поздно ночью, после длительного боя на словах, они, втроем, пошли провожать Томилина и Дронов поставил пред ним свой вопрос:

— Кто прав?

Шагая медленно, посматривая фарфоровыми глазами на звезды, Томилин нехотя заговорил:

— Этому вопросу нет места, Иван. Это — неизбежное столкновение двух привычек мыслить о мире. Привычки эти издревле с нами и совершенно непримиримы, они всегда будут разделять людей на идеалистов и материалистов. Кто прав? Материализм — проще, практичнее и оптимистичней, идеализм — красив, но бесплоден. Он — аристократичен, требовательней к человеку. Во всех системах мышления о мире скрыты, более или менее искусно, элементы пессимизма; в идеализме их больше, чем в системе, противостоящей ему.

Помолчав, он еще замедлил ленивый свой шаг, затем — сказал:

— Я — не материалист. Но и не идеалист. А все эти люди...

Он махнул рукою за плечо свое:

— Они — малограмотны. Поэтому они — верующие. Они грубо, неумело повторяют древние мысли. Конечно, всякая мысль имеет безусловную ценность. При серьезном отношении к ней она, даже и неверно формулированная, может явиться возбудителем бесконечного ряда других, как звезда, она разбрасывает лучи свои во все стороны. Но абсолютная, чистая ценность мысли немедленно исчезает, когда начинается процесс практической эксплуатации ее. Шляпы, зонтики, ночные колпаки, очки и клизмы — вот что изготовляется из чистой мысли силою нашего тяготения к покою, порядку и равновесию.

Приостановись, он указал рукою за плечо свое.

— Хотя Байрон писал стихи, но у него нередко встречаешь глубокие мысли. Одна из них: «Думающий менее реален, чем его мысль». Они, там, не знают этого.

Кончил он ворчливо, сердито:

— Человек — это мыслящий орган природы, другого значения он не имеет. Посредством человека материя стремится познать саму себя. В этом — всё.

Когда довели Томилина до его квартиры и простились с ним, Дронов сказал:

— Важничать начал, точно его в архиереи посвятили. А на штанах — заплата.

Все эти мысли, слова, впечатления доходили до сознания Клима сквозь другое. Память, точно стремясь освободиться от излишнего груза однообразных картин, назойливо воскрешала их. Как будто память с таинственной силой разрасталась кустом, цветущим цветами, смотреть на которые немного стыдно, очень любопытно и приятно. Его удивляло, как много он видел такого, что считается неприличным, бесстыдным. Стоило на минуту закрыть глаза, и он видел стройные ноги Алины Телепневой, неловко упавшей на катке, видел голые, похожие на дыни, груди сонной горничной, мать на коленях Варавки, писателя Катина, который целовал толстенькие колени полуодетой жены его, сидевшей на столе.

Немая и мягонькая, точно кошка, жена писателя вечерами непрерывно разливала чай. Каждый год она была беременна, и раньше это отталкивало Клима от нее, возбуждая в нем чувство брезгливости; он был согласен с Лидией, которая резко сказала, что в беременных женщинах есть что-то грязное. Но теперь, после того как он увидел ее голые колени и лицо, пьяное от радости, эта женщина, однообразно ласково улыбавшаяся всем, будила любопытство, в котором уже не было места брезгливости.

Даже носатая ее сестра, озабоченно ухаживавшая за гостями, точно провинившаяся горничная, которой необходимо угодить хозяевам, — даже эта девушка, незаметная, как Таня Куликова, привлекала внимание Клима своим бюстом, туго натянувшим ее ситцевую, пеструю кофточку. Клим слышал, как писатель Катин кричал на нее:

— Я не виноват в том, что природа создает девиц, которые ничего не умеют делать, даже грибы мариновать…

Тогда этот петушиный крик показался Климу смешным, а теперь носатая девица с угрями на лице казалась ему несправедливо обиженной и симпатичной не только потому, что тихие, незаметные люди вообще были приятны: они не спрашивали ни о чем, ничего не требовали.

Как-то вечером Клим понес писателю новую книгу журнала. Катин встретил его, размахивая измятым письмом, радостно крича:

— Знаете ли вы, юноша, что через две-три недели сюда приедет ваш дядя из ссылки? Наконец, понемногу слетаются старые орлы!

В стене с треском лопнули обои, в щель приоткрытой двери высунулось испуганное лицо свояченицы писателя.

— Началось, — сказала она и тотчас исчезла.

— Жена родит, подождите, она у меня скоро! — торопливо пробормотал Катин и исчез в узкой, оклеенной обоями двери, схватив со стола дешевенькую бронзовую лампу. Клим остался в компании полудюжины венских стульев, у стола, заваленного книгами и газетами; другой стол занимал средину комнаты, на нем возвышался угасший самовар, стояла немытая посуда, лежало разобранное ружье-двухстволка. У стены прислонился черный диван с высунувшимися клочьями мочала, а над ним портреты Чернышевского, Некрасова, в золотом багете сидел тучный Герцен, положив одну ногу на колено свое, рядом с ним — суровое, бородатое лицо Салтыкова. От всего этого веяло на Клима унылой бедностью, не той, которая мешала писателю во-время платить за квартиру, а какой-то другой, неизлечимой, пугающей, но в то же время и трогательной.

Минут через десять писатель выскочил из стены, сел на угол стола и похвастался:

— Замечательно легко родит, а дети — не живут! И, наклонясь, упираясь рукою в стол, он вполголоса, торопливо заговорил:

— Яков Самгин один из тех матросов корабля русской истории, которые наполняют паруса его своей энергией, дабы ускорить ход корабля к берегам свободы и правды.

Последовательно он назвал Якова Самгина рулевым, кузнецом, апостолом и, возбужденно повторив: «Слетаются, слетаются орлы!» — вскочил и скрылся за дверью, откуда доносились все более громкие стоны. Клим поспешно ушел, опасаясь, что писатель спросит его о напечатанном в журнале рассказе своем; рассказ был не лучше других сочинений Катина, в нем изображались детски простодушные мужики, они, как всегда, ожидали пришествия божьей правды, это обещал им сельский учитель, честно мыслящий человек, которого враждебно пре-. следовали двое: безжалостный мироед и хитрый поп.

Дома Клим сообщил матери о том, что возвращается дядя, она молча и вопросительно взглянула на Варавку, а тот, наклонив голову над тарелкой, равнодушно сказал:

— Да, да, эти люди, которым история приказала подать в отставку, возвращаются понемногу «из дальних странствий» У меня в конторе служат трое таких. Должен признать, что они хорошие работники…

— Но? — спросила мать, Варавка ответил:

— Это — после.

Клим понял, что Варавка не хочет говорить при нем, нашел это неделикатным, вопросительно взглянул на мать, но не встретил ее глаз, она смотрела, как Варавка, усталый, встрепанный, сердито поглощает ветчину. Пришел Ржига, за ним — адвокат, почти до полуночи они и мать прекрасно играли, музыка опьянила Клима умилением, еще не испытанным, настроила его так лирически, что когда, прощаясь с матерью, он поцеловал руку ее, то, повинуясь силе какого-то нового чувства к ней, прошептал:

— Родная моя, милая.

Мать крепко обняла его, молча погладила щеку, поцеловала в лоб горячими губами.

Когда он лег в постель, им тотчас овладело то непобедимое, чем он жил. Вспомнилась его недавняя беседа с Макаровым; когда Клим сообщил ему о романе Дронова с белошвейкой, Макаров пробормотал:

— Вот как? Скотина…

Он произнес эти три слова без досады и зависти, не брезгуя, не удивляясь и так, что последнее слово прозвучало лишним. Потом усмехнулся и рассказал:

— Квартирохозяин мой, почтальон, учится играть на скрипке, потому что любит свою мамашу и не хочет огорчать ее женитьбой. «Жена все-таки чужой человек, — говорит он. — Разумеется — я женюсь, но уже после того, как мамаша скончается». Каждую субботу он посещает публичный дом и затем баню. Играет уже пятый год, но только одни упражнения и уверен, что, не переиграв всех упражнений, пьесы играть «вредно для слуха и руки». Макаров замолчал, нахмурился.

— Это к чему? — спросил Клим.

— Не знаю, — ответил Макаров, внимательно рассматривая дым папиросы. — Есть тут какая-то связь с Ванькой Дроновым. Хотя — врет Ванька, наверное, нет у него никакого романа. А вот похабными фотографиями он торговал, это верно.

Тряхнув головою, он продолжал негромко и озлобленно:

— Ослиное настроение. Все — не важно, кроме одного. Чувствуешь себя не

человеком, а только одним из органов человека. Обидно и противно. Как будто некий инспектор внушает: ты петух и ступай к назначенным тебе курам. А я — хочу и не хочу курицу. Не хочу упражнения играть. Ты, умник, чувствуешь что-нибудь эдакое?

— Нет, — решительно солгал Клим. Помолчали. Макаров сидел согнувшись, положив ногу на ногу. Клим пристально посмотрел на него и спросил:

— Как же ты относишься к женщине?

— Со страхом божиим, — угрюмо сказал Макаров, встал, схватил фуражку.

— Пойду куда-нибудь.

Вспомнив эту сцену, Клим с раздражением задумался о Томилине. Этот человек должен знать и должен был сказать что-то успокоительное, разрешающее, что устранило бы стыд и страх. Несколько раз Клим — осторожно, а Макаров — напористо и резко пытались затеять с учителем беседу о женщине, но Томилин был так странно глух к этой теме, что вызвал у Макарова сердитое замечание:

— Притворяется, рыжий чорт!

— Должно быть, ожегся, — сказал Дронов, усмехаясь, и эта усмешка, заставив Клима вспомнить сцену в саду, вынудила у него подозрение:

«Неужели — видел, знает?»

Только однажды, уступив упрямому натиску Макарова, учитель сказал на ходу и не глядя на юношей:

— О женщине нужно говорить стихами; без приправы эта пища неприемлема. Я — не люблю стихов. Возведя глаза в потолок, он посоветовал:

— Читайте «Метафизику любви» Шопенгауэра, в ней найдете все, что вам нужно знать. Неглупой иллюстрацией к ней служит «Крейцерова соната» Толстого.

Они, трое, всё реже посещали Томилина. Его обыкновенно заставали за книгой, читал он — опираясь локтями о стол, зажав ладонями уши. Иногда — лежал на койке, согнув ноги, держа книгу на коленях, в зубах его торчал карандаш. На стук в дверь он никогда не отвечал, хотя бы стучали три, четыре раза.

— Я — не женщина, — объяснил он, потом добавил: — Не нагой.

И, подумав, добавил еще:

— Не женат.

Шагая по комнате, он поучал:

— В мире идей необходимо различать тех субъектов, которые ищут, и тех, которые прячутся. Для первых необходимо найти верный путь к истине, куда бы он ни вел, хоть в пропасть, к уничтожению искателя. Вторые желают только скрыть себя, свой страх пред жизнью, свое непонимание ее тайн, спрятаться в удобной идее. Толстовец — комический тип, но он весьма законченно дает представление о людях, которые прячутся.

Клим видел, что Макаров, согнувшись, следит за ногами учителя так, как будто ждет, когда Томилин споткнется. Ждет нетерпеливо. Требовательно и громко ставит вопросы, точно желая разбудить уснувшего, но ответов не получает.

Слушая спокойный, задумчивый голос наставника, разглядывая его, Клим догадывался: какова та женщина, которая могла бы полюбить Томилина? Вероятно, некрасивая, незначительная, как Таня Куликова или сестра жены Катина, потерявшая надежды на любовь. Но эти размышления не мешали Климу

ловить медные парадоксы и афоризмы.

— Путь к истинной вере лежит через пустыню неверия, — слышал он. — Вера, как удобная привычка, несравнимо вреднее сомнения. Допустимо, что вера, в наиболее ярких ее выражениях, чувство ненормальное, может быть, даже психическая болезнь: мы видим верующих истериками, фанатиками, как Савонарола или протопоп Аввакум, в лучшем случае — это слабоумные, как, например, Франциск Ассизский.

Изредка Дронов ставил вопросы социального характера, но учитель или не отвечал ему, или говорил нехотя и непонятно. Из всех его речей Клим запомнил лишь одно суждение:

— Ошибочно думать, что энергия людей, соединенных в организации, в партии, — увеличивается в своей силе. Наоборот: возлагая свои желания, надежды, ответственность на вождей, люди тем самым понижают и температуру и рост своей личной энергии. Идеальное воплощение энергии — Робинзон Крузо.

Раньше всех от этих откровений уставал Макаров.

— Ну, нам пора, — говорил он грубовато. Томилин пожимал руки теплой и влажной рукой, вяло улыбался и никогда не приглашал их к себе.

Макаров вел себя с Томилиным все менее почтительно; а однажды, спускаясь по лестнице от него, сказал как будто нарочно громко:

— Рыжий напоминает мне тарантула. Я не видал этого насекомого, но в старинной «Естественной истории» Горизонтова сказано: «Тарантулы тем полезны, что, будучи настояны в масле, служат лучшим лекарством от укусов, причиняемых ими же».

Его сердитая шутка заставила Дронова смеяться неприятно икающим смехом.

Вспоминая все это, Клим вдруг услышал в гостиной непонятный, торопливый шорох и тихий гул струн, как будто виолончель Ржиги, отдохнув, вспомнила свое пение вечером и теперь пыталась повторить его для самой себя. Эта мысль, необычная для Клима, мелькнув, уступила место испугу пред непонятным. Он прислушался: было ясно, что звуки родились в гостиной, а не наверху, где иногда, даже поздно ночью, Лидия тревожила струны рояля.

Клим зажег свечу, взял в правую руку гимнастическую гирю и пошел в гостиную, чувствуя, что ноги его дрожат. Виолончель звучала громче, шорох был слышней. Он тотчас догадался, что в инструменте — мышь, осторожно положил его верхней декой на пол и увидал, как из-под нее выкатился мышонок, маленький, как черный таракан.

Во тьме кабинета матери вертикально и туго натянулась светлая полоса огня, свет из спальни.

«Не спит. Расскажу ей о мышонке».

Но, подойдя к двери спальной, он отшатнулся: огонь ночной лампы освещал лицо матери и голую руку, рука обнимала волосатую шею Варавки, его растрепанная голова прижималась к плечу матери. Мать лежала вверх лицом, приоткрыв рот, и, должно быть, крепко спала;

Варавка влажно всхрапывал и почему-то казался меньше, чем он был днем. Во всем этом было нечто стыдное, смущающее, но и трогательное.

Возвратясь к себе, Клим лег в постель, глубоко взволнованный. Пред ним, одна за другою, поплыли во тьме фигуры толстенькой Любы Сомовой, красавицы Алины с ее капризно вздернутой губой, смелым взглядом синеватых глаз, ленивыми движениями и густым, властным голосом. Лучше всех знакомая фигура Лидии

затемняла подруг ее; думая о ней, Клим терялся в чувстве очень сложном и непонятном ему. Он понимал, что Лидия некрасива, даже часто неприятна, но он чувствовал к ней непобедимое влечение. Его ночные думы о девицах принимали осязаемый характер, возбуждая в теле тревожное, почти болезненное напряжение, оно заставило Клима вспомнить устрашающую книгу профессора Тарновского о пагубном влиянии онанизма, — книгу, которую мать давно уже предусмотрительно и незаметно подсунула ему. Вскочив с постели, он зажег лампу, взял желтенькую книжку Меньшикова «О любви». Книжка оказалась скучной и не о той любви, которая волновала Самгина. За окном ветер встряхивал деревья, шелест их вызывал представление о полете бесчисленной стаи птиц, о шорохе юбок во время танцев на гимназических вечерах, которые устраивал Ржига.

Заснул Клим на рассвете, проснулся поздно, утомленным и нездоровым. Воскресенье, уже кончается поздняя обедня, звонят колокола, за окном хлещет апрельский дождь, однообразно звучит железо водосточной трубы. Клим обиженно подумал:

«Неужели я должен испытать то же, что испытывает Макаров?»

О Макарове уже нельзя было думать, не думая о Лидии. При Лидии Макаров становится возбужденным, говорит громче, более дерзко и насмешливо, чем всегда. Но резкое лицо его становится мягче, глаза играют веселее.

— Верно, что Макарова хотят исключить из гимназии за пьянство? — равнодушно спрашивала Лидия, и Клим понимал, что равнодушие ее фальшиво.

Дверь осторожно открылась, вошла новая горничная, толстая, глупая, со вздернутым носом и бесцветными глазами.

— Мамаша спрашивает: кофей пить будете? Потому что скоро завтракать.

Белый передник туго обтягивал ее грудь. Клим подумал, что груди у нее, должно быть, такие же твердые и жесткие, как икры ног.

— Не буду, — сердито сказал он. Он внезапно нашел, что роман Лидии с Макаровым глупее всех романов гимназистов с гимназистками, и спросил себя:

«Может быть, я вовсе и не влюблен, а незаметно для себя поддался атмосфере влюбленности и выдумал все, что чувствую?»

Но это соображение, не успокоив его, только почему-то напомнило полуумную болтовню хмельного Макарова; покачиваясь на стуле, пытаясь причесать пальцами непослушные, двухцветные вихры, он говорил тяжелым, пьяным языком:

— Физиология учит, что только девять из наших органов находятся в состоянии прогрессивного развития и что у нас есть органы отмирающие, рудиментарные, — понимаешь? Может быть, физиология — врет, а может быть, у нас есть и отмирающие чувства. Представь, что влечение к женщине — чувство агонизирующее, оттого оно так болезненно, настойчиво, а? Представь, что человек хочет жить по теории Томилина, а? Мозг, вместилище исследующего, творческого духа, чорт бы его взял, уже начинает понимать любовь как предрассудок, а? И, может быть онанизм, мужеложство — по сути их есть стремление к свободе от женщины? Ну? Ты как думаешь?

Он спрашивал тогда, когда Клима еще не тревожили эти вопросы, и пьяные слова товарища возбуждали у него лишь чувство отвращения. Но теперь слова «свобода от женщины» показались ему неглупыми. И почти приятно было напомнить себе, что Макаров пьет все больше хотя становится как будто спокойней, а иногда так углубленно задумчив как будто его внезапно поражала слепота и глухота. Клим подметил, что Макаров, закурив папиросу не гасит спичку, а заботливо дает ей догореть в пепельнице до конца или дожидается, когда она догори г в его пальцах, осторожно держа ее за обгоревший конец Многократно обожженная кожа на двух пальцах его потемнела и затвердела, точно у слесаря.

Клим не спрашивал, зачем он делает это, он вообще предпочитал наблюдать, а не выспрашивать, помня неудачные попытки Дронова и меткие слова Варавки:

«Дураки ставят вопросы чаще, чем пытливые люди».

Теперь Макаров носился с книгой какого-то анонимного автора, озаглавленной «Триумфы женщин» Он так пламенно и красноречиво расхваливал ее, что Клим взял у него эту толстенькую книжку, внимательно прочитал но не нашел в ней ничего достойного восхищения Автор скучно рассказывал о любви Овидия и Коринны, Петрарки и Лауры, Данте и Беатриче, Бокаччио, Фиаметты; книга была наполнена прозаическими переводами элегий и сонетов. Клим долго и подозрительно размышлял, что же во всем этом увлекало товарища? И, не открыв ничего, он спросил Макарова.

— Ты не понял? — удивился тот и, открыв книгу прочитал одну из первых фраз предисловия автора:

— «Победа над идеализмом была в то же время победой над женщиной». Вот — правда. Высота культуры определяется отношением к женщине, — понимаешь?

Клим утвердительно кивнул головой, а потом, взглянув в резкое лицо Макарова, в его красивые, дерзкие глаза, тотчас сообразил, что «Триумфы женщин» нужны Макарову ради цинических вольностей Овидия и Бокаччио, а не ради Данта и Петрарки. Несомненно, что эта книжка нужна лишь для того, чтоб настроить Лидию на определенный лад.

«Как все просто, в сущности», — подумал он, глядя исподлобья на Макарова, который жарко говорил о трубадурах, турнирах, дуэлях.

Когда Клим вышел в столовую, он увидал мать, она безуспешно пыталась открыть окно, а среди комнаты стоял бедно одетый человек, в грязных и длинных, до колен, сапогах, стоял он закинув голову, открыв рот, и сыпал на язык, высунутый, выгнутый лодочкой, белый порошок из бумажки.

— Это — дядя Яков, — торопливо сказала мать. — Пожалуйста, открой окно!

Клим подошел к дяде, поклонился, протянул руку и опустил ее: Яков Самгин, держа в одной руке стакан с водой, пальцами другой скатывал из бумажки шарик и, облизывая губы, смотрел в лицо племянника неестественно блестящим взглядом серых глаз с опухшими веками. Глотнув воды, он поставил стакан на стол, бросил бумажный шарик на пол и, пожав руку племянника темной, костлявой рукой, спросил глухо:

— Это — второй? Клим? А Дмитрий? Ага. Студент? Естественник, конечно?

— Говори громче, я глохну от хины, — предупредил Яков Самгин Клима, сел к столу, отодвинул локтем прибор, начертил пальцем на скатерти круг.

— Значит — явочной квартиры — нет? И кружков — нет? Странно. Что же теперь делают?

Мать пожала плечами, свела брови в одну линию. Не дождавшись ее ответа, Самгин сказал Климу:

— Удивляешься? Не видал таких? Я, брат, прожил двадцать лет в Ташкенте и в Семипалатинской области, среди людей, которых, пожалуй, можно назвать дикарями. Да. Меня, в твои года, называли «i'homme qui rit».

Клим заметил, что дядя произнес: «Льём».

— Канавы копал. Арыки. Там, брат, лихорадка. Осмотрев столовую, дядя крепко потер щеку.

— Гм, разбогател Иван. Как это он? Торгует?

И, еще раз обведя комнату щупающим взглядом, он обесцветил ее в глазах Клима:

— Точно буфет на вокзале.

Он внес в столовую запах прелой кожи и еще какой-то другой, столь же тяжелый. На костях его плеч висел широкий пиджак железного цвета, расстегнутый на груди, он показывал сероватую рубаху грубого холста; на сморщенной шее, под острым кадыком, красный, шелковый платок свернулся в жгут, платок был старенький и посекся на складках. Землистого цвета лицо, седые редкие иглы подстриженных усов, голый, закоптевший череп с остатками кудрявых волос на затылке, за темными, кожаными ушами, — все это делало его похожим на старого солдата и на расстриженного монаха. Но зубы его блестели бело и молодо, и взгляд серых глаз был ясен. Этот несколько рассеянный, но вдумчиво вспоминающий взгляд из-под густых бровей и глубоких морщин лба показался Климу взглядом человека полубезумного. Вообще дядя был как-то пугающе случайным и чужим, в столовой мебель потеряла при нем свой солидный вид, поблекли картины, многое, отяжелев, сделалось лишним и стесняющим. Вопросы дяди звучали, как вопросы экзаминатора, мать была взволнована, отвечала кратко, сухо и как бы виновато.

— Ну, что же, какие же у вас в гимназии кружки? — слышал Клим и, будучи плохо осведомленным, неуверенно, однако почтительно, как Ржиге, отвечал:

— Толстовцы. Затем — экономисты… немного.

— Расскажи! — приказал дядя. — Толстовцы — секта? Я — слышал: устраивают колонии в деревнях. Он качнул головою.

— Это — было. Мы это делали. Я ведь сектантов знаю, был пропагандистом среди молокан в Саратовской губернии. Обо мне, говорят, Степняк писал — Кравчинский — знаешь? Гусев — это я и есть.

Хорошо, что он, спрашивая, не ждал ответов. Но все же о толстовцах он стал допытываться настойчиво:

— Ну, что ж они делают? Ну — колонии, а — потом?

Клим искоса взглянул на мать, сидевшую у окна; хотелось спросить: почему не подают завтрак? Но мать смотрела в окно. Тогда, опасаясь сконфузиться, он сообщил дяде, что во флигеле живет писатель, который может рассказать о толстовцах и обо всем лучше, чем он, он же так занят науками, что…

— Нам науки не мешали, — укоризненно заметил дядя, вздернув седую губу, и начал расспрашивать о писателе.

— Катин? Не знаю.

Ему очень понравилось, что писатель живет под надзором полиции, он улыбнулся:

— Ага, значит — из честных. В мое время честно писали Омулевский, Нефедов, Бажин, Станюкович, Засодимский, Левитов был, это болтун. Слепцов — со всячинкой… Успенский тоже. Их было двое, Успенских, один — побойчее, другой — так себе. С усмешечкой.

Он задумался и вдруг спросил мать:

— Забыл я: Иван писал мне, что он с тобой разошелся. С кем же ты живешь, Вера, а? С богатым, видно? Адвокат, что ли? Ага, инженер. Либерал? Гм… А Иван — в Германии, говоришь? Почему же не в Швейцарии? Лечится? Только лечится? Здоровый был. Но — в принципах не крепок. Это все знали.

Говорил он громко, точно глухой, его сиповатый голос звучал властно. Краткие ответы матери тоже становились все громче, казалось, что еще несколько минут —

и она начнет кричать.

— Тебе сколько — тридцать пять, семь? Моложава, — говорил Яков Самгин и, вдруг замолчав, вынул из кармана пиджака порошок, принял его, запил водою и, твердо поставив стакан на стол, приказал Климу:

— Ну-ко, проведи меня к писателю. В мое время писатели кое-что значили…

По двору дядя Яков шел медленно, оглядываясь, как человек заплутавшийся, вспоминающий что-то давно забытое.

— Дом — Ивана, собственный?

— Дедушки. Но его купил Варавка…

— Кто?

Клим не знал, как ответить, тогда дядя, взглянув в лицо ему, ответил сам:

— Понимаю — материн сожитель. Что же ты сконфузился? Это — дело обычное. Женщины любят это — пышность и все такое. Какой ты, брат, щеголь, — внезапно закончил он.

Катин встретил Самгина почтительно, как отца, и восторженно, точно юноша. Улыбаясь, кланяясь, он тряс обеими руками темную руку и торопливо говорил:

— Я вас из окна увидал и сразу почувствовал: это — он! Мне Сараханов писал из Саратова…

Дядя Яков, усмехаясь, осмотрел бедное жилище, и Клим тотчас заметил, что темное, сморщенное лицо его стало как будто светлее, моложе.

— Ну, ну, — говорил он, усаживаясь на ветхий диван. — Вот как. Да. В Саратове кое-кто есть. В Самаре какие-то… не понимаю. Симбирск — как нежилая изба.

Он перечислил еще несколько приволжских городов и наконец спросил:

— Ну, а у вас как? Говорите громче и не быстро, я плохо слышу, хина оглушает, — предупредил он и, словно не надеясь, что его поймут, поднял руки и потрепал пальцами мочки своих ушей; Клим подумал, что эти опаленные солнцем темные уши должны трещать от прикосновения к ним.

Писатель начал рассказывать о жизни интеллигенции тоном человека, который опасается, что его могут в чем-то обвинить. Он смущенно улыбался, разводил руками, называл полузнакомые Климу фамилии друзей своих и сокрушенно добавлял:

— Тоже служи г в земстве, статистик.

— В земстве — это хорошо! — одобрил дядя Яков, но прибавил: — Но этого мало.

Потом, выгнув кадык, сказал вздохнув:

— Одичали вы.

— Это теперь называется поумнением, — виновато объяснил Катин. — Есть даже рассказ на тему измены прошлому, так и называется: «Поумнел». Боборыкин написал.

— Боборыкин — болтун! — решительно заявил дядя, подняв руку. — Вы ему не подражайте, вы — молодой. Нельзя подражать Боборыкину.

Тихо открылась дверь, робко вошла жена писателя, он вскочил, схватил ее за руку:

— Вот — жена, Екатерина, Катя.

Яков Самгин дружелюбно осмотрел женщину, улыбнулся:

— Поповна, а?

— Да!

— Облик! Не ошибешься. И дети есть?

— Всё умирают.

— Гм… А что теперь читает молодежь? Катин заговорил тише, менее оживленно. Климу показалось, что, несмотря на радость, с которой писатель встретил дядю, он боится его, как ученик наставника. А сиповатый голос дяди Якова стал сильнее, в словах его явилось обилие рокочущих звуков.

Климу хотелось уйти, но он находил, что было бы неловко оставить дядю. Он сидел в углу у печки, наблюдая, как жена писателя ходит вокруг стола, расставляя бесшумно чайную посуду и посматривая на гостя испуганными глазами. Она даже вздрогнула, когда дядя Яков сказал:

— Революцию не делают с антрактами. Клим обрадовался, когда пришла горничная и позвала его завтракать. Дядя Яков отмахнулся от приглашения:

— Я питаюсь только вареным рисом, чаем, хлебом. И — кто же это завтракает во втором часу? — спросил он, взглянув на стенные часы.

Дома в столовой ходил Варавка, нахмурясь, расчесывая бороду черной гребенкой; он встретил Клима вопросом:

— А дядя?

— Он питается только вареным рисом. Молча сели за стол. Мать, вздохнув, спросила:

— Как он тебе нравится? Угадав настроение, Клим ответил;

— Странный…

Мать, откачнувшись на спинку стула, прищурила глаза, говоря:

— Точно привидение.

— Голодающий индус, — поддержал ее сын.

— Ему не более пятидесяти, — вслух размышляла мать. — Он был веселый, танцор, балагур. И вдруг ушел в народ, к сектантам. Кажется, у него был неудачный роман.

Варавка вытер бороду, щедро налил всем вина в стаканы.

— У них у всех неудачный роман с историей. История — это Мессалина, Клим, она любит связи с молодыми людьми, но — краткие. Не успеет молодое поколение вволю поиграть, помечтать с нею, как уже на его место встают новые любовники.

Он крепко вытер бороду салфеткой и напористо начал поучать, что историю делают не Герцены, не Чернышевские, а Стефенсоны и Аркрайты и что в стране, где народ верит в домовых, колдунов, а землю ковыряет деревянной сохой, стишками ничего не сделаешь.

— Прежде всего необходим хороший плуг, а затем уже — парламент. Дерзкие словечки дешево стоят. Надо говорить словами, которые, укрощая инстинкты, будили бы разум, — покрикивал он, все более почему-то раздражаясь и багровея. Мать озабоченно молчала, а Клим невольно сравнил ее молчание с испугом жены

писателя. Во внезапном раздражении Варавки тоже было что-то общее с возбужденным тоном Катина.

— Я думаю поместить его в мезонине, — тихо сказала мать.

— А — Дронов? — спросил Варавка.

— Да… Не знаю как… Варавка пожал плечами.

— Как хочешь.

Но дядя Яков отказался жить в мезонине.

— Мне вредно лазить по лестницам, у меня ноги болят, — сказал он и поселился у писателя в маленькой комнатке, где жила сестра жены его. Сестру устроили в чулане. Мать нашла, что со стороны дяди Якова бестактно жить не у нее, Варавка согласился:

— Демонстрация…

Дядя Яков действительно вел себя не совсем обычно. Он не заходил в дом, здоровался с Климом рассеянно и как с незнакомым; он шагал по двору, как по улице, и, высоко подняв голову, выпятив кадык, украшенный седой щетиной, смотрел в окна глазами чужого. Выходил он из флигеля почти всегда в полдень, в жаркие часы, возвращался к вечеру, задумчиво склонив голову, сунув руки в карманы толстых брюк цвета верблюжьей шерсти.

— Старый топор, — сказал о нем Варавка. Он не скрывал, что недоволен присутствием Якова Самгина во флигеле. Ежедневно он грубовато говорил о нем что-нибудь насмешливое, это явно угнетало мать и даже действовало на горничную Феню, она смотрела на квартирантов флигеля и гостей их так боязливо и враждебно, как будто люди эти способны были поджечь дом.

Волнуемый томлением о женщине, Клим чувствовал, что он тупеет, линяет, становится одержимым, как Макаров, и до ненависти завидовал Дронову, который хотя и получил волчий билет, но на чем-то успокоился и, поступив служить в контору Варавки, продолжал упрямо готовиться к экзамену зрелости у Томилина.

Не зная, что делать с собою, Клим иногда шел во флигель, к писателю. Там явились какие-то новые люди: носатая фельдшерица Изаксон; маленький старичок, с глазами, спрятанными за темные очки, то и дело потирал пухлые руки, восклицая:

— Подписываюсь!

Являлся мастеровой, судя по рукам — слесарь; он тоже чаще всего говорил одни и те же слова:

— Это нам нужно, как собаке пятая нога. Ставни окон были прикрыты, стекла — занавешены, но жена писателя все-таки изредка подходила к окнам и, приподняв занавеску, смотрела в черный квадрат. А сестра ее выбегала на двор, выглядывала за ворота, на улицу, и Клим слышал, как она, вполголоса, успокоительно сказала сестре:

— Никого, ни души.

Клим почти не вслушивался в речи и споры, уже знакомые ему, они его не задевали, не интересовали. Дядя тоже не говорил ничего нового, он был, пожалуй, менее других речист, мысли его были просты, сводились к одному:

— Надо поднимать народ.

Клим шел во флигель тогда, когда он узнавал или видел, что туда пошла Лидия. Это значило, что там будет и Макаров. Но, наблюдая за девушкой, он убеждался, что ее притягивает еще что-то, кроме Макарова. Сидя где-нибудь в углу, она

куталась, несмотря на дымную духоту, в оранжевый платок и смотрела на людей, крепко сжав губы, строгим взглядом темных глаз. Климу казалось, что в этом взгляде да и вообще во всем поведении Лидии явилось нечто новое, почти смешное, какая-то деланная вдовья серьезность и печаль.

— Что ты скажешь о дяде? — спросил он и очень удивился, услышав странный ответ:

— Похож на Иоанна Предтечу, Как-то весенней ночью, выйдя из флигеля, гуляя с Климом в саду, она сказала:

— Странно, что существуют люди, которые могу г думать не только о себе. Мне кажется, что в этом есть что-то безумное. Или — искусственное.

Клим взглянул на нее почти с досадой; она сказала как раз то, что он чувствовал, но для чего не нашел еще слов.

— И потом, — продолжала девушка, — у них все как-то перевернуто. Мне кажется, что они говорят о любви к народу с ненавистью, а о ненависти к властям — с любовью. По крайней мере я так слышу.

— Но, разумеется, это не так, — сказал Клим, надеясь, что она спросит: «Как же?» — и тогда он сумел бы блеснуть пред нею, он уже знал, чем и как блеснет. Но девушка молчала, задумчиво шагая, крепко кутая грудь платком; Клим не решился сказать ей то, что хотел.

Он находил, что Лидия говорит слишком серьезно и умно для ее возраста, это было неприятно, а она все чаще удивляла его этим.

Через несколько дней он снова почувствовал, что Лидия обокрала его. В столовой после ужина мать, почему-то очень настойчиво, стала расспрашивать Лидию о том, что говорят во флигеле. Сидя у открытого окна в сад, боком к Вере Петровне, девушка отвечала неохотно и не очень вежливо, но вдруг, круто повернувшись на стуле, она заговорила уже несколько раздраженно:

— Отец тоже боится, что меня эти люди чем-то заразят. Нет. Я думаю, что все их речи и споры — только игра в прятки. Люди прячутся от своих страстей, от скуки; может быть — от пороков…

— Браво, дочь моя! — воскликнул Варавка, развалясь в кресле, воткнув в бороду сигару. Лидия продолжала тише и спокойнее:

— Нужно забыть о себе. Этого хотят многие, я думаю. Не такие, конечно, как Яков Акимович. Он… я не знаю, как это сказать… он бросил себя в жертву идее сразу и навсегда…

— Как слепой в яму упал, — вставил Варавка, а Клим, чувствуя, что он побледнел от досады, размышлял: почему это случается так, что все забегают вперед его? Слова Томилина, что люди прячутся друг от друга в идеях, особенно нравились ему, он считал их верными.

— Это говорит Томилин, — с досадой сказал он.

— Я не сказала, что это мной придумано, — отозвалась Лидия.

— Ты слышала это от Макарова, — настаивал Клим.

— И — что же?

— Дядя Яков — жертва истории, — торопливо сказал Клим. — Он — не Иаков, а — Исаак.

— Не понимаю, — сказала Лидия, подняв брови, а Клим, рассердясь на себя за слова, на которые никто не обратил внимания, сердито пробормотал:

— Когда Макаров пьян, он говорит отчаянную чепуху. Он даже любовь называет рудиментарным чувством.

Варавка неистово захохотал, размахивая сигарой. Вера Петровна, снисходительно усмехаясь, заметила:

— Ему не знакомо понятие рудиментарный. Лидия посмотрела на них и тихо пошла к двери. Климу показалось, что она обижена смехом отца, а Варавка охал, отирая слезы:

— Хо-хо… ах, дети, дети!

Климу хотелось пойти за Лидией, поспорить с ней, но Варавка, устав хохотать, обратился к нему и, сытым голосом, заговорил о школе:

— Не тому вас учат, что вы должны знать. Отечествоведение — вот наука, которую следует преподавать с первых же классов, если мы хотим быть нацией. Русь все еще не нация, и боюсь, что ей придется взболтать себя еще раз так, как она была взболтана в начале семнадцатого столетия. Тогда мы будем нацией — вероятно.

Оживляясь, он говорил о том, что сословия относятся друг к другу иронически и враждебно, как племена различных культур, каждое из них убеждено, что все другие не могут понять его, и спокойно мирятся с этим, а все вместе полагают, что население трех смежных губерний по всем навыкам, обычаям, даже по говору — другие люди и хуже, чем они, жители вот этого города.

Климу было скучно. Он не умел думать о России, народе, человечестве, интеллигенции, все это было далеко от него. Из шестидесяти тысяч жителей города он знал шестьдесят или сто единиц и был уверен, что хорошо знает весь город, тихий, пыльный, деревянный на три четверти. Перед городом лениво текла мутноватая река, над ним всходило солнце со стороны монастырского кладбища и не торопясь, свершив свой путь, опускалось за бойнями, на огородах. Не спеша никуда, смиренно жили дворяне, купцы, мещане, ремесленники, пасомые духовенством и чиновниками.

И чем более наблюдал он любителей споров и разногласий, тем более подозрительно относился к ним. У него возникало смутное сомнение в праве и попытках этих людей решать задачи жизни и навязывать эти решения ему. Для этого должны существовать другие люди, более солидные, менее азартные и уже во всяком случае не полубезумные, каков измученный дядя Яков.

Томилин стал для Клима единственным человеком вне сомнений и наиболее человеком. Он осудил себя думать обо всем и ничего не мог или не хотел делать. Он не пытался взнуздать слушателя своими мыслями, а только рассказывал о том, что думает, и, видимо, мало интересовался, слушают ли его. Жил он никому не мешая, не требуя, чтоб его посещали, как этого требуют фамильярные любезности и улыбочки писателя Катина. К нему можно было ходить и не ходить; он не возбуждал ни симпатии, ни антипатии, тогда как люди из флигеля вызывали тревожный интерес вместе со смутной неприязнью к ним. В конце концов нужно было признать, что Макаров был прав, когда сказал об этих людях:

— Тут каждый стремится выдрессировать меня, как собаку для охоты за дичью.

Клим тоже чувствовал это стремление, и, находя его своекорыстным, угрожающим его личной свободе, он выучился вежливо отмалчиваться или полусоглашаться каждый раз, когда подвергался натиску того или другого вероучителя.

Его сексуальные эмоции, разжигаемые счастливыми улыбочками Дронова, принимали всё более тягостный характер; это уже замечено было Варавкой; как-то раз, идя по коридору, он услыхал, что Варавка говорят матери:

— В его возрасте я был влюблен в родную тетку. Не беспокойся, он — не романтик и не глуп. Жаль, что у нас горничная — уродище…

Цинизм упоминания о горничной покоробил Клима, неприятно было и то, что его томление замечено, однако в общем спокойно сказанные слова Варавки что-то разрешали. Дня через два мать и Варавка ушли в театр. Лидия и Люба Сомова — к Алине; Клим лежал в своей комнате, у него болела голова. В доме было тихо, потом, как-то вдруг, в столовой послышался негромкий смех, что-то звучно, как пощечина, шлепнулось, передвинули стул, и два женских голоса негромко запели. Клим бесшумно встал, осторожно приоткрыл дверь: горничная и белошвейка Рита танцевали вальс вокруг стола, на котором сиял, точно медный идол, самовар.

— Раз, два, три, — вполголоса учила Рита. — Не толкай коленками. Раз, два… — Горничная, склонив голову, озабоченно смотрела на свои ноги, а Рита, увидав через ее плечо Клима в двери, оттолкнула ее и, кланяясь ему, поправляя растрепавшиеся волосы обеими руками, сказала бойко и оглушительно:

— Ой, извините…

— Пожалуйста, пожалуйста, — торопливо заговорил Клим, спрятав руки в карманы. — Я даже могу поиграть вам — хотите?

Сконфуженная горничная, схватив самовар, убежала, швейка начала собирать со стола посуду на поднос, сказав:

— Нет, зачем же…

Клим неясно помнил все то, что произошло. Он действовал в состоянии страха и внезапного опьянения; схватив Риту за руку, он тащил ее в свою комнату, умоляя шопотом:

— Пожалуйста… пожалуйста…

Она, тихонько посмеиваясь, вырывала горячую руку свою из его рук и шла рядом с ним, говоря тоже шопотом:

— Что это вы? Разве можно?

А потом, соскочив с постели, наклонилась над ним и, сжимая щеки его ладонями, трижды поцеловала его в губы, задыхаясь и нашептывая:

— Ах вы, вы, вы!

Придя в себя, Клим изумлялся: как все это просто. Он лежал на постели, и его покачивало; казалось, что тело его сделалось более легким и сильным, хотя было насыщено приятной усталостью. Ему показалось, что в горячем шопоте Риты, в трех последних поцелуях ее были и похвала и благодарность,

«А ведь я ничего не обещал», — подумал он и тотчас же спросил себя:

«Чем платит ей Дронов?»

Воспоминание о Дронове несколько охладило его, тут было нечто темненькое, двусмысленное и дважды смешное. Точно оправдываясь пред кем-то, Клим Самгин почти вслух сказал себе:

«Конечно, я больше не позволю себе этого с ней». — Но через минуту решил иначе: «Скажу, чтоб она уже не смела с Дроновым…»

Он хотел зажечь лампу, встать, посмотреть на себя в зеркало, но думы о Дронове связывали, угрожая какими-то неприятностями. Однако Клим без особенных усилий подавил эти думы, напомнив себе о Макарове, его угрюмых тревогах, о ничтожных «Триумфах женщин», «рудиментарном чувстве» и прочей смешной ерунде, которой жил этот человек. Нет сомнения — Макаров все это выдумал для самоукрашения, и, наверное, он втайне развратничает больше других. Уж если он пьет, так должен и развратничать, это ясно.

Эти размышления позволяли Климу думать о Макарове с презрительной усмешкой, он скоро уснул, а проснулся, чувствуя себя другим человеком, как будто вырос за ночь и выросло в нем ощущение своей значительности, уважения и доверия к себе. Что-то веселое бродило в нем, даже хотелось петь, а весеннее солнце смотрело в окно его комнаты как будто благосклонней, чем вчера. Он все-таки предпочел скрыть от всех новое свое настроение, вел себя сдержанно, как всегда, и думал о белошвейке уже ласково, благодарно.

Дней через пять, прожитых в приятном сознании сделанного им так просто серьезного шага, горничная Феня осторожно сунула в руку его маленький измятый конверт с голубой незабудкой, вытисненной в углу его, на атласной бумаге, тоже с незабудкой. Клим, не без гордости, прочитал:

«Ежели не забыли, приходите завтра, когда отблаговестят ко всенощной.

Тупой угол, дом Веселого, спросите Мар. Ваганову».

Маргарита встретила его так, как будто он пришел не в первый, а в десятый раз. Когда он положил на стол коробку конфет, корзину пирожных и поставил бутылку портвейна, она спросила, лукаво улыбаясь:

— Значит — хотите чай пить? Обняв ее, Клим сказал:

— Я хочу, чтоб ты любила меня.

— Да я — не умею! — ответила женщина, смеясь очень добрым смехом.

Удивительно просто было с нею и вокруг нее в маленькой, чистой комнате, полной странно опьяняющим запахом. В углу у стены, изголовьем к окну, выходившему на низенькую крышу, стояла кровать, покрытая белым пикейным одеялом, белая занавесь закрывала стекла окна; из-за крыши поднимались бледнорозовые ветви цветущих яблонь и вишен. Оса билась в стекло. На комоде, покрытом вязаной скатертью, стояло зеркало без рамы, аккуратно расставлены коробочки, баночки; в углу светилась серебряная риза иконы, а угол у двери был закрыт светлосерым куском коленкора. Все было необыкновенно спокойно, тихо, жужжание осы — необходимо, все казалось удаленным от действительного и привычного Климу на неизмеримые версты.

Маргарита говорила вполголоса, ленивенько растягивая пустые слова, ни о чем не спрашивая. Клим тоже не находил, о чем можно говорить с нею. Чувствуя себя глупым и немного смущаясь этим, он улыбался. Сидя на стуле плечо в плечо с гостем, Маргарита заглядывала в лицо его поглощающим взглядом, точно вспоминая о чем-то, это очень волновало Клима, он осторожно гладил плечо ее, грудь и не находил в себе решимости на большее. Выпили по две рюмки портвейна, затем Маргарита спросила:

— Ну, в постельку?

Тотчас же встав и раздеваясь, заботливо посоветовала:

— Ты тоже весь разденься, так лучше будет… А через час, сидя на постели, спустив ноги на пол, голая, она, рассматривая носок Клима, сказала, утомленно зевнув:

— Надо заштопать.

Клим дремал.

После пяти, шести свиданий он чувствовал себя у Маргариты более дома, чем в своей комнате. У нее не нужно было следить за собою, она не требовала от него ни ума, ни сдержанности, вообще — ничего не требовала и незаметно обогащала его многим, что он воспринимал как ценное для него.

Он стал смотреть на знакомых девушек другими глазами; заметил, что у Любы

Сомовой стесанные бедра, юбка на них висит плоско, а сзади слишком вздулась, походка Любы воробьиная, прыгающая. Толстенькая и нескладная, она часто говорила о любви, рассказывала о романах, ее похорошевшее личико возбужденно румянилось, в добрых, серых глазах светилось тихое умиление старушки, которая повествует о чудесах, о житии святых. великомучеников. Это выходило у нее наивно, даже иногда так трогательно, что Клим находил нужным поощрять ее, на всякий случай, ласковыми улыбками, но думал:

«Блаженненькая. Дурочка».

Ее рассказы почти всегда раздражали Лидию, но изредка смешили и ее. Смеялась Лидия осторожно, неуверенно и резкими звуками, а посмеявшись немного, оглядывалась, нахмурясь, точно виноватая в неуместном поступке. Сомова приносила романы, давала их читать Лидии, но, прочитав «Мадам Бовари», Лидия сказала сердито:

— Все, что тут верно, — гадость, а что хорошо — ложь. К «Анне Карениной» она отнеслась еще более резко:

— Тут все — лошади: и эта Анна, и Вронский, и все другие.

Сомова возмутилась:

— Бог мой, какая ты невежда, какой урод! Ты какая-то ненормальная!

Клим тоже находил в Лидии ненормальное; он даже стал несколько бояться ее слишком пристального, выпытывающего взгляда, хотя она смотрела так не только на него, но и на Макарова. Однако Клим видел, что ее отношение к Макарову становится более дружелюбным, а Макаров говорит с нею уже не так насмешливо и задорно.

Очень удивляла Клима дружба Лидии с Алиной Телепневой, которая, становясь ослепительно красивой, явно и все более глупела, как это находил Клим после слов матери, сказавшей:

— Эта девчурка была бы лучше и умнее, не будь она такой красавицей.

Клим тотчас же признал, что это сказано верно. Красота являлась непрерывным источником непрерывной тревоги для девушки, Алина относилась к себе, точно к сокровищу, данному ей кем-то на краткий срок и под угрозой отнять тотчас же, как только она чем-нибудь испортит чарующее лицо свое. Насморк был для нее серьезной болезнью, она испуганно спрашивала:

— Нос у меня очень красный? Глаза тусклые, да? Ничтожный прыщик на лице повергал ее в уныние, так же как заусеницы или укус комара. Она боялась потолстеть, похудеть, боялась грома.

— Пускай будут молнии, — говорила она. — Это даже красиво, но я совершенно не выношу, когда надо мной трещит небо.

Она выработала себе осторожную, скользящую походку и держалась так прямо, точно на голове ее стоял сосуд с водою. На катке, боясь упасть, она каталась одна в стороне и тихо или же с наиболее опытными конькобежцами, в ловкости и силе которых была уверена. Единственной чертой, которая нравилась Климу в этой девушке, было ее уменье устраиваться спокойно и удобно, она всегда выбирала себе наиболее выгодное место, особенно ласковый к ней луч солнца. Несколько смешна была ее преувеличенная чистоплотность, почти болезненное отвращение к пыли, сору, уличной грязи; прежде чем сесть, она пытливо осматривала стул, кресло, незаметно обмахивая платочком сидение; подержав в руке какую-либо вещь, она тотчас вытирала пальцы. Ела она так аккуратно и углубленно, что Макаров сказал ей:

— Религиозно кушаете, Алиночка! Даже и не кушаете, подобно нам, смертным, а —

причащаетесь. Не взглянув на него, Алина спокойно ответила:

— Доктор посоветовал мне пережевывать тщательно. Иногда страхи Алины за красоту свою вызывали у нее припадки раздражения, почти злобы, как у горничной на хозяйку, слишком требовательную. И, вероятно, от этих страхов неотразимо ласковые, синеватые глаза Алины смотрели вопросительно, а длинные ресницы, вздрагивая, придавали взгляду ее выражение умоляющее.

Она была скучна, говорила только о нарядах, танцах, о поклонниках, но и об этом она говорила без воодушевления, как о скучноватой обязанности. За нею уже ухаживал седой артиллерист, генерал, вдовец, стройный и красивый, с умными глазами, ухаживал товарищ прокурора Ипполитов, маленький человечек с черными усами на смуглом лице, веселый и ловкий.

— Нет, я не хочу замуж, — низким, грудным голосом говорила она, — я буду актрисой.

Она не плохо, певуче, но как-то чрезмерно сладостно читала стихи Фета, Фофанова, мечтательно пела цыганские романсы, но романсы у нее звучали обездушенно, слова стихов безжизненно, нечетко, смятые ее бархатным голосом. Клим был уверен, что она не понимает значения слов, медленно выпеваемых ею.

— Кукла, которой жалко играть, — сказал о ней Макаров небрежно, как всегда говорил о девицах.

Клим покосился на него, он все острей испытывал уколы зависти, когда слышал, как метко люди определяют друг друга, а Макаров досадно часто говорил меткие словечки.

Как во всех людях, Клим и в Алине хотел бы найти что-либо искусственное, выдуманное. Иногда она спрашивала его:

— Я сегодня бледная, да?

Он понимал, что Алина спрашивает лишь для того, чтоб лишний раз обратить внимание на себя, но это казалось ему естественным, оправданным и даже возбуждало в нем сочувствие девушке. Оно усилилось после слов матери, подсказавших ему, что красоту Алины можно понимать как наказание, которое мешает ей жить, гонят почти каждые пять кинут к зеркалу и заставляет девушку смотреть на всех людей как на зеркала. Иногда он смутно догадывался, что между ни» и его есть что-то общее, но, считая эту догадку унижающей его, не пытался подумать о ней серьезно.

Он видел, что Макаров и Лидия резко расходятся в оценке Алины. Лидия относилась к ней заботливо, даже с нежностью, чувством, которого Клим раньше не замечал у Лидии. Макаров не очень зло, но упрямо высмеивал Алину. Лидия ссорилась с ним. Сомова, бегавшая по урокам, мирила их, читая длинные, интересные письма своего друга Инокова, который, оставив службу на телеграфе, уехал с артелью сергачских рыболовов на Каспий.

В общем дома жилось тягостно, скучно, но в то же время и беспокойно. Мать с Варавкой, по вечерам, озабоченно и сердито что-то считали, сухо шумя бумагами. Варавка, хлопая ладонью по столу, жаловался:

— Идиоты, даже украсть не умеют! Климу больше нравилась та скука, которую он испытывал у Маргариты. Эта скука не тяготила его, а успокаивала, притупляя мысли, делая ненужными всякие выдумки. Он отдыхал у швейки от необходимости держаться, как солдат на параде. Маргарита вызывала в нем своеобразный интерес простотою ее чувств и мыслей. Иногда, должно быть, подозревая, что ему скучно, она пела маленьким, мяукающим голосом неслыханные песни:

Мне не спится, не лежится,И сон меня не берет,Я пошел бы к Рите в гости,Да не знаю, где она живет.Попросил бы товарища —Пусть товарищ отведет,Мой товарищ

лучше, краше,Боюсь, Риту отобьет.

— Какая глупая песня, — сказал Клим, зевнув, а певица поучительно ответила:

— Тем и хорошо, дружок. Все песни — глупые, все — про любовь, тем и хороши.

Она вообще охотно поучала Клима, и это забавляло его. Он видел, что девушка относится к нему материнski заботливо, это тоже было забавно, но и трогало немножко. Клим удивлялся бескорыстию Маргариты, у него незаметно сложилось мнение, что все девицы этого ремесла — жадные. Но когда он приносил сласти и подарки Рите, она, принимая их, упрекала его:

— Чудачок! Ведь за деньги, которые ты тратишь на меня, ты мог бы найти девушку красивее и моложе, чем я!

Она сказала это так просто и убедительно, что Клим не решился заподозрить ее во лжи.

Но, говоря о девушке красивее ее, она хвастала, поглаживая ладонями грудь и бедра:

— Видишь, какая у меня кожа? Не у всякой барышни бывает такая.

На стене, над комодом, была прибита двумя гвоздями маленькая фотография без рамы, переломленная поперек, она изображала молодого человека, гладко причесанного, с густыми бровями, очень усатого, в галстуке, завязанном пышным бантом. Глаза у него были выколоты.

— Это кто? — спросил Клим.

Несколько секунд Маргарита внимательно, прищурясь и как бы вспоминая, смотрела на фотографию, потом сказала:

— Иконописец.

— А зачем у него глаза выколоты?

— Ослеп, дурак, — ответила Рита и, вздохнув, не пожелала больше отвечать на дальнейшие расспросы Клима, а предложила:

— Ну, в постельку?

В нежную минуту он решился наконец спросить ее о Дронове; он понимал, что обязан спросить об этом, хотя и чувствовал, что чем дальше, тем более вопрос этот теряет свою обязательность и значение. В этом скрывалось нечто смущавшее его, нечистоплотное. Когда он спросил, Рита удивленно подняла брови:

— Кто это?

— Не притворяйся, — Клим хотел сказать это слово строго, но не сумел и даже улыбнулся.

Приподнявшись с подушки, Рита села и, надевая рубашку, прикрыв ею лицо, заговорила сочувственно:

— Ах, это Ваня, который живет у вас в мезонине! Ты думаешь — я с ним путалась, с эдаким: ни кожи, ни рожи? Плохо ты выдумал.

Натягивая чулки на белые с голубыми жилками ноги свои, она продолжала торопливо, неясно и почему-то часто вздыхая:

— Жалко его. Это ведь при мне поп его выгнал, я в тот день работала у попа. Ваня учил дочь его и что-то наделал, горничную ущипнул, что ли. Он и меня пробовал хватать. Я пригрозила, что пожалуюсь попадье, отстал. Он все-таки забавный, хоть

и злой.

Другим тоном и тише она досказала:

— Выгнали из гимназии. Надрали бы уши, и — довольно!

Климу хотелось верить ей, он поверил, и тень Дронова, все-таки несколько мешавшая ему, — исчезла.

Юноша давно уже понял, что чистенькая постелька у стены была для этой девушки жертвенником, на котором Рита священнодействовала, неутомимо и почти благоговейно. После успокоившей его беседы о Дронове у Клима явилось желание делать для Риты, возможно чаще, приятное ей, но ей были приятны только солодовые, на меду, пряники и поцелуи, иногда утомлявшие его. И уже был день, когда ее понукающее приглашение: «Ну, в постельку» — вдруг вызвало у него темное раздражение, какую-то непонятную обиду. Он почти сердито стал спрашивать ее, почему она не читает книг, не ходит в театр, не знает ничего лучше постельки, но Рита, видимо, не уловив его тона, спросила спокойно, расплетая волосы:

— А куда иначе жизнь девать? Подумай-ка. И — некуда.

Затем рассказала, что в театры она ходит:

— Если там играют веселые комедии, водевили. Драмов я не люблю. В церковь хожу, к Успенью, там хор — лучше соборного.

Порою Клим, усталый и чувствуя недовольство собою, осторожно размышлял:

«Вот это и есть — любовь?»

Почему-то невозможно было согласиться, что Лидия Варавка создана для такой любви. И трудно было представить, что только эта любовь лежит в основе прочитанных им романов, стихов, в корне мучений Макарова, который становился все печальнее, меньше пил и говорить стал меньше да и свистел тише.

Потом для Клима наступили дни, когда он, после свиданий с Маргаритой, чувствовал себя настолько опустошенным, отупевшим, что это пугало его; тогда он принуждал себя идти к источникам мудрости, к Томилину или во флигель.

С Томилиным что-то случилось; он переоделся в цветные рубашки «фантазия», носил вместо галстука шнур с кистями, серый пиджак и какие-то, сиреневого цвета, очень широкие брюки. Все это казалось на теле его чужим и еще более оттеняло огненную рыжеватость подстриженных волос, которые над ушами торчали горизонтально и дыбились над его белым лбом. Особенно заметны были запонки на обшлагах — большие, тяжелые, лунные серпики. Говорил Томилин громче, но как будто менее уверенно, часто делал паузы и, поглядывая в рукав пиджака, вертел запонки. И как будто у Томилина вместе с костюмом явились новые мысли. Клим ощущал, что мысли эти даже пугают его своей грубой обнаженностью, которую можно было понять как бесстрашие и как бесстыдство. Иногда эти голые мысли Клим представлял себе *в* форме клочьев едкого дыма, обрывков облаков; они расползаются в теплом воздухе тесной комнаты и серой, грязноватой пылью покрывают книги, стены, стекла окна и самого мыслителя.

Взвешивая на ладони один из пяти огромных томов Мориса Каррьера «Искусство в связи с общим развитием культуры», он говорил:

— Некий итальянец утверждает, что гениальность — одна из форм безумия. Возможно. Вообще людей с преувеличенными способностями трудно признать нормальными людьми. Возьмем обжор, сладострастников и… мыслителей. Да, и мыслителей. Вполне допустимо, что чрезмерно развитый мозг есть такое же уродство, как расширенный желудок или непомерно большой фаллос.

Тогда мы увидим нечто общее между Гаргантюа, Дон-Жуаном и философом Иммануилом Кантом.

Это сопоставление понравилось Климу, как всегда нравились ему упрощающее мысли. Он заметил, что и сам Томилин удивлен своим открытием, видимо — случайным. Швырнув тяжелую книгу на койку, он шевелил бровями, глядя в окно, закинув руки за шею, под свой плоский затылок.

— Да, — сказал он, мигнув. — Я должен идти вниз, чай пить. Гм…

Все чаще и как-то угрюмо Томилин стал говорить о женщинах, о женском, и порою это у него выходило скандально. Так, когда во флигеле писатель Катин горячо утверждал, что красота — это правда, рыжий сказал своим обычным тоном человека, который точно знает подлинное лицо истины:

— Нет, красота именно — неправда, она вся, насквозь, выдумана человеком для самоутешения, так же как милосердие и еще многое…

— А природа? А красота форм в природе? Возьмите Геккеля, — победоносно кричал писатель, — в ответ ему поползли равнодушные слова:

— Природа — хаотическое собрание различных безобразий и уродств.

— Цветы! — не сдавался писатель.

— В природе нет таких роз и тюльпанов, какие созданы людями Англии, Франции, Голландии.

Спор становился все раздраженней, сердитее, и чем более возвышались голоса несогласных, тем более упрямо, угрюмо говорил Томилин. Наконец он сказал:

— Красота более всего необходима нам, когда мы приближаемся к женщине, как животное к животному. В этой области отношений красота возникла из чувства стыда, из нежелания человека быть похожим на козла, на кролика.

Он сказал несколько слов еще более грубых и заглушил ими спор, вызвав общее смущение, ехидные усмешки, иронический шопот. Дядя Яков, больной, полулежавший на диване в груде подушек, спросил вполголоса, изумленно:

— Он сумасшедший?

Писатель, усмехаясь, что-то пошептал ему, но дядя, тряхнув лысой головой, проговорил:

— Опоздал. Нигилисты рассуждали умнее.

Дядя, видимо, был чем-то доволен. Его сожженное лицо посветлело, стало костлявее, но глаза смотрели добродушней, он часто улыбался. Клим знал, что он собирается уехать в Саратов и жить там.

Во флигеле Клим чувствовал себя все более не на месте. Все, что говорилось там о народе, о любви к народу, было с детства знакомо ему, все слова звучали пусто, ничего не задевая в нем. Они отягощали скукой, и Клим приучил себя не слышать их.

Его очень заинтересовали откровенно злые взгляды Дронова, направленные на учителя. Дронов тоже изменился, как-то вдруг. Несмотря на свое уменье следить за людями, Климу всегда казалось, что люди изменяются внезапно, прыжками, как минутная стрелка затейливых часов, которые недавно купил Варавка: постепенности в движении их минутной стрелки не было, она перепрыгивала с черты на черту. Так же и человек: еще вчера он был таким же, как полгода тому назад, но сегодня вдруг в нем являлась некая новая черта.

В темносинем пиджаке, в черных брюках и тупоносых ботинках фигура Дронова

приобрела комическую солидность. Но лицо его осунулось, глаза стали неподвижней, зрачки помутнели, а в белках явились красненькие жилки, точно у человека, который страдает бессонницей. Спрашивал он не так жадно и много, как прежде, говорил меньше, слушал рассеянно и, прижав локти к бокам, сцепив пальцы, крутил большие, как старик. Смотрел на все как-то сбоку, часто и устало отдувался, и казалось, что говорит он не о том, что думает.

Каждый раз после свидания с Ритой Климу хотелось уличить Дронова во лжи, но сделать это значило бы открыть связь со швейкой, а Клим понимал, что он не может гордиться своим первым романом. К тому же случилось нечто, глубоко поразившее его: однажды вечером Дронов бесцеремонно вошел в его комнату, устало сел и заговорил угрюмо:

— Слушай-ка, Варавка хочет перевести меня на службу в Рязань, а это, брат, не годится мне. Кто там, в Рязани, будет готовить меня в университет? Да еще — бесплатно, как Томилин?

Он взял со стола пресс-папье, стеклянный ромб, и, подставляя его под косой луч солнца, следил за радужными пятнами на стене, на потолке, продолжая:

— Потом — Маргарита. Невыгодно мне уезжать от нее, я ею, как говорится, и обшит и обмыт. Да и привязан к ней. И понимаю, что я для нее — не мармелад.

Он сморщился и навел радужное пятно на фотографию матери Клима, на лицо ее; в этом Клим почувствовал нечто оскорбительное. Он сидел у стола, но, услыхав имя Риты, быстро и неосторожно вскочил на ноги.

— Не шали, — сухо сказал он, жмурясь, как будто луч солнца попал в глаза его; Дронов небрежно бросил пресс на стол, а Клим, стараясь говорить равнодушно, спросил:

— Ты все еще живешь с нею?

— Почему же не жить?

Клим присел на край стола, разглядывая Дронова;

в спокойном тоне, которым он говорил о Рите, Клим слышал нечто подозрительное. Тогда, очень дружески и притворяясь наивным, он стал подробно расспрашивать о девице, а к Дронову возвратилась его хвастливость, и через минуту Клим почувствовал желание крикнуть ему: «Ступай вон!»

— Она — хорошая, — говорил Дронов. Клим повернулся к нему спиною, а Дронов, вдруг, нахмурясь, перескочил на другую тему:

— Томилина я скоро начну ненавидеть, мне уже теперь, иной раз, хочется ударить его по уху. Мне нужно знать, а он учит не верить, убеждает, что алгебра — произвольна, и чорт его не поймет, чего ему надо! Долбит, что человек должен разорвать паутину понятий, сотканных разумом, выскочить куда-то, в беспредельность свободы, Выходит как-то так: гуляй голым! Какой дьявол вертит ручку этой кофейной мельницы?

— Клим сказал сквозь зубы:

— Очень умный человек.

— Умный? — явно усумнился Дронов, сердито взглянул на часы и встал:

— Так ты поговори с Варавкой.

Без него в комнате стало, лучше. Клим, стоя у окна, ощипывал листья бегонии и морщился, подавленный гневом, унижением. Услыхав в прихожей голос Варавки, он тотчас вышел к нему; стоя перед зеркалом, Варавка расчесывал гребенкой лисью бороду и делал гримасы:

— В Рязань, в Рязань! — сердито ответил он на вопрос Клима. — Или — на все четыре стороны. Не проси1

— Я и не предполагал просить за него, — сказал Клим с достоинством.

Варавка обнял его за талию и повел к себе в кабинет, говоря:

— Этот парень надоел мне. Работает скверно, рассеян, дерзок. И слишком любит поболтать с моими поднадзорными.

— Да, — сказал Клим солидно, — его тянет к ним, он так часто бывает во флигеле.

Усадив его в кресло у огромного рабочего стола, Варавка продолжал:

— Не понимаю, что тебя влечет к таким типам, как Дронов или Макаров. Изучаешь, да?

Всегда насмешливый, часто — резкий, Варавка умел говорить и вкрадчиво, с дружеской убедительностью. Клим уже не однажды чувствовал, как легко этот человек заставляет его высказывать кое-что лишнее, и пытался говорить с вотчимом уклончиво, осторожно. Но, как всегда, и в этот раз Варавка незаметно привел его к необходимости сказать, что Лидия слишком часто встречается с Макаровым и что отношения их очень похожи на роман. Это сказалось само собою, очень просто: два серьезных человека, умственно равные, заботливо беседовали о людях юных и неуравновешенных, беспокоясь о их будущем. Было бы даже неловко умолчать о странных отношениях Лидии и Макарова.

Варавка закрыл на несколько секунд медвежьи глазки, сунул руку под бороду и быстрым жестом распушил ее, как веер. Потом, мясисто улыбаясь, сказал:

— Романтизм. Болезнь возраста. Тебя она минует, я уверен. Лидия — в Крыму, осенью она уедет в театральную школу.

— Но ведь Макаров тоже будет в московском университете, — напомнил Клим.

Варавка не ответил, остригая ногти, кусочки их прыгали на стол, загруженный бумагами. Потом, вынув записную книжку, он поставил в ней какие-то знаки карандашом, попробовал засвистать "что-то — не вышло.

— Ты бываешь во флигеле? — спросил он и тотчас же, хлопнув дружески по колену Клима, заговорил: — Мой совет: не ходи туда! Конечно, там — люди невинные, безвредные, и вся их словесность сводится к тому, чтоб переменить кожу. Но — о них есть и другое мнение. Если в государстве существует политическая полиция — должны быть и политические преступники. Хотя теперь политика не в моде, так же как турнюры, но все-таки существует инерция и существуют староверы. Революция в России возможна лишь как мужицкий бунт, то есть как явление культурно бесплодное, разрушительное...

Затем он долго говорил о восстании декабристов, назвав его «своеобразной трагической буффонадой», дело петрашевцев — «заговором болтунов по ремеслу», но раньше чем он успел перейти к народникам, величественно вошла мать, в сиреневом платье, в кружевах, с длинной нитью жемчуга на груди.

— Пора! — строго сказала она. — А ты еще не переоделся.

— Извини! — виновато воскликнул Варавка, вскакивая и торопливо убегая. — Мы так интересно беседовали.

Климу всегда было приятно видеть, что мать правит этим человеком как существом ниже ее, как лошадью. Посмотрев вслед Варавке, она вздохнула, затем, разгладив душистым пальцем брови сына, осведомилась:

— О чем говорили?

— Кажется, я поступил бестактно, — сознался Клим, думая о Дронове, но рассказав о Лидии и Макарове.

— Как же иначе? — слегка удивилась мать. — Ты был обязан предупредить ее отца.

— Готов, — сказал Варавка, являясь в двери; одетый в сюртук, он казался особенно матерым.

Они ушли. Клим остался в настроении человека, который не понимает: нужно или не нужно решать задачу, вдруг возникшую пред ним? Открыл окно; в комнату хлынул жирный воздух вечера. Маленькое, сизое облако окутывало серп луны. Клим решил:

«Пойду к ней».

Решил, но — задумался; внезапному желанию идти к Маргарите мешало чувство какой-то неловкости, опасение, что он, не стерпев, спросит ее о Дронове и вдруг окажется, что Дронов говорил правду. Этой правды не хотелось.

Из флигеля выходили, один за другим, темные люди с узлами, чемоданами в руках, писатель вел под руку дядю Якова. Клим хотел выбежать на двор, проститься, но остался у окна, вспомнив, что дядя давно уже не замечает его среди людей. Писатель подсадил дядю в экипаж черного извозчика, дядя крикнул:

— А где пакет?

— У меня, — громко ответил писатель. Экипаж тяжело покатился в сумрак улицы. Дядя натягивал шляпу на голову, не оглядываясь назад, к воротам, где жена писателя, сестра ее и еще двое каких-то людей, размахивая платками и шляпами, радостно кричали:

— Прощайте!

Все это — и сумрак — напомнило Климу сцену из какого-то неинтересного романа — проводы девушки, решившей служить гувернанткой, для того чтоб поддержать обедневшую семью свою.

Клим вздохнул, послушал, как тишина поглощает грохот экипажа, хотел подумать о дяде, заключить его в рамку каких-то очень значительных слов, но в голове его ныл, точно комар, обидный вопрос:

«А если Дронов сказал правду?»

Вопрос этот, не пуская к Маргарите, не позволял думать ни о чем, кроме нее. Посидев скучный час в темноте, он пошел к себе, зажег лампу, взглянул в зеркало, оно показало ему лицо, почти незнакомое — обиженное, измятое миной недоумения. Он тотчас погасил огонь, разделся в темноте и лег в постель, закутав голову простыней. Но через несколько минут он убедил себя, что необходимо сегодня же, сейчас уличить Маргариту во лжи. Не зажигая огня, он оделся и пошел к ней, настроясь воинственно, шагая твердо. Как всегда, Маргарита встретила его знакомым восклицанием:

— Ага, пришел!

Его уже давно удручали эти слова, он никогда не слышал в них ни радости, ни удовольствия. И все стыднее были однообразные ласки ее, заученные ею, должно быть, на всю жизнь. Порою необходимость в этих ласках уже несколько тяготила Клима, даже колебала его уважение к себе.

Но на этот раз знакомые слова прозвучали по-новому бесцветно. Маргарита только что пришла из бани, сидела у комода, перед зеркалом, расчесывая влажные, потемневшие волосы. Красное лицо ее казалось гневным.

Размашисто, с усмешечкой на губах, но дрожащей от злости рукой Клим похлопал

ее по горячему, распаренному плечу, но она, отклонясь, сказала сердито:

— Больно. Что ты?

И тотчас же заговорила деловитым тоном:

— Вот какая новость: я поступаю на хорошее место, в монастырь, в школу, буду там девочек шитью учить. И квартиру мне там дадут, при школе. Значит — прощай! Мужчинам туда нельзя ходить.

Спустив рубашку до колен, вытирая полотенцем шею, грудь, она не попросила, а приказала:

— Вытри-ка спину мне.

Увидав ее голой, юноша почувствовал, что запас его воинственности исчез. Но приказание девушки вытереть ей спину изумило и возмутило его. Никогда она не обращалась к нему с просьбами о таких услугах, и он не помнил случая, когда бы вежливость заставила его оказать Рите услугу, подобную требуемой ею. Он сидел и молчал. Девушка спросила:

— Лень?

Тогда, подчиняясь вспыхнувшей злобе, он сказал негромко и презрительно:

— Ты лгала мне, Дронов твой любовник… Он сейчас же понял, что сказал это не так, как следовало, не теми словами. Маргарита, надевая новые ботинки, сидела согнувшись, спиною к нему. Она ответила не сразу и спокойно:

— Вот как просто сошлось. И спросила:

— Это Фенька сказала тебе?

Клим почувствовал, что вопрос этот толкнул его в грудь. Судорожно барабаня пальцами по медной пряжке ремня своего, он ожидал: что еще скажет она? Но Маргарита, застегивая крючком пуговки ботинок, ничего не говорила.

— Мне Дронов сам сказал, — грубо объявил Клим. Она встала и, невысоко приподняв юбку, критически посмотрела на свои носи. И снова села на стул, облегченно вздохнув, повторила:

— Вот как хорошо сошлось. А я тут с неделю думаю: как сказать, что не могу больше с тобой? Клим чувствовал, что она заставляет его глупеть, почти растерянно он спросил:

— Зачем ты лгала?

Девушка ответила ровным голосом, глядя в окно и как бы думая не то, что говорит:

— Мне твоя мамаша деньги платила не затем, чтобы правду тебе говорить, а чтоб ты с уличными девицами не гулял, не заразился бы.

Испытав впечатление ожога, Клим закричал:

— Врешь! Мать не могла…

— Жмет, — тихонько сказала Рита, высунув ногу из-под подола, и, обругав кого-то «подлецом», продолжала поучительно и равнодушно:

— На мамашу — не сердись, она о тебе заботливая. Во всем городе я знаю всего трех матерей, которые так о сыновьях заботятся.

Клим слышал ее нелепые слова сквозь гул в голове, у него дрожали ноги, и, если бы Рита говорила не так равнодушно, он подумал бы, что она издевается над ним.

«Значит, мать наняла ее, — соображал он. — Платила ей, потому эта дрянь и была бескорыстна».

— Хотя она и гордая и обидела меня, а все-таки скажу: мать она редкая. Теперь, когда она отказала мне, чтоб Ваню не посылать в Рязань, — ты уж ко мне больше не ходи. И я к вам работать не пойду.

Последнюю фразу она произнесла угрожающе, как будто думая, что без ее работы Самгины и Варавки станут несчастнейшими людями.

Климу хотелось отстегнуть ремень и хлестнуть по лицу девушки, все еще красному и потному. Но он чувствовал себя обессиленным этой глупой сценой и тоже покрасневшим от обиды, от стыда, с плеч до ушей. Он ушел, не взглянув на Маргариту, не сказав ей ни слова, а она проводила его укоризненным восклицанием:

— Фу, как нехорошо, а был вежливый…

Он долго ходил по улицам, затем сидел в городском саду, размышляя: что делать? Хотелось избить Дронова или рассказать ему, что Маргариту нанимают как проститутку, хотелось сказать матери что-то очень сильное, что смутило бы ее. Но эти желания скользили поверх упрямой, устойчивой думы о Маргарите. Он привык относиться к вей снисходительно, иронически и впервые думал о девушке со всею серьезностью, на которую был способен. Образ Маргариты непонятно двоился. Вспоминались ее несомненно честные ласки, незатейливые и часто смешные, во искренние слова, те глупые, нежные слова любви, которые принудили одного из героев Мопассана отказаться от своей возлюбленной. Какими же ласками награждала она Дронова, какие слова шептала ему? С тупым недоумением он вспоминал заботы девушки о радостях его тела, потом спрашивал себя: как могла она лгать так незаметно и ловко? А вспомнив ее слова о трех заботливых матерях, подумал, что, может быть, на попечении Маргариты, кроме его, было еще двое таких же, как он. У него мелькнула странная, чужая мысль:

«Проститутка или сестра милосердия?»

Но эта мысль тотчас же исчезла, как только он вспомнил, что Рита, очевидно, любила только четвертого — некрасивого, неприятного Дронова.

Размышления эти, все более возбуждая чувство брезгливости, обиды, становились тягостно невыносимы, но оттолкнуть их Клим не имел силы. Он сидел на чугунной скамье, лицом к темной, пустынной реке, вода ее тускло поблескивала, точно огромный лист кровельного железа, текла она лениво, бесшумно и казалась далекой. Ночь была темная, без луны, на воде желтыми крапинками жира отражались звезды. За спиною своею Клим слышал шаги людей, смех и говор, хитренький тенорок пропел на мотив «La donna e mobile»:

Слышу я голос твой,Нежный и ласковый,Значит — для голосаДеньги вытаскивай…

Удручающая пошлость победоносно прозвучала в этой песенке. Клим вдруг чего-то испугался, вскочил и быстро пошел домой.

Мать и Варавка уехали на дачу под городом, Алина тоже жила на даче, Лидия и 'Люба Сомова — в Крыму. Клим остался дома, чтоб наблюдать за ремонтом его и заниматься со Ржигой латынью. Наедине с самим собою не было необходимости играть привычную роль, и Клим очень медленно поправлялся от удара, нанесенного ему. Все думалось о Маргарите, но эти думы, медленно теряя остроту, хотя и становились менее обидными, но всё более непонятны. Они освещали девушку как-то иначе. Клим уже не думал, что разум Маргариты нем, память воскрешала ее поучающие слова, и ему показалось, что чаще всего они были окрашены озлоблением против женщин. Так, однажды, соскочив с постели и вытирая губкой потное тело свое, Маргарита сказала одобрительно:

— Это очень хорошо тебе, что ты не горяч. Наша сестра горячих любит распалить

да и сжечь до золы. Многие через нас погибают.

В другой раз она ласково убеждала:

— Ты в бабью любовь — не верь. Ты помни, что баба не душой, а телом любит. Бабы — хитрые, ух! Злые. Они даже и друг друга не любят, погляди-ко на улице, как они злобно да завистно глядят одна на другую, это — от жадности все: каждая злится, что, кроме ее, еще другие на земле живут.

Она даже начала было рассказывать ему какой-то роман, но Клим задремал, из всего романа у него осталось в памяти лишь несколько слов:

— А чего надо было ей? Только отбить его у меня. Дескать — видала, как я тебя ловчее?

Теперь, когда ее поучения всплывали пред ним, он удивлялся их обилию, однообразию и готов был думать, что Рита говорила с ним, может быть, по требованию ее совести, для того, чтоб намеками предупредить его о своем обмане.

«Я — хочу оправдать ее?» — спрашивал он себя. Но тотчас же пред ним являлось плоское лицо Дронова, его хвастливые улыбочки, бесстыдные слова его рассказов о Маргарите.

«Если б упасть с нею в реку, она утопила бы меня, как Варя Сомова Бориса», — озлобленно подумал он.

Но, и со злостью думая о Рите, он ощущал, что в нем растет унизительное желание пойти к ней, а это еще более злило его. Он нашел исход злобе своей, направив ее на рабочих.

Наискось, почти напротив дома Самгиных, каменщики разрушали старое, казарменного вида двухэтажное здание, с маленькими, угрюмыми окнами, когда-то окрашенное желтой краской; Варавка приобрел этот дом для купеческого клуба. Работало человек двадцать пыльных людей, но из них особенно выделялись двое: кудрявый, толстогубый парень с круглыми глазами на мохнатом лице, сером от пыли, и маленький старичок в синей рубахе, в длинном переднике. Чугунные руки парня бестолково дробили ломом крепко слежавшийся кирпич старой стены; сила у парня была большая, он играл, хвастался ею, а старичок подзадоривал его, взвизгивая:

— Вали-и, Мотя! Круши, Мотя, — скоро шабаш! Десятник, рыжебородый, крупный мужик, уговаривал:

— А ты не балуй, Николаич! На что дробить кирпич? Старичок отвечал шуточками:

— Так разве это я? Это же Мотя! Эх, Мотя, сук те в ухо, — сила ты!

И сам старался ударить ломом не между кирпичей, не по извести, связавшей их, а по целому. Десятник снова кричал привычно, но равнодушно, что старый кирпич годен в дело, он крупней, плотней нового, — старичок согласно взвизгивал:

— Верно-о! Отцы, деды наши работали получше нас! Эх, Мотя-а!

Все рабочие ломали стену с увлечением, но старичок, казалось Климу, перешел какую-то границу и, неистовствуя, был противен. А Мотя работал слепо, машиноподобно, и, когда ему удавалось отколоть несколько кирпичей сразу, он оглушительно ухал, рабочие смеялись, свистели, а старичок яростно и жутко визжал:

— Валяй-и!

«Идиоты!» — думал Клим. Ему вспоминались безмолвные слезы бабушки пред развалинами ее дома, вспоминались уличные сцены, драки мастеровых, буйства пьяных мужиков у дверей базарных трактиров на городской площади против

гимназии и снова слезы бабушки, сердито-насмешливые словечки Варавки о народе, пьяном, хитром и ленивом. Казалось даже, что после истории с Маргаритой все люди стали хуже: и богомольный, благообразный старик дворник Степан, и молчаливая, толстая Феня, неутомимо пожиравшая все сладкое.

«Народ», — думал он, внутренне усмехаясь, слушая, как память подсказывает ему жаркие речи о любви к народу, о необходимости работать для просвещения его.

Клим шел к Томилину побеседовать о народе, шел с тайной надеждой оправдать свою антипатию. Но Томилин сказал, тряхнув медной головой:

— Искренний интерес к народу могут испытывать промышленники, честолюбцы и социалисты. Народ — тема, не интересующая меня.

Томилин, видимо, богател, он не только чище одевался, но стены комнаты его быстро обрастали новыми книгами на трех языках: немецком, французском и английском.

— По-русски читать нечего, — объяснял он. — По-русски интересно чувствуют, но думают неудачно, зависимо, не оригинально. Русское мышление глубоко чувственно и потому грубо. Мысль только тогда плодотворна, когда ее двигает сомнение. Русскому разуму чужд скептицизм, так же как разуму индуса и китайца. У нас все стремятся веровать. Все равно во что, хотя бы в спасительность неверия. Во Христа. В химию. В народ. А стремление к вере — есть стремление к покою. У нас нет людей, осудивших себя на тревогу независимой работы мышления.

Не все эти изречения нравились Климу, многие из них были органически неприемлемы для него. Но он честно старался помнить все, что говорил Томилин в такт шарканью своих войлочных туфель, а иногда босых подошв.

— Нет людей, которым истина была бы нужна ради ее самой, ради наслаждения ею. Я повторяю: человек хочет истины, потому что жаждет покоя. Эту нужду вполне удовлетворяют так называемые научные истины, практического значения коих я не отрицаю.

Однажды, придя к учителю, он был остановлен вдовой домохозяина, — повар умер от воспаления легких. Сидя на крыльце, женщина веткой акации отгоняла мух от круглого, масляно блестевшего лица своего. Ей было уже лет под сорок; грузная, с бюстом кормилицы, она встала пред Климом, прикрыв дверь широкой спиной своей, и, улыбаясь глазами овцы, сказала:

— Извините — он пишет и никого не велел пускать. Даже отцу Иннокентию отказала. К нему ведь теперь священники ходят; семинарский и от Успенья.

Говорила она вполголоса, захлебываясь словами, ее овечьи глаза сияли радостью, и Клим видел, что она готова рассказывать о Томилине долго. Из вежливости он послушал ее минуты три и раскланялся с нею, когда она сказала, вздохнув:

— Вначале я его жалела, а теперь уж боюсь. Часто и всегда как-то не во-время являлся Макаров, пыльный, в парусиновой блузе, подпоясанной широким ремнем, в опорках на голых ногах. Двуцветные волосы его отросли, висели космами, это делало его похожим на монастырского послушника. Лицо обветрело и загорело, на ушах, на носу шелушилась кожа, точно чешуя рыбы, а в глазах сгустилась печаль. Но порою глаза его разгорались незнакомо Климу и внушали ему смутное опасение. Он вел себя с Макаровым осторожно, скрывая свое возмущение бродяжьей неряшливостью его костюма и снисходительную иронию к его надоевшим речам. Макаров ходил пешком по деревням, монастырям, рассказывал об этом, как о путешествии по чужой стране, но о чем бы он ни рассказывал, Клим слышал, что он думает и говорит о женщинах, о любви.

— Ты — что же, изучаешь народ?

— Себя, конечно. Себя, по завету древних мудрецов, — отвечал Макаров. — Что

значит — изучать народ? Песни записывать? Девки поют постыднейшую ерунду. Старики вспоминают какие-то панихиды. Нет, брат, и без песен не весело, — заключал он и, разглаживая пальцами измятую папиросу, которая казалась набитой пылью, продолжал:

— Мне иногда кажется, что толстовцы, пожалуй, правы: самое умное, что можно сделать, это, как сказал Варавка, — возвратиться в дураки. Может быть, настоящая-то мудрость по-собачьи проста и напрасно мы заносимся куда-то?

Клим знал, что на эти вопросы он мог бы ответить только словами Томилина, знакомыми Макарову. Он молчал, думая, что, если б Макаров решился на связь с какой-либо девицей, подобной Рите, все его тревоги исчезли бы. А еще лучше, если б этот лохматый красавец отнял швейку у Дронова и перестал бы вертеться вокруг Лидии. Макаров никогда не спрашивал о ней, но Клим видел, что, рассказывая, он иногда, склонив голову на плечо, смотрит в угол потолка, прислушиваясь.

«Думает — приехала», — догадывался Клим насмешливо, но и с досадой.

А Макаров задумчиво бормотал:

— Иногда кажется, что понимать — глупо. Я несколько раз ночевал в поле; лежишь на спине, не спится, смотришь на звезды, вспоминая книжки, и вдруг — ударит, — эдак, знаешь, притиснет: а что, если величие и необъятность вселенной только — глупость и чье-то неумение устроить мир понятнее, проще?

— Кажется, это из Томилина, — напомнил Клим. Макаров подумал, подымил папиросой.

— Все равно — откуда. Но выходит так, что человек не доступен своему же разуму.

Макаровское недовольство миром раздражало Клима, казалось ему неумной игрой в философа, грубым подражанием Томилину. Он сказал сердито и не глядя на товарища:

— Года через два-три мы перестанем думать об этих…

Он хотел сказать — глупостях или пустяках, но удержался и сказал:

— Так наивно…

Погасив папиросу о подошву своих сандалий, Макаров спросил:

— В дураки пойдем?

Затем, попросив у Клима три рубля, исчез. Посмотрев в окно, как легко и споро он идет по двору, Клим захотел показать ему кулак.

В субботу он поехал на дачу и, подъезжая к ней, еще издали увидел на террасе мать, сидевшую в кресле, а у колонки террасы Лидию в белом платье, в малиновом шарфе на плечах. Он невольно вздрогнул, подтянулся и, хотя лошадь бежала не торопясь, сказал извозчику:

— Тише.

Он даже несколько оробел, когда Лидия, без улыбки пожав его руку, взглянула в лицо его быстрым, неласковым взглядом. За два месяца она сильно изменилась, смуглое лицо ее потемнело еще больше, высокий, немного резкий голос звучал сочней.

— Море вовсе не такое, как я думала, — говорила она матери. — Это просто большая, жидкая скука. Горы — каменная скука, ограниченная небом. Ночами воображаешь, что горы ползут на дома и хотят столкнуть их в воду, а море уже готово схватить дома…

Вера Петровна, посмотрев на дорогу в сторону леса, напомнила:

— Ночами не думают, а спят.

— Там плохо спится, мешает прибой. Камни скрипят, точно зубы. Море чавкает, как миллион свиней…

— Ты все такая же… нервная, — сказала Вера Петровна; по паузе Клим догадался, что она хотела сказать что-то другое. Он видел, что Лидия стала совсем взрослой девушкой, взгляд ее был неподвижен, можно было подумать, что она чего-то напряженно ожидает. Говорила она несвойственно ей торопливо, как бы желая скорее выговорить все, что нужно.

— Не понимаю, почему все согласились говорить, что Крым красив.

Упрямство ее, видимо, раздражало мать. Клим заметил, что она поджала губы, а кончик носа ее, покраснев. дрожит.

— Большинство людей только ищет красоту, лишь немногие создают ее, — заговорил он. — Возможно, что в природе совершенно отсутствует красота» так же как в жизни — истина; истину и красоту создает сам человек — Не дослушав его, Лидия сказала:

— Ты — постарел. То есть — возмужал. Вера Петровна встала и пошла в комнаты, сказав по пути излишне громко:

— Ты очень оригинально сказал о красоте, Клим». Оставшись глаз на глаз с Ладней, он удивленно почувствовал, что не знает, о чем говорить с нею. Девушка прошлась по террасе, потом спросила, глядя в лес:

— Отец ушел на охоту?

— Да.

— Один?

— С мужиком. С одним из семи, которых весною губернатор приказал выпороть.

— Да? — спросила Лидия. — Там тоже где-то бунтовали мужики. В них даже стреляли… Ну, я пойду, устала.

Спускаясь с террасы в маленькую рощу тонкостволых берез, она сказала, не глядя на Клима:

— А Люба взяла место компаньонки у больной туберкулезом девицы.

Ушла в чащу берез, оставив Клима возмущенным ее равнодушием к нему. Он сел в кресло, где сидела мать, взял желтенькую французскую книжку, роман Мопассана «Сильна, как смерть», хлопнул его по колену и погрузился в поток беспорядочных дум. Конечно, эта девушка не для такой любви, какова любовь Риты. Невозможно представить хрупкое, тонкое тело ее нагим и в бурных судорогах. Затем, вспомнив покрасневший нос матери, он вспомнил ее фразы, которыми она в прошлый его приезд на дачу обменялась с Варавкой, здесь, на террасе.

Клим сидел у себя в комнате и слышал, как мать сказала как будто с радостью:

— Бог мой, у тебя начинается лысина. Варавка ответил:

— А я вот не замечаю седых волос на висках твоих. Мои глаза — вежливее.

— Ты рассердился? — удивленно спросила мать.

— Нет, конечно. Но есть слова, которые не очень радостно слышать от женщины. Тем более от женщины, очень осведомленной в обычаях французской галантности.

— Почему ты не сказал — любимой?

— И любимой, — прибавил Варавка.

Клим вспомнил слова Маргариты о матери и, швырнув книгу на пол, взглянул в рощу. Белая, тонкая фигура Лидии исчезла среди берез.

«Интересно: как она встретится с Макаровым? И — поймет ли, что я уже изведал тайну отношений мужчины и женщины? А если догадается — повысит ли это меня в ее глазах? Дронов говорил, что девушки и женщины безошибочно по каким-то признакам отличают юношу, потерявшего невинность. Мать сказала о Макарове: по глазам видно — это юноша развратный. Мать все чаще начинает свои сухие фразы именем бога, хотя богомольна только из приличия».

Покачиваясь в кресле, Клим чувствовал себя взболтанным и неспособным придумать ничего, что объяснило бы ему тревогу, вызванную приездом Лидии. Затем он вдруг понял, что боится, как бы Лидия не узнала о его романе с Маргаритой от горничной Фени.

«Если б мать не подкупила эту девку, Маргарита оттолкнула бы меня, — подумал он, сжав пальцы так, что они хрустнули. — Редкая мать...»

Лидия вернулась с прогулки незаметно, а когда сели ужинать, оказалось, что она уже спит. И на другой день с утра до вечера она все как-то беспокойно мелькала, отвечая на вопросы Веры Петровны не очень вежливо и так, как будто она хотела поспорить.

— Ты читала это? — осведомилась Вера Петровна, показывая ей книгу Мопассана.

— Да. Это скучно.

— Разве? Я не нахожу.

— Странная привычка — читать, — заговорила Лидия. — Все равно как жить на чужой счет, И все друг друга спрашивают: читал, читала, читали?

— Бог знает, что ты говоришь, — заметила Вера Петровна несколько обиженно, а Лидия, усмехаясь, говорила:

— Такая воробьиная беседа. И ведь это же неверно, что любовь «сильна, как смерть». Тут уж засмеялась Вера Петровна:

— Вот как? Ты — знаешь?

— Я вижу. Любят по пяти раз и — живут.

Клим озабоченно молчал, ожидая, что они поссорятся, и чувствуя, что он робеет пред Лидией.

Поздно вечером он поехал в город. Старенький, разбитый вагон дачного поезда качался и подпрыгивал, точно крестьянская телега. За окном медленно плыл черный поток леса, в небе полыхали зарницы. Клима тревожило предчувствие каких-то неприятностей. В его размышления о себе вторглась странная девушка и властно заставляла думать о ней, а это было трудно. Она не поддавалась его стремлению понять смысл игры ее чувств и мыслей. А необходимо, чтоб она и все люди были понятны, как цифры. Нужно дойти до каких-то твердых границ и поставить себя в них, разоблачив и отбросив по пути все выдумки, мешающие жить легко и просто, — вот что нужно.

Через день Лидия приехала с отцом. Клим ходил с ними по мусору и стружкам вокруг дома, облепленного лесами, на которых работали штукатуры. Гремело железо крыши под ударами кровельщиков; Варавка, сердито встряхивая бородою, ругался и втискивал в память Клима свои всегда необычные словечки.

— Работают, точно гробовщики, наскоро, кое-как. Ласкаясь к отцу, что было необычно для нее, идя с ним под руку, Лидия говорила:

— Ты, папа, готов целый город выстроить.

— Готов! — согласился Варавка. — Десяток городов выстроил бы. Город — это, милая, улей, в городе скопляется мед культуры. Нам необходимо всосать в города половину деревенской России, тогда мы и начнем жить.

Поболтав с дочерью, с Климом, он изругал рабочих, потом щедро дал им на чай и уехал куда-то, а Лидия ушла к себе наверх, притаилась там, а за вечерним чаем стала дразнить Таню Куликову вопросами:

— Почему это интересно?

Таня Куликова седела, сохла, линяла, как бы стремясь стать совершенно невидимой.

— Как вы, молодежь, мало читаете, как мало знаете! — сокрушалась она. — Наше поколение...

— Поколение — от глагола поколевать? — спросила Лидия.

Та грубоватость, которую Клим знал в ней с детства, теперь принимала формы, смущавшие его своей резкостью. Говорить с Лидией было почти невозможно, она и ему ставила тот же вопрос:

— А почему это должно быть интересно мне? А зачем это нужно знать?

За чаем, за обедом она вдруг задумывалась и минутами сидела, точно глухонемая, а потом, вздрогнув, неестественно оживлялась и снова дразнила Таню, утверждая, что, когда Катин пишет рассказы из крестьянского быта, он обувается в лапти.

— Это необходимо для вдохновения.

Зорко наблюдая за ней, видя ее нахмуренные брови, сосредоточенно ищущий взгляд темных глаз, слушая слишком бурное исполнение лирической музыки Шопена и Чайковского, Клим догадывался, что она зацепилась за что-то очень раздражающее ее, именно зацепилась, как за куст шиповника.

«Влюблена? — вопросительно соображал он и не хотел верить в это. — Нет, влюбленной она вела бы себя, наверное, не так».

В августе, хмурым вечером, возвратясь с дачи, Клим застал у себя Макарова; он сидел среди комнаты на стуле, согнувшись, опираясь локтями о колени, запустив пальцы в растрепанные волосы; у ног его лежала измятая, выгоревшая на солнце фуражка. Клим отворил дверь тихо, Макаров не пошевелился.

«Пьян», — подумал Клим и укоризненно сказал: — Хорош!

Макаров, не вынимая пальцев из волос, тяжело поднял голову; лицо его было истаявшее, скулы как будто распухли, белки красные, но взгляд блестел трезво.

— С похмелья? — спросил Клим.

Макаров поднял фуражку, положил ее на колено и прижал локтем и снова опустил голову, додумывая что-то.

Клим спросил, давно ли он возвратился из Москвы, поступил ли в университет, — Макаров пощупал карман брюк своих и ответил негромко:

— Третьего дня. Поступил.

— На медицинский?

— Отстань.

Посидев еще минуту, он встал и пошел к двери не своей походкой, лениво шаркая ногами.

— К ней? — спросил Самгин, указав глазами в потолок. Макаров тоже посмотрел вверх и, схватясь за косяк двери, ответил:

— Нет. Прощай.

Видя, как медленно и неверно он шагает, Клим подумал со смешанным чувством страха, жалости и злорадства:

«Заразился?» В комнату вбежала Феня, пугливо говоря:

— Барышня просит посмотреть за ним, не пускать его никуда.

Нелепо вытаращив глаза, она пропела:

— Что было-о!

Клим пошел наверх, навстречу по лестнице бежала Лидия, говоря оглушающим шепотом:

— Зачем ты отпустил его? Зачем?

При свете стенной лампы, скудно освещавшей голову девушки, Клим видел, что подбородок ее дрожит, руки судорожно кутают грудь платком и, наклоняясь вперед, она готова упасть.

— Догони, приведи! — уже кричала она, топая. Испуганный и как во сне, Клим побежал, выскочил за ворота, прислушался; было уже темно и очень тихо, но звука шагов не слыхать. Клим побежал в сторону той улицы, где жил Макаров, и скоро в сумраке, под липами у церковной ограды, увидал Макарова, — он стоял, держась одной рукой за деревянную балясину ограды, а другая рука его была поднята в уровень головы, и, хотя Клим не видел в ней револьвера, но, поняв, что Макаров сейчас выстрелит, крикнул:

— Не смей!

Он был уже в двух шагах от Макарова, когда тот произнес пьяным голосом:

— Аллилуйя! И — всё к черту Клим успел толкнуть его и отшатнулся, испуганный сухим щелчком выстрела, а Макаров, опустив руку с револьвером, тихонько охнул.

Впоследствии, рисуя себе эту сцену, Клим вспоминал, как Макаров покачивался, точно решая, в какую сторону упасть, как, медленно открывая рот, он испуганно смотрел странно круглыми глазами и бормотал:

— Вот… вот и…

Клим обнял его за талию, удержал на ногах и повел. Это было странно: Макаров мешал идти, толкался, но шагал быстро, он почти бежал, а шли до ворот дома мучительно долго. Он скрипел зубами, шептал, присвистывая:

— Оставь, оставь меня.

А на дворе, у крыльца, на котором стояли три женские фигуры, невнятно пробормотал:

— Я знаю — глупо…

Укоризненно покачивая гладкой головой, Таня Куликова слезливо заныла:

— Не стыдно ли…

— Молчи! — приказала Лидия. — Фекла, — за доктором!

И, подхватив Макарова под руку, спросила вполголоса:

— Куда ты выстрелил… гимназист?..

Клим слышал, что спросила она озлобленно, даже с презрением.

У себя в комнате, при огне, Клим увидал, что левый бок блузы Макарова потемнел, влажно лоснится, а со стула на пол капают черные капли. Лидия молча стояла пред ним, поддерживая его падавшую на грудь голову, Таня, быстро оправляя постель Клима, всхлипывала:

— Раздень, — приказала Лидия. Клим подошел, у него кружилась голова от сладкого, жирного запаха.

— Нет, прежде положим на постель, — командовала Лидия. Клим отрицательно мотнул головою, в полуобмороке вышел в гостиную и там упал в кресло.

Когда он, очнувшись, возвратился в свою комнату, Макаров, голый по пояс, лежал на его постели, над ним наклонился незнакомый, седой доктор и, засучив рукава, ковырял грудь его длинной, блестящей иглой, говорят

— Что же это вы, молодежь, всё шалите, стреляете? На висках, на выпуклом лбу Макарова блестел пот, нос заострился, точно у мертвого, он закусил губы и крепко закрыл глаза. В ногах кровати стояли Феня с медным тазом в руках и Куликова с бинтами, с марлей.

— Пушкины, Лермонтовы стрелялись иначе, — бормотал доктор.

Клим вышел в столовую, там, у стола, глядя на огонь свечи, сидела Лидия, скрестив руки на груди, вытянув ноги.

— Опасно? — спросила она сквозь зубы и не взглянув на Клима.

— Не знаю.

— Доктор, кажется, груб?

Клим не ответил, наливая воду в стакан, а выпив воды, сказал:

— Вот. Из-за тебя уже стреляются. Лидия тихо, но строго попросила:

— Перестань.

Замолчали, прислушиваясь. Клим стоял у буфета, крепко вытирая руки платком. Лидия сидела неподвижно, упорно глядя на золотое копьецо свечи. Мелкие мысли одолевали Клима. «Доктор говорил с Лидией почтительно, как с дамой. Это, конечно, потому, что Варавка играет в городе все более видную роль. Снова в городе начнут говорить о ней, как говорили о детском ее романе с Туробоевым. Неприятно, что Макарова уложили на мою постель. Лучше бы отвести его на чердак. И ему спокойней».

Мысли были неуместные. Клим знал это, но ни о чем другом не думалось.

Пришел доктор и, потирая руки, сообщил:

— Н-ну-с, все благополучно, как только может быть. Револьвер был плохонький; пуля ударилась о ребро, кажется, помяла его, прошла сквозь левое легкое и остановилась под кожей на спине. Я ее вырезал и подарил храбрецу.

Говоря, он пристально, с улыбочкой, смотрел на Лидию, но она не замечала этого,

сбивая наплывы на свече ручкой чайной ложки. Доктор дал несколько советов, поклонился ей, но она и этого не заметила, а когда он ушел, сказала, глядя в угол:

— Ночью дежурить будем я и Таня. Ты иди, спи, Клим.

Клим был рад уйти; он не понимал, как держать себя, что надо говорить, и чувствовал, что скорбное выражение лица его превращается в гримасу нервной усталости.

Пролежав в комнате Клима четверо суток, на пятые Макаров начал просить, чтоб его отвезли домой. Эти дни, полные тяжелых и тревожных впечатлений, Клим прожил очень трудно. В первый же день утром, зайдя к больному, он застал там Лидию, — глаза у нее были красные, нехорошо блестели, разглядывая серое, измученное лицо Макарова с провалившимися глазами; губы его, потемнев, сухо шептали что-то, иногда он вскрикивал и скрипел зубами, оскаливая их.

— Бредит, — шопотом сказала она, махнув рукой на Клима. — Уйди!

Но Клим на минуту задержался в двери и услыхал задыхающийся, хриплый голос:

— Я — не виноват... Я — не могу.

Лидия снова, тоном приказания, повторила:

— Уйди!

К вечеру Макарову стало лучше, а на третий день он, слабо улыбаясь, говорил Климу:

— Извини, брат! Напачкал я тебе тут...

Он был сконфужен, смотрел на Клима из темных ям под глазами неприятно пристально, точно вспоминая что-то и чему-то не веря. Лидия вела себя явно фальшиво и, кажется, сама понимала это. Она говорила пустяки, неуместно смеялась, удивляла необычной для нее развязностью и вдруг, раздражаясь, начинала высмеивать Клима:

— У тебя вкусы старика; только старики и старухи развешивают так много фотографий.

Макаров молчал, смотрел в потолок и казался новым, чужим. И рубашка на нем была чужая, Климова.

Когда, приехав с дачи, Вера Петровна и Варавка выслушали подробный рассказ Клима, они тотчас же начали вполголоса спорить. Варавка стоял у окна боком к матери, держал бороду в кулаке и морщился, точно у него болели зубы, мать, сидя пред трюмо, расчесывала свои пышные волосы, встряхивая головою.

— Лидия слишком кокетлива, — говорила она.

— Ну, это ты выдумала! Ни тени кокетства.

— Приемы кокетства — различны.

— Знаю, но...

— Макаров распущенный юноша, Клим это знает.

— Ты несправедлива к Лиде...

Клим слушал, не говоря ни слова. Мать говорила все более высокомерно, Варавка рассердился, зачавкал, замычал и ушел. Тогда мать сказала Климу:

— Лидия — хитрая. В ней я чувствую что-то хищное. Из таких, холодных,

развиваются авантюристки. Будь осторожен с нею.

Клим давно знал, что мать не любит Лидию, но так решительно она впервые говорила о ней.

— Я, разумеется, понимаю твои товарищеские чувства, но было бы разумнее отправить этого в больницу. Скандал, при нашем положении в обществе… ты понимаешь, конечно… О, боже мой!

Наверху топал, как слон, Варавка, и был слышен его глухой крик:

— Запрещаю. Ер-рунда!

Затем по внутренней лестнице сбежала Лидия, из окна Клим видел, что она промчалась в сад. Терпеливо выслушав еще несколько замечаний матери, он тоже пошел в сад, уверенный, что найдет там Лидию оскорбленной, в слезах и ему нужно будет утешать ее.

Но она сидела на скамье, у беседки, заложив ногу на ногу, и встретила Клима вопросом:

— Ты не станешь стреляться из-за любви, — нет?

Спросила она так спокойно и грубовато, что Клим подумал:

«Неужели мать права?»

— Как придется, — ответил он, пожав плечами.

— Нет, не станешь! — уверенно повторила она и, как в детстве, предложила:

— Посидим.

Затем, взглянув на него сбоку, она задумчиво произнесла:

— Ты, вероятно, будешь распутный. Я думаю — уже? Да?

Озадаченный Клим не успел ответить, — лицо Лидии вздрогнуло, исказилось, она встряхнула головою и, схватив ее руками, зашептала с отчаянием:

— Как это ужасно! И — зачем? Ну вот родилась я, родился ты — зачем? Что ты думаешь об этом?

Клим приосанился, собираясь говорить много и умно, но она вскочила и пошла прочь, сказав:

— Не надо. Молчи.

Когда она скрылась, Клима потянуло за нею, уже не с тем, чтоб говорить умное, а просто, чтоб идти с нею рядом. Это был настолько сильный порыв, что Клим вскочил, пошел, но на дворе раздался негромкий, но сочный возглас Алины:

— Неужели? Ага, я говорила…

Клим постоял, затем снова сел, думая: да, вероятно, Лидия, а пожег быть, и Макаров знают другую любовь, эта любовь вызывает у матери, у Варавки, видимо, очень ревнивые и завистливые чувства. Ни тот, ни другая даже не посетили больного. Варавка вызвал карету «Красного Креста», и, когда санитары, похожие на поваров, несли Макарова по двору, Варавка стоял у окна, держа себя за бороду. Он не позволил Лидии проводить больного, а мать, кажется, нарочно ушла из дома.

— На дворе Макаров сразу посветлел, оживился и, глядя в прозрачное, холодноватое небо, тихо сказал:

— Бесподобно.

Лежа в карете, морщась от сильных толчков, он погладил правою рукою колено Клима.

— Ну, брат, спасибо тебе. А кровопускание это, пожалуй, полезно, успокаивает.

И слабо усмехнулся, добавив:

— Только ты — не пробуй: больно да и стыдно немножко.

Он закрыл глаза, и, утонув в темных ямах, они сделали лицо его более жутко слепым, чем оно бывает у слепых от рождения. На заросшем травою маленьком дворике игрушечного дома, кокетливо спрятавшего свои три окна за палисадником, Макарова встретил уродливо высокий, тощий человек с лицом клоуна, с метлой в руках. Он бросил метлу, подбежал к носилкам, переломился над ними и смешным голосом заговорил, толкая санитаров, Клима:

— Эх, Костя, ай-яй-ай! Когда нам Лидия Тимофеевна сказала, мы так и обмерли. Потом она обрадовала нас, не опасно, говорит. Ну, слава богу! Сейчас же все вымыли, вычистили. Мамаша! — закричал он и, схватив длинными пальцами локоть Клима, представился:

— Злобин, Петр, почтово-телеграфный, очень рад.

Из двери сарайчика вылезла мощная, краснощекая старуха в сером платье, похожем на рясу, с трудом нагнулась, поцеловала лоб Макарова и прослезилась, ворчливо говоря:

— Ну и дурачок!

Клим почувствовал себя умиленным. Забавно было видеть, что такой длинный человек и такая огромная старуха живут в игрушечном домике, в чистеньких комнатах, где много цветов, а у стены на маленьком, овальном столике торжественно лежит скрипка в футляре. Макарова уложили на постель в уютной, солнечной комнате. Злобин неуклюже сел на стул и говорил:

— А я, знаешь, по этому случаю, даже разрешил себе пьеску разучить «Сувенир де Вильна» — очень милая! Три вечера зудел.

Курносый, голубоглазый, подстриженный ежиком и уже полуседой, он казался Климу все более похожим на клоуна. А грузная его мамаша, покачиваясь, коровой ходила из комнаты в комнату, снося на стол перед постелью Макарова графины, стаканы, — ходила и ворчала:

— Ну и — что хорошего? Издеваетесь над собою, молодые люди, а потом скучать будете.

Она предложила Климу чаю, Клим вежливо отказался, пожал руку Макарову, который, молча улыбаясь, смотрел на Злобиных.

— Приходи, пожалуйста, — попросил Макаров, Зло-бины в один голос повторили:

— Пожалуйста.

Клим вышел на улицу, и ему стало грустно. Забавные друзья Макарова, должно быть, крепко любят его, и жить с ними — уютно, просто. Простота их заставила его вспомнить о Маргарите — вот у кого он хорошо отдохнул бы от нелепых тревог этих дней. И, задумавшись о ней, он вдруг почувствовал, что эта девушка незаметно выросла в глазах его, но выросла где-то в стороне от Лидии и не затемняя ее.

Когда в линию его размышлений вторгалась Лидия, он уже не мог думать ни о чем, кроме нее. В сущности, он и не думал, а стоял пред нею и рассматривал девушку безмысленно, так же как иногда смотрел на движение облаков, течение реки.

Облака и волны, стирая, смывая всякие мысли, вызывали у него такое же бездумное, демотное настроение полугипноза, как эта девушка. Но, когда он видел ее пред собою не в памяти, а во плоти, в нем возникал почти враждебный интерес к ней; хотелось следить за каждым ее шагом, знать, что она думает, о чем говорит с Алиной, с отцом, хотелось уличить ее в чем-то.

Через несколько дней Лидия мимоходом, но задорно, как показалось Климу, спросила его:

— Почему ты не зайдешь к Макарову? Он сказал, что очень расстроен отношением к нему педагогического совета, часть членов его, не решаясь выдать ему аттестат зрелости, требует переэкзаменовки.

— Ну, Ржига устроит это, — небрежно сказала Лидия, а затем, прищурив глаза, тихонько посмеялась и прибавила:

— Не заставляй думать, будто ты сожалеешь о том, что помешал товарищу убить себя.

Она ушла, прежде чем он успел ответить ей. Конечно, она шутила, это Клим видел по лицу ее. Но и в форме шутки ее слова взволновали его. Откуда, из каких наблюдений могла родиться у нее такая оскорбительная мысль? Клим долго, напряженно искал в себе: являлось ли у него сожаление, о котором догадывается Лидия? Не нашел и решил объясниться с нею. Но в течение двух дней он не выбрал времени для объяснения, а на третий пошел к Макарову, отягченный намерением, не совсем ясным ему.

На пороге одной из комнаток игрушечного дома он остановился с невольной улыбкой: у стены на диване лежал Макаров, прикрытый до груди одеялом, расстегнутый ворот рубахи обнажал его забинтованное плечо; за маленьким, круглым столиком сидела Лидия; на столе стояло блюдо, полное яблок; косой луч солнца, проникая сквозь верхние стекла окон, освещал алые плоды, затылок Лидии и половину горбоносого лица Макарова. В комнате было душисто и очень жарко, как показалось Климу. Больной и девушка ели яблоки.

— Райское занятие, — пробормотал Клим.

— Третьим в раю был дьявол, — тотчас сказала Лидия и немножко отодвинулась от дивана вместе со стулом, а Макаров, пожимая руку Клима, подхватил ее шутку:

— Самгин больше похож на Фауста, чем на Мефистофеля.

Обе шутки не понравились Климу, заставив его насторожиться, а Макаров и Лидия, легко перебрасываясь шуточками, все чаще задевала его. Он отшучивался неловко, смущенно, ему казалось, что в их словах он слышит досаду и раздражение людей, которым помешали. В нем поднималась обида на них и еще какое-то унылое чувство. Человек, которому он помешал убить себя, был слишком весел и стал даже красивее. Бледность лица выгодно подчеркивала горячий блеск его глаз, тень на верхней губе стала гуще, заметней, и вообще Макаров в эти несколько дней неестественно возмужал. Он даже говорил хотя и слабым, но более низким голосом. Лидия держалась с ним неприятно просто, без высокомерия и заносчивости, обычных для нее. И хотя Клим заметил, что и к нему она сегодня добрее, чем всегда, но это тоже было обидно.

— Как мило здесь, не правда ли? — обратилась она к Самгину, сделав круг рукою. Клим ответил:

— Обычно, как у мещан.

— Подумайте, какой аристократ, — сказал Макаров, пряча лицо от солнца. Лидия тоже улыбнулась, а Клим быстро представил себе ее будущее: вот она замужем за учителем гимназии Макаровым, он — пьяница, конечно;

она, беременная уже третьим ребенком, ходит в ночных туфлях, рукава кофты засучены до локтей, в руках грязная тряпка, которой Лидия стирает пыль, как горничная, по полу ползают краснозадые младенцы и пищат. Эта быстро возникшая картина несколько приподняла его угнетенное настроение, но в дверь заглянула старуха Злобина, приглашая:

— Чай кушать прошу! Сегодня ваши любимые лепешки, Лидия Тимофеевна!

Лидия подбежала к ней, заговорила, гладя тоненькими пальцами седую прядь волос, спустившуюся на багровую щеку старухи. Злобина тряслась, басовито посмеиваясь. Клим не слушал, что говорила Лидия, он только пожал плечами на вопрос Макарова:

— Ты чего смотришь сычом?

«Вот как? — думал он. — Значит, она давно и часто ходит сюда, она здесь — свой человек? Но почему же Макаров стрелялся?»

С неотразимой навязчивостью вертелась в голове мысль, что Макаров живет с Лидией так, как сам он жил с Маргаритой, и, посматривая на них исподлобья, он мысленно кричал:

«Лгуны. Фальшивые люди».

Рядом с ним сидел Злобин, толкал его костлявым плечом и говорил, что он любит только музыку и мамашу.

— Из-за этой любви я и не женился, потому что, знаете, третий человек в доме — это уже помеха! И — не всякая жена может вынести упражнения на скрипке. А я каждый день упражняюсь. Мамаша так привыкла, что уж не слышит…

Клим ушел от этих людей в состоянии настолько подавленном, что даже не предложил Лидии проводить ее. Но она сама, выбежав за ворота, остановила его, попросив ласково, с хитренькой улыбкой в глазах:

— Ты не говори дома, что я была здесь, — хорошо? Он утвердительно кивнул головою. Домой идти не хотелось, он вышел на берег реки и, медленно шагая, подумал:

«Надо курить; говорят, это успокаивает». За рекою, над гладко обритой землей, опрокинулась получашей розоватая пустота, напоминая почему-то об игрушечном, чистеньком домике, о людях в нем. «Как глупо все!»

Дома он застал Варавку и мать в столовой, огромный стол был закидан массой бумаг, Варавка щелкал косточками счет и жужжал в бороду:

— Ж-жулики.

Мать быстро списывала какие-то цифры с однообразных квадратиков бумаг на большой, чистый лист, пред нею стояло блюдо с огромным арбузом, пред Варавкой — бутылка хереса.

— Ну, что твой стрелок? — спросил Варавка. Выслушав ответ Клима, он недоверчиво осмотрел его, налил полный фужер вина, благочестиво выпил половину, облизал свою мясную губу и заговорил, откинувшись на спинку стула, пристукивая пальцем по краю стола:

— Мир делится на людей умнее меня — этих я не люблю — и на людей глупее меня — этих презираю. Мать, испытующе взглянув на него, спросила:

— Почему ты это… вдруг?

— По необходимости, — ответил Варавка, поддев вилкой кубический кусок арбуза и отправив его в рот. — Но есть еще категория людей, которых я боюсь, —

продолжал он звонко и напористо. — Это — хорошие русские люди, те, которые веруют, что логикой слов можно влиять на логику истории. Я тебе, Клим, дружески советую: остерегайся верить хорошему русскому человеку. Это — очень милый человек, да! Поболтать с ним о будущем — наслаждение. Но настоящего он совершенно не понимает. И не видит, как печальна его роль ребенка, который, мечтательно шагая посредине улицы, будет раздавлен лошадьми, потому что тяжелый воз истории везут лошади, управляемые опытными, но неделикатными кучерами. Хорошие наши люди в этом деле — ни при чем. В лучшем случае они служат лепкой на фасаде воздвигаемого здания, но так как здание еще только воздвигается, то…

Мать строптиво прервала его речь:

— Однако, вспомни, что Христос…

— Явление тоже преждевременное, а потому — вредное, — продолжал Варавка, отбивая толстым пальцем такт речи. — Так называемая христианская культура — нечто подобное радужному пятну нефти на широкой, мутной реке. Культура — это пока: книжки, картинки, немного музыки и очень мало науки. Культурность небольшой кучки людей, именующих себя «солью земли», «рыцарями духа» и так далее, выражается лишь в том, что они не ругаются вслух матерно и с иронией говорят о ватерклозете. Все живущие «во Христе» глубоко антикультурны в моем смысле понятия культуры. Культура — это, дорогая моя, любовь к труду, но такая же неукротимо жадная, как любовь к женщине…

Варавка, торопливо закурив папиросу, все говорил, говорил, извергая синий дым. Сафьяновая кожа его лба красновато лоснилась, острые глазки возбужденно сверкали, дымилась лисья борода, и слова его тоже как будто дымились.

Климу давно и хорошо знакомы были припадки красноречия Варавки, они особенно сильно поражали его во дни усталости от деловой жизни. Клим видел, что с Варавкой на улицах люди раскланиваются все более почтительно, и знал, что в домах говорят о нем все хуже, злее. Он приметил также странное совпадение: чем больше и хуже говорили о Варавке в городе, тем более неукротимо и обильно он философствовал дома.

Сегодня припадок был невыносимо длителен. Варавка даже расстегнул нижние пуговицы жилета, как иногда он делал за обедом. В бороде его сверкала красная улыбка, стул под ним потрескивал. Мать слушала, наклонясь над столом и так неловко, что девичьи груди ее лежали на краю стола. Климу было неприятно видеть это.

— Позволь, позволь, — кричал ей Варавка, — но ведь эта любовь к людям, — кстати, выдуманная нами, противная природе нашей, которая жаждет не любви к ближнему, а борьбы с ним. — эта несчастная любовь ничего не значит и не стоит без ненависти, без отвращения к той грязи, в которой живет ближний! И, наконец, не надо забывать, что духовная жизнь успешно развивается только на почве материального благополучия.

Прислушиваясь к себе, Клим ощущал в груди, в голове тихую, ноющую скуку, почти боль; это было новое для него ощущение. Он сидел рядом с матерью, лениво ел арбуз и недоумевал: почему все философствуют? Ему казалось, что за последнее время философствовать стали больше и торопливее. Он был обрадован весною, когда под предлогом ремонта флигеля писателя Катина попросили освободить квартиру. Теперь, проходя по двору, он с удовольствием смотрел на закрытые ставнями окна флигеля.

Нередко казалось, что он до того засыпан чужими словами, что уже не видит себя. Каждый человек, как бы чего-то боясь, ища в нем союзника, стремится накричать в уши ему что-то свое; все считают его приемником своих мнений, зарывают, его в песок слов. Это — угнетало, раздражало. Сегодня он был именно в таком настроении.

Вошла Феня и доложила, что пришел подрядчик.

— Ага! — сердито вскричал Варавка и, вскочив на ноги, ушел тяжелой, но быстрой походкой медведя. Клим тоже встал, но мать, взяв его под руку, повела к себе, спрашивая:

— Тебя, очевидно, очень взволновала эта история с Лидией?

Вполголоса, скучно повторяя знакомые Климу суждения о Лидии, Макарове и явно опасаясь сказать что-то лишнее, она ходила по ковру гостиной, сын молча слушал ее речь человека, уверенного, что он говорит всегда самое умное и нужное, и вдруг подумал: а чем отличается любовь ее и Варавки от любви, которую знает, которой учит Маргарита?

Он тотчас понял всю тяжесть, весь цинизм такого сопоставления, почувствовал себя виновным пред матерью, поцеловал ее руку и, не глядя в глаза, попросил ее:

— Не беспокойся, мама! И — прости, я так устал. Она тоже очень крепко поцеловала его в лоб, сказав:

— Я понимаю, что с твоей исключительной вдумчивостью тебе трудно.

У себя в комнате, сбросив сюртук, он подумал, что хорошо бы сбросить вот так же всю эту вдумчивость, путаницу чувств и мыслей и жить просто, как живут другие, не смущаясь говорить все глупости, которые подвернутся на язык, забывать все премудрости Томилина, Варавки… И забыть бы о Дронове.

Он плохо спал, встал рано, чувствуя себя полубольным, пошел в столовую пить кофе и увидал там Варавку, который, готовясь к битве дня, грыз поджаренный хлеб, запивая его портвейном.

— Слушай, — сказал он, сдвинув брови, тихо, не выпуская руки Клима из своей и этим заставив юношу ожидать неприятности. — Вчера, не желая волновать Веру, я не хотел, да и времени не нашел сообщить тебе о Дронове. Мировой судья Козмин, не зная, что этот индивидуй уже не служит у меня, предупредил, что Дронов присвоил книжку сберегательной кассы какой-то девицы и на него подана жалоба. Тут какая-то хитрая история. Но, хотя судья выразился «присвоил», однако ясно, что дело идет о краже, да еще и не подсудной мировому, потому что — кража свыше трехсот рублей. Значит — окружный суд. Ты в каких отношениях с этим парнем? Ага, разошелся? Я очень рад.

Клим тоже обрадовался и, чтобы скрыть это, опустил голову. Ему послышалось, что в нем тоже прозвучало торжествующее «Arab, вспыхнула, как спектр, полоса разноцветных мыслишек и среди них мелькнула линия сочувственных Маргарите. Варавка, должно быть, поняв его радость как испуг, сказал несколько утешительных афоризмов:

— Ну, что же, — за порядочность человека никогда нельзя ручаться. Мы выбираем друзей небрежнее, чем ботинки. Заметь, что человек без друзей — более человек.

Он самодовольно закончил:

— Я — не имею друзей.

Тут чувство благодарности за радость толкнуло Клима сказать ему, что Лидия часто бывает у Макарова. К его удивлению, Варавка не рассердился, он только опасливо взглянул в сторону комнат матери и негромко сказал:

— Да, да. Я знаю. Романтизм, чорт его возьми! Хотя романтизм все-таки, знаешь, лучше…

Сделав правой рукой неопределенный жест, он сунул под мышку толстый портфель и спросил тихонько:

— Ты матери не говорил об этом? Нет? И не говори, прошу. Они и без этого не очень любят друг друга. Я — пошел.

Но как только он исчез — исчезла и радость Клима, ее погасило сознание, что он поступил нехорошо, сказав Варавке о дочери. Тогда он, вообще не способный на быстрые решения, пошел наверх, шагая через две ступени.

Лидия, непричесанная, в оранжевом халатике, в туфлях на босую ногу, сидела в углу дивана с тетрадью нот в руках. Не спеша прикрыв голые ноги полою халата, она, неласково глядя на Клима, спросила:

— Что случилось? Почему у тебя такое лицо? Он присел на край дивана и сразу, как будто опасаясь, что не скажет того, что хочет, сказал:

— Прости меня, но я нечаянно проговорился… Лидия, бросив ноты на колени себе, остановила его:

— Знаю. Я так и думала, что скажешь отцу. Я, может быть, для того и просила тебя не говорить, чтоб испытать: скажешь ли? Но я вчера сама сказала ему. Ты — опоздал.

И в голосе ее и в глазах было нечто глубоко обидное. Клим молчал, чувствуя, что его раздувает злость, а девушка недоуменно, печально говорила:

— Не понимаю я тебя. Ты кажешься порядочным, но… как-то все прыгаешь к плохому. Что это значит?

В словах ее Клим чувствовал брезгливость, он вскочил с дивана, и с невероятной быстротой между ними разыгралась ссора. Клим сказал тоном старшего:

— Это значит, что в твоем поведении я не вижу ничего хорошего…

— Как ты смешон, — ответила девушка, отодвигаясь в угол дивана, подобрав под себя ноги.

— Твой роман с Макаровым… Лидия изумленно, гневно, широко раскрыв глаза, заговорила вполголоса:

— Мое поведение? Роман? Ты — смеешь, ты, мальчишка? Ты воображаешь…

Она задохнулась, видимо, не в силах выговорить какое-то слово, ее смуглое лицо покраснело и даже вспухло, на глазах показались слезы; перекинув легкое тело свое на колени, она шептала:

— Ты думаешь…

Клим вдруг испугался ее гнева, он плохо понимал, что она говорит, и хотел только одного: остановить поток ее слов, все более резких и бессвязных. Она уперлась пальцем в лоб его, заставила поднять голову и, глядя в глаза, спросила:

— Неужели ты серьезно думаешь, что я… что мы с Макаровым в таких отношениях? И не понимаешь, что я не хочу этого… что из-за этого он и стрелял в себя? Не понимаешь?

Клим чувствовал на коже лба своего острый толчок пальца девушки, и ему казалось, что впервые за всю свою жизнь он испытывает такое оскорбление. Говорила Лидия что-то глупенькое и детское, но вела себя, как взрослая, как дама. Он смотрел в ее серьезное лицо, в печальные глаза, ему хотелось сказать ей очень злые слова, но они не сползали с языка. Так, молча, он и ушел к себе, а там, чувствуя горькую сухость во рту и бессвязный шум злых слов в голове, встал у окна, глядя, как ветер обрывает листья с деревьев. В стекле он видел отражение своего лица, и, хотя черты расплылись, оно все-таки напоминало сухое и важное лицо матери.

Со всей решимостью, на какую Клим был способен в этот момент, он спросил себя: что настоящее, невыдуманное в его чувствах к Лидии? Не без труда и не скоро он распутал тугой клубок этих чувств: тоскливое ощущение утраты чего-то очень важного, острое недовольство собою, желание отомстить Лидии за обиду, половое любопытство к ней и рядом со всем этим напряженное желание убедить девушку в его значительности, а за всем этим явилась уверенность, что в конце концов он любит Лидию настоящей любовью, именно той, о которой пишут стихами и прозой и в которой нет ничего мальчишеского, смешного, выдуманного.

Он облегченно вздохнул, продолжая размышлять: если б Лидия любила Макарова, она, из чувства благодарности, должна бы изменить свое высокомерное отношение к человеку, который спас жизнь ее возлюбленного. Но он не слышал от нее ни слова благодарности. Это — странно. Сегодня она сказала нечто непонятное: Макаров стрелялся из страха пред любовью, так надо понять ее слова. Но вернее, что этот страх живет в самой Лидии. Клим быстро вспомнил ряд признаков, которые убедили его, что это так и есть: Лидия боится любви, она привила свой страх Макарову и поэтому виновна в том, что заставила человека покуситься на жизнь свою. Додуматься до этого было приятно; просмотрев еще раз ход своих мыслей, Клим поднял голову и даже усмехнулся, что он — крепкий человек и умеет преодолевать неприятности быстро.

Он решил держаться с Лидией великодушно, как наиболее редкие и благородные герои романов, те, которые, любя, прощают все. Уже второй раз приходилось ему становиться в эту позицию. Но на этот раз он скоро понял, что такая роль делает его еще менее заметным в глазах Лидии. Рассматривая себя в зеркале, он видел, что лирическая, грустная мина делает его лицо незначительным. Он вообще был недоволен своим лицом, находя черты его мелкими, не отражающими всю сложность его души. Близорукость заставляла его щуриться, зрачки, сквозь стекла очков, казались неприятно расширенными. Не нравился нос, прямой и сухонький, он был недостаточно велик, губы — тонки, подбородок — излишне остр, усы росли двумя светлыми кустиками только на углах губ. Когда он хмурился, сдвигал негустые брови, лицо становилось интересней и умней. От лирической мины пришлось отказаться.

Он стал читать Лермонтова, крепкая горечь этих стихов казалась ему полезной, он все чаще цитировал наиболее едкие строки мрачного поэта.

Он пробовал также говорить с Лидией, как с девочкой, заблуждения которой ему понятны, хотя он и считает их несколько смешными. При матери и Варавке ему удавалось выдержать этот тон, но, оставаясь с нею, он тотчас терял его.

Лидия уезжала в Москву, но собиралась не спеша, неохотно. Слушая беседы Варавки с матерью Клима, она рассматривала их, точно людей незнакомых, испытующим взглядом и, очевидно, не соглашаясь с тем, что слышит, резко встряхивала головою в шапке курчавых волос.

Макаров, выздоровев, уже уехал в университет, он сделал это несколько подозрительно торопливо; прощаясь с Климом, крепко стиснул руку его, но сказал только два слова:

— Спасибо, брат.

После его отъезда Самгину показалось, что Лидия стала еще заметнее избегать встреч с ним глаз на глаз. В глазах ее застыло что-то монашески унылое и сердитое, но казалось, что она теперь более ребенок, чем была несколько недель тому назад. Клим заметил, что с матерью его она стала говорить не так сухо и отчужденно, как раньше, а мать тоже — мягче с нею. Было что-то тревожное в том, что она иногда приходит в комнату матери и они сидят там, тихо разговаривая. Около полуночи, после скучной игры с Варавкой и матерью в преферанс, Клим ушел к себе, а через несколько минут вошла мать уже в лиловом капоте, в ночных туфлях, села на кушетку и озабоченно заговорила, играя кистями пояса:

— За лето ты как-то поблек, стал вялым и вообще не похож на себя.

Он молчал, пощипывая кустики усов, догадываясь, что это — предисловие к серьезной беседе, и — не ошибся. С простотою, почти грубоватой, мать, глядя на него всегда спокойными глазами, сказала, что она видит его увлечение Лидией. Чувствуя, что он густо покраснел, Клим спросил, усмехаясь:

— Ты не ошибаешься?

Как бы не услыхав его вопроса, она учительно продолжала:

— Любовь в твоем возрасте — это еще не та любовь, которая… Это еще не любовь, нет!

Помолчав несколько секунд, она вздохнула.

— Я обвенчалась с отцом, когда мне было восемнадцать лет, и уже через два года поняла, что это — ошибка.

Она снова замолчала, сказав, видимо, не то, что хотелось, а Клим, растерянно ловя отдельные фразы, старался понять: чем возмущают его слова матери?

— Мое отношение к ее отцу… — слышал он, соображая, какими словами напомнить ей, что он уже взрослый человек. И вдруг сказал небрежно, нахмурясь:

— Я отношусь к Лиде дружески, и, естественно, меня несколько пугает ее история с Макаровым, человеком, конечно, не достойным ее. Быть может, я говорил с нею о нем несколько горячо, несдержанно. Я думаю, что это — все, а остальное — от воображения.

Говоря так, он был уверен, что не лжет, и находил, что говорит хорошо. Ему показалось, что нужно прибавить еще что-нибудь веское, он сказал:

— Ты знаешь: существует только человек, все же остальное — от его воображения. Это, кажется, Протагор…

Чуть прищурив глаза, мать отозвалась:

— Это не совсем так, но очень умно. Прекрасная память у тебя. И, конечно, ты прав: девушки всегда забегают несколько вперед, воображая неизбежное. Ты успокоил меня. Я и Тимофей так дорожим отношениями, которые создались и все крепнут между нами…

Клим наклонил голову, смущенный откровенным эгоизмом матери, поняв, что в эту минуту она только женщина, встревоженная опасением за свое счастье.

Он спросил:

— Мне кажется, ты стала добрее с Лидой?

— Мой взгляд ты знаешь, он не может измениться, — ответила мать, вставая и поцеловав его. — Спи!

Ушла, оставив за собой раздражающий запах крепких духов и легкую усмешку на губах сына.

Беседы с нею всегда утверждали Клима в самом себе, утверждали не столько словами, как ее непоколебимо уверенным тоном. Послушав ее, он находил, что все, в сущности, очень просто и можно жить легко, уютно. Мать живет только собою и — не плохо живет. Она ничего не выдумывает.

Разумеется, кое-что необходимо выдумывать, чтоб подсолить жизнь, когда она слишком пресна, подсластить, когда горька. Но — следует найти точную меру. И есть чувства, раздувать которые — опасно. Такова, конечно, любовь к женщине,

раздутая до неудачных выстрелов из плохого револьвера. Известно, что любовь — инстинкт, так же как голод, но — кто же убивает себя от голода или жажды или потому, что у него нет брюк?

В минуты таких размышлений наедине с самим собою Клим чувствовал себя умнее, крепче и своеобразней всех людей, знакомых ему. И в нем постепенно зарождалось снисходительное отношение к ним, не чуждое улыбчивой иронии, которой он скрытно наслаждался. Уже и Варавка порою вызывал у него это новое чувство, хотя он и деловой человек, но все-таки чудаковатый болтун.

Клим получил наконец аттестат зрелости и собирался ехать в Петербург, когда на его пути снова встала Маргарита. Туманным вечером он шел к Томилину прощаться, и вдруг с крыльца неприглядного купеческого дома сошла на панель женщина, — он тотчас признал в ней Маргариту. Встреча не удивила его, он понял, что должен был встретить швейку, он ждал этой случайной встречи, но радость свою он, конечно, скрыл.

Осторожно перекинулись незначительными фразами. Маргарита напомнила ему, что он поступил с нею невежливо. Шли медленно, она смотрела на него искоса, надув губы, хмурясь; он старался говорить с нею добродушно, заглядывал в глаза ее ласково и соображал: как внушить ей, чтоб она пригласила его к себе?

Его тянуло к ней и желание еще раз испытать ее ласки и одна внезапно вспыхнувшая важная идея. Когда он сочувственно спросил ее о Дронове, она возразила:

— Ничего подобного, он вовсе не украл книжку. И спокойно, кратко поведала:

— Сам он стыдился копить деньги и складывал их в сберегательную кассу по моей книжке. А когда мы поссорились…

— Из-за чего?

— Ну, из-за чего ссорятся мужчины с женщинами? Из-за мужчин, из-за женщин, конечно. Он стал просить у меня свои деньги, а я пошутила, не отдала. Тогда он стащил книжку, и мне пришлось заявить об этом мировому судье. Тут Ванька отдал мне книжку; вот и все.

На углу темненького, забитого туманом переулка она предложила:

— Зайдешь? Я на новой квартире живу. Чаю выпьем. В тесной комнатке, ничем не отличавшейся от прежней, знакомой Климу, он провел у нее часа четыре. Целовала она как будто жарче, голоднее, чем раньше, но ласки ее не могли опьянить Клима настолько, чтоб он забыл о том, что хотел узнать. И, пользуясь моментом ее усталости, он, издали подходя к желаемому, спросил ее о том, что никогда не интересовало его:

— Как ты жила? Вопрос удивил ее.

— Жила, как все.

Но Клим расспрашивал настойчиво, тогда она немножко отодвинулась от него и, зевнув, перекрестя рот, сказала:

— Жила, как все девушки, вначале ничего не понимала, потом поняла, что вашего брата надобно любить, ну и полюбила одного, хотел он жениться на мне, да — раздумал.

Сказав это спокойно и беззлобно, она закрыла глаза, а Клим, гладя ее щеку, шею и плечо, поставил, очень ласково, свой главный вопрос:

— А как ты стала женщиной?..

— Тем же порядком, как все, — ответила женщина, двинув плечом и не открывая

глаз.

— Ты — боялась?

— Чего это?

— В первый раз… в первую ночь? Подумав, как бы вспоминая, Маргарита облизала губы.

— Это было днем, а не ночью; в день Всех святых, на кладбище.

Открыв глаза, она стала сбрасывать волосы, осыпавшие ее уши, щеки. В жестах ее Клим заметил нелепую торопливость. Она злила, не желая или не умея познакомить его с вопросом практики, хотя Клим не стеснялся в словах, ставя эти вопросы.

— Очень обыкновенно, — закружится голова, вот и — прощай девушка.

Кроме этого, она ничего не сказала о технике и доброжелательно начала знакомить его с теорией. Чтоб удобнее было говорить, она даже села на постели.

— Слышала я, что товарищ твой стрелял в себя из пистолета. Из-за девиц, из-за баб многие стреляются. Бабы подлые, капризные. И есть у них эдакое упрямство… не могу сказать какое. И хорош мужчина, и нравится, а — не тот. Не потому не тот, что беден или некрасив, а — хорош, да — не тот!

Заплетая волосы в косу, она говорила все более задумчиво:

— Жениться будешь — выбирай девушку с характером; они, которые характерные, — глупые, они — виднее, сами себя выговаривают. А тихоньких, скромненьких — опасайся, такие обманывают в час — два раз.

Лицо ее вдруг изменилось, зрачки глаз сузились, точно у кошки, на желтоватые белки легла тень ресниц, она присматривалась к чему-то как бы чужими глазами и мстительно вспоминая. Климу показалось, что раньше она говорила о женщинах не так злостно, а как о дальних родственницах, от которых она не ждет ничего, ни хорошего, ни дурного; они не интересны ей, полузабыты ею. И, слушая ее, он еще раз опасливо подумал, что все знакомые ему люди как будто сговорились в стремлении опередить его; все хотят быть умнее его, непонятнее ему, хитрят и прячутся в словах. Пожалуй — именно непонятнее хотят они быть, боясь, что Клим Самгин быстро разгадает их.

А Маргарита говорила:

— Мне даже не верится, что были святые женщины, наверно, это старые девы — святые-то, а может, нетронутые девицы.

Слушая сквозь свои думы болтовню Маргариты, Клим еще ждал, что она скажет ему, чем был побежден страх ее, девушки, пред первым любовником? Как-то странно, вне и мимо его, мелькнула мысль: в словах этой девушки есть нечто общее с бойкими речами Варавки и даже с мудрыми глаголами Томилина.

Устав, наконец, слушать ее, Клим скучно сказал:

— Ты сегодня в философском настроении. Маргарита, быстро оглянув себя, спросила:

— В чем?

А когда он объяснил свои слова, она сказала:

— Ой, а мне подумалось, что ты кровь увидал; у меня пора кровям быть…

Брезгливо вздрогнув, Клим соскочил с кровати. Простота этой девушки и раньше

изредка воспринималась им как бесстыдство и нечистоплотность, но он мирился с этим. А теперь ушел от Маргариты с чувством острой неприязни к ней и осуждая себя за этот бесполезный для него визит. Был рад, что через день уедет в Петербург. Варавка уговорил его поступить в институт инженеров и устроил все, что было необходимо, чтоб Клима приняли.

Ночь была холодно-влажная, черная; огни фонарей горели лениво и печально, как бы потеряв надежду преодолеть густоту липкой тьмы. Климу было тягостно и ни о чем не думалось. Но вдруг снова мелькнула и оживила его мысль о том, что между Варавкой, Томилиным и Маргаритой чувствуется что-то сродное, все они поучают, предупреждают, пугают, и как будто за храбростью их слов скрывается боязнь. Пред чем, пред кем? Не пред ним ли, человеком, который одиноко и безбоязненно идет в ночной тьме?

Глава 3

О Петербурге у Клима Самгина незаметно сложилось весьма обычное для провинциала неприязненное и даже несколько враждебное представление: это город, не похожий на русские города, город черствых, недоверчивых и очень проницательных людей; эта голова огромного тела России наполнена мозгом холодным и злым. Ночью, в вагоне, Клим вспоминал Гоголя, Достоевского.

Он приехал в столицу, решив держаться с людями осторожно, уверенный, что они тотчас же начнут испытывать, изучать его, заражать своими верованиями.

Густой туман окутывал город, и хотя было не более трех часов пополудни, Невский проспект пытались осветить радужные пузыри фонарей, похожих на гигантские одуванчики. Липкая сырость увлажняла кожу лица, ноздри щекотал горьковатый запах дыма. Клим согнул шею, приподнял плечи, посматривая направо и налево в мокрые стекла магазинов, освещенных внутри так ярко, как будто в них торговали солнечными лучами летних дней. Непривычен был подавленный шум города, слишком мягки и тупы удары лошадиных копыт по деревянной мостовой, шорох резиновых и железных шин на колесах экипажей почти не различался по звуку, голоса людей звучали тоже глухо и однообразно. Странно было не слышать цоканья подков по булыжнику, треска и дребезга пролеток, бойких криков разносчиков. И нет колокольного звона.

По панелям, смазанным жидкой грязью, люди шагали чрезмерно торопливо и были неестественно одноцветны. Каменные и тоже одноцветные серые дома, не разъединенные заборами, тесно прижатые один к другому, являлись глазу как единое и бесконечное здание. Его нижний этаж, ярко освещенный, приплюснут к земле и вдавлен в нее, а верхние, темные, вздымались в серую муть, за которой небо не чувствовалось.

Среди этих домов люди, лошади, полицейские были мельче и незначительнее, чем в провинции, были тише и покорнее. Что-то рыбье, ныряющее заметил в них Клим, казалось, что все они судорожно искали, как бы поскорее вынырнуть из глубокого канала, полного водяной пылью и запахом гниющего дерева. Небольшими группами люди останавливались на секунды под фонарями, показывая друг другу из-под черных шляп и зонтиков желтые пятна своих физиономий.

Быстрая походка людей вызвала у Клима унылую мысль: все эти сотни и тысячи маленьких воль, встречаясь и расходясь, бегут к своим целям, наверное — ничтожным, но ясным для каждой из них. Можно было вообразить, что горьковатый туман — горячее дыхание людей и все в городе запотело именно от их беготни. Возникала боязнь потерять себя в массе маленьких людей, и вспоминался один из бесчисленных афоризмов Варавки, — угрожающий афоризм:

«Большинство людей обязано покорно подчиняться своему назначению — быть сырым материалом истории. Им, как, например, пеньке, не нужно думать о том, какой толщины и прочности совьют из них веревку и для какой цели она необходима».

«Напрасно я уступил настояниям матери и Варавки, напрасно поехал в этот задыхающийся город, — подумал Клим с раздражением на себя. — Может быть, в советах матери скрыто желание не допускать меня жить в одном городе с Лидией? Если так — это глупо; они отдали Лидию в руки Макарова».

Думать мешали напряженно дрожащие и как бы готовые взорваться опаловые пузыри вокруг фонарей. Они создавались из мелких пылинок тумана, которые, непрерывно вторгаясь в их сферу, так же непрерывно выскакивали из нее, не увеличивая и не умаляя объема сферы. Эта странная игра радужной пыли была почти невыносима глазу и возбуждала желание сравнить ее с чем-то, погасить словами и не замечать ее больше.

Клим снял запотевшие очки, тогда огромные шары жидкого опала несколько

обесцветились, уплотнились, но стали еще более неприятны, а огонь, потускнев, ушел глубже в центры их. Избитое сравнение Варавки «город — улей» не годилось. Более удачно гасились эти призрачные огни словами большеголового составителя популярно-научных книжек; однажды во флигеле у Катина он пламенно доказывал, что мысль и воля человека — явления электрохимические и что концентрация воль вокруг идеи может создавать чудеса, именно такой концентрацией следует объяснить наиболее динамические эпохи: Крестовые походы, Возрождение, Великую революцию и подобные взрывы волевой энергии.

На Сенатской площади такие же опаловые пузыри освещали темную, масляно блестевшую фигуру буйного царя, бронзовой рукою царь указывал путь на Запад, за широкую реку; над рекою туман был еще более густ и холодней. Клим почувствовал себя обязанным вспомнить стихи из «Медного всадника», но вспомнил из «Полтавы»:

И грозным манием рукиНа шведов двинул он полки.

Затем память почему-то подсказала балладу Гёте «Лесной царь»:

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой,Ездок запоздалый…

Подковы лошади застучали по дереву моста над черной, тревожной рекой. Затем извозчик, остановив расскакавшуюся лошадь пред безличным домом в одной из линий Васильевского острова, попросил суровым тоном:

— Прибавить надо, баринок!

«Почему же баринок?» — подумал Клим и не прибавил извозчику.

Старенький швейцар с китайскими усами, с медалями на вогнутой груди, в черной шапочке на голом черепе деловито сказал:

— Квартира Премировой — второй этаж, четыре. И, пошевелив красными ушами, ткнул пальцем куда-то в угол, а по, каменной лестнице, окрашенной в рыжую краску, застланной серой с красной каемкой дорожкой, воздушно спорхнула маленькая горничная в белом переднике. Лестница напомнила Климу гимназию, а горничная — фарфоровую пастушку. Легким голосом она сказала:

— Ваша комната направо по коридору, первая дверь, комната брата вашего — направо угловая.

— Брата? — изумленно спросил Клим.

— Дмитрия Ивановича, — как бы извиняясь, сказала горничная, схватив в руки два чемодана и вытягиваясь между ними. — Ведь вы — господин Самгин?

— Да, — угрюмо ответил Клим, соображая: почему же мать не сказала, что он будет жить в одной квартире с братом?

Не заходя в свою комнату, он сердито и вызывающе постучал в дверь Дмитрия, из-за двери весело крикнули:

— Пожалуйста!

Дмитрий лежал на койке, ступня левой ноги его забинтована; в синих брюках и вышитой рубахе он был похож на актера украинской труппы. Приподняв голову, упираясь рукою в постель, он морщился и бормотал:

— Это… это Клим? Ты?

И, протянув руки брату, весело крикнул:

— Ага, вот он, сюрприз!

Самгин видел незнакомого; только глаза Дмитрия напоминали юношу, каким он был за четыре года до этой встречи, глаза улыбались все еще той улыбкой, которую Клим привык называть бабьей. Круглое и мягкое лицо Дмитрия обросло светлой бородкой; длинные волосы завивались на концах. Он весело и быстро рассказал, что переехал сюда пять дней тому назад, потому что разбил себе ногу и Марина перевезла его.

— Она давно уже пугала меня: ждите сюрприза! Кто — Марина? Племянница Премировой. Тетка тоже милая, либералка; она в дальнем родстве с Варавкой.

Оживление Дмитрия исчезло, когда он стал расспрашивать о матери, Варавке, Лидии. Клим чувствовал во рту горечь, в голове тяжесть. Было утомительно и скучно отвечать на почтительно-равнодушные вопросы брата. Желтоватый туман за окном, аккуратно разлинованный проволоками телеграфа, напоминал о старой нотной бумаге. Сквозь туман смутно выступала бурая стена трехэтажного дома, густо облепленная заплатами многочисленных вывесок.

— Ну, а — как дядя Яков? Болен? Хм… Недавно на вечеринке один писатель, народник, замечательно рассказывал о нем. Такое, знаешь, житие. Именно — житие, а не жизнь. Ты, конечно, знаешь, что он снова арестован в Саратове?

Клим не знал этого, но утвердительно кивнул головой.

— Народники снова пошевеливаются, — сказал Дмитрий так одобрительно, что Климу захотелось усмехнуться. Он рассматривал брата равнодушно, как чужого, а брат говорил об отце тоже как о чужом, но забавном человеке.

— Ты бы не узнал его, он теперь солидный и даже пробует говорить баритоном. Дубовой клепкой торгует с французами, с испанцами, катается по Европе и ужасно много ест. Весной он был тут, а сейчас в Дижоне.

Он прыгал по комнате на одной ноге, придерживаясь за спинки стульев, встряхивая волосами, и мягкие, толстые губы его дружелюбно улыбались. Сунув под мышку себе костыль, он сказал:

— Идем чай пить. Переодеваться? Не надо, ты и так хорошо лакирован.

Клим все-таки пошел в свою комнату, брат, пристукивая костылем, сопровождал его и все говорил, с радостью, непонятной Климу и смущавшей его.

— Ну, довольно, очарователен, пойдем!

В теплом, приятном сумраке небольшой комнаты за столом у самовара сидела маленькая, гладко причесанная старушка в золотых очках на остром, розовом носике; протянув Климу серую, обезьянью лапку, перевязанную у кисти красной шерстинкой, она сказала, картавя, как девочка:

— Очень г'ада.

И, охнув, когда Клим пожал ей руку, объяснила, что у нее ревматизм. Торопливо, мелкими словами она стала расспрашивать о Варавке, но вошла пышная девица, обмахивая лицо, как веером, концом толстой косы золотистого цвета, и сказала густым альтом:

— Марина Премирова.

Садясь рядом с Дмитрием, она сообщила:

— На улицах самодержавнейшая и великая грязища. Климу показалось, что в комнате стало тесно. Резким жестом Марина взяла с тарелки, из-под носа его, сухарь, обильно смазала маслом, вареньем и стала грызть, широко открывая рот, чтоб не пачкать тугие губы малинового цвета; во рту ее грозно блестели крупные, плотно составленные зубы. Она была так распаренно красна, как будто явилась не

с улицы, а из горячей ванны, и была преувеличенно, почти уродливо крупна. Клим чувствовал себя подавленным этой массой тела, туго обтянутого желтым джерси, напоминавшим ему «Крейцерову сонату» Толстого. В пять минут Клим узнал, что Марина училась целый год на акушерских курсах, а теперь учится петь, что ее отец, ботаник, был командирован на Канарские острова и там помер и что есть очень смешная оперетка «Тайны Канарских островов», но, к сожалению, ее не ставят.

— Там забавные генералы — Патакес, Бомбардос… Оборвав фразу на половине, она сказала Дмитрию:

— Сегодня придет Кутузов и с ним этот… Она показала глазами в потолок; глаза у нее большие, выпуклые, янтарного цвета, а взгляд неприятно прямой и толкающий.

— Знакомого увидишь, — подмигнув, предупредил Дмитрий.

— Кого?

— Не скажу.

Над столом мелькали обезьяньи лапки старушки, безошибочно и ловко передвигая посуду, наливая чай, не умолкая шелестели ее картавые словечки, — их никто не слушал. Одетая в сукно мышиного цвета, она тем более напоминала обезьяну. По морщинам темненького лица быстро скользили легкие улыбочки. Клим нашел улыбочки хитрыми, а старуху неестественной. Ее говорок тонул в грубоватом и глупом голосе Дмитрия:

— Расовые качества определяются кровью женщин, это доказано. Так, например, автохтоны Чили, Боливии… Девица Премирова вдруг рассердилась:

— Что это значит — автохтоны? Зачем вы говорите непонятные слова?

Рядом с могучей Мариной Дмитрий, неуклюже составленный из широких костей и плохо прилаженных к ним мускулов, казался маленьким, неудачным. Он явно блаженствовал, сидя плечо в плечо с Мариной, а она все разглядывала Клима отталкивающим взглядом, и в глубине ее зрачков вспыхивали рыжие искры.

«Избалованная и капризная», — решил Клим.

— Тетка права, — сочным голосом, громко и с интонациями деревенской девицы говорила Марина, — город — гнилой, а люди в нем — сухие. И скупы, лимон к чаю режут на двенадцать кусков.

Выбрав удобную минуту, Клим пожаловался на усталость и ушел, брат, сопровождая его, назойливо допрашивал:

— Милые люди, а?

— Да.

— Ну, отдыхай.

Сердито сбросив тужурку и ботинки, Клим повалился на койку и заснул, решив, что он не останется тут, проживет из вежливости неделю, две и переедет на другую квартиру.

Часа через три брат разбудил его, заставил умыться и снова повел к Премировым. Клим шел безвольно, заботясь лишь о том, чтоб скрыть свое раздражение. В столовой было тесно, звучали аккорды рояля, Марина кричала, притопывая ногой:

Бедный конь в поле пал…

Студент университета, в длинном, точно кафтан, сюртуке, сероглазый, с мужицкой,

окладистой бородою, стоял среди комнаты против щеголевато одетого в черное стройного человека с бледным лицом; держась за спинку стула и раскачивая его, человек этот говорил с подчеркнутой любезностью, за которой Клим тотчас услышал иронию:

— Я не могу представить себе свободного человека без права и без желания власти над ближними.

— Да — на кой чорт власть, когда личная собственность уничтожена? — красивым баритоном вскричал бородатый студент и, мельком взглянув на Клима, сунул ему широкую ладонь, назвав себя с нескрываемой досадой:

— Кутузов.

А человек в черном, улыбаясь, спросил:

— Не узнаете, Самгин?

Дмитрий нелепо захохотал, возглашая:

— Это ж Туробоев! Удивлен?

Удивиться Клим не успел, Марина завертела его по комнате, толкая, как мальчика.

— Еще Самгин, ужасно серьезный, — говорила она высокой даме с лицом кошки. — Ее зовут Елизавета Львовна, а вот ее муж.

У рояля, разбирая ноты, сидел маленький, сильно сутулый человек в чалме курчавых волос, черные волосы отливали синевой, а лицо было серое, с розовыми пятнами на скулах.

— Спивак, — глухо сказал он. — Поете? Отрицательный ответ удивил его, он снял с унылого носа дымчатое пенснэ и, покашливая, мигая, посмотрел в лицо Клима опухшими глазами так, точно спрашивал: «А зачем же вы?»

— Идемте, он ничего не понимает, кроме нот. На диване полулежала сухонькая девица в темном платье «реформ», похожем на рясу монахини, над нею склонился Дмитрий и гудел:

— Эргилья, друг Сервантеса, автор поэмы «Араукана»...

— Довольно испанцев, — крикнула Марина. — Самгин — Серафима Нехаева. Все!

И, оставив Клима, она побежала к роялю, а Нехаева, небрежно кивнув головою, подобрала тоненькие ноги и прикрыла их подолом платья. Клим принял это как приглашение сесть рядом с нею.

Он злился. Его раздражало шумное оживление Марины, и почему-то была неприятна встреча с Туробоеаым. Трудно было признать, что именно вот этот человек с бескровным лицом и какими-то кричащими глазами — мальчик, который стоял перед Варавкой и звонким голосом говорил о любви своей к Лидии. Неприятен был и бородатый студент.

Он и Елизавета Спивак запели незнакомый Климу дуэт, маленький музыкант отлично аккомпанировал. Музыка всегда успокаивала Самгина, точнее — она опустошала его, изгоняя все думы и чувствования; слушая музыку, он ощущал только ласковую грусть. Дама пела вдохновенно, небольшим, но очень выработанным сопрано, ее лицо потеряло сходство с лицом кошки, облагородилось печалью, стройная фигура стала еще выше и тоньше. Кутузов пел очень красивым баритоном, легко и умело. Особенно трогательно они спели финал:

О ночь! Поскорее укройПрозрачным твоим покрывалом,Целебным забвенья фиаломТомимую душу тоской,Как матерь дитя, успокой!

Климу показалось, что тоска, о которой пели, давно уже знакома ему, но лишь сейчас он почувствовал себя полным ею до удушья, почти до слез.

Кончив петь, дама подошла к столу, взяла из вазы яблоко и, задумчиво погладив его маленькой рукою, положила обратно.

— Вы заметили? — шепнула Климу его соседка.

— Что? — спросил он, взглянув на ее гладкую голову галки и в маленькое, точно у подростка, птичье лицо.

— Заметили, как она — яблоко?

— Да, видел.

— Какая грация, не правда ли?

Клим согласно склонил голову, подумав:

«Институтка, должно быть».

В памяти остался странный, как бы умоляющий взгляд узких глаз неопределенной, зеленовато-серой окраски.

Дмитрий тяжело завозился, вооружаясь костылем, и сказал дразнящим тоном:

— А все-таки этот ваш Верлен хуже Фофанова. У рояля звучал приятный голос Кутузова:

— Уже Галлен знал, что седалище души в головном мозгу…

— Вы головным мозгом поете так задушевно? — спросил Туробоев.

«Как везде, — подумал Клим. — Нет ничего, о чем бы не спорили».

Марина, схватив Кутузова за рукав, потащила его к роялю, там они запели «Не искушай». Климу показалось, что бородач поет излишне чувствительно, это не гармонирует с его коренастой фигурой, мужиковатым лицом, — не гармонирует и даже несколько смешно. Сильный и богатый голос Марины оглушал, она плохо владела им, верхние ноты звучали резко, крикливо. Клим был очень доволен, когда Кутузов, кончив дуэт, бесцеремонно сказал ей:

— Нет, девушка, это не про вас писано.

Марина и Дмитрий со своим костылем занимали места в комнате больше всех. Дмитрий двигался за девицей, как барка за пароходом, а в беспокойном хождении Марины было что-то тревожное, чувствовался избыток животной энергии, и это смущало Клима, возбуждая в нем нескромные и нелестные для девицы мысли. Еще издали она заставляла его ждать, что толкнет тугой, высокой грудью или заденет бедром. Казалось, что телу ее тесно не только в платье, но и в комнате. Неприязненно следя за нею, Клим думал, что она, вероятно, пахнет потом, кухней, баней. Вот она, напирая грудью на Кутузова, говорит крикливо и, кажется, обиженно:

— Ну да, ношу джерси, потому что терпеть не могу проповедей Льва Толстого.

— Ух, — воскликнул Кутузов и так крепко закрыл глаза, что все лицо его старчески сморщилось.

Жена пианиста тоже бесприютно блуждала по комнате, точно кошка, впервые и случайно попавшая в чужую квартиру. Ее качающаяся походка, рассеянный взгляд синеватых глаз, ее манера дотрагиваться до вещей — все это привлекало внимание Клима, улыбка туго натянутых губ красивого рта казалась вынужденной, молчаливость подозрительной.

«Хитрая», — подумал Клим.

Нехаева была неприятна. Сидела она изломанно скорчившись, от нее исходил одуряющий запах крепких духов. Можно было подумать, что тени в глазницах ее искусственны, так же как румянец на щеках и чрезмерная яркость губ. Начесанные на уши волосы делали ее лицо узким и острым, но Самгин уже не находил эту девушку такой уродливой, какой она показалась с первого взгляда. Ее глаза смотрели на людей грустно, и она как будто чувствовала себя серьезнее всех в этой комнате.

Вдруг Клим вспомнил, как возмутительно простилась с ним Лидия, уезжая в Москву.

— Верю, что ты возвратишься со щитом, а не на щите, — сказала она, усмехаясь недоброй усмешкой.

Подошел брат, привалился к Нехаевой, и через минуту Клим услышал, что она точно святцы читает:

— Маллармэ, Ролина, Ренэ Жиль, Пеладан…

— Отлично разделал их Макс Нордау, — сказал Дмитрий поддразнивающим тоном.

Кутузов зашипел, грозя ему пальцем, потому что Спивак начал играть Моцарта. Осторожно подошел Туробоев и присел на ручку дивана, улыбнувшись Климу. Вблизи он казался старше своего возраста, странно белая кожа его лица как бы припудрена, под глазами синеватые тени, углы рта устало опущены. Когда Спивак кончил играть, Туробоев сказал:

— Вы очень изменились, Самгин. Я помню вас маленьким педантом, который любил всех поучать.

Клим крепко сжал зубы, придумывая, что ответить человеку, под пристальным взглядом которого он чувствовал себя стесненно. Дмитрий неуместно и слишком громко заговорил о консерватизме провинции, Туробоев посмотрел на него, прищурив глаза, и произнес небрежно:

— А мне нравится устойчивость вкусов и мнений.

— Деревня еще устойчивей, — заметил Клим.

— Не нахожу, что это плохо, — сказал Туробоев, закурив папиросу. — А вот здесь все явления и сами люди кажутся более чем где-либо скоропреходящими, я бы даже сказал — более смертными.

— Это очень верно! — согласилась Нехаева. Туробоев усмехнулся. Губы у него были разные, нижняя значительно толще верхней, темные глаза прорезаны красиво, но взгляд их неприятно разноречив, неуловим. Самгин решил, что это кричащие глаза человека больного и озабоченного желанием скрыть свою боль и что Туробоев человек преждевременно износившийся. Брат спорил с Нехаевой о символизме, она несколько раздраженно увещевала его:

— Вы путаете, к символизму надо идти от идей Платона.

— Вы помните Лидию Варавку? — спросил Клим. Туробоев ответил не сразу и глядя на дым своей папиросы:

— Конечно. Такая бойкая цыганочка. Что… как она живет? Хочет быть актрисой? Это настоящее женское дело, — закончил он, усмехаясь в лицо Клима, и посмотрел в сторону Спивак; она, согнувшись над клавиатурой через плечо мужа, спрашивала Марину:

— Слышишь? Ми бемоль…

«И это — всё?» — подумал Клим, обращаясь к Лидии, — подумать хотелось злорадно, а подумалось грустно.

Снова начали петь, и снова Самгину не верилось, что бородатый человек с грубым лицом и красными кулаками может петь так умело и красиво. Марина пела с яростью, но детонируя, она широко открывала рот, хмурила золотые брови, бугры ее грудей неприлично напрягались.

Около полуночи Клим незаметно ушел к себе, тотчас разделся и лег, оглушенный, усталый. Но он забыл запереть дверь, и через несколько минут в комнату 'влез Дмитрий, присел на кровать и заговорил, счастливо улыбаясь:

— Это у них каждую субботу. Ты обрати внимание на Кутузова, — замечательно умный человек! Туробоев тоже оригинал, но в другом: роде. Из училища правоведения ушел в университет, а лекций не слушает, форму не носит.

— Пьет?

— И пьет. Вообще тут многие живут в тревожном настроении, перелом души! — продолжал Дмитрий все с радостью. — А я, кажется, стал похож на Дронова: хочу все знать и ничего не успеваю. И естественник, и филолог…

Клим спросил о Нехаевой, хотя желал бы спросить о Спивак.

— Нехаева? Она — смешная, впрочем — тоже интересная. Помешалась на французских декадентах. А вот Спивак — это, брат, фигура! Ее трудно понять. Туробоев ухаживает за ней и, кажется, не безнадежно. А впрочем — не знаю…

— Я хочу спать, — нелюбезно сказал Клим, а когда брат ушел, он напомнил себе:

«Завтра же начну искать другую квартиру». Но это не удалось ему, с утра он попал в крепкие руки Марины.

— Ну, идемте смотреть город, — скорее приказала, чем предложила она. Клим счел невежливым отказаться и часа три ходил с нею в тумане, по скользким панелям, смазанным какой-то особенно противной грязью, не похожей на жирную грязь провинции. Марина быстро и твердо, как солдат, отбивала шаг, в походке ее была та же неудержимость, как в словах, но простодушие ее несколько подкупало Клима.

— Петербург — многоликий город. Видите: сегодня у него таинственное и пугающее лицо. В белые ночи он очаровательно воздушен. Это — живой, глубоко чувствующий город.

Клим сказал:

— Вчера я подумал, что вы не любите его.

— Вчера я с ним поссорилась; ссориться — не значит не любить.

Самгин нашел, что ответ неглуп.

Сквозь туман Клим видел свинцовый блеск воды, железные решетки набережных, неуклюжие барки, погруженные в черную воду, как свиньи в грязь. Эти барки были оскорбительно неуместны рядом с великолепными зданиями. Тусклые стекла бесчисленных окон вызывали странное впечатление: как будто дома туго набиты нечистым льдом. Мокрые деревья невиданно уродливы, плачевно голы, воробьи невеселы, почти немы, безгласно возвышались колокольни малочисленных церквей, казалось, что колокольни лишние в этом городе. Над Невою в туман лениво втискивался черный дым пароходов; каменными пальцами пронзали туман трубы фабрик. Печален был подавленный шум странного города, и унизительно мелки серые люди в массе огромных домов, а все вместе пугающе понижало ощутимость собственного бытия. Клим шагал безвольно, в состоянии

самозабвения, ни о чем не думая, и слышал густой альт Марины:

— Сумасшедший Павел хотел сделать монумент лучше Фальконетова, — не вышло. Дрянь.

Девушка так быстро шла, как будто ей необходимо было устать, а Клим испытывал желание забиться в сухой, светлый угол и уже там подумать обо всем, что плыло перед глазами, поблескивая свинцом и позолотой, рыжей медью и бронзой. *

— Что вы молчите? — строго спросила Марина, и, когда Самгин ответил, что город изумляет его, она, торжествуя, воскликнула:

— Ага!

Несколько дней она водила его по музеям, и Клим видел, что это доставляет ей удовольствие, как хозяйке, которая хвастается хозяйством своим.

Вечером, войдя в комнату брата, Самгин застал там Кутузова и Туробоева, они сидели за столом друг против друга в позах игроков в шашки, и Туробоев, закуривая папиросу, говорил:

— А вдруг окажется, что случай — псевдоним дьявола?

— В чертей не верю, — серьезно сказал Кутузов, пожимая руку Клима.

Туробоев, закурив папиросу о свой же окурок, поставил его в ряд шести других, уже погасших. Туробоев был нетрезв, его волнистые, негустые волосы встрепаны, виски потны, бледное лицо побурело, но глаза, наблюдая за дымящимся окурком, светились пронзительно. Кутузов смотрел на него взглядом осуждающим. Дмитрий, полулежа на койке, заговорил докторально:

— Мысль о вредном влиянии науки на нравы — старенькая и дряхлая мысль. В последний раз она весьма умело была изложена Руссо в 1750 году, в его ответе Академии Дижона. Ваш Толстой, наверное, вычитал ее из «Discours» Жан-Жака. Да и какой вы толстовец, Туробоев? Вы просто — капризник.

Не ответив ему, Туробоев усмехнулся, а Кутузов спросил Клима:

— А вы как смотрите на толстовство?

— Это попытка возвратиться в дураки, — храбро ответил Самгин, подметив в лице, в глазах Туробоева нечто общее с Макаровым, каким тот был до покушения на самоубийство.

Кутузов захохотал, широко открыв зубастый рот, потирая руки. Туробоев бесцветным голосом задумчиво и упрямо проговорил:

— Возвратиться в дураки, — это не плохо сказано. Я думаю, что это неизбежно для нас, отправимся ли мы от Льва Толстого или от Николая Михайловского.

— А если — от Маркса? — весело спросил Кутузов.

— В спасительность фабричного котла для России я ' не верю.

Клим посмотрел на Кутузова с недоумением: неужели этот мужик, нарядившийся студентом, — марксист? Красивый голос Кутузова не гармонировал с читающим тоном, которым он произносил скучные слова и цифры. Дмитрий помешал Климу слушать:

— Есть лишний билет в оперу — идешь? Я взял для себя, но не могу идти, идут Марина и Кутузов.

Затем он возмущённо рассказал, что цензура окончательно запретила ставить оперу «Купец Калашников».

Туробоев встал, посмотрел в окно, прижавшись к стеклу лбом, и вдруг ушел, не простясь ни с кем.

— Умный парень, — сказал Кутузов как будто с сожалением и, вздохнув, добавил:

— Ядовитый.

Сбивая щелчками ногтя строй окурков со стола на пол, он стал подробно расспрашивать — Клима о том, как живут в его городе, но скоро заявил, почесывая подбородок сквозь бороду и морщась:

— То же самое, как у нас в Вологде.

Самгин заметил, что чем более сдержанно он отвечает, тем ласковее и внимательнее смотрит на него Кутузов. Он решил немножко показать себя бородатому марксисту и скромно проговорил:

— В сущности, мы едва ли имеем право делать столь определенные выводы о жизни людей. Из десятков тысяч мы знаем, в лучшем случае, как живет сотня, а говорим так, как будто изучили жизнь всех.

Брат согласился:

— Верная мысль.

Но Кутузов спросил его:

— Разве?

И снова начал говорить о процессе классового расслоения, о решающей роли экономического фактора. Говорил уже не так скучно, как Туробоеву, и с подкупающей деликатностью, чем особенно удивлял Клима. Самгин слушал его речь внимательно, умненько вставлял осторожные замечания, подтверждавшие доводы Кутузова, нравился себе и чувствовал, что в нем как будто зарождается симпатия *к* марксисту.

Он ушел в свою комнату с уверенностью, что им положен первый камень пьедестала, на котором он, Самгин, со временем, встанет монументально. В комнате стоял тяжелый запах масла, — утром стекольщик замазывал на зиму рамы, — Клим понюхал, открыл вентилятор и снисходительно, вполголоса сказал:

— Пожалуй, можно и здесь жить.

А недели через две он окончательно убедился, что жить у Премировых интересно. Казалось, что его здесь оценили по достоинству, и он был даже несколько смущен тем, как мало усилий стоило это ему. Из всего остренького, что он усвоил в афоризмах Варавки, размышлениях Томилина, он сплетал хорошо закругленные фразы, произнося их с улыбочкой человека, который не очень верит словам. Он уже видел, что грубоватая Марина относится к нему почтительно, Елизавета Спивак смотрит на него с лестным любопытством, а Нехаева беседует с ним более охотно и доверчиво, чем со всеми другими. Было ясно, что и Дмитрий, всегда поглощенный чтением толстых книг, гордится умным братом. Клим тоже готов был гордиться колоссальной начитанностью Дмитрия и гордился бы, если б не видел, что брат затмевает его, служа для всех словарем разнообразнейших знаний. Он учил старуху Премирову готовить яйца «по-бьернборгски», объяснял Спиваку различие подлинно народной песни от слащавых имитаций ее Цыгановым, Вельтманом и другими; даже Кутузов спрашивал его:

— Самгин, — кем это был изобличен в шпионстве граф Яков Толстой?

И Дмитрий подробно рассказывал о никому неведомой книге Ивана Головина, изданной в 1846 г. Он любил говорить очень подробно и тоном профессора, но всегда так, как будто рассказывал сам себе.

Самым авторитетным человеком у Премировых был Кутузов, но, разумеется, не потому, что много и напористо говорил о политике, а потому, что артистически пел. Он обладал неистощимым запасом грубоватого добродушия, никогда не раздражался в бесконечных спорах с Туробоевым, и часто Клим видел, что этот нескладно скроенный, но крепко сшитый человек рассматривает всех странно задумчивым и как бы сожалеющим взглядом светлосерых глаз. Изумляло Клима небрежное, а порою резкое отношение Кутузова к Марине, как будто эта девица была в его глазах существом низшим. Как-то вечером, за чаем, она сердито сказала:

— Когда вы, Кутузов, поете, кажется, что вы умеете и чувствовать, а…

Кутузов не дал ей кончить фразу.

— Когда я пою — я могу не фальшивить, а когда говорю с барышнями, то боюсь, что это у меня выходит слишком просто, и со страха беру неверные ноты. Вы так хотели сказать?

Марина молча отвернулась от него.

С Елизаветой Спивак Кутузов разговаривал редко и мало, но обращался к ней в дружеском тоне, на «ты», а иногда ласково называл ее — тетя Лиза, хотя она была старше его, вероятно, только года на два — на три. Нехаеву он не замечал, но внимательно и всегда издали прислушивался к ее спорам с Дмитрием, неутомимо дразнившим странную девицу.

Грубоватость Кутузова Клим принимал как простодушие человека мало культурного и, не видя в ней ничего «выдуманного», извинял ее. Ему приятно было видеть задумчивость на бородатом лице студента, когда Кутузов слушал музыку, приятна была сожалеющая улыбка, грустный взгляд в одну точку, куда-то сквозь людей, сквозь стену. Дмитрий рассказал, что Кутузов сын небогатого и разорившегося деревенского мельника, был сельским учителем два года, за это время подготовился в казанский университет, откуда его, через год, удалили за участие в студенческих волнениях, но еще через год, при помощи отца Елизаветы Спивак, уездного предводителя дворянства, ему снова удалось поступить в университет,

К Туробоеву относились неопределенно, то — ухаживая за ним, как за больным, то — с какой-то сердитой боязнью. Клим не понимал, зачем Туробоев бывает у Премировых? Марина смотрела на него с нескрываемой враждебностью, Нехаева кратко, но неохотно соглашалась с его словами, а Спивак беседовала с ним редко и почти всегда вполголоса. В общем все это было очень интересно, и хотелось понять: что объединяет этих, столь разнообразных людей? Зачем нужна грубой и слишком телесной Марине почти бесплотная Нехаева, почему Марина так искренно и смешно ухаживает за ней?

— Ты — ешь, ешь больше! — внушала она. — И не хочется, а — ешь. Черные мысли у тебя оттого, что ты плохо питаешься. Самгин старший, как это по-латыни? Слышишь? В здоровом теле — дух здоровый…

Заботы Марины, заставляя Нехаеву смущенно улыбаться, трогали ее, это Клим видел по благодарному блеску глаз худенькой и жалкой девицы. Прозрачной рукой Нехаева гладила румяную щеку подруги, и на бледной коже тыла ее ладони жилки, налитые кровью, исчезали.

Клим думал, что Нехаева и Туробоев наиболее случайные и чужие люди здесь, да, наверное, и во всех домах, среди всяких людей, они оба должны вызывать впечатление заплутавшихся. Он чувствовал, что его антипатия к Туробоеву непрерывно растет. В этом человеке есть что-то подозрительное, очень холодное, пристальный взгляд его кричащих глаз — взгляд соглядатая, который стремится обнаружить скрытое. Иногда глаза его смотрят ехидно; Клим часто ловил на себе этот взгляд, раздражающий и даже наглый. Слова Туробоева укрепляли

подозрения Клима: несомненно, человек этот обозлен чем-то и, скрывая злость под насмешливой небрежностью тона, говорит лишь для того, чтоб дразнить собеседника. Иногда Туробоев казался Самгину совершенно невыносимым, всего чаще это бывало в его беседах с Кутузовым и Дмитрием. Клим не понимал, как может Кутузов добродушно смеяться, слушая скептические изъявления этого щеголя:

— Вы, Кутузов, пророчествуете. На мой взгляд, пророки говорят о будущем лишь для того, чтоб порицать настоящее.

Кутузов сочно хохотал, а Дмитрий напоминал Туробоеву случаи, когда социальные предвидения оправдывались.

С Мариной Туробоев говорил, издеваясь над нею.

— Неправда! — вскричала она, рассердясь на него за что-то, он серьезно ответил:

— Возможно. Но я — не суфлер, а ведь только суфлеры обязаны говорить правду.

— Почему — суфлеры? — спросила Марина, широко открыв и без того большие глаза.

— А как же? Если суфлер солжет, он испортит вам игру.

— Какая ерунда! — с досадой сказала девица, отходя от него.

Да, все это было интересно, и Клим чувствовал, как возрастает в нем жажда понять людей.

Университет ничем не удивил и не привлек Самгина. На вступительной лекции историка он вспомнил свой первый день в гимназии. Большие сборища людей подавляли его, в толпе он внутренне сжимался и не слышал своих мыслей; среди однообразно одетых и как бы однолицых студентов он почувствовал себя тоже обезличенным.

Внизу, над кафедрой, возвышалась, однообразно размахивая рукою, половинка тощего профессора, покачивалась лысая, бородатая голова, сверкало стекло и золото очков. Громким голосом он жарко говорил внушительные слова.

— Отечество. Народ. Культура, слава, — слышал Клим. — Завоевания науки. Армия работников, создающих в борьбе с природой все более легкие условия жизни. Торжество гуманизма.

Сосед Клима, худощавый студент с большим носом на изрытом оспой лице, пробормотал, заикаясь:

— Н'не жирно.

Потом он долго и внимательно смотрел на циферблат стенных часов очень выпуклыми и неяркими глазами. Когда профессор исчез, боднув головою воздух, заика поднял длинные руки, трижды мерно хлопнул ладонями, но повторил:

— Н'нет, не жирно. А говорили про него — р'радикал. Вы, коллега, не из Новгорода? Нет? Ну, все равно, будемте знакомы — Попов, Николай.

И, тряхнув руку Самгина, он торопливо убежал. Науки не очень интересовали Клима, он хотел знать людей и находил, что роман дает ему больше знания о них, чем научная книга и лекция. Он даже сказал Марине, что о человеке искусство знает больше, чем наука.

— Ну, конечно, — согласилась Марина. — Теперь начали понимать это. Вот послушайте-ка Нехаеву.

Поздно вечером пришел Дмитрий, отсыревший, усталый; потирая горло, он

спросил осипшим голосом:

— Ну — как? Каково впечатление? А когда Клим сознался, что в храме науки он не испытал благоговейного трепета, брат, откашлявшись, сказал:

— Я, на первой лекции, чувствовал себя очень взволнованным.

И, очевидно, думая не о том, что говорит, прибавил непоследовательно:

— А теперь вижу, что Кутузов — прав: студенческие волнения, поистине, бесполезная трата сил.

Клим усмехнулся, но промолчал. Он уже приметил, что все студенты, знакомые брата и Кутузова, говорят о профессорах, об университете почти так же враждебно, как гимназисты говорили об учителях и гимназии. В поисках причин такого отношения он нашел, что тон дают столь различные люди, как Туробоев и Кутузов. С ленивенькой иронией, обычной для него, Туробоев говорил:

— В университете учатся немцы, поляки, евреи, а из русских только дети попов. Все остальные россияне не учатся, а увлекаются поэзией безотчетных поступков. И страдают внезапными припадками испанской гордости. Еще вчера парня тятенька за волосы драл, а сегодня парень считает небрежный ответ или косой взгляд профессора поводом для дуэли. Конечно, столь задорное поведение можно счесть за необъяснимо быстрый рост личности, но я склонен думать иначе.

— Да, — сказал Кутузов, кивая тяжелой головой, — наблюдается телячье задирание хвостов. Но следует и то сказать, — уж очень неумело надувают юношество, пытаясь выжать из него соки буемыслия…

— Буесловия, — поправил Туробоев.

Клим ревностно старался догадаться: что связывает этих людей? Однажды, в ожидании обычного концерта, сидя рядом с франтом у Премировых на диване, Кутузов упрекнул его:

— Распылите вы себя на иронии, дешевое дело!

— Невыгодное, — согласился Туробоев. — Я понимаю, что выгоднее пристроить себя к жизни с левой ее стороны, но — увы! — не способен на это.

Заразительно смеясь, Кутузов кричал:

— Да ведь вы уже пристроились именно с этого, левого бока!

В тот же вечер Клим спросил его:

— Что вам нравится в Туробоеве?

И бородач ответил ему отеческим тоном:

— В известной дозе кислоты так же необходимы организму. как и соль. Чаадаевское настроение я предпочитаю слащавой премудрости некоторых литературных пономарей.

Это говорилось при Дмитрии, который торопливо пояснил:

— Туробоев интересен как представитель вырождающегося класса.

А Кутузов, взглянув на него с усмешкой, одобрил:

— Верно, Митя!

Самгин нашел его усмешку нелестной для брата. Такие снисходительные и несколько хитренькие усмешечки Клим нередко ловил на бородатом лице

Кутузова, но они не будили в нем недоверия к студенту, а только усиливали интерес к нему. Все более интересной становилась Нехаева, но смущала Клима откровенным и торопливым стремлением найти в нем единомышленника. Перечисляя ему незнакомые имена французских поэтов, она говорила так, как будто делилась с ним тайнами, знать которые достоин только он, Клим Самгин.

— Вы читали Жана Лагора «Иллюзии»? — спрашивала она; всезнающий Дмитрий объяснял:

— Псевдоним доктора Казалес.

— Он — буддист, Лагор, но такой едкий, горький. Дмитрий напоминал сам себе, глядя в потолок:

— А еще есть Казот, автор глупого романа «Любовь дьявола».

— Как жалко, что вы так много знаете ненужного вам, — сказала ему Нехаева с досадой и снова обратилась к младшему Самгину, расхваливая «Принцессу Грезу» Ростана.

— Это — шедевр новой романтики. Ростана, в близком будущем, признают гением.

Клим видел, что обилие имен и книг, никому, кроме Дмитрия, не знакомых, смущает всех, что к рассказам Нехаевой о литературе относятся недоверчиво, несерьезно и это обижает девушку. Было немножко жалко ее. А Туробоев, враг пророков, намеренно безжалостно пытался погасить ее восторги, говоря:

— Это надо понимать как признак пресыщения мещан дешевеньким рационализмом. Это начало конца очень бездарной эпохи.

Клим начал смотреть на Нехаеву как на существо фантастическое. Она заскочила куда-то далеко вперед или отбежала в сторону от действительности и жила в мыслях, которые Дмитрий называл кладбищенскими. В этой девушке было что-то напряженное до отчаяния, минутами казалось, что она способна выпрыгнуть из окна. Особенно удивляло Клима женское безличие, физиологическая неощутимость Нехаевой, она совершенно не возбуждала в нем эмоции мужчины.

Пила и ела она как бы насилуя себя, почти с отвращением, и было ясно, что это не игра, не кокетство. Ее тоненькие пальцы даже нож и вилку держали неумело, она брезгливо отщипывала маленькие кусочки хлеба, птичьи глаза ее смотрели на хлопья мякиша вопросительно, как будто она думала: не горько ли это вещество, не ядовито ли?

Все чаще Клим думал, что Нехаева образованнее и умнее всех в этой компании, но это, не сближая его с девушкой, возбуждало в нем опасение, что Нехаева поймет в нем то, чего ей не нужно понимать, и станет говорить с ним так же снисходительно, небрежно или досадливо, как она говорит с Дмитрием.

Ночами, лежа в постели, Самгин улыбался, думая о том, как быстро и просто он привлек симпатии к себе, он был уверен, что это ему вполне удалось. Но, отмечая доверчивость ближних, он не терял осторожности человека, который знает, что его игра опасна, и хорошо чувствовал трудность своей роли. Бывали минуты, когда эта роль, утомляя, вызывала в нем смутное сознание зависимости от силы, враждебной ему, — минуты, когда он чувствовал себя слугою неизвестного господина. Вспоминалось одно из бесчисленных изречений Томилина: «На большинство людей обилие впечатлений действует разрушающе, засоряя их моральное чувство. Но это же богатство впечатлений создает иногда людей исключительно интересных. Смотрите биографии знаменитых преступников, авантюристов, поэтов. И вообще все люди, перегруженные опытом, — аморальны».

В этих словах рыжего учителя Клим находил нечто и устрашающее и соблазнительное. Ему казалось, что он уже перегружен опытом, но иногда он ощущал, что все впечатления, все мысли, накопленные им, — не нужны ему. В них

нет ничего, что крепко прирастало бы к нему, что он мог бы назвать своим, личным домыслом, верованием.

Все это жило в нем как будто против его воли и — неглубоко, где-то под кожей, а глубже была пустота, ожидающая наполнения другим содержанием. Это ощущение разлада и враждебности между ним, содержащим, и тем, что он содержал в себе, Клим испытывал все чаще и тревожнее. Он завидовал Кутузову, который научился веровать и спокойно проповедует верования свои, но завидовал и Туробоеву. Этот, явно ни во что не веруя, обладал смелостью высмеивать верования других. Когда Туробоев беседовал с Кутузовым и Дмитрием, Климу вспоминался старый каменщик, который так лукаво и злорадно подстрекал глупого силача бессмысленно дробить годный в дело кирпич.

Самгин был убежден, что все люди честолюбивы, каждый хочет оттолкнуться от другого только потому, чтоб стать заметней, отсюда и возникают все разногласия, все споры. Но он начинал подозревать, что, кроме этого, есть в людях еще что-то непонятное ему. И возникало настойчивое желание обнажить людей, понять, какова та пружина, которая заставляет человека говорить и действовать именно так, а не иначе. Для первого опыта Клим избрал Серафиму Нехаеву. Она казалась наиболее удобной, потому что не имела обаяния женщины, и можно было изучать, раскрыть, уличить ее в чем-то, не опасаясь попасть в глупое положение Грелу, героя нашумевшего романа Бурже «Ученик». Марина отталкивала его своей животной энергией, и в ней не было ничего загадочного. Когда Клим случайно оставался с ней *в* комнате, он чувствовал себя в опасности под взглядом ее выпуклых глаз, взгляд этот Клим находил вызывающим, бесстыдным. Нехаева особенно заострила его любопытство, почти истерически крикнув в лицо Дмитрия:

— Поймите же, я не выношу ваших нормальных людей, не выношу веселых. Веселые до ужаса глупы и пошлы.

В другой раз она сердито сказала:

— Ницше был фат, но напрягался играть трагические роли и на этом обезумел.

Когда она злилась, красные пятна с ее щек исчезали, и лицо, приняв пепельный цвет, мертвело, а в глазах блестели зеленые искры.

Ярким зимним днем Самгин медленно шагал по набережной Невы, укладывая в памяти наиболее громкие фразы лекции. Он еще издали заметил Нехаеву, девушка вышла из дверей Академии художеств, перешла дорогу и остановилась у сфинкса, глядя на реку, покрытую ослепительно блестевшим снегом; местами снег был разорван ветром и обнажались синеватые лысины льда. Нехаева поздоровалась с Климом, ласково улыбаясь, и заговорила своим слабым голосом:

— Я — с выставки. Всё анекдоты в красках. Убийственно бездарно. Вы — в город? Я тоже.

В серой, цвета осеннего неба, шубке, в странной шапочке из меха голубой белки, сунув руки в муфту такого же меха, она была подчеркнуто заметна. Шагала расшатанно, идти в ногу с нею было неудобно. Голубой, сверкающий воздух жгуче щекотал ее ноздри, она прятала нос в муфту.

— Вот, если б вся жизнь остановилась, как эта река, чтоб дать людям время спокойно и глубоко подумать о себе, — невнятно, в муфту, сказала она.

«Под льдом река все-таки течет», — хотел сказать Клим, но, заглянув в птичье лицо, сказал:

— Леонтьев, известный консерватор, находил, что Россию следует подморозить.

— Почему — только Россию? Весь мир должен бы застыть, на время, — отдохнуть.

Глаза ее щурились и мигали от колючего блеска снежных искр. Тихо, суховато

покашливая, она говорила с жадностью долго молчавшей, как будто ее только что выпустили из одиночного заключения в тюрьме. Клим отвечал ей тоном человека, который уверен, что не услышит ничего оригинального, но слушал очень внимательно. Переходя с одной темы на другую, она спросила:.

— Как вам нравится Туробоев? И сама же ответила:

— Я не понимаю его. Какой-то нигилист, запоздавший родиться, равнодушный ко всему и к себе. Так странно, что холодная, узкая Спивак увлечена им.

— Разве?

— О, да!

Помолчав минуту, она снова спросила: что Клим думает о Марине? И снова, не ожидая ответа, рассказала:

— Она будет очень счастлива в известном, женском смысле понятия о счастье. Будет много любить; потом, когда устанет, полюбит собак, котов, той любовью, как любит меня. Такая сытая, русская. А вот я не чувствую себя русской, я — петербургская. Москва меня обезличивает. Я вообще мало знаю и не понимаю Россию. Мне кажется — это страна людей, которые не нужны никому и сами себе не нужны. А вот француз, англичанин — они нужны всему миру. И — немец, хотя я не люблю немцев.

Говорила она неутомимо, смущая Самгина необычностью суждений, но за неожиданной откровенностью их он не чувствовал простодушия и стал еще более осторожен в словах. На Невском она предложила выпить кофе, а в ресторане вела себя слишком свободно для девушки, как показалось Климу.

— Я угощаю, — сказала она, спросив кофе, ликера, бисквитов, и расстегнула шубку; Клима обдал запах незнакомых духов. Сидели у окна; мимо стекол, покрытых инеем, двигался темный поток людей. Мышиными зубами кусая бисквиты, Нехаева продолжала:

— В России говорят не о том, что важно, читают не те книги, какие нужно, делают не то, что следует, и делают не для себя, а — напоказ.

— Это — правда, — сказал Клим. — Очень много выдуманного. И все экзаменуют друг друга.

— Кутузов — почти готовый оперный певец, а изучает политическую экономию. Брат ваш — он невероятно много знает, но все-таки — вы извините меня? — он невежда.

— И это — верно! — согласился Клим, думая, что пора противоречить. Но Нехаева как-то внезапно устала, на щеках ее, подкрашенных морозом, остались только, розоватые пятна, глаза потускнели, она мечтательно заговорила о том, что жить всей душой возможно только в Париже, что зиму эту она должна бы провести в Швейцарии, но ей пришлось приехать в Петербург по скучному делу о небольшом наследстве. Она съела все бисквиты, выпила две рюмки ликера, а допив кофе, быстро, почти незаметным жестом, перекрестила узкую грудь свою.

— Вероятно, через две-три недели я уеду отсюда. Надевая перчатку, покусав губы, она вздохнула:

— Может быть — навсегда. А на улице спросила:

— Вы знаете Метерлинка? О, непременно прочитайте «Смерть Тентажиля» и «Слепых». Это — гений! Он еще молод, но изумительно глубок…

Вдруг остановилась на панели, как пред стеною, и протянула руку:

— Прощайте. Заходите ко мне…

Сказав адрес, она села в сани; когда озябшая лошадь резко поскакала, Нехаеву так толкнуло назад, что она едва не перекинулась через спинку саней. Клим тоже взял извозчика и, покачиваясь, задумался об этой девушке, не похожей на всех знакомых ему. На минуту ему показалось, что в ней как будто есть нечто общее с Лидией, но он немедленно отверг это сходство, найдя его нелестным для себя, и вспомнил ворчливое замечание Варавки-отца:

— Когда не понимают — воображают и ошибаются.

Это Варавка сказал дочери.

Встреча с Нехаевой не сделала ее приятнее, однако Клим почувствовал, что девушка особенно заинтриговала его тем, что она держалась в ресторане развязно, как привычная посетительница.

В день, когда Клим Самгин пошел к ней, на угрюмый город падал удручающе густой снег; падал быстро, прямо, хлопья его были необыкновенно крупны и шуршали, точно клочки мокрой бумаги.

Нехаева жила в меблированных комнатах, последняя дверь в конце длинного коридора, его слабо освещало окно, полузакрытое каким-то шкафом, окно упиралось в бурую, гладкую стену, между стеклами окна и стеною тяжело падал снег, серый, как пепел.

«В какой грязной норе живет», — отметил Клим. Но, сняв пальто в маленькой, скудно освещенной приемной и войдя в комнату, он почувствовал, что его перебросило сказочно далеко из-под невидимого неба, раскрошившегося снегом, из невидимого в снегу города. Тепло освещенная огнем сильной лампы, прикрытой оранжевым абажуром, комната была украшена кусками восточных материй, подобранных в блеклых тонах угасающей вечерней зари. На столе, на кушетке разбросаны желтенькие томики французских книг, точно листья странного растения. Нехаева, в золотистом халатике, подпоясанном зеленоватым широким кушаком, поздоровалась- испуганно:

— Простите, я одета по-домашнему.

— Хорошо у вас, — сказал — Клим.

— Вам нравится?

Она торопливо начала зажигать спиртовку, поставила на нее странной формы медный чайник, говоря:

— Не терплю самоваров.

Ногою в зеленой сафьяновой туфле ада безжалостно затолкала под стол книги, свалившиеся на пол, сдвинула вещи со стола на один его край, к занавешенному темной тканью окну, делая все это очень быстро. Клим сел на кушетку, присматриваясь. Углы комнаты были сглажены драпировками, треть ее отделялась китайской ширмой, из-за ширмы был виден кусок кровати, окно в ногах ее занавешено толстым ковром тускло красного цвета, такой же ковер покрывал пол. Теплый воздух комнаты густо напитан духами.

— Не люблю яркие цвета, громкую музыку, прямые линии. Все это слишком реально, а потому — лживо, — слышал Клим.

Угловатые движенья девушки заставляли рукава халата развеваться, точно крылья, в ее блуждающих руках Клим нашел что-то напомнившее слепые руки Томилина, а говорила Нехаева капризным тоном Лидии, когда та была подростком тринадцати — четырнадцати лет. Климу казалось, что девушка чем-то смущена и держится, как человек, захваченный врасплох. Она забыла переодеться, халат сползал с плеч ее, обнажая кости ключиц и хожу груди, окрашенную огнем лампы в

неестественный цвет.

За чаем Клим услыхал, что истинное и вечное скрыто в глубине души, а все внешнее, весь мир — запутанная цепь неудач, ошибок, уродливых неумелостей, жалких попыток выразить идеальную красоту мира, заключенного в душах избранных людей.

— О, я забыла! — вдруг сорвавшись с кушетки, вскричала она и, достав из шкапчика бутылку вина, ликер, коробку шоколада и бисквиты, рассовала все это по столу, а потом, облокотясь о стол, обнажив тонкие руки, спросила:

— Вы умеете думать о бесполезности существования?

Климу захотелось усмехнуться, но он удержался а солидно ответил:

— Иногда это очень волнует.

А заметив, что глаза Нехаевой вспыхнули, добавил:

— Бывает — проснешься утром и подумаешь, что напрасно проснулся.

Нехаева утвердительно кивнула головой:

— Да, конечно, вы должны чувствовать именно так. Я поняла это по вашей сдержанности, по улыбке вашей, всегда серьезной, по тому, как хорошо вы молчите, когда все кричат. И — о чем?

Она скрестила руки на груди и, положив ладони на острые плечи своя, продолжала с негодованием:

— Народ, рабочий класс, социализм, Бебель, — я читала его «Женщину», боже мой, как это скучно! В Париже и Женеве я встречала социалистов, это люди, сознательно ограничивающие себя. В них есть что-то общее с монахами, они так же ее свободны от лицемерия. Они все более или менее похожи на Кутузова, но без его смешного, мужицкого снисхождения к людям, довить которых он не может или не хочет. Сам Кутузов — не глуп и, кажется, искренно верят во все, что говорит, но кутузовщина, все эти туманности: народ, массы, вожди — как все это убийственно!

Она даже вздрогнула, руки ее безжизненно сползли с плеч. Подняв к огню лампы маленькую н похожую на цветок с длинным стеблем рюмку, ода полюбовалась ядовито зеленым цветом ликера, выпила его и закашлялась, содрогаясь всем телом, приложив платок ко рту.

— Вам вредно это, — сказал Клим, щелкнув ногтем по своему стакану. — Нехаева, кашляя, отрицательно покачала головою, а затем, тяжело дыша, рассказала, с паузами среди фраз, о Верлене, которого погубил абсент, «зеленая фея».

— Любовь и смерть, — слушал Клим через несколько минут, — в этих двух тайнах скрыт весь страшный смысл нашего бытия, все же остальное — и кутузовщина — только неудачные, трусливые попытки обмануть самих себя пустяками. Клим спросил:

— Разве гуманизм — пустяки? — и насторожился, ожидая, что она станет говорить о любви, было бы забавно послушать, что скажет о любви эта бесплотная девушка. Но, назвав гуманизм «мещанской мечтой о всеобщей сытости», — мечтой, «неосуществимость которой доказана Мальтусом», — Нехаева заговорила о смерти. Сначала в ее тоне Клим слышал нечто церковное, она даже произнесла несколько стихов из песнопений заупокойной литургии, но эти мрачные стихи прозвучали тускло. Клим, тщательно протирая стекла очков своих куском замши, думал, что Нехаева говорит, как старушка. Наклонив голову, он не смотрел на девушку, опасаясь, как бы она не поняла, что ему скучно с нею. Кажется, она уже понимает это или устала, слова ее звучат все тише. Клим поднял голову, хотел надеть очки и не мог сделать этого, руки его медленно опустились на край стола.

— Нет, вы подумайте, — полушепотом говорила Нехаева, наклонясь к нему, держа в воздухе дрожащую руку с тоненькими косточками пальцев; глаза ее неестественно расширены, лицо казалось еще более острым, чем всегда было. Он прислонился к спинке стула, слушая вкрадчивый полушепот.

— Какая-то таинственная сила бросает человека в этот мир беззащитным, без разума и речи, затем, в юности, оторвав душу его от плоти, делает ее бессильной зрительницей мучительных страстей тела. Потом этот дьявол заражает человека болезненными пороками, а истерзав его, долго держит в позоре старости, все еще не угашая в нем жажду любви, не лишая памяти о прошлом, об искорках счастья, на минуты, обманно сверкавших пред ним, не позволяя забыть о пережитом горе, мучая завистью к радостям юных. Наконец, как бы отметив человеку за то, что он осмелился жить, безжалостная сила умерщвляет его. Какой смысл в этом? Куда исчезает та странная сущность, которую мы называем душою?

Она уже не шептала, голос ее звучал довольно громко и был насыщен гневным пафосом. Лицо ее жестоко исказилось, напомнив Климу колдунью с картинки из сказок Андерсена. Сухой блеск глаз горячо щекотал его лицо, ему показалось, что в ее взгляде горит чувство злое и мстительное. Он опустил голову, ожидая, что это странное существо в следующую минуту, закричит отчаянным криком безумной докторши Сомовой:

«Нет, нет, нет!»

Когда Клим Самгин читал книги и стихи на темы о любви и смерти, они не волновали его. Но теперь, когда мысли о смерти и любви облекались гневными словами маленькой, почти уродливой девушки, Клим вдруг почувствовал, что эти мысли жестоко ударили его и в сердце и в голову. В нем все спуталось и заклубилось, как дым. Он уже не слушал возбужденную речь Нехаевой, а смотрел на нее и думал: почему именно эта неприглядная, с плоской грудью, больная опасной болезнью, осуждена кем-то носить в себе такие жуткие мысли? Тут есть нечто безобразно несправедливое. Ему стало жалко человека, наказанного болезнью и тела и души. Он впервые испытывал чувство жалости с такой остротой, вообще это чувство было плохо знакомо ему.

Он взял со стола рюмку, похожую на цветок, из которого высосаны краски, и, сжимая тонкий стебель ее между пальцами, сказал, вздохнув:

— Тяжело вам жить с такими мыслями…

— Но ведь и вам? И вам?

Она произнесла эти слова так странно, как будто не спрашивала, а просила. Разгоревшееся лицо ее бледнело, таяло, казалось, что она хорошеет.

Климу захотелось сказать ей какое-то ласковое слово, но он сломал ножку рюмки.

— Порезались? — вскричала девушка, вскочив и бросаясь к нему.

— Немножко, — виновато ответил он, завертывая палец платком, а Нехаева, погладив кисть его руки своею, неестественно горячей, благодарно, вполголоса сказала:

— Как глубоко вы чувствуете!

Она забегала по комнате, разорвала носовой платок, залила порез чем-то жгучим, потом, крепко обвязав палец, предложила:

— Выпейте вина.

И, налив себе ликера, снова села к столу. Минуту, две молчали, не глядя друг на друга. Клим нашел, что дальше молчать уже неловко, и ему хотелось, чтоб Нехаева говорила еще. Он спросил:

— Вы любите Шопенгауэра?

— Я — читала, — не сразу отозвалась девушка. — Но, видите ли: слишком обнаженные слова не доходят до моей души. Помните у Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь». Для меня Метерлинк более философ, чем этот грубый и злой немец. Пропетое слово глубже, значительней сказанного. Согласитесь, что только величайшее искусство — музыка — способна коснуться глубин души.

Вздохнув, она убавила огонь лампы. В комнате стало теснее, все вещи и сама Нехаева подвинулись ближе к Самгину. Он согласно кивнул головою:

— Метерлинку тоже не чужда этика сострадания, и, может быть, он почерпнул ее у Шопенгауэра… но — зачем нужно сострадание осужденным на смерть?

Всматриваясь в оранжевый сумрак над головою девушки, Клим спрашивал себя:

«Почему она убавила огонь?»

Нехаева согнулась, вышвыривая ногою из-под стола желтенькие книжки, и говорила под стол:

— Мы живем в атмосфере жестокости… это дает нам право быть жестокими во всем… в ненависти, в любви…

Прежде чем Самгин догадался помочь ей, она подняла с пола книжку и, раскрыв ее, строго сказала:

— Вот, послушайте…

Вполголоса, растягивая гласные, она начала читать стихи; читала напряженно, делая неожиданные паузы и дирижируя обнаженной до локтя рукой. Стихи были очень музыкальны, но неуловимого смысла; они говорили о девах с золотыми повязками на глазах, о трех слепых сестрах. Лишь в двух строках:

Пожалей меня за то, что я медлюНа границе моего желания…

Клим услышал нечто полупонятное, как бы некий вызов или намек. Он вопросительно взглянул на девушку, но она смотрела в книгу. Правая рука ее блуждала в воздухе, этой рукой, синеватой в сумраке и как бы бестелесной, Нехаева касалась лица своего, груди, плеча, точно она незаконченно крестилась или хотела убедиться в том, что существует.

Клим чувствовал, что вино, запах духов и стихи необычно опьяняют его. Он постепенно подчинялся неизведанной скуке, которая, все обесцвечивая, вызывала желание не двигаться, ничего не слышать, не думать ни о чем. Он и не думал, прислушиваясь, как исчезает в нем тяжелое впечатление речей девушки.

Когда она, кончив читать, бросила книгу на кушетку и дрожащей рукою налила себе еще ликера, Самгин, потирая лоб, оглянулся вокруг, как человек, только что проснувшийся. Он с удивлением почувствовал, что мог бы еще долго слушать звучные, но мало понятные стихи на чужом языке.

— Верлен, Верлен, — дважды вздохнула Нехаева. — Он как падший ангел…

И прилегла на кушетку, с необыкновенной легкостью сбросив тело свое со стула.

— Устали? — спросил Клим.

Встал, посмотрел в лицо девушки, серое, с красными пятнами у висков.

— Благодарю вас, — торопливо сказал он. — Замечательный вечер. Не вставайте, пожалуйста…

— Приходите скорей, — попросила она, стискивая руку его горячими косточками

пальцев своих. — Ведь я скоро исчезну.

Другою рукой она подала ему книгу:

— А это вы прочитайте…

На улице снег все еще падал и падал так густо, что трудно было дышать. Город совершенно онемел, исчез в белом пухе. Фонари, покрытые толстыми чепчиками, стояли в пирамидах света. Подняв воротник пальто, сунув руки в карманы, Клим шагал по беззвучному снегу не спеша, взвешивая впечатления вечера. Белый пепел падал на лицо и быстро таял, освежая кожу. Клим сердито сдувал капельки воды с верхней губы и носа, ощущая, что несет в себе угнетающую тяжесть, жуткое сновидение, которое не забудется никогда. Пред ним, в снегу, дрожало лицо старенькой колдуньи; когда Клим закрывал глаза, чтоб не видеть его, оно становилось более четким, а темный взгляд настойчиво требующим чего-то. Но снег и отлично развитое чувство самосохранения быстро будили в Климе протестующие мысли. Между внешностью девушки, ее большими словами и красотою стихов, прочитанных ею, было нечто подозрительно несоединимое. Можно думать, что это жалкое тело заключает в себе чужую душу. Затем Самгин подумал, что Нехаева слишком много пьет ликера и ест конфект с ромом.

«Больной человек. Естественно, что она думает и говорит о смерти. Мысли этого порядка — о цели бытия и прочем — не для нее, а для здоровых людей. Для Кутузова, например… Для Томилина».

Вспомнив скучноватые речи Кутузова, Клим улыбнулся:

«Кутузовщина, это — не плохо».

Подходя к дому, Клим Самгин уже успел убедить себя, что опыт с Нехаевой кончен, пружина, действующая в ней, — болезнь. И нет смысла слушать ее истерические речи, вызванные страхом смерти.

«В сущности, все очень просто…»

Ночью он прочитал «Слепых» Метерлинка. Монотонный язык этой драмы без действия загипнотизировал его, наполнил смутной печалью, но смысл пьесы Клим не уловил. С досадой бросив книгу на пол, он попытался заснуть и не мог. Мысли возвращались к Нехаевой, но думалось о ней мягче. Вспомнив ее слова о праве людей быть жестокими в любви, он спросил себя:

«Что она хотела сказать этим?»

Потом сочувственно вздохнул:

«Едва ли найдется человек, который полюбит ее».

Усталые глаза его видели во тьме комнаты толпу призрачных, серых теней и среди них маленькую девушку с лицом птицы и гладко причесанной головой без ушей, скрытых под волосами.

«Ослепленная страхом…»

Тени колебались, как едва заметные отражения осенних облаков на темной воде реки. Движение тьмы в комнате, становясь из воображаемого действительным, углубляло печаль. Воображение, мешая и спать и думать, наполняло тьму однообразными звуками, эхом отдаленного звона или поющими звуками скрипки, приглушенной сурдинкой. Черные стекла окна медленно линяли, принимая цвет олова.

Клим проснулся после полудня в настроении человека, который, пережив накануне нечто значительное, не может понять: приобрел он или утратил? Привычно легкий ход его дум о себе был затруднен, отяжелел. Он плохо слышал

свои мысли, и эта глухота раздражала. Память была засорена хаосом странных слов, стихов, жалобами «Слепых», вкрадчивым шопотом, гневными восклицаниями Нехаевой. Одеваясь, он сердито поднял с пола книгу; стоя, прочитал страницу и, швырнув книгу на постель, пожал плечами. За окном все еще падал снег, но уже более сухой и мелкий.

Клим Самгин решил не выходить из комнаты, но горничная, подав кофе, сказала, что сейчас придут полотеры. Он взял книгу и перешел в комнату брата. Дмитрия не было, у окна стоял Туробоев в студенческом сюртуке; барабаня пальцами по стеклу, он смотрел, как лениво вползает в небо мохнатая туча дыма.

— Пожар, — сказал он, сжав руку Самгина слабо и небрежно, как всегда.

Среди неровной линии крыш, тепло одетых снегом, одна из них дымилась жидким, серым дымом; по толстому слою снега тяжело ползали медноголовые люди, тоже серые, как дым.

В этой картине Клим увидал что-то поражающе скучное.

— Не хочет гореть, — сказал Туробоев и отошел от окна. За спиною своей Клим услыхал его тихий возглас:

— А, Метерлинк…

Подчиняясь желанию задеть неприятного человека, Клим поискал в памяти острое, обидное словечко, но, не найдя его, пробормотал:

— Чепуха.

Туробоев не обиделся. Он снова встал рядом с Климом и, прислушиваясь к чему-то, заговорил тихо, равнодушно:

— Нет, почему же — чепуха? Весьма искусно сделано, — как аллегория для поучения детей старшего возраста. Слепые — современное человечество, поводыря, в зависимости от желания, можно понять как разум или как веру. А впрочем, я не дочитал эту штуку до конца.

Клим отошел от окна с досадой на себя. Как это он не мог уловить смысла пьесы? Присев на стул, Туробоев закурил папиросу, но тотчас же нервно ткнул ее в пепельницу.

— Это Нехаева просвещает вас? Она и меня пробовала развивать, — говорил он, задумчиво перелистывая книжку. — Любит остренькое. Она, видимо, считает свой мозг чем-то вроде подушечки для булавок, — знаете, такие подушечки, набитые песком?

— Очень начитана, — сказал Клим, чтоб сказать что-нибудь, а Туробоев тихонько добавил к своим словам:

— Осенняя муха..

В потолок сверху трижды ударили чем-то тяжелым, ножкой стула, должно быть. Туробоев встал, взглянул на Клима, как на пустое место, и, прикрепив его этим взглядом к окну, ушел из комнаты.

«Пошел к Спивак, это она стучала», — сообразил Клим, глядя на крышу, где пожарные, растаптывая снег, заставляли его гуще дымиться серым дымом.

«Он сам — осенняя муха, Туробоев».

Вошла Марина, не постучав, как в свою комнату.

— Хотите чаю?

— Да, спасибо.

Сердито глядя в лицо Клима, она спросила:

— Где ваш брат?

— Не знаю.

Она повернулась к двери, но, притворив ее, снова шагнула к Самгину.

— Он не ночевал дома, — строго сказала она. Клим усмехнулся:

— Это бывает с молодыми людями. Густо покраснев, Марина спросила:

— Вы, кажется, говорите пошлости? А вам известно, что он занимается с рабочими и что за это…

Не договорив, она ушла, прежде чем Самгин, возмущенный ее тоном, успел сказать ей, что он не гувернер Дмитрия.

— Дура, — ругался он, расхаживая по комнате. — Грубая дуреха.

Ему вспомнилось, как однажды, войдя в столовую, он увидал, что Марина, стоя в своей комнате против Кутузова, бьет кулаком своей правой руки по ладони левой, говоря в лицо бородатого студента:

— Я — ба-ба! Ба-ба!

Вначале ее восклицания показались Климу восклицаниями удивления или обиды. Стояла она спиною к нему, он не видел ее лица, но в следующие секунды понял, что она говорит с яростью и хотя не громко, на низких нотах, однако способна оглушительно закричать, затопать ногами.

— Понимаете? — спрашивала она, сопровождая каждое слово шлепающим ударом кулака по мягкой ладони. — У него — своя дорога. Он будет ученым, да! Профессором.

— Не рычите, — сказал Кутузов.

Он Рыл выше Марины на полголовы, и было видно, что серые глаза его разглядывают лицо девушки с любопытством. Одной рукой он поглаживал бороду, в другой, опущенной вдоль тела, дымилась папироса. Ярость Марины становилась все гуще, заметней.

— Он простодушен, честен, но у него нет води…

— Ой, кажется, я вам юбку прожег, — воскликнул Кутузов, отодвигаясь от нее. Марина обернулась, увидела Клима и вышла в столовую с таким же багровым лицом, какое было у нее сейчас.

Жизнь брата не интересовала Клима, но после этой сцены он стал более внимательно наблюдать за Дмитрием. Он скоро убедился, что брат, подчиняясь влиянию Кутузова, играет при нем почти унизительную роль служащего его интересам и целям. Однажды Клим сказал это Дмитрию братолюбиво и серьезно, как умел. Но брат, изумленно выкатив овечьи глаза, засмеялся:

— Да — ты с ума сошел!

А затем, хлопнув Клима ладонью по колену, сказал:

— Все-таки — спасибо! Хорошо ты сказал это, чудак! Клим замолчал, найдя его изумление, смех и жест — глупыми. Он раза два видел на столе брата нелегальные брошюры; одна из них говорила о том, «Что должен знать и помнить рабочий», другая «О штрафах». Обе — грязненькие, измятые, шрифт местами в черных

пятнах, которые напоминали дактилоскопические оттиски.

«Ясно, что он возится с рабочими. И, если его арестуют, это может коснуться и меня: братья, живем под одной крышей…»

Взволнованный, он стал шагать по комнате быстрее, так, что окно стало передвигаться в стене справа налево.

Среди всех людей, встреченных Климом, сын мельника вызывал у него впечатление существа совершенно исключительного по своей законченности. Самгин не замечал в нем ничего лишнего, придуманного, ничего, что позволило бы думать: этот человек не таков, каким он кажется. Его грубоватая речь, тяжелые жесты, снисходительные и добродушные улыбочки в бороду, красивый голос — все было слажено прочно и все необходимо, как необходимы машине ее части. Клим даже вспомнил строчку стихов молодого, но уже весьма известного поэта:

Есть красота в локомотиве.

Но проповедь Кутузова становилась все более напористой и грубой. Клим чувствовал, что Кутузов способен духовно подчинить себе не только мягкотелого Дмитрия, но и его. Возражать Кутузову — трудно, он смотрит прямо в глаза, взгляд его холоден, в бороде шевелится обидная улыбочка. Он говорит:

— Вы, Самгин, рассуждаете наивно. У вас в голове каша. Невозможно понять: кто вы? Идеалист? Нет. Скептик? Не похоже. Да и когда бы вам, юноша, нажить скепсис? Вот у Туробоева скептицизм законен; это мироощущение человека, который хорошо чувствует, что его класс сыграл свою роль и быстро сползает по наклонной плоскости в небытие.

Кутузов скучно начинал говорить об аграрной политике, дворянском банке, о росте промышленности.

Клим огорченно чувствовал, что Кутузов слишком легко расшатывает его уверенность в себе, что этот человек насилует его, заставляя соглашаться с выводами, против которых он, Клим Самгин, мог бы возразить только словами:

«Не хочу».

Но у него не хватало смелости сказать эти слова.

Он вдруг остановился среди комнаты, скрестив руки на груди, сосредоточенно прислушиваясь, как в нем зреет утешительная догадка: все, что говорит Нехаева, могло бы служить для него хорошим оружием самозащиты. Все это очень твердо противостоит «кутузовщине». Социальные вопросы ничтожны рядом с трагедией индивидуального бытия.

«Именно этим и объясняется мое равнодушие к проповеди Кутузова, — решил Клим, снова шагая по комнате. — Это не подсказано мне, я сам и давно понимал это…»

Он перешел в столовую, выпил чаю, одиноко посидел там, любуясь, как легко растут новые мысли, затем пошел гулять и незаметно для себя очутился у подъезда дома, где жила Нехаева.

«Беседы с нею полезны», — подумал он, как бы извиняясь перед кем-то.

Девушка встретила его с радостью. Так же неумело и суетливо она бегала из угла в угол, рассказывая жалобно, что ночью не могла уснуть; приходила полиция, кого-то арестовали, кричала пьяная женщина, в коридоре топали, бегали.

— Жандармы? — спросил Клим хмуро.

— Нет, полиция. Арестован вор…

За чаем Клим говорил о Метерлинке сдержанно, как человек, который имеет свое мнение, но не хочет навязывать его собеседнику. Но он все-таки сказал, что аллегория «Слепых» слишком прозрачна, а отношение Метерлинка к разуму сближает его со Львом Толстым. Ему было приятно, что Нехаева согласилась с ним.

— Да, — сказала она, — но Толстой грубее. В нем много взятого от разума же, из мутного источника. И мне кажется, что ему органически враждебно чувство внутренней свободы. Анархизм Толстого — легенда, анархизм приписывается к числу его достоинств щедростью поклонников.

В этот вечер ее физическая бедность особенно колола глаза Клима. Тяжелое шерстяное платье неуловимого цвета состарило ее, отягчило движения, они стали медленнее, казались вынужденными. Волосы, вымытые недавно, она небрежно собрала узлом, это некрасиво увеличило голову ее. Клим и сегодня испытывал легонькие уколы жалости к этой девушке, спрятавшейся в темном углу нечистоплотных меблированных комнат, где она все-таки сумела устроить для себя уютное гнездо.

Говорила она то же, что и вчера, — о тайне жизни и смерти, только другими словами, более спокойно, прислушиваясь к чему-то и как бы ожидая возражений. Тихие слова ее укладывались в память Клима легким слоем, как пылинки на лакированную плоскость.

«А о любви не решается говорить, — наверное, и хотела бы, но — не смеет».

Сам он не чувствовал позыва перевести беседу на эту тему. Низко опущенный абажур наполнял комнату оранжевым туманом. Темный потолок, испещренный трещинами, стены, покрытые кусками материи, рыжеватый ковер на полу — все это вызывало у Клима странное ощущение: он как будто сидел в мешке. Было очень тепло и неестественно тихо. Лишь изредка доносился глухой гул, тогда вся комната вздрагивала н как бы опускалась; должно быть, по улице ехал тяжело нагруженный воз.

Невнимательно слушая тихий голос Нехаевой, Клим думал:

«Жизнь дана мне не для того, чтоб я решал, кто прав: народники или марксисты».

Он не заметил, почему и когда Нехаева начала рассказывать о себе.

— Отец мой — профессор, физиолог, он женился, когда ему было уже за сорок лет, я — первый ребенок его. Мне кажется, что у меня было два отца: де семи лет — один, — у него доброе, бритое лицо с большими усами и веселые, светлые глаза. Он очень хорошо играл на виолончели. Потом он оброс серою бородой, стал неряшлив и сердит, глаза спрятал дымчатыми очками и часто напивался пьян. Это оттого, что мать, родив мертвого ребенка, умерла. Я помню ее одетой в белое или светлоголубое, с толстой каштановой косой на груди, на спине. Она не была похожа на даму, она, до смерти ее, была как девушка, маленькая, пышная и очень живая. Умерла она летом, когда я жила в деревне, на даче, мне тогда шел седьмой год. Помню, как это было странно: приехала я домой, а мамы — нет, отец — не тот.

Рассказывала Нехаева медленно, вполголоса, но — без печали, и это было странно. Клим посмотрел на нее; она часто прищуривала глаза, подрисованные брови ее дрожали. Облизывая губы, она делала среди фраз неуместные паузы, и еще более неуместна была улыбка, скользившая по ее губам. Клим впервые заметил, что у нее красивый рот, и с любопытством мальчишки подумал:

«А — какова она голая? Смешная, должно быть». В следующую секунду он сердито осудил себя за это любопытство и, нахмурясь, стал слушать внимательнее.

— На мои детские вопросы: из чего сделано небо, зачем живут люди, зачем умирают, отец отвечал: «Это еще никому не известно. Вот, Фима, ты и родилась для того, чтоб узнать это». Он сажал меня на колени себе, дышал в лицо мое

запахом пива, жесткая борода его неприятно колола мне шею, уши. Пива он пил ужасно много, распух от него, щеки вздулись, посинели, глаза его заплыли каким-то жидким жиром. Он был весь неприятен мне. Он возбуждал нехорошее чувство тем, что не умел — я тогда думала: не хотел — ответить мне ни на один из моих вопросов. Мне казалось, что он нарочно скрывает от меня сказочные тайны, разгаданные им, заставляя меня разрешать их, так же как заставлял решать задачи из учебника арифметики. Он никогда не помогал мне учить уроки и запрещал другим помогать. Я должна была делать все сама. Но меня особенно отталкивало от него, когда он повторял: «Это — неизвестно. Ты сама попытайся решить». Он часто повторял эти слова.

— Мой отец отвечал на все вопросы, — вдруг и неожиданно для себя вставил Клим.

— Да, отвечал? — спросила Нехаева. — Но ведь… Оборвав фразу, она помолчала несколько секунд, и снова зашелестел ее голос. Клим задумчиво слушал, чувствуя, что сегодня он смотрит на девушку не своими глазами; нет, она ничем не похожа на Лидию, но есть в ней отдаленное сходство с ним. Он не мог понять, приятно ли это ему или неприятно.

— По ночам отец, пьяный, играл на виолончели. Воющие звуки будили меня. Мне казалось, что отец играет только на басовых струнах и уже не так хорошо, как играл раньше. Темно, тихо, и во тьме длинные полосы звуков, еще более черных, чем тьма. Меня не пугал этот черный вой, но было так скучно, что я плакала. Отец умер, прохворав всего четыре дня. Как противны цифры, числа! Четыре дня лежал он, задыхаясь, синий, разбухший, и, глядя в потолок мокрыми щелочками глаз, молчал. В день смерти он — единственный раз! — пытался сказать мне что-то, но сказал только: «Вот, Фима, ты сама и…» Договорить — не мог, но я, конечно, поняла, что он хотел сказать. Я не особенно жалела его, хотя плакала много, это, вероятно, от страха. Он был страшен в гробу, такой огромный и — слепой.

Нехаева замолчала, наклонив голову, разглаживая ладонями юбку на колене своем. Ее рассказ настроил Клима лирически, он вздохнул:

— Да… отцы наши…

— «Отцы ели кислый виноград, а на зубах детей — оскомина» — это сказано кем из пророков? Забыла.

— И я не помню, — сказал Клим, хотя он не читал пророков.

Нехаева медленно, нерешительным жестом подняв руки, стала поправлять небрежную прическу, но волосы вдруг рассыпались по плечам, и Клима удивило, как много их и как они пышны. Девушка улыбнулась.

— Извините.

Клим поклонился, наблюдая, как безуспешно она пытается собрать волосы. Он молчал. Память не подсказывала значительных слов, а простые, обыденные слова не доходили до этой девушки. Его смущало ощущение какой-то неловкости или опасности.

— Мне пора уходить.

— Почему?

— Поздно.

— Разве?

Она опустила руки, волосы снова упали на плечи, на щеки ее; лицо стало еще меньше.

— Приходите скорей, — сказала она странным тоном, как бы приказывая.

Было около полуночи, когда Клим пришел домой. У двери в комнату брата стояли его ботинки, а сам Дмитрий, должно быть, уже спал; он не откликнулся на стук в дверь, хотя в комнате его горел огонь, скважина замка пропускала в сумрак коридора желтенькую ленту света. Климу хотелось есть. Он осторожно заглянул в столовую, там шагали Марина и Кутузов, плечо в плечо друг с другом; Марина ходила, скрестив руки на груди, спустя голову, Кутузов, размахивая папиросой у своего лица, говорил вполголоса:

— Мы обладаем лишь одной силой,' действительно способной преобразить нас, это — сила научного знания... Густо, но как-то жалобно, Марина проворчала:

— А искусство?

— Утешает, но не воспитывает...

Клим насмешливо поморщился, с досадой ушел к себе и лег спать, думая: насколько Нехаева интереснее этого человека!

Через два дня вечером он снова сидел у нее. Он пришел к Нехаевой рано, позвал ее гулять, но на улице девушка скучно молчала, а через полчаса пожаловалась, что ей холодно.

— Поедемте ко мне.

— На извозчике вам будет еще холоднее.

— Нет. Так — скорее, — решительно сказала она. Дома она обнаружила и в словах и во всем, что делалось ею, нервную торопливость и раздражение, сгибала шею, как птица, когда она прячет голову под крыло, и, глядя не на Самгина, а куда-то под мышку себе, говорила:

— Я не выношу праздничных улиц и людей, которые в седьмой день недели одевают на себя чистенькие костюмы, маски счастливцев.

Клим насмешливо пересказал ей изречение Кутузова о силе науки. Нехаева, вздернув плечи, заметила почти сердито:

— Едва ли люди, подобные ему, будут лучше оттого, что везде вспыхнет бескровный огонь электричества.

Клим, выпив немного больше, чем всегда, держался развязнее, говорил смелее:

— Я понимаю, что жизнь чрезмерно сложна, во Кутузов намерен не опростить ее, я изуродовать.

Он играл ножом для разрезывания книг, капризно изогнутой пластинкой бронзы с позолоченной головою бородатого сатира на месте ручки. Нож выскользнул из рук его и упал к ногам девушка; наклонясь, чтоб поднять его, Клим неловко покачнулся вместе со стулом и, пытаясь удержаться, схватил руку Нехаевой, девушка вырвала руку, лишенный опоры Клим припал на колено. Он плохо помнил, как разыгралось все дальнейшее, помнил только горячие ладони на своих щеках, сухой и быстрый поцелуй в губы и торопливый шопот:

— Да, да... О боже мой...

Потом, испытывая удивления больше, чем удовольствия, он слушал, как Нехаева, лежа рядом с ним, приглушенно рыдала, говоря жарким топотом:

— Любить, любить... Жизнь так страшна. Это — ужас, если не любить.

Клим приподнял голову ее, положил себе на грудь и крепко прижал рукою. Ему не хотелось видеть ее глаза, было неловко, стесняло создание вина пред этим странно горячим телом. Она лежала на боку, маленькие, жидкие груди ее некрасиво свешивались обе в одну сторону.

— Милый, — шептала она, и вожу его груда щекотали тепленькие капли слез. — Такой милый, простой, как день. Такой страшный, близкой.

Он молчал, гладя ее голову ладонью. Сквозь шелк ширмы, вышитой фигурами серебряных птиц, он смотрел на оранжевое пятно дамся, тревожно думая: что же теперь будет? Неужели она останется в Петербурге, не уедет лечиться? Он ведь не хотел, не желал ее ласк. Он только пожалел ее.

Но, думая так, он в то же время ощущал гордость собою: из всех знакомых ей мужчин она выбрала именно его. Эту гордость еще более усиливали ее любопытствующие ласки и горячие, наивные до бесстыдства слова.

— О, я знаю, что некрасива, но я так хочу любить. Я готовилась к этому, как верующая к причастию. И я умею любить, да? Умею?

— Да, — сказал Клим очень искренно. — Ты удивительная. Но все-таки это вредно тебе, и ты должна ехать…

Она не слушала; задыхаясь и кашляя, наклонясь над его лицом и глядя в смущенные глаза его глазами, из которых все падали слезы, мелкие и теплые, она шептала:

— Милый. Осужденный.

Ее слезы казались неуместными: о чем же плакать? Ведь он ее не обидел, не отказался любить. Непонятное Климу чувство, вызывавшее эти слезы, пугало его. Он целовал Нехаеву в губы, чтоб она молчала, и невольно сравнивал с Маргаритой, — та была красивей и утомляла только физически. А эта шепчет:

— Подумай: половина женщин и мужчин земного шара в эти минуты любят друг друга, как мы с тобой, сотни тысяч рождаются для любви, сотни тысяч умирают, отлюбив. Милый, неожиданный…

И слова ее были излишни, даже как будто неправдивы.

«Неожиданный? Так ли?»

Оранжевое пятно на ширме напоминало о вечернем солнце, которое упрямо не хочет спрятаться в облаках. Время как будто остановилось в недоумении, нерешительном и близком скуке.

— Мы покорно и страстно приносим себя в жертву страшной тайне, создавшей нас.

Клим обнял ее и крепко закрыл горячий рот девушки поцелуем. Потом она вдруг уснула, измученно приподняв брови, открыв рот, худенькое лицо ее приняло такое выражение, как будто она онемела, хочет крикнуть, но — не может. Клим осторожно встал, оделся.

Он вышел от нее очень поздно. Светила луна с той отчетливой ясностью, которая многое на земле обнажает как ненужное. Стеклянно хрустел сухой снег под ногами. Огромные дома смотрели друг на друга бельмами замороженных окон; у ворот — черные туши дежурных дворников; в пустоте неба заплуталось несколько звезд, не очень ярких. Все ясно.

Утомленный физически, Клим шел не торопясь, чувствуя, как светлый холод ночи вымораживает из него неясные мысли и ощущения. Он даже мысленно напевал на мотив какой-то оперетки:

«Да — был ли мальчик-то? Быть может — не было мальчика?»

Потер озябшие руки и облегченно вздохнул. Значит, Нехаева только играла роль человека, зараженного пессимизмом, играла для того, чтоб, осветив себя необыкновенным светом, привлечь к себе внимание мужчины. Так поступают самки каких-то насекомых. Клим Самгин чувствовал, что к радости его открытия

примешивается злоба на кого-то. Трудно было понять: на Нехаеву или на себя? Или на что-то неуловимое, что не позволяет ему найти точку опоры?

Затем он вспомнил, что в кармане его лежит письмо матери, полученное днем; немногословное письмо это, написанное с алгебраической точностью, сообщает, что культурные люди обязаны работать, что она хочет открыть в городе музыкальную школу, а Варавка намерен издавать газету и пройти в городские головы. Лидия будет дочерью городского головы. Возможно, что, со временем, он расскажет ей роман с Нехаевой; об этом лучше всего рассказать в комическом тоне.

Он заставил себя еще подумать о Нехаевой, но думалось о ней уже благожелательно. В том, что она сделала, не было, в сущности, ничего необычного: каждая девушка хочет быть женщиной. Ногти на ногах у нее плохо острижены, и, кажется, она сильно оцарапала ему кожу щиколотки. Клим шагал все более твердо и быстрее. Начинался рассвет, небо, позеленев на востоке, стало еще холоднее. Клим Самгин поморщился: неудобно возвращаться домой утром. Горничная, конечно, расскажет, что он не ночевал дома.

Он проснулся в настроении бодром. Неожиданный роман приподнял его и укрепил подозрение в том, что о чем бы люди ни говорили, за словами каждого из них, наверное, скрыто что-нибудь простенькое, как это оказалось у Нехаевой. Идти к ней вечером — не хотелось, но он сообразил, что, если не пойдет, она явится сама и, возможно, чем-нибудь скомпрометирует его в глазах брата, нахлебников, Марины. Он почему-то особенно не желал, чтоб о его связи с Нехаевой узнала Марина, но ничего не имел против того, чтобы об этом узнала Спивак.

Лежа в постели, Клим озабоченно вспоминал голодные, жадные ласки Нехаевой, и ему показалось, что в них было что-то болезненное, доходящее до границ отчаяния. Она так прижималась к нему, точно хотела исчезнуть в нем. Но было в ней и нечто детски нежное, минутами она будила и в нем нежность.

«Надобно идти», — решил он и вечером пошел, сказав брату, что идет в цирк.

У стола в комнате Нехаевой стояла шерстяная, кругленькая старушка, она бесшумно брала в руки вещи, книги и обтирала их тряпкой. Прежде чем взять вещь, она вежливо кивала головою, а затем так осторожно вытирала ее, точно вазочка или книга были живые и хрупкие, как цыплята. Когда Клим вошел в комнату, она зашипела на него:

— Шш — спит!

Старушка была такая же выдуманная, как вся эта комната и сама хозяйка комнаты.

— Скажите, что заходил Самгин. Из-за ширмы прозвучал слабый голос:

— Это вы? О, пожалуйста…

Клим вошел в желтоватый сумрак за ширму, озабоченный только одним желанием: скрыть от Нехаевой, что она разгадана. Но он тотчас же почувствовал, что у него похолодели виски и лоб. Одеяло было натянуто на постели так гладко, что казалось: тела под ним нет, а только одна голова лежит на подушке и под серой полоской лба неестественно блестят глаза.

«Игра», — сказал он себе, но это слово вспомнилось не сразу.

— У меня тридцать восемь и шесть, — слышал он тихий и виноватый голос. — Садитесь. Я так рада. Тетя Тася, сделайте чай, — хорошо?

— Очень хорошо, — пискливым голосом игрушки ответили ей.

Высвободив из-под плюшевого одеяла голую руку, другой рукой Нехаева снова

закуталась до подбородка; рука ее была влажно горячая и неприятно легкая; Клим вздрогнул, сжав ее. Но лицо, густо порозовевшее, оттененное распущенными волосами и освещенное улыбкой радости, вдруг показалось Климу незнакомо милым, а горящие глаза вызывали у него и гордость и грусть. За ширмой шелестело и плавало темное облако, скрывая оранжевое пятно огня лампы, лицо девушки изменялось, вспыхивая и угасая.

В этот вечер Нехаева не цитировала стихов, не произносила имен поэтов, не говорила о своем страхе пред жизнью и смертью, она говорила неслыханными, нечитанными Климом словами только о любви. Улыбаясь, играя пальцами руки его, жадно глотая воздух, она шептала эти необычные слова, и Клим, не сомневаясь в их искренности, думал: не всякий может похвастаться тем, что вызвал такую любовь! Вместе с этим она была так по-детски жалка, что и ему захотелось говорить искренно. В словах ее он чувствовал столько пьяного счастья, что они опьяняли и его, возбуждая желание обнять «целовать невидимое ее тело. Мелькнула странная мысль: ее можно щипать, кусать, вообще — мучить, но она и это приняла бы как ласку. Она спрашивала шопотом:

— Ведь я — нравлюсь тебе? Ты меня немножко любишь?

— Да, — отвечал Клим, веря, что он не лжет. — Да!

Он смотрел в расширенные зрачки ее полубезумных глаз, и они открывали ему в глубине своей нечто, о чем он невольно подумал:

«Так вот это — любовь?»

И тотчас же ему вспомнились глаза Лидии, затем — немой взгляд Спивак. Он смутно понимал, что учится любить у настоящей любви, и понимал, что это важно для него. Незаметно для себя он в этот вечер почувствовал, что девушка полезна для него: наедине с нею он испытывает смену разнообразных, незнакомых ему ощущений и становится интересней сам себе. Он не притворяется пред нею, не украшает себя чужими словами, а Нехаева говорит ему:

— Насколько ты, с твоей сдержанностью, аристократичнее других! Так приятно видеть, что ты не швыряешь своих мыслей, знаний бессмысленно и ненужно, как это делают все, рисуясь друг перед другом! У тебя есть уважение к тайнам твоей души, это — редко. Не выношу людей, которые кричат, как заплутавшиеся в лесу слепые. «Я, я, я», — кричат они.

Клим соглашался:

— Да, о чем бы ни кричали, они в конце концов кричат только о своих я.

— Потому что оно бесцветно у них, они его не видят, — подхватила она его слова.

Особенно ценным в Нехаевой было то, что она умела смотреть на людей издали и сверху. В ее изображении даже те из них, о которых почтительно говорят, хвалебно пишут, становились маленькими и незначительными пред чем-то таинственным, что она чувствовала. Это таинственное не очень волновало Самгина, но ему было приятно, что девушка, упрощая больших людей, внушает ему сознание его равенства с ними.

Он стал ходить к ней каждый вечер и, насыщаясь ее речами, чувствовал, что растет. Его роман, конечно, был замечен, и Клим видел, что это выгодно подчеркивает его. Елизавета Спивак смотрела на него с любопытством и как бы поощрительно, Марина стала говорить еще более дружелюбно, брат, казалось, завидует ему. Дмитрии почему-то стал мрачнее, молчаливей и смотрел на Марину, обиженно мигая.

Клим ощущал в себе игру веселенького снисхождения ко всем, щекочущее желание похлопать по плечу Кутузова, который с одинаковым упрямством доказывал необходимость изучения Маркса и гениальность Мусоргского;

наваливаясь на немого, тихого Спивака, всегда сидевшего у рояля, он говорил:

— Самая слабая опера Римского-Корсакова талантливее лучшей оперы Верди…

— Не кричите мне в ухо, — просил Спивак. Дома было скучновато, пели все те же романсы, дуэты и трио, все так же Кутузов сердился на Марину за то, что она детонирует, и так же он и Дмитрий спорили с Туробоевым, возбуждая и у Клима желание задорно крикнуть им что-то насмешливое.

Нехаева встала на ноги, краевые пятна на щеках ее горели еще ярче, под глазами легли тени, обострив ее скулы и придавая взгляду почти невыносимый блеск. Марина, встречая ее, сердито кричала:

— С ума ты сходишь! И чего смотрит твой доктор? Ведь это самоубийство!

Нехаева улыбалась ей, облизывала сухие губы, садилась в угол дивана, и вскоре там назойливо звучал ее голосок, докторально убеждавший Дмитрия Самгина:

— Стремление ученого анализировать явления природы равноценно игре ребенка, который ломает игрушки, чтоб посмотреть, что у них внутри…

— А — не банально ли это, барышня? — издали спрашивал Кутузов, теребя бороду, хмуря брови. Она не отвечала ему, это брал на себя Туробоев; он ленивенько говорил:

— А внутри обыкновенно оказывается или непознаваемое или какая-нибудь дрянь, вроде борьбы за существование…

Просидев час-полтора, Нехаева собиралась домой, Клим шел провожать ее, не всегда охотно.

Она любила дарить ему книги, репродукции с модных картин, подарила бювар, на коже которого был вытиснен фавн, и чернильницу невероятно вычурной формы. У нее было много смешных примет, маленьких суеверий, она стыдилась их, стыдилась, видимо, и своей веры в бога. Стоя с Климом в Казанском соборе за пасхальной обедней, она, когда запели «Христос воскресе», вздрогнула, пошатнулась и тихонько зарыдала.

А после, идя с ним по улице, под черным небом и холодным ветром, который, сердито пыля сухим снегом, рвал и разбрасывал по городу жидковатый звон колоколов, она, покашливая, виновато говорила:

— Смешно, что я заплакала? Но меня потрясает гениальное, а церковная музыка в России — гениальна…

Вырываясь из каменных объятий собора, бежали во все стороны темненькие люди; при огнях не очень пышной иллюминации они казались темнее, чем всегда; только из-под верхних одежд женщин выглядывали полосы светлых материй.

Клим, слушая ее, думал о том, что провинция торжественнее и радостней, чем этот холодный город, дважды аккуратно и скучно разрезанный вдоль: рекою, сдавленной гранитом, и бесконечным каналом Невского, тоже как будто прорубленного сквозь камень. И ожившими камнями двигались по проспекту люди, катились кареты, запряженные машиноподобными лошадями. Медный звон среди каменных стен пел не так благозвучно, как в деревянной провинции.

Нехаева, повиснув на руке Клима, говорила о мрачной поэзии заупокойной литургии, заставив спутника своего с досадой вспомнить сказку о глупце, который пел на свадьбе похоронные песни. Шли против ветра, говорить ей было трудно, она задыхалась. Клим строго, тоном старшего, сказал:

— Молчи, закрой рот и дыши носом. Но, когда, наняв извозчика, поехали к Премировьм, она снова заговорила, прикрывая рот муфтой.

— Ты, конечно, считаешь это все предрассудком, а я люблю поэзию предрассудков. Кто-то сказал: «Предрассудки — обломки старых истин». Это очень умно. Я верю, что старые истины воскреснут еще более прекрасными.

Клим слушал молча, чувствуя, что в этой девушке нарастает желание вызвать его на спор, противоречить ему. Он уже не впервые замечал это и с трудом скрывал от Нехаевой, что она утомляет его. Истерические ласки ее стали привычны, однообразны, слова повторялись. И все чаще смущали ее странные припадки вопросительного молчания. Было неловко с человеком, который молча рассматривает тебя, как бы догадываясь о чем-то. Сухой кашель Нехаевой напоминал о заразительности туберкулеза.

Столовая Премировых ярко освещена, на столе, украшенном цветами, блестело стекло разноцветных бутылок, рюмок и бокалов, сверкала сталь ножей; на синих, широких краях фаянсового блюда приятно отражается огонь лампы, ярко освещая горку разноцветно окрашенных яиц. Посреди стола и поперек его, на блюде, в пене сметаны и тертого хрена лежал, весело улыбаясь, поросенок, с трех сторон его окружали золотисто поджаренный гусь, индейка и солидный окорок ветчины.

— П'гошу к столу! — объявила старушка Премирова, вся шелковая, в кружевной наколке на серых волосах, она села первая и скромно похвасталась:

— У меня все — по старинке.

Рядом с нею села Марина, в пышном, сиреневого цвета платье, с буфами на плечах, со множеством складок и оборок, которые расширяли ее мощное тело; против сердца ее, точно орден, приколоты маленькие часы с эмалью. По другой бок старухи сел Дмитрий Самгин, одетый в белый китель и причесанный так, что стал похож на приказчика из мучной лавки. Щеголь Туробоев оказался далеко от Клима — на другом конце стола, Кутузов — между Мариной и Спивак. В сюртуке, поношенном и узком, он сидел, подняв сутуло плечи, и это не шло к его широкой фигуре. Он тотчас же сказал Марине:

— Вы похожи на «гуляй-город».

— Это что еще? — сердито спросила она. Кутузов любезно объяснил:

— Сооружение, которое встарину употребляли для осады городов.

Марина, шевеля густыми бровями, подумала, вспомнила что-то и, покраснев, ответила:

— Очень грубо.

Дмитрий Самгин стукнул ложкой по краю стола и открыл рот, но ничего не сказал, только чмокнул губами, а Кутузов, ухмыляясь, начал что-то шептать в ухо Спивак. Она была в светлоголубом, без глупых пузырей на плечах, и это гладкое, лишенное украшений платье, гладко причесанные каштановые волосы усиливали серьезность ее лица и неласковый блеск спокойных глаз. Клим заметил, что Туробоев криво усмехнулся, когда она утвердительно кивнула Кутузову.

Нехаева, в белом и каком-то детском платье, каких никто не носил, морщила нос, глядя на обилие пищи, и осторожно покашливала в платок. Она чем-то напоминала бедную родственницу, которую пригласили к столу из милости. Это раздражало Клима, его любовница должна быть цветистее, заметней. И ела она еще более брезгливо, чем всегда, можно было подумать, что она делает это напоказ, назло.

Насыщались прилежно, насытились быстро, и началась одна из тех бессвязных бесед, которые Клим с детства знал. Кто-то пожаловался на холод, и тотчас, к удивлению Клима, молчаливая Спивак начала восторженно хвалить природу Кавказа. Туробоев, послушав ее минуту, две, зевнул и сказал с подчеркнутой ленцой:

— А самое интересное на Кавказе — трагический рев ослов. Очевидно, лишь они понимают, как нелепы эти нагромождения камня, ущелья, ледники и все прославленное великолепие горной природы.

Он говорил, нервно покуривая, дыша дымом, глядя на конец папиросы. Спивак не ответила ему, а старушка Премирова, вздохнув, сказала:

— На Кавказе отца моего убили…

Ей тоже никто не ответил, тогда она быстро добавила:

— На Лермонтова был похож.

Но и эти слова не были услышаны. Ко всему притерпевшаяся старушка вытерла салфеткой серебряную стопку, из которой пила вино, перекрестилась и молча исчезла.

Клим, зная, что Туробоев влюблен в Спивак и влюблен не без успеха, — если вспомнить три удара в потолок комнаты брата, — удивлялся. В отношении Туробоева к этой женщине явилось что-то насмешливое и раздражительное. Туробоев высмеивал ее суждения и вообще как будто не хотел, чтоб при нем она говорила с другими.

«Очевидно, поссорились», — сообразил Самгин и чувствовал, что это приятно ему.

У него немножко шумело в голове и возникало желание заявить о себе; он шагал по комнате, прислушиваясь, присматриваясь к людям, и находил почти во всех забавное: вот Марина, почти прижав к стене светловолосого, носатого юношу, говорит ему:

— Вы бы писали прозу, на прозе больше заработаете денег и скорее славу.

— Но если я — поэт? — удивленно спросил юноша, потирая лоб.

— Не трите лоб, от этого у вас глаза краснеют, — сказала Марина.

Туробоев объясняет высокому человеку с еврейским лицом:

— Нет, я не заражен стремлением делать историю, меня совершенно удовлетворяет профессор Ключевский, он делает историю отлично. Мне говорили, что он внешне похож на царя Василия Шуйского: историю написал он, как написал бы ее этот хитрый царь…

Его слова заглушил сердитый голос Дмитрия:

— Не новость. Сходство Диониса и Христа давно замечено.

Как раньше, задорно звучал голосок Нехаевой:

— В России знают только лиризм и пафос разрушения.

— Вы, барышня, плоховато знаете Россию.

— Снежная любовь, ледяное милосердие.

— Ого! Ка-акие слова!

— Выдуманные души…

Нехаева кричала слишком громко, Клим подумал, что она, должно быть, выпила больше, чем следовало, и старался держаться в стороне от нее; Спивак, сидя на диване, спросила:

— В вашем городе есть еще Самгины?

— Да, моя мать.

— Очевидно, это она приглашает мужа организовать там музыкальную школу?

Дмитрий, пьяненький и красный, сказал, смеясь:

— Да ведь вы уже спрашивали меня об этом!

— Разве? — удивленно воскликнула Спивак. — У меня плохая память.

Она легко поднялась с дивана и, покачиваясь, пошла в комнату Марины, откуда доносились крики Нехаевой;

Клим смотрел вслед ей, улыбаясь, и ему казалось, что плечи, бедра ее хотят сбросить ткань, прикрывающую их. Она душилась очень крепкими духами, и Клим вдруг вспомнил, что ощутил их впервые недели две тому назад, когда Спивак, проходя мимо него и напевая романс «На холмах Грузии», произнесла волнующий стих:

Тобой, одной тобой.

А что, если она пела: «…одним тобой»? Он быстро пошел в комнату Марины, где Кутузов, развернув полы сюртука, сунув руки в карманы, стоял монументом среди комнаты и, высоко подняв брови, слушал речь Туробоева; Клим впервые видел Туробоева говорящим без обычных гримас и усмешечек, искажавших его красивое лицо.

— Совершенно ясно, что культура погибает, потому что люди привыкли жить за счет чужой силы и эта привычка насквозь проникла все классы, все отношения и действия людей. Я — понимаю: привычка эта возникла из желания человека облегчить труд, но она стала его второй природой и уже не только приняла отвратительные формы, но в корне подрывает глубокий смысл труда, его поэзию.

Кутузов дружелюбно усмехнулся.

— Идеалист вы, Туробоев. И — романтик, а это уж совсем не ко времени.

Марина сердито дергала шнурок вентилятора. Спивак подошла к ней, желая помочь, но Марина, оборвав шнур, бросила его на пол.

— Мужчины — уходите! — скомандовала она. — Серафима, ты будешь спать у меня; все пьяны, провожать тебя некому.

— Я — не пьян! — заявил Клим.

Спивак, стоя на стуле, упрямо старалась открыть вентилятор. Кутузов подошел, снял ее, как ребенка, со стула, поставил на пол и, открыв вентилятор, сказал:

— Идемте к Самгину… старшему. Идем, тетя Лиза?

Пошли. В столовой Туробоев жестом фокусника снял со стола бутылку вина, но Спивак взяла ее из руки Туробоева и поставила на пол. Клима внезапно ожег злой вопрос: почему жизнь швыряет ему под ноги таких женщин, как продажная Маргарита или Нехаева? Он вошел в комнату брата последним и через несколько минут прервал спокойную беседу Кутузова и Туробоева, торопливо говоря то, что ему давно хотелось сказать:

— Я с детства слышу речи о народе, о необходимости революции, обо всем, что говорится людями для того, чтоб показать себя друг перец другом умнее, чем они есть на самом деле. Кто… кто это говорит? Интеллигенция.

Смутно поняв, что начал он слишком задорным тоном и что слова, давно облюбованные им, туго вспоминаются, недостаточно легко идут с языка, Самгин на минуту замолчал, осматривая всех. Спивак, стоя у окна, растекалась по тусклым

стеклам голубым пятном. Брат стоял у стола, держа пред глазами лист газеты, и через нее мутно смотрел на Кутузова, который, усмехаясь, говорил ему что-то.

«Они меня не слушают», — сообразил Клим и рассердился.

Туробоев сидел в углу, наклонясь вперед, он курил, пуская кольца дыма на средину комнаты. Он сказал тихо:

— Ваш дядя, как я слышал… Клим закричал:

— Что вы хотите сказать? Мой дядя такой же продукт разложения верхних слоев общества, как и вы сами… Как вся интеллигенция. Она не находит себе места в жизни и потому…

Туробоев из своего угла сказал:

— Вы, Самгин, кажется, стали марксистом, но, я думаю, это оттого, что за столом вы неосторожно мешали белое вино с красным…

Дмитрий громко засмеялся, Кутузов сказал ему:

— Не мешай.

Климу хотелось, чтоб с ним спорили, он все более задорно говорил Варавкиными словами:

— Сам народ никогда не делает революции, его толкают вожди. На время подчиняясь им, он вскоре начинает сопротивляться идеям, навязанным ему извне. Народ знает и чувствует, что единственным законом для него является эволюция. Вожди всячески пытаются нарушить этот закон. Вот чему учит история…

— Любопытная история, — сказал Туробоев.

— Старенькая, — добавил Кутузов и встал. — Н-ну-с, мне пора идти.

Все мысли Клима вдруг оборвались, слова пропали. Ему показалось, что Спивак, Кутузов, Туробоев выросли и распухли, только брат остался таким же, каким был; он стоял среди комнаты, держа себя за уши, и качался.

— У вас, Кутузов, неприятная манера стоять, выдвинув левую ногу вперед. Это значит: вы уже считаете себя вождем и думаете о монументе…

— Чтоб стоять под снегом и дождем, — пробормотал Дмитрий Самгин, обняв брата за талию. Клим оттолкнул его движением плеча, продолжая крикливо:

— Но, по вере вашей, Кутузов, вы не можете претендовать на роль вождя. Маркс не разрешает это, вождей — нет, историю делают массы. Лев Толстой развил эту ошибочную идею понятнее и проще Маркса, прочитайте-ка «Войну и мир».

Клим Самгин снова оттолкнул брата:

— Прочитайте! Кстати — у вас и фамилия та же, что у полководца, которым командовала армия.

Уверенный, что он сказал нечто едкое, остроумное, Клим захохотал, прикрыв глаза, а когда открыл их — в комнате никого не было, кроме брата, наливавшего воду из графина в стакан.

Дальше Клим ничего не помнил.

Проснулся он с тяжестью в голове и смутным воспоминанием о какой-то ошибке, о неосторожности, совершенной вчера. Комнату наполнял неприятно рассеянный, белесоватый свет солнца, спрятанного в бескрасочной пустоте за окном. Пришел Дмитрий, его мокрые, гладко причесанные волосы казались жирно смазанными

маслом и уродливо обнажали красноватые глаза, бабье, несколько опухшее лицо. Уже по унылому взгляду его Клим понял, что сейчас он услышит нечто плохонькое.

— Что ж ты как вчера? — заговорил брат, опустив глаза и укорачивая подтяжки брюк. — Молчал, молчал... Тебя считали серьезно думающим человеком, а ты вдруг такое, детское. Не знаешь, как тебя понять. Конечно, выпил, но ведь говорят: «Что у трезвого на уме — у пьяного на языке».

Говорил Дмитрий задумчиво и затрудненно. Справившись с подтяжками, он сел на скрипучий стул.

— Вышло, знаешь, так, будто в оркестр вскочил чужой музыкант и, ради озорства, задудел не то, что все играют.

«Какой тусклый, бездарный человек, — думал Клим. — Совершенно Таня Куликова».

И вдруг заговорил:

— Ну, довольно! Ты — не гувернер мой. Ты бы лучше воздерживался от нелепых попыток каламбурить. Стыдно говорить Наташка вместо — натяжка и очепятка вместо — опечатка. Еще менее остроумно называть Ботнический залив — болтуническим, Адриатическое море — идиотическим...

Разгорячась, он сказал брату и то, о чем не хотел говорить: как-то ночью, возвращаясь из театра, он тихо шагал по лестнице и вдруг услыхал над собою, на площадке пониженные голоса Кутузова и Марины.

— Когда же ты скажешь Самгину?

— Не хватает храбрости... И — жалко, он — так...

— Я тоже так...

Сочно чмокнул поцелуй; Марина довольно громко сказала:

— Не смей!

Кутузов промычал что-то, а Клим бесшумно спустился вниз и снова зашагал вверх по лестнице, но уже торопливо и твердо. А когда он вошел на площадку — на ней никого не было. Он очень возжелал немедленно рассказать брату этот диалог, но, подумав, решил, что это преждевременно: роман обещает быть интересным, герои его все такие плотные, тельные. Их телесная плотность особенно возбуждала любопытство Клима. Кутузов и брат, вероятно, поссорятся, и это будет полезно для брата, слишком подчиненного Кутузову.

Рассказав Дмитрию подслушанную беседу, он прибавил, поддразнивая:

— Конечно, она предпочтет его...

Говоря, он смотрел в потолок и не видел, что делает Дмитрий; два тяжелых хлопка заставили его вздрогнуть и привскочить на кровати. Хлопал брат книгой по ладони, стоя среди комнаты в твердой позе Кутузова. Чужим голосом, заикаясь, он сказал:

— Т-такие в-вещи рассказывают горничные. Это из-звинительно только с похмелья.

Швырнув книгу на стол, он исчез, оставив Клима так обескураженным, что он лишь минуты через две сообразил:

«Этим тоном Дмитрий не смел говорить со мной. Надо объясниться».

Решил пойти к брату и убедить его, что рассказ о Марине был вызван естественным чувством обиды за человека, которого обманывают. Но, пока он

мылся, одевался, оказалось, что брат и Кутузов уехали в Кронштадт.

Елизавета Спивак простудилась и лежала в постели. Марина, чрезмерно озабоченная, бегала по лестнице вверх и вниз, часто смотрела в окна и нелепо размахивала руками, как бы ловя моль, невидимую никому, кроме нее. Когда Клим выразил желание посетить больную, Марина сухо сказала:

— Спрошу.

Но Клим был уверен, что она не спросила, наверх его не позвали. Было скучно. После завтрака, как всегда, в столовую спускался маленький Спивак:

— Я не помешаю? — спрашивал он и шел к роялю. Казалось, что, если б в комнате и не было бы никого, он все-таки спросил бы, не помешает ли? И если б ему ответили: «Да, помешаете», — он все-таки подкрался бы к инструменту.

Клим не мог представить его иначе, как у рояля, прикованным к нему, точно каторжник к тачке, которую он не может сдвинуть с места. Ковыряя пальцами двуцветные кости клавиатуры, он извлекал из черного сооружения негромкие ноты, необыкновенные аккорды и, склонив набок голову, глубоко спрятанную в плечи, скосив глаза, присматривался к звукам. Говорил он мало и только на две темы: с таинственным видом и тихим восторгом о китайской гамме и жалобно, с огорчением о несовершенстве европейского уха.

— У нас ухо забито шумом каменных городов, извозчиками, да, да! Истинная, чистая музыка может возникнуть только из совершенной тишины. Бетховен был глух, но ухо Вагнера слышало несравнимо хуже Бетховена, поэтому его музыка только хаотически собранный материал для музыки. Мусоргский должен был оглушаться вином, чтоб слышать голос своего гения в глубине души, понимаете?

Клим Самгин считал этого человека юродивым. Но нередко маленькая фигурка музыканта, припавшая к черной массе рояля, вызывала у него жуткое впечатление надмогильного памятника: большой, черный камень, а у подножия его тихо горюет человек.

Для Клима наступило тяжелое время. Отношение к нему резко изменилось, и никто не скрывал этого. Кутузов перестал прислушиваться к его скупым, тщательно обдуманным фразам, здоровался равнодушно, без улыбки. Брат с утра исчезал куда-то, являлся поздно, усталый; он худел, становился неразговорчив, при встречах с Климом конфузливо усмехался. Когда Клим попробовал объясниться, Дмитрий тихо, но твердо сказал:

— Оставь это.

Туробоев гримасничал более, чем раньше, не замечал Клима и смотрел в потолок.

— Что это вы всё вверх смотрите? — спросила его старуха Премирова.

Он сквозь зубы ответил:

— Жду, когда оживут мухи.

Нехаева не уезжала. Клим находил, что здоровье ее становится лучше, она меньше кашляет и даже как будто пополнела. Это очень беспокоило его, он слышал, что беременность не только задерживает развитие туберкулеза, но иногда излечивает его. И мысль, что у него может быть ребенок от этой девицы, пугала Клима.

Она стала молчаливее и говорила уже не так жарко, не так цветисто, как раньше. Ее нежность стала приторной, в обожающем взгляде явилось что-то блаженненькое. Взгляд этот будил в Климе желание погасить его полуумный блеск насмешливым словом. Но он не мог поймать минуту, удобную для этого; каждый раз, когда ему хотелось сказать девушке неласковое или острое слово, глаза Нехаевой, тотчас изменяя выражение, смотрели на него вопросительно, пытливо.

— Над чем ты смеешься? — спрашивала она.

— Я не смеюсь, — отрицал Клим, робея.

— Но ведь я вижу, — настаивала она. — У тебя в глазах снежинки.

Он робел еще больше, ожидая, что вот сейчас она спросит его: как он думает о дальнейших отношениях между ними?

Петербург становился еще неприятнее оттого, что в нем жила Нехаева.

Весна подходила медленно. Среди ленивых облаков, которые почти каждый день уныло сеяли дождь, солнце появлялось ненадолго, неохотно и бесстрастно обнажало грязь улиц, копоть на стенах домов. С моря дул холодный ветер, река синевато вспухла, тяжелые волны голодно лижут гранит берегов. Из окна своей комнаты Клим видел за крышами угрожающе поднятые в небо пальцы фабричных труб; они напоминали ему исторические предвидения и пророчества Кутузова, напоминай остролицего рабочего, который по праздникам таинственно, с черной лестницы, приходил к брагу Дмитрию, и тоже таинственную барышню, с лицом татарки, изредка посещавшую брата. Барышня была какая-то беззвучная и слепо прищуривала глаза, черные, как смола.

Иногда казалось, что тяжкий дым фабричных труб имеет странное свойство: вздымаясь и растекаясь над городом, он как бы разъедал его. Крыши домов таяли, исчезали, всплывая вверх, затем снова опускались из дыма. Призрачный город качался,* приобретая жуткую неустойчивость, это наполняло Самгина странной тяжестью, заставляя вспоминать славянофилов, не любивших Петербург, «Медного всадника», болезненные рассказы Гоголя.

Не нравилась ему игла Петропавловской крепости и ангел, пронзенный ею; не нравилась потому, что об этой крепости говорили с почтительной ненавистью к ней, но порою в ненависти звучало что-то похожее на зависть: студент Попов с восторгом называл крепость:

— П'антеон.

Звуком «п» он как бы подражал выстрелу из игрушечного пистолета, а остальные звуки произносил вполголоса.

— Б'акунин, — говорил он, загибая пальцы. — Неч-чаев. К'нязь Кроп-поткин…

Было что-то нелепое в гранитной массе Исакиевского собора, в прикрепленных к нему серых палочках и дощечках лесов, на которых Клим никогда не видел ни одного рабочего. По улицам машинным шагом ходили необыкновенно крупные солдаты; один из них, шагая впереди, пронзительно свистел на маленькой дудочке, другой жестоко бил в барабан. В насмешливом, злокозненном свисте этой дудочки, в разноголосых гудках фабрик, рано по утрам разрывавших сон, Клим слышал нечто, изгонявшее его из города.

Он замечал, что в нем возникают не свойственные ему думы, образы, уподобления. Идя по Дворцовой площади или мимо нее, он видел, что лишь редкие прохожие спешно шагают по лысинам булыжника, а хотелось, чтоб площадь была заполнена пестрой, радостно шумной толпой людей. Александровская колонна неприятно напоминала фабричную трубу, из которой вылетел бронзовый ангел и нелепо застыл в воздухе, как бы соображая, куда бросить крест. Царский дворец, всегда безгласный, с пустыми окнами, вызывал впечатление нежилого дома. Вместе с полукругом скучных зданий цвета железной ржавчины, замыкавших пустынную площадь, дворец возбуждал чувство уныния. Клим находил, что было бы лучше, если б дом хозяина России поддерживали устрашающие кариатиды Эрмитажа.

Видя эту площадь, Клим вспоминал шумный университет и студентов своего факультета — людей, которые учились обвинять и защищать преступников. Они уже и сейчас обвиняли профессоров, министров, царя. Самодержавие царя

защищали люди неяркие, бесталанно и робко; их было немного, и они тонули среди обвинителей.

Климу надоели бесконечные споры народников с марксистами, и его раздражало, что он не мог понять: кто ошибается наиболее грубо? Он был крепко, органически убежден, что ошибаются и те и другие, он не мог думать иначе, но не усваивал, для которой группы наиболее обязателен закон постепенного и мирного развития жизни. Иногда ему казалось, что марксисты более глубоко, чем народники, понимают несокрушимость закона эволюции, но все-таки и на тех и на других он смотрел как на представителей уже почти ненавистной ему «кутузовщины». Было невыносимо видеть болтливых людишек, которым глупость юности внушила дерзкое желание подтолкнуть, подхлестнуть веками узаконенное равномерное движение жизни.

Его особенно занимали споры на тему: вожди владеют волей масс или масса, создав вождя, делает его орудием своим, своей жертвой? Мысль, что он, Самгин, может быть орудием чужой воли, пугала и возмущала его. Вспоминалось толкование отцом библейской легенды о жертвоприношении Авраама и раздраженные слова Нехаевой:

— Народ — враг человека! Об этом говорят вам биографии почти всех великих людей.

Клим находил, что это верно: какая-то чудовищная пасть поглощает, одного за другим, лучших людей земли, извергая из желудка своего врагов культуры, таких, как Болотников, Разин, Пугачев.

Надоедал Климу студент Попов; этот голодный человек неутомимо бегал по коридорам, аудиториям, руки его судорожно, как вывихнутые, дергались в плечевых суставах; наскакивая на коллег, он выхватывал из карманов заношенной тужурки письма, гектографированные листки папиросной бумаги и бормотал, втягивая в себя звук с:

— Самгин, послушайте: из Од'дессы пишут… Студенчество — авангард… Ун'ниверситет — пункт организации Культурных с'ил… Землячества — зародыши всероссийского союза… Из К'азани сообщают…

Таких, как Попов, суетливых и вывихнутых, было несколько человек. Клим особенно не любил, даже боялся их и видел, что они пугают не только его, а почти всех студентов, учившихся серьезно.

Они постоянно навязывали билеты на вечеринки в пользу землячества, на какие-то концерты, организуемые с таинственной целью.

Лекции, споры, шопоты, весь хаотический шум сотен молодежи, опьяненной жаждой жить, действовать, — все это так оглушало Самгина, что он не слышал даже мыслей своих. Казалось, что все люди одержимы безумием игры, тем более увлекающей их, чем более опасна она.

Внезапно, но твердо он решил перевестись в один из провинциальных университетов, где живут, наверное, тише и проще. Нужно было развязаться с Нехаевой. С нею он чувствовал себя богачом, который, давая щедрую милостыню нищей, презирает нищую. Предлогом для внезапного отъезда было письмо матери, извещавшей его, что она нездорова.

Идя к Нехаевой прощаться, он угрюмо ожидал слез и жалких слов, но сам почти до слез был тронут, когда девушка, цепко обняв его шею тонкими руками, зашептала:

— Я — знаю, ты не очень… не так уж сильно любил меня, да! Знаю. Но я бесконечно, вся благодарю тебя за эти часы вдвоем…

Она прижималась к нему со всей силою бедного, сухого тела и жарко всхлипывала:

— Не дай бог, чтоб ты испытал безграничие одиночества так, как испытала это я.

Сложив щепотью тоненькие, острые пальцы, тыкала ими в лоб, плечи, грудь Клима и тряслась, едва стоя на ногах, быстро стирая ладонью слезы с лица.

— Я, кажется, плохо верю в бога, но за тебя буду молиться кому-то, буду! Я хочу, чтоб тебе жилось хорошо, легко…

Плакала она так, что видеть это было не тяжело, а почти приятно, хотя и грустно немножко; плакала горячо, но — не больше, чем следовало.

Клим уехал в убеждении, что простился с Нехаевой хорошо, навсегда и что этот роман значительно обогатил его. Ночью, в вагоне, он подумал:

«Вот, Лидия Тимофеевна, я возвращаюсь со щитом».

Решив остановиться дня на два в Москве, чтоб показать себя Лидии, он мысленно пошутил:

«Университетские экзамены можно отложить, а этот сдам теперь же».

Засыпая, он вспомнил, что на письма его, тщательно составленные в юмористическом тоне, Лидия ответила только дважды, очень кратко и неинтересно; в одном из писем было сказано:

«Не нравится мне, что ты свою знакомую называешь Смертяшкиной, и не смешно это».

«Она — не даровита. Ее гимназические работы всегда правила Сомова», — напомнил он себе и, утешенный этим, крепко заснул.

Над Москвой хвастливо сияло весеннее утро; по неровному булыжнику цокали подковы, грохотали телеги; в теплом, светлоголубом воздухе празднично гудела медь колоколов; по истоптанным панелям нешироких, кривых улиц бойко шагали легкие люди; походка их была размашиста, топот ног звучал отчетливо, они не шаркали подошвами, как петербуржцы. Вообще здесь шума было больше, чем в Петербурге, и шум был другого тона, не такой сыроватый и осторожный, как там.

«В московском шуме человек слышней», — подумал Клим, и ему было приятно, что слова сложились как поговорка. Покачиваясь в трескучем экипаже лохматого извозчика, он оглядывался, точно человек, возвратившийся на родину из чужой страны.

«Не перевестись ли в здешний университет?» — спросил он себя.

В гостинице его встретили с тем артистически налаженным московским угодливым добродушием, которое, будучи в существе своем незнакомо Климу, углубило в нем впечатление простоты и ясности. В полдень он пошел к Лидии.

«Воскресенье. Она должна быть дома».

Шагая по тепленьким, озорниковато запутанным переулкам, он обдумывал, что скажет Лидии, как будет вести себя, беседуя с нею; разглядывал пестрые, уютные домики с ласковыми окнами, с цветами на подоконниках. Над заборами поднимались к солнцу ветви деревьев, в воздухе чувствовался тонкий, сладковатый запах только что раскрывшихся почек.

Из-за угла вышли под руку два студента, дружно насвистывая марш, один из них уперся ногами в кирпичи панели и вступил в беседу с бабой, мывшей стекла окон, другой, дергая его вперед, уговаривал:

— Перестань, Володька! Идем!

Клим Самгин сошел с панели, обходя студентов, но тотчас был схвачен крепкой

рукой за плечо. Он быстро и гневно обернулся, и в лицо его радостно крикнул Макаров:

— Климуша? Откуда? Знакомьтесь: Самгин — Лютов...

— Купеческий сын третьего курса юмористического факультета, — дурашливо, склонив голову набок, рекомендовал себя косоглазый, полупьяный студент.

— Володька! Это он помешал мне застрелиться.

— Золотую медаль вам, коллега! Ибо, сохранив жизнь сего юноши, вы премного способствовали усугублению ерундистики российской...

Они оба вели себя так шумно, как будто кроме них на улице никого не было. Радость Макарова казалась подозрительной; он был трезв, но говорил так возбужденно, как будто желал скрыть, перекричать в себе истинное впечатление встречи. Его товарищ беспокойно вертел шеей, пытаясь установить косые глаза на лице Клима. Шли медленно, плечо в плечо друг другу, не уступая дороги встречным прохожим. Сдержанно отвечая на быстрые вопросы Макарова, Клим спросил о Лидии.

— Но — разве она не писала тебе, что не хочет учиться в театральной школе, а поступает на курсы? Она уехала домой недели две назад...

Говоря, он заглядывал в лицо Клима с удивлением.

— Она решила, что не умеет притворяться.

— Верно: не умеет! — скрепил Лютов и так тряхнул головою, что фуражка сдвинулась на лоб.

— Телепнева тоже уходит из школы, она — замуж, вот — ее жених!

Лютов ткнул в грудь свою, против сердца, указательным пальцем и повертел им, точно штопором. Неуловимого цвета, но очень блестящие глаза его смотрели в лицо Клима неприятно щупающим взглядом; один глаз прятался в переносье, другой забегал под висок. Они оба усмешливо дрогнули, когда Клим сказал:

— Поздравляю. Замечательно красивая девушка.

— Умопомрачительно, — поправил Лютов, передвигая фуражку на затылок.

Макаров предложил позавтракать.

— Разумеется, — сказал Лютов, бесцеремонно подхватив Клима под руку. — Того ради и живет Москва, чтобы есть.

Через несколько минут они сидели в сумрачном, но уютном уголке маленького ресторана; Лютов молитвенно заказывал старику лакею:

— И дашь ты нам, отец, к водке ветчины вестфальской и луку испанского, нарезав оный толсто...

— Знаю-с.

— Не сомневаюсь, но — напоминаю...

— Приятно видеть тебя! — говорил Макаров, раскурив папиросу, дымно улыбаясь. — Странно, брат, что мы не переписываемся, а? Что же — марксист?

Он торопился ставить вопросы и этим еще больше возбуждал осторожность Самгина.

— Марксист? — воскликнул Лютов. — Таковых уважаю!

И, положив локти на стол, заговорил сиповатым голосом, изредка вывизгивая резкие ноты, — они заставили Клима вспомнить Дронова.

— Уважаю не как представитель класса, коему Карл Маркс исчерпывающе разъяснил динамику капитала, его культурную силу, а — как россиянин, искренно желающий: да погибнет всяческая канитель! Ибо в лице Марксовом имеем, наконец, вероучителя крепости девяностоградусной. Это — не наша, русская бражка, возбуждающая лирическую чесотку души, не варево князя Кропоткина, графа Толстого, полковника Лаврова и семинаристов, окрестившихся в социалисты, с которыми приятно поболтать, — нет! С Марксом — не поболтаешь! У нас ведь так:

полижут языками желчную печень его превосходительства Михаила Евграфовича Салтыкова, запьют горечь лампадным маслицем фабрики его сиятельства из Ясной Поляны и — весьма довольны! У нас, главное, было бы о чем поболтать, а жить всячески можно, хоть на кол посади — живут!

Лютов произнес речь легко, без пауз; по словам она должна бы звучать иронически или зло, но иронии и злобы Клим не уловил в ней. Это удивило его. Но еще более удивительно было то, что говорил человек совершенно трезвый. Присматриваясь к нему, Клим подумал:

«Не ошибся же я, — он был пьян за пять минут перед этой».

Он почувствовал в Лютове нечто фальшивое. Цвет его вывихнутых глаз был грязноватый; не мутное, а именно что-то грязненькое было в белках, как бы пропыленных изнутри темненькой пылью. Но в зрачках вспыхивали хитренькие искорки, возбуждавшие опасение.

«Глаза — это мозг, вывороченный наизнанку», — вспомнил Клим чьи-то слова.

Желтые волосы Лютова были причесаны a la капуль, это так не шло к его длинному лицу, что казалось сделанным нарочно. Лицо требовало окладистой бороды, а Лютов брил щеки, отпуская остренькую бородку. Над нею вспухли негритянски толстые, гуттаперчевые губы, верхняя едва прикрыта редковолосыми усиками. Руки у него красные, жилистые, так же как шея, а на висках уже вздулись синеватые вены. Казалось, что и одет он с небрежностью нарочитой: под затасканным, расстегнутым сюртуком очень дорогого сукна — шелковая рубаха. Ему, должно быть, лет двадцать семь, даже тридцать, и он ничем не похож на студента. Макаров, вызывающе похорошевший, как будто нарочно, чтоб подчеркнуть себя, выбрал товарищем этого человека. Но — почему красавица Алина выбрала его?

Глотая рюмку за рюмкой водку, холодную до того, что от нее ныли зубы, закусывая толстыми ломтями лука, положенного на тоненькие листочки ветчины, Лютов спрашивал:

— Отреченную литературу, сиречь — апокрифы, уважаете?

— Это — ересиарх, — сказал Макаров, добродушно усмехаясь и глядя на Лютова ласково.

— «Откровение Адамово» — читали? Подняв руку с ножом в ней, он прочитал:

— «И рече диавол Адамови: моя есть земля, а божие — небеса; аще ли хочеши мой быти — делай землю! И сказа Адам: чья есть земля, того и аз и чада мои». Вот как-с! Вот он как формулирован, наш мужицкий, нутряной материализм!

В стремлении своем упрощать непонятное Клим Самгин через час убедил себя, что Лютов действительно человек жуликоватый и неудачно притворяется шутом. Все в нем было искусственно, во всем обнажалась деланность;

особенно обличала это вычурная речь, насыщенная славянизмами, латинскими

цитатами, злыми стихами Гейне, украшенная тем грубым юмором, которым щеголяют актеры провинциальных театров, рассказывая анекдоты в «дивертисментах».

Он, Лютов, снова казался пьяным. Протягивая Климу бокал шампанского, он, покраснев, кричал:

— Пожелайте мне ни пуха ни пера, и выпьем за здоровье велелепой девицы Алины Марковны!

Голос его звучал восторгом. Чокаясь с Лютовым, Макаров строго сказал:

— Ну, довольно тебе пить.

Лютов, залпом выпив вино, подмигнул Климу:

— Воспитывает. Я этого — достоин, ибо частенько пиан бываю и блудословлю плоти ради укрощения. Ада боюсь и сего, — он очертил в воздухе рукою полукруг, — и потустороннего. Страха ради иудейска с духовенством приятельствую. Эх, коллега! Покажу я вам одного диакона…

Закрыв глаза, Лютов покачал головою, потом вытянул из кармана брюк стальную цепочку для ключей, на конце ее болтались тяжелые золотые часы.

— Ух, мне пора! Костя, скажи, чтоб записали.

Он протянул руку Самгину:

— Рад знакомству. Много слышал хорошего. Не забывайте: Лютов, торговля пухом и пером…

— Не кокетничай, — посоветовал Макаров, а косоглазый крепко мял руку Самгина, говоря с усмешечкой на суздальском лице:

— Знаете, есть эдакие девицы с недостаточками; недостаточек никто бы и не заметил, но девица сама предваряет: смотрите, носик у меня не удался, но зато остальное…

Он тихонько оттолкнул Клима, пошел, задел ногою за ножку стула и, погрозив ему кулаком, исчез.

— Какой… чудак, — сказал Клим. Макаров задумчиво согласился:

— Да, чудаковат.

— Не понимаю Алину, — что ее заставило?.. Макаров дернул плечом и торопливо, как будто оправдываясь, заговорил:

— Нет, — что же? Ее красота требует достойной рамы. Володька — богат. Интересен. Добрый — до смешного. Кончил — юристом, теперь — на историко-филологическом. Впрочем, он — не учится, — влюблен, встревожен и вообще пошел вверх ногами.

Макаров зажег папиросу, дал спичке догореть до конца, а папиросу бросил на тарелку. Видно было, что он опьянел, на висках у него выступил пот. Клим сказал, что хочет посмотреть Москву.

— Едем на Воробьевы горы, — оживленно предложил Макаров.

Вышли из ресторана, взяли извозчика; глядя в его сутулую спину, туго обтянутую синим кафтаном, Макаров говорил:

— Москва несколько путает мозги. Я очарован, околдован ею и чувствую, что поглупел здесь. Ты не находишь этого? Ты — любезен.

Он снял фуражку, к виску его прилипла прядка волос, и только одна была неподвижна, а остальные вихры шевелились и дыбились. Клим вздохнул, — хорошо красив был Макаров. Это ему следовало бы жениться на Телепневой. Как глупо все. Сквозь оглушительный шум улицы Клим слышал:

— Фантастически талантливы люди здесь. Вероятно, вот такие жили в эпоху Возрождения. Не понимаю: где — святые, где — мошенники? Это смешано почти в каждом. И — множество юродствующих, а — чего ради? Чорт знает... Ты должен понять это...

Клим подозрительно, сбоку, заглянул в лицо товарища:

— Почему — я?

— Ты — философ, на все смотришь спокойно... «Как простодушен он», — подумал Клим. — Хорошее лицо у тебя, — сказал он, сравнив Макарова с Туробоевым, который смотрел на людей взглядом поручика, презирающего всех штатских. — И парень ты хороший, но, кажется, сопьешься.

— Возможно, — согласился Макаров спокойно, как будто говорилось не о нем. Но после этого замолчал, задумался.

На Воробьевых горах зашли в пустынный трактир; толстый половой проводил их на террасу, где маляр мазал белилами рамы окон, потом подал чай и быстрым говорком приказал стекольщику:

— Не мелетеши, не засти господам красотою любоваться!

— Костромич, — определил Макаров, глядя в мутноватую даль, на парчовый город, богато расшитый золотыми пятнами церковных глав.

— Да, красота, — тихо сказал он; Самгин утвердительно кивнул головою, но тотчас заметил:

— Понятие условное.

Не отвечая, Макаров отодвинул стакан с лучом солнца в его рыжей влаге, прикрытой кружком лимона, облокотился о стол, запустив пальцы в густые, двухцветные вихры свои.

У Клима Самгина Москва не вызывала восхищения; для его глаз город был похож на чудовищный пряник, пестро раскрашенный, припудренный опаловой пылью и рыхлый. Когда говорили о красоте, Клим предпочитал осторожно молчать, хотя давно заметил, что о ней говорят все больше и тема эта становится такой же обычной, как погода и здоровье. Он был равнодушен к общепризнанным красотам природы, находя, что закаты солнца так же однообразны, как рябое небо морозных ночей. Но, чувствуя, что красота для него непостижима, он понимал, что это его недостаток. За последнее время славословия красотам природы стали даже раздражать его и возбудили опасение: не Лидия ли своею враждою к природе внушила ему равнодушие?

Его весьма смутил Туробоев; дразня Елизавету Спивак и Кутузова, он спросил, усмехаясь:

— А вдруг вся эта наша красота только павлиний хвост разума, птицы глуповатой, так же как павлин?

Клима поразила дерзость этих слов, и они еще плотнее легли в память его, когда Туробоев, продолжая спор, сказал:

— Чем ярче, красивее птица — тем она глупее, но чем уродливей собака — тем умней. Это относится и к людям:

Пушкин был похож на обезьяну, Толстой и Достоевский не красавцы, как и вообще

все умники.

Лирическое молчание Макарова сердило Клима. Он спросил:

— Помнишь Пушкина:

Москва! Сколь русскому твой зрак унылый страшен.

Макаров взглянул на него трезвыми глазами и не ответил. Это не понравилось Климу, показалось ему невежливым. Прихлебывая чай, он заговорил тоном, требующим внимания:

— Когда говорят о красоте, мне кажется, что меня немножко обманывают.

Макаров выдернул пальцы из волос, снял со стола локти и удивленно спросил:

— Как ты сказал?

Повторив свою фразу, Клим продолжал:

— Что красивого в массе воды, бесплодно текущей на расстоянии шести десятков верст из озера в море? Но признается, что Нева — красавица, тогда как я вижу ее скучной. Это дает мне право думать, что ее именуют красивой для прикрытия скуки.

Макаров быстро выпил остывший чай и, прищурив глаза, стал смотреть в лицо Клима.

— То же самое желание скрыть от самих себя скудость природы я вижу в пейзажах Левитана, в лирических березках Нестерова, в яркоголубых тенях на снегу. Снег блестит, как обивка гробов, в которых хоронят девушек, он — режет глаза, ослепляет, голубых теней в природе нет. Все это придумывается для самообмана, для того, чтоб нам уютней жилось.

Видя, что Макаров слушает внимательно, Клим говорил минут десять. Он вспомнил мрачные жалобы Нехаевой и не забыл повторить изречение Туробоева о павлиньем хвосте разума. Он мог бы сказать и еще не мало, но Макаров пробормотал:

— Удивительно, до чего все это совпадает с мыслями Лидии.

Потирая лоб, он спросил:

— Что же ты?.. И усмехнулся:

— Не знаю, что спросить… Так странно… Он вдруг вспыхнул, даже уши его налились кровью. Гневно сверкая глазами, он заговорил вполголоса:

— Меня эти вопросы не задевают, я смотрю с иной стороны и вижу: природа — бессмысленная, злая свинья! Недавно я препарировал труп женщины, умершей от родов, — голубчик мой, если б ты видел, как она изорвана, искалечена! Подумай: рыба мечет икру, курица' сносит яйцо безболезненно, а женщина родит в дьявольских муках. За что?

Называя органы латинскими терминами, рисуя их очертания пальцем в воздухе, Макаров быстро и гневно изобразил пред Климом нечто до того отвратительное, что Самгин попросил его:

— Перестань.

Но все более возмущаясь, Макаров говорил, стуча пальцем по столу:

— Нет, подумай: зачем это, а?

Клим находил возмущение приятеля наивным, утомительным, и ему хотелось

возместить Макарову за упоминание о Лидии. Усмехаясь, он сказал:

— Вот и займись гинекологией, будешь дамским врачом. Наружность у тебя счастливая.

Макаров сразу осекся, недоуменно взглянул на него и, помолчав, сказал со вздохом:

— Ты странно шутишь.

— А ты, кажется, все еще философствуешь о женщинах, вместо того чтоб целоваться с ними?

— Это похоже на фразу из офицерской песни, — неопределенно сказал Макаров, крепко провел ладонями по лицу и тряхнул головою. На лице его явилось недоумевающее, сконфуженное выражение, он как будто задремал на минуту, потом очнулся, разбуженный толчком и очень смущенный тем, что задремал.

«Трезвеет», — сообразил Клим Самгин, ощущая желание отплатить товарищу и за офицерскую песню.

В этом ему помогли две мухи: опустясь на горбик чайной ложки, они торопливо насладились друг другом, и одна исчезла в воздухе тотчас, другая через две-три секунды после нее.

— Видел? Вот и все! — сказал Клим.

— Нет! — почти резко ответил Макаров. — Я не верю тебе, — протестующим тоном продолжал он, глядя из-под нахмуренных бровей. — Ты не можешь думать так. По-моему, пессимизм — это тот же цинизм.

Выпив остывший чай, он продолжал тише:

— Я, должно быть, немножко поэт, а может, просто — глуп, но я не могу… У меня — уважение к женщинам, и — знаешь? — порою мне думается, что я боюсь их. Не усмехайся, подожди! Прежде всего — уважение, даже к тем, которые продаются. И не страх заразиться, не брезгливость — нет! Я много думал об этом…

— Но говоришь плохо, — отметил Клим.

— Да?

— Неясно.

— Ты — поймешь!

Макаров, снова встряхнув головою, посмотрел в разноцветное небо, крепко сжал пальцы рук в один кулак и ударил себя по колену.

— Это чувство внушила мне Лидия — знаешь?

— Вот как? — неопределенно произнес Клим и насторожился.

— Мы — друзья, — продолжал Макаров, и глаза его благодарно улыбались. — Не влюблены, но — очень близки. Я ее любил, но — это перегорело. Страшно хорошо, что я полюбил именно ее, и хорошо, что это прошло.

Он засмеялся, лицо его радостно сияло.

— Путаю? — спросил он сквозь смех. — Это только на словах путаю, а в душе все ясно. Ты пойми: она удержала меня где-то на краю… Но, разумеется, не то важно, что удержала, а то, что она — есть!

Самгин подумал не без гордости:

«Никогда я не позволил бы себе говорить так с чужим человеком. И почему — «она удержала»?»

— Любить ее, как вообще любят, — нельзя, — строго сказал Макаров. Клим усмехнулся:

— Почему же?

— Не смейся. Я так чувствую: нельзя. Это, брат, удивительный человек!

Он подумал, прикрыв глаза.

— В библии она прочитала: «И вражду положу между тобою и между женою». Она верит в это и боится вражды, лжи. Это я думаю, что боится. Знаешь — Лютов сказал ей: зачем же вам в театрах лицедействовать, когда, по природе души вашей, путь вам лежит в монастырь? С ним она тоже в дружбе, как со мной.

Клим слушал напряженно, а — не понимал, да и не верил Макарову: Нехаева тоже философствовала, прежде чем взять необходимое ей. Так же должно быть и с Лидией. Не верил он и тому, что говорил Макаров о своем отношении к женщинам, о дружбе с Лидией.

«Это — тоже павлиний хвост. И ясно, что он любит Лидию».

Самгин стал слушать сбивчивую, неясную речь Макарова менее внимательно. Город становился ярче, пышнее; колокольня Ивана Великого поднималась в небо, как палец, украшенный розоватым ногтем. В воздухе плавал мягкий гул, разноголосо пели колокола церквей, благовестя к вечерней службе. Клим вынул часы, посмотрел на них.

— Мне пора на вокзал. Проводишь?

— Конечно.

— Ты в начале беседы очень верно заметил, что люди выдумывают себя. Возможно, что это так и следует, потому что этим подслащивается горькая мысль о бесцельности жизни…

Макаров удивленно взглянул на него и встал:

— Как странно, что ты, ты говоришь это! Я не думал ничего подобного даже тогда, когда решил убить себя…

— Ты в те дни был ненормален, — спокойно напомнил Клим. — Мысль о бесцельности бытия все настойчивее тревожит людей.

— Тебе трудно живется? — тихо и дружелюбно спросил Макаров. Клим решил, что будет значительнее, если он не скажет ни да, ни нет, и промолчал, крепко сжав губы. Пошли пешком, не быстро. Клим чувствовал, что Макаров смотрит на него сбоку печальными глазами. Забивая пальцами под фуражку непослушные вихры, он тихо рассказывал:

— После экзаменов я тоже приеду, у меня там урок, буду репетитором приемыша Радеева, пароходчика, — знаешь? И Лютов приедет.

— Вот как. А где Сомова?

— Учительствует в сельской школе.

Из облака радужной пыли выехал бородатый извозчик, товарищи сели в экипаж и через несколько минут ехали по улице города, близко к панели. Клим рассматривал людей; толстых здесь больше, чем в Петербурге, и толстые, несмотря на их бороды, были похожи на баб.

«Наверное, никого из них не беспокоит мысль о цели бытия», — полупрезрительно подумал он и вспомнил Нехаеву.

«Нет, все-таки она — милая. Даже недюжинная девушка. Как отнеслась бы к ней Лидия?»

Макаров молчал. Подъехали к вокзалу; Макаров, вспомнив что-то, заторопился, обнял Клима и ушел:

— Скоро увидимся!

Посмотря вслед ему, Клим прошел в буфет, сел в угол, к столу. До отхода поезда оставалось более часа. Думать о Макарове не хотелось; в конце концов он оставил впечатление человека полинявшего, а неумным он был всегда. Впечатление линяния, обесцвечивания вызывали у Клима все знакомые, он принимал это как признак своего духовного роста. Это впечатление подсказывала и укрепляла торопливость, с которой все стремились украсить себя павлиньими перьями от Ницше, от Маркса. Климу было досадно вспомнить, что Туробоев тоже видит эту торопливость и умеет высмеивать ее. Да, этот никуда не торопился и не линял. Он говорил, приподняв вышитые брови, поблескивая глазами:

— Я признаю вполне законным стремление каждого холостого человека поять в супругу себе ту или иную идейку и жить, до конца дней, в добром с нею согласии, но — лично я предпочитаю остаться холостым.

Манере Туробоева говорить Клим завидовал почти до ненависти к нему. Туробоев называл идеи «девицами духовного сословия», утверждал, что «гуманитарные идеи требуют чувства веры значительно больше, чем церковные, потому что гуманизм есть испорченная религия». Самгин огорчался: почему он не умеет так легко толковать прочитанные книги?

Казалось, что Туробоев присматривается к нему слишком внимательно, молча изучает, ловит на противоречиях. Однажды он заметил небрежно и глядя в лицо Клима наглыми глазами:

— На все вопросы, Самгин, есть только два ответа:

да и нет. Вы, кажется, хотите придумать третий? Это — желание большинства людей, но до сего дня никому еще не удавалось осуществить его.

Оскорбительно было слышать эти слова и неприятно сознавать, что Туробоев не глуп.

Звон колокольчика и крик швейцара, возвестив время отхода поезда, прервал думы Самгина о человеке, неприятном ему. Он оглянулся, в зале суетились пассажиры, толкая друг друга, стремясь к выходу на перрон.

Клим встал и спросил себя, пожав плечами:

«А на что мне Туробоев, Кутузов?»

Глава 4

Солнечный свет, просеянный сквозь кисею занавесок на окнах и этим смягченный, наполнял гостиную душистым теплом весеннего полудня. Окна открыты, но кисея не колебалась, листья цветов на подоконниках — неподвижны. Клим Самгин чувствовал, что он отвык от такой тишины и что она заставляет его как-то по-новому вслушиваться в слова матери.

— Ты очень, очень возмужал, — говорила Вера Петровна, кажется, уже третий раз. — У тебя даже глаза стали темнее.

Она встретила сына с радостью, неожиданной для него. Клим с детства привык к ее суховатой сдержанности, привык отвечать на сухость матери почтительным равнодушием, а теперь нужно было найти какой-то другой тон.

— Ну, а — Дмитрий? — спрашивала она. — Рабочий вопрос изучает? О, боже! Впрочем, я так и думала, что он займется чем-нибудь в этом роде. Тимофей Степанович убежден, что этот вопрос раздувается искусственно. Есть люди, которым кажется, что это Германия, опасаясь роста нашей промышленности, ввозит к нам рабочий социализм. Что говорит Дмитрий об отце? За эти восемь месяцев — нет, больше! — Иван Акимович не писал мне…

Она была одета парадно, как будто ожидала гостей или сама собралась в гости. Лиловое платье, туго обтягивая бюст и торс, придавало ее фигуре что-то напряженное и вызывающее. Она курила папиросу, это — новость. Когда она сказала: «Бог мой, как быстро летит время!» — в тоне ее слов Клим услышал жалобу, это было тоже не свойственно ей.

— Ты знаешь, — в посте я принуждена была съездить в Саратов, по делу дяди Якова; очень тяжелая поездка! Я там никого не знаю и попала в плен местным… радикалам, они много напортили мне. Мне ничего не удалось сделать, даже свидания не дали с Яковом Акимовичем. Сознаюсь, что я не очень настаивала на этом. Что могла бы я сказать ему?

Клим согласно наклонил голову:

— Да, с ним — трудно.

Словоохотливость матери несколько смущала его, но он воспользовался ею и спросил, где Лидия.

— Уехала в монастырь с Алиной Телепневой, к тетке ее, игуменье. Ты знаешь: она поняла, что у нее нет таланта для сцены. Это — хорошо. Но ей следует понять, что у нее вообще никаких талантов нет. Тогда она перестанет смотреть на себя как на что-то исключительное и, может быть, выучится… уважать людей.

Вера Петровна вздохнула, взглянув на часы, прислушиваясь к чему-то.

— Ты слышал, что Телепнева нашла богатого жениха?

— Я видел его в Москве.

— Да? Что это?

— Шут какой-то, — сказал Клим, пожимая плечами.

— Кажется — Тимофей Степанович пришел… Мать встала, пошла к двери, но дверь широко распахнулась, открытая властной рукою Варавки.

— Ага, юрист, приехал, здравствуй; ну-ко, покажись! Он тотчас наполнил комнату скрипом новых ботинок, треском передвигаемых кресел, а на улице зафыркала лошадь, закричали мальчишки и высоко взвился звонкий тенор:

— Вот лу-кулу-кулу-кулуку-у!

— Вера, — чаю, пожалуйста! В половине восьмого заседание. Субсидию тебе на школу город решил дать, слышишь?

Но ее уже не было в комнате. Варавка посмотрел на дверь и, встряхнув рукою бороду, грузно втиснулся в кресло.

— Ну, что, юрист, как? Судя по лицу — науки не плохо питали тебя. Рассказывай!

Но, заглянув медвежьими глазками в глаза Клима, он хлопнул его по колену и стал рассказывать сам:

— Газету хочу издавать, а? Газету, брат. Попробуем заменить кухонные сплетни организованным общественным мнением.

Через несколько минут, перекатив в столовую круглую тушу свою, он, быстро размешивая ложкой чай в стакане, кричал:

— Что такое для нас, русских, социальная эволюция? Это — процесс замены посконных штанов приличными брюками…

Климу показалось, что мать ухаживает за Варавкой с демонстративной покорностью, с обидой, которую она не может или не хочет скрыть. Пошумев полчаса, выпив три стакана чая, Варавка исчез, как исчезает со сцены театра, оживив пьесу, эпизодическое лицо.

— Изумительно много работает, — сказала мать, вздохнув. — Я почти не вижу его. Как всех культурных работников, его не любят.

Вера Петровна долго рассуждала о невежестве и тупой злобе купечества, о близорукости суждений интеллигенции, слушать ее было скучно, и казалось, что она старается оглушить себя. После того, как ушел Варавка, стало снова тихо и в доме и на улице, только сухой голос матери звучал, однообразно повышаясь, понижаясь. Клим был рад, когда она утомленно сказала:

— Я думаю, ты устал?

— Мне бы хотелось пройтись. А ты — не хочешь?

— О, нет, — сказала она, приглаживая пальцами или пытаясь спрятать седые волосы на висках.

Клим вышел на улицу, когда уже стемнело. Деревянные стены и заборы домов еще дышали теплом, но где-то слева всходила луна, и на серый булыжник мостовой ложились прохладные тени деревьев. Стекла окон смазаны желтым жиром огня, редкие звезды — тоже капельки жирного пота. Дома приплюснуты к земле, они, казалось, незаметно тают, растекаясь по улице тенями; от дома к дому темными ручьями текут заборы. В городском саду, по дорожке вокруг пруда, шагали медленно люди, над стеклянным кругом черной воды лениво плыли негромкие голоса. Клим вспомнил книги Роденбаха, Нехаеву; ей следовало бы жить вот здесь, в этой тишине, среди медлительных людей.

Он сел на скамью, под густой навес кустарника; аллея круто загибалась направо, за углом сидели какие-то люди, двое; один из них глуховато ворчал, другой шаркал палкой или подошвой сапога по неутоптанному, хрустящему щебню. Клим вслушался в монотонную воркотню и узнал давно знакомые мысли:

— Он, как Толстой, ищет веры, а не истины. Свободно мыслить о истине можно лишь тогда, когда мир опустошен: убери из него всё — все вещи, явления и все твои желания, кроме одного: познать мысль в ее сущности. Они оба мыслят о человеке, о боге, добре и зле, а это — лишь точки отправления на поиски — вечной, все решающей истины…

— У вас нет целкового? — спросил кисленький голос Дронова.

Клим Самгин встал, желая незаметно уйти, но заметил, по движению теней, что Дронов и Томилин тоже встали, идут в его сторону. Он сел, согнулся, пряча лицо.

— У меня нет целкового, — сказал Томилин тем же тоном, каким говорил о вечной истине.

Не поднимая головы, Клим посмотрел вслед им. На ногах Дронова старенькие сапоги с кривыми каблуками, на голове — зимняя шапка, а Томилин — в длинном, до пят, черном пальто, в шляпе с широкими полями. Клим усмехнулся, найдя, что костюм этот очень характерно подчеркивает странную фигуру провинциального мудреца. Чувствуя себя достаточно насыщенным его философией, он не ощутил желания посетить Томилина и с неудовольствием подумал о неизбежной встрече с Дроновым.

В саду стало тише, светлей, люди исчезли, растаяли; зеленоватая полоса лунного света отражалась черною водою пруда, наполняя сад дремотной, необременяющей скукой. Быстро подошел человек в желтом костюме, сел рядом с Климом, тяжко вздохнув, снял соломенную шляпу, вытер лоб ладонью, посмотрел на ладонь и сердито спросил:

— На биллиарде не играете, студент?

Выслушав краткое: нет, он встал и так же быстро пошел прочь, размахивая шляпой, а отойдя шагов пятнадцать, громко крикнул:

— Дармоед, зелены уши!

И, захохотав дьявольски, исчез. Клим тоже усмехнулся, бездумно посидел еще несколько минут и пошел домой.

На четвертый день явилась Лидия.

— О, приехал! — сказала она, удивленно подняв брови. Удивление ее, нерешительно протянутая рука и взгляд, быстро скользнувший по лицу Клима, — все это заставило его нахмурясь отойти от нее. Она пополнела, но глаза ее, обведенные тенями, углубились и лицо казалось болезненным. На ней серое платье, перехваченное поясом, соломенная шляпа, подвязанная белой вуалью; в таком виде английские дамы путешествуют по Египту. С Верой Петровной она поздоровалась тоже небрежно, минут пять капризно жаловалась на скуку монастыря, пыль и грязь дороги и ушла переодеваться, укрепив неприятное впечатление Клима.

— Как ты нашел ее? — спросила мать, глядя в зеркало, поправляя прическу, и сейчас же подсказала ответ:

— Она уже немножко играет, это влияние школы. К вечернему чаю пришла Алина. Она выслушала комплименты Самгина, как дама, хорошо знакомая со всеми комбинациями льстивых слов, ленивые глаза ее смотрели в лицо Клима с легкой усмешечкой.

— Подумайте, — он говорит со мною на вы! — вскричала она. — Это чего-нибудь стоит. Ах, — вот как? Ты видел моего жениха? Уморительный, не правда ли? — И, щелкнув пальцами, вкусно добавила: — Умница! Косой, ревнючий. Забавно с ним — досотрясения мозгов.

— И богат…

— Это — всего лучше, конечна! Слизнув с пышных губ своих быструю улыбочку, она спросила:

— Осуждаешь?

Она выработала певучую речь, размашистые, но мягкие и уверенные жесты, — ту свободу движений, которая в купеческом круге именуется вальяжностью. Каждым оборотом тела она ловко и гордо подчеркивала покоряющую силу его красоты. Клим видел, что мать любуется Алиной с грустью в глазах.

— Подруги упрекают меня, дескать — польстилась девушка на деньги, — говорила Телепнева, добывая щипчиками конфекты из коробки. — Особенно язвит Лидия, по ее законам необходимо жить с милым и чтобы — в шалаше. Но — я бытовая и водевильная, для меня необходим приличный домик и свои лошади. Мне заявлено:

«У вас, Телепнева, совершенно отсутствует понимание драматизма». Это сказал не кто-нибудь, а — сам, он, который сочиняет драмы. А с милым без драмы — не прожить, как это доказано в стихах и прозе…

«Эту школа испортила больше, чем Лидию», — подумал Клим. Мать, выпив чашку чая, незаметно ушла. Лидия слушала сочный голос подруги, улыбаясь едва заметной улыбкой тонких губ, должно быть, очень жгучих. Алина смешно рассказывала драматический роман какой-то гимназистки, которая влюбилась в интеллигентного переплетчика.

— Настоящий интеллигентный, в очках, с бородкой, брюки на коленях — пузырями, кисленькие стишки Надсона славословил, да! Вот, Лидочка, как это страшно, когда интеллигент и шалаш? А мой Лютов — старовер, купчишка, обожает Пушкина; это тоже староверство — Пушкина читать. Теперь ведь в моде этот — как его? — Витебский, Виленский?

Розовыми пальцами, ногти которых блестели, как перламутр, она брала конфекты и, откусывая от них маленькие кусочки, хвасталась белизною зубов. Голос ее звучал добродушно, масляные глаза ласково поблескивали.

— Мы с Лютовым угрожающих стихов не любим:

Верь: воскреснет Ваал И пожрет идеал…

Ну, и пусть кушает, на здоровье.

Она вдруг вспыхнула, даже немножко подскочила на стуле.

— Ой, Лидуша, какие стишки я сегодня получила из Москвы! Какой-то новый поэт Брусов, Бросов — удивительно! Они несколько… нескромные, но — музыка, музыка!

Она торопливо рылась в складках юбки, отыскивая карман, нашла, взмахнула измятым конвертом.

— Вот…

В столовую шумно вбежала кругленькая Сомова, а за нею, точно идя вброд по скользким камням, осторожно шагал высокий юноша в синих штанах, в рубахе небеленого холста, в каких-то сандалиях на босых ногах.

— Милые подруги, это — свинство! — кричала Сомова. — Приехали и — молчите, зная, что я без вас жить не могу.

— И без меня, — глухим басом сказал юноша дикого вида.

— И без тебя, наказание божие, и без тебя, да! Знакомьтесь, девушки: Иноков, дитя души моей, бродяга, будет писателем.

Расцеловав подруг, Сомова села рядом с Климом, отирая потное лицо свое концом

головного платка, ощупывая Самгина веселым взглядом.

— Какой ты стал игрушечкой!

Она тотчас перекатилась к Лидии, говоря:

— Ну, из учительниц меня высадили, — как это тебе нравится?

На ее место тяжело сел Иноков; немного отодвинув стул в сторону от Клима, он причесал пальцами рыжеватые, длинные волосы и молча уставил голубые глаза на Алину.

Клим не видел Сомову больше трех лет; за это время она превратилась из лимфатического, неуклюжего подростка в деревенскую ситцевую девушку. Ее волосы, выгоревшие на висках, были повязаны белым платком, щеки упруго округлились, глаза блестели оживленно. Говорила она громко, щедро пересыпая речь простонародными словечками, румяно улыбаясь. Было в ней нечто вульгарное, от чего Клим внутренне морщился. Иноков похож на придурковатого сельского пастуха. В нем тоже ничего не осталось от гимназиста, каким вспомнил его Клим. На скуластом лице его, обрызганном веснушками, некрасиво торчал тупой нос, нервно раздувались широкие ноздри, на верхней губе туго росли реденькие, татарские усы. Взгляд голубых глаз часто и противоречиво изменялся — то слишком, по-женски, мягкий, то неоправданно суров. Выпуклый лоб уже изрезан морщинами.

— Махорку курить нельзя здесь? — тихонько спросил он Клима; Самгин предложил ему отойти к окну, открытому в сад, и сам отошел с ним. Там, вынув из кармана кисет, бумагу, Иноков свернул собачью ножку, закурил, помахал в воздухе спичкой, гася ее, и сказал со вздохом:

— Какая дьявольская…

— Кто?

Иноков показал глазами на Алину.

— Эта. Как сон.

Сдержав улыбку, Клим спросил:

— Вы чем занимаетесь? Иноков пошевелил плечом.

— Так, вообще… работаю. Осенью рыбу ловил на Каспии. Интересно. Корреспонденции пишу. Иногда,

— Печатают?

— Мало. Резко пишу будто бы.

Когда Иноков стоял, в нем обнаруживалось нечто клинообразное: плечи. — широкие, а таз — узкий, ноги — тонкие.

— Думаю серьезно заняться рыбным делом… ихтиологией.

Девицы за столом очень шумели, но Сомова все-таки поймала слова Инокова:

— Писать будешь, — крикнула она. Иноков швырнул в окно недокуренную папиросу, сильно выдул изо рта едкий дым и пошел к столу, говоря:

— Писать надо, как Флобер, или совсем не надо писать. У нас не пишут, а для души лапти плетут.

Он схватился обеими руками за спинку тяжелого стула и с великим жаром заговорил, густо подчеркивая «о»:

— Мы вот первая страна в Европе по обилию рыбы, а рыбоводство у нас — варварское, промышляем рыбу — хищно, грабительски. В Астрахань приезжал профессор Гримм, ихтиолог, я его сопровождал по промыслам, так он — слепой, нарочито слепой…

— Разве селедка нужна народу? — кричала Сомова, отирая упругие щеки свои неприятно желтеньким платочком.

Алина бесцеремонно хохотала, глядя на нее, косясь на Инокова; Лидия смотрела на него прищурясь, как рассматривают очень отдаленное и непонятное, а он, пристукивая тяжелым стулом по полу, самозабвенно долбил:

— Аральское море, Каспийское море, Азовское, Черное моря, да северные, да реки…

— Высохнуть бы им! — ожесточилась Сомова. — Слышать не могу!

Лидия встала и пригласила всех наверх, к себе. Клим задержался на минуту у зеркала, рассматривая прыщик на губе. Из гостиной вышла мать; очень удачно сравнив Инокова и Сомову с любителями драматического искусства, которые разыгрывают неудачный водевиль, она положила руку на плечо Клима, спросила:

— Какова Алина?

— Ослепительна.

— И — не глупа, хотя шалит… грубовато. Гладя плечо, она тихо сказала:

— Вот бы невеста тебе, а?

— Но, мама, ведь это — идол! — ответил сын, усмехаясь. — Нужно иметь десятки тысяч в год, чтоб достойно украсить его.

— Это — да! — серьезно сказала мать и вздохнула. — Ты — прав.

Клим пошел к Лидии. Там девицы сидели, как в детстве, на диване; он сильно выцвел, его пружины старчески поскрипывали, но он остался таким же широким и мягким, как был. Маленькая Сомова забралась на диван с ногами; когда подошел Клим, она освободила ему место рядом с собою, но Клим- сел на стул.

— Он все такой же — посторонний, — сказала Сомова подругам, толкнув стул ногою в неуклюжем башмаке. Алина предложила Климу рассказать о Петербурге.

— Да, — какие там люди живут? — пробормотал Иноков, сидя на валике дивана с толстой сигарой Варавки в зубах.

Клим начал рассказывать не торопясь, осторожно выбирая слова, о музеях, театрах, о литературных вечерах и артистах, но скоро и с досадой заметил, что говорит неинтересно, слушают его невнимательно.

— Люди там не лучше, не умнее, чем везде, — продолжал он. — Редко встретишь человека, для которого основным вопросом бытия являются любовь, смерть-Лидия поправила прядь волос, опустившуюся на ухо и щеку ее. Иноков вынул сигару изо рта, стряхнул пепел в горсть левой руки и, сжав ее в кулак, укоризненно заметил:

— Это Лев Толстой внушает…

— Меньше других. — Есть и другие?

— Вы относитесь отрицательно к вопросам этого порядка?

Иноков сунул левую руку в карман, вытер ее там.

— Не знаю.

Клим почувствовал, что этот парень раздражает его, мешая завладеть вниманием девиц.

«Вероятно — пропагандист и, должно быть, глуп».

Он стал говорить более задорными словами, но старался, чтоб слова звучали мягко и убедительно. Рассказав о Метерлинке, о «Слепых», о «Прялке туманов» Роденбаха, он, посматривая на Инокова, строго заговор ил о политике:

— Наши отцы слишком усердно занимались решением вопросов материального характера, совершение игнорируя загадки духовной жизни. Политика — область самоуверенности, притупляющей наиболее глубокие чувства людей. Политик — это ограниченный человек, он считает тревоги духа чем-то вроде накожной болезни. Все эти народники, марксисты — люди ремесла, а жизнь требует художников, творцов. Иноков, держа сигару, как свечку, пальцем левой руки разрубал синие спирали дыма.

— Вот явились люди иного строя мысли, они открывают пред нами таинственное безграничие нашей внутренней жизни, они обогащают мир чувства, воображения. Возвышая человека над уродливой действительностью, они показывают ее более ничтожной, менее ужасной, чем она кажется, когда стоишь на одном уровне с нею.

— В воздухе — не проживешь, — негромко сказал Иноков и сунул сигару в землю цветочного горшка.

Клим замолчал. Ему показалось, что он выговорил нечто неверное, даже не знакомое ему. Он не доверял случайным мыслям, которые изредка являлись у него откуда-то со стороны, без связи с определенным лицом или книгой. То, что, исходя от других людей, совпадало с его основным настроением и легко усваивалось памятью его, казалось ему более надежным, чем эти бродячие, вдруг вспыхивающие мысли, в них было нечто опасное, они как бы грозили оторвать и увлечь в сторону от запаса уже прочно усвоенных мнений. Клим Самгин смутно догадывался, что боязнь пред неожиданными мыслями противоречит какому-то его чувству, но противоречие это было тоже неясно и поглощалось сознанием необходимости самозащиты против потока мнений, органически враждебных ему.

Несколько взволнованный, он посмотрел на слушателей, их внимание успокоило его, а пристальный взгляд Лидии очень польстил.

Задумчиво расплетая и заплетая конец косы своей, Сомова сказала:

— Дронов тоже философствует, несчастный.

— Да, жалкий, — подтвердил Иноков, утвердительно качнув курчавой головой. — А в гимназии был бойким мальчишкой. Я уговариваю его: иди в деревню учителем.

Сомова возмутилась:

— Какой же он учитель! Он — злой!.. Иноков отошел, покачиваясь, встал у окна и оттуда сказал:

— Я его мало знаю. И не люблю. Когда меня выгнали из гимназии, я думал, что это по милости Дронова, он донес на меня. Даже спросил недавно: «Ты донес?» — «Нет», — говорит. — «Ну, ладно. Не ты, так — не ты. Я спрашивал из любопытства».

Говоря, Иноков улыбался, хотя слова его не требовали улыбки. От нее вся кожа на скуластом лице мягко и лучисто сморщилась, веснушки сдвинулись ближе одна к другой, лицо стало темнее.

«Конечно — глуп», — решил Клим.

— Да, Дронов — злой, — задумчиво сказала Лидия. — Но он — скучно злится, как

будто злость — ремесло его и надоело ему…

— Умненькая ты, Лидуша, — вздохнула Телепнева.

— Девушка — с перцем, — согласилась Сомова, обняв Лидию.

— Послушайте, — обратился к ней Иноков. — От сигары киргизом пахнет. Можно мне махорки покурить? Я — в окно буду.

Клим вдруг встал, подошел к нему и спросил:

— Вы меня не помните?

— Нет, — ответил Иноков, не взглянув на него, раскуривая папиросу.

— Мы вместе учились, — настаивал Клим. Выпустив изо рта длинную струю дыма, Иноков потряс головою.

— Не помню вас. В разных классах, что ли?

— Да, — сказал Клим, отходя от него. «Что это я, зачем?» — подумал он.

Лидия исчезла из комнаты, на диване шумно спорили Сомова и Алина.

— Вовсе не каждая женщина для того, чтоб детей родить, — обиженно кричала Алина. — Самые уродливые и самые красивые не должны делать это.

Сомова, сквозь смех, возразила:

— Дурочка! Что же: меня — в монастырь или в каторгу, а на тебя — богу молиться?

Клим шагал по комнате, думая: как быстро и неузнаваемо изменяются все. А он вот «все такой же — посторонний», заметила Сомова.

«Этим надо гордиться», — напомнил он себе. Но все-таки ему было грустно.

Вошла Таня Куликова с зажженной лампой в руках, тихая и плоская, как тень.

— Закройте окно, а то налетит серая дрянь, — сказала она. Потом, прислушиваясь к спору девиц на диване, посмотрев прищуренно в широкую спину Инокова, вздохнула:

— Шли бы в сад.

Ей не ответили. Она щелкнула ногтем по молочно белому абажуру, послушала звон стекла, склонив голову набок, и бесшумно исчезла, углубив чем-то печаль Клима.

Он пошел в сад. Там было уже синевато-темно; гроздья белой сирени казались голубыми. Луна еще не взошла, в небе тускло светилось множество звезд. Смешанный запах цветов поднимался от земли. Атласные листья прохладно касались то шеи, то щеки. Клим ходил по скрипучему песку дорожки, гул речей, выливаясь из окна, мешал ему думать, да и не хотелось думать ни о чем. Густой запах цветов опьянял, и Климу казалось, что, кружась по дорожке сада, он куда-то уходит от себя. Вдруг явилась Лидия и пошла рядом, крепко кутая грудь шалью.

— Ты хорошо говорил. Как будто это — не ты.

— Спасибо, — иронически ответил он.

— Я сегодня получила письмо от Макарова. Он пишет, что ты очень изменился и понравился ему.

— Вот как? Лестно.

— Оставь этот тон. Почему бы тебе не порадоваться, что нравишься? Ведь ты

любишь нравиться, я знаю…

— Не замечал этого за собою.

— Ты дурно настроен? Почему ты ушел от них?

— А — ты?

— Они мне надоели. Но все-таки — неловко, пойдем туда.

Лидия взяла его под руку, говоря задумчиво:

— Я была уверена, что знаю тебя, а сегодня ты показался мне незнакомым.

Клим Самгин осторожно и благодарно прижал ее руку, чувствуя, что она вернула его к самому себе.

В комнате раздраженно кричали. Алина, стоя у рояля, отмахивалась от Сомовой, которая наскакивала на нее прыжками курицы, возглашая:

— Бесстыдство! Цинизм!

А Иноков, улыбаясь несколько растерянно, говорил на о:

— Собственно, я всегда предпочту цинизм лицемерию, однако же вы заздлщаете поэзию семейных бань.

— Алина, нельзя же…

— Можно! — крикнула Телепнева, топнув ногой, — Я — докажу. Лида, слушай, я прочитаю стихи. Вы, Клим, тоже… Впрочем, вы… Ну, все равно…

Ее лицо пылало, ленивые глаза сердито блестели, она раздувала ноздри, но в ее возмущении Клим видел что-то неумелое и смешное. Когда она, выхватив из кармана листок бумаги, воинственно взмахнула им, Самгин невольно улыбнулся, — жест Алины был тоже детски смешной.

— Я и так помню, — успокаиваясь, заявила она и бережливо спрятала листок. — Вот, слушайте!

Закрыв глаза, она несколько секунд стояла молча, выпрямляясь, а когда ее густые ресницы медленно поднялись, Климу показалось, что девушка вдруг выросла на голову выше. Вполголоса, одним дыханием она сказала:

Сладострастные тени на темной постели окружили, легли, притаились, манят…

Стояла она — подняв голову и брови, удивленно глядя в синеватую тьму за окном, руки ее были опущены вдоль тела, раскрытые розовые ладони немного отведены от бедер.

Наблюдаю в мерцанье колен изваянья, беломраморность бедер, оттенки волос…

— слышал Клим.

Нехаева часто нашептывала такие болезненно чувственные стихи, и они всегда будили у Клима вполне определенные эмоции. Алина не будила таких эмоций; она удивленно и просто рассказывала с чужих слов чье-то сновидение. В памяти Клима воскрес образ девочки, которая — давно когда-то — лукаво читала милые ей стихи Фета. Но теперь и лукавство не звучало в сладострастных стихах, а только удивление. Именно это чувство слышал Клим в густых звуках красивого голоса, видел на лице, побледневшем, может быть, от стыда или страха, и в расширенных глазах. Голос все понижался, отягчаемый бредовыми словами. Читая медленнее и бессильней, точно она с трудом разбирала неясно написанное, Алина вдруг произнесла одну строку громко, облегченно вздохнув:

О далекое утро на вспененном взморье, странно алые краски стыдливой зари…

Казалось, что она затрудненно повторяет слова поэта, который, невидимо стоя рядом с нею, неслышно для других подсказывает ей пряные слова.

Прислонясь к стене, Клим уже не понимал слов, а слушал только ритмические колебания голоса и прикованно смотрел на Лидию; она, покачиваясь, сидела на стуле, глядя в одном направлении с Алиной.

…хаос,

— сказала Алина последнее слово стихотворения и опустилась на табурет у рояля, закрыв лицо ладонями.

— Возмутительно хорошо, — пробормотал Иноков. Сомова тихо подошла к подруге, погладила голову ее и сказала, вздыхая:

— Тебе не надо замуж выходить, ты — актриса.

— Нет, Люба, нет… Иноков угрюмо заторопился:

— Люба, нам — пора.

— И мне тоже, — сказала Алина, вставая. Подошла к Лидии, молча крепко поцеловалась с нею и спросила Инокова:

— Ну, что?

— Ваша взяла — возмутительно хорошо! — ответил он, сильно встряхнув ее руку.

Ушли. Луна светила в открытое окно. Лидия, подвинув к нему стул, села, положила локти на подоконник. Клим встал рядом. В синеватом сумраке четко вырезался профиль девушки, блестел ее темный глаз.

— О любви она читает неподражаемо, — заговорила Лидия, — но я думаю, что она только мечтает, а не чувствует. Макаров тоже говорит о любви празднично и тоже… мимо. Чувствует — Лютов. Это удивительно интересный человек, но он какой-то обожженный, чего-то боится… Мне иногда жалко его.

Говорила она — не глядя на Клима, тихо и как бы проверяя свои мысли. Выпрямилась, закинув руки за голова; острые груди ее высоко подняли легкую ткань блузы. Клим выжидающе молчал.

— Как все это странно… Знаешь — в школе за мной ухаживали настойчивее и больше, чем за нею, а ведь я рядом с нею почти урод. И я очень обижалась — не за себя, а за ее красоту. Один… странный человек, Диомидов, не просто — Демидов, а — Диомидов, говорит, что Алина красива отталкивающе. Да, так и сказал. Но… он человек необыкновенный, его хорошо слушать, а верить ему трудно.

Раньше чем Самгин успел сказать, что не понимает ее слов, Лидия спросила, заглянув под его очки:

— А ты заметил, что, декламируя, она становится похожа на рыбу? Ладони держит, точно плавники. Клим согласился:

— Да, поза деревянная.

— От этого ее не могли отучить в школе. Ты думаешь — злословлю? Завидую? Нет, Клим, это не то! — продолжала она, вздохнув. — Я думаю, что есть красота, которая не возбуждает… грубых мыслей, — есть?

— Конечно, — сказал Клим. — Ты странно говоришь. Почему красота должна возбуждать именно грубые?..

— Да, да, — ты не возражай! Если б я была красива, я бы возбуждала именно грубые чувства…

Сказав это решительно и торопливо, она тотчас спросила:

— Как ты назвал писателя о слепых? Метерлинк? Достань мне эту книгу. Нет — как удивительно, что ты именно сегодня заговорил о самом главном!

Голос ее прозвучал ласково, мягко и напомнил Климу полузабытые дни, когда она, маленькая, устав от игр, предлагала ему:

«Пойдем, посидим».

— Меня эти вопросы волнуют, — говорила она, глядя в небо. — На святках Дронов водил меня к Томилину; он в моде, Томилин. Его приглашают в интеллигентские дома, проповедовать. Но мне кажется, что он все на свете превращает в слова. Я была у него и еще раз, одна; он бросил меня, точно котенка в реку, в эти холодные слова, вот и всё.

Хотя она сказала это без жалобы, насмешливо, но Клим почувствовал себя тронутым. Захотелось говорить с нею простодушно, погладить ее руку.

— Расскажи что-нибудь, — попросила она. Он стал рассказывать о Туробоеве, думая:

«А что, если сказать ей о Нехаевой?» Послушав его ироническую речь не более минуты, Лидия сказала:

— Это неинтересно.

Но почти тотчас спросила небрежно:

— Он сильно болен?

— Не знаю, — удивленно ответил Клим. — Почему ты спрашиваешь? То есть почему ты думаешь?

— Я слышала, что у него — чахотка.

— Не заметно.

Замолчав, Лидия крепко вытерла платком губы, щеку, потом сказала, вздыхая:

— В школе у нас был товарищ Туробоева, совершенно невыносимый нахал, но исключительно талантливый. И — вдруг…

Нервно вздрогнув, она вскочила на ноги, подошла к дивану, окуталась шалью и, стоя там, заговорила возмущенным шопотом:

— Ты подумай, как это ужасно — в двадцать лет заболеть от женщины. Это — гнусно! Это уж —.подлость! Любовь и — это…

Она отодвинулась от Клима и почти упала в угол дивана.

— Ну, какая же любовь? — пробормотал Самгин. Лидия с гневом прервала его:

— Ах, оставь! Ты не понимаешь. Тут не должно быть болезней, болей, ничего грязного…

Раскачиваясь, согнув спину, она говорила сквозь зубы:

— И всё вообще, такой ужас! Ты не знаешь: отец, зимою, увлекался водевильной актрисой; толстенькая, красная, пошлая, как торговка. Я не очень хороша с Верой Петровной, мы не любим друг друга, но — господи! Как ей было тяжело! У нее

глаза обезумели. Видел, как она поседела? До чего все это грубо и страшно. Люди топчут друг друга. Я хочу жить, Клим, но я не знаю — как?

Последние слова она произнесла настолько резко, что Клим оробел. А она требовала:

— Ну, скажи, — как жить?

— Полюби, — тихо ответил он. — Полюбишь, и все будет ясно.

— Ты это знаешь? Испытал? Нет. И — не будет ясно. Не будет. Я знаю, что нужно любить, но я уверена — это мне не удастся.

— Почему?

Лидия молчала прикусив губы, опираясь локтями о колена свои. Смуглое лицо ее потемнело от прилива крови, она ослепленно прикрыла глаза. Климу очень хотелось сказать ей что-то утешительное, но он не успел.

— Вот я была в театральной школе для того, чтоб не жить дома, и потому, что я не люблю никаких акушерских наук, микроскопов и все это, — заговорила Лидия раздумчиво, негромко. — У меня есть подруга с микроскопом, она верит в него, как старушка в причастие святых тайн. Но в микроскоп не видно ни бога, ни дьявола.

— Ведь их и в телескоп не видно, — несмело пошутил Клим и упрекнул себя за робость.

Лидия, подобрав ноги, села в угол дивана.

— Мне кажется, — решительно начал Клим, — я даже уверен, — что людям, которые дают волю воображению, живется легче. Еще Аристотель сказал, что вымысел правдоподобнее действительности.

— Нет, — твердо возразила Лидия. — Это не так.

— Но разве поэзия — не вымысел?

— Нет, — еще более резко сказала девушка. — Я не умею спорить, но я знаю — это не верно. Я — не вымысел.

И, дотронувшись рукою до локтя Клима, она попросила:

— Не говори, как Томилин, цитатами… Это настолько смутило Клима, что он, отодвинувшись от нее, пробормотал растерянно:

— Как хочешь…

Минуту, две оба молчали. Потом Лидия тихо напомнила:

— Уже поздно.

Раздеваясь у себя в комнате, Клим испытывал острое недовольство. Почему он оробел? Он уже не впервые замечал, что наедине с Лидией чувствует себя подавленным и что после каждой встречи это чувство возрастает.

«Я — не гимназист, влюбленный в нее, не Макаров, — соображал он. — Я хорошо вижу ее недостатки, а достоинства ее, в сущности, неясны мне, — уговаривал он себя. — О красоте она говорила глупо. И вообще она говорит надуманно… неестественно для девушки ее лет».

Пытаясь понять, что влечет его к этой девушке, он не ощущал в себе не только влюбленности, но даже физиологического любопытства, разбуженного деловитыми ласками Маргариты и жадностью Нехаевой. Но его все более неодолимо тянуло к Лидии, и в этом тяготении он смутно подозревал опасность для себя. Иногда

казалось, что Лидия относится к нему с тем самомнением, которое было у него в детстве, когда все девочки, кроме Лидии, казались ему существами низшими, чем он. Вспоминая, что в тоненькой, гибкой его подруге всегда жило стремление командовать, Клим остановился на догадке, что теперь это стремление уродливо разрослось, отяжелело, именно его силою Лидия и подавляет. Оно — не в том, что говорит Лидия, оно прячется за словами и повелительно требует, чтоб Клим Самгин стал другим человеком, иначе думал, говорил, — требует какой-то необыкновенной откровенности. Она поучает:

«Ты говоришь слишком докторально и держишься с людями, как чиновник для особых поручений. Почему ты улыбаешься так натянуто?»

Все это возбуждало в Климе чувство протеста, сознание необходимости самообороны, и это сознание, напоминая о Макарове, диктовало:

«Не стану обращать внимания на нее, вот и все. Я ведь ничего не хочу от нее».

Он пробовал вести себя независимо, старался убедить Лидию, что относится к ней равнодушно, вертелся на глазах ее и очень хотел, чтоб она заметила его независимость. Она, заметив, небрежно спрашивала:

— На кого ты дуешься?

И затем неотразимо выпытывала:

— Почему тебе нравится «Наше сердце»? Это — неестественно; мужчине не должна нравиться такая книга.

Не всегда легко было отвечать на ее вопросы. Клим чувствовал, что за ними скрыто желание поймать его на противоречиях и еще что-то, тоже спрятанное в глубине темных зрачков, в цепком изучающем взгляде.

Однажды он, не стерпев, сердито сказал:

— Ты экзаменуешь меня, как мальчишку. Лидия удивленно спросила:

— Разве?

И, взглянув в его глаза с непонятной улыбкой, сказала довольно мягко:

— Нет, тебя и юношей не назовешь, ты такой… Поискав слово, она нашла очень неопределенное:

— Особенный.

И, по обыкновению, начала допрашивать:

— Что ты находишь в Роденбахе? Это — пена плохого мыла, на мой взгляд.

Как-то вечером, когда в окна буйно хлестал весенний ливень, комната Клима вспыхивала голубым огнем и стекла окон, вздрагивая от ударов грома, ныли, звенели, Клим, настроенный лирически, поцеловал руку девушки. Она отнеслась к этому жесту спокойно, как будто и не ощутила его, но, когда Клим попробовал поцеловать еще раз, она тихонько отняла руку свою.

— Ты не веришь мне, а я… — начал Клим, но она прервала его речь.

— Меньше всего ты похож на кавалера де-Грие. Я тоже не Манон.

Через минуту она, вздрогнув, сказала:

— Я думаю, что наиболее отвратительно любят женщин актеры.

Клим обеспокоенно спросил:

— Почему же именно актеры? Не ответила.

Такие мысли являлись у нее неожиданно, вне связи с предыдущим, и Клим всегда чувствовал в них нечто подозрительное, намекающее. Не считает ли она актером его? Он уже догадывался, что Лидия, о чем бы она ни говорила, думает о любви, как Макаров о судьбе женщин, Кутузов о социализме, как Нехаева будто бы думала о смерти, до поры, пока ей не удалось вынудить любовь. Клим Самгин все более не любил и боялся людей, одержимых одной идеей, они все насильники, все заражены стремлением порабощать.

Нередко ему казалось, что Лидия, играет с ним, это углубляло его неприязнь к ней, усиливало и робость его. Но он с удивлением отмечал, что и это не отталкивает его от девушки.

Всего хуже он чувствовал себя, когда она внезапно, среди беседы, погружалась в странное оцепенение. Крепко сжав губы, широко открыв глаза, она смотрела в упор и как бы сквозь него; на смуглом лице являлась тень неведомых дум. В такую минуту она казалась вдруг постаревшей, проницательной и опасно мудрой. Клим опускал голову, не вынося ее взгляда, ожидая, что сейчас она выдумает что-то необыкновенное, ненормальное и потребует, чтоб он исполнил эту ее выдумку. Он боялся, что не сумеет отказать ей. И только один раз нашел в себе достаточно смелости спросить:

— Что с тобой?

— Ничего, — ответила она обычаям для всех пустым словом.

Но затем, насильно осветив лицо свое медленной улыбкой, сказала:

— Молчун схватил. Павла, — помнишь? — горничная, которая обокрала нас и бесследно исчезла? Она рассказывала мне, что есть такое существо — Молчун. Я понимаю — я почти вижу его — облаком, туманом. Он обнимет, проникнет в человека и опустошит его. Это — холодок такой. В нем исчезает всё, все мысли, слова, память, разум — всё! Остается в человеке только одно — страх перед собою. Ты понимаешь?

— Да, — ответил Клим, глядя, как угасает ее деланная улыбка, и думая: «Это — игра. Конечно — игра!»

— А я — не понимаю, — продолжала она с новой, острой усмешкой. — Ни о себе, ни о людях — не понимаю. Я не умею думать… мне кажется. Или я думаю только о своих же думах. В Москве меня познакомили с одним сектантам, простенький такой, мордочка собаки. Он качался и бормотал:

Нога поет — куда иду?Рука поет — зачем беру?А плоть ноет — почто живу?

— Не правда ли — странно? Такой простой, худенький. Это не нужно, по-моему. Клим согласился:

— Не нужно.

Но Лидия вдруг спросила очень строго:

— А если — нужно? Почему ты знаешь: да или нет? Она постоянно делала так: заставит согласиться с нею и тотчас оспаривает свое же утверждение. Соглашался с нею Клим легко, а спорить не хотел, находя это бесплодным, видя, что она не слушает возражений.

Видел он и то, что его уединенные беседы с Лидией не нравятся матери. Варавка тоже хмурился, жевал бороду красными губами и говорил, что птицы вьют гнезда после того, как выучатся летать. От него веяло пыльной скукой, усталостью, ожесточением. Он являлся домой измятый, точно после драки. Втиснув тяжелое тело свое в кожаное кресло, он пил зельтерскую воду с коньяком, размачивал

бороду и жаловался на городскую управу, на земство, на губернатора. Он говорил:

— В России живет два племени: люди одного — могут думать и говорить только о прошлом, люди другого — лишь о будущем и, непременно, очень отдаленном. Настоящее, завтрашний день, почти никого не интересует.

Мать сидела против него, как будто позируя портретисту. Лидия и раньше относилась к отцу не очень ласково, а теперь говорила с ним небрежно, смотрела на него равнодушно, как на человека, не нужного ей. Тягостная скука выталкивала Клима на улицу. Там он видел, как пьяный мещанин покупал у толстой, одноглазой бабы куриные яйца, брал их из лукошка и, посмотрев сквозь яйцо на свет, совал в карман, приговаривая по-татарски:

— Якши. Чох якши.

Одно яйцо он положил мимо кармана и топтал его, под подошвой грязного сапога чмокала яичница. Пред гостиницей «Москва с но» на обломанной вывеске сидели голуби, заглядывая в окошко, в нем стоял черноусый человек без пиджака и, посвистывая, озабоченно нахмурясь, рассматривал, растягивал голубые подтяжки. Старушка с ласковым лицом, толкая пред собою колясочку, в которой шевелились, ловя воздух, игрушечные, розовые ручки, старушка, задев Клима колесом коляски, сердито крикнула:

— Не видите? А — в очках!

И, остановясь понюхать табаку, она долго и громко говорила что-то о безбожниках студентах. Клим шел и думал о сектанте, который бормочет: «Нога поет — куда иду?», о пьяном мещанине, строгой старушке, о черноусом человеке, заинтересованном своими подтяжками. Какой смысл в жизни этих людей?

В узеньком тупике между гнилых заборов человек двадцать мальчишек шумно играют в городки. В стороне лежит, животом на земле, Иноков, босый, без фуражки; встрепанные волосы его блестят на солнце шелком, пестрое лицо сморщено счастливой улыбкой, веснушки дрожат. Он кричит умоляющим тоном, возбужденно:

— Петя — не торопись! Спокойно! Бей попа!.. Попа… эх, мимо!

Иноков часто мелькал в глазах Клима. Вот он идет куда-то широко шагая, глядя в землю, спрятав руки, сжатые в кулак, за спиною, как бы неся на плечах невидимую тяжесть. Вот — сидит на скамье в городском саду, распустив губы, очарованно наблюдая капризные игры детей. Из подвала дома купцов Синёвых выползли на улицу тысячи каких-то червяков, они копошились, лезли на серый камень фундамента, покрывая его живым, черным кружевом, ползли по панели под ноги толпы людей, люди отступали пред ними, одни — боязливо, другие — брезгливо, и ворчали, одни — зловеще, другие — злорадно:

— Не к добру. Не к добру это.

— Ер-рунда, — кричит Иноков, хохочет, обнажая неровные, злые зубы, и объясняет:

— Сгнило что-то…

Люди сторонятся от него, длинного и тощего, так же как от червей.

Однажды Клим встретил его лицом к лицу, хотел поздороваться, но Иноков прошел мимо, выкатив глаза, как слепой, прикусив губу.

Раза два-три Иноков, вместе с Любовью Сомовой, заходил к Лидии, и Клим видел, что этот клинообразный парень чувствует себя у Лидии незваным гостем. Он бестолково, как засыпающий окунь в ушате воды, совался из угла в угол, встряхивая длинноволосой головой, пестрое лицо его морщилось, глаза смотрели на вещи в комнате спрашивающим взглядом. Было ясно, что Лидия не симпатична

ему и что он ее обдумывает. Он внезапно подходил и, подняв брови, широко открыв глаза, спрашивал:

— Тургенева — любите?

— Читаю.

— То есть — как это — читаете? Читали?

— Ну, хорошо, читала, — согласилась Лидия, улыбаясь, а Иноков поучительно напомнил ей:

— Читают библию, Пушкина, Шекспира, а Тургенева прочитывают, чтоб исполнить долг вежливости пред русской литературой.

Затем он начинал говорить глупости и дерзости:

— Тургенев — кондитер. У него — не искусство, а — пирожное. Настоящее искусство не сладко, оно всегда с горчинкой.

Сказал и отошел прочь. В другой раз, так же неожиданно, он спросил, подойдя сзади, наклоняясь над ее плечом:

— «Скучную историю» Чехова — читали? Забавно, а? Профессор всю жизнь чему-то учил, а под конец — догадался: «Нет общей идеи». На какой же цепи он сидел всю-то жизнь? Чему же — без общей идеи — людей учил?

— А — общая идея — это не общее место? — спросила Лидия.

Иноков, удивленно посмотрев на нее, пробормотал:

— Вот как? Н-да... не думал я. Не знаю. И продолжал настойчиво:

— У Чехова — тоже нет общей-то идеи. У него чувство недоверия к человеку, к народу. Лесков вот в человека верил, а в народ — тоже не очень. Говорил: «Дрянь славянская, навоз родной». Но он, Лесков, пронзил всю Русь. Чехов премного обязан ему.

— Не вижу этого, — с любопытством разглядывая Инокова, сказала Лидия.

— А вы почитайте их одного за другим, увидите... Он дотронулся пальцем до плеча девушки, заставив ее оі шатнуться:

— Слушайте-ка: а где эта красавица, подруга ваша?

— Вероятно, у себя дома. Вам ее нужно? — Лидия улыбалась, веснушки на лице Инокова тоже дрожали, губы по-детски расплылись, в глазах блестел мягкий смех.

— Смешно спросил? Ну — ничего! Мне, разумеется, ее не нужно, а — любопытно мне: как она жить будет? С такой красотой — трудно. И, потом, я все думаю, что у нас какая-нибудь Лола Монтес должна явиться при новом царе.

— Влюбился он в нее, вот что, — сказала Сомова, ласково глядя на своего друга. — Он у меня жадненький на яркое...

— Влюбился — это чепуха. Влюбляться я и не умею. А просто барышня эта в большие думы вгоняет меня. Уж очень — неуместная. Поэтому — печально мне думать о ней.

— Попробуйте не думать, — посоветовала Лидия. Иноков удивился, взмахнул бровями:

— Разве это можно: видеть и не думать? Когда он и Сомова ушли, Клим спросил Лидию:

— Почему ты говоришь с ним тоном старой барыни? Лидия тихонько посмеялась и объяснила, скрестив руки на груди, пожимая плечами:

— Я тоже чувствую, что это нелепо, но другого тона не могу найти. Мне кажется: если заговоришь с ним как-то иначе, он посадит меня на колени себе, обнимет и начнет допрашивать: вы — что такое?

Клим подумал и сказал:

— Да, от него можно ожидать всяких дерзостей. Как-то вечером Сомова пришла одна, очень усталая и, видимо, встревоженная.

— Я ночую у тебя, Лидуша! — объявила она. — Мой милейший Гришук пошел куда-то в уезд, ему надо видеть, как мужики бунтовать будут. Дай мне- попить чего-нибудь, только не молока. Вина бы, а?

Клим сходил вниз, принес бутылку белого вина, уселись втроем на диван, и Лидия стала расспрашивать подругу: что за человек Иноков?

— А я — не знаю, друзья мои! — начала Сомова, разводя руками с недоумением, которое Клим принял как искреннее.

— Знакома я с ним шесть лет, живу второй год, но вижу редко, потому что он все прыгает во все стороны от меня. Влетит, как шмель, покружится, пожужжит немножко и вдруг: «Люба, завтра я в Херсон еду». Merci, monsieur. Mais — pourquoi? Милые мои, — ужасно нелепо и даже горестно в нашей деревне по-французски говорить, а — хочется! Вероятно, для углубления нелепости хочется, а может, для того, чтоб напомнить себе о другом, о другой жизни.

Начала она говорить шутливо, с комическими интонациями, но продолжала уже задумчиво, хотя и не теряя грустного юмора.

— Надо, говорит, знать Россию. Все знать — его пунктик. У него даже в стихах это сказано:

Но эти цепи я разрушу.На то и воля мне дана,Затем и разбудил мне душуФанатик знанья, сатана!

— Да, вот и — нет его И писем нет, и меня как будто нет. Вдруг — влезает в дверь, ласковый, виноватый. Расскажи — где был, что видел? Расскажет что-нибудь не очень удивительное, но все-таки…

На глазах Сомовой явились слезы, она вынула платок, сконфуженно отерла глаза и усмехнулась:

— Нервы. Так вот: в Мариуполе, говорит, вдова, купчиха, за матроса-негра замуж вышла, негр православие принял и в церкви, на левом клиросе, тенором поет.

Сомова громко всхлипнула, снова закрыв платком глаза.

— В негра я не верю, негра он выдумал. Но выдумывать несообразное — это тоже его конек. Он с жизнью, точно с капризной женой, спорит: ах, ты вот как? Ну, а я могу еще замысловатее. Ох, дети мои, пугает он меня этим! В селе у нас был отчаянный озорник Микешка Бобыль, житья никому не давал озорством. Гриша, когда жил там, присмотрелся к нему и стал при каждой встрече вставать пред ним на руки, вверх ногами. Все смеются — что такое? И Микешка смеется. Но девки, парни стали дразнить его: «А ты, Бобыль, эдак-то не можешь!» Тот рассердился, полез драться с Гришей. Но Гриша — сильнее, повалил его на землю и начал трепать за уши, как мальчишку, а Бобылю под сорок лет. Треплет и приговаривает:

«Не дури, не дури! Дурить всякий может, да еще и лучше тебя!»

Сомова поморщилась и, вздохнув, продолжала тише:

— Правду говоря, — нехорошо это было видеть, когда он сидел верхом на спине Бобыля. Когда Григорий злится, лицо у него… жуткое! Потом Микеша плакал. Если б его просто побили, он бы не так обиделся, а тут — за уши! Засмеяли его, ушел в батраки на хутор к Жадовским. Признаться — я рада была, что ушел, он мне в комнату всякую дрянь через окно бросал — дохлых мышей, кротов, ежей живых, а я страшно боюсь ежей!

Сомова вздрогнула, выпила вина и, облизав губы, сказала, как бы вспоминая очень отдаленное:

— Мужики любили Григория. Он им рассказывал все, что знает. И в работе всегда готов помочь. Он — хороший плотник. Телеги чинил. Работать он умеет всякую работу.

И, уныло помолчав, она добавила, вздыхая:

— Весело работает.

Выслушав этот рассказ, Клим решил, что Иноков действительно ненормальный и опасный человек. На другой день он сообщил свое умозаключение Лидии, но она сказала очень, твердо:

— Такие мне нравятся.

— А ты ему, кажется, не очень по душе. Лидия промолчала, искоса взглянув на него. Дня через два Сомова прибежала очень взволнованная.

— Губернатор приказал выслать Инокова из города, обижен корреспонденцией о лотерее, которую жена его устроила в пользу погорельцев. Гришу ищут, приходила полиция, требовали, чтоб я сказала, где он. Но — ведь я же не знаю! Не верят.

Она, сидя на стуле, схватилась за голову и, покачиваясь, продолжала:

— Не могу же я сказать: он пошел туда, где мужики бунтуют! Да и этого не знаю я, где там бунтуют.

Лидия начала успокаивать ее, но она говорила, всхлипывая:

— Ты не понимаешь. Он ведь у меня слепенький к себе самому. Он себя не видит. Ему — поводырь нужен, нянька нужна, вот я при нем в этой должности… Лида, попроси отца… впрочем — нет, не надо!

Она сорвалась со стула, быстро поцеловала подругу и пошла к двери, но, остановясь, сказала:

— Я думаю, что Дронов проболтался о корреспонденции, никто, кроме него, не знал о ней. А они узнали слишком быстро. Наверное — Дронов… Прощайте!

Ушла, и вот уж более двух недель ее не видно в городе.

Клим вспомнил все это, сидя в городском саду над прудом, разглядывая искаженное отражение свое в зеленоватой воде. Макая трость в воду, он брызгал на белое пятно и, разбив его, следил, как снова возникает голова его, плечи, блестят очки.

«Зачем нужны такие люди, как Сомова, Иноков? Удивительно запутана, засорена жизнь», — думал он, убеждая себя, что жизнь была бы легче, проще и без Лидии, которая, наверное, только потому кажется загадочной, что она труслива, трусливее Нехаевой, но так же напряженно ждет удобного случая, чтоб отдать себя на волю инстинкта. Было бы спокойнее жить без Томилина, Кутузова, даже без Варавки, вообще без всех этих мудрецов и фокусников. Слишком много людей, которые стремятся навязать другим свои выдумки, домыслы и в этом полагают цель своей жизни. Туробоев не плохо сказал:

«Каждый из нас ходит по земле с колокольчиком на шее, как швейцарская корова».

Когда мысли этого цвета и порядка являлись у Самгина, он хорошо чувствовал, что вот это — подлинные его мысли, те, которые действительно отличают его от всех других людей. Но он чувствовал также, что в мыслях этих есть что-то нерешительное, нерешенное и робкое. Высказывать их вслух не хотелось. Он умел скрывать их даже от Лидии.

На воде пруда, рядом с белым пятном его тужурки, вдруг явилось темное пятно, и в ту же секунду бабий голос обиженно спросил его:

— Ты что ж, Самгин, зазнался?

Клим вздрогнул, взмахнул тростью, встал — рядом с ним стоял Дронов. Тулья измятой фуражки съехала на лоб ему и еще больше оттопырила уши, из-под козырька блестели бегающие глазки.

— Я же просил тебя повидаться со мной. Сомова говорила тебе?

— Не было времени, — сказал Самгин, дожимая шершавую, жесткую руку.

— А — сидеть над тухлой водой есть время? Сморкаясь и кашляя, Дронов плевал в пруд, Клим заметил, что плевки аккуратно падают в одну точку или слишком близко к ней, точкой этой была его, Клима, белая фуражка, отраженная на воде. Он отодвинулся, внимательно взглянув в лицо Ивана Дронова. На лице, сильно похудевшем, сердито шевелился красный, распухший носик, раздраженно поблескивали глаза, они стали светлее, холодней и уже не так судорожно бегали, как это помнил Клим. Незнакомым, гнусавым голосом Дронов отрывисто и быстро рассказал, что живет он плохо, работы — нет, две недели мыл бутылки в подвале пивного склада и вот простудился.

— Папирос у тебя нет?

— Не курю.

— Да, я забыл. И не будешь курить?

— Не знаю, — ответил Клим, пожимая плечами.

— Конечно — не будешь.

Дронов протяжно, со свистом вздохнул, закашлялся, потом сказал:

— Значит — учишься? А меня вот раздразнили и — выбросили. Не совали бы в гимназию, писал бы я вывески или иконы, часы чинил бы. Вообще работал бы что-нибудь легкое. А теперь вот живи недоделанным.

Клим, взглянув на его оттопыренное ухо, подумал:

«Ты бы не таскал в гимназию запрещенных книг».

Он даже хотел сказать это Дронову, но тот, как бы угадав его мысль, сам заговорил:

— Когда эти идиоты выгнали меня из гимназии, там только трое семиклассников толстовские брошюрки читали, а теперь…

Он махнул рукой.

— Мозги-то все сильнее чешутся. Тут явился Исаия пророк, вроде твоего дядюшки, уговаривает: милые дети, будьте героями, прогоните царя.

— Ты — что же? Соглашаешься прогнать?

— Я в эту игру не играю. Я, брат, не верю ни дядям, ни тетям.

С легкой усмешкой на кривых губах, поглаживая темный пух на подбородке, Дронов заговорил добродушнее:

— Томилину — верю. Этот ничего от меня не требует, никуда не толкает. Устроил у себя на чердаке какое-то всесветное судилище и — доволен. Шевыряется в книгах, идеях и очень просто доказывает, что все на свете шито белыми нитками. Он, брат, одному учит — неверию. Тут уж — бескорыстно, а?

И, заглянув в глаза Клима, он повторил:

— Ведь — бескорыстно?

— Да…

Дронов снял фуражку и хлопнул ею по колену, продолжая еще более успокоенно:

— Замечательный человек. Живет — не морщится. На днях тут хоронили кого-то, и один из провожатых забавно сказал: «Тридцать девять лет жил — морщился, больше не стерпел — помер». Томилин — много стерпит.

Крепок татарин — не изломится. Жиловат, собака, — не изорвется!

Серые облака поднялись из-за деревьев, вода потеряла свой масляный блеск, вздохнул прохладный ветер, покрыл пруд мелкой рабью, мягко пошумел листвой деревьев, исчез.

«Долго он будет говорить?» — подумал Клим, искоса разглядывая Дронова.

— Написал он сочинение «О третьем инстинкте»; не знаю. в чем дело, но эпиграф подсмотрел: «Не ищу утешений, а только истину». Послал рукопись какому-то профессору в Москву; тот ему ответил зелеными чернилами на первом листе рукописи: «Ересь и нецензурно».

С явным удовольствием, но негромко и как-то неумело он засмеялся, растягивая фуражку на пальцах рук.

— Он бы, конечно, зачах с голода — повариха спасла. Она его святым считает. Одела в мужево платье, поит, кормит. И даже спит с ним. Что ж?

Даром ничто не дается. СудьбаЖертв искупительных просит.

Повариха ему, философу, — судьба.

Говорил Дронов порывисто и торопливо, желая сказать между двумя припадками кашля как можно больше. Слушать его было трудно и скучно. Клим задумался о своем, наблюдая, как Дронов истязует фуражку.

— У литератора Писемского судьбою тоже кухарка была; он без нее на улицу не выходил. А вот моя судьба все еще не видит меня.

Самгину вдруг захотелось спросить о Маргарите, но он подавил это желание, опасаясь еще более затянуть болтовню Дронова и усилить фамильярный тон его. Он вспомнил, как этот неудобный парень, высмеивая мучения Макарова, сказал, снисходительно и цинично:

«Урод. Чего боится? На первый раз закрыл бы глаза, как будто касторку принимает, вот и все».

— Дядя твой рычит о любви…

— Он арестован.

— Знаю. Но у него любовь — для драки… «Это, пожалуй, верно», — подумал Клим.

— А Томилин из операций своих исключает и любовь и все прочее. Это, брат, не плохо. Без обмана. Ты что не зайдешь к нему? Он знает, что ты здесь. Он тебя хвалит: это, говорит, человек независимого ума.

— Конечно, зайду, — сказал Клим. — Мне нужно съездить на дачу, сделать одну работу; завтра и поеду…

Работы у него не было, на дачу он не собирался, но ему не хотелось идти к Томилину, и его все более смущал фамильярный тон Дронова. Клим чувствовал себя независимее, когда Дронов сердито упрекал его, а теперь многоречивость Дронова внушала опасение, что он будет искать частых встреч и вообще мешать жить.

— Тебе, Иван, не надо ли денег?

Он сам тотчас же понял, что об этом следовало спросить раньше или позже.

Дронов встал, оглянулся, медленно натянул фуражку на плоский свой череп и снова сел, сказав:

— Надо.

Получив деньги, он вытянул ногу резким жестом, сунул их в карман измятых брюк, застегнул единственную пуговицу серого пиджака, вытертого на локтях.

— Сапоги починю.

И, плюнув в темную воду пруда, рассказал зачем-то:

— Минувшим летом здесь, на глазах гуляющей публики, разделся донага и стал купаться земский начальник Мусин-Пушкин. А через несколько дней, у себя в деревне, он стал стрелять из окна волчьей картечью в стадо, возвращавшееся с выгона. Мужики связали его, привезли в город, а здесь врачи установили, что земский давно уже, месяца два-три назад тому, сошел с ума. В этом состоянии безумия он занимался очередными делами, судил людей. А Бронский, тоже земский начальник, штрафует мужиков на полтинник, если они не снимают шапок пред его лошадью, когда конюх ведет ее купать.

Посидев еще минуты две, Клим простился и пошел домой. На повороте дорожки он оглянулся: Дронов еще сидел на скамье, согнувшись так, точно он собирался нырнуть в темную воду пруда. Клим Самгин с досадой ткнул землю тростью и пошел быстрее.

Он был очень недоволен этой встречей и самим собою за бесцветность и вялость, которые обнаружил, беседуя с Дроновым. Механически воспринимая речи его, он старался догадаться: о чем вот уж три дня таинственно шепчется Лидия с Алиной и почему они сегодня внезапно уехали на дачу? Телепнева встревожена, она, кажется, плакала, у нее усталые глаза; Лидия, озабоченно ухаживая за нею, сердито покусывает губы.

Он шел встречу ветра по главной улице города, уже раскрашенной огнями фонарей и магазинов; под ноги ему летели клочья бумаги, это напомнило о письме, которое Лидия и Алина читали вчера, в саду, напомнило восклицание Алины:

— Нет, каков? Вот — хам!

«Неужели это она о Лютове? — соображал Клим. — Вероятно, у нее не один роман».

Ветер брызгал в лицо каплями дождя, тепленькими, точно слезы Нехаевой. Клим взял извозчика и, спрятавшись под кожаным верхом экипажа, возмущенно подумал, что Лидия становится для него наваждением, болезнью, мешает жить.

Приехав домой, он только что успел раздеться, как явились Лютов и Макаров. Макаров, измятый, расстегнутый, сиял улыбками и осматривал гостиную, точно любимый трактир, где он давно не был. Лютов, весь фланелевый, в яркожелтых ботинках, был ни с чем несравнимо нелеп. Он сбрил бородку, оставив реденькие усики кота, это неприятно обнажило его лицо, теперь оно показалось Климу лицом монгола, толстогубый рот Лютова не по лицу велик, сквозь улыбку, судорожную и кривую, поблескивают мелкие, рыбьи зубы.

Клима изумила торопливая небрежность, с которой Лютов поцеловал руку матери и завертел шеей, обнимая ее фигуру вывихнутыми глазами.

«Застенчив или нахал?» — спросил Клим себя, неприязненно наблюдая, как зрачки Лютова быстро бегают по багровому лицу Варавки, и еще более изумился, увидав, что Варавка встретил москвича с удовольствием и даже почтительно.

— Дядя мой, Радеев, сообщил вам…

— Как же, как же, — воскликнул Варавка, подвигая гостю кресло.

— Вы покупаете землю некоего Туробоева…

— Именно.

— Там есть спорный участок, право Туробоева на владение коим оспаривается теткой невесты моей Алины Марковны Телепневой, подруги дочери вашей…

Клим слышал, что Лютов подражает голосу подьячего из «Каширской старины», говорит тоном сутяги, нарочито гнусавя.

«Конечно, это его Алина назвала хамом…»

— …которая, надеюсь, в добром здоровье?

— Совершенно. Сегодня уехала на дачу вместе с невестой вашей…

— Сегодня-с? — со свистом спросил Лютов и привстал, упираясь руками в ручки кресла. Но тотчас же опустился, сказав: — Не взирая на дурную погоду?

Клим почувствовал в этом движении Лютова нечто странное и стал присматриваться к нему внимательнее, но Лютов уже переменил тон, говоря с Варавкой о земле деловито и спокойно, без фокусов.

Подозрительно было искусно сделанное матерью оживление, с которым она приняла Макарова; так она встречала только людей неприятных, но почему-либо нужных ей. Когда Варавка увел Лютова в кабинет к себе, Клим стал наблюдать за нею. Играя лорнетом, мило улыбаясь, она сидела на кушетке, Макаров на мягком пуфе против нее.

— Клим говорил мне, что профессора любят вас… Макаров посмеивался:

— Легче преподавать науки, чем усваивать оные… «Зачем она выдумывает? — догадывался Клим. — Я никогда не говорил ничего подобного».

Вошла горничная и сказала Вере Петровне:

— Барин просят вас…

Когда мать торопливо исчезла, Макаров спросил удивленно:

— Алина сегодня уехала? Странно.

— Почему?

— Да… так! Клим усмехнулся.

— Тайна?

— Нет, ерунда… Ты нездоров или сердит?

— Устал.

Клим посмотрел в окно. С неба отклеивались серенькие клочья облаков и падали за крыши, за деревья.

«Невежливо, что я встал спиною к нему», — вяло подумал Клим, но не обернулся, спрашивая:

— Они поссорились?

Вместо ответа Макарова раздался строгий вопрос матери:

— Разве вы не думаете, что упрощение — верный признак ума нормального?

Лютов, закуривая папиросу, криво торчавшую в янтарном мундштуке, чмокал губами, мигал и бормотал:

— Наивного-с… наивного!

Он, мать и Варавка сгрудились в дверях, как бы не решаясь войти в комнату; Макаров подошел, выдернул папиросу из мундштука Лютова, сунул ее в угол своего рта и весело заговорил:

— Если он вам что-нибудь страшное изрек — вы ему не верьте! Это — для эпатажа.

А Лютов, вынув часы, постукивая мундштуком по стеклу, спросил:

— Идем, Константин? И обратился к Варавке:

— Так вы поторопите Туробоева?

Рядом с массивным Варавкой он казался подростком, стоял опустив плечи, пожимаясь, в нем было даже что-то жалкое, подавленное.

Когда неожиданные гости ушли, Клим заметил:

— Странный визит.

— Деловой визит, — поправил Варавка и тотчас же, играя бородой, прижав Клима животом к стене, начал командовать:

— Завтра утром поезжай на дачу, устрой там этим двум комнату внизу, а наверху — Туробоеву. Чуешь? Ну, вот…

Он ушел к себе наверх, прыгая по лестнице, точно юноша; мать, посмотрев вслед ему, вздохнула и сморщилась, говоря:

— Бог мой! До чего антипатичен этот Лютов! Что нашла в нем Алина?

— Деньги, — нехотя ответил Клим, садясь к столу.

— Как хорошо, что. ты не ригорист, — сказала мать, помолчав. Клим тоже молчал, не находя, о чем говорить с нею. Заговорила она негромко и, очевидно, думая о другом:

— Странное лицо у Макарова. Такое раздражающее, если смотреть в профиль. Но анфас — лицо другого человека. Я не говорю, что он двуличен в смысле нелестном для него. Нет, он… несчастливо двуличен…

— Как это понять? — из вежливости спросил Клим; пожав плечами, Вера Петровна ответила:

— Впечатление.

Она говорила еще что-то о Туробоеве. Клим, не слушая, думал:

«Стареет. Болтлива».

Когда она ушла, он почувствовал, что его охватило, точно сквозной ветер, неизведанное им, болезненное чувство насыщенности каким-то горьким дымом, который, выедая мысли и желания, вызывал почти физическую тошноту. Как будто в голове, в груди его вдруг тихо вспыхнули, но не горят, а медленно истлевают человеческие способности думать и говорить, способность помнить. Затем явилось тянущее, как боль, отвращение к окружающему, к этим стенам в пестрых квадратах картин, к черным стеклам окон, прорубленных во тьму, к столу, от которого поднимался отравляющий запах распаренного чая н древесного угля.

Клим упорно смотрел в пустой стакан, слушал тонкий писк угасавшего самовара и механически повторял про себя одно слово:

«Тоска».

Бездействующий разум не требовал и не воскрешал никаких других слов. В этом состоянии внутренней немоты Клим Самгин перешел в свою комнату, открыл окно и сел, глядя в сырую тьму сада, прислушиваясь, как стучит и посвистывает двухсложное словечко. Туманно подумалось, что, вероятно, вот в таком состоянии угнетения бессмыслицей земские начальники сходят с ума. С какой целью Дронов рассказал о земских начальниках? Почему он, почти всегда, рассказывает какие-то дикие анекдоты? Ответов на эти вопросы он не искал.

Когда ему стало холодно, он как бы выскользнул из пустоты самозабвения. Ему показалось, что прошло несколько часов, но, лениво раздеваясь, чтобы лечь в постель, он услышал отдаленный звон церковного колокола и сосчитал только одиннадцать ударов.

«Только? Странно…»

Спать он лег, чувствуя себя раздавленным, измятым, и проснулся, разбуженный стуком в дверь, горничная будила его к поезду. Он быстро вскочил с постели и несколько секунд стоял, закрыв глаза, ослепленный удивительно ярким блеском утреннего солнца. Влажные листья деревьев за открытым окном тоже ослепительно сияли, отражая в хрустальных каплях дождя разноцветные, короткие и острые лучики. Оздоровляющий запах сырой земли и цветов наполнял комнату; свежесть утра щекотала кожу. Клим Самгин, вздрагивая, подумал:

«Нелепое настроение было у меня вчера».

Но, прислушавшись к себе, он нашел, что от этого настроения в нем осталась легкая тень.

«Болезнь роста души», — решил он, торопливо одеваясь.

Вечером он сидел на песчаном холме у опушки сосновой рощи, прослоенной березами; в сотне шагов пред глазами его ласково струилась река, разноцветная в лучах солнца, горела парчовая крыша мельницы, спрятанной среди уродливых ветел, поля за рекою весело ощетинились хлебами. Клим видел пейзаж похожим на раскрашенную картинку из книги для детей, хотя знал, что это место славится своей красотой. На горбе холма, формою своей подобного парадной шляпе мирового судьи, Варавка выстроил большую, в два этажа, дачу, а по скатам сползали к реке еще шесть пестреньких домиков, украшенных резьбою в русском стиле. В крайнем, направо, жил опекун Алины, угрюмый старик, член окружного суда, остальные дачи тоже были сняты горожанами, но еще не заселены.

Было очень тихо, только жуки гудели в мелкой листве берез, да вечерний ветер, тепло вздыхая, шелестел хвоей сосен. Уже не один раз Клим слышал в тишине сочный голос, мягкий смех Алины, но упрямо не хотел пойти к девицам. По дыму из труб дачи Варавки, по открытым окнам и возне прислуги, Лидия и Алина должны были понять, что кто-то приехал. Клим несколько раз выходил на балкон дачи и долго стоял там, надеясь, что девицы заметят его и прибегут. Он видел тонкую фигуру Лидии в оранжевой блузе и синей юбке, видел Алину в красном. Трудно было поверить, что они не заметили его.

Хорошо бы внезапно явиться пред ними и сказать или сделать что-нибудь необыкновенное, поражающее, например, вознестись на воздух или перейти, как по земле, через узкую, но глубокую реку на тот берег.

«Как это глупо», — упрекнул себя Клим и вспомнил, что за последнее время такие детские мысли нередко мелькают пред ним, как ласточки. Почти всегда они связаны с думами о Лидии, и всегда, вслед за ними, являлась тихая тревога, смутное предчувствие опасности.

Быстро темнело. В синеве, над рекою, повисли на тонких ниточках лучей три звезды и отразились в темной воде масляными каплями. На даче Алины зажгли огни в двух окнах, из реки всплыло уродливо большое, квадратное лицо с желтыми, расплывшимися глазами, накрытое островерхим колпаком. Через несколько минут с крыльца дачи сошли на берег девушки, и Алина жалобно вскрикнула:

— Господи, какая скука! Я не переживу…

— Иди же, — сказала Лидия с явной досадой. Клим встал и быстро пошел к ним.

— Ты? — удивилась Лидия. — Почему так таинственно? Когда приехал? В пять?

Кроме удивления, Клим услыхал в ее словах радость. Алина тоже обрадовалась.

— Чудесно! Мы едем в лодке. Ты будешь грести. Только, пожалуйста, Клим, не надо умненьких разговорчиков. Я уже знаю все умненькое, от ихтиозавров до Фламмарионов, нареченный мой все рассказал мне.

С полчаса Клим греб против течения, девушки молчали, прислушиваясь, как хрупко плещет под ударами весел темная вода. Небо все богаче украшалось звездами. Берега дышали пьяненьким теплом весны. Алина, вздохнув, сказала:

— Мы с тобой, Лидок, праведницы, и за это Самгин, такой беленький ангел, перевозит нас живыми в рай.

— Харон, — тихо сказал Клим.

— Что? Харон седой и с бородищей, а тебе и до бородки еще долго жить. Ты помешал мне, — капризно продолжала она. — Я придумала и хотела сказать что-то смешное, а ты… Удивительно, до чего все любят поправлять и направлять! Весь мир — какое-то исправительное заведение для Алины Телепневой. Лидия целый день душила унылыми сочинениями какого-то Метелкина, Металкина. Опекун совершенно серьезно уверяет меня, что «Герцогиня Герольдштейнская» женщина не историческая, а выдумана Оффенбахом оперетки ради. Проклятый жених мой считает меня записной книжкой, куда он заносит, для сбережения, свои мысли…

Лидия тихонько засмеялась, улыбнулся и Клим.

— Нет, серьезно, — продолжала девушка, обняв подругу и покачиваясь вместе с нею. — Он меня скоро всю испишет! А впадая в лирический тон, говорит, как дьячок.

Подражая голосу Лютова, она пропела в нос:

— «О, велелепая дщерь! Разреши мя уз молчания, ярюся бо сказати тобе словеса

душе умилительные». Он, видите ли, уверен, что это смешно — ярюся и тобе…

Задумчиво прозвучал голос Лидии:

— Ты относишься к нему легкомысленно. Он — застенчив, его смущают глаза…

— Да? Легкомысленно? — задорно спросила Алина. — А как бы ты отнеслась к жениху, который все только рассказывает тебе о материализме, идеализме и прочих ужасах жизни? Клим, у тебя есть невеста?

— Нет еще.

— Представь, что уже есть. О чем бы ты говорил с нею?

— Конечно — обо всем, — сказал Самгин, понимая, что пред ним ответственная минута. Делая паузы, вполне естественные и соразмерные со взмахами весел, он осмотрительно заговорил о том, что счастье с женщиной возможно лишь при условии полной искренности духовного общения. Но Алина, махнув рукою, иронически прервала его речь:

— Это я слышала. Вероятно, и лягушки квакают об этом же…

Клим, не смущаясь, сказал:

— Но каждая женщина раз в месяц считает себя обязанной солгать, спрятаться…

— Почему — только раз? — все так же, с иронией, спросила Алина, а Лидия сказала глухо:

— Это ужасно верно.

— Что — верно? — спросила Алина нетерпеливо и — возмутилась:

— Вам не стыдно, Самгин?

— Нет, мне грустно, — ответил Клим, не взглянув на нее и на Лидию. — Мне кажется, что есть…

Ему хотелось сказать — девушки, но он удержался.

— Женщины, которые из чувства ложного стыда презирают себя за то, что природа, создавая их, грубо наглупила. И есть девушки, которые боятся любить, потому что им кажется: любовь унижает, низводит их к животным.

Он говорил осторожно, боясь, чтоб Лидия не услышала в его словах эхо мыслей Макарова, — мыслей, наверное, хорошо знакомых ей.

— Может быть, некоторые потому и… нечистоплотно ведут себя, что торопятся отлюбить, хотят скорее изжить в себе женское — по их оценке животное — и остаться человеком, освобожденным от насилий инстинкта…

— Это удивительно верно, Клим, — произнесла Лидия негромко, но внятно.

Клим чувствовал, что в тишине, над беззвучным движением темной воды, слова его звучат внушительно.

— Вы знаете таких женщин? Хоть одну? — тихо и почему-то сердито спросила Алина.

«Да или нет?» — осведомился Клим у себя. — Нет, не знаю. Но уверен, что такие женщины должны быть.

— Конечно, — сказала Лидия.

Клим замолчал. Девицы тоже молчали; окутавшись шалью, они плотно прижались

друг ко другу. Через несколько минут Алина предложила:

— Пора домой?

Лодка закачалась и бесшумно поплыла по течению. Клим не греб, только правил веслами. Он был доволен. Как легко он заставил Лидию открыть себя! Теперь совершенно ясно, что она боится любить и этот страх — все, что казалось ему загадочным в ней. А его робость пред нею объясняется тем, что Лидия несколько заражает его своим страхом. Удивительно просто все, когда умеешь смотреть. Думая, Клим слышал сердитые жалобы Алины:

— Все-таки не обошлось без умненького разговорчика! Ох, загонят меня эти разговорчики куда-то, «иде же несть ни печали, ни воздыхания, но жизнь»… скоротечная.

Алина захохотала, раскачиваясь, хлопая себя ладонями по коленям, повторяя:

— Ой, господи! Скоротечная… И смех и жесты ее Клим нашел грубыми. Опустив руку за борт, Лидия так сильно покачнула лодку, что подруга ее испугалась.

— Да ты с ума сходишь!

Лидия, брызнув водою в лицо ее и гладя мокрой ладонью щеки свои, сказала:

— Трусиха.

С одной стороны черной полосы воды возвышались рыжие бугры песка, с другой неподвижно торчала щетина кустов. Алина указала рукою на берег:

— Смотри, Лида: голова земли наклонилась к воде пить, а волосы встали дыбом.

— Голова свиньи, — сказала Лидия. Когда прощались, Клим почувствовал, что она сжала руку его очень крепко и спросила необычно ласково:

— Ты приехал на все лето?

Алина, глядя на звезды, соображала:

— Значит, завтра явится мой нареченный. Обняв Лидию, она медленно пошла к даче, Клим, хватаясь за лапы молодых сосен, полез по крутому скату холма. Сквозь шорох хвои и скрип песка он слышал смех Телепневой, потом — ее слова:

— …Туробоев. Как же ты, душка, будешь жить между двух огней?

«Да, — подумал Клим. — Как?»

Он остановился, вслушиваясь, но уже не мог разобрать слов. И долго, до боли в глазах, смотрел на реку, совершенно неподвижную во тьме, на тусклые отражения звезд.

Утром на другой день со станции пришли Лютов и Макаров, за ними ехала телега, солидно нагруженная чемоданами, ящиками, какими-то свертками и кульками. Не успел Клим напоить их чаем, как явился знакомый Варавки доктор Любомудров, человек тощий, длинный, лысый, бритый, с маленькими глазками золотистого цвета, они прятались под черными кустиками нахмуренных бровей. Клим провел с этим доктором почти весь день, показывая ему дачи. Доктор смотрел на все вокруг унылым взглядом человека, который знакомится, с местом, где он должен жить против воли своей. Он покусывал губы, около ушей его шевелились какие-то шарики, а переходя с дачи на дачу, он бормотал:

— Так. Ну, что ж? Оч-чень хорошо. Наконец он сказал Климу решительно, басом:

— Значит, оставьте за мной эту. Но, поправив на голове серую, измятую шляпу, прибавил:

— Или — эту.

Клим устал от доктора и от любопытства, которое мучило его весь день. Хотелось знать: как встретились Лидия и Макаров, что они делают, о чем говорят? Он тотчас же решил идти туда, к Лидии, но, проходя мимо своей дачи, услышал голос Лютова:

— Нет, подожди, Костя, посидим еще… Лютов говорил близко, за тесной группой берез, несколько ниже тропы, по которой шел Клим, но его не было видно, он, должно быть, лежал, видна была фуражка Макарова и синий дымок над нею.

— Хочется мне поругаться, поссориться с кем-нибудь, — отчетливо звучал кларнетный голос Лютова. — С тобой. Костя, невозможно. Как поссоришься с лириком?

— А ты попробуй.

— Нет, не стану.

— Говорят — Фет злой. А — лирик.

Клим остановился. Ему не хотелось видеть ни Лютова, ни Макарова, а тропа спускалась вниз, идя по ней, он неминуемо был бы замечен. И подняться вверх по холму не хотелось, Клим устал, да все равно они услышали бы шум его шагов. Тогда они могут подумать, что он подслушивал их беседу. Клим Самгин стоял и, нахмурясь, слушал.

— Зачем ты пьешь при ней? — равнодушно спросил Макаров.

— Чтоб она видела. Я — честный парень.

— Истерик ты. И — выдумываешь много. Любишь, ну и — люби

без размышлений,Без тоски, без думы роковой.

— Для этого надо вытряхнуть мозг из моей головы.

— Тогда — отстань от нее.

— Для этого необходима воля. Макаров минуты две говорил вполголоса и так быстро, что Клим слышал только оторванные клочья фраз:

— Эгоизм пола… симуляция…

Затем снова начал Лютов, тоже негромко, но как-то пронзительно, печатать на тишине:

— Весьма зрело и очень интересно. Но ты забыл, что аз семь купеческий сын. Это обязывает измерять и взвешивать со всей возможной точностью. Алина Марковна тоже не лишена житейской мудрости. Она видит, что будущий спутник первых шагов жизни ее подобен Адонису весьма отдаленно и даже — бесподобен. Но она знает и учла, что он — единственный наследник фирмы «Братья Лютовы. Пух и перо».

Воркотня Макарова на несколько секунд прервала речь Лютова.

— Друг мой, ты глуп, как спичка, — продолжал Лютов. — Ведь я не картину покупаю, а простираюсь пред женщиной, с которой не только мое бренное тело, но и голодная душа моя жаждет слиться. И вот, лаская прекраснейшую руку женщины этой, я говорю: «Орудие орудий». — «Это что еще?» — спрашивает она. Отвечаю: «Так мудро поименовал руку человеческую один древний грек». — «А вы бы, сказала, своими словами говорили, может быть, забавнее выйдет». — Ты подумай, Костя, забавнее! И — только. Недоумеваю: разве я создан для забавы?

— Ну, довольно, Владимир. Иди спать! — громко и сердито сказал Макаров. — Я уже говорил тебе, что не понимаю этих… вывертов. Я знаю одно: женщина рождает мужчину для женщины.

— Сугубая ересь…

— Матриархат…

Лютов тонко свистнул, и слова друзей стали невнятны.

Клим облегченно вздохнул. За ворот ему вползла какая-то букашка и гуляла по спине, вызывая нестерпимый зуд. Несколько раз он пробовал осторожно потереть спину о ствол березы, но дерево скрипело и покачивалось, шумя листьями. Он вспотел от волнения, представляя, что вот сейчас Макаров встанет, оглянется и увидит его подслушивающим.

Жалобы Лютова он слушал с удовольствием, даже раза два усмехнулся. Ему казалось, что на месте Макарова он говорил бы умнее, а на вопрос Лютова:

«Разве я для забавы?» — ответил бы вопросом:

«А — для чего же?»

На месте, где сидел Макаров, все еще курился голубой дымок, Клим сошел туда; в песчаной ямке извивались золотые и синенькие червяки огня, пожирая рыжую хвою и мелкие кусочки атласной бересты.

«Какое ребячество», — подумал Клим Самгин и, засыпав живой огонь песком, тщательно притоптал песок ногою. Когда он поравнялся с дачей Варавки, из окна тихо окрикнул Макаров:

— Ты куда?

С неизбежной папиросой в зубах, с какой-то бумагой в руке, он стоял очень картинно и говорил:

— Девицы в раздражении чувств. Алина боится, что простудилась, и капризничает. Лидия настроена непримиримо, накричала на Лютова за то, что он не одобрил «Дневник Башкирцевой».

Опасаясь, что Макаров тоже пойдет к девушкам, Самгин решил посетить их позднее и вошел в комнату. Макаров сел на стул, расстегнул ворот рубахи, потряс головою и, положив тетрадку тонкой бумаги на подоконник, поставил на нее пепельницу.

— Все, брат, как-то тревожно скучают, — сказал он, хмурясь, взъерошивая волосы рукою. — По литературе не видно, чтобы в прошлом люди испытывали такую странную скуку. Может быть, это — не скука?

— Не знаю, — ответил Клим, испытывая именно скуку. Затем лениво добавил: — Говорят, что замечается оживление…

— Книжное.

Клим промолчал, присматриваясь, как в красноватом луче солнца мелькают странно обесцвеченные мухи; некоторые из них, как будто видя в воздухе неподвижную точку, долго дрожали над нею, не решаясь сесть, затем падали почти до пола и снова взлетали к этой невидимой точке. Клим показал глазами на тетрадку:

— Что это?

— Проект программы «Союза социалистов». Утверждает, что община создала нашего мужика более восприимчивым к социализму, чем крестьянин Запада.

Старая история. Это Лютов интересуется.

— От скуки?

Макаров пожал плечами.

— Н-нет, у него к политике какое-то свое отношение. Тут я его не понимаю.

— А во всем остальном, кроме этого, что такое он? Подняв брови, Макаров закурил папиросу, хотел бросить горящую спичку в пепельницу, но сунул ее в стакан молока.

— О, чорт!

Выплеснув молоко за окно, он посмотрел вслед белой струе и сообщил с досадой:

— На цветы. Пианино есть?

Он, очевидно, забыл о вопросе Клима или не хотел ответить.

— Зачем тебе пианино? Разве ты играешь? — сухо спросил Самгин.

— Представь — играю! — потрескивая сжатыми пальцами, сказал Макаров. — Начал по слуху, потом стал брать уроки... Это еще в гимназии. А в Москве учитель мой уговаривал меня поступить в консерваторию. Да. Способности, говорит. Я ему не верю. Никаких способностей нет у меня. Но — без музыки трудно жить, вот что, брат...

— Пианино вон в той комнате, у матери, — сказал Клим.

Макаров встал, небрежно сунул тетрадку в карман и ушел, потирая руки.

Как только зазвучали первые аккорды пианино, Клим вышел на террасу, постоял минуту, глядя в заречье, ограниченное справа черным полукругом леса, слева — горою сизых облаков, за которые уже скатилось солнце. Тихий ветер ласково гнал к реке зелено-седые волны хлебов. Звучала певучая мелодия незнакомой, минорной пьесы. Клим пошел к даче Телепневой. Бородатый мужик с деревянной ногой заступил ему дорогу.

— На сома поохотиться не желаете, господин? Клим, без слов, отмахнулся.

— Сомок — пуда на два, — уныло сказал мужик ему вслед.

Прислуга Алины сказала Климу, что барышня нездорова, а Лидия ушла гулять; Самгин спустился к реке, взглянул вверх по течению, вниз — Лидию не видно. Макаров играл что-то очень бурное. Клим пошел домой и снова наткнулся на мужика, тот стоял на тропе и, держась за лапу сосны, ковырял песок деревянной ногой, пытаясь вычертить круг. Задумчиво взглянув в лицо Клима, он уступил ему дорогу и сказал тихонько, почти в ухо:

— Солдатка тоже имеется... скусная!

Когда Клим взошел на террасу дачи, Макаров перестал играть, и торопливо поплыл сверлящий голосок Лютова:

— Народом обо всем подумано, милая Лидия Тимофеевна: и о рае неведения и об аде познания.

Огня в комнате не было, сумрак искажал фигуру Лютова, лишив ее ясных очертаний, а Лидия, в белом, сидела у окна, и на кисее занавески видно было только ее курчавую, черную голову. Клим остановился в дверях за спиною Лютова и слушал:

— Когда изгоняемый из рая Адам оглянулся на древо познания, он увидал, что бог

уже погубил древо: оно засохло. «И се диавол приступи Адамови и рече: чадо отринутое, не имаши путя инаго, яко на муку земную. И повлек Адама во ад земный и показа ему вся прелесть и вся скверну, их же сотвориша семя Адамово». На эту тему мадьяр Имре Мадач весьма значительную вещь написал. Так вот как надо понимать, Лидочка, а вы...

— Я — не о том, — сказала Лидия. — Я не верю... Кто это?

— Я, — ответил Клим.

— Почему ты являешься так таинственно? Клим услышал в ее вопросе досаду, обиделся и, подойдя к столу, зажег лампу. Вошел, жмурясь, растрепанный Макаров, искоса взглянул на Лютова и сказал, упираясь руками в плечи Лютова, вдавливая его в плетеное кресло:

— Самому не спится — других вгоняешь в сон? Лидия спросила:

— Зачем ты зажег лампу? Так хорошо сияли зарницы.

— Это не зарницы, а гроза, — поправил Клим и хотел погасить лампу, но Лидия сказала:

— Оставь.

Макаров, тихонько посвистывая, шагал по террасе, то появляясь, то исчезая, освещаемый безмолвным блеском молний.

— Проводите меня, — обратилась Лидия к Лютову, вставая со стула.

— С наслаждением.

Когда они вышли на террасу, Макаров заявил:

— И я пойду.

Но Лидия сказала:

— Нет, не надо.

Макаров, закинув руки за шею, минуту-две смотрел, как Лютов помогает Лидии идти, отводя от ее головы ветки молодого сосняка, потом заговорил, улыбаясь Климу:

— Слышал? Не надо. Чаще всех других слов, определяющих ее отношение к миру, к людям, она говорит: не надо.

Закурив папиросу, Макаров дожег спичку до конца и, опираясь плечом о косяк двери, продолжал тоном врача, который рассказывает коллеге историю интересной болезни:

— Беседуя с одним, она всегда заботится, чтоб другой не слышал, не знал, о чем идет речь. Она как будто боится, что люди заговорят неискренно, в унисон друг другу, но, хотя противоречия интересуют ее, — сама она не любит возбуждать их. Может быть, она думает, что каждый человек обладает тайной, которую он способен сообщить только девице Лидии Варавка?

Клим находил, что Макаров говорит верно, и негодовал: почему именно Макаров, а не он говорит это? И, глядя на товарища через очки, он думал, что мать — права: лицо Макарова — двойственно. Если б не его детские, глуповатые глаза, — это было бы лицо порочного человека. Усмехаясь, Клим сказал:

— Все-таки ты влюблен в нее.

— Я уже говорил тебе — нет.

Макаров дунул на папиросу так, что от огня ее полетели искры.

— Однако она не самолюбива. Мне даже кажется, что она недооценивает себя. Она хорошо чувствует, что жизнь — серьезнейшая штука и не для милых забав. Иногда кажется, что в ней бродит вражда к себе самой, какою она была вчера.

Макаров замолчал, потом тихонько засмеялся, говоря:

— Один естественник, знакомый мой, очень даровитый парень, но — скотина и альфонс, — открыто живет с богатой, старой бабой, — хорошо сказал: «Мы все живем на содержании у прошлого». Я как-то упрекнул его, а он и — выразился. Тут, брат, есть что-то…

— Ничего не вижу, кроме цинизма, — сказал Самгин. Надвигалась гроза. Черная туча покрыла все вокруг непроницаемой тенью. Река исчезла, и только в одном месте огонь из окна дачи Телепневой освещал густую — воду.

Очень мало похож был Макаров на того юношу в парусиновой, окровавленной блузе, которого Клим в страхе вел по улице. Эта несхожесть возбуждала и любопытство и досаду.

— Изменился ты, Константин, — неодобрительно заметил Самгин. Макаров, улыбаясь, спросил:

— К лучшему?

— Не знаю.

Макаров кивнул головой и провел ладонью по рассыпавшимся волосам.

— Мне кажется — спокойнее стал я. У меня, знаешь ли, такое впечатление осталось, как будто я на лютого зверя охотился, не в себя стрелял, а — в него. И еще: за угол взглянул.

Помолчав, он стал рассказывать задумчиво и тихо:

— В детстве я ничего не боялся — ни темноты, ни грома, ни драк, ни огня ночных пожаров; мы жили в пьяной улице, там часто горело. А вот углов — даже днем боялся; бывало, идешь по улице, нужно повернуть за угол, и всегда казалось, что там дожидается меня что-то, не мальчишки, которые могут избить, и вообще — не реальное, а какое-то… из сказки. Может быть, это был и не страх, а слишком жадное ожидание не похожего на то, что я видел и знал. Я, брат, к десяти годам уже знал много… почти все, чего не надо было знать в этом возрасте. Возможно, что ждал я того, что было мне еще не знакомо, все равно: хуже или лучше, только бы другое.

Глядя на Клима смеющимися глазами, он глубоко вздохнул.

— А теперь за все углы смотрю спокойно, потому что знаю: и за тем углом, который считают самым страшным, тоже ничего нет.

— Я считаю, что самое страшное в жизни — ложь! — сказал Клим Самгин непреклонным тоном.

— Да. И — глупость… На мой взгляд — люди очень глупо живут.

Оба замолчали.

— Пойду, поиграю еще, — сказал Макаров. Над столом вокруг лампы мелькали ненужные, серенькие создания, обжигались, падали на скатерть, покрывая ее пеплом. Клим запер дверь на террасу, погасил огонь и пошел спать.

Слушая, как рычит, приближаясь, гром, Клим задумался о чем-то беспредметном, что не укладывалось ни в слова, ни в образы. Он ощущал себя в потоке

неуловимого, — в потоке, который медленно проходил сквозь него, но как будто струился и вне мозга, в глухом реве грома, в стуке редких, крупных капель дождя по крыше, в пьесе Грига, которую играл Макаров. Скупо бросив несколько десятков тяжелых капель, туча прошла, гром стал тише, отдаленней, ярко взглянула в окно луна, и свет ее как бы толкнул все вокруг, пошевелилась мебель, покачнулась стена. На мельнице пугливо залаяла собака, Макаров перестал играть, хлопнула дверь, негромко прозвучал голос Лютова. Затем все примолкло, и в застывшей тишине Клим еще сильнее почувствовал течение неоформленной мысли.

Это не было похоже на тоску, недавно пережитую им, это было сновидное, тревожное ощущение падения в некую бездонность и мимо своих обычных мыслей, навстречу какой-то новой, враждебной им. Свои мысли были где-то в нем, но тоже бессловесные и бессильные, как тени. Клим Самгин смутно чувствовал, что он должен в чем-то сознаться пред собою, но не мог и боялся понять: в чем именно?

Разыгрался ветер, шумели сосны, на крыше что-то приглушенно посвистывало; лунный свет врывался в комнату, исчезал в ней, и снова ее наполняли шорохи и шопоты тьмы. Ветер быстро рассеял короткую ночь весны, небо холодно позеленело. Клим окутал одеялом голову, вдруг подумав:

«В сущности — я бездарен».

Но эта догадка, не обидев его, исчезла, и снова он стал прислушиваться, как сквозь его течет опустошающее, бесформенное.

Встал он рано, ощущая в голове какую-то пыль, думая:

«Откуда, отчего у меня являются такие настроения?» Когда он, один, пил чай, явились Туробоев и Варавка, серые, в пыльниках; Варавка был похож на бочку, а Туробоев и в сером, широком мешке не потерял своей стройности, а сбросив с плеч парусину, он показался Климу еще более выпрямленным и подчеркнуто сухим. Его холодные глаза углубились в синеватые тени, и что-то очень печальное, злое подметил Клим в их неподвижном взгляде.

Вытряхивая пыль из бороды, Варавка сказал Климу, что мать просит его завтра же вечером возвратиться в город.

— К ней приезжают эти музыканты, ты их знаешь, ну, и.:.

Он неопределенно помахал красной рукой, а Клим подумал почти озлобленно:

«Варавка и мать, кажется, нарочно гоняют меня, хотят, чтоб я как можно меньше оставался с Лидией».

Подумалось также, что люди, знакомые ему, собираются вокруг его с подозрительной быстротой, естественной только на сцене театра или на улице, при виде какого-нибудь несчастия. Ехать в город — не хотелось, волновало любопытство: как встретит Лидия Туробоева?

Варавка вытаскивал из толстого портфеля своего планы, бумаги и говорил о надеждах либеральных земцев на нового царя, Туробоев слушал его с непроницаемым лицом, прихлебывая молоко из стакана. В двери с террасы встал Лютов, мокроволосый, красный, и объявил, мигая косыми глазами:

— А я — выкупался!

— Р-раненько, р-рискованно, — укоризненно сказал Варавка. — Вот, позвольте, поз... представить вас...

Клим подметил, что Туробоев пожал руку Лютова очень небрежно, свою тотчас же сунул в карман и наклонился над столом, скатывая шарик из хлеба. Варавка быстро сдвинул посуду, развернул план и, стуча по его зеленым пятнам черенком

чайной ложки, заговорил о лесах, болотах, песках, а Клим встал и ушел, чувствуя, что в нем разгорается ненависть к этим людям.

В лесу, на холме, он выбрал место, откуда хорошо видны были все дачи, берег реки, мельница, дорога в небольшое село Никоново, расположенное недалеко от Варавкиных дач, сел на песок под березами и развернул книжку Брюнетьера «Символисты и декаденты». Но читать мешало солнце, а еще более — необходимость видеть, что творится там, внизу.

Около мельницы бородатый мужик в красной рубахе, игрушечно маленький, конопатил днище лодки, гулкие удары деревянного молотка четко звучали в тишине. Такая же игрушечная баба, встряхивая подолом, гнала к реке гусей. Двое мальчишек с удочками на плечах идут берегом, один — желтенький, другой — синий. Вот шагает Макаров, размахивая полотенцем, подошел к мосткам купальни, свесил босую ногу в воду, выдернул и потряс ею, точно собака. Затем лег животом на мостки поперек их, вымыл голову, лицо и медленно пошел обратно к даче, вытирая на ходу волосы, казалось, что он, обматывая полотенцем голову, хочет оторвать ее.

Пригретый солнцем, опьяняемый хмельными ароматами леса, Клим задремал. Когда он открыл глаза — на берегу реки стоял Туробоев и, сняв шляпу, поворачивался, как на шарнире, вслед Алине Телепневой, которая шла к мельнице. А влево, вдали, на дороге в село, точно плыла над землей тоненькая, белая фигурка Лидии.

«Видела она его? Говорили они?»

Он встал, хотел сойти к реке, но его остановило чувство тяжелой неприязни к Туробоеву, Лютову, к Алине, которая продает себя, к Макарову и Лидии, которые не желают или не умеют указать ей на бесстыдство ее.

«Если б я был так близок с нею, как они… А впрочем, чорт с ними…»

Он лениво опустился на песок, уже сильно согретый солнцем, и стал вытирать стекла очков, наблюдая за Туробоевым, который все еще стоял, зажав бородку свою двумя пальцами и помахивая серой шляпой в лицо свое. К нему подошел Макаров, и вот оба они тихо идут в сторону мельницы.

«В сущности, все эти умники — люди скучные. И — фальшивые, — заставлял себя думать Самгин, чувствуя, что им снова овладевает настроение пережитой ночи. — В душе каждого из них, под словами, наверное, лежит что-нибудь простенькое. Различие между ними и мной только в том, что они умеют казаться верующими или неверующими, а у меня еще нет ни твердой веры, ни устойчивого неверия».

Клим Самгин не впервые представил, как в него извне механически вторгается множество острых, равноценных мыслей. Они — противоречивы, и необходимо отделить от них те, которые наиболее удобны ему. Но, когда он пробовал привести в порядок все, что слышал и читал, создать круг мнений, который служил бы ему щитом против насилия умников и в то же время с достаточной яркостью подчеркивал бы его личность, — это ему не удавалось. Он чувствовал, что в нем кружится медленный вихрь различных мнений, идей, теорий, но этот вихрь только расслабляет его, ничего не давая, не всасываясь в душу, в разум. Иногда его уже страшило это ощущение самого себя как пустоты, в которой непрерывно кипят слова и мысли, — кипят, но не согревают. Он даже спрашивал себя:

«Ведь не глуп же я?»

В этот жаркий день, когда он, сидя на песке, смотрел. как с мельницы возвращаются Туробоев, Макаров и между ними Алина, — в голове его вспыхнула утешительная догадка:

«Я напрасно волнуюсь. В сущности — все очень просто: еще не наступил мой час верить. Но уже где-то глубоко в душе моей зреет зерно истинной веры, моей! Она

еще не ясна мне, но это ее таинственная сила отталкивает от меня все чужое, не позволяя мне усвоить его. Есть идеи для меня и не для меня; одни я должен прочувствовать, другие мне нужно только знать. Я еще не встретил идей, «химически сродных» мне. Кутузов правильно говорит, что для каждой социальной единицы существует круг взглядов и мнений, химически сродных ей».

Воспоминание о Кутузове несколько смутило Клима, он почувствовал себя внутренне споткнувшимся о какое-то противоречие, но быстро обошел его, сказав себе:

«Тут есть путаница, но она только доказывает, что пользоваться чужими идеями — опасно. Есть корректор, который замечает эти ошибки».

Затем Самгин снова вернулся к своей догадке:

«Вот почему иногда мне кажется, что мысли мои кипят в пустом пространстве. И то, что я чувствовал ночью, есть, конечно, назревание моей веры».

Он осторожно улыбнулся, обрадованный своим открытием, но еще не совсем убежденный в его ценности. Однако убедить себя в этом было уже не трудно; подумав еще несколько минут, он встал на ноги, с наслаждением потянулся, расправляя усталые мускулы, и бодро пошел домой.

Варавка и Лютов сидели за столом, Лютов спиною к двери; входя в комнату, Клим услыхал его слова:

— Первая скрипка в газете не передовик, а — фельетонист…

Варавка встретил Клима ворчливо.

— Где ты был? Тебя искали завтракать и не нашли. А где Туробоев? С девицами? Гм… да! Вот что, Клим, будь добр, перепиши эти две бумажки.

Лютов взглянул на Клима исподлобья, подозрительно, затем, наклонясь над листом бумаги и подчеркивая что-то карандашом, сказал:

— Вероятно, дядя не пойдет на ваши условия. И, нервно схватив бутылку со стола, налил в стакан свой пива. Три бутылки уже были пусты. Клим ушел и, переписывая бумаги, прислушивался к невнятным голосам Варавки и Лютова. Голоса у обоих были почти одинаково высокие и порою так странно взвизгивали, как будто сердились, тоскуя, две маленькие собачки, запертые в комнате.

Туробоев, Макаров и девицы явились только к вечернему чаю. Клим тотчас отметил, что Лидия настроена невесело, задумчиво, но объяснил это усталостью. Макаров имел вид человека только что проснувшегося, рассеянная улыбка подергивала его красиво очерченные губы, он, по обыкновению, непрерывно курил, папироса дымилась в углу рта, и дым ее заставлял Макарова прищуривать левый глаз. Было странно видеть, как пристально и удивленно Алина смотрит на Туробоева, а в холодных глазах барича заметна озабоченность, но обычной остренькой усмешечки — нет. Все они пришли в минуту, когда Клим Самгин наблюдал картину словесного буйства Варавки и Лютова.

Было что-то голодное, сладострастное и, наконец, даже смешное в той ярости, с которой эти люди спорили. Казалось, что они давно искали случая встретиться, чтобы швырять в лица друг другу иронические восклицания, исхищряться в насмешливых гримасах и всячески показывать взаимное отсутствие уважения. Варавка сидел небрежно развалив тело свое в плетеном кресле, вытянув короткие ноги, сунув руки в карманы брюк, — казалось, что он воткнул руки в живот свой. Слушая, он надувал багровые щеки, прищуривал медвежьи глазки, а когда говорил, его бородища волнисто изгибалась на батисте рубашки, точно огромный язык, готовый все слизать.

— Позвольте, позвольте! — пронзительно вскрикивал он. — Вы признали, что

промышленность страны находится в зачаточном состоянии, и, несмотря на это, признаете возможным, даже необходимым, внушать рабочим вражду к промышленникам?

— Хэ-хэ-хэ! — смеялся Лютов гнусавым, дразнящим смехом.

— К сему добавьте, что классовая вражда неизбежно задерживает развитие культуры, как сие явствует из примера Европы…

Клима изумлял этот смех, в котором не было ничего смешного, но ясно звучало дразнящее нахальство. Лютов сидел на краешке стула, согнув спину, упираясь ладонями в колени. Клим смотрел, как его косые глаза дрожат в стремлении остановиться на лице Варавки, но не могут этого и прыгают, заставляя Лютова вертеть головою. Клим видел также, что этот человек вызывает неприязнь к нему у всех, кроме Лидии, разливавшей чай. Макаров смотрел в открытую на террасу дверь и явно не слышал ничего, постукивая ложкой по ногтям левой руки.

— Но — мотивы? Ваши мотивы? — вскрикивал Варавка. — Что побуждает вас признать вражду…

— Фамилия, — взвизгнул Лютов. — Люто ненавижу скуку жизни…

Туробоев поморщился. Алина, заметив это, наклонилась к Лидии, прошептала ей что-то и спрятала покрасневшее лицо свое за ее плечом. Не взглянув на нее, Лидия оттолкнула свою чашку и нахмурилась.

— Владимир Иванович! — взывал Варавка. — Мы говорим серьезно, не так ли?

— Вполне! — возбужденно крикнул Лютов.

— Чего же вы хотите?

— Свободы-с!

— Анархизм?

— Как вам угодно. Если у нас князья и графы упрямо проповедуют анархизм — дозвольте и купеческому сыну добродушно поболтать на эту тему! Разрешите человеку испытать всю сладость и весь ужас — да, ужас! — свободы деяния-с. Безгранично разрешите…

— И — затем? — громко спросил Туробоев. Лютов покачнулся на стуле в его сторону, протянул к нему руку.

— А затем он сам себя, своею волею ограничит. Он — трус, человек, он — жадный. Он — умный, потому что трус, именно поэтому. Позвольте ему испугаться самого себя. Разрешите это, и вы получите превосходнейших, кротких людей, дельных людей, которые немедленно сократят, свяжут сами себя и друг друга и предадут… и предадутся богу благоденственного и мирного жития…

Варавка возмущенно выдернул руку из кармана и отмахнулся:

— Извините, это… несерьезно!

— Можно сказать несколько слов? — спросил Туробоев. И, не ожидая разрешения, заговорил, не глядя на Лютова:

— Когда я слушаю споры, у меня возникает несколько обидное впечатление; мы, русские люди, не умеем владеть умом. У нас не человек управляет своей мыслью, а она порабощает его. Вы помните, Самгин, Кутузов называл наши споры «парадом парадоксов»?

— Ну-с? И — что же-с? — задорно взвизгнул Лютов.

— У нас удивительно много людей, которые, приняв чужую мысль, не могут, даже как будто боятся проверить ее, внести поправки от себя, а, наоборот, стремятся только выпрямить ее, заострить и вынести за пределы логики, за границы возможного. Вообще мне кажется, что мышление для русского человека — нечто непривычное и даже пугающее, хотя соблазнительное. Это неумение владеть разумом у одних вызывает страх пред ним, вражду к нему, у других — рабское подчинение его игре, — игре, весьма часто развращающей людей.

Лютов, крепко потирая руки, усмехался, а Клим подумал, что чаще всего, да почти и всегда, ему приходится слышать хорошие мысли из уст неприятных людей. Ему понравились крики Лютова о необходимости свободы, ему казалось верным указание Туробоева на русское неуменье владеть мыслью. Задумавшись, он не дослышал чего-то в речи Туробоева и был вспугнут криком Лютова:

— Прегордая вещеваете!

— У нас есть варварская жадность к мысли, особенно — блестящей, это напоминает жадность дикарей к стеклянным бусам, — говорил Туробоев, не взглянув на Лютова, рассматривая пальцы правой руки своей. — Я думаю, что только этим можно объяснить такие курьезы, как вольтерианцев-крепостников, дарвинистов — поповых детей, идеалистов из купечества первой гильдии и марксистов этого же сословия.

— Это — кирпич в мой огород? — крикливо спросил Лютов.

— Нет, я не хочу задеть кого-либо; я ведь не пытаюсь убедить, а — рассказываю, — ответил Туробоев, посмотрев в окно. Клима очень удивил мягкий тон его ответа. Лютов извивался, подскакивал на стуле, стремясь возражать, осматривал всех в комнате, но, видя, что Туробоева слушают внимательно, усмехался и молчал.

— Не знаю, можно ли объяснить эту жадность на чужое необходимостью для нашей страны организующих идей, — сказал Туробоев, вставая.

Лютов тоже вскочил:

— А — славянофилы? Народники?

— «Одних уж нет, а те далече» от действительности, — ответил Туробоев, впервые за все время спора усмехнувшись.

Наскакивая на него, Лютов покрикивал:

— Но ведь и вы — и вы не самостоятельны в мыслях. Ой, нет! Чаадаев…

— Посмотрел на Россию глазами умного и любящего европейца.

— Нет, подождите, не подсказывайте… Наскакивая на Туробоева, Лютов вытеснил его на террасу и там закричал:

— Сословное мышление…

— Утверждают, что иное — невозможно…

— Странный тип, — пробормотал Варавка, и по его косому взгляду в сторону Алины Клим понял, что это сказано о Лютове.

Минуты две четверо в комнате молчали, прислушиваясь к спору на террасе, пятый, Макаров, бесстыдно спал в углу, на низенькой тахте. Лидия и Алина сидели рядом, плечо к плечу, Лидия наклонила голову, лица ее не было видно, подруга что-то шептала ей в ухо. Варавка, прикрыв глаза, курил сигару.

— Теперь-с, показав друг другу флаги оригинальности своей… Что такое?

Третий голос, сиповатый и унылый, произнес:

— Может, на сома желаете поохотиться, господа? Тут для вашего удовольствия сом живет, пуда на три… Интересно для развлечения…

Клим вышел на террасу, перед нею стоял мужик с деревянной ногой и, подняв меховое лицо свое, говорил, упрашивая:

— Я бы вам, рубликов за двадцать за пять, отлично устроил охотку. Рыбина — опасная. Похвалились бы после перед родными, знакомыми…

Туробоев отошел в сторону, Лютов, вытянув шею, внимательно разглядывал мужика, широкоплечего, в пышной шапке сивых волос, в красной рубахе без пояса; полторы ноги его были одеты синими штанами. В одной руке он держал нож, в другой — деревянный ковшик и, говоря, застругивал ножом выщербленный край ковша, поглядывая на господ снизу вверх светлыми глазами. Лицо у него было деловитое, даже мрачное, голос звучал безнадежно, а когда он перестал говорить, брови его угрюмо нахмурились.

Лютов торопливо спустился к нему и сказал:

— Идем.

Он пошел к реке, мужик неуклюже ковылял за ним. В комнате засмеялась Алина.

— Как вам нравится Лютов? — спросил Клим Туробоева, присевшего на перила террасы. — Оригинален?

— Не из тех людей, которые возбуждают мое уважение, но — любопытен, — ответил Туробоев, подумав и тихонько. — Он очень зло сказал о Кропоткине, Бакунине, Толстом и о праве купеческого сына добродушно поболтать. Это — самое умное, что он сказал.

Одна за другой вышли из комнаты Лидия и Алина. Лидия села на ступени террасы, Алина, посмотрев из-под ладони на заходящее солнце, бесшумно, скользящей походкой, точно по льду, подошла к Туробоеву.

— Вот уж не думала, что вы тоже любите спорить!

— Это — недостаток?

— Да, конечно. Это — стариковское…

— «Наше поколение юности не знает», — сказал Туробоев.

— Ой, Надсон! — пренебрежительно, с гримасой, воскликнула Алина. — Мне кажется, что спорить любят только люди неудачные, несчастливые. Счастливые — живут молча.

— Вот как?

— Да. А несчастным трудно сознаться, что они не умеют жить, и вот они говорят, кричат. И всё — мимо, всё не о себе, а о любви к народу, в которую никто и не верит.

— Ого! Вы — храбрая, — сказал Туробоев и тихонько, мягко засмеялся.

И ласковый тон его и смех раздражали Самгина. Он спросил иронически:

— Вы называете это храбростью? А как же вы назовете народовольцев, революционеров?

— Тоже храбрые люди. Особенно те, которые делают революцию бескорыстие, из любопытства.

— Это вы говорите об авантюристах.

— Почему? О людях, которым тесно жить и которые пытаются ускорить события. Кортес и Колумб тоже ведь выразители воли народа, профессор Менделеев не менее революционер, чем Карл Маркс, Любопытство и есть храбрость. А когда любопытство превращается в страсть, оно уже — любовь.

Взглянув на Туробоева через плечо, Лидия спросила:

— Вы искренно говорите?

— Да, — не сразу ответил он.

Клим ощущал, что этот человек все более раздражает его. Ему хотелось возразить против уравнения любопытства с храбростью, но он не находил возражений. Как всегда, когда при нем говорили парадоксы тоном истины, он завидовал людям, умеющим делать это.

Возвращался Лютов и кричал, размахивая платком:

— На рассвете будем ловить сома! За тринадцать рублей сторговался.

Вбежав на террасу, он спросил Алину:

— Нареченная! Вы никогда не ловили сома? Она прошла мимо его, сказав:

— Ни рыб, ни журавлей в небе…

— Понимаю! — закричал Лютов. — Предпочитаете синицу в руки! Одобряю!

Клим видел, что Алина круто обернулась, шагнула к жениху, но подошла к Лидии и села рядом с ней, ощипываясь, точно курица пред дождем. Потирая руки, кривя губы, Лютов стоял, осматривая всех возбужденно бегающими глазами, и лицо у него как будто пьянело.

— Живем во исполнение грехов, — пробормотал он. — А вот мужик… да-с!

Кажется, все заметили, что он возвратился в настроении еще более неистовом, — именно этим Самгин объяснил себе невежливое, выжидающее молчание в ответ Лютову. Туробоев прислонился спиною к точеной колонке террасы; скрестив руки на груди, нахмуря вышитые брови, он внимательно ловил бегающий взгляд Лютова, как будто ожидая нападения.

— Я — согласен! — сказал Лютов, подойдя мелкими шагами вплоть к нему. — Верно-с: мы или плутаем в дебрях разума или бежим от него испуганными дураками.

Он взмахнул рукою так быстро, что Туробоев, мигнув, отшатнулся в сторону, уклоняясь от удара, отшатнулся и побледнел. Лютов, видимо, не заметил его движения и не видел гневного лица, он продолжал, потрясая кистью руки, как утопающий Борис Варавка.

— Но — это потому, что мы народ метафизический. У нас в каждом земском статистике Пифагор спрятан, и статистик наш воспринимает Маркса как Сведенборга или Якова Бёме. И науку мы не можем понимать иначе как метафизику, — для меня, например, математика суть мистика цифр, а проще — колдовство.

— Не ново, — тихо вставил Туробоев.

— Это — пустяки, будто немец — прирожденный философ, это — ерунда-с! — понизив голос и очень быстро говорил Лютов, и у него подгибались ноги. — Немец философствует машинально, по традиции, по ремеслу, по праздникам. А мы — страстно, самоубийственно, день и ночь, и во сне, и на груди возлюбленной, и на смертном одре. Собственно, мы не философствуем, потому что это у нас, ведайте, не от ума, а — от воображения, мы — не умствуем, а — мечтаем во всю силу

зверства натуры. Зверство поймите не в порицающем, а в измеряющем смысле.

Размахнув руками, он описал в воздухе широкий круг.

— Вот так поймите. Безграничие и ненасытность. Умов у нас не обретается, у нас — безумные таланты. И все задыхаемся, все — снизу до верха. Летим и падаем. Мужик возвышается в президенты академии наук, аристократы нисходят в мужики. А где еще найдете такое разнообразие и обилие сект, как у нас? И — самых изуверских: скопцы, хлысты, красная смерть. Самосожигатели, в мечте горим, от Ивана Грозного и Аввакума протопопа до Бакунина Михаилы, до Нечаева и Всеволода Гаршина. Нечаева — не отталкивайте, нельзя-с! Потому — отлично русский человек! По духу — братец родной Константину Леонтьеву и Константину же Победоносцеву.

Лютов подпрыгивал, размахивал руками, весь разрываясь, но говорил все тише, иногда — почти шопотом. В нем явилось что-то жуткое, пьяное и действительно страстное, насквозь чувственное. Заметно было, что Туробоеву тяжело слушать его шопот и тихий вой, смотреть в это возбужденное, красное лицо с вывихнутыми глазами.

«Как же будет жить с ним Алина?» — подумал Клим, взглянув на девушку; она сидела, положив голову на колени Лидии, Лидия, играя косой ее, внимательно слушала.

— Вы, кажется, во многом согласны с Достоевским? — спросил Туробоев. Лютов отшатнулся от него.

— Нет! В чем? Неповинен. Не люблю.

В двери показался Макаров и сердито спросил:

— Владимир, хочешь молока? Холодное.

— Достоевский обольщен каторгой. Что такое его каторга? Парад. Он инспектором на параде, на каторге-то был. И всю жизнь ничего не умел писать, кроме каторжников, а праведный человек у него «Идиот». Народа он не знал, о нем не думал.

Вышел Макаров, подал Лидии стакан молока и сел рядом с нею, громко проворчав:

— А скоро конец этому словотечению? Лютов погрозил ему кулаком.

— Наш народ — самый свободный на земле. Он ничем не связан изнутри. Действительности — не любит. Он — штучки любит, фокусы. Колдунов и чудодеев. Блаженненьких. Он сам такой — блаженненький. Он завтра же может магометанство принять — на пробу. Да, на пробу-с! Может сжечь все свои избы и скопом уйти в пустыни, в пески, искать Опоньское царство.

Туробоев сунул руки в карманы и холодно спросил:

— И — что же, в конце концов? Лютов оглянулся, очевидно, для того, чтоб привлечь к себе еще больше внимания, и ответил, покачиваясь:

— А — то, что народ хочет свободы, не той, которую ему сулят политики, а такой, какую могли бы дать попы, свободы страшно и всячески согрешить, чтобы испугаться и — присмиреть на триста лет в самом себе. Вот-с! Сделано. Все сделано! Исполнены все грехи. Чисто!

— Странная… теория, — сказал Туробоев, пожимая плечами, и сошел с террасы в ночной сумрак, а отойдя шагов десять, сказал громко:

— Все-таки это — Достоевский. Если не по мыслям, так по духу…

Лютов, прищурив раскосые глаза, пробормотал:

— …Живем во исполнение грехов и на погибель соблазнов… Не согрешишь — не покаешься, не покаявшись — не спасешься…

Все молчали, глядя на реку: по черней дороге бесшумно двигалась лодка, на носу ее горел и кудряво дымился светец, черный человек осторожно шевелил веслами, а другой, с длинным шестом в руках, стоял согнувшись у борта и целился шестом в отражение огня на воде; отражение чудесно меняло формы, становясь похожим то на золотую рыбу с множеством плавников, то на глубокую, до дна реки, красную яму, куда человек с шестом хочет прыгнуть, но не решается.

Лютов посмотрел в небо, щедро засеянное звездами, вынул часы и сказал:

— Еще не поздно. Хотите погулять, Алина Марковна?

— Молча — хочу.

— Совершенно молча?

— Могу разрешить армянские анекдоты.

— Что ж? И на этом — спасибо! — сказал Лютов, помогая невесте встать. Она взяла его под руку.

Когда они отошли шагов на тридцать, Лидия тихо сказала:

— Мне его жалко.

Макаров невнятно проворчал что-то, а Клим спросил:

— Почему — жалко?

Лидия не ответила, но Макаров вполголоса сказал:

— Видел — кричит? Это он перекричать себя хочет.

— Не понимаю.

— Ну, чего тут не понимать? Лидия встала.

— Проводи меня, Константин…

Ушли и они. Хрустел песок. В комнате Варавки четко и быстро щелкали косточки счет. Красный огонь на лодке горел далеко, у мельничной плотины. Клим, сидя на ступени террасы, смотрел, как в темноте исчезает белая фигура девушки, и убеждал себя:

«Ведь не влюблен же я в нее?»

Чтоб не думать, он пошел к Варавке, спросил, не нужно ли помочь ему? Оказалось — нужно. Часа два он сидел за столом, снимая копию с проекта договора Варавки с городской управой о постройке нового театра, писал и чутко вслушивался в тишину. Но все вокруг каменно молчало. Ни голосов, ни шороха шагов.

На восходе солнца Клим стоял под ветлами у мельничной плотины, слушая, как мужик с деревянной ногой вполголоса, вдохновенно рассказывает:

— Сом — кашу любит; просяная али, скажем, гречушная каша — это его самая первая любовь. Сома кашей на что хотите подкупить возможно.

Деревяшка мужика углубилась в песок, он стоял избочась, держался крепкой, корявой рукою за обломок сучка ветлы, дергал плечом, вытаскивая деревяшку из песка, переставлял ее на другое место, она снова уходила в сыпучую почву, и снова мужик изгибался набок.

— Каши ему дали, зверю, — говорил он, еще понижая голос. Меховое лицо его было торжественно, в глазах блестела важность и радость. — Каша у нас как можно горячо сварена и — в горшке, а горшок-то надбит, понимаете эту вещь?

Он подмигнул Лютову и обратился к Варавке, почти величественному в халате вишневого цвета, в зеленой, шитой золотом тюбетейке и пестрых сафьяновых сапогах.

— Он, значит, проглотит горшок, а горшок в брюхе у него, надбитый-то, развалится, и тут начнет каша кишки ему жечь, понимаете, ваше степенство, эту вещь? Ему — боль, он — биться, он — прыгать, а тут мы его…

Лучи солнца упирались в лицо Варавки, он блаженно жмурился и гладил ладонями медную бороду свою.

Лютов, в измятом костюме, усеянном рыжими иглами хвои, имел вид человека, только что очнувшегося после сильного кутежа. Лицо у него пожелтело, белки полуумных глаз налиты кровью; он, ухмыляясь, говорил невесте, тихо и сипло:

— Конечно — врет! Но ни один дьявол, кроме русского мужика, не может выдумать такую чепуху!

Невыспавшиеся девицы стояли рядом, взапуски позевывая и вздрагивая от свежести утра. Розоватый парок поднимался с реки, и сквозь него, на светлой воде, Клим сидел знакомые лица девушек неразличимо похожими;

Макаров, в белой рубашке с расстегнутым воротом, с обнаженной шеей и встрепанными волосами, сидел на песке у ног девиц, напоминая надоевшую репродукцию с портрета мальчика-итальянца, премию к «Ниве». Самгин впервые заметил, что широкогрудая фигура Макарова так же клинообразна, как фигура бродяги Инокова.

В стороне, туго натянутый, стоял Туробоев, упорно глядя в шишковатый, выпуклый затылок Лютова, и, медленно передвигая папиросу из угла в угол рта, как бы беззвучно шептал что-то.

— Ну, что же, скоро? — нетерпеливо спросил Лютов.

— Чуть потише говорите, господин, — сказал мужик строгим шопотом. — Он — зверь хитрая, он — слышит! И, повернувшись к мельнице, крикнул:

— Микола! Эй?

Ответили неохотно два голоса, мужской и женский:

— Ой? Чего?

— Погляди — сожрал?

— Глядел.

— Ну?

— Сожрал.

Лютов, сердито взглянув на мужика, толкнул его в плечо.

— Ты — что же: мне — говорить нельзя, а сам орешь во всю глотку?

Мужик удивленно взглянул на него и усмехнулся так, что все лицо его ощетинилось.

— Господи, — так ведь он, сом этот, меня знает, а вы ему — чужой человек. Всякая тварь имеет свою осторожность к жизни.

Эти слова мужик произнес шопотом. Затем, посмотрев на реку из-под ладони, он сказал, тоже очень тихо:

— Теперь — глядите! Теперь начнет его жечь, а он — прыгать. Сейчас…

Он сказал это так убедительно, с таким вдохновенным лицом, что все бесшумно подвинулись к берегу и, казалось, даже розовато-золотая вода приостановила медленное свое течение. Глубоко пронзая песок деревяшкой, мужик заковылял к мельнице. Алина, вздрогнув, испуганно прошептала:

— Смотрите, смотрите! Вон у того берега темненькое… под кустом…

Клим не видел темненького. Он не верил в сома, который любит гречневую кашу. Но он видел, что все вокруг — верят, даже Туробоев и, кажется, Лютов. Должно быть, глазам было больно смотреть на сверкающую воду, но все смотрели упорно, как бы стараясь проникнуть до дна реки. Это на минуту смутило Самгина: а — вдруг?

— Вот он… плывет, плывет! — снова зашептала Алина, но Туробоев сказал громко:

— Это тень облака.

— Шш, — зашипел Варавка.

Все посмотрели в небо. Да, там одиноко таяло беленькое облако, размером не более овчины. Из густой заросли кустов и камыша, около плотины, осторожно выдвинулась лодка, посреди ее стоял хромой мужик, опираясь на багор, и махал на публику рукою. Беззвучно погружая весла в воду, лодку гнал широкоплечий, светловолосый парень в серой рубахе. Он сидел неподвижно, точно окаменев, шевелились только кисти его рук, казалось, что весла действуют сами, покрывая воду шелковой рябью. Хромой, перестав размахивать рукой, вытянул ее выше головы, неотрывно глядя в воду, и тоже замер. Лодка описала угол от берега к берегу, потом еще угол, мужик медленно опустил левую руку, так же медленно поднял правую с багром в ней.

— Бей его! — рявкнул он и, с размаха, вонзил багор в реку.

Клим стоял сзади и выше всех, он хорошо видел, что хромой ударил в пустое место. А когда мужик, неуклюже покачнувшись, перекинулся за борт, плашмя грудью, Клим уверенно подумал:

«Это сделано нарочно!»

Но хромой тотчас же пошатнул эту уверенность.

— Не попа-ал! — взвыл он плачевным волчьим воем, барахтаясь в реке. Его красная рубаха вздулась на спине уродливым пузырем, судорожно мелькала над водою деревяшка с высветленным железным кольцом на конце ее, он фыркал, болтал головою, с волос головы и бороды разлетались стеклянные брызги, он хватался одной рукой за корму лодки, а кулаком другой отчаянно колотил по борту и вопил, стонал:

— Э-эх, не попа-ал! Миколка, дьявол, что ж ты его веслом не ошарашил, а? Веслом-то, дурак! По башке бы, а? Осрамил ты меня, морда-а!

Парень не торопясь поймал багор, положил его вдоль борта, молча помог хромому влезть в лодку и сильными ударами весел быстро пригнал ее к берегу. Вывалившись на песок, мужик, мокрый и скользкий, разводя руки, отчаянно каялся:

— Не попал, господа! Осрамился, простите Христа ради! Ошибся маленько, в головину метил ему, а — мимо! Понимаете вещь? Ах, отцы святые, а?

У него даже голос от огорчения стал другой, высокий, жалобно звенящий, а

оплывшее лицо сузилось и выражало искреннейшее горе. По вискам, по лбу, из-под глаз струились капли воды, как будто все его лицо вспотело слезами, светлые глаза его блестели сконфуженно и виновато. Он выжимал воду с волос головы и бороды горстью, брызгал на песок, на подолы девиц и тоскливо выкрикивал:

— Громадный, пуда на четыре с лишком! Бык, а не сом, ей-богу! Усы — вот!

И хромой отмерил руками в воздухе вершков двенадцать.

«Я ошибся, — подумал Клим. — Он видел сома».

— Стоит на дне на самом; вижу — задумался, усищи шевелятся, — огорченно и восторженно рассказывал хромой.

— Каков, а? — тоже с восторгом крикнул Лютов.

— Отлично играет, — подтвердил Туробоев, улыбаясь, и вынул маленький бумажник желтой кожи. Лютов удержал его руку:

— Извините, эта затея моя!

Лидия смотрела, на мужика, брезгливо сжав губы, хмурясь, Варавка — с любопытством, Алина — растерянно спрашивала всех:

— Но ведь был сом? Был или нет? Клим отошел в сторону, чувствуя себя дважды обманутым.

— Идем, — сказала Лидия подруге, но Лютов крикнул:

— Подождите минутку! И спросил мужика в упор:

— Обманул?

— Обманул, дьявол, — согласился хромой, печально разводя руками.

— Нет, не дьявол, а — ты? Обманул?

— То есть — это как же? Кого же? — удивленно спросил мужик, отступая от Лютова.

— Ты — не бойся! Я все равно заплачу деньги и на водку прибавлю. Только скажи прямо: обманул?

— Оставьте его, — попросил Туробоев, а хромой, оглядев всех непонимающими глазами, с великолепной наивностью спросил:

— Как же это могу я господ обмануть?

Лютов с размаха звучно хлопнул ладонью по его мокрому плечу и вдруг захохотал визгливым, бабьим смехом. Засмеялся и Туробоев, тихонько и как-то сконфуженно, даже и Клим усмехнулся, — так забавен был детский испуг в светлых, растерянно мигавших глазах бородатого мужика.

— Рази можно обманывать господ, — бормотал он, снова оглядывая всех, а испуг в глазах его быстро заменялся пытливостью, подбородок вздрагивал.

— Чорт, — воскликнул Варавка, махнув рукой, и тоже усмехнулся.

Лютов уже хохотал неистово, закрыв глаза, вскинув голову, содрогаясь; в его выгнутом кадыке точно стекло звенело.

А хромой, взглянув на Варавку, широко ухмыльнулся, но сейчас же прикрыл рот ладонью. Это не помогло, громко фыркнув в ладонь, он отмахнул рукой в сторону и вскричал тоненько:

— Грехи-и!

Он тоже начал смеяться, вначале неуверенно, негромко, потом все охотнее, свободней и наконец захохотал так, что совершенно заглушил рыдающий смешок Лютова. Широко открыв волосатый рот, он тыкал деревяшкой в песок, качался и охал, встряхивая головою:

— Ох, осподи… о-хо-хо, грехи жа, ей-богу… Мокрый, он весь лоснился, и казалось, что здоровый хохот его тоже масляно блестит.

— Ж-жулик, — кричал Лютов. — Где… где сом?

— И — я его…

— Сома?

— Промахнулся…

— Где сом?

— Он — живет…

Снова оба, глядя друг на друга, тряслись в припадке смеха, а Клим Самгин видел, что теперь по мохнатому лицу хромого льются настоящие слезы.

— Ну, уж это нечто… чрезмерное, — сказал Туробоев, пожимая плечами, и пошел прочь, догоняя девушек и Макарова. За ним пошел и Самгин, провожаемый смехом и оханьем:

— О, осподи, вот…

А впереди возмущенно кричала Алина:

— Его следует наказать за обман!

— Это — глупо, Алина, — строго остановила ее Лидия.

Пошли молча, но скоро их догнал Лютов.

— Понимаете вещь? — кричал он, стирая платком с лица пот и слезы, припрыгивая, вертясь, заглядывая в глаза. Он мешал идти, Туробоев покосился на него и отстал шага на два.

— Ловко одурачил, а? — назойливо кричал он. — Талант. Искусство-с! Подлинное искусство всегда одурачивает.

— Не глупо, — сказал Туробоев, улыбаясь Климу. — И вообще он — не глуп, но — как издерган!

— Довольно, Володя, — сердито крикнул Макаров. — Что ты пылишь? Подожди, когда сделают тебя профессором какой-нибудь элоквенции, тогда и угнетай и пыли.

— Костя, легкомысленная ты птица! Пойми вещь!

— Нет, серьезно, перестань.

— Вы ужасно много кричите, — жалобно сказала Алина.

— Ну — не буду.

— Как сумасшедший.

— Молчу-с!

Он действительно замолчал, но Лидия, взяв его под руку, спросила:

— Почему вас не возмутил мужик?

— Меня? Чем же? — удивленно и с жаром воскликнул Лютов. — Напротив, Лидочка, я ему трешницу прибавил и спасибо сказал. Он — умный. Мужик у нас изумительная умница! Он — учит! Он?

Приостановясь, гладя руку Лидии, лежавшую на сгибе его руки, Лютов счастливо улыбнулся:

— Уж теперь ведь в сома-то вы не поверите, нет? Не для сомов эта речушка, милый вы человек…

Он снова захохотал. Макаров и Алина пошли быстрее. Клим отстал, посмотрел на Туробоева и Варавку, медленно шагавших к даче, и, присев на скамью у мостков купальни, сердито задумался.

Он вспомнил, что вчера Макаров, мимоходом, сказал:

«Здоровая психика у тебя, Клим! Живешь ты, как монумент на площади, вокруг — шум, крик, треск, а ты смотришь на все, ничем не волнуясь».

«Но эти слова говорят лишь о том, что я умею не выдавать себя. Однако роль внимательного слушателя и наблюдателя откуда-то со стороны, из-за угла, уже не достойна меня. Мне пора быть более активным. Если я осторожно начну ощипывать с людей павлиньи перья, это будет очень полезно для них. Да. В каком-то псалме сказано: «ложь во спасение». Возможно, но — изредка и — «во спасение», а не для игры друг с другом».

Он долго думал в этом направлении и, почувствовав себя настроенным воинственно, готовым к бою, хотел идти к Алине, куда прошли все, кроме Варавки, но вспомнил, что ему пора ехать в город. Дорогой на станцию, по трудной, песчаной дороге, между холмов, украшенных кривеньким сосняком, Клим Самгин незаметно утратил боевое настроение и, толкая впереди себя длинную тень свою, думал уже о том, как трудно найти себя в хаосе чужих мыслей, за которыми скрыты непонятные чувства.

Домой он приехал на полчаса раньше супругов Спивак.

Мать встретила их величественно, как чиновников, назначенных свыше в ее личное распоряжение. Суховато и очень в нос говорила французские фразы, играя лорнетом пред своим густо напудренным лицом, и, прежде чем предложить гостям сесть, удобно уселась сама. Клим подметил, что этой игрой мать зажгла в голубоватых глазах Спивак смешливые искорки. Елизавета Львовна в необыкновенно широкой темной мантии казалась постаревшей, монашески скромной и не такой интересной, как она была в Петербурге. Но его ноздри приятно защекотал запах знакомых духов, и в памяти прозвучала красивая фраза:

Тобой, одной тобой.

Маленький пианист в чесунчовой разлетайке был похож на нетопыря и молчал, точно глухой, покачивая в такт словам женщин унылым носом своим. Самгин благосклонно пожал его горячую руку, было так хорошо видеть, что этот человек с лицом, неискусно вырезанным из желтой кости, совершенно не достоин красивой женщины, сидевшей рядом с ним. Когда Спивак и мать обменялись десятком любезных фраз, Елизавета Львовна, вздохнув, сказала:

— Мне очень тяжело, Вера Петровна, что с первой же встречи я должна сообщить вам печальное: Дмитрий Иванович арестован.

— О, бог мой! — воскликнула Самгина, откинувшись на спинку кресла, ресницы ее вздрогнули и кончик носа покраснел.

— Да! — громко сказал Спивак. — Пришли ночью и увезли.

— А — Кутузов? — сердито спросил Клим.

Спивак ответила, что Кутузов недели за три до ареста Дмитрия уехал к себе домой, хоронить отца.

Мать, осторожно, чтоб не стереть пудру со щек, прикладывала ко глазам своим миниатюрный платочек, но Клим видел, что в платке нет нужды, глаза совершенно сухи.

— Боже мой! За что? — драматически спросила она.

— Я думаю, что это не серьезно, — очень ласково и утешительно говорила Спивак. — Арестован знакомый Дмитрия Ивановича, учитель фабричной школы, и брат его, студент Попов, — кажется, это и ваш знакомый? — спросила она Клима.

Самгин сухо сказал:

— Нет.

Уделив этому событию четверть часа, мать, очевидно, нашла, что ее огорчение выражено достаточно убедительно, и пригласила гостей в сад, к чаю.

Весело хлопотали птицы, обильно цвели цветы, бархатное небо наполняло сад голубым сиянием, и в блеске весенней радости было бы неприлично говорить о печальном. Вера Петровна стала расспрашивать Спивака о музыке, он тотчас оживился и, выдергивая из галстука синие нитки, делая пальцами в воздухе маленькие запятые, сообщил, что на Западе — нет музыки.

— Там — только машины. Там — от менуэта и гавота дошли — вот до чего…

И пальцами на губах он сыграл какой-то пошленький мотив.

— Не теребi галстук, — попросила его жена. Он послушно положил руки на стол, как на клавиатуру, а конец галстука погрузил в стакан чая. Это его сконфузило, и, вытирая галстук платком, он сказал:

— В Норвегии — Григ. Очень интересен. Говорят — рассеянный человек.

И замолчал. Женщины улыбались, беседуя все более оживленно, но Клим чувствовал, что они взаимно не нравятся одна другой. Спивак запоздало спросил его:

— Как ваше здоровье?

А когда Клим предложил ему земляники, он весело отказался:

— От нее у меня будет крапивная лихорадка. Мать попросила Клима:

— Покажи Елизавете Львовне флигель.

— Странный город, — говорила Спивак, взяв Клима под руку и как-то очень осторожно шагая по дорожке сада. — Такой добродушно ворчливый. Эта воркотня — первое, что меня удивило, как только я вышла с вокзала. Должно быть, скучно здесь, как в чистилище. Часто бывают пожары? Я боюсь пожаров.

Бумажный сор в комнатах флигеля напомнил Климу о писателе Катине, а Спивак, бегло осмотрев их, сказала:

— Можно очень уютно устроиться. И окна в сад. Наверное, в комнаты будут вползать мохнатенькие червячки с яблонь? Птички будут петь рано утром. Очень рано!

Она вздохнула:

— Вам не нравится? — с сожалением спросил Клим, выходя в сад, — красиво изогнув шею, она улыбнулась ему через плечо.

— Нет, почему? Но это было бы особенно удобно для двух сестер, старых дев. Или — для молодоженов. Сядемте, — предложила она у скамьи под вишней и сделала милую гримаску: — Пусть они там… торгуются.

Оглядываясь, она продолжала задумчиво:

— Прекрасный сад. И флигель хорош. Именно — для молодоженов. Отлюбить в этой тишине, сколько положено, и затем… Впрочем, вы, юноша, не поймете, — вдруг закончила она с улыбкой, которая несколько смутила Клима своей неясностью: насмешка скрыта в ней или вызов?

Посмотрев в небо, обрывая листья с ветки вишни, Спивак спросила:

— Как же здесь живут зимою? Театр, карты, маленькие романы от скуки, сплетни — да? Я бы предпочла жить в Москве, к ней, вероятно, не скоро привыкнешь. Вы еще не обзавелись привычками?

Клим удивлялся. Он не подозревал, что эта женщина умеет говорить так просто и шутливо. Именно простоты он не ожидал от нее; в Петербурге Спивак казалась замкнутой, связанной трудными думами. Было приятно, что она говорит, как со старым и близким знакомым. Между прочим она спросила: с дровами сдается флигель или без дров, потом поставила еще несколько очень житейских вопросов, все это легко, мимоходом.

— Портрет над роялем — это ваш отчим? У него борода очень богатого человека.

Пытливо заглянув в ее лицо, Клим сказал, что скоро приедет Туробоев.

— Да?

— Продает свою землю.

— Вот как.

Клим почувствовал, что его радует спокойный тон ее, обрадовало и то, что она, задев его локтем, не извинилась.

К ним шла мать, рядом с нею Спивак, размахивая крыльями разлетайки, как бы пытаясь вознестись от земли, говорил:

— Это будет написано нонами, очень густо: тум-тумм…

Жена бесцеремонно прекратила музыку, заговорив с Верой Петровной о флигеле; они отошли прочь, а Спивак сел рядом с Климом и вступил в беседу с ним фразами из учебника грамматики:

— Ваша мать приятный человек. Она знает музыку. Далеко ли тут кладбище? Я люблю все элегическое. У нас лучше всего кладбища. Все, что около смерти, у нас — отлично.

В паузы между его фразами вторгались голоса женщин.

— Не правда ли? — требовательно спрашивала Спивак.

— Я вам это сделаю.

— Мы кончили?

— Да.

Через несколько минут, проводив Спиваков и возвратясь в сад, Клим увидал мать все там же, под вишней, она сидела, опустив голову на грудь, закинув руки на спинку скамьи.

— Бог мой, это, кажется, не очень приятная дама! — усталым голосом сказала она. — Еврейка? Нет? Как странно, такая практичная. Торгуется, как на базаре. Впрочем, она не похожа на еврейку. Тебе не показалось, что она сообщила о Дмитрии с оттенком удовольствия? Некоторым людям очень нравится сообщать дурные вести.

Она с досадой ударила себя кулачком по колену.

— Ах, Дмитрий, Дмитрий! Теперь мне придется ехать в Петербург.

Розоватая мгла, наполнив сад, окрасила белые цветы. Запахи стали пьянее. Сгущалась тишина.

— Я пойду переоденусь, а ты подожди меня здесь. В комнатах — душно.

Клим посмотрел вслед ей неприязненно: то, что мать сказала о Спивак, злостно разноречило с его впечатлением. Но его недоверие к людям, становясь все более легко возбудимым, цепко ухватилось за слова матери, и Клим задумался, быстро пересматривая слова, жесты, улыбки приятной женщины. Ласковая тишина, настраивая лирически, не позволила найти в поведении Спивак ничего, что оправдало бы мать. Легко заиграли другие думы: переедет во флигель Елизавета, он станет ухаживать за нею и вылечится от непонятного, тягостного влечения к Лидии.

Мать возвратилась в капоте солнечного цвета, застегнутом серебряными пряжками, в мягких туфлях; она казалась чудесно помолодевшей.

— Ты не думаешь, что арест брата может отразиться и на тебе? — тихо спросила она.

— Почему?

— Жили вместе.

— Это еще не значит, что мы солидарны.

— Да, но...

Она замолчала, потирая пальцами морщинки на висках. И вдруг сказала, вздохнув:

— У этой Спивак неплохая фигура, даже беременность не портит ее.

Вздрогнув от неожиданности, Клим быстро спросил:

— Она — беременна? Она тебе сказала?

— Боже мой, я сама вижу. Ты хорошо знаком с нею?

— Нет, — сказал Клим и, сняв очки, протирая стекла, наклонил голову. Он знал, что лицо у него злое, и ему не хотелось, чтоб мать видела это. Он чувствовал себя обманутым, обокраденным. Обманывали его все: наемная Маргарита, чахоточная Нехаева, обманывает и Лидия, представляясь не той, какова она на самом деле, наконец обманула и Спивак, он уже не может думать о ней так хорошо, как думал за час перед этим.

«Какой безжалостной надобно быть, какое надо иметь холодное сердце, для того, чтобы обманывать больного мужа, — возмущенно думал Самгин. — И — мать, как бесцеремонно, грубо она вторгается в мою жизнь».

— О, боже мой! — вздохнула мать.

Клим искоса взглянул на нее. Она сидела, напряженно выпрямясь, ее сухое лицо уныло сморщилось, — это лицо старухи. Глаза широко открыты, и она закусила губы, как бы сдерживая крик боли. Клим был раздражен на нее, но какая-то частица жалости к себе самому перешла на эту женщину, он тихонько спросил:

— Тебе грустно?

Вздрогнув, она прикрыла глаза.

— В моем возрасте мало веселого. Затем, оттянув дрожащей рукой ворот капота от шеи, мать заговорила шопотом:

— Уже где-то близко тебя ждет женщина… девушка, ты ее полюбишь.

В ее шопоте Клим услышал нечто необычное, подумалось, что она, всегда гордая, сдержанная, заплачет сейчас. Он не мог представить ее плачущей.

— Не надо об этом, мама.

Она судорожно терлась щекою о его плечо и, задыхаясь в сухом кашле или неудачном смехе, шептала:

— Я не умею говорить об этом, но — надо. О великодушии, о милосердии к женщине, наконец! Да! О милосердии. Это — самое одинокое существо в мире — женщина, мать. За что? Одинока до безумия. Я не о себе только, нет…

— Хочешь, принесу воды? — спросил Клим и тотчас же понял, что это глупо. Он хотел даже обнять ее, но она откачнулась, вздрагивая, пытаясь сдержать рыдания. И все горячей, озлобленней звучал ее шопот.

— Только часы в награду за дни, ночи, годы одиночества.

«Это говорила Нехаева», — вспомнил Клим.

— Гордость, которую попирают так жестоко. Привычное — ты пойми! — привычное нежелание заглянуть в душу ласково, дружески. Я не то говорю, но об этом не скажешь…

«И — не надо! — хотелось сказать Климу. — Не надо, это унижает тебя. Это говорила мне чахоточная, уродливая девчонка».

Но его великодушию не нашлось места, мать шептала, задыхаясь:

— Надо выть. Тогда назовут истеричкой. Предложат врача, бром, воду.

Сын растерянно гладил руку матери и молчал, не находя слов утешения, продолжая думать, что напрасно она говорит все это. А она действительно истерически посмеивалась, и шопот ее был так жутко сух, как будто кожа тела ее трещала и рвалась.

— Ты должен знать: все женщины неизлечимо больны одиночеством. От этого — все непонятное вам, мужчинам, неожиданные измены и… всё! Никто из вас не ищет, не жаждет такой близости к человеку, как мы.

Чувствуя необходимость попытаться успокоить ее, Клим пробормотал:

— Знаешь, о женщинах очень своеобразно рассуждает Макаров..

— Наш эгоизм — не грех, — продолжала мать, не слушая его. — Эгоизм — от холода жизни, оттого, что все ноет: душа, тело, кости…

И вдруг, взглянув на сына, она отодвинулась от него, замолчала, глядя в зеленую сеть деревьев. А через минуту, поправляя прядь волос, спустившуюся на щеку, поднялась со скамьи и ушла, оставив сына измятым этой сценой.

«Конечно, это она потому, что стареет и ревнует», — думал он, хмурясь и глядя на часы. Мать просидела с ним не более получаса, а казалось, что прошло часа два. Было неприятно чувствовать, что за эти полчаса она что-то потеряла в глазах его. И еще раз Клим Самгин подумал, что в каждом человеке можно обнаружить простенький стерженек, на котором человек поднимает флаг своей оригинальности.

На другой день, утром, неожиданно явился Варавка, оживленный, сверкающий глазками, неприлично растрепанный. Вера Петровна с первых же слов спросила его:

— Что, эта барышня или дама наняла дачу?

— Какая барышня? — удивился Варавка.

— Знакомая Лютова?

— Не видал такой. Там — две: Лидия и Алина. И три кавалера, чорт бы их побрал!

Тяжелый, толстый Варавка был похож на чудовищно увеличенного китайского «бога нищих», уродливая фигурка этого бога стояла в гостиной на подзеркальнике, и карикатурность ее форм необъяснимо сочеталась с какой-то своеобразной красотой. Быстро и жадно, как селезень, глотая куски ветчины, Варавка бормотал:

— Туробоев — выродок. Как это? Декадент. Фин дэ сьекль и прочее. Продать не умеет. Городской дом я у него купил, перестрою под техническое училище. Продал он дешево, точно краденое. Вообще — идиот высокородного происхождения. Лютов, покупая у него землю для Алины, пытался обобрать его и обобрал бы, да — я не позволил. Я лучше сам..

— Что ты говоришь, — мягко упрекнула его Вера Петровна.

— Я — честно говорю. Надобно уметь брать. Особенно — у дураков. Вон как Сергей Витте обирает.

Варавка насытился, вздохнул, сладостно закрыв глаза, выпил стакан вина и, обмахивая салфеткой лицо, снова заговорил:

— А этот Лютов — прехитрая каналья, ты, Клим, будь осторожен…

Тут Вера Петровна, держа голову прямо и неподвижно, как слепая, сообщила ему об аресте Дмитрия. Клим нашел, что вышло это у нее неуместно и даже как будто вызывающе. Варавка поднял бороду на ладонь, посмотрел на нее и сдул с ладони.

— Это что же — наследственная тяга в тюрьму старшей линии Самгиных?

— Мне придется съездить в Петербург.

— Разумеется, — ворчливо сказал Варавка и, положив руку на плечо Клима, раскачивая его, начал убеждать:

— Шел бы ты, брат, в институт гражданских инженеров. Адвокатов у нас — излишек, а Гамбетты пока не требуются. Прокуроров — тоже, в каждой газете по двадцать пять штук. А вот архитекторов — нет, строить не умеем. Учись на архитектора. Тогда получим некоторое равновесие: один брат — строит, другой — разрушает, а мне, подрядчику, выгода!

Он расхохотался, встряхивая животом, затем предложил Климу ехать на дачу:

— Нужно, чтоб там был кто-нибудь из нас. Кажется, я возьму туда Дронова приказчиком. Ну-с, еду к нотариусу…

Проводив его, мать сказала вздыхая:

— Какая энергия, сколько ума!

— Да, — вежливо согласился Клим, но подумал: «Он швыряет меня, точно мяч».

На дачу он приехал вечером и пошел со станции обочиной соснового леса, чтоб не идти песчаной дорогой: недавно по ней провезли в село колокола, глубоко измяв ее людями и лошадьми. В тишине идти было приятно, свечи молодых сосен курились смолистым запахом, в просветах между могучими колоннами векового леса вытянулись по мреющему воздуху красные полосы солнечных лучей, кора сосен блестела, как бронза и парча.

Вдруг на опушке леса из-за небольшого бугра показался огромным мухомором красный зонтик, какого не было у Лидии и Алины, затем под зонтиком Клим увидел узкую спину женщины в желтой кофте и обнаженную, с растрепанными волосами, острую голову Лютова.

«Это — женщина, о которой спрашивает мать? Любовница Лютова? Последнее свидание?»

Он так близко подошел, что уже слышал ровный голосок женщины и короткие, глухо звучавшие вопросы Лютова. Хотел свернуть в лес, но Лютов окрикнул-

— Вижу! Не прячьтесь.

Окрик прозвучал насмешливо, а когда Клим подошел вплоть, Лютов встретил его, оскалив зубы неприятной улыбочкой.

— Почему вы думаете, что я прячусь? — сердито спросил он, сняв шляпу пред женщиной с нарочитой медленностью

— Из деликатности, — сказал Лютов. — Знакомьтесь. Женщина протянула руку с очень твердой ладонью. Лицо у нее было из тех, которые запоминаются с трудом. Пристально, фотографирующим взглядом светленьких глаз она взглянула в лицо Клима и неясно назвала фамилию, которую он тотчас забыл.

— Окажите услугу, — говорил Лютов, оглядываясь и морщась. — Она вот опоздала к поезду… Устройте ей ночевку у вас, но так, чтоб никто об этом не знал. Ее тут уж видели; она приехала нанимать дачу; но — не нужно, чтоб ее видели еще раз. Особенно этот хромой чорт, остроумный мужичок.

— Может быть, эти предосторожности излишни? — негромко спросила женщина.

— Не считаю их таковыми, — сердито сказал Лютов. Женщина улыбнулась, ковыряя песок концом зонтика. Улыбалась она своеобразно' перед тем, как разомкнуть крепко сжатые губы небольшого рта, она сжимала их еще крепче, так, что в углах рта появлялись лучистые морщинки. Улыбка казалась вынужденной, жестковатой и резко изменяла ее лицо, каких много.

— Ну-с, гуляйте, — скомандовал ей Лютов, вставая с земли, и, взяв Клима под руку, пошел к дачам.

— Вы не очень вежливы с нею, — угрюмо заметил Клим, возмущенный бесцеремонностью Лютова по отношению к нему.

— Сойдет, — пробормотал Лютов.

— Должен предупредить вас, что в Петербурге арестован мой брат…

Лютов быстро спросил:

— Народоправец?

— Марксист. Что такое — народоправец? Сняв шляпу, Лютов начал махать ею в свое покрасневшее лицо.

— Знов происходе накопление революционней силы, — передразнил кого-то. — Накопление… черти!

Самгин сердился на Лютова за то, что он вовлек его в какую-то неприятную и, кажется, опасную авантюру, и на себя сердился за то, что так легко уступил ему, но над злостью преобладало удивление и любопытство. Он молча слушал раздраженную воркотню Лютова и оглядывался через плечо свое: дама с красным зонтиком исчезла.

— Знов происходе… Эта явилась сообщить мне, что в Смоленске арестован один знакомый… Типография там у него… чорт бы драл! В Харькове аресты, в Питере, в Орле. Накопление!

Ворчал он, как Варавка на плотников, каменщиков, на служащих конторы. Клима изумлял этот странный тон и еще более изумляло знакомство Лютова с революционерами. Послушав его минуту-две, он не стерпел больше.

— Но — какое вам дело до этого, до революции?

— Правильный постанов вопроса, — отозвался Лютов, усмехаясь. — Жалею, что брага вашего сцапали, он бы, вероятно, ответил вам.

«Болван», — мысленно выругался Самгин и вытащил руку свою из-под локтя спутника, но тот, должно быть, не почувствовал этого, он шел, задумчиво опустив голову, расшвыривая ногою сосновые шишки. Клим пошел быстрее.

— Куда спешите? Там, — Лютов кивнул головою в сторону дач, — никого нет, уехали в лодке на праздник куда-то, на ярмарку.

Он снова взял Самгина под руку, а когда дошли до рассыпанной поленницы дров, скомандовал:

— Сядем.

И тотчас вполголоса, но глумливо заговорил:

— На кой дьявол нужна наша интеллигенция при таком мужике? Это все равно как деревенские избы перламутром украшать. Прекраснодушие, сердечность, романтизм и прочие пеперменты, уменье сидеть в тюрьмах, жить в гиблых местах ссылки, писать трогательные рассказы и статейки. Страстотерпцы, преподобные и тому подобные. В общем — незваные гости.

От него пахло водкой, и, говоря, он щелкал зубами, точно перекусывая нитки.

— Народовольцы, например. Да ведь это же перевод с мексиканского, это — Густав Эмар и Майн-Рид. Пистолеты стреляют мимо цели, мины — не взрываются, бомбешки рвутся из десятка одна и — не во-время.

Схватив кривое, суковатое полено, Лютов пытался поставить его на песке стоймя, это — не удавалось, полено лениво падало.

— Яснее ясного, что Русь надобно обтесывать топором, ее не завострishь перочинными ножичками. Вы как думаете?

Самгин, врасплох захваченный вопросом, ответил не сразу.

— Прошлый раз вы говорили о русском народе совершенно иначе.

— О народе я говорю всегда одно и то же: отличный народ! Бесподобный-с! Но…

С неожиданной силой он легко подбросил полено высоко в воздух и, когда оно, кувыркаясь, падало к его ногам, схватил, воткнул в песок.

— Из этой штуки можно сделать много различных вещей. Художник вырежет из

нее и чорта и ангела. А, как видите, почтенное полено это уже загнило, лежа здесь. Но его еще можно сжечь в печи. Гниение — бесполезно и постыдно, горение дает некоторое количество тепла. Понятна аллегория? Я — за то, чтоб одарить жизнь теплом и светом, чтоб раскалить ее.

«Врешь», — подумал Клим.

Он сидел на аршин выше Лютова и видел изломанное, разобщенное лицо его не выпуклым, а вогнутым, как тарелка, — нечистая тарелка. Тени лап невысокой сосны дрожали на лице, и, точно два ореха, катались на нем косые глаза. Шевелился нос, раздувались ноздри, шлепали резиновые губы, обнажая злой верхний ряд зубов, показывая кончик языка, прыгал острый, небритый кадык, а около ушей вертелись костяные шарики. Лютов размахивал руками, пальцы правой руки мелькали, точно пальцы глухонемого, он весь дергался, как марионетка на ниточках, и смотреть на него было противно. Он возбуждал в Самгине тоскливую злость, чувство протеста.

«А что, если я скажу, что он актер, фокусник, сумасшедший и все речи его — болезненная, лживая болтовня? Но — чего ради, для кого играет и лжет этот человек, богатый, влюбленный и, в близком будущем, — муж красавицы?»

— Представьте себе, — слышал Клим голос, пьяный от возбуждения, — представьте, что из сотни миллионов мозгов и сердец русских десять, ну, пять! — будут работать со всей мощью энергии, в них заключенной?

— Да, конечно, — сказал Клим нехотя.

Темное небо уже кипело звездами, воздух был напоен сыроватым теплом, казалось, что лес тает и растекается масляным паром. Ощутимо падала роса. В густой темноте за рекою вспыхнул желтый огонек, быстро разгорелся в костер и осветил маленькую, белую фигурку человека. Мерный плеск воды нарушал безмолвие.

— Наши едут, — заметил Клим.

Лютов долго молчал, прежде чем ответил:

— Пора.

И встал, присматриваясь к чему-то.

— Мужичонко шляется. Я его задержу, а вы идите, устройте эту…

Самгин пошел к даче, слушая, как весело и бойко звучит голос Лютова.

— Ты и в лесу сомов ловишь?

— Смеетесь, господин, а он был, сом!

— Был?

— А — как же?

— Где?

— Где ж ему быть, как не в реке?

— В этой?

— А — что? Река достойная.

«Актер», — думал Клим, прислушиваясь.

— Вы, господин, в женском не нуждаетесь? Тут — солдатка…

— Вроде сома?

— Очень тоскует…

«Варавка — прав, это — опасный человек», — решил Самгин.

Дома, распорядясь, чтоб прислуга подала ужин и ложилась спать, Самгин вышел на террасу, посмотрел на реку, на золотые пятна света из окон дачи Телепневой. Хотелось пойти туда, а — нельзя, покуда не придет таинственная дама или барышня.

«У меня нет воли. Нужно было отказать ему». Ожидая шороха шагов по песку и хвое, Клим пытался представить, как беседует Лидия с Туробоевым, Макаровым. Лютов, должно быть, прошел туда. Далеко где-то гудел гром. Доплыли разорванные звуки пианино. В облаках, за рекою, пряталась луна, изредка освещая луга мутноватым светом. Клим Самгин, прождав нежеланную гостью до полуночи, с треском закрыл дверь и лег спать, озлобленно думая, что Лютов, может быть, не пошел к невесте, а приятно проводит время в лесу с этой не умеющей улыбаться женщиной. И может быть, он все это выдумал — о каких-то «народоправцах», о типографии, арестах.

«Всё — гораздо проще: это было последнее свидание». С этим он и уснул, а утром его разбудил свист ветра, сухо шумели сосны за окном, тревожно шелестели березы;

на синеватом полотнище реки узорно курчавились маленькие волнишки. Из-за реки плыла густосиняя туча, ветер обрывал ее край, пышные клочья быстро неслись над рекою, поглаживая ее дымными тенями. В купальне кричала Алина. Когда Самгин вымылся, оделся и сел к столу завтракать — вдруг хлынул ливень, а через минуту вошел Макаров, стряхивая с волос капли дождя.

— Где же Владимир? — озабоченно спросил он. — Спать он не ложился, постель не смята.

Усмехаясь, Клим подбирал слова поострее, хотелось сказать о Лютове что-то очень злое, но он не успел сделать этого — вбежала Алина.

— Клим, скорее — кофе!

Мокрое платье так прилипло к ее телу, что она была точно голая; она брызгала водою, отжимая волосы, и кричала:

— Сумасшедшая Лидка бросилась ко мне за платьем, и ее убьет громом…

— Лютов был у вас вечером? — угрюмо спросил Макаров.

Стоя перед зеркалом, Алина развела руками.

— Ну, вот! Жених — пропал, а у меня будет насморк и бронхит. Клим, не смей смотреть на меня бесстыжими глазами!

— Вчера хромой приглашал Лютова на мельницу, — сказал Клим девушке, — она уже сидела у стола, торопливо отхлебывая кофе, обжигаясь и шипя, а Макаров, поставив недопитый стакан, подошел к двери на террасу и, стоя там, тихонько засвистал.

— Я простужусь? — серьезно спросила Алина. Вошел Туробоев, окинул ее измеряющим взглядом, исчез, снова явился и, набросив на плечи ее пыльник свой, сказал:

— Хороший дождь, на урожай. Сверкали молнии, бил гром, звенели стекла в окнах, а за рекою уже светлело.

— Пойду на мельницу, — пробормотал Макаров.

— Вот это — друг! — воскликнула Алина, а Клим спросил:

— Потому что не боится схватить насморк?

— Хотя бы поэтому.

Пальто сползало с плеч девушки, обнажая ее бюст, туго обтянутый влажным батистом блузы, это не смущало ее, но Туробоев снова прикрывал красиво выточенные плечи, и Самгин видел, что это нравится ей, она весело жмурилась, поводя плечами, и просила:

— Оставьте, мне жарко.

«Я бы не посмел так, как этот франт», — завистливо подумал Самгин и вызывающим тоном спросил Туробоева:

— Вам нравится Лютов?

Он заметил, что щека Туробоева вздрогнула, как бы укушенная мухой; вынимая портсигар, он ответил очень вежливо:

— Интересный человек.

— Я нахожу интересных людей наименее искренними, — заговорил Клим, вдруг почувствовав, что теряет власть над собою. — Интересные люди похожи на индейцев в боевом наряде, раскрашены, в перьях. Мне всегда хочется умыть их и выщипать перья, чтоб под накожной раскраской увидать человека таким, каков он есть на самом деле.

Алина подошла к зеркалу и сказала, вздохнув:

— Ой, какое чучело!

Туробоев, раскуривая папиросу, смотрел на Клима вопросительно, и Самгин подумал, что раскуривает он так медленно, тщательно потому, что не хочет говорить.

— Послушай, Клим, — сказала Алина. — Ты мог бы сегодня воздержаться от премудрости? День уже и без тебя испорчен.

Сказала она это таким наивно умоляющим тоном, что Туробоев тихонько засмеялся. Но это обидело ее; быстро обернувшись к Туробоеву, она нахмурилась.

— Почему вы смеетесь? Ведь Клим сказал правду, только я не хочу слушать.

И, грозя пальцем, продолжала:

— Ведь вы тоже, наверное, любите это — боевой наряд, перья?

— Грешен, — сказал Туробоев, наклонив голову. — Видите ли, Самгин, далеко не всегда удобно и почти всегда бесполезно платить людям честной медью. Да и — так ли уж честна эта медь правды? Существует старинный обычай: перед тем, как отлить колокол, призывающий нас в дом божий, распространяют какую-нибудь выдумку, ложь, от этого медь будто бы становится звучней.

— Итак, вы защищаете ложь? — строго спросил Самгин.

Туробоев пожал плечами.

— Не совсем так, но…

— Алина, иди, переоденься, — крикнула Лидия, появляясь в дверях. В пестром платье, в чалме из полотенца, она была похожа на черкешенку-одалиску с какой-то картины.

Напевая, Алина ушла, а Клим встал и открыл дверь на террасу, волна свежести и солнечного света хлынула в комнату. Мягкий, но иронический тон Туробоева воскресил в нем не однажды испытанное чувство острой неприязни к этому человеку с эспаньолкой, каких никто не носит. Самгин понимал, что не в силах спорить с ним, но хотел оставить последнее слово за собою. Глядя в окно, он сказал:

— Свифт, Вольтер и еще многие не боялись правды.

— Современный немец-социалист, например, — Бебель, еще храбрее. Мне кажется, вы плохо разбираетесь в вопросе о простоте. Есть простота Франциска Ассизского, деревенской бабы и негра Центральной Африки. И простота анархиста Нечаева, неприемлемая для Бебеля.

Клим вышел на террасу. Подсыхая на жарком солнце, доски пола дымились под его ногами, он чувствовал, что и в голове его дымится злость.

— Вы сами говорили о павлиньих перьях разума, — помните? — спросил он, стоя спиной к Туробоеву, и услыхал тихий ответ:

— Это — не то.

Туробоев взмахнул руками, закинул их за шею и так сжал пальцы, что они хрустнули. Потом, вытянув ноги, он как-то бессильно съехал со стула. Клим отвернулся. Но через минуту, взглянув в комнату, он увидел, что бледное лицо Туробоева неестественно изменилось, стало шире, он, должно быть, крепко сжал челюсти, а губы его болезненно кривились. Высоко подняв брови, он смотрел в потолок, и Клим впервые видел его красивые, холодные глаза так угрюмо покорными. Как будто над этим человеком наклонился враг, с которым он не находил сил бороться и который сейчас нанесет ему сокрушающий удар. На террасу взошел Макаров, сердито говоря:

— Володька, оказывается, пил всю ночь с хромым и теперь спит, как мертвый.

Клим показал ему глазами на Туробоева, но тот встал и ушел, сутулясь, как старик.

— Он болен, — сказал Клим тихо и не без злорадства, но Макаров, не взглянув на Туробоева, попросил:

— Ты не говори Алине.

Самгин был рад случаю израсходовать злость.

— Это ты должен сказать ей. Извини, но твоя роль в этом романе кажется мне странной.

Говорил он стоя спиною к Макарову, так было удобней.

— Не понимаю, что связывает тебя с этим пьяницей. Это пустой человек, в котором скользят противоречивые, чужие слова и мысли. Он такой же выродок, как Туробоев.

Говорил он долго, и ему нравилось, что слова его звучат спокойно, твердо. Взглянув через плечо на товарища, он увидал, что Макаров сидит заложив ногу на ногу, в зубах его, по обыкновению, дымится папироса. Он разломал коробку из-под спичек, уложил обломки в пепельницу, поджег их и, подкладывая в маленький костер спички, внимательно наблюдает, как они вспыхивают.

А когда Клим замолчал, он сказал, не отрывая глаз от огня:

— Быть моралистом — просто.

Костер погас, дымились недогоревшие спички. Поджечь их было уж нечем. Макаров почерпнул чайной ложкой кофе из стакана и, с явным сожалением, залил

остатки костра.

— Вот что, Клим: Алина не глупее меня. Я не играю никакой роли в ее романе. Лютова я люблю. Туробоев нравится мне. И, наконец, я не желаю, чтоб мое отношение к людям корректировалось тобою или кем-нибудь другим.

Макаров говорил не обидно, каким-то очень убедительным тоном, а Клим смотрел на него с удивлением: товарищ вдруг явился не тем человеком, каким Самгин знал его до этой минуты. Несколько дней тому назад Елизавета Спивак тоже встала пред ним как новый человек. Что это значит? Макаров был для него человеком, который сконфужен неудачным покушением на самоубийство, скромным студентом, который усердно учится, и смешным юношей, который все еще боится женщин.

— Не сердись, — сказал Макаров, уходя и споткнувшись о ножку стула, а Клим, глядя за реку, углубленно догадывался: что значат эти все чаще наблюдаемые изменения людей? Он довольно скоро нашел ответ, простой и ясный: люди пробуют различные маски, чтоб найти одну, наиболее удобную и выгодную. Они колеблются, мечутся, спорят друг с другом именно в поисках этих масок, в стремлении скрыть свою бесцветность, пустоту.

Когда на террасу вышли девушки, Клим встретил их благосклонной улыбкой.

— Видишь, Лида, — говорила Алина, толкая подругу. — Он — цел. А ты упрекала меня в черством сердце. Нет, омут не для него, это для меня, это он меня загонит в омут премудрости. Макаров — идемте! Пора учиться…

— Какая она… несокрушимая, — тихо сказала Лидия, провожая подругу и Макарова задумчивым взглядом. — А ей ведь трудно живется.

Лидия сидела на подоконнике открытого окна спиною в комнату, лицом на террасу; она была, как в раме, в белых косяках окна. Цыганские волосы ее распущены, осыпают щеки, плечи и руки, сложенные на груди. Из-под яркопестрой юбки видны ее голые ноги, очень смуглые. Покусывая губы, она говорила:

— Лютов очень трудный. Он точно бежит от чего-то; так, знаешь, бегом живет. Он и вокруг Алины все как-то бегает.

— Он всю ночь пьянствовал на мельнице и теперь спит там, — строго отчеканил Клим.

Внимательно взглянув на него, Лидия спросила:

— Почему ты сердишься? Он — пьет, но ведь это его несчастье. Знаешь, мне кажется, что мы все несчастные, и — непоправимо. Я особенно чувствую это, когда вокруг меня много людей.

Постукивая пятками по стене, она улыбнулась:

— Вчера, на ярмарке, Лютов читал мужикам стихи Некрасова, он удивительно читает, не так красиво, как Алина, но — замечательно! Слушали его очень серьезно, но потом лысенький старичок спросил: «А плясать — умеешь? Я, говорит, думал, что вы комедианты из театров». Макаров сказал: «Нет, мы просто — люди». — «Как же это так — просто? Просто людей — не бывает».

— Неглупый мужик, — заметил Самгин.

— Он сказал: не быват. Зачем они укорачивают слова? Не быват, бат — вместо бает, гляит — вместо глядит?

Клим не ответил. Он слушал, не думая о том, что говорит девушка, и подчинялся грустному чувству. Ее слова «мы все несчастны» мягко толкнули его, заставив

вспомнить, что он тоже несчастен — одинок и никто не хочет понять его.

— А вечером и ночью, когда ехали домой, вспоминали детство…

— Ты и Туробоев?

— Да. И Алина. Все. Ужасные вещи рассказывал Константин о своей матери. И о себе, маленьком. Так странно было: каждый вспоминал о себе, точно о чужом. Сколько ненужного переживают люди!

Говорила она тихо, смотрела на Клима ласково, и ему показалось, что темные глаза девушки ожидают чего-то, о чем-то спрашивают. Он вдруг ощутил прилив незнакомого ему, сладостного чувства самозабвения, припал на колено, обнял ноги девушки, крепко прижался лицом.

— Не смей! — строго крикнула Лидия, упираясь ладонью в голову его, отталкивая.

Клим Самгин сказал громко и очень просто:

— Я тебя люблю.

Соскочив с подоконника, она разорвала кольцо его рук, толкнула коленями в грудь так сильно, что он едва не опрокинулся.

— Честное слово, Лида.

Она возмущенно отошла в сторону.

— Это — потому, что я почти нагая. Остановясь на ступени террасы, она огорченно воскликнула:

— Как тебе не стыдно! Я была…

Не договорив, она сбежала с лестницы.

Клим прислонился к стене, изумленный кротостью, которая внезапно явилась и бросила его к ногам девушки. Он никогда не испытывал ничего подобного той радости, которая наполняла его в эти минуты. Он даже боялся, что заплачет от радости и гордости, что вот, наконец, он открыл в себе чувство удивительно сильное и, вероятно, свойственное только ему, недоступное другим.

Он весь день прожил под впечатлением своего открытия, бродя по лесу, не желая никого видеть, и все время видел себя на коленях пред Лидией, обнимал ее горячие ноги, чувствовал атлас их кожи на губах, на щеках своих и слышал свой голос: «Я тебя люблю».

«Как хорошо, просто сказал я. И, наверное, хорошее лицо было у меня».

Он думал только о себе в эту необыкновенную минуту, думал так напряженно, как будто боялся забыть мотив песни, которую слышал впервые и которая очень тронула его.

Лидию он встретил на другой день утром, она шла в купальню, а он, выкупавшись, возвращался на дачу. Девушка вдруг встала пред ним, точно опустилась из воздуха. Обменявшись несколькими фразами о жарком утре, о температуре воды, она спросила:

— Ты — обиделся?

— Нет, — искренно ответил Клим.

— Не надо обижаться. Ведь этим не играют, — сказала Лидия тихо.

— Я знаю, — заявил он так же искренно. Ее ласковый тон не удивил, не обрадовал

его — она должна была сказать что-нибудь такое, могла бы сказать и более милое. Думая о ней, Клим уверенно чувствовал, что теперь, если он будет настойчив, Лидия уступит ему. Но — торопиться не следует. Нужно подождать, когда она почувствует и достойно оценит то необыкновенное, что возникло в нем.

Подошел Макаров, ночевавший с Лютовым на мельнице, спросил, не пойдет ли Клим в село, там будут поднимать колокол.

— Разумеется, иду! — весело ответил Самгин и через полчаса шагал берегом реки, под ярким солнцем. Солнце и простенькое, из деревенского полотна платье вызывающе подчеркивали бесстыдную красоту мастерски отлитого тела Алины. Идя в ногу с Туробоевым, она и Макаров пели дуэт из «Маскотты», Туробоев подсказывал им слова. Лютов вел под руку Лидию, нашептывая ей что-то смешное. Клим Самгин чувствовал себя человеком более зрелым, чем пятеро впереди его, но несколько отягченным своей обособленностью. Он думал, что хорошо бы взять Лидию под руку, как это успел Лютов, взять и, прижавшись плечом к плечу ее, идти, закрыв глаза. Глядя, как покачивается тонкая фигура Лидии, окутанная батистом жемчужного цвета, он недоумевал, не ощущая ничего похожего на те чувствования, о которых читал у художников слова.

«Я — не романтик», — напомнил он себе. Его несколько тревожила сложность настроения, возбуждаемого девушкой сегодня и не согласного с тем, что он испытал вчера. Вчера — и даже час тому назад — у него не было сознания зависимости от нее и не было каких-то неясных надежд. Особенно смущали именно эти надежды. Конечно, Лидия будет его женою, конечно, ее любовь не может быть похожа на истерические судороги Нехаевой, в этом он был уверен. Но, кроме этого, в нем бродили еще какие-то неопределимые словами ожидания, желания, запросы.

«Она вызвала это, она и удовлетворит», — успокаивал он себя.

Входя в село, расположенное дугою по изгибу высокого и крутого берега реки, он додумался:

«Не следует быть аналитиком».

Солнечная улица села тесно набита пестрой толпой сельчан и мужиков из окрестных деревень. Мужики стояли молча, обнажив лысые, лохматые и жирно смазанные маслом головы, а под разноцветно ситцевыми головами баб невидимым дымом вздымался тихонько рыдающий шепоток молитв. Казалось, что именно это стоголосое, приглушенное рыдание на о, смешанное с терпким запахом дегтя, пота и преющей на солнце соломы крыш, нагревая воздух, превращает его в невидимый глазу пар, в туман, которым трудно дышать. Люди поднимались на носки, вытягивали шеи, головы их качались, поднимаясь и опускаясь. Две-три сотни широко раскрытых глаз были устремлены все в одном направлении — на синюю луковицу неуклюже сложенной колокольни с пустыми ушами, сквозь которые просвечивал кусок дальнего неба. Климу показалось, что этот кусок и синее и ярче неба, изогнутого над селом. Тихий гул толпы, сгущаясь, заражал напряженным ожиданием взрыва громовых криков.

Туробоев шел впереди, протискиваясь сквозь непрочную плоть толпы, за ним, гуськом, продвигались остальные, и чем ближе была мясная масса колокольни, тем глуше становился жалобный шумок бабьих молитв, слышнее внушительные голоса духовенства, служившего молебен. В центре небольшого круга, созданного из пестрых фигур людей, как бы вкопанных в землю, в изрытый, вытоптанный дерн, стоял на толстых слегах двухсотпудовый колокол, а перед ним еще три, один другого меньше. Большой колокол напомнил Климу Голову богатыря из «Руслана», а сутулый попик, в светлой пасхальной рясе, седовласый, с бронзовым лицом, был похож на волшебника Финна. Попик плыл вокруг колоколов, распевая ясным тенорком, и кропил медь святой водой; три связки толстых веревок лежали на земле, поп запнулся за одну из них, сердито взмахнул кропилом и обрызгал веревки радужным бисером.

Туробоев присел ко крыльцу церковно-приходской школы, только что выстроенной, еще без рам в окнах. На ступенях крыльца копошилась, кричала и плакала куча детей, двух- и трехлеток, управляла этой живой кучей грязненьких, золотушных тел сероглазая, горбатенькая девочка-подросток, управляла, негромко покрикивая, действуя руками и ногами. На верхней ступени, широко расставив синие ноги в огромных узлах вен, дышала со свистом слепая старуха, с багровым, раздутым лицом.

— Ты их, Гашка, прутом, прутом, — советовала она, мотая тяжелой головой. В сизых, незрячих глазах ее солнце отражалось, точно в осколках пивной бутылки. Из двери школы вышел урядник, отирая ладонью седоватые усы и аккуратно подстриженную бороду, зорким взглядом рыжих глаз осмотрел дачников, увидав Туробоева, быстро поднял руку к новенькой фуражке и строго приказал кому-то за спиною его:

— Сгони ребят.

— Не надо.

— Никак невозможно, Игорь Александрович, они постройку пачкают…

— Я сказал: — не надо, — тихо напомнил Туробоев, взглянув в его лицо, измятое обильными морщинами.

Урядник вытянулся, выгнул грудь так, что брякнули медали, и, отдавая честь, повторил, как эхо:

— Не надо.

Он сошел по ступеням, перешагивая через детей, а в двери стоял хромой с мельницы, улыбаясь до ушей:

— Здравствуйте.

— Понимаете? — шепнул Лютов Климу, подмигивая на хромого.

Клим ничего не понял. Он и девицы прикованно смотрели, как горбатенькая торопливо и ловко стаскивала со ступенек детей, хватая их цепкими лапками хищной птицы, почти бросала полуголые тела на землю, усеянную мелкой щепой.

— Оставь! — крикнула Алина, топнув ногой. — Они исцарапаются щепками!

— О, богородица дево-о! — задыхаясь, высвистывала слепая. — Гашка — какие это тут пришли?

И, ошаривая вокруг себя дрожащими руками:

— Чей голосок-от? Псовка, куда посох девала? Не слушая ни Алину, ни ее, горбатенькая все таскала детей, как собака щенят. Лидия, вздрогнув, отвернулась в сторону, Алина и Макаров стали снова сажать ребятишек на ступени, но девочка, смело взглянув на них умненькими глазами, крикнула:

— Да — что вы озорничаете? Не ваши детеныши-то! И снова начала стаскивать детей со ступенек, а хромой, восхищаясь, бормотал:

— Ты гляди, кака упряма уродинка, а? Окрик девочки смутил Макарова, он усмехнулся, сказав Алине:

— Оставьте…

Самгину показалось, что и все смущены горбатенькой, все как будто притихли пред нею. Лютов говорил что-то Лидии утешающим тоном. Туробоев, сняв перчатку, закуривал папиросу, Алина дергала его за рукав, гневно спрашивая:

— Как это можно?

Он ласково улыбался в лицо ей.

Два парня в новых рубахах, сшитых как будто из розовой жести, похожие друг на друга, как два барана, остановились у крыльца, один из них посмотрел на дачников, подошел к слепой, взял ее за руку и сказал непреклонно:

— Бабка Анфиса, очисть место госполам.

— О, осподи! Подымают ли?

— Сейчас будут. Шагай.

— Дожила, слава те… Матушка…

— Точно мы заразные, — бунтовала Алина. Лютов увлеченно допрашивал хромого:

— А — какой же ты веры?

Усмехаясь в растрепанную бороду, хромой качал головой.

— Не-ет, наша вера другая.

— Христианская?

— Обязательно. Только — строже.

— Так ты, чорт, скажи: в чем строже? Хромой тяжко вздохнул:

— Этого сказать нельзя. Это только одноверу можно сказать. Колокола мы признаем и всю церковность; а все-таки…

Клим Самгин смотрел, слушал и чувствовал, что в нем нарастает негодование, как будто его нарочно привели сюда, чтоб наполнить голову тяжелой и отравляющей мутью. Все вокруг было непримиримо чуждо, но, заталкивая в какой-то темный угол, насиловало, заставляя думать о горбатой девочке, о словах Алины и вопросе слепой старухи:

«Какие это пришли?»

В голове еще шумел молитвенный шопот баб, мешая думать, но не мешая помнить обо всем, что он видел и слышал. Молебен кончился. Уродливо длинный и тонкий седобородый старик с желтым лицом и безволосой головой в форме тыквы, сбросив с плеч своих поддевку, трижды перекрестился, глядя в небо, встал на колени перед колоколом и, троекратно облобызав край, пошел на коленях вокруг него, крестясь и прикладываясь к изображениям святых.

— Вон как! — одобрительно сказал хромой. — Это — Панов, Василь Васильич, он и есть благодетель селу. Знаменито стекло льет, пивные бутылки на всю губерню.

На площади стало потише. Все внимательно следили за Пановым, а он ползал по земле и целовал край колокола. Он и на коленях был высок.

Кто-то крикнул:

— Народ! Делись натрое! Другой голос спросил:

— А где кузнец?

Панов встал на ноги, помолчал, оглядывая людей, и сказал басом:

— Начинайте, православные!

Толпа, покрикивая, медленно разорвалась на три части: две отходили по косой

вправо и влево от колокольни, третья двигалась по прямой линии от нее, все три бережно, как нити жемчуга, несли веревки и казались нанизанными на них. Веревки тянулись от ушей большого колокола, а он как будто не отпускал их, натягивая все туже.

— Стой! Стойте!

— Вот он!

— Нуко-сь, Николай Павлыч, послужи богу-то, — громко сказал Панов.

К нему медленно подошел на кривых ногах широкоплечий, коренастый мужик в кожаном переднике. Рыжие волосы на голове его стояли дыбом, клочковатая борода засунута за ворот пестрядинной рубахи. Черными руками он закатал рукава по локти и, перекрестясь на церковь, поклонился колоколам не сгибаясь, а точно падая грудью на землю, закинув длинные руки свои назад, вытянув их для равновесия. Потом он так же поклонился народу на все четыре стороны, снял передник, тщательно сложил его и сунул в руки большой бабе в красной кофте. Все это он делал молча, медленно, и все выходило у него торжественно.

Ему протянули несколько шапок, он взял две из них, положил их на голову себе близко ко лбу и, придерживая рукой, припал на колено. Пятеро мужиков, подняв с земли небольшой колокол, накрыли им голову кузнеца так, что края легли ему на шапки и на плечи, куда баба положила свернутый передник. Кузнец закачался, отрывая колено от земли, встал и тиха, широкими шагами пошел ко входу на колокольню, пятеро мужиков провожали его, идя попарно.

— Попер, идол! — завистливо сказал хромой и вздохнул, почесывая подбородок. — А колокольчик-то этот около, слышь, семнадцати пудов, да — в лестницу нести. Тут, в округе, против этого кузнеца никого нет. Он всех бьет. Пробовали и еге, — его, конечно, массыей народа надобно бить — однакож и это не вышло.

На площади становилось все тише, напряженней. Все головы поднялись вверх, глаза ожидающе смотрели в полукруглое ухо колокольни, откуда были наклонно высунуты три толстые балки с блоками в них и, проходя через блоки, спускались к земле веревки, привязанные к ушам колокола.

Урядник подошел к большому колоколу, похлопал его ладонью, как хлопают лошадь, снял фуражку, другой ладонью прикрыл глаза и тоже стал смотреть вверх.

Все тише, напряженней становилось вокруг, даже ребятишки перестали суетиться и, задрав головы, вросли в землю.

Вот в синем ухе колокольни зашевелилось что-то бесформенное, из него вылетела шапка, потом — другая, вылетел комом свернутый передник, — люди на земле судорожно встряхнулись, завыли, заорали; мячами запрыгали мальчишки, а лысый мужичок с седыми усами прорезал весь шум тонким визгом:

— Миколай Павлыч, кум! Анператор…

Урядник надел фуражку, поправил медали на груди и ударил мужика по лысому затылку. Мужик отскочил, побежал, остановясь, погладил голову свою и горестно сказал, глядя на крыльцо школы:

— И пошутить не велят…

Сошел с колокольни кузнец, покрестился длинной рукой на церковь. Панов, согнув тело свое прямым углом, обнял его, поцеловал:

— Богатырь! И закричал:

— Православные! Берись дружно! С богом! Три кучи людей, нанизанных на веревки, зашевелились, закачались, упираясь ногами в землю, опрокидываясь

назад, как рыбаки, влекущие сеть, три серых струны натянулись в воздухе; колокол тоже пошевелился, качнулся нерешительно и неохотно отстал от земли.

— Ровнее, ровней, боговы дети! — кричал делатель пивных бутылок грудным голосом восторженно и тревожно.

Тускло поблескивая на солнце, тяжелый, медный колпак медленно всплывал на воздух, и люди — зрители, глядя на него, выпрямлялись тоже, как бы желая оторваться от земли. Это заметила Лидия.

— Смотрите, как тянутся все, точно растут, — тихо сказала она; Макаров согласился:

— Да, меня тоже поднимает... «Врешь», — подумал Клим Самгин. На площади было не очень шумно, только ребятишки покрикивали и плакали грудные младенцы.

— Ровнее, православные! — трубил Панов, а урядник повторял не так оглушительно, но очень строго:

— Ровнее, эй, правые!

Три группы людей, поднимавших колокол, охали, вздыхали и рычали. Повизгивал блок, и что-то тихонько трещало на колокольне, но казалось, что все звуки гаснут и вот сейчас наступит торжественная тишина. Клим почему-то не хотел этого, находя, что тут было бы уместно языческое ликование, буйные крики и даже что-нибудь смешное.

Он видел, что Лидия смотрит не на колокол, а на площадь, на людей, она прикусила губу и сердито хмурится. В глазах Алины — детское любопытство. Туробоеву — скучно, он стоит, наклонив голову, тихонько сдувая пепел папиросы с рукава, а у Макарова лицо глупое, каким оно всегда бывает, когда Макаров задумывается. Лютов вытягивает шею вбок, шея у него длинная, жилистая, кожа ее шероховата, как шагрень. Он склонил голову к плечу, чтоб направить непослушные глаза на одну точку.

Вдруг, на высоте двух третей колокольни, колокол вздрогнул, в воздухе, со свистом, фигурно извилась лопнувшая веревка, левая группа людей пошатнулась, задние кучно упали, раздался одинокий, истерический вой:

— Ба-атюшки-и...

Колокол качался, лениво бил краем по кирпичу колокольни, сыпалась дресва, пыль известки. Самгин учащенно мигал, ему казалось, что он слепнет от этой пыли. Топая ногами, отчаянно визжала Алина.

— Эх, черти, — пробормотал Лютов и чмокнул.

— Держи, православные! — ревел Панов и, отпрыгивая, размахивал руками.

Кривоногий кузнец забежал в тыл той группы, которая тянула прямо от колокольни, и стал обматывать конец веревки вокруг толстого ствола ветлы, у корня ее; ему помогал парень в розовой рубахе. Веревка, натягиваясь все туже, дрожала, как струна, люди отскакивали от нее, кузнец рычал:

— Держи! Убью!

Клим прикрыл глаза, ожидая, когда колокол грохнет о землю, слушая, как ревут, визжат люди, рычит кузнец и трубит Панов.

— Связывай!

— Не бойсь, православные! Тихо-о! Дружно-о! По-ше-ол!

Колокол снова, почти незаметно, поплыл вверх, из окна колокольни высунулись

головы мужиков.

— Домой, — резко сказала Лидия. Лицо у нее было серое, в глазах — ужас и отвращение. Где-то в коридоре школы громко всхлипывала Алина и бормотал Лютов, воющие причитания двух баб доносились с площади. Клим Самгин догадался, что какая-то минута "исчезла из его жизни, ничем не обременив сознание.

Хромой, сойдя с крыльца, держал за плечо испуганного подростка и допрашивал:

— Что ж он — жив?

— Я не знаю. Пусти, дядя Михаиле…

— Идиёт. Видишь, а не понимаешь…

Под ветлой стоял Туробоев, внушая что-то уряднику, держа белый палец у его носа. По площади спешно шагал к ветле священник с крестом в руках, крест сиял, таял, освещая темное, сухое лицо. Вокруг ветлы собрались плотным кругом бабы, урядник начал расталкивать их, когда подошел поп, — Самгин увидал под ветлой парня в розовой рубахе и Макарова на коленях перед ним.

— Как это случилось? — тихо спросил Клим, оглядываясь. Лидии уже не было на крыльце.

Она вышла из школы, ведя под руку Алину, сзади их морщилось лицо Лютова. Всхлипывая, Алина говорила:

— Мне так не хотелось идти сюда, а вы… По улице села шли быстро, не оглядываясь, за околицей догнали хромого, он тотчас же, с уверенностью очевидца, стал рассказывать:

— Ему веревкой шею захлестнуло, ну, позвоночки и хряскнули…

Лютов, показав хромому кулак, шепнул:

— Молчи.

Вопросительно взглянув па него, на Клима, хромой продолжал:

— А может, кузнец пошутил, нарочно веревку-то накинул… Может, и ошибся… Всякое бывает.

Лютов, придерживая его за рукав, пошел тише, но и девушки, выйдя на берег реки, замедлили шаг. Тогда Лютов снова стал расспрашивать хромого о вере.

Невидимые сверчки трещали так громко, что казалось — это трещит высушенное солнцем небо. Клим Самгин чувствовал себя проснувшимся после тяжелого сновидения, усталым и равнодушным ко всему. Впереди его качался хромой, поучительно говоря Лютову:

— Например — наша вера рукотворенного не принимат. Спасов образ, который нерукотворенный, — принимам, а прочее — не можем. Спасов-то образ — из чего? Он — из пота, из крови Христовой. Когда Исус Христос на Волхову гору крест нес, тут ему неверный Фома-апостол рушничком личико и обтер, — удостоверить себя хотел:

Христос ли? Личико на полотне и осталось — он! А вся прочая икона, это — фальшь, вроде бы как фотография ваша…

Лютов сдержанно повизгивал:

— Погоди, почему моя фотография — фальшь?

— Так ведь как же? Чья, как не ваша? Мужик — что делает? Чашки, ложки, сани и всякое такое, а вы — фотографию, машинку швейную…

— Ага, вот что?..

В смехе Лютова Клим слышал сладостный визг, который испускает набалованная собачка, когда ей чешут за ушами.

— Хлеб, скажем, он тоже нерукотворный, его бог, земля родит.

— А чем тесто месят?

— Это — дело бабье. Баба — от бога далеко, она ему — второй сорт. Не ее первую-то бог сотворил…

Лидия взглянула через плечо на хромого и пошла быстрее, а Клим думал о Лютове:

«Очень скучно ему, если он развлекается такими глупостями».

— Откуда это ты взял? Откуда? Ведь не сам выдумал, нет? — оживленно, настойчиво, с непонятной радостью допрашивал Лютов, и снова размеренно, солидно говорил хромой:

— Не сам, это — правильно; все друг у друга разуму учимся. В прошлом годе жил тут объясняющий господин… Клим подумал:

«Объясняющий господин? Очень хорошо!»

— Так он, бывало, вечерами, по праздникам, беседы вел с окрестными людями. Крепкого ума человек! Он прямо говорил: где корень и происхождение? Это, говорит, народ, и для него, говорит, все средства…

— Ты его в поминание записать должен. Записал?

— Шутите. Мы и своих-то покойников забываем поминать.

— А он — помер?

— Этого не знаю…

Придя домой, Самгин лег. Побаливала голова, ни о чем не думалось, и не было никаких желаний, кроме одного: скорее бы погас этот душный, глупый день, стерлись нелепые впечатления, которыми он наградил. Одолевала тяжелая дремота, но не спалось, в висках стучали молоточки, в памяти слуха тяжело сгустились все голоса дня: бабий шепоток и вздохи, командующие крики, пугливый вой, надсмертные причитания. Горбатенькая девочка возмущенно спрашивала:

«Да — что вы озорничаете?»

Уже темнело, когда пришли Туробоев, Лютов и сели на террасе, продолжая беседу, видимо, начатую давно. Самгин лежал и слушал перебой двух голосов. Было странно слышать, что Лютов говорит без выкриков и визгов, характерных для него, а Туробоев — без иронии. Позванивали чайные ложки о стекло, горячо шипела вода, изливаясь из крана самовара, и это напомнило Климу детство, зимние вечера, когда, бывало, он засыпал пред чаем и его будил именно этот звон металла о стекло.

На террасе говорили о славянофилах и Данилевском, о Герцене и Лаврове. Клим Самгин знал этих писателей, их идеи были в одинаковой степени чужды ему. Он находил, что, в сущности, все они рассматривают личность только как материал истории, для всех человек является Исааком, обреченным на заклание.

«Нужно иметь какие-то особенные головы и сердца, чтоб признавать необходимость приношения человека в жертву неведомому богу будущего», —

думал он, чутко вслушиваясь в спокойную речь, неторопливые слова Туробоева:

— Среди господствующих идей нет ни одной, приемлемой для меня…

Быстро забормотал Лютов, сначала невозможно было разобрать, что он говорит, но затем выделились слова:

— У народников сильное преимущество: деревня здоровее и практичнее города, она может выдвинуть более стойких людей, — верно-с?

— Возможно, — сказал Туробоев.

Клим подумал, что, наверное, он, отвечая, приподнял левое плечо, как всегда делал, уклоняясь от прямого ответа на вопрос.

— А все-таки — половинчатость! — вскричал Лютов. — Все-таки — потомки тех головотяпов, которые, уступив кочевникам благодатный юг, бежали в леса и болота севера.

— Кажется, вы противоречите себе…

— Нет, позвольте-с! Вы-то, вы-то как же? Ведь это ваши предки…

Тяжело затопала горничная, задребезжала чайная посуда. Клим встал, бесшумно приоткрыл окно на террасу и услышал ленивенькие, холодные слова:

— Я, конечно, не думаю, что мои предки напутали в истории страны так много и были так глупо преступны, как это изображают некоторые… фабриканты правды из числа радикальных публицистов. Не считаю предков ангелами, не склонен считать их и героями, они просто более или менее покорные исполнители велений истории, которая, как вы же сказали, с самого начала криво пошла. На мой взгляд, ныне она уже такова, что лично мне дает право отказаться от продолжения линии предков, — линии, требующей от человека некоторых качеств, которыми я не обладаю.

— Это — что же? — взвизгнул Лютов. — Это — резиньяция? Толстовство?

— Помнится, я уже говорил вам, что считаю себя человеком психически деклассированным… Раздались шлепающие шаги.

— Что — умер? — спросил Туробоев, ему ответил голос Макарова:

— Разумеется. Налей чаю, Владимир. Вы, Туробоев, поговорите с урядником еще; он теперь обвиняет кузнеца уже не в преднамеренном убийстве, а — по неосторожности.

Самгин отошел от окна, причесался и вышел на террасу, сообразив, что, вероятно, сейчас явятся девицы.

Огонь лампы, как бы поглощенный медью самовара, скупо освещал три фигуры, окутанные жарким сумраком. Лютов, раскачиваясь на стуле, двигал челюстями, чмокал и смотрел в сторону Туробоева, который, наклонясь над столом, писал что-то на измятом конверте.

— Почему ты босый? — спросил Клим Макарова, — тот, расхаживая по террасе со стаканом чая в руке, ответил:

— Сапоги в крови. Этому парню…

— Ну, довольно! — сказал Лютов, сморщив лицо, и шумно вздохнул: — А где же существа второго сорта?

Он перестал качаться на стуле и дразнящим тоном начал рассказывать Макарову мнение хромого мужика о женщинах.

— Мужик говорил проще, короче, — заметил Клим. Лютов подмигнул ему, а Макаров, остановясь, сунул свой стакан на стол так, что стакан упал с блюдечка, и заговорил быстро и возбужденно:

— Вот — видишь? Я же говорю: это — органическое! Уже в мифе о сотворении женщины из ребра мужчины совершенно очевидна ложь, придуманная неискусно и враждебно. Создавая эту ложь, ведь уже знали, что женщина родит мужчину и что она родит его для женщины.

Туробоев поднял голову и, пристально взглянув на возбужденное лицо Макарова, улыбнулся. Лютов, подмигивая и ему, сказал:

— Интереснейшая гипотеза российской фабрикации!

— Это ты говоришь о вражде к женщине? — с ироническим удивлением спросил Клим.

— Я, — сказал Макаров, ткнув себя пальцем в грудь, и обратился к Туробоеву:

— Та же вражда скрыта и в мифе об изгнании первых людей из рая неведения по вине женщины.

Клим Самгин улыбался и очень хотел, чтоб его ироническую улыбку видел Туробоев, но тот, облокотясь о стол, смотрел в лицо Макарова, высоко подняв вышитые брови и как будто недоумевая.

— Счастливый ты младенец, Костя, — пробормотал Лютов, тряхнув головою, и стал разводить пальцем воду по медному подносу. А Макаров говорил, понизив голос и от возбуждения несколько заикаясь, — говорил торопливо:

— Вражда к женщине началась с того момента, когда мужчина почувствовал, что культура, создаваемая женщиной, — насилие над его инстинктами.

«Что он врет?» — подумал Самгин и, погасив улыбку иронии, насторожился.

Макаров стоял, сдвинув ноги, и это очень подчеркивало клинообразность его фигуры. Он встряхивал головою, двуцветные волосы падали на лоб и щеки ему, резким жестом руки он отбрасывал их, лицо его стало еще красивее и как-то острей.

— Оседлую и тем самым культурную жизнь начала женщина, — говорил он. — Это она должна была остановиться, оградить себя и своего детеныша от зверей, от непогоды. Она открыла съедобные злаки, лекарственные травы, она приручила животных. Для полузверя и бродяги самца своего она постепенно являлась существом все более таинственным и мудрым. Изумление и страх пред женщиной сохранились и до нашего времени, в «табу» диких племен. Она устрашала, своими знаниями, ведовством и особенно — таинственным актом рождения детеныша, — мужчина-охотник не мог наблюдать, как рожают звери. Она была жрицей, создавала законы, культура возникла из матриархата…

Вокруг лампы суетливо мелькали серенькие бабочки, тени их скользили по белой тужурке Макарова, всю грудь и даже лицо его испещряли темненькие пятнышки, точно тени его торопливых слов. Клим Самгин находил, что Макаров говорит скучно и наивно.

«Держит экзамен на должность «объясняющего господина».

Вспомнив старую привычку, Макаров правой рукой откручивал верхнюю пуговицу тужурки, левая нерешительно отмахивалась от бабочек.

— Кстати, знаете, Туробоев, меня издавна оскорбляло известное циническое ругательство. Откуда оно? Мне кажется, что в глубокой древности оно было приветствием, которым устанавливалось кровное родство. И — могло быть приемом

самозащиты. Старый охотник говорил: поял твою мать — молодому, более сильному. Вспомните встречу Ильи Муромца с похвальщиком…

Лютов весело усмехнулся и крякнул.

— Где ты вычитал это? — спросил Клим, тоже улыбаясь.

— Это — моя догадка, иначе я не могу понять, — нетерпеливо ответил Макаров, а Туробоев встал и, прислушиваясь к чему-то, сказал тихонько:

— Остроумная догадка.

— Я надоел вам? — спросил Макаров.

— О, нет, что вы! — очень ласково и быстро откликнулся Туробоев. — Мне показалось, что идут барышни, но я ошибся.

— Хромой ходит, — тихо сказал Лютов и, вскочив со стула, осторожно спустился с террасы во тьму.

Климу было неприятно услышать, что Туробоев назвал догадку Макарова остроумной. Теперь оба они шагали по террасе, и Макаров продолжал, еще более понизив голос, крутя пуговицу, взмахивая рукой:

— Когда полудикий Адам отнял, по праву сильного, у Евы власть над жизнью, он объявил все женское злом. Очень примечательно, что это случилось на Востоке, откуда все религии. Именно оттуда учение: мужчина — день, небо, сила, благо; женщина — ночь, земля, слабость, зло. Евреи молятся: «Господи, благодарю тебя за то, что ты не создал меня женщиной». Гнусность нашей очистительной молитвы после родов — это уж несомненно мужское, жреческое. Но, победив женщину, мужчина уже не мог победить в себе воспитанную ею жажду любви и нежности.

— Но в конце концов что ты хочешь сказать? — строго и громко спросил Самгин.

— Я?

— К чему ты ведешь?

Макаров остановился пред ним, ослепленно мигая.

— Я хочу понять: что же такое современная женщина, женщина Ибсена, которая уходит от любви, от семьи? Чувствует ли она необходимость и силу снова завоевать себе былое значение матери человечества, возбудителя культуры? Новой культуры?

Он махнул рукой в тьму:

— Ведь эта уже одряхлела, изжита, в ней есть даже что-то безумное. Я не могу поверить, чтоб мещанская пошлость нашей жизни окончательно изуродовала женщину, хотя из нее сделали вешалку для дорогих платьев, безделушек, стихов. Но я вижу таких женщин, которые не хотят — пойми! — не хотят любви или же разбрасывают ее, как ненужное.

Клим усмехнулся в лицо его.

— Эх ты, романтик, — сказал он, потягиваясь, расправляя мускулы, и пошел к лестнице мимо Туробоева, задумчиво смотревшего на циферблат своих часов. Самгину сразу стал совершенно ясен смысл этой длинной проповеди.

«Дурачок», — думал он, спускаясь осторожно по песчаной тропе. Маленький, но очень яркий осколок луны прорвал облака; среди игол хвои дрожал серебристый свет, тени сосен собрались у корней черными комьями. Самгин шел к реке, внушая себе, что он чувствует честное отвращение к мишурному блеску слов и хорошо умеет понимать надуманные красоты людских речей.

«Вот так и живут они, все эти Лютовы, Макаровы, Кутузовы, — схватят какую-нибудь идейку и шумят, гремят...»

Утром подул горячий ветер, встряхивая сосны, взрывая песок и серую воду реки. Когда Варавка, сняв шляпу, шел со станции, ветер забросил бороду на плечо ему и трепал ее. Борода придала краснолицей, лохматой голове Варавки сходство с уродливым изображением кометы из популярной книжки по астрономии.

За чаем, сидя в ночной, до пят, рубахе, без панталон, в туфлях на босую ногу, задыхаясь от жары, стирая с лица масляный пот, он рычал:

— Лето, чорт! Африканиш фейерлих! А там бунтует музыкантша, — ей необходимы чуланы, переборки и вообще — чорт в стуле. Поезжай, брат, успокой ее. Бабец — вкусный.

Он шумно вздохнул, вытер лицо бородой.

— У Веры Петровны в Петербурге что-то не ладится с Дмитрием, его, видимо, крепко ущемили. Дань времени...

За глаза Клим думал о Варавке непочтительно, даже саркастически, но, беседуя с ним, чувствовал всегда, что человек этот пленяет его своей неукротимой энергией и прямолинейностью ума. Он понимал, что это ум цинический, но помнил, что ведь Диоген был честный человек.

— Вы знаете, — сказал он, — Лютов сочувствует революционерам.

Варавка пошевелил бровями, подумал.

— Так. Казалось бы — дело не купеческое. Но, кажется, это входит в моду. Сочувствуют.

И — просыпал град быстреньких словечек:

— Революционер — тоже полезен, если он не дурак. Даже — если глуп, и тогда полезен, по причине уродливых условий русской жизни. Мы вот всё больше производим товаров, а покупателя — нет, хотя он потенциально существует в количестве ста миллионов. По спичке в день — сто миллионов спичек, по гвоздю — сто миллионов гвоздей.

Сгреб руками бороду, сунул ее за ворот рубахи и присосался к стакану молока. Затем — фыркнул, встряхнул головою и продолжал:

— Если революционер внушает мужику: возьми, дурак, пожалуйста, землю у помещика и, пожалуйста, учись жить, работать человечески разумно, — революционер — полезный человек. Лютов — что? Народник? Гм... народоволец. Я слышал, эти уже провалились...

— Он дает вам денег на газету?

— Дядя его дает, Радеев... Блаженный старикан такой... Помолчав, он спросил, прищурясь:

— Что же, Лютов — убежденный человек?

— Не знаю. Он такой... неуловимый.

— Поймают, — обещал Варавка, вставая. — Ну, я пойду купаться, а ты катай в город.

— Купаться? — удивился Клим. — Вы так много выпили молока...

— И еще выпью, — сказал Варавка, наливая из кувшина в стакан холодное молоко.

Приехав в город, войдя во двор дома, Клим увидал на крыльце флигеля Спивак в длинном переднике серого коленкора; приветственно махая рукой, обнаженной до локтя, она закричала:

— А, молодой хозяин! Пожалуйте-ко сюда!

И, крепко пожимая руку его, начала жаловаться: нельзя сдавать квартиру, в которой скрипят двери, не притворяются рамы, дымят печи.

— Тут жил один писатель, — сказал Клим и — ужаснулся, поняв, как глупо сказал.

Спивак взглянула на него удивленно и, этим смутив его еще более, пригласила в комнаты. Там возилась рябая девица с наглыми глазами; среди комнаты, задумавшись, стоял Спивак с молотком в руках, без пиджака, на груди его, как два ордена, блестели пряжки подтяжек.

— Устраиваемся, — объяснил он, протянув Климу руку с молотком.

Он снял очки, и на его маленьком, детском личике жалобно обнажились слепо выпученные рыжие глаза в подушечках синеватых опухолей. Жена его водила Клима по комнатам, загроможденным мебелью, требовала столяров, печника, голые руки и коленкор передника упростили ее. Клим неприязненно косился на ее округленный живот.

А через несколько минут он, сняв тужурку, озабоченно вбивал гвозди в стены, развешивал картины и ставил книги на полки шкафа. Спивак настраивал рояль, Елизавета говорила:

— Он всегда сам настраивает. Это — его алтарь, он даже — меня неохотно допускает к инструменту.

Гудели басовые струны, горничная гремела посудой, в кухне шаркал рашпиль водопроводчика.

— Вы не находите, что в жизни кое-что лишнее? — неожиданно спросила Спивак, «о когда Клим охотно согласился с нею, она, прищурясь, глядя в угол, сказала:

— А мне нравится именно лишнее. Необходимое — скучно. Оно — порабощает. Все эти сундуки, чемоданы — ужасны!

Затем она заявила, что любит старый фарфор, хорошие переплеты книг, музыку Рамо, Моцарта и минуты перед грозой.

— Когда чувствуешь, что все в тебе и вокруг тебя напряжено, и ожидаешь катастрофы.

Клим никогда еще не видел ее такой оживленной и властной. Она подурнела, желтоватые пятна явились на лице ее, но в глазах было что-то самодовольное. Она будила смешанное чувство осторожности, любопытства и, конечно, те надежды, которые волнуют молодого человека, когда красивая женщина смотрит на него ласково и ласково говорит с ним.

— Говорила я вам, что Кутузов тоже арестован? Да, в Самаре, на пароходной пристани. Какой прекрасный голос, не правда ли?

— Ему бы следовало в опере служить, а не революции делать, — солидно сказал Клим и подметил, что губы Спивак усмешливо дрогнули.

— Он хотел. Но, должно быть, иногда следует идти против одного сильного желания, чтоб оно не заглушило все другие. Как вы думаете?

— Не знаю, — сказал Клим.

Было ясно, что она испытывает, выспрашивает. В ее глазах светится нечто

измеряющее, взгляд ее щекочет лицо и все более смущает. Некрасиво выпучив живот, Спивак рассматривала истрепанную книгу с оторванным переплетом.

— Не знаете? Не думали? — допрашивала она. — Вы очень сдержанный человечек. Это у вас от скромности или от скупости? Я бы хотела понять: как вы относитесь к людям?

«Нет, она совершенно не похожа на женщину, какой я ее видел в Петербурге», — думал Самгин, с трудом уклоняясь от ее настойчивых вопросов.

Поработав больше часа, он ушел, унося раздражающий образ женщины, неуловимой в ее мыслях и опасной, как все выспрашивающие люди. Выспрашивают, потому что хотят создать представление о человеке, и для того, чтобы скорее создать, ограничивают его личность, искажают ее. Клим был уверен, что это именно так; сам стремясь упрощать людей, он подозревал их в желании упростить его, человека, который не чувствует границ своей личности.

«С этой женщиной следует держаться осторожно», — решил он.

Но на другой день, с утра, он снова помогал ей устраивать квартиру. Ходил со Спиваками обедать в ресторан городского сада, вечером пил с ними чай, затем к мужу пришел усатый поляк с виолончелью и гордо выпученными глазами сазана, неутомимая Спивак предложила Климу показать ей город, но когда он пошел переодеваться, крикнула ему в окно:

— Раздумала: не пойду. Посидим в саду, — хотите?

Клим не хотел, но не решился отказаться. С полчаса медленно кружились по дорожкам сада, говоря о незначительном, о пустяках. Клим чувствовал странное напряжение, как будто он, шагая по берегу глубокого ручья, искал, где удобнее перескочить через него. Из окна флигеля доносились аккорды рояля, вой виолончели, остренькие выкрики маленького музыканта. Вздыхал ветер, сгущая сумрак, казалось, что с деревьев сыплется теплая, синеватая пыль, окрашивая воздух все темнее.

Спивак шла медленно, покачивая животом, в ее походке было что-то хвастливое, и еще раз Клим подумал, что она самодовольна. Странно, что он не заметил этого в Петербурге. В простых, ленивых вопросах о Варавке, о Вере Петровне Клим не различал ничего подозрительного. Но от нее исходило невесомое, однако ясно ощутимое давление, внушая Климу странную робость пред нею. Ее круглые глаза кошки смотрели на него властно синеватым, стесняющим взглядом, как будто она знала, о чем он думает и что может сказать. И еще: она заставляла забывать о Лидии.

— Сядемте, — предложила она и задумчиво начала рассказывать, что третьего дня она с мужем была в гостях у старого знакомого его, адвоката.

— Это, очевидно, местный покровитель искусств и наук. Там какой-то рыжий человек читал нечто вроде лекции «Об инстинктах познания», кажется? Нет, «О третьем инстинкте», но это именно инстинкт познания. Я — невежда в философии, но — мне понравилось: он доказывал, что познание такая же сила, как любовь и голод. Я никогда не слышала этого… в такой форме.

Говоря, Спивак как будто прислушивалась к своим словам, глаза ее потемнели, и чувствовалось, что говорит она не о том, что думает, глядя на свой живот.

— Удивительно неряшливый и уродливый человек. Но, когда о любви говорят такие… неудачные люди, я очень верю в их искренность и… в глубину их чувства. Лучшее, что я слышала о любви и женщине, говорил один горбатый.

Вздохнув, она сказала:

— А чем более красив мужчина, тем менее он надежен как муж и отец.

И — усмехнулась, добавив:

— Красота — распутна. Это, должно быть, закон природы» 0»а скупа на красотой потому» создав ее, стремится использовать как можно шире. Вы что молчите?

Самгин молчал, потому что ожидал чего-то. Ее обращение заставило его вздрогнуть, он торопливо сказал:

— Рыжий философ — это учитель мой.

— Да? Вот как?

Она взглянула в лицо Клима с любопытством, а он безотчетно сказал:

— Лет двенадцать назад тому он был влюблен в мою мать.

Он озлобленно почувствовал себя болтливым мальчишкой и почти со страхом ждал: о чем теперь спросит его эта женщина? Но она, помолчав, сказала:

— Сыро. Пойдемте в комнаты.

А по дороге во флигель вполголоса заметила:

— Вы, должно быть, очень одинокий человек. Эти слова прозвучали не вопросом. Самгин на миг почувствовал благодарность к Спивак, но вслед за тем насторожился еще более.

Усатый поляк исчез, оставив виолончель у рояля. Спивак играл фугу Баха; взглянув на вошедших темными кружками стекол, он покашлял и сказал:

— Это не музыкант, а водопроводчик.

— Виолончелист?

— Совершенный негодяй, — убежденно сказал музыкант.

Он снова начал играть, но так своеобразно, что Клим взглянул на него с недоумением. Играл он в замедленном темпе, подчеркивая то одну, то другую ноту аккорда и, подняв левую руку с вытянутым указательным пальцем, прислушивался, как она постепенно тает. Казалось, что он ломал и разрывал- музыку, отыскивая что-то глубоко скрытое в мелодии, знакомой Климу.

— Сыграй Рамо, — попросила его жена. Покорно зазвучали наивные и галантные аккорды, от них в комнате, уютно убранной, стало еще уютней.

На темном фоне стен четко выступали фарфоровые фигурки. Самгин подумал, что Елизавета Спивак чужая здесь, что эта комната для мечтательной блондинки, очень лирической, влюбленной в мужа и стихи. А эта встала и, поставив пред мужем ноты, спела незнакомую Климу бравурную песенку на французском языке, закончив ее ликующим криком:

— A toi, mon enfant!

Он обрадовался, когда явилась горничная и возвестила тоже почему-то с улыбкой ликующей:

— Мамаша приехала!

Клим подумал, что мать, наверное, приехала усталой, раздраженной, тем 'приятнее ему было увидеть ее настроенной бодро и даже как будто помолодевшей за эти несколько дней. Она тотчас же начала рассказывать о Дмитрии: его скоро выпустят, но он 'будет лишен права учиться в университете.

— Я не считаю это несчастием для него; мне всегда казалось, что он был бы

плохим доктором. Он по натуре учитель, счетовод в банке, вообще что-нибудь очень скромное. Офицер, который ведет его дело, — очень любезный человек, — пожаловался мне, что Дмитрий держит себя на допросах невежливо и не захотел сказать, кто вовлек его… в эту авантюру, этим он очень повредил себе… Офицер настроен к молодежи очень доброжелательно, но говорит: «Войдите в ваше положение, ведь не можем же мы воспитывать революционеров!» И напомнил мне, что в восемьдесят первом году именно революционеры погубили конституцию.

Глаза матери светились ярко, можно было подумать, что она немного подкрасила их или пустила капельку атропина. В новом платье, красиво сшитом, с папиросой в зубах, она была похожа на актрису, отдыхающую после удачного спектакля. О Дмитрии она говорила между прочим, как-то все забывая о нем, не договаривая.

— Мне дали свидание с ним, он сидит в тюрьме, которая называется «Кресты»; здоров, обрастает бородой, спокоен, даже — весел я, кажется, чувствует себя героем.

И снова заговорила о другом.

— Петербург удивительна освежает. Я ведь жила в нем с девяти до семнадцати лет, и так много хорошего вспомнилось.

В не свойственном ей лирическом тоне она минуты две-три вспоминала о Петербурге, заставив сына непочтительно подумать, что Петербург за двадцать четыре года до этого вечера был городом маленьким и скучным.

— У меня нашлись общие знакомые с старухой Премировой. Славная старушка. Но ее племянница — ужасна! Она всегда такая грубая и мрачная? Она не говорит, а стреляет из плохого ружья. Ах, я забыла: она дала мне письмо для тебя.

Затем она объявила, что идет в ванную, пошла, но, остановясь среди комнаты, сказала:

— О, боже мой, можешь представить: Марья Романовна, — ты ее помнишь? — тоже была арестована, долго сидела и теперь выслана куда-то под гласный надзор полиции! Ты — подумай: ведь она старше меня на шесть лет и всё еще… Право же, мне кажется, что в этой борьбе с правительством у таких людей, как Мария, главную роль играет их желание отомстить за испорченную жизнь…

— Возможно, — согласился Клим. '

Все сказанное матерью ничем не задело его, как будто он сидел у окна, а за окном сеялся мелкий дождь. Придя к себе, он вскрыл конверт, надписанный крупным почерком Марины, в конверте оказалось письмо не от нее, а от Нехаевой. На толстой синеватой бумаге, украшенной необыкновенным цветком, она писала, что ее здоровье поправляется и что, может быть, к средине лета она приедет в Россию.

«Вот еще», — с досадой подумал Самгин.

Писала Нехаева красивыми словами, они вызывали впечатление сочиненности.

«Воображает себя Марией Башкирцевой».

Клим изорвал письмо, разделся и лег, думая, что в конце концов люди только утомляют. Каждый из них, бросая в память тяжелую тень свою, вынуждает думать о нем, оценивать его, искать для него место в душе. Зачем это нужно, какой смысл в этом?

«Именно эти толчки извне мешают мне установить твердые границы моей личности, — решил он, противореча сам себе. — В конце концов я заметен лишь потому, что стою в стороне от всех и молчу. Необходимо принять какую-то идею, как это сделали Томилин, Макаров, Кутузов. Надо иметь в душе некий стержень, и тогда вокруг его образуется все то, что отграничит мою личность от всех других,

обведет меня резкой чертою. Определенность личности достигается тем, что человек говорит всегда одно и то же, — это ясно. Личность — комплекс прочно усвоенных мнений, это — оригинальный лексикон».

Но, просматривая идеи, знакомые ему, Клим Самгин не находил ни одной удобной для него, да и не мог найти, дело шло не о заимствовании чужого, а о фабрикации своего. Все идеи уже только потому плохи, что они — чужие, не говоря о том, что многие из них были органически враждебны, а иные — наивны до смешного, какова, например, идея Макарова.

Эта дума и назойливое нытье комаров за кисейным пологом кровати мешали уснуть. Клим Самгин попытался успокоиться, напомнив себе, что, в сущности, у него есть стержень: это его честное отношение к себе самому. Чужое потому не всасывается, не врастает в него, а плывет сквозь, не волнуя чувства, только обременяя память, что у него есть отвращение ко всякому насилию над собою. Но это уже не утешало. От безнадежных и утомительных поисков удобной ризы он перешел к мыслям о Спивак, о Лидии. Они обе почти одинаково неприятны тем, что чего-то ищут, роются в нем. Он находил, что в этом их отношение к нему совершенно сходно. Но обе они влекут его к себе. С одинаковой силой? На этот вопрос он не мог ответить. Это, кажется, зависело от их положения в пространстве, от их физической близости к нему. В присутствии Спивак образ Лидии таял, расплывался, а когда Лидия пред глазами — исчезала Спивак. И хуже всего было то, что Клим не мог ясно представить себе, чего именно хочет он от беременной женщины и от неискушенной девушки?

Он не забыл о том чувстве, с которым обнимал ноги Лидии, но помнил это как сновидение. Не много дней прошло с того момента, но он уже не один раз спрашивал себя: что заставило его встать на колени именно пред нею? И этот вопрос будил в нем сомнения в действительной силе чувства, которым он так возгордился несколько дней тому назад.

Вообще пред ним все чаще являлось нечто сновидное, такое, чего ему не нужно было видеть. Зачем нужна глупая сцена ловли воображаемого сома, какой смысл в нелепом смехе Лютова и хромого- мужика? Не нужно была видеть тягостную возню с колоколом и многое другое, что, не имея смысла, только отягощало память.

«Да — что вы озорничаете?» — звучал в памяти возмущенный вопрос горбатой девочки и шумел в голове рыдающий: шепоток деревенских баб.

«Право же, я, кажется, заболею от всего этого…»

Уже светало, лунные тени. на полу исчезли, стекла окон, потеряв голубоватую окраску, тоже как будто растаяли. Клим задремал, но скоро был разбужен дробным топотом шагов множества людей и лязгом железа. Он вскочил, подошел к окну, — по улице шла обычная процессия — большая партия арестантов, окруженная редкой цепью солдат пароходно-конвойной команды. Остробородый дворник, шаркая по камням метлою, вздымал облака пыли навстречу партии серых людей. Солдаты были мелкие, украшены синими шнурами, их обнаженные сабли сверкали тоже синевато, как лед, а впереди- партии, позванивая кандалами, скованные по двое за руки, шагали серые, бритоголовые люди, на подбор большие и почти все бородатые. У одного из них лицо было наискось перерезано черной повязкой, закрывавшей глаз, он взглянул незакрытым мохнатым глазом в окно на Клима и сказал товарищу, тоже бородатому, похожему на него, как брат:

— Гляди — Лазарь воскрес!

Но товарищ его взглянул не на Клима, а вдаль, в небо и плюнул, целясь в сапог конвойного. Это были единственные слова, которые уловил Клим сквозь глухой топот сотни ног и звучный лязг железа, колебавший розоватую, тепленькую тишину сонного города.

За каторжниками враздробь шагали разнообразно одетые темные люди, с узелками

под мышкой, с котомками за спиной; шел высокий старик в подряснике и скуфье е чайником и котелком у пояса; его посуда брякала в такт кандалам.

Тесной группой шли политические, человек двадцать, двое — в очках, один — рыжий, небритый, другой — седой, похожий на икону Николая Мирликийского, сзади их покачивался пожилой человек с длинными усами и красным носом; посмеиваясь, он что-то говорил курчавому парню, который шел рядом с ним говорил и показывал пальцем на окна сонных домов. Четыре женщины заключали шествие: толстая, с дряблым лицом монахини, молоденькая и стройная, на тонких ногах, и, еще две. шли, взяв друг друга под руку, одна — прихрамывала, качалась; за ее спиной сонно переставлял тяжелые ноги курносый солдат, и синий клинок сабли почти касался ее уха.

Когда голова партии проходила мимо дворника, он перестал работать, но, пропустив мимо себя каторжан, быстро начал пылить метлой на политических.

— Погод», болван! — громко крикнул конвойный, споткнулся и чихнул.

Партия свернула за угол в улицу, которая спускалась к реке, дворник усердно гнал вслед арестантам тучи дымной пыли. Клим знал, что на реке арестантов ожидает рыжий пароход с белой полосою на трубе, рыжая баржа; палуба ее покрыта железной клеткой, и баржа похожа на мышеловку. Возможно, что в такой мышеловке поедет и брат Дмитрий. Почему он стал революционером, брат? В детстве он был бесцветен, хотя пред взрослыми обнаруживал ленивенькое, но несгибаемое упрямство, а в играх с детями — добродушие дворового пса. Нехаева верно сказала, что он — человек невежественный. Тело у него тяжелое, не умное. Революционер должен быть ловок, умен и зол.

Вдали все еще был слышен лязг кандалов и тяжкий топот. Дворник вымел свой участок, постучал черенкам метлы о булыжник, перекрестился, глядя вдаль, туда, где уже блестело солнце. Стало тихо. Можно было думать, что остробородый дворник вымел арестантов из улицы, из города. И это было тоже неприятным сновидением.

Под вечер, в темной лавке букиниста, Клим наткнулся на человека в осеннем пальто.

— Извините.

— Это вы» Самгин, — уверенно сказал- человек. Даже и после этого утверждения Клим не сразу узнал Томилина в пыльном сумраке ланки, набитой книгами. Сидя на низеньком, с подрезанными ножками стуле, философ протянул Самгину руку, другой рукой поднял с пола шляпу и сказал в глубину лавки кому-то невидимому:

— Рубль тридцать — достаточно. Пойдемте, Самгин, ко мне.

Смущенный нежеланной встречей, Клим не успел отказаться от приглашения, а Томилин обнаружил не свойственную ему поспешность.

— Когда роешься в книгах — время течет незаметно, и вот я опоздал домой к чаю, — говорил он, выйдя на улицу, морщась от солнца. В разбухшей, измятой шляпе, в пальто, слишком широком и длинном для него, он был похож на банкрота купца, который долго сидел в тюрьме и только что вышел оттуда. Он шагал важно, как гусь, держа руки в карманах, длинные рукава пальто смялись глубокими складками. Рыжие щеки Томилина сыто округлились, голос звучал уверенно, и в словах его Клим слышал строгость наставника.

— Что ж, удовлетворяет тебя университетская наука? — спрашивал он, скептически усмехаясь.

— Варвара Сергеевна, — назвал он жену повара, когда она, выйдя в прихожую, почтительно помогла ему снять пальто.

Сняв пальто, он оказался в сюртуке, в накрахмаленной рубашке с желтыми пятнами на груди, из-под коротко подстриженной бороды торчал лиловый галстух бабочкой. Волосы на голове он тоже подстриг, они лежали раздвоенным чепчиком, и лицо Томилина потеряло сходство с нерукотворенным образом Христа. Только фарфоровые глаза остались неподвижны, и, как всегда, хмурились колючие, рыжие брови.

— Кушайте, пожалуйста, — уговаривала женщина сдобным голосом, подвигая Климу стакан чая, сливки, вазу с медом и тарелку пряников, окрашенных в цвет железной ржавчины.

— Замечательные пряники, — удостоверил Томилин. — Сама делает из солода с медом.

Клим ел, чтоб не говорить, и незаметно осматривал чисто прибранную комнату с цветами на подоконниках, с образами в переднем углу и олеографией на стене, олеография изображала сытую женщину с бубном в руке, стоявшую у колонны. И живая женщина за столом у самовара тоже была на всю жизнь сыта: ее большое, разъевшееся тело помещалось на стуле монументально крепко, непрерывно шевелились малиновые губы, вздувались сафьяновые щеки пурпурного цвета, колыхался двойной подбородок и бугор груди. Водянистые глаза светились добродушно, удовлетворенно, и, когда она переставала жевать, маленький ротик ее сжимался звездой. Ее розовые руки благодатно плавали над столом, без шума перемещая посуду; казалось, что эти пышные руки, с пальцами, подобными сосискам, обладают силою магнита: стоит им протянуться к сахарнице или молочнику, и вещи эти уже сами дрессированно подвигаются к мягким пальцам. Самовар улыбался медной, понимающей улыбкой, и все в комнате как бы тянулось к телу женщины, ожидало ее мягких прикосновений. Было нечто несоединимое, подавляюще и даже фантастически странное в том, что при этой женщине, в этой комнате, насыщенной запахом герани и съестного, пренебрежительно и усмешливо звучат слова:

— Материалисты утверждают, что психика суть свойство организованной материи, мысль — химическая реакция. Но — ведь это только терминологически отличается от гилозоизма, от одушевления материи, — говорил Томилин, дирижируя рукою с пряником в ней. — Из всех недопустимых опрощений материализм — самое уродливое. И совершенно ясно, что он исходит из отчаяния, вызванного неведением и усталостью безуспешных поисков веры.

Бросив пряник на тарелку, он погрозил пальцем и торжественно воскликнул:

— Повторяю: веры ищут и утешения, а не истины! А я требую: очисти себя не только от всех верований, но и он самого желания веровать!

— Чай простынет, — заметила женщина. — Томилин взглянул на стенные часы и торопливо вышел, а она успокоительно сказала Климу:

— Он сейчас воротится, за котом пошел. Ученое его занятие тишины требует. Я даже собаку мужеву мышьяком отравила, уж очень выла собака в светлые ночи. Теперь у нас — кот, Никитой зовем, я люблю, чтобы в доме было животное.

Поправляя шпильки в тяжелой чалме темных волос, она вздохнула:

— Трудное его ученое занятие! Какие тысячи слов надобно знать! Уж он их выписывает, выписывает изо всех книг, а книгам-то — счета нет!

Ручной чижик, серенький с желтыми, — летал по комнате, точно душа дома; садился на цветы, щипал листья, качаясь на тоненькой ветке, трепеща крыльями; испуганный осою, которая, сердито жужжа, билась о стекло, влетал в клетку и пил воду, высоко задирая смешной носишко.

Томилин бережно внес черного кота с зелеными глазами, посадил его на обширные колени женщины и спросил:

— Не дать ли ему молока?

— Рано еще, — сказала женщина, взглянув на часы. Через минуту Клим снова слышал:

— Свободно мыслящий мир пойдет за мною. Вера — это преступление пред лицом мысли.

Говоря, Томилин делал широкие, расталкивающие жесты, голос его звучал властно, глаза сверкали строго. Клим наблюдал его с удивлением и завистью. Как быстро и резко изменяются люди! А он все еще играет унизительную роль человека, на которого все смотрят, как на ящик дли — мусора своих мнений. Когда он уходил, Томилин настойчиво сказал ему:

— Вы — приходите чаще!

А женщина, пожав руку его теплыми пальцами, другой рукой как будто сняла что-то с полы его тужурки и, спрятав sa.спину, сказала, широко улыбаясь:

— Теперь они придут, я на них котовинку посадила. На вопрос Клима: что такое котовинка? — она объяснила:

— А это, видите ли, усик шерсти — кошачьей; коты — очень привычны к дому, и есть в них сила людей привлекать. И если кто, приятный дому человек, котовинку на себе унесет, так его обязательной этот дом дотянет.

«Какая чепуха! — думал Клим, идя по улице, но все-таки осматривая рукава тужурки и брюки: где прилеплена на него котовинка? — Как п*о*шло, — повторял он, смутно — чувствуя необходимость убедить себя в том, — что это благополучие именно пошло и только пошло. — В сущности, Томилин проповедует упрощение такое же, как материалисты, поражаемые им, — думал Клим и почти озлобленно старался найти что-нибудь общее между философом и черным, зеленоглазым котом. — Коту следовало бы сожрать чижа, — усмехнулся он. Шумело *w* полове. — Кажется, я отравился этими железными пряниками…»

Дома. он застал мать в оживленной беседе со Спивак, они сидели в столовой у окна, открытого в сад; мать протянула Климу синий квадрат телеграммы, торопливо сказав:

— Вот — дядя Яков скончался. Выкинув за окно папиросу, она добавила:

— Так и умер, не выходя из тюрьмы. Ужасно. Потом она прибавила;

— Это уже безжалостно со стороны властей. Видят, что человек умирает, а все-таки держат в тюрьме.

Клим, чувствовал, что мать говорит, насилуя себя и как бы смущаясь пред гостьей. Спивак смотрела на нее взглядом человека, который, сочувствуя, не считает уместным выразить свое сочувствие. Через несколько минут она ушла, а мать, проводив ее, сказала снисходительно:

— Эта Спивак — интересная женщина. И — деловая. С нею — просто. Квартиру она устроила очень мило, с большим вкусом,

Клим, подумав, что она слишком быстро покончила с дядей Яковом и что это не очень прилично, спросил:

— Похоронили его? Мать удивленно ответила:

— Но ведь в телеграмме сказано: «Тринадцатого скончался и вчера похоронен»…

Скосив глаза, рассматривая в зеркале прыщик около уха, она вздохнула:

— Сейчас пойду напишу об этом Ивану Акимовичу. Ты не знаешь — где он, в

Гамбурге?

— Не знай».

— Ты давно писал ему?

С раздражением, источник которого был не ясен для него, Клим заговорил:

— Давно. Должен сознаться, что я… редко пишу ему. Он отвечает мне поучениями, как надо жить, думать, веровать. Рекомендует книги… вроде бездарного сочинения Пругавина о «Запросах народа и обязанностях интеллигенции». Его письма кажутся мне наивнейшей риторикой, совершенно несовместной с торговлей дубовой клепкой. Он хочет, чтоб я унаследовал те привычки думать, от которых сам он, вероятно, уже отказался.

— Да, — сказала мать, припудривая прыщик, — он всегда любил риторику. Больше всего — риторику. Но — почему ты сегодня такой нервный? И уши у тебя красные…

— Нездоровится, — сказал Клим. Вечером он лежал в постели с компрессом на голове, а доктор успокоительно говорил:

— Что-нибудь гастрическое. Завтра увидим.

В течение пяти недель доктор Любомудров не мог с достаточной ясностью определить болезнь пациента, а пациент не мог понять, физически болен он или его свалило с ног отвращение к жизни, к людям? Он не был мнительным, но иногда ему казалось, что в теле его работает острая кислота, нагревая мускулы, испаряя из них жизненную силу. Тяжелый туман наполнял голову, хотелось глубокого сна, но мучила бессонница и тихое, злое кипение нервов. В памяти бессвязно возникали воспоминания 0'прожитом, знакомые лица, фразы.

«Да — был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

«Что вы озорничаете!»

«Баба богу — второй сорт».

Все эти словечки торчали пред глазами, как бы написанные в воздухе, торчали неподвижно, было в них что-то мертвое, и, раздражая, они не будили никаких дум, а только усиливали недомогание.

Иногда, внезапно, это окисление исчезало, Клим Самгин воображал себя почти здоровым, ехал на дачу, а дорогой или там снова погружался в состояние общей расслабленности. Не хотелось смотреть на людей, было неприятно слышать их голоса, он заранее знал, что скажет мать, Варавка, нерешительный доктор и вот этот желтолицый, фланелевый человек, сосед по месту в вагоне, и грязный смазчик с длинным молотком в руке. Люди раздражали уже только тем, что они существуют, двигаются, смотрят, говорят. Каждый из них насиловал воображение, заставляя думать: зачем нужен он? Возникали нелепые вопросы: зачем этот, скуластый, бреет бороду, а тот ходит с тростью, когда у него сильные, стройные ноги? Женщина ярко накрасила губы, подрисовала глаза, ее нос от этого кажется бескровным, серым и не по лицу уродливо маленьким. Никто не хочет сказать ей, что она испортила лицо свое, и Клим тоже не хотел этого. Он зорко и с жадностью подмечал в людях некрасивое, смешное и все, что, отталкивая его от них, позволяло думать о каждом с пренебрежением и тихой злостью. Но в то же время он смутно чувствовал, что эти его навязчивые мудрствования болезненны, нелепы и бессильны, и чувствовал, что однообразие их все более утомляет его.

Минутами Самгину казалось, что его вместилище впечатлений — то, что называют душой, — засорено этими мудрствованиями и всем, что он знал, видел, — засорено на всю жизнь и так, что он уже не может ничего воспринимать извне, а должен только разматывать тугой клубок пережитого. Было бы счастьем размотать этот

клубок до конца. А вслед за тем вспыхивало и обжигало желание увеличить его до последних пределов, так, чтоб он, заполнив все в нем, всю пустоту, и породив какое-то сильное, дерзкое чувство, позволил Климу Самгину крикнуть людям:

«Эй, вы! Я ничего не знаю, не понимаю, ни во что не верю и вот — говорю вам это честно! А все вы — притворяетесь верующими, вы — лжецы, лакеи простейших истин, которые вовсе и не истины, а — хлам, мусор, изломанная мебель, просиженные стулья».

Думая об этом подвиге, совершить который у него не было ни дерзости, ни силы, Клим вспоминал, как он в детстве неожиданно открыл в доме комнату, где были хаотически свалены вещи, отжившие свой срок.

Еще в первые дни неопределимой болезни Клима Лютов с невестой, Туробоевым и Лидией уехал на пароходе по Волге с тем, чтоб побывать на Кавказе и, посетив Крым, вернуться к осени в Москву. Клим отнесся к этой поездке так равнодушно, что даже подумал:

«Я — не ревнив. И не боюсь Туробоева. Лидия — не для него».

На дачах Варавки поселились незнакомые люди со множеством крикливых детей; по утрам река звучно плескалась о берег и стены купальни; в синеватой воде подпрыгивали, как пробки, головы людей, взмахивались в воздух масляно блестевшие руки; вечерами в лесу пели песни гимназисты и гимназистки, ежедневно, в три часа, безгрудая, тощая барышня в розовом платье в круглых, темных очках играла на пианино «Молитву девы», а в четыре шла берегом на мельницу пить молоко, и по воде косо влачилась за нею розовая тень. От этой барышни исходил душный запах тубероз. Бегал длинноногий учитель реального училища, безумно размахивая сачком для ловли бабочек, качался над землей хромой мужик, и казалось, что он обладает невероятной способностью показывать себя одновременно в разных местах. Ходили пестро одетые цыганки и, предлагая всем узнать будущее, воровали белье, куриц, детские игрушки.

Пониже дачи Варавки жил доктор Любомудров; в праздники, тотчас же после обеда, он усаживался к столу с учителем, опекуном Алины и толстой женой своей. Все трое мужчин вели себя тихо, а докторша возглашала резким голосом:

— Говорю: черви! — А я утверждаю — бубны! — Стою на своем: две черви!

Изредка был слышен нерешительный голос доктора, он говорил что-нибудь серьезное:

— Только англичане достигли идеала политической свободы…

Или также советовал:

— Ешьте больше овощей и особенно — содержащих — селитру, каковы: лук, чеснок, хрен, редька… Полезна и свекла, хотя она селитры не содержит. Вы сказали — две трефы?

По праздникам из села являлись стаи мальчишек, рассаживаясь по берегу реки, точно странные птицы, они молча, сосредоточенно наблюдали беспечную жизнь дачников. Одного из них, быстроглазого, с головою в мелких колечках черных волос, звали Лаврушка, он был сирота и, по рассказам прислуги, замечателен тем, что пожирал птенцов птиц живыми.

Знакомо и пронзительно ораторствовал Варавка, насыщая терпеливый воздух парадоксами. Приезжала мать, иногда вместе с Елизаветой Спивак. Варавка откровенно и напористо ухаживал за женою музыканта, она любезно улыбалась ему, но ее дружба с матерью все возрастала, как видел Клим.

Варавка жаловался ему:

— Любопытна слишком. — Ей все надо знать — судоходство, лесоводство. Книжница. «Книги портят женщин. Зимою я познакомился с водевильной актрисой, а она вдруг спрашивает: насколько зависим Ибсен от Ницше? Да чорт их знает, кто от кого зависит! Я — от дураков. Мне на днях губернатор сказал, что я компрометирую себя, давая работу политическим поднадзорным. Я говорю ему: Превосходительство! Они относятся к работе честно! А он: разве, говорит, у нас, в России, нет уже честных людей неопороченных?

У Варавки болели, он стал ходить опираясь на палку. Кривыми ногами шагал по песку Иван Дронов, нелюдимо посматривая на взрослых и детей, переругиваясь с горничными и кухарками. Варавка возложил на него трудную обязанность выслушивать бесконечные капризы и требования дачников. Дронов выслушивал и каждый вечер являлся — к Варавке с докладом. Выслушав угрюмое перечисление жалоб *я* претензий, дачевладелец спрашивал, мясисто усмехаясь в бороду:

— Ну, что ж, ты обещал им сделать все это?

— Обещал.

— Тем они и будут сыты. Ты помни, что все это — народ недолговечный, прейдет еще недель пять, шесть, и — они исчезнут. Обещать можно асе, но проживут и без реформ!

Варавка раскатисто хохотал, потрясая животом, а Дронов шел на мельницу и там до полуночи пил пиво с веселыми бабами. Он пытался, поговорить с Климом, но Самгин встретил эти попытки сухо.

Сквозь все это мутное и угнетающее скукою раза два мелькнул Иноков с голодным, суровым лицом. Он целый вечер грубо и сердито рассказывал о монастырях, ругал монахов глухим голосом:

— Католики дали Кампанеллу, Менделя, вообще множество ученых, историков, а наши монахи чугунные невежды, даже сносной истории русских сект не могут написать.

И спрашивал Спивак:

— А почему секты еврействующих есть только у нас да у мадьяр?

— Оригинальный парень, — сказала о нем Спивак, а Варавка предложил ему работу в конторе, но Иноков, не поблагодарив, отказался.

— Нет, мне учиться надо.

— А — чему вы учитесь?

Иноков нелепо и без улыбки ответил:

— Прохождению жизни.

И в тот же вечер исчез, точно камень, упавший в реку. Клим Самгин никак не мог понять свое отношение к Спивак, и это злило его. Порою ему казалось, что она осложняет смуту в нем, усиливает его болезненное состояние. Его и тянуло к ней и отталкивало от нее. В глубине ее кошачьих глаз, в центре зрачка, он подметил холодноватую, светлую иголочку, она колола его как будто насмешливо, а может быть, зло. Он был уверен, что эта женщина с распухшим животом чего-то ищет в нем, хочет от него.

— У вас — критический ум, — говорила она ласково. — Вы человек начитанный, почему бы вам не попробовать писать, а? Сначала — рецензии о книгах, а затем, набив руку… Кстати, ваш отчим с нового года будет издавать газету…

«Зачем ей нужно, чтоб я писал рецензии?» — спрашивал себя Клим, но эта мысль улыбалась ему, хотя и слабо.

В те дни, когда неодолимая скука выталкивала его с дачи в город, он вечерами сидел во флигеле, слушая музыку Спивака, о котором Варавка сказал:

«Человек для водевиля».

Медленные пальцы маленького музыканта своеобразно рассказывали о трагических волнениях гениальной души Бетховена, о молитвах Баха, изумительной красоте печали Моцарта. Елизавета Спивак сосредоточенно шила игрушечные распашонки и тугие свивальники для будущего человека. Опьяняемый музыкой, Клим смотрел на нее, но не мог заглушить в себе бесплодных мудрствований о том, что было бы, если б все окружающее было не таким, каково оно есть?

Иногда его жарко охватывало желание видеть себя на месте Спивака, а на месте жены его — Лидию. Могла бы остаться и Елизавета, не будь она беременна и потеряй возмутительную привычку допрашивать.

— Как вы понимаете это? — выпытывала она, и всегда оказывалось, что Клим понимает не так, как следовало бы, по ее мнению. Иногда она ставила вопросы как будто в тоне упрека. Первый раз Клим почувствовал это, когда она спросила:

— Вы не переписываетесь с братом?

— Почему вы знаете?

— Я — спрашиваю.

— Но так, как бы уже знаете, что не переписываюсь.

— А — почему? Клим сказал:

— Мы — очень разные. Интересы наши тоже различны.

Взглянув на него с улыбкой, в которой он поймал нечто нелестное для себя, Спивак спросила:

— А каковы ваши интересы?

Клима задела ее улыбка; желая скрыть это, он ответил несколько высокопарно:

— Я полагаю, что прежде всего необходимо относиться честно к самому себе, нужно со всей возможной точностью установить границы своей личности. Только тогда возможно понять истинные запросы моего я.

— Похвальное намерение, — сказала Спивак, перекусив нитку. — Может быть, оно потребует от вас и не всей вашей жизни, но все-таки очень много времени.

Подумав, Клим спросил:

— Это — ирония?

— Зачем? Нет.

Он ей не поверил, обиделся и ушел, а на дворе, идя к себе, сообразил, что обижаться было глупо и что он ведет себя с нею нелепо.

Спорить с нею Клим не решался, да и вообще он избегал споров. Ее гибкий ум и разносторонняя начитанность удивляли и озадачивали Клима. Он видел, что общий строй ее мысли сроден «кутузовщине», и в то же время все, что говорила она, казалось ему словами чужого человека, наблюдающего явления жизни издалека, со стороны. За этой отчужденностью мнений ее Самгин подозревал какие-то твердые решения, но в ней не чувствовалось ничего, что напоминало бы о хладнокровном любопытстве Туробоева. В конце концов слушать ее было не

бесполезно, однакож Самгин радовался, когда приходил, Иноков и отвлекал на себя? половину ее внимание.

Одетый в подобие кадетской- курточки, сшитой из мешочного полотна, Иноков молча здоровался и садился почему-то всегда неуютно, выдвигая стул на средину комнаты. Сидел, слушая музыку, и строгим взглядом осматривал вещи, как бы считая их. Когда он поднимал руку, чтоб поправить плохо причесанные волосы, Клим читал на боку его курточки полусмытое синее клеймо: «Первый сорт. Паровая мельница Я. Башкирова».

Покуда Спивак играл. Иноков не курил, но лишь только музыкант, оторвав усталые руки от клавиатуры, прятал кисти их под мышки себе, Иноков закуривал дешевую папиросу и спрашивал глуховатым, бескрасочным голосом:

— А чем отличается соната от сюиты? Неприязненно косясь в его сторону, Спивак сказал:

— Вам это не нужно знать, вы не музыкант.

Елизавета, отложив шитье, села к роялю и, объяснив архитектоническое различие сонаты и сюиты, начала допрашивать Инокова о его «прохождении жизни». Он рассказывал о себе охотно, подробно и с недоумением, как о знакомом своем, которого он плохо понимает. Климу казалось, что, говоря. Иноков спрашивает:

«Так ли?»

Пред Самгиным вставала картина бессмысленного и тревожного метания из стороны в сторону. Казалось, что Иноков катается по земле, точно орех по тарелке, которую держит и трясет чья-то нетерпеливая рука.

Этот парень все более не нравился Самгину, весь не нравился. Можно было думать, что он рисуется своей грубостью и желает быть неприятным. Каждый раз, когда он начинал рассказывать о своей анекдотической жизни, Клим, послушав его две-три минуты, демонстративно уходил. Лидия написала отцу, что она из Крыма проедет в Москву и что снова решила- поступить в театральную школу. А во втором, коротеньком письме Климу она сообщила, что Алина, порвав с Лютовым, выходит замуж за Туробоева.

«Этого надо было ожидать», — равнодушно подумал Клим и вслед за тем усмехнулся, представив, как, должно быть, истерически кричит и кривляется Лютов.

Глава 5

Болезнь и лень, воспитанная ею, помешали Самгину своевременно хлопотать о переводе в московский университет, а затем он решил отдохнуть, не учиться в этом году. Но дома жить было слишком скучно, он все-таки переехал в Москву и в конце сентября, ветреным днем, шагал по переулкам, отыскивая квартиру Лидии.

Листья, сорванные ветром, мелькали в воздухе, как летучие мыши, сыпался мелкий дождь, с крыш падали тяжелые капли, барабаня по шелку зонтика, сердито ворчала вода в проржавевших водосточных трубах. Мокрые, хмуренькие домики смотрели на Клима заплаканными окнами. Он подумал, что в таких домах удобно жить фальшивомонетчикам, приемщикам краденого и несчастным людям. Среди этих домов забыто торчали маленькие церковки.

«Не храмы, а конурки», — подумал Клим, и это очень понравилось ему.

Лидия жила во дворе одного из таких домов, во втором этаже флигеля. Стены его были лишены украшений, окна без наличников, штукатурка выкрошилась, флигель имел вид избитого, ограбленного.

Лидия встретила Клима оживленно, с радостью, лицо ее было взволновано, уши красные, глаза смеялись, она казалась выпившей.

— Самгин, земляк мой и друг детства! — вскричала она, ввода Клима в пустоватую комнату с крашеным и покосившимся к окнам полом. Из дыма поднялся небольшой человек, торопливо схватил руку Самгина я, дергая ее в разные стороны, тихо, виновато сказал:

— Семион Диомидов.

Остроносая девица с пышной, трагически растрепанной прической назвала себя:

— Варвара Антипова.

— Степан Маракуев, — сказал кудрявый студент с лицом певца и плясуна из трактирного хора.

От синих изразцов печки отделился, прихрамывая, лысый человек, в длинной, ниже колен, чесунчовой рубахе, подпоясанной толстым шнурком с кистями, и сказал, всхрапнув, всасывая слова:

— Дядя Хрисанф. Варя — распорядись! Честь и место!

Взял Клима под руку и бережно, точно больного, усадил его на диван.

Через пять минут Самгин имел право думать, что дядя Хрисанф давно, нетерпеливо ожидал его и страшно обрадован тем, что Клим, наконец, явился. Круглое. красное, точно у новорожденного, лицо дяди сияло восторженными улыбками. Рождаясь на пухлых губах, улыбки эти расширяли ноздри тупого носа, вздували щеки и, прикрыв младенчески маленькие глазки неуловимого цвета, блестели на лбу и на отшлифованной, розовой коже черепа. Это было странно видеть, казалось, что все лицо дяди Хрисанфа, скользя вверх, может очутиться на затылке, а на месте лица останется слепой, круглый кусок красной кожи.

— А мы тут разбирали «Тартюфа», — говорил дядя Хрисанф, усевшись рядом с Климом и шаркая по полу ногами в цветных туфлях.

Две лампы освещали комнату; одна стояла на подзеркальнике, в простенке между запотевших серым потом окон, другая спускалась на цепи с потолка, под нею, в позе удавленника, стоял Диомидов, опустив руки вдоль тела, склонив голову к плечу; стоял и пристально, смущающим взглядом смотрел на Клима, оглушаемого поющей, восторженной речью дяди Хрисанфа:

— Обожаю Москву! Горжусь, что я — москвич! Благоговейно — да-с! — хожу по одним улицам со знаменитейшими артистами и учеными нашими! Счастлив снять шапку пред Васильем Осиповичем Ключевским, Толстого, Льва — Льва-с! — дважды встречал. А когда Мария Ермолова на репетицию едет, так я на колени среди улицы встать готов, — сердечное слово!

В соседней комнате суетились — Лидия в красной блузе и черной юбке и Варвара в темнозеленом платье. Смеялся невидимый студент Маракуев. Лидия казалась ниже ростом и более, чем всегда, была похожа на цыганку. Она как будто пополнела, и ее тоненькая фигурка утратила бесплотность. Это беспокоило Клима; невнимательно слушая восторженные излияния дяди Хрисанфа, он исподлобья, незаметно рассматривал Диомидова, бесшумно шагавшего из угла в угол комнаты.

С первого взгляда лицо Диомидова удивило Клима своей праздничной красотой, но скоро он подумал, что ангельской именуют вот такую приторную красоту. Освещенное девичьими глазами сапфирового цвета круглое и мягкое лицо казалось раскрашенным искусственно; излишне ярки были пухлые губы, слишком велики и густы золотистые брови, в общем это была неподвижная маска фарфоровой куклы. Светлорусые, кудрявые волосы, спускаясь с головы до плеч, внушали смешное желание взглянуть, нет ли за спиною Диомидова белых крыльев. Шагая по комнате, он часто и осторожно закидывал обеими руками пряди волос за уши и, сжимая виски, как будто щупал голову: тут ли она? Обнажались маленькие уши изящной формы.

Среднего роста, очень стройный, Диомидов был одет в черную блузу, подпоясан широким ремнем; на ногах какие-то беззвучные, хорошо вычищенные сапоги. Клим заметил, что раза два-три этот парень, взглянув на него, каждый раз прикусывал губу, точно не решаясь спросить о чем-то.

— Николая Николаевича Златовратского имею честь лично знать, — восторженно изъяснялся дядя Хрисанф.

Когда Лидия позвала пить чай, он и там еще долго рассказывал о Москве, богатой знаменитыми людями.

— Здесь и мозг России и широкое сердце ее, — покрикивал он, указывая рукой в окно, к стеклам которого плотно прижалась сырая темнота осеннего вечера.

Остроносая Варвара сидела, гордо подняв голову, ее зеленоватые глаза улыбались студенту Маракуеву, который нашептывал ей в ухо и смешливо надувал щеки. Лидия, разливая чай, хмурилась.

«Эти славословия не могут нравиться ей», — подумал Клим, наблюдая за Диомидовым, согнувшимся над стаканом. Дядя Хрисанф устало, жестом кота, стер пот с лица, с лысины, вытер влажную ладонь о свое плечо и спросил Клима:

— А вам больше па душе: Петербург?

Климу послышалось, что вопрос звучит иронически. Из вежливости он не хотел расходиться с москвичом в его оценке старого города, но, прежде чем собрался утешить дядю Хрисанфа, Диомидов, не поднимая головы, сказал уверенно и громко:

— В Петербурге — сон тяжелее; в сырых местах сон всегда тяжел. И сновидения в Петербурге — особенные, такого страшного, как там, в Орле — не приснится.

Взглянув на Клима, он. прибавил:

— Я — орловский.

Лидия смотрела на Диомидова ожидающим взглядом, но он снова согнулся, спрятал лицо.

Клим начал говорить о Москве в тон дяде Хрисанфу:

с Поклонной горы она кажется хаотической грудой цветистого мусора, сметенного со всей России, но золотые главы многочисленных церквей ее красноречиво говорят, что это не мусор, а ценнейшая руда.

— Прекрасно сказано! — одобрил дядя Хрисанф и весь осветился счастливой улыбкой.

— Трогательны эти маленькие церковки, затерянные среди людских домов. Божьи конурки…

— Сердечное слово! Метко! — вскричал дядя Хрисанф, подпрыгнув на стуле. И снова вскипел восторгом.

— Именно: конурки русского, московского, народнейшего бога! Замечательный бог у нас, — простота! Не в ризе, не в мантии, а — а рубахе-с, да, да! Бог наш, как народ наш, — загадка всему миру!

— Вы — верующий? — тихо спросил Диомидов Клима, но Варвара зашипела, на него.

Дядя Хрисанф говорил, размахивая рукою, стараясь раскрыть как можно шире маленькие свои глаза, но достигал лишь того, что дрожали седые брови, а глаза блестели тускло, как две оловянные пуговицы, застегнутые в красных петлях.

Точно уколотый или внезапно вспомнив нечто тревожное, Диомидов соскочил со стула и начал молча совать веем- руку свою. Клим нашел, что Лидия держала эту слишком белую руку в своей на несколько секунд больше, чем, следует. Студент Маракуев тоже простился; он еще в комнате молодецки надел фуражку на затылок.

— Хочешь посмотреть, как я устроилась? — ласково предложила Лидия.

В узкой и длинной комнате, занимая две трети ее ширины, стояла тяжелая кровать, ее высокое, резное изголовье и нагромождение пышных подушек заставили Клима подумать;

«Это для старухи».

Пузатый комод и на нем трюмо в форма лиры, три неуклюжих стула, старенькое на низких ножках кресло у стола, под окном, — вот и вся обстановка комнаты. Оклеенные белыми обоями стены холодны и голы, только против кровати — темный квадрат небольшой фотографии: гладкое, как пустота, море, корма баркаса и на ней, обнявшись, стоят Лидия с Алиной.

— Аскетично, — сказал Клим, вспомнив уютное гнездо Нехаевой.

— Не люблю ничего лишнего.

Лидия села в кресло, закинув ногу на ногу, сложив руки на груди, и как-то неловко тотчас же начала рассказывать о поездке по Волге, Кавказу, по морю из Батума в Крым. Говорила она, как будто торопясь дать отчет о своих впечатлениях или вспоминая прочитанное ею неинтересное описание пароходов, городов, дорог. И лишь изредка вставляла несколько слов, которые Клим принимал как ее слова.

— Если б ты видел, какой это ужас, когда миллионы селедок идут сплошною, слепою массой метать икру! Это до того глупо, что даже страшно.

О Кавказе она сказала:

— Адский пейзаж с черненькими фигурами недожаренных грешников. Железные горы, а на них жалкая трава, как зеленая ржавчина. Знаешь, я все более не люблю природу, — заключила она свой отчет, улыбаясь и подчеркнув слово «природа»

брезгливой гримасой. — Эти горы, воды, рыбы — все это удивительно тяжело и глупо. И — заставляет жалеть людей. А я — не умею жалеть.

— Ты — старенькая и мудрая, — пошутил Клим, чувствуя, что ему приятно сходство ее мнений с его бесплодными мудрствованиями.

За окном шелестел дождь, гладя стекла. Вспыхнул газовый фонарь, бескровный огонь его осветил мелкий, серый бисер дождевых капель, Лидия замолчала, скрестив руки на груди, рассеянно глядя в окно. Клим спросил: что такое дядя Хрисанф?

— Прежде всего — очень добрый человек. Эдак, знаешь, неисчерпаемо добрый. Неизлечимо, сказала бы я.

И, улыбаясь темными глазами, она заговорила настолько оживленно, тепло, что Клим посмотрел на нее с удивлением: как будто это не она, несколько минут тому назад, сухо отчитывалась.

— Я верю, что он искренно любит Москву, народ и людей, о которых говорит. Впрочем, людей, которых он не любит, — нет на земле. Такого человека я еще не встречала. Он — несносен, он обладает исключительным умением говорить пошлости с восторгом, но все-таки… Можно завидовать человеку, который так… празднует жизнь.

Она рассказала, что в юности дядя Хрисанф был политически скомпрометирован, это поссорило его с отцом, богатым помещиком, затем он был корректором, суфлером, а после смерти отца затеял антрепризу в провинции. Разорился и даже сидел в тюрьме за долги. Потом режиссировал в частных театрах, женился на богатой вдове, она умерла, оставив все имущество Варваре, ее дочери. Теперь дядя Хрисанф живет с падчерицей, преподавая в частной театральной школе декламацию.

— А эта — Варвара?

— Варвара — талантлива, — не сразу ответила Лидия, и глаза ее вопросительно остановились на лице Клима.

— Ты что как смотришь? — смущенно спросил он.

— Я думаю: ты — талантлив?

— Не знаю, — скромно ответил Клим.

— Какой-то талант у тебя должен быть, — сказала она, задумчиво разглядывая его.

Пользуясь молчанием, Клим спросил о главном, что интересовало его, — о Диомидове.

— Странный, не правда ли? — воскликнула Лидия, снова оживляясь. Оказалось, что Диомидов — сирота, подкидыш; до девяти лет он воспитывался старой девой, сестрой учителя истории, потом она умерла, учитель спился и тоже через два года помер, а Диомидова взял в ученики себе резчик по дереву, работавший иконостасы. Проработав у него пять лет, Диомидов перешел к его брату, бутафору, холостяку и пьянице, с ним и живет.

— Хрисанф толкает его на сцену, но я не могу представить себе человека, менее театрального, чем Семен. О, какой это чистый юноша!..

— И влюблен в тебя, — заметил Клим, улыбаясь.

— И влюблен в меня, — автоматически повторила Лидия.

— А — ты?

Она не ответила, но Клим видел, что смуглое лицо ее озабоченно потемнело. Подобрав ноги в кресло, она обняла себя за плечи, сжалась в маленький комок.

— Странных людей вижу я, — сказала она, вздохнув. — Очень странных. И вообще как это трудно понимать людей!

Клим согласно кивнул головой. Когда он не мог сразу составить себе мнения о человеке, он чувствовал этого человека опасным для себя. Таких, опасных, людей становилось все больше, и среди них Лидия стояла ближе всех к нему. Эту близость он сейчас ощутил особенно ясно, и вдруг ему захотелось сказать ей о себе все, не утаив ни одной мысли, сказать еще раз, что он ее любит, но не понимает и чего-то боится в ней. Встревоженный этим желанием, он встал и простился с нею.

— Приходи скорей, — сказала она. — Завтра же приходи, завтра — праздник.

На улице все еще сыпались мелкие крупинки дождя, по-осеннему упрямого. Скучно булькала вода в ручьях; дома, тесно прижавшиеся друг к другу, как будто боялись, размокнув, растаять, даже огонь фонарей казался жидким. Клим нанял черного, сердитого извозчика, мокрая лошадь, покачивая головою, застучала подковами по булыжнику. Клим съежился, теснимый холодной сыростью, досадными думами о людях, которые умеют восторженно говорить необыкновенные глупости, и о себе, человеке, который все еще не может создать свою систему фраз.

«Человек — это система фраз, не Солее того. Конурки бога, — я глупо сказал. Глупо. — Но еще глупее московский бог в рубахе. И — почему сны в Орле приятнее снов в Петербурге? Ясно, что все эти пошлости необходимы людям лишь для того, чтоб каждый мог отличить себя от других. В сущности — это 'мошенничество».

Несколько вечеров у дяди Хрисанфа вполне убедили Самгина в том, что Лидия — живет среди людей воистину странных. Каждый раз он видел там Диомидова, и писаный красавец этот возбуждал в нем сложное чувство любопытства, недоумения, нерешительной ревности. Студент Маракуев относился к Диомидову враждебно, Варвара — снисходительно и покровительственно, а отношение Лидии было неровно и капризно. Иногда в течение целого вечера она не замечала его, разговаривая с Макаровым или высмеивая народолюбие Маракуева, а в другой раз весь вечер вполголоса говорила только с ним или слушала его негромко журчавшую речь. Диомидов всегда говорил улыбаясь и так медленно, как будто слова доставались ему с трудом.

— Есть люди домашние и дикие, я — дикий! — говорил он виновато. — Домашних людей я понимаю, но мне с ними трудно. Все кажется, что кто-нибудь подойдет ко мне и скажет: иди со мной! Я и пойду, неизвестно куда.

— Это я тебя, и поведу! — кричал дядя Хрисанф. — Ты у меня будешь первоклассным артистом. Ты покажешь такого Ромео, такого Гамлета...

Диомидов, приглаживая волосы, недоверчиво ухмылялся, и недоверие его было так ясно, что — Клим подумал:

«Лидия — права: этот человек — не может быть актером, он слишком глуп, для того чтоб фальшивить».

Но однажды дядя Хрисанф заставил Диомидова и падчерицу свою прочитать несколько сцен из «Ромео и Юлии». Клим, равнодушный к театру, был поражен величавой силой, с которой светловолосый юноша произносил слова любви и страсти. У него оказался мягкий тенор, хотя и не богатый оттеками, созвучный. Самгин, слушая красивые слова Ромео, спрашивал: почему этот человек притворяется скромненьким, называет себя диким? Почему Лидия скрывала, что он талантлив? Вот она смотрит на него, расширив глава, сквозь смуглую кожу ее щек проступил яркий румянец, и пальцы руки ее, лежащей на колене, дрожат.

Дядя Хрисанф, сидя верхом на стуле, подняв руку, верхнюю губу и' брони,

напрягая толстые икры коротеньких ног, подскакивал, подкидывал тучный свой корпус, голое- лицо его сияло восхищением, он сладостно мигал.

— Отлично! — закричал он, трижды хлопнув ладонями. — Превосходно, но — не так! Это говорил не итальянец, а — мордвин. Это — размышление, а не страсть, покаяние, а не любовь! Любовь требует жертв. Где у тебя жест? У тебя лицо не живет! У тебя вся душа только в глазах, этого мало! Не вся публика смотрит на сцену в бинокль…

Лидия отошла к окну и, рисуя пальцем на запотевшем стекле, сказала глуховато:

— Мне тоже кажется, что это слишком… мягко.

— Нисколько не зажигает, — подтвердила Варвара, окинув Диомидова сердитым взглядом зеленоватых глаз. И только тут Клим вспомнил, что она подавала Диомидову реплики Джульетты бесцветным голосом и что, когда она говорит, у нее некрасиво вытягивается шея.

Диомидов опустил голову, сунул за ремень большие пальцы рук и, похожий на букву «ф», сказал виновато:

— Не верю я в театр.

— Потому что ни чорта не знаешь, — неистово закричал дядя Хрисанф. — Ты почитай книгу «Политическая роль французского театра», этого… как его? Боборыкина!

Наскакивая на Диомидова, он затолкал его в угол, к печке, и там убеждал:

— Тебя евангелием по башке стукнуть надо, притчей о талантах-!

— В притчу эту я тоже не верю, — услышал Клим тихие слова.

«Конечно, он глуп», — решил Клим, а Лидия засмеялась, и он принял смех ее как подтверждение своей оценки.

Позднее, сидя у нее в комнате, он сказал:

— Помнишь, отец твой говорил, что все люди привязаны каждый на свою веревочку и веревочка сильнее их?

— Он сам — на веревочке, — равнодушно отозвалась Лидия, не взглянув на него.

— Если ты о Семене, так это — неверно, — продолжала она. — Он — свободен. В нем есть что-то… крылатое.

Говорила она неохотно, как жена, которой скучно беседовать с мужем. В этот вечер она казалась старше лет на пять. Окутанная шалью, туго обтянувшей ее плечи, зябко скорчившись в кресле, она, чувствовал Клим, была где-то далеко от него. Но это не мешало ему думать, что вот девушка некрасива, чужда, а все-таки хочется подойти к ней, положить голову на колени ей и еще раз испытать то необыкновенное, что он уже испытал однажды. В его памяти звучали слова Ромео и крик дяди Хрисанфа:

«Любовь требует жеста!»

Но он не нашел в себе решимости на жест, подавленно простился с нею и ушел, пытаясь в десятый раз догадаться: почему его тянет именно к этой? Почему?

«Выдумываю я ее. Ведь не может же она открыть мне двери в какой-то сказочный рай!»

И все-таки чувствовал, что где-то глубоко в нем застыло убеждение, что Лидия создана для особенной жизни и любви. Разбираться в чувстве к ней очень мешал

широкий поток впечатлений, — поток, в котором Самгин кружился безвольно и все быстрее.

По воскресеньям, вечерами, у дяди Хрисанфа собирались его приятели, люди солидного возраста и одинакового настроения; все они были обижены, и каждый из них приносил слухи и факты, еще более углублявшие их обиды; все они любили выпить и поесть, а дядя Хрисанф обладал огромной кухаркой Анфимовной, которая пекла изумительные кулебяки. Среди этих людей было два актера, убежденных, что они сыграли все роли свои так, как никто никогда не играл и уже никто не сыграет.

Один из них был важный: седовласый, вихрастый, с отвисшими щеками и все презирающим взглядом строго выпученных мутноватых глаз человека, утомленного славой. Он великолепно носил бархатную визитку, мягкие замшевые ботинки; под его подбородком бульдога завязан пышным бантом голубой галстух; страдая подагрой, он ходил так осторожно, как будто и землю презирал. Пил и ел он много, говорил мало, и, чье бы имя ни называли при нем, он, отмахиваясь тяжелой, синеватой кистью руки, возглашал барским, рокочущим басом:

— Я его знаю.

И больше ничего не говорил, очевидно, полагая, что в трех его словах заключена достаточно убийственная оценка человека. Он был англоманом, может быть, потому, что пил только «английскую горькую», — пил, крепко зажмурив глаза и запрокинув голову так, как будто хотел, чтобы водка проникла в затылок ему.

Другой актер был не важный: лысенький, с безгубым ртом, в пенснэ на носу, загнутом, как у ястреба; уши у него были заячьи, большие и чуткие. В сереньком пиджачке, в серых брючках на тонких ногах с острыми коленями, он непоседливо суетился, рассказывал анекдоты, водку пил сладострастно, закусывал только ржаным хлебом и, ехидно кривя рот, дополнял оценки важного актера тоже тремя словами:

— Он был алкоголик.

Уверял, что пишет «Мемуары ночной птицы», и объяснял:

— Ночная птица — это я, актер. Актеры и женщины живут только ночью. Я до самозабвения люблю все историческое.

И, подтверждая свою любовь к истории, он неплохо рассказывал, как талантливейший Андреев-Бурлак пропил перед спектаклем костюм, в котором он должен был играть Иудушку Головлева, как пил Шумский, как Ринна Сыроварова в пьяном виде не могла понять, который из трех мужчин ее муж. Половину этого рассказа, как и большинство других, он сообщал шопотом, захлебываясь словами и дрыгая левой ногой. Дрожь этой ноги он ценил

довольно высоко:

— Такая судорога была у Наполеона Бонапарта в лучшие моменты его жизни.

Клим Самгин привык измерять людей мерою, наиболее понятной ему, и эти два актера окрашивали для него в свой цвет всех друзей дяди Хрисанфа.

Человеком, сыгравшим свою роль, он видел известного писателя, большебородого, коренастого старика с маленькими глазами. Создавший себе в семидесятых годах славу идеализацией крестьянства, этот литератор, хотя и не ярко талантливый, возбуждал искреннейший восторг читателей лиризмом своей любви и веры 'в народ. Славу свою он пережил, а любовь осталась все еще живой, хотя и огорченной тем, что читатель уже не ценил, не воспринимал ее. Обиженный этим, старик ворчливо поругивал молодых литераторов, упрекал их в измене народу.

— Всё — Лейкины, для развлечения пишут. Еще Короленко — туда-сюда, но —

тоже! О тараканах написал. В городе таракан — пустяк, ты его в деревне понаблюдай да опиши. Вот — Чехова хвалят, а он фокусник бездушный, серыми чернилами мажет," читаешь — ничего не видно. Какие-то всё недоростки.

Его особенно, до злого блеска в глазах, раздражали марксисты. Дергая себя за бороду, он угрюмо говорил:

— Недавно один дурак в лицо мне брякнул: ваша ставка на народ — бита, народа — нет, есть только классы. Юрист, второго курса. Еврей. Классы! Забыл, как недавно сородичей его классически громили…

Довольный незатейливым и мрачным каламбуром, он так ухмыльнулся, что борода его отодвинулась к ушам, обнажив добродушный, тупенький нос.

Двигался он тяжело, как мужик за сохою, и вообще в его фигуре, жестах, словах было много мужицкого. Вспомнив толстовца, нарядившегося мужиком, Самгин сказал Макарову:

— Искусно он играет.

Но Макаров поморщился и возразил:

— Не нахожу, что играет. Может быть, когда-то он усвоил все эти манеры, подчиняясь моде, но теперь это подлинное его. Заметь — он порою говорит наивно, неумно, а все-таки над ним не посмеешься, нет! Хорош старик! Личность!

Выпив водки, старый писатель любил рассказывать о прошлом, о людях, с которыми он начал работать. Молодежь слышала имена литераторов, незнакомых ей, и недоумевала, переглядывалась:

— Наумов, Бажин, Засодимеквй, Левитов…

— Ты читал таких? — спросил» Клим Макарова.

— Нет. Из двух Успенских — Глеба читал, а 'что был еще Николай — впервые слышу. Глеб — сочинитель истерический. Впрочем, я плохо понимаю беллетристов, романистов и вообще — истов. Неистов я, — усмехнулся он, но сейчас же хмуро слазал:

— Боюсь, что они Лидию в политику загонят… Макаров бывал у Лидии часто, но сидел недолго; с нею он говорил ворчливым тоном старшего брата, с Варварой — небрежно и даже порою глумливо, Маракуева и Пояркова называл «хористы», а дядю Хрисанфа — «угодник московский». Все это было приятно Климу, он уже не вспоминал Макарова на террасе дачи, босым, усталым и проповедующим наивности.

Был еще писатель, автор пресных рассказов о жизни мелких людей, страдающих от маленьких несчастий. Макаров называл эти рассказы «корреспонденциями Николаю Чудотворцу». Сам писатель тоже небольшого роста, плотненький, с дурной кожей на лице, с черноватой, негустой бородкой и недобрыми глазами. Чтоб смягчить их жесткий взгляд, он неопределенно и насильственно улыбался, эта улыбка, сморщивая темненькое лицо, старила его. Трезвый, он говорил мало, осторожно, с большим вниманием рассматривал синеватые ногти свои и сухо покашливал в рукав пиджака, а выпив, произносил, почти всегда невпопад, многозначительные фразы:

— «Я — раб, я — царь, я — червь, я — бог!» Субстанция-то одна, что у червя, что у Гёте.

Сочинял поговорки и тоже всовывал их в беседу неожиданно и неуместно:

— Гоголи-то Гоголи, да ведь их много ли? Звали его Никодим Иванович, и однажды Клим слышал, что он сказал Диомидову, загадочно усмехаясь:

— Подождем, погодим, что нам скажет Никодим. Сказав что-нибудь в народном и бытовом *тоне,* он кашлял в рукав особенно длительно и раздумчиво. А минут через пять говорил иначе и как бы мысленно прощупывая прочность слое.

— Внутри себя — все не такое, как мы видим, это еще греки знали. Народ оказался не таким, как его видело поколение семидесятых годов.

Од вообще вел себя загадочно и рассеянно, позволяя Самгину думать, что эта рассеянность — искусственна. Нередко он обрывал речь свою среди фразы и, вынув из бокового кармана темненького пиджачка маленькую книжку в коже, прятал ее под стол, на колено свое и там что-то записывал тонким карандашом.

Этим создавалось впечатление, что Никодим Иванович всегда живет в состоянии неугомонного творчества, и это вызывало у Диомидова неприязненное отношение к писателю.

— Опять записывает, видите? — несколько пугливо и тихо говорил он Лидии.

Ел Никодим Иванович много, некрасиво и, должно быть, зная это, старался есть незаметно, глотал пищу быстро, не разжевывая ее. А желудок у него был плохой, писатель страдал икотой; наглотавшись, он сконфуженно мигал и прикрывал рот ладонью, затем, сунув нос в рукав, покашливая, отходил к окну, становился спиною ко всем и тайно потирал живот.

В одну из таких минут веселый студент Маракуев, перемигнувшись с Варварой, подошел к нему и спросил:

— Что это вы рассматриваете, Никодим Иванович? Писатель, поеживаясь, сказал:

— А вот видите: горит звезда, бесполезная мне и вам; вспыхнула она за десятки тысяч лет до нас и еще десятки тысяч лет будет бесплодно гореть, тогда как мы все не проживем и полустолетия…»

Диомидов, выпивший водки, настоянной на сливах, и этим немножко возбужденный, заявил громко, протестующим тоном:

— Это вы из астрономии. А может быть, мир-то весь на этой звезде и держится, она — последняя скрепа его, а вы хотите… вы чего хотите?

— Это — не ваше дело, молодой человек, — обиженно сказал писатель.

Бывал у дяди Хрисанфа краснолысый, краснолицый профессор, автор программной статьи, написанной им лет десять тому назад; в статье этой он доказывал, что революция в России неосуществима, что нужно постепенное слияние всех оппозиционных сил страны в одну партию реформ, партия эта должна постепенно добиться от царя созыва земского собора. Но и за эту статью все-таки его устранили из университета, с той поры, имея чин «пострадавшего за свободу», он жил уже не пытаясь изменять течение истории, был самодоволен, болтлив и, предпочитая всем напиткам красное вино, пил, как все на Руси, не соблюдая чувства меры.

Молодцеватый Маракуев и другой студент, отличный гитарист Поярков, рябой, длинный и чем-то похожий на дьячка, единодушно ухаживали за Варварой, она трагически выкатывала на них зеленоватые глаза и, встряхивая рыжеватыми волосами, старалась говорить низкими нотами, под Ермолову, но иногда, забываясь, говорила в нос, под Савину.

Макаров и Диомидов стойко держались около Лидии, они тоже не мешали друг другу. Макаров относился к помощнику бутафора даже любезно, хотя за глаза говорил о нем с досадой:

— Чорт его знает — мистик он, что ли? Полуумный какой-то. А у Лидии, кажется, тоже есть уклон в эту сторону. Вообще — компания не из блестящих…

Поглощенный наблюдениями, Клим Самгин видел себя в стороне от всех, но это уже не очень обижало. Он чувствовал, что скромная роль зрителя полезна, приятна и внутренне сближает его с Лидией. Ее поведение на этих вечерах было поведением иностранки, которая, плохо понимая язык окружающих, напряженно слушает спутанные речи и, распутывая их, не имеет времени говорить сама. Темные глаза ее скользили по лицам людей, останавливаясь то на одном, то на другом, но всегда ненадолго и так, как будто она только сейчас заметила эти лица. Клим неоднократно пытался узнать: что она думает о людях? Но она, молча пожимая плечами, не отвечала и лишь однажды, когда Клим стал допрашивать навязчиво, сказала, как бы отталкивая его:

— Не знаю. Вероятно, я не умею думать. Иногда являлся незаметный человечек Зуев, гладко причесанный, с маленьким личиком, в центре которого торчал раздавленный носик. И весь Зуев, плоский, в измятом костюме, казался раздавленным, изжеванным. Ему было лет сорок, но все звали его — Миша.

— Ну, что, Миша? — спрашивал его старый писатель. Тихим голосом, как бы читая поминанье, за упокой родственников, он отвечал:

— В Марьиной роще аресты. В Твери. В Нижнем Новгороде.

Иногда он называл фамилии арестованных, и этот перечень людей, взятых в плен, все слушали молча. Потом старый литератор угрюмо говорил:

— Врут. Всех не выловят. Эх, жаль, Натансона арестовали, замечательный организатор. Враздробь действуют, оттого и провалы часты. Вожди нужны, старики… Мир стариками держится, крестьянский мир.

— Необходим союз всех сил, — напоминал профессор. — Необходима сдержанность, последовательность… Никодим Иванович соглашался с ним поговоркой:

— Торопясь, и лаптей не сплетешь.

— А все-таки, если — арестуют, значит — жив курилка! — утешал не важный актер.

Дядя Хрисанф, пылая, волнуясь и потея, неустанно бегал из комнаты в кухню, и не однажды случалось так, что в грустную минуту воспоминаний о людях, сидящих в тюрьмах, сосланных в Сибирь, раздавался его ликующий голос:

— Прошу к водочке!

Стараясь удержать на лицах выражение задумчивости и скорби, все шли в угол, к столу; там соблазнительно блестели бутылки разноцветных водок, вызывающе распластались тарелки с закусками. Важный актер, вздыхая, сознавался:

— Собственно говоря, мне вредно пить. И, наливая водку, добавлял:

— Но я остаюсь верен английской горькой. И даже как-то не понимаю ничего, кроме…

Входила монументальная, точно из красной меди литая, Анфимьевна, внося на вытянутых руках полупудовую кулебяку, и, насладившись шумными выражениями общего восторга пред солидной красотой ее творчества, кланялась всем, прижимая руки к животу, благожелательно говоря:

— Кушайте на здоровье!

Дядя Хрисанф и Варвара переставляли бутылки с закусочного стола на обеденный, не важный актер восклицал:

— Карфаген надо разрушить!

Однажды он, проглотив первый кусок, расслабленно положил нож, вилку и, сжав

виски свои. ладонями, спросил с тихой радостью:

— Послушайте — что же это? Все взглянули на него, предполагая, что он ожегся, глаза его увлажнились, но, качая головой, он сказал:

— Это же воистину пища богов! Господи — до чего талантлива русская женщина!

Он предложил пригласить Анфимьевну и выпить за ее здоровье. Это было принято и сделано единодушно.

Не забывая пасхальную ночь в Петербурге, Самгин пил осторожно и ждал самого интересного момента, когда хорошо поевшие и в меру выпившие люди, еще не успев охмелеть, говорили все сразу. Получалась метель слов, забавная путаница фраз:

— В Англии даже еврей может быть лордом!

— Чтоб зажарить тетерева вполне достойно качеству его мяса…

— Плехановщина! — кричал старый литератор, а студент Поярков упрямо, замогильным голосом возражал ему:

— Немецкие социал-демократы добились своего могущества легальными средствами…

Маракуев утверждал, что в рейхстаге две трети членов — попы, а дядя Хрисанф доказывал:

— Христос вошел в плоть русского народа!

— Оставим Христа Толстому!

— Н-никогда! Ни за что!

— Мольер — это уже предрассудок.

— Вы предпочитаете Сарду, да?

— Дуда!

— В театр теперь ходят по привычке, как в церковь, не веря, что надо ходить в театр.

— Это неверно, Диомндов!

— Вы, милый, ешьте как можно больше гречневой каши, *s* — пройдет!

— Мы все живем Христа ради…

— Браво! Это — печально, а — верно!

— А я утверждаю, что Европой будут праветь англичане…

— Он- еще по делу Астырева привлекался…

— У Киселевского весь талант был в голосе, а в душе у него ни зерна не было.

— Передайте уксус…

— Нет, уж — извините! В Нижнем-Новгороде, в селе Подновье, огурчики солят лучше, чем в Нежине!

— Турок — вон из Европы! Вон!

— Достоевского забыли!'

— А Салтыков-Щедрин?

— У него в тот сезон была любовницей Короедова-Змиева — эдакая, знаете, — вслух не скажешь…

— Теперь Россией будет вертеть Витте…

— Монопольно. Вот и — живите! Смеялись. Никодим Иванович внезапно начинал декламировать:

Писатель, если только онВолна, а океан — Россия, —Не может быть не возмущен,Когда возмущена стихия…

— А главное, держите ноги в тепле.

— Закипает Русь! Снова закипает…

— Студенчество… Союзный совет…

— Нет, марксистам народников не сковырнуть…

— Уж я-то знаю, что такое искусство, я — бутафор… В этот вихрь Клим тоже изредка бросал Варавкины словечки, и они исчезали бесследно, вместе со словами всех других людей.

Вставал профессор со стаканом красного вина, высоко подняв руку, он возглашал:

— Господа! Предлагаю наполнить стаканы! Выпьем… за Нее!

Все тоже вставали и молча пили, зная, что пьют за конституцию; профессор, осушив стакан, говорил:

— Да приидет!

Он почти всегда безошибочно избирал для своего тоста момент, когда зрелые люди тяжелели, когда им становилось грустно, а молодежь, наоборот, воспламенялась. Поярков виртуозно играл на гитаре, затем хором пели окаянные русские песни, от которых замирает сердце и все в жизни кажется рыдающим.

Хорошо, самозабвенно пел высоким тенорком Диомидов. В нем обнаруживались качества, неожиданные и возбуждавшие симпатию Клима. Было ясно, что, говоря о своей робости пред домашними людями, юный бутафор притворялся. Однажды Маракуев возбужденно порицал молодого царя за то, что царь, выслушав доклад о студентах, отказавшихся принять присягу ему, сказал:

— Обойдусь и без них.

Почти все соглашались с тем, что это было сказано неумно. Только мягкосердечный дядя Хрисанф, смущенно втирая ладонью воздух в лысину свою, пытался оправдать нового вождя народа:

— Молодой. Задорен.

Не важный актер поддержал его, развернув свои познания в истории:

— Они все задорны в молодости, например — Генрих Четвертый…

Диомидов, с улыбкой, которая оставляла писаное лицо его неподвижным, сказал радостно и как бы с завистью:

— Очень смелый царь!

И с той же улыбкой обратился к Маракуеву:

— Вот вы устраиваете какой-то общий союз студентов, а он вот не боится вас. Он

уж знает, что народ не любит студентов.

— Преподобное отроче Семионе! Не болтайте чепухи, — сердито оборвал его Маракуев. Варвара расхохоталась, засмеялся и Поярков, так металлически, как будто в горле его щелкали ножницы парикмахера.

А когда царь заявил, что все надежды на ограничение его власти — бессмысленны, даже дядя Хрисанф уныло сказал:

— Негодяев слушает, это — плохо! Но бутафор, глядя на всех глазами взрослого на детей, одобрительно jh упрямо повторил:

— Нет, он — честный. Он — храбрый, потому что — честный. Один против всех...

Маракуев, Поярков и товарищ их, еврей Прейс, закричали:

— Как — один? А — жандармы? Бюрократы?

— Это — прислуга! — сказал Диомидов. — Никто не спрашивает прислугу, как надо жить.

Его стали убеждать в три голоса, но он упрямо замолчал, опустив голову, глядя под стол.

Клим Самгин понимал, что Диомидов невежествен, но это лишь укрепляло его симпатию к юноше. Такого Лидия не мосла любить. Б лучшем случае ока относится к нему великодушно, жалеет его, как приблудного котенка интересной породы. Он даже немножко завидовал стойкому упрямству Диомидова и его усмешливому взгляду на студентов. Их все больше являлось в уютном, скрытом на дворе жилище дяди Хрисанфа. Они деловито заседали у Варвары в комнате, украшенной множеством фотографий и гравюр, изображавших знаменитых деятелей сцены; у нее были редкие портреты Гогарта, Ольриджа, Рашели, m[ademoise]lle Марс, Тальма. Студенческие заседания очень тревожили Макарова и умиляли дядю Хрисанфа, который чувствовал себя участником назревающих великих событий. Он был непоколебимо уверен, что с воцарением Николая Второго великие события неизбежно последуют.

— Вот — увидите, увидите! — таинственно говорил он раздраженной молодежи и хитро застегивал пуговки глаз своих в красные петли век. — Он — всех обманет, дайте ему оглядеться! Вы на глаза его, на зеркало души, не обращаете внимания. Всмотритесь-ка в лицо-то!

И — шутил:

— Эх, Диомидов, если б тебе отрастить бородку да кудри подстричь, — вот и готов ты на роль самозванца. Вполне готов!

Клим Самгин был очень доволен тем, что решил не учиться в эту зиму. В университете было тревожно. Студенты освистали историка Ключевского, обидели и еще нескольких профессоров, полиция разгоняла сходки; будировало сорок два либеральных профессора, а восемьдесят два заявили себя сторонниками твердой власти. Варвара бегала по антикварам и букинистам, разыскивая портреты m[ada]me Ролан, и очень сожалела, что нет портрета Те-руань де-Мерикур.

Вообще жизнь принимала весьма беспокойный характер, и Клим Самгин готов был признать, что дядя Хри-санф прав в своих предчувствиях. Особенно крепко врезались в память Клима несколько фигур, встреченных им за эту зиму.

Однажды Самгин стоял в Кремле, разглядывая хаотическое нагромождение домов города, празднично освещенных солнцем зимнего полудня. Легкий мороз озорниковато пощипывал уши, колючее сверканье снежинок ослепляло глаза; крыши, заботливо окутанные толстыми слоями серебряного пуха, придавали городу вид уютный; можно было думать, что под этими крышами в светлом тепле

дружно живут очень милые люди.

— Здравствуйте, — сказал Диомидов, взяв Клима за локоть. — Ужасный какой город, — продолжал он, вздохнув. — Еще зимой он пригляднее, а летом — вовсе невозможный. Идешь улицей, и все кажется, что сзади на тебя лезет, падает тяжелое. А люди здесь — жесткие. И — хвастуны.

Он снова вздохнул, говоря:

— Не люблю, когда ахают — ах, Москва! Разрумяненное морозом лицо Диомидова казалось еще более картинным, чем было всегда. Старенькая котиковая шапка мала для его кудрявой головы. Пальто — потертое, с разными пуговицами, карманы надорваны и оттопырены.

— Куда вы идете? — спросил Клим.

— Обедать.

И, мотнув головой на церковь Чудова монастыря, он сказал:

— Чиню иконостас тут.

— Вот как! И в театре и в церкви работаете…

— Так что? Все равно работа. Меня знакомый резчик и позолотчик пригласил. Замечательный…

Диомидов нахмурился, помолчал и предложил:

— Пойдемте в трактир, я буду обедать, а вы — чай пить. Есть вы там не станете, плохо для вас, а чай дают — хороший.

Было бы интересно побеседовать с Диомидовым, но путешествие с таким отрепанным молодцом не улыбалось Климу; студент рядом с мастеровым — подозрительная пара. Клим отказался идти в трактир, а Диомидов, безжалостно растирая ладонью озябшее ухо, сказал:

— Все — работаю. Хочу много денег накопить. И вдруг спросил:

— Вы одобряете Лидию Тимофеевну, что она в театр готовится?

Не ожидая ответа, он тотчас раскрыл смысл вопроса:

— Это ведь все равно как голой по улице ходить.

— Лидия Тимофеевна — взрослый человек, — сухо напомнил Клим.

Диомидов утвердительно кивнул головой.

— По-моему, умные чаще ошибаются в себе.

— Почему вы так думаете?. — А — как же? Я — книги читаю, вижу…

Это показалось Самгину дерзким: невежда, говорить правильно не умеет, а туда же…

— Что ж вы читаете?

— Всякое. Все об ошибках пишут. Притопывая ногою, он спросил:

— Вы — революцией занимаетесь?

— Нет, — ответил Клим, взглянув прямо в глаза Диомидову, — синева их была особенно густа в этот день.

— А я думаю — занимаетесь, вы такой скрытный.

— Почему вас интересует это?

— Когда мне об этом говорят, я знаю, что это правда, — задумчиво пробормотал Диомидов. — Конечно — правда, потому что — что же это?

Он махнул рукою на город.

— А хоть и знаю, да — не верю. У меня другое чувство.

— О революции на улице не говорят, — заметил Клим.

Диомидов оглянулся.

— Это — не улица. Хотите, я вам одного человека покажу? — предложил он.

— Какого?

— Увидите. Замечательный. Он — по субботам проповедует.

— Революцию?

— По-моему — еще хуже, — не сразу ответил Диомидов. Клим усмехнулся.

— Забавный вы человек!

— Пойдемте! — тихонько, но настойчиво упрашивал Диомидов. — Сегодня — суббота. Только вы попроще оденьтесь. Хотя — все равно, — бывают и такие. Даже околоточный бывает. И — дьякон.

По ласкающему взгляду забавного человека было ясно: ему очень хочется, чтоб Самгин пошел с ним, и он уже уверен, что Самгин пойдет.

— Страшно интересно. Это надо знать, — говорил он. — Очки — снимите, очковых людей не любят.

Клим хотел отказаться слушать вместе с околоточным проповедь чего-то хуже революции, но любопытство обессилило его осторожность. Тотчас возникли еще какие-то не совсем ясные соображения и заставили его сказать:

— Дайте адрес, я, может быть, приду.

— Лучше мне зайти за вами, проводить…

— Нет, не беспокойтесь…

Вечером Клим плутал по переулкам около Сухаревой башни. Щедро светила луна, мороз окреп; быстро мелькали темные люди, согнувшись, сунув руки в рукава и в карманы; по сугробам снега прыгали их уродливые тени. Воздух хрустально дрожал от звона бесчисленных колоколов, благовестили ко всенощной.

«Любопытно, — в какой среде живет этот полуумный? — думал Клим. — Если случится что-нибудь — самое худшее, чего я могу ждать, — вышлют из Москвы. Ну, что ж? Пострадаю. Это — в моде».

Вот, наконец, над старыми воротами изогнутая дугою вывеска: «Квасное заведение». Самгин вошел на двор, тесно заставленный грудами корзин, покрытых снегом; кое-где сквозь снег торчали донца и горлышки бутылок; лунный свет отражался в темном стекле множеством бесформенных глаз.

В глубине двора возвышалось длинное, ушедшее в землю кирпичное здание, оно было или хотело быть двухэтажным, но две трети второго этажа сломаны или не достроены. Двери, широкие, точно ворота, придавали нижнему этажу сходство с

конюшней; в остатке верхнего тускло светились два окна, а под ними, в нижнем, квадратное окно пылало так ярко, как будто за стеклом его горел костер.

Клим Самгин постучал ногою в дверь, чувствуя желание уйти со двора, но в дверях открылась незаметная, узкая калиточка, и невидимый человек сказал глухим голосом, на о:

— Осторожно. Четыре ступени.

Затем Самгин очутился на пороге другой двери, ослепленный ярким пламенем печи; печь — огромная, и в нее вмазано два котла.

— Чего же? Проходите, — сказала толстая женщина с черными усами, вытирая фартуком руки так крепко, что они скрипели.

В полуподвальном помещении со сводчатым потолком было сумрачно и стояла сыроватая теолога, пропитанная удушливым запахом испорченного мяса и навоза. Около печи в деревянном корыте для стирки белья мокли коровьи желудки, другое такое же корыто было наполнено кровавыми комьями печонок, легких. Вдоль стены — шесть корчаг, а за ними, в углу на ящике, сидел, прислонясь к стене затылком и спиною, вытянув длинные, тонкие ноги верблюда, человек в сером подряснике. Отклеив затылок от стены, он вытянул длинную шею и спросил басом, негромко:

— Аптекарь?

— Почему вы думаете, что аптекарь? — сердито спросил Клим.

— По внешнему облику, конечно… Садитесь вот сюда. Клим сел против него на широкие нары, грубо сбитые из четырех досок; в углу нар лежала груда рухляди, чья-то постель. Большой стол пред нарами испускал одуряющий запах протухшего жира. За деревянной переборкой, некрашеной и щелявой, светился огонь, там кто-то покашливал, шуршал бумагой. Усатая женщина зажгла жестяную лампу, поставила ее на стол и, посмотрев на Клима, сказала дьякону:

— Незнакомый.

Дьякон промолчал. Тогда она спросила Самгина:

— Вас кто звал?

— Диомидов.

— А-а! Сеня. Демидов он.

Она пошла к печке, нюхая руки свои, но, остановясь, спросила:

— Он говорил — в очках?

— Очки — со мною.

— Ну, ладно…

Клим достал из кармана очки, надел их и увидал, что дьякону лет за сорок, а лицо у него такое, с какими изображают на иконах святых пустынников. Еще более часто такие лица встречаются у торговцев старыми вещами, ябедников и скряг, а в конце концов память создает из множества подобных лиц назойливый образ какого-то как бы бессмертного русского человека.

Вошли двое: один широкоплечий, лохматый, с курчавой бородой и застывшей в ней неопределенной улыбкой, не то пьяной, не то насмешливой. У печки остановился, греясь, кто-то высокий, с черными усами и острой бородой. Бесшумно явилась молодая женщина в платочке, надвинутом до бровей. Потом один за другим пришло еще человека четыре, они столпились у печи, не подходя к столу, в

сумраке трудно было различить их. Все молчали, постукивая и шаркая ногами по кирпичному полу, только улыбающийся человек сказал кому-то:

— Даже барин пришел… антилегенд…

Клим чувствовал, что он задыхается в этом гнилом воздухе, в кошмарной обстановке, ему хотелось уйти. Наконец вбежал Диомидов, оглянул всех, спросил Клима:

— Ага, пришли? — и торопливо прошел за перегородку.

Через минуту оттуда важно выступил небольшой человечек с растрепанной бородкой и серым, незначительным лицом. Он был одет в женскую ватную кофту, на ногах, по колено, валяные сапоги, серые волосы на его голове были смазаны маслом и лежали гладко. В одной руке он держал узенькую и длинную книгу из тех, которыми пользуются лавочники для записи долгов. Подойдя к столу, он сказал дьякону:

— Ты со мной не спорь..;

Сел, развернул книгу и, взглянув на Самгина, спросил Диомидова:

— Этот?

— Да.

— Ну — здравствуйте! — обратился незначительный человек ко всем. Голос у него звучный, и было странно слышать, что он звучит властно. Половина кисти левой руки его была отломлена, остались только три пальца: большой, указательный и средний. Пальцы эти слагались у него щепотью, никоновским крестом. Перелистывая правой рукой узенькие страницы крупно исписанной книги, левой он непрерывно чертил в воздухе затейливые узоры, в этих жестах было что-то судорожное и не сливавшееся с его спокойным голосом.

— На сей вечер хотел я продолжать вам дальше поучение мое, но как пришел новый человек, то надобно, вкратцах, сказать ему исходы мои, — говорил он, осматривая слушателей бесцветными и как бы пьяными глазами.

— Валяй, послушаем, — сказал улыбающийся человек и сел рядом с Климом.

Проповедник посмотрел в книжку и продолжал очень спокойно, словно он рассказывает обыкновенное и давно известное всем:

— Учу я, господин, вполне согласно с наукой и сочинениями Льва Толстого, ничего вредного в моем поучении не содержится. Все очень просто: мир этот, наш, весь — дело рук человеческих; руки наши — умные, а башки — глупые, от этого и горе жизни.

Клим посмотрел на людей, все они сидели молча; его сосед, нагнувшись, свертывал папиросу. Диомидов исчез. Закипала, булькая, вода в котлах; усатая женщина полоскала в корыте «сычуги», коровьи желудки, шипели сырые дрова в печи. Дрожал и подпрыгивал огонь в лампе, коптило надбитое стекло. В сумраке люди казались бесформенными, неестественно громоздкими.

— Что это значит — мир, если посмотреть правильно? — спросил человек и нарисовал тремя пальцами в воздухе петлю. — Мир есть земля, воздух, вода, камень, дерево. Без человека — все это никуда не надобно.

Сосед Клима, закурив, спросил:

— А откуда ты, Яков Платоныч, знаешь, что надобно, что — нет?

— Не знал, так — не говорил бы. И — не перебивай. Ежели все вы тут станете меня учить, это будет дело пустяковое. Смешное. Вас — много, а ученик — один. Нет, уж

вы, лучше, учитесь, а учить буду — я.

— Ловко? — шепнул Климу улыбающийся сосед, обдав ему щеку теплым дымом.

А учитель продолжал размеренно и спокойно втыкать в сумрак:

— Камень — дурак. И дерево — дурак. И всякое произрастание — ни к чему, если нет человека. А ежели до этого глупого материала коснутся наши руки, — имеем удобные для жилья дома, дороги, мосты и всякие вещи, машины и забавы, вроде шашек или карт и музыкальных труб. Так-то. Я допрежде сектантом был, сютаевцем, а потом стал проникать в настоящую философию о жизни и — проник насквозь, при помощи неизвестного человека. «Объясняющий господин», — вспомнил Клим. Из сумрака высунулось чье-то раздробленное оспой лицо, и простуженный голос сиповато попросил:

— Про бога бы…

Яков Платонович трехпалою рукой приподнял лампу, посмотрел на вопрошателя прищурясь и сказал:

— Здесь я учу. Я знаю, когда богу черед. Затем снова обратился к Самгину:

— Учеными доказано, что бог зависит от климата, от погоды. Где климаты ровные, там и бог добрый, а в жарких, в холодных местах — бог жестокий. Это надо понять. Сегодня об этом поучения не будет.

— Вас боится, — шепнул Климу сосед и стал плевать на окурок папиросы.

Философ решительно черкнул изуродованной рукой по столу и углубился в книгу, перелистывая ее страницы.

Самгин чувствовал себя больным, обезмысленным, втиснутым в кошмар. Если б ему рассказали, что он видел и слышал, он не поверил бы. Все сердитей кипела вода в котлах, наполняя подвал тяжко пахучим паром. Усатая женщина шлепала в корытах черными кусками печени и легких, полоскала сычуги, выворачивая их, точно грязные чулки. Она возилась согнувшись и была похожа на медведицу. У печи кто-то всхрапнул, повез ногами по полу и гулко стукнулся головой о перегородку. Проповедник, взглянув на него из-под ладони, сказал не улыбаясь и не сердито:

— Побереги башку, может — еще годится. Трехпалая кисть его руки, похожая на рачью клешню, болталась над столом, возбуждая чувство жуткое и брезгливое. Неприятно было видеть плоское да еще стертое сумраком лицо и на нем трещинки, в которых неярко светились хмельные глаза. Возмущал самоуверенный тон, возмущало явное презрение к слушателям и покорное молчание их.

— От царя небесного вниз спустимся к земному… На секунду замолчав, учитель почесал в бороде и — докончил:

— …делу.

Общительный сосед Клима радостно шепнул:

— Про Царя-Голода начнет…

— Все мы живем по закону состязания друг с другом, в этом и обнаруживается главная глупость наша.

Топорные слова его заставили Клима иронически подумать:

«Слышал бы это Кутузов!»

И все-таки было оскорбительно наблюдать, как подвальный человечишка уродливо и дерзко обнажает знакомый, хотя и враждебный ход мысли Кутузова.

— Возьмем на прицел глаза и ума такое происшествие: приходят к молодому царю некоторые простодушные люди и предлагают: ты бы, твое величество, выбрал из народа людей поумнее для свободного разговора, как лучше устроить жизнь. А он им отвечает: это затея бессмысленная. А водочная торговля вся в его руках. И — всякие налоги. Вот о чем надобно думать...

— Ловко? — горячим шопотом спросил сосед Клима. И — крепко потирая руки:

— Министр, сукин кот!

— Вы ему вериге?

— А — чего же не верить? Он правду режет. Поговорив еще минут десять, проповедник вынул из кармана клешней своей черные часы, взвесил их, закрыл книгу и, хлопнув ею по столу, поднялся.

— На сегодня — будет! Думайте.

Все зашевелились, а рябой громко произнес:

— Спасибо, Яков Платоныч.

Яков, дважды кивнув ему, поднял нос, понюхал и сморщил лицо, говоря:

— Глафира! Я же тебя просил: не мочи сычуги в горячей воде. Пользы от этого — нет, только вонь.

А когда Самгин, идя к двери, поравнялся с ним, он, ухватив его за рукав, сказал насмешливо:

— Вот, господин, сестра моя фабрикует пищу для бедных, — ароматная пища, а? То-то. Между тем, в трактире Тестова...

— Извините, мне пора, — прервал его Клим. Вынырнув в крепкий холод улицы, он вздохнул так глубоко, как только мог; закружилась голова, и позеленело в глазах. Приземистые, старенькие домики и сугробы снега, пустынное небо над ними и ледяная луна — все на минуту показалось зелененьким, покрытым плесенью, гнилым. Самгин торопливо шагал и встряхивался, чтоб отогнать от себя тошнотворный запах испорченного мяса. Было еще не поздно, только что кончилась всенощная. Клим решил зайти к Лидии, рассказать ей обо всем, что он видел и слышал, заразить ее своим возмущением. Она должна знать, в какой среде живет Диомидов, должна понять, что знакомство с ним не безопасно для нее. Но, когда он, сидя в ее комнате, начал иронически и брезгливо излагать свои впечатления, — девушка несколько удивленно прервала его речь:

— Но ведь я знаю все это, я была там. Мне кажется, я говорила тебе, что была у Якова. Диомидов там и живет с ним, наверху. Помнишь: «А плоть кричит — зачем живу?»

Сгибая и разгибая шпильку, она задумчиво продолжала:

— Конечно, все это очень примитивно, противоречиво. Но ведь это, по-моему, эхо тех противоречий, которые ты наблюдаешь здесь. И, кажется, везде одно и то же.

Сломав шпильку, она тихонько добавила:

— Вверху — кричат, внизу — слышат и толкуют по-своему. Не совсем понятно, чем ты возмущаешься.

Но ее спокойный тон значительно охладил возмущение Клима.

— А я не могу понять, чем ты увлекаешься в Диомидове, — пробормотал он.

Лидия взглянула на него, сдвинув брови.

— Он мне нравится.

Клим замолчал, прислушиваясь, ожидая, когда в нем заговорит ревность.

— Иногда я жалею, что он старше меня на два года; мне хочется, чтоб он был моложе на пять. Не знаю, почему это.

— Ты — видишь, я все молчу, — слышал он задумчивый и ровный голос. — Мне кажется, что, если б я говорила, как думаю, это было бы… ужасно! И смешно. Меня выгнали бы. Наверное — выгнали бы. С Диомидовым я могу говорить обо всем, как хочу.

— А — со мной? — спросил Клим. Лидия вздохнула, закрыла глаза:

— Ты — умный, но — чего-то не понимаешь. Непонимающие нравятся мне больше понимающих, но ты… У тебя это не так. Ты хорошо критикуешь, но это стало твоим ремеслом. С тобою — скучно. Я думаю, что и тебе тоже скоро станет скучно.

Ревность не являлась, но Самгин почувствовал, что в нем исчезает робость пред Лидией, ощущение зависимости от нее. Солидно, тоном старшего, он заговорил:

— Вполне понятно, что тебе пора любить, но любовь — чувство реальное, а ты ведь выдумала этого парня.

— У тебя характер учителя, — сказала Лидия с явной досадой и даже с насмешкой, как послышалось Самгину. — Когда ты говоришь: я тебя люблю, это выходит так, как будто ты сказал: я люблю тебя учить.

— Вот как, — пробормотал Клим, насильно усмехаясь. — А мне кажется, что ты хочешь думать, будто можешь относиться к Диомидову, как учительница.

Лидия промолчала. Самгин посидел еще несколько минут и, сухо простясь, ушел. Он был взволнован, но подумал, что, может быть, ему было бы приятнее, если б он мог почувствовать себя взволнованным более сильно.

Дома на столе Клим нашел толстое письмо без марок, без адреса, с краткой на конверте надписью: «К. И. Самгину». Это брат Дмитрий извещал, что его перевели в Устюг, и просил прислать книг. Письмо было кратко и сухо, а список книг длинен и написан со скучной точностью, с подробными титулами, указанием издателей, годов и мест изданий; большинство книг на немецком языке.

«Счетовод», — неприязненно подумал Клим. Взглянув в зеркало, он тотчас погасил усмешку на своем лице. Затем нашел, что лицо унылое и похудело. Выпив стакан молока, он аккуратно разделся, лег в постель и вдруг почувствовал, что ему жалко себя. Пред глазами встала фигура «лепообразного» отрока, память подсказывала его неумелые речи.

«У меня — другое чувство».

«Может быть, и я обладаю «другим чувством», — подумал Самгин, пытаясь утешить себя. — Я — не романтик, — продолжал он, смутно чувствуя, что где-то близко тропа утешения. — Глупо обижаться на девушку за то, что она не оценила моей любви. Она нашла плохого героя для своего романа. Ничего хорошего он ей не даст. Вполне возможно, что она будет жестоко наказана за свое увлечение, и тогда я…»

Он не докончил свою мысль, почувствовав легкий приступ презрения к Лидии. Это очень утешило его. Он заснул с уверенностью, что узел, связывавший его с Лидией, развязался. Сквозь сон Клим даже подумал:

«Да — был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

Но уже утром он понял, что это не так. За окном великолепно сияло солнце, празднично гудели колокола, но — все это было скучно, потому что «мальчик»

существовал. Это ощущалось совершенно ясно. С поражающей силой, резко освещенная солнцем, на подоконнике сидела Лидия Варавка, а он, стоя на коленях пред нею, целовал ее ноги. Какое строгое лицо было у нее тогда и как удивительно светились ее глаза! Моментами она умеет быть неотразимо красивой. Оскорбительно думать, что Диомидов...

В этих мыслях, неожиданных и обидных, он прожил до вечера; а вечером явился Макаров, расстегнутый, растрепанный, с опухшим лицом и красными глазами. Климу показалось, что даже красивые, крепкие уши Макарова стали мягкими и обвисли, точно у пуделя. Дышал он кабаком, но был трезв.

— Приехал с Кубани Володька и третьи сутки пьет, как пожарный, — рассказывал он, потирая пальцами виски, приглаживая двуцветные вихры. — Я ему сочувствовал, но — больше не могу! Вчера к нему пришел дьякон, друг его, а я сбежал. Сейчас иду туда снова, беспокоит меня Владимир, он — человек неожиданных уклонов. Хочешь — пойдем со мной? Лютов будет рад. Он тебя называет двоеточием, за которым последует неизвестно что, но — что-то оригинальное. С дьяконом познакомишься — интересный тип! А может быть, и Володьку несколько охладишь. Идем?

Климу было любопытно посмотреть, как страдает неприятный человек.

«Напьюсь, — подумал он. — Макаров скажет об этом Лидии».

Через час он шагал по блестящему полу пустой комнаты, мимо зеркал в простенках пяти окон, мимо стульев, чинно и скучно расставленных вдоль стен, а со стен на него неодобрительно смотрели два лица, одно — сердитого человека с красной лентой на шее и яичным желтком медали в бороде, другое — румяной женщины с бровями в палец толщиной и брезгливо отвисшей губою.

По внутренней лестнице в два марша, узкой и темной, поднялись в сумрачную комнату с низким потолком, с двумя окнами, в углу одного из них взвизгивал жестяный вертун форточки, вгоняя в комнату кудрявую струю морозного воздуха.

Среди комнаты стоял Владимир Лютов в длинной, по щиколотки, ночной рубахе, стоял, держа гитару за конец грифа, и, опираясь на нее, как на дождевой зонт, покачивался. Присматриваясь к вошедшим, он тяжело дышал, под расстегнутой рубахой выступали и опадали ребра, было странно видеть, что он так костляв.

— Самгин? — вопросительно крикнул он, закрыв глаза, и распростер руки; гитара, упав на пол, загудела, форточка ответила ей визгом.

Клим не успел уклониться от объятий, Лютов тискал его, приподнимал и, целуя мокрыми, горячими губами, бормотал;

— Спасибо... Я — очень... очень...

Подтащил его к столу, нагруженному бутылками, тарелками, и, наливая дрожащей рукой водку в рюмки, крикнул:

— Дьякон — иди! £h'o — свой.

В углу открылась незаметная дверь, вошел, угрюмо усмехаясь, вчерашний серый дьякон. При свете двух больших ламп Самгин увидел, что у дьякона три бороды, длинная и две покороче; длинная росла на подбородке, а две другие спускались от ушей, со щек. Они были мало заметны на сером подряснике.

— Ипатьевский, — нерешительно сказал дьякон, до боли крепко тиснув костлявыми пальцами ладонь Самгина, и медленно согнулся, поднимая гитару.

Макаров, закрывая форточку, кричал на хозяина:

— Пневмонию схватить хочешь?

— Костя, — задыхаюсь!

Стремительные глаза Лютова бегали вокруг Самгина, не в силах остановиться на нем, вокруг дьякона, который разгибался медленно, как будто боясь, что длинное тело его не уставится в комнате. Лютов обожженно вертелся у стола, теряя туфли с босых ног; садясь на стул, он склонялся головою до колен, качаясь, надевал туфлю, и нельзя было понять, почему он не падает вперед, головою о пол. Взбивая пальцами сивые волосы дьякона, он взвизгивал:

— Самгин! Вот — человек! Даже — не человек, а — храм! Молитесь благодарно силе, создающей таких людей!

Дьякон углубленно настраивал гитару. Настроив, он встал и понес ее в угол, Клим увидал пред собой великана, с широкой, плоской грудью, обезьяньими лапами и костлявым лицом Христа ради юродивого, из темных ям на этом лице отвлеченно смотрели огромные, водянистые глаза.

Налив четыре больших рюмки золотистой водки, 'Лютов объявил:

— Польская старка! Бьет без промаха. Предлагаю выпить за здоровье Алины Марковны Телепневой, бывшей моей невесты. Она меня… она отказала мне, Самгин! Отказалась солгать душою и телом. Глубоко, искренно уважаю — ура!

— Ура, — повторил дьякон замогильным басом. После двух рюмок необыкновенно вкусной водки и дьякон и Лютов показались Климу менее безобразными. Лютов даже и не очень пьян, а только лирически и до ярости возбужден. В его косых глазах горело нечто близкое исступлению, он вопросительно оглядывался, и высокий голос его внезапно, как бы от испуга, ниспадал до шопота.

— Костя! — кричал он. — Ведь надо иметь хорошую душу, чтоб отказаться от больших денег?

Макаров, усмехаясь, толкал его к дивану и уговаривал ласково:

— Ты — сядь, посиди спокойно.

— Стой! Я — большие деньги и — больше ничего! И еще я — жертва, приносимая историей себе самой за грехи отцов моих.

Остановясь среди комнаты, он взмахнул руками, поднял их над головой, как будто купальщик, намеренный нырнуть в воду.

— Когда-нибудь на земле будет жить справедливое человечество, и оно, на площадях городов своих, поставит изумительной красоты монументы и напишет на них…

Он задохнулся, замигал и взвизгнул:

— И напишет: «Предшественникам нашим, погибшим за грехи и ошибки отцов». Напишет!

Клим видел, как под рубахой трясутся ноги Лютова, и ждал, что из его вывихнутых глаз потекут слезы. Но этого не случилось. После взрыва отчаянного восторга своего Лютов вдруг как будто отрезвел, стал спокойнее и, уступив настояниям Макарова, сел на диван, отирая рукавом рубахи вдруг и обильно вспотевшее лицо свое. Клим находил, что купеческий сын страдает весьма забавно. Он не возбуждал каких-либо добрых чувств, не возбуждал и снисходительной жалости, наоборот, Климу хотелось дразнить его, хотелось посмотреть, куда еще может подпрыгнуть и броситься этот человек? Он сел на диван рядом с ним.

— Вы очень хорошо сказали о монументах… Лютов, крутя головой, обвел его воспаленным взглядом, закачался, поглаживая колени ладонями.

— Поставят монументы, — убежденно сказал он. — Не из милосердия, — тогда

милосердию не будет места, потому что не будет наших накожных страданий, — монументы поставят из любви к необыкновенной красоте правды прошлого; ее поймут и оценят, эту красоту…

У стола дьякон, обучая Макарова играть на гитаре, говорил густейшим басом:

— Согните пальцы круче, крючковатой…

— Вы — извините меня, — заговорил Клим. — Но я видел, что Алина…

Лютов перестал гладить колени и сидел согнувшись.

— Она, в сущности, не умная девушка…

— Женское в ней — умное.

— Мне кажется, она не способна понять, за что надо любить…

— При чем здесь — за что? — спросил Лютов, резко откинувшись на спинку дивана, и взглянул в лицо Самгина обжигающим взглядом. — За что — это от ума. Ум — против любви… против всякой любви! Когда его преодолеет любовь, он — извиняется: люблю за красоту, за милые глаза, глупую — за глупость. Глупость можно окрестить другим именем… Глупость — многоименна…

Он вскочил, подошел к столу и, схватив дьякона за плечи, стал просить:

— Егор, — почитай о неразменном рубле… Ну, — пожалуйста!

— При незнакомом человеке? — вопросительно и смущенно сказал дьякон, взглянув на Клима. — Хотя мы как будто уже встречались…

Клим любезно улыбнулся.

— Смолоду одержим стихотворной страстью, но конфужусь людей просвещенных, понимая убожество свое.

Дьякон все делал медленно, с тяжелой осторожностью. Обильно посыпав кусочек хлеба солью, он положил на хлеб колечко лука и поднял бутылку водки с таким усилием, как двухпудовую гирю. Наливая в рюмку, он прищурил один огромный глаз, а другой выкатился и стал похож на голубиное яйцо. Выпив водку, открыл рот и гулко сказал:

— Х-хо!

А прежде чем положить хлеб с луком в рот, он, сморщив ноздри длинного носа, понюхал хлеб, как цветок.

Лютов стоял, предостерегающе подняв правую руку, крепко растирая левой неровно отросшую бородку. Макаров, сидя у стола, сосредоточенно намазывал икрою калач. Клим Самгин, на диване, улыбался, ожидая неприличного и смешного.

— Ну — вот! — сказал дьякон и начал протяжно, раздумчиво, негромко:

Не спалося господу Исусу,И пошел господь гулять по звездам,По небесной, золотой дороге,Со звезды на звездочку ступая.Провожали господа ИсусаНиколай, епископ Мирликийский,Да Фома-апостол — только двое.

Слушать его было трудно, голос гудел глухо, церковно, мял и растягивал слова, делая их невнятными. Лютов, прижав локти к бокам, дирижировал обеими руками, как бы укачивая ребенка, а иногда точно сбрасывая с них что-то.

Думает господь большие думы,Смотрит вниз — внизу земля вертится,Кубарем вертится черный шарик,Чорт его железной цепью хлещет.

— А? — спросил Лютов, подмигнув Климу; лицо его вздрогнуло круглой судорогой.

— Не мешай, — сказал Макаров.

Клим все еще улыбался, уверенно ожидая смешного, а дьякон, выкатив глаза, глядя в стену, на темную гравюру в золотой раме, гудел:

— Был я там, — сказал Христос печально,А Фома-апостол усмехнулсяИ напомнил:
— Чай, мы все оттуда. —Поглядел Христос во тьму земнуюИ спросил Угодника Николу:— Кто это лежит там, у дороги,Пьяный, что ли, сонный аль убитый?
— Нет, — ответил Николай Угодник —Это просто Васька КалужанинО хорошей жизни замечтался.

Закрыв глаза, Лютов мотал встрепанной головой и беззвучно смеялся. Макаров налил две рюмки водки, одну выпил сам, другую подал Климу.

Тут Христос, мечтателям мирволя,Опустился голубем на землю.Встал пред Васькой, спрашивает Ваську:— Я — Христос, узнал меня, Василий? —Васька перед богом — на колени,Умилился духом, чуть не плачет.— Господи! — бормочет, — вот так штука!Мы тебя сегодня и не ждали!Что ж ты не сказался мне заранс?Я бы сбил народ тебе навстречу,Мы бы тебя встретили со звономВсем бы нашим, Жиздринским уездом! —Усмехнулся Иисус в бородку,Говорит он мужику любовно:
— Я ведь на короткий срок явился,Чтоб узнать: чего ты, Вася, хочешь?

Лютов протянул левую руку Самгину и, дирижируя правой, шепнул со свистом:

— Слушайте!

Васька Калужанин рот разинул,Обомлел от радости Василий— И потом, слюну глотая, шепчет:— Дай же ты мне, господи, целковый,Знаешь, неразменный этот рублик,Как его ни трать, а — не истратишь,Как ты ни меняй — не разменяешь!

— Гениально! — крикнул Лютов и встряхнул руками, как бы сбрасывая что-то под ноги дьякону, а тот, горестно изогнув брови, шевеля тройной бородой, говорил:

— Денег у меня с собою — нету.Деньги у Фомы, у казначея,Он теперь Иуду замещает…

Лютов уже не мог слушать. Подпрыгивая, извиваясь, потеряв туфли, он шлепал голыми подошвами и кричал:

— Каково? А? Ка-ко-во?

Подняв лицо и сжатые кулаки к потолку, он пропел гнусавым голосом старенького дьячка:

— Неразменный рублик — подай, господи! Нет, — Фома-то, а? Скептик Фома на месте Иуды, а?

— Прекрати судороги, Володька, — грубо и громко сказал Макаров, наливая водку. — Довольно неистовства, — прибавил он сердито.

Лютов оторвался от дьякона, которого обнимал, наскочил на Макарова и обнял его:

— Ты все о моем достоинстве заботишься? Не надо, Костя! Я — знаю, не надо. Какому дьяволу нужно мое достоинство, куда его? И — «не заграждай уста вола молотяща», Костя!

Самгин был удивлен и растерялся. Он видел, что красивое лицо Макарова угрюмо, зубы крепко стиснуты, глаза влажны.

— Ты, кажется, плачешь? — спросил он, нерешительно улыбаясь.

— А что же? Смеяться? Это, брат, вовсе не смешно, — резко говорил Макаров. — То

есть — смешно, да… Пей! Вопрошатель. Чорт знает что… Мы, русские, кажется, можем только водку пить, и безумными словами все ломать, искажать, и жутко смеяться над собою, и вообще…

Он отчаянно махнул рукой.

Климу стало неловко. От выпитой водки и странных стихов дьякона он вдруг почувствовал прилив грусти: прозрачная и легкая, как синий воздух солнечного дня поздней осени, она, не отягощая, вызывала желание говорить всем приятные слова. Он и говорил, стоя с рюмкой в руках против дьякона, который, согнувшись, смотрел пол ноги ему.

— Очень оригинально это у вас. И — неожиданно. Признаюсь, я ждал комического…

Дьякон выпрямился, осветил побуревшее лицо свое улыбкой почти бесцветных глаз.

— Комическое — тоже имеется; это ведь сочинение длинное, восемьдесят шесть стихов. Без комического у нас нельзя — неправда будет. Я вот похоронил, наверное, не одну тысячу людей, а ни одних похорон без комического случая — не помню. Вернее будет сказать, что лишь такие и памятны мне. Мы ведь и на самой горькой дороге о смешное спотыкаемся, такой народ!

Изломанно свалившись на диван, Лютов кричал, просил:

— Оставь, Костя! Право бунта, Костя…

— Бабий бунт. Истерика. Иди, облей голову холодной водой.

Макаров легко поднял друга на ноги и увел его, а дьякон, на вопрос Клима: что же сделал Васька Калужанин с неразменным — рублем? — задумчиво рассказал:

— Вернулся Христос на небо, выпросил у Фомы целковый и бросил его Ваське. Запил Василий, загулял, конечно, как же иначе-то?

Пьет да ест Васяга, девок портит,Молодым парням — гармоньи дарит,Стариков — за бороды таскает,Сам орет на всю калуцку землю:— Мне — плевать на вас, земные люди.Я хочу — грешу, хочу — спасаюсь!Все равно: мне двери в рай открыты,Мне Христос приятель закадышный!

— А ужасный разбойник поволжский, Никита, узнав, откуда у Васьки неразменный рубль, выкрал монету, влез воровским манером на небо и говорит Христу: «Ты, Христос, неправильно сделал, я за рубль на великие грехи каждую неделю хожу, а ты его лентяю подарил, гуляке, — нехорошо это!»

Вошел Лютов с мокрой, гладко причесанной головой, в брюках и рубахе-косоворотке.

— Конец, конец скажи! — закричал он. Дьякон усмехнулся:

— Да ведь я говорю! Согласился Христос с Никитой: верно, говорит, ошибся я по простоте моей. Спасибо, что ты поправил дело, хоть и разбойник. У вас, говорит, на земле все так запуталось, что разобрать ничего невозможно, и, пожалуй, верно вы говорите. Сатане в руку, что доброта да простота хуже воровства. Ну, все-таки пожаловался, когда прощались с Никитой: плохо, говорит, живете, совсем забыли меня. А Никита и сказал:

— Ты, Христос, на нас не обижайся,Мы тебя, Исус, не забываем,Мы тебя и ненавидя — любим,Мы тебе и ненавистью служим.

Глубоко, шумно вздохнув, дьякон сказал:

— Вот и конец.

— Никто не может понять этого! — закричал Лютов. — Никто! Вся эта европейская мордва никогда не поймет русского дьякона Егора Ипатьевского, который отдан под суд за кощунство и богохульство из любви h богу! Не может!

— Это — правда, бога я очень люблю, — сказал дьякон просто и уверенно. — Только у меня требования к нему строгие: не человек, жалеть его не за что.

— Стой! А если его — нет?

— Утверждающие сие — ошибаются. Вмешался Макаров.

— Бога — нет, отец дьякон, — сказал он тоже очень уверенно. — Нет, потому что — глупо все!

Лютов взвизгивал, стравливая спорщиков, и говорил Самгину:

— Знаете, за что он под суд попал? У него, в стихах, богоматерь, беседуя с дьяволом, упрекает его: «Зачем ты предал меня слабому Адаму, когда я была Евой, — зачем? Ведь, с тобой живя, я бы немало ангелами заселила!» Каково?

Клим слушал и его возбужденный, сверлящий голос и глуховатый бас дьякона;

— Конечно, это громогласной медью трубит, когда маленький человечек Вселенную именует глупостью, ну, а все-таки это смешно.

— Женщина создана глупо…

— На этом я — согласен с вами. Вообще — плоть будто бы на противоречиях зиждется, но, может быть, это потому, что пути слияния ее с духом еще неведомы нам…

— Вы, церковники, издеваетесь над женщиной… Лютов толкал Клима, покрикивая с восторгом:

— Кто посмеет говорить о боге так, как мы? Клим Самгин никогда не думал серьезно о бытии бога, у него не было этой потребности. А сейчас он чувствовал себя приятно охмелевшим, хотел музыки, пляски, веселья.

— Поехать бы куда-нибудь, — предложил он. Лютов повалился на диван, подобрал ноги под себя и спросил, усмехаясь:

— К девчонкам? Но ведь вы, кажется, жених? А?

— Я? Нет, — сказал Самгин и неожиданно для себя добавил: — Та же история, что у вас…

Он тотчас поверил, что это так и есть, в нем что-то разорвалось, наполнив его дымом едкой печали. Он зарыдал. Лютов обнял его, начал тихонько говорить утешительное, ласково произнося имя Лидии; комната качалась, точно лодка, на стене ее светился серебристо, как зимняя луна, и ползал по дуге, как маятник, циферблат часов Мозера.

— Ты очень не нравился мне, — говорил Клим, всхлипывая.

— Всем — не нравлюсь.

— Ты — революционер!

— Все мы — революционеры…

— Значит, Константин Леонтьев — прав: Россию надо подморозить.

— Дурак! — испуганно сказал Лютов. — Тогда ее разорвет, как бутылку.

И крикнул:

— А впрочем — чорт с ней! Пусть разорвет, и чтобы тишина!

Потом все четверо сидели на диване. В комнате стало тесно. Макаров наполнил ее дымом папирос, дьякон — густотой своего баса, было трудно дышать.

— Души исполнены обид, разум же весьма смущен…

— Остановись на этом, дьякон!

— Жизнь — не поле, не пустыня, остановиться — негде.

Слова били Самгина по вискам, толкали его.

— Не позволю порицать науку, — кричал Макаров. Дьякон зашевелился и стал медленно распрямляться. Когда он, длинный и темный, как чья-то жуткая тень, достиг головою потолка, он переломился и спросил сверху:

— А это — слышали?

Качаясь, точно язык в колоколе, он заревел, загудел:

— С-сомневающимся… в бытии б-божием… — ан-наф-фема!

— Ана-афема! Ана-афема! — пронзительно, с восторгом запел Лютов, дьякон вторил ему торжественно, погребально.

— Молчать! — заорал Макаров. Рев дьякона оглушил Клима и столкнул его в темную пустоту; из нее его поднял Макаров.

— Вставай! Уже пятый час.

Самгин медленно поднялся, сел на диван. Он был одет, только сюртук и сапоги сняты. Хаос и запахи в комнате тотчас восстановили в памяти его пережитую ночь. Было темно. На столе среди бутылок двуцветным огнем горела свеча, отражение огня нелепо заключено внутри пустой бутылки белого стекла. Макаров зажигал спички, они, вспыхнув, гасли. Он склонился над огнем свечи, ткнул в него папиросой, погасил огонь и выругался:

— О, чорт! Потом спросил:

— Что же, ты думаешь, Лидия влюбилась в этого идиота?

— Да, — сказал Клим, но через две-три секунды прибавил: — Наверное…

— Ну… Иди, мойся.

Ему удалось зажечь свечу. Клим заметил, что руки его сильно дрожат. Уходя, он остановился на пороге и тихо сказал:

— Там сейчас дьякон читал о богородице, дьяволе и слабом человеке, Адаме. Хорошо! Умная бестия, дьякон. Чертя в воздухе огнем папиросы, он проговорил:

Не Христос — не Авель нужен людям,Людям нужен Прометей — Антихрист.

Это… ловко сказано!

Швырнул папиросу на пол и ушел.

Лысый старик с шишкой на лбу помог Климу вымыться и безмолвно свел его вниз; там, в маленькой комнатке, за столом, у самовара сидело трое похмельных людей. Дьякон, еще более похудевший за ночь, был похож на привидение. Глаза его уже не показались Климу такими огромными, как вчера, нет, это довольно обыкновенные, жидкие и мутные глаза пожилого пьяницы. И лицо у него, в

сущности, заурядное, такие лица слишком часто встречаешь. Если б он сбрил тройную бороду и подстриг волнистую овчину на голове, он был бы похож на ремесленника. Человек для анекдота. Он и говорит языком рассказов Горбунова.

— Гитара требует характера мечтательного.

— Костя, перестань терзать гитару, — скорее приказал, чем попросил Лютов.

Клим жадно пил крепкий кофе и соображал: роль Макарова при Лютове — некрасивая роль приживальщика. Едва ли этот раздерганный и хамоватый болтун способен внушить кому-либо чувство искренней дружбы. Вот он снова начинает чесать скучающий язык:

— Ну — как это понять, дьякон, как это понять, что ты, коренной русский человек, существо необыкновеннейшей душевной пестроты, — скучаешь?

Дьякон, посыпая солью кусок ржаного хлеба, глухо кашлянул и ответил:

— В скуке ничего коренного русского — нет. Скукой все люди озабочены.

— Но — какой?

— И Вольтер скучал.

И тотчас, как будто куча стружек, вспыхнул спор. Лютов, подскакивая на стуле, хлопал ладонью по столу, визжал, дьякон хладнокровно давил его крики тяжелыми словами. Разравнивая ножом соль по хлебу, он спрашивал:

— Да — есть ли Россия-то? По-моему, такой, как ты, Владимир, ее видишь, — нету.

— Ух, как вы надоели, — сказал Макаров и отошел с гитарой к окну, а дьякон упрямо долбил:

— Храмы — у нас есть, а церковь — отсутствует. Католики все веруют по-римски, а мы — по-синодски, по-уральски, по-таврически и уж бесы знают, как еще…

— Но — почему? Почему, Самгин? Клим, сунув руки в карманы, заговорил:

— Как всякая идеология, религиозные воззрения тоже…

— Слышали, — грубовато сказал дьякон. — У меня сын тоже марксист. Поэтом обещал быть, Некрасовым, а теперь утверждает, что безземельный крестьянин не способен веровать в бога зажиточного мужика. Нет, суть — не в этом. Это поистине нищета философии. Настоящую же философию нищеты мы вот с господином Самгиным слышали третьего дня. Философ был неказист, но надо сказать, что он преискусно оголял самое существо всех и всяческих отношений, показывая скрытый механизм бытия нашего как сплошное кровопийство. Трижды слушал я его и спорил, а преобороть устойчивость мысли его — не мог однако. Сына моего — могу поставить в тупик на всех его ходах, а этого — не могу.

Дьякон широко и одобрительно улыбнулся.

— Я — не зря говорю. Я — человек любопытствующий. Соткнувшись с каким-нибудь ближним из простецов, но беспокойного взгляда на жизнь, я даю ему два-три толчка в направлении, сыну моему любезном, марксистском. И всегда оказывается, что основные начала учения сего у простеца-то как бы уже где-то под кожей имеются.

— Марксизм — накожная болезнь? — обрадованно вскричал Лютов.

Дьякон улыбнулся.

— Нет, я ведь сказал: под кожею. Можете себе представить радость сына моего? Он же весьма нуждается в духовных радостях, ибо силы для наслаждения

телесными — лишен. Чахоткой страдает, и ноги у него не действуют. Арестован был по Астыревскому делу и в тюрьме растратил здоровье. Совершенно растратил. Насмерть.

Шумно вздохнув, дьякон предложил с оттенком некоторого удальства:

— Володя, а не выпить ли нам по медведю? Лютов вскочил и убежал, крича:

— Я знаю, дьякон, почему все мы разъединенный и одинокий народ!

Дьякон пригладил волосы обеими руками, подергал себя за бороду, потом сказал негромко:

— Весна стучит, господа студенты.

Он сказал это потому, что с крыши упал кусок подтаявшего льда, загремев о железо наличника окна.

Вбежал Лютов с бутылкой шампанского в руке, за ним вошла розоволицая, пышная горничная тоже с бутылками.

— Делай! — сказал он дьякону. Но о том, почему русские — самый одинокий народ в мире, — забыл сказать, и никто не спросил его об этом. Все трое внимательно следили за дьяконом, который, засучив рукава, обнажил не очень чистую рубаху и странно белую, гладкую, как у женщины, кожу рук. Он смешал в четырех чайных стаканах портер, коньяк, шампанское, посыпал мутнопенную влагу перцем и предложил:

— Причащайтесь!

Клим выпил храбро, хотя с первого же глотка почувствовал, что напиток отвратителен. Но он ни в чем не хотел уступать этим людям, так неудачно выдумавшим себя, так раздражающе запутавшимся в мыслях и словах. Содрогаясь от жгучего вкусового ощущения, он мельком вторично подумал, что Макаров не утерпит, расскажет Лидии, как он пьет, а Лидия должна будет почувствовать себя виноватой в этом. И пусть почувствует.

Через четверть часа он, сидя на стуле, ласточкой летал по комнате и говорил в трехбородое лицо с огромными глазами:

— Ваши мысли кажутся вам радужными, и так далее. Но — это банальнейшие мысли.

— Стойте, Самгин? — кричал Лютов. — Тогда вся Россия — банальность. Вся!

— И Христос, которого мы будто бы любим и ненавидим. Вы — очень хитрый человек. Но — вы наивный человек, дьякон. И я вам — не верю. Я — никому не верю.

Клим чувствовал себя пылающим. Он хотел сказать множество обидных, но неотразимо верных слов, хотел заставить молчать этих людей, он даже просил, устав сердиться:

— Мы все очень простые люди. Давайте жить просто. Очень просто… как голуби. Кротко!

Они хохотали, кричали, Лютов возил его по улицам в широких санях, запряженных быстрейшими лошадями, и Клим видел, как столбы телеграфа, подпрыгивая в небо, размешивают в нем звезды, точно кусочки апельсинной корки в крюшоне. Это продолжалось четверо суток, а затем Самгин, лежа у себя дома в постели, вспоминал отдельные моменты длительного кошмара.

Глубже и крепче всего врезался в память образ дьякона. Самгин чувствовал себя оклеенным его речами, как смолой. Вот дьякон, стоя среди комнаты с гитарой в

руках, говорит о Лютове, когда Лютов, вдруг свалившись на диван, — уснул, так отчаянно разинув рот, как будто он кричал беззвучным и тем более страшным криком:

— Самоубийственно пьет. Маркс ему вреден. У меня сын тоже насильно заставляет себя веровать в Маркса. Ему — простительно. Он — с озлобления на людей за погубленную жизнь. Некоторые верят из глупой, детской храбрости: боится мальчуган темноты, но — лезет в нее, стыдясь товарищей, ломая себя, дабы показать: я-де не трус! Некоторые веруют по торопливости, но большинство от страха. Сих, последних, я не того… не очень уважаю.

Вот он, перестав обучать Макарова игре на гитаре, спрашивает Клима:

— А вы к музыке не причастны? И, не дожидаясь ответа, мечтает, барабаня пальцами по колену:

— Расстригут меня — пойду работать на завод стекла, займусь изобретением стеклянного инструмента. Семь лет недоумеваю: почему стекло не употребляется в музыке? Прислушивались вы зимой, в метельные ночи, когда не спится, как стекла в окнах поют? Я, может быть, тысячу ночей слушал это пение и дошел до мысли, что именно стекло, а не медь, не дерево должно дать нам совершенную музыку. Все музыкальные инструменты надобно из стекла делать, тогда и получим рай звуков. Обязательно займусь этим.

Костлявое лицо дьякона смягчила мечтательная улыбка, а Климу Самгину показалось, что дьякон только сейчас выдумал все это.

Еще две-три встречи с дьяконом, и Клим поставил его в ряд с проповедником о трех пальцах, с человеком, которому нравится, когда «режут правду», с хромым ловцом сома, с дворником, который нарочно сметал пыль и сор улицы под ноги арестантов, и озорниковатым старичком-каменщиком.

Клим Самгин думал, что было бы хорошо, если б кто-то очень внушительный, даже — страшный крикнул на этих людей:

«Да — что вы озорничаете?!»

Не только эти нуждались в грозном окрике, нуждался в нем и Лютов, заслуживали окрика и многие студенты, но эти уличные, подвальные, кошмарные особенно возмущали Самгина своим озорством. Когда у дяди Хрисанфа веселый студент Маракуев и Поярков начинали шумное состязание о правде народничества и марксизма со своим приятелем Прейсом, евреем, маленьким и элегантным, с тонким лицом и бархатными глазами, Самгин слушал эти споры почти равнодушно, иногда — с иронией. После Кутузова, который, не любя длинных речей, умел говорить скупо, но неотразимо, эти казались ему мальчишками, споры их — игрой, а горячий задор — направленным на соблазн Варвары и Лидии.

— Каждый народ — воплощение неповторяемого духовного своеобразия! — кричал Маракуев, и в его глазах орехового цвета горел свирепый восторг. — Даже племена романской расы резко различны, каждое — обособленная психическая индивидуальность.

Поярков, стараясь говорить внушительно и спокойно, поблескивал желтоватыми белками, в которых неподвижно застыли темные зрачки, напирал животом на маленького Прейса, загоняя его в угол, и там тискал его короткими, сердитыми фразами:

— Интернационализм — выдумка людей денационализированных, деклассированных. В мире властвует закон эволюции, отрицающий слияние неслиянного. Американец-социалист не признает негра товарищем. Кипарис не растет на севере. Бетховен невозможен в Китае. В мире растительном и животном революции — нет.

Все такие речи были более или менее знакомы и привычны; они не пугали, не раздражали, а в ответах Прейса было даже нечто утешительное. Он деловито отвечал цифрами, а Самгин знал, что точный счет — основное правило науки. Вообще евреи не возбуждали симпатии Самгина, но Прейс нравился ему. Он слушал речи Маракуева и Пояркова спокойно, он, видимо, считал их неизбежными, как затяжной осенний дождь. Говорил чистейшим русским языком, суховато, в тоне профессора, которому уже несколько надоело читать лекции. В его крепко слаженных фразах совершенно отсутствовали любимые русскими лишние слова, не было ничего цветистого, никакого щегольства, и было что-то как бы старческое, что не шло к его звонкому голосу и твердому взгляду бархатных глаз. Когда Маракуев, вспыхнув фейерверком, сгорал, а Поярков, истощив весь запас коротко нарубленных фраз своих, смотрел в упор на Прейса разноцветными глазами, Прейс говорил:

— Возможно, что все это красиво, но это — не истина. Неоспоримая истина никаких украшений не требует, она — проста: вся история человечества есть история борьбы классов.

Клим Самгин не чувствовал потребности проверить истину Прейса, не думал о том, следует ли принять или отвергнуть ее. Но, чувствуя себя в состоянии самообороны и несколько торопясь с выводами из всего, что он слышал, Клим в неприятной ему «кутузовщине» уже находил ценное качество: «кутузовщина» очень упрощала жизнь, разделяя людей на однообразные группы, строго ограниченные линиями вполне понятных интересов. Если каждый человек действует по воле класса, группы, то, как бы ловко ни скрывал он за фигурными хитросплетениями слов свои подлинные желания и цели, всегда можно разоблачить истинную суть его — силу групповых и классовых поведений. Возможно, что именно и только «кутузовщина» позволит понять и — даже лучше того — совершенно устранить из жизни различных кошмарных людей, каковы дьякон, Лютов, Диомидов и подобные. Но — здесь возникал ряд смущающих вопросов и воспоминаний:

«Интересами какой группы или какого класса живет Прейс, чистенький и солидный?»

Вспоминался весьма ехидный вопрос Туробоева Кутузову:

«А что, если классовая философия окажется не ключом ко всем загадкам жизни, а только отмычкой, которая портит и ломает замки?»

Гудел устрашающий голос дьякона:

«Приходится соглашаться с моим безногим сыном, который говорит такое: раньше революция на испанский роман с приключениями похожа была, на опасную, но весьма приятную забаву, как, примерно, медвежья охота, а ныне она становится делом сугубо серьезным, муравьиной работой множества простых людей. Сие, конечно, есть пророчество, однако не лишенное смысла. Действительно: надышали атмосферу заразительную, и доказательством ее заразности не одни мы, сущие здесь пьяницы, служим».

Количество таких воспоминаний и вопросов возрастало, они становились всё противоречивей, сложней. Чувствуя себя не в силах разобраться в этом хаосе, Клим с негодованием думал:

«Но ведь не глуп же я?»

Что он не глуп, в этом убеждало его умение подмечать в людях фальшивое, дрянненькое, смешное. Он был уверен, что видит безошибочно и зорко. Московские студенты пьют больше, чем петербуржцы, и более пламенно увлекаются театром. Волжане дают наибольшее количество людей революционно настроенных. Поярков был, несомненно, очень зол, но, не желая показать свою злобу, неестественно улыбался, натянуто любезничал со всеми. Прейс относится к русским, как Туробоев к мужикам. Если б Маракуев не был так весел, для всех

было бы ясно, что он глуп. Варвара даже чай пьет трагически. Дядя Хрисанф откровенно глуп, он сам знает это.

— Хороший человек я, но — бесталанный, — говорит он. — Вот — загадочка! Хорошему бы человеку и дать талант, а мне — не дано.

Количество таких наблюдений быстро возрастало, у Самгина не было сомнений в их правильности, он чувствовал, что они очень, все более твердо ставят его среди людей. Но — плохо было то, что почти каждый человек говорил нечто такое, что следовало бы сказать самому Самгину, каждый обворовывал его. Вот Диомидов сказал:

— Мир — враг человеку.

В этих трех словах Клади слышал свою правду. Он сердито посоветовал:

— Идите в монастырь.

— Ты не понял, — сказала Лидия, строго взглянув на него, а Диомидов, закрыв лицо руками, пробормотал сквозь пальцы:

— Монастырь — тоже клетка.

Клим стал замечать, что Лидия относится к бутафору, точно к ребенку, следит, чтоб он ел и пил, теплее одевался. В глазах Клима эта заботливость унижала ее

А Диомидов был явно ненормален. Самгина окончательно убедила в этом странная сцена: уходя от Лидии, столяр и бутафор надевал свое старенькое пальто, он уже сунул левую руку в рукав, но не мог найти правого рукава и, улыбаясь, боролся с пальто, встряхивал его. Клим решил помочь ему.

— Нет, не надо, — попросил Диомидов, затем, сбросив пальто с плеча, ласково погладил упрямый рукав, быстро и ловко надел пальто и, застегивая разнообразные пуговицы, объяснил:

— Оно не любит чужих рук. Вещи тоже, знаете, имеют свой характер.

Мял в руках шапку и говорил:

— Очень имеют. Особенно — мелкие и которые часто в руки берешь. Например — инструменты: одни любят вашу руку, другие — нет. Хоть брось. Я вот не люблю одну актрису, а она дала мне починить старинную шкатулку, пустяки починка. Не поверите: я долго бился — не мог справиться. Не поддается шкатулка. То палец порежу, то кожу прищемлю, клеем ожегся. Так и не починил. Потому что шкатулка знала: не люблю я хозяйку ее.

Когда он ушел, Клим спросил Лидию: как она думает об этом?

— Он — поэт, — сказала девушка тоном, исключающим возражения.

О сопротивлении вещей человеку Диомидов говорил нередко.

— Мелкие вещи непокорнее больших. Камень можно обойти, можно уклониться от него, а от пыли — не скроешься, иди сквозь пыль. Не люблю делать мелкие вещи, — вздыхал он, виновато улыбаясь, и можно было думать, что улыбка теплится не внутри его глаз, а отражена в них откуда-то извне. Он делал смешные открытия:

— Если идти ночью от фонаря, тень делается все короче и потом совсем пропадает. Тогда кажется, что и меня тоже нет.

Наблюдая его рядом с Лидией, Самгин испытывал сложное чувство недоуменья, досады. Но ревность все же не возникала, хотя Клим продолжал упрямо думать, что он любит Лидию. Он все-таки решился сказать ей:

— Не доведет тебя до добра твой романтизм.

— А что такое — добро? — спросила она вполголоса, нахмурясь и глядя в глаза его. Пока он, пожимая плечами, собирался ответить ей, она сказала:

— Я думаю, что отношения мужчин и женщин вообще — не добро. Они — неизбежны, но добра в них нет. Дети? И ты, и я были детьми, но я все еще не могу понять: зачем нужны оба мы?

В конце концов Самгину казалось, что он прекрасно понимает всех и все, кроме себя самого. И уже нередко он ловил себя на том, что наблюдает за собой как за человеком, мало знакомым ему и опасным для него.

Готовясь встретить молодого царя, Москва азиатски ярко раскрашивала себя, замазывала слишком уродливые морщины свои, как престарелая вдова, готовясь в новое замужество. Было что-то неистовое и судорожное в стремлении людей закрасить грязь своих жилищ, как будто москвичи, вдруг прозрев, испугались, видя трещины, пятна и другие признаки грязной старости на стенах домов. Сотни маляров торопливо мазали длинными кистями фасады зданий, акробатически бесстрашно покачиваясь высоко в воздухе, подвешенные на веревках, которые издали казались тоненькими нитками. На балконах и в окнах домов работали драпировщики, развешивая пестрые ковры, кашмирские шали, создавая пышные рамы для бесчисленных портретов царя, украшая цветами гипсовые бюсты его. Отовсюду лезли в глаза розетки, гирлянды, вензеля и короны, сияли золотом слова «Боже царя храни» и «Славься, славься наш русский царь»; тысячи национальных флагов свешивались с крыш, торчали изо всех щелей, куда можно было сунуть древко.

Преобладал раздражающий своей яркостью красный цвет; силу его еще более разжигала безличная податливость белого, а угрюмые синие полосы не могли смягчить ослепляющий огонь красного. Там и тут из окон на улицу свешивались куски кумача, и это придавало окнам странное выражение, как будто квадратные рты дразнились красными языками. Некоторые дома были так обильно украшены, что казалось — они вывернулись наизнанку, патриотически хвастливо обнажив мясные и жирные внутренности свои. С восхода солнца и до полуночи на улицах суетились люди, но еще более были обеспокоены птицы, — весь день над Москвой реяли стаи галок, голубей, тревожно перелетая из центра города на окраины и обратно; казалось, что в воздухе беспорядочно снуют тысячи черных челноков, ткется ими невидимая ткань. Полиция усердно высылала неблагонадежных, осматривала чердаки домов на тех улицах, по которым должен был проехать царь. Маракуев, плохо притворяясь не верующим в то, что говорит, сообщал: подряд на иллюминацию Кремля взят Кобозевым, тем торговцем сырами, из лавки которого в Петербурге на Садовой улице предполагалось взорвать мину под каретой Александра Второго. Кобозев приехал в Москву как представитель заграничной пиротехнической фирмы и в день коронации взорвет Кремль.

— Конечно, это похоже на сказку, — говорил Маракуев, усмехаясь, но смотрел на всех глазами верующего, что сказка может превратиться в быль. Лидия сердито предупредила его:

— Не вздумайте болтать об этом при дяде Хрисанфе. Дядя Хрисанф имел вид сугубо парадный; шлифованная лысина его торжественно сияла, и так же сияли ярко начищенные сапоги с лакированными голенищами. На плоском лице его улыбки восторга сменялись улыбками смущения; глазки тоже казались начищенными, они теплились, точно огоньки двух лампад, зажженных в емкой душе дяди.

— Ликует Москва, — бормотал он, нервно играя кистями пояса, — нарядилась боярыней. Умеет Москва ликовать! Подумайте: свыше миллиона аршин кумача истрачено!

И, вспоминая, что слишком сильный восторг — неприличен, он высчитывал:

— Двести пятьдесят тысяч рубах; армию одеть можно! Он пытался показать молодежи, что относится к предстоящему торжеству иронически, но это плохо удавалось ему, он срывался с тона, ирония уступала место пафосу.

— Второй раз увижу, как великий народ встретит своего молодого вождя, — говорил он, отирая влажные глаза, и, спохватясь, насмешливо кривил губы.

— Идолопоклонство, конечно. «Приидите, поклонимся и припадем цареви и богу нашему» — н-да! Ну все-таки надо посмотреть. Не царь интересен, а народ, воплощающий в него все свои чаяния н надежды.

Он звал Диомидова на улицу, но тот нерешительно отказывался:

— Я, знаете, не люблю скопления народа. ~ Ну, это, брат, глупости! — возмущался дядя Хрисанф. — Как это — не люблю?

— Видите ли, это не помещается во мне, любовь к народу, — виновато сознавался Диомидов. — Если говорить честно — зачем же мне народ? Я, напротив…

— Ты — с ума сходишь! — кричал дядя Хрисанф. — Что ты, чудак? Как это — не помещается? Что это значит — не помещается?

И решительно тащил юношу за собою на шумные улицы. Клим тоже шел, шел и Маракуев, улыбаясь несколько растерянно.

В окнах, на балконах часто мелькало гипсовое, слепое лицо царя. Маракуев нашел, что царь — курнос.

— Похож на Сократа в молодости, — заметил дядя Хрисанф.

По улицам озабоченно шагали новенькие полицейские чиновники, покрикивая на маляров, на дворников. Ездили на рослых лошадях необыкновенно большие всадники в шлемах и латах; однообразно круглые лица их казались каменными;, тела, от головы до ног, напоминали о самоварах, а ноги были лишние для всадников. Тучи мальчишек сопровождали медных кентавров, неустанно взвизгивая — ура! Оглушительно кричали и взрослые при виде франтоватых кавалергардов, улан, гусар, раскрашенных так же ярко, как деревянные игрушки кустарей Сергеева Посада.

Кричали ура четверым, монголам, одетым в парчу, идольски неподвижным, сидя в ландо, они косенькими глазками смотрели друг на друга; один из них, с вывороченными ноздрями, с незакрытым ртом, белозубый, улыбался мертвой улыбкой, желтое лицо его казалось медным.

— Вот, смотри, — внушал дядя Хрисанф Диомидову, как мальчику, — предки их жгли и грабили Москву, а потомки кланяются ей.

— Да они не кланяются, — они сидят, как совы днем, — пробормотал Диомидов, растрепанный, чумазый, с руками, позолоченными бронзовым порошком; он только утром кончил работать по украшению Кремля.

Особенно восторженно московские люди встречали посла Франции, когда он, окруженный блестящей свитой, ехал на Поклонную гору.

— Видишь? — поучал дядя Хрисанф. — Французы. И они тоже разорили, сожгли Москву, а — вот… Мы зла не помним…

Встретили группу английских офицеров, впереди их автоматически шагал неестественно высокий человек с лицом из трех костей, в белой чалме на длинной голове, со множеством орденов на груди, узкой и плоской.

— Британцев не люблю, — сказал дядя Хрисанф. Промчался обер-полицмейстер Власовский, держась за пояс кучера, а за ним, окруженный конвоем, торжественно проехал дядя царя, великий князь Сергей. Хрисанф и Диомидов обнажили головы.

Самгин тоже невольно поднял к фуражке руку, но Маракуев, отвернувшись в сторону, упрекнул Хрисанфа;

— Не стыдно вам кланяться гомосексуалисту!

— Ура-а! — кричали москвичи. — Ур-ра! Потом снова скакали взмыленные лошади Власовского, кучер останавливал их на скаку, полицмейстер, стоя, размахивал руками, кричал в окна домов, на рабочих, на полицейских и мальчишек, а, окричав людей, устало валился на сиденье коляски и толчком в спину кучера снова гнал лошадей. Длинные усы его, грозно шевелясь, загибались к затылку.

— Ур-ра, — кричал народ вслед ему, а Диомидов, испуганно мигая, жаловался Климу вполголоса:

— Совсем как безумный. Да и все с ума сошли. Как будто конца света ждут. А город — точно разграблен, из окошек все вышвырнуто, висит. И все — безжалостные. Ну, что орут? Какой же это праздник? Это — безумство.

— Сказочное, волшебное безумие, чудак, — поправлял его дядя Хрисанф, обрызганный белой краской, и счастливо смеялся.

— Надо бы торжественно, тихо, — бормотал Диомидов.

Самгин молча соглашался с ним, находя, что хвастливому шуму тщеславной Москвы не хватает каких-то важных нот. Слишком часто и бестолково люди ревели ура, слишком суетились, и было заметно много неуместных шуточек, усмешек. Маракуев, зорко подмечая смешное и глупое, говорил об этом Климу с такой радостью, как будто он сам, Маракуев, создал смешное.

— Смотрите, — указывал он на транспарант, золотые слова которого: «Да будет легок твой путь к славе и счастью России», заканчивались куском вывески с такими же золотыми словами: «и К°».

Последние дни Маракуев назойливо рассказывал пошловатые анекдоты о действиях администрации, городской думы, купечества, но можно было подозревать, что он сам сочиняет анекдоты, в них чувствовался шарж, сквозь их грубоватость проскальзывало нечто натянутое и унылое.

— Н-да-с, — говорил он Лидии, — народ радуется. А впрочем, какой же это народ? Народ — там!

Взмахом руки он указывал почему-то на север и крепко гладил ладонью кудрявые волосы свои.

Но, хотя Клим Самгин и замечал и слышал много неприятного, оскорбительно неуместного, в нем все-таки возникло волнующее ожидание, что вот сейчас, откуда-то из бесчисленных улиц, туго набитых людями, явится нечто необычное, изумительное. Он стыдился сознаться себе, что хочет видеть царя, но это желание возрастало как бы против воли его, разжигаемое работой тысяч людей и хвастливой тратой миллионов денег. Этот труд и эта щедрость внушали мысль, что должен явиться человек необыкновенный, не только потому, что он — царь, а по предчувствию Москвой каких-то особенных сил и качеств в нем.

— Екатерина Великая скончалась в тысяча семьсот девяносто шестом году, — вспоминал дядя Хрисанф; Самгину было ясно, что москвич верит в возможность каких-то великих событий, и ясно было, что это — вера многих тысяч людей. Он тоже чувствовал себя способным поверить: завтра явится необыкновенный и, может быть, грозный человек, которого Россия ожидает целое столетие и который, быть может, окажется в силе сказать духовно растрепанным, распущенным людям:

«Да — что вы озорничаете?!»

В день, когда царь переезжал из Петровского дворца в Кремль, Москва

напряженно притихла. Народ ее плотно прижали к стенам домов двумя линиями солдат и двумя рядами охраны, созданной из отборно верноподданных обывателей. Солдаты были непоколебимо стойкие, точно выкованы из железа, а охранники, в большинстве, — благообразные, бородатые люди с очень широкими спинами. Стоя плечо в плечо друг с другом, они ворочали тугими шеями, посматривая на людей сзади себя подозрительно и строго.

— Тиш-ша! — говорили они.

И часто бывало так, что взволнованный ожиданием или чем-то иным неугомонный человек, подталкиваемый их локтями, оказывался затисканным во двор. Это случилось и с Климом. Чернобородый человек посмотрел на него хмурым взглядом темных глаз и через минуту наступил каблуком на пальцы ноги Самгина. Дернув ногой, Клим толкнул его коленом в зад, — человек обиделся:

— Вы что же это, господин, безобразите? А еще в очках!

Обиделись еще двое и, не слушая объяснений, ловко и быстро маневрируя, вогнали Клима на двор, где сидели три полицейских солдата, а на земле, у крыльца, громко храпел неказисто одетый и, должно быть, пьяный человек. Через несколько минут втолкнули еще одного, молодого, в светлом костюме, с рябым лицом; втолкнувший сказал солдатам:

— Задержите этого, карманник. Двое полицейских повели рябого в глубь двора, а третий сказал Климу:

— Сегодня жуликам — лафа!

Затем вогнали во двор человека с альбомом в руках, он топал ногою, тыкал карандашом в грудь солдата и возмущенно кричал:

— Нэ имэеште праву!

Причал на немецком языке, на французском, по-румынски, но полицейский, отмахнувшись от него, как от дыма, снял с правой руки своей новенькую перчатку и отошел прочь, закуривая папиросу.

— Так — кар-рашо! — угрожающе сказал человек, начиная быстро писать карандашом в альбоме, и прислонился спиной к стене, широко расставив ноги.

Загнали во двор старика, продавца красных воздушных пузырей, огромная гроздь их колебалась над его толовой; потом вошел прилично одетый человек, с подвязанной черным платком щекою; очень сконфуженный, он, ни на кого *ее* глядя, скрылся в глубине двора, за углом дома. Клим понял его, он тоже чувствовал себя сконфуженно и глупо. Он стоял в тени, за грудой ящиков со стеклами для ламп, и слушал ленивенькую беседу полицейских с карманником.

— Подольск от нас далеко, — рассказывал карманчик, вздыхая.

Воробьи прыгали по двору, над окнами сидели голуби, скучно посматривая вниз то одним, то другим рыбьим глазом.

Так и простоял Самгин до поры, пока не раздался торжественный звон бесчисленных колоколов. Загремело потрясающее ура тысяч глоток, пронзительно пели фанфары, ревели трубы военного оркестра, трещали барабаны и непрерывно звучал оглушающий вопль:

— Ура-а!

А когда все это неистовое притихло, во двор вошел щеголеватый помощник полицейского пристава, сопровождаемый бритым человеком в темных очках, вошел, спросил у Клима документы, передал их в руку человека в очках, тот посмотрел на бумаги и, кивнув головой в сторону ворот, сухо сказал:

— Можете.

— Я не понимаю, — возмущенно заговорил Самгин, но человек в очках, повернувшись спиною к нему, сказал:

— Вас и не просят понимать.

Клим обиженно вышел на улицу, толпа подхватила его, повлекла за собой и скоро столкнула лицом к лицу с Лютовым.

Владимир Петрович Лютов был в состоянии тяжкого похмелья, шел он неестественно выпрямясь, как солдат, но покачивался, толкал встречных, нагловато улыбался женщинам и, схватив Клима под руку, крепко прижав ее к своему боку, говорил довольно громко:

— Идем ко мне обедать. Выпьем. Надо, брат, пить. Мы — люди серьезные, нам надобно пить на все средства четырех пятых души. Полной душою жить на Руси — всеми строго воспрещается. Всеми — полицией, попами, поэтами, прозаиками. А когда пропьем четыре пятых — будем порнографические картинки собирать и друг другу похабные анекдоты из русской истории рассказывать. Вот — наш проспект жизни.

Лютов был явно настроен на скандал, это очень встревожило Клима, он попробовал вырвать руку, но безуспешно. Тогда он увлек Лютова в один из переулков Тверской, там встретили извозчика-лихача. Но, усевшись в экипаж, Лютов, глядя на густые толпы оживленного, празднично одетого народа, заговорил еще громче в синюю спину возницы:

— Радуемся, а? Помазок божий встречаем. Он приличных людей в чин идиотов помазал, — ничего! Ликуем. Вот тебе! Исаия ликуй…

— Перестань, — тихо и строго просил Клим.

— Тоска, брат! Гляди: богоносец народ русский валом валит угощаться конфетками за счет царя. Умилительно. Конфетки сосать будут потомки ходового московского народа, того, который ходил за Болотниковым, за Отрепьевым, Тушинским вором, за Козьмой Мининым, потом пошел за Михайлой Романовым. Ходил за Степаном Разиным, за Пугачевым… и за Бонапартом готов был идти… Ходовой народ! Только за декабристами и за людями Первого Марта не пошел…

Клим смотрел в каменную спину извозчика, соображая: слышит извозчик эту пьяную речь? Но лихач, устойчиво покачиваясь на козлах, вскрикивал, предупреждая и упрекая людей, пересекавших дорогу:

— Берегись, эй! берегись!.. Куда ж ты, братец, лезешь?

Дома Лютова ждали гости: женщина, которая посещала его на даче, и красивый, солидно одетый блондин в очках, с небольшой бородкой.

— Крафт, — сказал он, чрезвычайно любезно пожимая руку Самгина; женщина, улыбнувшись неохотной улыбкой, назвала себя именем и фамилией тысяч русских женщин:

— Марья Иванова.

— Кажется, мы встречались, — напомнил Клим, но она не ответила ему.

Лютов как-то сразу отрезвел, нахмурился и не очень вежливо предложил гостям пообедать. Гости не отказались, а Лютов стал еще более трезв. Сообразив, кто эти люди, Клим незаметно изучал блондина; это был человек очень благовоспитанный. С его бледного, холодноватого лица почти не исчезала улыбка, одинаково любезная для Лютова, горничной и пепельницы. Он растягивал под светлыми усами очень красные губы так заученно точно, что казалось: все волосики на

концах его усов каждый раз шевелятся совершенно равномерно. Было в улыбке этой нечто панпсихическое, человек благосклонно награждал ею и хлеб и нож; однако Самгин подозревал скрытым за нею презрение ко всему и ко всем. Ел человек мало, пил осторожно и говорил самые обыкновенные слова, от которых в памяти не оставалось ничего, — говорил, что на улицах много народа, что обилие флагов очень украшает город, а мужики и бабы окрестных деревень толпами идут на Ходынское поле. Он, видимо, очень стеснял хозяина. Лютов, в ответ на его улыбки, тоже обязательно и натужно кривил рот, но говорил с ним кратко и сухо. Женщина за все время обеда сказала трижды:

— Благодарю вас! — а дважды:

— Спасибо.

И, если б при этом она не улыбалась странной своей улыбкой, можно было бы не заметить, что у нее, как у всех людей, тоже есть лицо.

Как только кончили обедать, Лютов вскочил со стула и спросил:

— Ну-с?

— Пожалуйста, — галантно сказал блондин. Они ушли гуськом: впереди — хозяин, за ним — блондин, и бесшумно, как по льду, скользила женщина.

— Я — скоро! — обещал Лютов Климу и оставил его размышлять: как это Лютов может вдруг трезветь? Неужели он только искусно притворяется пьяным? И зачем, по каким мотивам он общается с революционерами?

Лютов возвратился минут через двадцать, забегал по столовой, шевеля руками в карманах, поблескивая косыми глазками, кривя губы.

— Народники? — спросил Клим.

— В этом роде.

— Ты что же… помогаешь?

— Надо. Отцы жертвовали на церкви, дети — на революцию. Прыжок — головоломный, но… что же, брат, делать? Жизнь верхней корочки несъедобного каравая, именуемого Россией, можно озаглавить так: «История головоломных прыжков русской интеллигенции». Ведь это только господа патентованные историки обязаны специальностью своей доказывать, что существуют некие преемственность, последовательность и другие ведьмы, а — какая у нас преемственность? Прыгай, коли не хочешь задохнуться.

Он остановился среди комнаты и захохотал, выдернув руки из карманов, схватившись за голову.

— Надышали атмосферу!.. Дьякон — прав, чорт! Выпьем однако. Я тебя таким бордо угощу — затрепещешь! Дуняша!

Сел к столу, потирая руки, покусывая губы. Сказал горничной, какое принести вино, и, растирая темные волосы на щеках, затрещал, заговорил:

— Люблю дьякона — умный. Храбрый. Жалко его. Третьего дня он сына отвез в больницу и знает, что из больницы повезет его только на кладбище. А он его любит, дьякон. Видел я сына». Весьма пламенный юноша. Вероятно, таков был Сен-Жюст.

Клим слушал его и с удивлением, не веря себе, чувствовал, что сегодня Лютов симпатичен.

«Не потому ли, что я обижен?» — спросил он себя, внутренне усмехаясь и чувствуя, что обида все еще живет в нем, вспоминая двор и небрежное,

разрешающее словечко агента охраны:

«Можете».

Пришел Макаров, усталый и угрюмый, сел к столу, жадно, залпом выпил стакан вина.

— Анатомировал девицу, горничную, — начал он рассказывать, глядя в стол. — Украшала дом, вывалилась из окна. Замечательные переломы костей таза. Вдребезг.

— Не надо о покойниках, — попросил Лютов. И, глядя в окно, сказал: — Я вчера во сне Одиссея видел, каким он изображен на виньетке к первому изданию «Илиады» Гнедича; распахал Одиссей песок и засевает его солью. У меня, Самгин, отец — солдат, под Севастополем воевал, во французов влюблен, «Илиаду» читает, похваливает: вот как встарину благородно воевали! Да…

Остановись среди комнаты, он взмахнул рукой, хотел еще что-то сказать, но явился дьякон, смешно одетый в старенькую, короткую для его роста поддевку и очень смущенный этим. Макаров стал подшучивать над ним, он усмехнулся уныло и загудел:

— Пришлось снять мундир церкви воинствукмцей. Надобно привыкать к инобытию. Угости чаем, хозяин.

За чаем выпили коньяку, потом дьякон и Макаров сели играть в шашки, а Лютов забегал по комнате, передергивая плечами, не находя себе места; подбегал к окнам, осторожно выглядывал на улицу и бормотал:

— Идут. Всё идут.

Присел к столу и, убавив огонь лампы, закрыл глаза. Самгин, чувствуя, что настроение Лготова заражает его, хотел уйти, но Лютов почему-то очень настойчиво уговорил его остаться ночевать.

— А утром все пойдем на Ходынку, интересно все-таки. Хотя смотреть можно и с крыши. Костя — где у нас подзорная труба?

Клим остался, начали пить красное вино, а потом Лютов и дьякон незаметно исчезли, Макаров начал учиться играть на гитаре, а Клим, охмелев, ушел наверх и лег спать. Утром Макаров, вооруженный медной трубой, разбудил его.

— Что-то случилось на Ходынке, народ бежит оттуда. Я — на крышу иду, хочешь?

Самгин не выспался, идти на улицу ему не хотелось, он и на крышу полез неохотно. Оттуда даже невооруженные глаза видели над полем облако серовато-желтого тумана. Макаров, посмотрев в трубу и передавая ее Климу, сказал, сонно щурясь:

— Икра.

Да, поле, накрытое непонятным облаком, казалось смазано толстым слоем икры, и в темной массе ее, среди мелких, кругленьких зерен, кое-где светились белые, красные пятна, прожилки.

— Красные рубахи — точно раны, — пробормотал Макаров и зевнул воющим звуком. — Должно быть, наврали, никаких событий нет, — продолжал он, помолчав. — Скучно смотреть на концентрированную глупость.

И, приглаживая нечесанные волосы, он сел около печной трубы, говоря:

— А Владимир не ночевал дома; только сейчас явился. Трезвый однако…

Огромный, пестрый город гудел, ревел, непрерывно звонили сотни колоколов, сухо и дробно стучали колеса экипажей по шишковатым мостовым, все звуки сливались

в один, органный, мощный. Черная сеть птиц шумно трепетала над городом, но ни одна из них не летела в сторону Ходынки. Там, далеко, на огромном поле, под грязноватой шапкой тумана, утвердилась плотно спрессованная, икряная масса людей. Она казалась единым телом, и, только очень сильно напрягая зрение, можно было различить чуть заметные колебания икринок; иногда над ними как будто вечно вспухало, но быстро тонуло в их вязкой густоте. Оттуда на крышу тоже притекал шум, но — не ликующий шум города, а какой-то зимней, как вой метели, он плыл медленно, непрерывно, но легко тонул в звоне, грохоте и реве.

Не отрывая глаз от медного ободка трубы, Самгин очарованно смотрел. Неисчислимая толпа напоминала ему крестные хода, пугавшие его в детстве, многотысячные молебны чудотворной иконе Оранской божией матери; сквозь поток шума звучал в памяти возглас дяди Хрисанфа:

«Приидите, поклонимся, припадем»…

Он различал, что под тяжестью толпы земля волнообразно зыблется, шарики голов подпрыгивают, точно зерна кофе на горячей сковороде; в этих судорогах было что-то жуткое, а шум постепенно становился похожим на заунывное, но грозное пение неисчислимого хора.

Представилось, что, если эта масса внезапно хлынет в город, — улицы не смогут вместить напора темных потоков людей, люди опрокинут дома, растопчут их руины в пыль, сметут весь город, как щетка сметает сор.

Клим стал смотреть на необъятное для глаза нагромождение разнообразных зданий Москвы. Воздух над городом был чист, золотые кресты церквей, отражая солнце, пронзали его острыми лучами, разбрасывая их над рыжими и зелеными квадратами крыш. Город напоминал старое, грязноватое и местами изорванное одеяло, пестро покрытое кусками ситцев. В длинных дырах его копошились небольшие фигурки людей, и казалось, что движение их становится все более тревожным, более бессмысленным; встречаясь, они останавливались, собирались небольшими группами, затем все шли в одну сторону или же быстро бежали прочь друг от друга, как бы испуганные. В одной из трещин города появился синий отряд конных, они вместе с лошадями подскакивали на мостовой, как резиновые игрушки, над ними качались, точно удилища, тоненькие древки, мелькали в воздухе острия пик, похожие на рыб.

— В сущности, город — беззащитен, — сказал Клим, но Макарова уже не было на крыше, он незаметно ушел. По улице, над серым булыжником мостовой, с громом скакали черные лошади, запряженные в зеленые телеги, сверкали медные головы пожарных, и все это было странно, как сновидение. Клим Самгин спустился с крыши, вошел в дом, в прохладную тишину. Макаров сидел у стола с газетой в руке и читал, прихлебывая крепкий чай.

— Ну, что? — спросил он, не поднимая глаз.

— Не знаю, но как будто…

— Вероятно, драка, — сказал Макаров и щелкнул пальцами по газете. — Какие пошлости пишут…

Минут пять молча пили чай. Клим прислушивался к шарканью и топоту на улице, к веселым и тревожным голосам. Вдруг точно подул неощутимый, однако сильный ветер и унес весь шум улицы, оставив только тяжелый грохот телеги, звон бубенчиков. Макаров встал, подошел к окну и оттуда сказал громко:

— Ну, вот и разгадка. Смотри.

По улице, раскрашенной флагами, четко шагал толстый, гнедой конь, гривастый, с мохнатыми ногами; шагал, сокрушенно покачивая большой головой, встряхивая длинной челкой. У дуги шел, обнажив лысую голову, широкоплечий, бородатый извозчик, часть вожжей лежала на плече его, он смотрел под ноги себе, и все

люди, останавливаясь, снимали пред ним фуражки, шляпы. С телеги, из-под нового брезента, высунулась и просительно нищенски тряслась голая по плечо рука, окрашенная в синий и красный цвета, на одном из ее пальцев светилось золотое кольцо. Рядом с рукой качалась рыжеватая, растрепанная коса, а на задке телеги вздрагивала нога в пыльном сапоге, противоестественно свернутая набок.

— Человек шесть, — пробормотал Макаров. — Ясно, что драка.

Он говорил еще что-то, но, хотя в комнате и на улице было тихо, Клим не понимал его слов, провожая телегу и глядя, как ее медленное движение заставляет встречных людей врастать в панели, обнажать головы. Серые тени испуга являлись на лицах, делая их почти однообразными.

Проехала еще одна старенькая, расхлябанная телега, нагруженная измятыми людями, эти не были покрыты, одежда на них изорвана в клочья, обнаженные части тел в пыли и грязи. Потом пошли один за другим, но все больше, гуще, нищеподобные люди, в лохмотьях, с растрепанными волосами, с опухшими лицами; шли они тихо, на вопросы встречных отвечали кратко и неохотно; многие хромали. Человек с оборванной бородой и синим лицом удавленника шагал, положив правую руку свою на плечо себе, как извозчик вожжи, левой он поддерживал руку под локоть; он, должно быть, говорил что-то, остатки бороды его тряслись. Большинство искалеченных людей шло по теневой стороне улицы, как будто они стыдились или боялись солнца. И все они казались жидкими, налитыми какой-то мутной влагой; Клим ждал, что на следующем шаге некоторые из них упадут и растекутся по улице грязью. Но они не падали, а всё шли, шли, и скоро стало заметно, что встречные, неизломанные люди поворачиваются и шагают в одну сторону с ними. Самгин почувствовал, что это особенно угнетает его.

— Для драки — слишком много, — не своим голосом сказал Макаров. — Пойду расспрошу.»

Самгин пошел с ним. Когда они вышли на улицу, мимо ворот шагал, покачиваясь, большой человек с выпученным животом, в рыжем жилете, в оборванных, по колени, брюках, в руках он нес измятую шляпу и, наклоня голову, расправлял ее дрожащими пальцами. Остановив его за локоть, Макаров спросил:

— Что случилось?

Человек открыл волосатый рот, посмотрел мутными глазами на Макарова, на Клима и, махнув рукой, пошел дальше. Но через три шага, волком обернувшись назад, сказал громко:

— Все — виноватые. Все.

— Ответ преступника, — проворчал Макаров и, как мастеровой, сплюнул сквозь зубы.

Пошли какие-то возбужденные и общительные, бестолковые люди, они кричали, завывали, но трудно было понять, что они говорят. Некоторые даже смеялись, лица у них были хитрые и счастливые.

Ехала бугристо нагруженная зеленая телега пожарной команды, под ее дугою качался и весело звонил колокольчик. Парой рыжих лошадей правил краснолицый солдат в синей рубахе, медная голова его ослепительно сияла. Очень странное впечатление будили у Самгина веселый колокольчик и эта медная башка, сиявшая празднично. За этой телегой ехала другая, третья и еще, и над каждой торжественно возвышалась медная голова.

— Троянцы, — бормотал Макаров. Клим поражение провожал глазами одну из телег. На нее был погружен лишний человек, он лежал сверх трупов, аккуратно положенных вдоль телеги, его небрежно взвалили вкось, почти поперек их, и он высунул из-под брезента голые, разномерные руки; одна была коротенькая, торчала деревянно и растопырив пальцы звездой, а другая — длинная, очевидно,

сломана в локтевом сгибе; свесившись с телеги, она свободно качалась, и кисть ее, на которой не хватало двух пальцев, была похожа на клешню рака.

«Камень — дурак. Дерево — дурак», — вспомнил Клим.

— Я больше не могу, — сказал он, идя во двор. За воротами остановился, сиял очки, смигнул с глаз пыльную пелену и подумал: «Зачем же он… он-то зачем пошел? Ему — не следовало…!»

Вспомнилась неудачная шутка гимназиста Ивана Дронова:

«Рука — от глагола рушить, разрушать».

Макаров, за воротами, удивленно и вопросительно крикнул:

— Стойте, куда вы?

Вслед за этим он втолкнул во двор Маракуева, без фуражки, с растрепанными волосами, с темным лицом и засохшей рыжей царапиной от уха к носу. Держался Маракуев неестественно прямо, смотрел на Макарова тусклым взглядом налитых кровью глаз и хрипло спрашивал сквозь зубы:

— Вы — где были? Видели?

В неподвижных глазах его, в деревянной фигуре было что-то страшное, безумное. На нем висел широкий, с чужого плеча, серый измятый пиджак с оторванным карманом, пестренькая ситцевая рубаха тоже была разорвана на груди; дешевые люстриновые брюки измазаны зеленой краской. Страшнее всего казалась Климу одеревенелость Маракуева, он стоял так напряженно вытянувшись, как будто боялся, что «если вынет руки из карманов, наклонит голову или согнет спину, то его тело сломается, рассыплется на куски. Стоял и спрашивал одними и теми же словами:

— Где вы были?

Макаров не ввел, а почти внес его в комнаты, втолкнул в уборную, быстро раздел по пояс и начал мыть. Трудно было нагнуть шею Маракуева над раковиной умывальника, веселый студент, отталкивая Макарова плечом, упрямо не хотел согнуться, упруго выпрямлял спину и мычал:

— Подождите… я сам! Не надо… Казалось, что он боится воды, точно укушенный бешеной собакой.

— Найди горничную, спроси у нее белье, — командовал Макаров.

Клим покорно ушел, он был рад не смотреть на расплющенного человека. В поисках горничной, переходя из комнаты в комнату, он увидал Лютова; босый, в ночном белье, Лютов стоял у окна, держась за голову. Обернувшись на звук шагов, недоуменно мигая, он спросил, показав на улицу нелепым жестом обеих рук:

— Это — что?

— Случилось какое-то… несчастие, — ответил Клим. Слово несчастие он произнес не сразу, нетвердо, подумав, что надо бы сказать другое слово, но в голове его что-то шумело, шипело, и слова не шли на язык.

Когда он и Лютов вышли в столовую, Маракуев уже лежал, вытянувшись на диване, голый, а Макаров, засучив рукава, покрякивая, массировал ему грудь, живот, бока. Осторожно поворачивая шею, перекатывая по кожаной подушке влажную голову, Маракуев говорил, откашливаясь, бессвязно и негромко, как в бреду:

— Передавили друг друга. Страшная штука. Вы — видели? Чорт… Расползаются с поля люди и оставляют за собой трупы. Заметили вы: пожарные едут с колоколами, едут и — звонят! Я говорю: «Подвязать надо, нехорошо!» Отвечает: «Нельзя».

Идиоты с колокольчиками… Вообще, я скажу…

Он замолчал, закрыл глаза, потом начал снова:

— Впечатление такое, что они всё еще давят, растопчут человека и уходят, не оглядываясь на него. Вот это — уходят… удивительно! Идут, как по камням… В меня…

Маракуев приподнял голову, потом, упираясь руками в диван, очень осторожно сел и, усмехаясь совершенно невероятной гримасой, от которой рот его изогнулся серпом, исцарапанное лицо уродливо расплылось, а уши отодвинулись к затылку, сказал:

— В меня — шагали, понимаете? Нет, это… надо испытать. Человек лежит, а на него ставят ноги, как на болотную кочку! Давят… а? Живой человек. Невообразимо.

— Одевайтесь, — сказал Макаров, внимательно присматриваясь к нему и подавая белье.

Сунув голову в рубаху и выглядывая из нее, точно из снежного сугроба, Маракуев продолжал:

— Трупов — сотни. Некоторые лежат, как распятые, на земле. А у одной женщины голова затоптана в ямку.

— Зачем вы пошли? — строго спросил Клим, вдруг догадавшись, зачем Маракуев был на Ходынском поле переряженным в костюм мастерового.

— Я — поговорить… узнать, — ответил студент, покашливая и все более приходя в себя. — Пыли наглотался…

Он встал на ноги, посмотрел неуверенно в пол, снова изогнул рот серпом. Макаров подвел его к столу, усадил, а Лютов сказал, налив полстакана вина:

— Выпейте.

Это было его первое слово. До этого он сидел молча, поставив локти на стол, сжав виски ладонями, и смотрел на Маракуева, щурясь, как на яркий свет.

Маракуев взял стакан, заглянул в него и поставил на стол, говоря:

— Женщина лежала рядом с каким-то бревном, а голова ее высунулась за конец бревна, и на голову ей ставили ноги. И втоптали. Дайте мне чаю…

Он говорил все охотнее и менее хрипло.

— Я пришел туда в полночь… и меня всосало. Очень глубоко. Уже некоторые стояли в обмороке. Как мертвые даже. Такая, знаете, гуща, трясина… И — свинцовый воздух, нечем дышать. К утру некоторые сошли с ума, я думаю. Кричали. Очень жутко. Такой стоял рядом со мной и все хотел укусить. Били друг друга затылками по лбу, лбами по затылкам. Коленями. Наступали на пальцы ног. Конечно, это не помогало, нет! Я — знаю. Я — сам бил, — сказал он, удивленно мигая, и потыкал пальцем в грудь себе. — Куда же деваться? Облеплен людями со всех сторон. Бил…

Пришел дьякон, только что умывшийся, мокробородый, раскрыл рот, хотел спросить о чем-то, — Лютов, мигнув на Маракуева, зашипел. Но Маракуев молча согнулся над столом, размешивая чай, а Клим Самгин вслух подумал:

— Как ужасно должен чувствовать себя царь!

— Нашел кого пожалеть, — иронически подхватил Лютов, остальные трое не обратили внимания на слова Клима. Макаров, хмурясь, вполголоса рассказывал

дьякону о катастрофе.

— По человечеству — жалко, — продолжал Клим, обращаясь к Лютову. — Представь, что на твоей свадьбе случилось бы несчастие…

Это было еще более бестактно. Клим, чувствуя, что у него покраснели уши, мысленно обругал себя и замолчал, ожидая, что скажет Лютов. Но сказал Маракуев.

— Возмущенных — мало! — сказал он, встряхнув головой. — Возмущенных я не видел. Нет. А какой-то… странный человек в белой шляпе собирал добровольцев могилы копать. И меня приглашал. Очень… деловитый. Приглашал так, как будто он давно ждал случая выкопать могилу. И — большую, для многих.

Он выпил чаю, поел, выпил коньяку; его каштановые кудри высохли и распушились^ мутные глаза посветлели.

— Чудовищную силу обнаруживали некоторые, — вспоминал он, сосредоточенно глядя в пустой стакан. — Ведь невозможно, Макаров, сорвать рукою, пальцами, кожу с черепа, не волосы, а — кожу?

— Невозможно, — угрюмо и уверенно повторил Макаров.

— А один… человек сорвал, вцепился ногтями в затылок толстому рядом со мною и вырвал кусок… кость обнажилась. Он первый и меня ударил…

— Вам уснуть надо, — сказал Макаров. — Идите-ко…

— Изумительную силу обнаруживали, — покорно следуя за Макаровым, пробормотал студент.

— Как же все это было? — спросил дьякон, стоя у окна.

Ему не ответили. Клим думал: как поступит царь? И чувствовал, что он впервые думает о царе как о существе реальном.

— Что же мы делать будем? — снова спросил дьякон, густо подчеркнув местоимение.

— Могилы копать, — проворчал Лютов. Дьякон посмотрел на него, на Клима, сжал тройную бороду свою в кулак и сказал;

— «Господь — ревнив, и мстяй господь, мстяй господь с яростию, господь мстяй сопостатам своим и сам истреб-ляяй враги своя»…

Клим взглянул на него с изумлением: неужели дьякон может и хочет оправдать?

Но тот, качая головой, продолжал:

— Жестокие, сатанинские слова сказал пророк Наум. Вот, юноши, куда посмотрите: кары и мести отлично разработаны у нас, а — награды? О наградах — ничего не знаем. Данты, Мильтоны и прочие, вплоть до самого народа нашего, ад расписали подробнейше и прегрозно, а — рай? О рае ничего нам не сказано, одно знаем: там ангелы Саваофу осанну поют.

Внезапно ударив кулаком по столу, он наполнил комнату стеклянной дрожью посуды и, свирепо выкатив глаза, закричал пьяным голосом:

— А — за что осанна? Вопрошаю: за что осанна-то? Вот, юноши, вопрос: за что осанна? И кому же тогда анафема, если ада зиждителю осанну возглашают, а?

— Перестань, — попросил Лютов, махнув на него рукой.

— Нет, погоди: имеем две критики, одну — от тоски по правде, другую — от

честолюбия. Христос рожден тоской по правде, а — Саваоф? А если в Гефсиманском-то саду чашу страданий не Саваоф Христу показал, а — Сатана» чтобы посмеяться? Может, это и не чаша была, а — кукиш? Юноши, это вам надлежит решить...

Очень быстро вошел Макаров и сказал Климу:

— Он говорит, что видел там дядю Хрисаяфа и этого... Диомидова, понимаешь?..

Макаров звучно ударил кулаком по своей ладони, лицо его побледнело.

— Надо узнать, съездить...

— К Лидии, — договорил Клим.

— Едем вместе. Владимир, пошли за доктором. У Маракуева рвота с кровью.

Идя в прихожую, он зачем-то сообщил:

— Его зовут — Петр.

На улице было людно и шумно, но еще шумнее стало, когда вышли на Тверскую. Бесконечно двигалась и гудела толпа оборванных, измятых, грязных людей. Негромкий, но сплошной ропот стоял в воздухе, его разрывали истерические голоса женщин. Люди устало шли против солнца, наклоня головы, как бы чувствуя себя виноватыми. Но часто, когда человек поднимал голову, Самгин видел на истомленном лице выражение тихой радости.

Самгин был утомлен впечатлениями, и его уже не волновали все эти скорбные, испуганные, освещенные любопытством и блаженно тупенькие лица, мелькавшие на улице, обильно украшенной трехцветными флагами. Впечатления позволяли Климу хорошо чувствовать его весомость, реальность. О причине катастрофы не думалось. Да, в сущности, причина была понятна из рассказа Маракуева: люди бросились за «конфетками» и передавили друг друга. Это позволило Климу смотреть на них с высоты экипажа равнодушно и презрительно.

Макаров сидел боком к нему, поставив ногу на подножку пролетки и как бы готовясь спрыгнуть на мостовую. Он ворчал:

— Чорт знает, как эти дурацкие флаги режут глаз!

— Вероятно, царь щедро наградит семьи убитых, — соображал Клим, а Макаров, попросив извозчика ехать скорее, вспомнил, что на свадьбе Марии Антуанетты тоже случилось какое-то несчастие.

«Верен себе, — подумал Клим. — И тут у него на первом месте женщина, Людовика точно и не было».

Квартира дяди Хрисанфа была заперта, на двери в кухню тоже висел замок. Макаров потрогал его, снял фуражку и вытер вспотевший лоб. Он, должно быть, понял запертую квартиру как признак чего-то дурного; когда вышли из темных сеней на двор, Клим увидал, что лицо Макарова осунулось, побледнело.

— Надо узнать, куда свозят... раненых. Надо объехать больницы. Идем.

— Ты думаешь...

Но Макаров не дал Климу договорить.

— Идем, — грубо сказал он.

До вечера они объехали, обегали десяток больниц, дважды возвращались к железному кулачку замка на двери кухни Хрисанфа. Было уже темно, когда Клим, вполголоса, предложил съездить на кладбище.

— Ерунда, — резко сказал Макаров. — Ты — молчи. И через минуту добавил возмущенно:

— Этого не может быть.

У него совершенно неестественно заострились скулы, он двигал челюстью, как бы скрипя зубами, и вертел головою, присматриваясь к суете встревоженных людей. Люди становились всё тише, говорили ворчливее, вечер делал их тусклыми.

Настроение Макарова, внушая тревогу за Лидию, подавляло Клима. Он устал физически и, насмотревшись на сотни избитых, изорванных людей, чувствовал себя отравленным, отупевшим.

Они шли пешком, когда из какого-то переулка выехал извозчик, в пролетке сидела растрепанная Варвара, держа шляпку и зонтик на коленях.

— Отчима задавили, — крикнула она, толкая извозчика в спину; Самгину послышалось, что она крикнула это с гордостью.

— Где Лидия? — спросил Макаров, прежде чем успел сделать это Клим. Спрыгнув на панель, девушка механически, но все-таки красивым жестом сунула извозчику деньги и пошла к дому, уже некрасиво размахивая зонтом в одной руке, шляпой в другой; истерически громко она рассказывала:

— Неузнаваем. Нашла по сапогам и перстню, помните? — Сердоликовый? Ужас. Лица — нет…

Лицо у нее было оплакано, подбородок дрожал, но Климу казалось, что зеленоватые глаза ее сверкают злобно.

— Где Лидия? — настойчиво повторил Макаров, снова обогнав Клима.

— Ищет Диомидова. Один актер видел его около Александровского вокзала и говорит, что он сошел с ума, Диомидов…

Громкий голос Варвары собирал вокруг нее праздничных людей; человек с тросточкой, в соломенной шляпе, толкая Самгина, заглядывал в лицо девушки, спрашивая:

— Неужели — десять тысяч? И много сумасшедших? Он снял шляпу и воскликнул почти с восторгом:

— Какое необыкновенное несчастие!

Клим оглянулся: почему Макаров не прогонит этого идиота? Но Макаров исчез.

У себя в комнате Варвара, резкими жестами разбрасывая по столу, по кровати зонтик, шляпу, мокрый комок платка, портмоне, отрывисто говорила:

— Щека разорвана, язык висит из раны. Я видела не менее трехсот трупов… Больше. Что же это, Самгин? Ведь не могли они сами себя…

Расхаживая по комнате быстро и легко, точно ее ветром носило, она отирала лицо мокрым полотенцем и все искала чего-то, хватая с туалетного стола гребенки, щетки, тотчас же швыряла их на место. Облизывала губы, кусала их.

— Пить, Самгин, страшно хочу пить…

Зрачки ее были расширены и помутнели, опухшие веки, утомленно мигая, становились все более красными. И, заплакав, разрывая мокрый от слез платок, она кричала:

— Он был мне ближе матери… такой смешной, милый. И милая его любовь к народу… А они, на кладбище, говорят, что студенты нарыли ям, чтоб возбудить

народ против царя. О, боже мой…

Самгин растерялся, он еще не умел утешать плачущих девиц и находил, что Варвара плачет слишком картинно, для того чтоб это было искренно. Но она и сама успокоилась, как только пришла мощная Анфимьевна и ласково, но деловито начала рассказывать:

— Перенесли его в часовенку, а домой не хотят отпускать, очень упрашивали не брать домой Хрисанфа Васильевича. Судите сами, говорят, какие же теперь возможные похороны, когда торжество.

Пригорюнясь, кухарка сказала:

— И — верно. Варя, что уж дразнить цари? Бог с ними, со всеми; их грех, их ответ.

Варвара молча кивала головой, попросив чаю, ушла *к.* себе, а через несколько минут явилась в черном платье, причесанная, с лицом хотя и печальным, но успокоенным.

За чаем Клим, посмотрев на *часы,* беспокойно спросил:

— А как вы думаете: найдет Лидия этого, Диомидова?

— Как же я могу знать? — сухо сказала она и пророческим тоном человека с большим жизненным опытом заговорила:

— Я не одобряю ее отношение к нему. Она не различает любовь от жалости, и ее ждет ужасная ошибка. Диомидов удивляет, его жалко, но — разве можно любить такого? Женщины любят сильных и смелых, этих они любят искренно и долго. Любят, конечно, и людей со странностями. Какой-то ученый немец сказал: «Чтобы быть замеченным, нужно впадать в странности».

Как будто забыв о смерти отчима, она минут пять критически и придирчиво говорила о Лидии, и Клим понял, что она не любит подругу. Его удивило, как хорошо она до этой минуты прятала антипатию к Лидии, — и удивление несколько подняло зеленоглазую девушку в его глазах. Потом она вспомнила, что надо говорить об отчиме, и сказала, что хотя люди его типа — отжившие люди, но все-таки в них есть своеобразная красота.

Клим чувствовал себя все более тревожно, неловко, он понимал, что было бы вообще приличнее и тактичнее по отношению к Лидии, если бы он ходил по улицам, искал ее, вместо того чтоб сидеть здесь и пить чай. Но теперь и уйти неловко.

Было уже темно, когда вбежала Лидия, а Макаров ввел под руку Диомидова. Самгину показалось, что все в комнате вздрогнуло и опустился потолок. Диомидов шагал прихрамывая, кисть его левой руки была обернута фуражкой Макарова и подвязана обрывком какие-то тряпки к шее. Не своим голосом он говорил, задыхаясь:

— Я ведь знал — я не хотел…

Светлые его волосы свалялись на голове комьями овечьей шерсти; один глаз затек темной опухолью, а другой, широко раскрытый и мутный, страшно вытаращен. Он был весь в лохмотьях, штанина разорвана поперек, в дыре дрожало голое колено, и эта дрожь круглой кости, обтянутой грязной кожей, была отвратительна.

Макаров бережно усадил его на стул у двери — обычное место Диомидова в этой комнате; бутафор утвердил на полу прыгающую ногу и, стряхивая рукой пыль с головы, сипло зарычал:

— Я говорил: расколоть, раздробить надо, чтобы не давили друг друга. О, господи!

— Ну-с, что же будем делать? — резко спросил Макаров Лидию. — Горячей воды

нужно, белья. Нужно было отвезти его в больницу, а не сюда…

— Молчите! Или — уходите прочь, — крикнула Лидия, убегая в кухню. Ее злой крик заставил Варвару завыть голосом деревенской бабы, кликуши:

— Нужно судить, проклясть, казнить…

Глядя на Диомидова, она схватилась за голову, качалась, сидя на стуле, и топала ногами. Диомидов тоже смотрел на нее вытаращенным взглядом и кричал:

— Каждому — свое пространство! И — не смейте! Никаких приманок! Не надо конфект! Не надо кружек!

Нога его снова начала прыгать, дробно притопывая по полу, колено выскакивало из дыры; он распространял тяжелый запах кала. Макаров придерживал его за плечо и громко, угрюмо говорил Варваре:

— Белья дайте, полотенцев… Что же кричать? Казнят, не беспокойтесь.

— Каждый — отдельно, — выкрикивал Диомидов, из его глаз двумя непрерывными струйками текли слезы.

Вбежала Лидия; оттолкнув Макарова, легко поставив Диомидова на ноги, она повела его в кухню.

— Неужели она сама будет мыть? — спросил Клим, брезгливо сморщив лицо и вздрагивая.

Варвара, встряхнув головою, рассыпала обильные рыжеватые волосы свои по плечам и быстро ушла в комнату отчима; Самгин, проводив ее взглядом, подумал, что волосы распустить следовало раньше, не в этот момент, а Макаров, открыв окна, бормотал:

— Нашел я их на шоссе. Этот стоит и орет, проповедует: разогнать, рассеять, а Лидия уговаривает его идти с ней… «Ненавижу я всех твоих», — кричит он…

В городе потрескивало и выло, как будто в огромнейшей печке яростно разгорались сыроватые дрова.

— Интересно — будет ли иллюминация? — соображал Клим.

— Конечно, отменена — что ты? — сердито заметил Макаров.

— Зачем же? — возразил Клим. — Это — развлекает. Было бы глупо, если б отменили.

Макаров промолчал, присев на подоконник, пощипывая усы.

— Диомидов — сошел с ума? — спросил Самгин, не без надежды на утвердительный ответ; Макаров ответил не сразу и неутешительно:

— Едва ли. Он — из таких типов, которые всю жизнь живут на границе безумия… мне кажется.

В двери явилась Лидия. Она встала, как бы споткнувшись о порог, которого не было; одной рукой схватилась за косяк, другой прикрыла глаза.

— Не могу, — сказала она, покачиваясь, как будто выбирая место, куда упасть. Рукава ее блузы закатаны до локтей, с мокрой юбки на пол шлепались капли воды.

— Не могу, — повторила она очень странным тоном, виновато и с явным удивлением.

— Идите, вымойте его, — попросила она, закрыв лицо руками.

— Идем, поможешь, — сказал Макаров Климу. В кухне на полу, пред большим тазом, сидел голый Диомидов, прижав левую руку ко груди, поддерживая ее правой. С мокрых волос его текла вода, и казалось, что он тает, разлагается. Его очень белая кожа была выпачкана калом, покрыта синяками, изорвана ссадинами. Неверным жестом правой руки он зачерпнул горсть воды, плеснул ее на лицо себе, на опухший глаз; вода потекла по груди, не смывая с нее темных пятен.

— У каждого — свое пространство, — бормотал он. — Прочь друг от друга… Я — не игрушка…

— Исаак, — не совсем уместно вспомнил Клим Самгин, но тотчас поправился: — Идоложертвенное мясо.

Кухарка Анфимьевна стояла у плиты, следя, как вода, вытекая из крана, фыркает и брызжет в котел.

— Совсем сбрендил паренек, — неодобрительно сказала она, косясь на Диомидова. — Из простых, а — нежный. С капризом. Взял да и выплеснул на Лидочку ковш воды…

Самгин услыхал какой-то странный звук, как будто Макаров заскрипел зубами. Сняв тужурку, он осторожно и ловко, как женщина ребенка, начал мыть Диомидова, встав пред ним на колени.

И вдруг Самгин почувствовал, что его обожгло возмущение: вот это испорченное тело Лидия будет обнимать, может быть, уже обнимала? Эта мысль тотчас же вытолкнула его из кухни. Он быстро прошел в комнату Варвары, готовясь сказать Лидии какие-то сокрушительные слова.

Лидия сидела на постели; обаяв одной рукой Варвару, она заставляла ее нюхать что-то из граненого флакона, огонь лампы окрашивал флакон в радужные цвета.

— Что? — спросила она.

— Моет, — сухо ответил Клим.

— Ему больно?

— Кажется — нет.

— Варя, — сказала Лидия, — я не умею утешать. И вообще, надо ли утешать? Я не знаю…

— Уйдите, Самгин, — крикнула Варвара, падая боком на постель.

Клим ушел, не сказав Лидии ни слова.

«У нее такое замученное лицо. Может быть, она теперь… излечится».

На тумбах, жирно дымя, пылали огни сальных плошек. Самгин нашел, что иллюминация скудна и даже в огне есть что-то нерешительное, а шум города недостаточно праздничен, сердит, ворчлив. На Тверском бульваре собрались небольшие группы людей; в одной ожесточенно спорили: будет фейерверк или нет? Кто-то горячо утверждал:

— Будет!

Высокий человек в серой шляпе сказал уверенно и строго:

— Государь император не позволит шуток.

А третий голос старался примирить разногласия:

— Фейерверк отменили на завтра.

— Государь императора.

Откуда-то из-за деревьев раздался звонкий крик:

— Он теперь вот в Дворянском собрании пляшет, государь-то, император-то!

Все посмотрели туда, а двое очень решительно пошли на голос и заставили Клима удалиться прочь.

«Если правда, что царь поехал на бал, значит — он человек с характером. Смелый человек. Диомидов — прав...»

Он шел к Страстной площади сквозь хаос говора, механически ловя отдельные фразы. Вот кто-то удалым голосом крикнул:

— Эх, думаю, не пропадать же!

«Вероятно — наступил в человека, может быть — в Маракуева», — соображал Клим. Но вообще ему не думалось, как это бывает всегда, если человек слишком перегружен впечатлениями и тяжесть их подавляет мысль. К тому же он был голоден и хотел пить.

У памятника Пушкину кто-то говорил небольшой кучке людей:

— Нет, вы подумайте обо всем порядке нашей жизни, как нами управляют, например?

Самгин взглянул на оратора и по курчавой бороде, по улыбке на мохнатом лице узнал в нем словоохотливого своего соседа по нарам в подвале Якова Платонова.

«Камень — дурак...»

На площади его обогнал Поярков, шагавший, как журавль. Самгин нехотя окрикнул его:

— Куда вы?

Поярков пошел в ногу с ним, говоря вялым голосом, негромко:

— С утра хожу, смотрю, слушаю. Пробовал объяснять. Не доходит. А ведь просто: двинуться всей массой прямо с поля на Кремль, и — готово! Кажется, в Брюсселе публика из театра, послушав «Пророка», двинулась и — получила конституцию... Дали.

Остановясь пред дверями маленького ресторана, он предложил:

— Зайдемте в эту «пристань горестных сердец». Мы тут с Маракуевым часто бываем...

Когда Клим рассказал о Маракуеве, Поярков вздохнул:

— Могло быть хуже. Говорят, погибло тысяч пять. Баталия.

Говорил Поярков глухо, лицо его неестественно вытянулось, и Самгину показалось, что он впервые сегодня заметил под унылым, длинным носом Пояркова рыжеватые усы.

«Напрасно он подбородок бреет», — подумал Клим.

— На днях купец, у которого я урок даю, сказал: «Хочется блинов поесть, а знакомые не умирают». Спрашиваю: «Зачем же нужно вам, чтоб они умирали?» — «А блин, говорит, особенно хорош на поминках». Вероятно, теперь он поест блинов...

Клим ел холодное мясо, запивая его пивом, и, невнимательно слушая вялую речь Пояркова, заглушаемую трактирным шумом, ловил отдельные фразы. Человек в черном костюме, бородатый и толстый, кричал:

— Пользуясь народным несчастием, нельзя под шумок сбывать фальшивые деньги…

— Ловко сказано, — похвалил Поярков. — Хорошо у нас говорят, а живут плохо. Недавно я прочитал у Татьяны Пассек: «Мир праху усопших, которые не сделали в жизни ничего, ни хорошего, ни дурного». Как это вам нравится?

— Странно, — ответил Клим с набитым ртом. Поярков помолчал, выпил пива, потом сказал, вздохнув:

— Тут — какое-то тихое отчаяние…

У стола явился Маракуев, щека его завязана белым платком, из кудрявых волос смешно торчат узел и два беленьких уха.

— Был уверен, что ты здесь, — сказал он Пояркову, присаживаясь к столу.

Наклонясь друг ко другу, они перешепнулись.

— Я — мешаю? — спросил Самгин; Поярков искоса взглянул на него и пробормотал:

— Ну, чему же вы можете помешать? И, вздохнув, продолжал:

— Я вот сказал ему, что марксисты хотят листки выпустить, а — мы…

Маракуев перебил его ворчливую речь:

— Вы, Самгин, хорошо знаете Лютова? Интересный тип. И — дьякон тоже. Но — как они зверски пьют. Я до пяти часов вечера спал, а затем они меня поставили на ноги и давай накачивать! Сбежал я и вот все мотаюсь по Москве. Два раза сюда заходил…

Он закашлялся, сморщив лицо, держась за бок.

— Пыли я наглотался — на всю жизнь, — сказал он.

В противоположность Пояркову этот был настроен оживленно и болтливо. Оглядываясь, как человек, только что проснувшийся и еще не понимающий — где он, Маракуев выхватывал из трактирных речей отдельные фразы, словечки и, насмешливо или задумчиво, рассказывал на схваченную тему нечто анекдотическое. Он был немного выпивши, но Клим понимал, что одним этим нельзя объяснить его необычное и даже несколько пугающее настроение.

«Если он рад тому, что остался жив — нелепо радуется… Может быть, он говорит для того, чтоб не думать?»

— Душно здесь, братцы, идемте на улицу, — предложил Маракуев.

— Я — домой, — угрюмо сказал Поярков. — С меня хватит.

Климу не хотелось спать, но он хотел бы перешагнуть из мрачной суеты этого дня в область других впечатлений. Он предложил Маракуеву ехать на Воробьевы горы. Маракуев молча кивнул головой.

— А знаете, — сказал он, усевшись в пролетку, — большинство задохнувшихся, растоптанных — из так называемой чистой публики… Городские и — молодежь. Да. Мне это один полицейский врач сказал, родственник мой. Коллеги, медики, то же говорят. Да я и сам видел. В борьбе за жизнь одолевают те, которые попроще. Действующие инстинктивно…

Он еще бормотал что-то, плохо слышное сквозь треск и дребезг старенького, развинченного экипажа. Кашлял, сморкался, отворачивая лицо в сторону, а когда выехали за город, предложил:

— Пойдемте пешком?

Впереди, на черных холмах, сверкали зубастые огни трактиров; сзади, над массой города, развалившейся по невидимой земле, колыхалось розовато-желтое зарево. Клим вдруг вспомнил, что он не рассказал Пояркову о дяде Хрисанфе и Диомидове. Это очень смутило его: как он мог забыть? Но он тотчас же сообразил, что вот и Маракуев не спрашивает о Хрисанфе, хотя сам же сказал, что видел его в толпе. Поискав каких-то внушительных слов и не найдя их, Самгин сказал:

— Дядя Хрисанф задавлен, а Диомидов изувечен и, кажется, уже совсем обезумел.

— Нет? — тихонько воскликнул Маракуев, остановился и несколько секунд молча смотрел в лицо Клима, пугливо мигая:

— До — до смерти?

Клим кивнул головой, тогда Маракуев сошел с дороги в сторону, остановясь под деревом, прижался к стволу его и сказал:

— Не пойду.

— Вам плохо? — спросил Клим.

— Не удивляйтесь. Не смейтесь, — подавленно и задыхаясь ответил Петр Маракуев. — Нервы, знаете. Я столько видел… Необъяснимо! Какой цинизм! Подлость какая…

Климу показалось, что у веселого студента подгибаются ноги; он поддержал его под локоть, а Маракуев, резким движением руки сорвав повязку с лица, начал отирать ею лоб, виски, щеку, тыкать в глаза себе.

— Чорт, — ведь они оба младенцы, — вскричал он. «Плачет. Плачет», — повторял Клим про себя. Это было неожиданно, непонятно и удивляло его до немоты. Такой восторженный крикун, неутомимый спорщик и мастер смеяться, крепкий, красивый парень, похожий на удалого деревенского гармониста, всхлипывает, как женщина, у придорожной канавы, под уродливым деревом, на глазах бесконечно идущих черных людей с папиросками в зубах. Кто-то мохнатый, остановясь на секунду за маленькой нуждой, присмотрелся к Маракуеву и весело крикнул:

— Хватил, студент, горячего до слез! Эх, и мне бы эстолько…

— Я знаю, что реветь — смешно, — бормотал Маракуев. Недалеко взвилась, шипя, ракета и с треском лопнула, заглушив восторженное ура детей. Затем вспыхнул бенгальский огонь, отсветы его растеклись, лицо Маракуева окрасилось в неестественно белый, ртутный цвет, стало мертвенно зеленым и наконец багровым, точно с него содрали кожу.

— Смешно, разумеется, — повторил он, отирая щеки быстрыми жестами зайца. — А тут, видите, иллюминация, дети радуются. Никто не понимает, никто ничего не понимает…

Лохматый человек очутился рядом с Климом и подмигнул ему.

— Нет, они — отлично понимают, что народ — дурак, — заговорил он негромко, улыбаясь в знакомую Климу курчавенькую бороду. — Они у нас аптекаря, пустяками умеют лечить.

Маракуев шагнул к нему так быстро, точно хотел ударить.

— Лечат? Кого? — заговорил он громко, как в столовой дяди Хрисанфа, и уже в две-

три минуты его окружило человек шесть темных людей. Они стояли молча и механически однообразно повертывали головы то туда, где огненные вихри заставляли трактиры подпрыгивать и падать, появляться и исчезать, то глядя в рот Маракуева.

— Смело говорит, — заметил кто-то за спиною Клима, другой голос равнодушно произнес:

— Студент, что ему? Идем.

Клим Самгин отошел прочь, сообразив, что любой из слушателей Маракуева может схватить его за ворот и отвести в полицию.

Самгин почувствовал себя на крепких ногах. В слезах Маракуева было нечто глубоко удовлетворившее его, он видел, что это слезы настоящие и они хорошо объясняют уныние Пояркова, утратившего свои аккуратно нарубленные и твердые фразы, удивленное и виноватое лицо Лидии, закрывшей руками гримасу брезгливости, скрип зубов Макарова, — Клим уже не сомневался, что Макаров скрипел зубами, должен был скрипеть.

Все это, обнаруженное людями внезапно, помимо их воли, было подлинной правдой, и знать ее так же полезно, как полезно было видеть голое, избитое и грязное тело

Диомидова.

Клим быстро пошел назад к городу, его окрыляли и подталкивали бойкие мысли:

«Я — сильнее, я не позволю себе плакать среди дороги… и вообще — плакать. Я не заплачу, потому что я не способен насиловать себя. Они скрипят зубами, потому что насилуют себя. Именно поэтому они гримасничают. Это очень слабые люди. Во всех и в каждом скрыто нехаевское… Нехаевщина, вот!..»

Зарево над Москвой освещало золотые главы церквей, они поблескивали, точно шлемы равнодушных солдат пожарной команды. Дома похожи на комья земли, распаханной огромнейшим плугом, который, прорезав в земле глубокие борозды, обнаружил в ней золото огня. Самгин ощущал, что и в нем прямолинейно работает честный плуг, вспахивая темные недоумения и тревоги. Человек с палкой в руке, толкнув его, крикнул:

— Ослеп? Ходите, дьяволы…

Толчок и окрик не спугнул, не спутал бойкий ход мысли Самгина.

«Маракуев, наверное, подружится с курчавым рабочим. Как это глупо — мечтать о революции в стране, люди которой тысячами давят друг друга в борьбе за обладание узелком дешевеньких конфект и пряников. Самоубийцы».

Это слово вполне удовлетворительно объясняло Самгину катастрофу, о которой не хотелось думать.

«Раздавили и — любуются фальшфейерами, лживыми огнями. Макаров прав: люди — это икра. Почему не я сказал это, а — он?.. И Диомидов прав, хотя глуп: людям следует разъединиться, так они виднее и понятней друг другу. И каждый должен иметь место для единоборства. Один на один люди удобопобеждаемее…»

Самгину понравилось слово, он вполголоса повторил его:

«Удобопобеждаемее… да!»

В памяти на секунду возникла неприятная картина:

кухня, пьяный рыбак среди нее на коленях, по полу, во все стороны, слепо и бестолково расползаются раки, маленький Клим испуганно прижался к стене.

«Раки — это Лютовы, дьякона и вообще люди ненормальные… Туробоевы, Иноковы. Их, конечно, ждет участь подпольного человека Якова Платоновича. Они и должны погибнуть… как же иначе?»

Самгин почувствовал, что люди этого типа сегодня особенно враждебны ему. С ними надобно покончить. Каждый из них требует особой оценки, каждый носит в себе что-то нелепое, неясное. Точно суковатые поленья, они не укладывались так плотно друг ко другу, как это необходимо для того, чтоб встать выше их. Да, надобно нанизать их на одну, какую-то очень прочную нить. Это так же необходимо, как знать хода каждой фигуры в шахматной игре. С этой точки мысли Самгина скользили в «кутузовщину». Он пошел быстрее, вспомнив, что не первый раз думает об этом, даже всегда только об этом и думает.

«Эти растрепанные, вывихнутые люди довольно удобно живут в своих шкурах… в своих ролях. Я тоже имею право на удобное место в жизни…» — соображал Самгин и чувствовал себя обновленным, окрепшим, независимым.

С этим чувством независимости и устойчивости на другой день вечером он сидел в комнате Лидии, рассказывая ей тоном легкой иронии обо всем, что видел ночью. Лидия была нездорова, ее лихорадило, бисер пота блестел на смуглых висках, но она все-таки крепко куталась 'пуховой, пензенской шалью, обняв себя за плечи. Ее темные глаза смотрели с недоумением, с испугом. Изредка и как будто насильно она отводила взгляд на свою постель, там, вверх грудью, лежал Диомидов, высоко подняв брови, глядя в потолок. Здоровая рука его закинута под голову, и пальцы судорожно перебирают венец золотистых волос. Он молчал, а рот его был открыт, и казалось, что избитое лицо его кричало. На нем широкая ночная рубаха, рукава ее сбиты на плечи, точно измятые крылья, незастегнутый ворот обнажает грудь. В его теле было что-то холодное, рыбье, глубокая ссадина на шее заставляла вспоминать о жабрах.

Появлялась Варвара, непричесанная, в ночных туфлях, в измятой блузе; мрачно сверкая глазами, она минуту-две слушала рассказ Клима, исчезала и являлась снова.

— Я не знаю, что делать, — сказала она. — У меня не хватит денег на похороны…

Диомидов приподнял голову, спросил со свистом:

— Разве я умираю?

И закричал, махая рукой:

— Я не умираю! Уйдите… уйдите все! Варвара и Клим ушли, Лидия осталась, пытаясь успокоить больного; из столовой были слышны его крики:

— Отвезите меня в больницу…

— Не верю я, что он сошел с ума, — громко сказала Варвара. — Не люблю его и не верю.

Пришла Лидия, держась руками за виски, молча села у окна. Клим спросил: что нашел доктор? Лидия посмотрела на него непонимающим взглядом; от синих теней в глазницах ее глаза стали светлее. Клим повторил вопрос.

— Помяты ребра. Вывихнута рука. Но — главное — нервное потрясение… Он всю ночь бредил: «Не давите меня!» Требовал, чтоб разогнали людей дальше друг от друга. Нет, скажи — что же это?

— Навязчивая идея, — сказал Клим. Девушка снова взглянула на него, не понимая, затем сказала:

— Я — не о том. Не о нем. Впрочем, не знаю, о чем я.

— Он и раньше был ненормален, — настойчиво заметил Самгин.

— Что тут нормально? Что вот люди давят друг друга, а потом играют на гармонике? Рядом с нами до утра играли на гармонике.

Вошел Макаров, обвешанный пакетами, исподлобья посмотрел на Лидию:

— Вы — спали?

Не взглянув на него, не ответив, она продолжала пониженным голосом:

— Нормально — это когда спокойно, да? Но ведь жизнь становится все беспокойнее.

— Нормальный организм требует устранения нездоровых и неприятных раздражений, — сердито заворчал Макаров, развязывая пакеты с бинтами, ватой. — Это — закон биологии. А мы от скуки, от безделья встречаем нездоровые раздражения, как праздники. В том, что некоторые полуидиоты…

Лидия вскочила, подавленно крикнув:

— Не смейте говорить так при мне!

— А без вас — можно?

Она убежала в комнату Варвары.

— Склонность к истерии, — буркнул Макаров вслед ей. — Клим, пойдем, помоги мне поставить компресс.

Диомидов поворачивался под их руками молча, покорно, но Самгин заметил, что пустынные глаза больного не хотят видеть лицо Макарова. А когда Макаров предложил ему выпить ложку брома, Диомидов отвернулся лицом к стене.

— Не стану. Уйдите.

Макаров уговаривал неохотно, глядя в окно, не замечая, что жидкость капает с ложки на плечо Диомидова. Тогда Диомидов приподнял голову и спросил, искривив опухшее лицо:

— За что вы меня мучаете?

— Надо выпить, — равнодушно сказал Макаров. В глазах больного мелькнули синие искорки. Он проглотил микстуру и плюнул в стену.

Макаров постоял над ним с минуту, совершенно не похожий на себя, приподняв плечи, сгорбясь, похрустывая пальцами рук, потом, вздохнув, попросил Клима:

— Скажи Лидии, что ночью буду дежурить я… Ушел. Диомидов лежал, закрыв глаза, но рот его открыт и лицо снова безмолвно кричало. Можно было подумать: он открыл рот нарочно, потому что знает: от этого лицо становится мертвым и жутким. На улице оглушительно трещали барабаны, мерный топот сотен солдатских ног сотрясал землю. Истерически лаяла испуганная собака. В комнате было неуютно, не прибрано и душно от запаха спирта. На постели Лидии лежит полуидиот. «Может быть, он и здоровый лежал тут…» Клим вздрогнул, представив тело Лидии в этих холодных, странно белых руках. Он встал и начал ходить по комнате, бесцеремонно топая; он затопал еще сильнее, увидав, что Диомидов повернул к нему свой синеватый нос и открыл глаза, говоря:

— Я не хочу, чтоб он дежурил, пусть Лидия… Я его не люблю…

Клим Самгин подошел к нему и, вытянув шею, грозя кулаком, тихонько сказал:

— Молчи, ты… блаженная вошь!..

Клим в первый раз в жизни испытывал охмеляющее наслаждение злости. Он любовался испуганным лицом Диомидова, его выпученными глазами и судорогой руки, которая тащила из-под головы подушку, в то время как голова притискивала подушку все сильнее.

— Молчи! Слышишь? — повторил он и ушел.

Лидия сидела в столовой на диване, держа в руках газету, но глядя через нее в пол.

— Что он?

— Бредит, — находчиво сказал Клим. — Боится кого-то, бредит о вшах, клопах…

Испугав хоть и плохонького, но все-таки человека, Самгин почувствовал себя сильным. Он сел рядом с Лидией и смело заговорил:

— Лида, голубушка, все это надо бросить, все это — выдумано, не нужно и погубит тебя.

— Ш-ш, — прошептала она, подняв руку, опасливо глядя на двери, а он, понизив голос, глядя в ее усталое лицо, продолжал:

— Уйди от больных, театральных, испорченных людей к простой жизни, к простой любви…

Говорил он долго и не совсем ясно понимая, что говорит. По глазам Лидии Клим видел, что она слушает его доверчиво и внимательно. Она даже, как бы невольно, кивала головой, на щеках ее вспыхивал и гас румянец, иногда она виновато опускала глаза, и все это усиливало его смелость.

— Да, да, — прошептала она. — Но — тише! Он казался мне таким… необыкновенным. Но вчера, в грязи… И я не знала, что он — трус. Он ведь трус. Мне его жалко, но… это — не то. Вдруг — не то. Мне очень стыдно. Я, конечно, виновата… я знаю!

Она нерешительно положила руку на плечо ему:

— Я все ошибаюсь. Вот и ты не такой, как я привыкла думать…

Клим попробовал обнять ее, но она, уклонясь, встала и, отшвырнув газету ногой, подошла к двери в комнату Варвары, прислушалась.

Со двора, в открытое окно, навязчиво лез унылый свист дудок шарманки. Влетел чей-то завистливый и насмешливый крик:

— Эх, и заработают же гробовщики сладкую денежку!

— Спит, должно быть, — тихо сказала Лидия, отходя от двери.

Клим деловито заговорил о том, что Диомидова необходимо отправить в больницу.

— А тебе, Лида, бросить бы школу. Ведь все равно ты не учишься. Лучше иди на курсы. Нам необходимы не актеры, а образованные люди. Ты видишь, в какой дикой стране мы живем.

И он указал рукою на окно, за которым шарманка лениво дудела новую песнь.

Лидия задумчиво молчала. Прощаясь с ней, Самгин сказал:

— Ты все-таки помни, что я тебя люблю. Это не налагает на тебя никаких обязательств, но это глубоко и серьезно.

Клим Самгин шагал по улице бодро и не уступая дорогу встречным людям. Иногда

его фуражку трогали куски трехцветной флагной материи. Всюду празднично шумели люди, счастливо привыкшие быстро забывать несчастия ближних своих. Самгин посматривал на их оживленные, ликующие лица, праздничные костюмы и утверждался в своем презрении к ним.

«В животном страхе Диомидова пред людями есть что-то правильное…»

В переулке, пустынном и узком, Клим подумал, что с Лидией и взглядами Прейса можно бы жить очень спокойно и просто.

Но через некоторое время Прейс рассказал Климу о стачке ткачей в Петербурге, рассказал с такой гордостью, как будто он сам организовал эту стачку, и с таким восторгом, как бы говорил о своем личном счастье.

— Вы слышали что-нибудь о «Союзе борьбы»? Так эю его работа. Начинается новая эра, Самгин, вы увидите!

И, ласково заглядывая бархатными глазами в лицо, он спрашивал:

— А вы все еще изучаете длину путей к цели, да? Так поверьте, путь, которым идет рабочий класс, — всего короче. Труднее, но — короче. Насколько я понимаю вас, вы — не идеалист и ваш путь — этот, трудный, но прямой!

Самгину показалось, что Прейс, всегда говоривший по-русски правильно и чисто, на этот раз говорит с акцентом, а в радости его слышна вражда человека другой расы, обиженного человека, который мстительно хочет для России неприятностей и несчастий.

Всегда было так, что вслед за Прейсом попадался на глаза Маракуев. Эти двое шли сквозь жизнь как бы кругами, и, описывая восьмерки, каждый вращался в своем круге фраз, но в какой-то одной точке круга они сходились. Тут было нечто подозрительное и внушавшее догадку, что словесные столкновения Маракуева и Прейса имеют характер показательный, это — игра для поучения и соблазна других. А Поярков стал молчаливее, спорил меньше, реже играл на гитаре и весь как-то высох, вытянулся. Вероятно, это потому, что Маракуев заметно сближался с Варварой.

На похоронах отчима он вел ее между могил под руку и, наклоняя голову к плечу ее, шептал ей что-то, а она, оглядываясь, взмахивала головой, как голодная лошадь, и на лице ее застыла мрачная, угрожающая гримаса.

Дома у Варвары, за чайным столом, Маракуев садился рядом с ней, ел мармелад, любимый ею, похлопывал ладонью по растрепанной книжке Кравчинского-Степняка «Подпольная Россия» и молодцевато говорил:

— Нам нужны сотни героев, чтоб поднять народ в бой за свободу.

Самгин завидовал уменью Маракуева говорить с жаром, хотя ему казалось, что этот человек рассказывает прозой всегда одни и те же плохие стихи. Варвара слушает его молча, крепко сжав губы, зеленоватые глаза ее смотрят в медь самовара так, как будто в самоваре сидит некто и любуется ею.

Было очень неприятно наблюдать внимание Лидии к речам Маракуева. Поставив локти на стол, сжимая виски ладонями, она смотрела в круглое лицо студента читающим взглядом, точно в книгу. Клим опасался, что книга интересует ее более, чем следовало бы. Иногда Лидия, слушая рассказы о Софии Перовской, Вере Фигнер, даже раскрывала немножко рот; обнажалась полоска мелких зубов, придавая лицу ее выражение, которое Климу иногда казалось хищным, иногда — неумным.

«Воспитание героинь», — думал он и время от времени находил нужным вставлять в пламенную речь Маракуева охлаждающие фразы.

— Маккавеи погибают не побеждая, а мы должны победить…

Но это ничуть не охлаждало Маракуева, напротив, он вспыхивал еще более ярко.

— Да, победить! — кричал он. — Но — в какой борьбе? В борьбе за пятачок? За то, чтобы люди жили сытее, да?

Карающим жестом он указывал девицам на Клима и взрывался, как фейерверк.

— Он — из тех, которые думают, что миром правит только голод, что над нами властвует лишь закон борьбы за кусок хлеба и нет места любви. Материалистам непонятна красота бескорыстного подвига, им смешно святое безумство Дон-Кихота, смешна Прометеева дерзость, украшающая мир.

Лирический тенор Маракуева раздражающе подвывал, произнося имена Фра-Дольчино, Яна Гуса, Мазаниелло.

— Герострата не забудьте, — сердито сказал Самгин.

Как нередко бывало с ним, он сказал это неожиданно для себя и — удивился, перестал слушать возмущенные крики противника.

«А что, если всем этим прославленным безумцам не чужд геростратизм? — задумался он. — Может быть, многие разрушают храмы только для того, чтоб на развалинах их утвердить свое имя? Конечно, есть и разрушающие храмы для того, чтоб — как Христос — в три дня создать его. Но — не создают».

Маракуев кричал:

— Вы бы послушали, как и что говорит рабочий, которого — помните? — мы встретили…

— Помню, — сказал Клим, — это, когда вы… Покраснев до ушей, Маракуев подскочил на стуле:

— Да, именно! Когда я плакал, да! Вы, может быть, думаете, что я стыжусь этих слез? Вы плохо думаете.

— Что ж делать? — возразил Клим, пожимая плечами. — Я ведь и не пытаюсь щеголять моими мыслями…

Перекинувшись еще десятком камешков, замолчали, принужденные к этому миролюбивыми замечаниями девиц. Затем Маракуев и Варвара ушли куда-то, а Клим спросил Лидию:

— Что же, она хочет играть роль Перовской?

— Не злись, — сказала Лидия, задумчиво глядя в окно. — Маракуев — прав: чтоб жить — нужны герои. Это понимает даже Константин, недавно он сказал: «Ничто не кристаллизуется иначе, как на основе кристалла». Значит, даже соль нуждается в герое.

— Он все еще любит тебя, — сказал Клим, подходя к ней.

— Не понимаю — почему? Он такой… не для этого… Нет, не трогай меня, — сказала она, когда Клим попытался обнять ее. — Не трогай. Мне так жалко Константина, что иногда я ненавижу его за то, что он возбуждает только жалость.

Лидия отошла к зеркалу и, рассматривая лицо свое непонятным Климу взглядом, продолжала тихо:

— Любовь тоже требует героизма. А я — не могу быть героиней. Варвара — может. Для нее любовь — тоже театр. Кто-то, какой-то невидимый зритель спокойно любуется тем, как мучительно любят люди, как они хотят любить. Маракуев

говорит, что зритель — это природа. Я — не понимаю… Маракуев тоже, кажется, ничего не понимает, кроме того, что любить — надо.

Клим уже не чувствовал желания коснуться ее тела, это очень беспокоило его.

Было еще не поздно, только что зашло солнце и не погасли красноватые отсветы на главах церквей. С севера надвигалась туча, был слышен гром, как будто по железным крышам домов мягкими лапами лениво ходил медведь.

— Знаешь, — слышал Клим, — я уже давно не верю в бога, но каждый раз, когда чувствую что-нибудь оскорбительное, вижу злое, — вспоминаю о нем. Странно? Право, не знаю: что со мной будет?

На эту тему Клим совершенно не умел говорить. Но он заговорил, как только мог убедительно:

— Время требует простой, мужественной работы, ради культурного обогащения страны…

И — остановился, видя, что девушка, закинув руки за голову, смотрит на него с улыбкой в темных глазах, — с улыбкой, которая снова смутила его, как давно уже не смущала.

— Почему ты так смотришь? — пробормотал он. Лидия ответила очень спокойно:

— Я думаю, что ты не веришь в то, что говоришь.

— Почему же?

Не ответив, она через минуту сказала:

— Будет дождь. И сильный.

Клим догадался, что нужно уйти, а через день, идя к ней, встретил на бульваре Варвару в белой юбке, розовой блузке, с красным пером на шляпе.

— Вы — к нам? — спросила она, и в глазах ее Клим подметил насмешливые искорки. — А я — в Сокольники. Хотите со мной? Лида? Но ведь она вчера уехала домой, разве вы не знаете?

— Уже? — спросил Самгин, искусно скрыв свое смущение и досаду. — Она хотела ехать завтра.

— Мне кажется, что она вовсе не хотела ехать, но ей надоел Диомидов своими записочками и жалобами.

Клим плохо слышал ее птичье щебетанье, заглушаемое треском колес и визгом вагонов трамвая на закруглениях рельс.

— Вы, вероятно, тоже скоро уедете?

— Да, послезавтра.

— Зайдете проститься?

— Конечно, — сказал Клим и подумал: «Я бы с тобой, пестрая дура, навеки простился».

В самом деле, пора было ехать домой. Мать писала письма, необычно для нее длинные, осторожно похвалила деловитость и энергию Спивак, сообщала, что Варавка очень занят организацией газеты. И в конце письма еще раз пожаловалась:

«Увеличились и хлопоты по дому с той поры, как умерла Таня Куликова. Это

случилось неожиданно и необъяснимо; так иногда, неизвестно почему, разбивается что-нибудь стеклянное, хотя его и не трогаешь. Исповедаться и причаститься она отказалась. В таких людей, как она, предрассудки врастают очень глубоко. Безбожие я считаю предрассудком».

Пред Климом встала бесцветная фигурка человека, который, ни на что не жалуясь, ничего не требуя, всю жизнь покорно служил людям, чужим ему. Было даже несколько грустно думать о Тане Куликовой, странном существе, которое, не философствуя, не раскрашивая себя словами, бескорыстно заботилось только о том, чтоб людям удобно жилось.

«Вот — христианская натура, — думал он. — Идеально христианская».

Но он тотчас же сообразил, что ему нельзя остановиться на этой эпитафии, ведь животные — собаки, например, — тоже беззаветно служат людям. Разумеется, люди, подобные Тане, полезнее людей, проповедующих в грязном подвале о глупости камня и дерева, нужнее полуумных Диомидовых, но…

Довести эту мысль до конца он не успел, потому что в коридоре раздались тяжелые шаги, возня и воркующий голос соседа по комнате. Сосед был плотный человек лет тридцати, всегда одетый в черное, черноглазый, синещекий, густые черные усы коротко подстрижены и подчеркнуты толстыми губами очень яркого цвета. Он себя называл «виртуозом на деревянных инструментах», но Самгин никогда не слышал, чтоб человек этот играл на кларнете, гобое или фаготе. Жил черный человек таинственной ночной жизнью; до полудня — спал, до вечера шлепал по столу картами и воркующим голосом, негромко пел всегда один и тот же романс:

Что он ходит за мной,Всюду ищет меня?

Вечерами он уходил с толстой палкой в руке, надвинув котелок на глаза, и, встречая его в коридоре или на улице, Самгин думал, что такими должны быть агенты тайной полиции и шулера.

Теперь, взглянув в коридор сквозь щель неплотно прикрытой двери, Клим увидал, что черный человек затискивает в комнату свою, как подушку в чемодан, пышную, маленькую сестру квартирохозяйки, — затискивает и воркует в нос:

— Что ж вы от меня бегаете, а? Зачем же это бегаете вы от меня?

Клим Самгин протестующе прихлопнул дверь, усмехаясь, сел на кровать, и вдруг его озарила, согрела счастливая догадка:

— Чего же ты от меня бегаешь? — повторил он убеждающие слова «виртуоза на деревянных инструментах».

Через день он поехал домой с твердой уверенностью, что вел себя с Лидией глупо, как гимназист.

«Любовь требует жеста».

Несомненно, что Лидия убежала от него, только этим и можно объяснить ее внезапный отъезд.

«Иногда жизнь подсказывает догадки очень своевременно».

Мать, встретив его торопливыми ласками, тотчас же, вместе с нарядной Спивак, уехала, объяснив, что едет приглашать губернатора на молебен по случаю открытия школы.

В столовой за завтраком сидел Варавка, в синем с золотом китайском халате, в татарской лиловой тюбетейке, — сидел, играя бородой, озабоченно фыркал и говорил:

— Мы живем в треугольнике крайностей. Против него твердо поместился,

разложив локти по столу, пожилой, лысоватый человек, с большим лицом и очень сильными очками на мягком носу, одетый в серый пиджак, в цветной рубашке «фантазия», с черным шнурком вместо галстука. Он сосредоточенно кушал и молчал. Варавка, назвав длинную двойную фамилию, прибавил:

— Наш редактор.

И продолжал, как всегда, не затрудняясь в поисках слов:

— Стороны треугольника: бюрократизм, возрождающееся народничество и марксизм в его трактовке рабочего вопроса…

— Совершенно согласен, — сказал редактор, склонив голову; кисточки шнурка выскочили из-за жилета и повисли над тарелкой, редактор торопливо тупенькими красными пальцами заткнул их на место.

Кушал он очень интересно и с великой осторожностью. Внимательно следил, чтоб куски холодного мяса и ветчины были равномерны, тщательно обрезывал ножом излишек их, пронзал вилкой оба куска и, прежде чем положить их в рот, на широкие, тупые зубы, поднимал вилку на уровень очков, испытующе осматривал двуцветные кусочки. Даже огурец он кушал с великой осторожностью, как рыбу, точно ожидая встретить в огурце кость. Жевал медленно; серые волосы на скулах его вставали дыбом, на подбородке шевелилась тугая, коротенькая борода, подстриженная аккуратно. Он вызывал впечатление крепкого, надежного человека, который привык и умеет делать все так же осторожно и уверенно, как он ест.

С багрового лица Варавки веселые медвежьи глазки благосклонно разглядывали высокий гладкий лоб, солидно сиявшую лысину, густые, серые и неподвижные брови. Климу казалось, что самое замечательное на обширном лице редактора — его нижняя, обиженно отвисшая губа лиловатого цвета. Эта странная губа придавала плюшевому лицу капризное выражение — с такой обиженной губой сидят среди взрослых дети, уверенные в том, что они наказаны несправедливо. Говорил редактор не спеша, очень внятно, немного заикаясь, пред гласными он как бы ставил апостроф:

— Значит: «Русские ведомости» без их академизма и, как вы сказали, — с максимумом живого отношения к истинно культурным нуждам края?

— Вот, во-от! — сказал Варавка и понюхал воздух. Где-то очень близко, точно из пушки выстрелили в деревянный дом, — грохнуло и оглушительно затрещало, редактор неодобрительно взглянул в окно и сообщил:

— Слишком дождливое лето.

Клим встал, закрыл окна, в стекла начал буйно хлестать ливень; в мокром шуме Клим слышал четкие слова:

— Фельетонист у нас будет опытный, это — Робинзон, известность. Нужен литературный критик, человек здорового ума. Необходима борьба с болезненными течениями в современной литературе. Вот такого сотрудника — не вижу.

Варавка подмигнул Климу и спросил:

— А? Клим?

Самгин молча пожал плечами, ему показалось, что губа редактора отвисла еще более обиженно.

Подали кофе. Сквозь гул грома и сердитый плеск дождя наверху раздались звуки рояля.

— Ну-ко, попробуй! — говорил Варавка.

— Подумаю, — тихо ответил Клим. Все уже было не интересно и не нужно — Варавка, редактор, дождь и гром. Некая сила, поднимая, влекла наверх. Когда он вышел в прихожую, зеркало показало ему побледневшее лицо, сухое и сердитое. Он снял очки, крепко растерев ладонями щеки, нашел, что лицо стало мягче, лиричнее.

Лидия сидела у рояля, играя «Песнь Сольвейг».

— О, приехал? — сказала она, протянув руку. Вся в белом, странно маленькая, она улыбалась. Самгин почувствовал, что рука ее неестественно горяча и дрожит, темные глаза смотрят ласково. Ворот блузы расстегнут и глубоко обнажает смуглую грудь.

— В грозу музыка особенно волнует, — говорила Лидия, не отнимая руки. Она говорила и еще что-то, но Клим не слышал. Он необыкновенно легко поднял ее со стула и обнял, спросив глухо и строго:

— Почему ты вдруг уехала?

Спросить он хотел что-то другое, но не нашел слов, он действовал, как в густой темноте. Лидия отшатнулась, он обнял ее крепче, стал целовать плечи, грудь.

— Не смей, — говорила она, отталкивая его руками, коленями. — Не смей же…

Она вырвалась; Клим, покачнувшись, сел к роялю, согнулся над клавиатурой, в нем ходили волны сотрясающей дрожи, он ждал, что упадет в обморок. Лидия была где-то далеко сзади его, он слышал ее возмущенный голос, стук руки по столу.

«Я ее безумно люблю, — убеждал он себя. — Безумно», — настаивал он, как бы споря с кем-то.

Потом он почувствовал ее легкую руку на голове своей, услышал тревожный вопрос:

— Что с тобой?

— Я не знаю, — ответил он, снова охватив ее талию руками, и прижался щекою к бедру.

— О, боже мой, — тихо сказала Лидия, уже не пытаясь освободиться; напротив — она как будто плотнее подвинулась к нему, хотя это было невозможно.

— Что же будет, Лида? — спросил Клим. Осторожно разжав его руки, она пошла прочь. Самгин пьяными глазами проводил ее сквозь туман. В комнате, где жила ее мать, она остановилась, опустив руки вдоль тела, наклонив голову, точно молясь. Дождь хлестал в окна все яростнее, были слышны захлебывающиеся звуки воды, стекавшей по водосточной трубе.

— Уйди, пожалуйста, — сказала Лидия. Самгин встал и пошел к ней, казалось, что она просит уйти не его.

— Я же прошу тебя — уйди!

То, что произошло после этих слов, было легко, просто и заняло удивительно мало времени, как будто несколько секунд. Стоя у окна, Самгин с изумлением вспоминал, как он поднял девушку на руки, а она, опрокидываясь спиной на постель, сжимала уши и виски его ладонями, говорила что-то и смотрела в глаза его ослепляющим взглядом.

Теперь вот она стоит пред зеркалом, поправляя костюм, прическу, руки ее дрожат, глаза в отражении зеркала широко раскрыты, неподвижны и налиты испугом. Она кусала губы, точно сдерживая боль или слезы.

— Милая, — прошептал Клим в зеркало, не находя в себе ни радости, ни гордости,

не чувствуя, что Лидия стала ближе ему, и не понимая, как надобно вести себя, что следует говорить. Он видел, что ошибся, — Лидия смотрит на себя не с испугом, а вопросительно, с изумлением. Он подошел к ней, обнял.

— Пусти, — сказала она и начала оправлять измятые подушки. Тогда он снова встал у окна, глядя сквозь густую завесу дождя, как трясутся листья деревьев, а по железу крыши флигеля прыгают серые шарики.

«Я — настойчив, — хотел и достиг», — соображал он, чувствуя необходимость утешить себя чем-нибудь.

— Ты — иди, — сказала Лидия, глядя на постель все тем же озабоченным и спрашивающим взглядом. Самгин ушел, молча поцеловав ее руку.

Все произошло не так, как он воображал. Он чувствовал себя обманутым.

«Но — чего я ждал? — спросил он. — Только того, что это будет не похоже на испытанное с Маргаритой и Нехаевой?»

И — утешил себя:

«Может быть, и будет…»

Но — ненадолго утешил, в следующую минуту явилась обидная мысль:

«Она мне точно милостыню подала…» И в десятый раз он вспомнил:

«Да — был ли мальчик-то? Может — мальчика-то и не было?»

Придя к себе, он запер дверь, лег и пролежал до вечернего чая, а когда вышел в столовую, там, как часовой, ходила Спивак, тонкая и стройная после родов, с пополневшей грудью. Она поздоровалась с ласковым равнодушием старой знакомой, нашла, что Клим сильно похудел, и продолжала говорить Вере Петровне, сидевшей у самовара:

— Семнадцать девиц и девять мальчиков, а нам необходимы тридцать учеников…

С плеч ее по руке до кисти струилась легкая ткань жемчужного цвета, кожа рук, просвечивая сквозь нее, казалась масляной. Она была несравнимо красивее Лидии, и это раздражало Клима. Раздражал докторальный и деловой тон ее, книжная речь и то, что она, будучи моложе Веры Петровны лет на пятнадцать, говорила с нею, как старшая.

Когда мать спросила Клима, предлагал ли ему Варавка взять в газете отдел критики и библиографии, она заговорила, не ожидая, что скажет Клим:

— Помните? Это и моя идея. У вас все данные для такой роли: критическое умонастроение, сдерживаемое осторожностью суждений, и хороший вкус.

Она сказала это ласково и серьезно, но в построении ее фразы Климу почудилась усмешка.

— Да, да, — согласилась мать, кивая головой и облизывая кончиком языка поблекшие губы, а Клим, рассматривая помолодевшее лицо Спивак, думал:

«Что ей нужно от меня? Почему это мать так подружилась с нею?»

В окно хлынул розоватый поток солнечного света, Спивак закрыла глаза, откинула голову и замолчала, улыбаясь. Стало слышно, что Лидия играет. Клим тоже молчал, глядя в окно на дымнокрасные облака. Все было неясно, кроме одного: необходимо жениться на Лидии.

— Кажется, я — поторопился, — вдруг сказал он себе, почувствовав, что в его решении жениться есть что-то вынужденное. Он едва не сказал:

«Я — ошибся».

Он мог бы сказать это, ибо уже не находил в себе того влечения к Лидии, которое так долго и хотя не сильно, однако настойчиво волновало его.

Лидия не пришла пить чай, не явилась и ужинать. В течение двух дней Самгин сидел дома, напряженно ожидая, что вот, в следующую минуту, Лидия придет к нему или позовет его к себе. Решимости самому пойти к ней у него не было, и был предлог не ходить: Лидия объявила, что она нездорова, обед и чай подавали для нее наверх.

— Это нездоровье, вероятно, обычный припадок мизантропии, — сказала мать, вздохнув.

— Странные характеры наблюдаю я у современной молодежи, — продолжала она, посыпая клубнику сахаром. — Мы жили проще, веселее. Те из нас, кто шел в революцию, шли со стихами, а не с цифрами…

— Ну, матушка, цифры не хуже стихов, — проворчал Варавка. — Стишками болото не осушишь…

Хлебнув вина, он прищурился, пополоскал рот, проглотил вино и, подумав, сказал:

— А молодежь действительно… кисловата! У музыкантов, во флигеле, бывает этот знакомый твой, Клим… как его?

— Иноков.

— Вот. Странный парень. Никогда не видал человека, который в такой мере чувствовал бы себя чужим всему и всем. Иностранец.

И пытливо, с остренькой улыбочкой в глазах посмотрев на Клима, он спросил:

— А ты себя иностранцем не чувствуешь?

— В государстве, где возможны Ходынки… — начал Клим сердито, потому что и мать и Варавка надоели ему.

В эту минуту и явилась Лидия, в странном, золотистого цвета халатике, который напомнил Климу одеяния женщин на картинах Габриэля Росетти. Она была настроена несвойственно ей оживленно, подшучивая над своим нездоровьем, приласкалась к отцу, очень охотно рассказала Вере Петровне, что халатик прислан ей Алиной из Парижа. Оживление ее показалось Климу подозрительным и усилило состояние напряженности, в котором он прожил эти два дня, он стал ждать, что Лидия скажет или сделает что-нибудь необыкновенное, может быть — скандальное. Но, как всегда, она почти не обращала внимания на него и лишь, уходя к себе наверх, шепнула:

— Не запирай дверь.

Унизительно было Климу сознаться, что этот шопот испугал его, но испугался он так, что у него задрожали ноги, он даже покачнулся, точно от удара. Он был уверен, что ночью между ним и Лидией произойдет что-то драматическое, убийственное для него. С этой уверенностью он и ушел к себе, как приговоренный на пытку.

Лидия заставила ждать ее долго, почти до рассвета. Вначале ночь была светлая, но душная, в раскрытые окна из сада вливались потоки влажных запахов земли, трав, цветов. Потом луна исчезла, но воздух стал еще более влажен, окрасился в темносинюю муть. Клим Самгин, полуодетый, сидел у окна, прислушиваясь к тишине, вздрагивая от непонятных звуков ночи. Несколько раз он с надеждой говорил себе:

«Не придет. Раздумала».

Но Лидия пришла. Когда бесшумно открылась дверь и на пороге встала белая фигура, он поднялся, двинулся встречу ей и услышал сердитый шопот:

— Закрой окно, закрой!

Комната наполнилась непроницаемой тьмой, и Лидия исчезла в ней. Самгин, протянув руки, поискал ее, не нашел и зажег спичку.

— Не надо! Не смей! Не надо огня, — услышал он. Он успел разглядеть, что Лидия сидит на постели, торопливо выпутываясь из своего халата, изломанно мелькают ее руки; он подошел к ней, опустился на колени.

— Скорей. Скорей, — шептала она.

Невидимая в темноте, она вела себя безумно и бесстыдно. Кусала плечи его, стонала и требовала, задыхаясь:

— Я хочу испытать... испытать...

Она будила его чувственность, как опытная женщина, жаднее, чем деловитая и механически ловкая Маргарита, яростнее, чем голодная, бессильная Нехаева. Иногда он чувствовал, что сейчас потеряет сознание и, может быть, у него остановится сердце. Был момент, когда ему казалось, что она плачет, ее неестественно горячее тело несколько минут вздрагивало как бы от сдержанных и беззвучных рыданий. Но он не был уверен, что это так и есть, хотя после этого она перестала настойчиво шептать в уши его:

— Испытать... испытать.

Он не помнил, когда она ушла, уснул, точно убитый, и весь следующий день прожил, как во сне, веря и не веря в то, что было. Он понимал лишь одно: в эту ночь им пережито необыкновенное, неизведанное, но — не то, чего он ждал, и не так, как представлялось ему. Через несколько таких же бурных ночей он убедился в этом.

В объятиях его Лидия ни на минуту не забывалась. Она не сказала ему ни одного из тех милых слов радости, которыми так богата была Нехаева. Хотя Маргарита наслаждалась ласками грубо, но и в ней было что-то певучее, благодарное. Лидия любила, закрыв глаза, неутолимо, но безрадостно и нахмурясь. Сердитая складка разрезала ее высокий лоб, она уклонялась от поцелуев, крепко сжимая губы, отворачивая лицо в сторону. И, когда она взмахивала длинными ресницами, Клим видел в темных глазах ее обжигающий, неприятный блеск. Все это уже не смущало его, не охлаждало сладострастия, а с каждым свиданием только больше разжигало. Но все более смущали и мешали ему назойливые расспросы Лидии. Сначала ее вопросы только забавляли своей наивностью, Клим посмеивался, вспоминая грубую пряность средневековых новелл. Постепенно эта наивность принимала характер цинизма, и Клим стал чувствовать за словами девушки упрямое стремление догадаться о чем-то ему неведомом и не интересном. Ему хотелось думать, что неприличное любопытство Лидии вычитано ею из французских книг, что она скоро устанет, замолчит. Но Лидия не уставала, требовательно глядя в глаза его, выспрашивала горячим шопотом:

— Что ты чувствуешь? Ты не можешь жить, не желая чувствовать этого, не можешь, да? Он посоветовал:

— Любить надо безмолвно.

— Чтобы не лгать? — спросила она.

— Молчание — не ложь.

— Тогда оно — трусость, — сказала Лидия и начала снова допрашивать:

— Когда тебе хорошо — это помогает тебе понять меня как-то особенно? Что-нибудь изменилось во мне для тебя?

— Конечно, — ответил Клим и пожалел об этом, потому что она спросила:

— Как же? Что?

На эти вопросы он не умел ответить и с досадой, чувствуя, что это неуменье умаляет его в глазах девушки, думал: «Может быть, она для того и спрашивает, чтобы принизить его до себя?»

— Брось, пожалуйста! — сказал он уже не ласково. — Это — неуместные вопросы. И — детские.

— Так — что ж? Мы с тобою бывшие дети. Клим стал замечать в ней нечто похожее на бесплодные мудрствования, которыми он сам однажды болел. Порою она, вдруг впадая в полуобморочное состояние, неподвижно и молча лежала минуту, две, пять, В эти минуты он отдыхал и укреплялся в мысли, что Лидия — ненормальна, что ее безумства служат только предисловием к разговорам. Ласкала она исступленно, казалось даже, что она порою насилует, истязает себя. Но после этих припадков Клим видел, что глаза ее смотрят на него недружелюбно или вопросительно, и все чаще он подмечал в ее зрачках злые искры. Тогда, чтоб погасить эти искры, Клим Самгин тоже несколько насильно и сознательно начинал снова ласкать ее. А порою у него возникало желание сделать ей больно, отомстить за эти злые искры. Было неловко вспоминать, что когда-то она казалась ему бесплотной, невесомой. Он стал думать, что именно с этой девушкой хотелось ему создать какие-то особенные отношения глубокой, сердечной дружбы, что именно она и только она поможет ему найти себя, остановиться на чем-то прочном. Да, не любви ее, странной и жуткой, искал он, а — дружбы. И вот он теперь обманут. В ответ на попытки заинтересовать ее своими чувствованиями, мыслями он встречает молчание, а иногда усмешку, которая, обижая, гасила его речи в самом начале.

Ему казалось, что Лидия сама боится своих усмешек и злого огонька в своих глазах. Когда он зажигал огонь, она требовала:

— Погаси.

И в темноте он слышал ее шопот:

— И это — всё? Для всех — одно: для поэтов, извозчиков, собак?

— Послушай, — говорил Клим. — Ты — декадентка. Это у тебя — болезненное…

— Но, Клим, не может же быть, чтоб это удовлетворяло тебя? Не может быть, чтоб ради этого погибали Ромео, Вертеры, Ортисы, Юлия и Манон!

— Я — не романтик, — ворчал Самгин и повторял ей: — Это у тебя дегенеративное… Тогда она спрашивала:

— Я — жалкая, да? Мне чего-то не хватает? Скажи, чего у меня нет?

— Простоты, — отвечал Самгин, не умея ответить иначе.

— Той, что у кошек?

Он не решился сказать ей:

«Тем, что у кошек, ты обладаешь в избытке».

Неистово и даже озлобленно лаская ее, он мысленно внушал: «Заплачь. — Заплачь».

Она стонала, но не плакала, и Клим снова едва сдерживал желание оскорбить,

унизить ее до слез.

Однажды, в темноте, она стала назойливо расспрашивать его, что испытал он, впервые обладая женщиной? Подумав, Клим ответил:

— Страх. И — стыд. А — ты? Там, наверху?

— Боль и отвращение, — тотчас же ответила она. — Страшное я почувствовала здесь, когда сама пришла к тебе.

Помолчав и отодвинувшись от него, она сказала:

— Это было даже и не страшно, а — больше. Это — как умирать. Наверное — так чувствуют в последнюю минуту жизни, когда уже нет боли, а — падение. Полет в неизвестное, в непонятное.

И, снова помолчав, она прошептала:

— И был момент, когда во мне что-то умерло, погибло. Какие-то надежды. Я — не знаю. Потом — презрение к себе. Не жалость. Нет, презрение. От этого я плакала, помнишь?

Жалея, что не видит лица ее, Клим тоже долго молчал, прежде чем найти и сказать ей неглупые слова:

— Это у тебя — не любовь, а — исследование любви. Она тихо и покорно прошептала:

— Обними меня. Крепче.

Несколько дней она вела себя смиренно, ни о чем не спрашивая и даже как будто сдержаннее в ласках, а затем Самгин снова услыхал, в темноте, ее горячий, царапающий шопот:

— Но согласись, что ведь этого мало для человека!

«Чего же тебе надо?» — хотел спросить Клим, но, сдержав возмущение свое, не спросил.

Он чувствовал, что «этого» ему вполне достаточно и что все было бы хорошо, если б Лидия молчала. Ее ласки не пресыщали. Он сам удивлялся тому, что находил в себе силу для такой бурной жизни, и понимал, что силу эту дает ему Лидия, ее всегда странно горячее и неутомимое тело. Он уже начинал гордиться своей физиологической выносливостью и думал, что, если б рассказать Макарову об этих ночах, чудак не поверил бы ему. Эти ночи совершенно поглотили его. Озабоченный желанием укротить словесный бунт Лидии, сделать ее проще, удобнее, он не думал ни о чем, кроме нее, и хотел только одного: чтоб она забыла свои нелепые вопросы, не сдабривала раздражающе мутным'ядом его медовый месяц.

Она не укрощалась, хотя сердитые огоньки в ее глазах сверкали как будто уже менее часто. И расспрашивала она не так назойливо, но у нее возникло новое настроение. Оно обнаружилось как-то сразу. Среди ночи она, вскочив с постели, подбежала к окну, раскрыла его и, полуголая, села на подоконник.

— Ты простудишься, свежо, — предупредил Клим.

— Какая тоска! — ответила она довольно громко. — Какая тоска в этих ночах, в этой немоте сонной земли и в небе. Я чувствую себя в яме… в пропасти.

«Ну вот, теперь она воображает себя падшим ангелом», — подумал Самгин.

Его томило предчувствие тяжелых неприятностей, порою внезапно вспыхивала боязнь, что Лидия устанет и оттолкнет его, а иногда он сам хотел этого. Уже не один раз он замечал, что к нему возвращается робость пред Лидией, и почти

всегда вслед за этим ему хотелось резко оборвать ее, отметить ей за то, что он робеет пред нею. Он видел себя поглупевшим и плохо понимал, что творится вокруг его. Да и не легко было понять значение той суматохи, которую неутомимо разжигал и раздувал Варавка. Почти ежедневно, вечерами, столовую наполняли новые для Клима люди, и, размахивая короткими руками, играя седеющей бородой, Варавка внушал им:

— Бестактнейшее вмешательство Витте в стачку ткачей придало стачке политический характер. Правительство как бы убеждает рабочих, что теория классовой борьбы есть — факт, а не выдумка социалистов, — понимаете?

Редактор молча и согласно кивал шлифованной головой, и лиловая губа его отвисала еще более обиженно.

Человек в бархатной куртке, с пышным бантом на шее, с большим носом дятла и чахоточными пятнами на желтых щеках негромко ворчал:

— Классовая борьба — не утопия, если у одного собственный дом, а у другого только туберкулез.

Знакомясь с Климом, он протянул ему потную руку и, заглянув в лицо лихорадочными глазами, спросил:

— Нароков, Робинзон, — слышали?

Он был непоседлив; часто и стремительно вскакивал;

хмурясь, смотрел на черные часы свои, закручивая реденькую бородку штопором, совал ее в изъеденные зубы, прикрыв глаза, болезненно сокращал кожу лица иронической улыбкой и широко раздувал ноздри, как бы отвергая некий неприятный ему запах. При второй встрече с Климом он сообщил ему, что за фельетоны Робинзона одна газета была закрыта, другая приостановлена на три месяца, несколько газет получили «предостережение», и во всех городах, где он работал, его врагами всегда являлись губернаторы.

— Мой товарищ, статистик, — недавно помер в тюрьме от тифа, — прозвал меня «бич губернаторов».

Трудно было понять, шутит он или серьезно говорит?

Клим сразу подметил в нем неприятную черту: человек этот рассматривал всех людей сквозь ресницы, насмешливо и враждебно.

Глубоко в кресле сидел компаньон Варавки по изданию газеты Павлин Савельевич Радеев, собственник двух паровых мельниц, кругленький, с лицом татарина, вставленным в аккуратно подстриженную бородку, с ласковыми, умными глазами под выпуклым лбом. Варавка, видимо, очень уважал его, посматривая в татарское лицо вопросительно и ожидающе. В ответ на возмущение Варавки политическим цинизмом Константина Победоносцева Радеев сказал:

— Клоп тем и счастлив, что скверно пахнет. Это была первая фраза, которую Клим услыхал из уст Радеева. Она тем более удивила его, что была сказана как-то так странно, что совсем не сливалась с плотной, солидной фигуркой мельника и его тугим, крепким лицом воскового или, вернее, медового цвета. Голосок у него был бескрасочный, слабый, говорил он на о, с некоторой натугой, как говорят после длительной болезни.

— Это не с вас ли Боборыкин писал амбарного Сократа, «Василия Теркина»? — бесцеремонно спросил его Робинзон.

— Плохое сочинение, однакож — не без правды, — ответил Радеев, держа на животе пухлые ручки и крутя большие пальцы один вокруг другого. — Tie с меня, конечно, а, полагаю, — с натуры все-таки. И среди купечества народились

некоторые размышляющие.

Самгин сначала подумал, что этот купец, должно быть, хитер и жесток. Когда заговорили о мощах Серафима Саровского, Радеев, вздохнув, сказал:

— Ой, не доведет нас до добра это сочинение мертвых праведников, а тем паче — живых. И ведь делаем-то мы это не по охоте, не по нужде, а — по привычке, право, так! Лучше бы согласиться на том, что все грешны, да и жить всем в одно грешное, земное дело.

Говорить он любил и явно хвастался тем, что может свободно говорить обо всем своими словами. Прислушавшись к его бесцветному голоску, к тихоньким, круглым словам, Самгин открыл в Радееве нечто приятное и примиряющее с ним.

— Вы, Тимофей Степанович, правильно примечаете:

в молодом нашем поколении велик назревает раскол. Надо ли сердиться на это? — спросил он, улыбаясь янтарными глазками, и сам же ответил в сторону редактора:

— А пожалуй, не надо бы. Мне вот кажется, что для государства нашего весьма полезно столкновение тех, кои веруют по Герцену и славянофилам с опорой на Николая Чудотворца в лице мужичка, с теми, кои хотят веровать по Гегелю и Марксу с опорою на Дарвина.

Он передохнул, быстрее заиграл пальчиками и обласкал редактора улыбочкой, редактор подобрал нижнюю губу, а верхнюю вытянул по прямой линии, от этого лицо его стало короче, но шире и тоже как бы улыбнулось, за стеклами очков пошевелились бесформенные, мутные пятна.

— Это, конечно, главная линия раскола, — продолжал Радеев еще более певуче и мягко. — Но намечается и еще одна, тоже полезная: заметны юноши, которые учатся рассуждать не только лишь о печалях народа, а и о судьбах российского государства, о Великом сибирском пути к Тихому океану и о прочем, столь же интересном.

Сделав паузу, должно быть, для того, чтоб люди вдумались в значительность сказанного им, мельник пошаркал по полу короткими ножками и продолжал:

— Индивидуалистическое настроение некоторых тоже не бесполезно, сможет быть, под ним прячется Сократово углубление в самого себя и оборона против софистов. Нет, молодежь у нас интересно растет и много обещает. Весьма примечательно, что упрямая проповедь Льва Толстого не находит среди юношей учеников и апостолов, не находит, как видим.

— Да, — сказал редактор и, сняв очки, обнаружил под ними кроткие глаза с расплывшимися зрачками сиреневого цвета.

Радеева всегда слушали внимательно, Варавка особенно впивался острым взглядом в медовое лицо мельника, в крепенькие, пиявистые губы его.

— Отлично мельник оники катает, — сказал он, масляно улыбаясь. — Зверски детская душа!

Клим Самгин отметил у Варавки и Радеева нечто общее: у Варавки были руки коротки, у мельника смешно коротенькие ножки.

А Иноков сказал о Радееве:

— Интересно посмотреть на него в бане; голый, он, вероятно, на самовар похож.

Иноков только что явился откуда-то из Оренбурга, из Тургайской области, был в Красноводске, был в Персии. Чудаковато одетый в парусину, серый, весь как бы пропыленный до костей, в сандалиях на босу ногу, в широкополой, соломенной шляпе, длинноволосый, он стал похож на оживший портрет Робинзона Крузо с

обложки дешевого издания этого евангелия непобедимых. Шагая по столовой журавлиным шагом, он сдирал ногтем беленькие чешуйки кожи с обожженного носа и решительно говорил:

— Вот эти башкиры, калмыки — зря обременяют землю. Работать — не умеют, учиться — не способны. Отжившие люди. Персы — тоже.

Радеев смотрел на него благосклонно и шевелил гладко причесанными бровями, а Варавка подзадоривал:

— Что ж, по-вашему, куда их? Перебить? Голодом выморить?

— Осенние листья, — твердил Иноков, фыркая носом, как бы выдувая горячую пыль степи.

«Осенние листья», — мысленно повторял Клим, наблюдая непонятных ему людей и находя, что они сдвинуты чем-то со своих естественных позиций. Каждый из них, для того чтоб быть более ясным, требовал каких-то добавлений, исправлений. И таких людей мелькало пред ним все больше. Становилось совершенно нестерпимо топтаться в хороводе излишне и утомительно умных.

Сверху спускалась Лидия. Она садилась в угол, за роялью, и чужими глазами смотрела оттуда, кутая, по привычке, грудь свою газовым шарфом. Шарф был синий, от него на нижнюю часть лица ее ложились неприятные тени. Клим был доволен, что она молчит, чувствуя, что, если б она заговорила, он стал бы возражать ей. Днем и при людях он не любил ее.

Мать вела себя с гостями важно, улыбалась им снисходительно, в ее поведении было нечто не свойственное ей, натянутое и печальное.

— Кушайте, — угощала она редактора, Инокова, Робинзона и одним пальцем подвигала им тарелки с хлебом, маслом, сыром, вазочки с вареньем. Называя Спивак Лизой, она переглядывалась с нею взглядом единомышленницы. А Спивак оживленно спорила со всеми, с Иноковым — чаще других, вероятно, потому, что он ходил вокруг нее, как теленок, привязанный за веревку на кол.

Спивак чувствовала себя скорее хозяйкой, чем гостьей, и это заставляло Клима подозрительно наблюдать за нею.

Когда все чужие исчезали, Спивак гуляла с Лидией в саду или сидела наверху у нее. Они о чем-то горячо говорили, и Климу всегда хотелось незаметно подслушать — о чем?

— Посмотрите, — интересно! — говорила она Климу и совала ему желтенькие книжки Рене Думика, Пеллисье, Франса.

«Что это она — воспитывает меня?» — соображал Самгин, вспоминая, как Нехаева тоже дарила ему репродукции с картин прерафаэлитов, Рошгросса, Стука, Клингера и стихи декадентов.

«Каждый пытается навязать тебе что-нибудь свое, чтоб ты стал похож на него и тем понятнее ему. А я — никому, ничего не навязываю», — думал он с гордостью, но очень внимательно вслушивался в суждения Спивак о литературе, и ему нравилось, как она говорит о новой русской поэзии.

— Эти молодые люди очень спешат освободиться от гуманитарной традиции русской литературы. В сущности, они пока только переводят и переписывают парижских поэтов, затем доброжелательно критикуют друг друга, говоря по поводу мелких литературных краж о великих событиях русской литературы. Мне кажется, что после Тютчева несколько невежественно восхищаться декадентами с Монмартра.

Изредка, осторожной походкой битого кота в кабинет Варавки проходил Иван

Дронов с портфелем под мышкой, чистенько одетый и в неестественно скрипучих ботинках. Он здоровался с Климом, как подчиненный с сыном строгого начальника, делая на курносом лице фальшиво-скромную мину.

— Как живешь? — спросил Самгин.

— Не плохо, благодарю вас, — ответил Дронов, сильно подчеркнув местоимение, и этим смутил Клима. Дальше оба говорили на «вы», а прощаясь, Дронов сообщил:

— Маргарита просила кланяться; она теперь учит рукоделию в монастырской школе.

— Да? — сказал Самгин.

— Да. Я с нею часто встречаюсь.

«Для чего он сказал мне это?» — обеспокоенно подумал Самгин, провожая его взглядом через очки, исподлобья.

И тотчас же забыл *о* Дронове. Лидия поглощала все его мысли, внушая все более тягостную тревогу. Ясно, что она — не та девушка, какой он воображал ее. Не та. Все более обаятельная физически, она уже начинала относиться к нему с обидным снисхождением, и не однажды он слышал в ее расспросах иронию.

— Ну, скажи, что же изменилось в тебе?

Он хотел сказать:

«Ничего».

Мог бы сказать:

«Я понял, что ошибся».

Но у него не было решимости сказать правду, да не было и уверенности, что это — правда и что нужно сказать ее. Он ответил:

— Рано говорить об этом.

— Во мне — ничего не изменилось, — подсказывала ему Лидия шопотом, и ее шопот в ночной, душной темноте становился его кошмаром. Было что-то особенно угнетающее в том, что она ставит нелепые вопросы свои именно шопотом, как бы сама стыдясь их, а вопросы ее звучали все бесстыдней. Однажды, когда он говорил ей что-то успокаивающее, она остановила его:

— Подожди — откуда это? Подумала и нашла:

— Это из книги Стендаля «О любви»»

Вскочив с постели, она быстро прошла по комнате, по густым и важным гелям' деревьев на полу. Ноги ее, в черных чулках, странно сливались с тенями, по рубашке, голубовато окрашенной лунным светом, тоже скользили тени; казалось, что она без ног и летит. Посмотрев в окно, она остановилась пред зеркалом, строго нахмурив брови. Она так часто и внимательно рассматривала себя в зеркале, что Клим находил это и странным- и смешным. Стоит, закусив губы, подняв брови, и гладит грудь, живот, бедра. Кроме ее нагого тела в зеркале отражалась стена, оклеенная темными обоями, и было очень неприятно видеть Лидию удвоенной: одна, жива», покачивается на полу, другая скользит по неподвижной пустоте зеркала.

Клим неласково спросил ее:

— Ты думаешь, что уже беременна?

Руки ее опустились вдоль тела, она быстро обернулась, спросила испуганно:

— Что-о?

И, присев на стул, сказала жалобным шопотом:

— Но ведь не всегда же родятся дети! И ведь еще нет шести недель…

— Ты что же? Боишься родить? — спросил Клим, с удовольствием дразня ее. — И при чем тут недели? Она, не ответив, поспешно начала одеваться.

— А помнишь, хотела мальчика и девочку? Одевалась она так быстро, как будто хотела скорее спрятать себя.

— Хотела? — бормотала она. — Я не помню.

— Тебе было тогда лет десять.

— Теперь мальчики и девочки не нравятся мне. И, согнувшись, надевая туфли, она сказала:

— Не все имеют право родить детей.

— Ух, какая философия!

— Да, — продолжала она, подойдя к постели. — Не все. Если ты пишешь плохие книги или картины, это ведь не так уж вредно, а за плохих детей следует наказывать.

Клим возмутился:

— Откуда у тебя эти старческие выдумки? Смешно слышать. Это — Спивак говорит?

Она ушла легкой своей походкой, осторожно ступая на пальцы ног. Не хватало только, чтоб она приподняла юбку, тогда было бы похоже, что она идет по грязной улице.

Клим видел, что все чаще и с непонятной быстротою между ним и Лидией возникают неприятные беседы, но устранить это он не умел.

Как-то, отвечая на один из обычных ее вопросов, он небрежно посоветовал ей:

— Прочти «Гигиену брака», есть такая книжка, или возьми учебник акушерства.

Лидия села на постели, обняв колена свои, положив на них подбородок, и спросила:

— По-твоему — все сводится к акушерству? Зачем же тогда стихи? Что вызывает стихи?

— Это уж ты спроси у Макарова. Усмехаясь, он прибавил:

— Маракуев очень удачно назвал Макарова «провансальским трубадуром из Кривоколенного переулка».

Лидия повернулась к нему и, разглаживая острым ногтем мизинца брови его, сказала:

— Плохо ты говоришь. И всегда как будто сдаешь экзамен.

— Так и есть, — ответил Клим. — Потому что ты все

допрашиваешь.

Голос ее зазвучал двумя нотами, как в детстве:

— Я часто соглашаюсь с тобой, но это для того, чтоб не спорить. С тобой можно обо всем спорить, но я знаю, что это бесполезно. Ты — скользкий… И у тебя нет слов, дорогих тебе.

— Не понимаю, зачем ты говоришь это, — проворчал Самгин, догадываясь, что наступает какой-то решительный момент.

— Зачем говорю? — переспросила она после паузы. — В одной оперетке поют: «Любовь? Что такое — любовь?» Я думаю об этом с тринадцати лет, с того дня, когда впервые почувствовала себя женщиной. Это было очень оскорбительно. Я не умею думать ни о чем, кроме этого.

Самгину показалось, что она говорит растерянно, виновато. Захотелось видеть лицо ее. Он зажег спичку, но Лидия, как всегда, сказала с раздражением, закрыв лицо ладонью:

— Не надо огня.

— Ты любишь играть втемную, — пошутил Клим и — раскаялся: глупо.

В саду шумел ветер, листья шаркали по стеклам, о ставни дробно стучали ветки, и был слышен еще какой-то непонятный, вздыхающий звук, как будто маленькая собака подвывала сквозь сон. Этот звук, вливаясь в шопот Лидии, придавал ее словам тон горестный.

— Не надо лгать друг другу, — слышал Самгин. — Лгут для того, чтоб удобнее жить, а я не ищу удобств, пойми это! Я не знаю, чего хочу. Может быть — ты прав: во мне есть что-то старое, от этого я и не люблю ничего и все кажется мне неверным, не таким, как надо.

Впервые за все время связи с нею Клим услыхал в ее словах нечто понятное и родственное ему.

— Да, — сказал он. — Многое выдумано, это я знаю.

И первый раз ему захотелось как-то особенно приласкать Лидию, растрогать ее до слез, до необыкновенных признаний, чтоб она обнажила свою душу так же легко, как привыкла обнажать бунтующее тело. *Он* был уверен, что сейчас скажет нечто ошеломляюще простое и мудрое, выжмет из всего, что испытано им, горький, но целебный сок для себя и для нее.

— Мне вот кажется, что счастливые люди — это не молодые, а — пьяные, — продолжала она шептать. — Вы все не понимали Диомидова, думая, что он безумен, а он сказал удивительно: «Может быть, бог выдуман, но церкви — есть, а надо, чтобы были только бог и человек, каменных церквей не надо. Существующее — стесняет», — сказал он,

— Анархизм полуидиота, — торопливо молвил Клим. — Я знаю это, слышал: «Дерево — дурак, камень — дурак» и прочее… чепуха!

Он чувствовал, что в нем вспухают значительнейшие мысли. Но для выражения их память злокозненно подсказывала чужие слова, вероятно, уже знакомые Лидии. В поисках своих слов и желая остановить топот Лидии, Самгин положил руку на плечо ее, но она так быстро опустила плечо, что его рука соскользнула к локтю, а когда он сжал локоть, Лидия потребовала:

— Пусти.

— Почему?

— Я ухожу.

И ушла, оставив его, как всегда, в темноте, в тишине. Нередко бывало так, что она внезапно уходила, как бы испуганная его словами, но на этот раз ее бегство было особенно обидно, она увлекла за собой, как тень свою, все, что он хотел сказать ей. Соскочив с постели, Клим открыл окно, в комнату ворвался ветер, внес запах пыли, начал сердито перелистывать страницы книги на столе я помог Самгину возмутиться.

«Завтра объяснюсь с нею, — решил он, закрыв окно и ложась в пастель. — Довольно капризов, болтовни…»

Ему казалось, что настроение Лидии становится совершенно неуловимым, и он уже «взывал его двуличным. Второй раз он замечал, что даже и физически Лидия двоится: снова, сквозь знакомые черты лица ее, проступает скрытое за ними другое лицо, чуждое ему. Ею вдруг, овладевали припадки нежности к отцу, к Вере Петровне и припадки какой-то институтской влюбленности в Елизавету Спивак. Бывали дни, когда она смотрела на всех людей не своими глазами, мягко, участливо и с такой грустью, что Клим тревожно думал: вот сейчас она начнет каяться, нелепо расскажет о своем романе с ним и заплачет черными слезами. Ему очень нравились черные слезы, он находил, что это одна из его хороших выдумок.

Он особенно недоумевал, наблюдая, как заботливо Лидия ухаживает за его матерью, которая говорила с нею все-таки из милости, докторально, а смотрела не в лицо девушки, а в лоб или через голову ее.

Но вдруг эти ухаживания разрешались неожиданной и почти грубой выходкой. Как-то вечером, в столовой за чаем, Вера Петровна снисходительно поучала Лидию:

— Право критики основано или на твердо» вере или на точном знании. Я не чувствую твоих верований, а твои знания, согласись, недостаточны…

Лидия, не дослушав, задумчиво проговорила:

— Кучер Михаил кричит на людей, а сам не видит, куда нужно, ехать, и всегда боишься, что он задавит кого-нибудь. Он уже совсем плохо видит. Почему вы не хотите полечить его?

Вопросительно взглянув на Варавку, Вера Петровна пожала плечами, а Варавка пробормотал:

— Лечить? Ему шестьдесят четыре года… От этого не вылечишь.

Лидия ушла, а через несколько минут явилась в саду, оживленно разговаривая со Спивак, в Клим слышал ее вопрос:

— А почему я должна исправлять чужие ошибки?

Иногда Клим чувствовал, что Лидия относится к нему так сухо и натянуто, как будто он оказался виноват в чем-то пред нею и хотя уже прощен, однако простить его было не легко.

Вспомнив все это, он подумал еще раз:

«Да, завтра же объяснюсь».

Утром, за чаем, Варавка, вытряхивай из бороды крошки хлеба, сообщил Климу:

— Сегодня знакомлю редакцию с культурными силами города. На семьдесят тысяч жителей оказалось четырнадцать сил, н-да, брат! Три силы состоят под гласным надзором полиции, а остальные, наверное, почти все под негласным. Зер комиш…

Задумался, выжал в свой стакан чая половинку лимона и сказал, вздохнув:

— Государство наше — воистину, брат, оригинальнейшее государство, головка у

него не по корпусу, — мала. Послал Лидию на дачу приглашать писателя Катина. Что же ты, будешь критику писать, а?

— Попробую, — ответил Клим.

Вечер с четырнадцатью силами напомнил ему субботние заседания вокруг кулебяки у дяди Хрисанфа.

Сильно постаревший адвокат Гусев отрастил живот и, напирая им на хрупкую фигурку Спивака, вяло возмущался распространением в армии балалаек.

— Свирель, рожок, гусли — вот истинно народные инструменты. Наш народ — лирик, балалайка не отвечает духу его…

Спивак, глядя в грудь его черными стеклами очков, робко ответил:

— Я думаю, что это не правда, а привычка говорить: народное, вместо — плохое. И обратился к жене:

— Я пойду, послушаю: не плачет ли? Он убежал, а Гусев начал доказывать статистику Костину, человеку с пухлым, бабьим лицом:

— Я, конечно, согласен, что Александр Третий был глупый царь, но все-таки он указал нам правильный путь погружения в национальность.

Статистик, известный всему городу своей привычкой сидеть в тюрьме, добродушно посмеивался, перечисляя:

— Церковно-приходские школы, водочная монополия…

Вмешался Робинзон:

— Уж если погружаться в национальность, так нельзя и балалайку отрицать.

Костин, перебивая Робинзона, выкрикивал:

— Вся эта политика всовывания соломинок в колеса истории…

Угрюмо усмехаясь, Иноков сказал Климу:

— Тюремный сиделец говорит об истории, точно верный раб о своей барыне…

Иноков был зловеще одет в черную, суконную рубаху, подпоясанную широким ремнем, черные брюки его заправлены в сапоги; он очень похудел и, разглядывая всех сердитыми глазами, часто, вместе с Робинзоном, подходил к столу с водками. И всегда за ними боком, точно краб, шел редактор. Клим дважды слышал, как он говорил фельетонисту вполголоса:

— Вы, Нароков, не очень налегайте, вам — вредно.

У стола командовал писатель Катин. Он — не постарел, только на висках явились седенькие язычки волос и на упругих щечках узоры красных жилок. Он мячиком катался из угла в угол, ловил людей, тащил их к водке и оживленно, тенорком, подшучивал над редактором:

— Растрясем обывателя, Максимыч? Взбучим! Ты только марксизма не пущай! Не пустишь? То-то! Я — старовер…

И, закусывая, жмурясь от восторга, говорил:

— Нет, это все-таки гриб фабричный, не вдохновляет! А вот сестра жены моей научилась грибы мариновать — знаменито!

Помощник Гусева, молодой адвокат Правдин, застегнутый в ловко сшитую визитку,

причесанный и душистый, как парикмахер, внушал Томилину и Костину:

— Неоспоримые нормы права… Томилин усмехался медной усмешкой, а Костин, ласково потирая свои неестественно развитые ягодицы, возражал мягким тенорком:

— Вот в этих нормах ваших и спрятаны все основы социального консерватизма.

Вдова нотариуса Казакова, бывшая курсистка, деятельница по внешкольному воспитанию, женщина в пенснэ, с красивым и строгим лицом, доказывала редактору, что теории Песталоцци и Фребеля неприменимы в России.

— У нас есть Пирогов, есть…

Робинзон перебил ее, напомнив, что Пирогов рекомендовал сечь детей, и стал декламировать стихи Добролюбова:

Но не тем сечением обычным,Как секут повсюду дураков,А таким, какое счел приличнымНиколай Иваныч Пирогов…

— Стихи — скверные, а в Европе везде секут детей. — решительно заявила Казакова. Доктор Любомудров усумнился:

— Везде ли? И, кажется, не секут, а бьют линейкой по рукам.

— И — секут, — настаивала Казакова. — Ив Англии секут.

Одетый в синий пиджак мохнатого драпа, в тяжелые брюки, низко опустившиеся на тупоносые сапоги, Томилин ходил по столовой, как по базару, отирал платком сильно потевшее, рыжее лицо, присматривался, прислушивался и лишь изредка бросал снисходительно коротенькие фразы. Когда Правдин, страстный театрал, крикнул кому-то:

— Позвольте, — это предрассудок, что театр — школа, театр — зрелище! — Томилин сказал, усмехаясь:

— Вся жизнь — зрелище.

Капитан Горталов, бывший воспитатель в кадетском корпусе, которому запретили деятельность педагога, солидный краевед, талантливый цветовод и огородник, худощавый, жилистый, с горячими глазами, доказывал редактору, что протуберанцы являются результатом падения твердых тел на солнце и расплескавания его массы, а у чайного стола крепко сидел Радеев и говорил дамам:

— Будучи несколько, — впрочем, весьма немного, — начитан и зная Европу, я нахожу, что в лице интеллигенции своей Россия создала нечто совершенно исключительное и огромной ценности. Наши земские врачи, статистики, сельские учителя, писатели и вообще духовного дела люди — сокровище необыкновенное…

«Шутит? Иронизирует?» — догадывался Клим Самгин, слушая гладенький, слабый голосок.

Капитан Горталов парадным шагом солдата подошел к Радееву, протянул ему длинную руку.

— Правильная оценка. Прекрасная идея. Моя идея. И поэтому: русская интеллигенция должна пенять себя как некое единое целое. Именно. Как, примерно, орден иоаннитов, иезуитов, да! Интеллигенция, вся, должна стать единой партией, а не дробиться! Это внушается нам всем ходом современности. Это должно бы внушать нам и чувство самосохранения. У нас нет друзей, мы — чужестранцы. Да. Бюрократы и капиталисты порабощают нас. Для народа мы — чудаки, чужие люди.

— Верно — чужие! — лирически воскликнул писатель

Катин, уже несколько охмелевшей.

В словах капитана было что-то барабанное, голос его оглушал. Радеев, кивая головой, осторожно отодвигался вместе со стулом и бормотал:

— Тут нужна поправочка…

Пришел Спивак, наклонился к жене и сказал:

— Спит. Крепко спит.

Все эти люди нимало не интересовали Клима, еще раз воскрешая в памяти детское впечатление: пойманные пьяным рыбаком раки, хрустя хвостами, расползаются во все стороны по полу кухни. Равнодушно слушая их речи, уклоняясь от участия в спорах, он присматривался к Инокову. Ему не понравилось, что Иноков ездил с Лидией на дачу приглашать писателя Катина, не нравилось, что этот грубый парень так фамильярно раскачивается между Лидией и Спивак, наклоняясь с усмешечкой то к одной, то к другой. В начале вечера с такой же усмешечкой Иноков подошел к нему и спросил:

— Выставили из университета? Неожиданность и форма вопроса ошеломили Клима, он взглянул в неудачное лицо парня вопросительно.

— Бунтовали? — снова спросил тот, а когда Клим сказал ему, что он в этот семестр не учился, Иноков — бесцеремонно поставил третий вопрос:

— Из осторожности не учились?

— При чем тут осторожность? — сухо осведомился Клим.

— Чтоб не попасть в историю, — объяснил Иноков и повернулся спиною.

А через несколько минут он рассказывал Вере Петровне, Лидии и Спивак:

— Прошло месяца два, возвратился он из Парижа, встретил меня на улице, зовет: приходите, мы с женой замечательную вещь купили! Пришел я, хочу сесть, а он пододвигает мне странного вида легкий стульчик, на тонких, золоченых ножках, с бархатным сидением: садитесь пожалуйста! Я отказываюсь, опасаясь, как бы не сломать столь изящную штуку, — нет! Садитесь, — просит! Сел я, и вдруг подо мною музыка заиграла, что-то очень веселое. Сижу, чувствую, что покраснел, а он с женою оба смотрят на меня счастливыми глазами и смеются, рады, как дети! Встал я, музыка умолкла. Нет, говорю, это мне не нравится, я привык музыку слушать ушами. Обиделись.

Этот грубый рассказ, рассмешив мать и. Спивак, заставил и Лидию усмехнуться, а Самгин подумал, что Иноков ловко играет простодушного, на самом же деле он, должно быть, хитер и зол. Вот он говорит, поблескивая холодными глазами:

— Да, съездили люди в самый великолепный город Европы, нашли там самую пошлую вещь, купили и — рады. А вот, — он подал Спивак папиросницу, — вот это сделал и подарил мне один чахоточный столяр, женатый, четверо детей.

Папиросницей восхищались. Клим тоже взял ее в руки, она была сделана из корневища можжевельника, на крышке ее мастер искусно вырезал маленького чортика, чортик сидел на кочке и тонкой камышинкой дразнил цаплю.

— Двое суток, день и ночь резал, — говорил Иноков, потирая лоб и вопросительно поглядывая на всех. — Тут, между музыкальным стульчиком и этой штукой, есть что-то, чего я не могу понять. Я вообще многого не понимаю.

Он широко усмехнулся, потряс головой и закурил папиросу, а горящую спичку погасил, сжав ее пальцами, и уже потом бросил ее на чайное блюдечко.

— Сначала ты смотришь на вещи, а потом они на тебя. Ты на них — с интересом, а они — требовательно: отгадай, чего мы стоим? Не денежно, а душевно. Пойду, выпью водки…

Самгин пошел за ним. У стола с закусками было тесно, и ораторствовал Варавка со стаканом вина в одной руке, а другою положив бороду на плечо и придерживая ее там.

— Студенческие беспорядки — это выражение оппозиционности эмоциональной. В юности люди кажутся сами себе талантливыми, и эта кажимость позволяет им думать, что ими управляют бездарности.

Он отхлебнул глоток вина и продолжал, повысив голос:

— А так как власть у нас действительно бездарна, то эмоциональная оппозиционность нашей молодежи тем самым очень оправдывается. Мы были бы и смирнее и умнее, будь наши государственные люди талантливы, как, например, в Англии. Но — государственных талантов у нас — нет. И вот мы поднимаем на щитах даже такого, как Витте.

Бесцеремонно растолкав людей, Иноков прошел к столу и там, наливая водку, сказал вполголоса Климу:

— Здорово сделан отчим ваш. А кто это рыжий?

— Бывший учитель мой, философ.

— Болван, должно быть.

Самгин хотел рассердиться, но видя, что Иноков жует сыр, как баран траву, решил, что сердиться бесполезно.

— А где Сомова? — спросил он.

— Не знаю, — равнодушно ответил Иноков. — Кажется, в Казани на акушерских курсах. Я ведь с ней разошелся. Она все заботится о конституции, о революции. А я еще не знаю, нужна ли революция…

«Экий нахал», — подумал Самгин, слушая глуховатый, ворчливый голос.

— Если революции хотят ради сытости, я — против, потому что сытый я хуже себя голодного.

Клим соображал: как бы сконфузить, разоблачить хитрого бродягу, который так ловко играет роль простодушного парня? Но раньше чем он успел придумать что-нибудь, Иноков сказал, легонько ударив его по плечу;

— Интересно мне знать, Самгин, о чем вы думаете, когда у вас делается такое щучье лицо?

Клим, нахмурясь, отодвинулся, а Иноков, смазывая кусок ржаного хлеба маслом, раздумчиво продолжал:

— С неделю тому назад сижу я в городском саду с милой девицей, поздно уже, тихо, луна катится в небе, облака бегут, листья падают с деревьев в тень и свет на земле; девица, подруга детских дней моих, проститутка-одиночка, тоскует, жалуется, кается, вообще — роман, как следует ему быть. Я — утешаю ее: брось, говорю, перестань! Покаяния двери легко открываются, да — что толку?.. Хотите выпить? Ну, а я — выпью.

Прищурив левый глаз, он выпил и сунул в рот маленький кусочек хлеба с маслом; это не помещало ему говорить.

— Вдруг — идете вы с таким вот щучьим лицом, как сейчас. «Эх, думаю, пожалуй,

не то говорю я Анюте, а вот этот — знает, что надо сказать». Что бы вы, Самгин, сказали такой девице, а?

— Вероятно, то же, что и вы! — любезно ответил Клим, чувствуя, что у него пропало желание разоблачать хитрости Инокова.

— То же? — переспросил Иноков. — Не верю. Нет, у вас что-то есть про себя, должно быть что-то…

Клим улыбнулся, сообразив, что в этом случае улыбка будет значительнее слов, а Иноков снова протянул руку к бутылке, но отмахнулся от нее и пошел к дамам.

«Женолюбив», — подумал Клим, но уже снисходительно.

Как прежде, он часто встречал Инокова на улицах, на берегу реки, среда грузчиков или в стороне от людей. Стоит вкопанно в песок по щиколотку, жует соломину, перекусывает ее, выплевывая кусочки, или курит и, задумчиво прищурив глаза, смотрит на муравьиную работу людей- Всегда он почему-то испачкан пылью, а широкая, мятая шляпа делает его похожим на факельщика. Видел его выходящим из пивной рядом с Дроновым; Дронов, хихикая, делал правой рукой круглые жесты, как бы таская за волосы кого-то невидимого, а Иноков сказал:

— Вот именно. Может быть, это только кажется, что толчемся на месте, а в самом-то деле восходим куда-то по спирали.

На улице он говорил так же громко и бесцеремонно, как в комнате, и разглядывал встречных людей в упор, точно заплутавшийся, который ищет: кого спросить, куда е «у идти?

Нельзя было понять, почему Спивак всегда подчеркивает Инокова, почему мать и Варавка явно симпатизируют ему, а Лидия часами беседует с ним в саду и дружелюбно улыбается? Вот и сейчас улыбается, стоя у окна пред Иноковым, присевшим на подоконник с папиросой в руке.

«Да, с нею необходимо объясниться…»

Он сделал это на следующий день; тотчас же после завтрака пошел к ней наверх и застал ее одетой к выходу в пальто, шляпке, с зонтиком в руках, — мелкий дождь лизал стекла окон.

— Куда это ты?

— В канцелярию губернатора, за паспортом. Она улыбнулась.

— Как ты смешно удивился! Ведь я тебе сказала, что Алина зовет меня в Париж и отец отпустил…

— Это — неправда! — гневно возразил Клим, чувствуя, что у него дрожат ноги. — Ты ни слова не говорила мне… впервые слышу! Что ты делаешь? — возмущенно спросил он.

Лидия присела на стул, бросив зонт на диван; ее смуглое, очень истощенное лицо растерянно улыбалось, в глазах ее Клим видел искреннее изумление.

— Как это странно! — тихо заговорила она, глядя в лицо его и мигая. — Я была уверена, что сказала тебе… что читала письмо Алины… Ты не забыл?..

Клим отрицательно покачал головой, а она встала и, шагая но комнате, сказала:

— Видишь ли, как это случилось, — я всегда так много с тобой говорю и спорю, когда я одна, что мне кажется, ты все знаешь… все понял.

— Я бы тоже поехал с тобой, — пробормотал Клим, не веря ей.

— А университет? Тебе уже пора ехать в Москву… Нет, как это странно вышло у меня! Говорю тебе — я была уверена…

— Но когда же мы обвенчаемся? — спросил Клим сердито и не глядя на нее.

— Что-о? — спросила она, остановись. — Разве ты… разве мы должны? — услыхал он ее тревожный шопот.

Она стояла пред ним, широко открыв глаза, у нее дрожали губы и лицо было красное.

— Почему — венчаться? Ведь я не беременна…

Это прозвучало так обиженно, как будто было сказано не ею. Она ушла, оставив его в пустой, неприбранной комнате, в тишине, почти не нарушаемой робким шорохом дождя. Внезапное решение Лидии уехать, а особенно ее испуг в ответ на вопрос о женитьбе так обескуражили Клима, что он даже не сразу обиделся. И лишь посидев минуту-две в состоянии подавленности, сорвал очки с носа и, до боли крепко пощипывая усы, начал шагать по комнате, возмущенно соображая:

«Разрыв?»

Он тотчас же напомнил себе, что ведь и сам думал о возможности разрыва этой связи.

«Да, думал! Но — только в минуты, когда она истязала меня нелепыми вопросами. Думал, но не хотел, я не хочу терять ее».

Остановясь пред зеркалом, он воскликнул:

«И уж если разрыв, так инициатива должна была исходить от меня, а не от нее».

Он оглянулся, ему показалось, что он сказал эти слова вслух, очень громко. Горничная, спокойно вытиравшая стол, убедила его, что он кричал мысленно. В зеркале он видел лицо свое бледным, близорукие глаза растерянно мигали. Он торопливо надел очки, быстро сбежал в свою комнату и лег, сжимая виски ладонями, закусив губы.

Через полчаса он убедил себя, что его особенно оскорбляет то, что он не мог заставить Лидию рыдать от восторга, благодарно целовать руки его, изумленно шептать нежные слова, как это делала Нехаева. Ни одного раза, ни на минуту не дала ему Лидия насладиться гордостью мужчины, который дает женщине счастье. Ему было бы легче порвать связь с нею, если бы он испытал это наслаждение.

«Ни одной искренней ласки не дала она мне», — думал Клим, с негодованием вспоминая, что ласки Лидии служили для нее только материалом для исследования их.

«Ницше — прав: к женщине надо подходить с плетью в руке. Следовало бы прибавить: с конфектой в другой».

Постепенно успокаиваясь, он подумал, что связь с нею, уже и теперь тревожная, в дальнейшем стала бы невыносимой, ненавистной. Вероятно, Лидия, в нелепых поисках чего-то, якобы скрытого за физиологией пола, стала бы изменять ему.

«Макаров говорил, что дон-Жуан — не распутник, а — искатель неведомых, неиспытанных ощущений и что такой же страстью к поискам неиспытанного, вероятно, болеют многие женщины, например — Жорж Занд, — размышлял Самгин. — Макаров, впрочем, не называл эту страсть болезнью, а Туробоев назвал ее «духовным вампиризмом». Макаров говорил, что женщина полусознательно стремится раскрыть мужчину до последней черты, чтоб понять источник его власти над нею, понять, чем он победил ее в древности?»

Клим Самгин крепко закрыл глаза и обругал Макарова.

«Идиот. Что может быть глупее романтика, изучающего гинекологию? Насколько проще и естественнее Кутузов, который так легко и быстро отнял у Дмитрия Марину, Иноков, отказавшийся от Сомовой, как только он увидал, что ему скучно с ней».

Мысли Самгина принимали все более воинственный характер. Он усиленно заботился обострять их, потому что за мыслями у него возникало смутное сознание серьезнейшего проигрыша. И не только Лидия проиграна, потеряна, а еще что-то, более важное для него. Но об этом он не хотел думать и, как только услышал, что Лидия возвратилась, решительно пошел объясняться с нею. Уж если она хочет разойтись, так пусть признает себя виновной в разрыве и попросит прощения…

Лидия писала письмо, сидя за столом в своей маленькой комнате. Она молча взглянула на Клима через плечо и вопросительно подняла очень густые, но легкие брови.

— Нам следует поговорить, — сказал Клим, садясь к столу.

Положив перо, она подняла руки над головой, потянулась и спросила:

— О чем?

— Необходимо, — сказал Клим, стараясь смотреть в лицо ее строгим взглядом.

Сегодня она была особенно похожа на цыганку: обильные, курчавые волосы, которые она никогда не могла причесать гладко, суховатое, смуглое лицо с горячим взглядом темных глаз и длинными ресницами, загнутыми вверх, тонкий нос и гибкая фигура в юбке цвета бордо, узкие плечи, окутанные оранжевой шалью с голубыми цветами.

Раньше чем Самгин успел найти достаточно веские слова для начала своей речи, Лидия начала тихо и серьезно:

— Мы говорили так много…

— Позволь! Нельзя обращаться с человеком так, как ты со мной, — внушительно заговорил Самгин. — Что значит это неожиданное решение — в Париж?

Но она, не слушая его, продолжала таким тоном, как будто ей было тридцать лет:

— Кроме того, я беседовала с тобою, когда, уходя от тебя, оставалась одна. Я — честно говорила и за тебя… честнее, чем ты сам мог бы сказать. Да, поверь мне! Ты ведь не очень… храбр. Поэтому ты и сказал, что «любить надо молча». А я хочу говорить, кричать, хочу понять. Ты советовал мне читать «Учебник акушерства»…

— Не будь злопамятна, — сказал Самгин. Лидия усмехнулась, спрашивая:

— Разве ты со зла советовал мне читать «Гигиену брака»? Но я не читала эту книгу, в ней ведь, наверное, не объяснено, почему именно я нужна тебе для твоей любви? Это — глупый вопрос? У меня есть другие, глупее этого. Вероятно, ты нрав; я — дегенератка, декадентка и не гожусь для здорового, уравновешенного человека. Мне казалось, что я найду в тебе человека, который поможет… впрочем, я не знаю, чего ждала от тебя.

Она встала, выпрямилась, глядя в окно, на облака цвета грязного льда, а Самгин сердито сказал:

— Ведь и я тоже… думал, что ты будешь хорошим другом мне…

Задумчиво глядя на него, она продолжала тише:

— Ты посмотри, как все это быстро… точно стружка вспыхнула… и — нет.

Смуглое лицо ее потемнело, она отвела взгляд от лица Клима и встала, выпрямилась, Самгин тоже встал, ожидая слов, обидных для него.

— Не радостно жить, ничего не понимая, в каком-то тумане, где изредка да минуту вспыхивает жгучий огонек.

— Ты очень мало знаешь, — сказал он, вздохнув, постукивая пальцами по колену. Нет, Лидия не позволяла обидеться на нее, сказать ей какие-то резкие слова.

— А что нужно знать? — спросила она.

— Надобно учиться.

— Да? Всю жизнь чувствовать себя школьницей? Усмехнулась, глядя в окно, в пестрое небо.

— Мне кажется, что все, что я уже знаю, — не нужно знать. Но все-таки я попробую учиться, — слышал он задумчивые слова. — Не в Москве, суетливой, а, может быть, в Петербурге. А в Париж нужно ехать, потому что там Алина и ей — плохо. Ты ведь знаешь, что я люблю ее...

«За что?» — хотел спросить Самгин, но вошла горничная и попросила Лидию сойти вниз, к Варавке.

С лестницы сошли рядом и молча. Клим постоял в прихожей, глядя, как по стене вытянулись на вешалке различные пальто; было в них нечто напоминающее толпу нищих на церковной паперти, безголовых нищих.

«Нет, все это — не так, не договорено», — решил он и, придя в свою комнату, сел писать письмо Лидии. Писал долго, но, прочитав исписанные листки, нашел, что его послание сочинили двое людей, одинаково не похожие на него: один неудачно и грубо вышучивал Лидию, другой жалобно и неумело оправдывал в чем-то себя.

«Но я же ни в чем не виноват пред нею», — возмутился он, изорвал письмо и тотчас решил, что уедет в Нижний-Новгород, на Всероссийскую выставку. Неожиданно уедет, как это делает Лидия, и уедет прежде, чем она соберется за границу. Это заставит ее понять, что он не огорчен разрывом. А может быть, она поймет, что ему тяжело, изменит свое решение и поедет с ним?

Но, когда он сказал Лидии, что послезавтра уезжает, она заметила очень равнодушно:

— Как хорошо, что у вас это вышло без драматических сцен. Я ведь думала, что сцены будут. Обняв, она крепко поцеловала его в губы.

— Мы расстаемся друзьями? Потом встретимся снова, более умные, да? И, может быть, иначе посмотрим друг на друга?

Клим был несколько тронут или удивлен и словами ее и слезинками в уголках глаз, он сказал тихонько, упрашивая:

— Не лучше ли тебе ехать со мной?

— Нет! — сказала она решительно. — Нет, не надо! Ты помешаешь мне.

И быстро вытерла глаза. Опасаясь, что он скажет ей нечто неуместное, Клим тоже быстро поцеловал ее сухую, горячую руку. Потом, расхаживая по своей комнате, он соображал:

«В сущности, она — несчастная, вот что. Пустоцвет. Бездушна она. Умствует, но не чувствует...»

Остановился среди комнаты, снял очки и, раскачивая их, оглядываясь, подумал почти вслух:

«Но — как быстро разыгралось все это. Действительно — как стружки сгорели».

Он чувствовал себя растерявшимся, но в то же время чувствовал, что для него наступили дни отдыха, в котором он уже нуждался.

Через несколько дней Клим Самгин подъезжал к Нижнему-Новгороду. Версты за три до вокзала поезд, туго набитый людями, покатился медленно, как будто машинист хотел, чтоб пассажиры лучше рассмотрели на унылом поле, среди желтых лысин песка и грязнозеленых островов дерна, пестрое скопление новеньких, разнообразно вычурных построек.

Рядом с рельсами, несколько ниже насыпи, ослепительно сияло на солнце здание машинного отдела, построенное из железа и стекла, похожее формой на огромное корыто, опрокинутое вверх дном; сквозь стекла было видно, что внутри здания медленно двигается сборище металлических чудовищ, толкают друг друга пленные звери из железа. Полукольцом изогнулся одноэтажный павильон сельского хозяйства, украшенный деревянной резьбой в том русском стиле, который выдумал немец Ропет. Возвышалось, подавляя друг друга, еще много капризно разбросанных построек необыкновенной архитектуры, некоторые из них напоминали о приятном искусстве кондитера, и, точно гигантский кусок сахара, выделялся из пестрой их толпы белый особняк художественного отдела. Сверкал и плавился на солнце двуглавый золотой орел на вышке царского павильона, построенного в стиле теремов, какие изображаются на картинках сказок. А над золотым орлом в голубоватом воздухе вздулся серый пузырь воздушного шара, привязанный на длинной веревке.

Неспешное движение поезда заставляло этот городок медленно кружиться; казалось, что все его необыкновенные постройки вращаются вокруг невидимой точки, меняют места свои, заслоняя друг друга, скользят между песчаных дорожек и небольших площадей. Это впечатление спутанного хоровода, ленивой, но мощной толкотни, усиливали игрушечные фигурки людей, осторожно шагавших между зданий, по изогнутым путям; людей было немного, и лишь редкие из них торопливо разбегались в разных направлениях, большинство же вызывало мысль о заплутавшихся, ищущих. Люди казались менее подвижны, чем здания, здания показывали и прятали их за углами своими.

Это полусказочное впечатление тихого, но могучего хоровода осталось у Самгина почти на все время его жизни в странном городе, построенном на краю бесплодного, печального поля, которое вдали замкнула синеватая щетина соснового леса — «Савелова грива» и — за невидимой Окой — «Дятловы горы», где, среди зелени садов, прятались домики и церкви Нижнего-Новгорода.

Остановясь в одной из деревянных, наскоро сшитых гостиниц, в которой все скрипело, потрескивало и в каждом звуке чувствовалось что-то судорожное, Самгин быстро вымылся, переоделся, выпил стакан теплого чая и тотчас пошел на выставку; до нее было не более трехсот шагов.

Возвратился он к вечеру, ослепленный, оглушенный, чувствуя себя так, точно побывал в далекой, неведомой ему стране. Но это ощущение насыщенности не тяготило, а, как бы расширяя Клима, настойчиво требовало формы и обещало наградить большой радостью, которую он уже смутно чувствовал.

Оформилась она не скоро, в один из ненастных дней не очень ласкового лета. Клим лежал на постели, кутаясь в жидкое одеяло, набросив сверх его пальто. Хлестал по гулким крышам сердитый дождь, гремел гром, сотрясая здание гостиницы, в щели окон свистел и фыркал мокрый ветер. В трех местах с потолка на пол равномерно падали тяжелые капли воды, от которой исходил запах клеевой краски и болотной гнили.

Клим Самгин видел, что пред ним развернулась огромная, фантастически богатая страна, бытия которой он не подозревал; страна разнообразнейшего труда, вот — она собрала "продукты его и, как на ладони, гордо показывает себе самой. Можно

думать, что красивенькие здания намеренно построены на унылом поле, обок с бедной и грязной слободой, уродливо безличные жилища которой скучно рассеяны по песку, намытому Волгой и Окой, и откуда в хмурые дни, когда с Волги дул горячий «низовой» ветер, летела серая, колючая пыль.

В этом соседстве богатства страны и бедности каких-то людишек ее как будто был скрыт хвастливый намек:

«Живем — плохо, а работаем — вот как хорошо!»

Не так нарядно и хвастливо, но еще более убедительно кричала о богатстве страны ярмарка. Приземистые, однообразно желтые ряды ее каменных лавок, открыв широкие пасти дверей, показывали в пещерном сумраке груды разнообразно обработанных металлов, груды полотен, ситца, шерстяных материй. Блестел цветисто расписанный фарфор, сияли зеркала, отражая все, что двигалось мимо их, рядом с торговлей церковной утварью торговали искусно граненным стеклом, а напротив огромных витрин, тесно заставленных бокалами и рюмками, блестел фаянс приспособлений для уборных. В этом соседстве церковного с домашним Клим Самгин благосклонно отметил размашистое бесстыдство торговли.

Людей на ярмарке было больше, чем на выставке, вели они себя свободнее, шумнее и все казались служащими торговле с радостью. Поражало разнообразие типов, обилие иностранцев, инородцев, тепло одетых жителей Востока, слух ловил чужую речь, глаз — необыкновенные фигуры и лица. Среди русских нередко встречались сухощавые бородачи, неприятно напоминавшие Дьякона, и тогда Самгин ненадолго, на минуты, во тревожно вспоминал, что такую могучую страну хотят перестроить на свой лад люди о трех пальцах, расстриженные дьякона, истерические пьяницы, веселые студенты, каков Маракуев и прочие; Поярков, которого Клим считал бесцветным, изящный, солиденький Прейс, который, наверно, будет профессором, — эти двое не беспокоили Клима. Самоуверенный, цифролюбивый Кутузов поблек в памяти, да Клим и не любил думать о нем.

Глядя в деревянный, из палубной рейки, потолок, он следил, как по щелям стекает вода и, собираясь в стеклянные» крупные шарики, падает на пол, образуя лужи.

Вспоминался блеск холодного оружия из Златоуста; щиты ножей, вилок, ножниц и замков из Павлова, Вачи, Ворсмы; в павильоне военно-морском, орнаментированном ружейными патронами, саблями и штыками, показывали длинногорлую, чистенькую пушку из Мотовилихи, блестящую и холодную, как рыба. Коревастый, точно из бронзы вылитый матрос, поглаживая синий подбородок, подкручивая черные усы, снисходительно и смешно объяснял публике:

— Этое орудие зарьяжается с этого места, вот этим снарьядом, который вам даже не поднять, и палит в данном направлении по цели, значить — по врагу. Господин, не тыкайте палочкой, нельзя!

Блестела золотая парча, как ржаное поле в июльский вечер на закате солнца; полосы глааета напомивали о голубоватом снеге лунных ночей зимы, разноцветные материи. — осеннюю расцветку лесов; поэтические сравнения эти явились у Клима после того, как он побывал в отделе живописи, где «объясняющий господин», лобастый, длинноволосый и тощий, с развинченным телом, восторженно рассказывая публике о пейзаже Нестерова, Левитана, назвал Русь парчовой, ситцевой и наконец — «чудесно вышитой по бархату земному шелками разноцветными рукою величайшего из художников — божьей рукой».

Клим испытал гордость патриота, рассматривая в павильоне Средней Азии грубые подделки немцев под русскую парчу для Хивы и Бухары, под яркие ситца Морозовых и цветистый фарфор Кузнецовых.

Игрушки и машины, колокола и экипажи, работы ювелиров и рояли, цветастый казанский сафьян, такой ласковый на ощупь, горы сахара, огромные кучи пеньковых веревок и просмоленных канатов, часовня, построенная из стеариновых

свеч, изумительной красоты меха Сорокоумовского и железо с Урала, кладки ароматного мыла, отлично дубленные кожи, изделия из щетины — пред этими грудами неисчислимых богатств собирались небольшие группы людей и, глядя на грандиозный труд своей родины, несколько смущали Самгина, охлаждая молчанием своим его повышенное настроение.

Редко слышал он возгласы восторга, а если они раздавались, то чаще всего из уст женщин пред витринами текстильщиков и посудников, парфюмеров, ювелиров и меховщиков. Впрочем, можно было думать, что большинство людей немело от обилия впечатлений. Но иногда Климу казалось, что только похвалы женщин звучат искренней радостью, а в суждениях мужчин неудачно скрыта зависть. Он даже подумал, что, быть может, Макаров прав: женщина лучше мужчины понимает, что всё в мире — для нее.

Его патриотическое чувство особенно высоко поднималось, когда он встречал группы инородцев, собравшихся на праздник властвующей ими нации от Белого моря до Каспийского и Черного и от Гельсингфорса до Владивостока. Медленно шли хивинцы, бухарцы и толстые сарты, чьи плавные движения казались вялыми тем людям, которые не знали, что быстрота — свойство дьявола. Изнеженные персы с раскрашенными бородами стояли у клумбы цветов, высокий старик с оранжевой бородой и пурпурными ногтями, указывая на цветы длинным пальцем холеной руки, мерно, как бы читая стихи, говорил что-то почтительно окружавшей его свите. Уродливо большой перстень с рубином сверкал на пальце, привлекая к себе очарованный взгляд худенького человека в черном, косо срезанном, каракулевом колпаке. Не отрывая от рубина мокреньких, красных глаз, человек шевелил толстыми губами и, казалось, боялся, что камень выскочит из тяжелой золотой оправы.

Часто встречались благообразные казанские татары и татары-крымчаки, похожие на румын-музыкантов, шумно бегали грузины и армяне, не торопясь шагали хмурые, белесые финны, строители трамвая и фуникулеров в городе. У павильона Архангельской железной дороги, выстроенного в стиле древних церквей Северного края Саввой Мамонтовым, меценатом и строителем этой дороги, жило семейство курносых самоедов, показывая публике моржа, который обитал в пристроенном к павильону бассейне и будто бы в минуты благодушного настроения говорил:

«Благодарю, Савва!»

В кошомной юрте сидели на корточках девять человек киргиз чугунного цвета; семеро из них с великой силой дули в длинные трубы из какого-то глухого к музыке дерева; юноша, с невероятно широким переносьем и черными глазами где-то около ушей, дремотно бил в бубен, а игрушечно маленький старичок с лицом, обросшим зеленоватым мохом, ребячливо колотил руками по котлу, обтянутому кожей осла. Иногда он широко открывал беззубый рот, зашитый волосами реденьких усов, и минуты две-три тянул тонким режущим уши горловым голосом:

— Иё-ё-ы-ы-йо-э-э-о-ы-ы-ы…

Владимирские пастухи-рожечники, с аскетическими лицами святых и глазами хищных птиц, превосходно играли па рожках русские песни, а на другой эстраде, против военно-морского павильона, чернобородый красавец Главач дирижировал струнным инструментам своего оркестра странную пьесу, которая называлась в программе «Музыкой небесных сфер». Эту пьесу Главач играл раза по три в день, публика очень любила ее, а люди пытливого ума бегали в павильон слушать, как тихая музыка звучит в стальном жерле длинной пушки.

— Замечательный акустический феномен, — сообщил Климу какой-то очень любезный и женоподобный человек с красивыми глазами. Самгин не верил, что пушка может отзываться на «музыку небесных сфер», но, настроенный благодушно, соблазнился и пошел слушать пушку. Ничего не услыхав в ее холодной дыре, он почувствовал себя очень глупо и решил не подчиняться голосу народа, восхвалявшему Орину Федосову, сказительницу древних былин Северного

края.

Ежедневно, в час вечерней службы во храмах, к деревянным кладкам, на которых висели колокола Оконишникова и других заводов, подходил пожилой человек в поддевке, в теплой фуражке. Обнажив лысый череп, формой похожий на дыню, он трижды крестился, глядя в небо свирепо расширенными глазами, глаза у него были белые и пустые, как у слепого. Затем он в пояс кланялся зрителям и слушателям, ожидавшим его, влезал на кладку и раскачивал пятипудовый язык большого колокола. Важно плыли мягко бухающие, сочные вздохи чуткой меди; казалось, что железный, черный язык ожил и сам, своею силою качается, жадно лижет медь, а звонарь безуспешно ловит его длинными руками, не может поймать и сам в отчаянии бьет лысым черепом о край колокола.

Наконец ему удавалось остановить раскачавшийся язык, тогда он переходил на другую кладку, к маленьким колокалам, и, черный, начинал судорожно дергать руками и логами, вызванивая «Славься, славься, наш русский царь». Дергался звонарь так, что казалось — он висит в петле невидимой веревки, хочет освободиться от нее, мотает головой, сухое длинное лицо его пухнет, наливается кровью, но чем дальше, тем более звучно славословит царя послушная медь колоколов. Отзвонив, он вытирал потный череп, мокрое лицо большим платком в синюю и белую клетку, снова смотрел в небо страшными, белыми глазами, кланялся публике и уходил, не отвечая на похвалы, на вопросы. Говорили, что его пришибло какое-то горе и он дал обет молчания до конца дней своих.

Клим Самгин несколько раз смотрел на звонаря и вдруг заметил, что звонарь похож на Дьякона. С этой минуты он стал думать, что звонарь совершил какое-то преступление и вот — молча кается. Климу захотелось видеть Дьякона на месте звонаря.

А вообще Самгин жил в тиком умилении пред обилием и разнообразием вещей, товаров, созданных руками вот этих, разнообразно простеньких человечков, которые не спеша ходят по дорожкам, посыпанным чистеньким песком, скромно рассматривают продукты трудов своих, негромко похваливают видимое, а больше того вдумчиво молчат. И Самгин начинал чувствовать себя виноватым в чем-то пред тихими человечками, он смотрел на ник дружелюбно, даже с оттенком почтения к их внешней незначительности, за которой скрыта сказочная, всесозидающая сила.

«Вот — университет, — думал он, взвешивая свои впечатления. — Познание России — вот главнейшая, живая наука».

Ему очень мешал Иноков, нелепая фигура которого в широкой разлетайке, в шляпе факельщика издали обращала на себя внимание, мелькая всюду, — ровно фантастическая и голодная птица в поисках пищи. Иноков сильно возмужал, щеки его обрастали мелкими колечками темных волос, это несколько смягчало его скуластое и пестрое, грубоватое лицо.

Отказаться от встреч с вековым Клим не решался, потому что этот мало приятный парень, так же как брат Дмитрий, иного знал и мог только рассказать о кустарных промыслах, рыбоводстве, химической промышленности, судоходном деле. Это было полезно Самгину, но речи

Инокова всегда несколько понижали его благодушное и умиленное настроение.

— Есть во всех этих прелестях что-то… вдовье, — говорил Иноков. — Знаете: пожилая и будто не очень умная вдова, сомнительной красы, хвастается приданы», мужчину соблазнить на — брак хочет…

Как бы решая сложную задачу, он закусывал губы, рот его вытягивался в тонкую линию.

Затем ворчливо ругался:

— Черти неуклюжие! Придумали устроить выставку сокровищ своих на песке и болоте. С одной стороны — выставка, *с* другой — ярмарка, а в середине — развеселое Кунавйно-село, где из трех домов два набиты нищими и речными ворами, а один — публичными девками.

Когда Самгин восхищался развитием текстильной промышленности, Иноков указывал, что деревня одевается все хуже и — по качеству и по краскам материи, что хлопок возят из Средней Азии в Москву, чтоб, переработав «но в товар, отправить обратно в Среднюю Азию- Указывал, что, несмотря на обилие лесов на Руси, бумагу миллионами пудов покупают в Финляндии.

— Кедра на Урале — сколько хочешь, графита — тоже, а карандашей делать не умеем.

Еще более неприятно было слушать рассказы Инокова о каких-то неудачных изобретеняих.

— Были в сельскохозяйственном? — спрашивал он, насмешливо кривя тубы. — Там один русский гений велосипед выставил, как раз такой, на каких англичане еще в восемнадцатом веке пробовали ездить. А другой осел пианино состряпал; все сам сделал: клавиатуру, струны, — две трети струн, конечно, жильные. Гремит эта музыка, точно старый тарантас. Какой-то бывший нотариус экспонирует хлопушку, оводов на лошадях бить, хлопушка прикрепляется к передней оси телеги и шлепает лошадь, ну, лошадь, конечно, бесится. В леса дремучие прятать бы дураков, а мы их всенародно показываем.

Самгин ежедневно завтракал с ним в шведском картонном домике у входа на выставку, Иноков скромно питался куском ветчины, ел много хлеба, выпивал бутылку черного пива и, поглаживая лицо свое ладонью, точно стирая с него веснушки, рассказывал:

— Панно какого-то Врубеля, художника, видимо, большой силы, отказались принять на выставку. Я в живописи ничего не понимаю, а силу везде понимаю. Савва Мамонтов построил для Врубеля отдельный сарайчик вне границ выставки, вон там — видите? Вход — бесплатный, но публика плохо посещает сарайчик, даже и в те дни, когда там поет хор оперы Мамонтова. Я там часто сижу и смотрю: на одной стене — «Принцесса Греза», а на другой — Микула Селянинович и Вольга. Очень странно. Один газетчик посмотрел в кулак на Грезу, на 'Микулу и сказал: «Политика. Альянс франко-рюсс. Не сочувствую. Искусство должно быть свободно от политики».

Иноков нехотя усмехнулся, но тотчас же стер усмешку губ рукою. Он постоянно сообщал Климу различные новости:

— Витте приехал. Вчера идет с инженером Кази и Квинтилиана цитирует: «Легче сделать больше, чем столько». Самодовольный мужик. Привозят рабочих встречать царя. Здешних, должно быть, мало или не надеются на них. Впрочем, вербуют в Сормове и в Нижнем, у Доброва-Набгольц.

— Вы как относитесь к царю? — спросил Клим. Иноков взглянул на него удивленно.

— Никогда не думал об этом.

Клим Самгин ждал царя с тревогой, которая даже смущала его, но которую он не мог скрыть от себя. Он чувствовал, что ему необходимо видеть человека, возглавляющего огромную, богатую Русь, страну, населенную каким-то скользким народом, о котором трудно сказать что-нибудь определенное, трудно потому, что в этот народ слишком обильно вкраплены какие-то озорниковатые люди. Была у Самгина смутная надежда, что в ту минуту, когда он увидит царя, все пережитое, передуманное им получит окончательное завершение. Возможно, что эта встреча будет иметь значение того первого луча солнца, которым начинается день, или того последнего луча, за которым землю ласково обнимает теплая ночь лета.

Может быть, Диомидов прав: молодой царь недюжинный человек, не таков, каким был его отец. Он, так смело разрушивший чаяния людей, которые хотят ограничить его власть, может быть, обладает характером более решительным, чем характер его деда. Да, возможно, что Николай Второй способен стоять один против всех и молодая рука его достаточно сильна, чтоб вооружиться дубинкой Петра Великого и крикнуть на людей:

«Да — что вы озорничаете?»

Дня на два Иноков оттолкнул его в сторону от этих мыслей.

— Не хотите слышать Орину Федосову? — изумленно спросил он. — Но ведь она — чудо!

— Я не охотник до чудес, — сказал Самгин, вспомнив о пушке и «Музыке небесных сфер».

Но Иноков, размахивая рукою, возбужденно говорил:

— Против нее все это — хлам!

И, схватив Клима за рукав пиджака, продолжал:

— Помните Матерей во второй части «Фауста»? Но они там говорят что-то бредовое, а эта... Нет, идемте!

Клим впервые видел Инокова в таком настроении и, заинтересованный этим, пошел с ним в зал, где читали лекции, доклады и Главач отлично играл на органе.

— Увидите — это чудо! — повторил Иноков. На эстраду вышел большой, бородатый человек, в длинном и точно из листового железа склепанном пиджаке. Гулким голосом он начал говорить, как говорят люди, показывающие дрессированных обезьян и тюленей.

— Я, — говорил он, — я-я-я! — все чаще повторял он, делая руками движения пловца. — Я написал предисловие... Книга продается у входа... Она — неграмотна. Знает на память около тридцати тысяч стихов... Я... Больше, чем в Илиаде. Профессор Жданов... Когда я... Профессор Барсов...

— Ничего, — успокоительно сказал Иноков. — Этот — всегда глуп.

На эстраду мелкими шагами, покачиваясь, вышла кривобокая старушка, одетая в темный ситец, повязанная пестреньким, заношенным платком, смешная, добренькая ведьма, слепленная из морщин и складок, с тряпичным, круглым лицом и улыбчивыми, детскими глазами.

Клим взглянул на Инокова сердито, уверенный, что снова, как пред пушкой, должен будет почувствовать себя дураком. Но лицо Инокова светилось хмельной радостью, он неистово хлопал ладонями и бормотал:

— Ах ты, милая...

Это было смешно, Самгин несколько смягчился, и, решив претерпеть нечто в течение десятка минут, он, вынув часы, наклонил голову. И тотчас быстро вскинул ее, — с эстрады полился необыкновенно певучий голос, зазвучали веские, старинные слова. Голос был бабий, но нельзя было подумать, что стихи читает старуха. Помимо добротной красоты слов было в это» голосе что-то нечеловечески ласковое и мудрое, магическая сила, заставившая Самгина оцепенеть с часами в руке. Ему очень хотелось оглянуться, посмотреть, с какими лицами слушают люди кривобокую старушку? Но он не мог оторвать взгляда своего от игры морщин на измятом, добром так, от изумительного блеска детских глаз, которые, красноречиво договаривая каждую строку стихов» придавали древним словам живой блеск и обаятельный, мягкий звон.

Однообразно помахивая ватной ручкой, похожая на уродливо сшитую из тряпок куклу, старая женщина из Олонецкого края сказывала о том, как мать богатыря Добрыни прощалась с ниш» отправляя его- в поле, на богатырские подвиги. Самгин видел эту дородную мать, слышал ее твердые слова, за. которыми все-таки слышно было и страх к печаль, видел широкоплечего Добрыню: стоит на коленях и держат меч на вытянутых: руках, глядя покорными глазами в лица матери.

Минутами Климу казалось, что он один; а зале, больше никого нет, может быть, и этой доброй: ведьмы нет, а сквозь шумок за пределами зала, из прожитых веков, поистине чудесно долетает, до него оживший голос героической древности.

— Ну, что? — торжествуя спросил Иноков; расширенное радостной улыбкой лицо его осовело, глаза были влажны.

— Удивительно, — ответил Клим.

— Толи еще будет! Заметьте: она — не актриса, не играет людей, а людями играет.

Эти странные слова Клим не понял, но вспомнил их, когда Федосова начала сказывать о ссоре рязанского мужика Ильи Муромца с киевским князем Владимиром.

Самгин, снова очарованный, смотрел на колдовское, всеми морщинами говорящее лицо, ласкаемый мягким блеском неугасимых глаз. Умом он понимал, что ведь матёрый богатырь из села Карачарова, будучи прогневан избалованным князем, не так, не этим голосом говорил, и, конечно, в зорких степных глазах его не могло быть такой острой иронической усмешечки, отдаленно напоминавшей хитренькие и мудрые искорки глаз историка Василия Ключевского.

Но, вспомнив о безжалостном ученом, Самгин вдруг, и уже не умом, а всем существом своим, согласился, что вот эта плохо сшитая ситцевая кукла и есть самая подлинная история правды добра и правды зла, которая и должна и умеет говорить о прошлом так, как сказывает олонецкая, кривобокая старуха, одинаково любовно и мудро о гневе и о нежности, о неутолимых печалях матерей и богатырских мечтах детей, обо всем, что есть жизнь. И, может быть, вот так же певуче лаская людей одинаково обаятельным голосом, — говорит ли она о правде или о выдумке, — скажет история когда-то и о том, как жил на земле человек Клим Самгин.

Затем Самгин почувствовал, что никогда еще не был он таким хорошим, умным и почти до слез несчастным, как в этот странный час, в рядах, людей, до немоты очарованных старой, милой ведьмой, явившейся из древних сказок в действительность, хвастливо построенную наскоро я напоказ.

Чувствовать себя необыкновенным, каким он никогда не был, Климу мешал Иноков. В коротких перерывах между сказами Федосовой, когда она, отдыхая, облизывая темные губы кончиком языка, поглаживала кривой бок, дергала концы головного платочка, завязанного под ее подбородком, похожим на шляпку гриба, когда она, покачиваясь вбок, улыбалась и кивала головой восторженно кричавшему народу, — в эти минуты Иноков разбивал настроение Клима, неистово хлопая ладонями и крича рыдающим голосом:

— Спасибо-о! Бабушка, милая — спасибо-о!

Он был возбужден, как пьяный, подскакивал на стуле, оглушительно сморкался, топал ногами, разлетайка сползла с его плеч, и он топтал ее.

Остаток дня Клим прожил в состоянии отчуждения от действительности, память настойчиво подсказывала древние слова и стихи, пред глазами качалась кукольная фигура, плавала мягкая, ватная рука, играли морщины на добром и умном лице, улыбались большие, очень ясные глаза.

А через три дня утром он стоял на ярмарке в толпе. окружившей часовню, на

которой поднимали флаг, открывая всероссийское торжище. Иноков сказал, что он постарается провести его на выставку в тот час, когда будет царь, однако это едва ли удастся, но что, наверное, царь посетит Главный дом ярмарки и лучше посмотреть на него там.

Напротив Самгина, вправо и влево от него, двумя бесконечными линиями стояли крепкие, рослые, неплохо одетые люди, некоторые — в новых поддевках и кафтанах, большинство — в пиджаках. Там и тут резко выделялись красные пятна кумачных рубах, лоснились на солнце плисовые шаровары, блестели голенища ярко начищенных сапог. Клим впервые видел так близко и в такой массе народ, о котором он с детства столь много слышал споров и читал десятки печальных повестей о его трудной жизни. Он рассматривал сотни лохматых, гладко причесанных и лысых голов, курносые, бородатые, здоровые лица, такие солидные, с хорошими глазами, ласковыми и строгими, добрыми и умными. Люди эти стояли смирно, плотно друг к другу, и широкие груди их сливались в одну грудь. Было ясно, что это тот самый великий русский народ, чьи умные руки создали неисчислимые богатства, красиво разбросанные там, на унылом поле. Да, это именно он отсеял и выставил вперед лучших своих, и хорошо, что все другие люди, щеголеватее одетые, но более мелкие, не столь видные, покорно встали за спиной людей труда, уступив им первое место. Чем более всматривался Клим в людей первого ряда, тем более повышалось приятно волнующее уважение к ним. Совершенно невозможно было представить, что такие простые, скромные люди, спокойно уверенные в своей силе, могут пойти за веселыми студентами и какими-то полуумными честолюбцами.

Эти люди настолько скромны, что некоторых из них принуждены выдвигать, вытаскивать вперед, что и делали могучий, усатый полицейский чиновник в золотых очках и какой-то прыткий, тонконогий человек в соломенной шляпе с трехцветной лентой на ней. Они, медленно идя вдоль стены людей, ласково покрикивали, то один, то другой:

— Лысый, — подайся вперед!

— Ты что, великан, прячешься? Встань здесь.

— Серьга в ухе — сюда!

Прыткий человек, взглянув на Клима, дотронулся до плеча его перчаткой.

— Немножко назад, молодой человек!

Парень с серебряной серьгой в ухе легко, тараном плеча своего отодвинул Самгина за спину себе и сказал негромко, сипло:

— В очках и отсюда увидишь.

Но из-за его широкой спины ничего нельзя было видеть.

Самгин попытался встать между ним и лысым бородачом, но парень, выставив необоримый локоть, спросил:

— Куда?

И посоветовал:

— Стой на своем месте! Клим подчинился.

«Да, — подумал он. — Этот всякого может поставить на место». И спросил:

— Вы — откуда?

Человек с серьгою в ухе поворотил тугую шею, наклонил красное лицо с черными усами.

— Из второй части, — сказал он.

— Рабочий?

— Топорник.

Самгин помолчал, подумал и снова спросил:

— Почему же вы не в форме?

Человек с серьгой в ухе не ответил. Вместо него словоохотливо заговорил его сосед, стройный красавец в желтой, шелковой рубахе:

— Рабочих, мастеровщину показывать не будут. Это выставка не для их брата. Ежели мастеровой не за работой, так он — пьяный, а царю пьяных показывать не к чему.

— Верно, — сказал кто-то очень громко. — Безобразие наше ему не интересно.

Сердито вмешался лысый великан:

— Различать надо: кто — рабочий, кто — мастеровой. Вот я — рабочий от Вукола Морозова, нас тут девяносто человек. Да Никольской мануфактуры есть.

Завязалась неторопливая беседа, и вскоре Клим узнал, что человек в желтой рубахе — танцор и певец из хора Сниткина, любимого по Волге, а сосед танцора — охотник на медведей, лесной сторож из удельных лесов, чернобородый, коренастый, с круглыми глазами филина.

Чувствуя, что беседа этих случайных людей тяготит *его,* Самгин пожелал переменять место и боком проскользнул вперед между пожарным и танцором. Но пожарный-тяжелой рукой схватил его за плечо, оттолкнул назад и сказал поучительно;

— Гулять — нельзя, видишь — все стоят?

Танцор, взглянув на Клима с усмешкой, объяснил:

— Сегодня публике внимания не оказывают.

— Чу, — едет!

Чей-то командующий голос крикнул:

— Трескин! Чтобы не смели лазить по крышам!.. Все замолчали, подтянулись, прислушиваясь, глядят на Оку» на темную полосу моста, где две линии игрушечно маленьких людей размахивали тонкими руками и, срывая головы с своих плеч, играли ими, подкидывая вверх. Был слышен колокольный звон, особенно внушительно гудел колокол собора в кремле, и вместе с медным гулом возрастал, быстро накатываясь все ближе, другой, рычащий. Клим слышал, как Москва, встречая царя, ревела ура, но тогда этот рев не волновал его, обидно загнанного во двор вместе с пьяным и карманником. А сегодня он чувствовал, что волнение даже покачивает его и темнит глаза.

Можно было думать, что этот могучий рев влечет за собой отряд быстро скакавших полицейских, цоканье подков по булыжнику не заглушало, а усиливало рев. Отряд ловко дробился, через каждые десять, двадцать шагов от него отскакивал верховой и, ставя лошадь свою боком к людям, втискивал их на панель, отталкивал за часовню, к незастроенному берегу Оки.

Из плотной стены людей по ту сторону улицы, из-за толстого крупа лошади тяжело вылез звонарь с выставки и в три шага достиг середины мостовой. К нему тотчас же подбежали двое, вскрикивая испуганно и смешно:

— Куда, чорт? Куда, харя?

Но звонарь, отталкивая людей левой рукой, поднял в небо свирепые глаза и, широко размахивая правой, трижды перекрестил дорогу.

— Ишь ты, — благосклонно воскликнул ткач. Звонаря торопливо затискали в толпу, а теплая фуражка его осталась на камнях мостовой.

Самгину казалось, что воздух темнеет, сжимаемый мощным воем тысяч людей, — воем, который приближался, как невидимая глазу туча, стирая все звуки, поглотив звон колоколов и крики медных труб военного оркестра на площади у Главного дома. Когда этот вой и рев накатился на Клима, он оглушил его, приподнял вверх и тоже заставил орать во всю силу легких:

— Ура!

Народ подпрыгивал, размахивая руками, швырял в воздух фуражки, шапки. Кричал он так, что было совершенно не слышно, как пара бойких лошадей губернатора Баранова бьет копытами по булыжнику. Губернатор торчал в экипаже, поставив колено на сиденье его, глядя назад, размахивая фуражкой, был он стального цвета, отчаянный и героический, золотые бляшки орденов блестели на его выпуклой груди.

За ним, в некотором расстоянии, рысью мчалась тройка белых лошадей. От серебряной сбруи ее летели белые искры. Лошади топали беззвучно, широкий экипаж катился неслышно; было странно видеть, что лошади перебирают двенадцатью ногами, потому что казалось — экипаж царя скользил по воздуху, оторванный от земли могучим криком восторга.

Клим Самгин почувствовал, что на какой-то момент все вокруг, и сам он тоже, оторвалось от земли и летит по воздуху в вихре стихийного рева.

Царь, маленький, меньше губернатора, голубовато-серый, мягко подскакивал на краешке сидения экипажа, одной рукой упирался в колено, а другую механически поднимал к фуражке, равномерно кивал головой направо, налево и улыбался, глядя в бесчисленные кругло открытые, зубастые рты, в красные от натуги лица. Он был очень молодой, чистенький, с красивым, мягким лицом, а улыбался — виновато.

Да, он улыбался именно виновато, мягкой улыбкой Диомидова. И глаза его были такие же, сапфировые. И если б ему сбрить маленькую, светлую бородку, он стал бы совершенно таким, как Диомидов.

Он пролетел, сопровождаемый тысячеголосым ревом, такой же рев и встречал его. Мчались и еще какие-то экипажи, блестели мундиры и ордена, но уже было слышно, что лошади бьют подковами, колеса катятся по камню и все вообще опустилось на землю.

На дороге снова встал звонарь, тяжелыми взмахами руки он крестил воздух вслед экипажам; люди обходили его, как столб. Краснорожий человек в сером пиджаке наклонился, поднял фуражку и подал ее звонарю. Тогда звонарь, ударив ею по колену, широкими шагами пошел по средине мостовой.

Глаза Клима, жадно поглотив царя, все еще видели его голубовато-серую фигуру и на красивеньком лице — виноватую улыбку. Самгин чувствовал, что эта улыбка лишила его надежды и опечалила до слез. Слезы явились у него раньше, но это были слезы радости, которая охватила и подняла над землею всех людей. А теперь вслед царю и затихавшему вдали крику Клим плакал слезами печали и обиды.

Невозможно было помириться с тем, что царь похож на Диомидова, недопустима была виноватая улыбка на лице владыки стомиллионного народа. И непонятно было, чем мог этот молодой, красивенький и мягкий человек вызвать столь потрясающий рев?

Безвольно и удрученно Самгин двигался в толпе людей, почему-то вдруг шумно повеселевших, слышал их оживленные голоса:

— Встарину — на колени встали бы…

— Эй, наши, айда пиво пить!

За спиною Клима кто-то звонко восхищался:

— Ну, до чего же просто бьют!

— Кого?

— Всякого.

Солидный голос внушительно сказал:

— Критиков и надобно бить.

— Роман — сколько дал за сапоги? О царе не говорили, только одну фразу поймал Самгин:

— Трудно ему будет с нами.

Это сказал коренастый парень, должно быть, красильщик материй, руки его были окрашены густосиней краской. Шел он, ведя под руку аккуратненького старичка, дерзко расталкивая людей, и кричал на них:

— Шагай!

Но и этот, может быть, не о царе говорил.

«А что, если все эти люди тоже чувствуют себя обманутыми и лишь искусно скрывают это?» — подумал Клим.

Остроглазый человек заглянул в лицо его и недоверчиво спросил:

— Чего же вы плачете, молодой барин? Какая же у вас причина сегодня плакать?

Самгин сконфуженно вытер глаза, ускорил шаг и свернул в одну из улиц Кунавина, сплошь занятую публичными домами. Почти в каждом окне, чередуясь с трехцветными полосами флагов, торчали полуодетые женщины, показывая голые плечи, груди, цинически перекликаясь из окна в окно. И, кроме флагов, все в улице было так обычно, как будто ничего не случилось, а царь и восторг народа — сон.

«Нет, Диомидов ошибся, — думал Клим, наняв извозчика на выставку. — Этот царь едва ли решится крикнуть, как горбатенькая девочка».

У входа на выставку его встретил Иноков.

— Можно пройти, — торопливо сказал он. — Жаль, опоздали вы.

Иноков постригся, побрил щеки и, заменив разлетайку дешевеньким костюмом мышиного цвета, стал незаметен, как всякий приличный человек. Только веснушки на лице выступили еще более резко, а в остальном он почти ничем не отличался от всех других, несколько однообразно приличных людей. Их было не много, на выставке они очень интересовались архитектурой построек, посматривали на крыши, заглядывали в окна, за углы павильонов и любезно улыбались друг другу.

— Охранники? — шопотом спросил Клим.

— Вероятно, не все, — сердито и неуместно громко ответил Иноков; он шел, держа шляпу в руке, нахмурясь, глядя в землю.

— Тут уже разыграли водевиль, — говорил он. — При входе в царский павильон

государя встретили гридни, знаете — эдакие русские лепообразные отроки в белых кафтанах с серебром, в белых, высоких шапках, с секирами в руках; говорят, — это древний литератор Дмитрий Григорович придумал их. Стояли они в два ряда, царь спрашивает одного: «Ваша фамилия?» — «Набгольц». Он — другого: — «Элухен». Он — третьего: — «Дитмар». Четвертый оказался Шульце. Царь усмехнулся, прошел мимо нескольких молча; видит, — некая курносая рожа уставилась на него с обожанием, улыбнулся роже:

«А ваша фамилия?» А рожа ему как рявкнет басом:

«Антор!» Это рожа так сокращенно счета трактирные подписывала, а настоящие имя и фамилия ее Андрей Торсуев.

Иноков рассказал это вполголоса, неохотно и задумчиво.

— Это — правда? — недоверчиво спросил Самгин.

— Ну, конечно. Уж если глупо, значит — правда. Клим замолчал, вспомнив пожарного и танцора, которых он принял за рабочих.

Приличные люди вдруг остолбенели, сняв шляпы. Из павильона химической промышленности вышел царь в сопровождении трех министров: Воронцова-Дашкова, Ванновского и Витте. Царь шел медленно, играя перчаткой, и слушал, что говорил ему министр двора, легонько дергая его за рукав и указывая на павильон виноделия, невысокий холм, обложенный дерном. Издали и на земле царь показался Климу еще меньше, чем он был в экипаже. Ему, видимо, не хотелось спуститься в павильон Воронцова, он, отвернув лицо в сторону и улыбаясь смущенно, говорил что-то военному министру, одетому в штатское и с палочкой в руке.

Они, трое, стояли вплоть друг к другу, а на них, с высоты тяжелого тела своего, смотрел широкоплечий Витте, в плечи его небрежно и наскоро была воткнута маленькая голова с незаметным носиком и негустой, мордовской бородкой. Он смотрел на маленького в сравнении с ним царя и таких же небольших министров, озабоченно оттопырив губы, спрятав глаза под буграми бровей, смотрел на них и на золотые часы, таявшие в руке его. Самгину бросилось в глаза, как плотно и крепко прижал Витте к земле длинные и широкие ступни своих тяжелых ног.

В нескольких шагах от этой группы почтительно остановились молодцеватый, сухой и колючий губернатор Баранов и седобородый комиссар отдела художественной промышленности Григорович, который делал рукою в воздухе широкие круги и шевелил пальцами, точно соля землю или сея что-то. Тесной, немой группой стояли комиссары отделов, какие-то солидные люди в орденах, большой человек с лицом нехитрого мужика, одетый в кафтан, шитый золотом.

— Николай Бугров, миллионер, — сказал Иноков. — Его зовут удельным князем нижегородским. — А это — Савва Мамонтов.

Из павильона Северного края быстро шел плотный, лысоватый человечек с белой бородкой и веселым розовым лицом, — шел и, смеясь, отмахивался от «объясняющего господина», лобастого и длинноволосого.

— Пустяки, милейший, сущие пустяки, — громко сказал он, заставив губернатора Баранова строго посмотреть в его сторону. Все приличные люди тоже обратили на него внимание. Посмотрел и царь все с той же виноватой улыбкой, а Воронцов-Дашков все еще дергал его за рукав, возмущая этим Клима.

«Адашев», — вспомнил он и пожелал министру участь наставника Ивана Грозного.

На выставке было тихо и скучно, как в ненастные будни. По-будничному свирели паровозы на вагонном дворе, скрежетали рельсы на стрелках, бухали буфера и уныло пели рожки стрелочников.

День, с утра яркий, тоже заскучал, небо заволокли ровным слоем сероватые, жидкие облака, солнце, прикрытое ими, стало, по-зимнему, тусклобелым, и рассеянный свет его утомлял глаза. Пестрота построек поблекла, неподвижно и обесцвеченно висели бесчисленные флаги, приличные люди шагали вяло. А голубоватая, скромная фигура царя, потемнев, стала еще менее заметной на фоне крупных, солидных людей, одетых в черное и в мундиры, шитые золотом, украшенные бляшками орденов.

Царь медленно шел к военно-морскому отделу впереди этих людей, но казалось, что они толкают его. Вот губернатор Баранов гибко наклонился, поднял что-то с земли из-под ног царя и швырнул в сторону.

— Ну, довольно с вас? — спросил Иноков, усмехаясь. Самгин молча кивнул головой. Он чувствовал себя физически усталым, хотел есть, и ему было грустно. Такую грусть он испытывал в детстве, когда ему дарили с рождественской елки не ту вещь, которую он хотел иметь.

— Знаете, на кого царь похож? — спросил Иноков. — Клим безмолвно взглянул в лицо его, ожидая грубости. Но Иноков сказал задумчиво:

— На Бальзаминова, одетого офицером.

— Исаак, — пробормотал Самгин.

— Что?

— Исаак, — повторил Клим громче и с досадой, которую не мог сдержать.

— Ах, да, это — из библии, — вспомнил Иноков. — Ну, а кто же тогда Авраам?

— Не знаю.

— Странное сравнение, — усмехнулся Иноков и заговорил, вздохнув:

— Корреспонденции моих — не печатают. Редактор, старый мерин, пишет мне, что я слишком подчеркиваю отрицательные стороны, а это не нравится цензору. Учит: всякая критика должна исходить из некоторой общей идеи и опираться на нее. А чорт ее найдет, эту общую идею!

Клим перестал слушать его ворчливую речь, думая о молодом человеке, одетом в голубовато-серый мундир, о его смущенной улыбке. Что сказал бы этот человек, если б пред ним поставить Кутузова, Дьякона, Лютова? Да, какой силы слова он мог бы сказать этим людям? И Самгин вспомнил — не насмешливо, как всегда вспоминал, а — с горечью:

«Да — был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

Но, перегруженный впечатлениями, он вообще как будто разучился думать; замер паучок, который ткет паутину мысли. Хотелось поехать домой, на дачу, отдохнуть. Но ехать нельзя было, Варавка телеграммой просил подождать его приезда.

И, дожидаясь Варавку, Клим Самгин увидал хозяина.

Это был человек среднего роста, одетый в широкие, длинные одежды той неуловимой окраски, какую принимают листья деревьев поздней осенью, когда они уже испытали ожог мороза. Легкие, как тени, одежды эти прикрывали сухое, костлявое тело старика с двуцветным липом; сквозь тускложелтую кожу лица проступали коричневые пятна какой-то древней ржавчины. Каменное лицо это удлиняла серая бородка. Волосы ее легко было сосчитать; кустики таких же сереньких волос торчали в углах рта, опускаясь книзу, нижняя губа, тоже цвета ржавчины, брезгливо отвисла, а над нею — неровный ряд желтых, как янтарь, зубов. Глаза его косо приподняты к вискам, уши, острые, точно у зверя, плотно прижаты к черепу, он в шляпе с шариками и шнурками; шляпа делала человека

похожим на жреца какой-то неведомой церкви. Казалось, что зрачки его узких глаз не круглы и не гладки, как у всех обыкновенных людей, а слеплены из мелких, острых кристалликов. И, как с портрета, написанного искусным художником, глаза эти следили за Климом неуклонно, с какой бы точки он ни смотрел на древний, оживший портрет. Бархатные, тупоносые сапоги на уродливо толстых подошвах, должно быть, очень тяжелы, но человек шагал бесшумно, его ноги, не поднимаясь от земли, скользили по ней, как по маслу или по стеклу.

За ним почтительно двигалась группа людей, среди которых было четверо китайцев в национальных костюмах; скучно шел молодцеватый губернатор Баранов рядом с генералом Фабрициусом, комиссаром павильона кабинета царя, где были выставлены сокровища Нерчинских и Алтайских рудников, драгоценные камни, самородки золота. Люди с орденами и без орденов почтительно, тесной группой, тоже шли сзади странного посетителя.

Плывущей своей походкой этот важный человек переходил из одного здания в другое, каменное лицо его было неподвижно, только чуть-чуть вздрагивали широкие ноздри монгольского носа и сокращалась брезгливая губа, но ее движение было заметно лишь потому, что щетинились серые волосы в углах рта.

— Ли Хунг-чанг, — шептали люди друг другу. — Ли Хунг-чанг.

И, почтительно кланяясь, отскакивали. На людей знаменитый человек Китая не смотрел, вещи он оглядывал на ходу и, лишь пред некоторыми останавливаясь на секунды, на минуту, раздувал ноздри, шевелил усами.

Руки его лежали на животе, спрятанные в широкие рукава, но иногда, видимо, по догадке или повинуясь неуловимому знаку, один из китайцев тихо начинал говорить с комиссаром отдела, а потом, еще более понизив голос, говорил Ли Хунг-чангу, преклонив голову, не глядя в лицо его.

В отделе военно-морском он говорил ему о пушке; старый китаец, стоя неподвижно и боком к ней, покосился на нее несколько секунд — и поплыл дальше.

Генерал Фабрициус, расправив запорожские усы, выступил вперед высокого гостя и жестом военачальника указал ему на павильон царя.

Ли Хунг-чанг остановился. Китаец-переводчик начал суетливо вертеться, кланяться и шептать что-то, разводя руками, улыбаясь.

— Нельзя идти впереди его? — громко спросил осанистый человек со множеством орденов, — спросил и усмехнулся. — Ну, а рядом с ним — можно? Как? Тоже нельзя? Никому?

— Так точно, ваше превосходительство! — ответил кто-то голосом извозчика-лихача.

Осанистый человек докрасна надул щеки, подумал и сказал на французском языке:

— Спросить переводчика: кто же имеет право идти рядом с ним?

Все замолчали. Потом голос лихача сказал, но уже не громко:

— Переводчик говорит, ваше высокопревосходительство, что он не знает; может быть, ваш — то есть наш — император, говорит он.

Осанистый человек коснулся орденов на груди своей и пробормотал сердито:

— Действительно... церемонии!

Генерал Фабрициус пошел сзади Ли Хунг-чанга, тоже покраснев и дергая себя за усы.

В павильоне Алтая Ли Хунг-чанг остановился пред витриной цветных камней,

пошевелил усами, — переводчик тотчас же попросил открыть витрину. А когда подняли ее тяжелое стекло, старый китаец не торопясь освободил из рукава руку, рукав как будто сам, своею силой, взъехал к локтю, тонкие, когтистые пальцы старческой, железной руки опустились в витрину, сковырнули с белой пластинки мрамора большой кристалл изумруда, гордость павильона, Ли Хунг-чанг поднял камень на уровень своего глаза, перенес его к другому и, чуть заметно кивнув головой, спрятал руку с камнем в рукав.

— Он его берет себе, — любезно улыбаясь, объяснил переводчик этот жест.

Генерал Фабрициус, побледнев, забормотал:

— Но… позвольте! Я ж не имею права делать подарки! Знаменитый китаец уже выплыл из двери павильона и шел к выходу с выставки.

— Ли Хунг-чанг, — негромко говорили люди друг другу и низко кланялись человеку, похожему на древнего мага. — Ли Хунг-чанг!

День был неприятный. Тревожно метался ветер, раздувая песок дороги, выскакивая из-за углов. В небе суетились мелко изорванные облака, солнце тоже беспокойно суетилось, точно заботясь как можно лучше осветить странную фигуру китайца.

Комментарии

Впервые напечатано в собрании сочинений в издании «Книга», 1927, т. XX. В том же году публиковалось частями в газетах «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», №№ 143–173, 26 июня — 31 июля, и «Правда», №№ 139–158, 23 июня — 15 июля, в журналах «Красная новь», №№ 5–7, май — июль, «Огонек», №№ 25–31, июнь — июль, «Красная панорама», №№ 26–36, 24 июня — 2 сентября, и в альманахе «Круг», 1927, книга 6

О замысле произведения «Жизнь Клима Самгина» М. Горький рассказал в 1931 году на заседании редакционного совета издательства ВЦСПС

«Эта книга затеяна мною давно, после первой революции пятого — шестого года, когда интеллигенция, считавшая себя революционной, — она и действительно принимала кое-какое фактическое участие в организации первой революции, — в седьмом — восьмом годах начала круто уходить направо Тогда появился кадетский сборник «Вехи» и целый ряд других произведений, которые указывали и доказывали, что интеллигенции с рабочим классом и вообще с революцией не по дороге У меня явилось желание дать фигуру такого, по моему мнению, типичного интеллигента Я их знал лично и в довольно большом количестве, но, кроме того, я знал этого интеллигента исторически, литературно, знал его как тип не только нашей страны, но и Франции и Англии Этот тип индивидуалиста, человека непременно средних интеллектуальных способностей, лишенного каких-либо ярких качеств, проходит в литературе на протяжении всего XIX века. Этот тип был и у нас. человек — член революционного кружка, затем вошел в буржуазную государственность в качестве ее защитника. Вам, вероятно, не нужно напоминать о том, что та интеллигенция, которая живет в эмиграции за границей, клевещет на Союз Советов, организует заговоры и вообще занимается подлостями, эта интеллигенция в большинстве состоит из Самгиных.

Многие из людей, которые сейчас клевещут на нас самым циничным образом, были людьми, которых не я один считал весьма почтенными…

Мало ли было людей, которые круто повернулись и для которых социальная революция органически неприемлема. Они себя считали надклассовой группой. Это оказалось неверным, потому что, как только случилось то, что случилось, они немедленно обернулись спиной к одному классу, лицом — к другому.

Что же еще сказать? Мне хотелось изобразить в лице Самгина такого интеллигента средней стоимости, который проходит сквозь целый ряд настроений, ища для себя наиболее независимого места в жизни, где бы ему было удобно и материально и внутренне» (Архив Л. М. Горького).

Прямые указания на работу над «Жизнью Клима Самгина» содержатся в письмах М. Горького к разным лицам, начиная с марта 1925 года. 15 марта 1925 года М. Горький писал С. Цвейгу: «В настоящее время я пишу о тех русских людях, которые, как никто иной, умеют выдумать свою жизнь, выдумать самих себя» (Перевод с французского. Архив А. М. Горького). «…Очень поглощен работой над романом, который пишу и в котором хочу изобразить тридцать лет жизни русской интеллигенции, — писал М. Горький ему же 14 мая 1925 года. — Эта кропотливая и трудная работа страстно увлекает меня» (Перевод с французского. Архив А. М. Горького).

Из писем М. Горького видно, что вначале роман должен был изображать «тридцать лет жизни русской интеллигенции»; в процессе работы этот период был расширен автором до сорока лет.

3 июня 1925 года М. Горький сообщал К. Федину: «Романа я не написал, а — пишу. Долго буду писать, год и больше, это будет вещь громоздкая и, кажется, не роман, а хроника, 80-ые — 918 г…Тема — интересная: люди, которые выдумали себя» (Архив А. М. Горького). «Спасибо, товарищи, за письмо Ваше, — отвечал М. Горький

4 апреля 1926 года литкружковцам Николоуссурийской школы ФЗУ. — Очень рад, что мои книги нравятся вам. Сейчас я пишу еще одну, очень большую, в ней хочется мне показать, как жили, как думали, что делали русские люди с 80-х годов по 1919-й и каковы изнутри были эти люди. Вы прочитаете эту книгу года через два, и, может быть, она вам будет полезна» (Архив А. М. Горького).

Немного позднее, 1 мая того же года, М. Горький писал А. П. Чапыгину:

«…Пишу нечто «прощальное», некий роман-хронику сорока лет русской жизни. Большая — измеряя фунтами — книга будет, и сидеть мне над нею года полтора. Все наши «ходынки» хочу изобразить, все гекатомбы, принесенные нами в жертву истории за годы с конца 80-х и до 18-го» (Архив А. М. Горького).

О своей работе над романом М. Горький неоднократно сообщал в письмах 1925–1927 годов (В. В. Вересаеву, А. Е. Богдановичу, С. Н. Сергееву-Ценскому и другим. Архив А. М. Горького).

М. Горький предполагал закончить «Жизнь Клима Самгина» в 1926 году. «Наверное, поеду в Россию весною 26 года, если к тому времени кончу книгу», — отвечал он в августе 1925 года на вопрос одного из своих корреспондентов. И позднее: «Когда я вернусь в Россию? Когда кончу начатый мною огромнейший роман. Просижу я над ним не менее года, вероятно» (письмо В. Я. Шишкову, декабрь 1925 года. Архив А. М. Горького).

По первоначальному замыслу писателя произведение должно было состоять из трех томов. «О новой вещи — рано говорить. Это будет книга в 3 т., листов 45» (письмо И. А. Груздеву от 7 июля 1926 года. Собр. соч, изд. 3-е, Гослитиздат, 1947, т. 12, стр. 555).

В этом же письме М. Горький известил И. А. Груздева о том, что один том «Жизни Клима Самгина» им уже написан. 23 октября 1926 года М. Горький сообщал ему же: «Пишу же я роман, том второй, и больше ничего не могу писать» (Собр. соч., изд. 3-е, Гослитиздат, 1947, т. 12, стр. 555). Однако в издательство «Книга» первая часть романа была сдана, повидимому, в самом конце 1026 или в начале 1927 года. 21 марта 1927 года М. Горький писал П. М. Керженцеву: «Первый том романа отправил в Россию» (Архив А. М. Горького). В мае 1927 года М. Горький уже работал над корректурой берлинского издания «…Мне теперь приходится сидеть за корректурой романа, а из Берлина присылают лист в день, книга же л[истов] 25!» — сообщил он 25 мая 1927 года П. С. Когану (Архив А. М. Горького).

В одном из своих писем к Долмату Лутохину М. Горький писал в начале своей работы над «Жизнью Клима Самгина»: «Судить о Климе Самгине еще рано, он ведь только что «почат». Во всяком случае он не будет товарищем министра в кабинете Керенского — сила его честолюбия даже и для этого не,»статочна». В этом же письме М. Горький отнес Самгина к числу тех «контрреволюционеров по натуре», которые пытались помешать социалистической революции (Архив А. М. Горького).

Для зарубежной печати М. Горьким была написана в форме редакционного предисловия следующая заметка о «Жизни Клима Самгина»;

«В новом романе своем М. Горький поставил пред собою задачу изобразить с возможной полнотою сорок лет жизни России, от 80-х годов до 918-го. Роман должен иметь характер хроники, которая отметит все наиболее крупные события этих лет, особенно же годы царствования Николая 11-го. Действие романа — в Москве, Петербурге и провинции, в романе действуют представители всех классов. Автор предполагает дать ряд характеров русских революционеров, сектантов, людей деклассированных и т. д.

В центре романа — фигура «революционера поневоле», из страха пред неизбежной революцией — фигура человека, который чувствует себя «жертвой истории». Эту фигуру автор считает типичной. В романе много женщин, ряд маленьких личных драм, картины ходынской катастрофы, 9-е января 905 г. в Петербурге, Московское

восстание и т. д. вплоть до наступления на Петербург ген. Юденича. Автор вводит в ряд эпизодически действующих лиц: царя Николая 11-го, Савву Морозова, некоторых художников, литераторов, что, по его мнению, и придает роману отчасти характер хроники» (Архив А. М. Горького).

Высказывания М. Горького о «Жизни Клима Самгина» имеются в его письмах к писателю С. Н. Сергееву-Ценскому, относящихся к 1927 году, когда первая часть романа только что вышла в свет. «В сущности, — писал М. Горький, — эта книга о невольниках жизни, о бунтаре поневоле…» (из письма от 16 августа. Архив А. М. Горького).

И немного позднее:

«Вы, конечно, верно поняли: Самгин — не герой» (из письма от 8 сентября 1927 года. Архив А. М. Горького).

В Архиве А. М. Горького сохранились две рукописи первой части романа, полностью охватывающие печатный текст. Одна из этих рукописей является черновой редакцией романа, включающей первую часть и начало второй. Она отличается от печатного текста и общим построением и разработкой некоторых образов. Многих эпизодов печатного текста в этой рукописи совсем нет, некоторые эпизоды рукописи не вошли в печатный текст, ряд эпизодов имеет существенно иную разработку. Сохранился также ряд черновых набросков, с некоторыми изменениями вошедших в последнюю редакцию.

Другая рукопись первой части романа — рукопись третьей редакции, как назвал ее автор, — представляет собою окончательный рукописный текст, который подвергался впоследствии некоторой правке в наборном экземпляре и в корректуре. В рукописи третьей редакции роман первоначально имел заглавие «История пустой души». В рукописи же это заглавие М. Горький вычеркнул, заменив его заглавием: «40 лет».

В газетах отрывки из романа печатались под заглавием «Сорок лет» и с подзаголовком: «(Трилогия). Часть 1. Жизнь Клима Самгина». В журнале «Красная новь» — под названием «Жизнь Клима Самгина» с подзаголовком: «Повесть»; в «Огоньке» — «Жизнь Клима Самгина» с подзаголовком: «Из романа «Сорок лет»; в альманахе «Круг» — под заглавием «Сорок лет». Окончательно название произведения было установлено в отдельном издании.

В Архиве А. М. Горького сохранился также правленный М. Горьким машинописный экземпляр 4-й главы первой части, послуживший оригиналом набора для газеты «Правда». Изменения, внесенные М. Горьким в эту машинопись, отражены только в публикации газеты «Правда» (23 июня — 15 июля 1927 года).

Принятое в печатном тексте деление первой части романа на главы установлено М. Горьким при работе над рукописью последней редакции.

Начиная с 1927 года, первая часть «Жизни Клима Самгина» включалась во все собрания сочинений.

Печатается по тексту двадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с авторскими рукописями и авторизованными машинописями произведения (Архив А. М. Горького).

Рассказывая Спивак о выставке, о ярмарке, Клим Самгин почувствовал, что умиление, испытанное им, осталось только в памяти, но как чувство — исчезло. Он понимал, что говорит неинтересно. Его стесняло желание найти свою линию между неумеренными славословиями одних газет и ворчливым скептицизмом других, а кроме того, он боялся попасть в тон грубоватых и глумливых статеек Инокова.

Даже для Федосовой он с трудом находил те большие слова, которыми надеялся рассказать о ней, а когда произносил эти слова, слышал, что они звучат сухо, тускло. Но все-таки выходило как-то так, что наиболее сильное впечатление на выставке всероссийского труда вызвала у него кривобокая старушка. Ему было неловко вспомнить о надеждах, связанных с молодым человеком, который оставил б памяти его только виноватую улыбку.

— Ничтожный человек, министры толкали и тащили его куда им было нужно, как подростка, — сказал он и несколько удивился силе мстительного, личного чувства, которое вложил в эти слова.

Сидели в саду, в тени вишен, богато украшенных аметистовыми бусами ягод. Был вечер, удушливая жара предвещала грозу; в небе, цвета снятого молока, пенились сизоватые клочья облаков; тени скользили по саду, и было странно видеть, что листва неподвижна. Спивак, облокотясь о круглый стол, врытый в землю, сжимая щеки ладонями, следила за красненькой букашкой, бестолково ползавшей по столу. Муж ее, полуодетый, лежал на ковре, под окном, сухо покашливал и толкал взад-вперед детскую коляску, в коляске шевелился большеголовый ребенок, спокойно, темными глазами изучая небо.

— В таком же тоне, но еще более резко писал мне Иноков о царе, — сказала Спивак и усмехнулась: — Иноков пишет письма так, как будто в России только двое грамотных: он и я, а жандармы — не умеют читать.

Красненькая букашка подползла близко к Самгину, он сердитым щелчком сбросил ее со стола.

— И — что же? — спросила Спивак, подняв голову. — Говорили что-нибудь о Ходынке?

— О Ходынке? Нет. Я — не слышал ничего, — ответил Клим и, вспомнив, что он, думая о царе, ни единого раза не подумал о московской катастрофе, сказал с иронической усмешкой:

— Незлобивый народ забыл об этом. Даже Иноков, который любит говорить о неприятном, — забыл.

Пристально взглянув на Клима, Спивак хотела сказать что-то, но зачмокал ребенок, муж дернул ее за подол платья:

— Просит есть!

Она взяла сына, отвернулась и, давая ему грудь, проговорила почему-то в нос:

— Вот какой у меня серьезный сын! Не капризничает, углублен в себя, молча осваивает мир. Хороший!

А отец Спивак сообщил, рассматривая на свет пальцы руки своей:

— Он думает, что музыка спрятана в пальцах у меня, под ногтями.

Клим почувствовал прилив невыносимой скуки. Все скучно: женщина, на белое платье которой поминутно ложатся пятнышки теней от листьев и ягод; чахоточный, зеленолицый музыкант в черных очках, неподвижная зелень сада, мутное небо, ленивенький шумок города.

Под тяжестью этой скуки он прожил несколько душных дней и ночей, негодуя на Варавку и мать: они, с выставки, уехали в Крым, это на месяц прикрепило его к дому и городу. По ночам, волнуемый привычкой к женщине, сердито и обиженно думал о Лидии, а как-то вечером поднялся наверх в ее комнату и был неприятно удивлен: на пружинной сетке кровати лежал свернутый матрац, подушки и белье убраны, зеркало закрыто газетной бумагой, кресло у окна — в сером чехле, все мелкие вещи спрятаны, цветов на подоконниках нет. И казалось, что эта неприглядная пустота иронически спрашивает:

«Да — была ли девушка-то?»

Но девушка была, об этом настойчиво говорила пустота в душе, тянущая, как боль.

Он вышел в большую комнату, место детских игр в зимние дни, и долго ходил по ней из угла в угол, думая о том, как легко исчезает из памяти все, кроме того, что тревожит. Где-то живет отец, о котором он никогда не вспоминает, так же, как о брате Дмитрии. А вот о Лидии думается против воли. Было бы не плохо, если б с нею случилось несчастие, неудачный роман или что-нибудь в этом роде. Было бы и для нее полезно, если б что-нибудь согнуло ее гордость. Чем она гордится? Не красива. И — не умна.

Очень пыльно было в доме, и эта пыльная пустота, обесцвечивая мысли, высасывала их. По комнатам, по двору лениво расхаживала прислуга, Клим смотрел на нее, как смотрят из окна вагона на коров вдали, в полях. Скука заплескивала его, возникая отовсюду, от всех людей, зданий, вещей, от всей массы города, прижавшегося на берегу тихой, мутной реки. Картины выставки линяли, забывались, как сновидение, и думалось, что их обесцвечивает, поглощает эта маленькая, сизая фигурка царя.

Спивак жила не задевая, не поучая его, что было приятно, но в то же время и обижало. Она казалась весьма озабоченной делами школы, говорила только о ней, об учениках, но и то неохотно, а смотрела на все, кроме ребенка и мужа, рассеянным взглядом человека, который или устал или слишком углублен в себя. В девять часов утра она уходила в школу, являлась домой к трем; от пяти до семи гуляла с ребенком и книгой в саду, в семь снова уходила заниматься с любителями хорового пения; возвращалась поздно. Иногда ее провожал регент соборного хора, длинноволосый, коренастый щеголь, в панаме, с тростью в руке, с толстыми усами, точно два куска смолы. Раз или два она спросила Клима:

— Вы будете писать о выставке?

— Пишу, — ответил он, хотя еще не начинал писать, мешала скука.

По утрам, через час после того, как уходила жена, из флигеля шел к воротам Спивак, шел нерешительно, точно ребенок, только что постигший искусство ходить по земле. Респиратор, выдвигая его подбородок, придавал его курчавой голове форму головы пуделя, а темненький, мохнатый костюм еще более подчеркивал сходство музыканта с ученой собакой из цирка. Встречаясь с Климом, он опускал респиратор к шее и говорил всегда что-нибудь о музыке.

— Вот — смотрите, — говорил он, подняв руки свои к лицу Самгина, показывая ему семь пальцев: — Семь нот, ведь только семь, да? Но — что же сделали из них Бетховен, Моцарт, Бах? И это — везде, во всем: нам дано очень мало, но мы создали бесконечно много прекрасного.

Утверждал, что язык музыки несравнимо богаче языка слов.

— Чтоб рассказать вам содержание одного аккорда, нужны десятки слов.

А однажды вечером в саду, задыхаясь от жары, он сообщил Климу, как новость:

— Умираю. Осенью, наверное, умру.

— Полноте, что вы, — возразил Самгин, заботясь, чтоб слова его звучали не очень равнодушно.

— Жена тоже не верит, — сказал Спивак, вычерчивая пальцем в воздухе сложный узор. — Но я — знаю: осенью.

Вы думаете — боюсь? Нет. Но — жалею. Я люблю учить музыке.

Он посмотрел на свои костяные пальцы и вздохнул шипящим звуком.

— Жена тоже любит учить, да! Видите ли, жизнь нужно построить по типу оркестра: пусть каждый честно играет свою партию, и все будет хорошо.

Говорил он задыхаясь, в горле его что-то шипело; вдруг схватился за голову, чихнул и, отдышавшись, сказал:

— Пыль в этом городе пахнет птичьим калом. Самгин принимал его речи, как полуумный лепет Диомидова, от этих речей становилось еще скучнее, и наконец скука погнала его в редакцию.

Редакция помещалась на углу тихой Дворянской улицы и пустынного переулка, который, изгибаясь, упирался в железные ворота богадельни. Двухэтажный дом был переломлен: одна часть его осталась на улице, другая, длиннее на два окна, пряталась в переулок. Дом был старый, казарменного вида, без украшений по фасаду, желтая окраска его стен пропылилась, приобрела цвет недубленой кожи, солнце раскрасило стекла окон в фиолетовые тона, и над полуслепыми окнами этого дома неприятно было видеть золотые слова: «Наш край».

По чугунной лестнице, содрогавшейся от работы типографских машин в нижнем этаже, Самгин вошел в большую комнату; среди ее, за длинным столом, покрытым клеенкой, закапанной чернилами, сидел Иван Дронов и, посвистывая, списывал что-то из записной книжки на узкую полосу бумаги.

Он встал навстречу Климу нерешительно и как бы не узнавая его, но, когда Клим улыбнулся, он схватил его руку своими, потряс ее с радостью, явно преувеличенной.

— Приехал? Давно ли?

— Как живешь? — ответил Самгин, неприятно смущенный и неумело преувеличенной радостью и обращением на ты.

— Подкидышами живу, — очень бойко и шумно говорил Иван. — Фельетонист острит: приносите подкидышей в натуре, контора будет штемпеля ставить на них, а то вы одного и того же подкидыша пять раз продаете.

Он коротко остриг волосы, обнажив плоский череп, от этого лицо его стало шире, а пуговка носа точно вспухла и расплылась. Пощипывая усики цвета уличной пыли, он продолжал:

— У нас тут всё острят. А в проклятом городе — никаких событий! Хоть сам грабь, поджигай, убивай — для хроники.

Говоря, он чертил вставкой для пера восьмерки по клеенке, похожей на географическую карту, и прислушивался к шороху за дверями в кабинет редактора, там как будто кошка играла бумагой.

Белые, пожелтевшие от старости двери кабинета распахнулись, и редактор, взмахнув полосками бумаги, закричал:

— Дронов! Какого чорта вы… Ах, здравствуйте! — ласково сказал он и распахнул дверь еще шире… — Прощу!

И через минуту Клим, сидя против него, слушал:

— Цензор болен логофобией, то есть словобоязнью, господа сотрудники — интемперией — безудержной словоохотливостью, и каждый стремится показать другому, что он радикальнее его.

Он говорил солидно и не в тоне жалобы, а как бы диктуя Климу. Вытирал платком потную лысину, желтые виски, и обиженная губа его особенно важно топырилась, когда он произносил латинские слова. Клим уже знал, что газетная латынь была слабостью редактора, почти каждую статью его пестрили словечки: ab ovo, o tempora, o mores! dixi, testimonium paupertatis и прочее, излюбленное газетчиками. За спиной редактора стоял шкаф, тесно набитый книгами, в стеклах шкафа отражалась серая спина, круглые, бабьи плечи, тускло блестел голый затылок, казалось, что в книжном шкафе заперт двойник редактора.

— Сообразите же, насколько трудно при таких условиях создавать общественное мнение и руководить им. А тут еще являются люди, которые уверенно говорят: «Чем хуже — тем лучше». И, наконец, — марксисты, эти квазиреволюционеры без любви к народу.

Запах типографской краски наполнял маленькую комнату, засоренную газетами. Под полом ее неумолкаемо гудело, равномерно топало какое-то чудовище. Редактор устало вздохнул.

— Это о выставке? — спросил он, отгоняя рукописью Клима дерзкую муху, она упрямо хотела сесть на висок редактора, напиться пота его. — Иноков оказался совершенно неудачным корреспондентом, — продолжал он, шлепнув рукописью по виску своему, и сморщил лицо, следя, как муха ошалело носится над столом. — Он — мизантроп, Иноков, это у него, вероятно, от запоров. Психиатр Ковалевский говорил мне, что Тимон Афинский страдал запорами и что это вообще признак…

Удачно прихлопнув муху рукописью, он облегченно вздохнул, приподнял губу и немножко растянул ее; Самгин понял, что редактор улыбается.

— И, кроме того, Иноков пишет невозможные стихи, просто, знаете, смешные стихи. Кстати, у меня накопилось несколько аршин стихотворений местных поэтов, — не хотите ли посмотреть? Может быть, найдете что-нибудь для воскресных номеров. Признаюсь, я плохо понимаю новую поэзию…

Он сердито нахмурился, выдвинул ящик стола и подал Климу пачку разномерных бумажек.

— Н-да-с, — вот! А недели две тому назад Дронов дал приличное стихотворение, мы его тиснули, оказалось — Бенедиктова! Разумеется — нас высмеяли. Спрашиваю Дронова: «Что же это значит?» — «Мне, говорит, знакомый семинарист дал». Гм… Должен сказать — не верю я в семинариста.

В кабинет вломился фельетонист, спросил:

— Опять меня зарезали?

И, пожимая руку Самгина, сообщил:

— Пятый фельетон в этом месяце.

Сел на подоконник и затрясся, закашлялся так сильно, что желтое лицо его вздулось, раскалилось докрасна, а тонкие ноги судорожно застучали пятками по стене; чесунчовый пиджак съезжал с его костлявых плеч, голова судорожно тряслась, на лицо осыпались пряди обесцвеченных и, должно быть, очень сухих волос. Откашлявшись, он вытер рот не очень свежим платком и объявил Климу:

— Простудился.

Затем он сказал, что за девять лет работы в газетах цензура уничтожила у него одиннадцать томов, считая по двадцать печатных листов в томе и по сорок тысяч

знаков в листе. Самгин слышал, что Робинзон говорит это не с горечью, а с гордостью.

— Преувеличиваешь, — пробормотал редактор, читая одним глазом чью-то рукопись, а другим следя за новой надоедливой мухой.

Робинзон хотел сказать что-то, спрыгнул с подоконника, снова закашлялся и плюнул в корзину с рваной бумагой, — редактор покосился на корзину, отодвинул ее ногой и сказал с досадой, ткнув кнопку звонка:

— Опять забыли плевальницу поставить.

Вошел Дронов, редактор возвел глаза над очками.

— Я звонил не вас, сторожа.

— Хроника, — сказал Дронов.

— Что именно?

— Утопленник. Две мелких кражи. Драка на базаре. Увечье…

— Жизнь, а? — вскричал Робинзон, взяв Клима под руку. — Идемте пиво пить.

Дронов, стоя у косяка двери, глядя через голову редактора, говорил:

— Тюремный инспектор Топорков вчера, в управе, назвал членов управы Грачева — идиотом, а Тимофеева — вором…

— Но оба они не поверили ему, — закончил Робинзон и повел Клима за собой.

Самгин не хотел упустить случай познакомиться ближе с человеком, который считает себя вправе осуждать и поучать. На улице, шагая против ветра, жмурясь от пыли и покашливая, Робинзон оживленно говорил:

— Идем в Валгаллу, так называю я «Волгу», ибо кабак есть русская Валгалла, иде же упокояются наши герои, а также люди, изнуренные пагубными страстями. Вас, юноша, какие страсти обуревают?

Шли чистенькой улицей, мимо разноцветных домиков, скрытых за палисадниками, окруженных садами.

— Удобненькие домишечки, — бормотал Робинзон, жадно глотая горячий воздух. — Крепости всяческого консерватизма. Консерватизм возникает на почве удобств…

«Вот такие бездомные, безответственные люди, которым нечего жалеть», — думал Самгин.

— Помните у Толстого иронию дяди Акима по поводу удобных ватеров, а?

Клим, не ответив, улыбнулся; его вдруг рассмешила нелепо изогнутая фигура тощего человека в желтой чесунче, с желтой шляпой в руке, с растрепанными волосами пенькового цвета; красные пятна на скулах его напоминали о щеках клоуна.

— Не думаю, что вы — злой человек, — сказал он неожиданно для себя.

— То-то что — нет! — воскликнул Робинзон. — А — надо быть злым, таков запрос профессии.

Ресторан стоял на крутом спуске к реке, терраса, утвержденная на столбах, висела в воздухе, как полка.

Через вершины старых лип видно было синеватую полосу реки; расплавленное

солнце сверкало на поверхности воды; за рекою, на песчаных холмах, прилепились серые избы деревни, дальше холмы заросли кустами можжевельника, а еще дальше с земли поднимались пышные облака.

В углу террасы одиноко скучала над пустой вазочкой для мороженого большая женщина с двойным подбородком, с лицом в форме дыни и темными усами под чужим, ястребиным носом.

— Madame Каспари, знаменитая сводня, — шопотом сообщил Робинзон. — Писать о ней — запрещено цензурой. Дружеским тоном он сказал молодому лакею:

— Рыбки, Миша, яиц и парочку пива.

Торопливо закурив папиросу, он вытянул под стол уставшие ноги, развалился на стуле и тотчас же заговорил, всматриваясь в лицо Самгина пристально, с бесцеремонным любопытством:

— Интересно, что сделает ваше поколение, разочарованное в человеке? Человек-герой, видимо, антипатичен вам или пугает вас, хотя историю вы мыслите все-таки как работу Августа Бебеля и подобных ему. Мне кажется, что вы более индивидуалисты, чем народники, и что массы выдвигаете вы вперед для того, чтоб самим остаться в стороне. Среди вашего брата не чувствуется человек, который сходил бы с ума от любви к народу, от страха за его судьбу, как сходит с ума Глеб Успенский

Самгин сердито нахмурился, подбирая слова для резкого ответа, он не хотел беседовать на темы политики, ему хотелось бы узнать, на каких верованиях основано Робинзоном его право критиковать все и всех? Но фельетонист, дымя папиросой и уродливо щурясь, продолжал:

— Помните вы его трагический вопль о необходимости «делать огромные усилия ума и совести для того, чтоб построить жизнь на явной лжи, фальши и риторике»?

Он ломал хлеб и, бросая крупные куски за перила толстозобым, сизым голубям, смотрел, как жадно они расклевывают корку, вырывая ее друг у друга. Костлявое лицо его искажала нервная дрожь.

— Да, жизнь становится все более бессовестной, и устал я играть в ней роль шута. Фельетонист — это, батенька, балаганный дед, клоун.

Привстав на стуле, он швырнул в голубей пробкой и сказал, вздохнув:

— Глупая птица. А Успенский все-таки оптимист, жизнь строится на риторике и на лжи очень легко, никто не делает «огромных» насилий над совестью и разумом.

Говорил он быстро и точно бежал по капризно изогнутой тропе, перепрыгивая от одной темы к другой. В этих прыжках Клим чувствовал что-то очень запутанное, противоречивое и похожее на исповедь. Сделав сочувственную мину, Клим молчал; ему было приятно видеть человека менее значительным, чем он воображал его.

Небрежно, торопливо поковыряв вилкой заливное из рыбы, фельетонист съел желе и сказал:

— Питаюсь исключительно рыбой и яйцами — пищей, наиболее богатой фосфором.

Но яйца он тоже не стал есть, а, покатав их между ладонями, спрятал в карман.

— Для знакомой собаки. У меня, батенька, «влеченье, род недуга» к бездомным собакам. Такой умный, сердечный зверь и — не оценен! Заметьте, Самгин, никто не умеет любить человека так, как любят собаки.

Пиво он пил небольшими глотками, как вино, пил и морщился, чмокал.

— Как вы относитесь к анекдотам? — спросил он, оживляясь. — Я — люблю.

Он закрыл правый глаз и старческим голосом, передразнивая кого-то, всхрапывая, проговорил:

— Пытливость народного ума осознает всю действительность легендарно и анекдотически… Нет, серьезно! Вот — я жил в одиннадцати городах, но нажил в них только анекдоты. В Казани квартирохозяин мой, скопец, ростовщик, очень хитроумный старичок, рассказал мне, что Гавриил Державин, будучи богат, до сорока лет притворялся нищим и плачевные песни на улицах пел. Справедливый государь Александр Благословенный разоблачил его притворство, сослал в Сибирь, а в поношение ему велел изобразить его полуголым, в рубище, с протянутой рукой и поставить памятник перед театром, — не притворяйся, шельма!

В сиповатом голосе Робинзона звучала грусть, он пытался прикрыть ее насмешливыми улыбками, но это не удавалось ему. Серые тени являлись на костлявом лице, как бы зарождаясь в морщинах под выгоревшими глазами, глаза лихорадочно поблескивали и уныло гасли, прикрываясь ресницами.

— А фамилия Державин объясняется так: казанский мужик Гаврило был истопником во дворце Екатерины Великой, она поругалась с любовником своим, Потемкиным, кричит: «Голову отрублю!» Он бежать, а она, в женской ярости своей, за ним, как была, голая. Тут Гаврило, не будь глуп, удержал ее: «Нельзя, говорит, тебе, царица, за любовниками бегать!» Тогда она опамятовалась: «Верно, Гаврила, и заслужил ты награду за охрану моей царско-женской чести, за то, что удержал державу от скандала». После того он семь лет стоял на часах у дверей ее спальни и дана ему была фамилия — Державин. А Потемкина она сослала в Казань губернатором, и потом он Пугачеву передался.

Робинзон достал из кармана черный стальной портпапирос и, глядя в дымчатую скуку за рекою, вздохнул:

— Мною записано больше сотни таких анекдотов о царях, поэтах, архиереях, губернаторах…

— Это интересно, — сказал Самгин равнодушным тоном. Слушая анекдоты фельетониста, он вспомнил пренебрежительный отзыв о нем Варавки:

«Робинзон из тех интеллигентов, в душе которых житейский опыт не прессуется в определенные формы, не источает педагогической злости, а только давит носителей его. Комнатная собачка, Робинзон».

Клим встал, протянул руку.

— Мне пора.

— Я тоже иду, — сказал Робинзон.

Четко отбивая шаг, из ресторана, точно из кулисы на сцену, вышел на террасу плотненький, смуглолицый регент соборного хора. Густые усы его были закручены концами вверх почти до глаз, круглых и черных, как слишком большие пуговицы его щегольского сюртучка. Весь он был гладко отшлифован, палка, ненужная в его волосатой руке, тоже блестела.

— Корвин, — прошептал фельетонист, вытянув шею и покашливая; спрятал руки в карманы и уселся покрепче. — Считает себя потомком венгерского короля Стефана Корвина; негодяй, нещадно бьет мальчиков-хористов, я о нем писал; видите, как он агрессивно смотрит на меня?

Размахивая палкой, делая даме в углу приветственные жесты рукою в желтой перчатке, Корвин важно шел в угол, встречу улыбке дамы, но, заметив фельетониста, остановился, нахмурил брови, и концы усов его грозно пошевелились, а матовые белки глаз налились кровью. Клим стоял, держась за спинку стула, ожидая, что сейчас разразится скандал, по лицу Робинзона, по его растерянной улыбке он видел, что и фельетонист ждет того же.

Но из двери ресторана выскочил на террасу огромной черной птицей Иноков в своей разлетайке, в одной руке он держал шляпу, а другую вытянул вперед так, как будто в ней была шпага. О шпаге Самгин подумал потому, что и неожиданным появлением своим и всею фигурой Иноков напомнил ему мелодраматического героя дон-Цезаря де-Базан.

— Ба, Иноков, когда вы… — радостно вскричал фельетонист, вскочив со стула, и тотчас же снова сел, а Иноков, молча шлепнув регента шляпой по лицу, вырвал палку из руки его, швырнул ее за перила террасы и, схватив регента за ворот, встряхивая его, зашептал что-то, захрипел в круглое, густо покрасневшее лицо с выкатившимися глазами. Регент был по плечо Инокову, но значительно шире и плотнее, Клим ждал, что он схватит Инокова и швырнет за перила, но регент, качаясь на ногах, одной рукой придерживал панаму, а другой толкая Инокова в грудь, кричал звонким голосом:

— Оставьте! Что вы? Я буду жаловаться. С легкостью, удивившей Клима, Иноков повернул регента спиною к себе и, ударив его ногою в зад, рявкнул:

— Изувечу!

Вбежали два лакея, буфетчик, в двери встал толстый человек с салфеткой на груди, дама колотила кулаком по столу и кричала:

— Да позовите же полицию!

Но регент, подпрыгивая, убежал в ресторан и лишь оттуда, размахивая панамой, задыхаясь, взвизгнул:

— Вы мне ответите! Я вас… хорошо! Самгин был очень взволнован скандалом, но все-таки подумал: «Как жалок и смешон испуганный человек!»

Шагая к двери, дама сказала ему:

— Не стыдно? Оскорбляют человека, а вы сидите, как в цирке.

Не уступив ей дорогу, Иноков заглянул в лицо ей и крикнул, как на лошадь:

— Н-ну!

Она отскочила от него и быстро ушла в ресторан, сказав;

— Я — свидетельница!

Иноков подошел к Робинзону, угрюмо усмехаясь, сунул руку ему, потом Самгину, рука у него была потная, дрожала, а глаза странно и жутко побелели, зрачки как будто расплылись, и это сделало лицо его слепым. Лакей подвинул ему стул, он сел, спрятал руки под столом и попросил:

— Пива, Матвей Васильевич, похолоднее.

— Что это значит? За что? — тихо, но возмущенно спросил Робинзон.

— Он — знает! — сказал Иноков и тряхнул головой, сбросив с нее шляпу на колени себе.

— Не одобряю, — сердито фыркнул Робинзон, закуривая папиросу.

Пожав плечами. Иноков промолчал.

— Душно, — сказал Самгин, обмахиваясь платком.

Почему-то было неприятно узнать, что Иноков обладает силою, которая позволила ему так легко вышвырнуть человека, значительно более плотного и тяжелого, чем сам он. Но Клим тотчас же вспомнил фразу, которую слышал на сеансе борьбы:

«Храбростью взял, а не силой».

Ему хотелось уйти, но он подумал, что Иноков поймет это как протест против него, и ему хотелось узнать, за что этот дикарь бил регента.

— Вы когда приехали? — спросил он.

— Вчера вечером, — очень охотно отозвался Иноков. Затем, улыбаясь той улыбкой, которая смягчала и красила его грубое лицо, он продолжал:

— Шабаш! Поссорился с Варавкой и в газете больше не работаю! Он там на выставке ходил, как жадный мальчуган по магазину игрушек. А Вера Петровна — точно калуцкая губернаторша, которую уж ничто не может удивить. Вы знаете, Самгина, Варавка мне нравится, но — до какого-то предела…

— Вы, батенька, скоро со всем миром поругаетесь, неуживчивый человек, — проворчал Робинзон, предлагая Инокову папирос. — За что вы регента напугали?

Иноков взял папиросу, посмотрел на нее, сломал, бросил на поднос и вздохнул, расправляя плечи, прищурив глаза.

— О регенте спросите регента. А я, кажется, поеду на Камчатку, туда какие-то свиньи собираются золото искать. Надоела мне эта ваша словесность, Робинзон, надоел преподобный редактор, шум и запах несчастных машин типографии — все надоело!

— Очень последовательно! — иронически заметил Робинзон. — Выскочить из газеты в Камчатку…

Самгин нашел, что теперь можно уйти. Пожимая его руку, Иноков спросил с усмешкой:

— Строго осудили меня, а?

— Не могу судить, не зная мотивов, — великодушно ответил Самгин.

С недоверием к себе он чувствовал, что этот парень сегодня стал значительнее в его глазах, хотя и остался таким же неприятным, каким был.

«Ведь не подкупает же меня его физическая сила и ловкость?» — догадывался он, хмурясь, и все более ясно видел, что один человек стал мельче, другой — крупнее.

Дома он тотчас нашел среди стихотворений подписанное — Иноков. Буквы подписи и неровных строчек были круто опрокинуты влево и лишены определенного рисунка, каждая буква падала отдельно от другой, все согласные написаны маленькими, а гласные — крупно. Уж в этом чувствовалась искусственность.

Сударыня!

— читал Клим, нахмурясь.

Я — очень хорошая собака!Это признано стадами разных скотов,И даже свиньи, особенно враждебные мне,Не отрицают некоторых достоинств моих.Но я не могу найти человека,Который полюбил бы меня бескорыстно.Я не плохо знаю людейИ привык отдавать им все, что имею,Черпая печали и радости жизниСердцем моим, точно медным ковшом.Но — мне взять у людей нечего,Я не ем сладкого и жирного,Пошлость возбуждает у меня тошноту,Еще щенком я уже был окормлен ложью.Я издыхаю от безумнейшей тоски,Мне нужно человека,Которому я мог бы радостно и нежно лизать рукиЗа то, что он человечески хорош!Сударыня!Если вы в силах послужить богомХорошей собаке, честному псу,Право же — это не унизило бы вас…Задумчиво глядя в серенькую пустоту неба,Она спросила:— А где же рифмы?

«Это — не стихи, — решил Самгин, с недоумением глядя на измятый листок. —

Глупо это или оригинально?»

Ему иногда казалось, что оригинальность — тоже глупость, только одетая в слова, расставленные необычно. Но на этот раз он чувствовал себя сбитым с толку: строчки Инокова звучали неглупо, а признать их оригинальными — не хотелось. Вставляя карандашом в кружки о и а глаза, носы, губы, Клим снабжал уродливые головки ушами, щетиной волос и думал, что хорошо бы высмеять Инокова, написав пародию: «Веснушки и стихи». Кто это «сударыня»? Неужели Спивак? Наверное. Тогда — понятно, почему он оскорбил регента.

Вечером, когда стемнело, он пошел во флигель, застал Елизавету Львовну у стола с шитьем в руках и прочитал ей стихи. Выслушав, не поднимая головы, Спивак спросила:

— Иноков разрешил вам прочитать эти стихи мне?

— Нет, но они не будут напечатаны, — поспешно и смутясь ответил Самгин, — А почему вы знаете, что автор — Иноков?

Спивак приподняла голову и посмотрела на Клима с улыбкой, еще более смутившей его.

— Вы ему не говорите, — попросил он. Отложив шитье на стол, она спросила:

— Иноков не нравится вам?

— Да, в нем есть что-то неприятное, — не сразу ответил Самгин.

— Грубоватость, — подсказала женщина, сняв с пальца наперсток, играя им. — Это у него от недоверия к себе. И от Шиллера, от Карла Моора, — прибавила она, подумав, покачиваясь на стуле. — Он — романтик, но — слишком обремененный правдой жизни, и потому он не будет поэтом. У него одно стихотворение закончено так:

Душу мою насилует отчаяние,Нарядное, точно кокотка,В бумажных цветах жалких слов.

Это очень неловко сказано; он вообще неловок и в словах и в мыслях, вероятно, потому, что он — честный человек.

Говоря, она мягкими жестами оправляла волосы, ворот платья, складки на груди.

«Ощипывается, точно наседка, — думал Клим, наблюдая за нею исподлобья. — От нее пахнет молоком».

Говорила она тоном учительницы, и слушать ее было неприятно.

— В юности каждый из нас стремится найти свой собственный путь, это еще Гете отметил, — слышал Клим.

«Плохо я разбираюсь в женщинах. В сущности, она — скучная и мещанка, а в Петербурге казалось…»

— Вы помните, он отделял поэзию от правды жизни…

— Кто? — спросил Самгин.

— Гете.

— Ах, да! Вы согласны с ним?

— Женщина имеет очень обоснованное право считать поэзию ложью, — негромко, но твердо сказала Спивак.

За дверью соседней комнаты покашливал музыкант, и скука слов жены его как бы сгущалась от этого кашля. Выбрав удобную минуту, Клим ушел, почти озлобленный против Спивак, а ночью долго думал о человеке, который стремится найти свой собственный путь, и о людях, которые всячески стараются взнуздать его, направить на дорогу, истоптанную ими, стереть его своеобразное лицо. Смешно сказала Алина Телепнева, что она видит весь мир исправительным заведением для нее, но она — права. Мир делают исправительным заведением вот такие Елизаветы Спивак.

Через несколько дней Клим Самгин, лежа в постели, развернул газету и увидал напечатанным свой очерк о выставке. Это приятно взволновало его, он даже на минуту закрыл глаза, а пред глазами все-таки стояли черненькие буквы: «На празднике русского труда». Но, прочитав шесть столбцов плотного и мелкого шрифта, он почувствовал себя так беспокойно, как будто его кусают и щекочут мухи. Раздражали опечатки; было обидно убедиться, что некоторые фразы многословны и звучат тяжело, иные слишком высокопарны, и хотя в общем тон очерка солиден, но есть в нем что-то чужое, от ворчливых суждений Инокова. Это было всего неприятнее и тем более неприятно, что в двух-трех местах слова Инокова оказались воспроизведенными почти буквально. Особенно смутила его фраза о Пенелопе, ожидающей Одиссея, и о лысых женихах.

«Как это я допустил?» — с досадой упрекнул он себя.

Зеркало показало ему озабоченное и вытянутое лицо с прикушенной нижней губой и ледяным блеском очков.

«Интересно, что скажет Спивак?»

— Мне кажется, что это написано несколько излишне нарядно, — сказала она, но тотчас же и утешила: — А вообще — поздравляю!

Дронов тоже поздравил и как будто искренно.

— С началом писательской карьеры, — вскричал он, встряхивая руку Самгина, а Робинзон повторил отзыв Елизаветы Львовны:

— Хвалю, однакож все-таки замечу вот что: статейка похожа на витрину гастрономического магазина: все — вкусно, а — не для широкого потребления.

Клим принял его слова за комплимент.

Самым интересным человеком в редакции и наиболее характерным для газеты Самгин, присмотревшись к сотрудникам, подчеркнул Дронова, и это немедленно понизило в его глазах значение «органа печати». Клим должен был признать, что в роли хроникера Дронов на своем месте. Острый взгляд его беспокойных глаз проникал сквозь стены домов города в микроскопическую пыль буднишной жизни, зорко находя в ней» ловко извлекая из нее наиболее крупные и темненькие пылинки.

— Почти вся газета живет моим материалом, — хвастался он, кривя рот. — Если б не я, так Робинзону и писать не о чем. Места мне мало дают; я мог бы зарабатывать сотни полторы.

Все, что Дронов рассказывал о жизни города, отзывалось непрерывно кипевшей злостью и сожалением, что из этой злости нельзя извлечь пользу, невозможно превратить ее в газетные строки. Злая пыль повестей хроникера и отталкивала Самгина, рисуя жизнь медленным потоком скучной пошлости, и привлекала, позволяя ему видеть себя не похожим на людей, создающих эту пошлость. Но все же он раза два заметил Дронову:

— Ты слишком тенденциозно фиксируешь темное.

— Ну, а что же еще фиксировать? — спросил хроникер, сжав ладони, хрустнув

пальцами, и пуговка носа его покраснела. — Редактор везет отчима твоего в городские головы, а воображает себя преобразователем России, болван. Больше всего он любит наблюдать, как корректорша чешет себе ногу под коленом, у нее там всегда чешется, должно быть, подвязка тугая, — рассказывал он не улыбаясь, как о важном. — Корректорша — урод, рябая; была сельской учительницей, выгнали за неблагонадежность. Когда у нее нет работы — пасьянсы раскладывает; я спросил: «О чем гадаете?» — «Скоро ли будет у нас конституция». Врет, конечно, гадает о мужчине.

Рассказывал он, что вице-губернатор, обнимая опереточную актрису, уколол руку булавкой; рука распухла, опухоль резали, опасаются заражения крови.

— Это — для Робинзона, — с сожалением сказал он и с надеждой добавил: — Но и у него не пройдет.

Дронов знал изумительно много грязненьких романов, жалких драм, фактов цинического корыстолюбия, мошенничеств, которые невозможно разоблачить.

— Цензор — собака. Старик, брюхо по колени, жена — молоденькая, дочь попа, была сестрой милосердия в «Красном Кресте». Теперь ее воспитывает чиновник для особых поручений губернатора, Маевский, недавно подарил ей полдюжины кружевных панталон.

В изображении Дронова город был населен людями, которые, единодушно творя всяческую скверну, так же единодушно следят друг за другом в целях взаимного предательства, а Иван Дронов подсматривает за всеми, собирая бесконечный материал для доноса кому-то на всех людей.

По субботам в редакции сходились сотрудники и доброжелатели газеты, люди, очевидно, любившие поговорить всюду где можно и о чем угодно. Самгин утверждался в своем взгляде: человек есть система фраз; иногда он замечал, что этот взгляд освещает не всего человека, но ведь «нет правила без исключений». Это изречение дальнозорко предусматривает возможность бытия людей, одетых исключительно ловко и парадно подобранными словами, что приводит их все-таки только к созданию своей системы фраз, не далее. Вероятно, возможны и неглупые люди, которые, стремясь к устойчивости своих мнений, достигают состояния верующих и, останавливаясь в духовном развитии своем, глупеют.

Слушая, как в редакции говорят о необходимости политических реформ, разбирают достоинства европейских конституций, утверждают и оспаривают возникновение в России социалистической крестьянской республики, Самгин думал, что эти беседы, всегда горячие, иногда озлобленные, — словесная игра, которой развлекаются скучающие, или ремесло профессионалов, которые зарабатывают хлеб свой тем, что «будят политическое и национальное самосознание общества». Игрою и ремеслом находил Клим и суждения о будущем Великого сибирского пути, о выходе России на берега океана, о политике Европы в Китае, об успехах социализма в Германии и вообще о жизни мира. Странно было видеть, что судьбы мира решают два десятка русских интеллигентов, живущих в захолустном городке среди семидесяти тысяч обывателей, для которых мир был ограничен пределами их мелких интересов. Эти люди возбуждали особенно острое чувство неприязни к ним, когда они начинали говорить о жизни своего города. Тут все они становились похожими на Дронова. Каждый из них тоже как будто обладал невидимым мешочком серой пыли, и все, подобно мальчишкам, играющим на немощеных улицах окраин города, горстями бросали друг в друга эту пыль. Мешок Дронова был объемистее, но пыль была почти у всех одинаково едкой и раздражавшей Самгина. По утрам, читая газету, он видел, что пыль легла на бумагу черненькими пятнышками шрифта и от нее исходит запах жира.

Это раздражение не умиротворяли и солидные речи редактора. Вслушиваясь в споры, редактор распускал и поднимал губу, тихонько двигаясь на стуле, усаживался все плотнее, как бы опасаясь, что стул выскочит из-под него. Затем он говорил отчетливо, предостерегающим тоном:

— У нас развивается опасная болезнь, которую я назвал бы гипертрофией критического отношения к действительности. Трансплантация политических идей Запада на русскую почву — необходима, это бесспорно. Но мы не должны упускать из виду огромное значение некоторых особенностей национального духа и быта.

Говорить он мог долго, говорил не повышая и не понижая голоса, и почти всегда заканчивал речь осторожным пророчеством о возможности «взрыва снизу».

— Революции у нас делают не Рылеевы и Пестели, не Петрашевские и Желябовы, а Болотниковы, Разины и Пугачевы — вот что необходимо помнить.

Самгину казалось, что редактор говорит умно, но все-таки его словесность похожа на упрямый дождь осени и вызывает желание прикрыться зонтиком. Редактора слушали не очень почтительно, и он находил только одного единомышленника — Томилина, который, с мужеством пожарного, заливал пламень споров струею холодных слов.

— Окруженная стихией зоологических инстинктов народа, интеллигенция должна вырабатывать не политические теории, которые никогда и ничего не изменяли и не могут изменить, а психическую силу, которая могла бы регулировать сопротивление вполне естественного анархизма народных масс дисциплине государства.

С Томилиным спорили неохотно, осторожно, только элегантный адвокат Правдин пытался засыпать его пухом слов.

— Если я не ошибаюсь, вы рассматриваете народ солидарно с Ницше и Ренаном, который в своей философской драме «Калибан»…

Но Томилин не слушал возражений, — усмехаясь, приподняв рыжие брови, он смотрел на адвоката фарфоровыми глазами и тискал в лицо его вопросы:

— Вы согласны, что жизнь необходимо образумить? Согласны, что интеллигенция и есть орган разума?

Клим видел, что Томилина и здесь не любят и даже все, кроме редактора, как будто боятся его, а он, чувствуя это, явно гордился, и казалось, что от гордости медная проволока его волос еще более топырится. Казалось также, что он говорит еретические фразы нарочно, из презрения к людям.

— Гуманизм во всех его формах всегда был и есть не что иное, как выражение интеллектуалистами сознания бессилия своего пред лицом народа. Точно так же, как унизительное проклятие пола мы пытаемся прикрыть сладкими стишками, мы хотим прикрыть трагизм нашего одиночества евангелиями от Фурье, Кропоткина, Маркса и других апостолов бессилия и ужаса пред жизнью.

Широко улыбаясь, показывая белые зубы, Томилин закончил:

— Но — уже поздно. Сумасшедшее развитие техники быстро приведет нас к торжеству грубейшего материализма…

Адвокат Правдин возмущенно кричал о противоречиях, о цинизме, Константине Леонтьеве, Победоносцеве, а Робинзон, покашливая, посмеиваясь, шептал Климу:

— Ах, рыжая обезьяна! Как дразнит!

Томилин удовлетворенно сопел и, вынимая из кармана пиджака платок, большой, как салфетка, крепко вытирал лоб, щеки. Лицо его багровело, глаза выкатывались, под ними вздулись синеватые подушечки опухолей, он часто отдувался, как человек, который слишком плотно покушал. Клим думал, что, если б Томилин сбрил толстоволосую бороду, оказалось бы, что лицо у него твердое, как арбуз. Клима Томилин демонстративно не замечал, если же Самгин здоровался с ним, он молча и небрежно совал ему свою шерстяную руку и смотрел в сторону.

— За что он сердится на меня? — спросил Клим всезнающего Дронова.

— Вероятно — ревнует. У него учеников нет. Он думал, что ты будешь филологом, философом. Юристов он не выносит, считает их невеждами. Он говорит: «Для того, чтоб защищать что-то, надобно знать все».

Скосив глаза, Дронов добавил:

— От него все, — точно крысы у Гоголя, — понюхают и уходят.

— Ты часто бываешь у него?

— Хожу, — неопределенно ответил Дронов и вздохнул: — У него жена добрая.

Играя ножницами, он прищемил палец, ножницы отшвырнул, а палец сунул в рот, пососал, потом осмотрел его и спрятал в карман жилета, как спрятал бы карандаш. И снова вздохнул:

— Он много верного знает, Томилин. Например — о гуманизме. У людей нет никакого основания быть добрыми, никакого, кроме страха. А жена его — бессмысленно добра… как пьяная. Хоть он уже научил ее не верить в бога. В сорок-то шесть лет.

Клим Самгин был согласен с Дроновым, что Томилин верно говорит о гуманизме, и Клим чувствовал, что мысли учителя, так же, как мысли редактора, сродны ему. Но оба они не возбуждали симпатий, один — смешной, в другом есть что-то жуткое. В конце концов они, как и все другие в редакции, тоже раздражали его чем-то; иногда он думал, что это «что-то» может быть «избыток мудрости».

Его заинтересовал местный историк Василий Еремеевич Козлов, аккуратненький, беловолосый, гладко причесанный старичок с мордочкой хорька и острыми, розовыми ушами. На его желтом, разрисованном красными жилками лице — сильные очки в серебряной оправе, за стеклами очков расплылись мутные глаза. Под большим, уныло опустившимся и синеватым носом коротко подстриженные белые усы, а на дряблых губах постоянно шевелилась вежливая улыбочка. Он казался алкоголиком, но было в нем что-то приятное, игрушечное, его аккуратный сюртучок, белоснежная манишка, выглаженные брючки, ярко начищенные сапоги и уменье молча слушать, необычное для старика, — все это вызывало у Самгина и симпатию к нему н беспокойную мысль:

«Может быть, и я в старости буду так же забыто сидеть среди людей, чужих мне…»

Козлов приносил в редакцию написанные на квадратных листочках бумаги очень мелким почерком и канцелярским слогом очерки по истории города, но редактор редко печатал его труды, находя их нецензурными или неинтересными. Старик, вежливо улыбаясь, свертывал рукопись трубочкой, скромно садился на стул под картой России и полчаса, а иногда больше, слушал беседу сотрудников, присматривался к людям сквозь толстые стекла очков; а люди единодушно не обращали на него внимания. Местные сотрудники и друзья газеты все знали его, но относились к старику фамильярно и снисходительно, как принято относиться к чудакам и не очень назойливым графоманам. Клим заметил, что историк особенно внимательно рассматривал Томилина и даже как будто боялся его; может быть, это объяснялось лишь тем, что философ, входя в зал редакции, пригибал рыжими ладонями волосы свои, горизонтально торчавшие по бокам черепа, и, не зная Томилина, можно было понять этот жест как выражение отчаяния:

«Что я сделал!»

Дронов рассказал, что историк, имея чин поручика, служил в конвойной команде, в конце пятидесятых годов был судим, лишен чина и посажен в тюрьму «за спасение погибавших»; арестанты подожгли помещение этапа, и, чтоб они не сгорели сами, Козлов выпустил их, причем некоторые убежали. За это его самого посадили в тюрьму. С той поры он почти сорок лет жил, занимаясь историей

города, написал книгу, которую никто не хотел издать, долго работал в «Губернских ведомостях», печатая там отрывки своей истории, но был изгнан из редакции за статью, излагавшую ссору одного из губернаторов с архиереем; светская власть обнаружила в статье что-то нелестное для себя и зачислила автора в ряды людей неблагонадежных. Жил Козлов торговлей старинным серебром и церковными старопечатными книгами.

— Притворяется тихоньким, а должно быть, злой, — говорил Дронов, почесывая желтоволосый подбородок. — И — скуп, от скупости всю жизнь прожил холостяком.

Дронов всегда говорил о людях с кривой усмешечкой, посматривая в сторону и как бы видя там образы других людей, в сравнении с которыми тот, о ком он рассказывал, — негодяй. И почти всегда ему, должно быть, казалось, что он сообщил о человеке мало плохого, поэтому он закреплял конец своей повести узлом особенно резких слов. Клим, давно заметив эту его привычку, на сей раз почувствовал, что Дронов не находит для историка темных красок да и говорит о нем равнодушно, без оживления, характерного во всех тех случаях, когда он мог обильно напудрить человека пылью своей злости. Этим Дронов очень усилил интерес Клима к чистенькому старичку, и Самгин обрадовался, когда историк, выйдя одновременно с ним из редакции на улицу, заговорил, вздохнув:

— Удручает старость человека! Вот — слышу: говорят люди слова знакомые, а смысл оных слов уже не внятен мне.

И, заглядывая в лицо Самгина, он продолжал странным, упрашивающим тоном:

— Вы, кажется, человек внимательного ума и шикарной словесностью не увлечены, молчите все, так — как же, по-вашему: можно ли пренебрегать историей?

— Конечно, нельзя, — ответил Клим со всею солидностью.

Старик поднял руку над плечом своим, четыре пальца сжал в кулак, а большим указал за спину:

— А они — пренебрегают. Каждый думает, что история началась со дня его рождения.

Голосок у него был не старческий, но крепенький и какой-то таинственный.

— Самомнения много у нас, — сказал Клим.

— Именно! И — торопливость во всем. А ведь вскачь землю не пашут. Особенно в крестьянском-то государстве невозможно галопом жить. А у нас все подхлестывают друг друга либеральным хлыстиком, чтобы Европу догнать.

Приостановясь, он дотронулся до локтя Клима.

— Не думайте, я не консерватор, отнюдь! Нет, я допускаю и земский собор и вообще… Но — сомневаюсь, чтоб нам следовало бежать сломя голову тем же путем, как Европа…

Козлов оглянулся и сказал потише, как бы сообщая большой секрет:

— Европа-то, может быть, Лихо одноглазое для нас, ведь вот что Европа-то!

И еще тише, таинственнее он посоветовал:

— Вспомните-ко вчерашний день, хотя бы с Двенадцатого года, а после того — Севастополь, а затем — Сан-Стефано и в конце концов гордое слово императора Александра Третьего: «Один у меня друг, князь Николай черногорский». Его, черногорского-то, и не видно на земле, мошка он в Европе, комаришка, да-с! Она, Европа-то, если вспомните все ее грехи против нас, именно — Лихо. Туркам — мирволит, а величайшему народу нашему ножку подставляет.

Шли в гору по тихой улице, мимо одноэтажных, уютных домиков в три, в пять окон с кисейными занавесками, с цветами на подоконниках. Ставни окон, стены домов, ворота окрашены зеленой, синей, коричневой, белой краской; иные дома скромно прятались за палисадниками, другие гордо выступали на кирпичную панель. Пенная зелень садов, омытая двухдневным дождем, разъединяла дома, осеняя их крыши; во дворах, в садах кричали и смеялись дети, кое-где в окнах мелькали девичьи лица, в одном доме работал настройщик рояля, с горы и снизу доносился разноголосый благовест ко всенощной; во влажном воздухе серенького дня медь колоколов звучала негромко и томно.

— Может — окажете честь, зайдете чайку попить? — вопросительно предложил историк. — Как истый любитель чая и пьющий его безо всяких добавлений, как то: сливок, лимона, вареньев, — употребляю только высокие сорта. Замечательным угощу: Ижень-Серебряные иголки.

Козлов остановился у ворот одноэтажного, приземистого дома о пяти окнах и, посмотрев налево, направо, удовлетворенно проговорил:

— Самая милая и житейская улица в нашем городе, улица для сосредоточенной жизни, так сказать...

Клим никогда еще не был на этой улице, он хотел сообщить об этом историку, но — устыдился. Дверь крыльца открыла высокая, седоволосая женщина в черном, густобровая, усатая, с неподвижным лицом.

— Это — уважаемая домохозяйка Анфиса Никоновна Стрельцова, — рекомендовал ее историк; домохозяйка пошевелила бровями и подала руку Сангину ребром, рука была жесткая, как дерево.

— Стрельцовы, Ямщиковы, Пушкаревы, Затинщиковы, Тиуновы, Иноземцевы — старейшие фамилии города, — рассказывал историк, вводя гостя в просторную комнату с двумя окнами — во двор и в огород. — Обыватели наши фамилий своих не ценят, во всем городе только модный портной Гамиров гордится фамилией своей, а она ничего не значит.

Клим, почтительно слушая, оглядывал жилище историка. Обширный угол между окнами был тесно заполнен иконами, три лампады горели пред ними: белая, красная, синяя.

«Цвета национального флага», — сообразил Самгин и почувствовал в этом нечто хотя и наивное, но — трогательное.

Блестели золотые, серебряные венчики на иконах и опаловые слезы жемчуга риз. У стены — старинная кровать карельской березы, украшенная бронзой, такие же четыре стула стояли посреди комнаты вокруг стола. Около двери, в темноватом углу, — большой шкаф, с полок его, сквозь стекло, Самгин видел ковши, братаны, бокалы и черные кирпичи книг, переплетенных в кожу. Во всем этом было нечто внушительное.

— В записках местного жителя Афанасия Дьякова, частию опубликованных мною в «Губернских ведомостях», рассказано, что швед пушкарь Егор — думать надо Ингвар, сиречь, упрощенно, Георг — Игорь, — отличаясь смелостью характера и простотой души, сказал Петру Великому, когда суровый государь этот заглянул проездом в город наш: «Тебе, царь, кузнечному да литейному делу выучиться бы, в деревянном царстве твоем плотников и без тебя довольно есть». В шведскую кампанию дерзкий Егор этот, будучи уличен в измене, был повешен.

Рассказывая, старик бережно снял сюртучок, надел полосатый пиджак, похожий на женскую кофту, а затем начал хвастаться сокровищами своими; показал Самгину серебряные, с позолотой, ковши, один царя Федора, другой — Алексея:

— Ковши эти жалованы были целовальникам за успешную торговлю вином в

царевых кабаках, — объяснял он, любовно поглаживая пальцем чеканную вязь надписей. Похвастался отлично переплетенной в зеленый сафьян, тисненный золотом, книжкой Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге» с автографом Дениса Давыдова и чьей-то подписью угловатым почерком, начало подписи было густо зачеркнуто, остались только слова: «…за сие и был достойно наказан удалением в армию тысяча восемьсот четвертого году». И особенно таинственно показал желтый лист рукописи, озаглавленной:

«Свободное размышление профана о вредоносности насаждения грамоты среди нижних воинских чинов гвардии с подробным перечнем бывших злокозненных деяний оной от времени восшествия на Всероссийский престол Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Елисавет Петровны и до кончины Благочестивейшего Императора Павла I-го, включая и оную».

— Замечательнейшее, должно быть, сочинение было, — огорченно сказал Козлов, — но вот — все, что имею от него. Найдено мною в книге «Камень веры», у одного любителя древностей взятой на прочтение.

Показывая редкости свои, старик нежно гладил их сухими ладонями, в дряблой коже цвета утиных лап; двигался он быстро и гибко, точно ящерица, а крепкий голосок его звучал все более таинственно. Узор красненьких жилок на скулах, казалось, изменялся, то — густея, то растекаясь к вискам.

— Умиляет меня прелестная суетность вещей, созданных от руки человека, — говорил он, улыбаясь, — Городок наш милый относится к числу отодвинутых в сторону от путей новейшей истории, поэтому в нем много важного и ценного лежит нетронуто, по укладкам, по сундукам, ожидая прикосновения гениальной руки нового Карамзина или хотя бы Забелина. Я ведь пребываю поклонником сих двух поэтов истории, а особенно — первого, ибо никто, как он, не понимал столь сердечно, что Россия нуждается во внимательном благорасположении, а человеки — в милосердии.

Он и за чаем, — чай был действительно необыкновенного вкуса и аромата, — он, и смакуя чай, продолжал говорить о старине, о прошлом города, о губернаторах его, архиереях, прокурорах.

— Отличаясь малой воспитанностью и резкостью характера, допустил он единожды такую шутку, не выгодную для себя. Пригласил владыку Макария на обед и, предлагая ему кабанью голову, сказал: «Примите, ядите, ваше преосвященство!» А владыка, не будь плох, и говорит: «Продолжайте, ваше превосходительство!»

Старик звонко расхохотался и сквозь смех выговорил:

— Понимаете? Графу-то Муравьеву пришлось бы сказать о свиной голове: «Сие есть тело мое!» А? Ведь вот как шутили!

Затем он рассказал о добросердечной купчихе, которая, привыкнув каждую субботу посылать милостыню в острог арестантам и узнав, что в город прибыл опальный вельможа Сперанский, послала ему с приказчиком пяток печеных яиц и два калача. Он снова посмеялся. Самгин отметил в мелком смехе старика что-то неумелое и подумал:

«Не часто он смеялся, должно быть».

— Какова оценочка государственной работы Бонапартова поклонника? Пять печеных яиц! — восхищался Козлов, играя пальчиками в воздухе. — И — каково добросердечие простодушной русской женщины, а?

Кривобокая старуха Федосова говорила большими словами о сказочных людях, стоя где-то в стороне и выше их, а этот чистенький старичок рассказывает о людях обыкновенных, таких же маленьких, каков он сам, но рассказывает так, что маленькие люди приобретают некую значительность, а иногда и красоту. Это любовное раскрашивание буднишнего, обыкновенного нежными красками

рисовало жизнь как тихий праздник с обеднями, оладьями, вареньями, крестинами и свадебными обрядами, похоронами и поминками, жизнь бесхитростную и трогательную своим простодушием. Рассказывал Козлов об уцелевшем от глубокой древности празднике в честь весеннего бога Ярилы и о многих других пережитках языческой старины.

Самгина приятно изумляло уменье историка скрашивать благожелательной улыбочкой все то, что умные книги и начитанные люди заставляли считать пошлым, глупым, вредным. Он никогда не думал и ничего не знал о начале дней жизни города. Козлов, показав ему «Строельную книгу», искусно рассказал, как присланный царем Борисом Годуновым боярский сын Жадов с ратниками и холопами основал порубежный городок, чтобы беречь Москву от набегов кочевников, как ратники и холопы дрались с мордвой, полонили ее, заставляли работать, как разбегались холопы из-под руки жестоковыйного Жадова и как сам он буйствовал, подстрекаемый степной тоской.

И все: несчастная мордва, татары, холопы, ратники, Жадов, поп Василий, дьяк Тишка Дрозд, зачинатели города и враги его — все были равномерно обласканы стареньким историком и за хорошее и за плохое, содеянное ими по силе явной необходимости. Та же сила понудила горожан пристать к бунту донского казака Разина и уральского — Пугачева, а казачьи бунты были необходимы для доказательства силы и прочности государства.

— Народ у нас смиренный, он сам бунтовать не любит, — внушительно сказал Козлов. — Это разные господа, вроде инородца Щапова или казачьего потомка Данилы Мордовцева, облыжно приписывают русскому мужику пристрастие к «политическим движениям» и враждебность к государыне Москве. Это — сущая неправда, — наш народ казаки вовлекали в бунты. Казак Москву не терпит. Мазепа двадцать лет служил Петру Великому, а все-таки изменил.

Теперь историк говорил строго, даже пристукивал по столу кулачком, а красный узор на лице его слился в густое пятно. Но через минуту он продолжал снова умиленно:

— А теперь вот, зачатый великими трудами тех людей, от коих даже праха не осталось, разросся значительный город, которому и в красоте не откажешь, вмещает около семи десятков тысяч русских людей и все растет, растет тихонько. В тихом-то трудолюбии больше геройства, чем в бойких наскоках. Поверьте слову: землю вскачь не пашут, — повторил Козлов, очевидно, любимую свою поговорку.

Поговорками он был богат, и все они звучали, точно аккорды одной и той же мелодии.

— Главный кирпич не в карнизе, а в фундаменте. Всякий бык теленком был, — то и дело вставлял он в свою речь. Смотреть на него было так же приятно, как слушать его благожелательную речь, обильную мягкими словами, тускловатый блеск которых имел что-то общее с блеском старого серебра в шкафе. Тонкие руки с кистями темных пальцев двигались округло, легко, расписанное лицо ласково морщилось, шевелились белые усы, и за стеклами очков серенькие зрачки напоминали о жемчуге риз на иконах. Он вкусно пил чай, вкусно грыз мелкими зубами пресные лепешки, замешанные на сливках, от него, как от плодового дерева, исходил приятный запах. Клим незаметно для себя просидел с ним до полуночи и вышел на улицу с благодушной улыбкой. Чувство, которое разбудил в нем старик, было сродно умилению, испытанному на выставке, но еще более охмеляющим. Ночь была теплая, но в садах тихо шумел свежий ветер, гоня по улице волны сложных запахов. В маленьком, прозрачном облаке пряталась луна, правильно круглая, точно желток яйца, внизу, над крышами, — золотые караваи церковных глав, все было окутано лаской летней ночи, казалось обновленным и, главное, благожелательным человеку.

Именно так чувствовал Самгин: все благожелательно — луна, ветер, запахи, приглушенный полуночью шумок города и эти уютные гнезда миролюбивых

потомков стрельцов, пушкарей, беглых холопов, озорных казаков, скуластой, насильно крещенной мордвы и татар, покорных судьбе.

Это — не тот город, о котором сквозь зубы говорит Иван Дронов, старается смешно писать Робинзон и пренебрежительно рассказывают люди, раздраженные неутоленным честолюбием, а может быть, так или иначе, обиженные действительностью, неблагожелательной им. Но на сей раз Клим подумал об этих-людях без раздражения, понимая, что ведь они тоже действительность, которую так благосклонно оправдывал чистенький историк.

Две-три беседы с Козловым не дали Климу ничего нового, но очень укрепили то, чем Козлов насытил его в первое посещение. Клим услышал еще несколько анекдотов о предводителях дворянства, о богатых купцах, о самодурстве и озорстве.

— Озоруют у нас от избытка сил, хвастун Садко дурит, неуемный Васька Буслаев силою кичится, — толковал старик историк, разливая по стаканам ароматный, янтарного цвета чай.

Самгин понимал, что Козлов рассуждает наивно, но слушал почтительно и молча, не чувствуя желания возражать, наслаждаясь песней, слова которой хотя и глупы, но мелодия хороша.

Раскалывая щипцами сахар на мелкие кусочки, Козлов снисходительно поучал:

— А критикуют у нас от конфуза пред Европой, от самолюбия, от неумения жить. по-русски. Господину Герцену хотелось Вольтером быть, ну и у других критиков — у каждого своя мечта. Возьмите лепешечку, на вишневом соке замешана; домохозяйка моя — неистощимой изобретательности по части печева, — талант!

Оса гудела, летая над столом, старик, следя за нею, дождался, когда она приклеилась лапками к чайной ложке, испачканной вареньем, взял ложку и обварил осу кипятком из-под крана самовара.

— Я, разумеется, не против критики, — продолжал он голосом, еще более окрепшим. — Критики у нас всегда были, и какие! Котошихин, например, князь Курбский, даже Екатерина Великая критикой не брезговала.

Он сокрушенно развел руками и чмокнул:

— Но все, знаете, как-то таинственно выходило: Котошихину даже и шведы голову отрубили, Курбский — пропал в нетях, распылился в Литве, не оставив семени своего, а Екатерина — ей бы саму себя критиковать полезно. Расскажу о ней нескромный анекдотец, скромного-то о ней ведь не расскажешь.

Анекдотец оказался пресным и был рассказан тоном снисхождения к женской слабости, а затем Козлов продолжал, все более напористо и поучительно:

— Критика — законна. Только — серебро и медь надобно чистить осторожно, а у нас металлы чистят тертым кирпичом, и это есть грубое невежество, от которого вещи страдают. Европа весьма величественно распухла и многими домыслами своими, конечно, может гордиться. Но вот, например, европейская обувь, ботинки разные, ведь они не столь удобны, как наш русский сапог, а мы тоже начали остроносые сапоги тачать, от чего нам нет никакого выигрыша, только мозоли на пальцах. Примерчик этот возьмите иносказательно.

Голосу старика благосклонно вторил шелест листьев рябины за окном и задумчивый шумок угасавшего самовара. На блестящих изразцах печки колебались узорные тени листьев, потрескивал фитиль одной из трех лампадок. Козлов передвигал по медному подносу чайной ложкой мохнатый трупик осы.

— Вот собираются в редакции местные люди: Европа, Европа! И поносительно рассказывают иногородним, то есть редактору и длинноязычной собратий его, о

жизни нашего города. А душу его они не чувствуют, история города не знакома им, отчего и раздражаются.

Взглянув на Клима через очки, он строго сказал:

— Тут уж есть эдакое… неприличное, вроде как о предках и родителях бесстыдный разговор в пьяном виде с чужими, да-с! А господин Томилин и совсем ужасает меня. Совершенно как дикий черемис, — говорит что-то, а понять невозможно. И на плечах у него как будто не голова, а гнилая и горькая луковица. Робинзон — это, конечно, паяц, — бог с ним! А вот бродил тут молодой человек, Иноков, даже у меня был раза два… невозможно вообразить, на какое дело он способен!

Козлов подвинул труп осы поближе к себе, расплющил его метким ударом ложки и, загоняя под решетку самовара, тяжко вздохнул:

— Нехороши люди пошли по нашей земле! И — куда идут?

По привычке, хорошо усвоенной им, Самгин осторожно высказывал свои мнения, но на этот раз, предчувствуя, что может услышать нечто очень ценное, он сказал неопределенно, с улыбкой:

— Мечтают о политических реформах — о представительном правлении.

— Понимаю-с! — прервал его старик очень строгим восклицанием. — Да-с, о республике! И даже — о социализме, на котором сам Иисус Христос голову… то есть который и Христу, сыну бога нашего, не удался, как это доказано. А вы что думаете об этом, смею спросить?

Но раньше, чем Самгин успел найти достаточно осторожный ответ, историк сказал не своим голосом и пристукивая ложкой по ладони:

— Я же полагаю, что государю нашему необходимо придется вспомнить пример прадеда своего и жестоко показать всю силу власти, как это было показано Николаем Павловичем четырнадцатого декабря тысяча восемьсот двадцать пятого года на Сенатской площади Санктпетербурга-с!

Козлов особенно отчетливо и даже предупреждающе грозно выговорил цифры, а затем, воинственно вскинув голову, выпрямился на стуле, как бы сидя верхом на коне. Его лицо хорька осунулось, стало еще острей, узоры на щеках слились в багровые пятна, а мочки ушей, вспухнув, округлились, точно ягоды вишни. Но тотчас же он, взглянув на иконы, перекрестился, обмяк и тихо сказал:

— Воздерживаюсь от гнева, однако — вызывают. Торопливо погрыз сухарь, запил чаем и обычным, крепеньким голоском своим рассказал:

— В молодости, будучи начальником конвойной команды, сопровождал я партию арестантов из Казани в Пермь, и на пути, в знойный день, один из них внезапно скончался. Так, знаете, шел-шел и вдруг падает мертв, головою в землю… как бы сраженный небесной стрелой. А человек не старый, лет сорока, с виду — здоровый, облика неприятного, даже — звериного. Осужден был на каторгу за богохульство, кощунство и подделку ассигнаций. По осмотре его котомки оказалось, что он занимался писанием небольших картинок и был в этом, насколько я понимаю, весьма искусен, что, надо полагать, и понудило его к производству фальшивых денег. Картинок у него оказалось штук пять и все на один сюжет: Микула Селянинович, мужик-богатырь, сражается тележной оглоблей со Змеем-Горынычем; змей — двуглав, одна голова в короне, другая в митре, на одной подпись — Петербург, на другой — Москва. Да-с. Изволите видеть, до чего доходят?

И, пригладив без того гладкую, серебряную голову, он вздохнул.

— Весьма опасаюсь распущенного ума! — продолжал он, глядя в окно, хотя какую-то частицу его взгляда Клим щекотно почувствовал на своем лице. — Очень верно сказано: «Уме недозрелый, плод недолгой науки». Ведь умишко наш —

неблаговоспитанный кутенок, ему — извините! — все равно, где гадить — на кресле, на дорогом ковре и на престоле царском, в алтарь пустите — он и там напачкает. Он, играючи, мебель грызет, сапог, брюки рвет, в цветочных клумбах ямки роет, губитель красоты по силе глупости своей.

Но, подняв руку с вытянутым указательным пальцем, он благосклонно прибавил:

— Не отрицаю однако, что некоторым практическим умам вполне можно сказать сердечное спасибо. Я ведь только против бесплодной изобретательности разума и слепого увлечения женским его кокетством, желаньишком соблазнить нас дерзкой прелестью своей. В этом его весьма жестоко уличил писатель Гоголь, когда всенародно покаялся в горестных ошибках своих.

Сокрушенно вздохнув, старик продолжал, в тоне печали:

— Вот, тоже, возьмемте женщину: женщина у нас — отменно хороша и была бы того лучше, преферансом нашим была бы пред Европой, если б нас, мужчин, не смутили неправильные умствования о Марфе Борецкой да о царицах Елизавете и Екатерине Второй. Именно на сих примерах построено опасное предубеждение о женском равноправии, и получилось, что Европа имеет всего одну Луизу Мишель, а у нас таких Луизок — тысячи. Вы, конечно, не согласны с этим, но — подождите! Подождите до возраста более зрелого, когда природа понудит вас вить гнездо.

— Вполне согласиться не могу, — ответил Клим, когда старик вопросительно замолчал.

— Приятно слышать, что хотя и не вполне, а согласны, — сказал историк с улыбочкой и снова вздохнул. — Да, разум у нас, на Руси, многое двинул с природного места на ложный путь под гору.

Самгин простился со стариком и ушел, убежденный, что хорошо, до конца, понял его. На этот раз он вынес из уютной норы историка нечто беспокойное. Он чувствовал себя человеком, который не может вспомнить необходимое ему слово или впечатление, сродное только что пережитому. Шагая по уснувшей улице, под небом, закрытым одноцветно серой массой облаков, он смотрел в небо и щелкал пальцами, напряженно соображая: что беспокоит его?

«Конечно, — старик прав. Так должны думать миллионы трудолюбивых и скромных людей, все те камни, из которых сложен фундамент государства», — размышлял Самгин и чувствовал, что мысль его ловит не то, что ему нужно оформить.

Дня через три, вечером, он стоял у окна в своей комнате, тщательно подпиливая только что остриженные ногти. Бесшумно открылась калитка, во двор шагнул широкоплечий человек в пальто из парусины, в белой фуражке, с маленьким чемоданом в руке. Немного прикрыв калитку, человек обнажил коротко остриженную голову, высунул ее на улицу, посмотрел влево и пошел к флигелю, раскачивая чемоданчик, поочередно выдвигая плечи.

«Кутузов», — узнал Клим, тотчас вспомнил Петербург, пасхальную ночь, свою пьяную выходку и решил, что ему не следует встречаться с этим человеком. Но что-то более острое, чем любопытство, и даже несколько задорное будило в нем желание посмотреть на Кутузова, послушать его, может быть, поспорить с ним.

«Мальчишество», — остерегал он себя, но через час вошел в комнату Спивак.

Даже прежде, когда Кутузов носил студенческий сюртук, он был мало похож на студента, а теперь, в сером пиджаке, туго натянутом на его широких плечах, в накрахмаленной рубашке с высоким воротником, упиравшимся в его подбородок, с клинообразной, некрасиво подрезанной бородой, он был подчеркнуто ни на кого не похож.

— А-а, — наше вам! — дружелюбно вскричал он, протянув Климу тяжелую руку.

— Каким вы купцом переоделись, — сказал Самгин; он хотел сказать задорно, а почувствовал, что сказалось не так.

— Разве — купцом? — спросил Кутузов, добродушно усмехаясь. — И — позвольте! — почему — переоделся? Я просто оделся штатским человеком. Меня, видите ли, начальство выставило из храма науки за то, что я будто бы проповедовал какие-то ереси прихожанам и богомолам.

Засунув палец за жесткий воротник, он сморщил лицо и помотал головою.

— Это — несправедливо и очень грустно. Ко храму я относился с должным пиэтетом, к прихожанам — весьма равнодушно. Тетя Лиза, крестнику моему не помешает, если я закурю?

Спивак в белом капоте, с ребенком на руках, была похожа на Мадонну с картины сентиментального художника Боденгаузена, репродукции с этой модной картины торчали в окнах всех писчебумажных магазинов города. Круглое лицо ее грустно, она озабоченно покусывала губы.

— Имею к вам, Самгин, письмо от девицы устрашающего вида, — получите!

Кутузов дал Климу толстый конверт, Спивак тихо сказала:

— Продолжай, Степан.

— Да что же продолжать? Вот хочу ехать в деревню, к Туробоеву, он хвастается, что там, в реке, необыкновенные окуни живут.

Самгин, перестав читать длиннее письмо, объявил не без гордости:

— В Москве арестован знакомый мой, Маракуев.

— Маракуев — это народник, пистолет такой? — спросил Кутузов, прищурясь.

— Да, народник.

Нахмурясь, выпустив в потолок длинную струю дыма, Кутузов резковато проговорил:

— Намекните-ка вашей корреспондентке, что она девица неосторожная и даже — не очень умная. Таких писем не поручают перевозить чужим людям. Она должна была сказать мне о содержании письма.

Сердито бросив окурок на блюдце, он встал и, широко шагая, тяжело затопал по комнате.

— Конечно, я сам должен был спросить. Но у нее такой вид… я думал — романтика.

— Вы близко знали арестованных? — спросила Спивак, пристально взглянув на Клима.

— Да, — ответил он. Вышло очень громко, он подумал: «Как будто я хвастаюсь этим знакомством». И, с досадой, спросил:

— Когда же прекратятся эти аресты?

Кутузов сел ко столу, налил себе чаю, снова засунул палец за воротник и помотал головою; он часто делал это, должно быть, воротник щипал ему бороду.

— Наивный вопросец, Самгин, — сказал он уговаривающим тоном. — Зачем же прекращаться арестам? Ежели вы противоборствуете власти, так не отказывайтесь посидеть, изредка, в каталажке, отдохнуть от полезных трудов ваших. А затем, когда трудами вашими совершится революция, — вы сами будете сажать в каталажки разных граждан.

Самгин рассердился на себя за вопрос, вызвавший такое поучение.

«Этот «объясняющий господин» считает меня гимназистом», — подумал он мельком и без обычного раздражения, которое испытывал всегда, когда его поучали. Но сказал несколько более задорно, чем хотел:

— Революции мы не скоро дождемся.

— А вы — не ждите, вы — попробуйте делать, — посоветовал Кутузов, прихлебывая чай.

— Революционеров — мало, — ворчливо пожаловался Самгин, неожиданно для себя. Кутузов поднял брови, пристально взглянул на него серыми глазами и заговорил очень мягко, вполголоса:

— Их, пожалуй, совсем нет. Я вот четыре года наблюдаю людей, которые титулуют себя революционерами, — дешевый товар! Пестро, даже — красиво, но — непрочно, вроде нашего ситца для жителей Средней Азии.

Отхлебнув сразу треть стакана чая, он продолжал, задумчиво глядя на розовые лапки задремавшего ребенка:

— Революционеры от скуки жизни, из удальства, из романтизма, по евангелию, все это — плохой порох. Интеллигент, который хочет отомстить за неудачи его личной жизни, за то, что ему некуда пристроить себя, за случайный арест и месяц тюрьмы, — это тоже не революционер.

«Но кто же тогда?» — хотел спросить Самгин и не успел, — Кутузов, наклонясь к Спивак, говорил с усмешкой:

— Ты видела библию Витте «Производительные силы России»? Хвастливая книжища. У либералов, размышляющих якобы по Марксу, имеет большой успех. Откровение.

Клим подметил в нем новое: тяжеловесную шутливость; она казалась вынужденной и противоречила усталому, похудевшему лицу. Во всем, что говорил Кутузов, он слышал разочарование, это делало Кутузова более симпатичным. Затем Самгину вспомнилось, что в Петербурге он неоднократно чувствовал двойственность своего отношения к этому человеку: «кутузовщина» — неприятна, а сам Кутузов привлекает чем-то, чего нет в других людях. А Кутузов, как бы подтверждая его догадку о разочаровании, говорил, почесывая пальцем кадык:

— Весьма любопытно, тетя Лиза, наблюдать, с какой жадностью и ловкостью человеки хватаются за историческую необходимость. С этой стороны марксизм для многих чрезвычайно приятен. Дескать — эволюция, детерминизм, личность — бессильна. И — оставьте нас в покое.

Он пошевелил кожей на голове, отчего коротко остриженные волосы встали дыбом, а лицо вытянулось и окаменело.

— Вообще — наглотался я впечатлений не очень утешительных. Русь наша — страна кустарного мышления, и особенно болеет этим московская Русь. Был я на одной фабрике, там двоюродный брат мой работает, мастер. Сектант; среди рабочих — две секты: богословцы и словобожцы. Возникли из первого стиха евангелия от Иоанна; одни опираются на: «бог бе слово», другие: «слово бе у бога». Одни кричат: «Слово жило раньше бога», а другие: «Врете! слово было в боге, оно есть — свет, и мир создан словосветом». В Оптин ходили, к старцам, узнать — чья правда? Убогая элоквенция эта доводит людей до ненависти, до мордобоя, до того, что весною, когда встал вопрос о повышении заработной платы, словобожцы отказались поддержать богословцев.

Должно быть, забыв, что борода его острижена коротко, Кутузов схватил в кулак воздух у подбородка и, тяжело опустив руку на колено, вздохнул:

— У Гризингера описана душевная болезнь, кажется — Grubelsucht — бесплодное мудрствование, это — когда человека мучают вопросы, почему синее — не красное, а тяжелое — не легко, и прочее в этом духе. Так вот, мне уж кажется, что у нас тысячи грамотных и неграмотных людей заражены этой болезнью.

Спивак, отгоняя мух от лица уснувшего ребенка, сказала тихо, но так уверенно, что Клим взглянул на нее с изумлением:

— Это пройдет, Степан, быстро пройдет.

— Да, конечно, богатеем — судорожно, — согласно проговорил Кутузов. — Жалею, что не попал в Нижний, на выставку. Вы, Самгин, в статейке вашей ловко намекнули про Одиссея. Конечно, рабочий класс свернет головы женихам, но — пока невесело!

Он взглянул на часы и спросил:

— А — не пора?

— Да, — ответила Спивак и, осторожно встав, ушла с ребенком на руках, а Кутузов, улыбаясь, пересел на стул против Клима и спросил очень дружески:

— Так вы находите, что революционеров — мало? А — где вы их видели, каких?

С необычной для себя словоохотливостью, подчиняясь неясному желанию узнать что-то важное, Самгин быстро рассказал о проповеднике с тремя пальцами, о Лютове, Дьяконе, Прейсе.

— Дьякон — Ипатьевский — Сердюков? Сын есть у него? Помер? Ага. А отец — тоже… интересуется? Редкий случай. Значит, вы всё с народниками путаетесь?

— Не путаюсь, а — изучаю, — сказал Клим, уже раскаиваясь в словоохотливости своей.

— Жития маленьких протопопов Аввакумов изучаете? Бросьте. Все это — не туда. Не туда, — повторил он, вставая и потягиваясь; Самгин исподлобья, снизу вверх, смотрел на его широкую грудь и думал:

«Возмутительно самоуверен».

— Особенности национального духа, община, свирели, соленые грибы, паюсная икра, блины, самовар, вся поэзия деревни и графское учение о мужицкой простоте — все это, Самгин, простофильство, — говорил Кутузов, глядя в окно через голову Клима. — Не отрицаю, и в этой плесени есть своя красота, но — пора проститься с нею, если мы хотим жить. И с героями на час тоже надобно проститься, потому что необходим героизм на всю жизнь, героизм чернорабочего, мастерового революции. Если вы на такой героизм не способны — отойдите в сторону.

Он закурил папиросу, сел рядом с Климом так близко, что касался его плеча плечом.

— В одном народники правы, — продолжал он потише и раздумчивее, — рабочий народ у нас — хорош, цепкого ума народ, пожалуй, отсюда у него и пристрастие ко всяческой элоквенции. Так что, когда народник говорит о любви к народу, — я народника понимаю. Но любить-то надобно без жалости, жалость — это имитация любви, Самгин. Это — дрянная штука. Перечитывал я недавно процесс первомартовцев, и мне показалось, что провода мины, которая должна была взорвать поезд царя около Александровска, были испорчены именно жалостью. Да. Кто-то пожалел освободителя.

Вошла Спивак в белом платье, в белой шляпе с пером страуса, с кожаной сумкой, набитой нотами.

— Шикарно, — сказал Кутузов. — Не забудь, тетя Лиза…

— Нет, нет, — обещала она, уходя.

Оба молча посмотрели в окно, как женщина прошла по двору, как ветер прижал юбку к ногам ее и воинственно поднял перо на шляпе. Она нагнулась, оправляя юбку, точно кланяясь ветру.

Клим спросил:

— Туробоев давно вернулся из-за границы?

— С месяц уже.

— С женою?

— Разве он женат? — удивленно осведомился Кутузов; а когда Клим рассказал о романе Туробоева с Алиной, он усмехнулся.

— Вот как? Нет, жена, должно быть, не с ним, там живет моя, Марина, она мне написала бы. Ну, а что пишет Дмитрий?

— Он не пишет.

— Ему уж недолго торчать там. Жене моей он писал, что поедет на юг, в Полтаву, кажется.

Странно было слышать, что человек этот говорит о житейском и что он так просто говорит о человеке, у которого отнял невесту. Вот он отошел к роялю, взял несколько аккордов.

— Давно не слыхал хорошей музыки. У Туробоева поиграем, попоем. Комическое учреждение это поместье Туробоева. Мужики изгрызли его, точно крысы. Вы, Самгин, рыбу удить любите? Вы прочитайте Аксакова «Об уженье рыбы» — заразитесь! Удивительная книга, так, знаете, написана — Брем позавидовал бы!

Покуривая, улыбаясь серыми глазами, Кутузов стал рассказывать о глупости и хитрости рыб с тем воодушевлением и знанием, с каким историк Козлов повествовал о нравах и обычаях жителей города. Клим, слушая, путался в неясных, но не враждебных мыслях об этом человеке, а о себе самом думал с досадой, находя, что он себя вел не так, как следовало бы, все время точно качался на качели.

Возвратилась Спивак, еще более озабоченная, тихо сказала что-то Кутузову, он вскочил со стула и, сжав пальцы рук в один кулак, потряс ими, пробормотал:

— Ах, чорт, вот глупо!

Самгин понял, что он лишний, простился и ушел. В комнате своей, свалившись на постель, закинув руки под голову, он плотно закрыл глаза, чтоб лучше видеть путаницу разногласно кричащих мыслей. Шумел в голове баритон Кутузова, а Спивак уверенно утешает: «Это скоро пройдет».

«Какая хитрая, двуличная. Меньше всего она похожа на революционерку. Но — откуда у нее уверенность?»

Враждебно думать о Спивак было легко, она явилась пред Климом человеком, который в чем-то обманул его, а с Кутузова враждебные мысли соскальзывали.

«Мастеровой революции — это скромно. Может быть, он и неумный, но — честный. Если вы не способны жить, как я, — отойдите в сторону, сказал он. Хорошо сказал о революционерах от скуки и прочих. Такие особенно заслуживают, чтоб на них крикнули: да что вы озорничаете? Николай Первый крикнул это из пушек, жестоко, но — это самозащита. Каждый человек имеет право на самозащиту. Козлов — прав...»

Самгин соскочил с постели и зашагал по комнате, искоса посматривая, как мелькает в зеркале его лицо, нахмуренное, побледневшее от волнения, — лицо недюжинного человека в очках, с остренькой, светлой бородкой.

«Да, эволюция! Оставьте меня в покое. Бесплодные мудрствования — как это? Grubelsucht. Почему я обязан думать о мыслях, людях, событиях, не интересных для меня, почему? Я все время чувствую себя в чужом платье: то слишком широкое, оно сползает с моих плеч, то, узкое, стесняет мой рост».

Мысли его расползались, разваливались, уступая место все более острому чувству недовольства собою. Глаза остановились на фотографии с группы гимназистов, окончивших гимназию вместе с ним; среди них у него не было ни одного приятеля. Он стоял в первом ряду тринадцати человек, между толстым сыном уездного предводителя дворянства и племянником доктора Любомудрова, очень высоким и уже усатым. Сам он показался себе вытянувшимся, точно солдат в строю, смешно надувшим щеки и слепым. Он сердито снял фотографию, вынул ее из рамы, мелко изорвал и бросил клочки в корзину под столом. Хотелось сделать еще что-нибудь, тогда он стал приводить в порядок книги на полках шкафа. Но и это не успокаивало, недовольство собою превращалось в чувство вражды к себе и еще к другому кому-то, кто передвигает его, как шахматную фигуру с квадрата на квадрат. Да, именно так, какая-то злокозненная сила, играя им, сталкивает его с людями совершенно несоединимыми и как бы только затем, чтоб показать: они — несоединимы, не могут выравняться в стройный ряд. А может быть, это делается для того, чтоб он убедился в своем праве не соединяться ни с кем?

Самгин перестал разбирать книги и осторожно отошел к окну, так осторожно, как будто опасался, что счастливая догадка ускользнет от него. Но она, вдруг вспыхнув, как огонь в темноте, привлекла с поразительной быстротой необыкновенное обилие утешительных мыслей; они соскальзывали с полузабытых страниц прочитанных книг, они как бы давно уже носились вокруг, ожидая своего часа согласоваться. Час настал, и вот они, все одного порядка, одной окраски, закружились, волнуя, обещая создать в душе прочный стержень уверенности в праве Клима Самгина быть совершенно независимым человеком.

«Ни жрец, ни жертва, а — свободный человек!» — додумался он, как бы издали следя за быстрым потоком мыслей. Он стоял у окна в приятном оцепенении и невольно улыбался, пощипывая бородку.

Щелкнула щеколда калитки, на дворе явился Иноков, но не пошел во флигель, а, взмахнув шляпой, громко сказал:

— Я — к вам!

Это было странно. Иноков часто бывал у Спивак, но никогда еще не заходил к Самгину. Хотя визит его помешал Климу беседовать с самим собою, он встретил гостя довольно любезно. И сейчас же раскаялся в этом, потому что Иноков с порога начал:

— Послушайте, — какой черт дернул вас читать Елизавете Львовне мои стихи?

Говорил он грубо, сердито, но лицо у него было не злое, а только удивленное; спросив, он полуоткрыл рот и поднял брови, как человек недоумевающий. Но темненькие усы его заметно дрожали, и Самгин тотчас сообразил, что это не обещает ему ничего хорошего. Нужно было что-то выдумать.

— Стихи? Ваши стихи? — тоже удивленно спросил он, сняв очки. — Я читал ей только одно, очень оригинальное по форме стихотворение, но оно было без подписи. Подпись — оторвана.

Теперь он уже искренно изумился тому, как легко и естественно сказались эти слова.

— Оторвана? — повторив Иноков, сел на стул и, сунув шляпу в колени себе, провел

ладонью по лицу. — Ну вот, я так и думал, что тут случилась какая-то ерунда. Иначе, конечно, вы не стали бы читать. Стихи у вас?

— Редактор разрешил мне уничтожить все стихи, которые не будут напечатаны.

Иноков вздохнул, оглянулся и пальцами обеих рук вытер глаза; лицо его, потеряв обычное выражение хмурости, странно обмякло.

— Туда им и дорога. Ух, как душно в городе! Снова рассеянным взглядом обвел комнату и предложил упрашивающим тоном:

— Слушайте, Самгин, пойдемте в поле, а?

— С удовольствием, — сказал Клим. Он чувствовал себя виноватым пред Иноковым, догадывался, что зачем-то нужен ему, в нем вспыхнуло любопытство и надежда узнать: какие отношения спутали Инокова, Корвина и Спивак?

На улице, шагая торопливо, ожесточенно дымя папиросой, Иноков говорил:

— Я часто гуляю в поле, смотрю, как там казармы для артиллеристов строят. Сам — лентяй, а люблю смотреть на работу. Смотрю и думаю: наверное, люди когда-нибудь устанут от мелких, подленьких делишек, возьмутся всею силою за настоящее, крупное дело и — сотворят чудеса.

— Вавилонскую башню? — спросил Клим.

— Неплохо было затеяно, — сказал Иноков и толкнул его локтем. — Нет, серьезно; я верю, что люди будут творить чудеса, иначе — жизнь ни гроша не стоит и все надобно послать к чорту! Все эти домики, фонарики, тумбочки…

Щелчком пальца он швырнул окурок далеко вперед, сдвинул шляпу на затылок и угрюмо спросил:

— Это вы рассказывали Елизавете Львовне об этом… о сцене с регентом?

— Разумеется — не я, — обиженно ответил Клим. Иноков не услышал обиды.

— Кто же? Неужели он сам, мерзавец?

— За что вы его так?

Не сразу, отрывисто, грубыми словами Иноков сказал, что Корвин поставляет мальчиков жрецам однополой любви, уже привлекался к суду за это, но его спас архиерей.

— Все равно в тюрьме он будет! — глухо проворчал Иноков и пнул ногою покосившуюся тумбу.

— Елизавета Львовна знает это? — неосторожно спросил Самгин, Иноков заглянул в лицо его и тоже спросил:

— А — зачем ей знать?

— Она с ним знакома…

— Мало ли сволочей поет у нее в хоре. Он отхаркнулся, плюнул и угрюмо замолчал. Вышли в поле, щедро освещенное солнцем, покрытое сероватым, выгоревшим дерном. Мягкими увалами поле, уходя вдаль, поднималось к дымчатым облакам; вдали снежными буграми возвышались однообразные конусы лагерных палаток, влево от них на темном фоне рощи двигались ряды белых, игрушечных солдат, а еще левее возвышалось в голубую пустоту между облаков очень красное на солнце кирпичное здание, обложенное тоненькими лучинками лесов, облепленное маленькими, как дети, рабочими. Туда, где шагали солдаты, поблескивая штыками, ехал, красуясь против солнца, белый всадник на бронзовом

коне.

— С одной стороны города Варавка построил бойни и тюрьму, — заворчал Иноков, шагая по краю оврага, — с другой конкурент его строит казарму.

Серые, сухие былинки трещали, ломаясь под ногами Клима. Открытые пространства всегда настраивали его печально и покорно. Шагая в ногу с Иноковым, он как бы таял в свете солнца, в жарком воздухе, густо насыщенном запахом иссушенных трав. Не было желания говорить, и не хотелось слушать, о чем ворчит Иноков. Он шел и смотрел, как вырастают казармы; они строились тремя корпусами в форме трапеции, средний был доведен почти до конца, каменщики выкладывали последние ряды третьего этажа, хорошо видно было, как на краю стены шевелятся фигурки в красных и синих рубахах, в белых передниках, как тяжело шагают вверх по сходням сквозь паутину лесов нагруженные кирпичами рабочие. Шли краем оврага, глубоко размытого в глинистой почве, один скат его был засыпан мусором, зарос кустарником и сорными травами, другой был угрюмо голый, железного цвета и весь точно исцарапан когтями. Было что-то несоединимое в этой глубокой трещине земли и огромной постройке у начала ее, — постройке, которую возводили мелкие людишки; Самгин подумал, что понадобилось бы много тысяч таких пестреньких фигурок для того, чтоб заполнить овраг до краев.

Иноков вдруг как бы запнулся за что-то, толкнул Клима, крикнул:

— Ой, чорт, бежим! — и бросился вперед с быстротой мальчишки.

Несколько секунд Клим не понимал видимого. Ему показалось, что голубое пятно неба, вздрогнув, толкнуло стену и, увеличиваясь над нею, начало давить, опрокидывать ее. Жерди серой деревянной клетки, в которую было заключено огромное здание, закачались, медленно и как бы неохотно наклоняясь в сторону Клима, обнажая стену, увлекая ее за собою; был слышен скрип, треск и глухая, частая дробь кирпича, падавшего на стремянки.

Самгин лишь тогда понял, что стена разрушается, когда с нее, в хаос жердей и досок, сползавший к земле, стали прыгать каменщики, когда они, сбрасывая с6 спины груз кирпичей, побежали с невероятной быстротой вниз по сходням, а кирпичи сыпались вслед, все более громко барабаня по дереву, дробный звук этот заглушал скрип и треск. Самгин побежал, ощущая, что земля подпрыгивает под ним, в то же время быстро подвигая к нему разрушающееся здание. Стена рассыпалась частями, вздыхала бурой пылью; отвратительно кривились пустые дыры окон, одно из них высунуло длинный конец широкой доски и дразнилось им, точно языком.

Не верилось, что люди могут мелькать в воздухе так быстро, в таких неестественно изогнутых позах и шлепаться о землю с таким сильным звуком, что Клим слышал его даже сквозь треск, скрип и разноголосый вой ужаса. Несколько человек бросились на землю, как будто с разбега по воздуху, они, видимо, хотели перенестись через ожившую груду жердей и тесин, но дерево, содрогаясь, как ноги паука, ловило падающих, тискало их. В одном из окон встал человек с длинной палкой в руках, но боковины окна рассыпались, человек бросил палку, взмахнул руками и опрокинулся назад.

Взлетела в воздух широкая соломенная шляпа, упала на землю и покатилась, к ногам Самгина, он отскочил в сторону, оглянулся и вдруг понял, что он бежал не прочь от катастрофы, как хотел, а задыхаясь, стоит в двух десятках шагов от безобразной груды дерева и кирпича; в ней вздрагивают, покачиваются концы досок, жердей. У Клима задрожали ноги, он присел на землю, ослепленно мигая, пот заливал ему глаза; сорвав очки, он смотрел, как во все стороны бегут каменщики, плотники и размахивают руками. Особенно прытко, точно жеребенок, бежал подросток в синей рубахе, бежал и оглушительно визжал:

— Дядя Павел, падя-а, дя-атя…

Он промчался мимо Самгина, показав белое, напудренное известью лицо, с открытым ртом и круглыми, как монеты, глазами.

Большой, бородатый человек, удивительно пыльный, припадая на одну ногу, свалился в двух шагах от Самгина, крякнул, достал пальцами из волос затылка кровь, стряхнул ее с пальцев на землю и, вытирая руку о передник, сказал ровным голосом, точно вывеску прочитал:

— Сволочи, светлы пуговицы, икономы. От лагерей скакал всадник в белом, рассеянно бежали солдаты, перегоняя друг друга, подпрыгивая от земли мячиками, далеко сзади них тряслись две зеленые тележки. Солнце нисходило к роще, освещая поле нестерпимо ярко, как бы нарочно для того, чтоб придать несчастию памятную отчетливость.

Самгин боком, тихонько отодвигался в сторону от людей, он встряхивал головою, не отрывая глаз от всего, что мелькало в ожившем поле; видел, как Иноков несет человека, перекинув его через плечо свое, человек изогнулся, точно тряпичная кукла, мягкие руки его шарят по груди Инокова, как бы расстегивая пуговицы парусиновой блузы. Подскакал офицер и, размахивая рукой в белой перчатке, закричал на Инокова, Иноков присел, осторожно положил человека на землю, расправил руки, ноги его и снова побежал к обрушенной стене; там уже копошились солдаты, точно белые, мучные черви, туда осторожно сходились рабочие, но большинство их осталось сидеть и лежать вокруг Самгина; они перекликались излишне громко, воющими голосами, и особенно звонко, по-бабьи звучал один голос:

— Минаева-то, Павлуху-то — а? Вот те и поехал! Я говорю — Минаева-то…

Тучный, широкобородый каменщик с опухшим лицом и синими мешками в глазницах, всхрапывая, кричал:

— А вы благодарите бога, да-а…

— Я первый догадался…

— Они, сволочи, нагоняют икономию…

— Чего орешь? Молебен надо…

— Видел я, братцы, как Матвей падал, как в омут нырнул, ей-бо-огу!

Самгину казалось, что становится все более жарко и солнце жестоко выжигает в его памяти слова, лица, движения людей. Было странно слышать возбужденный разноголосый говор каменщиков, говорили они так громко, как будто им хотелось заглушить крики солдат и чей-то непрерывный, резкий вой:

— Оу-у-оу…

Человек пять стояли, оборотясь затылками к месту катастрофы, лица у них радостны, и маленький, рыжий мужичок, часто крестясь, захлебываясь словами, уверял:

— Ей-богу — не вру! Вот как тебя вижу: бежит он сверху, а сходень под ним сугорбилась, он и взлетел, ей-богу-у!

Самгин оглядывался, пытаясь понять: как он подбежал столь близко, не желая этого? Он помнил, что, когда Иноков бросился вперед, он побежал не за ним, а в сторону.

«Странно», — подумал он, наблюдая, как солдаты сносят раненых и с ненужной аккуратностью укладывают их в правильный ряд.

Подошел Иноков, левая рука его обмотана платком, зубами и пальцами правой он пытался завязать на платке узел, это не удавалось ему:

— Помогите-ка, — сказал он Климу.

— Ранили?

— Прищемил пальцы.

— Много убитых?

— Видел троих.

Без шляпы, выпачканный известью, с надорванным рукавом блузы он стоял и зачем-то притопывал ногою по сухой земле, засоренной стружкой, напудренной красной пылью кирпича, стоял и, мигая пыльными ресницами, говорил:

— Глупая штука: когда леса падали, так, знаете, точно огромнейший паук шевелился и хватал людей.

— Да, — согласился Клим. — Именно — паук. Не могу вспомнить: бежал я за вами или остался на месте? Иноков посмотрел на него непонимающим взглядом.

— Одному — голову расплющило… удивительно! Ничего нет, только нижняя челюсть с бородой. Идем?

Пошли так близко друг к другу, что идти было неловко. Иноков, стирая рукавом блузы пыль с лица, оглядывался назад, толкал Клима, а Клим, все-таки прижимаясь к нему, говорил:

— Знаете: я был уверен, что стою, а оказалось, я бежал вслед за вами. Странно?

— Что же тут странного? — равнодушно пробормотал Иноков и сморщил губы в кривую улыбку. — Каменщики, которых не побило, отнеслись к несчастью довольно спокойно, — начал он рассказывать. — Я подбежал, вижу — человеку ноги защемило между двумя тесинами, лежит в обмороке. Кричу какому-то дяде: «Помоги вытащить». а он мне: «Не тронь, мертвых трогать не дозволяется». Так и не помог, отошел. Да и все они… Солдаты — работают, а они смотрят…

— Испугались, — сказал Самгин и вдруг вспомнил, как быстро он домчался на коньках к Борису Варавке. утопавшему в полынье.

— Ничего похожего на сегодняшнее, — вслух сказал он. Иноков встряхнулся, взглянул на него и докончил:

— И я тоже не видал.

Этими словами он погасил воспоминание о Борисе. Самгина тяготило ощущение расслабленности, физической тошноты, ему хотелось закрыть глаза и остановиться, чтобы не видеть, забыть, как падают люди, необыкновенно маленькие в воздухе.

— Чепуха какая, — задумчиво бормотал Иноков, сбивая на ходу шляпой пыль с брюк. — Вам кажется, что вы куда-то не туда бежали, а у меня в глазах — щепочка мелькает, эдакая серая щепочка, точно ею выстрелили, взлетела… совсем как жаворонок… трепещет. Удивительно, право! Тут — люди изувечены, стонут, кричат, а в память щепочка воткнулась. Эти штучки… вот эдакие щепочки… чорт их знает!

Он толкнул Самгина и, замедлив шаг, досказал:

— Меня один человек хотел колом ударить, вырвал кол и занозил себе руку между пальцами, — здоровенная заноза, мне же пришлось ее вытаскивать… у дурака.

Он снова пошел быстрее.

— Щепочки, занозы… Какая-то пыль в душе. «О занозе он, вероятно, выдумал», — отметил Самгин и спросил: — Что вы хотите сказать?

— А — не знаю. Знал бы, так не говорил, — ответил Иноков и вдруг исчез в покосившихся воротах старенького дома.

«Почему это: знал бы, так не говорил? — подумал Самгин. — Какой он неприятный…»

Заходило солнце, главы Успенской церкви горели, точно огромные свечи, мутнорозовый дымок стоял в воздухе.

Дома Самгин машинально прошел в сад, устало прилег на скамью. Раскрашенный в цвета осени, сад был тоже наполнен красноватой духотой; уже несколько дней жара угрожала дождями, но ветер разгонял облака и, срывая желтый лист с деревьев, сеял на город пыль. Самгин четко видел уродливо скорченное тело без рук и ног, с головой, накрытой серым передником, — тело, как бы связанное в узел и падавшее с невероятной быстротой. Другой человек летел вытянувшись, вскинув руки вверх, он был неестественно длинен, а неподпоясанная красная рубаха вздулась и сделала его похожим на тюльпан. Клим не помнил, три или четыре человека мелькнули в воздухе, падая со стены, теперь ему казалось, что он видел десяток.

Из открытого окна флигеля доносился спокойный голос Елизаветы Львовны; недавно она начала заниматься историей литературы с учениками школы, человек восемь ходили к ней на дом. Чтоб не думать, Самгин заставил себя вслушиваться в слова Спивак.

— Не ново, что Рембо окрасил гласные, еще Тик пытался вызвать словами впечатления цветовые, — слышал Клим и думал: «Очень двуличная женщина. Чего она хочет?»

Голос Спивак звучал неприятно однотонно и упрямо.

— В сущности же, в основе романтизма скрыто стремление отойти в сторону от действительности, от злобы дня. Несколько грубовато, но очень откровенно сознался в этом романтик Карамзин:

Ах, не всё нам слезы горькиеЛить о бедствиях существенных,На минуту позабудемсяВ чарованьи красных вымыслов.

«Как врет», — подумал Самгин, хотя понимал, что она только упрощает.

— И вот, желая заполнить красными вымыслами уже не минуту, а всю жизнь, одни бегут прочь от действительности, а другие…

Самгин встал, подошел к окну и сказал в сумрак знакомой комнаты:

— Обрушились артиллерийские казармы, несколько человек убито, много раненых…

Комната наполнилась шумом отодвигаемых стульев, в углу вспыхнул огонек спички, осветив кисть руки с длинными пальцами, испуганной курицей заклохтала какая-то барышня, — Самгину было приятно смятение, вызванное его словами. Когда он не спеша, готовясь рассказать страшное, обошел сад и двор, — из флигеля шумно выбегали ученики Спивак; она, стоя у стола, звенела абажуром, зажигая лампу, за столом сидел старик Радеев, барабаня пальцами, покачивая головой.

— Как театрально крикнули вы, — сказала Спивак, без улыбки, но и без упрека.

— Да-с, обвинительно, — подтвердил Радеев. — Разбежалась молодежь-то.

Он стал расспрашивать о катастрофе, а Спивак, в темном платье, очень прямая и

высокая, подняла руки, оправляя прическу, и сказала:

— Кутузов арестован.

— Да-с, на пароходе, — снова подтвердил Радеев и вздохнул. Затем он встал, взял руку Спивак, сжал одной своей рукою и, поглаживая другой, утешительно проговорил: — Так, значит, будем хлопотать о поруках, так? Ну, будьте здоровы!

Спивак пошла провожать его и вернулась раньше, чем Самгин успел сообразить, как должен отнестись он к аресту Кутузова. Рядом с нею, так же картинно, как на террасе ресторана, шагал Корвин, похожий на разбогатевшего парикмахера.

— Вы знакомы? — равнодушно спросила Спивак, а гость ее высоким тенором слащаво назвал себя:

— Андрей Владимирович Корвин.

Но тотчас же над переносьем его явилась глубокая складка, сдвинула густые брови в одну линию, и на секунду его круглые глаза ночной птицы как будто слились в один глаз, формою как восьмерка. Это было до того странно, что Самгин едва удержался, чтоб не отшатнуться.

— Я на минуту загляну к сыну, — сказала Спивак, уходя. Корвин вынул из кармана жилета золотые часы.

— У нас до спевки еще сорок минут.

Дождался, когда хозяйка притворила за собою дверь, и торопливо, шипящим шопотом, заговорил, вытянув шею:

— Вы были свидетелем безобразия, но — вы не думайте! Я этого не оставлю. Хотя он сумасшедший, — это не оправдание, нет! Елизавета Львовна, почтенная дама, конечно, не должна знать — верно-с? А ему вы скажите, что он получит свое!

— Я не беру таких поручений, — довольно громко сказал Самгин.

— Ш-ш! — зашипел Корвин, подняв руку. — А — почему не берете? Почему?

Глаза его разошлись, каждый встал на свое место. Пошевелив усами, Корвин вынул из кармана визитки алый платочек, вытер губы и, крякнув, угрожающе шепнул:

— Вызову свидетелем и вас и фельетонщика. Вошла Спивак, утомленно села на кушетку. Корвин тотчас же развязно подвинул к ней стул, сел, подтянул брюки, обнаружив клетчатые носки; колени у него были толстые и круглые, точно двухпудовые гири. Наглый шопот и развязность регента возмутили Самгина, у него вспыхнуло желание сейчас же рассказать Елизавете Львовне, но она взглянула обидно сравнивающим взглядом на него, на Корвина и, перелистывая ноты, осведомилась:

— Вы знаете о несчастии?

Спросила так, что Самгин подумал:

«Это она — о Кутузове? Неужели этот бык тоже революционер?»

Но Корвин не знал о несчастии, и Спивак предложила Климу:

— Расскажите.

Самгин сделал это кратко и сухо; регент выслушал его, не проявив особенного интереса, и строго заметил:

— Торопимся, оттого и разваливается все. И народ у нас распущен.

Металлическим тенорком и в манере человека, привыкшего говорить много, Корвин стал доказывать необходимость организации народных хоров, оркестров, певческих обществ.

— И спорт надобно поощрять, особенно — бокс, народ у нас любит драться…

Голос у него сорвался, регент кашлянул, вызывающе взглянул на Клима и продолжал:

— Дерется — идиотски, как зверь, а в драке тоже должна быть дисциплина, законность.

Самгин усмехнулся, но промолчал, ожидая, что скажет Спивак; она, делая карандашом отметки в нотах, сказала, не подняв головы и удивительно неуместно:

— Андрей Владимирович в Корее был.

Регент снова вытер губы алым платочком, соединил глаза в восьмерку и, глядя на Самгина, продолжал, еще более строго, поучительно:

— Вот, например, англичане: студенты у них не бунтуют, и вообще они — живут без фантазии, не бредят, потому что у них — спорт. Мы на Западе плохое — хватаем, а хорошего — не видим. Для народа нужно чаще устраивать религиозные процессии, крестные хода. Папизм — чем крепок? Именно — этими зрелищами, театральностью. Народ постигает религию глазом, через материальное. Поклонение богу в духе проповедуется тысячу девятьсот лет, но мы видим, что пользы в этом мало, только секты расплодились.

— Вы расскажите о корейцах, — предложила Спивак, взглянув на часы.

— Что ж корейцы? Несчастный народ, погибающий от соприкосновения с развращенными Европой японцами, — уже грубовато сказал Корвин и, раскурив папиросу, пустил струю дыма в колени Спивак.

— Народ тихий, наивный, мягкий, как воск, — перечислил он достоинства корейцев, помял мундштук папиросы толстыми и, должно быть, жесткими губами, затем убежденно, вызывающе сказал: — И вовсе не нуждается в европейской культуре.

Он, видимо, вспомнил что-то раздражающее, оскорбительное: глаза его налились кровью; царапая ногтями колено. он стал ругать японцев и, между прочим, сказал смешные слова:

— Вот и у нас все эти трамваи заставляют православную, простецкую телегу сомневаться в ее правде…

— Пора, — сказала Спивак, вставая; ее слово прозвучало для Самгина двусмысленно, но по лицу ее он увидел, что она, кажется, не слушала регента.

— Идемте с нами, — предложила она Климу. Он понял, что это нужно ей, и ему хотелось еще послушать Корвина. На улице было неприятно; со дворов, из переулков вырывался ветер, гнал поперек мостовой осенний лист, листья прижимались к заборам, убегали в подворотни, а некоторые, подпрыгивая, вползали невысоко по заборам, точно испуганные мыши, падали, кружились, бросались под ноги. В этом было что-то напоминавшее Самгину о каменщиках и плотниках, падавших со стены.

— По природе своей женщина обязана верить, — говорил Корвин тоном привычного проповедника.

Он шел, высоко поднимая тяжелые ноги, печатая шаг генеральски отчетливо, тросточку свою он держал под мышкой как бы для того, чтоб Самгин не мог подойти ближе.

— Ох, скучно говорите вы, — вздохнула Спивак, а Корвин упрямо продолжал:

— Неверующая женщина — искажение… Самгин свернул в переулок, скупо освещенный двумя фонарями; ветер толкал в спину, от пыли во рту и горле было сухо, он решил зайти в ресторан, выпить пива, посидеть среди простых людей. Вдруг, из какой-то дыры в заборе, шагнула на панель маленькая женщина в темном платочке и тихонько попросила:

— Проводите меня.

Самгин пошел быстрее, а она, не отставая, стучала каблуками по кирпичу панели, точно коза копытами, и за плечом Клима звучал упрашивающий шопот:

— Я тут близко живу.

Самгин заглянул в круглое, курносое, большеротое лицо и озлобленно сказал:

— Прочь.

Девица испуганно отскочила.

«Вот так бы отшвырнуть от себя все ненужное».

Но через минуту, на главной улице города, он размышлял, оправдываясь:

«Это Лидия привила мне озлобление против женщин».

О Лидии он думал все реже, каждый раз все более враждебно, а сегодня вражда к ней вспыхнула особенно ярко.

«Какая изломанная, жалкая», — думал *он,* сидя в ресторане, а память услужливо подсказывала нелепые фразы и вопросы девушки.

«Послушай, — ведь это ужасно: бог и половые органы!..»

Он давно уже заметил, что его мысли о женщинах становятся всё холоднее, циничней, он был уверен, что это ставит его вне возможности ошибок, и находил, что бездетная самка Маргарита говорила о сестрах своих верно.

Поперек длинной, узкой комнаты ресторана, у — стен ее, стояли диваны, обитые рыжим плюшем, каждый диван на двоих; Самгин сел за столик между диванами и почувствовал себя в огромном, уродливо вытянутом вагоне. Теплый, тошный запах табака и кухни наполнял комнату, и казалось естественным, что воздух окрашен в мутносиний цвет.

Брякали ножи, вилки, тарелки; над спинкой дивана возвышался жирный, в редких волосах затылок врага Варавки, подрядчика строительных работ Меркулова, затылок напоминал мясо плохо ощипанной курицы. Напротив подрядчика сидел епархиальный архитектор Дианин, большой и бородатый, как тот арестант в кандалах, который, увидав Клима в окне, крикнул товарищу своему:

«Лазарь воскрес!»

— Всё ездиют, дураки, северный полюс ищут, а — на кой чорт он нужен, полюс? — угрюмо негодовал Меркулов.

— Любопытство, — объяснил архитектор, прихлебывая вино и строго уставив на Клима черные глаза. — Любознательность, — прибавил он.

Слева от Самгина хохотал на о владелец лучших в городе семейных бань Домогайлов, слушая быстрый говорок Мазина, члена городской управы, толстого, с дряблым, безволосым лицом скопца; два года тому назад этот веселый распутник насильно выдал дочь свою за вдового помощника полицмейстера, а дочь, приехав домой из-под венца, — застрелилась.

— Он, бедненький, дипломатическую рожу сделал себе, а у меня коронка от шестерки, ну, я его и взвинтила! — сочно хвасталась дородная женщина в шелках; ее уши, пухлые, как пельмени, украшены тяжелыми изумрудами, смеется она смехом уничтожающим. Это — Фиона Трусова, ростовщица, все в городе считают ее женщиной безжалостной, а она говорит, что ей известен «секрет счастливой жизни». Она — дочь кухарки предводителя уездного дворянства, начала счастливую жизнь любовницей его, быстро израсходовала старика, вышла замуж за ювелира, он сошел с ума; потом она жила с вице-губернатором, теперь живет с актерами, каждый сезон с новым; город наполнен анекдотами о ее расчетливом цинизме и удивляется ее щедрости: она выстроила больницу для детей, а в гимназиях, мужской и женской, у нее больше двадцати стипендиатов.

— В этом сезоне у нас драматическая труппочка шикарнейшая будет, — говорит она со вкусом, наливая коньяк лесоторговцу Усову, маленькому, носатому, сверкающему рыжими глазами.

— Деды и отцы учили: «Надо знать, где что взять», — ворчит Меркулов архитектору, а тот, разглядывая вино на огонь, вздыхает:

— Сейчас церковное строительство процветает в Сибири по линии железной дороги.

— Нет, ты, Фиона Митревна, послушай! — кричит Усов. — Приехал в Васильсурск испанец дубовую клепку покупать, говорит только по-своему да по-французски. Ну, Васильсурску не учиться же по-испански, и начали испанца по-русски учить. Ну, знаешь, и — научили…

Самгин ел раков, пил вкусное пиво, слушал. Семнадцать человек сосчитал он в ресторане, все это — домовладельцы, «отцы города», как зовет их Робинзон. Это не самые богатые люди, но они именно те «чернорабочие, простые люди», которые, по словам историка Козлова, не торопясь налаживают крепкую жизнь, и они значительнее крупных богачей, уже сытых до конца дней, облепившихся и равнодушных к жизни города. По Козлову, да и по внушению разума, следовало бы думать об этих людях благожелательно, но Самгин невольно думал:

«Кончу университет и должен буду служить интересам этих быков. Женюсь на дочери одного из них, нарожу гимназистов, гимназисток, а они, через пятнадцать лет, не будут понимать меня. Потом — растолстею и, может быть, тоже буду высмеивать любознательных людей. Старость. Болезни. И — умру, чувствуя себя Исааком, принесенным в жертву — какому богу?»

Мысли были новые, чужие и очень тревожили, а отбросить их — не было силы. Звон посуды, смех, голоса наполняли Самгина гулом, как пустую комнату, гул этот плавал сверху его размышлений и не мешал им, а хотелось, чтобы что-то погасило их. Сближались и угнетали воспоминания, всё более неприязненные людям. Вот — Варавка, для которого все люди — только рабочая сила, вот гладенький, чистенький Радеев говорит ласково:

— Люблю интеллигентных людей за бескорыстие ихнее, за честное отношение к работе-с.

Рядом с ними — Лютов, который относится к революционерам, точно к приказчикам своим. Вспомнился и Кутузов, посвятивший себя работе разрушения этой жизни, но Клим Самгин мысленно отмахнулся от него.

«Этот вышел из игры. И, вероятно, надолго. А — Маракуевы, Поярковы — что они могут сделать против таких вот? — думал он, наблюдая людей в ресторане. — Мне следует развлечься», — решил он и через несколько минут вышел на притихшую улицу.

Клочковатые, черные облака двигались над городом, он сравнил облака с медведями. В синих пропастях сверкали необычно яркие звезды, сверкали как бы нарочно для того, чтоб видно было, как глубоки пропасти, откуда веяло осенней

свежестью. Магазины уже закрыты, и было так темно, что столбы фонарей почти не замечались, а огни их, заключенные в стекло, как будто взвешены в воздухе. Ночные женщины шагали по панели от фонаря к фонарю, как солдаты на часах, таскали тени свои по истоптанному кирпичу. Клим заглядывал под шляпки, ему улыбались лица, стертые темнотой; улыбочки отталкивали.

«Самый независимый человек — Иноков, — думал Клим. — Но независим лишь потому, что еще не успел соблазниться чем-то. Впрочем, он уже влюбился в женщину, которая лет на десять или более старше его».

Вороватым шагом Самгина обогнал какой-то юноша в шляпе, закрывавшей половину лица его, он шагал по кривым линиям, точно желая, но не решаясь, описать круг около каждой женщины.

«Мучается», — сообразил Клим.

Потом его толкнул пьяный в пальто, надетом внакидку, толкнул, отшатнулся и пронзительно крикнул:

— Извините… Эй, вы — извините, чорт!

Самгин свернул за угол в темный переулок, на него налетел ветер, пошатнул, осыпал пыльной скукой. Переулок был кривой, беден домами, наполнен шорохом деревьев в садах, скрипом заборов, свистом в щелях; что-то хлопало, как плеть пастуха, и можно было думать, что этот переулок — главный путь, которым ветер врывается в город.

От пива в голове Самгина было мутно и отяжелели ноги, а ветер раздувал какие-то особенно скучные мысли. Самгин дошел до маленькой, древней церкви Георгия Победоносца, спрятанной в полукольце домиков; перед папертью врыты в землю, как тумбы, две старинные пушки. Присев на ступени паперти, протирая платком запыленные глаза и очки, Самгин вспомнил, что Борис Варавка мечтал выковырять землю из пушек, достать пороха и во время всенощной службы выстрелить из обеих пушек сразу. Борис часто размышлял о том, как бы и чем испугать людей. Если б он жил, он, конечно, стал бы революционером…

«Чорт знает какая тоска», — почти вслух подумал Самгин, раскачивая на пальце очки и ловя стеклами отблески огня лампады, горевшей в притворе паперти за спитою его. Каждый раз, когда ему было плохо, он уверял себя, что так плохо он еще никогда раньше не чувствовал. Эти настроения смущали, даже унижали его, и он стал внушать себе, что в них есть нечто отрешенное, героическое, даже демоническое, пожалуй. Вот и сейчас: он — в нелюбимом городе, на паперти церкви, не нужной ему; ветер шумит, черные чудовища ползут над городом, где у него нет ни единого близкого человека.

«Ребячливо думаю я, — предостерег он сам себя. — Книжно», — поправился он и затем подумал, что, прожив уже двадцать пять лет, он никогда не испытывал нужды решить вопрос: есть бог или — нет? И бабушка и поп в гимназии, изображая бога законодателем морали, низвели его на степень скучного подобия самих себя. А бог должен быть или непонятен и страшен, или так прекрасен, чтоб можно было внеразумно восхищаться им.

«Нет, — удивительно глупо все сегодня», — решил он, вздохнув. И, прислушиваясь к чьим-то голосам вдали, отодвинулся глубже в тень.

— Врешь ты, Солиман, — громко и грубо сказал Иноков; он и еще сказал что-то, но слова его заглушил другой голос:

— Татарин врет — никогда! Говорить надо — Зулейман.

Они остановились пред окном маленького домика, и на фоне занавески, освещенной изнутри, Самгин хорошо видел две головы: встрепанную Инокова и гладкую, в тюбетейке.

— Ты зачем татарину пьяный поил?

— Иди домой!

— Погодим. Настоящи сафьян делаим Козловы кожа, не настоящи — барани кожа, — ну?

Татарин был длинный, с узким лицом, реденькой бородкой и напоминал Ли Хунг-чанга, который гораздо меньше похож на человека, чем русский царь.

«В боге не должно быть ничего общего с человеком, — размышлял Самгин. — Китайцы это понимают, их боги — чудовищны, страшны...»

Иноков постучал пальцами в окно и, размахивая шляпой, пошел дальше. Когда ветер стер звук его шагов, Самгин пошел домой, подгоняемый ветром в спину, пошел, сожалея, что не догадался окрикнуть Инокова и отправиться с ним куда-нибудь, где весело.

«Он, вероятно, знает каких-нибудь девиц... с гитарами».

Когда он вошел во двор дома, у решетки сада стояла Елизавета Львовна.

— Мне кажется — в саду кто-то ходит, — вполголоса сказала она. — Слышите?

— Ветер, — отозвался Клим.

— Вы что же скрылись от нас? — спросила Спивак, открывая калитку в сад.

— Не нравится мне этот регент, — сказал Самгин и едва удержался: захотелось рассказать, как Иноков бил Корвина. — Кто он такой?

Спивак, идя по дорожке, присматриваясь к кустам, стала рассказывать о Корвине тем тоном, каким говорят, думая совершенно о другом, или для того, чтоб не думать. Клим узнал, что Корвина, больного, без сознания, подобрал в поле приказчик отца Спивак; привез его в усадьбу, и мальчик рассказал, что он был поводырем слепых; один из них, называвший себя его дядей, был не совсем слепой, обращался с ним жестоко, мальчик убежал от него, спрятался в лесу и заболел, отравившись чем-то или от голода.

— Ему было тогда лет восемь или десять, и нашли его в день, когда я родилась. Моя мать, очень суеверная, видя в этом какое-то указание свыше, и уговорила отца оставить мальчика у нас. Он был очень дикий, трудный мальчик, его стали учить грамоте, — он убежал. До пятнадцати лет с ним ничего не могли сделать. Потом он был подпаском в монастыре и снова жил у нас; отец очень много возился с ним, но все неудачно. Мужики обвинили его в попытке растлить маленькую девочку и едва не убили. Он снова ушел в монастырь, был послушником, последний раз я его видела таким суровым, молчаливым монашком. С той поры прошло двадцать лет, и за это время он прожил удивительно разнообразную жизнь, принимал участие в смешной авантюре казака Ашинова, который хотел подарить России Абиссинию, работал где-то во Франции бойцом на бойнях, наконец был миссионером в Корее, — это что-то очень странное, его миссионерство. Честолюбив, неудачник и поэтому озлоблен. Грубоват, как видите. Изумительная память. Вы познакомьтесь с ним, он — интересный.

— Не хочу, — сказал Самгин. — Я уже устал от интересных людей.

— Да? — равнодушно спросила Спивак.

— Да, — повторил он задорно. — Мне кажется, интересные люди — это люди, которые хотят доказать, что они интересны.

— Вот как? — спросила женщина, остановясь у окна флигеля и заглядывая в комнату, едва освещенную маленькой ночной лампой. — Возможно, что есть и такие, — спокойно согласилась она. — Ну, пора спать.

Ветер, встряхивая деревья, срывал сухой лист, все быстрее плыли облака, гася и зажигая звезды.

— Елизавета Львовна, скажите: почему вы революционерка? — вдруг спросил Самгин.

Она, замедлив шаг, посмотрела на него.

— Странный вопрос.

— Я знаю.

— Запоздалый вопрос.

— Детский и так далее, но — все-таки? Идя впереди его, Спивак сказала негромко:

— Не назову себя революционеркой, но я человек совершенно убежденный, что классовое государство изжило себя, бессильно и что дальнейшее его существование опасно для культуры, грозит вырождением народу, — вы всё это знаете. Вы — что же?..

— Это — от Кутузова, — пробормотал Клим.

— И — потому? — спросила она, входя на крыльцо флигеля. — Да, Степан мой учитель. Вас грызут сомнения какие-то?

В ее вопросе Климу послышалась насмешка, ему захотелось спорить с нею, даже сказать что-то дерзкое, и он очень не хотел остаться наедине с самим собою. Но она открыла дверь и ушла, пожелав ему спокойной ночи. Он тоже пошел к себе, сел у окна на улицу, потом открыл окно; напротив дома стоял какой-то человек, безуспешно пытаясь закурить папиросу, ветер гасил спички. Четко звучали чьи-то шаги. Это — Иноков.

— Куда вы? — окликнул его Самгин.

— Вообще, в пространство. А вы что, один? Можно к вам?

— Идите.

Через пять минут Иноков, сидя в комнате Самгина с папиросой в зубах, со стаканом вина в руке, жаловался:

— Нервы у меня — ни к чорту! Бегаю по городу… как будто человека убил и совесть мучает. Глупая штука!

Всегда как будто напоказ неряшливый, сегодня Иноков был особенно запылен и растрепан; в первую минуту он даже показался пьяным Самгину.

— Вы что делаете теперь? Иноков устало вздохнул:

— Редактирую сочинение «О методах борьбы с лесными пожарами», — старичок один сочинил. Малограмотный старичок, а — бойкий. Моралист, гуманист, десять заповедей, нагорная проповедь. «Хороший тон», — есть такое евангелие, изданное «Нивой». Забавнейшее, — обезьян и собак дрессировать пригодно.

Слова он говорил насмешливые, а звучали они печально и очень торопливо, как будто он бежал по словам. Вылив остаток вина из бутылки в стакан, он вдруг спросил:

— А — что, бывает с вами так: один Самгин ходит, говорит, а другой все только спрашивает: это — куда же ты, зачем?

— Нет, не бывает, — твердо сказал Клим, очень удивленный. — Не ожидал, что вы

скажете это. Есть такие сектантские стишки:

Нога кричит: куда иду?Рука…

— Сектантство, самозванство… мещанство, — пробормотал Иноков и, усмехаясь, нелепо прибавил: — Чернокнижие.

— Чернокнижие? Что вы хотите сказать? — еще более удивился Клим.

— Так, сболтнул. Смешно и… отвратительно даже, когда подлецы и идиоты делают вид, что они заботятся о благоустройстве людей, — сказал он, присматриваясь, куда бросить окурок. Пепельница стояла на столе за книгами, но Самгин не хотел подвинуть ее гостю.

«Диомидов — врет, он — домашний, а вот этот действительно — дикий», — думал он, наблюдая за Иноковым через очки. Тот бросил окурок под стол, метясь в корзину для бумаги, но попал в ногу Самгина, и лицо его вдруг перекосилось гримасой.

— Вы думаете, что способны убить человека? — спросил Самгин, совершенно неожиданно для себя подчинившись очень острому желанию обнажить Инокова, вывернуть его наизнанку. Иноков посмотрел на него удивленно, приоткрыв рот, и, поправляя волосы обеими руками, угрюмо спросил:

— Это вы по поводу Корвина, что ли?

— Чего вы хотите от него?

— Чтоб он издох. А — почему вы догадались, что я об этом думаю?

— По лицу, — сказал Самгин.

— Какой вы проницательный, чорт возьми, — тихонько проворчал Иноков, взял со стола пресс-папье — кусок мрамора с бронзовой, тонконогой женщиной на нем — и улыбнулся своей второй, мягкой улыбкой. — Замечательно проницательный, — повторил он, ощупывая пальцами бронзовую фигурку. — Убить, наверное, всякий способен, ну, и я тоже. Я — не злой вообще, а иногда у меня в душе вспыхивает эдакий зеленый огонь, и тут уж я себе — не хозяин.

Самгин слушал внимательно, ожидая, когда этот дикарь начнет украшать себя перьями орла или павлина. Но Иноков говорил о себе невнятно, торопливо, как о незначительном и надоевшем, он был занят тем, что отгибал руку бронзовой женщины, рука уже была предостерегающе или защитно поднята.

— Пишете стихи? — спросил Самгин.

— Пишем. Скверно пишем, — озабоченно трудясь над пресс-папье, ответил Иноков. — Рифмы мешают. Как только рифма, — чувствуешь, что соврал.

Он отломил руку женщины, пресс положил на стол, обломок сунул в карман и сказал:

— Извините. Плохая бронза, слишком мягка, излишек олова. Можно припаять, я припаяю.

Он оглянулся, взял книгу со стола, посмотрел на корешок и снова сунул на стол.

— Шопенгауэра я читал по-немецки с одним знакомым. Студент ярославского лицея, выгнанный, лентяй, жаждет истины. Ночью приходит ко мне, — в одном доме живем, — жалуется: вот, Шлейермахер утверждает, что идея счастья была акушеркой, при ее помощи разум родил понятие о высшем благе. Но он же сказал, что добродетель и блаженство разнородны по существу и что Кант ошибался, смешав идею высшего блага с элементами счастья. Расстраивается: как это примирить? А вы, говорю, не примиряйте, все это ерунда. Обижается. Я его

натравил на Томилина, — знаете, конечно, Томилина-то?

Самгин кивнул. Иноков снова взял пресс и начал отгибать длинную ногу бронзовой женщины, продолжая:

— Человек — фабрикант фактов. «Система фраз», — хотел сказать Самгин, но — воздержался.

— Фактов накоплено столько, что из них можно построить десятки теорий прогресса, эволюции, оправдания и осуждения действительности. А мне вот хочется дать в морду прогрессу, — нахальная, циничная у него морда.

— Это — из Достоевского, из подполья, — сказал Самгин, с любопытством следя, как гость отламывает бронзовую ногу.

— Ну, так что? — спросил Иноков, не поднимая головы. — Достоевский тоже включен в прогресс и в действительность. Мерзостная штука действительность, — вздохнул он, пытаясь загнуть ногу к животу, и, наконец, сломал ее. — Отскакивают от нее люди — вы замечаете это? Отлетают в сторону.

Он взглянул на Клима, постукивая ножкой по мрамору, и спросил:

— Как падали рабочие-то, а? Действительность, чорт... У меня, знаете, эдакая... светлейшая пустота в голове, а в пустоте мелькают кирпичи, фигурки... детские фигурки.

Лицо Инокова стало суровым, он прищурил глаза, и Клим впервые заметил, что ресницы его красиво загнуты вверх. В речах Инокова он не находил ничего вымышленного, даже чувствовал нечто родственное его мыслям, но думал:

«Анархист».

— Кто-то стучит, — сказал Иноков, глядя в окно. Клим прислушался. Осторожно щелкала щеколда калитки, потом заскрипело дерево ворот, точно собака царапалась.

— Неужели — воры? — спросил Иноков, улыбаясь. Клим подошел к окну и увидал в темноте двора, что с ворот свалился большой, тяжелый человек, от него отскочило что-то круглое, человек схватил эту штуку, накрыл ею голову, выпрямился и стал жандармом, а Клим, почувствовав неприятную дрожь в коже спины, в ногах, шепнул с надеждой:

— Это — к Спивак.

— Эх, — угрюмо сказал Иноков, отталкивая его. — Пойду к ней.

Он убежал, оставив Самгина считать людей, гуськом входивших на двор, насчитал он чортову дюжину, тринадцать человек. Часть их пошла к флигелю, остальные столпились у крыльца дома, и тотчас же в тишине пустых комнат зловеще задребезжал звонок.

«Пусть отопрет горничная», — решил Самгин, но, зачем-то убавив огня в лампе, побежал открывать дверь.

Первым втиснулся в дверь толстый вахмистр с портфелем под мышкой, с седой, коротко подстриженной бородой, он отодвинул Клима в сторону, к вешалке для платья, и освободил путь чернобородому офицеру в темных очках, а офицер спросил ленивым голосом:

— Господин Самгин? Клим наклонил голову.

— Этот человек был у вас?

— Да ведь я же сказал вам, — грубо и громко крикнул Иноков из-за спины

офицера.

— Ваша комната?

— Это — обыск? — спросил Клим и кашлянул, чувствуя, что у него вдруг высохло в горле.

Выгнув грудь, закинув руки назад, офицер встряхнул плечами, старый жандарм бережно снял с него пальто, подал портфель, тогда офицер, поправив очки, тоже спросил тоном старого знакомого:

— А что ж иное может быть?

«Не надо волноваться», — посоветовал себе Клим, сунув глубоко в карманы брюк стеснявшие его руки.

Странно и обидно было видеть, как чужой человек в мундире удобно сел на кресло к столу, как он выдвигает ящики, небрежно вытаскивает бумаги и читает их, поднося близко к тяжелому носу, тоже удобно сидевшему в густой и, должно быть, очень теплой бороде. По темным стеклам его очков скользил свет лампы, огонь которой жандарм увеличил, но думалось, что очки освещает не лампа, а глаза, спрятанные за стеклами. Пальцы офицера тупые, красные, а ногти острые, синие. Надув волосатое лицо, он действовал не торопясь, в жестах его было что-то даже пренебрежительное; по тому, как он держал в руках бумаги, было видно, что он часто играет в карты.

«Вот как это делается», — уныло подумал Самгин, а жандарм, встряхивая тощей пачкой газетных вырезок, ленивенько спрашивал:

— Это — ваши статейки?

— Да. Из местной газеты.

— Читал. А — это?

— Различные заметки для будущих статей. Клим хотел бы отвечать на — вопросы так же громко и независимо, хотя не так грубо, как отвечает Иноков, но слышал, что говорит он, как человек, склонный признать себя виноватым в чем-то.

Офицер отложил заметки в сторону, постучал по ним пальцем, как старик по табакерке, и, вздохнув, начал допрашивать Инокова:

— Чем занимаетесь? Пишете… гм! Где пишете?

— У себя в комнате, на столе, — угрюмо ответил Иноков; он сидел на подоконнике, курил и смотрел в черные стекла окна, застилая их дымом.

— Прошу не шутить, — посоветовал жандарм, дергая ногою, — репеек его шпоры задел за ковер под креслом, Климу захотелось сказать об этом офицеру, но он промолчал, опасаясь, что Иноков поймет вежливость как угодливость. Клим подумал, что, — если б Инокова не было, он вел бы себя как-то иначе. Иноков вообще стеснял, даже возникало опасение, что грубоватые его шуточки могут как-то осложнить происходящее.

«Не нужно волноваться», — еще раз напомнил он себе и все более волновался, наблюдая, как офицер пытается освободить шпору, дергает ковер.

Седобородый жандарм, вынимая из шкафа книги, встряхивал их, держа вверх корешками, и следил, как молодой товарищ его, разрыв постель, заглядывает под кровать, в ночной столик. У двери, мечтательно покуривая, прижался околоточный надзиратель, он пускал дым за дверь, где неподвижно стояли двое штатских и откуда притекал запах йодоформа. Самгин поймал взгляд молодого жандарма и шепнул ему:

— Отцепите шпору.

— Благодарю, — сказал офицер, когда жандарм припал на колено пред ним.

«Осел, — мысленно обругал его Клим. — Иноков может подумать, что ты благодаришь меня».

Но Иноков, сидя в облаке дыма, прислонился виском к стеклу и смотрел в окно. Офицер согнулся, чихнул под стол, поправил очки, вытер нос и бороду платком и, вынув из портфеля пачку бланков, начал не торопясь писать. В этой его неторопливости, в небрежности заученных движений было что-то обидное, но и успокаивающее, как будто он считал обыск делом несерьезным.

Вошел помощник пристава, круглолицый, черноусый, похожий на Корвина, неловко нагнулся к жандарму и прошептал что-то.

— Пуаре пришел, — вдруг воскликнул Иноков. — Здравствуйте, Пуаре!

Полицейский выпрямился, стукнув шашкой о стол, сделал строгое лицо, но выпученные глаза его улыбались, а офицер, не поднимая головы, пробормотал:

— Сейчас. Фомин, — понятых!

Из коридора к столу осторожно, даже благоговейно, как бы к причастию, подошли двое штатских, ночной сторож и какой-то незнакомый человек, с измятым, неясным лицом, с забинтованной шеей, это от него пахло йодоформом. Клим подписал протокол, офицер встал, встряхнулся, проворчал что-то о долге службы и предложил Самгину дать подписку о невыезде. За спиной его полицейский подмигнул Инокову глазом, похожим на голубиное яйцо, Иноков дружески мотнул встрепанной головой.

— Пошли к Елизавете Львовне, — сказал он, спрыгнув с подоконника и пытаясь открыть окно. Окно не открывалось. Он стукнул кулаком по раме и спросил:

— Неужели арестуют? У нее — ребенок.

— На это не смотрят, — заметил Клим, тоже подходя к окну. Он был доволен, обыск кончился быстро, Иноков не заметил его волнения. Доволен он был и еще чем-то.

— У вас — дружба с этим Пуаре? — спросил он, готовясь к вопросам Инокова.

Взглянув на него. Иноков достал папиросу, но, не закуривая, положил ее на переплет рамы.

— Всегда спокойная, холодная, а — вот, — заговорил он, усмехаясь, но тотчас же оборвал фразу и неуместно чмокнул. — Пуаре? — переспросил он неестественно громко и неестественно оживленно начал рассказывать: — Он — брат известного карикатуриста Каран-д'Аша, другой его брат — капитан одного из пароходов Добровольного флота, сестра — актриса, а сам он был поваром у губернатора, затем околоточным надзирателем, да...

Сжав пальцы рук в один кулак, он спросил тише, беспокойно:

— Вы думаете — найдут у нее что-нибудь? Клим пожал плечами:

— Не знаю.

— Беспутнейший человек этот Пуаре, — продолжал Иноков, потирая лоб, глаза и говоря уже так тихо, что сквозь его слова было слышно ворчливые голоса на дворе. — Я даю ему уроки немецкого языка. Играем в шахматы. Он холостой и — распутник. В спальне у него — неугасимая лампада пред статуэткой богоматери, но на стенах развешаны в рамках голые женщины французской фабрикации. Как бескрылые ангелы. И — десятки парижских тетрадей «Ню». Циник, сластолюбец...

Он замолчал, прислушался.

— Как они долго, чорт их возьми! — пробормотал он, отходя от окна; встал у шкафа и, рассматривая книги, снова начал:

— Как-то я остался ночевать у него, он проснулся рано утром, встал на колени и долго молился шопотом, задыхаясь, стуча кулаками в грудь свою. Кажется, даже до слез молился… Уходят, слышите? Уходят!

Да, на дворе топали тяжелые ноги, звякали шпоры, темные фигуры ныряли в калитку.

— Светлее стало, — усмехаясь заметил Самгин, когда исчезла последняя темная фигура и дворник шумно запер калитку. Иноков ушел, топая, как лошадь, а Клим посмотрел на беспорядок в комнате, бумажный хаос на столе, и его обняла усталость; как будто жандарм отравил воздух своей ленью.

«Вот еще один экзамен», — вяло подумал Клим, открывая окно. По двору ходила Спивак, кутаясь в плед, рядом с нею шагал Иноков, держа руки за спиною, и ворчал что-то.

— Ну, это глупости, — громко сказала женщина. Самгин тоже вышел на двор, тогда они оба замолчали, а он сообщил:

— Скоро светать будет.

Женщина взглянула в тусклое небо, ее лицо было так сердито заострено, что показалось Климу незнакомым.

— А вы бы его за волосы, — вдруг посоветовал Иноков и сказал Самгину: — У нее товарищ прокурора в бумагах рылся, скотина.

— Сядемте, — предложила Спивак, не давая ему договорить, и опустилась на ступени крыльца, спрашивая Инокова:

— Что ж, написали вы рассказ?

Клим догадался, что при Инокове она не хочет говорить по поводу обыска. Он продолжал шагать по двору, прислушиваясь, думая, что к этой женщине не привыкнуть, так резко изменяется она.

Пели петухи, и лаяла беспокойная собака соседей, рыжая, мохнатая, с мордой лисы, ночами она всегда лаяла как-то вопросительно и вызывающе, — полает и с минуту слушает: не откликнутся ли ей? Голосишко у нее был заносчивый и едкий, но слабенький. А днем она была почти невидима, лишь изредка, высунув морду из-под ворот, подозрительно разнюхивала воздух, и всегда казалось, что сегодня морда у нее не та, что была вчера.

— Изорвал, знаете; у меня все расползлось, людей не видно стало, только слова о людях, — глухо говорил Иноков, прислонясь к белой колонке крыльца, разминая пальцами папиросу, — Это очень трудно — писать бунт; надобно чувствовать себя каким-то… полководцем, что ли? Стратегом…

Он подергал плечом, взбил волосы со лба, но наклонился к Елизавете Львовне, и волосы снова осыпали топорное лицо его.

— Пишу другой: мальчика заставили пасти гусей, а когда он полюбил птиц, его сделали помощником конюха. Он полюбил лошадей, но его взяли во флот. Он море полюбил, но сломал себе ногу, и пришлось ему служить лесным сторожем. Хотел жениться — по любви — на хорошей девице, а женился из жалости на замученной вдове с двумя детьми. Полюбил и ее, она ему родила ребенка; он его понес крестить в село и дорогой заморозил…

— Вы это выдумали? — тихонько спросила Спивак.

— Не все» — ответил Иноков почему-то виноватым тоном. — Мне Пуаре рассказал, он очень много знает необыкновенных историй и любит рассказывать. Не решил я — чем кончить? Закопал он ребенка в снег и ушел куда-то, пропал без вести или — возмущенный бесплодностью любви — сделал что-нибудь злое? Как думаете?

Спивак ответила кратко и невнятно.

Мутный свет обнаруживал грязноватые облака; завыл гудок паровой мельницы, ему ответил свист лесопилки за рекою, потом засвистело на заводе патоки и крахмала, на спичечной фабрике, а по улице уже звучали шаги людей. Все было так привычно, знакомо и успокаивало, а обыск — точно сновидение или нелепый анекдот, вроде рассказанного Иноковым. На крыльцо флигеля вышла горничная в белом, похожая на мешок муки, и сказала, глядя в небо:

— Аркаша проснулся!

Спивак, вскочив, быстро пошла, плед тащился за нею по двору. Медленно, всем корпусом повертываясь вслед ей, Иноков пробормотал:

— Пойду и я.

Вошел в дом, тотчас же снова явился в разлетайке, в шляпе и, молча пожав руку Самгина, исчез в сером сумраке, а Клим задумчиво прошел к себе, хотел раздеться, лечь, но развороченная жандармом постель внушала отвращение. Тогда он стал укладывать бумаги в ящики стола, доказывая себе, что обыск не будет иметь никаких последствий. Но логика не могла рассеять чувства угнетения и темной подспудной тревоги.

В полдень, придя в редакцию, он вдруг очутился в новой для него атмосфере почтительного и поощряющего сочувствия, там уже знали, что ночью в городе были обыски, арестован статистик Смолин, семинарист Долганов, а Дронов прибавил:

— Слесарь с мельницы Радеева, аптекарский ученик — еврей, учительница приходской школы Комарова.

Он сообщил, что жена чернобородого ротмистра Попова живет с полицейским врачом, а Попов за это получает жалованье врача.

— Он так скуп, что заставляет чинить обувь свою жандарма, бывшего сапожника.

— Да, вот и вас окрестили, — сказал редактор, крепко пожимая руку Самгина, и распустил обиженную губу свою широкой улыбкой. Робинзон радостно сообщил, что его обыскивали трижды, пять с половиной месяцев держали в тюрьме, полтора года в ссылке, в Уржуме.

— Меня там чуть-чуть тараканы не съели. Замечательный город: в девяносто третьем году мальчишки пели:

Греми, слава, трубой!Мы дрались, турок, с тобой.По горам твоим БалканскимРаздалась слава о нас!

Франтоватый адвокат Правдин, скорбно пожав плечами, сказал:

— Судьба всех честных людей России. Не знаем ни дня, ни часа…

Самгин пробовал убедить себя, что в отношении людей к нему как герою есть что-то глупенькое, смешное, но не мог не чувствовать, что отношение это приятно ему. Через несколько дней он заметил, что на улицах и в городском саду незнакомые гимназистки награждают его ласковыми улыбками, а какие-то люди смотрят на него слишком внимательно. Он иронически соображал:

«Сыщики? Или это либералы определяют мою готовность к жертве ради

конституции?»

И мелькала опасливая мысль: не пришлось бы заплатить за это внимание чересчур дорого? Его особенно смущал и раздражал Дронов, он вертелся вокруг ласковой, но обеспокоенной собачкой и назойливо допрашивал:

— Значит — и ты причастен?

Клим слышал в этом вопросе удивление, морщился. а Дронов, потирая руки, как человек очень довольный, спрашивал быстреньким шопотом:

— Ты с Долгановым, семинаристом, знаком?

— Нет, — громко ответил Самгин, — я не люблю семинаристов.

Дронов продолжал нашептывать и сватать:

— Приехал один молодой писатель, ух, резкий парень! Хочешь — познакомлю? Тут есть барышня, курсистка, Маркса исповедует…

Знакомиться с писателем и барышней Самгин отказался и нашел, что Дронов похож на хромого мужика с дач Варавки, тот ведь тоже сватал. Из всех знакомых людей только один историк Козлов не выразил Климу сочувствия, а, напротив, поздоровался с ним молча, плотно сомкнув губы, как бы удерживаясь от желания сказать какое-то словечко; это обидно задело Клима. Аккуратный старичок ходил вооруженный дождевым зонтом, и Самгин отметил, что он тыкает концом зонтика в землю как бы со сдерживаемой яростью, а на людей смотрит уже не благожелательно, а исподлобья, сердито, точно он всех видел виноватыми в чем-то перед ним.

Когда Самгина вызвали в жандармское управление, он пошел туда, настроясь героически, уверенный, что скажет там нечто внушительное, например:

«Прошу не толкать меня туда, куда сам я не намерен идти!»

Вообще, скажет что-нибудь в этом духе. Он оделся очень парадно, надел новые перчатки и побрил растительность на подбородке. По улице, среди мокрых домов, метался тревожно осенний ветер, как будто искал где спрятаться, а над городом он чистил небо, сметая с него грязноватые облака, обнажая удивительно прозрачную синеву.

В светлом, о двух окнах, кабинете было по-домашнему уютно, стоял запах хорошего табака; на подоконниках — горшки неестественно окрашенных бегоний, между окнами висел в золоченой раме желто-зеленый пейзаж, из тех, которые прозваны «яичницей с луком»: сосны на песчаном обрыве над мутнозеленой рекою. Ротмистр Попов сидел в углу за столом, поставленным наискось от окна, курил папиросу, вставленную в пенковый мундштук, на мундштуке — палец лайковой перчатки.

— Прошу, — сказал он тоном старого знакомого;

в серой тужурке, сильно заношенной, он казался добродушным и еще более ленивым.

— Осень-то как рано пожаловала, — сообщил он, вздохнув, выдул окурок из мундштука в пепельницу-череп и, внимательно осматривая прокуренную пенку, заговорил простецки:

— Пригласил вас, чтоб лично вручить бумаги ваши, — он постучал тупым пальцем по стопке бумаг, но не подвинул ее Самгину, продолжая все так же: — Кое-что прочитал и без комплиментов скажу — оч-чень интересно! Зрелые мысли, например: о необходимости консерватизма в литературе. Действительно, батенька, чорт знает как начали писать; смеялся я, читая отмеченные вами примерчики: «В

небеса запустил ананасом, поет басом» — каково?

«Льстит, дурак, подкупить хочет», — сообразил Самгин, наблюдая, как из бронзового черепа синий вьется дымок.

Ротмистр снял очки, обнажив мутносерые, влажные глаза в опухших веках без ресниц, чернобородое лицо его расширилось улыбкой; он осторожно прижимал к глазам платок и говорил, разминая слова языком, не торопясь:

— Особенно и приятно порадовала меня заметочка о девчонке, которая крикнула: «Да что вы озорничаете?» И ваше рассуждение по этому поводу — очень, очень интересно!

«Вот скотина», — мысленно выругался Самгин, но выругался не злясь, а как бы по обязанности.

Он ожидал увидеть глаза черные, строгие или по крайней мере угрюмые, а при таких почти бесцветных глазах борода ротмистра казалась крашеной и как будто увеличивала благодушие его, опрощала все окружающее. За спиною ротмистра, выше головы его, на черном треугольнике — бородатое, широкое лицо Александра Третьего, над узенькой, оклеенной обоями дверью — большая фотография лысого, усатого человека в орденах, на столе, прижимая бумаги Клима, — толстая книга Сенкевича «Огнем и мечом».

— Могу я узнать — чем вызван обыск? — спросил Самгин и по тону вопроса понял, что героическое настроение, с которым он шел сюда, уже исчезло.

Ротмистр надел очки, пощупал пальцами свои сизые уши, вздохнул и сказал теплым голосом:

— Предписание из Москвы; должно быть, имеете компрометирующие знакомства.

— Обыск этот ставит меня в позицию неудобную, — заявил Самгин и тотчас же остерег себя: «Как будто я жалуюсь, а не протестую».

Ротмистр Попов всем телом качнулся вперед так, что толкнул грудью стол и звякнуло стекло лампы, он положил руки на стол и заговорил, понизив голос, причмокивая, шевеля бровями:

— Ну да, я понимаю! Разумеется, я напишу в Москву отзыв, который гарантирует вас от повторения таких — скажем — необходимых неприятностей, если, конечно, вы сами не пожелаете вызвать повторения.

Непонятным движением мускулов лица офицер раздвинул бороду, приподнял усы, но рот у него округлился и густо хохотнул:

— Хо-хо-о!

И, пальцем подвинув Самгину папиросницу, спросил очень ласково:

— Курите? А я — отчаянно, вот усы порыжели от табаку.

Усы у него были совершенно черные, даже без седых нитей, заметных в бороде.

— Отчаянно, потому что работа нервная, — объяснил он, вздохнул, и вдруг в горле его забулькало, заклокотало, а говорить он стал быстро и уже каким-то секретным тоном.

— Согласитесь, что не в наших интересах раздражать молодежь, да и вообще интеллигентный человек — дорог нам. Революционеры смотрят иначе: для них человек — ничто, если он не член партии.

Он сообщил, что пошел в жандармы по убеждению в необходимости охранять культуру, порядок.

— Ни в одной стране люди не нуждаются в сдержке, в обуздании их фантазии так, как они нуждаются у нас, — сказал он, тыкая себя пальцем в мягкую грудь, и эти слова, очень понятные Самгину, заставили его подумать:

«Вероятно, Дронов наврал о нем и его жене».

— Революционеры, батенька, рекрутируются из неудачников, — слышал Клим знакомое и убеждающее. — Не отрицаю: есть среди ник и талантливые люди, вы, конечно, знаете, что многие из них загладили преступные ошибки юности своей полезной службой государству.

Говорил он все теплее, секретней и закрыв глаза. Можно бы думать, что это говорит Варавка, изменивший свой голос.

Где-то близко зазвучал рояль с такой силой, что Самгин вздрогнул, а ротмистр, расправив пальцем дымящиеся усы, сказал с удовольствием:

— Жена, в четыре руки с дочерью.

Он шумно потянул носом, как бы внюхиваясь в музыку, — нос у него был большой, бесформенно разбухший и красноват.

— Дочь моя учится в музыкальной школе и — в восторге от лекций madame Спивак по истории музыки. Скажите, madame Спивак урожденная Кутузова?

Самгин машинально ответил;

— Она — дочь уездного предводителя дворянства, — я не знака его фамилию, а Кутузов — сын крестьянина.

— Вот как? Дворянка я — замужем за евреем, эхе-хе!

— Но ведь уже дед его был крещен, — заметил Клим, вслушиваясь в неумело разыгрываемый этюд.

— Вообще эта школа — большая заслуга вашей родительницы пред городом, — почтительно сказал ротмистр Попов и тем же тоном спросил: — А вы давно знакомы с Кутузовым?

Поняв, что надо быть осторожнее, Самгин поправился да стуле и сказал, что столовался с Кутузовым в Петербурге, в одной семье.

— Крестьянин? — вздохнул ротмистр, и, подняв руку, грозя пальцем, он выдвинул нижнюю челюсть так, что густейшая борода его поднялась почти горизонтально. И, наклонясь к Самгину через стол, он иронически продекламировал:

Простой цветочек дикойПопал в один букет с гвоздикой.

— Наивность, батенька! Еврей есть еврей, и это с него водой не смоешь, как ее ни святи, да-с! А мужик есть мужик. Природа равенства не знает, и крот петуху не товарищ, да-с! — сообщил он тихо и торжественно.

Это вышло так глупо, что Самгин не мог сдержать улыбку, а ротмистр писал пальцем одной руки затейливые узоры, а другою, схватив бороду, выжимал из нее все более курьезные слова:

— Алиансы, мезальянсы! Нет-с, природа против мезальянсов, декадансов…

Забавно было видеть, как этот ленивый человек оживился. Разумеется, он говорит глупости, потому что это предписано ему должностью, но ясно, что это простак, честно исполняющий свои обязанности. Если б он был священником или служил в банке, у него был бы широкий круг знакомства и, вероятно, его любили бы. Но — он жандарм, его боятся, презирают и вот забаллотировали в члены правления «Общества содействия кустарям».

Конечно, Дронов налгал о нем.

Но Попов внезапно, хотя и небрежно спросил:

— Вы с той поры, после Петербурга, не встречали Кутузова?

Захваченный врасплох, Самгин не торопился ответить, а ротмистр снял очки, протер глаза платком, и в глазах его вспыхнули веселые искорки.

— Не встречали? — повторил он, протирая очки. — На днях?

— Да, — сказал Клим, — я его видел. Он уже испытывал тревогу и, чтоб скрыть ее, развязно осведомился:

— Разве Кутузов считается опасным человеком? Несколько секунд, очень неприятных, ротмистр Попов рассматривал лицо Клима веселыми глазами, потом ответил ленивенькими словами:

— Вы должны знать это по случаю с братом вашим, Дмитрием. А что такое этот Иноков?

Дальнейшую беседу с ротмистром Клим не любил вспоминать, постарался забыть ее. Помнил он только дружеский совет чернобородого жандарма с больными глазами:

— Держитесь подальше от этих ловцов человеков, подальше. И — не бойтесь говорить правду.

Когда ротмистр, отпуская Клима, пожал его руку, ладонь ротмистра, на взгляд пухлая, оказалась жесткой и в каких-то шишках, точно в мозолях.

Самгин вышел на улицу подавленный, все вышло не так, как он представлял, и смутно чувствовалось, что он вел себя неумно, неловко.

«Конечно, я не сказал ничего лишнего. Да и что мог я сказать. Характеристика Инокова? Но они сами видели, как он груб и заносчив».

Туман стоял над городом, улицы наполненные сырою, пронизывающей мутью, заставили вспомнить Петербург, Кутузова. О Кутузове думалось вяло, и, прислушиваясь к думам о нем, Клим не находил в них ни озлобления, ни даже недружелюбия, как будто этот человек навсегда исчез.

На другой день Самгин узнал, что Спивак допрашивал не ротмистр, а сам генерал.

— Очень глупенький, — сказала она, быстрыми стежками зашивая в коленкор какой-то пакет, видимо — бумаги или книги, и сообщила, незнакомо усмехаясь: — Этот скромнейший статистик Смолин выгнал товарища прокурора Виссарионова из своей камеры пинком ноги.

— Как вы это узнали? — недоверчиво спросил Клим.

— Не все ли равно? — отозвалась она, не поднимая головы, и тоже спросила: — Ваш ротмистр очень интересовался Кутузовым?

— Нет, — сказал Клим.

Она медленно выпрямилась, взглянула исподлобья:

— Разве? Странно.

— Почему?

— Но ведь это он — причина их беспокойства. Пожав плечами, Самгин неожиданно для себя солгал:

— Разве вы не допускаете, что я тоже могу служить причиной беспокойства? «Поверит или нет?» — тотчас же спросил он себя, но женщина снова согнулась над шитьем, тихо и неопределенно сказав:

— Шутить — не хочется.

Видя, что Спивак настроена необщительно, прихмурилась, а взгляд ее голубых глаз холоден и необычно остр, Клим ушел, еще раз подумав, что это человек двуличный, опасный. Откуда она могла узнать о поступке статистика? Неужели она играет значительную роль в конспиративных делах?

А в городе все знакомые тревожно засуетились, заговорили о политике и, относясь к Самгину с любопытством, утомлявшим его, в то же время говорили, что обыски и аресты — чистейшая выдумка жандармов, пожелавших обратить на себя внимание высшего начальства. Раздражал Дронов назойливыми расспросами, одолевал Иноков внезапными визитами, он приходил почти ежедневно и вел себя без церемонии, как в трактире. Все это заставило Самгина уехать в Москву, не дожидаясь возвращения матери и Варавки.

В Москве он прожил половину зимы одиноко, перебирая и взвешивая в памяти все, что испытано, надумано, пытаясь отсеять нужное для него. Но все казалось ненужным, а жизнь вставала пред ним, точно лес, в котором он должен был найти свою тропу к свободе от противоречий, от разлада с самим собою. В театрах, глядя на сцену сквозь стекла очков, он думал о необъяснимой глупости людей, которые находят удовольствие в зрелище своих страданий, своего ничтожества и неумения жить без нелепых драм любви и ревности. Посещал университет, держась в стороне от студенчества, всегда чем-то взволнованного.

«Эмоциональная оппозиция», — думал он, посматривая на сверстников глазами старшего, и ему казалось, что сдержанностью и отчужденностью он внушает уважение к себе.

Профессоров Самгин слушал с той. же скукой, как учителей в гимназии. Дома, в одной из чистеньких и удобно обставленных меблированных комнат Фелицаты Паульсен, пышной дамы лет сорока, Самгин записывал свои мысли и впечатления мелким, но четким почерком на листы синеватой почтовой бумаги и складывал их в портфель, подарок Нехаевой. Не озаглавив свои заметки, он красиво, рондом, написал на первом их листе:

Человектолько тогда свободен,когда он совершенна одинок.

Писал он немного, тщательно обдумывая фразы и подчинял их одному дальновидному соображению — он не забывал, что заметки его однажды уже сослужили ему неплохую службу.

«Профессор Азбукин презирает студентов, как опытный соблазнитель наивных девиц, но не может не кокетничать с ними либерализмом», — записывал он.

«Профессор Буквин напоминает миссионера, просвещающего полуязыческую мордву. Говоря о гуманизме, он явно злится на необходимость проповедовать то, во что сам не верит».

Позаимствовав у Робинзона незатейливое остроумие, он дал профессорам глумливые псевдонимы: Словолюбов, Словотеков, Скукотворцев. Ему очень нравились краткие характеристики людей, пытавшихся белее дли менее усердно сделать из него человека такого же, как они.

«Поярков круто сворачивает к марксизму. В нем есть что-то напоминающее полуслепую, старую лошадь».

«Маракуев, после ареста, чувствует себя чиновником, неожиданно получившим орден».

Часы осенних вечеров и ночей наедине с самим собою, в безмолвной беседе с бумагой, которая покорно принимала на себя все и всякие слова, эти часы очень поднимали Самгина в его глазах. Он уже начинал думать, что из всех людей, знакомых ему, самую удобную и умную позицию в жизни избрал смешной, рыжий Томилин.

Но все чаще, вместе с шумом ветра л дождя, вместе с воем вьюг, в тепло комнаты вторгалась обессиливающая скука и гасила глумливые мысли, сгущала все их в одну.

«Почему я должен перетряхивать в себе весь этот словесный хаос? Чего я хочу?»

И пробуждалась привычка к женщине. Он, уже давно отдохнув от Лидии, вспоминал о кратком романе с нею, как о сновидении, в котором неприятное преобладало над приятным. Но, вспоминая, он каждый раз находил в этом романе обидную незаконченность и чувствовал желание отомстить Лидии за то, что она не оправдала смутных его надежд на нее, его представления о ней, и за та, что она чем-то испортила в нем вкус женщины. Он так и определял: вкус, ибо находил, что после Лидии в его отношение к женщине вошло что-то горькое, едкое. Несколько встреч с Варварой убедили его в этом. Он встретил ее в первый же месяц жизни в Москве, и, хотя эта девица была не симпатична ему, он был приятно удивлен радостью, которую она обнаружила, столкнувшись с ним в фойе театра.

— Как не стыдно! — воскликнула она, держа его руку. — Приехал и — глаз не кажет, злодей!

Одетая, как всегда, пестро и крикливо, она говорила так громко, как будто все люди вокруг были ее добрыми знакомыми и можно не стесняться их. Самгин охотно проводил ее домой, дорогою она рассказала много интересного о Диомидове, который, плутая всюду по Москве, изредка посещает и ее, о Маракуеве, просидевшем в тюрьме тринадцать дней, после чего жандармы извинились пред ним, о своем разочаровании театральной школой. Огромнейшая Анфимьевна встретила Клима тоже радостно.

— Ой, как похорошел, совсем — мужчина! И бородка на месте.

Очень скоро у Самгина сложилось отношение к Варваре, забавлявшее его. Она похудела, у нее некрасиво вытянулась шея, а лицо стало маленьким и узким оттого, что она, взбивая жестковатые волосы свои, сделала себе прическу женщины из племени кафров. Дома она одевалась в какие-то хитоны с широкими рукавами, обнажавшими руки до плеч, двигалась скользящей походкой, раскачивая узкие бедра, и, очевидно, верила, что это у нее выходит красиво. Говорила несколько в нос, сильно, по-московски подчеркивая звук а. Она казалась еще более искаженной театральностью и более смешной в ее преклонении пред знаменитыми женщинами. Забавно было наблюдать колебание ее симпатии между madame Рекамье и madame Ролан, портреты той и другой поочередно являлись на самом видном месте среди портретов других знаменитостей, и по тому, которая из двух француженок выступала на первый план, Самгин безошибочно определял, как настроена Варвара: и если на видном месте являлась Рекамье, он говорил, что искусство — забава пресыщенных, художники — шуты буржуазии, а когда Рекамье сменяла madame Ролан, доказывал, что Бодлер революционнее Некрасова и рассказы Мопассана обнажают ложь и ужасы буржуазного общества убедительнее политических статей. Он сознавал, что его доводы неостроумны, насмешки грубоваты и плохо замаскированы, но это не смущало его.

Варвара слушала, покусывая свои тонкие, неяркие губы, прикрыв зеленоватые глаза ресницами, она вытягивала шею и выдвигала острый подбородок, как будто обиженно и готовясь возражать, но — не возражала, а лишь изредка ставила вопросы, которые Самгин находил глуповатыми и обличавшими ее невежество. И все более часто она, вздыхая, говорила:

— Какой вы сложный, неуловимый! Трудно привыкнуть к вам. Другие, рядом с

вами, — точно оперные певцы: заранее знаешь все, что они будут петь.

В искренность ее комплиментов Самгин остерегался верить, подозревая, что хотя Варвара и не умна, но играет роль, забавляющую ее так же, как забавляется он, издеваясь над нею.

Почти каждый раз Клим встречал у нее Маракуева. Веселый студент вел себя, как дома, относился к Варваре с фамильярностью влюбленного, который совершенно уверен, что ему платят взаимностью. Они говорили друг другу ты, но что-то мешало Климу думать, что они уже любовники. Они были так резко различны, что Клим оценивал их близость как недоразумение. На его взгляд, Варвара должна бы вносить в эту дружбу нечто крикливое, драматическое и в то же время сентиментальное, а он видел, что и Маракуев и она придают отношениям своим характер легкой комедии.

Маракуев был все так же размашист, оживлен, легко и сильно горячился, умел говорить страстно и гневно; было не заметно, чтоб пережитое им в день ходынской катастрофы отразилось на его характере, бросило на него тень, как на Пояркова. Этот омрачнел, опустил голову, утратил свою книжность, уже не говорил рублеными фразами и вообще как-то скрипел, точно надломленный. Он отращивал бороду из серых, прямых, как иголки, волос, и это состарило его лет на десять. Появлялся он у Варвары изредка, ненадолго, уже не играл на гитаре, не пел дуэты с Маракуевым.

— Предпочитаю изучать немецкий язык, — ответил он Самгину на вопрос о гитаре, — ответил почему-то сердитым тоном.

Клим был очень неприятно удивлен, узнав, что в комнате, где жила Лидия, по воскресеньям собирается кружок учеников Маракуева.

«Однако от этого трудно отойти», — подумал он, нахмурясь. Но в нем было развито любопытство человека, который хочет не столько понять людей, как поймать их на какой-то фальшивой игре. И беспокойная сила этого любопытства заставила Самгина познакомиться с пропагандой Маракуева и учениками его. Среди них оказался знакомый рабочий Дунаев, с его курчавой бородой и неугасимой улыбочкой. Он, как бы для контраста с собою, приводил слесаря Варакcина, угрюмого человека с черными усами на сером, каменном лице и е недоверчивым взглядом темных глаз, глубоко запавших в глазницы. Осторожно входил чистенько одетый юноша, большеротый, широконосый, с белесыми бровями; карие глаза его расставлены далеко один от другого; ко одинаково удивленно смотрят в разные стороны, хотя назвать их косыми — нельзя. Являлся женоподобно красивый иконописец из мастерской Рогожина Павел Одинцов и лысоватый, непоседливый резчик по дереву Фомин, человек неопределенного возраста, тощий, с лицом крысы, с волосатой бородавкой на правой щеке и близоруко прищуренными, но острыми глазами.

Ненужно согнувшись, входил Дьякон. Он коротко, в кружок, обрезал волосы и подстриг тройную свою бороду так, что из трех получилась одна клинообразная и длинная. Обнаженное лицо его совершенно утратило черту, придававшую ему сходство со множеством тех суздальских лиц, которые, сливаясь в единое лицо, создают образ неискоренимого, данного навсегда русского человека. Он забывал, что боковые бороды его острижены, и, нередко, искал их, шевеля пальцами в воздухе, от уха к подбородку. В изношенной поддевке и огромных, грубой кожи, сапогах, он стал еще более похож на торговца старьем.

Во всех этих людях, несмотря на их внешнее различие, Самгин почувствовал нечто единое и раздражающее. Раздражали они грубоватостью и дерзостью вопросов, малограмотностью, одобрительными усмешечками в ответ на речи Маракуева. В каждом из них Самгин замечал нечто анекдотическое, и, наконец, они вызывали впечатление людей, уже оторванных от нормальной жизни, равнодушно отказавшихся от всего, во что должны бы веровать, во что веруют миллионы, таких, как они.

Клим вспомнил, что Лидия с детства и лет до- пятнадцати боялась летучих мышей; однажды вечером, когда в сумраке мыши начали бесшумно мелькать над садом и двором, она сердито сказала;

— Мыши не смеют летать!

— Это ведь не те, которые живут под полом, — объяснил он ей, но маленькая подруга его, строптиво топнув ногой, закричала:

— Молчи! Всякие мыши не смеют летать! Когда эти серые люди, неподвижно застыв, слушали Маракуева, в них являлось что-то общее с летучими мышами: именно так неподвижно и жутко висят вниз головами ослепленные светом дня крылатые мыши в темных уголках чердаков, в дуплах деревьев.

Строгая, чистая комната Лидии пропитана запахом скверного табака и ваксы; от сапогов Дьякона пахнет дегтем, от белобрысого юноши — помадой, а иконописец Одинцов источает запах тухлых яиц. Люди так надышал», что огонь лампы горит тускло и, в сизом воздухе, размахивая руками, Маракуев на все лады произносит удивительно емкое, в его устах, слово:

— Народ, народ!

Он — в углу, слева от окна, плотно занавешенного куском темной материи, он вскакивает со стула, сжав кулаки, разгребает руками густой воздух, грозит пальцем в потолок, он пьянеет от своих слов, покачивается и, задыхаясь, размахнув руками, стоит несколько секунд молча и точно распятый. Его очень русское лицо «удалого добра молодца» сказки очень картинно, и говорит он так сказочно, что минуту, две даже Клим Самгин слушает его внимательно, с завистью к силе, к разнообразию его чувствований. Гнев и печаль, вера и гордость посменно звучат в его словах, знакомых Климу с детства, а преобладает в них чувство любви к людям; в искренности этого чувства Клим не смел, не ног сомневаться, когда видел это удивительно живое лицо, освещаемое изнутри огнем веры. Потаят про себя Самгин все-таки называл огонь этот бенгальским, а речи Маракуева — фейерверком.

Люди слушали Маракуева подаваясь, подтягиваясь к нему; белобрысый юноша сидел открыв рот, и в светлых глазах его изумление сменялось страхом. Павел Одинцов смешно сползал со стула, наклоняя тело, но подняв голову, и каким-то пьяным или сонным взглядом прикованно следил за игрою лица оратора. Фомин, зажав руки в коленях, смотрел под ноги себе, в лужу растаявшего снега.

А Дунаев слушал, подставив ухо на голос оратора так, как будто Маракуев стоял очень далеко от него; он сидел на диване, свободно развалясь, положив руку на широкое плечо угрюмого соседа своего, Вараксина. Клим отметил, что они часто и даже в самых пламенных местах речей Маракуева перешептываются, аскетическое лицо слесаря сурово морщится, он сердито шевелит усами; кривоносый Фомин шипит на них, толкает Вараксина локтем, коленом, а Дунаев, усмехаясь, подмигивает Фомину веселым глазом.

Самгин подозревал, что, кроме улыбчивого и, должно быть, очень хитрого Дунаева, никто не понимает всей разрушительности речей пропагандиста. К Дьякону Дунаев относился с добродушным любопытством и снисходительно, как будто к подростку, хотя Дьякон был, наверное, лет на пятнадцать старше его, а все другие смотрели на длинного Дьякона недоверчиво и осторожно, как голуби и воробьи на индюка. Дьякон больше всех был похож на огромного нетопыря.

Однажды, после того, как Маракуев устало замолчал и сел, отирая пот с лица, Дьякон, медленно расправив длинное тело свое, произнес точно с амвона:

— Как священноцерковнослужитель, хотя и лишенный сана, — о чем не сожалею, — и как отец честного человека, погибшего от любви к людям, утверждаю и свидетельствую: все, сказанное сейчас, — верно! Вот — послушайте!

И, крякнув, он начал басом:

— «То, что прежде, в древности, было во всеобщем употреблении всех людей, стало, силою и хитростию некоторых, скопляться в домах у них. Чтобы достичь спокойной праздности, некие люди должны были подвергнуть всех других рабству. И вот, собрали они в руки своя первопотребные для жизни вещи и землю также и начали ехидно пользоваться ими, дабы удовлетворить любостяжание свое и корысть свою. И составили себе законы несправедливые, посредством которых до сего дня защищают свое хищничество, действуя насилием и злобою».

Подняв руку, как бы присягу принимая, он продолжал:

— Сии слова неотразимой истины не я выдумал, среди них ни одного слова моего — нет. Сказаны и написаны они за тысячу пятьсот лет до нас, в четвертом веке по рождестве Христове, замечательным мудрецом Лактанцием, отцом христианской церкви. Прозван был этот Лактанций Цицероном от Христа. Слова его, мною произнесенные, напечатаны в сочинениях его, изданных в Санктпетербурге в тысяча восемьсот сорок восьмом году, и цензурованы архимандритом Аввакумом. Стало быть — книга, властями просмотренная, то есть пропущенная для чтения по ошибке. Ибо: главенствующие над нами правду пропускают в жизнь только по ошибке, по недосмотру.

Усилив голос, он прибавил:

— Повторяю: значит, — сообщил я вам не свою, а древнюю и вечную правду, воскрешению коей да послужим дружно, мужественно и не щадя себя.

Он согнулся, сел, а Дунаев, подмигнув Вараксину, сказал:

— Марксист был Лактанцев этот, а?

— Ну, и что ж? — спросил Дьякон. — Значит, Марксово рождение было предугадано за полторы тысячи лет.

— А — практика, практика-то какая, отец? — спрашивал Дунаев, поблескивая глазами; Дьякон густо сказал:

— Об этом — думайте.

Встряхнулся Одинцов и сиплым голосом выговорил:

— Оружие надо, а — где оружие возьмем? Он мигает, как будто только что проснулся, глаза у него — точно у человека с похмелья или страдающего бессонницей. Белобрысый парень сморкается оглушительным звуком медной трубы и, сконфуженно наклонясь, прячет лицо в платок.

Отдохнувший Маракуев начал говорить, а Климу было приятно, что к проповеди Дьякона все отнеслись с явным равнодушием.

— Нам необходима борьба за свободу борьбы, за право отстаивать человеческие права, — говорит Маракуев: разрубая воздух ребром ладони. — Марксисты утверждают, что крестьянство надобно загнать на фабрики, переварить в фабричном котле…

— Это тебя не касается, — глухо и грубо ворчит Дьякон, отклоняясь от соседа своего, белобрысого парня.

Маракуев уже кончил критику марксистов, торопливо нажимает руки уходящих, сует руку и Дьякону, но тот, прижимая его к стене, внушительно советует;

— Вы, товарищ Петр, скажите этому курносому, чтоб он зря не любопытствовал, не спрашивал бы: кто, откуда и чей таков? Что он — в поминанье о здравии записать всех вас хочет? До приятнейшего свидания!

Согнувшись, он вылезает за дверь, а Маракуев и Клим идут пить чай к Варваре.

Она, прикрыв глаза ресницами, с недоумением, которое кажется Самгину фальшивым, говорит:

— Революционер для меня поэт, Уриэль Акоста, носитель Прометеева огня, а тут — Дьякон!

— Наивно, Варёк, — сказал Маракуев, смеясь, и напомнил о пензенском попе Фоме, пугачевце, о патере Александре Гавацци, но, когда начал о духовенстве эпохи крестьянских войн в Германии, — Варвара капризно прервала его поучительную речь:

— В Дьяконе есть что-то смешнее. А у другого — кривой нос, и, конечно, это записано в его паспорте, — особая примета. Сыщики поймают его за нос.

Маракуев снова засмеялся, а Клим сказал:

— Да, революционер должен быть безличен. — Он хотел сказать иронически, а вышло — мрачно.

— Это уж нечто от марксизма, — подхватил Маракуев, готовый спорить, но, так как Самгин промолчал, глядя в стакан чая, он, потирая руки, воскликнул:

— Просыпается Русь!

— И, взбивая вихрастые волосы, продекламировал двустишие Берга:

На святой Руси петухи поют, —Скоро будет день на святой Руси!

«А мелеет быть, Русь только бредит во сне?» — хотел спросить Клим, но не спросил, взглянув да сияющее лицо Маракуева и чувствуя, что этого петуха не смутишь скептицизмом.

Запрокинув голову, некрасиво выгнув кадык, Варвара сказала тоном вызова:

— Я не знаю, может быть, это верно, что Русь просыпается, но о твоих учениках ты, Петр, говоришь смешно. Так дядя Хрисанф рассказывал о рыбной ловле: крупная рыба у него всегда срывалась с крючка, а домой он приносил костистую мелочь, которую нельзя есть.

Самгин взглянул, на Маракуева с усмешкой и ожидая, что он обидится, но студент только расхохотался.

В одно из воскресений Клим застал у Варвары Дьякона, — со вкусом прихлебывая чай, он внимательно, глазами прилежного ученика слушал хвалебную речь Маракуева «Историческим письмам» Лаврова. Но, когда Маракуев кончил, Дьякон, отодвинув пустой, стакан, сказал, пытаясь смягчить свой бас:

— От юности моея, еще от семинарии питаю недоверие к премудрости книжной, хотя некоторые светские сочинения, — романы, например, — читывал и читаю не без удовольствия. Вообще же, по мнению моему, допускаю — неправильному, книга есть подобие костыля. Кощунственным отношением к человеку вывихнули душу ему и вот сунули под мышку церковную книжицу: ходи, опираясь на оную, по путям, предуказанным тебе нами, мудрыми. Ходим десятки веков и всё — не туда. Нет, все книги требуют проверки. Светские — тоже, ибо и они — извините слово — провоняли церковностью, церковность же есть стеснение духа человеческого ради некоего бога, надуманного во вред людям, а не на радость им.

— Разве вы не верите в бога? — спросила Варвара почему-то с радостью.

— В бога, требующего теодицеи, — не могу верить. Предпочитаю веровать в природу, коя оправдания себе не требует, как доказано господином Дарвином. А господин Лейбниц, который пытался доказать, что-де бытие зла совершенно совместимо с бытием божиим и что, дескать, совместимость эта тоже совершенно и неопровержимо доказуется книгой Иова, — господин Лейбниц — не более как

чудачок немецкий. И прав не он, а Гейнрих Гейне, наименовав книгу Иова «Песнь песней скептицизма».

Дьякон шумно, всей емкостью легких вздохнул, водянистые глаза его сурово выкатились и как будто вспыхнули белым огнем:

— Сын мой, покойник, написал небольшое сочинение, опровергающее Лейбница и вообще всякую теодицею, как сугубую ересь и вреднейшую попытку примирить непримиримое.

Самгин видел, что Маракуеву тоже скучно слушать семинарскую мудрость Дьякона, студент нетерпеливо барабанил пальцами по столу, сложив губы так, как будто хотел свистнуть. Варвара слушала очень внимательно, глаза ее были сдвинуты в сторону философа недоверчиво и неприязненно. Она шепнула Климу:

— Какое мстительное лицо.

А Дьякон точно с горы шагал, крепким басом, густо рассказывая об Ормузде и Аримане, о Ваале и о том, что:

— Многое, наименованное, злом, есть по существу своему только сопротивление злу, от ненависти к нему истекающее.

Бесконечную речь его пресек Диомидов, внезапно и бесшумно появившийся в дверях, он мял в руках шапку, оглядываясь так, точно попал в незнакомое место и не узнает людей. Маракуев очень, но явно фальшиво обрадовался, зашумел, а Дьякон, посмотрев на Диомидова через плечо, произнес, как бы ставя точку:

— Вот.

Молча пожав руку Диомидова, Клим спросил Дьякона: бывает ли он у Лютова?

— Как же. Но — не часто.

— Пьет он?

— Очень. А меня, после кончины сына моего, отвратило от вина. Да, и обидел меня его степенство — позвал в дворники к себе. Но, хотя я и лишен сана, все же невместно мне навоз убирать. Устраиваюсь на стеклянный завод. С апреля.

Самгин, находя, что он исполнил долг вежливости по отношению к Дьякону, отвернулся от него, рассматривая Диомидова.

Тот снова отрастил до плеч свои ангельские кудри, но голубые глаза его помутнели, да и весь он выцвел, поблек, круглое лицо обросло негустым, желтым волосом и стало длиннее, суше. Говоря, он пристально смотрел в лицо собеседника, ресницы его дрожали, и казалось, что чем больше он смотрит, тем хуже видит. Он часто и осторожно гладил правой рукою кисть левой и переспрашивал:

— Как это вы сказали?

Говорить он стал громче, смелее, но каким-то читающим тоном, а сидел так напряженно прямо, как будто ожидал, что вот сейчас кто-то скомандует ему:

«Встань!»

Варвара рассказывала, что он по недосмотру ее вошел в комнату Лидии, когда Маракуев занимался там с учениками, — вошел, но тотчас же захлопнул дверь и потом сердито спросил Варвару:

— Зачем же вы туда людей пускаете? Накоптят они там, навоняют табачищем, жить нельзя будет.

В другой раз, поглядев на фотографии и гравюры, он осведомился:

— А где Лидии Тимофеевны портрет? Варвара сказала, что Лидия Варавка ничем еще не знаменита, тогда он заявил:

— Знаменитостей и не надобно, от них, как от полицейских, только стеснение. И, вздохнув, прибавил:

— И — неизвестно, может, Лидия Тимофеевна тоже в знаменитые попадет.

Сейчас, выпив стакан молока, положив за щеку кусок сахара, разглаживая пальцем негустые, желтенькие усики так, как будто хотел сковырнуть их, Диомидов послушал беседу Дьякона с Маракуевым и с упреком сказал:

— Вы — все про это, эх вы! Как же вы не понимаете, что от этого и горе — оттого, что заманиваем друг друга в семью, в родню, в толпу? Ни церкви, ни партии — не помогут вам…

— А ты, Семен, все-таки в сектанты лезешь, — насмешливо оборвал Дьякон его речь и посоветовал: — Ты бы молока пил побольше, оно тебе полезнее.

Диомидов рассердился, побледнел и, мигая, встряхнул волосами, — таким Самгин еще не видел его.

— Единство — в одном! — сиповато крикнул он, показывая Дьякону палец. — Дьякон угрюмо ответил:

— Растопырив пальцы — за горло не схватишь.

— Во множестве единства не бывает, не будет! Никогда. Напрасно загоняете в грех.

Маракуев смеялся, Варвара тоже усмехалась небрежненькой и скучной усмешкой, а Самгин вдруг почувствовал, что ему жалко Диомидова, который, вскочив со стула, толкая его ногою прочь от себя, прижав руки ко груди, захлебывался словами:

— Арестантов гнали на вокзал… кандалы звенели, да! Вот и вы — тоже… кандалы куете! Душу заковать хотите.

— Какая ерунда, — сердито крикнул Маракуев, а Диомидов, отскочив от стола, быстро нашел к двери — и на пороге повторил, оглянувшись через плечо:

— Великий грех против души… покаетесь!

— Не из тучи гром, — пробормотал Дьяков, жестко посмотрев вослед ушедшему, и подвинул пустой стакан нахмурившейся Варваре.

— Напрасно вы дразните его всегда, — сказала она.

— Имею основание, — отозвался Дьякон и, гулко крякнув, поискал пальцами около уха остриженную бороду. — Не хотел рассказывать вам, но — расскажу, — обратился он к Маракуеву, сердито шагавшему по комнате. — Вы не смотрите на него, что он такой якобы ничтожный, он — вредный, ибо хотя и слабодушен, однако — может влиять. И — вообще… Через подобного ему… комара сын мой излишне потерпел.

Все неведение Дьякона и особенно его жесткая, хотя и окающая речь возбуждала у Самгина враждебное желание срезать этого нелепого человека какими-то сильными агатами.

— Дён десяток тому назад юродивый парень этот пришел ко мне и начал увещевать, чтоб я отказался от бесед с рабочими и вас, товарищ Петр, к тому же склонил. Не поняв состояния его ума, я было начал говорить с ним серьезно, но он упал, — представьте! — на колени предо мной и продолжал увещания со стоном и воплями, со слезами — да! И был подобен измученной женщине, которая бы

умоляла мужа своего не пить водку. Говорил, конечно, то же самое: что стремление объединить людей вокруг справедливости ведет к погибели человека. И вопил, что революционеров надобно жечь на кострах, прах же их пускать по ветру, как было поступлено с прахом царя Дмитрия, именуемого Самозванцем.

Дьякон взволновался до того, что на, висках и на лбу выступил пот, а глаза выкатились и неестественно дрожали.

«Какое отвратительное лицо», — подумал Самгин. Вздыхая, как уставшая лошадь, запахивая на коленях поддевку, как он раньше запахивал подрясник, Дьякон басил все более густо.

— Потряс он меня до корней души. Ночевал и всю ночь бредословил, как тифозный. Утром же просил прощения и вообще как бы устыдился. Но…

Дьякон положил руки на стол, как на клавиши рояля, и сказал тихо, как мог:

— Но — сообразите! Ведь он вот так же в бредовом припадке страха может пойти в губернское жандармское управление и там на колени встать…

Клим Самгин внутренне усмехнулся; забавно было видеть, как рассказ Дьякона взволновал Маракуева, — он стоял среди комнаты, взбивая волосы рукою, щелкал пальцами другой руки и, сморщив лицо, бормотал:

— Ах, чорт возьми! Вот ерунда! Как же быть? Что ж вы молчали?

Варвара, взглянув на Клима, храбро сообщила:

— Кухарка Анфимьевна в прекрасных отношениях с полицией…

— Кухарка тут не поможет, а надобно место собраний переменить, — сказал Дьякон и почему-то посмотрел на хозяйку из-под ладони, как смотрят на предмет отдаленный и неясный.

Самгин не без удовольствия замечал: Варваре — скучно. Иногда, слушая Дьякона или Маракуева, она, отвернувшись, морщит хрящеватый нос, сжимает тонкие ноздри, как бы обоняя неприятный запах. И можно думать, что она делает это намеренно, так, чтобы Клим заметил ее гримасы. А после каких-то особенно пылких слов Маракуева она невнятно пробормотала о «воспаления печени от неудовлетворенной любви к народу» — фразу, которая показалась Самгину знакомой, он как будто читал ее в одном из грубых фельетонов Виктора Буренина.

Идя домой, он думал, что Маракуева, наверное, скоро снова арестуют, да, вероятно, и Варваре не избежать этого, а это может толкнуть ее еще ближе к революционерам.

«Вот так увеличивают они количество людей, сочувствующих и помогающих им, в сущности, — невольно. Что-нибудь подобное случилось и с Елизаветой Спивак».

Он решил не посещать Варвару, находя, что его любопытство вполне удовлетворено.

В тихой, темной улице его догнал Дьякон, наклонился, молча заглянул в его лицо и пошел рядом, наклонясь, спрятав руки в карманы, как ходят против ветра. Потом вдруг спросил, говоря прямо в ухо Самгина:

— Вы случайно не знаете: где теперь Степан Кутузов? Клим неприятно повел плечом и зашагал быстрее, ответив:

— Он арестован.

Уйти от Дьякона было трудно, он стал шагать шире, искоса снова заглянул в лицо и сказал напоминающим тоном:

— Его выпустили на поруки.

— Не знаю, где он, — пробормотал Самгин, оглядываясь — куда свернуть? Но переулка не было, а Дьякон говорил:

— Так вот как: сжечь и — пепел по ветру, слышали? Да. А глазенки — детские. Не угодно ли? Дарвин-то — неопровержим, а?

«При чем тут Дарвин, идиот?» — мысленно крикнул Самгин, а вслух сказал суховато, но вежливо:

— Я знал женщину, которая сошла с ума на Дарвине.

— Можно, — согласился Дьякон, качнув головою. — Дарвина я в семинарии опровергал, — задумчиво вспомнил он. — Была такая задача: опровергать Дарвина. Опровергали.

— А зачем вам Кутузов? — спросил Самгин, не надеясь на ответ, но Дьякон ответил:

— Он был единоверен с моим сыном и вообще…

— Мае — сюда! — сказал Клим, остановясь на углу переулка. Дьякон протянул ему свою длинную руку, левой рукою дотронулся до шляпы и пожелал:

— Всего доброго.

Почти весь день лениво падал снег, и теперь тумбы, фонари, крыши были покрыты пуховыми чепцами. В воздухе стоял тот вкусный запах, похожий на запах первых огурцов, каким снег пахнет только в марте. Медленно шагая по мягкому, Самгин соображал:

«Эти люди чувствуют меня своим, — явный признак их тупости… Если б я хотел, — я, пожалуй, мог бы играть в их среде значительную роль. Донесет ли на них Диомидов? Он должен бы сделать это. Мне, конечно, не следует ходить к Варваре».

Думая, он видел пред собою разнообразные лица учеников Маракуева; лицо Дьякона было наиболее антипатичным.

«Почти старик уже. Он не видит, что эти люди относятся к нему пренебрежительно. И тут чувствуется глупость: он должен бы для всех этих людей быть ближе, понятнее студента». И, задумавшись о Дьяконе, Клим впервые спросил себя: не тем ли Дьякон особенно неприятен, что он, коренной русский церковник, сочувствует революционерам?

Незадолго до этого дня пред Самгиным развернулось поле иных наблюдений. Он заметил, что бархатные глаза Прейса смотрят на него более внимательно, чем смотрели прежде. Его всегда очень интересовал маленький, изящный студент, не похожий на еврея спокойной уверенностью в себе и на юношу солидностью немногословных речей. Хотелось понять: что побуждает сына фабриканта шляп заниматься проповедью марксизма? Иногда Прейс, состязаясь с Маракуевым и другими народниками в коридорах университета, говорил очень странно:

— Вспомните, что русский барин Герцен угрожал царю мужицким топором, а затем покаянно воскликнул по адресу царя: «Ты победил, Галилеянин!» Затем ему пришлось каяться в том, что первое покаяние его было преждевременно и наивно. Я утверждаю, что наивность — основное качество народничества; особенно ясно видишь это, когда народники проповедуют пугачевщину, мужицкий бунт.

Фразы этого тона Прейс говорил нередко, и они всё обостряли любопытство Самгина к сыну фабриканта. Как-то, после лекции, Прейс предложил Климу:

— Пойдемте ко мне, побеседуем?

Жил Прейс на тихой улице во втором этаже небольшого особняка. Улица была типично московская, деревянная, а этот недавно оштукатуренный особняк казался туго накрахмаленным щеголем, как бы случайно попавшим в ряд стареньких, пестрых домиков. Тяжелую, дубовую дверь крыльца открыла юная горничная в белом переднике и кружевной наколке на красиво причесанной голове. Клим ожидал, что жилище студента так же благоустроено, как сам Прейс, но оказалось, что Прейс живет в небольшой комнатке, окно которой выходило на крышу сарая; комната тесно набита книгами, в углу — койка, покрытая дешевый байковым одеялом, у двери — трехногий железный умывальник, такой же, какой был у Маргариты. Несоответствие франтоватой прислуги с аскетической обстановкой этой комнаты настроило Самгина подозрительно и тревожно.

Чай подала другая горничная, маленькая, толстая, с рябым красным лицом и глупо вытаращенными глазами.

— А лимону — нету, — сказала она с явным удовольствием.

Прейс начал беседу вопросом:

— Говорят — у вас был обыск?

— Да... Недоразумение, — ответил Самгин и выслушал искусный комплимент за сдержанность, с которой он относится к словесным битвам народников с марксистами, — «Битвам не более ожесточенным», — признал Прейс, потирая свои тонкие ладони, похрустывая пальцами. Он тотчас же с легкой иронией прибавил:

— Но ведь мальчики в бабки и обыватели в преферанс играют тоже весьма ожесточенно.

Клим улыбнулся, внимательно следя за мягким блеском бархатных глаз; было в этих глазах нечто испытующее а в тоне Прейса он слышал и раньше знакомое ему сознание превосходства учителя над учеником. Вспомнились слова какого-то антисемита из «Нового времени»: «Аристократизм древней расы выродился у евреев в хамство».

«К Прейсу это не идет, но в нем сильно чувствуется чужой человек», — подумал Самгин, слушая тяжеловатые, книжные фразы. Прейс говорил о ницшеанстве, как реакции против — марксизма, — говорят вполголоса, как бы сообщая тайны, известные только ему.

— Проблемы индивидуального бытия наиболее резко выявляются именно в трагические эпохи смены одного класса другим.

Смугловатое лицо его было неподвижно, только густые, круто изогнутые брови вздрагивали, когда он иронически подчеркивал то или иное слово. Самгин молчал, утвердительно кивая головою лам, где этого требовала вежливость, и терпеливо ожидал, когда маленький, упругий человечек даст понять: чего он хочет?

— Мы видим, что в Германии быстро создаются условия для перехода к социалистическому строю, без катастроф, эволюционно, — говорил Прейс, оживляясь и даже как бы утешая Самгина. — Миллионы голосов немецких рабочих, бесспорная культурность масс, огромное партийное хозяйство, — говорил он, улыбаясь хорошей улыбкой, и все потирал руки, тонкие пальцы его неприятно щелкали. — Англосаксы и германцы удивительно глубоко усвоили идею эволюции, это стало их органическим свойством.

— О, да, — сказал Самгин.

Все, что говорил Прейс, было более или менее знакомо из книг, доводы и выводы которых хотя и были убедительны, но — не нужны Самгину. В черненькой паутине типографского шрифта он прозревал и чувствовал такое же посягательство на свободу его мысли и воли, какое слышал в речах верующих людей. Он соглашался, что Август Бебель прав, но находил, что Евгений Рихтер ближе к простой истине,

которую так хорошо чувствует, поэтически излагает скромненький историк Козлов. Железная метла логики Маркса тоже правдива, сокрушительно правдива, но ведь правдиво и евангелие, которое Иноков озорниковато, а в сущности метко уравнял с книгой «Хороший тон». И вот: раньше — хорошим тоном считалось «народничество», а ныне претендует на эту роль марксизм. Сузив понятие «народ» до понятия «рабочий класс», марксизм тоже требует «раствориться в массах», как этого требовали: толстовец, переодетый мужикам, писатель Катин, дядя Яков. Брат Дмитрий уже «растворился». В сущности, все это сводится к необъяснимому желанию сделать человека Исааком, жертвой, наконец — лошадью, которая должна тащить куда-то тяжкий воз истории. Слушая все более оживленную и уже горячую речь Прейса, Клим не возражал ему, понимая, что его, Самгина, органическое сопротивление идеям социализма требует каких-то очень сильных и веских мыслей, а он все еще не находил их в себе, он только чувствовал, что жить ему было бы значительно легче, удобнее, если б социалисты и противники их не существовали. Он не находил в себе и силы решительно заявить:

«Не хочу играть роль Исаака, найдите барана!»

И, наконец, его смущало, что в часы, как этот час, требовавшие от него наиболее точной самооценки, он чувствовал себя каким-то консервативным анархистом или анархистически настроенным консерватором, а это уж было настолько своеобразно, что он переставал понимать себя.

Он ушел от Прейса, скрыв свое настроение под личиной глубокой задумчивости человека, который только что ознакомился с мудростью, неведомой ему до этого дня во всей ее широте и глубине. Прейс очень дружески предложил:

— Приходите в воскресенье, познакомлю с интересными людями.

Самгин решил, что в воскресенье он не придет. Но уже по дороге домой он рассердился на себя: до какой поры будет он скрывать свое истинное я? Каково бы оно ни было, оно — есть. Нет, он, конечно, пойдет к Прейсу и покажет там, что он уже перерос возраст ученика и у него есть своя правда, — правда человека, который хочет и может быть независимым. В течение двух дней он внимательно просмотрел подарок Козлова: книгу Радищева, — лондонское издание Герцена в одном томе с сочинением князя Щербатова «О повреждении нравов в России», — Данилевского «Россия и Европа», антисоциалиста Ле-Бона «Социализм», заглянул и в книжки Ницше. Это — все, что было у него под рукою, но он почувствовал себя достаточно вооруженным и отправился к Прейсу, ожидая встретить в его «интересных людях» людей, подобных ученикам Петра Маракуева.

Франтоватая горничная провела его в комнату, солидно обставленную мебелью, обитой кожей, с большим письменным столом у окна; на столе — лампа темной бронзы, совершенно такая же, как в кабинете Варавки. Два окна занавешены тяжелыми драпировками, зеленоватый сумрак комнаты насыщен запахом сигары.

Сигару курил, стоя среди комнаты, студент в сюртуке, высокий, с кривыми ногами кавалериста; его тупой, широкий подбородок и бритые щеки казались черными, густые усы лихо закручены; он важно смерил Самгина выпуклыми, белыми глазами, кивнул гладко остриженной, очень круглой головою и сказал басом:

— Стратонов.

Другой студент, плотненький, розовощекий, гладко причесанный, сидел в кресле, поджав под себя коротенькую ножку, он казался распаренным, как будто только что пришел из бани. Не вставая, он лениво протянул Самгину пухлую детскую ручку и вздохнул:

— Тагильский.

— Очень рад, — сказал третий, рыжеватый, костлявый человечек в толстом пиджаке и стоптанных сапогах. Лицо у него было неуловимое, украшено реденькой золотистой бородкой, она очень беспокоила его, он дергал ее левой рукою, и от

этого толстые губы его растерянно улыбались, остренькие глазки блестели, двигались мохнатенькие брови. Четвертым гостем Прейса оказался Поярков, он сидел в углу, за шкафом, туго набитым книгами в переплетах.

А Прейс — за столом, положив на него руки, вытянув их так, как будто он — кучер и управляет невидимой лошадью. От зеленого абажура лампы лицо его казалось тоже зеленоватым.

Подождав, когда Самгин нашел себе место, молодцеватый студент сказал:

— Итак, — быстрый рост нашей промышленности — факт…

— Ну, да, да, но — разве я об этом? — подскочив на диване, замахал руками, закричал рыженький надтреснутым голосом.

— Я говорю: нация, не сознающая своей индивидуальности, еще не нация — вот что!

И, съехав на край дивана, сидя в неудобной позе, придав своему лицу испуганное выражение, он минут пять брызгал во все стороны словами, связь которых Клим не фазу мог уловить.

— В славянофильстве, народничестве, даже в сектантстве нашем есть поиск, — говорил он в угол, где никого не было, и тотчас же порывисто обратился в сторону Прейса, протянул ему вздрагивающую руку:

— Вот: в Англии — трэд-юнионы, Франция склоняется к синдикализму, социал-демократия Германии глубоко государственна и национальна, а — мы? А — что будет у нас? Я — вот о чем!

Прейс очень невнятно сказал что-то о преждевременности поставленного вопроса, тогда рыженький вскочил с дивана, точно подброшенный пружинами, перебежал в угол, там с разбега бросился в кресло и, дергая бородку, оттягивая толстую, но жидкую губу, обнажая мелкие, неровные зубы и этим мешая себе говорить, продолжал:

— Но — как же? Как же преждевременно? Генеральные штабы задолго до войны…

Высокий студент, несколько небрежно уступивший ему дорогу, когда он бежал в угол, сел на диван, на его место, и строго сказал:

— О войне никто не думает…

— Думают! — не уступал рыженький. — Я — знаю! Там, в Швейцарии, в Париже…

Тагильский встал, мягкой походкой кота подошел к нему, присел на ручку кресла и что-то пошептал в подставленное рыженьким ухо.

— Ага! Конечно. Да, да, — бормотал рыженький, кивая растрепанной головою.

Своей раздерганностью он напомнил- Климу Лютова. Поярков, согнувшись, поставив локти на колени, молчал, только один раз он ворчливо заметил Стратонову:

— Классификация фактов — дело полезное, если за ним не скрывается попытка примирить непримиримые противоречия.

Климу показалось, что Прейс взглянул в его сторону неодобрительно и что вообще в этой комнате Прейс ведет себя; более барственна, чем в той, аскетической. Было скучно, и чувствовалось, что у этих людей что-то не ладится, все они недовольны чем-то или кем-то, Самгин решил показать себя и заговорил, что о социальной войне — думают и что есть люди, для которых она — решетное дело. Его слушали внимательно, а когда он дал характеристику Дьякона, не называя его, конечно, рыженький подскочил к нему и стал горячо просить:

— Познакомьте меня с этим человеком — хорошо? Можно? Обязательно познакомьте.

А Стратонов, раскачивая на цепочке золотые часы; решительно сказал:

— Вы сами же совершенно правильно назвали людей этого типа анекдотическими. Когда подует ветер нормальной жизни, он выметет их, как сор.

Сказал и туго надул синие щеки свои, как бы желая намекнуть, что это он и есть владыка всех зефиров и ураганов. Он вообще говорил решительно, строго, а сказав, надувал щеки шарами, отчего белые глаза его становились меньше и несколько темнели.

Тагильский снова начал шептать что-то в ухо рыженького, тот уныло соглашался.

— Да? Ага...

Снова стало раздражающе скучно, и, посидев еще несколько минут, Клим решил уйти, но, провожая его, Прейс сказал вполголоса, тоном извинения:

— Неудачный вечер; тут, видите, случайно оказался человек... мало знакомый нам.

— Этот, кругленький?

— Нет, другой, в углу.

«Поярков, — сообразил Самгин, идя домой по улицам, ярко освещенным луною марта. — Это интересно».

Он не понял этих людей. Два-три свидания с ними не сделали их понятнее. Они не кричали, не спорили, а вели серьезные беседы по вопросам политической экономии, науки мало знакомой и не любимой Самгиным. Они называли себя марксистами, но в их суждениях отсутствовала суровая прямолинейность «кутузовщины», и рабочий вопрос интересовал их значительно меньше, чем вопросы промышленности, торговли. С явным увлечением они подсчитывали количества нефти, хлеба, сахара, сала, пеньки и всяческого русского сырья. Климу иногда казалось, что они говорят больше цифрами, чем словами. Говорили о будущем Великого сибирского пути, о маслоделии, переселенцах, о работе крестьянского банка, о таможенной политике Германии. Все это было скучно слушать, и все было почти незнакомо Климу, о вопросах этого порядка он осведомлялся по газетам, да и то — неохотно.

Но, хотя речи были неинтересны, люди все сильнее раздражали любопытство. Чего они хотят? Присматриваясь к Стратонову, Клим видел в нем что-то воинствующее и, пожалуй, не удивился бы, если б Стратонов крикнул на суетливого, нервозного рыженького:

«Смирно!»

Он вообще говорил тоном командира, а рыженького как будто даже презирал.

— Убежденный человек не может и не должен чувствовать противоречий в своих взглядах, — сказал он ему; рыженький, отскочив от него, спросил недоверчиво, с удивлением:

— Это вы — серьезно?

Стратонов не ответил; он редко отвечал на вопросы, обращенные к нему. Ленивенький Тагильский напоминал Самгину брата Дмитрия тем, что служил для своих друзей памятной книжкой, где записаны в хорошем порядке различные цифры и сведения. Был он избалован, кокетлив, но памятью своей не гордился, а сведения сообщал снисходительным и равнодушным тоном первого ученика гимназии, который, кончив учиться, желал бы забыть все, чему его научили. Его фарфоровое, розовое лицо, пухлые губы и неопределенного цвета туманные глаза

заставляли ждать, что он говорит женственно мягко, но голосок у него был сухозвонкий, кисленький и как будто злой. Людей власть имущих, правивших государством, он ругал:

— Ослы. Идиоты. Негодяи.

Выругавшись, рассматривал свои ногти или закуривал тоненькую, «дамскую» папиросу и молчал до поры, пока его не спрашивали о чем-нибудь. Клим находил в нем и еще одно странное сходство — с Диомидовым; казалось, что Тагильский тоже, но без страха, уверенно ждет, что сейчас явятся какие-то люди, — может быть, идиоты, — и почтительно попросят его:

«Пожалуйте управлять нами!»

Рыженького звали Антон Васильевич Берендеев. Он был тем интересен, что верил в неизбежность революции, но боялся ее и нимало не скрывал свой страх, тревожно внушая Прейсу и Стратонову:

— Совершенно необходимо, чтоб революция совпала с религиозной реформацией, — понимаете? Но реформация, конечно, не в сторону рационализма наших южных сект, — избави боже!

Выкатывая белые глаза, Стратонов успокаивал его:

— От уклона в эту сторону мы гарантированы, наш мужик — мистик.

— А — все эти штундисты, баптисты, а? Тагильский, громко высморкав широкий, розовый нос, поучительно заметил:

— Говорить надо точнее: не о реформации, которая ни вам, ни мне не нужна, а о реформе церковного управления, о расширении прав духовенства, о его экономическом благоустройстве…

Берендеев крикливо вставил:

— О реформе воспитания сельского духовенства, о необходимости перевоспитать его!

— С деревней у нас будет тяжелая возня, — сказал Самгин, вздохнув.

— Очень! — тревожно крикнул Берендеев и, взмахнув руками, повторил тише, таинственно: — Очень!

Стратонов встал, плотно, насколько мог, сдвинул кривые ноги, закинул руки за спину, выгнул грудь, — все это сделало его фигуру еще более внушительной.

— Мы, люди, — начал он, отталкивая Берендеева взглядом, — мы, с моей точки зрения, люди, на которых историей возложена обязанность организовать революцию, внести в ее стихию всю мощь нашего сознания, ограничить нашей волей неизбежный анархизм масс…

Тагильский, приподняв аккуратно причесанную светловолосую голову, поморщился в сторону Стратонова и звонко прервал его речь:

— Вы всё еще продолжаете чувствовать себя на первом курсе, горячитесь и забегаете вперед. Думать нужно не о революции, а о ряде реформ, которые сделали бы людей более работоспособными и культурными.

Прейс молчал, бесшумно барабаня пальцами по столу. Он был вообще малоречив дома, высказывался неопределенно и не напоминал того умелого и уверенного оратора,

Каким Самгин привык видеть его у дяди Хрисанфа и в университете, спорящим с Маракуевым.

Пояркова Клим встретил еще раз. Молча просидев часа полтора, напившись чаю, Поярков медленно вытащил костлявое и угловатое тело свое из глубокого кресла и, пожимая руку Прейса, сказал угрюмо:

— Ну, кажется, здесь окончательно выработали схему, обязательную для событий завтрашнего дня.

И, не простясь с другими, Поярков ушел, а Клим, глядя в его сутуловатую спину, подумал, что Прейс — прав: этот — чужой и стесняет.

Как везде, Самгин вел себя в этой компании солидно, сдержанно, человеком, который, доброжелательно наблюдая, строго взвешивает все, что видит, слышит и, не смущаясь, не отвлекаясь противоречиями мнений, углубленно занят оценкой фактов. Тагильский так и сказал о нем Берендееву;

— Ты бы, Антон, брал в пример себе Самгина, — он не забывает, что теории строятся на фактах и проверяются фактами.

Были часы, когда Климу казалось, что он нашел свое место, свою тропу. Он жил среди людей, как между зеркал, каждый человек отражал в себе его, Самгина, и в то же время хорошо показывал ему свои недостатки. Недостатки ближних очень укрепляли взгляд Клима на себя как на человека умного, проницательного и своеобразного. Человека более интересного и значительного, чем сам он, Клим еще не встречал.

Но наедине с самим собою Клим все-таки видел себя обреченным на участие в чем-то, чего он не хотел делать, что противоречило основным его чувствованиям. Тогда он вспоминал вид с крыши на Ходынское поле, на толстый, плотно спрессованный слой человеческой икры. Пред глазами его вставал подарок Нехаевой —.репродукция с картины Рошгросса: «Погоня за счастьем» — густая толпа людей всех сословий, сбивая друг друга с ног, бежит с горы на край пропасти. Унизительно и страшно катиться темненькой, безличной икринкой по общей для всех дороге к неустранимой гибели. Он еще не бежит с толпою, он в стороне от нее, но вот ему уже кажется, что люди всасывают его в свою гущу и влекут за собой. Затем вспоминалось, как падала стена казармы, сбрасывая с себя людей, а он, воображая, что бежит прочь от нее, как-то непонятно приблизился почти вплоть к ней. В такие часы Самгин ощущал, что его наполняет и раздувает ветер унылой злости на всех людей и даже — немного — на себя самого.

Как-то вечером, идя к Прейсу, Клим услыхал за собою быстрые, твердые шаги; показалось, что кто-то преследует его. Он обернулся и встал лицом к лицу с Кутузовым.

— Примечательная походка у вас, — широко улыбаясь в бороду, снова отросшую, заговорил Кутузов негромко, но весело. — Как будто вы идете к женщине, которую уже разлюбили, а? Ну, как живете?

И слова его и грубоватая благосклонность не понравились Климу. Оглянувшись, он сказал:

— Я слышал, что вас выпустили на поруки?

— Именно. Разумеется — без права путешествовать. Но я боюсь растолстеть и — путешествую.

Обмениваясь незначительными фразами, быстро дошли до подъезда Прейса, Кутузов ткнул пальцем в кнопку звонка, а другую руку протянул Климу.

— Я тоже сюда, — сказал Самгин.

— Вот как? М-да... тем лучше!

Кутузов толкнул Клима плечом в дверь, открытую горничной, и, взглянув в ту

сторону, откуда пришел, похлопал горничную по плечу:

— Цветешь, Казя? Оказия! О Казя, я тебя люблю?

— И я вас, — ответила горничная весело и пытаясь взять пальто из рук Кутузова, но он сам повесил его на вешалку.

«Демократический жест», — отметил Самгин. Прейс встретил их с радостью и смущением.

— Ты свободен?

— Как видишь.

Войдя наверх в аскетическую комнату, Кутузов бросил тяжелое тело свое на койку и ухнул:

— Ух! Скажи-ко, чтоб дали чаю.

— А я не знал, что вы знакомы, — как бы извиняясь пред Климом, сказал Прейс, присел на койку и тотчас же начал выспрашивать Кутузова, откуда он явился, что видел.

Самгин чувствовал себя несколько неловко. Прейс, видимо, считал его посвященным в дела Кутузова, а Кутузов так же думал о Прейсе. Он хотел спросить: не мешает ли товарищам, но любопытство запретило ему сделать это.

Свесив с койки ноги в сапогах, давно не чищенных, ошарканных галошами, опираясь спиною о стену, Кутузов держал в одной руке блюдце, в другой стакан чаю и говорил знакомое Климу:

— Марксята плодятся понемногу, но связями с рабочими не хвастаются и все больше — насчет теории рассуждают, к практике не очень прилежны. Некоторые молодые пистолеты жаловались: романтика, дескать, отсутствует в марксизме, а вот у народников — герои, бомбы и всякий балаган.

— А — в Казани? В Харькове? — спрашивал Прейс, щелкая пальцами.

Самгину казалось, что хотя Прейс говорит дружески, а все-таки вопросы его напоминали отношение Лютова к барышне на дачах Варавки, — отношение к подчиненному.

Вынув из кармана пиджака папиросную коробку, Кутузов заглянул одним глазом в ее пустоту, швырнул коробку на стол.

— Вы, Самгин, не курите? Жаль. Некоторые вредные привычки весьма полезны для ближних.

Клим впервые видел его таким веселым. Полулежа на койке, Кутузов рассказывал:

— Из Брянска попал в Тулу. Там есть серьезные ребята. А ну-ко, думаю, зайду к Толстому? Зашел. Поспорили о евангельских мечах. Толстой сражался тем тупым мечом, который Христос приказал сунуть в ножны. А я — тем, о котором было сказано: «не мир, но меч», но против этого меча Толстой оказался неуязвим, как воздух. По отношению к логике он весьма своенравен. Ну, не понравились мы друг другу.

Чтобы напомнить о себе, Самгин сказал:

— Удивительно русское явление — Толстой.

— Именно, — согласился Кутузов и прибавил — А потому и вредное.

— Кому? — спросил Клим. Кутузов, позевнув, ответил:

— Истории, которой решительно надоели всякие сантименты.

Прейс тоже как-то вскользь и задумчиво процитировал:

— «Толстой законченное выражение русской, деревенской стихии».

— Ну — и что же отсюда следует? — спросил Кутузов, спрыгнув с койки и расправляя плечи. Сунув в рот клок бороды, он помял его губами, потом сказал:

— Вы извините нас, Самгин! Борис, поди-ко сюда, И, взяв Прейса за плечо, подтолкнул его к двери, а Клим, оставшись в комнате, глядя в окно на железную крышу, почувствовал, что ему приятен небрежный тон, которым мужиковатый Кутузов говорил с маленьким изящным евреем. Ему не нравились демократические манеры, сапоги, неряшливо подстриженная борода Кутузова; его несколько возмутило отношение к Толстому, но он видел, что все это, хотя и не украшает Кутузова, но делает его завидно цельным человеком. Это — так.

— Ну-с, я иду, — сказал Кутузов, входя в комнату. — А вы, Самгин?

— Тоже.

На улице, под ветром и острыми уколами снежинок, Кутузов, застегивая пальто, проворчал:

— Тепло живет Прейсик...

— Не совсем понимаю, что его влечет к марксизму, — сказал Клим. Кутузов заглянул в лицо ему, спрашивая:

— Не понимаете? Гм...

А через несколько шагов спросил:

— Есть не хотите?

— Я бы выпил рюмку водки.

— Что ж, выпейте, — разрешил Кутузов, шагнул в лавчонку, явился оттуда с папиросой, воткнутой в бороду, и сказал благосклонно:

— Ну, айда, выпьем водки.

И снова усмешливо заглянул, в лицо Клима.

— Пощупали вас жандармы и убедились в политической девственности вашей, да?

Самгин не успел обидеться на грубоватую шутку, потому что Кутузов заботливо и даже ласково продолжал:

— Волновались вы? Нет? Это — хорошо. А я вот очень кипятился, когда меня впервые щупали. И, признаться надо, потому кипятился, что немножко струсил.

В дешевом ресторане Кутузов прошел в угол, — наполненный сизой мутью, заказал водки, мяса и, прищурясь, посмотрел на людей, сидевших под низким, закопченным потолком необширной комнаты.; трое, в однообразных позах, наклонясь над столиками, сосредоточенно ели, четвертый уже насытился и, действуя зубочисткой, пустыми глазами смотрел на женщину, сидевшую у окна; женщина читала письмо, на столе пред нею стоял кофейник, лежала пачка книг в ремнях. Клим тоже посмотрел да лицо ее, полузакрытое вуалью, на плотно сжатые губы, вот они сжались еще плотней, рот сердито окружился морщинами, Клим нахмурился, признав в этой женщине знакомую Лютова.

«Очевидно, кабачок этот — место встреч», — подумал он и спросил Кутузова: — Вы здесь бывали?

— Первый раз, — ответил тот, не поднимая головы от тарелки, и спросил с набитым ртом: — Так — не понимаете, почему некоторых субъектов тянет к марксизму?

— Не понимаю.

— Клюнем, — сказал Кутузов, подвигая Климу налитую рюмку, и стал обильно смазывать ветчину горчицей, настолько крепкой, что она щипала ноздри Самгина. — Обман зрения, — сказал он, вздохнув. — Многие видят в научном социализме только учение об экономической эволюции, и ничем другим марксизм для них не пахнет. За ваше здоровье!

Выпив водку, он продолжал:

— А наш общий знакомый Поярков находит, что богатенькие юноши марксуют по силе интуитивной классовой предусмотрительности, чувствуя, что как ни вертись, а социальная катастрофа — неизбежна. Однако инстинкт самосохранения понуждает вертеться.

Он съел все, посмотрел на тарелку с явным сожалением и спросил кофе.

— Так вот, значит: у одних — обман зрения, у других — классовая интуиция. Ежели рабочий воспринимает учение, ядовитое для хозяина, хозяин — буде он не дурак — обязан несколько ознакомиться с этим учением. Может быть, удастся подпортить его. В Европах весьма усердно стараются подпортить, а наши юные буржуйчики тоже не глухи и не слепы. Замечаются попыточки организовать классовое самосознание, сочиняют какое-то неославянофильство, Петра Великого опрокидывают и вообще... шевелятся.

Четверо молчаливых мужчин как будто выросли, распухли. Дама, прочитав письмо, спрятала его в сумочку. Звучно щелкнул замок. Кутузов вполголоса рассказывал:

— Новое течение в литературе нашей — весьма показательно. Говорят, среди этих символистов, декадентов есть талантливые люди. Литературный декаданс указывал бы на преждевременное вырождение класса, но я думаю, что у нас декадентство явление подражательное, юнцы наши подражают творчеству жертв и выразителей психического распада буржуазной Европы. Но, разумеется, когда подрастут — выдумают что-нибудь свое.

— Вы знакомы со Стратоновым? — спросил Клим.

— Юрист, дылда такая? Встречал. А что? Головастик, наверное, разовьется в губернатора.

Кутузов вытер бороду салфеткой, закурил и, ласково глядя на папиросу, сказал вздохнув:

— Пора идти. Нелепый город, точно его чорт палкой помешал. И все в нем рычит: я те не Европа! Однако дома строят по-европейски, все эдакие вольные и уродливые переводы с венского на московский. Обок с одним таким уродищем притулился, нагнулся в улицу серенький курятничек в три окна, а над воротами — вывеска: кто-то «предсказывает будущее от пяти часов до восьми», — больше, видно, не может, фантазии не хватает. Будущее! — Кутузов широко усмехнулся:

— Быть тебе, Москва, Европой, вот — будущее! И, вспомнив что-то, торопливо протянул Самгину рублевую бумажку:

— Иду, иду! Заплатите. Всех благ!

Клим спросил еще стакан чаю, пить ему не хотелось, но он хотел знать, кого дожидается эта дама? Подняв вуаль на лоб, она писала что-то в маленькой книжке, Самгин наблюдал за нею и думал:

«Политика дает много шансов быть видимым, властвовать, это и увлекает людей,

подобных Кутузову. Но вот такая фигура — что ее увлекает?»

Мысли его растекались по двум линиям: думая о женщине, он в то же время пытался дать себе отчет в своем отношении к Степану Кутузову. Третья встреча с этим человеком заставила Клима понять, что Кутузов возбуждает в нем чувствования слишком противоречивые. «Кутузов-шина», грубоватые шуточки, уверенность в неоспоримости исповедуемой истины и еще многое — антипатично, но (Прямодушие Кутузова, его сознание своей свободы приятно в нем и даже возбуждает зависть к нему, притом не злую зависть.

Женщина встала и, закрыв лицо вуалью, ушла.

«Не дождалась. Вероятно, ждала любовника, а его, может быть, арестовали».

О женщинах невозможно было думать, не вспоминая Лидию, а воспоминание о ней всегда будило ноющую грусть, уколы обиды.

Недавно Варвара спросила:

— Вам часто пишет Лида?

— Не очень, — ответил он, хотя Лидия написала ему из Парижа только один раз. — Она не любит писать.

— И — говорить. Она — загадочная, не правда ли? Клим, строго взглянув на нее через очки, сказал:

— Загадочных людей — нет, — их выдумывают писатели для того, чтоб позабавить вас. «Любовь и голод правят миром», и мы все выполняем повеления этих двух основных сил. Искусство пытается прикрасить зоологические требования инстинкта пола, наука помогает удовлетворять запросы желудка, вот и — всё.

Иногда ему казалось, что, говоря так грубо, оголенно, он издевается не только над Варварой, но и над собою. Игра с этой девицей все более нравилась ему, эта игра была его единственным развлечением, и оно позволяло ему отдыхать от бесплодных дум о себе. Он видел, что Маракуев красивее его, он думал, что такой пустой и глупенькой девице, как Варвара, веселый студент должен быть интереснее. И было забавно видеть, что Варвара относится к влюбленному Маракуеву с небрежностью, все более явной, несмотря на то, что Маракуев усердно пополняет коллекцию портретов знаменитостей, даже вырезал гравюру Марии Стюарт из «Истории» Маколея, рассматривая у знакомых своих великолепное английское издание этой книги. Самгин моралистически заметил, что портить книги — не похвально, но Маракуев беззаботно отмахнулся от него.

— Маколеем дети играли.

Как-то, восхищаясь Дьяконом, Маракуев сказал:

— Это будет чудесный пропагандист для деревни. Вот такие черви и подточат трон Романовых.

Варвара усмехнулась, обнажив красивые зубы.

— Но — если черви, где же подвиг, где красота?

— Подожди, будут и красивые подвиги, — обещал Маракуев, но она сказала:

— А это — верно: Дьякон похож на червяка. Самгин поощрительно улыбнулся ей. Она раздражала его тем, что играла пред ним роль доверчивой простушки, и тем еще, что была недостаточно красива. И чем дальше, тем более овладевало Климом желание издеваться над нею, обижать ее. Глядя в зеленоватые глаза, он говорил:

— Женщину необходимо воображать красивее, чем она есть, это необходимо для того, чтоб примириться с печальной неизбежностью жить с нею. В каждом

мужчине скрыто желание отомстить женщине за то, что она ему нужна.

Самгин знал, что повторяет Ницше и Макарова, но чувствовал себя умным, когда говорил такие афоризмы.

— Какой вы правдивый, — сказала Варвара, тихонько вздохнув и прикрыв глаза ресницами.

Да, с нею становилось все более забавно, а если притвориться немножко влюбленным в нее, она, конечно, тотчас пойдет навстречу. Пойдет.

Как-то в праздник, придя к Варваре обедать, Самгин увидал за столом Макарова. Странно было видеть, что в двуцветных вихрах медика уже проблескивают серебряные нити, особенно заметные на висках. Глаза Макарова глубоко запали в глазницы, однако он не вызывал впечатления человека нездорового и преждевременно стареющего. Говорил он все о том же — о женщине — и, очевидно, не мог уже говорить ни о чем другом.

— Все недоброе, все враждебное человеку носит женские имена: злоба, зависть, корысть, ложь, хитрость, жадность.

— А — любовь? А — радость? — обиженно и задорно кричала Варвара. Клим, улыбаясь, подсказывал ей:

— Глупость, боль, грязь.

— Жизнь, борьба, победа, — вторил Маракуев. Спокойно переждав, когда кончат кричать, Макаров сказал что-то странное:

— Исключения ничего не опровергают, потому что и в ненависти есть своя лирика.

И продолжал, остановив возражения взглядом из-под нахмуренных бровей:

— Моя мысль проста: все имена злому даны силою ненависти Адама к Еве, а источник ненависти — сознание, что подчиниться женщине — неизбежно.

— Это ваша мысль, — крикнула Варвара Самгину, а он, присматриваясь к товарищу, искал в нем признаков ненормальности.

Он видел, что Макаров уже не тот человек, который ночью на террасе дачи как бы упрашивал, умолял послушать его домыслы. Он держался спокойно, говорил уверенно. Курил меньше, но, как всегда, дожигал спички до конца. Лицо его стало жестким, менее подвижным, и взгляд углубленных глаз приобрел выражение строгое, учительное. Маракуев, покраснев от возбуждения, подпрыгивая на стуле, спорил жестоко, грозил противнику пальцем, вскрикивал:

— Домостроевщина! Татарщина! Церковность! И советовал противнику читать книгу «Русские женщины» давно забытого, бесталанного писателя Шашкова.

Клим с удовольствием видел, что Маракуев проигрывает в глазах Варвары, которая пеняла уже, что Макаров не порицает женщину, и смотрела на него сочувственно, а друга своего нетерпеливо уговаривала:

— Ах, не кричи так громко! Ты не понимаешь… Дожидаясь, когда Маракуев выкричится, Макаров встряхивал головою, точно отгоняя мух, и затем продолжал говорить свое увещевающим тоном: он принес оттиск статьи неизвестного Самгину философа Н. Ф. Федорова и прочитал написанные странно тяжелым языком несколько фраз, которые говорили, что вся жестокость капиталистического строя является следствием чрезмерного и болезненного напряжения полового инстинкта, результатом буйства плоти, ничем не сдерживаемой, не облагороженной. И, размахивая оттиском статьи, как стрелочник флагом, сигналом опасности, он говорил:

— Да, — тут многое от церкви, по вопросу об отношении полов все вообще

мужчины мыслят более или менее церковно. Автор — умный враг и — прав, когда он говорит о «не тяжелом, но губительном господстве женщины». Я думаю, у нас он первый так решительно и верно указал, что женщина бессознательно чувствует свое господство, свое центральное место в мире. Но сказать, что именно она является первопричиной и возбудителем культуры, он, конечно, не мог.

Варвара смотрела на феминиста уже благодарным, но и как бы измеряющим, взвешивающим взглядом. Это, раздражая Самгина, усиливало его желание открыть в Макарове черту ненормальности.

«Вероятно — онанист», — подумал он, найдя ненормальным подчинение Макарова одной идее, его совершенную глухоту ко всему остальному и сжигание спичек до конца. Он слышал, что Макаров много работает в клиниках и что ему покровительствует известный гинеколог.

— Живешь у Лютова?

— Да, конечно.

— Пьете?

— Я стал воздерживаться, надоело, — ответил Макаров. — Да и Лютов после смерти отца меньше пьет. Из университета ушел, занялся своим делом, пухом и пером, разъезжает по России.

Лютова Клим встретил ночью на улице, столкнулся с ним на углу какого-то темненького переулка.

— Извините.

— Ба! Это — ты? — крикнул Лютов так громко, что заставил прохожих обернуться на него, а двое даже приостановились, должно быть, ожидая скандала. Одет Лютов был в широкое расстегнутое пальто с меховым воротником, в мохнатую шапку, острая бородка делала его похожим на один из портретов Некрасова; Клим сказал ему это.

— Лестно, другие за сумасшедшего принимают. К Тестову идем? Извозчик!

И через четверть часа он, развалясь на диване, в кабинете трактира, соединив разбегающиеся глаза на лице Самгина, болтал, взвизгивая, усмехаясь, прихлебывая дорогое вино.

— Так вот — провел недель пять на лоне природы. «Лес да поляны, безлюдье кругом» и так далее. Вышел на поляну, на пожог, а из ельника лезет — Туробоев. Ружье под мышкой, как и у меня. Спрашивает: «Кажется, знакомы?» — «Ух, говорю, еще как знакомы!» Хотелось всадить в морду ему заряд дроби. Но — запнулся за какое-то но. Культурный человек все-таки, и знаю, что существует «Уложение о наказаниях уголовных». И знал, что с Алиной у него — не вышло. Ну, думаю, чорт с тобой!

Закрыв глаза, он помолчал несколько секунд, вскочил и налил вина в стакан Клима.

— Впрочем — ничего я не думал, а просто обрадовался человеку. Лес, знаешь. Стоят обугленные сосны, буйно цветет иван-чай. Птички ликуют, чорт их побери. Самцы самочек опевают. Мы с ним, Туробоевым, тоже самцы, а петь нам — некому. Жил я у помещика-земца, антисемит, но, впрочем, — либерал и надоел он мне пуще овода. Жене его под сорок, Мопассанов читает и мучается какими-то спазмами в животе.

Он крепко потер пальцами неугомонные глаза свои, выпил вино и снова повалился на диван.

— Я и перебрался к Туробоеву. Люблю таких. «Яко смоковница бесплодная, одиноко стояща, и тени от нее несть» — переврал? Умиляет меня его сознание обреченности своей, готовность погибнуть. Не верит «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай», не может верить! Поучительно. И — обезоруживает. А кругом — мужики шевелятся, — продолжал он, тихонько смеясь. — Две деревни переселяться собрались, какие-то сектанты, вроде духоборов, крепкоголовые. Третья деревня чуть не вся под судом за поджог удельного леса, за убийство лесника.

Самгин спросил его: где Алина?

— Там, в Париже, — ответил Лютов, указав пальцем почему-то в потолок. — Мне Лидия писала, — с ними еще одна подруга… забыл фамилию. Да, — мужичок шевелится, — продолжал он, потирая бугристый лоб. — Как думаешь: скоро взорвется мужик?

— Революция неизбежна, — сказал Самгин, думая о Лидии, которая находит время писать этому плохому актеру, а ему — не пишет. Невнимательно слушая усмешливые и сумбурные речи Лютова, он вспомнил, что раза два пытался сочинить Лидии длинные послания, но, прочитав их, уничтожал, находя в этих хотя и очень обдуманных письмах нечто, чего Лидия не должна знать и что унижало его в своих глазах. Лютов прихлебывал вино и говорил, как будто обжигаясь:

— Ты, Самгин, держишь себя в кулаке, ты — молчальник, и ты не пехота, не кавалерия, а — инженерное войско, даже, может быть, генеральный штаб, чорт!

Клим взглянул на него, недоверчиво нахмурясь, но убедился, что Лютов изъясняется с той искренностью, о которой сказано: «Что у трезвого на уме, у пьяного — на языке». Он стал слушать внимательнее.

— А я — жертва. И Туробоев. Он — жертва остракизма истории, я — алкоголизма. Это нас и сближает. И это — не смешно, брат, нет!

Вскочив с дивана, он забегал по кабинету, топая так, что звенели стаканы и бутылки на столе.

— Час тому назад я был в собрании людей, которые тоже шевелятся, обнаруживают эдакое, знаешь, тараканье беспокойство пред пожаром. Там была носатая дамища с фигурой извозчика и при этом — тайная советница, генеральша, да! Была дочь богатого винодела, кажется, что ли. И много других, всё отличные люди, то есть действующие от лица масс. Им — денег надобно, на журнал. Марксистский.

Истерически хохотнув, Лютов подскочил к столу, чокнул стаканом о стакан Клима и возгласил:

— За здоровье простейших русских баб! Знаешь, эдаких: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

Залпом выпив вино, он бросил стакан на поднос:

— Откровенно говоря — я боюсь их. У них огромнейшие груди, и молоком своим они выкармливают идиотическое племя. Да, да, брат! Есть такая степень талантливости, которая делает людей идиотами, невыносимо, ужасающе талантливыми. Именно такова наша Русь.

Он сел рядом с Климом, обнял его за шею.

— Ты хладнокровно, без сострадания ведешь какой-то подсчет страданиям людским, как математик, немец, бухгалтер, актив-пассив, и чорт тебя возьми!

«Вот как он видит меня», — подумал Самгин с удивлением, которое было неприятно только потому, что Лютов крепко сжал его шею. Освободясь от его

руки, он сказал:

— У нас много страданий, искусственно раздутых.

— Это — про меня? — крикнул Лютов, откачнувшись от него и вскакивая. — Врешь! Я — впрочем — ладно! Покачивая встрепанной головою, он шумно вздохнул:

— Я, брат, не люблю тебя, нет! Интересный ты, а — не сим-па-ти-чен. И даже, может быть, ты больше выродок, чем я.

И, яростно размахивая руками, он спросил, почему-то шопотом:

— С какой крыши смотришь ты на людей? Почему — с крыши?

Самгину пришлось потратить добрые полчаса, чтоб успокоить его, а когда Лютов размяк и снова заговорил истеро-лирическим тоном, Клим дружески простился, ушел и на улице снова подумал:

«Так вот каким он видит меня!»

Теперь ничто не мешало ему повторить это с удовольствием.

«Возможно, что так же смотрят на меня многие, только я не замечаю этого. Не симпатичен? В симпатиях я не нуждаюсь».

Да, приятно было узнать мнение Лютова, человека, в сущности, не глупого, хотя все-таки несколько обидно, что он отказал в симпатии. Самгин даже почувствовал, что мнение это выпрямляет его, усиливая в нем ощущение своей значительности, оригинальности.

Это было недели за две до того, как он, гонимый скукой, пришел к Варваре и удивленно остановился в дверях столовой, — у стола пред самоваром сидела с книгой в руках Сомова, толстенькая и Серая, точно самка снегиря.

— Вот он! — вскричала она, взмахнув коротенькими руками, подбежала, подпрыгнув, обняла Клима за шею, поцеловала, завертела, выкрикивая радостно глупенькие слова. Искренность ее шумной радости очень смутила Самгина, он не мог ответить на нее ничем, кроме удивления, и пробормотал:

— Постой! Откуда? Почему ты здесь? С незнакомой бойкостью Сомова отвечала, усаживая его к столу, как хозяйка:

— Из Парижа. Это Лида направила меня сюда. Я тут буду жить, уже договорилась с хозяйкой. Она — что такое? Лидия очень расхваливала ее.

Закрыв глаза, вскинув голову, она пропела:

— Ох, Клим, голубчик, как это удивительно — Париж! И похлопала рукою по его колену.

— Ей-богу, — жизнь начинаешь понимать, только увидав Париж. — Но, тотчас же прикусив губу, вопросительно взглянула в очки Самгина:

— Марксист?

— Да.

— Фу! Это — эпидемия какая-то! А знаешь, Лидия увлекается философией, религией и вообще… Где Иноков? — спросила она, но тотчас же, не ожидая ответа, затараторила: — Почему не пьешь чай? Я страшно обрадовалась самовару. Впрочем, у одного эмигранта в Швейцарии есть самовар…

Самгин все-таки прервал ее рассыпчатую речь и сказал, что Иноков влюблен в женщину, старше его лет на десять, влюблен безнадежно и пишет плохие стихи.

— Плохие? — недоверчиво спросила она и, опустив глаза, играя косою, задумалась.

— Что? «Старая любовь не ржавеет»?

Грея руки о стакан чая, она сказала, вздохнув:

— Ему надо бы хорошо писать, он — может. Сомова уселась на стуле покрепче и снова начала беспорядочно спрашивать, рассказывать. В первые минуты Самгину показалось, что она стала милее и что поездка за Гранину сделала ее еще более русской; ее светлые голубые глаза, румяные щеки, толстая коса льняного цвета и гладко причесанная голова напоминали ему крестьянских девушек. Но скоро Самгин отметил, что она приобрела неприятную бойкость, жесты ее коротеньких рук смешны и одета она смешно в какую-то уродливо пышную кофточку, кофточка придавала ей, коротенькой и круглой, сходство с курицей. Да и говорила она комически кудахтающим голосом.

— Да, голубчик, я влюбчива, берегись, — сказала она, подвинувшись к нему вместе со стулом, и торопливо, порывисто, как раздевается очень уставший человек, начала рассказывать: — У меня уже был несчастный роман, — усмехнулась она, мигая, глаза ее как будто потемнели. — Была я в Крыму чтицей у одной дамы, ох, как это тяжело! Она — больная, несчастная… конечно, это ее оправдывает. И вот приезжает к ней сын, некрасивый такой, худущий, с остреньким носиком, но — удивительный! Замечательные глаза, и совершенно ничего не понимает.

Погрозив Климу пальцем, она вполголоса предупредила:

— Только ты, пожалуйста, не рассказывай никому об этом!

— О глазах? — шутливо спросил он.

— Обо всем, — серьезно сказала Сомова, перебросив косу за плечо. — Чаще всего он говорил: «Представьте, я не знал этого». Не знал же он ничего плохого, никаких безобразий, точно жил в шкафе, за стеклом. Удивительно, такой бестолковый ребенок. Ну — влюбилась я в него. А он — астроном, геолог, — целая толпа ученых, и все опровергал какого-то Файэ, который, кажется, давно уже помер. В общем — милый такой, олух царя небесного. И — похож на Инокова.

Грубоватое словечко прозвучало смешно; Самгин подумал, что она прибавила это слово по созвучию, потому что она говорила: геолох. Она вообще говорила неправильно, отсекая или смягчая гласные в концах слов.

«Ребено», — произносила она.

— И все считает, считает: три миллиона лет, семь миллионов километров, — всегда множество нулей. Мне, знаешь, хочется целовать милые глаза его, а он — о Канте и Лапласе, о граните, об амебах. Ну, вижу, что я для него тоже нуль, да еще и несуществующий какой-то нуль. А я уж так влюбилась, что хоть в море прыгать.

Сомова усмехнулась, но сейчас же закусила губу, и на глазах ее блеснули слезы.

— Вот — дура! Почти готова плакать, — сказала она всхлипнув. — Знаешь, я все-таки добилась, что и он влюбился, и было это так хорошо, такой он стал… необыкновенно удивленный. Как бы проснулся, вылез из мезозойской эры, выпутался из созвездий, ручонки у него длинные, слабые, обнимает, смеется… родился второй раз и — в другой мир.

Плакала она смешно, слезы текли по щекам сквозь улыбку, как «грибной дождь сквозь солнце».

— Это он сам сказал: родился вторично и в другой мир, — говорила она, смахивая концом косы слезы со щек. В том, что эта толстенькая девушка обливалась слезами, Клим не видел ничего печального, это даже как будто украшало ее.

— И вдруг — вообрази! — ночью является ко мне мамаша, всех презирающая, вошла так, знаешь, торжественно, устрашающе несчастно и как воскресшая дочь Иаира. «Сейчас, — говорит, — сын сказал, что намерен жениться на вас, так вот я умоляю: откажите ему, потому что он в будущем великий ученый, жениться ему не надо, и я готова на колени встать пред вами». И ведь хотела встать… она, которая меня… как горничную… Ах, господи!..

Громко всхлипнув, Сомова заткнула рот платком и несколько секунд кусала его, надувая щеки, отчего слезы потекли по ним быстрее.

— Так это было тяжко, так несчастно… Ну, — хорошо, говорю, хорошо, уходите! А утром — сама ушла. Он спал еще, оставила ему записку. Как в благонравном английском романе. Очень глупо и трогательно.

Помахав в лицо свое мокрым платком, она облегченно вздохнула.

— Старалась, влюбляла…

Самгин наклонил голову, чтобы скрыть улыбку. Слушая рассказ девицы, он думал, что и по фигуре и по характеру она была бы на своем месте в водевиле, а не в драме. Но тот факт, что на долю ее все-таки выпало участие в драме, несколько тронул его; он ведь был уверен, что тоже пережил драму. Однако он не сумел выразить чувство, взволновавшее его, а два последние слова ее погасили это чувство. Помолчав, он спросил вполголоса:

— Ты с ним — жила?

Сомова отрицательно покачала головою. Она обмякла, осела, у нее опустились плечи; согнув шею, перебирая маленькими пальцами пряди косы, она сказала:

— Мать увезла его в Германию, женила там на немке, дочери какого-то профессора, а теперь он в санатории для нервнобольных. Отец у него был алкоголик.

Она вздохнула.

— Знаешь, — я с первых дней знакомства с ним чувствовала, что ничего хорошего для меня в этом не будет. Как все неудачно у меня, Клим, — сказала она, вопросительно и с удивлением глядя на него. — Очень ушибло меня это. Спасибо Лиде, что вызвала меня к себе, а то бы я…

Ожидая, что она снова начнет плакать, Самгин спросил: что делает в Париже Алина?

— Развлекается! Ой, какая она стала… отчаянная! Ты ее не узнаешь. Вроде солдатки-вдовы, есть такие в деревнях. Но красива — неописуемо! Мужчин около нее — толпа. Она с Лидой скоро приедут, ты знаешь? — Она встала, посмотрела в зеркало. — Надо умыться. Где это?

Пока она умывалась, пришла Варвара, а вслед за нею явился Маракуев в рыжем пиджаке с чужого плеча, в серых брюках с пузырями на коленях, в высоких сапогах.

Варвара встретила его ироническим замечанием:

— Опять маскарад?

Через полчаса Самгин увидел Любовь Сомову совершенно другим человеком. Было ясно, что она давно уже знает Маракуева и между ними существуют отношения воинственные. Сомова встретила студента задорным восклицанием:

— Ох, апостол правды и добра, какой вы смешной! Нахмурясь при виде ее, Маракуев немедленно усмехнулся и ответил по-французски:

— Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Вышло у него грубовато, неуместно, он, видимо, сам почувствовал это и снова нахмурился. Пока Варвара хлопотала, приготовляя чай, между Сомовой и студентом быстро завязалась колкая беседа. Сомова как-то подтянулась, бантики и ленточки ее кофты ощетинились, и Климу смешно было слышать, как она, только что омыв пухленькое лицо свое слезами, говорит Маракуеву небрежно и насмешливо:

— Ну, это, знаете, сантименты! И спрашивает Самгина:

— Он все еще служит акафисты деревне?

— Не идет к вам марксизм, — проворчал Маракуев.

— Уж не знаю, марксистка ли я, но я человек, который не может говорить того, чего он не чувствует, и о любви к народу я не говорю.

Самгин присматривался к ней с великим удивлением и готов был думать, что все, что она говорит, только сейчас пришло ей в голову. Вспоминал ее кисленькой девчонкой, которая выдумывала скучные, странные игры, и думал:

«Как неестественно и подозрительно изменяются люди!»

Варвара присматривалась к неожиданной нахлебнице своей сквозь ресницы и хотя молчала, но Клим видел, что она нервничает. Маракуев сосредоточенно пил чай, возражал нехотя; его, видимо, смущал непривычный костюм, и вообще он был настроен необычно для него угрюмо. Никто не мешал Сомовой рассказывать задорным и упрямым голоском.

— В деревне я чувствовала, что, хотя делаю работу объективно необходимую, но не нужную моему хозяину и он терпит меня, только как ворону на огороде. Мой хозяин безграмотный, но по-своему умный мужик, очень хороший актер и человек, который чувствует себя первейшим, самым необходимым работником на земле. В то же время он догадывается, что поставлен в ложную, унизительную позицию слуги всех господ. Науке, которую я вколачиваю в головы его детей, он не верит: он вообще неверующий…

Маракуев проворчал что-то невнятное о сектантстве.

— Ах, оставьте! — воскликнула Сомова. — Прошли те времена, когда революции делались Христа ради. Да и еще вопрос: были ли такие революции!

— Ну-у, — протянул Маракуев и безнадежно махнул рукою.

— Да, неверующий, — повторила Сомова, стукнув по столу кулачком, очень похожим на булку, которая почему-то именуется розан.

Все замолчали. Тогда Сомова, должно быть, поняв, что надоела, и обидясь этим, простилась и ушла к себе в комнату, где жила Лидия. Маракуев провел ладонью по волосам, говоря:

— Черствеют люди от марксизма.

— Вы давно знакомы с нею? — спросила Варвара Клима.

— С детства.

— Она очень умная?

— Как видите, — сказал Клим и тоже простился, В конце концов Сомова оставила в нем неприятное впечатление. И неприятно было, что она, свидетель детских его дней, будет жить у Варвары, будет, наверное, посещать его. Но он скоро убедился, что Сомова не мешает ему, она усердно готовилась на курсы Герье, шариком каталась по Москве, а при встречах с ним восхищенно тараторила:

— Какой сказочный город! Идешь, идешь и вдруг почувствуешь себя, как во сне. И так легко заплутаться, Клим! Лев Тихомиров — москвич? Не знаешь? Наверное, москвич!

— Почему? — спросил Самгин, забавляясь ее болтовней.

— Заплутался.

— Ты не москвичка, а тоже заплуталась: читаешь «Историю материализма» и «Философию мистики» Дюпреля.

— Все надобно знать, голубчик.

— Мне кажется, что умные книги обесцвечивают женщину, — сухо заметила Варвара. Сомова, задумчиво глядя на нее, дернула свою косу.

— Это доказывал один профессор в Цюрихе, антифеминист… как его? Не помню. Очень сердитый дядя! Вообще швейцарские немцы — сердитый народ, и язык у них тоже сердитый.

При каждой встрече она рассказывала Климу новости: в одном студенческом кружке оказался шпион, в другом — большинство членов «перешло в марксизм», появился новый пропагандист, кажется — нелегальный. Глаза ее счастливо блестели. Клим видел, что в ней кипит детская радость жить, и хотя эта радость казалась ему наивной, но все-таки завидно было уменье Сомовой любоваться людями, домами, картинами Третьяковской галереи, Кремлем, театрами и вообще всем этим миром, о котором Варвара тоже с наивностью, но лукавой, рассказывала иное.

Она говорила о студентах, влюбленных в актрис, о безумствах богатых кутил в «Стрельне» и у «Яра», о новых шансонетных певицах в капище Шарля Омона, о несчастных романах, запутанных драмах. Самгин находил, что говорит она не цветисто, неумело, содержание ее рассказов всегда было интереснее формы, а попытки философствовать — плоски. Вздыхая, она произносила стертые фразы:

— Страдания — неизбежная тень любви.

Рассказывая, Варвара напоминала Климу Ивана Дронова, но нередко ее бесконечные истории о слепом стремлении друг к другу разнополых тел создавали Самгину настроение, которым он дорожил. Было поучительно и даже приятно слышать, как безвольно, а порою унизительно барахтаются в стихийной суматохе чувственности знаменитые адвокаты и богатые промышленники, молодые поэты, актрисы, актеры, студенты и курсистки. Охотно верилось, что все это настоящая правда ничем не прикрашенной жизни, которая хотя и допускает красиво выдуманные мысли и слова, но вовсе не нуждается в них. И, наконец, приятно было убеждаться, что все это дано навсегда и непобедимо никакими дьяконами, ремесленниками и чиновниками революции, вроде Маракуева. Вспоминались слова Макарова о «не тяжелом, но губительном владычестве женщины» и вычитанная у князя Щербатова в книге «О повреждении нравов» фраза: «Жены имеют более склонности к самовластию, нежели мужчины». Вспоминая эти слова, Клим смотрел в лицо Варвары и внутренне усмехался.

Он видел, что Варвара влюблена в него, ищет и ловко находит поводы прикоснуться к нему, а прикасаясь, краснеет, дышит носом и розоватые ноздри ее вздрагивают. Ее игра была слишком грубо открыта, он даже говорил себе:

«Надо прекратить это».

Прекратить следовало еще и потому, что Маракуев все более мрачнел, а Клим не мог не думать, что это именно он омрачает веселого студента.

Но, подчиняясь темному любопытству, которое сгущалось до насилия над его волей, Клим не прекращал свиданий с Варварой, и ему все более нравилось

говорить с нею небрежным тоном, смущать ее своей холодностью. Она уже явно ревновала его к Сомовой и, когда он приходил к ней, угощала его чаем не в столовой, куда могла явиться нахлебница, а в своей уютненькой комнате, как бы нарочито приспособленной для рассказов в духе Мопассана. На стенах, среди темных квадратиков фотографий и гравюр, появились две мрачные репродукции: одна с картины Беклина — пузырчатые морские чудовища преследуют светловолосую, несколько лысоватую девушку, запутавшуюся в морских волнах, окрашенных в цвет зеленого ликера; другая с картины Штука «Грех» — нагое тело дородной женщины обвивал толстый змей, положив на плечо ее свою тупую и глупую голову.

Наблюдая волнение Варвары, ее быстрые переходы от радости, вызванной его ласковой улыбкой, мягким словом, к озлобленной печали, которую он легко вызывал еловом небрежным или насмешливым, Самгин все увереннее чувствовал, что в любую минуту он может взять девушку. Моментами эта возможность опьяняла его. Он не соблазнялся, но, любуясь своей сдержанностью, все-таки спрашивал себя: «Что мешает? Лидия? Маракуев?»

Дошло до того, что Сомова спросила:

— Ты, что же — не видишь, что по тебе девушка сохнет?

— Невозможно любить всех девушек, которые сохнут, — солидно, но не подумав, ответил он.

— Хвастун, — сказала Сомова, вздохнув. Как-то утром хмурого дня Самгин, сидя дома, просматривал «Наш край» — серый лист очень плохой бумаги, обрызганный черным шрифтом. Передовая статья начиналась словами:

«В то время, как в Европе успехи гигиены и санитарии», — дальше говорилось о плохом состоянии городских кладбищ и, кстати, о том, что козы обывателей портят древесные посадки, уничтожают цветы на могилах. Мрачный тон статьи позволял думать, что в ней глубоко скрыта от цензора какая-то аллегория, а по начальной фразе Самгин понял, что статья написана редактором, это он довольно часто начинал свои гражданские жалобы фразой, осмеянной еще в шестидесятых годах: «В настоящее время, когда». Вообще газета Варавки была скучная, мелкоделовитая, и лишь изредка Самгина забавлял Робинзон. Один из его фельетонов был сплошь написан излюбленными редактором фразами, поговорками, цитатами: «Уж сколько раз твердили миру», — начинался фельетон стихом басни Крылова, и, перечислив избитыми словами все то, о чем твердили миру, Робинзон меланхолически заканчивал перечень: «А Васька слушает да ест». Последняя фраза спрашивала редактора или цензора:

«Ты этого хотел, Жорж Данден?»

Самой интересной страницей газеты была четвертая: на ней Клим читал:

«Музыкальная школа В. П. Самгиной объявляет»… «Техническая контора Т. С. Варавки»… «Буксирное пароходство Т. С. Варавки»… «Управление дачами «Уют» Т. С. Варавки»… «Варавка»… «Варавки»…

«Завоевание Плассана», — думал Клим, усмехаясь.

«Семейные бани И. И. Домогайлова сообщают, что в дворянском отделении устроен для мужчин душ профессора Шарко, а для дам ароматические ванны», — читал он, когда в дверь постучали и на его крик: «Войдите!» вошел курчавый ученик Маракуева — Дунаев. Он никогда не бывал у Клима, и Самгин встретил его удивленно, поправляя очки. Дунаев, как всегда, улыбался, мелкие колечки густейшей бороды его шевелились, а нос как-то странно углубился в усы, и шагал Дунаев так, точно он ожидал, что может провалиться сквозь пол.

— Никого нет? — спросил он, покосившись на ширму, скрывавшую кровать, и по его вопросу Самгин понял: случилось что-то неприятное.

— Никого. Садитесь.

Рабочий, дважды кивнув головою, сел, взглянул на грязные сапоги свои, спрятал ноги под стул и тихонько заговорил, не угашая улыбочку:

— Ну-с, товарищ Петр арестован и Дьякон с ним. Они в Серпухове схвачены, а Вараксин и Фома — здесь. Насчет Одинцова не знаю, он в больнице лежит. Меня, наверное, тоже зацапают.

Самгин молчал, ощущая кожей спины холодок тревоги, думая о Диомидове и не решаясь спросить:

«Донес кто-то?»

— Я к вам вот почему, — объяснял Дунаев, скосив глаза на стол, загруженный книгами, щупая пальцами «Наш край». — Не знаете — товарища Варвару не тревожили, цела она?

— Не знаю.

— Надо узнать. Предупредить надо, если цела, — говорил Дунаев. — Там у нее книжки есть, я думаю, а мне идти к ней — осторожность не велит.

— Хорошо, я сейчас, — сказал Самгин. Рабочий встал, протянул ему руку, улыбаясь еще шире.

— Ежели вас не зацепят в эту историю, так вы насчет книжек позаботьтесь мне; в тюрьме будто читать не мешают.

— Что ж это — донос? — тихо и сердито спросил Клим.

— Похоже, — ответил Дунаев не сразу и приглядываясь прищуренными глазами к чему-то в углу. — Был у нас белобрысенький такой паренек, Сапожников, отшили мы его, глуповат и боязлив чересчур. Может быть, он обиделся…

— Что ж вы думаете сделать с ним? — спросил Самгин, понимая, что спрашивает и ненужно и неумно;

Дунаев тоже спросил:

— А — где я его возьму? Если меня не посадят, конечно, я поговорю с ним.

Он уже не улыбался, хотя под усами его блестели зубы, но лицо его окаменело, а глаза остановились на лице Клима с таким жестким выражением, что Клим невольно повернулся к нему боком, пробормотав:

— Да… конечно.

— Прощайте. Так вы сейчас же…

Он снова улыбался своей улыбочкой, как будто добродушной, но Самгин уже не верил в его добродушие. Когда рабочий ушел, он несколько минут стоял среди комнаты, сунув руки в карманы, решая: следует ли идти к Варваре? Решил, что идти все-таки надобно, но он пойдет к Сомовой, отнесет ей литографированные лекции Ключевского.

Сомова встретила его, размахивая синим бланком телеграммы.

— Лида приезжает, понимаешь? Ты что какой? Торопливо рассказывая ей об арестах, он чувствовал новую тревогу, очень похожую на радость.

— Ну, — живо! — вполголоса сказала Сомова, толкая его в столовую; там сидела Варвара, непричесанная, в широком пестром балахоне. Вскричав «Ай!» — она хотела убежать, но Сомова строго прикрикнула:

— Глупости! Где у вас нелегальщина? Письма, записки Маракуева — есть? Давайте всё мне.

Она увлекла побледневшую и как-то еще более растрепавшуюся Варвару в ее комнату, а Самгин, прислонясь к печке, облегченно вздохнул: здесь обыска не было. Тревога превратилась в радость, настолько сильную, что потребовалось несколько сдержать ее.

«Прежние отношения с Лидой едва ли возможны. Да я и не хочу их. А что, если она беременная?»

Но тотчас же после этого он подумал:

«Если б меня арестовали, это, наверное, тронуло бы ее».

Выскочила Сомова с маленькой пачкой книжек в руке и крикнула в дверь комнаты Варвары:

— А письма в печку!

Она исчезла, заставив Самгина мельком подумать, что суматоха нравится ей. Варвара, высунув из двери улыбающееся, но сконфуженное лицо, сказала:

— Я сейчас, только оденусь.

— К сожалению, мне нужно идти в университет, — объявил Клим, ушел и до усталости шагал по каким-то тихим улицам, пытаясь представить, как встретится он с Лидией, придумывая, как ему вести себя с нею.

Через день, прожитый беспокойно, как пред экзаменом, стоя на перроне вокзала, он увидел первой Алину: явясь в двери вагона, глядя на людей сердитым взглядом, она крикнула громко и властно:

— Носильщик! Вы ослепли?

В черном плаще, в широкой шляпе с загнутыми полями и огромным пепельного цвета пером, с тростью в руке, она имела вид победоносный, великолепное лицо ее было гневно нахмурено. Самгин несколько секунд смотрел на нее с почтительным изумлением, сняв фуражку.

Она поздоровалась с ним на французском языке и сунула в руки ему, как носильщику, тяжелый несессер. За ее спиною стояла Лидия, улыбаясь неопределенно. маленькая и тусклая рядом с Алиной, в неприятно рыжей шубке, в котиковой шапочке.

— Здравствуй, — сказала она тихо и безрадостно, в темных глазах ее Клим заметил только усталость. Целуя руку ее, он пытливо взглянул на живот, но фигура Лидии была девически тонка и стройна. В сани извозчика она села с Алиной, Самгин, несколько обиженный встречей и растерявшийся, поехал отдельно, нагруженный картонками, озабоченный тем, чтоб не растерять их.

В номере гостиницы, покрикивая так же громко, как на вокзале, Алина приказывала старику лакею:

— Дедушка — самовар! И — закусить побольше, по-русски, по-купечески. Сообрази: почти два года прожила за границей!

— Понимаю-с, — сказал старик, отечески радостно улыбаясь ей.

Лидия заняла комнату, соседнюю с Алиной, и в щель неприкрытой двери Самгин видел, что она и уже прибежавшая Сомова торопливо открывают чемодан.

«Должно быть, привезла Любаше литературу эмигрантов», — сообразил он.

Алина, в дорожном костюме стального цвета, с распущенными по спине и плечам волосами, стройная и пышная, стояла у стола, намазывая горячий калач икрой, и патетически говорила:

— О родина! О калачи! Икра! И — рыбная селянка с капорцами.

В ней не осталось почти ничего, что напоминало бы девушку, какой она была два года тому назад, — девушку, которая так бережно и гордо несла по земле свою красоту. Красота стала пышнее, ослепительней, движения Алины приобрели ленивую грацию, и было сразу понятно — эта женщина знает: все, что бы она ни сделала, — будет красиво. В сиреневом шелке подкладки рукавов блестела кожа ее холеных рук и, несмотря на лень ее движений, чувствовалась в них размашистая дерзость. Карие глаза улыбались тоже дерзко.

— Люблю есть, — говорила она с набитым ртом. — Французы не едят, они — фокусничают. У них везде фокусы: в костюмах, стихах, в любви.

Ее сильный, мягкий голос казался Климу огрубевшим. И она как будто очень торопилась показать себя такою, какой стала-Вошла Сомова в шубке, весьма заметно потолстевшая; Лидия плотно закрыла за нею свою дверь.

— Аля, я через часок ворочусь, — сказала Сомова, исчезая, Алина подмигнула вслед ей.

— Бежит революцию сеять! Люблю эту Матрешку! И, вздохнув, спросила:

— Ты — тоже сеешь? Бунтовал? Через минуту она осведомилась:

— С Туробоевым встречался?

А еще через несколько минут рассказывала, не переставая есть:

— Уже в конце первого месяца он вошел ко мне в нижнем белье, с сигарой в зубах. Я сказала, что не терплю сигар. «Разве?» — удивился он, но сигару не бросил- С этого и началось.

Выпив рюмку рябиновой водки и вкусно облизав яркие губы, она продолжала, тщательно накладывая ломтики семги на кусок калача:

— Вообразить не могла, что среди вашего брата есть такие... милые уроды. Он перелистывает людей, точно книги. «Когда же мы венчаемся?» — спросила я. Он так удивился, что я почувствовала себя калуцкой дурой. «Помилуй, говорит, какой же я муж, семьянин?» И я сразу поняла; верно, какой он муж? А он — еще: «Да и ты, говорит, разве ты для семейной жизни с твоими данными?» И это верно, думаю. Ну, конечно, поплакала. Выпьем. Какая это прелесть, рябиновая!

Выпив, она удивительным движением рук и головы перебросила обильные волосы свои на грудь и, отобрав половину их, стада заплетать косу.

— Среди своих друзей, — продолжала она неторопливыми словами, — он поставил меня так, что один из них, нефтяник, богач, предложил мне ехать с ним в Париж. Я тогда еще дурой ходила и не сразу обиделась на него, но потом жалуюсь Игорю. Пожал плечами. «Ну, что ж, — говорит. — Хам. Они тут все хамье». И — утешил: «В Париж, говорит, ты со мной поедешь, когда я остаток земли продам». Я еще поплакала. А потом — глаза стало жалко. Нет, думаю, лучше уж пускай другие плачут!

Перестав жевать и говорить, она задумалась, глядя в окно через голову Клима. Ему красота Алины казалась уже подавляющей и наглой.

«Сомова метко сказала: солдатская вдова».

Вошла Лидия, одетая в необыкновенный халатик оранжевого цвета, подпоясанный зеленым кушаком. Волосы у нее были влажные, но от этого шапка их не стала

меньше. Смуглое лицо ярко разгорелось, в зубах дымилась папироса, она рядом с Алиной напоминала слишком яркую картинку не очень искусного художника. Морщась от дыма, она взяла чашку чая, вылила чай в полоскательницу и сказала:

— Налей крепкого.

— Но все-таки — порода! — вдруг и с удовольствием сказала Алина, наливая чай. — Все эти купчишки, миллионеришки боялись его. Он их учил прилично есть, пить, одеваться, говорить. Дрессировал, как собачат.

Самгин чувствовал себя неловко, Лидия села на диван, поджав под себя ноги, держа чашку в руках и молча, вспоминающими глазами, как-то бесцеремонно рассматривала его.

«Ни о чем не спрашивает, но, конечно, заряжена вопросами», — едко подумал он.

Заплетая другую косу, Алина сказала:

— Познакомилась я с француженкой, опереточная актриса, рыжая, злая, распутная, умная — ох, Климчик, какие француженки умные! На нее тратят огромные деньги. Она мне сказала: «От нас, женщин, немногого хотят, поэтому мы — нищие!» Помнишь, Лида?

— Что? — рассеянно спросила Лидия.

— Как ты спорила с нею и она сказала…

— Да, помню, как же! Она очень умная, очень!

Это она проговорила быстро и так, что Самгин понял:

Лидия не хочет, чтоб он знал что-то.

«Вероятно, какое-то опереточное приключение русской провинциалки, страдающей ненормальным половым любопытством», — зло подумал он, сознавая, что спешит настроить себя против Лидии.

Она, не допив чай, бросила в чашку окурок папиросы, встала, отошла к запотевшему окну, вытерла стекло платком и через плечо спросила:

— Чем ты так озабочен, Клим?

Ему хотелось ответить какими-то вескими словами, так, чтоб они остались в памяти ее надолго, но он был в мелких мыслях, мелких, как мухи, они кружились бестолково, бессвязно; вполголоса он сказал:

— Арестованы на днях знакомые, и возможно, что мне придется…

Шумно влетела Варвара, бросилась к Лидии, долго обнимала, целовала ее, разглядывала, восклицая:

— Милуша! Цыганочка… Потом кричала в лицо Алины:

— Боже, какая красота! По рассказам Лиды я знала, что вы красивая, но — так! До вас даже дотронуться страшно, — кричала она, схватив и встряхивая руки Алины.

В ее возбуждении, в жестах, словах Самгин видел то наигранное и фальшивое, от чего он почти уже отучил ее своими насмешками. Было ясно, что Лидия рада встрече с подругой, тронута ее радостью; они, обнявшись, сели на диван, Варвара плакала, сжимая ладонями щеки Лидии, глядя в глаза ее.

— Милая ты, моя…

«Как же они видят друг друга?» — спрашивал себя Клим, наблюдая за ними. Алина

мешала ему.

— Предлагают поступить в оперетку, — говорила она. — Кажется — пойду. «Родилась, так — живи!» — как учила меня моя француженка.

Она перешла на диван, бесцеремонно втиснулась между подругами, и те сразу потускнели. По коридору бегали лакеи, дребезжала посуда, шаркала щетка, кто-то пронзительно крикнул:

— Тринадцатый, — дур-рак!

На диване все оживленнее звучали голоса Алины и Варвары, казалось, что они говорят условным языком и не то, о чем думают. Алина внезапно и нелепо произнесла, передразнивая кого-то, шепелявя:

— Ой, милая, не верь социалистам, они тоже в серединку смотрят!

И стала рассказывать:

— В Крыму был один социалист, так он ходил босиком, в парусиновой рубахе, без пояса, с расстегнутым воротом; лицо у него детское, хотя с бородкой, детское и обезьянье. Он возил воду в бочке, одной старушке толстовке…

— Он сам толстовец, — вставила Лидия.

— Да? Ну все равно. Удивительно пел русские песни и смотрел на меня, как мальчишка на пряник. Самгин, чувствуя себя лишним, взял фуражку.

— Вам следует отдохнуть.

— Да, милый, — сказала Алина, похлопывая его по руке мягкой своей ладонью. — Вечером придешь, да?

Лидия пожала его руку молча. Было неприятно видеть, что глаза Варвары провожают его с явной радостью. Он ушел, оскорбленный равнодушием Лидии, подозревая в нем что-то искусственное и демонстративное. Ему уже казалось, что он ждал: Париж сделает Лидию более простой, нормальной, и, если даже несколько развратит ее, — это пошло бы только в пользу ей. Но, видимо, ничего подобного не случилось и она смотрит на него все теми же глазами ночной птицы, которая не умеет жить днем.

«Надо решительно объясниться с нею», — додумался он и вечером, тоже демонстративно, не пошел в гостиницу, а явился утром, но Алина сказала ему, что Лидия уехала в Троипе-Сергиевскую лавру. Пышно одетая в шелк, Алина сидела перед зеркалом, подпиливая ногти, и небрежненьким тоном говорила:

— У нее, как у ребенка, постоянно неожиданные решения. Но это не потому, что она бесхарактерна, он — характер у нее есть! Она говорила, что ты сделал ей предложение? Смотри, это будет трудная жена. Она все ищет необыкновенных людей, люди, милый мой, — как собаки: породы разные, а привычки у всех одни.

— Странно слышать такие афоризмы из твоих уст, — заметил Клим сердито и насмешливо.

— Почему — странно? Я — не глупа.

Бросив пилку в несессер, она стала протирать ногти замшевой подушечкой. Самгин обратил внимание, что вещи у нее были дорогие, изящные, костюмы — тоже. Много чемоданов. Он усмехнулся.

— А что Лютов? — спросила она, углубленно занимаясь ногтями.

Не без злорадства Клим рассказал ей о том, как Лютов пьянствует, о его революционных знакомствах, о встрече с Туробоевым. Алина выслушала его, не

перебивая, потом одобрительно сказала:

— Интересный человек Владимир Васильевич!

— Не жалко тебе его?

— Что-о? — удивленно протянула она. — За что же его жалеть? У него — своя неудача, у меня — своя. Квит. Вот Лида необыкновенного ищет, — выходила бы замуж за него! Нет, серьезно, Клим, купцы — хамоватый народ, это так, но — интересный!

И, повернувшись лицом к нему, улыбаясь, она оживленно, с восторгом передала рассказ какого-то волжского купчика: его дядя, старик, миллионер, семейный человек, сболтнул кому-то, что, если бы красавица губернаторша показала ему себя нагой, он не пожалел бы пятидесяти тысяч. Губернаторше донесли об этом его враги, но она согласилась показать себя, только он должен смотреть на нее из другой комнаты, в замочную скважину. Он посмотрел, стоя на коленях, а потом, встретив губернаторшу глаз на глаз, сказал, поклонясь ей в пояс: «Простите, Христа ради, ваше превосходительство, дерзость мою, а красота ваша воистину — божеская, и благодарен я богу, что видел эдакое чудо».

— Может быть, это — неправда, но — хорошо! — сказала Алина, встав, осматривая себя в зеркале, как чиновник, которому надо представляться начальству. Клим спросил:

— А деньги он заплатил?

— Старик? Да. Заплатил.

— Не верю.

— Вот какой ты... практический мужчина! — сказала она, посмотрев на него с нехорошей усмешкой, и эта усмешка разрешила ему спросить ее:

— А за какие деньги ты показалась бы?

— У тебя таких нет, милейший! — ответила она и предложила: — Пойдем-ко, погуляем!

На улице она стала выше ростом и пошла на людей, гордо подняв голову, раскачивая бедрами. В этой ее воинственности было нечто, внушающее почтение к ней и даже развеселившее Самгина. Он перестал думать о Лидии. Приятно было идти под руку с женщиной, на которую все мужчины смотрели с восхищением, а женщины — враждебно. Клим отметил во взглядах мужчин удивление, лишенное. той игривости, той чувственной жадности, с которой они рассматривают женщин только и просто красивых. В небе замерзли мелкие облака из страусовых перьев, похожих на перо шляпки Алины Телепневой.

— Хочу есть, — заявила она через полчаса. Самгин повел ее в «Эрмитаж»; стол она выбрала среди зала на самом видном месте, а когда лакей подал карту, сказала ему с обаятельнейшей улыбкой, громко:

— Нет, вы, друг мой, угостите меня по вашему вкусу, по-московски.

И объяснила Климу:

— Я и в Париже так, скажу человеку: нуте-ко, покажите себя! Ему — лестно, он и постарается. Это — во всем!

— Ив любви? — уже игриво спросил Самгин.

— Ив любви, — серьезно ответила она, но затем, прищурясь, оскалив великолепные зубы, сказала потише: — Ты, разумеется, замечаешь во мне кое-что кокоточное, да? Так для ясности я тебе скажу: да, да, я вступаю на эту службу, вот! И — чорт

вас всех побери, милейшие мои, — шопотом добавила она, глаза ее гневно вспыхнули.

— Я… не моралист, — пробормотал Самгин. Он желал быть приятным и покорным ей, потому что и красота и настроение ее подавляли, пугали его. Сказав ему о своей «службе», она определила его догадку и усилила его ощущение опасности: она посматривала на людей в зале, вызывающе прищурив глаза, и Самгин подумал, что ей, вероятно, знакомы скандалы и она не боится их. Очень стесняло и беспокоило внимание, возбужденное ею, казалось, что все смотрят только на нее и вслушиваются в ее слова. Когда принесли два подноса различной еды на тарелках, сковородках, в сотейниках, она, посмотрев на все глазами знатока, сказала лакею:

— Браво! Вы скоро будете метр-д-отелем! А лакей, очарованно улыбаясь, спрашивал, выгнув спину и тоном соучастника в тайном деле:

— Разрешите рекомендовать померанцевую водочку-с? Отличная! И красненькое, бордо, очень тонкое, старенькое!

— Люблю лакеев, — сказала Алина неприлично громко. — В наше время только они умеют служить женщине рыцарски. Слушай — где Макаров?

Самгин усмехнулся.

— Согласись, что переход от лакеев к Макарову…

— Не от лакеев, а от рыцарей, — поправила она серьезно.

— Учится. Живет у Лютова. Я редко вижу его.

— Почему?

— Скучно с ним.

— И ему с тобой?

— Вероятно.

Когда она начала есть, Клим подумал, что он впервые видит человека, который умеет есть так изящно, с таким наслаждением, и ему показалось, что и все только теперь дружно заработали вилками и ножами, а до этой минуты в зале было тихо.

Позавтракав, она оставила Самгина.

— Иду хлопотать о моем будущем, — сказала она. К Самгину тотчас же откуда-то из угла подкатился кругленький, сильно раскрасневшийся Тагильский и крикливо, нетвердым голосом спросил:

— Что это за чудовище? Из Парижа? Ого-о! — воскликнул он и, причмокнув яркими губами, сказал убежденно: — Это — сразу видно.

В углу, откуда он пришел, сидел за столом такой же кругленький, как Тагильский, но пожилой, плешивый и очень пьяный бородатый человек с большим животом, с длинными ногами. Самгин поторопился уйти, отказавшись от предложения Тагильского «разделить компанию».

Несколько охмелев от вкусной пищи и вина, он пошел по бульвару к Страстной площади, думая:

«А ведь как она нянчилась со своей красотой! И вот…»

Он усмехнулся. Попробовал думать о Лидии, но помешала знакомая Лютова, женщина с этой странно памятной, насильственной улыбкой. Она сидела на скамье и как будто именно так и улыбнулась ему, но, когда он вежливо приподнял фуражку, ее неинтересное лицо сморщилось гримасой удивления.

«Неужели я ошибся? — спросил он себя, оглядываясь на траурно одетую фигуру под голыми деревьями. — Нет, это она. Конспирирует, дура».

Он пошел к Варваре, надеясь услышать от нее что-нибудь о Лидии, и почувствовал себя оскорбленным, войдя в столовую, увидав там за столом Лидию, против ее — Диомидова, а на диване Варвару.

— Да, да! — не своим голосом покрикивал Диомидов. — Это — ваша вина, ваша!

Сидел он навалясь на стол, простирая руки к Лидии, разводя ими по столу, сгребая, расшвыривая что-то; скатерть морщилась, образуя складки, Диомидов пришлепывал их ладонью. Сунув Климу холодную, жесткую руку, он торопливо вырвал ее.

— Здравствуй! — сказала Лидия тем же тоном, как на вокзале, и обратилась к Диомидову: — Что же, продолжайте!

Диомидов снова заговорил, уже вполголоса, очень быстро, заглатывая слова, дополняя их взмахами правой руки, а пальцами левой крепко держась за край стола.

Клим сел рядом с Варварой, она, сложив пальцы щипчиками, достала из коробки на коленях ее конфетку, поднесла ее я губам Самгина, шепнула:

— Осторожнее, с ликером.

Клим спросил тоже шопотом: как это она узнала?

Варвара молча пожала плечиком, а Диомидов говорил снова громко и ликующим тоном:

— Этот Макаров ваш, он — нечестный, он толкует правду наоборот, он потворствует вам, да! Старик-то, Федоров-то, вовсе не этому учит, я старика-то знаю!

Клим вспоминал: что еще, кроме дважды сказанного «здравствуй», сказала ему Лидия? Приятный, легкий хмель настраивал его иронически. Он сидел почти за спиною Лидии и пытался представить себе: с каким лицом она смотрит на Диомидова? Когда он, Самгин, пробовал внушить ей что-либо разумное, — ее глаза недоверчиво суживались, лицо становилось упрямым и неумным.

— Людей, которые женщинам покорствуют, наказывать надо, — говорил Диомидов, — наказывать за то, что они в угоду вам захламили, засорили всю жизнь фабриками для пустяков, для шпилек, булавок, духов и всякие ленты делают, шляпки, колечки, сережки — счету нет этой дряни! И никакой духовной жизни от вас нет, а только стишки, да картинки, да романы…

— Какая дичь! Слушать тошно, — сказала Варвара очень спокойно, Лидия, не двигаясь, попросила ее:

— Подожди, Варя!

А Диомидов сердито сказал:

— Вовсе не дичь! Это вот конфетки ваши дичь…

— Но, Лида, как ты можешь не возражать? — не уступала Варвара. — Как это нет духовной жизни? А искусство?

— Ничего ни знаете! — крикнул Диомидов. — Пророка Еноха почитали бы, у него сказано, что искусствам дочери человеческие от падших ангелов научились, а падшие-то ангелы — кто?

Теперь Клим видел лицо Диомидова, видел его синеватые глаза, они сверкали

ожесточенно, желтые усы сердито шевелились, подбородок дрожал. Так возбужденным он видел Диомидова впервые. И наряден он необычно, смазал себе чем-то кудри и причесал, разделив их глубоким, прямым пробором так, что голова его казалась расколотой. На нем новая рубаха из чесунчи, и весь он вымыт, выглажен, точно собрался под венец или к причастию. Он все двигал руками, то сжимая пальцы бессильных рук в кулаки, то взвешивая что-то на ладонях.

— Вы для возбуждения плоти, для соблазна мужей трудной жизни пользуетесь искусствами этими, а они — ложь и фальшь. От вас, покорных рабынь гибельного демона, все зло жизни, и суета, и пыль словесная, и грязь, и преступность — все от вас! Всякое тление души, и горестная смерть, и бунты людей, халдейство ученое и всяческое хамство, иезуитство, фармазонство, и ереси, и все, что для угашения духа, потому что дух — враг дьявола, господина вашего!

Подскочив на стуле, Диомидов так сильно хлопнул по столу ладонью, что Лидия вздрогнула, узенькая спина ее выпрямилась, а плечи подались вперед так, как будто она пыталась сложить плечо с плечом, закрыться, точно книга.

Варвара неутомимо кушала шоколад, прокусывая в конфетке дырочку, высасывала ликер, затем, положив конфетку в рот, облизывала губы и тщательно вытирала пальчики платком. Самгин подозревал, что наслаждается она не столько шоколадом, сколько тем, что он присутствует при свидании Лидии с Диомидовым и видит Лидию в глупой позиции: безмолвной, угнетенной болтовнёю полуумного парня.

«Хитрая бестия», — думал он, искоса поглядывая на Варвару, вслушиваясь в задыхающийся голос уставшего проповедника, а тот, ловя пальцами воздух, встряхивая расколотой головою, говорил:

— От Евы начиная, развращаете вы! Авель-то в раю был зачат, а Каин — на земле, чтоб райскому человеку дать земного врага…

— Первым сыном Евы был Каин, — тихо напомнила Лидия, поднялась и отошла к печке.

Диомидов, Опираясь руками в стол, тоже медленно и тяжело привстал, глаза его выкатились, лицо неестественно вытянулось, опало.

— Ну, да, Каин, я забыл, — бормотал он, мигая. — Каин… Ну, что ж? Соблазнил-то Еву дьявол…

— Вам, Диомидов, хоть библию надо почитать, — заговорил Клим, усмехаясь. Он хотел сказать мягко, снисходительно, а вышло злорадно, и Клим видел, что это не понравилось Лидии. Но он продолжал:

— Надо поучиться, а то вы компрометируете мысль, ту силу, которая отводит человека от животного, но которой вы еще не умеете владеть…

— Я человек простой, — тихо и обиженно вставил Диомидов.

— Именно, — согласился Клим. — И это вам следует помнить. Вы начитались Толстого, кажется…

— Ну так что?

— Но Толстой устал от бесконечного усложнения культурной жизни, которую он сам же мастерски усложняет как художник. Он имеет право критики потому, что много знает, а — вы? Что вы знаете?

— Жить нельзя, вот что, — сказал Диомидов под стол.

— Перестань, Клим, ты плохо говоришь. Это произнесла Лидия очень твердо, почти резко. Она выпрямилась и смотрела на него укоризненно. На белом фоне изразцов

печки ее фигура, окутанная дымчатой шалью, казалась плоской. Клим почувствовал, что в горле у него что-то зашипело, откашлялся и сказал:

— Плохо? Может быть. Но я не могу поощрять почтительным молчанием варварские искажения.

— Ну, что ж! Я уйду!

Диомидов поднялся со стула как бы против воли, но пошел очень быстро, сапоги его щеголевато скрипели.

— Подождите, Семен, — крикнула Лидия и тоже пошла в прихожую, размахивая шалью. Клим взглянул на Варвару; кивнув головою, она тихонько одобрила его:

— Прекрасно отчитали, так и надо! В прихожей Диомидов топал ногами, надевая галоши, Варвара шептала:

— Конечно, это не отрезвит ее. Вы замечаете, какая она стала отчужденная? И это — после Парижа…

— Что же, Париж — купель Силоамская, что ли? — пробормотал Клим, прислушиваясь, готовясь к объяснению с Лидией. Громко хлопнула дверь. Варвара, заглянув в прихожую, объявила:

— Она ушла с ним!

— Почему это радует вас? — спросил Самгин, строго осматривая ее. — Мне тоже надо идти. До свидания.

Но уйти он не торопился, стоял пред Варварой, держа ее руку в своей, и думал, что дома его ждет скука, ждут беспокойные мысли о Лидии, о себе.

Дома его ждал толстый конверт с надписью почерком Лидии; он лежал на столе, на самом видном месте. Самгин несколько секунд рассматривал его, не решаясь взять в руки, стоя в двух шагах от стола. Потом, не сходя с места, протянул руку, но покачнулся и едва не упал, сильно ударив ладонью по конверту.

«Глупо я веду себя», — подумал он, косясь на зеркало, и сел у стола.

В конверте — пять листиков тесно исписанной толстой бумаги: некоторые строки и фразы густо зачеркнуты, некоторые написаны поперек линеек. Он не скоро нашел начало послания.

«Это — письма, которые я хотела послать тебе из Парижа, — читал он, придерживая зачем-то очки, точно боялся, что они соскочат с носа. — Но мне не удалось написать то, что я хотела, достаточно ясно для себя. Ты знаешь, писать я не умею и говорить тоже, могу только спрашивать. Посылаю тебе все эти начала писем, может быть, ты поймешь и так, что я хотела сказать. Собственно, я знаю, чего хочу или, вернее, не хочу. Я не хочу никаких отношений с тобою, а вчера мне показалось, что ты этому не веришь и думаешь, что я снова буду заниматься с тобою гимнастикой, которая называется любовью. Но — нужно объяснить, почему не хочу. А объяснить так, чтобы мне самой было ясно, — не умею. Ужасно трудно объяснять, Клим».

На другом листке остались незачеркнутыми только две фразы:

«Ты был зеркалом, в котором я видела мои слова и мысли. Тем, что ты иногда не мешал мне спрашивать, ты очень помог мне понять, что спрашивать бесполезно».

Третий листок говорил:

«Должно быть, есть какие-то особенные люди, ни хорошие, ни дурные, но когда соприкасаешься с ними, то они возбуждают только дурные мысли. У меня с тобою были какие-то ни на что не похожие минуты. Я говорю не о «сладких судорогах

любви», вероятно, это может быть испытано и со всяким другим, а у тебя — с другой».

Сверх этих строк было надписано мелкими буквами:

«Ты, наверное, из тех, кого называют «чувственными», которые забавляются, а не любят, хотя я не знаю, что значит любить».

А поперек крупно написано:

«У меня нет мысли, нет желания обидеть тебя».

Читать было трудно: Клим прижимал очки так, что было больно переносью, у дето дрожала рука, а отнять руку от очков он не догадывался. Перечеркнутые, измазанные строки ползали во бумаге, волнообразно изгибались, разрывая связи слов.

«Я думаю, что ни с кем, кроме тебя, я не могла бы говорить так, как с тобой. Твоя самоуверенность очень раздражает. Я всегда чувствовала, что ты меня не понимаешь, даже и не хочешь понять, это делало меня особенно откровенной, потому что я упряма. Сама с собой я страшно откровенна и вот говорю тебе, что не понимаю, зачем произошло все это между нами? Наверное, я в чем-то виновата, хотя не чувствую этого. И не помню, чтоб я говорила тебе, что люблю. Кажется, мне было жалко тебя, ты так плохо вел себя тогда. И, конечно, любопытство девушки тоже».

Слово — конечно — было зачеркнуто.

«Не обижайся. Хотя — все равно и даже лучше, если обидишься.

Самгин обиделся, сердито швырнул листки на стол, но один из них упал на — пол. Клим поднял листок и снова начал читать стоя.

«Люди, которые говорят, что жить поможет революция, наивно говорят, я думаю. Что же даст революция? Не знаю. По-моему, нужно что-то другое, очень страшное, такое, чтоб все ужаснулись сами себя и всего, что они делают. Пусть даже половина людей погибнет, сойдет с ума, только бы другая вылечилась от пошлой бессмысленности жизни. Когда ты рассуждаешь о революции, это напрасно. Ты рассуждаешь, как чиновник из суда. У тебя нет такого чувства, которым делают революции, ведь революции делают из милосердия или как твой дядя Яков».

И еще на одном обрывке бумаги, сплошь зачеркнутом, Самгин разобрал:

«Может быть, я с тобою говорю, как собака с тенью, непонятной ей».

Самгин собрал все листки, смял их, зажал в кулаке и, закрыв уставшие глаза, снял очки. Эти бредовые письма возмутили его, лицо горело, как на морозе. Но, прислушиваясь к себе, он скоро почувствовал, что возмущение его не глубоко, оно какое-то физическое, кожное. Наверное, он испытал бы такое же, если б озорник мальчишка ударил его по лицу. Память услужливо показывала Лидию в минуты, не лестные для нее, в позах унизительных, голую, уставшую.

«В сущности, я ожидал от нее чего-то в этом роде. Негодовать — глупо. Она — невменяема. Дегенератка. Этим — все сказано».

Он сел и начал разглаживать на столе измятые письма. Третий листок он прочитал еще раз и, спрятав его между страниц дневника, не спеша начал разрывать письма на мелкие клочки. Бумага была крепкая, точно кожа. Хотел разорвать и конверт, но в нем оказался еще листок тоненькой бумаги, видимо, вырванной из какой-то книжки.

«Вот, Клим, я в городе, который считается самым удивительным и веселым во всем мире. Да, он — удивительный. Красивый, величественный, веселый, — сказано о

нем. Но мне тяжело. Когда весело жить — не делают пакостей. Только здесь понимаешь, до чего гнусно, когда из людей делают игрушки. Вчера мне показывали «Фоли-Бержер», это так же обязательно видеть, как могилу Наполеона. Это — венец веселья. Множество удивительно одетых и совершенно раздетых женщин, которые играют, которыми играют и...»

Дальше все зачеркнуто, и можно было разобрать только слова:

«...убийственный, убивающий стыд».

Этот кусок бумаги легко было изорвать на особенно мелкие клочья. Клим отошел от стола, лег на кушетку.

«Ближе всего я был к правде в те дни, когда догадывался, что эта любовь выдумана мною», — сообразил он, закрыв глаза.

Горничная внесла самовар, заварила чай. Клим послушал успокаивающее пение самовара, встал, налил стакан чая. Две чаинки забегали в стакане, как живые, он попытался выловить их ложкой. Не давались. Бросив ложку, он взглянул на окно, к стеклам уже прильнула голубоватая муть вечера.

«Вот и у меня неудачный роман. Как это глупо. — Он вздохнул, барабаня пальцами по стеклу. — Но хорошо, что неопределенность кончилась и я — свободен».

Однако чувства его были противоречивы, он не мог подавить сознания, что жестоко и, конечно, незаслуженно оскорблен, а в то же время думал:

«Если б я был более откровенен с нею...»

Все, что касалось Лидии, приятное и неприятное, теперь как-то отяжелело, стало ощутимее, всего этого было удивительно много, и вспоминалось оно помимо воли. Вспомнилось, что пьяный Лютов сказал об Алине:

«Она — как тридцать третий зуб. У меня, знаешь, зуб мудрости растет, очень мешает языку».

Вечером на другой день его вызвала к телефону Сомова, спросила: здоров ли, почему не пришел на вокзал проводить Лидию?

— Простудился, не выхожу, — ответил он и зачем-то прибавил: — Я к пасхе тоже поеду домой.

— Вместе едем, ладно?

Но ехать домой он не думал и не поехал, а всю весну, до экзаменов, прожил, аккуратно посещая университет, усердно занимаясь дома. Изредка, по субботам, заходил к Прейсу, но там было скучно, хотя явились новые люди: какой-то студент института гражданских инженеров, длинный, с деревянным лицом, драгун, офицер Сумского полка, очень франтоватый, но все-таки похожий на молодого купчика, который оделся военным скуки ради. Там всё считали; Тагильский лениво подавал цифры:

— Шестьсот сорок три тысячи тонн... Позвольте: это неверно, обороты Крестьянского банка выразились...

Воинственно шагал Стратонов, поругивая немцев, англичан, японцев.

По вечерам, не часто, Самгин шел к Варваре, чтоб отдохнуть часок в привычной игре с нею, поболтать с Любашей, которая, хотя несколько мешала игре, но становилась все более интересной своей Осведомленностью о жизни различных кружков, о росте «освободительного», — говорила она, — движения.

Она хорошо сжилась с Варварой, говорила с нею тоном ласковой старшей сестры, Варвара, будучи весьма скупей, делала ей маленькие подарки. Как-то при Сомовой-

Клим пошутил с Варварой слишком насмешливо, — Любаша тотчас же вознегодовала:

— За такие турецкие манеры я бы тебе уши надрала!

— Но ведь это шутка, — быстро и миролюбиво воскликнула Варвара.

Клим видел в Любаше непонятное ему, но высоко ценимое им желание и уменье служить людям — качество, которое делало Таню Куликову в его глазах какой-то всеобщей и святой горничной. Веселая и бойкая Любаша обладала хлопотливостью воробьихи, которая бесстрашно прыгает по земле среди огромных, сравнительно с нею, людей, лошадей, домов, кошек. Она прыгала и бегала, воодушевленная неутолимой жаждой как можно скорее узнать отношения и связи всех людей, для того, чтоб всем помочь, распутать одни узлы, навязать другие, зашить и заштопать различные дырки. Она работала в политическом «Красном Кресте», ходила в тюрьму на свидания с Маракуевым, назвавшись его невестой.

— Это должна бы делать Варвара, — заметил Самгин.

— А делаю я, потому что Варя не могла бы наладить связь с тюрьмой. Клим усмехнулся:

— И потому, что Маракуев надоел ей.

— Чему причина — ты, — сердито сказала Любаша и, перестав сматывать шерсть в клубок, взглянула в лицо Клима с укором: — Скверно ты, Клим, относишься к ней, а она — очень хорошая?

Самгин снова усмехнулся иронически.

— Сваха, — сквозь зубы процедил он.

Нет, Любаша не совсем похожа на Куликову, та всю жизнь держалась так, как будто считала себя виноватой в том, что она такова, какая есть, а не лучше. Любаше приниженность слуги для всех была совершенно чужда. Поняв эта», Самгин стал смотреть на н «е, как на смешную «Ванскок», — Анну Скокову, одну из героинь романа Лескова «На ножах»; эту книгу и «Взбаламученное море» Писемского, по их «социальной педагогике», Клим ставил рядом с «Бесами» Достоевского.

Любаша всегда стремилась куда-то, боялась опоздать, утром смотрела на стенные часы со страхом, а около или после полуночи, уходя спать, приказывала себе:

— Встану в половине седьмого.

Она могла одновременно шить, читать, грызть любимые ею толстые «филапповские» сухари с миндалем и задумчиво ставить Климу различные не очень затейливые вопросы:

— Классовая точка зрения совершенно вычеркивает гуманизм, — верно?

— Совершенно правильно, — отвечал он и, желая смутить, запугать ее, говорил тоном философа, привыкшего мыслить безжалостно. — Гуманизм и борьба — понятия взаимно исключающие друг друга. Вполне правильное представление о классовой борьбе имели только Разин и Пугачев, творцы «безжалостного и беспощадного русского бунта». Из наших интеллигентов только один Нечаев понимал, чего требует революция от человека.

Тут Самгин чувствовал, что говорит он не столько для Сомовой, сколько для себя.

— Требует она, чтоб человек покорно признал себя слугою истории, жертвой ее, а не мечтал бы о возможности личной свободы, независимого творчества.

Удовлетворяя потребность сказать вслух то, о чем он думал враждебно, Самгин,

чтоб не выдать свое подлинное чувство, говорил еще более равнодушным тоном:

— История относится к человеку суровее, жестче природы. Природа требует, чтоб человек удовлетворял только инстинкты, вложенные ею в него. История насилует интеллект человека.

— Это как будто из Толстого? — вопросительно соображала Любаша.

Самгин видел, что Варвара сидит, точно гимназистка, влюбленная в учителя и с трепетом ожидающая, что вот сейчас он спросит ее о чем-то, чего она не знает. Иногда, как бы для того, чтоб смягчить учителя, она, сочувственно вздыхая, вставляла тихонько что-нибудь лестное для него.

— Как трагически смотрите вы на жизнь!

— Пессимист, — сказала Любаша. Слова вообще не смущали, не пугали ее.

— А я не моту думать без жалости, — говорила она. Самгин почувствовал в ней мягкое, но неодолимое упрямство и стал относиться к Любаше осторожнее, подозревая, что она — хитрая, «себе на уме», хотя и казалась очень откровенной, даже болтливой. И, если о себе самой она говорит усмешливо, а порою даже иронически, — это для того, чтоб труднее понять ее.

Что Любаша не такова, какой она себя показывала, Самгин убедился в этом, присутствуя при встрече ее с Диомидовым. Как всегда, Диомидов пришел внезапно и тихо, точно из стены вылез. Волосы его были обриты и обнаружили острый череп со стесанным затылком, большие серые уши без мочек. У него опухло лицо, выкатились глаза, белки их пожелтели, а взгляд был тоскливый и невидящий.

— В больнице лежал двадцать три дня, — объяснил он и попросил Варвару дать ему денег взаем до поры, пока он оправится и начнет работать.

Сомова, перестав шить, начала бесцеремонно и вызывающе рассматривать его; он, взглянув на нее раза два, сердито спросил:

— Что смотрите? Нехорош?

— Мне про вас Лидия Варавка много рассказывала. Ведь вы — анархист?

— Человек я, — ответил он угрюмо и отвернулся. Самгин был чрезвычайно удивлен обилием и жестокостью злых насмешек, которыми Любаша начала истязать Диомидова. Ее глазки холодно посветлели, слушая тоже злые ответы Диомидова, она складывала толстые губы свои так, точно хотела свистнуть, и, перекусывая нитки, как-то особенно звучно щелкала зубами. Самгин не мог представить себе, чтоб эта кругленькая Матрешка, будто бы неспособная думать без жалости, могла до такой степени жестко и ядовито говорить с человеком полубольным. Она заставила его затравленно съежиться и сказать:

— Шуточки все. Насмешечки. Погодите, посмеются и над вами.

— Улита едет, да — когда-то будет? — ответила она и еще более удивила Самгина, тотчас же заговорив ласково, дружески:

— Хотите познакомиться с человеком почти ваших мыслей? Пчеловод, сектант, очень интересный, книг у него много. Поживете в деревне, наберетесь сил.

— Я секты не люблю, — пробормотал Диомидов, прощально пожимая руку хозяйки. С Климом он не простился, а Сомовой сердито сказал, не подав руки:

— В деревню — не хочу.

Когда он ушел, Клим спросил Любашу:

— Зачем тебе нужно знакомить его с каким-то сектантом?

— Ну, а — куда же его?

— Ты чувствуешь себя призванной размещать людей сообразно твоим… вкусам, что ли?

— Вот именно! Равняйся! — ответила она, не подняв головы от шитья.

Желая вышутить ее, Самгин не отставал и, наконец, заставил неохотно высказаться:

— Деревня так безграмотно и мало думает, что ей полезны всякие идеи, лишь бы они тревожили ум.

— Оригинальная мысль, — иронически сказал Самгин, — она, не взглянув на него, ответила:

— Ты не знаешь деревню.

Она мешала Самгину обдумывать будущее, видеть себя в нем значительным человеком, который живет устойчиво, пользуется известностью, уважением; обладает хорошо вышколенной женою, умелой хозяйкой и скромной женщиной, которая однако способна говорить обо всем более или менее грамотно. Она обязана неплохо играть роль хозяйки маленького салона, где собирался бы кружок людей, серьезно занятых вопросами культуры, и где Клим Самгин дирижирует настроением, создает каноны, законодательствует.

Сомова говорила о будущем в тоне мальчишки, который любит кулачный бой и совершенно уверен, что в следующее воскресенье будут драться. С этим приходилось мириться, это настроение принимало характер эпидемии, и Клим иногда чувствовал, что постепенно, помимо воли своей, тоже заражается предчувствием неизбежности столкновения каких-то сил.

Благодаря своей наблюдательности, рассказам Любаши и Варвары он стал вместилищем всех ходовых идей, мнений, разногласий, афоризмов, анекдотов и эпиграмм. Он даже начал собирать «открытки» на политические темы; сначала их навязывала ему Сомова, затем он сам стал охотиться за ними, и скоро у него образовалась коллекция картинок, изображавших Финляндию, которая защищает конституцию от нападения двуглавого орла, русского мужика, который пашет землю в сопровождении царя, генерала, попа, чиновника, купца, ученого и нищего, вооруженных ложками; «Один с сошкой, семеро — с ложкой», — подписано было под рисунком. Варвара достала где-то и подарила ему фотографию с другого рисунка: на фоне полуразрушенной деревни стоял царь, нагой, в короне, и держал себя руками за фаллос, — «Самодержец», — гласила подпись. Был портрет Щедрина, окруженного чудовищами-, Победоносцева в виде нетопыря и еще много таких же редкостей. Самгин считал эту коллекцию опасной, но уже гордился ею и продолжал пополнять ее, как судебный следователь материал для обвинительного акта.

Университет, где настроение студентов становилось все более мятежным, он стал посещать не часто, после того как на одной сходке студент, картинно жестикулируя, приглашал коллег требовать восстановления устава 64 года.

— Требуем! — неистово кричал сосед Клима, светловолосый, красивенький второкурсник. Толкнув Самгина локтем, он спросил:

— Вы что же, коллега? Требуйте!

— Я не знаю, какой это устав, — сухо сказал Клим.

— Да ведь и я не знаю, — признался студент и снова закричал: — Согласны! Петицию министру!

«Варавка прав: эмоциональная оппозиция», — не впервые подумал Самгин.

Учился он автоматически, без увлечения, уже сознавая, что сделал ошибку, избрав юридический факультет. Он не представлял себя адвокатом, произносящим речи в защиту убийц, поджигателей, мошенников. У него вообще не было позыва к оправданию людей, которых он видел выдуманными, двуличными и так или иначе мешавшими жить ему, человеку своеобразного духовного строя и даже как бы другой расы.

Пять, шесть раз он посетил уголовное отделение окружного суда. До этого он никогда еще не был в суде, и хотя редко бывал в церкви, но зал суда вызвал в нем впечатление отдаленного сходства именно с церковью; стол судей — алтарь, портрет царя — запрестольный образ, места присяжных и скамья подсудимых — клироса.

Первый раз он попал неудачно: судились воры, трое, рецидивисты; люди разного возраста, но почти одинаково равнодушные к своей судьбе. Они, видимо, хорошо знали технику процесса, знали, каков будет приговор, держались спокойно, как люди, принужденные выполнять неизбежную, скучную формальность, без которой можно бы обойтись; они отвечали на вопросы так же механически кратко и вежливо, как механически скучно допрашивали их председательствующий и обвинитель. Только один из воров, седовласый человек с бритым лицом актера, с дряблым носом и усталым взглядом темных глаз, неприлично похожий на одного из членов суда, настойчиво, но безнадежно пытался выгородить своих товарищей. Двое молодых адвокатов, очевидно, «казенные защитники», перешептывались, совсем как певчие на клиросе, и мало обращали внимания на своих подзащитных. Деревянно и сонно сидели присяжные, только один из них, совершенно лысый старичок с голеньким, розовым лицом новорожденного, с орденом на шее, непрерывно двигал челюстью, смотрел на подсудимых остренькими глазками и ехидно улыбался, каждый раз, когда седой вор спрашивал, вставая:

— Разрешите сказать? Позвольте напомнить?

От скуки Самгин сосчитал публику: мужчин оказалось двадцать три, женщин — девять. Толстая, большеглазая, в дорогой шубе и в шляпке, отделанной стеклярусом, была похожа на актрису в роли одной из бесчисленных купчих Островского. Затем, сосчитав, что троих судят более двадцати человек, Самгин подумал, что это очень дорогая процедура.

В другой раз он попал на дело, удивившее его своей анекдотической дикостью. На скамье подсудимых сидели четверо мужиков среднего возраста и носатая старуха с маленькими глазами, провалившимися глубоко в тряпичное лицо. Люди эти обвинялись в убийстве женщины, признанной ими ведьмой.

Солнце зимнего полудня двумя широкими лучами освещало по одну сторону зала гладко причесанную бронзовую голову прокурора и десять разнообразных профилей присяжных, десятый обладал такой большой головой и пышной прической, что головы двух его товарищей не были видны. По другую сторону — подсудимые в арестантских халатах; бородатые, они были похожи друг на друга, как братья, и все смотрели на судей одинаково обиженно. Пред ними подскакивал и качался на тонких ножках защитник, небольшой человек с выпученным животом и седым коком на лысоватой голове; он был похож на петуха и обладал раздражающе звонким голосом. Председательствовал бритый, удавленный золотым воротником до того, что оттопырились и посинели уши, а толстое лицо побагровело и туго надулось. Но говорил он мягким голосом женщины и даже нежно.

— Итак, вы сознаетесь, что первый признали убитую ведьмой?

Один из подсудимых, стоя, сложив руки на животе, оскорбленно ответил:

— Зачем — первый? Вся деревня знала. Мне только ветер помог хвост увидать. Она бельишко полоскала в речке, а я лодку конопатил, и было ветрено, ветер заголил ее со спины, я вижу — хвост!..

— Подождите! Вы знаете, что в промежности растут волосы?

— Чего это? — недоверчиво спросил подсудимый. Председатель стал объяснять, люди, сидевшие на скамье по бокам Самгина, подались вперед, как бы ожидая услышать нечто удивительное. Подсудимый, угрюмо выслушав объяснение, приподнял плечи и сказал ворчливо:

— Это мы знаем. У нее — не волосья, а хвост метелкой, как у коровы, али у зайца, пучком, значит, вот что! Присяжные ухмылялись, публика захихикала.

— Тише! Прикажу очистить зал, — погрозил председательствующий, расстегнул воротник мундира и, поставив мужику еще несколько уже менее рискованных вопросов, объявил перерыв.

Самгин ушел отупевшим, угнетенным, но через несколько дней, пересилив себя, снова сидел в зале суда. На этот раз слушалось дело отцеубийцы, толстого, черноволосого парня; защищал его знаменитый адвокат, тоже толстый, обрюзгший. Говорил он гибким, внушительным баском, и было ясно, что он в совершенстве постиг секрет: сколько слов требует та или иная фраза для того, чтоб прозвучать уничтожающе в сторону обвинителя, человека с лицом блудного сына, только что прощенного отцом своим. В осанке, в жестах защитника было много актерского, но все-таки казалось, что он-то и есть главнейший судья. Публики было много, полон зал, и все смотрели только на адвоката, а подсудимый забыто сидел между двух деревянных солдат с обнаженными саблями в руках, — сидел, зажав руки в коленях, и, косясь на публику глазами барана, мигал. Глаза его, в которых застыл тупой испуг, его низкий лоб, густые волосы, обмазавшие череп его, как смола, тяжелая челюсть, крепко сжатые губы — все это крепко въелось в память Самгина, и на следующих процессах он уже в каждом подсудимом замечал нечто сходное с отцеубийцей.

«Очевидно, Ломброзо все-таки прав: преступный тип существует, а Дриль не хотел признать его из чувства человеколюбия, в криминальной области неуместного. Даже — вредного».

Сделав этот вывод, Самгин вполне удовлетворился им, перестал ходить в суд и еще раз подумал, что ему следовало бы учиться в институте гражданских инженеров, как советовал Варавка.

Затем у него было еще одно очень неприятное впечатление. Поздно, лунной ночью возвращаясь от Варвары, он шел бульварами. За час перед этим землю обильно полил весенний дождь, теплый воздух был сыроват, но насыщен запахом свежей листвы, луна затейливо разрисовала землю тенями деревьев. Самгин был настроен благодушно и думал, что, пожалуй, ему следует переехать жить к Варваре, она очень хотела этого, и это было бы удобно, — и она и Анфимьевна так заботливо ухаживали за ним. В Варваре он открыл положительное качество: любовь к уюту, она неутомимо украшала свое гнездо. Самгин понимал:

«Ждет хозяина».

— Это вы, Самгин? — окрикнул его человек, которого он только что обогнал. Его подхватил под руку Тагильский, в сером пальто, в шляпе, сдвинутой на затылок, и нетрезвый; фарфоровое лицо его в красных пятнах, глаза широко открыты и смотрят напряженно, точно боясь мигнуть.

— За девочками охотитесь? Поздновато! И — какие же тут девочки? — болтал он неприлично громко. — Ненавижу девочек, пользуюсь, но — ненавижу. И прямо говорю: «Ненавижу тебя за то, что принужден барахтаться с тобой». Смеется, идиотка. Все они — воровки.

Самгин вспомнил, что с месяц тому назад он читал в пошлом «Московском листке» скандальную заметку о студенте с фамилией, скрытой под буквой Т. Студент обвинял горничную дома свиданий в краже у него денег, но свидетели обвиняемой показали, что она всю эту ночь до утра играла роль не горничной, а клиентки дома,

была занята с другим гостем и потому — истец ошибается, он даже не мог видеть ее. Заметка была озаглавлена:

«Ошибка ученого».

— Кстати, о девочках, — болтал Тагильский, сняв шляпу, обмахивая ею лицо свое. — На днях я был в компании с товарищем прокурора — Кучиным, Кичиным? Помните керосиновый скандал с девицей Ветровой, — сожгла себя в тюрьме, — скандал, из которого пытались сделать историю? Этому Кичину приписывалось неосторожное обращение с Ветровой, но, кажется, это чепуха, он — не ветреник.

Тагильский засмеялся, довольный своим каламбуром.

— Нет, он не Свидригайлов и вообще не свирепый человек, а — человек «с принципами» и эдакий, знаете, прямых линий…

Он поскользнулся, Самгин поддержал его.

— Постойте — я забыл в ресторане интересную книгу и перчатки, — пробормотал Тагильский, щупая карманы и глядя на ноги, точно он перчатки носил на ногах. — Воротимтесь? — предложил он. — Это недалеко. Выпьем бутылку вина, побеседуем, а?

И, не ожидая согласия Клима, он повернул его вокруг себя с ловкостью и силой, неестественной в человеке полупьяном. Он очень интересовал Самгина своею позицией в кружке Прейса, позицией человека, который считает себя умнее всех и подает своя реплики, как богач милостыню. Интересовала набалованность его сдобного, кокетливого тела, как бы нарочно созданного для изящных костюмов, удобных кресел.

— Давно не были у Прейса? — спросил Самгин.

— Я там немножко поссорился, чтоб рассеять, скуку, — ответил Тагильский небрежно, толкнул ногою дверь ресторана и строго приказал лакею найти его перчатки, книгу. В ресторане он стал как будто трезвее и за столиком, пред бутылкой удельного вина стал рассказывать вполголоса, с явным удовольствием:

— Этот Кичин преинтересно рассуждал: «Хотя, говорит, марксизм вероучение солидно построенное, но для меня — неприемлемо, я — потомственный буржуа». Согласитесь, что надо иметь некоторое мужество, чтоб сказать так!

Его глаза с неподвижными зрачками взглянули в лицо Клима вызывающе, пухлые и яркие губы. покривились задорной усмешкой, он облизал их языком длинным и тонким, точно у собаки. Сидели они у двери в комнату, где гудела и барабанила музыкальная машина. Было очень шумно, дымно, невдалеке за столом возбужденный еврей с карикатурно преувеличенным носом непрерывно шевелил всеми десятью пальцами рук пред лицом бородатого русского, курившего сигару, еврей тихо, с ужасом на лице говорил что-то и качался на стуле, встряхивал кудрявой головою. За другим столом лениво кушала женщина с раскаленным лицом и зелеными камнями в ушах, против нее сидел человек, похожий на министра Витте, и старательно расковыривал ножом череп поросенка. Тагильский, прихлебывая вино, рассказывал, очень понизив голос:

— «Людей, говорит, моего класса, которые принимают эту философию истории как истину обязательную и для них, я, говорит, считаю ду-ра-ка-ми, даже — предателями по неразумию их, потому что неоспоримый закон подлинной истории — эксплоатация сил природы и сил человека, и чем беспощаднее насилие — тем выше культура». Каково, а? А там — закоренелые либералы были…

Машина замолчала, последние звуки труб прозвучали вразнобой и как сквозь вату, еврей не успел понизить голос, и по комнате раскатились отчаянные слова:

— Ну, кто же будет строить эту фабрику, где никого нет? Туда нужно ехать семь

часов на паршивых лошадях!

Человек, похожий на Витте, разломил беленький, смеющийся череп, показал половинку его даме и упрекающим голосом спросил лакея:

— Человек! Где же мозг, а? Что ж вы даете? Еврей сконфуженно оглянулся и спрятал голову в плечи, заметив, что Тагильский смотрит на него с гримасой. Машина снова загудела, Тагильский хлебнул вина и наклонился через стол к Самгину:

— Нет, в самом деле, — храбрый малый, не правда ли? — спросил он.

— Может быть — обозлен, — заметил Клим.

— Может быть, но — все-таки! Между прочим, он сказал, что правительство, наверное, откажется от административных воздействий в пользу гласного суда над политическими. «Тогда, говорит, оно получит возможность показать обществу, кто у нас играет роли мучеников за правду. А то, говорит, у нас слишком любят арестантов, униженных, оскорбленных и прочих, которые теперь обучаются, как надобно оскорбить и унизить культурный мир».

Подвинув Климу портсигар, с тоненькими папиросками, он спросил:

— Вы замечаете, как марксизм обостряет отношения?

Самгин молча пожал плечами. Он, протирая очки, слушал очень внимательно и подозревал, что этот плотненький, уютный человечек говорит не то, что слышал, а то, что он сам выдумал.

«Весьма похоже, что он хочет спровоцировать меня на откровенность», — соображал Клим.

Однако Тагильский как будто стал трезвее, чем он был на улице, его кисленький голосок звучал твердо, слова соскакивали с длинного языка легко и ловко, а лицо сияло удовольствием.

— А ведь согласитесь, Самгин, что такие пр-рямолинейные люди, как наш общий знакомый Поярков, обучаются и обучают именно вражде к миру культурному, а? — спросил Тагильский, выливая в стакан Клима остатки вина и глядя в лицо его с улыбочкой вызывающей.

— Не знаю, чему и кого обучает Поярков, — очень сухо сказал Самгин. — Но мне кажется, что в культурном мире слишком много... странных людей, существование которых свидетельствует, что мир этот — нездоров.

Говоря, он думал:

«Несомненно провоцирует, скотина!»

И, чтобы перевести беседу на другие темы, спросил:

— У вас — государственные экзамены? Тагильский утвердительно кивнул головою и зачем-то стукнул по столу розовым кулачком.

— Куда же вы затем?

— Удивитесь, если я в прокуратуру пойду? — спросил он, глядя в лицо Самгина и облизывая губы кончиком языка; глаза его неестественно ярко отражали свет лампы, а кончики закрученных усов приподнялись.

— Чему же удивляться? Я — адвокат, вы — прокурор...

— А представьте, что вы — обвиняемый в политическом процессе, а я — обвинитель?

— Не пощадите?

— Нет. Этот Кучин, Кичин — чорт! — говорит: «Чем умнее обвиняемый, тем более виноват», а вы — умный, искреннее слово! Это ясно хотя бы из того, как вы умело молчите.

Ресторан уже опустел. Лакеи смотрели на запоздавших гостей уныло и вопросительно, один из них красноречиво прятал зевки в салфетку, и казалось, что его тошнит.

— Пора уходить, — сказал Самгин. На улице минуты две-три шли молча; Самгин ожидал еще какой-нибудь выходки Тагильского и не ошибся:

— Россия нуждается в ассенизаторах, — не помните, кто это сказал? — спросил Тагильский, Клим ответил:

— Вы сказали.

— Нет, я — повторил. А сказал Леонтьев, помнится. Он или Катков.

— Не знай.

Через несколько шагов Тагильский снова спросил:

— Не хотите ли посетить двух сестер, они во всякое время дня и ночи принимают любезных гостей? Это — очень близко.

Клим отказался. Тогда Тагильский, пожав его руку маленькой, до крепкой рукою, поднял воротник пальто, надвинул шляпу на глаза и свернул за угол, шагая так твердо, как это делает человек, сознающий, — что он выпил лишнее.

«Ассенизатор, — подумал Самгин, взглянув вслед ему. — Воображает себя умником. Похож на альфонса, утешителя богатых старух».

Ругаясь, он подумал о том, как цинично могут быть выражены мысли, и еще раз пожалел., что избрал юридический факультет. Вспомнил о статистике Смолине, который оскорбил товарища прокурора, потом о длинном языке Тагильского.

«Врет он, не пойдет в прокуратуру, храбрости не хватит...»

Кончив экзамены, Самгин решил съездить дня на три домой, а затем — по Волге на Кавказ. Домой ехать очень де хотелось; там Лидия, мать, Варавка, Спивак — люди почти в равной степени тяжелые, не нужные ему. Там «Наш край», Дронов, Иноков — это тоже мало приятно. Случай указал ему другой путь; он уже укладывал вещи, когда подали телеграмму от матери.

«Отец опасно болен, советую съездить Выборг».

Отец — человек хорошо забытый, болезнь его не встревожила Самгина, а возможность отложить визит домой весьма обрадовала; он отвез лишние вещи Варваре и *поехал* в Финляндию.

В чистеньком городке, на тихой, широкой улице с красивым бульваром посредине, против ресторана, на веранде которого, среди цветов, играл струнный оркестр, дверь солидного, но небольшого дома, сложенного из гранита, открыла Самгину плоскогрудая, коренастая женщина в сером платье и, молча выслушав его объяснения, провела в полутемную комнату, где на широком диване у открытого, но заставленного окна полулежал Иван Акимович Самгин. Лицо его перекосилось, правая половина опухла и опала, язык вывалился из покривившегося — рта, нижняя туба отвисла, показывая зубы, обильно украшенные золотом. Правый глаз отца, неподвижно застывший, смотрел вверх, в угол, на бронзовую статуэтку Меркурия, стоявшего на одной ноте, левый улыбался, дрожало веко, смахивая — слезы на мокрую, давно небритую щеку; Самгин-отец говорил горлам:

— Км… Дм…

Самгин-сын посмотрел на это несколько секунд и, опустив голову, прикрыл глаза, чтоб не видеть. В изголовье дивана стояла, точно вырезанная из гранита, серая женщина и ворчливым голосом, удваивая гласные, искажая слова, говорила:

— Ээто вваа ударр. Одна-а — маленьки, тништево-о!

Лицо у нее широкое, с большим ртом без губ, нос приплюснутый, на скуле под левым глазом бархатное родимое пятно.

— Вваа рребенки, — говорила она, показывая Климу два пальца, как детям показывают рога.

«Что же я тут буду делать с этой?» — спрашивал он себя и, чтоб не слышать отца, вслушивался в шум ресторана за окном. Оркестр перестал играть и начал снова как раз в ту минуту, когда в комнате явилась еще такая же серая женщина, но моложе, очень стройная, с четкими формами, в пенснэ на вздернутом носу. Удивленно посмотрев на Клима, дна спросила, тихонько и мягко произнося слова:

— Вы — не Димитри, вы — Килим? О, понимаю! Рядом с каменным лицом первой, ее лицо показалось Климу приятным. Она пригладила ладонью вставшие дыбом волосы на голове больного, отерла платком слезоточивый глаз, мокрую щеку в белой щетине, и после этого все пошло очень хорошо и просто. Прежде всего хорошо было, что она тотчас же увела Клима из комнаты отца; глядя на его полумертвое лицо, Клим чувствовал себя угнетенно, и жутко было слышать, что скрипки и кларнеты, распевая за окном медленный, чувствительный вальс, не могут заглушить храп и мычание умирающего.

В столовой, стены которой были обшиты светлым деревом, а на столе кипел никелированный самовар, женщина сказала:

— Мое имя — Айно, можно говорить Анна Алексеевна. Та, — она указала на дверь в комнату отца, — сестра, Христина.

Закурив папиросу, она долго махала пред лицом своим спичкой, не желавшей угаснуть, отблески огонька блестели на стеклах ее пенснэ. А когда спичка нагрела ей пальцы, женщина, бросив ее в пепельницу, приложила палец к губам, как бы целуя его.

— Как вы узнали? — спросила она. — Я послала телеграмму Дмитри.

Клим солидно объяснил ей, что, живя под надзором полиции, брат не может приехать и переслал телеграмму матери.

— Так, — сказала она, наливая чай. — Да, он не получил телеграмму, он кончил срок больше месяца назад и он немного пошел пешком с одними этнографы. Есть его письмо, он будет сюда на эти дни.

Голос у нее был сильный, но не богатый оттенками, и хотя она говорила неправильно, но не затруднялась в поисках слов.

— Вы хотите дождать его говорить об имущество или не хотите? — спросила она, подвигая Климу стакан.

Несколько сконфуженный ее осведомленностью о Дмитрии, Самгин вежливо, но решительно заявил, что не имеет никаких притязаний к наследству; она взглянула на него с улыбкой, от которой углы рта ее приподнялись и лицо стало короче.

— Нет, — сказала она. — Это — неприятно и нужно кончить сразу, чтоб не мешало. Я скажу коротко: есть духовно завещание — так? Вы можете читать его и увидеть: дом и все это, — она широко развела руками, — и еще много, это — мне, потому что есть дети, две мальчики. Немного Димитри, и вам ничего нет. Это —

несправедливо, так я думаю. Нужно сделать справедливо, когда приедет брат.

Клим еще раз повторил, что ему ничего не нужно, но она усмехнулась:

— Это потому, что вы еще молодой и не знаете, сколько нужно деньги.

На минуту лицо ее стало еще более мягким, приятным, а затем губы сомкнулись в одну прямую черту, тонкие и негустые брови сдвинулись, лицо приняло выражение протестующее.

— Ваш отец был настоящий русский, как дитя, — сказала она, и глаза ее немножко покраснели. Она отвернулась, прислушиваясь. Оркестр играл что-то бравурное, но музыка доходила смягченно, и, кроме ее, извне ничего не было слышно. В доме тоже было тихо, как будто он стоял далеко за городом.

«Об отце она говорит, как будто его уже нет», — отметил Клим, а она, оспаривая кого-то, настойчиво продолжала, пристукивая ногою; Клим слышал, что стучит она плюсной, не поднимая пятку.

— Он был добрый. Знал — все, только не умеет знать себя. Он сидел здесь и там, — женщина указала рукою в углы комнаты, — но его никогда не было дома. Это есть такие люди, они никогда не умеют быть дома, это есть — русские, так я думаю. Вы — понимаете?

Клим согласно наклонил голову.

Уже совсем тихо она сказала:

— Он играл в преферанс, а думал о том, что английский народ глупеет от спорта; это волновало его, и он всегда проигрывал. Но ему любили за то, что проигрывал, и — не в карты — он выигрывал. Такой он был… смешной, смешной!

Ее серые глаза снова и уже сильнее покраснели, но она улыбалась, обнажив очень плотно составленные мелкие и белые зубы.

Самгин нашел, что и лицом и фигурой она напоминает мать, когда той было лет тридцать.

«Может быть, отец потому и влюбился в нее».

Но не это сходство было приятно в подруге отца, а сдержанность ее чувства, необыкновенность речи, необычность всего, что окружало ее и, несомненно, было ее делом, эта чистота, уют, простая, но красивая, легкая и крепкая мебель и ярко написанные этюды маслом на стенах. Нравилось, что она так хорошо и, пожалуй, метко говорит некролог отца. Даже не показалось лишним, когда она, подумав, покачав головою, проговорила тихо и печально:

— Он имел очень хороший организм, но немножко усердный пил красное вино и ел жирно. Он не хотел хорошо править собой, как крестьянин, который едет на чужой коне.

Пришла ее каменная сестра, садясь на стул, она точно переломилась в бедрах и коленях; хотя она была довольно полная, все ее движения казались карикатурно угловатыми. Айно спросила Клима: где он остановился?

— Я посылаю за ваши вещи, — а когда Клим стал отказываться от переезда в ее дом, она сказала просто, но твердо:

— Мне будет стыдно, когда сын живет не там, где умирает отец.

Вообще все шло необычна просто и легко, и почти не чувствовалось, забывалось, как-то, что отец умирает. Умер Иван Самгин через день, около шести часов утра, когда все в доме спали, не спала, должно быть, только Айно; это она, постучав *в* дверь комнаты Клима, сказала очень громко и странно низким голосом:

— Иван помер.

Два дня прошли в хлопотах, лишенных той растерянности и бестолковой суеты, которые Клим наблюдал при похоронах в России. Ему было несколько неловко принимать выражения соболезнования русских знакомых отца и особенно надоедал молодой священник, говоривший об умершем таинственно, вполголоса и с восторгом, как будто о человеке, который неожиданно совершил поступок похвальный. Но и священник, лицом похожий на Тагильского, был приятный и, видимо, очень счастливый человек, он сиял ласковыми улыбками, пел высочайшим тенором, произнося слова песнопений округло, четко; он, должно быть, не часто хоронил людей и был очень доволен возможностью показать свое мастерство.

Айно шла за гробом одетая в черное, прямая, высоко подняв голову, лицо у нее было, неподвижное, протестующее, но она не заплакала даже и тогда, когда гроб опустили в яму, она только приподняла плечи и согнулась немного. Клим почувствовал желание нравиться ей и даже спросил ее по дороге к дому: где же дети?

— О! Их нет, конечно. Детям не нужно видеть больного и мертвого отца и никого мертвого, когда они маленькие. Я давно увезла их к моей матери и брату. Он — агроном, и у него — жена, а. дети — нет, и она любит мои до смешной зависти.

Через день Клим хотел уехать, но она очень удивилась и не пустила его.

— Как это? Вы не видели брата столько годы и не хотите торопиться видеть его? Это — плохо. И нам нужно говорить о духовной завещании.

Самгин устыдился, но сказал, что до приезда брата он хотел бы посмотреть Финляндию.

— Так. Посмотреть Суоми — можно! — разрешила она. — Я дам адресы мои друзья, вы поедете туда, сюда, и вам покажут страну.

Он поехал по Саймскому каналу, побывал в Котке, Гельсингфорсе, Або и почти месяц приятно плутал «туда-сюда» по удивительной стране, до этого знакомой ему лишь из гимназического учебника географии да по какой-то книжке, из которой в памяти уцелела фраза:

«Вот я в самом сердце безрадостной страны болот, озер, бедных лесов, гранита и песка, в стране угрюмых пасынков суровой природы».

Была в этой фразе какая-то внешняя правда, одна из тех правд, которые он легко принимал, если находил их приятными или полезными. Но здесь, среди болот, лесов и гранита, он видел чистенькие города и хорошие дороги, каких не было в России, видел прекрасные здания школ, сытый скот на опушках лесов; видел, что каждый кусок земли заботливо обработан, огорожен и всюду упрямо трудятся, побеждая камень и болото, медлительные финны.

— Хюва пейва, — говорили они ему сквозь зубы и с чувством собственного достоинства.

Ему нравилось, что эти люди построили жилища свои кто где мог или хотел и поэтому каждая усадьба как будто монумент, возведенный ее хозяином самому себе. Царила в стране Юмала и Укко серьезная тишина, — ее особенно утверждало меланхолическое позвякивание бубенчиков на шеях коров; но это не была тишина пустоты и усталости русских полей, она казалась тишиной спокойной уверенности коренастого, молчаливого народа в своем праве жить так, как он живет.

Самгин вспомнил, что в детстве он читал «Калевалу», подарок матери; книга эта, написанная стихами, которые прыгали мимо памяти, показалась ему скучной, но мать все-таки заставила прочитать ее до конца. И теперь сквозь хаос всего, что он пережил, возникали эпические фигуры героев Суоми, борцов против Хииси и Луохи, стихийных сил суровой природы, ее Орфея Вейнемейнена, сына Ильматар,

которая тридцать лет носила его во чреве своем, веселого Лемникейнена — Бальдура финнов, Ильмаринена, сковавшего Сампо, сокровище страны.

«Вот этот народ заслужил право на свободу», — размышлял Самгин и с негодованием вспоминал как о неудавшейся попытке обмануть его о славословиях русскому крестьянину, который не умеет прилично жить на земле, несравнимо более щедрой и ласковой, чем эта хаотическая, бесплодная земля.

«Да, здесь умеют жить», — заключил он, побывав в двух-трех своеобразно благоустроенных домах друзей Айно, гостеприимных и прямодушных людей, которые хорошо были знакомы с русской жизнью, русским искусством, но не обнаружили русского пристрастия к спорам о наилучшем устроении мира, а страну свою знали, точно книгу стихов любимого поэта.

Удивительна была каменная тишина теплых, лунных ночей, странно густы и мягки тени, необычны запахи, Клим находил, что все они сливаются в один — запах здоровой, потной женщины. В общем он настроился лирически, жил в непривычном ему приятном бездумье, мысли являлись не часто и, почти не волнуя, исчезали легко.

Но в Выборг он вернулся несколько утомленный обилием новых впечатлений и настроенный, как чиновник, которому необходимо снова отдать себя службе, надоевшей ему. Встреча с братом, не возбуждая интереса, угрожала длиннейшей беседой о политике, жалобными рассказами о жизни ссыльных, воспоминаниями об отце, а о нем Дмитрий, конечно, ничего не скажет лучше, чем сказала Айно.

Дмитрий встретил его с тихой, осторожной, но все-таки с тяжелой и неуклюжей радостью, до боли крепко схватил его за плечи жесткими пальцами, мигая, улыбаясь, испытующе заглянул в глаза и сочным голосом одобрительно проговорил:

— Ка-акой ты стал! Ну, поцелуемся?

В пестрой ситцевой рубахе, в измятом, выцветшем пиджаке, в ботинках, очень похожих на башмаки деревенской бабы, он имел вид небогатого лавочника. Волосы подстрижены в скобку, по-мужицки; широкое, обветренное лицо с облупившимся носом густо заросло темной бородою, в глазах светилось нечто хмельное и как бы даже виноватое.

— А я тут шестой день, — говорил он негромко, как бы подчиняясь тишине дома. — Замечательно интересно прогулялся по милости начальства, больше пятисот верст прошел. Песен наслушался — удивительнейших! А отец-то, в это время, — да-а… — Он почесал за ухом, взглянув на Айно. — Рано он все-таки…

С Айно у него уже, видимо, установились дружеские отношения: Климу казалось, что она посматривает на Дмитрия сквозь дым папиросы с тем платоническим удовольствием, с каким женщины иногда смотрят на интересных подростков. Она уже успела сказать Климу:

— Он больше похожий на отца, как вы — я думаю. Она сказала это, когда Дмитрий на минуту вышел из комнаты. Вернулся он с серебряной табакеркой в руке.

— Вот тебе подарок. Это при Елизавете Петровне сделано, в Устюге. Не плохо? Я там собрал кое-какой материал для статьи об этом искусстве. Айно — ковш целовальничий подарил, Алексея Михайловича…

Клим, любуясь ковшом, спросил:

— Не скучно было жить?

— Ну, что ты! Это, брат, интереснейший край. Было ясно, что Дмитрий не только не утратил своего простодушия, а как будто расширил его. Мужиковатость его казалась естественной и говорила Климу о мягкости характера брата, о его

подчинении среде.

«Таким — легко жить», — подумал он, слушая рассказ Дмитрия о поморах, о рыбном промысле. Рассказывая, Дмитрий с удовольствием извозчика пил чай, улыбался и, не скупясь, употреблял превосходную степень:

— Несокрушимейший народ. Удивительнейшая штука.

— Ты что ж — домой? — спросил Клим.

— Домой, это...? Нет, — решительно ответил Дмитрий, впустив глаза и вытирая ладонью мокрые усы, — усы у него загибались в рот, и это очень усиливало добродушное выражение его лица. — Я, знаешь, недолюбливаю Варавку. Тут еще этот его «Наш край», — прескверная газетка! И — чорт его знает! — он как-то садится на все, ьа дома, леса, на людей...

«Нелепо говорить так при чужой женщине», — подумал Клим, а брат говорил:

— Я во Пскове буду жить. Столицы, университетские города, конечно, запрещены мне. Поживу во Пскове до осени — в Полтаву буду проситься. Сюда меня на две недели пустили, обязан ежедневно являться в полицию. Ну, а ты — как живешь? Помнится, тебя марксизм не удовлетворял?

Клим, усмехнувшись, подумал:

«Начинается».

И, вспомнив Томилина, сказал докторально:

— Для того, чтоб хорошо понять, не следует торопиться верить; сила познания — в сомнении.

— И я так думаю, — сказала Айно, кивнув головою. Дмитрий посмотрел на нее, на брата и, должно быть, сжал зубы, лицо его смешно расширилось, волосы бороды на скулах встали дыбом, он махнул рукою за плечо свое и, шумно вздохнув, заговорил, поглаживая щеки:

— Там, знаешь, очень думается обо всем. Людей — мало, природы — много; грозный край. Пустота, требующая наполнения, знаешь. Когда меня переселили в Мезень...

— За что? — осведомился Клим.

— Чорт их знает! Вообразили, что я хотел бежать из Устюга. Ну, через тринадцать месяцев снова перегнали в Устюг. Я не жалуюсь, — интереснейшие места видел!

Он усмехнулся, провел ладонями по лицу, пригладил бороду.

— Так вот, знаешь, — Мезень. Так себе — небольшое село, тысячи две людей. Море — Змей Мидгард, зажавший землю в кольце своем. Что оно Белое — это плохо придумано, оно, знаешь, эдакое оловянное и скверного характера, воет, рычит, особенно — по ночам, а ночи — без конца! И разные шалости, например — северное сияние. Когда я впервые увидал этот мятеж огня, безумнейшее, безгласнейшее волшебство миллионов радуг, — не стыжусь сознаться — струсил я! Некоторое время жил без ума, чувствуя себя пустым, как мыльный пузырь, отражающий эту игру холодного пламени. Миры сгорают, а я — пустой зритель катастрофы.

Дмитрий ослепленно мигнул и стер ладонью морщины с широкого лба, но тотчас же, наклонясь к брату, спросил:

— А может быть, следует, чтоб идеология стесняла? А?

— Зачем? — осведомился Клим.

— Есть в человеке тенденция расплываться, стихийничать.

— Мысль — церковная.

— Н-да, похоже, — согласился Дмитрий, но, подумав несколько секунд, заметил:

— В государственном праве — тоже эта мысль. Попросил Айно налить ему чаю и оживленно начал рассказывать:

— Домохозяин мой, рыбак, помор, как-то сказал мне:

«Вот, Иваныч, внушаешь ты, что людям надо жить получше, полегче, а ведь земля — против этого! И я тоже против; потому что вижу: те люди, которые и лучше живут, — хуже тех, которые живут плохо. Я тебе, Иваныч, прямо скажу: работники мои — лучше меня, однакож я им снасть и шняку не отдам, в работники не пойду, коли бог помилует. А, по совести говорю, знаю я, что работники лучше меня и что нечестно я с ними живу, как все хозяева. Ну, а сделай ты их хозяевами, они тоже моим законом будут жить. Вот какой тут узелок завязан».

Дмитрий начал рассказывать нехотя, тяжеловато, но скоро оживился, заговорил торопливо, растягивая и подчеркивая отдельные слова, разрубая воздух ребром ладони. Клим догадался, что брат пытается воспроизвести характер чужой речи, и нашел, что это не удается ему,

«Бездарен он».

Дмитрий замолчал, и ожидающий, вопросительный взгляд его принудил Клима сказать:

— Выходит так, что как будто идеология не стесняла этого человека.

— Это — плохой человек, — решительно заметила Айно.

— Плохой, думаете? — спросил Дмитрий, рассматривая ее.

— О да, я так думаю. Я не знаю, как сказать, но — очень плохой!

Дмитрий, наморщив лоб, вздохнул и пробормотал:

— Ну, тут надобно знать что-то, чего я не знаю. И продолжал, обращаясь к брату:

— Пробовал я там говорить с людями — не понимают. То есть — понимают, но — не принимают. Пропагандист я — неумелый, не убедителен. Там все индивидуалисты… не пошатнешь! Один сказал: «Что ж мне о людях заботиться, ежели они обо мне и не думают?» А другой говорит: «Может, завтра море смерти моей потребует, а ты мне внушаешь, чтоб я на десять лет вперед жизнь мою рассчитывал». И всё в этом духе…

Он вызывал у Клима впечатление человека смущенного, и Климу приятно было чувствовать это, приятно убедиться еще раз, что простая жизнь оказалась сильнее мудрых книг, поглощенных братом.

Снова заговорила Айно, покуривая папиросу, сидя в свободной позе.

— Это — очень сытые мысли, мысли сильных людей. Я люблю сильные люди, да! Которые не могут жить сами собой, те умирают, как лишний сучок на дерево; которые умеют питаться солнцем — живут и делают всегда хорошо, как надобно делать всё. Надобно очень много работать и накоплять, чтобы у всех было всё. Мы живем, как экспедиция в незнакомый край, где никто не был. Слабые люди очень дорого стоят и мешают. Когда у вас две мысли, — одна лишняя и вредная. У русских — десять мысли и все — не крепки. Птичий двор в головах, — так я думаю.

Она тихонько засмеялась. А потом, не сумев скрыть зевок, сказала:

— Мне спать.

Клим тоже ушел, сославшись на усталость и желая наедине обдумать брата. Но, придя в свою комнату, он быстро разделся, лег и тотчас уснул.

Утром, за кофе, он спросил брата:

— Ты знаешь, что Кутузов арестован?

— Опять? Когда? — очень тревожно воскликнул Дмитрий, но, выслушав объяснение Клима, широко улыбнулся:

— Он — в Нижнем, под надзором. Я же с ним все время переписывался. Замечательный человек Степан, — вдумчиво сказал он, намазывая хлеб маслом. И, помолчав, добавил:

— Айно вчера неплохо говорила о сильных.

— В духе страны, — авторитетно заметил Клим.

— Хорошая баба.

— А что ты знаешь о Марине?

— Ничего не знаю, — очень равнодушно откликнулся Дмитрий. — Сначала переписывался с нею, потом оборвалось. Она что-то о боге задумалась одно время, да, знаешь, книжно как-то. Там поморы о боге рассуждают — заслушаешься.

Он усмехнулся, стряхнул пальцами крошки хлеба с бороды.

— Я, брат, едва не женился там на одной.

— Ссыльная?

— Поморка, дочь рыбака. Вчера я об ее отце рассказывал. Крепкая такая семья. Три брата, две сестры. Неласково дергая бороду, он вздохнул:

— Там, знаешь, одолевает желание посостязаться с морем, с тундрой. Укрепиться. И к женщине тянет весьма сильно. Женщины там чудовищные…

Вошла Айно и, улыбаясь, указывая пальцем на Клима, сказала:

— Вас хочет один человек, его — сюда?

— Меня? — удивился Клим, вставая.

— Вас, вас, — дважды кивнула она головою, исчезла, и через минуту в столовую вошел незнакомый, очень высокий, длинноволосый человек.

— Вы — Клим Самгин? — спросил он тоном полицейского, неодобрительно осматривая комнату, Самгина, осмотрел и, указав пальцем на Дмитрия, спросил:

— А это кто?

— Дмитрий Самгин, брат мой.

— Ага-а! — удовлетворенно произнес гость и протянул Климу сжатый в пальцах бумажный шарик. — Это от Сомовой. Осторожно развертывайте, бумага тонкая.

Он бесцеремонно прошел к столу, сел, и Клим, развертывая бумажку, услыхал тихий его вопрос:

— Давно из ссылки?

Клим прочитал: «Это наш земляк, Платон Долганов, он даст тебе кое-что, привези.

Л.».

Клим Самгин смял бумажку, чувствуя желание обругать Любашу очень крепкими словами. Поразительно настойчива эта развязная девица в своем стремлении запутать его в ее петли, затянуть в «деятельность». Он стоял у двери, искоса разглядывая бесцеремонного гостя. Человек этот напомнил ему одного из посетителей литератора Катина, да и вообще Долганов имел вид существа, явившегося откуда-то «из мрака забвения».

На хозяйку Клим не смотрел, боясь увидеть в светлых глазах ее выражение неудовольствия; она стояла у буфета, третий раз приготовляя кофе, усердно поглощаемый Дмитрием.

— Вы пьете кофе? — ласково спросила она Долганова.

— Обязательно! — сказал он и, плотно сложив длинные ноги свои, вытянув их, преградил, как шлагбаумом, дорогу Айно к столу. Самгин даже вздрогнул, ему показалось, что Долганов сделал это из озорства, но, когда Айно, — это уж явно нарочно! — подобрав юбку, перешагнула через ноги ниже колен, Долганов одобрительно сказал:

— Ловко! Вы — извините, так устал, что хоть под стол лечь.

— Не надо под стол, — посоветовала Айно тем тоном, каким она, вероятно, говорила с детьми.

— Финка? — спросил Долганов, измеряя ее глазами, она ответила ласковым кивком головы, тогда гость, тоже кивнув, сказал:

— Это — видно.

Клим Самгин прервал диалог, подойдя к Долганову вплоть, он сердито осведомился:

— Вам известно содержание записки?

— Ну, конечно. Только скажите ей, что я опоздал, впрочем, она, наверное, уже знает это.

Обжигаясь, оглядываясь, Долганов выпил стакан кофе, молча подвинул его хозяйке, встал и принял сходство с карликом на ходулях. Клим подумал, что он хочет проститься и уйти, но Долганов подошел к стене, постучал пальцами по деревянной обшивке и — одобрил:

— Практично. Это — какое дерево?

— Клен, — торопливо ответил Дмитрий.

— Нет, — сказала хозяйка.

— Ну, все равно, — махнул- рукою Долганов и, распахнув полы сюртука, снова сел, поглаживая йоги, а женщина, высоко вскинув голову, захохотала, вскрикивая сквозь смех:

— Зачем же... ах, если все равно, — зачем спрашивать?

Долганов удивленно взглянул на нее, улыбнулся и вдруг тоже взорвался смехом-, подпрыгивая на стуле, качаясь, а отсмеявшись, сказал Дмитрию:

— Смешная!

И, подсунув ладони под ляжки себе, обратился к Айно.

— Конечно — глупо! Да ведь мало ли глупостей говоришь. И вы тоже ведь

говорите.

Это еще более рассмешило женщину, но Долганов, уже не обращая на- нее внимания, смотрел на Дмитрия, как на старого друга, встреча с которым тихо радует его, смотрел и рассказывал:

— У меня — ревматизм, адово ноют ноги. Сидел совершенно зря одиннадцать месяцев в тюрьме. Сыро там, надоело!

Смешная, сцена не убавила опасений Клима, что этот человек скажет или сделает какую-нибудь глупость, уже не смешную. Долганов, не понравился ему сразу, как только вошел, а особенно с той минуты, когда он подсунул под себя руки, это уж было сделано не с намерением насмешить. Самгин достаточно насмотрелся на чудаковатых людей и был уверен, что чудачество — ставка на внимание, нехитрая игра в оригинальность. Одет был Долганов нелепо, его узкие плечи, облекал старенький, измятый сюртук, под сюртуком синяя рубаха-косоворотка, на. длинных ногах — серые новенькие брюки из какой-то жесткой материи. Лицо тоже измятое, серое, с негустой порослью волос лубочного цвета, на подбородке волосы обещали вырасти острой бородою; по углам очень красивого рта свешивались — и портили рот — длинные, жидкие усы. Но старообразное и очень подвижное лицо это освещали приятные глаза, живые, усмешливые, золотистого цвета.

«Девичьи, глупые глаза», — определил Самгин, слушая гибкий басок Долганова.

— Развлекался только ссорами с начальником, лентяишко такой, пьяница, изображает чудовище, шляется по камерам, «иский, кого поглотити», скандалит, как в трактире. Я его дразню: «Перестаньте бурбошку играть, это у вас от скуки, а в сущности, вы не плохой парень, хотя — пехота». А он — сапером был и страшно сердился, что я его пехотой зову. Кричит: «Я вам не парень, я втрое старше вас!» Долго мы состязались, потом он говорит:

«Вы, Долганов, престиж мой подрываете, какого чорта!» Ну, посмеялись мы; конечно, тихонько смеемся, чтобы престиж не пострадал. Уговорил я его переплетную мастерскую наладить…

Айно, облокотясь на стол, слушала приоткрыв рот, с явным недоумением на лице. Она была в черном платье, с большими, точно луковки, пуговицами на груди, подпоясана светлозеленым кушаком, концы его лежали на полу.

«Она не верит ни одному его слову», — решил Клим, а Долганов неожиданно спросил Дмитрия:

— Народник?

— Марксист, — ответил Самгин старший, улыбаясь.

— Да ну-у? — удивился Долганов и вздохнул: — Не похоже. Такое русское лицо и — вообще… Марксист — он чистенький, лощеный и на все смотрит с немецкой философской колокольни, от Гегеля, который говорил: «Люди и русские», от Момзена, возглашавшего: «Колотите славян по башкам».

Говоря, Долганов смотрел на Клима так, что Самгин понял: этот чудак настраивается к бою; он уже обеими руками забросил волосы на затылок, и они вздыбились там некрасивой кучей. Вообще волосы его лежали на голове неровно, как будто череп Долганова имел форму шляпки кованого гвоздя. Постепенно впадая в тон проповедника, он обругал Трейчке, Бисмарка, еще каких-то уже незнакомых Климу немцев, чувствовалось, что он привык и умеет ораторствовать.

— Весьма сожалею, что Николай Михайловский и вообще наши «страха ради иудейска» стесняются признать духовную связь народничества со славянофильством. Ничего не значит, что славянофилы — баре, Радищев, Герцен, Бакунин — да мале ли? — тоже баре. А ведь именно славянофилы осветили подлинное своеобразие русского народа. Народ чувствуется и понимается не

сквозь цифры земско-статистических сборников, а сквозь фольклор, — Киреевский, Афанасьев, Сахаров, Снегирев, вот кто учит слышать душу народа!

Лицо Долганова морщилось, хотело быть сердитым, но глаза мешали этому, сияя все вдохновенней и ласковее. И чем более сердитые слова выговаривал он своим гибким баском, тем яснее видел Самгин, что человек этот сердиться не способен. В словах он не стеснялся, марксизм назвал «еврейско-немецким учением о барышах», Дмитрий слушал его нахмурясь, вопросительно посматривая на брата, как бы ожидая его возражений и не решаясь возражать сам. Айно блаженно улыбалась, было ясно, что она тоже нетерпеливо ждет чего-то, и это вынудило Клима сказать небрежным тоном:

— Старо все это и, знаете, несколько газетно. Долганов оскалил крупные, желтые зубы, хотел сказать, видимо, что-то резкое, но дернул себя за усы и так закрыл рот. Но тотчас же заговорил снова, раскачиваясь на стуле, потирая колени ладонями:

— Мысль, что «сознание определяется бытием», — вреднейшая мысль, она ставит человека в позицию механического приемника впечатлений бытия и не может объяснить, какой же силой покорный раб действительности преображает ее? А ведь действительность никогда не была — и не будет! — лучше человека, он же всегда был и будет не удовлетворен ею.

— Вы — семинарист? — спросил Клим неожиданно для себя и чтоб сдержать злость; злило его то, что человек этот говорит и, очевидно, может сказать еще много родственного тайным симпатиям его, Клима Самгина.

— Да, семинарист! Ну, — и что же? — воскликнул Долганов и, взмахнув руками, подскочил на стуле, как будто взбросил себя на воздух взмахом рук.

«Какая-то схема человека или детский рисунок, — отметил Самгин. — Странно, что Дмитрий не возражает ему».

— Семинарист, — повторил Долганов, снова закидывая волосы на затылок так, что обнажились раковины ушей, совершение схожих «с вопросительными знаками. — Затем, я — человек, убежденный, что мир осваивается воображением, а не размышлением. Человек прежде всего — художник. Размышление только вводит порядок в его опыт, да!

— Это — идеализм, — неохотно сказал Дмитрий.

— Ну, да! А — что же? А чем иным, как не идеализмом очеловечите вы зоологические инстинкты? Вот вы углубляетесь в экономику, отвергаете необходимость политической борьбы, и народ не пойдет за вами, за вульгарным вашим материализмом, потому что он чувствует ценность политической свободы и потому что он хочет иметь своих вождей, родных ему и по плоти и по духу, а вы — чужие!

Он встал, наклонился, вытянул шею, волосы упали на лоб, на щеки его; спрятав руки за спину, он сказал, победоносно посмеиваясь:

— В сущности, вы, марксята, духовные дети нигилистов, но вам уже хочется верить, а дурная наследственность мешает этому. Вот вы, по немощи вашей, и выбрали из всех верований самое простенькое.

Дразнящий смешок его прозвучал мальчишески, совершенно не совпадая с длинной фигурой и старообразным лицом.

— Путаники, — вздохнул он, застегивая сюртук. — А все-таки в конце концов пойдете с нами. Аполитизм ваш — ненадолго.

Он протянул руку Айно.

— Куда вы идете? — спросила она.

— В Торнео. Ведь вы знаете, — усмехаясь, ответил он. Айно, покачивая толовой, осмотрела его с головы до дог, он беззаботно махнул рукой.

— Ничего! Меня оденут, остригут…

Схватив обеими руками его руку, Айно встряхнула ее.

— Счастливую дорогу!

— Ну, прощайте, братья, — сказал Долганов.

Он вышел вместе с Айно. Самгины переглянулись, каждый ожидал, что скажет другой. Дмитрий подошел к стене, остановился пред картиной и сказал тихо:

— Значит, он — за границу.

— Странная фигура, — заметил Клим, протирая очки.

— Да, — отозвался брат, не глядя на него. — Но я подобных видел. У народников особый отбор. В Устюге был один студент, казанец. Замечательно слушали его, тогда как меня… не очень! Странное и стеснительное у меня чувство, — пробормотал он. — Как будто я видел этого парня в Устюге, накануне моего отъезда. Туда трое присланы, и он между ними. Удивительно похож.

Круто повернувшись, Дмитрий тяжелыми шагами подошел вплоть к брату:

— Слушай, ужасно неудобно это… просто даже нехорошо, что отец ничего не оставил тебе…

— Чепуха! — сказал Клим. — Я не хочу говорить об этом.

— Нет, подожди! — продолжал Дмитрий умоляющим голосом и нелепо разводя руками. — Там — четыре, то есть пять тысяч. Возьми половину, а? Я должен бы отказаться от этих денег в пользу Айно… да, видишь ли, мне хочется за границу, надобно поучиться…

Клим строго остановил его:

— Айно получила, наверное, вполне достаточно, чтоб воспитать детей и хорошо жить, а мне ничего не нужно.

— Послушай…

— Больше я не стану говорить на эту тему, — сказал Клим, отходя к открытому во двор окну. — А тебе, разумеется, нужно ехать за границу и учиться…

Он говорил долго, солидно и с удивлением чувствовал, что обижен завещанием отца. Он не почувствовал этого, когда Айно сказала, что отец ничего не оставил ему, а вот теперь — обижен несправедливостью и чем более говорит, тем более едкой становится обида.

«Фу, как глупо!» — мысленно упрекнул он себя, но это не помогло, и явилось желание сказать колкость брату или что-то колкое об отце. С этим желанием так трудно было справиться, что он уже начал:

— Законы — или беззакония — симпатий и антипатий… — Вошла Айно и тотчас же заговорила очень живо:

— Вот такой — этот настоящий русский, больше, чем вы обе, — я так думаю. Вы помните «Золотое сердце» Златовратского! Вот! Он удивительно говорил о начальнике в тюрьме, да! О, этот может много делать! Ему будут слушать, верить, будут любить люди. Он может… как говорят? — может утешивать. Так? Он — хороший поп!

— Вот именно, — сказал Клим. — Утешитель.

— Да, да, я так думаю! Правда? — спросила она, пытливо глядя в лицо его, и вдруг, погрозив пальцем: — Вы — строгий! — И обратилась к нахмуренному Дмитрию: — Очень трудный язык, требует тонкий слух: тешу, чешу, потесать — потешать, утесать — утешать. Иван очень смеялся, когда я сказала: плотник утешает дерево топором. И — как это: плотник? Это значит — тельник, — ну, да! — Она снова пошла к младшему Самгину. — Отчего вы были с ним нелюбезны?

— Мне подумалось, — сказал Клим, — что вам этот визит…

— О, нет! — прервала она. — Я о нем знала. Иван очень помогал таким ехать куда нужно. Ему всегда писали: придет человек, и человек приходил.

— Ну, я пойду в полицию — представляться, — сказал Дмитрий. Айно ушла с ним заказывать памятник на могилу.

Бывали минуты, когда Клим Самгин рассматривал себя как иллюстрированную книгу, картинки которой были одноцветны, разнообразно неприятны, а объяснения к ним, не удовлетворяя, будили грустное чувство сиротства. Такие минуты он пережил, сидя в своей комнате, в темном уголке и тишине.

Он был крайне смущен внезапно вспыхнувшей обидой на отца, брата и чувствовал, что обида распространяется и на Айно. Он пытался посмотреть на себя, обидевшегося, как на человека незнакомого и стесняющего, пытался отнестись к обиде иронически.

«Мелочно это и глупо», — думал он и думал, что две-три тысячи рублей были бы не лишними для него и что он тоже мог бы поехать за границу.

Обида ощущалась, как опухоль, где-то в горле и все твердела.

«Разумеется, суть не в деньгах…»

Вспомнилось, как назойливо возился с ним, как его отягощала любовь отца, как равнодушно и отец и мать относились к Дмитрию. Он даже вообразил мягкую, не тяжелую руку отца на голове своей, на шее и встряхнул головой. Вспомнилось, как отец и брат плакали в саду якобы о «Русских женщинах» Некрасова. Возникали в памяти бессмысленные, серые, как пепел, холодные слова:

«Семья — основа государства. Кровное родство. Уже лет десяти я чувствовал отца чужим… то есть не чужим, а — человеком, который мешает мне. Играет мною», — размышлял Самгин, не совсем ясно понимая: себя оправдывает он или отца?

Покручивая бородку, он осматривал стены комнаты, выкрашенные в неопределенный, тусклый тон; против него на стене висел этюд маслом, написанный резко, сильными мазками: сочно синее небо и зеленоватая волна, пенясь, опрокидывается на оранжевый песок.

«В сущности, уют этих комнат холоден и жестковат. В Москве, у Варвары, теплее, мягче. Надобно ехать домой. Сегодня же. А то они поднимут разговор о завещании. Великодушный разговор, конечно. Да, домой…»

Он выпрямился, поправил очки. Потом представил мать, с лиловым, напудренным лицом, обиженную тем, что постарела раньше, чем перестала чувствовать себя женщиной, Варавку, круглого, как бочка…

«Поживу в Петербурге с неделю. Потом еще куда-нибудь съезжу. А этим скажу: получил телеграмму. Айно узнает, что телеграммы не было. Ну, и пусть знает».

Но затем он решил сказать, что получил телеграмму на улице, когда выходил из дома. И пошел гулять, а за обедом объявил, что уезжает. Он видел, что Дмитрий поверил ему, а хозяйка, нахмурясь, заговорила о завещании.

— Не вижу никаких оснований изменять волю отца, — решительно ответил он.

Айно молча пожала плечами.

После обеда в комнате Клима у стены столбом стоял Дмитрий, шевелил пальцами в карманах брюк и, глядя под ноги себе, неумело пытался выяснить что-то.

— Знаешь, это — дьявольски неловко. Ты верно сказал о беззаконии симпатий. Дурацкая позиция у меня.

Клим чувствовал, что брат искренно и глубоко смущен.

«Тем хуже для него».

Айно простилась с Климом сухо и отчужденно; Дмитрий хотел проводить брата на вокзал, но зацепился ногою за медную бляшку чемодана и разорвал брюки.

— О, — сказала Айно. — Как вы пойдете? Есть у вас другие брюки? Нет? Вам нельзя идти на вокзал!

Самгин младший был доволен, что брат не может проводить его, но подумал:

«Она не хочет этого. Хитрая баба. Ловко устроилась».

Уезжая, он чувствовал себя в мелких мыслях, но находил, что эти мысли, навязанные ему извне, насильно и вообще всегда не достойные его, на сей раз обещают сложиться в какое-то определенное решение. Но, так как всякое решение есть самоограничение, Клим не спешил выяснить его.

В Петербурге он узнал, что Марина с теткой уехали в Гапсаль. Он прожил в столице несколько суток, остро испытывая раздражающую неустроенность жизни. Днем по улицам летала пыль строительных работ, на Невском рабочие расковыривали торцы мостовой, наполняя город запахом гнилого дерева; весь город казался вспотевшим. Белые ночи возмутили Самгина своей нелепостью и угрозой сделать нормального человека неврастеником; было похоже, что в воздухе носится все тот же гнилой осенний туман, но высохший до состояния прозрачной и раздражающе светящейся пыли.

Ночные женщины кошмарно навязчивы, фантастичны, каждая из них обещает наградить прогрессивным параличом, а одна — высокая, тощая, в невероятной шляпе, из-иод которой торчал большой, мертвенно серый нос, — долго шла рядом с Климом, нашептывая:

— Идешь, студент? Ну? Коллега? Потом она стала мурлыкать в ухо ему:

Милый мой,Пойдем со мной…

А когда он пригрозил, что позовет полицейского, она, круто свернув с панели, не спеша и какой-то размышляющей походкой перешла мостовую и скрылась за монументом Екатерины Великой. Самгин подумал, что монумент похож на царь-колокол, а Петербург не похож на русский город.

«Мне нужно переместиться, переменить среду, нужно встать ближе к простым, нормальным людям», — думал Клим Самгин, сидя в вагоне, по дороге в Москву, и ему показалось, что он принял твердое решение.

Предполагая на другой же день отправиться домой, с вокзала он проехал к Варваре, не потому, что хотел видеть ее, а для того, чтоб строго внушить Сомовой: она не имеет права сажать ему на шею таких субъектов, как Долганов, человек, несомненно, из того угла, набитого невероятным и уродливым, откуда вылезают Лютовы, Дьякона, Диомидовы и вообще люди с вывихнутыми мозгами.

Необъятная и недоступная воздействию времени Анфимьевна, встретив его с радостью, которой она была богата, как сосна смолою, объявила ему с

негодованием, что Варвара уехала в Кострому.

— Актеришки увезли ее играть, а — чего там играть? Деньгами ее играть будут, вот она, игра!

И, вытирая фартуком лицо свое, цвета корки пшеничного хлеба, она посоветовала, осудительно причмокивая:

— Женился бы ты на ней, Клим Иваныч, что уж, право! Тянешь, тянешь, а девушка мотается, как собачка на цепочке. Ох, какой ты терпеливый на сердечное дело!

С ловкостью, удивительной в ее тяжелом теле, готовя посуду к чаю, поблескивая маленькими глазками, круглыми, как бусы, и мутными, точно лампадное масло, она горевала:

— Тоже вот и Любаша: уж как ей хочется, чтобы всем было хорошо, что уж я не знаю как! Опять дома не ночевала, а намедни, прихожу я утром, будить ее — сидит в кресле, спит, один башмак снят, а другой и снять не успела, как сон ее свалил. Люди к ней так и ходят, так и ходят, а женишка-то все нет да нет! Вчуже обидно, право: девушка сочная, как лимончик…

Добродушная преданность людям и материнское огорчение Анфимьевны, вкусно сваренный ею кофе, комнаты, напитанные сложным запахом старого, устойчивого жилья, — все это настроило Самгина тоже благодушно. Он вспомнил Таню Куликову, няньку — бабушку Дронова, нянек Пушкина и других больших русских людей.

«Вот об этих русских женщинах Некрасов забыл написать. И никто не написал, как значительна их роль в деле воспитания русской души, а может быть, они прививали народолюбие больше, чем книги людей, воспитанных ими, и более здоровое, — задумался он. — «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», — это красиво, но полезнее войти в будничную жизнь вот так глубоко, как входят эти, простые, самоотверженно очищающие жизнь от пыли, сора».

Мысль эта показалась ему очень оригинальной, углубила его ощущение родственности окружающему, он тотчас записал ее в книжку своих заметок и удовлетворенно подумал:

«Да, здесь потеплее Финляндии!»

Просмотрел несколько номеров «Русских ведомостей», незаметно уснул на диване и был разбужен Любашей:

— Что ты спишь среди дня! — кричала она кольцов-ским стихом, дергая его за руку.

Она расслабленно сидела на стуле у дивана, вытянув коротенькие ножки в пыльных ботинках, ее лицо празднично сияло, она обмахивалась платком, отклеивала пальцами волосы, прилипшие к потным вискам, развязывала синенький галстук и говорила ликующим голосом:

— Клим, голубчик! Знаешь, — вышел «Манифест Российской социал-демократической партии». Замечательно написан! Нет, ты подумай — у нас — партия!

— У кого это, у нас? — спросил Клим, надевая очки.

— Ну, господи! У нас, в России! Ты пойми: ведь это значит — конец спорам и дрязгам, каждый знает, что ему делать, куда идти. Там прямо сказано о необходимости политической борьбы, о преемственной связи с народниками — понимаешь?

От восторга она потела все обильнее. Сорвав галстук, расстегнула ворот кофточки:

— Задыхаюсь!

И, сопровождая слова жестами марионетки, она стала цитировать «Манифест», а Самгин вдруг вспомнил, что, когда в селе поднимали колокол, он, удрученно идя на дачу, заметил молодую растрепанную бабу или девицу с лицом полуумной, стоя на коленях и крестясь на церковь, она кричала фабриканту бутылок:

«Господи! Дай тебе господи! Пошли тебе господи!» Найдя в Любаше сходство с этой бабой, Самгин невольно рассмеялся и этим усилил ее радость, похлопывая его по колену пухлой лапкой, она вскрикивала:

— Не правда ли? Главное: хорошие люди перестанут злиться друг на друга, и — все за. живое дело!

Самгин тихонько ударил ее по руке, хотя желал бы ударить сильнее.

— О «Манифесте» ты мне расскажешь после, а теперь…

— Варвара? — спросила она. — Представь, поехала играть; «Хочу, говорит, проверить себя…»

— Я — не о ней. Актриса она — не более, чем ты и всякая другая женщина…

Любаша показала ему язык.

— Дурачок ты, а не скептик! Она — от тоски по тебе, а ты… какой жестокосердный Ловелас! И — чего ты зазнаешься, не понимаю? А знаешь, Лида отправилась — тоже с компанией — в Заволжье, на Керженец. Писала, что познакомилась с каким-то Берендеевым, он исследует сектантство. Она тоже — от скуки все это. Антисоциальная натура, вот что… Анфимьевна, мать родная, дайте чего-нибудь холодного!

— Не дам холодного, — сурово ответила Анфимьевна, входя с охапкой стиранного белья. — Сначала поесть надо, после — молока принесу, со льда…

Самгин не находил минуты, чтобы сделать выговор, да уже и не очень хотел этого, забавное возбуждение Любаши несколько примиряло с нею.

— Да, — забыла сказать, — снова обратилась она к Самгину, — Маракуев получил год «Крестов». Ипатьевский признан душевнобольным и выслан на родину, в Дмитров, рабочие — сидят, за исключением Сапожникова, о котором есть сведения, что он болтал. Впрочем, еще один выслан на родину, — Одинцов.

Вскочив со стула, она пошла к двери.

— Переоденусь, пока не растаяла. Но в дверях круто повернулась и, схватясь за голову, пропела:

— Ой, Климуша, с каким я марксистом познакомила-ась! Это, я тебе скажу… ух! Голос — бархатный. И, понимаешь, точно корабль плавает… эдакий — на всех парусах! И — до того все в нем определенно… Ты смеешься? Глупо. Я тебе скажу: такие, как он, делают историю. Он… на Желябова похож, да!

Исчезая, она еще раз повторила через плечо:

— Да!

Самгин чувствовал себя несколько засоренным ее новостями. «Манифест» возбуждал в нем острое любопытство.

«Вероятно, какая-нибудь домашняя стряпня студентов. Надобно сходить к Прейсу».

И, вспомнив неумеренную радость Любаши, брезгливо подумал, что это

объясняется, конечно, голодом ее толстенького тела, возбужденного надеждой на бархатного марксиста.

«Все-таки я ее проберу».

Она снова явилась в двери, кутая плечи и грудь полотенцем, бросила на стол два письма:

— Давно уже получены.

В одном письме мать доказывала необходимость съездить в Финляндию. Климу показалось, что письмо написано в тоне обиды на отца за то, что он болен, и, в то же время, с полным убеждением, что отец должен был заболеть опасно. В конце письма одна фраза заставила Клима усмехнуться:

«Я не думаю, что Иван Акимович оставил завещание, это было бы не в его характере. Но, если б ты захотел — от своего имени и от имени брата — ознакомиться с имущественным положением И. А., Тимофей Степанович рекомендует тебе хорошего адвоката». Дальше следовал адрес известного цивилиста.

Второе письмо было существеннее.

«Пишу в М., так как ты все еще не прислал адрес гостиницы в Выборге, где остановился. Я очень расстроена. На долю Елизаветы Львовны выпала роль героини крупного скандала, который, вероятно, кончится судом и тюрьмою для известного тебе Инокова. Он взбесился и у нас, на дворе, изувечил регента архиерейского хора, который помогал Лизе в ее работе по «Обществу любителей хорового пения» и, кажется, немножко ухаживал за нею. Она не отрицает этого, говоря, что нет мужчины, который не ухаживал бы за женщинами. Она, конечно, очень взволнована, но из самолюбия скрывает это. В дело вмешался владыка Иоасаф, и это может иметь для Инокова роковое значение. Он правдив до глупости, не хочет, чтоб его защищали, и утверждает, что регент запугивал Лизу угрозами донести на нее, она будто бы говорила хористам, среди которых много приказчиков и ремесленников, что-то политическое. Но, зная Лизу, я, конечно, не допускаю ничего подобного. Тут всего хуже то, что Иноков не понимает, как он повредил моей школе. Лиза удивляет меня: как можно было допустить, чтоб влюбился мальчишка? У нее какое-то ненормальное любопытство к людям, очень опасное в наше время. Ты совершенно правильно писал, что время становится все более тревожным и что вполне естественно, если власти, охраняя порядок, действуют несколько бесцеремонно».

О порядке и необходимости защищать его было написано еще много, но Самгин не успел дочитать письма, — в прихожей кто-то закашлял, плюнул, и на пороге явился маленький человечек:

— Можно?

— Пожалуйста.

— Сомова дома?

— Я сию минуту, — крикнула Любаша, приоткрыв свою дверь.

Человек передвинулся в полосу света из окна и пошел на Самгина, глядя в лицо его так требовательно, что Самгин встал и назвал свою фамилию, сообразив:

«Очевидно — «объясняющий господин».

— Так, — сказал гость, положил на ладонь Клима сухую, холодную руку и, ожидая пожатия, спросил: — Вы не родственник ли Якову Акимовичу?

— Это дядя мой.

— Ага. Я с ним сидел в саратовской тюрьме.

— Помер он.

— Совершенно верно. При мне.

Человек сел на стул против Клима. Несколько секунд посмотрев на него смущающим взглядом мышиных глаз, он пересел на диван и снова стал присматриваться, как художник к натуре, с которой он хочет писать портрет. Был он ниже среднего роста, очень худенький, в блузе цвета осенних туч и похожей на блузу Льва Толстого; он обладал лицом подростка, у которого преждевременно вырос седоватый клинушек бороды; его черненькие глазки неприятно всасывали Клима, лицо украшал остренький нос и почти безгубый ротик, прикрытый белой щетиной негустых усов.

— Здешнего университета?

— Да.

— Юрист, — утвердительно сказал человек, снова пересел к столу, вынул из кармана кожаный мешочек, книжку папиросной бумаги и, фабрикуя папиросу, сообщил: — Юриста от естественника сразу отличишь.

«Каждый из них так или иначе подчеркивает себя», — сердито подумал Самгин, хотя и видел, что в данном случае человек подчеркнут самой природой. В столовую вкатилась Любаша, вся в белом, точно одетая к причастью, но в ночных туфлях на босую ногу.

— Ну, что, дядя Миша?

— Не согласен, — сказал тот, отрицательно покачав головой.

— Ах, трусишка! — воскликнула Любаша, жестоко дернув себя за косу, сморщила лицо от боли и спросила:

— Значит — будет так, как предлагали вы?

— Именно, — тихо, но твердо ответил дядя Миша и с наслаждением пустил в потолок длинную струю дыма, а Любаша обратилась к Самгину;

— Вот — дядя Миша хорошо знал Ипатьевского.

— Сына и отца, обоих, — поправил дядя Миша, подняв палец. — С сыном я во Владимире в тюрьме сидел. Умный был паренек, но — нетерпим и заносчив. Философствовал излишне… как все семинаристы. Отец же обыкновенный неудачник духовного звания и алкоголик. Такие, как он, на конце дней становятся странниками, бродягами по монастырям, питаются от богобоязненных купчих и сеют в народе различную ерунду.

Голосок у дяди Миши был тихий, но неистощимый я светленький, как подземный ключ, бесконечные годы источающий холодную и чистую воду.

Нетерпеливо притопывая ногою, Сомова спросила:

— Прочитали «Манифест»?

— Прочитал и передал по назначению.

— Ну, и — что?

— Событие весьма крупное, — ответил дядя Миша, но тоненькие губы его съежились так, как будто он хотел свистнуть. — Может быть, даже историческое событие…

— Конечно!..

— Жаль, написана бумажка щеголевато и слишком премудро для рабочего народа. И затем — модное преклонение пред экономической наукой. Разумеется — наука есть наука, но следует помнить, что Томас Гоббэс сказал: наука — знание условное, безусловное же знание дается чувством. Переполнение головы плохо влияет на сердце. Михайловский очень хорошо доказал это на Герберте Спенсере…

Любаша бесцеремонно прервала эту речь, предложив дяде Мише покушать. Он молча согласился, сел к столу, взял кусок ржаного хлеба, налил стакан молока, но затем встал и пошел по комнате, отыскивая, куда сунуть окурок папиросы. Эти поиски тотчас упростили его в глазах Самгина, он уже не мало видел людей, жизнь которых стесняют окурки и разные иные мелочи, стесняют, разоблачая в них обыкновенное человечье и будничное.

В столовую влез как-то боком, точно в трамвай, человек среднего роста, плотный, чернобородый, с влажными глазами и недовольным лицом.

— Пимен Гусаров, — назвала его Любаша, он дважды кивнул головой и, положив пред Сомовой пачку журналов, сказал металлическим голосом:

— Страницы указаны на обложках. Он тоже сразу заговорил о «Манифесте», но — сердито.

— Давно пора. У нас всё разговаривают о том, как надобно думать, тогда как говорить надо о том, что следует делать.

Дядя Миша согласно наклонил голову, но это не удовлетворило Гусарова, он продолжал все так же сердито;

— Либеральные старички в журналах все еще стонут и шепчут: так жить нельзя, а наше поколение уже решило вопрос, как и для чего надо жить.

— Вы — марксист? — спросил Клим. — Гусаров взглянул на него одним глазом и отвернулся, уставясь в тарелку.

— Я — смешанных воззрений. Роль экономического фактора — признаю, но и роль личности в истории — тоже. Потом — материализм: как его ни толкуйте, а это учение пессимистическое, революции же всегда делались оптимистами. Без социального идеализма, без пафоса любви к людям революции не создашь, а пафосом материализма будет цинизм.

Говорил он мрачно, решительно, очень ударяя на о и переводя угрюмые глаза с дяди Миши на Сомову, с нее на Клима. Клим подумал, что возражать этому человеку не следует, он, пожалуй, начнет ругаться, но все-таки попробовал осторожно спросить его по поводу цинизма; Гусаров грубовато буркнул:

— Эристикой не занимаюсь. Я изъявил мои взгляды, а вы — как хотите. Прежде всего надо самодержавие уничтожить, а там — разберемся.

Любаша смотрела на него неласковыми глазами; дядя Миша, одобрительно покачивая редковолосой, сивой головой, чистил шпилькой мундштук, Гусаров начал быстро кушать малину с молоком, но морщился так, как будто глотал уксус. Губы у него были яркие, кожа лица и шеи бескровно белая и как бы напудренная там, где она не заросла густым волосом, блестевшим, как перо грача. Костюм табачного цвета был узок ему, двигался Гусаров осторожно, его туго накрахмаленная рубашка поскрипывала, он совал руку за пазуху, дергал там подтяжки, и они громко щелкали по крахмалу. Скушав две тарелки малины, он вытер губы, бороду платком, встал, взглянул в зеркало и ушел так же неожиданно, как явился.

— Добротный парень, — похвалил его дядя Миша, а у Самгина осталось впечатление, что Гусаров только что приехал откуда-то издалека, по важному делу,

может быть, венчаться с любимой девушкой или ловить убежавшую жену, — приехал, зашел в отделение, где хранят багаж, бросил его и помчался к своему счастью или к драме своей.

Вскоре ушел и дядя Миша, крепко пожав руку Самгина, благосклонно улыбнувшись; в прихожей он сказал Любаше:

— Ну, ну — не надо торопиться! Проводив его, Сомова начала рассказывать:

— Кто такой дядя Миша, ты, конечно, знаешь… Самгин не знал, но почему-то пошевелил бровями так, как будто о дяде Мише излишне говорить; Гусаров оказался блудным сыном богатого подрядчика малярных и кровельных работ, от отца ушел еще будучи в шестом классе гимназии, учился в казанском институте ветеринарии, был изгнан со второго курса, служил приказчиком в богатом поместье Тамбовской губернии, матросом на волжских пароходах, а теперь — без работы, но ему уже обещано место табельщика на заводе.

— Говорят, — он замечательный пропагандист. Но мне не нравится, он — груб, самолюбив и — ты обратил внимание, какие у него широкие зубы? Точно клавиши гармоники.

— Он, кажется, глуп? — спросил Самгин.

— Нет, это у него от самолюбия, — объяснила Любаша. — Но кто симпатичен, так это Долганов, — понравился тебе? Ой, Клим, сколько новых людей! Жизнь…

Клим досказал:

— Выбрасывает негодных, ненужных, и вот они плутают из дома в дом…

Это было его предисловие к выговору Любаше, но она, взглянув на часы, испуганно схватилась за голову.

— Ой, опаздываю! Мне — в Петровский парк, — бегу, бегу!

И убежала, оставив в дверях свалившуюся с ноги туфлю.

Самгин походил по комнате в мелких мыслях о матери, Инокове, Спивак, но все это было далеко от него, неинтересно, тревожил вопрос: что это за «Манифест»? — Неужели возможна серьезная политическая партия, которая способна будет организовать интеллигенцию, взять в свои руки студенческое и рабочее движение и отмести прочь болтунов, истериков, анархистов? В партии культурных людей и он нашел бы место себе. Он отправился к Прейсу, но там Казя весело сообщила ему, что Борис Викторович уехал за границу. Самгин зашел в ресторан, поел, затем часа два просидел в опереточном театре, где было скучно и бездарно. Домой он возвратился около полуночи. Анфимьевна сказала ему, что Любаша недавно пришла, но уже спит. Он тоже лег спать и во сне увидал себя сидящим на эстраде, в темном и пустом зале, но из темной пустоты кто-то внушительно кричит ему:

— Извольте встать!

Встать он не мог, на нем какое-то широкое, тяжелое одеяние; тогда голос налетел на него, как ветер, встряхнул и дунул прямо в ухо:

— Встаньте!

Самгин проснулся, вскочил.

— Ваша фамилия? — спросил его жандармский офицер и, отступив от кровати на шаг, встал рядом с человеком в судейском мундире; сбоку от них стоял молодой солдат, подняв руку со свечой без подсвечника, освещая лицо Клима; дверь в столовую закрывала фигура другого жандарма.

— Ваша фамилия? — строго повторил офицер, молодой, с лицом очень бледным и

сверкающими глазами. Самгин нащупал очки и, вздохнув, назвал себя.

— Как? — недоверчиво спросил офицер и потребовал документы; Клим, взяв тужурку, долго не мог найти кармана, наконец — нашел, вынул из кармана все, что было в нем, и молча подал жандарму.

— Свети! — приказал тот солдату, развертывая бумаги. В столовой зажгли лампу, и чей-то тихий голос сказал:

— Сюда.

Потом звонко и дерзко спросила Любаша:

— Что это значит?

— Обыск, — ответил тихий голос и тоже спросил: — Вы — Варвара Антропова?

— Я — Любовь Сомова.

— А где же хозяйка квартиры?

— И дома, — хрипло произнес кто-то.

— Что?

— И домохозяйка. Как я докладывал — уехала в Кострому.

— Кто еще живет в этой квартире?

— Никого, — сердито ответила Любаша. Самгин, одеваясь, заметил, что офицер и чиновник переглянулись, затем офицер, хлопнув по своей ладони бумагами Клима, спросил:

— Давно квартируете здесь?

— Остановился на сутки проездом из Финляндии. Офицер наклонился к нему:

— Из... откуда?

— Из Выборга. Был и в других городах. Чиновник усмехнулся и, покручивая усы, вышел в столовую, офицер, отступив в сторону, указал пальцем в затылок его и предложил Климу:

— Пожалуйте.

В столовой, у стола, сидел другой офицер, небольшого роста, с темным лицом, остроносый, лысоватый, в седой щетине на черепе и верхней губе, человек очень пехотного вида; мундир его вздулся на спине горбом, воротник наехал на затылок. Он перелистывал тетрадки и, когда вошел Клим, спросил, взглянув на него плоскими глазами:

— Это что-то театральное?

И, снова наклонясь над столом, сказал сам себе:

— Лекции.

Он взглянул на Любашу, сидевшую в углу дивана с надутым и обиженным лицом. Адъютант положил пред ним бумаги Клима, наклонился и несколько секунд шептал в серое ухо. Начальник, остановив его движением руки, спросил Клима:

— Вы из Финляндии? Когда?

— Сегодня утром.

— А зачем ездили туда?

— Хоронить отца.

Офицер встал, кашлянул и пошел в комнату, где спал Самгин, адъютант и чиновник последовали за ним, чиновник шел сзади, выдергивая из усов ехидные улыбочки и гримасы. Они плотно прикрыли за собою дверь, а Самгин подумал:

«Вот и я буду принужден сопровождать жандармов при обысках и брезгливо улыбаться».

Он понимал, что обыск не касается его, чувствовал себя спокойно, полусонно. У двери в прихожую сидел полицейский чиновник, поставив шашку между ног и сложив на эфесе очень красные кисти рук, дверь закупоривали двое неподвижных понятых. В комнатах, позванивая шпорами, рылись жандармы, передвигая мебель, снимая рамки со стен; во всем этом для Самгина не было ничего нового.

— Чорт знает что такое! — вдруг вскричала Сомова; он отошел подальше от нее, сел на стул, а она потребовала громко:

— Полицейский, скажите, чтобы мне принесли пить! Не шевелясь, полицейский хрипло приказал кому-то за дверью:

— Скажи, Петров.

Через минуту вошла с графином воды на подносе Анфимьевна; Сомова, наливая воду в стакан, высоко подняла графин, и Клим слышал, как она что-то шепчет сквозь бульканье воды. Он испуганно оглянулся.

«Наскандалит она...»

Из двери выглянул адъютант, спросил:

— Телефон есть в квартире?

— Ищите, — ответила Любаша, прежде чем один из жандармов успел сказать:

— Никак нет, ваше благородие! Анфимьевна ушла, в дверях слепо наткнулась на понятых и проворчала:

— Не видите — с посудой иду!

А посуды в руках ее не было.

К удивлению Самгина все это кончилось для него не так, как он ожидал. Седой жандарм и товарищ прокурора вышли в столовую с видом людей, которые поссорились; адъютант сел к столу и начал писать, судейский, остановясь у окна, повернулся спиною ко всему, что происходило в комнате. Но седой подошел к Любаше и негромко сказал:

— Прошу вас одеться.

Она встала, пошла в свою комнату, шагая слишком твердо, жандарм посмотрел вслед ей и обратился к Самгину:

— И вас прошу.

Часа через полтора Самгин шагал по улице, следуя за одним из понятых, который покачивался впереди него, а сзади позванивал шпорами жандарм. Небо на востоке уже предрассветно зеленело, но город еще спал, окутанный теплой, душноватой тьмою. Самгин немножко любовался своим спокойствием, хотя было обидно идти по пустым улицам за человеком, который, сунув руки в карманы пальто, шагал бесшумно, как бы не касаясь земли ногами, точно он себя нес на руках, охватив ими бедра свои.

«Вот и я привлечен к отбыванию тюремной повинности», — думал он, чувствуя себя немножко героем и не сомневаясь, что арест этот — ошибка, в чем его убеждало и поведение товарища прокурора. Шли переулками, в одном из них, шагов на пять впереди Самгина, открылась дверь крыльца, на улицу вышла женщина в широкой шляпе, сером пальто, невидимый мужчина, закрывая дверь, сказал:

— Так уж вы не забудьте…

Женщина шагнула встречу Клима, он посторонился и, узнав в ней знакомую Лютова, заметил, что она тоже как будто узнала его.

«Завтра будет известно, что я арестован, — подумал он не без гордости. — С нею говорили на вы, значит, это — конспирация, а не роман».

Он очень удивился, увидав, что его привели не в полицейскую часть, как он ожидал, а, очевидно, в жандармское управление, в маленькую комнату полуподвального этажа: ее окно снаружи перекрещивала железная решетка, нижние стекла упирались в кирпичи ямы, верхние показывали квадратный кусок розоватого неба.

«Переменил среду», — подумал Самгин, усмехаясь, и, чувствуя себя разбитым усталостью, тотчас же разделся и лег спать. Проснулся около полудня, сообразив время по тому, как жарко в комнате. Стены ее были многократно крашены и все-таки исчерчены царапинами стертых надписей. Стоял запах карболовой кислоты и плесени. Его пробуждения, очевидно, ждали, щелкнула задвижка, дверь открылась, и потертый, старый жандарм ласково предложил ему умыться. Потом дали чаю, как в трактире: два чайника, половину французской булки, кусок лимона и четыре куска сахара. Выпив чаю, он стал дожидаться, когда его позовут на допрос; настроение его не падало, нет на допрос не позвали, а принесли обед из ресторана, остывший, однако вкусный. Первый день прошел довольно быстро, второй оказался длиннее, но короче третьего, и так, нарушая законы движения земли вокруг солнца, дни становились всё длиннее, каждый день усиливал бессмысленную скуку, обнажал пустоту в душе и, в пустоте, — обиду, которая хотя и возрастала день ото дня, но побороть скуку не могла. В доме стояла монастырская тишина, изредка за дверью позванивали шпоры, доносились ворчливые голоса, и только один раз ухо Самгина поймало укоризненную фразу:

— Да не Оси-лин, дурак, а — Оси-нин! Не — люди, а — наш…

Только на одиннадцатый день вахмистр, обильно декорированный медалями, открыв дверь, уничтожающим взглядом измерил Самгина и, выправив из-под седой бороды большую золотую медаль, скомандовал:

— Пожалуйте.

Через минуту Самгин имел основание думать, что должно повториться уже испытанное им: он сидел в кабинете у стола, лицом к свету, против него, за столом, помещался офицер, только обстановка кабинета была не такой домашней, как у полковника Попова, а — серьезнее, казенней. Офицер показался Климу более молодцеватым, чем он был на обыске. Лицо у него было темное, как бывает у белокожих северян, долго живших на юге, глаза ясные, даже как будто веселые. Никакой особенной черты в этом лице типично военного человека Самгин не заметил, и это очень успокоило его. Жандарм благодушно спросил:

— Скучали?

— Немножко, — сознался Самгин. — Чему я обязан… Но, не дав ему договорить, жандарм пожаловался на отсутствие дождей, на духоту, осведомился:

— Курите?

И вдруг, положив локти на стол, сжав пальцы горкой, спросил вполголоса:

— Ну-с, так — как же?

Самгин помолчал, но, не дождавшись объяснения вопроса, тоже спросил:

— Вы — о чем?

— О вас.

Офицер вскинул голову, вытянул ноги под стол, а руки спрятал в карманы, на лице его явилось выражение недоумевающее. Потянув воздух носом, он крякнул и заговорил негромко, размышляющим тоном:

— По долгу службы я ознакомился с письмами вашей почтенной родительницы, прочитал заметки ваши — не все еще! — и, признаюсь, удивлен! Как это выходит, что вы, человек, рассуждающий наедине с самим собою здраво и солидно, уже второй раз попадаете в сферу действий офицеров жандармских управлений?

— Вам это известно, — ответил Самгин, улыбаясь, но тотчас же сообразил, что ответ неосторожен, а улыбаться — не следовало.

— Факты — знаю, но — мотивы? Мотивчики-то непонятны! — сказал жандарм, вынул руки из карманов, взял со стола ножницы и щелкнул ими.

— Вот что-с, — продолжал он, прихмурив брови, — мне известно, что некоторые мои товарищи, имея дела со студенчеством, употребляют прием, так сказать, отеческих внушений, соболезнуют, уговаривают и вообще сентиментальничают. Я — не из таких, — сказал он и, держа ножницы над столом, начал отстригать однозвучно сухие слова: — Я, по совести, делаю любимое мною дело охраны государственного порядка, и, если я вижу, что данное лицо — враждебно порядку, я его не щажу! Нет-с, человек — существо разумное, и, если он заслужил наказание, я сделаю все для того, чтоб он был достойно наказан. Иногда полезно наказать и сверх заслуг, авансом, в счет будущего. Вы понимаете?

Самгин едва удержался, чтоб не сказать — да! — и сказал:

— Я — слушаю.

Офицер снова, громче щелкнул ножницами и швырнул их на стол, а глаза его, потеряв естественную форму, расширились, стали как будто плоскими.

— Так как же это выходит, что вы, рискуя карьерой, вращаетесь среди людей политически неблагонадежных, антипатичных вам…

— Из моих записок вы не могли вынести этого, — торопливо сказал Самгин, присматриваясь к жандарму.

— Чего я не мог вынести? — спросил жандарм. Клим не ответил; тонко развитое в нем чувство недоверия к людям подсказывало ему, что жандарм вовсе де так страшен, каким он рисует себя.

— Ведь не ведете же вы ваши записки для отвода глаз, как говорится! — воскликнул офицер. — В них совершенно ясно выражено ваше отрицательное отношение к политиканам, и, хотя вы не называете имен, мне ведь известно, что вы посещали кружок Маракуева…

— Вы не можете сказать, что я член этого кружка или что мои воззрения…

— Нам известно о вас многое, вероятно — все! — перебил жандарм, а Самгин, снова чувствуя, что сказал лишнее, мысленно одобрил жандарма за то, что он помешал ему. Теперь он видел, что лицо офицера так необыкновенно подвижно, как будто основой для мускулов его служили не кости, а хрящи: оно, потемнев еще более, все сдвинулось к носу, заострилось и было бы смешным, если б глаза не смотрели тяжело и строго. Он продолжал, возвысив голос:

— И этого вполне достаточно, чтоб лишить вас права прохождения университетского курса и выслать из Москвы на родину под надзор полиции.

Замолчав, он медленно распустил хрящи и мускулы лица, выкатил глаза и чмокнул.

— Но власть — гуманна, не в ее намерениях увеличивать количество людей, не умевших устроиться в жизни, и тем самым пополнять кадры озлобленных личными неудачами, каковы все революционеры.

Щелкнув ножницами, он покосился на листок бумаги, постучал по ней пальцем:

— Вот вы пишете: «Двух станов не боец» — я не имею желания быть даже и «случайным гостем» ни одного из них», — позиция совершенно невозможная в наше время! Запись эта противоречит другой, где вы рисуете симпатичнейший образ старика Козлова, восхищаясь его знанием России, любовью к ней. Любовь, как вера, без дел — мертва!

И, снова собрав лицо клином, он именно отеческим тоном стал уговаривать:

— Нет, вам надо решить: мы или они?

«Неумен», — мельком подумал Самгин.

— Мы — это те силы России, которые создали ее международное блестящее положение, ее внутреннюю красоту и своеобразную культуру.

В этом отеческом тоне он долго рассказывал о деятельности крестьянского банка, переселенческого управления, церковноприходских школ, о росте промышленности, требующей все более рабочих рук, о том, что правительство должно вмешаться в отношения работодателей и рабочих; вот оно уже сократило рабочий день, ввело фабрично-заводскую инспекцию, в проекте больничные и страховые кассы.

— Могу вас заверить, что власть не позволит превратить экономическое движение в политическое, нет-с! — горячо воскликнул он и, глядя в глаза Самгина, второй раз спросил: — Так — как же-с, а?

— Не понимаю вопроса, — сказал Клим. Он чувствовал себя умнее жандарма, и поэтому жандарм нравился ему своей прямолинейностью, убежденностью и даже физически был приятен, такой крепкий, стремительный.

— Не понимаете? — спросил он, и его светлые глаза снова стали плоскими. — А понять — просто: я предлагаю вам активно выразить ваши подлинные симпатии, решительно встать на сторону правопорядка… ну-с?

Этого Самгин не ожидал, но и не почувствовал себя особенно смущенным или обиженным. Пожав плечами, он молча усмехнулся, а жандарм, разрезав ножницами воздух, ткнул ими в бумаги на столе и, опираясь на них, привстал, наклонился к Самгину, тихо говоря:

— Я предлагаю вам быть моим осведомителем… стойте, стойте! — воскликнул он, видя, что Самгин тоже встал со стула.

— Вы меня оскорбляете, — сказал Клим очень спокойно. — В шпионы я не пойду.

— Ничего подобного я не предлагал! — обиженно воскликнул офицер. — Я понимаю, с кем говорю. Что за мысль! Что такое шпион? При каждом посольстве есть военный агент, вы его назовете шпионом? Поэму Мицкевича «Конрад Валленрод» — читали? — торопливо говорил он. — Я вам не предлагаю платной службы; я говорю о вашем сотрудничестве добровольном, идейном.

Он сел и, продолжая фехтовать ножницами с ловкостью парикмахера, продолжал тихо и мягко:

— Нам необходимы интеллигентные и осведомленные в ходе революционной мысли, — мысли, заметьте! — информаторы, необходимы не столько для борьбы против врагов порядка, сколько из желания быть справедливыми, избегать ошибок, безошибочно отделять овец от козлищ. В студенческом движении страдает немало юношей случайно…

Самгин тоже сел, у него задрожали ноги, он уже чувствовал себя испуганным. Он слышал, что жандарм говорит о «Манифесте», о том, что народники мечтают о тактике народовольцев, что во всем этом трудно разобраться, не имея точных сведений, насколько это слова, насколько — дело, а разобраться нужно для охраны юношества, пылкого и романтического или безвольного, политически малограмотного.

— Так — как же, а? — снова услыхал он вопрос, должно быть, привычный языку жандарма.

— На это я не пойду, — ответил Самгин, спокойно, как только мог.

— Решительно?

— Да.

Офицер, улыбаясь, встал, качнул головою,

— Не стану спрашивать вас: почему, но скажу прямо: решению вашему не верю-с! Путь, который я вам указал, — путь жертвенного служения родине, — ваш путь. Именно: жертвенное служение, — раздельно повторил он. — Затем, — вы свободны… в пределах Москвы. Мне следовало бы взять с вас подписку о невыезде отсюда, — это ненадолго! Но я удовлетворюсь вашим словом — не уедете?

— Разумеется, — облегченно вздохнул Клим.

— Часть ваших бумаг можете взять — вот эту! — Вы будете жить в квартире Антроповой? Кстати: вы давно знакомы с Любовью Сомовой?

— С детства.

— Что это за человек?

— Очень… добрая девушка, — не сразу ответил Самгин.

— Гм? Ну, до свидания.

Он протянул руку. Клим подал ему свою и ощутил очень крепкое пожатие сильных и жестких пальцев.

— Подумайте, Клим Иванович, о себе, подумайте без страха пред словами и с любовью к родине, — посоветовал жандарм, и в голосе его Клим услышал ноты искреннего доброжелательства.

По улице Самгин шел согнув шею, оглядываясь, как человек, которого ударили по голове и он ждет еще удара. Было жарко, горячий ветер плутал по городу, играя пылью, это напомнило Самгину дворника, который нарочно сметал пыль под ноги партии арестантов. Прозвучало в памяти восклицание каторжника:

«Лазарь воскрес!» — и Клим подумал, что евангельские легенды о воскресении мертвых как-то не закончены, ничего не говорят ни уму, ни сердцу. Над крышами домов быстро плыли облака, в сизой туче за Москвой-рекой сверкнула молния. Самгин прислушался сквозь шум города, ожидая грома, но гром не долетел, увяз в туче. Толкались люди, шагая встречу, обгоняя, уходя от них, Самгин зашел в сквер храма Христа, сел на скамью, и первая ясная его мысль сложилась вопросом: чем испугал жандарм? Теперь ему казалось, что задолго до того, как офицер предложил ему службу шпиона, он уже знал, что это предложение будет сделано.

Испугало его не это оскорбительное предложение, а что-то другое. Самгин не мог не признать, что жандарм сделал правильный вывод из его записок, и, дотронувшись рукою до пакета в кармане, решил:

«Сожгу. И больше не буду писать».

Думалось бессвязно, мысли разбивались о какое-то неясное, но подавляющее чувство. Прошли две барышни, одна, взглянув на него, толкнула подругу локтем и сказала ей что-то, подруга тоже посмотрела на Клима, обе они замедлили шаг.

«Как на самоубийцу, дуры, — подумал Самгин. — Должно быть, у меня лицо нехорошее».

Встал и пошел домой, убеждая себя:

«Разумеется, я оскорблен морально, как всякий порядочный человек. Морально».

Но он смутно догадывался, что возникшая необходимость убеждать себя в этом утверждает обратное: предложение жандарма не оскорбило его. Пытаясь погасить эту догадку, он торопливо размышлял:

«Если б теория обязывала к практической деятельности, — Шопенгауэр и Гартман должны бы убить себя. Ленау, Леопарди...»

Но Самгин уже понял: испуган он именно тем, что не оскорблен предложением быть шпионом. Это очень смутило его, и это хотелось забыть.

«Клевещу я на себя, — думал он. — А этот полковник или ротмистр — глуп. И — нахал. Жертвенное служение... Активная борьба против Любаши. Идиот...»

Шел Самгин медленно, но весь вспотел, а в горле и во рту была горьковатая сухость.

Анфимьевна, встретив его, захлебнулась тихой радостью.

— Ой, голубчик, выпустили! Слава тебе, господи! А я уж думала, что, как Петрушу Маракуева, надолго засадят.

Крестясь, она попутно отерла слезы, потом, с великой осторожностью поместив себя на стул, заговорила шопотом:

— А — Любаша-то — как? Вот — допрыгалась! Ах ты, господи, господи! Милые вы мои, на что вы обрекаете за народ молодую вашу жизнь...

Но, вздохнув с силою поршня машины и закатывая рукава кофты к локтям, она заговорила деловито:

— А я в то утро, как увели вас, взяла корзинку, будто на базар иду, а сама к Семену Васильичу, к Алексею Семенычу, так и так, — говорю. Они в той же день Танечку отправили в Кострому, узнать — Варя-то цела ли?

Снова всплакнув, причем ее тугое лицо не морщилось, она встала:

— Кушать будете али чайку?

Есть и пить Самгин отказался, но пошел с нею в кухню.

— Вот бумаги надо сжечь.

— Дайте-ко мне, я сожгу.

Самгин остался в кухне и видел, как она сожгла его записки на шестке печи, а пепел бросила в помойное ведро и даже размешала его там веником. Во всем этом было нечто возмутительное. Самгин почувствовал в горле истерический ком,

желание кричать, ругаться, с полчаса безмысленно походил по комнате, рассматривая застывшие лица знаменитых артистов, и, наконец, решил сходить в баню. Часа через два, разваренный, он сидел за столом, пред кипевшим самоваром, пробуя написать письмо матери, но на бумагу сами собою ползли из-под пера слова унылые, жалобные, он испортил несколько листиков, мелко изорвал их и снова закружился по комнате, поглядывая на гравюры и фотографии.

«Жертвенное служение», — думал он, всматриваясь в чахоточное лицо Белинского.

В прихожей кто-то засмеялся и сказал простонародным говорком, по-московски подчеркивая а.

— А ты полно, мать! Привыкай…

В столовую вошел хлыщеватый молодой человек, светловолосый, гладко причесанный, во фланелевом костюме, с соломенной шляпой в руке, с перчатками в шляпе.

— Алексей Семенов Гогин, — сказал он, счастливо улыбаясь, улыбалась и Анфимьевна, следуя за ним, он сел к столу, бросил на диван шляпу; перчатки, вылетев из шляпы, упали на пол.

— Не беспокойся, — сказал гость Анфимьевне, хотя она не беспокоилась, а, стоя в дверях, сложив руки на животе, смотрела на него умильно и ожидая чего-то.

— Быстро отделались, поздравляю! — сказал Гогин, бесцеремонно и как старого знакомого рассматривая Клима. — Кто вас пиявил? — спросил он.

Он был похож на приказчика из хорошего магазина галантереи, на человека, который с утра до вечера любезно улыбается барышням и дамам; имел самодовольно глупое лицо здорового парня; такие лица, без особых примет, настолько обычны, что не остаются в памяти. В голубоватых глазах — избыток ласковости, и это увеличивало его сходство с приказчиком.

— Ага, полковник Васильев! Это — шельма! Ему бы лошадями торговать, цыганской морде.

— Вы его знаете? — спросил Клим.

— Ну, еще бы не знать! Его усердием я из университета вылетел, — сказал Гогин, глядя на Клима глазами близорукого, и засмеялся булькающий смехом толстяка, а был он сухощав и строен.

Самгину не верилось, что этот франтоватый парень был студентом, но он подумал, что «осведомители» полковника Васильева, наверное, вот такие люди без лица.

— Вас игемон этот по поводу Любаши о чем спрашивал? — осведомился Гогин.

— О ней — ни слова.

— Так-таки — ни слова?

Самгин отрицательно покачал головой, но вслед за тем сказал:

— Спросил только — давно ли я знаком с нею.

— М-да, — промычал Гогин, поглаживая пальцем золотые усики. — Видите ли, папахен мой желает взять Любашу на поруки, она ему приходится племянницей по сестре…

— Значит, двоюродная сестра вам, — заметил Самгин, чтоб сказать что-нибудь и находя в светловолосом Гогине сходство с Любашей.

— Нет, я — приемыш, взят из воспитательного дома, — очень просто сказал

Гогин. — Защитники престол-отечества пугают отца — дескать, Любовь Сомова и есть воплощение злейшей крамолы, и это несколько понижает градусы гуманного порыва папаши. Мы с ним подумали, что, может быть, вы могли бы сказать: какие злодеяния приписываются ей, кроме работы в «Красном Кресте»?

— Не знаю, — сухо ответил Клим, но это не смутило Гогина, он продолжал:

— В Нижний ездила она — не там ли зацепилась за что-нибудь? Вы, кажется, нижегородец?

— Нет, — сказал Самгин и тоже спросил: не знает ли Гогин чего-нибудь о Варваре?

— Цела, — ответил тот, глядя в самовар и гримасничая. — По некоторым признакам, дело Любаши затеяно не здешними, а из провинции.

Самгин слушал и утверждался в подозрениях своих: этот человек, столь обыкновенный внешне, манерой речи выдавал себя; он не так прост, каким хочет казаться. У него были какие-то свои слова, и он обнаруживал склонность к едкости.

— Самопрыгающая натура, — сказал он о Любаше, приемного отца назвал «иже еси в либералех сущий», а постукав кулаком по «Русским ведомостям», заявил:

— На медные деньги либерализма в наше время не проживешь.

Держался небрежно, был излишне словоохотлив, и сквозь незатейливые шуточки его проскальзывали слова неглупые. Когда Самгин заметил испытующим тоном, что революционное настроение растет, — он спокойненько сказал:

— Весьма многими командует не убежденность, а незаконная дочь ее — самонадеянность.

Самгин почти обрадовался, когда гость ушел.

— Кто это? — спросил он Анфимьевну.

— Али вы не знаете? — удивилась она. — Семен Васильич, папаша его, знаменитый человек в Москве.

— Чем знаменит?

— Ну, как же! Богатый. Детскую лечебницу построил.

— Доктор?

— Что это вы! У него — свое дело, — как будто даже обиделась Анфимьевна.

На другой день явился дядя Миша, усталый, запыленный; он благосклонно пожал руку Самгина и попросил Анфимьевну:

— Дайте стакан воды, с вареньем, если найдется, а то — кусочек сахару.

Затем сообщил, что есть благоприятные сведения о Любаше, и сказал:

— Пожалуйста, найдите в книгах Сомовой «Философию мистики». Но, может быть, я неверно прочитал, — ворчливо добавил он, — какая же философия мистики возможна?

Когда Самгин принес толстую книгу Дюпреля, — дядя Миша удивленно и неодобрительно покачал головой.

— Подумайте, оказывается есть такая философия! Развернув переплет книги, он прищурил глаз, посмотрел в трубочку корешка.

— Дайте что-нибудь длинненькое.

Он вытолкнул карандашом из-под корешка бумажку, сложенную, как аптекарский пакетик порошков, развернул ее и, прочитав что-то, должно быть, приятное, ласково усмехнулся.

— Оказывается, из мистики тоже можно извлечь кое-что полезное.

Наблюдая за его действиями, Самгин подумал, что раньше все это показалось бы ему смешным и не достойным человека, которому, вероятно, не менее пятидесяти лет, а теперь вот, вспомнив полковника Васильева, он невольно и сочувственно улыбнулся дяде Мише.

Дядя Миша, свернув бумажку тугой трубочкой, зажал ее между большим и указательным пальцами левой руки.

— Не заметили — следят за домом? — спросил он.

— Не заметил.

— Должны следить, — сказал маленький человек не только уверенно, а даже как будто требовательно. Он достал чайной ложкой остаток варенья со дна стакана, съел его, вытер губы платком и с неожиданным ехидством, которое очень украсило его лицо сыча, спросил, дотронувшись пальцем до груди Самгина:

— Как же это у вас: выпустили «Манифест Российской социал-демократической партии» и тут же печатаете журнальчик «Рабочее знамя», но уже от «Русской» партии и более решительный, чем этот «Манифест», — как же это, а?

Клим сказал, что он еще не видел ни того, ни другого.

— То-то вот, — весело сверкая черными глазками, заметил дядя Миша. — Торопитесь так, что и столковаться не успели. До свидания.

Самгин, открыв окно, посмотрел, как он не торопясь прошел двором, накрытый порыжевшей шляпой, серенький, похожий на старого воробья. Рыжеволосый мальчик на крыльце кухни акушерки Гюнтер чистил столовые ножи пробкой и тертым кирпичом.

«Жизнь — сплошное насилие над человеком, — подумал Самгин» глядя, как мальчишка поплевывает на ножи. — Вероятно, полковник возобновит со мной беседу о шпионаже… Единственный человек, которому я мог бы рассказать об этом, — Кутузов. Но он будет толкать меня в другую сторону…»

Со двора поднимался гнилой запах мыла, жира; воздух был горяч и неподвижен. Мальчишка вдруг, точно его обожгло, запел пронзительным голосом:

Что ты, суженец, не весел,Беззаботный сорванец?Что ты голову…

Из окна кухни высунулась красная рука и, выплеснув на певца ковш воды, исчезла, мальчишка взвизгнул, запрыгал по двору.

«Этот жандарм, в сущности, боится и потому…» Размышляя, Самгин любовался, как ловко рыжий мальчишка увертывается от горничной, бегавшей за ним с мокрой тряпкой в руке; когда ей удалось загнать его в угол двора, он упал под ноги ей, пробежал на четвереньках некоторое расстояние, высоко подпрыгнул от земли и выбежал на улицу, а в ворота, с улицы, вошел дворник Захар, похожий на Николая Угодника, и сказал:

— Ты бы, Маш, постарше с кем играла, повзрослее.

— Еще поиграю, — откликнулась горничная.

В часы тяжелых настроений Клим Самгин всегда торопился успокоить себя, чувствуя, что такие настроения колеблют и расшатывают его веру в свою оригинальность. В этот день его желание вернуться к себе самому было особенно

напряженно, ибо он, вот уже несколько дней, видел себя рекрутом, который неизбежно должен отбывать воинскую повинность. Но он незаметно для себя почти привык к мыслям о революции, как привыкают к затяжным дождям осени или к местным говорам. Он уже не вспоминал возмущенный окрик горбатенькой девочки:

«Да — что вы озорничаете!»

Но хорошо помнил скептические слова:

«Да — был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

Клим был уверен, что он не один раз убеждался:

«не было мальчика», и это внушало ему надежду, что все, враждебное ему, захлебнется словами, утонет в них, как Борис Варавка в реке, а поток жизни неуклонно потечет в старом, глубоко прорытом русле.

За три недели, одиноко прожитых им в квартире Варвары, он убедился, что Любаша играет роль более значительную, чем он приписывал ей. Приходила нарядная дама под вуалью, с кружевным зонтиком в руках, она очень расстроилась и, кажется, даже испугалась, узнав, что Сомова арестована. Ковыряя зонтиком пол, она нервно сказала:

— Но — я приезжая, и мне совершенно необходимо видеть кого-нибудь из ее близких друзей!

Близких — она подчеркнула, и это понудило Клима дать ей адрес Алексея Гогина. Потом явился угрюмый, плохо одетый человек, видимо, сельский учитель. Этот — рассердился.

— Арестована? Ну, вот… А вы не знаете, как мне найти Марью Ивановну?

Клим не знал. Тогда человек ушел, пробормотав:

— Как же это у вас…

Приходил юный студентик, весь новенький, тоже, видимо, только что приехавший из провинции; скромная, некрасивая барышня привезла пачку книг и кусок деревенского полотна, было и еще человека три, и после всех этих визитов Самгин подумал, что революция, которую делает Любаша, едва ли может быть особенно страшна. О том же говорило и одновременное возникновение двух социал-демократических партий.

На двадцать третий день он был вызван в жандармское управление и там встречен полковником, парадно одетым в мундир, украшенный орденами.

— Так как же, а? — торопливо пробормотал полковник, но, видимо, сообразив, что вопрос этот слишком часто срывается с его языка, откашлялся и быстро, суховато заговорил:

— Вот-с, извольте расписаться в получении ваших бумаг. Внимательно прочитав их, я укрепился в своей мысли. Не передумали?

— Нет, — сказал Самгин очень твердо.

— Весьма сожалею, — сказал полковник, взглянув на часы. — Почему бы вам не заняться журналистикой? У вас есть слог, есть прекрасные мысли, например; об эмоциональности студенческого движения, — очень верно!

— Считаю себя недостаточно подготовленным для этого, — ответил Самгин, незаметно всматриваясь в распустившееся, оплывшее лицо жандарма. Как в ночь обыска, лицо было усталое, глаза смотрели мимо Самгина, да и весь полковник как-то обмяк, точно придавлен был тяжестью парадного мундира.

— Тоже вот о няньках написали вы, любопытнейшая мысль, вот бы и развить ее в статейку.

«Жертвенное служение», — думал Клим с оттенком торжества, и ему захотелось сказать: «Вы — не очень беспокойтесь, революцию делает Любаша Сомова!»

Он даже не мог скрыть улыбку, представив, какой эффект могла бы вызвать его шутка.

А полковник, вытирая лысину и как бы поймав его мысль, задумчиво спросил:

— А, скажите, Любовь Антоновна Сомова давно занимается спиритизмом и вообще — этим? — он пошевелил пальцами перед своим лбом.

— Она еще в детстве обнаруживала уклон в сторону чудесного, — нарочито небрежно ответил Самгин.

Полковник взглянул на него и отрицательно потряс головою.

— Не похоже, — сказал он. И, бесцеремонно, ожившими глазами разглядывая Клима, повторил с ударением на первом слове: — Совсем не похоже.

Самгин пожал плечами и спросил:

— Вы, полковник, не можете сообщить мне причину ареста?

Тот подтянулся, переступил с ноги на ногу, позвенев шпорами, и, зорко глядя в лицо Клима, сказал с галантной улыбочкой:

— Не должен бы, но — в качестве компенсации за приятное знакомство… В общем — это длинная история, автором которой, отчасти, является брат ваш, а отчасти провинциальное начальство. Вам, вероятно, известно, что брат ваш был заподозрен в попытке бегства с места ссылки? Кончив ссылку, он выхлопотал разрешение местной власти сопровождать какую-то научную экспедицию, для чего ему был выдан соответствующий документ. Но раньше этого ему было выписано проходное свидетельство во Псков, и вот этим свидетельством воспользовалось другое лицо.

Сделав паузу, полковник щелкнул пальцами и вздохнул:

— Установлено, что брат ваш не мог участвовать в передаче документа.

— А тот — бежал? — неосторожно спросил Самгин, вспомнив Долганова.

Полковник присел на край стола и мягко спросил, хотя глаза его стали плоскими и посветлели:

— Почему вы знаете, что бежал?

— Я — спрашиваю.

— А может быть, знаете, а? Клим сухо сказал:

— Если человек воспользовался чужим документом…

— Да, да, — небрежно сказал полковник, глядя на ордена и поправляя их. — Но не стоит спрашивать о таких… делах. Что тут интересного?

Он встал, протянул руку.

— Все-таки я не понял, — сказал Самгин.

— Ах, да! Ну, вас приняли за этого, который воспользовался документом.

«Это он выдумал», — сообразил Самгин.

— Его, разумеется, арестовали уже… «Врет», — подумал Клим.

— Честь имею, — сказал полковник, вздыхая. — Кстати: я еду в командировку… на несколько месяцев. Так в случае каких-либо недоразумений или вообще… что-нибудь понадобится вам, — меня замещает здесь ротмистр Роман Леонтович. Так уж вы — к нему. С богом-с!

Самгин вышел на улицу с чувством иронического снисхождения к человеку, проигравшему игру, и едва скрывая радость победителя.

«Этот дурак все-таки не потерял надежды видеть меня шпионом. Долганов, несомненно, удрал. Против меня у жандарма, наверное, ничего нет, кроме желания сделать из меня шпиона».

Он чувствовал себя окрепшим. Все испытанное им за последний месяц утвердило его отношение к жизни, к людям. О себе сгоряча подумал, что он действительно независимый человек и, в сущности, ничто не мешает ему выбрать любой из двух путей, открытых пред ним. Само собою разумеется, что он не пойдет на службу жандармов, но, если б издавался хороший, независимый от кружков и партий орган, он, может быть, стал бы писать в нем. Можно бы неплохо написать о духовном родстве Константина Леонтьева с Михаилом Бакуниным.

Жизнь очень похожа на Варвару, некрасивую, пестро одетую и — неумную. Наряжаясь в яркие слова, в стихи, она, в сущности, хочет только сильного человека, который приласкал бы и оплодотворил ее. Он вспомнил, с какой смешной гордостью рассказывала Варвара про обыск у нее Лидии и Алине, вспомнил припев дяди Миши:

«Я с ним сидел в тюрьме. Он со мной сидел в тюрьме». Все люди более или менее глупы, хвастуны, и каждый стремится хоть чем-нибудь подчеркнуть себя. Даже несокрушимая Анфимьевна хвастается тем, что она никогда не хворала, но если у нее болят зубы, то уж так, что всякий другой человек на ее месте от такой боли разбил бы себе голову об стену, а она — терпит. Да, хвастаются и силою зубной боли, хвастаются несчастиями. Лютов — своим уродливым и неудачным романом, Иноков — нежеланием работать, Варавка — умением хватать, строить, богатеть. Писатель Катин явно гордился тем, что живет под надзором полиции. И все так. Кутузов, который мог бы гордиться голосом, подчеркивает себя тем, что не ценит свой дар певца.

Через несколько дней он был дома, ужинал с матерью и Варавкой, который, наполнив своим жиром и мясом глубокое кресло, говорил, чавкая и задыхаясь:

— Так тебя, брат, опять жандармы прижимали? Эх ты… А впрочем, чорт ее знает, может быть, нужна и революция! Потому что — действительно: необходимо представительное правление, то есть — три-четыре сотни деловых людей, которые драли бы уши губернаторам и прочим администраторам, в сущности — арестантам, — с треском закончил он, и лицо его вспухло, налилось кровью.

— Дурацкой этой стране все нужно: ласки и встряски, страхи, — землетрясение нужно ей, дьявольщина! Вот именно, — встряхнуть, размесить это кислое тесто, заставить всех работать по-римски, по-египетски, с бичами, вот как! Дорог — нет, передвигаться нельзя — понимаешь? Я вот лес купил, з-замечательный! Даром купил, за семь копеек, хотел бумажную фабрику строить, лесопилку, спирт гнать хотел. Надули, мерзавцы. Прежде чем строить, нужен канал по болотам на семнадцать верст! Ты можешь это понять, а? Я, братец мой, стал ругаться, как солдат…

— Ужасно, — сказала Вера Петровна, закрыв обесцвеченные глаза и качая головою.

— Если б вы, мадам, что-нибудь делали, вы бы тоже ругались, — огрызнулся Варавка.

— Но ведь не то ужасно, что вы ругаетесь…

— Всё — не то! Всё!

Варавка вытащил бороду из-под салфетки, положил ее на ладонь, полюбовался ею и снова начал есть, не прерывая своих жалоб. Самгин отметил, что раньше Варавка ел жадно, однако спокойно, с уверенностью, что он успеет съесть сколько хочет. А теперь он, видимо, потерял эту уверенность, неприятно торопится, беспорядочно хватает с тарелок все, что попало под руку, ест неряшливо. Он сильно разбух, щеки оплыли, под глазами вздулись мешки, но глаза стали еще острее, злей, а борода выцвела, в ней явился свинцовый блеск.

— У меня жандармы тоже прищучили одного служащего, знаешь, молодчину: американец, марксист и вообще — коловорот, ф-фа! Но я с Радеевым так настроил прокурора и губернатора, что болван полковник Попов отсюда вылетел. На его место присылают из Петербурга или из Москвы какого-то Васильева; тоже, должно быть, осел, умного человека в такой чортов угол не пошлют. Ты, брат, взгляни, какой домишко изобрел я прокурору, — он выходит в отставку и промышленным делом заняться намерен. Эдакий, знаешь, стиль фен-де-сьекль, декаданс и вообще — пирог с вареньем!

— Ужасно, — негромко повторила Вера Петровна, сморщив лиловое лицо. — Это для кокотки.

— А — мне что? — вскинулся Варавка. — Вкус хозяина, он мне картинку в немецком журнале показал, спросил: можете эдак? А — пожалуйста! Я — как вам угодно могу, я для вас могу построить собачью конуру, свинарник, конюшню…

— Этого ты ему не мог сказать, — заметила Вера Петровна.

— Не хотел, а не — не мог. Я, матушка, все могу сказать.

Варавка, упираясь руками в ручки кресла, тяжело поднял себя и на подгибающихся ногах пошел отдохнуть.

— Через полчаса надо ехать в клуб, ругаться, — сообщил он Климу.

Мать, медленно поворачивая шею, смотрела вслед ему, как смотрят на извозчика, который, проехав мимо, едва не задел возом.

— Ужасно много работает, это у него душевная болезнь, — сказала она, сокрушенно вздохнув. — Он оставит Лидии очень большое состояние. Пойдем, посидим у меня.

В ее комнате стоял тяжелый запах пудры, духов и от обилия мебели было тесно, как в лавочке старьевщика. Она села на кушетку, приняв позу Юлии Рекамье с портрета Давида, и спросила об отце. Но, узнав, что Клим застал его уже без языка, тотчас же осведомилась, произнося слова в нос:

— Эта женщина показала тебе завещание? Нет? Ты все-таки наивен.

И, вздохнув, сказала:

— Любовницы всегда очень жадны. О Дмитрии она спросила:

— Что же он — здоров? На севере люди вообще здоровее, чем на юге, как говорят. Пожалуйста, дай мне папиросы и спички.

Закуривая, она делала необычные для нее жесты, было в них что-то надуманное, показное, какая-то смешная важность, этим она заставила Клима вспомнить комическую и жалкую фигуру богатой, но обнищавшей женщины в одном из романов Диккенса. Чтоб забыть это сходство, он спросил о Спивак.

— Ах, боже мой, Елизавета ведет себя ужасно бестактно! Она ничуть не считается

с тем, что у меня в школе учатся девицы хороших семейств, — заговорила мать тоном человека, у которого начинают болеть зубы. — Повезла мужа на дачу и взяла с собою Инокова, — она его почему-то считает талантливым, чего-то ждет от него и вообще, бог знает что! И это — после того, как он устроил побоище, которое, может быть, кончится для него тюрьмой. Тут какой-то странный романтизм, чего я совершенно не понимаю при ее удивительно спокойном характере и… и при ее холодной энергии! Но все-таки я ее люблю, она человек хорошей крови! Ах, Клим, кровь — это много значит!

И, тяжко вздохнув, она спросила:

— Ты не знаешь, это правда, что Алина поступила в оперетку и что она вообще стала доступной женщиной. Да? Это — ужасно! Подумай — кто мог ожидать этого от нее!

— Вероятно, — все мужчины, которым она нравилась, — мудро ответил Клим.

— Это — остроумно, — нашла мать, но не улыбнулась. Четырех дней было достаточно для того, чтоб Самгин почувствовал себя между матерью и Варавкой в невыносимом положении человека, которому двое людей навязчиво показывают, как им тяжело жить. Варавка, озлобленно ругая купцов, чиновников, рабочих, со вкусом выговаривал неприличные слова, как будто забывая о присутствии Веры Петровны, она всячески показывала, что Варавка «ужасно» удивляет ее, совершенно непонятен ей, она относилась к нему, как бабушка к Настоящему Старику — деду Акиму.

Вечерами Самгин гулял по улицам города, выбирая наиболее тихие, чтоб не встретить знакомых; зайти в «Наш край» ему не хотелось; Варавка сказал о газете:

— Газета? Чепуха — газета! Там какие-то попы проповеди печатают, а редактор — благочинный. Нет, брат, Россия до серьезной, деловой прессы не дожила.

Клим смотрел на каменные дома, построенные Варавкой за двадцать пять лет, таких домов было десятка три, в старом, деревянном городе они выступали резко, как заплаты на изношенном кафтане, и казалось, что они только уродуют своеобразно красивый городок, обиталище чистенького и влюбленного в прошлое историка Козлова. Самгин думал, что вот таких городов больше полусотни, вокруг каждого из них по десятку маленьких уездных и по нескольку сотен безграмотных сел, деревень спрятано в болотах и лесах. В общем это — Россия, и как-то странно допустить, что такой России необходимы жандармские полковники, Любаша, Долганов, Маракуев, люди, которых, кажется, не так волнует жизнь народа, как шум, поднятый марксистами, отрицающими самое понятие — народ. Еще менее у места в России Кутузов и люди, издавшие «Манифест», «Рабочее знамя». И уж совсем не нужны, как бородавки на лице, полуумные Дьякона, Лютовы, Иноковы.

За городом работали сотни три землекопов, срезая гору, расковыривая лопатами зеленоватые и красные мергеля, — расчищали съезд к реке и место для вокзала. Согнувшись горбато, ходили люди в рубахах без поясов, с расстегнутыми воротами, обвязав кудлатые головы мочалом. Точно избитые собаки, визжали и скулили колеса тачек. Трудовой шум и жирный запах сырой глины стоял в потном воздухе. Группа рабочих тащила волоком по земле что-то железное, уродливое, один из них ревел:

Иди-ет, идет, да-о-о-о!

Другая группа била с копра сваю, резкий голос надсадно и озлобленно запевал:

Ой, ребята, бери дружно!Хозяину деньги нужно!Ой, дубинушка, охнем

— устало подхватывал хор.

Чугунная баба грузно падала на сваю, земля под ногами Клима вздрагивала и гудела.

С детства слышал Клим эту песню, и была она знакома, как унылый, великопостный звон, как панихидное пение на кладбище, над могилами. Тихое уныние овладевало им, но было в этом унынии нечто утешительное, думалось, что сотни людей, ковырявших землю короткими, должно быть, неудобными лопатами, и усталая песня их, и грязноватые облака, развешанные на проводах телеграфа, за рекою, — все это дано надолго, может быть, навсегда, и во всем этом скрыта какая-то несокрушимость, обреченность.

И не одну сотню раз Клим Самгин видел, как вдали, над зубчатой стеной елового леса краснеет солнце, тоже как будто усталое, видел облака, спрессованные в такую непроницаемо плотную массу цвета кровельного железа, что можно было думать: за нею уж ничего нет, кроме «черного холода вселенской тьмы», о котором с таким ужасом говорила Серафима Нехаева.

В последний вечер пред отъездом в Москву Самгин сидел в Монастырской роще, над рекою, прислушиваясь, как музыкально колокола церквей благовестят ко всенощной, — сидел, рисуя будущее свое: кончит университет, женится на простой, здоровой девушке, которая не мешала бы жить, а жить надобно в провинции, в тихом городе, не в этом, где слишком много воспоминаний, но в таком же вот, где подлинная и грустная правда человеческой жизни не прикрыта шумом нарядных речей и выдумок и где честолюбие людское понятней, проще. Жизнь вовсе не ошалелая тройка Гоголя, а — старая лошадь-тяжеловоз; покачивая головою, она медленно плетется по избитой дороге к неизвестному, и прав тот, кто сказал, что все — разумно. Все, кроме тех людей, которые считают себя мудрецами и Архимедами.

Впереди его и несколько ниже, в кустах орешника, появились две женщины, одна — старая, сутулая, темная, как земля после дождя; другая — лет сорока, толстуха, с большим, румяным лицом. Они сели на траву, под кусты, молодая достала из кармана полубутылку водки, яйцо и огурец, отпила немного из горлышка, передала старухе бутылку, огурец и, очищая яйцо, заговорила певуче, как рассказывают сказки:

— Ну и вот: муженек ей не удался — хвор, да и добытчик плохой…

— Дети-то у ней от него ли? — угрюмо спросила старуха.

— А, конечно, от неволи, — сказала молодая, видимо, не потому, что хотела пошутить, а потому, что плохо слышала. — Вот она, детей ради, и стала ездить в Нижний, на ярмарку, прирабатывать, женщина она видная, телесная, характера веселого…

— Чего уж веселее, — проворчала старуха, высасывая беззубым ртом мякоть огурца, и выпила еще.

— Четыре года ездила, заработала, крышу на дому перекрыла, двух коров завела, ребят одела-обула, а на пятый заразил ее какой-то голубок дурной болезнью…

— От судьбы, матушка, не увернешься, — назидательно сказала старуха, разглядывая лодочку огурца.

— Чего?

— От судьбы, говорю, в подпечек не спрячешься…

— Видно — нет! — соглашалась молодая. — И начала она пить. Пьет и плачет али песни поет. Одну корову продала…

— И другую продаст, — уверенно сказала старуха. Самгин встал и пошел прочь, думая, что вот, рядом с верой в бога, все еще не изжита языческая вера в судьбу.

«Писатель вроде Катина или Никодима Ивановича сделал бы из этого анекдота жалобный рассказ», — думал он, шагая по окраине города, мимо маленьких,

придавленных к земле домиков неизвестно чем и зачем живущей бедноты.

— Вы сюда как попали? — остановил его радостный и удивленный возглас; со скамьи, у ворот, вскочил Дунаев, схватил его руку и до боли сильно встряхнул ее.

— Я — здешний, — не очень любезно ответил Самгин.

— Вот как? Я — тоже, это дворец тетки моей. Нуте-ко, — присядьте!

Дунаев подтянул его к пристройке в два окна с крышей на один скат, обмазанная глиной пристройка опиралась на бревенчатую стену недостроенного, без рам в окнах, дома с обгоревшим фасадом.

Сбросив со скамьи на землю какие-то планки, проволоку, клещи, Дунаев усадил Клима, заглянул в очки его и быстро, с неизменной своей улыбочкой, начал выспрашивать.

— Дошел до нас слушок — посидели несколько? Под надзор сюда? Меня — под надзор...

Самгин взглянул направо, налево, людей нигде не было, ходили три курицы, сидела на траве шершавая собака, внимательно разглядывая что-то под носом у себя.

— Верно, что «Манифест» марксисты выпустили? У вас — нет? А достать не можете? Эх, жаль...

— Что вы делаете? — спросил Самгин, торопясь окончить свидание.

— Мышеловки; пустяковое дело, но гривен семь, даже целковый можно заработать. Надолго сюда?

— Завтра уезжаю.

— Ну?

Дунаев был босой, в старенькой рубахе, подпоясанной ремнем, в заношенных брюках, к правому колену привязан бечевкой кусок кожи. Был Дунаев растрепан, и волосы на голове и курчавая борода — взлохмачены. Но, несмотря на это, он вызвал у Самгина впечатление зажиточного человека, из таких, — с хитрецой, которым все удается, они всегда настроены самоуверенно, как Варавка, к людям относятся недоверчиво, и, может быть, именно в этом недоверии — тайна их успехов и удач. Людей такого типа Дунаев напоминал Климу и улыбочкой в зрачках Глаз, которая как бы говорила:

«Я тебя знаю!»

Но он искренно обрадовался встрече, это было ясно по торопливости, с которой он рассказывал и допрашивал.

— Долго вы сидели, — сказал Клим.

— Долго, а — не зря! Нас было пятеро в камере, книжки читали, а потом шестой явился. Вначале мы его за шпиона приняли, а потом оказалось, он бывший студент, лесовод, ему уже лет за сорок, тихий такой и как будто даже не в своем уме. А затем оказалось, что он — замечательный знаток хозяйства.

«Прежде всего — хозяйство, — подумал Самгин. — Лавочником будет».

Он вспомнил прочитанный в юности роман Златовратского «Устои». В романе было рассказано, как интеллигенты пытались воспитать деревенского парня революционером, а он стал «кулаком».

— Он нам замечательно рассказывал, прямо — лекции читал о том, сколько сорных

трав зря сосет землю, сколько дешевого дерева, ольхи, ветлы, осины, растет бесполезно для нас. Это, говорит, всё паразиты, и надобно их истребить с корнем. Дескать, там, где растет репей, конский щавель, крапива, там подсолнухи и всякая овощь может расти, а на месте дерева, которое даже для топлива — плохо, надо сажать поделочное, ценное — дуб, липу, клён. Произрастание, говорит, паразитов неразумно допускать, неэкономично.

Говоря, Дунаев ловко отщипывал проволоку клещами, проволока лежала у него на колене, покрытом кожей, щипцы голодно щелкали, проволока ровными кусками падала на землю.

— Ну, тут мы ему говорим: «Да вы, товарищ, валяйте прямо — не о крапиве, а о буржуазии, ведь мы понимаем, о каких паразитах речь идет!» Но он — осторожен, — одобрительно сказал Дунаев. — Очень осторожен! «Что вы, говорит, ребята! Это вовсе не политика, а моя фантазия с точки зрения науки. Я, говорит, к чужому делу ошибочно пришит, политикой не занимаюсь, а служил в земстве, вот именно по лесному делу». — «Ну, ладно, говорим, мы точки зрения понимаем, катай дальше! Мы ведь не шпионы, а — рабочие, бояться нас нечего». Однако его вскоре перевели от нас…

Рассказ Дунаева не понравился, Клим даже заподозрил, что рабочий выдумал этот анекдот. Он встал, Дунаев тоже поднялся, тихо спросив:

— А что, есть тут кто-нибудь поднадзорные?

— Ведь я в Москве живу, — напомнил Самгин, простился и пошел прочь быстро, как человек опоздавший. Он был уверен, что если оглянется, то встретит взгляд Дунаева, эдакий прицеливающийся взгляд.

«Да, этот устроится…»

Но проще всего было не думать о Дунаеве.

Возвратясь в Москву, он остановился в меблированных комнатах, где жил раньше, пошел к Варваре за вещами своими и был встречен самой Варварой. Жестом человека, которого толкнули в спину, она протянула ему руки, улыбаясь, выкрикивая веселые слова. На минуту и Самгин ощутил, что ему приятна эта девица, смущенная несдержанным взрывом своей радости.

— А я приехала третьего дня и все еще не чувствую себя дома, все боюсь, что надобно бежать на репетицию, — говорила она, набросив на плечи себе очень пеструю шерстяную шаль, хотя в комнате было тепло и кофточка Варвары глухо, до подбородка, застегнута.

— Как я играла? — переспросила она, встряхнув головою, и виновато усмехнулась: — Увы, скверно!

Она казалась похорошевшей, а пышный воротник кофты сделал шею ее короче. Было странно видеть в движениях рук ее что-то неловкое, как будто руки мешали ей, делая не то, чего она хочет.

— Но, знаете, я — довольна; убедилась, что сцена — не для меня. Таланта у меня нет. Я поняла это с первой же пьесы, как только вышла на сцену. И как-то неловко изображать в Костроме горести глупых купчих Островского, героинь Шпажинского, французских дам и девиц.

Смеясь, она рассказала, что в «Даме с камелиями» она ни на секунду не могла вообразить себя умирающей и ей мучительно совестно пред товарищами, а в «Чародейке» не решилась удавиться косою, боясь, что привязная коса оторвется. Быстро кончив рассказывать о себе, она стал? подробно спрашивать Клима об аресте.

— Вас тоже тревожили там? — спросил он.

— Нет. Приходил полицейский, спрашивал заведующего, когда я уехала из Москвы. Но — как я была поражена, узнав, что вы... Совершенно не могу представить вас в тюрьме! — возмущенно крикнула она; Самгин, усмехаясь, спросил:

— Почему?

— Не знаю. Не могу.

«Побывав на сцене, она как будто стала проще», — подумал Самгин и начал говорить с нею в привычном, небрежно шутливом тоне, но скоро заметил, что это не нравится ей; вопросительно взглянув на него раз-два, она сжалась, примолкла. Несколько свиданий убедили его, что держаться с нею так, как он держался раньше, уже нельзя, она не принимает его шуточек, протестует против его тона молчанием; подожмет губы, прикроет глаза ресницами и — молчит. Это и задело самолюбие Самгина, и обеспокоило его, заставив подумать:

«Неужели влюбилась в другого?»

А еще через некоторое время он, поняв, что ему выгоднее относиться к ней более серьезно, сделал ее зеркалом своим, приемником своих мыслей.

— В логике есть закон исключенного третьего, — говорил он, — но мы видим, что жизнь строится не по логике. Например: разве логична проповедь гуманизма, если признать борьбу за жизнь неустранимой? Однако вот вы и гуманизм не проповедуете, но и за горло не хватаете никого.

— Удивительно просто говорите вы, — отзывалась Варвара.

Она очень легко убеждалась, что Константин Леонтьев такой же революционер, как Михаил Бакунин, и ее похвалы уму и знаниям Клима довольно быстро приучили его смотреть на нее, как на оселок, об который он заостряет свои мысли. Но являлись моменты и разноречий с нею, первый возник на дебюте Алины Телепневой в «Прекрасной Елене».

Алина выплыла на сцену маленького, пропыленного театра такой величественно и подавляюще красивой, что в темноте зала проплыл тихий гул удивления, все люди как-то покачнулись к сцене, и казалось, что на лысины мужчин, на оголенные руки и плечи женщин упала сероватая тень. И чем дальше, тем больше сгущалось впечатление, что зал, приподнимаясь, опрокидывается на сцену.

Пела Алина плохо, сильный голос ее звучал грубо, грубо подчеркивал бесстыдство слов, и бесстыдны были движения ее тела, обнаженного разрезом туники снизу до пояса. Варвара тотчас же и не без радости прошептала:

— Боже, как она вульгарна!

— Кажется, это будет повторением первого дебюта Нана, — согласно заметил Клим, хотя и редко позволял себе соглашаться с Варварой. Но и голос, и томная лень скупых жестов Алины, и картинное лицо ее действовали покоряюще. Каждым движением и взглядом, каждой нотой она заставляла чувствовать ее уверенность в неотразимой силе тела. Она не играла роль царицы, жены Менелая, она показывала себя, свою жажду наслаждения, готовность к нему, ненужно вламывалась в группы хористов, расталкивая их плечами, локтями, бедрами, как бы танцуя медленный и пьяный танец под музыку, которая казалась Самгину обновленной и до конца обнажившей свою острую, ироническую чувственность.

— Дебют Нана, — повторил он, оглядывая напряженно молчавшую публику, и заметил, что Варвара взглянула на него уже искоса, неодобрительно. С этого момента он стал наблюдать за нею. Он видел, что у нее покраснели уши, вспыхивают щеки, она притопывала каблуком в такт задорной музыке, барабанила пальцами по колену своему; он чувствовал, что ее волнение опьяняет его больше, чем вызывающая игра Алины своим телом. После первого акта публика устроила

Алине овацию, Варвара тоже неистово аплодировала, улыбаясь хмельными глазами; она стояла в такой позе, как будто ей хотелось прыгнуть на сцену, где Алина, весело показывая зубы, усмехалась так, как будто все люди в театре были ребятишками, которых она забавляла. Из оркестра ей подали огромный букет роз, потом корзину орхидей, украшенную широкой оранжевой лентой.

— Вам, кажется, все-таки понравилась она? — спросил Самгин, идя в фойе.

— Да, — сказала Варвара.

— Но ведь вы нашли ее вульгарной.

— Нашла — но… Это такая вульгарность… вакхическая. Вероятно, вот так Фрина в Элевзине… Я готова сказать, что это — не вульгарность, а — священное бесстыдство… Бесстыдство силы. Стихии.

Она говорила торопливо, как-то перескакивая через слова, казалась расстроенной, опечаленной, и Самгин подумал, что все это у нее от зависти.

— Ото! — насмешливо воскликнул он и этим заставил ее замолчать. Она отошла от него, увидав своих знакомых, а Самгин, оглянувшись, заметил у дверей в буфет Лютова во фраке, с папиросой в зубах, с растрепанными волосами и лицом в красных пятнах. Раньше Лютов не курил, да и теперь, очевидно, не научился, слишком часто втягивал дым, жевал мундштук, морщился; борта его фрака были осыпаны пеплом. Он мешал людям проходить в буфет, дымил на них, его толкали, извинялись, он молчал, накручивая на палец бородку, подстриженную очень узко, но длинную и совершенно лишнюю на его лице, голом и опухшем.

— Здравствуй, — не сразу и как бы сквозь сон присматриваясь к Самгину неукротимыми глазами, забормотал он. — Ну, как? А? Вот видишь — артистка! Да, брат! Она — права! Коньяку хочешь?

Оттолкнувшись плечом от косяка двери, он пошатнулся, навалился на Самгина, схватил его за плечо. Он был так пьян, что едва стоял на ногах, но его косые глаза неприятно ярко смотрели в лицо Самгина с какой-то особенной зоркостью, даже как будто с испугом.

— Макаров — ругает ее. Ушел, маньяк. Я ей орхидеи послал, — бормотал он, смяв папиросу с огнем в руке, ожег ладонь, посмотрел на нее, сунул в карман и снова предложил:

— Коньяку выпьем? Для храбрости, а? Ф-фу, — вот красива, а? Чорт…

Покачнулся и пошел в буфет, толкая людей, как слепой.

«До чего жалок», — подумал Самгин, идя в зал.

До конца спектакля Варвара вела себя так нелепо, как будто на сцене разыгрывали тяжелую драму. Актеры, возбужденные успехом Алины, усердно смешили публику, она особенно хохотала, когда Калхас, достав из будки суфлера три стаканчика водки, угостил царей Агамемнона и Менелая, а затем они трое акробатически ловко и весело начали плясать трепака.

— Какая пошлость, — отметил Самгин. Варвара промолчала, наклонив голову, не глядя на сцену. Климу казалось, что она готова заплакать, и это было так забавно, что он, с трудом скрывая улыбку, спросил:

— Вы плохо чувствуете себя?

— О, нет, ничего! Не обращайте внимания, — прошептала она, а Самгин решил:

«Конечно, это муки зависти».

Кончился спектакль триумфом Алины, публика неистово кричала и выла:

— Р-радимову-у!

— Хотите пройти за кулисы к ней? — предложил Самгин.

— Нет, нет, — быстро ответила Варвара. На улице он сказал:

— Странно действует на вас оперетка.

— Вам — смешно? — тихонько спросила Варвара, взяла его под руку и пошла быстрей, говоря тоном оправдывающейся.

— Я понимаю, что — смешно. Но, если б я была мужчиной, мне было бы обидно. И — страшно. Такое поругание…

Прижав ее руку, он спросил почти ласково:

— Немножко завидуете, да?

— Чему? Она — не талантлива. Завидовать красоте? Но когда красоту так унижают…

Шагая неравномерно, она толкала Клима, идти под руку с ней было неудобно. Он сердился, слушая ее.

— Знаете, Лидия жаловалась на природу, на власть инстинкта; я не понимала ее. Но — она права! Телепнева — величественно, даже до слез красива, именно до слез радости и печали, право — это так! А ведь чувство она будит лошадиное, не правда ли?

— Оно-то и есть триумф женщины, — сказал Самгин.

— Как жалко, что вы шутите, — отозвалась Варвара и всю дорогу, вплоть до ворот дома, шла молча, спрятав лицо в муфту, лишь у ворот заметила, вздохнув:

— Должно быть, я не сумела выразить свою мысль понятно.

Самгин принял все это как попытку Варвары выскользнуть из-под его влияния, рассердился и с неделю не ходил к ней, уверенно ожидая, что она сама придет. Но она не шла, и это беспокоило его, Варвара, как зеркало, была уже необходима, а кроме того он вспомнил, что существует Алексей Гогин, франт, похожий на приказчика и, наверное, этим приятный барышням. Тогда, подумав, что Варвара, может быть, нездорова, он пошел к ней и в прихожей встретил Любашу в шубке, в шапочке и, по обыкновению ее, с книгами под мышкой.

— Ну вот, — а я хотела забежать к тебе, — закричала она, сбросив шубку, сбивая с ног ботики. — Посидел немножко? Почему они тебя держали в жандармском? Иди в столовую, у меня не убрано.

В столовой она свалилась на диван и стала расплетать косу.

— Башка болит. Кажется — остригусь. Я сидела в сырой камере и совершенно не приспособлена к неподвижной жизни.

Румяное лицо ее заметно выцвело, и, должно быть, зная это, она растирала щеки, лоб, гладила пальцами тени в глазницах.

— Выпустили меня третьего дня, и я все еще не в себе. На родину, — а где у меня родина, дураки! Через четыре дня должна ехать, а мне совершенно необходимо жить здесь. Будут хлопотать, чтоб меня оставили в Москве, но…

— Тебя допрашивал Васильев? — спросил Клим, чувствуя, что ее нервозность почему-то заражает и его.

Любаша, подскочив на диване, хлопнула ладонью по колену.

— Вот болван! Ты можешь представить — он меня начал пугать, точно мне пятнадцать лет! И так это глупо было, — ах, урод! Я ему говорю: «Вот что, полковник: деньги на «Красный Крест» я собирала, кому передавала их — не скажу и, кроме этого, мне беседовать с вами не о чем». Тогда он начал: вы человек, я — человек, он — человек; мы люди, вы люди и какую-то чепуху про тебя…

— Он? Про меня? — спросил Клим, встав со стула, потому что у него вдруг неприятно забилось сердце.

— Что ты советуешь женщинам быть няньками, кормилицами, что ли, — вообще невероятно глупо все! И что доброта неуместна, даже — преступна, и все это, знаешь, с таким жаром, отечески строго… бездельник!

— Что же еще говорил он про меня? — осведомился Самгин.

— А — чорт его знает! Вообще — чепуху…

Самгин сел, несколько успокоенный и думая о полковнике:

«Негодяй».

Глядя, как Любаша разбрасывает волосы свои по плечам, за спину, как она, хмурясь, облизывает губы, он не верил, что Любаша говорит о себе правду. Правдой было бы, если б эта некрасивая, неумная девушка слушала жандарма, вздрагивая от страха и молча, а он бы кричал на нее, топал ногами.

— Будто бы ты не струсила? — спросил он, усмехаясь. Она ответила, пожав плечами:

— Ну, знаешь, «волков бояться — в лес не ходить».

— Не вспомнила о Ветровой?

— Что ж — Ветрова? Там, очевидно, какая-то истерика была. В изнасилование я не верю.

— И не вспомнила, что женщин на Каре секли? — настаивал Клим.

— Древняя история… Подожди, — сказала Любаша, наклоняясь к нему. — Что это как ты странно говоришь? Подразнить меня хочется?

— Немножко, — сознался Клим, смущенный ее взглядом.

— Странное желание, — обиженно заметила Любаша. — И лицо злое, — добавила она, снова приняв позу усталого человека.

— Хотя — сознаюсь: на первых двух допросах боялась я, что при обыске они нашли один адрес. А в общем я ждала, что все это будет как-то серьезнее, умнее. Он мне говорит: «Вот вы Лассаля читаете». — «А вы, спрашиваю, не читали?» — «Я, говорит, эти вещи читаю по обязанности службы, а вам, девушке, — зачем?» Так и сказал.

Самгин спросил: где Варвара?

— Ушла к Гогиным. Она — не в себе, сокрушается — и даже до слез! — что Алинка в оперетке.

— А что такое — Гогин?

— Дядя мой, оказывается. Это — недавно открылось. Он — не совсем дядя, а был женат на сестре моей матери, но он любит семейственность, родовой быт и желает, чтоб я считалась его племянницей. Я — могу! Он — добрый и полезный старикан.

Про Алексея она сказала:

— Очень забавный, но — лентяй и бродяга. И, тяжко вздохнув, пожаловалась:

— Ах, Клим, если б ты знал, как это обидно, что меня высылают из Москвы!

На жалобу ее Самгину нечем было ответить; он думал, что доигрался с Варварой до необходимости изменить или прекратить игру. И, когда Варвара, разрумяненная морозом, не раздеваясь, оживленно влетела в комнату, — он поднялся встречу ей с ласковой улыбкой, но, кинув ему на бегу «здравствуйте!» — она обняла Сомову, закричала:

— Любаша — победа! Ты оставлена здесь на полтора месяца и будешь лечиться у психиатра…

— Ой? — вопросительно крикнула Любаша.

— Факт! Только тебе придется ходить к нему.

— Господи, да я — к архиерею пойду…

— Значит — пируем! Сейчас придут Гогины, я купила кое-что вкусненькое…

Затем разыгралась сцена веселого сумасшествия, девицы вальсировали, Анфимьевна, накрывая на стол, ворчала, показывая желтые зубы, усмехаясь:

— Запрыгали! Допрыгаетесь опять.

Тугое лицо ее лоснилось радостью, и она потягивала воздух носом, как бы обоняя приятнейший запах. На пороге столовой явился Гогин, очень искусно сыграл на губах несколько тактов марша, затем надул одну щеку, подавил ее пальцем, и из-под его светленьких усов вылетел пронзительный писк. Вместе с Гогиным пришла девушка с каштановой копной небрежно перепутанных волос над выпуклым лбом; бесцеремонно глядя в лицо Клима золотистыми зрачками, она сказала:

— Самгин? Мы слышали про вас: личность загадочная.

— Кто это вам сказал?

— Яков Тагильский, которому мы не верим. Но, кажется, он прав: у вас вид человека ученого и скептическая бородка, и мы уже преисполнены почтения к вам. Алешка — не дури!

Это она крикнула потому, что Гогин, подхватив ее под локти, приподнял с пола и переставил в сторону от Клима, говоря:

— Не удивляйтесь, это — кукла, внутри у нее — опилки, а говорит она…

— Не верьте ему, — кричала Татьяна, отталкивая брата плечом, но тут Любаша увлекла Гогина к себе, а Варвара попросила девушку помочь ей; Самгин был доволен, что его оставили в покое, люди такого типа всегда стесняли его, он не знал, как держаться с ними. Он находил, что такие люди особенно неудачно выдумали себя, это — весельчаки по профессии, они сделали шутовство своим ремеслом. Серьезного человека раздражает обязанность любезно улыбаться в ответ на шуточки, в которых нет ничего смешного. Вот Алексей Гогин говорит Любаше:

— Не рычи! Доказано, что политика — дочь экономики, и естественно, что он ухаживает за дочерью…

Варвару он поучает тоном дьячка, читающего «Часослов»:

— «Добре бо Аристотель глаголет: аще бы и выше круга лунного человек был, и тамо бы умер», — а потому, Варечка, не заноситесь!

И- не смешно, что Татьяна говорит о себе во множественном числе, а на вопрос

Самгина: «почему?» — ответила:

— Потому что чувствую себя жилищем множества личностей и все они в ссоре друг с другом.

Но через некоторое время Клим подумал, что, пожалуй, она права, веселится она слишком шумно и как бы затем, чтоб скрыть тревогу. Невозможно было представить, какова она наедине с самою собой, а Самгин был уверен, что он легко и безошибочно видит каждого знакомого ему человека, каков он сам с собою, без парадных одежд. Даже внешне Татьяна Гогина была трудно уловима, быстрота ее нервных жестов не согласовалась с замедленной речью, а дурашливая речь не ладила с недоверчивым взглядом металлических и желтоватых, неприятных глаз. Была она стройная, крепкая, но темно-серый костюм сидел на теле ее небрежно; каштановые волосы ее росли как-то прядями, но были не волнисты и некрасиво сжимали ее круглое, русское лицо.

— Не обижай Алешку, — просила она Любашу и без паузы, тем же тоном — брату: — Прекрати фокусы! Налейте крепкого, Варя! — сказала она, отодвигая от себя недопитую чашку чая. Клим подозревал, что все это говорится ею без нужды и что она, должно быть, очень избалована, капризна, зла. Сидя рядом с ним, заглядывая в лицо его, она спрашивала:

— Объясните мне, серьезный человек, как это: вот я девушка из буржуазной семьи, живу я сытно и вообще — не плохо, а все-таки хочу, чтоб эта неплохая жизнь полетела к чорту. Почему?

— Вероятно, это у вас от ума и временное, — не очень любезно ответил Клим, догадываясь, что она хочет начать «интересный разговор».

— Нет, умом я не богата, — сказала она, играя чайной ложкой. — Это — от сердца, я думаю. Что делать?

Она сердила Самгина, мешая ему наблюдать, как ее брат забавляет Варвару и Любашу фокусами. Взглянув на нее через очки, он предложил:

— Устройтесь так, чтоб вас посадили в тюрьму на несколько месяцев.

— Вы думаете — это меня вылечит?

— Наверное, поможет правильно оценить удобства буржуазного быта.

Улыбаясь, она спросила:

— Вы, кажется, не очень высокого мнения о людях?

— Да, не очень, — искренно ответил Самгин, привстав и следя за руками Алексея; подняв руки, тот говорил:

— Как видит почтеннейшая публика, здесь нет чудес, а только ловкость рук, с чем согласна и наука. Итак: на пиджаке моем по три пуговицы с каждой стороны. Эйн!

Он запахнул пиджак, но тотчас же крикнул:

— Цвей! — распахнул его, и на одной стороне оказалось две пуговицы, на другой — четыре. — Это я сам придумал, — похвастался он.

— Алеша, как это делается? — ребячливо и умоляюще кричала Любаша, а Варвара, дергая рукав пиджака, требовала:

— Покажите подкладку!

Татьяна пересела к пианино и, передразнивая кого-то, начала петь сдавленным голосом:

Я обошел сады, луга,Я видел все цветы,Но в этом мире нет цветкаМилей душе, чем ты!

Пошлые слова удачно дополнял пошленький мотив: Любаша, захлебываясь, хохотала над Варварой, которая досадливо пыталась и не могла открыть портсигар, тогда как Гогин открывал его легким прикосновением мизинца. Затем он положил портсигар на плечо себе, двинул плечом, — портсигар соскользнул в карман пиджака. Тогда взбил волосы, сделал свирепое лицо, подошел к сестре:

— Играй «Маскотту». Эй, хор!

Он запел приятным голосом:

Коль на столе три свечки…Да, три свечки!Кто-нибудь умрет!Ум-рет!

— мрачно подтвердил хор и тотчас же весело запел:

Да, все приметы, сновиденьяПолны значенья…

Следующий куплет Гогин пел один:

Да — для пустой душиНеобходим груз веры!Ночью все кошки серы,Женщины — все хороши!

— Дурак! — крикнула Татьяна, ударив его по голове тетрадкой нот, а он схватил ее и с неожиданной силой, как-то привычно, посадил на плечо себе. Девицы стали отнимать подругу, началась возня, а Самгин, давно поняв, что он лишний в этой компании, незаметно ушел.

Сероватый туман стоял над городом, украшая его инеем, ветви деревьев и провода телеграфа были мохнаты.

Холод сердито щипал лицо. Самгин шел и думал, что, когда Варвара станет его любовницей, для нее наступят не сладкие дни. Да. Она, вероятно, все уже испытала с Маракуевым или с каким-нибудь актером, и это лишило ее права играть роль невинной, влюбленной девочки. Но так как она все-таки играет эту роль, то и будет наказана.

«И нечего медлить, глупо церемониться», — решил он.

А через два-три дня он с удивлением и удовольствием чувствовал, что он весь сосредоточен на одном, совершенно определенном желании. Сравнивая свои чувствования с теми, которые влекли его к Лидии, он находил, что тогда инстинкт наивно и стыдливо рядился в романтические мечты и надежды на что-то необыкновенное, а теперь ничего подобного нет, а есть только вполне свободное и разумное желание овладеть девицей, которая сама хочет этого. Уверенность в том, что он действует свободно, настраивала его все более упрямо, он подстерегал Варвару, как охотник лису, и уже не однажды внушал себе:

«Сегодня».

Но каждый раз что-нибудь мешало ему, и каждая неудача, все более усиливая его злое отношение к Варваре, крепче связывала его с нею, он ясно сознавал это. Не удавалось застать Варвару одну, а позвать ее к себе не решался. Варвара никогда не бывала у него. Приходя к ней, он заставал Гогиных, — брат и сестра всегда являлись вместе; заставал мрачного Гусарова, который огорченно беспокоился о том, что «Манифест» социал-демократической партии не только не объединяет марксистов с народниками, а еще дальше отводит их друг от друга.

— И к чему, при нашей бедности, эти принципиальные нежности? — бормотал он, выкатывая глаза то на Варвару, то на Татьяну, которая не замечала его. А с Гогиным Гусаров был на ты, но слушал его дурашливые речи внимательно, как ученик.

— Не сердись, все — в порядке! — говорил ему Алексей, подмигивая. — Марксисты — народ хитрый, они тебя понимают, они тоже не прочь соединить гневное сердце с расчетливой головой.

Каждая встреча с Гогиным утверждала антипатию Самгина к этому щеголю, к его будничному лицу, его шуточкам, к разглаженным брюкам, к свободе и легкости его движений. Но не без зависти и с досадой Клим должен был признать, что Гогин все-таки человек интересный, он много читал, много знает и владеет своими знаниями так же ловко, как ловко носит свой костюм. Было ясно, что он хорошо осведомлен о революционном движении, хотя сам, наверное, не партийный человек. Трудно представить членом политической, даже игрушечной партии фокусника и почти шута. Но несомненно, что осведомителями жандармов должны служить люди именно такого типа, — всё знающие и способные ловко скрывать истинные убеждения свои за обилием знаний.

Самгин слышал, что Алексей говорит одинаково одобрительно о марксистах и народниках, а утешая Гусарова, любившего огорчаться, сказал:

— Либералы тоже должны будут состряпать партийку, хотя бы для ради воспитания блудных и укрощения строптивых детишек своих. Все идет как следует, не рычи!

И, наконец, Клима несколько задевало то, что, относясь к нему вообще внимательно, Гогин, однако, не обнаруживал попыток к сближению с ним. А к Любаше и Варваре он относился, как ребенок, у которого слишком много игрушек и он плохо отличает одну от другой. Варвара явно кокетничала с ним, и Самгин находил, что в этом она заходит слишком далеко.

Татьяна, назойливая, точно осенняя муха, допрашивала:

— Вы как относитесь к декадентам? Запоздалый перевод с французского и эпатаж — только? А вам не кажется, что интерес к Верлену и Верхарну — одинаково силен и — это странно?

Самгин чувствовал, что эта большеглазая девица не верит ему, испытывает его. Непонятно было ее отношение к сводному брату; слишком часто и тревожно останавливались неприятные глаза Татьяны на лице Алексея, — так следит жена за мужем с больным сердцем или склонным к неожиданным поступкам, так наблюдают за человеком, которого хотят, но не могут понять.

Однажды, когда Варвара провожала Самгина, он, раздраженный тем, что его провожают весело, обнял ее шею, запрокинул другой рукою голову ее и крепко, озлобленно поцеловал в губы. Она, задыхаясь, отшатнулась, взглянула на него, закусив губу, и на глазах ее как будто выступили слезы. Самгин вышел на улицу в настроении человека, которому удалась маленькая месть и который честно предупредил врага о том, что его ждет.

Через несколько дней он снова пришел к Варваре, но не застал ее дома; в столовой сидели Гогины и Любаша.

— Вот еще о ком забыли мы! — вскричала Любаша и быстрым говорком рассказала Климу: у Лютова будет вечеринка с музыкой, танцами, с участием литераторов, возможно, что приедет сама Ермолова.

— Алина будет, вообще — замечательно! Желающие костюмируются, билеты не дешевле пяти рублей, а дороже — хоть до тысячи; сколько можешь продать?

— В пользу кого или чего? — спросил он, соображая: под каким бы предлогом отказаться от продажи билетов? Гогина, записывая что-то на листе бумаги, ответила:

— В пользу слепорожденных камчадалов. А брат ее, считая розовые бумажки, прибавил:

— И на реставрацию стен Кремля.

При этих людях Самгин не решился отказаться от неприятного поручения. Он взял пять билетов, решив, что заплатит за все, а на вечеринку не пойдет.

Но — передумал и, через несколько дней, одетый алхимиком, стоял в знакомой прихожей Лютова у столика, за которым сидела, отбирая билеты, монахиня, лицо ее было прикрыто полумаской, но по неохотной улыбке тонких губ Самгин тотчас же узнал, кто это. У дверей в зал раскачивался Лютов в парчовом кафтане, в мурмолке и сафьяновых сапогах; держа в руке, точно зонтик, кривую саблю, он покрякивал, покашливал и, отвешивая гостям поклоны приказчика, говорил однообразно и озабоченно:

— Милости прошу… Прошу пожаловать… Косые глаза его бегали быстрее и тревожней, чем всегда, цепкие взгляды как будто пытались сорвать маски с ряженых. Серое лицо потело, он стирал пот платком и встряхивал платок, точно стер им пыль. Самгин подумал, что гораздо более к лицу Лютова был бы костюм приказного дьяка и не сабля в руке, а чернильница у пояса.

Отстранив его рассчитанно важным жестом, Самгин встал в дверях.

— Парацельс? Агриппа, — а? — пробормотал в плечо ему Лютов, беспокойно и тихо. — Милости прошу… хэ-хэ!

Путь Самгину преграждала группа гостей, среди ее — два знакомых адвоката, одетые как на суде, во фраках, перед ними — тощий мужик, в синей, пестрядинной рубахе, подпоясанный мочальной веревкой, в синих портках, на ногах — новенькие лапти, а на голове рыжеватый паричок; маленькое, мелкое лицо его оклеено комически растрепанной бородкой, и был он похож не на мужика, а на куплетиста из дешевого трактира. Клим знал его: это — Ермаков, замечательный анекдотист, искуснейший чтец рассказов Чехова, добрейший человек и богема.

— Коркунов? — ворковал он. — Ну, что же Коркунов? Это — для гимназистов. Вот, я вам расскажу о нем… Дорогу чародею! — вскричал он, отскочив от Самгина.

В зале было человек сорок, но тусклые зеркала в простенках размножали людей; казалось, что цыганки, маркизы, клоуны выскакивают, вывертываются из темных стен и в следующую минуту наполнят зал так тесно, что танцевать будет нельзя. В зеркале Самгин видел, что музыку делает в углу маленький черный человечек с взлохмаченной головой игрушечного чортика; он судорожно изгибался на стуле, хватал клавиши длинными пальцами, точно лапшу месил, музыку плохо слышно было сквозь топот и шарканье ног, смех, крики, говор зрителей; но был слышен тревожный звон хрустальных подвесок двух люстр.

Среди танцующих глаза Самгина тотчас поймали Варвару. Она была вся в зеленом, украшена травами из лент, чулки ее сплошь в серебряных блестках, на распущенных волосах — венок из трав и желтых цветов; она — без маски, но искусно подгримирована: огромные, глубоко провалившиеся глаза, необыкновенно изогнутые брови, яркие губы, от этого лицо ее сделалось замученным, раздражающе и нечеловечески красивым. Ее удивительно легко кружил китаец, в синей кофте, толстенький, круглоголовый, с лицом кота; длинная коса его била Варвару по голой спине, по плечам, она смеялась. Чешуйчатые ноги ее почти не касались пола, тяжелые космы волос, переплетенных водорослями, оттягивали голову ее назад, мелкие, рыбьи зубы ее блестели голодно и жадно.

— По-озвольте, — говорил широкоплечий матрос впереди Самгина, — юридическая наука наша в лице Петражицкого…

Самгин коснулся его локтя магическим жезлом, — матрос обернулся и закричал, как знакомому:

— Ага, фокусник! Пожалуйте…

— Не фокусник — маг, — внушительно поправил кто-то.

— Примите мое презрение, — мрачным голосом сказал Самгин.

Цветным шариком каталась, подпрыгивала Любаша, одетая деревенской девицей, комически грубо раскрасив круглое лицо свое; она толкала людей, громко шмыгала носом и покрикивала:

— Иде тут который мой миленок?

Самгин шагал среди танцующих, мешая им, с упорством близорукого рассматривая ряженых, и сердился на себя за то, что выбрал неудобный костюм, в котором путаются ноги. Среди ряженых он узнал Гогина, одетого оперным Фаустом; клоун, которого он ведет под руку, вероятно, Татьяна. Длинный арлекин, зачем-то надевший рыжий парик и шляпу итальянского бандита, толкнул Самгина, схватил его за плечо и тихонько извинился:

— Извините, предрассудок! Ведь вы — предрассудок, да?

Самгин молча отстранил его. На подоконнике сидел, покуривая, большой человек в полумаске, с широкой, фальшивой бородой; на нем костюм средневекового цехового мастера, кожаный передник; это делало его очень заметным среди пестрых фигур. Когда кончили танцевать и китаец бережно усадил Варвару на стул, человек этот нагнулся к ней и, придерживая бороду, сказал:

— С такими глазами вам, русалка, надо бы жить не в воде, а в огне, например — в аду.

— Ад — в душе у меня, и я не русалка, а — дриада…

По голосу Клим узнал в мастере Кутузова, нашел, что он похож на Ганса Сакса, и подумал:

«Неистребим».

Варвару тесно окружили ряженые; обмахивая лицо веером из листьев сабельника, она отвечала на шутки их как-то слишком громко, разглядывала пристально, беспокойно.

«Меня ищет. И кричит для того, чтоб я слышал, где она», — сообразил Самгин без самодовольства, как о чем-то вполне естественном. Его смущало и раздражало ощущение отчужденности от всех этих наряженных людей, — ощущение, которое, никогда раньше не отягощая, только приятно подчеркивало сознание его своеобразия, независимости. Он попробовал объяснить раздражение свое неудачным костюмом, который обязывает его держаться с важностью индюка. Но Самгин уже знал: думая так, он хочет скрыть от себя, что его смущает Кутузов и что ему было бы очень неприятно, если б Кутузов узнал его. «Наверное — он нелегально в Москве…» Пианист снова загремел, китаец, взмахнув руками, точно падая, схватил Варвару, жестяный рыцарь подал руку толстой одалиске, но у него отстегнулся наколенник, и, пока он пристегивал его, одалиску увел полосатый клоун.

— Чорт, — проворчал рыцарь, оторвал наколенник и, сунув его за зеркало, сказал Самгину: — Допотопный дом, вентиляции нет.

Находя, что все это скучно, Самгин прошел в буфет; там, за длинным столом, нагруженным массой бутербродов и бутылок, действовали две дамы — пышная, густобровая испанка и толстощекая дама в сарафане, в кокошнике и в пенснэ, переносье у нее было широкое, неудобно для пенснэ; оно падало, и дама, сердито ловя его, внушала лысому лакею:

— Пожалуйста, наблюдайте, чтоб сами они ничего не хватали.

В углу возвышался, как идол, огромный, ярко начищенный самовар, фыркая паром; испанка, разливая чай по стаканам, говорила:

— Нет, Пелагея Петровна, это — неверно, от желудей мясо горкнет, а от пивной барды делается рыхлым. Женщина в кокошнике сказала:

— Барду надобно покрепче солить.

Самгин взял бутылку белого вина, прошел к столику у окна; там, между стеною и шкафом, сидел, точно в ящике, Тагильский, хлопая себя по колену измятой картонной маской. Он был в синей куртке и в шлеме пожарного солдата и тяжелых сапогах, все это странно сочеталось с его фарфоровым лицом. Усмехаясь, он посмотрел на Самгина упрямым взглядом нетрезвого человека.

— Весело, чародей?

— Я слишком много знаю, для того чтоб веселиться, — ответил Клим, изменив голос и мрачно.

— Я — тоже, — сказал Тагильский, кивнув головой; шлем съехал на уши ему и оттопырил их.

Не первый раз Клим видел его пьяным, и очень хотелось понять: почему этот сдобный, благообразный человек пьет неумеренно.

— Народники устроили? — спросил Тагильский. Пред ним, на столе, тоже стояла бутылка, но уже пустая.

— Не знаю, — ответил Самгин, следя, как мимо двери стремительно мелькают цветисто одетые люди, а двойники их, скользнув по зеркалу, поглощаются серебряной пустотой. Подскакивая на коротеньких ножках, пронеслась Любаша в паре с Гансом Саксом, за нею китаец промчал Татьяну.

— Веселятся, — бормотал Тагильский. — Переоделись и — весело. Но посмотрите, алхимик, сколько пьеро, клоунов и вообще — дураков? Что это значит?

Самгин, не ответив, налил вина в его стакан. Количество ряженых возросло, толпа стала пестрее, веселей, и где-то близко около двери уже задорно кричал Лютов:

— Ну-с, а вы как бы ответили Понтию Пилату? Христос не решился сказать: «Аз есмь истина», а вы — вы сказали бы?

Явился писатель Никодим Иванович, тепло одетый в толстый, коричневый пиджак, обмотавший шею клетчатым кашне; покашливая в рукав, он ходил среди людей, каждому уступая дорогу и поэтому всех толкал. Обмахиваясь веером, вошла Варвара под руку с Татьяной; спросив чаю, она села почти рядом с Климом, вытянув чешуйчатые ноги под стол. Тагильский торопливо надел измятую маску с облупившимся носом, а Татьяна, кусая бутерброд, сказала:

— Бесцеремонно играет этот виртуоз. Говорят, он — будущая знаменитость; он для этого уже и волосы отрастил.

— Злая вы, Таня, — сказала Варвара, вздохнув.

— Завистлива. Тут — семьдесят пять процентов будущих знаменитостей, а — я? Вот и злюсь.

Гогина пристально посмотрела на Клима, потом на Тагильского, сморщилась, что-то вспоминая, потом, вполголоса, сказала Варваре:

— Вы тоже имеете успех.

— Вероятно, потому, что юбка коротка, — тихо ответила Варвара.

В двери встала Любаша.

— Прелестно, девушки, а? Пелагея Петровна, пожалуйте петь!

Дама в кокошнике поплыла в зал, увлекая за собою и Любашу.

— Тыква, — проводила ее Татьяна.

Самгин подошел к двери в зал; там шипели, двигали стульями, водворяя тишину; пианист, точно обжигая пальцы о клавиши, выдергивал аккорды, а дама в сарафане, воинственно выгнув могучую грудь, высочайшим голосом и в тоне обиженного человека начала петь:

Я ли во поле не травушка была?

Пела она, размахивая пенснэ на черном шнурке, точно пращой, и пела так, чтоб слушатели поняли: аккомпаниатор мешает ей. Татьяна, за спиной Самгина, вставляла в песню недобрые словечки, у нее, должно быть, был неистощимый запас таких словечек, и она разбрасывала их не жалея. В буфет вошли Лютов и Никодим Иванович, Лютов шагал, ступая на пальцы ног, сафьяновые сапоги его мягко скрипели, саблю он держал обеими руками, за эфес и за конец, поперек живота; писатель, прижимаясь плечом к нему, ворчал:

— Он вот напечатал в «Курьере» слащавенький рассказец, и — с ним уже носятся, а через год у него — книжка, все ахают, не понимая, что это ему вредно…

— Коньяку или водки? — спросил его Лютов, присматриваясь к барышням, и обратился к Самгину: — Во дни младости вашей, астролог, что пили?

— Желчь, — сказал Клим.

— Мрачно, — встряхнув головою, откликнулся Лютов, а Никодим Иванович упрямо говорил:

— Он теперь в похвалах, как муха в патоке…

— Выпейте с нами, мудрец, — приставал Лютов к Самгину. Клим отказался и шагнул в зал, встречу аплодисментам. Дама в кокошнике отказалась петь, на ее место встала другая, украинка, с незначительным лицом, вся в цветах, в лентах, а рядом с нею — Кутузов. Он снял полумаску, и Самгин подумал, что она и не нужна ему, фальшивая серая борода неузнаваемо старила его лицо. Толстый маркиз впереди Самгина сказал:

— Феноменальный голос. Сельская учительница или что-то в этом роде. Знаменито поет.

Отлично спели трио «Ночевала тучка золотая», затем Кутузов и учительница начали «Не искушай». Лицо Кутузова смягчилось, но пел он как-то слишком торжественно, и это не согласовалось с безнадежными словами поэта. Его партнерша пела артистически, с глубоким драматизмом, и Самгин видел, что она посматривает на Кутузова с досадой или с удивлением. В зале стало так тихо, что Клим слышал скрип корсета Варвары, стоявшей сзади его, обняв Гогину. Лютов, балансируя, держа саблю под мышкой, вытянув шею, двигался в зал, за ним шел писатель, дирижируя рукою с бутербродом в ней.

Певцам неистово аплодировали. Подбежала Сомова, глаза у нее были влажные, лицо счастливое, она восторженно закричала, обращаясь к Варваре:

— Ну — что? Голосок-то? Помнишь, я тебе говорила о нем…

— Но он поет механически, — заметила Гогина.

— Шш! — зашипел Лютов, передвинув саблю за спину, где она повисла, точно хвост. Он стиснул зубы, на лице его вздулись костяные желваки, пот блестел на

виске, и левая нога вздрагивала под кафтаном. За ним стоял полосатый арлекин, детски положив подбородок на плечо Лютова, подняв руку выше головы, сжимая и разжимая пальцы.

Кутузов спел «Уймитесь, волнения страсти», тогда Лютов бросился к нему и сквозь крики, сквозь плеск ладоней завизжал:

— Позвольте! Извините… Голосище у вас — капитальнейший — да!

Лютов задыхался от возбуждения, переступал с ноги на ногу, бородка его лезла в лицо Кутузова, он размахивал платком и кричал:

— Но — так не поют! Так нельзя!

Публика примолкла, заинтересованная истерическим наскоком боярина и добродушным удивлением бородатого мастерового.

— Нельзя? — спросил он. — Почему нельзя?

— Вы отрицаете смысл романсов, вы даже как будто иронизируете…

— Бесстрастием хвастаетесь, — крикнула Любаша;

Кутузов густо засмеялся.

— Да — вы прямо скажите: плохо!

— Позвольте мне объяснить, — требовательно попросил Никодим Иванович, и, когда Лютов, покосясь на него, замолчал, а Любаша, скорчив лицо гримаской, отскочила в сторону, писатель, покашляв в рукав пиджака, авторитетно заговорил:

— Хорошо, но — не так. Вы поете о страдании, о волнениях страсти…

— Ну, знаете, я до пряностей не охотник; мне мои щи и без перца вкусны, — сказал Кутузов, улыбаясь. — Я люблю музыку, а не слова, приделанные к ней…

Лютов обернулся, крикнул в буфет:

— Николай, — стол! Два стола… И, дернув перевязь сабли, плачевно попросил арлекина:

— Да — сними ты с меня эту дуру! По этому возгласу Самгин узнал в арлекине Макарова.

— Позвольте, — как это понять? — строго спрашивал писатель, в то время как публика, наседая на Кутузова, толкала его в буфет. — История создается страстями, страданиями…

Лакей вдвинул в толпу стол, к нему — другой и, с ловкостью акробата подбросив к ним стулья, начал ставить на стол бутылки, стаканы; кто-то подбил ему руку, и одна бутылка, упав на стаканы, побила их.

— Чорт! — закричал Лютов. — Если не умеешь…

Но сейчас же опомнился, забормотал:

— Ну, скорее, брат, скорее! Садитесь, господа, поговорим…

Было жарко, душно. В зале гремел смех, там кто-то рассказывал армянские анекдоты, а рядом с Климом белокурый, кудрявый паж, размахивая беретом, говорил украинке:

— Никто не может доказать мне, что борьба между людями — навсегда обязательна…

Человек, одетый крестьянином, ведя под руку монахиню, проверявшую билеты, говорил в ухо ей:

— Нет, материализмом наш народ не заразится… Самгин стоял в двери, глядя, как суетливо разливает

Лютов вино по стаканам, сует стаканы в руки людей, расплескивая вино, и говорит Кутузову:

— Вот — человек оделся рыцарем, — почему? Почему — именно рыцарем?

Кутузов, со стаканом вина в руке, смеялся, закинув голову, выгнув кадык, и под его фальшивой бородой Клим видел настоящую. Кутузов сказал, должно быть, что-то очень раздражившее людей, на него кричали несколько человек сразу и громче всех — человек, одетый крестьянином.

— Не новость! Нам еще пророки обещали: «И будет, яко персть от колесе, богатство нечестивых и яко прах летяй» — да-с!

В зале снова гремел рояль, топали танцоры, дразнила зеленая русалка, мелькая в объятиях китайца. Рядом с Климом встала монахиня, прислонясь плечом к раме двери, сложив благочестиво руки на животе. Он заглянул в жуткие щелочки ее полумаски и сказал очень мрачно:

— Я вас знаю.

— Разве? — тихо и равнодушно спросила она.

— Вас зовут Марья Ивановна, вы живете… Самгин назвал переулок, в котором эта женщина встретила его, когда он шел под конвоем сыщика и жандарма. Женщина выпустила из рукава кипарисовые четки н, быстро перебирая их тонкими пальцами красивой руки, спросила, улыбаясь насильственной улыбкой:

— А еще что?

— Я знаю о вас все.

— Вот как? Тогда вы знаете обо мне больше, чем я, — ответила монахиня фразой, которую Самгин где-то читал.

«Книжники», — подумал он, глядя, как монахиня пробирается к столам, где люди уже не кричали и раздавался голос Кутузова:

— Восьмидесятые годы хорошо обнаружили, что интеллигенция, в массе своей, вовсе не революционна…

— Неправда!

— Верно! — сказал Тагильский, держа шлем в руке, точно слепой нищий чашку.

Поправив на голове остроконечный колпак, пощупав маску, Самгин подвинулся ко столу. Кружево маски, смоченное вином и потом, прилипало к подбородку, мантия путалась в ногах. Раздраженный этим, он взял бутылку очень холодного пива и жадно выпил ее, стакан за стаканом, слушая, как спокойно и неохотно Кутузов говорит:

— Теперь, когда марксизм лишил интеллигенцию чинов и званий, незаконно присвоенных ею…

— Позвольте! — гневно крикнул кто-то.

— Не мешайте!

— Нет, позвольте! Я — по вопросу о законности…

— Долой нигилистов! — рявкнул нетрезвый человек в голубом кафтане, белом парике и в охотничьих сапогах по колено.

Сердитым ручейком и неуместно пробивался сквозь голоса негодующих звонкий голосок Любаши:

— Думаете, что если вы дали пять рублей в пользу политических, так этим уже куплено вами место в истории…

Из угла, из-за шкафа, вместе со скрежетом рыцарских доспехов, плыла басовитая речь Стратонова:

— Р-реакции — законны; реакция — эпоха, когда укрепляются завоевания культуры…

— Толстыми и Победоносцевыми, — крикнул кто-то. Говорили все сразу и так, как будто боялись внезапно онеметь. Пред Кутузовым публика теснилась, точно в зоологическом саду пред зверем, которого хочется раздразнить. Писатель, рассердясь, кричал:

— Ваш «Манифест» — бездарнейший фельетон!

А он говорил в темя писателя:

— На борьбу народовольцев против самодержавия так называемое общество смотрело, как на любительский спектакль…

Пред Самгиным встал Тагильский. С размаха надев на голову медный шлем, он сжал кулаки и начал искать ими карманов в куртке; нашел, спрятал кулаки и приподнял плечи; розовая шея его потемнела, звучно чмокнув, он забормотал что-то, но его заглушил хохот Кутузова и еще двух-трех людей. Потом Кутузов сказал:

— Ну, господа, довольно высиживать болтунов! Веселиться, так — веселиться…

Самгина сильно толкнули; это китаец, выкатив глаза, облизывая губы, пробивался к буфету. Самгин пошел за ним, посмотрел, как торопливо, жадно китаец выпил стакан остывшего чая и, бросив на блюдо бутербродов грязную рублевую бумажку, снова побежал в залу. Успокоившийся писатель, наливая пиво в стакан, внушал человеку в голубом кафтане:

— Особенно вредна, Гославский, копченая колбаса, как, впрочем, и всякие копченья…

Самгин выпил рюмку коньяка, подождал, пока прошло ощущение ожога во рту, и выпил еще. Давно уже он не испытывал столь острого раздражения против людей, давно не чувствовал себя так одиноким. К этому чувству присоединялась тоскливая зависть, — как хорошо было бы обладать грубой дерзостью Кутузова, говорить в лицо людей то, что думаешь о них. Сказать бы им:

«Идиоты! Чего вы хотите? Чтоб народ всосал вас в себя, как болото всасывает телят? Чтоб рабочие спасли вас от этой пустой, словесной жизни?»

Ах, многое можно бы сказать этим книжникам, церковникам.

«И — придет мой час, скажу!»

Он пошел в залу, толкнув плечом монахиню, видел, что она отмахнулась от него четками, но не извинился. Пианист отчаянно барабанил русскую; в плотном, пестром кольце людей, хлопавших ладонями в такт музыке, дробно топали две пары ног, плясали китаец и грузин.

— Я т-тебя усовершенствую! — покрикивал китаец, удивительно легко отскакивая от пола.

Заломив руки, покачивая бедрами, Варвара пошла встречу китайца. Она вспотела, грим на лице ее растаял, лицо было неузнаваемо соблазнительно. Она так бесстыдно извивалась пред китайцем, прыгавшим вокруг нее вприсядку, с такой вызывающей улыбкой смотрела в толстое лицо, что Самгин возмутился и почувствовал: от возмущения он еще более пьянеет.

Чешуйчатые ноги Варвары, вздрагивая в буйных судорогах, обнажались выше колен, видно кружево панталон.

Клим Самгин крепко закрыл глаза, сжал зубы и вспомнил свое желание взять эту девицу унизительно для нее, взять и отплатить ей за свою неудачную связь с Лидией, и вообще — за все.

«Сейчас она, конечно, не помнит обо мне… не помнит!»

Плясать кончили, публика неистово кричала, аплодировала, китаец, взяв русалку под руку, вел ее в буфет, где тоже орали, как на базаре, китаец заглядывал в лицо Варвары, шептал ей что-то, лицо его нелепо расширялось, таяло, улыбался он так, что уши передвинулись к затылку. Самгин отошел в угол, сел там и, сняв маску, спрятал ее в карман.

— Хор! Хор! — кричал рыженький клоун, вскочив на стул, размахивая руками, его тотчас окружило десятка два людей, все подняли головы.

— Раз, два, три! — скомандовал он, подпрыгивая, протянув руки над головами, и вразброд, неладно, люди запели:

Из страны, страны далекой,С Волги-матушки широкой,Ради славного труда…

— «Собралися мы сюда», — преждевременно зарычал пьяный, в белом парике.

Ради вольности веселой…

— «Собралися мы сюда», — повторил пьяный и закричал:

— Почему — с Волги? Я — из Тамбова! И, когда запели следующий куплет, он третий раз провыл, но уже тенором, закатив глаза:

— «Со-обралися мы сюда-а…»

Кроме этих слов, он ничего не помнил, но зато эти слова помнил слишком хорошо и, тыкая красным кулаком в сторону дирижера, как бы желая ударить его по животу, свирепея все более, наливаясь кровью, выкатывая глаза, орал на разные голоса:

— «Со-обралися м-мы…»

Кричал он до поры, пока хористы не догадались, что им не заглушить его, тогда они вдруг перестали петь, быстро разошлись, а этот солист, бессильно опустив руки, протянул, но уже тоненьким голоском:

— Со-о-о…

Оглянулся и обиженно спросил:

— Почему?

Самгину очень понравилось, что этот человек помешал петь надоевшую, неумную песню. Клим, качаясь на стуле, смеялся. Пьяный шагнул к нему, остановился, присмотрелся и тоже начал смеяться, говоря:

— Чорт знает что, а? Чорт знает…

Он взял Самгина за ворот, поднял его и сказал:

— Слушай, дядя, чучело, идем, выпьем, милый! Ты — один, я — один, два! Дорого у них все, ну — ничего! Революция стоит денег — ничего! Со-обралися м-мы… — проревел он в ухо Клима и, обняв, поцеловал его в плечо:

— Люблю эдаких!

Самгин выпил с ним чего-то крепкого, подошел Тагильский, пьяный бросился на него:

— Яша! Я тебя искал, искал… В зале вдруг стало тихо и зазвучал рыдающий голос Лютова:

— Вот — наша звезда… богиня… Венера — ура-а! В дверях буфетной встала Алина, платье на ней было так ослепительно белое, что Самгин мигнул; у пояса — цветы, гирлянда их спускалась по бедру до подола, на голове — тоже цветы, в руках блестел веер, и вся она блестела, точно огромная рыба. Стало тихо, все примолкли, осторожно отодвигаясь от нее. Лютов вертелся, хватал стулья и бормотал:

— Шампанского, Егор! Костя, — где ты? Костя! Казалось, что он тает, сокращается и сейчас исчезнет, как тень. Алина, склонясь к Любаше, тихо говорила ей что-то и смеялась. Подскочила Варвара, дергая за руки Татьяну Гогину, рядом с Климом очутился Кутузов и сказал, вздохнув:

— Вот это — да!

Сквозь хмель Клим подумал, что при Алине стало как-то благочестиво и что это очень смешно. Он захотел показать, что эта женщина, ошеломившая всех своей красотой, — ничто для него. Усмехаясь, он пошел к ней, чтоб сказать что-то очень фамильярное, от чего она должна будет смутиться, но она воскликнула:

— Боже, это — Клим! И пьян так, что даже позеленел!.. Но костюм идет к тебе. Ты — пьешь? Вот не ожидала!

— Да, пью! — сказал Самгин. — Я тут. У него было очень много слов, которые он хотел сказать, но все это были тяжелые слова, язык не поднимал их, и Самгин говорил:

— Пью. Один. Это мой «Манифест». Ты читала? Нет. Я тоже.

Потом он стоял у стола, и Варвара тихо спрашивала его:

— Вам плохо?

— Плохо, — согласился он. — Вы пляшете плохо. Неприлично.

— Хотите ершика? — слышал он. Выпив лимонада с коньяком, Самгин почувствовал себя несколько освеженным и спросил, нахмурясь:

— Китаец, это — кто?

И, когда Варвара назвала фамилию редактора бойкой газеты, ему стало грустно.

— Еврей, — сказал он, качая головой, — еврей! И с этого момента уже не помнил ничего. Проснулся он в комнате, которую не узнал, но большая фотография дяди Хрисанфа подсказала ему, где он. Сквозь занавески окна в сумрак проникали солнечные лучи необыкновенного цвета, верхние стекла показывали кусок неба, это заставило Самгина вспомнить комнатенку в жандармском управлении.

Прошло несколько минут, две или двадцать, трудно было различить. За дверью послышался шорох, звякнула чайная ложка о стекло.

— Да, неси! — прошептал кто-то, дверь отворилась, и Самгин почувствовал, что у кровати стоит Варвара.

— Вы спите?

— Нет, не сплю, но мне совестно, — сказал он, открыв глаза.

Он не думал сказать это и удивился, что слова сказались мальчишески виновато, тогда как следовало бы вести себя развязно; ведь ничего особенного не случилось, и не по своей воле попал он в эту комнату.

Но Варвара, должно быть, не расслышав его слов, ласково и весело говорила:

— Какой вы смешной, пьяненький! Такой трогательный. Ничего, что я вас привезла к себе? Мне неудобно было ехать к вам с вами в четыре часа утра. Вы спали почти двенадцать часов. Вы не вставайте! Я сейчас принесу вам кофе…

Самгин сел, помотал головой, надел очки, но тотчас *же* снял их.

«Сейчас все это и произойдет», — подумал он не совсем уверенно, а как бы спрашивая себя. Анфимьевна отворила дверь. Варвара внесла поднос, шла она закусив губу, глядя на синий огонь спиртовки под кофейником. Когда она подавала чашку, Клим заметил, что рука ее дрожит, а грудь дышит неровно.

Лицо бледное, с густыми тенями вокруг глаз. Она смотрит, беспокойно мигая, и, взглянув в лицо его, тотчас отводит глаза в сторону.

— А Любаша еще не пришла, — рассказывала она. — Там ведь после того, как вы себя почувствовали плохо, ад кромешный был. Этот баритон — о, какой удивительный голос! — он оказался веселым человеком, и втроем с Гогиным, с Алиной они бог знает что делали! Еще? — спросила она, когда Клим, выпив, протянул ей чашку, — но чашка соскользнула с блюдца и, упав на пол, раскололась на мелкие куски.

— Ой, — тихонько вскричала Варвара, а Самгин, улыбаясь, сказал:

— Хорошая примета.

Он сбросил с себя одеяло, спустил ноги с постели и, прежде чем девушка успела отшатнуться, крепко обнял ее.

— Не надо… Не смейте, — шептала она, вырываясь, — Ведь вы не любите…

И вдруг, обняв его за шею, она почти крикнула:

— Пожалей, о, пожалей меня, пощади!

Клим честно молчал, опрокидывая ее.

Через месяц Клим Самгин мог думать, что театральные слова эти были заключительными словами роли, которая надоела Варваре и от которой она отказалась, чтоб играть новую роль — чуткой подруги, образцовой жены. Не впервые наблюдал он, как неузнаваемо меняются люди, эту ловкую их игру он считал нечестной, и Варвара, утверждая его недоверие к людям, усиливала презрение к ним. Себя он видел не способным притворяться и фальшивить, но не мог не испытывать зависти к уменью людей казаться такими, как они хотят.

Варвара прежде всего удивила его тем, что она оказалась девушкой, чего он не ожидал да и не хотел. А все-таки это значило, что она берегла себя для него, и это было приятно ему. Затем он очень обрадовался, когда Варвара сказала, что она не хочет ребенка и вообще ничем не хочет стеснять его; она сказала это очень просто и решительно. Она показывала себя совершенно довольной тем, что стала женщиной, она, видимо, даже гордилась новой ролью, — это можно было заключить по тому, как покровительственно и снисходительно начала она относиться к Любаше и Татьяне. Несколько подозрительна была быстрота, с которой она отказалась от наигранных жестов, театральных поз и привычки к патетическим возгласам. Она даже ходить стала более плавно, свободно, и каблуки

ее уже не стучали так вызывающе, как раньше. Всего более удивляло Клима чувство меры, которое она обнаруживала в отношении к нему; она даже в ласках не теряла это чувство, хотя и не была скупа на ласки. Тело у нее было красивое, ловкое, но Клим находил, что кожа ног ее груба, шершава, и ждал удобного случая сказать ей это. Наслаждалась она молча и лишь однажды, лежа на коленях Самгина, прошептала, закрыв глаза:

— Я, конечно, пыталась вообразить, как это чувствуется. Но тут действительность выше воображаемого.

«Не богато у тебя воображение», — подумал Клим.

Подсчитав все маленькие достоинства Варвары, он не внес в свое отношение к ней ничего нового, но чувство недоверия заставило его присматриваться к ней более внимательно, и скоро он убедился, что это испытующее внимание она оценивает как любовь. Авторитетным тоном, небрежно, как раньше, он говорил ей маленькие дерзости, бесцеремонно высмеивая ее вкусы, симпатии, мнения; он даже пробовал ласкать ее в моменты, когда она не хотела этого или когда это было физиологически неудобно ей. Но и в этих случаях Варвара покорно подчинялась его выдумкам, нередко унизительным для нее, а он, испытывая после этого пренебрежение к ней, думал:

«Вот как надобно жить с ними».

Изредка он замечал, что в зеленоватых глазах ее светится печаль и недоумевающее ожидание. Он догадывался: это она ждет слова, которое еще не сказано им, но он, по совести, не мог сказать это слово и счел нужным предупредить ее:

— Я не играю словом — любовь.

В общем все шло не плохо, даже интересно, и уже раза два-три являлся любопытный вопрос: где предел покорности Варвары?

«Вероятно, скоро спросит, обвенчаюсь ли я с нею. Интересно, что подумает Лидия об этом?»

Вспоминать о Лидии он запрещал себе, воспоминания о ней раздражали его. Как-то, в ласковый час, он почувствовал желание подробно рассказать Варваре свой роман; он испугался, поняв, что этот рассказ может унизить его в ее глазах, затем рассердился на себя и заодно на Варвару.

— А ты совершенно забыла о Маракуеве, — сказал он ей, усмехаясь.

К его изумлению, глаза Варвары вдруг наполнились слезами, и она почему-то шопотом спросила:

— Ты — упрекаешь, ты? Но ведь из-за тебя же... Она бросилась на грудь ему, обняла и возмущенно говорила:

— Зачем ты сказал? Не будь жестоким, родной мой! Самгин посадил ее на колени себе, тихонько посмеиваясь. Он был уверен, что Варвара немножко играет, ведь ничего обидного он ей не сказал, и нет причин для этих слез, вздохов, для пылких ласк.

«Она ласкается об меня», — подумал он и с тех минут так и определял ее ласки.

— Хорошо — приятно глядеть на вас, — говорила Анфимьевна, туго улыбаясь, сложив руки на животе. — Нехорошо только, что на разных квартирах живете, и дорого это, да и не закон будто! Переехали бы вы, Клим Иванович, в Любашину комнату.

Варвара молчала, но по глазам ее Самгин видел, что она была бы счастлива, если б

он сделал это. И, заставив ее раза два повторить предложение Анфимьевны, Клим поселился в комнате Лидии и Любаши, оклеенной для него новыми обоями, уютно обставленной старинной мебелью дяди Хрисанфа.

Любашу все-таки выслали из Москвы. Уезжая, она возложила часть своей работы по «Красному Кресту» на Варвару. Самгину это не очень понравилось, но он не возразил, он хотел знать все, что делается в Москве. Затем Любаша нашла нужным познакомить Варвару с Марьей Ивановной Никоновой, предупредив Клима:

— Это очень милый, скромный человек.

Против этого знакомства Клим ничего не имел, хотя был убежден, что скромный человек, наверное, живет по чужому паспорту. Он оказался старой знакомой Лютова. Самгин увидел Никонову человеком типа Тани Куликовой, одним из тех людей, которые механически делают какое-нибудь маленькое дело, делают потому, что бездарны, слабовольны и не могут свернуть с тропинки, куда их толкнули сильные люди или неудачно сложившиеся обстоятельства. То, что рассказала о Никоновой Любаша, утвердило оценку Самгина: Никонова — действительно Никонова, дочь крупного помещика, от семьи откололась еще в юности, несколько месяцев сидела в тюрьме, а теперь, уже более трех лет, служит конторщицей в издательстве дешевых книг для народа. Самгин решил, что это так и есть: именно вот такие люди, с незаметными лицами, скромненькие, и должны работать в издательстве для народа.

В темном, гладком платье она казалась вдовою, недавно потерявшей мужа и еще подавленной горем. Черты ее лица правильны, и оно было бы, пожалуй, миловидно, не будь таким натянутым и неподвижным. Она — ниже среднего роста, но когда сидит, то кажется выше. Покатые плечи, невысокая грудь, красиво очерченные бедра, стройные ноги в черных чулках и очень узкие ступни. Ее насильственные улыбки, краткие ответы не возбуждали желания беседовать с нею. И затем было в ней что-то напомнившее Самгину Мишу Зуева, скорбного человечка, который, бывало, посещал субботы дяди Хрисанфа и рассказывал об арестах. Но все-таки было в ней что-то раздражавшее любопытство Клима.

— Расскажи, — что такое она? — попросил он Сомову.

— Хороший человек.

— А — подробнее?

— Очень хороший человек.

— Тебе нечего сказать?

Сомова, уезжая, была сердито настроена, она заклохтала, как раздраженная курица:

— Надоели мне твои расспросы! Ты расспрашиваешь всегда, точно репортер для некрологов.

Варвара осторожно посмеялась и осторожно заметила:

— По-моему — это человек несчастный по ремеслу. Вопросительный взгляд Самгина заставил ее объяснить:

— Мне кажется — есть люди, для которых... которые почувствовали себя чем-то только тогда, когда испытали несчастие, и с той поры держатся за него, как за свое отличие от других.

— Неплохо сказано, — одобрил Самгин и благосклонно улыбнулся; он уже находил, что Варвара, сойдясь с ним, быстро умнеет. Вот она перестала собирать портреты знаменитостей.

— Что это? Надоели герои? — спросил он.

— Их стало так много, — сказала Варвара. — Это — странно, мальчики отрицают героизм, а сами усиленно геройствуют. Их — бьют, а они восхваляют «Нагаечку».

«Да, она умнеет,» — еще раз подумал Самгин и приласкав ее. Сознание своего превосходства над людями иногда возвышалось у Клима до желания быть великодушным с ними. В такие минуты он стал говорить с Никоновой ласково, даже пытался вызвать ее на откровенность; хотя это желание разбудила в нем Варвара, она стала относиться к новой знакомой очень приветливо, но как бы испытующе. На вопрос Клима «почему?» — она ответила:

— Интересно! Есть в ней что-то темненькое, бережно хранимое только для себя. Искорки в глазах есть.

Да, искорки были, Самгин обнаружил их, заговорив с Никоновой о своих встречах с нею.

— А ведь мы давно знакомы, — сказал он. Никонова взглянула на него молча и вопросительно; белки глаз ее были сероватые, как будто чуть-чуть припудрены пеплом, и это несколько обесцвечивало голубой блеск зрачков.

— Не помните?

Он перечислил: первая встреча — на дачах, куда она приезжала сообщить Лютову об арестах «народоправцев».

— Ах, да, — сказала она, кивнув головою. — Я тогда была еще совсем девчонкой. Вскоре меня тоже арестовали.

Клим напомнил ей обед у Лютова в день приезда царя, ресторан, где она читала письмо.

— Я не заметила вас, — сказала она безразличным тоном, взяв книгу и перелистывая ее.

Самгин подумал, что это не очень вежливо с ее стороны.

— Вы несколько раз не замечали меня, это, вероятно, из конспиративных соображений?

Взглянув на него через книгу, она улыбнулась неохотно, как всегда.

— Но вы ведь узнали меня, когда я шел с жандармом, — помните?

В эту минуту он заметил, что глаза ее, потемнев, как будто вздрогнули, стали шире и в зрачках остро блеснули голубые огоньки.

— Позвольте, — воскликнула она, оживленно и похорошев, — это. было — где?

Клим назвал переулок и, усмехаясь, напомнил:

— Было часа четыре утра, и вас провожал мужчина…

— Нет! — сказала она, тоже улыбаясь, прикрыв нижнюю часть лица книгой так, что Самгин видел только глаза ее, очень блестевшие. Сидела она в такой напряженной позе, как будто уже решила встать.

— Ну, как же — нет? Я слышал…

— Что?

— Как он просил вас поторопиться… Никонова бросила книгу на диван и, вздохнув, пожала плечами.

— Не провожал, а открыл дверь, — поправила она. — Да, я это помню. Я ночевала у знакомых, и мне нужно было рано встать. Это — мои друзья, — сказала она, облизав губы. — К сожалению, они переехали в провинцию. Так это вас вели? Я не узнала… Вижу — ведут студента, это довольно обычный случай…

— А мне показалось — узнали, — настаивал Самгин.

— Нет, — равнодушно сказала она. — У меня плохая память на лица. И я была расстроена.

Глаза ее погасли, она снова взяла книгу и наклонила над нею скучное лицо свое. Самгин, барабаня пальцами, подумал:

«Варвара — права: в ней есть что-то…»

Но неприятное впечатление, вызванное этой сценой, скоро исчезло, да и времени не было думать о Никоновой. Разрасталось студенческое движение, и нужно было держаться очень осторожно, чтоб не попасть в какую-нибудь глупую историю. Репутация солидности не только не спасала, а вела к тому, что организаторы движения настойчиво пытались привлечь Самгина к «живому и необходимому делу воспитания гражданских чувств в будущих чиновниках», — как убеждал его, знакомый еще по Петербургу, рябой, заикавшийся Попов; он, видимо, совершенно посвятил себя этому делу. Самгину приходилось говорить, что студенческое движение буржуазно, чуждо интересам рабочего класса и отвлекает молодежь в сторону от задач времени: идти на помощь рабочему движению.

— Н-но н-нельзя же, чорт возьми, требовать, ч-чтоб в-все студенчество шло н-на ф-фабрики! — сорванным голосом выдувал Попов слова обиды, удивления.

Но это было не так важно. Попов являлся в Москву на день, на два, затем, пофыркав, покричав, — исчезал. Гораздо важнее для Самгина было поведение Варвары. Он уже привык жить с нею, она и Анфимьевна заботливо ухаживали за ним. Самгин чувствовал себя устроившимся очень уютно и ценил это. Но вот уже несколько дней Варвара настроена нервозно и стала не похожа на себя. Она как-то поблекла, и у нее явилась рассеянность, не свойственная ей. Можно было думать, что она решает какой-то очень трудный вопрос, этим объясняются припадки ее странной задумчивости, когда она сидит или полулежит на диване, прикрыв глаза и как бы молча прислушиваясь к чему-то. И в ласках она стала скупа, осторожна, даже как-то механична. Неожиданно она уходила куда-то и, раньше такая аккуратная, опаздывала к обеду, к вечернему чаю. Спросить: что с нею? — Самгин не решался, смутно опасаясь услышать в ответ нечто необыкновенное и неприятное. Он опасался расспрашивать ее еще и потому, что она, выгодно отличаясь от Лидии, никогда не философствовала на сексуальные темы, а теперь он подозревал, что и у нее возникло желание «словесных интимностей». Вообще не любя «разговоров по душе», «о душе», — Самгин находил их особенно неуместными с Варварой, будучи почти уверен, что хотя связь с нею и приятна, но не может быть ни длительной, ни прочной. И уж если он когда-нибудь почувствует желание рассказать себя, он расскажет это не ей, а женщине более умной, чем она, интересной и тонко чувствующей. Он не сомневался, что в будущем, конечно, встретит необыкновенную женщину и с нею испытает любовь, о которой мечтал до романа с Лидией.

«Ведь не затеяла же она новый роман», — размышлял он, наблюдая за Варварой, чувствуя, что ее настроение все более тревожит его, и уже пытаясь представить, какие неудобства для него повлечет за собой разрыв с нею.

Но вдруг все это кончилось совершенно удивительно. Холодным днем апреля, возвратясь из университета, обиженный скучной лекцией, дождем и ветром, Самгин, раздеваясь, услышал в столовой гулкий бас Дьякона:

— Их там девять человек; один непонятные стихи сочиняет, вихрастый, на беса похож и вроде полуумного…

Клим шагнул в дверь; Варвара, окутанная пледом, полулежа на диване, взглянула на него, как сквозь сон, беззвучно пошевелив губами; Дьякон, *не* вставая, тоже молча подал руку. Он был одет в толстую драповую куртку, подпоясан ремнем, это и сапоги с голенищами по колена делали его похожим на охотника. Он сильно поседел, снова отрастил три бороды и длинные волосы; похудевшее лицо его снова стало лицом множества русских, суздальских людей. Сидел он засунув длинные ноги в грязных сапогах под стул, и казалось, что он не сидит, а стоит на коленях.

— Откуда? — спросил Самгин. Неохотно и даже как будто недружелюбно Дьякон ответил:

— Вот, пришел…

— Работаете на стеклянном заводе?

— Негоден. Сумасшедший я оказался, — угрюмо ответил Дьякон.

— Как хорошо говорили вы, — сказала Варвара, вздохнув.

— Хорошо говорить многие умеют, а надо говорить правильно, — отозвался Дьякон и, надув щеки, фыркнул так, что у него ощетинились усы. — Они там вовлекли меня в разногласия свои и смутили. А — «яко алчба богатства растлевает плоть, тако же богачество словесми душу растлевает». Я ведь в социалисты пошел по вере моей во Христа без чудес, с единым токмо чудом его любви к человекам.

Стекла окна кропил дождь, капли его стучали по стеклам, как дитя пальцами. Ветер гудел в трубе. Самгин хотел есть. Слушать бас Дьякона было скучно, а он говорил, глядя под стол:

— Любовь эта и есть славнейшее чудо мира сего, ибо, хоша любить нам друг друга не за что, однакож — любим! И уже многие умеют любить самоотреченно и прекрасно.

Он закашлялся, вынул из кармана серый комок платка, плюнул в него и, зажав платок в кулаке, ударил кулаком по колену.

— А они Христа отрицаются, нашу, говорят, любовь утверждает наука, и это, дескать, крепче. Не широко это у них и не ясно.

— Вы — про кого? — спросил Самгин.

— Про вас, — сказал Дьякон, не взглянув на него. — Про мудрствующих лукаво. Разошелся я духовно с вами и своим путем пойду, по людям благовестя о Христе и законе его.»

— Вы не хотите чаю? — спросил Самгин. Дьякон недоуменно взглянул на него.

— Чего это?

— Чаю хотите?

— Нет, — сердито ответил Дьякон и, с трудом вытащив ноги из-под стула, встал, пошатнулся. — Так вы, значит, напишите Любовь Антоновне, осторожненько, — обратился он к Варваре. — В мае, в первых числах, дойду я до нее.

— Вам денег не надо ли на дорогу? — спросила Варвара, вставая.

— Не надо. И относительно молодого человека не забудьте.

— Да, конечно! Кумов?

— Павел Кумов. Прощайте.

Он поклонился и, не подав руки ни ей, ни Самгину» ушел, покачиваясь.

— Как неловко ты предложил чаю, — мягким тоном заметила Варвара.

Самгин, не ответив, пошел в кухню и спросил у Анфимьевны чего-нибудь закусить, а когда он возвратился в столовую, Варвара, сидя в углу дивана, упираясь подбородком в колени, сказала:

— Удивительно говорил он о любви.

Сказала тихонько, задумчиво, но ему послышалось в словах ее что-то похожее на упрек или вызов. Стоя у окна спиною к ней, он ответил учительным тоном:

— Да, разговоры на эту тему удивительны… Сделал паузу, постучал по стеклу ногтями и — закончил:

— Своей ненужностью.

На дворе шумел и посвистывал, подсказывая злые слова, ветер, эдакий обессиленный потомок сердитых вьюг зимы.

— Говорят об этом вот такие, как Дьякон, люди с вывихнутыми мозгами, говорят лицемеры и люди трусливые, у которых не хватает сил признать, что в мире, где все основано на соперничестве и борьбе, — сказкам и сентиментальностям места нет.

— Нет, — повторила Варвара. Самгин подумал:

«Спрашивает она или протестует?» За спиной его гремели тарелки, ножи, сотрясала пол тяжелая поступь Анфимьевны, но он уже не чувствовал аппетита. Он говорил не торопясь, складывая слова, точно каменщик кирпичи, любуясь, как плотно ложатся они одно к другому.

— Выдуманная утопистами, примиряющими непримиримое, любовь к человеку, так же, как измышленная стыдливыми романтиками фантастическая любовь к женщине, одинаково смешны там, где…

Он слышал, что Варвара встала с дивана, был уверен, что она отошла к столу, и, ожидая, когда она позовет обедать, продолжал говорить до поры, пока Анфимьевна не спросила веселым голосом:

— Да вы с кем говорите?

Самгин обернулся: Варвары в комнате не было. Он подошел к столу, сел, подождал, хмурясь, нетерпеливо постукивая вилкой.

«Что она капризничает?»

Подойдя к двери ее комнаты, он сказал:

— Обед подан.

— Я — не хочу, — откликнулась Варвара.

— Тебе нездоровится?

— Немножко.

Пообедав, он ушел в свою комнату, лег, взял книжку стихов Брюсова, поэта, которого он вслух порицал за его антисоциальность, но втайне любовался холодной остротой его стиха. Почитал, подремал, затем пошел посмотреть, что делает Варвара; оказалось, что она вышла из дома.

«Глупо», — решил он, глядя, как ветер осыпает стекла окон мелким бисером дождевых капель. В доме было холодно, он попросил Анфимьевну затопить печь в его комнате, сел к столу и углубился в неприятную ему книгу Сергеевича о

«Земских соборах», неприятную тем, что в ней автор отрицал самобытность государственного строя Московского государства. Шумел ветер, трещали дрова в печи, доказательства юриста-историка представлялись не особенно вескими, было очень уютно, но вдруг потревожила мысль, что, может быть, скоро нужно будет проститься с этим уютом, переехать снова в меблированные комнаты. Самгин встал, поставил стул перед печкой и, сняв очки, раскачивая их на пальце, пощипывая бородку, задумался.

«Пожалуй, я слишком холоден и педантичен с нею. А ведь она легче Лидии».

Огонь превращал дерево в розовые и алые цветы углей, угли покрывались сероватым плюшем пепла. Рядом с думами о Варваре, память, в тон порывам ветра и треску огня, подсказывала мотив песенки Гогина:

Да — для пустой душиНеобходим груз веры!Ночью все кошки серы,Женщины — все хороши.

Если б Варвара была дома — хорошо бы позволить ей приласкаться. Забавно она вздрагивает, когда целуешь груди ее. И — стонет, как ребенок во сне. А этот Гогин — остроумная шельма, «для пустой души необходим груз веры» — неплохо! Варвара, вероятно, пошла к Гогиным. Что заставляет таких людей, как Гогин, помогать революционерам? Игра, азарт, скука жизни? Писатель Катин охотился, потому что охотились Тургенев, Некрасов. Наверное, Гогин пользуется успехом у модернизированных барышень, как парикмахер у швеек.

«Уж не ревную ли?» — спросил себя Самгин, сердито взглянув на стенные часы. Шел восьмой час, а Варвара ушла в четвертом. Он вспомнил, что в каком-то английском романе герой, добродушный человек, зная, что жена изменяет ему, вот так же сидел пред камином, разгребая угли кочергой, и мучился, представляя, как стыдно, неловко будет ему, когда придет жена, и как трудно будет скрыть от нее, что он все знает, но, когда жена, счастливая, пришла, он выгнал ее. Самгин вздохнул и вышел в столовую, постоял в темноте, зажег лампу и пошел в комнату Варвары; может быть, она оставила там письмо, в котором объясняет свое поведение? Письма не оказалось. Со стен смотрели на Самгина лица mademoiselle Клерон, Марс, Жюдик и еще многих женщин, он освещал их, держа лампу в руке, и сегодня они казались более порочными, чем всегда. Вот любовница королей Диана Пуатье, а вот любовница талантливых людей Аврора Дюдеван.

Самгин возвратился в столовую, прилег на диван, прислушался: дождь перестал, ветер тихо гладил стекла окна, шумел город, часы пробили восемь. Час до девяти был необычно растянут, чудовищно вместителен, в пустоту его уложились воспоминания о всем, что пережил Самгин, и все это еще раз напомнило ему, что он — человек своеобразный, исключительный и потому обречен на одиночество. Но эта самооценка, «которой он гордился, сегодня была только воспоминанием и даже как будто ненужным сегодня.

Варвара явилась после одиннадцати часов. Он услышал ее шаги на лестнице и сам отпер дверь пред нею, а когда она, не раздеваясь, не сказав ни слова, прошла в свою комнату, он, видя, как неверно она шагает, как ее руки ловят воздух, с минуту стоял в прихожей, чувствуя себя оскорбленным.

«Пьяная, — думал он. — И, значит…»

Несколько минут он расхаживал по столовой, возмущенно топая, сжимая кулаки в карманах, ходил и подбирал слова, которые сейчас скажет Варваре.

«Нет, — завтра скажу, сегодня она ничего не поймет».

В комнате Варвары было совершенно тихо и темно.

«Даже огня не может зажечь. А станет зажигать — сделает пожар».

Самгин взял лампу и, нахмурясь, отворил дверь, свет лампы упал на зеркало, и в

нем он увидел почти незнакомое, уродливо длинное, серое лицо, с двумя темными пятнами на месте глаз, открытый, беззвучно кричавший рот был третьим пятном. Сидела Варвара, подняв руки, держась за спинку стула, вскинув голову, и было видно, что подбородок ее трясется.

— Что это с тобой? — спросил Самгин, ставя лампу на туалетный стол. Она ответила тихо, всхрапывающим голосом:

— Помоги раздеться. Закрой дверь… дверь. Смотрела она так, как смотрят, вслушиваясь в необыкновенное, непонятное, глаза у нее были огромные и странно посветлели, обесцветились, губы казались измятыми. Снимая с нее шубку, шляпу, Самгин спрашивал с тревогой и досадой:

— Что это значит?

— Знобит, — сказала она, встав, шагая к постели так осторожно и согнувшись, точно ее ударили по животу.

— Упала? Ушиблась? — допрашивал Клим, чувствуя, что его охватывает страх.

— Достань порошки… в кармане пальто, — говорила она, стуча зубами, и легла на постель, вытянув руки вдоль тела, сжав кулаки. — И — воды. Запри дверь. — Вздохнув, она простонала:

— О, господи…

— Послушай, — бормотал Клим, встряхивая пальто, висевшее на руке его. — Какие порошки? Надо позвать доктора… Ты — отравилась чем-нибудь?

— Тише! Это — спорынья, — шептала она, закрыв глаза. — Я сделала аборт. Запри же дверь! Чтобы не знала Анфимьевна, — мне будет стыдно пред нею…

Самгин ошеломленно опустил руки, пальто упало на пол, путаясь в нем ногами, он налил в стакан воды, подал ей порошок, наклонился над ее лицом.

— Зачем же ты… не сказав мне?. Ведь это опасно, можно умереть! Подумай, что же было бы? Это — ужас!

Он уже понимал, что говорит не те слова, какие надо бы сказать. Варвара схватила его руку, прижалась к ней горячей щекой.

— Уйди, милый! Не бойся… на третьем месяце… не опасно, — шептала она, стуча зубами. — Мне нужно раздеться. Принеси воды… самовар принеси. Только — не буди Анфимьевну… ужасно стыдно, если она…

На руке своей Клим ощутил слезы. Глаза Варвары неестественно дрожали, казалось — они выпрыгнут из глазниц. Лучше бы она закрыла их. Самгин вышел в темную столовую, взял с буфета еще не совсем остывший самовар, поставил его у кровати Варвары и, не взглянув на нее, снова ушел в столовую, сел у двери.

«Зачем она сделала это? Если она умрет, — на меня… возмутительно!»

Но он понял, что о себе думает по привычке, механически. Ему было страшно, и его угнетало сознание своей беспомощности. Он был вырван из обычного, понятного ему, но, не понимая мотивов поступка Варвары, уже инстинктивно одобрял его.

«Нужна смелость, чтоб решиться на это», — думал он, ощущая, что в нем возникает новое чувство к Варваре.

Он слышал, как она сняла ботинки, как осторожно двигается по комнате, казалось, что все вещи тоже двигаются вместе с нею.

Скрипнул ящик комода, щелкнули ножницы, разорвалась какая-то ткань, отскочил

стул, и полилась вода из крана самовара. Клим стал крутить пуговицу тужурки, быстро оторвал ее и сунул в карман. Вынул платок, помахал им, как флагом, вытер лицо, в чем оно не нуждалось. В комнате было темно, а за окном еще темнее, и казалось, что та, внешняя, тьма может, выдавив стекла, хлынуть в комнату холодным потоком.

— Как глупо, как отчаянно глупо! — почти вслух пробормотал он, согнувшись, схватив голову руками и раскачиваясь. — Что же будет?

Варвара, приоткрыв дверь, шепнула:

— Иди.

Он вошел не сразу. Варвара успела лечь в постель, лежала она вверх лицом, щеки ее опали, нос заострился; за несколько минут до этой она была согнутая, жалкая и маленькая, а теперь неестественно вытянулась, плоская, и лицо у нее пугающе строго. Самгин сел на стул у кровати и, гладя ее руку от плеча к локтю, зашептал слова, которые казались ему чужими:

— Это — ужасно! Нужно было сказать мне. Ведь я не… идиот! Что ж такое — ребенок?.. Рисковать жизнью, здоровьем…

Обидное сознание бессилия возрастало, к нему примешивалось сознание виновности пред этой женщиной, как будто незнакомой. Он искоса, опасливо посматривал на ее встрепанную голову, вспотевший лоб и горячие глаза глубоко под ним, — глаза напоминали угасающие угольки, над которыми еще колеблется чуть заметно синеватое пламя.

— Доктора надо, Варя. Я — боюсь. Какое безумие, — шептал он и, слыша, как жалобно звучат его слова, вдруг всхлипнул.

— Безумие, — повторил он. — Зачем осложнять…

Слезы текли скупо из его глаз, но все-таки он ослеп от них, снял очки и спрятал лицо в одеяло у ног Варвары. Он впервые плакал после дней детства, и хотя это было постыдно, а — хорошо: под слезами обнажался человек, каким Самгин не знал себя, и росло новое чувство близости к этой знакомой и незнакомой женщине. Ее горячая рука гладила затылок, шею ему, он слышал прерывистый шопот:

— Спасибо, милый! Как это хорошо, — твои слезы. Ты не бойся, это не опасно…

Пальцы ее все глубже зарывались в его волосы, крепче гладили кожу шеи, щеки.

— Я не хотела стеснять тебя. Ты — большой человек… необыкновенный. Женщина-мать эгоистичнее, чем просто женщина. Ты понимаешь?

— Не говори, — попросил Клим. — Тебе очень больно?

— Нет… Но я — устала. Родной мой, все ничтожно, если ты меня любишь. А я теперь знаю — любишь, да?

— Да.

— Ты не позволил бы аборт, если б я спросила?

— Конечно, — сказал Клим, подняв голову. — Разумеется, не позволил бы. Такой риск! И — что же, ребенок? Это… естественно.

Он говорил шопотом, — казалось, что так лучше слышишь настоящего себя, а если заговоришь громко…

Варвара глубоко вздохнула.

— Покрой мне ноги еще чем-нибудь. Ты скажешь Анфимьевне, что я упала,

ушиблась. И ей и Гогиной, когда придет. Белье в крови я попрошу взять акушерку, она завтра придет…

Она как будто начинала бредить. Потом вдруг замолкла. Это было так странно, точно она вышла из комнаты, и Самгин снова почувствовал холод испуга. Посидев несколько минут, глядя в заостренное лицо ее, послушав дыхание, он удалился в столовую, оставив дверь открытой.

В раме окна серпик луны, точно вышитый на голубоватом бархате. Самгин, стоя, держа руку на весу, смотрел на него и, вслушиваясь в трепет новых чувствований, уже с недоверием спрашивал себя:

«Так ли все это?»

И снова понял, что это — недоверие механическое, по привычке, а настоящие его мысли этой ночи — хорошие, радостные.

«Она меня серьезно любит, это — ясно. Я был несправедлив к ней. Но — мог ли я думать, что она способна на такой риск? Несомненно, что существует чувство-праздничное. Тогда, на даче, стоя пред Лидией на коленях, я не ошибался, ничего не выдумал. И Лидия вовсе не опустошила меня, не исчерпала».

Рука, взвешенная в воздухе, устала, он сунул ее в карман и сел у стола.

«Благодаря Варваре я вижу себя с новой стороны. Это надо оценить».

Неловко было вспомнить о том, что он плакал.

«Конечно, ребенок стеснил бы ее. Она любит удовольствия, независимость. Она легко принимает жизнь. Хорошая…»

Облокотясь о стол, он задремал и был разбужен Анфимьевной.

— Тише — Варя нездорова!

— Ой, что это? — наклонясь к нему, спросила домоправительница испуганным шопотом. — Не выкидыш ли, храни бог?

Клим встал, надел очки, посмотрел в маленькие, умные глазки на заржавевшем лице, в округленный рот, как бы готовый закричать.

— Ну, что за глупости! Почему…

— А — кровью пахнет? — шевеля ноздрями, сказала Анфимьевна, и прежде, чем он успел остановить ее, мягко, как перина, ввалилась в дверь к Варваре. Она вышла оттуда тотчас же и так же бесшумно, до локтей ее руки были прижаты к бокам, а от локтей подняты, как на иконе Знамения Абалацкой богоматери, короткие, железные пальцы шевелились, губы ее дрожали, и она шипела:

— Ну, уж если это ты посоветовал ей… так я уж и не знаю, что сказать, — извини!

Так, с поднятыми руками, она и проплыла в кухню. Самгин, испуганный ее шипением, оскорбленный тем, что она заговорила с ним на ты, постоял минуту и пошел за нею в кухню. Она, особенно огромная в сумраке рассвета, сидела среди кухни на стуле, упираясь в колени, и по бурому, тугому лицу ее текли маленькие слезы.

— Я ничего не знал, она сама решила, — тихонько, торопливо говорил Самгин, глядя в мокрое лицо, в недоверчивые глазки, из которых на мешки ее полуобнаженных грудей капали эти необыкновенные маленькие слезинки.

— Ой, глупая, ой — модница! А я-то думала — вот, мол, дитя будет, мне возиться с ним. Кухню-то бросила бы. Эх, Клим Иваныч, милый! Незаконно вы все живете… И люблю я вас, а — незаконно!

И — встала, заботливо спрашивая:

— Не спал ночь-то? Клим схватил ее руку.

— Я — хочу, — пробормотал, он, внезапно охмелев от волнения, — руку пожать вам, уважаю я вас…

— Что уж, руку-то, — вздохнула Анфимьевна и, обняв его пудовыми руками, притиснула ко грудям своим, пробормотав:

— Эх, дети вы, дети… Чужого бога дети!

Умываясь у себя в комнате, Самгин смущенно усмехался:

«Веду я себя — смешно».

И чувствовал себя в радости, оттого что вот умеет вести себя смешно, как никто не умеет.

Наступили удивительные дни. Все стало необыкновенно приятно, и необыкновенно приятен был сам себе лирически взволнованный человек Клим Самгин. Его одолевало желание говорить с людями как-то по-новому мягко, ласково. Даже с Татьяной Гогиной, антипатичной ему, он не мог уже держаться недружелюбно. Вот она сидит у постели Варвары, положив ногу на ногу, покачивая ногой, и задорным голосом говорит о Суслове:

— Не выношу ригористов, чиновников и вообще кубически обтесанных людей. Он вчера убеждал меня, что Якубовичу-Мельшину, революционеру и каторжанину, не следовало переводить Бодлера, а он должен был переводить ямбы Поля Луи Курье. Ужас!

— Узость, — любезно поправил Клим, — Проповедник обязан быть узким…

— Не знаю, — сказала Гогина. — Но я много видела и вижу этих ветеранов революции. Романтизм у них выхолощен, и осталась на месте его мелкая, личная злость. Посмотрите, как они не хотят понять молодых марксистов, именно — не хотят.

Варвара утомленно закрыла глаза, а когда она закрывала их, ее бескровное лицо становилось жутким. Самгин тихонько дотронулся до руки Татьяны и, мигнув ей на дверь, встал. В столовой девушка начала расспрашивать, как это и откуда упала Варвара, был ли доктор и что сказал. Вопросы ее следовали один за другим, и прежде, чем Самгин мог ответить, Варвара окрикнула его. Он вошел, затворив за собою дверь, тогда она, взяв руку его, улыбаясь обескровленными губами, спросила тихонько:

— Можно мне покапризничать? Он кивнул головою, тоже улыбаясь.

— Не говори с Таней много, она — хитрая.

— Не буду, — обещал он, подняв руку, как для присяги, и, гладя волосы ее, сообщил:

— Каприс по-латыни, если не ошибаюсь, — прыгать, подпрыгивать. Капра — коза.

Подождав, не скажет ли она еще что-нибудь, он спросил:

— О чем думаешь?

— О справедливости, — сказала Варвара, вздохнув. — Что есть только одна справедливость — любовь. Клим Самгин заговорил с внезапной решимостью:

— Сдам экзамены, и — поедем к моей матери. Если хочешь — обвенчаемся там. Хочешь?

Лежа неподвижно, она промолчала, но Клим видел, что сквозь ее длинные ресницы сияют тонкие лучики. И, увлекаясь своим великодушием, он продолжал:

— Потом — поедем по Оке, по Волге. В Крым — хорошо?

Болезненно охнув, Варвара приподнялась, схватила его руку и, прижав ее ко груди своей, сказала:

— Все равно, — пойми!

— Не волнуйся, — попросил он, снова гордясь тем, что вызвал такое чувство. Недели через три он думал:

«Вот — мой медовый месяц».

Он имел право думать так не только потому, что Варвара, оправясь и весело похорошев, загорелась нежной и жадной, но все-таки не отягчающей его страстью, но и потому еще, что в ее отношении явилось еще более заботливости о нем, заботливости настолько трогательной, что он даже сказал:

— А ведь ты, Варя, могла бы быть удивительно нежной матерью.

Была средина мая. Стаи галок носились над Петровским парком, зеркало пруда отражало голубое небо и облака, похожие на взбитые сливки; теплый ветер помогал солнцу зажигать на листве деревьев зеленые огоньки. И такие же огоньки светились в глазах Варвары.

— Идем домой, пора, — сказала она, вставая со скамьи. — Ты говорил, что тебе надо прочитать к завтрему сорок шесть страниц. Я так рада, что ты кончаешь университет. Эти бесплодные волнения…

Не кончив фразу, она глубоко вздохнула.

— Как это прелестно у Лермонтова: «ликующий день».

Самгин вел ее берегом пруда и видел, как по воде, голубоватой, точно отшлифованная сталь, плывет, умеренно кокетливо покачиваясь, ее стройная фигура в синем жакете, в изящной шляпке.

— Мне кажется — нигде не бывает такой милой весны, как в Москве, — говорила она. — Впрочем, я ведь нигде и не была. И — представь! — не хочется. Как будто я боюсь увидеть что-то лучше Москвы и перестану любить ее так, как люблю.

— Ребячество, — сказал Самгин солидно, однако — ласково; ему нравилось говорить с нею ласково, это позволяло ему видеть себя в новом свете.

— Ребячество, конечно, — согласилась она, но, помолчав, спросила:

— Разве тебе не кажется, что любовь требует… осторожности… бережливости?

— Но не слепоты, — сказал Самгин.

Через несколько недель Клим Самгин, элегантный кандидат на судебные должности, сидел дома против Варавки и слушал его осипший голос.

— Итак — адвокат? Прокурор? Не одобряю. Будущее принадлежит инженерам.

Его лицо, надутое, как воздушный пузырь, казалось освещенным изнутри красным огнем, а уши были лиловые, точно у пьяницы; глаза, узенькие, как два тире, изучали Варвару. С нелепой быстротой он бросал в рот себе бисквиты, сверкал чиненными золотом зубами и пил содовую воду, подливая в нее херес. Мать, похожая на чопорную гувернантку из англичанок, занимала Варвару, рассказывая:

— Благодаря энергии Тимофея Степановича у нас будет электрическое

освещение…

Держа в руках чашку чая, Варвара слушала ее почтительно и с тем напряжением, которое является на лице человека, когда он и хочет, но не может попасть в тон собеседника.

— Очень милый город, — не совсем уверенно сказала она, — Варавка тотчас опроверг ее:

— Идиотский город, восемьдесят пять процентов жителей — идиоты, десять — жулики, процента три — могли бы работать, если б им не мешала администрация, затем идут страшно умные, а потому ни к чорту не годные мечтатели…

Он махнул рукою и снова обратился к Самгину:

— Я хочу дать работу тебе, Клим…

Самгин слушал его и, наблюдая за Варварой, видел, что ей тяжело с матерью; Вера Петровна встретила ее с той деланной любезностью, как встречают человека, знакомство с которым неизбежно, но не обещает ничего приятного.

— А ты писал, что у нее зеленые глаза! — упрекнула она Клима. — Я очень удивилась: зеленые глаза бывают только в сказках.

И тотчас же сообщила:

— А у нас, во флигеле, умирает человек. И стала рассказывать о Спиваке; голос ее звучал брезгливо, после каждой фразы она поджимала увядшие губы; в ней чувствовалась неизлечимая усталость и злая досада на всех за эту усталость. Но говорила она тоном, требующим внимания, и Варвара слушала ее, как гимназистка, которой не любимый ею учитель читает нотацию.

«Дико ей здесь,» — подумал Самгин, на этот раз он чувствовал себя чужим в доме, как никогда раньше. Варавка кричал в ухо ему:

— Заработаешь сотню-полторы в месяц… Вошел доктор Любомудров с часами в руках, посмотрел на стенные часы и заявил:

— Ваши отстали на восемь минут.

С Климом он поздоровался так, как будто вчера видел его и вообще Клим давно уже надоел ему. Варваре поклонился церемонно и почему-то закрыв глаза. Сел к столу, подвинул Вере Петровне пустой стакан; она вопросительно взглянула в измятое лицо доктора.

— К ночи должен умереть, — сказал он. — Случай — любопытнейшей живучести. Легких у него — нет, а так, слякоть. Противозаконно дышит.

— Он был человек не талантливый, но знающий, — сказала Самгина Варваре.

— Он еще есть, — поправил доктор, размешивая сахар в стакане. — Он — есть, да! Нас, докторов, не удивишь, но этот умирает… корректно, так сказать. Как будто собирается переехать на другую квартиру и — только. У него — должны бы мозговые явления начаться, а он — ничего, рассуждает, как… как не надо.

Доктор недоуменно посмотрел на всех по очереди и, видимо, заметив, что рассказ его удручает людей, крякнул, затем спросил Клима:

— Ну, что — бунтуете? Мы тоже, в свое время, бунтовали. Толку из этого не вышло, но для России потеряны замечательные люди,

Вера Петровна посоветовала сыну.

— Ты бы заглянул к Лизе… до этого.

Клим был рад уйти.

«Как неловко и брезгливо сказала мать: до этого», — подумал он, выходя на двор и рассматривая флигель; показалось, что флигель отяжелел, стал ниже, крыша старчески свисла к земле. Стены его излучали тепло, точно нагретый утюг. Клим прошел в сад, где все было празднично и пышно, щебетали птицы, на клумбах хвастливо пестрели цветы. А солнца так много, как будто именно этот сад был любимым его садом на земле.

В окне флигеля показалась Спивак, одетая в белый халат, она выливала воду из бутылки. Клим тихо спросил:

— Можно к вам?

— Разумеется, — ответила она громко.

Она встретила его, держа у груди, как ребенка, две бутылки, завернутые в салфетку; бутылки, должно быть, жгли грудь, лицо ее болезненно морщилось.

— Хотите пройти к нему? — спросила она, осматривая Самгина невидящим взглядом. Видеть умирающего Клим не хотел, но молча пошел за нею.

Музыкант полулежал в кровати, поставленной так, что изголовье ее приходилось против открытого окна, по грудь он был прикрыт пледом в черно-белую клетку, а на груди рубаха расстегнута, и солнце неприятно подробно освещало серую кожу и черненькие, развившиеся колечки волос на ней. Под кожей, судорожно натягивая ее, вздымались детски тонкие ребра, и было странно видеть, что одна из глубоких ям за ключицами освещена, а в другой лежит тень. Казалось, что Спивак по всем измерениям стал меньше на треть, и это было так жутко, что Клим не сразу решился взглянуть в его лицо. А он говорил, всхрапывая:

— О, это вы? А я вот видите… И — в такой день. Жалко день.

Жена, нагнувшись, подкладывала к ногам его бутылки с горячей водой. Самгин видел на белом фоне подушки черноволосую, растрепанную голову, потный лоб, изумленные глаза, щеки, густо заросшие черной щетиной, и полуоткрытый рот, обнаживший мелкие, желтые зубы.

— Смерти я не боюсь, но устал умирать, — хрипел Спивак, тоненькая шея вытягивалась из ключиц, а голова как будто хотела оторваться. Каждое его слово требовало вздоха, и Самгин видел, как жадно губы его всасывают солнечный воздух. Страшен был этот сосущий трепет губ и еще страшнее полубезумная и жалобная улыбка темных, глубоко провалившихся глаз.

Елизавета Львовна стояла, скрестив руки на груди. Ее застывший взгляд остановился на лице мужа, как бы вспоминая что-то; Клим подумал, что лицо ее не печально, а только озабоченно и что хотя отец умирал тоже страшно, но как-то более естественно, более понятно.

— Я, конечно, не верю, что весь умру, — говорил Спивак. — Это — погружение в тишину, где царит совершенная музыка. Земному слуху не доступна. Чьи это стихи… земному слуху не доступна?

Самгин, слушая, заставлял себя улыбаться, это было очень трудно, от улыбки деревенело лицо, и он знал, что улыбка так же глупа, как неуместна. Он все-таки сказал:

— Вы преувеличиваете, с вашей болезнью живут долго…

— С нею долго умирают, — возразил Спивак, но тотчас, выгнув кадык, захрипел: — Я бы еще мог… доконал этот город. Пыль и ветер. Пыль. И — всегда звонят колокола. Ужасно много… звонят! Колокола — если жизнь торжественна…

— Мы утомляем его, — заметила Елизавета Львовна.

— До свидания, — сказал Клим и быстро отступил, боясь, что умирающий протянет ему руку. Он впервые видел, как смерть душит человека, он чувствовал себя стиснутым страхом и отвращением. Но это надо было скрыть от женщины, и, выйдя с нею в гостиную, он

сказал:

— С какой жестокостью солнце… Но Спивак, глядя за плечо его, отмахнулась рукою и не дала ему кончить фразу.

— В этих случаях принято говорить что-нибудь философическое. А — не надо. Говорить тут нечего.

Ее взгляд, усталый и ожидающий, возбуждал у Самгина желание обернуться, узнать, что она видит за плечом его.

Идя садом, он увидал в окне своей комнаты Варвару, она поглаживала пальцами листья цветка. Он подошел к стене и сказал тихонько, виновато:

— Неудачно мы попали.

— Он — скоро? — спросила Варвара тихонько и оглянувшись назад.

Самгин кивнул головою и предложил:

— Иди сюда.

Когда она, стройная, в шелковом платье жемчужного цвета, шла к нему по дорожке среди мелколистного кустарника, Самгин определенно почувствовал себя виноватым пред нею. Он ласково провел ее в отдаленный угол сада, усадил на скамью, под густой навес вишен, и, гладя руку ее, вздохнул:

— Скверная штука. Она живо откликнулась:

— Да!

И быстро, — как бы отвечая учителю хорошо выученный урок, — рассказала вполголоса:

— По Арбатской площади шел прилично одетый человек и, подходя к стае голубей, споткнулся, упал; голуби разлетелись, подбежали люди, положили упавшего в пролетку извозчика; полицейский увез его, все разошлись, и снова прилетели голуби. Я видела это и подумала, что он вывихнул ногу, а на другой день читаю в газете: скоропостижно скончался.

Рассказывая, она смотрела в угол сада, где, между зеленью, был виден кусок крыши флигеля с закоптевшей трубой; из трубы поднимался голубоватый дымок, такой легкий и прозрачный, как будто это и не дым, а гретый воздух. Следя за взглядом Варвары, Самгин тоже наблюдал, как струится этот дымок, и чувствовал потребность говорить о чем-нибудь очень простом, житейском, но не находил о чем; говорила Варвара:

— А когда мне было лет тринадцать, напротив нас чинили крышу, я сидела у окна, — меня в тот день наказали, — и мальчишка кровельщик делал мне гримасы. Потом другой кровельщик запел песню, мальчишка тоже стал петь, и — так хорошо выходило у них. Но вдруг песня кончилась криком, коротеньким таким и резким, тотчас же шлепнулось, как подушка, — это упал на землю старший кровельщик, а мальчишка лег животом на железо и распластался, точно не человек, а — рисунок…

Она передохнула и докончила:

— Когда умирают внезапно, — это не страшно.

— Не стоит говорить об этом, — сказал Клим. — Тебе нравится город?

— Но ведь я еще не видела его, — напомнила она. Странно было слышать, что она говорит, точно гимназистка, как-то наивно, даже неправильно, не своей речью и будто бы жалуясь. Самгин начал рассказывать о городе то, что узнал от старика Козлова, но она, отмахиваясь платком от пчелы, спросила:

— Зачем они топят печь?

— Вероятно — греют воду, — неохотно ответил Самгин и подвинулся ближе к ней, тоже глядя на дымок.

— А может быть, это — прислуга. Есть такое суеверие: когда женщина трудно родит — открывают в церкви царские врата. Это, пожалуй, не глупо, как символ, что ли. А когда человек трудно умирает — зажигают дрова в печи, лучину на шестке, чтоб душа видела дорогу в небо: «огонек на исход души».

Заметив, что Варвара подозрительно часто мигает, он пошутил:

— Тут уж невозможно догадаться: почему душа должна вылетать в трубу, как банкрот?

Варвара не улыбнулась; опустив голову, комкая пальцами платок, она сказала:

— Знаешь, тогда, у акушерки, была минута, когда мне показалось — от меня оторвали кусок жизни. Самгин взял ее руку, поцеловал и спросил:

— Мать не понравилась тебе?

— Не знаю, — ответила Варвара, глядя в лицо его, — Она, почти с первого слова, начала об этом…

Варвара указала глазами на крышу флигеля; там, над покрасневшей в лучах заката трубою, едва заметно курчавились какие-то серебряные струйки. Самгин сердился на себя за то, что не умеет отвлечь внимание в сторону от этой дурацкой трубы. И — не следовало спрашивать о матери. Он вообще был недоволен собою, не узнавал себя и даже как бы не верил себе. Мог ли он несколько месяцев тому назад представить, что для него окажется возможным и приятным такое чувство к Варваре, которое он испытывает сейчас?

— Какой… бесподобный этот Тимофей Степанович, — сказала Варвара и, отмахнув рукою от лица что-то невидимое, предложила пройтись по городу. На улице она оживилась; Самгин находил оживление это искусственным, но ему нравилось, что она пытается шутить. Она говорила, что город очень удобен для стариков, старых дев, инвалидов.

— Право, было бы не плохо, если б существовали города для отживших людей.

— Жестоко, — сказал Самгин, улыбаясь. Оглянувшись назад, она помолчала минуту, потом задумчиво проговорила:

— Нехорошо делать из… умирания что-то обязывающее меня думать о том, чего я не хочу.

Раздосадованный тем, что она снова вернулась к этой теме, Самгин сухо сказал:

— Не могу же я уехать отсюда завтра, например! Это обидело бы мать.

— Конечно! — быстро откликнулась она. Домой воротились, когда уже стемнело; Варавка, сидя в столовой, мычал, раскладывая сложнейший пасьянс, доктор, против него, перелистывал толстый ежемесячник.

— Ночью будет дождь, — сообщил доктор, посмотрев на Варвару одним глазом, прищурив другой, и пообещал: — Дождь и прикончит его.

— Надоели вы, доктор, с этим вашим покойником, — проворчал Варавка, — доктор поправил его:

— Не покойником, а — больным.

— Ведь не знаменитость умирает, — напомнил Варавка, почесывая картой нос.

Варвара, сказав, что она устала, скрылась в комнату, отведенную ей; Самгин тоже ушел к себе и долго стоял у окна, ни о чем не думая, глядя, как черные клочья облаков нерешительно гасят звезды. Ночью дождя не было, а была тяжкая духота, она мешала спать, вливаясь в открытое окно бесцветным, жарким дымом, вызывая испарину. И была какая-то необычно густая тишина, внушавшая тревогу. Она заставляла ожидать чьих-то криков, но город безгласно притаился, он весь точно перестал жить в эту ночь, даже собаки не лаяли, только ежечасно и уныло отбивал часы сторожевой колокол церкви Михаила Архангела, патрона полиции.

Клим лежал, закрыв глаза, и думал, что Варвара уже внесла в его жизнь неизмеримо больше того, что внесли Нехаева и Лидия. А Нехаева — права: жизнь, в сущности, не дает ни одной капли меда, не сдобренной горечью. И следует жить проще, да…

Дождь хлынул около семи часов утра. Его не было недели три, он явился с молниями, громом, воющим ветром и повел себя, как запоздавший гость, который, чувствуя свою вину, торопится быть любезным со всеми и сразу обнаруживает все лучшее свое. Он усердно мыл железные крыши флигеля и дома, мыл запыленные деревья, заставляя их шелково шуметь, обильно поливал иссохшую землю и вдруг освободил небо для великолепного солнца.

Клим первым вышел в столовую к чаю, в доме было тихо, все, очевидно, спали, только наверху, у Варавки, где жил доктор Любомудров, кто-то возился. Через две-три минуты в столовую заглянула Варвара, уже одетая, причесанная.

— Я тоже не могла уснуть, — начала она рассказывать. — Я никогда не слышала такой мертвой тишины. Ночью по саду ходила женщина из флигеля, вся в белом, заломив руки за голову. Потом вышла в сад Вера Петровна, тоже в белом, и они долго стояли на одном месте… как Парки.

— Парки? Их — три, — напомнил Клим.

— Я знаю. Тот человек — жив еще?

Утомленный бессонницей, Клим хотел ответить ей сердито, но вошел доктор, отирая платком лицо, и сказал, широко улыбаясь:

— Доброе утро! А больной-то — живехонек! Это — феноменально!

Клим перенес свое раздражение на него:

— Ошиблись вы в надежде на дождь…

— Случай — исключительный, — сказал доктор, открывая окна; затем подошел к столу, налил стакан кофе, походил по комнате, держа стакан в руках, и, присев к столу, пожаловался:

— Скучное у меня ремесло. Сожалею, что не акушер. Явилась Вера Петровна и предложила Варваре съездить с нею в школу, а Самгин пошел в редакцию — получить гонорар за свою рецензию. Город, чисто вымытый дождем, празднично сиял, солнце усердно распаривало землю садов, запахи свежей зелени насыщали неподвижный воздух. Люди тоже казались чисто вымытыми, шагали уверенно, легко.

«Да, все-таки жить надобно в провинции», — подумал Клим.

На чугунной лестнице редакции его встретил Дронов, стремительно бежавший вниз.

— Ба! Когда приехал? Спивак — помер? А я думал: ты похоронное объявление несешь. Я хотел сбегать к жене его за справочкой для некролога.

Пропустив Самгина мимо себя, он одобрительно сказал:

— Цивильный костюм больше к лицу тебе, чем студенческая форма.

Сам он был одет щеголевато, жиденькие волосы его смазаны каким-то жиром и форсисто причесаны на косой пробор. Его новенькие ботинки негромко и вежливо скрипели. В нем вообще явилось что-то вежливенькое и благодушное. Он сел напротив Самгина за стол, выгнул грудь, обтянутую клетчатым жилетом, и на лице его явилось выражение готовности все сказать и все сделать. Играя золотым карандашиком, он рассказывал, подскакивая на стуле, точно ему было горячо сидеть:

— Как живем? Да — все так же. Редактор — плачет, потому что ни люди, ни события не хотят считаться с ним. Робинзон — уходит от нас, бунтует, говорит, что газета глупая и пошлая и что ежедневно, под заголовком, надобно печатать крупным шрифтом: «Долой самодержавие». Он тоже, должно быть, скоро умрет…

Проницательные глазки Дронова пытливо прилепились к лицу Самгина. Клим снял очки, ему показалось, что стекла вдруг помутнели.

— Редактор морщится и от твоих заметок, находит, что ты слишком мягок с декадентами, символистами — как их там?

Карандашик выскочил из его рук и подкатился к ногам Самгина. Дронов несколько секунд смотрел на карандаш, точно ожидая, что он сам прыгнет с пола в руку ему. Поняв, чего он ждет, Самгин откинулся на спинку стула и стал протирать очки. Тогда Дронов поднял карандаш и покатил его Самгину.

— Это мне одна актриса подарила, я ведь теперь и отдел театра веду. Правдин объявился марксистом, и редактор выжил его. Камень — настоящий сапфирчяк. Ну, а ты — как?

Появление редактора избавило Самгина от необходимости отвечать.

— Здравствуйте! — сказал редактор, сняв шляпу, и сообщил: — Жарко!

Он мог бы не говорить этого, череп его блестел, как тыква, окропленная росою. В кабинете редактор вытер лысину, утомленно сел за стол, вздохнув, открыл средний ящик стола и положил пред Самгиным пачку его рукописей, — все это, все его жесты Клим видел уже не раз.

— Извините, что я тороплюсь, но мне нужно к цензору.

Говорил он жалобно и смотрел на Самгина безнадежно.

— Не могу согласиться с вашим отношением к молодым поэтам, — куда они зовут? Подсматривать, как женщины купаются. Тогда как наши лучшие писатели и поэты…

Говорил он долго, точно забыв, что ему нужно к цензору, а кончил тем, что, ткнув пальцем в рукописи Самгина, крепко, так, что палец налился кровью, прижал их ко столу.

— Нет, с ними нужно беспощадно бороться. Он встал, подобрал губу.

— Не могу печатать. Это — проповедь грубейшей чувственности и бегства от

жизни, от действительности, а вы — поощряете…

Самгин, сделав равнодушное лицо, молча злился, возражать редактору он не хотел, считая это ниже своего достоинства. На улицу вышли вместе, там редактор, протянув руку Самгину, сказал:

— Очень сожалею, но…

— Старый дурак, — выругался Самгин, переходя на теневую сторону улицы. Обидно было сознаться, что отказ редактора печатать рецензии огорчил его.

«Чего она стоит, действительность, которую тебе подносит Иван Дронов?» — сердито думал он, шагая мимо уютных домиков, и вспомнил умилительные речи Козлова.

Через сотню быстрых шагов он догнал двух людей, один был в дворянской фуражке, а другой — в панаме. Широкоплечие фигуры их заполнили всю панель, и, чтоб опередить их, нужно было сойти в грязь непросохшей мостовой. Он пошел сзади, посматривая на красные, жирные шеи. Левый, в панаме, сиповато, басом говорил:

— Во сне сколько ни ешь — сыт не будешь, а ты — во сне онучи жуешь. Какие мы хозяева на земле? Мой сын, студент второго курса, в хозяйстве понимает больше нас. Теперь, брат, живут по жидовской науке политической экономии, ее даже девчонки учат. Продавай все и — едем! Там деньги сделать можно, а здесь — жиды, Варавки, чорт знает что… Продавай…

Самгин сошел на мостовую, обогнал этих людей, и ленивый тенорок сказал вслед ему:

— Ну, что ж, продавать, так — продавать, на Восток, так — на Восток!

Самгин хотел взглянуть: какое лицо у тенора? Но поленился обернуться, сказывалась бессонная ночь, душистый воздух охмелял, даже думать лень было. Однако он подумал, что вот таких разговоров на улице память его поймала и хранит много, но все они — точно мушиные пятна на зеркале и годятся только для сочинения анекдотов. Затем он сознался, что плохо понимает, чего хотят поэты-символисты, но ему приятно, что они не воспевают страданий народа, не кричат «вперед, без страха и сомненья» и о заре «святого возрожденья».

Домой он пришел с желанием лечь и уснуть, но в его комнате у окна стояла Варвара, выглядывая в сад из-за косяка.

— Тише! — предупредила она шопотом. — Смотри. В саду, на зеленой скамье, под яблоней, сидела Елизавета Спивак, упираясь руками о скамью, неподвижная, как статуя; она смотрела прямо пред собою, глаза ее казались неестественно выпуклыми и гневными, а лицо, в мелких пятнах света и тени, как будто горело и таяло.

— Красиво сидит, — шептала Варвара. — Знаешь, кого я встретила в школе? Дунаева, рабочий, такой веселый, помнишь? Он там сторож или что-то в этом роде. Не узнал меня, но это он — нарочно.

Она шептала так оживленно, что Самгин догадался о причине оживления и спросил:

— Умер?

— Кажется. Ты — узнай.

Самгин вышел в столовую, там сидел доктор Любомудров, писал что-то и дышал на бумагу дымом папиросы.

— Что — как больной?

— Больного нет, — сказал доктор, не поднимая головы и как-то неумело скрипя по бумаге пером. — Вот, пишу для полиции бумажку о том, что человек законно и воистину помер.

Повинуясь странному любопытству и точно не веря доктору, Самгин вышел в сад, заглянул в окно флигеля, — маленький пианист лежал на постели у окна, почти упираясь подбородком в грудь; казалось, что он, прищурив глаза, утонувшие в темных ямах, непонятливо смотрит на ладони свои, сложенные ковшичками. Мебель из комнаты вынесли, и пустота ее очень убедительно показывала совершенное одиночество музыканта. Мухи ползали по лицу его.

Самгин снова почувствовал, что этот — хуже, страшнее, чем отец; в этом есть что-то жуткое, от чего горло сжимает судорога. Он быстро ушел, заботясь, чтоб Елизавета Львовна не заметила его.

— Что? — спросила Варвара.

Он утвердительно кивнул головой.

— Я догадалась об этом, — сказала она, легко вздохнув, сидя на краю стола и покачивая ногою в розоватом чулке. Самгин подошел, положил руки на плечи ее, хотел что-то сказать, но слова вспоминались постыдно стертые, глупые. Лучше бы она заговорила о каких-нибудь пустяках.

— Ты опрокинешь меня! — сказала она, обняв его ноги своими.

Он положил голову на плечо ее, тогда она, шепнув «Подожди!» — оттолкнула его, тихо закрыла окно, потом, заперев дверь, села на постель:

— Иди ко мне! Тебе — нехорошо? — тревожно и ласково спросила она, обнимая его, и через несколько минут Самгин благодарно шептал ей.

— Ты у меня — чуткая… умная.

А затем дни наполнились множеством мелких, но необходимых делишек и пошли быстрее. Пианиста одели в сюртучок, аккуратно уложили в хороший гроб, с фестончиками по краям, обильно украсили цветами, и зеленоватое лицо законно умершего человека как будто утратило смутившее Самгина жуткое выражение непонятливости. На дворе, под окном флигеля, отлично пели панихиду «любители хорового пения», хором управлял Корвин с красным, в форме римской пятерки, шрамом на лбу; шрам этот, несколько приподняв левую бровь Корвина, придал его туповатой физиономии нечто героическое. Когда Корвин желал, чтоб нарядные барышни хора пели более минорно, он давящим жестом опускал руку к земле, и конец тяжелого носа его тоже опускался в ложбинку между могучими усами. Клим вспомнил Инокова и тихонько спросил мать: где он? Крестя опавшую грудь. Вера Петровна молитвенно прошептала:

— Его нанял и увез этот инженер… который писал о гимназистах, студентах.

Из окон флигеля выплывал дым кадила, запах тубероз; на дворе стояла толпа благочестивых зрителей и слушателей; у решетки сада прижался Иван Дронов, задумчиво почесывая щеку краем соломенной шляпы.

В день похорон с утра подул сильный ветер и как раз на восток, в направлении кладбища. Он толкал людей в спины, мешал шагать женщинам, поддувая юбки, путал прически мужчин, забрасывая волосы с затылков на лбы и щеки. Пение хора он относил вперед процессии, и Самгин, ведя Варвару под руку, шагая сзади Спивак и матери, слышал только приглушенный крик:

— А-а-а…

Люди, выгибая спины, держась за головы, упирались ногами в землю, толкая друг

друга, тихонько извинялись, но, покорствуя силе ветра, шагали всё быстрей, точно стремясь догнать улетающее пение:

— А-а-а…

Все это угнетало, навевая Самгину неприятные мысли о тленности жизни, тем более неприятные, что они облекались в чужие слова.

…дар случайный,Жизнь — зачем ты мне дана?

— вспоминал он, а оттолкнув эти слова, вспоминал другие:

А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,Такая пустая и глупая…

Хотелось затиснуть жизнь в свои слова, и было обидно убедиться, что все грустное, что можно сказать о жизни, было уже сказано и очень хорошо сказано.

Толчки ветра и людей раздражали его. Варвара мешала, нагибаясь, поправляя юбку, она сбивалась с ноги, потом, подпрыгивая, чтоб идти в ногу с ним, снова путалась в юбке. Клим находил, что Спивак идет деревянно, как солдат, и слишком высоко держит голову, точно она гордится тем, что у нее умер муж. И шагала она, как по канату, заботливо или опасливо соблюдая прямую линию. Айно шла за гробом тоже не склоняя голову, но она шла лучше.

«Странная женщина, — думал Самгин, глядя на черную фигуру Спивак. — Революционерка. Вероятно — обучает Дунаева. И, наверное, все это — из боязни прожить жизнь, как Таня Куликова».

Потом он должен был стоять более часа на кладбище, у могилы, вырытой в рыжей земле; один бок могилы узорно осыпался и напоминал беззубую челюсть нищей старухи. Адвокат Правдин сказал речь, смело доказывая закономерность явлений природы; поп говорил о царе Давиде, гуслях его и о кроткой мудрости бога. Ветер неутомимо летал, посвистывая среди крестов и деревьев; над головами людей бесстрашно и молниеносно мелькали стрижи; за церковью, под горою, сердито фыркала пароотводная труба водокачки.

Зато — как приятно стало через день, когда Клим, стоя на палубе маленького парохода, белого, как лебедь, смотрел на город, окутанный пышной массой багряных туч. Военный оркестр в городском саду играл попурри из опереток, и корнет-а-пистон точно писал на воздухе забавнейшие мелодии Оффенбаха, Планкета, Эрве. Чем ниже по реке сползал бойкий пароход, тем более мило игрушечным становился город, раскрашенный мягкими красками заката, тем ярче сверкала золотая луковица собора, а маленькие домики, еще умаляясь, прижимались плотнее к зубчатой стене и башням кремля. Потом пароход круто повернул за пригорок, ощетиненный елями, и город исчез, точно стертый с земли мохнатой, черной лапой. Было тепло, тихо, только колеса весело расплескивали красноватую воду неширокой реки, посылая к берегам вспененные волны, — они делали пароход еще более похожим на птицу с огромными крыльями.

Самгин и Варвара стояли у бората, испытывая сладость «одиночества вдвоем». Когда стемнело и пароход стали догонять черные обрывки туч, омрачая тенями воду и землю, — встретился другой пароход, ярко освещенный. Он был окрашен в коричневый цвет, казался железным, а отражения его огней вонзались в реку, точно зубья бороны, и было чудесно видеть, что эти огненные зубья, бороздя воду, не гаснут в ней. А с левой стороны, из-за холмов, выкатилась большая, оранжевая луна, тогда как с правой двигалась туча, мохнатая, точно шкура медведя, ее встряхивали молнии, но грома не было слышно, и молнии были не страшны. Варвара детски восхищалась, хватала Самгина за руку, прижималась к нему, вскрикивая:

— Ой! смотри, смотри! Видел?

— Не плохо, — снисходительно соглашался он. — Природа любит похвастаться.

Но он тоже невольно поддавался очарованию летней ночи и плавного движения сквозь теплую тьму к покою. Им овладевала приятная, безмысленная задумчивость, Он смотрел, как во тьме, сотрясаемой голубой дрожью, медленно уходят куда-то назад темные массы берегов, и было приятно знать, что прожитые дни не воротятся.

Остановились в Нижнем-Новгороде посмотреть только что открытое и еще не разыгравшееся всероссийское торжище. Было очень забавно наблюдать изумление Варвары пред суетливой вознёю людей, которые, разгружая бесчисленные воза, вспарывая тюки, открывая ящики, набивали глубокие пасти лавок, украшали витрины множеством соблазнительных вещей.

— Боже мой, сколько всего! — повторяла она, взмахивая ресницами, жадно расширяя глаза.

Самгин, усмехаясь, вспомнил цитату Макарова из статьи Федорова.

— Все — для вас! — сказал он. — Все это вызвано «не тяжелым, но губительным господством женщин», — гордись!

Но она не обратила внимания на эти слова. Опьяняемая непрерывностью движения, обилием и разнообразием людей, криками, треском колес по булыжнику мостовой, грохотом железа, скрипом дерева, она сама говорила фразы, не совсем обыкновенные в ее устах. Нашла, что город только красивая обложка книги, содержание которой — ярмарка, и что жизнь становится величественной, когда видишь, как работают тысячи людей.

Это она сказала на Сибирской пристани, где муравьиные вереницы широкоплечих грузчиков опустошали трюмы барж и пароходов, складывали на берегу высокие горы хлопка, кож, сушеной рыбы, штучного железа, мешков риса, изюма, катили бочки цемента, селедок, вина, керосина, машинных масл. Тут шум работы был еще более разнообразен и оглушителен, но преобладал над ним все-таки командующий голос человека.

— Какие силачи, — удивлялась Варвара, глядя на работу грузчиков. — Слышишь? Поют. Подойдем ближе.

Самгин охотно пошел; он впервые услыхал, что унылую «Дубинушку» можно петь в таком бойком, задорном темпе. Пела ее артель, выгружавшая из трюма баржи соду «Любимова и Сольвэ». На палубе в два ряда стояло десять человек, они быстро перебирали в руках две веревки, спущенные в трюм, а из трюма легко, точно пустые, выкатывались бочки; что они были тяжелы, об этом говорило напряжение, с которым двое грузчиков, подхватив бочку и согнувшись, катили ее по палубе к сходням на берег.

Запевали «Дубинушку» двое: один — коренастый, в красной, пропотевшей, изорванной рубахе без пояса, в растоптанных лаптях, с голыми выше локтей руками, точно покрытыми железной ржавчиной. Он пел высочайшим, резким тенором и, удивительно фокусно подсвистывая среди слов, притопывал ногою, играл всем телом, а железными руками играл на тугой веревке, точно на гуслях, а пел — не стесняясь выбором слов:

Эх, ребята, знай — кати…

Варвара спряталась за спину Самгина и смотрела через плечо его.

— Эх, дубинушка, ухнем! — согласно и весело подхватывали грузчики частым говорком, но раньше, чем они успевали допеть, другой запевала, высокий, лысый, с черной бородой, в жилете, но без рубахи, гулким басом заглушал припев, командуя:

Эй, ребята, дергай ловко,Чтоб не ерзала веревка…Эх, дубинушка…

Это было гораздо более похоже на игру, чем на работу, и, хотя в пыльном воздухе, как бы состязаясь силою, хлестали волны разнообразнейших звуков, бодрое пение грузчиков, вторгаясь в хаотический шум, вносило в него свой, задорный ритм. Еще недавно, на постройке железной дороги, Клим слышал «Дубинушку»; там ее пели лениво, унывно, для отдыха, а здесь бодрый ритм звучит властно командуя, знакомые слова кажутся новыми и почему-то возбуждают тревожное чувство. Задумавшись над этим, Самгин вдруг вспомнил Дьякона, его цитату из Лактанция и утешительно сообразил:

«Те же слова, но — иначе произнесены. И — только. Слова не могут ничего изменить».

За баржею распласталась под жарким солнцем синеватая Волга, дальше — золотисто блестела песчаная отмель, река оглаживала ее; зеленел кустарник, наклоняясь к ласковой воде, а люди на палубе точно играли в двадцать рук на двух туго натянутых струнах, чудесно богатых звуками.

— Шаба-аш! — заревел кто-то с берега. Грузчики выпустили веревки из рук, несколько человек, по-звериному мягко, свалилось на палубу, другие пошли на берег. Высокий, скуластый парень с длинными волосами, подвязанными мочалом, поравнялся с Климом, — непочтительно осмотрел его с головы до ног и спросил:

— Папироску, барин, дашь, что ли?

Черными пальцами он взял из портсигара две папиросы, одну сунул в рот, другую — за ухо, но рядом с ним встал тенористый запевала и оттолкнул его движением плеча.

— Папиросу выклянчил? — спросил он и, ловко вытащив папиросу из-за уха парня, сунул ее под свои рыжие усы в угол рта; поддернул штаны, сшитые из мешка, уперся ладонями в бедра и, стоя фертом, стал рассматривать Самгина, неестественно выкатив белесые, насмешливые глаза. Лицо у него было грубое, солдатское, ворот рубахи надорван, и, распахнувшись, она обнажала его грудь, такую же полосатую от пыли и пота, как лицо его.

Самгин догадался, что пред ним человек, который любит пошутить, шутит он, конечно, грубо, даже — зло и вот сейчас скажет или сделает что-нибудь нехорошее. Догадка подтверждалась тем, что грузчики, торопливо окружая запевалу, ожидающе, с улыбками заглядывали в его усатое лицо, а он, видимо, придумывая что-то, мял папиросу губами, шаркал по земле мохнатым лаптем и пылил на ботинки Самгина. Но тяжело подошел чернобородый, лысый и сказал строгим басом:

— Опять, Михаиле, озорничать норовишь? Опять скандалу захотелось?

Запевала в красной рубахе ловко и высоко подплюнул папиросу, поймал ее на ладонь и пошел прочь, вслед чернобородому, за ними гуськом двинулись все остальные, кто-то сказал с сожалением:

— Помиловал... эх!

Вся эта сцена заняла минуту, но Самгин уже знал, что она останется в памяти его надолго. Он со стыдом чувствовал, что испугался человека в красной рубахе, смотрел в лицо его, глупо улыбаясь, и вообще вел себя недостойно. Варвара, разумеется, заметила это. И, ведя ее под руку сквозь трудовую суету, слыша крики «Берегись!», ныряя под морды усталых лошадей, Самгин бормотал:

— Что общего между мною...

— Берегись!

— Между нами, — поправился он, — и этими? За нами — несколько поколений людей, воспитанных всею сложностью культурной жизни...

Он во-время понял, что слова его звучат и виновато и озлобленно, понял, что они способны вызвать еще более озлобленные слова.

— Именно мой демократизм обязывает меня видеть всю глубину различия между мною и полудикарями…

Нет, говорилось все не то, что нужно было сказать для Варвары.

— Общество, построенное на таких культурно различных единицах, не может быть прочным. Десять миллионов негров Северной Америки, рано или поздно, дадут себя знать.

Тут Варвара выручила его:

— Страшно хочу пить, — сказала она, — идем скорее! И через несколько шагов снова начала восхищаться:

— Как удивительно они пели! И — какая ловкость, сила…

Самгин ласково и почти с благодарностью к ней заметил:

— Вот видишь: труд грузчиков вовсе не так уж тяжел, как об этом принято думать.

Утром сели на пароход, удобный, как гостиница, и поплыли встречу караванам барж, обгоняя парусные рыжие «косоуши», распугивая увертливые лодки рыбаков. С берегов, из богатых сел, доплывали звуки гармоники, пестрые группы баб любовались пароходом, кричали дети, прыгая в воде, на отмелях. В третьем классе, на корме парохода, тоже играли, пели. Варвара нашла, что Волга действительно красива и недаром воспета она в сотнях песен, а Самгин рассказывал ей, как отец учил его читать:

Выдь на Волгу, чей стон раздаетсяНад великою русской рекой.

— Но, как видишь, — не стонут, а — играют на гармониках, грызут семечки подсолнухов, одеты ярко.

— Сегодня воскресенье, — напомнила Варвара, но сейчас же и торопливо сказала: — Разумеется — я согласна: страдания народа преувеличены Некрасовым.

В торопливости ее слов было что-то подозрительное, как будто скрывалась боязнь не согласиться или невозможность согласиться. С непонятной улыбкой в широко открытых глазах она говорила:

— Я ведь никогда не чувствовала, что есть Россия, кроме Москвы. Конечно, учила географию, но — что же география? Каталог вещей, не нужных мне. А теперь вот вижу, что существует огромная Россия и ты прав: плохое в ней преувеличивают нарочно, из соображений политических.

Самгин не помнил, говорил ли он это, но ласково улыбнулся ей.

— Даже художники — Левитан, Нестеров — пишут ее не такой яркой и цветистой, как она есть.

«Да, это мои мысли», — подумал Самгин. Он тоже чувствовал, что обогащается; дни и ночи награждали его невиданным, неизведанным, многое удивляло, и все вместе требовало порядка, все нужно было прибрать и уложить в «систему фраз», так, чтоб оно не беспокоило. Казалось, что Варвара удачно помогает ему в этом.

И всего более удивительно было то, что Варвара, такая покорная, умеренная во всем, любящая серьезно, но не навязчиво, становится для него милее с каждым днем. Милее не только потому, что с нею удобно, но уже до того милее, что она возбуждает в нем желание быть приятным ей, нежным с нею. Он вспоминал, что Лидия ни на минуту не будила в нем таких желаний.

Ему уже хотелось сказать Варваре какое-то необыкновенное и решительное слово, которое еще более и окончательно приблизило бы ее к нему. Такого слова Самгин не находил. Может быть, оно было близко, но не светилось, засыпанное множеством других слов.

И мешал грузчик в красной рубахе; он жил в памяти неприятным пятном и, как бы сопровождая Самгина, вдруг воплощался то в одного из матросов парохода, ю в приказчика на пристани пыльной Самары, в пассажира третьего класса, который, сидя на корме, ел орехи, необыкновенным приемом раскалывая их: положит орех на коренные зубы, ударит ладонью снизу по челюсти, и — орех расколот. У всех этих людей были такие же насмешливые глаза, как у грузчика, и такая же дерзкая готовность сказать или сделать неприятное. Этот, который необыкновенно разгрызал орехи, взглянув на верхнюю палубу, где стоял Самгин с Варварой, сказал довольно громко:

— Чулочки-то под натуру кожицы надела барыня. В Астрахани Самгиных встретил приятель Варавки, рыбопромышленник Трифонов, кругленький человечек с широким затылком и голым лицом, на котором разноцветно, как перламутровые пуговицы, блестели веселые глазки. Легкий, шумный, он был сильно надушен одеколоном и, одетый в широкий клетчатый костюм, несколько напоминал клоуна. Он оказался одним из «отцов города» и очень хвастал благоустройством его. А город, окутанный знойным туманом и густевшими запахами соленой рыбы, недубленых кож, нефти, стоял на грязном песке; всюду, по набережной и в пыли на улицах, сверкала, как слюда, рыбья чешуя, всюду медленно шагали распаренные восточные люди, в тюбетейках, чалмах, халатах; их было так много, что город казался не русским, а церкви — лишними в нем. В тени серых, невысоких стен кремля сидели и лежали калмыки, татары, персы, вооруженные лопатами, ломами, можно было подумать, что они только что взяли город с боя и, отдыхая, дожидаются, когда им прикажут разрушить кремль.

Трифонов часа два возил Самгиных по раскаленным улицам в шикарнейшей коляске, запряженной парою очень тяжелых, ленивых лошадей, обильно потел розовым потом и, часто вытирая голое лицо кастрата надушенным платком, рассказывал о достопримечательностях Астрахани тоже клетчатыми, как его костюм, серенькими и белыми словами; звучали они одинаково живо.

— Набережную у нас Волга каждую весну слизывает; ежегодно чиним, денег на это ухлопали — баржу! Камня надобно нам, камня! — просил он, протягивая Самгину коротенькие руки, и весело жаловался: — А камня — нет у нас; тем, что за пазухами носим, от Волги не оборонишься, — шутил он и хвастался:

— Такого дурака, каков здешний житель, — нигде не найдете! Губернатора бы нам с плетью в руке, а то — Тимофея Степановича Варавку в городские головы, он бы и песок в камень превратил.

Семья Трифонова была на даче; заговорив Самгиных до отупения, он угостил их превосходным ужином на пароходе, напоил шампанским, развеселился еще более и предложил отвезти их к морскому пароходу на «Девять фут» в своем катере.

— «Кречет», — не молодой, а — бойкий! — похвастался он.

— Завезу вас на промысел свой, мимо поедем. Самгины не нашли предлога отказаться, но в душной комнате гостиницы поделились унылыми мыслями.

— Какой странный, — сказала Варвара, вздыхая. — Точно слепой.

Измученный жарою и речами рыбопромышленника, Самгин сердито согласился:

— Слепота — это, кажется, общее свойство дедовых людей. — Через минуту, причесываясь на ночь. Варвара отметила:

— Город и Волгу он хвалил, точно приказчик товар, который надо скорее продать — из моды вышел. «Она умнеет», — подумал Самгин еще раз. В шесть часов утра

они уже сидели на чумазом баркасе, спускаясь по Волге, но радужным пятнам нефти, на взморье; встречу им, в сухое, выцветшее небо, не торопясь поднималось солнце, похожее на лицо киргиза. Трифонов называл имена владельцев судов, стоявших на якорях, и завистливо жаловался:

— Нобель кушает вас, Нобель! Он и армяшки.» Вздрагивая, точно больной лихорадкой, баркас бойкой старушкой на базаре вилял между судов, посвистывал, скрипел; у рулевого колеса стоял красивый, белобородый татарин, щурясь на солнце.

— Тут у нас, знаете, всё дети природы, лентяи, — развлекал Трифонов Варвару.

Баркас выскользнул на мутное взморье, проплыл с версту, держась берега, крякнул, вздрогнул, и машина перестала работать.

— Он у меня с норовом, вроде киргизской лошади, — весело объяснил Трифонов. — А вот другой, «Казачка», тот — не шутит! Стрела.

Татарин быстро крутил колесо руля.

— Что, Юнус?

— Машина кончал, — сказал татарин очень ласково. Тогда Трифонов, подкатясь к машине, заорал вниз:

— Черти драповые, сукины сыны! Ведь я же вас спрашивал? Свисти, рыло! Юнус, подваливай к берегу!

Сипло и жалобно свистя, баркас медленно жался сортом к песчаному берегу, а Трифонов объясняла

— Это — не люди, а — подобие обезьян, и ничего не понимают, кроме как — жрать!

На берегу, около обломков лодки, сидел человек в фуражке с выцветшим околышем, в странной одежде, похожей на женскую кофту, в штанах с лампасами, подкатанных выше колен; прижав ко груди каравай хлеба, он резал его ножом, а рядом с ним, на песке, лежал большой, темнозеленый арбуз.

— Смотри, — сказала Варвара. — Он сидит, как за столом.

Да, человек действительно сидел, как у стола, у моря, размахнувшегося до горизонта, где оно утыкано было палочками множества мачт; Трифонов сказал о них:

— Это и есть «Девять фут». Взяв рупор, он закричал на берег:

— Эй, казак! Беги скоро на кордон, скажи, «Ловца» гнали бы, Трифонов просит.

— И без рупора слышно, — ответил человек, держа в руке ломоть хлеба и наблюдая, как течение подбивает баркас ближе к нему. Трифонов грозно взмахнул рупором:

— А ты беги, знай!

— Сколько дашь? — спросил казак, откусив хлеба.

— Целковый.

— Четвертную, — сказал человек, не повышая голоса, и начал жевать, держа в одной руке нож, другой подкатывая к себе арбуз.

— Слышали? — спросил Трифонов, подмигивая Варваре и усмехаясь. — Это он двадцать пять рублей желает, а кордон тут, за холмами, версты полторы ходу! Вот как!

И, снова приставив рупор ко рту, он точно выстрелил:

— Три!

— Не пойду, — сказал человек, воткнув нож в арбуз.

— И — не пойдет! — подтвердил Трифонов вполголоса. — Казак, они тут все воры, дешево живут, рыбу воруют из чужих сетей. Пять! — крикнул он.

— Не пойду, — повторил казак и, раскромсав арбуз на две половины, сунул голые ноги в море, как под стол.

— Народ здесь, я вам скажу, чорт его знает какой, — объяснял Трифонов, счастливо улыбаясь, крутя в руке рупор. — Бритолобые азиаты работать не умеют, наши — не хотят. Эй, казак! Трифонов я, — не узнал?

— Ну, кто тебя не знает, Василь Васильич, — ответил казак, выковыривая ножом куски арбуза и вкладывая их в свой волосатый рот.

Варвара сидела на борту, заинтересованно разглядывая казака, рулевой добродушно улыбался, вертя колесом; он уже поставил баркас носом на мель и заботился, чтоб течение не сорвало его; в машине ругались два голоса, стучали молотки, шипел и фыркал пар. На взморье, гладко отшлифованном солнцем и тишиною, точно нарисованные, стояли баржи, сновали, как жуки, мелкие суда, мухами по стеклу ползали лодки.

Клим Самгин, разморенный жарою и чувствуя, как эта ослепительно блестящая пустота, в которой все казалось маленьким, ничтожным, наполняет его безволием, лениво думал, что в кругленьком, неунывающем Трифонове есть что-то общее с изломанным Лютовым, хотя внешне они совершенно не схожи. Но казалось, что астраханец любуется упрямым казаком так же, как москвич восхищался жуликоватым ловцом несуществующего сома.

— Что ж ты, зверячья морда, не идешь? — уже почти дружелюбно спрашивал он.

— Неохота угодить тебе, Василь Васильич, — равнодушно ответил казак, швырнул опустошенную половину арбуза в море, сполз к воде, наклонился, зачерпнул горстями и вытер бородатое лицо свое водою, точно скатертью.

«Варвара хорошо заметила, он над морем, как за столом, — соображал Самгин. — И, конечно, вот на таких, как этот, как мужик, который необыкновенно грыз орехи, и грузчик Сибирской пристани, — именно на таких рассчитывают революционеры. И вообще — на людей, которые стали петь печальную «Дубинушку» в новом, задорном темпе».

Трифонов, поставив клетчатую ножку на борт, все еще препирался с казаком.

— Я тебя, мужчина, узнаю, кто ты есть! Доедая вторую половину арбуза, казак равнодушно ответил:

— Ивана Калмыкова ищи, это я и буду.

— Не боится; — объяснил Трифонов Варваре. — Они тут никого ив боятся.

Из-за пологого мыса, красиво обегая его, вывернулась яркозеленая паровая лодка.

— Вот она, «Казачка», — радостно закричал Трифонов и объявил: — А уж на промысел ко мне — опоздали!

В ночь, когда паровая шкуна вышла в Каспий и пологие берега калмыцкой степи растаяли в лунной мгле, — Самгин почувствовал себя необыкновенно взволнованным. Окружающее было сказочно грустно, исполнено необыкновенной серьезности. В небе, очень густо синем и почти без звезд, неподвижно стоял слишком светлый диск ущербленной луны. Море, серебристо-зеленого цвета, так

же пустынно, незыблемо и беззвучно, как небо, и можно было думать, что оно уже достигло совершенного покоя, к чему и стремились все его бури. Шкуна плыла по неширокой серебряной тропе, но казалось, что она стоит, потому что тропа двигалась вместе с нею, увлекая «е в бесконечаую мглу. Выл слышен глуховатый, равномерный звук, это, разумеется, винт взбалтывает воду, но можно было думать, что шкуну преследует и настигает, прячась под водою, какое-то чудовище.

Было стыдно сознаться, но Самгин чувствовал, что им овладевает детский, давно забытый страшок и его тревожат наивные, детские вопросы, которые вдруг стали необыкновенно важными. Представлялось, что он попал в какой-то прозрачный мешок, откуда никогда уже не сможет вылезти, и что шкуна не двигается, а взвешена в пустоте и только дрожит.

Самгин, снимая и надевая очки, оглядывался, хотелось увидеть пароход, судно рыбаков, лодку или хотя бы птицу, вообще что-нибудь от земли. Но был только совершенно гладкий, серебристо-зеленый круг — дно воздушного мешка; по бортам темной шкуны сверкала светлая полоса, и над этой огромной плоскостью — небо, не так глубоко вогнутое, как над землею, и скудное звездами. Самгин ощутил необходимость заговорить, заполнить словами пустоту, развернувшуюся вокруг него и в нем.

Варвара сидела у борта, держась руками за перила, упираясь на руки подбородком, голова ее дрожала мелкой дрожью, непокрытые волосы шевелились. Клим стоял рядом с нею, вполголоса вспоминая стихи о море, говорить громко было неловко, хотя все пассажиры давно уже пошли спать. Стихов он знал не много, они скоро иссякли, пришлось говорить прозой.

— Неверно, что природа не терпит пустоты, существует безвоздушное пространство.»

Стихи Варвара выслушала молча, но тут, не шевелясь, попросила тихонько:

— Ой, Клим, — пожалуйста, не надо ничего… умного! Лицо ее, освещенное луною, было неестественно бледно, а глаза фосфорически и неприятно, точно у кошки, блестели. Самгин замолчал, несколько обиженный, но через минуту предложил:

— А — не пора спать?

— Нет, — сказала она, умоляюще взглянув на него. — Я, право, не могу уйти отсюда. Так безумно хорошо.

— Устанешь.

— Сядь рядом со мною.

Он исполнил ее желание, обнял ее талию, спросил шопотом:

— О чем ты думаешь?

Так же, шопотом, она ответила:

— Я не думаю.

— Дремлешь?

— И не дремлю.

Она не желала говорить. Пощипывая бородку, Самгин смотрел на ее профиль, четко высветленный луною, и у него разгорались мысли, враждебные ей.

«Я стал слишком мягок с нею, и вот она уже небрежна со мною. Необходимо быть строже. Необходимо овладеть ею с такою полнотой, чтоб всегда и в любую минуту настраивать ее созвучно моим желаниям. Надо научиться понимать все, что она думает и чувствует, не расспрашивая ее. Мужчина должен поглощать женщину

так, чтоб все тайные думы и ощущения ее полностью передавались ему».

Эта мысль очень понравилась Самгину, он всячески повторял ее, как бы затверживая. Уже не впервые он рассматривал Варвару спящей и всегда испытывал при этом чувство недоумения и зависти, особенно острой в те минуты, когда женщина, истомленная его ласками до слез и полуобморока, засыпала, положив голову на плечо его. Голова у нее была странно легкая, волосы немного жестки, но приятно холодные, точно шелк. На виске, около уха, содрогалась узорная жилка; днем — голубая, она в сумраке ночи темнела, и думалось, что эта жилка нашептывает мозгу Варвары темненькие сновидения, рассказывает ей о тайнах жизни тела. Во сне Варвара была детски беспомощна, свертывалась в маленький комок, поджав ноги к животу, спрятав руки под голову или под бок себе. Но часто казалось, что полуоткрытые губы ее улыбаются хитровато и что она смотрит сквозь длинные ресницы взглядом не побежденной, а победившей. А порою лицо ее так незнакомо изменялось, что Клим ощущал желание внезапно разбудить ее и строго спросить:

«Что ты думаешь?»

Его волновал вопрос: почему он не может испытать ощущений Варвары? Почему не может перенести в себя радость женщины, — радость, которой он же насытил ее? Гордясь тем, что вызвал такую любовь, Самгин находил, что ночами он получает за это меньше, чем заслужил. Однажды он сказал Варваре:

— Любовь была бы совершенней, богаче, если б мужчина чувствовал одновременно и за себя и за женщину, если б то, что он дает женщине, отражалось в нем.

— Не отражается?

Но он видел, что слова его не поняты и спросила Варвара из вежливости. Тогда он подумал, что, если Лидия была почти бесстыдно болтлива, если она относилась к любви испытующе, Варвара — слишком сдержанна и осторожна, даже, пожалуй, туповата.

«А я ожидал, что она окажется разнузданной, склонной к излишествам, к извращениям. Конечно, я хорошо ошибся, но…»

Через день он снова спросил:

— Скажи, ты хотела бы чувствовать то, что чувствую я?

— О, разумеется, — ответила она очень быстро, уверенно, но он ей не поверил, подробно разъяснил, о чем говорит, и это удивило Варвару, она даже как-то выпрямилась, вытянулась.

— Но ведь я тебя чувствую! — тихо воскликнула она, и ему показалось, что она сконфузилась.

— Но — как, что чувствуешь?

— Я не умею сказать. Я думаю, что так… как будто я рожаю тебя каждый раз. Я, право, не знаю, как это. Но тут есть такие минуты… не физиологические.

И, уже явно сконфуженная, густо покраснев, попросила:

— Пожалуйста, не говори об этом, милый! Тут я боюсь слов.

Клим приласкал ее. Но он был огорчен; нет, Варвара все-таки не поняла его.

«И как нелепо сказала она: будто рожаю!»

Вскоре после того Клим едва не поссорился с нею. Они сошли на берег в Петровске и ехали на лошадях из Владикавказа в Тифлис Дарьяльским ущельем. Поднимались на Гудаур, высшую точку перевала через горный хребет, но и горы

тоже поднимались все выше и выше. Создавалось впечатление мрачного обмана, как будто лошади тяжко шагали не вверх, а вниз, в бесконечно глубокую щель между гор, наполненную мглою, синеватой, как дым. Из этой щели, все более узкой и мрачной, в небо, стиснутое вершинами гор, вздымалась ночь. Небо — капризно изогнутая полоса голубоватого воздуха; воздух, темнея, густеет, и в густоте его разгораются незнакомые звезды. Сзади, с правой стороны, возвышалась белая чалма Казбека, и оттуда в затылок Клима веяло сыроватой свежестью, сгущенным безмолвием. Каменную тишину почти не нарушал дробный стук лошадиных копыт и угрюмая воркотня возницы-татарина. Глубоко внизу зловеще бормотал Терек, это был звук странный, как будто мощные камни, сжимая ущелье, терлись друг о друга и скрипели.

Величественно безобразные нагромождения камня раздражали Самгина своей ненужностью, бесстыдным хвастовством, бесплодной силою своей.

— Встряхнуть бы все это, чтоб рассыпалось в пыль, — бормотал он, глядя в ощеренные пасти камней, в трещины отвесной горы.

Варвара подавленно замолчала тотчас же, как только отъехали от станции Коби. Она сидела, спрятав голову в плечи, лицо ее, вытянувшись, стало более острым. Она как будто постарела, думает о страшном, и с таким напряжением, с каким вспоминают давно забытое, но такое, что необходимо сейчас же вспомнить. Клим ловил ее взгляд и видел, в потемневших глазах сосредоточенный, сердитый блеск, а было бы естественней видеть испуг или изумление.

— Помнишь Гончарова? — спросил он. — «Фрегат Палладу»?

— Да.

— Там есть место: Гончаров вышел на падубу, посмотрел на взволнованное море и нашел его бессмысленным, безобразным. Помнишь?

— Да, — сказала Варвара. — Впрочем — нет. Я не читала эту квиту. Как ты можешь вспоминать здесь Гончарова?

— Хорошей писатель.

— Я его не люблю, — резко сказала Варвара. — И страшное никогда не безобразно, это неверна!

Клим обрадовался, что она говорит, но был удивлен ее тоном. Помолчав, он продолжал уже с намерением раздражить ее, оторвать от непонятных ему дум.

— Какая-то дорога в ад. Это должен был видеть Данте. Ты замечаешь, что мы, поднимаясь, как будто опускаемся?

— Да, да, — откликнулась она с непонятной торопливостью.

— Но — хочется молчать. Что тут скажешь? — спросила она, оглядываясь и вздрогнув. — Поэты говорили… но и они тоже ведь ничего не могли сказать.

— Именно, — согласился Клим. — У Лермонтова даже смешно:

Как-то раз перед толпоюСоплеменных гор…

— как Тарас, а?

Варвара, опустив голову, отодвинулась от него, а он продолжал, усмехаясь:

— Странно действует природа на тебя. Вероятно, вот так подчинялся ей первобытный человек. Что ты думаешь?

— Право — не знаю, — тихо и виновато ответила она. — Я — без слав.

— Без слов, без форм — нельзя думать.

— Я просто — дышу, — сказала Варвара. — Дышу. Кажется, что я никогда еще не дышала так глубоко. Ты очень… странно сказал: поднимаясь — мы опускаемся. Так… зло!

Темнота, уже черная, дышала неживым холодком, лишенным запахов. Самгин сердито заметил:

— У нас, в России, даже снег пахнет.

— Солененьким, — прибавила Варвара, точно сквозь сон.

Поднялись на Гудаур, молча ели шашлык, пили густое лиловое вино. Потом в комнате, отведенной им, Варвара, полураздевшись, устало села на постель и сказала, глядя в черное окно:

— Я видела все это. Не помню когда, наверное — маленькой и во сне. Я шла вверх, и все поднималось вверх, но — быстрее меня, и я чувствовала, что опускаюсь, падаю. Это был такой горький ужас, Клим, право же, милый… так ужасно. И вот сегодня…

Она неожиданно и громко всхлипнула.

— А ты — сердишься!

Когда Самгин начал утешать ее, она шептала, стирая слезы с лица быстрыми жестами кошки.

— Я понимаю: ты — умный, тебя раздражает, что я не умею рассказывать. Но — не могу я! Нет же таких слов! Мне теперь кажется, что я видела этот сон не один раз, а — часто. Еще до рождения видела, — сказала она, уже улыбаясь. — Даже — до потопа!

И, обняв его, спросила:

— Ты никогда не чувствовал себя допотопным?

— Нет еще, — сказал Самгин, великодушно лаская ее. — А вот устала ты. И — начиталась декадентских стишков.

Помирились, и Самгину показалось, что эта сцена плотнее приблизила Варвару к нему, а на другой день, рано утром, спускаясь в долину Арагвы, пышно одетую зеленью, Клим даже нашел нужным сказать Варваре:

— Вчера я вел себя несколько капризно.

Но тотчас почувствовал, что говорить не следует, Варвара, привстав, держась за плечо его, изумленно смотрела вниз, на золотую реку, на мягкие горы, одетые густейшей зеленой овчиной, на стадо овец, серыми шариками катившихся по горе.

— Какая красота, — восторженно шептала она. — Какая милая красота! Можно ли было ждать, после вчера! Смотри: женщина с ребенком на осле, и человек ведет осла, — но ведь это богоматерь, Иосиф! Клим, дорогой мой, — это удивительно!

Он усмехался, слушая наивные восторги, и опасливо смотрел через очки вниз. Спуск был извилист, крут, спускались на тормозах, колеса отвратительно скрежетали по щебню. Иногда серая лента дороги изгибалась почти под прямым углом; чернобородый кучер туго натягивал вожжи, экипаж наклонялся в сторону обрыва, усеянного острыми зубами каких-то необыкновенных камней. Это нервировало, и Самгин несколько раз пожалел о том, что сегодня Варвара разговорчива.

— Здесь где-то Пушкин любовался Арагвой, — говорила она. — Помнишь: «На

холмах Грузии…»

— «Тобой, одной тобой», — пробормотал он. Варвара крепко сжала его руку.

— Непостижимо! Как много может вложить поэт в три простые слова!

— Да, — сказал Самгин.

Экипаж благополучно скатился к станции Млеты… Затиснутый в щель между гор, каменный, серый Тифлис, с его бесчисленными балконами, которые прилеплены к домам как бы руками детей и похожи на птичьи клетки; мутная, бешеная Кура; церкви суровой архитектуры — все это не понравилось Самгину. Черноволосые люди, настроенные почему-то крикливо и празднично, рассматривали Варвару масляными глазами с бесцеремонным любопытством, а по-русски они говорили языком армянских анекдотов. Эти люди, бегавшие по раскаленным улицам, как тараканы, восхищали Варвару, она их находила красивыми, добрыми, а Самгин сказал, что он предпочел бы видеть на границе государства не грузин, армян и вообще каких-то незнакомцев с физиономиями разбойников, а — русских мужиков. Сказал он это лишь потому, что хотел охладить неиссякаемые восторги Варвары, они раздражали его, он даже спросил иронически:

— Ты, кажется, заболела слепотою Трифонова?

У него незаметно сложилось странное впечатление: в России бесчисленно много лишних людей, которые не знают, что им делать, а может быть, не хотят ничего делать. Они сидят и лежат на пароходных пристанях, на станциях железных дорог, сидят на берегах рек и над морем, как за столом, и все они чего-то ждут. А тех людей, разнообразным трудом которых он восхищался на Всероссийской выставке, тех не было видно.

Самгин пробовал передать это впечатление Варваре, но она стала совершенно глуха к его речам, и казалось, что она живет в трепетной радости птенца, который, обрастая перьями, чувствует, что и он тоже скоро начнет летать.

Клим Самгин тихо обрадовался лишь тогда, когда кочевая жизнь кончилась и возвратились в Москву. Разнотонность его настроения с настроением Варвары в Москве не обнаруживалась так часто и открыто, как во время путешествия; оба они занялись житейским делом, одинаково приятным для них. Из дома на дворе перебрались в дом окнами на улицу, во второй этаж отремонтированной для них уютной квартиры. Варвара не очень крикливо обставила ее новой мебелью, Клим взял себе все старое, накопленное дядей Хрисанфом, и устроил солидный кабинет. По протекции Варавки он приписался в помощники к богатому адвокату, юрисконсульту одного из страховых обществ. Варавка поручил ему ходатайства в Москве по его бесчисленным делам.

Вскоре явилась Любаша Сомова; получив разрешение жить в Москве, она снова заняла комнату во флигеле. Она немножко похудела и как будто выросла, ее голубые глаза смотрели на людей еще более доброжелательно;

Татьяна Гогина сказала Варваре:

— Мне кажется, что Любаша имеет вид человека, который хорошо покушал.

Как раньше, Любаша начала устраивать вечеринки, лотереи в пользу ссыльных, шила им белье, вязала носки, шарфы; жила она переводами на русский язык каких-то романов, пыталась понять стихи декадентов, но говорила, вздыхая:

— Трудно? Артишоки, декаденты и устрицы — не по вкусу мне.

Вечерами Варвара рассказывала ей и Гогиным о «многобалконном» Тифлисе, о могиле Грибоедова, угрюмых буйволах, игрушечных осликах торговцев древесным углем, о каких-то необыкновенно красивых людях, забавных сценах. Самгин, прислушиваясь, думал:

«Сочиняет. Все это не таи».

И еще раз убеждался в том, как много люди выдумывают, как сии, обманывая себя и других, прикрашивают жизнь. Когда Любаша, ухитрившаяся побывать в нескольких городах провинции, тоже начинала говорить о росте революционного настроения среди учащейся молодежи, об успехе пропаганды марксизма, попытках организации рабочих кружков, он уже знал, что все это преувеличено по крайней мере на две трети. Он был уверен, что все человеческие выдумки взвешены в нем, как пыль в луче солнца.

Чувствуя потребность разгрузить себя от множества впечатлений, он снова начал записывать свои думы, но, исписав несколько страниц, увидел с искренним удивлением, что его рукою и пером пишет человек очень консервативных воззрений. Это открытие так смутило его, что он порвал записки.

Анфимьевна, взяв на себя роль домоправительницы, превратила флигель в подобие меблированных комнат, и там, кроме Любаши, поселились два студента, пожилая дама, корректорша и господин Митрофанов, человек неопределенной профессии. Анфимьевна сказала о нем:

— Места ищет и жену ждет.

В приплюснутом крышей окне мезонина, где засел дядя Миша, с вечера до поздней ночи горела неярко лампа под белым абажуром, но опаловое бельмо ее не беспокоило Самгина.

Место Анфимьевны на кухне занял красноносый, сухонький старичок повар, странно легкий, точно пустой внутри. Он говорил неестественно гулким голосом, лицо его, украшенное редкими усиками, напоминало мордочку кота. Он явился пред Варварой и Климом пьяный и сказал:

— Вы этим — не беспокойтесь, я с юных лет пьян и в другом виде не помню, когда жил. А в этом — половине лучших московских кухонь известен.

Анфимьевна подтвердила:

— Повар он знаменитый и человек хороший, я его почти тридцать дет знаю.

Варвара, улыбаясь, спросила ее:

— Это он — твой роман?

— Я не по романам жила, не до книжкам, а — по своей глупости, — неохотно проворчала Анфимьевна и предупредила:

— Только ты при нем. Варя, не все говори; он царскую фамилию уважает, и даже газету из Петербурга присылают ему. Чудак он.

Газета оказалась «Правительственным вестником», а чудак — человеком очень тихим, с большим чувство» собственного достоинства и любителем высокой политики. Самгин еще раз подумал, что, конечно, лучше бы жить без чудаков, без шероховатых и пестрых людей, после встречи с которыми в памяти остаются какие-то цветные пятна, нелепые улыбочки, анекдотические словечки, Ведь вот существует же Анфимьевна, могучая, как лошадь, она живет ничем и никак не задевая. Она точно застыла в возрасте между шестым и седьмым десятком лет, не стареет, не теряет сил. О ней Самгин сказал Варваре:

— Уважаю людей, которые умеют бескорыстно вживаться в чужую жизнь. Это — истинные герои.

Он быстро сделался одним из тех, очень заметных и даже уважаемых людей, которые, стоя в разрезе и, пожалуй, в центре различных общественных течений, но не присоединяясь ни к одному из них, знакомы со всеми группами, кружками, всем

сочувствуют и даже, при случае, готовы оказать явные и тайные услуги, однако не очень рискованного характера; услуги эти они оценивают всегда очень высоко. Его стройная фигура и сухое лицо с небольшой темной бородкой; его не сильный, но внушительный голос, которым он всегда умел сказать слова, охлаждающие излишний пыл, — весь он казался человеком, который что-то знает, а может быть, знает все. Говорил не много, сдержанно и так, что слушатели чувствовали: хотя он и говорит слова не очень глубокой мудрости, но это потому, что другие слова его не для всех, а для избранных. За стеклами его очков холодно блестели голубовато-серые глаза, он смотрел прямо в лицо собеседника и умел придать взгляду своему нечто загадочное. Все говорили так много, что молчаливый человек был весьма заметен. Емкая память Самгина укрепляла за ним репутацию лица широко осведомленного. Он считал, что эта репутация стоит ему недорого, его отношение к людям принимало характер все менее лестный для них, а роль покровителя выдумкам и заблуждениям людей очень увлекала Самгина. После наиболее удачных выступлений своих он даже чувствовал себя немножко дьяволом.

А минутами ему казалось, что он чем-то руководит, что-то направляет в жизни огромного города, ведь каждый человек имеет право вообразить себя одной из тех личностей, бытие которых окрашивает эпохи. На собраниях у Прейса, все более многолюдных и тревожных, он солидно говорил:

— Студенческое движение насквозь эмоционально, тут просто «кровь кипит, сил избыток». Но не следует упускать из вида, что тут скрыта серьезная опасность:

романтизм народников как нельзя лучше отвечает настроению студенчества. И, так как народники снова мечтают о терроре… — осторожно намекал он.

У Прейса все высказывались осторожно и почти все подтверждали мнения свои ссылками на Эдуарда Бернштейна. Самгин видел, что тут сходятся люди как будто родственные ему, — это делало их особенно неприятными. Стратонов и Тагильский не посещали Прейса. Берендеев бывал редко и вел себя, точно пьяный, который не понимает, как это он попал в компанию незнакомых людей и о чем говорят эти люди. Он растерянно улыбался, вскакивал, перебегал с места на место, как бы преследуя странную цель — посидеть на всех стульях. Изредка он, взволнованно хватаясь за голову, бормотал:

— Нет, это — не так! Суть — не в этом.

Самгин знал, что Берендеевым организован религиозный кружок и что в этом кружке немалую роль играет Диомидов.

Из новых людей около Прейса интересен был Змиев, высокий, худощавый человек, одетый в сюртучок необыкновенного фасона, с пухлым лицом сельской попадьи и теплым голосом няньки, рассказывающей сказку. Он очень любил отмечать «отрадные явления» русской жизни, почти непрерывно сосал мятные лепешки и убеждал всех, что «Россия просыпается». В трех шагах от него Самгин уже слышал холодноватый запах ментола. Змиев доказывал, что социализм победит только путем медленного просачивания в существующий строй, часто напоминал о своем личном знакомстве с Мильераном и восхищался мужеством, с которым тот первый указал, что социализм учение не революционное, а реформаторское.

— Вы — оптимист, — возражал ему большой, толстогубый Тарасов, выдувая в как ф, грозя пальцем и разглядывая Змиева неподвижным, мутноватым взглядом темных глаз. — Что значит: Россия пробуждается? Ну, признаем, что у нас завелся еще двуглавый орел в лице двух социалистических, скажем, партий. Но — это не на земле, а над землей.

Возбуждаясь, он фыркал чаще, сильнее и начинал говорить по-ярославски певуче, но, в то же время, сильно окая.

— Ну, — раздвоились: крестьянская, скажем, партия, рабочая партия, так! А которая же из них возьмет на себя защиту интересов нации, культуры,

государственные интересы? У нас имперское великороссийское дело интеллигенцией не понято, и не заметно у нее желания понять это. Нет, нам необходима третья партия, которая дала бы стране единоглавие, так сказать. А то, знаете, всё орлы, но домашней птицы — нет.

— Вот! — кричал Берендеев, вскакивая. — Нужна партия демократических реформ. Свобода слова, вероисповеданий.

Прейс молча и утвердительно кивал головою, а Змиев говорил, прижимая руки к груди:

— Да я же не отрицаю участия социалистов в оппозиционном движении!

Самгину нравилось дразнить и пугать этих людей. Коротенькими фразами он говорил им все, что знал о рабочем движении, подчеркивая его анархизм, рассказывал о грузчиках, казаках и еще о каких-то выдуманных им людях, в которых уже чувствуется пробуждение классовой ненависти. Этой ненависти он невольно придавал зоологическую окраску» но уже не выдумывая ее, а почерпая в себе самом. Таких неистощимых говорунов, как Змиев и Тарасов, Самгин встречал не мало, они были понятны и не интересны ему. а остальные гости Прейса вели себя сдержанно, как люди с небольшими средствами в магазине дорогих вещей. Они присматривались, слушали, спрашивали, но высказывались редко, осторожно и неопределенно. Среди них особенно заметен был молчаливостью высокий, тощий Редозубов, человек с длинным лицом, скрытым в седоватой бороде, которая, начинаясь где-то за ушами, росла из-под глаз, на шее и все-таки казалась фальшивой, так же как прямые волосы, гладко лежавшие на его черепе, вызывали впечатление парика.

Самгин знал, что это — автор очень гуманного рассказа «для народа» и что рассказ этот критики единодушно хвалили. Сидел Редозубов всегда в позе Саваофа на престоле, хмуро посматривал на всех из-под густых бровей и порою иронически крякал, как бы предваряя. что сейчас он заговорит. Но крякнув — продолжал молчать. Было в нем что-то отдаленно знакомое Самгину, он долго и напряженно вспоминал: не видел ли он когда-то этого человека? И вдруг какой-то жест Редозубова восстановил в памяти его квартиру писателя Катина и одетого мужиком проповедника толстовства, его холодное лицо, осуждающие глаза. Но не верилось, чтоб человек мог так постареть за десяток лет, и, желая проверить себя, Самгин спросил:

— Извините — вы знакомы с Катиным? Редозубов медленно повернул шею, пошевелил бровями.

— Был. А — что?

— Мне кажется, я встречал вас у него.

— Едва ли.

— Лет десять, двенадцать тому назад.

— Ну… может быть.

Редозубов невежливо отвернулся в сторону, но, помолчав, сказал:

— Тогда я не знал еще, что Катин — пустой человек. И что он любит не народ, а — писать о нем любит. Вообще — писатели наши…

Редозубов махнул рукою, крепко потер ладонью колено в пробормотал:

— Ницшеанцы. Декаденты. Блудословы. Пояркову, который, руководя кружками студентов, изучавших Маркса, жил, сердито нахмурясь, и двигал челюстями так, как будто жевал что-то твердое, — ему Самгин говорил, что студенчество буржуазно и не может быть иным.

— Знаю, — угрюмо отвечал Поярков, — но необходимы люди, способные вести рабочие кружки.

Поярков работал в каком-то частном архиве, и по тому, как бедно одевался он, по истощенному лицу его можно было заключить, что работа оплачивается плохо. Он часто и ненадолго забегал к Любаше, говорил с нею командующим тоном, почти всегда куда-то посылал ее, Любаша покорно исполняла его поручения и за глаза называла его:

— Коловорот.

К Самгину Поярков относился небрежно, грубовато, и, когда Любаша сообщила, что Поярков арестован в Коломне, это не опечалило Самгина.

Вождям студенческого движения он внушал:

— Не думаю, что вы добьетесь чего-нибудь, но совершенно ясно, что огромное количество ценных сил тратится, не принося стране никакой пользы. А Россия прежде всего нуждается в десятках тысяч научно квалифицированной интеллигенции…

Но, говоря так, он, при помощи Любаши, помогал печатать и распространять студенческие воззвания и разные бумажки.

Вечерами он выспрашивал у Любаши новости, иногда заходил к ней и нередко встречал там безмолвную Никонову, но чаще дядю Мишу, носившего фамилию Суслов. Этот маленький человек интересовал и тревожил его тихим, но необоримым упрямством своих мнений и чиновничьей аккуратностью жизни, — аккуратностью, в которой было что-то меланхолическое. Суслов подробно, с не крикливой, но упрекающей горячностью рассказывал о страданиях революционной интеллигенции в тюрьмах, ссылке. на каторге, знал он все это прекрасно; говорил он о необходимости борьбы, самопожертвования и всегда говорил склонив голову к правому плечу, как будто за плечом его стоял кто-то невидимый и не спеша подсказывал ему суровые слова. Но из его рассказов Самгин выносил впечатление, что дядя Миша предлагает звать народ на помощь интеллигенции, уставшей в борьбе за свободу народа. Клим очень хотел понять: что делает этот человек? Любаша, на вопрос, обращенный к ней, ответила сухо:

— Делает то, что следует делать. Но об этом не спрашивают, — прибавила она.

Исполняя поручения патрона, Самгин часто ездил по Московской области и убеждался, что в нескольких десятках верст от огромного, бурно кипевшего котла Москвы, в маленьких уездных городах, течет не торопясь другая, простецкая жизнь. Сталкиваясь с купцами, мещанами, попами, он находил, что эти люди вовсе не так свирепо жадны и глупы, как о них пишут и говорят, и что их будто бы враждебное отношение ко всяким новшествам, в сущности, здоровое недоверие людей осторожных. У них есть свой, издревле налаженный распорядок жизни; их предрассудки — это старые истины, живучесть которых оправдана условиями быта, непосредственной близостью к темной деревне. Люди эти любят вкусно поесть, хорошо выпить, в их среде нет такого множества нервно издерганных, как в столицах, им совершенно чужда и смешна путаная, надуманная игра в любовь к женщине. Книг они не читают, и разум их не развращен спорами о том, кто прав: Ницше или Толстой, Маркс или Бернштейн. Чиновники, управляющие ими, крикливы по дурной привычке, но, по существу, такие же благодушные люди, как сами обыватели. Невозможно представить, чтоб миллионы людей пошли за теми, кто, мечтая о всеобщем счастье, хочет разрушить все, что уже есть, ради того, что едва ли возможно.

Самгин беседовал с ямщиками, с крестьянами, сидя на крылечках почтовых станций, в ожидании, когда перепрягут лошадей. Мужики, конечно, жаловались на малоземелье, на податную тяготу, на фабрики, которые «портят народ», жаловались они почти теми же словами, как в рассказах мужиколюбивых

писателей. Самгин привык не верить писателям, не верил и мужикам. Он видел, что жалуются тоже по привычке и потому, что хотят получить на водку. Но на водку он не давал, а когда просили, усмехался, вспоминая Ваську Калужанина, который выпросил у Христа неразменный рубль. Деревня вообще не нравилась ему. Не нравились хитрые мужики, сухощавые, выгоревшие на солнце, вымороженные зимними стужами и все-таки нечистоплотные. Нередко Самгин чувствовал, что они рассматривают его как нечто непонятное и ненужное.

Неприятно было тупое любопытство баб и девок, в их глазах он видел что-то овечье, животное или сосредоточенность полуумного, который хочет, но не может вспомнить забытое. Тугоухие старики со слезящимися глазами, отупевшие от старости беззубые, сердитые старухи, слишком независимые, даже дерзкие подростки — все это не возбуждало симпатий к деревне, а многое казалось созданным беспечностью, ленью.

В общем Самгину нравилось ездить по капризно изогнутым дорогам, по берегам ленивых рек и перелесками. Мутноголубые дали, синеватая мгла лесов, игра ветра колосьями хлеба, пение жаворонков, хмельные запахи — все это, вторгаясь в душу, умиротворяло ее. Картинно стояли на холмах среди полей барские усадьбы, кресты сельских храмов лучисто сияли над землею, и Самгин думал:

«Вот это — настоящая Русь, красивая, уютная земля простых людей-».

Пейзаж портили красные массы и трубы фабрик. Вечером и по праздникам на дорогах встречались группы рабочих; в будни они были чумазы, растрепанны и злы, я праздники приодеты, почти всегда пьяны или выпивши, шли они с гармониями, с песнями, как рекрута, и тогда фабрики принимали сходство с казармами. Однажды кучка таких веселых ребят, выстроившись поперек дороги, крикнула ямщику:

— Сворачивай!

Ямщик покорно свернул, уступив им дорогу, а какой-то бородатый человек, без фуражки, с ремешком на голове и бубном в руках, ударив в бубен кулаком, закричал Самгину:

— Эх ты, чиновник, всему горю виновник! Но все-таки не верилось, что и такие люди могут примкнуть к революционерам. Иногда лошади бежали с утра до вечера и не могли выбежать с бугроватой ладони московской земли. Земля казалась доброй, матерински мягко лелеющей человека. Спокойное молчание полей внушительно противоречило всему, что Самгин читал, слышал, и гасило мысли о возможности каких-то социальных катастроф. Из поездок Самгин возвращался уравновешенным. Но, уезжая, он принимал от Любаши книжки, брошюрки и словесные поручения к сельским учителям и земским статистикам, одиноко затерянным в селах, среди темных мужиков, в маленьких городах, среди стойких людей; брал, уверенный, что бумажками невозможно поджечь эту сыроватую жизнь.

Как-то вечером, когда Самгины пили чай, явился господни Митрофанов с просьбою отсрочить ему платеж за квартиру.

— Надежда Анфимьевна никаких моих оправданий в расчет не принимает, и вот, обойдя ее, осмеливаюсь обратиться к вам, — сказал он.

Удовлетворив просьбу, Варвара предложила ему чаю, он благодарно и с достоинством сел ко столу, но через минуту встал и пошел по комнате, осматривая гравюры, держа руки в карманах брюк.

— Это — кто? — спросил он, указывая подбородком на портрет Шекспира, и затем сказал таким тоном, как будто Шекспир был личным его другом:

— Похож.

Посмотрев в кулак на Щедрина, он вздохнул:

— Внушительное лицо.

И, снова присаживаясь к столу, выговорил с новым вздохом:

— Да, — «были когда-то и мы рысаками». Этим он весьма развеселил хозяев, и Варвара начала расспрашивать о его литературных вкусах. Ровным, бесцветным голосом Митрофанов сообщил, что он очень любит:

— Жульнические романы, как, примерно, «Рокамболь», «Фиакр номер 43» или «Граф Монте-Кристо». А из русских писателей весьма увлекает граф Сальяс, особенно забавен его роман «Граф Тятин-Балтийский», — вещь, как знаете, историческая. Хотя у меня *к* истории — равнодушие.

— Почему? — спросила Варвара, забавляясь.

— Да ведь что же, знаете, я» е вчера живу, а — сегодня, и назначено мне завтра жить. У меня и без помощи книг от науки жизни череп гол…

Ему было лет сорок, на макушке его блестела солидная лысина, лысоваты были и виски. Лицо — широкое, с неясными глазами, и это — все, что можно было сказать о его лице. Самгин вспомнил Дьякона, каким он был до того, пока не подстриг — бороду. Митрофанов тоже обладал примелькавшейся маской сотен, а спокойный, бедный интонациями голос его звучал, как отдаленный шумок многих голосов.

— Хваленые писатели, вроде, например, Толстого, — это для меня — прозаические, без фантазии, — говорил он. — Что из того, что какой-то Иван Ильич захворал да помер или госпожа Познышева мужу изменила? Обыкновенные случаи ничему не учат.

Варвара весело поблескивала глазами в сторону мужа, а он слушал, гостя есе более внимательно.

— Когда что-нибудь делается по нужде, так в этом радости не сыщешь. Покуда сапожник сапоги тачает — что же в нем интересного? А ежели он кого-нибудь убьет да спрячется…

Митрофанов поднялся со стула и сказал:

— Извиняюсь, заговорился. Очень вам благодарен за отсрочку.

— Заходите иногда посидеть, — пригласил Самгин. Поблагодарив еще раз, Митрофанов ушел.

— До чего он глуп! — смеясь, — воскликнула Варвара, Самгин промолчал.

Через несколько дней, тоже вечером, Митрофанов снова пришел и объяснил тоном старого знакомого:

— Вижу — скромный огонек у вас, спросил горничную: чужих — нет? Нет. Ну, я и осмелился.

В этот вечер Сангины узнали, что Митрофанов, Иван Петрович, сын купца, родился в городе Шуе, семь лет сидел в гимназии, кончил пять классов, а в шестом учиться не захотелось.

— Кстати, тут отец помер, мать была человек больной и, опасаясь, что я испорчусь, женила меня двадцати лет, через четыре года — овдовел, потом — снова женился и овдовел через семь лет.

Он тряхнул головою, как бы пробуя согнуть короткую шею, но шея не согнулась. Тогда, опустив глаза, он прибавил со вздохом:

— Со второй женой в Орле жил, она орловская была. Там — чахоточных очень много. И — крапивы, все заборы крапивой обросли. Теперь у меня третья; конечно — не венчаны. Уехала в Томск, там у нее…

Прищурясь, он посмотрел в темный угол комнаты, казалось — он припоминает: кто там, в Томске, у его жены? Припомнил:

— Брат.

Среднего роста, он был не толст, но кости у него широкие и одет он во все толстое. Руки тяжелые, неловкие, они прятались в карманы, под стол, как бы стыдясь широты и волосатости кистей. Оказалось, что он изъездил всю Россию от Астрахани до Архангельска и от Иркутска до Одессы, бывал на Кавказе, в Финляндии.

— Любите путешествовать? — спросил Самгин.

— Нет, я… места искал.

— Но ведь вы — зажиточный человек? Митрофанов удивился:

— Какой же я зажиточный, если не могу в срок за квартиру заплатить? Деньги у меня были, но со второю женой я все прожил; мы с ней в радости жили, а в радости ничего не жалко.

Самгин осведомился: какое место ищет он?

— По способностям, — ответил Митрофанов и не очень уверенно объяснил: — Наблюдать за чем-нибудь. Подумав, он прибавил с улыбкой:

— Я, еще мальчишкой будучи, пожарным на каланче завидовал: стоит человек на высоте, и все ему видно.

Самгин понимал, что хотя в этом человеке тоже есть нечто чудаковатое, но оно не раздражает. Почему?

Варвара нашла уже, что Митрофанов не так забавен, каким показался в первый его визит; Клим сказал ей:

— У него дурная склонность полуграмотных людей к философствованию, но у него это ограничено здравым смыслом.

И вдруг Иван Петрович Митрофанов стал своим человеком у Самгиных. Как-то утром, идя в Кремль, Самгин увидал, что конец Никитской улицы туго забит толпою людей.

— Студентов загоняют в манеж, — объяснил ему спокойный человек с палкой в руке и с бульдогом на цепочке. Шагая в ногу с Климом, он прибавил:

— Обыкновеннейшая история.

Самгин вспомнил письмо, недавно полученное Любашей от Кутузова из ссылки.

«Напрасно, голубица моя, сокрушаетесь, — писал Кутузов, — не в ту сторону вы беспокоитесь».

Дальше он доказывал, что, конечно, Толстой — прав:

студенческое движение — щель, сквозь которую большие дела не пролезут, как бы усердно ни пытались протиснуть их либералы. «Однако и юношеское буйство, и тихий ропот отцов, и умиротворяющая деятельность Зубатова, и многое другое — все это ручейки незначительные, но следует помнить, что маленькие речушки, вытекая из болот, создали Волгу, Днепр и другие весьма мощные реки. И то, что совершается в университетах, не совсем бесполезно для фабрик».

Припоминая это письмо, Самгин подошел к стене, построенной из широких спин полицейских солдат: плотно составленные плечо в плечо друг с другом, они действительно образовали необоримую стену; головы, крепко посаженные на красных шеях, были зубцами стены. На площади группа студентов отчаянно и нестройно кричала «Нагаечку» — песню, которую Самгин считал пошлой и унижающей студенчество. Но песня эта узнавалась только по ритму, слов не было слышно сквозь крики и свист. К поющей группе полицейские подталкивали, подгоняли с Моховой улицы еще и еще людей в зеленоватых пальто, группа быстро разрасталась. Самгин видел возбужденные лица с открытыми ртами, но возбуждение казалось ему не гневным, а веселым и озорниковатым. Падал снег, сухо», как рыбья чешуя.

В годы своего студенчества он мудро и удачно избегал участия в уличных демонстрациях, но раза две издали- видел, как полиция разгоняла, арестовывал» демонстрантов, и вынес впечатление, что это делалось грубо, отвратительно. Сейчас ему казалось, что полицейские действуют вовсе не грубо и не злобно, а механически, как делается дело бесплодное и надоевшее. Было что-то очень глупое в том, как черные солдаты, конные и пешие, сбивают, стискивают зеленоватые единицы в большое, плотное тело, теперь уже истерически и грозно ревущее, стискивают и медленно катят, толкают этот огромный, темнозеленый ком в широко открытую пасть манежа. Зрители, в толпе которых стоял Самгин, раньше молчаливые, теперь тоже начали ворчать.

— «Лес рубят, молодой, зеленый, стройный лес», — процитировал мрачным голосом кто-то за спиною Самгина, — он не выносил эти стихи Галиной, находя их фальшивыми и пошленькими. Он видел, что возбуждение студентов все растет, а насмешливое отношение зрителей к полиции становится сердитым.

Недалеко от него стоял, сунув руки в карманы, человек высокого роста^ бритый, судя по костюму и по закоптевшему лицу — рабочий-металлист. Он смотрел между голов двух полицейских и жевал губами погасшую папиросу. Казалось, что чем более грубо и свирепо полиция толкает студентов, тем длиннее становится нос и острее все лицо этого человека. Посмотрев на него несколько раз, Самгин вспомнил отрывок из статьи Ленина в «Искре»: «Студент шел на помощь рабочему, — рабочий должен идти на помощь студенту. И не достоин звания социалиста тот рабочий, который способен равнодушно смотреть на то, как правительство посылает полицию и войска против учащейся молодежи».

«Ну, что же? — подумал Самгин. — Вот он смотрит не равнодушно, а с любопытством».

Его толкали в бока, в спину, и чей-то резкий голос кричал через его плечо:

— Господа — протестуйте! Вы видите — уже бьют! Ведь это — наши дети... надежда страны, господа!

Самгин видел, как под напором зрителей пошатывается стена городовых, он уже хотел выбраться из толпы, идти назад, но в этот момент его потащило вперед, и он очутился на площади, лицом к лицу с полицейским офицером, офицер был толстый, скреплен ремнями, как чемодан, а лицом очень похож на редактора газеты «Наш край».

— Пожалуйте, — сказал он Самгину, указывая рукою в перчатке на манеж.

— Мне в судебную палату, спешное дело, — объяснил Клим, но офицер, взмахнув рукою, повторил крикливо:

— Пожалуйте, я вам говорю!

В следующую минуту Клим оказался в толпе студентов, которую полиция подгоняла от университета к манежу, и курносый, розовощекий мальчик, без фуражки на встрепанных волосах, закричал, указывая на него:

— Коллеги! Среди нас — агент охраны. Но тотчас же его схватил за руку плечистый студент с рыжими усами на широком лице.

— Вы, Клим Иванович, как попали? — удивленно спросил он. — Вам не место в этой игре. Нуте-ко…

Он стал расталкивать товарищей локтями и плечами, удивительно легко, точно ветер траву, пошатывая людей. Вытолкнув Самгина из гущи толпы, он сказал:

— До свидания! Не узнали меня?

Клим не успел ответить; тщедушный человечек в сером пальто, в шапке, надвинутой на глаза, схватившись руками за портфель его, тонко взвизгнул:

— Держите его!

— Почему? — спросил студент.

— Не ваше дело! Не ваше…

— Почему? — повторил студент, взял человека за ворот и встряхнул так, что с того слетела шапка, обнаружив испуганную мордочку. Самгина кто-то схватил сзади за локти, но тотчас же, крякнув, выпустил, затем его сильно дернули за полы пальто, он пошатнулся, едва устоял на ногах; пронзительно свистел полицейский свисток, студент бросил человека на землю, свирепо крикнув:

— Эй, вы, чин! — и, размахнувшись, звучно ударил кого-то по лицу, а Самгин не своим голосом закричал:

— Что вы делаете? Вы понимаете — что вы делаете? У него дрожали ноги, голос звучал где-то высоко в горле, размахивая портфелем, он говорил, не слыша своих слов, а кругом десятки голосов кричали:

— Браво! Долой полицию! Долой…

В глазах Самгина все качалось, подпрыгивало, мелькали руки, лица, одна из них сорвала с него шляпу, другая выхватила портфель, и тут Клим увидал Митрофанова, который, оттолкнув полицейского, сказал спокойно:

— Куда лезешь? Не узнал?

Поставив Клима впереди себя, он растолкал его телом студентов, а на свободном месте взял за руку и повел за собою. Тут Самгина ударили чем-то по голове. Он смутно помнил, что было затем, и очнулся, когда Митрофанов с полицейским усаживали его в сани извозчика.

— Пошел, — сказал Митрофанов, шлепнув извозчика портфелем по плечу, сунул портфель под мышку Самгина и проворчал: — Охота вам связываться…

На Театральной площади, сказав извозчику адрес и не останавливая его, Митрофанов выпрыгнул из саней. Самгин поехал дальше, чувствуя себя физически больным и как бы внутренне ослепшим, не способным видеть свои мысли. Голова тупо болела.

Дома он расслабленно свалился на диван. Варвара куда-то ушла, в комнатах было напряженно тихо, а в голове гудели десятки голосов. Самгин пытался вспомнить слова своей речи, но память не подсказывала их. Однако он помнил, что кричал не своим голосом и не свои слова.

«Припадок истерии, — упрекнул он себя. — Как все это случилось?» — думал он, закрыв глаза, и невольно вспомнил странное поведение свое в момент, когда разрушалась стена казармы.

— Точно мальчишка, первокурсник.

Трудно было разобраться в беспорядочном течении вялых мыслей, а они слагались в обиднее сознание какой-то измены самому себе.

«Стадное чувство. Магнетизм толпы», — оправдывался он, но это не утешало. И все более тревожил вопрос: что он говорил?

Но, когда пришла Варвара и, взглянув на него, обеспокоенно спросила: что с ним? — он, взяв ее за руку, усадил на диван и стал рассказывать в тоне шутливом, как бы не о себе. Он даже привел несколько фраз своей речи, обычных фраз, какие говорятся на студенческих митингах, но тотчас же смутился, замолчал.

— Тебя сильно ударили? — спросила Варвара ласково и с удивлением.

— Нет.

Он стал осторожно рассказывать дальше, желая сказать только то, что помнил; он не хотел сочинять, но как-то само собою выходило, что им была сказана резкая речь.

— Меня — как говорится — взорвало, и я накричал, равномерно и на полицию и на студентов, — объяснял он.

Рассказ его очень взволновал и удивил Варвару, прижимаясь к нему, она восклицала:

— И это — ты? Такой сдержанный? Он встал, прошелся по комнате, остановись у зеркала, пригладил волосы и, вздохнув, сказал:

— В конце концов — все-таки плохо знаешь себя. Тут Варвара спросила каким-то странным тоном:

— Но — почему же тебя не арестовали?

— Меня и хотели арестовать, но началась драка, студенты затолкали меня в публику…

Только в эту минуту он вспомнил о Митрофанове и рассказал о нем. Обмахивая лицо платком. Варвара быстро вышла из комнаты, а он снова задумался:

«Как это случилось, что я потерял власть над собою?»

Тревожила мысль о возможном разноречии между тем, что рассказал Варваре он и что скажет постоялец. И, конечно, сыщики заметили его, так что эта история, наверное, будет иметь продолжение.

Вошла Варвара, говоря:

— Пальто выпачкано известкой, карман оторван, ох, Клим, родной мой…

Она прижала голову к его груди, вздрагивая, а Самгин подумал:

«Что же это она пальто осматривала, — не верит мне?»

Но это не обидело его, он сам себе не верил и не узнавал себя. Нежность и тревожное удивление Варвары несколько успокоили его, а затем явился, как раз к обеду,

Митрофанов. Вошел он робко, с неопределенной, во как будто виноватой улыбочкой, спрятав руки за спиною.

«Что он расскажет?» — беспокойно подумал Самгин, видя его смущение.

Варвара, встретив Митрофанова словами благодарности, усадила его к столу, налила водки и, выпив за его здоровье, стала расспрашивать; Иван Петрович

покашливал, крякал, усердно пил, жевал, а Самгин, видя, что он смущается все больше, нетерпеливо спросил:

— Как это вам удалось меня вытащить из рук полиции?

Мигая, постоялец взглянул на него и не торопясь, как бы опасаясь выговорить какое-то лишнее слово, рассказал:

— А… видите ли, они — раненых не любят, то есть — боятся, это — не выгодно им. Вот я и сказал: стой, это — раненый. Околоточный — знакомый, частенько на биллиарде играем…

— Он спросил — кто я?

— Нет. Да и спросил бы, так не узнал, — ответил Митрофанов, усмехаясь.

— Да вы ешьте, Иван Петрович, — уговаривала Варвара. — Ах, какой вы милый человек!

Митрофанов взглянул на нее, на Самгина и, как бы догадавшись о чем-то приятном ему, вдруг оживился, стал сам собою и продолжал уже веселым тоном:

— Я стоял у книжной лавки Карцева, вдруг — вижу:

Клима Иваныча толкают. И, знаете, раззадорился, как, бывало, мальчишкой: не тронь наших!

Это очень развеселило Самгиных, и вот с этого дня Иван Петрович стал для них домашним человеком, прижился, точно кот. Он обладал редкой способностью не мешать людям и хорошо чувствовал минуту, когда его присутствие становилось лишним. Если к Самгиным приходили гости, Митрофанов немедленно исчезал, даже Любаша изгоняла его.

— Я, извините, ученых барышень боюсь, — сказал он. Варвару он все более забавлял, рассказывая ей смешное о провинциальной жизни, обычаях, обрядах, поверьях, пожарах, убийствах и романах. Смешное он подмечал неплохо, но рассказывал о нем добродушно и даже как бы с сожалением. Рассказывал о ловле трески в Белом море, о сборе кедровых орехов в Сибири, о добыче самоцветов на Урале, — Варвара находила, что он рассказывает талантливо.

Самгин слушал его все более внимательно и серьезно, чувствуя в Митрофанове нечто крепкое и успокаивающее. Возвращаясь из поездок, он передавал ему свои впечатления и с удовольствием выслушивал образную речь:

— Конечно, мужик у нас поставлен неправильно, — раздумчиво, но уверенно говорил Митрофанов. — Каждому человеку хочется быть хозяином, а не квартирантом. Вот я, например, оклею комнату новыми обоями за свой счет, а вы, как домохозяева, скажете мне: прошу очистить комнату. Вот какое скучное положение у мужика, от этого он и ленив к жизни своей. А поставьте его на собственную землю, он вам маком расцветет.

И, спрятав руки в карманы, продолжал:

— Вообще — это бесполезное занятие в чужом огороде капусту садить. В Орле жил под надзором полиции один политический человек, уже солидного возраста и большой умственной доброты. Только — доброта не средство против скуки. Город — скучный, пыльный, ничего орлиного не содержит, а свинства — сколько угодно! И вот он, добряк, решил заняться украшением окружающих людей. Между прочим, жена моя — вторая — немножко пострадала от него — из гимназии вытурили…

Варвара неприлично и до слез хохотала, Самгин, опасаясь, что квартирант обидится, посматривал на нее укоризненно. Но Митрофанов не обижался, ему, видимо, нравилось смешить молодую женщину, он вытаскивал из кармана руку и с

улыбкой в бесцветных глазах разглаживал пальцем редковолосые усы.

— Н-да, так вот этот щедрословный человек внушал, конечно, «сейте разумное, доброе» и прочее такое, да вдруг, знаете, женился на вдове одного адвоката, домовладелице, и тут, я вам скажу, в два года такой скушный стал, как будто и родился и всю жизнь прожил в Орле.

Самгин все более определенно чувствовал, что Иван Петрович служит как бы корректором его впечатлений. Как-то ночью, возвратись из театра и раздеваясь, Варвара сказала:

— А ведь Митрофанов был бы хорошим комиком, он — талантливый.

— Преувеличиваешь, — возразил Самгин, совершенно не желая видеть постояльца талантливым. — Он просто — типично русский здравомыслящий человек, каких миллионы.

А окончательно приобрел Митрофанов в глазах Клима цвет и форму пасхальною ночью.

После Ходынки и случая у манежа Самгин особенно избегал скопления людей, даже публика в фойе театров была неприятна ему; он инстинктивно держался ближе к дверям, а на улицах, видя толпу зрителей вокруг какого-то несчастия или скандала, брезгливо обходил людей стороной.

Он очень неохотно уступил настойчивой просьбе Варвары пойти в Кремль, а когда они вошли за стену Кремля и толпа, сейчас же всосав его в свою черную гущу, лишила воли, начала подталкивать, передвигать куда-то, — Самгин настроился мрачно, враждебно всему. Он вздохнул свободнее, когда его и Варвару оттеснили к нелепому памятнику царя, где было сравнительно просторно.

Холодная тьма сжала людей в единое, чудовищное целое, оно волнообразно покачивалось, прогибая землю своей тяжестью. Желтые, жирные потоки света из окон храма вторгались во тьму над толпой, раздирали тьму, и по краям разрывов она светилась синевато, как лед. Свет падал на непокрытые головы, было много лысых черепов, похожих на картофель, орехи и горошины, все они были меньше естественного, дневного объема и чем дальше, тем заметнее уменьшались, а еще дальше люди сливались в безглавое и бесформенное черное. Черными кентаврами возвышались над толпой конные полицейские; близко к одному из них стоял высокий, тучный человек в шубе с меховым воротником, а из воротника торчала голова лошади, кланяясь, оскалив зубы, сверкая удилами. Грозно, как огромный, уродливый палец с медным ногтем, вонзалась в темноту колокольня Ивана Великого, основание ее плотно окружала темная масса, волнуясь, как мертвая зыбь, и казалось, что колокольня тоже покачивается.

Клим Самгин подумал: упади она, и погибнут сотни людей из Охотного ряда, из Китай-города, с Ордынки и Арбата, замоскворецкие люди из пьес Островского. Еще большие сотни, в ужасе пред смертью, изувечат, передавят друг друга. Или какой-нибудь иной ужас взорвет это крепко спрессованное тело, и тогда оно, разрушенное, разрушит все вокруг, все здания, храмы, стены Кремля.

Толпа вздыхала, ворчала, напоминая тот горячий шумок, который слышал Самгин в селе, когда там поднимали колокол, здесь люди, всей силою своей, тоже как будто пытались поднять невидимую во тьме тяжесть и, покачиваясь, терлись друг о друга. Казалось, что вся сила людей, тяготея к желтой, теплой полосе света, хочет втиснуться в двери собора, откуда, едва слышен, тоже плывет подавленный гул. Но все-таки было тихо, как-то особенно холодно тихо. И становилось все тише, точно погружаясь в ненарушимое молчание холодной ночи и не оттаявшей земли. Лица ближайших людей Самгин видел угрюмыми, напряженно и нетерпеливо ожидающими рассвета и тепла. Варвара, стоя бок о бок с ним, вздрагивала, нерешительно шевелила правой рукой, прижатой ко груди, ее застывшее лицо Самгин находил деланно благочестивым и молчал, желая услышать жалобу на

холод и на людей, толкавших Варвару.

Из толпы вывернулся Митрофанов, зажав шапку под мышкой, держа в руке серебряные часы, встал рядом и сказал вполголоса, заикаясь:

— Сейчас ударят. Сейчас!

Приоткрыв рот, он вскинул голову, уставился выпученными глазами в небо, как мальчишка, очарованно наблюдающий полет охотницких голубей.

И вдруг с черного неба опрокинули огромную чашу густейшего медного звука, нелепо лопнуло что-то, как будто выстрел пушки, тишина взорвалась, во тьму влился свет, и стало видно улыбки радости, сияющие глаза, весь Кремль вспыхнул яркими огнями, торжественно и бурно поплыл над Москвой колокольный звон, а над толпой птицами затрепетали, крестясь, тысячи рук, на паперть собора вышло золотое духовенство, человек с горящей разноцветно головой осенил людей огненным крестом, и тысячеустый голос густо, потрясающе и убежденно — трижды сказал:

— Воистину воскресе!

— Христос воскресе, — не сказал, а рявкнул Митрофанов, обняв Клима, целуя его; он сразу опьянел и плакал, радостно всхлипывая:

— Вот как мы, а? Ах, господи… Он обнял и Варвару, целуя, встряхивая ее, он бормотал:

— И не веришь, а — поверишь: воистину воскрес, а? Слезы текли по лицу его так обильно, как будто вся кожа лица вспотела слезами, а Варвара, сконфуженно отталкивая его, умоляюще глядя на Клима, укоризненно позвала:

— Клим?

Голос ее прозвучал жалобой и упреком; все вокруг так сказочно чудесно изменилось; Самгин был взволнован волнением постояльца, смущенно улыбаясь и все еще боясь показаться смешным себе, он обнял жену:

— Христос воскресе, Варя.

Она крепко прижалась к нему, а он смотрел через плечо ее на Митрофанова, в его мокрое лицо, в счастливые глаза и слушал умиленный голос:

— Момент! Нигде в мире не могут так, как мы, а? За всех! Клим Иваныч, хорошо ведь, что есть эдакое, — за всех! И — надо всеми, одинаковое для нищих, для царей. Милый, а? Вот как мы…

Толпа быстро распадалась на отдельных, вполне ясных людей, это — очень обыкновенные люди, только празднично повеселевшие, они обнажали головы друг пред другом, обнимались, целовались и возглашали несчетное число раз:

— Христос…

— Воистину…

Как будто они впервые услыхали эту весть, и Самгин не мог не подумать, что раньше радость о Христе принималась им как смешное лицемерие, а вот сейчас он почему-то не чувствует ничего смешного и лицемерного, а даже и сам небывало растроган, обрадован. Оглядываясь, он видел, что все страшное, подавляющее исчезло. Всюду ослепительно сверкали огни иллюминаций, внушительно гудел колокол Ивана Великого, и радостный звон всех церквей города не мог заглушить его торжественный голос. Всюду над Москвой, в небе, все еще густочерном, вспыхнули и трепетали зарева, можно было думать, что сотни медных голосов наполняют воздух светом, а церкви поднялись из хаоса домов золотыми кораблями сказки.

Митрофанов, идя боком, кружась, бесцеремонно, но все-таки вежливо расталкивал людей, очищая дорогу Варваре, и вес говорил что-то значительное.

— Мы, — повторял он, — мы…

Праздничный шум людей мешал Климу понимать его. Самгиных пригласил разговляться патрон, но Клим вдруг решил:

— Знаешь, Варя, пойдем-ка домой! Иван Петрович с нами — хорошо?

— О, я так рада, — сказала она.

— А я — необыкновенно взволнован, — сознался Самгин нерешительно и смущенно. — Я завтра извинюсь пред патроном.

— Покорно благодарю, — говорил Митрофанов. — Я к вам — с радостью.

Он отирал лицо платком и, размахивая им, задевал людей, — Варвара ласково заметила ему это.

— Ничего, сегодня — не обижаются, — сказал он. Христосовались с Анфимьевной, которая, надев широчайшее шелковое платье, стала похожа на часовню, с поваром, уже пьяным и нарядным, точно комик оперетки, с горничной в розовом платье и множестве лент, ленты напомнили Самгину свадебную лошадь в деревне. Но, отмечая все эти мелочи, он улыбался добродушно, потирая руки, снимал и надевал очки, сознавая, что ведет себя необычно. Возникали смешные желания, конфузившие его, хотелось похлопать Митрофанова по плечу, запеть «Христос воскресе», сказать Варваре ласковые и веселые слова. Варвара была вся в светлом, как невеста, и была она красиво, задумчиво тиха; это тоже волновало Самгина. Он стоял у стола, убранного цветами, смотрел на улыбающуюся мордочку поросенка, покручивал бородку и слушал, как за его спиною Митрофанов говорит:

— Господин Долганов — есть такой! — доказывал мне, что Христа не было, выдумка — Христос. А — хотя бы? Мне-то что? И выдумка, а — все-таки есть, живет! Живет, Варвара Кирилловна, в каждом из нас кусочек есть, вот в чем суть! Мы, голубушка, плохи, да не так уж страшно…

— Сядемте, — предложил Клим, любуясь оживлением постояльца, внимательно присматриваясь к нему и находя, что Митрофанов одновременно похож на регистратора в окружном суде, на кассира в магазине «Мюр и Мерилиз», одного из метр-д-отелей в ресторане «Прага», на университетского педеля и еще на многих обыкновеннейших людей. Он был одет в черную, неоднократно утюженную визитку, в белый пикейный жилет, воротник его туго накрахмаленной рубашки замшился и подстрижен ножницами. Глотая рюмку за рюмкой «зубровку», он ораторствовал:

— Мы все от Христа пошли, и это для всех — один путь. И все хотим благоденственного и мирного жития, чего и Христос хотел, да!

— Один поэт, — сказал Клим, — то есть он не поэт, а Дьякон…

— Дьякон, да! — согласился или подтвердил Митрофанов. — Ну-с?

— Он сказал Христу:

Мы тебя и ненавидя — любим,Мы тебе и ненавистью служим.

— Как это? — спросил Митрофанов, держа рюмку в руке на уровне рта, а когда Клим повторил, он, поставив на стол невыпитую рюмку, нахмурился, вдумываясь и мигая.

— Может быть, это — и верно, но — как-то… дерзко, — задумчиво сказала Варвара.

— Дьякон, говорите? — спросил Митрофанов. — Что же он — пьяница? Эдакие слова в пьяном виде говорят, — объяснил он, выпил водки, попросил: — Довольно, Варвара Кирилловна, не наливайте больше, напьюсь.

И снова заговорил:

— Ненависть — я не признаю. Ненавидеть — нечего, некого. Озлиться можно на часок, другой, а ненавидеть — да за что же? Кого? Все идет по закону естества. И — в гору идет. Мой отец бил мою мать палкой, а я вот… ни на одну женщину не замахивался даже… хотя, может. следовало бы и ударить.

— А если это не в гору идет, под гору? — тихо спросила Варвара и заставила Самгина пошутить:

— Ты хочешь, чтоб я тебя бил?

— Невозможно представить, — воскликнул Митрофанов, смеясь, затем, дважды качнув головою направо и налево, встал. — Я, знаете, несколько, того… пьян! А пьяный я — не хорош!

Он снова, но уже громко, рассмеялся и сказал, тоже очень громко:

— Пьяный я — плакать начинаю, ей-богу! Плачу и плачу, и чорт знает о чем плачу, честное слово! Ну, спасибо вам за привет и ласку…

— Славный человек, — вздохнула Варвара, когда постоялец ушел.

Уже светало; в сером небе появились голубоватые ямы, а на дне одной из них горела звезда.

— Человек от людей, — сказал Клим, подходя к жене. — Вот именно: от людей, да! Но я тоже немножко опьянел.

Он обнял Варвару, подняв ее со стула, поцеловал, но она, прильнув к нему, тихонько попросила:

— Нет, ты меня не трогай, пожалуйста. И, освободясь из его рук, схватилась за виски несколько театральным жестом.

— Голова болит?

— Нет, но… Как непонятно все, Клим, милый, — шептала она, закрыв глаза. — Как непонятно прекрасное… Ведь было потрясающе прекрасно, да? А потом он… потом мы ели поросенка, говоря о Христе…

— Девочка моя, что ты? — спросил Самгин, ласково, но уже с легкой досадой.

— Да, глупо… я знаю! Но — обидно, видишь ли. Нет, не обидно?

Она смотрела в лицо его вопросительно, жалобно, и Клим почувствовал, что она готова заплакать.

— Ты переволновалась, вот что…

— Да, я пойду, лягу, — сказала она, быстро уходя в свою комнату. Дважды щелкнул замок двери.

«Устала. Капризничает, — решил Клим, довольный, что она ушла, не успев испортить его настроения. — Она как будто молодеет, становится более наивной, чем была».

Подойдя к столу, он выпил рюмку портвейна и, спрятав руки за спину, посмотрел в окно, на небо, на белую звезду, уже едва заметную в голубом, на огонь фонаря у ворот дома. В памяти неотвязно звучало:

«Христос воскресе из мертвых...» Клим Самгин оглянулся и тихонько пропел:

— «Смертию смерть попра».

— Или — поправ? — серьезно вполголоса спросил он кого-то, затем повторил тихо, тенорком:

— «Смертию смерть поправ».

Он снова оглянулся, прислушался, в доме и на улице было тихо.

— Это, разумеется, смешно, что я пою. Но я — нетрезв, вот в чем дело, — объяснял он кому-то. — Пою, потому что немножко пьян.

Ему хотелось петь громко, торжественно, как поют в церкви. И чтоб из своей комнаты вышла Варвара, одетая в светлое, точно к венцу.

— Очень глупо, а — понятно! Митрофанов пьяный — плачет, я — пою, — оправдывался он, крепко и стыдливо закрыв глаза, чтоб удержать слезы. Не открывая глаз, он пощупал спинку стула и осторожно, стараясь не шуметь, сел. Теперь ему не хотелось, чтоб вышла Варвара, он даже боялся этого, потому что слезы все-таки текли из-под ресниц. И, торопливо стирая их платком, Клим Самгин подумал:

«В жизни моей что-то... не так, неладно».

Звезда уже погасла, а огонь фонаря, побледнев, еще горел, слабо освещая окно дома напротив, кисейные занавески и тени цветов за ними.

На другой день, вспомнив этот припадок лиризма и жалобу свою на жизнь, Самгин снисходительно усмехнулся. Нет, жизнь налаживалась неплохо. Варвара усердно читала стихи и прозу символистов, обложилась сочинениями по истории искусства, — Самгин, понимая, что это она готовится играть роль хозяйки «салона», поучал ее:

— Нужно знать, по возможности, все, но лучше — не увлекаться ничем. «Все приходит и все проходит, а земля остается вовеки». Хотя и о земле неверно.

Она уже предложила ему устраивать по субботам маленькие вечера для знакомых, но Клим спросил:

— А ты уверена, что каждую субботу обязательно захочешь видеть у себя чужих людей? Нет, это преждевременно.

Она немного и нерешительно поспорила с ним, Самгин с удовольствием подразнил ее, но, против желания его, количество знакомых непрерывно и механически росло. Размножались люди, странствующие неустанно по чужим квартирам, томимые любопытством, жаждой новостей и какой-то непонятной тревогой.

— Вы знаете? Вы слышали? Как вы думаете? — спрашивали они друг друга и Самгина.

Говорили о том, что Россия быстро богатеет, что купечество Островского почти вымерло и уже не заметно в Москве, что возникает новый слой промышленников, не чуждых интересам культуры, искусства, политики. — Самгин находил, что об этом следовало бы говорить с радостью, с чувством удовлетворения, наконец — с завистью чужой удаче, но он слышал в этих разговорах только недоброжелательство. С радостью же говорили о волнениях студентов, стачках рабочих, о том, как беднеет деревня, о бездарности чиновничества. Но это не расстраивало его. Он был совершенно согласен с Татьяной Гогиной, которая как-то в разгаре спора крикнула:

— А — по-моему, все мы бездельники, лентяи и... и жертвы общественного оживления. Вот кто мы!

— Это — верно, — сказал он ей. — Собственно, эти суматошные люди, не зная, куда себя девать, и создают так называемое общественное оживление в стенах интеллигентских квартир, в пределах Москвы, а за пределами ее тихо идет нормальная, трудовая жизнь простых людей…

— Ну, знаете, вы, кажется, тоже, — перебила его Татьяна и, после паузы, договорила с неприятной усмешкой: — Тоже неизвестно кто!

Эта девица, не очень умея говорить дерзости, говорила их всегда и всем.

Приходил Митрофанов, не спеша выпивал пять-шесть стаканов чаю, безразлично кушал хлеб, бисквиты, кушал все, что можно было съесть, и вносил успокоение.

— Что, не нашли еще места? — спрашивала Варвара.

— Нет, — говорил он без печали, без досады. — Здесь трудно человеку место найти. Никуда не проникнешь. Народ здесь, как пчела, — взятки любит, хоть гривенник, а — дай! Весьма жадный народ.

И, вытирая комочком носового платка мокрые губы, философствовал:

— А — чего ради жадность? Не по сту лет живем, всем хватит. Нет, Москва жадна. Не зря ее Сибирь, хохлы и прочее население не любит. А вот, знаете, с татарами хорошо жить. Татарин — спокойный человек, ему коран запрещает жадничать и суетиться. Мне один человек, почти профессор, жаловался — доказывал, что Дмитрий Донской и прочие зря татарское иго низвергли, большую пользу будто бы татары приносили нам, как народ тихий, чистоплотный и не жадный. А Петр Великий навез немцев, евреев, — у него даже будто бы министр еврей был, — и этот навозный народ испортил Москву жадностью.

Да, жизнь Клима Самгина текла не плохо, но вдруг выбилась из спокойных берегов.

Началось это в знаменитом капище Шарля Омона, человека с лозунгом:

— Всякая столишни гор-род дольжна бить как Париж, — говорил он и еще говорил: — Когда шельовек мало веселий, это он мало шельовек, не совсем готови шельовек pour la vie.

И, чтоб довоспитать русских людей для жизни, Омон создал в Москве некое подобие огромной, огненной печи и в ней допекал, дожаривал сыроватых россиян, показывая им самых красивых и самых бесстыдных женщин.

Входя в зал Омона, человек испытывал впечатление именно вошедшего в печь, полную ослепительно и жарко сверкающих огней. Множество зеркал, несчетно увеличивая огни и расплавленный жир позолоты, показывали стены идольского капища раскаленными докрасна. Впечатление огненной печи еще усиливалось, если смотреть сверху, с балкона: пред ослепленными глазами открывалась продолговатая, в форме могилы, яма, а на дне ее и по бокам в ложах, освещенные пылающей игрой огня, краснели, жарились лысины мужчин, таяли, как масло, голые спины, плечи женщин, трещали ладони, аплодируя ярко освещенным и еще более голым певицам. Выла и ревела музыка, на эстраде пронзительно пели, судорожно плясали женщины всех наций.

Самгины пошли к Омону, чтоб посмотреть дебют Алины Телепневой; она недавно возвратилась из-за границы, где, выступая в Париже и Вене, увеличила свою славу дорогой и безумствующей женщины анекдотами, которые вызывали возмущение знатоков и любителей морали. До ее поездки в Европу Алина уже сделала шумную карьеру «пожирательницы сердец», ее дебюты в провинции, куда она ездила с опереточной труппой, сопровождались двумя покушениями на самоубийство и дикими выходками богатых кутил. Вера Петровна писала Климу, что Робинзон, незадолго до смерти своей, ушел из «Нашего края», поссорившись с редактором,

который отказался напечатать его фельетон «О прокаженных», «грубейший фельетон, в нем этот больной и жалкий человек называл Алину «Силоамской купелью», «целебной грязью» и бог знает как».

У Омона Телепнева выступала в конце программы, разыгрывая незатейливую сцену: открывался занавес, и пред глазами «всей Москвы» являлась богато обставленная уборная артистки; посреди ее, у зеркала в три створки и в рост человека, стояла, спиною к публике, Алина в пеньюаре, широком, как мантия. Вполголоса напевая, женщина поправляла прическу, делала вид, будто гримируется, затем, сбросив с плеч мантию, оставалась в пенном облаке кружев и медленно, с мечтательной улыбкой, раза два, три, проходила пред рампой. Публика молча разглядывала ее в лорнеты и бинокли; в тишине зала ныли под сурдинку скрипки, виолончели, гнусавили кларнеты, посвистывала флейта, пылающий огнями зал наполняла чувственная и нарочно замедленная мелодия ланнеровского вальса, не заглушая сентиментальную французскую песенку, которую мурлыкала Алина.

Женщина умела искусно и убедительно показать, что она — у себя и не видит, не чувствует зрителей. Она смотрела в зал, как смотрят в пустоту, вдаль, и ее лицо мечтающей девушки, ее большие, мягкие глаза делали почтен целомудренными неприличные одежды ее. Затем она хлопала ладонями, являлись две горничные, брюнетка в красном и рыжая в голубом; они, ловко надев на нее платье, сменяли его другим, третьим, в партере, в ложах был слышен завистливый шопот, гул восхищения. Занавес опускался, публика аплодировала сдержанно, зная, что все это только прелюдия.

Главное начиналось, когда занавес снова исчезал и к рампе величественно подходила Алина Августова в белом, странно легком платье, которое не скрывало ни одного движения ее тела, с красными розами в каштановых волосах и у пояса. Покачиваясь, шевеля бедрами, она начинала петь, подчеркивая отдельные фразы острых французских песенок скупыми, красивыми жестами. Когда она поднимала руки, широкие рукава взмахивались, точно крылья, и получалось странное, жуткое противоречие между ее белой крылатой фигурой, наглой, вызывающей улыбкой прекрасного лица, мягким блеском ласковых- глаз и бесстыдством слов, которые наивно выговаривала она.

Пела она о том, как ее обыскивал таможенный чиновник.

— Асе»! Финиссэ! — смешливо взвизгивая, утомленно вздыхая, просила она и защищалась от дерзких прикосновений невидимых рук таможенного сдержанными жестами своих рук и судорожными движениями тела, подчиненного чувственному ритму задорной музыки. Самгин подумал, что, если б ее движения не были так сдержанны, они были бы менее бесстыдны.

В то время, как, вздрагивая, извиваясь и обессилев, тело явно уступало грубым ласкам невидимых рук, лицо ее улыбалось томной, но остренькой улыбкой, глаза сверкали вызывающе и насмешливо. Эта искусная игра повела к тому, что, когда Алина перестала петь, невидимые руки, утомившие ее, превратились в- сотни реальных, живых рук, неистово аплодируя, они все жадно тянулись к ней, готовые раздеть, измять ее. Прищурив глаза, облизываю губы кончиком языка, она победоносно смотрела на раскаленных людей и кивала им головою.

— Да, это — Париж! — удовлетворенно и тоном знатока сказал кто-то сзади Самгиных; ему ответили, вздохнув:

— Шикарна.

Самгин не аплодировал. Он был возмущен. В антракте, открыв дверь туалетной комнаты, он увидал в зеркале отражение лица и фигуры Туробоева, он хотел уйти, но Туробоев, не оборачиваясь к нему, улыбнулся в зеркало.

— Вот встреча!

Приглаживая щеткой волосы, он протянул Самгину свободную руку, потом, закручивая эспаньолку, спросил о здоровье и швырнул щетку на подзеркальник, свалив на пол медную пепельницу, щетка упала к ногам толстого человека с желтым лицом, тот ожидающим взглядом посмотрел на Туробоева, но, ничего не дождавшись, проворчал:

— В этих случаях — извиняются.

— Не все и не всегда — как видите, — откликнулся Туробоев, бесцеремонно и с механической улыбкой рассматривая Клима.

— Как вам нравится этот кабак? Самгин молча пожал плечами, а Туробоев брезгливо продолжал:

— Не видел ничего более безобразного, чем это… учреждение. Впрочем — люди еще отвратительнее. Здесь, очевидно, особенный подбор людей, не правда ли? До свидания, — он снова протянул руку Самгину и сквозь зубы сказал: — Знаете — Равашоля можно понять, а?

Этими словами он разбудил всю неприязнь Самгина к нему; Клим почувствовал, что в нем что-то лопнуло, взорвалось, и сами собою ехидно выговорились сухие слова:

— Вероятно, вы бы не сказали этого, если б здесь был кто-нибудь третий.

— Почему же не сказать? — спросил Туробоев, приподняв брови, кривая улыбочка его исчезла, а лицо потемнело: — Нет, я всегда разрешаю себе говорить так, как думаю.

— Будто бы всегда, — пробормотал Самгин, глядя в зеркало.

— Вы — не в духе? — осведомился Туробоев и, небрежно кивнув головою, ушел, а Самгин, сняв очки, протирая стекла дрожащими пальцами, все еще видел пред собою его стройную фигуру, тонкое лицо и насмешливо сожалеющий взгляд модного портного на человека, который одет не по моде.

«Нахальная морда, — кипели на языке Самгина резкие слова. — Свинья, — пришел любоваться женщиной, которую сделал кокоткой. Радикальничает из зависти нищего к богатым, потому что разорен».

Ругаясь, он смутно понимал, что негодование его преувеличено, но чувствовал, что оно растет и мутит голову его, точно угар. И теперь, сидя плечо в плечо с Варварой, он все еще думал о дворянине, о барчуке, который счел возможным одобрить поступок анархиста и отравил ему вечер. Думал и упрямо искал Туробоева в тесно набитом людями зале.

А на сцене белая крылатая женщина снова пела, рассказывала что-то разжигающе соблазнительное, возбуждая в зале легкие смешки и шепоток. Варвара сидела покачнувшись вперед, вытянув шею. Самгин искоса взглянул на нее и прошептал:

— Женщины должны бы протестовать против нее.

— Почему? — сонно спросила Варвара.

— Это — обучение разврату.

— Но тогда и мужчины, — так же тихо и сонно заметила Варвара и вздохнула: — Какая фигура у нее… какая сила — поразительно!

— Она бесталанна.

— Разве красота — не талант?

Самгин замолчал, чувствуя, что может сказать грубость. Туробоева в зале он не

нашел, но ему показалось, что в одной из лож гримасничает характернее лицо Лютова. А осмотр усилил раздражение Самгина, невольно заставив его согласиться, что Туробоев прав: в этом капище собрались действительно отборные люди: среди мужчин преобладали толстые, лысые, среди женщин — пожилые и более или менее жестоко оголенные. Нагих спин, плеч, рук, обтянутых красноватой и желтой кожей, было чрезвычайно много. На барьерах лож, рядом с коробками конфект, букетами цветов, лежали груди, и в их обнаженности было что-то от хвастовства нищих, которые показывают уродства свои для того, чтоб разжалобить. Зеркала фантастически размножали всю эту массу жирной плоти, как бы таявшей в жарком блеске огней, тоже бесчисленно умноженных белым блеском зеркал.

Крылатая женщина в белом поет циничные песенки, соблазнительно покачивается, возбуждая, разжигая чувственность мужчин, и заметно, что женщины тоже возбуждаются, поводят плечами; кажется, что по спинам их пробегает судорога вожделения. Нельзя представить, что и как могут думать и думают ли эти отцы, матери о студентах, которых предположено отдавать в солдаты, о России, в которой кружатся, все размножаясь, люди, настроенные революционно, и потомок удельных князей одобрительно говорит о бомбе анархиста.

Размышляя об этом, Самгин на минуту почувствовал себя способным встать и крикнуть какие-то грозные слова, даже представил, как повернутся к нему десятки изумленных, испуганных лиц. Но он тотчас сообразил, что, если б голос его обладал исключительной силой, он утонул бы в диком реве этих людей, в оглушительном плеске их рук.

— Этих бесноватых следовало бы полить водою из пожарного брандспойта, — довольно громко сказал он; Варвара, стоя, бормотала:

— Овация. Как Ермоловой. Смотри, она — точно лебедь…

— Иди.

На улице густо падал снег, поглощая людей, лошадей; белый пух тотчас осыпал шапочку Варвары, плечи ее, ослепил Самгина. Кто-то сильно толкнул его.

— Пардон… это вы?

И, прижав Самгина к стене, Лютов, в расстегнутом пальто, в шапке, сдвинутой на затылок, шепнул в лицо ему:

— Министра-то, Боголепова-то, — застрелили, факт! Повысив голос, он предложил:

— Ужинаем? Кабинетик возьмем, потолкуем… Егор! Он взмахнул рукою и точно выхватил из тучи снега лошадь, запряженную в маленькие санки, толкнул Самгина, шепнув ему:

— Карпов, попович… Егор, — к Тестову! Варвара Кирилловна, вы — на колени.

Он действовал с такой быстротой, точно похищал Варвару; Самгин, обняв его, чтоб не выскочить из саней, ошеломленно молчал. Когда выехали на простор, кучер, туго довернув шею, сказал вполголоса:

— Владимир Васильевич, полицейский рассказывал:

студенты министра убили.

— Да — ну? Какого? — быстренько, с испугом спросил Лютов, толкнув Клима локтем в бок.

— Своего будто.

— За что?

— Кто их знает.

— А — как думаешь?

— Бунтуются. Студенты, рекрута — всегда они…

— Ну, катай скорее! Ах, черти…

— Он был старик? — спросила Варвара.

— Не очень, — весело и громко ответил Лютов. В кабинете ресторана он, потирая руки, спросил ее:

— Стерляжью ушку? Расстегаи?

И сказал иконописному старику-лакею:

— Слышал, Макарий Петров? И все прочее, как следует, честно, быстро!

Едва лакей ушел, Лютов, хлопнув Клима по плечу, заговорил вполголоса, ломая лицо свое гримасами, разбрасывая глаза во все стороны:

— Что-с, подложили свинью вам, марксистам, народники, ага! Теперь-с, будьте уверенны, — молодежь пойдет за ними, да-а! Суть акта не в том, что министр, — завтра же другого сделают, как мордва идола, суть в том, что молодежь с теми будет, кто не разговаривает, а действует, да-с!

— Если революционное движение снова встанет на путь террора, — строго начал Самгин, но Лютов оборвал его речь.

— Встало. Пойдет! Прямая есть кратчайшая…

— Не забывайте о воронах…

— Которые летают прямо я превосходно живут. Милейший! Драться — легче, ждать трудней.

— Вы слишком громко, — предупредила Варвара, задумчиво изучая себя в зеркале.

Ошеломленный убийством министра как фактом, который неизбежно осложнит, спутает жизнь, Самгин еще не решил, как ему нужно говорить об этом факте с Лютовым, который бесил его неестественным, почти циничным оживлением и странным, упрекающим тоном.

«Может быть, на его деньги организовано это…»

И, не удержавшись, он пробормотал:

— Вы говорите об этом, как о деле, выгодном лично для вас…

Толкнув Варвару и не извинясь пред нею, Лютов подскочил к нему, открыл рот, но тотчас судорожно чмокнул губами и выговорил явно не те слова, какие хотел сказать.

— Я — гражданин моей страны, и все, что творится в ней…

Вошли лакеи с подносами посуды и закусок, он оборвал речь и подмигнул Самгину:

— Кучер-то, а? Как о… зайце! Прошу, Варвара Кирилловна!

За ужином, судорожно глотая пищу, водку, говорил почти один он. Самгина еще более расстроила нелепая его фраза о выгоде. Варвара ела нехотя, и, когда Лютов взвизгивал, она приподнимала плечи, точно боясь удара по голове. Клим чувствовал, что жена все еще сидит в ослепительном зале О мои а.

— Да-с, проиграли, — повторял Лютов, как бы дразня.

— Мне кажется, что теперь, когда рабочее движение принимает массовый характер, — начал Самгин, — Лютов, оттолкнув от себя тарелку, воскликнул тихонько и сладостно:

— Нуте-с? Нуте, — как это?

И вдруг засмеялся мелким смехом, старчески сморщив лицо, весь вздрагивая, потирая руки, глаза его, спрятанные в щелочках морщин, щекотали Самгина, точно мухи. Этот смех заставил Варвару положить нож и вилку; низко наклонив голову, она вытирала губы так торопливо, как будто обожгла их чем-то едким, а Самгин вспомнил, что вот именно таким противным и догадливым смехом смеялся Лютов на даче, после ловли воображаемого сома.

— Чему это вы обрадовались? — спросил он сердито и вместе с этим смущенно.

— Ох, дорогой мой! — устало отдуваясь, сказал Лютов и обратился к Варваре. — Рабочее движение, говорит, а? Вы как. Варвара Кирилловна, думаете, — зачем оно ему, рабочее-то движение?

— Меня политика не интересует, — сухо ответила Варвара, поднося стакан вина ко рту.

Лютов снова закачался в припадке смеха, а Самгин почувствовал, что смех этот уже пугает его возможностью скандала и есть в этом смехе что-то разоблачающее.

— За наше благополучие! — взвизгнул Лютов, подняв стакан, и затем сказал, иронически утешая: — Да, да, — рабочее движение возбуждает большие надежды у некоторой части интеллигенции, которая хочет... ну, я не знаю, чего она хочет! Вот господин Зубатов, тоже интеллигент, он явно хочет, чтоб рабочие дрались с хозяевами, а царя — не трогали. Это — политика! Это — марксист! Будущий вождь интеллигенции...

Варвара смотрела на него испуганно и не скрывая изумления, — Лютов вдруг опьянел, его косые глаза потеряли бойкость, он дергался, цапал пальцами вилку и не мог поймать ее. Но Самгин не верил в это внезапное опьянение, он уже не первый раз наблюдал фокусническое уменье Лютова пьянеть и трезветь. Видел он также, что этот человек в купеческом сюртуке ничем, кроме косых глаз, не напоминает Лютова-студента, даже строй его речи стал иным, — он уже не пользовался церковнославянскими словечками, не щеголял цитатами, он говорил по-московски и простонародно. Все это намекало на какую-то хитрую игру.

— Да-с, — говорил он, — пошли в дело пистолеты. Слышали вы о тройном самоубийстве в Ямбурге? Студент, курсистка и офицер. Офицер, — повторил он, подчеркнув. — Понимаю это не как роман, а как романтизм. И — за ними — еще студент в Симферополе тоже пулю в голову себе. На двух концах России...

Понизив голос, он продолжал:

— А некий студент Познер, Позерн, — инородец, как слышите, — из окна вагона кричит простодушно: «Да здравствует революция!» Его — в солдаты, а он вот извольте! Как же гениальная власть наша должна перевести возглас этот на язык, понятный ей? Идиотская власть я, — должна она сказать сама себе и...

Варвара встала, Самгин благодарно кивнул ей головой:

— Да, нам пора...

— В безумной стране живем, — шепнул ему на прощанье Лютов. — В безумнейшей!

Как только вышли на улицу, Варвара брезгливо заговорила:

— Боже мой, — вот человек! От него — тошнит. Эта лакейская развязность, и этот

смех! Как ты можешь терпеть его? Почему не отчитаешь хорошенько?

В словах ее Самгин услышал нечто чрезмерное и не ответил ей. Дома она снова заговорила о Лютове:

— Я — не понимаю, обрадован он или испуган убийством министра?

Но, видимо, ей не очень нужно было понять это, потому что она тотчас же сказала:

— Говорят, он тратит на Алину большие деньги.

— Возможно, — пробормотал Самгин, отягченный своими думами. Он был очень доволен, когда жена спряталась в постель и, сказав со вздохом: «Но до чего красива Алина!» — замолчала.

Самгин мог бы сравнить себя с фонарем на площади: из улиц торопливо выходят, выбегают люди; попадая в круг его света, они покричат немножко, затем исчезают, показав ему свое ничтожество. Они уже не приносят ничего нового, интересного, а только оживляют в памяти знакомое, вычитанное из книг, подслушанное в жизни. Но убийство министра было неожиданностью, смутившей его, — он, конечно, отнесся к этому факту отрицательно, однако не представлял, как он будет говорить о нем.

Еще дорогой в ресторан он вспомнил, что Любаша недели три тому назад уехала в Петербург, и теперь, лежа в постели, думал, что она, по доброте души, может быть причастна к убийству. Такие добрые люди способны на вес; они вообще явление загадочное и едва ли нормальное. Во всяком случае, это люди слабовольные. Вот Митрофанов — нормальный человек: не добр, не зол. Очень жаль, что он уехал куда-то в провинцию, где ему предложили место. Дядя Миша — в больнице, лечит свое тюремный ревматизм. Он и Любаша — нежелательные квартиранты; странно, что Варвара не понимает этого. Вообще она понимает людей как-то своеобразно.

К Сомовой она относится неровно; иногда — почти влюбленно ухаживает за нею, помогает обшивать заключенных в тюрьмах, усердно собирает подачки для политического «Красного Креста», но вдруг насмешливо спрашивает:

— Вы, Любаша, всю жизнь будете играть роль сестры милосердия?

И после этого как будто даже избегает встреч с нею. Самгина не интересовали ни мотивы их дружбы, ни причины разногласий, но однажды он спросил Варвару:

— Как ты смотришь на Сомову? Варвара ответила тотчас же, как нечто продуманное и решенное:

— Настоящая русская, добрая девушка из тех, которые и без счастья умеют жить легко. В другой раз она сказала:

— Иногда мне кажется, что, если б она была малограмотна и не занималась общественной деятельностью, она, от доброго сердца, могла бы сделаться распутной, даже проституткой и, наверное, сочиняла бы трогательные песенки, вроде:

Любила меня мать, обожала Свою ненаглядную дочь, А дочь с милым другом бежала В осеннюю, темную ночь.

Сказав это задумчиво и серьезно, Варвара спросила:

— Ведь такие песни, как эта и «Маруся отравилась», проститутки сочиняют?

— Не осведомлен, — ответил Самгин.

Затем он снова задумался о петербургском выстреле; что это: единоличное выступление озлобленного человека, или народники, действительно, решили перейти «от слов к делу»? Он зевнул с мыслью, что террор, недопустимый

морально, не может иметь и практического значения, как это обнаружилось двадцать лет тому назад. И, конечно, убийство министра возмутит всех здравомыслящих людей.

Но утром, когда он вошел в кабинет патрона, — патрон встретил его оживленным восклицанием:

— Читали, батенька? Боголепова-то ухлопал какой-то юнец. Вот к чему привело нас правительство! Бездарнейшие люди. Хотите кофе? Наливайте сами.

Самгин сосредоточенно занялся кофе, это позволяло ему молчать. Патрон никогда не говорил с ним о политике, и Самгин знал, что он, вообще не обнаруживая склонности к ней, держался в стороне от либеральных адвокатов. А теперь вот он говорит:

— Надо признать, что этот акт является вполне естественным ответом на иродово избиение юношества. Сдача студентов в солдаты — это уж возвращение к эпохе Николая Первого…

Патрон был мощный человек лет за пятьдесят, с большою, тяжелой головой в шапке густых, вихрастых волос сивого цвета, с толстыми бровями; эти брови и яркие, точно у женщины, губы, поджатые брезгливо или скептически, очень украшали его бритое лицо актера на роли героев. На скулах — тонкая сетка багровых жилок, нижние веки несколько отвисли, обнажая выпуклые, рыбьи глаза с неуловимым в них выражением. Ходил он наклонив голову, точно бык, торжественно нося свой солидный живот, левая рука его всегда играла кистью брелоков на цепочке часов, правая привычным жестом поднималась и опускалась в воздухе, широкая ладонь плавала в нем, как небольшой лещ. Руки у него были не по фигуре длинные, а кисти их некрасиво плоски. Он славился как человек очень деловой, любил кутнуть в «Стрельне», у «Яра», ежегодно ездил в Париж, с женою давно развелся, жил одиноко в большой, холодной квартире, где даже в ясные дни стоял пыльный сумрак, неистребимый запах сигар и сухого тления. Особенно был густ этот запах в угрюмом кабинете, где два шкафа служили как бы окнами в мир толстых книг, а настоящие окна смотрели на тесный двор, среди которого спряталась в деревьях причудливая церковка. Патрон любил цитировать стихи, часто повторял строку Надсона: «Наше поколение юности не знает», но особенно пристрастен был к пессимистической лирике Голенищева-Кутузова. Еще недавно он говорил Самгину:

— Я, батенька, человек одинокий и уже сыгравший мою игру.

А сегодня говорит, дирижируя сигарой:

— Мы, испытанные общественные работники… И голос его струится так же фигурно, как дым сигары.

— Наш фабричный котел еще мало вместителен, и долго придется ждать, когда он, переварив русского мужика в пролетария, сделает его восприимчивым к вопросам государственной важности… Вполне естественно, что ваше поколение, богатое волею к жизни, склоняется к методам активного воздействия на реакцию…

Говорил он долго, до конца сигары, Самгину казалось, что патрон хочет убедить его в чем-то, а — в чем? — нельзя было понять.

Он поехал с патроном в суд, там и адвокаты и чиновники говорили об убийстве как-то слишком просто, точно о преступлении обыкновенном, и утешительно было лишь то, что почти все сходились на одном: это — личная месть одиночки. А один из адвокатов, носивший необыкновенную фамилию Магнит, рыжий, зубастый, шумный и напоминавший Самгину неудачную карикатуру на англичанина, громко и как-то бесстыдно отчеканил:

— Как единоличный выпад — это не имеет смысла. Через несколько дней Самгин убедился, что в Москве нет людей здравомыслящих, ибо возмущенных убийством

министра он не встретил. Студенты расхаживали по улицам с видом победителей. Только в кружке Прейса к событию отнеслись тревожно; Змиев, возбужденный до дрожи в руках, кричал:

— Этот укол только взбесит щедринскую свинью. Кричал он на Редозубова, который, сидя в углу и, как всегда, упираясь руками в колена, смотрел на него снизу вверх, пошевеливая бровями и губами, покрякивая; Берендеев тоже наскакивал на него, как бы желая проткнуть лоб Редозубова пальцем:

— Сказано: «Взявший меч…»

— Но им же сказано: не мир, а меч, — угрожающе ответил Редозубов.

— Поступок, вызванный отчаянием, не может иметь благих последствий, — внушал ему Тарасов.

Даже всегда корректный Прейс говорил с ним тоном, в котором совершенно ясно звучало, что он, Прейс, говорит дикарю:

— Неужели для вас все еще не ясно, что террор — лечение застарелой болезни домашними средствами? Нам нужны вожди, люди высокой культуры духа, а не деревенские знахари…

Редозубов крякнул и угрюмо сказал:

— Вождей будущих гонят в рядовые солдаты, — вы понимаете, что это значит? Это значит, что они революционизируют армию. Это значит, что правительство ведет страну к анархии. Вы — этого хотите?

Здесь Самгину было все знакомо, кроме защиты террора бывшим проповедником непротивления злу насилием. Да, пожалуй, здесь говорят люди здравого смысла, но Самгин чувствовал, что он в чем-то перерос их, они кружатся в словах, никуда не двигаясь и в стороне от жизни, которая становится все тревожней.

Приехала Любаша, измятая, простуженная, с покрасневшими глазами, с высокой температурой. Кашляя, чихая, она рассказывала осипшим голосом о демонстрации у Казанского собора, о том, как полиция и казаки били демонстрантов и зрителей, рассказывала с восторгом.

— Вы представьте: когда эта пьяная челядь бросилась на паперть, никто не побежал, никто! Дрались и — как еще! Милые мои, — воскликнула она, взмахнув руками, — каких людей видела я! Струве, Туган-Барановского, Михайловского видела, Якубовича…

Не угашая восторга, она рассказала, что в петербургском университете организовалась группа студентов под лозунгом: «Университет — для науки, долой политику».

— Это тебя тоже радует? — спросил Самгин, усмехаясь.

— Представь — не огорчает, — как бы с удивлением отозвалась она. — Знаешь, как-то понятнее все становится: кто, куда, зачем.

На вопрос Клима о Боголепове она ответила:

— Ах, да… Говорят, — Карповича не казнят, а пошлют на каторгу. Я была во Пскове в тот день, когда он стрелял, а когда воротилась *у* Петербург, об этом уже не говорили. Ой, Клим, как там живут, в Петербурге!

Ее восторг иссяк, когда она стала рассказывать о знакомых.

— Лидия изучает историю религии, а зачем ей нужно это — я не поняла. Живет монахиней, одиноко, ходит в оперу, в концерты.

Помолчав, подумав, Любаша сказала с грустью:

— Она всегда была трудная, а теперь уж и совсем нельзя понять. Говорит все не о том, как-то все рядом с тем, что интересно. Восхищается какой-то поэтессой, которая нарядилась ангелом, крылья приделала к платью и публично читала стихи: «Я хочу того, чего нет на свете». Макаров тоже восхищается, но как-то не *так,* и они с Лидою спорят, а — о чем? Не знаю. У Макарова, оказывается, скандал здесь был; он ассистировал своему профессору, а тот сказал о пациентке что-то игривое. Макаров, после операции, наговорил ему резкостей и отказался работать с ним.

— Какой рыцарь, — иронически фыркнула Варвара.

— Сумеречный мужчина, — сказал Клим и спросил: — У них — роман, у Макарова и Лидии?

— Ой, нет! — живо сказала Любаша. — Куда им! Они такие… мудрые. Но там была свадьба; Лида живет у Премировой, и племянница ее вышла замуж за торговца церковной утварью. Жуткий такой брак и — по Шопенгауэру: невеста — огромная, красивая такая, Валкирия; а жених — маленький, лысый, желтый, бородища, как у Варавки, глаза святого, но — крепенький такой дубок, Ему лет за сорок.

— Ты знаешь, что у Марины был роман с Кутузовым? — спросил Самгин, улыбаясь.

— Нет? — изумленно вскричала Любаша, но, когда Клим утвердительно кивнул головою, она протяжно сказала: — Какая дуреха!

Ее возмущение рассмешило Самгиных.

— Не понимаю — чему смеетесь? — возмутилась Любаша. — Выйти замуж за торговца паникадилами… А ну вас! — сказала она, видя, что Самгины продолжают смеяться.

Устав рассказывать, она ушла к себе. Варвара закурила папиросу, посидела, закрыв глаза, потом сказала, вздыхая:

— Как все просто у нее!

Самгин встал и, шагая по комнате, пробормотал, вспомнив слова Туробоева:

— В русских университетах не учатся, а увлекаются поэзией безотчетных поступков.

— Наш повар утверждает, что студенты бунтуют — одни от голода, а другие из дружбы к ним, — заговорила Варвара, усмехаясь. — «Если б, говорит, я был министром, я бы посадил всех на казенный паек, одинаковый для богатых и бедных, — сытым нет причины бунтовать». И привел изумительное доказательство: нищие — сыты и — не бунтуют.

— Алкоголик, — напомнил Самгин, продолжая ходить, а Варвара сказала очень тихо:

— Знаешь, есть что-то… пугающее в том, что вот прожил человек семьдесят лет, много видел, и все у него сложилось в какие-то дикие мысли, в глупые пословицы…

— Пословицы — не глупы, — авторитетно заявил Самгин. — Мышление афоризмами характерно для народа, — продолжал он и — обиделся: жена не слушала его.

— Он очень не любит студентов, повар. Доказывал мне, что их надо ссылать в Сибирь, а не в солдаты. «Солдатам, говорит, они мозги ломать станут: в бога — не верьте, царскую фамилию — не уважайте. У них, говорит, в головах шум, а они думают — ум».

Погасив недокуренную папиросу, она встала, взяла мужа под руку и пошла в ногу с ним.

— Нет, я не люблю мышления пословицами. Не люблю. Ты послушай когда-нибудь, как повар беседует с Митрофановым.

— Да, — неопределенно отозвался Клим.

— Милый Клим, — сказала она, прижимаясь к нему. — Не находишь ли ты, что жизнь становится очень странной?

— Я нахожу, что пора спать, вот что, — сказал он. — У меня завтра куча работы...

Это уже не первый раз Самгин чувствовал и отталкивал желание жены затеять с ним какой-то философический разговор. Он не догадывался, на какую тему будет говорить Варвара, но был почти уверен, что беседа не обещает ничего приятного.

— О жизни и прочем поговорим когда-нибудь в другой раз, — обещал он и, заметив, что Варвара опечалена, прибавил, гладя плечо ее: — О жизни, друг мой, надобно говорить со свежей головой, а не после Любашиных новостей. Ты заметила, что она говорила о Струве и прочих, как верующая об угодниках божиих?

— Да, — сказала Варвара, усмехаясь, но глядя в сторону, в окно, освещенное луною.

Недели через три Самгин сидел в почтовой бричке, ее катила по дороге, размытой вешними водами, пара шершавых, рыженьких лошадей, механически, точно заводные игрушки, перебирая ногами. Ехали мимо пашен, скудно покрытых всходами озими; неплодородная тверская земля усеяна каким-то щебнем, вымытым добела.

— Хлеба здесь рыжик одолевает, дави его леший, — сказал возница, махнув кнутом в поле. — Это — вредная растения такая, рыжик, желтеньки светочки, — объяснил он, взглянув на седока через плечо.

«Говорит со мною, как с иностранцем», — отметил Самгин.

День был воскресный, поля пустынны; лишь кое-где солидно гуляли желтоносые грачи, да по невидимым тропам между пашен, покачиваясь, двигались в разные стороны маленькие люди, тоже похожие на птиц. С неба, покрытого рваной овчиной облаков, нерешительно и ненадолго выглядывало солнце, кисейные тряпочки теней развешивались на голых прутьях кустарника, на серых ветках ольхи, ползли по влажной земле. Утомленный унылым однообразием пейзажа, Самгин дремотно и расслабленно подпрыгивал в бричке, мысли из него вытрясло, лишь назойливо вспоминался чей-то невеселый рассказ о человеке, который, после неудачных попыток найти в жизни смысл, возвращается домой, а дома встречает его еще более злая бессмыслица. Маленький чемодан Самгина тоже подпрыгивал, бил по ногам, но поправить его было лень.

Въехали в рощу тонкоствольной, свинцовой ольхи, в кислый запах болота, гниющей листвы, под бричкой что-то хряснуло, она запрокинулась назад и набок, вытряхнув Самгина. Лошади тотчас остановились. Самгин ударился локтем и плечом о землю, вскочил на ноги, сердито закричал:

— Какого ты чорта...

Возница, мужичок средних лет, с реденькой, серой бородкой на жидком лице, не торопясь слез с козел, взглянул под задок брички и сказал, улыбаясь:

— Ось пополам, драть ее с хвоста, я тут — ни при чем, господин, железо не вытерпело.

Молчаливый и унылый, как все вокруг, он оживился, поправил на голове трепаную

шапку, подтянул потуже кушак и успокоил:

— Происшествия — пустяки; тут до Тарасовки не боле полутора верст, а там кузнец дела наши поправит в тую же минуту. Вы, значит, пешечком дойдете. Н-но, уточки, — весело сказал он лошадям, попятив их.

Достал из-под облучка топор, в три удара срубил ольху и, обрубая ветки ее, продолжал:

— Там кузнец, Василий Микитич, мастер, какого в Москве не сыскать, гремучего ума человек…

— Что же мне, идти?

— С богом! Я — догоню.

И, хотя лошади стояли неподвижно, как бронзовые, он посоветовал им:

— Смирненько, птичкк!

Самгин поднял с земли ветку и пошел лукаво изогнутой между деревьев дорогой из тени в свет и снова в тень. Шел и думал, что можно было не учиться в гимназии и университете четырнадцать лет для того, чтоб ездить по избитым дорогам на скверных лошадях в неудобной бричке, с полудикими людями на козлах. В голове, как медные пятаки в кармане пальто, болтались, позванивали в такт шагам слова:

Эти бедные селенья,Эта скудная природа…

Неужели барственный Григорович, картежный игрок Некрасов, Златовратский и другие действительно обладали каким-то странным чувством, которое казалось им любовью к народу?

Роща редела, отступая от дороги в поле, спускаясь в овраг; вдали, на холме, стало видно мельницу, растопырив крылья, она как бы преграждала путь. Самгин остановился, поджидая лошадей, прислушиваясь к шелесту веток под толчками сыроватого ветра, в шелест вливалось пение жаворонка. Когда лошади подошли, Клим увидал, что грязное колесо лежит в бричке на его чемодане.

— Али вредно сундучку? — спросил возница в ответ на окрик Самгина, переложил колесо под облучок и сказал: — Сейчас достигнем.

Но только лишь вышли из рощи к мосту чрез овраг, он, схватив лошадей за повода, круто повернул их назад.

— Так и есть: бунтуются! Эки, черти… И вполголоса посоветовал:

— Вы, барин, отойдите куда погуще, а то — кто знает, как они поглядят на вас? Дело — не законное, свидетели — нежелательны.

На тревожные вопросы Клима он не спеша рассказал, что тарасовские мужики давно живут без хлеба; детей и стариков послали по миру.

— В кусочки, да! Хлебушка у них — ни поесть, ни посеять. А в магазее хлеб есть, лежит. Просили они на посев — не вышло, отказали им. Вот они и решили самосильно взять хлеб силою бунта, значит. Они еще в среду хотели дело это сделать, да приехал земской, напугал. К тому же и день будний, не соберешь весь-то народ, а сегодня — воскресенье.

Пока он рассказывал, Самгин присмотрелся и увидал, что по деревне двигается на околицу к запасному магазину густая толпа мужиков, баб, детей, — двигается не очень шумно, а с каким-то урчащим гулом; впереди шагал небольшой, широкоплечий мужик с толстым пучком веревки на плече.

— Это — Кубасов, печник, он тут у них во всем — первый. Кузнецы, печники,

плотники — они, всё едино, как фабричные, им — плевать на законы, — вздохнув, сказал мужик, точно жалея законы. — Происшествия эта задержит вас, господин, — прибавил он, переступая с ноги на ногу, и на жидком лице его появилась угрюмая озабоченность, все оно как-то оплыло вниз, к тряпичной шее.

До деревни было сажен полтораста, она вытянулась по течению узенькой речки, с мохнатым кустарником на берегах; Самгин хорошо видел все, что творится в ней, видел, но не понимал. Казалось ему, что толпа идет торжественно, как за крестным ходом, она даже сбита в пеструю кучу теснее, чем вокруг икон и хоругвей. Ветер лениво гнал шумок в сторону Самгина, были слышны даже отдельные голоса, и особенно разрушал слитный гул чей-то пронзительный крик:

— Ирмаков! Братцы — Ирмаков отклоняется! Через плетень на улицу перевалился человек в красной рубахе, без пояса, босой, в подсученных до колен штанах; он забежал вперед толпы и, размахивая руками, страдальчески взвизгнул:

— Ежели Ирмаков, так и я отклоняюсь!

Печник наотмашь хлестнул его связкой веревок, человечек отскочил, забежал во двор, и оттуда снова раздался его истерический крик:

— Отклоняюсь... Неправильно-о!

— Приведите Ермакова, — сказал печник так слышно, как будто он был где-то очень близко от Самгина.

— Что они хотят делать? — спросил Клим. — Возница, сдвинув кнутовищем шапку на ухо и ковыряя в спутанных волосах, вздохнул:

— Да ведь что же им делать-то? Желают отпереть магазею, а ключа у них — нету. Ключ в этом деле даже и ненужная вещь, — продолжал он, глядя на деревню из-под ладони. — Ключом только одна рука может действовать, а тут требовается приложение руки всего мира. Чтобы даже и ребятишки. Детей-то — не осудите? — спросил он, заглянув в лицо Самгина вопросительно, с улыбочкой. Самгин, не ответив, смотрел, как двое мужиков ведут под руки какого-то бородатого, в длинной, ниже колен, холщовой рубахе; бородатый, упираясь руками в землю, вырывался и что-то говорил, как видно было по движению его бороды, но голос его заглушался торжествующим визгом человека в красной рубахе, подскакивая, он тыкал кулаком в шею бородатого и орал:

— Отклоняисси, подлая душа-а?

— Гляди-ко ты, как разъярился человек, — с восхищением сказал возница, присев на подножку брички и снимая сапог. — Это он — правильно! Такое дело всем надобно делать в одну душу.

Сняв сапог, развернув онучу, он испортил воздух крепким запахом пота, Самгин отодвинулся в сторону, но возница предупредил его:

— Не очень показывайтесь. А которого ведут — это Ермаков, он тут — посторонний житель, пасека у него, и рыболов. Он, видите, сектарь, малмонит, секта такая, чтобы в солдатах не служить.

Сектанта подвели к печнику, толпа примолкла, и отчетливо прозвучал голос печника:

— Ты — что же, Ермаков? Твердишь — Христос, а сам народу враг? Гляди — в омут башкой спустим, сволочь!

Шумный, красненький мужичок, сверкая голыми и тонкими ногами, летал около людей, точно муха, толкая всех, бил мальчишек, орал:

— Становись, хрестьяне!

Толпа из бесформенной кучи перестроилась в клин, острый конец его уперся в стену хлебного магазина, и как раз на самом острие завертелся, точно ввертываясь в дверь, красненький мужичок. Печник обернулся лицом к растянувшейся толпе, бросил на головы ее длинную веревку и закричал, грозя кулаком:

— Все до одного берись, мать...

Мужичок тоже грозил и визжал истерически:

— Честно-о! А то — руки выломам!

Крестясь, мужики и бабы нанизывались на веревку, вытягиваясь в одну линию, пятясь назад, в улицу, — это напомнило Самгину поднятие колокола: так же, как тогда. люди благочестиво примолкли, веревка, привязанная к замку магазина, натянулась струною. Печник, перекрестясь, крикнул:

— По третьему разу — дергай!

— Эй, все ли схватились?

— Ну — р-раз!

— Глядите, чтобы Ермаков...

— Два!

— К-куда, пес?

— Три!

Длинная линия людей покачнулась, веревка, дрогнув, отскочила от стены, упала, брякнув железом.

— Ну, вот и слава тебе, господи, — сказал возница, надевая сапог, подмигивая Самгину, улыбаясь: — Мы, господин, ничего этого не видели — верно? Магазея — отперта, а — как, нам не известно. Отперта, стало быть, ссуду выдают, — так ли?

Он стал оправлять сбрую на лошадях, продолжая веселеньким голосом:

— Замок, конечно, сорван, а — кто виноват? Кроме пастуха да каких-нибудь старичков, старух, которые на печках смерти ждут, — весь мир виноват, от мала до велика. Всю деревню, с детями, с бабами, ведь не загоните в тюрьму, господин? Вот в этом и фокус: бунтовать — бунтовали, а виноватых — нету! Ну, теперь идемте...

Отдохнувшие лошади пошли бойко; жердь, заменяя колесо, чертила землю, возница вел лошадей, покрикивая:

— Эхма, уточки, куропаточки!

Самгин шагал в стороне нахмурясь, присматриваясь, как по деревне бегают люди с мешками в руках, кричат друг на друга, столбом стоит среди улицы бородатый сектант Ермаков. Когда вошли в деревню, возница, сорвав шапку с головы, закричал:

— Эй, Василий Митрич!

Сразу стало тише, люди как будто испугались, замерли на минуту, глядя на лошадей и Самгина, потом осторожно начали подходить к нему.

— Дали ссуду-то? — радостно спрашивал возница, а перед ним уже подпрыгивал красненький мужичок, торопливо спрашивая:,

— Ты — кого привез? Ты — куда его?

К Самгину подошли двое: печник, коренастый, с каменным лицом, и черный человек, похожий на цыгана. Печник смотрел таким тяжелым, отталкивающим взглядом, что Самгин невольно подался назад и встал за бричку. Возница и черный человек, взяв лошадей под уздцы, повели их куда-то в сторону, мужичонка подскочил к Самгину, подсучивая разорванный рукав рубахи, мотаясь, как волчок, который уже устал вертеться.

— Куда едете? В какой должности? — пугливо спрашивал он; печник поймал его за плечо и отшвырнул прочь, как мальчишку, а когда мужичок растянулся на земле, сказал ему:

— Отойди прочь, Иван!

Он выговорил эти три слова так, как будто они стоили ему большого усилия. Его лицо изъедено оспой, поэтому оно и было шероховатым, точно камень, из-под выщипанных бровей угрюмо смотрели синеватые глаза. Стоял он, широко раздвинув ноги, засунув большие пальцы рук за пояс, выпятив обширный живот, молча двигал челюстью, и редкая, толстоволосая борода его неприятно шевелилась. Самгин чувствовал, что этот человек не знает, что ему делать с ним, и нельзя было представить, что он сделает в следующую минуту. Подошло с десяток мужиков, все суровые, прихмуренные.

— Вы — староста? — спросил Самгин, думая, что в следующий раз он возьмет револьвер.

— Староста арестованный, — сказал один из мужиков; печник посмотрел на него, плюнул под ноги себе и сказал:

— Что врешь? Староста у нас захворал. В городе лежит.

Беременная баба, проходя мимо, взмахнула мешком и проворчала:

— Рады, галманы, случаю… Кончали бы скорее.

— А вам — зачем старосту? — спросил печник. — Пачпорт и я могу посмотреть. Грамотный. Наказано — смотреть пачпорта у проходящих, проезжающих, — говорил он, думая явно о чем-то другом. — Вы — от земства, что ли, едете?

— Я — адвокат.,

— Адвокат, — повторил печник, поглядев на мужиков, — кто-то из них проворчал:

— Стало быть: и нашим и вашим.

— Ну, что ж. Яишну кушать желаете? — спросил печник, подмигнув мужикам, и почти весело сказал: — Господа обязательно яишну едят.

Он вынул из кармана кожаный кисет, трубку, зачерпнул ею табаку и стал приминать его пальцем. Настроенный тревожно, Самгин вдруг спросил:

— Вы чего хотите от меня?

— Мы? — удивился печник. — А — чего нам хотеть? Мы — дома. Вот — заехал к нам по нужде человек, мы — глядим.

Сморщив лицо, он раскурил трубку, подвинулся ближе к Самгину и грубо сказал:

— Идите.

— Куда?

— Туда, — печник ткнул трубкой влево, на группу ветел, откуда доносились вздохи мехов, стук молотка и сиплый голос:

— Дуй, дуй…

На перекладине станка для ковки лошадей сидел возница; обняв стойку, болтая ногами, он что-то рассказывал кузнецу. Печник подошел к нему и скомандовал:

— Подь сюда, Косарев!

Отвел его в сторону шагов на пять, там они поговорили о чем-то, затем кузнец спросил:

— Не врешь? Перекрестись. И пригрозил:

— Ну, гляди же!

Кузнец начал яростно работать; было что-то припадочное в его ненужной беготне от наковальни к пылающему горну, неистовое в его резких движениях.

— Дуй, бей, давай углей, — сипло кричал он, повертываясь в углах. У мехов раскачивалась, точно богу молясь, растрепанная баба неопределенного возраста, с неясным, под копотью, лицом.

— Живее, Вася, не задерживай барина, — сказал печник, отходя прочь от кузницы.

— Злой работник, а? — спросил Косарев, подходя к Самгину. — Еще теперь его чахотка ест, а раньше он был — не ходи мимо! Баба, сестра его, дурочкой родилась.

Не переставая говорить, он вынул из-за пазухи краюху ржаного хлеба, подул на нее, погладил рукою корку и снова любовно спрятал:

— Заметно, господин, что дураков прибывает; тут, кругом, в каждой деревне два, три дуренка есть. Одни говорят: это от слабости жизни, другие считают урожай дураков приметой на счастье.

— Эй, Косарев, помогай! — крикнул кузнец. Ветер нагнал множество весенних облаков, около солнца они были забавно кудрявы, точно парики вельмож восемнадцатого века. По улице воровато бегали с мешками на плечах мужики и бабы, сновали дети, точно шашки, выброшенные из ящика. Лысый старик, с козлиной бородой на кадыке, проходя мимо Самгина, сказал:

— Черти носят…

Самгин отошел подальше от кузницы, спрашивая себя: боится он или не боится мужиков? Как будто не боялся, но чувствовал свою беззащитность и унижение пред откровенной враждебностью печника.

«Это они, конечно, потому, что я — свидетель, видел, как они сорвали замок и разграбили хлеб».

Он лениво поискал: какая статья «Уложения о наказаниях» карает этот «мирской» поступок? Статьи — не нашел, да и думать о ней не хотелось, одолевали другие мысли:

«Печник, конечно, из таких же анархистов по натуре, как грузчик, казак…»

— Готово, — с радостью объявил Косарев и усердно начал хвалить кузнеца: — Крепче новой стала ось; ну и мастер!

А мастер, встряхнув на ладони деньги, сердито посоветовал Самгину:

— Прибавьте на бутылку казенки. Ну, вот, — езжай, Косарев!

Лошади бойко побежали, и на улице стало тише. Мужики, бабы, встречая и провожая бричку косыми взглядами, молча, нехотя кланялись Косареву, который, размахивая кнутом, весело выкрикивал имена знакомых, поощрял лошадей:

— Эх, птички-и!

Но, выехав за околицу, обернулся к седоку и сказал:

— Сволочь народ!

Это было так неожиданно, что Самгин не сразу спросил:

— Почему?

— Да — как же, — обиженно заговорил Косарев. — Али это порядок: хлеб воровать? Нет, господин, я своевольства не признаю. Конечно: и есть — надо, и сеять — пора. Ну, все-таки: начальство-то знает что-нибудь али — не знает?

Он погрозил кнутом вдаль, в синеватый сумрак вечера и продолжал вдохновенно:

— Ежели вы докладать будете про этот грабеж, так самый главный у них — печник. Потом этот, в красной рубахе. Мишка Вавилов, ну и кузнец тоже. Мосеевы братья… Вам бы, для памяти, записать фамилии ихние, — как думаете?

— Перестань, — строго сказал Самгин. — Меня это не касается.

Он рассердился, но не находил достаточно веских слов, чтоб устыдить возницу.

— Разве тебе не стыдно доносить на своих?

— Да я — не здешний…

— Все равно. Это — нехорошо.

— Уж чего хорошего, — согласился Косарев. — Али это — жизнь?

— Удивляюсь я, — продолжал Самгин, но возница прервал его:

— Еще бы не удивиться! Я сам, как увидал, чего они делают, — испугался.

— Довольно! — крикнул Самгин.

— Как желаете, — сказал Косарев, вздохнув, уселся на облучке покрепче и, размахивая кнутом над крупами лошадей, жалобно прибавил: — Вы сами видели, господин, я тут посторонний человек. Но, но, яростные! — крикнул он. Помолчав минуту, сообщил: — Ночью — дождик будет, — и, как черепаха, спрятал голову в плечи.

«Народ, — возмущенно думал Самгин. — Бунтовщики», — иронически думал он, но думалось неохотно и только словами, а возмущение, ирония, вспыхнув, исчезали так же быстро, как отблески молний на горизонте. Там, на востоке, поднимались тяжко синие тучи, отемняя серую полосу дороги, и, когда лошади пробегали мимо одиноких деревьев, казалось, что с голых веток сыплется темная пыль. Синеватая скука холодного вечера настраивала Самгина лирически и жалобно. Жалко было себя, — человека, который не хотел бы, но принужден видеть и слышать неприятное и непонятное. Зачем ему эти поля, мужики и вообще все то, что возбуждает бесконечные, бесплодные думы, в которых так легко исчезает сознание внутренней свободы и права жить по своим законам, теряется ощущение своей самости, оригинальности и думаешь как бы тенями чужих мыслей? Почему на нем лежит обязанность быть умником, все знать, обо всем говорить, служить эоловой арфой, — кому служить?

Но тут он почувствовал, что это именно чужие мысли подвели его к противоречию, и тотчас же напомнил себе, что стремление быть на виду, показывать себя большим человеком — вполне естественное стремление и не будь его — жизнь потеряла бы смысл.

«Я изобразил себя себе орудием чьей-то чужой воли», — подумал он.

Лошади подбежали к вокзалу маленькой станции, Косарев, получив на чай, быстро погнал их куда-то во тьму, в мелкий, почти бесшумный дождь, и через десяток минут Самгин раздевался в пустом купе второго класса, посматривая в окно, где сквозь мокрую тьму летели злые огни, освещая на минуту черные кучи деревьев и крыши изб, похожие на крышки огромных гробов. Проплыла стена фабрики, десятки красных окон оскалились, точно зубы, и показалось, что это от них в шум поезда вторгается лязгающий звук.

Самгин лег, но от усталости не спалось, а через две остановки в купе шумно влез большой человек, приказал проводнику зажечь огонь, посмотрел на Самгина и закричал:

— Ба, это вы? Куда? Откуда? Не узнаете? Ипполит Стратонов.

Расстегиваясь; пошатывая вагон, он заговорил с Климом, как с человеком, с которым хотел бы поссориться:

— Слышали? Какой-то идиот стрелял в Победоносцева, с улицы, в окно, чорт его побери! Как это вам нравится, а?

Он был выпивши; наклонясь, чтоб снять ботинки, он почти боднул головою бок Самгина. Клим поднялся, отодвигаясь в угол, к двери.

— Недоучки, пошехонцы, — бормотал Стратонов. Сюртук студента, делавший его похожим на офицера, должно быть, мешал ему расти, и теперь, в «цивильном» костюме, Стратонов необыкновенно увеличился по всем измерениям, стал еще длиннее, шире в плечах и бедрах, усатое лицо округлилось, даже глаза и рот стали как будто больше. Он подавлял Самгина своим объемом, голосом, неуклюжими движениями циркового борца, и почти не верилось, что этот человек был студентом.

— Уже один раз испортили игру, дураки, — говорил он, отпирая замок обшитой кожею корзины. — Если б не это чортово Первое марта, мы бы теперь держали Европу за рога…

Говорил он не озлобленно, а как человек, хотя и рассерженный, но хорошо знающий, как надобно исправлять чужие ошибки, и готовый немедля взяться за это. В полосатой фуфайке жокея, в каких-то необыкновенного цвета широких кальсонах, он доставал из корзины свертки и, наклонив кудлатую голову, предлагал Самгину:

— Нуте-ко, давайте закусим на сон грядущий. Я без этого — не могу, привычка. Я, знаете, четверо суток провел с дамой купеческого сословия, вдовой и за тридцать лет, — сами вообразите, что это значит! Так и то, ночами, среди сладостных трудов любви, нет-нет да и скушаю чего-нибудь. «Извини, говорю, машер…»

Самгин был голоден и находил, что лучше есть, чем говорить с полупьяным человеком. Стратонов налил из черной бутылки в серебряную стопку какой-то сильно пахучей жидкости.

— Проглотите-ко. Весьма забавная штука. Клим выпил, задохнулся и, открыв рот, сердито зашипел.

— Что — яд? У моей дамы старичок буфетчик есть, такой, я вам скажу, Менделеев!.. Гуся возьмите…

Дождь вдруг перестал мыть окно, в небо золотым мячом выкатилась луна; огни станций и фабрик стали скромнее, побледнели, стекло окна казалось обрызганным каплями ртути. По земле скользили избы деревень, точно барки по реке.

— Твена — любите? А — Джерома? Да, никто не может возбудить такой здоровый смех, как эти двое, — говорил Стратонов, усердно кушая. Затем, вытирая руки салфеткой, сокрушенно вздохнул:

— У людей — Твен, а у нас — Чехов. Недавно мне рекомендовали: прочитайте «Унтера Пришибеева» — очень смешно. Читаю — вовсе не смешно, а очень грустно. И нельзя понять: как же относится автор к человеку, которого осмеивают за то, что он любит порядок? Давайте-ко, выпьем еще.

Ядовитую настойку Стратонов пил бесстрашно, как лимонад. Выпив, он продолжал, собирая несъеденную пишу в корзину:

— Вообще в России, кроме социалистов, — ничего смешного нет. Юмористика у нас — глупая: полячок или еврейчик, стреляющий с улицы в окно обер-прокурора Святейшего синода, — вот. Пистолетишко, наверное, был плохонький.

Через несколько минут он растянулся на диване и замолчал; одеяло на груди его волнообразно поднималось и опускалось, как земля за окном. Окно то срезало верхушки деревьев, то резало деревья под корень; взмахивая ветвями, они бежали прочь. Самгин смотрел на крупный, вздернутый нос, на обнаженные зубы Стратонова и представлял его в деревне Тарасовке, пред толпой мужиков. Не поздоровилось бы печнику при встрече с таким барином…

Клим считал Стратонова самонадеянным, неумным, но теперь ему вдруг захотелось украсить этого человека какими-то достоинствами, и через некоторое время он наделил его энергией Варавки, национальным чувством Козлова и оптимизмом Митрофанова, — получилась очень внушительная фигура.

«Может быть, вот такие люди и нужны России».

Он вспомнил успокоительные слова Митрофанова по поводу студенческих волнений:

— Ничего. Это — кожа зудит, а внутренность у нас здоровая. Возьмите, например, гречневую кашу: когда она варится, кипит — легкое зерно всплывает кверху, а потом из него образуется эдакая вкусная корочка, с хрустом. Так? Но ведь сыты мы не корочкой, а кашей…

Засыпая, Самгин думал:

«Да, России нужны здоровые люди, оптимисты, а не «желчевики», как говорил Герцен. Щедрин и Успенский — вот кто, больше других, испортили характер интеллигенции».

Но поутру Стратонов разочаровал Клима; он проснулся первый, разбудил его своей возней и предложил кофе.

— У меня термос, сейчас проводник принесет стаканы, — говорил он, любовно надевая новенькие светлые брюки. Клим спросил:

— Вы, кажется, перестали бывать у Прейса?

— Нет, иногда захожу, — неохотно ответил Стратонов. — Но, знаете, скучновато. И — между нами — «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», это так! Но дальше я не согласен. Или вы стоите на пути грешных, в целях преградить им путь, или — вы идете в ногу с ними. Вот-с. Прейс — умница, — продолжал он, наморщив нос, — умница и очень знающий человек, но стадо, пасомое им, — это все разговорщики, пустой народ.

Тщательно вытирая салфеткой стаканы, он заговорил с великим воодушевлением:

— История, дорогой мой, поставила пред нами задачу: выйти на берег Тихого океана, сначала — через Маньчжурию, затем, наверняка, через Персидский залив. Да, да — вы не улыбайтесь. И то и другое — необходимо, так же, как необходимо открыть Черное море. И с этим надобно торопиться, потому что…

Вагон сильно тряхнуло. Стратонов плеснул кофе из термоса на колени себе, на

светлосерые брюки, вспыхнул и четко выругался математическими словами.

— Вот скандал, — сокрушенно вздохнул он, пробуя стереть платком рыжие пятна с брюк. Кофе из стакана он выплеснул в плевательницу, а термос сунул в корзину, забыв о том, что предложил кофе Самгину.

— А — революция? — спросил Клим. Снимая брюки, Стратонов проворчал:

— Ну, какая там революция. Мальчишки стреляют из пистолетов.

— Мальчишки или нет, но они организовали две партии, а люди ваших взглядов…

Вывернув брюки наизнанку, Стратонов тщательно сложил их, снял с полки тяжелый чемодан, затем, надув щеки, сердито глядя на Самгина, вытянул руку ладонью вверх и сильно дунул на ладонь:

— Вот ваши партии! Пыль — ваши партии. И, вынув из чемодана другие брюки, рассматривая их, он пробормотал;

— Россия вступила на путь мировой политики, а вы — о пистолетах. Смешно…

Самгин замолчал. Стратонов опрокинул себя в его глазах этим глупым жестом и огорчением по поводу брюк.

Выходя из вагона, он простился со Стратоновым пренебрежительно, а сидя в пролетке извозчика, думал с презрением: «Бык. Идиот. На что же ты годишься в борьбе против людей, которые, стремясь к своим целям, способны жертвовать свободой, жизнью?»

Эта слишком определенная мысль смутила Самгина; мысли такого тона, являясь внезапно, заставляли его протестовать против них.

«Разумеется, я вовсе не желаю победы таким быкам», — подумал он и решил вычеркнуть из своей памяти эту неприятную встречу, как пытался вычеркивать многое, чему не находил удобного места в хранилище своих впечатлений.

Он видел, что «общественное движение» возрастает; люди как будто готовились к парадному смотру, ждали, что скоро чей-то зычный голос позовет их на Красную площадь к монументу бронзовых героев Минина, Пожарского, позовет и с Лобного места грозно спросит всех о символе веры. Всё горячее спорили, все чаще ставился вопрос:

«Как вы думаете?»

Гусаров сбрил бородку, оставив сердитые черные усы, и стал похож на армянина. Он снял крахмаленную рубашку, надел суконную косоворотку, сапоги до колена, заменил шляпу фуражкой, и это сделало его человеком, который сразу, издали, бросался в глаза. Он уже не проповедовал необходимости слияния партий, социал-демократов называл «седыми», социалистов-революционеров — «серыми», очень гордился своей выдумкой и говорил:

— Седые должны взяться за пропаганду действием; нужен фабричный террор, нужно бить хозяев, директоров, мастеров. Если седые примут это, тогда серым — каюк!

— Болтун, — сказала о нем Любаша. — Говорит, что у него широкие связи среди рабочих, а никому не передает их. Теперь многие хвастаются связями с рабочими, но это очень похоже на охотничьи рассказы. А вот господин Зубатов имеет основание хвастаться…

Любаша становилась все более озабоченной, грубоватой, она похудела, раздраженно заикалась, не договаривая фраз, и однажды, при Варваре, с удивлением, с гневом крикнула Самгину:

— Ты, Клим, глупеешь, честное слово! Ты говоришь так путано, что я ничего не понимаю.

— У тебя вредная привычка понимать слишком упрощенно, — сказал Клим первое, что пришло в голову.

Любаша часто получала длинные письма от Кутузова;

Самгин называл их «апостольскими посланиями». Получая эти письма, Сомова чувствовала себя именинницей, и все понимали, что эти листочки тонкой почтовой бумаги, плотно исписанные мелким, четким почерком, — самое дорогое и радостное в жизни этой девушки. Самгин с трудом верил, что именно Кутузов, тяжелой рукой своей, мог нанизать строчки маленьких, острых букв.

«Мир тяжко болен, и совершенно ясно, что сладенькой микстурой гуманизма либералов его нельзя вылечить, — писал Кутузов. — Требуется хирургическое вмешательство, необходимо вскрыть назревшие нарывы, вырезать гнилые опухоли».

— Правильно, — соглашался Алексей Гогин, прищурив глаз, почесывая ногтем мизинца бровь. — И раньше он писал хорошо… как это? О шиле и мешке?

Любаша с явной гордостью цитировала по памяти:

— «Как бы хитроумно ни сшивались народниками мешки красивеньких словечек, — классовое шило невозможно утаить в них».

— Ха-арошая голова у Степана, — похвалил Гогин, а сестра его сказала, отрицательно качая головой:

— Я — не поклонница людей такого типа. Люди, которых понимаешь сразу, люди без остатка, — неинтересны. Человек должен вмещать в себе, по возможности, всё, плюс — еще нечто.

Принято было не обращать внимания на ее словесные капризы, только Любаша изредка дразнила ее:

— Это, Танечка, у декадентов украдено. Татьяна возражала:

— Декаденты — тоже революционеры. Самгин, выслушав все мнения, выбирал удобную минуту и говорил:

— Нам необходимы такие люди, каков Кутузов, — люди, замкнутые в одной идее, пусть даже несколько уродливо ограниченные ею, ослепленные своей верою…

— Зачем это? — спросила Татьяна, недоверчиво глядя на него.

— Затем, чтоб избавить нас от всевозможных лишних людей, от любителей словесного романтизма, от нашей склонности ко всяческим ересям и модам, от умственной распущенности…

Он выработал манеру говорить без интонаций, говорил, как бы цитируя серьезную книгу, и был уверен, что эта манера, придавая его словам солидность, хорошо скрывает их двусмысленность. Но от размышлений он воздерживался, предпочитая им «факты». Он тоже читал вслух письма брата, всегда унылые.

«Здесь живут всё еще так, как жили во времена Гоголя; кажется, что девяносто пять процентов жителей — «мертвые души» и так жутко мертвые, что и не хочется видеть их ожившими»… «В гимназии введено обучение военному строю, обучают офицера местного гарнизона, и, представь, многие гимназисты искренно увлекаются этой вредной игрой. Недавно один офицер уличен в том, что водил мальчиков в публичные дома».

Иван Дронов написал Самгину письмо с просьбой найти ему работу в московских

газетах, Самгин затеял переписку с ним, и Дронов тоже обогащал его фактами:

«Один из студентов, возвращенных из Сибири, устроил здесь какие-то идиотские радения с гимназистками: гасил в комнате огонь, заставлял капать воду из умывальника в медный таз и под равномерное падение капель в темноте читал девицам эротические и мистические стишки. Этим он доводил девчонок до истерики, а недавно оказалось, что одна из них, четырнадцати лет, беременна».

Фактами такого рода Иван Дронов был богат, как еж иглами; он сообщал, кто из студентов подал просьбу о возвращении в университет, кто и почему пьянствует, он знал все плохое и пошлое, что делали люди, и охотно обогащал Самгина своим «знанием жизни». Клим рассказывал гостям впечатления своих поездок и не без удовольствия видел, что рассказы эти заставляют людей печально молчать. Это было его маленьким возмездием людям за то, что они не таковы, какими он хотел бы видеть их. Он давно уже — и предусмотрительно — заявил, что понимает: факты его несколько однообразно мрачны, но он затеял писать бытовые очерки «На границе двух веков».

— Я намерен показать процесс разрушения всяческих «устоев» и «традиций» накануне эпохи всяческих мятежей, — сказал он тоном хладнокровного ученого-социолога.

Но вообще он был доволен своим местом среди людей, уже привык вращаться в определенной атмосфере, вжился в нее, хорошо, — как ему казалось, — понимал все «системы фраз» и был уверен, что уже не встретит в жизни своей еще одного Бориса Варавку, который заставит его играть унизительные роли.

Незаметно для него Варвара все расширяла круг знакомств, обнаруживая неутолимую жажду «новых» людей. Около нее вертелись юноши и девицы, или равнодушные к «политике», «принципам», «традициям» или говорившие обо всем этом с иронией и скептицизмом стариков. Они воскрешали в памяти Самгина забытые им речи Серафимы Нехаевой о любви и смерти, о космосе. о Верлене, пьесах Ибсена, открывали Эдгара По и Достоевского, восхищались «Паном» Гамсуна, утверждали за собою право свободно отдаваться зову всех желаний, капризной игре всех чувств. Самгин не отказывал себе в удовольствии стравливать индивидуалистов с социалистами, осторожно подчеркивая непримиримость их противоречий.

Он видел, что Варвара Особенно отличает Нифонта Кумова, высокого юношу, с головой, некрасиво удлиненной к затылку, и узким, большеносым лицом в темненьком пухе бороды и усов. Издали длинная и тощая фигура Кумова казалась комически заносчивой, — так смешно было вздернуто его лицо, но вблизи становилось понятно, что он «задирает нос» только потому, что широкий его затылок, должно быть, неестественно тяжел; Кумов был скромен, застенчив, говорил глуховатым баском, немножко шепеляво и всегда говорил стоя; даже произнося коротенькие фразы, он привставал со стула, точно школьник. Темное лицо его освещали серые глаза, очень мягкие и круглые, точно у птицы.

Он был сыном уфимского скотопромышленника, учился в гимназии, при переходе в седьмой класс был арестован, сидел несколько месяцев в тюрьме, отец его в это время помер, Кумов прожил некоторое время в Уфе под надзором полиции, затем, вытесненный из дома мачехой, пошел бродить по России, побывал на Урале, на Кавказе, жил у духоборов, хотел переселиться с ними в Канаду, но на острове Крите заболел, и его возвратили в Одессу. С юга пешком добрался до Москвы и здесь осел, решив:

«Поучиться чему-нибудь».

Самгину что-то понравилось в этом тихом человеке, он предложил ему работу письмоводителя у себя, и ежедневно Кумов скрипел пером в маленькой комнатке рядом с уборной, а вечерами таинственно и тихо рассказывал:

— Надо различать — дух! — Он поднимал тонкую, бессильную руку на уровень головы. — И — душа! — Рука его мягко опускалась на колено. — Помните — Христос-то: «В руце твоя предаю дух мой», — а не душу. И — затем: «Духа не угашайте». Дух разумом практическим не соблазняется, а душа — соблазнена. И все наши сектанты, как я вижу их, живут не духом, а — душой. И духоборы тоже: замкнули дух в душе. Народ вообще живет не духом, это — неверно мыслится о нем. Народ — сила душевная, разумная, практическая, — жесточайшая сила, и вся — от интересов земли. Духом живет интеллигенция, потому она и числится непрактической. На Кубани субботники поют: «Града сионска взыщем, в нем же душею исцелимся», а сами — богатые, жадные. Тоже и духоборы: будто бы за дух, за свободу его борются, а поехали туда, где лучше. Интеллигенция идет туда, где хуже, труднее.

Самгин слушал, улыбаясь и не находя нужным возражать Кумову. Он — пробовал и убедился, что это бесполезно: выслушав его доводы, Кумов продолжал говорить свое, как человек, несокрушимо верующий, что его истина — единственная. Он не сердился, не обижался, но иногда слова так опьяняли его, что он начинал говорить как-то судорожно и уже совершенно непонятно; указывая рукой в окно, привстав, он говорил с восторгом, похожим на страх:

— Тело. Плоть. Воодушевлена, но — не одухотворена — вот! Учение богомилов — знаете? Бог дал форму — сатана душу. Страшно верно! Вот почему в народе — нет духа. Дух создается избранными.

— Что же, нравится тебе эта философия? — спрашивал Самгин жену, его удивляло и смешило внимание, с которым она слушала Кумова.

— Он — славный, — уклончиво ответила Варвара. — Такой наивный.

Изредка появлялся Диомидов; его визиты подчинялись закону некой периодичности; он как будто медленно ходил по обширному кругу и в одной из точек окружности натыкался на квартиру Самгиных. Вел он себя так, как будто оказывал великое одолжение хозяевам тем, что вот пришел.

— Ну, как вы живете? — снисходительно спрашивал он. — Все еще стараетесь загнать всех людей в один угол?

Он усмехался с ироническим сожалением. В нем явилось нечто важное и самодовольное; ходил он медленно, выгибая грудь, как солдат; снова отрастил волосы до плеч, но завивались они у него уже только на концах, а со щек и подбородка опускались тяжело и прямо, как нитки деревенской пряжи. В пустынных глазах его сгустилось нечто гордое, и они стали менее прозрачны.

Всезнающая Любаша рассказала, что у Диомидова большой круг учеников из мелких торговцев, приказчиков, мастеровых, есть много женщин и девиц, швеек, кухарок, и что полиция смотрит на проповедь Диомидова очень благосклонно. Она относилась к Диомидову почти озлобленно, он платил ей пренебрежительными усмешками.

— Это — ваши книги читать? — спрашивал он. — Мелко написаны для меня.

Но возражал он ей редко, а чаще делал так: пристально глядя в лицо ее, шаркал ногою по полу, как бы растирая что-то.

Когда Алексей Гогин сказал при нем Кумову, что пред интеллигенцией два пути: покорная служба капиталу или полное слияние с рабочим классом, Диомидов громко и резко заметил:

— Это есть — заблуждение: пред человеком только один путь — от самого себя — к богу, а все другое для него не путь, а путаница.

Приятели Варвары шумно восхищались мудростью Диомидова, а Самгину показалось, что между бывшим бутафором и Кумовым есть что-то родственное, и

он стравил их на спор. Но — он ошибся: Кумов спорить не стал; тихонько изложив свою теорию непримиримости души и духа, он молча и терпеливо выслушал сердитые окрики Диомидова.

— Неверно это, выдумка! Никакого духа нету, кроме души. «Душе моя, душе моя — что спиши? Конец приближается». Вот что надобно понять: конец приближается человеку от жизненной тесноты. И это вы, молодой человек, напрасно интеллигентам поклоняетесь, — они вот начали людей в партии сбивать, новое солдатство строят.

Сильно разгневанный, Диомидов ушел, ни с кем не простясь, а Любаша, тоже очень сердитая, спросила Кумова: почему он молчал в ответ Диомидову?

— Я с эдаким — не могу, — виновато сказал Кумов, привстав на ноги, затем сел, подумал и, улыбаясь, снова встал: — Я — не умею с такими. Это, знаете, такие люди... очень смешные. Они — мстители, им хочется отомстить...

— Ну, милейший, вы, кажется, бредите, — сказала Сомова, махнув на него рукою.

— Нет, уверяю вас, — это так, честное слово! — несколько более оживленно и все еще виновато улыбаясь, говорил Кумов. — Я очень много видел таких; один духобор — хороший человек был, но ему сшили тесные сапоги, и, знаете, он так злился на всех, когда надевал сапоги, — вы не смейтесь! Это очень... даже страшно, что из-за плохих сапог человеку все делается ненавистно.

Самгин тоже засмеялся, но жена нетерпеливо сказала ему:

— Перестань, пожалуйста...

— Серьезно, — продолжал Кумов, опираясь руками о спинку стула. — Мой товарищ, беглый кадет кавалерийской школы в Елизаветграде, тоже, знаете... Его кто-то укусил в шею, шея распухла, и тогда он просто ужасно повел себя со мною, а мы были друзьями. Вот это — мстить за себя, например, за то, что бородавка на щеке, или за то, что — глуп, вообще — за себя, за какой-нибудь свой недостаток; это очень распространено, уверяю вас!

— А за что, по-вашему, мстит Диомидов? — спросил Клим вполне серьезно.

— Я ведь его не знаю, я по словам вижу, что он из таких, — ответил Кумов и сел.

Самгин держал письмоводителя в почтительном отдалении, лишь изредка снисходя до бесед с ним; Кумов был рассеян и вообще плохой работник, Самгин опасался, что письмоводитель, заметив демократическое отношение к нему патрона, будет работать еще хуже. Он считал Кумова человеком по природе недалеким и забитым обилием впечатлений, непосильных его разуму. Но слова о мстителях неприятно удивили Самгина, и, подумав, что письмоводитель вовсе не так наивен, каким он кажется, он стал присматриваться к нему более внимательно, уже с неприязнью.

Как-то вечером, гуляя с женою, Самгин встретил Макарова и позвал его к себе на чай. Макаров еще более поседел, виски стали почти белыми, и сильнее выцвели темные клочья волос на голове. Это сделало его двуцветные волосы более естественными. Карие глаза стали задумчивее, мягче, и хотя он не казался постаревшим. но явилось в нем что-то печальное. Он все топтался на одном месте, говорил о француженках, которые отказываются родить детей, о Zweikindersystem в Германии, о неомальтузианстве среди немецких социал-демократов; все это он считал признаком, что в странах высокой технической культуры инстинкт материнства исчезает.

— Женщины не хотят родить детей для контор и машин.

Говорил он не воодушевленно, как бы отчитываясь пред Самгиным в своих наблюдениях. Клим пошутил:

— Гинеколог обеспокоен уменьшением практики?

— Нет, — взгляни серьезно, — начал Макаров, но, не кончив, зажег спичку, подождав, пока она хорошо разгорелась, погасил ее и стал осторожно закуривать папиросу от уголька.

«Консервативен, точно мужик», — отметил Самгин.

— В самом деле, — продолжал Макаров, — класс, экономически обеспеченный, даже, пожалуй, командующий, не хочет иметь детей, но тогда — зачем же ему власть?

Рабочие воздерживаются от деторождения, чтоб не голодать, ну, а эти? Это — не моя мысль, а Туробоева… Самгин усмехнулся:

— Вот как! Что он делает?

— Он? Брезгует. Он, на мой взгляд, совершенно парализован чувством брезгливости.

Взглянув на Варвару, Макаров помолчал несколько секунд, потом сказал очень спокойно:

— Лидия Тимофеевна, за что-то рассердясь на него, спросила: «Почему вы не застрелитесь?» Он ответил:

«Не хочу, чтобы обо мне писали в «Биржевых ведомостях».

Самгин стал расспрашивать о Лидии. Варвара, все время сидевшая молча, встала и ушла, она сделала это как будто демонстративно. О Лидии Макаров говорил неинтересно и, не сказав ничего нового для Самгина, простился.

— Завтра возвращаюсь в Петербург, а весною перееду в Казань, должно быть, а может быть, в Томск, — сказал он, уходя и оставив по себе впечатление вялости, отчужденности.

— Ты что же это убежала? — спросил Самгин жену.

— Не выношу Макарова! — раздраженно ответила она. — Какой-то принципиальный евнух.

— Ого! — воскликнул Самгин шутливо, а она продолжала, наливая чай в свою чашку:

— Хотя не верю, чтоб человек с такой рожей и фигурой… отнимал себя от женщины из философических соображений, а не из простой боязни быть отцом… И эти его сожаления, что женщины не родят…

— Ты забыла, — начал Самгин, улыбаясь, но во-время замолчал, — жена откинулась на спинку стула, глаза ее густо позеленели.

— Ну, что же? — спросила она, покусывая губы. — Ты хотел напомнить мне о выкидыше, да?

— Ничего подобного, — решительно сказал он. — С чего ты взяла?

— А что же ты хотел сказать?

— Напомнить, что деторождение среди Обеспеченных классов действительно понижается и — это признак плохой…

Он говорил докторально и до поры, пока Варвара не прервала его:

— Ну, извини. Мне показалось.

Самгин подумал, что извинилась она небрежно и лучше бы ей не делать этого. Он давно уже заметил, что Варвара нервничает, но у него не было желания спросить: что с нею? Он заботился только о том, чтоб не раздражать ее, и, когда видел жену в дурном настроении, уходил от нее, считая, что так всего лучше избежать возможных неприятных бесед и сцен. Она стала много курить, но он быстро примирился с этим, даже нашел, что папироса в зубах украшает Варвару, а затем он и сам начал курить. В общем — все-таки жилось неплохо, но после нового года домашнее, привычное как-то вдруг отскочило в сторону.

О Сергее Зубатове говорили давно и немало; в начале — пренебрежительно, шутливо, затем — все более серьезно, потом Самгин стал замечать, что успехи работы охранника среди фабричных сильно смущают социал-демократов и как будто немножко радуют народников. Суслов, чья лампа вновь зажглась в окне мезонина, говорил, усмехаясь, пожимая плечами:

— Зубатовщина — естественный результат пропаганды марксистов.

Любаша, рассказывая о том, как легко рабочие шли в «Общество взаимного вспомоществования», гневно фыркала, безжалостно дергала себя за косу, изумлялась:

— Если б ткачи, но ведь — металлисты идут на эту приманку, подумайте!

Ее не мог успокоить даже Кутузов, который писал ей:

«Опыт этого химика поставлен дерзко, но обречен на неудачу, потому что закон химического сродства даже и полиция не может обойти. Если же совершится чудо и жандармерия, инфантерия, кавалерия встанут на сторону эксплуатируемых против эксплуататоров, то — чего же лучше? Но чудес не бывает ни туда, ни сюда, ошибки же возможны во все стороны».

— Вот уж не понимаю, как он может шутить, — огорченно недоумевала Любаша.

Алексей Гогин тоже пробовал. шутить, но как-то неудачно, по обязанности веселого человека; его сестра, преподававшая в воскресной школе, нервничая, рассказывала:

— Из семнадцати моих учеников только двое понимают, что Зубатов — жулик.

И все уныло нахмурились, когда стало известно, что в день «освобождения крестьян» рабочие пойдут в Кремль, к памятнику Освободителя.

Пошли они не 19 февраля, а через три дня, в воскресенье. День был мягкий, почти мартовский, но нерешительный, по Красной площади кружился сыроватый ветер, угрожая снежной вьюгой, быстро и низко летели на Кремль из-за Москвы-реки облака, гудел колокольный звон. Двумя валами на площадь вливалась темная, мохнатая толпа, подкатываясь к стене Кремля, к Спасским и Никольским воротам. Шли рабочие не спеша, даже как бы лениво, шли не шумно, но и не торжественно. Говорили мало, неполными голосами, ворчливо, и говор не давал того слитного шума, который всегда сопутствует движению массы людей. Очень многие простуженно кашляли, и тяжелое шарканье тысяч ног по измятому снегу странно напоминало звук отхаркивания, влажный хрип чудовищно огромных легких.

Клим Самгин стоял в группе зрителей на крыльце Исторического музея. Рабочие обтекали музей с двух сторон и, как бы нерешительно застаиваясь у ворот Кремля, собирались в кулак и втискивались в каменные пасти ворот, точно разламывая их. Напряженно всматриваясь в бесконечное мелькание лиц, Самгин видел, что, пожалуй, две трети рабочих — люди пожилые, немало седобородых, а молодежь не так заметна. И тогда как солидные люди шли в сосредоточенном молчании или негромко переговариваясь, молодежь толкала, пошатывала их, перекликалась, посмеиваясь, поругиваясь, разглядывая чисто одетую публику у музея бесцеремонно и даже дерзко. Но голоса заглушались шарканьем и топотом ног. Изредка в потоке шапок и фуражек мелькали головы, повязанные шалями,

платками, но и женщины шли не шумно. Одна из них, в коротком мужском полушубке, шла с палкой в руке и так необъяснимо вывертывая ногу из бедра, что казалось, она, в отличие от всех, пытается идти боком вперед. Лицо у нее было большое, кирпичного цвета и жутко неподвижно, она вращала шеей и, как многие в толпе, осматривала площадь широко открытыми глазами, которые первый раз видят эти древние стены, тяжелые торговые ряды, пеструю церковь и бронзовые фигуры Минина, Пожарского.

Многократно и навязчиво повторялись сухое, длинное лицо Дьякона и круглое, невыразительное Митрофанова. Похожих на Дьякона было меньше, и только один человек напомнил Климу Дунаева.

«С каким чувством идут эти люди?» — догадывался Самгин.

Ему казалось, что некоторые из них, очень многие, может быть — большинство, смотрят на него и на толпу зрителей, среди которых он стоит, также снисходительно, равнодушно, усмешливо, дерзко и угрюмо, а в общем глазами совершенно чужих людей, теми же глазами, как смотрят на них люди, окружающие его, Самгина.

«Мы», — вспомнил он горячее и веское словцо Митрофанова в пасхальную ночь. «Класс», — думал он, вспоминая, что ни в деревне, когда мужики срывали замок с двери хлебного магазина, ни в Нижнем-Новгороде, при встрече царя, он не чувствовал раскольничьей правды учения в классовой структуре государства.

Рядом с Климом встал, сильно толкнув его, человек с круглой бородкой, в поддевке на лисьем мехе, в каракулевой фуражке; держа руки в карманах поддевки, он судорожно встряхивал полы ее, точно собираясь подпрыгнуть и взлететь на воздух, переступал с ноги на ногу и довольно громко спрашивал:

— Это — что же? Это — как понять? Вчерась — стачки, а седни — каяться пошли, — так, что ли?

Голосок его, довольно звонкий, звучал ехидно, так же как и смех.

— Хэ, х-хэ!

Кто-то, стоявший сзади и выше Самгина, уверенно ответил:

— Это — против студентов. Они — бунтуют, а вот рабочие…

Третий голос, слабенький и сиплый, уныло сказал:

— А по-моему — зря допущено прохождение. Отозвались сразу двое:

— Верно!

— Почему же зря?

— Да знаете, — нерешительно сказал слабенький голосок. — Уже коли через двадцать лет убиенного царя вспомнили, ну — иди каждый в свой приходский храм, панихиду служи, что ли…

— Верно! Подождали бы первого марта, а то…

— Освобожденные-то крестьяне голодом подыхают…

— Правильно, правильно, — торопливо сказал человек в каракулевой фуражке. — А то — вывалились на улицу да еще в Кремль прут, а там — царские короны, регалии и вообще сокровища…

— Кто это придумал? — спросил строгий бас, ему не ответили, и через минуту он, покрыв разрозненные голоса, театрально возмутился: — Превратить Кремль в скотопригонный двор…

— Позвольте! Это уж напрасно, — сказал тоном обиженного человека кто-то за спиною Самгина. — Тут происходит событие, которое надо понимать как единение народа с царем…

— Не с царем, а с плохим памятником цареву дедушке…

И тотчас же бойкий голосок продекламировал забытую эпиграмму:

Нелепого строителяАрхинелепый план:Царя-ОсвободителяПоставить в кегельбан.

Толпа зрителей росла; перед Самгиным встал высокий судейский чиновник, с желчным лицом, подошел знакомый адвокат с необыкновенной фамилией Магнит. Он поздоровался с чиновником, толкнул Самгина локтем и спросил:

— Ну, что скажете?

Самгин молча пожал плечами, а чиновник, взглянув на него желтыми глазами, сказал:

— Странная затея — внушать рабочим, что правительство с ними против хозяев.

— Вы повторите эти слова в будущей вашей обвинительной речи, — посоветовал адвокат и засмеялся так громко, что из толпы рабочих несколько человек взглянули на него и сначала один, седой, а за ним двое помоложе присоединились к зрителям. Рабочих уже много было среди зрителей, они откалывались от своих и, останавливаясь у музея, старались забиться поглубже в публику. Самгин мельком подумал, что они прячутся. Но он видел, что это неверно: рабочие стояли уже и впереди его, от них исходил тяжелый запах машинного масла. По площади ненужно гуляли полицейские, ветер раздувал полы их шинелей, и можно было думать, что полицейских немало скрыто за торговыми рядами, в узких переулках Китай-города. На Лобном месте стояла тесная группа людей, казалось, что они набиты в бочку. И у монумента спасителям Москвы тоже сгрудилось много зрителей, Козьма Минин бронзовою рукою указывал им на Кремль, но они стояли неподвижно.

А рабочие шли все так же густо, нестройно и не спеша; было много сутулых, многие держали руки в карманах и за спиною. Это вызвало в памяти Самгина снимок с чьей-то картины, напечатанный в «Ниве»: чудовищная фигура Молоха, и к ней, сквозь толпу карфагенян, идет, согнувшись, вереница людей, нанизанных на цепь, обреченных в жертву страшному богу.

Но это воспоминание, возникнув механически, было явно неуместно, оно тотчас исчезло, и Самгин продолжал соображать: чем отличаются эти бородатые, взлохмаченные ветром, очень однообразные люди от всех других множеств людей, которые он наблюдал? Он уже подумал, что это такая же толпа, как и всякая другая, и что народники — правы: без вождя, без героя она — тело неодухотворенное. Сегодня ее вождь — чиновник охранного отделения Сергей Зубатов.

«Классовое самосознание? Да — был ли мальчик-то?»

Вспомнил Самгин о Сусанине и Комиссарове, а вслед за ними о Халтурине. Но все эти мысли, быстро сменяя одна другую, скользили поверх глубокого и тревожного впечатления, не задевая его, да и говор в толпе зрителей мешал думать связно.

«Ничего своеобразного в этих людях — нет, просто *я* несколько отравлен марксизмом», — уговаривал себя Самгин, присматриваясь к тяжелому, нестройному ходу рабочих, глядя, как они, замедляя шаги у ворот, туго уплотняясь, вламываются в Кремль.

«Как слепые, — если кто-нибудь упадет под ноги им — растопчут, не заметив», — вдруг подумал он, и эта мысль была ему ближе всех других. Он сознавал, что в нем поднимается, как температура, некое сильное чувство, ростки которого и раньше,

но — слабо, ощущались им. Растет оно, как нарыв, с эдакой дергающей болью, и размышления нимало не мешают его росту. Он совершенно определенно понимал, что не следует формулировать это чувство, не нужно одевать его в точные слова, а, наоборот, надо чем-то погасить его, забыть о нем.

У ворот кричали:

— Шапки! Эй, ребята, шапки снимай!

Команда эта напомнила Самгину наивно хвастливые стихи:

Шапки кто, злодей, не сниметУ святых в Кремле ворот.

Размахивая шапкой, из толпы рабочих оторвался маленький старичок в черном тулупчике нараспашку и радостно сказал:

— Сейчас одного заарестовали. Разговаривал, пес:

«Куда идете? Куда, кричит, идете, дураки, хамово. племя?» Так и садит, будто с ума соскочил, сукин сын!

— Без скандала мы не можем, — угрюмо заметил усатый человек с закопченным лицом.

— «Сволочи», говорит…

— Студент?

— Штатский.

— Пьяный?

— Кто знает? Не разберешь.

— А — молодой?

— Это — верно, молодой. Трясется весь, озлился, что ли… Куда, говорит?

— Сколько ж это тысяч? — озабоченно спросил очень толстый, но плохо одетый, стоя впереди Самгина; ему ответили:

— Тысяч десять.

— Бо-ольше!

С крыльца, через голову Клима, кто-то крикнул успокоительно и даже с удальством:

— Москва людей не боится!

И тотчас же отозвался угрюмый бас:

— Люди ей — зерно под жернов. А человек в тулупчике назойливо допрашивал двух рабочих, которые только что присоединились к публике:

— Вы что ж отстали от своих, а?

— Не твое дело, — сказал один, похожий на Вараксина, а другой, с лицом старого солдата, миролюбиво объяснил:

— Тесно, не пробьешься в ворота, ребра ломают.

— А — для чего затеяли это самое? Затеяли и — в сторону?

И сквозь все голоса из глубины зрителей ручейком пробивался один тревожный

чей-то голосок:

— Я — не понимаю: к чему этот парад? Ей-богу, право, не знаю — зачем? Если б, например, войска с музыкой… и чтобы духовенство участвовало, хоругви, иконы и — вообще — всенародно, ну, тогда — пожалуйста! А так, знаете, что же получается? Раздробление как будто. Сегодня — фабричные, завтра — приказчики пойдут или, скажем, трубочисты, или еще кто, а — зачем, собственно? Ведь вот какой вопрос поднимается! Ведь не на Ходынское поле гулять пошли, вот что-с…

В бессвязном говоре зрителей и в этой тревожной воркотне Самгин улавливал клочья очень знакомых ему и даже близких мыслей, но они были так изуродованы, растрепаны, так легко заглушались шарканьем ног, что Клим подумал с негодованием:

«Какое мещанство. Нищенство».

Из Кремля поплыл густой рев, было в нем что-то шерстяное, мохнатое, и казалось, что он согревает сыроватый, холодный воздух. Человек в поддевке на лисьем мехе успокоительно сообщил:

— Поют! «Спаси, господи» поют!

Снял шапку, перекрестился на храм Василия Блаженного и торопливо пошел прочь.

Все зрители как бы только этого и ждали, плотная стена их стала быстро разваливаться, расползаться; пошел и Самгин. У торговых рядов он наткнулся на Митрофанова; Иван Петрович стоял, прислонясь к фонарю, надув щеки, оттопырив губы, шапка съехала на глаза ему, и вид у него был такой, точно он только что получил удар по затылку. Самгину даже показалось, что он — пьяный. Иван Петрович смотрел прямо в лицо его, но не здоровался. Эта встреча обрадовала Клима, как встреча с приятным человеком после долгого и грустного одиночества; он протянул ему руку и- заметил, что постоялец, прежде чем пожать ее, беспокойно оглянулся.

— Ну, что вы скажете?

— Замечательно, — быстро ответил Митрофанов. — Замечательно, — повторил он, вскинув голову и этим поправив шапку. — Стройно, — сказал он, щупая пальцами пуговицу пальто. — Весьма… внушительно!

В его поведении было что-то странное, он возбудил любопытство Самгина, и Клим предложил ему позавтракать. Митрофанов согласился не сразу, стесненно поеживаясь, оглядываясь, а согласясь, пошел быстро, молча и впереди Самгина.

В полуподвальном ресторане, тесно набитом людями, они устроились в углу, около какого-то шкафа. Гости ресторана вели себя так размашисто и бесцеремонно шумно, как будто все они были близко знакомы друг с другом и собрались на юбилейный или номинальный обед. Самгин прислушался к слитному говору и не услышал ни слова о манифестации рабочих. Он очень торопился определить свое настроение, услыхать слова здравого смысла, но ему не сразу удалось заставить Митрофанова разговориться. Иван Петрович согласно кивал головою и говорил не своим тоном:

— Затея — умственная. Это — верно: хозяева мало чего видят, кроме своей пользы. Конечно — облегчить рабочих людей надо.

Но, выпив рюмки три водки, он глубоко вздохнул, закрыл глаза, сморщился и, качая головою, тихонько сказал:

— Эх, Клим Иванович, клюква это!

— Что? — также тихо спросил Самгин, уже зная, что сейчас услышит нечто

своеобразное и, наверное, как всегда от Митрофанова, успокаивающее.

— Клюква, — повторил Митрофанов, наклоняясь к нему через стол. — Вы, Клим Иванович, не верьте: волка клюквой не накормишь, не ест! — зашептал он, часто мигая глазами, и еще более налег на стол. — Не верьте — притворяются. Я знаю.

Погрозив пальцем, он торопливо налил и быстро выпил еще рюмку, взял кусок хлеба, понюхал его и снова положил на тарелку.

— Вас благоразумие обманывает. Многие видят то, чего им хочется, а его, хотимого-то, — нету. Призраки воображаемые, так сказать, видим.

Оглянувшись, он зашептал:

— Я с этой, так сказать, армией два часа шел, в самой гуще, я слышал, как они говорят. Вы думаете, действительно к царю шли, мириться?

Усмехнувшись, Митрофанов махнул рукою над столом, задел бутылку и, удерживая ее, подскочил на стуле.

— Извините. Я фабричных знаю-с, — продолжал он шептать. — Это — народ особенный, им — наплевать на все, вот что! Тут один не пожелал кривить душою, арестовали его…

— Да, я слышал. Мальчишка?

— Зачем? Нет, он — бритый и ростом маловат, а годами — наверное, старше вас.

— Рабочий?

Митрофанов, утвердительно кивнув головой, посмотрел через плечо свое, продолжая с усмешкой:

— Он их — матюками! Идет и садит прямо в морды: «Сволочь вы, говорит, да! Этого царя, говорит, убили за то, что он обманул народ, — понимаете? А вы, говорит, на коленки встать пред ним идете». Его, знаете, бьют, толкают, — молчи, дурак! А он, как пьяный, ничего не чувствует, снова ввернется в толпу, кричит: «Падаль!» Клим Иванович, не в том дело, что человек буянит, а в том, что из десяти семеро одобряют его, а если и бьют, так это они из осторожности. Хитрость — простая! Весь этот ход — неверный, Клим Иванович, это ход на проигрыш. Там один гусь гоготал; дескать народ во главе с царем, а ведь все знают: царь у нас несчастливый, неудачный царь! Передавили в коронацию тысячи народу, а он — даже не перекрестился. Хоть бы пяток полицейских повесил. Дедушка — вешал, не стеснялся. А этот — дядю боится. Вы думаете, народ Ходынку не помнит? Нет, народ злопамятен. Ему, кроме зла, и помнить нечего.

Митрофанов испуганно взмахнул головою.

— Это, конечно, не я говорю, а так, вообще говорится…

— Да, — сказал Самгин, постукивая пальцами по столу.

Это было не то, чего он ожидал от Митрофанова, это не успокаивало, а вызывало двойственное впечатление:

Митрофанов укреплял чувство, которое пугало, но было почти приятно, что именно он укрепляет это чувство.

— Да, правительство у нас бездарное, царь — бессилен, — пробормотал он, осматривая рассеянно десятки сытых лиц; красноватые лица эти в дымном тумане напоминали арбузы, разрезанные пополам. От шума, запахов и водки немножко кружилась голова.

— Вот вы, Иван Петрович, простой, честный, русский человек…

Митрофанов наклонил голову над столом.

— Ну, вот, скажите: как вам кажется: будет у нас революция?

Митрофанов поднял голову и шопотом сказал:

— Обязательно. Громаднейший будет бунт.

— Да? — спросил Самгин; определенность ответа была неприятна ему и мешала выразить назревающие большие мысли.

— Сами знаете, — шептал Митрофанов, сморщив лицо, отчего оно стало шершавым. — До крайности обозлен народ несоответствием благ земных и засилием полиции, — сообщил он, сжав кулак. — Возрастает уныние и… — Подвинув отъехавший стул ближе ко столу, согнувшись так, что подбородок его почти лег на тарелку, он продолжал: — Я вам покаюсь: я вот, знаете, утешаю себя, — ничего, обойдется, мы — народ умный! А вижу, что людей, лишенных разума вследствие уныния, — все больше. Зайдешь, с холода, в чайную, в трактир, прислушаешься: о чем говорят? Так ведь что же? Идет всеобщее соревнование в рассказах о несчастии жизни, взвешивают люди, кому тяжелее жить. До хвастовства доходят, до ярости. Мне — хуже! Нет, врешь, мне! Ведь это — хвастовство для оправдания будущих поступков…

Тут Самгин увидал, что круглые глаза Митрофанова наполнились горестным удивлением:

— Вы подумайте — насколько безумное это занятие при кратком сроке жизни нашей! Ведь вот какая штука, ведь жизни человеку в обрез дано. И все больше людей живет так, что все дни ихней жизни — постные пятницы. И — теснота! Ни вору, ни честному — ногу поставить некуда, а ведь человек желает жить в некотором просторе и на твердой почве. Где она, почва-то?

Клим Самгин остановил его, подняв руку как для пощечины, и спросил:

— Так, может быть, лучше, чтоб она скорей разразилась?

— Клим Иванович, — вполголоса воскликнул Митрофанов, и лицо его неестественно вздулось, покраснело, даже уши как будто пошевелились. — Понимаю я вас, ей-богу — понимаю!

— Ведь нельзя жить в постоянной тревоге, что завтра все полетит к чорту и вы окажетесь в мятеже страстей, чуждых вам.

— Обязательно окажемся, — сказал Митрофанов с тихим испугом.

Самгин тоже опрокинулся на стол, до боли крепко опираясь грудью о край его. Первый раз за всю жизнь он говорил совершенно искренно с человеком и с самим собою. Каким-то кусочком мозга он понимал, что отказывается от какой-то части себя, но это облегчало, подавляя темное, пугавшее его чувство. Он говорил чужими, книжными словами, и самолюбие его не смущалось этим:

— Самодержавие — бессильно управлять народом.

Нужно, чтоб власть взяли сильные люди, крепкие руки и очистили Россию от едкой человеческой пыли, которая мешает жить, дышать.

Он слышал, что Митрофанов, утвердительно качая головою, шепчет:

— Верно, — для хорошего порядка можно и революцию допустить.

Пред Самгиным над столом возвышалась точно отрезанная и уложенная на ладони голова, знакомое, но измененное лицо, нахмуренное, с крепко сжатыми губами; в темных глазах — напряжение человека, который читает напечатанное слишком неясно или мелко.

— Правительство не может сладить ни с рабочим, ни со студенческим движением, — шептал Самгин.

— Эх, господи, — вздохнул Митрофанов, распустив тугое лицо, отчего оно стало» нелепо широким и плачевным, а синие щеки побурели. — Я понимаю, Клим Иванович, вы меня, так сказать, привлекаете! — Он трижды, мелкими крестиками, перекрестил грудь и сказал: — Я — готов, всею душой!

Самгин замолчал, несколько охлажденный этим изъявлением, даже на секунду уловил в этом нечто юмористическое, а Митрофанов, крякнув, продолжал очень тихо:

— Только, наверное, отвергнете, оттолкнете вы меня, потому что я — человек сомнительный, слабого характера и с фантазией, а при слабом характере фантазия — отрава и яд, как вы знаете. Нет, погодите, — попросил он, хотя Самгин ни словом, ни жестом не мешал ему говорить. — Я давно хотел сказать вам, — все не решался, а вот на-днях был в театре, на модной этой пиесе, где показаны заслуженно несчастные люди и бормочут чорт знает что, а между ними утешительный старичок врет направо, налево…

Он передохнул, сморщил лицо неудавшейся усмешкой и развел руки:

— Тут меня вдруг осенило и даже в жар бросило: вредный старичишка этот похож на меня поведением своим, похож!

— Я не совсем понимаю, — сказал Самгин, нахмурясь.

— Похож — выдумывает, стерва! Клим Иванович, я вас уважаю и…

Споткнувшись о какое-то слово, он покачал головою:

— Видите ли… Рассказывал я вам о себе разное, там, ну — винюсь: все это я выдумал для приличия. Жен выдумал и вообще всю жизнь…

— Позвольте — зачем же? — неприязненно и удивленно спросил Самгин.

— Для благоприличия…

Иван Петрович трясущейся рукою налил водки, но не выпил ее, а, отодвинув рюмку, засмеялся горловым, икающим смехом; на висках и под глазами его выступил пот, он быстро и крепко стер его платком, сжатым в комок.

— И вовсе я не Митрофанов, не Иван, а — Петр Яковлев Котельников, нижегородский купеческий сын, весьма известная фамилия была…

Он снова стер пот с лица, взмахнул платком и заерзал на стуле, как бы готовясь вскочить и убежать.

— С двадцати трех лет служу агентом сыскной полиции по уголовным делам, переведен сюда за успехи в розысках…

— По уголовным? — беспокойно, шопотом спросил Самгин, еще не зная, что сказать, но чувствуя, что Митрофанов чем-то обидел его.

— Не беспокойтесь, — подтвердил Иван Петрович. — Ни к чему другому не имею касательства. Да если бы даже имел, и тогда — ваш слуга! Потому что вы и супруга ваша для меня — первые люди, которые…

Не окончив, он глубоко вздохнул и продолжал, удивленно мигая:

— Замечательно — как вы не догадались обо мне тогда, во время студенческой драки? Ведь если б я был простой человек, разве мне дали бы сопровождать вас в полицию? Это — раз. Опять же и то: живет человек на глазах ваших два года, нигде не служит, все будто бы места ищет, а — на что живет, на какие средства? И ночей

дома не ночует. Простодушные люди вы с супругой. Даже боязно за вас, честное слово! Анфимьевна — та, наверное, вором считает меня…

По его лицу расплылась виноватая и добродушная улыбочка.

— Вы ни в каком случае не рассказывайте это жене, — строго сказал Самгин. — Потом, со временем, я сам скажу.

Митрофанов, вздохнув, замолчал, как бы давая Самгину время принять какое-то решение, а Самгин думал, что вот он считал этого человека своеобразно значительным, здравомыслящим…

«А что, в сущности, изменилось?» — спросил он себя и не нашел ответа.

— Может быть — надо съехать мне с квартиры от вас? — услыхал он печальный шопот постояльца.

— Нет, этого не нужно. Я… подумаю, как…

— В сыщики я пошел не из корысти, а — по обстоятельствам нужды, — забормотал Митрофанов, выпив водки. — Ну и фантазия, конечно. Начитался воровских книжек, интересно! Лекок был человек великого ума. Ах„боже мой, боже мой, — погромче сказал он, — простили бы вы мне обман мой! Честное слово — обманывал из любви и преданности, а ведь полюбить человека — трудно, Клим Иванович!

— Да, — невольно сказал Самгин, видя, что темные» глуповатые глаза взмокли и как будто тают. К его обиде на этого человека присоединилось удивление пред исповедью Митрофанова. Но все-таки эта исповедь немножко трогала своей несомненной искренностью, и все-таки было лестно слышать сердечные изъявления Митрофанова; он стал менее симпатичен, но еще более интересен.

— Хороших людей я не встречал, — говорил он, задумчиво и печально рассматривая вилку. — И — надоело мне у собаки блох вычесывать, — это я про свою должность. Ведь — что такое вор, Клим Иванович, если правду сказать? Мелкая заноза, именно — блоха! Комар, так сказать. Без нужды и комар не кусает. Конечно — есть ребята, застарелые в преступности. Но ведь все живем по нужде, а не по евангелию. Вот — явилась нужда привести фабричных на поклон прославленному царю…

Приподняв плечи, Митрофанов спрятал, как черепаха, голову, показал пальцем за спину свою.

— А вот извольте видеть, сидит торговый народ, благополучно кушает отличнейшую пищу, глотает водку и вино дорогих сортов, говорит о своих делах, и как будто ничего не случилось. Но ведь я так понимаю, что фабричных водили в Кремль ради спокойствия и порядка, что для этого и ночные сторожа мерзнут, и воров ловят и вообще — всё! А — настоящей заботы о благополучии жизни во всем этом не вижу я, Клим Иванович, ей-богу, — не вижу! И, знаете, иной раз, как шилом уколет, как подумаешь, что по-настоящему о народе заботятся, не щадя себя, только политические преступники… то есть не преступники, конечно, а… роман «Овод» или «Спартак» изволили читать? Мне барышня Сомова посоветовала, читал с удовольствием, знаете!

Самгин усмехнулся, он готов был даже засмеяться вслух, но не потому, что стало весело, а Митрофанов осторожно поднялся со стула и сказал, не протягивая руки:

— Покорнейше благодарю… от всего сердца! Самгину показалось, что постоялец как будто вырос за этот час, лицо его похудело, сделалось благообразнее.

Самгин великодушно подал ему руку.

— Так — жене я сам скажу.

Митрофанов поклонился и ушел.

Клим посидел еще минут десять, стараясь уложить мысли в порядок, но думалось угловато, противоречиво, и ясно было лишь одно — искренность Митрофанова.

«В конце концов получается то, что он отдает себя в мою волю. Агент уголовной полиции. Уголовной, — внушал себе Самгин. — Порядочные люди брезгуют этой ролью, но это едва ли справедливо. В современном обществе тайные агенты такая же неизбежность, как преступники. Он, бесспорно... добрый человек. И — неглуп. Он — человек типа Тани Куликовой, Анфимьевны. Человек для других...»

Когда Самгин вышел на Красную площадь, на ней было пустынно, как бывает всегда по праздникам. Небо осело низко над Кремлем и рассыпалось тяжелыми хлопьями снега. На золотой чалме Ивана Великого снег не держался. У музея торопливо шевырялась стая голубей свинцового цвета. Трудно было представить, что на этой площади, за час пред текущей минутой, топтались, вторгаясь в Кремль, тысячи рабочих людей, которым, наверное, ничего не известно из истории Кремля, Москвы, России.

«Да, вот и Митрофанов считает революцию неустранимой. «Мы», — говорил он. Кто же это — «мы»? Но — какой неожиданный и... фантастический изгиб в этом человеке...»

Дома, устало раздеваясь и с досадой думая, что сейчас надо будет рассказывать Варваре о манифестации, Самгин услышал в столовой звон чайных ложек, глуховатое воркованье Кумова и затем иронический вопрос дяди Миши:

— Это вы что же, молодой человек, Шеллинга начитались, что ли?

— Я Шеллинга не читал, я вообще философию не люблю, она — от разума, а я, как Лев Толстой, не верю в разум...

— Как Толстой? Ого-о!..

«Чорт вас побери», — мысленно выругался Клим. Не желая видеть этих людей, он прошел в кабинет свой, прилег там на диван, но дверь в столовую была не плотно прикрыта, и он хорошо слышал беседу старого народника с письмоводителем.

— Человек живет не разумом, а воображением...

— Да — ну?

— То есть и разумом тоже, но это низшая форма, а высшие достижения наши не от разума...

— Наука, например?

— И наука тоже начинается с воображения.

— Налить вам? — спросила Варвара, и по ласковому тону вопроса Клим понял, что она спрашивает Кумова. Ему захотелось чаю, он вышел в столовую, Кумов привстал навстречу ему, жена удивленно спросила:

— Ты пришел? Где ты был?

— Смотрел манифестацию рабочих, потом — у патрона.

— Ага! — вскричал дядя Миша, и маленькое его личико просияло добродушным ехидством. — Ну что, как они? Пели «Боже, царя храни», да? Расскажите-ка, расскажите!

— Но ведь Гусаров рассказывал, — напомнила Варвара.

— А мы сопоставим показания, — шутливо сказал Суслов и, явно готовясь к бою,

одернул на груди шерстяную оранжевую курточку, вязанную Любашею. Но прежде чем Самгин начал рассказывать, он заговорил сам.

— Гусаров этот — в сильнейшей ажитации, ему там померещилось что-то, а здесь он Плеханова искажал, дескать, освобождение рабочего класса дело самих рабочих, а мы — интеллигенция, ну — и должны отойти прочь...

Не слушая его. Кумов вполголоса бормотал, опрокинув длинное тело свое к Варваре:

— Хлысты, во время радений, видят духа святого, а ведь духа-то святого нет...

Самгин, сделав удивленное лицо, посмотрел на него через очки, письмоводитель, сконфуженно улыбнувшись, примолк.

— Вообще выходило у него так, что интеллигенция — приказчица рабочего класса, не более, — говорил Суслов, морщась, накладывая ложкой варенье в стакан чаю. — «Нет, сказал я ему, приказчики революций не делают, вожди, вожди нужны, а не приказчики!» Вы, марксисты, по дурному примеру немцев, действительно становитесь в позицию приказчиков рабочего класса, но у немцев есть Бебель, Адлер да — мало ли? А у вас — таких нет, да и не дай бог, чтоб явились... провожать рабочих в Кремль, на поклонение царю...

Но, хотя Суслов и ехидничал, Самгину было ясно, что он опечален, его маленькие глазки огорченно мигали, голос срывался, и ложка в руке дрожала.

— Нет, Гусаров этот из таких, знаете, как будто «блажен муж», а на самом деле — «векую шаташася»...

— Вы уже знаете? — спросила Татьяна Гогина, входя в комнату, — Самгин оглянулся и едва узнал ее: в простеньком платье, в грубых башмаках, гладко причесанная, она была похожа на горничную из небогатой семьи. За нею вошла Любаша и молча свалилась в кресло.

— Что это мы знаем? — спросил Суслов, осматривая ее и Любашу. Любаша сердито фыркнула;

— Он — зубатовец, Гусаров-то...

— Позвольте! — беспокойно и громко сказал Суслов. — Такие вещи надо говорить, имея основания, барышни!

— Он- дурак, но хочет играть большую роль, вот что, по-моему, — довольно спокойно сказала Татьяна. — Варя, дайте чашку крепкого чая Любаше, и я прогоню ее домой, она нездорова.

Суслов, нетерпеливо стуча ложкой по косточкам своих пальцев, спросил ее:

— Нуте-с?

— Там, в Кремле, Гусаров сказал рабочим речь на тему — долой политику, не верьте студентам, интеллигенция хочет на шее рабочих проехать к власти и все прочее в этом духе, — сказала Татьяна как будто равнодушно. — А вы откуда знаете это? — спросила она.

— Нет, сначала вы, — вам-то как это известно? — торопливо проговорил Суслов.

— Я стояла сзади его, когда он говорил, я и еще один рабочий, ученик мой.

— Так, — сказал Суслов, глядя на Клима. Прошло несколько секунд неприятнейшего, ожидающего молчания. Потом Самгин, усмехаясь, напомнил:

— А еще недавно он утверждал необходимость фабричного террора.

Варвара ставила термометр Любаше, Кумов встал и ушел, ступая на пальцы ног, покачиваясь, балансируя руками. Сидя с чашкой чая в руке на ручке кресла, а другой рукой опираясь о плечо Любаши, Татьяна начала рассказывать невозмутимо и подробно, без обычных попыток острить.

— Слушало его человек… тридцать, может быть — сорок; он стоял у царь-колокола. Говорил без воодушевления, не храбро. Один рабочий отметил это, сказав соседу:

«Опасается парень пошире-то рот раскрыть». Они удивительно чутко подмечали всё.

— Ну, а как вообще были настроены? — спросил Суслов.

— Мне кажется — равнодушно. Впрочем, это не только мое впечатление. Один металлист, знакомый Любаши, пожалуй, вполне правильно определил настроение, когда еще шли туда: «Идем, сказал, в незнакомый лес по грибы, может быть, будут грибы, а вернее — нету; ну, ничего, погуляем».

Варвара хотела зажечь огонь.

— Подожди, — сказал Самгин, хотя в комнате было уже сумрачно.

Суслов, потирая руки, тихонько засмеялся.

— Я никаких высоких чувств у рабочих не заметила, но я была далеко от памятника, где говорили речи, — продолжала Татьяна, удивляя Самгина спокойным тоном рассказа. Там кто-то истерически умилялся, размахивал шапкой, было видно, что люди крестятся. Но пробиться туда было невозможно.

— Тридцать восемь и шесть, — громко объявила Варвара, — Суслов поднял руку и прошипел:

— Шш!

«Ведет себя, как хозяин», — отметил Клим. Прервав рассказ, Гогина начала уговаривать Любашу идти домой и лечь, но та упрямо и сердито отказалась.

— Отстань; уйду, когда расскажешь.

— Но уж вы, Сомова, не мешайте, — попросил Суслов — строго попросил. — Ну-с, дальше, Гогина! — сказал он тоном учителя в школе; улыбаясь. Варвара села рядом с ним.

— В закоулке, между монастырем и зданием судебных установлений, какой-то барин, в пальто необыкновенного покроя, ругал Витте и убеждал рабочих, что бумажный рубль «христиански нравственная форма денег», именно так и говорил…

Суслов обрадовался, хлопнул себя по коленям ладонями и сказал сквозь смех:

— Это он, болван, из записки Сергея Шарапова о русских финансах. Вы слышите, Самгин? Вот как, а? Это — рабочим-то говорить о христиански нравственном рубле. Эх, эк-кономисты…

— Рабочие и о нравственном рубле слушали молча, покуривают, но не смеются, — рассказывала Татьяна, косясь на Сомову. — Вообще там, в разных местах, какие-то люди собирали вокруг себя небольшие группы рабочих, уговаривали. Были и бессловесные зрители; в этом качестве присутствовал Тагильский, — сказала она Самгину. — Я очень боялась, что он меня узнает. Рабочие узнавали сразу: барышня! И посматривают на меня подозрительно… Молодежь пробовала в царь-пушку залезать.

Она закрыла глаза, как бы вспоминая давно прошедшее, а Самгин подумал: зачем нужно было ей толкаться среди рабочих, ей, щеголихе, влюбленной в книги Пьера

Луиса, поклоннице эротической литературы, восхищавшейся холодной чувственностью стихов Брюсова.

— Странно они осматривали все, — снова заговорила Татьяна, уже с опенком недоумения, — точно первый раз видят Кремль, а ведь, конечно, многие, если не все, бывали в нем пасхальными ночами. Как будто в чужой город пришли. Или — квартиры снимают. Какой-то рабочий сказал: «А дома-то не больно казисты». Интересная старуха была там, огромная, хромая, в мужском пальто и, должно быть, глуховата, все подставляла ухо тем, кто говорил с нею. Лицо — опухшее, совершенно неподвижно, глаза почти незаметны; жуткое лицо! Она все допрашивала:

«Чего они обещают?» И уговаривает: «Вы, мужики, не верьте. Я — крепостная была, я — знаю, этот царь обманул народ. Глядите, опять обманут».

Суслов снова захлебнулся тихим смехом:

— Я знаю ее! Это — Катерина Бочкарева. Хромая, да? Бедро разбито? Ну, да!

— Рабочие уговаривали ее: «А ты не кричи!»

— Она! Слова ее! Жива! Ей — лет семьдесят, наверное. Я ее давно знаю, Александра Пругавина знакомил с нею. Сектантка была, сютаевка, потом стала чем-то вроде гадалки-прорицательницы. Вот таких, тихонько, но упрямо разрушавших идею справедливого царя, мы недостаточно ценим, а они…

Любаша вдруг выскочила из кресла, шагнула и, взмахнув руками, точно бросаясь в воду, повалилась; если б Самгин не успел поддержать ее, она бы с размаха ударилась 6 пол лицом. Варвара и Татьяна взяли ее под руки и увели.

— Ведь вот какая упрямая, — обиженно сказал Суслов, — ей надо лечь, а она сидит!

Он подвинулся к Самгину и тотчас же спросил:

— Что — этот Гусаров — в организации, в партии?

— Не знаю. Не думаю, — ответил Самгин, чувствуя, что рассказ Татьяны странно взволновал его и даже как будто озлобил.

— Негодяй какой, — проворчал Суслов сквозь зубы. — Ну, а вы, Самгин, что думаете о манифестации?

— Я ведь не был в Кремле, — неохотно начал Самгин, раскуривая папиросу. — Насколько могу судить, Гогина правильно освещает: рабочие относились к этой затее — в лучшем случае — только с любопытством…

— Мм, — недоверчиво промычал дядя. Миша.

— Я стоял в публике, они шли мимо меня, — продолжал Самгин, глядя на дымящийся конец папиросы. Он рассказал, как некоторые из рабочих присоединялись к публике, и вдруг, с увлечением, стал говорить о ней.

— Мне кажется, что многие из толпы зрителей чувствовали себя предаваемыми, то есть довольно определенно выражали свой протест против заигрывания с рабочими. Это, конечно, инстинктивное…

— Классовое, думаете? — усмехнулся Суслов. — Нет, батенька, не надейтесь! Это сказывается нелюбовь к фабричным, вполне объяснимая в нашей крестьянской стране. Издавна принято смотреть на фабричных как на людей, отбившихся от земли, озорных…

Его вставки, мешая говорить, раздражали Самгина. И, поддаваясь раздражению, Клим продолжал:

— Взгляд — вредный. Стачки последних лет убеждают нас, что рабочие — сила, очень хорошо чувствующая свое значение. Затем — для них готова идеология, оружие, которого нет у буржуазии и крестьянства.

— Будто бы нет? — вставил Суслов, поддразнивая. Но Самгин уже не слушал его замечаний, не возражал на них, продолжая говорить все более возбужденно. Он до того увлекся, что не заметил, как вошла жена, и оборвал речь свою лишь тогда, когда она зажгла лампу. Опираясь рукою о стол, Варвара смотрела на него странными глазами, а Суслов, встав на ноги, оправляя куртку, сказал, явно довольный чем-то:

— А вы, Самгин, не очень правоверный марксист, оказывается, и даже...

Он с улыбкой проглотил конец фразы, пожал руку Варвары и снова обратился к Самгину.

— Не ожидал. Тем приятнее. Когда он ушел, Самгин спросил жену:

— Что это ты как смотришь?

— Слушала тебя, — ответила она. — Почему ты говорил о рабочих так... раздраженно?

— Раздраженно? — с полной искренностью воскликнул он. — Ничего подобного! Откуда ты это взяла?

— Из твоего тона, слов.

— Во-первых — я говорил не о рабочих, а о мещанах, обывателях...

— Да, но ты их казнил за то, что они не понимают, чем грозит для них рабочее движение...

— Они это понимают, но...

— Что — но?

— Они — бессильны, и это — порок.

— Не понимаю, — почему порок?

— Бессилие — порок.

Зеленые глаза Варвары усмехнулись, и голос ее прозвучал очень по-новому, когда она, вздохнув, сказала:

— Ах, Клим, не люблю я, когда ты говоришь о политике. Пойдем к тебе, здесь будут убирать.

Взяв его под руку и тяжело опираясь на нее, она с подозрительной осторожностью прошла в кабинет, усадила мужа на диван и даже подсунула за спину его подушку.

— У тебя ужасно усталое лицо, — объяснила она свою заботливость.

— Так тебе не нравится? — начал он.

— Да, — поторопилась светить Варвара, усаживаясь на диван с ногами и оправляя платье. — Ты, конечно, говоришь всегда умно, интересно, но — как будто переводишь с иностранного.

— Гм, — сказал Самгин, пытаясь вспомнить свою речь к дяде Мише и понять, чем она обрадовала его, чем вызвала у жены этот новый, уговаривающий тон.

— Милый мой, — говорила Варвара, играя пальцами его руки, — я хочу

побеседовать с тобою очень… от души! Мне кажется, что роль, которую ты играешь, тяготи г тебя…

— Позволь, — нельзя говорить об игре, — внушительно остановил он ее. Варвара, отклонясь, пожала плечами.

— Ты забыл, что я — неудавшаяся актриса. Я тебе прямо скажу: для меня жизнь — театр, я — зритель. На сцене идет обозрение, revue, появляются, исчезают различно наряженные люди, которые — как ты сам часто говорил — хотят показать мне, тебе, друг другу свои таланты, свой внутренний мир. Я не знаю — насколько внутренний. Я думаю, что прав Кумов, — ты относишься к нему… барственно, небрежно, но это очень интересный юноша. Это — человек для себя…

Самгин внимательно заглянул в лицо жены, она кивнула головою и ласково сказала:

— Да, именно так: для себя…

— Что ж он проповедует. Кумов? — спросил Клим иронически, но чувствуя смутное беспокойство.

Жена прижалась плотнее к нему, ее высокий, несколько крикливый голос стал еще мягче, ласковее.

— Он говорит, что внутренний мир не может быть выяснен навыками разума мыслить мир внешний идеалистически или материалистически; эти навыки только суживают, уродуют подлинное человеческое, убивают свободу воображения идеями, догмами…

— Наивно, — сказал Самгин, не интересуясь философией письмоводителя. — И — малограмотно, — прибавил он. — Но что же ты хочешь сказать?

— Вот, я говорю, — удивленно ответила она. — Видишь ли… Ты ведь знаешь, как дорог мне?

— Да. И — что же? — торопил Самгин. Жена шутливо ударила его по плечу.

— Как это любезно ты сказал! Но тотчас же нахмурилась.

— Я не хотела бы жалеть тебя, но, представь, — мне кажется, что тебя надо жалеть. Ты становишься недостаточно личным человеком, ты идешь на убыль.

Она говорила еще что-то, но Самгин, не слушая, думал:

«Какой тяжелый день. Она в чем-то права».

И он рассердился на себя за то, что не мог рассердиться на жену. Потом спросил, вынув из портсигара папиросу:

— Чего тебе не хватает?

— Тебя, конечно, — ответила Варвара, как будто она давно ожидала именно этого вопроса. Взяв из его руки папиросу, она закурила и прилегла в позе одалиски с какой-то картины, опираясь локтем о его колено, пуская в потолок струйки дыма. В этой позе она сказала фразу, не раз читанную Самгиным в романах, — фразу, которую он нередко слышал со сцены театра:

— Ты меня не чувствуешь. Мы уже не созвучны. «Только это», — подумал Самгин, слушая с улыбкой знакомые слова.

— Женщина, которую не ревнуют, не чувствует себя любимой…

— Видишь ли, — начал он солидно, — мы живем в такое время, когда…

— Все мужчины и женщины, идеалисты и материалисты, хотят любить, — закончила Варвара нетерпеливо и уже своими словами, поднялась и села, швырнув недокуренную папиросу на пол. — Это, друг мой, главное содержание всех эпох, как ты знаешь. И — не сердись! — для этого я пожертвовала ребенком…

— Поступок, которого я не одобрял, — напомнил Самгин.

— Да.

Она соскочила с дивана и, расхаживая по комнате, играя кушаком, продолжала:

— Что бы люди ни делали, они в конце концов хотят удобно устроиться, мужчина со своей женщиной, женщина со своим мужчиной. Это — единственная, неоспоримая правда. Вот я вижу идеалистов, материалистов. Я — немножко хозяйка, не правда ли? Ну, так я тебе скажу, что идеалисты циничнее, откровенней в своем стремлении к удобствам жизни. Не говоря о том, что они чувственнее и практичнее материалистов. Да, да, они не забегают так далеко, они практичнее людей, которым, для того чтобы жить хорошо, необходимо устроить революцию. Моим друзьям революция не нужна, им вот нужны деньги на книгоиздательство. Я могу уверенно сказать, что материалисты, при всем их увлечении цифрами, не могли бы сделать мне такое тонко разработанное и убыточное для меня предложение, какое сделали мои друзья. Ты назвал Кумова наивным, но это единственный человек, которому от меня да, кажется, и вообще от жизни не нужно ничего…

— Ты что-то слишком хорошо говоришь о нем, — вставил Самгин.

— Заслуживает. А ты хочешь показать, что способен к ревности? — небрежно спросила она. — Кумов — типичный зритель. И любит вспоминать о Спинозе, который наслаждался, изучая жизнь пауков. В нем, наконец, есть кое-что общее с тобою… каким ты был…

— Лестно слышать, — усмехнулся Клим и, чувствуя себя засыпанным ее словами, как снегом, сказал, вздохнув:

— Странно ты говоришь. Варвара.

— Странно? — переспросила она, заглянув на часы, ее подарок, стоявшие на столе Клима. — Ты хорошо сделаешь, *если* дашь себе труд подумать над этим. Мне кажется, что мы живем… не так, как могли бы! Я иду разговаривать по поводу книгоиздательства. Думаю, это — часа на два, на три.

Поцеловав его в лоб, она исчезла, и, хотя это вышло у нее как-то внезапно, Самгин был доволен, что она ушла. Он закурил папиросу и погасил огонь; на пол легла мутная полоса света от фонаря и темный крест рамы; вещи сомкнулись; в комнате стало тесней, теплей. За окном влажно вздыхал ветер, падал густой снег, город был не слышен, точно глубокой ночью.

Клим Самгин задумался, вытянувшись на диване, закрыв глаза.

Варвара никогда не говорила с ним в таком тоне; он был уверен, что она смотрит на него все еще так, как смотрела, будучи девицей. Когда же и почему изменился ее взгляд? Он вспомнил, что за несколько недель до этого дня жена, проводив гостей, устало позевнув, спросила:

— Ты не замечаешь, что люди становятся скучнее? А не так давно она заботливо, но как будто и упрекая, сказала:

— У тебя от очков краснеет кончик носа. Затем Самгин вспомнил такой случай: месяца два тому назад он проработал с Кумовым далеко за полночь и, как это бывало не однажды, предложил письмоводителю остаться ночевать. Проснувшись поздно, он пошел мыться, но оказалось, что дверь ванной заперта изнутри. Он был уверен, что жена давно уже одета и, вероятно, в столовой, но все-таки постучал.

Ему не ответили. Подумав, что крючок заскочил в кольцо сам собою, потому что дверью сильно хлопнули, Самгин пошел в столовую, взял хлебный нож, намереваясь просунуть его в щель между косяком и дверью и приподнять крючок. Варвары в столовой не было. Снова войдя в полутемный коридор, он увидал ее в двери ванной; растрепанная, в капоте на голом теле, она подавленно крикнула:

— Что ты?

Запахивая капот на груди, прислонясь спиною к косяку, она опускалась, как бы желая сесть на пол, колени ее выгнулись.

— Да что ты? — повторила она тише и плаксиво, тогда как ноги ее всё подгибались и одною рукой она стягивала ворот капота, а другой держалась за грудь.

Когда Клим, с ножом в руке, подошел вплоть к ней, он увидал в сумраке, что широко открытые глаза ее налиты страхом и блестят фосфорически, точно глаза кошки. Он, тоже до испуга удивленный ею, бросил нож, обнял ее, увел в столовую, и там все объяснилось очень просто: Варвара плохо спала, поздно встала, выкупавшись, прилегла на кушетке в ванной, задремала, и ей приснилось что-то страшное.

— Проснулась, открыла дверь, и — вдруг идешь ты с ножом в руке! Ужасно глупо! — говорила она, посмеиваясь нервным смешком, прижимаясь к нему.

— Ты что ж — вообразила, что я хочу зарезать тебя? — шутливо спросил Самгин.

— Ничего я не воображала, а продолжался какой-то страшный сон, — объяснила она.

Самгин пошел мыться. Но, проходя мимо комнаты, где работал Кумов, — комната была рядом с ванной, — он, повинуясь толчку изнутри, тихо приотворил дверь. Кумов стоял спиной к двери, опустив руки вдоль тела, склонив голову к плечу и напоминая фигуру повешенного. На скрип двери он обернулся, улыбаясь, как всегда, глуповатой и покорной улыбкой, расширившей стиснутое лицо его.

— Переписали?

— Да.

— Положите на стол ко мне, — сказал Самгин, думая: «Не может быть! С таким полуидиотом? Не может быть!»

Теперь он готов был думать, что тогда Кумов находился с Варварой в ванной; этим и объясняется ее нелепый испуг.

«Наверное, так», — подумал он, не испытывая ни ревности, ни обиды, — подумал только для того, чтоб оттолкнуть от себя эти мысли. Думать нужно было о словах Варвары, сказавшей, что он себя насилует и идет на убыль.

«Это она говорит потому, что все более заметными становятся люди, ограниченные идеологией русского или западного социализма, — размышлял он, не открывая глаз. — Ограниченные люди — понятнее. Она видит, что к моим словам прислушиваются уже не так внимательно, вот в чем дело».

Самгин вспомнил отзыв Суслова о его марксизме и подумал, что этот человек, снедаемый различными болезнями, сам похож на болезнь, которая усиливается, он помолодел, окреп, в его учительском голосе все громче слышны командующие ноты. Вероятно, с его слов Любаша на-днях сказала:

— Ты, Клим, рассуждаешь, как престарелый либерал.

Она организовала группу «помощи рабочему движению» и, кажется, чувствует себя полковницей от революции.

Татьяна Гогина учит рабочих в полулегальной школе, на фабрике какого-то либерала из купцов. Ее насмешливость приобретает характер все более едкий, в ней заметно растет пристрастие к резкому подчеркиванию неустранимых противоречий, к темам острым. Недавно она сказала, что «Цветы зла» Бодлэра — «панихида чорта по христианской культуре» и что Бодлэр — «шекспировский могильщик». Сегодня она настроена была иначе, потому что, вероятно, утомлена и обеспокоена болезнью Любаши. Тут Самгин подумал, что отношение Татьяны к брату очень похоже на обыкновеннейший роман, но вспомнил, что Алексей — приемыш в семье Гогиных. Алексей, видимо, «комитетчик». Он попрежнему весел, шутлив, но в нем явилась какая-то подозрительная сдержанность;

Самгин заметил, что Алексей стал относиться к нему с любопытством, сквозь которое явно просвечивает недоверие.

«Да, все изменяются...»

Социалисты бесцеремонно, даже дерзко высмеивают либералов, а либералы держатся так, как будто чувствуют себя виноватыми в том, что не могут быть социалистами. Но они помогают революционной молодежи, дают деньги, квартиры для собраний, даже хранят у себя нелегальную литературу.

Почувствовав, что им овладевает раздражение, Самгин вскочил с дивана, закурил папиросу и вспомнил крик горбатенькой девочки:

«Да — что вы озорничаете?»

«Зубатов — идиот», — мысленно выругался он и, наткнувшись в темноте на стул, снова лег. Да, хотя старики-либералы спорят с молодежью, но почти всегда оговариваются, что спорят лишь для того, чтоб «предостеречь от ошибок», а в сущности, они провоцируют молодежь, подстрекая ее к большей активности. Отец Татьяны, Гогин, обвиняет свое поколение в том, что оно не нашло в себе сил продолжить дело народовольцев и позволило разыграться реакции Победоносцева. На одном из вечеров он покаянно сказал:

— Щедрин будил нас, но мы не проснулись; история не простит нам этого.

Он человек среднего роста, грузный, двигается осторожно и почти каждое движение сопровождает покрякиванием. У него, должно быть, нездоровое сердце, под добрыми серого цвета глазами набухли мешки. На лысом его черепе, над ушами, поднимаются, как рога, седые клочья, остатки пышных волос; бороду он бреет; из-под мягкого носа его уныло свисают толстые, казацкие усы, под губою — остренький хвостик эспаньолки. К Алексею и Татьяне он относится с нескрываемой, грустной нежностью.

— Наше поколение обязано облегчать молодежи ее крестный путь, — сказал он однажды другу и сожителю своему Рындину.

«Фабриканты жертв», — подумал Клим, вспомнив эти слова.

Рындин — разорившийся помещик, бывший товарищ народовольцев, потом — толстовец, теперь — фантазер и анархист, большой, сутулый, лет шестидесяти, но очень моложавый; у него грубое, всегда нахмуренное лицо, резкий голос, длинные руки. Он пользуется репутацией человека безгранично доброго, человека «не от мира сего». Старший сын его сослан, средний — сидит в тюрьме, младший, отказавшись учиться в гимназии, ушел из шестого класса в столярную мастерскую. О старике Рындине Татьяна сказала:

— Он, из сострадания к людям, готов убивать их. У Гогина, по воскресеньям, бывали молодые адвокаты, земцы из провинции, статистики; горячились студенты и курсистки, мелькали усталые и таинственные молодые люди. Иногда являлся Редозубов, принося с собою угрюмое озлобление и нетерпимость церковника.

Самгин посещал два-три таких дома, именуя их про себя «странноприимными

домами»; а Татьяна называла их:

— Гнездилища словесных ужасов.

Почти везде Самгин встречал Никонову; скромная, незаметная, она приятельски улыбалась ему, но никогда не говорила с ним на политические темы и только один раз удивила его внезапным, странным вопросом:

— Правда, что Савва Морозов дает деньги на издание «Искры»?

Клим засмеялся:

— Савва Морозов? Это, конечно, шутка.

— Я тоже так думаю, — сказала она и отошла прочь. Она постепенно возбуждала в Самгине симпатию. Было в ней нечто «митрофановское», располагающее к доверию, и напоминала она какую-то несложную, честную машину.

«Жертва. Покорная раба жизни», — привык думать о ней Самгин.

Слух о том, что Савва Морозов и еще какой-то пермский пароходовладелец щедро помогают революционерам деньгами, упорно держался, и теперь, лежа на диване, дымя папиросой в темноте, Самгин озлобленно и уныло думал:

«Все может быть. Все может быть в этой безумной стране, где люди отчаянно выдумывают себя и вся жизнь скверно выдумана».

Вспоминалось восхищение Радеева интеллигенцией, хозяйский тон Лютова в его беседе с Никоновой, окрик Саввы Морозова на ученого консерватора, химика с мировым именем, вспомнилось еще многое.

«Да, возможно, что помогают. А если так, значит — провоцируют. Но — где же мое место в этой фантастике? Спрятаться куда-нибудь в провинциальную трущобу, жить одиноко, попробовать писать...»

Он чувствовал, что это так же не для него, как роль пропагандиста среди рабочих или роль одного из приятелей жены, крикунов о космосе и эросе, о боге и смерти. У него была органическая неприязнь к этим людям красивых слов, к людям, которые, видимо, серьезно верили, что они уже не только европейцы, но и парижане. Их речи, долетая в кабинет к нему, вызывали в его памяти жалкий образ Нехаевой, с ее страхом смерти и болезненной жаждой любви. Они раздражали его тем, что осмеливались пренебрежительно издеваться над социальными вопросами; они, повидимому, как-то вырвались или выродились из хаоса тех идей, о которых он не мог не думать и которые, мешая ему жить, мучили его. Втайне от себя он понимал, что эти люди очень образованны и что он, в сравнении с ними, невежда. В конце концов они говорили о вещах, о которых он не имел потребности думать. Иногда он чувствовал, что это его недостаток, но недостаток лишь потому, что ограничивает его лексикон, впрочем, достаточно богатый афоризмами.

«Философия права — это попытка оправдать бесправие», — говорил он и говорил, что, признавая законом борьбу за существование, бесполезно и лицемерно искать в жизни место религии, философии, морали. Таких фраз он помнил много, хорошо пользовался ими и, понимая, как они дешевы, называл их про себя «медной монетой мудрости». Но вообще от философических размышлений он воздерживался, предпочитая им «факты», а когда замечал, что факты освещаются им несколько разноречиво или слишком одноцветно, он объяснял это требованиями объективности.

В этот вечер тщательно, со всей доступной ему объективностью, прощупав, пересмотрев все впечатления последних лет, Самгин почувствовал себя так совершенно одиноким человеком, таким чужим всем людям, что даже испытал тоскливую боль, крепко сжавшую в нем что-то очень чувствительное. Он

приподнялся и долго сидел, безмысленно глядя на покрытые льдом стекла окна, слабо освещенные золотистым огнем фонаря. Он был в состоянии, близком к отчаянию. В памяти возникла фраза редактора «Нашего края»:

«Вся наша интеллигенция больна гипертрофией критического отношения к действительности».

«Возможно, что я тоже заразился этой болезнью, — подумал Самгин. — Заразился и отсюда — всё».

Подумав, он быстро нашел «но».

«Но если я болен, то, в отличие от других, знаю — чем».

А в следующий момент подумал, что если он так одинок, то это значит, что он действительно исключительный человек. Он вспомнил, что ощущение своей оторванности от людей было уже испытано им у себя в городе, на паперти церкви Георгия Победоносца; тогда ему показалось, что в одиночестве есть нечто героическое, возвышающее.

«Нет у меня своих слов для голоса души, а чужими она не говорит», — придумал Самгин.

На стене, по стеклу картины, скользнуло темное пятно. Самгин остановился и сообразил, что это его голова, попав в луч света из окна, отразилась на стекле. Он подошел к столу, закурил папиросу и снова стал шагать в темноте.

Варвара возвратилась около полуночи. Услышав ее звонок, Самгин поспешно зажег лампу, сел к столу и разбросал бумаги так, чтоб видно было: он давно работает. Он сделал это потому, что не хотел говорить с женою о пустяках. Но через десяток минут она пришла в ночных туфлях, в рубашке до пят, погладила влажной и холодной ладонью его щеку, шею.

— Работаешь?

— Как видишь.

— Странно, подъезжая к дому, я не видела огня в твоем окне.

— Да?

Присев на угол стола, жена сказала, что Любаша серьезно больна, доктор считает возможным воспаление легких.

— Там у нее Гогина.

— Это — хорошо. Ты — иди, я скоро кончу. Варвара покорно ушла. Глядя на ее оранжевые пятки, Самгин подумал, что эта женщина уже прочитана им, неинтересна. Он знал каждое движение ее тела, каждый вздох и стон, звал всю, не очень богатую, игру ее лита и был убежден, что хорошо знает суетливый ход ее фраз, которые она не очень осторожно черпала из модной литературы и часто беспомощно путалась в них, впадая в смешные противоречия. Но она была удобной женой, практичной хозяйкой, и Самгин ценил ее скептическое отношение к людям, ее чутье фальши, умение подмечать маскировку. Вообще с нею не плохо жить, но, например, с Никоновой было бы, вероятно, мягче, приятней, хотя Никонова и старше Варвары.

Через час он тихо вошел в спальню, надеясь, что жена уже спит. Но Варвара, лежа в постели, курила, подложив одну руку под голову.

— Дурная привычка курить в спальне, — заметил он начиная раздеваться.

— Сколько раз я говорила тебе это, — отозвалась Варвара; вышло так, как будто она окончила его фразу. Самгин посмотрел на нее, хотел что-то сказать, но не

сказал ничего, отметил только, что жена пополнела и, должно быть, от этого шея стала короче у нее.

«Если она изменяет мне, это должно как-то сказаться на приемах ее ласк, на движениях тела», — подумал Самгин и решил проверить свою догадку.

— Подвинься, — сказал он, подходя к ее постели.

— Я так устала, — ответила она, не двигаясь, прикрыв глаза. — Уснуть не могу.

Она редко отказывала ему и никогда не отказывала под этим предлогом. Просить ее было бы унизительно, он тоже никогда не делал этого. Он лег в свою постель обиженным.

— Был там один еврей, — заговорила Варвара, погасив папиросу и как бы продолжая рассказ, начатый ею давно.

— И Кумов был, — произнес Клим и услышал, что он не спросил о Кумове, а утверждает: был Кумов.

— Был, — сказала Варвара. — Но он — не в ладах с этой компанией. Он, как ты знаешь, стоит на своем: мир — непроницаемая тьма, человек освещает ее огнем своего воображения, идеи — это знаки, которые дети пишут грифелем на школьной доске…

— Наивнейшая метафизика, чепуха, — сердито сказал Самгин, с негодованием улавливая общее между философией письмоводителя и своими мыслями. — Будем спать, я теме устал.

Варвара вздохнула, поправила подушку под головой и, помолчав минуту, снова заговорила:

— А знаешь, не нравятся мне евреи. Это — стыдно?

— Конечно.

— Не нравятся. Все они и всегда, во всем как-то забегают вперед. И есть евреи специально для возбуждения антисемитизма.

— Есть и русские, которые способны вызвать руссо-фобство, — проворчал Самгин. Но Варвара настойчиво и, кажется, насмешливо продолжала:

— Это — неудачное возражение. Ты ведь тоже не любишь евреев, но тебе стыдно сознаться в этом.

— Какая чепуха! Пожалуйста, погаси свет. Погасила, продолжая говорить и в темноте, и голос и слова ее стали еще более раздражающими,

— Разве ты не говорил, что, если еврей — нигилист, так он в тысячу раз хуже русского нигилиста?

Самгин, с трудом отмалчиваясь, подумал, что не следует ей рассказывать о Митрофанове, — смеяться будет она. Пробормотав что-то несуразное, якобы сквозь сон, Клим заставил, наконец, жену молчать.

Митрофанов являлся не так часто и свободно, как раньше. Он входил виновато, с вопрошающей улыбкой на лице, как бы молча осведомляясь:

«Ну, как же решено?»

Много пил чаю, рассказывал уличные и трактирные сценки, очень смешил ими Варвару и утешал Самгина, поддерживая его убеждение, что, несмотря на суету интеллигенции, жизнь, в глубине своей, покорно повинуется старым, крепким навыкам и законам.

— Кажется, скоро место получу, вторым помощником смотрителя буду в сумасшедшем доме, — сказал Митрофанов Варваре, но, когда она вышла из столовой, он торопливым шопотом объявил Самгину:

— Насчет сумасшедшего дома я соврал, конечно, извините!

— Зачем? — удивился Клим,

— Да, знаете, все-таки, если Варвара Кирилловна усомнится в моей жизни, так чтоб у вас было чем объяснить шатающееся поведение мое.

Самгину понравилась эта своеобразная забота сыщика о нем, но, проводив Митрофанова, спросил сам себя:

«Неужели мое отношение к Варваре уже заметно посторонним?»

И — рассердился:

«Этот болван, кажется, считает меня своим единомышленником в чем-то…»

Через несколько дней Самгин одиноко сидел в столовой за вечерним чаем, думая о том, как много в его жизни лишнего, изжитого. Вспомнилась комната, набитая изломанными вещами, — комната, которую он неожиданно открыл дома, будучи ребенком. В эти невеселые думы тихо, точно призрак, вошел Суслов.

— Слышали? — спросил он, улыбаясь, поблескивая черненькими глазками. Присел к столу, хозяйственно налил себе стакан чаю, аккуратно положил варенья в стакан и, размешивая чай, позванивая ложечкой, рассказал о крестьянских бунтах на юге. Маленькая, сухая рука его дрожала, личико морщилось улыбками, он раздувал ноздри и все вертел шеей, сжатой накрахмаленным воротником.

— Вот — видите? — мягко, уговаривающим тоном спрашивал он. — Чего же стоит ваше чисто экономическое движение рабочих, руководимых не вами, а жандармами, чего оно стоит в сравнении с этим стихийным порывом крестьянства к социальной справедливости?

Вежливо улыбаясь, Самгин молчал и не верил старику, думая, что эти волнения крестьян, вероятно, так же убоги и мало значительны, как памятный грабеж хлебного магазина. А Суслов, натягивая рукава пиджака до кистей рук, точно подросток, которому костюм уже короток и неудобен, звенел:

— Зашел сказать, что сейчас уезжаю недели на три, на месяц; вот ключ от моей комнаты, передайте Любаше; я заходил к ней, но она спит. Расхворалась девица, — вздохнул он, сморщив серый лоб. — И — как не во-время! Ее бы надо послать в одно место, а она вот…

Тут Самгин увидел, что старик одет празднично или как именинник в новый, темносиний костюм, а его тощее тело воинственно выпрямлено. Он даже приобрел нечто напомнившее дядю Якова, полусгоревшего, полумертвого человека, который явился воскрешать мертвецов. Ласково простясь, Суслов ушел, поскрипывая новыми ботинками и оставив у Самгина смутное желание найти в старике что-нибудь комическое. Комического — не находилось, но Клим все-таки с некоторой натугой подумал:

«Ему бы к пиджаку пришить золоченые пуговицы… Статский советник от революции…»

Минут через десять Суслова заменил Гогин, но не такой веселый, как всегда. Он оказался более осведомленным и чем-то явно недовольным. Шагая по комнате, прищелкивая пальцами, как человек в досаде, он вполголоса отчетливо говорил:

— Волнения начались в деревне Лисичьей и охватили пять уездов Харьковской и Полтавской губернии. Да-с. Там у вас брат, так? Дайте его адрес. Туда едет

Татьяна, надобно собрать материал для заграничников. Два адреса у нас есть, но, вероятно, среди наших аресты.

Подняв за спинку тяжелый стул, раскачивая его на вытянутой руке, Гогин задумчиво продолжал:

— Не охотник я рассуждать с одной стороны и с другой стороны, но, пожалуй, это — компенсация за парад Зубатова. Однако — не нр-равится мне это…

— Почему? — спросил Клим, несколько удрученный его рассказом.

— Как сказать? Нечто эмоциональное, — грешен! Недавно на одной фабрике стачка была, машины переломали. Квалифицированный рабочий машин не ломает, это всегда — дело чернорабочих, людей от сохи…

Он поставил стул, сел на него верхом и пощипал усики.

— Государственное хозяйство — машина. Старовата, изработалась? Да, но… Бедная мы страна! И вот тут вмешивается эмоция, которая… которая, может быть, — расчет. За границей наши поднимают вопрос о создании квалифицированных революционеров. Умная штука…

Не слушая его, Самгин пытался представить, как на родине Гоголя бунтуют десятки тысяч людей, которых он знал только «чоловіками» и «парубками» украинских пьес. Затем, при помощи прочитанной еще в отрочестве по настоянию отца «Истории крестьянских войн в Германии» и «Политических движений русского народа», воображение создало мрачную картину: лунной ночью, по извилистым дорогам, среди полей, катятся от деревни к деревне густые, темные толпы, окружают усадьбы помещиков, трутся о них; вспыхивают огромные костры огня, а люди кричат, свистят, воют, черной массой катятся дальше, все возрастая, как бы поднимаясь из земли; впереди их мчатся табуны испуганных лошадей, сзади умножаются холмы огня, над ними — тучи дыма, неба — не видно, а земля — пустеет, верхний слой ее как бы скатывается ковром, образуя все новые, живые, черные валы.

— Так, значит, в четверг? — спросил Алексей, встав и оглядываясь.

Самгин утвердительно кивнул головою, хотя и не слышал, что именно предложил или о чем просил Гогин.

Когда он снова остался наедине с собою, его обняла холодным дымом скука знакомой тревоги. В памяти ожили темные массы людей. Волновались, прогибая под собою землю, сотни тысяч на Ходынском поле, и вспомнилось, как он подумал, что, если эта сила дружно хлынет на Москву, она растопчет город в мусор и пыль. Шли десятки тысяч рабочих к бронзовому царю, дедушке голубоглазого молодого человека, который, подпрыгивая на сиденье коляски, скакал сквозь рев тысяч людей, виновато улыбаясь им. Народ поднимает колокол, натягивая веревки так, будто хочет опрокинуть колокольню. Срывают «всем миром» замок с двери запасного хлебного магазина. Мужик, с деревянной ногою, ловит несуществующего сома. Другой мужик недоверчиво спрашивает:

«Да — был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

В двух этих мужиках как будто было нечто аллегорическое и утешительное. Может быть, все люди ловят несуществующего сома, зная, что сом — не существует, но скрывая это друг от друга?..

«Нет, глупо я думаю», — решил он, закрыв глаза и надевая очки,

«Есть во мне что-то беспомощное, — решил он, но тотчас поправил себя: — Детское. Но — неужели я всегда буду жить так? Пленником, невольником?»

Скука вытеснила его из дому. Над городом, в холодном и очень высоком небе,

сверкало много звезд, скромно светилась серебряная подкова луны. От огней города небо казалось желтеньким. По Тверской, мимо ярких окон кофейни Филиппова, парадно шагали проститутки, щеголеватые студенты, беззаботные молодые люди с тросточками. Человек в мохнатом пальто, в котелке и с двумя подбородками, обгоняя Самгина, сказал девице, с которой шел под руку:

— Ну, ладно, три целковых, но уж…

— Конечно, — честным голосом ответила девица. — Меня все хвалят.

А другой человек, с длинным лицом, в распахнутой шубе, стоя на углу Кузнецкого моста под фонарем, уговаривал собеседника, маленького, но сутулого, в измятой шляпе:

— Чорт с ними! Пусть школы церковно-приходские, только бы народ знал грамоту!

В коляске, запряженной парой черных зверей, ноги которых работали, точно рычаги фантастической машины, проехала Алина Телепнева, рядом с нею — Лютов, а напротив них, под спиною кучера, размахивал рукою толстый человек, похожий на пожарного. Самгин вспомнил о Лидии, она живет где-то на Кавказе и, по словам Любаши, пишет книгу о чем-то. Варвара никогда не вспоминает о ней. Макаров — в Москве, но не заметен. Брат Дмитрий недавно прислал длинное и тусклое письмо, занят изучением кустарных промыслов, особенно — гончарного.

«Возможно, что он арестован», — подумал Самгин.

Молодцевато прошел по мостовой сменившийся с караула взвод рослых солдат, серебряные штыки, косо пронзая воздух, точно расчесывали его.

— Мы пошли? — спросила Самгина девица в широкой шляпе, задорно надетой набок; ее неестественно расширенные зрачки колюче блестели.

«Атропин, конечно», — сообразил Клим, строго взглянув в раскрашенное лицо, и задумался о проститутках: они почему-то предлагали ему себя именно в тяжелые, скучные часы.

«Забавно».

Но уже было не скучно, а, как всегда на этой улице, — интересно, шумно, откровенно распутно и не возбуждало никаких тревожных мыслей. Дома, осанистые и коренастые, стояли плотно прижавшись друг к другу, крепко вцепившись в землю фундаментами. Самгин зашел в ресторан.

Когда он возвратился домой, жена уже спала. Раздеваясь, он несколько раз взглянул на ее лицо, спокойное, даже самодовольное лицо человека, который, сдерживая улыбку удовольствия, слушает что-то очень приятное ему.

«Она — счастливее меня. Потому что глупее».

Самгин лег, погасил огонь, с минуту прислушался к дыханию жены. В нем быстро закипело озлобление.

«Глупая баба с деланной скромностью распутницы, которая скромна только из страха обнаружить свою бешеную чувственность. Выкидыш она сделала для того, чтоб ребенок не мешал ее наслаждениям».

Темнота легко подсказывала злые слова, Самгин снизывал их одно с другим, и ему была приятна работа возбужденного чувства, приятно насыщаться гневом. Он чувствовал себя сильным и, вспоминая слова жены, говорил ей:

«Да, я по натуре не революционер, но я честно исполняю долг порядочного человека, я — революционер по сознанию долга. А — ты? Ты — кто?»

Ему даже захотелось разбудить Варвару, сказать в лицо ей жесткие слова, избить

ее словами, заставить плакать.

«Вероятно, вот в таком настроении иногда убивают женщин», — мельком подумал он, прислушиваясь к шуму на дворе, где как будто лошади топали. Через минуту раздался торопливый стук в дверь и глухой голос Анфимьевны:

— Полиция во флигель пришла. Не зажигайте огня, будто спите, может, бог пронесет.

— Чорт бы взял, — пробормотал Самгин, вскакивая с постели, толкнув жену в плечо. — Проснись, обыск! Третий раз, — ворчал он, нащупывая ногами туфли, одна из них упрямо пряталась под кровать, а другая сплющилась, не пуская в себя пальцы ноги.

Варвара, уродливо длинная в ночной рубашке, перенеслась, точно по воздуху, к окну.

— Ах, боже мой…

— Не открывай занавеску!..

— Есть у тебя что-нибудь? Прячь, дай мне, я спрячу… Анфимьевна спрячет.

Она убежала, отвратительно громко хлопнув дверью спальни, а Самгин быстро прошел в кабинет, достал из книжного шкафа папку, в которой хранилась коллекция запрещенных открыток, стихов, корректур статей, не пропущенных цензурой. Лично ему все эти бумажки давно уже казались пошленькими и в большинстве бездарными, но они были монетой, на которую он покупал внимание людей, и были ценны тем еще, что дешевизной своей укрепляли его пренебрежение к людям.

«Я — боюсь», — сознался он, хлопнув себя папкой по коленям, и швырнул ее на диван. Было очень обидно чувствовать себя трусом, и было бы еще хуже, если б Варвара заметила это.

«Арестуют… Чорт с ними! Вышлют из Москвы, не более, — торопливо уговаривал он себя. — Выберу город потише и буду жить вне этой бессмыслицы».

Вбежала Варвара.

— Давай!

Схватив папку, она, убегая, обнадежила:

— Кажется, не к тебе.

Самгин, осторожно отогнув драпировку, посмотрел в окно, по двору двигались человекоподобные сгустки тьмы.

«Не к тебе, — повторил он слова жены. — Другая сказала бы: не к нам».

Варвара снова возвратилась, он отошел от окна, сел на диван, глядя, как она, пытаясь надеть капот, безуспешно ищет рукав.

— Помоги же!

И, когда он расправил рукав. Варвара, прижавшись к нему, пробормотала:

— Не могу представить тебя в тюрьме.

— Сотни людей сидят.

— Ах, какое мне дело до сотен! Сели на диван, плотно друг ко другу. Сквозь щель в драпировке видно было, как по фасаду дома напротив ползает отсвет фонаря,

точно желая соскользнуть со стены; Варвара, закурив папиросу, спросила:

— Неужели больную арестуют?

Самгин не ответил. Было глупо, смешно и неловко пред Варварой сидеть и ждать визита жандармов. Но — что же делать?

— А Суслов — уехал, — шептала Варвара. — Он, вероятно, знал, что будет обыск. Он — такая хитрая лиса...

— Неправда, — строго сказал Самгин.

Снова замолчали, прислушиваясь к заливистому кашлю на дворе; кашель начинался с басового буханья и, повышаясь, переходил в тонкий визг ребенка, страдающего коклюшем.

— Это — унизительно, ждать! — догадалась Варвара. — Я — лягу.

Ода ушла, сердито шаркая туфлями. Самгин встал, снова осторожно посмотрел в окно, в темноту; в ней ничего не изменилось, так же по стене скользил свет фонаря.

«Испортилась горелка, — подумал Самгин. — Не придут, это ясно».

Идти в спальню не хотелось, он прилег на диване, чувствуя себя очень одиноким и в чем-то виноватым пред собою.

Утром к чаю пришел Митрофанов, он был понятым при обыске у Любаши.

— Обыскивали строго, — рассказывал он и одобрительно улыбался. — Ни зерна не нашли, ни дробинки. А все-таки увезли.

— Но ведь она нездорова! — возмущенно воскликнула Варвара. Иван Петрович пожал плечами, вздохнул:

— У них — свои соображения, они здоровьем подозрительных людей не интересуются. И книги оказались законные, — продолжал он, снова улыбаясь. — библия, наука, сочинения Тургенева, том четвертый...

— Д почему вы думали, что у нее должны быть какие-то незаконные книги? — подозрительно спросила Варвара.

Иван Петрович спрашивающими глазами взглянул на Сангина, ухмыльнулся, потер щеку и вполголоса заговорил;

— Эх, Варвара Кирилловна, что уж скрывать! Я ведь понимаю: пришло время перемещения сил, и на должность дураков метят умные. И — пора! И даже справедливо. А уж если желаем справедливости, то, конечно, жалеть нечего. Я ведь только против убийств, воровства и вообще беспорядков.

Он согнулся, наклонясь к Варваре, и еще понизил голос.

— Однако — и убийство можно понять. «Запрос в карман не кладется», — как говорят. Ежели стреляют в министра, я понимаю, что это запрос, заявление, так сказать: уступите, а то — вот! И для доказательства силы — хлоп!

Варвара осторожно засмеялась.

— Вы забавно говорите, Иван Петрович, — сказала она сквозь смех.

— Конечно, смешно, — согласился постоялец, — но, ей-богу, под смешным словом мысли у меня серьезные. Как я прошел и прохожу широкий слой жизни, так я вполне вижу, что людей, не умеющих управлять жизнью, никому не жаль и все понимают, что хотя он и министр, но — бесполезность! И только любопытство, все

равно как будто убит неизвестный, взглянут на труп, поболтают малость о причине уничтожения и отправляются кому куда нужно: на службу, в трактиры, а кто — по чужим квартирам, по воровским делам.

Самгин слушал философические изъявления Митрофанова и хмурился, опасаясь, что Варвара догадается о профессии постояльца. «Так вот чем занят твой человек здравого смысла», скажет она. Самгин искал взгляда Ивана Петровича, хотел предостерегающе подмигнуть ему, а тот, вдохновляясь все более, уже вспотел, как всегда при сильном волнении.

— Конечно, если это войдет в привычку — стрелять, ну, это — плохо, — говорил он, выкатив глаза. — Тут, я думаю, все-таки сокрыта опасность, хотя вся жизнь основана на опасностях. Однако ежели молодые люди пылкого характера выламывают зубья из гребня — чем же мы причешемся? А нам. Варвара Кирилловна, причесаться надо, мы — народ растрепанный, лохматый. Ах, господи! Уж я-то знаю, до чего растрепан человек…

Самгин громко кашлянул, но и это не помогло.

— Может быть, конечно, что это у нас от всесильной тоски по справедливости, ведь, знаете, даже воры о справедливости мечтают, да и все вообще в тоске по какой-нибудь другой жизни, отчего у нас и пьянство и распутство. Однако же, уверяю вас, Варвара Кирилловна, многие притворяются, сукиновы дети! Ведь я же знаю. Например — преступники…

«Болван!» — мысленно выругался Самгин и, крякнув, начал звонить ложкой о стакан, но тотчас же перестал мешать Митрофанову.

Свирепо вытаращив глаза, колотя себя кулаком по колену, Митрофанов протянул другую руку к Варваре, растопыря пальцы, как бы намереваясь схватить ее за горло.

— Какой же ты, сукинов сын, преступник, — яростно шептал он. — Ты же — дурак и… и ты во сне живешь, ты — добрейший человек, ведь вот ты что! Воображаешь ты, дурья башка! Паяц ты, актеришка и самозванец, а не преступник! Не Р-рокамболь, врешь! Тебе, сукинов сын, до Рокамболя, как петуху до орла. И виновен ты в присвоении чужого звания, а не в краже со взломом, дур-рак!

Он встряхнулся, выпрямился и сказал более спокойно, подняв руку, как для присяги:

— Варвара Кирилловна, — подобного нам народа — нет!

Варвара смотрела на него изумленно, даже как бы очарованно, она откинулась на спинку стула, заложив руки за шею, грудь ее неприлично напряглась. Самгин уже не хотел остановить излияния агента полиции, находя в них некий иносказательный смысл.

— Совершенно невозможный для общежития народ, вроде как блаженный и безумный. Каждая нация имеет своих воров, и ничего против них не скажешь, ходят люди в своей профессии нормально, как в резиновых калошах. И — никаких предрассудков, все понятно. А у нас самый ничтожный человечишка, простой карманник, обязательно с фокусом, с фантазией. Позвольте рассказать… По одному поручению..

Митрофанов заикнулся, мельком взглянул на Клима.

— То есть не по поручению, а по случаю пришлось мне поймать на деле одного полотера, он замечательно приспособился воровать мелкие вещи, — кольца, серьги, броши и вообще. И вот, знаете, наблюдаю за ним. Натирает он в богатом доме паркет. В будуаре-с. Мальчишку-помощника выслал, живенько открыл отмычкой ящик в трюмо, взял что следовало и погрузил в мастику. Прелестно. А затем-с…

Митрофанов подпрыгнул на стуле, и его круглое, котово лицо осветилось нелепо радостной улыбкой.

— Затем выбегает в соседнюю комнату, становится на руки, как молодой негодяй, ходит на руках и сам на себя в низок зеркала смотрит. Но — позвольте! Ему — тридцать четыре года, бородка солидная и даже седые височки. Да-с! Спрашивают… спрашиваю его: «Очень хорошо, Яковлев, а зачем же ты вверх ногами ходил?» — «Этого, говорит, я вам объяснить не могу, но такая у меня примета и привычка, чтобы после успеха в деле пожить минуточку вниз головою».

Он снова всем телом подался к Варваре и тихо, убежденно, с какой-то горькой радостью, но как бы и с испугом продолжал:

— Это — не Рокамболь, а самозванство и вреднейшая чепуха. Это, знаете, самообман и заблуждение, так сказать, игра собою и кроме как по морде — ничего не заслуживает. И, знаете, хорошо, что суд в такие штуки не вникает, а то бы — как судить? Игра, господи боже мой, и такая в этом скука, что — заплакать можно…

Он и заплакал. Его выпученные глаза омылились слезами, Самгину показалось, что слезы желтоватые и как пена. Покусав губы, чтоб сдержать дрожь их, Митрофанов усмехнулся.

— Невозможно понять поступки. Ермаков, коннозаводчик и в своем деле знаменитость, начал, от избытка средств, двухэтажный приют для старушек созидать, зданье с домовой церковью и прочее. Вдруг — обрушились леса, покалечило людей нескольких. Случай — понятный. Но Ермаков, после того, церковь строить запретил, а, достроив дом, отдал его, на смех людям, под неприличное заведение, под мэзон пюблик, как говорят французы из деликатности. Я вам таких примеров десятки расскажу. А — к чему примеряются, люди? Не понимаю» И дали даешь думать, что уж нет человека без фокуса, от каждого ждешь, что вот-вот и — встанет е» вверх ногами.

Тяжко вздохнув, Митрофанов встал, спросил:

— Думаете — просто все? Служат люди в разных должностях, кушают, посещают трактиры, цирк, театр и — только? Нет, Варвара. Кирилловна, это одна оболочка, скорлупа, а внутри — скука! Обыкновенность жизни эхо — фальшь и — до времени, а наступит разоблачающая минута, и — пошел человек- вняв головою.

Он отвесил неуклюжий поклон.

— Извините, пожалуйста, что расстроился. Живешь, знаете, и… неудобно. Беспокойно. Простите.

Стряхивая рукою крошки хлеба с пиджака, он ушел.

— За-амечательно» — изумленно протянула Варвара, закрыв глаза, качая головою. — Как это… замечательно! Разоблачающая минута, а? Что ты скажешь?

— Да, интересно, — сказал Самгин, разбираясь в «системе фраз» агента полиции.

— Нет, он мало похож на человека здравого смысла, каким ты его считал, — говорила Варвара.

— Кажется, это — так, — пробормотал Самгин и пошел к себе.

— Не понимаю, чем он тебя разочаровал, — настойчиво допрашивала жена, идя за ним. — Ты зайдешь к Гогиным сообщить об аресте Любаши?

— Разумеется.

Он сел к столу, развернул пред собою толстую папку с надписью «Дело» и тотчас же, как только исчезла Варвара, упал, как в яму, заросшую сорной травой, в

хаотическую путаницу слов.

«Самозванство. Игра в жизнь…»

Ему казалось, что за этими словами спрятаны уже знакомые ему тревожные мысли. Митрофанов чем-то испуган, это — ясно; он вел себя, как человек виноватый, он, в сущности, оправдывался.

«Честный парень, потому и виноват», — заключил Самгин и с досадой почувствовал, что заключение это как бы подсказано ему со стороны, неприятно, чуждо.

Мешала думать Варвара, командуя в столовой.

— Пейте кофе.

— Спасибо, — ответил Кумов. «В капоте, не причесана, ноги голые», — вспомнил Самгин о жене, а она допрашивала:

— Что же он говорил?

Мягким голосом и, должно быть, как всегда, с улыбкой снисхождения к заблудившимся людям Кумов рассказывал:

— Упрекал писателей-реалистов в духовной малограмотности; это очень справедливо, но уже не новость, да ведь они и сами понимают, что реализм отжил.

— Вы думаете?

— Да, это — закон: когда жизнь становится особенно трагической — литература отходит к идеализму, являются романтики, как было в конце восемнадцатого века…

— Гм… Так ли? — спросила Варвара.

«Взвешивает, каким товаром выгоднее торговать», — сообразил Самгин, встал и шумно притворил дверь кабинета, чтоб не слышать раздражающий голос письмоводителя и деловитые вопросы жены.

Вечером он пошел к Гогиным, не нравилось ему бывать в этом доме, где, точно на вокзале, всегда толпились разнообразные люди. Дверь ему открыл встрепанный Алексей с карандашом за ухом и какими-то бумагами в кармане.

— Ага, это — вы? А у нас…

— Обыск? — тихо спросил Самгин.

— Ну, разве теперь время для обыска…

— Ночью арестована Любаша, — сообщил Самгин, не раздеваясь, решив тотчас же уйти. Гогин ослепленно мигнул и щелкнул языком.

— С-скверно. Сестра — тоже. В Полтаве. Эх… Ну, идемте!

Он вытянул шею к двери в зал, откуда глухо доносился хриплый голос и кашель. Самгин сообразил, что происходит нечто интересное, да уже и неловко было уйти. В зале рычал и кашлял Дьякон; сидя у стола, он сложил руки свои на груди ковшичками, точно умерший, бас его потерял звучность, хрипел, прерывался глухо бухающим кашлем; Дьякон тяжело плутал в словах, не договаривая, проглатывая, выкрикивая их натужно.

— Подобно исходу из плена египетского, — крикнул он как раз в те секунды, когда Самгин входил в дверь. — А Моисея — нет! И некому указать пути в землю обетованную.

Самгин тотчас подметил что-то новое и жуткое в этом, издавна неприятном ему человеке. Дьякон уродливо расплющился, стал плоским; сидел он прямо, одеревенело. Совершенно седая борода его висела клочьями, точно у нищего, который нарочитой неприглядностью хочет возбудить жалость. И облысел он неприглядно: со лба до затылка волосы выпали, обнажив серую кожу, но кое-где на ней остались коротенькие клочья, а над ушами торчали, как рога, два длинных клочка. Кожа лица сморщилась, лицо стало длинным, как у Василия Блаженного с дешевой иконы «богомаза».

— И ничего не было у них, ни ружьишка, ни пистолетишка, только палки, да колья, да вопли…

«В нем есть что-то театральное», — подумал Самгин, пытаясь освободиться от угнетающего чувства. Оно возросло, когда Дьякон, медленно повернув голову, взглянул на Алексея, подошедшего к нему, — оплывшая кожа безобразно обнажила глаза Дьякона, оттянув и выворотив веки, показывая красное мясо, зрачки расплылись, и мутный блеск их был явно безумен.

— Ну, пишите, пишите, все равно, — сказал Дьякон, отмахиваясь от Алексея тяжелым жестом руки.

На него смотрели человек пятнадцать, рассеянных по комнате, Самгину казалось, что все смотрят так же, как он: брезгливо, со страхом, ожидая необыкновенного. У двери сидела прислуга: кухарка, горничная, молодой дворник Аким; кухарка беззвучно плакала, отирая глаза концом головного платка. Самгин сел рядом с человеком, согнувшимся на стуле, опираясь локтями о колена, охватив голову ладонями.

— Великое отчаяние, — хрипло крикнул Дьякон и закашлялся. — Половодью подобен был ход этот по незасеянным, невспаханным полям. Как слепорожденные, шли, озимя топтали, свое добро. И вот наскакал на них воевода этот, Сенахериб Харьковский…

— Он — нетрезвый? — шопотом спросил Самгин соседа, — тот, не пошевелясь, довольно громко проворчал:

— Вы сами пьяный…

— Старосте одному пропороли брюхо нагайкой. До кишок. Баб хлестали, как лошадей.

Кто-то из угла спросил тихо и безнадежно:

— Попыток сопротивления — не было?

— Чем сопротивляться? Пальцами? Кожа сопротивлялась, когда ее драли…

Дьякон замолчал, оглядываясь кровавыми глазами. Изо всех углов комнаты раздались вопросы, одинаково робкие, смущенные, только сосед Самгина спросил громко и строго:

— Сколько же тысяч было?

— Не считал. Несчетно.

Самгин по голосу узнал в соседе Пояркова и отодвинулся от него.

— Вот вы сидите и интересуетесь: как били и чем, и многих ли, — заговорил Дьякон, кашляя и сплевывая в грязный платок. — Что же: все для статей, для газет? В буквы все у вас идет, в слова. А — дело-то когда?

Он попробовал приподняться со стула, но не мог, огромные сапоги его точно вросли в пол. Вытянув руки на столе, но не опираясь ими, он еще раз попробовал встать п тоже не сумел. Тогда, медленно ворочая шеей, похожей па ствол дерева,

воткнутый в измятый воротник серого кафтана, он, осматривая людей, продолжал:

— Словами и я утешался, стихи сочинял даже. Не утешают слова. До времени — утешают, а настал час, и — стыдно…

«Разоблачающая минута», — автоматически вспомнил Самгин.

— Что — слова? Помет души.

Согнувшись так, что борода его легла на стол, разводя по столу руками, Дьякон безумно забормотал:

Присмотрелся дьявол к нашей жизни,Ужаснулся и — завыл со страха:— Господи! Что ж это я наделал?Одолел тебя я, — видишь, боже?Сокрушил я все твои законы,Друг ты мой и брат мой неудачный,Авель ты…

Закашлялся, подпрыгивая на стуле, и прохрипел:

— Вот что сочинял… Забыл дальше-то… В конце они:

Обнялись и оба горько плачут…

Дьякон ударил ладонью по столу.

— А — на что они, слезы-то бога и дьявола о бессилии своем? На что? Не слез народ просит, а Гедеона, Маккавеев…

Он еще раз ударил по столу, и удар этот, наконец, помог ему, он встал, тощий, длинный, и очень громко, грубо прохрипел:

— Исус Навин нужен. Это — не я говорю, это вздох народа. Сам слышал: человека нет у нас, человека бы нам! Да.

По длинному телу его от плеч до колен волной прошла дрожь.

— Был проповедник здесь, в подвале жил, требухой торговал на Сухаревке. Учил: камень — дурак, дерево — дурак, и бог — дурак! Я тогда молчал. «Врешь, думаю, Христос — умен!» А теперь — знаю: все это для утешения! Всё — слова. Христос тоже — мертвое слово. Правы отрицающие, а не утверждающие. Что можно утверждать против ужаса? Ложь. Ложь утверждается. Ничего нет, кроме великого горя человеческого. Остальное — дома, и веры, и всякая роскошь, и смирение — ложь!

Хотя кашель мешал Дьякону, но говорил он с великой силой, и на некоторых словах его хриплый голос звучал уже попрежнему бархатно. Пред глазами Самгина внезапно возникла мрачная картина: ночь, широчайшее поле, всюду по горизонту пылают огромные костры, и от костров идет во главе тысяч крестьян этот яростный человек с безумным взглядом обнаженных глаз. Но Самгин видел и то, что слушатели, переглядываясь друг с другом, похожи на зрителей в театре, на зрителей, которым не нравится приезжий гастролер.

— И о рабах — неверно, ложь! — говорил Дьякон, застегивая дрожащими пальцами крючки кафтана. — До Христа — рабов не было, были просто пленники, телесное было рабство. А со Христа — духовное началось, да!

Поярков поднял голову, выпрямился.

— Верно, батя, — сказал он.

–. Позвольте однако, — возмущенно воскликнул человек с забинтованной ногою и палкой в руке. Поярков зашипел на него, а Дьякон, протянув к нему длинную руку с растопыренными пальцами, рычал:

— Был у меня сын… Был Петр Маракуев, студент, народолюбец. Скончался в

ссылке. Сотни юношей погибают, честнейших! И — народ погибает. Курчавенький казачишка хлещет нагайкой стариков, которые по полусотне лет царей сыто кормили, епископов, вас всех, всю Русь… он их нагайкой, да! И гогочет с радости, что бьет и что убить может, а — наказан не будет! А?

«А» Дьякон рявкнул оглушительно и так, что заставил Самгина ожидать площадного ругательства. Но, оттолкнув ногою стул, на котором он сидел. Дьякон встряхнулся, точно намокшая под дождем птица, вытащил из кармана пестрый шарф и, наматывая его на шею, пошел к двери.

— Не могу больше, — бормотал он. — Простите. Нездоровится.

За ним пошел Алексей и седая дама в трауре; она обеспекоенно спросила:

— Где же вы ночуете?

Дьякон, кашляя, не ответил. Он шел, как слепой, раздвигая рукою воздух впереди себя, тяжело топая.

Чтоб избежать встречи с Поярковым, который снова согнулся и смотрел в пол, Самгин тоже осторожно вышел в переднюю, на крыльцо. Дьякон стоял на той стороне улицы, прижавшись плечом к столбу фонаря, читая какую-то бумажку, подняв ее к огню; ладонью другой руки он прикрывал глаза. На голове его была необыкновенная фуражка, Самгин вспомнил, что в таких художники изображали чиновников Гоголя.

— Мошенники, — пробормотал Дьякон, как пьяный, и, всхрапывая, кашляя, начал рвать бумажку, потом, оттолкнув от себя столб фонаря, шумно застучал сапогами. Улица была узкая, идя по другой стороне, Самгин слышал хрипящую воркотню:

— «Жертва богу… дух сокрушен… сердце сокрушенно и смиренно»… Х-хе…

Встречные люди оглядывались на длинную, безрукую фигуру; руки Дьякон плотно прижал к бокам и глубоко сунул их в карманы.

«Должно быть, не легко в старости потерять веру», — размышлял Самгин, вспомнив, что устами этого полуумного, полуживого человека разбойник Никита говорил Христу:

Мы тебя — и ненавидя — любим,Мы тебе и ненавистью служим…

Время позаботилось, чтоб это впечатление недолго тяготило Самгина.

Через несколько дней, около полуночи, когда Варвара уже легла спать, а Самгин работал у себя в кабинете, горничная Груша сердито сказала, точно о коте или о собаке:

— Постоялец просится.

Митрофанов вошел на цыпочках, балансируя руками, лицо его было смешно стянуто к подбородку, усы ощетинены, он плотно притворил за собою дверь и, подойдя к столу, тихонько сказал:

— Опять студент министра застрелил.

Самгин едва сдержал улыбку, — очень смешно было лицо Митрофанова, его опустившиеся плечи и общая измятость всей его фигуры.

— Наповал, как тетерева. Замечательно ловко, переоделся офицером и — бац!

— Это — верно? — спросил Самгин, чтоб сказать что-нибудь.

— Ну, как же! У нас все известно тотчас после того, как случится, — ответил Митрофанов и, вздохнув, сел, уперся грудью на угол стола.

— Клим Иванович, — шопотом заговорил он, — объясните, пожалуйста, к чему эта война студентов с министрами? Непонятно несколько: Боголепова застрелили, Победоносцева пробовали, нашего Трепова… а теперь вот… Не понимаю расчета, — шептал он, накручивая на палец носовой платок. — Это уж, знаете, похоже на Африку: негры, носороги, вообще — дикая сторона!

— Я террору не сочувствую, — сказал Самгин несколько торопливо, однако не совсем уверенно.

— Благоразумие ваше мне известно, потому я и…

Грузное тело Митрофанова, съехав со стула, наклонилось к Самгину, глаза вопросительно выкатились.

— По-моему, это не революция, а простая уголовщина, вроде как бы любовника жены убить. Нарядился офицером и в качестве самозванца — трах! Это уж не государство, а… деревня. Где же безопасное государство, ежели все стрелять начнут?

— Конечно, эти единоборства — безумие, — сказал Самгин строгим тоном. Он видел, что чем более говорит Митрофанов, тем страшнее ему, он уже вспотел, прижал локти к бокам, стесненно шевелил кистями, и кисти напоминали о плавниках рыбы.

— Нарядился, — повторял он. — За ним кто-нибудь попом нарядится и архиерея застрелит…

Потом, подвинувшись к Самгину еще ближе, он сказал:

— Клим Иванович, вы, конечно, понимаете, что дом — подозревается…

— То есть — мой дом? Я?

— Ну, да. Я, конечно, с филерами знаком по сходству службы. Следят, Клим Иванович, за посещающими вас.

— И за мною?..

— А — как же? Тут — женщина скромного вида ходила к Сомовой, Никонова как будто. Потом господин Суслов и вообще… Знаете, Клим Иванович, вы бы как-нибудь…

— Благодарю вас, — сказал Самгин теплым тоном. Митрофанов, должно быть, понял благодарность как желание Самгина кончить беседу, он встал, прижал руку к левой стороне груди.

— Ей-богу, это — от великого моего уважения к вам…

— Я понимаю, спасибо.

Самгин протянул ему руку, а сыщик, жадно схватив ее обеими своими, спросил шопотом:

— Что же, — студент этот, за своих стрелял или за хохлов? Не знаете?

— Не знаю, — ответил Самгин, невольно поталкивая гостя к двери, поспешно думая, что это убийство вызовет новые аресты, репрессии, новые акты террора и, очевидно, повторится пережитое Россией двадцать лет тому назад. Он пошел в спальню, зажег огонь, постоял у постели жены, — ода спала крепко, лицо ее было сердито нахмурено. Присев на кровать свою, Самгин вспомнил, что, когда он сообщил ей о смерти Маракуева, Варвара спокойно сказала:

— Я знаю.

— Что ж ты не сказала мне? Варвара ответила:

— Если ты хочешь отслужить панихиду, это не поздно.

— Глупо шутишь, — заметил он.

— Я — не шучу, я — служила, — сказала она, повернувшись к нему спиною.

«Да, она становится все более чужим человеком, — подумал Самгин, раздеваясь. — Не стоит будить ее, завтра скажу о Сипягине», — решил он, как бы наказывая жену.

Она сама сказала ему это, разбудила и, размахивая газетой, почти закричала:

— Застрелили Сипягина, читай! И, присев на его постель, тихонько, но очень взволнованно сообщила:

— Студент Балмашев. Понимаешь, я, кажется, видела его у Знаменских, его и с ним сестру или невесту, вероятнее — невесту, маленькая барышня в боа из перьев, с такой армянской, что ли, фамилией…

Комкая газету, искривив заспанное лицо усмешкой, она пожаловалась:

— Скоро нельзя будет никуда выйти, без того чтоб героя не встретить…

Она не кончила, но Клим, догадавшись, что она хотела сказать, заметил:

— А помнишь, как ты жаждала героев? Фыркнув, Варвара подошла к трюмо, нервно раздергивая гребнем волосы.

— Работа на реакцию, — сказал Клим, бросив газету на пол. — Потом какой-нибудь Лев Тихомиров снова раскается, скажет, что террор был глупостью и России ничего не нужно, кроме царя.

— Не понимаю, почему нужно дожидаться Тихомирова… и вообще — не понимаю! В стране началось культурное оживление, зажглись яркие огни новой поэзии, прозы… наконец — живопись! — раздраженно говорила Варвара, причесываясь, морщась от боли, в ее раздражении было что-то очень глупое. Самгин усмехнулся, пошел мыться, но, войдя в уборную, сел на кушетку, прислушиваясь. Ему показалось, что в доме было необычно шумно, как во дни уборки пред большими праздниками: хлопали двери, в кухне гремели кастрюли, бегала горничная, звеня посудой сильнее, чем всегда; тяжело, как лошадь, топала Анфимьевна.

Самгин подумал, что, вероятно, вот так же глупо-шумно сейчас во множестве интеллигентских квартир; везде полуодетые, непричесанные люди читают газету, радуются, что убит министр, соображают — что будет?

— Нелепая жизнь…

Когда он вышел из уборной, встречу ему по стене коридора подвинулся, как тень, повар, держа в руке колпак и белый весь, точно покойник.

— Позвольте спросить, Клим Иванович-Красное, пропеченное личико его дрожало, от беззубой, иронической улыбки по щекам на голый череп ползли морщины.

— Интересуюсь понять намеренность студентов, которые убивают верных слуг царя, единственного защитника народа, — говорил он пискливым, вздрагивающим голосом и жалобно, хотя, видимо, желал говорить гневно. Он мял в руках туго накрахмаленный колпак, издавна пьяные глаза его плавали в желтых слезах, точно ягоды крыжовника в патоке.

— Семьдесят лет живу… Многие, бывшие студентами, достигли высоких должностей, — сам видел! Четыре года служил у родственников убиенного его превосходительства болярина Сипягина… видел молодым человеком, — говорил

он, истекая слезами и не слыша советов Самгина:

— Успокойтесь, Егор Васильевич!

— Никаких других защитников, кроме царя, не имеем, — всхлипывал повар. — Я — крепостной человек, дворовый, — говорил он, стуча красным кулаком в грудь. — Всю жизнь служил дворянству… Купечеству тоже служил, но — это мне обидно! И, если против царя пошли купеческие дети, Клим Иванович, — нет, позвольте…

Из кухни величественно вышла Анфимьевна, рукава кофты ее были засучены, толстой, как нога, рукой она взяла повара за плечо и отклеила его от стены, точно афишу.

— Ну-ка, иди к делу, Егор! Выпей нашатыря, иди! Увлекая его, точно ребенка, она сказала Самгину через плечо свое:

— Вы его разговором не балуйте. Ему — все равно, он и с мухами может говорить.

А втолкнув повара в кухню, объяснила:

— Господа испортили его, он ведь все в хороших домах жил.

— Трогательный старик, — пробормотал Клим.

— Тронешься, эдакие-то годы прожив, — вздохнула Анфимьевна.

Через час Клим Самгин вошел в кабинет патрона. Большой, солидный человек, сидя у стола в халате, протянул ему теплую, душистую руку, пошевелил бровями и, пытливо глядя в лицо, спросил вполголоса:

— Ну-с, что же вы скажете?

— Работа на реакцию, — сказал Клим. Патрон повел глазами на маленькую дверь в стене, налево от себя.

— Потише, там — новый письмоводитель. Он подумал, посмотрел в потолок.

— На реакцию, говорите? Гм, вопрос очень сложный. Конечно, молодежь горячится, но…

Он снова задумался, высоко подняв брови. В это утро он блестел более, чем всегда, и более крепок был запах одеколона, исходивший от него. Холеное лицо его солидно лоснилось, сверкал перламутр ногтей. Только глаза его играли вопросительно, как будто немножко тревожно.

— Да, молодежь горячится, однако — это понятно, — говорил он, тщательно разминая слова губами. — Возмущение здоровое… Люди видят, что правительство бессильно овладеть… то есть — вообще бессильно. И — бездарно, как об этом говорят — волнения на юге.

Оглянувшись, патрон прислушался к тишине.

— Революция с подстрекателями, но без вождей… вы понимаете? Это — анархия. Это — не может дать результатов, желаемых разумными силами страны. Так же как и восстание одних вождей, — я имею в виду декабристов, народовольцев.

Самгин, вспомнив Дьякона, подумал:

«Кажется, и этот о Гедеонах мечтает. Хорош бы он был в роли Гедеона со своим животом и брелоками».

— Хочется думать, что молодежь понимает свою задачу, — сказал патрон, подвинув Самгину пачку бумаг, и встал; халат распахнулся, показав шелковое белье на крепком теле циркового борца. — Разумеется, людям придется вести борьбу на два

фронта, — внушительно говорил он, расхаживая по кабинету, вытирая платком пальцы. — Да, на два: против лиходеев справа, которые доводят народ снова до пугачевщины, как было на юге, и против анархии отчаявшихся.

Самгину было приятно, что этот очень сытый человек встревожен. У него явилась забавная мысль: попросить Митрофанова, чтоб он навел воров на квартиру патрона. Митрофанов мог бы сделать это, наверное, он в дружбе с ворами. Но Самгин тотчас же смутился:

«Чорт знает, какая чепуха лезет в голову».

Патрон подошел к нему и сказал:

— Кстати: послезавтра вечером у меня… меня просили устроить маленькое собрание. Приходите. Некто из… провинции, скажем, сделает интересное сообщение… как мне обещали.

«Доволен, — думал Самгин, почтительно кланяясь. — Явно доволен. Нет, я таким не буду никогда», — заключил он без сожаления.

— Из суда зайдите ко мне, я сегодня не выхожу, нездоров. На этой неделе вам придется съездить в Калугу.

В три дня Самгин убедился, что смерть Сипягина оживила и обрадовала людей значительно более, чем смерть Боголепова. Общее настроение показалось ему сродным с настроением зрителей в театре после первого акта драмы, сильно заинтересовавшей их.

— Кажется — серьезно взялись, — сказал рыжий адвокат Магнит, потирая руки.

— Посмотрим, посмотрим, что будет, — говорили одни, неумело скрывая свои надежды на хороший конец; другие, притворяясь скептиками, утверждали:

— Ничего не будет. Это — испытано.

Старик Гогин говорил, как бы упрашивая и намекая:

— Вот если б теперь рабочие надавили хорошей забастовкой, тогда, наверное, можно бы поздравить Россию с конституцией, — верно, Алеша?

Хмурый, похудевший Алексей неохотно ответил:

— Рабочие, кажется, устали работать на чужого дядю. На улице Самгин встретил Редозубова.

— Бессмысленно, — сказал бывший толстовец, — убили комара, когда нужно осушить болото.

Эта фраза показалась Климу деланной и пустой, гораздо естественней прозвучал другой, озабоченный вопрос Редозубова:

— Вы, юрист, как думаете: Балмашева тоже не повесят, как побоялись повесить Карповича?

День собрания у патрона был неприятен, холодный ветер врывался в город с Ходынского поля, сеял запоздавшие клейкие снежинки, а вечером разыгралась вьюга. Клим чувствовал себя уставшим, нездоровым, знал, что опаздывает, и сердито погонял извозчика, а тот, ослепляемый снегом, подпрыгивая на козлах, философски отмалчиваясь от понуканий седока, уговаривал лошадь:

— Беги, дура, к дому едем!

«И все-таки приходится жить для того, чтоб такие вот люди что-то значили», — неожиданно для себя подумал Самгин, и от этого ему стало еще холодней и

скучней.

Дверь в квартиру патрона обычно открывала горничная, слащавая старая дева, а на этот раз открыл камердинер Зотов, бывший матрос, человек лет пятидесяти, досиня бритый, с пухлым лицом разъевшегося монаха и недоверчивым взглядом исподлобья.

— Пожалуйте в зало, — предложил он, встряхивая мокрое пальто. Самгин, протирая очки, постоял пред дубовой дверью, потом осторожно приотворил ее и влез в узкую щель боком, понимая, что это глупо. Пред ним встала картина, напомнившая заседание масонов в скучном романе Писемского: посреди большой комнаты, вокруг овального стола под опаловым шаром лампы сидело человек восемь; в конце стола — патрон, рядом с ним — белогрудый, накрахмаленный Прейс, а по другую сторону — Кутузов в тужурке инженера путей сообщения. Присутствие Кутузова не удивило Клима, как будто он уже знал, что «человек из провинции» и должен был быть именно Кутузовым. Через стул от Кутузова сидел, вскинув руки за шею, низко наклонив голову, незнакомый в широком, сером костюме, сначала Клим принял его за пустое кресло в чехле. А плечо в плечо с Прейсом навалился грудью на стол бритоголовый; синий череп его торчал почти на средине стола; пошевеливая острыми костями плеч, он, казалось, хочет весь вползти на стол.

Освещая стол, лампа оставляла комнату в сумраке, наполненном дымом табака; у стены, вытянув и неестественно перекрутив длинные ноги, сидел Поярков, он, как всегда, низко нагнулся, глядя в пол, рядом — Алексей Гогин и человек в поддевке и смазных сапогах, похожий на извозчика; вспыхнувшая в углу спичка осветила курчавую бороду Дунаева. Клим сосчитал головы, — семнадцать.

Он считал по головам, оттого что большинство людей вытянуло шеи в сторону Кутузова. В позах их было явно выраженное напряжение, как будто все нетерпеливо ждали, когда Кутузов кончит говорить.

— Все это вы, конечно, читали, — говорил он, от папиросы в его руке поднималась к лампе спираль дыма, тугая, как пружина.

— Читали, — звонко подтвердил бритоголовый. — С изумлением читали, — продолжал он, наползая на стол. — Организация заговорщиков, мальчишество, Густав Эмар, романтизм гимназиста, — оппонент засмеялся искусственным смехом, и кожа на голове его измялась, точно чепчик.

— Позвольте, — строго сказал патрон, пристукнув карандашом по столу, — бритый повернул лицо к нему, говоря с усмешкой:

— Автора этой затеи я знал как серьезного юношу, но, очевидно, жизнь за границей…

— Прошу не мешать докладчику, — сказал патрон и обиженно надул щеки.

Кутузов, стряхнув пепел папиросы мимо пепельницы, стал говорить знакомо Климу о революционерах скуки ради и ради Христа, из романтизма и по страсти к приключениям; он произносил слова насмешливые, но голос его звучал спокойно и не обидно. Коротко, клином подстриженная бородка, толстые, но тоже подстриженные усы не изменяли его мужицкого лица.

«Он никогда не сумеет переодеться так, чтоб его нельзя было узнать», — подумал Самгин, слушая.

— Мне кажется, что появился новый тип русского бунтаря, — бунтарь из страха пред революцией. Я таких фокусников видел. Они органически не способны идти за «Искрой», то есть, определеннее говоря, — за Лениным, но они, видя рост классового сознания рабочих, понимая неизбежность революции, заставляют себя верить Бернштейну…

— Неправда, — глухо сказал кто-то из угла.

— Могу привести примеры.

— Из практики Зубатова, — резко подсказал кто-то. Кутузов помолчал, должно быть, ожидая возражений, воткнул папиросу в пепельницу и продолжал:

— Недавно, беседуя с одним из таких хитрецов, я вспомнил остроумную мысль тайного советника Филиппа Вигеля из его «Записок». Он сказал там: «Может быть, мы бы мигом прошли кровавое время беспорядков и давным-давно из хаоса образовалось бы благоустройство и порядок» — этими словами Вигель выразил свое, несомненно искреннее, сожаление о том, что Александр Первый не расправился своевременно с декабристами.

С улыбкой взглянув в неподвижное и непроницаемое лицо Прейса, он сказал погромче:

— Струве, в предисловии к записке Витте о земстве, пытается испугать департамент полиции своим предвидением ужасных жертв. Но мне кажется, что за этим предвидением скрыто предупреждение: глядите в оба, дураки! И хотя он там же советует «смириться пред историей и смирить самодержавца», но ведь это надобно понимать так: скорее поделитесь с нами властью, и мы вам поможем в драке...

— Позвольте! — звучно сказал Прейс, вставая. — Я протестую! Это выпад против талантливейшего...

Патрон потянул его за рукав и, нахмурясь, зашептал что-то в ухо ему, а Кутузов, как бы не услыхав крика, продолжал:

— Я совершенно убежден, что у нас есть уже не мало революционеров, которые торопятся разыграть драму, для того чтоб поскорее насладиться идиллией...

— Это вы — против себя, против Ленина, — с восторгом выкрикнул бритоголовый. — Это он...

— Ленин — не торопится, — сказал Кутузов. — Он просто утверждает необходимость воспитания из рабочих, из интеллигентов мастеров и художников революции.

— Влияние народников! Герои, толпа...

— Заговоры сочинять, хо-хо!

Более половины людей закричало сразу. Самгин не мог понять, приятно ему или нет видеть так много людей, раздраженных и обиженных Кутузовым.

Преодолевая шум, кричал из угла глуховатый голос:

— Совершенно верно сказано! Многие потому суются в революцию, что страшно жить. Подобно баранам ночью, на пожаре, бросаются прямо в огонь.

Он как будто нарочно подбирал слова на «о», и они напористо лезли в уши.

Патрон, шлепая ладонью по столу, безуспешно внушал:

— Гос-пода! Поря-док...

Его не слушали. Кутузов заклеивал языком лопнувшую папиросу, а Поярков кричал через его плечо Прейсу:

— Да, необходимо создать организацию, которая была бы способна объединять в каждый данный момент все революционные силы, всякие вспышки, воспитывать и умножать бойцов для решительного боя — вот! Дунаев, товарищ Дунаев...

Дунаева прижали к стене двое незнакомых Климу молодых людей, один — в поддевке; они наперебой говорили ему что-то, а он смеялся, протяжно, поддразнивающим тоном тянул:

— Да — неужели?

Человек в поддевке сипло говорил в лицо Дунаева:

— Крестьянство захлестнет вас, как сусликов.

— Да — ну-у? Сгорят бараны? Пускай. Какой вред? Дым гуще, вонь будет, а вреда — нет.

Особенно был раздражен бритоголовый человек, он расползался по столу, опираясь на него локтем, протянув правую руку к лицу Кутузова. Синий шар головы его теперь пришелся как раз под опаловым шаром лампы, смешно и жутко повторяя его. Слов его Самгин не слышал, а в голосе чувствовал личную и горькую обиду. Но был ясно слышен сухой голее Прейса:

— Никак не мог я ожидать, что вы — вы! — дойдете до утверждения необходимости искусственной фабрикации каких-то буревестников и вообще до…

От волнения он удваивал начальные слога некоторых слов. Кутузов смотрел на него улыбаясь и вежливо пускал дым из угла рта в сторону патрона, патрон отмахивался ладонью; лицо у него было безнадежное, он гладил подбородок карандашом и смотрел на синий череп, качавшийся пред ним. Поярков неистово кричал:

— Эволюция? Задохнетесь вы в этой эволюции, вот что! Лакейство пред действительностью, а ей надо кости переломать.

Слово «действительность» он произнес сквозь зубы и расчленяя по слогам, слог «ствu» звучал, как ругательство, а лицо его покрылось пятнами, глаза блестели, как чешуйки сазана.

«Дунаев держит его за пояс, точно злого пса», — отметил Клим.

— Мы, старые общественные работники, — сильным басом и возмущенно говорил патрон.

Его не слушали. Рассеянные по комнате люди, выходя из сумрака, из углов, постепенно и как бы против воли своей, сдвигались к столу. Бритоголовый встал на ноги и оказался длинным, плоским и по фигуре похожим на Дьякона. Теперь Самгин видел его лицо, — лицо человека, как бы только что переболевшего какой-то тяжелой, иссушающей болезнью, собранное из мелких костей, обтянутое старчески желтой кожей; в темных глазницах сверкали маленькие, узкие глаза.

— Фанатизм! Аввакумовщина! Баварское крестьянство доказало… Деревенский социализм Италии…

Он взвизгивал и точно читал заголовки конспекта, бессвязно выкрикивая их. Руки его были коротки сравнительно с туловищем, он расталкивал воздух локтями, а кисти его болтались, как вывихнутые. Кутузов, покуривая, негромко, неохотно и кратко возражал ему. Клим не слышал его и досадовал — очень хотелось знать, что говорит Кутузов. Мяогогласие всегда несколько притупляло внимание Самгина, и он уже не столько следил за словами, сколько за игрою физиономий.

— Господа! — кричал бритый. — «Тяжелый крест достался нам на долю!» Каждый из нас — раб, прикованный цепью прошлого к тяжелой колеснице истории; мы — каторжники, осужденные на работу в недрах земли…

— Позвольте, я не согласен! — заявил о себе человек в сером костюме и в очках на татарском лице. — Прыжок из царства необходимости в царство свободы должен

быть сделан, иначе — Ваал пожрет нас. Мы должны переродиться из подневольных людей в свободных работников…

— Это — ваше дело, перерождайтесь, — громко произнес Кутузов и спросил: — Но какое же до вас дело рабочему-то классу, действительно революционной силе?

Он стал говорить тише и этим заставил слушать себя. Стоя у стены, в тени, Самгин понимал, что Кутузов говорит нечто разоблачающее именно его, Самгина. Он видел, что в этой комнате, скудно освещенной опаловым шаром, пародией на луну, есть люди, чей разум противоречит чувству, но эти люди все же расколоты не так, как он, человек, чувство и разум которого мучает какая-то непонятная третья сила, заставляя его жить не так, как он хочет. Слушая Кутузова, он ощущал, что спокойное, даже как будто неохотное течение речи кружит и засасывает его в какую-то воронку, в омут. Не впервые ощущал он гипнотическое влияние Кутузова, но никогда еще не ощущал этого с такой силой.

«Должно быть — он прав», — соображал Самгин, вспомнив крики Дьякона о Гедеоне и слова патрона о революции «с подстрекателями, но без вождей».

Он видел, что большинство людей примолкло, лишь некоторые укрощенно ворчат да иронически похохатывает бритоголовый. Кутузов говорит, как профессор со своими учениками.

— Я — понимаю: все ищут ключей к тайнам жизни, выдавая эти поиски за серьезное дело. Но — ключей не находят и пускают в дело идеалистические фомки, отмычки и всякий другой воровской инструмент.

— Вульгарно! — крикнул бритый, притопнув ногой, нагнувшись вперед, точно падая. — Наука…

— Я не говорю о положительных науках, источнике техники, облегчающей каторжный труд рабочего человека. А что — вульгарно, так я не претендую на утонченность. Человек я грубоватый, с тем и возьмите.

Говоря, Кутузов постукивал пальцем левой руки по столу, а пальцами правой разминал папиросу, должно быть, слишком туго набитую. Из нее на стол сыпался табак, патрон, брезгливо оттопырив нижнюю губу, следил за этой операцией неодобрительно: Когда Кутузов размял папиросу, патрон, вынув платок, смахнул табак со стола на колени себе. Кутузов с любопытством взглянул на него, и Самгину показалось, что уши патрона покраснели.

— Рассуждая революционно, мы, конечно, не боимся действовать противузаконно, как боятся этого некоторые иные. Но — мы против «вспышкопускательства», — по слову одного товарища, — и против дуэлей с министрами. Герои на час приятны в романах, а жизнь требует мужественных работников, которые понимали бы, что великое дело рабочего класса — их кровное, историческое дело…

— Вы — проповедник якобы неоспоримых истин, — закричал бритый. Он говорил быстро, захлебываясь словами, и Самгин не мог понять его, а Кутузов, отмахнувшись широкой ладонью, сказал:

— Неверно, милостивый государь, культура действительно погибает, но — не от механизации жизни, как вы изволили сказать, не от техники, культурное значение которой, видимо, не ясно вам, — погибает она от идиотической психологии буржуазии, от жадности мещан, торгашей, убивающих любовь к труду. Затем — еще раз повторю: великолепный ваш мятежный человек ищет бури лишь потому, что он, шельма, надеется за бурей обрести покой. Это — может быть — законно, но — до покоя не близко. Лично я сомневаюсь, что он возможен и нужен человеку.

Кутузов встал, вынул из кармана толстые, как луковица, серебряные часы, взглянул на них, взвесил на ладони.

— Однако — не пора ли прекратить эти «микроскопические для души увеселения»?

Так озаглавлена одна старинная книга о гидре, организме примитивнейшем и слепом.

Самгин незаметно подвигался к двери; ему не хотелось встречи с Кутузовым, а того более — с Поярковым и Дунаевым. В комнате снова бурно закричали, кто-то возмутился:

— Вы называете микроскопическими увеселениями…

На улице было пустынно и неприятно тихо. Полночь успокоила огромный город. Огни фонарей освещали грязножелтые клочья облаков. Таял снег, и от него уже исходил запах весенней сырости. Мягко падали капли с крыш, напоминая шорох ночных бабочек о стекло окна.

Самгин шел тихо, как бы опасаясь расплескать на ходу все то, чем он был наполнен. Большую часть сказанного Кутузовым Клим и читал и слышал из разных уст десятки раз, но в устах Кутузова эти мысли принимали как бы густоту и тяжесть первоисточника. Самгин видел пред собой Кутузова в тесном окружении раздраженных, враждебных ему людей вызывающе спокойным, уверенным в своей силе, — как всегда, это будило и зависть и симпатию.

«Уметь вот так сопротивляться людям…»

Он представил Кутузова среди рабочих, неохотно шагавших в Кремль.

«Как бы он вел себя в этих случаях?»

Этого он не мог представить, но подумал, что, наверное, многие рабочие не пошли бы к памятнику царя, если б этот человек был с ними. Потом память воскресила и поставила рядом с Кутузовым молодого человека с голубыми глазами и виноватой улыбкой; патрона, который демонстративно смахивает платком табак со стола; чудовищно разжиревшего Варавку и еще множество разных людей. Кутузов не терялся в их толпе, не потерялся он и в деревне, среди сурово настроенных мужиков, которые растащили хлеб из магазина.

«Нет, его не назовешь рабом, «прикованным к тяжелой колеснице истории»…»

И тут Клим Самгин впервые горестно пожалел о том, что у него нет человека, с которым он мог бы откровенно говорить о себе.

Почти около дома его обогнал человек в черном пальто с металлическими пуговицами, в фуражке чиновника, надвинутой на глаза, — обогнал, оглянулся и, остановясь, спросил голосом Кутузова:

— Самгин? Здравствуйте. Я видел вас там, у этого быка, хотел подойти, а вы вдруг исчезли, — сдерживая голос, осматривая безлюдную улицу, говорил Кутузов. — Я ведь к вам, то есть не к вам, а к Сомовой…

— Ее арестовали, — сказал Самгин очень тихо, опасаясь, чтоб Кутузов не услыхал в его тоне чувства, которое ему не нужно слышать, — Самгин сам не звал, какое это чувство.

Кутузов круто остановился, толкнув его локтем и плечом.

— Чорт… Когда? Почему же вы там не сказали мне?

Сняв фуражку, он пошел очень быстро, спрашивая:

— Больна? Паскудная история! Н-да». Где же я ночую? Она писала, что приготовит мне ночлеги. Это — не у вас?

— Вероятно, — сказал Клим.

— А может быть, неудобно? Говорите прямо.

— Здесь, — сказал Самгин, прижимаясь к двери крыльца и нажав кнопку звонка.

— Кажется — чисто, — проворчал Кутузов, оглядываясь. — Меня зовут — для ваших домашних — Егор Николаевич Пономарев, — не забудете? Документ у меня безукоризненный.

— Я думаю, жена узнает вас…

— Гм… узнает? — пробормотал Кутузов, раздеваясь в прихожей. — Ну, а монумент, который открыл нам дверь, не удивится столь позднему гостю?

— Привыкла, — сказал Самгин и поймал себя в желании намекнуть, что конспиративные дела не новость для него.

— Так — зацапали Любашу? — спросил Кутузов, войдя в столовую, оглядываясь. — Уже два раза не удалось мне встретиться с нею, то — я арестован, то — она! Это — третий. Чорт знает, как глупо!

Самгину показалось, что он слышит в словах Кутузова нечто близкое унынию, и пожалел, что не видит лица, — Кутузов стоял, наклоня голову, разбирая папиросы в коробке, Самгин предложил ему закусить.

— С удовольствием, но — без прислуги, а? Там — подали чай, бутерброды, холодные котлеты, но я… поспешил уйти. Вечерок. — не из удачных.

— Кто это бритый? — спросил Клим.

— Бывший человек. Громкое имя, когда-то. Он назвал имя, ничего не сказавшее Климу. Пройдя в комнату жены, Клим увидал, что она торопливо одевается.

— Что случилось? Кто это? — тревожным шопотом спросила она. — Ах, помню, это певец, которым восхищалась Любаша. Хочет есть? Иди, я сейчас!

Но Самгин не спешил выйти в столовую и вышел вместе с нею.

— О, здравствуйте, русалка! Я узнал вас по глазам, — оживленно и ласково встретил Варвару Кутузов. — Помните, — мы танцевали на вечеринке у кривозубого купца, — как его?

Самгину оживление гостя показалось искусственным, но он подумал с досадой на себя, что видел Лютова сотню раз, а не заметил кривых зубов, а — верно, зубы-то кривые! Через пять минут он с удивлением, но без удовольствия слушал, как Варвара деловито говорит:

— За нами, разумеется, следят, но завтра я вам укажу две совершенно чистых квартиры…

— Нет — серьезно? Недельки бы на две, а?

— Возможно.

Кутузов со вкусом ел сардины, сыр, пил красное вино и держался так свободно, как будто он не первый раз в этой комнате, а Варвара — давняя и приятная знакомая его.

«Она ведет себя, точно провинциалка пред столичной знаменитостью», — подумал Самгин, чувствуя себя лишним и как бы взвешенным в воздухе. Но он хорошо видел, что Варвара ведет беседу бойко, даже задорно, выспрашивает Кутузова с ловкостью. Гость отвечал ей охотно.

— Ссылка? Это установлено для того, чтоб подумать, поучиться. Да, скучновато. Четыре тысячи семьсот обывателей, никому — и самим себе — не нужных, беспомощных людей; они отстали от больших городов лет на тридцать, на пятьдесят, и все, сплошь, заражены скептицизмом невежд. Со скуки — чудят.

Пьют. Зимними ночами в город заходят волки…

Анфимьевна, к неудовольствию Клима, внесла самовар, а Варвара, заваривая чай, спросила:

— Что же будут делать эти ненужные во время революции?

— Революция — не завтра, — ответил Кутузов, глядя на самовар с явным вожделением, вытирая бороду салфеткой. — До нее некоторые, наверное, превратятся в людей, способных на что-нибудь дельное, а большинство — думать надо — будет пассивно или активно сопротивляться революции и на этом — погибнет.

— Просто у вас все, — сказала Варвара, как будто одобрительно, Самгин, нахмурясь, пробормотал:

— Ну, это не очень просто.

— А — как же? — спросил Кутузов, усмехаясь. — В революции, — подразумеваю социальную, — логический закон исключенного третьего будет действовать беспощадно: да или нет.

Самгин хотел сказать «это — жестоко» и еще много хотел бы сказать, но Варвара допрашивала все жаднее и уже волнуясь почему-то. Кутузов, с наслаждением прихлебывая чай, говорил как-то излишне ласково:

— Какую же роль может играть религия, из которой практика жизни давно уже и совершенно вычеркнула, вытравила всякую мораль?

— Идеализм — основное свойство души человека, — наскакивала Варвара покраснев, блестя глазами, щурясь.

— Рабочему классу философский идеализм — враждебен; признать бытие каких-то тайных и непознаваемых сил вне себя, вне своей энергии рабочий не может и не должен. Для него достаточно социального идеализма, да и сей последний принимается не без оговорок.

Самгин соображал:

«У него каждая мысль — звено цепи, которой он прикован к своей вере. Да, — он сильный человек, но…»

Но — хотелось спорить с Кутузовым. Однако для спора, кроме желания спорить, необходима своя «система фраз», а кроме этого мешало еще нечто. Что?

Задумавшись, Самгин пропустил часть беседы мимо ушей. Варвара уже спрашивала:

— Вы — охотник?

— Пробовал, но — не увлекся. Перебил волку позвоночник, жалко стало зверюгу, отчаянно мучился. Пришлось добить, а это уж совсем скверно. Ходил стрелять тетеревей на току, но до того заинтересовался птичьим обрядом любви, что выстрелить опоздал. Да, признаюсь, и не хотелось. Это — удивительная штука — токованье!

Климу становилось все более неловко и обидно молчать, а беседа жены с гостем принимала характер состязания уже не на словах: во взгляде Кутузова светилась мечтательная улыбочка, Самгин находил ее хитроватой, соблазняющей. Эта улыбка отражалась и в глазах Варвары, широко открытых, напряженно внимательных; вероятно, так смотрит женщина, взвешивая и решая что-то важное для нее. И, уступив своей досаде, Самгин сказал:

— Волков — жалко вам, а о людях вы рассуждаете весьма упрощенно и

безжалостно.

Кутузов усмехнулся, подливая в стакан красное вино.

— А вы, индивидуалист, все еще бунтуете? — скучновато спросил он и вздохнул. — Что ж — люди? Они сами идиотски безжалостно устроились по отношению друг ко другу, за это им и придется жесточайше заплатить.

Он повторил знакомую Клима фразу:

— Патокой гуманизма невозможно подсластить ядовитую горечь действительности, да к тому же цинизм ее давно уничтожил все евангелия.

По лицу Кутузова было видно, что его одолевает усталость, он даже потянулся недопустимо при даме и так, что хрустнули сухожилия рук, закинутых за шею.

«Счастливая способность бездомного бродяги — везде чувствовать себя дома», — отметил Самгин.

Но внимание Варвары, видимо, возбуждало Кутузова, он снова заговорил оживленно:

— Издыхает буржуазное общество, загнило с головы. На Западе это понятно — работали много, истощились, а вот у нас декадансы как будто преждевременны. Декадент у нас толстенький, сытый, розовощекий и — не даровит. Верленов — не заметно.

Он задним выпил чай, охлажденный вином, вытер губы измятым платком.

Самгин продолжал думать о Кутузове недружелюбно, но уже поймал себя на том, что думает так по обязанности самозащиты, не внося в мысли свои ни злости, ни иронии, даже как бы насилуя что-то в себе.

— Лозунг командующих классов — назад, ко всяческим примитивам в литературе, в искусстве, всюду. Помните приглашение «назад к Фихте»? Но — это вопль испуганного схоласта, механически воспринимающего всякие идеи и страхи, а конечно, позовут и дальше — к церкви, к чудесам, к чорту, все равно — куда, только бы дальше от разума истории, потому что он становится все более враждебен людям, эксплуатирующим чужой труд.

Варвара, спрятав глаза под ресницами, сказала:

— Да, очень заметно, что людей увлекает иррациональное, хотя, может быть, причина не та, которую указали вы…

— А — какая же? — лениво спросил Кутузов.

— Скучно быть умниками, — не сразу ответила Варвара и прибавила, вздохнув: — Людям хочется безумств… Кутузов пожал плечами.

— Что же можно выдумать безумнее действительности?

— Да, — громко сказал Самгин и почему-то смутился. — А не пора вам отдохнуть? — предложил он.

Через полчаса он сидел во тьме своей комнаты, глядя в зеркало, в полосу света, свет падал на стекло, проходя в щель неприкрытой двери, и показывал половину человека в ночном белье, он тоже сидел на диване, согнувшись, держал за шнурок ботинок и раскачивал его, точно решал — куда швырнуть? Кулаком правой руки он бесшумно бил по колену. Так сидел он минуту, две. Потом, опустив ботинок на пол, он взял со стула тужурку, разложил ее на коленях, вынул из кармана пачку бумаг, пересмотрел ее и, разорвав две из них на мелкие куски, зажал в кулак, оглянулся, прикусив губу так, что острая борода его встала торчком, а брови соединились в одну линию. Лицо у него незнакомо угрюмое. Открытый ворот рубахи обнажил

очень белую, мускулистую шею и полукружия ключиц, похожие на подковы. Глаза его округлились, и, несомненно, он сжал зубы — резко выступили скулы. Было ясно, что Кутузовым овладел приступ очень сильного чувства, должно быть — злости или — горя. Вот он встал, показался в зеркале во весь рост, затем исчез, и было слышно, что он отдернул драпировку окна.

Наблюдая за человеком в соседней комнате, Самгин понимал, что человек этот испытывает боль, и мысленно сближался с ним. Боль — это слабость, и, если сейчас, в минуту слабости, подойти к человеку, может быть, он обнаружит с предельной ясностью ту силу, которая заставляет его жить волчьей жизнью бродяги. Невозможно, нелепо допустить, чтоб эта сила почерпалась им из книг, от разума. Да, вот пойти к нему и откровенно, без многоточий поговорить с ним о нем, о себе. О Сомовой. Он кажется влюбленным в нее.

«Мне — тридцать лет, — напомнил себе Клим. — Я — не юноша, который не знает, как жить...»

Но, разбудив свое самолюбие, он задумался: что тянет его к человеку именно этой «системы фраз»?

«Наследственность?»

Он иронически усмехнулся, вспомнив отца, мать, деда.

«Впечатления детства?»

Кутузов, задернув драпировку, снова явился в зеркале, большой, белый, с лицом очень строгим и печальным. Провел обеими руками по остриженной голове и, погасив свет, исчез в темноте более густой, чем наполнявшая комнату Самгина. Клим, ступая на пальцы ног, встал и тоже подошел к незавешенному окну. Горит фонарь, как всегда, и, как всегда, — отблеск огня на грязной, сырой стене.

«Очень это странно, человек — не знающий, что его наблюдает другой. Вероятно, я тоже показался бы... не таким, как он, разумеется».

Идти в спальню не хотелось, возможно, что жена еще не спит. Самгин знал, что все, о чем говорил Кутузов, враждебно Варваре и что мина внимания, с которой она слушала его, — фальшивая мина. Вспоминалось, что, когда он сказал ей, что даже в одном из «правительственных сообщений» признано наличие революционного движения, — она удивленно спросила:

«Неужели? Вот идиоты...»

Утром, когда Самгин оделся и вышел в столовую, жена и Кутузов уже ушли из дома, а вечером Варвара уехала в Петербург — хлопотать по своим издательским делам. Через несколько дней, прожитых в настроении мутном и раздражительном, Самгин тоже поехал в Калужскую губернию, с неделю катался по проселочным дорогам, среди полей и лесов, побывал в сонных городках, физически устал и успокоился. По пути домой он застрял на почтовой станции, где не оказалось лошадей, спросил самовар, а пока собирали чай, неохотно посыпался мелкий дождь, затем он стал гуще, упрямее, крупней, — заиграли синие молнии, загремел гром, сердитым конем зафыркал ветер в печной трубе — и начал хлестать, как из ведра, в стекла окон. Но сквозь дождь и гром ко крыльцу станции подкатил кто-то, молния осветила в окне мокрую голову черной лошади; дверь распахнулась, и, отряхиваясь, точно петух, на пороге встал человек в клеенчатом плаще, сдувая с густых, светлых усов капли дождя. Затем, посторонясь, он пропустил вперед себя женщину и зарычал сердитым басом.

— Я говорил — не успеем... «Вот окрик мужа», — подумал Клим.

— Самгин? Вы? — резко и как бы с испугом вскричала женщина, пытаясь снять с головы раскисший капюшон парусинового пальто и заслоняя усатое лицо спутника. — Да, — сказала она ему, — но поезжайте скорее, сейчас же!

Человек показал спину, блестевшую, точно кровельное железо, исчез, громко хлопнул дверью, а Марья Ивановна Никонова, отклеивая мокрое пальто с плеч своих, оживленно говорила:

— Вот ливень! В пять минут — ни одной сухой нитки! Самгин тотчас отметил, что она не похожа на себя, и, как всегда, это было неприятно ему: он терпеть не мог, когда люди выскальзывали из рамок тех представлений, в которые он вставил их. В том, что она назвала его по фамилии, было что-то размашистое, фамильярное, разноречившее с ее обычной скромностью, а когда она провела маленькими ладонями по влажному лицу, Самгин увидал незнакомую ему улыбку, широкую и ласковую. Она никогда не улыбалась так. Самгин заподозрил, что эту новую улыбку Никонова натянула на лицо свое, как маску. На станции ее знали, дородная баба, называя ее по имени и отчеству, сочувственно охая, увела ее куда-то, и через десяток минут Никонова воротилась в пестрой юбке, в красной кофте, одетой, должно быть, на голое тело; голова ее была повязана желтым платком с цветами. Этот наряд сделал Никонову моложе, лицо, нахлестанное дождем, ярко разрумянилось, глаза блестели весело.

— Ну, угощайте меня, озябла? Но, посмотрев, как неловко действует Самгин у самовара, она отняла чайник из его руки.

— Не умеете.

Налив себе чаю, она стала резать хлеб, по-крестьянски прижав ко грудям каравай; груди мешали. Тогда она бесцеремонно заправила кофту за пояс юбки, от этого груди наметились выпуклее. Самгин покосился на них и спросил:

— Кто это провожал вас — муж?

— Нет. Управляющий имением знакомых, где я гостила.

— Офицер?

Разрезая жареную курицу, она мельком взглянула на Самгина.

— Разве похож на военного?

— Да. Кажется, я его где-то видел.

— Саша, дайте мне полушалок, — крикнула Никонова, постучав кулаком в тесовую переборку.

Шипел и посвистывал ветер, бил гром, заставляя вздрагивать огонь висячей лампы; стекла окна в блеске молний синевато плавились, дождь хлестал все яростней.

— Мы — точно на дне кипящего котла, — тихо сказала женщина.

Самгин согласился.

— Да, похоже.

Замолчали. Самгин понимал, что молчать невежливо, но что-то мешало ему говорить с этой женщиной в привычном, докторальном тоне; а она, вопросительно посматривая на него, как будто ждала, что он скажет. И, не дождавшись, сказала, вздохнув:

— Это — надолго! Пожалуй, придется ночевать здесь. В такие ночи или зимой, когда вьюга, чувствуешь себя ненужной на земле.

— Человек никому не нужен, кроме себя, — отозвался Клим и, подумав-. «Глупо!» — предложил ей папиросу.

— Благодарствую, не курю.

Она откинулась на спинку стула, прикрыв глаза. Груди ее неприлично торчали, шевеля ткань кофты и точно стремясь обнажиться. На незначительном лице застыло напряжение, как у человека, который внимательно прислушивается.

— Вчера там, — заговорила она, показав глазами на окно, — хоронили мужика. Брат его, знахарь, коновал, сказал... моей подруге: «Вот, гляди, человек сеет, и каждое зерно, прободая землю, дает хлеб и еще солому оставит по себе, а самого человека зароют в землю, сгниет, и — никакого толку».

Она встала, подошла к запотевшему окну, а Самгин, глядя на голые ноги ее, желтые, как масло, сказал:

— Не люблю я эту народную мудрость. Мне иногда кажется, что мужику отлично знакомы все жалобные писания о нем наших литераторов и что он, надеясь на помощь со стороны, сам ничего не делает, чтоб жить лучше.

Она не ответила. Свирепо ударил гром, окно как будто вырвало из стены, и Никонова, стоя в синем пламени, показалась на миг прозрачной.

— Убьет, — вздохнула она, отходя к столу и улыбаясь.

Клим подумал: нового в ее улыбке только то, что она легкая и быстрая. Эта женщина раздражала его. Почему она работает на революцию, и что может делать такая незаметная, бездарная? Она должна бы служить сиделкой в больнице или обучать детей грамоте где-нибудь в глухом селе. Помолчав, он стал рассказывать ей, как мужики поднимали колокол, как они разграбили хлебный магазин. Говорил насмешливо и с намерением обидеть ее. Вторя его словам, холодно кипел дождь.

— На эту тему я читала рассказ «Веревка», — сказала она. — Не помню — чей? Кажется, автор — женщина, — задумчиво сказала она, снова отходя к окну, и спросила: — Чего же вы хотите?

Утешающим тоном старшей, очень ласково она стала говорить вещи, с детства знакомые и надоевшие Самгину. У нее были кое-какие свои наблюдения, анекдоты, но она говорила не навязывая, не убеждая, а как ба разбираясь в том, что знала. Слушать ее тихий, мягкий голос было приятно, желание высмеять ее — исчезло. И приятна была ее доверчивость. Когда она подняла руки, чтоб поправить платок на голове, Самгин поймал ее руку и поцеловал. Она не протестовала, продолжая:

— Деревня пьет, беднеет, вымирает...

Послушав еще минуту, Самгин положил свою руку на ее левую грудь, она, вздрогнув, замолчала, Тогда, обняв ее шею, он поцеловал в губы.

— Ах, какой, — тихонько воскликнула она, прижимаясь к нему и шепча: — Еще не спят. Вы — ложитесь, я потом приду. Придти?

— Конечно.

С неожиданной силой разняв его руки, она ушла, а Самгин, раздеваясь, подумал:

«Просто. Должно быть, отдаваться товарищам по первому их требованию входит в круг ее обязанностей».

Погасив лампу, он лег на широкую постель в углу комнаты, прислушиваясь к неутомимому плеску и шороху дождя, ожидая Никонову так же спокойно, как ждал жену, — и вспомнил о жене с оттенком иронии. У кого-то из старых французов, Феваля или Поль де-Кока, он вычитал, что в интимных отношениях супругов есть признаки, по которым муж, если он не глуп, всегда узнает, была ли его жена в объятиях другого мужчины. Француз не сказал, каковы эти признаки, но в минуты ожидания другой женщины Самгин решил, что они уже замечены им в поведении Варвары, — в ее движениях явилась томная ленца и набалованность, раньше не свойственная ей, так набалованно и требовательно должна вести себя только

женщина, которую сильно и нежно любят. Этим оправдывалось приключение с Никоновой. Затем он нехотя и как бы по обязанности подумал:

«Да, вот они, женщины…»

Шум дождя стал однообразен и равен тишине, и это беспокоило, заставляя ждать необычного. Когда женщина пришла, он упрекнул ее:

— Как долго!

— Молчите, — шепнула она.

Прошел час, может быть, два. Никонова, прижимая голову его к своей груди, спросила словами, которые он уже слышал когда-то:

— Хорошо со мной?

— Да, — искренно ответил он. Помолчав, она спросила:

— Но, разумеется, вы не высокого мнения о моей… нравственности?

— Как вы можете думать, — пробормотал Самгин.

— Да, — уж конечно. Ведь вы, наверное, тоже думаете, как принято, — по разуму, а не по совести.

Самгин насторожился; в словах ее было что-то умненькое. Неужели и он а будет философствовать в постели, как Лидия, или заведет какие-нибудь деловые разговоры, подобно Варваре? Упрека в ее беззвучных словах он не слышал и не мог видеть, с каким лицом она говорит. Она очень растрогала его нежностью, ему казалось, что таких ласк он еще не испытывал, и у него было желание сказать ей особенные слова благодарности. Но слов таких не находилось, он говорил руками, а Никонова шептала:

— Ты с первой встречи остался в памяти у меня. Помнишь — на дачах? Такой ягненок рядом с Лютовым. Мне тогда было шестнадцать лет…

Она дважды чихнула и, должно быть, сконфуженная этим, преувеличенно тревожно прошептала:

— Кажется — простудилась. Ну, я пойду! Не целуй, не надо…

Через несколько минут она растаяла, точно облако, а Самгин подумал:

«Странная какая. Вот — не ожидал».

Уже светало; стекла окон посерели, шум дождя заглушало журчание воды, стекавшей откуда-то в лужу. Утром Самгин узнал, что Никонова на рассвете уехала, и похвалил ее за это.

«Тактично. Точно во сне приснилась», — думал он, подпрыгивая в бричке по раскисшей дороге, среди шелково блестевших полей. Солнце играло с землею, как веселое дитя: пряталось среди мелко изорванных облаков, пышных и легких, точно чисто вымытое руно. Ветер ласково расчесывал молодую листву берез. Нарядная сойка сидела на голом сучке ветлы, глядя янтарным, рыбьим глазом в серебряное зеркало лужи, обрамленной травою. Ноги лошадей, не торопясь, месили грязь, наполняя воздух хлюпающими звуками; опаловые брызги взлетали из-под колес. Пел жаворонок. Свежесть воздуха приятно охмеляла, и разнеженный Самгин думал сквозь дремоту:

Только утро любви хорошо,

Хороши только первые встречи.

«Глуповатые стишки. Но кто-то сказал, что поэзия и должна быть глуповатой… Счастье — тоже. «Счастье на мосту с чашкой», — это о нищих. Пословицы всегда злы, в сущности. Счастье — это когда человек живет в мире с самим собою. Это и значит: жить честно».

Посмотрев, как хлопотливо порхают в придорожном кустарнике овсянки, он в сотый раз подумал: с детства, дома и в школе, потом — в университете его начиняли массой ненужных, обременительных знаний, идей, потом он прочитал множество книг и вот не может найти себя в паутине насильно воспринятого чужого…

Догнали телегу, в ней лежал на животе длинный мужик с забинтованной головой; серая, пузатая лошадь, обрызганная грязью, шагала лениво. Ямщик Самгина, курносый подросток, чем-то похожий на голубя, крикнул, привстав:

— Эй, сворачивай!

— Успеешь, — глухо ответил мужик, не пошевелясь.

— Не хочит, — сказал подросток, с улыбкой оглянувшись на седока. — Характерный. Это — наш мужик, ухо пришивать едет; вчерась, в грозу, ему тесиной ухо надорвало…

— Обгони, — приказал Самгин.

Подросток, пробуя объехать телегу, загнал одну из своих лошадей в глубокую лужу и зацепил бричкой ось телеги; тогда мужик, приподняв голову, начал ругаться:

— Куда лезешь, сволочь? Ку-уда?

Это столкновение, прервав легкий ход мысли Самгина, рассердило его, опираясь на плечо своего возницы, он привстал, закричал на мужика. Тот, удивленно мигая, попятил лошадь.

— Чего ругаетесь? Все торопимся… Не гуляем…

— Гони, — приказал Самгин и не первый раз подумал;

«Вот ради таких болванов…»

В этом настроении не было места для Никоновой, и недели две он вспоминал о ней лишь мельком, в пустые минуты, а потом, незаметно, выросло желание видеть ее. Но он не знал, где она живет, и упрекнул себя за то, что не спросил ее об этом.

«Свинство! Как смешно назвала она меня — ягненок. Почему?» — Ты не знаешь, где живет Никонова? — спросил он жену.

— Нет. После ареста Любаши я отказалась работать в «Красном Кресте» и не встречаюсь с Никоновой, — ответила Варвара и равнодушно предположила: — Может быть, и ее арестовали?

«Лень сходить за ножом», — подумал Самгин, глядя, как она разрезает страницы книги головной шпилькой.

Из Петербурга Варвара приехала заметно похорошев; под глазами, оттеняя их зеленоватый блеск, явились интересные пятна; волосы она заплела в две косы и уложила их плоскими спиралями на уши, на виски, это сделало лицо ее шире и тоже украсило его. Она привезла широкие платья без талии, и, глядя на них, Самгин подумал, что такую одежду очень легко сбросить с тела. Привезла она и новый для нее взгляд на литературу.

— Книга не должна омрачать жизнь, она должна давать человеку отдых, развлекать его.

Затем она очень оживленно рассказала:

— Знаешь, меня познакомили с одним художником; не решаю, талантлив ли он, но — удивительный! Он пишет философские картины, я бы сказала. На одной очень яркими красками даны змеи или, если хочешь, безголовые черви, у каждой фигуры — четыре радужных крыла, все фигуры спутаны, связаны в клубок, пронзают одна другую, струятся, почти сплошь заполняя голубовато-серый фон. Это — мировые силы, какими они были до вмешательства разума. Картина так и названа «Мир до человека». Понимаешь? Общее впечатление хаотической, но праздничной игры.

Она полулежала на кушетке в позе мадам Рекамье, Самгин исподлобья рассматривал ее лицо, фигуру, всю ее, изученную до последней черты, и с чувством недоуменья пред собою размышлял: как он мог вообразить, что любит эту женщину, суетливую, эгоистичную?

«Она рассказывает мне эту чепуху только для того, чтоб научиться хорошо рассказать ее другим. Или другому».

— На втором полотне все краски обесцвечены, фигурки уже не крылаты, а выпрямлены; струистость, дававшая впечатление безумных скоростей, — исчезла, а главное в том, что и картина исчезла, осталось нечто вроде рекламы фабрики красок — разноцветно тусклые и мертвые полосы. Это — «Мир в плену человека». Художник — он такой длинный, весь из костей, желтый, с черненькими глазками и очень грубый — говорит: «Вот правда о том, как мир обезображен человеком. Но человек сделал это на свою погибель, он — врат свободной игры мировых сил, схематизатор; его ненавистью к свободе созданы религии, философии, науки, государства и вся мерзость жизни. Скоро он своей идиотской техникой исчерпает запас свободных энергий мира и задохнется в мертвой неподвижности»…

— Что-то похожее на иллюстрацию к теории энтропии, — сказал Самгин.

Варвара приподняла ресницы и брови:

— Энтропия? Не знаю.

И продолжала, действительно как бы затверживая урок:

— И потом еще картина: сверху простерты две узловатые руки зеленого цвета с красными ногтями, на одной — шесть пальцев, на другой — семь. Внизу пред ними, на коленях, маленький человечек снял с плеч своих огромную, больше его тела, двуличную голову и тонкими, длинными ручками подает ее этим тринадцати пальцам. Художник объяснил, что картина названа: «В руки твои предаю дух мой». А руки принадлежат дьяволу, имя ему Разум, и это он убил бога.

Она замолчала, раскуривая папиросу, красиво прикрыв глаза ресницами.

— Эта картина не понравилась мне, но, кажется, потому, что я вспомнила Кутузова. Кстати, он — счастливый: всем нравится. Он еще в Москве?

— Не знаю, — сказал Самгин.

— В Петербурге меньше интересного, чем здесь, но оно как-то острее, тоньше. Я бы сказала: Москва маслянистая.

Изложив свои впечатления в первый же день по приезде, она уже не возвращалась к ним, и скоро Самгин заметил, что она сообщает ему о своих делах только из любезности, а не потому, что ждет от него участия или советов. Но он был слишком занят собою, для того чтоб обижаться на нее за это.

Никонову он встретил случайно; трясся на извозчике в районе Мещанских улиц и вдруг увидал ее; скромненькая, в сером костюме, она шла плывущей, но быстрой походкой монахини, которая помнит, что мир — враждебен ей. Самгин обрадовался, даже хотел окрикнуть ее, но из ворот веселого домика вышел

бородатый, рыжий человек, бережно неся под мышкой маленький гроб, за ним, нелепо подпрыгивая, выкатилась темная, толстая старушка, маленький, круглый гимназист с головой, как резиновый мяч; остролицый солдат, закрывая ворота, крикнул извозчику:

— Эй, болван, придержи!

Самгин, привстав в экипаже, следя за Никоновой, видел, что на ходу она обернулась, чтоб посмотреть на похороны, но, заметив его, пошла быстрее.

«Естественно, она обижена».

Сунув извозчику деньги, он почти побежал вслед женщине, чувствуя, что портфель под мышкой досадно мешает ему, он вырвал его из-под мышки и понес, как носят чемоданы. Никонова вошла во двор одноэтажного дома, он слышал топот ее ног по дереву, вбежал во двор, увидел три ступени крыльца.

«Точно гимназист», — сообразил он.

В темной нише коридора Никонова тихонько гремела замком, по звуку было ясно — замок висячий.

— Мария Ивановна...

— Ах, это — вы? Вы?

— Извините, что я так...

Она открыла дверь, впустив в коридор свет из комнаты. Самгин видел, что лицо у нее смущенное, даже испуганное, а может быть, злое, она прикусила верхнюю губу, и в светлых глазах неласково играли голубые искры.

— Я пришел, — говорил он, раскачивая портфель, прижав шляпу ко груди. — Я тогда не спросил ваш адрес. Но я надеялся встретить вас.

Никонова все еще смотрела на него хмурясь, но серая тень на ее лице таяла, щеки розовели.

— Раздевайтесь, — сказала она, взяв из его руки портфель.

Снимая пальто, Самгин отметил, что кровать стоит так же в углу, у двери, как стояла там, на почтовой станции. Вместо лоскутного одеяла она покрыта клетчатым пледом. За кроватью, в ногах ее, карточный стол с кривыми ножками, на нем — лампа, груда книг, а над ним — репродукция с Христа Габриеля Макса.

— Вы простите меня? — спрашивал он и, взяв ее руку. поцеловал; рука была немножко потная.

— Даже чаем напою, — сказала Никонова, легко проведя ладонью по голове и щеке его. Она улыбнулась и не той обычной, насильственной своей улыбкой, а — хорошей, и это тотчас же привело Клима в себя.

— Фиса! — крикнула она, приоткрыв дверь.

«Бедно живет», — подумал Самгин, осматривая комнатку с окном в сад; окно было кривенькое, из четырех стекол, одно уже зацвело, значит — торчало в раме долгие года. У окна маленький круглый стол, накрыт вязаной салфеткой. Против кровати — печка с лежанкой, близко от печи комод, шкатулка на комоде, флаконы, коробочки, зеркало на стене. Три стула, их манерно искривленные ножки и спинки, прогнутые плетеные сиденья особенно подчеркивали бедность комнаты.

«Да, конечно, она — человек типа Тани Куликовой, простой, самоотверженный человек».

Никонова, стоя в двери, шепталась с полногрудой, красивой женщиной в розовой кофте.

— Ну, да, — нетерпеливо сказала она. — Дома нет!

И, подойдя к Самгину, спросила:

— Уютная, миленькая нора у меня?

Он взял ее руки и стал целовать их со всею нежностью, на какую был способен. Его настроила лирически эта бедность, покорная печаль вещей, уставших служить людям, и человек, который тоже покорно, как вещь, служит им. Совершенно необыкновенные слова просились на язык ему, хотелось назвать ее так, как он не называл еще ни одну женщину.

«Родная. Сестра».

Но он молчал, обняв ее талию, крепко прижавшись к ее груди, и, уже ощущая смутную тревогу, спрашивал себя:

«Неужели это — серьезно?»

Движением спины она разорвала его руки.

— Так вы... рады видеть меня?

— О, да! И — сознаюсь! — до того рад, что даже сам удивлен.

— Даже — так?

Глаза ее стали густоголубыми, и, смеясь, она сказала?

— Ах вы... милый!

Пили чай со сливками, с сухарями и, легко переходя с темы на тему, говорили о книгах, театре, общих знакомых. Никонова сообщила: Любаша переведена из больницы в камеру, ожидает, что ее скоро вышлют. Самгин заметил: о партийцах, о революционной работе она говорит сдержанно, неохотно.

«Вышколена».

В саду старик в глухом клетчатом жилете полол траву на грядках. Лицо и шея у него были фиолетовые, цвета гниющего мяса. Поймав взгляд Самгина, Никонова торопливо сказала:

— Домохозяин, бывший народник, долго жил в Сибири. Мизантроп.

И снова заговорила о литературе.

— Я совершенно согласна с графиней Толстой, — зачем писать такие рассказы, как «Бездна»?

«Удивительно легко с нею», — отметил Самгин и сказал: — Когда я вошел, вам как будто неприятно было, вы даже испугались.

— Испугалась? Чего же? — спросила она. Глаза ее стали светлыми, смотрели строго, пытливо.

— Так показалось мне...

— Не надо говорить об этом, — попросила она, протянув ему руку.

Было уже темно, когда Самгин решился уйти от нее. Полуодетая, сидя на постели, она спросила шопотом;

— Когда придешь? Я должна знать точно.

Он сказал, что хочет видеть ее часто. Оправляя волосы, она подняла и задержала руки над головой, шевеля пальцами так, точно больная искала в воздухе, за что схватиться, прежде чем встать.

— Будем видеться часто, если ты хочешь, чтоб я скорее надоела тебе, — тихонько ответила она.

— Неудачная шутка, — заметил Самгин, хотя и не почувствовал шутливости в ее словах.

«Должно быть, очень тяжело, очень плохо живет она», — подумал Самгин, уходя.

После десятка свиданий Самгин решил, что, наконец, у него есть хороший друг, с которым и можно и легко говорить обо всем, а главное — о себе. Никонова была внимательна к его речам, умела слушать их молча и не обнаруживая излишнего любопытства. Сама она говорила мало, очень просто и всегда мягким, как бы утешающим тоном. Она была, пожалуй, слишком снисходительна к людям; иногда Самгин думал, что она смотрит на них издали и свысока. Это несколько нарушало ее сходство с Таней Куликовой. Как-то, за чаем, он шутя сказал ей:

— Ты — плохая большевичка.

— Почему? — спросила она не сразу, улыбаясь своей неприятной, насильственной улыбкой. Самгин объяснил:

— В твоем отношении к буржуазии нет резкости, непримиримости, характерной для большевизма.

— Но этого и у тебя нет, — очень мягко сказала она. Это замечание не понравилось Климу; он произнес маленькую речь на тему о пошлости буржуазного общества, о циническом и, в сущности, близоруком эгоизме буржуазии. Никонова слушала речи его покорно, не возражая, как человек, привыкший, чтоб его поучали. Она вообще держалась ученицей, которая знает, что надобно учиться, и примирилась с этим. Но скоро Самгин почувствовал, что эта скромная женщина в чем-то сильнее или умнее его. В ней есть черта, родственная Митрофанову, человеку, в чей здравый смысл он поверил и — ошибся. Но она не философствовала, как тот, не волновалась до слез, как это делал агент уголовной полиции, но она тоже была настроена в чем-то однотонно с ним. О политике, о партийной работе она говорила мало; это можно объяснить ее конспиративностью, это удобно объяснялось усталостью профессионалки. Такой человек, каким видел ее Самгин, должен был работать, вероятно, по технике. В ней не было ничего от пропагандистки, агитаторши, и она не казалась человеком, хорошо изучившим теорию борьбы классов. Она любила и умела рассказывать о жизни маленьких людей, о неудачных и удачных хитростях в погоне за маленьким счастием. Быт она знала отлично. В ее рассказах жизнь напоминала Самгину бесконечную работу добродушной и глуповатой горничной Варвары, старой девицы, которая очень искусно сшивала на продажу из пестреньких ситцевых треугольников покрышки для одеял. Самгину нравились эти успокаивающие картинки быта, хотя он посмеивался над ними:

— В твоем изображении эволюция очень мила, но — скучновата.

— Это — жизнь, — сказала Никонова, тихонько вздохнув.

У нее была очень милая манера говорить о «добрых» людях и «светлых» явлениях приглушенным голосом; как будто она рассказывала о маленьких тайнах, за которыми скрыта единая, великая, и в ней — объяснения всех небольших тайн. Иногда он слышал в ее рассказах нечто совпадавшее с поэзией буден старичка Козлова. Но все это было несущественно и не мешало ему привыкать к женщине с быстротой, даже изумлявшей его.

Она стала для него чем-то вроде ящика письменного стола, — ящика, в который

прячут интимные вещи; стала ямой, куда он выбрасывал сор своей души. Ему казалось, что, высыпая на эту женщину слова, которыми он с детства оброс, как плесенью, он постепенно освобождается от их липкой тяжести, освобождает в себе волевого, действенного человека. Беседы с Никоновой награждали его чувством почти физического облегчения, и он все чаще вспоминал Дьякона:

«Слова — помет души».

Он не был уверен, что женщина понимает его, но он и не заботился о том, чтоб она понимала, ему нужно было, чтоб она выслушала его до конца. Она слушала, прерывая его излияния очень редко.

— Как ты сказал?

И снова сочувственно смотрела на него.

— Мой брат недавно прислал мне письмо с одним товарищем, — рассказывал Самгин. — Брат — недалекий парень, очень мягкий. Его испугало крестьянское движение на юге и потрясла дикая расправа с крестьянами. Но он пишет, что не в силах ненавидеть тех, которые били, потому что те, которых били, тоже безумны до ужаса.

— Он — толстовец? — тихо спросила Никонова.

— Был марксистом. Да, так вот он пишет: революционер — человек, способный ненавидеть, а я, по натуре своей, не способен на это. Мне кажется, что многие из общих наших знакомых ненавидят действительность тоже от разума, теоретически.

Никонова наклонила голову, а он принял это как знак согласия с ним. Самгин надеялся сказать ей нечто такое, что поразило бы ее своей силой, оригинальностью, вызвало бы в женщине восторг пред ним. Это, конечно, было необходимо, но не удавалось. Однако он был уверен, что удастся, она уже нередко смотрела на него с удивлением, а он чувствовал ее все более необходимой.

Все это завершалось полнотою сексуальных отношений, гармоническим сочетанием двух тел, которое давало Самгину неизведанное и предельное наслаждение. После ее ласк он всегда чувствовал себя растроганным благодарностью к женщине за ее нежность. Теперь, когда он хорошо присмотрелся к ее лицу, он видел его не таким, как раньше. Черты лица были мелки и не очень подвижны, но казалось, что неподвижна кожа, хорошо дисциплинированная постоянным напряжением какой-то большой, сердечной думы. Ее голубые глаза были даже красноречивы, темнея в минуты возбуждения досиня; тогда они смотрели так тепло, что хотелось коснуться до них пальцем, чтоб ощутить эту теплоту. А когда Самгин спрашивал женщину о ее прошлом, в глазах печально разгорался голубой огонек.

— Не люблю говорить о себе, — сказала она довольно твердо в ответ на его догадку:

— Ты как будто боишься говорить о прошлом. Как-то, заласканный ею, он спросил:

— У тебя были дети?

— Один. Умер восьми месяцев.

Самгин совершенно искренно выговорил:

— Я бы хотел ребенка от тебя.

Никонова, закрыв глаза, вытянулась, а он продолжал:

— Ты у меня — третья, но те, две, никогда не вызывали у меня такого желанья.

— Милый, — прошептала она, не открывая глаз, и, гладя ладонями груди свои,

повторила: — Милый…

После этого она стала относиться к нему еще нежней и однажды сама, без его вызова, рассказала кратко и бескрасочно, что первый раз была арестована семнадцати лет по делу «народоправцев», вскоре после того, как он видел ее с Лютовым. Просидела десять месяцев в тюрьме, потом жила под гласным надзором у мачехи. Отец ее, дворянин, полковник в отставке, сильно пил, женился на вдове, купчихе, очень тупой и злой. Девятнадцати лет познакомилась с одним семинаристом, он ввел ее в кружок народников, а сам увлекся марксизмом, был арестован, сослан и умер по дороге в ссылку, оставив ее с ребенком. Ее второй любовью был тот блондин, с которым Клим встретил ее в год коронации у Лютова.

— Это был человек сухой и властный, — сказала она, вздохнув. — Я, кажется, не любила его, но… трудно жить одной.

Потом она познакомилась с одним марксистом.

— Студент. Очень хороший человек, — сказала она, и гладкий лоб ее рассекла поперечная морщина, покрасневшая, как шрам. — Очень, — повторила она. — Товарищ Яков…

— Корнев? — спросил Самгин.

— Нет, — громко откликнулась она и стала осторожно укладывать груди в лиф; Самгин подумал, что она делает это, как торговец прячет бумажник, в который только что положил барыш; он даже хотел сказать ей это, находя, что она относится к своим грудям забавно ревниво, с какой-то смешной бережливостью.

— Кто это — Корнев? — спросила она, и Самгин рассказал ей о Корневе все, что знал, а она, выслушав его, вздохнула, улыбнулась:

— Ну вот ты знаешь мою историю. Обыкновенна? Сидя в постели, она заплетала косу. Волосы у нее были очень тонкие, мягкие, косу она укладывала на макушке холмиком, увеличивая этим свой рост. Казалось, что волос у нее немного, но, когда она распускала косу, они покрывали ее спину или грудь почти до пояса, и она становилась похожа на кающуюся Магдалину.

В ответ на жестокую расправу с крестьянами на юте раздался выстрел Кочура в харьковского губернатора. Самгин видел, что даже люди, отрицавшие террор, снова втайне одобряют этот, хотя и неудавшийся, акт мести.

Пришел Митрофанов, грузно сел на стул и раздумчиво начал спрашивать:

— Кочура этот — еврей? Точно знаете — не еврей? Фамилия смущает. Рабочий? Н-да. Однако непонятно мне: как это рабочий своим умом на самосуд — за обиду мужикам пошел? Наущение со стороны в этом есть как будто бы? Вообще пистолетные эти дела как-то не объясняют себя.

Но, выслушав объяснения Самгина, он тряхнул головой и почти весело закончил:

— Впрочем — дело не мое. Я, так сказать, из патриотизма. Знаете, например: свой вор — это понятно, а, например, поляк или грек — это уж обидно. Каждый должен у своих воровать.

Самгин, рассказав этот анекдот Никоновой, похвастался:

— Человек — удивительно преданный мне. Он, конечно, знаком с филерами, предупреждал меня, что за мной следят, говорил и о тебе: подозрительная особа.

— Вот как? — живо воскликнула она. — Это хорошо!

— Не правда ли?

— Очень хорошо. Ты займись им. Можно использовать более широко. Ты не

пробовал уговорить его пойти на службу в охранное отделение? Я бы на твоем месте попробовала.

«Оказывается, в ней есть склонность к авантюрам», — подумал Самгин.

Жизнь становилась все более щедрой событиями, каждый день чувствовался кануном новой драмы. Тон либеральных газет звучал ворчливей, смелее, споры — ожесточенней, деятельность политических партий — лихорадочнее, и все чаще Самгин слышал слова;

«Нелегальный. Подпольщик».

Разъезжая по делам патрона и Варавки, он брал различные поручения Алексея Гогина и других партийцев и по тому, как быстро увеличивалось количество поручений, убеждался, что связи партий в московском фабричном районе растут. Незаметно для себя он привык исполнять эти поручения, исполнял их с любопытством и порою мысленно усмехался, чувствуя себя «покорным слугою революции», как он называл Любашу Сомову, как понимал Никонову. У него было много интересных встреч, и одна из них особенно долго оставалась в памяти.

Поздно вечером к нему в гостиницу явился человек среднего роста, очень стройный, но голова у него была несоразмерно велика, и поэтому он казался маленьким. Коротко остриженные, но прямые и жесткие волосы на голове торчали в разные стороны, еще более увеличивая ее. На круглом, бритом лице — круглые выкатившиеся глаза, толстые губы, верхнюю украшали щетинистые усы, и губа казалась презрительно вздернутой. Одет он в белый китель, высокие сапоги, в руке держал солидную палку.

— Только? — спросил он, приняв из рук Самгина письмо и маленький пакет книг; взвесил пакет на ладони. положил его на пол, ногою задвинул под диван и стал читать письмо, держа его близко пред лицом у правого глаза, а прочитав, сказал:

— Левым почти совсем не вижу. Приговорен к совершенной слепоте; года на два хватит зрения, а затем — погружаюсь во тьму.

Говорил он так, как будто гордился тем, что ослепнет. Было в нем что-то грубоватое, солдатское. Складывая письмо все более маленькими квадратиками, он широко усмехнулся:

— Сообщают, что либералы пошевеливаются в сторону конституции. Пожилая новость. Профессура и адвокаты, конечно? Ну, что ж, пускай зарабатывают для нас некоторые свободы.

Развернув письмо, он снова посмотрел на него правым глазом и спросил тоном экзаминатора:

— Ну, а как студенчество? Самгин уже видел, что пред ним знакомый и неприятный тип чудака-человека. Не верилось, что он слепнет, хотя левый глаз был мутный и странно дрожал, но можно было думать, что это делается нарочно, для вящей оригинальности. Отвечая на его вопросы осторожно и сухо, Самгин уступил желанию сказать что-нибудь неприятное и сказал:

— В общем — молодежь становится серьезнее, и очень многие отходят от политики к науке.

— То есть — как это отходят? Куда отходят? — очень удивился собеседник. — Разве наукой вооружаются не для политики? Я знаю, что некоторая часть студенчества стонет: не мешайте учиться! Но это — недоразумение. Университет, в лице его цивильных кафедр, — военная школа, где преподается наука командования пехотными массами. И, разумеется, всякая другая военная мудрость.

Он говорил, а щетинистые брови его всползали все выше от удивления. Самгин, видя, что выпад его неудачен, переменил тему:

— Вы что же — военный?

— Студент физико-математического факультета, затем — рядовой сто сорок четвертого Псковского полка. Но по слабости зрения, — мне его казак нагайкой испортил, — от службы отстранен и обязан жить здесь, на родине, три года безвыездно.

Быстро выговорив все это, он спросил насмешливо:

— А вы не из тех ли добродушных, которые хотят подвести либералов к власти за левую ручку, а потом получить правой их ручкой по уху?

Он сказал это очень задорно и как-то внезапно помолодел, подтянулся, готовясь к бою, но Самгин уклонился от боя.

— Вы — здесь родились?

— Увы! Но настоящей родиной моей считаю Москву, университет.

— Скучно здесь?

— Скуки не испытывал, но — есть некоторые неудобства: за четырнадцать месяцев — два обыска и семьдесят четыре дня тюрьмы.

Несколько секунд он молча и как бы издали рассматривал Самгина, потом сказал тоном приказа:

— Вы там скажите Гогину или Пояркову, чтоб они присылали мне литературы больше и что совершенно необходимо, чтоб сюда снова приехал товарищ Дунаев. А также — чтоб не являлась ко мне бестолковая дама.

Достав из-под дивана пакет, он снова взвесил его на ладони и — закончил строго:

— И, наконец, меня зовут Петр Усов, а не Руссов и не Петрусов, как они пишут на конвертах. Эта небрежность создает для меня излишние хлопоты с почтой.

Сунул пакет за пазуху, под мышку, молча стиснул пальцы Самгина и ушел, постукивая палкой.

«Вождь… «Объясняющий господин». Как это символично, что он слепнет», — думал Самгин, глядя в окно, на мещанские домики, точно вымытые лунным светом. Домики были двухэтажные, прочные и окутаны садами, как шубами. Земля под ними тоже, должно быть, прочная, а улица плотно вымощена булыжником, отшлифованным пылью и лунным светом. По тротуару величественно плыл большой коричневый ком сгущенной скуки, — пышно одетая женщина вела за руку мальчика в матроске, в фуражке с лентами; за нею шел клетчатый человек, похожий на клоуна, и шумно сморкался в платок, дергая себя за нос. Было тихо, как бывает только в русских уездных городах, лишь внизу гостиницы щелкали шары биллиарда. Можно было вообразить, что это камни мостовой бьются друг о друга от скуки.

Самгин задумался о человеке, который слепнет в этом городе, вероятно, чужом ему, как иностранцу, представил себя на его месте и сжался, точно от холода.

«Все-таки — надо признать — мужественные люди, — невольно подумал он. — Хотя этот — революционер по личному мотиву, так сказать. А скуку эту они едва ли одолеют…»

Вечером, в день, когда он приехал домой, явился Митрофанов и сказал с натянутой усмешкой:

— Пришел проститься, перевожусь в Калугу, а — почему? Неизвестно. Не понимаю. Вдруг…

Он говорил и пожимал плечами и механически гладил колени ладонями, покачивался.

— Очень сожалею, я к вам так привык, — искренно сказал Самгин.

Растерянная усмешка соскользнула с лица Митрофанова, он шумно вздохнул и оживился, выпрямился, говоря:

— А я вас, извините, сердечно полюбил, Клим Иванович, вы для меня, знаете… муж разума и вообще… лицо!

— Что же у вас… неудача какая-нибудь? Агент полиции снова приуныл, пожал плечами, оглянулся.

— Наоборот, — сказал он. — Варвары Кирилловны — нет? Наоборот, — вздохнул он. — Я вообще удачлив. Я на добродушие воров ловил, они на это идут. Мечтал даже французские уроки брать, потому что крупный вор после хорошего дела обязательно в Париж едет. Нет, тут какой-то… каприз судьбы.

Он медленно встал и попросил:

— Передайте, пожалуйста, супруге мою сердечную благодарность за ласку. А уж вам я и не знаю, что сказать за вашу… благосклонность. Странное дело, ей-богу! — негромко, но с упреком воскликнул он. — К нашему брату относятся, как, примерно, к собакам, а ведь мы тоже, знаете… вроде докторов!

Круглые глаза Митрофанова налились слезами, он отвернулся, пряча обиженное лицо, быстро и крепко тиснул руку Самгина и ушел.

Было жалко его, но думать о нем — некогда. Количество раздражающих впечатлений быстро возрастало. Самгин видел, что молодежь становится проще, но не так, как бы он хотел. Ему казалась возмутительной поспешность, с которой студенты-первокурсники, вчерашние гимназисты, объявляли себя эсерами и эсдеками, раздражала легкость, с которой решались ими социальные вопросы.

«Мальчишки», — мысленно негодовал он на людей, моложе его на десять, восемь, на шесть лет. Ему хотелось учить, охлаждать их пыл. Но, когда он пробовал делать это, он встречал горячий отпор и убеждался, что мальчишки и эмоционально сильнее и социально грамотней его.

Народились какие-то «вундеркинды», один из них, крепенький мальчик лет двадцати, гладкий и ловкий, как налим, высоколобый, с дерзкими глазами вертелся около Варвары в качестве ее секретаря и учителя английского языка. Как-то при нем Самгин сказал:

— Революционер прежде всего — общественный деятель.

Тогда этот налим, иронически усмехаясь, спросил:

— В интересах какого же общества действует эдакий революционер? Если в интересах современного, классового, так почему же он революционер, а не контрреволюционер?

Самгин заговорил в солидном, даже строгом тоне, но это не смутило юношу, спокойно выслушав доводы, сказал, тряхнув гладко остриженной головой:

— Неубедительно. Наша задача — создание нового, а не ремонт старья.

Юноша носил фамилию Властов и на вопрос Варвары — кто его отец? — ответил:

— Я — вроде анекдота, автор — неизвестен. Мать умерла, когда мне было одиннадцать лет, воспитывала меня «от руки» — помните Диккенса? — ее подруга, золотошвейка; тоже умерла в прошлом году.

Самгина не мог не раздражать юноша, который по поводу споров за границей просто сказал:

— В скрытой сущности своей это — борьба людей, которые говорят по Марксу, с людями, которые решили действовать по Марксу.

Он был, видимо, очень здоров, силен, ходил как-то особенно твердо; на его смугловатом лице блестели темные глаза, узкие, они казались саркастически прищуренными. После нескольких столкновений с ним Самгин спросил жену:

— Зачем тебе этот юный циник?

— Он очень деловит, — сказала Варвара и, неприятно обнажив зубы усмешкой, дополнила: — Кумов — не от мира сего, он все о духе, а этот — ничего воздушного не любит.

Кумов сшил себе сюртук оригинального покроя, с хлястиком на спине, стал еще длиннее и тихим голосом убеждал Варвару:

— К народу нужно идти не от Маркса, а от Фихте. Материализм — вне народной стихии. Материализм — усталость души. Творческий дух жизни воплощен в идеализме.

Варвара по вечерам редко бывала дома, но если не уходила она — приходили к ней. Самгин не чувствовал себя дома даже в своей рабочей комнате, куда долетали голоса людей, читавших стихи и прозу. Настоящим, теплым, своим домом он признал комнату Никоновой. Там тоже были некоторые неудобства; смущал очкастый домохозяин, он, точно поджидая Самгина, торчал на дворе и, встретив его ненавидящим взглядом красных глаз из-под очков, бормотал:

— Затворяя калитку — поднимайте щеколду. Ноги надо вытирать, для того на крыльце рогожка положена.

— Почему он так не любит меня?

— Я думаю, старики никого не любят, а только притворяются, что иногда любят, — задумчиво ответила Никонова.

В комнате ее было тесно, из сада втекал запах навоза, кровать узка и скрипела. Самгин несколько раз предлагал ей переменить квартиру.

— Для меня «с милым рай и в шалаше», — шутила она, не уступая ему. Он считал ее бескорыстие глупым, но — не спорил с нею.

Уже прошел год, а она не уставала внимательно и молча слушать его.

— Суббота для человека, а не человек для субботы, — говорил он. — Каждый свободен жертвовать или не жертвовать собой. Если даже допустить, что сознание определяется бытием, — это еще не определяет, что сознание согласуется с волею.

Он сам чувствовал, что эти издерганные, измятые мысли не удовлетворяют его, и опасался, что женщина, сделав из них выводы, перестанет уважать его. Но она сочувственно кивала головой.

Когда он рассказывал ей о своих встречах и беседах с партийными людями, Никонова слушала как будто не так охотно, как его философические размышления. Она никогда не расспрашивала его о людях. И только один раз, когда он сказал, что Усов просит не присылать к нему «бестолковую» даму, она живо спросила:

— Бестолковую?

И, подумав, спросила езде, но уже равнодушно:

— Кто бы это?

Ее конспиративность удивляла, даже внушала уважение. Самгин продолжал думать, что она приспособилась к революционной работе, как приспособляются к ремеслу, как, например, почтальон приспособлен к разноске писем по запутанным улицам Москвы. Но она не похожа на безвольную и бездарную Таню Куликову, не похожа и на Любашу, для которой революционеры, вероятно, интереснее и ближе революции. В Никоновой было нечто от книги, фабула которой искусно затемнена. Довольно часто и почти всегда неожиданно она исчезала из Москвы. Случалось, что, являясь к ней в условленный день и час, он получал из рук домохозяина конверт и в нем краткую записку без подписи: «Вернусь через неделю». «Не дожидайся, уехала на два дня».

У него был второй ключ от комнаты, и как-то вечером, ожидая Никонову, Самгин открыл книгу модного, неприятного ему автора. Из книги вылетела узкая полоска бумаги, на ней ничего не было написано, и Клим положил ее в пепельницу, а потом, закурив, бросил туда же непогасшую спичку; край бумаги нагрелся и готов был вспыхнуть, но Самгин успел схватить ее, заметив четко выступившие буквы.

— «Усов», — прочитал он, подумал и стал осторожно нагревать бумажку на спичке, разбирая: — «быв. студ. сдан в солд. учит. Софья Любачева, служ. гостиницы «Москва», быв. раб. Выксунск. зав. Андрей Андреев».

За этим делом его и застала Никонова. Открыв дверь и медленно притворяя ее, она стояла на пороге, и на побледневшем лице ее возмущенно и неестественно выделились потемневшие глаза. Прошло несколько неприятно длинных секунд, прежде, чем она тихо, с хрипотой в горле, спросила:

— Что ты делаешь? Зачем?

Ее волнение было похоже на испуг и так глубоко, что даже после того, когда Самгин, рассказав ей, как все это произошло, извинился за свою нескромность, она долго не могла успокоиться.

— Но — зачем же ты проявлял? — повторяла она, очень пристально и как-то жалобно рассматривая его лицо. — Увидал, что написано, и должен был оставить… а ты начал проявлять, — зачем?

Навязчивые, упрямые ее вопросы разозлили его, и довольно сухо он сказал:

— Я — извинился, сказал уже, что сделано это мною безотчетно, от скуки, что ли! Ты испугана своей неосторожностью и злишься на меня зря.

Эти слова успокоили ее, она села на колени к нему и, гладя ласковой ладонью щеку его, сказала покорно:

— Я — не злюсь. — И, улыбаясь, прибавила: — Я тоже не знаю, что меня взволновало.

В этот вечер она была особенно нежна с ним и как-то грустно нежна. Изредка, но все чаще, Самгин чувствовал, что ее примиренность с жизнью, покорность взятым на себя обязанностям передается и ему, заражает и его. Но тут он открыл в ней черту, раньше не замеченную им и родственную Нехаевой: она тоже обладала способностью смотреть на людей издалека и видеть их маленькими, противоречивыми.

— Ты слышал, что Щедрин перед смертью приглашал Ивана Кронштадтского? — спрашивала она и рассказывала о Льве Толстом анекдоты, которые рисовали его человеком самовлюбленным, позирующим. Вообще она знала очень много сплетен об умерших и живых крупных людях, но передавала их беззлобно, равнодушным тоном существа из мира, где все, что не пошло, вызывает подозрительное и молчаливое недоверие, а пошлость считается естественной и только через нее человек может быть понят. Эти ее анекдоты очень хорошо сливались с ее же рассказами о маленьких идиллиях и драмах простых людей, и в общем получалась картина морально уравновешенной жизни, где нет ни героев, ни рабов, а только —

обыкновенные люди.

«Жестоко вышколили ее», — думал Самгин, слушая анекдоты и понимая пристрастие к ним как выражение революционной вражды к старому миру. Вражду эту он считал наивной, но не оспаривал ее, чувствуя, что она довольно согласно отвечает его отношению к людям, особенно к тем, которые метят на роли вождей, «учителей жизни», «объясняющих господ».

Он видел, что с той поры, как появились прямолинейные юноши, подобные Властову, Усову, яснее обнаружили себя и люди, для которых революционность «большевиков» была органически враждебна. Себя Самгин не считал таким же, как эти люди, но все-таки смутно подозревал нечто общее между ними и собою. И, размышляя перед Никоновой, как перед зеркалом или над чистым листом бумаги, он говорил:

— Ученики Ленина несомненно вносят ясность в путаницу взглядов на революцию. Для некоторых сочувствующих рабочему движению эта ясность будет спасительна, потому что многие не отдают себе отчета, до какой степени и чему именно они сочувствуют. Ленин прекрасно понял, что необходимо обнажить и заострить идею революции так, чтоб она оттолкнула все чужеродное. Ты встречала Степана Кутузова?

— Никогда, — отвечала женщина, нахмурив брови, отрицательно качнув головой.

Самгин рассказывал ей о Кутузове, о том, как он характеризовал революционеров. Так он вертелся вокруг самого себя, заботясь уж не столько о том, чтоб найти для себя устойчивое место в жизни, как о том, чтоб подчиняться ее воле с наименьшим насилием над собой. И все чаще примечая, подозревая во многих людях людей, подобных ему, он избегал общения с ними, даже презирал их, может быть, потому, что боялся быть понятым ими.

Зимою у него была неприятнейшая встреча с Лютовым. Только что приехав в Подольск, Самгин пил чай в номере плохонькой гостиницы, просматривая копии следственного производства по делу о поджоге. За окном бесшумно колебалась густая кисея снега, город был окутан белой тишиной. Внезапно в коридоре хлопнула дверь, заскрипел пол и на пороге комнаты Самгина встал, приветственно взвизгивая, торговец пухом и пером, в пестрой курточке из шкурок сусликов, в серых валеных сапогах выше колен. Усевшись на стул верхом и стараясь понизить непослушный голос, Лютов сообщил, что приехал покупать коня.

— Необыкновенной красоты конь! Для Алины. Вошел кудрявый парень в белой рубахе, с лицом счастливого человека, принес бутылку настойки янтарного цвета, тарелку моченых яблоков и спросил, ангельски улыбаясь, — не прикажут ли еще чего-нибудь.

— Исчезни, морда! — приказал Лютов. Он стал уродливее. Поредевшие встрепанные волосы обнажали бугроватый череп; лысина, увеличив лоб, притиснув глазницы, сделала глаза меньше, острее; белки приняли металлический блеск ртути, покрылись тонким рисунком красных жилок, зрачки потеряли форму, точно зазубрились, и стали еще более непослушны, а под глазами вспухли синеватые подушечки, и нос опустился к толстым губам. Все в нем было непослушно, раздерганно, и как будто нарочно он не подстригал редкие волосики бороденки, усов; нарочно для того, чтоб подчеркнуть раздражающую неприглядность лица. Качаясь на стуле, развинченно изгибаясь, он иронически спрашивал:

— Ты что же не бываешь у Алины? Жена запрещает или мораль?

Неприятно смущенный бесцеремонным вторжением, Самгин сказал, что у него много работы, но Лютов, не слушая, наливая рюмки, ехидствовал, обнажая мелкие, желтые зубы.

— Моралист, хех! Неплохое ремесло. Ну-ко, выпьем, моралист! Легко, брат, убеждать людей, что они — дрянь и жизнь их — дрянь, они этому тоже легко верят,

чорт их знает почему! Именно эта их вера и создает тебе и подобным репутации мудрецов. Ты — не обижайся, — попросил он, хлопнув ладонью по колену Самгина. — Это я говорю для упражнения в острословии. Обязательно, братец мой, быть остроумным, ибо чем еще я куплю себе кусок удовольствия?

Склонив голову к плечу, он подмигнул левым глазом и прошептал:

— «Жизнь для жизни нам дана», — заметь, что этот каламбуришко достигается приставкой к слову жизнь буквы «люди». Штучка?

— Плохой каламбур, — сухо сказал Клим.

— Отвратителен, — согласился Лютов.

Самгин и раньше подозревал, что этот искаженный человек понимает его лучше всех других, что он намеренно дразнит и раздражает его, играя какую-то злую и темную игру.

«Больная, хитрая бестия. Когда он говорит настоящее свое, то, чему верит? Может быть, на этот раз, пьяный, он скажет о себе больше, чем всегда?»

Лютов выпил еще, взял яблоко, скептически посмотрел на него и, бросив на тарелку, вздохнул со свистом.

— Пей! Некорректно быть трезвым; когда собеседник пьян. Выпьем, например, за женщин, продающих красоту стену на, растление мужеподобным скотам.

« возгласил это театрально и даже взмахнул рукою, но его лицо тотчас выдало фальшь слов, оно обмякло, оплыло, ртутные глаза на несколько секунд прекратили свой трепет, слова тоста как бы обожгли Лютова испугом.

— Это я — так… сболтнул, — забормотал он, глядя в угол. — Это — Макаров внушает, чорт… хех!

Обеими руками схватив руку Самгина у локтя и кисти, притягивая, наклоняя его к себе, он прошептал:

— Почтеннейший страховых дел мастер, — вот забавная штука: во всех диких мыслях скрыта некая доза истины! Пилат, болван, должен бы знать: истина — игра дьявола! Вот это и есть прародительница всех наших истин, первопричина идиотской, тревожной бессонницы всех умников. Плохо спишь?

— Ты, Лютов, человек из сумасшедшего дома Достоевского, — с наслаждением сказал Самгин.

— Нет, — серьезно? — взвизгнул Лютов.

— Тебе надобно лечиться…

— Так, значит, из Достоевского? Ну, это — ничего. А то, видишь ли, есть сумасшедший дом Михаила Щедрина…

— Зачем все эти… фокусы? При чем тут Щедрин? — говорил Самгин, подчиняясь раздражению.

— Не понимаешь? — будто бы удивился Лютов. — Ах, ты… нормалист! Но ведь надобно одеваться прилично, этого требует самоуважение, а трагические лохмотья от Достоевского украшают нас приличнее, чем сальные халаты и модные пиджаки от Щедрина, — понял? Хех…

Он говорил подсмеиваясь, подмигивая, а Самгин ждал момента, когда удобнее прервать ехидную болтовню, копил резкие, уничтожающие слова и думал:

«Поссорюсь с ним. Навсегда».

Но Лютов, проглотив еще рюмку водки, вдруг стал трезвее, заговорил спокойнее.

— А — хорошие подзатыльники дают эсеры самодержавцам, э?

Он оттолкнул руку Самгина, налил водки ему и заговорил потише:

«Зубы грешника сокрушу», — а угрожал Иегова и — царства сокрушал! Как думаешь, которая на двух партий скорее заставит дать конституцию?

— Место ли говорить здесь об этом? — заметил Самгин, присматриваясь к нему, не понимая, как это он отрезвел.

— Тихонько — можно, — сказал Лютов. — Да и кто здесь знает, что такое конституция, с чем ее едят? Кому она тут нужна? А слышал ты: будто в Петербурге какие-то хлысты, анархо-теологи, вообще — черти не нашего бога, что-то вроде цезаропапизма проповедуют? Это, брат, замечательно! — шептал он, наклоняясь к Самгину. — Это — очень дальновидно! Попы, люди чисто русской крови, должны сказать свое слово! Пора. Они — скажут, увидишь!

Наклонясь к Самгину, обдавая его горячим дыханием, он зашипел:

— Начинается организация антисоциалистических сил, понимаешь?

Через минуту-две Самгин был уверен, что этот человек, так ловко притворяющийся пьяным, совершенно трезв и завел беседу о политике не для того, чтоб высказаться, а чтобы выпытать,

— Ленин очень верно понял значение «зубатовщины» и сделал правильный вывод: русскому народу необходим вождь, — так? — спрашивал он шепотком.

— Ну — и что же? — усмехнулся Клим, уже чувствуя себя охмелевшим.

— Какой — вождь? Бебель или… Сун Ят-сен? Какой? Фома Мюнцер или… Сун Ят-сен? А?

Самгин понимал, что он и Лютов смотрят друг на друга, как бойцовые петухи.

— Плохой ты актер, — сказал он и, подойдя к окну, открыл форточку. В темноте колебалась сероватая масса густейшего снега, создавая впечатление ткани, которая распадается на мелкие клочья. У подъезда гостиницы жалобно мигал взвешенный в снегу и тоже холодный огонек фонаря. А за спиною бормотал Лютов.

— Притворяются идеалистами… и притворство погубит их. Онан, сын Иуды, был тоже идеалистом…

Самгин глубоко вдыхал сыроватый и даже как будто теплый воздух, прислушиваясь к шороху снега, различая в нем десятки и сотни разноголосых, разноречивых слов. Сзади зашумело; это Лютов, вставая, задел рукою тарелку с яблоками, и два или три из них шлепнулись на пол.

— Спать иду, — объявил Лютов, стоя твердо, потирая подбородок, оскалив зубы. — Хочешь — завтра — коня пробовать со мною?

Самгин отказался пробовать коня, и Лютов ушел, не простясь. Стоя у окна, Клим подумал, что все эти снежные и пыльные вихри слов имеют одну цель — прикрыть разлад, засыпать разрыв человека с действительностью. Он вспомнил спор Властова с Кумовым.

«Тайна? — спросил Властов, саркастически измеряя Кумова взглядом. — Непознаваемая, говорите? Если б я был склонен к словесным фокусам, я бы сказал, что, если она непознаваема, это значит, что наука уже познала ее как таковую. Но фокусы — дело идеалистов. А наука не послушна Дюбуа Реймону, она не знает непознаваемого, но только непознанное. Познание, о котором вы говорите, — для меня фабрикация словесных пошлостей. Настоящие ценности создаются из

материала научного опыта, а продукты творчества идеалистов — фальшивая монета».

Самгин шумно захлопнул форточку, раздраженный воспоминанием о Властове еще более, чем беседой с Лютовым. Да, эти Властовы плодятся, множатся и смотрят на него как на лишнего в мире. Он чувствовал, как быстро они сдвигают его куда-то в сторону, с позиции человека солидного, широко осведомленного, с позиции, которая все-таки несколько тешила его самолюбие. Дерзость Властова особенно возмутительна. На любимую Варварой фразу: «декаденты — тоже революционеры» он ответил:

— С этим можно согласиться. Химический процесс гниения — революционный процесс. И так как декадентство есть явный признак разложения буржуазии, то все эти «Скорпионы», «Весы» — и как их там? — они льют воду на нашу мельницу в конце концов.

«Какой отвратительный, фельетонный умишко», — подумал Самгин. Шагая по комнате, он поскользнулся, наступив на квашеное яблоко, и вдруг обессилел, точно получив удар тяжелым, но мягким по голове. Стоя среди комнаты, брезгливо сморщив лицо, он смотрел из-под очков на раздавленное яблоко, испачканный ботинок, а память механически, безжалостно подсказывала ему различные афоризмы.

«Убивать надобно не министров, а предрассудки так называемых культурных, критически мыслящих людей», — говорил Кумов, прижимая руки ко груди, конфузливо улыбаясь. Рядом с этим вспомнилась фраза Татьяны Гогиной:

«История России в девятнадцатом веке — сплошной диалог, изредка прерываемый выстрелами пистолетов и взрывами бомб».

После нескольких месяцев тюрьмы ее сослали в глухой городок Вятской губернии. Перед отъездом в ссылку она стала скромнее одеваться, обрезала пышные свои волосы и сказала:

— Вот я окончательно постриглась в революцию.

Самгин сел, пытаясь снять испачканный ботинок и боясь испачкать руки. Это напомнило ему Кутузова. Ботинок упрямо не слезал с ноги, точно прирос к ней. В комнате сгущался кисловатый запах. Было уже очень поздно, да и не хотелось позвонить, чтоб пришел слуга, вытер пол. Не хотелось видеть человека, все равно — какого.

«И это жизнь», — мысленно воскликнул он, согнувшись, возясь с ногой, выпачкал пальцы и, глядя на них, увидел раздавленного Диомидова, услышал его крик:

«Каждому — свое пространство!»

Этот юродивый хитрец нашел свое «пространство». Он живет, проповедуя «трезвенность», он уже известен, его слушают десятки, может быть, сотни людей. Осенью Варвара и Кумов уговорили Самгина послушать проповедь Диомидова, и тихим, теплым вечером Самгин видел его на задворках деревянного, двухэтажного дома, на крыльце маленькой пристройки с крышей на один скат, с двумя окнами, с трубой, недавно сложенной и еще не закоптевшей. Этот хлевушек жалобно прислонился к высокой, бревенчатой стене какого-то амбара; стена, серая от старости, немного выгнулась, не то — заботливо прикрывая хлевушек, не то — готовясь обрушиться на него. Крыльцо жилища Диомидова — новенькое, с двумя колонками, с крышей на два ската, под крышей намалеван голубой краской трехугольник, а в нем — белый голубь, похожий на курицу.

Диомидов, в ярко начищенных сапогах с голенищами гармоникой, в черных шароварах, в длинной, белой рубахе, помещался на стуле, на высоте трех ступенек от земли; длинноволосый, желтолицый, с Христовой бородкой, он был похож на икону в киоте. Пред ним, на засоренной, затоптанной земле двора, стояли и сидели

темносерые люди; наклонясь к ним, размешивая воздух правой рукой, а левой шлепая по колену, он говорил:

— К человеку племени Данова, по имени Маной, имевшему неплодную жену, явился ангел, и неплодная зачала, и родился Самсон, человек великой силы, раздиравший голыми руками пасти львиные. Так же зачат был и Христос и многие так…

Голос его, раньше бесцветный, тревожный, теперь звучал уверенно, слова он произносил строго и немножко с распевом, на церковный лад. Проповедь не интересовала Самгина, он присматривался к людям; на дворе собралось несколько десятков, большинство мужчин, видимо, ремесленники; все — пожилые люди. Больше половины слушателей — женщины, должно быть, огородницы, прачки, а одетые почище — мелкие торговки, прислуга без работы. Стиснутые низенькими сараями, стеной амбара и задним фасадом дома, они образовали на земле толстый слой изношенных одежд, от них исходил запах мыла, прелой кожи, пота. Из окон дома тоже торчали головы, а в одном из них сидел сапожник и быстро, однообразно, безнадежно разводил руками, с дратвой в них. Рядом с Климом, на куче досок, остробородый человек средних лет, в изорванной поддевке и толстая женщина лет сорока; когда Диомидов сказал о зачатии Самсона, она пробормотала:

— От кого ни зачни, а дите кормить надо. Остробородый, утвердительно кивнув головой, вздохнул, потом вполголоса обратился к Самгину:

— Заботятся п-ро нас, учат, а нам — хоть бы что… У ног Самгина полулежал человек, выпачканный нефтью, курта махорку, кашлял и оглядывался, не видя, куда плюнуть; плюнул в руку, вытер ладонь о промасленные штаны и сказал соседу в пиджаке, лопнувшем на спине по шву:

— Слышал — Яков грибами отравился, в больницу отвезли.

— С ним — всегда что-нибудь, — глухо и равнодушно ответил сосед. — За ним горе тенью ходит.

Но говорили мало, приглушенно, голос Диомидова был слышен хорошо.

— «Плоть сытая и соты медовые отвергает, а голодной душе и горькое — сладко», — сказал царь Соломон.

Диомидов вертел шеей, выцветшие голубые глаза его смотрели на людей холодно, строго и притягивали внимание слушателей, все они как бы незаметно ползли к ступенькам крыльца, на которых, у ног проповедника, сидели Варвара и Кумов, Варвара — глядя в толпу, Кумов — в небо, откуда падал неприятно рассеянный свет, утомлявший зрение. Что-то унылое и тягостное почувствовал Самгин в этой толпе, затисканной, как бы помимо воли ее, на тесный двор, в яму, среди полуразрушенных построек. За крыльцом, у стены, — молоденький околоточный надзиратель с папиросой в зубах, сытенький, розовощекий щеголь; он был похож на переодетого студента-первокурсника из провинции. Заботливо разглаживая перчатку, он уже два раза прикладывал ее ко рту и надувал так, что перчатка принимала форму живой, пухлой руки.

— А еще вреднее плотских удовольствий — забавы распутного ума, — громко говорил Диомидов, наклонясь вперед, точно готовясь броситься в густоту людей. — И вот студенты и разные недоучки, медные головы, честолюбцы и озорники, которым не жалко вас, напояют голодные души ваши, которым и горькое — сладко, скудоумными выдумками о каком-то социализме, внушают, что была бы плоть сыта, а ее сытостью и душа насытится… Нет! Врут! — с большой силой и торжественно подняв руку, вскричал Диомидов.

Самгин привстал, ощутив холодок изумления. Ему показалось, что люди сгрудились теснее и всею массою подвинулись ближе ко крыльцу, показалось даже, что шеи стали длиннее у всех и заметней головы. Эта небольшая толпа

вызывала впечатление безрукости, руки у всех были скрыты, спрятаны в лохмотьях одежд, за пазухами, в карманах. Казалось также, что, намагничивая Диомидова своим молчаливым и напряженным вниманием, люди притягивают его к себе, а он скользит, спускается к ним. Он встал, ноги его дрожали, а руками он тыкал судорожно в воздух, точно что-то отталкивая, стоял, топая ногой, и кричал:

— И убивают верных рабов земного нашего…

— Сейчас ему — крышка! — сказал промасленный человек и, кашляя, встал на ноги.

На крыльцо вскочил околоточный и, махая перчаткой на Диомидова, как бы отгоняя его, точно муху, что-то сказал.

— Да — разве я о политике! — звонко и горестно вскрикнул Диомидов. — Это не политика, а — ложь! То есть — поймите! — правда это, правда!

— Прошу прекратить! Прошу расходиться, — вкусно выговаривал полицейский, размахивая перчаткой.

Люди уже вставали с земли, толкая друг друга, встряхиваясь, двор наполнился шорохом, глухою воркотней. Варвара, Кумов и еще какие-то трое прилично одетых людей окружили полицейского, он говорил властно и солидно:

— Не могу-с. Не разрешаю…

— Объясните ему, — кричал Диомидов.

— Это — безразлично: он будет нападать, другие — защищать — это не допускается! Что-с? Нет, я не глуп. Полемика? Знаю-с. Полемика — та же политика! Нет, уж извините! Если б не было политики — о чем же спорить? Прошу…

— Жаловаться буду, — кричал Диомидов, толкая ногою стул.

— Рассердился, — отметил остробородый человек. — А — хорошо говорил!

Толстая женщина встала, вытерла рот ладонью и сказала довольно громко:

— Бабники все хорошо говорят.

— Разве — бабник?

— А то — нет?

— Да — ты про кого говоришь? — спросил человек в разорванном пиджаке. — Про околоточного?

— Все хороши! — сказала женщина, махнув рукой и отходя.

— Эх, ворона, — вздохнул человек в пиджаке. — Жить с вами — сил нету!

И, обращаясь к Самгину, сообщил вполголоса:

— Околоток этот молодой, а — хитер. Нарочно останавливает, чтобы знать, нет ли каких говорунов. Намедни один выискался, выскочил, а он его — цап! И — в участок. Вместе работают, наверное…

Толпа редела, таяла. Самгин подошел ко крыльцу; раскланиваясь с Варварой, околоточный говорил очень вежливо и мягко:

— Прошу верить: у меня нет никаких сомнений. Приказ! Семен Петрович — пламенный человек, возбуждает страсти… Бонсуар!

И, отдав Варваре честь, он пошел за толпой, как пастух.

Диомидов, уже успокоенный, рассказывал Варваре с удовольствием, точно читая любимые стихи:

— Да, да, — совсем с ума сошел. Живет, из милости, на Земляном валу, у скорняка. Ночами ходит по улицам, бормочет: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» Самсоном изображает себя. Ну, прощайте, некогда мне, на беседу приглашен, прощайте!

Он круто повернулся и юркнул в узенькую дверь, сильно прихлопнув ее за собою.

— Ты — слышал? — спросила Варвара. — Дьякон — помнишь? — с ума сошел!

Самгин молча пожал плечами.

— Как тебе показался этот, а? Можно ли было ожидать! Впрочем — помнишь, как жаловался на него Дьякон?

Она говорила оживленно, а в глазах ее светилось что-то очень похожее на торжество.

Вспомнив эту сцену, он почувствовал себя отдохнувшим от Лютова и встал, чтоб погасить лампу. Синий огонек ее долго и упрямо мигал, прежде чем погаснуть; затем во тьме обнаружилось мутное пятно окна, оно было похоже на широкое, мохнатое полотенце. Удачно перешагнув через раздавленное яблоко, он лег, закрыл глаза и стал думать о Никоновой. Да, это — настоящий, нормальный человек, это — женщина для крепкой связи. В душе у нее, как в палисаднике, цветов немного, но все взращены любовно. Очень странно, что она не любит никаких украшений. Вспомнилось, как бережно укладывает она груди в лиф.

«Вероятно, бережет для ребенка».

Варвара — чужой человек. Она живет своей, должно быть. очень легкой жизнью. Равномерно благодушно высмеивает идеалистов, материалистов. У нее выпрямился рот и окрепли губы, но слишком ясно, что ей уже за тридцать. Она стала много и вкусно кушать. Недавно дешево купила на аукционе партию книжной бумаги и хорошо продала ее.

«Очень ловкая. Мы разойдемся, наверное, без драмы», — подумал Самгин, засыпая.

В день объявления войны Японии Самгин был в Петербурге, сидел в ресторане на Невском, удивленно и чуть-чуть злорадно воскрешая в памяти встречу с Лидией. Час тому назад он столкнулся с нею лицом к лицу, она выскочила из двери аптеки прямо на него.

— Боже мой — Клим!

Только по голосу он узнал, что эта высокая, скромно одетая женщина, с лицом под вуалью, в какой-то оригинальной, но не модной шапочке с белым пером — Лидия.

— Боже мой, — повторяла она с радостью и как будто с испугом. В руках ее и на груди, на пуговицах шубки — пакеты, освобождая руку, она уронила один из них; Самгин наклонился; его толкнули, а он толкнул ее, оба рассмеялись, должно быть, весьма глупое

— Вот… странно! Война, и вдруг — ты! Ой, как ты постарел!

Но, когда она приподняла вуаль, он увидал, что у нее лицо женщины лет под сорок; только темные глаза стали светлее, но взгляд их незнаком и непонятен. Он предложил ей зайти в ресторан.

— Не могу, ждет муж. Да, я замужем, пятый месяц, — не знал? Впрочем, я еще не

писала отцу»

Уговорились встретиться у нее, тогда она торопливо наняла извозчика и уехала, крикнув:

— Не забудь адрес!

«Замужем?» — недоверчиво размышлял Самгин, пытаясь представить себе ее мужа. Это не удавалось. Ресторан был полон неестественно возбужденными людями; размахивая газетами, они пили, чокались, оглушительно кричали; синещекий, дородный человек, которому только толстые усы мешали быть похожим на актера, стоя с бокалом шампанского в руке, выпевал сиплым баритоном, сильно подчеркивая «а»:

— Га-аспада! Наканец... Мы знаем, наканец... Засовывая палец за воротник рубахи, он крутил шеей, освобождая кадык, дергал галстук с крупной в нем жемчужиной, выставлял вперед то одну, то другую ногу, — он хотел говорить и хотел, чтоб его слушали. Но и все тоже хотели говорить, особенно коренастый старичок, иокусно зачесавший от правого уха к левому через голый череп несколько десятков волос.

— Это нес-лыхан-ное ве-ро-лом-ство; — кричал он и морщил красное лицо, точно собираясь чихнуть.

— Тихон Васильевич — поздравляю! Вы — пророк!

— Ага-а! То-то, батенька...

Справа от Самгина группа людей, странно похожих друг на друга, окружила стол, и один из них, дирижируя рукой с портсигаром, зажатым в ней, громко и как молитву говорил:

— Готовые чистосердечно положить...

— А не лучше — бескорыстно?

— Не надо банальностей!

— Устин, не мешай...

— Га-спада! Молебен о здравии...

— Короче, это ведь не кассационная жалоба. Раздался знакомый голос:

— Об англичанах упоминается в евангелии: «Блаженны кроткие, ибо они наследят землю». И, громко захохотав, Стратонов объяснил:

— Это — из Марка Твена.

Вдруг кто-то крикнул, испуганно и зычно:

— Господа — демонстрация!

И, точно покачнулся пол, все люди сдвинулись к дымным окнам, стадо тише, и строго прозвучал голос Стратонова:

— Не демонстрация, а манифестация.

Клим Самгин, бросив на стол деньги, поспешно вышел из зала и через минуту, застегивая пальто, стоял у подъезда ресторана. Три офицера, все с праздничными лицами, шли в ногу, один из них задел Самгина и весело сказал:

— Пардон, очки!

Пожилой, пьяный человек в распахнутой шубе, с шапкой в руке, неверно шагая,

смотрел изумленно под ноги себе и рычал:

— «Б-боже, царя хран-ни…»

Остановился пред Самгиным, надул багровые щеки и дважды сделал губами:

— Бум! Бум!

По торцам мостовой, наполняя воздух тупым и дробным звуком шагов, нестройно двигалась небольшая, редкая толпа, она была похожа на метлу, ручкой которой служила цепь экипажей, медленно и скучно тянувшаяся за нею. Встречные экипажи прижимались к панелям, — впереди толпы быстро шагал студент, рослый, кудрявый, точно извозчик-лихач; размахивая черным кашне перед мордами лошадей, он зычно кричал:

— Сворачивай!

Захлестывая панели, толпа сметала с них людей, но сама как будто не росла, а, становясь только плотнее, тяжелее, двигалась более медленно. Она не успевала поглотить и увлечь всех людей, многие прижимались к стенам, забегали в ворота, прятались в подъезды и магазины.

— «Царствуй на страх врагам», бум! — заревел пьяный и полез в толпу, как медведь в малинник.

В ту же минуту из ресторана вышел Стратонов, за ним — группа солидных людей окружила, столкнула Самгина с панели, он подчинился ее благодушному насилию и пошел, решив свернуть в одну из боковых улиц. Но из-за углов тоже выходили кучки людей, вольно и невольно вклинивались в толпу, затискивали Самгина в средину ее и кричали в уши ему — ура! Кричали не очень единодушно и даже как-то осторожно.

В черной, быстро плотневшей массе очень заметны были синеватые и зеленые пальто студентов, поблескивали металлические зрачки пуговиц, кое-где, с боков толпы, мелькнуло несколько серых фигур полицейских офицеров; впереди нестройно пели гимн и неутомимо, как полицейский, командовал зычным голосом рослый студент:

— Свор-рачивай!

За спиною Самгина веселый тенорок запел:

Пошли наши подружкиЧайку попить к Андрюшке…

Самгин оглянулся: за ним шла группа молодежи, впереди ее, приплясывая, пел маленький технолог, очень румяный и, должно быть, нетрезвый.

Ты скажи мне: для чегоНочевала у него?

— пропел он подпрыгивая и прямо в лицо Самгина, напомнив ему чьи-то слова: «Шут необходим толпе более, чем герой».

А толпа уже так разрослась, распухла, что не могла втиснуться на Полицейский мост и приостановилась, как бы раздумывая: следует ли идти дальше? Многие побежали берегом Мойки в направлении Певческого моста, люди во главе толпы рвались вперед, но за своей спиной, в задних рядах, Самгин чувствовал нерешительность, отсутствие одушевленности.

«С холодной душой идут, из любопытства», — думал он, пренебрежительно из-под очков посматривая на разнолицых, топтавшихся на месте людей. Сам он, как всегда, чувствовал себя в толпе совершенно особенным, чужим человеком и убеждал себя, что идет тоже из любопытства; убеждал потому, что у него явилась смутная надежда: а вдруг произойдет нечто необыкновенное?

И все-таки он был поражен, даже растерялся, когда, шагая в поредевшем хвосте толпы, вышел на Дворцовую площадь и увидал, что люди впереди его становятся карликами. Не сразу можно было понять, что они падают на колени, падали они так быстро, как будто невидимая сила подламывала им ноги. Чем дальше по направлению к шоколадной массе дворца, тем более мелкими казались обнаженные головы людей; площадь была вымощена ими, и в хмурое, зимнее небо возносился тысячеголосый рев:

— «Победы благоверному императору»... Самгин, больно прижатый к железной решетке сквера, оглушенный этим знакомым и незнакомым ревом, чувствовал, что он вливается в него волнами, заставляет его звучать колоколом под ударами железного языка.

«Победил... Всё простили, Ходынку... всё!» Это было изумительно, и это радовало. Но люди мешали укрепить, радость, насладиться ею. Впереди Самгина подпрыгивал толстый, лысоватый и, вскидывая голову из каракулевого воротника, беспокойно спрашивал:

— Выходит? Неужели не выйдет? Рядом кто-то возмущался:

— Осторожнее! Вы меня задели...

— Ох, батюшка, такой момент!..

— На колени, господа, на колени, — кричал Стратонов где-то близко.

— Ур-ра! — взревела вся площадь, а лысоватый, запрокинув голову, ударив затылком в грудь Самгина, слезливо и тонко застонал:

— Вышел, — голубчик, — господи — умница, — ах-х!.. Он захлебывался словами, торопливо и бессвязно произнося их одно за другим, и, прижимаясь к Самгину, оседал, точно земля проваливалась под ним. Самгин видел, как разломились двери на балконе дворца, блеснул лед стекол, и из них явилась знакомая фигурка царя под руку с высокой, белой дамой. Обе фигурки на фоне огромного дворца и над этой тысячеглавой, ревущей толпой были игрушечно маленькими, и Самгину казалось, что чем лучше видят люди игрушечность своих владык, тем сильнее становится восторг людей. Площадь наполнилась таким горячим, оглушающим ревом, что у Самгина потемнело в глазах и он почувствовал то же, что в Нижнем, — его как будто приподнимало с земли. Но его одновременно ударили по плечу, дернули за полу пальто.

— На колени, ты, шляпа!

Опускаясь на колени, он чувствовал, что способен так же бесстыдно зарыдать, как рыдал рядом с ним седоголовый человек в темносинем пальто. Необыкновенно трогательными казались ему царь и царица там, на балконе. Он вдруг ощутил уверенность, что этот маленький человечек, насыщенный, заряженный восторгом людей, сейчас скажет им какие-то исторические, примиряющие всех со всеми, чудесные слова. Не один он ждал этого; вокруг бормотали, покрикивали:

— Говорит?

— Тише!.. Ах, господи!

— Царица-то! Белая, точно ангел-хранитель.

— Начал? Говорит?

— Они — как Гензель и Грета...

— Вы чувствуете? Восторг толпы — религиозен.

— Говорит, а?

Самгин приподнялся с колен, но его снова дернули за полу, ударили по спине.

— Стоять! Я те дам…

Это не охладило волнения Самгина, не обидело его, он только спросил:

— Говорит?

— Отсюда — не услышишь.

— «И твое сохраняя», — пела толпа вдали, у Александровской колонны.

— Ушел? Ушли?

— Ура-а…

Да, царь исчез. Снова блеснули ледяные стекла дверей; толпа выросла вверх, быстро начала расползаться, сразу стало тише.

— Отслужили! — кричал маленький технолог, расталкивая людей, и где-то близко зычно зазвучал крепкий голос Стратонова:

— Тот же единодушный взрыв национальной гордости и силы, который выбросил Наполеона из Москвы на остров Эльбу…

Самгин оглянулся: прилепясь к решетке сквера, схватив рукою сучок дерева, Стратонов возвышался над толпой, помахивал над нею красным кулаком с перчаткой, зажатой в нем, и кричал. Толстое лицо его надувалось и опадало, глаза, побелев, ледянисто сверкали, и вся крупная, широкогрудая фигура, казалось, росла. Распахнувшееся меховое пальто показывало его тугой живот, толстые ляжки; Самгин отметил, что нижняя пуговица брюк Стратонова расстегнута, но это не было ни смешным, ни неприличным, а только подчеркивало напряжение, в котором чувствовалось что-то как бы эротическое, что согласовалось с его крепким голосом и грубой силой слов.

— Мы их под… коленом и — в океан, — кричал он, отгибая нижнюю губу, блестя золотой коронкой; его подстриженные усы, ощетинясь, дрожали, казалось, что и уши его двигаются. Полсотни людей кричали в живот ему:

— Браво-о!

А технолог выл, приложив ладони ко рту:

— Бара-во-во-воу-у!

— Вы зачем же хулиганите? — спросил его человек в дымчатых очках и в котиковой шапке. — Нет, позвольте, куда вы?

Самгин медленно пошел прочь.

«Да, ничтожный человек, — размышлял он не без горечи. — Иван Грозный, Петр — эти сказали бы, нашли бы слова…»

Он чувствовал себя еще раз обманутым, но и жалел сизого человечка, который ничего не мог сказать людям, упавшим на колени пред ним, вождем.

«Юродивый Диомидов может владеть людями, его слушают, ему верят».

Тут он вспомнил, что Диомидов после Ходынки утратил сходство с царем.

В магазинах вспыхивали огни, а на улице сгущался мутный холод, сеялась какая-то сероватая пыль, пронзая кожу лица. Неприятно было видеть людей, которые шли встречу друг другу так, как будто ничего печального не случилось; неприятны голоса женщин и топот лошадиных копыт по торцам, — странный звук, точно

десятки молотков забивали гвозди в небо и в землю, заключая и город и душу в холодную, скучную темноту.

«А — что бы я сказал на месте царя?» — спросил себя Самгин и пошел быстрее. Он не искал ответа на свой вопрос, почувствовав себя смущенным догадкой о возможности своего сродства с царем.

«Смешно. Совершенно нелепо», — думал он, отталкивая эту догадку.

Через час он сидел в маленькой комнатке у постели, на которой полулежал обложенный подушками бритоголовый человек с черной бородой, подстриженной на щеках и раздвоенной на подбородке белым клином седых волос.

— Антон Муромский, — назвал он себя, точно был архиереем.

Лицо у него смуглое, четкой, мелкой лепки, а лоб слишком высок, тяжел и давит это почти красивое, но очень носатое лицо. Большие, янтарного цвета глаза лихорадочно горят, в глубоких глазницах густые тени. Нервными пальцами скатывая аптечный рецепт в трубочку, он говорит мягким голосом и немножко картавя:

— Его называют царем Федором Ивановичем, — нет! Он — царь карликовых людей, царь моральных карликов.

В соседней комнате гремела посуда, дребезжали ножи, вилки и веселый голос громко уговаривал:

— Да — бросьте, барыня, я сама все сделаю! Муромский поморщился и крикнул:

— Лида!

Она тотчас пришла. В сером платье без талии, очень высокая и тонкая, в пышной шапке коротко остриженных волос, она была значительно моложе того, как показалась на улице. Но капризное лицо ее все-таки сильно изменилось, на нем застыла какая-то благочестивая мина, и это делало Лидию похожей на английскую гувернантку, девицу, которая уже потеряла надежду выйти замуж. Она села на кровать в ногах мужа, взяла рецепт из его рук, сказав:

— Опять изорвешь.

Муромский, взяв со стола нож для книг, продолжал, играя ножом:

— Когда я был юнкером, приходилось нередко дежурить во дворце; царь был еще наследником. И тогда уже я заметил, что его внимание привлекают безличные люди, посредственности. Потом видел его на маневрах, на полковых праздниках. Я бы сказал, что талантливые люди неприятны ему, даже — пугают его.

«Очевидно, считает себя талантливым и обижен невниманием царя», — подумал Самгин; этот человек после слов о карликовых людях не понравился ему.

Вмешалась Лидия.

— Помнишь — Туробоев сказал, что царь — человек, которому вся жизнь не по душе, и он себя насилует, подчиняясь ей?

Она проговорила это, глядя на Самгина задумчиво и как бы очень издалека.

— Я не верю, что он слабоволен и позволяет кому-то руководить им. Не верю, что религиозен. Он — нигилист. Мы должны были дожить до нигилиста на троне. И вот дожили…

— Пожалуйте кушать, — возгласила толстенькая горничная, заглянув из двери.

Когда Муромский встал, он оказался человеком среднего роста, на нем была

черная курточка, похожая на блузу; ноги его, в меховых туфлях, напоминали о лапах зверя. Двигался он слишком порывисто для военного человека. За обедом оказалось, что он не пьет вина и не ест мяса.

— Из соображений гигиены, — объяснила Лидия как-то ненужно и при этом вызывающе вскинула голову.

Небрежно расковыривая вилкой копченого сига, Муромский говорил:

— Да, царь — типичный русский нигилист, интеллигент! И когда о нем говорят «последний царь», я думаю; это верно! Потому что у нас уже начался процесс смещения интеллигенции. Она — отжила. Стране нужен другой тип, нужен религиозный волюнтарист, да! Вот именно: религиозный!

Бросив вилку на стол и обеими руками потерев серебристую щетину на черепе, Муромский вдруг спросил:

— Что вы думаете о войне?

— Безумие, — сказал Самгин, пожимая плечами.

— Да?

— Конечно.

Сунув руки в карманы, Муромский откинулся на спинку кресла и объявил:

— Я иду на войну добровольцем.

— А я — сестрой, — сказала Лидия, немножко задорно. — Мы решили это еще вчера, — прибавила она. Чувствуя себя очень неловко, Самгин спросил:

— Вы — кавалерист?

— Поручик гвардейской артиллерии, я — в отставке, — поспешно сказал Муромский, нестерпимо блестящими глазами окинув гостя. — Но, в конце концов, воюет народ, мужик. Надо идти с ним. В безумие? Да, и в безумие.

— Тогда — почему же не в революцию? — докторально спросил Самгин.

— И в революцию, когда народ захочет ее сам, — выговорил Муромский, сильно подчеркнул последнее слово и, опустив глаза, начал размазывать ложкой по тарелке рисовую кашу.

Самгин чувствовал себя небывало скучно и бессильно пред этим человеком, пред Лидией, которая слушает мужа, точно гимназистка, наивно влюбленная в своего учителя словесности.

— Люди могут быть укрощены только религией, — говорил Муромский, стуча одним указательным пальцем о другой, пальцы были тонкие, неровные и желтые, точно корни петрушки. — Под укрощением я понимаю организацию людей для борьбы с их же эгоизмом. На войне человек перестает быть эгоистом…

Самгин был доволен, когда он, бросив салфетку на стол, объявил, что должен лечь.

— У меня — колит, — сказал он, точно о достоинстве своем, и ушел.

Веселая горничная подала кофе. Лидия, взяв кофейник, тотчас шумно поставила его и начала дуть на пальцы. Не пожалев ее, Самгин молчал, ожидая, что она скажет. Она спросила: давно ли он видел отца, здоров ли он? Клим сказал, что видит Варавку часто и что он летом будет жить в Старой Руссе, лечиться от ожирения.

— Самое длинное письмо от него за прошлый год — четырнадцать строчек. И всё

каламбуры, — сказала Лидия, вздохнув, и непоследовательно прибавила: — Да, вот какие мы стали! Антон находит, что наше поколение удивительно быстро стареет.

— Ты много путешествовала?

— Да.

— Все искала праведников?

— Как видишь — нашла, — тихонько ответила она. Кофе оказался варварски горячим и жидким. С Лидией было неловко, неопределенно. И жалко ее немножко, и хочется говорить ей какие-то недобрые слова. Не верилось, что это она писала ему обидные письма.

«Она — несчастный человек, но из гордости не сознается в этом», — подумал он.

— Ты что же: веришь, что революция сделает людей лучше? — спросила она, прислушиваясь к возне мужа в спальне.

— А — ты? Не веришь?

— Нет, — ответила она, вызывающе вскинув голову, глядя на него широко открытыми глазами. — И не будет революции, война подавит ее, Антон прав.

— «Блажен, кто верует», — равнодушно сказал Самгин и спросил о Туробоеве.

— Он — двоюродный брат мужа, — прежде всего сообщила Лидия, а затем, в тоне осуждения, рассказала, что Туробоев служил в каком-то комитете, который называл «Комитетом Тришкина кафтана», затем ему предложили место земского начальника, но он сказал, что в полицию не пойдет. Теперь пишет непонятные статьи в «Петербургских ведомостях» и утверждает, что муза редактора — настоящий нильский крокодил, он живет в цинковом корыте в квартире князя Ухтомского и князь пишет передовые статьи по его наущению.

— Все эти глупости Игорь так серьезно говорит, что кажется сумасшедшим, — добавила она, поглаживая пальцем висок.

Поговорили еще несколько минут, и Самгин встал. Она, не удерживая его, заглянула в дверь спальни.

— Спит, слава богу! У него — бессонница по ночам. Ну, прощай…

«Какая ненужная встреча», — думал Самгин, погружаясь в холодный туман очень провинциальной улицы, застроенной казарменными домами, среди которых деревянные торчали, как настоящие, но гнилые зубы в ряду искусственных.

«Царь карликовых людей, — повторил Самгин с едкой досадой. — Прячутся в бога… Смещение интеллигенции…»

Пред ним снова встал сизый, точно голубь, человечек на фоне льдистых стекол двери балкона. Он почувствовал что-то неприятно аллегорическое в этой фигурке, прилепившейся, как бездушная, немая деталь огромного здания, высоко над массой коленопреклоненных, восторженно ревущих людей. О ней хотелось забыть, так же как о Лидии и о ее муже.

Но через несколько месяцев он снова увидел царя. Ярким летним днем Самгин ехал в Старую Руссу; скрипучий, гремящий поезд не торопясь катился по полям Новгородской губернии; вдоль железнодорожной линии стояли в полусотне шагов друг от друга новенькие солдатики; в жарких лучах солнца блестели, изгибались штыки, блестели оловянные глаза на лицах, однообразных, как пятикопеечные монеты. Празднично наряженные мужики и бабы убирали сено; близко к линии бабы казались ожившими крестьянками с картин Венецианова, а вдали — точно огромные цветы лютика и мака. В купе вагона, кроме Самгина, сидели еще двое: гладенький старичок в поддевке, с большой серебряной медалью на шее, с розовым

личиком, спрятанным в седой бороде, а рядом с ним угрюмый усатый человек с большим животом, лежавшим на коленях у него. Сидел он широко расставив ноги, сильно потея, шевелил усами, точно рак, и каждую минуту крякал. Когда поезд подошел к одной из маленьких станций, в купе вошли двое штатских и жандармский вахмистр, он посмотрел на пассажиров желтыми глазами и сиплым голосом больного приказал:

— Закройте окна, опустите занавеску; на волю не смотреть.

Один из штатских, тощий, со сплюснутым лицом и широким носом, сел рядом с Самгиным, взял его портфель, взвесил на руке и, положив портфель в сетку, протяжно, воющим звуком, зевнул. Старичок с медалью заволновался, суетливо закрыл окно, задернул занавеску, а усатый спросил гулко:

— В чем дело?

— Значит — государю дорогу даем, — объяснил старичок, счастливо улыбаясь.

Самгин вышел в коридор, отогнул краешек пыльной занавески, взглянул на перрон — на перроне одеревенело стояла служба станции во главе с начальником, а за вокзалом — стена солидных людей в пиджаках и поддевках.

— Сказано: нельзя смотреть! — тихо и лениво проговорил штатский, подходя к Самгину и отодвинув его плечом от окна, но занавеску не поправил, и Самгин видел, как мимо окна, не очень быстро, тяжко фыркая дымом, проплыл блестящий паровоз, покатились длинные, новенькие вагоны; на застекленной площадке последнего, сидел, как тритон в домашнем аквариуме, — царь. Сидел он в плетеном кресле и, раскачивая на желтом шнуре золотой портсигар, смотрел, наклонясь, вдаль, кивая кому-то гладко причесанной головой. На станции глухо рявкнули:

— Ура!

Штатский человек снова протяжно зевнул и ушел, а толстый, расправляя усы, сказал Самгину:

— Смелый вы.

— Проследовал, значит? — растерянно бормотал старичок. — Ах ты, господи! А мне представляться ему надо было. Подвел меня племянник, дурак, вчерась надо было ехать, подлец! У меня, милостью его величества, дело в мою пользу решено, — понимаете ли…

Паровоз сердито дернул, лязгнули сцепления, стукнулись буфера, старик пошатнулся, и огорченный рассказ его стал невнятен. Впервые царь не вызвал у Самгина никаких мыслей, не пошевелил в нем ничего, мелькнул, исчез, и остались только поля, небогато покрытые хлебами, маленькие солдатики, скучно воткнутые вдоль пути. Пестрые мужики и бабы смотрели вдаль из-под ладоней, картинно стоял пастух в красной рубахе, вперегонки с поездом бежали дети.

— Семнадцать лет судился без толку…

Через два часа Клим Самгин сидел на скамье в парке санатории, пред ним в кресле на колесах развалился Варавка, вздувшийся, как огромный пузырь, синее лицо его, похожее на созревший нарыв, лоснилось, медвежьи глаза смотрели тускло, и было в них что-то сонное, тупое. Ветер поднимал дыбом поредевшие волосы на его голове, перебирал пряди седой бороды, борода лежала на животе, который поднялся уже к подбородку его. Задыхаясь, свистящим голосом он понукал Самгина:

— Ну? Ну, ну? Тридцать семь тысяч? Дурак он. Ну, ладно, продай…

Охватив пальцами, толстыми, как сосиски, ручки кресла, он попробовал поднять

непослушное тело; колеса кресла пошевелились, скрипнули по песку, а тело осталось неподвижным; тогда он, пошевелив невидимой шеей, засипел:

— А я, брат, к чорту иду! Ухайдакался. Кончен. Строил, строил, а ничего фундаментального не выстроил.

Слушая отрывистые, свистящие слова, Самгин смотрел, как по дорожкам парка скучные служители толкают равнодушно пред собою кресла на колесах, а в креслах — полуживые, разбухшие тела. В центре небольшого парка из-под земли бьет толстая струя рыжевато-мутной воды, распространяя в воздухе солоноватый запах рыбной лавки. Прошла высокая, толстая женщина с желтым, студенистым лицом, ее стеклянные глаза вытеснила из глазниц базедова болезнь, женщина держала голову так неподвижно, точно боялась, что глаза скатятся по щекам на песок дорожки. Провезли чудовищно толстую девочку; она дремала, из ее розового, приоткрытого рта текла слюна. Шел коротконогий, шарообразный человек, покачивая головою в такт шагам, казалось, что голова у него пустая, как бычий пузырь, а на лице стеклянная маска. И так, один за другим, двигались под музыку военного оркестра тяжелые, уродливые люди, показывая себя безжалостно знойному солнцу.

— Обидно, Клим, шестьдесят два только, — сипел Варавка, чавкая слова. — Воюем? Дурацкая штука. Царь приехал. Запасных провожать. В этом городе Достоевский жил.

К нему подошел сутулый, подслеповатый служитель в переднике и сказал птичьим голосом:

— Пора, барин.

— Купать, — объяснил Варавка. — Потом — тискать будут.

Служитель нагнулся, понатужился и, сдвинув кресло, покатил его. Самгин вышел за ворота парка, у ворот, как два столба, стояли полицейские в пыльных, выгоревших на солнце шинелях. По улице деревянного городка бежал ветер, взметая пыль, встряхивая деревья; под забором сидели и лежали солдаты, человек десять, на тумбе сидел унтер-офицер, держа в зубах карандаш, и смотрел в небо, там летала стая белых голубей.

Полукругом стояли краснолицые музыканты, неистово дуя в трубы, медные крики и уханье труб вливалось в непрерывный, воющий шум города, и вой был так силен, что казалось, это он раскачивает деревья в садах и от него бегут во все стороны, как встревоженные тараканы, бородатые мужики с котомками за спиною, заплаканные бабы.

Упираясь головой в забор, огненно-рыжий мужик кричал в щель между досок:

— Два тридцать — хошь? Душу продаю, сукиному сыну…

Он пинал в забор ногою, бил кулаком по доскам, а в левой руке его висела, распустив меха, растрепанная гармоника.

— Душу, — кричал он. — Шесть гривен? Врешь! Ударив гармоникой по забору, он бросил ее под ноги себе, растоптал двумя ударами ноги и пошел прочь быстрым, твердым шагом трезвого человека.

На берегу тихой Поруссы сидел широкобородый запасной в солдатской фуражке, голубоглазый красавец; одной рукой он обнимал большую, простоволосую бабу с румяным лицом и безумно вытаращенными глазами, в другой держал пестрый ее платок, бутылку водки и — такой мощный, рослый — говорил женским голосом, пронзительно:

— Значит — так! Значит — мерина продавай, мать его…

Прижимаясь лицом к плечу его, баба выла:

— Лександра, Христа ради…

— Стой! Молчи, дай подумать…

Он воткнул горлышко бутылки в рот себе, запрокинул голову, и густейшая борода его судорожно затряслась. Пил он до слез, потом швырнул недопитую бутылку в воду, вздрогнул, с отвращением потряс головой и снова закричал:

— Значит — продавай! Больше — никаких! Ну, вот… Работали мы с тобой, мать их…

Баба вырвала платок из его рук и, стирая пот со лба его, слезы с глаз, завыла еще громче:

— Лександрушка, — никто нас не жалеет…

— Молчи! Ударю…

Пружинно вскочив на ноги, он рывком поднял бабу с земли, облапил длинными руками, поцеловал и, оттолкнув, крикнул, задыхаясь, грозя кулаком:

— Гляди же!

— Лександра…

— Молчи! Значит — поняла? Продавай! Идем.

— Господи, да — что же это? — истерически крикнула баба, ощупывая его руками, точно слепая. Мужик взмахнул рукою, открыл рот и замотал головою, как будто его душили.

С этого момента Самгину стало казаться, что у всех запасных открытые рты и лица людей, которые задыхаются. От ветра, пыли, бабьего воя, пьяных песен и непрерывной, бессмысленной ругани кружилась голова. Он вошел на паперть церкви; на ступенях торчали какие-то однообразно-спокойные люди и среди них старичок с медалью на шее, тот, который сидел в купе вместе с Климом.

— Теперь война легкая, — говорил он. — И ружья легче и начальство.

— Это верно.

На площади лениво толпились празднично одетые обыватели; женщины под зонтиками были похожи на грибы-мухоморы. Отовсюду вырывались, точно их выбрасывало, запасные, встряхивая котомками, они ошеломленно бежали все в одном направлении, туда, где пела и ухала медь военных труб.

«Тихий океан, — вспомнил Самгин. — Торопятся сбросить японцев пинками в Тихий океан. Кошмар».

Да, было нечто явно шаржированное и кошмарное в том, как эти полоротые бородачи, обгоняя друг друга, бегут мимо деревянных домиков, разноголосо и крепко ругаясь, покрикивая на ошарашенных баб, сопровождаемые их непрерывными причитаниями, воем. Почти все окна домов сконфуженно закрыты, и, наверное, сквозь запыленные стекла смотрят на обезумевших людей деревни привыкшие к спокойной жизни сытенькие женщины, девицы, тихие старички и старушки.

«Океан…»

Толпа редела, разгоняемая жарким ветром и пылью; на площади обнаружилась куча досок, лужа, множество битых бутылок и бочка; на ней сидел серый солдат с винтовкой в коленях. Ветер гонял цветные бумажки от конфект, солому, врывался на паперть и свистел в какой-то щели. Самгин постоял, посмотрел и, чувствуя

отвращение к этому городу, к людям, пошел в санаторию. Ему захотелось тотчас же перескочить через все это в маленькую монашескую комнату Никоновой, для того чтоб рассказать ей об этом кошмаре и забыть о нем.

Через трое суток он был дома, кончив деловой день, лежал на диване в кабинете, дожидаясь, когда стемнеет и он пойдет к Никоновой. Варвара уехала на дачу, к знакомым. Пришла горничная и сказала, что его спрашивает Гогин.

— По телефону? Скажи, что».

— Они здесь.

Самгин встал, догадываясь, что этот хлыщеватый парень, играющий в революцию, вероятно, попросит его о какой-нибудь услуге, а он не сумеет отказаться. Нахмурясь, поправив очки, Самгин вышел в столовую, Гогин, одетый во фланелевый костюм, в белых ботинках, шагал по комнате, не улыбаясь, против обыкновения, он пожал руку Самгина и, продолжая ходить, спросил скучным голосом:

— Вы не знаете, куда уехала Никонова?

— Не знаю.

— А что вы о ней вообще знаете?

— Очень немного. В чем дело?

Гогин сел к столу, не торопясь вынимая портсигар из кармана, посмотрел на него стесняющим взглядом, но не ответил, а спросил:

— Но ведь вы с нею, кажется, давно знакомы и… в добрых отношениях?

Спросил он вполголоса и вяло, точно думал не о Никоновой, а о чем-то другом. Но тем не менее слова его звучали оглушительно. И, чтоб воздержаться от догадки о причине этих расспросов, Самгин быстро и сбивчиво заговорил:

— Хорошие отношения? Ну, да… как сказать?.. Во всяком случае — отношения товарищеские… полного доверия…

Он замолчал, наблюдая, как медленно Гогин собирается закурить папиросу, как сосредоточенно он ее осматривает. Догадка все-таки просачивалась, волновала, и, сняв очки, глядя в потолок вспоминающим взглядом, Самгин продолжал:

— Позвольте… Первый раз я ее встретил, кажется… лет десять тому назад. Она была тогда с «народоправцами», если не ошибаюсь.

— Да, — сказал Гогин, как бы поощряя, но не подтверждая, и склонил голову к плечу.

— А что? — спросил Самгин.

— И — потом?. — тоже спросил Гогин.

— Потом видел ее около Лютова, знаете, — есть та кой… меценат революции, как его назвала ваша сестра. Гогин утвердительно кивнул.

— Любаша Сомова ввела ее к нам, когда организовалась группа содействия рабочему движению… или — не помню — может быть, в «Красный Крест».

— Так, — сказал Гогин, встав и расхаживая по комнате с папиросой, которая не курилась в его пальцах. Самгин уже знал, что скажет сейчас этот человек, но все-таки испугался, когда он сказал:

— Чтобы короче: есть основания подозревать ее в знакомстве с охранкой.

— Не может быть, — искренно воскликнул Самгин, хотя догадывался именно об этом. Он даже подумал, что догадался не сегодня, не сейчас, а — давно, еще тогда, когда прочитал записку симпатическими чернилами. Но это надо было скрыть не только от Гогина, но и от себя, — Не может быть, — повторил он.

— Н-ну, почему? — тихо воскликнул Гогин. — Бывало. Бывает.

— Какие же данные? — тоже тихо спросил Самгин. Гогин остановился, повел плечами, зажег спичку и, глядя на ее огонек, сказал:

— Замечены были некоторые… неясности в ее поведении, кое-что неладное, а когда ей намекнули на это, — кстати сказать, неосторожно намекнули, неумело, — она исчезла.

Гогин говорил мучительно медленно, и это возмущало.

— Почему же мне ничего не сказали? — сердито спросил Самгин.

— О таких вещах всем не рассказывают, — ответил Гогин, садясь, и ткнул недокуренную-папиросу в пепельницу. — Видите ли, — более решительно и строго заговорил он, — я, в некотором роде, официальное лицо, комитет поручил мне узнать у вас: вы не замечали в ее поведении каких-либо… странностей?

— Нет, — быстро сказал Самгин, чувствуя, что сказал слишком быстро и что это может возбудить подозрение. — Не замечал ничего, — более спокойно прибавил он, соображая, что, может быть, это Никонова донесла на Митрофанова.

Гогин снова и как-то нелепо, с большим усилием достал портсигар из кармана брюк, посмотрел на него и положил на стол, кусая губы.

— Есть слух, что вы с нею были близки, — сказал он, вздохнув и почесывая висок пальцем.

Самгин тоже ощутил тонкую, сверлящую боль в виске.

— Да, я у нее бывал и… нередко. Но это… отношения другого порядка.

— Возможно, что они и помешали вам замечать, — неопределенно сказал Гогин.

— Она казалась мне скромной, преданной делу… Очень простая… Вообще — не яркая.

— Домохозяин ее… тоже очень темный человек. Не знаете, — он родственник ей? — спросил Гогин.

— Нет, не знаю, — ответил Самгин, чувствуя, что на висках его выступил пот, а глаза сохнут. — Я даже не знал, что, собственно, она делает? В технике? Пропагандистка? Она вела себя со мной очень конспиративно. Мы редко беседовали о политике. Но она хорошо знала быт, а я весьма ценил это. Мне нужно для книги.

Самгин понимал, что говорит излишне много и что этого не следует делать пред человеком, который, глядя на него искоса, прислушивается как бы не к словам, а к мыслям. Мысли у Самгина были обиженные, суетливы и бессвязны, ненадежные мысли. Но слов он не мог остановить, точно в нем, против его воли, говорил другой человек. И возникало опасение, что этот другой может рассказать правду о записке, о Митрофанове.

— Так не похоже на нее, — говорил он, разводя руками, и думал: «Если б я знал… Если б она сказала мне… А — что ж тогда?»

Гогин молчал. Его молчание становилось совершенно невыносимым. Он сидел, покачивая ногой, и Самгину казалось, что обращенное к нему ухо Гогина особенно чутко напряжено.

«Может быть, он подозревает и меня?» — внезапно подумал Самгин и вслух очень громко вскричал: — Это так чудовищно!

— Неприятная штука, — щелкнув пальцами, отозвался Гогин. — Главное — скрылась, вот что...

Не меняя позы, он все сидел, а ведь он уже спросил обо всем и мог бы уйти. Он вздохнул.

— Исчезла при таких обстоятельствах, что... В дверь постучали.

— Кто? Я — занят! — крикнул Самгин.

— Телеграмма, — сказала горничная.

Он взял из ее рук синий конвертик и, не вскрыв, бросил его на стол. Но он тотчас заметил, что Гогин смотрит на телеграмму, покусывая губу, заметил и — испугался: а вдруг это от Никоновой?

«Не буду вскрывать», — решил он и несколько отвратительных секунд не отводил глаз от синего четвероугольника бумаги, зная, что Гогин тоже смотрит на него, — ждет.

«Глупо и подозрительно», — догадался он и стал, не спеша, развертывать телеграмму, а потом прочитал механически, вслух: «Тимофей скончался привези тело немедля Самгина».

И, почти не скрывая чувства облегчения, он объяснил:

— Телеграфирует мать, умер отчим. Надо ехать в Старую Руссу.

— Да, неприятная штука, — задумчиво повторил Гогин, вставая, и спросил: — Если Никонова напишет вам, вы сообщите мне ее адрес?

— Разумеется. Как же иначе?

— Да. Это все, конечно, между нами. До времени. Может быть, еще объяснится в ее пользу, — пробормотал Гогин и, слабо пожав руку Самгина, ушел.

«Он, кажется, хотел утешить меня», — сообразил Самгин, подойдя к буфету и наливая воду в стакан.

Он чувствовал себя обессиленным, оскорбленным и даже пошатывался, идя в кабинет. В левом виске стучало, точно там были спрятаны часы.

«Следовало сказать о моих подозрениях, — думал он, садясь к столу, но — встал и лег на диван. — Ерунда, я не имел никаких подозрений, это он сейчас внушил мне их».

Сняв очки, Самгин крепко закрыл глаза. Было жалко потерять женщину. Еще более жалко было себя. Желчно усмехаясь, он спросил:

«Почему суждено мне попадать в такие идиотские положения?»

В столовую вошла Анфимьевна, он попросил ее уложить чемодан, передать Варваре телеграмму и снова отдал себя во власть мелких мыслей.

«Это ее назвал Усов бестолковой. Если она служит жандармам, то, наверное, из страха, запуганная каким-нибудь полковником Васильевым. Не из-за денег же? И не из мести людям, которые командуют ею. Я допускаю озлобление против Усовых, Властовых, Поярковых; она — не злая. Но ведь ничего еще не доказано против нее, — напомнил он себе, ударив кулаком по дивану. — Не доказано!»

Ночью, в вагоне, следя в сотый раз, как за окном плывут всё те же знакомые огни,

качаются те же черные деревья, точно подгоняя поезд, он продолжал думать о Никоновой, вспоминая, не было ли таких минут, когда женщина хотела откровенно рассказать о себе, а он не понял, не заметил ее желания? Но он видел пред собою невыразительное лицо, застывшее в «бабьей скуке», как сам же он, не удовлетворенный ее безответностью, назвал однажды ее немое внимание, и вспомнил, что иногда это внимание бывало похоже на равнодушие. Вспомнил также, что, когда он сказал ей фразу Инокова: «Человек бьется в словах, как рыба в песке», она улыбнулась и сказала: «Это очень смешно, а — верно». Да, она молчала и слушала гораздо лучше, чем говорила. Она, кажется, единственный человек, после которого не осталось в памяти ни одной значительной фразы, кроме этой:

«Смешно, а — верно». Точно она думала, что смешное всегда неверно. В конце концов — она совершенно нормальный, простой человек.

«Она не умела распускать павлиний хвост слов, как это делал Митрофанов».

Тут он вспомнил, что Митрофанов тоже сначала казался ему человеком нормальным, здравомыслящим, но, в сущности, ведь он тоже изменил своему долгу; в другую сторону, а — изменил, это — так.

«Нет доказательств, что она изменила, — еще раз напомнил он себе. — Есть только подозрения…»

Поезд точно под гору катился, оглушительно грохотал, гремел всем своим железом, под полом вагона что-то жалобно скрипело и взвизгивало:

— Рига — иго — так, рига — так…

Потом, испуганно свистнув, поезд ворвался в железную клетку моста и как будто повлек ее за собою, изгибая, ломая косые полосы ферм. Разрушив клетку, отбросив с пути своего одноглазый домик сторожа, он загремел потише, а скрип под вагоном стал слышней.

— Иго — рига — так — так, иго — так… Самгин задумался о том, что вот уже десять лет он живет, кружась в пыльном вихре на перекрестке двух путей, не имея желания идти ни по одному из них. Не впервые думал он об этом, но в эту ночь, в этот час все было яснее и страшней. Не один он живет такой жизнью, а сотни, тысячи людей, подобных ему, он это чувствовал, знал. Вихрь кружится все более бешено, вовлекая в свой круговорот всех, кто не в силах противостоять ему, отойти в сторону, а Кутузовы, Поярковы, Гогины, Усовы неутомимо и безумно раздувают его. Люди этого типа размножаются с непонятной быстротой и обидно, грубо командуют теми, кто, по какому-то недоразумению, помогает им.

Тут он вспомнил, как Татьяна, девица двадцати лет, кричала в лицо старика профессора, известного экономиста:

— Вы рассуждаете так, как будто история, мачеха ваша, приказала вам: «Ваня, сделай революцию!» А вы мачехе не верите, революции вам не хочется, и, сделав кислое личико, вы читаете мне из корана Эдуарда Бернштейна, подтверждая его Рихтером и Ле-Боном, — не надо делать революцию!

Посидев несколько месяцев в тюрьме, Гогина озлобилась, и теперь в ее речах всегда звучит нечто личное. Память Самгина услужливо восстановила сцену его столкновения с Татьяной.

Под Москвой, на даче одного либерала, была устроена вечеринка с участием модного писателя, дубоватого человека с неподвижным лицом, в пенснэ на деревянном носу. Самгин встречал этого писателя и раньше, знал, что он числится сочувствующим большевизму, и находил в нем общее и с дерзким грузчиком Сибирской пристани и с казаком, который сидел у моря, как за столом; с *грузчиком* его объединяла склонность к словесному, грубому озорству, с казаком — хвастовство своей независимостью. Солидно выпив, писатель собрал человек

десять молодежи и, уводя ее на террасу дачи, объявил басом:

— Через десять минут мы вам устроим сурприз.

— Сур-приз, — повторила Татьяна. — Малый, кажется, глуповат.

В саду тихонько шелестел дождь, шептались деревья; было слышно, что на террасе приглушенными голосами распевают что-то грустное. Публика замолчала, ожидая — что будет; Самгин думал, что ничего хорошего не может быть, и — не ошибся.

Минут через двадцать писатель возвратился в зал; широкоплечий, угловатый, он двигался не сгибая ног, точно шел на ходулях, — эта величественная, журавлиная походка придавала в глазах Самгина оттенок ходульности всему, что писатель говорил. Пройдя, во главе молодежи, в угол, писатель, вкусно и громко чмокнув, поправил пенснэ, нахмурился, картинно, жестом хормейстера, взмахнул руками.

— Начинаем!

Хор бравурно и довольно стройно запел на какой-то очень знакомый мотив ходившие в списках стихи старого народника, один из таких списков лежал у Самгина в коллекции рукописей, запрещенных цензурой. Особенно старался тенористый, маленький, но крепкий человек в синей фуфайке матроса и с курчавой бородкой на веселом, очень милом лице. Его тонкий голосок, почти фальцет, был неистощим, пел он на терцию выше хора и так комически жалобно произносил радикальные слова, что и публика и даже некоторые из хористов начали смеяться. Но Самгин недоумевал: в чем тут «сурприз» и фокус? Он понял это, когда писатель, распластав руки, точно крылья, остановил хор и глубоким басом прочитал, как дьякона читают «Апостол»:

Долой бесправие! Да здравствует свобода!И учредительный да здравствует собор!

Немедленно хор повторил эти две строчки, но так, что получился карикатурный рисунок словесной и звуковой путаницы. Все певцы пели нарочито фальшиво и все гримасничали, боязливо оглядывая друг друга, изображая испуг, недоверие, нерешительность; один даже повернулся спиною к публике и вопросительно повторял в угол:

— Долой? Долой?

Тенор, согнув ноги, присел и плачевно выводил:

— Дол-лой — долой — долой…

— Да здравствует свобода! — мрачно, угрожающе пропел писатель, и вслед за ним каждый из певцов, снова фальшивя, разноголосо повторил эти слова. Получился хаотический пучок звуков, которые однако все же слились в негромкий, разочарованный и жалобный вой. Так же растрепанно и разочарованно были пропеты слова «учредительный собор».

Все это было закончено оглушительным хохотом певцов, смеялась и часть публики, но Самгин заметил, что люди солидные сконфужены, недоумевают. Особенно громко и самодовольно звучал басовитый, рубленый смех писателя:

— Хо. Хо. Хо.

Он стоял, раздвинув ноги, вскинув голову так, что кадык его высунулся, точно топор. Видя пред собою его карикатурно мрачную фигуру, поддаваясь внезапному взрыву возмущения и боясь, что кто-нибудь опередит его, Самгин вскочил, крикнул:

— Господа!

Писатель, тоном Актера из пьесы «На дне», подхватил:

Если к правде святойМир дорогу найти не сумеет — хо, — хо!

— Прошу внимания, — строго крикнул Самгин, схватив обеими руками спинку стула, и, поставив его пред собою, обратился к писателю: — Сейчас вы пропели в тоне шутовской панихиды неловкие, быть может, но неоспоримо искренние стихи старого революционера, почтенного литератора, который заплатил десятью годами ссылки…

— Вот именно! — воскликнул кто-то, и публика примолкла, а Самгин, раздувая огонь своего возмущения, приподняв стул, ударил им 6 пол, продолжая со всей силою, на какую был способен:

— Но, издеваясь над стихами, не издевались ли вы и над идеями представительного правления, над идеями, ради реализации которых деды и отцы ваши боролись, умирали в тюрьмах, в ссылке, на каторге?

— Это — что же? Еще одна цензура? — заносчиво, но как будто и смущенно спросил писатель, сделав гримасу, вовсе не нужную для того, чтоб поправить пенснэ.

— Это — вопрос, — ответил Самгин. — Вопрос, который, я уверен, возник у многих здесь.

— Не у меня, — крикнула Татьяна, но двое или трое солидных людей зашикали на нее, а один из них обиженно сказал:

— Да, это — чересчур! Учредительное собрание осмеивать, это…

— Мне идея не смешна, — пробормотал писатель. — Стихи смешные.

— Да? — иронически спросил Самгин. — Я рад слышать это. Мне это показалось грубой шуткой блудных детей, шуткой, если хотите, символической. Очень печальная шутка…

Тут и вмешалась Татьяна.

— Вы, Самгин, уверены, что вам хочется именно конституции, а не севрюжины с хреном? — спросила она и с этого момента начала сопровождать каждую его фразу насмешливыми и ядовитыми замечаниями, вызывая одобрительный смех, веселые возгласы молодежи. Теперь он не помнил ее возражений, да и тогда не улавливал их. Но в память его крепко вросла ее напряженная фигура, стройное тело, как бы готовое к физической борьбе с ним, покрасневшее лицо и враждебно горящие глаза; слушая его, она иронически щурилась, а говоря — открывала глаза широко, и ее взгляд дополнял силу обжигающих слов. Раздражаемый ею, он, должно быть, отвечал невпопад, он видел это по улыбкам молодежи и по тому, что кто-то из солидных людей стал бестактно подсказывать ему ответы, точно добросердечный учитель ученику на экзамене. В конце концов Гогина его запутала в словах, молодежь рукоплескала ей, а он замолчал, спросив:

— Смотрите, не превращаете ли вы марксизм в анархизм?

— Ой — старо! — вскричала она и, поддразнивая, осведомилась: — Может быть, о Бланки вспомните? Меньшевики этим тоже козыряют.

В таких воспоминаниях он провел всю ночь, не уснув ни минуты, и вышел на вокзал в Петербурге полубольной от усталости и уже почти равнодушный к себе.

В гостинице, где он всегда останавливался, конторщик подал ему письмо, извиняясь, что забыл сделать это в день отъезда его.

— Как будто чувствовал, что вы сегодня вернетесь, — прибавил он, любезно улыбаясь.

Самгин взглянул на почерк, и рука его, странно отяжелев, сунула конверт в

карман пальто. По лестнице он шел медленно, потому что сдерживал желание вбежать по ней, а придя в номер, тотчас выслал слугу, запер дверь и, не раздеваясь, только сорвав с головы шляпу, вскрыл конверт.

«Прощай, конечно, мы никогда больше не увидимся. Я не такая подлая, как тебе расскажут, я очень несчастная. Думаю, что и ты тоже» — какие-то слова густо зачеркнуты — «такой же. Если только можешь, брось все это. Нельзя всю жизнь прятаться, видишь. Брось, откажись, я говорю потому, что люблю, жалею тебя».

Письмо было написано так небрежно, что кривые строки, местами, сливались одна с другой, точно их писали в темноте.

«Что это значит? — спросил Самгин себя, автоматически, но быстро разрывая письмо на мелкие клочья. — От чего отказаться? Неужели она думает, что я...»

Он растирал в кулаке кусочки бумаги, затем сунул их в карман брюк, взял конверт, посмотрел на штемпель:

Ярославль.

«Она с ума сошла, если она думает, что я... одной профессии с нею».

Тщательно разорвав конверт на узкие полоски, он трижды перервал их поперек и тоже сунул в карман.

«С ума сошла!»

Он чувствовал себя оглушенным и видел пред собой незначительное лицо женщины, вот оно чуть-чуть изменяется неохотной, натянутой улыбкой, затем — улыбка шире, живее, глаза смотрят задумчиво и нежно. Никогда он не видел это лицо злым. Бездумно посидев некоторое время, он пошел в уборную, выгрузил из кармана клочья бумаги, в раковину выворотил карман, спустил воду. Несколько кусочков бумаги осталось. Подождав, пока бак наполнится водой, он спустил воду еще раз; теперь все бумажки исчезли. Самгин возвратился в номер, думая, что сейчас же надо ехать покупать цинковый гроб Варавке и затем — на вокзал, в Старую Руссу. Теперь, разделавшись с письмом, он чувствовал себя несколько более в порядке. Что-то кончено. А все-таки настроение было тревожное и как будто знакомое уже; когда-то он испытывал такое же. И тревожило желание вспомнить: когда это было, отчего?

Он вспомнил это тотчас же, выйдя на улицу и увидав отряд конных жандармов, скакавших куда-то на тяжелых лошадях, — вспомнил, что подозрение или уверенность Никоновой не обидело его, так же, как не обидело предложение полковника Васильева. Именно тогда он чувствовал себя так же странно, как чувствует сейчас, — в состоянии, похожем на испуг пред собою.

«В состоянии удивления, близком испугу», — попытался он более точно формулировать, глядя вслед жандармам.

По улице с неприятной суетливостью, не свойственной солиднейшему городу, сновали, сталкиваясь, люди, ощупывали друг друга, точно муравьи усиками, разбегались. Точно каждый из них потерял что-то, ищет или заплутался в городе, спрашивает: куда идти? В этой суете Самгину почудилось нечто притворное.

Когда он, купив гроб, платил деньги розовощекому, бритому купцу, который был более похож на чиновника, успешно проходящего службу и довольного собою, — в магазин, задыхаясь, вбежал юноша с черной повязкой па щеке и, взмахнув соломенной шляпой, объявил:

— Министра Плеве бомбой взорвали!

— Третий, — сказал гробовщик, быстро крестясь. — Где?

— На улице, около Варшавского вокзала. Подавая Самгину сдачу и глядя на него с явным упреком, торговец шумно вздохнул:

— На улице, вот как-с!

Самгин молча приподнял шляпу и вышел из лавки, думая:

«Мне следовало сказать что-нибудь гробовщику; молчание мое, наверное, показалось ему подозрительным. Да, сот и Плеве убили…»

Он взял извозчика и, сидя в экипаже, посматривая на людей сквозь стекла очков, почувствовал себя разреженным, подобно решету; его встряхивало; все, что он видел и слышал, просеивалось сквозь, но сетка решета не задерживала ничего. В буфете вокзала, глядя в стакан, в рыжую жижицу кофе, и отгоняя мух, он услыхал:

— На войне тысячи убивают, а жить от этого не легче.

Говорила чья-то круглая, мягкая спина в измятой чесунче, чесунча на спине странно шевелилась, точно под нею бегали мыши, в спину неловко вставлена лысоватая голова с толстыми ушами синеватого цвета. Самгин подумал, что большинство людей и физически тоже безобразно. А простых людей как будто и вовсе не существует. Некоторые притворяются простыми, но, в сущности, они подобны алгебраическим задачам с тремя — со многими — неизвестными.

По столу ходили и прыгали мухи, ощупывая хоботками пылинки сахара, а может быть, соли.

«Мысли, как черные мухи», — вспомнил Самгин строчку стихов и подумал, что люди типа Кутузова и вообще — революционеры понятнее так называемых простых людей; от Поярковых, Усовых и прочих знаешь, чего можно ждать, а вот этот, в чесунче, может быть, член «Союза русского народа», а может быть, тоже революционер.

Но все эти мысли проходили мимо механически, не уплотняя Самгина, даже не волнуя его, и так, в состоянии разреженном, в равнодушной ко всему полудремоте, он очутился на вокзале своего города. Тут его как бы взяли в плен знакомые и незнакомые люди, засыпали деловитыми вопросами, подходили с венками депутации городской думы, служащих Варавки, еще какие-то депутаты. Затем они расступились, освобождая дорогу Вере Петровне Самгиной, она шла под руку со Спивак, покрытая с головы до ног черными вуалями, что придавало ей сходство с монументом, готовым к открытию.

— Здравствуй, — сказала мать глухим голосом и, глядя на гроб, который осторожно вытаскивали из багажного вагона, спросила: — Где он?

Спивак тоже вся в черном, очень бледная и хмурая. Мелькнул Иван Дронов с золотыми часами в руке и с головой, блестевшей, точно хорошо вычищенный ботинок, он бежал куда-то, раскачивая часы на цепочке, раскрыв рот. Перед вокзалом стояла густая толпа людей с обнаженными головами, на пестром фоне ее красовались золотые статуи духовенства, а впереди их, с посохом в руке, большой златоглавый архиерей, похожий на колокол. Корвин постучал камертоном о свои широкие зубы, взмахнул руками, точно утопающий, и в жаркий воздух печально влилась мягкая волна детских голосов. Вера Петровна, погладив платочком вуаль на лице, взяла сына под руку.

— Боже мой, боже… У тебя ужасное лицо, Клим, дорогой…

Огромный, тяжелый гроб всунули в черный катафалк, украшенный венками, катафалк покачнулся, черные лошади тоже качнули перьями на головах; сзади Самгина кто-то, вздохнув, сказал:

— Таких людей надо бы с музыкой хоронить. Нестерпимо длинен был путь Варавки от новенького вокзала, выстроенного им, до кладбища. Отпевали в соборе, служили

панихиды пред клубом, техническим училищем, пред домом Самгиных. У ворот дома стояла миловидная, рыжеватая девушка, держа за плечо голоногого, в сандалиях, человечка лет шести; девушка крестилась, а человечек, нахмуря черные брови, держал руки в карманах штанишек. Спивак подошла к нему, наклонилась, что-то сказала, мальчик, вздернув плечи, вынул из карманов руки, сложил их на груди.

Пропев панихиду, пошли дальше, быстрее. Идти было неудобно. Ветки можжевельника цеплялись за подол платья матери, она дергала ногами, отбрасывая их, и дважды больно ушибла ногу Клима. На кладбище соборный протоиерей Нифонт Славороссов, большой, с седыми космами до плеч и львиным лицом, картинно указывая одной рукой на холодный цинковый гроб, а другую взвесив над ним, говорил потрясающим голосом:

— Сей братолюбивый делатель на ниве жизни, господом благословенной, не зарыл в землю талантов, от бога данных ему, а обильно украсил ими тихий град наш на пользу и в поучение нам.

В седой бороде хорошо был виден толстогубый, яркий рот, говорил протопоп как-то не шевеля губами, и, должно быть, от этого слова его, круглые и внятные, плавали в воздухе, точно пузыри.

— Ныне скудоумные и маломысленные, соблазняемые смертным грехом зависти, утверждают, что богатые суть враги людей, забывая умышленно, что не в сокровищах земных спасение душ наших и что все смертию помрем, яко же и сей верный раб Христов…

С неба изливался голубой пламень, раскаляя ослепительно золото ризы, затканной черными крестами; стая белых голубей, кружась, возносилась в голубую бездонность.

— Блинова охота, — вполголоса сказали за спиною Клима.

— Говорят, — у него сын эсер…

— У Блинова?

— У протопопа.

— Не слыхал. Впрочем — что же? Теперь все эсеры… Стоя на чьей-то могиле, адвокат Правдин, говоривший быстрыми словами похвальную речь Варавке, вдруг задорно крикнул:

— Нет, не слово, а — деяние! — и начал громко читать немецкие стихи.

Тусклое солнце висело над кладбищем, освещая, сквозь знойную муть, кресты над могилами и выше всех крестов, на холме, под сенью великолепно пышной березы, — три ствола от одного корня, — фигуру мраморного ангела, очень похожего на больничную сиделку, старую деву.

С кладбища Клим ехал в карете с матерью и Спивак; мать устало и зачем-то в нос жаловалась:

— Жить я здесь больше не могу. Школу я передаю Лизе…

Носовые звуки окрашивали слова ее в злой тон, и, должно быть, заметив это, она стала говорить обыкновенным голосом:

— Я телеграфировала в армию Лидии, но она, должно быть, не получила телеграмму. Как торопятся, — сказала она, показав лорнетом на улицу, где дворники сметали ветки можжевельника и елей в зеленые кучи. — Торопятся забыть, что был Тимофей Варавка, — вздохнула она. — Но это хороший обычай посыпать улицы можжевельником, — уничтожает пыль. Это надо бы делать и во

время крестных ходов.

Закрыв глаза, помолчав, она продолжала:

— Костюм сестры милосердия очень идет Лидии, она ведь и по натуре такая… серая. Муж ее, хотя и патриот, но, кажется, сумасшедший.

Самгин понимал: она говорит, чтоб не думать о своем одиночестве, прикрыть свою тоску, но жалости к матери он не чувствовал. От нее сильно пахло туберозами, любимым цветком усопших.

Поминальный обед был устроен в зале купеческого клуба. Драпировки красноватого цвета и обильный жир позолоты стен и потолка придавали залу сходство с мясной лавкой; это подсказал Самгину архитектор Дианин; сидя рядом с ростовщицей Трусовой и аккуратно завертывая в блин розовый кусок семги, он сокрушенно говорил:

— Аппетит у Варавки был велик, а вкуса не было.

— Ты — не ворчи, — посоветовала Трусова. — Ты — ешь больше, даром кормят, — прибавила она, поворачивая нагло выпученные и всех презирающие глаза к столу крупнейших сил города: среди них ослепительно сиял генерал Обухов, в орденах от подбородка до живота, такой усатый и картинно героический, как будто он был создан нарочно для того, чтоб им восхищались дети. Сидел там вице-губернатор, уездный предводитель дворянства и еще человек шесть в мундирах, в орденах. Там же, между городским головой Радеевым, с золотой медалью на красной ленте, и протопопом с крестом на груди, неподвижно, точно каменная, сидела мать. Этот стол был отделен от всех других в зале не только измеримым пространством, но и сознанием сидевших за ним неизмеримости своего значения. За другими столами помещалось с полсотни второстепенных людей; туго застегнутые в сюртуки и шелковые черные платья, они усердно кушали и тихонько урчали.

Встал бывший прокурор Китаев, длинный, чернобородый, с лысиной, протертой в густых волосах, постучал ножом по горлышку бутылки и заговорил осуждающим, холодным голосом:

— В эти дни, когда на востоке судьба против нас…

— А не лазили бы на востоки-то, — пробормотал подрядчик Меркулов, и чей-то угрюмый голос тотчас поддержал его.

— Верно! Дрались бы с кем ближе… Лесопромышленник Усов, поправив пальцем вставные зубы, вздохнул:

— От немцев поворотиться некуда, а тут…

— Договор-то с ними кабальный…

— Вообще живем в кабале у чиновников, верно в газетах пишут, — довольно громко сказал банщик Домогайлов и начал рассказывать о том, как его оштрафовали:

— В простонародной грязно будто бы! Позвольте — как же может быть грязно, ежели там шесть дней в неделю с утра до вечера мылом моются?

Прокурор кончил речь, духовенство запело «Вечную память», все встали; Меркулов подпевал без слов, не открывая рта, а Домогайлов, возведя круглые глаза в лепной потолок, жалобно тянул:

— Па-а-а…

Но и пение ненадолго прекратило ворчливый ропот людей, давно знакомых Самгину, — людей, которых он считал глуповатыми и чуждыми вопросов политики. Странно было слышать и не верилось, что эти анекдотические люди, погруженные в свои мелкие интересы, вдруг расширили их и вот уже говорят о договоре с

Германией, о кабале бюрократов, пожалуй, более резко, чем газеты, потому что говорят просто.

Встал Славороссов, держась за крест на груди, откинул космы свои за плечи и величественно поднял звериную голову.

— Исусом, сыном Сираховым, премудро сказано:

«Буй в смехе возносит глас свой; муж разумный едва тихо осклабится»…

— Замолол, краснобай, — сказала Фиона Трусова и, отхлебнув вина, поморщилась. — Винцо-то для бедных родственничков…

Дослушав речь протопопа. Вера Петровна поднялась и пошла к двери, большие люди сопровождали ее, люди поменьше, вставая, кланялись ей, точно игуменье; не отвечая на поклоны, она шагала величественно, за нею, по паркету, влачились траурные плерезы, точно сгущенная тень ее.

«Все еще горда. А — чем гордится?» — подумал Клим.

— Вот и кончено все, — сказала она, сидя в карете. — Вышло вполне прилично. Поминки — азиатский обычай. И — боже мой! — как много едят у нас!

Когда приехали домой, она объявила:

— Я должна отдохнуть.

Самгин, облегченно вздохнув, прошел в свою комнату; там стоял густой запах нафталина. Он открыл окно в сад; на траве под кленом сидел густобровый, вихрастый Аркадий Спивак, прилаживая к птичьей клетке сломанную дверцу, спрашивал свою миловидную няньку:

— А почему, если покойника везут, нельзя прятать руки в карманы? Он помер оттого, что выпали зубы?

Клим закрыл окно, распахнул другое, во двор, и почувствовал, что если он ляжет, то крепко уснет. Он не ошибся.

Затем наступили очень тяжелые дни. Мать как будто решила договорить все не сказанное ею за пятьдесят лет жизни и часами говорила, оскорбление надувая лиловые щеки. Клим заметил, что она почти всегда садится так, чтоб видеть свое отражение в зеркале, и вообще ведет себя так, как будто потеряла уверенность в реальности своей.

— Да, Клим, — говорила она. — Я не могу жить в стране, где все помешались на политике и никто не хочет честно работать.

Щеки ее опадали, оттягивая нижние веки, обнажая холодные белки опустошенных глаз.

— Какие-то японцы, которые были известны только как жонглеры, и — вдруг! Ужасно! Ты слышал о скандальной жизни Алины? — спросила она и тотчас же поразила Клима афоризмом, который он выслушал, опустив глаза, чтоб скрыть улыбку.

— Пред женщиной два пути: или героическое материнство или приятное свинство, — Тимофей был прав.

Самгин знал, что она не кормила своим молоком Дмитрия, а его кормила только пять недель. Почти все свои мысли она или начинала или заканчивала тремя словами:

— Тимофей был прав, — как бы напоминая себе, что Варавка — был.

Траурное платье еще более старило ее, и, должно быть, понимая это, она нервозно одергивала его, ощипывалась, ходила парадным шагом, натужно выпрямляя стан, выгибая грудь, потерявшую форму. Особенно часто она доказывала, что все люди — деспоты.

— Это вполне естественно в обществе, построенном на деспотических началах, — нехотя и полусерьезно заметила Спивак.

Мать сморщила лицо так, что кожа напудренных щек стала шероховатой, точно замша.

— О, бог мой! Вы всегда об этом! — сердито воскликнула она, грозя Спивак чайной ложкой. — Ваши идеи ужасны, Лиза! Я всю жизнь прожила среди революционеров, это были тоже люди заблуждавшиеся, но никто из них не рассуждал так, как вы и ваши друзья. Разумеется, необходимо ограничить власть царя, но отрицать собственность — это безумие! И, право, я благодарю бога за то, что он, не мешая вам говорить, не позволяет ничего делать. Хотя я уверена, что забастовку, весною, устроила ваша компания, — да, да! Вы, Лиза, хороший человек, но не по-божьему, а по книжкам. Ты знаешь, Клим, отец Нифонт, мой духовник, назвал ее монашествующей атеисткой? Он отлично играет в винт. Ты — играешь?

— Нет, не люблю.

— Да, ты человек без азарта, — сказала мать, уверенно и одобрительно, и начала рассказывать о губернаторе.

— Он очень милый старик, даже либерал, но — глуп, — говорила она, подтягивая гримасами веки, обнажавшие пустоту глаз. — Он говорит: мы не торопимся, потому что хотим сделать все как можно лучше; мы терпеливо ждем, когда подрастут люди, которым можно дать голос в делах управления государством. Но ведь я у него не конституции прошу, а покровительства Императорского музыкального общества для моей школы.

С Елизаветой Спивак она обращалась, как с человеком, который не очень приятен и надоел, но — необходим, требовала ее присутствия при деловых разговорах о ликвидации бесчисленных предприятий Варавки и, выслушивая ее советы, благосклонно соглашалась.

— Да, это и моя мысль.

Дважды в неделю к ней съезжались люди местного «света»: жена фабриканта бочек и возлюбленная губернатора мадам Эвелина Трешер, маленькая, седоволосая и веселая красавица; жена управляющего казенной палатой Пелымова, благодушная, басовитая старуха, с темной чертою на верхней губе — она брила усы; супруга предводителя дворянства, высокая, тощая, с аскетическим лицом монахини; приезжали и еще не менее важные дамы. Являлся чиновник особых поручений при губернаторе Кианский, молодой человек в носках одного цвета с галстуком, фиолетовый протопоп Славороссов; благообразный, толстенький тюремный инспектор Топорков, человек с голым черепом, похожим на огромную, уродливую жемчужину «барок», с невидимыми глазами на жирненьком лице и с таким же, почти невидимым, носом, расплывшимся между розовых щечек, пышных, как у здорового ребенка. Приходил огромный, похожий на циркового борца, фабрикант патоки и крахмала Окунев, еще какие-то солидные люди, регент архиерейского хора Корвин, и вертелся волчком среди этих людей кругленький Дронов в кургузом сюртучке. Играя желтенькой записной книжкой и карандашом, он садился в уголок, и пронзительные глазки его, щупая заседающих людей, как бы раздевали их. С Климом он встретился холодно и затем явно избегал встреч с ним.

Заседали у Веры Петровны, обсуждая очень трудные вопросы о борьбе с нищетой и пагубной безнравственностью нищих. Самгин с недоумением, не совсем лестным для этих людей и для матери, убеждался, что она в обществе «Лишнее —

ближнему» признана неоспоримо авторитетной в практических вопросах. Едва только добродушная Пелымова, всегда торопясь куда-то, давала слишком широкую свободу чувству заботы о ближних. Вера Петровна говорила в нос, охлаждающим тоном:

— Не будем спешить, Анна Антоновна. Бедность исчезнет только тогда, когда бедные научатся разумно тратить.

— Совершенно верно, — с радостью воскликнул Топорков. — Кажется, это Герье сказал: «Наилучше удобряет землю мелкий дождь, а не бурные ливни».

Он почти все слова на «о» заканчивал звуком «ы» и был уверен, что бедняки жили бы не плохо, если б занялись разведением кроликов.

— Половина населения Франции разводит кроликов, и вот — французы снабжают нас деньгами.

Самгин был слишком поглощен собою, для того чтоб обращать внимание на комизм этих заседаний, но все-таки иногда ему думалось, что люди говорят глупости из желания подшутить друг над другом.

— «В здоровом теле — здоровый дух», это — утверждение языческое, а потому — ложное, — сказал протоиерей Славороссов. — Дух истинного христианина всегда болеет гладом любви ко Христу и страхом пред ним.

Все это приняло в глазах Самгина определенно трагикомический характер, когда он убедился, что верхний этаж дома, где жил овдовевший доктор Любомудров, — гнездо людей другого типа и, очевидно, явочная квартира местных большевиков. Он заметил, что по вторникам и пятницам на вечерние приемы доктора аккуратно является неистребимый статистик Смолин и какие-то очень разнообразные люди, совершенно не похожие на больных. Раза два мелькнул на дворе Дунаев, с его незабываемой улыбочкой в курчавой бороде, которая стала еще более густой и точно вырезанной из дерева. Ходил Дунаев в сапогах с голенищами до колен, в шведской, кожаной куртке и кожаной фуражке, вся эта кожа, густо смазанная машинным маслом, тускло поблескивала.

Две комнаты своей квартиры доктор сдавал: одну — сотруднику «Нашего края» Корневу, сухощавому человеку с рыжеватой бородкой, детскими глазами и походкой болотной птицы, другую — Флерову, человеку лет сорока, в пенснэ на остром носу, с лицом, наскоро слепленным из мелких черточек и тоже сомнительно украшенным редкой, темной бородкой. Можно было ожидать, что человек этот говорит высоким тенором, а он говорил мягким баском, медленно и немножко заикаясь. Он читал какие-то лекции в музыкальной школе, печатал в «Нашем крае» статейки о новостях науки и работал над книгой «Социальные причины психических болезней».

— Почти все формы психических з-заболеваний объясняются насилием над волей людей, — объяснял он Самгину. — Су-ществующий строй создает людей гипертрофированной или атрофированной воли. Только социализм может установить свободное и нормальное выявление волевой энергии.

Доктор Любомудров, слушая его, посмеивался, стучал пальцами по лысине своей и ласково предупреждал:

— Не наври чего-нибудь, Никола.

Доктор высох, выпрямился и как будто утратил свой ленивенький скептицизм человека, утомленного долголетним зрелищем людских страданий. Посматривая на Клима прищуренными глазами, он бесцеремонно ворчал:

— Н-да, поговорка «ворон ворону глаз не выклюет» оказалась неверной в случае Варавки, — Радеев-то перепрыгнул через него в городские головы. Устроил из интеллигенции трамплин себе и — перескочил. Жуликоватый старикан, чувствует

запах завтрашнего дня. Вы что — не большевик, случайно?

— Почему — случайно? — уклонился Клим от прямого ответа, но доктора, видимо, и не интересовал ответ, барабаня пальцами в ожогах йода по черепу за ухом, он ворчал:

— Крепкие ребята. Тут приезжал один эдакий бородач… напомнил мне Желябова характером.

В том, как доктор выколачивал из черепа глуховатые слова, и во всей его неряшливой, сутулой фигуре было нечто раздражавшее Самгина. И было нелепо слышать, что этот измятый жизнью старик сочувствует большевикам.

— Конечно, не плохо, что Плеве ухлопали, — бормотал он. — А все-таки это значит изводить бактерий, как блох, по одной штучке. Говорят — профессура в политику тянется, а? Покойник Сеченов очень верно сказал о Вирхове: «Хороший ученый — плохой политик». Вирхов это оправдал: дрянь-политику делал.

К Елизавете Спивак доктор относился, точно к дочери, говорил ей — ты, она заведовала его хозяйством. Самгин догадывался, что она — секретарствует в местном комитете и вообще играет большую роль. Узнал, что Саша, нянька ее сына, племянница Дунаева, что Дунаев служит машинистом на бочарной фабрике Трешера, а его мрачный товарищ Вараксин — весовщиком на товарной станции.

— Вышли в люди, — иронически заметил он, но Спивак не услышала иронии.

— Очень умные оба, — сказала она и кратко сообщила, что работа в городе идет довольно успешно, есть своя маленькая типография, но, разумеется, не хватает литературы, мало денег.

— После смерти Варавки будет еще меньше.

— Он — давал деньги? — удивленно и не веря спросил Самгин.

— Да. Не очень много.

— И — знал, на что дает?

— Конечно, знал.

— Странно, не правда ли? — спросил Самгин. Спивак не ответила. Она почти не изменилась внешне, только сильно похудела, но — ни одной морщины на ее круглом лице и все тот же спокойный взгляд голубоватых глаз. Однако Самгин заметил, что она стала надменнее с ним. Он объяснил это тем, чтЬ ей, вероятно, сообщили о Никоновой и о нем в связи с этой историей. О Никоновой он уже думал холодно и хотя с горечью, но уже почти как о прислуге, которая, обладая хорошими качествами, должна бы служить ему долго и честно, а, не оправдав уверенности в ней, запуталась в темном деле да еще и его оскорбила подозрением, что он — тоже темный человек. Ему очень хотелось поговорить со Спивак об этом печальном случае, но он все не решался, и ему мешал сын ее.

Этот человек относился к нему придирчиво, требовательно и с явным недоверием. Чернобровый, с глазами, как вишни, с непокорными гребенке вихрами, тоненький и гибкий, он неприятно напоминал равнодушному к детям Сангину Бориса Варавку. Заглядывая под очки, он спрашивал крепеньким голоском:

— А вы свистеть в два пальца умеити? А — клетки делать? А Медведев и кошков рисовать умеити? А — что же вы умеити?

Самгин ничего не умел, и это не нравилось Аркадию. Поджимая яркие губы, помолчав несколько секунд, он говорил, упрекая:

— Флеров — все умеет. И дядя Гриша Дунаев. И доктор тоже. Доктор только не свистит, у него фальшивые зубы. Флеров даже за Уральским хребтом жил. Вы

умеити показать пальцем на карте Уральский херебет?

Далее оказывалось, что Флеров ловил в бесконечной реке за Уральским хребтом невероятных рыб.

— Вот каких!

Размахнув руки во всю их длину, Аркадий взмахивал ими над своей головой.

— Кубических рыб не бывает, — заметил Самгин, — мальчик удивленно взглянул на него и обиделся:

— Как же не бывает, когда есть? Даже есть круглые, как шар, и как маленькие лошади. Это люди все одинаковые, а рыбы разные. Как же вы говорите — не бывает? У меня — картинки, и на них все, что есть.

Самгину было трудно с ним, но он хотел смягчить отношение матери к себе и думал, что достигнет этого, играя с сыном, а мальчик видел в нем человека, которому нужно рассказать обо всем, что есть на свете.

Спивак относилась к сыну с какой-то несколько смешной осторожностью и точно опасаясь надоесть ему. Прислушиваясь к болтовне Аркадия, она почти никогда не стесняла его фантазии, лишь изредка спрашивая:

— А может ли это быть?

— Почему — не может?

— Ты подумай.

— Хорошо, подумаю, — соглашался Аркадий. На прямые его вопросы она отвечала уклончиво, шуточками, а чаще вопросами же, ловко и незаметно отводя мальчика в сторону от того, что ему еще рано знать. Ласкала — редко и тоже как-то бережно, пожалуй — скупо.

«Это — предусмотрительно, жизнь — неласкова», — подумал Самгин и вспомнил, как часто в детстве мать, лаская его механически, по привычке, охлаждала его детскую нежность.

Был уже август, а с мутноватого неба все еще изливался металлический, горячий блеск солнца; он вызывал в городе такую тишину, что было слышно, как за садами, в поле, властный голос зычно командовал:

— Смир-рно!

И казалось, что именно от этих окриков так уныло неподвижна пыльная листва деревьев. Ночи были тоже знойные и мрачно тихи. По ночам Самгин ходил гулять, выбирая поздний час и наиболее спокойные, купеческие улицы, чтоб не встретить знакомых. Было нечто и горькое и злорадно охмеляющее в этих ночных, одиноких прогулках по узким панелям, под окнами крепеньких домов, где жили простые люди, люди здравого смысла, о которых так успокоительно и красиво рассказывал историк Козлов. Он соглашался с доктором, когда Любомудров говорил:

— М-да, заметно, что и мещанство теряет веру в дальнейшую возможность жить так, как привыкло. Живет все так же, но это — по инерции. Все чувствуют, что привычный порядок требует оправданий, объяснений, а — где их взять, оправдания-то? Оправданий — нет.

Самгин, слушая его, думал: действительно преступна власть, вызывающая недовольство того слоя людей, который во всех других странах служит прочной опорой государства. Но он не любил думать о политике в терминах обычных, всеми принятых, находя, что термины эти лишают его мысли своеобразия, уродуют их. Ему больше нравилось, когда тот же доктор, усмехаясь, бормотал:

— Пожалуй, и варавкоподобные тоже опоздали строить вавилонские башни и египетские пирамиды, рабов — не хватает, а рабочие — не хотят бессмыслицы.

В конце концов Самгин все чаще приближался к выводу, еще недавно органически враждебному для него: жизнь так искажена, что наиболее просты и понятны в ней люди, решившие изменить все ее основы, разрушить все скрепы. Он помнил, что впервые эта мысль явилась у него, в Петербурге, вслед за письмом Никоновой, и был уверен: явилась не потому, что он испугался чего-то. Ему не хотелось думать о том, чего именно испугался он: себя или Никоновой? Но уже несколько раз у него мелькала мысль, что, если эту женщину поймают, она может, со страха или со зла, выдать свое нелепое подозрение за факт и оклеветать его.

Во время одной из своих прогулок он столкнулся с Иноковым; Иноков вышел со двора какого-то дома и, захлопывая калитку, крикнул во двор:

— Ну, прощай, дурак! И налетел на Самгина.

— Извините... Ба, это вы!

— С кем это вы простились так оригинально?

— Пуаре. Помните — полицейский, был на обыске у вас? Его сделали приставом, но он ушел в отставку, — революции боится, уезжает во Францию. Эдакое чудовище...

— Вы очень громко о революции, — предупредил Самгин, но на Инокова это не подействовало.

— Ну, — сказал он, не понижая голоса, — о ней все собаки лают, курицы кудакают, даже свиньи хрюкать начали. Скучно, батя! Делать нечего. В карты играть — надоело, давайте сделаем революцию, что ли? Я эту публику понимаю. Идут в революцию, как неверующие церковь посещают или участвуют в крестных ходах. Вы знаете — рассказ напечатал я, — не читали?

— Нет, — сказал Самгин. Рассказ он читал, но не одобрил и потому не хотел говорить о нем. Меньше всего Иноков был похож на писателя; в широком и как будто чужом пальто, в белой фуражке, с бородою, которая неузнаваемо изменила грубое его лицо, он был похож на разбогатевшего мужика. Говорил он шумно, оживленно и, кажется, был нетрезв.

— Да, напечатал. — Похваливают. А по-моему — ерунда! К тому же цензор или редактор поправили рукопись так, что смысл исчез, а скука — осталась. А рассказишко-то был написан именно против скуки. Ну, до свидания, мне — сюда! — сказал он, схватив руку Самгина горячей рукой. — Все — бегаю. Места себе ищу, — был в Польше, в Германии, на Балканах, в Турции был, на Кавказе. Неинтересно. На Кавказе, пожалуй, всего интереснее.

«Дикий и неумный человек», — подумал Самгин, глядя, как Иноков, приподняв плечи и сутулясь, точно неся невидимую тяжесть, торопливо шагает по переулку, а навстречу ему двигается тускло горящий фонарь. Он вспомнил рассказ Инокова: написанный грубо, рассказ изобиловал недоговоренностями, зияниями, в нем назойливо звучала какая-то пронзительная, раздражающая нота. Назван был рассказ «Обычное», и в нем изображался ряд мелких, ненаказуемых преступлений, которые наполняют мещанский день. Тут в памяти Самгина точно спичка вспыхнула, осветив тихий вечер и в конце улицы, в поле заревые, пышные облака; он идет с Иноковым встречу им, и вдруг, точно из облаков, прекрасно выступил золотистый, тонконогий конь, на коне — белый всадник. В ту же минуту, из ворот, бородатый мужик выкатил пустую бочку; золотой конь взметнул головой, взвился на задние ноги, ударил передними по булыжнику, сверкнули искры, — Иноков остановился и нелепо пробормотал:

— Искренность.

Потом вздохнул:

— Эх, красота…

«Революция, наверное, уничтожит субъектов, подобных Инокову», — решил Самгин, вспомнив все это.

Он пробовал поговорить с Елизаветой Спивак, но, послушав его минут пять, она скучно сказала:

— Кажется, вы занимаетесь интеллигентской возней с самим собою? Вот уже… не ко времени.

Он не уклонялся от осторожной помощи ей в ее бесчисленных делах, объясняя себе эту помощь своим стремлением ознакомиться с конспиративной ее работой, понять мотивы революционности этой всегда спокойной женщины, а она относилась к его услугам как к чему-то обязательному, не видя некоторого их риска для него и не обнаруживая желания сблизиться с ним.

В наблюдениях за жизнью дома, в ожидании обыска, арестов, в скучнейших деловых беседах с матерью Самгин прожил всю осень, и только в декабре мать, наконец, собралась за границу. Ей устроили прощальный обед с хвалебными речами, затем — проводы с цветами и слезами. А она, как бы вообразив, что отъезд за границу делает ее еще значительнее, чем она всегда видела себя, держалась комически напыщенно. Наблюдая ее, Самгин опасался, что люди поймут, как смешна эта старая женщина, искал в себе какого-нибудь доброго чувства к ней и не находил ничего, кроме досады на нее. Особенно смущало его, что Спивак, разумеется, тоже видит мать смешной и жалкой, хотя Спивак смотрела на нее грустными глазами и ухаживала за ней, как за больной или слабоумной.

Только на Варшавском вокзале, когда новенький локомотив, фыркнув паром, повернул красные, ведущие колеса, а вагон вздрогнул, покатился и подкрашенное лицо матери уродливо расплылось, стерлось, — Самгин, уже надевший шапку, быстро сорвал ее с головы, и где-то внутри его тихо и вопросительно прозвучало печальное слово:

«Навсегда?»

Дул ветер, окутывая вокзал холодным дымом, трепал афиши на стене, раскачивал опаловые, жужжащие пузыри электрических фонарей на путях. Над нелюбимым городом колебалось мутножелтое зарево, в сыром воздухе плавал угрюмый шум, его разрывали тревожные свистки маневрирующих паровозов. Спускаясь по скользким ступеням, Самгин поскользнулся, схватил чье-то плечо; резким движением стряхнув его руку, человек круто обернулся и вполголоса, с удивлением сказал:

— О, Самгин! А я вообразил… Провожали или встречали и не встретили?

Из-под полей шляпы на Самгина смотрели иронические глаза Туробоева, было ясно, что он чем-то обрадован.

«Едва ли встречей со мной», — сообразил Самгин. Подошли к извозчикам.

— Вам — куда? — спросил Туробоев, поеживаясь, он был в легком пальто.

Поехали вместе. Туробоев, усмехаясь остренькой улыбочкой, оживленно спрашивал, как живется. Самгин осторожно отвечал.

— Холодно, — сказал Туробоев, вздрагивая. — Не выпьем ли водки? Или — чаю?

Клим согласился. Интересно было посмотреть на Туробоева в роли газетного работника.

— Не ожидали? — спросил Туробоев, сидя в ресторане. — Это — весьма любопытная профессия.

Самгин пил чай, незаметно рассматривая знакомое, но очень потемневшее лицо, с черной эспаньолкой и небольшими усами. В этом лице явилось что-то аскетическое и еврейское, но глаза не изменились, в них, как раньше, светился неприятно острый огонек.

«Бывший человек», — вспомнил Самгин ходовые слова; первый раз приятно и как нельзя более уместно было повторить их. Туробоев пил водку, поднося рюмку ко рту быстрым жестом, всхрапывал, кашляя, и плевал, как мастеровой.

— Вообще — жить становится любопытно, — говорил он, вынув дешевенькие стальные часы, глядя на циферблат одним глазом. — Вот — не хотите ли познакомиться с одним интереснейшим явлением? Вы, конечно, слышали: здесь один попик организует рабочих. Совершенно легально, с благословения властей.

— Да, я знаю, — сказал Самгин. — Но что это значит?

Туробоев пожал плечами, нахмурился, глаза его провалились в глазницы.

— Не понимаю. Был у немцев такой пастор… Штекер, кажется, но — это не похоже. А впрочем, я плохо осведомлен, может, и похоже. Некоторые… знатоки дела говорят: повторение опыта Зубатова, но в размерах более грандиозных. Тоже как будто неверно. Во всяком случае — замечательно! Я как раз еду на проповедь попа, — не хотите ли?

Самгин согласился, надеясь увидеть проповедника, подобного Диомидову, и сотню угнетенных жизнью людей, которые слушают его от скуки, оттого, что им некуда девать себя.

Ехали долго, по темным улицам, где ветер был сильнее и мешал говорить, врываясь в рот. Черные трубы фабрик упирались в небо, оно имело вид застывшей тучи грязнорыжего дыма, а дым этот рождался за дверями и окнами трактиров, наполненных желтым огнем. В холодной темноте двигались человекоподобные фигуры, покрикивали пьяные, визгливо пела женщина, и чем дальше, тем более мрачными казались улицы.

— Стой! Подождешь, — сказал Туробоев, когда поравнялись с высоким забором, и спрыгнул в снег раньше, чем остановилась лошадь.

Красный огонек угольной лампочки освещал полотнище ворот, висевшее на одной петле, человека в тулупе, с медной пластинкой на лбу, и еще одного, ниже ростом, тоже в тулупе и похожего на копну сена.

— Кто будете? — спросил один, другой ответил бабьим голосом:

— Газетчики.

И — сплюнул.

Самгин, спотыкаясь о какие-то доски, шел, наклони голову, по пятам Туробоева, его толкали какие-то люди, вполголоса уговаривая друг друга:

— Тише!

— Н-нет, братья, — разрезал воздух высокий, несколько истерический крик. Самгин ткнулся в спину Туробоева и, приподнявшись на пальцах ног, взглянул через его плечо, вперед, откуда кричал высокий голос.

— Нет, не то мы скажем! Мы скажем: нищета… Густой голос сердито и как в рупор крикнул через голову Самгина:

— Мы, батя, не нищие, — ограбленные, во-от!

— Нищета родит зависть, — мы скажем, — зависть — вражду, но вражда — не закон, вражда — не правда…

— Слышишь? — вполголоса спросили за спиной Самгина.

— Слышу.

— Ну, то-то. Я тебе говорил.

То — звучнее, то — глуше волнообразно колебался тихий говорок, шопот, сдерживаемый кашель, заглушая быстрые слова оратора. В синем табачном дыме, пропитанном запахом кожи, масла, дегтя, Самгин видел вытянутые шеи, затылки, лохматые головы, они подскакивали, исчезали, как пузыри на воде. Впереди их люди тесно сидели, почти все наклонясь вперед, как сидят, греясь пред печкой. Дальше пол был, видимо, приподнят, и за двумя столами, составленными вместе, сидели лицом к Самгину люди солидные, прилично одетые, а пред столами бегал небольшой попик, черноволосый, с черненьким лицом, бегал, размахивая, по очереди, то правой, то левой рукой, теребя ворот коричневой рясы, откидывая волосы ладонями, наклоняясь к людям, точно желая прыгнуть на них; они кричали ему:

— Громче, батя!

— Тише-е!

— Батя, а — скольким идти?

— На Новый год бы, а?

— Тише же!

— Он — человек! — выкрикивал поп, взмахивая рукавами рясы. — Он справедлив! Он поймет правду вашей скорби и скажет людям, которые живут потом, кровью вашей… скажет им свое слово… слово силы, — верьте!

Туробоев упрямо протискивался вперед. Самгин, двигаясь за ним, отметил, что рабочие, поталкивая друг друга, уступают дорогу чужим людям охотно.

— Дальше не пролезем, — весело сказал Туробоев, остановись за спинами сидевших.

Да, рабочие сидели по трое на двух стульях, сидели на коленях друг друга, образуя настолько слитное целое, что сквозь запотевшие очки Самгин видел на плечах некоторых по две головы. Неотрывно, не мигая, он рассматривал судорожную фигурку в рясе; ряса колыхалась, струилась, как будто намеренно лишая фигуру попа определенной, устойчивой формы. Над его маленькой головой взлетали волосы, казалось, что и на темненьком его лице волосы то — вырастают, то — сокращаются. Выгибая грудь, он прижимал к ней кулак, выпрямлялся, возводя глаза в сизый дым над его головою, и молчал, точно вслушиваясь в шорох приглушенных голосов, в тяжелые вздохи и кашель. Самгин уже чувствовал, что здесь творится не то, что он надеялся видеть: этот раздерганный поп ничем не напоминал Диомидова, так же как рабочие совершенно не похожи на измятых, подавленных какой-то непобедимой скукой слушателей проповеди бывшего бутафора.

— Замученные работой жены, больные дети, — очень трогательно перечислял поп. — Грязь и теснота жилищ. Отрада — в пьянстве, распутстве.

— Брось — знаем! — оглушительно над ухом Самгина рявкнул трубный голос; несколько голосов сразу негромко стали уговаривать его:

— Перестань, кочегар…

— Ты — что? Пьяный?

— Помолчи!

— А что он мне болячки бередит.

Самгин осторожно оглянулся. Сзади его стоял широкоплечий, высокий человек с большим, голым черепом и круглым лицом без бороды, без усов. Лицо масляно лоснилось и надуто, как у больного водянкой, маленькие глаза светились где-то посредине его, слишком близко к ноздрям широкого носа, а рот был большой и без губ, как будто прорезан ножом. Показывая белые, плотные зубы, он глухо трубил над головой Самгина:

— Пускай о деле говорит. Жизнь — известна. К чему это — жалости его?

Лицо этого человека показалось Самгину таким жутким, что он не сразу мог отвести глаза от него. Человек был почти на голову выше всех рабочих, стоявших вокруг, плечо к плечу, даже как будто щекою к щеке. Получалась как бы сплошная масса лиц, одинаково сумрачно нахмуренных, и неровная, изломанная линия глаз, одинаково напряженно устремленных на фигуру коричневого попика. Были вкраплены и лица женщин, одни — недоверчиво нахмуренные, другие — умиленные, как в церкви. У одной, стоявшей рядом с Туробоевым, — горбоносое лицо ведьмы, и она все время шевелила губами, точно пережевывая какие-то слишком твердые слова, а когда она смыкала губы — на лице ее появлялось выражение злой и отчаянной решимости. Это было тоже очень жутко, и Самгин подумал, что на месте попа он также вертелся бы, чтоб не видеть этих лиц. Он закрыл глаза. Тогда пред ним вспыхнула ослепительно яркая пещь Омона и эксцентрик-негр, который с изумительной легкостью бегал по сцене, изображая ссору щенка с петухом. Поп все кричал, извиваясь, точно его месили, как тесто, невидимые руки. Вот из-за стола встали люди, окружили, задергали его и, поталкивая куда-то в угол, сделали невидимым. Это напомнило Самгину царя на нижегородской выставке и министров, которые окружали его. Холодная, крепко пахучая духота раздражала ноздри, затрудняя дыхание;

Самгин чихал, слезились глаза, вокруг его становилось шумно, сидевшие вставали, но, не расходясь, стискивались в группы, ворчливо разговаривая. Туробоев попросил кого-то:

— Ты позвони…

— Обязательно.

— Идемте, — сказал Туробоев. Долго и с трудом пробивались сквозь толпу; она стала неподвижней. Человек с голым черепом трубил:

— …Как слепые в овраг. Знать надо!

На улице снова охватил ветер, теперь уже со снегом, мягким, как пух, и влажным. Туробоев, скорчившись, спрятав руки в карманы, спросил:

— Ну, что скажете?

— Не понимаю, — сказал Самгин и, не желая, чтоб Туробоев расспрашивал его, сам спросил: — Вы говорили с рабочим?

— Да. Милейший человек. Черемисов. Если вам захочется побывать тут еще раз — спросите его.

— Я завтра уезжаю. Эсер, эсдек?

— Ни то, ни другое. Поп не любит социалистов. Впрочем, и социалисты как будто держатся в стороне от этой игры.

— Игры? — спросил Клим.

— Вы видели, — вокруг его всё люди зрелого возраста и, кажется, больше высокой квалификации, — не ответив на вопрос, говорил Туробоев охотно и раздумчиво, как

сам с собою.

Самгин видел пред собою голый череп, круглое лицо с маленькими глазами, оно светилось, как луна сквозь туман; раскалывалось на ряд других лиц, а эти лица снова соединялись в жуткое одно.

— Кажется, я — простудился, — сказал он. Туробоев посоветовал взять горячую ванну и выпить красного вина.

«Он так любезен, точно хочет просить меня о чем-то», — подумал Самгин. В голове у него шумело, поднималась температура. Сквозь этот шум он слышал:

— Вы скажите брату.

— Кому? — удивленно спросил Клим.

— Брату, Дмитрию. Не знали, что он здесь?

— Не знал. Я только сегодня приехал. Где он?

Туробоев назвал гостиницу и сказал, что утром увидит Дмитрия.

Дома Самгин заказал самовар, вина, взял горячую ванну, но это мало помогло ему, а только ослабило. Накинув пальто, он сел пить чай. Болела голова, начинался насморк, и режущая сухость в глазах заставляла закрывать их. Тогда из тьмы являлось голое лицо, масляный череп, и в ушах шумел тяжелый голос:

«Жизнь — известна!»

Под эту голову становились десятки, сотни людей, создавалось тысячерукое тело с одной головой.

«Вождь», — соображал Самгин, усмехаясь, и жадно пил теплый чай, разбавленный вином. Прыгал коричневый попик. Тело дробилось на единицы, они принимали знакомые образы проповедника с тремя пальцами, Диомидова, грузчика, деревенского печника и других, озорниковатых, непокорных судьбе. Прошел в памяти Дьякон с толстой книгой в руках и сказал, точно актер, играющий Несчастливцева:

«Цензурована!»

«У меня температура, — вероятно, около сорока», — соображал Самгин, глядя на фыркающий самовар; горячая медь отражала вместе с его лицом какие-то полосы, пятна, они снова превратились в людей, каждый из которых размножился на десятки и сотни подобных себе, образовалась густейшая масса одинаковых фигур, подскакивали головы, как зерна кофе на горячей сковороде, вспыхивали тысячами искр разноцветные глаза, создавался тихо ноющий шумок...

— Чорт знает, до чего я... один, — вслух сказал Клим. Слова прозвучали издалека, и произнес их чей-то чужой голос, сиплый. Самгин встал, покачиваясь, подошел к постели и свалился на нее, схватил грушу звонка и крепко зажал ее в кулаке, разглядывая, как маленький поп, размахивая рукавами рясы, подпрыгивает, точно петух, который хочет, но не может взлететь на забор. Забор был высок, бесконечно длинен и уходил в темноту, в дым, но в одном месте он переломился, образовал угол, на углу стоял Туробоев, протягивая руку, и кричал:

«Он — поймет!»

К постели подошли двое толстых и стали переворачивать Самгина с боку на бок. Через некоторое время один из них, похожий на торговца солеными грибами из Охотного ряда, оказался Дмитрием, а другой — доктором из таких, какие бывают в книгах Жюль Верна, они всегда ошибаются, и верить мм — нельзя. Самгин закрыл глаза, оба они исчезли.

Когда Самгин очнулся, — за окном, в молочном тумане, таяло серебряное солнце, на столе сиял самовар, высоко и кудряво вздымалась струйка пара, перед самоваром сидел, с газетой в руках, брат. Голова его по-солдатски гладко острижена, красноватые щеки обросли купеческой бородой; на нем крахмаленная рубаха без галстука, синие подтяжки и необыкновенно пестрые брюки.

«Какой… провинциальный, — подумал Клим, но это слово не исчерпывало впечатления, тогда он добавил, кашляя: — Благополучный».

Дмитрий бросил газету на пол, скользнул к постели.

— Здравствуй! Что ж ты это, брат, а? Здоровеннейший бред у тебя был, очень бурный. Попы, вобла, Глеб Успенский. Придется полежать дня три-четыре.

Он отошел к столу, накапал лекарства в стакан, дал Климу выпить, потом налил себе чаю и, держа стакан в руках, неловко сел на стул у постели.

— А я тут недели две. Привез работу по этнографии Северного края.

— Надзор снят? — спросил Клим.

— Давно.

— Едешь за границу?

— Денег нет, — сказал Дмитрий, ставя стакан зачем-то на пол. Глаза его смотрели виновато, как в Выборге. — Тут такая… история: поселился я в одной семье, — отличные люди! У них дом был в закладе, хотели отобрать, ну, я дал им деньги. Потом дочь хозяина овдовела и… Ты ведь тоже, кажется, женат? Как живу? Да… не плохо. Этнография — интереснейшая штука. Плодовый сад, копаюсь немножко. Ну, и общественность… — Почесав мизинцем нос, он спросил тихонько: — Ты — большевик? Нет? Ну, это приятно, честное слово! — И, зажав ладони в коленях, наклонясь к брату, он заговорил более оживленно: — Не люблю эту публику, легковесные люди, бунтари, бланкисты. В Ленине есть что-то нечаевское, ей-богу! Вот, — настаивает на организации третьего съезда — зачем? Что случилось? Тут, очевидно, мотив личного честолюбия. Неприятная фигура.

Поморщившись, он придвинулся ближе и еще понизил голос.

— Угнетающее впечатление оставил у меня крестьянский бунт. Это уж большевизм эсеров. Подняли несколько десятков тысяч мужиков, чтоб поставить их на колени. А наши демагоги, боюсь, рабочих на колени поставят. Мы вот спорим, а тут какой-то тюремный поп действует. Плохо, брат…

— Что ты думаешь о Туробоеве? — спросил Клим.

— Что же о нем думать? — отозвался Дмитрий и прибавил, вздохнув: — Ему терять нечего. Чаю не выпьешь?

— Пожалуйста.

Наливая чай, Дмитрий говорил:

— Видел я в Художественном «На дне», — там тоже Туробоев, только поглупее. А пьеса — не понравилась мне, ничего в ней нет, одни слова. Фельетон на тему о гуманизме. И — удивительно не ко времени этот гуманизм, взогретый до анархизма! Вообще — плохая химия.

Самгину было интересно и приятно слушать брата, но шумело в голове, утомлял кашель, и снова поднималась температура. Закрыв глаза, он сообщил:

— Мать уехала за границу.

— Надолго?

— Жить.

Дмитрий задумчиво почесал подбородок, потом сказал:

— Н-да. Вот как... Утомил я тебя? Скоро — час, мне надобно в Академию. Вечером — приду, ладно?

— Что за вопрос? Дай мне газету.

Дмитрий ушел. В номере стало вопросительно и ожидающе тихо.

«Устроился и — конфузится, — ответил Самгин этой тишине, впервые находя в себе благожелательное чувство к брату. — Но — как запуган идеями русский интеллигент», — мысленно усмехнулся он. Думать о брате нечего было, все — ясно! В газете сердито писали о войне, Порт-Артуре, о расстройстве транспорта, на шести столбцах фельетона кто-то восхищался стихами Бальмонта, цитировалось его стихотворение «Человечки»:

Мелкий собственник, законник, лицемерный семьянин, О, когда б ты, миллионный, вдруг исчезнуть мог!

Самгин швырнул газету прочь, болели глаза, читать было трудно, одолевал кашель. Дмитрий явился поздно вечером, сообщил, что он переехал в ту же гостиницу, спросил о температуре, пробормотал что-то успокоительное и убежал, сказав:

— Тут маленькое собрание по поводу этого Гапона, чорт!..

К вечеру другого дня Самгин чувствовал себя уже довольно сносно, пил чай, сидя в постели, когда пришел брат.

— Порт-Артур сдали, — сказал он сквозь зубы. — Завтра эта новость будет опубликована.

Он прошел к окну, написал что-то пальцем на стекле и стер написанное ладонью, крякнув:

— Туробоев говорит, что царь отнесся к несчастью совершенно равнодушно.

— Откуда он знает? — сердито спросил Клим. — Врет, конечно...

Дмитрий шагнул к столу, отломил корку хлеба, положил ее в рот и забормотал:

— Нет, он знает. Он мне показывал копию секретного рапорта адмирала Чухнина, адмирал сообщает, что Севастополь — очаг политической пропаганды и что намерение разместить там запасных по обывательским квартирам — намерение несчастное, а может быть, и злоумышленное. Когда царю показали рапорт, он произнес только:

«Трудно поверить».

Клим промолчал, разглядывая красное от холода лицо брата. Сегодня Дмитрий казался более коренастым и еще более обыденным человеком. Говорил он вяло и как бы не то, о чем думал. Глаза его смотрели рассеянно, и он, видимо, не знал, куда девать руки, совал их в карманы, закидывал за голову, поглаживал бока, наконец широко развел их, говоря с недоумением:

— Странная фигура этот царь, а? О его равнодушии к судьбе страны, о безволии так много...

— И — неверно говорят, — сказал Клим. — Неверно, — упрямо повторил он. — Вспомни, как он, на-днях, оборвал черниговских земцев.

— Это — по личному вопросу, так сказать, — заметил Дмитрий.

— Но, если хочешь, я представляю, почему он… имел бы основание быть равнодушным, — продолжал Самгин с неожиданной запальчивостью, — она даже несколько смутила его. — Равнодушным, как человек, которому с детства внушали, что он — существо исключительное, — сказал он, чувствуя себя близко к мысли очень для него ценной. — Понимаешь? Исключительное существо. Согласись, что человеку, воспитанному в убеждении неограниченности его воли, — трудно помириться с требованиями ее ограничения. А он встретился с этим тотчас же, как только вступил на престол-Дмитрий поднял брови, улыбнулся, от улыбки борода его стала шире, он погладил ее, посмотрел в потолок и пробормотал:

— Ну, да, но — тут не все верно… Не обращая внимания на его слова, Самгин догонял свою мысль.

— Он видит себя окруженным бездарностями, трусами, авантюристами, микроцефалами вроде Витте…

— Однако Витте…

— Победоносцева, — вообще карикатурно жуткими рожами. Видит народ, который кричит ему ура, а затем — разрушает хозяйство страны, и губернаторам приходится пороть этот народ. Видит студентов на коленях пред его дворцом, недавно этих студентов сдавали в солдаты; он» знает, что из среды студенчества рекрутируется большинство революционеров. Ему известно, что десятки тысяч рабочих ходили кричать ура пред памятником его деда и что в России основана социалистическая, рабочая партия и цель этой партии — не только уничтожение самодержавия, — чего хотят и все другие, — а уничтожение классового строя. Все это — не объясняется, а… как-то уравновешивается в душе…

Самгин не отдавал себе отчета — обвиняет он или защищает? Он чувствовал, что речь его очень рискованна, и видел: брат смотрит на него слишком пристально. Тогда, помолчав немного, он сказал задумчиво:

— Из этого равновесия противоречивых явлений может возникнуть полное равнодушие… к жизни. И даже презрение к людям.

Тут он понял, что говорил не о царе, а — о себе. Он был уверен, что Дмитрий не мог догадаться об этом, но все-таки почувствовал себя неприятно и замолчал, думая:

«Если б я был здоров, я бы не говорил с ним так».

— Н-да, вот как ты, — неопределенно выговорил Дмитрий, дергая пуговицу пиджака и оглядываясь. — Трудное время, брат! Все заостряется, толкает на крайности. А с другой стороны, растет промышленность, страна заметно крепнет… европеизируется.

Сказав это невнятно, как человек, у которого болят зубы, Дмитрий спросил:

— Чаю бы выпить, а?

— Закажи.

— Идиотская штука эта война, — вздохнул Дмитрий, нажимая кнопку звонка. — Самая несчастная из всех наших войн…

Самгин не слушал, углубленно рассматривая свою речь. Да, он говорил о себе и как будто стал яснее для себя после этого. Брат — мешал, неприютно мотался в комнате, ворчливо недоумевая:

— Странно все. Появились какие-то люди… оригинального умонастроения. Недавно показали мне поэта — здоровеннейший парень! Ест так много, как будто извечно голоден и не верит, что способен насытиться. Читал стихи про Иуду, прославил предателя героем. А кажется, не без таланта. Другое стихотворение —

интересно.

Дмитрий вскинул стриженую голову и, глядя в потолок, прочитал:

Сатана играет с богом в карты,Короли и дамы — это мы.В божьих ручках — простенькие карты,Козыри же — в лапах князя тьмы.

— Вот как... Интересно! — Дмитрий усмехнулся. В течение недели он приходил аккуратно, как на службу, дважды в день — утром и вечером — и с каждым днем становился провинциальнее. Его бесконечные недоумения раздражали Самгина, надоело его волосатое, толстое, мало подвижное лицо и нерешительно спрашивающие, серые глаза. Клим почти обрадовался, когда он заявил, что немедленно должен ехать в Минск.

— Маленькое дельце есть, возвращусь дня через три, — объяснил он, усмехаясь и не то — гордясь, что есть дельце, не то — довольный тем, что оно маленькое. — Я просил Туробоева заходить к тебе, пока ты здесь.

— Напрасно, — сказал Самгин.

Ему не хотелось ехать домой, нравилось жить одиноко, читая иностранные романы. Успокаивающая скука чтения приятно притупляла остроту пережитых впечатлений, сглаживая их шероховатость. Он успешно старался ни о чем не думать, прислушиваясь, как в нем отстаивается нечто новое. Изредка и обидно вспоминалась Никонова, он тотчас изгонял воспоминание о ней. Написал жене, что задержится по делам неопределенное время, умолчав о том, что был болен. В ясные дни выходил гулять на Невский и, наблюдая, как тасуется праздничная публика, вспоминал стихи толстого поэта:

Сатана играет с богом в карты.

Туробоев пришел вечером в крещеньев день. Уже по тому, как он вошел, не сняв пальто, не отогнув поднятого воротника, и по тому, как иронически нахмурены были его красивые брови, Самгин почувствовал, что человек этот сейчас скажет что-то необыкновенное и неприятное. Так и случилось. Туробоев любезно спросил о здоровье, извинился, что не мог придти, и, вытирая платком отсыревшую, остренькую бородку, сказал:

— Сегодня утром по Николаю Второму с Петропавловской крепости стреляли картечью.

Самгину показалось, что это сказано с простотою нарочной.

— Вы шутите? — спросил он.

— Факт! — сказал Туробоев, кивнув головой. — Факт! — ненужно повторил он каркающим звуком и, расстегивая пуговицы пальто, усмехнулся: — Интересно: какая была команда? Баттарея! По всероссийскому императору — первое!

— Кто же стрелял?

— Пушка. Нет ли у вас вина?

Клим встал, чтоб позвонить. Он не мог бы сказать, что чувствует, но видел он пред собою площадку вагона и на ней маленького офицера, играющего золотым портсигаром.

— Любопытнейший выстрел, — говорил Туробоев. — Вы знаете, что рабочие решили идти в воскресенье к царю?

— Что вы хотите сказать? — спросил Самгин не сразу. — Сопоставляете этот выстрел с депутацией, — так, что ли?

Он чувствовал, что спрашивает неприязненно и грубо, но иначе не мог.

— Сопоставляю ли? Как сказать? Вошел слуга. Самгин заказал вино и сел напротив гостя, тот взглянул на него, пощипывая мочку уха.

— Подлецы — предприимчивы, — сказал он. — Подлецы — талантливы.

Самгин молчал, пытаясь определить, насколько фальшива ирония и горечь слов бывшего барина. Туробоев встал, отнес пальто к вешалке. У него явились резкие жесты и почти не осталось прежней сдержанности движений. Курил он жадно, глубоко заглатывая дым, выпуская его через ноздри.

«Уже богема», — подумал Самгин.

— Вы не допускаете, что стреляли революционеры? — спросил он, когда слуга принес вино и ушел. Туробоев, наполняя стаканы, ответил равнодушно и как бы напоминая самому себе то, о чем говорит:

— Революционеров к пушкам не допускают, даже тех, которые сидят в самой Петропавловской крепости. Тут или какая-то совершенно невероятная случайность или — гадость, вот что! Вы сказали — депутация, — продолжал он, отхлебнув полстакана вина и вытирая рот платком. — Вы думаете — пойдут пятьдесят человек? Нет, идет пятьдесят тысяч, может быть — больше! Это, сударь мой, будет нечто вроде… крестового похода детей.

Туробоев не казался взволнованным, но вино пил, как воду, выпив стакан, тотчас же наполнил его и тоже отпил половину, а затем, скрестив руки, стал рассказывать.

— Вчера, у одного сочинителя, Савва Морозов сообщал о посещении промышленниками Витте. Говорил, что этот пройдоха, очевидно, затевает какую-то подлую и крупную игру. Затем сказал, что возможно, — не сегодня — завтра, — в городе будет распоряжаться великий князь Владимир и среди интеллигенции, наверное, будут аресты. Не исключаются, конечно, погромы редакций газет, журналов.

— Странно, — сказал Самгин. — Какое дело Савве Морозову до революции?

— Не знаю. Не спрашивал. Но почему вы говорите — революция? Нет, это еще не она. Не представляю, чтоб кто-то начал в воскресенье делать революцию.

— Рабочие, — напомнил Самгин.

— С попом во главе? С портретами царя, с иконами в руках?

— Разве?

— Да, именно так. Это — похороны здравого смысла, вот что это будет! Если не хуже…

Самгин встал, прошелся по комнате. Слышал, как за спиной его булькало вино, изливаясь в стакан.

— Ну, я пойду, благодарствуйте! Рад, что видел вас здоровым, — с обидным равнодушием проговорил Туробоев. Но, держа руку Самгина холодной, вялой рукой, он предложил:

— Вот что: сделано предложение — в воскресенье всем порядочным людям быть на улицах. Необходимы честные свидетели. Чорт знает что может быть. Если вы не уедете и не прочь…

— Разумеется, — поспешно ответил Клим. Туробоев сказал ему адрес, куда нужно придти в воскресенье к восьми часам утра, и ушел, захлопнув дверь за собой с ненужной силой.

«Взволнован, этот выстрел оскорбил его», — решил Самгин, медленно шагая по

комнате. Но о выстреле он не думал, все-таки не веря в него. Остановясь и глядя в угол, он представлял себе торжественную картину: солнечный день, голубое небо, на площади, пред Зимним дворцом, коленопреклоненная толпа рабочих, а на балконе дворца, плечо с плечом, голубой царь, священник в золотой рясе, и над неподвижной, немой массой людей плывут мудрые слова примирения.

«Ведь не так давно стояли же на коленях пред ним, — думал Самгин, — Это был бы смертельный удар революционному движению и начало каких-то новых отношений между царем и народом, быть может, именно тех, о которых мечтали славянофилы...»

В нем быстро укреплялась уверенность, что надвигается великое историческое событие, после которого воцарится порядок, а бредовые люди выздоровеют или погибнут. С этой уверенностью Самгин и шел рано утром воскресенья по Невскому. Серенький день был успокоительно обычен и не очень холоден, хотя вздыхал суховатый ветер и лениво сеялся редкий, мелкий снег. Несмотря на раннюю пору, людей на улице было много, но казалось, что сегодня они двигаются бесцельно и более разобщенно, чем всегда. Преобладали хорошо одетые люди. большинство двигалось в сторону адмиралтейства, лишь из боковых улиц выбегали и торопливо шли к Знаменской площади небольшие группы молодежи, видимо — мастеровые. Экипажей заметно меньше. Очень успокаивало Самгина полное отсутствие монументальных городовых на постах, успокаивало и то, что Невский проспект в это утро казался тише, скромнее, чем обычно, и не так глубоко прорубленным в сплошной массе каменных домов. Войдя во двор угрюмого каменного дома, Самгин наткнулся на группу людей, в центре ее высокий человек в пенснэ, с французской бородкой, быстро, точно дьячок, и очень тревожно говорил:

— Совершенно точно установлено: командование войсками сконцентрировало в городе до сорока батальонов пехоты, двенадцать сотен и десять эскадронов...

— Ну, что это значит против двухсот тысяч, — возразил ему маленький человечек, в белом кашне на шее и в какой-то монашеской шапочке.

— Ваши тысячи — безоружны!

— Но ведь мы и не собираемся воевать... Двое — спорили, остальные, прижимая человека в пенснэ, допрашивали его,

— Верны ли ваши сведения, Николай Петрович?

— Точно установлено: на всех заставах — войска, мосты охраняются, в город пускать не будут... Я спешу, господа, мне нужно доложить...

Его не пускали, спрашивая:

— А почему нигде нет полиции? А что сказали министры депутации от прессы?

Человек в пенснэ вырвался и побежал в угол двора, а кто-то чернобородый, в тяжелой шубе, крикнул вслед ему:

— Но ведь это ж провокация! «Паника оставшихся не у дел», — сообразил Самгин. Через минуту он стоял в дверях большой классной комнаты, оглушенный кипящим криком и говором.

— Что? Я говорил?

— Господа! Тише!

— Совершенно точно установлено...

— Какая вы партия, ну, какая вы партия?

— Слушайте!

— Тиш-ше…

Когда Самгин протер запотевшие очки, он увидел в классной, среди беспорядочно сдвинутых парт, множество людей, они сидели и стояли на партах, на полу, сидели на подоконниках, несколько десятков голосов кричало одновременно, и все голоса покрывала истерическая речь лысоватого человека с лицом обезьяны.

— Мы должны идти впереди, — кричал он, странно акцентируя. — Мы все должны идти не как свидетели, а как жертвы, под пули, на штыки…

— Но — позвольте! Кто же говорит о пулях?

— Этого требует наше прошлое, наша честь… Кричавший стоял на парте и отчаянно изгибался, стараясь сохранить равновесие, на ногах его были огромные ботики, обладавшие самостоятельным движением, — они съезжали с парты. Слова он произносил немного картавя и очень пронзительно. Под ним, упираясь животом в парту, стуча кулаком по ней, стоял толстый человек, закинув голову так, что на шее у него образовалась складка, точно калач; он гудел:

— Увеличить цифру трупов…

— Наш путь — с народом…

— К-к-к цар-рю? Д-даже?

— Я говорил: попу нельзя верить!

— Установлено также…

Человека с французской бородкой не слушали, но он, придерживая одной рукой пенснэ, другой держал пред лицом своим записную книжку и читал:

— Из Пскова: два батальона… Двигались и скрипели парты, шаркали неги, человек в ботиках истерически вопил:

— Если мы не умеем жить — мы должны уметь погибнуть…

— Ах, оставьте!

— Минуту внимания, господа! — внушительно крикнул благообразный старик с длинными волосами, седобородый и носатый. Стало тише, и отчетливо прозвучали две фразы:

— Предрасположение к драмам и создает драмы.

— В Париже, в тридцатом году…

Самгин видел, что большинство людей стоит и сидит молча, они смотрят на кричащих угрюмо или уныло и почти у всех лица измяты, как будто люди эти давно страдают бессонницей. Все, что слышал Самгин, уже несколько поколебало его настроение. Он с досадой подумал: зачем Туробоев направил его сюда? Благообразный старик говорил:

— Наша обязанность — как можно больше видеть и обо всем правдиво свидетельствовать. Показания… что? Показания приносить в Публичную библиотеку и в Вольно-экономическое общество…

Раздались нестройные крики.

— Точно цыгане на базаре, — довольно громко сказал Туробоев за спиной у Клима.

— Это — правда, что ко дворцу не пустят? — спросил Самгин, шагнув назад, становясь рядом с ним.

— Как будто — правда.

— Тогда… что же?

— А вот увидим, — ответил Туробоев, довольно бесцеремонно расталкивая людей и не извиняясь пред ними. Самгин пошел за ним.

— Я — на Выборгскую сторону, — сказал Туробоев, когда вышли на двор. — Вы идете?

— Да, — ответил Самгин, но через несколько шагов спросил: — А не лучше ли на Невский, ко дворцу?

Туробоев не ответил. Он шагал стремительно, наклонясь вперед, сунув руки в карманы и оставляя за собой в воздухе голубые волокна дыма папиросы. Поднятый воротник легкого пальто, клетчатое кашне и что-то в его фигуре делали его похожим на парижского апаша, из тех, какие танцуют на эстрадах ресторанов.

«Свидетель», — подумал Самгин, соображая: под каким предлогом отказаться от путешествия с ним?

По Сергиевской улице ехал извозчик; старенький, захудалый, он сидел на козлах сгорбясь, распустив вожжи, и, видимо, дремал; мохнатенькая, деревенская лошадь, тоже седая от инея, шагала медленно, низко опустив голову.

— Стой! На Выборгскую, — сказал Туробоев.

Не разгибая спины, извозчик искоса взглянул на него.

— Не поеду.

— Почему?

— Тамошний.

— Ну, так что?

— Квартирую там.

— Ну?

— Не поеду.

Пожав плечами, Туробоев пошел еще быстрее, но, прежде чем Самгин решил взять извозчика для себя, тот, повернув лошадь, предложил:

— Через мост перевезу — желаете?

Поехали. Стало холоднее. Ветер с Невы гнал поземок, в сером воздухе птичьим пухом кружились снежинки. Людей в город шло немного, и шли они не спеша, нерешительно.

— Женщины тоже пойдут? — спросил Самгин Туробоева. Неприятно высоким и скрипучим голосом ответил извозчик:

— Пойдут. Все идут. А — толк будет, господа? Толк должен быть, — сказал он, тихо всхлипнув. — Ежели вся рабочая массыя объявляет — не можем!

Говорил он через плечо, Самгин видел только половину его лица с тусклым, мокрым глазом под серой бровью и над серыми волосами бороды.

— Не можем, господа, как хотите! Одолела нужда. У меня — внуки, четверо, а сын хворый, фабрика ему чахотку дала. Отец Агафон понял, дай ему господи…

Он замолчал так же внезапно, как заговорил, и снова сгорбился на козлах, а

переехав мост, остановил лошадь.

— Слезайте, дальше не поеду. Нет, денег мне не надо, — отмахнулся он рукою в худой варежке. — Не таков день, чтобы гривенники брать. Вы, господа, не обижайтесь! У меня — сын пошел. Боюсь будто чего…

— Чорт, — пробормотал Туробоев, надвинув шляпу, глядя вдаль, там, поперек улицы, густо шел народ. — Сюда, — сказал он, направляясь по берегу Невы.

Когда вышли к Невке, Самгин увидал, что по обоим ее берегам к Сампсониевскому мосту бесконечными черными вереницами тянутся рабочие. Шли они густо, не торопясь и не шумно. В воздухе плыл знакомый гул голосов сотен людей, и Самгин тотчас отличил, что этот гул единодушнее, бодрее, бархатистее, что ли, нестройного, растрепанного говора той толпы, которая шла к памятнику деда царя. А вступив на мост, вмешавшись в тесноту, Самгин почувствовал в неторопливости движения рабочих сознание, что они идут на большое, историческое дело. Сознание это передалось ему вместе с теплом толпы. Можно было думать, что тепло — не только следствие физической причины — тесноты, а исходит также от женщин, от единодушного настроения рабочих, торжественно серьезного. Толпу в таком настроении он видел впервые и снова подумал, что она значительно отличается от московской, шагавшей в Кремль неодушевленно и как бы даже нехотя, без этой торжественной уверенности. Женщин — не очень много, как большинство мужчин, почти все они зрелого возраста. Их солидность, спокойствие, чистота одежд — снова воскресило и укрепило надежду Самгина, что все обойдется благополучно. И если правда, что вызвано так много войск, то это — для охраны порядка в столице. Вот уже оказалось неверным, что закрыт Литейный мост. Вспомнив нервные крики и суету в училище, он подумал о тех людях:

«Обойдены историей. Отброшены в сторону».

И покосился на Туробоева; тот шел все так же старчески сутулясь, держа руки в карманах, спрятав подбородок в кашне. Очень неуместная фигура среди солидных, крепких людей. Должно быть, он понимает это, его густые, как бы вышитые гладью брови нахмурены, слились в одну черту, лицо — печально. Но и упрямо.

«В сущности, он идет против себя», — подумал Самгин, снова присматриваясь к толпе; она становилась теснее, теплее.

Самгин окончательно почувствовал себя участником важнейшего исторического события, — именно участником, а не свидетелем, — после сцены, внезапно разыгравшейся у входа в Дворянскую улицу. Откуда-то сбоку в основную массу толпы влилась небольшая группа, человек сто молодежи, впереди шел остролицый человек со светлой бородкой и скромно одетая женщина, похожая на учительницу; человек с бородкой вдруг как-то непонятно разогнулся, вырос и взмахнул красным флагом на коротенькой палке.

— Ура! — нестройно крикнули несколько голосов, другие тоже недружно закричали: — Да здравствует социал-демократическая партия — ура-а! Товарищи — ура!

Толпа замялась, приостановилась, и эти крики тотчас потонули в сотне сердитых возгласов:

— Прочь с флагом!

— Эй, ты, брось!

— Братцы, не допускайте…

— Сказано было чертям — не сметь!

Особенно звонко и тревожно кричали женщины. Самгина подтолкнули к свалке, он очутился очень близко к человеку с флагом, тот все еще держал его над головой,

вытянув руку удивительно прямо: флаг был не больше головного платка, очень яркий, и струился в воздухе, точно пытаясь сорваться с палки. Самгин толкал спиною и плечами людей сзади себя, уверенный, что человека с флагом будут бить. Но высокий, рыжеусый, похожий на переодетого солдата, легко согнул руку, державшую флаг, и сказал:

— Спрячьте, товарищ…

— Не надо, — сказал еще кто-то, а третий голос подтвердил:

— Ничего не выйдет, товарищ Антон.

Человек, похожий лицом на Дьякона, кричал, взмахивая белым платком:

— Это — полицейская штучка! Знаем! Флаг исчез, его взял и сунул за пазуху синеватого пальто человек, похожий на солдата. Исчез в толпе и тот, кто поднял флаг, а из-за спины Самгина, сильно толкнув его, вывернулся жуткий кочегар Илья и затрубил, разламывая толпу, пробиваясь вперед:

— Флажков, братья, не надобно! Не такое дело. Не то дело — понял?

Он был без шапки, и бугроватый, голый череп его, похожий на булыжник, сильно покраснел; шапку он заткнул за ворот пальто, и она торчала под его широким подбородком. Узел из людей, образовавшийся в толпе, развязался, она снова спокойно поплыла по улице, тесно заполняя ее. Обрадованный этой сценой, Самгин сказал, глубоко вздохнув:

— Как серьезно они настроены… Он думал, что говорит Туробоеву, но ему ответил жидкобородый человек с желтым, костлявым лицом:

— Ничего нет серьезного — красной тряпочкой помахать.

Самгин оглянулся — Туробоева не было.

— Вы — рабочий? — спросил Самгин.

— А — как же? Тут посторонних — нет. Десяток разве. Конторщик?

— В газетах пишу, — ответил Самгин.

— А я — токарь. По дереву. Помолчав, Самгин сказал:

— Прекрасно настроены… люди. Вообще — прекрасное начинание! О единении рабочего народа с царем мечтали…

— Нам мечтать и все такое — не приходится, — с явной досадой сказал токарь и отбил у Самгина охоту беседовать с ним, прибавив: — Напрасно ты, Пелагея, пошла, я тебе говорил: раньше вечера не вернемся.

Это он сказал через плечо, кому-то сзади себя.

— А ты иди, иди, — ответил ему хриплый, мужской голос.

Когда вышли на Троицкую площадь, — передние ряды, точно ударившись обо что-то, остановились, загудели, люди вокруг Сангина стали подпрыгивать, опираясь о плечи Друг друга, заглядывая вперед.

— Стой, братцы!

Многократно и разнотонно, с удивлением, испугом, сердито и насмешливо прозвучало одно и то же слово:

— Не пускают?

Одни рабочие, задерживая шаг, опрокидывались назад, другие стремительно пробивались вперед, покрикивая:

— Чего стоять? Что там? Наши — двигай! Самгина так затолкали, что он дважды сделал полный круг, а затем очутился впереди, прижатым к забору. В полусотне шагов от себя он видел солдат, закрывая вход на мост, они стояли стеною, как гранит набережной, головы их с белыми полосками на лбах были однообразно стесаны, между головами торчали длинные гвозди штыков. Лицом к солдатам стоял офицер, спина его крест-на-крест связана ремнями, размахивая синенькой полоской обнаженной шашки, указывая ею в сторону Зимнего дворца, он, казалось, собирался перепрыгнуть через солдат, другой офицер, чернобородый, в белых перчатках, стоял лицом к Самгину, раскуривая папиросу, вспыхивали спички, освещая его глаза. Самгин видел, что рабочие медленно двигаются на солдат, слышал, как все более возбужденно покрикивают сотни голосов, а над ними тяжелый, трубный голос кочегара:

— Стойте, погодите! Я пойду, объясню! Бабы — платок! Белый! Егор Иваныч, идем, ты — старик! Сейчас, братцы, мы объясним! Ошибка у них. Платок, платком махай, Егор.

Большое тело кочегара легко повернулось к солдатам, он взмахнул платком и закричал:

— Эй, ваши благородья…

Отпустив его шагов на пять вперед, рабочие, клином, во главе со стариком, тоже двинулись за ним. Кочегар шагал широко, маленький белый платок вырвался из его руки, он выдернул шапку из-за ворота, взмахнул ею; старик шел быстро, но прихрамывал и не мог догнать кочегара; тогда человек десять, обогнав старика, бросились вперед; стена солдат покачнулась, гребенка штыков, сверкнув, исчезла, прозвучал, не очень громко, сухой, рваный треск, еще раз и еще. Самгин не почувствовал страда, когда над головой его свистнула пуля, взныла другая, раскололась доска забора, отбросив щепку, и один из троих, стоявших впереди его, гладя спиной забор, опустился на землю. Страх оглушил Самгина, когда солдаты сбросили ружья к ногам, а рабочие стала подаваться назад не спеша, приседая, падая, и когда женщина пронзительно взвизгнула:

— Стреляют, подлые, ой, глядите-ко!

— Холостыми-и! — ответило несколько голосов из толпы. — Для испуга-а!

Кочегар остановился, но расстояние между ним и рабочими увеличивалось, он — стоял в позе кулачного бойца, ожидающего противника, левую руку прижимая ко груди, правую, с шапкой, вытянув вперед. Но рука упала, он покачнулся, шагнул вперед н тоже упал грудью на снег, упал не сгибаясь, как доска, и тут, приподняв голову, ударяя шапкой по снегу, нечеловечески сильно заревел, посунулся вперед, вытянул ноги и зарыл лицо в снег.

Эту картинную смерть Самгин видел с отчетливой ясностью, но она тоже не поразила его, он даже отметил, что мертвый — кочегар стал еще больше. Но после крика женщины у Самгина помутилось в глазах, все последующее он уже видел, точно сквозь туман и далеко от себя. Совершенно необъяснима был» мучительная медленность происходившего, — глаза видели, что каждая минута пересыщена движением, а все-таки создавалось впечатление медленности.

Не торопясь отступала плотная масса рабочих, люди пятились, шли как-то боком, грозили солдатам кулаками, в руках некоторых все еще трепетали белые платки; тело толпы распадалось, отдельные фигуры, отскакивая с боков ее, бежали прочь, падали на землю и корчились, ползли, а многие ложились на снег в позах безнадежно неподвижных. Так неподвижно лег длинный человек в поддевке, очень похожий на Дьякона, — лег, и откуда-то из-под воротника поддевки обильно полилась кровь, рисуя сбоку головы его красное пятно, — Самгин видел

прозрачный парок над этим пятном; к забору подползал, волоча ногу, другой человек, с зеленым шарфом на шее; маленькая женщина сидела на земле, стаскивая с ноги своей черный ботик, и вдруг, точно ее ударили по затылку, ткнулась головой в колени свои, развела руками, свалилась набок. Туробоев, в расстегнутом пальто, подвел к забору молодого парня с черными усиками, ноги парня заплетались, глаза он крепко закрыл, а зубы оскалил, высоко вздернув верхнюю губу. Воздух густо кипел матерной бранью, воплями женщин, кто-то командовал:

— К Биржевому мос-ту-у! Наши-и…

— Сволочи! Убийцы!

Самгину показалось, что толпа снова двигается на неподвижную стену солдат и двигается не потому, что подбирает раненых; многие выбегали вперед, ближе к солдатам, для того чтоб обругать их. Женщина в коротенькой шубке, разорванной под мышкой, вздернув подол платья, показывая солдатам красную юбку, кричала каким-то жестяным голосом:

— Стреляйте, ну — стреляйте…

— Надо бежать, уходить, — кричал Самгин Туробоеву, крепко прижимаясь к забору, не желая, чтоб Туробоев заметил, как у него дрожат ноги. В нем отчаянно кричало простое слово: «Зачем? Зачем?», и, заглушая его, он убеждал окружающих:

— Надо бежать, ведь они могут и еще… Туробоев вытирал платком красные пальцы. Лицо у него дико ощетинилось, острая бородка торчала почти горизонтально, должно быть, он закусил губу. Взглянув на Клима, он громко закричал:

— Расходитесь, господа! Сейчас пустят кавалерию… Но уже стена солдат разломилась на две части, точно открылись ворота, на площадь поскакали рыжеватые лошади, брызгая комьями снега, заорали, завыли всадники в белых фуражках, размахивая саблями; толпа рявкнула, покачнулась назад и стала рассыпаться на кучки, на единицы, снова ужасая Клима непонятной медленностью своего движения. Несколько человек, должно быть — молодых, судя по легкости их прыжков, запутались среди лошадей, бросаясь от одной к другой, а лошади подскакивали к ним боком, и солдаты, наклоняясь, смахивали людей с ног на землю, точно для того чтоб лошади прыгали через них. Самгину казалось, что глаза его расширяются, видят все с мучительной ясностью и это грозит ему слепотой. Он закрывал глаза. Рядом с ним люди лезли на забор, царапая сапогами доски; забор трещал, качался; визгливо и злобно ржали лошади, что-то позванивало, лязгало; звучали необыкновенно хлесткие удары, люди крякали, охали, тоже визжали, как лошади, и падали, падали…

Молодой парень, без шапки, выламывал доску над головой Самгина, хрипло кричал:

— Помогай, не видишь?

— Лягте, — сказал Туробоев и ударом ноги подшиб ноги Самгину, он упал под забор, и тотчас, почти над головой его, взметнулись рыжие ноги лошади, на ней сидел, качаясь, голубоглазый драгун со светлыми усиками; оскалив зубы, он взвизгивал, как мальчишка, и рубил саблей воздух, забор, стараясь достать Туробоева, а тот увертывался, двигая спиной по забору, и орал:

— Прочь, скотина! Пошел прочь, мерзавец! И вдруг коротко засмеялся, крикнув:

— Идиот, — ты меня принимаешь за еврея?

Лошадь брыкалась, ее с размаха бил по задним ногам осколком доски рабочий; солдат круто, как в цирке, повернул лошадь, наотмашь хлестнул шашкой по лицу

рабочего, тот покачнулся, заплакал кровью, успел еще раз ткнуть доской в пах коня и свалился под ноги ему, а солдат снова замахал саблею на Туробоева. Самгин закрыл глаза, но все-таки видел красное от холода или ярости прыгающее лицо убийцы, оскаленные зубы его, оттопыренные уши, слышал болезненное ржание лошади, топот ее, удары шашки, рубившей забор; что-то очень тяжелое упало на землю.

«Убил. Теперь меня убьет», — подумал Самгин, точно не о себе; в нем застыл другой страх, как будто не за себя, а — тяжелее, смертельней.

После этого над ним стало тише; он открыл глаза, Туробоев — исчез, шляпа его лежала у ног рабочего; голубоглазый кавалерист, прихрамывая, вел коня за повод к Петропавловской крепости, конь припадал на задние ноги, взмахивал головой, упирался передними, солдат кричал, дергал повод и замахивался шашкой над мордой коня.

Самгин сел, прислонясь спиной к забору, оглянулся. Солдаты гнали и рубили рабочих уже далеко, у Каменно-островского. По площади ползали окровавленные люди, другие молча подбирали их, несли куда-то; валялось много шапок, галош; большая серая шаль лежала комом, точно в ней был завернут ребенок, а около ее, на снеге — темная кисть руки вверх ладонью. Зарубленный рабочий лежал лицом в луже крови, точно пил ее, руки его были спрятаны под грудью, а ноги — как римская цифра V. У моста подпрыгивала, топала догами серокаменная пехота, солдат с медной трубой у пояса прыгал особенно высоко. Многие солдаты смотрели из-под ладоней вдаль, где сновали люди, скакали и вертелись коня, поблескивали ленты шашек.

Самгин встал, тихонько пошел вдоль забора, свернул за угол, — на тумбе сидел человек с разбитым лицом, плевал и сморкался красными шлепками.

— Постой, — сказал он, отирая руку о колено, — погоди! Как же это? Должен был трубить горнист. Я — сам солдат! Я — знаю порядок. Горнист должен был сигнал дать, по закону, — сволочь! — Громко всхлипнув, он матерно выругался. — Василья Мироныча изрубили, — а? Он — жену поднимал, тут его саблей…

Самгин прошел мимо его молча. Он шагал, как во сне, почти без сознания, чувствуя только одно: он никогда не забудет того, что видел, а жить с этим в памяти — невозможно. Невозможно.

Этой части города он не знал, шел наугад, снова повернул в какую-то улицу и наткнулся на группу рабочих, двое были удобно, головами друг к другу, положены к стене, под окна дома, лицо одного — покрыто шапкой: другой, небритый, желтоусый, застывшими глазами смотрел в сизое небо, оно крошилось снегом; на каменной ступени крыльца сидел пожилой человек в серебряных очках, толстая женщина, стоя на коленях, перевязывала ему ногу выше ступни, ступня была в крови, точно в красном носке, человек шевелил пальцами ноги, говоря негромко, неуверенно:

— Может, потому, что тут крепость. Молодой, худощавый рабочий, в стареньком пальто, подпоясанном ремнем, закричал:

— Крепость? А — что она? Ты мне про крепость не говори! Это мы — крепость!

Он ударил себя кулаком в грудь и закашлялся; лицо у него было больное, желто-серое, глаза — безумны, и был он как бы пьян от брожения в нем гневной силы; она передалась Климу Самгину.

— Царь и этот поп должны ответить, — заговорил он с отчаянием, готовый зарыдать. — Царь — ничтожество. Он — самоубийца! Убийца и самоубийца. Он убивает Россию, товарищи! Довольно Ходынок! Вы должны…

— Ничего я тебе не должен, — крикнул рабочий, толкнув Самгина в плечо ладонью. — Что ты тут говоришь, ну? Кто таков? Ну, говори! Что ты скажешь? Эх…

Он выругался, схватил Клима за плечи и закашлялся, встряхивая его. Раненый, опираясь о плечо женщины, попытался встать, но, крякнув, снова сел.

— Как же я пойду?

— Отпусти человека, — сказал рабочему старик в нагольном полушубке. — Вы, господин, идите, что вам тут? — равнодушно предложил он Самгину, взяв рабочего за руки. — Оставь, Миша, видишь — испугался человек…

Клим заметил, что все рабочие отступают прочь от него, все хотят, чтоб он ушел. Это несколько охладило, даже как будто обидело его. Ему хотелось сказать еще что-то, но рабочий прокашлялся и закричал:

— Самоубивец твой чай пьет, генералов угощает: спасибо за службу! А ты мне зубы хочешь заговорить…

Махнув рукою, Самгин пошел прочь, тотчас решив, что нужно возвратиться в город. Он видел вполне достаточно для того, чтоб свидетельствовать.

«Тот человек — прав: горнист должен был дать сигнал. Тогда рабочие разошлись бы…»

Он почти бежал, обгоняя рабочих; большинство шло в одном направлении, разговаривая очень шумно, даже смех был слышен; этот резкий смех возбужденных людей заставил подумать:

«Радуются, что живы».

Впереди его двое молодых ребят вели под руки третьего, в котиковой шапке, сдвинутой на затылок, с комьями красного снега на спине.

— Ничего, — бормотал он, всхрапывая, — ничего. Ноги его подкосились, голова склонилась на грудь, он повис на руках товарищей и захрипел.

— Кажись — совсем, — сказал один из них, другой, обернувшись, спросил Самгина:

— Вы — не доктор?

— Нет, — сказал Самгин и зачем-то прибавил: — Это — обморок.

Парня осторожно положили поперек дороги Самгина, в минуту собралась толпа, заткнув улицу; высокий, рыжеватый человек в кожаной куртке вел мохнатенькую лошадь, на козлах саней сидел знакомый извозчик, размахивая кнутом, и плачевно кричал:

— Куда? Не еду я, не еду! Сына я ищу! Но уже в сани укладывали раненого, садился его товарищ, другой влезал на козлы; извозчик, тыкая в него кнутовищем, все более жалобно и визгуче взывал:

— Да — отпустите, бога ради! Говорю — сын у меня…

— Мы все — дети! — свирепо крикнул кто-то. Тогда извозчик мешком свалился с козел под ноги людей, встал на колени и завыл женским голосом:

— Милые — не поеду-у! Не могу я-а… Его схватили под мышки, за шиворот, подбросили на козлы.

— Четверых не повезет, — сказал кто-то; несколько человек сразу толкнули сани, лошадь вздернула голову, а передние ноги ее так подогнулись, точно и она хотела встать на колени.

— Какие же вы люди? — кричал извозчик. «Жестокость», — подумал Самгин, все более приходя в себя, а за спиной его крепкий голос деловито и радостно говорил:

— На Васильевском Оружейный магазин разбили, баррикаду строят…

— Кто сказал?

— Наши…

— Ребята — в город! Кто в город, товарищи? Самгин присоединился к толпе рабочих, пошел в хвосте ее куда-то влево и скоро увидал приземистое здание Биржи, а- около ее и у моста кучки солдат, лошадей. Рабочие остановились, заспорили: будут стрелять или нет?

— Довольно, постреляли! — сказал коротконогий, в серой куртке с черной заплатой на правом локте. — Кто по льду, на Марсово?

За ним пошли шестеро, Самгин — седьмой. Он видел, что всюду по реке бежали в сторону города одинокие фигурки и они удивительно ничтожны на широком полотнище реки, против тяжелых дворцов, на крыши которых опиралось тоже тяжелое, серокаменное небо.

«По одинокому стрелять не станут», — сообразил он, чувствуя себя отупевшим и почти спокойно.

На Неве было холоднее, чем на улицах, бестолково метался ветер, сдирал снег, обнажая синеватые лысины льда, окутывал ноги белым дымом. Шли быстро, почти бегом, один из рабочих невнятно ворчал, коротконогий, оглянувшись на него раза два, произнес строго, храбрым голосом:

— Неправильно! Солдат взнуздан, как лошадь. А ежели заартачится…

Донесся странный звук, точно лопнула березовая почка, воздух над головой Самгина сердито взныл.

— Это — в нас, — сказал коротконогий. — Разойдись, ребята!

Но рабочие все-таки шли тесно, и только когда щелкнуло еще несколько раз и пули дважды вспорошили снег очень близко, один из них, отскочив, побежал прямо к набережной.

— Чудак, — сказал коротконогий, обращаясь к Самгину, — от пули бежит. И продолжал:

— Так я говорю: брали мы с полковником Терпицким китайскую столицу Пекин…

Рассказывал он рабочим, но слова его летели прямо в лицо Самгина.

— «Значит — не желаешь стрелять?» — «Никак нет!» — «Значит — становись на то же место!» Н-ну, пошел Олеша, встал рядом с расстрелянным, перекрестился. Тут — дело минутное: взвод — пли! Вот те и Христос! Христос солдату не защита, нет! Солдат — человек беззаконный…

На Марсовом поле Самгин отстал от спутников и через несколько минут вышел на Невский. Здесь было и теплее и все знакомо, понятно. Над сплошными вереницами людей плыл, хотя и возбужденный, но мягкий, точно как будто праздничный говор. Люди шли в сторону Дворцовой площади, было много солидных, прилично, даже богато одетых мужчин, дам. Это несколько удивило Самгина; он подумал:

«Неужели то, что случилось на том берегу, — ошибка?» Он легко поддался надежде, что на этом берегу все будет объяснено, сглажено; придут рабочие других районов, царь выйдет к ним…

Впереди шагал человек в меховом пальто с хлыстиком, в пуховой шляпе странного фасона, он вел под руку даму и сочно убеждал ее:

— Поверьте, не могло этого быть… «Было», — хотел сказать Самгин, вспомнив свою

роль свидетеля, но человек договорил:

— Он — циник, да, но не настолько…

Самгин обогнал эту пару и пошел дальше, с чувством облегчения отдаваясь потоку людей.

Дойдя до конца проспекта, он увидал, что выход ко дворцу прегражден двумя рядами мелких солдат. Толпа придвинула Самгина вплоть к солдатам, он остановился с края фронта, внимательно разглядывая пехотинцев, очень захудалых, несчастненьких. Было их, вероятно, меньше двух сотен, левый фланг упирался в стену здания на углу Невского, правый — в решетку сквера. Что они могли сделать против нескольких тысяч людей, стоявших на всем протяжении от Невского до Исакиевской площади?

«Да, — подумал Самгин. — Наверное, там была ошибка. Преступная ошибка», — дополнил он.

Все солдаты казались курносыми, стояли они, должно быть, давно, щеки у них синеватые от холода. Невольно явилась мысль, что такие плохонькие поставлены нарочно для того, чтоб люди не боялись их. Люди и не боялись, стоя почти грудь с грудью к солдатам, они посматривали на них снисходительно, с сожалением; старик в полушубке и в меховой шапке с наушниками говорил взводному:

— Ты меня не учи, я сам гвардии унтер-офицер! А девушка, по внешности швейка или горничная, спрашивала:

— Слышно — стреляете вы в людей?

— Мы не стрелям, — ответил солдат.

На площади, у решетки сквера, выстроились, лицом к Александровской колонне, молодцеватые всадники на тяжелых, темных лошадях, вокруг колонны тоже немного пехотинцев, но ружья их были составлены в козла, стояли там какие-то зеленые повозки, бегала большая, пестрая собака. Все было удивительно просто и даже как-то несерьезно. Самгин ярко вспомнил, как на этой площади стояла, преклонив колена пред царем, толпа «карликовых людей», подумал, что ружья, повозки, собака — все это лишнее, и, вздохнув, посмотрел налево, где возвышался поседевший купол Исакиевского собора, а над ним опрокинута чаша неба, громадная, но неглубокая и точно выточенная из серого камня. Это низенькое небо казалось теплым и очень усиливало впечатление тесной сплоченности людей на земле.

За спиною курносеньких солдат на площади расхаживали офицера, а перед фронтом не было ни одного, только унтер-офицер, тоже не крупный, с лицом преждевременно одряхлевшего подростка, лениво покрикивал:

— Господа, не напирайте!

Самгин не заметил, откуда явился офицер в пальто оловянного цвета, рыжий, с толстыми усами, он точно из стены вылез сзади Самгина и встал почти рядом с ним, сказав не очень сильным голосом:

— Смирно!

И еще какое-то слово. Курносенькие дружно пошевелились и замерли. Тогда рыжий вынул, точно из кармана, длинную саблю, взмахнул ею, крикнул, курносенькие взбросили ружья к щекам и, покачнувшись назад, выстрелили. Это было сделано удивительно быстро и несерьезно, не так, как на том берегу; Самгин, сбоку, хорошо видел, что штыки торчали неровно, одни — вверх, другие — ниже, и очень мало таких, которые, не колеблясь, были направлены прямо в лица людей. Залп треснул не слитно, одним звуком, а дробно, разорванно и вовсе не страшно.

Но люди, стоявшие прямо против фронта, все-таки испугались, вся масса их опрокинулась глубоко назад, между ею и солдатами тотчас образовалось пространство шагов пять, гвардии унтер-офицер нерешительно поднял руку к шапке и грузно повалился под ноги солдатам, рядом с ним упало еще трое, из толпы тоже, один за другим, вываливались люди.

— Со страха, — сказал кто-то над ухом Самгина. — Стреляют холостыми, а они…

Но Самгин уже знал, что люди падают не со страха. Он видел, что толпа, стискиваясь, выдавливает под ноги себе мужчин, женщин; они приседали, падали, ползли, какой-то подросток быстро, с воем катился к фронту, упираясь в землю одной ногой и руками; видел, как люди умирали, не веря, не понимая, что их убивают. Слышал, как рыжий офицер, стоя лицом к солдатам, матерно ругался, грозя кулаком в перчатке, тыкая в животы концом шашки, как он, повернувшись к ним спиной и шагнув вперед, воткнул шашку в подростка и у того подломились руки.

Толпа выла, ревела, грозила солдатам кулаками, некоторые швыряли в них комьями снега, солдаты, держа ружья к ноге, стояли окаменело, плотнее, чем раньше, и все как будто выросли.

Все это было страшнее, чем на том берегу, — может быть, потому, что было ближе. Самгин снова испытывал мучительную медленность и страшную емкость минуты, способной вмещать столько движения и так много смертей. Люди, среди которых он стоял, отодвинули его на Невский, они тоже кричали, ругались, грозили кулаками, хотя им уже не видно было солдат. Затем Самгин видел, как отступавшая толпа точно уперлась во что-то и вдруг, единодушно взревев, двинулась вперед, шагая через трупы, подбирая раненых; дружно треснул залп и еще один, выскочили солдаты, стреляя, размахивая прикладами, тыкая штыками, — густейшим потоком люди, пронзительно воя, побежали вдоль железной решетки сквера, перепрыгивая через решетку, несколько солдат стали стрелять вдоль Невского. Тогда публика, окружавшая Самгина, тоже бросилась бежать, увлекая и его; кто-то с разбега ударил в спину ему головой.

«Это — убитый, мертвый», — мелькнула догадка, и Самгин упал, его топтали ногами, перескакивали через него, он долго катился и полз, прежде чем удалось подняться на ноги и снова бежать.

Наконец, отдыхая от животного страха, весь в поту, он стоял в группе таких же онемевших, задыхающихся людей, прижимаясь к запертым воротам, стоял, мигая, чтобы не видеть все то, что как бы извне приклеилось к глазам. Вспомнил, что вход на Гороховую улицу с площади был заткнут матросами гвардейского экипажа, он с разбега наткнулся на них, ему грозно крикнули:

— Куда лезешь?

А один матрос схватил его за руку, бросил за спину себе, в улицу, и тявкнул дважды, басом:

— Вам, там, — но вполголоса прибавил: — Беги, беги! Вспоминать пришлось недолго, подошел человек в масляно мокром пальто и притиснул Сангина, заставив его сказать:

— На вас кровь.

— Не моя, — ответил человек, отдуваясь, и заговорил громко, словами, которые как бы усмехались: — Сотенку ухлопали, если не больше. Что же это значит, господа, а? Что же эта… война с народонаселением означает?

Никто не ответил ему, а Самгин подумал или сказал:

— Это — не ошибка, а система.

В нем, в его памяти, как вьюга в трубе печи, выло, свистело, Стонало. Тряслись ноги. Он потерял очки и все вокруг видел более уродливым, чем всегда. Напротив его крепко врос в землю старый, железного цвета дом с двумя рядами мутных окон. За стеклами плавали еще более мутные пятна, несколько напоминая человеческие лица. Город гудел, и в этом непрерывном шуме лопались весенние почки. По улице снова бежал народ, с воем скакали всадники в белых венчиках на фуражках, за спиною Самгина скрипели и потрескивали ворота. Черноусый кавалерист запрокинулся назад, остановил лошадь на скаку, так, что она вздернула оскаленную морду в небо, высоко поднял шашку и заревел неестественным голосом, напомнив Самгину рыдающий рев кавказского осла, похожий на храп и визг поперечной пилы. Этот звериный крик, испугав людей, снова заставил их бежать, бежал и Самгин, видя, как люди, впереди его, падая на снег, брызгают кровью. Потом он слепо шел правым берегом Мойки к Певческому мосту, видел, как на мост, забитый людями, ворвались пятеро драгун, как засверкали их шашка, двое из пятерых, сорванные с лошадей, исчезли в черном месиве, толстая лошадь вырвалась на правую сторону реки, люди стали швырять в нее комьям» снега, а она топталась на месте, встряхивая головой; с морды ее падала пена.

У дома, где жил и умер Пушкин, стоял старик из «Сказки о рыбаке и рыбке», — сивобородый старик в женской ватной кофте, на голове у него трепаная шапка, он держал в руке обломок кирпича.

— Хорошо угостили, а? — спросил он, подмигнув острым глазком, и, постучав кирпичом в стену, метнул его под ноги людям. — Молодых-то сколько побили, молодых-то! — громко и с явным изумлением сказал он.

Люди шли не торопясь, угрюмо оглядываясь назад, но некоторые бежали, толкая попутчиков, и у всех был такой растерянный вид, точно никто из них не знал, зачем и куда идет он, Самгин тоже не знал этого. Впереди его шагала, пошатываясь, женщина, без шляпки, с растрепанными волосами, она прижимала к щеке платок, смоченный кровью; когда Самгин обогнал ее, она спросила:

— Нет ли у вас чистого платка?

Из-под ее красных пальцев на шею за воротник текла кровь, а из круглых и недоумевающих девичьих глаз — слезы.

— Нет, — ответил Самгин и пошел быстрее, но через несколько шагов девушка обогнала его, ее, как ребенка, нес на руках большой, рыжебородый человек. Трое, спешным шагом, пронесли убитого или раненого, тот из них, который поддерживал голову его, — курил. Сзади Самгина кто-то тяжело, точно лошадь, вздохнул.

— Хоть бы пистолетов каких-нибудь…

Самгин вдруг вспомнил слова историка Козлова о том, что царь должен будет жестоко показать всю силу своей власти.

— Стойте!

Кричал, сидя в санях извозчика, Туробоев, с забинтованной головой, в старой, уродливой шапке, съехавшей ему на затылок.

— Садитесь, — приказал он, выпрыгивая из саней. — Поезжайте…

Он сказал адрес, сунул в руку Самгина какие-то листочки, поправил шапку и, махнув рукою, потел назад, держа голову так неподвижно, как будто боялся потерять ее.

Через несколько минут пред ним открыл дверь в темную переднюю гладко остриженный человек с лицом татарина, о недоверчивым взглядом острых глаз.

— Что вам угодно? — спросил он, не впуская. — Его — нет дома. Пройдите,

Подождите,

Человек ткнул рукою налево, и Самгину показалось, что когда-то он уже видел этого татарина, слышал высокий голос его. В большой, светлой комнате было человек пять, все они как бы только что поссорились и молчали. По комнате нервно шагал тот, высокий, с французской бородкой, которого Самгин видел утром в училище. У окна сидел бритый, черненький, с лицом старика; за столом, у дивана, кто-то, согнувшись, быстро писал, человек в сюртуке и золотых очках, похожий на профессора, тяжело топая, ходил из комнаты в комнату, чего-то искал. Он спросил Самгина;

— Не хотите ли закусить?

— Да, — ответил Клим, вдруг ощутив голод и слабость. В темноватой столовой, с одним окном, смотревшим в кирпичную стену, на большом столе буйно кипел самовар, стояли тарелки с хлебом, колбасой, сыром, у стены мрачно возвышался тяжелый буфет, напоминавший чем-то гранитный памятник над могилою богатого купца. Самгин ел и думал, что, хотя квартира эта в пятом этаже, а вызывает впечатление подвала. Угрюмые люди в ней, конечно, из числа тех, с которыми история не считается, отбросила их в сторону.

«Вероятно, они сейчас будут спрашивать, что я видел…»

О том, что он видел, ему хотелось рассказать этим людям беспощадно, так, чтоб они почувствовали некий вразумляющий страх. Да, именно так, чтоб они устрашились. Но никто, ни о чем не спрашивал его. Часто дребезжал звонок, татарин, открывая дверь, грубовато и коротко говорил что-то, спрашивал:

— Не встречали?

Иногда он заглядывал в столовую, и Самгин чувствовал на себе его острый взгляд. Когда он, подойдя к столу, пил остывший чай, Самгин разглядел в кармане его пиджака ручку револьвера, и это ему показалось смешным. Закусив, он вышел в большую комнату, ожидая видеть там новых людей, но люди были всё те же, прибавился только один, с забинтованной рукой на перевязи из мохнатого полотенца.

– Вот как, — сумрачно глядя в окно, в синюю муть зимнего вечера, тихонько говорил он. — Я хотел поднять его, а тут — бац! бац! Ему — в подбородок, а мне — вот… Не могу я этого понять… За что?

Человек в золотых очках уговаривал его поесть, выпить — вина и лечь отдохнуть.

— От этого всю жизнь не отдохнешь, — сказал раненый, но встал и покорно ушел в столовую.

«От Ходынки — отдохнули», — подумал Самгин, все определенней чувствуя себя не столько свидетелем, как судьей.

Снова задребезжал звонок, и в прихожей глуховатый, сильно окающий голос угрюмо спросил:

— Ну, что это ты с револьвером?

— Тут какая-то дрянь, должно быть — сыщики, всё Гапона спрашивают…

— Брось, не смеши, Савва!

«Морозов», — удивленно и не веря себе вспомнил Самгин.

Вошел высокий, скуластый человек, с рыжеватыми усами, в странном пиджаке без пуговиц, застегнутом на левом боку крючками; на ногах — высокие сапоги; несмотря на длинные, прямые волосы, человек этот казался переодетым солдатом. Протирая пальцами глаза, он пошел в двери налево, Самгин сунул ему бумаги

Туробоева, он мельком, воспаленными глазами взглянул в лицо Самгина, на бумаги и молча скрылся вместе с Морозовым за дверями. Подождав несколько минут, Самгин решил уйти, но, когда он вышел в прихожую, — извне в дверь застучали, — звонок прозвучал судорожно, выбежал Морозов, держа руку в кармане пиджака, открыл дверь.

— Что? Вы — кто? Гапон? Вы — Гапон? Морозов быстро посторонился. Тогда в прихожую нырком, наклоня голову, вскочил небольшой человечек, в пальто, слишком широком и длинном для его фигуры, в шапке, слишком большой для головы; извилистым движением всего тела и размахнув руками назад, он сбросил пальто на пол, стряхнул шапку туда же и сорванным голосом спросил:

— Мартын — здесь? Петр? Я спрашиваю… Все, кто был в большой комнате, высунулись из нее, человек с рыжими усами грубовато и не скрывая неприятного удивления, спросил:

— Вас Рутенберг направил?..

— Да, да, да, — где он?

— Не знаю.

Сопровождавший Гапона небольшой, неразличимый человечек поднял с пола пальто, положил его на стул, сел на пальто и успокоительно сказал;

— Сейчас придет.

А Гапон проскочил в большую комнату и забегал, заметался по ней. Ноги его подгибались, точно вывихнутые, темное лицо судорожно передергивалось, но глаза были неподвижны, остеклели. Коротко и неумело обрезанные волосы на голове висели неровными прядями, борода подстрижена тоже неровно. На плечах болтался измятый старенький пиджак, и рукава его были так длинны, что покрывали кисти рук. Бегая по комнате, он хрипло выкрикивал:

— Дайте пить. Вина, воды… все равно! Нет, — не все погибло, нет! Сейчас я напишу им. Фуллон! — плачевно крикнул поп и, взмахнув рукой, погрозил кулаком в потолок; рукав пиджака съехал на плечо ему и складками закрыл половину лица. — Фуллон предал меня! — хрипло кричал он, пытаясь отбросить со щеки рукав тем движением головы, как привык отбрасывать длинные свои волосы. Рука его деревянно упала, вытянулась вдоль тела, пальцы щупали и мяли полу пиджака, другая рука мерно, как маятник, раскачивалась. Мелкими шагами бегая по паркету, он наполнил пустоватую комнату стуком каблуков, шарканием подошв, шипением и храпом, — Самгину шум этот напомнил противный шум кухни: отбивают мясо, на плите что-то булькает, шипит, жарится, взвизгивает в огне сырое полено.

Человек в золотых очках подал Гапону стакан вина, поп жадно и быстро выпил и снова побежал, закружился, забормотал:

— Лжешь! Рабочие — со мной! Они меня не предадут! Они — до конца со мной! Лжешь! Предатель… Где же Мартын, где?

Самгин ошеломленно наблюдал, и в нем тоже кружились какие-то опьяняющие токи. Без рясы, ощипанный, Гапон был не похож на того попа, который кричал и прыгал пред рабочими, точно молодой петушок по двору, куда внезапно влетел вихрь, предвестник грозы и ливня. Теперь, когда попу, точно на смех, грубо остригли космы на голове и бороду, — обнаружилось раздерганное, темненькое, почти синее лицо, черные зрачки, застывшие в синеватых, масляных белках, и большой нос, прямой, с узкими ноздрями, и сдвинутый влево, отчего одна половина лица казалась больше другой.

Самгин заметил, что раза два, на бегу, Гапон взглянул в зеркало и каждый раз попа передергивало, он оглаживал бока свои быстрыми движениями рук и

вскрикивал сильнее, точно обжигал руки, выпрямлялся, взмахивал руками.

«Актер? Играет?» — мельком подумал Самгин.

Нет, Гапон был больше похож на обезумевшего, и это становилось все яснее. Кроме попа, в комнате как будто никого не было, все молчали, не шевелясь. Рыжеусый стоял солдатски прямо, прижавшись плечом к стене, в оскаленных его зубах торчала незажженная папироса; у него лицо человека, который может укусить, и казалось, что он воткнул в зубы себе папиросу только для того, чтоб не закричать на попа. Рядом с ним, на стуле, в позе человека, готового вскочить и бежать, сидел Морозов, плотный, крепкий и чем-то похожий на чугунный утюг. Самгин слышал, как он шепнул:

— Вождь, а?

И татарское его лицо как будто перевернулось от быстрой, едкой улыбки.

Рыжеусый сквозь зубы процедил:

— Обида — без ненависти, жалобы — без гнева.

Самгин забыл о том, что Гапон — вождь, но этот шопот тотчас воскресил в памяти десятки трупов, окровавленных людей, ревущего кочегара,

— Меня надобно сейчас же спрятать, меня ищут, — сказал Гапон, остановясь и осматривая людей неподвижными глазами: — Куда вы меня спрячете?

Сердито, звонким голоском Морозов посоветовал ему сначала привести себя в порядок, постричься, помыться. Через минуту Гапон сидел на стуле среди комнаты, а человек с лицом старика начал стричь его. Но, видимо, ножницы оказались тупыми или человек этот — неловким парикмахером, — Гапон жалобно вскрикнул!

— Осторожнее, что вы!

— Потерпите, — нелюбезно посоветовал Морозов и брезгливо сморщил лицо.

Попа остригли и отправили мыться, а зрители молча и как бы сконфуженно разошлись по углам.

— Как потрясен, — сказал человек с французской бородкой и, должно быть, поняв, что говорить не следовало, повернулся к окну, уперся лбом в стекло, разглядывая тьму, густо закрывшую окна.

Звонок трещал все более часто и судорожно; Морозов, щупая отвисший карман пиджака, выбегал в прихожую, и Клим слышал, как там возбужденные голоса, захлебываясь словами, рассказывали, что перебиты сотни рабочих, Гапон — тоже убит.

— Сейчас полиция привезла его труп…

— Ер-рунда-с! — четко и звонко сказал Морозов. — Десять минут тому назад этот — труп — был — здесь.

Человек, пришедший с Гапоном, подтвердил обиженным голосом:

— Верно!

И потише, но как бы с упреком, напомнил:

— Рабочий народ очень любит батюшку, очень! Принесли еще новость: Гапон — жив, его ищет полиция, за поимку обещано вознаграждение.

— Возможно, — сказал Морозов и прибавил: — Небольшое.

Самгин пытался понять источники иронии фабриканта и не понимал их. Пришел высокий, чернобородый человек, удалясь в угол комнаты вместе с рыжеусым, они начали там шептаться; рыжеусый громко и возмущенно сказал:

— Ну — нет! Никаких легенд! Никаких! Вбежал Гапон. Теперь, прилично остриженный и умытый, он стал похож на цыгана. Посмотрев на всех в комнате и на себя в зеркале, он произнес решительно, угрожающе:

— Это — не конец! Рабочие — со мною! Твердым шагом вошел крепкий человек с внимательными глазами и несколько ленивыми или осторожными движениями.

— Мартын! — закричал Гапон, бросаясь к нему. — Садись, пиши! Надо скорей, скорей!

Через несколько минут Мартын, сидя на диване у стола, писал не торопясь, а Гапон, шагая по комнате, разбрасывая руки, выкрикивал:

— Братья, спаянные кровью! Так и пиши: спаянные кровью, да! У нас нет больше царя! — он остановился, спрашивая: — У нас или у вас? Пиши: у вас.

— Больше — лишнее слово, — пробормотал писавший, не поднимая головы.

— Он убит теми пулями, которые убили тысячи ваших товарищей, жен, детей… да!

Поп говорил отрывисто, делая большие паузы, повторяя слова и, видимо, с трудом находя их. Шумно всасывал воздух, растирал синеватые щеки, взмахивал головой, как длинноволосый, и после каждого взмаха щупал остриженную голову, задумывался и молчал, глядя в пол. Медлительный Мартын писал все быстрее, убеждая Клима, что он не считается с диктантом Гапона.

— Пиши! — притопнув ногой, сказал Гапон. — И теперь царя, потопившего правду в крови народа, я, Георгий Гапон, священник, властью, данной мне от бога, предаю анафеме, отлучаю от церкви…

— Не дури, — сказал Петр или Мартын, продолжая писать, не взглянув на диктующего попа.

— А — что? Ты — пиши! — снова топнул ногой поп и схватился руками за голову, пригладил волосы: — Я — имею право! — продолжал он, уже не так громко. — Мой язык понятнее для них, я знаю, как надо с ними говорить. А вы, интеллигенты, начнете…

Он махнул рукой, лицо его побагровело и, на минуту, стало злым, зрачки пошевелились, точно вспухнув на белках.

— Нет, нет, — никаких сказок, — снова проговорил рыжеусый человек.

— Кровью своей вы купили право борьбы за свободу, — диктовал Гапон.

Рыжеусый и чернобородый подошли к нему, и первый бесцеремонно, грубовато заговорил:

— Ходят слухи, что вас убили, арестовали и прочее. Это — не годится!

— Как всякая неправда, — вставил чернобородый, покашливая.

— Вот. В Экономическом обществе собралась… разная публика. Нужно вам съездить туда, показаться.

— А — зачем? — спросил Гапон. — Там — интеллигенты! Я знаю, что такое Вольно-экономическое общество, — интеллигенты! — продолжал он, повышая голос. — Я — с рабочими!

— Там есть и рабочие, — сказал чернобородый. Самгин хорошо видел, что попу не

понравилось это предложение, даже смутило его. Сморщив лицо, Гапон проворчал что-то, наклонился к Рутенбергу, тот, не взглянув на него, сказал:

— Надо ехать.

— Да?

— Да, да…

Поправляя рукава пиджака, встряхивая головою, Гапон взглянул в зеркало и спросил кого-то:

— Не узнают? Не поверят? Не знают ведь они меня.

— Поверят, — сказал рыжеусый. — Идемте! Самгин давно знал, что он тут лишний, ему пора уйти. Но удерживало любопытство, чувство тупой усталости и близкое страху нежелание идти одному по улицам. Теперь, надеясь, что пойдет вчетвером, он вышел в прихожую и, надевая пальто, услыхал голос Морозова:

— Свернут башку.

— Свою береги, — ответил рыжеусый. Самгин открыл дверь и стал медленно спускаться по лестнице, ожидая, что его нагонят. Но шум шагов наверху он услыхал, когда был уже у двери подъезда. Вышел на улицу. У, подъезда стояла хорошая лошадь,

— Занят, — сказал извозчик. — Частный, — прибавил он, как бы извиняясь,

Самгин взглянул на задок саней и убедился, что номера на санях нет и четверым в этих узеньких санках не поместиться.

«Ну, пойдем», — сказал он себе, быстро шагая в холод тьмы, а через минуту мимо его пронеслась, далеко выбрасывая ноги, темная лошадь; в санках сидели двое. Самгин сокрушенно вздохнул.

Темнота показалась ему необыкновенно густой и такой тяжелой, что плечи сгибались под ее холодным давлением. Город молчал. Мертво, обездушенно стояли дома, лишенные огня, лишь изредка ледяные стекла окон скупо освещались изнутри робким блеском свеч. Должно быть, оттого, что вымер огонь, тишина была неестественно чуткой, точно туго натянутая кожа барабана. Где-то, очень далеко, стреляли, и снова вспоминалось неуместное уподобление: весна, лопаются назревшие почки деревьев. Самгин старался ставить ноги потише, но каблуки стучали, хрустел снег. Черные массы домов приняли одинаковый облик и, поскрипывая кирпичами, казалось, двигаются вслед за одиноким человеком, который стремительно идет по дну каменного канала, идет, не сокращая расстояния до цели. Не было медвежьих фигур дворников у ворот, не было ни полицейских, ни прохожих. И все гуще, тяжелее становился холод торжествующей тьмы.

Самгин пытался подавить страх, вспоминая фигуру Морозова с револьвером в руках, — фигуру, которая была бы комической, если б этому не мешало открытое пренебрежение Морозова к Гапону.

«Хозяин. Презирает неудачника…»

Но думалось с великим усилием, мысли мешали слушать эту напряженную тишину, в которой хитро сгущен и спрятан весь рев и вой ужасного дня, все его слова, крики, стоны, — тишину, в которой скрыта злая готовность повторить все ужасы, чтоб напугать человека до безумия.

«Ничтожен поп. И все свидетели, писатели, солдаты и рабочие, убийцы, жертвы, зрители. Все ничтожны, несчастны», — торопливо размышлял Самгин, чтоб несколько облегчить страх, оскорбительно угнетавший его.

На Невском стало еще страшней; Невский шире других улиц и от этого был пустынней, а дома на нем бездушнее, мертвей. Он уходил во тьму, точно ущелье в гору. Вдали и низко, там, где должна быть земля, холодная плоть застывшей тьмы была разорвана маленькими и тусклыми пятнами огней. Напоминая раны, кровь, эти огни не освещали ничего, бесконечно углубляя проспект, и было в них что-то подстерегающее.

Самгин приостановился, пошел тише, у него вспотели виски. Он скоро убедился, что это — фонари, они стоят на панели у ворот или повешены на воротах. Фонарей было немного, светились они далеко друг от друга и точно для того, чтоб показать свою ненужность. Но, может быть, и для того, чтоб удобней было стрелять в человека, ноторый поравняется с фонарем.

Изредка, воровато и почти бесшумно, как рыба в воде, двигались быстрые, черные фигурки людей. Впереди кто-то дробно стучал в стекла, потом стекло, звякнув, раскололось, прозвенели осколки, падая на железо, взвизгнула и хлопнула калитка, встречу Самгина кто-то очень быстро пошел и внезапно исчез, как бы провалился в землю. Почти в ту же минуту из-за угла выехали пятеро всадников, сгрудились, и один из них испуганно крикнул:

— Рысью…

Они быстро поскакали, гуськом, один за другим; потом щелкнуло два выстрела, еще три и один, а после этого, точно чайка на Каспийском море, тонко и тоскливо крикнул человек. Постояв до поры, пока тишина снова пришла в себя, Самгин пошел дальше. Не верилось, что на Невском нет солдат; вероятно, они, курносенькие и серые, прячутся во дворах тех домов, пред которыми горели фонари. Да, курносенькие прячутся, дрожат от холода, а может быть, от страха в каменных колодцах дворов; а на окраинах города, вероятно, уже читают воззвание Гапона:

«Братья, спаянные кровью!»

Слова эти слушают отцы, матери, братья, сестры, товарищи, невесты убитых и раненых. Возможно, что завтра окраины снова пойдут на город, но уже более густой и решительной массой, пойдут на смерть. «Рабочему нечего терять, кроме своих цепей».

Где-то, в тепле уютных квартир, — министры, военные, чиновные люди; в других квартирах истерически кричат, разногласят, наскакивают друг на друга, как воробьи, писатели, общественные деятели, гуманисты, которым этот день беспощадно показал их бессилие.

«Вожди! — мысленно крикнул Самгин, но так, что услышал крик свой вне себя и даже оглянулся. — А — царь? Едва ли этот маленький человечек спокойно пьет чай…»

И Самгину подумалось, что царь, так же судорожно, как Гапон, мечется в испуге пред содеянным.

Гостиница была уже близко, и страх стал значительно легче. Разгоралось чувство возмущения за себя, за все пережитое в этот день.

«Жить — нельзя! Жизнь превращается в однообразную, бесконечную драму».

Дверь гостиницы оказалась запертой, за нею — темнота. К стеклу прижалось толстое лицо швейцара; щелкнул замок, взныли стекла, лицо Самгина овеял теплый запах съестного.

— Хулиганят, стекла бьют, — пожаловался швейцар; он был в пальто, в шапке, это лишало его обычной парадности, все-таки он был благообразен и спокоен, как всегда.

— Говорят — девять тысяч положено? — спросил он, и, так как Самгин не ответил, он вздохнул: — Вот до чего... дошло! Девять тысяч...

Но когда Клим осведомился: ходят ли поезда на Москву? — швейцар, взглянув на него очень пытливо, ответил вопросом:

— Ожидаете, что железнодорожники тоже забастуют?

Наверху лестницы Самгина встретил коридорный и зашептал:

— Вы, господин Самгин, со швейцаром не разговаривайте, он — сволочь! Полицейский прихвостень...

Этот парень, давно знакомый, еще утром сегодня был добродушен, весел, услужлив, а теперь круглое лицо его странно обсохло, заострилось, точно после болезни; он посматривал на Самгина незнакомым взглядом и вполголоса говорил:

— Двери запер, сукин сын! Стрельба, казаки налетают, бьют; люди теснятся к нам, а он — запер двери и зубы скалит, толстая морда...

Помогая укладывать чемодан, он спрашивал горячим шопотом:

— В чем же убитые виноваты? Ну, сказали бы рабочим: нельзя! А выходит, что было сказано: они пойдут, а вы — бейте!

— Да, — невольно и неожиданно для себя подтвердил Клим. — Конечно, так и было сказано.

Коридорный, стоя на коленях, завязывал чемодан, но тут он пружинно вскочил и, несколько секунд посмотрев на Клима мигающими глазами, снова присел.

— Так, — пробормотал он и, надавив чемодан коленом, матерно выругался. — Значит, теперь...

Но Самгин не слушал его воркотню, думая о том, что вот сейчас он снова услышит в холодной темноте эти простенькие щелчки выстрелов. В карете гостиницы, вместе с двумя немыми, которые, спрятав головы в воротники шуб, явно не желали ничего видеть и слышать, Самгин, сквозь стекло в двери кареты, смотрел во тьму, и она казалась материальной, весомой, леденящим испарением грязи города, крови, пролитой в нем сегодня, испарением жестокости и безумия людей. И бессонную ночь в купе вагона он думал о безумии, о жестокости.

Дома на него набросилась Варвара, ее любопытство было разогрето до кипения, до ярости, она перелистывала Самгина, как новую книгу, стремясь отыскать в ней самую интересную, поражающую страницу, и легко уговорила его рассказать в этот же вечер ее знакомым все, что он видел. Он и сам хотел этого, находя, что ему необходимо разгрузить себя и что полезно будет устроить нечто вроде репетиции серьезного доклада.

Вечером собралось человек двадцать; пришел большой, толстый поэт, автор стихов об Иуде и о том, как сатана играл в карты с богом; пришел учитель словесности и тоже поэт — Эвзонов, маленький, чернозубый человек, с презрительной усмешкой на желтом лице; явился Брагин, тоже маленький, сухой, причесанный под Гоголя, многоречивый и особенно неприятный тем, что всесторонней осведомленностью своей о делах человеческих он заставлял Самгина вспоминать себя самого, каким Самгин хотел быть и был лет пять тому назад. Преобладали мужчины, было шесть женщин, из них Самгин знал только пышнотелую вдову фабриканта красок Дударову, ближайшую подругу Варвары; Варвара относилась к женщинам придирчиво критически, — Самгин объяснял это тем, что она быстро дурнела.

Всех приятелей жены он привык считать людями «третьего сорта», как назвал их Властов; но они, с некоторого времени, стали будить в нем чувство зависти неудачника к людям, которые устроились в своих «системах фраз» удобно, как

скворцы в скворешнях. Их фразы в его ушах звучали все более раздражающе громко и уже мешали ему, так же, как мешает иногда жить неясный мотив какой-то старинной песни, притязательно требуя, чтоб его вспомнили точно. Люди эти читали другие книги и как будто хвастались этим друг пред другом. Дудорова и Эвзонов особенно много знали авторов, которых Самгин не читал и не испытывал желания ознакомиться с ними.

— Ириней Лионский, Дионисий Галикарнасский, Фабр д'Оливе, Шюре, — слышал Самгин и слышал веские слова: любовь, смерть, мистика, анархизм. Было неловко, досадно, что люди моложе его, незначительнее и какие-то богатые модницы знают то, чего он не знает, и это дает им право относиться к нему снисходительно, как будто он — полудикарь.

Но в этот вечер они смотрели на него с вожделением, как смотрят любители вкусно поесть на редкое блюдо. Они слушали его рассказ с таким безмолвным напряжением внимания, точно он столичный профессор, который читает лекцию в глухом провинциальном городе обывателям, давно стосковавшимся о необыкновенном. В комнате было тесно, немножко жарко, в полумраке сидели согнувшись покорные люди, и было очень хорошо сознавать, что вчерашний день — уже история.

Самгин старался выдержать тон объективного свидетеля, тон человека, которому дорога только правда, какова бы она ни была. Но он сам слышал, что говорит озлобленно каждый раз, когда вспоминает о царе и Гапоне. Его мысль невольно и настойчиво описывала восьмерки вокруг царя и попа, густо подчеркивая ничтожество обоих, а затем подчеркивая их преступность. Ему очень хотелось напугать людей, и он делал это с наслаждением.

Когда он кончил, слушатели осторожно зашевелились, как бы пробуждаясь от тяжелой дремоты; затем, сначала — шопотом, нерешительно, заговорили, обращаясь не друг ко другу, *а* как-то в воздух. Первый высказался Эвзонов, он встал и, доставая папиросу из портсигара, сказал, обнажив черные зубы:

— Этот кошмар невозможно объяснить столкновением классовых противоречий, нет, — это нечто поглубже, пострашней…

— О, да! — согласилась Дудорова, хрустя пальцами. — После этого Россия или вознесется к свободе или окончательно падет в бездну…

Кто-то из мужчин сказал могильным голосом!

— Нанесен удар — смертельный удар! — не только идее самодержавия, но — идее личности.

Самгин молчал, ожидая более значительного. Подошла жена в гладком, бронзового цвета платье, оно старило ее и делало похожей на карикатурно преувеличенную подставку для лампы.

— Ты отлично говорил, — сказала она с искренним изумлением. — Замечательно! Какое богатство деталей, и как ты умело пользовался ими! Честное слово — было даже страшно иногда…

В ее изумлении Самгин не нашел ничего лестного для себя, и она мешала ему слушать. Человек с напудренным лицом клоуна, длинной шеей и неподвижно вытаращенными глазами, оглядывая людей, напиравших на него, говорил негромко, но так, что слов его не заглушал ни шум отодвигаемых стульев, ни возбужденные голоса людей, уже разбившихся на маленькие группки.

— Человек — свят! Христос был человек, победивший дьявола. После Христа врожденное зло перестало существовать. Теперь зло — социальная болезнь. Один человек — беззлобен…

Могильный голос возражал:

— Это какой-то теологический анархизм… А Дудорова кричала:

— Народ не делает ни добра, ни зла, только материальные вещи…

Большой, толстый поэт грыз бисквиты и говорил маленькой даме в пенснэ:

— Человек имеет право быть Иудой, Герострaтом…

— Говорите что вам угодно, а все-таки революция — неизбежна!

Это повторялось на разные лады, и в этом не было ничего нового для Самгина. Не ново было для него и то, что все эти люди уже ухитрились встать выше события, рассматривая его как не очень значительный эпизод трагедии глубочайшей. В комнате стало просторней, менее знакомые ушли, остались только ближайшие приятели жены; Анфимьевна и горничная накрывали стол для чая; Дудорова кричала Эвзонову:

— Ибсен — педант, педант…

Самгина уже забыли, никто ни о чем не спрашивал его.

«Сыты», — иронически подумал он, уходя в кабинет свой, лег на диван и задумался: да, эти люди отгородили себя от действительности почти непроницаемой сеткой слов и обладают завидной способностью смотреть через ужас реальных фактов в какой-то иной ужас, может быть, только воображаемый ими, выдуманный для того, чтоб удобнее жить.

Потом он думал еще о многом мелочном, — думал для того, чтоб не искать ответа на вопрос: что мешает ему жить так, как живут эти люди? Что-то мешало, и он чувствовал, что мешает не только боязнь потерять себя среди людей, в ничтожестве которых он не сомневался. Подумал о Никоновой: вот с кем он хотел бы говорить! Она обидела его нелепым своим подозрением, но он уже простил ей это, так же, как простил и то, что она служила жандармам.

«Другого человека я осудил бы, разумеется, безжалостно, но ее — не могу! Должно быть, я по-настоящему привязался к ней, и эта привязанность — сильнее любви. Она, конечно, жертва», — десятый раз напомнил он себе.

На другой день утром явился Гогин и предложил ему прочитать два-три доклада о кровавом воскресенье в пользу комитета. После истории с Никоновой Самгин смотрел на Гогина как на человека, который увел у него жену, но читать охотно согласился. Он значительно расширил рассказ о воскресенье рассказом о своих наблюдениях над царем, интересно сопоставлял его с Гапоном, намекал на какое-то неуловимое — неясное и для себя — сходство между ними, говорил о кочегаре, о рабочих, которые умирали так потрясающе просто, о том, как старичок стучал камнем в стену дома, где жил и умер Пушкин, — о старичке этом он говорил гораздо больше, чем знал о нем. После каждого доклада он чувствовал себя умнее, значительней и чувствовал, что чем более красиво рисует он все то, что видел, — тем менее страшным становится оно для него. Но он очень хотел, чтоб людям было страшно слушать, чтоб страх отрезвлял их, и ему казалось, что этого он достигает: людям — страшно. Однако он видел: страх недолго живет в людях, убежденных, что они могут изменить действительность, приручить ее.

«Какое легкомыслие», — думал он и озлоблялся против дерзких.

— Я поражена, Клим, — говорила Варвара. — Третий раз слушаю, — удивительно ты рассказываешь! И каждый раз новые люди, новые детали. О, как прав тот, кто первый сказал, что высочайшая красота — в трагедии!

Слушая ее похвалы, Самгин делал равнодушное и усталое лицо.

— Это не дешево стоит мне.

— Я думаю, — соглашалась Варвара.

В эти дни успеха, какого он никогда еще за всю свою жизнь не испытывал, у Самгина сама собою сложилась формула:

«Революция нужна для того, чтоб уничтожить революционеров».

Когда он впервые подумал так, он мысленно усмехнулся:

«Нелепо!»

Но усмешка не изгнала из памяти эту формулу, и с нею он приехал в свой город, куда его потребовали Варавкины дела и где — у доктора Любомудрова — он должен был рассказать о Девятом января.

— Напишите небольшую статейку фактического характера, — предложила Спивак, очень бледная, покусывая губы и как-то бесцельно переходя с места на места

Самгин написал охотно, он сделал это как свое личное дело, во, когда прочитал вслух свою повесть, кожаный и масляный Дунаев заметил, усмехаясь:

— Штучка устрашающая для обывателей.

— Придется сократить, — сказала Спивак, а длинноногий Корнев, взяв рукопись, как свою, пробормотал, что он это сделает.

— Вычеркнем красивости, и через денек, пожалуй, можно будет пустить в публику.

Затем Самгин докладывал в квартире адвоката Правдива, где его слушало человек сорок людей левого умонастроения; у городского головы Радеева, где собралось человек пятнадцать солиднейших либералов; затем он закружился в суматохе различных мелких дел, споров о завтрашнем дне, в новых знакомствах и — потерял счет дням. Во всем этом было нечто охмеляющее, как в старом, хорошем вине. Самгин чувствовал, что на него смотрят как на непосредственного участника в трагическом событии, тайные силы которого невозможно понять, несмотря на все красноречие рассказов о нем. Он видел: вне кружка Спивак люди подозревают, что он говорит меньше, чем знает, и что он умалчивает о своей роли. Это ему нравилось, это несколько окрыляло его, подсказывало слова более резкие и смелые, слова, которые, иногда, удивляли и его, как обмолвки, впрочем — естественные для человека, который взволнован. Но взволнован был весь город, все грамотные люди угрюмо чувствовали, что случилось необыкновенное, устрашающее.

Настроение горожан довольно удачно, хотя и грубо определил Дунаев, показывая странно белые, плотно составленные зубы.

— Проснулись, как собаки осенней ночью, почуяли страшное, а на кого лаять — не знают и рычат осторожно. Корнев сказал более мягко:

— Начинают понимать, в каком государстве живут. Эти фразы не смущали Самгина, напротив: в нем уже снова возрождалась смутная надежда на командующее место в жизни, которая, пошатываясь, поскрипывая, стеная и вздыхая, смотрела на него многими десятками глаз и точно ждала каких-то успокоительных обещаний, откровений. Это еще более укрепляло в нем остренькое и мстительное желание не успокаивать, а стращать. Ему было приятно рассказывать миролюбивым людям, что в комиссию сенатора Шидловского по рабочему вопросу вошли рабочие социал-демократы и что они намерены предъявить политические требования.

— Героем времени постепенно становятся толпа, масса, — говорил он среди либеральной буржуазии и, вращаясь в ней, являлся хорошим осведомителем для Спивак. Ее он пытался пугать все более заметным уклоном «здравомыслящих» людей направо, рассказами об организации «Союза русского народа», в котором

председательствовал историк Козлов, а товарищем его был регент Корвин, рассказывал о работе эсеров среди ремесленников, приказчиков, служащих. Но все это она знала не хуже его и, не пугаясь, говорила:

— Естественно.

И обременяла его бесчисленным количеством различных поручений; он — не отказывался от них, раззадоренное любопытство и смутное предчувствие конца всем тревогам превращалось у него в азарт неопытного игрока.

В свою очередь Самгина широко осведомлял обо всем в городе Иван Дронов. Посмеиваясь, потирая руки, гримасничая, он говорил:

— Я все-таки мужичок, значит — реалист, мне и надлежит быть эсером, а ваш брат, эсдеки, — интеллигентская организация.

В эсерство Дронова Самгин не верил, чувствуя, что — как многие — Иван «революционер до завтра» и храбрится от страха. Всегда суетливый, он приобрел теперь какие-то неуверенные, отрывочные жесты, снял кольцо с пальца, одевался не так щеголевато, как раньше, вообще — прибеднился, сделал себя фигурой более демократической. Но даже в том, как судорожно Он застегивал и расстегивал пуговицы пиджака, была очевидна его лживость и тревога человека, который не вполне уверен, что он действует сообразно со своими интересами.

— Политически организуем Россию именно мы, эсеры, — не то — спрашивал, не то — утверждал он.

Самгин видел, что Дронов вертится вокруг его, даже заискивает перед ним, хотя и грубит, не бескорыстно.

«Подозревает во мне крупного деятеля и хочет убедиться в этом», — решил Самгин, и его антипатия к Дронову взгорелась до отвращения к нему.

В быстрой смене шумных дней явился на два-три часа Кутузов. Самгин столкнулся с ним на улице, но не узнал его в человеке, похожем на деревенского лавочника. Лицо Кутузова было стиснуто меховой шапкой с наушниками, полушубок на груди покрыт мучной и масляной коркой грязи, на ногах — серые валяные сапоги, обшитые кожей. По этим сапогам Клим и вспомнил, войдя вечером к Спивак, что уже видел Кутузова у ворот земской управы.

Кутузов пил чай, должно быть, продолжая воображать себя человеком из деревни. Держался важно, жесты его были медлительно солидны, — жесты человека, который хорошо знает цену себе и никуда не торопится.

— Михаил Кузьмич Антонов, — прошу помнить! — предупредил он Самгина.

«Какой искусный актер», — подумал Самгин, отвечая на его деловитые вопросы о Петербурге.

— Так. Значит — красного флага не пожелали? — спрашивал Кутузов, неуместно посмеиваясь в бороду. — Ну, что ж? Теперь поймут, что царь не для задушевной беседы с ним, а для драки.

Дунаев, сидевший против него, тоже усмехнулся, а Кутузов, тряхнув головой, сказал, глядя в стакан чая:

— Урок оплачен дорого. Но того, чему он должен научить, мы, словесной или бумажной пропагандой, не достигли бы и в десяток лет. А за десять-то лет рабочих — и ценнейших! — погибло бы гораздо больше, чем за два дня…

— В Риге тоже много перестреляли, — напомнил Дунаев. Кутузов посмотрел в лицо его, погладил бороду и негромко выговорил:

— Для того и винтовки, чтоб в людей стрелять. А винтовки делают рабочие, как

известно.

Лицо Дунаева снова расцвело знакомой Климу улыбочкой.

— Простота! — сказал он.

Кутузов снова обратился к Самгину:

— А — поп, на вашу меру, величина дутая? Случайный человек. Мм… В рабочем движении случайностей как будто не должно быть… не бывает.

Нахмурясь, он помолчал, потом спросил:

— Туробоев — сильно ранен?

В это время пришла Спивак с Аркадием, розовощеким от холода, мальчик бросился на колени Кутузова.

— Приехал, приехал!

Кутузов, ухмыляясь, прижал его мордочку под бороду себе и забормотал в кудрявые волосы:

— Ах ты, Аркашка — букашка — таракашка! Почему ты такая маленькая, а?

— Неправда!

— Тощенькая — тебя даже мухи не боятся.

— Мухи никого не боятся.;. Мухи у тебя в бороде жили, помнишь — летом?

Спивак, изящная, разогретая морозом, шепталась с Дунаевым, положив руку на его плечо.

— Ладно! — сказал он. — Иду!

— Смотрите, — не больше пятнадцати, ну — двадцати человек! — строго сказала она.

Дунаев, кивнув головой, ушел, а Самгину вспомнилось, что на-днях, когда он попробовал играть с мальчиком и чем-то рассердил его, Аркадий обиженно убежал от него, а Спивак сказала тоном учительницы, хотя и с улыбкой:

— Дети отлично чувствуют, когда играют с ними и когда — ими.

Она присела к столу, наливая себе чаю, а Кутузов уже перебрался к роялю и, держа мальчика на коленях, тихонько аккомпанируя себе, пел вполголоса:

Ой, у нашой у славной ВкраиниБували престрашни, бездольни години…

— Не хочу скушную! — протестовал Аркадий. — Про хозяина!

— Не угодишь на тебя, Аркашка, — сказал Кутузов

и покорно запел:

На хозяине штаныПосле деда-сатаны.Чулки вязаные,Тоже краденые.

Мальчик, хлопая ладонями, тоже распевал:

На хозяине шляденяаПосле брата-чертенка…

Спивак, прихлебывая чай, разбирала какие-то бумажки и одним глазом смотрела на певцов, глаз улыбался. Все это Самгин находил напускным и даже обидным, казалось, что Кутузов и Спивак не хотят показать ему, что их тоже страшит

завтрашний день.

Через несколько дней он сидел в местной тюрьме и только тут почувствовал, как много пережито им за эти недели и как жестоко он устал. Он был почти доволен тем, что и физически очутился наедине с самим собою, отгороженный от людей толстыми стенами старенькой тюрьмы, построенной еще при Елизавете Петровне. Его посадили в грязную камеру с покатыми нарами для троих, со сводчатым потолком и недосягаемо высоким окошком; стекло в окне было разбито, и сквозь железную решетку втекал воздух марта, был виден очень синий кусок неба. Каждый вечер, перед поверкой, напротив его камеры несовершеннолетние орали звонко всегда одну и ту же песню:

Приехали в Аркадию,С Аркадии — в Ливадию,Махнули в Озерки…

— Ки-ки! — выкрикивали низкие голоса, а высокие, притопывая, пристукивая, чеканили на плясовой мотив:

Кого-то там притиснули,Кому-то в ухо свистнули,Попали под шары…

— Еры!

Эта песня, неизбежная, как вечерняя молитва солдат, заканчивала тюремный день, и тогда Самгину казалось, что весь день был неестественно веселым, что в переполненной тюрьме с утра кипело странное возбуждение, — как будто уголовные жили, нетерпеливо ожидая какого-то праздника, и заранее учились веселиться. Должно быть, потому, что в тюрьме были три заболевания тифом, уголовных с утра выпускали на двор, и, серые, точно камни тюремной стены, они, сидя или лежа, грелись на весеннем солнце, играли в «чет-нечет», покрякивали, пели песни. Брякая кандалами, рисуясь своим молодечеством, по двору расхаживали каторжане, а в тени, вдоль стены, гуляли, сменяя друг друга, Корнев, Дунаев, статистик Смолин и еще какие-то незнакомые люди. Надзиратели держались в стороне, никому не надоедая, можно было думать, что и они спокойно ожидают чего-то. В общем тюрьма вызвала у Самгина впечатление беспорядка, распущенности, но это, несколько удивляя его, не мешало ему отдыхать и внушило мысль, что люди, которые жалуются на страдания, испытанные в тюрьмах, преувеличивают свои страдания.

Слева от Самгина сидел Корнев. Он в первую же ночь после ареста простучал Климу, что арестовано четверо эсдеков и одиннадцать эсеров, а затем, почти каждую ночь после поверки, с аккуратностью немца сообщал Климу новости с воли. По его сведениям выходило, что вся страна единодушно и быстро готовится к решительному натиску на самодержавие.

— Эсеры строят крестьянский союз, прибрали к своим рукам сельских учителей, рабочее движение неудержимо растет, — выстукивал он, как бы сообщая заголовки газетных статей.

Самгин слушал, верил, что возникают союзы инженеров, врачей, адвокатов, что предположено создать Союз союзов, и сухой стук, проходя сквозь камень, слагаясь в слова, будил в Самгине чувство бодрости, хорошие надежды. Да, конечно, вся интеллигенция должна организоваться в единую, мощную силу. Дальше он не разрешал себе думать, у него было целомудренное желание не искать формулы своим надеждам и мечтам. В охранное отделение его не вызывали больше месяца, и это несколько нервировало, но лишь тогда, когда он вспоминал, что должен будет снова встретиться с полковником Васильевым. Встреча эта разыгралась не так неприятно, как он ожидал.

— Вот и еще раз мы должны побеседовать, Клим Иванович, — сказал полковник, поднимаясь из-за стола и предусмотрительно держа в одной руке портсигар, в другой — бумаги. — Прошу! — любезно указал он на стул по другую сторону стола и углубился в чтение бумаг.

Знакомый, уютный кабинет Попова был неузнаваем; исчезли цветы с

подоконников, на месте их стояли аптечные склянки с хвостами рецептов, сияла насквозь пронзенная лучом солнца бутылочка красных чернил, лежали пухлые, как подушки, «дела» в синих обложках; торчал вверх дулом старинный пистолет, перевязанный у курка галстуком белой бумажки. Все вещи были сдвинуты со своих мест, и в общем кабинет имел такой вид, как будто полковник Васильев только вчера занял его или собрался переезжать на другую квартиру. Остался на старом месте только бюст Александра Третьего, но он запылился, солидный нос царя посерел, уши, тоже серые, стали толще. В этой неуютности было нечто ободряющее.

Но еще больше ободрило Самгина хрящеватое, темное лицо полковника: лицо стало темнее, острые глаза отупели, под ними вздулись синеватые опухоли, по лысому черепу путешествовали две мухи, полковник бесчувственно терпел их, кусал губы, шевелил усами. Горбился он больше, чем в Москве, плечи его стали острее, и весь он казался человеком сброшенным, уставшим.

— Ну, что ж нам растягивать эту историю, — говорил он, равнодушно и, пожалуй, даже печально уставив глаза на Самгина. — Вы, разумеется, показаний не дадите, — не то — спросил, не то — посоветовал он. — Нам известно, что, прибыв из Москвы, воспользовавшись помощью местного комитета большевиков и в пользу этого комитета, вы устроили ряд платных собраний, на которых резко критиковали мероприятия правительства, — угодно вам признать это?

— Собрания устраивал, но — не платные. Доклады мои носили характер строго фактический. Связей с комитетом большевиков — не имею. Это все, что могу сказать, — не торопясь выговорил Самгин и не мог не отметить, что все это сказано им хорошо, с достоинством.

Полковник вздохнул сквозь зубы, шипящим звуком.

— Н-ну, да, конечно…

И, постучав карандашом по синим ногтям левой руки, сказал, тоже не торопясь:

— Связь с комитетом напрасно отрицаете. Дознанием установлено, что дом вашей матушки — штаб-квартира большевиков. Так-то-с…

Полковник начал размашисто писать, перо торопливо ерзало по бланку, над бровями полковника явились мелкие морщинки и поползли вверх. Самгин подумал:

«Сейчас спросит: так как же, а?»

Но полковник, ткнув перо в стаканчик, с мелкой дробью, махнул рукой под стол, стряхивая с пальцев что-то, отвалился на спинку стула и, мигая, вполголоса спросил:

— Скажите… Это — не в порядке дознания, — даю вам честное слово офицера! Это — русский человек спрашивает тоже русского человека… других мыслей, честного человека. Вы допускаете..?

— Конечно, — поторопился Самгин, не представляя, что именно он допускает.

— Этот поп — Гапон, Агафон этот, — вы его видели, да?

— Да, — ответил Самгин, не пугаясь своей храбрости.

— Что же это… какой же это человек? — шопотом спросил жандарм, ложась грудью на стол и сцепив пальцы рук. — Действительно — с крестами, с портретами государя вел народ, да? Личность? Сила?

Лицо полковника вдруг обмякло, как будто скулы его растаяли, глаза сделались обнаженнее, и Самгин совершенно ясно различил в их напряженном взгляде и страх и негодование. Пожав плечами и глядя в эти спрашивающие глаза, он

ответил:

— На мой взгляд это не крупный человек…

Он тотчас понял, что этого не следовало говорить, и торопливо прибавил:

— Но он силен, очень силен тем, что его любят и верят ему…

— А сам-то — ничтожество? — тоже поспешно спросил полковник. — Ведь — ничтожество? — повторил он

уже требовательно.

И, снова откинувшись на спинку стула, собрав лицо в кулачок, полковник Васильев сквозь зубы, со свистом и приударяя ладонью по бумагам на столе, заговорил кипящими словами:

— Наши сведения — полнейшее ничтожество, шарлатан! Но — ведь это еще хуже, если ничтожество, ху-же! Ничтожество — и водит за нос департамент полиции, градоначальника, десятки тысяч рабочих и — вас, и вас тоже! — горячо прошипел он, ткнув пальцем в сторону Самгина, и снова бросил руки на стол, как бы чувствуя необходимость держаться за что-нибудь. — Невероятно! Не верю-с! Не могу допустить! — шептал он, и его подбрасывало на стуле.

Глядя в его искаженное лютовскими гримасами лицо, Самгин подумал, что полковник ненормален, что он может бросить в голову чем-нибудь, а то достанет револьвер из ящика стола…

— Мне кажется, полковник, что эта беседа не имеет отношения, — осторожно и тоже тихо заговорил Самгин, но тот прервал его.

— А — не кажется вам, что этот поп и его проклятая затея — ответ церкви вам, атеистам, и нам — чиновникам, — да, и нам! — за Толстого, за Победоносцева, за угнетение, за то, что церкви замкнули уста? Что за попом стоят епископы и эта проклятая демонстрация — первый, пробный шаг к расколу церкви со светской властью. А?

Самгин был ошеломлен и окончательно убедился в безумии полковника. Он поправил очки, придумывая — что сказать? Но Васильев, не ожидая, когда он заговорит, продолжал:

— Как же вы не понимаете, что церковь, отвергнутая вами, враждебная вам, может поднять народ и против вас? Может! Нам, конечно, известно, что вы организуетесь в союзы, готовясь к самозащите от анархии…

Самгин взглянул на возбужденного жандарма внимательнее, — послышалось, что жандарм говорит разумно.

— А — что значат эти союзы безоружных? Доктора и адвокаты из пушек стрелять не учились. А вот в «Союзе русского народа» — попы, — вы это знаете? И даже — архиереи, да-с!

Темное его лицо покрылось масляными капельками пота, глаза сильно покраснели, и шептал он все более бессвязно. Самгин напрасно ожидал дальнейшего развития мысли полковника о самозащите интеллигенции от анархии, — полковник, захлебываясь словами, шептал:

— Культурные люди, знатоки истории… Должны бы знать: всякая организация строится на угнетении… Государственное право доказывает неоспоримо… Ведь вы — юрист…

Внезапно он вздрогнул, отвалился от стола, прижал руку к сердцу, другую — к виску и, открыв рот, побагровел.

— Вам нехорошо? — испуганно спросил Самгин, вскочив со стула. Полковник махнул рукою сверху вниз и пробормотал:

— Укатали бурку… крутые горки! Вытер лицо платком и шумно вздохнул.

— Если б не такое время — в отставку!

И, подвинув Самгину бланк, предложил устало:

— Прочитайте. Подпишите.

— Долго вы будете держать меня? — спросил Клим.

— Это — не я решаю. Откровенно говоря — я бы всех выпустил: уголовных, политических. Пожалуйте, — разберитесь в ваших желаниях… да! Мое почтение!

Потом Самгин ехал на извозчике в тюрьму; рядом с ним сидел жандарм, а на козлах, лицом к нему, другой — широконосый, с маленькими глазками и усами в стрелку. Ехали по тихим улицам, прохожие встречались редко, и Самгин подумал, что они очень неумело показывают жандармам, будто их не интересует человек, которого везут в тюрьму. Он был засорен словами полковника, чувствовал себя уставшим от удивления и механически думал:

«Болен. Выдохся. Испуган и хотел испугать меня. Не стоит думать о нем».

Но и в камере пред ним все плавало искаженное гримасами Лютова потное лицо, шипели в тишине слова:

«Вы организуетесь для самозащиты от анархии…»

«Это — единственно разумное, что он сказал», — подумал Самгин.

Над камерой его пели осторожно, вполголоса двое уголовных, пели, как поют люди, думающие о своем чужими словами.

По песочку,

— говорил один,

Бережком,

— вторил другой, и оба задушевно, в голос, тянули:

Тамо — эх, да — тамо страннички иду-уть.

Голоса плыли мимо окна камеры Клима, ласково гладя теплую тишину весенней ночи, щедро насыщая ее русской печалью, любимой и прославленной за то, что она смягчает сердце.

«Может быть — убийцы и уж наверное — воры, а — хорошо поют», — размышлял Самгин, все еще не в силах погасить в памяти мутное пятно искаженного лица, кипящий шопот, все еще видя комнату, где из угла смотрит слепыми глазами запыленный царь с бородою Кутузова.

«Очень путает разум это смешение хорошего и дурного в одном человеке…»

Песня мешала уснуть, точно зубная боль, еще не очень сильная, но грозившая разыграться до мучительной. Самгин спустил ноги с нар, осторожно коснулся деревянного пола и зашагал по камере, ступая на пальцы, как ходят по тонкому слою льда или по непрочной, гибкой дощечке через грязь.

За окном мурлыкали:

Эх, ночь темна-а…Ой, темна, темным-темна…

Ночь была светлая. Петь стали тише, ухо ловило только звуки, освобожденные от слов.

«Толстой — прав, не доверяя разуму, враждуя с ним. Достоевский тоже не любил разума. Это вообще характерно для русских...»

Самгин вспомнил, как Никонова сказала о Толстом:

«Мучительный старик, все знает».

«Хуже, чем если б умерла», — подумал он.

Неприятно вспомнилась Варвара, которая приезжала на свидание в каком-то слишком модном костюме; разговаривала она грустным, обиженным тоном, а глаза у нее веселые.

В окно смотрели три звезды, вкрапленные в голубоватое серебро лунного неба. Петь кончили, и точно от этого стало холодней. Самгин подошел к нарам, бесшумно лег, окутался с головой одеялом, чтоб не видеть сквозь веки фосфорически светящегося лунного сумрака в камере, ч почувствовал, что его давит новый страшок, не похожий на тот, который он испытал на Невском; тогда пугала смерть, теперь — жизнь.

Недели две он прожил в состоянии человека, который чем-то отравлен. Корнев заботливо выстукивал ему новости, но они скользили по застывшему, не волнуя.

«Спивак выпустили. Дунаев и Флеров отправлены в Москву. Заключен мир с японцами, очень скверный. Школа Спивак закрыта».

Самгин, слушая стук по камню, представлял длинноногую, сухую фигуру Корнева орудием, которое неутомимо разрушает стену.

«В Иваново-Вознесенске огромная забастовка, руководят наши. Восстание в Черноморском флоте».

Новости следовали одна за другой с небольшими перерывами, и казалось, что с каждым днем тюрьма становится все более шумной; заключенные перекликались между собой ликующими голосами, на прогулках Корнев кричал свои новости в окна, и надзиратели не мешали ему, только один раз начальник тюрьмы лишил Корнева прогулок на три дня. Этот беспокойный человек, наконец, встряхнул Самгина, простучав:

«Вчера застрелен Васильев».

«Кем?» — спросил Самгин.

«Понятно. Не пойман».

А утром он крикнул, проходя по коридору мимо камеры:

— До свидания, Самгин! Иду на волю! Скоро всех... До утра Клим не мог уснуть, вспоминая бредовой шопот полковника и бутылочку красных чернил, пронзенную лучом солнца. Он не жалел полковника, но все-таки было тяжко, тошно узнать, что этот человек, растрепанный, как Лютов, как Гапон, — убит.

И тотчас вспомнил, как Иноков, идя с ним по набережной, мимо разрушенного амбара, сказал:

— Смотрите!

На гнилом бревне, дополняя его ненужность, сидела грязно-серая, усатая крыса в измятой, торчавшей клочьями шерсти, очень похожая на старушку нищую; сидела она бессильно распластав передние лапы, свесив хвост мертвой веревочкой; черные бусины глаз ее в красных колечках неподвижно смотрели на позолоченную

солнцем реку. Самгин поднял кусок кирпича, но Иноков сказал:

— Не троньте, она и так умрет.

Самгин помнил, что эти слова очень смутили его. Но теперь он решительно подумал:

«А человека Иноков может убить».

Но ни о чем и ни о ком, кроме себя, думать не хоте. лось. Теперь, когда прекратился телеграфный стук в стену и никто не сообщал тревожных новостей с воли, — Самгин ощутил себя забытым. В этом ощущении была своеобразно приятная горечь, упрекающая кого-то, в словам она выражалась так:

«Хороша жизнь, когда человек чувствует себя в тюрьме более свободным, чем на воле».

В тюрьме он устроился удобно, насколько это оказалось возможным; камеру его чисто вымыли уголовные, обед он получал с воли, из ресторана; читал, занимался ликвидацией предприятий Варавки, переходивших в руки Радеева. Несколько раз его посещал, в сопровождении товарища прокурора, Правдин, адвокат городского головы; снова явилась Варвара и, сообщив, что его скоро выпустят, спросила быстрым шепотком:

— Ты знаешь, что Никонова?..

— Знаю! — громко ответил он.

— Ужасное время, дорогой!

После убийства полковника Васильева в тюрьме появилось шестеро новых заключенных, и среди них Самгин увидел Дронова. Было почти приятно смотреть, как Иван Дронов, в кургузенькой визитке и соломенной шляпе, спрятав руки в карманы полосатых брюк, мелкими шагами бегает полчаса вдоль стены, наклонив голову, глядя под ноги себе, или вдруг, точно наткнувшись на что-то, остановится и щиплет пальцами светлорыжие усики. И не верилось, что эта фигура из старинного водевиля может играть какую-то роль в политике. После десятка прогулок Дронов исчез» а Самгин подумал, усмехаясь:

«Он провел в тюрьме пять часов».

Выпустили Самгина неожиданно и с какой-то обидной небрежностью: утром пришел адъютант жандармского управления с товарищем прокурора, любезно поболтали и ушли„объявив, что вечером он будет свободен, но освободили его через день вечером. Когда он ехал домой, ему показалось, что улицы необычно многолюдны и в городе шумно так же, как в тюрьме. Дома его встретил доктор Любомудров, он шел по двору в больничном халате, остановился, взглянул на Самгина из-под ладони и закричал:

— Ага, узник! Поздравляю! Дела-то, а? Встает Русь на дыбы…

Тем же тоном он сообщил, что Аркадий болен дизентерией. Эта шумная встреча надолго окрасила дальнейшие дни Самгина. Полковник Васильев не преувеличил: дом — действительно штаб-квартира большевиков; наверху у доктора и во флигеле Спивак было шумно, как на вокзале. Самгина изумляло обилие людей, они ходили по саду, сидели в беседке, ворчали, спорили, шептались, исчезали и являлись снова. На дворе соседа, лесопромышленника Табакова, щелкали шары крокета, а старший сын его, вихрастый, большеносый юноша с длинными руками и весь в белом, точно официант из московского трактира, виновато стоял пред Спивак и слушал ее торопливую речь.

— Это — недопустимо, понимаете? Это — меньшевизм. Ваша обязанность — разоблачать пред рабочими попытку фальсификации идеи народного

представительства.

Спивак, несмотря на то что сын ее лежал опасно больной, была почти невидима, с утра исчезала куда-то, являлась на полчаса, на час и снова исчезала. Очень похудев, бледная, она стала сумрачней, и, пожалуй, что-то злое появилось в ее круглом лице кошки, в плотно сжатых губах, в изгибе озабоченно нахмуренных бровей. Стояли мохнатые дни августа, над городом ползли сизые тучи, по улицам — тени, люди шагали необычно быстро. Со дня на день ожидался манифест о конституции, и Табаков, встряхивая рыжеватыми вихрами, повторяя уроки Спивак, высоким тенором говорил кому-то в саду:

— Эта конституция будет милостынею царя либералам для того, чтоб они помогли крепче затянуть петлю на шее рабочего класса.

«Баран, — думал Самгин, вспоминая слова Тагильского о людях, которые предают интересы своего класса. — Него ради?» — спрашивал он себя в сотый раз.

Вдруг, точно с потолка, упал Иноков, развалился в кресле и, крепко потирая руки, спросил:

— Как сиделось? Скверненькая у нас тюрьма, а вот в Седлеце…

Лицо его обросло темной, густой бородкой, глазницы углубились, точно у человека, перенесшего тяжкую болезнь, а глаза блестели от радости, что он выздоровел. С лица похожий на монаха, одет он был, как мастеровой; ноги, вытянутые на средину комнаты, в порыжевших, стоптанных сапогах, руки, сложенные на груди, темные, точно у металлиста, он — в парусиновой блузе, в серых, измятых брюках.

— Революционера начинают понимать правильно, — рассказывал он, поблескивая улыбочкой в глазах. — Я, в Перми, иду ночью по улице, — бьют кого-то, трое. Вмешался «в число драки», избитый спрашивает: «Вы — что же — революционер?» — «Почему?» — «Да вот, защищаете незнакомого вам человека». Ловко сказано?

Закурив очень вонючую папиросу, он посмотрел в синий дым ее, сунул руку за голенище сапога и положил на стол какую-то медную вещь, похожую на ручку двери.

— Вот — вам! Помните, я у вас пресс-папье сломал? Самгин удивленно взял в руки отлитую из меди фигурку женщины со змеей в руке.

— Это было так давно. И вы — помнили?

— А — что ж? Не люблю оставаться в долгу. Клеопатра. Сам лепил и отливал сам. Интересное дело — лепка и литье! Думаю заняться.

— Вы — эсер? — спросил Самгин.

— Нет, — сказал Иноков, отрицательно тряхнув головой. — И к эсдекам не тянет. Беки, меки — не умещается это ни в душе, ни в голове моей. Должно быть — анархист, что ли…

Медная, довольно искусно сделанная фигурка Клеопатры несколько примирила Самгина с Иноковым.

— Да, вероятно, вы анархист, — сказал он задумчиво и спросил: — Вы знаете, Корвин — в «Союзе русского народа»?

— Ну и чорт с ним, — тихо ответил Иноков. — Забавно это, — вздохнул он, помолчав. — Я думаю, что мне тогда надобно было врага — человека, на которого я мог бы израсходовать свою злость. Вот я и выбрал этого… скота. На эту тему рассказ можно написать, — враг для развлечения от… скуки, что ли? Вообще я много выдумывал разных… штучек. Стихи писал. Уверял себя, что влюблен…

Усмехнувшись, Иноков прикрыл глаза, точно задремал. «Это он врет», — подумал

Самгин, а Иноков, не открывая глаз, заговорил:

— Да — вот что: на Каме, на пароходе — сестра милосердия, знакомое лицо, а — кто? Не могу вспомнить. Вдруг она эдак поежилась, закуталась пледом — Лидия Тимофеевна. Оказалось, везет мужа в Тверь — хоронить.

— Убит?

— Тиф. Или — воспаление легких, не помню. Замечательно рассказывала она, как солдаты станцию громили, так рассказывала, будто станция-то — ее усадьба…

Иноков поджал ноги, собрался весь в комок и, поблескивая глазами, оживленно, с явным удовольствием, заговорил:

— Я тоже видел это, около Томска. Это, Самгин, — замечательно! Как ураган: с громом, с дымом, с воем влетел на станцию поезд, и все вагоны сразу стошнило солдатами. Солдаты — в судорогах, как отравленные, и — сразу: зарычала, застонала матерщина, задребезжали стекла, все затрещало, заскрипело, — совершенно как в неприятельскую страну ворвались!

Жадно затянувшись дымом, он продолжал с увлечением.

— Меньше часа они воевали и так же — с треском, доем — исчезли, оставив вокзал изуродованным, как еврейский дом после погрома. Один бородач — красавец! — воткнул на штык фуражку начальника станции и встал на задней площадке вагона эдаким монументом! Великолепная фигура! Свирепо настроена солдатня. В таком настроении — Петербург разгромить можно. Вот бы Девятого-то января пустить туда эдаких, — закончил он и снова распустился в кресле, обмяк, улыбаясь.

Исподлобья глядя на его монашеское лицо, Самгин хотел спросить: «Зачем это нужно, чтоб Петербург был разгромлён?» Но, помолчав, сухо спросил:

— А зачем вы ездили в Сибирь?

— Да так… посмотреть, — устало ответил Иноков и, позевнув, продолжал: — Вот и сюда приехал вчера, тоже не знаю зачем. Все здесь известно мне, никого у меня нет.

— Встретил на улице Томилина. Растолстел он, надутый такой, глаза жирком заплыли. Позвал меня к себе, чай пить. Сожительница его умерла, теперь он домохозяин, живет с какой-то дылдой в пенснэ и перекувырнулся к богу. Забавнейшая штука! «Все, говорит, я исследовал и, кроме бога, утверждаемого именно православной церковью, ничего неоспоримого — нет!» — «А — как же третий инстинкт, инстинкт познания?» Оказывается, он-то и ведет к богу, это есть инстинкт богоискательства. Поругался я с ним. Слушайте-ко, Самгин, — можно выспаться у вас?

Не очень охотно Клим отвел его в столовую, пустую и темную, окна ее были закрыты ставнями. Там, сидя на диване и снимая сапог. Иноков спросил:

— Вы верите в заговоры? В бабьи заговоры на кровь, на любовную сухоту?

— Разумеется, не верю, — сердито ответил Самгин.

— А я — верю. Сам видел, как старухи кровь заговаривают. И, по-моему, философия — заговор на совесть, на успокоение встревоженной Совести. Нет?

— Спите, — пробормотал Самгин, уходя и думая:

«Надо скорей кончить здесь все и — в Москву!»

Утром Иноков исчез, оставив на полу столовой множество окурков. В этот день дома города как будто стиснулись, выдавив на улицы всех жителей. Торжественно звонил соборный колокол, трещали пролетки извозчиков, люди шагали быстро,

говорили крикливо и необычно перепутались: рядом с горожанами, одетыми празднично, шла растрепанная мастеровщина, всюду сновали оборванные ребятишки, стремясь как на пожар или на парад. День, как все дни этой недели, был мохнатый и бесхарактерный, не то — извинялся, что недостаточно ясен, не то — грозил дождем. Мелко изорванные, сизые и серые облака придавали небу вид рубища или паруса, испещренного заплатами.

К собору, где служили молебен, Самгин не пошел, а остановился в городском саду и оттуда посмотрел на площадь; она была точно огромное блюдо, наполненное салатом из овощей, зонтики и платья женщин очень напоминали куски свеклы, моркови, огурцов. Сад был тоже набит людями, образовав тесные группы, они тревожно ворчали; на одной скамье стоял длинный, лысый чиновник и кричал:

— Господа! Мне — ничего не надо, никаких переворотов жизни, но, господа, ура вашей радости, восхищению вашему, огням души — ур-ра!

Самгин не видел на лицах слушателей радости и не видел «огней души» в глазах жителей, ему казалось, что все настроены так же неопределенно, как сам он, и никто еще не решил — надо ли радоваться? В длинном ораторе он тотчас признал почтово-телеграфного чиновника Якова Злобина, у которого когда-то жил Макаров. Его ура поддержали несколько человек, очень слабо и конфузливо, а сосед Самгина, толстенький, в теплом пальто, заметил:

— Ишь, как размахался!

— Возмущается, — сказал кто-то.

— Эхе-хе…

Озорниковато расталкивая публику, прошло десятка три работниц с фабрики варенья; одна из них, очень красивая, приплясывая, потряхивая пестрой юбкой, пела:

Пойду в переулочек,Куплю барам булочек,Куплю барам сухарей,Нате, жрите поскорей!

— Это самые распутные девки в городе у нас, — сказал Самгину толстенький, как бы хвастаясь особенностью города,

Товарки певицы осторожно хихикали, опасливо оглядывались, за ними торжественно следовал хозяин фабрики, столетний слепец Ермолаев, в черных кружочках очков на зеленоватом, длиннобородом лице усопшего. Его вели под руки сын Григорий, неуклюжий, как ломовой извозчик, старик лет шестидесяти, первый скандалист города, а под другую руку поддерживал зять Неелов, хозяин кирпичного завода, похожий на уродливую тыкву, тоже старик, с веселым лицом, носатый, кудрявый. Сверкая желтыми белками глаз, Григорий Ермолаев покрикивал на людей:

— Сторонитесь! Не видите?

А отец его, в черном сюртуке до пят, в черном бархатном картузе, переставляя деревянные ноги, вытирал ладонью мертвый, мокрый нос и храпел:

— Не допускайте, православные, не допускайте! Прихрамывая, качаясь, но шагая твердо и широко, раздвигая людей, как пароход лодки, торопливо прошел трактирщик и подрядчик по извозу Воронов, огромный человек с лицом, похожим на бараний курдюк, с толстой палкой в руке. За ним так же торопливо и озабоченно шли другие видные члены «Союза русского народа»: бывший парикмахер, теперь фабрикант «искусственных минеральных вод» Бабаев; мясник Коробов; ассенизатор Лялечкин; банщик Домогайлов; хозяин скорняжной мастерской Затиркин, непобедимый игрок в шашки, человек плоскогрудый, плосколицый, с равнодушными глазами.

Самгин постоял в саду часа полтора и убедился, что средний городской обыватель чего-то побаивается, но обезьянье любопытство заглушает его страх. О политическом значении события эти люди почти не говорят, может быть, потому, что не доверяют друг другу, опасаются сказать лишнее.

— Сказывали — музыка будет на площади, — слышал Самгин.

— К чему же это — музыка, если солдат не пригнали?

— Не царский день.

— Вот именно — не царский!

— Союзнички наши идут.

— Обязаны.

Маленький человечек в полосатом костюме и серой шляпе, размахивая тростью, беспокоился:

— А отчего полиции нет? Вы не знаете — почему нет полиции?

— Народ — трезвый.

И только мрачный человек в потертом пальто и дворянской фуражке не побоялся высказать откровенно свой взгляд: отодвинув Самгина плечом, он встал на его место и сказал басом:

— Ничего доброго из этой жидовской затеи не будет, а союзники — болваны.

В общем люди были так же бесхарактерны, как этот мохнатый, пестрый день. Многие, точно прячась, стояли в тени под деревьями, но из облаков выглядывало солнце, обнаруживая их. На площадь, к собору, уходили немногие и нерешительно.

Самгин подвинулся к решетке сада как раз в тот момент, когда солнце, выскользнув из облаков, осветило на паперти собора фиолетовую фигуру протоиерея Славороссова и золотой крест на его широкой груди. Славороссов стоял, подняв левую руку в небо и простирая правую над толпой благословляющим жестом. Вокруг и ниже его копошились люди, размахивая трехцветными флагами, поблескивая окладами икон, обнажив лохматые и лысые головы. На минуту стало тихо, и зычный голос сказал, как в рупор:

— Не верьте обольщениям безумцев, не верьте хитростям инородцев!

Было хорошо видно, что люди с иконами и флагами строятся в колонну, и в быстроте, с которой толпа очищала им путь, Самгин почувствовал страх толпы. Он рассмотрел около Славороссова аккуратненькую фигурку историка Козлова с зонтиком в одной руке, с фуражкой в другой; показывая толпе эти вещи, он, должно быть, что-то говорил, кричал. Маленький на фоне массивных дверей собора, он был точно подросток, загримированный старичком.

— Пошли, — сказал кто-то сзади Клима. Толпа, отхлынув от собора, попятилась к решетке сада, и несколько минут Самгин не мог видеть ничего, кроме затылков, но вскоре люди, обнажая головы, начали двигаться вдоль решетки, молча тиская друг друга, и пред Самгиным поплыли разнообразные, но одинаково серьезно настроенные профили.

— Куда же это они… прямо на нас? — проворчал тощий человек впереди Клима и отодвинулся; тогда Самгин увидал каменное лицо Корвина, из-под его густых усов четко и яростно выскакивали правильно разрубленные слова:

— «Бла-го-вер-рно-му импе-ра-то-ру…»

Почти не разделенные тонкой чертой переносья глаза его, — это уже когда-то

отметил Самгин, — были как цифра 8.

Рядом с ним мелко шагал, тыкая в землю зонтиком, бережно держа в руке фуражку, историк Козлов, розовое его личико было смочено потом или слезами, он тоже пел, рот его открыт, губы шевелились, но голоса не слышно было, над ним возвышалось слепое, курдючное лицо Воронова, с круглой дырой в овчинной бороде.

— «Ал-лександр-ровичу-у», — ревела дыра.

Воронов нес портрет царя, Лялечкин — икону в золоченом окладе; шляпа-котелок, привязанная шнурком за пуговицу пиджака, тоже болталась на груди его, он ее отталкивал иконой, а рядом с ним возвышалась лысая. в черных очках на мертвом лице голова Ермолаева, он, должно быть, тоже пел или молился, зеленоватая борода его тряслась. Он был страшен, его, должно быть, затем и вывели, чтоб устрашать народ. Густо двигались люди с флагами, иконами, портретами царя и царицы в багетных рамках; изредка проплывала яркая фигурка женщины, одна из них шла, подняв нераскрытый красный зонтик, на конце его болтался белый платок.

«Триста, ну — пятьсот человек, — сосчитал Самгин, — а в городе живет семьдесят тысяч».

Он вспомнил мощное движение массы рабочих с Выборгской стороны Петербурга, бархатистый гул ее говора, торжественное настроение. Стало надсадно и безнадежно скучно слушать нестройный вой союзников.

«Удивительная страна. Все в ней не так… не то».

Люди из сада потянулись за манифестантами, явно не желая смешиваться с ними. Площадь пустела. В десятке шагов от решетки на булыжнике валялась желтенькая дамская перчатка, пальцы ее были сложены двухперстным крестом; это воскресило в памяти Самгина отрубленную кисть руки на снегу. Он посмотрел, как толпа втискивала себя в устье главной улицы города, оставляя за собой два широких хвоста, вышел на площадь, примял перчатку подошвой и пошел к набережной. Его обогнала рыженькая собачка с перчаткой в зубах, загнув хвостишко кольцом, она тоже мчалась к реке, тогда Самгин снова возвратился в сад. Там на спинках скамеек сидели воробьи, точно старенькие люди; по черноватой воде пруда плавал желтый лист тополей, напоминая ладони с обрубленными пальцами. Самгин посидел на скамье, снова подумал о чудовищном несоответствии цифр.

«Пятьсот, семьсот человек и — семьдесят тысяч».

Домой идти н «хотелось.

«Там, вероятно, «гремят народные витии», — подумал он, но все-таки пошел пустыми переулками, мимо запертых ворот и закрытых окон маленьких домиков. Здесь было тихо, даже дети не кричали, только легкий ветер пошевеливал жухлые листья на деревьях садов, да из центра города доплывал ворчливый шумок. Для того, чтоб попасть домой, Самгин должен был пересечь улицу, по которой шли союзники, но, когда он хотел свернуть в другой переулок — встречу ему из-за угла вышел, широко шагая, Яков Злобин с фуражкой в руке, с распухшим лицом и пьяными глазами; размахнув руки, как бы желая обнять Самгина, он преградил ему путь, говоря негромко, удивленно:

— Можете представить — убили человека! Воронов, трактирщик, палкой по голове, на моих глазах — всенародно! Позвольте — что же это значит? Это — аптекарь Гейнце… известный всем!

Самгин остановился. Он знал Гейнце, скромного и умного человека, очень заметного работника в культурных учреждениях города.

— Он ехал на извозчике, и вдруг Воронов бросился, — рассказывал Злобин,

взмахивая рукой, задевая фуражкой о забор, из опухшего глаза его сочились слезы, длинные ноги топали, он качался, но Самгин видел, что он не пьян, а — возмущен, испуган.

— В магазине Фурмана выбили стекла, приказчика окровавили, — перечислял Злобин, всхлипывая, всхрапывая. — Лошадь — палкой по морде. За что? Разве свобода…

Самгин обошел его, как столб, повернул за угол переулка, выводившего на главную улицу, и увидал, что переулок заполняется людями, они отступали, точно разбитое войско, оглядывались, некоторые шли даже задом наперед, а вдали трепетал высоко поднятый красный флаг, длинный и узкий, точно язык.

— Демонстрация, — озабоченно сказал адвокат Правдин, здороваясь с Климом, и, снимая перчатку с левой руки, добавил, вздохнув: — Боюсь — будет демонстрация бессилия.

Самгину хотелось повернуть назад, но сделать это было бы неловко пред Правдиным, тем более, что он, спрятав перчатки в карман, предложил:

— Что же, пойдемте… Надо же. Самгин пошел за ним, присоединилось еще десятка два людей.

— Мы, так сказать, блокированы, — говорил Правдин. — Там, — он указал рукою за плечо свое, — союзники буянят, а впереди — эти, наши… Надо всячески стараться убедить, чтоб…

Его толкнули в спину, и он пошел быстрее, схватив Самгина за руку.

В конце улицы топтались вокруг красного флага демонстранты: железнодорожники, мастеровые, гимназисты, было много девушек, преобладала молодежь.

— Триста, четыреста, — сосчитал Самгин и вспомнил: «Семьдесят тысяч!»

В центре толпы, с флагом на длинном древке, стоял Корнев, голова его была выше всех. Самгин отметил, что сегодня у Корнева другое лицо, не столь сухое и четкое, как всегда, и глаза — другие, детские глаза.

— Товарищи! — командовал, приложив ладони ко рту, как рупор, гривастый, похожий на протодьякона, одетый в синюю блузу с разорванным воротом. — По пяти в ряд!

Люди перетасовывались, около знамени взмыли еще три красных флага.

— Товарищи! Господа! — кричал Правдин. — Подумайте, к чему может привести вас…

— Кого это — вас? — закричал на него рыжий гимназист.

Гривастый человек взмахнул головой, высоко поднял кулак и сильным голосом запел:

— «Вы жертвою пали», — Самгин взглянул в его резкое лицо и узнал Вараксина, друга Дунаева.

Правдин, сняв шляпу, грустным тенорком подхватил:

— «Любви беззаветной к наро-оду».

Пошли не в ногу, торжественный мотив марша звучал нестройно, его заглушали рукоплескания и крики зрителей, они торчали в окнах домов, точно в ложах театра, смотрели из дверей, из ворот. Самгин покорно и спокойно шагал в хвосте демонстрации, потому что она направлялась в сторону его улицы. Эта пестрая

толпа молодых людей была в его глазах так же несерьезна, как манифестация союзников. Но он невольно вздрогнул, когда красный язык знамени исчез за углом улицы и там его встретил свист, вой, рев.

— Чорт побери — слышите? — спросил Правдин, ускоряя шаг, но, свернув за угол, остановился, поднял ногу и, спрятав ее под пальто, пробормотал, держась за стену, стоя на одной ноге: — Ботинок развязался.

Самгин через очки взглянул вперед, где колыхались трехцветные флаги, блестели оклады икон и воздух над головами людей чертили палки; он заметил, что некоторые из демонстрантов переходят с мостовой на панели. Хлопали створки рам, двери, и сверху, как будто с крыши, суровый голос кричал:

— Ворота запри! Спусти Мурзу с цепи!

— Зайдемте сюда, я поправлюсь, — предложил Правдин, открывая дверь магазина дамских мод, и как раз в этот момент часть демонстрантов попятилась назад, втолкнув Самгина в магазин. Правдина радостно встретила толстая дама в пенснэ на мучном носу, он представил ей Самгина и забыл о нем, так же как забыл о ботинке. Самгин встал у косяка витрины, глядя направо; он видел, что монархисты двигаются быстро, во всю ширину улицы, они как бы скользят по наклонной плоскости, и в их движении есть что-то слепое, они, всей массой, качаются со стороны на сторону, толкают стены домов, заборы, наполняя улицу воем, и вой звучит по-зимнему — зло и скучно.

Против них стоит, размахивая знаменем, Корнев, во главе тесной группы людей, — их было не более двухсот и с каждой секундой становилось меньше.

Видел Самгин историка Козлова, который, подпрыгивая, тыкая зонтиком в воздух, бежал по панели, Корвина, поднявшего над головою руку с револьвером в ней, видел, как гривастый Вараксин, вырвав знамя у Корнева, размахнулся, точно цепом, красное полотнище накрыло руку и голову регента; четко и сердито хлопнули два выстрела. Над головами Корнева и Вараксина замелькали палки, десятки рук, ловя знамя, дергали его к земле, и вот оно исчезло в месиве человеческих тел.

— Ломи, наши! Бери на ура! — неистово ревел человек в розовой рубахе; из свалки выбросило Вараксина, голого по пояс, человек в розовой рубахе наскочил на него, но Вараксин взмахнул коротенькой веревочкой с узлом или гирей на конце, и человек упал навзничь. Драка пред магазином продолжалась не более двух-трех минут, демонстрантов оттеснили, улица быстро пустела;

у фонаря, обняв его одной рукой, стоял ассенизатор Лялечкин, черпал котелком воздух на лицо свое; на лице его были видны только зубы; среди улицы столбом стоял слепец Ермолаев, разводя дрожащими руками, гладил бока свои, грудь, живот и тряс бородой; напротив, у ворот дома, лежал гимназист, против магазина, головою на панель, растянулся человек в розовой рубахе. В Петербурге Самгин видел так много страшного, что все, что увидал он теперь, не очень испугало.

«Бессмысленно, бессмысленно», — убеждал он себя.

Мостовая была пестро украшена лохмотьями кумача, обрывками флагов, криво торчал обломок палки, воткнутый в щель между булыжником, около тумбы стоял, вниз головой, портрет царя. Кое-где на лысинах булыжника горели пятна и капли крови. Двое, по внешности — приказчики, провели Корвина, поддерживая его под локти, он шел, закрыв лицо руками, ноги его заплетались. Проходя мимо слепого, они толкнули старика, ноги его подогнулись, он грузно сел на мостовую и стал щупать булыжники вокруг себя, а мертвое лицо поднял к небу, уже сплошь серому.

Самгин оглянулся: за спиной его сидела на диване молоденькая девушка и навзрыд плакала, Правдин — исчез, хозяйка магазина внушала седоусому старику;

— Нужно было вызвать солдат…

Самгин вышел на улицу и тотчас же попал в группу людей, побитых в драке, — это было видно по их одежде и лицам. Один из них крикнул:

— Стой, братцы! Это — из Варавкина дома. — Он схватил Клима за правую руку, заглянул в лицо его, обдал запахом теплой водки и спросил: — Верно? Ну — по совести?

Самгин видел пред собой распухший лоб и мутносеренький, тупой глаз, другой глаз и щеку закрывала измятая, изорванная шляпа,

— Я — приезжий, адвокат, — сказал он первое, что пришло в голову, видя, что его окружают нетрезвые люди, и не столько с испугом, как с отвращением, ожидая, что они его изобьют. Но молодой парень в синей, вышитой рубахе, в лаковых сапогах, оттолкнул пьяного в сторону и положил ладонь на плечо Клима. Самгин почувствовал себя тоже как будто охмелевшим от этого прикосновения.

— Объясните нам — суд будет? Судить нас будут? Лицо у парня тоже разбито, но он был трезвее товарищей, и глаза его смотрели разумно.

— Вероятно, — ответил Самгин, прислонясь к стене.

— Из Варавкина дома вся суматоха, — кричал пьяный, — парень снова толкнул его.

— Молчи, а то — в морду! — сказал он очень спокойно, без угрозы, и обратился к Самгину:

— Кого же будут судить, — позвольте! Кто начал? Они. Зачем дразнят? Флаг подняли больше нашего, шапок не снимают. Какие их права?

— Стекла выбить Варавке!

— Помер он.

— Помер? Ну, тогда...

— Идемте!

Четверо пошли прочь, а парень прислонился к стене рядом с Климом и задумчиво сказал, сложив руки на груди;

— Что-то нехорошо вышло, а?

— Нехорошо, — ласково согласился Самгин и немножко отодвинулся от него.

Открывались окна в домах, выглядывали люди, все — в одну сторону, откуда еще доносились крики и что-то трещало, как будто ломали забор. Парень сплюнул сквозь зубы, перешел через улицу и присел на корточки около гимназиста, но тотчас же вскочил, оглянулся и быстро, почти бегом, пошел в тихий конец улицы.

За ним, по другой стороне, так же быстро, направился и Самгин, вздрагивая и отскакивая каждый раз, когда над головой его открывалось окно; из одного женский голос крикнул:

— Еще один бежит в очках! Держи его... А через несколько шагов его спросили:

— Эй, стрекулист! Али животишко заболел? Почувствовав что-то близкое стыду за себя, за людей, Самгин пошел тише, увидал вдали отряд конной полиции и свернул в переулок. Там, у забора, стоял пожилой человек в пиджаке без рукава и громко говорил кому-то:

— Ты меня оставь, как я есть. Это ничего, что я картуз потерял.

В щели забора, над плечами этого человека, блестели глаза, женский голос плачевно говорил:

— Ну, куда ты, бритое рыло, лезешь, твое ли это дело?

— Ты меня не уговаривай. Бить людей — нельзя!

— Догадался! Эх, ду-урак, дурак… Мостовую перешел человек в резиновых калошах на босую ногу, он держал в руках двухствольное ружье.

— Кум! — закричал он в полуоткрытое окно маленького домика. — Дай-кось дроби..

Окно открылось, на подоконнике, между цветочных горшков, сидел зеленоглазый кот, — он напомнил Климу Томилина.

После буйной свалки на Соборной улице тишина этих безлюдных переулков была подозрительна, за окнами, за воротами чувствовалось присутствие людей, враждебно подстерегающих кого-то. И обидно было, что красиво разрисованные Козловым хозяева узких переулков, тихоньких домиков, люди, устойчивой жизнью которых Самгин когда-то любовался, теперь ведут себя как равнодушные зрители опасных безумств. Они сидят дома, заперев ворота, заряжая ружья дробью, точно собираясь ворон стрелять, а семидесятилетний старик, вооруженный зонтиком, а слепой фабрикант варенья и конфект вышли на улицу защищать свои верования.

«Негодяи», — ругал Самгин обывателей, смутно чувствуя, что в его обиде на них есть какое-то противоречие. Он вообще чувствовал себя запутанным, разбитым, бессильным.

Вход в улицу, где он жил, преграждали толстые полицейские на толстых лошадях и несколько десятков любопытствующих людей; они казались мелкими, и Самгин нашел в них нечто однообразное, как в арестантах. Какой-то серенький, бритый сказал:

— Вот еще одна Варавкина штучка идет, у-у! Ворота всех домов тоже были заперты, а в окнах квартиры Любомудрова несколько стекол было выбито, и на одном из окон нижнего этажа сорвана ставня. Калитку отперла Самгину нянька Аркадия, на дворе и в саду было пусто, в доме и во флигеле тихо. Саша, заперев калитку, сказала, что доктор уехал к губернатору жаловаться.

— Табаков с ним и еще трое с нашей улицы. У Табакова сына избили. Товарища Корнева тоже…

Не слушая ее, Самгин прошел к себе, разделся, лег, пытаясь не думать, но — думал и видел мысли свои, как пленку пыли на поверхности темной, холодной воды — такая пленка бывает на прудах после ветреных дней. Мысли были мелкие, и это даже не мысли, а мутные пятна человеческих лиц, разные слова, крики, жесты — сор буйного дня. Через некоторое время вверху у доктора затопали, точно танцуя кадриль, и Самгин, чтоб уйти от себя, сегодня особенно тревожно чужого всему, поднялся к Любомудрову. Он ожидал увидеть там по крайней мере пятерых, но было только двое: доктор и Спивак, это они шагали по комнате друг против друга.

— В больницу ты, Лиза, не пойдешь! — кричал доктор, размахивая платком, и, увидав Самгина, махнул платком на него: — Вот он со мной пойдет…

Они оба остановились пред Самгиным — доктор, красный от возбуждения, потный, мигающий, и женщина, бледная, с расширенными глазами.

— Вы знаете, — страшно избит Корнев, — сказала она, а доктор, перебив ее, кричал:

— Нет, — Радеев-то, сукин сын, а? Послушал бы ты, что он говорил губернатору, Иуда! Трусова, ростовщица, и та — честнее! Какой же вы, говорит, правитель, ваше превосходительство! Гимназисток на улице бьют, а вы — что? А он ей — скот! — надеюсь, говорит, что после этого благомыслящие люди поймут, что им надо идти с правительством, а не с жидами, против его, а?

Швырнув платок на пол, доктор закричал Спивак:

— Убеждал я тебя и всех твоих мальчишек: для демонстрации без оружия — не время! Не время… Ну?

— Едете вы в больницу? — строго спросила она.

— Еду!

Доктор, схватив шляпу, бросился вниз, Самгин пошел. за ним, но так как Любомудров не повторил ему приглашения ехать с ним, Самгин прошел в сад, в беседку. Он вдруг подумал, что день Девятого января, несмотря на весь его ужас, может быть менее значителен по смыслу, чем сегодняшняя драка, что вот этот серый день более глубоко задевает лично его.

«Необходимо, чтоб все это кончилось так или иначе, но — скорей, скорей!»

На другой день его настроение окрепло; не могло не окрепнуть, потому что выступление «союзников» возмутило всех благомыслящих людей города. Стало известно, что вчера убито пять человек, и в их числе — гимназист, племянник тюремного инспектора Топоркова, одиннадцать человек тяжко изувечены, лежат в больницах, Корнев — двенадцатый, при смерти, а человек двадцать раненых спрятано по домам. В редакции «Нашего края» выбиты стекла, в типографии поломаны машины, расхищен шрифт. Город с утра сердито заворчал и распахнулся, открылись окна домов, двери, ворота, солидные люди поехали куда-то на собственных лошадях, по улицам зашагали пешеходы с тростями, с палками в руках, нахлобучив шляпы и фуражки на глаза, готовые к бою; но к вечеру пронесся слух, что «союзники» собрались на Старой площади, тяжко избили двух евреев и фельдшерицу Личкус, — улицы снова опустели, окна закрылись, город уныло притих. Около полуночи, сквозь тишину, но как-то не нарушая ее, подъехал к воротам извозчик. Самгин был уверен, что это возвратилась Спивак, и не обратил внимания на шум. Однако минут через пять в дверь к нему постучал заспанный дворник и сказали

— Больного привезли.

— Так — не ко мне же, а к доктору?

— К вам, — неумолимо сказал дворник, человек мрачный и не похожий на крестьянина. Самгин вышел в переднюю, там стоял, прислонясь к стене, кто-то в белой чалме на голове, в бесформенном костюме.

— Простите, Самгин, я — к вам. В больницу — не приняли.

Говорил он медленно, тяжко всхрапывая, и Самгин не сразу узнал в нем Инокова. Приказав дворнику позвать доктора, он повел Инокова в столовую.

— Вы ранены?

— Да. Избит. И ранен, — ответил Иноков, опускаясь на диван.

Пришел доктор в ночной рубахе, в туфлях на босую ногу, снял полотенца с головы Инокова, пощупал пульс, послушал сердце и ворчливо сказал Самгину:

— Н-да… обморок, гм? Позовите Елизавету. И — горничную! Горячей воды. Скорей!

Через час Самгин знал, что у Инокова прострелена рука, кости черепа целы, но в двух местах разорваны черепные покровы.

— И, должно быть, сломаны ребра… — сказал Любомудров, глядя в потолок.

Он ловко обрил волосы на черепе и бороду Инокова, обнажилось неузнаваемо распухшее лицо без глаз, только правый, выглядывая из синеватой щели, блестел

лихорадочно и жутко. Лежал Иноков вытянувшись, точно умерший, хрипел и всхлипывающим голосом произносил непонятные слова; вторя его бреду, шаркал ветер о стены дома, ставни окон.

За столом, пред лампой, сидела Спивак в ночном капоте, редактируя написанный Климом листок «Чего хотят союзники?» Широкие рукава капота мешали ей, она забрасывала их на плечи, говоря вполголоса:

— Вы тут такие ужасы развели, как будто наша цель напугать и обывателей и рабочих…

«Надо уехать в Москву», — думал Самгин, вспоминая свой разговор с Фионой Трусовой, которая покупала этот проклятый дом под общежитие бедных гимназисток. Сильно ожиревшая, с лицом и шеей, налитыми любимым ею бургонским вином, она полупрезрительно и цинично говорила:

— А ты уступи, Клим Иванович! У меня вот в печенке — камни, в почках — песок, меня скоро черти возьмут в кухарки себе, так я у них похлопочу за тебя, ей-ей! А?

Ну, куда тебе, козел в очках, деньги? Вот, гляди, я свои грешные капиталы семнадцать лет всё на девушек трачу, скольких в люди вывела, а ты — что, а? Ты, поди-ка, и на бульвар ни одной не вывел, праведник! Ни одной девицы не совратил, чай?

Говоря, она играла браслетом, сняв его с руки, и в красных пальцах ее золото казалось мягким.

— Странно вы написали, — повторила Спивак, беспощадно действуя карандашом. — Точно эсер… сентиментально.

Самгин молчал, наблюдая за нею, за Сашей, бесшумно вытиравшей лужи окровавленной воды на полу, у дивана, где Иноков хрипел и булькал, захлебываясь бредовыми словами. Самгин думал о Трусовой, о Спивак, Варваре, о Никоновой, вообще — о женщинах.

«Странные существа. Макаров, вероятно, прав. Темные души…»

Спивак поразила его тотчас же, как только вошла. Избитый Иноков нисколько не взволновал ее, она отнеслась к нему, точно к незнакомому. А кончив помогать доктору, селя к столу править листок и сказала спокойно, хотя — со вздохом:

— Вам, пожалуй, придется, писать еще «Чего хотел убитый большевик?» Корнев-то не выживет.

— Едва ли выживет, — проворчал доктор. «Да, темная душа», — повторил Самгин, глядя на голую почти до плеча руку женщины. Неутомимая в работе, она очень завидовала успехам эсеров среди ремесленников, приказчиков, мелких служащих, и в этой ее зависти Самгин видел что-то детское. Вот она говорит доктору, который, следя за карандашом ее, окружил себя густейшим облаком дыма:

— На угрозы губернатора разгонять «всяческие сборища применением оружия» — стиль у них! — кое-где уже расклеены литографированные стишки:

Если будет хуже — яПодтяну вас туже,Применю оружиеДаже против мужа,Даже против Трешера,Мужа Эвелины

и прочее в таком же пошленьком духе. А «Наш край» решено прикрыть…

— Все это — ненадолго, ненадолго, — сказал доктор, разгоняя дым рукой. — Ну-ко, давай, поставим компресс. Боюсь, как левый глаз у него? Вы, Самгин, идите спать, а часа через два-три смените ее…

Самгин ушел к себе, разделся, лег, думая, что и в Москве, судя по письмам жены, по газетам, тоже неспокойно. Забастовки, митинги, собрания, на улицах

участились драки с полицией. Здесь он все-таки притерся к жизни. Спивак относится к нему бережно, хотя и суховато. Она вообще бережет людей и была против демонстрации, организованной Корневым и Вараксиным.

Дождь шуршал листвою все сильнее, настойчивей, но, не побеждая тишины, она чувствовалась за его однотонным шорохом. Самгин почувствовал, что впечатления последних месяцев отрывают его от себя с силою, которой он не может сопротивляться. Хорошо это или плохо? Иногда ему казалось, что — плохо. Гапон, бесспорно, несчастная жертва подчинения действительности, опьянения ею. А вот царь — вне действительности и, наверное, тоже несчастен…

Ему показалось, что он еще не успел уснуть, как доктор уже разбудил его.

— Пожалуйте-ко, сударь. Он там возбужден очень, разговаривает, так вы не поощряйте. Я дал ему успокоительное…

Уже светало; перламутровое, очень высокое небо украшали розоватые облака. Войдя в столовую, Самгин увидал на белой подушке освещенное огнем лампы нечеловечье, точно из камня грубо вырезанное лицо с узкой щелочкой глаза, оно было еще страшнее, чем ночью.

— Вот как… обработали меня, — хрипло сказал Иноков.

— Кто? — спросил Клим тоном исследователя загадочных явлений.

— Корвин, — ответил Иноков, точно не сразу вспомнив имя. — Он и, должно быть, певчие. Четверо. Помолчав, он добавил:

— Какой… испанец, дурак! Сколько времени?

— Седьмой час.

— Убить хотел, негодяй! Стреляет.

— Вам нельзя говорить, — вспомнил Самгин.

— Не буду.

Но, помолчав минуту, Иноков снова захрипел:

— Пожалуй, я его… понимаю! Когда меня выгнали из гимназии, мне очень хотелось убить Ржигу, — помните? — инспектор. Да. И после нередко хотелось… того или другого. Я — не злой, но бывают припадки ненависти к людям. Мучительно это…

Он устало замолчал, а Самгин сел боком к нему, чтоб не видеть эту половинку глаза, похожую на осколок самоцветного камня. Иноков снова начал бормотать что-то о Пуаре, рыбной ловле, потом сказал очень внятно и с силой:

— Ему тоже… не поздоровится!

Самгин провел с ним часа три, и все время Инокова как-то взрывало, помолчит минут пять и снова начинает захлебываться словами, храпеть, кашлять. В десять часов пришла Спивак.

— У меня сидит Лидия Тимофеевна, — сказала она. — Идите к ней.

Клим пошел не очень обрадованный новой встречей с Лидией, но довольный отдохнуть от Инокова.

— Она как будто не совсем здорова, — сказала Спивак вслед ему.

— Я не знала, что ты здесь, — встретила его Лидия. — Я зашла к Елизавете Львовне, и — вдруг она говорит! Я разлюбила дом, знаешь? Да, разлюбила!

В костюме сестры милосердия она показалась Самгину жалостно постаревшей. Серая, худая, она все встряхивала головой, забывая, должно быть, что буйная шапка ее волос связана чепчиком, отчего голова, на длинном теле ее, казалась уродливо большой. Торопливо рассказав, что она едет с двумя родственниками мужа в имение его матери вывозить оттуда какие-то ценные вещи, она воскликнула:

— Мне так хочется видеть дом, где родился Антон, где прошло его детство. Налить тебе кофе?

Но кофе она не налила, а, вместе со стулом подвинувшись к Самгину, наклонясь к нему, стала с ужасом в глазах рассказывать почему-то вполголоса и оглядываясь:

— Ты, конечно, знаешь: в деревнях очень беспокойно, возвратились солдаты из Маньчжурии и бунтуют, бунтуют! Это — между нами, Клим, но ведь они бежали, да, да! О, это был ужас! Дядя покойника мужа, — она трижды, быстро перекрестила грудь, — генерал, участник турецкой войны, георгиевский кавалер, — плакал! Плачет и все говорит: разве это возможно было бы при Скобелеве, Суворове?

Заговорив громче, она впала в тон жалобный, лицо ее подергивали судороги, и ужас в темных глазах сгущался.

— Это — невероятно! — выкрикивала и шептала она. — Такое бешенство, такой стихийный страх не доехать до своих деревень! Я сама видела все это. Как будто забыли дорогу на родину или не помнят — где родина? Милый Клим, я видела, как рыжий солдат топтал каблуками детскую куклу, знаешь — такую тряпичную, дешевую. Топтал и бил прикладом винтовки, а из куклы сыпалось... это, как это?

— Опилки, — подсказал Самгин.

— Вот! Опилки. И я уверена, что, если б это был живой ребенок, он и — его!

Схватившись за голову, она растерянно вскочила и, бегая по комнате, выкрикнула:

— О, какой страшный, какой несчастный народ! Ее жалобы, испуг, нервозность не трогали Самгина, удивляя его. Такой разбитой он не мог бы представить себе ее.

«Ей идет вдовство. Впрочем, она была бы и старой девой тоже совершенной», — подумал он, глядя, как Ли- дня, плутая по комнате, на ходу касается вещей так, точно пробует: горячи они или холодны? Несколько успокоясь, она говорила снова вполголоса:

— Все ждут: будет революция. Не могу понять — что же это будет? Наш полковой священник говорит, что революция — от бессилия жить, а бессилие — от безбожия. Он очень строгой жизни и постригается в монахи. Мир во власти дьявола, говорит он.

Самгин вспоминал, как она по ночам, удовлетворив его чувственность, начинала истязать его нелепейшими вопросами. Вспомнил ее письма.

«Неужели забыла она все это? Почему же я не могу забыть?» — с грустью, но и со злобой спрашивал он себя.

— Да! — знаешь, кого я встретила? Марину. Она тоже вдова, давно уже. Ах, Клим, какая она! Огромная, красивая и... торгует церковной утварью! Впрочем — это мелочь. Она — удивительна! Торговля — это ширма. Я не могу рассказать тебе о ней всего, — наш поезд идет в двенадцать тридцать две.

— Тебе не надо ли денег? — спросил Клим.

— Денег? Каких? Зачем? — очень удивилась она

— Деньги отца, — напомнил Самгин.

— Нет, не надо. Они — в банке? Пусть лежат. Муж оставил мне все, что имел.

Она стояла пред ним так близко, что, протянув руки, Самгин мог бы обнять ее, именно об этом он и подумал.

— Я, кажется, постыдно богата, — говорила она, некрасиво улыбаясь, играя старинной цепочкой часов. — Если тебе нужны деньги, бери, пожалуйста!

Самгин, уже неприязненно, сказал, что денег ему не нужно.

— В январе ты получишь подробный отчет по ликвидации предприятий отца, — добавил он деловым тоном.

— Да, вот — отец, всю жизнь бешено работал и — ликвидация! Как все это… странно!

Она опустилась в кресло и с минуту молчала, разглядывая Самгина с неопределенной улыбкой на губах, а темные глаза ее не улыбались. Потом снова начала чадить словами, точно головня горьким дымом.

— Знаешь, эти маленькие японцы действительно — язычники, они стыдятся страдать. Я говорю о раненых, о пленных. И — они презирают нас. Мы проиграли нашу игру на Востоке, Клим, проиграли! Это — общее мнение. Нам совершенно необходимо снова воевать там, чтоб поднять престиж.

А еще через пять минут она горячо рассказала:

— В Москве я видела Алину — великолепна! У нее с Макаровым что-то похожее на роман; платонический, — говорит она. Мне жалко Макарова, он так много обещал и — такой пустоцвет! Эта грешница Алина… Зачем она ему?

«Кажется, она кончит ханжеством, — думал Самгин, хотя подозревал в словах ее фальшь. — о Рассказать ей Туробоеве?»

Решил не рассказывать, это затянуло бы свидание. Кстати пришла Спивак, очень нахмуренная.

— Инокову хуже? — спросил Клим. Спивак ответила:

— Нет.

— Иноков! — вскричала Лидия. — Это — тот? Да? Он — здесь? Я его видела по дороге из Сибири, он был матросом на пароходе, на котором я ехала по Каме. Странный человек…

Затем она попросила Спивак показать ей сына, но Аркадий с нянькой ушел гулять. Тогда Лидия, взглянув на часы, сказала, что ей пора на вокзал.

Проводив ее, чувствуя себя больным от этой встречи, не желая идти домой, где пришлось бы снова сидеть около Инокова, — Самгин пошел в поле. Шел по тихим улицам и думал, что не скоро вернется в этот город, может быть — никогда. День был тихий, ясный, небо чисто вымыто ночным дождем, воздух живительно свеж, рыжеватый плюш дерна источал вкусный запах.

«Слишком много событий, — думал Самгин, отдыхая в тишине поля. — Это не может длиться бесконечно. Люди скоро устанут, пожелают отдыха, покоя».

Но ему отдохнуть не пришлось.

Проходя мимо лагерей, он увидал над гребнем ямы от солдатской палатки характерное лицо Ивана Дронова, расширенное неприятной, заигрывающей улыбкой. Голова Дронова обнажена, и встрепанные волосы почти одного цвета с жухлым дерном. На десяток шагов дальше от нее она была бы неразличима.

Самгин прикоснулся рукою к шляпе и хотел пройти мимо, но Дронов закричал:

— Подожди минуту!

И — засмеялся, вылезая из ямы.

На нем незастегнутое пальто, в одной руке он держал шляпу, в другой — бутылку водки. Судя по мутным глазам, он сильно выпил, но его кривые ноги шагали твердо.

— Это — счастливо, — говорил он, идя рядом. — А я думал: с кем бы поболтать? О вас я не думал. Это — слишком высоко для меня. Но уж если вы — пусть будит так!

Он сунул бутылку в карман пиджака, надел шляпу, а пальто сбросил с плеч и перекинул через руку.

— Что вы хотите? В чем дело? — строго спросил Самгин, — мускулистая рука Дронова подхватила его руку и крепко прижала ее.

— Хочу, чтоб ты меня устроил в Москве. Я тебе писал об этом не раз, ты — не ответил. Почему? Ну — ладно! Вот что, — плюнув под ноги себе, продолжал он. — Я не могу жить тут. Не могу, потому что чувствую за собой право жить подло. Понимаешь? А жить подло — не сезон. Человек, — он ударил себя кулаком в грудь, — человек дожил до того, что начинает чувствовать себя вправе быть подлецом. А я — не хочу! Может быть, я уже подлец, но — больше не хочу… Ясно?

— Не ожидал я, что ты пьешь… не знал, — сказал Самгин. Дронов вынул из кармана бутылку и помахал ею пред лицом его, — бутылка была полная, в ней не хватало, может быть, глотка. Дронов размахнулся и бросил ее далеко от себя, бутылка звонко взорвалась.

— Устроить тебя в Москве, — начал Самгин, несколько сконфуженно и наблюдая искоса за покрасневшей щекой спутника, за его остреньким, беспокойным глазом.

— Должен! Ты — революционер, живешь для будущего, защитник народа и прочее… Это — не отговорка. Ерунда! Ты вот в настоящем помоги человеку. Сейчас!

Шагая медленно, придерживая Самгина и увлекая его дальше в пустоту поля, Дронов заговорил визгливее, злей.

— Я здесь — все знаю, всех людей, всю их жизнь, все накожные муки. Я знаю больше всех социологов, критиков, мусорщиков. Меня судьба употребляет именно как мешок для сбора всякой дряни. Что ты вздрогнул, а? Что ты так смотришь? Презираешь? Ну, а ты — для чего? Ты — холостой патрон, галок пугать, вот что ты!

Самгин стал вслушиваться внимательней и пошел в ногу с Дроновым, а тот говорил едко и горячо.

— Твои статейки, рецензии — солома! А я — талантлив!

Он остановился, указывая рукою вдаль, налево, на вспухшее среди поля красное здание казармы артиллеристов и старые, екатерининские березы по- краям шоссе в Москву.

— Казарма — чирей на земле, фурункул, — видишь? Дерево — фонтан, оно бьет из земли толстой струёй и рассыпает в воздухе капли жидкого золота. Ты этого не видишь, я — вижу. Что?

— Дерево — фонтан, это не тобой выдумано, — машинально сказал Самгин, думая о другом. Он был крайне изумлен тем, что Дронов может говорить так, как говорит, до того изумлен, что слова Дронова не оскорбляли его. Вместе с изумлением он испытывал еще какое-то чувство; оно связывало его с этим человеком очень неприятно. Самгин оглянулся; поле было безлюдно, лишь далеко, по шоссе,

бежала пара игрушечных лошадей, бесшумно катился почтовый возок. Синеватый осенний воздух был так прозрачен, что все в поле приняло отчетливость тончайшего рисунка искусным пером.

— Не мной? Докажи! — кричал Дронов, шершавая кожа на лице его покраснела, как скорлупа вареного рака, на небритом подбородке шевелились рыжеватые иголки, он махал рукою пред лицом своим, точно черпая горстью воздух и набивая его в рот. Самгин попробовал шутить.

— Ты напал на меня, точно разбойник… Но Дронов не услышал шутки.

— Я — знаю, ты меня презираешь. За что? За то, что я недоучка? Врешь, я знаю самое настоящее — пакости мелких чертей, подлинную, неодолимую жизнь. И чорт вас всех возьми со всеми вашими революциями, со всем этим маскарадом самомнения, ничего вы не знаете, не можете, не сделаете — вы, такие вот сухари с миндалем!..

Он сильно толкнул Самгина в бок и остановился, глядя в землю, как бы собираясь сесть. Пытаясь определить неприятнейшее чувство, которое все росло, сближало с Дроновым и уже почти пугало Самгина, он пробормотал;

— Ты, Иван, анархизирован твоей… профессией!

— Жизнью, а не профессией, — вскрикнул Дронов. — Людями, — прибавил он, снова шагая к лесу. — Тебе, в тюрьму, приносили обед из ресторана, а я кормился гадостью из арестантского котла. Мог и я из ресторана, но ел гадость, чтоб вам было стыдно. Не заметили? — усмехнулся он. — На прогулках тоже не замечали.

— За что ты был арестован? — спросил Самгин, чтоб отвлечь его другой темой.

— В связи с убийством полковника Васильева, — идиотство! — Дронов замолчал, точно задохнулся, и затем потише, вспоминающим тоном, продолжал, кривя лицо: — Полковник! Он меня весной арестовал, продержал в тюрьме одиннадцать дней, затем вызвал к себе, — извиняется: ошибка! — Остановясь, Дронов заглянул в лицо Клима и, дернув его вперед, пошел быстрее. — Ошибка? Нет, он хотел познакомиться со мной… не с личностью, нет, а — с моей осведомленностью, понимаешь? Он был глуп, но почувствовал, что я способен на подлость.

Самгин, отвернувшись в сторону, пробормотал:

— Они, кажется, всем предлагают… служить у них…-

— Нет! — крикнул Дронов. — Честному человеку — не предложат! Тебе — предлагали? Ага! То-то! Нет, он знал, с кем говорит, когда говорил со мной, негодяй! Он почувствовал: человек обозлен, ну и… попробовал. Поторопился, дурак! Я, может быть, сам предложил бы…

— Перестань, — сказал Самгин и снова попробовал отвести Ивана в сторону от этой темы: — Это не ты застрелил его?

Спросил он, совершенно не веря возможности того, о чем спрашивал, и вдруг инстинктивно стал вытаскивать руку, крепко прижатую Дроновым, но вытащить не мог, Дронов, как бы не замечая его усилий, не освобождал руку.

— Разве я похож на террориста? Такой ничтожный — похож? — спросил он, хихикнув скверненько.

— Странный вопрос, — пробормотал Самгин, вспоминая, что местные эсеры не отозвались на убийство жандарма, а какой-то семинарист и двое рабочих, арестованные по этому делу, вскоре были освобождены.

— Нет, — говорил Дронов. — Я — не Балмашев, не Сазонов, даже и в Кочуры не гожусь. Я просто — Дронов, человек не исторический… бездомный человек: не

прикрепленный ни к чему. Понимаешь? Никчемный, как говорится.

— Анархист, — снова сказал Самгин, чувствуя, как слова Ивана все более неприятно звучат.

— И, если сказать тебе, что я застрелил, ведь — не поверишь?

— Не поверю, — повторил Самгин, искоса заглядывая в его лицо.

Дронов, трясясь в припадке смеха, выпустив его руку и отсмеявшись, сказал:

— У моих знакомых сын, благонравный мальчишка, полгода деньги мелкие воровал, а они прислугу подозревали…

«Похоже на косвенное признание», — сообразил Самгин и спросил: — При каких обстоятельствах его убили?

Дронов круто повернул назад, к городу, и не сразу, трезво, даже нехотя рассказал:

— Говорят: вышел он от одной дамы, — у него тут роман был, — а откуда-то выскочил скромный герой — бац его в упор, а затем — бац в ногу или в морду лошади, которая ожидала его, вот и все! Говорят, — он был бабник, в Москве у него будто бы партийная любовница была.

— Кто может знать это? — пробормотал Самгин, убедясь, что действительно бывает ощущение укола в сердце…

— Полиция. Полицейские не любят жандармов, — говорил Дронов все так же неохотно и поплевывая в сторону. — А я с полицейскими в дружбе. Особенно с одним, такая протобестия!

Он снова начал о том, как тяжело ему в городе. Над полем, сжимая его, уже густел синий сумрак, город покрывали огненные облака, звучал благовест ко всенощной. Самгин, сняв очки, протирал их, хотя они в этом не нуждались, и видел пред собою простую, покорную, нежную женщину. «Какой ты не русский, — печально говорит она, прижимаясь к нему. — Мечты нет у тебя, лирики нет, все рассуждаешь».

«Возможно, что она и была любовницей Васильева», — подумал он и спросил: — Ты, конечно, понимаешь, как важно было бы узнать, кто эта женщина?

— Какая? — удивился Дронов. — Ах, эта! Понимаю. Но ведь дело давнее.

Самгину было уже совершенно безразлично — убил или не убивал Дронов полковника, это случилось где-то в далеком прошлом.

— Не забудь! — говорил Дронов, прощаясь с ним на углу какого-то подозрительно тихого переулка. — Не торопись презирать меня, — говорил он, усмехаясь. — У меня, брат, к тебе есть эдакое чувство… близости, сродства, что ли…

«Опасный негодяй, — думал Самгин, со всею силою злости, на какую был способен. — Чувство сродства… ничтожество!»

«Но ведь это еще хуже, если ничтожество, хуже», — кричал темнолицый больной офицер.

«Нет, — до чего же анархизирует людей эта жизнь! Действительно нужна какая-то устрашающая сила, которая поставила бы всех людей на колени, как они стояли на Дворцовой площади пред этим ничтожным царем. Его бессилие губит страну, развращает людей, выдвигая вождями трусливых попов».

Никогда еще Самгин не чувствовал себя так озлобленным и настолько глубоко понимающим грязный ужас действительности. Дома Спивак сказала ему очень просто:

— Умер Корнев. Можете написать листок? Он едва удержался, чтоб не сказать: «С наслаждением».

Но, когда он принес ей листок, она, прочитав, вздохнула:

— Нет, это не годится. Критическая часть, пожалуй, удалась, а все остальное — не то, что надо. Попробую сама.

Когда он уходил, она сказала:

— Говорят, Корвин тоже умер.

Это оказалось правдой: утром в «Губернских ведомостях» Самгин прочитал высокопарно написанный некролог «скончавшегося от многих ран, нанесенных безумцами *в* день, когда сей муж, верный богу и царю, славословил, во главе тысяч»…

«Тысячи — ложь».

Но и рассказ Инокова о том, что в него стрелял регент, очевидно, бред. Захотелось подробно расспросить Инокова: как это было? Он пошел в столовую, там, в сумраке, летали и гудели тяжелые, осенние мухи; сидела, сматывая бинты, толстая сестра милосердия.

— Тише, — зашипела она. Иноков, в углу на диване, не пошевелился. Доктор решительно запретил говорить с Иноковым:

— У него начинается что-то мозговое…

А когда Самгин начал рассказывать ему про отношения Инокова и Корвина, он отмахнулся рукой, проворчав:

— Знаю. Это — не мое дело. А вот союзники, вероятно, завтра снова устроят погромчик в связи с похоронами регента… Пойду убеждать Лизу, чтоб она с Аркадием сегодня же перебралась куда-нибудь из дома.

Возможность новой манифестации союзников настроила Самгина мрачно.

Подумав над этим, он направился к Трусовой, уступил ей в цене дома и, принимая из пухлых рук ее задаток, пачку измятых бумажек, подумал, не без печали:

«Так кончилось «завоевание Плассана» Тимофеем Варавкой».

Возвратясь домой, он увидал у ворот полицейского, на крыльце дома — другого; оказалось, что полиция желала арестовать Инокова, но доктор воспротивился этому; сейчас приедут полицейский врач и судебный следователь для проверки показаний доктора и допроса Инокова, буде он окажется в силах дать показание по обвинению его «в нанесении тяжких увечий, последствием коих была смерть».

— Врут, сукины дети! — бунтовал доктор Любомудров, стоя пред зеркалом и завязывая галстук с такой энергией, точно пытался перервать горло себе.

— А я, к сожалению, должен сегодня же ехать в Москву, — сказал Самгин.

— Ну, и поезжайте, — разрешил доктор. — А Лиза поехала к губернатору. Упряма, как… коза. Как верблюд… да!

Самгин пошел укладываться.

И вот он — дома. Жена, клюнув его горячим носом в щеку, осыпала дождем обиженных слов.

— Почему не телеграфировал? Так делают только ревнивые мужья в водевилях. Ты вел себя эти месяца так, точно мы развелись, на письма не отвечал — как это

понять? Такое безумное время, я — одна…

От ее невыносимо пестрого халата, от распущенных по спине волос исходил запах каких-то новых, очень крепких духов.

«Стареет и уже не надеется на себя», — подумал Самгин, а она, разглядывая его, воскликнула тихо и с грустью, кажется, искренней:

— Как у тебя поседели виски!

— И ты не помолодела.

— Я — не одета, — объяснила она.

Потом пили кофе. В голове Самгина еще гудел железный шум поезда, холодный треск пролеток извозчиков, многообразный шум огромного города, в глазах мелькали ртутные капли дождя. Он разглядывал желтоватое лицо чужой женщины, мутно зеленые глаза ее и думал:

«Должно быть, провела бурную ночь».

Думал и, чувствуя, как в нем возникает злоба, говорил:

— Да, неизбежно восстание. Надо, чтоб люди испугались той вражды, которая назрела в них, чтоб она обнажилась до конца и — ужаснула.

Говорил он минут десять непрерывно и, замолчав, почувствовал себя физически истощенным, как после длительной рвоты.

— Боже мой, какие у тебя нервы! — тихо сказала Варвара. — Но — как замечательно ты говоришь… «Я говорил, точно с Никоновой», — подумал он.

— Совершенно изумительно! Я убеждена, что твоя карьера в суде. Ты был бы знаменитым прокурором. — Улыбаясь, она добавила: — Ты говорил так… мстительно, как будто это я виновата в том, что будет революция. Здесь — бог знает что творится, — продолжала она, вздохнув. — Все спрашивают друг друга: когда и чем кончится все это? Масса анекдотов, невероятных слухов. Приехала Сомова, она точно в бреду, как, впрочем, многие. Она с Гогиной собирает деньги на вооружение рабочих, представь! Так и говорят: на вооружение. Хотя все покупают револьверы. Явился Митрофанов, он — снова без места, такой несчастный, виноватый. И уж не говорит, только все крякает.

После полудня к Варваре стали забегать незнакомые Самгину разносчики потрясающих новостей. Они именно вбегали и не садились на стулья, а бросались, падали на них, не щадя ни себя, ни мебели.

— Вы слышали? Вы знаете? — И сообщали о забастовках, о погроме помещичьих усадьб, столкновениях с полицией. Варвара рассказала Самгину, что кружок дам организует помощь детям забастовщиков, вдовам и сиротам убитых.

— Тут, знаешь, убивали, — сказала она очень оживленно. В зеленоватом шерстяном платье, с волосами, начесанными на уши, с напудренным носом, она не стала привлекательнее, но оживление все-таки прикрашивало ее. Самгин видел, что это она понимает и ей нравится быть в центре чего-то. Но он хорошо чувствовал за радостью жены и ее гостей — страх.

Пришел длинный и длинноволосый молодой человек с шишкой на лбу, с красным, пышным галстуком на тонкой шее; галстук, закрывая подбородок, сокращал, а пряди темных, прямых волос уродливо суживали это странно-желтое лицо, на котором широкий нос казался чужим. Глаза у него были небольшие, кругленькие, говоря, он сладостно мигал и улыбался снисходительно.

— Брагин, — назвал он себя Климу, пощупав руку его очень холодными пальцами, осторожно, плотно сел на стул и пророчески посоветовал:

— Скажите: слава богу, мы пришли к началу конца! Закинув голову и как бы читая написанное на потолке, он, басовито и непререкаемо, сообщил:

— Рабочими руководит некто Марат, его настоящее имя — Лев Никифоров, он беглый с каторги, личность невероятной энергии, характер диктатора; на щеке и на шее у него большое родимое пятно. Вчера, на одном конспиративном собрании, я слышал его — говорит великолепно.

— А правда, что все они подкуплены японцами? — не очень решительно спросила толстая дама в золотых очках.

— Слухи о подкупе японцев — выдумка монархистов, — строго ответил Брагин. — Кстати: мне точно известно, что, если б не эти забастовки и не стремление Витте на пост президента республики, — Куропаткин разбил бы японцев наголову. Наголову, — внушительно повторил он и затем рассказал еще целый ряд новостей, не менее интересных.

— Удивительно осведомлен, — шепнула Варвара Самгину.

Самгин видел, что Брагин напыщенно глуп да и все в доме, начиная с Варвары, глупо.

«Как, вероятно, в сотнях домов», — подумал он.

Вечером стало еще глупее — в гостиную ввалился человек табачного цвета, большой, краснолицый, сияющий;

— Максим Р-ряхин, — сказал он о себе. Он был широкоплечий, малоголовый, с коротким туловищем на длинных, тонких ногах, с животом, как самовар. Его круглое, тугое лицо украшали светленькие, тщательно подстриженные усы, глубоко посаженные синенькие и веселые глазки, толстый нос и большие, лиловые губы. Все в нем не согласовалось, спорило, и особенно назойливо лез в глаза его маленький, узколобый череп, скудно покрытый светлыми волосами, вытянутый к затылку. Ступни его ног, в рыжих суконных ботинках на пуговицах, заставили Самгина вспомнить огромные, устойчивые ступни Витте, уже прозванного графом Сахалинским. Растягивая звук «о», Ряхин говорил:

— Я — оптимист. В России это самое лучшее — быть оптимистом, этому нас учит вся история. Не надо нервничать, как евреи. Ну, пусть немножко пошумят, поозорничают. Потом их будут пороть. Помните, как Оболенский в Харькове, в Полтаве порол?

В три приема проглотив стакан чая, он рассказал, гладя колени свои ладонями рук, слишком коротких в сравнении с его туловищем:

— В Полтавской губернии приходят мужики громить имение. Человек пятьсот. Не свои — чужие; свои живут, как у Христа за пазухой. Ну вот, пришли, шумят, конечно. Выходит и ним старик и говорит: «Цыцте!» — это по-русски значит: тише! — «Цыцте, Сергий Михайлович — сплять!» — то есть — спят. Ну-с, мужики замолчали, потоптались и ушли! Факт, — закончил он квакающим звуком успокоительный рассказ свой.

«Какой осел», — думал Самгин, покручивая бородку, наблюдая рассказчика. Видя, что жена тает в улыбках, восхищаясь как будто рассказчиком, а не анекдотом, он внезапно ощутил желание стукнуть Ряхина кулаком по лбу и резко спросил:

— Вы — что же? — не верите сообщениям прессы о крестьянских погромах?

— Политика! — ответил Ряхин, подмигнув веселым глазком. — Необходимо припугнуть реакционеров. Если правительство хочет, чтоб ему помогли, — надобно дать нам более широкие права. И оно — даст! — ответил Ряхин, внимательно очищая грушу, и начал рассказывать новый успокоительный анекдот.

Поняв, что человек этот ставит целью себе «вносить успокоение в общество», Самгин ушел в кабинет, но не успел еще решить, что ему делать с собою, — явилась жена.

— Он тебе не понравился? — ласково спросила она, гладя плечо Клима. — А я очень ценю его жизнерадостность. Он — очень богат, член правления бумажной фабрики и нужен мне. Сейчас я должна ехать с ним на одно собрание.

Поцеловав Клима, она добавила:

— Не умный, но — замечательный! Ананасные дыни у себя выращивает.

Дыни рассмешили ее, и, хихикнув, она исчезла.

Самгин чувствовал себя человеком, который случайно попал за кулисы театра, в среду третьестепенных актеров, которые не заняты в драме, разыгрываемой на сцене, и не понимают ее значения. Глядя на свое отражение в зеркале, на сухую фигурку, сероватое, угнетенное лицо, он вспомнил фразу из какого-то французского романа:

«Изысканное мучительство жизни».

Закурил папиросу и стал пускать струи дыма в зеркало, сизоватый дым на секунды стирал лицо и, кудряво расползаясь по стеклу, снова показывал мертвые кружочки очков, хрящеватый нос, тонкие губы и острую кисточку темненькой бороды.

— Ну, что? — спросил Самгин и, вздрогнув, оглянулся; было неприятно, что спросил он вслух, довольно громко и с озлоблением.

«Это уж похоже на неврастению», — опасливо подумал он, отходя от зеркала, и вспомнил, что вспышки злого недовольства собою все чаще пугают его.

Он оделся и, как бы уходя от себя, пошел гулять. Показалось, что город освещен празднично, слишком много было огней в окнах и народа на улицах много. Но одиноких прохожих почти нет, люди шли группами, говор звучал сильнее, чем обычно, жесты — размашистей; создавалось впечатление, что люди идут откуда-то, где любовались необыкновенно возбуждающим зрелищем.

Обгоняя прохожих, Самгин ловил фразы, звучавшие довольно благоразумно.

— Ну, что же? Прекратится подвоз провизии…

— Лавочники выиграют.

— Вы — против забастовки?

— Я — за единодушие! Забастовка может вызвать недовольство общества…

В полосах света из магазинов слова звучали как будто тише, а в тени — яснее, храбрее.

— В Калужской губернии семнадцать усадьб сожжено…

Колокола бесчисленных церквей призывали ко всенощной как-то необычно тревожно; извозчики похлестывали лошадей более усердно, чем всегда.

«Извозчики — самый спокойный народ», — вспомнил Самгин. Ему загородил дорогу человек в распахнутой шубе, в мохнатой шапке, он вел под руки двух женщин и сочно рассказывал:

— Социал-демократы — политические подростки. Я знаю всех этих Маратов, Бауманов, — крикуны! Крестьянский союз — вот кто будет делать историю…

Самгин решил зайти к Гогиным, там должны всё знать. Там было тесно, как на

вокзале пред отходом поезда, он с трудом протискался сквозь толпу барышень, студентов из прихожей в зал, и его тотчас ударил по ушам тяжелый, точно в рупор кричавший голос:

— Из того, что либералы высказались против булыгинской Думы, вы уже создаете какую-то теорию необходимости политического сводничества.

Разноголосо, но одинаково свирепо закричали:

— Ложь!

— К порядку!

— Стыдно!

— Товар-рищи — к порядку!

Перед Самгиным стоял Редозубов, внушая своему соседу вполголоса:

— Видишь, Ефим, — без хозяина решают. Кроме тебя — нет ни одного мужика!

Шум превратился в глухой ропот, а его покрыл осипший голос:

— Буржуазия есть буржуазия, и ничем иным она не может быть…

— Это — Марат?

— Кажется — он.

— Мы обязаны развернуть забастовку во всеобщую… Мешая слушать, Редозубов бормотал:

— Какие у них рабочие? Нет у них рабочих! В зале снова разгорались крики:

— Хвастовство!

— У вас нет сил овладеть движением!

— Девятое января доказало…

— Ваше бессилие!

— А — в Одессе, во дни «Потемкина»?

Было странно, что, несмотря на нетерпеливый, враждебный шум, осипший голос все-таки доносился, как доносится характерный звук пилы сквозь храп рубанков, удары топоров.

— Не удастся вам загрести руками рабочих жар в свои пазухи…

Кто-то пронзительно закричал:

— Мы, интеллигенция, — фермент, который должен соединить рабочих и крестьян в одну силу, а не… а не тратить наши силы на разногласия…

В углу зала поднялся, точно вполз по стене, опираясь на нее спиною, гладко остриженный, круглоголовый человек в пиджаке с золотыми пуговицами и закричал:

— Я уверен, что Союз союзов выскажется за всеобщую…

Что-то резко треснуло, заскрипело, и оратор исчез, взмахнув руками; его падение заглушилось одобрительными криками, смехом, а Самгин стал пробиваться к двери.

В том, что говорили у Гогиных, он не услышал ничего нового для себя, — обычная разноголосица среди людей, каждый из которых боится порвать свою веревочку, изменить своей «системе фраз». Он привык думать, что хотя эти люди строят мнения на фактах, но для того, чтоб не считаться с фактами. В конце концов жизнь творят не бунтовщики, а те, кто в эпохи смут накопляют силы для жизни мирной. Придя домой, он записал свои мысли, лег спать, а утром Анфимьевна, в платье цвета ржавого железа, подавая ему кофе, сказала:

— Свежих булок нет, забастовали булочники-то. Он промолчал.

— И трамвашки тоже, — настойчиво досказала старуха.

— Да?

— И газет, видно, нету.

— Вот как.

Тогда Анфимьевна, упираясь руками в бедра, спросила басовито и недовольно:

— Что же, Клим Иванович, долго еще царь торговаться будет?

— Не знаю, — сказал Самгин, натянуто улыбаясь.

— Пора бы уступить. Ведь, кроме нашего повара, весь народ против его.

— А что же повар? — шутя осведомился Клим, но старуха, отойдя к буфету, сердито проворчала:

— Даже городовые сомневаются. Вчера, слышь, народ в Грузинах разгоняли, опять дрались, били городовых-то. У Нижегородского вокзала тоже! Эхма…

Самгин посмотрел на ее широкую, согнувшуюся спину, на большие, изработанные, уже дрожащие руки и, подумав: «Умрет скоро», — спросил:

— Кому же может уступить царь?

— Ну, чать, у нас есть умные-то люди, не всех в Сибирь загнали! Вот хоть бы тебя взять. Да мало ли…

Ушла, пошатываясь, такой уродливый, чугунный монумент.

Не дожидаясь, когда встанет жена, Самгин пошел к дантисту. День был хороший, в небе цвело серебряное солнце, похожее на хризантему; в воздухе играл звон колоколов, из церквей, от поздней обедни, выходил дородный московский народ.

Но скоро Самгин приметил, что этот праздничный народ теряется среди напудренных булочников, серолицых наборщиков, трамвайных и железнодорожных рабочих. Они десятками появлялись из всех переулков и шли не шумно, приглядываясь ко всему, рассматривая здания, магазины, как чужие люди; точно впервые посетив город, изучали его. Чем ближе к Тверской, тем гуще смыкались эти люди, вызывая у Самгина впечатление веселой, но сдержанной властности. Толпа шла, добродушно посмеиваясь, пошучивая, приглядываясь, и, очень легко всасывая людей несродных, увлекала их с собою. Самгин видел, как ода поглощала людей в дорогих шубах, гимназистов, благообразное, чистенькое мещанство, словоохотливых интеллигентов, шумные группы студенчества, нарядных и скромно одетых женщин, девиц. Видел, что эта пестрота, легко и не нарушая единодушного настроения, тает в толпе. Себя он не чувствовал увлекаемым, толпа двигалась в направлении к Тверской, ему нужно было туда же, к Страстной площади.

Из какого-то переулка выехали шестеро конных городовых, они очутились в центре толпы и поплыли вместе с нею, покачиваясь в седлах, нерешительно взмахивая нагайками. Две-три минуты они ехали мирно, а затем вдруг вспыхнул оглушительный свист, вой; маленький человек впереди Самгина, хватая за плечи

соседей, подпрыгивал и орал:

— Гоните их прочь, шестиногих сволочей! Лошади конников сбились в кучу и, однообразно взмахивая головами, начали подпрыгивать, всадники тоже однообразно замахали нагайками, раскачиваясь взад и вперед, движения их были тяжелы и механичны, как движения заводных игрушек; пронзительный голос неистово спрашивал:

— За что, а? За что?

Раздалось несколько шлепков, похожих на удары палками по воде, и тотчас сотни голосов яростно и густо заревели; рев этот был еще незнаком Самгину, стихийно силен, он как бы исходил из открытых дверей церкви, со дворов, от стен домов, из-под земли. Самгин видел десятки рук, поднятых вверх, дергавших лошадей за повода, солдат за руки, за шинели, одного тащили за ноги с обоих боков лошади, это удерживало его в седле, он кричал, страшно вытаращив глаза, свернув голову направо; еще один, наклонясь вперед, вцепился в гриву своей лошади, и ее вели куда-то, а четверых солдат уже не было видно.

Высокий, беловолосый человек, встряхивая головою, брызгал кровью на плечо себе и все спрашивал:

— За что?

Все это было не страшно, но, когда крик и свист примолкли, стало страшней. Кто-то заговорил певуче, как бы читая псалтырь над покойником, и этот голос, укрощая шум, создал тишину, от которой и стало страшно. Десятки глаз разглядывали полицейского, сидевшего на лошади, как существо необыкновенное, невиданное. Молодой парень, без шапки, черноволосый, сорвал шашку с городового, вытащил клинок из ножен и, деловито переломив его на колене, бросил под ноги лошади.

— Пожалуй — убьют, — сказали за плечом Самгина, другой голос равнодушно посоветовал:

— Шашкой-то и убить бы.

Свалив солдата с лошади, точно мешок, его повели сквозь толпу, он оседал к земле, неслышно кричал, шевеля волосатым ртом, лицо у него было синее, как лед, и таяло, он плакал. Рядом с Климом стоял человек в куртке, замазанной красками, он был выше на голову, его жесткая борода холодно щекотала ухо Самгина.

— Взяли они это глупое обыкновение нагайками хлестать, — солидно говорил он; лицо у него было сухое, суздальское, каких много, а куртка на нем — пальто, полы которого обрезаны.

Солдата вывели на панель, поставили, как доску, к стене дома, темная рука надела на голову его шапку, но солдат, сняв шапку, вытер ею лицо и сунул ее под мышку.

«Не убили, — подумал Самгин, облегченно вздохнув. — Должно быть, потому, что тесно. И много чужих людей».

Он понимал, что думает глупо. Но он пережил минуту острейшего напряженного ожидания убийства, а теперь в нем вдруг вспыхнуло чувство, похожее на благодарность, на уважение к людям, которые могли убить, но не убили; это чувство смущало своею новизной, и, боясь какой-то ошибки, Самгин хотел понизить его. Он зорко присматривался к лицам людей, — лица такие же, как у тех, что три года тому назад шагали не торопясь в Кремль к памятнику Александра Второго, да, лица те же, но люди — другие. Не похожи они и на рабочих, которые шли за Гапоном к Николаю Второму. Невозможно было понять: за кем и зачем идут эти? Идут тоже не торопясь, как-то по-деревенски, с развальцем, без красных флагов, без попыток петь революционные песни. И — нет ни одного Корнева, хотя интеллигентов — немало. Они, как «объясняющие господа», должны бы идти во

главе рабочих, но они вкраплены везде в массу толпы, точно зерна мака на корке булки. Один из них, впереди Самгина, со спины похожий на Гусарова, громко проповедует:

— Когда рабочий класс поймет до конца решающее значение своего труда…

А сбоку молодой парень с курчавыми усами, с забинтованной головой кричит человеку в пиджаке, измазанном красками:

— Да — перестань! Что ты — милостыню просить идешь?

— Не сердись, Яшук…

«Может быть, это и есть «начало конца»?» — спросил себя Клим Самгин.

Передние ряды, должно быть, наткнулись на что-то, и по толпе пробежала волна от удара, люди замедлили шаг, попятились.

— Что там? Не пускают? Полиция, что ли?

— Вперед, ребята, вперед! — раздались очень бодрые и даже строгие окрики. — Товарищи, — вперед!

— Казачишки.

— Бьют?

— Не видать.

Раздалось несколько крепких ругательств, толпа единодушно рванулась вперед, и Самгин увидел довольно плотный частокол казацких голов; головы были мелкие, почти каждую украшал вихор, лихо загнутый на красный околыш фуражки; эти вихры придавали красненьким мордочкам казаков какое-то несерьезное однообразие; лошади были тоже мелкие, мохнатенькие, и вместе с казаками они возобновили у Самгина впечатление игрушечности. Горбоносый казацкий офицер, поставив коня своего боком к фронту и наклонясь, слушал большого, толстого полицейского пристава; пристав поднимал к нему руки в белых перчатках, потом, обернувшись к толпе лицом, закричал и гневно и умоляюще:

К-куда? Разойдись…

Самгин видел, как лошади казаков, нестройно, взмахивая головами, двинулись на толпу, казаки подняли нагайки, но в те же секунды его приподняло с земля и в свисте, вое, реве закружило, бросило вперед, он ткнулся лицом в бок лошади, на голову его упала чья-то шапка, кто-то крякнул в ухо ему, его снова завертело, затолкало, и наконец, оглушенный, он очутился у памятника Скобелеву; рядом с ним стоял седой человек, похожий на шкаф, пальто на хорьковом мехе было распахнуто, именно как дверцы шкафа, показывая выпуклый, полосатый живот; сдвинув шапку на затылок, человек ревел басом:

— Насильники, убийцы…

— Долой самодержавие! — кричали всюду в толпе, она тесно заполнила всю площадь, черной кашей кипела на ней, в густоте ее неестественно подпрыгивали лошади, точно каменная и замороженная земля под ними стала жидкой, засасывала их, и они погружались в нее до колен, раскачивая согнувшихся в седлах казаков; казаки, крестя нагайками воздух, били направо, налево, люди, уклоняясь от ударов, свистели, кричали:

— Дол-лой! Тащи с лошадей!

Самгин, передвигаясь с людями, видел, что казаки разбиты на кучки, на единицы и не нападают, а защищаются; уже несколько всадников сидело в седлах спокойно, держа поводья обеими руками, а один, без фуражки, сморщив лицо, трясся, точно

смеясь. Самгин двигался и кричал:

— Дикари! Не смейте!

Но шум был таков, что он едва слышал даже свой голос, а сзади памятника, у пожарной части, образовался хор и, как бы поднимая что-то тяжелое, кричал ритмично:

— До-лой ца-ря, до-лой ца-ря…

Появились пешие полицейские, но толпа быстро всосала их, разбросав по площади; в тусклых окнах дома генерал-губернатора мелькали, двигались тени, в одном окне вспыхнул огонь, а в другом, рядом с ним, внезапно лопнуло стекло, плюнув вниз осколками.

«В сущности, это — победа, они победили», — решил Самгин, когда его натиском толпы швырнуло в Леонтьевский переулок. Изумленный бесстрашием людей, он заглядывал в их лица, красные от возбуждения, распухшие от ударов, испачканные кровью, быстро застывавшей на морозе. Он ждал хвастливых криков, ждал выявления гордости победой, но высокий, усатый человек в старом, грязноватом полушубке пренебрежительно говорил, прислонясь к стене:

— Сотник — дурак, ему за это попадет!

Молодая женщина в пенснэ перевязывала ему платком ладонь левой руки, правою он растирал опухоль на лбу, его окружало человек шесть таких же измятых, вывалянных в снегу.

— Али можно допускать пехоту вплоть до кавалерии? Он, обязанный действовать с расстояния, подпустил на дистанцию и — р-рысью мар-рш! Тут пехота не может устоять, кони опрокинут. Тогда — бей, руби! А он допустил по грудь себе, идиёт.

— Это — верно, — поддержал его один из окружавших. — И водой могли облить, — пожарная часть — под боком.

— Ежели они будут так зевать, мы им нагреем затылки.

— Покорно благодарю, мадам, — сказал раненный в руку и сплюнул кровью. — Мерси, ловко вы… Пошли, ребята!

Пошел он назад, на площадь, где шум не стал тише. Самгин тоже пошел за ним, вслушиваясь в говор попутчиков.

— Револьвер я у него вырвал.

— Собака! Что ж он?

— На землю бросился, верно — думал, что я в него тоже выстрелю…

— Студенты здорово действовали!

— Они драться любят.

— Барышня одна, толстенькая, ну — до чего смела! Того и жди — в морду влепит приставу. А — мышь против собаки…

— Один — тросточкой хлестал.»

— Ежели, товарищи, интеллигент рискует с нами, значит…

Было странно слышать, что, несмотря на необыденность тем, люди эти говорят как-то обыденно просто, даже почти добродушно; голосов и слов озлобленных Самгин не слышал. Вдруг все люди впереди его дружно побежали, а с площади, встречу им, вихрем взорвался оглушающий крик, и было ясно, что это не крик испуга или

боли. Самгина толкали, обгоняя его, кто-то схватил за рукав и повлек его за собой, сопя:

— Братцы, не отставай…

Выбежав на площадь, люди разноголосо ухнули, попятились, и на секунды вокруг Самгина все замолчали, боязливо или удивленно. Самгина приподняло на ступень какого-то крыльца, на углу, и он снова видел толпу, она двигалась, точно чудовищный таран, отступая и наступая, — выход вниз по Тверской ей преграждала рота гренадер со штыками на руку.

А сзади солдат, на краю крыши одного из домов, прыгали, размахивая руками, точно обжигаемые огнем еще невидимого пожара, маленькие фигурки людей, прыгали, бросая вниз, на головы полиции и казаков, доски, кирпичи, какие-то дымившие пылью вещи. Был слышен радостный крик:

— Ур-ра, филипповцы! Ур-ра-а…

И так же радостно говорил человек, напудренный мукою, покрывший плечи мешком, человек в одной рубахе и опорках на голые ноги.

— Мы, значит, из рабочей дружбы, тоже забастовали, вышли на улицу, стоим смирно, ну и тут казачишки — бить нас…

— Би-ить? — взревел кто-то.

— Ну, мы, которые — побежали, — чем оборониться? — А те — на чердаки…

Самгин смотрел на крышу, пытаясь сосчитать храбрецов, маленьких, точно школьники. Но они не поддавались счету, мелькая в глазах с удивительной быстротой, они подбегали к самому краю крыши и, рискуя сорваться с нее, метали вниз поленья, кирпичи, доски и листы железа, особенно пугавшие казацких лошадей. Самгин снимал и вновь надевал очки, наблюдая этот странный бой, очень похожий на игру расшалившихся детей, видел, как бешено мечутся испуганные лошади, как всадники хлещут их нагайками, а с панели небольшая группа солдат грозит ружьями в небо и целится на крышу. Но выстрелов не слышно было в сплошном, густейшем реве и вое, маленькие булочники с крыши не падали, и во всем этом ничего страшного не было, а было что-то другое, чего он не мог понять. Вокруг его непрерывно трепетал торопливый нервный говорок.

— Дымоход разбирают.

— Оборониться всегда найдешь чем — только захоти! — восторженно прокричал кто-то, его немедля передразнили:

— Захоти-и! Ну-ко, пойди, сбей кулаком солдатов! Было бы чем оборониться, мы бы тут не торчали…

— Эх, братцы! Кирпичу подать бы им… А знакомый Самгину голос человека с перевязанной ладонью внушительно объяснял:

— С крыши пулей не собьешь, способной линии для пули нету…

Большинство людей стояло молча, сосредоточенно, как стоят на кулачных боях взрослые бойцы, наблюдая горячую драку подростков.

— Еще солдат гонят, — угрюмо сказал кто-то, и вслед за тем Самгин услыхал памятный ему сухой треск ружейного залпа.

— Эге!

— Холостыми…

— Знаем мы эти холостые!

– Однако уходить надо, ребята!

И не спеша, люди, окружавшие Самгина, снова пошли в Леонтьевский, оглядываясь, как бы ожидая, что их позовут назад; Самгин шел, чувствуя себя так же тепло и безопасно, как чувствовал на Выборгской стороне Петербурга. В общем он испытывал удовлетворение человека, который, посмотрев репетицию, получил уверенность, что в пьесе нет моментов, терзающих нервы, и она может быть сыграна очень неплохо.

Почти неделю он прожил в настроении приподнятом, злорадно забавляясь страхами жены.

— Что ж это будет, Клим, как ты думаешь? — назойливо спрашивала она каждый день утром, прочитав телеграммы газет о росте забастовок, крестьянском движении, о сокращении подвоза продуктов к Москве.

— Борются с правительством, а хотят выморить голодом нас, — возмущалась она, вздергивая плечи на высоту ушей. — При чем тут мы?

Негодовала не одна Варвара, ее приятели тоже возмущались. Оракулом этих дней был «удивительно осведомленный» Брагин. Он подстриг волосы и уже заменил красный галстук синим в полоску; теперь галстук не скрывал его подбородка, и оказалось, что подбородок уродливо острый, загнут вверх, точно у беззубого старика, от этого восковой нос Брагина стал длиннее, да и все лицо обиженно вытянулось. Фыркая и кашляя, он говорил:

— Знаете, это все-таки — смешно! Вышли на улицу, устроили драку под окнами генерал-губернатора и ушли, не предъявив никаких требований. Одиннадцать человек убито, тридцать два — ранено. Что же это? Где же наши партии? Где же политическое руководство массами, а?

Самгин молчал. Да, политического руководства не было, вождей — нет. Теперь, после жалобных слов Брагина, он понял, что чувство удовлетворения, испытанное им после демонстрации, именно тем и вызвано: вождей — нет, партии социалистов никакой роли не играют в движении рабочих. Интеллигенты, участники демонстрации, — благодушные люди, которым литература привила с детства «любовь к народу». Вот кто они, не больше.

Возмущаясь недостатком активности рабочих, Брагин находил активность крестьян не только чрезмерной, но совершенно излишней.

— Это — начало пугачевщины, — говорил он, прикрывая глаза ресницами не сверху, как люди, а снизу, как птицы.

Ряхин тоже приуныл и, делая руками в воздухе какие-то сложные петли, бормотал виновато:

— Да, перебарщивают. Расшалились. Ах, правительство, правительство! — вздыхал он.

Иронически радовался Редозубов. Самгин встретил его на митинге.

— Мужичок-то, а? — спросил Редозубов, хлопнув его по плечу, и обещал: — Он вам покажет коку с соком!

Самгин не ответил ему, даже не взглянул на него; бывший толстовец вызывал в нем какие-то неопределенные опасения. Было уже довольно много людей, у которых вчерашняя «любовь к народу» заметно сменялась страхом пред народом, но Редозубов отличался от этих людей явным злорадством, с которым он говорил о разгромах крестьянами помещичьих хозяйств. В его анархизме Самгин чувствовал нечто подзадоривающее, провокаторское, но гораздо хуже было то, что настроение Редозубова было чем-то сродно, совпадало с настроением самого Клима.

Самгин вел себя с людями более сдержанно и молчаливо, чем всегда. Прочитав утром крикливые газеты, он с полудня уходил на улицы, бывал на собраниях, митингах, слушая, наблюдая, встречая знакомых, выспрашивал, но не высказывался, обедал в ресторанах, позволяя жене думать, что он занят конспиративными делами. Он чувствовал себя напряженно, туго заряженным и минутами боялся, что помимо его воли в нем может что-то взорваться и тогда он скажет или сделает нечто необыкновенное и — против себя. В конце концов он был совершенно уверен, что все, что происходит в стране, очищает для него дорогу к самому себе. Всю жизнь ему мешала найти себя эта проклятая, фантастическая действительность, всасываясь в него, заставляя думать о ней, но не позволяя встать над нею человеком, свободным от ее насилий.

Он почувствовал себя ошеломленным, прочитав, что в Петербурге организован Совет рабочих депутатов.

— Это — что еще? — заспанным голосом, капризно и сердито спросила Варвара, встряхивая газету, как салфетку, на которой оказались какие-то крошки.

— Организация рабочих, как видишь, — задумчиво ответил он, а жена допрашивала, все более раздражаясь:

— Кто это — Хрусталев-Носарь, Троцкий, Фейт? Какие-нибудь вроде Кутузова? А где Кутузов?

— Не знаю.

— Вероятно — в тюрьме?

— Возможно.

— Кончится тем, что все вы будете в тюрьме.

— И это допустимо.

— Или вас перебьют.

— Увидим.

— Безумие, — сказала Варвара, швырнув газету на пол, и ушла, протестующе топая голыми пятками. Самгин поднял газету и прочитал в ней о съезде земцев, тоже решивших организоваться в партию.

«Граф Гейден, Милюков, Петрункевич, Родичев», — читал он; скучно мелькнула фамилия ею бывшего патрона.

«Опоздали», — решил он, хотя и почувствовал нечто утешительное в факте, что одновременно с Советом рабочих возникает партия, организованная крупными либералами.

«Испытанные политики, талантливые люди», — напомнил он себе. Но это утешило только на минуту.

«Совет рабочих — это уже движение по линии социальной революции», — подумал он, вспоминая демонстрацию на Тверской, бесстрашие рабочих в борьбе с казаками, булочников на крыше и то, как внимательно толпа осматривала город.

«Социальная революция без социалистов», — еще раз попробовал он успокоить себя и вступил сам с собой в некий безмысленный и бессловесный, но тем более волнующий спор. Оделся и пошел в город, внимательно присматриваясь к людям интеллигентской внешности, уверенный, что они чувствуют себя так же расколото и смущенно, как сам он. Народа на улицах было много, и много было рабочих, двигались люди неторопливо, вызывая двойственное впечатление праздности и ожидания каких-то событий.

«Жажда развлечений, привыкли к событиям», — определил Самгин. Говорили негромко и ничего не оставляя в памяти Самгина; говорили больше о том, что дорожает мясо, масло и прекратился подвоз дров. Казалось, что весь город выжидающе притих. Людей обдувал не сильный, но неприятно сыроватый ветер, в небе являлись голубые пятна, напоминая глаза, полуприкрытые мохнатыми ресницами. В общем было как-то слепо и скучно.

Потом наступил веселый день «конституции», тоже ветреный. Над городом низко опустилось и застыло оловянное небо, ветер хлопотливо причесывал крыши домов, дымя снегом, бросаясь под ноги людей. Но Москва вспыхнула радостью и как-то по-весеннему потеплела, люди заговорили громко, и колокольный звон под низким сводом неба звучал оглушительно. По улицам мчались раскормленные лошади в богатой упряжке, развозя солидных москвичей в бобровых шапках, женщин, закутанных в звериные меха, свинцовых генералов; город удивительно разбогател людями, каких не видно было на улицах последнее время. Солидные эти люди, дождавшись праздника, вырвались из тепла каменных домов и едут, едут, благосклонно поглядывая на густые вереницы пешеходов, изредка и снисходительно кивая головами, дотрагиваясь до шапки.

Проехал на лихаче Стратонов в дворянской, с красным околышем, фуражке, проехала Варвара с Ряхиным, он держал ее за талию и хохотал, кругло открыв рот. Мелькали знакомые лица профессоров, адвокатов, журналистов; шевеля усами, шел старик Гогин, с палкой в руке; встретился Редозубов в тяжелой шубе с енотовым воротником, воротник сердито ощетинился, а лицо Редозубова. туго надутое, показалось Самгину обиженным. В маленьких санках, едва помещаясь на сиденье, промчался бывший патрон Самгина, в мохнатой куньей шапке; черный жеребец, вскидывая передние ноги к свирепой морде своей, бил копытами мостовую, точно желая разрушить ее.

Самгин шел бездумно, бережно охраняя чувство удовлетворения, наполнявшее его, как вино стакан. Было уже синевато-сумрачно, вспыхивали огни, толпы людей, густея, становились шумливей. Около Театральной площади из переулка вышла группа людей, человек двести, впереди ее — бородачи, одетые в однообразные поддевки; выступив на мостовую, они угрюмо, но стройно запели:

— «Бо-оже цар-ря...»

Публика на панелях приостановилась, чей-то голос удивленно и смешно спросил:

— Это — к чему?

И тотчас раздались голоса ворчливые, сердитые, точно людям напомнили неприятное:

— Нашли время волынку тянуть!

— Дохлое дело!

— Эй, вы!..

Двое студентов закричали в один голос:

— Долой самодержавие!

Но их немедленно притиснули к стене, и человек с длинными усами, остроглазый, весело, но убедительно заговорил:

— Не надо сердиться, господа! Народная поговорка «Долой самодержавие!» сегодня сдана в архив, а «Боже, царя храни», по силе свободы слова, приобрело такое же право на бытие, как, например, «Во лузях»...

Хоругвеносцы уже Прошли, публика засмеялась, а длинноусый, обнажая кривые зубы, продолжал говорить все более весело и громко. Под впечатлением этой

сцены Самгин вошел в зал Московской гостиницы.

В ярких огнях шумно ликовали подпившие люди. Хмельной и почти горячий воздух, наполненный вкусными запахами, в минуту согрел Клима и усилил его аппетит. Но свободных столов не было, фигуры женщин и мужчин наполняли зал, как шрифт измятую страницу газеты. Самгин уже хотел уйти, но к нему, точно на коньках, подбежал белый официант и ласково пригласил:

— Пожалуйте, вас просят!

Недалеко от двери, направо у стены, сидел Владимир Лютов с Алиной, Лютов взорвался со стула и, протягивая руку, закричал:

— Шестнадцать лет не видались, садись! Ну, что, брат? Выжали маслице из царя, а?

— Не кричи, Володя, — посоветовала Алина, величественно протянув руку со множеством сверкающих колец на пальцах, и вздохнула: — Ох, постарели мы, Климу ш а!

— Тощий, юркий, с облысевшим черепом, с пятнистым лицом и дьявольской бородкой, Лютов был мало похож на купца, тогда как Алина, в платье жемчужного шелка, с изумрудами в ушах и брошью, похожей на орден, казалась типичной московской купчихой: розоволицая, пышногрудая, она была все так же ослепительно красива и завидно молода.

— Что пьешь-ешь? Заказывай! — покрикивал Лютов, — Алина властным жестом остановила его.

— Ты — молчи, потерянный человек, я уж знаю, кого чем кормить надо!

— Она — знает! — подмигнул Лютов и, широко размахнув руками, рассыпался: — Радости-то сколько, а? На три Европы хватит! И, ты погляди, — кто радуется?

Он перечислил несколько фамилий крупных промышленников, назвал трех князей, десяток именитых адвокатов, профессоров и заключил, не смеясь, а просто сказав:

— Хи-хи.

— Вот взял противную привычку хи-хи эти говорить, — пожаловалась Алина бархатным голосом.

— Не буду, Лина, не сердись! Нет, Самгин, ты почувствуй: ведь это владыки наши будут, а? Скомандуют: по местам! И все пойдет, как по маслу. Маслице, хи… Ах, милый, давно я тебя не видал! Седеешь? Теперь мы с тобой по одной тропе пойдем.

— По какой? — спросил Самгин.

Лютов попробовал сдвинуть глаза к переносью, но это, как всегда, не удалось ему. Тогда, проглотив рюмку желтой водки, он, не закусывая, облизал губы острым языком и снова рассыпался словами.

— Многие тут Симеонами богоприимцами чувствуют себя: «Ныне отпущаеши, владыко», от великих дел к маленьким, своим…

«Умная бестия», — подозрительно косясь на него, подумал Самгин и принялся за какую-то еду, шипевшую на сковородке.

— Сначала прими вот это, — строго сказала Алина, подвинув ему рюмку жидкости дегтярного цвета.

— Джин с пиконом, — объяснил Лютов. — Ну, — чокнемся! Возрадуйся и возвеселись. Ух!.. Она, брат, эти штуки знает, как поп молитвы.

Самгин ожег себе рот и взглянул на Алину неодобрительно, но она уже смешивала другие водки. Лютов все исхищрялся в остроумии, мешая Климу и есть и слушать. Но и трудно было понять, о чем кричат люди, пьяненькие от вина и радости; из хаотической схватки голосов, смеха, звона посуды, стука вилок и ножей выделялись только междометия, обрывки фраз и упрямая попытка тенора продекламировать Беранже.

— «Слав-ва святому труду», — уже второй раз высоко взбрасывал он три слова.

Самгин ел что-то удивительно вкусное и чувствовал себя взрослым на празднике детей. Алина, вынув из сумочки синее письмо, углубленно читала его, подняв брови. Лютов осыпал словами румяного толстяка за соседним столом, толстяк заливисто смеялся, и шея его наливалась багровой кровью. Самгин, оглядываясь, видел бородатые и бритые, пухлые и костлявые лица мужчин, возбужденных счастьем жить, видел разрумяненные мордочки женщин, украшенных драгоценными камнями, точно иконы, все это было окутано голубоватым туманом, и в нем летали, подобно ангелам, белые лакеи, кланялись их аккуратно причесанные и лысые головы, светились почтительными улыбками потные физиономии.

— Она теперь поэтов кормит, — рассказывал Лютов, щупая бутылки и встречая на каждой пальцы Алины, которая мешала ему пить, советуя:

— Не торопись.

— Один — удивительный! Здоровеннейший парень, как ломовой извозчик. Стихи он делает, чорт его знает какие, — но — ест! Пьет!

— Господа!

Бедность и трудЧестно живут…

— Какой надоедный визгун! — сказала Алина, рассматривая в зеркальце свой левый глаз. — И — врет! Не — честно, а вместе живут.

Она заботливо подливала Самгину водки, смешивая их, эта смесь, мягко обжигая рот, уже приятно кружила голову.

С дружбой, с любовью в ладу

— кричал тенор, преодолевая шум.

— Дурачок, — вздохнула Алина, размешивая палочкой зубочистки водку в рюмке. — А вот Володька, чем пьянее, тем умнее. Безжалостно умен, хамик!

— Химик? — спросил Лютов, усмехаясь.

— Нет, — хамик. От ума и пропадет. Нахмурясь и обведя зал прищуренными глазами, она вздохнула:

— Похоже на коробку конфект.

— Поэтов кормит, а стихов — не любит, — болтал Лютов, поддразнивая Алину. — Особенно не любит мои стишки…

— Просим! Про-осим! — заревели вдруг несколько человек, привстав со стульев, глядя в дальний угол зала.

Самгин чувствовал себя все более взрослым и трезвым среди хмельных, ликующих людей, против Лютова, который точно крошился словами, гримасами, судорогами развинченного тела, вызывая у Клима желание, чтоб он совсем рассыпался в сор, в пыль, освободив измученный им стул, свалившись под него кучкой мелких обломков.

Шум в зале возрастал, как бы ища себе предела; десятки голосов кричали, выли:

— Просим! Милый… Просим… «Дубинушку»! Лютов, покачиваясь на стуле, читал пронзительно, как дьячок:

Жила-была дама, было у нее два мужа,Один — для тела, другой — для души.И вот начинается драма: который хуже?Понять она не умела, оба — хороши!

— Это он сочинил про себя и про Макарова, — объяснила Алина, прекрасно улыбаясь, обмахивая платком разгоревшееся лицо; глаза ее блестели, но — не весело. Ее было жалко за то, что она так чудесно красива, а живет с уродом, с хамом.

— Неправда! — бесстыдно кричал урод. — Костя Макаров и я — мы оба для души, как чорт и ангел! А есть еще третий…

— Врешь, Володька!

— Знаю! В мечте, но — есть!

— Про-осим же! «Дубинушку-у»!

— Господа! Тише!

— Перестань, Володька, слышишь: Шаляпина просят «Дубинушку» петь, — строго сказала Алина.

— Пусть поет, я с ним не конкурирую.

Тишина устанавливалась с трудом, люди двигали стульями, звенели бокалы, стучали ножи по бутылкам, и кто-то неистово орал:

— В восемьдесят девятом году французская ар-ристо-кратия, отказываясь от…

— К чорту аристократию!

Бородатый человек в золотых очках, стоя среди зала, размахивая салфеткой над своей головой, сказал, как брандмейстер на пожаре:

— Господа! Вас просят помолчать.

— А как же свобода слова? — крикнул некий остроумец.

Но все-таки становилось тише, только у буфета ехидно прозвучал костромской говорок:

— Да — от чего же ты, Митя, откажешься в пользу народа-то, ежели у тебя и нету ни зерна, кроме закладных на имение да идеек?

— Шш, — тише!

Тут Самгин услыхал, что шум рассеялся, разбежался по углам, уступив место одному мощному и грозному голосу. Углубляя тишину, точно выбросив людей из зала, опустошив его, голос этот с поразительной отчетливостью произносил знакомые слова, угрожающе раскладывая их по знакомому мотиву. Голос звучал все более мощно, вызывая отрезвляющий холодок в спине Самгина, и вдруг весь зал точно обрушился, разломились стены, приподнялся пол и грянул единодушный, разрушающий крик:

Эх, дубинушка, ухнем!

— Чорт возьми, — сказал Лютов, подпрыгнув со стула, и тоже завизжал:

— Эй-и…

Самгина подбросило, поставило на ноги. Все стояли, глядя в угол, там возвышался большой человек и пел, покрывая нестройный рев сотни людей. Лютов, обняв Самгина за талию, прижимаясь к нему, вскинул голову, закрыв глаза, источая из выгнутого кадыка тончайший визг; Клим хорошо слышал низкий голос Алины и еще чей-то, старческий, дрожавший.

Снова стало тихо; певец запел следующий куплет; казалось, что голос его стал еще более сильным и уничтожающим, Самгина пошатывало, у него дрожали ноги, судорожно сжималось горло; он ясно видел вокруг себя напряженные, ожидающие лица, и ни одно из них не казалось ему пьяным, а из угла, от большого человека плыли над их головами гремящие слова:

На цар-ря, на господОн поднимет с р-размаха дубину!

— Э-эх, — рявкнули господа: — Дубинушка — ухнем! Придерживая очки, Самгин смотрел и застывал в каком-то еще не испытанном холоде. Артиста этого он видел на сцене театра в царских одеждах трагического царя Бориса, видел его безумным и страшным Олоферном, ужаснейшим царем Иваном Грозным при въезде его во Псков, — маленькой, кошмарной фигуркой с плетью в руках, сидевшей криво на коне, над людями, которые кланялись в ноги коню его; видел гибким Мефистофелем, пламенным сарказмом над людями, над жизнью; великолепно, поражающе изображал этот человек ужас безграничия власти. Видел его Самгин в концертах, во фраке, — фрак казался всегда чужой одеждой, как-то принижающей эту мощную фигуру с ее лицом умного мужика.

Теперь он видел Федора Шаляпина стоящим на столе, над людями, точно монумент. На нем простой пиджак серокаменного цвета, и внешне артист такой же обыкновенный, домашний человек, каковы все вокруг него. Но его чудесный, красноречивый, дьявольски умный голос звучит с потрясающей силой, — таким Самгин еще никогда не слышал этот неисчерпаемый голос. Есть что-то страшное в том, что человек этот обыкновенен, как все тут, в огнях, в дыму, — страшное в том, что он так же прост, как все люди, и — не похож на людей. Его лицо — ужаснее всех лиц, которые он показывал на сцене театра. Он пел и — вырастал. Теперь он разгримировался до самой глубокой сути своей души, и эта суть — месть царю, господам, рычащая, беспощадная месть какого-то гигантского существа.

«Вот — именно, разгримировался до полной обнаженности своей тайны, своего анархического существа. И отсюда, из его ненависти к власти, — ужас, в котором он показывает царей».

Когда Самгин, все более застывая в жутком холоде, подумал это — память тотчас воскресила вереницу забытых фигур: печника в деревне, грузчика Сибирской пристани, казака, который сидел у моря, как за столом, и чудовищную фигуру кочегара у Троицкого моста в Петербурге. Самгин сел и, схватясь руками за голову, закрыл уши. Он видел, что Алина сверкающей рукой гладит его плечо, но не чувствовал ее прикосновения. В уши его все-таки вторгался шум и рев. Пронзительно кричал Лютов, топая ногами:

— Браво-о!

Он схватил руку Самгина, сдернул его со стула и закричал в лицо ему рыдающими звуками:

— Понимаешь? Самоубийцы! Сами себя отпеваем, — слышишь? Кто это может? Русь — может!

Его разнузданное лицо кошмарно кривилось, глаза неистово прыгали от страха или радости.

— Владимир, не скандаль! — густо и тоном приказания сказала Алина, дернув его за рукав. — На тебя смотрят… Сядь! Пей! Выпьем, Климуша, за его здоровье! Ох, как поет! — медленно проговорила она, закрыв глаза, качая головой. — Спеть бы так, один раз и… — Вздрогнув, она опрокинула рюмку в рот.

Самгин тоже выпил и тотчас протянул к ней пустую рюмку, говоря Лютову:

— Ты — прав! Ты… очень прав!

Его волновала жалость к этим людям, которые не знают или забыли, что есть тысячеглавые толпы, что они ходят по улицам Москвы и смотрят на все в ней глазами чужих. Приняв рюмку из руки Алины, он ей сказал:

— Это — пир на вулкане. Ты — понимаешь, ты пьешь водку, как яд, — вижу…

— Напоила ты его, Лина, — сказал Лютов.

— Неправда! Я — совершенно трезв. Я, может быть, самый трезвый человек в России…

— Молчи, Климуша!

Она погладила его руку. До слез жалко было ему ее великолепное лицо, печальные и нежные глаза.

Ум смотрит тысячею глаз,Любовь — всегда одним…

— сказал он ей.

Лютов захохотал; в зале снова кипел оглушающий шум, люди стонали, вопили:

— Повторить! Бис! Еще-о!

И неистощимый голос снова подавил весь шум.

Так иди же вперед, мой великий народ…

— Ну, я больше не могу, — сказала Алина, толкнув Лютова к двери. — Какой… истязатель ужасный!

Лицо ее побледнело, размахивая сумочкой, задевая стулья, она шла сквозь обезумевших от восторга людей и, увлекая за собой Клима, командовала: — Домой, Володька! И — кутить! Дуняшу позови…

— Я не хочу, — сказал Самгин, но она, сильно дернув его руку, скомандовала:

— Без дураков! Зовут — иди!

А вслед им великолепный голос выговаривал мстительно и сокрушающе:

На цар-ря, на господОн поднимет…

На улице Самгин почувствовал себя пьяным. Дома прыгали, точно клавиши рояля; огни, сверкая слишком остро, как будто бежали друг за другом или пытались обогнать черненькие фигурки людей, шагавших во все стороны. В санях, рядом с ним, сидела Алина, теплая, точно кошка. Лютов куда-то исчез. Алина молчала, закрыв лицо муфтой.

Клим несколько отрезвел к тому времени, как приехали в незнакомый переулок, прошли темным двором к двухэтажному флигелю в глубине его, и Клим очутился в маленькой, теплой комнате, налитой мутнорозовым светом. Комната мягкая, душистая и немножко покачивается, точно колыбель ребенка. Алина пошла переодеваться, сказав, что сейчас пришлет «отрезвляющую штучку», явилась высокая горничная в накрахмаленном чепце и переднике, принесла Самгину большой бокал какого-то шипящего напитка, он выпил и почувствовал себя совсем хорошо, когда возвратилась Алина в белом платье, подпоясанном голубым шарфом с концами до пола.

— Туробоева видел? — спросила она, садясь на диван рядом с Климом.

— Нет. Разве он здесь?

— Да. Живет у Володьки. Он в газетах пишет, — можешь представить!

Она усмехалась, говоря. Та хмельная жалость к ней, которую почувствовал Самгин в гостинице, снова возникла у него, но теперь к жалости примешалась тихая печаль о чем-то. Он коротко рассказал, как вел себя Туробоев девятого января.

— Вот что! — воскликнула женщина удивленно или испуганно, прошла в угол к овальному зеркалу и оттуда, поправляя прическу, сказала как будто весело: — Боялся не того, что зарубит солдат, а что за еврея принял. Это — он! Ах... аристократишка!

— Что же — старая любовь не ржавеет? — спросил Клим.

— Глупости, — ответила она, расхаживая по комнате, играя концами шарфа. — Ты вот что скажи — я об этом

Владимира спрашивала, но в нем семь чертей живут и каждый говорит по-своему. Ты скажи: революция будет?

— Надоел тебе шум? — улыбаясь, спросил Самгин.

— Ты отвечай!

Она стояла пред ним в дорогом платье, такая пышная, мощная, стояла, чуть наклонив лицо, и хорошие глаза ее смотрели строго, пытливо. Клим не успел ответить, в прихожей раздался голос Лютова. Алина обернулась туда, вошел Лютов, ведя за руку маленькую женщину с гладкими волосами рыжего цвета.

— Это — Дуняша, — сказал он, подводя ее к Самгину, — Евдокия, свет, Васильевна.

Поцеловав руку женщины, Самгин взглянул на Лютова, — никогда еще не слыхал он да и представить себе не мог, что Лютов способен говорить так ласково и серьезно.

— А это — тоже адвокат, — прибавил Лютов, уходя в соседнюю комнату, где звякали чайные ложки и командовала Алина.

— Почему он сказал — тоже? — спросил Самгин.

— А у меня сожитель такой же масти, — по-деревенски, нараспев и необыкновенным каким-то голосом ответила женщина. — Вы — уголовный?

— Преступник? Политический.

— Вишь, какой... веселый! — одобрительно сказала женщина, и от ее подкрашенных губ ко глазам быстрыми морщинками взлетела улыбка. — Я знаю, что все адвокаты — политические преступники, я — о делах: по каким вы делам? Мой — по уголовным.

Лицо ее нарумянено, сквозь румяна проступают веснушки. Овальные, слишком большие глаза — неуловимого цвета и весело искрятся, нос задорно вздернут; она — тоненькая, а бюст — высокий и точно чужой. Одета она скромно, в гладкое платье голубоватой окраски. Клим нашел в ней что-то хитрое, лисье. Она тоже говорит о революции.

— Хорошее время, — все немножко сошли с ума, никому ничего не жалко, «торопятся пить, есть, веселиться...

Вошла Алина, держа в руке маленький поднос, на нем — три рюмки.

— Если ты, Дуняшка, напьешься и будешь скандалить, — уши нарву! Выпьем, освежимся, Климуша.

— Милая! — с ужасом вскричала Дуняша. — Это ты меня при незнакомом мужчине — так-то!

Выпив рюмку, она быстро побежала в прихожую, а Телепнева, взяв Самгина под руку, сказала ему не очень тихо:

— Замечательно талантливая бабенка, но — отчаянная…

Грубое слово прозвучало из ее уст удивительно просто, как ремесленное — модистка, прачка.

Пошли в соседнюю комнату, там, на большом, красиво убранном столе, кипел серебряный самовар, у рояля, в углу, стояла Дуняша, перелистывая ноты, на спине ее висели концы мехового боа, и Самгин снова подумал о ее сходстве с лисой.

— Спой «Сад», пока свиньи не пришли, — попросила Алина. Дуняша, не оглядываясь, сказала:

— Знаем, чем тебя подкупить.

Наполнив комнату тихим звоном струн, она густым и мягким голосом запела:

Уж ты сад ли, мой сад,Эх, сад зелененький, —Да — отчего же ты, мой сад,Осыпаешься?

Музыка вообще не очень восхищала Клима, а тут — песня была пошленькая, голос Дуняши — ненатурален, не женский, — голос зверушки, которая сытно поела и мурлычет, вспоминая вкус пищи.

Эх ты, молодость моя,Золотые деньки…

Странно было и даже смешно, что после угрожающей песни знаменитого певца Алина может слушать эту жалкую песенку так задумчиво, с таким светлым и грустным лицом. Тихонько, на цыпочках, явился Лютов, сел рядом и зашептал в ухо Самгина:

— Простая хористка, — какова, а? Голосок-то! За всех поет! Мы с Алиной дали ей средства учиться на большую певицу. Профессор — изумлен.

Самгин уже готов был признать, что Дуняша поет искусно, от ее голоса на душе становилось как-то особенно печально и хотелось говорить то самое, о чем он привык молчать. Но Дуняша, вдруг оборвав песню, ударила по клавишам и, взвизгнув по-цыгански, выкрикнула новым голосом:

Эх, Пашенька,Да Парасковыошка,Счастливая Параня,Талантливая!

— Угости чайком, хозяйка, — попросила она, подходя к столу.

— Высечь бы тебя, Дунька, — сказала Алина, вздохнув.

Пришел Макаров, в черном строгом костюме, стройный, седой, с нахмуренными бровями.

— Ба, Самгин! Как живешь? — скучно воскликнул он. Вслед за ним явился толстый — и страховидный поэт с растрепанными и давно не мытыми волосами; узкобедрая девица в клетчатой шотландской юбке и красной кофточке, глубоко открывавшей грудь; синещекий, черноглазый адвокат-либерал, известный своей распутной жизнью, курчавый, точно баран, и носатый, как армянин; в полчаса набралось еще человек пять. Комната стала похожа на аквариум, в голубоватой мгле шумно плескались бесформенные люди, блестело и звенело стекло, из зеркала выглядывали странные лица. Лютов немедленно превратился в шута, запрыгал, завизжал, заговорил со всеми сразу; потом, собрав у рояля гостей и дергая пальцами свой кадык, гнусным голосом запел на мотив «Дубинушки», подражая интонации Шаляпина:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,Кто б ты ни был — не падай презренной душою!Верь: воскреснет Ваал и пожрет идеал…

Он взвизгнул и засмеялся, вызвав общий хохот; не смеялись двое: Алина и Макаров, который, нахмурясь, шептал ей что-то, она утвердительно кивала головой.

«Какая двусмысленная каналья», — думал Самгин, наблюдая Лютова.

Адвокат налил стакан вина, предложил выпить за конституцию, — Лютов закричал:

— С условием: не смотреть, что внутри игрушки!

Алина отказалась пить и, поманив за собой Дуняшу, вышла из комнаты; шла она, как ходила девушкой, — бережно и гордо несла красоту свою. Клим, глядя вслед ей, вздохнул.

Пили, должно быть, на старые дрожжи, все быстро опьянели. Самгин старался пить меньше, но тоже чувствовал себя охмелевшим. У рояля девица в клетчатой юбке ловко выколачивала бойкий мотивчик и пела по-французски; ей внушительно подпевал адвокат, взбивая свою шевелюру, кто-то хлопал ладонями, звенело стекло на столе, и все вещи в комнате, каждая своим голосом, откликались на судорожное веселье людей.

«Веселятся, потому что им страшно», — соображал Самгин, а рядом с ним сидела Дуняша со стаканом шампанского в руке.

— Очень обожаю вот эдаких, сухоньких, — говорила она.

Поэт, встряхнув склеившимися прядями волос, выгнув грудь и выкатив глаза, громко спросил:

Черная рубаха,Кожаный ремень —Кто это?

Посмотрел на всех и гаркнул:

Р-рабочий!

— Нет, уж это вы отложите на вчера, — протестующе заговорил адвокат. — Эти ваши рабочие устроили в Петербурге какой-то парламент да и здесь хотят того же. Если нам дорога конституция…

— Сорок три копейки за конституцию — кто больше? — крикнул Лютов, подбрасывая на ладони какие-то монеты; к нему подошла Алина и что-то сказала; отступив на шаг, Лютов развел руками, поклонился ей.

— Твоя власть. Твоя…

И, отступив еще на шаг, снова поклонился.

— Прошу извинить, — громко сказала Алина, — мне нужно уехать на час, опасно заболела подруга.

— А я предлагаю пожаловать ко мне — кто согласен? — завизжал Лютов.

Самгин решил отправиться домой, встал и пошатнулся, Дуняша поддержала его, воскликнув:

— Уже? Слабо!

Он неясно помнил, как очутился в доме Лютова, где пили кофе, сумасшедше плясали, пели, а потом он ушел спать, но не успел еще раздеться, явилась Дуняша с коньяком и зельтерской, потом он раздевал ее, обжигая пальцы о раскаленное, тающее тело. Он вспомнил это, когда, проснувшись, лежал в пуховой, купеческой

перине, вдавленный в нее отвратительной тяжестью своего тела. В комнате темно, как в погребе, в доме — непоколебимая тишина глубокой ночи. Это было странно — разошлись на рассвете. От пуховика исходил тошный запах прели, спину кололо что-то жесткое: это оказалась цепочка с металлическим квадратным предметом на ней. Самгин брезгливо поморщился и, сплюнув вязкую, горькую слюну, подумал, что день перелома русской истории он отпраздновал вполне по-русски.

Чувствуя, что уже не уснет, нащупал спички на столе, зажег свечу, взглянул на свои часы, но они остановились, а стрелки показывали десять, тридцать две минуты. На разорванной цепочке оказался медный, с финифтью, образок богоматери.

«Ужасные люди, — подумал он, вспоминая тяжелые удовольствия вчерашнего дня. — И я тоже… хорош!»

Широко открылась дверь, вошел Лютов с танцующей свечкой в руке, путаясь в распахнутом китайском халате; поставил свечку на комод, сел на ручку кресла, но покачнулся и, съехав на сиденье, матерно выругался.

— Содовой хочешь? Гриша — содовой!.. Он сжал подбородок кулаком так, что красная рука его побелела, и хрипло заговорил, ловя глазами двуцветный язычок огня свечи:

— Что-то неладно, брат, убили какого-то эсдека, шишку какую-то, Марата, что ли… Впрочем — Марат арестован. На улице — орут, постреливают.

— Теперь — вечер? — спросил Самгин.

— Ну — а что же? Восьмой час… Кучер говорит: на Страстной телеграфные столбы спилили, проволока везде, нельзя ездить будто. — Он тряхнул головой. — Горох в башке! — Прокашлялся и продолжал более чистым голосом. — А впрочем, — хи-хи! Это Дуняша научила меня — «хи-хи»; научила, а сама уж не говорит. — Взял со стола цепочку с образком, взвесил ее на ладони и сказал, не удивляясь: — А я думал — она с филологом спала. Ну, одевайся! Там — кофе.

У двери он остановился и, глядя на свечу, щелкая пальцами, сказал:

— Замечательно Туробоев рассказывал о попишке этом, о Гапошке. Сорвался поп, дурак, не по голосу ноту взял. Не тех поднял на ноги…

Дунул на свечу и, вылезая из двери, должно быть, разорвал халат, — точно зубы скрипнули, — треснул шелк подкладки.

Самгин вымылся, оделся и прошел в переднюю, намереваясь незаметно уйти домой, но его обогнал мальчик, открыл дверь на улицу и впустил Алину.

— Куда? Раздевайтесь! — крикнула она. — На улицах — пьяные, извозчиков — нет, я едва дошла; придираются, озорничают.

Странно было слышать, что она говорит не сердясь, не испуганно, а как будто даже с радостью. Самгин покорно разделся, прошел в столовую, там бегал Лютов в пиджаке, надетом на ночную рубаху; за столом хозяйничала Дуняша и сидел гладко причесанный, мокроголовый молодой человек с желтым лицом, с порывистыми движениями; Лютов скрылся на зов Алины, радостно засияв. Молодой человек говорил что-то о Стендале, Овидии, голос у него был звонкий, но звучал обиженно, плоское лицо украшали жиденькие усы и такие же брови, но они, одного цвета с кожей, были почти невидимы, и это делало молодого человека похожим на скопца.

— И всё — не так, — сказала Дуняша, улыбаясь Самгину, наливая ему кофе. — Страстный — вспыхнул да и погас. А настоящий любовник должен быть такой, чтоб можно повозиться с ним, разогревая его. И лирических не люблю, — что в них толку? Пенится, как мыло, вот идее…

Лютов ввел под руку Алину, она была одета в подобие сюртука, казалась выше ростом и тоньше, а он, рядом с нею, — подросток.

— Натаскали каких-то ящиков, досок, — оживленно рассказывала она, Лютов кричал:

— Значит — конституция недоношенной родилась?

Преодолевая тяжкий хмель, сердясь на всех и на себя, Самгин спросил:

— Хотел бы я знать: во что ты веришь?

— Тайна сия велика есть! — откликнулся Лютов, чокаясь с Алиной коньяком, а опрокинув рюмку в рот, сказал, подмигнув: — Однако полагаю, что мы с тобою — единоверцы: оба верим в нирвану телесного и душевного благополучия. И — за веру нашу ненавидим себя; знаем:

благополучие — пошлость, Европа с Лютером, Кальвином, библией и всем, что не по недугу нам.

— Врешь ты все, — вздохнув, сказал Самгин.

— А тебе бы на твой пятак — правду? На-ко вот! Быстрым жестом он показал Самгину кукиш и снова стал наливать рюмки. Алина с Дуняшей и филологом сидели в углу на диване, филолог, дергаясь, рассказывал что-то, Алина смеялась, она была настроена необыкновенно весело и все прислушивалась, точно ожидая кого-то. А когда на улице прозвучал резкий хлопок, она крикнула:

— Слышите? Стреляют!

— Дверь, — сказал филолог.

Пришел Макаров и, потирая озябшие руки, неприлично спокойно рассказал, что вся Москва возмущена убийством агитатора.

— Его фамилия — Бауман. Гроб с телом его стоит в Техническом училище, и сегодня черная сотня пыталась выбросить гроб. Говорят — собралось тысячи три, но там была охрана, грузины какие-то. Стреляли. Есть убитые.

— Грузины? Доктор, ты врешь! — закричал Лютов. Макаров равнодушно пожал плечами и, наливая себе кофе, обратился в сторону Алины:

— Туробоева я не нашел, но он — здесь, это мне сказал один журналист. Письмо Туробоеву он передаст.

Лютов, бегая по комнате, приглаживал встрепанные волосы и бормогал, кривя лицо:

— Война москвичей с грузинами из-за еврея? Хи-хи!

— Предупреждаю, — на улицах очень беспокойно, — говорил Макаров, прихлебывая кофе, говорил, как будто читая вслух неинтересную статью газеты.

— А мы и не пойдем никуда — здесь тепло и сытно! — крикнула Дуняша. — Споем, Линочка, пока не умерли. На этот раз Дуняша заставила Сангина подумать:

«Бабенка действительно… поет».

Алина не пела, а только расстилала густой свой голос под слова Дуняшиной песни, — наивные, корявенькие слова. Раньше Самгин не считал нужным, да и не умел слушать слова этих сомнительно «народных» песен, но Дуняша выговаривала их с раздражающей ясностью:

Золот месяц улыбнулся в облаках,Ой, усмехнулося мне горюшко мое…

Было досадно убедиться, что такая, в сущности, некрасивая маленькая женщина, грубо, точно дешевая кукла, раскрашенная, может заставить слушать ее насмешливо печальную песню, ненужную, как огонь, зажженный среди ясного дня.

То, что на улицах беспокойно, уничтожив намерение Самгина идти домой, несколько встревожило его, и, слушая пение, он соображал:

«Конечно, время до организации Государственной думы будет суматошным, но это уже организационная суматоха».

Когда кончили петь, он сказал это вслух, но никто не Обратил должного внимания на его слова; Макаров молча и меланхолически посмотрел на него, Лютов, закрывая своею изогнутой спиной фигуру Дуняши, чмокал ее руки и что-то бормотал, Алина, гладя ее рыжие волосы, вздыхала:

— Ах, Дунька, Дунька, — сколько в тебе таланта! Убить тебя мало, если ты истреплешь его зря.

— Должны же люди устать, — с досадой и уже несколько задорно сказал Самгин Макарову, но этот выцветший, туманный человек снова не ответил, напевая тихонько мотив угасшей песни, а Лютов зашипел:

— Шш!

Обнявшись, Дуняша и Алина снова не громко запели, как бы беседуя между собою, а когда они кончили, горничная объявила, что готов ужин. Ужинали тихо, пили мало, все о чем-то задумались, даже Лютов молчал, и после ужина тотчас разошлись по комнатам.

Лежа в постели, Самгин следил, как дым его папиросы сгущает сумрак комнаты, как цветет огонь свечи, и думал о том, что, конечно, Москва, Россия устали за эти годы социального террора, возглавляемого царем «карликовых людей», за десять лет студенческих волнений, рабочих демонстраций, крестьянских бунтов.

Устал и он, Клим Самгин, от всего, что видел, слышал, что читал, насилуя себя для того, чтоб не порвались какие-то словесные нити, которые связывали его и тянули к людям определенной «системы фраз». Да, он тоже устал, и теперь ему казалось, что устал он как-то возвышенно, символически, что ли; что он несет в себе долголетнюю усталость, не только свою, но вековую усталость всех жертв русской истории, всех, кто насильственно прикован к ее «каторжной тачке». И вот наступил канун отдыха, действительное «начало конца».

Но минутами его уверенность в конце тревожных событий исчезала, как луна в облаках, он вспоминал «господ», которые с восторгом поднимали «Дубинушку» над своими головами; явилась мысль, кого могут послать в Государственную думу булочники, метавшие с крыши кирпичи в казаков, этот рабочий народ, вывалившийся на улицы Москвы и никем не руководимый, крестьяне, разрушающие помещичьи хозяйства? Совет рабочих депутатов не может явиться чем-то серьезным, нельзя представить, какую роль может играть эта нигде, никем, никогда не испробованная организация…

На этом месте он задремал, рано утром его разбудила Дуняша, он охотно и снисходительно поиграл ее удобным и приятным телом, а через час оделся и ушел домой.

День похорон Баумана позволил Самгину окончательно и твердо убедиться, что Москва действительно устала. Он почувствовал это тотчас же, как только вышел на улицу под руку с женой, сопровождаемой Брагиным и Кумовым. Вышел он в настроении человека, обязанного участвовать в деле, смысл которого ему не ясен. По дороге навстречу процессии он видел, что почти каждый дом выпускает из ворот, из дверей свое содержимое настроенным так же, как он, — сумрачно, даже как бы обиженно. Можно было подумать, что люди — недовольны и молча

протестуют против того, что вот снова надобно куда-то идти. Из этих разнообразных единиц необыкновенно быстро образовалась густейшая масса, и Самгин, не впервые участвуя в трагических парадах, первый раз ощутил себя вполне согласованным, внутренне спаянным с человеческой массой этого дня.

Когда вдалеке, из пасти какой-то улицы, на Театральную площадь выползла красная голова небывало и неестественно плотного тела процессии, он почувствовал, что по всей коже его спины пробежала холодноватая дрожь; он не понимал, что вызвало ее: испуг или восхищение? Над головою толпы колебалось множество красных флагов, — это было похоже на огромный зонт, изломанный, изорванный ветром. Но чем дальше на площадь выползал черный Левиафан, тем более было флагов, и теперь они уже напоминали красную чешую на спине чудовища. В этой массе было нечто необыкновенное для толпы людей; все вокруг Самгина поняли это и подавленно притихли. Тогда, в тишине, он услыхал, что чудовище ползет молча; наполняя воздух неестественным шорохом, оно безгласно, только издали, из глубины его существа, слабо доносится знакомый, торжественно угрюмый мотив похоронного марша:

— «Вы жертвою пали».

Самгин чувствовал, что рука жены дрожит, эта дрожь передается ему, мешает сердцу биться и, подкатываясь к горлу судорогой, затрудняет дыхание.

«Жертвы, да! — разорванно думал он, сняв шляпу. — Исааки, — думал он, вспоминая наивное поучение отца. — Последняя жертва!»

Мигая, чтоб согнать с глаз теплые слезы, мешавшие видеть, он вертел головой, оглядывался. Никогда еще не видал он столь разнообразных и так одинаково торжественно настроенных лиц.

«На Выборгской стороне? — сравнивал Клим Самгин, торопясь определить настроение свое и толпы. — Там была торжественность, конечно, другого тона, там ведь не хоронили, а можно сказать: хотели воскресить царя…»

Мешали думать маленькие, тихие глупости спутников.

— И это хоронят еврея! — изумленно, вполголоса говорила Варвара.

— Христос, — сказал Кумов, а Брагин немедленно осведомил его:

— Существует мнение, что Христос не был евреем. В тишине эти недоумевающие шопоты были слышны очень ясно, хотя странный, шлифующий шорох, приближаясь, становился все гуще. Самгин напряженно присматривался. Мелькали — и не редко — лица, нахмуренные угрюмо, даже грозно, и почти не заметны были физиономии профессиональных зрителей, — людей, которые одинаково равнодушно смотрят на свадьбы, похороны, на парады войск и на арестантов, отправляемых в Сибирь. В конце концов Самгину показалось, что преобладает почти молитвенное и благодарное настроение сосредоточенности на каком-то одном, глубоком чувстве. Невозможно было бы представить, что десятки тысяч людей могут молчать так торжественно, а они молчали, и вздохи, шопоты их стирались шлифующим звуком шагов по камням мостовой.

«Именно — так: здесь молча и торжественно благодарят человека за то, что он умер…»

Юмористическая форма этой догадки смутила его, он даже покосился на Варвару, точно опасаясь, не услышала бы она, как думает он.

«Благодарят борца за то, что он жил, за его подвиг, за жертву».

Переодев свою мысль более прилично, Самгин снова почувствовал приток торжественного настроения, наполнился тишиной, которая расширяла и возвышала его.

В ритм тяжелому и слитному движению неисчислимой толпы величаво колебался похоронный марш, сотни людей пели его, пели нестройно, и как будто все время повторялись одни и те же слова:

— «Вы жертвою пали».

Но Клим Самгин чувствовал внутреннюю стройность и согласованность в этом чудовищно огромном хоре, согласованность, которая делала незаметной отсутствие духовенства, колокольного звона и всего, что обычно украшает похороны человека.

«Здесь все это было бы лишним, даже — фальшивым, — решил он. — Никакая иная толпа ни при каких иных условиях не могла бы создать вот этого молчания и вместе с ним такого звука, который все зачеркивает, стирает, шлифует все шероховатости».

Здесь — все другое, все фантастически изменилось, даже тесные улицы стали неузнаваемы, и непонятно было, как могут они вмещать это мощное тело бесконечной, густейшей толпы? Несмотря на холод октябрьского дня, на злые прыжки ветра с крыш домов, которые как будто сделались ниже, меньше. — кое-где форточки, даже окна были открыты, из них вырывались, трепетали над толпой красные куски материи.

Пышно украшенный цветами, зеленью, лентами, осененный красным знаменем гроб несли на плечах, и казалось, что несут его люди неестественно высокого роста. За гробом вели под руки черноволосую женщину, она тоже была обвязана, крест-накрест, красными лентами;

на черной ее одежде ленты выделялись резко, освещая бледное лицо, густые, нахмуренные брови.

— Медведева, его гражданская жена, — осведомил Брагин и — крякнул.

За нею, наклоня голову, сгорбясь, шел Поярков, рядом с ним, размахивая шляпой, пел и дирижировал Алексей Гогин; под руку с каким-то задумчивым блондином прошел Петр Усов, оба они в полушубках овчинных; мелькнуло красное, всегда веселое лицо эсдека Рожкова рядом с бородатым лицом Кутузова; эти — не пели, а, очевидно, спорили, судя по тому, как размахивал руками Рожков; следом за Кутузовым шла Любаша Сомова с Гогиной; шли еще какие-то безымянные, но знакомые Самгину мужчины, женщины.

«Человек полтораста, двести, — не больше», — удовлетворенно сосчитал Самгин.

Пели именно эти люди, и в шорохе десятков тысяч ног пение звучало слабо.

Эту группу, вместе с гробом впереди ее, окружала цепь студентов и рабочих, державших друг друга за руки, у многих в руках — револьверы. Одно из крепких звеньев цепи — Дунаев, другое — рабочий Петр Заломов, которого Самгин встречал и о котором говорили, что им была организована защита университета, осажденного полицией.

Тысячами шли рабочие, ремесленники, мужчины и женщины, осанистые люди в дорогих шубах, щеголеватые адвокаты, интеллигенты в легких пальто, студенчество, курсистки, гимназисты, прошла тесная группа почтово-телеграфных чиновников и даже небольшая кучка офицеров. Самгин чувствовал, что каждая из этих единиц несет в себе одну и ту же мысль, одно и то же слово, — меткое словцо, которое всегда, во всякой толпе совершенно точно определяет ее настроение. Он упорно ждал этого слова, и оно было сказано.

Оно было ответом на вопрос толстой, краснорожей бабы, высунувшейся из двери какой-то лавочки; изумленно выкатив кругленькие, синие глазки, она громко спросила:

— Батюшки, да — кого ж это хоронят?

— Революцию, тетка, — спокойно и громко ответили ей.

— Ой, — смешливо крикнула Варвара, как будто ее пощекотали, а Брагин осведомленно пробормотал:

— Надо было сказать: анархию, погромы. Клим Самгин замедлил шаг, оглянулся, желая видеть лицо человека, сказавшего за его спиною нужное слово; вплоть к нему шли двое: коренастый, плохо одетый старик с окладистой бородой и угрюмым взглядом воспаленных глаз и человек лет тридцати, небритый, черноусый, с большим носом и веселыми глазами, тоже бедно одетый, в замазанном, черном полушубке, в сибирской папахе.

«Этот!» — догадался Клим Самгин., Для него это слово было решающим, оно до конца объясняло торжественность, с которой Москва выпустила из домов своих людей всех сословий хоронить убитого революционера.

«Как это глубоко, исчерпывающе сказано: революцию хоронят! — думал он с благодарностью неведомому остроумцу. — Да, несут в могилу прошлое, изжитое. Это изумительное шествие — апофеоз общественного движения. И этот шлифующий шорох — не механическая работа ног, а разумнейшая работа истории».

Он решил написать статью, которая бы вскрыла символический смысл этих похорон. Нужно рассказать, что в лице убитого незначительного человека Москва, Россия снова хоронит всех, кто пожертвовал жизнь свою борьбе за свободу в каторге, в тюрьмах, в ссылке, в эмиграции. Да, хоронили Герцена, Бакунина, Петрашевского, людей 1-го марта и тысячи людей, убитых девятого января.

«Писать надобно, разумеется, в тоне пафоса. Жалко, то есть неудобно несколько, что убитый — еврей, — вздохнул Самгин. — Хотя некоторые утверждают, что — русский...»

Шествие замялось. Вокруг гроба вскипело не быстрое, но вихревое движение, и гроб — бесформенная масса красных лент, венков, цветов — как будто поднялся выше; можно было вообразить, что его держат не на плечах, а на руках, взброшенных к небу. Со двора консерватории вышел ее оркестр, и в серый воздух, под низкое, серое небо мощно влилась величественная музыка марша «На смерть героя».

— Боже мой, как великолепно! — вздохнула Варвара, прижимаясь к Самгину, и ему показалось, что вместе с нею вздохнули тысячи людей. Рядом с ним оказался вспотевший, сияющий Ряхин.

— Какой день, а? — говорил он; толстые, лиловые губы его дрожали, он заглядывал в лицо Клима растерянно вспыхивающими глазами и захлебывался: — Ка-акое... великодушие! Нет, вы оцените, какое великодушие, а? Вы подумайте: Москва, вся Москва...

— Н-да, чудим, — сказал Стратонов, глядя в лицо Варвары, как на циферблат часов. — Представь меня, Максим, — приказал он, подняв над головой бобровую шапку и как-то глупо, точно угрожая, заявил Варваре: — Я знаком с вашим мужем.

— Он — здесь, — сказала Варвара, но Самгин уже спрятался за чью-то широкую спину; ему не хотелось говорить с этими людями, да и ни с кем не хотелось, в нем все пышнее расцветали свои, необыкновенно торжественные, звучные слова.

— Тише, господа, — строго крикнул кто-то на Ряхина и Стратонова.

Брагин пробивался вперед. Кумов давно уже исчез, толпа все шла, и в минуту Самгин очутился далеко от жены. Впереди его шагали двое, один — коренастый, тяжелый, другой — тощенький, вертлявый, он спотыкался и скороговоркой,

возбужденным тенорком внушал:

— Ты, Валентин, напиши это; ты, брат, напиши: черненькое-красненькое, ого-го! Понимаешь? Красненькое-черненькое, а?

Самгин все замедлял шаг, рассчитывая, что густой поток людей обтечет его и освободит, но люди всё шли, бесконечно шли, поталкивая его вперед. Его уже ничто не удерживало в толпе, ничто не интересовало; изредка все еще мелькали знакомые лица, не вызывая никаких впечатлений, никаких мыслей. Вот прошла Алина под руку с Макаровым, Дуняша с Лютовым, синещекий адвокат. Мелькнуло еще знакомое лицо, кажется, — Туробоев и с ним один из модных писателей, красивый брюнет.

— Клим Иванович! — радостно и боязливо воскликнул Митрофанов, схватив его за рукав. — Здравствуйте! Вот в каком случае встретились! Господи, боже мой…

— А, вы тоже? — сказал Самгин, скрывая равнодушие, досадуя на эту встречу. — Давно здесь?

— Месяца два. Ф-фу, до чего я рад…

— Что же не зашли ко мне?

Митрофанов громко, с сожалением чмокнул и, не ответив, продолжал:

— Как же, Клим Иванович? Значит — допущено соединение всех сословий в общих правах? — Тогда — разрешите поздравить с увенчанием трудов, так сказать…

Он был давно не брит, щетинистые скулы его играли, точно он жевал что-то, усы — шевелились, был он как бы в сильном хмеле, дышал горячо, но вином от него не пахло. От его радости Самгину стало неловко, даже смешно, но искренность радости этой была все-таки приятна.

— Вот как — разбрызгивали, разбрасывали нас кого куда и — вот, соединяйтесь! Замечательно! Ну, знаете, и плотно же соединились! — говорил Митрофанов, толкая его плечом, бедром.

У Никитских ворот шествие тоже приостановилось, люди сжались еще теснее, издали, спереди по толпе пробежал тревожный говорок…

— Эй, товарищи, вперед!

Это командовал какой-то чумазый, золотоволосый человек, бесцеремонно. расталкивая людей; за ним, расщепляя толпу, точно клином, быстро пошли студенты, рабочие, и как будто это они толчками своими восстановили движение, — толпа снова двинулась, пение зазвучало стройней и более грозно. Люди вокруг Самгина отодвинулись друг от друга, стало свободнее, шорох шествия уже потерял свою густоту, которая так легко вычеркивала голоса людей.

— Должно быть, схулиганил кто-нибудь, — виновато сказал Митрофанов. — А может, захворал. Нет, — тихонько ответил он на осторожный вопрос Самгина, — прежним делом не занимаюсь. Знаете, — пред лицом свободы как-то уж недостойно мелких жуликов ловить. Праздник, и все лишнее забыть хочется, как в прощеное воскресенье. Притом я попал в подозрение благонадежности, меня, конечно, признали недопустимым…

Пение удалялось, пятна флагов темнели, ветер нагнетал на людей острый холодок; в толпе образовались боковые движения направо, налево; люди уже, видимо, не могли целиком влезть в узкое горло улицы, а сзади на них все еще давила неисчерпаемая масса, в сумраке она стала одноцветно черной, еще плотнее, но теряла свою реальность, и можно было думать, что это она дышит холодным ветром. Самгина незаметно оттеснило налево, к Арбату; но это было как раз то, чего он хотел. Тут голос Митрофанова, очень тихий, стал слышнее.

— Всякий понимает, что лучше быть извозчиком, а не лошадью, — торопливо истекал он словами, прижимаясь к Самгину. — Но — зачем же на оружие деньги собирать, вот — не понимаю! С кем воевать, если разрешено соединение всех сословий?

— Ну, это несерьезно, — сказал Самгин с досадой, — Иван Петрович уже сильно надоел ему.

— Нет? Так — зачем?

— На случай нападения черной сотни…

— Ах, да! Н-да… конечно! Вот как… А — кто ж это собирает? Социалисты-революционеры или демократы?

— Не знаю. Мне — сюда, Иван Петрович… Митрофанов схватил его руку обеими руками, крепко сжал ее и, несколько раз встряхнув, сказал не своим голосом:

— Дело — прошлое, Клим Иванович, а — был, да, может, и есть около вас двуязычный человек, переломил он мне карьеру…

— Вы — ошибаетесь, — строго ответил Самгин.

— Прощайте, — сказал Митрофанов, поспешно отходя прочь, но, сделав три-четыре шага, обернулся и крикнул:

— Был!

В ответ на этот плачевный крик Самгин пожал плечами, глядя вслед потемневшей, как все люди в этот час, фигуре бывшего агента полиции. Неприятная сценка с Митрофановым, скользнув по настроению, не поколебала его. Холодный сумрак быстро разгонял людей, они шли во все стороны, наполняя воздух шумом своих голосов, и по веселым голосам ясно было: люди довольны тем, что исполнили свой долг.

Самгин шел тихо, перебирая в памяти возможные возражения всех «систем фраз» против его будущей статьи. Возражения быстро испарялись, как испаряются первые капли дождя в дорожной пыли, нагретой жарким солнцем. Память услужливо подсказывала удачные слова, они легко и красиво оформляли интереснейшие мысли. Он чувствовал себя совершенно свободным от всех страхов и тревог.

«Да — был ли мальчик-то?» — мысленно усмехнулся он.

Сквозь толпу, уже разреженную, он снова перешел площадь у Никитских ворот и, шагая по бульвару в одном направлении со множеством людей, обогнал Лютова, не заметив его. Он его узнал, когда этот беспокойный человек, подскочив, крикнул в ухо ему:

— Хи-хи! А я иду с Дуняшей и говорю ей… Самгин отшатнулся, чувствуя, зная, что Лютов сейчас начнет источать свои отвратительные двусмысленности. Да, да, — он уже готов сказать что-то дрянненькое, — это видно по сладостной судороге его разнузданного лица. И, предупреждая Лютова, он заговорил сам, быстро, раздраженно, с иронией.

— Ну, теперь, надеюсь, ты бросишь играть роль какого-то неудачного беса. Плохая роль. И — пошлая, извини! Для такого закоренелого мещанина, как ты, нигилизм не маска…

Он чувствовал себя в силе сказать много резкостей, но Лютов поднял руку, как для удара, поправил шапку, тихонько толкнул кулаком другой руки в бок Самгина и отступил назад, сказав еще раз, вопросительно:

— Хи-хи?

Самгин, не оглянувшись, быстро пошел дальше, опасаясь третий раэ поймать это отвратительное;

«Хи-хи».

Комментарии

Впервые напечатано в собрании сочинений в издании «Книга», 1928, т. XXI. В том же году, с подзаголовком «Вторая часть трилогии «Сорок лет», печаталось одновременно в журналах «Новый мир», №№ 5–9, май — сентябрь, и «Красная новь», №№ 5–8, май-август. В «Новом мире» опубликована часть текста от начала до слов «— Охота вам связываться..» (стр. 310 настоящего тома), в «Красной нови» — от слов «На Театральной площади» (там же) до конца.

14 июня 1926 года М. Горький извещал М. Ф. Андрееву, что он написал треть задуманного им произведения — 600 страниц (Архив А. М. Горького). Видимо, речь шла о последней редакции первой части романа, работа над которой в середине июня 1926 года подходила к концу (рукопись последней редакции первой части «Жизни Клима Самгина» содержит 721 страницу). В это время уже возник вопрос о печатании отрывков из первой части романа: в письме от июня 1926 года М. Горький извещал редакцию журнала «Новый мир», что печатать роман отдельными главами он не будет (Архив А. М. Горького).

Над второй частью «Жизни Клима Самгина» М. Горький работал, начиная со второй половины 1926 года, весь 1927 год и начало 1928 года.

«Пишу же я роман, том второй, и больше ничего не могу писать», — сообщал он И. А. Груздеву 23 октября 1926 года (Собр. соч., изд. 3-е, Гослитиздат, М. — Л. 1947, т. 12, стр. 555). 8 июля 1927 года он писал в редакцию журнала «Новый мир», что с октября того же года можно было бы печатать часть второго тома (Архив А. М. Горького).

Как явствует из переписки М. Горького с издательством «Книга», последние страницы рукописи второй части «Жизни Клима Самгина» были посланы в издательство в феврале 1928 года.

В период работы над вторым томом М. Горький предполагал, что произведение будет состоять из трех частей. Посылая первую часть «Жизни Клима Самгина» П. Х. Максимову, он писал ему 13 января 1928 года, что это составляет только еще треть задуманного произведения (Архив А. М. Горького). В журналах роман печатался с подзаголовком «Трилогия».

В Архиве А. М. Горького сохранились три рукописи второй части «Жизни Клима Самгина». Одна из них — незаконченная черновая рукопись Она не отделена от первой части романа и представляет собой раннюю черновую редакцию, в которой эпизоды первой и второй частей чередуются между собой и расположены не в том порядке, какой был установлен впоследствии автором для окончательного текста.

Другая черновая рукопись второй части романа, приближающая текст романа к окончательной редакции, сохранилась почти полностью. Она представляет большой интерес с точки зрения творческой истории романа, так как многие эпизоды произведения по этой рукописи не совпадают с соответствующими эпизодами окончательного текста.

Третья по времени рукопись является последним рукописным текстом, который послужил оригиналом набора первого издания второй части «Жизни Клима Самгина».

Кроме того, в Архиве А. М. Горького сохранился разрозненный дубликат гранок первого издания второй части «Жизни Клима Самгина» с правкой автора. Этот дубликат был послан М. Горьким в СССР в качестве наборного экземпляра для журнальных публикаций. Ввиду того, что в нем при получении не оказалось нескольких листов, М. Горький выслал другой дубликат, в котором он заново выправил недостающие в первом экземпляре листы. Эта авторская правка отражена только в публикации журнала «Новый мир».

Начиная с 1928 года, вторая часть «Жизни Клима Самгина» включалась во все

собрания сочинений.

Печатается по тексту первого издания, сверенному с авторскими рукописями (Архив А. М. Горького).

Дома, по комнатам тяжело носила изработанное тело свое Анфимьевна.

— Схоронили? Ну вот, — неопределенно проворчала она, исчезая в спальне, и оттуда Самгин услыхал бесцветный голос старухи: — Не знаю, что делать с Егором: пьет и пьет. Царскую фамилию жалеет, — выпустила вожжи из рук.

Самгин попросил чаю и, закрыв дверь кабинета, прислушался, — за окном топали и шаркали шаги людей. Этот непрерывный шум создавал впечатление работы какой-то машины, она выравнивала мостовую, постукивала в стены дома, как будто расширяя улицу. Фонарь против дома был разбит, не горел, — казалось, что дом отодвинулся с того места, где стоял.

«Свершилось, — думал Самгин, закрыв глаза и видя слово это написанным как заголовок будущей статьи; слово даже заканчивалось знаком восклицания, но он стоял криво и был похож на знак вопроса. — В данном случае похороны как бы знаменуют воскресение нормальной жизни».

Думалось лениво и неутешительно, мешали Митрофанов, Лютов, мешало воспоминание о Никоновой.

«Неужели она донесла на Митрофанова?»

Затем он вспомнил, как неудобно было лежать в постели рядом с нею, — она занимала слишком много места, а кровать узкая. И потом эта ее манера бережно укладывать груди в лиф…

Несколько часов ходьбы по улицам дали себя знать, — Самгин уже спал, когда Анфимьевна принесла стакан чаю. Его разбудила Варвара, дергая за руку с такой силой, точно желала сбросить на пол.

— Проснись же! Ты слышишь? Около университета стреляли…

Она была в шубке, от нее несло холодом и духами, капельки талого снега блестели на шубе; хватая себя рукою за горло, она кричала:

— Ужас! Масса убитых! Мальчика…

— Мальчика? — повторил Самгин. — А может быть…

— Что — может быть? А, чорт!

Ей, наконец, удалось расстегнуть какой-то крючок, и, сбросив холодную шубку на колени Клима, срывая с головы шляпку, она забегала по комнате, истерически выкрикивая:

— И вообще — решено расстреливать. Эти похороны! В самом деле, — сам подумай, — ведь не во Франции мы живем! Разве можно устраивать такие демонстрации!

В столовой голос Кумова произнес:

— Какое… безумие!

— Кто стрелял? — недоверчиво спросил Самгин.

— Из манежа. Войска. Стратонов — прав: дорого заплатят евреи за эти похороны! Но — я ничего не понимаю! — крикнула она, взмахнув шляпкой. — Разрешили, потом — стреляют! Что это значит? Что ты молчишь?

И она убежала, избавив Клима от обязанности говорить.

«Наверное, преувеличено», — соображал он, сидя и вслушиваясь в отрывистые выкрики жены:

— Да, да… ужас!

Шаги людей на улице стали как будто быстрей. Самгин угнетенно вышел в столовую, — и с этой минуты жизнь его надолго превратилась в сплошной кошмар. На него наткнулся Кумов; мигая и приглаживая красными ладонями волосы, он встряхивал головою, а волосы рассыпались снова, падая ему на щеки.

— Без-зумие, — сквозь зубы сказал он, отходя к телефону, снял трубку и приставил ее к щеке, ниже уха.

— Телефон же не работает! — крикнула Варвара.

— Я не верю, не верю, что Петербургом снова командует Германия, как это было после Первого марта при Александре Третьем, — бормотал Кумов, глядя на трубку.

— Никуда я вас не пущу, Кумов! Почему вы думаете, что он тоже пошел по Никитской? И ведь не всех, кто шел по Никитской…

В столовую птицей влетела Любаша Сомова; за нею по полу тащился плед; почти падая, она, как слепая, наткнулась на стол и, задыхаясь, пристукивая кулаком, невероятно быстро заговорила:

— Туробоев убит… ранен, в больнице, на Страстном. Необходимо защищаться — как же иначе? Надо устраивать санитарные пункты! Много раненых, убитых. Послушайте, — вы тоже должны санитарный пункт! Конечно, будет восстание… Эсеры на Прохоровской мануфактуре…

Варвара грубо и даже как будто озлобленно перебивала ее вопросами. Вошла Анфимьевна и молча начала раздевать Любашу, а та вырывалась из ее рук, вскрикивая:

— Оставьте! Я сейчас уйду… Ах, боже мой, да оставьте же…

— Никаких пунктов! — горячо шепнула Варвара в ухо мужа. — Ни за что! Я — не могу, не допущу…

Подпрыгивая, точно стараясь вскочить на стол, Любаша торопливо кричала:

— Гогины уже организуют пункт, и надо просить Лютова, Клим! У него — пустой дом. И там такой участок, там — необходимо! Иди к нему, Клим. Иди сейчас же…

— Да, да, иди, Клим, — убедительно повторила Варвара, под сердитый крик Сомовой:

— Отдайте мне кофту и плед!

— Ну — куда, куда ты пойдешь? — говорила Анфимьевна, почему-то басом, но Любаша, стукнув по столу кулачком, похожим на булку «розан», крикнула на нее:

— Вы ничего не понимаете! Вы… рыба! За Алексеем Гогиным гнались какие-то… стреляли…

Анфимьевна увела Любашу, Варвара снова зашептала мужу:

— Ты иди, уговори Лютова, он человек с положением, а у нас — нет, благодарю!

Самгин пошел одеваться, не потому, что считал нужными санитарные пункты, но для того, чтоб уйти из дома, собраться с мыслями. Он чувствовал себя ошеломленным, обманутым и не хотел верить в то, что слышал. Но, видимо, все-таки случилось что-то безобразное и как бы направленное лично против него.

«Надобно защищаться. Будет восстание, — выйдя на улицу, мысленно повторял он крики Любаши. — Идиотка».

Но, обругав Сомову, подумал, что эти узкие, кривые улицы должны быть удобны для баррикад. И вслед за этим неприятно вспомнилось, как 8 октября рабочие осматривали город глазами чужих людей, а затем вдруг почувствовал, что огромный, хаотический город этот — чужой и ему — не та Москва, какою она была за несколько часов до этого часа. На нее обрушилась холодная темнота и, затискав людей в домики, в дома, погасила все огни на улицах, в окнах. Лишь очень редко, за плюшевыми наростами инея на стеклах окон, нищенски жалобно мерцали желтые пятна. Во тьме играла, сеялась остренькая, колючая пыль. Город стал не реален, как не реально все во тьме, кроме самой тьмы.

И, как всякий человек в темноте, Самгин с неприятной остротою ощущал свою реальность. Люди шли очень быстро, небольшими группами, и, должно быть, одни из них знали, куда они идут, другие шли, как заплутавшиеся, — уже раза два Самгин заметил, что, свернув за угол в переулок, они тотчас возвращались назад. Он тоже невольно следовал их примеру. Его обогнала небольшая группа, человек пять; один из них курил, папироса вспыхивала часто, как бы в такт шагам; женский голос спросил тоном обиды:

— Господа, — неужели это серьезно? — И крикнул: — Да бросьте папиросу!

Вздрогнув, Самгин подумал, что Москва в эту ночь страшнее Петербурга, каким тот был ночью на 10 января. Он стал напряженно вслушиваться, ожидая поймать памятные щелчки ружейных выстрелов. Но слух ловил какие-то удары, точно хлопали ворота или Двери, ловил вдали непонятное потрескивание, — так трещит дерево, разрываемое морозом. Иногда казалось, что ходят по железной крыше, иногда что-то скрипело и падало, как будто вдруг обрушился забор. Плутая в петлях улиц и переулков, во тьме, которая шелушилась все обильнее, Самгин подумал, что видеть Лютова будет очень неприятно, и окончательно решил: санитарные пункты — детская выдумка.

«В сущности, я необдуманно вышел из дома, — размышлял он, замедлив шаги. — Эта стрельба, наверное, — недоразумение».

Но он, вспомнив, что ему хотелось думать о преступлении 9 января тоже как о недоразумении, оттолкнул догадки о происшедшем сегодня и решил возвратиться домой. Алина, конечно, знает, идти к ней нет смысла. Туробоев так и должен был кончить. В сущности, он авантюрист. Такие кончают самоубийством или тюрьмой за уголовщину. Обломок разрушенного сословия. Возможно, что Алина все еще любит его. Кто-то сказал, что женщина всю жизнь любит первого мужчину, но — памятью, а не плотью. Он повернул за угол в переулок; через несколько шагов его окликнули:

— Кто идет?

Перед ним встал высокий человек, зажег спичку и, осветив его лицо, строго спросил:

— Живете в этом переулке?

— Нет.

— Здесь проход закрыт.

Самгин не спросил — почему. В глубине переулка, покрякивая и негромко переговариваясь, возились люди, тащили по земле что-то тяжелое.

«Конечно, студенты. Мальчишки», — подумал он, натужно усмехаясь и быстро шагая прочь от человека в длинном пальто и в сибирской папахе на голове. Холодная темнота, сжимая тело, вызывала вялость, сонливость. Одолевали мелкие мысли, — мозг тоже как будто шелушился ими. Самгин невольно подумал, что почти всегда в дни крупных событий он отдавался во власть именно маленьких мыслей, во власть деталей; они кружились над основным впечатлением, точно искры над пеплом костра.

«Это — свойство художника, — подумал он, приподняв воротник пальто, засунул руки глубоко в карманы и пошел тише. — Художники, наверное, думают так в своих поисках наиболее характерного в главном. А возможно, что это — своеобразное выражение чувства самозащиты от разрушительных ударов бессмыслицы».

Он повернул за угол, в свою улицу, и почти наткнулся на небольшую группу людей. Они стеснились между двумя палисадниками, и один из них говорил, негромко, быстро:

— Веру — царя — отечество…

Три слова он произнес, как одно. Самгин видел только спины и затылки людей; ускорив шаг, он быстро миновал их, но все-таки его настигли торопливые и очень внятные в морозной тишине слова:

— Забастовщики подкуплены жидами, это — дело ясное, и вот хоронили они — кого? А — как хоронили? Эдак-то в прошлом году генерала Келлера не хоронили, а — герой был!

«Тоже — «объясняющий господин», — подумал Клим, быстро подходя к двери своего дома и оглядываясь. Когда он в столовой зажег свечу, то увидал жену: она, одетая, спала на кушетке в гостиной, оскалив зубы, держась одной рукой за грудь, а другою за голову.

— Лютов был, — сказала она, проснувшись и морщась. — Просил тебя придти в больницу. Там Алина с ума сходит. Боже мой, — как у меня голова болит! И какая все это… дрянь! — вдруг взвизгнула она, топнув ногою. — И еще — ты! Ходишь ночью… Бог знает где, когда тут… Ты уже не студент…

Нервно расстегивая кофту, она ушла, захватив свечу.

— Ты забыла, что ушел я с твоего соизволения, — сказал он вслед ей и подумал:

«Растрепана, как…»

Позорное для женщины слово он проглотил и, в темноте, сел на теплый диван, закурил, прислушался к тишине. Снова и уже с болезненной остротою он чувствовал себя обманутым, одиноким и осужденным думать обо всем.

«Это и есть — моя функция? — спросил он себя. — По Ламарку — функция создает орган. Органом какой функции является человек, если от него отнять инстинкт пола? Толстой прав, ненавидя разум».

Папироса погасла. Спички пропали куда-то. Он лениво поискал их, не нашел и стал снимать ботинки, решив, что не пойдет в спальню: Варвара, наверное, еще не уснула, а слушать ее глупости противно. Держа ботинок в руке, он вспомнил, что вот так же на этом месте сидел Кутузов.

«Конечно, он теперь где-нибудь разжигает страсти…» Тут Самгин вдруг почувствовал, что в нем точно нарыв лопнул и по всему телу разлились холодные струйки злобы.

«И прав! — мысленно закричал он. — Пускай вспыхнут страсти, пусть все полетит к чорту, все эти домики, квартирки, начиненные заботниками о народе, начетчиками, критиками, аналитиками…»

— Почему ты не ложишься спать? — строго спросила Варвара, появляясь в дверях со свечой в руке и глядя на него из-под ладони. — Иди, пожалуйста! Стыдно сознаться, но я боюсь! Этот мальчик… Сын доктора какого-то… Он так стонал…

В ночной длинной рубашке, в чепчике и туфлях, она была похожа на карикатуру Буша.

— Странно ты ведешь себя, — сказала она, подходя к постели. — Ведь я знаю — все это не может нравиться тебе, а ты…

— Молчи! — вполголоса крикнул он, но так, что она отшатнулась. — Не смей говорить — знаю! — продолжал он, сбрасывая с себя платье. Он первый раз кричал на жену, и этот бунт был ему приятен.

— Ты с ума сошел, — пробормотала Варвара, и он видел, что подсвечник в руке ее дрожит и что она, шаркая туфлями, все дальше отодвигается от него.

— Что ты знаешь? Может быть, завтра начнется резня, погромы…

Варвара как-то тяжело, неумело улеглась спиною к нему; он погасил свечу и тоже лег, ожидая, что еще скажет она, и готовясь наговорить ей очень много обидной правды. В темноте под потолком медленно вращались какие-то дымные пятна, круги. Ждать пришлось долго, прежде чем в тишине прозвучали тихие слова:

— Не понимаю, почему нужно злиться на меня? Ведь не я делаю революции…

Он ждал каких-то других слов. Эти были слишком глупы, чтобы отвечать на них, и, закутав голову одеялом, он тоже повернулся спиною к жене.

«Кричать на нее бесполезно. И глупо. Крикнуть надобно на кого-то другого. Может быть, даже на себя».

Но — себя жалко было, а мысли принимали бредовой характер. Варвара, кажется, плакала, все сморкалась, мешая заснуть.

«Вероятно, ненавидит меня. Но я сам, кажется, скоро тоже возненавижу себя». И от этой мысли жалость его к себе возросла.

Заснул он под утро, а когда проснулся и вспомнил сцену с женой, быстро привел себя в порядок и, выпив чаю, поспешил уйти от неизбежного объяснения.

«Москва опустила руки», — подумал он, шагая по бульварам странно притихшего города. Полдень, а людей на улицах немного и все больше мелкие обыватели; озабоченные, угрюмые, небольшими группами они стояли у ворот, куда-то шли, тоже по трое, по пяти и более. Студентов было не заметно, одинокие прохожие — редки, не видно ни извозчиков, ни полиции, но всюду торчали и мелькали мальчишки, ожидая чего-то.

Вход в переулок, куда вчера не пустили Самгина, был загроможден телегой без колес, ящиками, матрацем, газетным киоском и полотнищем ворот. Перед этим сооружением на бочке из-под цемента сидел рыжебородый человек, с папиросой в зубах; между колен у него торчало ружье, и одет он был так, точно собрался на охоту. За баррикадой возились трое людей: один прикреплял проволокой к телеге толстую доску, двое таскали со двора кирпичи. Все это вызвало у Самгина впечатление озорной обывательской забавы.

В приемной Петровской больницы на Клима жадно бросился Лютов, растрепанный, измятый, с воспаленными глазами, в бурых пятнах на изломанном гримасами лице.

— Ух, как я тебя ждал! — зашипел он, схватив Самгина, и увлек его в коридор, поставил в нишу окна. — Ну, он — помер, в одиннадцать тридцать семь. Две пули, обе — в живот. Маялся. Вот что, брат, — налезая на Самгина, говоря прямо в лицо ему, продолжал он осипшим голосом: — тут — Алина взвилась, хочет хоронить его обязательно на Введенском кладбище, ну — чепуха же! Ведь это — чорт знает где, Введенское! И вообще какие тут похороны? Поп отказался провожать. Идиот. «Тут, говорит, убийство, уголовное преступление». — «Как, говорю, преступление? Солдаты стреляли не по своей охоте, а, разумеется, по команде начальства, значит, это — убийство в состоянии самозащиты войск пробив свирепых гимназистов!» Лютов захлебнулся словами, закашлялся и потом, упираясь ладонью в плечо Самгина, продолжал:

— Ты, брат, попробуй, отговори ее от этой церемонии, — а?

У него дрожали ноги, он все как-то приседал, покачивался. Самгин слушал его молча, догадываясь — чем ушиблен этот человек? Отодвинув Клима плечом, Лютов прислонился к стене на его место, широко развел руки:

— Какая штучка началась, а? Вот те и хи-хи! Я ведь шел с ним, да меня у Долгоруковского переулка остановил один эсер, и вдруг — трах! трах! Сукины дети! Даже не подошли взглянуть — кого перебили, много ли? Выстрелили и спрятались в манеж. Так ты, Самгин, уговори! Я не могу! Это, брат, для меня — неожиданно... непонятно! Я думал, у нее — для души — Макаров... Идет! — шепнул он и отодвинулся подальше в угол.

Издали по коридору медленно плыла Алина. В расстегнутой шубке, с шалью на плечах, со встрепанной прической, она казалась неестественно большой. Когда она подошла, Самгин почувствовал, что уговаривать ее бесполезно: лицо у нее было окостеневшее, глаза провалились в темные глазницы, а зрачки как будто кипели, сверкая бешенством.

— Ну во г, хоть один умный человек нашелся, — сквозь зубы, низким голосом заговорила она. — Ты, Клим, проводишь меня на кладбище. А ты, Лютов, не ходи! Клим и Макаров пойдут. — Слышишь?

Лютов дернул себя за бородку, и голова его покорно наклонилась.

— Я наняла каких-то шестерых, они и понесут гроб, — продолжала она и вдруг, топнув ногою, сказала басовито: — Ни одного цветка нигде, сволочи!..

Она пошла дальше, а Лютов, укоризненно мотая головой, прошептал:

— Что же ты, Самгин? Эх, брат... Ну, разве можно ее пустить... Эх!

И, ступая на носки сапог, он пошел вслед за Алиной.

«В какие глупые положения попадаю», — подумал Самгин, оглядываясь. Бесшумно отворялись двери, торопливо бегали белые фигуры сиделок, от стены исходил запах лекарств, в стекла окна торкался ветер. В коридор вышел из палаты Макаров, развязывая на ходу завязки халата, взглянул на Клима, задумчиво спросил:

— Ты?

И, взяв его под руку, привел в темную комнатку, с одним окном, со множеством стеклянной посуды на полках и в шкафах.

— Кури, здесь можно, — сказал он, снимая халат. — Мужественно помер, без жалоб, хотя раны в живот — мучительны.

Присев на угол стола, он усмехнулся:

— Говорит мне: «Я был бы доволен, если б знал, что умираю честно». Это — как из английского романа. Что значит — честно умереть? Все умирают — честно, а вот живут...

Самгин курил, слушал и размышлял: почему этот преждевременно поседевший человек как-то особенно неприятен ему?

— Что же, Самгин, революция у нас? — спросил Макаров, сдвинув брови, глядя на дымный кончик своей папиросы.

— Очевидно.

— Ты — рад?

— Революция — это трагедия, — не сразу ответил Клим.

— Ты не ответил.

— Трагедии не радуют.

— Ты — большевик?

— Конечно — нет, — ответил Клим и тотчас же подумал, что слишком торопливо ответил.

— Значит — не революционер, — сказал Макаров тихо, но очень просто и уверенно. Он вообще держался и говорил по-новому, незнакомо Самгину и этим возбуждал какое-то опасение, заставлял насторожиться.

— Революционеры — это большевики, — сказал Макаров все так же просто. — Они бьют прямо: лбом в стену. Вероятно — так и надо, но я, кажется, не люблю их. Я помогал им, деньгами и вообще… прятал кого-то и что-то. А ты помогал?

— Случалось, — осторожно ответил Клим.

— Зачем? Почему?

Самгин молча пожал плечами, чувствуя, что вопросы Макарова принимают все более неприятный характер. А тот продолжал:

— Потому что — авангард не побеждает, а погибает, как сказал Лютов? Наносит первый удар войскам врага и — погибает? Это — неверно. Во-первых — не всегда погибает, а лишь в случаях недостаточно умело подготовленной атаки, а во-вторых — удар-то все-таки наносит! Так вот, Самгин, мой вопрос: я не хочу гражданской войны, но помогал и, кажется, буду помогать людям, которые ее начинают. Тут у меня что-то неладно. Не согласен я с ними, не люблю, но, представь, — как будто уважаю и даже…

Он усмехнулся, щелкнул пальцами и продолжал:

— Ты — человек осведомленный в политике, скажи-ка…

Дверь широко открылась, вошла Алина. Самгин бросил окурок папиросы на пол и облегченно вздохнул, а Макаров сказал:

— Мы потом возобновим эту беседу… «Едва ли», — хотелось сказать Климу, но вместо этого он утвердительно кивнул головой.

— О чем? — спросила Алина, стирая с лица платком крупные капли пота.

— О политике, — сказал Макаров. — Вы бы сняли шубу, простудитесь!

Алина села у двери на стул, предварительно сбросив с него какие-то книги.

— Разве я вам мешаю? — спросила она, посмотрев на мужчин. — Я начала понимать политику, мне тоже хочется убить какого-нибудь… министра, что ли.

— Вам надо выспаться, — пробормотал Макаров, не глядя на нее, а она продолжала не торопясь, цедя слова сквозь зубы:

— Вот — пошли меня, Клим! Я — красивая, красивую к министру пропустят, а я его…

Вытянув руку, она щелкнула пальцами, — лицо ее оставалось все таким же окостеневшим. Макаров, согнувшись, снова закуривал, а Самгин, усмехаясь, спросил:

— Ты думаешь, что это я посылаю людей убивать?

— Кто-то посылает, — ответила она, шумно вздохнув. — Вероятно — хладнокровные, а ты — хладнокровный. Ночью, там, — она махнула рукой куда-то вверх, — я. вспомнила, как ты мне рассказывал про Игоря, как солдату хотелось зарубить его… Ты — все хорошо заметил, значит — хладнокровный!

Помолчав и накрывая голову шалью, она добавила потише, как бы для себя:

— Впрочем, это, может, оттого, что «у страха глаза велики» — хорошо видят. Ах, как я всех вас…

Взглянув на Макарова, она замолчала, а потом вполголоса:

— В Ялте, после одной пьяной ночи, я заплакала, пожаловалась: «Господи, зачем ты одарил меня красотой, а бросил в грязь!» Вроде этого кричала что-то. Тогда Игорь обнял меня и так… удивительно ласково сказал:

«Вот это — настоящий человеческий вопль!» Он иногда так говорил, как будто в нем чорт прятался…

Последнее слово заглушил Лютов, отворив дверь.

— Ну что ж, готово, — сказал он очень унылым голосом. — Пойдемте.

Через час Самгин шагал рядом с ним по панели, а среди улицы за гробом шла Алина под руку с Макаровым; за ними — усатый человек, похожий на военного в отставке, небритый, точно в плюшевой маске на сизых щеках, с толстой палкой в руке, очень потертый; рядом с ним шагал, сунув руки в карманы рваного пиджака, наклоня голову без шапки, рослый парень, кудрявый и весь в каких-то театрально кудрявых лохмотьях; он все поплевывал сквозь зубы под ноги себе. Гроб торопливо несли два мужика в полушубках, оба, должно быть, только что из деревни: один — в серых растоптанных валенках, с котомкой на спине, другой — в лаптях и пестрядинных штанах, с черной заплатой на правом плече. В голове гроба — лысый толстый человек, одетый в два пальто, одно — летнее, длинное, а сверх него — коротенькое, по колена; в паре с ним — типичный московский мещанин, сухощавый, в поддевке, с растрепанной бородкой и головой яйцом. Шли они быстро и все четверо нелепо наклонясь вперед, точно телегу везли; усатый сипло покрикивал на них:

— Эй, вы, — в ногу!..

На желтой крышке больничного гроба лежали два листа пальмы латании и еще какие-то ветки комнатных цветов; Алина — монументальная, в шубе, в тяжелой шали на плечах — шла, упираясь подбородком в грудь; ветер трепал ее каштановые волосы; она часто, резким жестом руки касалась гроба, точно толкая его вперед, и, спотыкаясь о камни мостовой, толкала Макарова; он шагал, глядя вверх и вдаль, его ботинки стучали по камням особенно отчетливо.

— Не дойдет, конечно, — ворчал Лютов, косясь на Алину.

Самгин готов был думать, что все это убожество нарочно подстроено Лютовым, — тусклый октябрьский день, холодный ветер, оловянное небо, шестеро убогих людей, жалкий гроб.

А через несколько минут он уже машинально соображал: «Бывшие люди», прославленные модным писателем и модным театром, несут на кладбище тело потомка старинной дворянской фамилии, убитого солдатами бессильного, бездарного царя». В этом было нечто и злорадное и возмущавшее.

«А что в этом — от ума? — спросил себя Клим. — Злорадство или возмущение?»

Лютов мешал ему. Он шел неровно, точно пьяный, — то забегал вперед Самгина, то отставал от него, но опередить Алину не решался, очевидно, боясь попасть ей на глаза. Шел и жалобно сеял быстренькие слова:

— Хороним с участием всех сословий. Уговаривал ломовика — отвези! «Ну вас, говорит, к богу, с покойниками!» И поп тоже — уголовное преступление, а? Скотина. Н-да, разыгрывается штучка… сложная! Алина, конечно, не дойдет… Какое сердце, Самгин? Жестоко честное сердце у нее. Ты, сухарь, интеллектюэль, не можешь оценить. Не поймешь. Интеллектюэль, — словечко тоже! Эх вы… Тю…

— Перестань, — сказал Самгин, соображая, под каким предлогом удобнее отказаться от дальнейшего путешествия по унылым, безлюдным переулкам.

— Брюсов, Валерий, сочиняет стишки:

…вас, кто меня уничтожит,Встречаю приветственным гимном.

Врет! Боится и ненавидит грядущих гуннов! И — не гимн, а — панихиду написал. Правда?

— Нет, — сердито сказал Самгин. — И вообще ты… — Он хотел сказать что-нибудь обидное Лютову, но пробормотал: — Я, кажется, простудился, прескверно чувствую себя. Пожалуй, мне следует…

Из переулка шумно вывалилось десятка два возбужденных и нетрезвых людей. Передовой, здоровый краснорожий парень в шапке с наушниками, в распахнутой лисьей шубе, надетой на рубаху без пояса, встал перед гробом, широко расставив ноги в длинных, выше колен, валенках, взмахнул руками так, что рубаха вздернулась, обнажив сильно выпуклый, масляно блестящий живот, и закричал визгливым, женским голосом:

— Стойте! Кого хороните? Какого злодея?

— Ну вот! — тоскливо вскричал Лютов. Притопывая на одном месте, он как бы собирался прыгнуть и в то же время, ощупывая себя руками, бормотал: — Ой, револьвер вынула, ах ты! Понимаешь? — шептал он, толкая Самгина: — У нее — револьвер!

Самгин понимал, что сейчас разыграется что-то безобразное, но все же приятно было видеть Лютова в судорогах страха, а Лютов был так испуган, что его косые беспокойные глаза выкатились, брови неестественно расползлись к вискам. Он пытался сказать что-то людям, которые тесно окружили гроб, но только махал на них руками. Наблюдать за Лютовым не было времени, — вокруг гроба уже началось нечто жуткое, отчего у Самгина по спине поползла холодная дрожь.

Носильщики, поставив гроб на мостовую, смешались с толпой; усатый человек, перебежав на панель и прижимая палку к животу, поспешно уходил прочь; перед Алиной стоял кудрявый парень, отталкивая ее, а она колотила его кулаками по рукам; Макаров хватал ее за руки, вскрикивая:

— Прочь! Что вам надо?

Алина тоже что-то кричала, но голос ее заглушался визгом парня в лисьей шубе и криками его товарищей. Парень в шубе, болтая головою, встряхивая наушниками шапки, визжал:

— Почему без попа? Жида хороните, а? Опять жида? Бога обижаете? Нет, постойте! Вася — как надо?

Из-под левой руки его вынырнул тощий человечек в женской ватной кофте, в опорках на босую ногу и, прискакивая, проорал хрипло:

— Жид — жить, а мы его — бить! Эх, Игнаша! Ребята — поддерживай! Красота наша ты, Игнат Петров. Защита!

И еще человек пять разноголосо и отчаянно ревели:

— Командуй, Игнат! Поддержим! Э-эх… В толпе вертелся Лютов; сняв шапку,

размахивая ею, он тоже что-то кричал, но парень в шубе, пытаясь схватить его пьяной рукою, заглушал все голоса пронзительными визгами истерического восторга.

— Из господ? Князь? Не допускаю — врешь! Где поп? Священник, а? Князей хоронят с музыкой, сволочь! Убили? Братцы — слышали? Кого убивают?

— Жидов, забастовщиков! — ответили ему. Кудрявый парень и Макаров тащили, толкали Алину на панель, — она билась в их руках, и Самгин слышал ее глухой голос:

— Пустите! Я его ударю… изобью…

Вдруг стало тише, — к толпе подошел большой толстый человек, в черном дубленом полушубке, и почти все обернулись к нему.

— Чего буяните? — говорил он. — Зря все! Видите: красных лентов нету, стало быть, не забастовщик, ну? И женщина провожает… подходящая, из купчих, видно. Господин — тоже купец, я его знаю, пером торгует в Китай-городе, фамилие забыл. Ну? Служащего, видать, хоронют…

— Врешь! — крикнул парень; человек в опорках поддержал его:

— Врет, толстая морда! Игнаша, защита наша, — не верь. Они все заодно — толстые, грабители, мать…

— Не сдавай, Игнат! — кричали в толпе.

— Снимай крышку! Жидягу хоронят из тех, что вчерась настреляли…

Человек в полушубке хлопнул ладонью по плечу Игната.

— Ты — что? Хулиган, что ли? Забастовщик? — спросил он громко, с упреком.

— Братцы, — кто я? — взвизгнул Игнат, обняв его за шею. — Скажите скорее, а то — убьюсь! На месте убьюсь! Братцы, эх…

Взмахнув руками, он сбросил с себя шубу и начал бить кулаками по голове своей; Самгин видел, что по лицу парня обильно текут слезы, видел, что большинство толпы любуется парнем, как фокусником, и слышал восторженно злые крики человека в опорках:

— Игнаша! Не сдавай Порт-Артур, бей чорта в лоб! Защита! Кр-расота моя, ты!

Человек пять, тесно окружив Лютова, слушали его, смотрели, как он размахивает дорогой шапкой, и кто-то из них сказал:

— Обалдела Москва, это верно!

«Кончилось», — подумал Самгин. Сняв очки и спрятав их в карман, он перешел на другую сторону улицы, где курчавый парень и Макаров, поставив Алину к стене, удерживали ее, а она отталкивала их. В эту минуту Игнат, наклонясь, схватил гроб за край, легко приподнял его и, поставив на попа, взвизгнул:

— Сам понесу! В Москва-реку!

Лютов видел, как еще двое людей стали поднимать гроб на плечо Игната, но человек в полушубке оттолкнул их, а перед Игнатом очутилась Алина; обеими руками, сжав кулаки, она ткнула Игната в лицо, он мотнул головою, покачнулся и медленно опустил гроб на землю. На какой-то момент люди примолкли. Мимо Самгина пробежал Макаров, надевая кастет на пальцы правой руки.

— Уведи ее… что ты, не понимаешь! — крикнул он. А перед Игнатом встал кудрявый парень и спросил его:

— Схлестнемся, что ли?

— Бей его, ребята! — рявкнул человек в черном полу-шубке, толкая людей на кудрявого. — Бейте! Это — Сашка Судаков, вор! — Самгин видел, как Сашка сбил с ног Игната, слышал, как он насмешливо крикнул:

— Ну-ка, шпана! Храбро, — ну!

Человечек в опорках завертелся, отчаянно закричал:

— Игнаша, герой! Неужто сдашь, и-эхх! — и, подбежав к Макарову, боднул его в бок головою, схватил за ворот, но доктор оторвал его от себя и опрокинул пинком ноги. Тот закричал:

— Всех не перебьете, сволочи-и! Расстрельщики-и! Макаров толкнул на Самгина Алину, сказав:

— Второй переулок направо, дом девять, квартира Зосимова, — скорее! Я Володьку выручу…

Самгин, подхватив женщину под руку, быстро повел ее; она шла покорно, молча, не оглядываясь, навертывая на голову шаль, смотрела под ноги себе, но шагала тяжело, шаркала подошвами, качалась, и Самгин почти тащил ее.

Испуг, вызванный у Клима отвратительной сценой, превратился в холодную злость против Алины, — ведь это по ее вине пришлось пережить такие жуткие минуты. Первый раз он испытывал столь острую злость, — ему хотелось толкать женщину, бить ее о заборы, о стены домов, бросить в узеньком, пустынном переулке в сумраке вечера и уйти прочь.

Он едва сдерживал это желание и молчал, посапывая, чувствуя, что если заговорит, то скажет ей слова грубо оскорбительные, и все-таки боясь этого.

— Какие… герои, — пробормотала Алина, шумно вздохнув, и спросила: — Володьку изобьют?

Самгин не ответил. Его не удивило, что дверь квартиры, указанной Макаровым, открыла Дуняша.

— О, господи! Какие гости! — весело закричала она. — А я самовар вскипятила, — прислуга бастует! Что… что ты, матушка?

Ее изумленное восклицание было вызвано тем, что Алина, сбросив шубу на пол, прислонясь к стене, закрыла лицо руками и сквозь пальцы глухо, но внятно выругалась площадными словами. Самгин усмехнулся, — это понравилось ему, это еще более унижало женщину в его глазах.

— Уведи меня… куда-нибудь; — попросила Алина. Клим разделся, прошел на огонь в неприбранную комнату; там на столе, горели две свечи, бурно кипел самовар, выплескивая воду из-под крышки и обливаясь ею, стояла немытая посуда, тарелки с расковырянными закусками, бутылки, лежала раскрытая книга. Он прикрыл трубу самовара тушилкой и, наливая себе чай в стакан, заметил, что руки у него дрожат. Грея руки о стакан, он шагал по комнате, осматривался. На маленьком рояле — разбросаны ноты, лежала шляпа Дуняши, рассыпаны стеариновые свечи; на кушетке — смятый плед, корки апельсина; вся мебель сдвинута со своих мест, и комната напоминала отдельный кабинет гостиницы после кутежа вдвоем. Самгин брезгливо поморщился и вспомнил:

«Что хотел сказать Макаров в больнице?» Явилась Дуняша, и. хотя глаза ее были заплаканы, начала она с того, что, обняв Клима за шею, поцеловала в губы, прошептав:

— Ой, рада, что пришел!

Но тотчас же бросилась к столу и, наливая чай в чашку, торопливо, вполголоса стала спрашивать, что случилось.

— Она — точно окаменела, лежит, молчит, — ужас!

Сухо рассказывая ей, Самгин видел, что теперь, когда на ней простенькое темное платье, а ее лицо, обрызганное веснушками, не накрашено и рыжие волосы заплетены в косу, — она кажется моложе и милее, хотя очень напоминает горничную. Она убежала, не дослушав его, унося с собою чашку чая и бутылку вина. Самгин подошел к окну; еще можно было различить, что в небе громоздятся синеватые облака, но на улице было уже темно.

«Хорошо бы ночевать здесь…»

В дверь сильно застучали; он подождал, не прибежит ли Дуняша, но, когда постучали еще раз, открыл сам. Первым ввалился Лютов, за ним Макаров и еще кто-то третий. Лютов тотчас спросил:

— Что она? Плачет? Или — что? Макаров отодвинул его и прошел в комнату, а за ним выдвинулся кудрявый парень и спросил:

— Где можно умыться?

— Идем, — сказал Лютов, хлопнув его по плечу, и обратился к Самгину: — Если б не он — избили бы меня. Идем, брат! Полотенце? Сейчас, подожди…

Он исчез. Парень подошел к столу, взвесил одну бутылку, другую, налил в стакан вина, выпил, громко крякнул и оглянулся, ища, куда плюнуть. Лицо у него опухло, левый глаз почти затек, подбородок и шея вымазаны кровью. Он стал еще кудрявей, — растрепанные волосы его стояли дыбом, и он был еще более оборван, — пиджак вместе с рубахой распорот от подмышки до полы, и, когда парень пил вино, — весь бок его обнажился.

— Сильно избили вас? — тихо спросил Самгин, отойдя от него в угол, — парень, наливая себе еще вина, спокойно и сиповато ответил:

— Если б сильно, я бы не стоял на ногах. Вошли под руку Дуняша и Лютов, — Дуняша отшатнулась при виде гостя, а он вежливо поклонился ей, стягивая пальцами дыру на боку и придерживая другой рукой разорванный ворот.

— Извините…

— Сейчас я достану белье вам, пойдемте, — быстро сказала Дуняша.

— Ф-фа! — произнес Лютов, пошатнувшись и крепко прищурив глаза, но в то же время хватая со стола бутылку. — Это… случай! Ей-богу — дешево отделались! Шапку я потерял, — украли, конечно! По затылку получил, ну — не очень.

Он выпил вина, бросился на кушетку и продолжал — торопливо, бессвязно:

— Гроб поставили в сарай… Завтра его отнесут куда следует. Нашлись люди. Сто целковых. Н-да! Алина как будто приходит в себя. У нее — никогда никаких истерик! Макаров… — Он подскочил на кушетке, сел, изумленно поднял брови. — Дерется как! Замечательно дерется, чорт возьми! Ну, и этот… Нет, — каков Игнат, а? — вскричал он, подбегая к столу. — Ты заметил, понял?

Наливая одной рукой чай, другою дергая, развязывая галстук, ухмыляясь до ушей, он продолжал:

— Улица создает себе вождя, — ведь вот что! Накачивает, надувает, понимаешь? А босяк этот, который кричал «защита, красота», ведь это же «Московский листок»! Ах, чорт… Замечательно, а?

— Ты ужасно сочиняешь, — сказал Самгин.

— А ты — плохо видишь, очки мешают! И ведь уже поверил, сукин сын, что он — вождь! Нет, это... замечательно! Может командовать, бить может всякого, — а?

Самгин, слушая, соображал:

«Видит то же, что вижу я, но — по-другому. Конечно, это он искажает действительность, а не я. Влюбился в кокотку, — характерно для него. Выдуманная любовь, и все в нем — выдумано».

А Лютов говорил с какой-то нелепой радостью:

— Не разобрались еще, не понимают — кого бить? Вошли Алина и Дуняша. У Алины лицо было все такое же окостеневшее, только еще более похудело; из-под нахмуренных бровей глаза смотрели виновато. Дуняша принесла какие-то пакеты и, положив их на стол, села к самовару. Алина подошла к Лютову и, гладя его редкие волосы, спросила тихо:

— Побили тебя?

— Ну, что ты! Пустяки, — звонко вскричал он, сгибаясь, целуя ее руку.

— Ах ты, дурачок мой, — сказала она; вздохнув, прибавила: — Умненький, — и села рядом с Дуняшей.

А Лютов неестественно, всем телом, зашевелился, точно под платьем его, по спине и плечам, мыши пробежали. Самгину эта сценка показалась противной, и в нем снова, но еще сильнее вспыхнула злость на Алину, растеклась на всех в этой тесной, неряшливой, скудно освещенной двумя огоньками свеч, комнате.

Неприятна была и Дуняша, она гибким и усмешливым голосом рассказывала:

— Благоверный мой в Петербург понесся жаловаться на революцию, уговаривать, чтобы прекратили.

Появился Макаров, раскуривая папироску, вслед за ним шагнул и остановился кудрявый парень с завязанным глазом; Алина сказала, протянув ему руку:

— Пожалуйста...

Он поклонился, не приняв ее руки:

— Александр Судаков...

— Лесоторговец есть такой! — вскричал Лютов почему-то с радостью.

— Дядя мой, — не сразу ответил Судаков.

— Д-дядя? — недоверчиво спросил Лютов.

— Родной. Не похоже?

Судаков сел к столу против женщин, глаз у него был большой, зеленоватый и недобрый, шея, оттененная черным воротом наглухо застегнутой тужурки, была как-то слишком бела. Стакан чаю, подвинутый к нему Алиной, он взял левой рукой.

— Левша? — спросил Лютов, присматриваясь к нему.

— Ушиб правую...

Самгин внимательно наблюдал, сидя в углу на кушетке и пережевывая хлеб с ветчиной. Он видел, что Макаров ведет себя, как хозяин в доме, взял с рояля свечу, зажег ее, спросил у Дуняши бумаги и чернил и ушел с нею. Алина, покашливая, глубоко вздыхала, как будто поднимала и не могла поднять какие-то тяжести. Поставив локти на стол, опираясь скулами на ладони, она спрашивала Судакова:

— Как это вы решились?

Судаков наклонился над стаканом, размешивая чай, и не ответил; но она настойчиво дополнила вопрос:

— Один против всех?

— Да чего ж тут решать? — угрюмо сказал Судаков, встряхнув головой, так что половина волос, не связанная платком, высоко вскинулась. — Мне всегда хочется бить людей.

— За что? — вскричал Лютов, разгораясь.

— За глупость. За подлость.

«Рисуется, — оценивал Самгин. — Чувствует себя героем. Конечно — бабник. Сутенер, «кот», вероятно».

А Судаков, в два глотка проглотив чай, вызывающе заговорил, глядя поверх головы Алины и тяжело двигая распухшей нижней губой:

— Драку в заслугу не ставьте мне, на другое-то я не способен…

— Вы — что же? — усмехаясь, спросил Лютов. — Против господ?

Не взглянув на него, Судаков сказал:

— Я — не крестьянин, господа мне ничего худого не сделали, если вы под господами понимаете помещиков. А вот купцы, — купцов я бы уничтожил. Это — с удовольствием!

На минуту все замолчали, а Самгин тихонько засмеялся и заставил Судакова взглянуть на него воспаленным глазом.

— Вы где учились? — тихо спросила Алина, присматриваясь к нему.

— В коммерческом. Не кончил, был взят дядей в приказчики, на лесной двор. Растратил деньги, рублей шестьсот. Ездил лихачом. Два раза судился за буйство.

Говорил Судаков вызывающим тоном и все время мял, ломал пальцами левой руки корку хлеба.

— Так что я вам — не компания, — закончил он и встал, шумно отодвинув стул. — Вы, господа, дайте мне… несколько рублей, я уйду…

Лютов тотчас сунул руку за пазуху. Алина сказала:

— Посидите с нами. Сколько вам лет?

— Двадцать,

Приняв деньги Лютова, он не поблагодарил его, но, когда пришел Макаров и протянул ему рецепт, покосился на бумажку и сказал:

— Спасибо. Не надо, обойдется и так. Самгин тоже простился и быстро вышел, в расчете, что с этим парнем безопаснее идти. На улице в темноте играл ветер, и, подгоняемый его толчками, Самгин быстро догнал Судакова, — тот шел не торопясь, спрятав одну руку за пазуху, а другую в карман брюк, шел быстро и пытался свистеть, но свистел плохо, — должно быть, мешала разбитая губа.

— Вы — революционер? — вдруг и неприятно громко спросил он, заставив Клима оглянуть узкий кривой переулок и ответить не сразу, вполголоса, докторально:

— Кого считаете вы революционером? Это — понятие растяжимое, особенно у нас,

русских.

— А я думал, — когда вы, там, засмеялись после того, как я про купцов сказал, — вот этот, наверное, революционер!

— Разумеется, я…

Но Судаков, не слушая, бормотал:

— Прячетесь, чорт вас возьми! На похоронах Баумана за сыщика приняли меня. Осторожны очень. Какие теперь сыщики?

Он вдруг остановился, точно наткнувшись на что-то, и сказал:

— Ну, — прощай, Митюха, а то — дам в ухо!..

«Негодяй, — возмущенно думал Самгин, торопливо шагая и прислушиваясь, не идет ли парень за ним. — Типичнейший хулиган».

Но в проулке было отвратительно тихо, только ветер шаркал по земле, по железу крыш, и этот шаркающий звук хорошо объяснял пустынность переулка, — людей замело в дома.

Согнувшись, Самгин почти бежал, и ему казалось, что все в нем дрожит, даже мысли дрожат.

Он с разбега приткнулся в углубление ворот, — из-за угла поспешно вышли четверо, и один из них ворчал:

— Крестный ход со всех церквей — вот бы что надо. Маленький круглый человечек, проходя мимо Самгина, сказал:

— Духовенство, конечно, могло бы роль сыграть.

— Рассчитывает, чей кусок жирнее…

Когда слова стали невнятны, Самгин пошел дальше, шагая быстро, но стараясь топать не очень шумно. Кое-где у ворот стояли обыватели, и от каждой группы ветер отрывал тревожные слова.

— Николка Баранов рабочих вооружает.

— Какой Баранов?

— Асафа сын.

— Басни!

— Вот, кабы Охотный ряд…

В другой группе кто-то уверенно говорил:

— Поджигать начнут, увидите! А со скамьи бульвара доносился веселый утешающий голосок:

— Да бро-осьте! Когда ж Москва бунтовала? Против ее — действительно, а она — никогда!

— А — студенты?

— Ну, нашел бунтарей!

— Вы куда, бабы?

— Во-первых — девицы!

— Ах, извините! Куда же?

— Поглядеть, как булочники баррикаду строят…

— Ну, это — не забава!..

Но, несмотря на голоса из темноты, огромный город все-таки вызывал впечатление пустого, онемевшего. Окна ослепли, ворота закрыты, заперты, переулки стали более узкими и запутанными. Чутко настроенный слух ловил далекие щелчки выстрелов, хотя Самгин понимал, что они звучат только в памяти. Брякнула щеколда калитки. Самгин приостановился. Впереди его знакомый голос сказал:

— Как поведут себя питерцы…

Калитка шумно хлопнула, человек перешел на другую сторону улицы.

«Поярков», — признал Клим, входя в свою улицу. Она встретила его шумом работы, таким же, какой он слышал вчера. Самгин пошел тише, пропуская в памяти своей жильцов этой улицы, соображая: кто из них может строить баррикаду? Из-за угла вышел студент, племянник акушерки, которая раньше жила в доме Варвары, а теперь — рядом с ним.

— А, это вы, — сказал студент. — Солдат или полиции нет на бульваре?

Самгин отрицательно мотнул головой, прислушиваясь. В глубине улицы кто-то командовал:

— Поперек кладите! Круче!

— Баррикада? — спросил Самгин.

— Две, — сказал студент, скрываясь за углом. Самгин подошел к столбу фонаря, прислонился к нему и стал смотреть на работу. В улице было темно, как в печной трубе, и казалось, что темноту создает возня двух или трех десятков людей. Гулко крякая, кто-то бил по булыжнику мостовой ломом, и, должно быть, именно его уговаривал мягкий басок:

— Довольно! Довольно, товарищ!

Улицу перегораживала черная куча людей; за углом в переулке тоже работали, катили по мостовой что-то тяжелое. Окна всех домов закрыты ставнями и окна дома Варвары — тоже, но оба полотнища ворот — настежь. Всхрапывала пила, мягкие тяжести шлепались на землю. Голоса людей звучали не очень громко, но весело, — веселость эта казалась неуместной и фальшивой. Неугомонно и самодовольно звенел тенористый голосок:

— Чего это? Водой облить? Никак нельзя. Пуля в лед ударит, — лёдом будет бить! Это мне известно. На горе святого Николая, когда мы Шипку защищали, турки делали много нам вреда лёдом. Постой! Зачем бочку зря кладешь? В нее надо набить всякой дряни. Лаврушка, беги сюда!

Клим сообразил, что командует медник, — он лудил кастрюли, самовары и дважды являлся жаловаться на Анфимьевну, которая обсчитывала его. Он — тощий, костлявый, с кусочками черных зубов во рту под седыми усами. Болтлив и глуп. А Лаврушка — его ученик и приемыш. Он жил на побегушках у акушерки, квартировавшей раньше в доме Варвары. Озорной мальчишка. Любил петь: «Что ты, суженец, не весел». А надо было петь — сунженец, сунженский казак.

Закурив папиросу, отдаваясь во власть автоматических мелких мыслей, Самгин слышал:

— И стрелять будешь, дед?

— Стрелять я — не вижу ни хрена! Меня вот в бочку сунуть, тогда пуля бочку не

пробьет.

Медник неприятно напомнил старого каменщика, который подбадривал силача Мишу или Митю ломать стену. По другой стороне улицы прошли двое — студент и еще кто-то; студент довольно громко говорил:

— Вы, товарищ Яков, напрасно гуляете один, без охраны.

Шум работы приостановился; было видно, что строители баррикады сбились в тесную кучу, и затем, в тишине, раздался голос Пояркова:

— Окажетесь в ловушке. На случай отступления надо иметь сквозные хода дворами. Разберите заборы…

— Правильно, — крикнул медник.

Самгин чувствовал, что у него мерзнут ноги и надо идти домой, но хотелось слышать, что еще скажет Поярков.

«Но — чего ради действуют проклятые старички? Тоже, в своем роде, Кропоткины и Толстые…»

Это уподобление так смутило его, что он даже кашлянул, точно поперхнувшись пылью, но затем вспомнил еще старика — историка Козлова. Он понимал, что на его глазах идея революции воплощается в реальные формы, что, может быть, завтра же, под окнами его комнаты, люди начнут убивать друг друга, но он все-таки не хотел верить в это, не мог допустить этого. Разум его упрямо цеплялся за незначительное, смешное, за все, что придавало ночной работе на смерть характер спектакля любителей драматического искусства. Сравнение показалось ему очень метким и даже несколько ободрило его. Он знал, как делают революции, читал об этом. Происходившее не напоминало прочитанного о революциях в Париже, Дрездене. Здесь люди играючи отгораживаются от чего-то, чего, вероятно, не будет. А если будет — придут солдаты, полсотни солдат, и расшвыряют всю эту детскую постройку. В таких полугневных, полупрезрительных мыслях Самгин подошел, заглянул во двор, — дверь сарая над погребом тоже была открыта, перед нею стояла, точно колокол, Анфимьевна с фонарем в руке и говорила:

— Диван — берите, и матрац — можно, а кадки — не дам! Сундук тоже можно, он железом обит.

Самгин зачем-то снял шапку, подошел к домоправительнице и спросил:

— Что это вы делаете?

Спросил он не так строго, как хотелось; Анфимьевна, подняв фонарь, осветила лицо его, говоря:

— Выбираем ненужное, — на баррикаду нашу, — сказала она просто, как о деле обычном, житейском, и, отвернувшись, прибавила с упреком: — Вам бы, одному-то, не гулять, Варюша беспокоится…

В сарае, в груде отжившего домашнего хлама, возился дворник Николай, молчаливый, трезвый человек, и с ним еще кто-то чужой.

— Все дают, — сказала Анфимьевна, а из сарая догнал ее слова чей-то чужой голос:

— Не дадут — возьмем!

«Наша баррикада», — соображал Самгин, входя в дом через кухню. Анфимьевна — типичный идеальный «человек для других», которым он восхищался, — тоже помогает строить баррикаду из вещей, отработавших, так же, как она, свой век, — в этом Самгин не мог не почувствовать что-то очень трогательное, немножко смешное и как бы примирявшее с необходимостью баррикады, — примирявшее,

может быть, только потому, что он очень устал. Но, раздеваясь, подумал:

«Все-таки это — какая-то беллетристика, а не история! Златовратский, Омулевский… «Золотые сердца». Сентиментальная чепуха».

Жена, с компрессом на лбу, сидя у стола в своей комнате, писала.

По тому, как она, швырнув на стол ручку, поднялась со стула, он понял, что сейчас вспыхнет ссора, и насмешливо спросил:

— Это ты разрешила Анфимьевне строить нашу баррикаду?

«Нашу» — он подчеркнул. Варвара, одной рукой держась за голову и размахивая другой, подошла вплотную к нему и заговорила шипящими словами:

— Она от старости сошла с ума, а ты чего хочешь, чего?

Она, видимо, много плакала, веки у нее опухли, белки покраснели, подбородок дрожал, рука дергала блузку на груди; сорвав с головы компресс, она размахивала им, как бы желая, но не решаясь хлестнуть Самгина по лицу.

— Ты бесчеловечен, — говорила она, задыхаясь. — Ты хочешь быть членом парламента? Ты не сделаешь карьеру, потому что бездарен и… и…

Она взвизгивала все более пронзительно. Самгин, не сказав ни слова, круто повернулся спиною к ней и ушел в кабинет, заперев за собою дверь. Зажигая свечу на столе, он взвешивал, насколько тяжело оскорбил его бешеный натиск Варвары. Сел к столу и, крепко растирая щеки ладонями, думал:

«Обезумела от страха, мещанка».

Думалось трезво и даже удовлетворенно, — видеть такой жалкой эту давно чужую женщину было почти приятно. И приятно было слышать ее истерический визг, — он проникал сквозь дверь. О том, чтоб разорвать связь с Варварой, Самгин никогда не думал серьезно; теперь ему казалось, что истлевшая эта связь лопнула. Он спросил себя, как это оформить: переехать завтра же в гостиницу? Но — все и всюду бастуют…

На дворе, на улице шумели, таскали тяжести. Это — не мешало. Самгин, усмехаясь, подумал, что, наверное, тысячи Варвар с ужасом слушают такой шум, — тысячи, на разных улицах Москвы, в больших и маленьких уютных гнездах. Вспомнились слова Макарова о не тяжелом, но пагубном владычестве женщин.

«В этом есть доля истины — слишком много пошлых мелочей вносят они в жизнь. С меня довольно одной комнаты. Я — сыт сам собою и не нуждаюсь в людях, в приемах, в болтовне о книгах, театре. И я достаточно много видел всякой бессмыслицы, у меня есть право не обращать внимания на нее. Уеду в провинцию…»

Он чувствовал, что эти мысли отрезвляют и успокаивают его. Сцена с женою как будто определила не только отношения с нею, а и еще нечто, более важное. На дворе грохнуло, точно ящик упал и разбился, Самгин вздрогнул, и в то же время в дверь кабинета дробно застучала Варвара, глухо говоря:

— Отопри! Я — не могу одна, я боюсь! Ты слышишь?

— Слышу, но не отопру, — очень громко ответил он. Варвара замолчала, потом снова стукнула в дверь.

— Оставь меня в покое, — строго сказал Самгин и быстро пошел в спальню за бельем для постели себе; ему удалось сделать это, не столкнувшись с женой, а утром Анфимьевна, вздыхая, сообщила ему:

— Варюша сказала, что она эти дни у Ряхиных будет, на Волхонке, а здесь —

боится она. Думает, на Волхонке-то спокойнее…

С этого дня время, перегруженное невероятными событиями, приобрело для Самгина скорость, которая напомнила ему гимназические уроки физики: все, и мелкое и крупное, мчалось одинаково быстро, как падали разновесные тяжести в пространстве, из которого выкачан воздух. Казалось, что движение событий с каждым днем усиливается и все они куда-то стремительно летят, оставляя в памяти только свистящие и как бы светящиеся соединения слов, только фразы, краткие, как заголовки газетных статей. Газеты кричали оглушительно, дерзко свистели сатирические журналы, кричали продавцы их, кричал обыватель — и каждый день озаглавливал себя:

«Восстание матросов» — возглашал один, а следующий торжественно объявлял: «Борьба за восьмичасовой рабочий день».

Раньше чем Самгин успевал объединить и осмыслить эти два факта, он уже слышал: «Петербургским Советом рабочих депутатов борьба за восьмичасовой день прекращена, объявлена забастовка протеста против казни кронштадтских матросов, восстал Черноморский флот». И ежедневно кто-нибудь с чувством ужаса или удовольствия кричал о разгромах крестьянством помещичьих хозяйств. Ночами перед Самгиным развертывалась картина зимней, пуховой земли, сплошь раскрашенной по белому огромными кострами пожаров; огненные вихри вырывались точно из глубины земной, и всюду, по ослепительно белым полям, от вулкана к вулкану двигались, яростно шумя, потоки черной лавы — толпы восставших крестьян. Самгин был уверен, что эта фантастическая и мрачная, но красивая картина возникла пред ним сама собою, почти не потребовав усилий его воображения, и что она независима от картины, которую подсказал ему Дьякон три года тому назад. Эта картина говорит больше, другая сила рисует ее огненной кистью, — не та сила восставшего мужика, о которой ежедневно пишут газеты, явно — любуясь ею, а тайно, наверное, боясь. Нет, это действует стихия сверхчеловеческая: заразив людей безумием разрушения, она уже издевается над ними.

Порою Самгин чувствовал, что он живет накануне открытия новой, своей историко-философской истины, которая пересоздаст его, твердо поставит над действительностью и вне всех старых, книжных истин. Ему постоянно мешали домыслить, дочувствовать себя и свое до конца. Всегда тот или другой человек забегал вперед, формулировал настроение Самгина своими словами. Либеральный профессор писал на страницах влиятельной газеты:

«Люди с каждым днем становятся всё менее значительными перед силою возбужденной ими стихии, и уже многие не понимают, что не они — руководят событиями, а события влекут их за собою».

Прочитав эти слова, Самгин огорчился, — это он должен бы так сказать. И, довольствуясь тем, что смысл этих слов укрепил его настроение, он постарался забыть их, что и удалось ему так же легко, как легко забывается потеря мелкой монеты.

Смущал его Кумов, человек, которого он привык считать бездарным и более искренно блаженненьким, чем хитрый, честолюбивый Диомидов. Кумов заходил часто, но на вопросы: где он был, что видел? — не мог толково рассказать ничего.

— Был в университете Шанявского, — масса народа! Ужасно много! Но — всё не то, знаете, не о том они говорят!

Он весь как-то развинченно мотался, кивал головой, болтал руками, сожалительно чмокал и, остановись вдруг среди комнаты, одеревенев, глядел в пол — говорил глуховатым, бесцветным голосом:

— Всё — программы, спор о программах, а надобно искать пути к последней свободе. Надо спасать себя от разрушающих влияний бытия, погружаться в

глубину космического разума, устроителя вселенной. Бог или дьявол — этот разум, я — не решаю; но я чувствую, что он — не число, не вес и мера, нет, нет! Я знаю, что только в макрокосме человек обретет действительную ценность своего «я», а не в микрокосме, не среди вещей, явлений, условий, которые он сам создал и создает...

Эта философия казалась Климу очень туманной, косноязычной, неприятной. Но и в ней было что-то, совпадающее с его настроением. Он слушал Кумова молча, лишь изредка ставя краткие вопросы, и еще более раздражался, убеждаясь, что слова этого развинченного человека чем-то совпадают с его мыслями. Это было почти унизительно.

События, точно льдины во время ледохода, громоздясь друг на друга, не только требовали объяснения, но и заставляли Самгина принимать физическое участие в ходе их. Был целый ряд причин, которыми Самгин объяснял себе неизбежность этого участия в суматохе дней, и не было воли, не было смелости встать в стороне от суматохи. Он сам понимал, что мотивы его поведения не настолько солидны, чтоб примирить противоречие его настроения и поведения. Он доказал себе, что рисковать собою бескорыстно, удовлетворяя только свое любопытство, — это не всякому доступно. Но он принужден был доказать это после того, как почувствовал неловкость перед хлопотливой Анфимьевной и защитниками баррикады, которых она приютила в кухне, так же, как это сделали и еще некоторые обыватели улицы. Неловко было сидеть дома, поглядывая в окна на баррикаду; обыватели привыкли к ней, помогали обкладывать ее снегом, поливать водой. Вообще действительность настойчиво, бесцеремонно требовала участия в ее делах. Послом действительности к нему чаще других являлась Любаша Сомова, всегда окрыленная радостями. В легонькой потрепанной шубке на беличьем меху, окутанная рваной шалью, она вкатывалась, точно большой кусок ваты; красные от холода щеки ее раздувались.

— Ура! — кричала она. — Клим, голубчик, подумай:

у нас тоже организовался Совет рабочих депутатов! — И всегда просила, приказывала: — Сбегай в Техническое, скажи Гогину, что я уехала в Коломну; потом — в Шанявский, там найдешь Пояркова, и вот эти бумажки — ему! Только, пожалуйста, в университет поспей до четырех часов.

Сунув ему бумажки, она завязала шаль на животе еще более туго, рассказывая:

— Какие люди явились, Клим! Помнишь Дунаева? Ах...

«Дурочка», — снисходительно думал Самгин. Через несколько дней он встретил ее на улице. Любаша сидела в санях захудалого извозчика, — сани были нагружены связками газет, разноцветных брошюр; привстав, держась за плечо извозчика, Сомова закричала:

— Петербургский Совет ликвидировали!

«Дурочка».

Но, уступая «дурочке», он шел, отыскивал разных людей, передавал им какие-то пакеты, а когда пытался дать себе отчет, зачем он делает все это, — ему казалось, что, исполняя именно Любашины поручения, он особенно убеждается в несерьезности всего, что делают ее товарищи. Часто видел Алексея Гогина. Утратив щеголеватую внешность, похудевший, Гогин все-таки оставался похожим на чиновника из банка и все так же балагурил:

— В Коломну удрала, говорите? — спрашивал он, прищурив глаз. — Экая беглокаторжная! Мы туда уже послали человека. Ну, ладно! Пояркова искать вам не надо, а поезжайте вы... — Он сообщал адрес, и через некоторое время Самгин сидел в доме Российского страхового общества, против манежа, в квартире, где, почему-то, воздух был пропитан запахом керосина. На письменном столе лежал бикфордов шнур, в соседней комнате носатый брюнет рассказывал каким-то кавказцам о японской шимозе, а человек с красивым, но неподвижным лицом,

похожий на расстриженного попа, прочитав записку Гогина, командовал:

— Поезжайте на Самотеку… Спросите товарища Чорта.

Самгин шел к товарищу Чорту, мысленно усмехаясь:

«Чорт! Играют, как дети».

На Самотеке молодой человек, рябоватый, веселый, спрашивал его:

— А гантели где?

— Гантели?

— Ну да, гантели! Что же я — из папиросных коробок буду делать бомбы?

Самгин уходил, еще более убежденный в том, что не могут быть долговечны, не могут изменить ход истории события, которые создаются десятками таких единиц. Он видел, что какие-то разношерстные люди строят баррикады, которые, очевидно, никому не мешают, потому что никто не пытается разрушать их, видел, что обыватель освоился с баррикадами, уже привык ловко обходить их; он знал, что рабочие Москвы вооружаются, слышал, что были случаи столкновений рабочих и солдат, но он не верил в это и солдат на улице не встречал, так же как не встречал полицейских. Казалось, что обыватели Москвы предоставлены на волю судьбы, но это их не беспокоит, — наоборот, они даже стали веселей и смелей.

Какая-то сила вытолкнула из домов на улицу разнообразнейших людей, — они двигались не по-московски быстро, бойко, останавливались, собирались группами, кого-то слушали, спорили, аплодировали, гуляли по бульварам, и можно было думать, что они ждут праздника. Самгин смотрел на них, хмурился, думал о легкомыслии людей и о наивности тех, кто пытался внушить им разумное отношение к жизни. По ночам пред ним опять вставала картина белой земли в красных пятнах пожаров, черные потоки крестьян.

— Да, эсеры круто заварили кашу, — сумрачно сказал ему Поярков — скелет в пальто, разорванном на боку; клочья ваты торчали из дыр, увеличивая сходство Пояркова со скелетом. Кости на лице его, казалось, готовились прорвать серую кожу. Говорил он, как всегда, угрюмо, грубовато, но глаза его смотрели мягче и как-то особенно пристально; Самгин объяснил это тем, что глаза глубоко ушли в глазницы, а брови, раньше всегда нахмуренные, — приподняты, выпрямились.

— Крупных, культурных хозяйств мужик разрушает будто бы не много, но все-таки мы понесем огромнейший убыток, — говорил Поярков, рассматривая сломанную папиросу. — Неизбежно это, разумеется, — прибавил он и достал из кармана еще папиросу, тоже измятую.

Во всем, что он сказал, Самгина задело только словечко «мы». Кто это — мы? На вопрос Клима, где он работает, — Поярков, как будто удивленно, ответил:

— В революции… то есть — в Совете! Из ссылки я ушел, загнали меня чорт знает куда! Ну, нет, — думаю, — спасибо! И — воротился.

— А где Кутузов? — спросил Клим.

— Был в Питере. Теперь — вероятно — на юге.

«Мы», — иронически повторил Самгин, отходя от Пояркова. Он долго искал какого-нибудь смешного, уничтожающего сравнения, но не нашел. «Мы пахали» — не годилось.

Как-то вечером, возвращаясь домой, Самгин на углу своей улицы столкнулся с Митрофановым. Иван Петрович отскочил от него, не поклонясь.

«Он должен чувствовать себя весьма плохо», — подумал Самгин, несколько

смущенный невежливостью человека «здравого смысла». Взглянув назад, он увидал, что Митрофанов тоже остановился, оглядывается. Климу хотелось утешительно крикнуть:

«Все это — ненадолго!»

Но Митрофанов сорвался с места и быстро пошел прочь.

Раза два приходила Варвара, холодно здоровалась, вздергивая голову, глядя через плечо Клима, шла в свою комнату и отбирала белье для себя.

Первый раз ее сопровождал Ряхин, демократически одетый в полушубок и валяные сапоги, похожий на дворника.

— Люди начинают разбираться в событиях, — организовался «Союз 17 октября», — сообщал он, но не очень решительно, точно сомневался: те ли слова говорит и таким ли тоном следует говорить их? — Тут, знаете, выдвигается Стратонов, оч-чень сильная личность, очень!

Помолчав, ласково погладив ладонью красное, пухлое лицо свое, точно чужое на маленькой головке его, он продолжал:

— Некоторые кадеты идут за ним... да! У них бунтует этот милюковец — адвокат, еврей, — как его? Да — Прейс! Ядовитое... гм! Знаете, эта истерика семитов, людей без почвы и зараженных нашим нигилизмом...

О евреях он был способен говорить очень много. Говорил, облизывая губы фиолетовым языком, и в туповатых глазах его поблескивало что-то остренькое и как будто трехгранное, точно кончик циркуля. Как всегда, речь свою он закончил привычно:

— Но я — оптимист. Я знаю: покричим и перестанем, как только найдем успокоительную среднюю между двумя крайними.

Однако на этот раз он, тяжело вздохнув, спросил Самгина:

— Вы как думаете?

Самгин был доволен, что Варвара помешала ему ответить. Она вошла в столовую, приподняв плечи так, как будто ее ударили по голове. От этого ее длинная шея стала нормальной, короче, но лицо покраснело, и глаза сверкали зеленым гневом.

— Это ты разрешил Анфимьевне отдать белье «Красному Кресту»? — спросила она Клима, зловеще покашливая.

— Я ничего не разрешал, она меня ни о чем не спрашивала...

— Она отдала все простыни, полотенца и вообще... Чорт знает что!

— Старое все, Варя, старое, чиненое, — не жалей! — сказала Анфимьевна, заглядывая в дверь.

Варвара круто повернулась к ней, но большое дряблое лицо старухи уже исчезло, и, топнув ногою, она скомандовала Ряхину:

— Идемте!

Самгин, отозвав ее в кабинет, сказал:

— Ты, конечно, понимаешь, что я не могу переехать... Не дослушав, она махнула рукой:

— Ах, оставь! До того ли теперь, когда, может быть...

И, приложив платок к губам, поспешно ушла.

Люди появлялись, исчезали, точно проваливаясь в ямы, и снова выскакивали. Чаще других появлялся Брагин. Он опустился, завял, смотрел на Самгина жалобным, осуждающим взглядом и вопросительно говорил:

— В газете «Борьба» напечатано… Вы согласны? «Русские ведомости» указывают… Это верно?

Он заставил Самгина вспомнить незаметного гостя дяди Хрисанфа — Мишу Зуева и его грустные доклады:

«В Марьиной Роще — аресты. В Нижнем. В Твери…»

Точно разносчик газет, измученный холодом, усталостью и продающий последние номера, Брагин выкрикивал:

— Восстали солдаты Ростовского полка. Предполагается взорвать мосты на Николаевской железной дороге. В Саратове рабочие взорвали Радищевский музей. Громят фабрики в Орехове-Зуеве.

Все его сведения оказывались неверными, и Самгин заранее знал это, потому что, сообщив потрясающие новости, Брагин спрашивал:

— Неужели взорвут мосты? Не верится, что разгромили музей…

— Не верьте, — советовал Самгин. — Все это выдумано.

Тогда Брагин, заглядывая в глаза Клима, догадывался:

— Кто же это выдумывает?

«Наверное — ты», — думал Самгин.

Он заметил, что, когда этот длинный человек приносит потрясающие новости, черные волосы его лежат на голове гладко и прядь их хорошо прикрывает шишку на лбу, а когда он сообщает менее страшное — волосы у него растрепаны, шишку видно. Длинный, похожий на куклу-марионетку, болтливый и раньше самодовольный, а теперь унылый, — он всегда был неприятен и становился все более неприятным Самгину, возбуждая в нем какие-то неопределенные подозрения. Казалось, что он понимает больше того, сколько говорит, и — что он сознательно преувеличивает свои тревоги и свою глупость, как бы передразнивая кого-то.

— Как вы полагаете: идем к социализму?

— Ну, не так далеко.

— Однако — большевики?

Глядя на вытянутое лицо, в прищуренные глазки, Самгин ответил:

— В политике, как в торговле, «запрос в карман не кладется».

— Да, это, конечно, так! — сказал Брагин, кивнув головой, и вздохнул, продолжая: — Эту пословицу я вчера читал в каком-то листке. — И, пожимая руку Самгина, закончил: — От вас всегда уходишь успокоенный. Светлым, спокойным умом обладаете вы — честное слово!

«А ведь он издевается, скотина, — догадался Клим. — Чорт его знает — не шпион ли?»

Но еще более неприятные полчаса провел он с Макаровым. Этот явился рано утром, когда Самгин пил кофе, слушая умиленные рассказы Анфимьевны о

защитниках баррикады: ночами они посменно грелись у нее в кухне, старуха поила их чаем и вообще жила с ними в дружбе.

«По глупости и со скуки», — объяснил себе Самгин. Он и раньше не считал себя хозяином в доме, хотя держался, как хозяин; не считал себя вправе и делать замечания Анфимьевне, но, забывая об этом, — делал. В это утро он был плохо настроен.

— А знаете, Анфимьевна, ведь не очень удобно, — заговорил он негромко и не глядя на нее; старуха прервала его речь:

— Ну, уж какие удобности непривычным-то людям дежурить по ночам на холоду?

— Вы не поняли меня, я не о том… Но Анфимьевна не слушала, продолжая озабоченно и тише:

— А вот что мне с Егором делать? Пьет и пьет, и готовить не хочет: «Пускай, говорит, все с голода подохнете, ежели царя…»

Как раз в эту минуту из кухни появился Макаров и спросил, улыбаясь:

— Что же у тебя в кухне — штаб инсургентов? Он стоял в пальто, в шапке, в глубоких валяных ботиках на ногах И, держа под мышкой палку, снимал с рук перчатки. Оказалось, что он провел ночь у роженицы, в этой же улице-

— Выкинула, со страха; вчера за нею гнались какие-то хулиганы. Смотрю — баррикада! И — другая. Вспомнил, что ты живешь здесь…

Говоря, он сбросил пальто на стул, шапку метнул в угол на диван, а ботики забыл снять и этим усилил неприязненное чувство Самгина к нему.

— Ты защищаешь, или тебя защищают? — спросил он, присаживаясь к столу.

Самгин спросил:

— Кофе хочешь?

— Давай.

И, как будто они виделись вчера, Макаров тотчас заговорил о том, что он не успел договорить в больнице.

— Помнишь, я говорил в больнице…

— Да, — сказал Клим, нетерпеливо тряхнув головою, и с досадой подумал о людях, которые полагают, что он должен помнить все глупости, сказанные ими. Настроение его становилось все хуже; думая о своем, он невнимательно слушал спокойную, мерную речь Макарова.

— Если б не этот случай — роженица, я все равно пришел бы к тебе. Надо поговорить по душе, есть такая потребность. Тебе, Клим, я — верю… И не верю, так же как себе…

Эти слова прозвучали очень тепло, дружески. Самгин поднял голову И недоверчиво посмотрел на высоколобое лицо, обрамленное двуцветными вихрами и темной, но уже очень заметно поседевшей, клинообразной бородой. Было неприятно признать, что красота Макарова становится все внушительней. Хороши были глаза, прикрытые густыми ресницами, но неприятен их прямой, строгий взгляд. Вспомнилась странная и, пожалуй, двусмысленная фраза Алины: «Костя честно красив, — для себя, а не для баб».

— У меня, знаешь, иногда ночуют, живут большевики. Н-ну, для них моего вопроса не существует. Бывает изредка товарищ Бородин, человек удивительный, человек, скажу, математически упрощенный…

Макаров обеими руками очертил в воздухе круг.

— Сферический человек. Как большой шар, — не возьмешь, не обнимешь.

— Коренастый, с большой бородой, насмешливые глаза? — спросил Клим.

— Да, похож. Но бреется.

«Вероятно — Кутузов», — сообразил Самгин, начиная слушать внимательней.

— Для него… да и вообще для них вопросов морального характера не существует. У них есть своя мораль…

Выпив кофе, он посмотрел в окно через голову Самгина и продолжал:

— Собственно говоря, это не мораль, а, так сказать, система биосоциальной гигиены. Возможно, что они правы, считая себя гораздо больше людьми, чем я, ты и вообще — люди нашего типа. Но говорить с ними о человеке, индивидууме — совершенно бесполезно. Бородин сказал мне: «Человек, это — потом». — «Когда же?» — «Когда будет распахана почва для его свободного роста». Другой, личность весьма угрюмая, говорит: «Человека еще нет, а есть покорнейший слуга. Вы, говорит, этим вашим человеком свет застите. Человек, мораль, общество — это три сосны, из-за которых вам леса не видно». Они, брат, люди очень спевшиеся.

Подвинув Самгину пустую чашку, он стал закуривать папиросу, и медленность его движений заставила Клима подумать:

«Это — надолго».

Макаров выдул длинную струю дыма, прищурился.

— Так, значит, я — покорнейший слуга, — вздохнул он. — Вот по этому поводу, — искал он слов, опираясь локтями на стол и пристально глядя в лицо Самгина. — Я — служу науке, конкретнее говоря — женщинам. Лечу, помогаю родить. Всего меня это уже не поглощает. И вот — помогаю Бородину и его товарищам, сознавая известный риск и нимало не боясь его. Даже с удовольствием помогаю. Но в то, что они сделают революцию, — не верю. Да и вообще не верю я, что это, — он показал рукой на окно, — революция и что она может дать что-то нашей стране.

Откинувшись на спинку стула, покачиваясь и усмехаясь, он продолжал:

— Понимаешь, в чем штука? Людям — верю и очень уважаю их, а — в дело, которое они делают, — не верю. Может быть, не верю только умом, а? А ты — как?

— Что? — спросил Самгин, чувствуя, что беседа превращается в пытку.

— Ты почему помогаешь? — спросил тот.

— Нахожу нужным, — сказал Самгин, пожимая плечами.

— Вот с этого места я тебя не понимаю, так же как себя, — сказал Макаров тихо и задумчиво. — Тебя, пожалуй, я больше не понимаю. Ты — с ними, но — на них не похож, — продолжал Макаров, не глядя на него. — Я думаю, что мы оба покорнейшие слуги, но — чьи? Вот что я хотел бы понять. Мне роль покорнейшего слуги претит. Помнишь, когда мы, гимназисты, бывали у писателя Катина — народника? Еще тогда понял я, что не могу быть покорнейшим слугой. А затем, постепенно, все-таки…

Под окном раздался пронзительный свист.

— Полицейский свисток? — с удивлением спросил Макаров.

Клим очень быстро подскочил к окну и сказал:

— Что-то случилось, бегут…

В комнату ворвался рыжий встрепанный Лаврушка и, размахивая шапкой, с радостью, но не без тревоги прокричал:

— Солдаты наступают! Анфимьевна спрашивает: ставни закрывать?

Макаров тоже вскочил на ноги:

— Чорт возьми…

— Закрывать? — кричал Лаврушка. Самгин отмахнулся от него, ожидая, что будет делать Макаров. Тот, быстро одеваясь, бормотал:

— Обязанность врача…

Он выбежал вслед за учеником медника. Самгин, протирая запотевшее стекло, ожидал услышать знакомые звуки выстрелов. С треском закрылись ставни, — он, вздрогнув, отшатнулся. Очень хотелось чувствовать себя спокойно, но этому мешало множество мелких мыслей; они вспыхивали и тотчас же гасли, только одна из них, погаснув, вспыхивала снова:

«За этих, в кухне, придется отвечать…»

В кухне было тихо, на улице — не стреляли, но даже сквозь ставню доходил глухой, возбужденный говор. Усиленно стараясь подавить неприятнейшее напряжение нервов, Самгин не спеша начал одеваться. Левая рука не находила рукава пальто.

«Я слежу за собой, как за моим врагом», — возмутился он, рывком надел шапку, гневно сунул ноги в галоши, вышел на крыльцо кухни, постоял, прислушался к шуму голосов за воротами и решительно направился на улицу.

Выцветшее, тусклое солнце мертво торчало среди серенькой овчины облаков, освещая десятка полтора разнообразно одетых людей около баррикады, припудренной снегом; от солнца на них падали беловатые пятна холода, И люди казались так же насквозь продрогшими, как чувствовал себя Самгин. Суетился ветер, подметая снег под ноги людям, дымил снегом на крышах, сбрасывал его на головы. Макаров стоял рядом с Лаврушкой на крыльце дома фельдшера Винокурова и смеялся, слушая ломкий голос рыжего. За баррикадой кто-то возился, поворачивая диван, из дивана вылезала набивка, и это было противно, — как будто диван тошнило. Клим подошел к людям. В центре их стоял человек в башлыке, шевеля светлыми усами на маленьком лице; парень в сибирской, рваной папахе звучно говорил ему:

— Сборный отряд, человек сорок, без офицера…

— Штатские есть? — спросил светлоусый.

— Штук, примерно, семь…

— Надобно считать точно, а не примерно.

— Идут вразброд, а не кучей…

— Бомбов боятся! — радостно крикнул медник. Почесывая переносицу, человек в башлыке сказал:

— Значит — ростовцы не соврали, охотников двинут против нас. Пьяные — есть?

— Не приметил.

— Надо примечать, — вас, товарищ, не на прогулку посылали.

Человек в башлыке говорил спокойно, мягко, но как-то особенно отчетливо.

— Лаврентий, — крикнул он, дергая руками концы башлыка. — Значит, это ты свистел?

— Мне, товарищ Яков, студент из переулка сказал — идут…

— Уши тебе надо нарвать, душечка! Вы, товарищ Балясный, свисток у него отберите. На караулы — не назначать.

— Значит — ложная тревога, — сказал Макаров, подходя к Самгину и глядя на часы в руке. — Мне пора на работу, до свидания! На днях зайду еще. Слушай, — продолжал он, понизив голос, — обрати внимание на рыжего мальчишку — удивительно интересен!

Бородатый человек оттолкнул Макарова.

— До свидания, — почему-то очень весело крикнул доктор.

Самгин даже головой не кивнул ему, внимательно присматриваясь к защитникам баррикады. Некоторых он видел раньше в кухне, — они ему кланялись, когда он проходил мимо, он снисходительно улыбался им. Один из них, краснощекий, курносый парень, Вася, которого Анфимьевна заставляла носить дрова и растоплять печь в кухне, особенно почтительно уступал ему дорогу. В общем он видел человек десять, а сейчас их было девятнадцать: одиннадцать — вооруженных винтовками и маузерами, остальные — безоружны. Было ясно, что командует ими человек в башлыке, товарищ Яков, тощенький, легкий; светлые усы его казались наклеенными под узким, точно без ноздрей, носом, острые, голубоватые глаза смотрят внимательно и зорко. В общем лицо у него серое, старообразное, должно быть, долго сидел в тюрьме и там — засох. Ему можно дать двадцать пять лет, можно и сорок.

— Нуте-с, товарищи, теперь с баррикад уходить не дело, — говорит он, и все слушают его молча, не перебивая. — На обеих баррикадах должно быть тридцать пять, на этой — двадцать. Прошу на места.

Пятеро отделились, пошли в переулок; он, не повышая голоса, сказал им вслед:

— Сегодня вам дадут еще две винтовки и маузер. Может быть, и бомбочки будут.

Из-за баррикады вышел дворник Николай.

— Ружьецо-то и мне бы надо…

— Достанем, товарищ, обязательно! — Яков покашлял, крякнул и продолжал: — Стену в сарае разобрали? Так. Лестница на крыше углового дома — есть? Чудесно. Бомбочки — там? Ну, значит — всё. Товарищи Балясный и Калитин отвечают за порядок. Нуте-с, — наши сведения такие: вышло семь сборных отрядов, солдаты и черная сотня. Общая численность — триста пятьдесят — четыреста, возможно и больше. Черной сотни насчитывается человек полтораста. Есть будто пушечки, трехдюймовки. В общем — не густо! Но, конечно, могут разрастись. Ростовцы — не пойдут, это — наверняка!

«Вероятно — приказчик», — соображал Самгин, разглядывая разношерстное воинство так же, как другие обыватели — домовладельцы, фельдшер и мозольный оператор Винокуров, отставной штабс-капитан Затёсов — горбоносый высокий старик, глухой инженер Дрогунов — владелец прекрасной голубиной охоты. Было странно, что на улице мало студентов и вообще мелких людей, которые, квартируя в домиках этой улицы, лудили самовары, заливали резиновые галоши, чинили велосипеды и вообще добывали кусок хлеба грошовым трудом.

«Кого же защищают?» — догадывался Самгин. Среди защитников он узнал угрюмого водопроводчика, который нередко работал у Варвары, студента — сына свахи, домовладелицы Успенской, и, кроме племянника акушерки, еще двух студентов, — он помнил их гимназистами. Преобладала молодежь, очевидно —

ремесленники, но было человек пять бородатых, не считая дворника Николая. У одного из бородатых из-под нахлобученного картуза торчали седоватые космы волос, а уши — заткнуты ватой.

Все было неестественно и так же неприятно, как этот тусклый день, бесцветное солнце, остренький ветер. Неестественна высокая и довольно плотная стена хлама, отслужившего людям. Особенно лезло в глаза распоротое брюхо дивана, откуда торчали пружины и клочья набивки. К спинке дивана прикреплена палка половой щетки, и на ней треплется красный флаг. Обыватели этой улицы тоже всё — люди, отслужившие жизни. Самгин, поеживаясь от ветра и глядя, как дворник Николай раскручивает голыми руками телеграфную проволоку, должно быть, жгуче холодную, соображал:

«При чем здесь этот?»

Человек с ватой в ушах стал рядом с ним и, протирая рукавом ствол винтовки, благодарно сказал;

— Ласковый денек сегодня.

Самгин взглянул на него недоверчиво — смеется?

— Вы на этой улице живете? — спросил он.

— Нет, я — с Благуши назначен сюда, — ответил человек, все поглаживая винтовку, и вздохнул: — Патронов маловато у нас.

— Что защищает эта баррикада? — спросил Клим и даже смутился — до того строго и глупо прозвучал вопрос, а человек удивленно заглянул в лицо его и сказал:

— Революцию защищает, рабочий народ, а — как же? Размахивая рукою, он стал объяснять:

— Там — Каретный ряд, а там, значит, тоже наши, — мы, вроде, третья линия.,

— Ага, — сказал Самгин и отошел прочь, опасаясь, что скажет еще что-нибудь неловкое. Он чувствовал себя нехорошо, — было физически неприятно, точно он заболевал, как месяца два тому назад, когда врач определил у него избыток кислот в желудке.

«Покорнейший слуга... Кто это сказал: «Интеллигент — каторжник, прикованный к тачке истории»? Колесница Джагернаута... Чепуха все это. И баррикады — чепуха», — попытался он оборвать воспоминания о Макарове и даже ускорил шаг. Но это не помогло.

«От ума или от сердца? Как это он говорил? Выдумывает от бессилия, вот что. Бездарный человек...»

Воспоминания о Макарове он подсказывал себе, а сквозь них пробивалось другое:

«Конечно, — любители. Настоящие артисты бунта — в деревне. Они всегда были там, — Разин, Пугачев. А этот, товарищ Яков, — что такое он?» — Незаметно для себя Самгин дошел до бульвара, остановился, посмотрел на голые деревья, — они имели такой нищенский вид, как будто уже никогда больше не покроются листьями. Домой идти не хотелось. И вообще следовало выехать из дома тотчас же после оскорбительной выходки Варвары. Самгин взглянул на часы и пошел на квартиру Гогиных исполнять поручение Любаши. Чтоб согреться и не думать — шел очень быстро. Хотелось, чтобы все быстрее шло к своему концу. Вспомнил фразы Кумова:

«Отношение человека к жизни зависит от перемещения в пространстве. Наше, земное пространство ограничено пределами, оскорбительными для нашего духа,

но даже и в нем...» Дальше Кумов говорил что-то невразумительное о норманнах в Англии, в России, Сицилии.

Приближаясь бульваром к Арбату, Самгин услышал вправо от себя, далеко, знакомый щелчок выстрела, затем — другой. Выстрелы, прозвучав очень скромно, не удивили, — уж если построены баррикады, так, разумеется, надо стрелять. Но когда перед ним развернулась площадь, он увидел, что немногочисленные прохожие разбегаются во все стороны, прячутся во двор трактира извозчиков, только какой-то высокий старик с палкой в руке, держась за плечо мальчика, медленно и важно шагает посреди площади, направляясь на Арбат. Фигура старика как будто знакома, — если б не мальчик и не эта походка, его можно бы принять за Дьякона, но Дьякон ходил тяжело и нагнув голову, а этот держит ее гордо и прямо, как слепой.

В стороне Поварской кто-то протяжно прокричал неясное слово, и тотчас же из-за церкви навстречу Климу бросилась дородная женщина; встряхивая головою, как лошадь, она шипела:

— Ох, господи, ох...

За нею выскочил человек в черном полушубке, матерно ругаясь, схватил ее сзади за наверченную на голове шаль и потащил назад, рыча:

— Встань за церковь, дура, чорт, в церковь не будут стрелять...

— Р-разойди-ись! — услышал Самгин заунывный крик, бросился за угол церкви и тоже встал у стены ее, рядом с мужчиной и женщиной.

— Молчи, — вполголоса командовал мужчина, притиснув женщину спиной своей к стене. — Не пикни! Надо выждать, куда идут... Эх, дожили, — он еще крепче выругался, голос его прозвучал горячо. Самгин осторожно выглянул за угол; по площади все еще метались трое людей, мальчик оторвался от старика и бежал к Александровскому училищу, а старик, стоя на одном месте, тыкал палкой в землю и что-то говорил, — тряслась борода. С Поварской вышел высокий солдат, держа в обеих руках винтовку, а за ним, разбросанно, шагах в десяти друг от друга, двигались не торопясь маленькие солдатики и человек десять штатских с ружьями; в центре отряда ехала пушечка — толщиной с водосточную трубу; хобот ее, немножко наклонясь, как будто нюхал булыжник площади, пересыпанный снегом, точно куриные яйца мякиной. Рядом с пушкой лениво качался на рыжей лошади, с белыми, как в чулках, ногами, оловянный офицер, с бородкой, точно у царя Николая. Рукою в белой перчатке он держал плетку и, поднося ее к белому, под черной фуражкой, лицу, дымил папиросой. Солдаты, кроме передового, тоже казались оловянными; все они были потертые, разрозненные, точно карты, собранные из нескольких игр.

За спиною Самгина, толкнув его вперед, хрипло рявкнула женщина, раздалось тихое ругательство, удар по мягкому, а Самгин очарованно смотрел, как передовой солдат и еще двое, приложив ружья к плечам, начали стрелять. Сначала упал, высоко взмахнув ногою, человек, бежавший на Воздвиженку, за ним, подогнув колени, грузно свалился старик и пополз, шлепая палкой по камням, упираясь рукой в мостовую; мохнатая шапка свалилась с него, и Самгин узнал: это — Дьякон.

Солдаты выстрелили восемь раз; слышно было, как одна пуля где-то разбила стекло. Передовой солдат прошёл мимо Дьякона, не обращая внимания на его хриплые крики, даже как будто и не заметив его; так же равнодушно прошли и еще многие, — мучительно медленно шли они. Проехала пушка, едва не задев Дьякона колесом. Дьякон все бил палкой по земле и кричал, но когда пушка проехала, маленький солдатик, гнилого, грязно-зеленого цвета, ударил его, точно пестом, прикладом ружья по спине; Дьякон неестественно изогнулся, перекинулся на колени, схватил палку обеими руками и замахал ею; тут человек в пальто, подпоясанном ремнем, подскочив к нему, вскричал жестяным голосом;

— Ах, мерзавец! Вот-т — он…

Нагнулся и сунул штык, точно ухват в печку, в тело Дьякона; старик опрокинулся, палка упала к ногам штатского, — он стоял и выдергивал штык. Все это совершилось удивительно быстро, а солдаты шли все так же не спеша, и так же тихонько ехала пушка — в необыкновенной тишине; тишина как будто не принимала в себя, не хотела поглотить дробный и ленивенький шум солдатских шагов, железное погромыхивание пушки, мерные удары подков лошади о булыжник и негромкие крики раненого, — он ползал у забора, стучал кулаком в закрытые ворота извозчичьего двора. Совершенно отчетливо Самгин слышал, как гнилой солдатик сказал:

— Не умеешь.

За спиною Самгина мужчина глухо бормотал:

— Нищего убили, слепого-то, сво-олочи, — гляди-ко! Тяжело дышала женщина:

— Ой, господи! Пойдем, Христа ради, Егорша! Пушка-то…

Штатский человек, выдернув штык и пошевелив Дьякона, поставил ружье к ноге, вынул из кармана тряпочку или варежку, провел ею по штыку снизу вверх, потом тряпочку спрятал, а ладонью погладил свой зад. Солдатик, подпрыгивая, точно резиновый, совал штыком в воздух и внятно говорил:

— Вот как действуй — ать, два! Теперича отбей, — как отобьешь?

Штатский снял шапку, перекрестился на церковь, вытер шапкой бородатое лицо.

— Старика этого мы давно знаем, он как раз и есть, — заговорил штатский, но раздалось несколько выстрелов, солдат побежал, штатский, вскинув ружье на плечо, тоже побежал на выстрелы. Прогремело железо, тронутое пулей, где-то близко посыпалась штукатурка.

— Похоже — в нас? — шепотом спросил мужчина в полушубке и, схватив Самгина за плечо, дернул его на себя. — На Воздвиженку идут! Айдате, господин, кругом! Скорей!

Толкая женщину в спину, он другой рукой тащил Самгина за церковь, жарко вздыхая:

— А-яй! До чего довели, а?

— Слава те, господи, пушка-то не стреляет, — всхлипывая, ныла женщина.

— Нищих стреляют, а? Средь белого дня? Что же это будет, господин? — строго спросил мужчина и еще более строго добавил: — Вам надо бы знать! Чему учились?

— Вы сами знаете — народ недоволен, — сквозь зубы ответил Самгин, но это не удовлетворило мужчину.

— Народ всегда недоволен, это — известно. Ну, однако объявили свободу, дескать — собирайтесь, обсудим дела… как я понимаю, — верно?

— Да идем же, Егорша, — просила женщина.

— Постой, сестра, постой! Ушли они… Сняв шапку, Егорша вытер ею потное лицо, сытое, в мягком, рыжеватом пухе курчавых волос на щеках и подбородке, — вытер и ожидающе заглянул под очки Самгина узкими светленькими глазами.

— Кто же это блудит, а? В запрошлом году у нас, в Сибири, солдаты блудили, ну, а теперь?

Самгин молчал, глядя на площадь, испытывая боязнь перед открытым пространством. Ноги у него отяжелели, даже как будто примерзли к земле. Егорша все говорил тихо, но возбужденно, помахивая шапкой в лицо свое:

— Это — ни к чему, как шуба летом…

Самгин движением плеча оттолкнулся от стены и пошел на Арбат, сжав зубы, дыша через нос, — шел и слышал, что отяжелевшие ноги его топают излишне гулко. Спина и грудь обильно вспотели; чувствовал он себя пустой бутылкой, — в горлышко ее дует ветер, и она гудит:

«О-у-у…»

Проходя шагах в двадцати от Дьякона, он посмотрел на него из-под очков, — старик, подогнув ноги, лежал на красном, изорванном ковре; издали лоскутья ковра казались толстыми, пышными.

«Как много крови в человеке», — подумал Самгин, и это была единственная ясная мысль за все время, вплоть до квартиры Гогиных.

В комнате Алексея сидело и стояло человек двадцать, и первое, что услышал Самгин, был голос Кутузова, глухой, осипший голос, но — его. Из-за спин и голов людей Клим не видел его, но четко представил тяжеловатую фигуру, широкое упрямое лицо с насмешливыми глазами, толстый локоть левой руки, лежащей на столе, и уверенно командующие жесты правой.

— Позвольте, товарищ, — слышал Самгин. — Неразумно, неисторично рассматривать частные неудачи рабочего движения…

— Преступные ошибки самозванных вождей! — крикнул сосед Самгина, плотный человек с черной бородкой, в пенснэ на горбатом носу.

— Разумнее считать их уроками истории… Толкая Самгина и людей впереди его, человек в пенснэ безуспешно пробивался вперед, но никто не уступал ему, и он кричал через головы:

— Сколько вы погубите рабочих?

— Меньше, чем ежедневно погибает их в борьбе с капиталом, — быстро и как будто небрежно отвечал Кутузов. — Итак, товарищи…

Но голос его заглушил густой и мрачный бас высокого человека с длинной шеей:

— Обе ваши фракции дробят общественное движение, командование; восстанием должна руководить единая партия, это — азбука!

— Идите учить детей этой азбуке, — немедленно отозвался Кутузов.

Прозвучал грубый голос Пояркова:

— К порядку, товарищи!

Но это не укрощало людей, и хотя Самгин был очень подавлен, но все же отметил, что кричат ожесточеннее, чем всегда на собраниях.

«Разумеется, он должен быть здесь», — вяло подумал Самгин о Кутузове, чувствуя необходимость разгрузить себя, рассказать о том, что видел на площади. Он расстегнул пальто, зачем-то снял очки и, сунув их в карман, начал громко выкрикивать:

— Сейчас, на Арбатской площади… — Начал он с уверенностью, что будет говорить долго, заставит всех замолчать и скажет нечто потрясающее, но выкрикнул десятка три слов, и голоса у него не хватило, последнее слово он произнес визгливо и тотчас же услышал, свирепый возглас Пояркова:

— Прошу прекратить истерику! Какой там, к чорту, дьякон? Здесь не панихиды служат. К порядку!

Клим почувствовал, что у него темнеет в глазах, подгибаются ноги. Затем он очутился в углу маленькой комнаты, — перед ним стоял Гогин, держа в одной руке стакан, а другой прикладывая к лицу его очень холодное и мокрое полотенце:

— Что это с вами? У вас кровь из носа идет. Нате-ка, выпейте… О каком это дьяконе вы кричали?

Ледяная вода, разбавленная чем-то кислым, освежила Клима, несколькими словами он напомнил Алексею, кто такой Дьякон.

— Ага, — помню, старик-аграрник, да-да! Убили? Гм… Не церемонятся. Вчера сестренка попала — поколотили ее. — Гогин говорил торопливо, рассеянно, но вдруг сердито добавил: — И — за дело, не кокетничай храбростью, не дури!..

Присев на диван, он снова заговорил быстро и деловито:

— Ну, как вы? Оправились? Домой идете? Послушайте-ка, там, в ваших краях, баррикады есть и около них должен быть товарищ Яков, эдакий…

Гогин щелкнул пальцами, сморщил лицо.

— Трудно сказать — какой, ну, да вы найдете. Так вот ему записочка. Вы ее в мундштук папиросы спрячьте, а папиросу, закурив, погасите. В случае, если что-нибудь эдакое, — ну, схватят, например, — так вы мундштук откусите и жуйте. Так? Не надо, чтоб записочка попала в чужие руки, — понятно? Ну вот! Успеха!

Пожав руку Самгина, он исчез.

Самгин вышел на крыльцо, оглянулся, прислушался, — пустынно и тихо, только где-то во дворе колют дрова. День уже догорал, в небе расположились полосы красных облаков, точно гигантская лестница от горизонта к зениту. Это напоминало безлюдную площадь и фигуру Дьякона, в красных лохмотьях крови на мостовой вокруг него.

Шел Самгин осторожно, как весною ходят по хрупкому льду реки, посматривая искоса на запертые двери, ворота, на маленькие, онемевшие церкви. Москва стала очень молчалива, бульвары и улицы короче.

«Короче, потому что быстро хожу», — сообразил он. Думалось о том, что в городе живет свыше миллиона людей, из них — шестьсот тысяч мужчин, расположено несколько полков солдат, а рабочих, кажется, менее ста тысяч, вооружено из них, говорят, не больше пятисот. И эти пять сотен держат весь город в страхе. Горестно думалось о том, что Клим Самгин, человек, которому ничего не нужно, который никому не сделал зла, быстро идет по улице и знает, что его могут убить. В любую минуту. Безнаказанно…

«…Рабочие опустили руки, и — жизнь остановилась. Да, силой, двигающей жизнью, является сила рабочих… В Петербурге часть студентов и еще какие-то люди работают на почте, заменяя бастующих…»

Эти мысли вызывали у Самгина все более жуткое сознание бессилия государственной власти и тягостное ощущение личной беззащитности.

«Бессилие государства в том, что оно не понимает значения личности…»

Это не было выводом разума из хаоса чувствований Самгина, а явилось само собою, как-то со стороны и не изменило его настроения. Он шел все быстрей, стремясь обогнать сумерки.

«Сейчас увижу этого, Якова… Я участвую в революции по своей воле, свободно, без надежды что-то выиграть, а не как политик. Я знаю, что времена Гедеона —

прошли и триста воинов не сокрушат Иерихон капитализма».

Библейский пример еще раз напомнил ему Авраамово жертвоприношение.

«Ну да, — конечно: рабочий класс — Исаак, которого приносят в жертву. Вот почему я не могу решительно встать рядом с теми, кто приносит жертву».

Ему показалось, что, наконец, он объяснил себе свое поведение, и он пожалел, что эта мысль не пришла к нему утром, когда был Макаров.

«Нет, я не покорнейший слуга!»

Войдя в свою улицу, он почувствовал себя дома, пошел тише, скоро перед ним встал человек с папиросой в зубах, с маузером в руке.

— Это — я, Самгин.

Человек молча посторонился и дважды громко свистнул в пальцы. Над баррикадой воздух был красноват и струился, как марево, — ноздри щекотал запах дыма. По ту сторону баррикады, перед небольшим костром, сидел на ящике товарищ Яков и отчетливо говорил:

— Значит, рабочие наши задачи такие: уничтожить самодержавие — раз! Немедленно освободить всех товарищей из тюрем, из ссылки — два! Организовать свое рабочее правительство — три! — Считая, он шлепал ладонью по ящику и притопывал ногою в валенке по снегу; эти звуки напоминали работу весла — стук его об уключину и мягкий плеск. Слушало Якова человек семь, среди них — двое студентов, Лаврушка и толстолицый Вася, — он слушал нахмуря брови, прищурив глаза и опустив нижнюю губу, так что видны были сжатые зубы.

— Нуте-с: против царя мы — не одни, а со всеми, а дальше — одни и все — против нас. Почему?

Самгин вышел на свет костра, протянул ему папиросу.

— Внутри — записка.

Яков долго и осторожно раскручивал мундштук, записку; долго читал ее, наклонясь к огню, потом, бросив бумажку е огонь, сказал:

— Так.

Сунув руки в теплый воздух и потирая их, хотя они не озябли, Самгин спросил:

— А не боитесь, что по огню стрелять начнут?

— Ночью — не сунутся, — уверенно ответил Яков. — Ночью им не разрешено воевать, — прибавил он, и его мягкий голос прозвучал насмешливо.

Вмешался Лаврушка, — он сказал с гордостью:

— Их сегодня, на Каланчевской, разогнали, как собак…

Присев на выступ баррикады, Самгин рассказал о том, что он видел, о Дьяконе, упомянул фамилию Дунаева.

— Дунаев? — оживленно спросил Яков. — Какой он? И, выслушав описание Клима, улыбаясь, кивнул головою:

— Этот самый! Он у нас в Чите действовал. «Не много их, если друг друга знают», — отметил Самгин.

Снова дважды прозвучал негромкий свист.

— Свои, — сказал Лаврушка.

Явились двое: человек в папахе, — его звали Калитин, — и с ним какой-то усатый, в охотничьих сапогах и коротком полушубке; он сказал негромко, виновато:

— Ушел.

— Эх, — вздохнул Яков и, плюнув в огонь, привлек Лаврушку к себе. — Значит, так: завтра ты скажешь ему, что на открытом месте боишься говорить, — боишься, мы увидим, — так?

— Я знаю.

— И пригласишь его в сторожку. А вы, товарищ Бурундуков и Миша, будете там. Нуте-с, я — в обход. Панфилов и Трепачев — со мной. Возьмите маузера — винтовок не надо!

Студент Панфилов передал винтовку Калитину, — тот взял ее, говоря:

— Винтовочка, рабочий посошок!

Самгин пошел домой, — хотелось есть до колик в желудке. В кухне на столе горела дешевая, жестяная лампа, у стола сидел медник, против него — повар, на полу у печи кто-то спал, в комнате Анфимьевны звучали сдержанно два или три голоса. Медник говорил быстрой скороговоркой, сердито, двигая руками по столу:

— У меня, чучело, медаль да Георгий, а я…

— Дурак, — придушенным голосом сказал повар. Обычно он, даже пьяный, почтительно кланялся, видя Самгина, но на этот раз — не пошевелился, только уставил на него белые, кошмарно вытаращенные глаза.

Лампа, плохо освещая просторную кухню, искажала формы вещей: медная посуда на полках приобрела сходство с оружием, а белая масса плиты — точно намогильный памятник. В мутном пузыре света старики сидели так, что их разделял только угол стола. Ногти у медника были зеленоватые, да и весь он казался насквозь пропитанным окисью меди. Повар, в пальто, застегнутом до подбородка, сидел не по-стариковски прямо и гордо; напялив шапку на колено, он прижимал ее рукой, а другою дергал свои реденькие усы.

— Вот, товарищ Самгин, спорю с Иудой, — сказал медник, хлопая ладонями по столу.

— Ты сам — Иуда и собака, — ответил повар и обратился к Самгину: — Прикажите старой дуре выдать мне расчет.

Вскочив на ноги, медник закричал, оскаливая черные обломки зубов:

— Пристрелить тебя — вот тебе расчет! Понимаете, — подскочил он к Самгину, — душегуба защищает, царя! Имеет, дескать, права — душить, а?

— Имеет, — сказал повар, глаза его еще более выкатились, подбородок задрожал.

— Я солдат! Понимаешь? — отчаянно закричал медник, ударив себя кулаком в грудь, как в доску, и яростно продолжал: — Служил ему два срока, унтер, — ну? Так я ему… я его…

— Пошел вон! — захрипел повар и, бросив шапку на пол, стал топтать ее.

Самгин молчал, наблюдая стариков. Он хорошо видел комическую сторону сцены, но видел, чувствовал и нечто другое, подавлявшее его. Старики были одного роста, оба — тощие, высушенные долголетним трудом. Медник дышал с таким хрипом, точно у него вся кожа скрипела. Маленькое, всегда красное лицо повара окрашено в темный, землистый цвет, — его искажали судороги, глаза смотрели безумно, а

прищуренные глаза медника изливали ненависть; он стоял против повара, прижав кулак к сердцу, и, казалось, готовился бить повара.

Самгин встал между ними, говоря как только мог внушительно:

— Прошу прекратить ссору. Вы, Егор, расчет получите. Сегодня же. Где Анфимьевна?

Повар отвернулся от него, сел и, подняв с пола шапку, хлопнув ею по колену, надел на голову. Медник угрюмо ответил:

— Анфимьевна барыне вещи повезла на салазках. Самовар вам приготовлен. И — пища.

— Спасибо, — сказал Самгин. — Но — прошу не шуметь!

— Ладно, — обещал медник усталым голосом. «Впали в детством — определил Самгин, входя в столовую, определил и поморщился, — ссора стариков не укладывалась в эти легкие слова.

«Любаша, конечно, сказала бы: вот как глубоко… и прочее. Что-нибудь в этом роде, о глубине…»

Он стоял среди комнаты, глядя, как из самовара вырывается пар, окутывая чайник на конфорке, на неподвижный огонь лампы, на одинокий стакан и две тарелки, покрытые салфеткой, — стоял, пропуская мимо себя события и людей этого дня и ожидая от разума какого-нибудь решения, объяснения. Крайне трудно было уложить все испытанное сегодня в ту или иную систему фраз. Очень хотелось есть, но не хотелось сдвинуться с места. В кухне булькал голос медника, затем послышались мягкие шаги, и, остановясь в двери, медник сказал:

— Вы, товарищ Самгин, не рассчитывайте его. Куда он денется? В такие дни — где стряпают? Стряпать — нечего. Конечно, изувер и даже — идиот, однако — рабочий человек…

— Это он вас просил сказать мне? — тихо осведомился Самгин, глядя на растоптанные валенки старика.

— Он? — иронически воскликнул медник. — Он — попросит, эдакий… сволочь! Он — издохнет, а не сдаст. Я с ним бьюсь сколько времени! Нет, это — медь, ее не пережуешь!

— Хорошо, — сказал Самгин, чувствуя, что старик может еще долго рассказывать о несокрушимой твердости своего врага. Валенки медника, зашаркав по полу, исчезли, Самгин, осторожно подняв голову, взглянул на его изогнутую спину. Потом он ел холодную, безвкусную телятину, пил перепаренный, горьковатый чай и старался вспомнить слова летописца Пимена: «Недаром… свидетелем господь меня поставил» — и не мог вспомнить: свидетелем чего? Как там сказано? Сходить в кабинет за книгой мешала лень, вызванная усталостью, теплом и необыкновенной тишиной; она как будто всасывалась во все поры тела и сегодня была доступна не только слуху, но и вкусу — терпкая, горьковатая. Он долго сидел в этой тишине, сидел неподвижно, опасаясь спугнуть дремоту разума, осторожно наблюдая, как погружаются в нее все впечатления дня; она тихонько покрывала день, как покрывает снег вспаханное поле, кочковатую дорогу. Но два полуумных старика мешали работе ее. Самгин, взяв лампу, пошел в спальню и, раздеваясь, подумал, что он создан для холостой жизни, а его связь с Варварой — ошибка, неприятнейший случай.

«Весьма вероятно, что если б не это — я был бы литератором. Я много и отлично вижу. Но — плохо формирую, у меня мало слов. Кто это сказал: «Дикари и художники мыслят образами»? Вот бы написать этих стариков…»

Старики беспокоили. Самгин пошел в кабинет, взял на ощупь книгу, воротился,

лег. Оказалось, он ошибся, книга — не Пушкин, а «История Наполеона». Он стал рассматривать рисунки Ораса Берне, но перед глазами стояли, ругаясь, два старика.

«Моя неспособность к сильным чувствам — естественна, это — свойство культурного человека», — возразил кому-то Самгин, бросил книгу на постель Варвары и, погасив лампу, спрятал голову под одеяло.

Его разбудили дергающие звуки выстрелов где-то до того близко, что на каждый выстрел стекла окон отзывались противненькой, ноющей дрожью, и эта дрожь отдавалась в коже спины, в ногах Самгина. Он вскочил, схватил брюки, подбежал к ледяному окну, — на улице в косых лучах утреннего солнца прыгали какие-то серые фигуры.

«Забыли закрыть ставни», — с негодованием отметил Самгин. Он тоже запрыгал на одной ноге, стараясь сунуть другую в испуганные брюки, они вырывались из рук, а за окном щелкало и трещало. Сквозь ледяной узор на окне видно было, что на мостовой лежали, вытянув ружья, четверо, похожие на огромных стерлядей; Сзади одного из них стрелял, с колена, пятый, и после каждого выстрела штыки ружей подпрыгивали, как будто нюхали воздух и следили, куда летит пуля. Самгин в одной штанине бросился к постели, выхватил из ночного столика браунинг, но, бросив его на постель, надел брюки, туфли, пиджак и снова подбежал к окну; солдат, стрелявший с колена, переваливаясь с бока на бок, катился по мостовой на панель, тот, что был впереди его, — исчез, а трое всё еще лежали, стреляя. Самгин хорошо слышал, что слева стреляют более часто и внушительно, чем справа, от баррикады.

«Конечно, — всех перебьют!»

Схватив револьвер, он выбежал в переднюю, сунул ноги в ботики, надел пальто и, выскочив на крыльцо кухни, остановился.

«Прячутся… бегут…»

По двору один за другим, толкаясь, перегоняя друг друга, бежали в сарай Калитин, Панфилов и еще трое; у калитки ворот стоял дворник Николай с железным ломом в руках, глядя в щель на улицу, а среди двора — Анфимьевна крестилась в пестрое небо.

— Что? — подбежав к Николаю, тихонько спросил Самгин.

— Сейчас… Сзади заходят, — шопотом ответил Николай.

Здесь, на воздухе, выстрелы трещали громко, и после каждого хотелось тряхнуть головой, чтобы выбросить из уха сухой, надсадный звук. Было слышно и визгливое нытье летящих пуль. Самгин оглянулся назад — двери сарая были открыты, задняя его стена разобрана; пред широкой дырою на фоне голубоватого неба стояло голое дерево, — в сарае никого не было.

— Во-от, — приглушенно вскричал дворник и, распахнув калитку, выскочил на улицу, — там, недалеко, разноголосо кричали:

— Ур-ра-а!

Самгина тоже выбросило на улицу, точно он был веревкой привязан к дворнику. Он видел, как Николай, размахнувшись ломом, бросил его под ноги ближайшего солдата, очутился рядом с ним и, схватив ружье, заорал:

— Отдай, сукин сын!

Самгину показалось, что Николай приподнял солдата от земли и стряхнул его с ружья, а когда солдат повернулся к нему спиною, он, ударив его прикладом, опрокинул, крича:

— Пули давай!

Солдат упал вниз лицом, повернулся на бок и стал судорожно щупать свой живот. Напротив, наискось, стоял у ворот такой же маленький зеленоватый солдатик, размешивал штыком воздух, щелкая затвором, но ружье его не стреляло. Николай, замахнувшись ружьем, как палкой, побежал на него; солдат, выставив вперед левую ногу, вытянул ружье, стал еще меньше и крикнул:

— Уйди!

Ругаясь, Николай вышиб ружье из его рук, схватил его и, высоко подняв оба ружья, заорал:

— Е-есть! Давай пули!

Солдатик, разинув рот, медленно съехал по воротам на землю, сел и, закрыв лицо рукавом шинели, тоже стал что-то шарить на животе у себя. Николай пнул его ногой и пошел к баррикаде; из-за нее, навстречу ему, выскакивали люди, впереди мчался Лаврушка и кричал:

— Патроны отнимай!

Самгин видел, как он подскочил к солдату у ворот, что-то закричал ему, солдат схватил его за ногу, дернул, — Лаврушка упал на него, но солдат тотчас очутился сверху; Лаврушка отчаянно взвизгнул:

— Дядя Микол…

Швырнув одно ружье на землю, дворник прыжками бросился к нему. Самгин закрыл глаза…

Он не слышал, когда прекратилась стрельба, — в памяти слуха все еще звучали сухие, сердитые щелчки, но он понимал, что все уже кончено. Из переулка и от бульвара к баррикаде бежали ее защитники, было очень шумно и весело, все говорили сразу.

— Неплохо вышло, товарищи!

— Научимся понемножку…

— Яков рассчитал верно!

Студент Панфилов и медник провели на двор солдата, он всхлипывал, медник сердито говорил ему:

— Это, брат, тебе — наука! Не лезь куда не надо! Солдатик у ворот лежал вверх спиной, свернув голову набок, в лужу крови, — от нее поднимался легкий парок. Прихрамывая, нагибаясь, потирая колено, из-за баррикады вышел Яков и резко закричал:

— Прошу угомониться, товарищи! Солдата и Васю уберите в сад! Живо…

Пьяным смехом смеялся дворник; Клим никогда не слыхал, чтоб он смеялся, и не слыхал никогда такого истерически визгливого смеха мужчины.

— Два ружья отбил, — выкрикивал он, — ловко, братцы, а?

Он приставал ко всем, назойливо выкрикивая то — братцы, то — товарищи.

«Как будто спрашивает: товарищи ли, братцы ли?»

Поведение дворника особенно удивляло Самгина: каждую субботу и по воскресеньям человек этот ходил в церковь, и вот радуется, что мог безнаказанно убить. Николая похваливали, хлопали по плечу, — он ухмылялся и взвизгивал:

— Кабы не я — парнишке каюк!

Из ворот осторожно выглядывали обыватели, некоторые из них разговаривали с защитниками баррикады, — это Самгин видел впервые, и ему казалось, что они улыбаются с такой же неопределимой, смущающей радостью, какая тревожит и ласкает его.

Рядом с ним встал Яков, вынул из его руки браунинг, поднес его близко к лицу, точно нюхая, и сказал:

— Их надо разбирать и чистить керосином. Этот — в сырости держали.

Он опустил револьвер в карман пальто Самгина и замолчал, посматривая на товарищей, шевеля усиками.

— Вы — ранены?

— Колено ушиб, — ответил Яков и, усмехаясь, схватил за плечо Лаврушку: — Жив, сукин кот? Однако — я тебе уши обрежу, чтоб ты меня слушался…

— Товарищ Яков! — умоляюще заговорил Лаврушка, — дайте же мне винтовочку, у Николая — две! Мне же учиться надо. Я бы — не по людям, а по фонарям на бульваре, вечером, когда стемнеет.

Яков, молча надвинув ему шапку на глаза, оттолкнул его и строго крикнул:

— Товарищи — спокойно! Плясать — рано! По местам!

Мимо Самгина пронесли во двор убитого солдата, — за руки держал его человек с ватой в ухе, за ноги — студент Панфилов.

— Ночью на бульвар вынесете. И Васю — тоже, — сказал, пропуская их мимо себя, Яков, — сказал негромко, в нос, и ушел во двор.

Самгин вынул из кармана брюк часы, они показывали тридцать две минуты двенадцатого. Приятно было ощущать на ладони вескую теплоту часов. И вообще все было как-то необыкновенно, приятно-тревожно. В небе тает мохнатенькое солнце медового цвета. На улицу вышел фельдшер Винокуров с железным измятым ведром, со скребком, посыпал лужу крови золою, соскреб ее снова в ведро. Сделал он это так же быстро и просто, как просто и быстро разыгралось все необыкновенное и страшное на этом куске улицы.

Вздрогнув, Самгин прошел во двор. На крыльце кухни сидел тощий солдатик, с желтым, старческим лицом, с темненькими глазками из одних зрачков; покачивая маленькой головой, он криво усмехался тонкими губами и негромко, насмешливым тенорком говорил Калитину и водопроводчику:

— Что я — лезервного батальону, это разницы не составляет, все одно: в солдата стрелять нельзя…

— А тебе в меня — можно? — глухо спросил угрюмый водопроводчик.

Яков сидел рядом с крыльцом на поленьях дров и, глядя в сторону, к воротам, молча курил.

— Мне тебя — можно, я солдат, присягу принял против внутренних врагов…

Водопроводчик перекинул винтовку в левую руку, ладонью правой толкнул пленника в лоб:

— А если я тоже — солдат?

— Ну — это врешь.

— Вру?

— Оставь, Тимофеев, не тронь, — сказал Калитин, рассматривая пленника.

Но Тимофеев отскочил и начал делать ружейные приемы, свирепо спрашивая после каждого:

— Видал? Видал, сволочь? Видал? И, сделав выпад штыком против солдата, закричал в лицо ему:

— Тенгинского полка, четвертой роты, Захар… Яков быстро встал и оттолкнул его плечом, говоря:

— И адрес дайте ему свой. — Он обратился к солдату: — На таких вот дураках, как ты, все зло держится…

Отрицательно покачивая головою и вздохнув, тот сказал:

— Солдат дураком не бывает. А вы — царю-отечеству изменники, и доля вам…

Водопроводчик замахнулся на него левой рукой, но Яков подбил руку под локоть, отвел удар:

— Однако, товарищ, нужна дисциплина. Солдат поднял из-под козырька фуражки темные глаза на Якова и уже проще, без задора, даже снисходительно сказал:

— Ружейный прием и штацки ловко делают. Вон этот, — он показал рукою за плечо свое, — которого в дом завели, так он — как хочешь!

— Штатский? — спросил Капитан, сдвигая папаху на лоб.

— Ну да.

— Охотник? — спокойно спросил Яков.

— Приказчик, грибами торгует.

— Я спрашиваю: в отряде — охотник?

— Мы все — охотники, — понял солдат и, снова вздохнув, прибавил: — По вызову — кто желает.

Трое одновременно придвинулись ближе к солдату.

«Убьют», — решил Самгин и, в два приема перешагнув через пять ступенек крыльца, вошел в кухню.

Там у стола сидел парень в клетчатом пиджаке и полосатых брюках; тугие щеки его обросли густой желтой шерстью, из больших светлосерых глаз текли слезы, смачивая шерсть, одной рукой он держался за стол, другой — за сиденье стула; левая нога его, голая и забинтованная полотенцем выше колена, лежала на деревянном стуле.

— Вот, барин, ногу испортили мне, — плачевно сказал он Самгину.

— Плачет и плачет! — удивленно, весело воскликнул Николай, строгая ножом длинную палку. — Баба даже не способна столько плакать!

— Я вас прошу, барин, заступитесь! — рыдающим голосом взывал парень. — Вы, адвокат…

— Он копчену рыбу носил нам, — вмешался Николай и торопливо начал говорить еще что-то, но Самгин не слушал его.

«Знает меня! Когда все кончится, а он уцелеет…»

Не требуя больше слов, догадка вызвала очень тягостное чувство.

Из комнаты Анфимьевны вышли студент Панфилов с бинтом в руках и горничная Настя с тазом воды; студент встал на колени, развязывая ногу парня, а тот, крепко зажмурив глаза, начал выть.

— У-у-х! Господин адвокат, будьте свидетелем…

Я в суд подам…

— Вот болван! — вскричал студент и засмеялся. — И чего орет? Кость не тронута. Перестань, дубина! Через неделю плясать будешь…

Но парень неутомимо выл, визжал, кухня наполнилась окриками студента, сердитыми возгласами Насти, непрерывной болтовней дворника. Самгин стоял, крепко прислонясь к стене, и смотрел на винтовку; она лежала на плите, а штык высунулся за плиту и потел в пару самовара под ним, — с конца штыка падали светлые капли.

— Дайте палку, — сказал студент Николаю, а парню скомандовал: — Вставай! Ну, держись за меня, бери палку! Стоишь? Ну, вот! А — орал! орал!

Парень стоял, искривив рот, и бормотал:

— Ах ты, господи…

Открылась дверь со двора, один за другим вошли Яков, солдат, водопроводчик; солдат осмотрел кухню и сказал:

— Винтовку отдайте мне, — вот она! Яков подошел к парню и, указав на солдата, спросил очень мягко:

— Он командовал отрядом вашим?

— Он, — сказал парень, щупая ногу.

— Один?

— Старшой был, тот — убежал.

— Вы, господа, никак не судьи мне, — серьезно сказал солдат. — Вы со мной ничего не можете исделать, как я сполнял приказ…

— Нуте-с, товарищ, — обратился Яков к водопроводчику.

Самгин ушел в столовую.

«Я должен сказать Якову, что этот идиот знает меня, потому что…»

Но основания для сообщения Якову он не находил.

«Как все это… глупо! — решил он, присаживаясь у окна. — Безнадежно, неисправимо глупо».

Лаврушка внес самовар, с разбегу грохнул его на стол и, растянув рот до ушей, уставился на Самгина, чего-то ожидая. Самгин исподлобья, через очки, наблюдал за ним. Не дождавшись ничего, Лаврушка тихо сказал:

— Обязательно застрелят солдата, ей-богу!

— Одного? — вполне равнодушно спросил Самгин.

— Я бы — обоих! Какого чорта? Их — много, а нас горсточка…

— Да, — неопределенно откликнулся Самгин. Лаврушка побежал к двери, но

обернулся и с восторгом сообщил:

— Одна пуля отщепила доску, а доска ка-ак бабахнет Якова-товарища по ноге, он так и завертелся! А я башкой хватил по сундуку, когда Васю убило. Это я со страха. Косарев-то как стонал, когда ранило его, студент…

Он исчез. Самгин, заваривая чай и глядя, как льется из крана струя кипятка, чувствовал, что под кожей его струится холод.

«Мальчик — прав, борьба должна быть беспощадной…»

Из кухни доносился странно внятный голос Якова.

Самгин нерешительно встал, вышел в полутемную комнату пред кухней, достал из кармана пальто револьвер и выглянул в кухню, — там Яков говорил Насте:

— Так что мучается рабочий народ тоже и по своей глупости…

— Не хотите ли чаю? — предложил Самгин.

— Спасибо, некогда.

Тогда Самгин показал ему револьвер.

— А не научите меня, как надо чистить?

Яков взял браунинг, сунул его в карман пальто.

— Тут у нас есть мастер по этой части, он сделает. Самгин хотел притворить дверь, но Яков, подставив ногу, спросил его:

— Сказали мне — раненый знает вашу личность.

— Да, представьте…

Завязывая концы башлыка на груди, Яков сказал вдумчиво:

— Могут быть неприятности для вас…

— Возможно. Если, конечно, восстание будет неудачно, — сказал Самгин и подумал, что, кажется, он придал этим словам смысл и тон вопроса. Яков взглянул на него, усмехнулся и, двигаясь к двери на двор, четко выговорил:

— Не в этот раз, так — в другой… Возвратясь в столовую, Клим уныло подошел к окну, В красноватом небе летала стая галок. На улице — пусто. Пробежал студент с винтовкой в руке. Кошка вылезла из подворотни. Белая с черным. Самгин сел к столу, налил стакан чаю. Где-то внутри себя, очень глубоко, он ощущал как бы опухоль: не болезненная, но тяжелая, она росла. Вскрывать ее словами — не хотелось.

«Солдат этот, конечно, — глуп, но — верный слуга. Как повар. Анфимьевна. Таня Куликова. И — Любаша тоже. В сущности, общество держится именно такими. Бескорыстно отдают всю жизнь, все силы. Никакая организация невозможна без таких людей. Николай — другого типа… И тот, раненый, торговец копченой рыбой…»

Именно об этом человеке не хотелось думать, потому что думать о нем — унизительно. Опухоль заболела, вызывая ощущение, похожее на позыв к тошноте. Клим Самгин, облокотясь на стол, сжал виски руками.

«Как бессмысленна жизнь…»

Вошла Анфимьевна и, не выпуская из руки ручки двери, опустилась на стул.

— Егор пропал, — сказала она придушенно, не своим голосом и, приподняв синеватые веки, уставила на Клима тусклые, стеклянные зрачки в сетке кровавых жилок. — Пропал, — повторила она.

«Страшные глаза!» — отметил Самгин и тихонько спросил: — Как же решили с этими… солдатами?

Анфимьевна тяжело поднялась, подошла к буфету и там, гремя посудой, тоже спросила:

— А как быть? — И, подходя к столу с чашкой в руке, она пробормотала: — Ночью отведут куда подальше да и застрелят.

Самгин выпрямился на стуле, ожидая, что еще скажет она, а старуха, тяжело дыша, посапывая носом, долго наливала чай в чашку, — руки ее дрожали, пальцы не сразу могли схватить кусок сахара.

— Всякому — себя жалко, — сказала она, садясь к столу. — Тем живем.

Самгин устал ждать и решительно, даже строго, спросил:

— И того и другого?

Раскалывая сахар на мелкие кусочки, Анфимьевна не торопясь, ворчливо и равнодушно начала рассказывать:

— Я говорю Якову-то: товарищ, отпустил бы солдата, он — разве злой? Дурак он, а — что убивать-то, дураков-то? Михаиле — другое дело, он тут кругом всех знает — и Винокурова, и Лизаветы Константиновны племянника, и Затёсовых, — всех! Он ведь покойника Митрия Петровича сын, — помните, чай, лысоватый, во флигере у Распоповых жил, Борисов — фамилия? Пьяный человек был, а умница, добряк.

Говоря, она прихлебывала чай, а — выпив, постучала ногтем по чашке.

— Ну вот — трещина, а севриз новый! Ох, Настасья, медвежьи лапы…

Самгин слушал ее тяжелые слова, и в нем росло, вскипало, грея его, чувство уважения, благодарности к этому человеку; наслаждаясь этим чувством, он даже не находил слов выразить его.

— К тому же Михайло-то и раненый, говорю. Хороший человек товарищ этот, Яков. Строгий. Все понимает. Все. Егора все ругают, а он с Егором говорит просто… Куда же это Егор ушел? Ума не приложу…

— Вы так часто ссорились с ним, — ласково напомнил Самгин.

Все еще рассматривая чашку, постукивая по ней синим ногтем, Анфимьевна сказала:

— Муж.

— Как? — спросил Самгин, уверенный, что она оговорилась, но старуха, вздохнув, повторила то же слово:

— Муж. Судьба моя.

Зрачки ее как будто вспыхнули, посветлели на секунду и тут же замутились серой слезой, растаяли. Ослепшими глазами глядя на стол, щупая его дрожащей рукой, она поставила чашку мимо блюдца.

— Одиннадцать лет жила с ним. Венчаны. Тридцать семь не живу. Встретимся где-нибудь — чужой. Перед последней встречей девять лет не видала. Думала — умер. А он на Сухаревке, жуликов пирогами кормит. Эдакий-то… мастер, э-эх!

Вытирая глаза концом передника, она всхлипнула и простонала, как молодая.

Самгин встал и, волнуясь, совершенно искренно заговорил:

— Вы, Анфимьевна, — замечательная женщина! Вы, в сущности, великий человек! Жизнь держится кроткой и неистощимой силою таких людей, как вы! Да, это — так…

Ему захотелось назвать ее по имени и отчеству, но имени ее он не знал. А старуха, пользуясь паузой, сказала:

— Ну, что уж… Вот, Варюша-то… Я ее как дочь люблю, монахини на бога не работают, как я на нее, а она меня за худые простыни воровкой сочла. Кричит, ногами топала, там — у черной сотни, у быка этого. Каково мне? Простыни-то для раненых. Прислуга бастовала, а я — работала, милый! Думаешь — не стыдно было мне? Опять же и ты, — ты вот здесь, тут — смерти ходят, а она ушла, да-а!

Самгину уже не хотелось говорить, и смотреть на старуху неловко было.

— Ну — ладно, — она встала. — Чем я тебя кормить буду? В доме — ничего нету, взять негде. Ребята тоже голодные. Целые сутки на холоде. Деньги свои я все прокормила. И Настенка. Ты бы дал денег…

— Конечно! — заторопился Самгин. — Разумеется. Вот…

— Ну, яишницу сделаю. У акушерки куры еще несутся…

Он вздохнул свободнее, когда Анфимьевна ушла. Шагая по комнате, он думал, что живет, точно на качелях: вверх, вниз.

«Удивительно верно это у Сологуба…»

Хотелось придумать свои, никем не сказанные слова, но таких слов не находилось, подвертывались на язык всё старые, давно знакомые.

«Действительно — таинственный народ. Народ, решающий прежде всего проблему морали. Марксисты глубоко ошибаются… Как просто она решила с этим, Михаилом…»

Он снова почувствовал прилив благодарности к старой рабыне. Но теперь к благодарности примешивалось смущение, очень похожее на стыд. Было почему-то неловко оставаться наедине с самим собою. Самгин оделся и вышел на двор.

Николай отворял и затворял калитку ворот, — она пронзительно скрипела; он приподнял ее ломом и стал вбивать обухом топора гвоздь в петлю, — изо рта у него торчали еще два гвоздя. Работал он, как всегда, и о том, что он убил солдата, не хотелось вспоминать, даже как будто не верилось, что это — было. На улице тоже все обыденно, ново только красноватое пятно под воротами напротив, — фельдшер Винокуров все-таки не совсем соскоблил его. Солнце тоже мутнокрасное; летают редкие снежинки, и они красноваты в его лучах, как это нередко бывает зимою в ярких закатах солнца.

На крыльце соседнего дома сидел Лаврушка рядом с чумазым парнем; парень подпоясан зеленым кушаком, на боку у него — маузер в деревянном футляре. Он вкусно курит папиросу, а Лаврушка говорит ему:

— Я люблю бояться; занятно, когда от страха шкурка на спине холодает.

Парень сплюнул, поймал ладонью крупную снежинку, точно муху, открыл ладонь, — в ней ничего не оказалось. Он усмехнулся и заговорил:

— Меня к страху приучил хозяин, я у трубочиста жил, как я — сирота. Бывало, заорет: «Лезь, сволочь, сукиного сына!» В каменную стену полезешь, не то что куда-нибудь. Он и печник был. Ему смешно было, что я боюсь.

— Сердитый?

— Трезвый, так — веселый. Все спрашивал: «Как дела — башка цела?» Только он редко трезвый был.

У паренька — маленькие, но очень яркие глаза, налитые до глубины синим огнем.

Прошли две женщины, — одна из них, перешагнув через пятно крови, обернулась и сказала другой:

— Смотри, — точно конь нарисован! Та, не взглянув, закуталась шалью, а когда они остановились у крыльца фельдшера, сказала, оглядываясь:

— По нашей улице из пушки стрелять неудобно, — кривая, в дома пушка будет попадать.

Перед баррикадой гулял, тихонько насвистывая, Калитин, в ногу с ним шагал сухонький, остроглазый, с бородкой, очень похожей на кисть для бритья, — он говорил:

— Стреляют они — так себе. Вообще — отряды эти охотничьи — балаган! А вот казачишки — эти бьют кого попало. Когда мы на Пресне у фабрики Шмита выступали…

Калитин остановился, вынул из-за пазухи черные часы и крикнул:

— Лаврентий — иди! Пора! Иди, Мокеев. Самгину хотелось поговорить с Калитиным и вообще ближе познакомиться с этими людьми, узнать — в какой мере они понимают то, что делают. Он чувствовал, что студенты почему-то относятся к нему недоброжелательно, даже, кажется, иронически, а все остальные люди той части отряда, которая пользовалась кухней и заботами Анфимьевны, как будто не замечают его. Теперь Клим понял, что, если б его не смущало отношение студентов, он давно бы стоял ближе к рабочим.

Лаврушка и человек с бородкой ушли. Темнело. По ту сторону баррикады возились люди; знакомый угрюмый голос водопроводчика проговорил:

— Тут — недалеко.

— Отец возьмет его?

— Брат.

— Жалко Васю.

Калитин, шагая вдоль баррикады, закуривал на ходу. Самгин пошел рядом с ним, спросив;

— Очень страдал товарищ?

— Не охнул, — сказал Калитин, выдув длинную струю дыма. — В глаз попала пуля.

— Он где работал?

— Булочник.

— Еще кого-нибудь ранили?

— Троих. Не сильно.

Краткие ответы Калитина не очень поддерживали желание беседовать с ним, но все-таки Самгин, помолчав, спросил:

— Чего же вы надеетесь добиться? Калитин остановился и сказал:

— Ясно — очевидно: свободы рабочему классу!

А вслед за этим сам спросил, как будто с сожалением:

— Вы что же — меньшевичек? За союз с кадетами? По Плеханову: до Твери — вместе?

Не по словам, а по тону Самгин понял, что этот человек знает, чего он хочет. Самгин решил возразить, поспорить и начал:

— Неужели вы думаете…

Но Калитин, остановись, прислушиваясь, проворчал:

— Подождите-ко…

Было слышно, что вдали по улице быстро идут люди и тащат что-то тяжелое. Предчувствуя новую драму, Самгин пошел к воротам дома Варвары; мимо него мелькнул Лаврушка, радостно и громко шепнув:

— Пымали!

Самгин остановился во впадине калитки, слушая задыхающийся голос:

— Пымали, товарищ Калитин! Как бился-а! Здоровенный! Ему даже варежку в рот сунули…

— Ведите в сарай, — крикнул Калитин. Клим быстро вошел во двор, встал в угол; двое людей втащили в калитку третьего; он упирался ногами, вспахивая снег, припадал на колени, мычал. Его били, кто-то сквозь зубы шипел:

— Иди-и…

Самгин хотел войти в кухню, но в сарае заговорил, сквозь всхлипывающий смешок, Иван Петрович Митрофанов:

— Ф-фу… Господи Исусе! Ну, напугали, напугали… И, всхлипнув так, точно губы ожег кипятком, он еще быстрее забормотал:

— Пож-жалуйста, пож-жалуйста! Я не сопротивляюсь… Ну, — документы… Я — человек тоже рабочий. Часы. Вот деньги. И — всё, поверьте слову…

По двору в сарай прошли Калитин и водопроводчик, там зажгли огонь. Самгин тихо пошел туда, говоря себе, что этого не надо делать. Он встал за неоткрытой половинкой двери сарая; сквозь щель на пальто его легла полоса света и разделила надвое; стирая рукой эту желтую ленту, он смотрел в щель и слушал.

— Ведь это вы несерьезно, — говорил Митрофанов, все громче и торопливее. — Нельзя же, господа… товарищи… Мы живем в государстве…

— Молчи, — глухо сказали ему.

— Да — нет! Как же можно? Что вы… что… Ну… боже мой… — И вдруг, не своим голосом, он страшно крикнул:

— Караул… Позвольте — что вы? Постойте!

Необычайно кратко и глухо хлопнул выстрел, и тотчас погас огонь.

Самгин почувствовал, что это на него упала мягкая тяжесть, приплюснув его к земле так, что подогнулись колени.

Через несколько секунд тишины снова вспыхнул огонь, и раздался голос Калитина:

— Это ты — напрасно! Это, товарищ, не дело.

— А — чего? Вот он — документ!..

— Надо было Якова подождать…

Кто-то заговорил так же торопливо, как Митрофанов.

— Лаврушку он спрашивал, кого как зовут, ну? Меня — спрашивал? Про адвоката? Чем он руководит? И как вообще…

— Вынесите его в сад, — сказал Калитин. — Дай-ка мне книжку и всё…

Самгин встал перед дверью и сказал:

— Он был уголовный сыщик… Но Мокеев, наскочив на него, закричал густо и свирепо:

— Охранник! Аккуратно, как в аптеке! Не беспокойтесь…

Он говорил еще что-то, но Самгин не слушал его, глядя, как водопроводчик, подхватив Митрофанова под мышки, везет его по полу к пролому в стене. Митрофанов двигался, наклонив голову на грудь, спрятав лицо; пальто, пиджак на нем были расстегнуты, рубаха выбилась из-под брюк, ноги волочились по полу, развернув носки.

Калитин, сидя на корточках перед фонарем, рассматривал какие-то бумажки и ворчал:

— Делов сегодня у нас… Карточка охранного, видать…

— Вот и револьвер его, — вертел Мокеев перед лицом Самгина черный кусок металла. — Он меня едва не пристрелил, а теперь — я его из этого…

Самгин стоял, закрыв глаза.

— Ну, довольно канители! — строго сказал Калитин. — Идем, Мокеев, к Якову. Все-таки это, брат… не дело, если каждый будет…

— Эй, черти, помогите мне! — крикнул водопроводчик из сада.

Но Калягин и Мокеев ушли со двора. Самгин пошел в дом, ощущая противный запах и тянущий приступ тошноты. Расстояние от сарая до столовой невероятно увеличилось; раньше чем он прошел этот путь, он успел вспомнить Митрофанова в трактире, в день похода рабочих в Кремль, к памятнику царя; крестясь мелкими крестиками, человек «здравого смысла» горячо шептал: «Я — готов, всей душой! Честное слово: обманывал из любви и преданности».

«Как просто убивают. Хотя, конечно, шпион, враг…»

О Митрофанове подумалось без жалости, без возмущения, а на его место встал другой враг, хитрый, страшный, без имени и неуловимый.

«Кто всю жизнь ставит меня свидетелем мучительно тяжелых сцен, событий?» — думал он, прислонясь спиною к теплым изразцам печки. И вдруг, точно кто-то подсказал ему:

«Надо уехать за границу. В маленький, тихий городок».

Глядя на двуцветный огонек свечи, он говорил себе:

«Как это раньше не пришло мне в голову? С матерью повидаюсь».

Мать жила под Парижем, писала редко, но многословно и брюзгливо: жалуясь на холод зимою в домах, на различные неудобства жизни, на русских, которые «не умеют жить за границей»; и в ее эгоистической, мелочной болтовне чувствовался

смешной патриотизм провинциальной старухи…

Дверь медленно отворилась, и еще медленнее влезла в комнату огромная туша Анфимьевны, тяжело проплыла в сумраке к буфету и, звякая ключами, сказала очень медленно, как-то нараспев:

— Егор-то Васильич удавился…

— Эх, боже мой, — с досадой, близкой к отчаянию, негромко воскликнул Самгин.

— На чердаке висит, — говорила старуха, наливая чего-то из бутылки. Самгин слышал, как булькает в горлышке жидкость.

«Реветь будет».

Но Анфимьевна, гулко кашлянув, продолжала так же задумчиво и певуче:

— Пробовала снять, а — сил-то нету. Николай отказался, боится удавленников. А сам, слышь, солдата убил.

— Что ж делать? — спросил Самгин.

— Что делать-то? А — вам ничего не надобно делать, я сама… Сама все сделаю. Медник поможет. Нехорошо, станут спрашивать вас, отчего слуга удавился?

Она замолчала, и снова зазвенело стекло, забулькало в горлышке бутылки.

«Она пьет водку», — сообразил Самгин.

— А — провизии нет, — вздохнула старуха. — Охо-хо. Не знаю, чем кормить.

— Ничего не надо, — сказал Самгин, едва сдержав желание закричать. — Вы… не беспокойтесь…

— Что уж тут, — отозвалась Анфимьевна, уходя; шла она, точно против сильного ветра.

— Ну — сниму, а — куда девать его? — спросила она в дверях…

Самгин закрыл лицо руками. Кафли печи, нагреваясь все более, жгли спину, это уже было неприятно, но отойти от печи не было сил. После ухода Анфимьевны тишина в комнатах стала тяжелей, гуще, как бы только для того, чтобы ясно был слышен голос Якова, — он струился из кухни вместе с каким-то едким, горьковатым запахом:

— Когда мы не научимся…

Самгин отметил: «Говорить — не умеет, следовало сказать — если, а не — когда».

— …действовать организованно, так у нас ни черта не выйдет. Не успел, говоришь? Надо было успеть, товарищ Калитин… Такие неуспехи…

Самгин отшатнулся от печки и ушел в кабинет, плотно прикрыв дверь за собою.

Дни потянулись медленнее, хотя каждый из них, как раньше, приносил с собой невероятные слухи, фантастические рассказы. Но люди, очевидно, уже привыкли к тревогам и шуму разрушающейся жизни, так же, как привыкли галки и вороны с утра до вечера летать над городом. Самгин смотрел на них в окно и чувствовал, что его усталость растет, становится тяжелей, погружает в состояние невменяемости. Он уже наблюдал не так внимательно, и все, что люди делали, говорили, отражалось в нем, как на поверхности зеркала.

Его обслуживала горничная Настя, худенькая девушка с большими глазами; глаза были серые, с золотой искрой в зрачках, а смотрели так, как будто Настя всегда

прислушивалась к чему-то, что слышит только она. Еще более, чем Анфимьевна, она заботилась о том, чтобы напоить чаем и накормить защитников баррикады. Она окончательно превратила кухню в трактир.

Анфимьевна простудилась и заболела. Последний раз Самгин видел ее на ногах поздно вечером, на другой день после того, как удавился повар.

В кухне никого не было, почти все люди с баррикад, кроме дежурных, совещались в сарае. Самгина смутила тяжелая возня на чердаке; он взял лампу, вышел на черное крыльцо и увидал, что старуха, обняв повара сзади, под мышки, переставляет его маленькую фигурку со ступени на ступень. Повар, прижав голову к левому плечу и высунув язык, не гнулся, ноги его были плотно сжаты; казалось, что у него одна нога, она стучала по ступеням твердо, как нога живого, и ею он упирался, не желая спуститься вниз. Осветив руки Анфимьевны, вспухшие на груди повара, Самгин осветил и лицо ее, круглое, точно арбуз, окрашенное в лиловый цвет, так же как ее руки, а личико повара было темное и похоже на большую картофелину.

— Куда вы его, куда? — шопотом спросил Самгин. Старуха, покрякивая и задыхаясь, ответила:

— Ничего, не беспокойтесь. У меня салазки припасены. Медник отвезет. Он — услужливый…

Сойдя с лестницы, она взяла повара поперек тела, попыталась поднять его на плечо и — не сладив, положила под ноги себе. Самгин ушел, подумав:

«В другое время я бы помог ей».

Он уже так отупел, что виденное не взволновало его. Теперь Анфимьевна лежала, задыхаясь, в своей комнате; за нею. ухаживал небритый, седой фельдшер Винокуров, человек — всегда трезвый, очень болтливый, но уважаемый всей улицей.

— Знаменитая своей справедливостью женщина, замечательнейшая, — сипло говорил он. — Но — не вытянет. Пневмония. Жаль. Старичье — умирает, молодежь — буянит. Ох, нездорова Россия…

Дважды приходили солдаты, но стреляли они издали, немного; постреляют безвредно и уйдут. Баррикада не отвечала им, а медник посмеивался:

— Бесполезно патроны тратят, сукины сыны… И хвастливо говорил:

— В старое бы время: ребята — в штыки! И успокоились бы душеньки наши в пяток минут… Лаврушка нашел, что:

— Пули щелкают, как ложкой по лбу.

Как-то днем, в стороне бульвара началась очень злая и частая пальба. Лаврушку с его чумазым товарищем послали посмотреть: что там? Минут через двадцать чумазый привел его в кухню облитого кровью, — ему прострелили левую руку выше локтя. Голый до пояса, он сидел на табурете, весь бок был в крови, — казалось, что с бока его содрана кожа. По бледному лицу Лаврушки текли слезы, подбородок дрожал, стучали зубы. Студент Панфилов, перевязывая рану, уговаривал его:

— Не дергайся. Стыдно.

Но Лаврушка, вздрагивая, изумленно выкатив глаза, всхлипывал и бормотал:

— Ой, больно! Ну, и больно же, ой, господи! Да — не троньте же… Как я буду жить без руки-то? — с ужасом спрашивал он, хватая здоровой рукой плечо студента; гладя, пощупывая плечо и косясь мокрыми глазами на свою руку, он бормотал:

— Какой же революционер с одной-то рукой? Товарищ Панфилов — отрежут руку?

Но вечером он с подвязанной рукой сидел за столом, пил чай и жаловался Якову:

— Больно долго не побеждаем, товарищ! Нам бы не ждать, а броситься бы на них всем сразу, сколько тысяч есть, и забрать в плен.

Яков совершенно серьезно говорил ему:

— Так оно и будет. Обязательно бросимся, и — крышка им! Только вот тебе, душечка, руку надо залечить.

Первый раз Клим Самгин видел этого человека без башлыка и был удивлен тем, что Яков оказался лишенным каких-либо особых примет. Обыкновенное лицо, — такие весьма часто встречаются среди кондукторов на пассажирских поездах, — только глаза смотрят как-то особенно пристально. Лица Капитана и многих других рабочих значительно характернее.

«Почему же командует этот?» — подумал Самгин, но ответа на вопрос свой не стал искать. Он чувствовал себя сброшенным и в плену, в нежилом доме.

Теперь, когда Анфимьевна, точно головня, не могла ни вспыхнуть, ни угаснуть, а день и ночь храпела, ворочалась, скрипя деревянной кроватью, — теперь Настя не во-время давала ему чай, кормила все хуже, не убирала комнат и постель. Он понимал, что ей некогда служить ему, но все же было обидно и неудобно.

Становилось холоднее. По вечерам в кухне собиралось греться человек до десяти; они шумно спорили, ссорились, говорили о событиях в провинции, поругивали петербургских рабочих, жаловались на недостаточно ясное руководительство партии. Самгин, не вслушиваясь в их речи, но глядя на лица этих людей, думал, что они заражены верой в невозможное, — верой, которую он мог понять только как безумие. Они продолжали к нему относиться всё так же, как к человеку, который не нужен им, но и не мешает.

Уже давно никто не посещал его, — приятели Варвары, должно быть, боялись ходить в улицу, где баррикады. Любаша Сомова тоже исчезла. Он чувствовал, что с каждым днем тупеет, его изнуряла усталость. Вечерами, поздно, выходил на улицу, вслушивался в необыкновенную, непостижимую тишину, — казалось, что день ото дня она становится все более густой, сжимается плотней и — должна же она взорваться! Иначе — сойдешь с ума. Обе баррикады, и в улице и в переулке, обросли снегом; несмотря на протесты медника, их все-таки облили водой. Теперь они были глыбами льда, а формою похожи на лодки, килем вверх. Поливали водой обыватели; в переулке дважды выплеснули на баррикаду помои.

Как-то вечером подошли человек пять людей с ружьями и негромко заговорили, а Лаврушка, послушав, вдруг огорченно закричал:

— Ну, уж — нет! Это — наша баррикада, мы не уйдем! Ишь вы какие!

А утром Настя, подавая чай, сказала:

— Анфиньевна — кончилась… скончалась.

Самгин молча развел руками, а горничная спросила:

— Что же делать с ней? Ночью я буду бояться ее, да и нельзя держать в тепле. Позвольте в сарай вынести?

— Очень хорошо, — сказал он. Ему послышалось, что девушка говорит строптиво, но, наклонясь над столом, он услышал тихое всхлипыванье.

— Ну, что же плакать? — не глядя на нее, заговорил он. — Анфимьевна… очень стара! Она была исключительно примерная…

— Клим Иванович, — услышал он горестный возглас, — наши говорят, что из Петербурга гвардию прислали с большими пушками…

Самгин поднял голову. Настя, прикрывая рот передником и всхлипывая, говорила вполголоса, жалобно:

— Перебьют наших из пушек-то. Они спорят: уходить или драться, всю ночь спорили. Товарищ Яков за то, чтоб уходить в другое место, где наших больше… Вы скажите, чтоб уходили. Калягину скажите, Мокееву и… всем!

— Да, конечно, я — скажу! — обещал Самгин очень бодрым тоном, который даже удивил его. — Да, да, против пушек, — если это верно…

— Верно! Вчера на Николаевском вокзале машинистов расстреливали, — жаловалась Настя.

— Н-ну, зачем же машинистов? — раздумчиво сказал Самгин. — О машинистах, разумеется, неверно. Но отсюда надо уходить. — Вы идите, я поговорю…

Он быстро выпил стакан чаю, закурил папиросу и прошел в гостиную, — неуютно, не прибрано было в ней. Зеркало мельком показало ему довольно статную фигуру человека за тридцать лет, с бледным лицом, полуседыми висками и негустой острой бородкой. Довольно интересное и даже как будто новое лицо. Самгин оделся, вышел в кухню, — там сидел товарищ Яков, рассматривая синий ноготь на большом пальце голой ноги.

— Лаврушка прикладом ударил нечаянно, — ответил он на вопрос Клима, пощупав ноготь и морщась. — Гости приехали, Семеновский полк, — негромко сообщил он. — Что будем делать — спрашиваете? Драться будем.

— Против пушек, — напомнила Настя, разрезая на столе мерзлый кочан капусты.

— Пушка — инструмент, кто его в руки возьмет, тому он и служит, — поучительно сказал Яков, закусив губу и натягивая на ногу сапог; он встал и, выставив ногу вперед, критически посмотрел на нее. — Значит, против нас двинули царскую гвардию, при-виле-ги-ро-ванное войско, — разломив длинное слово, он усмешливо взглянул на Клима. — Так что… — тут Яков какое-то слово проглотил, — так что, любезный хозяин, спасибо и не беспокойтесь: сегодня мы отсюда уйдем.

— Я не беспокоюсь, — заявил Самгин.

— Н-ну, как же это? Все беспокоятся.

— Куда же вы? — спросил Самгин.

— На Пресню. Оттуда и треснем. Или — сами там треснем.

Закрыв один глаз, другим он задумчиво уставился в затылок Насти. Самгин понял, что он — лишний, и вышел на двор. Там Николай заботливо подметал двор новой метлой; давно уже он не делал этого. На улице было тихо, но в морозном воздухе огорченно звенел голос Лаврушки.

— Я же говорил: пушки-то на Ходынке стоят, туда и надо было идти и все испортить, а мы тут сидели.

Из ворот соседнего дома вышел Панфилов в полушубке и в шапке, слишком большой для его головы.

— Адрес — помнишь? Ну, вот. И сиди там смирно. Хозяйка — доктор, она тебе руку живо вылечит. Прощай.

Лаврушка быстро пошел в сторону баррикады и скрылся за нею; студент, поправив шапку, посмотрел вслед ему и, посвистывая, возвратился на двор.

День был серенький, холодный и молчаливый. Серебряные, мохнатые стекла домов смотрели друг на друга прищурясь, — казалось, что все дома имеют физиономии нахмуренно ожидающие. Самгин медленно шагал в сторону бульвара, сдерживая какие-то бесформенные, но тревожные мысли, прерывая их.

«Лаврушку, очевидно, прячут… Странная фигура этот Яков…»

Дойдя до изгиба улицы, он услыхал впереди чей-то бодрый, удовлетворенно звучавший голос:

— Молодец к молодцу. Человек сорок, офицер верхом. Самгин вернулся домой и, когда подходил к воротам, услышал первый выстрел пушки, он прозвучал глухо и не внушительно, как будто хлопнуло полотнище ворот, закрытое порывом ветра. Самгин даже остановился, сомневаясь — пушка ли? Но вот снова мягко и незнакомо бухнуло. Он приподнял плечи и вошел в кухню. Настя, работая у плиты, вопросительно обернулась к нему, открыв рот.

— Да, стреляют из пушки, — сказал он, проходя в комнаты. В столовой неприятно ныли верхние, не покрытые инеем стекла окон, в трубе печки гудело, далеко над крышами кружились галки и вороны, мелькая, точно осенний лист.

«Косвенное… и невольное мое участие в этом безумии будет истолковано как прямое», — подумал Самгин, разглядывая черную сеть на облаках и погружаясь в состояние дремоты.

— Расчет дайте мне, Клим Иваныч, — разбудил его знакомо почтительный голос дворника; он стоял у двери прямо, как солдат, на нем был праздничный пиджак, по жилету извивалась двойная серебряная цепочка часов, волосы аккуратно расчесаны и блестели, так же как и ярко начищенные сапоги.

— Куда вы? — сонно спросил Самгин.

— В деревню.

«Усадьбы поджигать», — равнодушно подумал Самгин, как о деле — обычном для Николая, а тот сказал строгим голосом:

— Народ бьют. Там, — он деревянно протянул руку, показывая пальцем в окно, — прохожему прямо в глаза выстрелили. Невозможное дело.

«Но ведь ты тоже убил», — хотелось сказать Самгину, однако он промолчал, пристально разглядывая благообразное, прежде сытое, тугое, а теперь осунувшееся лицо Николая; волосы небогатой, но раньше волнистой бороды его странно обвисли и как-то выпрямились. И все тем же строгим голосом он говорил:

— Анфимьевну-то вам бы скорее на кладбище, а то — крысы ее портят. Щеки выели, даже смотреть страшно. Сыщика из сада товарищи давно вывезли, а Егор Васильич в сарае же. Стену в сарае поправил я. Так что все в порядке. Никаких следов.

Получив документ и деньги, он ушел, коротко, с поклоном, сказав:

— Прощайте.

«Страшный человек», — думал Самгин, снова стоя у окна и прислушиваясь. В стекла точно невидимой подушкой били. Он совершенно твердо знал, что в этот час тысячи людей стоят так же, как он, у окошек и слушают, ждут конца. Иначе не может быть. Стоят и ждут. В доме долгое время было непривычно тихо. Дом как будто пошатывался от мягких толчков воздуха, а на крыше точно снег шуршал, как шуршит он весною, подтаяв и скатываясь по железу.

Пушки стреляли не часто, не торопясь и, должно быть, в разных концах города. Паузы между выстрелами были тягостнее самих выстрелов, и хотелось, чтоб

стреляли чаще, непрерывней, не мучили бы людей, которые ждут конца. Самгин, уставая, садился к столу, пил чай, неприятно теплый, ходил по комнате, потом снова вставал на дежурство у окна. Как-то вдруг в комнату точно с потолка упала Любаша Сомова, и тревожно, возмущенно зазвучал ее голос, посыпались путаные слова:

— Что же у вас делается? Как это вы допустили? Почему не взорваны мосты на Николаевской? — спрашивала она. Лицо у нее было чужое, старенькое, серое, губы тоже серые, под глазами густые тени, — она ослепленно мигала.

— С баррикад уходят? Это Исполнительный комитет приказал, да? Не знаешь?

Самгину было немножко жаль эту замученную девицу, в чужой шубке, слишком длинной для нее, в тяжелых серых ботиках, — из-под платка на голове ее выбивались растрепанные и, видимо, давно не мытые пряди волос.

— Ой, если б ты знал, что делается в провинции! Я была в шести городах. В Туле… Сказали — там семьсот винтовок, патроны, а… ничего нет! В Коломне меня едва не… едва успела убежать… Туда приехали какие-то солдаты… ужас! Дай мне кусок чего-нибудь…

Она взяла хлеб, откусила немножко и, бросив на стол, закрыла глаза, мотая головой.

— Все-таки… Не может быть! Победим! Голубчик, мне совершенно необходимо видеть кого-нибудь из комитета… И нужно сейчас же в два места. В одно сходи ты, — к Гогиным, хорошо?

Самгин не мог отказать и кивнул головою, а она, пережевывая хлеб, бормотала:

— В Миусах стреляют из пушки. Ужасно мало людей на улицах! Меня остановили тут на углу, — какие-то болваны, изругали. Мы выйдем вместе, ладно?

— Боишься? — спросил Самгин ее и себя.

— У меня маленький браунинг, — сказала она, — стрелять научилась, но патронов осталось только три. У тебя есть браунинг?

— Нет, — отдал чистить…

— Идем, Климуша, темнеет…

Да, стекла в окнах стали парчовыми. На улице Любаша, посмотрев в небо, послушав, снова заговорила:

— Не стреляют. Может быть… Ах, как мало оружия у нас! Но все-таки рабочие победят, Клим, вот увидишь! Какие люди! Ты Кутузова не встречал?

Подняв голову, глядя под очки Самгина, она сказала, улыбаясь так, что, тотчас помолодев, снова стала прежней, розовощекой Любашей:

— Знаешь, я с ним… мы, вероятно…

Договорить она не успела. Из-за угла вышли трое, впереди — высокий, в черном пальто, с палкой в руке; он схватил Самгина за ворот и негромко сказал;

— Обыскивайте.

Немного выше своих глаз Самгин видел черноусое, толстощекое лицо, сильно изрытое оспой, и на нем уродливо маленькие черные глазки, круглые и блестящие, как пуговицы. Видел, как Любаша, крикнув, подскочила и ударила кулаком в стекло окна, разбив его.

— Держи девку, — скомандовал черноусый, встряхивая Клима.

Самгин задыхался, хрипел; ловкие руки расстегнули его пальто, пиджак, шарили по карманам, сорвали очки, и тяжелая ладонь, с размаха ударив его по уху, оглушила.

— Оружья — нет, — сказал веселый и чем-то довольный тенористый голос, а третий, хриплый, испуганно и яростно крикнул:

— Брось, подлая! Саша!

Рябой, оттолкнув Самгина, ударил его головою о стену, размахнулся палкой и еще дважды быстро ударил по руке, по плечу. Самгин упал, почти теряя сознание, но слышал выстрел и глухой возглас:

— Са-аша, бей!

Кто-то охнул, странным звуком, точно рыгая, — рябой дико выругался, пнул Самгина в бок ногою и побежал, за ним, как тень его, бросился еще кто-то.

Открыв глаза, Самгин видел сквозь туман, что к тумбе прислонился, прячась, как зверушка, серый ботик Любаши, а опираясь спиной о тумбу, сидит, держась за живот руками, прижимая к нему шапку, двигая черной валяной ногой, коротенький человек, в мохнатом пальто; лицо у него тряслось, вертелось кругами, он четко и грустно говорил:

— Убила, дура… Пропал-Опрокинулся на бок и, все прижимая одною рукой шапку к животу, схватился другою за тумбу, встал и пошел, взывая:

— Саш-ша! Василь… — И пронзительно женским голосом взвизгнул:

— Эх, господи!..

Когда он обогнул угол зеленого одноэтажного дома, дом покачнулся, и из него на землю выпали люди. Самгин снова закрыл глаза. Как вода из водосточной трубы, потекли голоса:

— Напрасно ты, Лиза, суешься…

— Молчите! До утра она полежит у нас.

— Вы ранены?

— Должна же ты знать, как теперь опасно…

— Вы можете встать?

Самгин не знал — может ли, но сказал:

— Хорошо.

Он легко, к своему удивлению, встал на ноги, пошатываясь, держась за стены, пошел прочь от людей, и ему казалось, что зеленый, одноэтажный домик в четыре окна все время двигается пред ним, преграждая ему дорогу. Не помня, как он дошел, Самгин очнулся у себя к кабинете на диване; пред ним стоял фельдшер Винокуров, отжимая полотенце в эмалированный таз.

— На что жалуетесь? — спросил он; голос его донесся издали, глухо; Самгин не ответил, соображая:

«Неужели я — оглох?»

— Разрешите взглянуть — какие повреждения, — сказал фельдшер, присаживаясь на диван, и начал щупать грудь, бока; пальцы у него были нестерпимо холодные, жесткие, как железо, и острые.

— Падение или, так сказать, нападение ближних?

— Оставьте меня в покое, — попросил Самгин, но фельдшер, продолжая щупать голову, бормотал:

— Ох, уж эти ближние… Больно?

Крепко стиснув зубы, Самгин молчал, — ему хотелось ударить фельдшера ногой в живот, но тот встал, сказав:

— Как будто — все в порядке.

— Оставьте меня, — попросил Самгин.

— Правильно, — согласился фельдшер. — Вам нужен покой. Горничную я послал за вашей супругой.

Он ушел, и комната налилась тишиной. У стены, на курительном столике горела свеча, освещая портрет Щедрина в пледе; суровое бородатое лицо сердито морщилось, двигались брови, да и вое, все вещи в комнате бесшумно двигались, качались. Самгин чувствовал себя так, как будто он быстро бежит, а в нем все плещется, как вода в сосуде, — плещется и, толкая изнутри, еще больше раскачивает его.

«Сомова должна была выстрелить в рябого, — соображал он. — Страшно этот, мохнатый, позвал бога, не докричавшись до людей. А рябой мог убить меня».

На диване было неудобно, жестко, болел бок, ныли кости плеча. Самгин решил перебраться в спальню, осторожно попробовал встать, — резкая боль рванула плечо, ноги подогнулись. Держась за косяк двери, он подождал, пока боль притихла, прошел в спальню, посмотрел в зеркало: левая щека отвратительно опухла, прикрыв глаз, лицо казалось пьяным и, потеряв какую-то свою черту, стало обидно похоже на лицо регистратора в окружном суде, человека, которого часто одолевали флюсы.

Пришла Настя, сказала:

— Барыня будут завтра утром. — И другим голосом добавила:

— Ой, как изуродовали вас…

И, должно быть, желая утешить, прибавила:

— Всех начали бить.

— Ванну сделайте, — сердито приказал Самгин.

Через час, сидя в теплой, ласковой воде, он вспоминал: кричала Любаша или нет? Но вспомнил только, что она разбила стекло в окне зеленого дома. Вероятно, люди из этого дома и помогли ей.

«Если б она выстрелила в рябого, — ничего бы не было. Рябой, конечно, не хулиган, не вор, а — мститель».

Мелкие мысли налетели, точно стая галок.

На другой день он проснулся рано и долго лежал в постели, куря папиросы, мечтая о поездке за границу. Боль уже не так сильна, может быть, потому, что привычна, а тишина в кухне и на улице непривычна, беспокоит. Но скоро ее начали раскачивать толчки с улицы в розовые стекла окон, и за каждым толчком следовал глухой, мощный гул, не похожий на гром. Можно было подумать, что на небо, вместо облаков, туго натянули кожу и по коже бьют, как в барабан, огромнейшим кулаком.

«Это — очень большие — пушки», — соображал Самгин и протестующе, вполголоса сказал: — Это — гадость!

Он соскочил на пол, едва не закричав от боли, начал одеваться, но снова лег, закутался до подбородка.

«Это безумие и трусость — стрелять из пушек, разрушать дома, город. Сотни тысяч людей не ответственны за действия десятков».

Гневные мысли возбуждали в нем странную бодрость, и бодрость удивляла его. Думать мешали выстрелы, боль в плече и боку, хотелось есть. Он позвонил Насте несколько раз, прежде чем она сердито крикнула из столовой:

— Да — подаю же!

Когда он вышел в столовую, Настя резала хлеб на доске буфета с такой яростью, как однажды Анфимьевна — курицу: нож был тупой, курица, не желая умирать, хрипела, билась.

«А, господь с тобой», — крикнула Анфимьевна и отрубила курице голову.

— Где стреляют? — спросил Самгин.

— На Пресне.

Ответила Настя крикливо, лицо у нее было опухшее, глаза красные.

— Там людей убивают, а они — улицу метут… Как перед праздником, все одно, — сказала она, уходя и громко топая каблуками,

Самгин езде в спальне слышал какой-то скрежет, — теперь, взглянув в окно, он увидал, что фельдшер Винокуров, повязав уши синим шарфом, чистит железным скребком панель, а мальчик в фуражке гимназиста сметает снег метлою в кучки; влево от них, ближе к баррикаде, работает еще кто-то. Работали так, как будто им не слышно охающих выстрелов. Но вот выстрелы прекратились, а скрежет на улице стал слышнее, и сильнее заныли кости плеча.

«Неужели — всё?»

Часы в столовой показывали полдень. Бухнуло еще два раза, но не так мощно и где-то в другом месте.

«Винокуров и вообще эти… свиньи, конечно, укажут на соседей, которые… у которых грелись рабочие».

Точно резиновый мяч, брошенный в ручей, в памяти плыл, вращаясь, клубок спутанных мыслей и слов.

«Пули щелкают, как ложкой по лбу», — говорил Лаврушка. «Не в этот, так в другой раз», — обещал Яков, а Любаша утверждала: «Мы победим».

У ворот своего дома стоял бывший чиновник казенной палаты Ивков, тайный ростовщик и сутяга, — стоял и смотрел в небо, как бы нюхая воздух. Ворон и галок в небе сегодня значительно больше. Ивков, указывая пальцем на баррикаду, кричит что-то и смеется, — кричит он штабс-капитану Затёсову, который наблюдает, как дворник его, сутулый старичок, прилаживает к забору оторванную доску.

«Уверены, что все уже кончено».

Пушки молчали, но тишина казалась подозрительной, вызывала такое дергающее ощущение, точно назревал нарыв. И было непривычно, что в кухне тихо.

Самгин почти обрадовался, когда под вечер пришла румяная, оживленная Варвара.

Она умеренно и не обидно улыбнулась, посмотрев на его лицо, и, торопливо расспрашивая, перекрестилась.

— О боже мой… Вот ужас! Ты посылал спросить, как чувствует себя Сомова?

— Некого посылать.

— Попросил бы фельдшера. Ну, все равно. Я сама. Ах, милый Клим… какие дни!

Вела она себя так, как будто между ними не было ссоры, и даже приласкалась к нему, нежно и порывисто, но тотчас вскочила и, быстро расхаживая по комнате, заглядывая во все углы, брезгливо морщась, забормотала:

— Боже, какой беспорядок, пыль, грязь! Впрочем, у Ряхиных — тоже…

Покраснев, щупая пальцами пуговицы кофты и некрасиво широко раскрыв зеленые глаза, она подошла к Самгину.

— У них — чорт знает что! Все, вдруг — до того распоясались, одичали — ужас! Тебе известно, что я не сентиментальна, и эта… эта…

Передохнув, понизив голос, договорила:

— Революция мне чужда, но они — слишком! Ведь еще неизвестно, на чьей стороне сила, а они уже кричат: бить, расстреливать, в каторгу! Такие, знаешь… мстители! А этот Стратонов — нахал, грубиян, совершенно невозможная фигура! Бык…

Она вспотела от возбуждения, бросилась на диван и, обмахивая лицо платком, закрыла глаза. Пошловатость ее слов Самгин понимал, в искренность ее возмущения не верил, но слушал внимательно.

— А этот Прейс — помнишь, маленький еврей?

— Да, да, — сказал Клим.

— Ах, эти евреи! — грозя пальцем, воскликнула она. — Вот кому я не верю! Мстительный народ; совершенно не могут забыть о погромах! Между прочим, он все-таки замечательно страстно говорит, этот Прейс, отличный оратор! «Мы, говорит, должны быть благодарны власти за то, что она штыками охраняет нас от ярости народной», — понимаешь? Потом, еще Тагильский, товарищ прокурора, кажется, циник и, должно быть, венерический больной, — страшно надушен, но все-таки пахнет йодоформом… «Нечто среднее между клоуном и палачом», — сказала про него сестра Ряхина, младшая, дурнушка такая…

Порывшись в кармане, она достала маленькую книжку.

— Вот, я даже записала два, три его парадокса, например: «Торжество социальной справедливости будет началом духовной смерти людей». Как тебе нравится? Или:

«Начало и конец жизни — в личности, а так как личность неповторима, история — не повторяется». Тебе скучно? — вдруг спросила она.

— Нет, напротив, — ответил Клим.

Но она уже снова забегала по комнате:

— Ужасающе запущено все! Бедная Анфимьевна! Все-таки умерла. Хотя это — лучше для нее. Она такая дряхлая стала. И упрямая. Было бы тяжело держать ее дома, а отправлять в больницу — неловко. Пойду взглянуть на нее.

Ушла. Несмотря на боль в плече, Самгин тряхнул головой, точно вытряхивая из нее пыль.

«Нет, она — невозможна! Не могу я с ней».

Варвара возвратилась через несколько минут, бледная, с болезненной гримасой на длинном лице.

— Как ее объели крысы, ух! — сказала она, опускаясь на диван. — Ты — видел? Ты — посмотри! Ужас! Вздрогнув, она затрясла головой.

— На улице что-то такое кричат… И, подвинувшись к Самгину, положила руку на колено его:

— Знаешь, я хочу съездить за границу. Я так устала, Клим, так устала!

— Неплохая мысль, — сказал он, прислушиваясь и думая: «Какая она все-таки жалкая! И — лживая. Нежничает, потому что за границу едет, наверное, с любовником».

— Я уже не молода, — созналась Варвара, вздохнув.

— Подожди-ка!

Самгин встал, подошел к окну — по улице шли, вразброд, солдаты; передний что-то кричал, размахивая ружьем. Самгин вслушался — и понял:

— Закрывай двери, ворота, форточки, эй, вы! Закрывай — стрелять будем!

Клим отодвинулся за косяк. Солдат было человек двадцать; среди них шли тесной группой пожарные, трое — черные, в касках, человек десять серых — в фуражках, с топорами за поясом. Ехала зеленая телега, мотали головами толстые лошади.

— Куда они идут? — шопотом спросила Варвара, прижимаясь к Самгину; он посторонился, глядя, как пожарные, сняв с телеги лома, пошли на баррикаду. Застучали частые удары, затрещало, заскрипело дерево.

— Ах, вот что! — вскричала Варвара.

Самгин видел, как отскакивали куски льда, обнажая остов баррикады, как двое пожарных, отломив спинку дивана, начали вырывать из нее мочальную набивку, бросая комки ее третьему, а он, стоя на коленях, зажигал спички о рукав куртки; спички гасли, но вот одна из них расцвела, пожарный сунул ее в мочало, и быстро, кудряво побежали во все стороны хитренькие огоньки, исчезли и вдруг собрались в красный султан; тогда один пожарный поднял над огнем бочку, вытряхнул из нее солому, щепки; густо заклубился серый дым, — пожарный поставил в него бочку, дым стал более густ, и затем из бочки взметнулось густокрасное пламя. На улице стало весело и шумно, дом напротив разрумянился, помолодел, пожарные и солдаты тоже помолодели, сделались тоньше, стройней. Залоснились, точно маслом облитые, бронзовые кони с красными глазами. Удивительно легко выламывали из ледяного холма и бросали в огонь кресла, сундук, какую-то дверь, сани извозчика, большой отрезок телеграфного столба. Человек пять солдат, передав винтовки товарищам, тоже ломали и дробили отжившие вещи, — остальные солдаты подвигались всё ближе к огню; в воздухе, окрашенном в два цвета, дымно-синеватый и багряный, штыки блестели, точно удлиненные огни свеч, и так же струились вверх. Некоторые солдаты держали в руках по два ружья, — у одного красноватые штыки торчали как будто из головы, а другой, очень крупный, прыгал перед огнем, размахивая руками, и кричал.

Пожарные в касках и черных куртках стояли у ворот дома Винокурова, не принимая участия в работе; их медные головы точно плавились, и было что-то очень важное в черных неподвижных фигурах, с головами римских легионеров.

— Красиво, — тихо отметил Самгин. Варвара, толкнув его плечом, спросила:

— Да?

И, тотчас отшатнувшись, оскорбление сказала:

— С подоконника течет, — фу!

Самгин отошел прочь, усмехаясь, думая, что вот она часто упрекала его в равнодушии ко всему красивому, а сама не видит, как великолепна эта картина. Он чувствовал себя растроганным, он как будто жалел баррикаду и в то же время был благодарен кому-то, за что-то. Прошел в кабинет к себе, там тоже долго стоял у окна, бездумно глядя, как горит костер, а вокруг него и над ним сгущается вечерний сумрак, сливаясь с тяжелым, серым дымом, как из-под огня по мостовой плывут черные, точно деготь, ручьи. Костер стал гореть не очень ярко; тогда пожарные, входя во дворы, приносили оттуда тюленья дров, подкладывали их в огонь, — на минуту дым становился гуще, а затем огонь яростно взрывал его, и отблески пламени заставляли дома дрожать, ежиться. Петом дома потемнели, застыли раскаленные штыки и каски, высокий пожарный разбежался и перепрыгнул через груду углей в темноту.

С утра равномерно начали стрелять пушки. Удары казались еще более мощными, точно в мерзлую землю вгоняли чугунной бабой с копра огромную сваю…

«Сомнительный способ укрепления власти царя», — весьма спокойно подумал Самгин, одеваясь, и сам удивился тому, что думает спокойно. В столовой энергично стучала посудой Варвара.

— Невероятно! — воскликнула она навстречу ему. — Чорт знает что! Перебита масса посуды.

В белом платке на голове, в переднике, с измятым лицом, она стала похожа на горничную.

— Ах, Анфимьевна, — вздыхала она, убегая в кухню, возвращаясь.

Она точно не слышала испуганного нытья стекол в окнах, толчков воздуха в стены, приглушенных, тяжелых вздохов в трубе печи. С необыкновенной поспешностью, как бы ожидая знатных и придирчивых гостей, она стирала пыль, считала посуду, зачем-то щупала мебель. Самгин подумал, что, может быть, в этой шумной деятельности она прячет сознание своей вины перед ним. Но о ее вине и вообще о ней не хотелось думать, — он совершенно ясно представлял себе тысячи хозяек, которые, наверное, вот так же суетятся сегодня.

— Настасьи нет и нет! — возмущалась Варвара. — Рассчитаю. Почему ты отпустил этого болвана, дворника? У нас, Клим, неправильное отношение к прислуге, мы позволяем ей фамильярничать и распускаться. Я — не против демократизма, но все-таки необходимо, чтоб люди чувствовали над собой властную и крепкую руку…

«И это сегодня говорят тысячи», — отметил Самгин, поглаживая больное плечо.

К вечеру она ухитрилась найти какого-то старичка, который взялся устроить похороны Анфимьевны. Старичок был неестественно живенький, легкий, с розовой, остренькой мордочкой, в рамке седой, аккуратно подстриженной бородки, с мышиными глазками и птичьим носом. Руки его разлетались во все стороны, все трогали, щупали: двери, стены, сани, сбрую старой, унылой лошади. Старичок казался загримированным подростком, было в нем нечто отталкивающее, фальшивое.

— Из пушек уговаривают, — вопросительно сказал он Самгину фразу, как будто уже знакомую, — сказал и подмигнул в небо, как будто стреляли оттуда.

Пушки били особенно упрямо. Казалось, что бухающие удары распространяют в туманном воздухе гнилой запах, точно лопались огромнейшие, протухшие яйца.

— Ты проводи ее до церкви, — попросила Варвара, глядя на широкий гроб в санях, отирая щеки платком.

— Не думаю, чтоб она в этом нуждалась, — пробормотал он и пошел.

Варвара взяла его под руку; он видел слезы на ее глазах, видел, что она шевелит губами, покусывая их, и не верил ей. Старичок шел сбоку саней, поглаживал желтый больничный гроб синей ладонью и говорил извозчику:

— Все умрем, дядя… как птицы! Сзади Самгиных шагал фельдшер Винокуров, он раза два напомнил о себе вслух:

— Справедливая была старуха… Замечательная! Старичок остановился, подождал, когда фельдшер дошел до него, и заговорил торопливо, вполголоса, шагая мелкими шагами цыпленка:

— Что ты будешь делать? Не хочет народ ничего, не желает! Сам царь поклонился ему, дескать — прости, войну действительно проиграл я мелкой нации, — стыжусь! А народ не сочувствует…

— Вы кто такой? — строго спросил фельдшер.

— Я? — Церковный сторож. А что?

— Невежественно говоришь, вот что! — басом ответил фельдшер.

— Ну, все-таки я говорю — верно, — сказал старичок, размахивая руками, и повторил фразу, которая, видимо, нравилась ему:

— Вот — из пушек уговаривают народ, — живи смирно! Было это когда-нибудь в Москве? Чтобы из пушек в Москве, где цари венчаются, а? — изумленно воскликнул он, взмахнув рукою с шапкой в ней, и, помолчав, сказал: — Это надо понять!

Самгин обернулся, взглянул в розовое личико, — оно сияло восторгом.

— Извините, — сказал старичок, кивнув желтым черепом в клочьях волос, похожих на вату. — Болтаю, конечно, от испуга души.

— Дальше я не пойду, — шепнул Самгин, дойдя до угла, за которым его побили. Варвара пошла дальше, а он остановился, послушал, как скрипят полозья саней по обнаженным камням, подумал, что надо бы зайти в зеленый домик, справиться о Любаше, но пошел домой.

«Варвара спросит».

Пушки замолчали. Серенькое небо украсилось двумя заревами, одно — там, где спускалось солнце, другое — в стороне Пресни. Как всегда под вечер, кружилась стая галок и ворон. Из переулка вырвалась лошадь, — в санках сидел согнувшись Лютов.

— Стой! — взвизгнул он и раньше, чем кучер остановил коня, легко выпрыгнул на мостовую, подбежал к Самгину и окутал его ноги полою распахнувшейся шубы.

— Однако как тебя перевернуло! — воскликнул он, очень странно, как бы даже с уважением. — А рука — что?

Выслушав краткий рассказ Клима, он замолчал и только в прихожей, сбросив шубу, спросил:

— Ловко бьем домашних японцев?

Самгин тоже спросил:

— Это — ирония или торжество?

Ему приятно было видеть Лютова, но он не хотел, чтоб Лютов понял это, да и сам не понимал: почему приятно? А Лютов, потирая руки, говорил:

— Сваи бьем в российское болото, мостишко строим для нового пути…

Он казался необычно солидным, даже благообразным — в строгом сюртуке, с бриллиантом в черном галстуке, подстриженный, приглаженный. Даже суетливые глаза его стали спокойнее и как будто больше.

— Сегодня я слышал… хорошую фразу; «Из пушек уговаривают», — сказал Самгин.

— Неплохо! — согласился Лютов, пристально рассматривая его.

— Ты что так… смотришь?

— Не узнаю, — ответил Лютов и, шумно вздохнув, поправился, сел покрепче на стуле. — Я, брат, из градоначальства, вызывался по делу об устройстве в доме моем приемного покоя для убитых и раненых. Это, разумеется, Алина, она, брат…

Лютов надел на кулак бобровую шапку свою и стал вертеть ею.

— Там у меня действительно чорт знает что! Анархиста какого-то Алина приобрела… Монахов, Иноков» такой зверь, — не ходи мимо!

— Если — Иноков, я его знаю, — равнодушно сказал Самгин.

— Старый знакомый ее. Патом, этот еще, Судаков, — его тоже подстрелил».

Ой снова вздохнул, мотая годовой.

— Ф-фа!

— Ну, что же в градоначальстве? — спросил Самгин.

— Спрашивают: «Устроили?» — «Устроил». — «Зачем же?» — «Чтоб» пакости ваши прикрывать».» «Вероятно — врет», — подумал Самгин.

— Поссорились немножко. Взяла с меня подписку о невыезде, а я хотел Алину за границу сплавить.

Вдруг, как будто над крышей, грохнул выстрел из пушки, — грохнул до того сильна, что оба подскочили, а Лютов, сморщив лицо, уронил шапку на пол и крикнул:

— Эт-та сволочь! Разорвало ее, что ли? Выстрел повторился. Оба замолчали, ожидая третьего. Самгин раскуривал папиросу, чувствуя, что в нем что-то ноет, так же как стекла в окне. Молчали минуту, две. Лютов надел шапку на колено и продолжал, потише, озабоченно:

— Там, в градоначальстве, есть подлец, который относится ко мне честно, дает кое-какие сведения, всегда верные. Так вот, про тебя известно, что ты баррикады строил…

Он замолчал, вопросительно глядя на Самгина, а Клим, закрыв лицо свое дымом, сказал:

— Чепуха.

— Нет, отнесись к этому серьезно — посоветовал Лютов. — Тут не церемонятся! К. доктору, — забыл фамилию, — Виноградову, кажется, — пришли с обыском, и частный пристав застрелил его. В затылок. Н-да. И похоже, что Костю Макарова зацапали, — он там у нас чинил людей и жил у нас, но вот нет его, третья сутки. Фабриканта мебели Шмита — знал?

— Встречал.

— Арестовали, расстреляв на глазах его человек двадцать рабочих. Вот как-с! В Коломне — чорт знает что было, в Люберцах — знаешь? На улицах бьют, как

мышей.

Лютов говорил спокойно, каким-то размышляющим тоном и, мигая, все присматривался к Самгину, чем очень смущал его, заставляя ожидать какой-то нелепой выходки. Так и случилось. Лицо Лютова вдруг вспыхнуло красными пятнами, он хлопнул шапкой об пол и завыл:

— Эт-та безумная, трусливая свинья! К-кочегар... людями шурует, а?

Он начал цинически, бешено ругаться, пристукивая кулаком по ручке дивана, но делал он все это так, точно бесилась только половина его, потому что Самгин видел: мигая одним глазом, другим Лютов смотрит на него.

— Не было у нас такого подлого царствования! — визжал и шипел он. — Иван Грозный, Петр — у них цель... цель была, а — этот? Этот для чего? Бездарное животное...

— Кричать — бесполезно, — пробормотал Самгин, когда Лютов захлебнулся словами.

— И — аминь! — крикнул Лютов, надевая шапку. — А ты — удирай! Об этом тебя и Дуняша просит. Уезжай, брат! Пришибут.

Он схватил руку Самгина, замолчал, дергая ее, заглядывая под очки, и вдруг тихонько, ехидно спросил:

— А — вдруг пушки-то у них отняли? Вдруг прохоровские рабочие взяли верх, а? Что будет? Самгин усмехнулся, говоря:

— Не можешь ты без фокусов!

— Нет, вообрази, что будет, а? — шептал Лютов, надевая шубу.

И, стиснув очень горячей рукою руку Самгина, исчез.

Клим остался с таким ощущением, точно он не мог понять, кипятком или холодной водой облили его? Шагая по комнате, он пытался свести все слова, все крики Лютова к одной фразе. Это — не удавалось, хотя слова «удирай», «уезжай» звучали убедительнее всех других. Он встал у окна, прислонясь лбом к холодному стеклу. На улице было пустынно, только какая-то женщина, согнувшись, ходила по черному кругу на месте костра, собирая угли в корзинку.

Было особенно тихо. Давно уже Самгин не слыхал такой кроткой тишины. И, без слов, он подумал:

«Должно быть — кончено...»

Тишина росла, углублялась, вызывая неприятное ощущение, — точно опускался пол, уходя из-под ног. В кармане жилета замедленно щелкали часы, из кухни доносился острый запах соленой рыбы. Самгин открыл форточку, и, вместе с холодом, в комнату влетела воющая команда:

— Смирно-о!

В тусклом воздухе закачались ледяные сосульки штыков, к мостовой приросла группа солдат; на них не торопясь двигались маленькие, сердитые лошадки казаков; в середине шагал, высоко поднимая передние ноги, оскалив зубы, тяжелый рыжий конь, — на спине его торжественно возвышался толстый, усатый воин с красным, туго надутым лицом, с орденами на груди; в кулаке, обтянутом белой перчаткой, он держал нагайку, — держал ее на высоте груди, как священники держат крест. Он проехал, не глядя на солдат, рассеянных по улице, — за ним, подпрыгивая в седлах, снова потянулись казаки; один из последних, бородатый, покачнулся в седле, выхватил из-под мышки солдата узелок, и узелок превратился в толстую змею мехового боа; солдат взмахнул винтовкой, но

бородатый казак и еще двое заставили лошадей своих прыгать, вертеться, — солдаты рассыпались, прижались к стенам домов. Тяжелыми прыжками подскакал рыжий конь и, еще более оскалив зубы, заржал:

— Эт-то что за ракальи? Кто командует? Самгин, выглядывая из-за драпировки, даже усмехнулся, — так похоже было, что спрашивает конь, а не всадник.

В столовой закричала Варвара:

— Мерзавцы! И это — защитники!

Самгин видел в дверь, как она бегает по столовой, сбрасывая с плеч шубку, срывая шапочку с головы, натыкаясь на стулья, как слепая.

— Ты — понимаешь? Схватили, обыскали… ты представить не можешь — как! Отняли муфту, боа… Ведь это — грабеж!

Она с разбега бросилась на диван и, рыдая, стала топать ногами, удивительно часто. Самгин искоса взглянул на расстегнутый ворот ее кофты и, вздохнув, пошел за водой.

Удивительно тихо и медленно прошло несколько пустых дней. Самгин имел основания думать, что им уже испытаны все тревоги и что он имеет право на отдых, необходимый ему. Но оказалось, что отдых не так необходим и что есть еще тревога, не испытанная им и обидно раздражающая его своей новизной. Эта новая тревога требовала общения с людьми, требовала событий, но люди не являлись, выходить из дома Самгин опасался, да и неловко было гулять с разбитым лицом. События, конечно, совершались, по ночам и даже днем изредка хлопали выстрелы винтовок и револьверов, но было ясно, что это ставятся последние точки. Проезжали мимо окон патрули казаков, проходили небольшие отряды давно не виданных полицейских, сдержанно шумела Варвара, поглядывая на Самгина взглядом, который требовал чего-то.

— Это — не революция, — а мальчишество, — говорила она кому-то в столовой. — С пистолетами против пушек!

Самгин чувствовал, что она хочет спорить, ссориться, и молчал, сидя в кабинете.

Но все это не заполняло пустоту медленных дней и не могло удовлетворить привычку волноваться, утомительную, но настойчивую привычку. Газеты ворчали что-то неопределенное, старчески брюзгливое; газеты ничего не подсказывали, да и мало их было. Место Анфимьевны заняла тощая плоскогрудая женщина неопределенного возраста; молчаливая, как тюремный надзиратель, она двигалась деревянно, неприятно смотрела прямо в лицо, — глаза у нее мутновато-стеклянные; когда Варвара приказывала ей что-нибудь, она, с явным усилием размыкая тонкие, всегда плотно сжатые губы, отвечала двумя словами:

— Слушаю. Понимаю.

Самгин с недоумением, с иронией над собой думал, что ему приятно было бы снова видеть в доме и на улице защитников баррикады, слышать четкий, мягкий голос товарища Якова. Не хватало Анфимьевны, и неловко, со стыдом вспоминалось, что доброе лицо ее объели крысы. Вообще — не хватало людей, даже тех, которые раньше казались неприятными, лишними. Дни и ночи по улице, по крышам рыкал не сильный, но неотвязный ветер и воздвигал между домами и людьми стены отчуждения; стены были невидимы, но чувствовались в том, как молчаливы стали обыватели, как подозрительно и сумрачно осматривали друг друга и как быстро, при встречах, отскакивали в разные стороны. Раза два, вечерами, Самгин выходил подышать на улицу, и ему показалось, что знакомые обыватели раскланиваются с ним не все, не так почтительно, как раньше, и смотрят на него с такой неприязнью, как будто он жестоко обыграл их в преферанс.

«Если меня арестуют, они, разумеется, не станут молчать», — соображал Самгин и

решил, что лучше не попадаться на глаза этим людям.

Он отказался от этих прогулок и потому, что обыватели с каким-то особенным усердием подметали улицу, скребли железными лопатами панели. Было ясно, что и Варвару терзает тоска. Варвара целые дни возилась в чуланах, в сарае, топала на чердаке, а за обедом, за чаем говорила, сквозь зубы, жалобно:

— Устроили жизнь! На улицу выйти страшно. Скоро праздники, святки, — воображаю, как весело будет... Если б ты знал, какую анархию развела Анфимьевна в хозяйстве...

Самгин молчал, а когда молчать становилось невежливо, неудобно, — соглашался:

— Да, она вела себя странно...

Он чувствовал, что пустота дней как бы просасывается в него, физически раздувает, делает мысли неуклюжими. С утра, после чая, он запирался в кабинете, пытаясь уложить в простые слова все пережитое им за эти два месяца. И с досадой убеждался, что слова не показывают ему того, что он хотел бы видеть, не показывают, почему старообразный солдат, честно исполняя свой долг, так же антипатичен, как дворник Николай, а вот товарищ Яков, Калитин не возбуждают антипатии?

«А — должны бы, они тоже убивали...»

Однажды, зачеркивая написанное, он услышал в столовой чужие голоса; протирая очки платком, он вышел и увидал на диване Брагина рядом с Варварой, а у печки стоял, гладя изразцы ладонями, высокий человек в длинном сюртуке и валенках.

— Депсамес, — сказал он, протянув Самгину красную руку.

Обыкновенно люди такого роста говорят басом, а этот говорил почти детским дискантом. На голове у него — встрепанная шапка полуседых волос, левая сторона лица измята глубоким шрамом, шрам оттянул нижнее веко, и от этого левый глаз казался больше правого. Со щек волнисто спускалась двумя прядями седая борода, почти обнажая подбородок и толстую нижнюю губу. Назвав свою фамилию, он пристально, разномерными глазами посмотрел на Клима и снова начал гладить изразцы. Глаза — черные и очень блестящие.

Брагин возмущенно рассказывал Варваре, как его и Депсамеса дважды остановили, обыскали, — она тоже возмущалась:

— Ужасные дни! Это непонятное двоедушие власти...

— Тогда я предложил Захару Борисовичу зайти к вам... Депсамес покачнулся и заговорил с акцентом еврея из анекдота:

— Так это я сказал — зайти, потому что я уже достаточно битый, — благодару вам!

Горбоносое, матово-бледное лицо его покраснело, и, склонив голову к правому плечу, он с добродушной иронией спросил Клима:

— Долго еще будут у вас эти драчливые дни? Не знаете? Ну, а кто знает?

Пальцы его быстро перебирали пряди бороды.

— Ой, вы очень любите погромы!

Помогая Варваре носить посуду и бутылки из буфета на стол, Брагин докторально заметил, что интеллигенция не устраивает погромов.

— Вы говорите — нет? А ваши нигилисты, ваши писаревцы не устраивали погрома Пушкину? Это же все равно, что плевать на солнце!

— Захар Борисович преувеличенно восхищается Пушкиным, — сообщил Брагин, на этот раз смущенно.

— Ну да, я — преувеличенный! — согласился Депсамес, махнув на Брагина рукой. — Пусть будет так! Но я вам говорю, что мыши любят русскую литературу больше, чем вы. А вы любите пожары, ледоходы, вьюги, вы бежите на каждую улицу, где есть скандал. Это — неверно? Это — верно! Вам нужно, чтобы жить, какое-нибудь смутное время. Вы — самый страшный народ на земле…

Самгину казалось, что этот человек нарочно говорит с резким акцентом и что в нем действительно есть нечто преувеличенное.

— Вы смотрите в театре босяков и думаете найти золото в грязи, а там — нет золота, там — колчедан, из него делают серную кислоту, чтоб ревнивые женщины брызгали ею в глаза своих спорниц…

— Соперниц, — поправил Брагин.

— А ваши большевики, это — не погром, нет?

Он вдруг рассмеялся, негромким, мягким смехом, заставив Самгина подумать:

«Смеяться он должен бы визгливо».

И то, что смех Депсамеса не совпадал с его тонким голосом, усилило недоверие Самгина к нему. А тот подмигнул правым глазом и, улыбаясь, продолжал:

— Большевики — это люди, которые желают бежать на сто верст впереди истории, — так разумные люди не побегут за ними. Что такое разумные? Это люди, которые не хотят революции, они живут для себя, а никто не хочет революции для себя. Ну, а когда уже все-таки нужно сделать немножко революции, он даст немножко денег и говорит: «Пожалуйста, сделайте мне революцию… на сорок пять рублей!»

Прищурив глаза, он засмеялся неожиданно мягко, и это снова не шло к нему.

— Вы — социалист? — спросил Самгин.

— Я — еврей! — сказал Депсамес. — По Ренану — все евреи — социалисты. Ну, это не очень комплимент, потому что и все люди — социалисты; это их портит не больше, чем все другое.

— Захар Борисович, кажется, — сионист, — вставил Брагин.

— Благодару вам! — откликнулся Депсамес, и было уже совершенно ясно, что он нарочито исказил слова, — еще раз это не согласовалось с его изуродованным лицом, седыми волосами. — Господин Брагин знает сионизм как милую шутку: сионизм — это когда один еврей посылает другого еврея в Палестину на деньги третьего еврея. Многие любят шутить больше, чем думать…

Варвара пригласила к столу. Сидя напротив еврея, Самгин вспомнил слова Тагильского: «Одно из самых отвратительных явлений нашей жизни — еврей, зараженный русским нигилизмом». Этот — не нигилист. И — не Прейс…

Евреи были антипатичны Самгину, но, зная, что эта антипатия — постыдна, он, как многие, скрывал ее в системе фраз, названной филосемитизмом. Он чувствовал еврея человеком более чужим, чем немец или финн, и подозревал в каждом особенно изощренную проницательность, которая позволяет еврею видеть явные и тайные недостатки его, русского, более тонко и ясно, чем это видят люди других рас. Понимая, как трагична судьба еврейства в России, он подозревал, что психика еврея должна быть заражена и обременена чувством органической вражды к русскому, желанием мести за унижения и страдания. Он ждал, что болтливый, тонкоголосый крикун обнаружит именно это чувство.

— Вы хотели немножко революции? Ну, так вы будете иметь очень много революции, когда поставите мужики на ноги и они побегут до самых крайних крайностей и сломит вам голову и себе тоже.

— Не верю пророчествам, — пробормотал Брагин, а Варвара, поощрительно кивая головой, сказала;

— Нет, это очень, очень верно!

Депсамес обратился к ней; в одной руке у него сверкала вилка, в другой он держал кусок хлеба, — давно уже держал его, не находя времени съесть.

— Каждый еврей немножко пророк, потому что он противник крови, но понимает неизбежность борьбы и крови, да!

Самгин видел, что еврей хочет говорить отечески ласково, уже без иронии, — это видно было по мягкому черному блеску грустных глаз, — но тонкий голос, не поддаваясь чувству, резал уши.

— И очень просто быть пророками в двуглавом вашем государстве. Вы не замечаете, что у вашего орла огромная мужицкая голова смотрит направо, а налево смотрит только маленькая голова революционеров? Ну, так когда вы свернете голову мужика налево, так вы увидите, каким он сделает себя царем над вами!

«Всесветные умники, — думал Самгин, слушая речи, досадно совпадавшие с некоторыми его мыслями. — Критикуют, поучают, по праву чужих... Гейне, Марксы...»

Наткнувшись на слова «право чужих», Самгин перестал слушать.

— Если общество не ценит личность, оно вооружает ее правом враждебного отношения к обществу...

Два слова, развернутые в десять, обнаружили скрытый в них анархизм. Это было неприятно. Депсамес, размахивая рукой с куском хлеба в ней, говорил Варваре:

— Евреи — это люди, которые работают на всех. Ротшильд, как и Маркс, работает на всех — нет? Но разве Ротшильд, как дворник, не сметает деньги с улицы, в кучу, чтоб они не пылили в глаза? И вы думаете, что если б не было Ротшильда, так все-таки был бы Маркс, — вы это думаете?

Варвара нашла, что это очень остроумно, и засмеялась, а Брагин смотрел на Самгина, смущенно улыбаясь, беспокойно раскачивая на стуле длинное тело свое; он, кажется, даже подмигивал и, наконец, спросил:

— Можно вас на два слова?

Перешли в кабинет, и там Брагин вполголоса торопливо заговорил:

— Вы простите, что я привел его, — мне нужно было видеть вас, а он боится ходить один. Он, в сущности, весьма интересный и милый человек, но — видите — говорит! На все темы и сколько угодно...

Самгин давно уже не видел Брагина таким самодовольным, причесанным и блестящим.

— Я зашел предупредить вас, — вам бы следовало уехать из Москвы. Это — между нами, я не хочу тревожить Варвару Кирилловну, но — в некоторых кругах вы пользуетесь репутацией...

Он замолчал, ожидая, что Самгин спросит его о чем-то; но Клим, раскуривая папиросу, не спрашивал. Тогда Брагин продолжал, еще более тихо:

— Депсамес — не ошибается: социалисты сыграли в руку крайним правым — это факт! Депсамес кричал в столовой:

— Ну, так это будет — на одной ноге новый сапог, на другой — старый лапоть…

— Вы не можете себе представить, какое настроение создалось в Москве, — шептал Брагин. — Москва и баррикады… это хоть кого возмутит! Даже простой народ — например, извозчики…

— Я — понимаю, — сказал Самгин, улыбаясь. — Баррикады должны особенно возмущать извозчиков…

— Нет, отнеситесь серьезно, — просил тот, раскачиваясь на ногах. — Люди, которые знают вас, например Ряхин, Тагильский, Прейс, особенно — Стратонов, — очень сильная личность! — и — поверьте — с большим будущим, политик…

— От них надобно прятаться? — спросил Клим, глядя в глупое и вдруг покрасневшее лицо Брагина, — вздернув плечи, Брагин обиженно и погромче сказал:

— Я счел моим долгом, по симпатии, по уважению…

— Искренно благодарю вас, — торопливо проговорил Самгин, пожимая его руку, а Брагин, схватив его ладонь двумя руками и сильно встряхивая все три, взволнованно шептал:

— Вы представить не можете, как трудно в наши дни жить человеку, который всем хочет только добра… Поверьте, — добавил он еще тише, — они догадываются о вашем значении…

Кивая маленькой головкой ужа, он выскользнул в столовую, а Самгин, глядя в его длинную, гибкую спину, подумал:

«Не знает, с кем идти, кому служить».

Это напомнило Макарова и неприятную беседу с ним. В столовой мягко смеялся Депсамес, а Варвара с увлечением повторяла:

— Это удивительно верно, совершенно верно! Самгин посмотрел в окно — в небе, проломленном колокольнями церквей, пылало зарево заката и неистово метались птицы, вышивая черным по красному запутанный узор. Самгин, глядя на птиц, пытался составить из их суеты слова неоспоримых фраз. Улицу перешла Варвара под руку с Брагиным, сзади шагал странный еврей.

Когда стемнело, явился Алексей Гогин, в полушубке и валенках; расстегивая полушубок, он проворчал:

— Какая антипатичная прислуга у вас, глазки — точно у филера.

Простуженно кашляя, он сел к столу и спросил:

— Нет ли водки?

А выпив рюмку, круто посолил кусок хлеба и налил еще.

«Как в трактире», — отметил Самгин. Пережевывая хлеб, Гогин заговорил:

— Просим вас, батенька, съездить в Русьгород и получить деньги там, с одной тети, — к слову скажу: замечательная тетя! Редкой красоты, да и не глупа. Деньги лежат в депозите суда, и есть тут какая-то юридическая канитель. Можете?

— А — подробнее? — спросил Самгин; Алексей развел руками:

— Подробнее — ничего не знаю. Фамилия дамы — Зотова, вот ее адрес. Она,

кажется, родня или приятельница Степана Кутузова.

«Хороший случай уехать отсюда, — подумал Самгин. — И пусть это будет последнее поручение».

— Правда, что когда на вас хулиганы напали — Любаша ухлопала одного? — спросил Гогин, когда Клим сказал ему, что едет.

Было неприятно вспомнить о нападении.

— Да, она стреляла, — сухо ответил Самгин.

— Убила?

— Он встал и пошел. А я забыл взять револьвер. Сказав это, Самгин вспомнил, что револьвер у него был взят Яковом, и рассердился на себя: зачем сказал?

— Ну, вот и поплатились за это, — равнодушно выговорил Гогин. — Любаша — у нас, и в полном расстройстве чувств, — устало продолжал он. — У нее рука переломлена, и вообще она помята. Пришла к нам ночью, совершенно угнетенная своим подвигом, и до сей поры городит чепуху о праве убивать сознательных и бессознательных. Выходит так, что ее, Любашу, убить можно, она — действует сознательно, — сама же она, как таковая, не имеет права убивать нападающую сволочь. Хороший она товарищ, ценный работник, но не может изжить народнической закваски, христианских чувств. Она там с моей сестрицей такие диспуты ведет, — беги вон! Вообще — балаган, как говорит Кутузов.

Он встал, подошел к зеркалу, высунув язык, посмотрел на него и проворчал:

— Заболеваю, чорт возьми! Температура, башка трещит. Вдруг свалюсь, а?

Он снова подошел к столу, выпил еще рюмку водки и стал застегивать крючки полушубка. Клим спросил:

— Что же теперь будет делать партия?

— То же самое, конечно, — удивленно сказал Гогин. — Московское выступление рабочих показало, что мелкий обыватель идет за силой, — как и следовало ожидать. Пролетариат должен готовиться к новому восстанию. Нужно вооружаться, усилить пропаганду в войсках. Нужны деньги и — оружие, оружие!

Он стал перечислять боевые выступления рабочих в провинции, факты террора, схватки с черной сотней, взрывы аграрного движения; он говорил обо всем этом, как бы напоминая себе самому, и тихонько постукивал кулаком по столу, ставя точки. Самгин хотел спросить: к чему приведет все это? Но вдруг с полной ясностью почувствовал, что спросил бы равнодушно, только по обязанности здравомыслящего человека. Каких-либо иных оснований для этого вопроса он не находил в себе.

— По форме это, если хотите, — немножко анархия, а по существу — воспитание революционеров, что и требуется. Денег надобно, денег на оружие, вот что, — повторил он, вздыхая, и ушел, а Самгин, проводив его, начал шагать по комнате, посматривая в окна, спрашивая себя:

«Неужели Гогиными, Кутузовыми двигает только власть заученной ими теории? Нет, волей их владеет нечто — явно противоречащее их убеждению в непоколебимости классовой психики. Рабочих — можно понять, Кутузовы — непонятны...»

Фонарь напротив починили, он горел ярко, освещая дом, знакомый до мельчайшей трещины в штукатурке фасада.

«В таких домах живут миллионы людей, готовых подчиниться всякой силе. Этим исчерпывается вся их ценность...»

Через день он снова попал в полосу- необыкновенных событий. Началось с того, что ночью в вагоне он сильнейшим толчком был сброшен с дивана, а когда ошеломленно вскочил на ноги, кто-то хрипло закричал в лицо ему:

— Что? Крушение? — и, толчком плеча снова опрокинув его на диван, заорал:

— Спички… чорт! Эй, вы, кто тут? Спички! Вагон встряхивало, качало, шипел паровоз, кричали люди; невидимый в темноте сосед Клима сорвал занавеску с окна, обнажив светлоголубой квадрат неба и две звезды на нем; Самгин зажег спичку и увидел пред собою широкую спину, мясистую шею, жирный затылок; обладатель этих достоинств, прижав лоб свой к стеклу, говорил вызывающим тоном:

— Ну, что же? Стоим у семафора. Ну? Дверь купе открылась, кондуктор осветил его фонарем, спрашивая:

— Все благополучно? Никто не ранен?

— М-морды, — сказал человек, выхватив фонарь из рук его, осветил Самгина, несколько секунд пристально посмотрел в лицо его, потом громко отхаркнул, плюнул под столик и сообщил:

— Теперь — не уснуть!

Слабенький и беспокойный огонь фонаря освещал толстое, темное лицо с круглыми глазами ночной птицы; под широким, тяжелым носом топырились густые, серые усы, — правильно круглый череп густо зарос енотовой шерстью. Человек этот сидел, упираясь руками в диван, спиною в стенку, смотрел в потолок и ритмически сопел носом. На нем — толстая шерстяная фуфайка, шаровары с кантом, на ногах полосатые носки; в углу купе висела серая шинель, сюртук, портупея, офицерская сабля, револьвер и фляжка, оплетенная соломой.

— Какого же дьявола стоим? — спросил он, не шевелясь. — Живы — значит надо ехать дальше. Вы бы сходили, узнали…

— Удобнее это сделать вам, военному, — сказал Самгин.

— Военному! — сердито повторил офицер. — Мне сапоги одевать надо, а у меня нога болит. Надо быть вежливым…

Он снял фляжку, отвинтил пробку и, глотнув чего-то, тяжко вздохнул. Опасаясь, что офицер наговорит ему грубостей, Самгин быстро оделся и вышел из вагона в голубой холод. Ночь была прозрачно светлая, — очень высоко, почти в зените бедного звездами неба, холодно и ярко блестела необыкновенно маленькая луна, и все вокруг было невиданно: плотная стена деревьев, вылепленных из снега, толпа мелких, черных людей у паровоза, люди покрупнее тяжело прыгали из вагона в снег, а вдали — мохнатые огоньки станции, похожие на золотых пауков.

Самгин пошел к паровозу, — его обгоняли пассажиры, пробежало человек пять веселых солдат; в центре толпы у паровоза стоял высокий жандарм в очках и двое солдат с винтовками, — с тендера наклонился к ним машинист в папахе. Говорили тихо, и хотя слова звучали отчетливо, но Самгин почувствовал, что все чего-то боятся.

— Дотащишь до станции? — спросил жандарм.

— Нельзя, — сказал, машинист. Кто-то вздохнул.

— Черти! Убьют — и не охнешь. Самгин тихонько спросил солдата:

— Что случилось?

— В паровозе что-то, — неохотно ответил солдат, но другой возразил ему:

— Да нет! Рельса на стрелке лопнула. Коренастый солдат вывернулся из-за спины Самгина, заглянул в лицо ему и сказал довольно громко:

— Это нас, усмиряющих, хотели сковырнуть некоторые злодеи!

И, сделав паузу, он прибавил:

— В очках.

Первый солдат миролюбиво вмешался:

— Ничего неизвестно.

Но коренастый не уступал:

— Жандарм сказал: покушение.

Коренастый солдат говорил все громче, голос у него немножко гнусавил и звучал едко.

«Такие голоса подстрекают на скандалы», — решил Самгин и пошел прочь, к станции, по тропе, рядом с рельсами, под навесом елей, тяжело нагруженных снегом.

Впереди тяжело шагал человек в шубе с лисьим воротником, в меховой шапке с наушниками, — по шпалам тоже шли пассажиры; человек в шапке сдержанно говорил:

— Мало у нас порядка осталось.

— Смятение умов, — поддержал его голос за спиной Самгина.

— Никто никого не боится, — сказал человек в шубе, обернулся, взглянул в лицо Клима и, уступая ему дорогу, перешагнул на шпалы.

У паровоза сердито кричали:

— Где у вас командир?

— Не твое дело. Ты нам не начальство.

— Смотри у меня! Гнусавый голос взвизгнул:

— А что на тебя смотреть, ты — девка? Наплевать мне в твои очки!

«Это он жандарму», — сообразил Самгин и, сняв очки, сунул их в карман пальто.

— Маловато порядка, — сказал человек в лисьей шубе и протяжно зевнул.

Чувствуя себя, как во сне, Самгин смотрел вдаль, где, среди голубоватых холмов снега, видны были черные бугорки изб, горел костер, освещая белую стену церкви, красные пятна окон и раскачивая золотую луковицу колокольни. На перроне станции толпилось десятка два пассажиров, окружая троих солдат с винтовками, тихонько спрашивая их:

— Ну и — пороли?

— А — как же?

— Прикажут — и вас выпорем…

— А — баб — не приходилось? — спросил человек в шапке с наушниками и поучительно, уверенно заговорил, не ожидая ответа: — Баб следует особенно стращать, баба на чужое жаднее мужика…

К перрону подошла еще группа пассажиров; впереди, прихрамывая, шагал офицер, — в походной форме он стал еще толще и круглее.

— Ну, в чем дело? — резко крикнул он; человек в шапке, запахнув шубу, выпрямился, угодливо заговорил:

— Подозревается — крушение хотели устроить…

— Я спрашиваю не вас, — свирепо рявкнул офицер. — Где начальник станции?

Подбежал жандарм в очках, растолкал людей и, задыхаясь, доложил, что начальник разъезда телеграфирует о повреждении пути, требует рабочих.

— Предполагаю злоумышление, ваше благородие, рельсы на стрелке…

— А ты чего смотрел, морда? — спросил офицер и, одной рукой разглаживая усы, другой коснулся револьвера на боку, — люди отодвинулись от него, несколько человек быстро пошли назад к поезду; жандарм обиженно говорил:

— Я, ваше благородие, вчера командирован сюда…

— Командирован, ну и — не зевай! Офицер повернулся спиной к нему:

— Это что за солдаты?

— Бузулукского лезервного батальону из отряда, расквартированного по бунтущей деревне, — скороговоркой рапортовал рослый солдат с мягким, бабьим лицом.

— Бунтующей, дурак! Пошел прочь… Офицер вынул из кармана коробку папирос, посмотрел вслед солдатам и крикнул:

— Ходите, как индюки… — Закончив матерщиной, он оглянулся и пошел на Самгина, говоря: — Разрешите…

А закурив от папиросы Клима, назвал себя:

— Поручик Трифонов.

— Самгин,

— Учитель?

— Юрист.

— Адвокат, — подумав, сказал поручик и кивнул головой. — Из мелких, — продолжал он, усмехаясь. — Крупные — толстые, а вы — из таких, которые раздувают революции, конституции, — верно?

Самгин попробовал отойти, но поручик взял его под руку и повел за собой, шагая неудобно широко, прихрамывая на левую ногу, загребая ею. Говорил он сиповато, часто и тяжело отдувался, выдувая длинные струи пара, пропитанного запахами вина и табака.

— Из неудачников, — говорил он, толкая Самгина. — Ни-и черта у вас, батя, не выйдет, перещелкаем мы вас, эдаких, раскокаем, как яйца…

«Животное», — мысленно обругал его Самгин и сердито спросил: — Почему вы думаете, что я…

— Я — не думаю, а — шучу, — сказал поручик и плюнул. Его догнал начальник разъезда:

— Вы звали меня?

Поручик приостановился, взглянул на него, помолчал и махнул рукой.

— Не надо.

Крепко прижимая локтем руку Самгина, он продолжал ворчливо, мятыми словами, не доканчивая их:

— Я сам — неудачник. Трижды ранен, крест имею, а жить — нечем. Живу на квартире у храпоидола… в лисьей шубе. Он с меня полтораста целковых взыскивает судом. На вокзале у меня украли золотой портсигар, подарок товарищей…

Подошли к поезду, — офицер остановился у подножки вагона и, пристально разглядывая лицо Самгина, пробормотал;

— Впрочем, я его заложил в ломбарде, портсигар. Сестре скажу — украли!

Выпученные, рачьи глаза его делали туго надутое лицо карикатурным. Схватив рукою в перчатке медный поручень, он спросил:

— Хотите коньяку? Французский…

Самгин отказался. Поручик Трифонов застыл, поставив ногу на студень вагона. Было очень тихо, только снег скрипел под ногами людей, гудела проволока телеграфа и сопел поручик. Вдруг тишину всколыхнул, разрезал высокий, сочный голос, четко выписав на ней отчаянные слова:

Последний, нонешний денечек… Гуляю с вами я. друзья.

— Денисов, сукин сын, — сказал поручик, закрыв глаза. — Хорист из оперетки. Солдат — никуда! Лодырь, пьяница. Ну, а поет — слышите?

Пели два голоса, второй звучал басовито и мрачно, но первый взмывал все выше.

— Ну, нет! Его не покроешь, — пробормотал поручик, исчезая.

В небе, недалеко от луны, сверкала, точно падая на землю, крупная звезда. Самгин, медленно идя к концу поезда, впервые ощущал с такой остротой терзающую тоску простенькой русской песни. Она воспринималась им как нечто совершенно естественное в голубоватой холодной тишине, глубокой, как бывает только в сновидениях. Его обогнал жандарм, но он и черная тень его — все было сказочно, так же, как деревья, вылепленные из снега, луна, величиною в чайное блюдечко, большая звезда около нее и синеватое, точно лед, небо — высоко над белыми холмами, над красным пятном костра в селе у церкви; не верилось, что там живут бунтовщики.

Но песня вдруг оборвалась, и тотчас же несколько голосов сразу громко заспорили, резко прозвучал начальственный окрик:

— А ты — кто такой?

Раздался дружный, громкий смех и сквозь него — сердитый возглас:

— Вот ка-ак?

Кто-то громко свистнул, издали ответил глухой свисток локомотива. Самгин остановился, вслушиваясь, но там, впереди, смеялись, свистели всё громче и кто-то вскрикивал:

— Валяй, тащи его, тащи всех… Отделился и пошел навстречу Самгину жандарм, блестели его очки; в одной руке он держал какие-то бумаги, пальцы другой дергали на груди шнур револьвера, а сбоку жандарма и на шаг впереди его шагал Судаков, натягивая обеими руками картуз на лохматую голову; луна хорошо освещала его сухое, дерзкое лицо и медную пряжку ремня на животе; Самгин слышал его угрюмые слова:

— Ты бы не дурил, старик!

— Иди, иди! — строго крикнул жандарм. Самгин, не желая, чтоб Судаков узнал его, вскочил на подножку вагона, искоса, через плечо взглянул на подходившего Судакова, а тот обеими руками вдруг быстро коснулся плеча и бока жандарма, толкнул его; жандарм отскочил, громко охнул, но крик его был заглушен свистками и шипением паровоза, — он тяжело вкатился на соседние рельсы и двумя пучками красноватых лучей отрезал жандарма от Судакова, который, вскочив на подножку, ткнул Самгина в бок чем-то твердым.

Не устояв на ногах, Самгин спрыгнул в узкий коридор между вагонами и попал в толпу рабочих, — они тоже, прыгая с паровоза и тендера, толкали Самгина, а на той стороне паровоза кричал жандарм, кричали молодые голоса:

— Не мешай, дядя!

— Не бунтуй, старик, не велят!

— Кто убежал?

Шипел паровоз, двигаясь задним ходом, сеял на путь горящие угли, звонко стучал молоток по бандажам колес, гремело железо сцеплений; Самгин, потирая бок, медленно шел к своему вагону, вспоминая Судакова, каким видел его в Москве, на вокзале: там он стоял, прислонясь к стене, наклонив голову и считая на ладони серебряные монеты; на нем — черное пальто, подпоясанное ремнем с медной пряжкой, под мышкой — маленький узелок, картуз на голове не мог прикрыть его волос, они торчали во все стороны и свешивались по щекам, точно стружки.

«Неотесанная башка», — подумал тогда Самгин, а теперь он думал о звериной ловкости парня: «Толкни он жандарма на несколько секунд позже, — жандарм попал бы под колеса паровоза...»

— Эй, барин, ходи веселей! — крикнули за его спиной. Не оглядываясь, Самгин почти побежал. На разъезде было очень шумно, однако казалось, что железный шум торопится исчезнуть в холодной, всепоглощающей тишине. В коридоре вагона стояли обер-кондуктор и жандарм, дверь в купе заткнул собою поручик Трифонов.

— Штатский? — вполголоса, изумленно и сипло спрашивал он. — Срезал револьвер?

— Так точно, — тихо ответил жандарм; он стоял не так, как следовало стоять перед офицером, а — сутуло и наклонив голову, но руки висели по швам.

— Обезоружил? И — удрал?

— Так точно. Должен быть в поезде.

— Солдаты ищут, — вставил обер.

Поручик трижды, негромко и раздельно хохотнул:

— Хо-хо-хо! Эт-то — номер! — сказал он, хлопая ресницами по главам, чмокнув губами. — Ах ты, м-морда! Ну — и влетит тебе! И — заслужил! Ну, — что же ты хочешь, а?

— Ваше благородие...

— Чтобы моих людей гонять? Нет, будь здоров! Скажи спасибо, что тебе пулю в морду не вкатили... Хо-хо-о! И — ступай! Марш!..

Жандарм тяжело поднял руку, отдавая честь, и пошел прочь, покачиваясь, обер тоже отправился за ним, а поручик, схватив Самгина за руку, втащил его в купе, толкнул на диван и, закрыв дверь, похохатывая, сел против Клима — колено в колено.

— Понимаете, — жулик у жандарма револьвер срезал и удрал, а? Нет, — вы поймите: привилегированная часть, охрана порядка, мать... Мышей ловить, а не революционеров! Это же — комедия! Ох...

Он захлебнулся смехом, засипел, круглые глаза его выкатились еще больше, лицо, побагровев, надулось, кулаком одной руки он бил себя по колену, другой схватил фляжку, глотнул из нее и сунул в руки Самгина. Клим, чувствуя себя озябшим, тоже с удовольствием выпил.

— Замечательный анекдот! Р-революция, знаете, а? Жулик продаст револьвер, а то — ухлопает кого-нибудь... из любопытства может хлопнуть. Ей-богу! Интересно пальнуть по человеку...

«Напился», — отметил Самгин, присматриваясь к поручику сквозь очки, а тот заговорил тише, почти шопотом и очень быстро:

— Еду охранять поместье, завод какого-то сенатора, администратора, вообще — лица с весом! Четвертый раз в этом году. Мелкая сошка, ну и суют куда другого не сунешь. Семеновцы — Мин, Риман, вообще — немцы, за укрощение России получат на чаишко... здорово получат! А я, наверное, получу колом по башке. Или — кирпичом... Пейте, французский...

Шумно вздохнув, он опустил на глаза тяжелые, синеватые веки и потряс головою.

— Бессонница! Месяца полтора. В голове — дробь насыпана, знаете — почти вижу: шарики катаются, ей-богу! Вы что молчите? Вы — не бойтесь, я — смирный! Все — ясно! Вы — раздражаете, я — усмиряю. «Жизнь для жизни нам дана», — как сказал какой-то Макарий, поэт. Не люблю я поэтов, писателей и всю вашу братию, — не люблю!

Он снова глотнул из фляжки и, зажав уши ладонями, долго полоскал коньяком рот. Потом, выкатив глаза, держа руки на затылке, стал говорить громче:

— Я — усмиряю, и меня — тоже усмиряют. Стоит предо мной эдакий великолепный старичище, морда — умная, честная морда — орел! Схватил я его за бороду, наган — в нос. «Понимаешь?», говорю. «Так точно, ваше благородие, понимаю, говорит, сам — солдат турецкой войны, крест, медали имею, на усмирение хаживал, мужиков порол, стреляйте меня, — достоин! Только, говорит, это делу не поможет, ваше благородие, жить мужикам — невозможно, бунтовать они будут, всех не перестреляете». Н-да... Вот — морда, а?

Рассказывая, он все время встряхивал головой, точно у него по енотовым волосам муха ползала. Замолчав и пристально глядя в лицо Самгина, он одной рукой искал на диване фляжку, другой поглаживал шею, а схватив фляжку, бросил ее на колени Самгина.

— Пейте, какого чорта!..

«Возможно, что он ненормален», — соображал Самгин, глотнул коньяку и, положив фляжку рядом с собою, покосился на револьвер в углу дивана.

— Отличный старик! Староста. Гренадер. Догадал меня чорт выпить у него в избе кринку молока, ну — понятно: жара, устал! Унтер, сукин сын, наболтал чего-то адъютанту; адъютант — Фогель, командир полка — барон Цилле, — вот она где у меня села, эта кринка!

Поручик Трифонов пошлепал себя ладонью по шее. Вагон рвануло, поручик покачнулся и крикнул:

— Сволочи! Давайте — выпьем! Вы что же молчите?

— Думаю о вашей драме, — сказал Самгин.

— Драма, — повторил поручик, раскачивая фляжку на ремне. — Тут — не драма, а — служба! Я театров не выношу. Цирк — другое дело, там ловкость, сила. Вы думаете — я не понимаю, что такое — революционер? — неожиданно спросил он, ударив кулаком по колену, и лицо его даже посинело от натуги. — Подите вы все к чорту, довольно я вам служил, вот что значит революционер, — понимаете? За-ба-стовщик…

— Конечно, — миролюбиво сказал Самгин, но это не успокоило поручика; он вцепился пальцами в колено

Клима и хрипло шептал:

— Вы, штатский, думаете, что это просто: выпорол человек… семнадцать или девять, четыре — все равно! — и кончено — лег спать, и спи до следующей командировки, да? Нет, извините, это не так просто. Перед этим надобно выпить, а после этого — пить! И — долго, много? Для Мина, Римана, Ренненкампфа — просто, они — как там? — преторианцы, они служат Нерону и вообще — Наполеону, а нам, пехоте… Капитан Татарников — читали? — перестрелял мужиков, отрапортовался и тут же себе пулю вляпал. Это называется — скандал! Подняли вопрос: с музыкой хоронить или без? А он, в японскую, батальоном командовал, получил двух Георгиев, умница, весельчак, на биллиарде божественно играл…

Вагон снова тряхнуло, поручик тяжело опрокинулся на бок и спросил:

— Поехали?

А когда поезд проходил мимо станции, он, взглянув в окно, сказал с явным удовольствием:

— Жандарм-то, стоит, морда! Взгреют его за револьвер.

Теперь, в железном шуме поезда, сиплый голос его звучал еще тише, слова стали невнятны. Он закурил папиросу, лег на спину, его круглый живот рыхло подпрыгивал, и казалось, что слова булькают в животе:

— Пехота… чернорабочая сила, она вам когда-нибудь покажет та-а-кую Испанию, та-а-кое пр-ронунциаменто…

Самгин не слушал, находя, что больше того, что сказано, поручик не скажет.

«Опора самодержавия», — думал он сквозь дремоту, наблюдая, как в правом глазе поручика отражается огонь свечи, делая глаз похожим на крыло жука.

«Наверное, он — не один таков. И, конечно, будет пороть, расстреливать. Так вот большинство людей исполняют обязанности, не веря в их смысл».

Это была очень неприятная мысль. Самгин закутался пледом и отдал тело свое успокоительной инерции толчков и покачиваний. Разбудил его кондуктор, открыв дверь:

— Русьгород.

Поручика в купе уже не было, о нем напоминал запах коньяка, медный изогнутый прут и занавеска под столиком.

В окно смотрело серебряное солнце, небо — такое же холодно голубое, каким оно было ночью, да и все вокруг так же успокоительно грустно, как вчера, только светлее раскрашено. Вдали на пригорке, пышно окутанном серебряной парчой, курились розоватым дымом трубы домов, по снегу на крышах ползли тени дыма, сверкали в небе кресты и главы церквей, по белому полю тянулся обоз, темные маленькие лошади качали головами, шли толстые мужики в тулупах, — все было игрушечно мелкое и приятное глазам.

Бойкая рыжая лошаденка быстро и легко довезла Самгина с вокзала в город; люди на улицах, тоже толстенькие и немые, шли навстречу друг другу спешной зимней походкой; дома, придавленные пуховиками снега, связанные заборами, прочно смерзлись, стояли крепко; на заборах, с розовых афиш, лезли в глаза черные слова: «Горе от ума», — белые афиши тоже черными словами извещали о втором концерте Евдокии Стрешневой.

Имя это ничего не сказало Самгину, но, когда он шел коридором гостиницы, распахнулась дверь одного из номеров, и маленькая женщина в шубке колоколом, в меховой шапочке, радостно, но не громко вскричала:

— Боженька! Вы? Здесь?

Самгин отступил на шаг и увидал острую лисью мордочку Дуняши, ее неуловимые, подкрашенные глаза, блеск мелких зубов; она стояла пред ним, опустив руки, держа их так, точно готовилась взмахнуть ими, обнять. Самгин поторопился поцеловать руку ее, она его чмокнула в лоб, смешно промычав:

— М-мил…

И торопливо, радостно проговорила:

— Значит — правда, что видеть во сне птиц — неожиданная встреча! Я вернусь скоро…

Самгин был очень польщен тем, что Дуняша встретила его как любовника, которого давно и жадно ждала. Через час сидели пред самоваром, и она, разливая чай, поспешно говорила:

— Стрешнева — почему? Так это моя девичья фамилия, отец — Павел Стрешнев, театральный плотник. С благоверным супругом моим — разошлась. Это — не человек, а какой-то вероучитель и не адвокат, а — лекарь, всё — о здоровье, даже по ночам — о здоровье, тоска! Я чудесно могу жить своим горлом…

Самгин смотрел на нее с удовольствием и аппетитом, улыбаясь так добродушно, как только мог. Она — в бархатном платье цвета пепла, кругленькая, мягкая. Ее рыжие, гладко причесанные волосы блестели, точно красноватое, червонное золото; нарумяненные морозом щеки, маленькие розовые уши, яркие, подкрашенные глаза и ловкие, легкие движения — все это делало ее задорной девчонкой, которая очень нравится сама себе, искренно рада встрече с мужчиной.

— Знаешь, Климчик, у меня — успех! Успех и успех! — с удивлением и как будто даже со страхом повторила она. — И все — Алина, дай ей бог счастья, она ставит меня на ноги! Многому она и Лютов научили меня. «Ну, говорит, довольно, Дунька, поезжай в провинцию за хорошими рецензиями». Сама она — не талантливая, но — все понимает, все до последней тютельки, — как одеться и раздеться. Любит талант, за талантливость и с Лютовым живет.

В чистеньком номере было тепло, уютно, благосклонно ворчал самовар, вкусный запах чая и Дуняшиных духов приятно щекотал ноздри. Говоря, Дуняша грызла бисквиты, прихлебывала портвейн из тяжелой зеленой рюмки.

— Тут у меня. есть знакомая купчиха, — тоже очень помогла мне; вот красавица, Клим, — красивее Алины! В нее весь город влюблен.

Подняв руки, сжав кулачки, она потрясла ими над своей золотой головкой:

— Эх, мне бы красоту! Вот уж наигралась бы… И, перескочив на колени Клима, обняв его за шею, спросила:

— Мы с тобой поживем тут, да?

— Разумеется, — великодушно сказал Самгин. В дверь постучали.

— Наверное, газетчик, — с досадой шепнула Дуняша и, приотворив дверь, сердито спросила: — Кто? Ах, — иду…

Послав Климу воздушный поцелуй, она исчезла, а он встал, сунув руки в карманы, прошелся по комнате, посмотрел на себя в зеркале, закурил и усмехнулся, подумав, как легко эта женщина помогла ему забыть кошмарного офицера. О поручике Трифонове напомнила бронзовая фигура царя Александра Второго — она возвышалась за окном, в центре маленькой площади, — фуражку, усы и плечи царя припудрил снег, слева его освещало солнце, неприятно блестел замороженный, выпуклый глаз. Монумент окружали связанные цепями пушки, воткнутые в землю, как тумбы, и невысокие, однообразно подстриженные деревья, похожие на букеты белых цветов.

— Что, дедушка? — вполголоса спросил Самгин и, вздрогнув, удивленный не свойственной ему выходкой, перестал смотреть в мертвый глаз царя.

«Нервы…»

В коридоре зашумели, дверь открылась, вошла с Дуняшей большая женщина в черном и, остановясь против солнца, сказала Дуняше густо и сочно:

— Не узнаёт.

Но Клим узнал, это — Марина Премирова, такая же монументальная, какой была в девицах; теперь она стала выше, стройнее.

— Постарел, больше, чем надо, — говорила она, растягивая слова певуче, лениво; потом, крепко стиснув руку Самгина горячими пальцами в кольцах и отодвинув его от себя, осмотрев с головы до ног, сказала: — Ну — все же мужчина в порядке! Сколько лет не видались? Ох, уж лучше не считать!

Улыбалась она не так плотоядно и устрашающе широко, как в Петербурге, двигалась мягко и бесшумно, с той грацией, которую дает только сила.

«Типичная купчиха», — торопился определить Самгин, отвечая на ее вопросы.

— Ну, а — Дмитрий? — спрашивала Марина. — Не знаешь? Вот как. Да, да, Туробоева застрелили. Довертелся, — равнодушно прибавила она. — Нехаеву-то помнишь?

Ресницы красиво вздрогнули, придав глазам выражение сосредоточенно думающее. Самгин чувствовал, что она измеряет и взвешивает его. Вздохнув, она сказала:

— Кто еще наши знакомые?

— Кутузов, — напомнил Клим.

— Этого я, изредка, вижу. Ты что молчишь? — спросила Марина Дуняшу, гладя ее туго причесанные волосы, — Дуняша прижалась к ней, точно подросток дочь к матери. Марина снова начала допрашивать:

— С братом-то на политике разошелся?

Самгину не нравилось, что она говорит с ним на ты; он суховато ответил:

— Нет, просто так… Далеко живем друг от друга, редко видимся.

— Ты что же — социал-демократ?

— Да.

— Неужто — большевик?

— Я — не в партии.

— Ну, это уж лучше. Женат?

— Был, — не сразу откликнулся Самгин. — А ты — как живешь?

— Вдовею четвертый год.

Сдвинув густые брови, она сказала, точно деревенская баба:

— Супруг мой детей не оставил мне, только печаль по себе оставил…

Наклонив голову, подумав, она встала.

— Ну, прошу ко мне, часам к пяти, чайку попьем, потолкуем.

Женщины ушли, Стрешнева — впереди, Марина — за нею, совершенно скрывая ее своей фигурой.

Расхаживая по комнате с папиросой в зубах, протирая очки, Самгин стал обдумывать Марину. Движения дородного ее тела, красивые колебания голоса, мягкий, но тяжеловатый взгляд золотистых глаз — все в ней было хорошо слажено, казалось естественным.

«Внушает уважение к себе… Наверное, внушает».

Но Клим Самгин привык и даже как бы считал себя обязанным искать противоречий, это было уже потребностью его разнузданной мысли. Ему хотелось найти в Марине что-нибудь наигранное, фальшивенькое.

«О политике спрашивала. С Кутузовым встречается», — подсчитывал он.

Кутузов все мысли Самгина отводил в определенное русло, и с Кутузовым всегда нужно было молча спорить.

«Упрощенный, ограниченный человек, как все люди его умонастроения. Это они раскололи политически мыслящие силы страны сразу на десяток партий. Допустим, что только они действуют, опираясь не на инстинкт самозащиты, а на классовый инстинкт рабочей массы. Но социалисты Европы заставляют сомневаться, что такой инстинкт существует. Классовым самосознанием обладает только верхний слой буржуазии… У нас, может быть, пятьсот или тысяча таких людей, как этот товарищ Яков… Разумеется, это — сила разрушительная… Но — чего я жалею?» — вдруг спросил он себя, оттолкнув эти мысли, продуманные не один десяток раз, — и вспомнил, что с той высоты, на которой он привык видеть себя, он, за последнее время все чаще, невольно сползает к этому вопросу.

«Я ни с кем и ни с чем не связан, — напомнил он себе. — Действительность мне враждебна. Я хожу над нею, как по канату».

Сравнение себя с канатоходцем было и неожиданно и обидно.

«Жалеть — нечего», — полувопросительно повторил он, рассматривая свои мысли как бы издали, со стороны и глазами какой-то новой мысли, не оформленной словом. И то, что за всеми его старыми мыслями живет и наблюдает еще одна, хотя и неясная, но, может быть, самая сильная, возбудило в Самгине приятное сознание своей сложности, оригинальности, ощущение своего внутреннего богатства. Стоя среди комнаты, он курил, смотрел под ноги себе, в розоватое пятно света, и вдруг вспомнил восточную притчу о человеке, который, сидя под солнцем на скрещении двух дорог, горько плакал, а когда прохожий спросил: о чем он льет слезы? — ответил: «От меня скрылась моя тень, а только она знала, куда мне идти». Слезливый человек в притче был назван глупцом. Самгин, швырнув окурок в угол, взглянул на часы — они показывали четыре. Заходило солнце, снег на памятнике царя сверкал рубинами, быстро шли гимназистки и гимназисты с коньками в руках; проехали сани, запряженные парой серых лошадей; лошади были покрыты

голубой сеткой, в санях сидел большой военный человек, два полицейских скакали за ним, черные кони блестели, точно начищенные ваксой. Сквозь двойные рамы с улицы не доносилось ни звука, и казалось, что все, на площади, живет не в действительности, а только в памяти.

Вбежала Дуняша и заторопила:

— Идем, идем. Зотова дожидается…

— Зотова? — спросил Самгин. Дуняша, смазывая губы карандашом, утвердительно кивнула головой, а он нахмурился: очевидно, Марина и есть та женщина, которую назвал ему Гоган. Этим упрощалось поручение, но было в этом что-то неприятное.

«Неужели эта купчиха забавляется конспирациями?»

На улицах все было с детства знакомо, спокойно и тоже как будто существовало не на самом деле, а возникало из памяти о прошлом.

Дуняша, плотно прижимаясь к его боку, говорила:

— Здесь все кончилось, спорят только о том, кому в Думе сидеть. Здесь очень хорошие люди, принимают меня — вот увидишь как! Бисирую раза по три. Соскучились о песнях…

Остановились перед витриной ярко освещенного магазина. За стеклом, среди евангелий, в золоченых переплетах с эмалью и самоцветами, на черном бархате возвышалась митра, покрытая стеклянным колпаком, лежали напрестольные кресты, стояли дикирии и трикирии.

— Это — ее! — сказала Дуняша. — Очень богатая, — шепнула она, отворяя тяжелую дверь в магазин, тесно набитый церковной утварью. Ослепительно сверкало серебро подсвечников, сияли золоченые дарохранильницы за стеклами шкафа, с потолка свешивались кадила; в белом и желтом блеске стояла большая женщина, туго затянутая в черный шелк.

— Сюда пожалуйте, — говорила она, ловко извиваясь среди подсвечников и крестильных купелей. — Запри магазин и ступай домой! — приказала она лаюобразному, русокудрому отроку, который напомнил Самгину Диомидова.

За магазином, в небольшой комнатке горели две лампы, наполняя ее розоватым сумраком; толстый ковер лежал на полу, стены тоже были завешаны коврами, высоко на стене — портрет в черной раме, украшенный серебряными листьями; в углу помещался широкий, изогнутый полукругом диван, пред ним на столе кипел самовар красной меди, мягко блестело стекло, фарфор. Казалось, что магазин, грубо сверкающий серебром и золотом, — далеко отсюда.

— Я здесь с утра до вечера, а нередко и ночую; в доме у меня — пустовато, да и грусти много, — говорила Марина тоном старого доверчивого друга, но Самгин, помня, какой грубой, напористой была она, — не верил ей.

— Ну, рассказывай, — как жил, чем живешь? — предложила она; Клим ответил:

— Повесть длинная и неинтересная.

— Не скромничай, кое-что я знаю про тебя. Слышала, что ты как был неподатлив людям, таким и остался. На портрет смотришь? Супруг мой.

Марина, сняв абажур с лампы, подняла ее к портрету. Неплохой мастер широкими мазками написал большую лысоватую голову на несоразмерно узких плечах, желтое, носатое лицо, яркосиние глаза, толстые красные губы, — лицо человека нездорового и, должно быть, с тяжелым характером.

— Интересное лицо, — сказал Самтан, но», чувствуя, что этого мало, прибавил: — весьма оригинальное лицо.

— Он из семьи Лордугина, — сказала Марина и усмехнулась. — Не слыхал такой фамилии? Ну, конечно! С кем был в родстве любой литератор, славянофил, декабрист — это вы, интеллигенты, досконально знаете, а духовные вожди, которых сам народ выдвигал мимо университетов, — они вам не известны.

— Лордугин? — переспросил Клим, заинтересованный ее иронией.

— Не вспоминай чего не знаешь, — ответила она и обратилась к Дуняше:

— Скучно, Дуня?

Та, сидя в кресле деревянно прямо, точно бедная родственница, смотрела в угол, где шубы на вешалке казались безголовыми стражами.

— Ну, что ты, — встрепенулась она. — Я скучать не умею…

— Ничего, поскучай маленько, — разрешила Марина, поглаживая ее, точно кошку. — Дмитрия-то, наверно, совсем книги съели? — спросила она, показав крупные белые зубы. — Очень помню, как ухаживал он за мной. Теперь — смешно, а тогда — досадно было: девица — горит, замуж хочет, а он ей все о каких-то неведомых людях, тиверцах да угличах, да о влиянии Востока на западноевропейский эпос! Иногда хотелось стукнуть его по лбу, между глаз…

Она произносила слова вкусной русской речи с таким удовольствием, что Самгин заподозрил: слова для нее приятны независимо от смысла, и она любит играть ими. Ей нравится роль купчихи, сытой, здоровой бабы. Конечно, у нее есть любовники, наверное, она часто меняет их.

А Марина, крепко обняв Дуняшу, говорила:

— В ту пору мужчина качался предо мною страшновато и двуестественно, то — плоть, то — дух. Говорила я, как все, — обыкновенное, а думала необыкновенно и выразить словами настоящие думы мои не могла…

«Врет, — отметил Самгин, питаясь удивительно вкусными лепешками и вспомнив сцену Марины с Кутузовым. — И торопится показать себя оригинальной».

В сумраке, среди ковров и мягкой мебели, Марина напоминала одалиску, изображенную жирной кистью какого-то француза. И запах вокруг нее — восточный: кипарисом, ладаном, коврами.

— Помнишь Лизу Спивак? Такая спокойная, бескрылая душа. Она посоветовала мне учиться петь. Вижу — во всех песнях бабы жалуются на природу свою…

— На природу всё жалуются, и музыка об этом, — сказала Дуняша, вздохнув, но тотчас же усмехнулась. — Впрочем, мужчины любят петь: «Там за далью непогоды есть блаженная страна…»

Марина, тоже улыбаясь, проговорила лениво:

— Это — политики поют, такие вот, как Самгин. Они, как староверы, «Опоньское царство» выдумали себе, со страха жизни.

— Как ты странно говоришь, — заметил Самгин, глядя на нее с любопытством. — Кажется, мы живем во дни достаточно бесстрашные, то есть — достаточно бесстрашно живем.

Марина, точно отгоняя комара, махнула рукой.

— Свойственник мужа моего по первой жене два Георгия получил за японскую войну, пьяница, но — очень умный мужик. Так он говорит: «За трусость дали, боялся назад бежать — расстреляют, ну и лез вперед!»

Прихлебнув из рюмки глоток вина, запив его чаем, она, не спеша и облизывая губы кончиком языка, продолжала:

— Вот и вы, интеллигенты, отщепенцы, тоже от страха в политику бросаетесь. Будто народ спасать хотите, а — что народ? Народ вам — очень дальний родственник, он вас, маленьких, и не видит. И как вы его ни спасайте, а на атеизме обязательно срежетесь. Народничество должно быть религиозным. Земля — землей, землю он и сам отвоюет, но, кроме того, он хочет чуда на земле, взыскует пресветлого града Сиона…

Она сказала все это негромко, не глядя на Самгина, обмахивая маленьким платком ярко разгоревшееся лицо. Клим чувствовал: она не надеется, что слова ее будут поняты. Он заметил, что Дуняша смотрит из-за плеча Марины упрашивающим взглядом, ей — скучно.

— Вот как думаешь ты? — сказал он, улыбаясь. — А Кутузов знает эти мысли?

— Для этих мыслей Степан не открыт, — ответила Марина лениво, немножко сдвинув брови. — Но он к ним ближе других. Ему конституции не надо.

Она замолчала. Самгин тоже не чувствовал желания говорить. В поучениях Марины он подозревал иронию, намерение раздразнить его, заставить разговориться. Говорить с нею о поручении Гогина при Дуняше он не считал возможным. Через полчаса он шел под руку с Дуняшей по широкой улице, ярко освещенной луной, и слушал торопливый говорок Дуняши.

— Я ее — не люблю, но, знаешь, — тянет меня к ней, как с холода в тепло или — в тень, когда жарко. Странно, не правда ли? В ней есть что-то мужское, тебе не кажется?

— Она пошлости говорит, — сердито сказал Самгин. — Это ей муж, купец, набил голову глупостями. — Где ты познакомилась с нею?

Дуняша сказала, что ее муж вел какое-то дело Марины в судебной палате и она нередко бывала у него в Москве.

— Он очень восхищался ею и все, знаешь, эдак подпрыгивал петухом вокруг нее…

Впереди засмеялись, нестройно прокричали ура; из ворот дома вышла группа людей, и мягкий баритон запел:

Царь, подобно Муцию…Муцию Сцеволе,

— довольно стройно дополнил хор и пропел:

Дал нам конституцию…По собственной воле.

— А — для чего? — спросил баритон, — хор ответил:

Для того, чтобы народДружно двинулся вперед!

— Славно поют, — сказала Дуняша, замедляя шаг.

Власть свою убавил,

— запел баритон, — хор подхватил:

Не пищите только!А себе оставилМоно-монопольку.

— А — д-для чего? — снова спросил баритон, — хор ответил:

Пусть великий наш народСвой последний грош пропьет!

— Ой, как интересны — тихонько вскричала Дуняша, замедляя шаг, а баритон

снова запевал:

По этому случаюНаши алкоголики

— продолжал хор:

Соберутся кучею,Сядут все за столики.— А — зачем?Чтобы выпить за народ,За святой девиз «вперед!»

Дуняша смеялась. Люди тесно шли по панели, впереди шагал высокий студент в бараньей шапке, рядом с ним приплясывал, прыгал мячиком толстенький маленький человечек; когда он поравнялся с Дуняшей и Климом, он запел козлиным голосом, дергая пальцами свой кадык:

Любви все возрасты покорны…

Несколько мужских и женских голосов сразу начали кричать:

— Уймите его!

— Мишка, не скандаль!

— Что за безобразие!

А толстенькая девица в шапочке на курчавых волосах радостно и даже как будто с испугом объявила:

— Господа, это — Стрешнева, честное слово! Высокий студент, сняв шапку, извинялся:

— Это — хороший малый, вы его простите… Хороший малый лежал вверх носом у ног Дуняши, колотил себя руками в грудь и бормотал:

— Так сражен Михаиле Крылов собственным негодяйством.

Барышни предлагали Дуняше проводить ее, — она, ласково посмеиваясь, отказывалась; девушка, с длинной и толстой косой, крикнула:

— Граждане! Предлагаю поумнеть! Дуняша, выскользнув из кольца молодежи, увлекая за собою Клима, оглядываясь, радостно говорила:

— Какие милые, а? Как остроумно сказала черноглазая: — ты слышал? «Предлагаю поумнеть!»?

— Своевременное предложение, — ворчливо откликнулся Самгин.

Высокий студент снова запел:

По причине этойЛибералы наши

— дружно подхватил хор.

Песня эта напомнила Самгину пение молодежью на похоронный мотив стихов: «Долой бесправие! Да здравствует свобода!»

— Я так рада, что меня любит молодежь, — за простенькие мои песенки. Знаешь, жизнь моя была…

— Играют в революцию и сами же высмеивают ее, — пробормотал Самгин.

— Тогда мае жилось очень тяжело, но проще, чем теперь, и грусть и радость были проще.

— Не говори, простудишь горло, — посоветовал Самгин Дуняше, прислушиваясь к песне.

Но полезней, на их взгляд,Чтоб народ пошел назад...— Наши журналисты...

— запел баритон, но хлопнула дверь гостиницы и обрубила песню.

Дуняша предложила пройти в ресторан, поужинать; он согласился, но, чувствуя себя отравленным лепешками Марины, ел мало и вызвал этим тревожный вопрос женщины:

— Тебе — нездоровится?

После ужина она пришла к нему — и через час горячо шептала:

— Я люблю тебя за то, что ты все знаешь, но молчишь. Самгин вспомнил, что она не первая говорит эти слова, Варвара тоже говорила нечто в этом роде. Он лежал в постели, а Дуняша, полураздетая, склонилась над ним, гладя лоб и щеки его легкой, теплой ладонью. В квадрате верхнего стекла окна светилось стертое лицо луны, — желтая кисточка огня свечи на столе как будто замерзла.

— Как много и безжалостно говорят все образованные, — говорила Дуняша. — Бога — нет, царя — не надо, люди — враги друг другу, всё — не так! Но — что же есть, и что — так?

Самгин, утомленный, посмеивался — женщина забавляла его своей болтовней, хотя и мешала ему отдохнуть.

— Что же настоящее? — спрашивала она.

— Для женщины — дети, — сказал он лениво и только для того, чтоб сказать что-нибудь.

— Дети? — испуганно повторила Дуняша. — Вот уж не могу вообразить, что у меня — дети! Ужасно неловко было бы мне с ними. Я очень хорошо помню, какая была маленькой. Стыдно было бы мне... про себя даже совсем нельзя рассказать детям, а они ведь спросят!

«И эта философствует», — равнодушно отметил Самгин.

А она продолжала, переменив позу так, что лунный свет упал ей на голову, на лицо, зажег в ее неуловимых глазах золотые искры и сделал их похожими на глаза Марины:

— Нет, дети — тяжело и страшно! Это — не для меня. Я — ненадолго! Со мной что-нибудь случится, какая-нибудь глупость... страшная!

Самгин закрыл глаза, спрашивая себя: что такое Марина?

— По-моему, всё — настоящее, что нравится, что любишь. И бог, и царь, и всё. Сегодня — одно, завтра — другое. Ты хочешь уснуть? Ну, спи!

Поцеловав его, она соскочила с кровати и, погасив свечу, исчезла. После нее остался запах духов и на ночном столике браслет с красными камешками. Столкнув браслет пальцем в ящик столика, Самгин закурил папиросу, начал приводить в порядок впечатления дня и тотчас убедился, что Дуняша, среди них, занимает ничтожно малое место. Было даже неловко убедиться в этом, — он почувствовал необходимость объясниться с самим собою.

«Каприз пустой и взбалмошной бабенки...»

Давно уже и незаметно для себя он сделал из опыта своего, из прочитанных им романов умозаключение, не лестное для женщин: везде, кроме спальни, они мешают жить, да и в спальне приятны ненадолго. Он читал Шопенгауэра, Ницше, Вейнингера и знал, что соглашаться с их взглядами на женщин — не принято. Макаров называл отношение этих немцев к женщине «одним из наиболее тяжелых уродств индогерм а некого пессимизма». Но по «системе фраз» самого Макарова

женщина смотрит на мужчину, как на приказчика в магазине модных вещей, — он должен показывать ей самые лучшие чувства и мысли, а она за все платит ему всегда одним и тем же — детьми.

В эту ночь, в пошленькой комнате гостиницы незнакомого города, Самгин почувствовал, что его небывало настойчиво тяготят мысли о женщинах. Он встал, подошел к двери, повернул ключ в замке, посмотрел на луну, — ярко освещая комнату, она была совершенно лишней, хотелось погасить ее. Полураздетый, он стал раздеваться на ночь с тем чувством, которое однажды испытал в кабинете доктора, опасаясь, что доктор найдет у него серьезную болезнь. Переложил подушки так, чтоб не видеть нахально светлое лицо луны, закурил папиросу и погрузился в сизый дым догадок, самооправданий, противоречий, упреков.

«Макаров утверждает, что отношения с женщиной требуют неограниченной искренности со стороны мужчины», — думал он, отвернувшись к стене, закрыв глаза, и не мог представить себе, как это можно быть неограниченно искренним с Дуняшей, Варварой. Единственная женщина, с которой он был более откровенным, чем с другими, это — Никонова, но это потому, что она никогда, ни о чем не выспрашивала.

«Ее служба в охранке — это, конечно, вынуждено, это насилие над нею. Жандармы всем предлагают служить у них, предлагали и мне».

Он очень живо, всей кожей вспомнил Никонову, сравнил ее с Дуняшей и нашел, что та была удобнее, а эта — лучше всех знает искусство наслаждения телом.

«Я несколько испорчен», — сознался он.

Признавая себя человеком чувственным, он, в минуты полной откровенности с самим собой, подозревал даже, что у него немало холодного полового любопытства. Это нужно было как-то объяснить, и он убеждал себя, что это все-таки чистоплотнее, интеллектуальней животно-обнаженного тяготения к самке. В эту ночь Самгин нашел иное, менее фальшивое и более грустное объяснение.

«Возраст охлаждает чувство. Я слишком много истратил сил на борьбу против чужих мыслей, против шаблонов», — думал он, зажигая спичку, чтоб закурить новую папиросу. Последнее время он все чаще замечал, что почти каждая его мысль имеет свою тень, свое эхо, но и та и другое как будто враждебны ему. Так случилось и в этот раз.

«Думать о мыслях легче и проще, чем о фактах».

Эта неприятная поправка требовала объяснения, — Самгин тотчас нашел его:

«Таково свойство интеллигенции вообще. Вернее — это качество интеллекта… не омраченного, не подавленного впечатлениями бытия».

А вместе с этим он думал:

«Устал я и бездарно путаюсь в каких-то мелочах. Какое значение для меня могут иметь случайные встречи с пьяным офицером, Дуняшей, Мариной?»

Монументальная фигура Марины круто изменила ход его размышлений:

«Неужели эта баба религиозна? Не верю, чтоб такое мощное тело искренно нуждалось в боге».

Явилась настоятельная потребность ограничить Марину. Он долго, сосредоточенно рассматривал ее, сравнивал с петербургской девушкой и вдруг вспомнил героя Лескова Ахилла Десницына и его рев:

«Уязвлен, уязвлен…»

Неуместное воспоминание раздражило Самгина.

«В старости она будет такая же страшная, как Анфимьевна… И жалкая такая же…»

Этим он не уничтожил хозяйку магазина церковной. утвари. В блеске золота и серебра, среди множества подсвечников, кадил и купелей, как будто ожил древний золотоглазый идол. И около нее — херувимоподобный отрок, похожий на Диомидова, как его сын.

«Самый странный и нелепый маскарад изо всех, какие видел я», — попытался успокоить себя Самгин, но в памяти истерически закричал Диомидов:

«Ничему не верите, а — чего ради не верите? Боитесь верить, страха ради не верите! Осмеяли всё, оголились, оборвались, как пьяные нищие…»

Этот ночной парад воспоминаний превратился в тяжелый кошмар. С бурной быстротой, возможной только в сновидениях, Самгин увидел себя на безлюдной, избитой дороге среди двух рядов старых берез, — рядом с ним шагал еще один Клим Самгин. День был солнечный, солнце жарко грело спину, но ни сам Клим, ни двойник его, ни деревья не имели тени, и это было очень тревожно. Двойник молчал, толкая Самгина плечом в ямы и рытвины дороги, толкая на деревья, — он так мешал идти, что Клим тоже толкнул его; тогда он свалился под ноги Клима, обнял их и дико закричал. Чувствуя, что он тоже падает, Самгин схватил спутника, поднял его и почувствовал, что он, как тень, не имеет веса. Но он был одет совершенно так же, как настоящий, живой Самгин и поэтому должен, должен был иметь какой-нибудь вес! Самгин высоко поднял его и швырнул прочь, на землю, — он разбился на куски, и тотчас вокруг Самгина размножились десятки фигур, совершенно подобных ему; они окружили его, стремительно побежали вместе с ним, и хотя все были невесомы, проницаемы, как тени, но страшно теснили его, толкали, сбивая с дороги, гнали вперед, — их становилось все больше, все они были горячие, и Самгин задыхался в их безмолвной, бесшумной толпе. Он отбрасывал их от себя, мял, разрывал руками, люди лопались в его руках, как мыльные пузыри; на секунду Самгин видел себя победителем, а в следующую — двойники его бесчисленно увеличивались, снова окружали его и гнали по пространству, лишенному теней, к дымчатому небу; оно опиралось на землю плотной, темносиней массой облаков, а в центре их пылало другое солнце, без лучей, огромное, неправильной, сплющенной формы, похожее на жерло печи, — на этом солнце прыгали черненькие шарики.

Когда назойливый стук в дверь разбудил Самгина, черные шарики все еще мелькали в глазах его, комнату наполнял холодный, невыносимо яркий свет зимнего дня, — света было так много, что он как будто расширил окно и раздвинул стены. Накинув одеяло на плечи, Самгин открыл дверь и, в ответ на приветствие Дуняши, сказал:

— Кажется, я заболеваю…

— Я стучу уже третий раз… Что с тобой?

— Проснулся в испарине.

Она опрашивала, не позвать ли доктора; Самгин отвечал ей отрывисто, небрежно, как привык говорить с Варварой. Он чувствовал себя физически измятым борьбой против толпы своих двойников, у него тупо болела поясница и ныли мускулы ног, как будто он в самом деле долго бежал. Дуняша ушла за аспирином, а он подошел к зеркалу и долго рассматривал в нем почти незнакомое, сухое, длинное лицо с желтоватой кожей, с мутными глазами, — в них застыло нехорошее, неопределенное выражение не то растерянности, не то испуга. Пощупал пальцами седоватые волосы на висках, потрогал тени в глазницах, прочитал вырезанное алмазом на стекле двустишие:

Иннокентий КаблуковПожил здесь и — был таков.

«Инокентий пишется с одним *н*. А может быть — с двумя? Все равно — пошлость».

За окном ослепительно сверкали миллионы снежных искр, где-то близко ухала и гремела музыка военного оркестра, туда шли и ехали обыватели, бежали мальчишки, обгоняя друг друга, и все это было чуждо, ненужно, не нужна была и Дуняша. Она влетела в комнату птицей, заставила его принять аспирин, натаскала из своей комнаты закусок, вина, конфет, цветов, красиво убрала стол и, сидя против Самгина, в пестром кимоно, покачивая туго причесанной головой, передергивая плечами, говорила вполголоса очень бойко, с неожиданными и забавными интонациями:

— Сегодня — пою! Ой, Клим, страшно! Ты придешь? Ты — речи народу говорил? Это тоже страшно? Это должно быть страшнее, чем петь! Я ног под собою не слышу, выходя на публику, холод в спине, под ложечкой — тоска! Глаза, глаза, глаза, — говорила она, тыкая пальцем в воздух. — Женщины — злые, кажется, что они проклинают меня, ждут, чтоб я сорвала голос, запела петухом, — это они потому, что каждый мужчина хочет изнасиловать меня, а им — завидно!

Она тихонько, нервозно засмеялась:

— Глупости говорю?

— Глупости, — подтвердил Самгин, глядя на ее вызывающе пышный бюст и жадные губы.

— Трудно поумнеть, — вздохнула Дуняша. — Раньше, хористкой, я была умнее, честное слово! Это я от мужа поглупела. Невозможный! Ему скажешь три слова, а он тебе — триста сорок! Один раз, ночью, до того заговорил. что я его по-матерному обругала...

Покраснев, Дуняша расхохоталась так заразительно, что Самгин. скупой на смех, тоже немножко посмеялся, представив, как, должно быть, изумлен был муж ее.

— Нет, ей-богу, ты подумай, — лежит мужчина в постели с женой и упрекает ее, зачем она французской революцией не интересуется! Там была какая-то мадам, которая интересовалась, так ей за это голову отрубили, — хорошенькая карьера, а? Тогда такая парижская мода была — головы рубить, а он все их сосчитал и рассказывает, рассказывает... Мне казалось, что он меня хочет запугать этой... головорубкой, как ее?

— Гильотина, — подсказал Клим.

— И выходило у него так, как будто революция началась потому, что француженки вели себя нескромно.

Швырнув на стол салфетку, она вскочила на ноги и, склонив голову на правое плечо, спрятав руки за спиною, шагая солдатским шагом и пофыркивая носом, заговорила тягучим, печальным голосом:

— «Теперь тебе должно быть ясно, насколько Мария Антуанетта способствовала гибели монархии...»

Она была очень забавна, ее веселое озорство развлекало Самгина, распахнувшееся кимоно показывало стройные ноги в черных чулках, голубую, коротенькую рубашку, которая почти открывала груди. Все это вызвало у Самгина великодушное желание поблагодарить Дуняшу, но, когда он привлек ее к себе, она ловко выскользнула из его рук.

— Перед концертом — не могу, — твердо сказала она. — Там, пред публикой, я должна быть — как стеклышко!

— Какая чепуха, — возразил Самгин, не сердясь, но удивляясь.

— Не могу, — повторила она, разведя руками. — Видишь ли что…

Она подумала, глядя в потолок.

— Надутые женщины, наглые мужчины, это — правда. но это — первые ряды. Им, может быть, даже обидно, что они должны слушать какую-то фитюльку, чорт ее возьми.

Но всегда есть другие люди, и пред ними уже надобно петь хорошо, честно. Понимаешь?

— Не совсем, — сказал Самгин. — Что значит: честно петь?

Она снова задумалась, поглаживая щеки ладонями, потом быстро рассказала:

— Отец мой несчастливо в карты играл и когда, бывало, проиграется, приказывает маме разбавлять молоко водой, — у нас было дне коровы. Мама продавала молоко, она была честная, ее все любили, верили ей. Если б ты знал, как она мучилась, плакала, когда ей приходилось молоко разбавлять. Ну, вот, и мне тоже стыдно, когда я плохо пою, — понял?

Самгин одобрительно похлопал ее по спине и даже сказал:

— Это очень по-детски вышло у тебя…

— Да, — глупенькая, глупенькая, — торопливо согласилась она, целуя его в лоб. — Увидимся после концерта, да?

Она немножко развлекла его, но, как только скрылась за дверью, Самгин забыл о ней, прислушиваясь к себе и ощущая нарастание неясной тревоги.

«Устал. Заболеваю».

Взяв газету, он прилег на диван. Передовая статья газеты «Наше слово» крупным, но сбитым шрифтом, со множеством знаков вопроса и восклицания, сердито кричала о людях, у которых «нет чувства ответственности пред страной, пред историей».

«Мы — искренние демократы, это доказано нашей долголетней, неутомимой борьбой против абсолютизма, доказано культурной работой нашей. Мы — против замаскированной проповеди анархии, против безумия «прыжков из царства необходимости в царство свободы», мы — за культурную эволюцию! И как можно, не впадая в непримиримое противоречие, отрицать свободу воли и в то же время учить темных людей — прыгайте!»

«В провинции думают всегда более упрощенно; это нередко может быть смешно для нас, но для провинциалов нужно писать именно так, — отметил Самгин, затем спросил: — Для кого — для нас?» — и заглушил этот вопрос шелестом бумаги. На обороте страницы был напечатан некролог человека, носившего странную фамилию: Уповаев. О нем было сказано: «Человек глубоко культурный, Иван Каллистратович обладал объективизмом истинного гуманиста, тем редким чувством проникновения в суть противоречий жизни, которое давало ему силу примирять противоречия, казалось бы — непримиримые».

В отделе «Театр» некто Идрон писал:

«Сегодня мы еще раз услышим идеальное исполнение народных песен Е. В. Стрешневой. Снова она будет щедро бросать в зал купеческого клуба радужные цветы звуков, снова взволнует нас лирическими стонами и удалыми выкриками, которые чутко подслушала у неисчерпаемого источника подлинно народного творчества».

Самгин швырнул газету на пол, закрыл глаза, и тотчас перед ним возникла картина ночного кошмара, закружился хоровод его двойников, но теперь это. были

уже не тени, а люди, одетые так же, как он, — кружились они медленно и не задевая его; было очень неприятно видеть, что они — без лиц, на месте лица у каждого было что-то, похожее на ладонь, — они казались троерукими. Этот полусон испугал его, — открыв глаза, он встал, оглянулся:

«Воображение у меня разыгрывается болезненно».

Решив освежиться, он вышел на улицу; издали, навстречу ему, двигалась похоронная процессия.

«Вероятно, Уповаева хоронят», — сообразил он, свернул в переулок и пошел куда-то вниз, где переулок замыкала горбатая зеленая крыша церкви с тремя главами над нею. К ней опускались два ряда приземистых, пузатых домиков, накрытых толстыми шапками снега. Самгин нашел, что они имеют некоторое сходство с людьми в шубах, а окна и двери домов похожи на карманы. Толстый слой серой, холодной скуки висел над городом. Издали доплывало унылое пение церковного хора.

«Как все это знакомо, однообразно. И — надолго. Прочно вросло в землю».

Так же равнодушно он подумал о том, что, если б он решил занять себя литературным трудом, он писал бы о тихом торжестве злой скуки жизни не хуже Чехова и, конечно, более остро, чем Леонид Андреев.

За церковью, в углу небольшой площади, над крыльцом одноэтажного дома, изогнулась желто-зеленая вывеска: «Ресторан Пекин». Он зашел в маленькую, теплую комнату, сел у двери, в угол, под огромным старым фикусом; зеркало показывало ему семерых людей, — они сидели за двумя столами у буфета, и до него донеслись слова:

— Ты бы, Иван Васильев, по — тово, похрабрее разоблачал штукарей этих, а то они, тово, обскачут нас на выборах-то!

Голос был жирный, ворчливый; одновременно с ним звучал голосок тонкий и сердитый:

— Какой он, к чорту, эсер, если смолоду, всю жизнь лимонами торгует?

— Они тут все пролетариями переодеваются, — сказал третий.

Рассматривая в зеркале тусклые отражения этих людей, Самгин увидел среди них ушастую голову Ивана Дронова. Он хотел встать и уйти, но слуга принес кофе;

Самгин согнулся над чашкой и слушал.

— Жили-жили и вдруг все оказались эсерами, нате-ко!

— Иезуит был покойник Уповаев, а хорошо чистил им зубы! Помните, в городском саду, а?

— Ну, как же! «Не довольно ли света? Не пора ли вам, господа, погасить костры культурных усадьб? Все — ясно! Все видят сокрушительную работу стихийных сил жадности, зависти, ненависти, — работу сил, разбуженных вами!»

— Экая память у тебя, Гриша!

— На хорошее слово…

— А ведь жулябия был покойник!

— Все под богом ходим.

Компания дружно рассмеялась, а Самгин под этот смех зазвенел ложкой о блюдечко, торопясь уйти, не желая встречи с Дроновым. Но Дронов сказал:

— Ну-с, мне пора в редакцию, — и мелкими шагами коротеньких ног он подошел к столу Самгина, в то время как слуга отсчитывал сдачу.

— Б-ба! Откуда?

Руки Самгину он не подал, должно быть, потому, что был выпивши. Опираясь обеими руками о стол, прищурив глаза, он бесцеремонно рассматривал Клима, дышал носом и звонко расспрашивал, рассказывал:

— Живешь в «Волге»? Зайду. Там — Стрешнева, певица — удивительная! А я, брат, тут замещаю редактора в «Нашем слове». «Наш край», «Наше слово», — все, брат, наше!

Весь в новеньком, он был похож на приказчика из магазина готового платья. Потолстел, сытое лицо его лоснилось, маленький носик расплылся по румяным щекам, ноздри стали шире.

— Приехал агитировать, да? За эсдеков? Самгин сухо сказал, что у него дело в суде, но Дронов усмехнулся, подмигнул и отскочил прочь, повторив:

— Зайду.

Глядя вслед ему через очки и болезненно морщась, Самгин подумал:

«Как часты ненужные и неприятные встречи с прошлым…»

Он пошел в концерт пешком, опоздал к началу и должен был стоять в дверях у входа в зал. Длинный зал, стесненный двумя рядами толстых колонн, был туго наполнен публикой; плотная масса ее как бы сплющивалась, вытягиваясь к эстраде под напором людей, которые тесно стояли за колоннами, сзади стульев и даже на подоконниках окон, огромных, как двери. С хор гроздьями свешивались головы молодежи, — лица, освещенные снизу огнями канделябров на колоннах, были необыкновенно глазасты. Дуняша качалась на эстраде, точно в воздухе, — сзади ее возвышался в золотой раме царь Александр Второй, упираясь бритым подбородком в золотую Дуняшину голову. За роялем сидел толстый, лысоватый человек, медленно и скупо выгоняя из-под клавиш негромкие аккорды.

В скромном, черном платье с кружевным воротником, с красной розой у пояса, маленькая, точно подросток, Дуняша наполняла зал словами какими же простенькими, как она сама. Ее не сильный, но прозрачный голосок звучал неистощимо и создавал напряженную тишину. Самгин, не вслушиваясь в однообразные переливы песни, чувствовал в этой тишине что-то приятное, поискал — что это? И легко нашел: несколько сотен людей молча и даже, пожалуй, благодарно слушают голос женщины, которой он владеет, как хочет. Он усмехнулся, снял очки и, протирая их, подумал не без гордости, что Дуняша — талантлива. Тишину вдруг взорвали и уничтожили дружные рукоплескания, крики, — особенно буйно кричала молодежь с хор, а где-то близко густейший бас сказал, хвастаясь своей силой:

— Спа-си-бо!

Смешно раскачиваясь, Дуняша взмахивала руками, кивала меднокрасной головой; пестренькое лицо ее светилось радостью; сжав пальцы обеих рук, она потрясла кулачком пред лицом своим и, поцеловав кулачок, развела руки, разбросила поцелуй в публику. Этот жест вызвал еще более неистовые крики, веселый смех в зале и на хорах. Самгин тоже усмехался, посматривая на людей рядом с ним, особенно на толстяка в мундире министерства путей, — он смотрел на Дуняшу в бинокль и громко говорил, причмокивая:

— До чего мила, котенок! Гибельно мила…

Ей долго не давали петь, потом она что-то сказала публике и снова удивительно легко запела в тишине. Самгин вдруг почувствовал, что все это оскорбляет его. Он

даже отошел от публики на площадку между двух мраморных лестниц, исключил себя из этих сотен людей. Он живо вспомнил Дуняшу в постели, голой, с растрепанными волосами, жадно оскалившей зубы. И вот эта чувственная, разнузданная бабенка заставляет слушать ее, восхищаться ею сотни людей только потому, что она умеет петь глупые песни, обладает способностью воспроизводить вой баб и девок, тоску самок о самцах.

«Есть люди, которые живут, неустанно, как жернова — зерна, перемалывая разнородно тяжелые впечатления бытия, чтобы открыть в них что-то или превратить в ничто. Такие люди для этой толпы идиотов не существуют. Она — существует».

Размышляя, Самгин слушал затейливую мелодию невеселой песни и все более ожесточался против Дуняши, а когда тишину снова взорвало, он, вздрогнув, повторил:

«Идиоты!»

В зале как будто хлопали крыльями сотни куриц, с хор кто-то кричал:

— Украиньску-у!

На лестницу вбежали двое молодых людей с корзиной цветов, навстречу им двигалась публика, — человек с широкой седой бородой, одетый в поддевку, говорил:

— Обаятельно! Вот это — наше! Это — Русь! К Самгину подошла Марина в темнокрасном платье, с пестрой шалью на груди:

— Пойдем вниз, там чаю можно выпить, — предложила она и, опускаясь с лестницы, шумно вздохнула:

— До чего прелестно украшается она песнями, и какая чистота голоса, вот уж, можно сказать, — светоносный голосок!

У нее дрожали брови, когда она говорила, — она величественно кивала головой в ответ на почтительные поклоны ей.

— Я плохой ценитель народных песен, — сухо выговорил Самгин.

— Одно дело — песня, другое — пение.

Идти рядом с Мариной Самгину было неловко, — горожане щупали его бесцеремонно любопытными взглядами, поталкивали, не извиняясь. Внизу в большой комнате они толпились, точно на вокзале, плотной массой шли к буфету; он сверкал разноцветным стеклом бутылок, а среди бутылок, над маленькой дверью, между двух шкафов, возвышался тяжелый киот, с золотым виноградом, в нем — темноликая икона; пред иконой, в хрустальной лампаде, трепетал огонек, и это придавало буфету странное сходство с иконостасом часовни. А когда люди поднимали рюмки — казалось, что они крестятся. Где-то близко щелкали шары биллиарда, как бы ставя точки поучительным словам бородатого человека в поддевке:

— Напомнить в наши дни о старинной, милой красоте — это заслуга!

Налево, за открытыми дверями, солидные люди играли в карты на трех столах. Может быть, они говорили между собою, но шум заглушал их голоса, а движения рук были так однообразны, как будто все двенадцать фигур были автоматами.

Марина, расхваливая певицу вполголоса, задумчиво села в угол, к столику, я, спросив чаю, коснулась пальцами локтя Самгина.

— Что какой хмурый?

— Смотрю, слушаю.

— Ага — этого? Здешний дон-Жуан…

В двух шагах от Клима, спиною к нему, стоял тонкий, стройный человек во фраке и, сам себе дирижируя рукою в широком обшлаге, звучно говорил двум толстякам:

— Да, революция — кончена! Но — не будем жаловаться на нее, — нам, интеллигенции, она принесла большую пользу. Она счистила, сбросила с нас все то лишнее, книжное, что мешало нам жить, как ракушки и водоросли на киле судна мешают ему плавать…

— Отслужил и — разоблачается, — тихонько усмехаясь, вставила Марина.

— Теперь перед нами — живое практическое дело…

— Сынок уездного предводителя дворянства, — шептала Марина.

— Благоустройство государства…

— Молчать! — рявкнул сиповатый голос. Самгин, вздрогнув, привстал, все головы повернулись к буфету, разноголосый говор притих, звучнее защелкали шары биллиарда, а когда стало совсем тихо, кто-то сказал уныло:

— Ну, что же? Играем трефы..

У буфета стоял поручик Трифонов, держась правой рукой за эфес шашки, а левой схватив за ворот лысого человека, который был на голову выше его; он дергал лысого на себя, отталкивал его и сипел:

— Защищать такую шваль, а она…

Лысый, покачиваясь, держа руки по швам, мычал.

— Позовите дежурного старшину! — крикнул человек во фраке и убежал в комнату картежников.

— Личико-то какое — ух! — довольно равнодушно сказала Марина.

Самгин, не отрываясь, смотрел на багровое, уродливо вспухшее лицо и на грудь поручика; дышал поручик так бурно и часто, что беленький крест на груди его подскакивал. Публика быстро исчезала, — широкими шагами подошел к поручику человек в поддевке и, спрятав за спину руку с папиросой, спросил:

— Простите, — в чем дело?

— Пошел прочь, — устало сказал поручик, оттолкнув лысого, попытался взять рюмку с подноса, опрокинул ее и, ударив кулаком по стойке, засипел.

— А ты что, нарядился мужиком, болван? — закричал он на человека в поддевке. — Я мужиков — порю! Понимаешь? Песенки слушаете, картеж, биллиарды, а у меня люди обморожены, чорт вас возьми! И мне — отвечать за них.

Поручик, широко размахнув рукою, ударил себя в грудь и непечатно выругался…

— Позвоните коменданту, — крикнул бородатый человек и, схватив стул, отгородился им от поручика, — он, дергая эфес шашки, не придерживал ножны левой рукой.

— Ну — пойдем, — предложила Марина. Самгин отрицательно качнул головою, но она взяла его под руку и повела прочь. Из биллиардной выскочил, отирая руки платком, высокий, тонконогий офицер, — он побежал к буфету такими мелкими шагами, что Марина заметила:

— Бежит, а — не торопится.

— Делают революцию, потом орут, негодяи, — защищай! — кричал поручик; офицер подошел вплотную к нему и грозно высморкался, точно желая заглушить бешеный крик.

— У тебя ужасное лицо, что ты? — шептала Марина в ухо Самгину, — он пробормотал:

— Я в одном купе с ним ехал. Он — на усмирение. Он — ненормален…

— Ой, нехорош ты, нехорош, — сказала Марина, входя на лестницу.

Дробно звонил колокольчик, кто-то отчаянно взывал:

— Господа! Начинается второе отделение концерта…

На лестнице Марина выпустила руку Самгина, — он тотчас же сошел вниз в гардеробную, оделся и пошел домой. Густо падали хлопья снега, тихонько шуршал ветер, уплотняя тишину.

«Чего я испугался? — соображал Самгин, медленно шагая. — Нехорош, сказала она… Что это значит? Равнодушная корова», — обругал он Марину, но тотчас же почувствовал, что его раздражение не касается этой женщины.

«Поручик пьян или сошел с ума, но он — прав! Возможно, что я тоже закричу. Каждый разумный человек должен кричать: «Не смейте насиловать меня!»

Вместе е пьяным ревом поручика в памяти звучали слова о старинной, милой красоте, о ракушках и водорослях на киле судна, о том, что революция кончена.

«Ложь! — мысленно кричал Самгин. — Не кончена. Не может быть кончена, пока не перестанут пытать мое я…»

Он видел грубоватую наивность своих мыслей, и это еще более расстраивало, оскорбляло его. В этом настроении обиды за себя и на людей, в настроении озлобленной скорби, которую размышление не могло ни исчерпать, ни погасить, он пришел домой, зажег лампу, сел в угол в кресло подальше от нее и долго сидел в сумраке, готовясь к чему-то. Сидел и привычно вспоминал все, мимо чего он прошел и что — так или иначе, — но всегда враждебно задевало его. Напомнил себе, что таких обреченных одиночеству людей, вероятно, тысячи и тысячи и, быть может, он, среди них, — тот, кто страдает наиболее глубоко. Время, тяжело нагруженное воспоминаниями, тянулось крайне медленно; часы давно уже отметили полночь, и Самгин мельком подумал:

«Поклонники милой старины кормят ее в каком-нибудь трактире».

Неприятно было сознаться, что он ждет Дуняшу.

«Я жду не ее. Я — не влюбленный. Не слуга».

Но когда в коридоре зашуршало, точно ветер пролетел, и вбежала Дуняша, схватила его холодными лапками за щеки, поцеловала в лоб, — Самгин почувствовал маленькую радость.

— Ждешь? — быстрым шепотком опрашивала она. — Милый! Я так и думала: наверно — ждет! Скорей, — идем ко мне. Рядом с тобой поселился какой-то противненький и, кажется, знакомый. Не спит, сейчас высунулся в дверь, — шептала она, увлекая его за собою; он шел и чувствовал, что странная, горьковато холодная радость растет в нем.

— Не топай, — попросила Дуняша в коридоре. — Они, конечно, повезли меня ужинать, это уж — всегда! Очень любезные, ну и вообще… А все-таки — сволочь, — сказала она, вздохнув, входя в свою комнату и сбрасывая с себя верхнее платье. —

Я ведь чувствую: для них певица, сестра милосердия, горничная — все равно прислуга.

— Вчера ты говорила иначе, — напомнил Самгин.

— Разве надо каждый день говорить одно и то же? Так и себе и людям опротивеешь.

На столе кипел самовар, коптила неуклюжая лампа, — Самгин деловито убавил огонь.

— Ах, она такая подлая, — сказала Дуняша, махнув рукой на лампу. — Ну, скажи: как *я* пою? Нет, подожди — вымою руки, — нацеловали, измазали, черти.

Скрылась за ширмою и загремела там железом умывальника, ругаясь:

— У, чорт...

Лампа снова коптила. Самгин зажег две свечи, а лампу погасил.

— Так — уютнее, — согласилась Дуняша, выходя из-за ширмы в капотике, обшитом мехом; косу она расплела, рыжие волосы богато рассыпались по спине, по плечам, лицо ее стало острее и приобрело в глазах Клима сходство с мордочкой лисы. Хотя Дуняша не улыбалась, но неуловимые, изменчивые глаза ее горели радостью и как будто увеличились вдвое. Она села на диван, прижав голову к плечу Самгина.

— Милый, я — рада! Так рада, что — как пьяная и даже плакать хочется! Ой, Клим, как это удивительно, когда чувствуешь, что можешь хорошо делать свое дело! Подумай, — ну, что я такое? Хористка, мать — коровница, отец — плотник, и вдруг — могу! Какие-то морды, животы перед глазами, а я — пою, и вот, сейчас — сердце разорвется, умру! Это... замечательно!

Вином от нее не пахло, только духами. Ее восторг напомнил Климу ожесточение, с которым он думал о ней и о себе на концерте. Восторг ее был неприятен. А она пересела на колени к нему, сняла очки и, бросив их на стол, заглянула в глаза.

— Ну, скажи: понравилось тебе?

Протянув руку за очками, Самгин наклонился так, что она съехала с его колен; тогда он встал и, шагая по комнате со стаканом вина в руке, заговорил, еще не зная, что скажет:

— Я опоздал, пришлось стоять у двери, там плохо слышно, а в перерыв...

Он стал подробно рассказывать о своем невольном знакомстве с поручиком, о том, как жестко отнесся поручик к старику жандарму. Но Дуняшу несчастье жандарма не тронуло, а когда Самгин рассказал, как хулиган сорвал револьвер, — он слышал, что Дуняша прошептала:

— Вот молодец...

Самгин с досадой покосился на нее, говоря о бунте поручика в клубе. Дуняша слушала, приоткрыв по-детски рот, мигая, и медленно гладила щеки свои волосами, забрав их в горсти.

— После скандала я ушел и задумался о тебе, — вполголоса говорил Самгин, глядя на дымок папиросы, рисуя ею восьмерки в воздухе. — Ты, наверху, поешь, воображая, что твой голос облагораживает скотов, а скоты, внизу...

— Почему же офицер — скот? — нахмурив брови, удивленно опросила Дуняша. — Он просто — глупый и нерешительный. Он бы пошел к революционерам и сказал: я — с вами! Вот и всё.

Налив себе рюмку мадеры, она сказала:

— А я — вовсе ничего не воображаю.

— Разумеется, поручик меня не интересует, а вот твое будущее…

И, остановясь против Дуняши, он стал изображать ее будущее.

— Голос у тебя небольшой и его ненадолго хватит. Среда артистов — это среда людей, избалованных публикой, невежественных, с упрощенной моралью, разнузданных. Кое-что от них — например, от Алины — может быть, уже заразило и тебя.

Он видел, что лицо Дуняши вытягивается, теряет краски оживления, становится пестреньким, — выступили веснушки, и она прищурила глаза.

— Общественные шуты, они живут для забавы сытых…

— Ах, боже мой! — вскричала Дуняша, удивленно всплеснув руками, — вот не ожидала! Ты говоришь совсем, как муж мой…

— Если он так говорил, он говорил не глупо, — сказал Самгин, отходя от нее, а она, покраснев до плеч, закидывая волосы на спину, продолжала:

— Нет — глупо! Он — пустой. В нем всё — законы, всё — из книжек, а в сердце — ничего, совершенно пустое сердце! Нет, подожди! — вскричала она, не давая Самгину говорить. — Он — скупой, как нищий. Он никого не любит, ни людей, ни собак, ни кошек, только телячьи мозги. А я живу так: есть у тебя что-нибудь для радости? Отдай, поделись! Я хочу жить для радости… Я знаю, что это — умею!

Но тут из глаз ее покатились слезы, и Самгин подумал, что плакать она — не умеет: глаза открыты и ярко сверкают, рот улыбается, она колотит себя кулаками по коленям и вся воинственно оживлена. Слезы ее — не настоящие, не нужны, это — не слезы боли, обиды. Она говорила низким голосом:

— Он — дурак. Всегда — дурак: стоя, сидя, лежа. Вот эдаких надобно пороть… даже расстреливать надобно, — не дыми, не воняй, дурак!

Самгин слушал и чувствовал, что злится. Погасив папиросу о ломтик лимона, он сказал сквозь зубы:

— Подожди, не бесись…

Она — не ждала. Откинувшись на спинку дивана, упираясь руками в сиденье и разглядывая Самгина удивленно, она говорила:

— Совершенно не понимаю, как ты можешь петь по его нотам? Ты даже и не знаком с ним. И вдруг ты, такой умный… чорт знает что это!

Самгин пожал плечами, говоря:

— Ты поешь сладкие песенки, а идиоты убеждаются, что все благополучно.

Он понимал, что говорит плохо и что слова его не доходят до нее. Ему хотелось крикнуть, топнуть, вообще — испугать эту маленькую женщину, чтоб она заплакала другими слезами. Враждебное чувство к ней, опьяняя его, возбуждало чувственность, вызывало мстительное желание. Он шагал мимо нее, рисуя пред собою картину цинической расправы с нею, готовясь схватить ее, мять, причинить ей боль, заставить плакать, стонать; он уже не слышал, что говорит Дуняша, а смотрел на ее почти открытые груди и знал, что вот сейчас…

Но она сама, схватив его за руку, заставила сесть рядом с собою и, крепко обняв голову его, спросила быстрым, тревожным шопотом:

— Что с тобой, милый? Кто тебя обидел? Ну, скажи мне! боже мой, у тебя такие сумасшедшие, такие жалкие глаза».

Это было глупо, смешно и унизительно. Этого он не мог ожидать, даже не мог бы вообразить, что Дуняша или какая-то другая женщина заговорит с ним в таком тоне. Оглушенный, точно его ударили по голове чем-то мягким, но тяжелым, он попытался освободиться из ее крепких рук, но она, сопротивляясь, прижала его еще сильней и горячо шептала в ухо ему:

— Я знаю, что тебе трудно, но ведь это — ненадолго, революция — будет, будет!

— Позволь, — пробормотал он, собираясь сказать ей что-то сердитое, ироническое, убийственное, но сказал только: — Мне — неудобно.

В самом деле было неудобно: Дуняша покачивала голову его, жесткий воротник рубашки щипал кожу на шее, кольцо Дуняши больно давило ухо.

— Ты — умница, — шептала она. — Я ведь много знаю про тебя, слышала, как рассказывала Алина Лютову, и Макаров говорил тоже, и сам Лютов тоже говорил хорошо…

Выдернув, наконец, голову, оправляя волосы, Клим вскочил на ноги.

— Лютов не мог хорошо говорить обо мне и вообще о ком-нибудь.

Он чувствовал, что говорит — не то, ведет себя — не так и, должно быть, смешон.

— Нет, нет, это неверно, — торопливо и убедительно восклицала Дуняша. — Он сказал Макарову при мне:

«Самгин смотрит на улицу с чердака и ждет своего дня, копит силы, а дождется, выйдет на свет — тут все мы и ахнем!» Только они говорят, что ты очень самолюбив и скрытен.

Она стояла пред ним, положив руки на плечи его, — руки были тяжелые, а глаза ее блестели ослепляюще.

«Пошлейшая сцена», — убеждал себя Самгин, но слушал.

— Лютов — замечательный! Он — точно Аким Александрович Никитин, — знаешь, директор цирка? — который насквозь видит всех артистов, зверей и людей.

Он обнимал талию женщины, но руки ее становились как будто все тяжелее и уничтожали его жестокие намерения, охлаждали мстительно возбужденную чувственность. Но все-таки нужно было поставить женщину на ее место.

— Ну, довольно! — сказал он и, намеренно крепко, грубо схватил ее, приподнял, но она вырвалась из его рук, отскочила за стол.

— Нет, подожди! Ты думаешь, я — блаженненькая, вроде уличной дурочки? Думаешь — не знаю я людей? Вчера здешний газетчик, такой курносенький, жирный поросенок… Ну, — не стоит говорить!

И, запахнув капот на груди, она громко сказала:

— Делиться надобно не пакостью, а радостью…

— Довольно, — повторил Самгин, подходя к ней.

— Оставь, расстроил ты меня и… устала я! Вздохнув, она скучно взглянула за плечо его, мимо лица.

— Надеялась, — попраздную с тобою! А — не вышло… Ты — иди. Уж очень я… не в духе! И — поздно уже. Иди, пожалуйста!

Самгин ушел, не сказав ни слова, надеясь, что этим обидит ее или заставит понять, что он — обижен. Он действительно обиделся на себя за то, что сыграл в этой

странной сцене глупую роль.

«Черт меня дернул говорить с нею! Она вовсе не для бесед. Очень пошлая бабенка», — сердито думал он, раздеваясь, и лег в постель с твердым намерением завтра переговорить с Мариной по делу о деньгах и завтра же уехать в Крым.

Но утром, когда он пил чай, явился Дронов.

Всем существом своим он изображал радость, широко улыбался, показывая чиненные золотом зубы, быстро катал шарики глаз своих по лицу и фигуре Самгина, сучил ногами, точно муха, и потирал руки так крепко, что скрипела кожа. Стертое лицо его напоминало Климу людей сновидения, у которых вместо лица — ладони.

— Постарел ты, Самгин, седеешь, и волос редковат, — отметил он и добавил с дружеским упреком: — Рановато! Хотя время такое, что даже позеленеть можно.

Самгин предложил ему чаю, но Дронов попросил вина.

— Тут есть беленькое, «Грав», — очень легкое и милое! Сырку опроси, а потом — кофеишко закажем, — бойко внушал он. — Ты — извини, но я почти не спал ночью, после концерта — ужин, а затем — драма: офицер с ума спятил, изрубил шашкой полицейского, ранил извозчика и ночного сторожа и вообще — навоевал!

— Весело рассказываешь, — отметил Самгин, усмехаясь; Дронов покосился на него прищуренным глазом и, почесывая бритый подбородок, сказал очень просто:

— Я, брат, циником становлюсь. Жизнь всего успешнее обучает цинизму.

И, потянув носом, он добавил, тоже усмехаясь:

— Теперь, когда ее взболтали, она — гнильем пахнет. Не чувствуешь?

— Нет, — ответил Самгин, думая, что, если рассказать ему, как вел себя, что говорил поручик в поезде, — Дронов напишет об этом и все опошлит.

— Не чувствуешь? — повторил Дронов и, приятельски заказав слуге вино, сыр, кофе, — зевнул.

— А знаешь, — здесь Лидия Варавка живет, дом купила. Оказывается — она замужем была, овдовела и — можешь представить? — ханжой стала, занимается религиозно-нравственным возрождением народа, это — дочь цыганки и Варавки! Анекдот, брат, — верно? Богатая дама. Ее тут обрабатывает купчиха Зотова, торговка церковной утварью, тоже, говорят, сектантка, но — красивейшая бабища...

Самгину неприятно было узнать, что Лидия живет в этом городе, и захотелось расспросить о Марине.

— В каком смысле — обрабатывает, — в сектантском?

— Чорт ее знает! Вот — заставила Лидию купить у нее дом, — неохотно, снова зевнув, сказал Дронов, вытянул ноги, сунул руки в карманы брюк и стремительно начал спрашивать:

— Ну, что у вас там, в центре? По газетам не поймешь: не то — все еще революция, не то — уже реакция? Я, конечно, не о том, что говорят и пишут, а — что думают? От того, что пишут, только глупеешь. Одни командуют: раздувай огонь, другие — гаси его! А третьи предлагают гасить огонь соломой...

— А сам ты как думаешь? — спросил Клим; он не хотел говорить о политике и старался догадаться, почему Марина, перечисляя знакомых, не упомянула о Лидии?

— Как думаю я? — переспросил Дронов, налил вина, выпил, быстро вытер губы платком, и все признаки радости исчезли с его плоского лица; исподлобья глядя на Клима, он жевал губами и делал глотательные движения горлом, как будто его тошнило. Самгин воспользовался паузой.

— Все-таки: что же такое — эта? Зотова?

— А... зачем она тебе?

Клим сказал, что приехал он по делу своего доверителя с Зотовой.

— Угу, — отозвался Дронов. — Нашел время судиться доверитель твой! Чокнемся!

Сладостно прикрыв глаза, Дронов высосал вино и вздохнул:

— Зотова? Красива, богата, говорят — умна и якобы недоступна вожделениям плоти, пользуется в городе почетом, а в общем — темная баба! Муж у нее, говорят, был каким-то доморощенным философом, сектантом и ростовщиком, разорил кого-то вдребезги, тот — застрелился. Ты про нее Лидию опроси, — сказал он, пожимаясь, точно ему стало холодно. — Она Лидию, наверно, обирает. Лидия ведь богата — у-у! Я у нее денег просил на издательство, — мечта моя — книги издавать! Согласилась, обещала, но эта, Зотова, видимо, запретила ей. Ну — чорт с ними! Денег я достану. Нет, ты мне скажи: будет у нас конституция?

— Будет, — обещал Самгин, не глядя на него.

— Так...

Дронов приподнялся, подогнул под себя ногу, сел на нее и несколько секунд присматривался к лицу Самгина, покусывая губы, играя цепочкой часов; потом — опросил:

— А тебе она — нужна? Конституция?

— Странный вопрос.

— Нет, — серьезно?

— Шаг вперед, — нехотя сказал Самгин, пожимая плечами.

— И — далеко вперед? — назойливо добивался Дронов. Клим, разливая вино по стаканам, ответил не сразу:

— Увидим.

— Осторожно (жазаво, — вздохнул Дронов. — А я, брат, что-то «е верю в благополучие. Россия — страна не-бла-го-по-лу-чная, — произнес он, напомнив тургеневского Пигасова. — Насквозь неблагополучная. И правят в ней не Романовы, а Карамазовы. Бесы правят. «Закружились бесы разны».

«Пьянеет», — отметил Самгин.

Лицо Дронова расплылось, он сопел, трепетали ноздря, уши налились кровью и вспухли.

— Томилина помнишь? Вещий человек. Приезжал сюда читать лекцию «Идеал, действительность и «Бесы» Достоевского». Был единодушно освистан. А в Туле или в Орле его даже бить хотели. Ты что гримасничаешь?

— Голова болит.

— Бек или мек?

— Я перестал заниматься политикой.

Ответ Самгина или равнодушие ответа как будто отрезвили Дронова, — он вынул золотые часы и, глядя на них, сказал очень просто и трезво:

— Да, ты — не из тех рыб, которые ловятся на блесну! Я — тоже не из них. Томилин, разумеется, каталог книг, которые никто не читает, н самодовольный идиот. Пророчествует — со страха, как вое пророки. Ну и — к черту его!

Раскачивая часы на цепочке и задумчиво глядя в лицо Самгина, он продолжал:

— Однако — в какой струе плыть? Вот мой вопрос, откровенно говоря. Никому, брат, не верю я. И тебе не верю. Политикой ты занимаешься, — все люди в очках занимаются политикой. И, затем, ты адвокат, а каждый адвокат метит в Гамбетты и Жюль Фавры.

— Это остроумно, — сказал Самгин, находя, что надо же сказать что-нибудь.

Дронов встал, посмотрел на свои ноги в гамашах.

— Вижу, что ты к беседе по душам не расположен, — проговорил он, усмехаясь. — А у меня времени нет растрясти тебя. Разумеется, я — понимаю: конспирация! Третьего дня Инокова встретил на улице, окликнул даже его, но он меня не узнал будто бы. Н-да. Между нами — полковника-то Васильева он ухлопал, — факт! Ну, что ж, — прощай, Клим Иванович! Успеха! Успехов желаю.

Казалось, что Дронов не ушел, а расплылся в воздухе серым, жирненьким дымом.

«Маленький негодяй хочет быть большим, но чего-то боится», — решил Самгин, толкнув коленом стул, на котором сидел Дронов, и стал тщательно одеваться, собираясь к Марине.

«Она тоже говорила о страхе жизни», — вспомнил он, шагая под серебряным солнцем. Город, украшенный за ночь снегом, был удивительно чист и необыкновенно, ласково скучен.

Магазин Мариаы был наполнен блеском еще более ослепительным, как Суд-то всю церковную утварь усердно вычистили мелом. Особенно резал глаза Христос, щедро и весело освещенный солнцем, позолоченный, кокетливо распятый на кресте черного мрамора. Марина продавала старику в полушубке золотые нательные крестики, он задумчиво пересыпал их из горсти в горсть, а она говорила ему ласково и внушительно:

— О предметах священных много торговаться — нехорошо!

— Да ведь со мною покупатель-то будет торговаться? — опросил старик, покачивая головой. — Ему тоже охота священный-то подешевле купить…

Тем же ласковым тоном, каким она говорила с покупателем, Марина сказала Самгину:

— Проходите, пожалуйста, туда!

Комната за магазином показалась Климу давно и до мельчайших подробностай знакомой. Это было так странно, что лотребовада объяснения, однако Самгин не нашел его.

«Зрительная память у тяеня не так хороша», — подумал он.

Лепообразвый отрок плотно прикрыл дверь из магазина, — это придало комнате еще более неприятную затаенность. Теплый, духовитый сумрак тоже был неприятен.

«Темная баба.», — вспомнил Клим отзыв Дронова и презрительно ствдумал: «Как муха, на всем оставляет свой грязный след».

Явилась Марина, побрякивая ключами; он тотчас же рассказал ей, зачем пришел, а она, внимательно выслушав его, лениво сказала-:

— Алеша-то Гогин, должно быть, не знает, что арест на деньги наложен был мною по просьбе Кутузова. Ладно, это я устрою, а ты мне поможешь, — к своему адвокату я не хочу обращаться с этим делом. Ты — что же, — в одной линии со Степаном?

— Не совсем, — сказал Самгин. — Помогаю чем могу.

— Сочувствуешь, — сказала она, как бы написав слово крупным почерком, и объяснила его сама себе: — Сочувствовать — значит чувствовать наполовину. Чайку выпьем?

Она пощупала бок самовара, ткнула пальцем в кнопку звонка и, когда в дверь заглянул отрок, сказала:

— Подогрей, Мишка!

Затем снова обратилась к Самгину:

— Около какой же правды греешься? Марксист все-таки?

— Экономическое его учение принимаю…

— Степан утверждает, что Маркса нужно принимать целиком или уж лучше не беспокоить. Самгин, усмехаясь, спросил:

— Ты — не беспокоишь?

Она не успела ответить, — в магазине тревожно задребезжал звонок. Самгин уселся в кресло поплотнее, соображая:

«Исповедовать хочет. Бабье любопытство…»

Он снова заставил себя вспомнить Марину напористой девицей в желтом джерси и ее глупые слова: «Ношу джерси, потому что терпеть не могу проповедей Толстого». Кутузов называл ее Гуляй-город. И, против желания своего, Самгин должен был признать, что в этой женщине есть какая-то приятно угнетающая, теплая тяжесть.

«Простодушие? Искренность? Любопытный тип. Странно, что она сохранила добрые отношения с Кутузовым».

В магазине мягкий басок вкрадчиво выпевал:

— Какой сияющий день послал нам господь и как гармонирует природа с веселием граждан, оживленных духом свободы…

Затем басок стал говорить потише, а Марина твердо сказала:

— Сто тридцать пять, меньше — не могу. 154

— Городок у нас, почтеннейшая, маленький, прихожане — небогаты, кругом — язычники, мордва.

— Не могу, — повторила Марина.

— Ох, какие большие деньги сто рублей! Самгин слушал и улыбался. Красавец Миша внес яростно кипевший самовар и поглядел на гостя сердитым взглядом чернобровых глаз, — казалось, он хочет спросить о чем-то или выругаться, но явилась Марина, говоря:

— Жестоко торгуются попы! Четвертый раз приходит, а сам — из далекого уезда. Сколько денег проест, живя здесь.

Заваривая чай, она продолжала:

— Большая у меня охота побеседовать с тобой эдак, знаешь, открыто, без многоточий, очень это нужно мне, да вот всё мешают! Ты выбери вечерок, приди ко мне сюда или домой.

— С удовольствием, — сказал Самгин.

— Вот — завтра. Воскресенье, торгую до двух. Помню я тебя человеком несогласным, а такие и есть самые интересные.

Самгин счел нужным предупредить, что едва ли он покажется ей интересным.

— Ну, как же это? — ласково возразила она. — Прожил человек половину жизни…

— Жизнь сводится, в сущности, к возне человека с самим собою, — почти сердито, неожиданно для себя, произнес Самгин, и это еще более рассердило его.

— Это — правда, — легко и просто согласилась Марина, как будто она услыхала самые обыкновенные слова.

«Не поняла», — подумал он, хмурясь, дергая бородку и довольный тем, что она отнеслась к его невольному признанию так просто. Но Марина продолжала:

— «Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя», — как сказал Глеб Иванович Успенский о Льве Толстом. А ведь это, пожалуй, так и установлено навсегда, чтобы земля вращалась вокруг солнца, а человек — вокруг духа своего.

Самгин посмотрел на нее вопросительно, ожидая какой-то каверзы; она, подвинув ему чашку чая, вздохнула:

— Прелестный человек был Глеб Иванович! Я его видела, когда он уже совсем духовно истлевал, а супруг мой близко знал его, выпивали вместе, он ему рассказы свои присылал, потом они разойтись в разуме.

Она усмехнулась, разглаживая ладонями юбку на коленях:

— На оттиске рассказа «Взбрело в башку» он супругу моему написал: «Искал ты равновесия, дошел до мракобесия».

— Что значит: разошлись в разуме? — спросил Самгин, когда она, замолчав, начала пить чай.

— Ну, — в привычках мысли, в направлении ее, — сказала Марина, и брови ее вздрогнули, по глазам скользнула тень. — Успенский-то, как ты знаешь, страстотерпец был и чувствовал себя жертвой миру, а супруг мой — гедонист, однако не в смысле только плотского наслаждения жизнью, а — духовных наслаждений.

Глядя в ее потемневшие глаза, Клим требовательно произнес:

— Этого я не понимаю…

— Да, тебе трудно понять, — согласилась Марина. — Недаром ты и лицом на Успенского несколько похож.

— Я? — удивленно спросил Самгин. — И лицом? Почему — и? Разве ты думаешь, что я тоже — миру жертва?

— Ну, а кто — не жертва ему? — спросила Марина и вдруг сочно рассмеялась, встряхнув головою так, что пышные каштановые волосы пошевелились, кад дым. Сквозь смех она говорила:

— Да ты чего испугался? Ты меня дурочкой, какой в Петербурге знал, — не

вспоминай, я теперь по-другому дурочка.

— Я — не испугался, — пробормотал он, отодвигаясь, — но согласись, что™

Марина встала, протягивая руку:

— Значит — до завтра? К двум. Ну, — будь здоров! Провожая его, она, в магазине, сказала:

— Слышал — офицер-то людей изрубил? Ужас какой!

— Да, — согласился. Самгин.

«Действительно — темная баба», — размышлял он, шагая по улице в холодном сумраке вечера. Размышлял сердито и чувствовал, что неприязненное любопытство перерождается в серьезный и тревожный: интерес к этой женщине. Он оправдывался пред кем-то:

«Всякого заинтересовала бы. Гедонизм. Чепуха какая-то. Очевидно — много читала. Говорит в манере героинь Лескова. О поручике вспомнила после всего и равнодушно. Другая бы ужасалась долго. И — сентиментально… Интеллигентские ужасы всегда и вообще сентиментальны… Я, кажется, не склонен ужасаться. Не умею. Это — достоинство или недостаток?»

Не желая видеть Дуняшу, он зашел в ресторан, пообедал там, долго сидел за кофе, курил и рассматривал, обдумывал Марину, но понятнее для себя не увидел ее. Дома он нашел письмо Дуняши, — она извещала, что едет — петь на фабрику посуды, возвратится через день. В уголке письма было очень мелко приписано: «Рядом с тобой живет подозрительный, и к нему приходил Судаков. Помнишь Судакова?»

Самгин разорвал записку на мелкие кусочки, сжег их в пепельнице, подошел к стене, прислушался, — в соседнем номере было тихо. Судаков и «подозрительный» мешали обдумывать Марину, — он позвонил, пришел коридорный — маленький старичок, весь в белом и седой.

«Какой… нереальный», — отметил Самгин. — Самовар и бутылку красного вина, пожалуйста! Рядом со мной живет кто-нибудь?

— Ополдень изволили выехать на вокзал, — вежливо ответил старичок.

Это было приятно слышать, и Самгин тотчас же вернулся к Марине.

«Дурочка — по-другому»? Верует в бога. И, кажется, иронизирует над собой. Неужели — в церковного бога? В сущности, она, несмотря на объем ее, тоже — нереальна. Необычна», — уступил он кому-то, кто хотел возразить.

Запах жженой бумаги вынудил его открыть форточку. В разных местах города выли и лаяли на луну собаки. Луна стояла над пожарной каланчой. — «Как точка над i», — вспомнил Самгин стих Мюссе, — и тотчас совершенно отчетливо представил, как этот блестящий шарик кружится, обегая землю, а земля вертится, по спирали, вокруг солнца, стремительно — и тоже по спирали — падающего в безмерное пространство; а на земле, на ничтожнейшей точке ее, в маленьком городе, где воют собаки, на пустынной улице, в деревянной клетке, стоит и смотрит в мертвое лицо луны некто Клим Самгин.

Стало холодно, — вздрогнув, он закрыл форточку. Космологическая картина исчезла, а Клим Самгин остался, и было совершенно ясно, что и это тоже какой-то нереальный человек, очень неприятный и даже как бы совершенно чужой тому, кто думал о нем, в незнакомом деревянном городе, под унылый, испуганный вой собак.

«Суть в том, что я не могу найти в жизни точку, которая притягивала бы меня

всего целиком».

Стало жалко себя, и тогда он подумал:

«Это — свойство людей исключительно одаренных, разнообразно талантливых».

«Но, может быть, — и свойство людей… разбитых ударами действительности».

«Бездарных? Нет. Бездарность — это бесформенность, неопределенность. Я — достаточно определенен».

Другой Самгин тоже угрюмо, но строго и почти грубо возразил ему:

«Ты мог бы не делать таких глупостей, как эта поездка сюда. Ты исполняешь поручение группы людей, которые мечтают о социальной революции. Тебе вообще никаких революций не нужно, и ты не веришь в необходимость революции социальной. Что может быть нелепее, смешнее атеиста, который ходит в церковь и причащается?»

Ссора быстро принимала ожесточенный характер; вмешался Самгин третий — Самгин мелких мыслей.

«О причастии говорила Дуняша…»

Самгин первый углублял мысли.

«Причаститься — значит признать и почувствовать себя частью некоего целого, отказаться от себя. Возможно, что это воображается, но едва ли чувствуется. Один из самообманов, как «любовь к народу», «классовая солидарность».

«А — Степан Кутузов?»

«Он сам утверждал, что капиталистическое общество разрушает социальный инстинкт».

«Он — делает, «делающий — это верующий».

«Он делает не то, что все, а против всех. Ты делаешь, не веруя. Едва ли даже ты ищешь самозабвения. Под всею путаницей твоих размышлений скрыто живет страх пред жизнью, детский страх темноты, которую ты не можешь, не в силах осветить. Да и мысли твои — не твои. Найди, назови хоть одну, которая была бы твоя, никем до тебя не выражена?»

Этот, новый Самгин явно одолевал, и тот, который видел сам себя настоящим, реальным, почти уже не сопротивлялся ему, а только подумал устало:

«Заболеваю или выздоравливаю?»

Безмолвная ссора продолжалась. Было непоколебимо тихо, и тишина эта как бы требовала, чтоб человек думал о себе. Он и думал. Пил вино, чай, курил папиросы одну за другой, ходил по комнате, садился к столу, снова вставал и ходил; постепенно раздеваясь, снял пиджак, жилет, развязал галстук, расстегнул ворот рубахи, ботинки снял.

Думы однообразно повторялись, становясь все более вялыми, — они роились, как мошки, избрав для игры своей некую пустоту, которая однако не была свободна и заключалась в тесных границах. Потом Самгин погасил лампу, лег в постель, — тогда вокруг него стало еще более тихо, пусто и обидно. Обида разрасталась, перерождаясь в другое чувство, похожее на страх перед чем-то. Неприятно, волнами, набегала дремота, но заснуть не удавалось, мешали толчки изнутри, вызывая дрожь в теле. Бесконечно долго тянулась эта опустошенная, немая ночь, потом загудел благовест к ранней обедне, — медь колоколов пела так громко, что стекла окон отзывались ноющим звуком, звук этот напоминал начало зубной боли.

«Ждать до двух — семь часов», — сердито сосчитал Самгин. Было еще темно, когда он встал и начал мыться, одеваться; он старался делать все не спеша и ловил себя на том, что торопится. Это очень раздражало. Потом раздражал чай, слишком горячий, и была еще одна, главная причина всех раздражений: назвать ее не хотелось, но когда он обварил себе палец кипятком, то невольно и озлобленно подумал:

«Веду я себя — точно перед экзаменом. Или — как влюбленный».

С трудом дотянув время до полудня, Самгин оделся и вышел на улицу.

Его встретил мягкий, серебряный день. В воздухе блестела снежная пыль, оседая инеем на проводах телеграфа и телефона, — сквозь эту пыль светило мутноватое солнце. Петом обогнал человек в новеньком светлосером пальто, в серой пуховой шляпе, надетой так глубоко, что некрасиво оттопырились уши.

Шел он очень быстро, наклонив голову, держа руки в карманах, и его походка напомнила Самгину, что он уже видел этого человека в коридоре гостиницы, — видел сутулую спину его и круто стесанный затылок в черных, гладко наклеенных волосах.

«Вероятно, Дуняшин «подозрительный». На филера — не похож. Да ведь подозрительный вчера уехал...»

Человек дошел до угла, остановился и, согнувшись, стал поправлять галошу, подняв ногу; поправил, натянул шляпу еще больше и скрылся за углом.

Пустынная улица вывела Самгина на главную, — обе они выходили под прямым углом на площадь; с площади ворвалась пара серых лошадей, покрытых голубой сеткой; они блестели на солнце, точно смазанные маслом, и выкидывали ноги так гордо, красиво, что Самгин приостановился, глядя на их быстрый парадный бег. На козлах сидел, вытянув руки, огромный кучер в меховой шапке с квадратным голубым верхом, в санях — генерал в широчайшей шинели; голову, накрытую синим кружком фуражки, он спрятал в бобровый воротник и был похож на колокол, отлитый из свинца. Сзади саней тяжело подпрыгивали на рыжих лошадях двое полицейских в черных шинелях, в белых перчатках.

Самгин кидал, как за санями взорвался пучок огня, похожий на метлу, разодрал воздух коротким ударом грома, взметнул облако снега и зеленоватого дыма; все вокруг дрогнуло, зазвенели стекла, — Самгин пошатнулся от толчка воздухом в грудь, в лицо и крепко прилепился к стене, на углу. Он видел, как в прозрачном облаке дыма и снега кувыркалась фуражка; она первая упала на землю, а за нею падали, обгоняя одна другую, щепки, серые и краевые тряпки; две из них взлетели особенно высоко и, легкие, падали страшно медленно, точно для того, чтоб навсегда остаться в памяти. Видел Самгин, как по снегу, там и тут, появлялись красные капли, — одна из них упала близко около него, на вершину тумбы, припудренную снегом, и это было так нехорошо, что он еще плотней прижался к стене.

Он не заметил, откуда выскочила и, с разгона, остановилась на углу черная, тонконогая лошадь, — остановил ее Судаков, запрокинувшись с козел назад, туго вытянув руки; из-за угла выскочил человек в сером пальто, прыгнул в сани, — лошадь помчалась мимо Самгина, и он видел, как серый человек накинул на плечи шубу, надел мохнатую шапку.

Пара серых лошадей бежала уже далеко, а за ними, по снегу, катился кучер; одна из рыжих, неестественно вытянув шею, шла на трех ногах и хрипела, а вместо четвертой в снег упиралась толстая струя крови; другая лошадь скакала вслед серым, — ездок обнимал ее за шею и кричал; когда она задела боком за столб для афиш, ездок свалился с нее, а она, прижимаясь к столбу, скрипуче заржала.

Второй полицейский, лысый, без шапки, сидел на снегу; на ногах у него лежала боковина саней, он размахивал рукой без перчатки и кисти, — из руки брызгала

кровь, — другой рукой закрывал лицо и кричал нечеловеческим голосом, похожим на блеяние овцы.

Самгин, оглушенный, стоял на дрожащих ногах, очень хотел уйти, но не мог, точно спина пальто примерзла к стене и не позволяла пошевелиться. Не мог он и закрыть глаз, — все еще падала взметенная взрывом белая пыль, клочья шерсти; раненый полицейский, открыв лицо, тянул на себя медвежью полость; мелькали люди, почему-то все маленькие, — они выскакивали из ворот, из дверей домов и становились в полукруг; несколько человек стояло рядом с Самгиным, и один из них тихо сказал:

— Вот и у нас...

Никто не решался подойти к бесформенной груде серых и красных тряпок, — она сочилась кровью, и от крови поднимался парок. Было страшно смотреть на это, не имеющее никакого подобия человека, растерзанное и — маленькое. Глаза напряженно искали в куче тряпок что-нибудь человеческое, и Самгин закрыл глаза только тогда, когда различил под мехом полости желтую щеку, ухо и, рядом с ним, развернутую ладонь. Голоса людей зазвучали громче, двое подошли к полицейскому, наклонились над ним. Высокая барышня с коньками в руке спросила Самгина:

— Вы ранены?

Он тряхнул головой, оторвался от стены и пошел; идти было тяжко, точно по песку, мешали люди; рядом с ним шагал человек с ремешком на голове, в переднике и тоже в очках, но дымчатых.

— Вот те и превосходительство, — тихонько сказал он, подхватив Самгина под локоть, и шепнул ему: — Сотрите кровь-то со щеки, а то в свидетели потянут.

Быстро выхватив платок из кармана, Самгин прижал его к правой щеке и, почувствовав остренькую, колющую боль, с испугом поднял воротник. Боль в щеке была не сильная, но разлилась по всему телу и ослабила Клима. Он остановился на углу, оглядываясь: у столба для афиш лежала лошадь с оторванной ногой, стоял полицейский, стряхивая перчаткой снег с шинели, другого вели под руки, а посреди улицы — исковерканные сани, красно-серая куча тряпок, освещенная солнцем; лучи его все больше выжимали из нее крови, она как бы таяла; Самгину показалось, что и небо, и снег, и стекла в окнах — всё стало ярче, — ослепительно и даже бесстыдно ярко. Он шел осторожно, как по льду, — ему казалось, что если он пойдет быстрее, то свалится. Вероятно, он прошел бы мимо магазина Марины, но она стояла на панели.

— Губернатора? — тихонько спросила она и, схватив Самгина за рукав пальто, толкнула его в дверь магазина. — Ой, что это, лицо-то у тебя? Клим, — да неужели ты..?

По ее густому шопоту, по толчкам в спину Самгин догадался, что она испугалась и, кажется, подозревает его. Он быстро пробормотал несколько слов, и Марина, втолкнув его в комнату, заговорила громче, деловито:

— Ну-ко, покажи! В ранке есть что-то... Сядь! Отбежала в угол комнаты, спрашивая:

— Бомбиста — схватили? Нет?

Потом она обожгла щеку его одеколоном, больно поковыряла ее острым ногтем и уже совсем спокойно сказала:

— Железинка воткнулась, — пустяки! Вот если бы в глаз... Ну, рассказывай!

Но говорить он не мог, в горле шевелился горячий сухой ком, мешая дышать; мешала и Марина, заклеивая ранку на щеке круглым кусочком пластыря. Самгин

оттолкнул ее, вскочил на ноги, — ему хотелось кричать, он боялся, что зарыдает, как женщина. Шагая по комнате, он слышал:

— Ой, как тебя ушибло! На, выпей скорее… И возьми-ко себя в руки… Хорошо, что болвана Мишки нет, побежал туда, а то бы… Он с фантазией. Ну, довольно, Клим, сядь!

Самгин послушно сел, закрыл глаза, отдышался и начал рассказывать, судорожно прихлебывая чай, стуча стаканом по зубам. Рассказывал он торопливо, бессвязно, чувствовал, что говорит лишнее, и останавливал себя, опаздывая делать это.

«Не следовало называть Судакова».

Марина слушала, приподняв брови, уставясь на него янтарными зрачками расширенных глаз, облизывая губы кончиком языка, — на румяное лицо ее, как будто изнутри, выступила холодная тень.

— Когда парнишка придет — ты перестань об этом, — предупредила она.

И, не отводя глаз от его лица, поправляя обеими руками тяжелую массу каштановых волос, она продолжала вполголоса:

— Но — до чего ты раздерган! Вот — не ожидала! Такой ты был… уравновешенный. Что же с тобой будет, эдак-то?

Самгин пожал плечами, — тон ее был неприятен ему, а она строговато, как старшая, начала допрашивать его:

— С женой — совсем порвал? С Дуняшей-то серьезно, что ли? Как же и где думаешь жить? — Он отвечал ей кратко, откровенно и, сам несколько удивляясь этой откровенности, постепенно успокаивался.

— В своей ли ты реке плаваешь? — задумчиво спросила она и тотчас же усмехнулась, говоря: — Так — осталась от него кучка тряпок? А был большой… пакостник. Они трое: он, уездный предводитель дворянства да управляющий уделами — девчонок-подростков портить любили. Архиерей донос посылал на них в Петербург, — у него епархиалочку отбили, а он для себя берег ее. Теперь она — самая дорогая распутница здесь. Вот, пришел, негодяя!

Она встала, вышла в магазин, и там тяжело зазвучали строгие ее вопросы:

— Ты — что же — болван, забыл, что магазин запирать надобно? А тебе какое дело? Ну — не поймали, а — тебе что?

Возвратясь, она сказала вполголоса:

— Никого не поймали. Ты, Клим Иванович, поди-ко к себе в гостиницу, покажись там…

Самгин поднялся на ноги, изумленно спросил:

— Неужели ты думаешь..?

— Ничего я не думаю, а — не хочу, чтоб другие подумали! Ну-ко, погоди, я тебе язвинку припудрю…

И, накладывая горячим пальцем пудру на его щеку, она сказала:

— Если скушно будет, приезжай домой ко мне часам к шести. Ладно? И — вздохнула.

— Разваливается бытишко наш с верха до низа. Помолчала, точно прислушиваясь к чему-то, перебирая лальцами цепочку часов на груди, потом твердо выговорила:

— Ну — ничего! Надоест жить худо — заживем хорошо! Пускай бунтуют, пускай все страсти обнажаются! Знаешь, как старики говаривали? «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься». В этом, друг мой, большая мудрость скрыта. И — такая человечность, что другой такой, пожалуй, и не найдешь… Значит — до вечера?

Самгин пошел домой не спеша, походкой гуляющего человека, обдумывая эту женщину.

«Не может быть, чтоб она считала меня причастным к террору. Это — или проявление заботы обо мне, или — опасение скомпрометировать себя, — опасение, вызванное тем, что я сказал о Судакове. Но как спокойно приняла она убийство!» — с удивлением подумал он, чувствуя, что спокойствие Марины передалось и ему.

В городе было не по-праздничному тихо, музыка на катке не играла, пешеходы встречались редко, гораздо больше — извозчиков и «собственных упряжек»; они развозили: во все стороны солидных и озабоченных люде», и Самгин отметил, что почти все седоки едут съежившись, прикрыв лица воротниками шуб и пальто, хотя было не холодно. В доме, против места, где взорвали губернатора, окно было заткнуто синей подушкой, отбит кусок наличника, неприятно обнажилось красное мясо кирпича, а среди улицы никаких признаков взрыва уже не было заметно, только слой снега стал свежее, белее и возвышался бугорком. Самгин покосился на этот бугорок и пошел быстрее.

В вестибюле гостиницы его встретил очень домашний, успокаивающий запах яблоков и сушеных грибов, а хозяйка, радушная, приятная старушка, жалобно и виновато сказала:

— Слыхали, какое ужасное событие? Что же это делается на земле? Город у нас был такой тихий, жили мы, никого не обижая…

— Да, тяжелое время, — согласился Самгин. В номере у себя он прилег на диван, закурил и снова начал обдумывать Марину. Чувствовал он себя очень странно; казалось, что голова наполнена теплым туманом и туман отравляет тело слабостью, точно после горячей ванны. Марину он видел пред собой так четко, как будто она сидела в кресле у стола.

«Почему у нее нет детей? Она вовсе не похожа на женщину, чувство которой подавлено разумом, да и — существуют ли такие? Не желает портить фигуру, пасует перед страхом боли? Говорит она своеобразно, но это еще не значит, что она так же и думает. Можно сказать, что она не похожа ни на одну из женщин, знакомых мне».

От всего, что он думал, Марина не стала понятнее, а наиболее непонятным оставалось ее спокойное отношение к террористическому акту.

Ярким лунным вечером он поднимался по крутой улице между двумя рядами одноэтажных домиков, разъединенных длинными заборами; тесные группы деревьев, отягченные снегов, еще более разъединяли эти домики, как бы спрятанные в холмах снега. Дом Зотовой — тоже одноэтажный, его пять окон закрыты ставнями, в щели двух просачивались полоски света, ложась лентами на густую тень дома. Крыльца не было. Самгин дернул ручку звонка у ворот и — вздрогнул: колокол — велик и чуток, он дал четыре удара, слишком сильных для этой замороженной тишины. Калитку открыл широкоплечий мужик в жилетке, в черной шапке волос на голове; лицо его густо окутано широкой бородой, и от него пахло дымом. Молча посторонясь, он пропустил гостя на деревянные мостки к двум ступеням крыльца, похожего на шкаф, приставленный к стене дома. Гремя цепью, залаяла черная собака — величиною с крупного барана. В прихожей, загроможденной сундуками, Самгину помогла раздеться большеглазая, высокая и тощая женщина.

— Аккуратен, — сказала Марина, выглядывая из освещенного квадрата дверей,

точно из рамы. — Самовар подашь, Глафирушка.

В большой комнате на крашеном полу крестообразно лежали темные ковровые дорожки, стояли кривоногие старинные стулья, два таких же стола; на одном из них бронзовый медведь держал в лапах стержень лампы; на другом возвышался черный музыкальный ящик; около стены, у двери, прижалась фисгармония, в углу — пестрая печь кузнецовских изразцов, рядом с печью — белые двери;

Самгин подумал, что они должны вести в холод, на террасу, заваленную снегом. Комната, оклеенная темнокрасными с золотом обоями, казалась торжественной, но пустой, стены — голые, только в переднем углу поблескивал серебром ризы маленький образок да из простенков между окнами неприятно торчали трехпалые лапы бронзовых консолей.

— Что — скушная комната? — спросила Марина, выплывая из прихожей и остановясь на скрещении дорожек;

в капоте из кашемирских шалей она стала еще больше, выше и шире, на груди ее лежали две толстые косы. — Вкус моего супруга, он простор любил, а не вещи, — говорила она, оглядывая стены. — Музыку любил, — у него таких вот музыкальных ящиков семь было, даже ночами иногда вставал и заводил. На фисгармонии играл. А граммофонов и гармоник не мог выносить. «Хованщиной» очень восхищался, нарочно ездил в столицу, послушать.

Самгин отметил, что она говорит о муже тоном девицы из зажиточной мещанской семьи, как будто она до замужества жила в глухом уезде, по счастливому случаю вышла замуж за богатого интересного купца в губернию и вот благодарно, с гордостью вспоминает о своей удаче. Он внимательно вслушивался: не звучит ли в словах ее скрытая ирония?

Белые двери привели в небольшую комнату с окнами на улицу и в сад. Здесь жила женщина. В углу, в цветах, помещалось на мольберте большое зеркало без рамы, — его сверху обнимал коричневыми лапами деревянный дракон. У стола — три глубоких кресла, за дверью — широкая тахта со множеством разноцветных подушек, над нею, на стене, — дорогой шелковый ковер, дальше — шкаф, тесно набитый книгами, рядом с ним — хорошая копия с картины Нестерова «У колдуна».

На небольшом овальном столе бойко кипел никелированный самовар; под широким красным абажуром лампы — фарфор посуды, стекло ваз и графинов.

— Это — дневная моя нора, а там — спальня, — указала Марина рукой на незаметную, узенькую дверь рядом со шкафом. — Купеческие мои дела веду в магазине, а здесь живу барыней. Интеллигентно. — Она лениво усмехнулась и продолжала ровным голосом: — И общественную службу там же, в городе, выполняю, а здесь у меня люди бывают только в Новый год, да на пасху, ну и на именины мои, конечно.

Самгин осведомился: что называет она общественной службой?

— А я, видишь ли, вице-председательница «Общества помощи девицам-сиротам», — школа у нас, ничего, удачная школа, обучаем изящным рукоделиям, замуж выдаем девиц, оберегаем от соблазнов. В тюремном комитете членствую, женский корпус весь в моих руках. — Приподняв густые брови, она снова и уже острее усмехнулась.

— Вот эдакие, как ты, да Кутузов, да Алеша Гогин, разрушать государство стараетесь, а я — замазываю трещины в нем, — выходит, что мы с тобой антагонисты и на разных путях.

Чтобы сказать что-нибудь, Самгин напомнил:

— Все дороги в Рим ведут. Курить можно?

— Кури. Я тоже курю, когда читаю.

Помолчав, разливая чай, она внезапно спросила:

— В какой Рим-то?

— В будущее, — ответил Самгин, пожав плечами.

— Ну, это не очень определенно! Я думала, скажешь: на кладбище. По глазам ты пессимист.

Самгин ждал, когда она начнет выспрашивать его, а он тоже спросит ее: чем она живет?

«Мне тридцать пять, ока — моложе меня года на три, четыре», — подсчитал он, а Марина с явным удовольствием пила очень душистый чай, грызла домашнее печенье, часто вытирала яркие губы салфеткой, губы становились как будто еще ярче, и сильнее блестели глаза.

— Не боишься жить на окраине одна?

— Какая же здесь окраина? Рядом — институт благородных девиц, дальше — на горе — военные склады, там часовые стоят. Да и я — не одна, — дворник, горничная, кухарка. Во флигеле — серебряники, двое братьев, один — женатый, жена и служит горничной мне. А вот в женском смысле — одна, — неожиданно и очень просто добавила Марина.

— Скучно? — спросил Самгин, не взглянув на нее.

— Нет еще. Многие — сватаются, так как мы — дама с капиталом и де без прочих достоинств. Вот что сватаются — скушно! А вообще — живу ничего! Читаю. Английский язык учу, хочется в Англии побывать...

— Почему именно в Англии?

Она усмехнулась, блеснули крупные, плотно составленные зубы, и в глазах появилась юмористические искорки.

— А видишь ли, супруг мой дважды был там, пять лет с лишком прожил и очень интересно рассказывал про англичан. У меня так сложилось, что это — самый смешной, наивный и доверчивый народ. Блаватской поверили и Анне Безант, а вот князь Петр Кропоткин, Рюрикович, и Ницше, Фридрих — не удивили британцев, хотя у нас Фридриха Даже после Достоевского пророком сочли. И ученые их, Крукс, примерно, Оливер Лодж — да разве только эти двое? — проживут атеистами лет шестьдесят и — в бога поверуют. Хотя тут, наверное, привычка к порядку действует, а уж где — больше порядка, чем у бога в церкви? Верно?

— Странно ты шутишь, — сказал Самгин, раздосадованный, но и любуясь невольно ее кокетством, начитанностью.

— Почему — странно? — тотчас откликнулась она, подняв брови. — Да я и не шучу, это у меня стиль такой, приучилась говорить о премудростях просто, как о домашних делах. Меня очень серьезно занимают люди, которые искали-искали свободы духа и вот будто — нашли, а свободой-то оказалась бесцельность, надмирная пустота какая-то. Пустота, и — нет в ней никакой иной точки опоры для человека, кроме его вымысла.

— Разве ты... я думал, что ты — верующая, — сказал Самгин, недоверчиво взглянув на лицо ее, в потемневшие глаза, — она продолжала, легко соединяя слова:

— Печально, когда человек сосредоточивается на плотском своем существе и на разуме, отметая или угнетая дух свой, начало вселенское. Аристотель в «Политике» сказал, что человек вне общества — или бог или зверь. Богоподобных людей — не встречала, а зверье среди них — мелкие грызуны или же барсуки,

которые защищают вонью жизнь свою и нору.

По легкости, с которой ода говорила, Самгин догадывался, что она часто говорит такие речи, и почувствовал в ее словах нечто, заставившее его подозрительно насторожиться.

— Ты много читаешь? — спросил он.

— Я много читаю, — ответила она и широко улыбнулась, янтарные зрачки разгорелись ярче — Но я с Аристотелем, так же как и с Марксом, — не согласна: давления общества на разум и бытия на сознание — не отрицаю, но дух мой — не ограничен, дух — сила не земная, а — космическая, скажем.

Говорила она спокойно и не как проповедница, а дружеским тоном человека, который считает себя опытнее слушателя, но не заинтересован, чтоб слушатель соглашался с ним. Черты ее красивого, но несколько тяжелого лица стали тоньше, отчетливее.

— Наши Аристотели из газет и журналов, маленькие деспоты и насильники, почти обоготворяют общество, требуя, чтоб я безоговорочно признала его право власти надо мной, — слышал Самгин.

Это было давно знакомо ему и могло бы многое напомнить, но он отмахнулся от воспоминаний и молчал, ожидая, когда Марина обнаружит конечный смысл своих речей. Ровный, сочный ее голос вызывал у него состояние, подобное легкой дремоте, которая предвещает крепкий сон, приятное сновидение, но изредка он все-таки ощущал толчки недоверия. И странно было, что она как будто спешит рассказать себя.

«Говорить она любит и умеет», — подумал он, когда она замолчала и, вытянув ноги, сложила руки на высокой груди. Он тоже помолчал, соображая:

«Что же она сказала? В сущности — ничего оригинального».

И спросил:

— Что ты понимаешь под словом «дух»?

— Этого не объяснить тому, в ком он еще не ожил, — сказала она, опустив веки. — А — оживет, так уж не потребуется объяснений.

Он не успел спросить ее еще о чем-то, — Марина снова заговорила:

— Ты знаешь, что Лидия Варавка здесь живет? Нет? Она ведь — помнишь? — в Петербурге, у тетки моей жила, мы с нею на доклады философского общества хаживали, там архиереи и попы литераторов цезарепапизму обучали, — было такое религиозно-юмористическое общество. Там я с моим супругом, Михаилом Степановичем, познакомилась…

Впервые она назвала имя своего мужа и снова стала провинциальной купчихой.

— Ну — и что же Лидия? — спросил Самгин.

— Приехала сегодня из Петербурга и едва не попала на бомбу; говорит, что видела террориста, ехал на серой лошади, в шубе, в папахе. Ну, это, наверное, воображение, а не террорист. Да и по времени не выходит, чтоб она могла наскочить на взрыв. Губернатор-то — дядя мужа ее. Заезжала я к ней, — лежит, нездорова, устала.

Марина взяла рюмку портвейна, отхлебнула и, позванивая по стеклу ногтями, продолжала:

— Неплохой человек она, но — разбита и дребезжит вся. Тоскливо живет и, от тоски, занимается религиозно-нравственным воспитанием народа, — кружок

организовала. Надувают ее. Ей бы замуж надо. Рассказала мне, в печальный час, о романе с тобой.

— Представляю, как она рассказала, — пробормотал Самгин.

— Очень хорошо, — ты ошибаешься, — строговато возразила Марина. — Трогательный роман, и без виноватых. Никто не виноват, кроме вашей молодости, — это она хорошо понимает.

— Странно, что ни у нее, ни у тебя детей нет, — неожиданно для себя и вызывающе проговорил Самгин. Марина тотчас же добавила:

— И у тебя нет.

Помолчали. Затем она спросила:

— А не кажется тебе, Клим Иванович, что дети — наибольше чужие люди родителям своим?

О Лидии она говорила без признаков сочувствия к ней, так же безучастно произнесла и фразу о детях, а эта фраза требовала какого-то чувства: удивления, печали, иронии.

— Вот — соседи мои и знакомые не говорят мне, что я не так живу, а дети, наверное, сказали бы. Ты слышишь, как в наши дни дети-то кричат отцам — не так, всё — не так! А как марксисты народников зачеркивали? Ну — это политика! А декаденты? Это уж — быт, декаденты-то! Они уж отцам кричат: не в таких домах живете, не на тех стульях сидите, книги читаете не те! И заметно, что у родителей-атеистов дети — церковники…

Самгин подумал, что все это следовало бы сказать с некоторым задором или обидой, тревогой, а она сказала так, как будто нехотя дразнила кого-то, а сказав — зевнула:

— Ой, извини!

Самгин встал, нервно потирая руки, похрустывая пальцами.

— Интересный ты человек…

— Спасибо, — сказала она, улыбаясь.

— Но — я тебя не понимаю…

— Потолкуем побольше — поймешь!.. К Лидии-то зайди, я сказала, что ты здесь. Будь здоров…

В пронзительно холодном сиянии луны, в хрустящей тишине потрескивало дерево заборов и стен, точно маленькие, тихие домики крепче устанавливались на земле, плотнее прижимались к ней. Мороз щипал лицо, затруднял дыхание, заставлял тело съеживаться, сокращаться. Шагая быстро, Самгин подсчитывал:

«Торгует церковной утварью и вольнодумничает. Хвастает начитанностью. Ест и пьет сластолюбиво. Грубовата. Врет, что «в женском смысле — одна», вероятно — есть любовник…»

Кроме этого, он ничего не нашел, может быть — потому, что торопливо искал. Но это не умаляло ни женщину, ни его чувство досады; оно росло и подсказывало: он продумал за двадцать лет огромную полосу жизни, пережил множество разнообразных впечатлений, видел людей и прочитал книг, конечно, больше, чем она; но он не достиг той уверенности суждений, того внутреннего равновесия, которыми, очевидно, обладает эта большая, сытая баба.

«Если она читала не те книги, какие читал я, — этим еще ничего не объясняется.

Ее слова о духе — какая-то наивная чепуха...»

В конце концов он должен был признать, что Марина вызывает в нем интерес, какого не вызывала еще ни одна женщина, и это — интерес, неприятно раздражающий.

На другой день он пошел к Лидии.

Она жила на углу двух улиц в двухэтажном доме, угол его был срезан старенькой, облезло» часовней; в ней, перед аналоем, качалась монашенка, — над черной ее фигуркой, точно вырезанной из дерева, дрожал рыжеватый огонек, спрятанный в серебряную лампаду. Часовня примыкала к стене дома Лидии, в нижнем его этаже помещался «Магазин писчебумажных принадлежностей и кустарных изделий»; рядом с дверью в магазин: выступали на панель три каменные ступени, над ними — дверь мореного дуба, без ручки, без скобы, посредине двери- медная дощечка с черными буквами: «Л. Т. Муромская».

Самгин позвонил, спрашивая себя:

«Зачем это я засоряю голову мелочами?»

Дверь открыла пожилая горничная в белой наколке на голове, в накрахмаленном переднике; ладо у нее было желтое, длинное, а губы такие тонкие, как будто рот зашит, но когда она спросила: «Кого вам?» — оказалось, что рот у нее огромный и полон крупными зубами.

На лестнице было темновато, горничная с каждым шагом вверх становилась длиннее, и Самгину показалось, что он идет не вверх, а вниз.

«Как в Дарьяльском ущелье...»

Сумрак в прихожей был еще более густ; горничная, сняв с него пальто, строго сказала:

— Пройдите направо.

Самгин шагнул в маленькую комнату с одним окном; в драпри окна увязло, расплылось густомалиновое солнце, в углу два золотых амура держали круглое зеркало, в зеркале смутно отразилось лицо Самгина.

«А пожалуй, верно: похож я на Глеба Успенского», — подумал он, снял очки и провел ладонью по лицу. Сходство с Успенским вызвало угрюмую мысль:

«Среди таких людей легко сойти с ума».

Слева распахнулась не замеченная им драпировка, и бесшумно вышла женщина в черном платье, похожем на рясу монахини, в белом кружевном воротнике, в дымчатых очках; курчавая шапка волос на ее голове была прикрыта жемчужной сеткой, но все-таки голова была несоразмерно велика сравнительно с плечами. Самгин только по голосу узнал, что это — Лидия.

— Боже мой, — вот неожиданно! Хотя Марина сказала мне, что ты здесь...

Бросив перчатки на стул, она крепко сжала руку Самгина тонкими, горячими пальцами.

— А я собралась на панихиду по губернаторе. Но время еще есть. Сядем. Послушай, Клим: я — ничего не понимаю! Ведь дана конституция, что же еще надо? Ты постарел немножко: белые виски и очень страдальческое лицо. Это понятно — какие дни! Конечно, он жестоко наказал рабочих, но — что ж делать, что?

Она говорила непрерывно, вполголоса и в нос, а отдельные слова вырывались из-за ее трех золотых зубов крикливо и несколько гнусаво. Самгин подумал, что говорит

она, как провинциальная актриса в роли светской дамы.

За стеклами ее очков он» е видел глаз, но нашел, что лицо ее стало более резко цыганским, кожа — цвета бумаги, выгоревшей на солнце; тонкие, точно рисунок пером, морщинки около глаз придавали ее лицу выражение улыбчивое и хитроватое; это не совпадало с ее жалобными словами.

— Он был либерал, даже — больше, но за мученическую смерть бог простит ему измену идее монархизма.

Самгин, доставая папиросы, наклонился и скрыл невольную усмешку. На полу — толстый ковер малинового цвета, вокруг — много мебели карельской березы, тускло блестит бронза; на стенах — старинные литографии, комнату наполняет сладковатый, неприятный запах. Лидия — такая тонкая, как будто все вокруг сжимало ее, заставляя вытягиваться к потолку.

— Ты, конечно, тоже за конституцию? Самгин утвердительно кивнул головой, ожидая, скоро ли иссякнет поток ее слов.

— Я — понимаю, ты — атеист! Монархистом может быть только верующий. Нравственное руководство народом — священнодействие…

Нет, она не собиралась замолчать. Тогда Самгин, закурив, посмотрел вокруг, — где пепельница? И положил спичку на ладонь себе так, чтоб Лидия видела это. Но и на это она не обратила внимания, продолжая рассказывать о монархизме. Самгин демонстративно стряхнул пепел папиросы на ковер и почти сердито спросил:

— Почему ты так торопишься изложить мне твои политические взгляды?

— Нужна ясность, Клим! — тотчас ответила она и, достав с полочки перламутровую раковину в серебре, поставила ее на стол: — Вот пепельница.

— Я тебя задерживаю?

— Нет, нет! Я потому о панихиде, что это волнует. Там будет много людей, которые ненавидели его. А он — такой веселый, остроумный был и такой…

Не найдя слова, она щелкнула пальцами, затем сняла очки, чтоб поправить сетку на голове; темные зрачки ее глаз были расширены, взгляд беспокоен, но это очень молодило ее. Пользуясь паузой, Самгин спросил:

— Ты очень близка с Зотовой?

— Ради ее именно я решила жить здесь, — этим все сказано! — торжественно ответила Лидия. — Она и нашла мне этот дом, — уютный, не правда ли? И всю обстановку, все такое солидное, спокойное. Я не выношу новых вещей, — они, по ночам, трещат. Я люблю тишину. Помнишь Диомидова? «Человек приближается к себе самому только в совершенной тишине». Ты ничего не знаешь о Диомидове?

— Нет, — сухо ответил Самгин и, желая услышать еще что-нибудь о Марине, снова заговорил о ней.

— Но ведь ты знал ее почти в одно время со мной, — как будто с удивлением сказала Лидия, надевая очки. — На мой взгляд — она не очень изменилась с той поры.

Тон ее слов показался Климу фальшивым, и сидела она так напряженно прямо, точно готовилась спорить, отрицать что-то.

«Глупо выдумала себя и натянута на чужие мысли», — решил Самгин, а она, вздохнув, сказала:

— Да, она такая же, какой была в девицах, — умная, искренняя, вся — для себя. Я говорю о внутренней ее свободе, — добавила она очень поспешно, видимо, заметив

его скептическую усмешку; затем спросила: — Не хочешь ли взять у меня книги отца? Я не знаю, что с ними делать. Они в прекрасных переплетах, отдать в городскую библиотеку — жалко и — невозможно! У него была привычка делать заметки на полях, а он так безжалостно думал о России, о религии… и вообще. Многие надписи мое чувство дочери заставило стереть резинкой…

— Вот как даже? — иронически воскликнул Самгин.

— Ты — тоже скептик, — тебя это не может смущать, — сказала она, а ему захотелось ответить ей чем-нибудь резким, но, пока он искал — чем? — она снова заговорила:

— В Крыму встретила Любовь Сомову, у дантистки, — еврейки, конечно. Она такая жалкая, полубольная, должно быть, делала себе аборты.

— Ее в Москве избили хулиганы, — сердито сказал Самгин.

— Да? Вот почему она такая озлобленная на все. Она была у меня на даче, но мы с ней едва не поссорились.

Самгин тоже почувствовал, что если не уйдет, то — поссорится с хозяйкой. Он встал.

— Ну, тебе пора на панихиду.

— Да, к сожалению. Но — ты еще зайдешь?

— Бели не уеду.

— Заходи, захода, — сказала она, сильно встряхивая руку его.

Он вынес на улицу чувство острого раздражения, которое даже удивило его.

«Что это я, почему? Ну — противна, глупа, фальшива, а мне-то что?»

Отыскивая причину раздражения, он шел не спеша и заставлял себя смотреть прямо в глаза веем встречным, мысленно ссорясь с каждым. Людей на улицах было много, большинство быстро шло и ехало в сторону площади, где был дворец губернатора.

«Оживлены убийством», — вспомнил он слова Митрофанова — человека «здравого смысла», — слова, сказанные сыщиком по поводу радости, с которой Москва встретила смерть министра Плеве. И снова задумался о Лидии.

«Она не хотела говорить о Зотовой, — ясно! Почему?»

Дома, едва он успел раздеться, вбежала Дуняша и, обняв за шею, молча ткнулась лицом в грудь его, — он пошатнулся, положил руку на голову, на плечо ей, пытаясь осторожно оттолкнуть, и, усмехаясь, подумал:

«Какие бабьи дни!.»

Но видеть Дуняшу приятно было, — он спросил почти ласково:

— Ну, как ты — успешно укрощала строптивых? Отскочив от него, она бросилась на диван, ее пестренькое лицо сразу взмокло слезами; задыхаясь, всхлипывая, она взмахивала платком в одной руке, другою колотила себя по груди и мычала, кусая губы.

«Пьяная?» — подумал Самгин, повернулся спиною к ней и стал наливать воду из графина в стакан, а Дуняша заговорила приглушенным голосом, торопливо и бессвязно:

— Ты не имеешь права издеваться, — тебе стыдно, умник! Я ведь — не знала…

Он посмотрел на нее через плечо, — нет, она трезва, омытые слезами глаза ее сверкают ясно, а слова звучат уже твердо.

— Но если б и знала, все равно, что я могла сделать?

— Не понимаю, — сказал Самгин, подавая ей воду. — Что случилось?

— Они там — чорт знает чего наделали, — заговорила Дуняша, оттолкнув его руку. — Одному кузнецу перебили позвонки, так что у него ноги отнялись, четверых застрелили, девять ранено. А я, дура, пою! Ка-ак они засвистят! — с ужасом, широко открыв глаза, сказала она и зажмурилась, тряся головой. — Ну, знаешь, я точно сквозь землю провалилась, — ничего не понимаю! Ты был прав тогда — сволочь они! Это ты и напророчил мне! Солдаты там, капитан какой-то. В рабочей казарме стекла выбиты, из окон подушки торчат… В красных наволочках, как мясо. Я приехала вечером, ничего не видела…

Самгин курил, морщился и вдруг представил себя тонким и длинным, точно нитка, — она запутанно протянута по земле, и чья-то невидимая, злая рука туго завязывает на ней узлы.

— Ты успокойся, — пробормотал он, щадя себя, но Дуняша, обмахивая мокрым платком покрасневшее лицо, потрясая кулаком другой, говорила:

— Я ему, этой пучеглазой скотине — как его? — пьяная рожа! «Как же вы, говорю, объявили свободу собраний, а — расстреливаете?» А он, сукин сын, зубы скалит: «Это, говорит, для того и объявлено, чтоб удобно расстреливать!» Понимаешь? Стратонов, вот как его зовут. Жена у него — морда, корова, — грудища — вот!

Дуняша показала объем грудищи, вытянув руки, сделав ими круг и чуть сомкнув кончики пальцев.

— «Родитель, говорит, мой — сын крестьянина, лапотник, а умер коммерции советником, он, говорит, своей рукой рабочих бил, а они его уважали». «Ах ты, думаю, мать…» извини, пожалуйста, Клим!

Она снова тихонько заплакала, а Самгин с угрюмым напряжением ощущал, как завязывается новый узел впечатлений. С поразительной реальностью вставали перед ним дом Марины и дом Лидии, улица в Москве, баррикада, сарай, где застрелили Митрофанова, — фуражка губернатора вертелась в воздухе, сверкал магазин церковной утвари.

— Ну, перестань же, перестань, — машинально уговаривал он, хотя Дуняша не мешала ему, да и видел он ее далеко от себя, за облаком табачного дыма. Чувствовал он себя нехорошо, усталым, разбитым и снова подумал:

«Можно сойти с ума…»

Дуняша оборвала свои яростные жалобы, заявив:

— Я — есть хочу, напиться хочу!

Самгин послушно подошел к звонку и, проходя мимо Дуняши, легонько погладил ее плечо, — это снова разбудило ее гнев:

— Они там напились, орали ура, как японцы, — такие, знаешь. Наполеоны-победители, а в сарае люди заперты, двадцать семь человек, морозище страшный, все трещит, а там, в сарае, раненые есть. Все это рассказал мне один знакомый Алины — Иноков.

— Иноков? Зачем он там? — спросил Самгин, остановясь среди комнаты.

— Не знаю. Кажется, служит. Неприятный такой. Разве ты знаешь его?

— Это — не тот, — сказал Самгин.

— Он был в городе, когда губернатора убили…

— Тише, — предупредил Самгин. — А Судакова не видала там?

— Нет.

Самгин замолчал, отметив, что об Инокове и Судакове спрашивал как будто не он, а его люди эти не интересуют.

— Что же ты молчишь? — спросила Дуняша очень требовательно; в этот момент коридорный сказал, что «кушать подано в комнату барыни», и Самгин мог не отвечать.

— Сюда подайте! — сердито крикнула Дуняша, а когда еду и вино принесли, она тотчас выпила рюмку водки, оглянулась, нахмурясь, и сказала ворчливо:

— Чорт знает что! Может, лучше бы я какие-нибудь рубашки шила, саваны для больниц… Скажи, — может — лучше?

— Ешь, — сказал Самгин. — Жаловаться — бесполезно. Все — обусловлено…

— Обусловлено, — с гримасой повторила она. — Нехорошее какое слово. Похоже на обуто. Есть прибаутка:

«Федька — лапти обул, Федул — губы надул, — мне бы эти лапотки, да и Федькины портки, да и Федьку в батраки!»

Насмешливая прибаутка снова вызвала у нее слезы; смахнув их со щек пальцами, она задорно предложила:

— Чокнемся! И давай напьемся! Самгин усмехнулся, глядя на нее.

— Ну? Что? — спросила она и, махнув на него салфеткой, почти закричала: — Да — сними ты очки! Они у тебя как на душу надеты — право! Разглядываешь, усмехаешься… Смотри, как бы над тобой не усмехнулись! Ты — хоть на сегодня спусти себя с цепочки. Завтра я уеду, когда еще встретимся, да и — встретимся ли? В Москве у тебя жена, там я тебе лишняя.

«Ей хочется скандалить, — сообразил Самгин, снимая очки. — Не думал, что она истеричка».

Заставляя себя любезно улыбаться, он присматривался к Дуняше с тревогой и видел: щеки у нее побледнели, брови нахмурены; закусив губу, прищурясь, она смотрела на огонь лампы, из глаз ее текли слезинки. Она судорожно позванивала чайной ложкой по бутылке.

«Какое злое лицо», — подумал Самгин, вздохнув и наливая вино в стаканы. Коротенькими пальцами дрожащей руки Дуняша стала расстегивать кофточку, он хотел помочь ей, но Дуняша отвела его руку.

— Мне душно.

И, заглянув в его лицо, тихо сказала:

— Обидел ты меня тогда, после концерта. Самгин, отодвигаясь от нее, спросил:

— Чем?

— Нет, не обидел, а удивил. Вдруг, такой не похожий ни на кого, заговорил, как мой муж!

Сказала она это действительно с удивлением и, передернув плечами, точно от холода, сжав кулаки, постучала ими друг о друга.

— Когда я рассказала о муже Зотовой, она сразу поняла его, и правильно. Он, говорит, революционер от… меланхолии! — нет? От другого, как это? Когда ненавидят всех?

Теперь она стучала кулаком — и больно — по плечу Самгина; он подсказал:

— Мизантропии?

— Вот! От этого. Я понимаю, когда ненавидят полицию, попов, ну — чиновников, а он — всех! Даже Мотю, горничную, ненавидел; я жила с ней, как с подругой, а он говорил: «Прислуга — стесняет, ее надобно заменить машинами». А по-моему, стесняет только то, чего не понимаешь, а если поймешь, так не стесняет.

Она вскочила на ноги и, быстро топая по комнате, полусердито усмехаясь, продолжала:

— У Моти был дружок, слесарь, учился у Шанявского, угрюмый такой, грубый, смотрел на меня презрительно. И вдруг я поняла, что он… что у него даже нежная душа, а он стыдится этого. Я и говорю: «Напрасно вы, Пахомов, притворяетесь зверем, я вас насквозь вижу!» Он сначала рассердился: «Вы, говорит, ничего не видите и даже не можете видеть!» А потом сознался: «Верно, сердце у меня мягкое и очень не в ладу с умом, меня ум другому учит». Он действительно умный был, образованный, и вот уж он — революционер от любви к своему брату рабочему! Он дрался на Каланчевской площади и в Каретном, там ему офицер плечо прострелил, Мотя спрятала его у меня, а муж…

Остановилась, прищурясь, посмотрела в угол, потом, подойдя к столу, хлебнула вина, погладила щеки.

— Ну, чорт с ним, с мужем! Отведала и — выплюнула.

Она снова, торопясь и бессвязно, продолжала рассказывать о каком-то веселом товарище слесаря, о революционере, который увез куда-то раненого слесаря, — Самгин слушал насторожась, ожидая нового взрыва; было совершенно ясно, что она, говоря все быстрей, торопится дойти до чего-то главного, что хочет сказать. От напряжения у Самгина даже пот выступил на висках.

— По-моему — человек живет, пока любит, а если он людей не любит, так — зачем он нужен?

Наклонясь к Самгину, она схватила руками голову его и, раскачивая ее, горячо сказала в лицо ему:

— И ты всех тихонько любишь, но тебе стыдно и притворяешься строгим, недовольным, молчишь и всех молча жалеешь, — вот какой ты! Вот…

Самгин ожидал не этого; она уже второй раз как будто оглушила, опрокинула его. В глаза его смотрели очень яркие, горячие глаза; она поцеловала его в лоб, продолжая говорить что-то, — он, обняв ее за талию, не слушал слов. Он чувствовал, что руки его, вместе с физическим теплом ее тела, всасывают еще какое-то иное тепло. Оно тоже согревало, но и смущало, вызывая чувство, похожее на стыд, — чувство виновности, что ли? Оно заставило его прошептать:

— Полно, ты ошибаешься…

— Нет, я не хуже собаки знаю, кто — каков! Я не умная, а — знаю…

Через час утомленный Самгин сидел в кресле и курил, прихлебывая вино. Среди глупостей, которые наговорила ему Дуняша за этот час, в памяти Самгина осталась только одна:

«Вот когда я стала настоящей бабой», — сказала она, пролежав минут пять в состоянии дремотном или полуобморочном. Он тоже несколько раз испытывал

приступы желания сказать ей какие-то необыкновенные слова, но — не нашел их.

Теперь он посмотрел на ее голое плечо и разметанные по подушке рыжеватые волосы, соображая: как это она ухитряется причесывать гладко такую массу волос? Впрочем, они у нее удивительно тонкие.

«В ней действительно есть много простого, бабьего. Хорошего, дружески бабьего», — нашел он подходящие слова. «Завтра уедет…» — скучно подумал он, допил вино, встал и подошел к окну. Над городом стояли облака цвета красной меди, очень скучные и тяжелые. Клим Самгин должен был сознаться, что ни одна из женщин не возбуждала в нем такого, волнения, как эта — рыжая. Было что-то обидное в том, что неиспытанное волнение это возбуждала женщина, о которой он думал не лестно для нее.

«Бабьи дни, — повторил он. — Смешно…»

Простонав, Дуняша повернулась на другой бок, — Самгин тихонько спросил:

— Может быть, пойдешь к себе?

— Я у себя, — ответила она сквозь сон. Самгин, улыбаясь, налил себе еще вина. «Это — так: она — везде у себя, в любой постели». Это была тоже обидная мысль, но, взвешивая ее, Самгин не мог решить: для кого из двух обиднее? Он прилег на коротенький, узкий диван; было очень неудобно, и неудобство это усиливало его жалость к себе.

«Она — везде у себя, а я — везде против себя, — так выходит. Почему? «Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя»? Это забавно, но неверно. «Человек вращается вокруг духа своего, как земля вокруг солнца»… Если б Марина была хоть наполовину так откровенна, как эта…»

Он задремал, затем его разбудил шум, — это Дуняша, надевая ботинки, двигала стулом. Сквозь веки он следил, как эта женщина, собрав свои вещи в кучу, зажала их под мышкой, погасила свечу и пошла к двери. На секунду остановилась, и Самгин догадался, что она смотрит на него; вероятно, подойдет. Но она не подошла, а, бесшумно открыв дверь, исчезла.

Это было хорошо, потому что от неудобной позы у Самгина болели мускулы. Подождав, когда щелкнул замок ее комнаты, он перешел на постель, с наслаждением вытянулся, зажег свечу, взглянул на часы, — было уже около полуночи. На ночном столике лежал маленький кожаный портфель, из него торчала бумажка, — Самгин машинально взял ее и прочитал написанное круглым и крупным детским почерком:

«…ох, Алиночка, такая они все сволочь, и попала я в самую гущу, а больше всех противен был один большой такой болван наглый».

Дальше Самгин не стал читать, положил письмо на портфель и погасил свечу, думая:

«Попадет она в какую-нибудь историю. Простодушна. В конце концов — она милая…»

Утром, когда он умывался, Дуняша пришла — одетая в дорогу.

— А я уже уложилась.

Лицо у нее было замкнутое, брови нахмурены, глаза потемнели.

— Ну… Если захочешь повидаться со мной — Лютовы всегда знают, где я…

— Конечно — захочу!

— Чай пить уже некогда, проспал ты, — сказала она, вздохнув, покусывая губы, а

затем сердито спросила: — Не боишься, что арестуют тебя?

— Меня? За что? — удивленно спросил Самгин.

— Ну — за что! Не притворяйся. По-моему — всех вас перестреляют.

— Ну, полно, — сказал Самгин, целуя ее руку, и внезапно для себя спросил: — Ты о себе все рассказала Зотовой?

— Ей — все расскажешь, что она захочет знать, это такой… насос!

Подойдя к нему, она сняла очки с его носа и, заглядывая в глаза ему, ворчливо, тихо заговорила:

— Не обижайся, что — жалко мне тебя, право же — не обидно это! Не знаю, как сказать! Одинокий ты, да? Очень одинокий?

Самгин растерялся, — впервые говорили ему слова с таким чувством. Невольным движением рук он крепко обнял женщину и пробормотал:

— Ну, что ты? Зачем?

И — замолчал, не зная, как лучше: чтоб она говорила, или нужно целовать ее — и этим заставить молчать? А она горячо шептала:

— Ты — не думай, я к тебе не напрашиваюсь в любовницы на десять лет, я просто так, от души, — думаешь, я не знаю, что значит молчать? Один молчит — сказать нечего, а другой — некому сказать.

Крепко сжимая ладонями виски его, она сказала еще тише:

— И — вот что: ты с Зотовой не очень… «Ревнует?» — мелькнула у Самгина догадка, и — все стало проще, понятней.

— Не откровенничай с ней.

Он, усмехаясь, гладя ее голову, спросил:

— Почему?

— Про нее нехорошо говорят здесь.

— Кто?

— Многие.

В дверь постучали, всунул голову старичок слуга и сказал:

— Провожать приехали!

— Ну, прощай, — сказала Дуняша. Самгин почувствовал, что она целует его не так, как всегда, — нежнее, что ли… Он сказал тоже шопотом:

— Спасибо! Этого я не забуду. Смахивая платком слезы, она ушла. Самгин подошел к запотевшему окну, вытер стекло и приложился к стеклу лбом, вспоминая: когда еще он был так взволнован? Когда Варвара сделала аборт?

«Но тогда я боялся, а — теперь?»

Было ясно: ему жалко, что Дуняша уехала.

«Ревнует» — это глупо я подумал».

У подъезда гостиницы стояло две тройки. Дуняшу усаживал в сани седоусый военный, толпилось еще человек пять солидных людей. Подъехала на сером рысаке

Марина. Подождав, когда тройки уехали, Самгин тоже решил ехать на вокзал, кстати и позавтракать там.

Стоя в буфете у окна, он смотрел на перрон, из-за косяка. Дуняшу не видно было в толпе, окружавшей ее. Самгин машинально сосчитал провожатых: тридцать семь человек мужчин и женщин. Марина — заметнее всех.

«Тридцать семь, — повторил он про себя. — Слава!»

Седой военный ловко подбросил Дуняшу на ступеньки вагона, и вместе с этим он как бы толкнул вагон, — про-. вожатые хлопали ладонями, Дуняша бросала им цветы.

Провожая ее глазами, Самгин вспомнил обычную фразу: «Прочитана еще одна страница книги жизни». Чувствовал он себя очень грустно — и пришлось упрекнуть себя:

«А я все-таки немножко сентиментален!»

Он сел пить кофе против зеркала и в непонятной глубине его видел свое очень истощенное, бледное лицо, а за плечом своим — большую, широколобую голову, в светлых клочьях волос, похожих на хлопья кудели; голова низко наклонилась над столом, пухлая красная рука работала вилкой в тарелке, таская в рот куски жареного мяса. Очень противная рука.

Когда в дверях буфета сочно прозвучал голос Марины, лохматая голова быстро вскинулась, показав смешное, плоское лицо, с широким носом и необыкновенными глазами, — очень большие белки и маленькие, небесно-голубые зрачки. Собственник этого лица поспешно привстал, взглянул в зеркало, одной рукой попробовал пригладить волосы, а салфеткой в другой руке вытер лицо, как вытирают его платком, — щеки, лоб, виски. Затем он сел, беспокойно мигая; брови у него были белесые, так же как маленькие усики, и эта растительность была почти незаметна на желтоватой коже плоского, пухлого лица. К нему подошла Марина, — он поднялся на ноги и неловко толкнул на нее стул; она успела подхватить падавший стул и, постукивая ладонью по спинке его, неслышно сказала что-то лохматому человеку; он в ответ потряс головой и хрипло кашлянул, а Марина подошла к Самгину.

— Опоздал проводить Дуняшу? — спросила она, внимательно разглядывая его. — Мороз, а ты все таешь. Зайди ко мне, насчет денег.

— Когда можно?

Она сказала, что через полчаса будет в магазине, и ушла. Самгину показалось, что говорила она с ним суховато, да и глаза ее смотрели жестко.

В зеркало он видел, что лохматый человек наблюдает за ним тоже недоброжелательно и, кажется, готов подойти к нему. Все это было очень скучно.

«Еще день, два и — уеду отсюда, — решил он, но тотчас же представил себе Варвару. — В Крым уеду».

Когда он вошел в магазин Марины, красивенький Миша, низко поклонясь, указал ему молча на дверь в комнату. Марина сидела на диване, за самоваром, в руках у нее — серебряное распятие, она ковыряла его головной шпилькой и терла куском замши. Налила чаю, не спросив — хочет ли он, затем осведомилась:

— На похоронах остатков губернатора не был?

— Нет. Кажется, говорят: останков?

— Верно, останков! Угрожающую речь сказал в сторону вашу прокурор. Ты — что, сочувствуешь, втайне, террору-то?

— Ни красному, ни белому.

— Вчера гимназист застрелился, единственный сын богатого купца. Родитель — простачок, русак, мать — немка, а сын, говорят, бомбист. Вот как, — рассказывала она, не глядя на Клима, усердно ковыряя распятие. Он спросил:

— Что это ты делаешь?

— Поп крест продал, вещь — хорошая, старинное немецкое литье. Говорит: в земле нашел. Врет, я думаю. Мужики, наверное, в какой-нибудь усадьбе со стены сняли.

— Был я у Лидии, — сказал Самгин, и, помимо его воли, слова прозвучали вызывающе.

— Знаю. Обо мне расспрашивал. Самгин заметил, что уши ее покраснели, и сказал мягче:

— Поверь, что это не простое любопытство.

— Верю. Весьма лестно, если не простое. Она замолчала. Самгин, подождав, сказал уже совсем примирительно:

— Ты не сердись, — сама виновата! Прячешься в какую-то таинственность.

— Перестань, а то глупостей наговоришь, стыдно будет, — предупредила она, разглядывая крест. — Я не сержусь, понимаю: интересно! Девушка в театрах петь готовилась, эстетикой баловалась и — вдруг выскочила замуж за какого-то купца, торгует церковной утварью. Тут, пожалуй, даже смешное есть...

— Не обычное, — вставил Самгин, а она продолжала лениво и равнодушно:

— Могу поверить, что ты любопытствуешь по нужде души... Но все же проще было бы спросить прямо: как веруешь?

Она выпрямилась, прислушиваясь, и, бросив крест на диван, бесшумно подошла к двери в магазин, заговорила строго:

— Ты что делаешь? А? Запри магазин и ступай домой. Что-о?

Скрылась в магазин, и, пока она распекала там лепообразного отрока, Самгин встал, спрашивая себя:

«Что мне надобно от нее?»

В углу, на маленькой полке стояло десятка два книг в однообразных кожаных переплетах. Он прочитал на корешках: Бульвер Литтон «Кенельм Чиллингли», Мюссе «Исповедь сына века», Сенкевич «Без догмата», Бурже «Ученик», Лихтенберже «Философия Ницше», Чехов «Скучная история». Самгин пожал плечами: странно!

— Книжками интересуешься? — спросила Марина, и голос ее звучал явно насмешливо: — Любопытные? Все — на одну тему, — о нищих духом, о тех, чей «румянец воли побледнел под гнетом размышления», — как сказано у Шекспира. Супруг мой особенно любил Бульвера и «Скучную историю».

— А ты, кажется, читаешь по вопросам религии, философии?

— Читала немножко, но — тоскливо это, — сказала она, снова садясь на диван, и, вооружаясь шпилькой, добавила:

— Литераторы философствуют прозрачней богословов и философов, у них мысли воображены в лицах и скудость мыслей — яснее видна.

Работая шпилькой, она продолжала, легонько вздохнув:

— Тебе охота знать, верую ли я в бога? Верую. Но — в того, которого в древности звали Пропатор, Проарх, Эон, — ты с гностиками знаком?

— Нет, — то есть...

— Не знаком. Ну, так вот... Они учили, что Эон — безначален, но некоторые утверждали начало его в соборности мышления о нем, в стремлении познать его, а из этого стремления и возникла соприсущая Эону мысль — Эннойя... Это — не разум, а сила, двигающая разумом из глубины чистейшего духа, отрешенного от земли и плоти...

В самоваре точно комары пели. Марина говорила вполголоса, как бы для себя, не глядя на Самгина, усердно ковыряя распятие; Самгин слушал, недоумевая, не веря, но ожидая каких-то очень простых, серьезных слов, и думал, что к ее красивой, стройной фигуре не идет скромное, темненькое платье торговки. Она произносила имена ересиархов, ортодоксов, апологетов христианства, философов, — все они были мало знакомы или не знакомы Самгину, и разноречия их не интересовали его. Говорила она долго, но Самгин слушал невнимательно, премудрые слова ее о духе скользили мимо него, исчезали вместе с дымом от папиросы, память воспринимала лишь отдельные фразы.

— Душа сопричастна страстям плоти, дух же — бесстрастен, и цель его — очищение, одухотворение души, ибо мир исполнен душ неодухотворенных...

Сунув распятие в угол дивана, вытирая пальцы чайной салфеткой, она продолжала говорить еще медленнее, равнодушней, и это равнодушие будило в Самгине чувство досады.

«Зачем этой здоровой, грудастой и, конечно, чувственной женщине именно такое словесное облачение? — размышлял Самгин. — Было бы естественнее и достоверней, если б она вкусным своим голосом говорила о боге церковном, боге попов, монахов, деревенских баб...»

Он видел, что распятие торчит в углу дивана вниз головой и что Марина, замолчав, тщательно намазывает бисквит вареньем. Эти мелочи заставили Самгина почувствовать себя разочарованным, точно Марина отняла у него какую-то смутную надежду.

— Все это слишком премудро и... далеко от меня, — сказал он и хотел усмехнуться, но усмешка у него не вышла, а Марина — усмехнулась снисходительно.

— Вижу, что скушно тебе.

— И, в сущности, — что же ты сказала о себе?

— Сказала все, что следовало...

Он спросил ее пренебрежительно и насмешливо, желая рассердить этим, а она ответила в тоне человека, который не хочет спорить и убеждать, потому что ленится. Самгин почувствовал, что она вложила в свои. слова больше пренебрежения, чем он в свой вопрос, и оно у нее — естественнее. Скушав бисквит, она облизнула губы, и снова заклубился дым ее речи:

— Вы, интеллигенты, в статистику уверовали: счет, мера, вес! Это все равно, как поклоняться бесенятам, забыв о Сатане...

— Кто же Сатана?

— Разум, конечно.

— Эх, Марина, до чего это старо, плоско, — сказал Самгин, вздыхая.

— Исконно русское, народное. А вы — что придумали? Конституцию? Чем же и как поможет конституция смертной-то скуке твоей?

— Я о смерти не думаю.

— Скука и есть смерть. Потому и не думаешь, что перестал жить.

Сказав это, она взяла распятие и вышла в магазин.

«Конечно, она живет не этой чепухой», — сердито решил Самгин, проводив глазами ее статную фигуру. Осмотрел уютное логовище ее, окованную полосами железа дверь во двор и живо представил, как Марина, ночуя здесь, открывает дверь любовнику.

«Вот это — достоверно!»

Затем он решил, что завтра уедет в Москву и потом в Крым.

— Слушай-ко, что я тебе скажу, — заговорила Марина, гремя ключами, становясь против его. И, каждым словом удивляя его, она деловито предложила: не хочет ли он обосноваться здесь, в этом городе? Она уверена, что ему безразлично, где жить...

— Почему ты так думаешь?

— Городок — тихий, спокойный, — продолжала она, не ответив ему. — Жизнь дешевая. Я бы поручила тебе кое-какие мои делишки в суде, подыскала бы практику, устроила квартиру. Ну — как?

— Предложение — неожиданное, и... надо сообразить, — сказал Самгин, чувствуя, что его удивление становится похожим на робость.

— Сообрази. А теперь — отпусти меня, поеду губернаторшу утешать. У нас губернаторша — сестра губернатора, он был вдовец, и она вертела его, как веретено.

Говоря, она одевалась. Вышли на двор. Марина заперла железную дверь большим старинным ключом и спрятала его в муфту. Двор был маленький, тесный, и отовсюду на него смотрели окна, странно стесняя Сангина.

— Так — сообрази! Поживешь здесь, отдохнешь, одумаешься.

Разошлись в разные стороны. Самгин шагал не спеша, взвешивая предложение Марины, хотя уже признавал, что оно не плохо устраивает его.

«Поживу тихо, наедине с самим собою...»

Но, вспомнив, что единственным его сожителем всегда был он сам, зачеркнул одиночество.

«Дуняша будет приезжать. Изредка. Распутный ребенок. Любопытнейшие фигуры создает жизнь. И эта Зотова с ее Пропатором. Странно закончила она свою лекцию. Напрасно я раздражался против нее».

Он на другой же день сообщил ей свое решение.

— Вот и хорошо, — радушно сказала она. — Бери деньги, поезжай, кланяйся Алеше Гогину.

— Ты его знаешь?

— Ну да! Жил он здесь, месяца два, действовал. У нас ведь город эсеровский, и Алешу заклевали.

— Интересный ты человек! — искренно удивился Клим. — Как это ты объединяешь мистику и...

— Во-первых — гностицизм вовсе не мистика, а во-вторых — есть поговорка: «Большой мешок — не глиняный горшок, что ни положь умело — все будет цело, знай — носи, да не больно тряси».

— Это — любопытство Евы? Посмеиваясь, Марина ответила:

— Ева-то одним грехом заинтересовалась, а я, может быть, — всеми…

— Любопытством не проживешь, — сказал Самгин, вздохнув, а Марина спросила:

— Пробовал?

И после этого они оба немножко посмеялись. В Москве все разыгралось очень просто. Варвара встретила, как старого знакомого, который мог бы и не приезжать, но видеть его все-таки интересно. За две недели она похудела, поблекла, глаза окружены тенями, блестят тревожно и вопросительно. Черное, без украшений, платье придает ей вид унылой вдовы. Когда Самгин сказал ей, что намерен жить в провинции, она, опустив голову, откликнулась не сразу, заставив его подумать:

«Сейчас начнется нечто неприятное, фальшивое!» Но он ошибся. Вздохнув, Варвара сказала:

— Я понимаю тебя. Жить вместе — уже нет смысла. И вообще я не могла бы жить в провинции, я так крепко срослась с Москвой! А теперь, когда она пережила такую трагедию, — она еще ближе мне.

О привязанности к Москве Варвара говорила долго, лирически, книжно, — Самгин, не слушая ее, думал:

«Была без радости любовь», но я не ожидал, что «разлука будет без печали».

И почувствовал, что «без печали» все-таки немножко обидно, тем более обидно, что Варвара начала говорить деловито и глаза ее смотрят спокойно:

— Думаю поехать за границу, пожить там до весны, полечиться и вообще привести себя в порядок. Я верю, что Дума создаст широкие возможности культурной работы. Не повысив уровня культуры народа, мы будем бесплодно тратить интеллектуальные силы — вот что внушил мне истекший год, и, прощая ему все ужасы, я благодарю его.

Самгин иронически отметил:

«Гладко говорит. Выучили, — глупее стала». Хотелось, чтоб ее речь, монотонная — точно осенний дождь, перестала звучать, но Варвара украшалась словами еще минут двадцать, и Самгин не поймал среди них ни одной мысли, которая не была бы знакома ему. Наконец она ушла, оставив на столе носовой платок, от которого исходил запах едких духов, а он отправился в кабинет разбирать книги, единственное богатство свое.

Нашел папку с коллекцией нелегальных открыток, эпиграмм, запрещенных цензурой стихов и, хмурясь, стал пересматривать эти бумажки. Неприятно было убедиться в том, как все они пресны, ничтожны и бездарны в сравнении с тем, что печатали сейчас юмористические журналы.

«Прошлое», — подумал он и, не прибавив «мое», стал разрывать на мелкие клочья памятники дешевого свободомыслия и юношеского своего увлечения.

Цесаревич Николай!Если царствовать придется,Так уж ты не забывай,Что полиция дерется!

— читал Самгин и морщился, — теперь такие вещи — костюм настолько изношенный, что его даже нищему подарить было бы стыдно.

«Сотни людей увлекались этим», — попробовал он утешить себя, разрывая

бумажки все более торопливо и мелко, а уничтожив эту связь свою с прошлым, ногою примял клочки бумаги в корзине и с удовольствием закурил папиросу.

Через час он сидел в квартире Гогиных, против Татьяны. Он редко встречал эту девушку, помнил ее веселой, с дурашливой речью, с острым блеском синеватых, задорных глаз. Она была насмешлива, не симпатична ему и никогда не возбуждала желания познакомиться с нею ближе. Теперь ее глаза были устало прикрыты ресницами, лицо похудело, вытянулось, нездоровый румянец горел на щеках, — покашливая, она лежала на кушетке, вытянув ноги, прикрытые клетчатым пледом. Казалось, что она постарела лет на десять. Глуховатым, бесцветным голосом чахоточной она говорила:

— Деньги — опоздали. Алексей арестован в Ростове и с ним Любаша Сомова. Вы знали Спивак? Тоже арестована, с типографией, не успев ее поставить. Ее сын, Аркадий, у нас.

— Вы нездоровы? — спросил Самгин.

— Как видите. А был такой Петр Усов, слепой; он выступил на митинге, и по дороге домой его убили, буквально растоптали ногами. Необходима организация боевых дружин, и — «око за око, зуб за зуб». У эсеров будет раскол по вопросу о терроре.

Говорила она бессвязно, глаза ее нестерпимо блестели.

— У вас, видимо, поднимается температура.

— Ничего не значит, сидите!

Самгин сказал, что он не имеет времени, — Татьяна, протянув ему руку, спросила:

— Что вы думаете делать?

— Еще не решил, — сухо ответил Самгин, торопясь уйти.

«Осталась где-то вне действительности, живет бредовым прошлым», — думал он, выходя на улицу. С удивлением и даже недоверием к себе он вдруг почувствовал, что десяток дней, прожитых вне Москвы, отодвинул его от этого города и от людей, подобных Татьяне, очень далеко. Это было странно и требовало анализа. Это как бы намекало, что при некотором напряжении воли можно выйти из порочного круга действительности.

«Из царства мелких необходимостей в царство свободы», — мысленно усмехнулся он и вспомнил, что вовсе не напрягал воли для такого прыжка.

Это было еще более странно. Чувство недоверия к прочности своего настроения волновало.

«Все в мире стремится к более или менее устойчивому равновесию, — напомнил он себе. — Действительности дан революционный толчок, она поколебалась, подвинулась вперед и теперь...»

— Здравствуйте, товарищ Самгин!

С ним негромко поздоровался и пошел в ногу, заглядывая в лицо его, улыбаясь, Лаврушка, одетый в длинное и не по фигуре широкое синеватое пальто, в протертой до лысин каракулевой шапке на голове, в валяных сапогах.

Самгин дважды смерил его глазами и, подняв воротник своего пальто, оглянулся, ускорил шаг, а Лаврушка, как бы отдавая отчет, говорил быстро, вполголоса, с радостью:

— Рука — зажила, только пятнышко осталось, вроде — оспу привили. Теперь — учусь. А Павел Михайлович помер.

— Кто это? — спросил Самгин.

— Медник же! Медника-то — забыли?

— Ага...

— Простудился и — готов!

— Ну, — всего доброго! — пожелал Самгин, направляясь к извозчику, но приостановился и вдруг тихонько спросил:

— А — Яков?

— Ничего-о! — тоже тихо и все с радостью откликнулся Лаврушка. — Целехонек. Он теперь не Яков. Вот — уж он действительно...

— Ну, прощай!

Сидя в санях извозчика, Самгин соображал:

«Зачем я спросил про Якова? Странный каприз памяти... Разумеется — это не может быть ничем иным, — именно каприз». И тотчас подумал:

«Кажется, я — убеждаю себя?»

Затем, опустив воротник пальто, строго сказал извозчику:

— Скорей!

Захотелось сегодня же, сейчас уехать из Москвы. Была оттепель, мостовые порыжели, в сыроватом воздухе стоял запах конского навоза, дома как будто вспотели, голоса людей звучали ворчливо, и раздирал уши скрип полозьев по обнаженному булыжнику. Избегая разговоров с Варварой и встреч с ее друзьями, Самгин днем ходил по музеям, вечерами посещал театры; наконец — книги и вещи были упакованы в заказанные ящики.

Он почти благодарно поцеловал руку Варвары, она — отвернулась в сторону, прижав платок к глазам.

И вот, безболезненно порвав связь с женщиной, закончив полосу жизни, чувствуя себя свободным, настроенный лирически мягко, он — который раз? — сидит в вагоне второго класса среди давно знакомых, обыкновенных людей, но сегодня в них чувствуется что-то новое и они возбуждают не совсем обыкновенные мысли. Рядом с ним, у окна, читает сатирический журнал маленький человечек, розовощекий, курносый, с круглыми и очень голубыми глазками, размером в пуговицу жилета. Он весь, от галстука до-ботинок, одет в новое, и когда он двигался — на нем что-то хрустело, — должно быть, накрахмаленная рубашка или подкладка синего пиджака. С другого бока — толстая, шерстяная женщина, в круглых очках, с круглой из фанеры коробкой для шляп; в коробке возились и мяукали котята. Напротив — рыжеватый мужчина с растрепанной бородкой на лице, изъеденном оспой, с веселым взглядом темных глаз, — глаза как будто чужие на его сухом и грязноватом лице; рядом с ним, очевидно, жена его, большая, беременная, в бархатной черной кофте, с длинной золотой цепочкой на шее и на груди; лицо у нее широкое, доброе, глаза серые, ласковые. В углу дивана съежился, засунув руки в карманы пальто, закрыв глаза, остроносый человек в котиковой шапке, ничем не интересный.

Самгин подумал, что он уже не первый раз видит таких людей, они так же обычны в вагоне, как неизбежно за окном вагона мелькание телеграфных столбов, небо, разлинованное проволокой, кружение земли, окутанной снегом, и на снегу, точно бородавки, избы деревень. Все было знакомо, все обыкновенно, и, как всегда, люди много курили, что-то жевали.

«В сущности, есть много оснований думать, что именно эти люди — основной

материал истории, сырье, из которого вырабатывается все остальное человеческое, культурное. Они и — крестьянство. Это — демократия, подлинный демос — замечательно живучая, неистощимая сила. Переживает все социальные и стихийные катастрофы и покорно, неутомимо ткет паутину жизни. Социалисты недооценивают значение демократии».

Эти новые мысли слагались очень легко и просто, как давно уже прочувствованные. Соблазнительно легко. Но мешал думать гул голосов вокруг. За спиной Самгина, в соседнем отделении, уже началась дорожная беседа, говорило несколько голосов одновременно, — и каждый как бы старался прервать ехидно сладкий, взвизгивающий голосок, который быстро произносил вятским говорком:

— Ну — и что же, чего же ожидать? Разделение власти — что значит? Это значит — многовластие. Что же: адвокаты из евреев, будущие властители наши, — они умнее родовитого дворянства и купечества, которое вчера в лаптях щеголяло, а сегодня миллионами ворочает?

Минуты две никто не мог заглушить голос, он звучал, точно бубенчик, затем его покрыл густой и влажный бас:

— Власть действительно ослабла, и это потому, что духовенство лишено свободы проповеди. Преосвященный владыко Антонин истинно и мужественно сказал: «Слово божие не слышно в безумнейшем, иноязычном хаосе шума газетного, и это есть главнейшее зло»...

— Во-от оно! Разболтали, расхлябали Россию-то!

— Верно! — очень весело воскликнул рябой человек, зажмурив глаза и потрясая головой, а затем открыл глаза и, так же весело глядя в лицо Самгина, сказал:

— А между прочим — замечательно осмелел народ, что думает, то и говорит...

Женщина, почесывая одной рукой под мышкой, другою достала из кармана конфету в яркой бумажке и подала мужу.

— На-ко, пососи! Наверно, уж хочется курить-то? Вон как дымят, совсем — трактир.

— Не трактир, а — решето, — сказал в ухо ей остроносый человек. — Насыпаны в решето люди, и отсевается от них глупость.

Говоря, он тоже смотрел на Самгина, а соседка его, сунув и себе за щеку конфету, миролюбиво сказала:

— Без глупости тоже не проживешь...

— С этого начинаем, — поддержал ее муж. В соседнем отделении голоса звучали все громче, торопливее, точно желая попасть в ритм лязгу и грохоту поезда. Самгина заинтересовал остроносый: желтоватое лицо покрыто мелкими морщинами, точно сеткой тонких ниток, — очень подвижное лицо, то — желчное и насмешливое, то — угрюмое. Рот — кривой, сухие губы приоткрыты справа, точно в них торчит невидимая папироса. Из костлявых глазниц, из-под темных бровей нелюдимо поблескивают синеватые глаза.

«Человеку с таким лицом следовало бы молчать», — решил Самгин. Но человек этот не умел или не хотел молчать. Он непрощенно и вызывающе откликался на все речи в шумном вагоне. Его бесцветный, суховатый голос, ехидно сладенький голосок в соседнем отделении и бас побеждали все другие голоса. Кто-то в коридоре сказал:

— Жизнь — коротка, не поспеешь дом выстроить, а уж гроб надобно!

Остроносый тотчас откликнулся:

— Вам бы, купец, не о гробах думать, а — о торговом договоре с Германией, обидном и убыточном для нас, вот вам — гроб!

За спиною Клима бас обиженно прогудел:

— Мыслители же у нас — вроде одной барышни: ей, за крестным ходом, на ногу наступили, так она — в истерику: ах, какое безобразие! Так же вот и прославленный сочинитель Андреев, Леонид: народ русский к Тихому океану стремится вылезти, а сочинитель этот кричит на весь мир честной — ах, офицеру ноги оторвало!..

Остроносый встал и, через голову Самгина, крикнул:

— За «Красный смех» большие деньги дают. Андреев даже и священника атеистом написал…

Локомотив свистнул, споткнулся и, встряхнув вагоны, покачнув людей, зашипел, остановясь в густой туче снега, а голос остроносого затрещал слышнее. Сняв шапку, человек этот прижал ее под мышкой, должно быть, для того, чтоб не махать левой рукой, и, размахивая правой, сыпал слова, точно гвозди в деревянный ящик:

— Там, в столицах, писатели, босяки, выходцы из трущоб, алкоголики, сифилитики и вообще всякая… ин-теллиген-тность, накипь, плесень — свободы себе желает, конституции добилась, будет судьбу нашу решать, а мы тут словами играем, пословицы сочиняем, чаек пьем — да-да-да! Ведь как говорят, — обратился он к женщине с котятами, — слушать любо, как говорят! Обо всем говорят, а — ничего не могут!

Вырвав шапку из-под мышки, оратор надел ее на кулак и ударил себя в грудь кулаком.

— Я объехал всю Россию и вокруг, и вдоль, и поперек, крест-накрест не один раз, за границей бывал во многих странах…

Локомотив снова свистнул, дернул вагон, потащил его дальше, сквозь снег, но грохот поезда стал как будто слабее, глуше, а остроносый — победил: люди молча смотрели на него через спинки диванов, стояли в коридоре, дымя папиросами. Самгин видел, как сетка морщин, расширяясь и сокращаясь, изменяет остроносое лицо, как шевелится на маленькой, круглой голове седоватая, жесткая щетина, двигаются брови. Кожа лица его не краснела, но лоб и виски обильно покрылись потом, человек стирал его шапкой и говорил, говорил.

— Всё оговорили, всё охаяли! Сочинители Россию-то, как ворота дегтем, вымазали…

— К-клев-вета! — заикаясь, крикнул маленький читатель сатирических журналов.

Оратор махнул в его сторону мохнатым кулаком.

— Свобода мысли! Ты, дьявол, мысли, но — молчи, не соблазняй…

— Верно! — крикнули из коридора, но кто-то засмеялся, кто-то свистнул, а маленький курносый, прикрыв лицо журналом, возмущенно выговорил:

— К-ка-ккая и-и-ерунда!

— Честно говорит, — сказал Самгину рябой. — Веди себя — как самовар: внутри — кипи, а наружу кипятком — не брызгай! Вот я — брызгал…

— В сумасшедший дом и попал, на тщи месяца, — добавила его супруга, ласково вложив в протянутую ладонь еще конфету, а оратор продолжал с великим жаром, все чаще отирая шапкой потное, но не краснеющее лицо:

— Народ свободы не требует, народ у нас — мужик, ему одна свобода нужна:

шерстью обрастать…

— Д-для стрижк-ки? — спросил читатель сатирических журналов, — тогда остроносый, наклонясь к нему, закричал ожесточенно и визгливо:

— Да-да, для этого самого! С вас, с таких, много ли государство сострижет? Вы только объедаете, опиваете его. Сколько стоит выучить вас грамоте? По десяти лет учитесь, на казенные деньги бунты заводите, губернаторов, министров стреляете…

— Нашел кого пожалеть, — громко сказали в коридоре, и снова кто-то свистнул.

— Я — не жалею, я — о бесполезности говорю! У нас — дело есть, нам надобно исправить конфуз японской войны, а мы — что делаем?

Самгин подумал о том, что года два тому назад эти люди еще не смели говорить так открыто и на такие темы. Он отметил, что говорят много пошлостей, но это можно объяснить формой, а не смыслом.

«Конечно, и смысл… уродлив, но тут важно, что люди начали думать политически, расширился интерес к жизни. Она, в свое время, корректирует ошибки…»

Паровоз снова и уже отчаянно засвистел и точно наткнулся на что-то, — завизжали тормоза, загремели тарелки буферов, люди, стоявшие на ногах, покачнулись, хватая друг друга, женщина, подскочив на диване, уперлась руками в колени Самгина, крикнув:

— Ой, что это?

— Машинист — пьян, — угрюмо объяснил остроносый, снимая с полки корзину.

Невидимые ткачи ткали за окном густейшую, белую пелену, как бы желая скрыть цепь солдат на перроне станции.

— Встречают кого-то, — сказал остроносый; кондуктор, идя вслед за ним, поправил:

— Никого не встречают, арестованных сажать будем…

Женщина, успокоенно вздохнув, улыбнулась:

— Штыки-то, как гребень! Вычесывают солдатики бунтарскую вошку, вычесывают, слава тебе господи! Перекрестилась и предложила мужу:

— Пойдем, тут буфет есть!

Безмолвная женщина с котятами, тяжело вздохнув, встала и тоже ушла.

— Уж-жасные люди, — прошипел заика: ему, видимо, тоже хотелось говорить, он беспокойно возился на диване и, свернув журналы трубкой, размахивал ею перед собой, — губы его были надуты, голубые глазки блестели обиженно.

— От таких хочется в монастырь уйти, — пожаловался он.

Самгин кивнул головой, сочувствуя тяжести усилий, с которыми произносил слова заика, а тот, распустив розовые губы, с улыбкой добавил:

— Или, как барсук, жить в норе одиноко… Из-за спинки дивана поднялось усатое, небритое лицо и сказало сквозь усы:

— С барсуком в норе часто лиса живет. Сказало укоризненно и — скрылось, а заика пугливо съежился.

Поезд стоял утомительно долго; с вокзала пришли рябой и жена его, — у нее срезали часы; она раздраженно фыркала, выковыривая пальцем скупые слезы из

покрасневших глаз.

— Часики были старенькие, цена им не велика, да — бабушка это подарила мне, когда я еще невестой была.

Затем оказалось, что в другом конце вагона пропал чемодан и кларнет в футляре; тогда за спиною Самгина, торжествуя, загудел бас:

— Поверьте слову: говорун этот — обыкновенный вор, и тут у него были помощники; он зубы нам заговаривал, а те — работали.

— Приемчик известный, — весело согласился рябой и этим привел басовитого человека в ярость.

— Сами судите: почему человек этот, ни с того ни с сего, выворачивался наизнанку?

— Да ведь вы, батюшка, тоже говорили!

— Я — лицо духовное!

В отделение, где сидел Самгин, тяжело втиснулся большой человек с тяжелым, черным чемоданом в одной руке, связкой книг в другой и двумя связками на груди, в ремнях, перекинутых за шею. Покрякивая, он взвалил чемодан на сетку, положил туда же и две связки, а третья рассыпалась, и две книги в переплетах упали на колени маленького заики.

— О-осторожней! — крикнул он, стряхнув книги на пол, прижимаясь в угол.

Новый пассажир, высоко подняв седые кустистые брови, посмотрел несколько секунд на заику и спросил странно звонким голосом, подчеркивая о:

— Почему же на пол бросаете? Ну-ко, поднимите!

— Я в-вам не слуга…

— Это — неверно: человек человеку всегда слуга, так или иначе. Поднимите-ко!

Заика еще плотней вжался в угол, но владелец книг положил руку на плечо его, сказав третий раз, очень спокойно:

— Поднимите.

В соседних отделениях все встали, молча глядя через спинки диванов, ожидая скандала.

— Повинуюсь насилию, — сказал заика, побледнев, мигая, наклонился и, подняв книги, бросил их на диван.

— То-то, — удовлетворенно сказал седобровый, усаживаясь рядом с ним. — Разве можно книги ногами попирать? Тем более, что это — «Система логики» Милля, издание Вольфа, шестьдесят пятого года. Не читали, поди-ко, а — попираете!

У него было круглое лицо в седой, коротко подстриженной щетине, на верхней губе щетина — длиннее, чем на подбородке и щеках, губы толстые и такие же толстые уши, оттопыренные теплым картузом. Под густыми бровями — мутновато-серые глаза. Он внимательно заглянул в лицо Самгина, осмотрел рябого, его жену, вынул из кармана толстого пальто сверток бумаги, развернул, ощупал, нахмурясь, пальцами бутерброд и сказал:

— Дурак! Я просил — с ветчиной, а он с колбасой дал!

Толстыми пальцами смял хлеб вместе с бумагой и бросил комок в сетку.

Люди всё еще молчали, разглядывая его. Первый устал ждать рябой.

— Торгуете книгами?

— Покупаю.

— Для чтения?

— Крышу крыть.

Рябой, покраснев, усмехнулся.

— Однако и книгами торгуют!

— Разве?

— До чего огрубел народ, — вздохнув, сказала женщина. — Раньше-то как любезно говорили…

Не глядя на нее, книжник достал из-за пазухи деревянную коробку и стал свертывать папироску. Скучающие люди рассматривали его всё более недоброжелательно, а рябой задорно сказал:

— Махорку здесь курить нельзя!

— Кто запретил? — осведомился книжник. — Нежных Табаков не курю, а дым — есть дым! Махорочный — здоровее, никотину меньше в нем… Так-то.

— Вы однако не доктор, — приставал рябой. Жена дала ему конфету, сказав:

— Брось, не спорь! На, соси скорей!

По нахмуренным лицам людей — Самгин уверенно ждал скандала. Маленький заика ядовито усмехался, щурил глазки и, явно готовясь вступить в словесный бой, шевелил губами. Книжник, затенив лицо свое зеленоватым дымом, ответил рябому:

— Верно, я не доктор для людей, я — для скотов, ветеринар я.

— Оно и видно, что для скотов, — прозвучал бас над головой Самгина, и стало очень тихо, а через несколько секунд ветеринар сказал, шумно вздохнув:

— Огненной метлой подмели мужики уезд… Он сказал это так звучно и уверенно, как будто вполне твердо знал, что все эти люди ждут от него именно повести о мужиках.

— От усадьбы Соймоновых остались головни, да пепел, да разрушенные печи, а — превосходная была усадьба и хозяйство весьма культурное.

Говорил он беззлобно, задумчиво, и звонкий голос его водворял тишину.

— Но культура эта, недоступная мужику, только озлобляла его, конечно, хотя мужик тут — хороший, умный мужик, я его насквозь знаю, восемь лет работал здесь. Мужик, он — таков: чем умнее, тем злее! Это — правило жизни его.

— Порют мало, — негромко напомнил кто-то.

— Пороть надобно не его, а — вас, гражданин, — спокойно ответил ветеринар, не взглянув на того, кто сказал, да и ни на кого не глядя. — Вообще доведено крестьянство до такого ожесточения, что не удивительно будет, если возникнет у нас крестьянская война, как было в Германии.

— Нет, уже это, что же уж! — быстро и пронзительно закричал рябой. — Помилуйте, — зачем же дразнить людей — и беспокоить? И — все неверно, потому что — не может быть этого! Для войны требуются ружья-с, а в деревне ружей —

нет-с!

— Брюхом навалится мужик, как Митька — у Алексея Толстого, — сказал ветеринар, широко улыбаясь и явно обрадованный возможностью поспорить.

— Сочинениям Толстого никто не верит, это ведь не Брюсов календарь, а романы-с, да-с, — присвистывая, говорил рябой, и лицо его густо покрывалось мелкими багровыми пятнами.

— Я не про Льва Толстого…

— Нам всё едино-с! И позвольте сказать, что никакой крестьянской войны в Германии не было-с, да и быть не может, немцы — люди вышколенные, мы их — знаем-с, а войну эту вы сами придумали для смятения умов, чтоб застращать нас, людей некнижных-с…

Он уже начал истерически вскрикивать, прижал кулаки к груди и все наклонялся вперед, как бы готовясь ударить головой в живот ветеринара, а тот, закинув голову, выгнув щетинистый кадык, — хохотал, круглый рот его выбрасывал оглушительные, звонкие:

— О-хо-о-хо-о-о!

— Да перестань ты, господи боже мой! — тревожно уговаривала женщина, толкая мужа кулаком в плечо и бок. — Отвяжитесь вы от него, господин, что это вы дразните! — закричала и она, обращаясь к ветеринару, который, не переставая хохотать, вытирал слезившиеся глаза.

Самгин вышел в коридор, его проводила жалоба женщины:

— А вы, господа, стравили петухов и любуетесь, — как вам не стыдно!

В коридоре тоже спорили, кто-то говорил:

— Наше поколение веровало в идею прогресса… А материалисты окорнали ее, свели до идеи прогресса технического.

Самгин постоял у двери на площадку, послушал речь на тему о разрушении фабрикой патриархального быта деревни, затем зловещее чье-то напоминание о тройке Гоголя и вышел на площадку в холодный скрип и скрежет поезда. Далеко над снежным пустырем разгоралась неприятно оранжевая заря, и поезд заворачивал к ней. Вагонные речи утомили его, засорили настроение, испортили что-то. У него сложилось такое впечатление, как будто поезд возвращает его далеко в прошлое, к спорам отца, Варавки и суровой Марьи Романовны.

«Ужасные нервы у меня…»

Затем он неожиданно подумал, что каждый из людей в вагоне, в поезде, в мире замкнут в клетку хозяйственных, в сущности — животных интересов; каждому из них сквозь прутья клетки мир виден правильно разлинованным, и, когда какая-нибудь сила извне погнет линии прутьев, — мир воспринимается искаженным. И отсюда драма. Но это была чужая мысль: «Чижи в клетках», — вспомнились слова Марины, стало неприятно, что о клетках выдумал не сам он.

Заря, быстро изменяя цвета свои, теперь окрасила небо в тон старой, дешевенькой олеографии, снег как бы покрылся пеплом и уже не блестел.

«А ведь я могу кончить самоубийством», — вдруг догадался Клим, но и это вышло так, точно кто-то чужой подсказал ему.

«Марина, конечно, тоже в клетке, — торопливо подумал он. — Тоже ограничена. А я — не ограничен…»

Но он не знал, спрашивает или утверждает. Было очень холодно, а возвращаться в

дымный вагон, где все спорят, — не хотелось. На станции он попросил кондуктора устроить его в первом классе. Там он прилег на диван и, чтоб не думать, стал подбирать стихи в ритм ударам колес на стыках рельс; это удалось ему не сразу, но все-таки он довольно быстро нашел:

Коняна — скакуо — становитВ горящу — юизбу — войдет…

«И может быть — женой протопопа Аввакума», — подумал он, закуривая папиросу.

Город Марины тоже встретил его оттепелью, в воздухе разлита была какая-то сыворотка, с крыш лениво падали крупные капли; каждая из них, казалось, хочет попасть на мокрую проволоку телеграфа, и это раздражало, как раздражает запонка или пуговица, не желающая застегнуться. Он сидел у окна, в том же пошленьком номере гостиницы, следил, как сквозь мутный воздух падают стеклянные капли, и вспоминал встречу с Мариной. Было в этой встрече нечто слишком деловитое и обидное.

— Воротился? — спросила она как будто с удивлением и тотчас же хозяйственно заговорила о том, что ему сейчас же надо подыскать квартиру и что она знает одну, кажется, достаточно удобную для него.

— Около двух часов я заеду за тобой, посмотрим, ладно?

Вообще она встретила его так деловито, как хозяйка служащего, и в комнату за магазином не позвала.

Сейчас уже половина третьего, а ее все еще нет. Но как раз в эту минуту слуга, приоткрыв дверь, сказал:

— Вас Марина Петровна Зотова просят на извозчика.

Самгин отметил, что она не извинилась за опоздание.

— Совсем кончил с Москвой?

— Да.

— Вот и чудесно.

Ехали в тумане осторожно и медленно, остановились у одноэтажного дома в четыре окна с парадной дверью; под новеньким железным навесом, в медальонах между окнами, вылеплены были гипсовые птицы странного вида, и весь фасад украшен аляповатой лепкой, гирляндами цветов. Прошли во двор; там к дому примыкал деревянный флигель в три окна с чердаком; в глубине двора, заваленного сугробами снега, возвышались снежные деревья сада. Дверь флигеля открыла маленькая старушка в очках, в коричневом платье.

— Здравствуй, Фелициата Назаровна! Вот — постояльца привезла. Где Валентин? — громко закричала Марина; старуха молча и таинственно показала серым пальцем вверх.

— Позови. Глухая, — вполголоса объяснила Марина, вводя Самгина в небольшую очень светлую комнату. Таких комнат было три, и Марина сказала, что одна из них — приемная, другая — кабинет, за ним — спальня.

— Окнами в сад, как видишь. Тут жил доктор, теперь будет жить адвокат.

«Уже решила», — подумал Самгин. Ему не нравилось лицо дома, не нравились слишком светлые комнаты, возмущала Марина. И уже совсем плохо почувствовал он себя, когда прибежал, наклона голову, точно бык, большой человек в теплом пиджаке, подпоясанном широким ремнем, в валенках, облепленный с головы до ног перьями и сенной трухой. Он схватил руки Марины, сунул в ее ладони лохматую голову и, целуя ладони ее, замычал.

— Безбедов, Валентин Васильевич, — назвала Марина, удивительно легко оттолкнув его. Безбедов выпрямился, и Самгин увидал перед собою широколобое лицо, неприятно обнаженные белки глаз и маленькие, очень голубые льдинки зрачков. Марина внушительно говорила, что Безбедов может дать мебель, столоваться тоже можно у него, — он возьмет недорого.

— Даром! — сказал Безбедов, голосом человека, больного ларингитом. — Хотите — даром?

— Зачем же? — сухо спросил Самгин, а тот, сверкнув зрачками, широко развел руки и ответил:

— Так. Ради своеобразия.

— Не дури, Валентин, — строго посоветовала Марина и через несколько минут сказала Безбедову:

— Я пришлю завтра тебе Мишутку, и ты с ним устрой все, — двух дней довольно?

Безбедов снова поймал ее руку, поцеловал и прохрипел:

— Могу завтра к вечеру…

Руку Самгина он стиснул так крепко, что Клим от боли даже топнул ногой. Марина увезла его к себе в магазин, — там, как всегда, кипел самовар и, как всегда, было уютно, точно в постели, перед крепким, но легким сном.

— Валентин — смутил тебя? — спросила она, усмехаясь. — Он — чудит немножко, но тебе не помешает. У него есть страстишка — голуби. На голубях он жену проморгал, — ушла с постояльцем, доктором. Немножко — несчастен, немножко рисуется этим, — в его кругу жены редко бросают мужей, и скандал очень подчеркивает человека.

Помолчав, она попросила его завтра же принять дела от ее адвоката, а затем приблизилась вплоть, наклонилась, сжала лицо его теплыми ладонями и, заглядывая в глаза, спросила тихо, очень ласково, но властно:

— Ну, — что? Что хмуришься? Болит? Кричи, — легче будет!

Освобождать лицо из крепких ее ладоней не хотелось, хотя было неудобно сидеть, выгнув шею, и необыкновенно смущал блеск ее глаз. Ни одна из женщин не обращалась с ним так, и он не помнил, смотрела ли на него когда-либо Варвара таким волнующим взглядом. Она отняла руки от лица его, села рядом и, поправив прическу свою, повторила:.

— Ну, говори! Ведь — хочешь рассказать себя, — чего же молчишь?

Он вовсе не хотел «рассказывать себя», он даже подумал, что и при желании, пожалуй, не сумел бы сделать это так, чтоб женщина поняла все то, что было неясно ему. И, прикрывая свое волнение иронической улыбкой, спросил:

— Ты желаешь, чтоб я исповедовался? Странное желание. Зачем тебе нужно это?

Он пожал плечами, а Марина, положив руку на плечо его, сказала, тихонько вздохнув:

— Не хочешь — не надо. Но мы, бабы, иной раз помогаем сбросить ношу с плеч…

— Чтоб возложить другую, — вставил он, а Марина, заглядывая в глаза его, усмехаясь, откликнулась:

— Я замуж за тебя — не собираюсь, в любовницы — не напрашиваюсь.

Обаятельно звучал ее мягкий, глубокий голос, хороша была улыбка красивого

лица, и тепло светились золотистые глаза.

— Говорить о себе — трудно, — .предупредил Самгин.

— А — о чем говорим? — спросила она. — Ведь и о погоде говоря — о себе говорим.

— Ты слишком упрощенно смотришь…

— Разве?

Самгин искоса взглянул в лицо ее и осторожно начал:

— Говорить можно только о фактах, эпизодах, но они — еще не я, — начал он тихо и осторожно. — Жизнь — бесконечный ряд глупых, пошлых, а в общем все-таки драматических эпизодов, — они вторгаются насильственно, волнуют, отягощают память ненужным грузом, и человек, загроможденный, подавленный ими, перестает чувствовать себя, свое сущее, воспринимает жизнь как боль…

Марина молча погладила его плечо, но он уже не смотрел на нее, говоря:

— Я думаю, что так чувствует себя большинство интеллигентов, я, разумеется, сознаю себя типичным интеллигентом, но — не способным к насилию над собой. Я не могу заставить себя верить в спасительность социализма и… прочее. Человек без честолюбия, я уважаю свою внутреннюю свободу…

Он помолчал несколько секунд, взвешивая слова «внутренняя свобода», встал и, шагая по комнате из угла в угол, продолжал более торопливо:

— Поэтому я — чужой среди людей, которые включают себя в партии, группы, — вообще — включают, заключают…

Он чувствовал, что говорит необыкновенно и даже неприятно легко, точно вспоминает не однажды прочитанную и уже наскучившую книгу.

— В конце концов — все сводится к той или иной системе фраз, но факты не укладываются ни в одну из них. И — что можно сказать о себе, кроме: «Я видел то, видел это»?

Остановясь среди комнаты, глядя в дым своей папиросы, он пропустил перед собою ряд эпизодов: гибель Бориса Варавки, покушение Макарова на самоубийство, мужиков, которые поднимали колокол «всем миром», других, которые сорвали замок с хлебного магазина, 9 Января, московские баррикады — все, что он пережил, вплоть до убийства губернатора. И вдруг он почувствовал: есть нечто утешительное в том, что память укладывает все эти факты в ничтожную единицу времени, — утешительное и даже как будто ироническое. Невольным движением он вынул часы, но, не взглянув на циферблат, тотчас же спрятал их. И, заметив, что Марина смотрит на него требовательно ожидающим взглядом, продолжал механически, неохотно:

— К людям типа Кутузова я отношусь с уважением… как, например, к хирургам. Но у меня кости не сломаны и нет никаких злокачественных опухолей…

Он снова шагал в мягком теплом сумраке и, вспомнив ночной кошмар, распределял пережитое между своими двойниками, — они как бы снова окружили его. Один из них наблюдал, как драгун старается ударить шашкой Туробоева, но совершенно другой человек был любовником Никоновой; третий, совершенно не похожий на первых двух, внимательно и с удовольствием слушал речи историка Козлова. Было и еще много двойников, и все они, в этот час, — одинаково чужие Климу Самгину. Их можно назвать насильниками.

«Кошмар, — думал он, глядя на Марину поверх очков. — Почему я так откровенно говорю с ней? Я не понимаю ее, чувствую в ней что-то неприятное. Почему же?» Он замолчал, а Марина, скрестив руки на высокой груди, сказала негромко:

— О Степане ты неверно судишь, я его знаю лучше, чем ты. И не потому, что жила с ним, а…

Но она не договорила фразу, должно быть, не нашла точного слова и новым тоном сказала:

— А ты, кажется, зачитался, заплесневел в думах…

— Читаю я не много.

— Застоялся на одном месте. Надо передвинуться в другой угол…

— Почему — в угол?

— Пожить с простыми людьми.

— Ты — о рабочих, крестьянах?

Не обратив на его вопрос внимания, она спросила:

— С женой-то — совсем кончил?

— Да.

— Ну, вот и хорошо! Значит, на время свободен. «Говорит она со мной, как… старшая сестра». Облизывая губы кончиком языка, прищурив глаза, Марина смотрела в потолок; он наклонился к ней, желая спросить о Кутузове, но она встряхнулась, заговорив:

— Так завтра же давай примемся за дела! Сходи к моему поверенному, потолкуй с ним, я его предупредила…

Она сказала это мягко, но так, что Самгин понял: надобно уходить. И ушел, молча пожав крепкую, очень теплую руку.

«Хитрая баба. Разоблачить ее нелегко. А — надо разоблачать?» — спросил он.

Отношение к этой женщине не определялось. Раздражала неприятная ее самоуверенность и властность, раздражало и то, что она заставила высказаться. Последнее, было особенно досадно. Самгин знал, что он никогда еще и ни с кем не говорил так, как с нею.

На другой день, утром, он сидел в большом светлом кабинете, обставленном черной мебелью; в огромных шкафах нарядно блестело золото корешков книг, между Климом и хозяином кабинета — стол на толстых и пузатых ножках, как ножки рояля. Хозяин — чернобровый, лысый, его круглое, желтоватое лицо надуто, как бычачий пузырь для обучения плаванию, оно заканчивается остренькой черной, полуседой бородкой, — в синеватых белках пронзительно блестят черненькие зрачки. Голосок у него звонкий, упрямый, слова он произносит не по-русски четко и ставит очень плотно слово к слову.

— Моя доверительница, — почтительно говорит он, не называя доверительницу по имени. — Принимая во внимание… Исходя из этого факта… На основании изложенного… — Он как бы нарочно говорит фразами апелляционной жалобы, его почтительность сопровождается легкой судорогой толстых губ и остренькой усмешкой пронзительных глаз. Коротким жестом левой руки он как бы отталкивает от себя что-то. Его ужимки заставили Самгина почувствовать, что человек этот обижен Мариной и, кажется, ненавидит ее, но — побаивается. Отношение к ней он переносил и на него, Самгина.

— Кол-лега, — говорил он, точно ставя запятую между двумя л.

— Далее: дело по иску родственников купца Потапова, осужденного на поселение за принадлежность к секте хлыстов. Имущество осужденного конфисковано

частично в пользу казны. Право на него моей почтенной доверительницы недостаточно обосновано, но она обещала представить еще один документ. Здесь, мне кажется, доверительница заинтересована не имущественно, а, так сказать, гуманитарно, и, если не ошибаюсь, цель ее — добиться пересмотра дела. Впрочем, вы сами увидите…

О гуманитарном интересе Марины он сказал с явным сожалением, а вообще его характеристики судебных дел Марины принимали все более ехидный характер, и Самгин уже чувствовал, что коллега Фольц знакомит его не с делами, а хочет познакомить с почтенной доверительницей. В черном кабинете стоял неприятный запах, возбуждая желание чихать; за окнами шумел, завывал ветер, носились тучи снега. Просидев часа два, Самгин почти с наслаждением погрузился в белую бурю на улице, — его толкало, покачивало, черные фигуры вырывались из белого вихря, наскакивая на него, обгоняя; он шел и чувствовал: да, начинается новая полоса жизни. С Мариной следует быть осторожным. И необходимо взять себя в руки. «Поставить себя в центр круга непоколебимых выводов», — вспомнил он фразу Брагина и возмутился засоренностью своей памяти.

Через несколько дней он, в сопровождении Безбедова, ходил по комнатам своей квартиры. Комнаты обставлены старой и солидной мебелью, купленной, должно быть, в барской усадьбе. Валентин Безбедов, вводя Клима во владение этим имуществом, пренебрежительно просипел:

— Если — мало, сходите в сарай, там до чорта всякой дряни! Книжный шкаф есть, клавесины. Цветов хотите? У меня во флигеле множество их, землей пахнет, как на кладбище.

Он курил немецкую фарфоровую трубку, дым шел из ноздрей его широкого носа, изо рта, трубка висела на груди, между лацканами модного толстого пиджака, и оттуда тоже шел дым. Но похож был Безбедов не на немца, а на внезапно разбогатевшего русского ломового извозчика, который еще не привык носить модные костюмы. Лохматый, с красным опухшим лицом, он ходил рядом с Климом, бесцеремонно заглядывая в лицо его обнаженными глазами, — отвратительно скрипели его ботинки, он кашлял, сипел, дымился, толкал Самгина локтем и вдруг спросил:

— Читали анекдот?

— Какой?

— У царя была депутация верноподданных рабочих из Иваново-Вознесенска, он им сказал буквально так:

«Самодержавие мое останется таким, каким оно было встарь». Что он — с ума спятил?

— Да, странно, — отозвался Самгин. Безбедов крепко стиснул его локоть.

— Ну, устраивайтесь!

И ушел, дымя, скрипя, но, затворив дверь, тотчас снова распахнул ее и просипел:

— В Москву едет царь-то!

Отмахиваясь от густого дыма, Самгин спросил себя:

«Неужели и это животное занимается политикой?» Как все необычные люди, Безбедов вызывал у Самгина любопытство, — в данном случае любопытство усиливалось еще каким-то неопределенным, но неприятным чувством. Обедал Самгин во флигеле у Безбедова, в комнате, сплошь заставленной различными растениями и полками книг, почти сплошь переводами с иностранного: 144 тома пантелеевского издания иностранных авторов, Майн-Рид, Брем, Густав Эмар, Купер, Диккенс и «Всемирная география» Э. Реклю, — большинство книг без

переплетов, растрепаны, торчат на полках кое-как.

«Библиотека гимназиста», — мысленно определил Самгин. Безбедов не замедлил подтвердить это.

— Со времен гимназии накопил, — сказал он, недружелюбно глядя на книги. — Ерунда всё. Из-за них и гимназию не кончил.

Все вокруг него было неряшливо — так же, как сам он, всегда выпачканный птичьим пометом, с пухом в кудлатой голове и на одежде. Ел много, торопливо, морщился, точно пища была слишком солона, кисла или горька, хотя глухая Фелициата готовила очень вкусно. Насытясь, Безбедов смотрел в рот Самгина и сообщал какие-то странные новости, — казалось, что он выдумывал их.

— Петербургский викарий Сергий служил панихиду по лейтенанте Шмидте, студенты духовной академии заставили: служи! И — служил.

— Откуда вам известно это?

— Муромская, Лидия Тимофеевна, сказала. Она — все знает, у нее связи в Петербурге.

Подобрав нижнюю губу, он вопросительно, как бы ожидая чего-то, помолчал, затем сказал тоном виноватого:

— Я лесами ее управляю. Знакомы с ней?

— Да.

— Скушная. Ничего, что я так говорю?

— Пожалуйста.

— Не женщина, а — обязательное постановление городской управы. Вы не замечаете, что люди становятся всё скушнее?

— Человек — вообще существо невеселое, — философски сказал Самгин, — Безбедов нашел, что это:

— Правильно!

От его политических новостей и мелких городских сплетен Самгин терял аппетит. Но очень скоро он убедился, что этот человек говорит о политике из любезности, считая долгом развлекать нахлебника. Как-то за ужином он угрюмо сказал:

— В Москве революционеры на банк напали, цапнули денег около миллиона. — И, отдуваясь, сказал с явной досадой, хрипло:

— Надоело до чорта! Все о политике говорят, как о блинах на масленице.

Самгин взглянул на него недоверчиво и увидал, что он, обиженно надув губы, тискает в трубку табак. После двух, трех таких жалоб Самгин решил, что домохозяин — глуп и сам знает это, но нимало не смущен своей глупостью, а даже как бы хвастается ею.

«Дурак, — по-русски, широко; по глупости несколько навязчив, но не нахал и добродушен», — определил Самгин и почти ежедневно убеждался, что определил правильно.

Как-то за обедом Безбедов наглотался вкусной пищи, выпил несколько рюмок водки, настоянной на ягодах можжевельника, покраснел, задымил немецкой трубкой и внезапно, с озлоблением вскричал:

— Идиотское время, чорт его возьми! — Хлопнув себя ладонями по ушам, он потряс

лохматой головой. Самгин спокойно ждал политической новости, но Безбедов возмущенно заговорил:

— Март уже, а — что делается, а?

— Вы о чем?

— Да — о погоде! У меня голуби ожирели, — тоскливо хрипел он, показывая в потолок пальцем цвета моркови. — Лучшая охота в городе, два раза премирована, москвичам носы утер. Тут есть такой подлец, Блинов, трактирщик, враг мой, подстрелил у меня Херувима, лучшего турмана во всей России, — дробь эту он, убийца, получит в морду себе…

Самгин видел, что лицо хозяина налилось кровью, белки выкатились, красные пальцы яростно мнут салфетку, и ему подумалось, что все это может кончиться припадком пьяного буйства, даже параличом. Притворяясь заинтересованным, он спросил:

— Это очень увлекательная охота?

Безбедов поперхнулся каким-то ругательством, дрожащей рукой налил квасу, выпил стакан двумя глотками и — выдохнул вместе со струёй воздуха:

— Не поймете — до чего!

Он вскочил из-за стола, точно собираясь идти куда-то, остановился у окна в цветах, вытер салфеткой пот с лица, швырнул ее на пол и, широко размахнув руками, просипел:

— Невообразимо!

Взмахивая распростертыми руками, точно крыльями, закрыв глаза, мотая головою, он забормотал:

— Понимаете: небеса! Глубина, голубая чистота, ясность! И — солнце! И вот я, — ну, что такое я? Ничтожество, болван! И вот — выпускаю голубей. Летят, кругами, всё выше, выше, белые в голубом. И жалкая душа моя летит за ними — понимаете? Душа! А они — там, едва вижу. Тут — напряжение… Вроде обморока. И — страх: а вдруг не воротятся? Но — понимаете — хочется, чтоб не возвратились, понимаете?

Большое, мягкое тело Безбедова тряслось, точно он смеялся беззвучно, лицо обмякло, распустилось, таяло потом, а в полупьяных глазах его Самгин действительно видел страх и радость. Отмечая в Безбедове смешное и глупое, он почувствовал к нему симпатию. Устав размахивать руками, задыхаясь и сипя, Безбедов повалился на стул и, наливая квас мимо стакана, бормотал:

— Большой момент! И — честное дело, никому не мешает, ни от кого не зависит, — к чертям всю чепуху! Пожалуйста — выпьемте!

Чокаясь с ним рюмками, Самгин подумал:

«Случай, когда глупость возвышается до поэзии». Безбедов вылил водку из рюмки в стакан с квасом и продолжал говорить. Он еще более растрепался, сбросил пиджак, расстегнул ворот голубой сатиновой рубашки, обмахивался салфеткой, и сероватые клочья волос на голове его забавно шевелились. Было приятно, что Безбедов так легко понятен, не требует настороженности в отношении к нему, весь — налицо и не расспрашивает ни о чем, как это делает его чрезмерно интересная тетушка, которую он, кажется, не очень любит. ^ этот вечер Самгин, уходя спать, пожал руку Безбедова особенно крепко и даже подумал, что он вел себя с ним более сдержанно, чем следовало бы. Надо было сказать ему что-нибудь, выразить сочувствие. Конечно, не для того, чтобы поощрять его болтовню. Одинокий и, видимо, несчастный парень. Болтовня его ни к чему не обязывает.

Но Безбедов не нуждался в сочувствии и поощрении, почти каждый вечер он охотно, неутомимо рассказывал о городе, о себе. Самгин слушал и ждал, когда он начнет говорить о Марине. Нередко Самгин находил его рассказы чрезмерно, неряшливо откровенными, и его очень удивляло, что, хотя Безбедов не щадил себя, все же в словах его нельзя было уловить ни одной ноты сожаления о неудавшейся жизни. Рассказывая, он не исповедовался, а говорил о себе, как о соседе, который несколько надоел ему, но, при всех его недостатках, — человек не плохой. Как-то, в грустный, ветреный и дождливый вечер, Безбедов заговорил о своей жене.

— Из-за голубей потерял, — говорил он, облокотясь на стол, запустив пальцы в растрепанные волосы, отчего голова стала уродливо огромной, а лицо — меньше. — Хорошая женщина, надо сказать, но, знаете, у нее — эти общественные инстинкты и все такое, а меня это не опьяняет…

«Общественные инстинкты» он проговорил гнусаво, в нос и сморщив лицо, затем, опустив руки на затылок, спросил с негодованием:

— Какого чорта буду я заботиться о том, чтоб дураки жили умнее или как-то там лучше? А умники и без меня проживут. Вы, конечно, другого взгляда, а по-моему — дуракам и так хорошо. На этом я с ней и не поладил. Тут же и голуби. Еще с курицами она, может быть, помирилась бы, но — голуби! Это уже для нее обидно. Вообще она чувствовала себя обманутой. Ей, кажется, не я понравился, а имя мое — Валентин; она, должно быть, вообразила, что за именем скрывается нечто необыкновенное. Гимназистка, романов начиталась, стихов, — книгоедство и… все такое!

Самгин слушал и улыбался. Ему нравилось, что Валентин говорит беспечально, как бы вспоминая далекое прошлое, хотя жена ушла от него осенью истекшего года.

— Может быть, она и не ушла бы, догадайся я заинтересовать ее чем-нибудь живым — курами, коровами, собаками, что ли! — сказал Безбедов, затем продолжал напористо: — Ведь вот я нашел же себя в голубиной охоте, нашел ту песню, которую суждено мне спеть. Суть жизни именно в такой песне — и чтоб спеть ее от души. Пушкин, Чайковский, Миклухо-Маклай — все жили, чтобы тратить себя на любимое занятие, — верно?

Самгин согласно кивнул головой и стал слушать сиплые слова внимательнее, чувствуя в рассказе Безбедова новые ноты.

— Вас увлекает адвокатура, другого — картежная игра, меня — голуби! Вероятно, я на крыше и умру, задохнусь от наслаждения и — шлеп с крыши на землю, — сказал Безбедов и засмеялся влажным, неприятно кипящим смехом. — В детстве у меня задатки были, — продолжал он, вытряхивая пепел из трубки в чайный стакан, хотя на столе стояла пепельница. — Правильно говоря — никаких задатков у меня не было, а это мать и крестный внушили: «Валентин, у тебя есть задатки!» Конечно, это обязывало меня показывать какие-нибудь фокусы. Ждут чего-то необыкновенного, ну и сочинишь, соврешь что-нибудь, — что же делать? Надобно оправдать доверие.

Он подмигнул Самгину и заставил его подумать:

«Я никогда не сочинял».

— Привычка врать и теперь есть у меня, выдумаю что-нибудь мало вероятное и, по секрету, расскажу; стоит только одному рассказать, а уж дальше вранье само пойдет! Чем невероятнее, тем легче верят.

Он усмехнулся и, крепко закрыв глаза, помолчал, подумал, вздохнул.

— Хотя невероятное становится обычным в наши дни. Привираю я не для того, чтоб забавлять себя или людей, а — так, чорт знает для чего! Скучно — на земле, когда самое лучшее переживаешь на крыше. В гимназии я тоже считался мальчишкой с задатками, — крестный раскрасил меня. Чтоб оправдать ожидания

— хулиганил. Из пятого класса — выгнали. Стал щеголять в невероятных костюмах, какие-то дурацкие шляпы носил. Барышням — нравилось. Вообразил, что отлично могу играть на биллиарде, — играл часов по пяти, разумеется — бездарно. Вообще я — человек совершенно бездарный.

Сказав последние слова с явным удовольствием, Безбедов вздохнул, и лицо его исчезло в облаке табачного дыма. Самгин тоже курил и молчал, думая, что он, кажется, поторопился признать в этом человеке что-то симпатичное.

«Весьма похоже, что он только играет роль простака, а я — ошибся».

Сознание ошибки возникло сейчас же после того, как Безбедов сказал о задатках и фокусах. Вообще в словах Безбедова незаметно появилось что-то неприятное. Особенно смущало Самгина то, что он подумал о себе:

«Я — не сочинял».

Мысль о возможности какого-либо сходства с этим человеком была оскорбительна. Самгин подозрительно посмотрел сквозь стекла очков на плоское, одутловатое лицо с фарфоровыми белками и голубыми бусинками зрачков, на вялую, тяжелую нижнюю губу и белесые волосики на верхней — под широким носом. Глупейшее лицо.

Неистово дымя, Безбедов спросил:

— А что — у вас нет аппетита к барышням? Тут, недалеко, две сестренки живут, очень милосердные и веселые, — не хотите ли?

Самгин сухо отказался, но подумал, что следовало бы взглянуть, каков этот толстяк среди женщин. Затем, прихлебывая кисленькое красное вино, он сказал:

— Разумеется, я не верю вам, когда вы утверждаете, что — у вас нет никаких талантов…

— Святая истина! — вскричал Безбедов, подняв руки на уровень лица, точно защищаясь, готовясь оттолкнуть от себя что-то. — Я — человек без средств, бедный человек, ничем не могу помочь, никому и ничему! — Эти слова он прокричал, явно балаганя, клоунски сделав жалкую гримасу скупого торгаша.

Самгин настойчиво продолжал:

— Но очень странно слышать, что вы говорите это как будто с удовольствием…

— Да — конечно же, с удовольствием! — вскричал Безбедов, нелепо размахивая руками. — Как бы это сказать вам? Ах, чорт…

Вытаращив глаза, дотирая ладонью шершавый лоб, он несколько секунд смотрел в лицо Самгина, и Самгин видел, как его толстые губы, потные щеки расплываются, тают в торжествующей улыбке.

— Я — глухонемой! — сказал он трезво и громко. — Глухонемого проповедовать не заставишь! Понимаете?

— Вы сознаетесь в симуляции, — сердито заметил Самгин.

— Почему — симуляция? Нет, это — мое убеждение. Вы убеждены, что нужна конституция, революция и вообще — суматоха, а я — ничего этого — не хочу! Не хочу! Но и проповедовать, почему не хочу, — тоже не стану, не хочу! И не буду отрицать, что революция полезна, даже необходима рабочим, что ли, там! Необходима? Ну, и валяйте, делайте революцию, а мне ее не нужно, я буду голубей гонять. Глухонемой! — И, с размаха шлепнув ладонью в широкую жирную грудь свою, он победоносно захохотал сиплым, кипящим смехом.

«Скотина», — мысленно обругал его Самгин, быстро и сердито перебирая в памяти

все возражения, какие можно бы противопоставить Безбедову. Но было совершенно ясно, что возражения бесполезны, любое из них Безбедов оттолкнет: «Не хочу», — скажет он.

Возможно, что он обладает силой не хотеть. Но все же Самгин проворчал:

— Анархизм. Это — старо.

— Как мир, — согласился Безбедов, усмехаясь. — Как цивилизация, — добавил он, подмигнув фарфоровым глазом. — Ведь цивилизация и родит анархистов. Вожди цивилизации — или как их там? — смотрят на людей, как на стадо баранов, а я — баран для себя и не хочу быть зарезанным для цивилизации, зажаренным под соусом какой-нибудь философии.

Послушав минуты две давно знакомые, плоские фразы, Самгин невольно произнес слова, которые не хотел бы говорить вслух:

— Самое сильное, что вы можете сказать и сказали, это — не хочу!

— Конечно, — согласился Безбедов, потирая красные, толстые ладони. — Тысячи — думают, один — говорит, — добавил он, оскалив зубы, и снова пробормотал что-то о барышнях. Самгин послушал его еще минуту и ушел, чувствуя себя отравленным.

В кабинете он зажег лампу, надел туфли и сел к столу, намереваясь работать, но, взглянув на синюю обложку толстого «Дела М. П. Зотовой с крестьянами села Пожога», закрыл глаза и долго сидел, точно погружаясь во тьму, видя в ней жирное тело с растрепанной серой головой с фарфоровыми глазами, слыша сиплый, кипящий смех.

«Противная бестия...»

Потом, закуривая, вышел в соседнюю, неосвещенную комнату и, расхаживая в сумраке мимо двух мутносерых окон, стал обдумывать. Несомненно, что в речах Безбедова есть нечто от Марины. Она — тоже вне «суматохи» даже и тогда, когда физически находится среди людей, охваченных вихрем этой «суматохи». Самгин воспроизвел в памяти картину собрания кружка людей, «взыскующих града», — его пригласила на собрание этого кружка Лидия Варавка.

В помещение под вывеской «Магазин мод» входят, осторожно и молча, разнообразно одетые, но одинаково смирные люди, снимают верхнюю одежду, складывая ее на прилавки, засовывая на пустые полки; затем они, «гуськом» идя друг за другом, спускаются по четырем ступенькам в большую, узкую и длинную комнату, с двумя окнами в ее задней стене, с голыми стенами, с печью и плитой в углу, у входа: очевидно — это была мастерская. В комнате — сумрачно, от стен исходит запах клейстера и сырости. На черных и желтых венских стульях неподвижно и безмолвно сидят люди, десятка три-четыре мужчин и женщин, лица их стерты сумраком. Некоторые согнулись, опираясь локтями о колена, а один так наклонился вперед, что непонятно было: почему он не падает? Кажется, что многие обезглавлены. Впереди, в простенке между окнами, за столом, покрытым зеленой клеенкой, — Лидия, тонкая, плоская, в белом платье, в сетке на курчавой голове и в синих очках. Перед нею — лампа под белым абажуром, две стеариновые свечи, толстая книга в желтом переплете; лицо Лидии — зеленоватое, на нем отражается цвет клеенки; в стеклах очков дрожат огни свеч; Лидия кажется выдуманной на страх людям. В ее фигуре есть нечто театральное, отталкивающее. Поглядывая в книгу, наклоняя и взбрасывая голову, она гнусаво, в нос читает:

— «Говорящего в духе — не осуждайте, потому что не плоть проповедует, а дух, дух же осуждать — смертный грех. Всякий грех простится, а этот — никогда».

Отделив от книги длинный листок, она приближает его к лампе и шевелит губами молча. В углу, недалеко от нее, сидит Марина, скрестив руки на груди, вскинув голову; яркое лицо ее очень выгодно подчеркнуто пепельно-серым фоном стены.

— Начни, сестра София, во имя отца и сына и святого духа, — говорит Лидия, свертывая бумагу трубкой.

Рядом с Мариной — Кормилицын, писатель по вопросам сектантства, человек с большой седоватой бородой на мягком лице женщины, — лицо его всегда выражает уныние одинокой, несчастной вдовы; сходство с женщиной добавляется его выгнутой грудью.

Самгин нередко встречался с ним в Москве и даже, в свое время, завидовал ему, зная, что Кормилицын достиг той цели, которая соблазняла и его, Самгина: писатель тоже собрал обширную коллекцию нелегальных стихов, открыток, статей, запрещенных цензурой; он славился тем, что первый узнавал анекдоты из жизни министров, епископов, губернаторов, писателей и вообще упорно, как судебный следователь, подбирал все, что рисовало людей пошлыми, глупыми, жестокими, преступными. Слушая его анекдоты, Самгин, бывало, чувствовал, что человек этот гордится своими знаниями, как гордился бы ученый исследователь, но рассказывает всегда с тревогой, с явным желанием освободиться от нее, внушив ее слушателям. К столу Лидии подошла пожилая женщина в черном платье, с маленькой головой и остроносым лицом, взяла в руки желтую библию и неожиданно густым, сумрачным голосом возгласила:

— Пророка Исаии, глава двадцать четвертая! Раскрыв тяжелую книгу, она воткнула в нее острый нос; зашелестели страницы, «взыскующие града» пошевелились, раздался скрип стульев, шарканье ног, осторожный кашель, — женщина, взмахнув головою в черном платке, торжественно и мстительно прочитала:

— «Се господь рассыплет вселенную и опустошит ю, открыет лицо ея и расточит живущие на ней».

У плиты, в углу, кто-то глухо зарычал. — «Тлением истлеет земля и расхищением расхищена будет земля», — с большой силой и все более мстительно читала женщина.

— «Восплачет земля»…

Шум около печки возрастал; Марина, наклонясь к Лидии, что-то сказала ей, тогда Лидия, постукивая ключом по столу, строго крикнула:

— Тише!

Сквозь ряды стульев шел человек и громко, настойчиво говорил:

— Так я ж ничего ни розумию! Значала — разсыпле, после — лицо открое… И все это, простите! — известно; земля вже плаче от разрушения средств хозяйства…

Человек был небольшой, тоненький, в поддевке и ярко начищенных сапогах, над его низким лбом торчала щетка черных, коротко остриженных волос, на круглом бритом лице топырились усы — слишком большие для его лица, говорил он звонко и капризно.

— И никак невозможно понять, кто допускае расхищение трудов и зачем царь отказуется править народом…

Неестественно согнувшийся человек выпрямился, встал и, протянув длинную руку, схватил черненького за плечо, — тот гневно вскричал:

— Чего вы хватаетесь!

— Здесь собрались люди…

— Да — я вижу, что люди…

— Побеседовать не о том, о чем говоришь ты, брат…

— Как же не о том?

Кто-то засмеялся, люди сердито ворчали. Лидия встряхивала слабозвучный колокольчик; человек, который остановил черненького капризника, взглянул в угол, на Марину, — она сидела все так же неподвижно.

«Идол», — подумал Самгин.

В переднем ряду встала женщина и веселым голосом крикнула:

— Это Лукин, писарь из полиции, — притворяется, усы-то налеплены...

— Выведите его, — истерически взвизгнула Лидия. Самгину показалось, что глаза Марины смеются. Он заметил, что многие мужчины и женщины смотрят на нее не отрываясь, покорно, даже как будто с восхищением. Мужчин могла соблазнять ее величавая красота, а женщин чем привлекала она? Неужели она проповедует здесь? Самгин нетерпеливо ждал. Запах сырости становился теплее, гуще. Тот, кто вывел писаря, возвратился, подошел к столу и согнулся над ним, говоря что-то Лидии; она утвердительно кивала головой, и казалось, что от очков ее отскакивают синие огни...

— Хорошо, брат Захарий, — сказала она. Захарий разогнулся, был он высокий, узкоплечий, немного сутулый, лицо неподвижное, очень бледное — в густой, черной бороде.

— Брат Василий, — позвала Лидия.

Из сумрака выскочил, побежал к столу лысый человечек, с рыжеватой реденькой бородкой, — он тащил за руку женщину в клетчатой юбке, красной кофте, в пестром платке на плечах.

— Иди, иди, — не бойся! — говорил он, дергая руку женщины, хотя она шла так же быстро, как сам он. — Вот, братья-сестры, вот — новенькая! — бросал он направо и налево шипящие, горячие слова. — Мученица плоти, ох какая! Вот — она расскажет страсти, до чего доводит нас плоть, игрушка диаволова...

Доведя женщину до стола, он погрозил ей пальцем:

— Ты — честно, Таисья, все говори, как было, не стыдись, здесь люди богу служить хотят, перед богом — стыда нету!

Он отскочил в сторону, личико его тревожно и радостно дрожало, он размахивал руками, притопывал, точно собираясь плясать, полы его сюртука трепетали подобно крыльям гуся, и торопливо трещал сухой голосок:

— Тут, братья-сестры, обнаружится такое... И, не найдя определяющего слова, он крикнул:

— Ну, начинай, рассказывай, говори — Таисья... Женщина стояла, опираясь одной рукой о стол, поглаживая другой подбородок, горло, дергая коротенькую, толстую косу; лицо у нее — смуглое, пухленькое, девичье, глаза круглые, кошачьи; резко очерченные губы. Она повернулась спиною к Лидии и, закинув руки за спину, оперлась ими о край стола, — казалось, что она падает; груди и живот ее торчали выпукло, вызывающе, и Самгин отметил, что в этой позе есть что-то неестественное, неудобное и нарочное.

— Отец мой лоцманом был на Волге! — крикнула она, и резкий крик этот, должно быть, смутил ее, — она закрыла глаза и стала говорить быстро, невнятно.

— Ничего не слышно, — строго сказала остроносая сестра Софья, а суетливый брат Василий горестно вскричал:

— Эх, Таисья, портишь дело! Портишь! Кормилицын встал и осторожно поставил

стул впереди Таисьи, — она охватила обеими руками спинку стула и кивком головы перекинула косу за плечо., — На двенадцатом году отдала меня мачеха в монастырь, рукоделию учиться и грамоте, — сказала она медленно и громко. — После той, пьяной жизни хорошо показалось мне в монастыре-то, там я и жила пять лет.

Смуглое лицо ее стало неподвижно, шевелились только детски пухлые губы красивого рта. Говорила она сердито, ломким голосом, с неожиданными выкриками, Пальцы ее судорожно скользили по дуге спинки стула, тело выпрямлялось, точно она росла.

— Жених был неказистый, рыжеватый, наянливый такой… Пакостник! — вдруг вскрикнула она.

— Во-от, вот оно! — с явным восхищением и сладостно воскликнул брат Василий.

Все другие сидели смирно, безмолвно, — Самгину казалось уже, что и от соседей его исходит запах клейкой сырости. Но раздражающая скука, которую испытывал он до рассказа Таисьи, исчезла. Он нашел, что фигура этой женщины напоминает Дуняшу: такая же крепкая, отчетливая, такой же маленький, красивый рот. Посмотрев на Марину, он увидел, что писатель шепчет что-то ей, а она сидит все так же величественно.

«Совершенный идол», — снова подумал он, досадуя, что не может обнаружить отношения Марины ко всему, что происходит здесь.

— Вскоре после венца он и начал уговаривать меня:

«Если хозяин попросит, не отказывай ему, я не обижусь, а жизни нашей польза будет», — рассказывала Таисья, не жалуясь, но как бы издеваясь. — А они — оба приставали — и хозяин и зять его. Ну, что же? — крикнула она, взмахнув головой, и кошачьи глаза ее вспыхнули яростью. — С хозяином я валялась по мужеву приказу, а с зятем его — в отместку мужу…

— Эге-е! — насмешливо раздалось из сумрака, люди заворчали, зашевелились. Лидия привстала, взмахнув рукою с ключом, чернобородый Захарий пошел на голос и зашипел; тут Самгину показалось, что Марина улыбается. Но осторожный шумок потонул в быстром потоке крикливой и уже почти истерической речи Таисьи.

— С ним, с зятем, и застигла меня жена его, хозяинова дочь, в саду, в беседке. Сами же, дьяволы, лишили меня стыда и сами уговорились наказать стыдом.

Она задохнулась, замолчала, двигая стул, постукивая ножками его по полу, глаза ее фосфорически блестели, раза два она открывала рот, но, видимо, не в силах сказать слова, дергала головою, закидывая ее так высоко, точно невидимая рука наносила удары в подбородок ей. Потом, оправясь, она продолжала осипшим голосом, со свистом, точно сквозь зубы:

— В-вывезли в лес, раздели догола, привязали руки, ноги к березе, близко от муравьиной кучи, вымазали все тело патокой, сели сами-то, все трое — муж да хозяин с зятем, насупротив, водочку пьют, табачок покуривают, издеваются над моей наготой, ох, изверги! А меня осы, пчелки жалят, муравьи, мухи щекотят, кровь мою пьют, слезы пьют. Муравьи-то — вы подумайте! — ведь они и в ноздри и везде ползут, а я и ноги крепко-то зажать не могу, привязаны ноги так, что не сожмешь, — вот ведь что!

Близко от Самгина кто-то сказал вполголоса:

— Ой, бесстыдница…

Самгин видел, что пальцы Таисьи побелели, обескровились, а лицо неестественно вытянулось. В комнате было очень тихо, точно все уснули, и не хотелось смотреть

ни на кого, кроме этой женщины, хотя слушать ее рассказ было противно, свистящие слова возбуждали чувство брезгливости.

— Сначала-то я молча плакала, не хотелось мне злодеев радовать, а как начала вся эта мошка по лицу, по глазам ползать… глаза-то жалко стало, ослепят меня, думаю, навеки ослепят! Тогда — закричала я истошным голосом, на всех людей, на господа бога и ангелов хранителей, — кричу, а меня кусают, внутренности жгут — щекотят, слезы мои пьют… слезы пьют. Не от боли кричала, не от стыда, — какой стыд перед ними? Хохочут они. От обиды кричу: как можно человека мучить? Загнали сами же куда нельзя и мучают… Так закричала, что не знаю, как и жива осталась. Ну, тут и муженек мой закричал, отвязывать меня бросился, пьяный. А я — как в облаке огненном…

Таисья пошатнулась, чернобородый во-время поддержал ее, посадил на стул. Она вытерла рот косою своей и, шумно, глубоко вздохнув, отмахнулась рукою от чернобородого.

— Избили они его, — сказала она, погладив щеки ладонями, и, глядя на ладони, судорожно усмехалась. — Под утро он говорит мне: «Прости, сволочи они, а не простишь — на той же березе повешусь». — «Нет, говорю, дерево это не погань, не смей, Иуда, я на этом дереве муки приняла. И никому, ни тебе, ни всем людям, ни богу никогда обиды моей не прощу». Ох, не прощу, нет уж! Семнадцать месяцев держал он меня, все уговаривал, пить начал, потом — застудился зимою…

И, облегченно вздохнув, она сказала громко, твердо:

— Издох.

Люди не шевелились, молчали. Тишина продолжалась, вероятно, несколько секунд, становясь с каждой секундой как будто тяжелее, плотней.

Потом вскочил брат Василий и, размахивая руками, затрещал:

— Слышали, братья-сестры? Она — не каялась, она — поучала! Все мы тут опалены черным огнем плоти, дыханием дьявола, все намучены…

Встала Лидия и, постучав ключом, сердито нахмуря брови, резким голосом сказала:

— Подождите, брат Василий! Сестры и братья, — несчастная женщина эта случайно среди нас, брат Василий не предупредил, о чем она будет говорить…

Таисья тоже встала, но пошатнулась, снова опустилась на стул, а с него мягко свалилась на пол. Два-три голоса негромко ахнули, многие «взыскующие града» привстали со стульев, Захарий согнулся прямым углом, легко, как подушку, взял Таисью на руки, понес к двери; его встретил возглас:

— Хватила баба горячего до слез, — и тотчас же угрюмо откликнулся кто-то:

— А — не балуй, не покорствуй бесам!

К Лидии подходили мужчины и женщины, низко кланялись ей, целовали руку; она вполголоса что-то говорила им, дергая плечами, щеки и уши ее сильно покраснели. Марина, стоя в углу, слушала Кормилицына; переступая с ноги на ногу, он играл портсигаром; Самгин, подходя, услыхал его мягкие, нерешительные слова:

— В аграрных беспорядках сектантство почти не принимает участия.

— Этого я не знаю, — сказала Марина. — Курить хотите? Теперь — можно, я думаю. Знакомы?

— Встречались, — напомнил Самгин. Литератор взглянул в лицо его, потом — на ноги и согласился:

— Ах, да, как же! — Потом, зажигая папиросу о спичку и, видимо, опасаясь поджечь бороду себе, сказал:

— Я понимаю так, что это — одной линии с хлыстами.

— Хлыстов — попы выдумали, такой секты нет, — равнодушно сказала Марина и, ласково, сочувственно улыбаясь, спросила Лидию: — Не удалось у тебя сегодня?

— Этот... Терентьев! — гневно прошептала Лидия, проглотив какое-то слово. — И всегда, всегда он придумает что-нибудь неожиданное и грязное.

— Негодяй, — кротко сказала Марина и так же кротко, ласково добавила:

— Мерзавец.

— Но — какая ужасная женщина!

— Несимпатична, — согласилась Марина, демонстративно отмахиваясь от дыма папиросы, — литератор извинился и спрятал папиросу за спину себе.

Лидия, вздохнув, заметила:

— Рассказала она хорошо.

— Об ужасах всегда хорошо рассказывают, — лениво проговорила Марина, обняв ее за плечи, ведя к двери.

— Это — очень верно! — согласился Кормилицын и выразил сожаление, что художественная литература не касается сектантского движения, обходит его.

— Не совсем обошла, некоторые — касаются, — сказала Марина, выговорив слово «касаются» с явной иронией, а Самгин подумал, что все, что она говорит, рассчитано ею до мелочей, взвешено. Кормилицыну она показывает, что на собрании убогих людей она такая же гостья, как и он. Когда писатель и Лидия одевались в магазине, она сказала Самгину, что довезет его домой, потом пошепталась о чем-то с Захарием, который услужливо согнулся перед нею.

На улице она сказала кучеру:

— Поезжай за мной.

«Следовало сказать: за нами», — отметил Самгин.

Пошли пешком, Марина говорила:

— Не люблю этого сочинителя. Всюду суется, все знает, а — невежда. Статейки пишет мертвым языком. Доверчив был супруг мой, по горячности души знакомился со всяким... Ну, что же ты скажешь о «взыскующих града»?

Самгин сказал, что он ничего не понял.

— Да, мутновато! Читают и слушают пророков, которые пострашнее. Чешутся. Души почесывают. У многих душа живет под мышками. — И, усмехнувшись, она цинично добавила, толкнув Клима локтем:

— А у баб — гораздо ниже.

Он сказал, нахмурясь, что все более не понимает ее.

— А Лидию понял? — спросила она.

— Разумеется — нет. Трудно понять, как это дочь прожектера и цыганки, жена дегенерата из дворян может превратиться в ханжу, на английский лад?

— Вот как ты сердито, — сказала Марина веселым голосом. — Такие ли

метаморфозы бывают, милый друг! Вот Лев Тихомиров усердно способствовал убийству папаши, а потом покаялся сынку, что — это по ошибке молодости сделано, и сынок золотую чернильницу подарил ему. Это мне Лидия рассказала.

Проводив Клима до его квартиры, она зашла к Безбедову пить чай. Племянник ухаживал за нею с бурным и почтительным восторгом слуги, влюбленного в хозяйку, счастливого тем, что она посетила его. В этом суетливом восторге Самгин чувствовал что-то фальшивое, а Марина добродушно высмеивала племянника, и было очень странно, что она, такая умная, не замечает его неискренности.

Пожелав взглянуть, как Самгин устроился, она обошла комнаты и сказала:

— Ну, что ж? Все — есть, только женщины не хватает. Валентин — не беспокоит?

— Нимало.

— То-то. А если беспокоит — скажи, я его утихомирю. Скучаешь?

Заботливые и ласковые вопросы ее приятно тронули Самгина; он сказал, что хотя и не скучает, но еще не вжился в новую обстановку.

— Ну, конечно, — сказала Марина, кивнув головой. — Долго жил в обстановке, где ко всему привык и уже не замечал вещей, а теперь все вещи стали заметны, лезут в глаза, допытываются: как ты поставишь нас?

— Это надо понимать аллегорически? — спросил он, усмехаясь.

— Как хочешь, — ответила она тоже с улыбкой. Ее спокойное лицо, уверенная речь легко выжимала и отдаляла все, что Самгин видел и слышал час тому назад.

— Везде, друг мой, темновато и тесно, — сказала она, вздохнув, но тотчас добавила:

— Только внутри себя светло и свободно. Тут Самгин пожаловался: жизнь слишком обильна эпизодами, вроде рассказа Таисьи о том, как ее истязали; каждый из них вторгается в душу, в память, возбуждает…

— Вопросы, на которые у нас нет иных ответов, кроме книжных, — пренебрежительно закончила Марина его фразу. — А ты — откажись от вопросов-то, замолчи вопросы, — посоветовала она, усмехаясь, прищурив глаза. — Ваш брат, интеллигент, привык украшаться вопросами для кокетства друг перед другом, вы ведь играете на сложность: кто кого сложнее? И запутываете друг друга. Вопросы-то решаются не разумом, а волей… Вот французы учатся по воздуху летать, это — хорошо! Но это — воля решает, разум же только помогает. И по земле свободно ходить тоже только воля научит. — Она тихонько засмеялась, говоря: — Я бы вот вопрос об этой великомученице просто решила: сослала бы ее в монастырь подальше от людей и где устав построже.

— Сурово, но справедливо, — согласился Самгин и, вспомнив мстительный голос сестры Софьи, спросил: кто она?

— Дочь заводчика искусственных минеральных вод. Привлекалась к суду по делу темному: подозревали, что она отравила мужа и свекра. Около года сидела в тюрьме, но — оправдали, — отравителем оказался брат ее мужа, пьяница.

Сидя за рабочим столом Самгина, она стала рассказывать еще чью-то историю — тоже темную; Самгин, любуясь ею, слушал невнимательно и был очень неприятно удивлен, когда она, вставая, хозяйственно сказала:

— Срок платежа кончается в июне, значит, к этому времени ты купишь эти векселя от лица Лидии Муромской. Так? Ну, а теперь простимся, завтра я уезжаю, недельки на полторы.

Когда он наклонился поцеловать ее руку, Марина поцеловала его в лоб, а затем, похлопав его по плечу, сказала, как жена мужу:

— Не скучай!

Губы у нее были как-то особенно ласково горячие, и прикосновение их кожа лба ощущала долго.

Вспоминая все это, Самгин медленно шагал по комнате и неистово курил. В окна ярко светила луна, на улице таяло, по проволоке телеграфа скользили, в равном расстоянии одна от другой, крупные, золотистые капли и, доскользнув до какой-то незаметной точки, срывались, падали. Самгин долго, бессмысленно следил за ними, насчитал сорок семь капель и упрекнул кого-то:

«Все на том же месте».

Ушел в спальню, разделся, лег, забыв погасить лампу, и, полулежа, как больной, пристально глядя на золотое лезвие огня, подумал, что Марина — права, когда она говорит о разнузданности разума.

«Воспитанная литераторами, публицистами, «критически мыслящая личность» уже сыграла свою роль, перезрела, отжила. Ее мысль все окисляет, покрывая однообразной ржавчиной критицизма. Из фактов совершенно конкретных она делает не прямые выводы, а утопические, как, например, гипотеза социальной, то есть — в сущности, социалистической революции в России, стране полудиких людей, каковы, например, эти «взыскующие града». Но, назвав людей полудикими, он упрекнул себя:

«Я отношусь к людям слишком требовательно и неисторично. Недостаток историчности суждений — общий порок интеллигенции. Она говорит и пишет об истории, не чувствуя ее».

Затем он подумал, что неправильно относится к Дуняше, недооценивает ее простоту. Плохо, что и с женщиной он не может забыться, утратить способность наблюдать за нею и за собой. Кто-то из французских писателей горько жаловался на избыток профессионального анализа... Кто? И, не вспомнив имя писателя, Самгин уснул.

Марина не возвращалась недели три, — в магазине торговал чернобородый Захарий, человек молчаливый, с неподвижным, матово-бледным лицом, темные глаза его смотрели грустно, на вопросы он отвечал кратко и тихо; густые, тяжелые волосы простеганы нитями преждевременной седины. Самгин нашел, что этот Захарий очень похож на переодетого монаха и слишком вял, бескровен для того, чтоб служить любовником Марины.

«Именно — служить. Муж тоже, наверное, служил ей».

Тут у него мелькнула мысль, что, может быть, Марина заставит и его служить ей не только как юриста, но он тотчас же отверг эту мысль, не представляя себя любовником Марины. Возбуждая в нем любопытство мужчины, уже достаточно охлажденного возрастом и опытом, она не будила сексуальных эмоций. Не чувствовал он и прочной симпатии к ней, но почти после каждой встречи отмечал, что она все более глубоко интересует его и что есть в ней странная сила; притягивая и отталкивая, эта сила вызывает в нем неясные надежды на какое-то необыкновенное открытие.

Но в конце концов он был доволен тем, что встретился с этой женщиной и что она несколько отвлекает его от возни с самим собою, доволен был, что устроился достаточно удобно, независимо и может отдохнуть от пережитого. И все чаще ему казалось, что в этой тихой полосе жизни он именно накануне какого-то важного открытия, которое должно вылечить его от внутренней неурядицы и поможет укрепиться на чем-то прочном.

Когда приехала Марина, Самгин встретил ее с радостью, удивившей его.

Она, видимо, сильно устала, под глазами ее легли тени, сделав глаза глубже и еще красивей. Ясно было, что ее что-то волнует, — в сочном голосе явилась новая и резкая нота, острее и насмешливей улыбались глаза.

— Ну, какие же новости рассказать? — говорила она, усмехаясь, облизывая губы кончиком языка. — По газетам ты знаешь, что одолевают кадетики, значит — возрадуйся и возвеселись! В Государственной думе засядут коллеги твои, адвокаты. В Твери тоже губернатора ухлопали, — читал? Слышала, что есть распоряжение: крестьянские депутации к царю не пускать. Дурново внушает губернаторам, чтобы не очень расстреливали. Что еще? Видела одного епископа, он недавно беседовал с царем, говорит, что царь — самый спокойный человек в России. Говорил это епископ со вздохами, с грустью…

На минуту она задумалась, нахмурясь, потом спросила:

— Дай-ко папироску.

И, закурив, но отмахиваясь от дыма платком, прищурясь, заговорила снова:

— Старообрядцы очень зашевелились. Похоже, что у нас будет две церкви: одна — лает, другая — подвывает! Бездарные мы люди по части религиозного мышления, и церковь у нас бесталанная…

Самгин осторожно заметил:

— Не понимаю, почему тебя, такую большую, красивую, интересуют эти вопросы…

— А ты — что же, думаешь, что религия — дело чахоточных? Плохо думаешь. Именно здоровая плоть требует святости. Греки отлично понимали это.

Утопив папиросу в полоскательной чашке, она продолжала, хмурясь:

— На мой взгляд, религия — бабье дело. Богородицей всех религий — женщина была. Да. А потом случилось как-то так, что почти все религии признали женщину источником греха, опорочили, унизили ее, а православие даже деторождение оценивает как дело блудное и на полтора месяца извергает роженицу из церкви. Ты когда-нибудь думал — почему это?

— Нет, — ответил Самгин и начал рассказывать о Макарове. Марина, хлебнув мадеры, долго полоскала ею рот, затем, выплюнув вино в полоскательную чашку, извинилась:

— Прости, второй день железный вкус какой-то во рту.

Вытерла губы платочком и пренебрежительно отмахнулась им, говоря:

— Феминизм, суфражизм — все это, милый мой, выдумки нищих духом.

Самгин снова замолчал, а она заговорила о своих делах в суде, о прежнем поверенном своем:

— Дурак надутый, а хочет быть жуликом. Либерал, а — чего добиваются либералы? Права быть консерваторами. Думают, что это не заметно в них! А ведь добьются своего, — как думаешь?

— Возможно, — согласился Самгин.

Марина засмеялась. Каждый раз, беседуя с нею, он ощущал зависть к ее умению распоряжаться словами, формировать мысли, но после беседы всегда чувствовал, что Марина не стала понятнее и центральная ее мысль все-таки неуловима.

Разговорам ее о религии он не придавал значения, считая это «системой фраз»; украшаясь этими фразами, Марина скрывает в их необычности что-то более значительное, настоящее свое оружие самозащиты; в силу этого оружия она верит,

и этой верой объясняется ее спокойное отношение к действительности, властное — к людям. Но — каково же это оружие?

По судебным ее делам он видел, что муж ее был умным и жестоким стяжателем; скупал и перепродавал земли, леса, дома, помещал деньги под закладные усадеб, многие операции его имели характер явно ростовщический.

«Гедонист!» — усмехался Самгин, читая дела.

Марина не только не смущалась этой деятельностью, но успешно продолжала ее.

«На кой чорт ей нужны деньги? — соображал Самгин. — Достаточно богата — живет скромно. На филантропию тратит не так уж много...»

На руках у него было дело о взыскании по закладной с земского начальника, усадьбу которого крестьяне разгромили и сожгли. Марина сказала:

— Платить ему — нечем, он картежник, кутила; получил в Петербурге какую-то субсидию, но уже растранжирил ее. Земля останется за мной, те же крестьяне и купят ее.

Постукивая пальцем по плечу Самгина, Марина засмеялась:

— Вот видишь: мужик с барином ссорятся, а купчиха выигрывает! И всегда так было.

Самгин не заметил цинизма в этих ее словах, и это очень удивило его.

О том, что «купец выигрывает», она говорила часто и всегда — шутливо, точно поддразнивая Клима.

— А ведь если в Думу купцы да попы сядут, — вам, интеллигентам, не сдобровать.

— Есть рабочие, — напомнил он.

— Есть ли? Будут. Но до этого — далеко! Он заметил, что, возвратясь из поездки, Марина стала относиться к нему ласковее, более дружески, без той иронии, которая нередко задевала его самолюбие. И это новое ее отношение усиливало неопределенные надежды его, интерес к ней.

Через несколько дней он должен был ехать в один из городов на Волге утверждать Марину в правах на имущество, отказанное ей по завещанию какой-то старой девой.

— Кстати, Клим Иванович, — сказала она. — Лет десять тому назад был там осужден купец Потапов за принадлежность к секте какой-то. На суде читаны были письма Клавдии Звягиной, была такая в Пензе, она скончалась года за два до этого процесса. И рукопись некоего Якова Тобольского. Так ты — «не в службу, а в дружбу» — достань мне документы эти. Они, конечно, в архиве, и тебе надобно обратиться к регистратору Серафиму Пономареву, поблагодарить его; дашь рублей полсотни, можно и больше. Документами этими я очень интересуюсь, собираю кое-что, когда-нибудь покажу тебе. У меня есть письма Владимира Соловьева, оптинского старца одного, Зюдергейма, о «бегунах» есть кое-что; это еще супруг начал собирать. Очень интересно все. Ты Серафиму этому скажи, что для ученой работы документы нужны.

Как всегда, ее вкусный голос и речь о незнакомом ему заставили Самгина поддаться обаянию женщины, и он не подумал о значении этой просьбы, выраженной тоном человека, который говорит о забавном, о капризе своем. Только на месте, в незнакомом и неприятном купеческом городе, собираясь в суд, Самгин сообразил, что согласился участвовать в краже документов. Это возмутило его. «Однако, чорт возьми! Какая оплошность». Но, находясь в грязненькой, полутемной комнате регистратуры, он увидел пред собой розовощекого маленького

старичка, старичок весело улыбался, ходил на цыпочках и симпатично говорил мягким тенорком. Самгин не мог бы объяснить, что именно заставило его попробовать устойчивость старичка. Следуя совету Марины, он сказал, что занимается изучением сектантства. Старичок оказался не трудным, — внимательно выслушав деловое предложение, он сказал любезно:

— Конечно, возможно-с, так как документы не денежные. И ежели попы не воспользовались ими, могу поискать. Обыкновенно документы такого рода отправляются в святейший правительствующий синод, в библиотеку оного.

А через два дня, показывая Самгину пакет писем и тетрадку в кожаной обложке, он сказал, нагловато глядя в лицо Самгина:

— Заголовочек сочинения соблазнительный какой, смотрите-ко: «Иакова» — не просто — Якова, а Иакова, вот как-с! «Иакова Тобольского размышление о духе, о плоти и Диаволе» — Диаволе, а не Дьяволе! Любопытно, должно быть-с!

И, положив тетрадь на стол, прижав ее розовой, пухлой ручкой, непреклонно потребовал:

— Прибавьте двадцать пять.

Самгин прибавил и тут же решил устроить Марине маленькую сцену, чтоб на будущее время обеспечить себя от поручений такого рода. Но затем он здраво подумал:

«Дает ли мне этот случай право думать, что такие поручения могут повторяться?»

Дорогой, в вагоне, он достал тетрадь и, на ее синеватых страницах, прочитал рыжие, как ржавчина, слова:

«И лжемыслие, яко бы возлюбив человека господь бог возлюбил также и рождение и плоть его, господь наш есть дух и не вмещает любви к плоти, а отметает плоть. Какие можем привести доказательства сего? Первое: плоть наша грязна и пакостна, подвержена болезням, смерти и тлению...»

Перевернув несколько страниц, написанных круглым, скучным почерком, он поймал глазами фразу, выделенную из плотных строк: «Значит: дух надобно ставить на первое место, прежде отца и сына, ибо отец и сын духом рождены, а не дух отцом».

«Какая ерунда, — подумал Самгин и спрятал тетрадь в портфель. — Не может быть, чтобы это серьезно интересовало Марину. А юридический смысл этой операции для нее просто непонятен».

В городе, подъезжая к дому Безбедова, он увидал среди улицы забавную группу: полицейский, с разносной книгой под мышкой, старуха в клетчатой юбке и с палкой в руках, бородатый монах с кружкой на груди, трое оборванных мальчишек и педагог в белом кителе — молча смотрели на крышу флигеля; там, у трубы, возвышался, качаясь, Безбедов в синей блузе, без пояса, в полосатых брюках, — босые ступни его ног по-обезьяньи цепко приклеились к тесу крыши. Размахивая длинным гибким помелом из грязных тряпок, он свистел, рычал, кашлял, а над его растрепанной головой в голубом, ласково мутном воздухе летала стая голубей, как будто снежно-белые цветы трепетали, падая на крышу.

— Обленились до чорта, — ожирели! — заорал Безбедов, когда Самгин вошел во двор. — Ну, — я их — взбодрю! Я — подниму! Вот увидите! Улыбнетесь...

Самгин, махнув ему шляпой, подумал:

«А — правильно говорят: страшно смешной».

Предвечерним чаем Безбедов сходил на реку, выкупался и, сидя за столом с

мокрыми волосами, точно в измятой старой шапке, кашляя, потея, вытирая лицо чайной салфеткой, бормотал:

— Муромская приехала. Рассказывает, будто царь собрался в Лондон бежать, кадетов испугался, а кадеты левых боятся, и вообще чорт знает что будет!

Он закашлялся бухающими звуками, лицо и шея его вздулись от напора крови, белки глаз, покраснев, выкатились, оттопыренные уши дрожали. Никогда еще Самгин не видел его так жутко возбужденным.

— А новый министр, Столыпин, говорит, — трус и дурак.

Слушая невнимательно, Самгин спросил:

— Кому говорит?

— Никому не говорит, — сердито ответил Безбедов. — Это — не он говорит, а — Муромская. Истеричка, чорт ее... Пылит, как ветер.

Откашлялся, плюнул в платок и положил его на стол, но сейчас же брезгливо, одним пальцем, сбросил на пол и, снова судорожно вытирая лоб, виски салфеткой, забормотал раздраженно:

— Кричит: продавайте лес, уезжаю за границу! Какому чорту я продам, когда никто ничего не знает, леса мужики жгут, все — испугались... А я — Блинова боюсь, он тут затевает что-то против меня, может быть, хочет голубятню поджечь. На-днях в манеже был митинг «Союза русского народа», он там орал: «Довольно!» Даже кровь из носа потекла у идиота...

Закурив трубку, он немножко успокоился и широко оскалил неровные крупные зубы.

— Кричал: «Финляндия хочет отложиться, шведы объявляют нам войну», — вообще: кипит похлебка!

Было ясно, что он торопится выбросить из памяти новости, отягощающие ее. Самгин усмехнулся.

— Да, смешно, — сказал Безбедов. — Царь Думу открывал в мантии, в короне, а там все — во фраках. Во фраках или в сюртуках, — не знаете?

— Не знаю.

— Уморительно! Чорт, до чего дожили, а? Вроде Англии. Он — в мантии, а они — во фраках! Человек во фраке напоминает стрижа. Их бы в кафтаны какие-нибудь нарядить. Хорошо одетый человек меньше на дурака похож.

Самгин, поправив очки, взглянул на него; такие афоризмы в устах Безбедова возбуждали сомнения в глупости этого человека и усиливали неприязнь к нему. Новости Безбедова он слушал механически, как шум ветра, о них не думалось, как не думается о картинах одного и того же художника, когда их много и они утомляют однообразием красок, техники. Он отметил, что анекдотические новости эти не вызывают желания оценить их смысл. Это было несколько странно, но он тотчас нашел объяснение:

«Безбедов говорит с высоты своей голубятни, тоном человека, который принужден говорить о пустяках, не интересных для него. Тысячи людей портят себе жизнь и карьеру на этих вопросах, а он, болван...»

Самгин рассердился и ушел. Марины в городе не было, она приехала через восемь дней, и Самгина неприятно удивило то, что он сосчитал дни. Когда он передал ей пакет писем и тетрадку «Размышлений», она, небрежно бросив их на диван, сказала весьма равнодушным тоном:

— Спасибо.

Это убедило Самгина, что купчиха действительно не понимает юридического смысла поступка, который он сделал по ее желанию. Объяснить ей этот смысл он не успел, — Марина, сидя в позе усталости, закинув руки за шею, тоже начала рассказывать новости:

— Ну, батюшка, Петербург совершенно ошалел. Водила меня Лидия по разным политическим салонам…

— Вы были там вместе?

— Ну да.

Самгин отметил, что Безбедов не сказал ему об этом. Она, играя бровями, с улыбочкой в глазах, рассказала, что царь капризничает: принимая председателя Думы — вел себя неприлично, узнав, что матросы убили какого-то адмирала, — топал ногами и кричал, что либералы не смеют требовать амнистии для политических, если они не могут прекратить убийства; что келецкий губернатор застрелил свою любовницу и это сошло ему с рук безнаказанно. Столыпиным недовольны за то, что он не решается прикрыть Думу, на митингах левые бьют кадетов, — те, от обиды, поворачивают направо.

— Видела знаменитого адвоката, этого, который стихи пишет, он — высокого мнения о Столыпине, очень защищает его, говорит, что, дескать, Столыпин нарочно травит конституционалистов левыми, хочет напугать их, затолкать направо поглубже. Адвокат — мужчина приятный, любезен, как парикмахер, только уж очень привык уголовных преступников защищать.

Рассказывала она почти то же, что и ее племянник. Тон ее рассказов Самгин определил как тон человека, который, побывав в чужой стране, оценивает жизнь иностранцев тоже с высоты какой-то голубятни.

— Ты говоришь точно о детских шалостях, — заметил он; Марина усмехнулась:

— Разве? Как старуха? Учительница старая? Охлаждаю твое пламенное сердце революционера? Дай папироску.

Подавая ей портсигар, Самгин заметил, что рука его дрожит. В нем разрасталось негодование против этой непонятно маскированной женщины. Сейчас он скажет ей кое-что по поводу идиотских «Размышлений» и этой операции с документами. Но Марина опередила его намерение. Закурив, выдувая в потолок струю дыма и следя за ним, она заговорила вполголоса, медленно:

— Зря ты, Клим Иванович, ежа предо мной изображаешь, — иголочки твои не страшные, не колют. И напрасно ты возжигаешь огонь разума в сердце твоем, — сердце у тебя не горит, а — сохнет. Затрепал ты себя — анализами, что ли, не знаю уж чем! Но вот что я знаю:

критически мыслящая личность Дмитрия Писарева, давно уже лишняя в жизни, вышла из моды, — критика выродилась в навязчивую привычку ума и — только.

Так она говорила минуты две, три. Самгин слушал терпеливо, почти все мысли ее были уже знакомы ему, но на этот раз они звучали более густо и мягко, чем раньше, более дружески. В медленном потоке ее речи он искал каких-нибудь лишних слов, очень хотел найти их, не находил и видел, что она своими словами формирует некоторые его мысли. Он подумал, что сам не мог бы выразить их так просто и веско.

«Действительно, — когда она говорит, она кажется старше своих лет», — подумал он, наблюдая за блеском ее рыжих глаз; прикрыв глаза ресницами, Марина рассматривала ладонь своей правой руки. Самгин чувствовал, что она обезоруживает его, а она, сложив руки на груди, вытянув ноги, глубоко вздохнула,

говоря:

— Устала я и говорю, может быть, грубо, нескладно, но я говорю с хорошим чувством к тебе. Тебя — не первого такого вижу я, много таких людей встречала. Супруг мой очень преклонялся пред людями, которые стремятся преобразить жизнь, я тоже неравнодушна к ним. Я — баба, — помнишь я сказала: богородица всех религий? Мне верующие приятны, даже если у них религия без бога.

Самгин чувствовал себя в потоке мелких мыслей, они проносились, как пыльный ветер по комнате, в которой открыты окна и двери. Он подумал, что лицо Марины мало подвижно, яркие губы ее улыбаются всегда снисходительно и насмешливо; главное в этом лице — игра бровей, она поднимает и опускает их, то — обе сразу, то — одну правую, и тогда левый глаз ее блестит хитро. То, что говорит Марина, не так заразительно, как мотив: почему она так говорит?

— Милый друг, — революционер — мироненавистник, но не мизантроп, людей он любит, для них и живет, — слышал Самгин.

— Это — романтизм, — сказал он.

— Так ли?

— Романтизм. И ты — не способна к нему Она удивленно спросила:

— Разве я назвала себя революционеркой?

— Я тоже не рекомендовался тебе революционером, — необдуманно сказал Самгин и почувствовал, что краснеет.

— Верно, — согласилась она. — Не называл, но… Ты не обижайся на меня: по-моему, большинство интеллигентов — временно обязанные революционеры, — до конституции, до республики. Не обидишься?

— Нет, — сказал Самгин, понимая, что говорит неправду, — мысли у него были обиженные и бежали прочь от ее слов, но он чувствовал, что раздражение против нее исчезает и возражать против ее слов — не хочется, вероятно, потому, что слушать ее — интересней, чем спорить с нею. Он вспомнил, что Варвара, а за нею Макаров говорили нечто сродное с мыслями Зотовой о «временно обязанных революционерах». Вот это было неприятно, это как бы понижало значение речей Марины.

— Почему ты говоришь со мной на эту тему и так… странно говоришь? Почему подозреваешь меня в неискренности? — спросил он.

— Не понял, — сказала она, вздохнув. — Хочется мне, чтоб перепрыгнул ты через голову свою. Тебе, Клим Иванович, надобно погреться у другого огня, вот что я говорю.

— Мне нужно отдохнуть, — сказал он.

— Это же и я говорю. А что мешает? — спросила она, став перед ним и оправляя прическу, — гладкая, гибкая, точно большая рыба.

Самгин едва удержался, чтоб не сказать:

«Ты мешаешь!»

Ушел он в настроении, не совсем понятном ему: эта беседа взволновала его гораздо более, чем все другие беседы с Мариной; сегодня она дала ему право считать себя обиженным ею, но обиды он не чувствовал.

«Умна, — думал он, идя по теневой стороне улицы, посматривая на солнечную, где сияли и жмурились стекла в окнах каких-то счастливых домов. — Умна и проницательна. Спорить с нею? Бесполезно. И о чем? Сердце — термин

физиологический, просторечие приписывает ему различные качества трагического и лирического характера, — она, вероятно, бессердечна в этом смысле».

Впереди него, из-под горы, вздымались молодо зеленые вершины лип, среди них неудачно пряталась золотая, но полысевшая голова колокольни женского монастыря; далее все обрывалось в голубую яму, — по зеленому се дну, от города, вдаль, к темным лесам, уходила синеватая река. Все было очень мягко, тихо, окутано вечерней грустью.

«В сущности, она не сказала мне ничего обидного. И я вовсе не таков, каким она видит меня».

Мысли эти не охватывали основного впечатления беседы; Самгин и не спешил определить это впечатление, — пусть оно само окрепнет, оформится. Из палисадника красивого одноэтажного дома вышла толстая, важная дама, а за нею — высокий юноша, весь в новом, от панамы на голове до рыжих американских ботинок, держа под мышкой тросточку и натягивая на правую руку желтую перчатку; он был немножко смешной, но — счастливый и, видимо, сконфуженный счастьем. Самгин вспомнил себя, когда он, сняв сюртук гимназиста, оделся в новенький светлосерый костюм, — было неудобно, а хорошо.

«Я настраиваюсь лирически», — отметил он и усмехнулся.

На дворе его встретил Безбедов с охотничьей двустволкой в руках, ошеломленно посмотрел на него и захрипел:

— Смеетесь? Вам — хорошо, а меня вот сейчас Муромская загоняла в союз Михаила Архангела — Россию спасать, — к чорту! Михаил Архангел этот — патрон полиции, — вы знаете? А меня полиция то и дело штрафует — за голубей, санитарию и вообще.

Он стучал прикладом ружья по ступеньке крыльца, не пропуская Самгина в дом, встряхивая головой, похожей на помело, и сипел:

— Если б не тетка — плюнул бы я в ладонь этой чортовой кукле с ее политикой, союзами, архангелами…

Он был такой же, как всегда, но не возбуждал у Самгина неприязни.

— На кого это вы вооружились?

— Крыса. Может быть — хорек, — сказал Безбедов, направляясь на чердак.

В комнатах Клима встретила прохладная и как бы ожидающая его тишина. Даже мух не было.

«Это — потому, что я здесь не ем», — сообразил он. Постоял среди приемной, посмотрел, как солнечная лента освещает пыльные его ботинки, и решил:

«Надо поговорить с Безбедовым о Марине, непременно».

Осторожно, не делая резких движений, Самгин вынул портсигар, папиросу, — спичек в кармане не оказалось, спички лежали на столе. Тогда он, спрятав портсигар, бросил папиросу на стол и сунул руки в карманы. Стоять среди комнаты было глупо, но двигаться не хотелось, — он стоял и прислушивался к непривычному ощущению грустной, но приятной легкости.

«Чувствовал ли я себя когда-нибудь так странно? Как будто — нет».

Затем он вспомнил, что нечто приблизительно похожее он испытывал, проиграв на суде неприятное гражданское дело, порученное ему патроном. Ничего более похожего — не нашлось. Он подошел к столу, взял папиросу и лег на диван, ожидая, когда старуха Фелициата позовет пить чай.

Недели две он прожил в непривычном состоянии благодушного покоя, и минутами это не только удивляло его, но даже внушало тревожную мысль: где-то скопляются неприятности. За утренним чаем небрежно просматривал две местные газеты, — одна из них каждый день истерически кричала о засилии инородцев, безумии левых партий и приглашала Россию «вернуться к национальной правде», другая, ссылаясь на статьи первой, уговаривала «беречь Думу — храм свободного, разумного слова» и доказывала, что «левые» в Думе говорят неразумно. В конечном итоге обе газеты вызывали у Самгина одинаковое впечатление: очень тусклое и скучное эхо прессы столиц; живя подражательной жизнью, обе они не волнуют устойчивую жизнь благополучного города. А таких городов — много, больше полусотни. По воскресеньям в либеральной газете печатались «Впечатления провинциала», подписанные Идрон. Самгин верил глазам Ивана Дронова и читал его бойкие фельетоны так же внимательно, как выслушивал на суде показания свидетелей, не заинтересованных в процессе ничем иным, кроме желания подчеркнуть свой ум, свою наблюдательность. Дроков одинаково иронически относился к правым и левым и подчеркивал «реализм» политики конституционалистов-демократов.

«Дронов не может не чувствовать, где сила», — подумал он, усмехаясь.

А вообще Самгин незаметно для себя стал воспринимать факты политической жизни очень странно: ему казалось, что все, о чем тревожно пишут газеты, совершалось уже в прошлом. Он не пытался объяснить себе, почему это так? Марина поколебала это его настроение. Как-то, после делового разговора, она сказала:

— Слушай-ко, нелюдимость твоя замечена, и, пожалуй, это вредно тебе. Считают тебя эдаким, знаешь, таинственным деятелем, который — не то чтобы прячется, а — выжидает момента. Ходит слушок, что за тобой числятся некоторые подвиги, будто руководил ты Московским восстанием и продолжаешь чем-то руководить.

Это было неожиданно и неприятно. Самгин, усмехаясь, сказал:

— Так создаются герои!

А она, играя перчатками, продолжала:

— Ты бы мизантропию-то свою разбавил чем-нибудь, Тимон Афинский! Смотри, — жандармы отлично помнят прошлое, а — как они успокоят, ежели не искоренят? Следовало бы тебе чаще выходить на люди.

Говорила она шутливо. Самгин спросил:

— Тебя это беспокоит? Скомпрометирую? Она удивленно подняла брови:

— Меня? Разве я за настроения моего поверенного ответственна? Я говорю в твоих интересах. И — вот что, — сказала она, натягивая перчатку на пальцы левой руки, — ты возьми-ка себе Мишку, он тебе и комнаты приберет и книги будет в порядке держать, — не хочешь обедать с Валентином — обед подаст. Да заставил бы его и бумаги переписывать, — почерк у него — хороший. А мальчишка он — скромный, мечтатель только.

Величественно выплыла из комнаты, и на дворе зазвучал ее сочный голос:

— Валентин! Велел бы двор-то подмести, что за безобразие! Муромская жалуется на тебя: глаз не кажешь. Что-о? Скажите, пожалуйста! Нет, уж ты, прошу, без капризов. Да, да!.. Своим умом? Ты? Ох, не шути…

Ушла, сильно хлопнув калиткой.

«Племянника — не любит, — отметил Самгин. — Впрочем, он племянник ее мужа». И, подумав, Самгин сказал себе:

«А ведь никто, никогда не относился к тебе, друг мой, так заботливо, а?»

И он простил Марине то, что она ему напомнила о прошлом. Заботами ее у него начиналась практика, он уже имел несколько гражданских исков и платную защиту по делу о поджоге. Но через несколько дней прошлое снова и очень бесцеремонно напомнило о себе. Поздно вечером к нему явились люди, которых он встретил весьма любезно, полагая, что это — клиенты: рослая, краснощекая женщина, с темными глазами на грубоватом лице, одетая просто и солидно, а с нею — пожилой лысоватый человек, с остатками черных, жестких кудрей на остром черепе, угрюмый, в дымчатых очках, в измятом и грязном пальто из парусины. Самгин определил:

«Хозяйка и служащий. Вероятно — уголовное дело». Но женщина, присев к столу, вынула из кармана юбки коробку папирос и сказала вполголоса:

— Моя фамилия — Муравьева, иначе — Паша. Татьяна Гогина сообщила мне, что, в случае нужды, я могу обратиться к вам.

Самгин собирался зажечь спичку, но не зажег, а, щелкнув ногтем по коробке, подал коробку женщине, спрашивая:

— Чем могу служить?

Темные глаза женщины смотрели на него в упор, — ее спутник сел на стул у стены, в сумраке, и там невнятно прорычал что-то.

«Кажется, я его когда-то видел», — подумал Самгин.

Не торопясь Муравьева закурила папиросу от своей спички и сказала, что меньшевики, в будущее воскресенье, устраивают в ремесленной управе доклад о текущем моменте.

— У нас некому выступить против них; товарищ, который мог бы сделать это достаточно солидно, — заболел.

Говорила она требовательно, высоким надорванным голосом, прямой взгляд ее был неприятен. Самгин сказал:

— Лицо, названное вами, ничего не сообщало мне о Муравьевой, и вообще я с этим лицом не состою в переписке.

— Странно, — сказала женщина, пожимая плечами. а спутник ее угрюмо буркнул:

— Идем к тому.

— На митингах я никогда не выступал, — добавил Самгин, испытывая удовольствие говорить правду.

— Не надо, идем к тому, — повторил мужчина, вставая. Самгину снова показалось, что он где-то видел его, слышал этот угрюмый, тяжелый голос. Женщина тоже встала и, сунув папиросу в пепельницу, сказала громко:

— Вот и попробовали бы.

Вставая, она задела стол, задребезжал абажур лампы. Самгин придержал его ладонью, а женщина небрежно сказала:

— Извините, — и ушла, не простясь.

«Со спичками у меня вышло невежливо, — думал Самгин. — Человека этого я встречали.

Вздохнув, он вытряхнул окурок папиросы в корзину для бумаг. Дня через два он вышел «на люди», — сидел в зале клуба, где пела Дуняша, и слушал доклад

местного адвоката Декаполитова, председателя «Кружка поощрения кустарных ремесел». На эстраде, заслоняя красный портрет царя Александра Второго, одиноко стоял широкоплечий, но плоский, костистый человек с длинными руками, седовласый, но чернобровый, остриженный ежиком, с толстыми усами под горбатым носом и острой французской бородкой. Он казался загримированным под кого-то, отмеченного историей, а брови нарочно выкрасил черной краской, как бы для того, чтоб люди не думали, будто он дорожит своим сходством с историческим человеком. Разговаривал он приятным, гибким баритоном, бросая в сумрак скупо освещенного зала неторопливые, скучные слова:

— Ситуация данных дней требует, чтоб личность категорически определила: чего она хочет?

— Чтобы Столыпина отправили к чертовой матери, — проворчал соседу толстый человек впереди Самгина, — сосед дремотно ответил:

— Отруба — ловкий ход.

В зале рассеянно сидели на всех рядах стульев человек шестьдесят.

Летний дождь шумно плескал в стекла окон, трещал и бухал гром, сверкали молнии, освещая стеклянную пыль дождя; в пыли подпрыгивала черная крыша с двумя гончарными трубами, — трубы были похожи на воздетые к небу руки без кистей. Неприятно теплая духота наполняла зал, за спиною Самгина у кого-то урчало в животе, сосед с левой руки после каждого удара грома крестился и шептал Самгину, задевая его локтем:

— Пардон…

— Пред нами развернуты программы нескольких политических партий, — рассказывал оратор.

Самгин долго искал: на кого оратор похож? И, не найдя никого, подумал, что, если б приехала Дуняша, он встретил бы ее с радостью.

Наискось от него, впереди сидел бывший поверенный Марины и, утешительно улыбаясь, шептал что-то своему соседу — толстому, бородатому, с жирной шеей.

— Существует мнение, что политика и мораль — несовместимы, — разговаривал оратор, вынув платок из кармана и взмахнув им, — но это абсолютно неверно, это — мнение фельетонистов, политика строится на нормах права…

Удар грома пошатнул его, он отступил на шаг в сторону, вытирая виски платком, мигая, — зал наполнился гулом, ноющей дрожью стекол в окнах, а поверенный Марины, подскочив на стуле, довольно внятно пробормотал:

— Это — не повод для кассации… Снова заговорил оратор, но уже быстрее и рассердясь на кого-то. Самгин поймал странную фразу:

— Не всякий юноша, кончив гимназию, идет в университет, не все путешественники по Африке стремятся к центру ее…

— Верно, — сказал кто-то сзади Самгина и глухо засмеялся.

Самгин не мог сосредоточить внимание на ораторе, речь его казалась давно знакомой. И он был очень доволен, когда Декаполитов, наклонясь вперед, сказал:

— Мы, наконец, дошли до пределов возможного и должны остановиться, чтоб, укрепясь на занятых позициях, осуществить возможное, реализовать его, а там история укажет, куда и как нам идти дальше. Я — кончил.

В первом ряду поднялся большеголовый лысый человек и прокричал:

— Перерыв — четверть часа! Прошу желающих записаться на прения.

И так же крикливо сказал кому-то:

— Что же вы, батенька, стол-то перед эстрадой поставили? На эстраду его надо было поставить, на эстраду-с…

Самгин пошел в буфет, слушая, что говорят солидные, тяжеловесные горожане, неторопливо спускаясь по мраморной лестнице.

— Декаполитов трезво рассуждал…

— Н-да! На них мужичок действует, как нашатырь на пьяного.

— Сами же раскачивали, а теперь, как закачалось все…

— Ой, мамо! Гони кошку з хаты, бо вона мини цапае… Знакомые адвокаты раскланивались с Климом сухо, пожимали руку его молча и торопливо; бывший поверенный Марины, мелко шагая коротенькими ногами, подбежал к нему и спросил:

— Ну — как? Что скажете? Но тотчас же сам сказал:

— Какой отличный дождь! — и откатился к маленькому, усатому человеку, сердито говоря:

— Послушайте, господин Онуфриенко, вот уже прошло две недели…

— Ну, и прошло, а — что?

Не пожелав остаться на прения по докладу, Самгин пошел домой. На улице было удивительно хорошо, душисто, в небе, густосинем, таяла серебряная луна, на мостовой сверкали лужи, с темной зелени деревьев падали голубые капли воды; в домах открывались окна. По другой стороне узкой улицы шагали двое, и один из них говорил:

— Обеспокоились старички…

Из открытого окна в тишину улицы масляно вытек красивый голос:

Хотел бы в единое словоИзлить все, что на сердце есть…

— Реакция! — крикнул в окно один из двух, и, смеясь, они пошли быстрей.

«Очень провинциальная шуточка», — подумал Самгин, с наслаждением вдыхая свежий воздух, запахи цветов.

Через несколько дней правительство разогнало Думу, а кадеты выпустили прокламацию, уговаривая крестьян не давать рекрутов, не платить налогов. Безбедов, размахивая газетой, захрипел:

— Какого чорта? Конституция, так — конституция, а то все равно как на трехногий стул посадили. Идиоты! Теперь — снова жди всеобщей забастовки…

— А как реагирует город? — спросил Самгин.

— Ну, что ж — город? Баранов — много, а козлов — нет, ну, баранам и не за кем идти.

Самгин был уверен, что настроением Безбедова живут сотни тысяч людей — более умных, чем этот голубятник, и нарочно, из антипатии к нему, для того, чтоб еще раз убедиться в его глупости, стал расспрашивать его: что же- он думает? Но Безбедов побагровел, лицо его вспухло, белые глаза свирепо выкатились; встряхивая головой, растирая ладонью горло, он спросил:

— Экзаменуете меня, что ли? Я же не идиот все-таки! Дума — горчишник на шею,

ее дело — отвлекать прилив крови к мозгу, для этого она и прилеплена в сумасбродную нашу жизнь! А кадеты играют на бунт. Налогов не платить! Что же, мне спичек не покупать, искрами из глаз огонь зажигать, что ли?

Стукнув кулаком по столу, он заорал:

— Я плачу налоги, чтоб мне обеспечили спокойную жизнь, — так или нет?. Обязана власть охранять мою жизнь?

Он качался на стуле, раздвигал руками посуду на столе, стул скрипел, посуда звенела. Самгин первый раз видел его в припадке такой ярости и не верил, что ярость эта вызвана только разгоном Думы.

— Левой рукой сильно не ударишь! А — уж вы как хотите — а ударить следует! Я не хочу, чтоб мне какой-нибудь сапожник брюхо вспорол. И чтоб дом подожгли — не желаю! Вон вчера слободская мастеровщина какого-то будто бы агента охраны укокала и домишко его сожгла. Это не значит, что я — за черную сотню, самодержавие и вообще за чепуху. Но если вы взялись управлять государством, так управляйте, чорт вас возьми! Я имею право требовать покоя-Считая неспособность к сильным взрывам чувств основным достоинством интеллигента, Самгин все-таки ощущал, что его антипатия к Безбедову разогревается до ненависти к нему, до острого желания ударить его чем-нибудь по багровому, вспотевшему лицу, по бешено вытаращенным глазам, накричать на Безбедова грубыми словами. Исполнить все это мешало Самгину чувство изумления перед тем, что такое унизительное, дикое желание могло возникнуть у него. А Безбедов неистощимо бушевал, хрипел, задыхаясь.

— И не воспитывайте меня анархистом, — анархизм воспитывается именно бессилием власти, да-с! Только гимназисты верят, что воспитывают — идеи. Чепуха! Церковь две тысячи лет внушает: «возлюбите друг друга», «да единомыслием исповемы» — как там она поет? Чорта два — единомыслие, когда у меня дом — в один этаж, а у соседа — в три! — неожиданно закончил он.

— Вам вредно волноваться так, — сказал Самгин, насильно усмехаясь, и ушел в сад, в угол, затененный кирпичной, слепой стеной соседнего дома. Там, у стола, врытого в землю, возвышалось полукруглое сиденье, покрытое дерном, — весь угол сада был сыроват, печален, темен. Раскуривая папиросу, Самгин увидал, что руки его дрожат.

«До какой степени этот идиот огрубляет мысль и чувство», — подумал он и вспомнил, что людей такого типа он видел не мало. Например: Тагильский, Стратонов, Ряхин. Но — никто из них не возбуждал такой антипатии, как этот.

Сегодня Безбедов даже вызвал чувство тревоги, угнетающее чувство. Через несколько минут Самгин догадался, что обдумывать Безбедова — дело унизительное. Оно ведет к мыслям странным, совершенно недопустимым. Чувство собственного достоинства решительно протестует против этих мыслей.

Марина отнеслась к призыву партии кадет иронически.

— Это они хватили через край, — сказала она, взмахнув ресницами и бровями. — Это — сгоряча. «Своей пустой ложкой в чужую чашку каши». Это надо было сделать тогда, когда царь заявил, что помещичьих земель не тронет. Тогда, может быть, крестьянство взмахнуло бы руками...

И, помахивая в лицо свое кружевным платочком, она сказала задумчиво:

— Лидию кадеты до того напугали, что она даже лес хотела продать, а вчера уже советовалась со мной, не купить ли ей Отрадное Турчаниновых? Скучно даме. Отрадное — хорошая усадьба! У меня — закладная на нее... Старик Турчанинов умер в Ницце, наследник его где-то заблудился... — Вздохнула и, замолчав, поджала губы так, точно собиралась свистнуть. Потом, утверждая какое-то решение, сказала:

— Так.

В жизнь Самгина бесшумно вошел Миша. Он оказался исполнительным лакеем, бумаги переписывал не быстро, но четко, без ошибок, был молчалив и смотрел в лицо Самгина красивыми глазами девушки покорно, даже как будто с обожанием. Чистенький, гладко причесанный, он сидел за маленьким столом в углу приемной, у окна во двор, и, приподняв правое плечо, засевал бумагу аккуратными, круглыми буквами. Попросил разрешения читать книги и, получив его, тихо сказал:

— Покорно благодарю!

За книгами он стал еще более незаметен. Никогда не спрашивал ни о чем, что не касалось его обязанностей, и лишь на второй или третий день, после того как устроился в углу, робко осведомился:

— Клим Иванович — позвольте узнать: революция кончилась?

Вопрос был так неожидан, что Самгин, удивленно взглянув на юношу, повторил последнее слово:

— Кончилась. Но затем спросил:

— Почему тебя интересует это?

— Так… просто, — не сразу ответил Миша и, опустив голову, добавил, потише, оправдываясь: — Все интересуются.

Самгин подумал, что парень глуп, и забыл об этом случае, слишком ничтожном для того, чтобы помнить о нем. Действительность усердно воспитывала привычку забывать о фактах, несравненно более крупных. Звеньями бесконечной цепи следуя одно за другим, события все сильнее толкали время вперед, и оно, точно под гору катясь, изживалось быстро, незаметно.

Газеты почти ежедневно сообщали об экспроприациях, арестах, военно-полевых судах, о повешенных «налетчиках». Правительство прекращало издание сатирических журналов, закрывало газеты; организации монархистов начинали действовать всё более определенно террористически, реакция, принимая характер мстительного, слепого бешенства, вызывала не менее бешеное, но уже явно слабеющее сопротивление ей. Все это Самгин видел, понимал, и — в те часы, когда он слышал, читал об этом, — это угнетало его. Но он незаметно убедил себя, что события уже утратили свой революционный смысл и создаются силою инерции. Они приняли характер «сухой грозы», — молнии и грома очень много, а дождя — нет. В то же время, наблюдая жизнь города, он убеждался, что процесс «успокоения», как туман, поднимается снизу, от земли, и что туман этот становится все гуще, плотнее. Особенно легко забывалось о действительности во время бесед с Мариной. Когда он спросил ее, что она думает по поводу экспроприации? — она ответила, разглядывая ногти свои:

— Не понимаю. Может быть, это — признак, что уже «кончен бой» и начали действовать мародеры, а возможно, что революция еще не истратила всех своих сил. Тебе — лучше знать, — заключила она, улыбаясь.

— Ты как будто сожалеешь о том, что кончен бой? — спросил Самгин; она не ответила, заговорив о другом:

— Слушай-ко, явился молодой Турчанинов, надобно его утвердить в правах наследства на Отрадное и ввести во владение, — чувствуешь? Я похлопочу, чтоб в суде шевелились быстро. Лидия, кажется, решила купить имение.

Посмеиваясь, состригая заусеницу на мизинце, она говорила немножко в нос, подражая Лидии:

— У нее — новая идея: надобно, видишь ли, восстановлять культурные хозяйства,

фермеров надобно разводить, — в согласии с политикой Столыпина.

Постучав по лбу пальцем, как это делают, когда хотят без слов сказать, что человек — глуп, Марина продолжала своим голосом, сочно и лениво:

— Женщины, говорит, должны принимать участие в жизни страны как хозяйки, а не как революционерки. Русские бабы обязаны быть особенно консервативными, потому что в России мужчина — фантазер, мечтатель.

Это было дома у Марины, в ее маленькой, уютной комнатке. Дверь на террасу — открыта, теплый ветер тихонько перебирал листья деревьев в саду; мелкие белые облака паслись в небе, поглаживая луну, никель самовара на столе казался голубым, серые бабочки трепетали и гибли над огнем, шелестели на розовом абажуре лампы. Марина — в широчайшем белом капоте, — в широких его рукавах сверкают голые, сильные руки. Когда он пришел — она извинилась:

— Прости, что я так, по-домашнему, — жарко мне! Толста немножко… — Она провела руками по груди, по бедрам, и этот жест, откровенно кокетливый, гордый, заставил Самгина сказать с невольным восхищением:

— До чего ты красива!

— Разве? Смотри, не влюбись!

— А — нельзя?

— Можно, да — не надо, — сказала она удивительно просто и этим вызвала у него лирическое настроение, — с этим настроением он и слушал ее.

— Недавно я говорю ей: «Чего ты, Лидия, сохнешь? Выходила бы замуж, вот — за Самгина вышла бы». — «Я, говорит, могу выйти только за дворянина, а подходящего — нет». Подходящий — это такой, видишь ли, который не забыл исторической роли дворянства и верен триаде: православие, самодержавие, народность. Ну, я ей сказала: «Милая, ведь эдакому-то около ста лет!» Рассердилась.

Самгину хотелось спросить ее о многом, но он спросил:

— Что такое Безбедов?

Выбирая печенье из вазы, она взглянула на него, немножко прищурясь, и медленно, неохотно ответила:

— Сам видишь: миру служить — не хочет, себе — не умеет. — И тотчас же продолжала, но уже поспешно, как бы желая сгладить эти слова:

— Смешной. Выдумал, что голуби его — самые лучшие в городе; врет, что какие-то премии получил за них, а премии получил трактирщик Блинов. Старые охотники говорят, что голубятник он плохой и птицу только портит. Считает себя свободным человеком. Оно, пожалуй, так и есть, если понимать свободу как бесцельность. Вообще же он — не глуп. Но я думаю, что кончит плохо…

Слушая плавную речь ее, Самгин привычно испытывал зависть, — хорошо говорит она — просто, ярко. У него же слова — серые и беспокойные, как вот эти бабочки над лампой. А она снова говорила о Лидии, но уже мелочно, придирчиво — о том, как неумело одевается Лидия, как плохо понимает прочитанные книги, неумело правит кружком «взыскующих града». И вдруг сказала:

— Люди интеллигентного чина делятся на два типа: одни — качаются, точно маятники, другие — кружатся, как стрелки циферблата, будто бы показывая утро, полдень, вечер, полночь. А ведь время-то не в их воле! Силою воображения можно изменить представление о мире, а сущность-то — не изменишь.

Связи между этими словами и тем, что она говорила о Лидии, Самгин не уловил, но

слова эти как бы поставили пред дверью, которую он не умел открыть, и — вот она сама открывается. Он молчал, ожидая, что сейчас Марина заговорит о себе, о своей вере, мироощущении.

— Рабочие хотят взять фабрики, крестьяне — землю, интеллигентам хочется власти, — говорила она, перебирая пальцами кружево на груди. — Все это, конечно, и нужно и будет, но ведь таких, как ты, — удовлетворит ли это?

Самгин промолчал, рассматривая на огонь вино в старинной хрустальной рюмке, — вино золотистое, как ее глаза. В вопросе Марины он почувствовал что-то опасное для себя, задумался: что? И вдруг понял, что если он сегодня, здесь заговорит о себе, — он скажет что-то похожее на слова, сказанные ею о Безбедове. Это очень неприятно удивило его, и, прихлебывая вино, он повторил про себя: «Миру служить — не хочет, себе — не умеет», «свобода — бесцельность». Поправив очки, он внимательно, недоверчиво посмотрел на нее, но она все расправляла кружева, и лицо ее было спокойно, глаза задумчиво смотрели на мелькание бабочек, — потом она стала отгонять их, размахивая чайной салфеткой.

— Сколько их налетело, а если дверь закрыть — душно будет!

Лирическое настроение Самгина было разрушено. Ждать — нечего, о себе эта женщина ничего не скажет. Он встал. Когда она, прощаясь, протянула ему руку, капот на груди распахнулся, мелькнул розоватый, прозрачный шелк рубашки и как-то странно, воинственно напряженные груди.

— Ой, — сказала она, запахивая капот, — тут Самгин увидел до колена ее ногу, в белом чулке. Это осталось в памяти, не волнуя, даже заставило подумать неприязненно:

«Точно каменная. Вероятно, и на тело скупа так же, как на деньги».

Но по отношению к нему она не скупилась на деньги. Как-то сидя у него и увидав пакеты книг, принесенные с почты, она сказала:

— А много ты на книги тратишь! — И дружески спросила: — Не увеличить ли оклад тебе?

Он отказался, а она все-таки увеличила оклад вдвое. Теперь, вспомнив это, он вспомнил, что отказаться заставило его смущение, недостойное взрослого человека: выписывал и читал он по преимуществу беллетристику русскую и переводы с иностранных языков; почему-то не хотелось, чтоб Марина знала это. Но серьезные книги утомляли его, обильная политическая литература и пресса раздражали. О либеральной прессе Марина сказала:

— Кричит, как истеричка, от которой ушел любовник, а любовник-то давно уже надоел ей!

Через двое суток Самгин сидел в саду, уступив просьбе Безбедова посмотреть новых голубей. Безбедов торчал на крыше, держась одной рукой за трубу, балансируя помелом в другой; нелепая фигура его в неподпоясанной блузе и широких штанах была похожа на бутылку, заткнутую круглой пробкой в форме головы. В мутном, горячем воздухе, невысоко и лениво, летало штук десять голубей. Безбедов рычал и свистел. Но вот он наклонился вниз, как бы готовясь спрыгнуть с крыши, мрачно спросил: — Меня? — и крикнул: — Клим Иванович, к вам пришли!

Пришла Марина и с нею — невысокий, но сутуловатый человек в белом костюме с широкой черной лентой на левом рукаве, с тросточкой под мышкой, в сероватых перчатках, в панаме, сдвинутой на затылок. Лицо — смуглое, мелкие черты его — приятны; горбатый нос, светлая, остренькая бородка и закрученные усики напомнили Самгину одного из «трех мушкетеров».

— Знакомьтесь, — сказала Марина. — Турчанинов — Самгин.

Турчанинов рассеянно сунул Самгину длинную кисть холодной руки, мельком взглянул на него светлоголубыми глазами и вполголоса, удивленно спросил:

— Что делает этот человек на крыше?

Марина, объяснив род занятий Безбедова, крикнула:

— Валентин, распорядись, чтоб дали чаю! В приемной Самгина Марина объяснила, что вот Всеволод Павлович предлагает взять на себя его дело по утверждению в правах наследства.

— Да, пожалуйста, я вас очень прошу, — слишком громко сказал Турчанинов, и у него покраснели маленькие уши без мочек, плотно прижатые к черепу. — Я потерял правильное отношение к пространству, — сконфуженно сказал он, обращаясь к Марине. — Здесь все кажется очень далеким и хочется говорить громко. Я отсутствовал здесь восемь лет.

Подтянув фланелевые брюки, он спрятал ноги под стул и сказал, улыбаясь приятной улыбкой:

— Я счастлив, что снова здесь. Марина сказала:

— Хорошо бы побывать в Париже!

— Это — очень просто, — сообщил Турчанинов. — Это действительно лучший город мира, а Франция — это и есть Париж.

Все, что говорил Турчанинов, он говорил совершенно серьезно, очень мило и тем тоном, каким говорят молодые учителя, первый раз беседуя с учениками старших классов. Между прочим, он сообщил, что в Париже самые лучшие портные и самые веселые театры.

— Я видел в Берлине театр Станиславского. Очень оригинально! Но, знаете, это слишком серьезно для театра и уже не так — театр, как... — Приподняв плечи, он развел руками и — нашел слово:

— «Армия спасения». Знаете: генерал Бутс и старые девы поют псалмы, призывая каяться в грехах... Я говорю — не так? — снова обратился он к Марине; она ответила оживленно и добродушно:

— О, нет, нет! Это очень интересно.

Самгин не верил ее добродушию и ласково поощряющей улыбке, а Турчанинов продолжал, все более увлекаясь и точно жалуясь, не сильным, тусклым тенорком:

— И — эти босяки, вагабонд! Конечно, я — демократ, — во Франции все демократы, — а здесь я чувствую себя народником, хотя моя мать француженка. Но — почему босяки? Я думаю, что это даже вредно. Искусство должно быть... эстетично. Станиславский в грязных лохмотьях, какой-то чудак дядя Ваня стреляет в спину профессора — за что? Этого нельзя понять! И — не попадает в двух шагах! Печальный пьяница декламирует Беранже, это — ужасно старо, Беранже! Во Франции он забыт. Вообще французы никогда не поймут этого. Они знают, что все уже сказано, и дело только в том, чтобы красиво повторить знакомое. Форма! — воскликнул он, подняв руку, указывая пальцем в потолок и заглядывая в лицо Марины. — Мысли — пардон! — как женщины, они не очень разнообразны, и тайна их обаяния в том, как они одеты...

Он замолчал, вздохнув облегченно, видимо, довольный тем, что высказал все, что тяготило его.

Миша позвал к чаю, Марина и парижанин ушли, Самгин остался и несколько минут шагал по комнате, встряхивая легкие слова парижанина. Когда он пришел к Безбедову, — Марина разливала чай, а Турчанинов говорил Валентину:

— Союз Москвы и Парижа — величайшая заслуга Александра Третьего пред миром, во Франции это понимают лучше, чем у нас.

— Нам понимать некогда, мы всё революции делаем, — откликнулся Безбедов, качая головой; белые глаза его масляно блестели, лоснились волосы, чем-то смазанные, на нем была рубашка с мягким воротом, с подбородка на клетчатый галстук капал пот.

— Революция — великое прошлое французов, — сказал Турчанинов и облизнул свои бледнорозовые губы анемичной девушки.

Марина сообщила Самгину, что послезавтра, утром, решено устроить прогулку в Отрадное, — поедет она, Лидия, Всеволод Павлович, приглашают и его. Самгин молча поклонился. Она встала, Турчанинов тоже хотел уйти, но Валентин с неожиданной горячностью начал уговаривать его:

— Город — пустой, смотреть в нем нечего, а вы бы рассказали мне о Париже, — останьтесь! Вина выпьем…

Турчанинов поцеловал руку Марины и остался, а она, выйдя на крыльцо, сказала Самгину, провожавшему ее:

— Забавный какой мальчуган! Ты послушай, что он Валентину наговорит, потом расскажешь мне, смеяться будем. Ну, до свиданья, хмурый человек! Фу, фу жара какая!..

Она ушла. Самгин постоял на крыльце, послушал; из открытого окна доносился торопливый тенорок гостя, но слова звучали невнятно. Идти к Безбедову не хотелось, не идти — было бы невежливо, он закурил и вошел. На него не обратили внимания. Турчанинов сидел спиною к двери, Безбедов — боком. Облокотясь о стол, запустив пальцы одной руки в лохматую гриву свою, другой рукой он подкладывал в рот винные ягоды, медленно жевал их, запивая глотками мадеры, и смотрел на Турчанинова с масляной улыбкой на красном лице, а тот, наклонясь к нему, держа стакан в руке, говорил:

— Языческая простота! Я сижу в ресторане, с газетой в руках, против меня за другим столом — очень миленькая девушка. Вдруг она говорит мне: «Вы, кажется, не столько читаете, как любуетесь моими панталонами», — она сидела, положив ногу на ногу…

— Чорт, — пробормотал Безбедов. — Это называется: без лишних слов!

— О нет, вы — ошибаетесь! — весело воскликнул Турчанинов. — Это была не девушка для радости, а студентка Сорбонны, дочь весьма почтенных буржуа, — я потом познакомился с ее братом, офицером.

Безбедов тихонько и удивленно свистнул. Он качался на стуле, гримасничал, хрипел и потел. Было ясно, что ему трудно поддерживать беседу, что он «не имеет вопросов», очень сконфужен этим и ест ягоды для того, чтобы не говорит А Турчанинов увлеченно рассказывал:

— Идут по бульвару мужчина и дама, мужчина заходит в писсуар, и это нисколько не смущает даму, она стоит и ждет.

Безбедов фыркнул.

— Да, по-русски — это смешно и немножко — свинство, но у них — только естественно. Вообще французам совершенно не свойственно лицемерие.

Со двора в окно падали лучи заходящего солнца, и все на столе было как бы покрыто красноватой пылью, а зелень растений на трельяже неприятно почернела. В хрустальной вазе по домашнему печенью ползали мухи.

— Д-да, живут люди, — сипло вздохнул Безбедов. — А у нас вот то — война, то — революция.

— Это ужасно! — сочувственно откликнулся парижанин. — И все потому, что не хватает денег. А мадам Муромская говорит, что либералы — против займа во Франции. Но, послушайте, разве это политика? Люди хотят быть нищими… Во Франции революцию делали богатые буржуа, против дворян, которые уже разорились, но держали короля в своих руках, тогда как у вас, то есть у нас, очень трудно понять — кто делает революцию?

Безбедов взмахнул головою и захохотал, хлопая по коленям ладонями, всхрапывая:

— Вот — именно — кто?

Турчанинов подождал, когда Валентин отсмеялся, и сказал как будто уже обиженно:

— Мое мнение: революции всегда делаются богатыми…

— Ясно! — вскричал Безбедов.

Самгин незаметно вышел из комнаты, озлобленно думая:

«Эта жирная свинья — притворяется! Он прекрасно видит, что юноше приятно поучать его. Он не только сам карикатурен, но делает карикатурным и того, кто становится рядом с ним».

После того, что сказала о Безбедове Марина, Самгин почувствовал, что его антипатия к Безбедову стала острее, но не отталкивала его от голубятника, а как будто привлекала к нему. Это было и неприятно и непонятно.

Через день, утром, он покачивался в плетеной бричке по дороге в Отрадное. Еще роса блестела на травах, но было уже душно; из-под ног пары толстых, пегих лошадей взлетала теплая, едкая пыль, крепкий запах лошадиного пота смешивался с пьяным запахом сена и отравлял тяжелой дремотой. По сторонам проселочной дороги, на полях, на огородах шевелились мужики и бабы; вдали, в мареве, колебалось наивное кружево Монастырской рощи. Бричка была неудобная, на жестких рессорах,

Самгина неприятно встряхивало, он не выспался и был недоволен тем, что пришлось ехать одному, — его место в коляске Марины занял Безбедов. За кучера сидел на козлах бородатый, страховидный дворник Марины и почти непрерывно беседовал с лошадьми, — голос у него был горловой, в словах звучало что-то похожее на холодный, сухой свист осеннего ветра. И при этом — неестественно красное лицо, точно со лба, щек содрана кожа. Густая, темная борода кажется наклеенной. Еще в городе, садясь в бричку, Самгин подумал:

«Какое свирепое лицо».

А выехав за город — спросил:

— Вы откуда родом?

— Из Гурьева. Есть такой городок на Урал-реке. Раньше — Яицком звался.

— Казак?

— Казак. Только давно отбился от войска.

— Почему?

— Да… так, не полюбилось.

Спрашивать еще о чем-нибудь Самгин не захотел, а казак, помолчав, пробормотал:

— Оно, конешно, что ни люби — все промежду пальцев. Не ухватишь.

«Это я слышал или читал», — подумал Самгин, и его ударила скука: этот день, зной, поля, дорога, лошади, кучер и все, все вокруг он многократно видел, все это сотни раз изображено литераторами, живописцами. В стороне от дороги дымился огромный стог сена, серый пепел сыпался с него, на секунду вспыхивали, судорожно извиваясь, золотисто-красненькие червячки, отовсюду из черно-серого холма выбивались курчавые, синие струйки дыма, а над стогом дым стоял беловатым облаком.

— Подожгли? — спросил Самгин.

— Обязательно подожгли.

— Что, в прошлом году сильно бунтовали здесь? Казак ответил не сразу:

— Тут мужик богатый, бунтовать некому. Самгин усмехнулся, вспомнив слова Турчанинова:

«Все — было, все — сказано». И всегда будет жить на земле человек, которому тяжело и скучно среди бесконечных повторений одного и того же. Мысль о трагической позиции этого человека заключала в себе столько же печали, сколько гордости, и Самгин подумал, что, вероятно, Марине эта гордость знакома. Было уже около полудня, зной становился тяжелее, пыль — горячей, на востоке клубились темные тучи, напоминая горящий стог сена.

— Вот и Отрадное видать, — сказал кучер, показывая кнутовищем вдаль, на холм: там, прижимаясь к небольшой березовой роще, возвышался желтый дом с колоннами, — таких домов Самгин видел не менее десятка вокруг Москвы, о десятках таких домов читал.

Через четверть часа потные лошади поднялись по дороге, размытой дождями, на пригорок, в теплую тень березовой аллеи, потом остановились у крыльца новенького, украшенного резьбой, деревянного домика в один этаж. Над крыльцом дугою изгибалась большая, затейливая вывеска, — на белом поле красной и синей краской были изображены: мужик в странной позе — он стоял на одной ноге, вытянув другую вместе с рукой над хомутом, за хомутом — два цепа; за ними — большой молоток; дальше — что-то непонятное и — девица с парнем; пожимая друг другу руки, они целовались. Под фигурами маленькие буквы говорили: «Контора», и Самгин догадался, что фигуры тоже изображают буквы.

Из окна конторы высунулось бледное, чернобородое лицо Захария и исчезло; из-за угла вышли четверо мужиков, двое не торопясь сняли картузы, третий — высокий, усатый — только прикоснулся пальцем к соломенной шляпе, нахлобученной на лицо, а четвертый — лысый, бородатый — счастливо улыбаясь, сказал звонко:

— С приездом!

«И это было», — механически отметил Самгин, кланяясь мужикам и снимая пыльник.

С крыльца сбежал Захарий, подпоясывая белую рубаху, укоризненно говоря мужикам:

— Ну, что вы — сразу? Дайте вздохнуть человеку! — Он подхватил Самгина под локоть. — Пожалуйте в дом, там приготовлена трапеза… — И, проходя мимо казака, сказал ему вполголоса: — Поглядывай, Данило, я сейчас Васю пришлю. — И тихими словами оправдал свое распоряжение: — Народ здесь — ужасающий, Клим Иванович, чумовой народ!

В дом прошли через кухню, — у плиты суетилась маленькая, толстая старушка с быстрыми, очень светлыми глазами на темном лице; вышли в зал, сыроватый и сумрачный, хотя его освещали два огромных окна и дверь, открытая на террасу.

Большой овальный стол был нагружен посудой, бутылками, цветами, окружен стульями в серых чехлах; в углу стоял рояль, на нем — чучело филина и футляр гитары; в другом углу — два широких дивана и над ними черные картины в золотых рамах. Вошла тоненькая, стройная девушка с толстой косой, принесла стеклянный кувшин молока и быстро исчезла, — ушел и Захарий, сказав:

— Вот, отдохните. Умыться — через кухню. Самгин с наслаждением выпил стакан густого холодного молока, прошел в кухню, освежил лицо и шею мокрым полотенцем, вышел на террасу и, закурив, стал шагать по ней, прислушиваясь к себе, не слыша никаких мыслей, но испытывая такое ощущение, как будто здесь его ожидает что-то новое, неиспытанное. Под ногами поскрипывали половицы, из щелей между ними поднимался запах сырой земли; было очень тихо. Лестница террасы спускалась на полукруглую площадку, — она густо заросла травой, на ней лежали тени старых лип, черемух; между стволов торчали пеньки срубленного кустарника, лежала сломанная чугунная скамья. Узкая дорожка тянулась в глубину парка. Самгин сел на верхнюю ступеньку лестницы.

Из-за угла дома гуськом, один за другим, вышли мужики; лысый сел на ступень ниже Самгина, улыбнулся ему и звонко сказал:

— Городской человек и по табаку слышен. Он — среднего роста, но так широкоплеч, что казался низеньким. Под изорванным пиджаком неопределенного цвета на нем — грязная, холщовая рубаха, на ногах — серые, клетчатые брюки с заплатами и растоптанные резиновые галоши. Широкое, скуластое лицо, маленькие, острые глаза и растрепанная борода придавали ему сходство с портретами Льва Толстого. Самгин предложил ему папироску.

— Аз не пышем, — сказал он, и от широкой, самодовольной улыбки глаза его стали ясными, точно у ребенка.

Заметив, что барин смотрит на него вопросительно, он, не угашая улыбки, спросил:
— Не понимаете? Это — болгарский язык будет, цыганский. Болгаре не говорят «я», — «аз» говорят они. А курить, по-ихнему, — пыхать.

Высокий, усатый мужик с бритым лицом протянул руку, говоря:

— Давайте мне, я — курю! Самгин спросил:

— Вы — в Болгарии были?

— Зачем? Нам по чужим землям ходить не к чему, по своей еле ползаем…

— К японцам сунулись, так они нам морду набили, — угрюмо вставил усатый.

— Нет, языку этому меня цыган научил, коновал. Подсели на лестницу и остальные двое, один — седобородый, толстый, одетый солидно, с широким, желтым и незначительным лицом, с длинным, белым носом; другой — маленький, костлявый, в полушубке, с босыми чугунными ногами, в картузе, надвинутом на глаза так низко, что виден был только красный, тупой нос, редкие усы, толстая дряблая губа и ржавая бороденка. Все четверо они осматривали Самгина так пристально, что ему стало неловко, захотелось уйти. Но усатый, сдув пепел с папиросы, строго спросил:

— Скажите, господин, правда, что налоги с нас решено не брать и на войну нашего брата не гонять, а чтоб воевали только одни казаки, нам же обязанность одна — хлеб сеять?

Мужик с чугунными ногами проворчал, ковыряя пальцем гнилую ступень:

— Так тебе и скажут!

Самгин кратко рассказал о воззвании кадетской партии; мужики выслушали его молча, а лысый удовлетворенно вскричал:

— Так я же говорил — прокламация!

— Обман, значит, — вздохнул бородатый, а усач покосился на него и далеко плюнул сквозь зубы.

— Не фартит нам, господин, — звонко пожаловался лысый, — давят нас, здешних грешников, налогами! Разорения — сколько хошь, а прикопления — никак невозможно исделать. Накопишь пятиалтынный, сейчас в карман лезут — подай сюда! И — прощай монета. И монета и штаны. Тут тебе и земство, тут тебе и всё…

Говорил он со вкусом и ловко, как говорят неплохие актеры, играя в «Плодах просвещения» роль того мужика, который жалуется: «Куренка, скажем, выгнать некуда». Когда Самгин отметил это, ему показалось, что и другие мужики театральны, готовы изображать обиженных и угнетенных.

К его удовольствию, усатый мужик оправдал это впечатление: прилепив слюною окурок папиросы стоймя к ногтю большого пальца левой руки и рассматривая его, он сказал:

— Вы, господин, не верьте ему, он — богатый, у него пяток лошадей, три коровы, два десятка овец, огород отличный. Они, все трое, богачи, на отруба выбиваются, землю эту хотят купить.

Он сбил окурок щелчком, плюнул вслед ему и топнул ногой о землю, а лысый, сморщив лицо, спрятав глаза, взметнул голову и тонко засмеялся в небо.

— Ну, чего он говорит, господи, чего он говорит! Богатые, а? Мил-лай Петр Васильев, али богатые в деревнях живут когда? Э-эх, — не видано, чтобы богатый в деревне вырос, это он в городе, на легком хлебе…

Усатый Петр смотрел на него, сдвигая брови, на скулах у него вздулись желваки.

Опасаясь, что возникнет ссора, Самгин спросил, были ли бунты в их волости.

— Это нам неизвестно, — сказал мужик с белым носом, а усатый густо выговорил:

— Тут, кругом, столько черкесов нагнано, — не забунтуешь!

— Бунты — это нас не касаемо, господин! — заговорил торопливо лысый. — Конешно, у нас есть причина бунтовать, да — смыслу нету!

Вдохновляясь, поспешно нанизывая слово на слово, размахивая руками, он долго и непонятно объяснял различие между смыслом и причиной, — острые глазки его неуловимо быстро меняли выражение, поблескивая жалобно и сердито, ласково и хитро. Седобородый, наморщив переносье, открывал и закрывал рот, желая что-то сказать, но ему мешала оса, летая пред его широким лицом. Третий мужик, отломив от ступени большую гнилушку, внимательно рассматривал ее.

— Значит — причина будет лень и бунтует — она! А смысл требует другова! Вошь — в соху не впряжешь, вот это смысл будет…

— Эку дичь порешь ты, дядя Митрий, — сказал усатый Петр и обратился к Самгину:

— Это он все для того говорит, чтобы ничего не сказать. Вы его не слушайте, на драную одежу — не глядите, он нарошно простачком приоделся…

— Эх, Петр, напрасно ты, — сказал седобородый уныло, — пришли мы за одним делом, а ты… Лысый перебил его:

— Мы тебя, Петруха, знаем! Мы тебя очень хорошо знаем! Ты — не скрипи…

— И я знаю, что вы — спелись! Ну, и — будете плакать, — он матерно выругался, встал и ушел, сунув руки в карманы. Мужик с чугунными ногами отшвырнул

гнилушку и зашипел:

— Солдат, шалава, смутьян он тут из главных, сукин сын! Их тут — гнездо! Они — ни богу, ни чорту, всё для себя. Из-за них и черкесов нагнали нам.

— А черкес — он не разбирает, кто в чем виноват, — добавил лысый и звонко возопил, хлопнув руками по заплатам на коленях:

— Нет у нас порядку и — нету! Седой взглянул в небо, раскаленное почти добела, и сказал:

— Быть грозе, — затем спросил Самгина:

— Вы кто будете: адвокат или просто — гость? Это рассмешило лысого:

— Чудно спросил, ей-богу!

Самгин встал и пошел по дорожке в глубину парка, думая, что вот ради таких людей идеалисты, романтики годы сидели в тюрьмах, шли в ссылку, в каторгу, на смерть… Но об этом он подумал мимолетно и как бы не от себя, — его беспокоило: почему не едет Марина? Было жарко, точно в бане, тяжелая, неприятная лень ослабляла тело. В конце дорожки, в кустах, оказалась беседка; на ступенях ее лежал башмак с французским каблуком и переплет какой-то книги; в беседке стояли два плетеных стула, на полу валялся расколотый шахматный столик. С холма, через кустарник, видно было поле, поблескивала ртуть реки, на горизонте вспухала синяя туча, по невидимой дороге клубилась пыль. И снова все так знакомо, ограничено, обычно — скучно все, скучно. Тут Самгин вспомнил, что зимою у него являлась мысль о самоубийстве. Обидная мысль.

Пыль вдали становилась гуще, — вероятно, едет Марина.

Самгин задумался: на кого Марина похожа? И среди героинь романов, прочитанных им, не нашел ни одной женщины, похожей на эту. Скрипнули за спиной ступени, это пришел усатый солдат Петр. Он бесцеремонно сел в кресло и, срезая ножом кожу с ореховой палки, спросил негромко, но строго:

— Значит, царь сам править не умеет, а другим — не дает? Чего же нам ждать?

— В январе снова откроют Думу, — сказал Самгин, искоса взглянув на него.

— Так. Вы — какой партии будете?

Закуривая, Самгин не ответил, а солдат не стал ждать ответа, винтообразно срезая кору с палки, и, не глядя на Самгина, озабоченно заговорил:

— Как скажете: покупать землю, выходить на отруба, али — ждать? Ежели — ждать, мироеды всё расхватают. Тут — человек ходит, уговаривает: стряхивайте господ с земли, громите их! Я, говорит, анархист. Громить — просто. В Майдане у Черкасовых — усадьбу сожгли, скот перерезали, вообще — чисто! Пришла пехота, человек сорок резервного батальона, троих мужиков застрелили, четырнадцать выпороли, баб тоже. Толку в этом — нет.

Солдат говорил сам с собою, а Клим думал о странной позиции человека, который почему-то должен отвечать на все вопросы.

— Вы, на горке, в дому, чай пьете, а за кирпичным заводом, в ямах, собраньице собралось, пришлый человек речи говорит. Раздразнили мужика и всё дразнят. Порядка до-олго не будет, — сказал Петр с явным удовольствием и продолжал поучительно:

— Вы старайтесь, чтобы именье это продали нам. Сам у себя мужик добро зорить не станет. А не продадите — набедокурим, это уж я вам без страха говорю. Лысый да в соломенной шляпе который — Табаковы братья, они хитряки! Они — пальцем не пошевелят, а — дело сделают! Губернаторы на селе. Пастыри — пластыри.

— Гроза идет, — сказал Самгин, выходя из беседки, — солдат откликнулся:

— Пускай идет, — и со свистом рассек палкой воздух. — Не желаете беседовать? Не надо, — безобидно пробормотал он.

Возвратясь в дом, Самгин закусил, выпил две рюмки водки, прилег на диван и тотчас заснул. Разбудил его оглушительный треск грома, — в парке непрерывно сверкали молнии, в комнате, на столе все дрожало и пряталось во тьму, густой дождь хлестал в стекла, синевато светилась посуда на столе, выл ветер и откуда-то доносился ворчливый голос Захария:

— Ольга, унеси молоко, скиснет! Теперь уж не приедут. Ах ты, господи…

Затем по стеклам дробно застучал град. Самгин повернулся лицом к стене, снова пытаясь уснуть, но вскоре где-то раздался сердитый окрик Марины:

— Есть тут кто-нибудь? Чаю скорее. Спроси Ольгу — белья женского нет ли, платья? Ну, халат какой-нибудь…

Самгин подошел к ней как раз в тот момент, когда молния встряхнула, зажгла сумрак маленькой комнаты и Марина показалась туго затянутой в шелк.

— Хороша? — спросила она. — А всё капризы Лидии, — надо было заехать в монастырь, ах… Ну, уходи, раздеваться буду!

Ее крупная фигура покачивалась, и как будто это она встряхивала сумрак. Самгин возвратился в зал, вспомнив, что тихий роман с Никоновой начался в такой же дождливый вечер; это воспоминание тотчас же вызвало у него какую-то торжественную грусть. В маленькой комнате шлепались на пол мокрые тряпки, потом раздался возмущенный возглас:

— Тише, Ольга, ты меня уколола…

Вошла Марина в сером халате, зашпиленном английскими булавками, с полотенцем на шее и распущенными по спине волосами, похожая на княжну Тараканову с картины Флавицкого и на уголовную арестантку; села к столу, вытянув ноги в бархатных сапогах, и сказала Сангину:

— Ну-ко, хозяйничай, угощай!

Захарий, улыбаясь радостно и виновато, внес большой самовар, потоптался около стола и исчез. Выпив большую рюмку портвейна, облизнув губы, она сказала:

— Жил в этом доме старичишка умный, распутный и великий скаред. Безобразно скуп, а трижды в год переводил по тысяче рублей во Францию, в бретонский городок — вдове и дочери какого-то нотариуса. Иногда поручал переводы мне. Я спросила: «Роман?» — «Нет, говорит, только симпатия». Возможно, что не врал.

Вытирая полотенцем мокрые волосы, она продолжала:

— Философствовал, писал сочинение «История и судьба», — очень сумбурно и мрачно писал. Прошлым летом жил у него эдакий… куроед, Томилин, питался только цыплятами и овощами. Такое толстое, злое, самовлюбленное животное. Пробовал изнасиловать девчонку, дочь кухарки, — умная девочка, между прочим, и, кажется, дочь этого, Турчанинова. Старик прогнал Томилина со скандалом. Томилин — тоже философствовал.

— Я его знаю, он был репетитором моим, — сообщил Самгин.

— Вот как?

Марина посмотрела на него, улыбаясь, хотела что-то сказать, но вошли Безбедов и Турчанинов; Безбедов — в дворянском мундире и брюках, в туфлях на босых

ногах, — ему удалось причесать лохматые волосы почти гладко, и он казался менее нелепым — осанистым, серьезным; Турчанинов, в поддевке и резиновых галошах, стал ниже ростом, тоньше, лицо у него было несчастное. Шаркая галошами, он говорил, не очень уверенно:

— Человек должен ставить пред собой высокие цели…

— Очень правильно, — откликнулась Марина. — Но какие же?

Садясь рядом с нею, он сказал:

— Вообще — жить под большим знаменем… как, например, крестоносцы, алхимики.

Безбедов стоя наливал в стакан вино и бормотал:

— Нам старые знамена не подходят, мы люди самодельные.

— Что это значит? — спросил Турчанинов, видимо, искренно заинтересованный словом,

— Ну, — как сказать? — проворчал Безбедов, глядя в стакан. — Интеллигенция… самодельная. Нам нужно: хомут, узду и клочок сена пред глазами, чтоб лошадь шла вперед, — обязательно!

Турчанинов молча и вопросительно посмотрел на него — и спросил:

— Клочок сена?

— Ну да, — грубо сказал Безбедов, — вместо знамени.

— Брось, Валентин, — посоветовала Марина. Дождь стал мельче, стучал в стекла порывисто и все торопливее, точно терял силу и намеревался перестать.

Гудел ветер, глухо шумели деревья.

В дверях появилась девушка и почему-то сердитым голосом сказала:

— Лидия Тимофеевна не придет, просила принести ей чаю и рюмку какого-нибудь вина.

— Крысавица, — сказал Безбедов, посмотрев вслед ей, когда она уносила чай. — Крысиная мордочка.

Турчанинов вздрагивал, морщился и торопливо пил горячий чай, подливая в стакан вино. Самгин, хозяйничая за столом, чувствовал себя невидимым среди этих людей. Он видел пред собою только Марину; она играла чайной ложкой, взвешивая ее на ладонях, перекладывая с одной на другую, — глаза ее были задумчиво прищурены.

Ложка упала, Самгин наклонился поднять ее и увидал под столом ноги Марины, голые до колен. Безбедов подошел к роялю, открыл футляр гитары и объявил:

— Пусто. Впрочем, я не умею играть на гитаре.

— Пойду, взгляну, что с ней, — сказала Марина, вставая. Безбедов спросил:

— С гитарой?

Турчанинов взглянул на него удивленно и снова начал пить чай с вином, а Безбедов, шагая по скрипучему паркету, неистовым голосом, всхрапывая, стал декламировать:

Я — тот самый хан Намык,Что здесь властвовать привык!Все, от мала до

велика,Знают грозною Намыка!

Остановился, помолчал и признался:

— Забыл, как дальше.

Самгин вдруг понял, что Безбедов пьян, и это заставило его насторожиться. Глядя в потолок, Безбедов медленно припоминал:

Я прекрасно окружен,У меня… сто сорок жен!Но — на-днях мне ясно стало,Что и этого мне мало.

— Очень забавно, — сказал Турчанинов, вопросительно глядя на Самгина. Самгин усмехнулся, а Безбедов подошел к столу и, стоя за спиной Самгина, продолжал сипеть:

Чуть где подданный заплакал,Я его — сажаю — на кол,И, как видите, народПрипеваючи живет!

— Опять забыл, — сказал он, схватясь за спинку стула Самгина; Турчанинов повторил, что стихи забавны, и крепко потер лоб, оглядываясь вокруг, а Безбедов, тряхнув стул, спросил:

— А вам — нравятся?

— Остроумно, — сказал Самгин.

Безбедов снова пошел по комнате, кашляя и говоря:

— Сочинил — Савва Мамонтов, миллионер, железные дороги строил, художников подкармливал, оперетки писал. Есть такие французы? Нет таких французов. Не может быть, — добавил он сердито. — Это только у нас бывает. У нас, брат Всеволод, каждый рядится… несоответственно своему званию. И — силам. Все ходят в чужих шляпах. И не потому, что чужая — красивее, а… чорт знает почему! Вдруг — революционер, а — почему? — Он подошел к столу, взял бутылку и, наливая вино, пробормотал:

— Выпьемте, Самгин, за…

Комната вдруг налилась синим светом, коротко и сухо грохнул гром, — Безбедов сел на стул, махнув рукою:

— Н-ну, поехали…

Минуту все трое молчали, потом Турчанинов встал, отошел в угол к дивану и оттуда сказал:

— Вы замечательно говорите…

— Я? Я — по-дурацки говорю. Потому что ничего не держится в душе… как в безвоздушном пространстве. Говорю все, что в голову придет, сам перед собой играю шута горохового, — раздраженно всхрапывал Безбедов; волосы его, высохнув, торчали дыбом, — он выпил вино, забыв чокнуться с Климом, и, держа в руке пустой стакан, сказал, глядя в него: — И боюсь, что на меня, вот — сейчас, откуда-то какой-то страх зверем бросится.

— Это — нервы, это — от грозы, — успокоительно объяснил Турчанинов, лежа на диване.

Безбедов наклонился к Самгину, спрашивая:

— Вы — что думаете?

Самгин был раздражен речами Безбедова и, видя, что он все сильнее пьянеет,

опасался скандала, но, не в силах сдержать своего раздражения, сухо ответил:

— Один мой знакомый пел такие куплеты:

Да — для пустой душиНеобходим груз веры…Намыкался Намык — довольно,На смерть идет он добровольно

— хрипло проговорил Безбедов, покачивая стул.

Вошла Марина, уже причесанная, сложив косу на голове чалмой, — от этого она стала выше ростом.

— Всеволод Павлович, — вам готова комната, Валентин — проводи! В антресоли. Тебе, Клим Иванович, здесь постелют.

К Турчанинову она обратилась любезно, Безбедову — строго приказала, Самгин в ее обращении к нему уловил особенно ласковые ноты.

— Лидия, кажется, простудилась, — говорила она, хмурясь, глядя, как твердо шагает Безбедов. — Ночь-то какая жуткая! Спать еще рано бы, но — что же делать? Завтра мне придется немало погулять, осматривая имение. Приятного сна…

Самгин встал, проводил ее до двери, послушал, как она поднимается наверх по невидимой ему лестнице, воротился в зал и, стоя у двери на террасу, забарабанил пальцами по стеклу.

Вершины деревьев покачивал ветер; густейшая темнота над ними куда-то плыла, вот ее проколола крупная звезда, — ветер погасил звезду. В комнате было тихо, но казалось, что тишина покачивается, так же, как тьма за окном. За спиною Самгина осторожно топали босые ноги, шуршало белье, кто-то сильными ударами взбивал подушки, позванивала посуда. Самгин смотрел, как сквозь темноту на террасе падают светлые капли дождя, и вспоминал роман Мопассана «Наше сердце», — сцену, когда мадам де-Бюрн великодушно пришла ночью в комнату Мариоля. Вспомнил и любимую поговорку маляра у Чехова:

«Все может быть…» Думать чужими словами очень удобно, за них не отвечаешь, если они окажутся неверными.

«Мадам де-Бюрн — женщина без темперамента и — все-таки… Она берегла свое тело, как слишком дорогое платье. Это — глупо. Марина — менее мещанка. В сущности, она даже едва ли мещанка. Стяжательница? Да, конечно. Однако это не главное ее…»

Чувствуя приятное головокружение, Самгин прижался лбом к стеклу.

«Я выпил лишнее. Она пьет больше меня… Это — фразы из учебника грамматики».

Затем он подумал, что вокруг уже слишком тихо для человека. Следовало бы, чтоб стучал маятник часов, действовал червяк-древоточец, чувствовалась бы «жизни мышья беготня». Напрягая слух, он уловил шорох листвы деревьев в парке и вспомнил, что кто-то из литераторов приписал этот шорох движению земли в пространстве.

«Глупо. Но вспоминать — не значит выдумывать. Книга — реальность, ею можно убить муху, ее можно швырнуть в голову автора. Она способна опьянять, как вино и женщина».

Устав стоять, он обернулся, — в комнате было темно;

в углу у дивана горела маленькая лампа-ночник, постель на одном диване была пуста, а на белой подушке другой постели торчала черная борода Захария. Самгин почувствовал себя обиженным, — неужели для него не нашлось отдельной комнаты? Схватив ручку шпингалета, он шумно открыл дверь на террасу, — там, в

темноте, кто-то пошевелился, крякнув.

— Кто это?

Ответил — не сразу — знакомый голос кучера:

— Краулим.

Медленно выпрямился кто-то — очень высокий.

— Я да Вася, — добавил кучер. — Вон он какой, Вася-то!

Самгин зажег спичку, — из темноты ему улыбнулось добродушное, широкое, безбородое лицо. Постояв, подышав сырым прохладным воздухом, Самгин оставил дверь открытой, подошел к постели, — заметив попутно, что Захарий не спит, — разделся, лег и, погасив ночник, подумал:

«Пожалуй, еще и этот заговорит».

Но Захарий молчал, не шевелился, как будто его не было. Самгин подумал:

«Не смеет заговорить. И точно подслушивает».

Подождав еще минуты две, три, Самгин спросил вполголоса:

— Давно служите у Зотовой?

— Восьмой год, — тихонько ответил Захарий.

— А раньше чем занимались?

Захарий откликнулся не сразу, и это было невежливо.

— Монах я, в монастыре жил. Девять лет. Оттуда меня и взял супруг Марины Петровны…

«Взял. Как вещь», — отметил Самгин; полежал еще минуту и, закуривая, увидал, при свете спички, что Захарий сидит, окутав плечи одеялом. — Не хочется спать?

— Сплю я плохо, — шопотом и нерешительно сказал Захарий. — У меня сердце заходит, когда лежу, останавливается. Будто падаешь куда. Так я больше сижу по ночам.

— Трудно в монастыре?

Захарий приглушенно покашлял в одеяло, прежде чем сказать:

— Которые верят, что от мира можно спастись… ну, тем — ничего, легко! Которые не размышляют. И мне сначала легко было, а после — тоже…

— После чего?

— Насмотрелся. Монахи — тоже люди. Заблуждаются. Иные — плоть преодолеть не могут, иные — от честолюбия страдают. Ну, и от размышления…

Было очень странно слушать полушепот невидимого человека; говорил он медленно, точно нащупывая слова в темноте и ставя их одно к другому неправильно. Самгин спросил:

— Вы — что же, — по своей воле пошли в монахи?

— Мне тюремный священник посоветовал. Я, будучи арестантом, прислуживал ему в тюремной церкви, понравился, он и говорит: «Если — оправдают, иди в монахи». Оправдали. Он и схлопотал. Игумен — дядя родной ему. Пьяный человек, а — справедливый. Светские книги любил читать — Шехерезады сказки,

«Приключения Жиль Блаза», «Декамерон». Я у него семнадцать месяцев келейником был.

Самгин отметил: дворник Марины, казак, похож на беглого каторжника, а этот, приказчик, сидел в тюрьме, — отметил и мысленно усмехнулся:

«Тайны сгущаются».

— Вам, конечно, любопытно, за что меня в тюрьму? — слышал он задумчивый неторопливый шепоток. — А видите, я — сирота, с одиннадцати лет жил у крестного отца на кожевенном заводе. Сначала — мальчиком при доме, потом — в конторе сидел, писал; потом — рассердился крестный на меня, разжаловал в рабочие, три года с лишком кожи квасил я. А он был женат на второй, так она его мышьяком понемножку травила, у нее любовник был, землемер. Помер крестный, дочь его, Евгенья, дело подняла в суде, тут и я тоже оказался виноват, будто бы знал, а — не донес. Евгенья — красавица была и страшно умная, выследила, что я землемеру от ее мачехи записки передавал. И от него к ней. Ну, вот. Всех троих нас поарестовали, восемь месяцев и сидел я в тюрьме. Землемера — оправдали и меня тоже, а Василису Александровну приговорили к церковному покаянию: согласились, что она ошиблась. Было мне в ту пору семнадцать лет.

«Тебе и сейчас не больше», — подумал Самгин, приготовясь спросить его о Марине. Но Захарий сам спросил:

— Извините, Клим Иванович, читали вы книгу «Плач Едуарда Юнга о жизни, смерти и бессмертии»?

— Не читал.

— Ах, очень жаль, — вздохнул Захарий.

— Меня? — спросил Самгин.

— Нет, я о себе. Сокрушительных размышлений книжка, — снова и тяжелее вздохнул Захарий. — С ума сводит. Там говорится, что время есть бог и творит для нас или противу нас чудеса. Кто есть бог, этого я уж не понимаю и, должно быть, никогда не пойму, а вот — как же это, время — бог и, может быть, чудеса-то творит против нас? Выходит, что бог — против нас, — зачем же?

«Бред какой», — подумал Самгин, видя лицо Захария, как маленькое, бесформенное и мутное пятно в темноте, и представляя, что лицо это должно быть искажено страхом. Именно — страхом, — Самгин чувствовал, что иначе не может быть. А в темноте шевелились, падали бредовые слова:

— Там же сказано, что строение человека скрывает в себе семя смерти и жизнь питает убийцу свою, — зачем же это, если понимать, что жизнь сотворена бессмертным духом?

«Это он, кажется, против Марины», — сообразил Самгин.

— Смерть уязвляет, дабы исцелить, а некоторый человек был бы доволен бессмертием и на земле. Тут, Клим Иванович, выходит, что жизнь как будто чья-то ошибка и несовершенна поэтому, а создал ее совершенный дух, как же тогда от совершенного-то несовершенное?

Швырнув далеко от себя окурок папиросы, проследив, как сквозь темноту пролетел красный огонек и, ударясь о пол, рассыпался искрами, Самгин сказал:

— Вы об этом Марину Петровну спросите.

— Спрашивал. Ей известны все человеческие размышления, а книгу «Плач» она отметает, даже высмеивает, именует ее болтовней даже. А сам я думать могу, но размышлять не умею. Вы, пожалуйста, не говорите ей, что я спрашивал про

«Плач».

— Хорошо, — обещал Самгин. — Она… очень умная? Захарий тихонько охнул.

— Ох!

И, захлебываясь быстрым шопотом, сказал:

— Необыкновенной мудрости. Ослепляет душу. Несокрушимого бесстрашия…

Он вдруг оборвал речь, беспокойно завозился, захлопал подушкой и, пробормотав: «Извините, мешаю вам уснуть», — замолчал. Самгин подумал, что он, должно быть, закутался одеялом с головою. Тишина стала плотней, и долго не слышно было ни звука, — потом в парке кто-то тяжко зашлепал по луже. Самгин, прислушиваясь, вспомнил проповедника Якова, человека о трех пальцах, — «камень — дурак, дерево — дурак». Вспомнил Диомидова. Дьякона, «взыскующих града». Сектантов — миллионы, социалистов — тысячи. Возможно, что Марина — права, интеллигенция не знает подлинной духовной жизни народа. Она ищет в народе только отражения своих материалистических верований. Марина, конечно, не может быть сектанткой…

Где-то очень далеко, волком, заливисто выл пес, с голода или со страха. Такая ночь едва ли возможна в культурных государствах Европы, — ночь, когда человек, находясь в сорока верстах от города, чувствует себя в центре пустыни.

Заснул он на рассвете, — разбудили его Захарий и Ольга, накрывая стол для завтрака. Захарий был такой же, как всегда, тихий, почтительный, и белое лицо его, как всегда, неподвижно, точно маска. Остроносая, бойкая Ольга говорила с ним небрежно и даже грубовато.

Первой явилась к завтраку Марина в измятом, плохо выглаженном платье, в тяжелой короне волос, заплетенных в косу; ласково кивнув головою Самгину, она спросила:

— Мыши не съели тебя? Ужас, сколько мышей! А Захарию строго сказала:

— Разворовали тут всё.

— Вася! — ответил он, виновато разводя руками. — Он все раздает, что у него ни спроси. Третьего дня позволил лыко драть с молодых лип, — а вовсе и не время лыки-то драть, но ведь мужики — не взирают…

— Хорош охранитель, — усмехнулась Марина. — Вот, Клим Иванович, познакомься с Васей, — тут есть великан такой. Мужики считают его полуумным. Подкидыш, вероятно — барская шалость, может быть, родственник парижанину-то.

Пришла Лидия, тоже измятая, с кислым лицом, с капризно надутыми губами; ее Марина встретила еще более ласково, и это, видимо, искренно тронуло Лидию; обняв Марину за плечи, целуя голову ее, она сказала:

— С тобою всегда, везде хорошо!

— Вот какие мы, — откликнулась Марина, усаживая ее рядом с собою и говоря: — А я уже обошла дом, парк; ничего, — дом в порядке, парк зарос всякой дрянью, но — хорошо!

Тонкая, смуглолицая Лидия, в сером костюме, в шапке черных, курчавых волос, рядом с Мариной казалась не русской больше, чем всегда. В парке щебетали птицы, ворковал витютень, звучал вдали чей-то мягкий басок, а Лидия говорила жестяные слова:

— Он — очень наивный. Наука вовсе не отрицает, что все видимое создано из невидимого. Как остроумно сказал де-Местр, Жозеф: «Из всех пороков человека молодость — самый приятный».

Вошел Безбедов, весь в белом — точно санитар, в сандалиях на босых ногах; он сел в конце стола, так, чтоб Марина не видела его из-за самовара. Но она все видела.

— Тебе, Валентин, надобно брить физиономию, на ней что-то растет, — и безжалостно добавила: — Плесень какая-то.

И, улыбаясь навстречу Турчанинову, она осыпала его любезностями. Он ответил, что спал прекрасно и что все вообще восхитительно, но притворялся он плохо, было видно, что говорит неправду. Самгин молча пил чай и, наблюдая за Мариной, отмечал ее ловкую гибкость в отношении к людям, хотя был недоволен ею. Интересовало его мрачное настроение Безбедова.

«В нем тоже есть что-то преступное», — неожиданно подумал он.

Завтракали утомительно долго, потом отправились осматривать усадьбу.

Марина и Лидия шли впереди, их сопровождал Безбедов, и это напомнило Самгину репродукцию с английской картины: из ворот средневекового, нормандского замка величественно выходит его владелица с тонконогой, борзой собакой и толстым шутом.

Утро было пестрое, над влажной землей гулял теплый ветер, встряхивая деревья, с востока плыли мелкие облака, серые, точно овчина; в просветах бледноголубого неба мигало и таяло предосеннее солнце; желтый лист падал с берез; сухо шелестела хвоя сосен, и было скучнее, чем вчера.

Турчанинов остался в доме, но минут через пять догнал Самгина и пошел рядом с ним, помахивая тросточкой, оглядываясь и жалобно говоря:

— Нет, как хотите, но я бы не мог жить здесь! — Он тыкал тросточкой вниз на оголенные поля в черных полосах уже вспаханной земли, на избы по берегам мутной реки, запутанной в кустарнике.

— Я часа два сидел у окна, там, наверху, — у меня такое впечатление, что все это неудачно начато и никогда не будет кончено, не примет соответствующей формы.

Самгин искренно спросил:

— Скучно?

— Более чем скучно! Есть что-то безнадежное в этой пустынности. Совершенно непонятны жалобы крестьян на недостаток земли; никогда во Франции, в Германии не видел я столько пустых пространств.

Помолчав, он предложил Самгину папиросу, долго и неумело закуривал на ветру, а закурив — сказал, вздыхая:

— Мой сосед храпел… потрясающе! Он — болен?

— Кажется — да.

— Странный тип! Такой… дикий. И мрачно озлоблен. Злость тоже должна быть веселой. Французы умеют злиться весело. Простите, что я так говорю обо всем… я очень впечатлителен. Но — его тетушка великолепна! Какая фигура, походка! И эти золотые глаза! Валькирия, Брунгильда…

Тетушка, остановясь, позвала его, он быстро побежал вперед, а Самгин, чувствуя себя лишним, свернул на боковую дорожку аллеи, — дорожка тянулась между молодых сосен куда-то вверх. Шел Самгин медленно, смотрел под ноги себе и думал о том, какие странные люди окружают Марину: этот кучер, Захарий, Безбедов…

— Гуляешь?

Самгин вздрогнул, — между сосен стоял очень высокий, широкоплечий парень без шапки, с длинными волосами дьякона, — его круглое безбородое лицо Самгин видел ночью. Теперь это лицо широко улыбалось, добродушно блестели красивые, темные глаза, вздрагивали ноздри крупного носа, дрожали пухлые губы: сейчас вот засмеется.

«Вася», — сообразил Самгин.

— Ничего, — гуляй, — сказал Вася приятным мягким баском. На его широких плечах — коричневый армяк, подпоясан веревкой, шея обмотана синим шарфом, на ногах — рыжие солдатские сапоги; он опирался обеими руками на толстую суковатую палку и, глядя сверху вниз на Самгина, говорил:

— Я тебя — знаю, видел ночью. Ты — ничего, ходи, не бойся!

— Вы — сторож? — спросил Самгин.

— Я-то? Ожидающий я буду.

— Они все ушли туда, вниз, — показал ему Самгин.

— Я — знаю. Я все вижу: кто, куда.

Теперь Вася улыбался гордо, и от этой улыбки лицо его стало грубее, напряглось, глаза вспыхнули ярче.

— Живу тут, наверху. Хижина есть. Холодно будет — в кухню сойду. Иди, гуляй. Песни пой.

Эх, опустился белый голубьНа святой Ердань-реку…

— запел он и, сунув палку под мышку, потряс свободной рукой ствол молодой сосны. — Костерчик разведи, только — чтобы огонь не убежал. Погорит сушняк — пепел будет, дунет ветер — нету пеплу! Всё — дух. Везде. Ходи в духе…

Он мотнул головой и пошел прочь, в сторону, а Самгин, напомнив себе: «Слабоумный», — воротился назад к дому, чувствуя в этой встрече что-то нереальное и снова подумав, что Марину окружают странные люди. Внизу, у конторы, его встретили вчерашние мужики, но и лысый и мужик с чугунными ногами были одеты в добротные пиджаки, оба — в сапогах.

Лысый, сняв новый коричневый картуз, вежливо пожелал Самгину:

— Доброго здоровьица! И спросил:

— Наследник — это вы будете? Из окна высунулось бледное лицо Захария, он отчаянно закричал:

— Да нет же! Я же вам оказал… Солдат, выплюнув соломинку, которую он жевал, покрыл его крик своим:

— Ты сказал, а мы — не поверили! И — спрячь морду! Захарий скрылся. Мужики, молча выслушав объяснения Самгина, пошептались, потом лысый, вздохнув, сказал:

— Так. Ну, вам поверить можно, а то здесь… — Он безнадежно махнул рукой.

Солдат, вынув из кармана кисет, встряхнул его, спрятал и обратился к Самгину:

— Дадите, что ли, папироску? А получив папиросу, сказал, строго разглядывая фигуру Клима:

— Вот бы вас, господ, года на три в мужики сдавать, как нашего брата в солдаты сдают. Выучились где вам полагается, и — поди в деревню, поработай там в

батраках у крестьян, испытай ихнюю жизнь до точки.

— Нескладно говоришь, — вмешался лысый, — даже вовсе глупость! В деревне лишнего народу и без господ девать некуда, а вот хозяевам — свободы в деревне — нету! В этом и беда…

— Глядите — идут! — сказал седобородый мужик тихонько; солдат взглянул вниз из-под ладони и, тоже тихонько, свистнул, затем пробормотал, нахмурясь:

— Зотова здесь, эге!

Мужики повернулись к Самгину затылками, — он зашел за угол конторы, сел там на скамью и подумал, что мужики тоже нереальны, неуловимы: вчера показались актерами, а сегодня — совершенно не похожи на людей, которые способны жечь усадьбы, портить скот. Только солдат, видимо, очень озлоблен. Вообще это — чужие люди, и с ними очень неловко; тяжело. За углом раздался сиплый голос Безбедова:

— А — вам какого еще чорта надо? Сказали вам — не продается, ну?

Не желая встречи с Безбедовым, Самгин пошел в парк, а через несколько минут, подходя к террасе дома, услыхал недоумевающие слова Турчанинова:

— Бунтуют и — покупают землю! Значит — у них есть деньги? Почему же они бунтуют?

— Едем! — крикнула Марина, выходя на террасу. Самгин сел в коляску рядом с Турчаниновым; Безбедов, угрюмо сопя, стоял пред Лидией, — она говорила ему:

— Вы распорядитесь, чтоб солдат поместили удобно. До свидания! Едемте, Павел.

Кучер, благообразный, усатый старик, похожий на переодетого генерала, пошевелил вожжами, — крупные лошади стали осторожно спускать коляску по размытой дождем дороге; у выезда из аллеи обогнали мужиков, — они шли гуськом друг за другом, и никто из них не снял шапки, а солдат, приостановясь, развертывая кисет, проводил коляску сердитым взглядом исподлобья. Марина, прищурясь, покусывая губы, оглядывалась по сторонам, измеряя поля; правая бровь ее была поднята выше левой, казалось, что и глаза смотрят различно.

Самгин с непонятной ему обидой и печально подумал, что бесспорный ум ее — весь в словах и покорно подчинен азартному ее стремлению к наживе. Турчанинов, катая ладонями по коленям тросточку, говорил дамам:

— В Париже особенно чувствуется, что мужчина обречен женщине…

А Лидия поучительно внушала ему, что в культе мадонны слишком явны элементы языческие, католичество чувственно, эстетично…

— В нем нет спасительного страха пред высшей силой…

Самгин вспомнил слова Безбедова о страхе и решил, что нужно переменить квартиру, — соседство с этим человеком совершенно невыносимо.

Ударив перчаткой по колену его, Марина сказала:

— Какое усталое и сердитое лицо у тебя. Тебе бы пожить в Отрадном недели две, отдохнуть…

— В беседах с мужиками о политике, об отрубах, — хмуро добавил Самгин. Она усмехнулась:

— Зачем же? Не хочешь беседовать — не беседуй, храни свою мудрость для себя. Обиделись мужики-то! Лида очень предусмотрительно поступает, выписывая солдат.

— Это — твой совет, — напомнила Лидия, но Зотова отреклась:

— Ну, что ты, у тебя — свой ум, не дитя! Лошади бежали быстро, но путь до города показался Самгину утомительно длинным.

На другой же день он взялся за дело утверждения Турчанинова в правах наследства; ему помогали в этом какие-то тайные силы, — он кончил дело очень быстро и хорошо заработал на нем. Раньше почти равнодушный к деньгам, теперь он принял эти бумажки с чувством удовлетворения, — они обещали ему независимость, укрепляли его желание поехать за границу. Он даже настроился спокойнее, крепче. Безбедов не так уж раздражал его, и намерение переменить квартиру исчезло. Но тут в жизнь его бурно вторглись один за другим два эпизода.

Сереньким днем он шел из окружного суда; ветер бестолково и сердито кружил по улице, точно он искал места — где спрятаться, дул в лицо, в ухо, в затылок, обрывал последние листья с деревьев, гонял их по улице вместе с холодной пылью, прятал под ворота. Эта бессмысленная игра вызывала неприятные сравнения, и Самгин, наклонив голову, шел быстро.

Обыватели уже вставили в окна зимние рамы, и, как всегда, это делало тишину в городе плотнее, безответней. Самгин свернул в коротенький переулок, соединявший две улицы, — в лицо ему брызнул дождь, мелкий, точно пыль, заставив остановиться, надвинуть шляпу, поднять воротник пальто. Тотчас же за углом пронзительно крикнули:

— Караул...

Там слышен был железный шум пролетки; высунулась из-за угла, мотаясь, голова лошади, танцевали ее передние ноги; каркающий крик повторился еще два раза, выбежал человек в сером пальто, в фуражке, нахлобученной на бородатое лицо, — в одной его руке блестело что-то металлическое, в другой болтался небольшой ковровый саквояж; человек этот невероятно быстро очутился около Самгина, толкнул его и прыгнул с панели в дверь полуподвального помещения с новенькой вывеской над нею:

«Починка швейных машин и велосипедов».

«Иноков, — сообразил Самгин, когда из-под козырька фуражки на него сверкнули очень знакомые глаза. — Это Иноков. С револьвером. Экспроприация».

За углом — шумели, и хотя шум был не силен, от него кружилась голова. Дождь сыпался гуще, и голова лошади, высунувшись из-за угла, понуро качалась.

Самгин решал вопрос: идти вперед или воротиться назад? Но тут из двери мастерской для починки швейных машин вышел не торопясь высокий, лысоватый человек с угрюмым лицом, в синей грязноватой рубахе, в переднике; правую руку он держал в кармане, левой плотно притворил дверь и запер ее, точно выстрелив ключом. Самгин узнал и его, — этот приходил к нему с девицей Муравьевой.

— Не узнаете? — негромко, но очень настойчиво спросил человек, придерживая Самгина за рукав пальто, когда тот шагнул вперед. — А помните студента Маракуева? Дунаева? Я — Вараксин.

— Ах, да, как же, — пробормотал Самгин, следя за правой рукою Вараксина, а тот спросил его:

— Вы — что? Нездоровится?

— Там что-то случилось, — сказал Самгин, указывая вперед, — Вараксин спокойно

произнес:

— Пойдем, взглянем.

Он пошел сзади Самгина, тяжело шаркая подошвами по кирпичу панели, а Самгин шагал мягкими ногами, тоскливо уверенный, что Вараксин может вообразить чорт знает что и застрелит его.

Взглянув на Вараксина через плечо, он сказал:

— Неузнаваемо изменились вы…

— А вы — не очень, — услышал он равнодушный голос. За углом, на тумбе, сидел, вздрагивая всем телом, качаясь и тихонько всхлипывая, маленький, толстый старичок с рыжеватой бородкой, в пальто, измазанном грязью; старичка с боков поддерживали двое: постовой полицейский и человек в котелке, сдвинутом на затылок; лицо этого человека было надуто, глаза изумленно вытаращены, он прилаживал мокрую, измятую фуражку на голову старика и шипел, взвизгивал:

— С-сорок две тысячи, их ты! Среди белого дня! На людной улице-е!

Уже собралось десятка полтора зрителей — мужчин и женщин; из ворот и дверей домов выскакивали и осторожно подходили любопытные обыватели. На подножке пролетки сидел молодой, белобрысый извозчик и жалобно, высоким голосом, говорил, запинаясь:

— Он, значит, схватил лошадь под уздцы и заворачивает в проулок…

— Ну, и врешь! — крикнул из толпы человек с креслом на голове.

— Ей-богу — не вру! Я его кнутом хотел, а он револьвер показывает…

Кто-то одобрительно заметил:

— Ловко время выбрали, обеденный час! Публика шумно спрашивала:

— Сколько их было? Куда побежали?

А рядом с Климом кто-то вполголоса догадывался:

— Похоже, что извозчик притворяется.

Дождь сыпался все гуще, пространство сокращалось, люди шумели скупее, им вторило плачевное хлюпанье воды в трубах водостоков, и весь шум одолевал бойкий торопливый рассказ человека с креслом на голове; половина лица его, приплюснутая тяжестью, была невидима, виден был только нос и подбородок, на котором вздрагивала черная, курчавая бороденка.

— Я — вон где шел, а они, двое, — навстречу, один в картузе, другой — в шляпе, оба — в пальтах. Ну, один бросился в пролетку, вырвал чемоданчик…

— Саквояж, старик сказал…

— Это — все равно! Вырвал и побежал в проулок, другой — лошадь схватил, а извозчик спрыгнул и бежать.

— Я? От лошади?..

— Вот те и — я! Струсил, дубина…

— В проулок убежал, говоришь? — вдруг и очень громко спросил Вараксин. — А вот я в проулке стоял, и вот господин этот шел проулком сюда, а мы оба никого не видали, — как же это? Зря ты, дядя, болтаешь. Вон — артельщик говорит — саквояж, а ты — чемодан! Мебель твою дождик портит…

Начал Вараксин внушительно, кончил — насмешливо. Лицо у него было костлявое, истощенное, темные глаза смотрели из-под мохнатых бровей сурово. Его выслушали внимательно, и пожилая женщина тотчас же сказала:

— Вот эдак-то болтают да невиноватых и оговаривают.

Самгин стоял у стены, смотрел, слушал и несколько раз порывался уйти, но Вараксин мешал ему, становясь перед ним то боком, то спиною, — и раза два угрюмо взглянул в лицо его. А когда Самгин сделал более решительное движение, он громко сказал;

— Вы, господин, не уходите, — вы свидетель, — и стал спокойно выспрашивать извозчика: — Сколько ж их было?

— Двое. Один — шуровал около старика, а другой — он лошадь схватил.

Самгин чувствовал себя неопределенно: он должен бы возмутиться насилием Вараксина, но — не возмущался. Прошлое снова грубо коснулось его своей цепкой, опасной рукою, но и это не волновало.

Вараксин, вынув руку из кармана, скрестил обе руки на груди, — из-под передника его высунулся козырек фуражки.

Самгин привычно отметил, что зрители делятся на три группы: одни возмущены и напуганы, другие чем-то довольны, злорадствуют, большинство осторожно молчит и уже многие поспешно отходят прочь, — приехала полиция: маленький пристав, остроносый, с черными усами на желтом нездоровом лице, двое околодочных и штатский — толстый, в круглых очках, в котелке; скакали четверо конных полицейских, ехали еще два экипажа, и пристав уже покрикивал, расталкивая зрителей:

— Кто очевидец? Этот? Задержите.

А штатский торопливо спрашивал человека с креслом:

— В проулок? Как одет?

Было очень неприятно видеть, что Вараксин снова, не спеша, сунул руки в карманы.

— А вот люди никого не видали в проулке, — сказал кто-то.

— Какие люди?

— Я, — сказал Вараксин, встряхивая мокрыми волосами. — И вот этот господин.

И, показав на Самгина правой рукой, левой он провел по бороде — седоватой, обрызганной дождем.

«Как спокойно он ведет себя», — подумал Клим и, когда пристав вместе со штатским стали спрашивать его, тоже спокойно сказал, что видел голову лошади за углом, видел мастерового, который запирал дверь мастерской, а больше никого в переулке не было. Пристав отдал ему честь, а штатский спросил имя, фамилию Вараксина.

— Николай Еремеев, — громко ответил Вараксин и, вынув из-за передника фуражку, не торопясь натянул ее на мокрую голову.

— Расходитесь, расходитесь, — покрикивал околодочный. Самгин взглянул в суровое лицо Вараксина и не сдержал улыбки, — ему показалось, что из глубоких глазниц слесаря ответно блеснула одобрительная улыбка.

«Мог застрелить, — думал Самгин, быстро шагая к дому под мелким, но редким и ленивым дождем. — Это не спасло бы его, но… мог!»

Он был доволен собою и вместе с этим чувствовал себя сконфуженно.

«Вот — пришлось принять косвенное участие в экспроприации, — думал он, мысленно усмехаясь. — Но — Иноков! Несомненно, это он послал Вараксина за мной... И эта... деятельность — по характеру Инокова как нельзя более».

Как всякий человек, которому удалось избежать опасности, Самгин чувствовал себя возвышенно и дома, рассказывая Безбедову о налете, вводил в рассказ комические черточки, говорил о недостоверности показаний очевидцев и сам с большим интересом слушал свой рассказ,

— Анархисты, — безучастно бормотал Безбедов, скручивая салфетку, а Самгин поучал его:

— Сомнительная достоверность свидетельских показаний давно подмечена юридической практикой, и, в сущности, она лучше всего обнажает субъективизм наших суждений о всех явлениях жизни...

— А, ну их к чорту, свидетелей, — сердито сказал Безбедов. — У меня подлец Блинов загнал две пары скобарей, — лучшие летуны. Предлагаю выкуп — не берет...

На другой день утром Самгин читал в местной газете:

«Есть основания полагать, что налет был случаен, не подготовлен, что это просто грабеж». Газета монархистов утверждала, что это — «акт политической разнузданности», и обе говорили, что показания очевидцев о количестве нападавших резко противоречивы: одни говорят — нападали двое, другие видели только одного, а есть свидетель, который утверждает, что извозчик — участвовал в грабеже. Арестовано, кроме извозчика, двое: артельщик, которого ограбили, и столяр — один из очевидцев нападения. Эти заметки газет не вызвали у Самгина никаких особенных мыслей. Об экспроприациях газеты сообщали все чаще, и Самгин хорошо помнил слова Марины: «действуют мародеры». Вообще эпизод этот потерял для Самгина свою остроту и скоро почти совершенно исчез из его памяти, вытесненный другим эпизодом.

Как-то вечером Самгин сидел за чайным столом, перелистывая книжку журнала. Резко хлопнула дверь в прихожей, вошел, тяжело шагая, Безбедов, грузно сел к столу и сипло закашлялся; круглое, пухлое лицо его противно шевелилось, точно под кожей растаял и переливался жир, — глаза ослепленно мигали, руки тряслись, он ими точно паутину снимал со лба и щек.

Самгин молча смотрел на него через очки и — ждал.

— Н-ну, вот, — заговорил Безбедов, опустив руки, упираясь ладонями в колена и покачиваясь. — Придется вам защищать меня на суде. По обвинению в покушении на убийство, в нанесении увечья... вообще — чорт знает в чем! Дайте выпить чего-нибудь...

Самгин не торопясь пошел в спальню, взял графин воды, небрежно поставил его пред Безбедовым; все это он делал, подчеркивая свое равнодушие, и равнодушно спросил:

— Что случилось?

— Влепил заряд в морду Блинову, вот что! — сказал Безбедов и, взяв со стола графин, поставил его на колено себе, мотая головой, говоря со свистом: — Издевался надо мной, подлец! «Брось, говорит, — ничего не смыслишь в голубях». Я — Мензбира читал! А он, идиот, учит:

«Ты, говорит, не из любви голубей завел, а из зависти, для конкуренции со мной, а конкурировать тебе надобно с ленью твоей, не со мной...»

Говорил он, точно бредил, всхрапывая, высвистывая слова, держал графин за горлышко и, встряхивая его коленом, прислушивался, как булькает вода.

Жутко было слышать его тяжелые вздохи и слова, которыми он захлебывался. Правой рукой он мял щеку, красные пальцы дергали волосы, лицо его вспухало, опадало, голубенькие зрачки точно растаяли в молоке белков. Он был жалок, противен, но — гораздо более — страшен.

Самгин не скоро получил возможность узнать: что же и как произошло?

Безбедов не отвечал на его вопросы, заставив Клима пережить в несколько минут смену разнообразных чувствований: сначала приятно было видеть Безбедова испуганным и жалким, потом показалось, что этот человек сокрушен не тем, что стрелял, а тем, что не убил, и тут Самгин подумал, что в этом состоянии Безбедов способен и еще на какую-нибудь безумную выходку. Чувствуя себя в опасности, он строго, деловито начал успокаивать его.

— Если вы хотите, чтоб я защищал вас, — вы должны последовательно рассказать…

Безбедов поставил графин на стол, помолчал, оглядываясь, и сказал:

— Ну… Встретились за городом. Он ходил новое ружье пробовать. Пошли вместе. Я спросил: почему не берет выкуп за голубей? Он меня учить начал и получил в ухо, — тут чорт его подстрекнул замахнуться на меня ружьем, а я ружье вырвал, и мне бы — прикладом — треснуть…

Он замолчал, даже поднял руку, как бы желая закрыть себе рот, и этот судорожный наивный жест дал Самгину право утвердительно сказать:

— Вы знали, что ружье заряжено.

— Да. Он сказал, когда оно было в моих руках… когда я смотрел его, — угрюмо сознался Безбедов и схватился руками за растрепанную голову, хрипя:

— Тетка — вот что! Если он в суд подаст, тогда она… А он — подаст! Вы с ней миндальничаете…

— Не говорите глупостей, — предупредил Самгин и поставил профессиональный вопрос:

— Свидетели — были?

— Нет, — никого, — сказал Безбедов и так туго надул щеки, что у него налились кровью уши, шея, а затем, выдохнув сильную струю воздуха, спросил настойчиво и грубо:

— Вина нет у вас?

Встал и, покачиваясь, шаркая ногами, как старик, ушел. Раньше чем он вернулся с бутылкой вина, Самгин уверил себя, что сейчас услышит о Марине нечто крайне важное для него. Безбедов стоя налил чайный стакан, отпил половину и безнадежно, с угрюмой злостью повторил:

— Подаст, идиот! Раньше — побоялся бы тетки, а теперь, когда все на стену лезут и каждый день людей вешают, — подаст…

Следовало не только успокоить его, но и расположить в свою пользу, а потом поставить несколько вопросов о Марине. Сообразив это, Самгин, тоном профессионала, заговорил о том, как можно построить защиту:

— Вы, очевидно, действовали в состоянии невменяемом, — закон определяет его состоянием запальчивости и раздражения. Такое состояние не является без причины, его вызывает оскорбление, или же оно — результат легкой, не совсем нормальной возбудимости, свойственной субъекту. Последний случай требует

медицинской экспертизы. Свидетелей — нет. Показания потерпевшего? Выстрел был сделан из его ружья. Он мог быть сделан случайно, во время осмотра оружия, вы могли и не знать, что оно заряжено. Наконец, если вы твердо помните, что потерпевший действительно замахнулся ружьем, — вы могли вступить с ним в борьбу из-за ружья, и выстрел тоже объясняется как случайный. Не исключен и мотив самообороны. Вообще — защита имеет неплохой материал…

Деловую речь адвоката Безбедов выслушал, стоя вполоборота к нему, склонив голову на плечо и держа стакан с вином на высоте своего подбородка.

— Ловко, — одобрил он негромко и, видимо, очень обрадованный. — Очень ловко! — и, запрокинув голову, вылил вино в рот, крякнул.

— Но все-таки суда я не хочу, вы помогите мне уладить все это без шума. Я вот послал вашего Мишку разнюхать — как там? И если… не очень, — завтра сам пойду к Блинову, чорт с ним! А вы — тетку утихомирьте, расскажите ей что-нибудь… эдакое, — бесцеремонно и напористо сказал он, подходя к Самгину, и даже легонько дотронулся до его плеча тяжелой, красной ладонью. Это несколько покоробило Клима, — усмехаясь, он сказал:

— А — сильно боитесь вы Марины Петровны!

— Боюсь, — сказал Безбедов, отступив на шаг, и, спрятав руки за спину, внимательно, сердито уставился в лицо Самгина белыми глазами, напомнив Москву, зеленый домик, Любашу, сцену нападения хулиганов. — Смешно? — спросил Безбедов.

— Не смешно, а — странно, — сказал Самгин, пожав плечами, поправляя очки.

Безбедов уклончиво покатал из стороны в сторону голубенькие зрачки свои, лицо его перекосилось, оплыло вниз; видно было, что он хочет сказать что-то, но — не решается. Самгин попробовал помочь ему;

— Человек она, кажется, очень властный…

— Человек? — бессмысленно повторил Безбедов. — Да, это — верно… Ну, спасибо! — неожиданно сказал он и пошел к двери, а Самгин, провожая его сердитым взглядом, подумал:

«Определенно преступный тип. Марину он не только боится, но, кажется, ненавидит. Почему?»

А на другой день Безбедов вызвал у Самгина странное подозрение: всю эту историю с выстрелом он рассказал как будто только для того, чтоб вызвать интерес к себе; размеры своего подвига он значительно преувеличил, — выстрелил он не в лицо голубятника, а в живот, и ни одна дробинка не пробила толстое пальто. Спокойно поглаживая бритый подбородок и щеки, он сказал:

— Помирились; дал ему две пары скобарей и двадцать целковых, — чорт с ним!

Самгину даже показалось, что и это — ложь да и не было выстрела, все выдумано. Но он не захотел сказать Безбедову, что не верит ему, а только иронически заметил:

— Побрились.

— Слушаюсь старших, — ответил Безбедов, и по пузырю лица его пробежали морщинки, сделав на несколько секунд толстое, надутое лицо старчески дряблым. Нелепый случай этот, укрепив антипатию Самгина к Безбедову, не поколебал убеждения, что Валентин боится тетки, и еще более усилил интерес, — чем, кроме страсти к накоплению денег, живет она? Эту страсть она не прикрывала ничем.

Дня через два она встретила Самгина в магазине словами, в которых он не уловил

ни сожаления, ни злобы:

— Сожгли Отрадное-то! Подожгли, несмотря на солдат. Захария немножко побили, едва ноги унес. Вся левая сторона дома сгорела и контора, сарай, конюшни. Ладно, что хлеб успела я продать.

Говорила она неестественно, обнажая зубы, покачивая правой рукой так, точно собиралась ударить Самгина.

— Лидии дом не нравился, она хотела перестраивать его. Я — ничего не теряю, деньги по закладной получила. Но все-таки надобно Лидию успокоить, ты сходи к ней, — как она там? Я — была, но не застала ее, — она с выборами в Думу возится, в этом своем «Союзе русского народа»... Действуй!

Самгин пошел и дорогой подумал, что он утверждает в правах наследства не Турчанинова, молодого, наивного иностранца, а вдову купца первой гильдии Марину Петровну Зотову.

«Хищница, — думал он. — Становится все более откровенной, даже циничной».

Но возмущался он ее жестокой страстью холодно — от ума, убежденный, что эта страсть еще не определяет всю Марину. Да и неудобно ему было упрощать ее, — он чувствовал, что, упрощая Зотову, низводит себя до покорного слуги ее грубых целей. Но ее ум не может быть ограниченным только этими целями. Она копит деньги, наверное, не ради только денег, а — для чего-то. Для чего же? Он не мог бы объяснить, как сложилось и окрепло в нем это убеждение, но убеждение сложилось крепко. В конце концов он обязан пред самим собою знать: чему же он служит?

Лидия приняла его в кабинете, за столом. В дымчатых очках, в китайском желтом халате, вышитом черными драконами, в неизбежной сетке на курчавых волосах, она резала ножницами газету. Смуглое лицо ее показалось вытянутым и злым.

— Ах, знаю, знаю! — сказала она, махнув рукою. — Сгорел старый, гнилой дом, ну — что ж? За это накажут. Мне уже позвонили, что там арестован какой-то солдат и дочь кухарки, — вероятно, эта — остроносая, дерзкая.

И, хлопнув обеими руками по вороху газет на столе, она продолжала быстро, тревожно, с истерическими выкриками:

— Но — что будет делать Россия, которая разваливается, что — скажи? Царь ко всему равнодушен, пишут мне, а другой человек, близкий к высоким сферам, сообщает; царь ненавидит то, что сам же дал, — эту Думу, конституцию и все. Говорят о диктатуре, ты подумай! О диктатуре при самодержавии! Разве это бывало? — Наклонив голову, она смотрела на Самгина исподлобья, очки ее съехали почти на кончик носа, и казалось, что на лице ее две пары разноцветных глаз. — По всем сведениям, в Думу снова и в массе пройдут левые. Этим мы будем обязаны авантюристу Столыпину, который затевает разрушить общину, выделить из деревни сильных мужиков на хутора... Самгин сказал:

— Ты, кажется, сочувствовала этой реформе?

— Нет, — резко сказала она. — То есть — да, сочувствовала, когда не видела ее революционного смысла. Выселить зажиточных из деревни — это значит обессилить деревню и оставить хуторян такими же беззащитными, как помещиков. — Откинулась на спинку кресла и, сняв очки, укоризненно покачала головою, глядя на Самгина темными глазами в кружках воспаленных век.

— Впрочем — я напрасно говорю, я знаю: ты равнодушен ко всему, что не разрушение. Марина сказала о тебе: «Невольный зритель...»

— Вот как? — спросил Самгин, неприятно удивленный. — А — что это значит?

— Это — ужасно, Клим! — воскликнула она, оправляя сетку на голове, и черные драконы с рукавов халата всползли на плечи ее, на щеки. — Подумай: погибает твоя страна, и мы все должны спасать ее, чтобы спасти себя. Столыпин — честолюбец и глуп. Я видела этого человека, — нет, он — не вождь! И вот, глупый человек учит царя! Царя…

Самгин слышал ее крики, но эта женщина, в широком, фантастическом балахоне, уже не существовала для него в комнате, и голос ее доходил издали, точно она говорила по телефону. Он соображал:

«Вот как говорит Марина про меня…»

Он слышал: террористы убили в Петербурге полковника Мина, укротителя Московского восстания, в Интерлакене стреляли в какого-то немца, приняв его за министра Дурново, военно-полевой суд не сокращает количества революционных выступлений анархистов, — женщина в желтом неутомимо и назойливо кричала, — но все, о чем кричала она, произошло в прошлом, при другом Самгине. Тот, вероятно, отнесся бы ко всем этим фактам иначе, а вот этот окончательно не мог думать ни о чем, кроме себя и Марины.

«Невольный зритель? Это — верно, я сам говорил себе это».

Лишь на минуту он вспомнил царя, оловянно серую фигурку маленького человечка, с голубыми глазами и безразлично ласковой улыбкой.

«Равнодушен и ненавидит… Несоединимо. Вернее — презирает. А я — ненавижу или презираю?»

Он невольно усмехнулся и вызвал у Лидии взрыв негодования.

— Неужели тебя все это только смешит? Но — подумай! Стоять выше всех в стране, выше всех! — кричала она, испуганно расширив больные глаза. — Двуглавый орел, ведь это — священный символ нечеловеческой власти…

Самгин не заметил, когда и почему она снова заговорила о царе.

— Мы все — двуглавые, — сказал он, вставая. — Зотова, ты, я…

— Что ты хочешь сказать? — спросила Лидия и тоже встала.

Вслушиваясь в свои слова, он проговорил, надеясь обидеть Лидию:

— Царь, вероятно, устал от этой возни и презирает всех…

— Он? Помазанник божий и — презрение к людям? — возмущенно вскричала Лидия. — Опомнись! Так может думать только атеист, анархист! Впрочем — ты таков и есть по натуре.

Она безнадежно покачала головой, затем, когда Самгин пожимал ее руку, спросила:

— Здесь у всех ужасно потные руки, — ты заметил? «Дура. Бесплодная смоковница, — равнодушно думал Самгин, как бы делая надписи. — Насколько Марина умнее, интереснее ее…»

И, поставив рядом с Мариной голубовато-серую фигурку царя, усмехнулся.

Город беспокоился, готовясь к выборам в Думу, по улицам ходили и ездили озабоченные, нахмуренные люди, на заборах пестрели партийные воззвания, члены «Союза русского народа» срывали их, заклеивали своими.

Все это текло мимо Самгина, но было неловко, неудобно стоять в стороне, и раза два-три он посетил митинги местных политиков. Все, что слышал он, все речи ораторов были знакомы ему; он отметил, что левые говорят громко, но слова их

стали тусклыми, и чувствовалось, что говорят ораторы слишком напряженно, как бы из последних сил. Он признал, что самое дельное было сказано в городской думе, на собрании кадетской партии, членом ее местного комитета — бывшим поверенным по делам Марины.

Опираясь брюшком о край стола, покрытого зеленым сукном, играя тоненькой золотой цепочкой часов, а пальцами другой руки как бы соля воздух, желтолицый человечек звонко чеканил искусно округленные фразы; в синеватых белках его вспыхивали угольки черных зрачков, и издали казалось, что круглое лицо его обижено, озлоблено. Слушали его внимательно, молча, и молчание было такое почтительно скучное, каким бывает оно на торжественных заседаниях по поводу годовщины или десятилетия со дня смерти высокоуважаемых общественных деятелей.

Говорил оратор о том, что война поколебала международное значение России, заставила ее подписать невыгодные, даже постыдные условия мира и тяжелый для торговли хлебом договор с Германией. Революция нанесла огромные убытки хозяйству страны, но этой дорогой ценой она все-таки ограничила самодержавие. Спокойная работа Государственной думы должна постепенно расширять права, завоеванные народом, европеизировать и демократизировать Россию.

Он замолчал, поднял к губам стакан воды, но, сделав правой рукой такое движение, как будто хотел окунуть в воду палец, — поставил стакан на место и продолжал более напряженно, даже как бы сердито, но и безнадежно:

— Меньшевики, социалисты-реалисты, поняли, что революция сама по себе не способна творить, она только разрушает, уничтожает препятствия к назревшей социальной реформе. Они поняли, что культура невозможна вне сотрудничества классов. Социалисты-утописты с их мистической верой в силу рабочего класса — разбиты, сошли со сцены истории. Все понимают, что страна нуждается в спокойной, будничной работе в областях политики и культуры. В конце концов — всем необходимо отдохнуть от жестоких потрясений пережитой бури. Пред нами — грандиозная задача: поставить на ноги многомиллионное крестьянство. И — еще раз: эволюция невозможна без сотрудничества классов, — эта истина утверждается всей историей культурного развития Европы, и отрицать эту истину могут только люди, совершенно лишенные чувства ответственности пред историей…

Для того чтоб согласиться с этими мыслями, Самгину не нужно было особенно утруждать себя. Мысли эти давно сами собою пришли к нему и жили в нем, не требуя оформления словами. Самгина возмутил оратор, — он грубо обнажил и обесцветил эти мысли, «выработанные разумом истории».

Самгин почувствовал необходимость освежить и углубить доводы разума истории, подкрепить их от себя, материалом своего, личного опыта. Он пережил слишком много, и хотя его разум сильно устал «регистрировать факты», «системы фраз», но не утратил эту уже механическую, назойливую и бесплодную привычку. Бесплодность накопления опыта тяготила и смущала его. Он не хотел сознаться, что усвоил скептическое отношение Марины к разуму, но он уже чувствовал, что ее речи действуют на него убедительнее книг. И, наконец, бывали моменты, когда Самгин с неприятной ясностью сознавал, что хотя лицо «текущего момента» густо покрыто и покрывается пылью успокоительных слов, но лицо это вставало пред ним красным и свирепым, точно лицо дворника Марины.

Он вспомнил брата: недавно в одном из толстых журналов была напечатана весьма хвалебная рецензия о книге Дмитрия по этнографии Северного края.

«Мне тоже надо сделать выводы из моих наблюдений», — решил он и в свободное время начал перечитывать свои старые записки. Свободного времени было достаточно, хотя дела Марины постепенно расширялись, и почти всегда это были странно однообразные дела: умирали какие-то вдовы, старые девы, бездетные торговцы, отказывая Марине свое, иногда солидное, имущество.

— Дальние родственники супруга моего, — объясняла она.

Росла клиентура, к Самгину являлись из уездов и даже из соседней губернии почтительные бородатые купцы.

— Зотиха, Марина Петровна, указала нам, — говорили они, и чувствовалось, что для этих людей Марина — большой человек. Он объяснял это тем, что захолустные, полудикие люди ценят ее деловитый ум, ее знание жизни.

Зимними вечерами, в теплой тишине комнаты, он, покуривая, сидел за столом и не спеша заносил на бумагу пережитое и прочитанное — материал своей будущей книги. Сначала он озаглавил ее: «Русская жизнь и литература в их отношении к разуму», но этот титул показался ему слишком тяжелым, он заменил его другим:

«Искусство и интеллект»; потом, сообразив, что это слишком широкая тема, приписал к слову «искусство» — «русское» и, наконец, еще более ограничил тему: «Гоголь, Достоевский, Толстой в их отношении к разуму». После этого он стал перечитывать трех авторов с карандашом в руке, и это было очень приятно, очень успокаивало и как бы поднимало над текущей действительностью куда-то по косой линии.

Гоголь и Достоевский давали весьма обильное количество фактов, химически сродных основной черте характера Самгина, — он это хорошо чувствовал, и это тоже было приятно. Уродливость бьпа и капризная разнузданность психики объясняли Самгину его раздор с действительностью, а мучительные поиски героями Достоевского непоколебимой истины и внутренней свободы, снова приподнимая его, выводили в сторону из толпы обыкновенных людей, сближая его с беспокойными героями Достоевского.

Но нередко он бросал карандаш на стол, говоря себе:

«Я — не таков, как эти люди, более здоров, чем они, я отношусь к жизни спокойнее».

Однако действительность, законно непослушная теориям, которые пытались утихомирить ее, осаждаясь на ее поверхности густой пылью слов, — действительность продолжала толкать и тревожить его.

В конце зимы он поехал в Москву, выиграл в судебной палате процесс, довольный собою отправился обедать в гостиницу и, сидя там, вспомнил, что не прошло еще двух лет с того дня, когда он сидел в этом же зале с Лютовым и Алиной, слушая, как Шаляпин поет «Дубинушку». И еще раз показалось невероятным, что такое множество событий и впечатлений уложилось в отрезок времени — столь ничтожный.

«И в бездонном мешке времени кружится земной шар», — вспомнил он недавно прочитанную фразу и подумал, что к Достоевскому и Гоголю следует присоединить Леонида Андреева, Сологуба. А затем, просматривая карту кушаний, прислушиваясь к шуму голосов, подумал о том, что, вероятно, нигде не едят так радостно и шумно, как в Москве. Особенно бесцеремонно шумели за большим столом у стены, налево от него, — там сидело семеро, и один из них, высокий, тонкий, с маленькой головой, с реденькими усами на красном лице, тенористо и задорно врезывал в густой гул саркастические фразы:

— В Европе промышленники внушают министрам руководящие идеи, а у нас — наоборот: у нас необходимость организации фабрикантов указана министром Коковцовым в прошлом году-с!

За спиною Самгина, под пальмой, ворчливо разговаривали двое, и нетрезвый голос одного был знаком.

— Ерунда! Солдаты революции не делают.

— Тише!

— Расстреливать, как негров…

— Ты — сообрази: гвардия, преображенцы…

— Тем более: расстреливать! Что значит высылка в какое-то дурацкое село Медведь? Ун-ничтожать, как англичане сипаев…

— Это ты несерьезно говоришь.

— Я знаю больше тебя, — пьяным голосом вскричал свирепый человек, и Самгин тотчас вспомнил:

«Это — Тагильский. Неприятно, если узнает меня».

Он привстал, оглядываясь, нет ли где другого свободного столика?

Столика не нашлось, а малоголовый тенор, ударив ладонью по столу, отчеканил:

— Ни-ко-гда-с! Допущение рабочих устанавливать расценки приемлемо только при условии, что они берут на себя и ответственность за убытки предприятия-с!

Он встал и начал быстро пожимать руки сотрапезников, однообразно кивая каждому гладкой головкой, затем, высоко вскинув ее, заложив одну руку за спину, держа в другой часы и глядя на циферблат, широкими шагами длинных ног пошел к двери, как человек, совершенно уверенный, что люди поймут, куда он идет, и позаботятся уступить ему дорогу.

По газетам Самгин знал, что в Петербурге организовано «Общество заводчиков и фабрикантов» и что об этом же хлопочут и промышленники Москвы, — наверное, этот длинный — один из таких организаторов. Тагильский внятно бормотал:

— В Семеновском полку один гусь заговорил, что в Москве полк не тех бил, — понимаешь? Не тех! Солдаты тотчас выдали его…

Направо от Самгина сидели, солидно кушая, трое:

широкоплечая дама с коротенькой шеей в жирных складках, отлично причесанный, с подкрученными усиками, студент в пенснэ, очень похожий на переодетого парикмахера, и круглолицый барин с орденом на шее, с большими глазами в синеватых мешках; медленно и обиженно он рассказывал:

— Я сам был свидетелем, я ехал рядом с Бомпаром. И это были действительно рабочие. Ты понимаешь дерзость? Остановить карету посла Франции и кричать в лицо ему: «Зачем даете деньги нашему царю, чтоб он бил нас? У него своих хватит на это».

— Ужасно, — басом и спокойно сказала женщина, раскладывая по тарелкам пузатеньких рябчиков, и спросила: — А правда, что Лауница убили за то, что он хотел арестовать Витте?

— Но, мама, — заговорил студент, наморщив лоб, — установлено, что Лауница убили социалисты-революционеры.

Так же басовито и спокойно дама сказала:

— Я не спрашиваю — кто, я спрашиваю — за что? И я надеюсь, Борис, что ты не знаешь, что такое революционеры, социалисты и кому они служат. Возьми еще брусники, Матвей!

Человек с орденом взял брусники и, тяжко вздохнув, сообщил:

— Старик Суворин утверждает, что будто Горемыкин сказал ему: «Это не плохо,

что усадьбы жгут, надо потрепать дворянство, пусть оно перестанет работать на революцию». Но, бог мой, когда же мы работали на революцию?

— Ужасно, — сказала дама, разливая вино. — И притом Горемыкин — педераст. Студент усмехнулся, говоря:

— Ты, дядя, забыл о декабристах…

«Это — люди для комедии, — подумал Самгин. — Марина будет смеяться, когда я расскажу о них».

Его очень развлекла эта тройка. Он решил провести вечер в театре, — поезд отходил около полуночи. Но вдруг к нему наклонилось косоглазое лицо Лютова, — меньше всего Самгин хотел бы видеть этого человека. А Лютов уже трещал:

— Вот — непредвиденный случай! Глупо; как будто случай можно предвидеть! А ведь так говорят! Мне сказали, что ты прикреплен к Вологде на три года, — неверно?

Он был наряжен в необыкновенно пестрый костюм из толстой, пестрой, мохнатой материи, казался ниже ростом, но как будто еще более развинченным.

— Хотя — ив Вологде пьют. Ты еще не запил? Интересно, каким ты пером оброс?

Говорил он вполголоса, но все-таки было неприятно, что он говорит в таком тоне при белобрысом, остроглазом официанте. Вот он толкает его пальцами в плечо;

— Кабинетик можно, Вася?

— Слушаю. Закусочку?

— Неизбежно.

— А дальше?

— Сам сообрази, ангел.

«Показывает старомодный московский демократизм», — отметил Самгин, наблюдая из-под очков за публикой, — кое-кто посматривал на Лютова иронически. Однако Самгин чувствовал, что Лютов искренно рад видеть его. В коридоре, по дороге в кабинет, Самгин осведомился: где Алина?

— Алина? — ненужно переспросил Лютов, — Алина пребывает во французской столице Лютеции и пишет мне оттуда длинные, свирепые письма, — французы ей не нравятся. С нею Костя Макаров поехал, Дуняша собирается… Втолкнув Самгина в дверь кабинета, он усадил его на диван, сел в кресло против него, наклонился и предложил:

— Ну, рассказывай, — как?

Его вывихнутые глаза стали как будто спокойнее, не так стремились спрятаться, как раньше. На опухшем лице резко выступил узор красных жилок, — признак нездоровой печени.

— Потолстел, — сказал он, осматривая Самгина. — Ну, а что же ты думаешь, а?

— О чем? — спросил Самгин.

— Например — о попах? Почему мужики натолкали в парламент столько попов? Хорошие хозяева? Прикинулись эсерами? Или — еще что?

Говоря, он точно обжигался словами, то выдувая, то всасывая их.

«Начинаются фокусы», — отметил Самгин, а Лютов торопливо говорил:

— Мужик попа не любит, не верит ему, поп — тот же мироед, и — вдруг?

— Мне кажется, что попов не так уж много в Думе. А вообще я плохо понимаю — что тебя волнует? — спросил Самгин.

Лютов, прищурясь, посмотрел на него, щелкнул пальцами.

— Не верю, — понимаешь! Над попом стоит епископ, над епископом — синод, затем является патриарх, эдакий, знаешь, Исидор, униат. Церковь наша организуется по-римски, по-католически, возьмет мужика за горло, как в Испании, в Италии, — а?

— Странная фантазия, — сказал Самгин, пожимая плечами.

— Фантазия? — вопросительно повторил Лютов и — согласился: — Ну — ладно, допустим! Ну, а если так: поп — чистейшая русская кровь, в этом смысле духовенство чище дворянства — верно? Ты не представляешь, что поп может выдумать что-то очень русское, неожиданное?

— Инквизицию, что ли? — с досадой спросил Самгин. Лютов серьезно сказал:

— Инквизиция — это само собой, но кроме того нечто сугубо мрачное — от лица всероссийского мужика?

— От мужика ты... мы ничего не услышим, кроме: отдайте мне землю, — ответил Самгин, неохотно и ворчливо.

Сморщив пятнистое лицо, покачиваясь, дергая головою, Лютов стал похож на человека, который, сидя в кабинете дантиста, мучается зубной болью.

— Так, — сказал он. — Очень просто. А я, брат, все чего-то необыкновенного жду...

«Не устал еще от необыкновенного?» — хотел спросить Самгин, но вошел белобрысый официант и с ним — другой, подросток, — внесли закуски на подносах; Лютов спросил:

— Что, Вася, не признают хозяева союз ваш?

— Не желают, — ответил Вася, усмехаясь.

— Что же думаете делать?

Официант скрутил салфетку жгутом, ударил ею по ладони и сказал, вздохнув:

— Не знаю. Забастовка — не поможет, наголодались все, устали. Питерские рабочие препятствуют вывозу товаров из фабричных складов, а нам — что? Посуду перебить? Пожалуйте кушать, — добавил он и вышел.

Самгин снова определил поведение Лютова как демократизм показной.

Официант не понравился ему, — говорил он пренебрежительно, светленькие усики его щетинились неприятно, а короткая верхняя губа, приподнимаясь, обнажала мелкие, острые зубы.

— Неглупый парень, — сказал Лютов, кивнув головой вслед Василию и наливая водку в рюмки. — «Коммунистический манифест» вызубрил и вообще — читает! Ты, конечно, знаешь, в каких сотнях тысяч разошлась сия брошюрка? Это — отрыгнется! Выпьем...

Самгин спросил, чокаясь:

— Ты рад, что — отрыгнется?

— Ловко спрошено! — вскричал Лютов с восхищением. — Безразлично, как о

чужом деле! Все еще играешь равнодушного, баррикадных дел мастер? Со мной не следовало бы играть в конспирацию.

Самгин проглотил большую рюмку холодной померанцевой водки и, закусывая семгой, недоверчиво покосился на Лютова, — тот подвязывал салфетку на шею и говорил, обжигаясь словами:

— Я — купец, но у меня не гривенники на месте глаз. Я, брат, в своем классе — белая ворона, и я тебе прямо скажу: не чувствуя внутренней связи со своей средой, я иногда жалею… даже болею этим… Вот оно что! Бывает, что думаешь: лучше быть повешенным, чем взвешенным в пустоте. Но — причаститься своей среде — не могу, может быть, потому, что сил нет, недостаточно зоологичен. Вот на-днях Четвериков говорил, что в рабочих союзах прячутся террористы, анархисты и всякие чудовища и что хозяева должны принять все меры к роспуску союзов. Разумеется, он — хозяин и дело обязывает его бороться против рабочих, но — видел бы ты, какая отвратительная рожа была у него, когда он говорил это! И вообще, брат, они так настроены, что если возьмут власть в свои руки…

Лицо Владимира Лютова побурело, глаза, пытаясь остановиться, дрожали, он слепо тыкал вилкой в тарелку, ловя скользкий гриб и возбуждая у Самгина тяжелое чувство неловкости. Никогда еще Самгин не слышал, не чувствовал, чтоб этот человек говорил так серьезно, без фокусов, без неприятных вывертов. Самгин молча налил еще водки, а Лютов, сорвав салфетку с шеи, продолжал:

— Тебе мое… самочувствие едва ли понятно, ты забронирован идеей, конспиративной работой, живешь, так сказать, на высоте, в башне, неприступен. А я давно уже привык думать о себе как о человеке — ни к чему. Революция окончательно убедила меня в этом. Алина, Макаров и тысячи таких же — тоже всё люди ни к чему и никуда, — странное племя: неплохое, но — ненужное. Беспочвенные люди. Есть даже и революционеры, такие, например, как Иноков, — ты его знаешь. Он может разрушить дом, церковь, но не способен построить и курятника. А разрушать имеет право только тот, кто знает, как надобно строить, и умеет построить.

Самгин чувствовал, что эти неожиданные речи возмущают его, — он выпил еще рюмку и сказал:

— Так говорили, во главе с Некрасовым, кающиеся дворяне в семидесятых годах. Именно Некрасов подсказал им эти жалобы, и они были, в сущности, изложением его стихов прозой.

Снова вошел официант, и, заметив, что острый взгляд Васи направлен на него, Самгин почувствовал желание сказать нечто резкое; он сказал:

— Нельзя делать историю только потому, что ничего иного не умеешь делать.

— Именно, — согласился Лютов, а Самгин понял, что сказано им не то, что он повторил слова Степана Кутузова. Но все-таки продолжал:

— У нас многие занимаются деланием от скуки, от нечего делать.

— Мысль Толстого, — заметил Лютов, согласно кивнув головой, катая шарик хлеба.

Самгин замолчал, ожидая, когда уйдет официант, потом, с чувством озлобления на Лютова и на себя, заговорил, несвойственно своей манере, ворчливо, с трудом:

— Вообще интеллигенция не делает революций, даже когда она психически деклассирована. Интеллигент — Не революционер, а реформатор в науке, искусстве, религии. И в политике, конечно. Бессмысленно и бесполезно насиловать себя, искусственно настраивать на героический лад…

— Не понимаю, — сказал Лютов, глядя в тарелку супа. Самгин тоже не совсем ясно понимал — с какой целью он говорит? Но говорил:

— Ты смотришь на революцию как на твой личный вопрос, — вопрос интеллигента...

— Я? — удивился Лютов. — Откуда ты вывел это?

— Из всего сказанного тобой.

— Мне кажется, что ты не меня, а себя убеждаешь в чем-то, — негромко и задумчиво сказал Лютов и спросил:

— Ты — большевик или...?

— Ах, оставь, — сердито откликнулся Самгин. Минуту, две оба молчали, неподвижно сидя друг против друга. Самгин курил, глядя в окно, там блестело шелковое небо, луна освещала беломраморные крыши, — очень знакомая картина.

«Он — прав, — думал Самгин, — убеждал я действительно себя».

— Реакция, — пробормотал Лютов. — Ленин, кажется, единственный человек, которого она не смущает...

Он съежился, посерел, стал еще менее похож на себя и вдруг — заиграл, превратился в человека, давно и хорошо знакомого; прихлебывая вино маленькими глотками, бойко заговорил:

— Слышал я, что мухи обладают замечательно острым зрением, а вот стекла от воздуха не могут отличить!

— Что ты зимой о мухах вспомнил? — спросил Самгин, подозрительно взглянув на него.

— Не знаю. А есть мы, оказывается, не хотим. Ну, тогда выпьем!

Выпили. Встряхнув головой, потирая висок пальцем, Лютов вздохнул, усмехнулся.

— Не склеилась у нас беседа, Самгин! А я чего-то ждал. Я, брат, все жду чего-то. Вот, например, попы, — я ведь серьезно жду, что попы что-то скажут. Может быть, они скажут: «Да будет — хуже, но — не так!» Племя — талантливое! Сколько замечательных людей выдвинуло оно в науку, литературу, — Белинские, Чернышевские, Сеченовы...

Но оживление Лютова погасло, он замолчал, согнулся и снова начал катать по тарелке хлебный шарик. Самгин спросил: где Стрешнева?

— Дуняша? Где-то на Волге, поет. Тоже вот Дуняша... не в форме, как говорят о борцах. Ей один нефтяник предложил квартиру, триста рублей в месяц — отвергла! Да, — не в себе женщина. Не нравится ей все. «Шалое, говорит, занятие — петь». В оперетку приглашали — не пошла.

И, глядя в окно, он вздохнул.

— Боюсь — влопается она в какую-нибудь висельную историю. Познакомилась с этим, Иноковым, когда он лежал у нас больной, раненый. Мужчина — ничего, интересный, немножко — топор. Потом тут оказался еще один, — помнишь парня, который геройствовал, когда Туробоева хоронили? Рыбаков...

— Судаков, — поправил Самгин.

— Хорошая у тебя память... Гм... Ну вот, они — приятели ей. Деньжонками она снабжает их, а они ее воспитывают. Анархисты оба.

Лютов вынул часы и, держа их под столом, щелкнул крышкой; Самгин тоже посмотрел на свои часы, тут же думая, что было бы вежливей спросить о времени Лютова.

Простился Лютов очень просто, даже, кажется, грустно, без игры затейливыми словечками.

«Поблек, — думал Самгин, выходя из гостиницы в голубоватый холод площади. — Типичный русский бездельник. О попах — нарочно, для меня выдумал. Маскирует чудачеством свою внутреннюю пустоту. Марина сказала бы: человек бесплодного ума».

От сытости и водки приятно кружилась голова, вкусно морозный воздух требовал глубоких вдыханий и, наполняя легкие острой свежестью, вызывал бодрое чувство. В памяти гудел мотив глупой песенки:

Царь, подобно Муцию….

«Дуняша-то! Отвергла. Почему?»

Самгин взял извозчика и поехал в оперетку. Там кассир сказал ему, что все билеты проданы, но есть две свободные ложи и можно получить место.

С высоты второго яруса зал маленького театра показался плоскодонной ямой, а затем стал похож на опрокинутую горизонтально витрину магазина фруктов: в пене стружек рядами лежат апельсины, яблоки, лимоны. Самгин вспомнил, как Туробоев у Омона оправдывал анархиста Равашоля, и спросил сам себя:

«Мог бы я бросить бомбу? Ни в каком случае. И Лютов не способен. Я подозревал в нем что-то… своеобразное. Ничего нет… Кажется — я даже чего-то опасался в этом… выродке». И, почувствовав, что он может громко засмеяться, Самгин признался: «Я — выпил немножко сверх меры».

Над оркестром судорожно изгибался, размахивая коротенькими руками и фалдами фрака, черненький, большеголовый, лысый дирижер, у рампы отчаянно плясали два царя и тощий кривоногий жрец Калхас, похожий на Победоносцева.

«Оффенбах был действительно остроумен, превратив предисловие к «Илиаде» в комедию. Следовало бы обработать в серию легких комедий все наиболее крупные события истории культуры, чтоб люди перестали относиться к своему прошлому подобострастно — как к его превосходительству…»

Думалось очень легко и бойко, но голова кружилась сильнее, должно быть, потому, что теплый воздух был густо напитан духами. Публика бурно рукоплескала, цари и жрец, оскалив зубы, благодарно кланялись в темноту зала плотному телу толпы, она тяжело шевелилась и рычала:

— Браво, браво!

Это было не весело, не смешно, и Самгин поморщился, вспомнив чей-то стих:

Пучина, где гибнет все то, что живет.

«Откуда это?»

Подумав, он вспомнил: из книги немецкого демократа Иоганна Шерра. Именно этот профессор советовал смотреть на всемирную историю как на комедию, но в то же время соглашался с Гёте в том, что:

Быть человеком — значит быть бойцом.

«Чтобы придать комедии оттенки драмы, да? Пьянею», — сообразил Самгин, потирая лоб ладонью. Очень хотелось придумать что-нибудь оригинальное и улыбнуться себе самому, но мешали артисты на сцене. У рампы стояла плечистая, полнотелая дочь царя Приама, дрыгая обнаженной до бедра ногой; приплясывал удивительно легкий, точно пустой, Калхас; они пели:

СмотритеНа Витте,На графа из Портсмута,Чей спорт любимый — смута…

«Это — глупо», — решил Самгин, дважды хлопнув ладонями.

— Браво! — кричали из пучины.

— Пардон, — сказал кто-то, садясь рядом с Климом, и тотчас же подавленно вскричал: — Бог мой — вы? Как я рад!

Это — Брагин, одетый, точно к венцу, — во фраке, в белом галстуке; маленькая головка гладко причесана, прядь волос, опускаясь сверху виска к переносью, искусно — более, чем раньше, — прикрывает шишку на лбу, волосы смазаны чем-то крепко пахучим, лицо сияет радостью. Он правильно назвал встречу неожиданной и в минуту успел рассказать Самгину, что является одним из «сосьетеров» этого предприятия.

— Вы заметили, что мы вводим в старый текст кое-что от современности? Это очень нравится публике. Я тоже начинаю немного сочинять, куплеты Калхаса — мои. — Говорил он стоя, прижимал перчатку к сердцу и почтительно кланялся кому-то в одну из лож. — Вообще — мы стремимся дать публике веселый отдых, но — не отвлекая ее от злобы дня. Вот — высмеиваем Витте и других, это, я думаю, полезнее, чем бомбы, — тихонько сказал он.

— Да, — согласился Самгин, — пусть все... улыбаются! Пусть человек улыбается сам себе.

— Замечательно сказано! — с восхищением прошептал Брагин. — Именно — сам себе!

— Пусть улыбнется! — строго повторил Самгин.

— Я и Думу тоже — куплетами! Вы были в Думе?

— Нет. В Думе — нет...

— Это — митинг и ничего государственного! Вы увидите — ее снова закроют.

— Не надо, — пусть говорят, — сказал Самгин.

— Да, разумеется, — лучше под крышей, чем на улицах! Но — газеты! Они все выносят на улицу.

— А она — умная! Она смеется, — сказал Самгин и остатком неомраченного сознания понял, что он, скандально пьянея, говорит глупости. Откинувшись на спинку стула, он закрыл глаза, сжал зубы и минуту, две слушал грохот барабана, гул контрабаса, веселые вопли скрипок. А когда он поднял веки — Брагина уже не было, пред ним стоял официант, предлагая холодную содовую воду, спрашивая дружеским тоном:

— Капельку нашатырного спиртику не прикажете?

Антракт Самгин просидел в глубине ложи, а когда погасили огонь — тихонько вышел и поехал в гостиницу за вещами. Опьянение прошло, на место его явилась скучная жалость к себе.

«В сущности, случай ничтожный, и все дело в том, что я много выпил», — утешал он себя, но не утешил.

На другой день, вечером, он сердито рассказывал Марине:

— Москва вызвала у меня впечатление пошлости и злобы. Одни торопливо и пошло веселятся, другие — собираются мстить за пережитые тревоги...

— Собираются! — воскликнула Марина. — Уже — начали, вон как Столыпин-то спешит вешать.

Она была очень довольна выигранным процессом и говорила весело. Самгин нашел, что говорить о работе Столыпина веселым тоном — по меньшей мере неприлично, и спросил насмешливо:

— А по-твоему, вешать надобно не спеша? Улыбаясь, облизнув губы, Марина посмотрела в темный угол.

— Максималистов-то? Я бы на его месте тоже вешала. Вон как они в Фонарном-то переулке денежки цапнули. Да и лично Столыпин задет ими, — дочку ранили, дачу взорвали.

— Ужасно… просто относишься ты ко всем этим трагедиям, — сказал Самгин и отметил, что говорит с удивлением, а хотел сказать с негодованием.

— Я ведь не министр и особенно углубляться в эти семейные дела у меня охоты нет, — сказала Марина.

Самгин вспомнил, что она уже второй раз называет террор «семейным делом»; так же сказала она по поводу покушения Тамары Принц на генерала Каульбарса в Одессе. Самгин дал ей газету, где напечатана была заметка о покушении.

— Да, — знаю, — сказала Марина. — Лидии подробно известно это. — Встряхнув газету, как будто на ней осела пыль, она выговорила медленно, с недоумением:

— Детскость какая! Пришла к генералу дочь генерала и — заплакала, дурочка: ах, я должна застрелить вас, а — не могу, вы — друг моего отца! Татьяна-то Леонтьева, которая вместо министра Дурново какого-то немца-коммивояжера подстрелила, тоже, кажется, генеральская дочь? Это уж какие-то семейные дела…

Ее устойчиво спокойное отношение к действительности возмущало Самгина, но он молчал, понимая, что возмущается не только от ума, а и от зависти. События проходили над нею, точно облака и, касаясь ее, как тени облаков, не омрачали настроения; спокойно сообщив: «Лидия рассказывает, будто Государственный Совет хотели взорвать. Не удалось», — она задумчиво спросила:

— Отчего это иногда не удается им?

Самгин усмехнулся, подумав, что, если б она была террористкой, ей бы, наверное, удалось взорвать и Государственный совет.

«Ей все — чуждо, — думал он. — Точно иностранка. Или человек, непоколебимо уверенный, что «все к лучшему в этом наилучшем из миров». Откуда у нее этот… оптимизм… животного?»

В «наилучшем из миров» бесплодно мучается некто Клим Самгин. Хотя он уже не с такою остротой, как раньше, чувствовал бесплодность своих исканий, волнений и тревог, но временами все-таки казалось, что действительность становится все более враждебной ему и отталкивает, выжимает его куда-то в сторону, вычеркивая из жизни. Его особенно поразил неожиданный и резкий выпад против интеллигенции со стороны Томилина. В местной либеральной газете был напечатан подробный отчет о лекции, которую прочитал Томилин на родине Самгина. Лекция была озаглавлена «Интеллект и рок», — в ней доказывалось, что интеллект и является выразителем воли рока, а сам «рок не что иное, как маска Сатаны — Прометея»; «Прометей — это тот, кто первый внушил человеку в раю неведения страсть к познанию, и с той поры девственная, жаждущая веры душа богоподобного человека сгорает в Прометеевом огне; материализм — это серый пепел ее». Томилин «беспощадно, едко высмеивал тонко организованную личность, кристалл, якобы способный отразить спектры всех огней жизни и совершенно лишенный силы огня веры в простейшую и единую мудрость мира, заключенную в таинственном слове — бог».

Отчет заключался надеждой его автора, что «наш уважаемый сотрудник, смелый и оригинальный мыслитель, посетит наш город и прочтет эту глубоко волнующую

лекцию. Нам весьма полезно подняться на высоту изначальных идей, чтоб спокойно взглянуть оттуда на трагические ошибки наши».

Столь крутой поворот знакомых мыслей Томилина возмущал Самгина не только тем, что так неожиданно крут, но еще и тем, что Томилин в резкой форме выразил некоторые, еще не совсем ясные, мысли, на которых Самгин хотел построить свою книгу о разуме. Не первый раз случалось, что осторожные мысли Самгина предупреждались и высказывались раньше, чем он решался сделать это. Он почувствовал себя обворованным рыжим философом.

«Марине, вероятно, понравится философия Томилина», — подумал он и вечером, сидя в комнате за магазином, спросил: читала она отчет о лекции?

— Жулик, — сказала она, кушая мармелад. — Это я не о философе, а о том, кто писал отчет. Помнишь: на Дуняшином концерте щеголь ораторствовал, сынок уездного предводителя дворянства? Это — он. Перекрасился октябристом. Газету они покупают, кажется, уже и купили. У либералов денег нет. Теперь столыпинскую философию проповедовать будут: «Сначала — успокоение, потом — реформы».

Ленивенькие ее слова задели Самгина; говоря о таких вопросах, можно было бы не жевать мармелад. Он не сдержался и спросил:

— Тебя, видимо, не беспокоят «трагические ошибки»? Вытирая пальцы чайной салфеткой, она сказала:

— Не люблю беспокоиться. Недостаточно интеллигентна для того, чтоб охать и ахать. И, должно быть, недостаточно — баба.

Самгин предусмотрительно замолчал, понимая, что она могла бы сказать:

«Ведь и ты не очень беспокоишься, ежедневно читая, как министр давит людей «пеньковыми галстуками».

Против таких слов ему нечего было бы возразить. Он читал о казнях, не возмущаясь, казни стали так же привычны, как ничтожные события городской хроники или как, в свое время, привычны были еврейские погромы: сильно возмутил первый, а затем уже не хватало сил возмущаться. Неотвязно следя за собою, он спрашивал себя: почему казни не возмущают его? Чувство биологического отвращения к убийству бездействовало. Он оправдал это тем, что несколько раз был свидетелем многих убийств, и вспоминал утешительную пословицу: «В драке волос не жалеют». Не жалеют и голов.

Марина, прихлебывая чай, спокойно рассказывала:

— Головастик этот, Томилин, читал и здесь года два тому назад, слушала я его. Тогда он немножко не так рассуждал, но уже можно было предвидеть, что докатится и до этого. Теперь ему надобно будет православие возвеличить. Религиозные наши мыслители из интеллигентов неизбежно упираются лбами в двери казенной церкви, — простой, сыромятный народ самостоятельнее, оригинальнее. — И, прищурясь, усмехаясь, она сказала: — Грамотность — тоже не всякому на пользу.

Самгин курил, слушал и, как всегда, взвешивал свое отношение к женщине, которая возбуждала в нем противоречивые чувства недоверия и уважения к ней, неясные ему подозрения и смутные надежды открыть, понять что-то, какую-то неведомую мудрость. Думая о мудрости, он скептически усмехался, но все-таки думал. И все более остро чувствовал зависть к самоуверенности Марины.

«Откуда она смотрит на жизнь?» — спрашивал он. Изредка она говорила с ним по вопросам религии, — говорила так же спокойно и самоуверенно, как обо всем другом. Он знал, что ее еретическое отношение к православию не мешает ей посещать церковь, и объяснял это тем, что нельзя же не ходить в церковь, торгуя

церковной утварью. Ее интерес к религии казался ему не выше и не глубже интересов к литературе, за которой она внимательно следила. И всегда ее речи о религии начинались «между прочим», внезапно: говорит о чем-нибудь обыкновенном, будничном и вдруг:

— А знаешь, мне кажется, что между обрядом обрезания и скопчеством есть связь; вероятно, обряд этот заменил кастрацию, так же как «козлом отпущения» заменили живую жертву богу.

— Никогда не думал об этом и не понимаю: почему это интересно? — сказал Самгин, а она, усмехаясь, вздохнула с явным и обидным сожалением:

— Эх ты…

В другой раз она долго и туманно говорила об Изиде, Сете, Озирисе. Самгин подумал, что ее, кажется, особенно интересуют сексуальные моменты в религии и что это, вероятно, физиологическое желание здоровой женщины поболтать на острую тему. В общем он находил, что размышления Марины о религии не украшают ее, а нарушают цельность ее образа.

Гораздо более интересовали его ее мысли о литературе.

— Насколько реализм был революционен — он уже сыграл свою роль, — говорила она. — Это была роль словесных стружек: вспыхнул костер и — погас! Буревестники и прочие птички больше не нужны. Видать, что писатели понимают: наступили годы медленного накопления и развития новых культурных сил. Традиция — писать об униженных и оскорбленных — отжила, оскорбленные-то показали себя не очень симпатично, даже — страшновато! И — кто знает? Вдруг они снова встряхнут жизнь? Положение писателя — трудное: нужно сочинять новых героев, попроще, поделовитее, а это — не очень ловко в те дни, когда старые герои еще не все отправлены на каторгу, перевешаны. Самгин слушал и соображал: цинизм это или ирония? В другой раз она говорила, постукивая пальцами по книжке журнала:

— Арцыбашев во-время указал выход неиспользованной энергии молодежи. Очень прямодушный писатель! Санин его, разумеется, будет кумиром.

Это была явная ирония, но дальше она заговорила своим обычным тоном:

— Пророками — и надолго! — будут двое: Леонид Андреев и Сологуб, а за ними пойдут и другие, вот увидишь! Андреев — писатель, небывалый у нас по смелости, а что он грубоват — это не беда! От этого он только понятнее для всех. Ты, Клим Иванович, напрасно морщишься, — Андреев очень самобытен и силен. Разумеется, попроще Достоевского в мыслях, но, может быть, это потому, что он — цельнее. Читать его всегда очень любопытно, хотя заранее знаешь, что он скажет еще одно — нет! — Усмехаясь, она подмигнула:

— Все-таки согласись, что изобразить Иуду единственно подлинным среди двенадцати революционеров, искренно влюбленным в Христа, — это шуточка острая! И, пожалуй, есть в ней что-то от правды: предатель-то действительно становится героем. Ходит слушок, что у эсеров действует крупный провокатор.

Тон ее речи тревожил внимание Самгина более глубоко, чем ее мысли.

Теперь она говорила вопросительно, явно вызывая на возражения. Он, покуривая, откликался осторожно, междометиями и вопросами; ему казалось, что на этот раз Марина решила исповедовать его, выспросить, выпытать до конца, но он знал, что конец — точка, в которой все мысли связаны крепким узлом убеждения. Именно эту точку она, кажется, ищет в нем. Но чувство недоверия к ней давно уже погасило его желание откровенно говорить с нею о себе, да и попытки его рассказать себя он признал неудачными.

Он сознавал, что Марина занимает первое место в его жизни, что интерес к ней

растет, становится настойчивей, глубже, а она — все менее понятна. Непонятно было и ее отношение к литературе. Почему она так высоко ценит Андреева? Этот литератор неприятно раздражал Самгина назойливой однотонностью языка, откровенным намерением гипнотизировать читателя одноцветными словами;

казалось, что его рассказы написаны слишком густочерными чернилами и таким крупным почерком, как будто он писал для людей ослабленного зрения. Не понравился Самгину истерический и подозрительный пессимизм «Тьмы»; предложение героя «Тьмы» выпить за то, чтоб «все огни погасли», было возмутительно, и еще более возмутил Самгина крик: «Стыдно быть хорошим!» В общем же этот рассказ можно было понять как сатиру на литературный гуманизм. Иногда Самгину казалось, что Леонид Андреев досказывает до конца некоторые его мысли, огрубляя, упрощая их, и что этот писатель грубит иронически, мстительно. Самгин особенно расстроился, прочитав «Мысль», — в этом рассказе он усмотрел уже неприкрыто враждебное отношение автора к разуму и с огорчением подумал, что вот и Андреев, так же как Томилин, опередил его. Но — не только опередил, а еще зажег странное чувство, сродное испугу. С этим чувством, скрывая его, Самгин спросил Марину: что думает она о рассказе «Мысль»?

— Да — что же? — сказала она, усмехаясь, покусывая яркие губы. — Как всегда — он работает топором, но ведь я тебе говорила, Что на мой взгляд — это не грех. Ему бы архиереем быть, — замечательные сочинения писал бы против Сатаны!

— Ты все шутишь, — хмуро упрекнул ее Самгин. Она удивилась, приподняла брови.

— Я вполне серьезно думаю так! Он — проповедник, как большинство наших литераторов, но он — законченное многих, потому что не от ума, а по натуре проповедник. И — революционер, чувствует, что мир надобно разрушить, начиная с его основ, традиций, догматов, норм.

Она тихонько засмеялась, глядя в лицо Самгина, прищурясь, потом сказала, покачивая головой:

— Не веришь ты мне! И забыл, что все-таки я — ученица Степана Кутузова и — миру этому не слуга.

— Это уж совершенно непонятно, — сердито проговорил Самгин, пожимая плечами.

— Ну, что же я сделаю, если ты не понимаешь? — отозвалась она, тоже как будто немножко сердясь. — А мне думается, что все очень просто: господа интеллигенты почувствовали, что некоторые излюбленные традиции уже неудобны, тягостны и что нельзя жить, отрицая государство, а государство нестойко без церкви, а церковь невозможна без бога, а разум и вера несоединимы. Ну, и получается иной раз, в поспешных хлопотах реставрации, маленькая, противоречивая чепуха.

Она взяла с дивана книгу, открыла ее:

— «Мелкого беса» читал?

— Нет еще.

— Ну, вот, погляди, как строго реалистически говорит символист.

— «Люди любят, чтоб их любили, — с удовольствием начала она читать. — Им нравится, чтоб изображались возвышенные и благородные стороны души. Им не верится, когда перед ними стоит верное, точное, мрачное, злое. Хочется сказать: «Это он о себе». Нет, милые мои современники, это я о вас писал мой роман о мелком бесе и жуткой его недотыкомке. О вас».

Хлопнув книгой по колену, она сказала:

— Над этим стоит подумать! Тут не в том смысл, что бесы Сологуба значительно уродливее и мельче бесов Достоевского, а — как ты думаешь: в чем? Ах, да, ты не читал! Возьми, интересно.

Самгин взял книгу и, не глядя на Марину, перелистывая страницы, пробормотал:

— И все-таки остается неясным, что ты хотела сказать.

Марина не ответила. Он взглянул на нее, — она сидела, закинув руки за шею; солнце, освещая голову ее, золотило нити волос, розовое ухо, румяную щеку; глаза Марины прикрыты ресницами, губы плотно сжаты. Самгин невольно загляделся на ее лицо, фигуру. И еще раз подумал с недоумением, почти со злобой: «Чем же все-таки она живет?»

Он все более определенно чувствовал в жизни Марины нечто таинственное или, по меньшей мере, странное. Странное отмечалось не только в противоречии ее политических и религиозных мнений с ее деловой жизнью, — это противоречие не смущало Самгина, утверждая его скептическое отношение к «системам фраз». Но и в делах ее были какие-то темные места.

Зимою Самгин выиграл в судебной палате процесс против родственников купца Коптева — «менялы» и ростовщика; человек этот помер, отказав Марине по духовному завещанию тридцать пять тысяч рублей, а дом и остальное имущество — кухарке своей и ее параличному сыну. Коптев был вдов, бездетен, но нашлись дальние родственники и возбудили дело о признании наследователя ненормальным, утверждая, что у Коптева не было оснований дарить деньги женщине, которую он видел, по их сведениям, два раза, и обвиняя кухарку в «сокрытии имущества». Марина сказала, что Коптев был близким приятелем ее супруга и что истцы лгут, говоря, будто завещатель встречался с нею только дважды.

— Глупость какая! — пренебрежительно сказала она. — Что же они — следили за его встречами с женщинами?

В этих словах Самгину послышалась нотка цинизма. Духовное завещание было безукоризненно с точки зрения закона, подписали его солидные свидетели, а иск — вздорный, но все-таки у Самгина осталось от этого процесса впечатление чего-то необычного. Недавно Марина вручила ему дарственную на ее имя запись: девица Анна Обоимова дарила ей дом в соседнем губернском городе. Передавая документ, она сказала тем ленивым тоном, который особенно нравился Самгину:

— Кажется, в доме этом помещено какое-то училище или прогимназия, — ты узнай, не купит ли город его, дешево возьму!

— Что это — всё дарят, завещают тебе? — шутливо спросил он. Она небрежно ответила:

— Значит — любят. — Подумав, она сказала: — Нет, о продаже не заботься, я Захара пошлю.

Девица Анна Обоимова оказалась маленькой, толстенькой, с желтым лицом и, видимо, очарованной чем-то: в ее бесцветных глазах неистребимо застыла мягкая, радостная улыбочка, дряблые губы однообразно растягивались и сжимались бантиком, — говорила она обо всем вполголоса, как о тайном и приятном; умильная улыбка не исчезла с лица ее и тогда, когда девица сообщила Самгину:

— А брат и воспитанник мой, Саша, пошел, знаете, добровольцем на войну, да по дороге выпал из вагона, убился.

Ей было, вероятно, лет пятьдесят; затянутая в шерстяное платье мышиного цвета, гладко причесанная, в мягких ботинках, она двигалась осторожно, бесшумно и вызывала у Самгина вполне определенное впечатление — слабоумная.

Около нее ходил и ворковал, точно голубь, тощий лысоватый человек в бархатном пиджаке, тоже ласковый, тихий, с приятным лицом, с детскими глазами и темной аккуратной бородкой.

— А это — племянник мой, — сказала девица.

— Донат Ястребов, художник, бывший преподаватель рисования, а теперь — бездельник, рантье, но не стыжусь! — весело сказал племянник; он казался немногим моложе тетки, в руке его была толстая и, видимо, тяжелая палка с резиновой нашлепкой на конце, но ходил он легко. Таких людей Самгин еще не встречал, с ними было неловко, и не верилось, что они таковы, какими кажутся. Они очень интересовались здоровьем Марины, спрашивали о ней таинственно и влюбленно и смотрели на Самгина глазами людей, которые понимают, что он тоже все знает и понимает. Жили они на Малой Дворянской, очень пустынной улице, в особняке, спрятанном за густым палисадником, — большая комната, где они приняли Самгина, была набита мебелью, точно лавка старьевщика.

Пришел Захарий — озабоченный, потный. Ястребов подбежал к нему, спрашивая торопливо:

— Ну, что, что?

— Взятку надобно дать, — устало сказал Захарий.

— Взяточку, — слышите, Аннушка? Взяточку просят, — с радостью воскликнул Ястребов. — Значит, дело в шляпе! — И, щелкнув пальцами, он засмеялся сконфуженно, немножко пискливо. Захарий взял его под руку и увел куда-то за дверь, а девица Обоимова, с неизменной улыбкой покачав головой, сказала Самгину:

— Все такие жадные, что даже стыдно иметь что-нибудь…

Самгин зашел к ней, чтоб передать письмо и посылку Марины. Приняв письмо, девица поцеловала его и все время, пока Самгин сидел, она держала письмо на груди, прижав его ладонью против сердца.

«Что значат эти подарки со стороны каких-то слабоумных людей?» — размышлял Самгин.

Он был не очень уверен в своей профессиональной ловкости и проницательности, а после визита к девице Обоимовой у него явилось опасение, что Марина может скомпрометировать его, запутав в какое-нибудь темное дело. Он стал замечать, что, относясь к нему все более дружески, Марина вместе с тем постепенно ставит его в позицию служащего, редко советуясь с ним о делах. В конце концов он решил серьезно поговорить с нею обо всем, что смущало его.

К этой неприятной для него задаче он приступил у нее на дому, в ее маленькой уютной комнате. Осенний вечер сумрачно смотрел в окна с улицы и в дверь с террасы;

в саду, под красноватым небом, неподвижно стояли деревья, уже раскрашенные утренними заморозками. На столе, как всегда, кипел самовар, — Марина, в капоте в кружевах, готовя чай, говорила, тоже как всегда, — спокойно, усмешливо:

— Если б столыпинскую реформочку ввели в шестьдесят первом году, ну, тогда, конечно, мы были бы далеко от того места, где стоим, а теперь — что будет? Зажиточному хозяину руки развязаны, он отойдет из общины в сторонку и оттуда даже с большим удобством начнет деревню сосать, а она — беднеть, хулиганить. Значит, милый друг, надобно фабричный котел расширять в расчете на миллионы дешевых рук. Вот чему революция-то учит! Я переписываюсь с одним англичанином, — в Канаде живет, сын приятеля супруга моего, — он очень хорошо видит, что надобно делать у нас…

— Дальнозорок, — сказал Самгин.

Подвинув ему стакан чаю, Марина вкусно засмеялась:

— Лидия — смешная! Проклинала Столыпина, а теперь — благословляет. Говорит: «Перестроимся по-английски; в центре — культурное хозяйство крупного помещика, а кругом — кольцо фермеров». Замечательно! В Англии — не была, рассуждает по романам, по картинкам.

Самгин уже привык верить ее чутью действительности, всегда внимательно прислушивался к ее суждениям о политике, но в этот час политика мешала ему.

— Прости, я перебиваю тебя, — сказал он.

— Что за церемонии?

— Что такое эта старушка Обоимова? Марина подняла брови, глаза ее смеялись.

— Чем это она заинтересовала тебя?

— Нет, — серьезно! — сказал Самгин. — Она и этот ее…

— Ястребов?

— Показались мне слабоумными…

— Ну, это — слишком! — возразила Марина, прикрыв глаза. — Она — сентиментальная старая дева, очень несчастная, влюблена в меня, а он — ничтожество, лентяй. И враль — выдумал, что он художник, учитель и богат, а был таксатором, уволен за взятки, судился. Картинки он малюет, это верно.

Она вдруг замолчала и, вскинув голову, глядя в упор в лицо Самгина, сказала, блеснув глазами:

— Впрочем, я чувствую, что ты смущен, и, кажется, понимаю, чем смущен.

Ресницы ее дрожали, и казалось, что зрачки искрятся, голос ее стал ниже, внушительней; помешивая ложкой чай, она усмехнулась небрежно и неприятно, говоря:

— Ну, что ж? Очевидно — пришел час разоблачить тайны и загадки.

Помолчав, глядя через голову Самгина, она спросила:

— Ты «Размышления Якова Тобольского», иначе — Уральца, не читал? Помнишь, — рукопись, которую в Самаре купил. Не читал? Ну — конечно. Возьми, прочитан! Сам-то Уралец размышляет плохо, но он изложил учение Татариновой, — была такая монтанка, основательница секты купидонов…

— Не понимаю, какое отношение к моему вопросу, — сердито начал Самгин, но Марина сказала:

— Вот и поймешь.

— Что?

— Что я — тоже монтанка.

Самгин долго, тщательно выбирал папироску и, раскуривая ее, определял, — как назвать чувство, которое он испытывает? А Марина продолжала все так же небрежно и неохотно:

— Монтане — это не совсем правильно, Монтан тут ни при чем; люди моих воззрений называют себя — духовными…

«Сектантка? — соображал Самгин. — Это похоже на правду. Чего-то в этом роде я и должен был ждать от нее». Но он понял, что испытывает чувство досады, разочарования и что ждал от Марины вовсе не этого. Ему понадобилось некоторое усилие для того, чтоб спросить:

— Значит, ты… член сектантской организации?

— Я — кормщица корабля.

Она сказала это очень просто и как будто не гордясь своим чином, затем — продолжала с обидным равнодушием:

— Попы, но невежеству своему, зовут кормщиков — христами, кормщиц — богородицами. А организация, — как ты сказал, — есть церковь, и немалая, живет почти в четырех десятках губерний, в рассеянии, — покамест, до времени…

Пододвигая Самгину вазу с вареньем, а другою рукой придерживая ворот капота, она широко улыбнулась:

— Ой, как ты смешно мигаешь! И лицо вытянулось. Удивлен? Но — что же ты, милый друг, думал обо мне?

Правая рука ее была обнажена по локоть, левая — почти до плеча. Капот как будто сползал с нее. Самгин, глядя на дымок папиросы, сказал, не скрывая сожаления:

— Согласись, что это — неожиданно для меня. И вообще — крайне странно!

— Ну, разумеется! — откликнулась она. — Проще было бы, если б оказалось, что я содержу тайный дом свиданий…

— Понятней для меня ты не стала, — пробормотал Самгин с досадой, но и с печалью. — Такая умная, красивая. Подавляюще красивая…

Говоря, он не смотрел на нее, но знал, что ее глаза блестят иронически.

— Даже — подавляю? — спросила она. — Вот как?.. — И внушительно произнесла:

— «Сократы, Зеноны и Диогены могут быть уродами, а служителям культа подобает красота и величие», — знаешь, кто сказал это?

— Нет, — ответил Самгин, оглядываясь, — все вокруг как будто изменилось, потемнело, сдвинулось теснее, а Марина — выросла. Она спрашивала его, точно ученика, что он читал по истории мистических сект, по истории церкви? Его отрицательные ответы смешили ее.

— Может быть, читал хоть роман Мельникова «На горах»?

— «В лесах» — читал.

— Ну, это — хорошо, что «На горах» не читают; там автор писал о том, чего не видел, и наплел чепухи. Все-таки — прочитай.

— Чепуху? — спросил Самгин.

— Знать надобно все, тогда, может быть, что-нибудь узнаешь, — сказала она, смеясь.

Этот смех, вообще — неуместный, задевал в Самгине его чувство собственного достоинства, возбуждал желание спорить с нею, даже резко спорить, но воле к сопротивлению мешали грустные мысли:

«Она очень свободно открывает себя предо мною. Я — ничего не мог сказать ей о себе, потому что ничего не утверждаю. Она — что-то утверждает. Утверждает — нелепость. Возможно, что она обманывает себя сознательно, для того чтоб не

видеть бессмыслицы. Ради самозащиты против мелкого беса…»

У нее распустилась прическа, прядь волос упала на плечо и грудь, — Марина говорила вполголоса:

— Тогда Саваоф, в скорби и отчаянии, восстал против Духа и, обратив взор свой на тину материи, направил в нее злую похоть свою, отчего и родился сын в образе змея. Это есть — Ум, он же — Ложь и Христос, от него — все зло мира и смерть. Так учили они…

«Это, конечно, мистическая чепуха, — думал Самгин, разглядывая Марину исподлобья, сквозь стекла очков. — Не может быть, чтоб она верила в это».

— И радость — радения о Духе — была убита умом…

— Радение? — спросил Самгин. — Это — кажется, нечто вроде афинских ночей или черной мессы?

— Грязная выдумка попов, — спокойно ответила Марина, но тотчас же заговорила полупрезрительно, резко:

— До чего вы, интеллигенты, невежественны и легковерны во всем, что касается духа народа! И сколько впитано вами церковного яда… и — ты, Клим Иванович! Сам жаловался, что живешь в чужих мыслях, угнетен ими…

Нахмурясь, Самгин сказал:

— Не помню… сомневаюсь, чтоб я жаловался! Но если и так, то ведь и ты не можешь сказать, что живешь своими мыслями…

— Почему — не могу? — спросила она, усмехаясь. — Какие у тебя основания утверждать, что — не могу? Разве ты знаешь, что прочитано, что выдумано мною? А кроме того: прочитать — еще не значит поверить и принять…

Она как-то воинственно встряхнулась, забросила волосы за плечо и сказала весьма решительно:

— Ну — довольно! Я тебе покаялась, исповедовалась, теперь ты знаешь, кто я. Уж разреши просить, чтобы все это — между нами. В скромность, осторожность твою я, разумеется, верю, знаю, что ты — конспиратор, умеешь молчать и о себе и о других. Но — не проговорись как-нибудь случайно Валентину, Лидии.

Несколько секунд она молчала, закрыв глаза, — Самгин успел пробормотать:

— Предупреждение совершенно излишне…

— Годится, на всякий случай, — сухо откликнулась она. — Теперь — о делах Коптева, Обоимовой. Предупреждаю: дела такие будут повторяться. Каждый член нашей общины должен, посмертно или при жизни, — это в его воле, — сдавать свое имущество общине. Брат Обоимовой был член нашей общины, она — из другой, но недавно ее корабль соединился с моим. Вот и всё… Самгин, подумав, сказал:

— Мне остается поблагодарить тебя за доверие. — И неожиданно для себя прибавил: — У меня действительно были какие-то… мутные мысли!

— Если они исчезли, это — хорошо, — заметила Марина.

— Да, исчезли, — подтвердил он и, так как она молчала, прихлебывая чай, сказал недоуменно: — Ты не обидишься, если я скажу… повторю, что все-таки трудно понять, как ты, умница такая…

Марина не дала ему договорить, — поставив чашку на блюдце, она сжала пальцы рук в кулак, лицо ее густо покраснело, и, потрясая кулаком, она проговорила глуховатым голосом:

— Я ненавижу поповское православие, мой ум направлен на слияние всех наших общин — и сродных им — в одну. Я — христианство не люблю, — вот что! Если б люди твоей… касты, что ли, могли понять, что такое христианство, понять его воздействие на силу воли…

Самгин, не вслушиваясь в ее слова, смотрел на ее лицо, — оно не стало менее красивым, но явилось в нем нечто незнакомое и почти жуткое: ослепительно сверкали глаза, дрожали губы, выбрасывая приглушенные слова, и тряслись, побелев, кисти рук. Это продолжалось несколько секунд. Марина, разняв руки, уже улыбалась, хотя губы еще дрожали.

— Вот как рассердил ты меня! — сказала она, оправляя кружева на груди.

Самгин сочувственно улыбнулся, не находя, что сказать, и через несколько минут, прощаясь с нею, ощутил желание поцеловать ей руку, чего никогда не делал. Он не мог себе представить, что эта женщина, равнодушная к действительности, способна ненавидеть что-то.

«Вот как? — оглушенно думал он, идя домой, осторожно спускаясь по темной, скупо освещенной улице от фонаря к фонарю. — Но если она ненавидит, значит — верит, а не забавляется словами, не обманывает себя надуманно. Замечал я в ней что-нибудь искусственное?» — спросил он себя и ответил отрицательно.

Все, что он слышал, было совершенно незначительно в сравнении с тем, что он видел. Цену слов он знал и не мог ценить ее слова выше других, но в памяти его глубоко отчеканилось ее жутковатое лицо и горячий, страстный блеск золотистых глаз.

«Да, она объяснила себя, но — не стала понятней, нет! Она объяснила свое поведение, но не противоречие между ее умом и… верованиями».

Недели две он жил под впечатлением этого неожиданного открытия. Казалось, что Марина относится к нему суше, сдержаннее, но как будто еще заботливей, чем раньше. Не назойливо, мимоходом, она справлялась, доволен ли он работой Миши, подарила ему отличный книжный шкаф, снова спросила: не мешает ли ему Безбедов?

Нет, Безбедов не мешал, он почему-то приуныл, стад молчаливее, реже попадал на глаза и не так часто гонял голубей. Блинов снова загнал две пары его птиц, а недавно, темной ночью, кто-то забрался из сада на крышу с целью выкрасть голубей и сломал замок голубятни. Это привело Безбедова в состояние мрачной ярости; утром он бегал по двору в ночном белье, несмотря на холод, неистово ругал дворника, прогнал горничную, а затем пришел к Самгину пить кофе и, желтый от злобы, заявил:

— Подожгу флигель, — к чорту все!

— Предупредите меня об этом за день, чтоб я успел выехать из квартиры, — серьезно и не глядя на него сказал Самгин, — голубятник помолчал и так же серьезно. прохрипел:

— Ладно.

Вслед за тем его взорвало:

— Р-россия, чорт ее возьми! — хрипел он, задыхаясь. — Везде — воры и чиновники! Служащие. Кому служат? Сатане, что ли? Сатана — тоже чиновник.

Самгин пил кофе, читая газету, не следил за глупостями неприятного гостя, но тот вдруг заговорил тише ч как будто разумнее:

— Этот парижский пижон, Турчанинов, правильно сказал: «Для человека необходима отвлекающая точка». Бог, что ли, музыка, игра в карты…

Посмотрев на него через газету, Самгин сказал:

— А — голуби?

— А голубям — башки свернуть. Зажарить. Нет, — в самом деле, — угрюмо продолжал Безбедов. — До самоубийства дойти можно. Вы идете лесом или — все равно — полем, ночь, темнота, на земле, под ногами, какие-то шишки. Кругом — чертовщина: революции, экспроприации, виселицы, и… вообще — деваться некуда! Нужно, чтоб пред вами что-то светилось. Пусть даже и не светится, а просто: существует. Да — чорт с ней — пусть и не существует, а выдумано, вот — чертей выдумали, а верят, что они есть.

Он шумно встал и ушел. Болтовня его не оставила следа в памяти Самгина.

А Миша постепенно вызывал чувство неприязни к нему. Молчаливый, скромный юноша не давал явных поводов для неприязни, он быстро и аккуратно убирал комнаты, стирал пыль не хуже опытной и чистоплотной горничной, переписывал бумаги почти без ошибок, бегал в суд, в магазины, на почту, на вопросы отвечал с предельной точностью. В свободные минуты сидел в прихожей на стуле у окна, сгибаясь над книгой.

— Что читаешь? — спрашивал Самгин.

— Журнал «Современный мир», книгу третью, роман Арцыбашева «Санин».
Самгин внушал ему:

— Отвечая, не следует вставать предо мною: ты — не солдат, я — не офицер.

— Хорошо, — сказал Миша и больше не вставал, лишив этим Самгина единственной возможности делать ему выговоры, а выговоры делать хотелось, и — нередко. Неосновательность своего желания Самгин понимал, но это не уменьшало настойчивости желания. Он спрашивал себя:

«Что неприятно мне в этом мальчишке?» И нашел, что неприятен прямой, пристальный взгляд красивых, но пустовато светлых глаз Миши, взгляд — как бы спрашивающий о чем-то, хотя и почтительно, однако — требовательно. Все чаще бывало так, что, когда Миша, сидя в углу приемной, переписывал бумаги, Самгину казалось, что светлые прозрачные глаза следят за ним.

— Затвори дверь ко мне в кабинет, — приказывал он.

Еще более неприятно было установить, что его отношение к Мише совпадает с отношением Безбедова, который смотрел на юношу, дико выкатывая глаза, с неприкрытой злостью и говорил с ним презрительно, рычащими словами.

«Не стоит обращать на это внимания», — уговаривал он себя. От этих и вообще от всех мелких мыслей его успешно отвлекали размышления о Марине. Он пытался определить: проще или сложнее стало его отношение к этой женщине? То, что ему казалось в ней здравым смыслом, — ее деловитость, независимая и даже влиятельная позиция в городе, ее начитанность, — все это заставляло его забывать, что Марина — сектантка, какая-то «кормщица», «богородица». Он решил, что это, вероятно, игра воли к власти, выражение желания кем-то командовать, может быть, какое-то извращение сладострастия, — игра красивого тела.

«Идол», — напоминал он себе.

Но этому противоречил взрыв гнева, которым она так поразила его.

«Она тверда и неподвижна, точно камень среди ручья; тревоги жизни обтекают ее, не колебля, но — что же она ненавидит? Христианство, сказала она».

Все чаще ему казалось, что знакомство с Мариной имеет для него очень глубокое,

решающее значение, но он не мог или не решался определить: какое именно?

«Я слишком много думаю о ней и, кажется, преувеличиваю, раздуваю ее», — останавливал он себя, но уже безуспешно.

На-днях она сказала ему:

— Утихомирится житьишко, — поеду за границу, посмотрю — что такое? В Англию поеду.

Было очень трудно представить, что ее нет в городе. В час предвечерний он сидел за столом, собираясь писать апелляционную жалобу по делу очень сложному, и, рисуя пером на листе бумаги мощные контуры женского тела, подумал:

«Будь я романистом...»

Начал он рисовать фигуру Марины маленькой, но постепенно, незаметно все увеличивал, расширял ее и, когда испортил весь лист, — увидал пред собой ряд женских тел, как бы вставленных одно в другое и заключенных в чудовищную фигуру с уродливыми формами.

«Да, будь я писателем, я изобразил бы ее как тип женщины из новой буржуазии».

Перевернув испорченный лист, он снова нарисовал Марину, какой воображал ее, дал в руку кадуцей Меркурия, приписал крылышки на ногах и вдруг вспомнил слова Безбедова об «отвлекающей точке». Бросив перо, он снял очки, прошелся по комнате, закурил папироску, лег на диван. Да, Марина отвлекает на себя его тревожные мысли, она — самое существенное в жизни его, и если раньше он куда-то шел, то теперь остановился пред нею или рядом с ней. Он предпочел бы не делать этого открытия, но, сделав, признал, что — верно: он стал относиться спокойнее к жизни и проще, более терпимо к себе. Несомненно — это ее влияние. Самгин вздохнул, поправил подушку под головой. У стены, на стуле, стояло небольшое, овальное зеркало в потускневшей золотой раме — подарок Марины, очень простая и красивая вещь;

Миша еще не успел повесить зеркало в спальной. Сквозь предвечерний сумрак Самгин видел в зеркале крышу флигеля с полками, у трубы, для голубей, за крышей — голые ветви деревьев.

Отражалось в зеркале и удлиненное, остробородое лицо в очках, а над ним — синенькие струйки дыма папиросы; они очень забавно ползают по крыше, путаются в черных ветвях дерева.

«Чем ей мешает христианство? — продолжал Самгин обдумывать Марину. — Нтет, это она сказала не от ума, — а разгневалась, должно быть, на меня... В будущем году я тоже съезжу за границу...»

Дым в зеркале стал гуще, перекрасился в сероватый, и было непонятно — почему? Папироса едва курилась. Дым краснел, а затем под одной из полок вспыхнул острый, красный огонь, — это могло быть отражением лучей солнца.

Но Самгин уже знал: начинается пожар, — ленты огней с фокусной быстротою охватили полку и побежали по коньку крыши, увеличиваясь числом, вырастая; желтые, алые, остроголовые, они, пронзая крышу, убегали всё дальше по хребту ее я весело кланялись в обе стороны. Самгин видел, что лицо в зеркале нахмурилось, рука поднялась к телефону над головой, но, не поймав трубку, опустилась на грудь.

«Пожар, — строго внушил он себе. — Этот негодяй — поджег».

Не отрывая глаз от игры огня, Самгин не чувствовал естественной в этом случае тревоги; это удивило его и потребовало объяснения.

«Первый раз вижу, как возникает пожар, — объяснил он. — Нужно позвонить».

Но — не пошевелился. Приятно было сознавать, что он должен позвонить пожарной команде, выбежать на двор, на улицу, закричать, — должен, но может и не делать этого.

«Могу, — сказал он себе и улыбнулся отражению в зеркале. — Дела и книги успею выбросить в окно».

Но все-таки он позвонил; из пожарной части ему сказали кратко и сердито:

— Знаем.

Зеркало, густо покраснев, точно таяло, — почти половина хребта крыши украсилась огнями, красные клочья отрывались от них, исчезая в воздухе.

Когда Самгин выбежал на двор, там уже суетились люди, — дворник Панфил и полицейский тащили тяжелую лестницу, верхом на крыше сидел, около трубы. Безбедов и рубил тес. Он был в одних носках, в черных брюках, в рубашке с накрахмаленной грудью и с незастегнутыми обшлагами; обшлага мешали ему, ерзая по рукам от кистя к локтям; он вонзил топор в крышу и, обрывая обшлага, заревел:

— Воды-ы!

«Испугался, идиот, — подумал Самгин. — Или жалко стало?»

К Безбедову влез длинный, тощий человек в рыжей фуфайке, как-то неестественно укрепился на крыше и, отдирая доски руками, стал метать их вниз, пронзительно вскрикивая:

— Бер-регись, бер-регася-а!

А рядом с Климом стоял кудрявый парень, держа в руках железный лом, *я* — чихал; чихнет, улыбнется Самгину и, мигая, пристукивая ломом о булыжник, ждет следующего чиха. Во двор, в голубоватую кисею дыма, вбегали пожарные, влача за собою длинную змею с медным жалом. Стучали топоры, трещали доски, падали на землю, дымясь и сея золотые искры; полицейские пристав Эгге уговаривал зрителей:

— Разойдитесь, господа!

Серебряная струя воды выгоняла из-под крыши густейшие облака бархатного дыма, все было необыкновенно оживлено, весело, и Самгин почувствовал себя отлично. Когда подошел к нему Безбедов, облитый водою с головы до ног, голый по пояс, он спросил его:

— Голуби — погибли? Безбедов махнул рукой.

— К чорту! А я собрался в гости, на именины, одеваюсь и — вот… Все задохнулись, ни один не. вылетел.

Лицо у него было мокрое, вся кожа как будто сочилась грязными слезами, дышал он тяжело, широко открывая рот, обнажая зубы в золотых коронках.

— Как это случилось? — спросил Самгин, неожиданно для себя строгим тоном.

Безбедов, поднимаясь на крышу, проворчал:

— Не знаю. Огонь — вор. И, плюнув, повторил:

— Вор.

Чувствовалось, что Безбедов искренно огорчен, а не притворяется. Через полчаса огонь погасили, двор опустел, дворник закрыл ворота; в память о неудачном пожаре остался горький запах дыма, лужи воды, обгоревшие доски и, в углу двора,

белый обшлаг рубахи Безбедова. А еще через полчаса Безбедов, вымытый, с мокрой головою и надутым, унылым лицом, сидел у Самгина, жадно пил пиво и, поглядывая в окно на первые звезды в черном небе, бормотал:

— Вот увидите, завтра Блинов с утра начнет гонять, чтобы подразнить меня…

Самгин давно не беседовал с ним, и антипатия к этому человеку несколько растворилась в равнодушии к нему. В этот вечер Безбедов казался смешным и жалким, было в нем даже что-то детское. Толстый, в синей блузе с незастегнутым воротом, с обнаженной белой пухлой шеей, с безбородым лицом, он очень напоминал «Недоросля» в изображении бесталанного актера. В его унылой воркотне слышалось нечто капризное.

«Нет» он не поджигал, неспособен», — решил Самгин, слушая.

— Завидую вам, — все у вас продумано, решено, и живете вы у Христа за пазухой, спокойно. А вот у меня — бури в душе…

Самгин улыбался, заботясь вежливо, чтоб улыбки казались не очень обидными. Безбедов вздохнул.

— К этому пиву — раков бы… Да, бури! Дым и пыль. Вот — вы людей защищаете, в газете речь вашу хвалили. А я людей — не люблю. Все они — дрянь, и защищать некого.

— Ну, полноте! — сказал Самгин, — вовсе вы не такой свирепый…

— Такой! — возразил Безбедов, хлопнув ладонью о подоконник, сморщился и замотал ладонью в воздухе, чтоб охладить ее. — Мне, знаете, следовало бы террористом быть, анархистом, да ленив я, вот что! И дисциплина там у них, казарма…

В его стакан бросилась опоздавшая умереть муха, — вылавливая ее из пены мизинцем, он продолжал, возбуждаясь:

— Хороших людей я не видал. И не ожидаю, не хочу видеть. Не верю, что существуют. Хороших людей — после смерти делают. Для обмана.

— Расстроила вас потеря голубей, вот вы и ворчите, — заметил Самгин, чувствуя, что этот дикарь начинает надоедать, а Безбедов, выпив пиво, упрямо говорил, глядя в пустой стакан:

— Маркович, ювелир, ростовщик — насыпал за витриной мелких дешевеньких камешков, разного цвета, а среди них бросил пяток крупных. Крупные-то — фальшивые, я — знаю, мне это Левка, сын его, сказал. Вот вам и хорошие люди! Их выдумывают для поучения, для меня:

«Стыдись, Валентин Безбедов!» А мне — нисколько не стыдно.

Встряхнув головою и глядя в упор на Самгина, он вызывающе просипел:

— Не стыдно.

— Ну, если б не стыдно было, так вы — не говорили бы на эту тему, — сказал Самгин. И прибавил поучительно: — Человек беспокоится потому, что ищет себя. Хочет быть самим собой, быть в любой момент верным самому себе. Стремится к внутренней гармонии.

— Гармония — гармонией, а — кто на ней играет? — спросил Безбедов, широко и уродливо усмехаясь. Самгин нахмурился, говоря:

— Плохой каламбур.

— А если я не хочу быть самим собой? — спросил Безбедов и получил в ответ два

сухих слова:

— Ваша воля.

Несколько секунд Безбедов молчал, разглядывая собеседника, его голубые стеклянные зрачки стали как будто меньше, острей; медленно раздвинув толстые губы в улыбку, он сказал:

— Ну — вас не обманешь! Верно, мне — стыдно, живу я, как скот. Думаете, — не знаю, что голуби — ерунда? И девки — тоже ерунда. Кроме одной, но она уж наверное — для обмана! Потому что — хороша! И может меня в руки взять. Жена была тоже хороша и — умная, но — тетка умных не любит…

Он прервал свою речь, так хлопнув губами, точно откупорил бутылку, быстро взглянул на Клима и, наливая пиво в стакан, пробормотал:

— Они ссорились. Тетка и жена…

«Пьянеет», — отметил Самгин и насторожился, ожидая, что Безбедов начнет говорить о Марине. Но он, сразу выпив пиво, заговорил, брызгая пеной с губ:

— А может быть, о стыде я зря говорю, для приличия. Арцыбашева — читаете? Вот это честный писатель, небывало честный! Он, по-моему, человека из подполья, — Достоевского-то человека, — вывел на свободу окончательно. Он прямо говорит: человек имеет право быть мерзавцем, это — его естественное назначение. Цель жизни — удовлетворение всех желаний, пусть они — злые, вредные для других, наплевать на других! Драка будет? Все равно — деремся! А искренний человек, сильный человек — всегда мерзавец, с общепринятой кочки зрения. Кочку эту выдумали слабенькие дураки для самозащиты. Вот как он говорит!

Все это он сказал не свойственно ему быстро, и Самгин догадался, что Безбедов, видимо, испуган словами о Марине.

— Я не читал «Санина», — заговорил он, строго взглянув на Безбедова. — В изложении вашем — роман его — грубая ирония, сатира на индивидуализм Ницше…

— Ну, — чорт его знает, может быть, и сатира! — согласился Безбедов, но тотчас же сказал: — У Потапенко есть роман «Любовь», там женщина тоже предпочитает мерзавца этим… честным деятелям. Женщина, по-моему, — знает лучше мужчины вкус жизни. Правду жизни, что ли…

«Сейчас — о Марине», — предупредил себя Самгин, чувствуя, что хмельная болтовня Безбедова возрождает в нем антипатию к этому человеку. Но выжить его было трудно, и соблазняла надежда услышать что-нибудь о Марине.

Он встал, прошелся по комнате и, остановясь перед книжным шкафом, закурил папиросу. Безбедов, качаясь на стуле, бормотал:

— Сатира, карикатура… Хм? Ну — и ладно, дело не в этом, а в том, что вот я не могу понять себя. Понять — значит поймать. — Он хрипло засмеялся. — Я привык выдумывать себя то — таким, то — эдаким, а — в самом-то деле: каков я? Вероятно — ничтожество, но — в этом надобно убедиться. Пусть обидно будет, но надобно твердо сказать себе: ты — ничтожество и — сиди смирно!

Самгин невольно и крепко прикусил мундштук папиросы, искоса взглянул на карикатурную фигуру Безбедова и, постукивая пальцами по стеклу шкафа, мысленно выругался:

«Скотина».

— Даже хочется преступление совершить, только бы остановиться на чем-нибудь, — честное слово!

— Вот как, — неопределенно и негромко сказал Самгин, чувствуя, что больше не может терпеть присутствие этого человека.

— Уверяю вас, — откликнулся Безбедов. — Мне очень трудно, особенно теперь…

— Почему — теперь?

— Есть причина. Живу я где-то на задворках, в тупике. Людей — боюсь, вытянут и заставят делать что-нибудь… ответственное. А я не верю, не хочу. Вот — делают, тысячи лет делали. Ну, и — что же? Вешают за это. Остается возня с самим собой.

Самгин кашлянул и сказал, не отходя от шкафа:

— У меня голова разболелась…

— От дыма, — пояснил Безбедов, качнув головой.

— Пойду, пройдусь.

— Валяйте, — разрешил Безбедов и, вставая со стула, покачнулся. — Ну — и я пойду. Там у меня вода протекла… Ночую у девок, ничего…

Он пошел к двери, но круто повернулся, направляясь к Самгину и говоря голосом, пониженным до сиплого шопота:

— Вы, Клим Иванович, с теткой в дружбе, а у меня к вам… есть… какое-то чувство… близости.

Подошел вплоть и, наваливаясь на Самгина, прижимая его к шкафу, пытаясь обнять, продолжал еще тише, со свистом, как бы сквозь зубы:

— Она — со всеми в дружбе, она — хитрейшая актриса, чорт ее… Она выжмет человека и — до свидания! Она и вас…

— Я о ней другого мнения, — поспешно и громко сказал Самгин, отодвигаясь от пьяного, а тот, опустив руки, удивленно и трезво спросил:

— Что вы кричите? Я не боюсь. Другого? Ну — хорошо…

И пошел прочь, но, схватясь за косяк двери, остановился и проговорил, размахивая левой рукой:

— А красавец Мишка — шпиончик! Он приставлен следить за мной. И за вами. Уж это — так…

Самгин, проводив его взглядом, ошеломленно опустился на стул.

«Какая… пошлость!»

Слово «пошлость» он не сразу нашел, и этим словом значение разыгранной сцены не исчерпывалось. В неожиданной, пьяной исповеди Безбедова было что-то двусмысленное, подозрительно похожее на пародию, и эта двусмысленность особенно возмутила, встревожила. Он быстро вышел в прихожую, оделся, почти выбежал на двор и, в темноте, шагая по лужам, по обгоревшим доскам, решительно сказал себе:

«Переменить квартиру».

Но через несколько минут вдруг понял, что возмущение речами пьяного, в сущности, оскорбительно и унижает его.

«Чем я возмущен? Тем, что он сказал о Марине? Это — идиотская ложь. Марина менее всего — актриса».

Тут он невольно замедлил шаг, — в словах Безбедова было нечто, весьма похожее на то, что говорил Марине он, Самгин, о себе.

«Но не могла же она рассказать ему об этом!»

Он быстро, но очень придирчиво просмотрел отношение Марины к нему, к Безбедову.

«Возможно, даже наверное, она безжалостна к людям и хитрит. Она — человек определенной цели. У нее есть оправдание: ее сектантство, желание создать какую-то новую церковь. Но нет ничего, что намекало бы на неискренность ее отношения ко мне. Она бывает груба со мной на словах, но она вообще грубовата».

Он чувствовал, что Марину необходимо оправдать от подозрений, и чувствовал, что торопится с этим. Ночь была не для прогулок, из-за углов вылетал и толкал сырой холодный ветер, черные облака стирали звезды с неба, воздух наполнен печальным шумом осени.

В конце концов Самгин решил поговорить с Мариной о Безбедове и возвратился домой, заставив себя остановиться на словах Безбедова о Мише.

В этом решении было что-то удобное, и оно было необходимо. Разумеется, Марина не может нуждаться в шпионе, но — есть государственное учреждение, которое нуждается в услугах шпионов. Миша излишне любопытен. Лист бумаги, на котором Самгин начертил фигуру Марины и, разорвав, бросил в корзину, оказался на столе Миши, среди черновиков.

— Зачем ты это взял? — спросил Самгин.

— Мне понравилось, — ответил Миша.

— Что именно понравилось?

— Меркурий. Вы его нарисовали женщиной, — сказал Миша, глядя прямо в глаза.

«Честный взгляд», — отметил Самгин и спросил еще: — А откуда ты знаешь о Меркурии?

— Я читал мифологию греков.

— Ага, — сказал Самгин и после этого, незаметно для себя, стал говорить с юношей на вы. Но хотя мифология, конечно, может интересовать юношу, однакож юноша все-таки неприятен, и на новой квартире нужно будет взять другого письмоводителя. Того, что было сказано Безбедовым о Марине, Самгин не хотел помнить, но — помнил. Он стал относиться к ней более настороженно, недоверчиво вслушивался в ее спокойные, насмешливые речи, тщательнее взвешивал их и менее сочувственно принимал иронию ее суждений о текущей действительности; сами по себе ее суждения далеко не всегда вызывали его сочувствие, чаще всего они удивляли. Казалось, что Марина становится уверенней в чем-то, чувствует себя победоносней, веселее.

Самгину действительность изредка напоминала о себе неприятно: в очередном списке повешенных он прочитал фамилию Судакова, а среди арестованных в городе анархистов — Вараксина, «жившего под фамилиями Лосева и Ефремова». Да, это было Неприятно читать, но, в сравнении с другими, это были мелкие факты, и память недолго удерживала их. Марина по поводу казней сказала:

— Хоть бы им, идиотам, намекнул кто-нибудь, что они воспитывают мстителей.

— Дума часто внушает им это, — сказал Самгин. Она резко откликнулась:

— Я под намеком подразумеваю не слова… И глаза ее вспыхнули сердито. Вот эти ее резкости и вспышки, всегда внезапные, не согласные с его представлением о Марине, особенно изумляли Самгина.

Около нее появился мистер Лионель Крэйтон, человек неопределенного возраста, но как будто не старше сорока лет, крепкий, стройный, краснощекий; густые, волнистые волосы на высоколобом черепе серого цвета — точно обесцвечены перекисью водорода, глаза тоже серые и смотрят на все так напряженно, как это свойственно людям слабого зрения, когда они не решаются надеть очки. Глаза — мягкие, улыбался он охотно, любезно, обнажая ровные, желтоватые зубы, — от этой зубастой улыбки его бритое, приятное лицо становилось еще приятней. Знакомя его с Климом, Марина сказала:

— Инженер, геолог, в Канаде был, духоборов наших видел.

— О, да! — подтвердил Крэйтон. — Люди очень — как это? — крепостные?..

— Крепкие? — подсказал Самгин.

— Да, спасибо! Но молодые — уже американцы. По-русски он говорил не торопясь, проглатывая одни слога, выпевая другие, — чувствовалось, что он честно старается говорить правильно. Почти все фразы он облекал в форму вопросов:

— Так много церквей, это всё ортодоксы? И все исключили Льва Толстого? Изумруды на Урале добывают только французы?

Но спрашивал он мало, а больше слушал Марину, глядя на нее как-то подчеркнуто почтительно. Шагал по улицам мерным, легким шагом солдата, сунув руки в карманы черного, мохнатого пальто, носил бобровую шапку с козырьком, и глаза его смотрели из-под козырька прямо, неподвижно, не мигая. Часто посещал церковные службы и, восхищаясь пением, говорил глубоким баритоном:

— Оу! Языческо прекрасно, — правда? Так же восхищал его мороз:

— Это делает меня таким, — говорил он, показывая крепко сжатый кулак.

Было в нем что-то устойчиво скучное, упрямое. Каждый раз, бывая у Марины, Самгин встречал его там, и это было не очень приятно, к тому же Самгин замечал, что англичанин выспрашивает его, точно доктор — больного. Прожив в городе недели три, Крэйтон исчез.

Отвечая Самгину на вопросы о Крэйтоне, Марина сказала — неохотно и недружелюбно:

— Что я знаю о нем? Первый раз вижу, а он — косноязычен. Отец его — квакер, приятель моего супруга, помогал духоборам устраиваться в Канаде. Лионель этот, — имя-то на цветок похоже, — тоже интересуется диссидентами, сектантами, книгу хочет писать. Я не очень люблю эдаких наблюдателей, соглядатаев. Да и неясно: что его больше интересует — сектантство или золото? Вот в Сибирь поехал. По письмам он интереснее, чем в натуре.

Поговорить с нею о Безбедове Самгину не удавалось, хотя каждый раз он пытался начать беседу о нем. Да и сам Безбедов стал невидим, исчезая куда-то с утра до поздней ночи. Как-то, гуляя, Самгин зашел к Марине в магазин и застал ее у стола, пред ворохом счетов, с толстой торговой книгой на коленях.

— Деньги — люблю, а считать — не люблю, даже противно, — сердито сказала она, — Мне бы американской миллионершей быть, они, вероятно, денег не считают. Захарий у меня тоже не мастер этого дела. Придется взять какого-нибудь приказчика, старичка.

— Почему — старика? — шутливо спросил Самгин.

— Спокойнее, — ответила она, шурша бумагами. — Не ограбит. Не убьет.

— А какого дела мастер Захарий?

— Захарий-то? Да — никакого. Обыкновенный мечтатель и бродяга по трудным местам, — по трудным не на земле, а — в книгах.

Небрежно сбросив счета на диван, она оперлась локтями на стол и, сжав лицо ладонями, улыбаясь, сказала:

— Обижен на тебя Захарий, жаловался, что ты — горд, не пожелал объяснить ему чего-то в Отрадном и с мужиками тоже гордо вел себя.

Самгин, пожав плечами, ответил:

— Я — тоже не мастер по части объяснений. Самому многое неясно. А с мужиками и вообще не умею говорить. Марина перебила его речь, спросив:

— А Валентин жаловался на меня?

Самгин даже вздрогнул, почувствовав нечто подозрительное в том, что она предупредила его.

Ее глаза улыбались знакомо, но острее, чем всегда, и острота улыбки заставила его вспомнить о ее гневе на попов. Он заговорил осторожно:

— Он любит жаловаться на себя. Он вообще словоохотлив.

— Болтун, — вставила Марина. — Но поругивает и меня, да?

— Нет. Впрочем, — назвал тебя хитрой.

— Только-то?

Она тихонько и неприятно засмеялась, глядя на Самгина так, что он понял: не верит ему. Тогда, совершенно неожиданно для себя, он сказал вполголоса и протирая платком очки:

— Вечером, после пожара, он говорил… странно! Он как будто старался внушить мне, что ты устроила меня рядом с ним намеренно, по признаку некоторого сродства наших характеров и как бы в целях взаимного воспитания нашего…

Выговорив это, Самгин смутился, почувствовал, что даже кровь бросилась в лицо ему. Никогда раньше эта мысль не являлась у него, и он был поражен тем, что она явилась. Он видел, что Марина тоже покраснела. Медленно сняв руки со стола, она откинулась на спинку дивана и, сдвинув брови, строго сказала:

— Ну, это ты сам выдумал!

— Он был нетрезв, — пробормотал Самгин, уронив очки на ковер, и, когда наклонился поднять их, услышал над своей головой:

— Ты хочешь напомнить: «Что у трезвого — на уме, у пьяного — на языке»? Нет, Валентин — фантазер, но это для него слишком тонко. Это — твоя догадка, Клим Иванович. И — по лицу вижу — твоя!

Скрестив руки на груди, занавесив глаза ресницами, она продолжала:

— Не знаю — благодарить ли тебя за такое высокое мнение о моей хитрости или — обругать, чтоб тебе стыдно стало? Но тебе, кажется, уже и стыдно.

Самгин чувствовал себя отвратительно.

«Веду я себя с нею глупо, как мальчишка», — думал он.

Марина молчала, покусывая губы и явно ожидая: что он скажет?

Он сказал:

— Видишь ли — в его речах было нечто похожее на то, что я рассказывал тебе про себя…

— Еще лучше! — вскричала Марина, разведя руками, и, захохотав, раскачиваясь, спросила сквозь смех: — Да — что ты говоришь, подумай! Я буду говорить с ним — таким — о тебе! Как же ты сам себя ставишь? Это все мизантропия твоя. Ну — удивил! А знаешь, это — плохо!

Несколько оправясь, Самгин заговорил:

— Я не мог не отметить некоторого, так сказать, пародийного совпадения…

— Оставь, — сказала Марина, махнув на него рукой. — Оставь — и забудь это. — Затем, покачивая головою, она продолжала тихо и задумчиво:

— До чего ты — странный человек! И чем так провинился пред собой, за что себя наказываешь?

Это было сказано очень хорошо, с таким теплым, искренним удивлением. Она говорила и еще что-то таким же тоном, и Самгин благодарно отметил:

«Так никто не говорил со мной». Мелькнуло в памяти пестрое лицо Дуняши, ее неуловимые глаза, — но нельзя же ставить Дуняшу рядом с этой женщиной! Он чувствовал себя обязанным сказать Марине какие-то особенные, тоже очень искренние слова, но не находил достойных. А она, снова положив локти на стол, опираясь подбородком о тыл красивых кистей рук, говорила уже деловито, хотя и мягко:

— Я спросила у тебя о Валентине вот почему: он добился у жены развода, у него — роман с одной девицей, и она уже беременна. От него ли, это — вопрос. Она — тонкая штучка, и вся эта история затеяна с расчетом на дурака. Она — дочь помещика, — был такой шумный человек, Радомыслов: охотник, картежник, гуляка; разорился, кончил самоубийством. Остались две дочери, эдакие, знаешь, «полудевы», по Марселю Прево, или того хуже: «девушки для радостей», — поют, играют, ну и все прочее.

Сделав паузу, скрывая нервную зевоту, она продолжала в том же легком тоне:

— У Валентина кое-что есть и — немало, но — он под опекой. По-вашему, юридически, это называется, — если не ошибаюсь, — недееспособен. Опека наложена по завещанию отца, за расточительность, опекун — крестный его отец Логинов, фабрикант стекла, человек — старый, больной, — фактически опека в моих руках. Года три тому назад, когда Валентину минуло двадцать два, он, тайно от меня, подал прошение на высочайшее имя об отмене опеки, ему — отказали в этом. Первый его брак не совсем законен, но жена оказалась умницей и честным человеком… впрочем, это — неважно.

Устало вздохнув, Марина оглянулась, понизила голос.

— Теперь Валентин затеял новую канитель, — им руководят девицы Радомысловы и веселые люди их кружка. Цель у них — ясная: обобрать болвана, это я уже сказала. Вот какая история. Он рассказывал тебе?

— Никогда, ни слова, — сказал Самгин, очень довольный, что может сказать так решительно.

Почесывая нос мизинцем, она спросила:

— Флигель-то он сам поджег?

— Нет, не думаю.

— Грозил, что подожжет.

— Грозил? Кому?

— Мне. А — почему ты спросил?

— Я тоже слышал это от него, — признал Самгин. Марина вздохнула:

— Вот видишь! Но это, конечно, озорство. Возня с ним надоела мне, но — до тридцати лет я с него опеку не сниму, слово дала! Тебе надобно будет заняться этим делом…

Самгин наклонил голову, — она устало потянулась, усмехаясь:

— Вообразил себя артистом на биллиарде, по пятисот рублей проигрывал. На бегах играл, на петушиных боях, вообще — старался в нищие попасть. Впрочем, ты сам видишь, каков он…

— Да, — сказал Самгин.

Он ушел от Марины, чувствуя, что его отношение к ней стало определеннее.

«Как нелепо способен я вести себя», — подумал он почти со стыдом, затем спросил себя: верил ли он кому-нибудь так, как верит этой женщине? На этот вопрос он не нашел ответа и задумался о том, что и прежде смущало его: вот он знает различные системы фраз, и среди них нет ни одной, внутренне сродной ему. Система фраз Марины тоже не трогает его, не интересует, особенно чужда. Но о чем бы ни говорила Марина, ее волевой тон, ее уверенность в чем-то неуловимом — действует на него оздоровляюще, — это он должен признать. И одним этим нельзя объяснить обаяния ее. Он нисколько не зависим от нее — женщины, красивое тело ее не будит в нем естественных эмоций мужчины, этим он даже готов был гордиться пред собою. И все-таки: в чем же скрыта ее власть над ним? На этот вопрос он не стал искать ответа, ибо, впервые откровенно признав ее власть, смутился. Пережитая сцена настроила его мягко, особенно ласково размягчали тихие слова: «За что наказываешь себя?»

Впечатление несколько отемнялось рассказом о Безбедове и необходимостью заняться неприятным делом против него по поводу опеки.

«Это — странное дело», — подумал Самгин д вспомнил две строки чьих-то стихов:

Никогда в моей жизни я не пил Капли счастья, не сдобренной ядом!

Но через десяток дней, прожитых в бережной охране нового, лирического настроения, утром явилась Марина:

— Миша, — ступай, скажи кучеру, — ехал бы к Лидии Тимофеевне, ждал меня там.

А когда юноша ушел, она оживленно воскликнула:

— Можешь представить — Валентин-то? Удрал в Петербург. Выдал вексель на тысячу рублей, получил за него семьсот сорок и прислал мне письмо: кается во грехах своих, роман зачеркивает, хочет наняться матросом на корабль и плавать по морям. Все — врет, конечно, поехал хлопотать о снятии опеки, Радомысловы научили.

— Что же ты думаешь делать? — спросил Самгин.

— А — ничего! — сказала она. — Вот — вексель выкуплю, Захария помещу в дом для порядка. — Удрал, негодяишка! — весело воскликнула она и спросила: — Разве ты не заметил, что его нет?

— Мы редко видим друг друга, — сказал Самгин.

— Он уже третьего дня в Москве был, письмо-то оттуда.

Она ушла во флигель, оставив Самгина довольным тем, что дело по опеке откладывается на неопределенное время. Так оно и было, — протекли два месяца — Марина ни словом не напоминала о племяннике.

Пред весною исчез Миша, как раз в те дни, когда для него накопилось много работы, и после того, как Самгин почти примирился с его существованием. Разозлясь, Самгин решил, что у него есть достаточно веский повод отказаться от услуг юноши. Но утром на четвертый день позвонил доктор городской больницы и сообщил, что больной Михаил Локтев просит Самгина посетить его. Самгин не успел спросить, чем болен Миша, — доктор повесил трубку; но приехав в больницу, Клим сначала пошел к доктору.

Большой, тяжелый человек в белом халате, лысый, с круглыми глазами на красном лице, сказал:

— Избит, но — ничего опасного нет, кости — целы. Скрывает, кто бил и где, — вероятно, в публичном, у девиц. Двое суток не говорил — кто он, но вчера я пригрозил ему заявить полиции, я же обязан! Приходит юноша, избитый почти до потери сознания, ну и… Время, знаете, требует… ясности!

Настроенный еще более сердито, Самгин вошел в большой белый ящик, где сидели и лежали на однообразных койках — однообразные люди, фигуры в желтых халатах; один из них пошел навстречу Самгину и, подойдя, сказал знакомым ровным голосом, очень тихо:

— Простите, что беспокою, Клим Иванович, но доктор не хочет выписать меня и угрожает заявить полиции, а это — не надо!

Голова и половина лица у него забинтованы, смотрел он в лицо Самгина одним правым глазом, глубоко врезанным под лоб, бледная щека дрожала, дрожали и распухшие губы.

«Боится меня», — сообразил Самгин.

— Я не сделал ничего дурного, поверьте, вам это может подтвердить мой учитель…

— Учитель? — спросил Самгин.

— Да, Василий Николаевич Самойлов, готовит меня на аттестат зрелости. Я вполне могу работать…

Прислушиваясь, подходили, подкрадывались больные, душил запах лекарств, кто-то стонал так разнотонно и осторожно, точно учился делать это; глаз Миши смотрел прямо и требовательно.

— Вы хотите выписаться? Хорошо, — сказал Самгин. Миша осторожно отступил на шаг в сторону.

«Учится. Метит в университет, — а наскандалил где-то», — думал Самгин, переговорив с доктором, шагая к воротам по дорожке больничного сада. В калитке ворот с ним столкнулся человек в легком не по сезону пальто, в шапке с наушниками.

— Кажется, господин Самгин? — спросил он и, не ожидая подтверждения, сказал: — Уделите мне пять минут.

Самгин взглянул в неряшливую серую бороду на бледном, отечном лице и сказал, что — не имеет времени, просит зайти в приемные часы. Человек ткнул пальцем в свою шапку и пошел к дверям больницы, а Самгин — домой, определив, что у этого человека, вероятно, мелкое уголовное дело. Человек явился к нему ровно в четыре часа, заставив Самгина подумать:

«Аккуратность бездельника».

Он долго и осторожно стягивал с широких плеч старенькое пальто, очутился в измятом пиджаке с карманами на груди и подпоясанном широким суконным поясом, высморкался, тщательно вытер бороду платком, причесал пальцами редкие седоватые волосы, наконец не торопясь прошел в приемную, сел к столу и — приступил к делу:

— Я — Самойлов. Письмоводитель ваш, Локтев, — мой ученик и — член моего кружка. Я — не партийный человек, а так называемый культурник; всю жизнь возился с молодежью, теперь же, когда революционная интеллигенция истребляется поголовно, считаю особенно необходимым делом пополнение убыли. Это, разумеется, вполне естественно и не может быть поставлено в заслугу мне.

Самгин уже определил его словами хромого мельника:

«Объясняющий господин».

Говорил Самойлов не спеша, усталым глуховатым голосом и легко, как человек, привыкший говорить много. Глаза у него были темные, печальные, а под ними — синеватые мешки. Самгин, слушая его, барабанил пальцами по столу, как бы желая намекнуть этим шумом, что говорить следует скорее. Барабанил и думал:

«Да, это именно объясняющий господин, из тех, что возлагают социальные обязанности». Он ждал чего-то смешного от этого человека и, в следующую минуту, — дождался:

— Вы, разумеется, знаете, что Локтев — юноша очень способный и душа — на редкость чистая. Но жажда знания завлекла его в кружок гимназистов и гимназисток — из богатых семей; они там, прикрываясь изучением текущей литературы... тоже литература, я вам скажу! — почти вскрикнул он, брезгливо сморщив лицо. — На самом деле это — болваны и дурехи с преждевременно развитым половым любопытством, — они там... — Самойлов быстро покрутил рукою над своей головой. — Вообще там обнажаются, касаются и... чорт их знает что!

Он развел руками, синеватые мешки под глазами его вдруг взмокли; выдернув платок из кармана брюк и вытирая серые слезы, он сказал дрожащим голосом и так, как будто слова царапали ему горло:

— Можно ли было ожидать, а? Нет, вы скажите: можно ли было ожидать? Вчера — баррикады, а сегодня — п-пакости, а? А все эти поэты... с козой, там... и «Хочу быть смелым», как это? — «Хочу одежды с тебя сорвать». Вообще — онанизм и свинство!

Ругался он тоже мягко и, видимо, сожалел о том, что надо ругаться. Самгин хмурился и молчал, ожидая: что будет дальше? А Самойлов вынул из кармана пиджака коробочку карельской березы, книжку папиросной бумаги, черешневый мундштук, какую-то спичечницу, разложил все это по краю стола и, фабрикуя папиросу пальцами, которые дрожали, точно у алкоголика, продолжал:

— Ну, одним словом: Локтев был там два раза и первый раз только сконфузился, а во второй — протестовал, что вполне естественно с его стороны. Эти... обнажённы обозлились на него и, когда он шел ночью от меня с девицей Китаевой, — тоже гимназистка, — его избили. Китаева убежала, думая, что он убит, и — тоже глупо! — рассказала мне обо всем этом только вчера вечером. Н-да. Тут, конечно, испуг и опасение, что ее исключат из гимназии, но... все-таки не похвально, нет!

Свернув папиросу объема небольшой сигары, он обильно дымил крепким синим дымом ядовитого запаха; казалось, что дым идет не только из его рта, ноздрей, но даже из ушей. Самгин, искоса следя за ним, нетерпеливо ждал. Этот человек напомнил ему далекое прошлое, дядю Хрисанфа, маленького «дядю Мишу» Любаши Сомовой и еще каких-то ветхозаветных людей. Но он должен был признать, что глаза у Самойлова — хорошие, с тем сосредоточенным выражением, которое свойственно только человеку, совершенно поглощенному одной идеей.

— Естественно, вы понимаете, что существование такого кружка совершенно недопустимо, это — очаг заразы. Дело не в том, что Михаила Локтева поколотили. Я пришел к вам потому, что отзывы Миши о вас как человеке культурном… Ну, и — вообще, вы ему импонируете морально, интеллектуально… Сейчас все заняты мелкой политикой, — Дума тут, — но, впрочем, не в этом дело! — Он, крякнув, раздельно, внушительно сказал:

— Невозможно допустить, чтоб эта скандальная организация была разглашена газетами, сделалась материалом обывательской сплетни, чтоб молодежь исключили из гимназии и тому подобное. Что же делать? Вот мой вопрос.

— Прежде всего — нужно установить, сколько правды в рассказе Локтева, — внушительно ответил Самгин, но Самойлов, взглянув на него исподлобья, спросил:

— А что он вам рассказал?

— Он — вам рассказал, а не мне, — с досадой заметил Самгин.

Очень удивленно глядя на него, Самойлов проговорил:

— Мне рассказала Китаева, а не он, он — отказался, — голова болит. Но дело не в этом. Я думаю — так: вам нужно вступить в историю, основание: Михаил работает у вас, вы — адвокат, вы приглашаете к себе двух-трех членов этого кружка и объясняете им, прохвостам, социальное и физиологическое значение их дурацких забав. Так! Я — не могу этого сделать, недостаточно авторитетен для них, и у меня — надзор полиции; если они придут ко мне — это может скомпрометировать их. Вообще я не принимаю молодежь у себя.

«Вот и возложил обязанность», — подумал Самгин, мысленно усмехаясь; досада возрастала, Самойлов становился все более наивным, смешным, и очень хотелось убедить его в этом, но преобладало сознание опасности: «Втянет он меня в этот скандал, чорт его возьми!»

Самгин совершенно не мог представить: как это будет? Придут какие-то болваны, а он должен внушать им правила поведения. С некоторой точки зрения это может быть интересно, даже забавно, однако — не настолько, чтоб ставить себя в смешную позицию проповедника половой морали.

— Над этим надо подумать, — солидно сказал он. — Дайте мне время. Я должен допросить Локтева. Он и сообщит вам мое решение.

— Так, — согласился Самойлов, вставая и укладывая свои курительные принадлежности в карман пиджака; выкурил он одну папиросу, но дыма сделал столько, как будто курили пятеро. — Значит, я — жду. Будемте знакомы!

Мягко пожав руку Самгина, он походкой очень усталого человека пошел в прихожую, бережно натянул пальто, внимательно осмотрел шапку и, надев ее, сказал глухо:

— Время-то какое подлое, а? Следите за литературой? Какова? Погром вековых традиций…

И повернулся к Самгину широкой, но сутулой спиною человека, который живет, согнув себя над книгами. Именно так подумал о нем Самгин, открывая вентиляторы в окне и в печке.

«Ослепленный книжник. Не фарисей, но — наивнейший книжник. Что же я буду делать?»

Самгин был уверен, что этот скандал не ускользнет от внимания газет. Было бы крайне неприятно, если б его имя оказалось припутанным. А этот Миша — существо удивительно неудобное. Сообразив, что Миша, наверное, уже дома, он послал за ним дворника. Юноша пришел немедля и остановился у двери, держа

забинтованную голову как-то особенно неподвижно, деревянно. Неуклонно прямой взгляд его одинокого глаза сегодня был особенно неприятен.

— Проходите. Садитесь, — сказал Самгин не очень любезно. — Ну-с, — у меня был Самойлов и познакомил с вашими приключениями… с вашими похождениями. Но мне нужно подробно знать, что делалось в этом кружке. Кто эти мальчики?

Миша осторожно кашлянул, поморщился и заговорил не волнуясь, как бы читая документ:

— Собирались в доме ювелира Марковича, у его сына, Льва, — сам Маркович — за границей. Гасили огонь и в темноте читали… бесстыдные стихи, при огне их нельзя было бы читать. Сидели парами на широкой тахте и на кушетке, целовались. Потом, когда зажигалась лампа, — оказывалось, что некоторые девицы почти раздеты. Не все — мальчики, Марковичу — лет двадцать, Пермякову — тоже так…

— Пермяков — сын владельца гастрономического магазина? — спросил Самгин.

— Да, — сказал Миша, продолжая называть фамилии.

Было очень неприятно узнать, что в этой истории замешан сын клиента.

Самгин нервно закурил папиросу и подумал:

«Если этого юношу когда-нибудь арестуют, — он будет отвечать жандарму с такой же точностью».

— Сколько раз были вы там? — спросил он.

— Три.

— Вас эти забавы не увлекали?

— Нет.

— Будто бы?

— Нет. Я говорю правду.

Самгин, испытывая не очень приятное чувство, согласился: «Да, не лжет». И спросил:

— Ведь это — кружок тайный? Что же, вас познакомили сразу со всеми, поименно?

— Пермякова и Марковича я знал по магазинам, когда еще служил у Марины Петровны; гимназистки Китаева и Воронова учили меня, одна — алгебре, другая — истории: они вошли в кружок одновременно со мной, они и меня пригласили, потому что боялись. Они были там два раза и не раздевались, Китаева даже ударила Марковича по лицу и ногой в грудь, когда он стоял на коленях перед нею.

Ровный голос, твердый тон и этот непреклонно прямой глаз раздражали Самгина, — не стерпев, он сказал:

— Вы отвечаете мне, как… судебному следователю. Держитесь проще!

— Я всегда так говорю, — удивленно ответил Миша. «Он — прав», — согласился Самгин, но раздражение росло, даже зубы заныли.

Очень неловко было говорить с этим мальчиком. И не хотелось спрашивать его. Но все же Самгин спросил:

— Кто вас бил?

— Пермяков и еще двое взрослых, незнакомых, не из кружка. Пермяков — самый

грубый и… грязный. Он им говорил: «Бейте насмерть!»

— Ну, я думаю, вы преувеличиваете, — сказал Самгин, зажигая папиросу. Миша твердо ответил:

— Нет, Китаева тоже слышала, — это было у ворот дома, где она квартирует, она стояла за воротами. Очень испугалась…

— Почему вы не рассказали все это вашему учителю? — вспомнил Самгин.

— Не успел.

Миша ответил не сразу, и его щека немножко покраснела, — Самгин подумал:

«Кажется — врет».

Но Миша тотчас же добавил:

— Василий Николаевич очень… строго понимает все… «Вот как?» — подумал Самгин, чувствуя что-то новое в словах юноши- Что же вы — намерены привлечь Пермякова к суду, да?

— Нет! — быстро и тревожно воскликнул Миша. — Я только хотел рассказать вам, чтоб вы не подумали что-нибудь… другое. Я очень прошу вас не говорить никому об этом! С Пермяковым я сам… — Глаз его покраснел и как-то странно округлился, выкатился, — торопливо и настойчиво он продолжал: — Если это разнесется — Китаеву и Воронову исключат из гимназии, а они обе — очень бедные, Воронова — дочь машиниста водокачки, а Китаева — портнихи, очень хорошей женщины! Обе — в седьмом классе. И там есть еще реалист, еврей, он тоже случайно попал. Клим Иванович, — я вас очень прошу…

— Понимаю, — сказал Самгин, облегченно вздохнув. — Вы совершенно правильно рассуждаете, и… это делает вам честь, да! Девиц нельзя компрометировать, портить им карьеру. Вы пострадали, но…

Не найдя, как удобнее закончить эту фразу, Самгин пожал плечами, улыбнулся и встал:

— Ну, идите, отдыхайте, лечитесь. Вам, наверное, нужны деньги? Могу предложить за месяц — за два вперед.

— Благодарю вас, — за месяц, — сказал Миша, осторожно наклоняя голову.

Самгин первый раз пожал ему руку, — рука оказалась горячей и жесткой.

Проводив его, Самгин постоял у двери в прихожую, определяя впечатление, очень довольный тем, что эта пошлая история разрешилась так просто.

«Юноша оказался… неглупым! Осторожен. Приятная ошибка. Надобно помочь ему, пусть учится. Будет скромным, исполнительным чиновником, учителем или чем-нибудь в этом роде. В тридцать — тридцать пять лет женится, расчетливо наплодит людей, не больше тройки. И до смерти будет служить, безропотно, как Анфимьевна…»

Насвистывая тихонько арию жреца из «Лакмэ», он сел к столу, развернул очередное «дело о взыскании», но, прикрыв глаза, погрузился в поток воспоминаний о своем пестром прошлом. Воспоминания развивались, как бы истекая из слов: «Чем я провинился пред собою, за что наказываю себя»?

Было немножко грустно, и снова ощущалось то ласковое отношение к себе, которое испытал он после беседы о Безбедове с Мариной.

Через день, сидя у Марины, он рассказывал ей о Мише. Он застал ее озабоченной чем-то, но, когда сказал, что юноша готовится к экзамену зрелости, она удивленно

и протяжно воскликнула:

— Ах, тихоня! Вот шельма хитрая! А я подозревала за ним другое. Самойлов учит? Василий Николаевич — замечательное лицо! — тепло сказала она. — Всю жизнь — по тюрьмам, ссылкам, под надзором полиции, вообще — подвижник. Супруг мой очень уважал его и шутя звал фабрикантом революционеров. Меня он недолюбливал и после смерти супруга перестал посещать. Сын протопопа, дядя у него — викарный...

«Почему фабрикант революционеров вызывает ее симпатию?» — спросил себя Самгин, а вслух сказал, улыбаясь:

— Ты очень умеешь быть объективной. Марина промолчала, занося что-то карандашом в маленькую записную книжку. Рассказ Самгина о кружке Пермякова не заинтересовал ее, — послушав, она равнодушно сказала:

— Нечто похожее было в Петербурге в девятьсот третьем году, кажется. Да и об этом, здешнем, я что-то слышала от Лидии.

И тихонько засмеялась, говоря:

— Вот ей бы пристало заняться такими забавами, а то зря возится с «взыскующими града»: жулики и пакостники они у нее. Одна сестра оказалась экономкой из дома терпимости и ходила на собрания, чтобы с девицами знакомиться. Ну, до свидания, запираю лавочку!

Самгин ушел, удовлетворенный ее равнодушием к истории с кружком Пермякова. Эти маленькие волнения ненадолго и неглубоко волновали его; поток, в котором он плыл, становился все уже, но — спокойнее, события принимали все более однообразный характер, действительность устала поражать неожиданностями, становилась менее трагичной, туземная жизнь текла так ровно, как будто ничто и никогда не возмущало ее.

Весной снова явился Лионель Крэйтон; оказалось, что он был не в Сибири, а в Закавказье.

— Очень богатый край, но — в нем нет хозяина, — уверенно ответил он на вопрос Клима: понравилось ли ему Закавказье? И спросил: — Вы — были там?

— Нет, — сказал Самгин.

— Я думаю, это — очень по-русски, — зубасто улыбнулся Крэйтон. — Мы, британцы, хорошо знаем, где живем и чего хотим. Это отличает нас от всех европейцев. Вот почему у нас возможен Кромвель, но не было и никогда не будет Наполеона, вашего царя Петра и вообще людей, которые берут нацию за горло и заставляют ее делать шумные глупости.

Марина, вскрывая ножницами толстый пакет, спросила:

— Глупости — походы на Индию?

— И — это, — согласился Крэйтон. — Но — не только это.

Самгин отметил, что англичанин стал развязнее, говорит — свободнее, но и — небрежней, коверкает слова, уже не стесняясь. Когда он ушел, Самгин сообщил свое впечатление Марине.

— Да, как будто нахальнее стал, — согласилась она, разглаживая на столе документы, вынутые из пакета. Помолчав, она сказала: — Жалуется, что никто у нас ничего не знает и хороших «Путеводителей» нет. Вот что, Клим Иванович, он все-таки едет на Урал, и ему нужен русский компаньон, — я, конечно, указала на тебя. Почему? — спросишь ты. А — мне очень хочется знать, что он будет делать гам. Говори, что поездка займет недели три, оплачивает дорогу, содержание и —

сто рублей в неделю. Что ты скажешь?

— Скучно с ним, — сказал Самгин.

— Это — отказ?

— Нет, надо подумать.

— Ты — не думай, а решись поскучать.

Самгин не прочь был сделать приятное ей, даже считал это обязанностью.

И через два дня он сидел в купе первого класса против Крэйтона, слушая его медленные речи.

— Даже с друзьями — ссорятся, если живут близко к ним. Германия — не друг вам, а очень завистливый сосед, и вы будете драться с ней. К нам, англичанам, у вас неправильное отношение. Вы могли бы хорошо жить с нами в Персии, Турции.

Самгин слушал его суховатый баритон и сожалел, что англичанина не интересует пейзаж. Впрочем, пейзаж был тоже скучный — ровная, по-весеннему молодо зеленая самарская степь, черные полосы вспаханной земли, маленькие мужики и лошади медленно кружатся на плывущей земле, двигаются серые деревни с желтыми пятнами новых изб.

— Александретт а, выход в Средиземное море, — слышал Самгин сквозь однообразный грохот поезда. Длинный палец Крэйтона уверенно чертил на столике прямые и кривые линии, голос его звучал тоже уверенно.

«Он совершенно уверен, что мне нужно знать систему его фраз. Так рассуждают, наверное, десятки тысяч людей, подобных ему. Он удобно одет, обут, у него удивительно удобные чемоданы, и вообще он чувствует себя вполне удобно на земле», — думал Самгин со смешанным чувством досады и снисхождения.

— Вы очень много посвящаете сил и времени абстракциям, — говорил Крэйтон и чистил ногти затейливой щеточкой. — Все, что мы знаем, покоится на том, чего мы никогда не будем знать. Нужно остановиться на одной абстракции. Допустите, что это — бог, и предоставьте цветным расам, дикарям тратить воображение на различные, более или менее наивные толкования его внешности, качеств и намерений. Нам пора привыкнуть к мысли, что мы — христиане, и мы действительно христиане, даже тогда, когда атеисты.

«Он не может нравиться Марине», — удовлетворенно решил Самгин и спросил: — Марина Петровна сказала мне, что ваш отец — квакер?

— Да, — ответил Крэйтон, кивнув головою. — Он — умер. Но — он прежде всего был фабрикант… этих: веревки, толстые, тонкие? Теперь это делает мой старший брат.

И, показав веселые зубы, Крэйтон завязал пальцем в воздухе узел, шутливо говоря:

— Это — очень полезно, веревки!

«В конце концов счастливый человек — это человек ограниченный», — снисходительно решил Самгин, а Крэйтон спросил его, очень любезно:

— Я вас утомляю?

— О, нет, что вы! — возразил Самгин. — Я молчу, потому что внимательно слушаю…

— Вы — мало русский, у вас все говорят очень охотно и много.

«Не больше тебя», — подумал Самгин. Он улегся спать раньше англичанина, хотя

спать не хотелось. Сквозь веки следил, как он аккуратно раздевается, развешивает костюм, — вот он вынул из кармана брюк револьвер, осмотрел его, спрятал под подушку.

Самгин мысленно усмехнулся и напомнил себе, что его револьвер — в кармане пальто.

Среди ночи он проснулся, пошел в уборную, но, когда вышел из купе в коридор, кто-то сильно толкнул его в грудь и тихо сказал:

— Назад, дура!

Самгин ударился плечом о ребро двери, вскрикнул:

— Что такое? — в ответ ему повторили:

— Прочь, дура!

Огонь в коридоре был погашен, и Самгин скорее почувствовал, а не увидел в темноте пятно руки с револьвером в ней. Раньше чем он успел сделать что-нибудь, сквозь неплотно прикрытую занавеску ворвалась полоска света, ослепив его, и раздался изумленный шопот:

— О, чорт, опять вы!

— Я вас не знаю, — довольно громко сказал Самгин — первое, что пришло в голову, хотя понимал уже, что говорит Инокову.

— Убирайтесь, — прошептал Иноков и, толкнув его в купе, закрыл дверь.

Самгин нащупал пальто, стал искать карман, выхватил револьвер, но в эту минуту поезд сильно тряхнуло, пронзительно завизжали тормоза, озлобленно зашипел пар, — Самгин пошатнулся и сел на ноги Крэйтона, тот проснулся и, выдергивая ноги, лягаясь, забормотал по-английски, потом свирепо закричал:

— Кто такой?

— Тише, — сказал Самгин, тяжело перевалясь на свое место, — слышите?

Впереди, около паровоза, стреляли, — Самгин механически считал знакомые щелчки: два, один, три, два, один, один. При первом же выстреле Крэйтон зажег спичку, осветил Самгина и, тотчас погасив огонек, сказал вполголоса:

— Держите револьвер дулом вниз, у вас дрожат руки.

Самгин, опустив руку, зажал ее вместе с револьвером коленями.

— Бандиты? — догадался Крэйтон и, пробормотав:

«Вот — Америка!» — строго сказал: — Когда откроют дверь — стреляем вместе, — так?

— Да, да, — ответил Самгин, прислушиваясь к шуму в коридоре вагона и голосу, командовавшему за окном:

— Кондуктор, погаси фонарь! Кому я говорю, дура? Стрелять буду, — не болтай фонарем.

«Иноков… Это — Иноков. Второй раз!» — ошеломленно думал Самгин.

— Э, дура!

Хлопнул выстрел, звякнуло стекло, на щебень упало что-то металлическое, и раздался хриплый крик:

— Эй, вы, там! Башки из окон не высовывать, из вагонов не выходить!

Было странно слышать, что голос звучит как будто не сердито, а презрительно. В вагоне щелкали язычки замков, кто-то постучал в дверь купе.

— Не открывать! — строго сказал Крэйтон.

— Напали на поезд! — прокричал в коридоре истерический голосок. Самгину казалось, что всё еще стреляют. Он не был уверен в этом, но память его непрерывно воспроизводила выстрелы, похожие на щелчки замков.

Время тянулось необычно медленно, хотя движение в вагоне становилось шумнее, быстрее. За окном кто-то пробежал, скрипя щебнем, громко крикнув:

— Живо!

Самгин так крепко сжимал револьвер коленями, что у него заболела рука; он сунул оружие под ляжку себе и плотно прижал его к мякоти дивана.

— Странно, — сказал Крэйтон. — Они не торопятся, эти ваши бандиты.

Судорожно вздыхал и шипел пар под вагоном, — было несколько особенно длинных секунд, когда Самгин не слышал ни звука, кроме этого шипения, а потом, около вагона, заговорили несколько голосов, и один, особенно громко, сказал:

— Здесь, в этом!

— Не выпускать никого!

Вагон осторожно дернуло, брякнули сцепления, Крэйтон приподнял занавеску окна; деревья за окном шевелились, точно стирая тьму со стекла, мутно проплыло пятно просеки, точно дорога к свету.

— Что же — нас взяли в плен? — грубо спросил Крэйтон. — Мы — едем!

Да, поезд шел почти с обычной скоростью, а в коридоре топали шаги многих людей. Самгин поднял занавеску, а Крэйтон, спрятав руку с револьвером за спину, быстро открыл дверь купе, спрашивая:

— Что происходит?

Против двери стоял кондуктор со стеариновой свечою в руке, высокий и толстый человек с белыми усами, два солдата с винтовками и еще несколько человек, невидимых в темноте.

— Почтовый вагон ограбили, — сказал кондуктор, держа свечку на высоте своего лица и улыбаясь. — Вот отсюда затормозили поезд, вот видите — пломба сорвана с тормоза…

— Сколько ж их было? — густым басом спросил толстый человек.

— Говорят — четверо.

— Кто говорит?

— Товарищ.

— Какой — товарищ, чей?

— Наш, из бригады.

— Везде — товарищи!

Женский голос напряженно крикнул:

— Сколько же, сколько убитых? Ей сердито ответили:

— Убитых нет!

— Вы скрываете! Они стреляли.

— Солдату из охраны руку прострелили, только и всего, — сказал кондуктор. Он все улыбался, его бритое солдатское лицо как будто таяло на огне свечи. — Я одного видел, — поезд остановился, я спрыгнул на путь, а он идет, в шляпе. Что такое? А он кричит: «Гаси фонарь, застрелю», и — бац в фонарь! Ну, тут я упал…

— Четверо? — проворчал Крэйтон над ухом Самгина. — Храбрые ребята.

А Самгин подумал:

«Какое презрение надобно иметь к людям, чтобы вчетвером нападать на целый поезд».

Он все время вспоминал Инокова, не думая о нем, а просто видя его рядом с Любашей, рядом с собою, в поле, когда развалилась казарма, рядом с Елизаветой Спивак.

«Писал стихи».

Он слышал, что кто-то шепчет:

— Обратите внимание: у господина в очках — револьвер.

Самгин, с невольной быстротой, бросил револьвер на диван, а шопот вызвал громкий ответ:

— Ну, что ж такое? Револьвер и у меня есть, да, наверное, и у многих. А вот что убитых нет, это подозрительно! Это, знаете…

— Да, странно…

— При наличии солдат…

— Солдат — не филин, он тоже ночью спит. А у них — бомба. Руки вверх, и — больше никаких. — уныло проговорил один из солдат.

— Все-таки надо было стрелять!

— Подняв руки вверх? Бросьте, господин. Мы по начальству отвечать будем, а вы нам — человек неизвестный.

— Он говорит верно, — сказал Крэйтон.

На Самгина эти голоса людей, невидимых во тьме, действовали, как тяжелое сновидение.

«Инокова, конечно, поймают…»

Он был недоволен собою, ему казалось, что он вел себя недостаточно мужественно и что Крэйтон заметил это.

«Иноков не мог бы причинить мне вреда», — упрекнул он себя. Но тут возник вопрос: «А что я мог бы сделать?»

И Самгин вошел в купе, решив не думать на эту тему, прислушиваясь к оживленной беседе в коридоре.

— В десять минут обработали!

— В семь.

— Вы считали?

— Солдат говорил дерзко, — это не подобает солдату. Я сам — военный.

— Кондуктор, — почему нет огня?

— Провода порваны, ваше благородие. Вошел Крэйтон, сел на диван и сказал, покачивая головою:

— Ваши соотечественники — фаталисты. Самгин промолчал, оправляя постель, — в коридоре бас высокого человека умиротворенно произнес:

— Что ж, господа: возблагодарим бога за то, что остались живы, здоровы…

— Скоро Уфа.

Зевнув, заговорил Крэйтон:

— Вы напрасно бросаете револьвер так. Автоматические револьверы требуют осторожности.

— Я бросил на мягкое, — сердито отозвался Самгин, лег и задумался о презрении некоторых людей ко всем остальным. Например — Иноков. Что ему право, мораль и все, чем живет большинство, что внушается человеку государством, культурой? «Классовое государство ремонтирует старый дом гнилым деревом», — вдруг вспомнил он слова Степана Кутузова. Это было неприятно вспомнить, так же как удачную фразу противника в гражданском процессе. В коридоре всё еще беседовали, бас внушительно доказывал:

— Вы же видите: Дума не в силах умиротворить страну. Нам нужна диктатура, надо, чтоб кто-нибудь из великих князей…

— Вы дайте нам маленьких, да умных!

— Господа! Все так переволновались, а мы мешаем спать.

— Очень умно сказано, — проворчал Крэйтон и закрыл купе.

Самгин уснул и был разбужен бешеными криками Крэйтона:

— Вы не имете права сдерживать меня, — кричал он, не только не заботясь о правильности языка, но даже как бы нарочно подчеркивая искажения слов; в двери купе стоял, точно врубленный, молодой жандарм и говорил:

— Не приказано.

— Но я должен давать несколько телеграмм — понимаете?

— Никого не приказано выпускать, — и обратился к Самгину: — Объясните им: поезд остановлен за семафором, вокзал — дальше.

— Вы слышите? Не позволяют давать телеграмм! Я — бежал, скочил, может быть, ломал ногу, они меня схватали, тащили здесь — заткнули дверь этим!

Размахивая шляпой, он указал ею на жандарма; лицо у него было серое, на висках выступил пот, челюсть тряслась и глаза, налитые кровью, гневно блестели. Он сидел на постели в неудобной позе, вытянув одну ногу, упираясь другою в пол, и рычал:

— Вы должны знать, когда вы арестуете! Это — дикость! Я — жалуюсь! Я протестую моему послу Петербург!

— Успокойтесь! — посоветовал Самгин. — Сейчас выясним — в чем дело?

Поглаживая ногу, Крэйтон замолчал, и тогда в вагоне стало подозрительно тихо. Самгин выглянул из-под руки жандарма в коридор: двери всех купе были закрыты, лишь из одной высунулась воинственная, ершистая голова с седыми усами; неприязненно взглянув на Самгина, голова исчезла.

«Чертовщина какая-то», — подумал Самгин и спросил жандарма: в чем дело?

— Проверка документов, — вежливо и тихо ответил жандарм. — Поезд был остановлен автоматическим тормозом из этого вагона. Сосед ваш думали, что уже вокзал, спрыгнули, ушибли ногу и — сердятся.

— Ногу я сломил! — вновь зарычал Крэйтон. — Это я тоже буду протестовать. Она была немножко сломлен, раньше года, но — это ничего!

Жандарм посторонился, его место заняли чернобородый офицер и судейский чиновник, горбоносый, в пенснэ, с костлявым ироническим лицом. Офицер потребовал документы. Крэйтон выхватил бумажник из бокового кармана пиджака, крякнул, скрипнул зубами и бросил документ на колени Самгина. Самгин — передал офицеру вместе со своим, а тот, прочитав, подал через плечо свое судейскому. Все это делалось молча, только Крэйтон, отирая платком пот с лица, ворчливо бормотал горячо шипящие английские слова. Самгин, предчувствуя, что в этом молчании нарастают какие-то серьезные неприятности для него, вздохнул и закурил папиросу. Судейский чиновник, прочитав документы, поморщился, пошептал что-то на ухо офицеру и затем сказал:

— Разрешите заявить, господа, наши искренние извинения за причиняемое вам беспокойство…

Крэйтон, махнув на него шляпой, зарычал сквозь зубы:

— О, нет! Это меня не… удовлетворяет. Я — сломал ногу. Это будет материальный убиток, да! И я не уйду здесь. Я требую доктора… — Офицер подвинулся к нему и стал успокаивать, а судейский спросил Самгина, не заметил ли он в вагоне человека, который внешне отличался бы чем-нибудь от пассажира первого класса?

— Нет, — сказал Самгин.

— И ночью, перед тем, как поезд остановился между станциями, не слышали шума около вашей двери?

— Я — проснулся, когда поезд уже стоял, — ответил Самгин, а Крэйтон закричал:

— Я — тоже спал, да! Я был здоровый человек и хорошо спал. Теперь вы сделали, что я буду плохо спать. Я требую доктора.

Офицер очень любезно сказал ему, что сейчас поезд подойдет к вокзалу.

— И железнодорожный врач — к вашим услугам.

— О, благодарю! Но предпочел бы, чтоб в его услугах нуждались вы. Здесь есть наш консул? Вы не знаете? Но вы, надеюсь, знаете, что везде есть англичане. Я хочу, чтоб позвали англичанина. Я тут не уйду.

Судейский продолжал ставить перед Самгиным какие-то пустые вопросы, потом тихонько попросил его:

— Вы успокойте вашего соседа, а то он своей истерикой вызовет внимание публики, едва ли приятное для него и для вас.

Самгин хотел сказать, что не нуждается в заботах о нем, но — молча кивнул головой. Чиновник и офицер ушли в другое купе, и это несколько успокоило Крэйтона, он вытянулся, закрыл глаза и, должно быть, крепко сжал зубы, — на скулах вздулись желваки, неприятно изменив его лицо.

Через несколько минут поезд подошел к вокзалу, явился старенький доктор, разрезал ботинок Крэйтона, нашел сложный перелом кости и утешил его, сказав, что знает в городе двух англичан: инженера и скупщика шерсти. Крэйтон вынул блокнот, написал две записки и попросил немедленно доставить их соотечественникам. Пришли санитары, перенесли его в приемный покой на вокзале, и там он, брезгливо осматриваясь, с явным отвращением нюхая странно теплый, густой воздух, сказал Самгину:

— Приятное путешествие наше сломано, я очень грустно опечален этим. Вы едете домой, да? Вы расскажете все это Марина Петровна, пусть она будет смеяться. Это все-таки смешно!

И, вздохнув, философически заключил:

— Так очень многое кончается в жизни. Один человек в Ливерпуле обнял свою невесту и выколол булавкой глаз свой, — это его не очень огорчило. «Меня хорошо кормит один глаз», — сказал он, потому что был часовщик. Но невеста нашла, что одним глазом он может оценить только одну половинку ее, и не согласилась венчаться. — Он еще раз вздохнул и щелкнул языком: — По-русски это — прилично, но, кажется, неинтересно...

Самгин дождался, когда пришел маленький, тощий, быстроглазый человек во фланелевом костюме, и они с Крэйтоном заговорили, улыбаясь друг другу, как старые знакомые. Простясь, Самгин пошел в буфет, с удовольствием позавтракал, выпил кофе и отправился гулять, думая, что за последнее время все события в его жизни разрешаются быстро и легко.

Явилась даже смелая мысль: интересно бы встретить Инокова еще раз, но, конечно, в его свободное от профессиональных занятий время.

«Я дважды спас его от виселицы, — как оценивает он это?.. А Крэйтон — весьма типичен. Человек аристократической расы. Уверенность в своем превосходстве над всеми людьми».

Город был какой-то низенький, он точно сидел, а не стоял на земле. Со степи широкой волною налетал ветер, вздымая на улицах прозрачные облака черноватой, теплой пыли. Среди церковных глав Самгин отличил два минарета, и только после этого стал замечать на улицах людей с монгольскими лицами. Река Белая оказалась мутножелтой, а Уфа — голубоватее и прозрачней. На грязных берегах лежало очень много сплавного леса и почти столько же закопченных солнцем башкир в лохмотьях. В общем было как-то непоколебимо, навсегда скучно, и явилась мысль, что Иноковы, Кутузовы и другие люди этого типа рискуют свободой и жизнью — бесполезно, не победить им, не разрушить эту теплую, пыльную скуку. Уныние не столько тяготило, как успокаивало. Вспомнилось стихотворение Шелли «Озимандия».

Пустыня мертвая и небеса над ней.

Через два дня, вечером, у него сидела Марина, в платье цвета оксидированного серебра. Крэйтон предугадал верно: она смеялась, слушая рассказ о нападении на поезд, о злоключениях и бешенстве англичанина.

— Нет, как хочешь, а — все-таки — молодцы! Это — ловко!

«Сказать ей про Инокова?» — спросил себя Самгин.

— Ах, Лионель, чудак! — смеялась она почти до слез и вдруг сказала серьезно, не скрывая удовольствия: — Так ему и надо! Пускай попробует, чем пахнет русская жизнь. Он ведь, знаешь, приехал разнюхивать, где что продается. Сам он, конечно, молчит об этом. Но я-то уж чувствую!

И, помолчав, облизнув губы, она продолжала, приподняв одну бровь, усмехаясь:

— Теперь — купец у власти, а капиталов у него — не велик запас, так он и начнет иностранцев звать: «Покупайте Россию!»

— Шутишь ты, все шутишь, — сказал Самгин, чтоб сказать что-нибудь; она ответила:

— Вижу — скучно тебе, вот и шучу. Да, и — что мне делать? Сыта, здорова…

Она замолчала, взяв со стола книгу, небрежно перелистывая ее и нахмурясь, как бы решая что-то. Самгин подождал ее речей и начал рассказывать об Инокове, о двух последних встречах с ним, — рассказывал и думал: как отнесется она? Положив книгу на колено себе, она выслушала молча, поглядывая в окно, за плечо Самгина, а когда он кончил, сказала вполголоса:

— Интересный человек! Конечно, попадет на вешалку. Уж попадет… Тебе, наверное, дико будет услышать это, а я — пристрастна к таким людям.

— Ты знаешь, что я многого не понимаю в тебе, — сказал Самгин.

— Знаю, — согласилась она; очень просто прозвучало это ее слово.

— А хотелось бы понять, — добавил Самгин. — У меня к тебе сложилось отношение, которое… требует ясности… Смеясь, она спросила:

— Не посвататься ли хочешь? Но тотчас же сказала:

— Это я тоже шучу. Понимаю, что свататься ты не намерен. А рассказать себя я тебе — не могу, рассказывала, да ты — не веришь. — Она встала, протянув ему руку через стол и говоря несколько пониженным голосом:

— Вот что, через несколько дней в корабле моем радение о духе будет, — хочешь, я скажу Захарию, чтоб он показал тебе праздник этот? В щелочку, — добавила она и усмехнулась.

Ее предложение не удивило и не обрадовало Самгина, но смутило его как неожиданность, смысл которой — непонятен. Он видел, что глаза Марины улыбаются необычно, как будто она против воли своей сказала что-то непродуманное, рискованное и, недовольная собою, сердится.

— Я буду страшно благодарен, — торопливо сказал он, а Марина повторила:

— В щелочку, издали. Ну, — будь здоров! Проводив ее, Самгин быстро вбежал в комнату, остановился у окна и посмотрел, как легко и солидно эта женщина несет свое тело по солнечной стороне улицы; над головою ее — сиреневый зонтик, платье металлически блестит, и замечательно красиво касаются камня панели туфельки бронзового цвета.

«Идол. Златоглазый идол», — с чувством восхищения подумал он, но это чувство тотчас исчезло, и Самгин пожалел — о себе или о ней? Это было не ясно ему. По мере того как она удалялась, им овладевала смутная тревога. Он редко вспоминал о том, что Марина — член какой-то секты. Сейчас вспомнить и думать об этом было почему-то особенно неприятно.

«Вот, наконец, открываются двери тайны», — сказал он себе и присел на стул, барабаня пальцами по колену, покручивая бородку. Шутка не удалась ему.

Возникало опасение какой-то утраты. Он поспешно начал просматривать свое отношение к Марине. Все, что он знал о ней, совершенно не совпадало с его представлением о человеке религиозном, хотя он не мог бы сказать, что имеет вполне точное представление о таком человеке; во всяком случае это — человек, ограниченный мистикой, метафизикой.

«Слишком умна для того, чтобы веровать. Но ведь не может же быть какой-то секты без веры в бога или чорта!» — размышлял он.

То, что она говорила о разуме, определенно противоречило ее житейской практике. Ее слова о духе и вообще всё, что она, в разное время, говорила ему о своих взглядах на религию, церковь, — было непонятно, неинтересно и не удерживалось в его памяти. Помнил он только взрыв ее гнева против попов, но и это ничего не объясняло ему, он даже подумал: «Тут я, кажется, преувеличил что-то или чего-то не понял. Я никогда не спорил с нею на эту тему, не могу, не хочу спорить, но — почему я как будто боюсь поссориться с нею?»

Чувство тревоги — росло. И в конце концов вдруг догадался, что боится не ссоры, а чего-то глупого и пошлого, что может разрушить сложившееся у него отношение к этой женщине. Это было бы очень грустно, однако именно эта опасность внушает тревогу.

«Но ведь, в сущности, вопрос решается очень просто: не пойду», — подумал он.

Но это не было решением. На другой день после праздника троицы — в духов день — Самгин так же сидел у окна, выглядывая из-за цветов на улицу. За окном тяжко двигался крестный ход: обыватели города, во главе с духовенством всех церквей, шли за город, в поле — провожать икону богородицы в далекий монастырь, где она пребывала и откуда ее приносили ежегодно в субботу на пасхальной неделе «гостить», по очереди, во всех церквах города, а из церквей, торопливо и не очень «благолепно», носили по всем домам каждого прихода, собирая с «жильцов» десятки тысяч священной дани в пользу монастыря.

Самгин смотрел на плотную, празднично одетую, массу обывателей, — она заполняла украшенную молодыми березками улицу так же плотно, густо, как в Москве, идя под красными флагами, за гробом Баумана, не видным под лентами и цветами. Так же, как тогда, сокрушительно шаркали десятки тысяч подошв по булыжнику мостовой. Сухой шорох ног стачивал камни, вздымая над обнаженными головами серенькое облако пыли, а в пыли тускловато блестело золото сотен хоругвей. Ветер встряхивал хоругви, шевелил волосы на головах людей, ветер гнал белые облака, на людей падали тени, как бы стирая пыль и пот с красных лысин. В небе басовито и непрерывно гудела медь колоколов, заглушая пение многочисленного хора певчих. Яростно, ослепительно сверкая, толпу возглавлял высоко поднятый над нею золотой квадрат иконы с двумя черными пятнами в нем, одно — побольше, другое — поменьше. Запрокинутая назад, гордо покачиваясь, икона стояла на длинных жердях, жерди лежали на плечах людей, крепко прилепленных один к другому, — Самгин видел, что они несут тяжелую ношу свою легко.

За иконой медленно двигались тяжеловесные, золотые и безногие фигуры попов, впереди их — седобородый, большой архиерей, на голове его — золотой пузырь, богато украшенный острыми лучиками самоцветных камней, в руке — длинный посох, тоже золотой. Казалось, что чем дальше уходит архиерей и десятки неуклюжих фигур в ризах, — тем более плотным становится этот живой поток золота, как бы увлекая за собою всю силу солнца, весь блеск его лучей. Течение толпы было мощно и все в общем своеобразно красиво, — Самгин чувствовал это.

Но он предпочел бы серый день, более сильный ветер, больше пыли, дождь, град — меньше яркости и гулкого звона меди, меньше — праздника. Не впервые видел он крестный ход и всегда относился к парадам духовенства так же равнодушно, как к парадам войск. А на этот раз он усиленно искал в бесконечно текущей толпе чего-нибудь смешного, глупого, пошлого. Вспомнил, что в романе

«Воскресение» Лев Толстой назвал ризу попа золотой рогожей, — за это пошленький литератор Ясинский сказал в своей рецензии, что Толстой — гимназист. Было досадно, что икону, заключенную в тяжелый ящик киота, люди несут так легко.

«Марина была бы не тяжелее, но красивей, величественнее...»

Утром, в газетном отчете о торжественной службе вчера в соборе, он прочитал слова протоиерея: «Радостью и ликованием проводим защитницу нашу», — вот это глупо: почему люди должны чувствовать радость, когда их покидает то, что — по их верованию — способно творить чудеса? Затем он вспомнил, как на похоронах Баумана толстая женщина спросила:

— «Кого хоронят?»

— «Революцию, тетка», — ответили ей.

Это несколько разогрело мысли Самгина, — он, уже с негодованием, подумал:

«Ради этого стада, ради сытости его Авраамы политики приносят в жертву Исааков, какие-то Самойловы фабрикуют революционеров из мальчишек…»

Тут он вспомнил:

«А может, мальчика-то не было?..»

Он уже не скрывал от себя, что негодование разогревает в себе искусственно и нужно это ему для того, чтобы то, что он увидит сегодня, не оказалось глупее того, что он уже видит.

«Мальчишество, — упрекнул он себя и усмехнулся, подумав: — Очевидно, она много значит для меня, если я так опасаюсь увидеть ее в глупом положении».

Толпа прошла, но на улице стало еще более шумно, — катились экипажи, цокали по булыжнику подковы лошадей, шаркали по панели и стучали палки темненьких старичков, старушек, бежали мальчишки. Но скоро исчезло и это, — тогда из-под ворот дома вылезла черная собака и, раскрыв красную пасть, длительно зевнув, легла в тень. И почти тотчас мимо окна бойко пробежала пестрая, сытая лошадь, запряженная в плетеную бричку, — на козлах сидел Захарий в сером измятом пыльнике.

«Значит — далеко ехать», — сообразил Самгин, поспешно оделся и вышел к воротам.

Захарий, молча кивнув ему головой и подождав, когда он уселся, быстро погнал лошадь, подпрыгивая на козлах, точно деревянный. Город был пустой, и шум раздавался в нем, точно в бочке. Ехать пришлось недолго; за городом, на огородах, Захарий повернул на узкую дорожку среди заборов и плетней, к двухэтажному деревянному дому; окна нижнего этажа были частью заложены кирпичом, частью забиты досками, в окнах верхнего не осталось ни одного целого стекла, над воротами дугой изгибалась ржавая вывеска, но еще хорошо сохранились слова: «Завод искусственных минеральных вод».

Самгин вздохнул и поправил очки. Въехали на широкий двор; он густо зарос бурьяном, из бурьяна торчали обугленные бревна, возвышалась полуразвалившаяся печь, всюду в сорной траве блестели осколки бутылочного стекла. Самгин вспомнил, как бабушка показала ему ее старый, полуразрушенный дом и вот такой же двор, засоренный битыми бутылками, — вспомнил и подумал:

«Возвращаюсь в детство».

Лошадь осторожно вошла в открытые двери большого сарая, — там, в сумраке, кто-то взял ее за повод, а Захарий, подбежав по прыгающим доскам пола к задней стенке сарая, открыл в ней дверь, тихо позвал:

— Пожалуйте!

Самгин, мигая, вышел в густой, задушенный кустарником сад; в густоте зарослей, под липами, вытянулся длинный одноэтажный дом, с тремя колоннами по фасаду, с мезонином в три окна, облепленный маленькими пристройками, — они подпирали

его с боков, влезали на крышу. В этом доме кто-то жил, — на подоконниках мезонина стояли цветы. Зашли за угол, и оказалось, что дом стоит на пригорке и задний фасад его — в два этажа. Захарий открыл маленькую дверь и посоветовал:

— Осторожно.

В темноте под ногами заскрипели ступени лестницы, распахнулась еще дверь, и Самгина ослепил яркий луч солнца.

— Подождите минутку, я — сейчас! — тихо сказал Захарий и, притворив дверь, исчез.

Самгин снял шляпу, поправил очки, оглянулся: у окна, раскаленного солнцем, — широкий кожаный диван, пред ним, на полу, — старая, истоптанная шкура белого медведя, в углу — шкаф для платья с зеркалом во всю величину двери; у стены — два кожаных кресла и маленький, круглый стол, а на нем графин воды, стакан. В комнате душно, голые стены ее окрашены голубоватой краской, и все в ней как будто припудрено невидимой, но едкой пылью. Самгин сел в кресло, закурил, налил в стакан воды и не стал пить: вода была теплая, затхлая. Прислушался, — в доме было неестественно тихо, и в этой тишине, так же как во всем, что окружало его, он почувствовал нечто обидное. Бесшумно открылась дверь, вошел Захарий, — бросилось в глаза, что волос на голове у него вдвое больше, чем всегда было, и они — волнистее, точно он вымыл и подвил их.

— Пожалуйте, — шопотом пригласил он. — Только — папироску бросьте и там не курите, спичек не зажигайте! Кашлять и чихать тоже воздержитесь, прошу! А уж если терпенья не хватит — в платочек покашляйте.

Он взял Самгина за рукав, свел по лестнице на шесть ступенек вниз, осторожно втолкнул куда-то на мягкое и прошептал:

— Вот, садитесь, отсюда все будет видно. Только уж, пожалуйста, тихо! На стене тряпочка есть, найдете ее...

В темноте Самгин наткнулся на спинку какой-то мебели, нащупал шершавое сиденье, осторожно уселся. Здесь было прохладнее, чем наверху, но тоже стоял крепкий запах пыли.

«Посмотрим, как делают религию на заводе искусственных минеральных вод! Но — как же я увижу?» Подвинув ногу по мягкому на полу, он уперся ею в стену, а пошарив по стене рукою, нашел тряпочку, пошевелил ее, и пред глазами его обнаружилась продолговатая, шириною в палец, светлая полоска.

Придерживая очки, Самгин взглянул в щель и почувствовал, что он как бы падает в неограниченный сумрак, где взвешено плоское, правильно круглое пятно мутного света. Он не сразу понял, что свет отражается на поверхности воды, налитой в чан, — вода наполняла его в уровень с краями, свет лежал на ней широким кольцом; другое, более узкое, менее яркое кольцо лежало на полу, черном, как земля. В центре кольца на воде, — точно углубление в ней, — бесформенная тень, и тоже трудно было понять, откуда она?

«Какой-то фокус».

Напрягая зрение, он различил высоко под потолком лампу, заключенную в черный колпак, — ниже, под лампой, висело что-то неопределенное, похожее на птицу с развернутыми крыльями, и это ее тень лежала на воде.

«Не очень остроумно», — подумал Самгин, отдуваясь и закрыв глаза. Сидеть — неудобно, тишина — неприятна, и подумалось, что все эти наивные таинственности, может быть, устроены нарочно, только затем, чтоб поразить его.

Под полом, в том месте, где он сидел, что-то негромко щелкнуло, сумрак пошевелился, посветлел, и, раздвигая его, обнаруживая стены большой

продолговатой комнаты, стали входить люди — босые, с зажженными свечами в руках, в белых, длинных до щиколоток рубахах, подпоясанных чем-то неразличимым. Входили они парами, мужчина и женщина, держась за руки, свечи держали только женщины; насчитав одиннадцать пар, Самгин перестал считать. В двух последних парах он узнал краснолицего свирепого дворника Марины и полуумного сторожа Васю, которого он видел в Отрадном. В длинной рубахе Вася казался огромным, и хотя мужчины в большинстве были рослые, — Вася на голову выше всех. Люди становились полукругом перед чаном, затылками к Самгину; но по тому, как торжественно вышагивал Вася, Самгин подумал, что он, вероятно, улыбается своей гордой, глупой улыбкой.

Огни свеч расширили комнату, — она очень велика и, наверное, когда-то служила складом, — окон в ней не было, не было и мебели, только в углу стояла кадка и на краю ее висел ковш. Там, впереди, возвышался небольшой, в квадратную сажень помост, покрытый темным ковром, — ковер был так широк, что концы его, спускаясь на пол, простирались еще на сажень. В средине помоста — задрапированный черным стул или кресло. «Ее трон», — сообразил Самгин, продолжая чувствовать, что его обманывают.

Он сосчитал огни свеч: двадцать семь. Четверо мужчин — лысые, семь человек седых. Кажется, большинство их, так же как и женщин, все люди зрелого возраста. Все — молчали, даже не перешептывались. Он не заметил, откуда появился и встал около помоста Захарий; как все, в рубахе до щиколоток, босой, он один из всех мужчин держал в руке толстую свечу; к другому углу помоста легко подбежала маленькая, — точно подросток, — коротковолосая, полуседая женщина, тоже с толстой свечой в руке.

«Сейчас появится она, все эффекты готовы», — решил Самгин.

Марина вышла не очень эффектно: сначала на стене, за стулом, мелькнула ее рука, отбрасывая черный занавес, потом явилась вся фигура, но — боком; прическа ее зацепилась за что-то, и она так резко дернула рукою материю, что сорвала ее, открыв угол двери. Затем, шагнув вперед, она поклонилась, сказав:

— Здравствуйте, сестры и братья по духу! Полсотни людей ответили нестройным гулом, голоса звучали глухо, как в подвале, так же глухо прозвучало и приветствие Марины; в ответном гуле Самгин различил многократно повторенные слова:

— Матушка, родимая, владычица духовная… Каждый из них, поклонясь Марине, кланялся всем братьям и снова — ей. Рубаха на ней, должно быть, шелковая, она — белее, светлей. Как Вася, она тоже показалась Самгину выше ростом. Захарий высоко поднял свечу и, опустив ее, погасил, — то же сделала маленькая женщина и все другие. Не разрывая полукруга, они бросали свечи за спины себе, в угол. Марина громко и сурово сказала:

— Так исчезнет свет ложный! Воспоем славу невидимому творцу всего видимого, великому духу!

В сумраке серый полукруг людей зашевелился, сомкнулся в круг. Запели нестройно, разноголосо и даже мрачно — на церковный мотив:

Пресветлому началуВсякого рождения,Единому сущему,Ему же нет равныхИ вовеки не будет.Поклоняемся духовно!Ни о чем не молим,Ничего не просим, —Просим только света духаТемноте земной души…

Самгин видел фигуру Марины, напряженно пытался рассмотреть ее лицо, но оно было стерто сумраком. «Вероятно, это она сочинила», — подумал он. Круг людей медленно двигался справа налево, двигался всей массой и почти бесшумно, едва слышен был шорох подошв о дерево пола. Когда кончили петь, — заговорила Марина:

— Зажигайте огонь духовный!

У чана с водою встал Захарий, протянул над ним руки в широких рукавах и заговорил не своим, обычным, а неестественно высоким, вздрагивающим голосом:

— Сестры и братья, — четвертый раз мы собрались порадеть о духе святе, да снизойдет и воплотится пречистый свет! Во тьме и мерзости живем и жаждем сошествия силы всех сил!

Круг вращался быстрее, ноги шаркали слышней и заглушали голос Захария.

— Отречемся благ земных и очистимся, — кричал он. — Любовью друг ко другу воспламеним сердца!

Плотное, серое кольцо людей, вращаясь, как бы расталкивало, расширяло сумрак. Самгин яснее видел Марину, — она сидела, сложив руки на груди, высоко подняв голову. Самгину казалось, что он видит ее лицо — строгое, неподвижное.

«Привыкли глаза. Она действительно похожа на статую какого-то идола».

— Испепелится плоть — узы дьявола — и освободит дух наш из плена обольщений его, — выкрикивал Захарий, — его схватили, вовлекли в хоровод, а он все еще кричал, и ему уже вторил тонкий, истерический голос женщины:

— Ой — дух! Ой — свят…

— Рано! — оглушительно рявкнул густой бас. — Куда суешься? Пустельга!

На место Захария встал лысый бородатый человек и загудел:

— Тут есть сестры-братья, которые первый раз с нами радеют о духе. И один человек усумнился: правильно ли Христа отрицаемся! Может, с ним и другие есть. Так дозволь, кормщица наша мудрая, я скажу.

Марина не пошевелилась, а круг пошел медленнее, но лысый, взмахнув руками, сказал:

— Ходите, ходите по воле! Голос мой далече слышен! Он густо кашлянул и продолжал еще более сильно:

— Мы — бога во Христе отрицаемся, человека же — признаём! И был он, Христос, духовен человек, однако — соблазнил его Сатана, и нарек он себя сыном бога и царем правды. А для нас — несть бога, кроме духа! Мы — не мудрые, мы — простые. Мы так думаем, что истинно мудр тот, кого люди безумным признают, кто отметает все веры, кроме веры в духа. Только дух — сам от себя, а все иные боги — от разума, от ухищрений его, и под именем Христа разум же скрыт, — разум церкви и власти.

Нечто похожее Самгин слышал от Марины, и слова старика легко ложились в память, но говорил старик долго, с торжественной злобой, и слушать его было скучно.

«Вероятно — лавочник, мясник какой-нибудь», — определил Самгин, когда лысый оратор встал в цепь круга и трубным голосом крикнул:

— Шибче! Ой — дух, ой — свят!

— Ой свят, ой дух, — несогласно и не очень громко повторили десятки голосов, женские голоса звучали визгливо, раздражающе. Когда лысый втиснулся в цепь, он как бы покачнул, приподнял от пола людей и придал вращению круга такую быстроту, что отдельные фигуры стали неразличимы, образовалось бесформенное, безрукое тело, — на нем, на хребте его подскакивали, качались волосатые головы; слышнее, более гулким стал мягкий топот босых ног; исступленнее вскрикивали женщины, нестройные крики эти становились ритмичнее, покрывали шум стонами:

— Ой — дух, ай — дух!

— Ух, ух, — угрюмо звучали глухие вздохи мужчин. Самгин, мигая, смотрел через это огромное, буйствующее тело, через серый вихрь хоровода на фигуру Марины и ждал, когда и как вступит она.

Ему определенно не хотелось, чтоб она выступала. Так, в стороне от безумного вращения людей, которые неразрывно срослись в тяжелое кольцо и кружатся в бешеном смятении, в стороне от них, — она на своем месте. Ему казалось даже, что, вместе с нарастанием быстроты движения людей и силы возгласов, она растет над ними, как облако, как пятно света, — растет и поглощает сумрак. Это продолжалось утомительно долго. Самгин протер глаза платком, сняв очки, — без очков все внизу показалось еще более бесформенным, более взбешенным и бурным. Он почувствовал, что этот гулкий вихрь вовлекает его, что тело его делает непроизвольные движения, дрожат ноги, шевелятся плечи, он качается из стороны в сторону, и под ним поскрипывает пружина кресла.

«Воображаю, — сказал он себе, и показалось, что он говорит с собою откуда-то очень издали. — Глупости!»

В щель, в глаза его бил воздух — противно теплый, насыщенный запахом пота и пыли, шуршал куском обоев над головой Самгина. Глаза его прикованно остановились на светлом круге воды в чане, — вода покрылась рябью, кольцо света, отраженного ею, дрожало, а темное пятно в центре казалось неподвижным и уже не углубленным, а выпуклым. Самгин смотрел на это пятно, ждал чего-то и соображал:

«Вода взволнована движением воздуха, темное пятно — тень резервуара лампы».

Это было последнее, в чем он отдал себе отчет, — ему вдруг показалось, что темное пятно вспухло и образовало в центре чана вихорек. Это было видимо только краткий момент, две, три секунды, и это совпало с более сильным топотом ног, усилилась разноголосица криков, из тяжко охающих возгласов вырвался истерически ликующий, но и как бы испуганный вопль:

— И на-кати-ил, и нака-ти-ил… Кто-то зарычал, подобно медведю:

— Ух, ух!

Кольцеобразное, сероватое месиво вскипало все яростнее; люди совершенно утратили человекоподобные формы, даже головы были почти неразличимы на этом облачном кольце, и казалось, что вихревое движение то приподнимает его в воздух, к мутненькому свету, то прижимает к темной массе под ногами людей. Ноги их тоже невидимы в трепете длинных одеяний, а то, что под ними, как бы волнообразно взбухает и опускается, точно палуба судна. Все более живой и крупной становилась рябь воды в чане, ярче — пятно света на ней, — оно дробилось; Самгин снова видел вихорек в центре темного круга на воде, не пытаясь убедить себя в том, что воображает, а не видит. Он чувствовал себя физически связанным с безголовым, безруким существом там, внизу; чувствовал, что бешеный вихрь людской в сумрачном, ограниченном пространстве отравляет его тоскливым удушьем, но смотрел и не мог закрыть глаз.

— Шибче, братья-сестры, шибче! — завыл голос женщины, и еще более пронзительно другой женский голос дважды выкрикнул незнакомое слово:

— Дхарма! Дхарма!

В круге людей возникло смятение, он спутался, разорвался, несколько фигур отскочили от него, две или три упали па пол; к чану подскочила маленькая, коротковолосая женщина, — размахивая широкими рукавами рубахи, точно крыльями, она с невероятной быстротою понеслась вокруг чана, вскрикивая голосом чайки:

О, Аодахья!О, непобедимый!

Захарий, хватая людей за руки, воссоединил круг, снова придал вращению бешеную скорость, — люди заохали, завыли тише; маленькая полуседая женщина подскакивала, всплескивая руками, изгибаясь, точно ныряя в воду, и, снова подпрыгивая, взвизгивала:

Дхарма! Дхарма!О, Чудомани,Солнечная птица,Пламень вечный…

Люди судорожно извивались, точно стремясь разорвать цепь своих рук; казалось, что с каждой секундой они кружатся всё быстрее и нет предела этой быстроте; они снова исступленно кричали, создавая облачный вихрь, он расширялся и суживался, делая сумрак светлее и темней- отдельные фигуры, взвизгивая и рыча, запрокидывались назад, как бы стремясь упасть на пол вверх лицом, но вихревое вращение круга дергало, выпрямляло их, — тогда они снова включались в серое тело, и казалось, что оно, как смерч, вздымается вверх выше и выше. Храп, рев, вой, визг прокалывал и разрезал острый, тонкий крик:

Дхариа-и-и-я…

Круг все чаще разрывался, люди падали, тащились по полу, увлекаемые вращением серой массы, отрывались, отползали в сторону, в сумрак; круг сокращался, — некоторые, черпая горстями взволнованную воду в чане, брызгали ею в лицо друг другу и, сбитые с ног, падали. Упала и эта маленькая неестественно легкая старушка, — кто-то поднял ее на руки, вынес из круга и погрузил в темноту, точно в воду.

Самгин уже ни о чем не думал, даже как бы не чувствовал себя, но у него было ощущение, что он сидит на краю обрыва и его тянет броситься вниз. На Марину он не смотрел, помня памятью глаз, что она сидит неподвижно и выше всех. Глаза его привыкли к сумраку, он даже различал лица тех людей, которые вырвались из круга, упали и сидят, прислонясь к чану с водою. Он видел, как Захарий выхватил, вытолкнул из круга Васю; этот большой человек широко размахнул руками, как бы встречая и желая обнять кого-то, его лицо улыбалось, сияло, когда он пошел по кругу, — очень красивое и гордое лицо. Плавно разводя руками, он заговорил, отрывисто и звучно, заглушая тяжелый шум и точно вспоминая слова забытые:

— Дух летит… Витает орел белокрылый. Огненный. Поет — слышите? Поет: испепелю! Да будет прахом… Кипит солнце. Орел небес. Радуйтесь! Низвергнет. Кто властитель ада? Человек.

Два голоса очень согласно запели:

Силою сил вооружимся,Огненным духа кольцом окружимся,Плавать кораблю над землею,Небо ему парусом будет…

Круг пошел медленнее, шум стал тише, но люди падали на пол всё чаще, осталось на ногах десятка два; седой, высокий человек, пошатываясь, встал на колени, взмахнул лохматой головою и дико, яростно закричал:

— Богам богиня — вонми, послушай — пора! Гибнет род человеческий. И — погибнет! Ты же еси… Утешь — в тебе спасенье! Сойди…

Вскрикивая, он черпал горстями воду, плескал ее в сторону Марины, в лицо свое и на седую голову. Люди вставали с пола, поднимая друг друга за руки, под мышки, снова становились в круг, Захарий торопливо толкал их, устанавливал, кричал что-то и вдруг, закрыв лицо ладонями, бросился на пол, — в круг вошла Марина, и люди снова бешено, с визгом, воем, стонами, завертелись, запрыгали, как бы стремясь оторваться от пола.

Самгин видел, как Марина, остановясь у чана, распахнула рубаху на груди и, зачерпнув воды горстями, облила сначала одну, потом другую грудь.

Вскочил Захарий и, вместе с высоким, седым человеком, странно легко поднял ее, погрузил в чан, — вода выплеснулась через края и точно обожгла ноги людей, —

они взвыли, закружились еще бешенее, снова падали. взвизгивая, тащились по полу, — Марина стояла в воде неподвижно, лицо у нее было тоже неподвижное, каменное. Самгину казалось, что он видит ее медные глаза, крепко сжатые губы, — вода доходила ей выше колен, руки она подняла над головою, и они не дрожали. Вот она заговорила, но в топоте и шуме голосов ее голос был не слышен, а круг снова разрывался, люди, отлетая в сторону, шлепались на пол с мягким звуком, точно подушки, и лежали неподвижно; некоторые, отскакивая, вертелись одиноко и парами, но все падали один за другим или, протянув руки вперед, точно слепцы, пошатываясь, отходили в сторону и там тоже бессильно валились с ног, точно подрубленные. Какая-то женщина с распущенными волосами прыгала вокруг чана, вскрикивая:

— Слава, слава!

Самгин почувствовал, что он теряет сознание, встал, упираясь руками в стену, шагнул, ударился обо что-то гулкое, как пустой шкаф. Белые облака колебались пред глазами, и глазам было больно, как будто горячая пыль набилась в них. Он зажег спичку, увидел дверь, погасил огонек и, вытолкнув себя за дверь, едва удержался на ногах, — все вокруг колебалось, шумело, и ноги были мягкие, точно у пьяного.

«Кошмар», — подумал он, опираясь рукою о стену, нащупывая ногою ступени лестницы. Пришлось снова зажечь спичку. Рискуя упасть, он сбежал с лестницы, очутился в той комнате, куда сначала привел его Захарий, подошел к столу и жадно выпил стакан противно теплой воды.

«Зачем она показала мне это? Неужели думает, что я тоже способен кружиться, прыгать?» Он понимал, что думает так же механически, как ощупывает себя человек, проснувшись после тяжелого сновидения.

Где-то внизу всё еще топали, кричали, в комнате было душно, за окном, на синем, горели и таяли красные облака. Самгин решил выйти в сад, спрятаться там, подышать воздухом вечера; спустился с лестницы, но дверь в сад оказалась запертой, он постоял пред нею и снова поднялся в комнату, — там пред зеркалом стояла Марина, держа в одной руке свечу, другою спуская с плеча рубашку. Он видел отраженным в зеркале красное ее лицо, широко раскрытые глаза, прикушенную губу, — Марина качалась, пошатывалась. Самгин шагнул к ней, — она взмахнула рукою, прикрывая грудь, мокрый шелк рубашки соскользнул к ее ногам, она бросила свечу на пол и простонала негромко:

— Ой, — что ты? Уйди…

Самгин шагнул еще, наступил на горящую свечу и увидал в зеркале рядом с белым стройным телом женщины человека в сереньком костюме, в очках, с острой бородкой, с выражением испуга на вытянутом, желтом лице — с открытым ртом.

— Уйди, — повторила Марина и повернулась боком к нему, махая руками. Уйти не хватало силы, и нельзя было оторвать глаз от круглого плеча, напряженно высокой груди, от спины, окутанной массой каштановых волос, и от плоской серенькой фигурки человека с глазами из стекла. Он видел, что янтарные глаза Марины тоже смотрят на эту фигурку, — руки ее поднялись к лицу; закрыв лицо ладонями, она странно качнула головою, бросилась на тахту и крикнула пьяным голосом, топая голыми ногами:

— Ох, да иди, что ли!..

Тогда Самгин, пятясь, не сводя глаз с нее, с ее топающих ног, вышел за дверь, притворил ее, прижался к ней спиною и долго стоял в темноте, закрыв глаза, но четко и ярко видя мощное тело женщины, напряженные, точно раненые, груди, широкие, розоватые бедра, а рядом с нею — себя с растрепанной прической, с открытым ртом на сером потном лице.

Его привел в себя толчок в плечо и шопот:

— Батюшки, — кто это? Как это? Захарий, Захарий!.. В этой женщине по ее костлявому лицу скелета Самгин узнал горничную Марины, — она освещала его огнем лампы, рука ее дрожала, и в темных впадинах испуганно дрожали глаза. Вбежал Захарий, оттолкнул ее и, задыхаясь, сердито забормотал:

— Что же это вы… ходите? Нельзя! А я вас ищу, испугался! Обомлели?

Он схватил Самгина за руку, быстро свел его с лестницы, почти бегом протащил за собою десятка три шагов и, посадив на ворох валежника в саду, встал против, махая в лицо его черной полою поддевки, открывая мокрую рубаху, голые свои ноги. Он стал тоньше, длиннее, белое лицо его вытянулось, обнажив пьяные, мутные глаза, — казалось, что и борода у него стала длиннее. Мокрое лицо лоснилось и кривилось, улыбаясь, обнажая зубы, — он что-то говорил, а Самгин, как бы защищаясь от него, убеждал себя:

«Танцор, плясун из трактира».

Было неприятно, что этот молчаливый, тихий человек говорит так много.

— Все сомлели во трудах радости о духе. Радение-то ведь радость…

— Я пойду, — сказал Самгин, вставая; подхватив его под руку, Захарий повел его в глубину сада, тихонько говоря:

— Да, уж идите! Лошадь нельзя, лошадь — для нее. Подвел к пролому в заборе и, махнув длинной рукой, сказал:

— Налево мимо огородов, до часовни, а уж там увидите. Самгин пошел, держась близко к заборам и плетням, ощущая сожаление, что у него нет палки, трости. Его пошатывало, все еще кружилась голова, мучила горькая сухость во рту и резкая боль в глазах.

Дома огородников стояли далеко друг от друга, немощеная улица — безлюдна, ветер приглаживал ее пыль, вздувая легкие серые облака, шумели деревья, на огородах лаяли и завывали собаки. На другом конце города, там, куда унесли икону, в пустое небо, к серебряному блюду луны, лениво вползали ракеты, взрывы звучали чуть слышно, как тяжелые вздохи, сыпались золотые, разноцветные искры.

«Ярмарка там», — напомнил себе Самгин, устало шагая, глядя на свою тень, — она скользила, дергалась по разбитой мягкой дороге, как бы стремясь зарыться в пыль, и легко превращалась в серую фигурку человека, подавленного изумлением и жалкого. Самгин чувствовал себя все хуже. Были в жизни его моменты, когда действительность унижала его, пыталась раздавить, он вспомнил ночь 9 Января на темных улицах Петербурга, первые дни Московского восстания, тот вечер, когда избили его и Любашу, — во всех этих случаях он подчинялся страху, который взрывал в нем естественное чувство самосохранения, а сегодня он подавлен тоже, конечно, чувством биологическим, но — не только им. Сегодня он тоже испуган, но — чем? Это было непонятно.

Ему казалось, что он весь запылился, выпачкан липкой паутиной; встряхиваясь, он ощупывал костюм, ловя на нем какие-то невидимые соринки, потом, вспомнив, что, по народному поверью, так «обирают» себя люди перед смертью, глубоко сунул руки в карманы брюк, — от этого стало неловко идти, точно он связал себя. И, со стороны глядя, смешон, должно быть, человек, который шагает одиноко по безлюдной окраине, — шагает, сунув руки в карманы, Наблюдая судороги своей тени, маленький, плоский, серый, — в очках.

Он снял очки, сунул их в карман и, вынув часы, глядя на циферблат, сообразил:

«Это… этот кошмар продолжался более двух часов».

Механическая привычка думать и смутное желание опорочить, затушевать все, что

он видел, подсказывали *ему:*

«Это можно понять как символическое искание смысла жизни. Суета сует. Метафизика дикарей. Возможно, что и просто — скука сытых людей».

Вспомнилась бешеная старушка с ее странными словами.

«Вероятно — старая дева, такая же полуумная, как этот идиот, Вася».

Но он знал, что заставляет себя думать об этих людях, для того чтоб не думать о Марине. Ее участие в этом безумии — совершенно непонятно.

Если б оно не завершилось нелепым купаньем в чане, если б она идольски неподвижно просидела два часа дикой пляски этих идиотов — было бы лучше. Да, было бы понятнее. Наверное — понятнее.

Он шагал уже по людной улице, навстречу двигались нарядные люди, покрикивали пьяные, ехали извозчики, наполняя воздух шумом и треском. Все это немножко отрезвляло.

Но когда, дома, он вымылся, переоделся и с папиросой в зубах сел к чайному столу, — на него как будто облако спустилось, охватив тяжелой, тревожной грустью и даже не позволяя одевать мысли в слова. Пред ним стояли двое: он сам и нагая, великолепная женщина. Умная женщина, это — бесспорно. Умная и властная.

В этой тревоге он прожил несколько дней, чувствуя, что тупеет, подчиняется меланхолии и — боится встречи с Мариной. Она не являлась к нему и не звала его, — сам он идти к ней не решался. Он плохо спал, утратил аппетит и непрерывно прислушивался к замедленному течению вязких воспоминаний, к бессвязной смене однообразных мыслей и чувств.

У него неожиданно возник — точно подкрался откуда-то из темного уголка мозга — вопрос: чего хотела Марина, крикнув ему: «Ох, да иди, что ли!» Хотела она, чтобы он ушел, или — чтоб остался с нею? Прямого ответа на этот вопрос он не искал, понимая, что, если Марина захочет, — она заставит быть ее любовником. Завтра же заставит. И тут он снова унизительно видел себя рядом с нею пред зеркалом.

Прошло более недели, раньше чем Захарий позвонил ему по телефону, приглашая в магазин. Самгин одел новый фланелевый костюм и пошел к Марине с тем сосредоточенным настроением, с каким направлялся в суд на сложно запутанный процесс. В магазине ему конфузливо и дружески улыбнулся Захарий, вызвав неприятное подозрение:

«Дурак этот, кажется, готов считать меня тоже сумасшедшим».

Марина встретила его, как всегда, спокойно и доброжелательно. Она что-то писала, сидя за столом, перед нею стоял стеклянный кувшин с жидкостью мутножелтого цвета и со льдом. В простом платье, белом, из батиста, она казалась не такой рослой и пышной.

— Выпей, — предложила она. — Это апельсинный сок, вода и немножко белого вина. Очень освежает.

Сначала говорили о делах, а затем она спросила, рассматривая ноготь мизинца:

— Ну, что скажешь о радении?

— Я — изумлен, — осторожно ответил Самгин.

— Захарий говорил мне, что на тебя подействовало тяжело?

— Да, знаешь...

— Чем же изумлен-то?

— Ведь это — безумие, — не сразу сказал он.

— Это — вера!

Теперь Марина, вскинув голову, смотрела на него пристально, строго, и в глазах ее Самгин подметил что-то незнакомое ему, холодное и упрекающее.

— Это — больше, глубже вера, чем все, что показывают золоченые, театральные, казенные церкви с их певчими, органами, таинством евхаристии и со всеми их фокусами. Древняя, народная, всемирная вера в дух жизни…

— Мне это чуждо, — сказал Самгин, позаботясь о том, чтоб его слова не прозвучали виновато.

— А это — несчастье твое и подобных тебе, — спокойно откликнулась она, подстригая сломанный ноготь. Следя за движениями ее пальцев, Самгин негромко сказал:

— Я совершенно не понимаю, как ты можешь… Но она не дала ему кончить, снова глядя на него очень строго.

— Ты меня ни о чем не спрашивай, а что надобно тебе знать — я сама скажу. Не обижайся. Можешь думать, что я играю… от скуки, или еще что. Это — твое право.

Он замолчал, глядя на ее бюст, туго обтянутый батистом; потом, вздохнув, сознался:

— Я сожалею, что… видел тебя там… Он говорил не о том, что видел ее нагой, но Марина, должно быть, поняла его так.

— Это пустяки, — небрежно сказала она. — Но ты видел, чем издревле живут миллионы простых людей.

Она встала, встряхнув платье, пошла в угол, и оттуда Самгин услыхал ее вопрос:

— Серафиму-то Нехаеву узнал?

— Нехаева? — повторил Самгин давно забытое имя. — Там?

— Ну да! Бесновалась, седенькая, остроносая, вороной каркала: «Дхарма, Дхарма!» А наверное, толком и не знает, что такое Дхарма, Аодахья.

— Вот как… странно, — сказал Самгин, а она, подходя к столу, продолжала пренебрежительно:

— Как везде, у нас тоже есть случайные и лишние люди. Она — от закавказских прыгунов и не нашего толка. Взбалмошная. Об йогах книжку пишет, с восточными розенкрейцерами знакома будто бы. Богатая. Муж — американец, пароходы у него. Да, — вот тебе и Фимочка! Умирала, умирала и вдруг — разбогатела…

Самгин, слушая, удовлетворенно думал:

«Нет, она не может серьезно относиться к пляскам на заводе искусственных минеральных вод! Не может!»

И, почувствовав что-то очень похожее на благодарность ей, Самгин улыбнулся, а она, вылавливая ложкой кусок льда в кувшине, спросила, искоса глядя на него:

— Чему смеешься?

Он промолчал, не решаясь повторить, что не верит ей и — рад, что не верит.

— Неизлечимый ты умник, Клим Иванович, друг мой! — задумчиво сказала она, хлебнув питья из стакана. — От таких, как ты, — болен мир!

Поставив стакан на стол, она легко ладонью толкнула Самгина в лоб; горячая ладонь приятно обожгла кожу лба, Самгин поймал руку и, впервые за все время знакомства, поцеловал ее.

— Неизлечимый, — повторила она, опустив руку вдоль тела. — . Тоскуешь по вере, а — поверить боишься.

Самгину показалось, что она хочет сесть на колени его, — он пошевелился в кресле, сел покрепче, но в магазине брякнул звонок. Марина вышла из комнаты и через минуту воротилась с письмами в руке; одно из них, довольно толстое, взвесила на ладони и, небрежно бросив на диван, сказала:

— Крэйтон все упражняется в правописании на русском языке. Сломал ногу, а ударило в голову. Сватается ко мне.

— Он — что? Сватается? — спросил Самгин удивленно и, тотчас же сообразив, что удивление — неуместно, сказал-

— Это меня не удивляет.

— Да, — сказала Марина, бесшумно шагая по ковру. — Сватаются. Не один он. Они — свататься, а я — прятаться, — скучновато сказала она, остановясь, и спросила вполголоса:

— Видел меня нагую-то?

Самгин не успел ответить, — выгнув грудь, проведя руками по бедрам, она проговорила тихо, но сурово:

— Какой мужчина нужен, чтоб я от него детей понесла? То-то!

Затем, тряхнув головою, проговорила глухо, с легким хрипом в горле:

— Супругу моему я за то, по смерть мою, благодарна буду, что и любил он меня, и нежил, холил, а красоту мою — берег.

Самгину показалось, что глаза у нее влажные, — он низко наклонил голову, успев подумать:

«Говорит, как деревенская баба...» И вслед за этим почувствовал, что ему необходимо уйти, сейчас же, — последними словами она точно вытеснила, выжала из него все мысли и всякие желания. Через минуту он торопливо прощался, объяснив свою поспешность тем, что — забыл: у него есть неотложное дело.

«Цинизм и слезы», — думал он, быстро шагая по раскаленной зноем улице.

«Что-то извращенное, темное... Я должен держаться дальше от нее...»

Через несколько дней он совершенно определенно знал: он отталкивается от нее, потому что она все сильнее притягивает его, и ему нужно отойти от нее, может быть, даже уехать из города.

И в середине лета он уехал за границу.

Комментарии

Часть текста (от начала до слов: «Тишина росла, углублялась, вызывая неприятное ощущение…», стр. 98 настоящего тома) впервые опубликована в журнале «Звезда», 1930, №№ 1–4, январь — апрель. Полностью напечатано отдельной книгой одновременно издательством «Книга», 1931, и ГИХЛ, М. 1931.

К работе над третьей частью М. Горький приступил, очевидно, со второй половины февраля 1928 года, после окончания второй части.

В начале 1930 года, посылая рукопись части третьего тома «Жизни Клима Самгина» редактору журнала «Звезда», В. М. Саянову, М. Горький писал:

«Вот Вам обещанный материал.

Не мог прислать его раньше, потому что случилась идиотская история: весною, уезжая в Москву, засунул куда-то рукопись второй редакции и — не нашел ее. Принужден был работать с черновиком, восстановляя вторую редакцию по памяти…» (Архив А. М. Горького).

Из переписки М. Горького с Государственным издательством явствует, что рукопись третьего тома около 15 сентября 1930 года уже находилась в издательстве (Архив А. М. Горького).

Как видно из письма М. Горького Д. И. Курскому от 17 февраля 1931 года, том третий вышел из печати в первых числах февраля 1931 года.

Третья часть «Жизни Клима Самгина» включалась в собрания сочинений, выходившие после 1931 года.

Печатается по тексту отдельного издания «Книга», 1931, сверенному с оригиналом набора, авторской корректурой этого издания и с рукописью произведения (Архив А. М. Горького).

Берлин встретил его неприветливо: сыпался хорошо знакомый по Петербургу мелкий, серый дождь, и бастовали носильщики вокзала. Пришлось самому тащить два тяжелых чемодана, шагать подземным коридором в толпе сердитых людей, подниматься с ними вверх по лестнице. Люди, в большинстве рослые, толстые, они ворчали и рычали, бесцеремонно задевая друг друга багажом и, кажется, не извиняясь. Впереди Самгина, мешая ему, шагали двое военной выправки, в костюмах охотников, в круглых шляпах, за ленты шляп воткнуты перышки какой-то птицы. Должно быть, пытаясь рассмешить людей, обиженных носильщиками, мужчины с перышками несли на палке маленькую корзинку и притворялись, что изнемогают под тяжестью ноши По смеялась только высокая, тощая дама, обвешанная с плеч до колен разнообразными пакетами, с чемоданом в одной руке, несессером в другой; смеялась она визгливо, напряженно, из любезности; ей было очень неудобно идти, ее толкали больше, чем других, и, прерывая смех свой, она тревожно кричала шутникам:

— Мой бог! Там стекло есть! О, Рихард, там ваза… На площади, пред вокзалом, не было ни одного извозчика. По мокрым камням мостовой, сквозь частую сеть дождя, мрачно, молча шагали прилично одетые люди. Дождь был какой-то мягкий, он падал на камни совершенно бесшумно, но очень ясно был слышен однообразный плеск воды, стекавшей из водосточных труб, и сердитые шлепки шагов. Стояли плотные ряды тяжелых зданий, сырость придала им почти однообразную окраску ржавого железа. Чувствуя, как в него сквозь платье и кожу просачивается холодное уныние, Самгин поставил чемоданы, снял шляпу, вытер потный лоб и напомнил себе:

«Безвыходных положений не бывает».

Из-за его спины явился седоусый, коренастый человек, в кожаной фуражке, в синей блузе до колен, с медной бляхой на груди и в огромных башмаках.

— Две марки до ближайшего отеля, — предложил ему Самгин.

— Нет, — сказал носильщик, не взглянув на него, и вздернул плечо так, как будто отталкивал.

«Пролетарская солидарность или — страх, что товарищи вздуют?» — иронически подумал Самгин, а носильщик сбоку одним глазом заглянул в его лицо, движением подбородка указав на один из домов, громко сказал:

— Бальц пансион.

Забыв поблагодарить, Самгин поднял свои чемоданы, вступил в дождь и через час, взяв ванну, выпив кофе, сидел у окна маленькой комнатки, восстановляя в памяти сцену своего знакомства с хозяйкой пансиона. Толстая, почти шарообразная, в темнорыжем платье и сером переднике, в очках на носу, стиснутом подушечками красных щек, она прежде всего спросила:

— Вы — не еврей, нет?

Она сама быстро и ловко приготовила ванну и подала кофе, объяснив, что должна была отказать в работе племяннице забастовщика. Затем, бесцеремонно рассматривая гостя сквозь стекла очков, спросила: что делается в России? Проверяя свое знание немецкого языка, Самгин отвечал кратко, но охотно и думал, что хорошо бы, переехав границу, закрыть за собою какую-то дверь так плотно, чтоб можно было хоть на краткое время не слышать утомительный шум отечества и даже забыть о нем. А хозяйка говорила звонко, решительно и как бы не для одного, а для многих:

— Место Бебеля не в рейхстаге, а в тюрьме, где он уже сидел. Хотя и утверждают, что он не еврей, но он тоже социалист.

Улыбаясь, Самгин спросил: разве она думает, что все евреи — социалисты, и

богатые тоже?

— О, да! — гневно вскричала она. — Читайте речи Евгения Рихтера. Социалисты — это люди, которые хотят ограбить и выгнать из Германии ее законных владельцев, но этого могут хотеть только евреи. Да, да — читайте Рихтера, это — здравый, немецкий ум!

И уже с клекотом в горле она продолжала, взмахивая локтями, точно курдца крыльями:

— Германия не допустит революции, она не возьмет примером себе вашу несчастную Россию. Германия сама пример для всей Европы. Наш кайзер гениален, как Фридрих Великий, он — император, какого давно ждала история. Мой муж Мориц Бальц всегда внушал мне:

«Лизбет, ты должна благодарить бога за то, что живешь при императоре, который поставит всю Европу на колени пред немцами…»

Она была так толста и мягка, что правая ягодица ее свешивалась со стула, точно пузырь, такими же пузырями вздувались бюст и живот. А когда она встала — пузыри исчезли, потому что слились в один большой, почти не нарушая совершенства его формы. На верху его вырос красненький нарывчик с трещиной, из которой текли слова. Но за внешней ее неприглядностью Самгин открыл нечто значительное и, когда она выкатилась из комнаты, подумал:

«Русская баба этой профессии о таких вопросах не рассуждает…»

Дождь иссяк, улицу заполнила сероватая мгла, посвистывали паровозы, громыхало железо, сотрясая стекла окна, с четырехэтажного дома убирали клетки лесов однообразно коренастые рабочие в синих блузах, в смешных колпаках — вполне такие, какими изображает их «Симплициссимус». Самгин смотрел в окно, курил и, прислушиваясь к назойливому шороху мелких мыслей, настраивался лирически.

«Моя жизнь — монолог; а думаю я диалогом, всегда кому-то что-то доказываю. Как будто внутри меня живет кто-то чужой, враждебный, он следит за каждой мыслью моей, и я боюсь его. Существуют ли люди, умеющие думать без слов? Может быть, музыканты… Устал я. Чрезмерно развитая наблюдательность обременительна. Механически поглощаешь слишком много пошлого, бессмысленного».

Закрыл глаза, и во тьме явилось стройное, нагое, розоватое тело женщины.

«Если б я влюбился в нее, она вытеснила бы из меня все… Что — все? Она меня назвала неизлечимым умником, сказала, что такие, как я, болезнь мира. Это неверно. Неправда. Я — не книжник, не догматик, не моралист. Я знаю много, но не пытаюсь учить. Не выдумываю теории, которые всегда ограничивают свободный рост мысли и воображения».

Тут, как осенние мухи, на него налетели чужие, недавно прочитанные слова: «последняя, предельная свобода», «трагизм мнимого всеведения», «наивность знания, которое, как Нарцисс, любуется собою» — память подсказывала все больше таких слов, и казалось, что они шуршат вне его, в комнате.

Достал из чемодана несколько книг, в предисловии к одной из них глаза поймали фразу: «Мы принимаем все религии, все мистические учения, только бы не быть в действительности».

«Если это не поза, это уже отчаяние», — подумал он.

В окно снова хлестал дождь, было слышно, как шумит ветер. Самгин начал читать поэму Миропольского.

Чтение художественной литературы было его насущной потребностью, равной привычке курить табак. Книги обогащали его лексикон, он умел ценить ловкость и

звучность словосочетаний, любовался разнообразием словесных одежд одной и той же мысли у разных авторов, и особенно ему нравилось находить общее в людях, казалось бы, несоединимых. Читая кошачье мурлыканье Леонида Андреева, которое почти всегда переходило в тоскливый волчий вой, Самгин с удовольствием вспоминал басовитую воркотню Гончарова:

«Зачем дикое и грандиозное? Море, например. Оно наводит только грусть на человека, глядя на него, хочется плакать. Рев и бешеные раскаты валов не нежат слабого слуха, они все твердят свою, от начала мира, одну и ту же песнь мрачного и неразгаданного содержания».

Эти слова напоминали тревожный вопрос Тютчева: «О чем ты воешь, ветр ночной?» и его мольбу:

О, страшных песен сих не пойПро древний хаос…

И снова вспоминался Гончаров: «Бессилен рев зверя пред этими воплями природы, ничтожен и голос человека, и сам человек так мал и слаб…»

Затем память услужливо подсказывала «Тьму» Байрона, «Озимандию» Шелли, стихи Эдгара По, Мюссе, Бодлера, «Пламенный круг» Сологуба и многое другое этого тона — все, что было когда-то прочитано и уцелело в памяти для того, чтоб изредка прозвучать.

Но слова о ничтожестве человека пред грозной силой природы, пред законом смерти не портили настроение Самгина, он знал, что эти слова меньше всего мешают жить их авторам, если авторы физически здоровы. Он знал, что Артур Шопенгауэр, прожив 72 года и доказав, что пессимизм есть основа религиозного настроения, умер в счастливом убеждении, что его не очень веселая философия о мире, как «призраке мозга», является «лучшим созданием XIX века».

Религиозные настроения и вопросы метафизического порядка никогда не волновали Самгина, к тому же он видел, как быстро религиозная мысль Достоевского и Льва Толстого потеряла свою остроту, снижаясь к блудному пустословию Мережковского, становилась бесстрастной в холодненьких словах полунигилиста Владимира Соловьева, разлагалась в хитроумии чувственника Василия Розанова и тонула, исчезала в туманах символистов.

Достоевского он читал понемногу, с некоторым усилием над собой и находил, что этот оригинальнейший художник унижает людей наиболее осведомленно, доказательно и мудро. Ему нравилась скорбная и покорная усмешка Чехова над пошлостью жизни. Чаще всего книги показывали ему людей жалкими, запутавшимися в мелочах жизни, в противоречиях ума и чувства, в пошленьких состязаниях самолюбий. В конце концов художественная литература являлась пред ним как собеседник неглупый, иногда — очень интересный, — собеседник, с которым можно было спорить молча, молча смеяться над ним и не верить ему.

За окном по влажным стенам домов скользили желтоватые пятна солнца. Самгин швырнул на стол странную книжку, торопливо оделся, вышел на улицу и, шагая по панелям, как-то особенно жестким, вскоре отметил сходство Берлина с Петербургом, усмотрев его в обилии военных, затем нашел, что в Берлине офицера еще более напыщенны, чем в Петербурге, и вспомнил, что это уже многократно отмечалось. Шел он торговыми улицами, как бы по дну глубокой канавы, два ряда тяжелых зданий двигались встречу ему, открытые двери магазинов дышали запахами кожи, масла, табака, мяса, пряностей, всего было много, и все было раздражающе однообразно. Вспомнились слова Лютова:

«Германия — прежде всего Пруссия. Апофеоз культуры неумеренных потребителей пива. В Париже, сопоставляя Нотр Дам и Тур Эйфель, понимаешь иронию истории, тоску Мопассана, отвращение Бодлера, изящные сарказмы Анатоля Франса. В Берлине ничего не надо понимать, все совершенно ясно сказано зданием рейхстага и Аллеей Победы. Столица Пруссии — город на песке, нечто

вроде опухоли на боку Германии, камень в ее печени…»

Серые облака снова начали крошиться мелким дождем. Самгин взял извозчика и возвратился в отель. Вечером он скучал в театре, глядя, как играют пьесу Ведекинда, а на другой день с утра до вечера ходил и ездил по городу, осматривая его, затем посвятил день поездке в Потсдам. К знакомым, отрицательным оценкам Берлина он не мог ничего добавить от себя. Да, тяжелый город, скучный, и есть в нем — в зданиях и в людях — что-то угнетающе напряженное. Коренастые, крупные каменщики, плотники работают молча, угрюмо, машинально. У них такие же груди «колесом» и деревянные лица, как у военных. Очень много толстых. Самгин решил посмотреть музеи и уехать.

Вот он в музее живописи.

После тяжелой, жаркой сырости улиц было очень приятно ходить в прохладе пустынных зал. Живопись не очень интересовала Самгина. Он смотрел на посещение музеев и выставок как на обязанность культурного человека, — обязанность, которая дает темы для бесед. Картины он обычно читал, как книги, и сам видел, что это обесцвечивает их.

Останавливаясь на секунды пред изображениями тела женщин, он думал о Марине:

«Она — красивее».

О Марине думалось почему-то неприязненно, может быть, было досадно, что в этом случае искусство не возвышается над действительностью. В пейзаже оно почти всегда выше натуры. Самгин предпочитал жанру спокойные, мягкие картинки доброжелательно и романтически подкрашенной природы. Не они ли это создают настроение незнакомой ему приятной печали? Присев на диван в большом зале, он закрыл утомленные глаза, соображая: чему можно уподобить сотни этих красочных напоминаний о прошлом? Память подсказала элегические стихи Тютчева:

…элизиум теней,Безмолвных, светлых и прекрасных,Ни замыслам годины буйной сей,Ни радости, ни горю не причастных…

Он встал, пошел дальше, взволнованно повторяя стихи, остановился пред темноватым квадратом, по которому в хаотическом беспорядке разбросаны были странные фигуры фантастически смешанных форм: человеческое соединялось с птичьим и звериным, треугольник, с лицом, вписанным в него, шел на двух ногах. Произвол художника разорвал, разъединил знакомое существующее на части и комически дерзко связал эти части в невозможное, уродливое. Самгин постоял пред картиной минуты три и вдруг почувствовал, что она внушает желание повторить работу художника, — снова разбить его фигуры на части и снова соединить их, но уже так, как захотел бы он, Самгин. Протестуя против этого желания и недоумевая, он пошел прочь, но тотчас вернулся, чтоб узнать имя автора. «Иероним Босх» — прочитал он на тусклой, медной пластинке и увидел еще две маленьких, но столь же странных. Он сел в кресло и, рассматривая работу, которая как будто не определялась понятием живописи, долго пытался догадаться: что думал художник Босх, создавая из разрозненных кусков реального этот фантастический мир? И чем более он всматривался в соединение несоединимых форм птиц, зверей, геометрических фигур, тем более требовательно возникало желание разрушить все эти фигуры, найти смысл, скрытый в их угрюмой фантастике. Имя — Иероним Босх — ничего не напоминало из истории живописи. Странно, что эта раздражающая картина нашла себе место в лучшем музее столицы немцев.

Самгин спустился вниз к продавцу каталогов и фотографий. Желтолицый человечек, в шелковой шапочке, не отрывая правый глаз от газеты, сказал, что у него нет монографии о Босхе, но возможно, что они имеются в книжных магазинах. В книжном магазине нашлась монография на французском языке. Дома, после

того, как фрау Бальц накормила его жареным гусем, картофельным салатом и карпом, Самгин закурил, лег на диван и, поставив на грудь себе тяжелую книгу, стал рассматривать репродукции.

Крылатые обезьяны, птицы с головами зверей, черти в форме жуков, рыб и птиц. Около полуразрушенного шалаша испуганно скорчился святой Антоний, на него идут свинья, одетая женщиной, обезьяна в смешном колпаке; всюду ползают различные гады; под столом, неведомо зачем стоящим в пустыне, спряталась голая женщина; летают ведьмы; скелет какого-то животного играет на арфе; в воздухе летит или взвешен колокол; идет царь с головой кабана и рогами козла. В картине «Сотворение человека» Саваоф изображен безбородым юношей, в раю стоит мельница, — в каждой картине угрюмые, но все-таки смешные анахронизмы.

«Кошмар», — определил Самгин и с досадой подумал, что это мог бы сказать всякий.

В тексте монографии было указано, что картины Босха очень охотно покупал злой и мрачный король Испании, Филипп Второй.

«Может быть, царь с головой кабана и есть Филипп, — подумал Самгин. — Этот Босх поступил с действительностью, как ребенок с игрушкой, — изломал ее и затем склеил куски, как ему хотелось. Чепуха. Это годится для фельетониста провинциальной газеты. Что сказал бы о Босхе Кутузов?»

Отсыревшая папироса курилась туго, дым казался невкусным.

«И дым отечества нам сладок и приятен». Отечество пахнет скверно. Слишком часто и много крови проливается в нем. «Безумство храбрых»... Попытка выскочить «из царства необходимости в царство свободы»... Что обещает социализм человеку моего типа? То же самое одиночество, и, вероятно, еще более резко ощутимое «в пустыне — увы! — не безлюдной»... Разумеется, я не доживу до «царства свободы»... Жить для того, чтоб умереть, — это плохо придумано».

Вкус мыслей — горек, но горечь была приятна. Мысли струились с непрерывностью мелких ручейков холодной, осенней воды.

«Я — не бездарен. Я умею видеть нечто, чего другие не видят. Своеобразие моего ума было отмечено еще в детстве...»

Ему казалось, что в нем зарождается некое новое настроение, но он не мог понять, что именно ново? Мысли самосильно принимали точные словесные формы, являясь давно знакомыми, он часто встречал их в книгах. Он дремал, но заснуть не удавалось, будили толчки непонятной тревоги.

«Что нравилось королю Испании в картинах Босха?» — думал он.

Вечером — в нелепом сарае Винтергартена — он подозрительно наблюдал, как на эстраде два эксцентрика изощряются в комических попытках нарушить обычное. В глумливых фокусах этих ловких людей было что-то явно двусмысленное, — публика не смеялась, и можно было думать, что серьезность, с которой они извращали общепринятое, обижает людей.

«Босх тоже был эксцентрик», — решил Самгин.

Впереди и вправо от него сидел человек в сером костюме, с неряшливо растрепанными волосами на голове; взмахивая газетой, он беспокойно оглядывался, лицо у него длинное, с острой бородкой, костлявое, большеглазое.

«Русский. Я его где-то видел», — отметил Самгин и стал наклонять голову каждый раз, когда этот человек оглядывался. Но в антракте человек встал рядом с ним и заговорил глухим, сиповатым голосом:

— Самгин, да? Долганов. Помните — Финляндия, Выборг? Газеты читали? Нет?

Оттолкнув Самгина плечом к стене и понизив голос до хриплого шопота, он торопливо пробормотал:

— Взорвали дачу Столыпина. Уцелел. Народу перекрошили человек двадцать. Знакомая одна — Любимова — попала…

— Как — попала? Арестована? — вздрогнув, спросил Самгин.

— Убита. С ребенком.

— Любимова?

— Что — знали? Я — тоже. В юности. Привлекалась по делу народоправцев — Марк Натансон, Ромась, Андрей Лежава. Вела себя — неважно… Слушайте — ну его к чорту, этот балаган! Идемте в трактир, посидим. Событие. Потолкуем.

Он дергал Самгина за руку, задыхался, сухо покашливал, хрипел. Самгин заметил, что его и Долганова бесцеремонно рассматривают неподвижными глазами какие-то красноролжие, спокойные люди. Он пошел к выходу.

«Любимова… Неужели та?»

Хотелось расспросить подробно, но Долганов не давал места вопросам, покачиваясь на длинных ногах, толкал его плечом и хрипел отрывисто:

— Да, вот вам. Фейерверк. Политическая ошибка. Террор при наличии представительного правления. Черти… Я — с трудовиками. За черную работу. Вы что — эсдек? Не понимаю. Ленин сошел с ума. Беки не поняли урок Московского восстания. Пора опамятоваться. Задача здравомыслящих — организация всей демократии.

Самгин толкнул дверь маленького ресторана. Свободный стол нашли в углу у двери в комнату, где щелкали шары биллиарда.

— Мне черного пива, — сказал Долганов. — Пиво — полезно. Я — из Давоса. Туберкулез. Пневматоракс. Схватил в Тотьме, в ссылке. Тоже — дыра, как Давос. Соскучился о людях. Вы — эмигрировали?

— Нет. Вояжирую.

— Ага. Как думаете: кадеты возьмут в тиски всю сволочь — октябристов, монархистов и прочих? Интеллигенция вся, сплошь организована ими, кадетами…

В густом гуле всхрапывающей немецкой речи глухой, бесцветный голос Долганова был плохо слышен, отрывистые слова звучали невнятно. Самгин ждал, когда он устанет. Долганов жадно глотал пиво, в груди его хлюпало и хрустело, жаркие глаза, щурясь, как будто щипали кожу лица Самгина. Пивная пена висела на бороде и усах, уныло опущенных ниже подбородка, — можно было вообразить, что пенятся слова Долганова. Из-под усов неприятно светились Два золотых зуба. Он говорил, говорил, а глаза его разгорались все жарче, лихорадочней. Самгин вдруг представил его мертвым: на белой подушке серое, землистое лицо, с погасшими глазами в темных ямах, с заостренным носом, а рот — приоткрыт, и в нем эти два золотых клыка. Захотелось поскорее уйти от него.

— Любимова, это фамилия по отцу? — спросил он, когда Долганов задохнулся.

— По мужу. Истомина — по отцу. Да, — сказал Долганов, отбрасывая пальцем вправо-влево мокрые жгутики усов. — Темная фигура. Хотя — кто знает? Савелий Любимов, приятель мой, — не верил, пожалел ее, обвенчался. Вероятно, она хотела переменить фамилию. Чтоб забыли о ней. Нох эйн маль, — скомандовал он кельнеру, проходившему мимо.

Самгину хотелось спросить: какая она, сколько ей лет, но Долганов откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и этим заставил Самгина быстро вскочить на ноги.

— Мне — пора, будьте здоровы!

— Что вы делаете завтра? Идем в рейхстаг? Не заседает? Вот черти! Где вы остановились?

Самгин сказал, что завтра утром должен ехать в Дрезден, и не очень вежливо вытянул свои пальцы из его влажной, горячей ладони. Быстро шагая по слаб? освещенной и пустой улице, обернув руку платком, он чувствовал, что нуждается в утешении или же должен оправдаться в чем-то пред собой.

«Любимова…»

Она давно уже истлела в его памяти, этот чахоточный точно воскресил ее из мертвых. Он вспомнил осторожный жест, которым эта женщина укладывала в корсет свои груди, вспомнил ее молчаливую нежность. Что еще осталось в памяти от нее?.. Ничего не осталось.

Он чувствовал, что встреча с Долгановым нарушила, прервала новое, еще неясное, но очень важное течение его мысли, вспыхнувшее в атом городе. Раздраженно постукивая тростью по камню панели, он думал:

«Плох. Может умереть в вагоне по дороге в Россию. Немцы зароют его в землю, аккуратно отправят документы русскому консулу, консул пошлет их на родину Долганова, а — там у него никого нет. Ни души».

Вздрогнув, он сунул трость под мышку, прижал локти к бокам, пошел тише, как бы чувствуя, что приближается к опасному месту.

«Родится человек, долго чему-то учится, испытывает множество различных неприятностей, решает социальные вопросы, потому что действительность враждебна ему, тратит силы на поиски душевной близости с женщиной, — наиболее бесплодная трата сил. В сорок лет человек становится одиноким…»

Поняв, что он думает о себе, Самгин снова и уже озлобленно попробовал возвратиться к Долганову.

«В сущности — ничтожество».

Но оторвать мысли от судьбы одинокого человека было уже трудно, с ними он приехал в свой отель, с ними лег спать и долго не мог уснуть, представляя сам себя на различных путях жизни, прислушиваясь к железному грохоту и хлопотливым свисткам паровозов на вагонном дворе. Крупный дождь похлестал в окна минут десять и сразу оборвался, как проглоченный тьмой.

Утром, неохотно исполняя обязанности путешественника, вооруженный красной книжкой Бедекера, Самгин шагал по улицам сплошь каменного города, и этот аккуратный, неуютный город вызывал у него тяжелую скуку. Сыроватый ветер разгонял людей по всем направлениям, цокали подковы огромных мохнатоногих лошадей, шли солдаты, трещал барабан, изредка скользил и трубил, как слон, автомобиль, — немцы останавливались, почтительно уступая ему дорогу, провожали его ласковыми глазами. Самгин очутился на площади, по которой аккуратно расставлены тяжелые здания, почти над каждым из них, в сизых облаках, сиял собственный кусок голубого неба — все это музеи. Раньше чем Самгин выбрал, в который идти, — грянул гром, хлынул дождь и загнал его в ближайший музей, там было собрано оружие, стены пестро и скучно раскрашены живописью, всё эпизоды австро-прусской и франко-прусской войн. В стойках торчали ружья различных систем, шпаги, сабли, самострелы, мечи, копья, кинжалы, стояли чучела лошадей, покрытых железом, а на хребтах лошадей возвышалась железная скорлупа рыцарей. От множества разнообразно обработанного железа исходил тошнотворно масляный и холодный запах. Самгин брезгливо подумал, что, наверное, многие из этих инструментов исполнения воинского долга разрубали черепа людей, отсекали руки, прокалывали груди,

животы, обильно смачивая кровью грязь и пыль земли.

«Идиотизм, — решил он. — Зимой начну писать. О людях. Сначала напишу портреты. Начну с Лютова».

Каждый раз, когда он думал о Лютове, — ему вспоминалась сцена ловли несуществующего сома и вставал вопрос: почему Лютов смеялся, зная, что мельник обманул его? Было в этой сцене что-то аллегорическое и обидное. И вообще Лютов всегда хитрит. Может быть, сам с собой хитрит? Нельзя понять: чего он хочет?

«Буду писать людей такими, как вижу, честно писать, не давая воли антипатиям. И симпатиям», — добавил он, сообразив, что симпатии тоже возможны.

Память произвольно выдвинула фигуру Степана Кутузова, но сама нашла, что неуместно ставить этого человека впереди всех других, и с неодолимой, только ей доступной быстротою отодвинула большевика в сторону, заместив его вереницей людей менее антипатичных. Дунаев, Поярков, Иноков, товарищ Яков, суховатая Елизавета Спивак с холодным лицом и спокойным взглядом голубых глаз. Стратонов, Тагильский, Дьякон, Диомидов, Безбедов, брат Димитрий… Любаша… Маргарита, Марина…

Потребовалось значительное усилие для того, чтоб прекратить парад, в котором не было ничего приятного.

«Большинство людей — только части целого, как на картинах Иеронима Босха. Обломки мира, разрушенного фантазией художника», — подумал Самгин и вздохнул, чувствуя, что нашел нечто, чем объяснялось его отношение к людям. Затем он поискал: где его симпатии? И — усмехнулся, когда нашел:

«Анфимьевна, Раба. Святая рабыня. В конце дней она- соприкоснулась бунту, но как раба…»

В окна заглянуло солнце, ржавый сумрак музея посветлел, многочисленные гребни штыков заблестели еще холоднее, и особенно ледянисто осветилась железная скорлупа рыцарей. Самгин попытался вспомнить стихи из былины о том, «как перевелись богатыри на Руси», но [вспомнил] внезапно кошмар, пережитый им в ночь, когда он видел себя расколотым на десятки, на толпу Самгиных. Очень неприятное воспоминание. Вечером он выехал в Дрезден и там долго сидел против Мадонны, соображая: что мог бы сказать о ней Клим Иванович Самгин? Ничего оригинального не нашлось, а все пошлое уже было сказано. В Мюнхене он отметил, что баварцы толще пруссаков, картин в этом городе, кажется, не меньше, чем в Берлине, а погода — еще хуже. От картин, от музеев он устал, от солидной немецкой скуки решил перебраться в Швейцарию, — там жила мать. Слово «мать» потребовало наполнения.

«Красива, умела одеться, избалована вниманием мужчин. Книжной мудростью не очень утруждала себя. Рациональна. Правильно оценила отца и хорошо выбрала друга, — Варавка был наиболее интересный человек в городе. И — легко «делал деньги»…

Затем вспомнился рыжеволосый мудрец Томилин в саду, на коленях пред матерью.

«У него тоже были свои мысли, — подумал Самгин, вздохнув. — Да. «познание — третий инстинкт». Оказалось, что эта мысль приводит к богу… Убого. Убожество. «Утверждение земного реального опыта как истины требует служения этой истине или противодействия ей, а она, чрез некоторое время, объявляет себя ложью. И так, бесплодно, трудится, кружится разум, доколе не восчувствует, что в центре круга — тайна, именуемая бог».

Он заставил память найти автора этой цитаты, а пока она рылась в прочитанных книгах, поезд ворвался в туннель и, оглушая грохотом, покатился как будто под гору в пропасть, в непроницаемую тьму.

Поутру Самгин был в Женеве, а около полудня отправился на свидание с матерью. Она жила на берегу озера, в маленьком домике, слишком щедро украшенном лепкой, похожем на кондитерский торт. Домик уютно прятался в полукруге плодовых деревьев, солнце благосклонно освещало румяные плоды яблонь, под одной из них, на мраморной скамье, сидела с книгой в руке Вера Петровна в платье небесного цвета, поза ее напомнила сыну снимок с памятника Мопассану в парке Монсо.

— О, дорогой мой, я так рада, — заговорила она по-французски и, видимо опасаясь, что он обнимет, поцелует ее, — решительно, как бы отталкивая, подняла руку свою к его лицу. Сын поцеловал руку, холодную, отшлифованную, точно лайка, пропитанную духами, взглянул в лицо матери и одобрительно подумал:

«Молодчина».

— Ты пришел на ногах? — спросила она, переводя с французского. — Останемся здесь, это любимое мое место. Через полчаса — обед, мы успеем поговорить.

Встала, освобождая место на скамье, и снова села, подложив под себя кожаную подушку.

— Ты имеешь очень хороший вид. Но уже немножко седой. Так рано…

Самгин отвечал междометиями, улыбками, пожиманием плеч, — трудно было найти удобные слова. Мать говорила не своим голосом, более густо, тише и не так самоуверенно, как прежде. Ее лицо сильно напудрено, однако сквозь пудру все-таки просвечивает какая-то фиолетовая кожа. Он не мог рассмотреть выражения ее подкрашенных глаз, прикрытых искусно удлиненными ресницами. Из ярких губ торопливо сыпались мелкие, ненужные слова.

— Что же делается там, в России? Всё еще бросают бомбы? Почему Дума не запретит эти эксцессы? Ах, ты не можешь представить себе, как мы теряем во мнении Европы! Я очень боюсь, что нам перестанут давать деньги, — займы, понимаешь?

Самгин, усмехаясь, сказал:

— Дадут.

Он слышал тревогу в словах матери, но тревога эта казалась ему вызванной не соображениями о займах, а чем-то другим. Так и было.

— Многие предсказывают, что Россия обанкротится, — поспешно сказала она и, касаясь его руки, спросила:

— Надеюсь, ты приехал просто так… не эмигрировал, нет? Ах, как я рада! Впрочем, я была уверена в твоем благоразумии.

И, вздохнув, она заговорила более спокойно:

— Я — не понимаю: что это значит? Мы протестовали, нам дали конституцию. И вот снова эмигранты, бомбы. Дмитрий, конечно, тоже в оппозиции, да?

— Не думаю. А впрочем — не знаю, он давно не писал мне.

Утвердительно качнув пышно причесанной головою, мать сказала:

— О, наверное, наверное! Революции делают люди бездарные и… упрямые. Он из таких. Это — не моя мысль, но это очень верно. Не правда ли?

Самгин хотел согласиться с этой мыслью, но — воздержался. Мать вызывала чувство жалости к ней, и это связывало ему язык. Во всем, что она говорила, он слышал искусственное напряжение, неискренность, которая, должно быть, тяготила ее. Яблоко сорвалось с ветки, упало в траву, и — как будто розовый

цветок вдруг расцвел в траве.

— Здесь очень много русских, и — представь! — на-днях я, кажется, видела Алину, с этим ее купцом. Но мне уже не хочется бесконечных русских разговоров. Я слишком много видела людей, которые всё знают, но не умеют жить. Неудачники, все неудачники. И очень озлоблены, потому что неудачники. Но — пойдем в дом.

Она привела сына в маленькую комнату с мебелью в чехлах. Два окна были занавешены кисеей цвета чайной розы, извне их затеняла зелень деревьев, мягкий сумрак был наполнен крепким запахом яблок, лента солнца висела в воздухе и, упираясь в маленький круглый столик, освещала на нем хоровод семи слонов из кости и голубого стекла. Вера Петровна говорила тихо и поспешно:

— Мне удалось очень дешево купить этот дом. Половину его я сдаю доктору Ипполиту Донадьё…

«Дань богу?» — мысленно перевел Клим, — лицо матери он видел в профиль, и ему показалось, что ухо ее дрожит.

— Очень культурный человек, знаток музыки и замечательный оратор. Вице-президент общества гигиенистов. Ты, конечно, знаешь: здесь так много больных, что нужно очень оберегать здоровье здоровых.

Настроение Самгина становилось тягостным. С матерью было скучно, неловко и являлось чувство, похожее на стыд за эту скуку. В двери из сада появился высокий человек в светлом костюме и, размахивая панамой, заговорил грубоватым басом:

— И вот, машер, как я знал, как убеждал тебя… Взмахнув руками, точно желая обнять или оттолкнуть его, не пустить в комнату, Вера Петровна сказала неестественно громко:

— Мой сын, Клим.

Доктор Донадьё сильно обрадовался, схватил руку Самгина, встряхнул ее и осыпал его градом картавых слов. Улавливая отдельные слова и фразы, Клим понял, что знакомство с русским всегда доставляло доктору большое удовольствие; что в 903 году доктор был в Одессе, — прекрасный, почти европейский город, и очень печально, что революция уничтожила его. Возможно, что он, Донадьё, не все понимает, но не только он, а вообще все французы одного мнения: революция в России — преждевременна. И, подмигнув, улыбаясь, он добавил:

— В этом французы кое-что понимают — не так ли? Длинный, тощий, с остатками черных, с проседью, курчавых и, видимо, жестких волос на желтом черепе, в форме дыни, с бородкой клином, горбоносый, он говорил неутомимо, взмахивая густыми бровями, такие же густые усы быстро шевелились над нижней, очень толстой губой, сияли и таяли влажные, точно смазанные маслом, темные глаза. Заметив, что сын не очень легко владеет языком Франции, мать заботливо подсказывала сыну слова, переводила фразы и этим еще более стесняла его.

— Мир вдохновляется Францией, — говорил доктор, размахивая левой рукой, а правой вынул часы из кармана жилета и показал циферблат Вере Петровне.

— Сейчас, — сказала она, а квартирант и нахлебник ее продолжал торопливо воздавать славу Франции, вынудив Веру Петровну напомнить, что Тургенев был другом знаменитых писателей Франции, что русские декаденты — ученики французов и что нигде не любят Францию так горячо, как в России.

— Нас любят все, кроме немцев, — турки, японцы, — возгласил доктор. — Турки без ума от Фаррера, японцы — от Лоти. Читали вы «Рай животных» Франсис Жамм? О, — это вещь!

Он не очень интересовался, слушают ли его, и хотя часто спрашивал: не такали? — но ответов не ждал. Мать позвала к столу, доктор взял Клима под руку и,

раскачиваясь на ходу, как австрийский тамбур-мажор, растроганно сказал:

— Я — оптимист. Я верю, что все люди более или менее, но всегда удачные творения величайшего артиста, которого именуем — бог!

«Донадьё», — вспомнил Самгин, чувствуя желание придумать каламбур, а мать безжалостно спросила его:

— Ты — понял?

В столовой доктор стал менее красноречив, но еще более дидактичен.

— Я — эстет, — говорил он, укрепляя салфетку под бородой. — Для меня революция — тоже искусство, трагическое искусство немногих сильных, искусство героев. Но — не масс, как думают немецкие социалисты, о, нет, не масс! Масса — это вещество, из которого делаются герои, это материал, но — не вещь!

Затем он принялся есть, глубоко обнажая крепкие зубы, прищуривая глаза от удовольствия насыщаться, сладостно вздыхая, урча и двигая ушами в четкой форме цифры 9. Мать ела с таким же наслаждением, как доктор, так же много, но молча, подтверждая речь доктора только кивками головы.

«Проживет она с этим гигиенистом все свои деньги», — грубо подумал Самгин, и чувство жалости к матери вдруг окрасилось неприязнью к ней. Доктор угощал:

— Попробуйте это вино. Его присылает мне из Прованса мой дядя. Это — чистейшая кровь нашего южного солнца. У Франции есть все и — даже лишнее: Эйфелева башня. Это сказал Мопассан. Бедняга! Венера была немилостива к нему.

После обеда Донадьё осовел, отказался от кофе и, закурив маленькую сигару, сообщил, тяжко вздыхая:

— К сожалению — через час у меня заседание. Но мы, конечно, увидимся…

— Да, — сказала мать, но так неуверенно, что Клим Иванович понял: она спрашивает.

— Я сегодня же еду в Париж, — сообщил он. Доктор оживленно простился, мать, помолчав, размешивая кофе, осведомилась:

— Ты очень торопишься?

— Да, ждет клиент.

— Твои дела не плохи?

— Вполне приличны. Не обидишься, если я уйду? Хочется взглянуть на город. А ты, наверное, отдыхаешь в этот час?

Вера Петровна встала. Клим, взглянув в лицо ее, — отметил: дрожит подбородок, а глаза жалобно расширены. Это почти испугало его.

«Начнет объясняться».

— Ты понимаешь, Клим, в мире так одиноко, — начала она. Самгин взял ее руку, поцеловал и заговорил ласково, как только мог.

— А он очень интересный человек.

Хотелось прибавить: «Ограбит он тебя», но сказалось:

— Будь здорова, мама! Очень уютно устроилась ты. Вера Петровна молчала, глядя в сторону, обмахивая лицо кружевным платком. Так молча она проводила его до решетки сада. Через десяток шагов он обернулся — мать еще стояла у решетки,

держась за копья обеими руками и вставив лицо между рук. Самгин почувствовал неприятный толчок в груди и вздохнул так, как будто все время задерживал дыхание. Он пошел дальше, соображая:

«Что она думает обо мне?» Затем упрекнул себя:

«Следовало сказать ей что-нибудь… лирическое». Но упрек тотчас же обратился на мать. «С ее средствами она могла бы устроиться не так… шаблонно. Донадьё! Какой-то ветеринар».

Он долго, до усталости, шагал по чистеньким улицам города, за ним, как тень его, ползли растрепанные мысли. Они не мешали ему отметить обилие часовых магазинов, а также стариков и старушек, одетых как-то особенно скучно и прочно, — одетых на долгую, спокойную жизнь. Вспомнились свои, домашние старики и прежде всех — историк Козлов, с его старомодной фразой: «Как истый любитель чая и пьющий его безо всяких добавлений…» Тот же Козлов во главе монархической манифестации, с открытой, ревущей, маленькой пастью, с палкой в руке. Дьякон. Седобородый беллетрист-народник…

«Стариков я знал мало».

Вечером он сидел за городом на террасе маленького ресторана, ожидая пива, курил, оглядывался. Налево, в зеленой долине, блестела Рона, направо — зеркало озера отражало красное пламя заходящего солнца. Горы прикрыты и смягчены голубоватым туманом, в чистенькое небо глубоко вонзился пик Дан-дю-Миди. По берегам озера аккуратно прилеплены белые домики, вдали они сгруппировались тесной толпой в маленький город, но висят и над ним, разбросанные по уступам гор, вползая на обнаженные, синеватые высоты к серебряным хребтам снежных вершин. Из города, по озеру, сквозь голубую тишину плывет музыка, расстояние, смягчая медные вопли труб, придает музыке тон мечтательный, печальный. Над озером в музыке летают кривокрылые белые чайки, но их отражения на воде кажутся розовыми. В общем все очень картинно и природа с полной точностью воспроизводит раскрашенные почтовые открытки.

«Почти нет мух, — отмечал Самгин. — И вообще — мало насекомых. А — зачем нужен мне этот изломанный, горбатый мир?»

Пиво, вкусное и в меру холодное, подала широкобедрая, пышногрудая девица, с ласковыми глазами на большом, румяном лице. Пухлые губы ее улыбались как будто нежно или — утомленно. Допустимо, что это утомление от счастья жить ни о чем не думая в чистенькой, тихой стране, — жить в ожидании неизбежного счастья замужества…

«Нищенски мало внесли женщины в мою жизнь».

Четверо крупных людей умеренно пьют пиво, окутывая друг друга дымом сигар, они беседуют спокойно: должно быть, решили все спорные вопросы. У окна два старика, похожие друг на друга более, чем братья, безмолвно играют в карты. Люди здесь угловаты соответственно пейзажу. Улыбаясь, обнажают очень белые зубы, но улыбка почти не изменяет солидно застывшие лица.

«Живут в согласии с природой и за счет чахоточных иностранцев», — иронически подумал Клим Иванович Самгин, — подумал и рассердился на кого-то.

«Почему мои мысли укладываются в чужие, пошлые формы? Я так часто замечаю это, но — почему не могу избегать?»

Мимо террасы, поспешно шагали двое, один, без шляпы на голове, чистил апельсин, а другой, размахивая платком или бумагой, говорил по-русски:

— Плеханов — прав.

— Так что же — с кадетами идти? — очень звонко спросил человек без шляпы, из

рук его выскочила корка апельсина, он нагнулся, чтоб поднять ее, но у него соскользнуло пенснэ с носа, быстро выпрямясь, он поймал шнурок пенснэ и забыл о корке. А покуда он проделывал все это, человек с бумагой успел сказать:

— Социализм без демократии — нонсенс, а демократия — с ними.

Прошли. В десятке шагов за ними следовал высокий старик, брезгливо приподняв пышные белые усы, он тростью гнал пред собой корку апельсина, корка непослушно увертывалась от ударов, соскакивала на мостовую, старик снова загонял ее на панель и наконец, затискав в решетку для стока воды, победоносно взмахнул тростью.

«Хозяин», — отметил Самгин.

Становилось темнее, с гор повеяло душистой свежестью, вспыхивали огни, на черной плоскости озера являлись медные трещины. Синеватое туманное небо казалось очень близким земле, звезды без лучей, похожие на куски янтаря, не углубляли его. Впервые Самгин подумал, что небо может быть очень бедным и грустным. Взглянул на часы: до поезда в Париж оставалось больше двух часов. Он заплатил за пиво, обрадовал картинную девицу крупной прибавкой на чай и не спеша пошел домой, размышляя о старике, о корке:

«Широкие русские натуры обычно высмеивают бытовую дисциплину Европы, но…»

Из переулка, точно с горы, скатилась женщина и, сильно толкнув, отскочила к стене, пробормотала по-русски:

— О, чорт, — простите…

И тотчас же, схватив его одной рукой за плечо, другой — за рукав, она, задыхаясь, продолжала:

— Ты? Ой, идем скорее. Лютов застрелился… Идем же! Ты — что? Не узнал?

— Дуняша, — ошеломленно произнес Самгин, заглядывая в ее лицо, в мерцающие глаза, влажные от слез, она толкала его, тащила и, сухо всхлипывая, быстро рассказывала:

— Вчера был веселый, смешной, как всегда. Я пришла, а там скандалит полиция, не пускают меня. Алины — нет, Макарова — тоже, а я не знаю языка. Растолкала всех, пробилась в комнату, а он… лежит, и револьвер на полу. О, чорт! Побежала за Иноковым, вдруг — ты. Ну, скорее!..

— Ты мешаешь мне идти, — пожаловался Клим Иванович.

— Ах, пустяки! Сюда, сюда…

Она втиснула его за железную решетку в сад, там молча стояло человек десять мужчин и женщин, на каменных ступенях крыльца сидел полицейский; он встал, оказался очень большим, широким, заткнув собою дверь в дом, он сказал что-то негромко и невнятно.

— Пусти, дурак, — тоже негромко пробормотала Дуняша, толкнула его плечом. — Ничего не понимают, — прибавила она, протаскивая Самгина в дверь. В комнате у окна стоял человек в белом с сигарой в зубах, другой, в черном, с галунами, сидел верхом на стуле, он строго спросил:

— Вы — родственник?

Клим Иванович молча кивнул головой, а Дуняша сердито сказала:

— Иди, иди! Нечего с ними церемониться. Они с нами не церемонятся.

Протолкнув его в следующую комнату, она прижалась плечом к двери, вытерла

лицо ладонями, потом, достав платок, смяла его в ком и крепко прижала ко рту. Клим Иванович Самгин понимал, что ему нужно смотреть не на Дуняшу, а направо, где горит лампа. Но туда он не сразу повернул лицо свое. Там, на кушетке, лежал вверх лицом Лютов в белой рубашке с мягким воротом. На столе горела маленькая лампа под зеленым абажуром, неприятно окрашивая лицо Лютова в два цвета: лоб — зеленоватый, «нижняя часть лица, от глаз до бородки, устрашающе темная. Самгину казалось, [что он видит] знакомую, кривенькую улыбочку, прищуренные глаза. Захотелось уйти. но в двери стоял полицейский с галунами, размахивал квадратным куском бумаги пред лицом Дуняши и сдержанно рычал. Он шагнул к Самгину и поставил сразу четыре вопроса:

— Вы — русский? Это — ваш родственник? Это ой писал? Что здесь написано?

Самгин взял из его руки конверт, там, где пишут адрес, было написано толстыми я прямыми буквами:

«Прости, милый друг, Аля, что наскандалил, но, понимаешь, больше не могу. Влад. Л.».

Он машинально перевел полицейскому слова записки и подвинулся к двери, очень хотелось уйти, но полицейский стоял в двери и рычал все более громко, сердито, а Дуняша уговаривала его:

— Да пошел ты вон!

Время шло медленно и все медленнее, Самгин чувствовал, что погружается в холод какой-то пустоты, в состояние бездумья, но вот золотистая голова Дуняши исчезла, на месте ее величественно встала Алина, вся в белом, точно мраморная. Несколько секунд она стояла рядом с ним — шумно дыша, становясь как будто еще выше. Самгин видел, как ее картинное лицо побелело, некрасиво выкатились глаза, неестественно низким голосом она сказала:

— Ой, нет, нет… Володька!

Упала на колени и, хватая руками в перчатках лицо, руки, грудь Лютова, перекатывая голову его по пестрой подушке, встряхивая, — завыла, как воют деревенские бабы.

Завыла и Дуняша, Самгин видел, как с лица ее на плечо Алины капают слезы. Рядом с ним встал Макаров, пробормотав:

— Удрал Володя…

С кушетки свесилась правая рука Лютова, пальцы ее нехорошо изогнуты, растопырены, точно готовились схватить что-то, а указательный вытянут и указывает в пол, почти касаясь его. Срывая перчатки с рук своих, Алина Причитала:

— Милая моя душа, нежная душа моя… Умница. Дуняша, всхлипывая, снимала шляпку с ее пышных волос, и когда сняла — Алина встала на ноги, растрепанная так, как будто долго шла против сильного ветра.

— Небрежничала я с ним, — стонала она. — Уставала от его тревог. Володя — как же это? Что же мне осталось?

Голос ее звучал все крепче, в нем слышалось нарастание ярости. Без шляпы на голове, лицо ее, осыпанное волосами, стало маленьким и жалким, влажные глаза тоже стали меньше.

— Не любил он себя, — слышал Самгин. — А людей — всех, как нянька. Всех понимал. Стыдился за всех. Шутом себя делал, только бы не догадывались, что он все понимает…

Макаров взял Алину за плечи.

— Ну — довольно! Перестань. Здесь шума не любят.

— Молчи, ты! — крикнула она, расстегивая воротник блузы, разрывая какие-то тесемки.

— Полиция просит убрать тело скорее. Хоронить будем в Москве?

— Ни за что! — яростно вскричала женщина. — Здесь. И сама останусь здесь. Навсегда. Будь она проклята, Москва, и вы, все!

Дуняша положила руку Лютова на грудь его, но рука снова сползла и палец коснулся паркета. Упрямство мертвой руки не понравилось Самгину, даже заставило его вздрогнуть. Макаров молча оттеснил Алину в угол комнаты, ударом ноги открыл там дверь, сказал Дуняше:

«Иди к ней!» — и обратился к Самгину:

— Последи, чтоб женщины не делали глупостей, я, на полчаса, в полицию.

Пожав плечами, Самгин вслед за ним вышел в сад, сел на чугунную скамью, вынул папиросу. К нему тотчас же подошел толстый человек в цилиндре, похожий на берлинского извозчика, он объявил себя агентом «Бюро похоронных процессий».

«Как это все не нужно: Лютов, Дуняша, Макаров… — думал Самгин, отмахиваясь от агента. — До смешного тесно на земле. И однообразны пути людей».

Закурил. Посмотрел на часы, — до поезда в Париж с лишком два часа. Тусклый кружок луны наливался светом, туман над озером тоже светлел, с гор ползли облака, за ними влачились тени. В двух точках города звучала музыка, в одной особенно выделялся корнет-а-пистон, в другой — виолончель. Музыка не помогала Самгину найти в памяти своей печальный афоризм, приличный случаю, и ощущение пустоты усиливалось от этого. Все-таки он вспомнил, что, когда умирал Спивак и над трубой флигеля струился гретый воздух, Варвара, заметив это едва уловимое глазом колебание прозрачности, заставила его почувствовать тоже что-то неуловимое словами. Пред глазами плавало серое лицо, с кривенькой усмешкой тонких, темных губ, указательный палец, касавшийся пола. Быстро, одна за другою, вспоминались встречи с Лютовым, беспокойные глаза его, игривые, двусмысленные фразы. Что скрывалось за всем этим? Неужели Алина сказала правду: «Стыдился за всех, шутом себя делал, чтоб не догадались, что он все понимает»? Вспомнилась печальная шутка Питера Альтенберга: «Так же, как хорошая книга, прочитанная до последней строки, — человек иногда разрешает понять его только после смерти».

Вышла Дуняша, мигая оплаканными глазами, посмотрела на Самгина, села рядом, говоря вполголоса:

— Выгнала. Ой, боюсь я за нее! Что она будет делать? Володя был для нее отцом и другом…

— А — Макаров любовником? — спросил Самгин, вставая.

— Нет, нет — что ты! Он? Такой… замороженный… Ты — куда? Пожалуйста — не уходи! Макарову надобно идти в полицию, я — немая, Алину нельзя оставлять, нельзя!

Схватив его за руку, посадила рядом с собой.

— Ты — эмигрант?

— Нет.

— А Иноков — эмигрировал.

— Он — здесь?

— Да. Я с ним живу.

— Вот как! Давно?

— Уже больше года. Он — хороший.

— Поздравляю, — сказал Самгин и неожиданно для себя прибавил: — Берегись, не усадил бы он тебя в тюрьму.

— Ой, что это? Ревнуешь? — удивленно спросила женщина. Самгин тоже был удивлен, чувствуя, что связь ее с Иноковым обидела его. Но он поспешно сказал:

— Разумеется — нет!.. Может быть — немножко. Вышел Макаров и, указывая папиросой на окно, сказал Самгину:

— Хочет поговорить с тобой…

Внутренне протестуя, Самгин вошел в дом. Алина в. расстегнутой кофте, глубоко обнажив шею и плечо, видела в кресле, прикрыв рот платком, кадык ее судорожно шевелился. В правой руке ее гребенка, рука перекинута через ручку кресла и тихонько вздрагивает, казалось, что и все ее тело тихонько дрожит, только глаза неподвижно остановились на лице Лютова, клочковатые волосы его были чем-то смазаны, гладко причесаны, и лицо стало благообразнее. Самгин с минуту стоял молча, собираясь сказать что-нибудь оригинальное, но не успел, — заговорила Алина, сочный низкий голос ее звучал глухо, невыразительно, прерывался.

— Все-таки это — эгоизм, рвать связи с людями… так страшно!

— Да, — согласился Самгин.

— Он тебя не любил.

— Разве?

— Говорил, что все люди для тебя безразличны, ты презираешь людей. Держишь — как песок в кармане — умишко второго сорта и швыряешь в глаза людям, понемногу, щепотками, а настоящий твой ум прячешь до времени, когда тебя позовут в министры…

— Это… остроумно, — сказал Самгин вполголоса и спросил себя: «Что это она — бредит?»

Затем он быстро встряхнул в памяти сказанное ею и не услышал в словах Лютова ничего обидного для себя.

— Он всегда о людях говорил серьезно, а о себе — шутя, — она, порывисто вставая, бросив скомканный платок на пол, ушла в соседнюю комнату, с визгом выдвинула там какой-то ящик, на под упала связка ключей, — Самгину почудилось, что Лютов вздрогнул, даже приоткрыл глаза.

«Это я вздрогнул», — успокоил он себя и, поправив очки, заглянул в комнату, куда ушла Алина. Она, стоя на коленях, выбрасывала из ящика комода какие-то тряпки, коробки, футляры.

«Она револьвер ищет?»

Но она встала на ноги и, встряхнув что-то черное, пошатнулась, села на кровать.

— Как страшно, — пробормотала она, глядя в лицо Самгина, влажные глаза ее широко открыты и рот полуоткрыт, но лицо выражало не страх, а скорее растерянность, удивление. — Я все время слышу его слова,

Самгин спросил: не дать ли воды? Она отрицательно покачала головой.

— Я хотела узнать у тебя… забыла о чем. Я — вспомню. Уйди, мне нужно переодеться.

Уйти Самгин не решался.

«Уйду, а она — тоже». Невменяема…»

Вспомнил, как она, красивая девочка, декламировала стихи Брюсова, как потом жаловалась на тяжкое бремя своей красоты, вспомнил ее триумф в капище Омона, истерическое поведение на похоронах Туробоева.

— Иди, пошли мне Дуняшу, — настойчиво повторила она, готовясь снять блузку.

Он вышел на крыльцо, встречу ему со скамейки вскочила Дуняша:

— Меня зовет?

На скамье остался человек в соломенной шляпе, сидел он положив локти на спинку скамьи, вытянув ноги, шляпа его, освещенная луною, светилась, точно медная, на дорожке лежала его тень без головы.

— Здравствуйте, — сказал он вполголоса, не вставая, только протянул руку и, притягивая Самгина к себе, спросил:

— В странных обстоятельствах встречаемся, а? Он был в новом, необмятом костюме серого цвета и металлически блестел. Руку Самгина он сжал до боли крепко.

«Начнет вспоминать о своих подвигах и, вероятно, будет благодарить меня», — с досадой подумал Самгин, а Иноков говорил вполголоса, раздумчиво:

— Кончал базар купец. Странно: вчера был веселый, интересный, как всегда, симпатичный плутяга… Это я — от глагола плутать.

Искоса присматриваясь к нему, Клим Иванович нашел, что Иноков постарел, похудел, скулы торчат острыми углами, в глазницах — черные тени.

— Хворали?

— Да, избили меня. Вешают-то у нас как усердно? Освирепели, свиньи. Я тоже почти с вешалки соскочил. Даже — с боем, конвойный хотел шашкой расколоть. Теперь вот отдыхаю, прислушиваюсь, присматриваюсь. Русских здесь накапливается не мало. Разговаривают на все лады: одни — каются, другие — заикаются, вообще — развлекаются.

Он стал говорить громче и как будто веселее, а после каламбура даже засмеялся, но тотчас же, прикрыв рот ладонью, подавился смехом — потому что из окна высунулась Дуняша, укоризненно качая головой.

— Виноват, виноват, — прошептал Иноков и даже снял шляпу. Из-под волос на левую бровь косо опускался багровый рубец, он погладил его пальцем.

«Боевое отличие показывает», — подумал Самгин, легко находя в старом знакомом новое и неприятное. Представил Дуняшу в руках этого человека.

«Вероятно — жесткие, грубые руки».

Подумал о Лютове:

«Он был проницателен, умел разбираться в людях».

Из окна, точно дым, выплывало умоляющее бормотанье Дуняши, Иноков тоже

рассказывал что-то вполголоса, снизу, из города, доносился тяжелый, но мягкий, странно чавкающий звук, как будто огромные подошвы шлепали по камню мостовой. Самгин вынул часы, посмотрел на циферблат — время шло медленно.

— Вы — анархист? — спросил он из вежливости.

— Читал Кропоткина, Штирнера и других отцов этой церкви, — тихо и как бы нехотя ответил Иноков. — Но я — не теоретик, у меня нет доверия к словам. Помните — Томилин учил нас: познание — третий инстинкт? Это, пожалуй, верно в отношении к некоторым, вроде меня, кто воспринимает жизнь эмоционально.

«Как дикарь», — мысленно вставил Самгин, закуривая папиросу.

— Томилин инстинктом своим в бога уперся, ну — он трус, рыжий боров. А я как-то задумался: по каким мотивам действую? Оказалось — по мотивам личной обиды на судьбу, да — по молодечеству. Есть такая теорийка: театр для себя, вот я, должно быть, и разыгрывал сам себя пред собою. Скучно. И — безответственно.

— Пред кем? — невольно вырвалось у Самгина.

— Ну, как это — пред кем? Шутите… Он тоже закурил папиросу, потом несколько секунд смотрел на обтаявший кусок луны и снова заговорил:

— На Урале группочка парнишек эксы устраивала и после удачного поручили одному из своих товарищей передать деньги, несколько десятков тысяч, в Уфу, не то — серым, не то — седым, так называли они эсеров и эсдеков. А у парня — сапоги развалились, он взял из тысяч три целковых и купил сапоги. Передал деньги по адресу, сообщив, что три рубля — присвоил, вернулся к своим, а они его за присвоение трешницы расстреляли. Дико? Правильно! Отличные ребята. Понимали, что революция — дело честное.

Собираясь резко возразить ему, Самгин бросил недокуренную папиросу, наступил на нее, растер подошвой.

— Революция направлена против безответственных, — вполголоса, но твердо говорил Иноков. Возразить ему Самгин не успел — подошел Макаров, сердито проворчал, что полиция во всех странах одинаково глупа, попросил папиросу. Элегантно одетый, стройный, седовласый. он зажег спичку, подержал ее вверх огнем, как свечу, и, не закурив папиросу, погасил спичку, зажег другую, прислушиваясь к тихим голосам женщин.

— Как ты понимаешь это? — спросил Самгин, кивнув головой на окно. Макаров сел, пошаркал ногой, вздохнул.

— Под одним письмом ко мне Лютов подписался:

«Московский, первой гильдии, лишний человек». Россия. как знаешь, изобилует лишними людями. Были из дворян лишние, те — каялись, вот — явились кающиеся купцы.

Стреляются. Недавно в Москве трое сразу — двое мужчин и девица Грибова. Все — богатых купеческих семей. Один — Тарасов — очень даровитый. В массе буржуазия наша невежественна и как будто не уверена в прочности своего бытия. Много нервнобольных.

Говорил Макаров медленно и как бы нехотя. Самгин искоса взглянул на его резко очерченный профиль. Не так давно этот человек только спрашивал, допрашивал, а теперь вот решается объяснять, поучать. И красота его, в сущности, неприятна, пошловата.

— Человек несимпатичный, но — интересный, — тихо заговорил Иноков. — Глядя на него, я, бывало, думал: откуда у него эти судороги ума? Страшно ему жить или стыдно? Теперь мне думается, что стыдился он своего богатства, безделья, романа

с этой шалой бабой». Умный он был.

— Н-да… Есть у нас такие умы: трудолюбив, но бесплоден, — сказал Макаров и обратился к Самгину: — Помнишь, как сома ловили? Недавно, в Париже, Лютов вдруг сказал мне, что никакого сома не было и что он договорился с мельником пошутить над нами. И, представь, эту шутку он считает почему-то очень дурной. Аллегория какая-то, что ли? Объяснить — не мог.

Самгин чувствовал, что эти двое возмущают его своими суждениями. У него явилась потребность вспомнить что-нибудь хорошее о Лютове, но вспомнилась только изношенная латинская пословица, вызвав ноющее чувство досады. Все-таки он начал:

— У меня не было симпатии к нему, но я скажу, что он — человек своеобразный, может быть, неповторимый. Он вносил в шум жизни свою, оригинальную ноту…

Макаров швырнул папиросу в куст и пробормотал:

— Ну да, известно: существуют вещи практически бесполезные, но затейливо сделанные, имитирующие красоту.

— Я говорю не о вещах…

— Есть и среди людей имитации необыкновенных… Вышла из дома Дуняша.

— Идите вниз, в кухню, там чай есть и вино.

— Что Алина? — спросил Макаров.

— Лежит, что-то шепчет… Ночь-то какая прекрасная, — вздохнув, сказала она Самгину. Те двое ушли, а женщина, пристально посмотрев в лицо его, шепотом выговорила:

— Вот как люди пропадают. Идем?

Самгин подумал, что опоздает на поезд, но пошел за нею. Ему казалось, что Макаров говорит с ним обидным тоном, о Лютове судит как-то предательски. И, наверное, у него роман с Алиной, а Лютов застрелился из ревности.

В кухне — кисленький запах газа, на плите, в большом чайнике, шумно кипит вода, на белых кафельных стенах солидно сияет медь кастрюль, в углу, среди засушенных цветов, прячется ярко раскрашенная статуэтка мадонны с младенцем. Макаров сел за стол и, облокотясь, сжал голову свою ладонями, Иноков, наливая в стаканы вино, вполголоса говорит:

— Это — верно: он не фанатик, а математик. Если в Москве губернатор Дубасов приказывает «истреблять бунтовщиков силою оружия, потому что судить тысячи людей невозможно», если в Петербурге Трепов командует «холостых залпов не давать, патронов не жалеть» — это значит, что правительство объявило войну народу. Ленин и говорит рабочим через свиные башки либералов, меньшевиков и прочих: вооружайтесь, организуйтесь для боя за вашу власть против царя, губернаторов, фабрикантов, ведите за собой крестьянскую бедноту, иначе вас уничтожат. Просто и ясно.

Дуняша налила чашку чая, выслушала Инокова и ушла, сказав:

— Не очень шумите.

Иноков подал Самгину стакан вина, чокнулся с ним, хотел что-то сказать, но заговорил Клим Самгин:

— А не слишком ли упрощено то, что вам кажется простым и ясным?

И вызывающе обратился к Макарову:

— Силу буржуазии ты недооцениваешь… Макаров хлебнул вина и, не отнимая другую руку от головы, глядя в свой бокал, неохотно ответил:

— Я ее лечу. Мне кажется, я ее — знаю. Да. Лечу. Вот — написал работу: «Социальные причины истерии у женщин». Показывал Форелю, хвалит, предлагает издать, рукопись переведена одним товарищем на немецкий.

А мне издавать — не хочется. Ну, издам, семь или семьдесят человек прочитают, а — дальше что? Лечить тоже не хочется.

Где-то близко около дома затопала по камню лошадь. Басовитый голос сказал по-немецки:

— Здесь.

Лошадь точно провалилась сквозь землю, и минуту в доме, где было пятеро живых людей, и вокруг дома было неприятно тихо, а затем прогрохотало что-то металлическое.

— Гроб привезли, — ненужно догадался Иноков и, сильно дунув в мундштук папиросы, выстрелил в угол кухни красненьким огоньком, а Макаров угрюмо сказал:

— Это — цинковый ящик, в гроб они уложат там, у себя в бюро. Полиция потребовала убрать труп до рассвета. Закричит Алина. Иди к ней. Иноков, она тебя слушается…

Мимо окна прошли два человека одинаково толстых, в черном.

— Доктора должны писать популярные брошюры об уродствах быта. Да. Для медиков эти уродства особенно резко видимы. Одной экономики — мало для того, чтоб внушить рабочим отвращение и ненависть к быту. Потребности рабочих примитивно низки. Жен удовлетворяет лишний гривенник заработной платы. Мало у нас людей, охваченных сознанием глубочайшего смысла социальной революции, все какие-то… механически вовлеченные в ее процесс…

Говорил Макаров отрывисто, все более сердито и громко.

«Мысли Кутузова», — определил Самгин, невольно прислушиваясь к возне и голосам наверху.

— Где, в чем видишь ты социальную… — начал он, но в это время наверху раздался неистовый, потрясающий крик Алины.

— Ну, вот, — пробормотал Макаров, выбегая из кухни; Самгин вышел за ним, остановился на крыльце.

— Не дам, не позволю, — густо и хрипло рычала Алина. В сад сошли сверху два черных толстяка, соединенные телом Лютова, один зажал под мышкой у себя ноги его, другой вцепился в плечи трупа, а голова его, неестественно свернутая набок, качалась, кланялась. Алина, огромная, растрепанная, изгибаясь, ловила голову одной рукой, на ее другой руке повисла Дуняша, всхлипывая. Макаров, Иноков пытались схватить Алину, она отбивалась от них пинками, ударила Инокова затылком своим, над белым ее лицом высоко взметнулись волосы.

— Не смейте, — храпела она, задыхаясь; рот ее был открыт и вместе с темными пятнами глаз показывал лицо разбитым.

— Перестань, — громко сказал Макаров. — Ну, куда ты, куда?

Она храпела, как лошадь, и вырывалась из его рук, а Иноков шел сзади, фыркал, сморкался, вытирал подбородок платком. Соединясь все четверо в одно тело, пошатываясь, шаркая ногами, они вышли за ограду. Самгин последовал за ними, но, заметив, что они спускаются вниз, пошел вверх. Его догнал железный грохот,

истерические выкрики:

— Сундук… какая пошлость… В сундук… Уйдите!

Самгин шел торопливо и в темноте спотыкался.

«Надобно купить трость», — подумал он, прислушиваясь. Там, внизу, снова тяжело топала по камню лошадь, а шума колес не было слышно.

«Резиновые шины».

Затем вспомнил, что, когда люди из похоронного бюро несли Лютова, втроем они образовали букву Н.

Однако он чувствовал, что на этот раз мелкие мысли не помогают ему рассеять только что пережитое впечатление. Осторожно и медленно шагая вверх, он прислушивался, как в нем растет нечто неизведанное. Это не была привычная работа мысли, автоматически соединяющей слова в знакомые фразы, это было нарастание очень странного ощущения: где-то глубоко под кожей назревало, пульсировало, как нарыв, слово:

«Смерть».

Соединение пяти неприятных звуков этого слова как будто требовало, чтоб его произносили шопотом. Клим Иванович Самгин чувствовал, что по всему телу, обессиливая его, растекается жалостная и скучная тревога. Он остановился, стирая платком пот со лба, оглядываясь. Впереди, в лунном тумане, черные деревья похожи на холмы, белые виллы напоминают часовни богатого кладбища. Дорога, путаясь между этих вилл, ползет куда-то вверх…

«Невежливо, что я не простился с ними», — напомнил себе Самгин и быстро пошел назад. Ему уже показалось, что он спустился ниже дома, где Алина и ее друзья, но за решеткой сада, за плотной стеной кустарника, в тишине четко прозвучал голос Макарова:

— Идиоты, держатся за свою власть над людями, а детей родить боятся. Что? Спрашивай.

Самгин встал, обмахивая лицо платком, рассматривая, где дверь в сад.

— Нет, никогда, — сказал Макаров. — Родить она не может, изуродовала себя абортами. Мужчина нужен ей не как муж, а как слуга.

— Кормилец, — вставил Иноков.

Не находя двери, Самгин понял, что он подошел к дому с другой его стороны. Дом спрятан в деревьях, а Иноков с Макаровым далеко от него и очень близко к ограде. Он уже хотел окрикнуть их, но Иноков спросил:

— А что ты думаешь о Самгине?

Макаров ответил невнятно, а Иноков, должно быть, усмехнулся, голос его звучал весело, когда он заговорил:

— Вот, именно! Аппарат не столько мыслящий, сколько рассуждающий…

Самгин поспешно пошел прочь, вниз, напомнив себе:

«Я дважды оказал ему помощь. Впрочем — чорт с ними. Следует предохранять душу от засорения уродством маленьких обид и печалей».

Фраза понравилась ему, но возвратила к большой печали, испытанной там, наверху.

Он провел очень тяжелую ночь: не спалось, тревожили какие[-то] незнакомые, неясные и бессвязные мысли, качалась голова Владимира Лютова, качались его руки, и одна была значительно короче другой. Утром, полубольной, сходил на почту, получил там пакет писем из Берлина, вернулся в отель и, вскрыв пакет, нашел в нем среди писем и документов маленький и легкий конверт, надписанный почерком Марины. На тонком листике сиреневой бумаги она извещала, что через два дня выезжает в Париж, остановится в «Терминус», проживет там дней десять. Это так взволновало его, что он даже смутился, а взглянув на свое отражение в зеркале — смутился еще более и уже тревожно.

«Мальчишество, — упрекнул он себя, хмурясь, но глаза улыбались. — Меня влечет к ней только любопытство, — убеждал он себя, глядя в зеркало и покручивая бородку. — Ну, может быть, некоторая доля романтизма. Не лишенного иронии. Что такое она? Тип современной буржуазии, неглупой по природе, начитанной…»

Но радость не угасала, тогда он спросил себя:

«А что и почему смущает меня?»

Найти ответ на возрос этот не хватило времени, — нужно было определить: где теперь Марина? Он высчитал, что Марина уже третьи сутки в Париже, и начал укладывать вещи в чемодан.

В Париже он остановился в том же отеле, где и Марина, заботливо привел себя в порядок, и- вот он — с досадой на себя за волнение, которое испытывал, — у двери в ее комнату, а за дверью отчетливо звучит знакомый, сильный голос:

— Нет, нет, Захар Петрович, на это я не пойду. Ей ответил голосок тоненький и свистящий:

— Пожалеете-с! Прощайте.

Дверь распахнулась, из нее вывалился тучный, коротконогий человек с большим животом и острыми глазками на желтом, оплывшем лице. Тяжело дыша, он уколол Самгина сердитым взглядом, толкнул его животом и, мягко топая йогой, пропел, как бы угрожая:

— Однако советую, — подумайте-с! Ой, подумайте. И, легко выкидывая вперед коротенькие ножки, бесшумно поплыл по ковру коридора.

— А-а, приехал, — ненужно громко сказала Марина и, встряхнув какими-то бумагами в левой руке, правую быстро вскинула к подбородку Клима. Она никогда раньше не давала ему целовать руку, и в этом ее жесте Самгин почувствовал нечто.

— Что — хороша Мариша? — спросила она, бросив бумаги на стол.

— Очень.

— Скупо хвалишь.

— Слишком хороша,

— Ну, хорошего слишком не бывает, — небрежно заметила она. — Садись, рассказывай, где был, что видел…

«Взволнована», — отметил Самгин. Она казалась еще более молодой и красивой, чем была в России. Простое, светлосерое платье подчеркивало стройность ее фигуры, высокая прическа, увеличивая рост, как бы короновала ее властное и яркое лицо.

«Излишне велика, купечески здорова, — с досадой отмечал Самгин, досаду сменило удовлетворение тем, что он видит недостатки этой женщины. — И платье

безвкусно», — добавил он, говоря: — Ты отлично вооружилась для побед над французами.

— Здесь — только причесали, а платье шито в Москве и — плохо, если хочешь знать, — сказала она, укладывая бумаги в маленький, черный чемодан, сунула его под стол и, сопроводив пинком, спросила:

— Следишь, как у нас банки растут и капитал организуется? Уже образовалось «Общество для продажи железной руды» — Продаруд. Синдикат «Медь».

— Что это за чудовище было у тебя?

— Это — Захар Бердников.

В ее сочном голосе все время звучали сердитые нотки. Закурив папиросу, она бросила спичку, но в пепельницу не попала и подождала, когда Самгин, обжигая пальцы, снимет горящую спичку со скатерти.

— Сегодня он — между прочим — сказал, что за хороший процент банкир может дать денег хоть на устройство землетрясения. О банкире — не знаю, но Захар — даст. Завтракать — рано, — сказала она, взглянув на часы. — Чаю хочешь? Еще не пил? А я уже давно…

Позвонив, она продолжала:

— Поболталась я в Москве, в Питере. Видела и слышала в одном купеческом доме новоявленного пророка и водителя умов. Помнится, ты мне рассказывал о нем:

Томилин, жирный, рыжий, весь в масляных пятнах, как блинник из обжорки. Слушали его поэты, адвокаты, барышни всех сортов, раздерганные умы, растрепанные души. Начитанный мужик и крепко обозлен: должно быть, честолюбие не удовлетворено.

Внизу, за окнами, как-то особенно разнообразно и весело кричал, гремел огромный город, мешая слушать сердитую речь, мешала и накрахмаленная горничная с птичьим лицом и удивленным взглядом широко открытых, черных глаз.

— Говорил он о том, что хозяйственная деятельность людей, по смыслу своему, религиозна и жертвенна, что во Христе сияла душа Авеля, который жил от плодов земли, а от Каина пошли окаянные люди, корыстолюбцы, соблазненные дьяволом инженеры, химики. Эта ерунда чем-то восхищала Тугана-Барановского, он изгибался на длинных ногах своих и скрипел: мы — аграрная страна, да, да! Затем курносенький стихотворец читал что-то смешное: «В ладье мечты утешимся, сны горе утолят», — что-то в этом роде.

Она усмехалась, но усмешка только расправляла складку между нахмуренных бровей, а глаза поблескивали неулыбчиво сердито. Холеные руки ее, как будто утратив мягкость, двигались порывисто, угловато, толкали посуду на столе.

— Вообще — скучновато. Идет уборка после домашнего праздника, людишки переживают похмелье, чистятся, все хорошенькое, что вытащили для праздника из нутра своего, — прячут смущенно. Догадались, что вчера вели себя несоответственно званию и положению. А начальство все старается о упокоении, вешает злодеев. Погодило бы душить, они сами выдохнутся. Вообще, живя в провинции, представляешь себе центральных людей… ну, богаче, что ли, с начинкой более интересной…

«Чего она хочет?» — соображал Самгин, чувствуя, что настроение Марины подавляет его. Он попробовал перевести ее на другую тему, спросив:

— А как Безбедов?

— Прислал письмо из Нижнего, гуляет на ярмарке. Ругается, просит денег и

прощения. Ответила: простить — могу, денег не дам. Похоже, что у меня с ним плохо кончится.

У Самгина с языка невольно сорвалось:

— Мне кажется, — ты едва ли способна прощать.

Он ожидая, что женщина ответит резкостью, но она, пожав плечами, небрежно сказала:

— Почему — не способна? Простить — значит наплевать, а я очень способна плюнуть в любую рожу.

«Никогда она не говорила так грубо», — отметил Самгин, испытывая нарастание тревоги, ожидая какой-то неприятности. Движения и жесты ее порывисты, угловаты, что совершенно не свойственно ей.

«Расстроена чем-то...»

Он торопливо спросил: где она была, что видела? Она дважды посетила Лувр, послезавтра идет в парламент, слушать Бриана.

— Вчера была в Булонском лесу, смотрела парад кокоток. Конечно, не все кокотки, но все — похожи. Настоящие «артикль де Пари» и — для радости.

И, озорниковато прищурив правый глаз, она сказала:

— Припасай денежки! Тебе надобно развлечься, как вижу, хмуро настроен!

— А мне кажется, что это ты...

— Я? Да! Я — злюсь. Злюсь, что не мужчина. Закурив папиросу, она встала, взглянула на себя в зеркало, пустила в отражение свое струю дыма.

— Была я у генеральши Богданович, я говорила тебе о ней: муж — генерал, староста Исакиевского собора, полуидиот, но — жулик. Она — бабочка неглупая, очень приметлива, в денежных делах одинаково человеколюбиво способствует всем ближним, без различия национальностей. Бывала я у ней и раньше, а на этот раз она меня пригласила для беседы с Бердниковым, — об этой беседе я тебе после расскажу.

Она говорила шатая из угла в угол, покуривая, двигая бровями и не глядя на Клима.

— Я, наивная, провинциальная тетеха, обожаю, когда меня учат уму-разуму, а генеральша любит это бесплодное ремесло. Теперь я знаю, что с Россией — очень плохо, никто ее не любит, царь и царица — тоже не любят. Честных патриотов в России — нет, а только — бесчестные. Столыпин — двоедушен, тайный либерал, готов продать царя кому угодно и хочет быть диктатором, скотина! Кстати: дачу Столыпину испортили не эсеры, а — максималисты, группочка, отколовшаяся от правоверных, у которых будто бы неблагополучно в центре, — кого-то из нейтралистов подозревают в дружбе с департаментом полиции.

Небрежно сообщив это, она продолжала говорить о генеральше.

— Люди там все титулованные, с орденами или с бумажниками толщиной в библию. Все — веруют в бога и желают продать друг другу что-нибудь чужое.

Самгин смотрел на ее четкий профиль, на маленькие, розовые уши, на красивую линию спины, смотрел, и ему хотелось крепко закрыть глаза.

Она остановилась пред ним, золотистые зрачки ее напряженно искрились.

— Если б я пожелала выйти замуж, так мне за сотню — за две тысяч могут продать

очень богатого старичка…

Клим Иванович Самгин, чувствуя себя ослепленным неожиданно сверкнувшей тревожной догадкой, закрыл глаза на секунду.

«Что могло бы помешать ей служить в департаменте полиции? Я не вижу — что…»

Сняв очки, он стал протирать стекла куском замши, — это помогало ему в затруднительных случаях.

— Ты что съежился, точно у тебя колики в желудке? — спросила она, и ему показалось, что голос Марины прозвучал оглушительно.

— Тяжелые мысли вызываешь, — пробормотал он. Она снова начала шагать, говоря вполголоса и мягче:

— Да. Невесело. Теперь, когда жадные дураки и лентяи начнут законодательствовать, — распродадут они Россию. Уже лезут в Среднюю Азию, а это у нас — голый бок! И англичане прекрасно знают, что — голый…

Она утомительно долго рассуждала на эту тему, считая чьи-то деньги, называя имена известных промышленников, землевладельцев, имена министров. Самгин почти не слушал ее, теснимый своими мыслями.

«Сектантство — игра на час. Патриотизм? Купеческий. Может быть — тоже игра. Пособничество Кутузову… Это — всего труднее объяснить. Департамент… Все возможно. Какие идеи ограничили бы ее? Неглупа, начитанна. Авантюристка. Верует только в силу денег, все же остальное — для критики, для отрицания…»

И Клима Ивановича Самгина почти радовало то, что он может думать об этой женщине враждебно.

— Однако — пора завтракать! — сказала она. — Здесь в это время обедают. Идем.

Она вышла в маленькую спальную, и Самгин отметил, что на ходу она покачивает бедрами, как не делала этого раньше. Невидимая, щелкая какими-то замками, она говорила:

— Видела Степана, у него жену посадили в Кресты. Маленькая такая, куколка, бесцветная, с рыбьей фамилией…

— Сомова.

— Кажется — так. Он присылал ее ко мне один раз. Он настроен несокрушимо. Упрям. Уважаю упрямых.

Вышла. На плечах ее голубая накидка, обшитая мехом песца, каштановые волосы накрыты золотистым кружевом, на шее внушительно блестят изумруды.

— Что — хороша Мариша? — спросила она.

— Да.

— То-то.

Завтракали в ресторане отеля, потом ездили в коляске по бульварам, были на площади Согласия, посмотрели Нотр Дам, — толстый седоусый кучер в смешной клеенчатой шляпе поучительно и не без гордости сказал:

— Это надо видеть при луне.

— Московский извозчик не скажет, когда лучше смотреть Кремль, — вполголоса заметил Самгин, Марина промолчала, а он тотчас вспомнил: нечто подобное отмечено им в поведении хозяйки берлинского пансиона. — «У нас, русских, нет

патриотизма, нет чувства солидарности со своей нацией, уважения к ней, к ее заслугам пред человечеством», — это сказано Катковым. Вспомнилось, что на похороны Каткова приезжал Поль Дерулед и назвал его великим русским патриотом. Одолевали пестрые, мелкие мысли, с досадой отталкивая их, Самгин нетерпеливо ждал, что скажет Марина о Париже, но она скупо бросала незначительное:

— Гулевой городок, народу-то сколько на улицах. А мужчины — мелковаты, — замечаешь? Вроде наших вятских...

Искоса поглядывая на нее, Самгин подумал, что она говорит пошленькое нарочно, неискренно, маскируя что-то.

Она предложила посмотреть «ревю» в Фоли-Бержер. Поехали, взяли билеты в партер, но вскоре Марина, усмехаясь, сказала:

— Следовало взять ложу.

Да, публика весьма бесцеремонно рассматривала ее, привставая с мест, перешептываясь. Самгин находил, что глаза женщин светятся завистливо или пренебрежительно, мужчины корчат слащавые гримасы, а какой-то смуглолицый, курчавый полуседой красавец с пышными усами вытаращил черные глаза так напряженно, как будто он когда-то уже видел Марину, а теперь вспоминал: когда и где?

— Как думаешь: маркиз или парикмахер? — прошептала она.

— Нахал. И, кажется, пьян, — сердито ответил Самгин.

На сцене разыгрывалось нечто непонятное: маленький, ловкий артист изображал боксера с карикатурно огромными бицепсами, его личико подростка оклеено седой, коротко подстриженной бородкой, он кувыркался на коврике и быстро, непрерывно убеждал в чем-то краснорожего великана во фраке.

— Это — Лепин, кажется — мэр Парижа или префект полиции, — сказала Марина. — Неинтересно, какие-то домашние дела.

Появлялись, исчезали певицы, эксцентрики, танцоры негры. Марина ворчливо заметила, что в Нижнем, на ярмарке, все это предлагается «в лучшем виде». Но вот из-за кулис, под яростный грохот и вой оркестра выскочило десятка три искусно раздетых девиц, в такт задорной музыки они начали выбрасывать из ворохов кружев и разноцветных лент голые ноги; каждая из них была похожа на огромный махровый цветок, ноги их трепетали, как пестики в лепестках, девицы носились по сцене с такой быстротой, что, казалось, у всех одно и то же ярко накрашенное, соблазнительно улыбающееся лицо и что их гоняет по сцене бешеный ветер. Потом, в бурный вихрь пляски, разорвав круг девиц, вынеслась к рампе высокая гибкая женщина, увлекая за собой солдата в красных штанах, в измятом кепи и с глупым, красноносым лицом. Сотни рук встретили ее аплодисментами, криками, стройная, гибкая, в коротенькой до колен юбке, она тоже что-то кричала, смеялась, подмигивала в боковую ложу, солдат шаркал ногами, кланялся, посылал кому-то воздушные поцелуи, — пронзительно взвизгнув, женщина схватила его, и они, в профиль к публике, делая на сцене дугу, начали отчаянно плясать матчиш.

— Ого! Наглядно, — тихонько сказала Марина, и Самгин видел, что щека ее густо покраснела, ухо тоже налилось кровью. Представив ее обнаженной, как видел на «Заводе искусственных минеральных вод», он недоуменно подумал:

«Этот цинизм не должен бы смущать ее». Танцовщица визжала, солдат гоготал, три десятка полуголых женщин, обнявшись, качались в такт музыки, непрерывный плеск ладоней, бой барабана, пение меди и струн, разноцветный луч прожектора неотступно освещал танцоров, и все вместе создавало странное впечатление, — как будто кружился, подпрыгивал весь зал, опрокидываясь, проваливаясь куда-то.

— Да, умеют, — медленно и задумчиво сказала Марина, когда опустился занавес. — Красиво подают это… идоложертвенное мясо.

Неожиданный конец фразы возмутил Самгина, он хотел сказать, что мораль не всегда уместна, но вместо этого спросил:

— Ты бывала в Москве, у Омона?

— Да. Один раз. А — что?

— Там все было интереснее, богаче.

— Не помню.

Домой пошли пешком. Великолепный город празднично шумел, сверкал огнями, магазины хвастались обилием красивых вещей, бульвары наполнял веселый говор, смех, с каштанов падали лапчатые листья, но ветер был почти неощутим и листья срывались как бы веселой силой говора, смеха, музыки.

— Приятно устроились бывшие мастера революции, — сказала Марина, а через несколько секунд добавила: — Ныне — кредиторы наши.

На людей, которые шли впереди, падали узорные тени каштанов.

— Смотри: всё — точно в лохмотьях, — заметила Марина.

Идти под руку с ней было неудобно: трудно соразмерять свои шаги с ее, она толкала бедром. Мужчины оглядывались на нее, это раздражало Самгина. Он, вспомнив волнение, испытанное им вчера, когда он читал ее письмо, подумал:

«Почему я обрадовался? Откуда явилась мысль, что она может служить в политической полиции? Как странно все…»

Марина заявила, что хочет есть. Зашли в ресторан, в круглый зал, освещенный ярко, но мягко, на маленькой эстраде играл струнный квартет, музыка очень хорошо вторила картавому говору, смеху женщин, звону стекла, народа было очень много, и все как будто давно знакомы друг с другом; столики расставлены как будто так, чтоб удобно было любоваться костюмами дам; в центре круга вальсировали высокий блондин во фраке и тоненькая дама в красном платье, на голове ее, точно хохол необыкновенной птицы, возвышался большой гребень, сверкая цветными камнями. Слева от Самгина одиноко сидел, читая письма, солидный человек с остатками курчавых волос на блестящем черепе, с добродушным, мягким лицом; подняв глаза от листка бумаги, он взглянул на Марину, улыбнулся и пошевелил губами, черные глаза его неподвижно остановились на лице Марины. Портреты этого человека Самгин видел в журналах, но не мог вспомнить — кто он? Он сказал Марине, что на нее смотрит кто-то из крупных людей Франции.

— Не знаешь — кто?

Бесцеремонно осмотрев француза, она равнодушно сказала:

— Олицетворение телесной и духовной сытости. Самгин плотно сжал губы. Ему все более не нравилось, как она ведет себя. Золотистые зрачки ее потемнели, она хмурилась, сдвигая брови, и вытирала губы салфеткой так крепко, как будто желала, чтоб все поняли: губы у нее не накрашены… Три пары танцевали неприятно манерный танец, близко к Марине вышагивал, как петух, косоглазый, кривоногий человечек, украшенный множеством орденов и мертвенно неподвижной улыбкой на желтом лице, — каждый раз, когда он приближался к стулу Марины, она брезгливо отклонялась и подбирала подол платья.

— Это они исказили менуэт, — выговорила она. — Помнишь Мопассана? «Король танцев и танец королей».

Самгину казалось, что все мужчины и дамы смотрят на Марину, как бы ожидая, когда она будет танцевать. Он находил, что она отвечает на эти взгляды слишком пренебрежительно. Марина чистит грушу, срезая толстые слои, а рядом с нею рыжеволосая дама с бриллиантами на шее, на пальцах ловко срезает кожицу с груши слоями тонкими, почти как бумага.

«Что она — играет роль русской нигилистки? А пожалуй, в ней есть это — нигилизм...»

Он снова наткнулся на острый вопрос: как явилась мысль о связи Марины с департаментом полиции?

«Если б она служила там, ее, такую, вероятно, держали бы не в провинции, а в Петербурге, в Москве...»

Затем он попытался определить, какое чувство разбудила у него эта странная мысль?

«Тревогу? У меня нет причин тревожиться за себя». Подумав, он нашел, что мысль о возможности связи Марины с политической полицией не вызвала в нем ничего, кроме удивления. Думать об этом под смех и музыку было неприятно, досадно, но погасить эти думы он не мог. К тому же он выпил больше, чем привык, чувствовал, что опьянение настраивает его лирически, а лирика и Марина — несоединимы.

— Французы, вероятно, думают, что мы женаты и поссорились, — сказала Марина брезгливо, фруктовым ножом расшвыривая франки сдачи по тарелке, не взяв ни одного из них, она не кивнула головой на тихое «мерси, мадам!» и низкий поклон гарсона. — Я не в ладу, не в ладу сама с собой, — продолжала она, взяв Клима под руку и выходя из ресторана. — Но, знаешь, перепрыгнуть вот так, сразу, из страны, где вешают, в страну, откуда вешателям дают деньги и где пляшут...

Самгин почувствовал желание крикнуть:

«Не верю я тебе, не верю!»

Но не посмел и тихо сказал:

— Не совсем понимаю я тебя. Она продолжала:

— Чувствуешь себя... необычно. Как будто — несчастной. А я не люблю несчастий... Ненавижу страдание, наше русское, излюбленное ремесло...

Замолчала. Отель был близко, в пять минут дошли пешком.

Самгин вошел к себе, не снимая пальто и шляпу, подошел к окну, сердито распахнул створки рамы, посмотрел вниз...

«Самое непонятное, темное в ней — ее революционные речи. Конечно, речи — это еще не убеждения, не симпатии, но у нее...» — Он не сумел определить, в чем видит своеобразие речей этой женщины. Испытывая легкое головокружение, он смотрел, как там, внизу, по слабо освещенной маленькой площади бесшумно скользили темные фигурки людей, приглушенно трещали колеса экипажей. Можно было думать, что все там устало за день, хочет остановиться, отдохнуть, — остановиться в следующую секунду, на точке, в которой она застанет. Самгин сбросил на кресло пальто, шляпу, сел, закурил папиросу.

В том углу памяти, где слежались думы о Марине, стало еще темнее, но как будто легче.

«Что я нашел, что потерял? — спросил он себя и ответил: — Я приобрел, утратив чувство тяготения к ней, но — исчезла некая надежда. На что надеялся? Быть любовником ее?»

И, представив еще раз Марину обнаженной, он решил:

«Нет. Конечно — нет. Но казалось, что она — человек другого мира, обладает чем-то крепким, непоколебимым. А она тоже глубоко заражена критицизмом. Гипертрофия критического отношения к жизни, как у всех. У всех книжников, лишенных чувства веры, не охраняющих ничего, кроме права на свободу слова, мысли. Нет, нужны идеи, которые ограничивали бы эту свободу… эту анархию мышления».

Затем он подумал, что она все-таки оригинальный характер.

«Тип коренной русской женщины.

Коня на скаку остановит,В горящую избу войдет…

А в конце концов, чорт знает, что в ней есть, — устало и почти озлобленно подумал он. — Не может быть, чтоб она в полиции… Это я выдумал, желая оттолкнуться от нее. Потому что она сказала мне о взрыве дачи Столыпина и я вспомнил Любимову…»

Несколько секунд он ухитрился не думать, затем сознался:

«Ты много видел женщин и хочешь женщину, вот что, друг мой! Но лучше выпить вина. Поздно, не дадут…»

Но все-таки он позвонил, явился дежурный слуга, и через пяток минут, выпив стакан вкусного вина, Самгин осмотрел комнату глазами человека, который только что вошел в нее. Мягкая, плюшевая мебель, толстый ковер, драпри на окнах, на дверях — все это делало комнату странно мохнатой. С чем можно сравнить ее? Сравнения не нашлось. Он медленно разделся до ночного белья, выпил еще вина и, сидя на постели, почувствовал, что возобновляется ощущение зреющего нарыва, испытанное им в Женеве. Но теперь это не было ощущением неприятным, напротив — ему казалось, что назревает в нем что-то серьезнейшее и что он на границе важного открытия в самом себе. Он забыл прикрыть окно, и в комнату с площади вдруг ворвался взрыв смеха, затем пронзительный свисток, крики людей.

— Идиоты, — выругался Самгин, подходя к окну. — Смеются… потом — умирают…

Ему показалось, что последние три слова он подумал шопотом.

«Чепуха. Шопотом не думают. Думают беззвучно, даже — без слов, а просто так… тенями слов».

Тут он почувствовал, что в нем точно лопнуло что-то, и мысли его настойчиво, самосильно, огорченно закричали:

«Одиночество. Один во всем мире. Затискан в какое-то идиотское логовище. Один в мире образно и линейно оформленных ощущений моих, в мире злой игры мысли моей. Леонид Андреев — прав: быть может, мысль — болезнь материи…»

Самгин сидел наклонясь, опираясь ладонями в колени, ему казалось, что буйство мысли раскачивает его, как удары языка в медное тело колокола.

«Прометей — маска дьявола» — верно… Иероним Босх формировал свое мироощущение смело, как никто до него не решался…»

В мохнатой комнате все качалось, кружилось, Самгин хотел встать, но не мог и, не подняв ног с пола, ткнулся головой в подушку. Проснулся он поздно, позвонил, послал горничную спросить мадам Зотову, идет ли она в парламент? Оказалось — идет. Это было не очень приятно: он не стремился посмотреть, как работает законодательный орган Франции, не любил больших собраний, не хотелось идти еще и потому, что он уже убедился, что очень плохо знает язык французов. Но почему-то нужно было видеть, как поведет себя Марина, и — вот он сидит плечо в плечо с нею в ложе для публики.

— Вот она, правящая демократия, — полушепотом говорит Марина.

Самгин пристально смотрел на ряды лысых, черноволосых, седых голов, сверху головы казались несоразмерно большими сравнительно с туловищами, влепленными в кресла. Механически думалось, что прадеды и деды этих головастиков сделали «Великую революцию», создали Наполеона. Вспоминалось прочитанное о 30-м, 48-м, 71-м годах в этой стране.

— Либертэ, эгалитэ, а — баб в депутаты парламента не пускают, — ворчливо заметила Марина.

Человек с лицом кардинала Мазарини сладким тенорком и сильно картавя читал какую-то бумагу, его слушали молча, только на левых скамьях изредка раздавались ворчливые возгласы.

— Вот и Аристид-предатель, — сказала Марина. На трибуне стоял веселый человек, тоже большеголовый, шатен с небрежно растрепанной прической, фигура плотная, тяжеловатая, как будто немного сутулая. Толстые щеки широкого лица оплыли, открывая очень живые, улыбчивые глаза. Прищурясь, вытянув шею вперед, он утвердительно кивнул головой кому-то из депутатов в первом ряду кресел, показал ему зубы и заговорил домашним, приятельским тоном, поглаживая левой рукой лацкан сюртука, край пюпитра, тогда как правая рука медленно плавала в воздухе, как бы разгоняя невидимый дым. Говорил он легко, голосом сильным, немножко сиповатым, его четкие слова гнались одно за другим шутливо и ласково, патетически и с грустью, в которой как будто звучала ирония. Его слушали очень внимательно, многие головы одобрительно склонялись, слышны были краткие, негромкие междометия, чувствовалось, что в ответ на его дружеские улыбки люди тоже улыбаются, а один депутат, совершенно лысый, двигал серыми ушами, точно заяц. Потом Бриан начал говорить усилив голос, высоко подняв брови, глаза его стали больше, щеки покраснели, и Самгин поймал фразу, сказанную особенно жарко:

— Наша страна, наша прекрасная Франция, беззаветно любимая нами, служит делу освобождения человечества. Но надо помнить, что свобода достигается борьбой…

— И давайте денег на вооружение, — сказала Марина, глядя на часы свои.

Бриану аплодировали, но были слышны и крики протеста.

— Ну, с меня довольно! Имею сорок минут для того, чтоб позавтракать, — хочешь?

— С удовольствием.

— Да, вот как, — говорила она, выходя на улицу. — Сын мелкого трактирщика, был социалистом, как и его приятель Мильеран, а в шестом году, осенью, распорядился стрелять по забастовщикам.

В небольшом ресторане, наискось от парламента, она, заказав завтрак, продолжала:

— Гибкие люди. Ходят по идеям, как по лестницам. Возможно, что Бриан будет президентом.

Она вздохнула, подумала, наливая водку в рюмки.

— Замечательно живучий, ловкий народ. Когда-нибудь побьют они неуклюжих, толстых немцев. Давай выпьем за Францию.

Выпили, и она молча принялась насыщаться, а кончив завтракать и уходя, сказала:

— Вечером на Монмартр, в какой-нибудь веселый кабачок, — идет?

— Отлично.

Но вечером, когда Самгин постучал в дверь Марины, — дверь распахнул пред ним коренастый, широкоплечий, оборотился спиной к нему и сказал сиповатым тенором:

— А он, мерзавец, посмеивается…

— Входи, входи, — предложила Марина, улыбаясь. — Это — Григорий Михайлович Попов.

— Да, — подтвердил Попов, небрежно сунув Самгину длинную руку, охватил его ладонь длинными, горячими пальцами и, не пожав, — оттолкнул; этим он сразу определил отношение Самгина к нему. Марина представила Попову Клима Ивановича.

— Ага, — равнодушно сказал Попов, топая и шаркая ногами так, как будто он надевал галоши.

— Продолжай, — предложила Марина. Она была уже одета к выходу — в шляпке, в перчатке по локоть на левой руке, а в правой кожаный портфель, свернутый в трубку; стоя пред нею, Попов лепил пальцами в воздухе различные фигуры, точно беседуя с глухонемой.

— «Если, говорит, в столице, где размещен корпус гвардии, существует департамент полиции и еще многое такое, — оказалось возможным шестинедельное существование революционного совета рабочих депутатов, если возможны в Москве баррикады, во флоте — восстания и по всей стране — дьявольский кавардак, так все это надобно понимать как репетицию революции…»

— Вот какой догадливый, — сказала Марина, взглянув на часы.

— Я ему говорю: «Ваши деньги, наши знания», а он — свое: «Гарантируйте, что революции не будет!»

— Ну да, понятно! Торговать деньгами легче, спокойней, чем строить заводы, фабрики, возиться с рабочими, — проговорила Марина, вставая и хлопая портфелем по своему колену, — Нет, Гриша, тут банкира мало, нужен крупный чиновник или какой-нибудь придворный… Ну, мне — пора, если я не смогу вернуться через час, — я позвоню вам… и вы свободны…

Попов проводил ее до двери, вернулся, неловко втиснул себя в кресло, вынул кожаный кисет, трубку и, набивая ее табаком, не глядя на Самгина, спросил небрежно:

— Мы не встречались?

— Нет, — решительно ответил Самгин.

— Мм… Значит — ошибся. У меня плохая память на лица, а человека с вашей фамилией я знавал, вместе шли в ссылку. Какой-то этнограф.

«Брат», — хотел сказать Самгин, но воздержался и сказал: — Фамилия эта не часто встречается.

Пытаясь закурить трубку и ломая спички одну за другой, Попов возразил:

— На Оке есть пароходство Качкова и Самгина, и был горнопромышленник Софрон Самгин.

Лицо его скрылось в густом облаке дыма. Лицо было неприятное: широколобое, туго обтянутое смуглой кожей и неподвижно, точно каменное. На щеках — синие пятна сбритой бороды, плотные, черные усы коротко подстрижены, губы — толстые, цвета сырого мяса, нос большой, измятый, брови — кустиками, над ними густая щетка черных с проседью волос. Движения, жесты у него тяжелые,

неловкие, все вокруг него трясется, скрипит. Одет в темносинюю куртку необычного покроя, вроде охотничьей. Неприятен и сиповатый тенорок, в нем чувствуется сердитое напряжение, готовность закричать, сказать что-то грубое, злое, а особенно неприятны маленькие, выпуклые — как вишни, темные глаза.

«Нахал и, кажется, глуп», — определил Самгин и встал, желая уйти к себе, но снова сел, сообразив, что, может быть, этот человек скажет что-нибудь интересное о Марине.

— Замечательная бестия, Софрон этот. Встретил я его в Барнауле и предложил ему мои геологические услуги. «Я, говорит, ученым — не доверяю, я сам их делаю. Делом моим управляет бывший половой в трактире, в Томске. Лет тридцать тому назад было это: сижу я в ресторане, задумался о чем-то, а лакей, остроглазый такой, молоденький, пристает: «Что прикажете подать?» — «Птичьего молока стакан!» — «Простите, говорит, птичье молоко всё вышло!» Почтительно сказал, не усмехнулся. Ну, я ему и говорю: «Ты, парень, лакействовать брось, а иди-ко служить ко мне». Через одиннадцать лет я его управляющим сделал. Домовладелец, гласный городской думы, капиталец имеет, тысчонок сотню, наверняка. Таких у меня еще трое есть. Верные слуги. А с ученым дела делать — нельзя, они цены рубля не знают. Поговорить с ними — интересно, иной раз даже и полезно».

Попов начал говорить лениво, а кончил возбужденно всхрапывая и таким тоном, как будто он сам и есть замечательная бестия.

— О птичьем молоке — это старый анекдот, — заметил Самгин.

— Все — старо, все! — угрюмо откликнулся Попов и продолжал: — Ему, Софрону, было семьдесят три года, а он верхом ездил по двадцать, тридцать верст и пил водку без всякой осторожности.

Самгин слушал равнодушно, ожидая момента, когда удобно будет спросить о Марине. О ней думалось непрерывно, все настойчивее и беспокойней. Что она делает в Париже? Куда поехала? Кто для нее этот человек?

«Это — что же — ревность?» — спросил он себя, усмехаясь, и, не ответив, вдруг почувствовал, что ему хотелось бы услышать о Марине что-то очень хорошее, необыкновенное.

— В болотном нашем отечестве мы, интеллигенты, поставлены в трудную позицию, нам приходится внушать промышленной буржуазии азбучные истины о ценности науки, — говорил Попов, — А мы начали не с того конца. Вы — эсдек?

Самгин молча наклонил голову.

— Я тоже отдал дань времени, — продолжал Попов, выковыривая пепел из трубки в пепельницу. — Пять месяцев тюрьмы, три года ссылки. Не жалуюсь, ссылка — хороший добавок годам учения.

Он сунул трубку в карман, встал, потянулся, что-то затрещало на нем, озабоченно пощупал под мышками у себя, сдвинул к переносью черные кустики бровей и сердито заговорил:

— Напутал Ленин, испортил игру, скомпрометировал социал-демократию в России. Это — не политика, а — эпатаж, вот что! Надо брать пример с немцев, у них рост социализма идет нормально, путем отбора лучших из рабочего класса и включения их в правящий класс, — говорил Попов и, шагнув, задел ногой ножку кресла, потом толкнул его коленом и, наконец, взяв за спинку, отставил в сторону. — Плохо мы знаем нашу страну, отсюда и забеги в фантастику. Сумбурная страна! Население — сплошь нигилисты, символисты, максималисты, вообще — фантазеры. А нужна культурно грамотная буржуазия и технически высоко квалифицированная интеллигенция, — иначе — скушают нас немцы, да-с! Да еще англичане японцев науськают, а сами влезут к нам в Среднюю Азию, на Кавказ…

Самгин не стерпел и спросил, куда поехала Марина.

— Не знаю, — сказал Попов. — Кто-то звонил ей, похоже — консул.

— Вы ее давно знаете?

— От времен студенческих. А — что? Самгину показалось, что рачьи глаза Попова изменили цвет, он покачнулся вперед и спросил:

— Жениться на ней собираетесь?

— Разве нет других мотивов, — начал Самгин, но Попов перебил его, продолжая со свистом:

— В девицах знавал, в одном кружке мудростям обучались, теперь вот снова встретились, года полтора назад. Интересная дама. Наверное — была бы еще интересней, но ее сбил с толку один… фантазер. Первая любовь и прочее…

Он замолчал, снова вынул трубку из кармана. Его тон вызвал у Самгина чувство обиды за Марину и обострил его неприязнь к инженеру, но он все-таки начал придумывать еще какой-то вопрос о Марине.

— В общем она — выдуманная фигура, — вдруг сказал Попов, поглаживая, лаская трубку длинными пальцами. — Как большинство интеллигентов. Не умеем думать по исторически данной прямой и всё налево скользим. А если направо повернем, так уж до сочинения книг о религиозном значении социализма и даже вплоть до соединения с церковью… Я считаю, что прав Плеханов: социал-демократы могут — до определенного пункта — ехать в одном вагоне с либералами. Ленин прокламирует пугачевщину.

Набивая трубку табаком, он усмехнулся, так что пятнистое лицо его неестественно увеличилось, а глаза спрятались под бровями.

— О том, как люди выдумывают себя, я расскажу вам любопытнейший факт. Компания студентов вспоминала, при каких условиях каждый из них познал женщину. Один — хвастается, другой — сожалеет, третий — врет, а четвертый заявил: «Я — с родной сестрой». И сплел историйку, которая удивила всех нелепостью своей. Парнишка из богатой купеческой семьи, очень скромный, неглупый, отличный музыкант, сестру его я тоже знал, — милейшая девица, строгого нрава, училась на курсах Герье, серьезно работала по истории ренессанса во Франции. Я говорю ему: «Ты соврал!» — «Соврал», — признался он. «Зачем?» — «Стыдно стало пред товарищами, я, видишь ли, еще девственник!» Каков?

— Забавно, — откликнулся Самгин. Попов встал и свирепо засипел:

— Вы — что же — смысла анекдота этого не чувствуете? Забавно!..

— Прошу извинить меня, — сказал Самгин, — но я думал о другом. Мне хочется спросить вас о Зотовой…

Попов стоял спиной к двери, в маленькой прихожей было темно, и Самгин увидал голову Марины за плечом Попова только тогда, когда она сказала:

— Что же у вас дверь открыта?

— Ото, как ты быстро, — удивился Попов. Она молча прошла в спальню, позвенела там ключами, щелкнул замок, позвала:

— Григорий! Помоги-ко…

Он ушел, слышно было, как щелкают ремни, скрипит кожа чемодана, и слышен был быстрый говор, пониженный почти до шопота. Потом Марина решительно произнесла:

— Так и скажи.

Вышла она впереди Попова, не сняв шляпку и говоря:

— Ну-с, а с вами никуда не поеду, а сейчас же отправляюсь на вокзал и — в Лондон! Проживу там не более недели, вернусь сюда и — кутнем!

Попов грубовато заявил, что он провожать не любит, к тому же хочет есть и — просит извинить его. Сунув руку Самгину, но не взглянув на него, он ушел. Самгин встал, спрашивая:

— Можно проводить тебя?

— Нет, не надо.

— Тогда — до свиданья!

Не приняв его руку и усмехаясь, она нехорошим тоном заговорила:

— А ты тут выспрашивал Попова — кто я такая, да?

— Я спросил его только, давно ли вы знакомы… Марина стерла платком усмешку с губ и вздохнула.

— Это был, конечно, вопрос, за которым последовали бы другие. Почему бы не поставить их предо мной? На всякий случай я предупреждаю тебя: Григорий Попов еще не подлец только потому, что он ленив и глуп…

— Послушай, — прервал ее Самгин и заговорил тихо, поспешно и очень заботливо выбирая слова: — Ты женщина исключительно интересная, необыкновенная, — ты знаешь это. Я еще не встречал человека, который возбуждал бы у меня такое напряженное желание понять его… Не сердись, но…

— Нимало не сержусь, очень понимаю, — заговорила она спокойно и как бы вслушиваясь в свои слова. — В самом деле: здоровая баба живет без любовника — неестественно. Не брезгует наживать деньги и говорит о примате духа. О революции рассуждает не без скепсиса, однако — добродушно, — это уж совсем чертовщина!

Она подала ему руку.

— Мне пора на вокзал. В следующую встречу здесь, на свободе, мы поговорим… Если захочется. До свиданья, иди!

Самгин задержал ее руку в своей, желая сказать что-то, но не нашел готовых слов, а она, усмехаясь, спросила:

— Уж не кажется ли тебе, что ты влюбился в меня? И, стряхнув его руку со своей, поспешно проговорила:

— Все очень просто, друг мой: мы — интересны друг другу и поэтому нужны. В нашем возрасте интерес к человеку следует ценить. Ой, да — уходи же!

Явился слуга со счетом, Самгин поцеловал руку женщины, ушел, затем, стоя посредине своей комнаты, закурил, решив идти на бульвары. Но, не сходя с места, глядя в мутносерую пустоту за окном, над крышами, выкурил всю папиросу, подумал, что, наверное, будет дождь, позвонил, спросил бутылку вина и взял новую книгу Мережковского «Грядущий хам».

Утром, выпив кофе, он стоял у окна, точно на краю глубокой ямы, созерцая быстрое движение теней облаков и мутных пятен солнца по стенам домов, по мостовой площади. Там, внизу, как бы подчиняясь игре света и тени, суетливо бегали коротенькие люди, сверху они казались почти кубическими, приплюснутыми к земле, плотно покрытой грязным камнем.

Клим Самгин чувствовал себя так, точно сбросил с плеч привычное бремя и теперь требовалось, чтоб он изменил все движения своего тела. Покручивая бородку, он думал о вреде торопливых объяснений. Определенно хотелось, чтоб представление о Марине возникло снова в тех ярких красках, с тою интригующей силой, каким оно было в России.

«Что беспокоит меня? — размышлял он. — Боязнь пустоты на том месте, где чувство и воображение создали оригинальный образ?»

За спиной его щелкнула ручка двери. Вздрогнув, он взглянул через плечо назад, — в дверь втиснулся толстый человек, отдуваясь, сунул на стол шляпу, расстегнул верхнюю пуговицу сюртука и, выпятив живот величиной с большой бочонок, легко пошел на Самгина, размахивая длинной правой рукой, точно собираясь ударить.

— Бердников, Захарий Петров, — сказал он высоким, почти женским голосом. Пухлая, очень теплая рука. сильно сжав руку Самгина, дернула ее книзу, затем Бердников, приподняв полы сюртука, основательно уселся в кресло, вынул платок и крепко вытер большое, рыхлое лицо свое как бы нарочно для того, чтоб оно стало виднее.

— Простите, что вторгаюсь, — проговорил он и, надув щеки, выпустил в грудь Самгина сильную струю воздуха.

На бугристом его черепе гладко приклеены жиденькие пряди светлорыжих волос, лицо — точно у скопца — совсем голое, только на месте бровей скупо рассеяны желтые щетинки, под ними выпуклые рачьи глаза, голубовато-холодные, с неуловимым выражением, но как будто веселенькие. Из-под глаз на пухлые щеки, цвета пшеничного теста, опускаются синеватые мешки морщин, в подушечки сдобных щек воткнут небольшой хрящеватый и острый нос, чужой на этом обширном лице. Рот большой, лягушечий, верхняя губа плотно прижата к зубам, а нижняя чрезмерно толста, припухла, точно мухой укушена, и брезгливо отвисла.

«Комический актер», — определил Самгин, найдя в лице и фигуре толстяка нечто симпатичное.

— Изучаете? — спросил Бердников и, легко качнув головою, прибавил: — Да, не очарователен. Мы с вами столкнулись как раз у двери к Маринушке — не забыли?

Напомнил он об этом так строго, что Самгин, не ответив, подумал:

«Кажется, нахал».

— Вот и сегодня я — к ней, — продолжал гость, вздохнув. — А ее не оказалось. Ну, тогда я — к вам.

— Чем могу служить? — спросил Самгин. Бердников закрыл правый глаз, помотал головою, осматривая комнату, шумно вздохнул, на столе пошевелилась газета.

— Водицы бы стакашничек, аполлинарису, — сказал он. Острые глаза его весело улыбнулись.

«Интересное животное», — продолжал определять Самгин.

Ожидая воды, Бердников пожаловался на неприятную погоду, на усталость сердца, а затем, не торопясь, выпив воды, он, постукивая указательным пальцем по столу, заговорил деловито, но как будто и небрежно:

— Нуте-с, не будем терять время зря. Человек я как раз коммерческий, стало быть — прямой. Явился с предложением, взаимно выгодным. Можете хорошо заработать, оказав помощь мне в серьезном деле. И не только мне, а и клиентке вашей, сердечного моего приятеля почтенной вдове…

«Вот кто расскажет мне о ней», — подумал Самгин, — а гость, покачнув вперед

жидкое тело свое, сказал вздыхая:

— Женщина-то, а? В песню просится.

— Редкой красоты, — подтвердил Самгин.

— Как раз — так: редкой! — согласился Бердников, дважды качнув головою, и было странно видеть, что на такой толстой, короткой шее голова качается легко. Затем он отодвинулся вместе с креслом подальше от Самгина, и снова его высокий, бабий голосок зазвучал пренебрежительно и напористо, ласково и как будто безнадежно:
— Нуте-с, обратимся к делу! Прошу терпеливого внимания. Дело такое: попала Маринушка как раз в компанию некоторых шарлатанов, — вы, конечно, понимаете, что Государственная дума открывает шарлатанам широкие перспективы и так далее. Внушают Маринушке заключить договор с какими-то англичанами о продаже кое-каких угодьев на Урале... Вам, конечно, известно это?

— Нет, — сказал Самгин.

— Ой-ли? — весело воскликнул Бердников и, сложив руки на животе, продолжал, удивляя Самгина пестрой неопределенностью настроения и легкостью витиеватой речи: — Как же это может быть неведомо вам, ежели вы поверенный ее? Шутите...

В лицо Самгина смотрели, голубовато улыбаясь, круглые, холодненькие глазки, брезгливо шевелилась толстая нижняя губа, обнажая желтый блеск золотых клыков, пухлые пальцы правой руки играли платиновой цепочкой на животе, указательный палец левой беззвучно тыкался в стол. Во всем поведении этого человека, в словах его, в гибкой игре голоса было что-то обидно несерьезное. Самгин сухо спросил:

— Предположим, что я знаю договор, интересующий вас. Что же следует дальше?

— А дальше разрешите сообщить, что это дело крупно денежное и мне нужно знать договор во всех его подробностях. Вот я и предлагаю вам ознакомить...

Самгин, вскочив со стула, торопливо крикнул:

— Прошу вас прекратить... это! Как вы могли решиться сделать мне такое предложение?

Он безотчетно выкрикивал еще какие-то слова, чувствуя, что поторопился рассердиться, что сердится слишком громко, а главное — что предложение этого толстяка не так оскорбило, как испугало или удивило. Стоя перед Бердниковым, он сердито спрашивал:

— Почему вы считаете меня способным... вы знаете меня?

— Нет, как раз — не знаю, — мягко и даже как бы уныло сказал Бердников, держась за ручки кресла и покачивая рыхлое, бесформенное тело свое. — А решимости никакой особой не требуется. Я предлагаю вам выгодное дело, как предложил бы и всякому другому адвокату...

— Я для вас — не всякий! — крикнул Самгин.

— А какой же? — спросил Бердников с любопытством, и нелепый его вопрос еще более охладил Самгина.

«Нахален до комизма», — определил он, закуривая папиросу и говоря строгим тоном:

— Повторяю: о договоре, интересующем вас, мне ничего неизвестно. «Напрасно сказал, и не то, не так!» — тотчас догадался он; спичка в руке его дрожала, и это было досадно видеть.

Упираясь ладонями в ручки кресла, Бердников медленно приподнимал

расплывчатое тело свое, подставляя под него толстые ноги, птичьи глаза, мигая, метали голубоватые искорки. Он бормотал:

— Сегодня — неизвестно, а завтра — можно узнать. Марина-то, наверно, гроши платит вам, а тут…

— Довольно об этом, — уже почти попросил Самгин.

— Ну, ну, ладно, — не шумите, — откликнулся Бердников, легко дрыгая ногами, чтоб опустить взъехавшие брюки, и уныло взвизгнул: — На какого дьявола она работает, а! Ну, мужчина бы за сердце схватил, — так мужчины около нее не. видно, — говорил он, плачевно подвизгивая, глядя в упор на Самгина и застегивая пуговицы сюртука. — За миллионы хватается, за большие миллионы, — продолжал он, угрожающе взмахнув длинной рукой. — Время-то какое, господин Самгин! Из-за пустяков, из-за выручки винных лавок люди убивают, бомбы бросают, на виселицу идут, а?

Бердников засмеялся странно булькающим смехом:

— Ппу-бу-бу-бу!

Раскачиваясь, он надул губы, засопел, и губы, соединясь с носом, образовали на лице его смешную шишку.

— Вы ей не говорите, что я был у вас и зачем. Мы с ней еще, может, как раз и сомкнемся в делах-то, — сказал он, отплывая к двери. Он исчез легко и бесшумно, как дым. Его последние слова прозвучали очень неопределенно, можно было понять их как угрозу и как приятельское предупреждение.

«Приятельское, — мысленно усмехнулся Клим, шагая по комнате и глядя на часы. — Сколько времени сидел этот человек: десять минут, полчаса? Наглое и глупое предложение его не оскорбило меня, потому что не могу же я подозревать себя способным на поступок против моей чести…»

И, успокоив себя, он подумал, что следовало задержать Бердникова, расспросить его о Марине.

«Я глупо делаю, не записывая такие встречи и беседы. Записать — значит оттолкнуть, забыть; во всяком случае — оформить, то есть ограничить впечатление. Моя память чрезмерно перегружена социальным хламом».

Ему очень понравились слова: социальный хлам. Он остановился, закрыл глаза, и с быстротою, которая доступна только работе памяти, пред ним закружился пестрый вихрь пережитого, утомительный хоровод несоединимых людей. Особенно видны были Варавка и Кутузов, о котором давно уже следовало бы забыть, Лютов и Марина — нет ли в них чего-то сродного? — Митрофанов и Любимова, рыжий Томилин, зеленоватой тенью мелькнула Варвара, и так же, на какую-то часть секунды, ожили покорные своей судьбе Куликова, Анфимьевна, еще и еще знакомые фигуры. Непонятен, неуловим смысл их бытия.

В эту минуту возврата в прошлое Самгин впервые почувствовал нечто новое: как будто все, что память показывала ему, ожило вне его, в тумане отдаленном, но все-таки враждебном ему. Сам он — в центре тесного круга теней, освещаемых его мыслью, его памятью. Среди множества людей не было ни одного, с кем он позволил бы себе свободно говорить о самом важном для него, о себе. Ни одного, кроме Марины. Открыв глаза, он увидал лицо свое в дыме папиросы отраженным на стекле зеркала; выражение лица было досадно неумное, унылое и не соответствовало серьезности момента: стоит человек, приподняв плечи, как бы пытаясь спрятать голову, и через очки, прищурясь, опасливо смотрит на себя, точно на незнакомого. Он сердито встряхнулся, нахмурился и снова начал шагать по комнате, думая:

«Истина с теми, кто утверждает, что действительность обезличивает человека,

насилует его. Есть что-то… недопустимое в моей связи с действительностью. Связь предполагает взаимодействие, но как я могу… вернее: хочу ли я воздействовать на окружающее иначе, как в целях самообороны против его ограничительных и тлетворных влияний?»

Вспомнились слова Марины: «Мир ограничивает человека, если человек не имеет опоры в духе». Нечто подобное же утверждал Томилин, когда говорил о познании как инстинкте.

«Да, познание автоматично и почти бессмысленно, как инстинкт пола», — строго сказал Самгин себе и снова вспомнил Марину; улыбаясь, она говорила:

«Свободным-то гражданином, друг мой, человека не конституции, не революции делают, а самопознание. Ты вот возьми Шопенгауэра, почитай прилежно, а после него — Секста Эмпирика о «Пирроновых положениях». По-русски, кажется, нет этой книги, я по-английски читала, французское издание есть. Выше пессимизма и скепсиса человеческая мысль не взлетала, и, не зная этих двух ее полетов, ни о чем не догадаешься, поверь!»

Самгин остановился, прислонясь к стене, закуривая. Ему показалось, что никогда еще он не думал так напряженно и никогда не был так близко к чему-то чрезвычайно важному, что раскроется пред ним в следующую минуту, взорвется, рассеет все, что тяготит его, мешая найти основное в нем, человеке, перегруженном «социальным хламом». Папиросу он курил медленно, стоял у стены долго, но ничего не случилось, не взорвалось, а просто он почувствовал утомление и необходимость пойти куда-нибудь. Пошел, смотрел картины в Люксембургском музее, обедал в маленьком уютном ресторане. До вечера ходил и ездил по улицам Парижа, отмечая в памяти все, о чем со временем можно будет рассказать кому-то. По бульварам нарядного города, под ласковой тенью каштанов, мимо хвастливо богатых витрин магазинов и ресторанов, откуда изливались на панели смех и музыка, шумно двигались встречу друг другу веселые мужчины, дамы, юноши и девицы; казалось, что все они ищут одного — возможности безобидно посмеяться, покричать, похвастаться своим уменьем жить легко. Жизнерадостный шум возбуждал приятно, как хорошее старое вино. Отдаваясь движению толпы, Самгин думал о том, что французы философствуют значительно меньше, чем англичане и немцы. Трудно представить на бульварах Парижа Иммануила Канта и Шопенгауэра или Гоббса. Трудно допустить, что в этом городе может родиться человек, подобный Достоевскому. Невозможен и каноник Джонатан Свифт за столиком одного из ресторанов. Но очень понятны громогласный, жирный смех монаха Рабле, неисчерпаемое остроумие Вольтера, и вполне на месте Анакреон XIX века — лысый толстяк Беранже. Возможен ли француз-фанатик? Самгин наскоро поискал такого в памяти своей и — не нашел. Вспомнились стихи Полежаева:

Француз — дитя,Он вам шутяРазрушит трон,Издаст закон…

Эти стихи вполне совпадали с ритмом шагов Самгина. Мелькнуло в памяти имя Бодлера и — погасло, не родив мысли. Подумалось:

«Буржуазия Франции оправдала кровь и ужасы революции, показав, что она умеет жить легко и умно, сделав свой прекрасный, древний город действительно Афинами мира…»

Вечером сидел в театре, любуясь, как знаменитая Лавальер, играя роль жены депутата-социалиста, комического буржуа, храбро пляшет, показывая публике коротенькие черные панталошки из кружев, и как искусно забавляет она какого-то экзотического короля, гостя Парижа. Домой пошел пешком, соблазняло желание взять женщину, но — не решился.

«Надоели мне ее таинственные дела и странные знакомства», — ложась спать, подумал он о Марине сердито, как о жене. Сердился он и на себя; вчерашние думы казались ему наивными, бесплодными, обычного настроения его они не изменили,

хотя явились какие-то бескостные мысли, приятные своей отвлеченностью.

«Мир — гипотеза», — сказал некий «объясняющий господин», кажется — Петражицкий? Правильно сказал: мир для меня — непрерывный поток противоречивых явлений, которые вихрем восходят или нисходят куда-то по какой-то спирали, которая позволяет мыслить о сходстве, о повторяемости событий. Взгляд из прошлого — снизу вверх — или из желаемого будущего — из гипотетического верхнего кольца спирали вниз, в настоящее, — это, в сущности, игра, догматизирующая мысли. Не больше. Мысль всегда — догматизирует, иначе она — не может. Формула, форма — это уже догма, ограничение. Мысль — один из феноменов мира, часть, которая стремится включить в себя целое. Душа? Душа полудикого деревенского мужика, «дух» Марины. Встает вопрос о праве додумывать до конца, о праве создания и утверждения догматов, гипотез, теорий. «Объясняющие господа» не ставят пред собой этого вопроса. Нельзя отрицать этого права за аристократами духа, за рыцарями красоты, здесь вполне допустимо оправдание эстетическое. Но когда это право присваивает сын деревенского мельника Кутузов, ученик недоучившегося студента Ульянова… И должна быть ответственность за мысли. Кто это утверждал? Кажется, Жозеф де-Местр. У нас — Константин Победоносцев…» Незаметно и насильственно мысль приводила в угол, где сгущена была наиболее неприятная действительность. Самгин хмурился, курил и, пытаясь выскользнуть из тесного круга бесплодных размышлений, сердито барабанил пальцами по томику рассказов Мопассана. Он все более часто чувствовал себя в области прочитанного, как в магазине готового платья, где однако не находил для себя костюма по фигуре. И самолюбие все настойчивее внушало ему, что он сам должен скроить и сшить такой удобный, легкий, прочный костюм.

Часа в три он сидел на террасе ресторана в Булонском лесу, углубленно читая карту кушаний.

— Слушайте-ко, Самгин, — раздался над головой его сиповатый, пониженный голос Попова, — тут тесть мой сидит, интересная фигура, богатейший человечище! Я сказал ему, что вы поверенный Зотовой, а она — старая знакомая его. Он хочет познакомиться с вами…

Попов говорил просительно, на лице его застыла гримаса смущения, он пожимал плечами, точно от холода, и вообще был странно не похож на того размашистого человека, каким Самгин наблюдал его у Марины.

— Я собрался обедать, — сказал Клим, заинтересованный ужимками Попова и соображая: «Должно быть, не очень хочет, чтоб тесть познакомился со мной».

— Вместе и пообедаем, — пробормотал Попов, и Самгин решил подчиниться маленькому насилию действительности.

Пошли в угол террасы; там за трельяжем цветов, под лавровым деревом сидел у стола большой, грузный человек. Близорукость Самгина позволила ему узнать Берд-никова, только когда он подошел вплоть к толстяку. Сидел Бердников положив локти на стол и высунув голову вперед, насколько это позволяла толстая шея. В этой позе он очень напоминал жабу. Самгину показалось, что птичьи глазки Бердникова блестят испытующе, точно спрашивая:

«Нуте-с, как вы себя поведете?»

Неясное какое-то подозрение укололо Самгина, он сердито взглянул на Попова, а инженер, подвигая стул, больно задел Самгина по ноге и, не извиняясь, сказал:

— Самгин… Клим Иванович — так?

— Захар Петров, — откликнулся Бердников веселым голоском и, не вставая, протянул Самгину свою мягкую лапу. — Садитесь-ко, прошу покорно.

«Если посмеет заговорить о договоре — оборву!» — решил Самгин.

— Мы с зятем для возбуждения аппетита вопросы кое-какие шевелили, вдруг вижу: как раз русский идет, значит — тоже говорун, а тут оказалось, что Григорий знаком с вами. — Он говорил с благосклонной улыбочкой, от нее глаза его ласково и масляно помутнели. — Нуте-с, заказывайте! Мне, Григорий, спаржи побольше и сыру швейцарского, — самый чистый и здоровый сыр. Я как раз поклонник пищи растительной и молочной, а также фрукты обожаю. В чем французы совершенно артистически тонко понимают, так это в женщинах и овощах. Женщину воспитали столь искусно, что она подает вам себя даже как бы музыкально, а овощи у них лучшие в мире, это всеми признано. На Центральном рынке поутру не бывали? Посетите. Изумителен не менее Лувра.

Самгин слушал молча и настороженно. У него росло подозрение, что этот тесть да и Попов, наверное, попробуют расспрашивать о делах Марины, за тем и пригласили. В сущности, обидно, что она скрывает от него свои дела…

Бердников, говоря, поправлял галстук с большой черной жемчужиной в нем, из-под галстука сверкала крупная бриллиантовая запонка, в толстом кольце из платины горел злым зеленым огнем изумруд. Остренькие зрачки толстяка сегодня тоже блестели зеленовато.

— Папаша большой шалун по женской части, — проворчал Попов, прервав деловую беседу с гарсоном.

— Не верьте ему, — сказал Бердников, пошевелив грузное тело свое, подобрал, обсосал нижнюю губу и, вздохнув, продолжал все так же напевно, благосклонно: — Он такую вам биографию мою сочинит, что ужаснетесь.

«Вероятно, чудак, вроде Лютова», — подумал Самгин, слушая гладкую речь толстяка, она успокаивала его подозрения. Но Попов, внимательно рассматривая поданные закуски, неожиданно и грубовато спросил:

— Зотова в Англию уехала?

Самгин выпрямился, строго, через очки взглянул в лицо Бердникова, — оно расплывалось, как бы таяло в благодушной улыбке. Казалось, что толстяк пропустил вопрос Попова мимо своих ушей. Покачнувшись в сторону Самгина, весело говорил:

— Папашей именует меня, а право на это — потерял, жена от него сбежала, да и не дочью она мне была, а племянницей. У меня своих детей не было: при широком выборе не нашел женщины, годной для материнства, так что на перекладных ездил… — Затем он неожиданно спросил: — К политической партии какой-нибудь принадлежите?

— Нет, я не занимаюсь политикой, — суховато ответил Самгин.

— Большая редкость в наши дни, когда как раз даже мальчики и девочки в политику вторглись, — тяжко вздохнув, сказал Бердников и продолжал комически скорбно: — Особенно девочек жалко, они совсем несъедобны стали, как, примерно, мармелад с уксусом. Вот и Попов тоже политикой уязвлен, марксизму привержен, угрожает мужика социалистом сделать, хоша мужик, даже когда он совсем нищий, все-таки не пролетар…

Попов, разливая водку в рюмки, угрюмо сдвинул к переносью кустики бровей, чмокнул, облизал губы и вполголоса просипел:

— А вы для чего? Вы, такие вот, кругленькие, перевоспитаете его в пролетария, это же и есть ваша задача…

— Ну, ладно, я не спорю, пусть будет и даже в самом совершенном виде! — живо откликнулся Бердников и, подмигнув Самгину, продолжал: — Чего при мне не случится, то меня не беспокоит, а до благоденственного времени, обещанного Чеховым, я как раз не дотяну. Нуте-с, выпьемте за прекрасное будущее!

Подняв рюмку к носу, он понюхал ее, и лицо его сморщилось в смешной, почти бесформенный мягкий комок, в косые складки жирноватой кожи, кругленькие глаза спрятались, погасли. Самгин второй раз видел эту гримасу на рыхлом, бабьем лице Бердникова, она заставила его подумать:

«Забавный болтун. И, кажется, не глуп».

Его особенно удивляла легкость движений толстяка, легкость его речи. Он даже попытался вспомнить: изображен в русской литературе такой жизнерадостный и комический тип? А Бердников, как-то особенно искусно смазывая редиску маслом, поглощая ее, помахивая пред лицом салфеткой, распевал тонким голоском:

— Люблю почесать язык о премудрости разные! Упрекают нас, русских, что много разговариваем, ну, я как раз не считаю это грехом. Церковь предупреждает: «Во многоглаголании — несть спасения», однако сама-то глаголет неустанно, хотя и пора бы ей видеть, что нас, пестрый народ, глаголы ее не одноцветят, а как раз наоборот. Нам, господин Самгин, есть о чем поговорить. Европейцы не беседуют между собой на темы наши, они уже благоустроены: пьют, едят, любят, утилизируют наше сырье, хлебец наш кушают, живут себе помаленьку, а для разговора выбирают в парламенты соседей своих, которые почестолюбивее, поглупее. Социалистов выкармливают на эту роль, они и разговаривают публично о расширении условий для еды, питья, семейной жизни. О душе в парламентах не разговаривают, это даже и неприлично было бы, и даже смешно. А мы ведь все как раз о душе. Мы — кочевой народ, на полях мысли не так давно у Лаврова с Михайловским паслись, вчерась у Фридриха Ницше, сегодня вот травку Карла Маркса жуем и отрыгаем.

Попов неумело и жестоко резал утку, хрустели кости, из-под ножа выскальзывали куски, он ворчал:

— О, чорт…

Самгин, насыщаясь и внимательно слушая, видел вдали, за стволами деревьев, медленное движение бесконечной вереницы экипажей, в них яркие фигуры нарядных женщин, рядом с ними покачивались всадники на красивых лошадях; над мелким кустарником в сизоватом воздухе плыли головы пешеходов в соломенных шляпах, в котелках, где-то далеко оркестр отчетливо играл «Кармен»; веселая задорная музыка очень гармонировала с гулом голосов, все было приятно пестро, но не резко, все празднично и красиво, как хорошо поставленная опера. И над этим праздником, легко пронзая его шум, извивалась тонкогласая, остренькая речь Бердникова; обсасывая спаржу, он говорил:

— Мы — народище не волевой, а мыслящий, мы не столько стремимся нечто сделать, как хотим что-нибудь выдумать для всеобщего благополучия. Мессианство, оно же как раз и ротозейство. Извините. Воля у нас не воспитывалась, а подавлялась, извне — государством, а изнутри разлагала ее свободная мысль. О народе усердно беспокоились, все спрашивали его: «Ты проснешься ль, исполненный сил?» И вот он проснулся, как мы того желали, и нанес государству огромнейшие убытки, в дребезг, в прах и пепел разорив культурнейшие помещичьи хозяйства.

— У него именьишко сожгли, — равнодушно сказал Попов, разливая шампанское.

— И скот прирезали, — добавил Бердников. — Ну, я однако не жалуюсь. Будучи стоиком, я говорю: «Бей, но — выучи!» Охо-хо! Нуте-кось, выпьемте шампанского за наше здоровье! Я, кроме этого безвредного напитка, ничего не дозволяю себе, ограниченный человек. — Он вылил в свой бокал рюмку коньяка, чокнулся со стаканом Самгина и ласково спросил: — Надоела вам моя болтовня?

— Я слушаю вас с глубоким интересом, — вполне искренно ответил Самгин.

— Однако помалкиваете.

— Неразговорчив.

— Осторожность — хорошее качество, — сказал Бердников, и снова Самгин увидал лицо его комически сморщенным. Затем толстяк неожиданно и как-то беспричинно засмеялся. Смеялся он всем телом, смех ходил в нем волнами, колыхая живот, раздувая шею, щеки, встряхивая толстые бабьи плечи, но смех был почти бесшумен, он всхлипывал где-то в животе, вырываясь из надутых щек и губ глухими булькающими звуками:

— Ппу-бу-бу-бу… Самгин подумал:

«Он должен бы смеяться визгливо».

— Великий мастер празднословия, — лениво, однако с явной досадой сказал Попов, наливая Климу красного вина. — Вы имейте в виду: ему дорого не то, что он говорит, а то — как!

— Слышите? — подхватил Бердников. — В эстеты произвел меня. А то — нигилистом ругает. Однако чем же я виноват, ежели у нас свобода-то мысли именно к празднословию сводится и больше никуда? Нуте-ко, скажите, где у нас свободная-то мысль образцово дана? Чаадаев? Бакунин и Кропоткин? Герцен, Киреевский, Данилевский и другие этого гнезда?

— Это он, кокет, вам товар лицом показывает, вот, дескать, как я толсто начитан, — все так же лениво и уже подразнивая проговорил Попов. Тело Бердникова заколебалось, точно поплыло, наваливаясь на стол, кругленькие глазки зеленовато яростно вспыхнули, он заговорил быстрее, с присвистами и взвизгиваньем:

— Нет, погоди! Ты покажи-ко мне, вместо Бакуниных с Кропоткиными, русских Оуэнов, Фурье, Сен-Симонов, покажи, ну? Ду-шеч-ка, у нас их заменяют блаженненькие Сютаевы, Бондаревы да чудаковатый граф, соблазненный ими по бедности разума его. Ой, нехорошо, дерзко сказал я, — воскликнул он, неумело притворяясь испуганным. — Но вы, господин Самгин, не думайте, я ведь гения не отрицаю, художника всесветного превозношу совокупно со всеми. Однако же полагаю себя вправе сказать: глуп, как гений! И это касается не одного кого-либо, а вообще гения в искусстве…

— Чернышевский… — начал Попов, сердито сдвинув брови.

Тесть махнул рукой на него:

— Отстань! Семинарист этот был прилежным учеником, а чудотворца из него литераторы сделали за мужиколюбие. Я тебе скажу, что бурят Щапов был мыслителем как раз погуще его, да! Есть еще мыслитель — Федоров, но его «Философия общего дела» никому не знакома.

Он всем телом покачнулся к Самгину, усмехаясь, широко обнажив золотые клыки:

— Дорогой… Кирилл Иваныч, старообрядцы мы, заплесневели, мохом обросли! Славянофилы эти наши, народники всякие — старообрядцы всё! И пусть только какой-нибудь Петр, большой или маленький, начнет нас к Европе поворачивать, мы орем: «Антихрист! Блаженны кроткие»…

— Мне кажется, вы недооцениваете событий, которые только что… — заговорил Самгин, но Бердников, схватив его за рукав пиджака, быстро и уже озлобленно продолжал:

— Не выношу кротких! Сделать бы меня всемирным Иродом, я бы как раз объявил поголовное истребление кротких, несчастных и любителей страдания. Не уважаю кротких! Плохо с ними, неспособные они, нечего с ними делать. Не гуманный я человек, я как раз железо произвожу, а — на что оно кроткому? Сказку Толстого о «Трех братьях» помните? На что дураку железо, ежели он обороняться не хочет? Избу кроет соломой, землю пашет сохой, телега у него на деревянном ходу,

гвоздей потребляет полфунта в год.

Самгин, немножко захмелев, уставал слушать этот тонкий, резкий голос. Интересно, но — много… Да, вот какие мысли носит в себе такой человек.

«Какой человек?» — спросил себя Клим, но искать ответа не хотелось, а подозрительное его отношение к Бердникову исчезало. Самгин чувствовал себя необычно благодушно, как бы отдыхая после длительного казуистического спора с назойливым противником по гражданскому процессу.

Приятно было наблюдать за деревьями спокойное, парадное движение праздничной толпы по аллее. Люди шли в косых лучах солнца встречу друг другу, как бы хвастливо показывая себя, любуясь друг другом. Музыка, смягченная гулом голосов, сопровождала их лирически ласково. Часто доносился веселый смех, ржание коня, за углом ресторана бойко играли на скрипке, масляно звучала виолончель, женский голос пел «Матчиш», и Попов, свирепо нахмурясь, отбивая такт мохнатым пальцем по стакану, вполголоса, четко выговаривал:

Су вотр жюп бланшБрийе ля анш…

Бердников все время пил, подливая в шампанское коньяк, но не пьянел, только голос у него понизился, стал более тусклым, точно отсырев, да вздыхал толстяк все чаще, тяжелей. Он продолжал показывать пестроту словесного своего оперения, но уже менее весело и слишком явно стараясь рассмешить.

Самгину подумалось, что настал момент, когда можно бы заговорить с Бердниковым о Марине, но мешал Попов, — в его настроении было что-то напряженное, подстерегающее, можно было думать, что он намерен затеять какой-то деловой разговор, а Бердников не хочет этого, потому и говорит так много, почти непрерывно. Вот Попов угрюмо пробормотал что-то о безответственности, — толстый человек погладил ладонями бескостное лицо свое и заговорил более звонко, даже как бы ехидно:

— А перед кем отвечать? Сам знаешь; я делаю историю, может — скверно, а все-таки делаю, предоставляя интеллигентам свободу судить и порицать меня. Но — чтобы в дела мои не лезли иначе, как словесно! Тебе дана историей роль повара-марксиста, мне — роль кота Васьки, а пролетарий даже в Германии к делу фабрикации истории не доспел. Однако я понимаю: революцию на сучок не повесить, а Столыпин — весьма провинциальный дурак: он бы сначала уступил, а потом понемножку отнял, как делают умные хозяева. А он вот хочет деревню отрубами раскрошить, полагая, что создаст на русских-то полях американских фермеров, а создать он может токмо миллионы нищих бунтарей, на производство фермеров у него как раз сельскохозяйственного инвентаря не хватит, даже если он половинку России французским банкирам заложил бы.

— Соединение бойкости языка с наивностью поверхностной мысли — не велика мудрость, — докторально и даже сердито начал Попов, но тесть прервал его:

— Это ты про меня? Спасибо. И, выпив бокал шампанского с коньяком, продолжал, обращаясь к Самгину:

— Бунт обнаружил слабосилие власти, возможность настоящей революции, кадетики, съездив в Выборг, как раз скомпрометировали себя до конца жизни в глазах здравомыслящих людей. Теперь-с, ежели пролетарий наш решит идти за Лениным и сумеет захватить с собою мужичка — самую могущественную фигуру игры, — Россия лопнет, как пузырь.

Он засмеялся:

— Ппу-бу-бу-бу.

И, поглаживая животище, вздувшийся почти до подбородка, похлопывая его ладонью, сверкая изумрудом на пальце и улыбочкой в глазах, он докончил:

— Единственное, Кирилл Иваныч, спасение наше — в золоте, в иностранном золоте! Надобно всыпать в нашу страну большие миллиарды франков, марок, фунтов, дабы хозяева золота в опасный момент встали на защиту его, вот как раз моя мысль!

— Чепуха, — сказал Попов, качая голову от плеча к плечу и крепко закрыв глаза.

— Патриот! — откликнулся Бердников, подмигнув Самгину. — Патриот и социалист от неудачной жизни. Открытие сделал — украли, жена — сбежала, в картах — не везет.

— Будет вам! Едемте кататься, — устало предложил Попов, а Бердников, особенно ласково глядя в лицо Самгина, говорил:

— Люблю дразнить! Мальчишкой будучи, отца дразнил, отец у меня штейгером был, потом докопался до дела — в большие тысячники вылез. Драл меня беспощадно, но, как видите, не повредил. Чехов-то прав: если зайца бить, он спички зажигать выучится. Вы как Чехова-то оцениваете?

— Отличный и правдивейший художник, — сказал Самгин и услышал, что сказано это тоном неуместно строгим и вышло смешно. Он взглянул на Попова, но инженер внимательно выбирал сигару, а Бердников, поправив галстук, одобрительно сунул голову вперед, — видимо, это была его манера кланяться.

— Изящнейший писатель, — говорил он. — Некоторые жалуются — печален. А ведь нерезонно жаловаться на октябрь за то, что в нем плохая погода. Однако и в октябре бывают превосходные дни…

— Когда октябристы родятся, — угрюмо вставил Попов.

— Ну, поздравляю, сострил! — одобрительно произнес Бердников, и лягушечьи губы его раздвинулись широкой улыбкой. — Закаты хороши в октябре. И утренние зори. Я ведь до сорока лет охотник был, одиннадцать медведей извел…

Попов вызвал коляску, толстяк упросил Самгина «не разрушать компанию», но Самгин и не имел этого намерения. Бердников любезно предложил ему сесть рядом, Попов, с сигарой в зубах, сел на переднее сиденье, широко расставив ноги. Он, видимо, опьянел, курил, смешно надувая щеки, морщился, двигал бровями, пускал дым в лицо Самгина, и Самгин все определенней чувствовал, что инженер стесняет его. Коляска выехала на широкую аллею и включилась звеном в бесконечную цепь разнообразно причудливых экипажей. Самгин почувствовал, что его приятно возбуждает парадное движение празднично веселой, нарядно одетой толпы людей, зеркальный блеск разноцветного лака, металлических украшений экипажей и сбруи холеных лошадей, которые, как бы сознавая свою красоту, шагали медленно и торжественно, позволяя любоваться мощной грацией их движений. Ослепительно блестело золото ливрей идолоподобно неподвижных кучеров и грумов, их головы в лакированных шляпах казались металлическими, на лицах застыла суровая важность, как будто они правили не только лошадьми, а всем этим движением по кругу, над небольшим озером; по спокойной, все еще розоватой в лучах солнца воде, среди отраженных ею облаков плавали лебеди, вопросительно и гордо изогнув шеи, а на берегах шумели ярко одетые дети, бросая птицам хлеб. Мелькали бронзовые лица негров, подчеркнутые белыми улыбками, блеском зубов и синеватым фарфором веселых глаз, казалось, что эти матовые глаза фосфорически дымятся. Вслед экипажам и встречу им густо двигалась толпа мужчин, над ними покачивались, подпрыгивали в седлах военные, красивые, точно игрушки, штатские в цилиндрах, амазонки в фантастических шляпах, тонконогие кони гордо взмахивали головами. Ритмический топот лошадей был едва слышен в пестром и гулком шуме голосов, в непрерывном смехе, иногда неожиданно и очень странно звучал свист, но все же казалось, что толпа пешеходов подчиняется глухому ритму ударов копыт о землю. Тесная группа мужчин дружно аплодировала, в средине ее важно шагали чернобородые, с бронзовыми лицами, в белых чалмах и бурнусах, их сопровождали зуавы в широких красных штанах. Все

время, то побеждая шум толпы, то утопая в нем, звучала музыка военного оркестра. Солнце, освещая пыль в воздухе, окрашивало его в розоватый цвет, на розоватом зеркале озера явились две гряды перистых облаков, распростертых в небе, точно гигантские крылья невидимой птицы, и, вплывая в отражения этих облаков, лебеди становились почти невидимы. Это было очень красиво, грустно, напомнило Самгину какие-то сказки, стихи о лебедях, печальный романс Грига. Хотелось отдать себя во власть дремотного бездумья, забыться в созерцании этой красочной жизни. Мешало нахмуренное лицо Попова, туповатый, хмельной взгляд его глаз, мешал слащаво ласковый голос Бердникова.

— Мирок-то какой картинный, а? — говорил он, как бы додумывая неясные мысли Самгина. — Легкость, радость бытия, подлинно демократично и непритязательно.

— Да, — неожиданно для себя сказал Самгин. — Они умеют отдыхать от будничных забот и насилий действительности.

Этими словами он очень обрадовал Бердникова.

— Вот именно! Как раз — так! Умнейшая буржуазия Европы живет здесь. А у нас, в Питере, на Стрелке, — монументальная скука, напыщенность — едут, как будто важного покойника провожая-Покачиваясь, он толкал Самгина теплым, мягким плечом. Самгин, искоса поглядывая на него, кивал головой. Любуясь женщинами, он не хотел, чтоб это было замечено, и даже сам себе не хотел сознаться, что любуется. Глядя, как они, окутанные в яркие ткани, в кружевах, цветах и страусовых перьях, полулежа на подушках причудливых экипажей, смотрят на людей равнодушно или надменно, ласково или вызывающе улыбаясь, он вспоминал суровые романы Золя, пряные рассказы Мопассана и пытался определить, которая из этих женщин родня Нана или Рене Саккар, madame де-Бюрн или героиням Октава Фелье, Жоржа Онэ, героиням модных пьес Бернштейна? Было совершенно ясно, что эти изумительно нарядные женщины, величественно плывущие в экипажах, глубоко чувствуют силу своего обаяния и что сотни мужчин, любуясь их красотой, сотни женщин, завидуя их богатству, еще более, если только это возможно, углубляют сознание силы и власти красавиц, победоносно и бесстыдно показывающих себя.

— Да, — говорил Самгин каким-то своим еще не оформленным мыслям. — Да, да. — И вспоминал Алину около трупа Лютова.

Говор толпы становился как будто тише, когда появлялись особенно оригинальные экипажи. Рядом с коляской, обгоняя ее со стороны Бердникова, шагала, играя удилами, танцуя, небольшая белая лошадь, с пышной, длинной, почти до копыт, гривой; ее запрягли в игрушечную коробку на двух высоких колесах, покрытую сияющим лаком цвета сирени; в коробке сидела, туго натянув белые вожжи, маленькая пышная смуглолицая женщина с темными глазами и ярко накрашенным ртом. Она ласково и задорно улыбалась, правя лошадью, горяча ее, на ней голубая курточка, вышитая серебром, спицы колес экипажа тоже посеребрены и, вращаясь, как бы разбрызгивают белые искры, так же искрится и серебро шитья на рукавах курточки. Сзади экипажа, на высокой узенькой скамейке, качается, скрестив руки на груди, маленький негр, весь в белом, в смешной шапочке на курчавой голове, с детским личиком и важно или обиженно надутыми губами. Бердников почтительно приподнял шляпу и сунул голову вперед, сморщив лицо улыбкой; женщина, взглянув на него, приподняла черные брови и ударила лошадь вожжой. Бердников вздохнул, накрываясь шляпой.

— С-стервоза, — сказал он, присвистывая. — В большой моде… Высокой цены. Сейчас ее содержит один финансист, кандидат в министры торговли…

В черной коляске, формой похожей на лодку, запряженной парой сухощавых, серых лошадей, полулежала длинноногая женщина; пышные рыжеватые волосы, прикрытые черным кружевом, делали ее лицо маленьким, точно лицо подростка. Ее золотистые брови нахмурены, глаза прикрыты ресницами, плотно сжатые, яркие губы придавали ее лицу выражение усталости и брезгливости. Под черной

пеной кружев четко видно ее длинное, рыбье тело, туго обтянутое перламутровым шелком, коляска покачивалась на мягких рессорах, тело женщины тихонько вздымалось и опадало, как будто таяло. Лошадьми правил большой синещекий кучер с толстыми черными усами, рядом с ним сидел человек в костюме шотландца, бритый, с голыми икрами, со множеством золотых пуговиц на куртке, пуговицы казались шляпками гвоздей, вбитых в его толстое тело.

— Это что же? Аллегория какая-то, что ли? — спросил Попов, ухмыляясь.

Бердников тотчас откликнулся:

— Применяют безобразное, чтоб подчеркнуть красоту, понимаешь? Они, милейший мой, знают, кого чем взять за жабры. Из-за этой душечки уже две дуэли было…

— На булавках дуэли-то?

Бердников хотел что-то сказать, но только свистнул сквозь зубы: коляску обогнал маленький плетеный шарабан, в нем сидела женщина в красном, рядом с нею, высунув длинный язык, качала башкой большая собака в пестрой, гладкой шерсти, ее обрезанные уши торчали настороженно, над оскаленной пастью старчески опустились кровавые веки, тускло блестели рыжие, каменные глаза.

— Собаки, негры, — жаль, чертей нет, а то бы и чертей возили, — сказал Бердников и засмеялся своим странным, фыркающим смехом. — Некоторые изображают себя страшными, ну, а за страх как раз надобно прибавить. Тут в этом деле пущена такая либертэ, что уже моралитэ — места нету!

Лицо Попова налилось бурой кровью, глаза выкатились, казалось, что он усиленно старается не задремать, но волосатые пальцы нервозно барабанили по коленям, голова вращалась так быстро, точно он искал кого-то в толпе и боялся не заметить. На тестя он посматривал сердито, явно не одобряя его болтовни, и Самгин ждал, что вот сейчас этот неприятный человек начнет возражать тестю и затрещит бесконечный, бесплодный, юмористически неуместный на этом параде красивых женщин диалог двух русских, которые все знают.

«Все, кроме самих себя, — думал Самгин. — Я предпочитаю монологи, их можно слушать не возражая, как слушаешь шум ветра. Это не обязывает меня иметь в запасе какие-то истины и напрягаться, защищая их сомнительную святость…»

Пара темнобронзовых, монументально крупных лошадей важно катила солидное ландо: в нем — старуха в черном шелке, в черных кружевах на седовласой голове, с длинным, сухим лицом; голову она держала прямо, надменно, серенькие пятна глаз смотрели в широкую синюю спину кучера, рука в перчатке держала золотой лорнет. Рядом с нею благодушно улыбалась, кивая головою, толстая дама, против них два мальчика, тоже неподвижные и безличные, точно куклы.

— Де-Лярош-Фуко, — объяснял Бердников, сняв шляпу, прикрывая ею лицо. — Маркиза или графиня… что-то в этом роде. Моралистка. Ханжа. Старуха — тоже аристократка, — как ее? Забыл фамилию… Бульон, котильон… Крильон? Деловая, острозубая, с когтями, с большим весом в промышленных кругах, чорт ее… Филантропит… Нищих подкармливает… Вы, господин Самгин, моралист? — спросил он, наваливаясь на Самгина.

— Предпочитаю воздерживаться, — ответил Клим и упрекнул себя за необдуманный ответ.

— Приятно знать, — услыхал он одобрительный возглас. — Я как раз женщин этих не осуждаю. Более того, ежели подсчитать, какой доход дают кокотки Парижу, так можно даже как раз уважение почувствовать к ним. Не шучу! Текстиль, ювелирное, портновское дело, домашняя обстановка и всякий эдакий «артикль де Пари» — это всё кокоточки двигают, поверьте! Сначала — кокотка, а за нею уже и всякая другая фамма. И ведь заметьте, что кокотка преимущественно стрижет не француза, а иностранца. Вот банкиры здешние заемчик дали нам для погашения

волнений, — ведь в этом займе кокоточный заработок серьезную частицу имеет...

— Чорт знает что вы говорите, — проворчал Попов.

— Правду говорю, Григорий, — огрызнулся толстяк, толкая зятя ногой в мягком замшевом ботинке. — Здесь иная женщина потребляет в год товаров на сумму не меньшую, чем у нас население целого уезда за тот же срок. Это надо понять! А у нас дама, порченная литературой, старается жить, одеваясь в ризы мечты, то воображает себя Анной Карениной, то сумасшедшей из Достоевского или мадам Роллан, а то — Софьей Перовской. Скушная у нас дама!

Самгин слушал рассеянно и пытался окончательно определить свое отношение к Бердникову. «Попов, наверное, прав: ему все равно, о чем говорить». Не хотелось признать, что некоторые мысли Бердникова новы и завидно своеобразны, но Самгин чувствовал это. Странно было вспомнить, что этот человек пытался подкупить его, но уже являлись мотивы, смягчающие его вину.

«Привык вращаться в среде продажного чиновничества...» Он пропустил мимо ушей какое-то замечание Попова, Бердников пренебрежительно кричал зятю:

— Что ты мне все указываешь, чье то, чье это? Я везде беру все, что мне нравится. Суворин — не дурак. Для кого люди философствуют? Для мужика, что ли? Для меня!

Разгорался спор, как и ожидал Самгин. Экипажей и красивых женщин становилось как будто все больше. Обогнала пара крупных, рыжих лошадей, в коляске сидели, смеясь, две женщины, против них тучный, лысый человек с седыми усами; приподняв над головою цилиндр, он говорил что-то, обращаясь к толпе, надувал красные щеки, смешно двигал усами, ему аплодировали. Подул ветер и, смешав говор, смех, аплодисменты, фырканье лошадей, придал шуму хоровую силу.

«Нужен дважды гениальный Босх, чтоб превратить вот такую действительность в кошмарный гротеск», — подумал Самгин, споря с кем-то, кто еще не успел сказать ничего, что требовало бы возражения. Грусть, которую он пытался преодолеть, становилась острее, вдруг почему-то вспомнились женщины, которых он знал. «За эти связи не поблагодаришь судьбу... И в общем надо сказать, что моя жизнь...»

Он поискал определения и не нашел. Попов коснулся пальцем его колена, говоря:

— Я здесь слезаю. До свидания.

— А мы еще покатаемся по городу, — весело и тонко вскричал Бердников. — Потом — в какое-нибудь увеселительное место; вы не против?

— Отлично, — сказал Самгин. Наконец пред ним открывалась возможность поговорить о Марине. Он взглянул на Бердникова, тот усмехнулся, сморщил лицо и, толкая его плечом, спросил:

— Устали?

— Нимало.

— Терпеливый вы. Однако побледнели. Знаете: живешь-живешь, говоришь-говоришь, а все что-то как раз не выговаривается, какое-то небольшое, однако же — самое главное слово. Верно?

— Да, — охотно согласился Самгин, — это верно. Бердников, усмехаясь, чмокнул, как бы целуя воздух.

— Так и умрешь, не выговорив это слово, — продолжал он, вздохнув. — Одолеваю я вас болтовней моей? — спросил он, но ответа не стал ждать. — Стар, а в старости разговор — единственное нам утешение, говоришь, как будто встряхиваешь в душе пыль пережитого. Да и редко удается искренно поболтать, невнимательные мы

друг друга слушатели…

Самгин отметил: человек этот стал серьезнее и симпатичней говорить после того, как исчез Попов.

«Вероятно, очень одинокий человек и устал от одиночества», — подумал он, слушая Бердникова более внимательно.

— К тому же, подлинная-то искренность — цинична всегда, иначе как раз и быть не может, ведь человек-то — дрянцо, фальшивей, тем живет, что сам себе словесно приятные фокусы показывает, несчастное чадо.

И, уже совсем наваливаясь жидким телом своим, Бердников воскликнул пониженным, точно отсыревшим голосом:

— До чего несчастны мы, люди, милейший мой Иван Кириллович… простите! Клим Иванович, да, да… Это понимаешь только вот накануне конца, когда подкрадывается тихонько какая-то болезнь и нашептывает по ночам, как сводня: «Ах, Захар, с какой я тебя дамочкой хочу познакомить!» Это она — про смерть…

Бердников засмеялся странным своим смехом, а Самгин признал смех этот совершенно неуместным и, неприятно удивленный, подумал:

«Какой… хамелеон…» Слово «хамелеон» показалось ему незаслуженно обидным. «Гибкость какая… Разнузданность?»

Но и эти слова не определяли Бердникова. Коляска катилась по какой-то очень красивой улице, по обе стороны неспешно плыли изящные особняки, связанные железными решетками. На железе сияла обильная позолота, по панелям шагали люди, обгоняя тяжелое движение зданий. Самгину хотелось пить, хотелось неподвижности и тишины, чтобы в тишине внимательно взвесить, обдумать бойкие, пестрые мысли Бердникова, понять его, поговорить о Марине. Ему показалось, что никто никогда не говорил с ним так свободно, в тоне такой безграничной интимности, и он должен был признать, что некоторые фразы толстяка нравятся ему. «Нет, он глубже, своеобразней Лютова…»

— Хорошо бы чаю выпить, — предложил он.

— Чаю? Как раз в пору!

— Где-нибудь в тихом месте…

— Именно в тихом! — воскликнул Бердников и, надув щеки, удовлетворенно выдохнул струю воздуха. — По-русски, за самоварчиком! Прошу ко мне! Обитаю в пансионе, отличное убежище для сирот жизни, русская дама содержит, посольские наши охотно посещают…

Не ожидая согласия Самгина, он сказал кучеру адрес и попросил его ехать быстрей. Убежище его оказалось близко, и вот он шагает по лестнице, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, как резиновый, снова удивляя Самгина легкостью своего шарообразного тела. На тесной площадке — три двери. Бердников уперся животом в среднюю и, посторонясь, пригласил Самгина:

— Покорнейше прошу»

Вслед за этим он откатился куда-то в красноватый сумрак, восклицая:

— Анна Денисовна! Анеточка-а?

Самгин, протирая очки, осматривался: маленькая, без окон, комната, похожая на приемную дантиста, обставленная мягкой мебелью в чехлах серой парусины, посредине — круглый стол, на столе — альбомы, на стенах — серые квадраты гравюр. Сквозь драпри цвета бордо на дверях в соседнее помещение в комнату втекает красноватый сумрак и запах духов, и где-то далеко, в тишине звучит

приглушенный голос Бердникова:

— Самоварчик и прочее. Да, да. Верочка и Жоржет? Чтобы не уходили. Ясно! Ну да, как раз так… Ппу-бу-бу-бу…

Через минуту он выкатился из-за драпри, радостно восклицая:

— Пож-жалуйста, Клим Иванович!

И пошел рядом с Климом, говоря вполголоса;

— Похоже на бардачок, но очень уютно и «вдали от шума городского».

В тишине прошли через три комнаты, одна — большая и пустая, как зал для танцев, две другие — поменьше, тесно заставлены мебелью и комнатными растениями, вышли в коридор, он переломился под прямым углом и уперся в дверь, Бердников открыл ее пинком ноги.

— Вот мы и у пристани! Если вам жарко — лишнее можно снять, — говорил он, бесцеремонно сбрасывая с плеч сюртук. Без сюртука он стал еще более толстым и более остро засверкала бриллиантовая запонка в мягкой рубашке. Сорвал он и галстук, небрежно бросил его на подзеркальник, где стояла ваза с цветами. Обмахивая платком лицо, высунулся в открытое окно и удовлетворенно сказал:

— Благодать!

Его хозяйская бесцеремонность несколько покоробила Самгина. Он нахмурился, но, увидав в зеркале свою фигуру комически тощей рядом с круглой тушей Бердникова, невольно усмехнулся, и явилось неизбежное сравнение:

«Дон-Кихот, Санчо…»

Вслед за этим он услыхал шутливые слова:

— Мы с вами в комнатенке этой — как рубль с гривенником в одном кошельке…

И тотчас же заиграли как будто испуганные слова:

— Ой, простите, глупо я пошутил, уподобив вас гривеннику! Вы, Клим Иваныч, поверьте слову: я цену вам как раз весьма чувствую! Душевнейше рад встретить в лице вашем не пустозвона и празднослова, не злыдня, подобного, скажем, зятьку моему, а человека сосредоточенного ума, философически обдумывающего видимое и творимое. Эдакие люди — редки, как, примерно… двуглавые рыбы, каких и вовсе нет. Мне знакомство с вами — удача, праздник…

«Он, кажется, стихами говорить способен», — подумал Самгин и, примирясь с толстяком, сказал с улыбкой:

— Но позвольте, я ведь имею право думать, что вы не меня, а себя уподобили мелкой монете…

Бердников сунул голову вперед, звучно шлепнул губами, точно закрыв во рту какое-то неудобное и преждевременное слово, глядя на Самгина с удивлением, он помолчал несколько секунд, а затем голосок его визгливо взвился:

— Господи, боже мой, ну конечно! Как раз имеете полное право. Вот они, шуточки-то. Я ведь намекал на объемное, физическое различие между нами. Но вы же знаете: шутка с правдой не считается…

Явилась крупная чернобровая женщина, в белой полупрозрачной блузке, с грудями, как два маленькие арбуза, и чрезмерно ласковой улыбкой на подкрашенном лице, — особенно подчеркнуты были на нем ядовито красные губы. В руках, обнаженных по локоть, она несла на подносе чайную посуду, бутылки, вазы, за нею следовал курчавый усатенький человечек, толстогубый, точно негр;

казалось, что его смуглое лицо было очень темным, но выцвело. Он внес небольшой серебряный самовар. Бердников командовал по-французски:

— Уберите бенедиктин, дайте куантро… Огня! Самгин оглядывался. Комната была обставлена, как в дорогом отеле, треть ее отделялась темносиней драпировкой, за нею — широкая кровать, оттуда доносился очень сильный запах духов. Два открытых окна выходили в небольшой старый сад, ограниченный стеною, сплошь покрытой плющом, вершины деревьев поднимались на высоту окон, сладковато пахучая сырость втекала в комнату, в ней было сумрачно и душно. И в духоте этой извивался тонкий, бабий голосок, вычерчивая словесные узоры:

— Да-а, Шутка с правдой не считается, это как раз так! В третьем году познакомился, случайно, знаете, мимоходом, в Москве с известным литератором, пессимистом, однако же — не без юмора. Конечно, — знаете кто? Выпили. Спрашиваю: «Что это вы как мрачно пишете?» А он отвечает: «Пишу, не щадя правды». Очень много смеялись мы с ним и коньячку выпили мало-мало за беспощадное отношение к правде. Интересный он: идеалист и даже к мистике тяготеет, а в житейской практике — жестокий ловкач, я тогда к бумаге имел касательство и попутно с издательским делом ознакомился. Без ошибочки мистик-то торговал продуктами душевной своей рвоты. Ой, — засмеялся, забулькал он. — Нехорошо как обмолвился я! Вы словцо «рвота» поймите в смысле рвения и поползновения души за пределы реального…

Самгин слушал равнодушно, ожидая удобного момента поставить свой вопрос. На столе, освещенном спиртовой лампой, самодовольно и хвастливо сиял самовар, блестел фарфор посуды, в хрустале ваз сверкали беловатые искры, в рюмках — золотистый коньяк.

«Послушать бы, как он говорит с Мариной», — думал Самгин. Он пропустил какие-то слова.

— Как в цирке, упражняются в головоломном, Достоевским соблазнены, — говорил Бердников. — А здесь интеллигент как раз достаточно сыт, буржуазия его весьма вкусно кормит. У Мопассана — яхта, у Франса — домик, у Лоти — музей. Вот, надобно надеяться, и у нас лет через десять — двадцать интеллигент получит норму корма, ну и почувствует, что ему с пролетарием не по пути…

— Вы давно знаете Зотову? — спросил Самгин, отхлебнув коньяку.

Бердников ответил не сразу. Он снял чайник с конфорки самовара, закрыл трубу тушилкой, открыл чайник, понюхал чай и начал разливать его по чашкам.

— Углем пахнет, — объяснил он заботливые свои действия. Затем спросил: — Примечательная фигуряшка? Н-да, я ее знаю. Даже сватался. Не соблаговолила. Думаю; бережет себя для дворянина. Возможно, что и о титулованном мечтает. Отличной губернаторшей была бы!

Помолчал и, глядя в чашку, давя в ней ложкой лимон, продолжал раздумчиво, не спеша:

— Знаком я с нею лет семь. Встретился с мужем ее в Лондоне. Это был тоже затейливых качеств мужичок. Не без идеала. Торговал пенькой, а хотелось ему заняться каким-нибудь тонким делом для утешения души. Он был из таких, у которых душа вроде опухоли и — чешется. Все с квакерами и вообще с английскими попами вожжался. Даже и меня в это вовлекли, но мне показалось, что попы английские, кроме портвейна, как раз ничего не понимают, а о боге говорят — по должности, приличия ради.

Подмигнув Самгину на его рюмку, он вылил из своей коньяк в чай, налил другую, выпил, закусил глотком чая. Самгин, наблюдая, как легки и уверенны его движения, нетерпеливо ждал.

— Он, Зотов, был из эдаких, из чистоплотных, есть такие в купечестве нашем.

Вроде Пилата они, всё ищут, какой бы водицей не токмо руки, а вообще всю плоть свою омыть от грехов. А я как раз не люблю людей с устремлением к святости. Сам я — великий грешник, от юности прокопчен во грехе, меня, наверное, глубоко уважают все черти адовы. Люди не уважают. Я людей — тоже…

Самгин увидел, что пухлое, почти бесформенное лицо Бердникова вдруг крепко оформилось, стало как будто меньше, угловатей, да скулах выступили желваки, заострился нос, подбородок приподнялся вверх, губы плотно сжались, исчезли, а в глазах явился какой-то медно-зеленый блеск. Правая рука его, опущенная через ручку кресла, густо налилась кровью.

«Кажется, он пьянеет», — соображал Самгин, а его собеседник продолжал пониженным, отсыревшим голосом:

— Я деловой человек, а это все едино как военный. Безгрешных дел на свете — нет. Прудоны и Марксы доказали это гораздо обстоятельней, чем всякие отцы церкви, гуманисты и прочие… безграмотные души. Ленин совершенно правильно утверждает, что сословие наше следует поголовно уничтожить. Я оказал — следует, однакож не верю, что это возможно. Вероятно, и Ленин не верит, а только стращает. Вы как думаете о Ленине-то?

— Это — несерьезный мыслитель, — сказал Самгин. Бердников как будто удивился и несколько секунд молча, мигая, смотрел в лицо Самгина.

— Это вы — искренно?

— Да. Все, что я читал у него, — крайне примитивно.

— Та-ак, — неопределенно протянул Бердников и усмехнулся. — А вот Савва Морозов — слыхали о таком? — считает Ленина весьма… серьезной фигурой, даже будто бы материально способствует его разрушительной работе.

— Тоже — Пилат? — иронически спросил Самгин.

— Н-не знаю. Как будто умен слишком для Пилата. А в примитивизме, думаете, нет опасности? Христианство на заре его дней было тоже примитивно, а с лишком на тысячу лет ослепило людей. Я вот тоже примитивно рассуждаю, а человек я опасный, — скучно сказал он, снова наливая коньяк в рюмки.

Помолчали. Розовато-пыльное небо за окном поблекло, серенькие облака явились в небе. Прерывисто и тонко пищал самовар.

«Не хочет он говорить о Марине, — подумал Самгин, — напился. Кажется, и я хмелею. Надо идти…»

Но Бердников заговорил — неохотно и с усмешкой на лице, оно у него снова расплылось.

— Значит, Зотова интересует вас? Понимаю. Это — кусок. Но, откровенно скажу, не желая как-нибудь задеть вас, я могу о ней говорить только после того, как буду знать: она для вас только выгодная клиентка или еще что-нибудь?

— Только клиентка, и не могу сказать — выгодная, — ответил Самгин очень решительно.

— Ага, — оживленно воскликнул Бердников. — Да, да, она скупа, она жадная! В делах она — палач. Умная. Грубейший мужицкий ум, наряженный в книжные одежки. Мне она — враг, — сказал он в три удара, трижды шлепнув ладонью по своему колену. — Росту промышленности русской — тоже враг. Варягов зовет — понимаете? Продает англичанам огромное дело. Ростовщица. У нее в Москве подручный есть, какой-то хлыст или скопец, дисконтом векселей занимается на ее деньги, хитрейший грабитель! Раб ее, сукин сын…

Он нехорошо возбуждался. У него тряслись плечи, он совал голову вперед, желтоватое рыхлое лицо его снова окаменело, глаза ослепленно мигали, губы, вспухнув, шевелились, красные, неприятно влажные. Тонкий голос взвизгивал, прерывался, в словах кипело бешенство. Самгин, чувствуя себя отвратительно, даже опустил голову, чтоб не видеть пред собою противную дрожь этого жидкого тела.

— Уголовный тип, — слышал он. — Кончит тюрьмой, увидите! И еще вас втискает в какую-нибудь уголовщину. Наводчица, ворам дорогу показывает.

Он неестественно быстро вскочил со стула, пошатнув стол, так что все на нем задребезжало, и, пока Самгин удерживал лампу, живот Бердникова уперся в его плечи, над головой его завизжали торопливые слова:

— Слушайте… Я возобновляю мое предложение. Достаньте мне проект договора. Я иду до пяти тысяч, понимаете?

Самгин попробовал встать, но рука Бердникова тяжело надавила на его плечо, другую руку он поднял, как бы принимая присягу или собираясь ударить Самгина по голове.

— Стойте! — спокойнее и трезвее сказал Бердников, его лицо покрылось, как слезами, мелким потом и таяло. — Вы не можете сочувствовать распродаже родины, если вы честный, русский человек. Мы сами поднимем ее на ноги, мы, сильные, талантливые, бесстрашные…

— Я уже сказал: я ничего не знаю об этом договоре. Зотова не посвящает меня в свои дела, — успел выговорить Самгин, безуспешно пытаясь выскользнуть из-под тяжелой руки.

— Не верю, — крикнул Бердников. — Зачем же вы при ней, ну? Не знаете, скрывает она от вас эту сделку? Узнайте! Вы — не маленький. Я вам карьеру сделаю. Не дурачьтесь. К чорту Пилатову чистоплотность! Вы же видите: жизнь идет от плохого к худшему. Что вы можете сделать против этого, вы?

Последние слова Бердников сказал явно пренебрежительно и этим дал Самгину силу оттолкнуть его, встать, схватить с подзеркальника шляпу.

— Я не желаю слушать, — крикнул он, заикаясь от возмущения. — Вы с ума сошли…

Бердников толкнул его животом, прижал к стене и завизжал в лицо ему:

— А ты — умен! На кой чорт нужен твой ум? Какую твоим умом дыру заткнуть можно? Ну! Учитесь в университетах, — в чьих? Уйди! Иди к чорту! Вон…

И Бердников похабно выругался. Самгин не помнил, как он выбежал на улицу. Вздрагивая, задыхаясь, он шагал, держа шляпу в руке, и мысленно истерически вопил, выл:

«Я должен был ударить его по роже. Нужно было ударить».

Он не скоро заметил, что люди слишком быстро уступают ему дорогу, а некоторые, приостанавливаясь, смотрят на него так, точно хотят догадаться: что же он будет делать теперь? Надел шляпу и пошел тише, свернув в узенькую, слабо освещенную улицу.

«Подлое животное! Он вовсе не так пьян, свинья! Таких нужно уничтожать, безжалостно уничтожать».

Улицу наполняло неприятно пахучее тепло, почти у каждого подъезда сидели и стояли группы людей, непрерывный говор сопровождал Сангина. Люди смеялись, покрикивали, может быть, это не относилось к нему, но увеличивало тошнотворное

ощущение отравы обидой. Захотелось выйти на открытое место, на площадь, в поле, в пустоту и одиночество. Переходя из улицы в улицу, он не скоро наткнулся на старенький экипаж: тощей, уродливо длинной лошадью правил веселый, словоохотливый старичок, экипаж катился медленно, дребезжал и до физической боли, до головокружения ощутимо перетряхивал в памяти круглую фигуру взбешенного толстяка и его визгливые фразы.

Дома он спросил содовой воды, разделся, сбрасывая платье, как испачканное грязью, закурил, лег на диван. Ощущение отравы становилось удушливее, в сером облаке дыма плавало, как пузырь, яростно надутое лицо Бердникова, мысль работала беспорядочно, смятенно, подсказывая и отвергая противоречивые решения.

«Да, уничтожать, уничтожать таких... Какой отвратительный, цинический ум. Нужно уехать отсюда. Завтра же. Я ошибочно выбрал профессию. Что, кого я могу искренно защищать? Я сам беззащитен пред такими, как этот негодяй. И — Марина. Откажусь от работы у нее, перееду в Москву или Петербург. Там возможно жить более незаметно, чем в провинции...»

Ему показалось, что он принял твердое решение, и это несколько успокоило его. Встал, выпил еще стакан холодной, шипучей воды. Закурил другую папиросу, остановился у окна. Внизу, по маленькой площади, ограниченной стенами домов, освещенной неяркими пятнами желтых огней, скользили, точно в жидком жире, мелкие темные люди.

«Разве я хочу жить незаметно? Независимо хочу я жить. Этот... бандит нашел независимость мысли в цинизме».

Механически припомнилось, что циника Диогена греки назвали собакой.

«Греки — правы: жить в бочке, ограничивать свои потребности — это ниже человеческого достоинства. В цинизме есть общее с христианской аскезой...»

Самгин сердито отмахнулся от насилия книжных воспоминаний. Бердников тоже много читал. Но кажется, что прочитанное крепко спаялось в нем с прожитым, с непосредственным опытом.

«Нельзя отрицать, что это животное умеет думать и говорить очень своеобразно. Для него мир — не только «система фраз», каким он был для Лютова. Мыслью, как оружием самозащиты, он владеет лучше меня. Он пошл? Едва ли. Он — страстный человек, а страсти не бывают пошлыми, они — трагичны... Можно подумать, что я оправдываю его. Но я хочу быть только объективным. Я столкнулся с человеком класса, который живет конкуренцией. Он правильно назвал себя военным: жизнь его проходит в нападении на людей, в защите против нападений на него. Он искал в моем лице союзника...»

«Может быть, я хочу внушить себе, что поражение в единоборстве с великаном — не постыдно? Но разве я поражен? Я понимаю причину его гнусной выходки, а не оправдываю ее, не прощаю...»

Кружилась голова. Самгин разделся, лег в постель и, лежа, попытался подвести окончательный итог всему, что испытано и надумано в этот чрезвычайно емкий день. Очень хотелось, чтоб итог был утешителен.

«Становлюсь умнее...»

Память, хотя уже утомленно, все еще перебирала игривые фразы:

«Человек-то дрянцо, фальшивей, тем и живет, что сам себе словесно приятные фокусы показывает, несчастное чадо...»

И звучал сырой булькающий смех.

Проснулся поздно, ощущая во рту кислый вкус ржавчины, голова налита тяжелой мутью, воздух в комнате был тоже мутносерый, точно пред рассветом. Нехотя встал, раздернул драпри на окне, — ветер бесшумно брызгал в стекла водяной пылью, сизые облака валились на крыши. Так же, как вчера, как всегда, на площади шумели, суетились люди. Очень трудно внести свою, заметную ноту в этот всепоглощающий шум. Одинаковые экипажи катятся по всем направлениям, и легко представить, что это один и тот же экипаж суется во все стороны в поисках выхода с тесной, маленькой площади, засоренной мелкими фигурками людей.

Город шумел глухо, раздраженно, из улицы на площадь вышли голубовато-серые музыканты, увешанные тусклой медью труб, выехали два всадника, один — толстый, другой — маленький, точно подросток, он подчеркнуто гордо сидел на длинном, бронзовом, тонконогом коне. Механически шагая, выплыли мелкие плотно сплюснутые солдатики свинцового цвета.

«Идущие на смерть приветствуют тебя», — вспомнил Самгин латинскую фразу и с досадой отошел от окна, соображая:

«Рассказать Марине об этом… о вчерашнем?»

Вопрос остался без ответа. Позвонил, спросил кофе, русские газеты, начал мыться, а в памяти навязчиво звучало:

«Morituri te salutant!»

Растирая спину мокрым жгутом полотенца, Самгин подумал:

«Возможно, что кто-нибудь из цезарей — Тиберий, Клавдий, Вителлий — был похож на Бердникова», — подумал Самгин и удивился, что думает безобидно, равнодушно.

За кофе читал газеты. Корректно ворчали «Русские ведомости», осторожно ликовало «Новое время», в «Русском слове» отрывисто, как лает старый пес, знаменитый фельетонист скучно упражнялся в острословии, а на второй полосе подсчитано было количество повешенных по приговорам военно-полевых судов. Вешали ежедневно и усердно.

«Morituri…»

Чтение газет скоро надоело и потребовало итога. Засоренная и отягченная память угодливо, как всегда, подсказывала афоризмы, стихи. Наиболее уместными показались Самгину полторы строки Жемчужникова:

…в наши временаТот честный человек, кто родину не любит…

Затем вспомнилась укоризна Якубовича-Мельшина:

За что любить тебя? Какая ты нам мать?

Время двигалось уже за полдень. Самгин взял книжку Мережковского «Грядущий хам», прилег на диван, но скоро убедился, что автор, предвосхитив некоторые его мысли, придал им дряблую, уродующую форму. Это было досадно. Бросив книгу на стол, он восстановил в памяти яркую картину парада женщин в Булонском лесу.

«Мирок-то какой картинный», — прозвучала в памяти фраза Бердникова.

Вошла горничная и спросила: не помешает она мсье, если начнет убирать комнату? Нет, не помешает.

— Мерси, — сказала горничная. Она была в смешном чепчике, тоненькая, стройная, из-под чепчика выбивались рыжеватые кудряшки, на остроносом лице весело и ласково улыбались синеватые глаза. Прибирая постель, она возбудила в

Самгине некое игривое намерение.

— Вы похожи на англичанку, — сказал он.

— О, нет! Я из Эльзаса, мсье.

Она посмотрела на Самгина так уверенно, как будто уже догадалась, о чем он думает. Это смутило его, и он предупредил себя:

«Конечно, она на все готова и за маленькие деньги, но — можно схватить насморк».

Он встал и вышел в коридор, думая:

«А у Бердникова там, вероятно, маленький гарем».

Держа руки в карманах, бесшумно шагая по мягкому ковру, он представил себе извилистый ход своей мысли в это утро и остался доволен ее игрой. Легко вспоминались стихи Федора Сологуба:

Я — бог таинственного мира,Весь мир в одних моих мечтах.

…Самгин сел к столу и начал писать, заказав слуге бутылку вина. Он не слышал, как Попов стучал в дверь, и поднял голову, когда дверь открылась. Размашисто бросив шляпу на стул, отирая платком отсыревшее лицо, Попов шел к столу, выкатив глаза, сверкая зубами.

— Поругались с Бердниковым? — тоном старого знакомого спросил он, усаживаясь в кресла, и, не ожидая ответа, заговорил, как бы извиняясь: — Вышло так, как будто я вас подвел. Но у меня дурацкое положение было: не познакомить вас с бандитом этим я — не мог, да притом, оказывается, он уже был у вас, чортов кум.».

Несколько ошеломленный внезапным явлением и бесцеремонностью гостя, но и заинтересованный, Самгин сообразил:

«Прислан извиниться. Не извиню», — решил он. Н спросил: — Он сказал вам, что был у меня?

— Ну, да! А — что: врет?

— Нет.

— Не врет? Гмм…

Помычав и чем-то обрадованный, Попов вытащил из кармана жилета сигару, выкатил глаза, говоря:

— Вы заметили, как я вчера держался? Вот видите. Могу откровенно говорить?

— Иначе — не стоит, — сухо сказал Самгин. Тугое лицо Попова изменилось, из-под жесткой щетки темных волос на гладкий лоб сползли две глубокие морщины, сдвинули брови на глаза, прикрыв их, инженер откусил кончик сигары, выплюнул его на пол и, понизив сиповатый голос, спросил:

— Простите слово — он вас пытался подкупить?

— Предположим. Ну-с?

Гость махнул на него рукой, с зажженной спичкой в ней, и торопливо, горячо засипел:

— Мы — в равных условиях, меня тоже хотят купить, — понимаете? Чорт их побери, всех этих Бердниковых в штанах и в юбках, но ведь — хочешь не хочешь — а нам приходится продавать свои знания.

— Но не честь, — напомнил Самгин. Попов поднял брови, удивленно мигнул.

— Ну… разумеется!

И, закурив сигару, дымно посапывая, он задумчиво выговорил:

— Знания нужно отделять от чести… если это возможно.

«Я глупо сказал», — с досадой сообразил Самгин и решил вести себя с этим человеком осторожнее.

— Вы — из твердокаменных? — спросил Попов. Слуга принес вино и помог Самгину не ответить на вопрос, да Попов и не ждал ответа, продолжая:

— Впрочем, этот термин, кажется, вышел из употребления. Я считаю, что прав Плеханов: социал-демократы могут удобно ехать в одном вагоне с либералами. Европейский капитализм достаточно здоров и лет сотню проживет благополучно. Нашему, русскому недорослю надобно учиться жить и работать у варягов. Велика и обильна земля наша, но — засорена нищим мужиком, бессильным потребителем, и если мы не перестроимся — нам грозит участь Китая. А ваш Ленин для ускорения этой участи желает организовать пугачевщину.

Самгин, прихлебывая вино, ожидал, когда инженер начнет извиняться за поведение Бердникова. Конечно, он пришел по поручению толстяка с этой целью. Попов начал говорить так же возбужденно, как при первой встрече. Держа в одной руке сигару, в другой стакан вина, он говорил, глядя на Самгина укоризненно:

— Вас, юристов, эти вопросы не так задевают, как нас, инженеров. Грубо говоря — вы охраняете права тех, кто грабит и кого грабят, не изменяя установленных отношений. Наше дело — строить, обогащать страну рудой, топливом, технически вооружать ее. В деле призвания варягов мы лучше купца знаем, какой варяг полезней стране, а купец ищет дешевого варяга. А если б дали денег нам, мы могли бы обойтись и без варягов.

Сразу выпив полный стакан вина и все более возбуждаясь, он продолжал:

— Нам нужен промышленник европейского типа, организатор, который мог бы занять место министра, как здесь, во Франции, как у немцев. И «не беда, что потерпит мужик» или полумужик-рабочий. Исторически необходимо, чтоб терпели, — не опаздывай! А наш промышленник — безграмотное животное, хищник, крохобор. Недавно выскочил из клетки крепостного права и все еще раб…

— Вы давно знаете Зотову? — неожиданно вырвалось у Самгина.

Попов сомкнул губы, надул щеки и, вытерев платком пятнистое лицо, пробормотал:

— Жениться на ней собираетесь? Самгину показалось, что в глазах гостя мелькнул смешок…

…— Ее Бердников знает. Он — циник, враль, презирает людей, как медные деньги, но всех и каждого насквозь видит. Он — невысокого… впрочем, пожалуй, именно высокого мнения о вашей патронессе. (Зовет ее — темная дама.) У него с ней, видимо, какие-то большие счеты, она, должно быть, с него кусок кожи срезала… На мой взгляд она — выдуманная особа…

…В комнате стало светлее. Самгин взглянул на пелену дыма, встал, открыл окно.

За спиною барабанил пальцами пег столу инженер, Самгин подумал:

«Когда же он начнет извиняться за тестя?»

И, желая услышать еще что-нибудь о Марине, спросил:

— Вы Кутузова — знаете?

— Знал. Знаю. Студентом был в его кружке, потом он свел меня с рабочими. Отлично преподавал Маркса, а сам — фантаст. Впрочем, это не мешает ему быть с людями примитивным, как топор. Вообще же парень для драки. — Пробормотав эту характеристику торопливо и как бы устало, Попов высунулся из кресла, точно его что-то ударило по затылку, и спросил:

— Слушайте — сколько предлагал вам Бердников за ознакомление с договором?

Самгин подумал о чем-то не ясном ему и ответил, усмехаясь:

<— Кажется — пять тысяч, свинья. Попов, глядя в пол, щелкнул пальцами.

— Н-да... чортов кум! Наверняка — дал бы и больше. И, откинувшись на спинку кресла, выпустив морщины, выкатив круглые, птичьи глаза, он хвалебно произнес:

— Крепко его ущемила Зотова! Он может ве-есьма широко размахнуться деньгами. Он — спортсмен!

Взгляд Попова и тон его были достаточно красноречивы. Самгин почувствовал что-то близкое испугу.

— Я не желаю говорить на эту тему, — сказал он и понял, что сказано не так строго, как следовало бы.

Инженер неуклюже вылез из кресла, оглянулся, взял шляпу и, стоя боком к Самгину, шумно вздохнув, спросил:

— Не желаете? Решительно?

— Убирайтесь к чорту! — закричал Самгин, сорвав очки с носа, и даже топнул ногой, а Попов, обернув к нему широкую спину свою, шагая к двери, пробормотал невнятное, но, должно быть, обидное.

У Самгина дрожали ноги в коленях, он присел на диван, рассматривая пружину очков, мигая.

— Мерзавцы. Жулики.>

Никогда еще он не ощущал так горестно своей беззащитности, бессилия своего. Был момент нервной судороги в горле, и взрослый, почти сорокалетний человек едва подавил малодушное желание заплакать от обиды. Выкуривая папиросу за папиросой, он лежал долго, мысленно плутая в пестроте пережитого, и уже вспыхнули вечерние огни, когда пред ним с небывалой остротою встал вопрос: как вырваться из непрерывного потока пошлости, цинизма и из непрерывно кипящей хитрой болтовни, которая не щадит никаких идей и «высоких слов», превращая все их в едкую пыль, отравляющую мозг?

Думать в этом направлении пришлось недолго. Очень легко явилась простая мысль, что в мире купли-продажи только деньги, большие деньги, могут обеспечить свободу, только они позволят отойти в сторону из стада людей, каждый из которых бешено стремится к независимости за счет других.

«Если существуют деньги для нападения — должны быть деньги для самозащиты. Рабочие Германии, в лице их партии, — крупные собственники».

Он представил себя богатым, живущим где-то в маленькой уютной стране, может быть, в одной из республик Южной Америки или — как доктор Руссель — на островах Гаити. Он знает столько слов чужого языка, сколько необходимо знать их для неизбежного общения с туземцами. Нет надобности говорить обо всем и так много, как это принято в России. У него обширная библиотека, он выписывает наиболее интересные русские книги и пишет свою книгу.

«Я не Питер Шлемиль и не буду страдать, потеряв свою тень. И я не потерял ее, а самовольно отказался от мучительной неизбежности влачить за собою тень,

которая становится все тяжелее. Я уже прожил половину срока жизни, имею право на отдых. Какой смысл в этом непрерывном накоплении опыта? Я достаточно богат. Каков смысл жизни?.. Смешно в моем возрасте ставить «детские вопросы».

Но пришлось поставить практический вопрос:

«Значит ли все это, что я могу уступить Бердникову?»

Он решительно ответил:

«Нет, не могу».

Так решительно, как будто он знал о договоре и мог снять копию с него.

В этом настроении он прожил несколько ненастных дней, посещая музеи, веселые кабачки Монпарнаса, и, в один из вечеров, сидя в маленьком ресторане, услыхал за своей спиною русскую речь:

— Рассказывают, что жена Льва Толстого тоже нанимала ингушей охранять Ясную Поляну. «Макаров», — определил Самгин.

— Значит — помещики на казаков уже не надеются, приглашают, так сказать, — колониальные войска? Интересно. А может быть, кавказцы дешевле берут? — Это было сказано голосом Кутузова. Не желая, чтоб его узнали, Самгин еще ниже наклонил голову над тарелкой, но земляки уже расплатились и шли к двери. Самгин искоса посмотрел вслед им, увидал стройную фигуру и курчавую голову Макарова, круто стесанный затылок Кутузова, его плечи грузчика, неприязненно вспомнил чью-то кисловатую шутку: «Фигура хотя эпизодическая, но — неприятная».

Дома его ждала телеграмма из Антверпена. «Париж не вернусь еду Петербург Зотова». Он изорвал бумагу на мелкие куски, положил их в пепельницу, поджег и, размешивая карандашом, дождался, когда бумага превратилась в пепел. После этого ему стало гак скучно, как будто вдруг исчезла цель, ради которой он жил в этом огромном городе. В сущности — город неприятный, избалован богатыми иностранцами, живет напоказ и обязывает к этому всех своих людей.

«Парад кокоток в Булонском лесу тоже пошлость, как «Фоли-Бержер». Коше смотрит на меня как на человека, которому он мог бы оказать честь протрясти его в дрянненьком экипаже. Гарсоны служат мне снисходительво, как диюфю. Вероятно, так же снисходительны и деаяды».

Все-таки он решил пожить еще, сколько позволят деньги, побывать в «Мулен Руж», «Ша Нуар», съездить в Версаль. Кутав у букиниста набережной Сены старую солидную книгу «Париж» Максима дю-Кан, приятеля Флобера, по утрам читал ее и затем отправлялся осматривать «старый Париж». Была минута, когда он охаял этот город, но ему очень нравилось ходить по историческим улицам города, и он чувствовал, что Париж чему-то учит его. Стекла витрин, более прозрачные, чем воздух, хвастались обилием жирного золота, драгоценных камней, мехов, неисчерпаемым количеством осенних материй, соблазнительной невесомостью женского белья, парижане покрикивали, посмеивались, из дверей ресторанов вылетали клочья музыки, и все вместе, создавая вихри звуков, подсказывало ритмы, мелодии, напоминало стихи, афоризмы, анекдоты. Беспокоили «девушки для радости». На улицах Москвы, Петербурга они просят, а здесь как будто уверены в своем праве на внимание и требуют быстрых решений.

— Идем, старик, — говорят они, смело заглянув в лицо, и, не ожидая ответа, проходят мимо.

«Боятся полиции, — думал Самгин. — Но все-таки слишком воинственны. Амазонисты. Да, здесь власть женщины выражена определеннее, наглядней. Это утверждается и литературой».

Вспомнив давно прочитанную статью философа Н. Федорова о Парижской выставке 89 года, он добавил:

«И промышленностью».

Он ощущал позыв к женщине все более определенно, и это вовлекло его в приключение, которое он назвал смешным. Поздно вечером он забрел в какие-то узкие, кривые улицы, тесно застроенные высокими домами. Линия окон была взломана, казалось, что этот дом уходит в землю от тесноты, а соседний выжимается вверх. В сумраке, наполненном тяжелыми запахами, на панелях, у дверей сидели и стояли очень демократические люди, гудел негромкий говорок, сдержанный смех, воющее позевывание. Чувствовалось настроение усталости.

Самгин <почувствовал>, что его фигура вызывает настороженное молчание или же неприязненные восклицания. Толстый человек с большой головой и лицом в седой щетине оттянул подтяжку брюк и отпустил ее, она так звучно щелкнула, что Самгин вздрогнул, а человек успокоительно сказал:

— Нет, нет, мосье, это не револьвер!

«Вероятно, шут своего квартала», — решил Самгин и, ускорив шаг, вышел на берег Сены. Над нею шум города стал гуще, а река текла так медленно, как будто ей тяжело было уносить этот шум в темную щель, прорванную ею в нагромождении каменных домов. На черной воде дрожали, как бы стремясь растаять, отражения тусклых огней в окнах. Черная баржа прилепилась к берегу, на борту ее стоял человек, щупая воду длинным шестом, с реки кто-то невидимый глухо говорил ему:

— Правее, Андре. Правее. Еще правей. Баста. Безнадежно.

Бросив шест в баржу, человек звучно и озлобленно сказал:

— Чорт возьми! Этот бык влепит нам штраф! Из двери дома быстро, почти наскочив на Самгина, вышла женщина в белом платье, без шляпы, смерила его взглядом и пошла впереди, не торопясь. Среднего роста, очень стройная, легкая.

«Вот», — вдруг решил Самгин, следуя за ней. Она дошла до маленького ресторана, пред ним горел газовый фонарь, по обе стороны двери — столики, за одним играли в карты маленький, чем-то смешной солдатик и лысый человек с носом хищной птицы, на третьем стуле сидела толстая женщина, сверкали очки на ее широком лице, сверкали вязальные спицы в руках и серебряные волосы на голове.

— Ты сегодня поздно, Лиз! — сказала она. Женщина в белом села к свободному столу, звучно ответив:

— Хозяева считают время по своим часам.

— А часы у них всегда отстают, — приятным голосом добавил солдат.

Самгин, спросив стакан вина, сел напротив Лиз, а толстая женщина пошла в ресторан, упрекнув кого-то из игроков:

— Ты ужасно рискуешь! Я считала: ты проиграл уже почти франк.

Лиз — миловидна. Ее лицо очень украшают изящно выгнутые, темные брови, смелые, весело открытые карие глаза, небольшой, задорно вздернутый нос и твердо очерченный рот. Красивый, в меру высокий бюст.

«Похожа на украинку», — определил Самгин, придумывая первую фразу обращения к ней, но Лиз начала беседу сама:

— Мосье — иностранец? О-о, русский? Что же ваша революция? Крестьяне не пошли с рабочими?

— Сколько вопросов, — сказал Самгин, улыбаясь, а она прибавила еще два:

— Революционер? Эмигрант?

— Почему вы так думаете?

— О, буржуа-иностранцы не посещают наш квартал, — пренебрежительно ответила она. Солдат и лысый, перестав играть в карты, замолчали. Не глядя на них, Самгин чувствовал — они ждут, что он скажет. И, как это нередко бывало с ним, он сказал:

— Да, я участвовал в Московском восстании. Он даже едва удержался, чтоб не назвать себя эмигрантом. Знакомство развивалось легко, просто и, укрепляя кое-какие намерения, побуждало торопиться. Толстая женщина поставила пред ним графин вина, пред Лиз — тарелку с цветной капустой, положила маленький хлебец.

— Садитесь за мой стол, — предложила Лиз, а когда он сделал это, спросила:

— Итак? Что же у вас делают теперь? Самгин начал рассказывать о том, что прочитал утром в газетах Москвы и Петербурга, но Лиз требовательно заявила:

— Это — меньше того, что пишут в наших буржуазных газетах, не говоря о «Юманите». Незнакомые люди, это стесняет вас?

Указывая на лысого, она быстро и четко сказала:

— Это — мой дядя. Может быть, вы слышали его имя? Это о нем на-днях писал камрад Жорес. Мой брат, — указала она на солдата. — Он — не солдат, это только костюм для эстрады. Он — шансонье, пишет и поет песни, я помогаю ему делать музыку и аккомпанирую.

Мужчины пожали руку Самгина очень крепко, но Лиз езде более сильно стиснула его пальцы и, не выпуская их, говорила:

— Через десять минут мы должны начать нашу работу. Это — близко отсюда — две минуты. Это займет полчаса…

— Час, — сказал солдат.

— Молчи! Мы — кончим, вернемся сюда, и вы расскажете нам…

Вмещался лысый. Хрипло, сорванным голосом он заговорил:

— Возвращаться — нет смысла. Проще будет, если я там выйду на эстраду и предложу выслушать сообщение камрада о текущих событиях в России.

«Я попал в анекдот, в водевиль», — сообразил — Самгин. И, с огорчением глядя в ласковые глаза, на высокий бюст Лиз, заявил, что он, к сожалению, через час уезжает в Швейцарию. Лиз выпустила его руку, говоря с явной досадой:

— Это я могу понять, там много ваших. Странно все-таки: в Париже немало русских эмигрантов, но они… недостаточно общительны. Вас как будто ее интересует французский рабочий…

Самгин тотчас предложил выпить за французского рабочего, выпили, он раскланялся и ушел так быстро, точно боялся, что его остановят. Он не любил смеяться над собой, он редко позволял себе это, во теперь, шагая по темной, тихой улице, усмехался.

«Случай, о котором не расскажешь друзьям. Хорошо, что у меня нет друзей».

Он размышлял еще о многом, стараясь подавить неприятное, кисловатое ощущение неудачи, неумелости, и чувствовал себя охмелевшим не столько от вина, как от женщины. Идя коридором своего отеля, он заглянул в комнату дежурной горничной, комната была дуста, значит — девушка не спит еще. Он позвонил, и когда горничная вошла, он, положив руки на плечи ее, спросил, улыбаясь:

— Вы можете подарить мне удовольствие, да?

Прищурив острые глаза свои, девушка не сразу поняла вопрос, а поняв, прижалась к нему, и ее ответ он перевел так:

«О, мсье, это всегда приятно, для того, кто умеет!» Быстрые поцелуи ее тоже были остры, они как-то необыкновенно щекотали губы Самгина, и это очень возбуждало его. Между поцелуями она шопотом спрашивала:

— Немножко позднее, мсье, когда кончу дежурство, да? Двадцать пять франков, мсье?

Выскользнув из его рук — исчезла.

«Деловито, просто, никакой лжи», — мысленно одобрил ее Самгин. Он ждал ее недолго, но весьма нетерпеливо. Явилась и, раздеваясь, сказала вполголоса:

— Мне очень лестно, что в Париже, где так много красивых женщин, на все вкусы, мсье не нашел партнерши, достойной его более, чем я. Я буду очень рада, если докажу, что это — комплимент вкусу мсье!

Гибкая, сильная, она доказывала это с неутомимостью и усердием фокусника, который еще увлечен своим искусством и ценит его само по себе, а не только как средство к жизни.

Самгин прожил в Париже еще дней десять, настроенный, как человек, который не может решить, что ему делать. Вот он поедет в Россию, в тихий мещанско-купеческий город, где люди, которых встряхнула революция, укладывают в должный, знакомый ему, скучный порядок свои привычки, мысли, отношения — и где Марина Зотова будет развертывать пред ним свою сомнительную, темноватую мудрость.

«Я, должно быть, единственный, на ком она развешивает эту мудрость, чтоб любоваться ею. Соблазнительна, как жизнь, и так же непонятна».

Думал о том, что, если б у него были средства, хорошо бы остаться здесь, в стране, где жизнь крепко налажена, в городе, который считается лучшим в мире и безгранично богатом соблазнами…

«Для дикарей и полудикарей, на деньги которых он живет и украшается», — напомнил он себе недавнее свое отношение к Парижу.

«Нет, люди здесь проще, ближе к простому, реальному смыслу жизни. Здесь нет Лютовых, Кутузовых, нет философствующих разбойников вроде Бердникова, Попова. Здесь и социалисты — люди здравомыслящие, их задача сводится к реальному делу: препятствовать ухудшению условий труда рабочих». Мысли этого порядка развивались с приятной легкостью, как бы самосильно. Память услужливо подсказывала десятки афоризмов:

«Истинная свобода — это свобода отбора впечатлений». «В мире, где все непрерывно изменяется, стремление к выводам — глупо». «Многие стремятся к познанию истины, но — кто достиг ее, не искажая действительности?»

В мозге Самгина образовалась некая неподвижная точка, маленькое зеркало, которое всегда, когда он желал этого, показывало ему все, о чем он думает, как думает и в чем его мысли противоречат одна другой. Иногда это свойство разума очень утомляло его, мешало жить, но все чаще он любовался работой этого цензора и привыкал считать эту работу оригинальнейшим свойством психики своей.

Доживая последние дни в Париже, он с утра ходил и ездил по городу, по окрестностям, к ночи возвращался в отель, отдыхал, а после десяти часов являлась Бланш и между делом, во время пауз, спрашивала его: кто он, женат или холост,

что такое Россия, спросила — почему там революция, чего хотят революционеры. О себе он наговорил чепухи, а на вопрос о революции строго ответил, что об этом не говорят с женщиной в постели, и ему показалось, что ответ этот еще выше поднял его в глазах Бланш. Деловито наивное бесстыдство этой девушки и то, что она аккуратно, как незнакомый врач за визит, берет с него деньги, вызывало у Самгина презрение к ней. Но однажды, когда она, устав, заснула, сунув под мышку ему голову, опутанную прядями растрепанных волос, Самгин почувствовал к ней что-то близкое жалости. Он тоже хотел спать, а рядом с нею было тесно. Он приподнялся, опираясь на локоть, и посмотрел в ее лицо с полуоткрытым ртом, с черными тенями в глазницах, дышала она тяжело, неровно, и было что-то очень грустное в этом маленьком лице, днем — приятно окрашенном легким румянцем, а теперь неузнаваемо обесцвеченном. Закурив папиросу, он подумал:

«Что же, она, в сущности, неплохая девушка. Возможно — накопит денег, найдет мужа, откроет маленький ресторан, как та, в очках».

Затем вспомнил, что элегантный герой Мопассана в «Нашем сердце» сделал своей любовницей горничную. Он разбудил Бланш, и это заставило ее извиниться пред ним. Уезжая, он подарил ей браслет в полтораста франков и дал еще пятьдесят. Это очень тронуло ее, вспыхнули щеки, радостно заблестели глаза, и тихонько, смеясь, она счастливо пробормотала:

— О, вы — великодушны! Я всю жизнь буду помнить о русском, который так...

И, не найдя слова, она повторила:

— Великодушен.

Самгин милостиво похлопал ее по плечу.

На четвертые сутки, утром, он ехал с вокзала к себе домой. Над городом, среди мелко разорванных облаков, сияло бледноголубое небо, по мерзлой земле скользили холодные лучи солнца, гулял ветер, срывая последние листья с деревьев, — все давно знакомо. И хорошо знакомы похожие друг на друга, как спички, русские люди, тепло, по-осеннему, одетые, поспешно шагающие в казенную палату, окружный суд, земскую управу и прочие учреждения, серые гимназисты, зеленоватые реалисты, шоколадные гимназистки, озорниковатые ученики городских школ. Все знакомо, но все стало более мелким, ничтожным, здания города как будто раздвинуты ветром, отдалились друг от друга, и прозрачность осеннего воздуха безжалостно обнажает дряхлость деревянных домов и тяжелое уродство каменных.

«При первой же возможности перееду в Москву или в Петербург, — печально подумал Самгин. — Марина? Сегодня или завтра увижу ее, услышу снисходительные сентенции. Довольно! Где теперь Безбедов?»

Все четыре окна квартиры его были закрыты ставнями, и это очень усилило неприятное его настроение. Дверь открыла сухая, темная старушка Фелицата, она показалась еще более сутулой, осевшей к земле, всегда молчаливая, она и теперь поклонилась ему безмолвно, но тусклые глаза ее смотрели на него, как на незнакомого, тряпичные губы шевелились, и она разводила руками так, как будто вот сейчас спросит:

«Вам — кого?»

А когда Самгин осведомился о Безбедове, она беззвучно сказала:

— В тюрьму посадили.

— Вот как? За что?

— Марину Петровну убил.

Самгин успел освободить из пальто лишь одну руку, другая бессильно опустилась, точно вывихнутая, и пальто соскользнуло с нее на пол. В полутемной прихожей стало еще темнее, удушливей, Самгин прислонился к стене спиной, пробормотал:

— Позвольте... Что такое? Когда?

— На другой день, как приехала. Из пистолета застрелил.

Старушка прошла в комнаты, загремела там железными болтами ставен, в комнату ворвались, одна за другой, две узкие полосы света.

— Самовар подавать? — спросила Фелицата.

Кивнув головой, Самгин осторожно прошел в комнату, отвратительно пустую, вся мебель сдвинута в один угол. Он сел на пыльный диван, погладил ладонями лицо, руки дрожали, а пред глазами как бы стояло в воздухе обнаженное тело женщины, гордой своей красотой. Трудно было представить, что она умерла.

«Убита. Кретином...»

Образ Марины вытеснил неуклюжий, сырой человек с белым лицом в желтом цыплячьем пухе на щеках и подбородке, голубые, стеклянные глазки, толстые губы, глупый, жадный рот. Но быстро шла отрезвляющая работа ума, направленного на привычное ему дело защиты человека от опасностей и ненужных волнений.

«Придется участвовать в качестве свидетеля в предварительном следствии да и на суде».

Вспыхнуло возмущение, и в сотый раз явился знакомый вопрос:

«Почему, почему я должен участвовать в событиях отвратительных?»

В двери встала Фелицата, сложив руки на груди так, как будто она уже умерла и положена в гроб.

— Белено сказать в полицию, когда вы приедете, надо сказать-то?

— Разумеется.

— Самовар Саша подаст.

В соседней комнате шлепали тяжелые шаги, прозвучал медный звон подноса, дребезжала посуда. Самгин перешел туда, — там, счастливо улыбаясь, поклонилась ему пышная, румянощекая девица с голубыми глазами и толстой, светловолосой косой ниже пояса. Самгин сказал ей, что он посмотрит за самоваром, а она пойдет и купит ему местные газеты за пятнадцать дней. Потом он вспомнил, что не успел вымыться в вагоне, пошел в уборную, долго мылся, забыл о самоваре и внес его в столовую бешено кипящим, полосатым от засохших потоков воды. Почти час он просидел у стола, нетерпеливо ожидая газет, а самовар все кипел, раздражал гудением и свистом, — наполнял комнату паром.

«Куда, к чорту, они засунули тушилку?» — негодовал Самгин и, боясь, что вся вода выкипит, самовар распаяется, хотел снять с него крышку, взглянуть — много ли воды? Но одна из шишек на крышке отсутствовала, другая качалась, он ожег пальцы, пришлось подумать о том, как варварски небрежно относится прислуга к вещам хозяев. Наконец он догадался налить в трубу воды, чтоб погасить угли. Эта возня мешала думать, вкусный запах горячего хлеба и липового меда возбуждал аппетит, и думалось только об одном:

«Да, нужно уехать».

К его удивлению, в газетах было напечатано только две заметки; одна рассказывала:

«Вчера весь город потрясен был убийством известной и почтенной М. П. Зотовой. Преступление открыто при таких обстоятельствах: обычно по воскресеньям М. П. Зотова закрывала свой магазин церковной утвари в два часа дня, но вчера торговцы Большой Торговой улицы были крайне удивлены тем, что в обычное время магазин не закрыт, хотя ни покупателей, ни хозяйки не замечалось в нем. Первым, кто решился узнать, в чем дело, был владелец меняльной лавки К. Ф. Храпов. Войдя в магазин и окликнув хозяйку, он не получил ответа, а проследовав в комнатку за магазином, увидал ее лежащей на полу».

«Идиоты, писать грамотно не умеют», — отметил Самгин.

«Думая, что Зотова находится в обморочном состоянии, он вышел и сообщил об этом торговцу галантерейным товаром Я. П. Перцеву, предложив ему позвонить квартиранту Перцева доктору Евгеньеву. Но как раз в это время по улице проходил К. Г. Бекман, врач городской полиции, который и констатировал, что Зотова убита выстрелом в затылок и что с момента смерти прошло уже не меньше двух часов. Дальнейшие подробности этой потрясающей драмы мы, за поздним временем, откладываем до завтра». Но в следующем номере газета сообщила только об аресте «племянника убитой, Безбедова, в нетрезвом состоянии». И через номер кратко сообщала о торжественных похоронах убитой, «гроб которой провожал до места последнего успокоения весь город».

Самгин выпустил газету из рук, она упала на колени ему, тогда он брезгливо сбросил ее под стол и задумался. Хотя арест Безбедова объяснял причину убийства — все-таки явились какие-то мутные мысли.

«Свинья. Кретин. Как он мог… решиться? Он — боялся ее…»

После полудня он сидел у следователя в комнате с окном во двор и видом на поленницу березовых дров. Комнату наполнял похожий на угар запах табачного дыма и сухого тления. Над широким, но невысоким шкафом висела олеография — портрет царя Александра Третьего в шапке полицейского на голове, отлично приспособленной к ношению густой, тяжелой бороды. За стареньким письменным столом сидел, с папиросой в зубах, в кожаном кресле с высокой спинкой сероглазый старичок, чисто вымытый, аккуратно зашитый в черную тужурку. Его желтые щеки густо раскрашены красными жилками, седая острая бородка благородно удлиняет лицо, закрученные усы придают ему нечто воинственное, на голом черепе, над ушами, торчат, как рога, седые вихры, — в общем судебный следователь Гудим-Чарновицкий похож на героя французской мелодрамы. Он заслужил в городе славу азартнейшего игрока в винт, и Самгин вспомнил, как в комнате присяжных поверенных при окружном суде рассказывали: однажды Гудим и его партнеры играли непрерывно двадцать семь часов, а на двадцать восьмом один из них, сыграв «большой шлем», от радости помер, чем и предоставил Леониду Андрееву возможность написать хороший рассказ.

— Так вот-с, — тихо журчавшим мягким басом говорил следователь, — обеспокоил я вас, почтенный Клим Иванович, по делу о таинственном убийстве клиентки вашей…

— Почему — таинственном? — спросил Самгин. — Ведь убийца — арестован?

Следователь вздохнул, погладил усы пальцем и сказал с сожалением:

— Так как он не сознался в преступлении, то, как вам известно, <до решения суда он только подозреваемый.

Глаза следователя были бесцветны, белки мутные, серые зрачки водянисты, но Самгину казалось, что за этими глазами прячутся другие. Он чувствовал себя тревожно, напряженно и негодовал на себя за это.

— Я не вижу письмоводителя вашего, — сказал он.

— Совершенно правильно изволили заметить, — откликнулся Гудим, наклонив

голову, снова закуривая папиросу, — курил он непрерывно. — Это потому, почтенный Клим Иванович, что я и не намерен снимать с вас законом требуемое показание. Если б не мешало нездоровье, — ноги болят, ходить не могу, — так я сам, лично явился бы на квартиру вашу для этой беседы. Конечно, вы будете допрошены со всей строгостью, необходимой в этом случае и установленной законом. Кое-какие моменты показаний Безбедова настоятельно требуют этого. По условиям времени субъекту этому угрожает весьма жестокое наказание, он это чувствует — и, выгораживая себя, конечно, не склонен щадить других.

Самгину показалось, что стул под ним качнулся назад.

Он вонзил карандаш в бороду себе и, почесывая подбородок, глядя куда-то в угол, за шкаф, продолжал журчать:

— Пригласил я вас, так сказать, для… информации.

— То есть? — поторопился спросить Самгин, удивленны» и еще белее встревоженный.

— То есть… в некотором роде как бы осведомить вас о… состоянии дела.

Следователь говорил с паузами, и они были отвратительны.

— Буду говорить откровенно, начистоту, — продолжал он, понизив голосов. — Суть в том, что делом этим заинтересован Петербург, оттуда прислали товарища прокурора для наблюдения за предварительным следствием. Имел удовольствие видеть его: между нами говоря — нахал и, как все столичные карьеристы, не пожалеет ни папу, ни маму. Наш прокурор, как вам известно, зять губернатора и кандидат в прокуроры палаты. Разумеется, его оскорбляет явление наблюдателя. Этим — не все сказано… Так что тут, знаете, вообще, может быть…

Задребезжал звонок телефона, следователь приложил трубку к серому хрящу уха.

— Слушаю. Честь имею. Да. Приказ прокурора. Прервать? Да, но — мотив… Слушаю. Немедленно? Слушаю…

Красные жилки на щеках следователя выступили резче, глаза тоже покраснели, и вздрогнули усы. Самгин определенно почувствовал «его-то неладное.

— Вызывают в суд, немедленно, — сказал он и сухо кашлянул. — А вы, кажется, сегодня из-за границы?

— Из Парижа.

— Эх, Париж! Да-а! — следователь сожалительно покачал годовой. — Был я гам студентом, затем, после свадьбы, ездил с женой, целый месяц жили. Жизнь-то, Клим Иванович, какова? Сначала — Париж; Флоренция, Венеция, а затем — двадцать семь лет — здесь. Скучный городок, а?

— Да.

— Тя-ажелый город, — убежденно сказал Гудим-Чарновицкий. — Зотова тоже была там?

— Несколько дней. Затем уехала в Лондон.

— Так. В Лондоне — не был. А — можно спросить; не знаете — какие у нее связи были в Петербурге?

— Она говорила, что бывает у генерала Богданович, — не подумав, ответил Самгин.

— О-о! — произнес следователь, упираясь руками в стол и приподняв брови. — Это — персона! Говорят даже, что это в некотором роде… рычаг! Простите, — сказал он, — не могу встать — ноги!

«А как же ты в суд пойдешь?» — уныло подумал Самгин, пожимая холодную руку старика, а старик, еще более обесцветив глаза свои легкой усмешкой, проговорил полушепотом и тоном совета:

— По чувству уважения и симпатии к вам, Клим Иванович, разрешите напомнить, что в нашей практике юристов — и особенно в наши дни — бывают события, которые весьма… вредно раздуваются.

Он сказал что-то о напуганном воображении обывателей, о торопливости провинциальных корреспондентов и корыстном многословии прессы, но Самгин не слушал его, едва сдерживая желание выдернуть свою руку из холодных пальцев.

На улице было солнечно и холодно, лужи, оттаяв за день, снова покрывались ледком, хлопотал ветер, загоняя в воду перья куриц, осенние кожаные листья, кожуру лука, дергал пальто Самгина, раздувал его тревогу… И, точно в ответ на каждый толчок ветра, являлся вопрос:

«Что мог наболтать про меня Безбедов? Способен он убить? Если не он — кто же?»

Тут он вспомнил, что газетная заметка ни слова не сказала о цели убийства. О Марине подумалось не только равнодушно, а почти враждебно:

«Темная дама».

Снова явилась мысль о возможности ее службы в департаменте полиции, затем он вспомнил, что она дважды поручала ему платить штрафы за что-то: один раз — полтораста рублей, другой — пятьсот.

«Вероятно, это были взятки. Чего от меня хотел Гудим? Действовал он незаконно. Заключительный совет его — странная выходка».

Какие-то неприятные молоточки стучали изнутри черепа в кости висков. Дома он с минуту рассматривал в зеркале возбужденно блестевшие глаза, седые нити в поредевших волосах, отметил, что щеки стали полнее, лицо — круглей и что к такому лицу бородка уже не идет, лучше сбрить ее. Зеркало показывало, как в соседней комнате ставит на стол посуду пышнотелая, картинная девица, румянощекая, голубоглазая, с золотистой косой ниже пояса.

«Наверное — дура», — определил Самгин.

— Барин-то — дома? — спросила ее Фелицата.

— Дома, — звучно и весело ответила девица. «Дома у меня — нет, — шагая по комнате, мысленно возразил Самгин. — Его нет не только в смысле реальном: жена, дети, определенный круг знакомств, приятный друг, умный человек, приблизительно равный мне, — нет у меня дома и в смысле идеальном, в смысле внутреннего уюта… Уот Уитмэн сказал, что человеку надоела скромная жизнь, что он жаждет грозных опасностей, неизведанного, необыкновенного… Кокетство анархиста…

Есть наслаждение в боюИ бездны мрачной на краю.

Романтизм подростков… Майн-Рид, бегство от гимназии в Америку».

Вошла Фелицата, молча сунула ему визитную карточку, Самгин поднес ее к очкам и прочитал:

— «Антон Никифорович Тагильский».

— Да, да, — нерешительно пробормотал Самгин. — Просите… Пожалуйста!

К нему уже подкатился на коротких ножках толстенький, похожий на самовар красной меди, человечек в каком-то очень рыжем костюме.

— Здравствуйте! Ото, постарели! а — я? Не узнали бы? — покрикивал он звонким тенорком. Самгин видел лысый череп, красное, бритое лицо со щетиной на висках, заплывшие, свиные глазки и под широким носом темные щеточки коротко подстриженных усов.

— Не узнал бы, — согласился он.

— Вы извините, что я так, без церемонии… Право старого знакомства. Дьявольски много прав у нас, а? Следует сократить, — как думаете?

Придав лицу своему деловое, ожидающее выражение, Самгин суховато предложил:

— Пожалуйста…

— Обедать? Спасибо. А я хотел пригласить вас в ресторан, тут, на площади у вас, не плохой ресторанос, — быстро и звонко говорил Тагильский, проходя в столовую впереди Самгина, усаживаясь к столу. Он удивительно не похож был на человека, каким Самгин видел его в строгом кабинете Прейса, — тогда он казался сдержанным, гордым своими знаниями, относился к людям учительно, как профессор к студентам, а теперь вот сорит словами, точно ветер.

«Пришел, как в трактир. Конечно — спрашивать о Марине».

Так и оказалось. Тагильский, расстегнув визитку, обнаружив очень пестрый жилет и засовывая салфетку за воротник, сообщил, что командирован для наблюдения за следствием по делу об убийстве Зотовой.

— Говорят — красавица была?

— Да. Очень красива.

— Ага. Ну, что же? Красивую вещь — приятно испортить. Красивых убивают более часто, чем уродов. Но убивают мужья, любовники и, как правило, всегда с фасада: в голову, в грудь, живот, а тут убили с фасада на двор — в затылок. Это тоже принято, но в целях грабежа, а в данном случае — наличие грабежа не установлено. В этом видят — тайну. А на мой взгляд — тайны нет, а есть трус!

Расширив ноздри, он понюхал пар супа, глазки его вспыхнули, и он благостно сказал:

— Суп с потрохами? Обожаю! «Хитрит, скотина», — подумал Самгин.

— Следователь, старый осел, вызывал вас, но я прекратил эту процедуру. Дельце это широкой огласке не подлежит. Вы спросите — почему? А я — не знаю. Вероятно — по глупости, возможно — по глупости, соединенной с подлостью. Ваше здоровье!

Он опрокинул в рот рюмку водки, щелкнув языком, на секунду закрыл глазки и снова начал сорить:

— Видимость у вас — элегантнейшая. Видимость жениха для богатой вдовы.

«Негодяй», — мысленно выругался Клим.

— Вот что значит побывать в Париже! А я расцвел красочно, однако — не привлекательно для изысканного зрения, — говорил Тагильский, посматривая на горничную, а когда она вышла — вздохнул:

— Какая вкусная девушка, дьяволица… И тотчас же спросил:

— Зотова имела любовника?

— Не знаю.

— Имела, — сказал Тагильский, качнув головой, выпил еще рюмку и продолжал: — Существует мнение, что последнее время любовником ее были вы.

— Чепуха, — сухо откликнулся Самгин.

— Чепуха — значит: правдоподобно, но — не правда.

У нас, в России, чепуха весьма часто является подлинной правдой.

Ел Тагильский не торопясь, и насыщение не мешало ему говорить. Глядя в тарелку, ловко обнажая вилкой и ножом кости цыпленка, он спросил: известен ли Самгину размер состояния Марины? И на отрицательный ответ сообщил: деньгами и в стойких акциях около четырехсот тысяч, землею на Урале и за Волгой в Нижегородской губернии, вероятно, вдвое больше.

— А может быть — втрое. Да-с. Родственников — нет. Стало быть: имеем выморочное имущество, кое, по законам империи нашей, отходит в казну. Это очень волнует некоторых… людей со вкусом к жизни.

Он выпустил из толстеньких пальцев орудия труда — нож, вилку, пошлепал себя ладонями по щекам и, наливая вино в стаканы, уже не шутливо, а серьезно сказал:

— Я — пью, а вы — не пьете, и ваша осторожность, хмурое личико ваше… не то чтобы стесняют меня, — я стесняться не мастер, — но все-таки мешают. Среди племени, населяющего этот город, я — чужой человек, туземцы относятся ко мне враждебно. У них тут сохранилось родовое начало и вообще… как будто преобладают мошенники.

Опираясь локтями на стол, поддерживая ладонью подбородок, он протянул над столом левую руку с бокалом вина в ней, и бесцветные глаза его смотрели в лицо Самгина нехорошо, как будто вызывающе. В его звонком голосе звучали едкие, задорные ноты.

«С ним нужно вести себя мягче», — решил Самгин, вспомнив Бердникова, чокнулся с его стаканом и сказал:

— Вероятно, на моем настроении сказывается усталость, я — с дороги.

— Предположим, — полусогласился Тагильский. — И вспомним, что хотя убита как будто и ростовщица, но ведь вы не Раскольников, я — не Порфирий. Вспомним также, что несколько лет тому назад мы рассуждали о Марксе… и так далее. Ваше здоровье!

Выпили. Тагильский продолжал:

— Итак: с одной стороны — богатое выморочное имущество и все документы на право обладания оным — в руках жуликоватых туземцев. Понимаете?

— Понимаю, — сказал Самгин.

— С другой: в одном из шкафов магазина найдено порядочное количество нелегальной литературы эсдеков и дружеские — на ты — письма к Зотовой какого-то марксиста, вероучителя и остроумца. На кой дьявол богатой бабе хранить у себя нелегальщину? А посему предполагается, что это ваше имущество.

Самгин выпрямился и сердито спросил:

— Вы — допрашиваете?

— Не допрашиваю и не спрашиваю, а рассказываю: предполагается, — сказал Тагильский, прикрыв глаза жирными подушечками век, на коже его лба шевелились легкие морщины. — Интересы клиентки вашей весьма разнообразны: у нее оказалось солидное количество редчайших древнепечатных книг и сектантских рукописей, — раздумчиво проговорил Тагильский.

Воздух на улице как будто наполнился серой пылью, стекла окон запотели, в комнате образовался дымный сумрак, — Самгин хотел зажечь лампу.

— Не стоит, — тихо сказал Тагильский. — Темнота отлично сближает людей… в некоторых случаях. Правом допрашивать вас я — не облечен. Пришел к вам не как лицо прокурорского надзора, а как интеллигент к таковому же, пришел на предмет консультации по некоему весьма темному делу. Вы можете поверить в это?

— Да, — не сразу сказал Самгин, очень встревоженный. Вспомнилось заявление следователя о показаниях Безбедова, а теперь вот еще нелегальщина.

— Да, я вам верю, — повторил он, и ему показалось, что даже мускулы его напряглись, как пред прыжком через яму.

«Ловит он меня или — что?» — думал он, а Тагильский говорил:

— Из этого дела можно состряпать уголовный процесс с политической подкладкой, и на нем можно хапнуть большие деньги. Я — за то, чтоб разворовали деньги и — успокоились. Для этого необходимо, чтоб Безбедов сознался в убийстве. Как вы думаете — был у него мотив?

— Да, был, — уверенно ответил Самгин.

— Какой?

— Месть.

— Правильно, подтверждается его письмами, — с удовольствием произнес Тагильский. — Расскажите о нем, — предложил он, закуривая папиросу, взятую у Самгина. Самгин тоже закурил и начал осторожно рассказывать о Безбедове. Он очень хотел верить этому круглому человечку со свиными глазками и лицом привычного пьяницы, но — не верил ему. Во всем, что говорил Тагильский, чувствовалась какая-то правда, но чувствовалась и угроза быть вовлеченным в громкий уголовный процесс, в котором не хотелось бы участвовать даже в качестве свидетеля, а ведь могут пристегнуть и в качестве соучастника. Оправдают за недоказанностью обвинения, так — все равно на него будет брошена тень.

«Я — не Иванов, не Ефимов, а — Самгин. Фамилия — редкая. Самгин? Это гот, который… Я — беззащитен», — тревожно соображал Самгин. Тагильский прервал его рассказ:

— Ну, вообще — кретин, ничтожество этот Безбедов. Для алиби ему не хватает полутора или двух десятков минут. Он требует, чтоб вы защищали его…

Самгин молчал, повторяя про себя:

«Беззащитен».

В комнате стало совсем темно. Самгин тихо спросил:

— Я зажгу лампу?

— Зажгите лампу, — в тон ему ответил Тагильский, и покуда Клим зажигал спички, а они ломались, гость сказал нечто значительное:

— Мы мало знаем друг друга и, насколько помню, в прошлом не испытывали взаимной симпатии. Наверняка, мой визит вызывает у вас кое-какие подозрения. Это — естественно. Вероятно, я еще более усилю подозрения ваши, если скажу, что не являюсь защитником кого-то или чего-то. Защищаю я только себя, потому что не хочу попасть в грязную историю. Возможность эта грозит и вам. А посему мы, временно, должны заключить оборонительный союз. Можно бы и наступательный, то есть осведомить прессу, но — это, пока, преждевременно.

«Успокаивает, — сообразил Самгин. — Врет». — И сказал вполголоса:

— Я очень хорошо помню вас, но не могу сказать, что вы возбуждали у меня антипатию.

— Ну, и не говорите, — посоветовал Тагильский. При огне лицо его стало как будто благообразнее: похудело, опали щеки, шире открылись глаза и как-то добродушно заершились усы. Если б он был выше ростом и не так толст, он был бы похож на офицера какого-нибудь запасного батальона, размещенного в глухом уездном городе.

— Стратонова — помните? — спросил он. — Октябрист. Построил большой кожевенный завод на правительственную субсидию. Речи Прейса, конечно, читаете. Не блестяще ораторствует. Унылое зрелище являет собою русский либерал. А Государственная дума наша — любительский спектакль. Н-да. Пригласили на роль укротителя и спасителя саратовского губернатора. Мужчина — видный, но — дуракоподобный и хвастун… В прошлом году я с ним и компанией на охоту ездил, слышал, как он рассказывал родословную свою. Невежда в генеалогии, как и в экономике. Забыл о предке своем, убитом в Севастополе матросами, кажется — в тридцатых годах.

Он насадил пробку на вилку и, говоря, ударял пробкой по краю бокала, аккомпанируя словам своим стеклянным звоном, звон этот был неприятен Самгину, мешал ему определить: можно ли и насколько можно верить искренности Тагильского? А Тагильский, прищурив левый глаз, продолжая говорить все так же быстро и едко, думал, видимо, не о том, что говорил.

— Хвастал мудростью отца, который писал против общины, за фермерское — хуторское — хозяйство, и называл его поклонником Иммануила Канта, а папаша-то Огюсту Конту поклонялся и даже сочиненьишко написал о естественно-научных законах в области социальной. Я, знаете, генеалогией дворянских фамилий занимался, меня интересовала роль иностранцев в строительстве российской империи…

И вдруг, перестав звонить, он сказал:

— Безбедов очень… верят вам. Я думаю, что вы могли бы убедить его сознаться в убийстве. Участие защитника в предварительном судебном следствии — не допускается, до вручения обвиняемому обвинительного акта, но… Вы подумайте на эту тему.

Гость встал и этим вызвал у хозяина легкий вздох облегчения.

— Чтоб не… тревожить вас официальностями, я, денечка через два, зайду к вам, — сказал Тагильский, протянув Самгину руку, — рука мягкая, очень горячая. — Претендую на доверие ваше в этом… скверненьком дельце, — сказал он и первый раз так широко усмехнулся, что все его лицо как бы растаяло, щеки расползлись к ушам, растянув рот, обнажив мелкие зубы грызуна. Эта улыбка испугала Самгина.

«Нет, он — негодяй!»

Но толстенький человек перекатился в прихожую и там, вполголоса, сказал:

— Вот что — все может быть! И если у вас имеется какая-нибудь нелегальщина, так лучше, чтоб ее не было…

Ощутив нервную дрожь, точно его уколола игла, Самгин глухо спросил:

— Зотова служила в департаменте полиции?

— Ка-ак? Ах, дьявольщина, — пробормотал Тагильский, взмахнув руками. — Это — что? Догадка? Уверенность? Есть факты?

— Догадка, — тихо сказал Самгин. Тагильский свистнул:

— А — фактов нет?

— Нет. Но иногда мне думалось…

— Догадка есть суждение, требующее фактов. А, по Канту, не всякое суждение есть познание, — раздумчиво бормотал Тагильский. — Вы никому не сообщали ваших подозрений?

— Нет.

— Товарищам по партии?

— Я — вне партии.

— Разве? Очень хорошо… то есть хорошо, что не сообщали, — добавил он, еще раз пожав руку Самгина. — Ну, я — ухожу. Спасибо за хлеб-соль!

Ушел. Коротко, точно удар топора, хлопнула дверь крыльца. Минутный диалог в прихожей несколько успокоил тревогу Самгина. Путешествуя из угла в угол комнаты, он начал искать словесные формы для перевода очень сложного и тягостного ощущения на язык мысли. Утомительная путаница впечатлений требовала точного, ясного слова, которое, развязав эту путаницу, установило бы определенное отношение к источнику ее — Тагильскому.

«Кажется, он не поверил, что я — вне партии. Предупредил о возможности обыска. Чего хочет от меня?»

Вспомнилось, как однажды у Прейса Тагильский холодно и жестко говорил о государстве как органе угнетения личности, а когда Прейс докторально сказал ему:

«Вы шаржируете» — он ответил небрежно: «Это история шаржирует». Стратонов сказал: «Ирония ваша — ирония нигилиста». Так же небрежно Тагильский ответил и ему:

«Ошибаетесь, я не иронизирую. Однако нахожу, что человек со вкусом к жизни не может прожевать действительность, не сдобрив ее солью и перцем иронии. Учит — скепсис, а оптимизм воспитывает дураков».

Тагильский в прошлом — человек самоуверенный, докторально действующий цифрами, фактами или же пьяный циник.

«Да, он сильно изменился. Конечно — он хитрит со мной. Должен хитрить. Но в нем явилось как будто новое нечто… Порядочное. Это не устраняет осторожности в отношении к нему. Толстый. Толстые говорят высокими голосами. Юлий Цезарь — у Шекспира — считает толстых неопасными…»

Тут Самгину неприятно вспомнился Бердников.

«Я — напрасно сказал о моих подозрениях Марины. У меня нередко срывается с языка… лишнее. Это — от моей чистоплотности. От нежелания носить в себе… темное, нечестное, дурное, внушаемое людями».

В зеркале скользила хорошо знакомая Самгину фигура, озабоченное интеллигентное лицо. Искоса следя за нею, Самгин решил:

«Нет, не стану торопиться с выводами».

«Марина?» — спросил он себя. И через несколько минут убедился, что теперь, когда ее — нет, необходимость думать о ней потеряла свою остроту.

«Приходится думать не о ней, а — по поводу ее. Марина… — Вспомнил ее необычное настроение в Париже. — В конце концов — ее смерть не так уж загадочна, что-нибудь… подобное должно было случиться. «По Сеньке — шапка»,

как говорят. Она жила близко к чему-то, что предусмотрено «Положением о наказаниях уголовных».

Дня три он провел усердно работая — приводил в порядок судебные дела Зотовой, свои счета с нею, и обнаружил, что имеет получить с нее двести тридцать рублей. Это было приятно. Работал и ожидал, что вот явится Тагильский, хотелось, чтоб он явился. Но Тагильский вызвал его в камеру прокурора и встретил там одетый в тужурку с позолоченными пуговицами. Он казался (выше) ростом, (тоньше), красное лицо его как будто выцвело, побурело, глаза открылись шире, говорил он сдерживая свой звонкий, едкий голос, ленивее, более тускло.

— Прокурор заболел. Болезнь — весьма полезна, когда она позволяет уклониться от некоторых неприятностей, — из них исключается смерть, освобождающая уже от всех неприятностей, минус — адовы мучения.

В середине этой речи он резко сказал в трубку телефона:

— Прошу пожаловать.

— Ну-с, вопросы к вам, — официально начал он, подвигая пальцем в сторону Самгина какое-то письмо. — Не знаете ли: кто автор сего послания?

Письмо было написано мелким, но четким почерком, слова составлены так плотно, как будто каждая строка — одно слово. Самгин читал:

«Сомнения и возражения твои наивны, а так как я знаю, что ты — человек умный, то чувствую, что наивность искусственна. Маркса искажают дворовые псы буржуазии, комнатные собачки ее, клички собак этих тебе известны, лай и вой, конечно, понятен. Брось фантазировать, читай Ленина. Тебя «отталкивает его грубая ирония», это потому, что ты не чувствуешь его пафоса. И многие неспособны чувствовать это, потому что такое сочетание иронии и пафоса — редчайшее сочетание, и до Ильича я чувствую его только у Марата, но не в такой силе».

«Кутузов, — сообразил Самгин. — Это его стиль. Назвать? Сказать — кто?»

Вошел местный товарищ прокурора Брюн-де-Сент-Ипполит, щеголь и красавец, — Тагильский протянул руку за письмом, спрашивая: — Не знаете? — Вопрос прозвучал утвердительно, и это очень обрадовало Самгина, он крепко пожал руку щеголя и на его вопрос: «Как — Париж, э?» — легко ответил:

— Изумителен!

Брюн самодовольно усмехнулся, погладил пальцами шелковые усики, подобранные волосок к волоску.

— Мой друг, князь Урусов, отлично сказал: «Париж — Силоамская купель, в нем излечиваются все душевные недуги и печали».

— Силоамская купель — это какая-то целебная грязь, вроде сакской, — заметил Тагильский и — строго спросил:

— А кто это Бердников?

О Бердникове Самгин говорил с удовольствием и вызвал со стороны туземного товарища прокурора лестное замечание:

— О, у вас дарование беллетриста!

— Так, — прервал Тагильский, зажигая папиросу. — Значит: делец с ориентацией на иностранный капитал? Французский, да?

— Не знаю.

— А Зотова — на английский, судя по документам?

— В эти ее дела она меня не посвящала. Дела, которые я вел, приготовлены мною к сдаче суду.

— Отлично, — сказал Тагильский, Сент-Ипполит скучно посмотрел на него, дважды громко чмокнул и ушел, а Тагильский, перелистывая бумаги, пробормотал:

— Вот этот парнишка легко карьерочку сделает! Для начала — женится на богатой, это ему легко, как муху убить. На склоне дней будет сенатором, товарищем министра, членом Государственного совета, вообще — шишкой! А по всем своим данным, он — болван и невежда. Ну — чорт с ним!

Похлопав ладонью по бумагам, он заговорил с оттенком удивления:

— Однако Зотова-то — дама широкого диапазона! А судя по отзвукам на ее дела — человек не малого ума и великой жадности. Я даже ошеломлен: марксисты, финансисты, сектанты. Оснований для догадки вашей о ее близости к департаменту полиции — не чувствую, не нахожу. Разве — по линии сектантства? Совершенно нельзя понять, на какую потребу она собирала все эти книжки, рукописи? Такая грубая, безграмотная ерунда, такое нищенское недомыслие… Рядом с этим хламом — библиотека русских и европейских классиков, книги Ле-Бона по эволюции материи, силы. Лесли Уорд, Оливер Лодж на английском языке, последнее немецкое издание «Космоса» Гумбольдта, Маркс, Энгельс… И все читано с карандашом, вложены записочки с указанием, что где искать. Вы, конечно, знаете все это?

— Нет, — сказал Самгин. — Дома у нее был я раза два, три… По делам встречались в магазине.

— Магазин — камуфляж? А?

Самгин молча пожал плечами и вдруг сказал:

— Она была кормчей корабля хлыстов. Местной богородицей.

— О-она? — заикаясь, повторил Тагильский и почти беззвучно, короткими вздохами засмеялся, подпрыгивая на стуле, сотрясаясь, открыв зубастый рот. Затем, стирая платком со щек слезы смеха, он продолжал:

— Ей-богу, таких путаников, как у нас, нигде в мире нет. Что это значит? Богородица, а? Ах, дьяволы… Однако — идем дальше.

Он стал быстро спрашивать по поводу деловых документов Марины, а через десяток минут резко спросил:

— Кому она могла мешать — как вы думаете?

— Безбедову. Бердникову, — ответил Самгин.

— Убил — Безбедов, — сердито сказал Тагильский, закуривая. — Встает вопрос инициативы: самосильно или по уговору? Ваша характеристика Бердникова…

Он замолчал, читая какую-то бумагу, а Самгин, несколько смущенный решительностью своего ответа, попробовал смягчить его:

— Очень трудно вообразить Безбедова убийцей…

— Почему? Убивают и дети. Быки убивают. Швырнув бумагу прочь, он заговорил очень быстро и сердито:

— На Волге, в Ставрополе, учителя гимназии баран убил. Сидел учитель, дачник, на земле, изучая быт каких-то травок, букашек, а баран разбежался — хлоп его рогами в затылок! И — осиротели букашки.

Он встал, живот его уперся в край стола, руки застегивали тужурку,

— Предварительное следствие закончено, обвинительный акт — готов, но еще не подписан прокурором. — Он остановился пред Самгиным и, почти касаясь его животом, спросил:

— Евреи были среди ее знакомых, деловых людей, а?

— Нет. Не знаю.

— Не было или не знаете?

— Не знаю.

— А я думаю: не было, — заключил Тагильский и чему-то обрадовался. — Вот что: давайте пойдем к Безбедову, попробуйте уговорить его сознаться — идет?

Предложение было неожиданно и очень не понравилось Самгину, но, вспомнив, как Тагильский удержал его от признания, знакомства с Кутузовым, — он молча наклонил голову.

— Так, — пробормотал Тагильский, замедленно протягивая ему руку.

На другой день, утром, он и Тагильский подъехали к воротам тюрьмы на окраине города. Сеялся холодный дождь, мелкий, точно пыль, истреблял выпавший ночью снег, обнажал земную грязь. Тюрьма — угрюмый квадрат высоких толстых стен из кирпича, внутри стен врос в землю давно не беленный корпус, весь в пятнах, точно пролежни, по углам корпуса — четыре башни, в средине его на крыше торчит крест тюремной церкви.

— Елизаветинских времен штучка, — сказал Тагильский. — Отлично, крепко у нас тюрьмы строили. Мы пойдем в камеру подследственного, не вызывая его в контору. Так — интимнее будет, — поспешно ворчал он.

Их встретил помощник начальника, маленькая, черная фигурка с бесцветным, стертым лицом заигранной тряпичной куклы, с револьвером у пояса и шашкой на боку.

— В камеру Безбедова, — сказал Тагильский. Человечек, испуганно мигнув мышиными глазами, скомандовал надзирателю:

— Приведи подследственного Безбедова из...

— Я сказал — в камеру! — строго напомнил Тагильский.

— Так точно. Но он — в карцере.

— За что?

— Буйствует несносно, дерется.

— Освободить, привести в камеру...

— Свободных камер нет, ваше высокородие. Господин Безбедов содержатся в общеуголовной. У нас все переполнено-с...

Держа руку у козырька фуражки, осторожно вмешался надзиратель:

— Левая, задняя башня свободна, как вчера вечером политического в карцер отвели.

Эта сцена настроила Самгина уныло. Неприятна была резкая команда Тагильского, его Лицо, надутое, выпуклое, как полушарие большого резинового мяча, как будто окаменело, свиные, красные глазки сердито выкатились. Коротенькие, толстые

ножки, бесшумно, как лапы кота, пронесли его по мокрому булыжнику двора, по чугунным ступеням лестницы, истоптанным половицам коридора; войдя в круглую, как внутренность бочки, камеру башни, он быстро закрыл за собою дверь, точно спрятался.

— Стулья принеси, — сказал помощник смотрителя надзирателю. Тагильский остановил его.

— Не надо. Давайте подследственного. Вы подождете в коридоре.

Самгин сел на нары. Свет падал в камеру из квадратного окна под потолком, падал мутной полосой, оставляя стены в сумраке. Тагильский сел рядом и тихонько спросил Самгина:

— Вы сидели в тюрьме?

— Да. Недолго.

— А я — сажал, — так же тихо откликнулся Тагильский. — Интеллигенты сажают друг друга в тюрьмы. Это не похоже на… недоразумение? На анекдот?

Самгин не успел ответить, — вошел Безбедов. Он точно шагнул со ступени, высоту которой рассчитал неверно, — шагнул, и ноги его подкосились, он как бы перепрыгнул в полосу мутного света.

— Встаньте к стене, — слишком громко приказал Тагильский, и Безбедов послушно отшатнулся в сумрак, прижался к стене. Самгин не сразу рассмотрел его, сначала он видел только грузную и почти бесформенную фигуру, слышал ее тяжелое сопение, нечленораздельные восклицания, похожие на икоту.

— Слушайте, Безбедов, — начал Тагильский, ему ответил глухой, сипящий вой:

— Меня избили. Топтали ногами. Я хочу доктора, в больницу меня…

— Кто вас бил? — спросил Тагильский.

— Уголовные, надзиратели, все. Здесь все бьют. За что меня? Я подам жалобу… Вы — кто такой?

Напрягая зрение, Самгин смотрел на Безбедова с чувством острой брезгливости. Хорошо знакомое пухлое, широкое лицо неузнаваемо, оплыло, щеки, потеряв жир, обвисли, точно у бульдога, и сходство лица с мордой собаки увеличивалось шерстью на щеках, на шее, оскаленными зубами; растрепанные волосы торчали на голове клочьями, точно изорванная шапка. Один глаз был закрыт опухолью, другой, расширенный, непрерывно мигал. Безбедова сотрясала дрожь, ноги его подгибались, хватаясь одной рукой за стену, другой он натягивал на плечо почти совсем оторванный рукав измятого пиджака, рубаха тоже была разорвана, обнажая грудь, белая кожа ее вся в каких-то пятнах.

— Как я, избитый, буду на суде? Меня весь город знает. Мне трудно дышать, говорить. Меня лечить надо…

— Вам нужно сознаться, Безбедов, — снова и строго начал Тагильский. И снова раздался сиплый рев:

— Ага, эта — вы? Опять — вы? Нет, я не дурак. Бумаги дайте… я жаловаться буду. Губернатору.

— К вам пришел защитник, — громко сказал Тагильский. Самгин тотчас же тревожно, шопотом напомнил ему:

— Я отказываюсь, не могу…

А Безбедов, царапая стену, закричал:

— Не желаю! Я заявил: Самгин или не надо! Давите! Вашим адвокатам не верю.

— Он — здесь, Самгин, — сказал Тагильский.

— Да, я вот пришел, — подтвердил Клим, говоря негромко, чувствуя, что предпочел бы роль безмолвного зрителя.

Безбедов оторвался от стены, шагнул к нему, ударился коленом об угол нар, охнул, сел на пол и схватил Самгина за ногу.

— Клим Иванович, — жарко засопел он. — Господи… как я рад! Ну, теперь… Знаете, они меня хотят повесить. Теперь — всех вешают. Прячут меня. Бьют, бросают в карцер. Раскачали и — бросили. Дорогой человек, вы знаете… Разве я способен убить? Если б способен, я бы уже давно…

— Вы говорите… безумно, во вред себе, — предупредил его Самгин, осторожно дергая ногой, стараясь освободить ее из рук Безбедова, а тот судорожно продолжал выкрикивать икающие слова:

— Вы знаете, какой она дьявол… Ведьма, с медными глазами. Это — не я, это невеста сказала. Моя невеста.

— Успокойтесь, — предложил Самгин, совершенно подавленный, и ему показалось, что Безбедов в самом деле стал спокойнее. Тагильский молча отошел под окно и там распух, расплылся в сумраке. Безбедов сидел согнув одну ногу, гладя колено ладонью, другую ногу он сунул под нары, рука его все дергала рукав пиджака.

— Она испортила мне всю жизнь, вы знаете, — говорил он. — Она — все может. Помните — дурак этот, сторож, такой огромный? Он — беглый. Это он менялу убил. А она его — спрятала, убийцу.

— Вы отдаете себе отчет в том, что говорите? — спросил Тагильский. Безбедов, оторвав рукав, взмахнул им в сторону Тагильского и стал совать рукав под мышку себе.

— Отдаю, понимаю, не боюсь я вас… Эх вы, прокурор. Теперь — не боюсь. И ее — не боюсь. Умерла, могу все сказать про нее. Вы — что думаете, Клим Иванович, — думаете, она вас уважала? Она?

— Я — не верю вам, не могу верить, — почти закричал Самгин, с отвращением глядя в поднятое к нему мохнатое, дрожащее лицо. Мельком взглянул в сторону Тагильского, — тот стоял, наклонив голову, облако дыма стояло над нею, его лица не видно было.

«Он все-таки строит мне какую-то ловушку», — тревожно подумал Самгин, а Безбедов, хватая его колено и край нар, пытаясь встать, шипел, должно быть, изумленный, испуганный:

— Не верите? Как же — защищать? Вам надо защищать меня. Как же это вы?

— Я не намерен защищать вас, — твердо, как мог, сказал Самгин, отодвигаясь от его рук. — Если вы сделали это — убили… Вам легче будет — сознайтесь! — прибавил он.

Безбедов встал на ноги, пошатнулся, взмахнул руками, он как будто не слышал последних слов Самгина, он стал говорить тише, но от этого речь его казалась Климу еще более кипящей, обжигающей.

— Как это вы? Я — уважаю вас. Вы — страшно умный, мудрый человек, а она смеялась над вами. Мне рассказывал Миша, он — знает… Она Крэйтону, англичанину говорила…

— Перестаньте, — (крикнул) Самгин, отшвырнув рукав пиджака, упавший на ногу ему. — Все это выдумано вами. Вы — больной человек.

— Я? Нет! Меня избили, но я — здоровый.

— Не кричите, Безбедов, — сказал Тагильский, подходя к нему. Безбедов, прихрамывая, бросился к двери, толкнул ее плечом, дверь отворилась, на пороге встал помощник начальника, за плечом его возвышалось седоусое лицо надзирателя.

— Закрыть, — приказал Тагильский. Дверь, торопливо звякнув железом, затворили, Безбедов прислонился спиною к ней, прижал руки ко груди жестом женщины, дергая лохмотья рубашки.

— Вот что. Безбедов, — звонко заговорил товарищ прокурора. — Прекратите истерику, она не в вашу пользу, а — против вас. Клим Иванович и я — мы знаем, когда человек притворяется невинным, испуганным мальчиком, когда он лжет…

Безбедов стукнул затылком о дверь и закричал почти нормальным, знакомым Самгину голосом:

— Я — не лгу! Я жить хочу. Это — ложь? Дурак! Разве люди лгут, если хотят жить? Ну? Я — богатый теперь, когда ее убили. Наследник. У нее никого нет. Клим Иванович… — удушливо и рыдая закричал он. Голос Тагильского заглушил его:

— Говорите прямо: сами вы убили ее, или же кто-то другой, наведенный вами? Ну-с?

Безбедов зарычал, шагнул вперед, повалился набок и бесформенно расплылся по полу.

— А-а, чорт, — пробормотал Тагильский, отскочив к нарам, затем, перешагнув через ноги Безбедова, постучал в дверь носком ботинка.

— Фельдшера, доктора, — приказал он. — Этого оставить здесь, в башне. Спросит бумаги, чернил — дать. Идя коридором, он вполголоса спросил:

— Симулирует?

— Не уверен.

— Ф-фу, чорт, душно как! — вытирая лицо платком, сказал Тагильский, когда вышли во двор, затем снял шляпу и, потряхивая лысой головой, как бы отталкивая мелкие капельки дождя, проворчал:

— Дрянь человечишка. Пьяница?

— Нет. Дурак и мот. Тагильский проворчал:

— Вредный субъект. Способен заварить такую кашу… чорт его возьми!

«Он меня пугает», — сообразил Самгин. Тагильский вытер платком лысину и надел шляпу. Самгин, наоборот, чувствовал тягостный сырой холод в груди, липкую, почти ледяную мокрядь на лице. Тревожил вопрос: зачем этот толстяк устроил ему свидание с Безбедовым? И, когда Тагильский предложил обедать в ресторане, Самгин пригласил его к себе, пригласил любезно, однако стараясь скрыть, что очень хочет этого.

Затем некоторое время назойливо барабанил дождь по кожаному верху экипажа, журчала вода, стекая с крыш, хлюпали в лужах резиновые шины, экипаж встряхивало на выбоинах мостовой, сосед толкал Самгина плечом, извозчик покрикивал:

— Бер-регись, эй!

«Да, с ним нужно держаться очень осторожно», — думал Самгин о соседе, а тот

бормотал почему-то о Сологубе:

— И талантлив и пессимист, но — не Бодлер. Тепленький и мягкий, как подушка.

Вздрагивая от холода, Самгин спрашивал себя:

«Мог Безбедов убить?»

Ответа он не искал, мешала растрепанная, жалкая фигура, разбитое, искаженное страхом и возмущением лицо, вспомнилась завистливая жалоба:

«Меня женщины не любят, я откровенен с ними, болтлив, сразу открываю себя, а бабы любят таинственное. Вас, конечно, любят, вы — загадочный, прячете что-то в себе, это интригует...»

У Самгина Тагильский закурил папиросу, прислонился к белым изразцам печки и несколько минут стоял молча, слушая, как хозяин заказывает горничной закуску к обеду, вино.

— Славная какая, — сказал он, когда девушка ушла, и вздохнул, а затем, держа папиросу вертикально, следя, как она дымит, точно труба фабрики, рассказал:

— У меня года два, до весны текущего, тоже была эдакая, кругленькая, веселая, мещаночка из Пскова. Жена установила с нею даже эдакие фамильярные отношения, давала ей книги читать и... вообще занималась «интеллектуальным развитием примитивной натуры», как она объяснила мне. Жена у меня была человечек наивный.

— Была? — спросил Самгин.

— Да. Разошлись. Так вот — Поля. Этой весною около нее явился приличный молодой человек. Явление — вполне естественное:

Это уж так водится:Тогда весна была.Сама богородицаВесною зачала.

Поехала жена с Потей устраиваться на даче, я от скуки ушел в цирк, на борьбу, но борьбы не дождался, прихожу домой — в кабинете, вижу, огонь, за столом моим сидит Полян кавалер и углубленно бумажки разбирает. У меня — револьверишко, маленький браунинг. Спрашиваю: «Нашли что-нибудь интересное?» Он хотел встать, ноги у него поехали под стол, шлепнулся в кресло и, подняв руки вверх, объявил: «Я — не вор!» — «Вы, говорю, дурак. Вам следовало именно вором притвориться, я позвонил бы в полицию, она бы вас увела и с миром отпустила к очередным вашим делам, тут и — конец истории. Ну-ко, расскажите, «как дошли вы до жизни такой?» Оказалось: сын чиновника почты, служил письмоводителем в женской гимназии, давал девицам нелегальную литературу, обнаружили, арестовали, пригрозили, предложили — согласился. Спрашиваю: «А как же — Поля?» — «А она, говорит, тоже со мной служит». Пришлось раскланяться с девушкой. Я потом в палате рассказываю: дело, очевидно, плохо, если начались тайные обыски у членов прокурорского надзора! Вызвало меня непосредственное мое начальство и внушает: «Вы, говорит, рассказываете анекдоты, компрометирующие власть. Вы, говорит, забыли, что Петр Великий называл прокурора «государевым оком».

Говорил Тагильский медленно, утомленно воркующим голосом. Самгин пытался понять: зачем он рассказывает это? И вдруг прервал рассказ, спросив:

— Не объясните ли вы: какой смысл имело для вас посещение мною... тюрьмы?

— А я — ждал, что вы спросите об этом, — откликнулся Тагильский, сунул руки в карманы брюк, поддернул их, шагнул к двери в столовую, прикрыл ее, сунул дымный окурок в землю кадки с фикусом. И, гуляя по комнате, выбрасывая коротенькие ноги смешно и важно, как петух, он заговорил, как бы читая документ:

— Подозреваемый в уголовном преступлении — в убийстве, — напомнил он, взмахнув правой рукой, — выразил настойчивое желание, чтоб его защищали на суде именно вы. Почему? Потому что вы — квартирант его? Маловато. Может быть, существует еще какая-то иная связь? От этого подозрения Безбедов реабилитировал вас. Вот — один смысл.

Он подошел к Самгину и, почти упираясь животом в его колени, продолжал:

— Есть — другой. Но он… не совсем ясен и мне самому.

Красное лицо его поблекло, прищуренные глаза нехорошо сверкнули.

— Я понимаю вас; вам кажется, что я хочу устроить вам некую судебную пакость.

— Вы ошибаетесь…

— Бросьте, Самгин.

Махнув рукой, Тагильский снова начал шагать, говоря в тоне иронии:

— Получается так, что я вам предлагаю товар моей откровенности, а вы… не нуждаетесь в нем и, видимо, убеждены: гнилой товар.

— Вы, конечно, знаете, что люди вообще не располагают к доверию, — произнес Самгин докторально, но тотчас же сообразил, что говорит снисходительно и этим может усилить иронию гостя. Гость, стоя спиной к нему, рассматривая корешки книг в шкафе, сказал:

— Даже сами себе плохо верят. Он повернулся, как мяч, и добавил:

— Русский интеллигент живет в непрерывном состоянии самозащиты и непрерывных упражнениях в эристике.

— Это — очень верно, — согласился Клим Самгин, опасаясь, что диалог превратится в спор. — Вы, Антон Никифорович, сильно изменились, — ласково, как только мог, заговорил он, намереваясь сказать гостю что-то лестное. Но в этом не оказалось надобности, — горничная позвала к столу.

— Есть я люблю, — сказал Тагильский. Самгин налил водки, чокнулись, выпили, гость тотчас же налил по второй, говоря:

— Я начинаю с трех, по завету отца. Это — лучший из его заветов. Кажется, я — заболеваю. Температура лезет вверх, какая-то дрожь внутри, а под кожей пузырьки вскакивают и лопаются. Это обязывает меня крепко выпить.

Стараясь держаться с ним любезнее, Самгин усердно угощал его, рассказывал о Париже, Тагильский старательно насыщался, молчал и вдруг сказал, тряхнув головой:

— В Москве, когда мы с вами встретились, я начинал пить. — Сделав паузу, он прибавил: — Чтоб не думать.

— Вы — москвич? — спросил Самгин.

— Туляк. Отец мой самовары делал у братьев Баташевых.

Он вытер губы салфеткой и, не доверяя ей, облизал языком.

— Я — интеллигент в первом поколении. А вы? — спросил он, раздув щеки усмешкой.

— В третьем, — сказал Самгин. Тагильский, готовясь закурить папиросу, пробормотал:

— Уже аристократ, в сравнении со мной. Самгин, тоже закурив, вопросительно посмотрел на него.

— Интересная тема, — сказал Тагильский, кивнув головой. — Когда отцу было лет под тридцать, он прочитал какую-то книжку о разгульной жизни золотоискателей, соблазнился и уехал на Урал. В пятьдесят лет он был хозяином трактира и публичного дома в Екатеринбурге.

Тагильский, прищурив красненькие глазки, несколько секунд молчал, внимательно глядя в лицо Самгина, Самгин, не мигнув, выдержал этот испытующий взгляд.

— Мать, лицо без речей, умерла, когда мне было одиннадцать лет. В тот же год явилась мачеха, вдова дьякона, могучая, циничная и отвратительно боголюбивая бабища. Я ее хотел стукнуть бутылкой — пустой — по голове, отец крепко высек меня, а она поставила на колени, сама встала сзади меня тоже на колени. «Проси у бога прощения за то, [что] поднял руку на меня, богоданную тебе мать!» Молиться я должен был вслух, но я начал читать непотребные стихи. Высекли еще раз, и отец до того разгорелся, что у него «сердце зашлось», и мачеха испугалась, когда он, тоже большой, толстый, упал, задыхаясь. Потом оба они плакали. Люди чувствительные…

Самгин слушал и, следя за лицом рассказчика, не верил ему. Рассказ напоминал что-то читанное, одну из историй, которые сочинялись мелкими писателями семидесятых годов. Почему-то было приятно узнать, что этот модно одетый человек — сын содержателя дома терпимости и что его секли.

— Жили тесно, — продолжал Тагильский не спеша и как бы равнодушно. — Я неоднократно видел… так сказать, взрывы страсти двух животных. На дворе, в большой пристройке к трактиру, помещались подлые девки. В двенадцать лет я начал онанировать, одна из девиц поймала меня на этом и обучила предпочитать нормальную половую жизнь…

Самгин спрятал лицо в дым папиросы, соображая:

«Зачем ему нужно рассказывать эти гадости? Если б я испытал подобное, я счел бы своим долгом забыть об этом… Мотивы таких грязных исповедей невозможно понять».

Тагильский говорил расширив глаза, глядя через голову Самгина, там, за окном, в саду, посвистывал ветер, скрипел какой-то сучок.

— Меня так били, что пришлось притвориться смирненьким, хотя я не один раз хотел зарезать отца или мачеху. Но все-таки я им мешал жить. Отец высоко ценил пользу образования, понимая его как независимость от полиции, надоедавшей ему. Он взял репетитора, я подготовился в гимназию и кончил ее с золотой медалью. Не буду говорить, чего стоило это мне. Жил я не в трактире, а у сестры мачехи, она сдавала комнаты со столом для гимназистов. От участия в кружках самообразования не только уклонялся, но всячески демонстрировал мое отрицательное, даже враждебное отношение к ним. Там были дети легкой жизни — сыновья торговцев из уездов, инженеров, докторов с заводов — аристократы. Отец не баловал меня деньгами, требовал только, чтоб я одевался чисто. Я обыгрывал сожителей в карты и копил деньги.

Настроение Самгина двоилось: было приятно, что человек, которого он считал опасным, обнажается, разоружается пред ним, и все более настойчиво хотелось понять: зачем этот кругленький, жирно откормленный человек откровенничает? А Тагильский ворковал, сдерживая звонкий голос свой, и все чаще сквозь скучноватую воркотню вырывались звонкие всхлипывания.

«Он чем-то напоминает Бердникова», — предостерег себя Самгин.

— Был в седьмом классе — сын штейгера, руководитель кружка марксистов, упрямый, носатый парень… В прошлом году я случайно узнал, что его третий раз

отправили в ссылку… Кажется, даже — в каторгу. Он поучал меня, что интеллигенты — такая же прислуга буржуазии, как повара, кучера и прочие. Из чувства отвращения ко всему, что меня обижало, я решил доказать ему, что это — неверно. Отец приказал мне учиться в томском университете на врача или адвоката, но я уехал в Москву, решив, что пойду в прокуратуру. Отец отказал мне в помощи. Учиться я любил, профессора относились ко мне благосклонно, предлагали остаться при университете. Но на четвертом курсе я женился, жена из солидной судейской семьи, отец ее — прокурор в провинции, дядя — профессор. Имел сына, он помер на пятом году. Честный был, прямодушный человечек. Запрещал матери целовать его. «У тебя, говорит, губы в мыле». Мылом он называл помаду. «Ты, говорит, мама, кричишь на лапу, как на повара». Повара он терпеть не мог. После его смерти с женой разошелся.

Тагильский вдруг резко встряхнулся на стуле, замигал глазами и торопливо проговорил:

— Вы извините мне… этот монолог…

— Полноте, что вы! — воскликнул Самгин, уверенно чувствуя себя человеком более значительным и сильным, чем гость его. — Я слушал с глубоким интересом. И, говоря правду, мне очень приятно, лестно, что вы так…

— Ну, и прочее, — прервал его Тагильский, подняв бокал на уровень рта. — Ваше здоровье!

Выпил, чмокнул, погладил щеки ладонями и шумно вздохнул.

— Как видите, пред вами — типичный неудачник. Почему? Надо вам сказать, что мою способность развязывать процессуальные узлы, путаницу понятий начальство весьма ценит, и если б не это, так меня давно бы уже вышибли из седла за строптивость характера и любовь к обнажению противоречий. В практике юристов важны не люди, а нормы, догмы, понятия, — это вам должно быть известно. Люди, с их деяниями, потребны только для проверки стойкости понятий и для вящего укрепления оных.

Тагильский встал, подошел к окну, подышал на стекло, написал пальцем икс, игрек и невнятно произнес:

— А люди построены на двух противоречивых началах, биологическом и социальном. Первое повелительно диктует: стой на своем месте и всячески укрепляй оное, иначе — соседи свергнут во прах. А социальное начало требует тесного контакта с соседями по классу. Вот уже и — причина многих скандалов. Кроме того, существует насилие класса и месть его. Вы, интеллигент в третьем поколении, едва ли поймете, в чем тут заковыка. Я же вот отлично понимаю, что мой путь через двадцать лет должен кончиться в кассационном департаменте сената, это — самое меньшее, чего я в силах достичь. Но обстановочка министерства юстиции мне противна. Органически противна. Противно — все: люди, понятия, намерения, дела. — Бормотал он все более невнятно.

«Пьянеет, — решил Самгин, усмехаясь и чувствуя, что устал от этого человека. — Человек чужого стиля. По фигуре, по тому, как он ест, пьет, он должен быть весельчаком».

Опасаясь, что гость внезапно обернется и заметит усмешку на его лице, Самгин погасил ее.

«Сын содержателя дома терпимости — сенатор».

Снова вспомнилось, каким индюком держался Тагильский в компании Прейса. Вероятно, и тогда уже он наметил себе путь в сенат. Грубоватый Поярков сказал ему: «Считать — нужно, однако не забывая, что посредством бухгалтерии революцию не сделаешь». Затем он говорил, что особенное пристрастие к цифрам обнаруживают вульгаризаторы Маркса и что Маркс не просто экономист, а

основоположник научно обоснованной философии экономики.

Товарищ прокурора откатился в угол, сел в кресло, продолжая говорить, почесывая пальцами лоб.

Самгин, отвлеченный воспоминаниями, слушал невнимательно, полудремотно и вдруг был разбужен странной фразой:

— Душа, маленькая, как драгоценный камень.

— Простите, это — у кого?

— У Сомовой. За год перед этим я ее встретил у одной теософки, есть такая глупенькая, тощая и тщеславная бабенка, очень богата и влиятельна в некоторых кругах. И вот пришлось встретиться в камере «Крестов», — она подала жалобу на грубое обращение и на отказ поместить ее в больницу.

— Сомову?

— Да.

«Я ее знал», — хотел сказать Самгин, но воздержался.

— Акулька, — нормальным голосом, очень звонко произнес Тагильский. Тонкий мастер внешних наблюдений, Самгин отметил, что его улыбка так тяжела, как будто мускулы лица сопротивляются ей. И она совершенно закрывает маленькие глазки Тагильского.

— Знаете Акульку? Игрушка, выточенная из дерева, а в ней еще такая же и еще, штук шесть таких, а в последней, самой маленькой — деревянный шарик, он уже не раскрывается. Я имел поручение открыть его. Девица эта организовала побег из ссылки для одного весьма солидного товарища. И вообще — девица, осведомленная в конспиративной технике. Арестовали ее на явочной квартире, и уже третий раз. Я ожидал встретить эдакую сердитую волчицу и увидел действительно больную фигурку, однолюбку революционной идеи, едва ли даже понятой ею, но освоенной эмоционально, как верование.

Тагильский вздохнул и проговорил как будто с сожалением:

— Такие — не редки, чорт их возьми. Одну — Ванскок, Анну Скокову — весьма хорошо изобразил Лесков в романе «На ножах», — читали?

— Нет, — сказал Самгин, слушая внимательно.

— Плохо написанная, но интересная книга. Появилась на год, на два раньше «Бесов». «Взбаламученное море» Писемского тоже, кажется, явилось раньше книги Достоевского?

— Не помню.

— Ну, чорт с ним, с Достоевским, не люблю! «Должен бы любить», — подумал Самгин.

— Так вот, Акулька. Некрасива, маленькая, но обладает эдакой… внутренней миловидностью… Умненькая душа, и в глазах этакая нежность… нежность няньки, для которой люди прежде всего — младенцы, обреченные на трудную жизнь. Поэтому сия революционная девица сказала мне: «Я вас вызвала, чтоб вы распорядились перевести меня в больницу, у меня — рак, а вы — допрашиваете меня. Это — нехорошо, нечестно. Вы же знаете, что я ничего не скажу. И — как вам не стыдно быть прокурором в эти дни, когда Столыпин…» ну, и так далее. Почему-то прибавила, что я умный, добрый и посему — особенно должен стыдиться. Вообще — отчитала меня, как покойника. Это был момент глубоко юмористический. Разумеется, я сказал ей, что прокурор обязан быть умным, а доброта его есть необходимая по должности справедливость. Лицо ее сделалось

удивительно скучным. И мне тоже стало скучно. Ну, откланялся и ушел. Тут и сказке конец.

— А она? — спросил Самгин, наблюдая, как Тагильский ловит папиросу в портсигаре.

— А ее вскоре съел рак.

Тагильский встал и, подходя к столу, проговорил вполголоса:

— Утомил я вас рассказами. Бывают такие капризы памяти, — продолжал он, разливая вино по стаканам. — Иногда вспоминают, вероятно, для того, чтоб скорее забыть. Разгрузить память.

Он протянул руку Самгину, в то же время прихлебывая из стакана.

— Ну, я — ухожу. Спасибо… за внимание. Родился я до того, как отец стал трактирщиком, он был грузчиком на вагонном дворе, когда я родился. Трактир он завел, должно быть, на какие-то темные деньги.

В прихожей, одеваясь, он снова заговорил:

— Воспитывают нас как мыслящие машинки и — не на фактах, а для искажения фактов. На понятиях, но не на логике, а на мистике понятий и против логики фактов.

Самгин осторожно заметил:

— Воспитывают как носителей энергии, творящей культуру…

— Ну-у — где там? Культура создается по предуказаниям торговцев колониальными товарами.

— Кормите вы — хорошо, — сказал он на прощание.

— Очень рад, что нравится. Заходите.

— Не премину.

Самгин посмотрел в окно, как невысокая, плотненькая фигурка, шагая быстро и мелко, переходит улицу, и, протирая стекла очков куском замши, спросил себя:

«Почему необходимо, чтоб этот и раньше неприятный, а теперь подозрительный человек снова встал на моем пути?»

Но тотчас же подумал:

«Жаловаться — не на что. Он — едва ли хитрит. Как будто даже и не очень умен. О Любаше он, вероятно, выдумал, это — литература. И — плохая. В конце концов он все-таки неприятный человек. Изменился? Изменяются люди… без внутреннего стержня. Дешевые люди».

Мелькнула догадка, что в настроении Тагильского есть что-то общее с настроением Макарова, Инокова. Но о Тагильском уже не хотелось думать, и, торопясь покончить с ним, Самгин решил:

«Должно быть [боролся против] каких-то мелких противозаконностей, подлостей и — устал. Или — испугался».

Мелкие мысли одолевали его, он закурил, прилег на диван, прислушался: город жил тихо, лишь где-то у соседей стучал топор, как бы срубая дерево с корня, глухой звук этот странно был похож на ленивый лай большой собаки и медленный, мерный шаг тяжелых ног.

«Смир-рно-о!» — вспомнил он командующий крик унтер-офицера, учившего солдат. Давно, в детстве, слышал он этот крик. Затем вспомнилась горбатенькая девочка: «Да — что вы озорничаете?» «А, может, мальчика-то и не было?»

«Да, очевидно, не было Тагильского, каким он казался мне. И — Марины не было. Наверное, ее житейская практика была преступна, это вполне естественно в мире, где работают Бердниковы».

Он закрыл глаза, представил себе Марину обнаженной.

«Медные глаза… Да, в ней было что-то металлическое. Не допускаю, чтоб она говорила обо мне — так… как сообщил этот идиот. Медные глаза — не его слово».

И — вслед за этим Самгин должен был признать, что Безбедов вообще не способен выдумать ничего. Вспыхнуло негодование против Марины.

«Варавка в юбке».

Вино, выпитое за обедом, путало мысли, разрывало их.

Выскользнули в памяти слова товарища прокурора о насилии, о мести класса.

«Что он хотел сказать?»

За стеклами шкафа блестели золотые надписи на корешках книг, в стекле отражался дым папиросы. И, стремясь возвыситься над испытанным за этот день, — возвыситься посредством самонасыщения словесной мудростью, — Самгин повторил про себя фразы недавно прочитанного в либеральной газете фельетона о текущей литературе; фразы звучали по-новому задорно, в них говорилось «о духовной нищете людей, которым жизнь кажется простой, понятной», о «величии мучеников независимой мысли, которые свою духовную свободу ценят выше всех соблазнов мира». «Человек — общественное животное? Да, если он — животное, а не создатель легенд, не способен быть творцом гармонии в своей таинственной душе».

На этом Самгин задремал и уснул, а проснулся только затем, чтобы раздеться и лечь в постель.

Следующий день с утра до вечера он провел в ожидании каких-то визитов, событий.

«В городе, наверное, говорят пошлости о моем отношении к Марине».

Он впервые пожалел о том, что, слишком поглощенный ею, не создал ни в обществе, ни среди адвокатов прочных связей. У него не было желания поискать в шести десятках [тысяч] жителей города одного или двух хотя бы менее интересных, чем Зотова. Он был уверен, что достаточно хорошо изучил провинциалов во время поездок по делам московского патрона и Марины. Большинство адвокатов — старые судейские волки, картежники, гурманы, театралы, вполне похожие на людей, изображенных Боборыкиным в романе «На ущербе». Молодая адвокатура — щеголи, «кадеты», двое проповедуют модернистские течения в искусстве, один — неплохо играет на виолончели, а все трое вместе — яростные винтеры. Изредка Самгин приглашал их к себе, и, так как он играл плохо, игроки приводили с собою четвертого, старика со стеклянным глазом, одного из членов окружного суда. Был он человек длинный, тощий, угрюмый, горбоносый, с большой бородой клином, имел что-то общее с голенастой птицей, одноглазие сделало шею его удивительно вертлявой, гибкой, он почти непрерывно качал головой и был знаменит тем, что изучил все карточные игры Европы.

От этих людей Самгин знал, что в городе его считают «столичной штучкой», гордецом и нелюдимом, у которого есть причины жить одиноко, подозревают в нем человека убеждений крайних и, напуганные событиями пятого года, не стремятся

к более близкому знакомству с человеком из бунтовавшей Москвы. Все это Самгин припомнил вечером, гуляя по знакомым, многократно исхоженным улицам города. В холодном, голубоватом воздухе звучал благовест ко всенощной службе, удары колоколов, догоняя друг друга, сливались в медный гул, он настраивал лирически, миролюбиво. Луна четко освещала купеческие особняки, разъединенные дворами, садами и связанные плотными заборами, сияли золотые главы церквей и кресты на них. За двойными рамами кое-где светились желтенькие огни, но окна большинства домов были не освещены, привычная, стойкая жизнь бесшумно шевелилась в задних комнатах. Самгин не впервые подумал, что в этих крепко построенных домах живут скучноватые, но, в сущности, неглупые люди, живут недолго, лет шестьдесят, начинают думать поздно и за всю жизнь не ставят пред собою вопросов — божество или человечество, вопросов о достоверности знания, о…

«Я тоже не решаю этих вопросов», — напомнил он себе, но не спросил — почему? — а подумал, что, вероятно, вот так же отдыхала французская провинция после 1795 года. Прошел мимо плохонького театра, построенного помещиком еще до «эпохи великих реформ», мимо дворянского собрания, купеческого клуба, повернул в широкую улицу дворянских особняков и нерешительно задержал шаг, приближаясь к двухэтажному каменному дому, с тремя колоннами по фасаду и с вывеской на воротах: «Белошвейная мастерская мадам Ларисы Нольде». Вспомнил двустишие:

Не очень много шили там, И не в шитье была там сила.

Там, среди других, была Анюта, светловолосая, мягкая и теплая, точно парное молоко. Серенькие ее глаза улыбались детски ласково и робко, и эта улыбка странно не совпадала с ее профессиональной опытностью. Очень забавная девица. В одну из ночей она, лежа с ним в постели, попросила:

— Подарите мне новейший песенник! Такой, знаете, толстый, с картинкой на обложке, — хоровод девицы водят. Я его в магазине видела, да — постеснялась зайти купить.

Он спросил: почему — песенник? Она любит стихи?

— Нет, стихов — не люблю, очень трудно понимать. Я люблю простые песни.

И тихонько, слабеньким голосом, она пропела две песни, одну, пошлую, Самгин отверг, а другую даже записал. На его вопрос — любила Анюта кого-нибудь? — она ответила:

— Нет, не случалось. Знаете, в нашем деле любовь приедается. Хотя иные девицы заводят «кредитных», вроде как любовников, и денег с них не берут, но это только так, для игры, для развлечения от скуки.

Потом он спросил: бывает ли, что мужчины грубо обращаются с нею? Она как будто немножко обиделась.

— За что же грубить? Я — ласковая, хорошенькая, пьяной — не бываю. Дом у нас приличный, вы сами знаете. Гости — очень известные, скандалить — стесняются. Нет, у нас — тихо. Даже — скучно бывает.

Говорила она стоя пред зеркалом, заплетая в косу обильные и мягкие светлорусые волосы, голая, точно куриное яйцо.

— А вот во время революции интересно было, новые гости приходили, такое, знаете, оживление. Один, совсем молодой человек, замечательно плясал, просто — как в цирке. Но он какие-то деньги украл, и пришла полиция арестовать его, тогда он выбежал на двор и — трах! Застрелился. Такой легкий был, ловкий.

«Я мог бы написать рассказ об этой девице, — подумал Самгин. — Но у нас, по милости Достоевского, так много написано и пишется о проститутках. «Милость к падшим». А падшие не чувствуют себя таковыми и в нашей милости — не

нуждаются».

Он вышел на берег реки, покрытой серой чешуей ледяного «сала». Вода, прибывая, тихонько терлась о засоренный берег, поскрипывал руль небольшой баржи, покачивалась ее мачта, и где-то близко ритмически стонали невидимые люди;

— О-ой — раз, еще раз…

Здесь особенно чувствовалась поздняя осень, воздух пропитан тяжелым, сырым холодом.

Через полчаса Самгин сидел в зале купеческого клуба, слушая лекцию приват-доцента Аркадия Пыльникова о «культурных задачах демократии». Когда Самгин вошел и сел в шестой ряд стульев, доцент Пыльников говорил, что «пошловато-зеленые сборники «Знания» отжили свой краткий век, успев однако посеять все эстетически и философски малограмотное, политически вредное, что они могли посеять, засорив, на время, мудрые, незабвенные произведения гениев русской литературы, бессмертных сердцеведов, в совершенстве обладавших чарующей магией слова».

Доцент был среднего роста, сытенький, широкобедрый, лысоватый, с большими красными ушами и бородкой короля Генриха IV.

Шаркая лаковыми ботинками, дрыгая ляжками, отталкивал ими фалды фрака, и ягодицы его казались окрыленными. Правую руку он протягивал публике, как бы на помощь ей, в левой держал листочки бумаги и, размахивая ею, как носовым платком, изредка приближал ее к лицу. Говорил он легко, с явной радостью, с улыбками на добродушном, плоском лице.

— Тон и смысл городской, культурной жизни, окраску ее давала та часть философски мощной интеллигенции, которая [шла] по пути, указанному Герценом, Белинским и другими, чьи громкие имена известны вам. Именно эта интеллигенция, возглавляемая Павлом Николаевичем Милюковым, человеком исключительной политической прозорливости, задолго до того, как сложиться в мощную партию конституционалистов-демократов, самозабвенно вела работу культурного воспитания нашей страны. Была издана замечательная «Программа домашнего чтения», организовано издание классиков современной радикально-демократической мысли, именитые профессора ездили по провинции, читая лекции по вопросам культуры. Цель этой разнообразной и упорной работы сводилась к тому, чтоб воспитать русского обывателя европейцем и чтоб молодежь могла противостоять морально разрушительному влиянию людей, которые, грубо приняв на веру спорное учение Маркса, толкали студенчество в среду рабочих с проповедью анархизма. Вы знаете, чего стоила народу эта безумная игра, эта игра авантюристов…

Самгин сидел на крайнем стуле у прохода и хорошо видел пред собою пять рядов внимательных затылков женщин и мужчин. Люди первых рядов сидели не очень густо, разделенные пустотами, за спиною Самгина их было еще меньше. На хорах не более полусотни безмолвных.

«Три года назад с хор освистали бы лектора», — скучно подумал он. И вообще было скучно, хотя лектор говорил все более радостно.

— Создателем действительних культурных ценностей всегда был инстинкт собственности, и Маркс вовсе не отрицал этого. Все великие умы благоговели пред собственностью, как основой культуры, — возгласил доцент Пыльников, щупая правой рукою графин с водой и все размахивая левой, но уже не с бумажками в ней, а с какой-то зеленой книжкой.

— К чему ведет нас безответственный критицизм? — спросил он и, щелкнув пальцами правой руки по книжке, продолжал: — Эта книжка озаглавлена «Исповедь человека XX века». Автор, некто Ихоров, учит: «Сделай в самом себе лабораторию и разлагай в себе все человеческие желания, весь человеческий опыт

прошлого». Он прочитал «Слепых» Метерлинка и сделал вывод: все человечество слепо.

Тут с хор как бы упали густо, грубо и медленно сказанные слова:

— Ну, это — неверно! Воруем и воюем, как зрячие.

Лектор взмахнул головой, многие из публики тоже подняли головы вверх, в зале раздалось шипение, точно лопнуло что-то, человек пять встали и пошли к двери.

«Возможен скандал», — сообразил Самгин и тоже ушел, вдруг почувствовав раздражение против лектора, находя, что его фразы пошловаты и компрометируют очень серьезные, очень веские мысли. Он, Самгин, мог бы сказать на темы, затронутые доцентом Пыльниковым, нечто более острое и значительное. Особенно раздражали: выпад против критицизма и неуместная, глуповатая цитата из зеленой книжки.

«Надо прочитать, — что это такое?» — решил он.

Обиженно подумалось о том, что его обгоняют, заскакивая вперед, мелкие люди, одержимые страстью проповедовать, поучать, исповедоваться, какие-то пустые люди, какие-то мыльные пузыри, поверхностно отражающие радужную пестроту мышления. Он шел, поеживаясь от холода, и думал:

«Мне уже скоро сорок лет. Это — более чем половина жизни. С детства за мною признавались исключительные способности. Всю жизнь я испытываю священную неудовлетворенность событиями, людями, самим собою. Эта неудовлетворенность может быть только признаком большой духовной силы».

Это не успокоило его так легко, как успокаивало раньше.

«Вся жизнь моя — цепь бессвязных случайностей, — подумал он. — Именно — цепь...»

Дня три он прожил в непривычном настроении досады на себя, в ожидании событий. Дела Марины не требовали в суд, не вызывали и его лично. И Тагильский не являлся.

«Идиоты», — ругался он и думал, что, пожалуй, нужно уехать из этого города.

«Интеллигенция — кочевое племя. Хорошо, что у меня нет семьи».

Тагильский пришел к обеду, и первым его словом было:

— Покормите?

Он явился в каком-то затейливом, сером сюртуке, похожем на мундир, и этот костюм сделал его выше ростом, благообразней. Настроен он был весело, таким Самгин еще не наблюдал его.

— Удивляюсь, как вас занесло в такое захолустье, — говорил он, рассматривая книги в шкафе. — Тут даже прокурор до того одичал, что Верхарна с Ведекиндом смешивает. Погибает от диабета. Губернатор уверен, что Короленко — родоначальник всех событий девятьсот пятого года. Директриса гимназии доказывает, что граммофон и кинематограф утверждают веру в привидения, в загробную жизнь и вообще — в чертовщину.

И, взглянув на хозяина через плечо, он вдруг спросил:

— А — Безбедов-то, слышали?

— Что?

— Помер.

— От чего? — тревожно воскликнул Самгин.

— Паралич сердца.

— Он казался вполне здоровым.

— Сердце — коварный орган, — сказал Тагильский.

— Очень странная смерть, — откликнулся Самгин, все так же тревожно и не понимая причин тревоги.

— Умная смерть, — решительно объявил товарищ прокурора. — Ею вполне удобно и законно разрешается дело Зотовой. Единственный наследник, он же и подозреваемый в убийстве, — устранился. Выморочное имущество поступает в казну, и около его кто-то погреет ловкие руки. Люди, заинтересованные в громких уголовных процессах, как, например, процесс Тальма, убийство генеральши Болдыревой в Пензе, процесс братьев Святских в Полтаве, — проиграли. А также проиграли и те, кому захотелось бы состряпать политический процесс на почве уголовного преступления.

Постучав пальцем в стекло шкафа, он заговорил небрежней, как бы шутя:

— Смерть Безбедова и для вас полезна, ведь вам пришлось бы участвовать в судебном следствии свидетелем, если бы вы не выступили защитником. И — знаете: возможно, что прокурор отвел бы вас как защитника.

«Он меня чем-то пугает», — догадался Самгин и спросил: — Почему?

Тагильский бесцеремонно зевнул, сообщил, что ночь, до пяти часов утра, он работал, и продолжал сорить словами.

— В городе есть слушок о ваших интимных отношениях с убитой. Кстати: этим объясняется ваша уединенная жизнь. Вас будто бы стесняло положение фаворита богато вдовы…

Самгин понял, что здесь следует возмутиться, и возмутился:

— Какое идиотство!

А Тагильский, усаживаясь, долбил, как дятел;

— К тому же: не думайте, что департамент полиции способен что-нибудь забыть, нет, это почтенное учреждение обладает свойством вечной памяти.

— Что вы хотите сказать? — спросил Самгин, поправив очки, хотя они не требовали этого.

— Представьте, что некто, в беседе с приятелем, воздал должное вашему поведению во дни Московского восстания. Укрепляя салфетку на груди, он объяснил:

— Я говорю не о доносе, а о похвале.

«Жулик», — мысленно обругал Самгин гостя, глядя в лицо его, но лицо было настолько заинтересовано ловлей маринованного рыжика в тарелке, что Самгин подумал; «А может быть, просто болтун». — Вслух он сказал, стараясь придать словам небрежный тон:

— Мое участие в Московском восстании объясняется топографией места — я жил в доме между двумя баррикадами.

И, боясь, что сказал нечто лишнее, он добавил:

— Разумеется, я не оправдываюсь, а объясняю. Но Тагильский, видимо, не

нуждался ни в оправданиях, ни в объяснениях, наклонив голову, он тщательно размешивал вилкой уксус и горчицу в тарелке, потом стал вилкой гонять грибы по этой жидкости, потом налил водки, кивнул головой хозяину и, проглотив водку, вкусно крякнув, отправив в рот несколько грибов, посапывая носом, разжевал, проглотил грибы и тогда, наливая но второй, заговорил наконец:

— Я был в Мюнхене, когда началось это… необыкновенное происшествие и газеты закричали о нем как о переводе с французского.

Выпил еще рюмку.

— Не верилось. Москва? Сытая, толстая, самодовлеющая, глубоко провинциальная, партикулярная Москва делает революцию? Фантастика. И — однако оказалась самая суровая реальность.

Наливая суп в тарелку, он продолжал оживленнее:

— Я не знаю, какова роль большевиков в этом акте, но должен признать, что они — враги, каких… дай бог всякому! По должности я имел удовольствие — говорю без иронии! — удовольствие познакомиться с показаниями некоторых, а кое с кем беседовать лично. В частности — с Поярковым, — помните?

— Да.

— Его сослали на пять лет куда-то далеко. Бежал. Большевик, — волевой тип, крайне полезный в стране, где люди быстро устают болтаться между да и нет. Эстеты и любители приличного школьного мышления находят политическое учение Ленина примитивно грубым. Но если читать его внимательно и честно — эх, чорт возьми! — Тагильский оборвал фразу, потому что опрокинул на стол рюмку, только что наполненную водкой. Самгин положил ложку, снял салфетку с шеи, чувствуя, что у него пропал аппетит и что в нем закипает злоба против этого человека.

«Он ловит меня. Лжет. Издевается. Свинья».

— Вы, Антон Никифорович, удивляете меня, — начал он, а Тагильский, снова наполняя рюмку, шутовато проговорил:

— Не ожидал, что удивлю, и удивлен, что удивил.

Самгин, сдерживая озлобление, готовил убийственный вопрос:

«Как можете вы, представитель закона, говорить спокойно и почти хвалебно о проповеднике учения, которое отрицает основные законы государства?»

А Тагильский съел суп, отрезал кусок сыра и, намазывая хлеб маслом, сообщил:

— Сюда приехал сотрудничек какой-то московской газеты, разнюхивает — как, что, кто — кого? Вероятно — сунется к вам. Советую — не принимайте. Это мне сообщил некто Пыльников, Аркашка, человечек всезнающий и болтливый, как бубенчик. Кандидат в «учителя жизни», — есть такой род занятий, не зарегистрированный ремесленной управой. Из новгородских дворян, дядя его где-то около Новгорода унитазы и урильники строит.

«Все это следовало бы сказать смеясь или озлобленно», — отметил Самгин.

— Редкий тип совершенно счастливого человека. Женат на племяннице какого-то архиерея, жену зовут — Агафья, а в словаре Брокгауза сказано: «Агафья — имя святой, действительное существование которой сомнительно».

Артистически насыщаясь, Тагильский болтал все торопливее, и Самгин не находил места, куда ткнуть свой ядовитый вопрос, да и сообщение о сотруднике газеты, понизив его злость, снова обострило тревожный интерес к Тагильскому. Он чувствовал, что человек этот все более сбивает его с толка.

Люди были интересны Самгину настолько, насколько он, присматриваясь к ним, видел себя не похожим на них. Он довольно быстро находил и определял основную систему фраз, в которую тот или другой человек привык укладывать свой опыт. Он видел, что наиболее легко воспринимаются и врастают в память идеи и образы художественной литературы и критические оценки ее идей, образов. На основе этих идей и суждений он устанавливал свое различие от каждого и пытался установить свою независимость от всех. Тагильский был противоречив, неуловим, но иногда и все чаще в его словах звучало что-то знакомое, хотя обидно искаженное. И как будто Тагильский, тоже чувствуя это неуловимое сходство, дразнил им Самгина.

Вот он кончил наслаждаться телятиной, аккуратно, как парижанин, собрал с тарелки остатки соуса куском хлеба, отправил в рот, проглотил, запил вином, благодарно пошлепал ладонями по щекам своим. Все это почти не мешало ему извергать звонкие словечки, и можно было думать, что пища, попадая в его желудок, тотчас же переваривается в слова. Откинув плечи на спинку стула, сунув руки в карманы брюк, он говорил:

— Почему вы живете здесь? Жить нужно в Петербурге, или — в Москве, но это — на худой конец. Переезжайте в Петербург. У меня там есть хороший знакомый, видный адвокат, неославянофил, то есть империалист, патриот, немножко — идиот, в общем — <скот>. Он мне кое-чем обязан, и хотя у него, кажется, трое сотрудников, но и вам нашлась бы хорошая работа. Переезжайте.

— Я подумаю, — сказал Самгин и подумал: «Кому-то нужно, чтоб я уехал отсюда». Затем — спросил о работе:

— Хорошая, в смысле гонорара?

— Ну, а — какой же иной смысл? Защита униженных и оскорбленных, утверждение справедливости? Это рекомендуется профессорами на факультетских лекциях, но, как вы знаете, практического значения не может иметь.

Он тотчас же рассказал: некий наивный юрист представил Столыпину записку, в которой доказывалось, что аграрным движением руководили богатые мужики, что это была война «кулаков» с помещиками, что велась она силами бедноты и весьма предусмотрительно; при дележе завоеванного мелкие вещи высокой цены, поступая в руки кулаков, бесследно исчезали, а вещи крупного объема, оказываясь на дворах и в избах бедняков, служили для начальников карательных отрядов отличным указанием, кто преступник. Столыпин, ознакомясь с этой запиской, распорядился: «Выслать юмориста в Сибирь, подальше». Но юмориста уже задавили лошади пожарной команды, когда он ехал из бани домой. Самгин выслушал рассказ как один из анекдотов, которые сочиняются для того, чтоб иллюстрировать глупость администраторов.

«Старинная традиция «критически мыслящих», — думал он. — Странно, что и этот не свободен от анекдота...»

Его отношение к Тагильскому в этот день колебалось особенно резко и утомительно. Озлобление против гостя истлело, не успев разгореться, неприятная мысль о том, что Тагильский нашел что-то сходное между ним и собою, уступило место размышлению: почему Тагильский уговаривает переехать в Петербург? Он не первый раз демонстрирует доброжелательное отношение ко мне, но — почему? Это так волновало, что даже мелькнуло намерение: поставить вопрос вслух, в лоб товарищу прокурора.

Но красненькие и мутноватые, должно быть, пьяные глаза Тагильского — недобрые глаза. Близорукость Самгина мешала ему определить выражение этих глаз с необходимой точностью. И даже цвет их как будто изменялся в зависимости от света, как изменяется перламутр. Однако почти всегда в них есть нечто остренькое.

«Глаза лгуна», — с досадой определил Самгин и заметил:

— Вы сегодня хорошо настроены.

— Заметно? — спросил Тагильский. — Но я ведь вообще человек… не тяжелых настроений. А сегодня рад, что это дельце будет сдано в архив.

Он встал, широко размахнул руками, и это заставило Самгина [вспомнить] ироническое восклицание, вызываемое хвастовством: «Руки коротки!»

«Ведет себя бесцеремонно, как студент», — продолжал Самгин наблюдать и взвешивать, а Тагильский, снова тихонько и ласково похлопав себя по щекам ладонями, закружился по комнате, говоря:

— Люблю противоречить. С детства приучился. Иногда, за неимением лучшего объекта, сам себе противоречу.

«Я еще не видал, как он смеется», — вспомнил Самгин, прислушиваясь к ленивеньким словам.

— К добру эта привычка не приведет меня. Я уже человек скомпрометированный, — высказал несколько неосторожных замечаний по поводу намерения Столыпина арестовать рабочих — депутатов Думы. В нашем министерстве искали, как бы придать беззаконию окраску законности. Получил внушение с предупреждением.

Тагильский остановился, вынул папиросу, замолчал, разминая ее пальцами.

«Видимо — ему что-то нужно от меня, иначе — зачем бы он откровенничал?» — подумал Самгин, подавая ему спички.

Тагильский, кивнув головой, взял спички, папироса — сломалась, он сунул ее в пепельницу, а спички — в карман себе и продолжал:

— Послан сюда для испытания трезвости ума и благонамеренности поведения. Но, кажется, не оправдал надежд. Впрочем, я об этом уже говорил.

Присев к столу, снова помолчал, закурил не торопясь.

— Думаю — подать в отставку. К вам, адвокатам, не пойду, — неуютно будет мне в сонме… профессиональных либералов, — пардон! Предпочитаю частную службу.

В промышленности. Где-нибудь на Урале или за Уралом. Вы на Урале бывали?

— Нет.

— Эх, — вздохнул Тагильский и стал рассказывать о красотах Урала даже с некоторым жаром. Нечто поддразнивающее исчезло в его словах и в тоне, но Самгин настороженно ожидал, что оно снова явится. Гость раздражал и утомлял обилием слов. Все, что он говорил, воспринималось хозяином как фальшивое и как предисловие к чему-то более важному. Вдруг встал вопрос:

«А — как бы я вел себя на его месте?»

Вопрос был неприятен так же, как неожидан, и Самгин тотчас погасил его, строго сказав себе:

«Между нами нет ничего общего».

А Тагильский, покуривая, дирижируя папиросой, разрисовывая воздух голубыми узорами дыма, говорил:

— Коренной сибиряк более примитивен, более серьезно и успешно занят делом самоутверждения в жизни. Толстовцы и всякие кающиеся и вообще болтуны там —

не водятся. Там понимают, что ежели основной закон бытия — борьба, так всякое я имеет право на бесстыдство и жестокость.

— Гм, — произнес Самгин.

— Да, да, понимают!

Теперь, когда Тагильский перешел от пейзажа к жанру, внимание к его словам заострилось еще более и оно уже ставило пред собою определенную цель: оспорить сходство мысли, найти и утвердить различие.

— «Во гресех роди мя мати моя», с нее и взыскивайте, — а я обязан грешить, — слышал он. — А здесь вот вчера Аркашка Пыльников...

— Он еще здесь?

— Да. Он прибыл сюда не столько для просвещения умов, как на свадьбу сестры своей, курсисточки, она вышла замуж за сына первейшего здешнего богача Едокова, Ездокова...

— Извекова, — поправил Самгин.

— Пусть будет так, если это еще хуже, — сказал Тагильский. — Так вот Аркашка, после свадебного пира, открывал сердце свое пред полупьяным купечеством, развивая пред Разуваевыми тему будущей лекции своей:

«Религия как регулятор поведения». Перечислил, по докладу Мережковского в «Религиозно-философском собрании», все грехи Толстого против религии, науки, искусства, напомнил его заявление Льва, чтоб «затянули на старом горле его намыленную петлю», и объяснил все это болезнью совести. Совесть. Затем выразил пламенное убеждение, что Русь неизбежно придет к теократической организации государства, и вообще наболтал чорт знает чего.

Он встал, чтоб сунуть окурок в пепельницу, и опрокинул ее.

«Пьян», — решил Самгин.

— Однако купцы слушали его, точно он им рассказывал об операциях министерства финансов. Конечно, удивление невежд — стоит дешево, но — интеллигенция-то как испугалась, Самгин, а? — спросил он, раздвинув рот, обнажив желтые зубы. — Я не про Аркашку, он — дурак, дураки ничего не боятся, это по сказкам известно. Я вообще про интеллигентов. Испугались. Литераторы как завыли, а?

Вынув часы из кармана жилета, глядя на циферблат, он продолжал лениво:

— Достоевский считал характернейшей особенностью интеллигенции — и Толстого — неистовую, исступленную прямолинейность грузного, тяжелого русского ума. Чепуха. Где она — прямолинейность? Там, где она есть, ее можно объяснить именно страхом. Испугались и — бегут прямо, «куда глаза глядят». Вот и все.

Он встал, покачнулся.

— Ну, я наговорил... достаточно. На полгода, а? — спросил он, громко хлопнув крышкой часов. — Слушатель вы... идеальный! Это вы — прячетесь в молчании или — это от презрения?

— Вы интересно говорили, — ответил Самгин, Тагильский подошел вплоть к нему и сказал нечто неожиданное:

— Возможно, что я более, чем другие подобные, актер для себя, — другие, и в их числе Гоголи, Достоевские, Толстые.

Он снова показал желтые зубы.

— Это — плохо, я знаю. Плохо, когда человек во что бы то ни стало хочет нравиться сам себе, потому что встревожен вопросом: не дурак ли он? И догадывается, что ведь если не дурак, тогда эта игра с самим собой, для себя самого, может сделать человека еще хуже, чем он есть. Понимаете, какая штука?

— Не совсем, — сказал Самгин. Тагильский махнул рукой:

— Не верю. Понимаете. Приезжайте в Петербург. Серьезно советую. Здесь — дико. Завтра уезжаю…

Он оставил Самгина в состоянии неиспытанно тяжелой усталости, измученным напряжением, в котором держал его Тагильский. Он свалился на диван, закрыл глаза и некоторое время, не думая ни о чем, вслушивался в смысл неожиданных слов — «актер для себя», «игра с самим собой». Затем, постепенно и быстро восстановляя в памяти все сказанное Тагильским за три визита, Самгин попробовал успокоить себя:

«Это — верно: он — актер. Для себя? Конечно — нет, он актер для меня, для игры со мной. И вообще — со всяким, с кем эта игра интересна. Почему она интересна со мной?»

Пред ним почти физически ощутимо колебалась кругленькая, плотная фигурка, розовые кисти коротеньких рук, ласковое поглаживание лица ладонями, а лицо — некрасиво, туго наполненное жиром, неподвижное. И неприличные, красненькие глазки пьяницы.

«Фигура и лицо комика, но ничего смешного в нем не чувствуется. Он — злой и не скрывает этого. Он — опасный человек». Но, проверив свои впечатления, Самгин должен был признать, что ему что-то нравится в этом человеке.

«Я не мало встречал болтунов, иногда они возбуждали у меня чувство, близкое зависти. Чему я завидовал? Уменью связывать все противоречия мысли в одну, цепь, освещать их каким-то одним своим огоньком. В сущности, это насилие над свободой мысли и зависть к насилию — глупа. Но этот…» — Самгин был неприятно удивлен своим открытием, но чем больше думал о Тагильском, тем более убеждался, что сын трактирщика приятен ему. «Чем? Интеллигент в первом поколении? Любовью к противоречиям? Злостью? Нет. Это — не то».

Об «актере для себя», об «игре с собою» он не вспомнил.

С мыслями, которые очень беспокоили его, Самгин не привык возиться и весьма легко отталкивал их. Но воспоминания о Тагильском держались в нем прочно, он пересматривал их путаницу охотно и убеждался, что от Тагильского осталось в нем гораздо больше, чем от Лютова и других любителей пестренькой домашней словесности.

В течение ближайших дней он убедился, что действительно ему не следует жить в этом городе. Было ясно: в адвокатуре местной, да, кажется, и у некоторых обывателей, подозрительное и враждебное отношение к нему — усилилось. Здоровались с ним так, как будто, снимая шапку, оказывали этим милость, не заслуженную им. Один из помощников, которые приходили к нему играть в винт, ответил на его приглашение сухим отказом. А Гудим, встретив его в коридоре суда, крякнул и спросил:

— Этот, прокурорчик из Петербурга, давно знаком вам?

— Да.

— Угу! Морозище какой сегодня!

«Ну и — чорт с тобой, старый дурак, — подумал Самгин и усмехнулся: — Должно быть, Тагильский в самом деле насолил им».

К людям он относился достаточно пренебрежительно, для того чтоб не очень обижаться на них, но они настойчиво показывали ему, что он — лишний в этом городе. Особенно демонстративно действовали судейские, чуть не каждый день возлагая на него казенные защиты по мелким уголовным делам и задерживая его гражданские процессы. Все это заставило его отобрать для продажи кое-какое платье, мебель, ненужные книги, и как-то вечером, стоя среди вещей, собранных в столовой, сунув руки в карманы, он мысленно декламировал:

Я бог таинственного мира,Весь мир в одних моих мечтах

От этих строк самовольно вспыхнули другие:

И что мне помешаетВоздвигнуть все миры,Которых пожелаетЗакон моей игры?

Тут Самгин вспомнил о мире, изображенном на картинах Иеронима Босха, а затем подумал, что Федор Сологуб — превосходный поэт, но — «пленный мыслитель», — он позволил овладеть собой одной идее — идее ничтожества и бессмысленности жизни.

«Этот плен мысли ограничивает его дарование, заставляет повторяться, делает его стихи слишком разумными, логически скучными. Запишу эту мою оценку. И — надо сравнить «Бесов» Достоевского с «Мелким бесом». Мне пора писать книгу. Я озаглавлю ее «Жизнь и мысль». Книга о насилии мысли над жизнью никем еще не написана, — книга о свободе жизни».

Но тут Самгин нахмурился, вспомнив, что Иван Карамазов советовал: «Жизнь надо любить прежде логики».

«Попробуем еще раз напомнить, что человек имеет право жить для себя, а не для будущего, как поучают Чеховы и прочие эпигоны литературы, — решил он, переходя в кабинет. — Еще Герцен, в сороковых годах, смеялся над позитивистами, которые считают жизнь ступенью для будущего. Чехов, с его обещанием прекрасной жизни через двести, триста лет, развенчанный Горький с наивным утверждением, что «человек живет для лучшего» и «звучит гордо», — все это проповедники тривиального позитивизма Огюста Конта. Эта теория доросла до марксизма, своей еще более уродливой крайности...»

Самгин вздрогнул, ему показалось, что рядом с ним стоит кто-то. Но это был он сам, отраженный в холодной плоскости зеркала. На него сосредоточенно смотрели расплывшиеся, благодаря стеклам очков, глаза мыслителя. Он прищурил их, глаза стали нормальнее. Сняв очки и протирая их, он снова подумал о людях, которые обещают создать «мир на земле и в человецех благоволение», затем, кстати, вспомнил, что кто-то — Ницше? — назвал человечество «многоглавой гидрой пошлости», сел к столу и начал записывать свои мысли.

Через несколько дней он сидел в вагоне второго класса, имея в бумажнике 383 рубля, два чемодана с собою и один в багаже. Сидел и думал:

«Если у меня украдут деньги или я потеряю их, — я приеду в Петербург нищим».

Было обидно: прожил почти сорок лет, из них лет десять работал в суде, а накопил гроши. И обидно было, что пришлось продать полсотни ценных книг в очень хороших переплетах.

Ехал он в вагоне второго класса, пассажиров было немного, и сквозь железный грохот поезда звонким ручейком пробивался знакомый голос Пыльникова.

Мир должен быть оправдан весь,Чтоб можно было жить,

— четко скандировал приват-доцент, а какой-то сердитый человек басовито кричал:

— Что это — одеколон пролили? Дышать нечем! По вагону, сменяя друг друга,

гуляли запахи ветчины, ваксы, жареного мяса, за окном, в сероватом сумраке вечера, двигались снежные холмы, черные деревья, тряслись какие-то прутья, точно грозя высечь поезд, а за спиною Самгина, покашливая, свирепо отхаркиваясь, кто-то мрачно рассказывал:

— Одного ингуша — убили, другого — ранили, трое остальных повезли раненого в город, в больницу и — пропали…

— Сударыня, — торжествующе взывал Пыльников. — Все-таки, все-таки — как же вы решаете вопрос о смысле бытия? Божество или человечество?

Против Самгина лежал вверх лицом, закрыв глаза, длинноногий человек, с рыжей, остренькой бородкой, лежал сунув руки под затылок себе. Крик Пыльникова разбудил его, он сбросил ноги на пол, сел и, посмотрев испуганно голубыми глазами в лицо Самгина, торопливо вышел в коридор, точно спешил на помощь кому-то.

— Разрыв дан именно по этой линии, — кричал Пыльников. — Отказываемся мы от культуры духа, построенной на религиозной, христианской основе, в пользу культуры, насквозь материалистической, варварской, — отказываемся или нет?

Как-то вдруг все запахи заглушил одеколон, а речь Пыльникова покрылась надсадным кашлем и суровой, громко сказанной фразой:

— Не пороть, а руки рубить надо было, руки!

— Ну, все же страха нагнали достаточно пеньковыми-то галстуками…

— А — убытки? Кто мне убытки возместит?

И снова всплыл победительный голосок Пыльникова:

— А вы убеждены в достоверности знания? Да и — при чем здесь научное знание? Научной этики — нет, не может быть, а весь мир жаждет именно этики, которую может создать только метафизика, да-с!

«Хаос, — думал Самгин, чувствуя, что его отравляют, насильно втискивая в мозг ему ненужные мысли. — Хаос…»

Еще недавно ему нравилось вслушиваться в растрепанный говор людей, он был уверен, что болтливые пассажиры поездов, гости ресторанов, обогащая его знанием подлинной житейской правды, насыщают плотью суховатые системы книжных фраз. Но он уже чувствовал себя перенасыщенным, утомленным обилием знания людей, и ему казалось, что пришла пора крепко оформить все, что он видел, слышал, пережил, в свою, оригинальную систему. Но вот, точно ветер в комнату сквозь щели плохо прикрытых окон и дверей, назойливо врывается нечто уже лишнее, ненужное, но как будто незнакомое. Вспомнилось, как Пыльников, закрыв розовое лицо свое зеленой книжкой, читал:

«Я видел в приюте слепых, как ходят эти несчастные, вытянув руки вперед, не зная, куда идти. Но все человечество не есть ли такие же слепцы, не ходят ли они в мире тоже ощупью?»

«Я знаю, куда иду, знаю, чего хочу», — сказал Самгин себе.

В коридоре появился длинноногий человек с рыженькой бородкой, его как бы толкала дородная женщина, окутанная серой шалью.

— Понимаешь? — вполголоса, но очень внятно и басовито спрашивала она. — В самом центре.

— Не верится, — пробормотал сосед Самгина.

— Да, да! Провокатор в центре партии. Факт! Отстранив длинного человека

движением руки, она прошла в конец вагона, а он пошатнулся, сел напротив Самгина и, закусив губу, несколько секунд бессмысленно смотрел в лицо его.

«Сейчас начнет говорить», — подумал Самгин, но тут явился проводник, зажег свечу, за окном стало темно, загремела жесть, должно быть, кто-то уронил чайник. Потом в вагоне стало тише, и еще более четко зазвучал сверлящий голосок доцента:

— Вопрос не в том, как примирить индивидуальное с социальным, в эпоху, когда последнее оглушает, ослепляет, ограничивает свободу роста нашего «я», — вопрос в том, следует ли примирять?

— Дайте спичку, — жалобно попросил сосед Самгина у проводника; покуда он неловко закуривал, Самгин, поворотясь спиной к нему, вытянулся на диване, чувствуя злое желание заткнуть рот Пыльникова носовым платком.

Петербург встретил Самгина морозным, холодно сияющим утром. На бронзовой шапке и на толстых плечах царя Александра сверкал иней, игла Адмиралтейства казалась докрасна раскаленной и точно указывала на белое, зимнее солнце. Несколько дней он прожил плутая по музеям, вечерами сидя в театрах, испытывая приятное чувство независимости от множества людей, населяющих огромный город. Картины, старинные вещи, лаская зрение пестротой красок, затейливостью форм, утомляли тоже приятно. Артисты в театрах говорили какие-то туманные, легкие слова о любви, о жизни.

«Надо искать работы», — напоминал он себе и снова двигался по бесчисленным залам Эрмитажа, рассматривая вещи, удовлетворяясь тем, что наблюдаемое не ставит вопросов, не требует ответов, разрешая думать о них как угодно или — не думать. Клим Иванович Самгин легко и утешительно думал не об искусстве, но о жизни, сквозь которую он шел ничего не теряя, а, напротив, все более приобретая уверенность, что его путь не только правилен, но и героичен, но не умел или не хотел — может быть, даже опасался — вскрывать внутренний смысл фактов, искать в них единства. Ему часто приходилось ощущать, что единство, даже сходство мысли — оскорбляет его, унижает, низводя в ряд однообразностей. Его житейский, личный опыт еще не принял оригинальной формы, но — должен принять. Он» Клим Самгин, еще в детстве был признан обладателем исключительных способностей, об этом он не забывал да я не мог забыть, ибо людей крупнее его — не видел. В огромном большинстве люди — это невежды, поглощенные простецким делом питания, размножения и накопления собственности, над массой этих людей и в самой массе шевелятся люди, которые, приняв и освоив ту или иную систему фраз, именуют себя консерваторами, либералами, социалистами. Они раскалываются на бесчисленное количество группочек — народники, толстовцы, анархисты и так далее, но это, не украшая их, делает еще более мелкими, менее интересными. Включить себя в любой ряд таких людей, принять их догматику — это значит ограничить свободу своей мысли. Самгин стоял пред окном, курил, и раздражение, все возрастая, торопило, толкало его куда-то. За окном все гуще падал снег, по стеклам окна ползал синеватый дым папиросы, щекотал глаза, раздражал ноздри, Самгин стоял не двигаясь, ожидая, что вот сейчас родится какая-то необыкновенная, новая и чистая его мысль, неведомая никому, явится и насытит его ощущением власти над хаосом.

«Всякая догма, конечно, осмыслена, но догматика — неизбежно насилие над свободой мысли. Лютов был адогматичен, но он жил в страхе пред жизнью и страхом убит. Единственный человек, независимый хозяин самого себя, — Марина».

Но он устал стоять, сел в кресло, и эта свободная всеразрешающая мысль — не явилась, а раздражение осталось во всей силе и вынудило его поехать к Варваре.

Сквозь холодное белое месиво снега, наполненное глуховатым, влажным [цоканьем] лошадиных подков и шорохом резины колес по дереву торцов, ехали медленно, долго, мокрые снежинки прилеплялись к стеклам очков и коже щек, —

вое это не успокаивало.

«На кой чорт еду? Глупо…»

Но он смутился, когда Варвара, встав с кресла, пошатнулась и, схватясь за спинку, испуганно, слабым голосом заговорила:

— Нет, нет, не подходи! Сядь — там, подальше, я боюсь заразить тебя. У меня — инфлюэнца… или что-то такое.

Он справился о температуре, о докторе, сказал несколько обычных в таких случаях — утешающих слов, присмотрелся к лицу Варвары и решил:

«Да, сильно нездорова». Лицо, в красных пятнах, казалось обожженным, зеленоватые глаза блестели неприятно, голос звучал повышенно визгливо и как будто тревожно, суховатый кашель сопровождался свистом.

— Вот все чай пью, — говорила она, спрятав <лицо> за самоваром. — Пусть кипит вода, а не кровь. Я, знаешь, трусиха, заболев — боюсь, что умру. Какое противное, не русское слово — умру.

— Ты — здоровый человек, — сказал Самгин.

— Нет, — возразила она. — Я — нездорова, давно. Профессор-гинеколог сказал, что меня привязывает к жизни надорванная нить. Аборт — не проходит бесследно, сказал он.

«Начнется пересмотр прошлого», — неприязненно подумал Самгин и, не спросив разрешения, закурил папиросу, а Варвара, протянув руку, сказала:

— И мне дай.

Закурив, она стала кашлять чаще, но это не мешало ей говорить.

— Такой противный, мягкий, гладкий кот, надменный, бессердечный, — отомстила она гинекологу, но, должно быть, находя, что этого еще мало ему, прибавила: — толстовец, моралист, ригорист. Моралью Толстого пользуются какие-то особенные люди… Верующие в злого и холодного бога. И мелкие жулики, вроде Ногайцева. Ты, пожалуйста, не верь Ногайцеву — он бессовестный, жадный и вообще — негодяй.

— Я думаю, что это верно, — согласился Клим; она дважды кивнула головой.

— Верно, верно, я знаю…

Все более неприятно было видеть ее руки, — поблескивая розоватым перламутром острых, заботливо начищенных ногтей, они неустанно и беспокойно хватали чайную ложку, щипцы для сахара, чашку, хрустели оранжевым шелком халата, ненужно оправляя его, щупали мочки красных ушей, растрепанные волосы на голове. И это настолько владело вниманием Самгина, что он не смотрел в лицо женщины.

— Какой ужасный город! В Москве все так просто… И — тепло. Охотный ряд, Художественный театр, Воробьевы горы… На Москву можно посмотреть издали, я не знаю, можно ли видеть Петербург с высоты, позволяет ли он это? Такой плоский, огромный, каменный… Знаешь — Стратонов сказал: «Мы, политики, хотим сделать деревянную Россию каменной».

«Что она — бредит?» — подумал Самгин, оглядываясь, осматривая маленькую неприбранную комнату, обвешанную толстыми драпировками; в ней стоял настолько сильный запах аптеки, что дым табака не заглушал его.

— Нигде, я думаю, человек не чувствует себя так одиноко, как здесь, — торопливо говорила женщина. — Ах, Клим, до чего это мучительное чувство — одиночество!

Революция страшно обострила и усилила в людях сознание одиночества… И многие от этого стали зверями. Как это — которые грабят на войне?.. После сражений?

— Мародеры, — подсказал Самгин.

— Да, вот такие — мародеры…

— Ты говорила об этом, — напомнил он.

— Это ужасно, Клим… — свистящим шопотом сказала она.

«Серьезно больна, — с тревогой думал он, следя за судорожными движениями ее рук. — Точно падает или тонет», — сравнил он, и это сравнение еще более усилило его тревогу. А Варвара говорила все более невнятно:

— Ты, конечно, знаешь — я увлекалась Стратоновым.

— Нет, не знал, — откликнулся Самгин и тотчас сообразил, что не нужно было говорить этого. Но — ведь что-нибудь надо же говорить?

— Это ты — из деликатности, — сказала Варвара, задыхаясь. — Ах, какое подлое, грубое животное Стратонов… Каменщик. Мерзавец… Для богатых баб… А ты — из гордости. Ты — такой чистый, честный. В тебе есть мужество… не соглашаться с жизнью…

Она вдруг замолчала. Самгин привстал, взглянул на нее и тотчас испуганно выпрямился, — фигура женщины потеряла естественные очертания, расплылась в кресле, голова бессильно опустилась на грудь, был виден полузакрытый глаз, странно потемневшая щека, одна рука лежала на коленях, другая свесилась через ручку кресла.

Первая мысль, подсказанная Самгину испугом: «Надобно уйти», — вторая: «Позвать доктора!»

Он выбежал в коридор, нашел слугу, спросил: нет ли в гостинице доктора? Оказалось — есть: в 32 номере, доктор Макаров, сегодня приехал из-за границы.

— Позовите его.

— Они — вышли.

— Позвоните другому — немедленно!

Благовоспитанный человек с маленькой головой без волос, остановив Самгина, вполголоса предложил вызвать карету «Скорой помощи».

— Согласитесь — неудобно! Может быть, что-нибудь заразное.

— Да, конечно! Да, да, — согласился Самгин и, возвратясь к Варваре, увидал: она сидит на иолу, упираясь в него руками, прислонясь спиною к сиденью кресла и высоко закинув голову.

— Хотела встать и упала, — заговорила она слабеньким голосом, из глаз ее текли слезы, губы дрожали. Самгин поднял ее, уложил на постель, сел рядом и, поглаживая ладонь ее, старался не смотреть в лицо ее, детски трогательное и как будто виноватое.

— Мне плохо, Клим, — тихонько и жалобно говорила она, — мне очень плохо. Задыхаюсь.

— Здесь — Макаров, — сказал Самгин. — Помнишь — Макарова?

Она утвердительно кивнула головой.

— Да. Красавец.

Он тоже чувствовал себя плохо и унизительно. Унижало бессилие, неуменье помочь ей, сказать какие-то утешительные слова. Он все-таки говорил:

— Не теряй бодрости. Сила воли помогает лучше всех лекарств.

А Варвара, жадно хватая ртом воздух, бормотала:

— У нотариуса Зелинского — завещание. Я все отказала тебе… Не сердись, Клим. Тебе — надо, друг мой. Ты — честный. Дом и всё…

— Это — пустяки, — сказал он. — Ты молчи, — отдохни.

— Ты продашь все. Деньги — независимость, милый. В сумке. И в портфеле, в чемодане. Ах, боже мой!.. Неужели… нет — неужели я… Погаси огонь над кроватью… Режет глаза.

Она плакала и все более задыхалась, а Самгин чувствовал — ему тоже- тесно и трудно дышать, как будто стены комнаты сдвигаются, выжимая воздух, оставляя только душные запахи. И время тянулось так медленно, как будто хотело остановиться. В духоте, в полутьме полубредовая речь Варвары становилась все тяжелее, прерывистей:

— Помнишь, умирал музыкант? Мы сидели в саду, и над трубой серебряные струйки… воздух. Ведь — только воздух? Да?

— Да, — только воздух, — подтвердил Самгин и подумал, что, может быть, лучше бы сказать:

«Я не знаю».

— Стратонов… негодяй! Ударил меня в живот… Как извозчик.

В комнату кто-то вошел, Самгин встал, выглянул из-за портьеры.

— Доктор Макаров, — сердито сказал ему странно знакомым голосом щеголевато одетый человек, весь в черном, бритый, с подстриженными усами, с лицом военного. — Макаров, — повторил он более мягко и усмехнулся.

«Кутузов, — сообразил Самгин, молча, жестом руки указывая на кровать. — Приехал с паспортом Макарова. Нелегальный. Хорошо, что я не поздоровался с ним».

Вежливый человек, стоявший у двери, пробормотал, что карета «Скорой помощи» сейчас прибудет, и спросил:

— Вы — родственник госпожи Самгиной?

— Муж.

— Где изволите проживать?

Клим назвал гостиницу.

Человек почтительно поклонился, исчез.

— Вот как я… попал! — тихонько произнес Кутузов, выходя из-за портьеры, прищурив правый глаз, потирая ладонью подбородок. — Отказаться — нельзя; назвался груздем — полезай в кузов. Это ведь ваша жена? — шептал он. — Вот что: я ведь медик не только по паспорту и даже в ссылке немножко практиковал. Мне кажется: у нее пневмония и — крупозная, а это — не шуточка. Понимаете?

И, наступая на Клима, предложил:

— Давайте условимся: как лучше — мы не знакомы?

— Да, — ответил Клим.

— Правильно. Есть Макаров — ваш приятель, но эта фамилия нередкая. Кстати: тоже, вероятно, уже переехал границу в другом пункте. Ну, я ухожу. Нужно бы потолковать с вами, а? Вы не против?

— Нет. Когда ее увезут.

— Отлично.

Кутузов ушел, а Самгин, прислушиваясь, как Варвара, кашляя, захлебывается словами, подумал:

«Зачем я согласился?»

— Поил вином… как проститутку, — слышал он, подходя к постели.

Варвара встретила его хриплым криком:

— Это — кто? Ты? Поди прочь!

— Это — я, Клим, — сказал он, наклоняясь к ней. Но, не узнавая его, тревожно щупая беспокойными руками грудь, халат, подушки, она повторяла, всхрапывая:

— Прочь. Зверь…

Прошло еще минут пять, прежде чем явились санитары с носилками, вынесли ее, она уже молчала, и на потемневшем лице ее тускло светились неприятно зеленые, как бы злые глаза.

«Умирает, — решил Самгин. — Умрет, конечно», — повторил он, когда остался один. Неприятно тупое слово «умрет», мешая думать, надоедало, точно осенняя муха. Его прогнал вежливый, коротконогий и кругленький человечек, с маленькой головкой, блестящей, как биллиардный шар. Войдя бесшумно, точно кошка, он тихо произнес краткую речь:

— По закону мы обязаны известить полицию, так как все может быть, а больная оставила имущество. Но мы, извините, справились, установили, что вы законный супруг, то будто бы все в порядке. Однако для твердости вам следовало бы подарить помощнику пристава рублей пятьдесят… Чтобы не беспокоили, они это любят. И притом — напуганы, — время ненадежное…

У Самгина оказался билет в сто рублей и еще рублей двадцать. Он дал сто.

Тогда человек счастливым голоском заявил, что этот номер нужно дезинфицировать, и предложил перенести вещи Варвары в другой, и если господин Самгин желает ночевать здесь, это будет очень приятно администрации гостиницы.

Он ушел.

«Негодяй и, наверное, шпион», — отметил брезгливо Самгин и тут же подумал, что вторжение бытовых эпизодов в драмы жизни не только естественно, а, прерывая течение драматических событий, позволяет более легко переживать их. Затем он вспомнил, что эта мысль вычитана им в рецензии какой-то парижской газеты о какой-то пьесе, и задумался о делах практических.

«О чем хочет говорить Кутузов? Следует ли говорить с ним? Встреча с ним — не безопасна. Макаров — рискует…»

Открыл форточку в окне и, шагая по комнате, с папиросой в зубах, заметил на подзеркальнике золотые часы Варвары, взял их, взвесил на ладони. Эти часы

подарил ей он. Когда будут прибирать комнату, их могут украсть. Он положил часы в карман своих брюк. Затем, взглянув на отраженное в зеркале озабоченное лицо свое, открыл сумку. В ней оказалась пудреница, перчатки, записная книжка, флакон английской соли, карандаш от мигрени, золотой браслет, семьдесят три рубля бумажками, целая горсть серебра.

«Она любила серебро, — вспомнил он. — Если она умрет, у меня не хватит денег похоронить ее».

Тот факт, что Варвара завещала ему дом, не очень тронул и не удивил его, у нее не было родных. Завещания и не нужно было — он, Самгин, единственный законный наследник.

Он сел, открыл на коленях у себя небольшой ручной чемодан, очень изящный, с уголками оксидированного серебра. В нем — несессер, в сумке верхней его крышки — дорогой портфель, в портфеле какие-то бумаги, а в одном из его отделений девять сторублевок, он сунул сторублевки во внутренний карман пиджака, а на их место положил 73 рубля. Все это он делал машинально, не оценивая: нужно или не нужно делать так? Делал и думал:

«Она не мало видела людей, но я остался для нее наиболее яркой фигурой. Ее первая любовь. Кто-то сказал: «Первая любовь — не ржавеет». В сущности, у меня не было достаточно солидных причин разрывать связь с нею. Отношения обострились… потому что все вокруг было обострено».

В продолжение минуты он честно поискал: нет ли в прошлом чего-то, что Варвара могла бы поставить в вину ему? Но — ничего не нашел.

Когда он закуривал новую папиросу, бумажки в кармане пиджака напомнили о себе сухим хрустом. Самгин оглянулся — все вокруг было неряшливо, неприятно, пропитано душными запахами. Пришли двое коридорных и горничная, он сказал им, что идет к доктору, в 32-й, и, если позвонят из больницы, сказали бы ему.

Кутузов, сняв пиджак, расстегнув жилет, сидел за столом у самовара, с газетой в руках, газеты валялись на диване, на полу, он встал и, расшвыривая их ногами, легко подвинул к столу тяжелое кресло.

— Увезли? — спросил он, всматриваясь в лицо Самгина. — А я вот читаю отечественную прессу. Буйный бред и либерально-интеллигентские попытки заговорить зубы зверю. Существенное — столыпинские хутора и поспешность промышленников как можно скорее продать все, что хочет купить иностранный капитал. А он — не дремлет и прет даже в текстиль, крепкое московское дело. В общем — балаган. А вы — постарели, Самгин.

— Вам этого не скажешь, — ответил Самгин.

— Обо мне — начальство заботится, посылало отдохнуть далеко на север, четырнадцать месяцев отдыхал. Не совсем удобно, а — очень хорошо для души. Потом вот за границу сбегал.

Говорил Кутузов вполголоса, и, как всегда, в сиреневых зрачках его играла усмешка. Грубоватое лицо без бороды казалось еще более резким и легко запоминаемым.

— Видели Ленина? — опросил Самгин, наливая себе чаю.

— Как же.

— Что он — в прежних мыслях?

— Вполне и даже — крепче. Старик — удивителен. Иногда с ним очень трудно соглашаться, но — попрыгав, соглашаешься. Он смотрит в будущее сквозь щель в настоящем, только ему известную. Вас, интеллигентов, ругает весьма энергично…

— За что?

— За меньшевизм и всех других марок либерализм. Тут Луначарский с Богдановым какую-то ахинею сочинили?

— Не читал.

— Ильич говорит, что они шлифуют социализм буржуазной мыслью, — находя, что его нужно облагородить.

Кутузов встал, сунув руки в карманы, прошел к двери. Клим отметил, что человек этот стал как будто стройнее, легче.

«Похудел. Или — от костюма».

А Кутузов, возвратись к столу, заговорил скучновато, без обычного напора:

— Вопрос о путях интеллигенции — ясен: или она идет с капиталом, или против его — с рабочим классом. А ее роль катализатора в акциях и реакциях классовой борьбы — бесплодная, гибельная для нее роль... Да и смешная. Бесплодностью и, должно быть, смутно сознаваемой гибельностью этой позиции Ильич объясняет тот смертный визг и вой, которым столь богата текущая литература. Правильно объясняет. Читал я кое-что, — Андреева, Мережковского и прочих, — чорт знает, как им не стыдно? Детский испуг какой-то...

Наклонясь к Самгину и глядя особенно пристально, он спросил, понизив голос:

— Слушайте-ко, вы ведь были поверенным у Зотовой, — что это за история с ней? Действительно — убита?

И, повторяя краткие, осторожные ответы Клима, он ставил вопросы:

— Кем? Подозревался племянник. Мотивы? Дурак. Мало для убийцы. Угнетала — ага! Это похоже на нее. И — что же племянник? Умер в тюрьме, — гм...

«Считает себя в праве спрашивать тоном судебного следователя», — подумал Самгин и сказал:

— Мне кажется — отравили его.

— Вполне уголовный роман. Вы — не любитель таковых? Я — охотно читаю Конан-Дойля. Игра логикой. Не очень мудро, но — забавно.

Говоря это, он мял пальцами подбородок и смотрел в лицо Самгина с тем напряжением, за которым чувствуется, что человек думает не о том, на что смотрит. Зрачки его потемнели.

— Темная история, — тихо сказал он. — Если убили, значит, кому-то мешала. Дурак здесь — лишний. А буржуазия — не дурак. Но механическую роль, конечно, мог сыграть и дурак, для этого он и существует.

Самгин, сняв очки, протирая их стекла, опустил голову.

— Я почти два года близко знал ее, — заговорил он. — Знал, но — не мог понять. Вам известно, что она была кормчей в хлыстовском корабле?

— Что-о? Она? — Кутузов небрежно махнул рукой и усмехнулся. — Это — провинциальная ерунда, сплетня.

Он очень удивился, когда Самгин рассказал ему о радении, нахмурил брови, ежовые волосы на голове его пошевелились.

— Вот — балаган, — пробормотал он и замолчал, крепко растирая ладонями тугие щеки.

— Как о ней думаете — в конце концов? — спросил Самгин.

— Прежде всего — честолюбива, — не сразу ответил Кутузов. — Весьма неглупа, но возбудителем ума ее служило именно честолюбие. Здоровая плоть и потому — брезглива, брезгливость, должно быть, служила сдерживающим началом ее чувственности. Детей — не любила и не хотела, — сказал он, наморщив лоб, и снова помолчал. — Любознательна была, начитанна. Сектантством она очень интересовалась, да, но я плохо знаю это движение, на мой взгляд — все сектанты, за исключением, может быть, бегунов, то есть анархистов, — богатые мужики и только. Сектанты они до поры, покамест мужики, а становясь купцами, забывают о своих разноречиях с церковью, воинствующей за истину, то есть — за власть. Интерес к делам церковным ей привил муж.

Кутузов сразу и очень оживился:

— Вот это был — интересный тип! Мужчина великой ненависти к церкви и ко всякой власти. Паскаля читал по-французски, Янсена и, отрицая свободу воли, доказывал, что все деяния человека для себя — насквозь греховны и что свобода ограничена только выбором греха: воевать, торговать, детей делать… Считая благодать божию недоступной человеку, стоял на пути к сатанизму или полному безбожию. Горячий был человек. Договаривался, в задоре, до того, что однажды сказал: «Бог есть враг человеку, если понимать его церковно».

Закурив папиросу, он позволил спичке догореть до конца, ожег пальцы себе и, помахивая рукою в воздухе, сказал:

— Теперь мне кажется, что Марина-то на этих мыслях и свихнулась в хлыстовство…

Но тотчас же, отрицательно встряхнув головой, встал и, шагая по комнате, продолжал:

— Но — нет! Хлыстовство — балаган. За ним скрывалось что-то другое. Хлыстовство — маскировка. Она была жадна, деньги любила. Муж ее давал мне на нужды партии щедрее. Я смотрел на него как на кандидата в революционеры. Имел основания. Он и о деревне правильно рассуждал, в эсеры не годился. Да, вот что я могу сказать о ней.

— Вы гораздо больше сказали о нем, — отметил Самгин; Кутузов молча пожал плечами, а затем, прислонясь спиною к стене, держа руки в карманах, папиросу в зубах и морщась от дыма, сказал:

— Была у нее нелепая идея накопить денег и устроить где-то в Сибири нечто в духе Роберта Оуэна… Фаланстер, что ли… Вообще — балаган. Интеллигентка. Хороший, здоровый мозг, развитие и свободное проявление которого тесно ограничено догмами и нормами классовых интересов буржуазии. Человечество деятельно организуется для всемирного боя — для драчки, как говорит Ильич. Турция, Персия, Китай, Индия охвачены национальным стремлением вырваться из-под железной руки европейского капитала. Сей последний, видя, чем это грозит ему, не менее стремительно укрепляет свои силы, увеличивает боевые промышленно-технические кадры за счет наиболее даровитых рабочих, делая из них высококвалифицированных рабочих, мастеров, мелких техников, инженеров, адвокатов, ученых, особенно — химиков, как в Германии. Умело действуя на инстинкт собственности, на честолюбие, привлекает пролетариат интеллигентный, в качестве мелких акционеров, в дело обирания масс. Подготовка борьбы с Востоком не исключает, конечно, борьбы с пролетариатом у себя дома, — девятьсот пятый — шестой года кое-чему научили капиталистов. Буржуазия — не дурак, — повторил Кутузов, усмехаясь.

Говорил он глядя в окно, в густосерый сумрак за ним, на желтое, масляное пятно огня в сумраке. И говорил, как бы напоминая самому себе:

— Интеллигенты, особенно — наши, более голодные, чем в Европе, смутно

чувствуют трагизм грядущего, и многих пугает не опасность временных поражений пролетариата, а — несчастие победы, Ильич — прав. Стократно прав. Пугает идея власти рабочего класса. И вот они прячутся в религиозно-философские дебри, в хлыстовство, в разврат, к чорту. А — особенно — в примиренчество разных форм и разного рода. А знаете, Самгин, очень хорошо, что у нас и самодержавие и буржуазия одинаково бездарны. Но очень плохо, что многовато мужика, — закончил он и, усмехаясь, погасил окурок папиросы, как мастеровой, о подошву сапога. А Самгин немедленно и торопливо закурил, и эта почти смешная торопливость требовала объяснения.

«Начнет выспрашивать, как я думаю. Будет убеждать в возможности захвата политической власти рабочими…»

Слушая Кутузова внимательно, Самгин не испытывал желания возражать ему — но все-таки готовился к самозащите, придумывая гладкие фразы:

«Человек имеет право думать как ему угодно, но право учить — требует оснований ясных для меня, поучаемого… На чем, кроме инстинкта собственности, можно возбудить чувство собственного достоинства в пролетарии?.. Мыслить исторически можно только отправляясь от буржуазной мысли, так как это она является родоначальницей социализма…»

Он заготовил еще несколько фраз, но все они не удовлетворяли его, ибо каждая обещала зажечь бесплодный, бесполезный спор.

Он не сомневается в своем праве учить, а я не хочу слышать поучений». Самгиным овладевала все более неприятная тревога: он понимал, что, если разгорится спор, Кутузов легко разоблачит, обнажит его равнодушие к социально-политическим вопросам. Он впервые назвал свое отношение к вопросам этого порядка — равнодушным и даже сам не поверил себе: так ли это?

И поправил догадку:

«Временно пониженным…»

Кутузов, растирая щеки ладонями, говорил:

— Пренеприятно зудит кожа. Обморозил, когда шел из ссылки. А товарищ — ноги испортил себе.

— Вы знаете, что Сомова — умерла? — вдруг вспомнил Самгин.

— Да, знаю, — откликнулся Кутузов и, гулко кашлянув, повторил: — Знаю, как же… — Помолчав несколько секунд, добавил, негромко и как-то жестко: — Она была из тех женщин, которые идут в революцию от восхищения героями. Из романтизма. Она была человек морально грамотный…

— То есть? — спросил Самгин. Кутузов, дважды щелкнув пальцами, ответил, как бы сердясь на кого-то:

— Безошибочное чутье на врага. Умная душа. Вы — помните ее? Котенок. Маленькая, мягкая. И — острое чувство брезгливости ко всякому негодяйству. Был случай: решили извинить человеку поступок весьма дрянненький, но вынужденный комбинацией некоторых драматических обстоятельств личного характера. «Прощать — не имеете права», — сказала она и хотя не очень логично, но упорно доказывала, что этот герой товарищеского отношения — не заслуживает. Простили. И лагерь врагов приобрел весьма неглупого негодяя.

— Она предлагала убить? — любознательно осведомился Самгин.

Кутузов усмехнулся, но не успел ответить: в дверь постучали, и затем почтительный голосок произнес:

— По телефону получено, что больная госпожа… Самгина очень опасна.

Кутузов молча взглянул на Клима, молча пожал руку его.

Клим Иванович Самгин признал себя обязанным поехать в больницу, но на улице решил пройтись пешком.

Город был пышно осыпан снегом, и освещаемый полной луною снег казался приятно зеленоватым. Скрипели железные лопаты дворников, шуршали метлы, а сани извозчиков скользили по мягкому снегу почти бесшумно. Обильные огни витрин и окон магазинов, легкий, бодрящий морозец и все вокруг делало жизнь вечера чистенькой, ласково сверкающей, внушало какое-то снисходительное настроение.

«Сомову он расписал очень субъективно, — думал Самгин, но, вспомнив рассказ Тагильского, перестал думать о Любаше. — Он стал гораздо мягче, Кутузов. Даже интереснее. Жизнь умеет шлифовать людей. Странный день прожил я, — подумал он и не мог сдержать улыбку. — Могу продать дом и снова уеду за границу, буду писать мемуары или — роман».

Но тут он сообразил, что идет в сторону от улицы, где больница, и замедлил шаг.

«Поздно, едва ли допустят… к больной. И — какой смысл идти к ней? Присутствовать при акте умирания тяжело и бесполезно».

Он продолжал шагать и через полчаса сидел у себя в гостинице, разбирая бумаги в портфеле Варвары. Нашел вексель Дронова на пятьсот рублей, ключ от сейфа, проект договора с финской фабрикой о поставке бумаги, газетные вырезки с рецензиями о каких-то книгах, заметки Варвары. Потом спустился в ресторан, поужинал и, возвратясь к себе, разделся, лег в постель с книгой Мережковского «Не мир, но меч».

Проснулся рано, в настроении очень хорошем, позвонил, чтоб дали кофе, но вошел коридорный и сказал:

— Вас дожидает человек из похоронной конторы…

Самгин минуту посидел на постели, прислушиваясь, как отзовется в нем известие о смерти Варвары? Ничего не услыхал, поморщился, недовольный собою, укоризненно спрашивая кого-то:

«Разве я бессердечен?»

Одеваясь, он думал:

«Бедная. Так рано. Так быстро».

И, думая словами, он пытался представить себе порядок и количество неприятных хлопот, которые ожидают его. Хлопоты начались немедленно: явился человек в черном сюртуке, краснощекий, усатый, с толстым слоем черных волос на голове, зачесанные на затылок, они придают ему сходство с дьяконом, а черноусое лицо напоминает о полицейском. Большой, плотный, он должен бы говорить басом, но говорит высоким, звонким тенором:

— Наше бюро было извещено о кончине уважаемой…

— Когда она умерла? — осведомился Клим.

— В половине седьмого текущим утром, и я немедленно…

Самгин остановил его, сказав, что он сегодня в пять часов должен уехать из Петербурга и что церемония похорон должна быть совершена ускоренно.

— Для бюро похоронных процессий желание ваше — закон, — сказал человек,

почтительно кланяясь, и объявил цену церемонии.

«Дорого», — сообразил Самгин, нахмурясь, но торговаться не стал, находя это ниже своего достоинства.

— Значит — священник не провожает, — сказал представитель бюро. — Как вам угодно, — добавил он.

Во втором часу дня он шагал вслед за катафалком, без шапки, потирая щеки и уши. День был яркий, сухо морозный, острый блеск снега неприятно ослеплял глаза, раздражали уколы и щипки мороза, и вспоминалось темное, остроносое лицо Варвары, обиженно или удивленно приподнятые брови, криво приоткрытые губы. Идти было неудобно и тяжело, снег набивался в галоши, лошади, покрытые черной попоной, шагали быстро, отравляя воздух паром дыхания и кисловатым запахом пота, хрустел снег под колесами катафалка и под ногами четырех человек в цилиндрах, в каких-то мантиях с капюшонами, с горящими свечами в руках. Пятый, с крестом в руках, шагал впереди лошадей. Ветер сдувал снег с крыш, падал на дорогу, кружился, вздымая прозрачные белые вихри, под ногами людей и лошадей, и снова взлетал на крыши.

«Идиоты», — сердито назвал их Самгин, исподлобья оглядываясь. Катафалк ехал по каким-то пустынным улицам, почти без магазинов в домах, редкие прохожие как будто не обращали внимания на процессию, но все же Самгин думал, что его одинокая фигура должна вызывать у людей упадков впечатление. И не только жалкое, а, пожалуй, даже смешное; костлявые, старые лошади ставила доги в снег неуверенно, черные фигуры в цилиндрах покачивались на белизне снега, тяжело по снегу влачились их теня, на концах свечей дрожали ненужные бессильные язычки огней — и одинокий человек в очках, с непокрытой головой и растрепанными жидкими волосами на ней. Самгин догадывался, что во всем этом есть что-то чрезмерно, уродливо мрачное, способное вызвать усмешку, как вызывает ее карикатура. Вспоминались наиболее неприятные впечатления: похороны Туробоева, аллегорически указывающий в пол желтый палец Лютова, взорванный губернатор — Самгин чувствовал себя обиженно и тоскливо. Он очень обрадовался, когда его догнал лихач, из саней выскочил Дронов и, подойдя к нему, сказал:

— Вы не дойдете, ведь это — далеко! Едемте, встретим на кладбище.

Не ожидая согласия, он взял Самгина под руку, усадил в санки, посоветовал:

— Наденьте шапку-то…

Лихач тряхнул вожжами, рыжая лошадь стремительно ворвалась в поток резкого холода, Самгин сжался и, спрятав лицо в воротник пальто, подумал уныло:

«Простужусь».

Быстро домчались до кладбища. Дронов оказал лихачу:

— Подождешь! — Спросил Самгина: — Озябли? — и выругался: — Морозец, черт его возьми.

Толкнув Клима на крыльцо маленького одноэтажного дома, он отворил дверь свободно, как в ресторан, в тепле очки Самгина немедленно запотели, а когда он сиял их — пред ним очутился Ногайцев и высокая, большеносая мужеподобная дама, в котиковой шайке.

— Соболезную искренно — и тоже чрезвычайно огорчен, — сообщил он, встряхивая руку Самгина, а дама басовито сказала:

— Орехова, Мария, подруга Вари, почти четыре года не видались, встретились случайно, в сентябре, и вот — пришла проводить ее туда, откуда не возвращаются.

Она величественно отошла в угол комнаты, украшенный множеством икон и тремя лампадами, села к столу, на нем буйно кипел самовар, исходя обильным паром, блестела посуда, комнату наполнял запах лампадного масла, сдобного теста и меда. Самгин с удовольствием присел к столу, обнял ладонями горячий стакан чая. Со стены, сквозь запотевшее стекло, на него смотрело лицо бородатого царя Александра Третьего, а под ним картинка: овечье стадо пасет благообразный Христос, с длинной палкой в руке.

— Да, вот как подкрадывается к нам смерть, — говорил Ногайцев, грея спину о кафли голландской печки.

— Нестерпимо жалко Варю, — сказала Орехова, макая оладью в блюдечко с медом. — Можно ли было думать...

Дронов, разыскивая что-то в карманах брюк и пиджака, громко откликнулся:

— О смерти думать — бесполезно. О жизни — тоже. Надобно просто — жить, и — больше никаких чертей.

— Ты, Ваня, молчи, — посоветовал Ногайцев.

— Это — почему?

— Ты — выпивши, — объяснил Ногайцев. — А это, брат, не совсем уместно в данном, чрезвычайном случае...

— Ба, — сказал Дронов. — Ничего чрезвычайного — нет. Человек умер. Сегодня в этом городе, наверное, сотни людей умрут, в России — сотни тысяч, в мире — миллионы. И — никому, никого не жалко... Ты лучше спроси-ка у смотрителя водки, — предложил он.

— Вот уж это неприлично — пить водку здесь, — заметила Орехова.

Дронов, читая какую-то записку, пробормотал:

— Даже и на могилах пьют...

— А могила — далеко? — спросил Самгин. Орехова ответила;

— К сожалению — очень далеко, в шестом участке. Знаете — такая дороговизна!

Самгин вздохнул. Он согрелся, настроение его становилось более мягким, хмельной Дронов казался ему симпатичнее Ногайцева и Ореховой, но было неприятно думать, что снова нужно шагать по снегу, среди могил и памятников, куда-то далеко, слушать заунывное пенис панихиды. Вот открылась дверь и кто-то сказал:

— Привезли.

Ногайцев отвел Самгина в сторону и пошептал ему:

— Тут начнется эдакая, знаете... пустяковина. Попы, нищие, могильщики, нужно давать на чай и вообще... Вам противно будет, так вы дайте Марье Ивановне рублей... ну, полсотни! Она уж распорядится...

Да, могила оказалась далеко, и трудно было добраться к ней по дорожкам, капризно изломанным, плохо очищенным от снега. Камни и бронза памятников, бугры снега на могилах, пышные чепчики на крестах источали какой-то особенно резкий и пронзительный холод. Чем дальше, тем ниже, беднее становились кресты, и меньше было их, наконец пришли на место, где почти совсем не было крестов и рядом одна с другой было выковыряно в земле четыре могилы. Над пятой уже возвышалась продолговатая куча кусков мерзлой земли грязножелтого цвета, и, точно памятник, неподвижно стояли, опустив головы, две женщины: старуха и молодая. Когда низенький, толстый поп, в ризе, надетой поверх мехового пальто,

начал торопливо говорить и так же поспешно запел дьячок, женщины не пошевелились, как будто они замерзли. Самгин смотрел на гроб, на ямы, на пустынное место и, вздрагивая, думал:

«Вот и меня так же...»

В больнице, когда выносили гроб, он взглянул на лицо Варвары, и теперь оно как бы плавало пред его глазами, серенькое, остроносое, с поджатыми губами, — они поджаты криво и оставляют открытой щелочку в левой стороне рта, в щелочке торчит золотая коронка нижнего резца. Так Варвара кривила губы всегда во время ссор, вскрикивая:

«Ах, остафь!»

Он вообразил свое лицо на подушке гроба — неестественно длинным и — без очков.

«В очках, кажется, не хоронят...»

— Да, вот что ждет всех нас, — пробормотала Орехова, а Ногайцев гулко крякнул и кашлянул, оглянулся кругом и, вынув платок из кармана, сплюнул в него...

...Это было оскорбительно почти до слез. Поп, встряхивая русой гривой, возглашал:

— «Во блаженном успении вечный покой подаждь, господи...»

Позванивали цепочки кадила, синеватый дымок летал над снегом, дьячок сиповато завывал:

— «Ве-ечная па-амять, ве-ечная...»

«Да, вот и меня так же», — неотвязно вертелась одна и та же мысль, в одних и тех же словах, холодных, как сухой и звонкий морозный воздух кладбища. Потом Ногайцев долго и охотно бросал в могилу мерзлые комья земли, а Орехова бросила один, — но большой. Дронов стоял, сунув шапку под мышку, руки в карманы пальто, и красными глазами смотрел под ноги себе.

— Ну — ладно, пошли! — сказал он, толкнув Самгина локтем. Он был одет лучше Самгина — и при выходе с кладбища нищие, человек десять стариков, старух, окружили его.

— К чорту! — крикнул он и, садясь в санки, пробормотал: — Терпеть не могу нищих. Бородавки на харе жизни. А она и без них — урод. Верно?

Самгин не ответил. Озябшая лошадь мчалась встречу мороза так, что санки и все вокруг подпрыгивало, комья снега летели из-под копыт, резкий холод бил и рвал лицо, и этот внешний холод, сливаясь с внутренним, обезволивал Самгина. А Дронов, просунув руку свою под локоть его, бормотал:

— Жаловалась на одиночество. Это последний крик моды — жаловаться на одиночество. Но — у нее это была боль, а не мода.

Слово «одиночество» тоже как будто подпрыгивало, разрывалось по слогам, угрожало вышвырнуть из саней. Самгин крепко прижимался к плечу Дронова и поблагодарил его, когда Иван сказал:

— Едемте ко мне, чай пить.

Остановились у крыльца двухэтажного дома, вбежали по чугунной лестнице во второй этаж. Дронов, открыв дверь своим ключом, втолкнул Самгина в темное тепло, помог ему раздеться, сказал:

— Налево, — и убежал куда-то в темноту.

Озябшими руками Самгин снял очки, протер стекла, оглянулся: маленькая комната, овальный стол, диван, три кресла и полдюжины мягких стульев малинового цвета у стен, шкаф с книгами, фисгармония, на стене большая репродукция с картины Франца Штука «Грех» — голая женщина, с грубым лицом, в объятиях змеи, толстой, как водосточная труба, голова змеи — на плече женщины. Над фисгармонией большая фотография «Богатырей» Виктора Васнецова. Рядом с книжным шкафом — тяжелая драпировка. За двумя окнами — высокая, красно-кирпичная, слепая стена. И в комнате очень крепкий запах духов.

«Женат», — механически подумал Самгин. Неприятно проскрежетали медные кольца драпировки, высоко подняв руку и дергая драпировку, явилась женщина и сказала:

— Здравствуйте. Меня зовут — Тося. Прошу вас… А, дьявол!

И она так резко дернула драпировку, что кольца взвизгнули, в воздухе взвился шнур и кистью ударил ее в грудь.

Самгин прошел в комнату побольше, обставленную жесткой мебелью, с большим обеденным столом посредине, на столе кипел самовар. У буфета хлопотала маленькая сухая старушка в черном платье, в шелковой головке, вытаскивала из буфета бутылки. Стол и комнату освещали с потолка три голубых розетки.

— Петровна, — сказала Тося, проходя мимо ее, и взмахнула рукой, точно желая ударить старушку, но только указала на нее через плечо большим пальцем. Старушка, держа в руках по бутылке, приподняла голову и кивнула ею, — лицо у нее было остроносое, птичье, и глаза тоже птичьи, кругленькие, черные.

— Садитесь, пожалуйста. Очень холодно?

— Очень.

— Выпейте водки.

…Голос у нее низкий, глуховатый, говорила она медленно, не то — равнодушно, не то — лениво. На ее статной фигуре — гладкое, модное платье пепельного цвета, обильные, темные волосы тоже модно начесаны на уши и некрасиво подчеркивают высоту лба. Да и все на лице ее подчеркнуто: брови слишком густы, темные глаза — велики и, должно быть, подрисованы, прямой острый нос неприятно хрящеват, а маленький рот накрашен чересчур ярко.

«Странное лицо. Неумело сделано. Мрачное. Вероятно — декадентка. И Леонида Андреева обожает. Лет тридцать — тридцать пять», — обдумывал Самгин. В комнате было тепло, кладбищенские мысли тихонько таяли. Самгин торопился изгнать их из памяти, и ему очень не хотелось ехать к себе, в гостиницу, опасался, что там эти холодные мысли нападут на него с новой силой. В тишине комнаты успокоительно звучал грудной голос женщины, она, явно стараясь развлечь его, говорила о пустяках, жаловалась, что окна квартиры выходят на двор и перед ними — стена.

— Напоминает «Стену» Леонида Андреева? — спросил Самгин.

— Нет. Я не люблю Андреева, — ответила она, держа в руке рюмку с коньяком. — Я все старичков читаю — Гончарова, Тургенева, Писемского…

— Достоевского, — подсказал Самгин.

— А я и его не люблю, — сказала она так просто, что Самгин подумал: «Вероятно — недоучившаяся гимназистка, третья дочь мелкого чиновника», — подумал и спросил:

— А — Горький?

— Этот, иногда, ничего, интересный, но тоже очень кричит. Тоже, должно быть, злой. И женщин не умеет писать. Видно, что любит, а не умеет… Однако — что же это Иван? Пойду, взгляну…

«Хорошая фигура, — отметил Самгин, глядя, как плавно она исчезла. — Чем привлек ее Дронов?»

Она вернулась через минуту, с улыбкой на красочном лице, но улыбка лочти не изменила его, только рот стал больше, приподнялись брови, увеличив глаза. Самгин подумал, что такого цвета глаза обыкновенно зовут бархатными, с поволокой, а у нее они какие-то жесткие, шлифованные, блестят металлически.

— Представьте, он — спит! — сказала она, пожимая плечами. — Хотел переодеться, но свалился на кушетку и — уснул, точно кот. Вы, пожалуйста; не думайте, что это от неуважения к вам! Просто: он всю ночь играл в карты, явился домой в десять утра, пьяный, хотел лечь спать, но вспомнил про вас, звонил в гостиницу, к вам, в больницу… затем отправился на кладбище.

Самгин любезно попросил ее не беспокоиться и заявил, что он сейчас уйдет, но женщина, все так же не спеша, заговорила, присаживаясь к столу:

— Нет, я вас не пущу, посидите со мной, познакомимся, может быть, даже понравимся друг другу. Только — верьте: Иван очень уважает вас, очень высоко ценит. А вам… тяжело будет одному в эти первые часы, после похорон.

«Первые часы», — отметил Клим.

— Иван говорил мне, что вы давно разошлись с женой, но… все-таки… не весело, когда люди умирают. Помолчав, она добавила:

— Лучше не думать о том, о чем бесполезно думать, да?

— Да, — согласился Самгин, а она предложила:

— Чтобы вам было проще со мной, я скажу о себе: подкидыш, воспитывалась в сиротском приюте, потом сдали в монастырскую школу, там выучилась золотошвейному делу, (три года жила с одним живописцем, натурщицей была, потом меня отбил у него один писатель, но я через год ушла от него, служила) продавщицей в кондитерской, там познакомился со мной Иван. Как видите — птица невысокого полета. Теперь вы знаете, как держаться со мной.

— Невеселая жизнь, — смущенно сказал Самгин, она возразила:

— Нет, бывало и весело. Художник был славный человечек, теперь он уже — в знаменитых. А писатель — дрянцо, самолюбивый, завистливый. Он тоже — известность. Пишет сладенькие рассказики про скучных людей, про людей, которые веруют в бога. Притворяется, что и сам тоже верует.

«Это о ком она?» — подумал Самгин и хотел спросить, но не успел, — вытирая полотенцем чашку, женщина отломила ручку ее <и>, бросив в медную полоскательницу, продолжала:

— Очень революция, знаете, приучила к необыкновенному. Она, конечно, испугала, но учила, чтоб каждый день приходил с необыкновенным. А теперь вот свелось к тому, что Столыпин все вешает, вешает людей и все быстро отупели. Старичок Толстой объявил: «Не могу молчать», вышло так, что и он хотел бы молчать-то, да уж такое у него положение, что надо говорить, кричать…

— Это едва ли правильно, — сказал Самгин.

— Неправильно? — спросила она. — Ну, что же? Я ведь очень просто понимаю, грубо.

Самгин, слушая, решал: как отнестись к этой женщине, к ее биографии, не очень

похожей на исповедь?

«Зачем это она рассказала? Странный способ развлекать гостя…»

А она продолжала развлекать его:

— Знаете, если обыкновенный человек почувствует свою нищету — беда с ним! Начинает он играть пред вами, ломаться, а для вас это — и не забавно, а только тяжело. Вот Ванечка у меня — обыкновенный, и очень обижен этим, и все хочет сделать что-нибудь… потрясающее! Миллион выиграть на скачках или в карты, царя убить, Думу взорвать, все равно — что. И все очень хотят необыкновенного. Мы, бабы, мордочки себе красим, пудримся, ножки, грудки показываем, а вам, мужчинам, приходится необыкновенное искать в словах, в газетах, книжках.

Это было неприятно слышать. Говоря, она смотрела на Самгина так пристально, что это стесняло его, заставляя ожидать слов еще более неприятных. Но вдруг изменилась, приобрела другой тон.

— Ведь вот я — почему я выплясываю себя пред вами? Скорее познакомиться хочется. Вот про вас Иван рассказывает как про человека в самом деле необыкновенного, как про одного из таких, которые имеют несчастье быть умнее своего времени… Кажется, так он сказал…

— Ну, это слишком… лестно, — откликнулся Самгин.

— Почему же лестно, если несчастье? — спросила она.

Самгин указал несколько фактов личного несчастья единиц, которые очень много сделали для общего блага людей, и, говоря это, думал:

«Странная какая! Есть признаки оригинального ума, а вместе с этим — все грубо, наивно…»

— Общее благо, — повторила Тося. — Трудно понять, как это выходит? У меня подруга, учительница на заводе, в провинции, там у них — дифтерит, страшно мрут ребятишки, а сыворотки — нет. Здесь, в городе, — сколько угодно ее.

— Случайность, — сказал Самгин. — Нераспорядительность…

Он чувствовал желание повторить вслух ее фразу — «несчастье быть умнее своего времени», но — не сделал этого.

«Да, именно этим объясняются многие тяжелые судьбы. Как странно, что забываются мысли, имеющие вес и значение аксиом».

В конце концов было весьма приятно сидеть за столом в маленькой, уютной комнате, в теплой, душистой тишине и слушать мягкий, густой голос красивой женщины. Она была бы еще красивей, если б лицо ее обладало большей подвижностью, если б темные глаза ее были мягче. Руки у нее тоже красивые и очень ловкие пальцы.

«Привыкла завязывать коробки конфет», — сообразил он и затем подумал, что к Дронову он относился несправедливо. Он просидел долго, слушая странно откровенные ее рассказы о себе самой, ее грубоватые суждения о людях, книгах, событиях.

— Вот — приходите к нам, — пригласила она. — У нас собираются разные люди, есть интересные. Да и все интересны, если не мешать им говорить о себе…

Когда он уходил, Тося, очень крепко пожав руку его горячей рукой, сказала:

— Вот мы уже и старые знакомые…

— Представьте, и у меня такое же чувство, — откликнулся он, и это была почти

правда.

Остаток вечера он провел в мыслях об этой женщине, а когда они прерывались, память показывала темное, острое лицо Варвары, с плотно закрытыми глазами, с кривой улыбочкой на губах, — неплотно сомкнутые с правой стороны, они открывали три неприятно белых зуба, с золотой коронкой на резце. Показывала пустынный кусок кладбища, одетый толстым слоем снега, кучи комьев рыжей земли, две неподвижные фигуры над могилой, только что зарытой.

«Жаловалась на одиночество, — думал он о Варваре. — Она не была умнее своего времени. А эта, Тося? Что может дать ей Дронов, кроме сносных условий жизни?»

Он решил завтра же поблагодарить Дронова за его участие, но утром, когда он пил кофе, — Дронов сам явился.

— Прости, Клим Иванович, я вчера вел себя свиньей, — начал он, встряхивая руки Самгина. — Пьян был с радости, выиграл в железку семь тысяч триста рублей, — мне в картах везет.

— Кажется, и в любви — тоже? — дружелюбно спросил Самгин, не обращая внимания на «ты».

— Интересная Тоська? — откликнулся Дронов, бросив себя в кресло, так что оно заскрипело. — Очень интересная, — торопливо ответил он сам себе. — Ее один большевичок обрабатывает, чахоточный, скоро его к праотцам отнесут, но — замечательный! Ты здесь — ненадолго или — жить? Я приехал звать тебя к нам. Чего тебе одному торчать в этом чулане?

Он очень торопился, Дронов, и был мало похож на того человека, каким знал его Самгин. Он, видимо, что-то утратил, что-то приобрел, а в общем — выиграл. Более сытым и спокойнее стало его плоское, широконосое лицо, не так заметно выдавались скулы, не так раздерганно бегали рыжие глаза, только золотые зубы блестели еще более ярко. Он сбрил усы. Говорил он более торопливо, чем раньше, но не так нагло. Как прежде, он отказался от кофе и попросил белого вина.

— Я, брат, знаю, что симпатии ко мне у тебя нет, — но это мне не мешает…

— О симпатиях я не умею говорить, — прервал его Самгин. — Но ты — неправ. Я очень тронут твоим отношением…

— Ладно, — оставим это, — махнул рукой Дронов и продолжал: — Там, при последнем свидании, я сказал, что не верю тебе. Так это я — словам не верю, не верю, когда ты говоришь чужими словами. Я все еще кружусь на одном месте, точно теленок, привязанный веревкой к дереву.

Он выпил целый стакан вина, быстро вытер губы платком и взмахнул им в воздухе, продолжая:

— Я могу быть богатым. Теперь — самое удобное время богатеть, как богатеют вчерашние приказчики глупых хозяев: Второвы, Баторины и прочие. Революция сделала свое дело: встряхнула жизнь до дна. Теперь надобно удовлетворять и успокаивать, то есть — накормить жадных досыта. Всех — не накормишь. Столыпин решил накормить лучших. Я — из лучших, потому что — умный. Но я — как бы это сказать? Я люблю знать, и это меня… шатает. Это может погубить меня — понимаешь? Я хочу быть богатым, но не для того, чтоб народить детей и оставить им наследство — миллионы. Нет, дети богатых — идиоты. Я хочу разбогатеть для того, чтоб показать людям, которые мной командуют, что я не хуже их, а — умнее. Но я знаю, хорошо знаю, что купец живет за счет умных людей и силен не сам своей силой, а теми, кто ему служит. Я миллионы на революцию дам. Савва Морозов тысячи давал, а я — Иван Дронов — сотни тысяч дам.

— Ты фантазируешь, — сказал Самгин, слушая его с большим любопытством.

— Без фантазии — нельзя, не проживешь. Не устроишь жизнь. О неустройстве жизни говорили тысячи лет, говорят всё больше, но — ничего твердо установленного нет, кроме того, что жизнь — бессмысленна. Бессмысленна, брат. Это всякий умный человек знает. Может быть, это люди исключительно, уродливо умные, вот как — ты...

— Спасибо за комплимент, — сказал Самгин, усмехаясь и все более внимательно слушая.

— Не на чем. Ты — уродливо умен, так я тебя вижу издавна, с детства. Но — слушай, Клим Иванович, я не... весь чувствую, что мне надо быть богатым. Иногда — даже довольно часто — мне противно представить себя богатым, вот эдакого, на коротеньких ножках. Будь я красив, я уже давно был бы первостатейным мерзавцем. Ты — веришь мне?

— Не имею права не верить, — серьезно сказал Самгин.

— Так вот — скажи: революция — кончилась или только еще начинается?

Самгин не спеша открыл новую коробку папирос, взял одну — оказалась слишком туго набитой, нужно было размять ее, а она лопнула в пальцах, пришлось взять другую, но эта оказалась сырой, как всё в Петербурге. Делая все это, он подумал, что на вопрос Дронова можно ответить и да и нет, но — в обоих случаях Дронов потребует мотивации. Он, Самгин, не ставил пред собою вопроса о судьбе революции, зная, что она кончилась как факт и живет только как воспоминание. Не из приятных. Самгин ощущал, что вопросом Дронова он встревожен гораздо глубже, чем беседой с Кутузовым.

«Почему?»

И, высушивая папиросу о горячий бок самовара, он осторожно заговорил:

— Твой вопрос — вопрос человека, который хочет определить: с кем ему идти и как далеко идти.

— Ну да! — воскликнул Дронов, подскочив в кресле. — Это личный вопрос тысяч, — добавил он, дергая правым плечом, а затем вскочил и, опираясь обеими руками на стол, наклонясь к Самгину, стал говорить вполголоса, как бы сообщая тайну: — Тысячи интеллигентов схвачены за горло необходимостью быстро решить именно это: с хозяевами или с рабочими? Многие уже решили, подменив понятия: с божеством или с человечеством? Понимаешь? Решили: с божеством! Наплевать на человечество! С божеством — удобнее, ответственность дальше. Но это, брат, похоже на жульничество, на притворство.

Он выпрямился, толкнув стол, взмахнул рукой и, грозя кулаком, визгливо прокричал:

— Профессор Захарьин в Ливадии, во дворце, орал и топал ногами на придворных за то, что они поместили больного царя в плохую комнату, — вот это я понимаю! Вот это власть ума и знания...

Этот крик погасил тревогу Самгина, он смотрел на Дронова улыбаясь, кивая головой, и думал:

«Нет, он остался тем, каков был...»

Дронов вытер платком вспотевший лоб, красные щеки, сел, выпил вина и продолжал тише, даже как будто грустно:

— Ты — усмехаешься. Понимаю, — ты где-то, там, — он помахал рукою над головой своей. — Вознесся на высоты философические и — удовлетворен собой, А — вспомни-ко наше детство: тобой — восхищались, меня — обижали. Помнишь, как я завидовал вам, мешал играть, искал копейку?

— Да, я помню. Ты очень искусно и настойчиво делал это.

Дронов вздохнул и покачал головой.

— Вы, дети родовитых интеллигентов, относились ко мне, демократу, выскочке… аристократически. Как американцы к негру.

— Преувеличиваешь.

— Может быть. Но детские впечатления отлично запоминаются.

Оглядываясь вокруг и вопросительно глядя на Самгина, Дронов сказал:

— Знаешь, Клим Иванович, огромно количество людей униженных и оскорбленных. Огромно и все растет. Они — не по Достоевскому, а как будто уже по (Марксу…) И становятся все умнее.

«Он верит, что революция еще не кончена», — решил Самгин.

— Недавно прочитал я роман какого-то Лопатина «Чума», — скучновато стал рассказывать Дронов. — Только что вышла книжка. В ней говорится, что человечество — глупо, жизнь — скучна, что интересна она может быть только с богом, с чортом, при наличии необыкновенного, неведомого, таинственного. Доказывается, что гениальные ученые и все их открытия, изобретения — вредны, убивают воображение, умерщвляют душу, создают племя самодовольных людей, которым будто бы все известно, ясно и понятно. А сюжет книги — таков: некрасивый человек, но гениальный ученый отравил Москву чумой, мысль эту внушил ему пьяный студент. Москва была изолирована и почти вымерла. Случайно узнав, что чума привита искусственно, — ученого убили. Вот, брат, какие книжки пишут… некрасивые люди.

— Да, — согласился Самгин, — издается очень много хлама.

— Хлам? — Дронов почесал висок. — Нет, не хлам, потому что читается тысячами людей. Я ведь, как будущий книготорговец, должен изучать товар, я просматриваю все, что издается — по беллетристике, поэзии, критике, то есть все, что откровенно выбалтывает настроения и намерения людей. Я уже числюсь в знатоках книги, меня Сытин охаживает, и вообще — замечен!

Голос его зазвучал самодовольно, он держал в руке пустой стакан, приглаживая другою рукой рыжеватые волосы, и ляжки его поочередно вздрагивали, точно он поднимался по лестнице.

— Теперь дело ставится так: истинная и вечная мудрость дана проклятыми вопросами Ивана Карамазова. Иванов-Разумник утверждает, что решение этих вопросов не может быть сведено к нормам логическим или этическим и, значит, к счастью, невозможно. Заметь: к счастью! «Проблемы идеализма» — читал? Там Булгаков спрашивает: чем отличается человечество от человека? И отвечает: если жизнь личности — бессмысленна, то так же бессмысленны и судьбы человечества, — здорово?

— Я мало читал за последний год, — сказал Самгин.

— Леонид Андреев, Сологуб, Лев Шестов, Булгаков, Мережковский, Брюсов и — за ними — десятки менее значительных сочинителей утверждают, что жизнь бессмысленна. Даже — вот как.

Он выхватил из кармана записную книжку и, усмехаясь, вытаращив глаза, радостно воющим тоном прочитал:

— «Человечество — многомиллионная гидра пошлости», — это Иванов-Разумник. А вот Мережковский:

«Люди во множестве никогда не были так малы и ничтожны, как в России

девятнадцатого века». А Шестов говорит так: «Личная трагедия есть единственный путь к субъективной осмысленности существования».

Хлопнув книжкой по ладони, он сунул ее в карман, допил остатки вина и сказал:

— У меня записано таких афоризмов штук полтораста. Целое столетие доили корову, и — вот тебе сливки! Хочу издать книжечку под титулом: «К чему пришли мы за сто лет». И — знак вопроса. Заговорил я тебя? Ну — извини.

Клим Самгин нашел нужным оставить последнее слово за собой.

— Все это у тебя очень односторонне, ведь есть другие явления, — докторально заговорил он, но Дронов, взмахнув каракулевой шапкой, прервал его речь:

— Чехов и всеобщее благополучие через двести — триста лет? Это он — из любезности, из жалости. Горький? Этот — кончен, да он и не философ, а теперь требуется, чтоб писатель философствовал. Про него говорят — делец, хитрый, эмигрировал, хотя ему ничего не грозило. Сбежал из схватки идеализма с реализмом. Ты бы, Клим Иванович, зашел ко мне вечерком посидеть. У меня всегда народишко бывает. Сегодня будет. Что тебе тут одному сидеть? А?

— Я подумаю, — сказал Самгин. Дронов уже надел пальто, потопал ногами, обувая галоши, но вдруг пробормотал:

— А весь этот шум подняли марксисты. Они нагнали страха, они! Эдакий… очень холодный ветер подул, и все почувствовали себя легко одетыми. Вот и я — тоже. Хотя жирок у меня — есть, но холод — тревожит все-таки. Жду, — сказал он, исчезая.

Самгин прежде всего ощутил многократно испытанное недовольство собою: было очень неприятно признать, что Дронов стал интереснее, острее, приобрел уменье сгущать мысли.

«Это — опасное уменье, но — в какой-то степени — оно необходимо для защиты против насилия враждебных идей, — думал он. — Трудно понять, что он признаёт, что отрицает. И — почему, признавая одно, отрицает другое? Какие люди собираются у него? И как ведет себя с ними эта странная женщина?»

Еще более неприятно было убедиться, что многие идеи текущей литературы формируют впечатления его, Самгина, и что он, как всегда, опаздывает с формулировками.

«Мало читаю. И — невнимательно читаю, — строго упрекнул он себя. — Живу монологами и диалогами почти всегда».

Подумав еще, нашел, что мало видит людей, и принял решение: вечером — к Дронову.

Когда он пришел, Дронова не было дома. Тося полулежала в гостиной на широкой кушетке, под головой постельная подушка в белой наволоке, по подушке разбросаны обильные пряди темных волос.

— Вот — приятно, — сказала она, протянув Самгину голую до плеча руку, обнаружив небритую подмышку. — Вы — извините: брала ванну, угорела, сушу волосы. А это добрый мой друг и учитель, Евгений Васильевич Юрин.

В большом кожаном кресле глубоко увяз какой-то человек, выставив далеко от кресла острые колени длинных ног.

— Простите, не встану, — сказал он, подняв руку, протягивая ее. Самгин, осторожно пожав длинные сухие пальцы, увидал лысоватый череп, как бы приклеенный к спинке кресла, серое, костлявое лицо, поднятое к потолку, украшенное такой же бородкой, как у него, Самгина, и под высоким лбом — очень

яркие глаза.

— Садитесь на кушетку, — предложила Тося, подвигаясь. — Евгений Васильевич рассказывает интересно.

— Я думаю — довольно? — спросил Юрин, закашлялся и сплюнул в синий пузырек с металлической крышкой, а пока он кашлял, Тося успела погладить руку Самгина и сказать:

— Очень хорошо, что вы пришли… Нет, продолжайте, Женечка…

— Так вот, — послушно начал Юрин, — у меня и сложилось такое впечатление: рабочие, которые особенно любили слушать серьезную музыку, — оказывались наиболее восприимчивыми ко всем вопросам жизни и, разумеется, особенно — к вопросам социальной экономической политики.

Говорил он характерно бесцветным и бессильным голосом туберкулезного, тускло поблескивали его зубы, видимо, искусственные, очень ровные и белые. На шее у него шелковое клетчатое кашне, хотя в комнате — тепло.

Тося окутана зеленым бухарским халатом, на ее ногах — черные чулки. Самгин определил, что под халатом должна быть только рубашка и поэтому формы ее тела обрисованы так резко.

«Наверное — очень легко доступна, — решил он, присматриваясь к ее задумчиво нахмуренному лицу. — С распущенными волосами и лицо и вся она — красивее. Напоминает какую-то картину. Портрет одалиски, рабыни… Что-то в этом роде».

— В рабочем классе скрыто огромное количество разнообразно талантливых людей, и все они погибают зря, — сухо и холодно говорил Юрин. — Вот, например…

Вошли две дамы: Орехова и среднего роста брюнетка, очень похожая на галку, — сходство с птицей увеличилось, когда она, мелкими шагами и подпрыгивая, подскочила к Тосе, наклонилась, целуя ее, промычала:

— М-мамочка, красавица моя.

Выпрямилась, точно от удара в грудь, и заговорила бойко, крикливо, с ужасом, явно неестественным и неумело сделанным:

— Юрин? Вы? Здесь? Почему? А — в Крым? Послушайте: это — самоубийство! Тося — как же это?

Тося, бесцеремонно вытирая платком оцелованное лицо, спустила черные ноги на пол и исчезла, сказав: — Знакомьтесь: Самгин — Плотникова, Марфа Николаевна. Пойду оденусь.

Орехова солидно поздоровалась с нею, сочувственно глядя на Самгина, потрясла его руку и стала помогать Юрину подняться из кресла. Он принял ее помощь молча и, высокий, сутулый, пошел к фисгармонии, костюм на нем был из толстого сукна, но и костюм не скрывал остроты его костлявых плеч, локтей, колен. Плотникова поспешно рассказывала Ореховой:

— Вырубова становится все более влиятельной при дворе, царица от нее — без ума, и даже говорят, что между ними эдакие отношения…

Она определила отношения шопотом и, с ужасом воскликнув: — Подумайте! И это — царица! — продолжала: — А в то же время у Вырубовой — любовник, — какой-то простой сибирский мужик, богатырь, гигантского роста, она держит портрет его в евангелии… Нет, вы подумайте: в евангелии портрет любовника! Чорт знает что!

— Все это, друг мой, пустяки, а вот я могу сказать новость…

— Что такое, что?

— Потом скажу, когда придут Дроновы. Юрин начал играть на фисгармонии что-то торжественное и мрачное. Женщины, сидя рядом, замолчали. Орехова слушала, благосклонно покачивая головою, оттопырив губы, поглаживая колено. Плотникова, попудрив нос, с минуту посмотрев круглыми глазами птицы в спину музыканта, сказала тихонько:

— Это ему, наверное, вредно… Это ведь, кажется, церковное, да?

Явилась Тося в голубом сарафане, с толстой косой, перекинутой через плечо на грудь, с бусами на шее, — теперь она была похожа на фигуру с картины Маковского «Боярская свадьба».

— Хорошо играет? — спросила она Клима, он молча наклонил голову, — фисгармония вообще не нравилась ему, а теперь почему-то особенно неприятно было видеть, как этот человек, обреченный близкой смерти, двигая руками и ногами, точно карабкаясь куда-то, извлекает из инструмента густые, угрюмые звуки.

— У него силы нет, — тихо говорила Тося. — А еще летом он у нас на даче замечательно играл, особенно на рояле.

— Вам очень идет сарафан, — сказал Самгин.

— Да, идет, — подтвердила Тося, кивнув головой, заплетая конец косы ловкими пальцами. — Я люблю сарафаны, они — удобные.

Она замолчала, и сквозь музыку Самгин услыхал тихий спор двух дам:

— Поверьте мне: Думбадзе был ранен бомбой!

— Нет. Это неверно.

— Да, да! Оторвало козырек фуражки… и…

— Никаких — и!

— Ваше имя — Татьяна? — спросил Самгин.

— Таисья, — очень тихо ответила женщина, взяв папиросу из его пальцев: — Но, когда меня зовут Тося, я кажусь сама себе моложе. Мне ведь уже двадцать пять.

Закурив, она продолжала так же тихо и глядя в затылок Юрина:

— Грозная какая музыка! Он всегда выбирает такую. Бетховена, Баха. Величественное и грозное. Он — удивительный. И — вот — болен, умирает.

Самгин взглянул в лицо ее, — брови ее сурово нахмурились, она закусила нижнюю губу, можно было подумать, что она сейчас заплачет. Самгин торопливо спросил: давно она знает Юрина?

Скучноватым полушепотом, искусно пуская в воздух кольца дыма, она сказала:

— Восемь лет. Он телеграфистом был, учился на скрипке играть. Хороший такой, ласковый, умный. Потом его арестовали, сидел в тюрьме девять месяцев, выслали в Архангельск. Я даже хотела ехать к нему, но он бежал, вскоре его снова арестовали в Нижнем, освободился уже в пятом году. В конце шестого опять арестовали. Весной освободили по болезни, отец хлопотал, Ваня — тоже. У него был брат слесарь, потом матрос, убит в Свеаборге. А отец был дорожным мастером, потом — подрядчиком по земляным работам, очень богатый, летом этим — умер. Женя даже хоронить его не пошел. Его вызвали сюда по делу о наследстве, но Женя говорит, что нарочно затягивают дело, ждут, чтоб он помер.

«Почему она так торопится рассказать о себе?» — подозрительно думал Самгин.

Слушать этот шопот под угрюмый вой фисгармонии было очень неприятно, Самгин чувствовал в этом соединении что-то близкое мрачному юмору и вздохнул облегченно, когда Юрин, перестав играть, выпрямил согнутую спину и сказал:

— Это — музыка Мейербера к трагедии Эсхила «Эвмениды». На сундуке играть ее — нельзя, да и забыл я что-то. А — чаю дадут?

— Идем, — сказала Тося, вставая.

Грузная, мужеподобная Орехова, в тяжелом шерстяном платье цвета ржавого железа, положив руку на плечо Плотниковой, стучала пальцем по какой-то косточке и говорила возмущенно:

— В «Кафе де Пари», во время ми-карем великий князь Борис Владимирович за ужином с кокотками сидел опутанный серпантином, и кокотки привязали к его уху пузырь, изображавший свинью. Вы — подумайте, дорогая моя, это — представитель царствующей династии, а? Вот как они позорят Россию! Заметьте: это рассказывал Рейнбот, московский градоначальник.

— Ужас, ужас! — шипящими звуками отозвалась Плотникова. — Говорят, что Балетта, любовница великого князя Алексея, стоит нам дороже Цусимы!

— А — что вы думаете? И — стоит! Юрин, ведя Тосю под руку, объяснял ей:

— Эвмениды, они же эриннии, богини мщения, величавые, яростные богини. Вроде Марии Ивановны.

— Что, что? Вроде меня — кто? — откликнулась Орехова тревожно, как испуганная курица.

Из прихожей появился Ногайцев, вытирая бороду платком, ласковые глаза его лучисто сияли, за ним важно следовал длинноволосый человек, туго застегнутый в черный сюртук, плоскогрудый и неестественно прямой. Ногайцев тотчас же вытащил из кармана бумажник, взмахнул им и объявил:

— Чрезвычайно интересная новость!

— И у меня есть! — торопливо откликнулась Орехова.

— А — что у вас?

— Нет, сначала вы скажите.

Ногайцев, спрятав бумажник за спину, спросил:

— Почему я? Первое место — даме!

— Нет, нет! Не в этом случае!

Пока они спорили, человек в сюртуке, не сгибаясь, приподнял руку Тоси к лицу своему, молча и длительно поцеловал ее, затем согнул ноги прямым углом, сел рядом с Климом, подал ему маленькую ладонь, сказал вполголоса:

— Антон Краснов.

Самгин, пожимая его руку, удивился: он ожидал, что пальцы крепкие, но ощутил их мягкими, как бы лишенными костей.

Явился Дронов, пропустив вперед себя маленькую, кругленькую даму в пенснэ, с рыжеватыми кудряшками на голове, с красивеньким кукольным лицом. Дронов прислушался к спору, вынул из кармана записную книжку, зачем-то подмигнул Самгину и провозгласил:

— Внимание!

Затем он громко и нараспев, подражая дьякону, начал читать:

— «О, окаянный и презренный российский Иуда...»

— Вот, вот, — вскричал Ногайцев. — И у меня это! а — у вас? — обратился он к Ореховой.

— Ну, да, — невесело сказала она, кивнув головой.

— Внимание! — повторил Дронов и начал снова:

— «...Иуда, удавивший в духе своем все святое, нравственно чистое и нравственно благородное, повесивший себя, как самоубийца лютый, на сухой ветке возгордившегося ума и развращенного таланта, нравственно сгнивший до мозга костей и своим возмутительным нравственно-религиозным злосмрадием заражающий всю жизненную атмосферу нашего интеллигентного общества! Анафема тебе, подлый, разбесившийся прелестник, ядом страстного и развращающего твоего таланта отравивший и приведший к вечной погибели многие и многие души несчастных и слабоумных соотечественников твоих».

Пока Дронов читал — Орехова и Ногайцев проверяли текст по своим запискам, а едва он кончил — Ногайцев быстро заговорил:

— Это — из речи епископа Гермогена о Толстом, — понимаете? Каково?

— Невежественно, — пожимая плечами, заявил Краснов: — Обратите внимание на сочетание слов — нравственно-религиозное злосмрадие? Подумайте, допустимо ли таковое словосочетание в карающем глаголе церкви?

Рыженькая дама, задорно встряхнув кудрями, спросила тоном готовности спорить долго и непримиримо:

— А — если ересь?

— Ежели ересь злосмрадна — как же она может быть наименована религиозно-нравственной? Сугубо невежественно.

Публика зашумела, усердно обнаруживая друг пред другом возмущение речью епископа, но Краснов постучал чайной ложкой по столу и, когда люди замолчали, кашлянул и начал:

— Вульгарная речь безграмотного епископа не может оскорбить нас, не должна волновать. Лев Толстой — явление глубочайшего этико-социального смысла, явление, все еще не получившее правильной, объективной оценки, приемлемой для большинства мыслящих людей.

Он, видимо, приучил Ногайцева и женщин слушать себя, они смирно пили чай, стараясь не шуметь посудой. Юрин, запрокинув голову на спинку дивана, смотрел в потолок, только Дронов, сидя рядом с Тосей, бормотал:

— В Москву, обязательно, завтра. А — ты?

— Нет. Не хочу, — сказала Тося довольно громко, точно бросив камень в спокойно текущий ручей.

— В небольшой, но высоко ценной брошюре Преображенского «Толстой как мыслитель-моралист» дано одиннадцать определений личности и проповеди почтенного и знаменитого писателя, — говорил Краснов, дремотно прикрыв глаза, а Самгин, искоса наблюдая за его лицом, думал:

«Должно быть, он потому так натянуто прямо держится и так туго одет, что весь мягкий, дряблый, как его странные руки».

Черное сукно сюртука и белый, высокий, накрахмаленный воротник очень невыгодно для Краснова подчеркивали серый тон кожи его щек, волосы на щеках лежали гладко, бессильно, концами вниз, так же и на верхней губе, на подбородке они соединялись в небольшой клин, и это придавало лицу странный вид: как будто все оно стекало вниз. Лоб исчерчен продольными морщинами, длинные волосы на голове мягки, лежат плотно и поэтому кажутся густыми, но сквозь их просвечивает кожа. Глаза — невидимы, устало прикрыты верхними веками, нос — какой-то неудачный, слишком и уныло длинен.

«Вероятно, ему уже за сорок», — определил Самгин, слушая, как Краснов перечисляет:

— Пантеист, атеист, рационалист-деист, сознательный лжец, играющий роль русского Ренана или Штрауса, величайший мыслитель нашего времени, жалкий диалектик и так далее и так далее и, наконец, даже проповедник морали эгоизма, в которой есть и эпикурейские и грубо утилитарные мотивы и социалистические и коммунистические тенденции, — на последнем особенно настаивают профессора: Гусев, Козлов, Юрий Николаев, мыслители почтенные.

— И всё — ерунда, — сказал Юрин, бесцеремонно зевнув. — Ерунда и празднословие, — добавил он, а Тося небрежно спросила оратора:

— Чаю хотите?

Заговорили все сразу, не слушая друг друга, но как бы стремясь ворваться в прорыв скучной речи, дружно желая засыпать ее и память о ней своими словами. Рыженькая заявила:

— Я сомневаюсь, что речь Гермогена записана правильно…

— Верный источник, верный, — кричала Орехова, притопывая ногой.

Плотникова, стоя с чашкой чаю в руке, говорила Краснову:

— Анархист-коммунист — вы забыли напомнить! А это самое лучшее, что сказано о нем.

Ногайцев ласково уговаривал Юрина:

— Не-ет, вы чрезвычайно резко! Ведь надо понять, определить, с нами он или против?

— С кем — с нами? — спрашивал Юрин. А Дронов, вытаскивая из буфета бутылки и тарелки с закусками, ставил их на стол, гремел посудой.

— Вот так всегда и спорят, — сказала Тося, улыбаясь Самгину. — Вы — не любите спорить?

— Нет, — сказал он, женщина одобрительно кивнула головой:

— Это — хорошо. А Женя — любит, хотя ему вредно. Облако синеватого дыма колебалось над столом.

— Завтра еду в Москву, — сказал Дронов Самгину. — Нет ли поручения? Сам едешь? Завтра? Значит, вместе!

— Надо протестовать, — кричала рыжая, а Плотникова предложила:

— Послать речь Гермогена в Европу…

— Дорогой мой, — уговаривал Ногайцев, прижав руку к сердцу. — Сочиняют много! Философы, литераторы. Гоголь испугался русской тройки, закричал… как это? Куда ты стремишься и прочее. А — никакой тройки и не было в его время. И никто никуда не стремился, кроме петрашевцев, которые хотели повторить декабристов.

А что же такое декабристы? Ведь, с вашей точки, они феодалы. Ведь они… комики, между нами говоря.

Юрин вскрикивал хрипло:

— Вы сами — комик…

— Ну, да, — с вашей точки, люди или подлецы или дураки, — благодушным тоном сказал Ногайцев, но желтые глаза его фосфорически вспыхнули и борода на скулах ощетинилась. К нему подкатился Дронов с бутылкой в руке, на горлышке бутылки вверх дном торчал и позванивал стакан.

— Идем, идем, — сказал он, подхватив Ногайцева под руку и увел в гостиную. Там они, рыженькая дама и Орехова, сели играть в карты, а Краснов, тихонько покачивая головою, занавесив глаза ресницами, сказал Тосе:

— Люди, милая Таисья Романовна, делятся на детей века и детей света. Первые поглощены тем, что видимо и якобы существует, вторые же, озаренные светом внутренним, взыскуют града невидимого…

— Вот какая у нас компания, — прервала его Тося, разливая красное вино по стаканам. — Интересная?

— Да, очень, — любезно ответил Самгин, а Юрин пробормотал [что-то], протягивая руку за стаканом.

— Ну — как? Читаете книжку Дюпреля? — спросил Краснов. Тося, нахмурясь, ответила:

— Пробую. Очень трудно понимать.

— Это «Философию мистики» — что ли? — осведомился Юрин и, не ожидая ответа, продолжал:

— Не читай, Тося, ерундовая философия.

— Докажите, — предложил Краснов, но Тося очень строго попросила:

— Нет, пожалуйста, не надо спорить! Вы, Антон Петрович, лучше расскажите про королеву.

Краснов, покорно наклонив голову, потер лоб ладонью, заговорил:

— Шведская королева Ульрика-Элеонора скончалась в загородном своем замке и лежала во гробе. В полдень из Стокгольма приехала подруга ее, графиня Стенбок-Фермор и была начальником стражи проведена ко гробу. Так как она слишком долго не возвращалась оттуда, начальник стражи и офицеры открыли дверь, и — что же представилось глазам их?

В гостиной люди громко назначали:

— Черви.

— Бубенцы, — выкрикивал Ногайцев.

— Королева сидела в гробу, обнимая графиню. Испуганная стража закрыла дверь. Знали, что графиня Стенбок тоже опасно больна. Послан был гонец в замок к ней, и — оказалось, что она умерла именно в ту самую минуту, когда ее видели в объятиях усопшей королевы.

— Ясно! — сказал Юрин. — Стража была вдребезги пьяная.

Краснов рассказал о королеве вполголоса и с такими придыханиями, как будто ему было трудно говорить. Это было весьма внушительно и так неприятно, что Самгин

протестующе пожал плечами. Затем он подумал:

«Руки у него вовсе не дряблые».

Да, у Краснова руки были странные, они все время, непрерывно, по-змеиному гибко двигались, как будто не имея костей от плеч до пальцев. Двигались как бы нерешительно, слепо, но пальцы цепко и безошибочно ловили все, что им нужно было: стакан вина, бисквит, чайную ложку. Движения этих рук значительно усиливали неприятное впечатление рассказа. На слова Юрина Краснов не обратил внимания, покачивая стакан, глядя невидимыми глазами на игру огня в красном вине, он продолжал все так же вполголоса, с трудом:

— О событии этом составлен протокол и подписан всеми, кто видел его. У нас оно опубликовано в «Историческом и статистическом журнале» за 1815 год.

— Нашли место, где чепуху печатать, — вставил Юрин, покашливая и прихлебывая вино, а Тося, усмехаясь, сказала:

— Я очень люблю все такое. Читать — не люблю, а слушать готова всегда. Я — страх люблю. Приятно, когда мураши под кожей бегают. Ну, еще что-нибудь расскажите.

— Охотно, — согласился Краснов.

— Без трех, — сердито, басом сказала Орехова.

— А — зачем ходили с дамы пик? — упрекнул ее Ногайцев.

— Иван Пращев, офицер, участник усмирения поляков в 1831 году, имел денщика Ивана Середу. Оный Середа, будучи смертельно ранен, попросил Пращева переслать его, Середы, домашним три червонца. Офицер сказал, что пошлет и даже прибавит за верную службу, но предложил Середе: «Приди с того света в день, когда я должен буду умереть». — «Слушаю, ваше благородие», — сказал солдат и помер.

— А у меня — десятка, хо-хо! — радостно возгласил Дронов.

— Через тридцать лет Пращев с женой, дочерью и женихом ее сидели ночью в саду своем. Залаяла собака, бросилась в кусты. Пращев — за нею и видит: стоит в кустах Середа, отдавая ему честь. «Что, Середа, настал день смерти моей?» — «Так точно, ваше благородие!»

— Вот это — дисциплина! — восхищенно сказал Юрин, но иронический возглас его не прервал настойчивого течения рассказа:

— Пращев исповедался, причастился, сделал все распоряжения, а утром к его ногам бросилась жена повара, его крепостная, за нею гнался [повар] с ножом в руках. Он вонзил нож не в жену, а в живот Пращева, от чего тот немедленно скончался.

— Страшно жить, Тося! — вскричал Юрин.

— Страшно — слушать, а жить... жить-то не страшно, — ответила она, начиная убирать чайную посуду со стола.

В гостиной Ногайцев громко, тоскливо жаловался:

— Это не игра, а — уголовщина. Предательство. Дронов — хохотал, а рыжая дама захлебывалась звонким смехом, и сокрушенно мычала Орехова.

— Вы, господин Юрин, все иронизируете, — заговорил Краснов, передвигая Тосе вымытые чашки. — Я, видимо, кажусь вам идиотом...

— Диагноз приблизительно верный.

— Вот видите, вам уже хочется оскорбить меня…

— Тем, что я считаю ваше самоопределение правильным? — спросил Юрин.

— Ага, вы уже отняли слово приблизительно! Самгин поморщился, думая:

«Кажется, начнут ругаться».

И действительно, Краснов заговорил голосом повышенным и шипящим, как бы втягивая воздух сквозь зубы.

— Вам, человеку опасно, неизлечимо больному, следовало бы…

— Умереть, — докончил Юрин. — Я и умру, подождите немножко. Но моя болезнь и смерть — мое личное дело, сугубо, узко личное, и никому оно вреда не принесет. А вот вы — вредное… лицо. Как вспомнишь, что вы — профессор, отравляете молодежь, фабрикуя из нее попов… — Юрин подумал и сказал просительно, с юмором: — Очень хочется, чтоб вы померли раньше меня, сегодня бы! Сейчас…

— Убейте, — предложил Краснов, медленно, как бы с трудом выпрямив шею, подняв лицо. Голубовато блеснули узкие глазки.

— Сил нет, — ответил Юрин.

Держа в руках самовар, Тося сказала негромко:

— Вы — что? С ума сошли? Прошу прекратить эти… шуточки. Тебе, Женя, вредно сердиться, вина пьешь ты много. Да и куришь.

Самгин, поправив очки, взглянул на нее удивленно, он не ожидал, что эта женщина способна говорить таким грубо властным тоном. Еще более удивительно было, что ее послушали, Краснов даже попросил:

— Извините…

— Лучше помогите-ка мне стол накрыть, ужинать пора. Картежники, вы — скоро?

Поставив самовар на столик рядом с буфетом, раскладывая салфетки, она обратилась к Самгину:

— Одни играют в карты, другие словами, а вы — молчите, точно иностранец. А лицо у вас — обыкновенное, и человек вы, должно быть, сухой, горячий, упрямый — да?

— Не знаю. Я еще не познал самого себя, — неожиданно произнес Самгин, и ему показалось, что он сказал правду.

— Точно иностранец, — повторила Тося. — Бывало, в кондитерской у нас кофе пьют, болтают, смеются, а где-нибудь в уголке сидит англичанин и всех презирает.

— Я далек от этого, — сказал Клим, а она сказала:

— Вот уж не люблю англичан! Такие… индюки! — И крикнула в гостиную:

— Картежники, вы — скоро?

Картежники явились, разделенные на обрадованных и огорченных. Радость сияла на лице Дронова и в глазах важно надутого лица Ореховой, — рыженькая дама нервно подергивала плечом, Ногайцев, сунув руки в карманы, смотрел в потолок. Ужинали миролюбиво, восхищаясь вкусом сига и огромной индейки, сравнивали гастрономические богатства Милютиных лавок с богатствами Охотного ряда, и все, кроме Ореховой, согласились, что в Москве едят лучше, разнообразней. Краснов, сидя против Ногайцева, начал было говорить о том, что непрерывный рост разума людей расширяет их вкус к земным благам и тем самым увеличивает количество

страданий, отнюдь не способствуя углублению смысла бытия.

— Истина буддизма в аксиоме: всякое существование есть страдание, но в страдание оно обращается благодаря желанию. Непрерывный рост страданий благодаря росту желаний и, наконец, смерть — убеждают человека в иллюзорности его стремления достигнуть личного блага.

— Нет, уж о смерти, пожалуйста, не надо, — строго заявила Тося, — Дронов поддержал ее:

— Я — тоже против. К чорту!

— Женя правильно сказал: смерть — личное дело каждого.

— Однако, хотя и личное, — начал было Ногайцев, но, когда Тося уставила на него свои темные глаза, он изменил тон и быстро заговорил:

— А, знаете, ходит слух, что у эсеров не все благополучно.

— В головах? — спросил Юрин.

— В партии, в центре, — объяснил Дронов, видимо не поняв иронии вопроса или не желая понять. — Слух этот — не молод.

— Будто бы последние аресты — результат провокации…

Краснов сообщил, что в Петербург явился царицынский бунтовщик иеромонах Илиодор, вызванный Распутиным, и что Вырубова представила иеромонаха царице.

— Дела домашние, семейные дела, — сказал Ногайцев, а Дронов — сострил:

— Монах для дамы — вкуснее копченого сига…

— Ох, Ванечка, — вздохнула Тося.

Следя, как питается Краснов, как быстро и уверенно его гибкие руки находят лучшие куски пищи, Самгин подумал:

«Этот всегда будет сыт».

Встряхнув кудрями, звонко заговорила рыженькая дама.

— Ужасно много событий в нашей стране! — начала она, вздыхая, выкатив синеватые, круглые глаза, и лицо ее от этого сделалось еще более кукольным. — Всегда так было, и — я не знаю: когда это кончится? Всё события, события, и обо всем интеллигентный человек должен думать. Крестьянские и студенческие бунты, террор, японская война, террор, восстание во флоте, снова террор, 9 Января, революция, Государственная дума, и все-таки террор! В конце концов — страшно выйти на улицу. Я совершенно теряюсь! Чем же это кончится?

Юрин, усмехаясь, прошептал Тосе что-то, она, погрозив ему пальцем, сказала:

— Не нужно! Не шали.

Все молчали. Самгин подумал, что эта женщина говорит иронически, но присмотрелся к ее лицу и увидал, что на глазах ее слезы и губы вздрагивают.

«Напилась», — решил он, а рыженькая продолжала, еще более тревожно и протестующе:

— Во Франции, в Англии интеллигенция может не заниматься политикой, если она не хочет этого, а мы — должны! Каждый из нас обязан думать обо всем, что делается в стране. Почему — обязан?

Она тихонько всхлипнула, Орехова, гладя ее плечо, задушевно, басом посоветовала ей:

— Не волнуйтесь, милая Анна Захаровна, — вам вредно.

— Так хочется порядка, покоя, — нервозно вскричала Анна Захаровна, отирая глаза маленьким платочком.

Самгин посмотрел на нее неприязненно и думая: «Как грубо можно исказить весьма ценную мысль!»

Примирительно заговорил Краснов:

— В нашей воле отойти ото зла и творить благо. Среди хаотических мыслей Льва Толстого есть одна христиански правильная: отрекись от себя и от темных дел мира сего! Возьми в руки плуг и, не озираясь, иди, работай на борозде, отведенной тебе судьбою. Наш хлебопашец, кормилец наш, покорно следует…

Его не слушали. Орехова и рыженькая, встав из-за стола, прощались с Тосей, поднялся и Ногайцев. Дронов сказал Самгину:

— Значит — едем?

Идя домой, по улицам, приятно освещенным луною, вдыхая острый, но освежающий воздух, Самгин внутренне усмехался. Он был доволен. Он вспоминал собрания на кулебяках Анфимьевны у Хрисанфа и все, что наблюдалось им до Московского восстания, — вспоминал и видел, как резко изменились темы споров, интересы, как открыто говорят о том, что раньше замалчивалось.

«Конечно, это — другие люди, — напомнил он себе, но тотчас же подумал: — Однако с какой-то стороны они, пожалуй, интереснее. Чем? Ближе к обыденной жизни?»

Не решая этот вопрос, он нашел, [что] было приятно чувствовать себя самым умным среди этих людей. Неприятна только истерическая выходка этой глупой рыжей куклы.

«Какая дура».

В общем, чутко прислушиваясь к себе, Самгин готов был признать, что, кажется, никогда еще он не чувствовал себя так бодро и уверенно. Его основным настроением было настроение самообороны, и он далеко не всегда откровенно ставил пред собою некоторые острые вопросы, способные понизить его самооценку. Но на этот раз он спросил себя:

«Неужели это потому, что я, получив наследство стал независимым человеком? Временно независимым», — добавил он, вспомнив, что ценность наследства неизвестна ему. Но этот вопрос почему-то не потребовал решения, может быть, потому, что в памяти встала фигура Тоси, ее бюст, воинственно приподнятый сарафаном. Самгин был в том возрасте, когда у многих мужчин и женщин большого сексуального опыта нормальное биологическое влечение становится физиологическим любопытством, которое принимает характер настойчивого желания узнать, чем тот или та не похожи на этого или эту. В подобных случаях память и воображение, соединясь, могутна некоторых действовать так же тиранически, как и страстная любовь. Но Мессалина, вероятно, недолго удовлетворяла бы любопытство дон-Жуана, так же как и он ее любопытство. Тося казалась Самгину соблазнительной и легко доступной. Он думал о ней с удовольствием и, представляя ее раздетой, воображал похожей на Марину, какой видел ее после «радения». Она все еще оставалась мозолью его мозга, одним из наиболее обидных моментов жизни и, ночами, нередко мешала ему уснуть. К тому же с некоторого времени он в качестве средства, отвлекающего от неприятных впечатлений, привык читать купленные в Париже книги, которые, сосредоточивая внимание на играх чувственности, легко прекращали бесплодную и утомительную

суету мелких мыслей.

Весь следующий день Самгин прожил одиноко все в том же бодром настроении, снисходительно размышляя о Дронове и его знакомых. За окном буйно кружилась, выла и свистела вьюга, бросая в стекла снегом, изредка в белых вихрях появлялся, исчезал большой, черный, бородатый царь на толстом, неподвижном коне, он сдерживал коня, как бы потеряв путь, не зная куда ехать. Самгин, покуривая, ходил, сидел, лежал и, точно играя в шахматы, расставлял фигуры знакомых людей, стараясь найти в них сходство. Сначала он отвел в сторону группу людей наименее интересных и наиболее неприятных ему. Это были люди, ограниченные определенной системой фраз, их возглавлял Кутузов, и заранее можно было знать, что каждый из них скажет по тому или иному данному поводу.

«Конченые люди, не способные к дальнейшему росту. — Попы социалистической церкви, — назвал он их. — Забыли, что социализм выдуман буржуазией и является производным от нищенской фантастики христианства. Проповедники классовой борьбы и абсолютно невозможной диктатуры пролетариата, всячески безграмотного. Я — не отрицаю социализм в той форме, как он понят немцами. В Германии он — естественный для буржуазной культуры шаг вперед. Там он — исторически понятен. Но у нас? В стране, где возможны Разин, Пугачев, аграрные погромы, Московское восстание… Безумие. Авантюризм честолюбцев, которым нечего терять…»

Он сам был искренно удивлен резкостью и определенностью этой оценки, он никогда еще не думал в таком тоне, и это сразу приподняло, выпрямило его. Взглянув в зеркало, он увидал, что смоченные волосы, высохнув, лежат гладко и этим обнаруживают, как мало их и как они стали редки. Он взял щетку, старательно взбил их, но, и более пышные, они все-таки заставили его подумать:

«Скоро буду лысым».

Это было очень неприятно.

Держа в одной руке щетку, приглаживая пальцами другой седоватые виски, он минуты две строго рассматривал лицо свое, ни о чем не думая, прислушиваясь к себе. Лицо казалось ему значительным и умным. Несколько суховатое, но тонкое лицо человека, который не боится мыслить свободно и органически враждебен всякому насилию над независимой мыслью, всем попыткам ограничить ее.

«Ин-те-лли-гент, — мысленно и с уважением назвал он себя. — Новая сила истории, сила, еще недостаточно осознавшая свое значение и направление». Затем счесал гребенкой со щетки выпавшие волосы, свернул их в комок, положил в пепельницу, зажег спичку, а когда волосы, затрещав, сгорели — вздохнул. После этого, несколько охлажденный своей жертвой времени, он снова начал соединять людей по признакам сходства характеров. Дронова он поставил рядом с Митрофановым. Затем присоединил к ним Тагильского. Подумав, прибавил к ним четвертого — Макарова, но тотчас же сообразил, что это — нехорошо, неудачно.

«К ним нужно Лютова. И Бердникова. Да, именно скота Бердникова».

Но тяжелая туша Бердникова явилась в игре Самгина медведем сказки о том, как маленькие зверки поселились для дружеской жизни в черепе лошади, но пришел медведь, спросил — кто там, в черепе, живет? — и, когда зверки назвали себя, он сказал: «А я всех вас давишь», сел на череп и раздавил его вместе с жителями.

Неприятное, унижающее воспоминание о пестрой, цинической болтовне Бердникова досадно спутало расстановку фигур, сделало игру неинтересной. Да и сами по себе фигуры эти, при наличии многих мелких сходств в мыслях и словах, обладали только одним крупным и ясным — неопределенностью намерений.

«На чем пытаются утвердить себя Макаров, Тагильский? Чего хотят? Почему Лютов давал деньги эсерам? Чем ему мешало жить самодержавие?»

За окном, в снежной буре, подпрыгивал на неподвижном коне черный, бородатый царь в шапке полицейского, — царь, ничем, никак не похожий на другого, который стремительно мчался на Сенатской площади, попирая копытами бешеного коня змею.

Самгин отошел от окна, лег на диван и стал думать о женщинах, о Тосе, Марине. А вечером, в купе вагона, он отдыхал от себя, слушая непрерывную, возбужденную речь Ивана Матвеевича Дронова. Дронов сидел против него, держа в руке стакан белого вина, бутылка была зажата у «его между колен, ладонью правой руки он растирал небритый подбородок, щеки, и Самгину казалось, что даже сквозь железный шум под ногами он слышит треск жестких волос.

— Понимаешь, какая штука, — вполголоса торопливо говорил Дронов, его скуластое лицо морщилось, глаза, как и прежде, беспокойно бегали, заглядывая в окно, в темноту, разрываемую искрами и огнями, в лицо Самгина, в стакан. — Не хочется оказаться в дураках. Жизнь — чорт ее знает — вдруг как будто постарела, сморщилась, а вместе с этим началось в ней что-то судорожное, эдакая, знаешь, поспешность… хватай, ребята! Ну, в промышленности, в торговле это — естественно, тут — как марксисты учат — или фабрикуй нищих, или сам нищим будешь. А — нищенство хотя и национальное ремесло, но — не из приятных, росту гордости — не способствует. А «человек — это звучит гордо», и он, чорт, хочет быть гордым. Ну, понимаешь…

Запрокинув голову, он вылил вино в рот, облил подбородок, грудь, сунул стакан на столик и, развязывая галстук, продолжал:

— Меня, брат, интеллигенция смущает. Я ведь — хочешь ты не хочешь — причисляю себя к ней. А тут, понимаешь, она резко и глубоко раскалывается. Идеалисты, мистики, буддисты, йогов изучают. «Вестник теософии» издают. Блаватскую и Анну Безант вспомнили… В Калуге никогда ничего не было, кроме калужского теста, а теперь — жители оккультизмом занялись. Казалось бы, после революции…

— Это движение началось еще до революции, — напомнил Самгин.

— В качестве предохранительной прививки? Профилактика? — спросил Дронов, бережно поставив бутылку в угол дивана.

— Возможно, — согласился Самгин.

— Н-да. Значит, кто-то что-то предусмотрел? Кто же это командует?

Самгин, усмехаясь, молча пожал плечами.

— Литераторы-реалисты стали пессимистами, — бормотал Дронов, расправляя мокрый галстук на колене, а потом, взмахнув галстуком, сказал: — Недавно слышал я о тебе такой отзыв: ты не имеешь общерусской привычки залезать в душу ближнего, или — в карман, за неимением души у него. Это сказал Тагильский, Антон Никифоров…

— Я очень мало знаю его, — поторопился заявить Самгин.

— А он тебя, по-моему, правильно… оценил, — охлажденно и как будто обиженно продолжал Дронов. — К людям ты относишься… неблагосклонно. Даже как будто брезгливо…

— Это — неверно, — строго сказал Самгин. — Он так же мало знает меня, как я — его. Ты давно знаком с ним?..

— Года два уже. Познакомились на бегах. Он — деньги потерял или — выкрали. Занял у меня и — очень выиграл! Предложил мне половину. Но я отказался, ставил на ту же лошадь и выиграл втрое больше его. Ну — кутнули… немножко. И познакомились.

— Что это за человек? — настороженно спросил Самгин.

— Чорт его знает, — задумчиво ответил Дронов и снова вспыхнул, заговорил торопливо: — Со всячинкой. Служит в министерстве внутренних дел, может быть в департаменте полиции, но — меньше всего похож на шпиона. Умный. Прежде всего — умен. Тоскует. Как безнадежно влюбленный, а неизвестно — о чем? Ухаживает за Тоськой, но — надо видеть — как! Говорит ей дерзости. Она его терпеть не может. Вообще — человек, напечатанный курсивом. Я люблю таких... несовершенных. Когда — совершенный, так уж ему и чорт не брат.

«Это он — про меня», — сообразил Самгин и сказал: — Жена у тебя интересная...

— Все одобряют, — сказал Дронов, сморщив лицо. — Но вот на жену — мало похожа. К хозяйству относится небрежно, как прислуга. Тагильский ее давно знает, он и познакомил меня с ней. «Н «хотите ли, говорит, взять девицу, хорошую, но равнодушную к своей судьбе?» Тагильского она, видимо, отвергла, и теперь он ее называет путешественницей по спальням. Но я — не ревнив, а она — честная баба. С ней — интересно. И, знаешь, спокойно: не обманет, не продаст.

— А Юрин? — спросил Самгин.

— Большевичек. Умненький. Но, как видишь, отыгранная Карта. Вот он — Тоськина любовь, но — материнская.

Он говорил таким скучным тоном, что заставил Самгина подумать:

«Притворяется».

Минуты две молчали, потом Дронов сказал: — Ну, что же, спать, что ли? — Но, сняв пиджак, бросив его на диван и глядя на часы, заговорил снова: — Вот, еду добывать рукописи какой-то сногсшибательной книги. — Петя Струве с товарищами изготовил. Говорят:

сочинение на тему «играй назад!» Он ведь еще в 901 году приглашал «назад к Фихте», так вот... А вместе с этим у эсеров что-то неладно. Вообще — развальчик. Юрин утверждает, что все это — хорошо! Дескать — отсевается мякина и всякий мусор, останется чистейшее, добротное зерно... Н-да...

— Взгляд — правильный, — сказал Самгин, чтобы сказать что-нибудь.

— Не знаю, — откликнулся Дронов и замолчал, но, сидя на постели уже в ночном белье и потирая подбородок, вдруг и сердито пробормотал:

— Знаешь, все-таки самое меткое и грозное, что придумано, — это классовая теория и идея диктатуры рабочего класса.

Самгин, наклонив голову, взглянул на него через очки, но Дронов уже лег, натянул на себя одеяло.

«Обиделся, — решил Самгин, погасив огонь. — Он стал интереснее и, кажется, умней. Но все-таки напрасно я допустил его говорить со мною на «ты».

— Смешно, — сказал Дронов.

— Что?

— Человек, родом — немец, обучает русских патриотизму.

Помолчав, а затем уступая желанию оборвать Дронова — Самгин сказал сухо и докторально:

— Струве имеет вполне определенные заслуги пред интеллигенцией: он первый указал ей, что роль личности в истории — это иллюзия, самообман...

— А — еще что? — спросил Дронов, помолчав. «А еще — он признал за личностью право научного бесстрастного наблюдения явлений», — хотел сказать Самгин, но не решился и сказал сонным голосом:

— Поздно. Давай уснем…

Дронов, не уступая, лежа на боку и размешивая пальцем сумрак, говорил ядовито, повысив голос:

— Роль личности он отрицал, будучи марксистом, а затем, как тебе известно, перекрестился в идеализм, а идеализм без индивидуализма не бывает, а индивидуализм, отрицающий роль личности в жизни, — чепуха! Невозможен…

Самгин не ответил ему, но подумал, засыпая:

«Я мало читаю по вопросам философии».

— Москва! — разбудил его Дронов, одетый в толстый, мохнатый костюм табачного цвета, причесанный, солидный.

— Завтракаем в «Московской», в час? — предложил он.

— Если успею, — сказал Самгин и, решив не завтракать в «Московской», поехал прямо с вокзала к нотариусу знакомиться с завещанием Варвары. Там его ожидала неприятность: дом был заложен в двадцать тысяч частному лицу по первой закладной. Тощий, плоский нотариус, с желтым лицом, острым клочком седых волос на остром подбородке и красненькими глазами окуня, сообщил, что залогодатель готов приобрести дом в собственность, доплатив тысяч десять — двенадцать.

— Не больше? — спросил Самгин, сообразив, что на двенадцать тысяч одному можно вполне прилично прожить года четыре. Нотариус, отрицательно качая лысой головой, почмокал и повторил!

— Не больше.

Нотариус не внушал доверия, и Самгин подумал, что следует посоветоваться с Дроновым, — этот, наверное, знает, как продают дома. В доме Варвары его встретила еще неприятность: парадную дверь открыла девочка подросток — черненькая, остроносая и почему-то о радостью, весело закричала:

— Варвары Кирилловны дома нет, в Петербург уехали! Радость ее показалась Самгину неприличной, он строго сказал:

— Варвара Кирилловна — померла!

— Господи, — тихонько произнесла девочка, но, отшатнувшись, спросила: — А может, вы врете? — И тотчас же визгливо закричала: — Фелицата Назарна!

Явилась знакомая — плоскогрудая, тонкогубая женщина в кружевной наколке на голове, важно согнув шею, она молча направила стеклянные глаза в лицо Самгина, а девчушка тревожно и торопливо говорила, указывая на него пальцем:

— Он говорит — померла Варвара-то Кирилловна.

— Мне ничего неизвестно, — сказала женщина, не помогая Самгину раздеться, а когда он пошел из прихожей в комнаты, встала на дороге ему.

— Позвольте-с, как же это…

— Подите прочь, — крикнул Самгин. — Что вы — не знаете меня?

— Знаю-с, но — не могу…

И, отступив на шаг в сторону, деревянным голосом скомандовала:

— Анка, позвони в участок, чтобы Мирон Петрович пришел.

— Вы — дура! — заявил Самгин. — Я вас выгоню, — крикнул он и тотчас устыдился своего гнева, а женщина, следуя за ним по пятам, говорила однотонно и убийственно скучно:

— Если право имеете — можете и выгнать, а ругать не имеете права. Я служащая, мне поручено имущество.

— Но ведь вы же знаете, кто я, — миролюбиво напомнил Самгин.

— Я Варваре Кирилловне служу, и от нее распоряжений не имею для вас… — Она ходила за Самгиным, останавливаясь в дверях каждой комнаты и, очевидно, опасаясь, как бы он не взял и не спрятал в карман какую-либо вещь, и возбуждая у хозяина желание стукнуть ее чем-нибудь по голове. Это продолжалось минут двадцать, все время натягивая нервы Самгина. Он курил, ходил, сидел и чувствовал, что поведение его укрепляет подозрения этой двуногой щуки.

«Если ее оставить даже на сутки — она обворует», — соображал он.

Наконец пришел толстый, чернобородый помощник пристава, молча выслушал стороны и сказал внушительным басом:

— Как юрист, вы должны бы предъявить удостоверение врача или больницы о смерти.

— Удостоверение оставлено мною у нотариуса, можете справиться.

— Не обязаны, — сказал полицейский, вздохнув глубоко и прикрывая ресницами большие черные глаза на лице кирпичного цвета.

— Я оплачу хлопоты, — сказал Самгин, протянув ему билет в двадцать пять рублей.

— Прекрасно, — откликнулся полицейский, отдал честь, подняв широкую ладонь к плюшевому черепу, и ушел, поманив пальцем Фелицату.

Самгин чувствовал себя отвратительно. Одолевали неприятные воспоминания о жизни в этом доме. Неприятны были комнаты, перегруженные разнообразной старинной мебелью, набитые мелкими пустяками, которые должны были говорить об эстетических вкусах хозяйки. В спальне Варвары на стене висела большая фотография его, Самгина, во фраке, с головой в форме тыквы, — тоже неприятная.

«Чорт с ней, пусть эта дура ворует», — решил он и пошел на свидание с Дроновым.

Москва была богато убрана снегом, толстые пуховики его лежали на крышах, фонари покрыты белыми чепчиками, всюду блестело холодное серебро, морозная пыль над городом тоже напоминала спокойный блеск оксидированного серебра. Под ногами людей хрящевато поскрипывал снег, шуршали и тихонько взвизгивали железные полозья саней.

«Уютный город», — одобрительно подумал Самгин. Дронова еще не было в гостинице, Самгин с трудом нашел свободный столик в зале, тесно набитом едоками, наполненном гулом голосов, звоном стекла, металла, фарфора. Самгин не впервые сидел в этом храме московского кулинарного искусства, ему нравилось бывать здесь, вслушиваться в разноголосый говор солидных людей, ему казалось, что, хмельные от сытости, они, вероятно, здесь более откровенны, чем где-либо в другом месте. Однажды он даже подумал, что этот пестрый, сложный говор должен быть похож на «общие исповеди» в соборе Кронштадта, организованные знаменитым попом Иоанном Сергеевым. Ловя отдельные фразы и куски возбужденных речей, Самгин был уверен, что это лучше, вернее, чем книги и газеты, помогает ему знать, «чем люди живы». Вот и сейчас, сзади его, приятный

басок говорил увещевающим тоном:

— Мы, провинциалы, живем спокойней вас, москвичей, у нас есть время наблюдать за вами, и — что же мы видим?

— Возьмите еще осетрины, — посоветовал басу ленивый, бесцветный голос.

— С удовольствием возьму.

А впереди волнисто изгибалась длинная, узкая спина, туго обтянутая поддевкой, и звучно, немножко гнусаво жаловалась:

— Как же быть, Петр Васильевич, батюшко мой? Весной — объединенное дворянство заявило себя против политических реформ, теперь вот наше, московское, высказалось за неприкосновенность самодержавия, а — мы-то, промышленники-то, как же, а?

И, должно быть, скушав осетрину, снова увещевал басок:

— В быстрой смене литературных вкусов ваших все же замечаем — некое однообразие оных. Хотя антидемократические идеи Ибсена как будто уже приелись, но место его в театрах заступил Гамсун, а ведь хрен редьки — не слаще. Ведь Гамсун — тоже антидемократ, враг политики…

— Но герой его, Карено, легко отказался от своих идей в пользу места в стортинге, — вставил ленивый голос.

— Вот, вот! То-то и есть — что отказался, как и у нас многие современные разночинцы отказываются, бегут общественной деятельности ради личного успеха, пренебрегая заветами отцов и уроками революции…

— Ну, что там: заветы, уроки Дан завет новый: enrichissez-vous — обогащайтесь! Вот завет революции…

— Это вы — иронически? Ленивый начал говорить сердито:

— Э, какая тут ирония! Все — жрать хотят.

— В ущерб своему человеческому достоинству…

— Вы, Нифонт Иванович, ветхозаветный человек. А молодежь, разночинцы эти… не дремлют! У меня письмоводитель в шестом году наблудил что-то, арестовали. Парень — дельный и неглуп, готовился в университет. Ну, я его вызволил. А он, ежа ему за пазуху, сукину сыну, снял у меня копию с одного документа да и продал ее заинтересованному лицу. Семь тысяч гонорара потерял я на этом деле. А дело-то было — беспроигрышное.

— Там — все наше, вплоть до реки Белой наше! — хрипло и так громко сказали за столиком сбоку от Самгина, что он и еще многие оглянулись на кричавшего. Там сидел краснолобый, большеглазый, с густейшей светлой бородой и сердитыми усами, которые не закрывали толстых губ яркокрасного цвета, одной рукою, с вилкой в ней, он писал узоры в воздухе. — От Бирской вглубь до самых гор — наше! А жители там — башкирье, дикари, народ негодный, нерабочий, сорье на земле, нищими по золоту ходят, лень им золото поднять…

Его слушали плешивый человек с сизыми ушами, с орденом на шее и носатая длинная женщина, вся в черном, похожая на монахиню.

Человек с орденом сказал, вставая:

— Будем смотреть это всё, я и мой инженер, — а женщина спросила звонко и сердито:

— Тюда нюжни дольго поиехат?

— Ну, чего там долго! Четверо суток на пароходе. Катнем по Волге, Каме, Белой, — там, на Белой, места такой красоты — ахнешь, Клариса Яковлевна, сто раз ахнешь. — Он выпрямился во весь свой огромный рост и возбужденно протрубил:

— Я государству — не враг, ежели такое большое дело начинаете, я землю дешево продам. — Человек в поддевке повернул голову, показав Самгину темный глаз, острый нос, седую козлиную бородку, посмотрел, как бородатый в сюртуке считает поданное ему на тарелке серебро сдачи со счета, и вполголоса сказал своему собеседнику:

— На чай оставил три пятака, боров! Самарский купец из казаков уральских. Знаменито богат, у него башкирской земли целая Франция. Я его в Нижнем на ярмарке видал, — кутнуть умеет! Зверь большого азарта, картежник, распутник, пьяница.

— Мамонтам этим пора бы вымереть.

— Вымрут… Скоро.

Освобожденный стол тотчас же заняли молодцеватый студент, похожий на переодетого офицера, и скромного вида человек с жидкой бородкой, отдаленно похожий на портреты Антона Чехова в молодости. Студент взял карту кушаний в руки, закрыл ею румяное лицо, украшенное золотистыми усиками, и сочно заговорил, как бы читая по карте:

— Ты, Борис, прочитай Оскара Уайльда «Социализм и душа человека».

— Я уже читал, — тихо, виновато ответил скромный.

— Помнишь у него: «Бедные своекорыстнее богатых».

— Это — парадокс…

— Парадокс, — это, брат, протест против общепринятой пошлости, — внушительно сказал студент, оглянулся, прищурив серые, холодненькие глаза, и добавил:

— Парадокс надо понимать не как искажение, но как отражение.

Он мешал Самгину слушать интересную беседу за его спиной, человек в поддевке говорил внятно, но гнусавенький ручеек его слов все время исчезал в непрерывном вихре шума. Однако, напрягая слух, можно было поймать кое-какие фразы.

— Столыпина я одобряю; он затеял дело доброе, дело мудрое. Накормить лучших людей — это уже политика европейская. Все ведь в жизни нашей строится на отборе лучшего, — верно?

Кто-то насмешливо крикнул:

— Рассыпался ваш синдикат «Гвоздь», ни гвоздя не осталось!

— Ошибаешься, Степан Иваныч, не рассыпался, а — расширился, теперь это — «Проволока».

— Продруд, Продрусь…

— Вот — в Германии, Петр Васильич, накормили лучших-то социал-демократов, посадили в рейхстаг: законодательствуйте, ребята! Они и сидят и законодательствуют, и всё спокойно, никаких вспышек.

— Все же стачки!

— А что — стачки? Выгнав болезнь наружу, лечить ее удобней. Нет, дорогой, вся мудрость — в отборе лучших. Юлий-то Цезарь правильно сказал о толстых, о сытых.

— После него, Цезаря, замечено было, что сытый голодного не разумеет.

— Ведь — вы подумайте, батюшко мой, как депутат и член правительства, ведь Емельян-го Пугачев, во-время взятый, мог бы рядом с Григорьем Потемкиным около Екатерины Великой вращаться…

— Это — шуточки-с!

«Революция научила людей оригинально думать, откровенней», — отметил Самгин.

И, как бы подтверждая его наблюдение, где-то близко заворчал угрюмый голос:

— Балканская политика стоила нам немало денег и сил, и — вот, признали аннексию Боснии, Герцеговины, значительно усилив этим Австрию, а — значит — и Германию…

Прибежал Дронов, неряшливо растрепанный, сердитый, с треском отодвинул стул.

— Прозевал книгу, уже набирают. Достал оттиски первых листов. Прозевал, чорт возьми! Два сборничка выпустил, а третий — ускользнул. Теперь, брат, пошла мода на сборники. От беков, Луначарского, Богданова, Чернова и до Грингмута, монархиста, все предлагают товар мыслишек своих оптом и в розницу. Ходовой товар. Что будем есть?

— Ты представь себя при социализме, Борис, — что ты будешь делать, ты? — говорил студент. — Пойми: человек не способен действовать иначе, как руководясь интересами своего я.

Самгин вдруг почувствовал: ему не хочется, чтобы Дронов слышал эти речи, и тотчас же начал ему о своих делах. Поглаживая ладонью лоб и ершистые волосы на черепе, Дронов молча, глядя в рюмку водки, выслушал его и кивнул головой, точно сбросив с нее что-то.

— Дом продать — дело легкое, — сказал он. — Дома в цене, покупателей — немало. Революция спугнула помещиков, многие переселяются в Москву. Давай, выпьем. Заметил, какой студент сидит? Новое издание… Усовершенствован. В тюрьму за политику не сядет, а если сядет, так за что-нибудь другое. Эх, Клим Иваныч, не везет мне, — неожиданно заключил он отрывистую, сердитую свою речь.

Нужно было что-то сказать, и Самгин спросил:

— Чем ты расстроен?

— Тем, что не устроен, — ответил Дронов, вздохнув, и выпил стакан вина.

— Устроишься… Жизнь как будто становится просторнее, свободней, — невольно прибавил он.

— Свободней? Не знаю. Суеты — больше, может быть, поэтому и кажется, что свободней.

Он торопливо и небрежно начал есть, а Самгин — снова слушать. Людей в зале становилось меньше, голоса звучали более отчетливо, кто-то раздраженно кричал:

— Интересы промышленности у нас понимал только Витте.

— А — интересы земледелия? Ага? В другом месте спорили о театре:

— Нет — довольно Островского и осмеяния замоскворецких купцов. Эти купцы — прошлое Москвы, далекое прошлое!

— А — провинция?

— Ну, и пускай Малый театр едет в провинцию, а настоящий, культурно-

политический театр пускай очистится от всякого босячества, нигилизма — и дайте ему место в Малом, так-то-с! У него хватит людей на две сцены — не беспокойтесь!

Дронов съел суп, вытер губы салфеткой и заговорил:

— Ты вот молчишь. Монументально молчишь, как бронзовый. Это ты — по завету: «Не мечите бисера перед свиньями, да не попрут его ногами» — да?

— Я не люблю проповедей. И проповедников, — сухо сказал Самгин.

— Себя-то, конечно, любишь. Проповедников и я [не] люблю. Может быть — боюсь даже, — не всех однако. Нет, не всех. Ты — не сердись на меня, если я грубо сказал. Дело в том, что завидую я тебе, спокойствию твоему завидую. Иной раз думается, что ты хранишь мудрость твою, как девственность. Пачкать ее не хочешь.

Он махнул рукой. Помолчав, он задумчиво и с возрастающей уверенностью сказал:

— Жизнь — изнасилует. Давай, выпьем! Самгин посмотрел на него и понял, что Дронов уже насытился, разбрасывал беспокойные глазки по залу и ворчал:

— Не люблю я это капище Мамоново. Поедем к тебе, я там прочитаю оттиски, их надо вернуть.

Самгин согласился, но спросил кофе, ему еще хотелось посидеть, послушать. В густой метели слов его слух все время улавливал нечто созвучное его настроению. И, как всегда, когда он замечал это созвучие, он с досадой, все более острой, чувствовал, что какие-то говоруны обворовывают его, превращая разнообразный и обширный его опыт в мысли, грубо упрощенные раньше, чем сам он успевает придать им форму, неотразимо точную, ослепительно яркую. В настроении такой досады он поехал домой, рассказав по дороге Дронову анекдот с Фелицатой. Дронов — захохотал.

— Это — дура! Она — английских романов начиталась, Гемфри Уарда любит, играет роль преданной слуги. Я ее прозвал цаплей — похожа? Английский роман весьма способствует укреплению глупости — не находишь?

— Не всякий, — поправил его Самгин и вспомнил Анфимьевну.

Раздеваясь в прихожей и глядя в длинное, важное лицо Фелицаты, Дронов, посмеиваясь, грубовато говорил:

— Ты, Цапля, что же это какие фокусы делаешь, а? Она тоже как будто улыбалась, тонкогубый рот ее, разрезав серые щеки, стал длиннее, голос мягче. Снимая пальто с плеч Дронова, она заговорила;

— Иван Матвеич, я обязана…

— Никто не обязан быть глупым. Налаживай самовар и добудь две бутылки белого вина «Грав», — знаешь?

— Как же-с…

— Действуй…

«Нахал», — механически отметил Самгин, видя, что Дронов ведет себя, как хозяин.

Затем Дронов прошел в гостиную, остановился посредине ее, оглянулся и, потирая лоб, пробормотал:

— Любила мелочишки Варвара Кирилловна, а — деловая была женщина и вкус денег знала хорошо. Выла бы богатой.

Взглянув на часы, он тотчас же сел в кресло, вынул из бокового кармана пачку

гранок набора и спросил:

— Ну-ко, в чем дело?

Сидя, он быстро, но тихонько шаркал подошвами, точно подкрадывался к чему-то; скуластое лицо его тоже двигалось, дрожали брови, надувались губы, ощетинивая усы, косые глаза щурились, бегая по бумаге. Самгин, прислонясь спиною к теплым изразцам печки, закурил папиросу, ждал.

— Ага, вот оно, — пробормотал Дронов и тотчас же внятно, даже торжественно прочитал:

— «Внутренняя жизнь личности есть единственно творческая сила человеческого бытия, и она, а не самодовлеющие начала политического порядка является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства».

Дронов закрыл левый глаз, взмахнул полосками бумаги, как флагом, и спросил:

— Формулировочка прямолинейная, а? Это — ударчик не только по марксистам…

— Читай дальше, — предложил Самгин, перестав курить, и не без чувства гордости напомнил себе:

«Я всегда протестовал против вторжения политики в область свободной мысли…»

— Тут много подчеркнуто, — сказал Дронов, шелестя бумагой, и начал читать возбужденно, взвизгивая:

— «Русская интеллигенция не любит богатства». Ух ты! Слыхал? А может, не любит, как лиса виноград? «Она не ценит, прежде всего, богатства духовного, культуры, той идеальной силы и творческой деятельности человеческого духа, которая влечет его к овладению миром и очеловечению человека, к обогащению своей жизни ценностями науки, искусства, религии…» Ага, религия? — «и морали». — Ну, конечно, и морали. Для укрощения строптивых. Ах, черти…

«Отвратительно читает, дурак», — сердито отметил Самгин, очень заинтересованный, и, бросив погасшую папиросу, торопливо закурил новую, а Дронов читал:

— «И, что всего замечательнее, эту свою нелюбовь она распространяет даже на богатство материальное, инстинктивно сознавая его символическую связь с общей идеей культуры». Символическую? — вопросительно повторил Дронов, закрыв глаза. — Символическую? — еще раз произнес он, взмахнув гранками.

Читал он все более раздражающе неприятно, все шаркал ногами, подпрыгивал на стуле, качался, держа гранки в руке, неподвижно вытянутой вперед, приближая к ним лицо и почему-то не желая, не догадываясь согнуть руку, приблизить ее к лицу.

«Он чем-то доволен, — с досадой отметил Самгин. — Но — чем?»

Клим Иванович тоже слушал чтение с приятным чувством, но ему не хотелось совпадать с Дроновым в оценке этой книги. Он слышал, как вкусно торопливый голосок произносит необычные фразы, обсасывает отдельные слова, смакует их. Но замечания, которыми Дронов все чаще и обильнее перебивал текст книги, скептические восклицания и мимика Дронова казались Самгину пошлыми, неуместными, раздражали его.

— «Интеллигенция любит только справедливое распределение богатства, но не самое богатство, скорее она даже ненавидит и боится его». Боится? Ну, это ерундоподобно. Не очень боится в наши дни. «В душе ее любовь к бедным обращается в любовь к бедности». Мм — не замечал. Нет, это чепуховидно. Еще что? Тут много подчеркнуто, чорт возьми! «До последних, революционных лет творческие,

даровитые натуры в России как-то сторонились от революционной интеллигенции, не вынося ее высокомерия и деспотизма...»

«Это — верно», — подумал Самгин и подумал так решительно, что даже выпрямился и нахмурил брови: ему показалось, что он произнес эти два слова вслух, и вот сейчас Дронов спросит его:

«Почему — верно?»

Дронов увлеченно и поспешно продолжал выхватывать подчеркнутое:

— «Любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, уничтожила интерес к ней». «Что есть истина?» — спросил мистер Понтий Пилат. Дальше! «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна, своими штыками, охраняет нас от ярости народной...»

Дронов, тихонько свистнув, покачнулся на стуле, шлепнул гранками по колену и, мигая, забормотал ошеломленно:

— Эт-то... крепко сказано! М-мужественно. Пишут, как обручи на бочку набивают, чорт их дери! Это они со страха до бесстрашия дошли, — ей-богу! Клим Иванович, что ты скажешь, а? Они ведь, брат, некое настроеньице правильно уловили, а?

Крепко зажмурив глаза, он захохотал. Его смех показался Самгину искусственным и как будто пьяным. Самгина тяготила необходимость отвечать, а ответы требовали осторожности, обдуманности.

— Для серьезной оценки этой книги нужно, разумеется, прочитать всю ее, — медленно начал он, следя за узорами дыма папиросы и с трудом думая о том, что говорит. — Мне кажется — она более полемична, чем следовало бы. Ее идеи требуют... философского спокойствия. И не таких острых формулировок... Автор....

— Авторы, — поправил Дронов. — Их — семеро. Все — интеллигенты-разночинцы, те самые, которые... ах, чорт! Ну... доползли до точки! «Новое слово» — а?

Он снова захохотал, Дронов. А Клим Иванович Самгин, пользуясь паузой, попытался найти для Дронова еще несколько ценных фраз, таких, которые не могли бы вызвать спора. Но необходимые фразы не являлись, и думать о Дронове, определять его отношение к прочитанному — не хотелось. Было бы хорошо, если б этот пошляк и нахал ушел, провалился сквозь землю, вообще — исчез и, если можно, навсегда. Его присутствие мешало созревать каким-то очень важным думам Самгина о себе.

Как нельзя более своевременно в дверях явилась Фелицата.

— Чай готов. Прикажете подать сюда?

— Иди к чертям, Цапля, — сказал Дронов и, не ожидая приглашения хозяина, пошел в столовую. Хозяин сердито посмотрел на его коренастую фигуру, оглянулся вокруг себя. Уже вечерело, сумрак наполнял комнату, в сумраке искал себе места, расползался дым папиросы. Знакомые, любимые Варварой вещи приобрели приятно мягкие очертания, в углу задержался тусклый отблеск солнца и напоминала о себе вызолоченная фигурка Будды. Странно чувствовать себя хозяином этой фигурки, комнаты, этого дома. Остаться одному в этом теплом уюте, свободно подумать...

В столовой вспыхнул огонь, четко осветил Дронова, Иван, зажав в коленях бутылку вина, согнулся, потемнел от натуги и, вытаскивая пробку, сопел.

Клим Иванович Самгин чувствовал себя встревоженным, но эта тревога становилась все более приятной. Была минута, когда он обиженно удивился:

«Почему я не мог оформить мой опыт так же просто и ясно?»

Но вскоре, вслед за этим, он отметил с чувством гордости:

«В этой книге есть идеи очень близкие мне, быть может, рожденные, посеянные мною».

Затем он вспомнил фигуру Петра Струве: десятка лет не прошло с той поры, когда он видел смешную, сутуловатую, тощую фигуру растрепанного, рыжего, судорожно многоречивого марксиста, борца с народниками. Особенно комичен был этот книжник рядом со своим соратником, черноволосым Туган-Барановским, высоким, тонконогим, с большим животом и булькающей, тенористой речью.

«Вожди молодежи», — подумал Самгин, вспомнив, как юные курсистки и студенты обожали этих людей, как очарованно слушали их речи на диспутах «Вольно-экономического общества», как влюбленно встречали и провожали их на нелегальных вечеринках, в тесных квартирах интеллигентов, которые сочувствовали марксизму потому, что им нравилось «самодовлеющее начало экономики». Неприятно было вспомнить, что Кутузов был первым, кто указал на нелепую несовместимость марксизма с проповедью «национального самосознания», тогда же начатой Струве в статье «Назад к Фихте». Затем, с чувством удовлетворения самим собою, как человек, который мог сделать крупную ошибку и не сделал ее, Клим Иванович Самгин подумал:

«Я никогда, ничего не проповедовал, у меня нет необходимости изменять мои воззрения».

А Иван Дронов снова был охвачен судорогами поисков «нового слова», он трепал гранки и торопливо вычитывал:

— «Западный буржуа беднее русского интеллигента нравственными идеями, но зато его идеи во многом превышают его эмоциональный строй, а главное — он живет сравнительно цельной духовной жизнью». Ну, это уже какая-то поповщинка! «Свойства русского национального духа указуют на то, что мы призваны творить в области религиозной философии». Вот те раз! Это уже — слепота. Должно быть, Бердяев придумал.

Он глотал вино, грыз бисквиты и все шаркал ногами, точно полотер, и восхищался.

— Эта книжечка — наскандалит! Выдержит изданий пяток, а то и больше. Ах, черти…

Тут восхищение его вдруг погасло, поглаживая гранки ладонью, он сокрушенно вздохнул.

— Проморгал книжечку. Два сборника мы с Вар<юхой> поймали, а этот — ускользнул! Видал «Очерки по философии марксизма»? и сборник статей Мартова, Потресова, Маслова?

Закрыв правый глаз, он растянул губы широкой улыбкой, обнаружил два золотых клыка в нижней челюсти и один над ними.

— Всё очерчивают Маркса. Очертить — значит ограничить, а? Только Ленин прет против рожна, упрямый, как протопоп Аввакум.

Наконец, сунув гранки за пазуху, он снова спросил:

— Ну, так что же ты скажешь? Событие, брат! Знаешь, Азеф и это, — он ткнул себя пальцем в грудь, — это ударчики мордогубительные, верно?

Он ждал.

Нужно было сказать что-то.

— Я уже отметил излишнюю, полемическую заостренность этой книги, — докторально начал Самгин, шагая по полу, как по жердочке над ручьем. — Она еще раз возобновляет старинный спор идеалистов и… реалистов. Люди устают от реализма. И — вот…

Он помахал рукой в воздухе, разгоняя дым, искоса следя, как Дронов сосет вино и тоже неотрывно провожает его косыми глазами. Опустив голову, Самгин продолжал:

— Да. В таких серьезных случаях нужно особенно твердо помнить, что слова имеют коварное свойство искажать мысль. Слово приобретает слишком самостоятельное значение, — ты, вероятно, заметил, что последнее время весьма много говорят и пишут о логосе и даже явилась какая-то секта словобожцев. Вообще слово завоевало так много места, что филология уже как будто не подчиняется логике, а только фонетике… Например: наши декаденты, Бальмонт, Белый…

— Что ты, брат, дребедень бормочешь? — удивленно спросил Дронов. — Точно я — гимназист или — того хуже — человек, с которым следует конспирировать. Не хочешь говорить, так и скажи — не хочу.

Говорил он трезво, но, встав на ноги, — покачнулся, схватил одной рукою край стола, другой — спинку стула. После случая с Бердниковым Самгин боялся пьяных.

— Подожди, — сказал он мягко, как только мог. — Я хотел напомнить тебе, что Плеханов доказывал возможность для социал-демократии ехать из Петербурга в Москву вместе с буржуазией до Твери…

— На кой чорт надо помнить это? — Он выхватил из-[за] пазухи гранки и высоко взмахнул ими. — Здесь идет речь не о временном союзе с буржуазией, а о полной, безоговорочной сдаче ей всех позиций критически мыслящей разночинной интеллигенции, — вот как понимает эту штуку рабочий, приятель мой, эсдек, большевичок… Дунаев. Правильно понимает. «Буржуазия, говорит, свое взяла, у нее конституция есть, а — что выиграла демократия, служилая интеллигенция? Место приказчика у купцов?» Это — «соль земли» в приказчики?

Дронов кричал, топал ногой, как лошадь, размахивал гранками. Самгину уже трудно было понять связи его слов, смысл крика. Клим Иванович стоял по другую сторону стола и молчал, ожидая худшего. Но Дронов вдруг выкрикнул:

— Я буду говорить прямо, хотя намерен говорить о себе, — он тотчас замолчал, как бы прикусив язык, мигнул и нормальным своим голосом, с удивлением произнес:

— Здорово сказал, а? Ч-чорт! Для эпиграфа сказал, ей-богу! Есть в натурке моей кое-какой перец, а? Так вот — о себе. Я — не буржуй, не социалист. Я — рядовой армии людей свободных профессий. Человек, который должен бороться за себя, не имея никаких средств к жизни, не имея покровителя и ничего — кроме желания жить прилично. Это желание — основа всех талантов и действий, как награждаемых славой, так и наказуемых законами. Я должен быть гибок, изворотлив и так далее. С кем я? С пролетариатом физического труда? Не гожусь, не способен на подвиги самозабвения. Я люблю вкусно есть, много пить, люблю разных баб. С хозяевами, с буржуями? Нет, это мне противно. Я умнее любого буржуя. Я не умею и не хочу притворяться миленьким. — Расправив плечи, выпятив живот, он добавил:

— И маленьким.

Захлебнулся последним словом, кашлянул, быстро выпил стакан вина, взглянул на часы и горячо предложил:

— Клим Иванович, давай, брат, газету издавать! Просто и чисто демократическую, безо всяких эдаких загогулин от философии, однако — с Марксом, но — без Ленина, понимаешь, а? Орган интеллигентного пролетариата, — понимаешь? Будем морды бить направо, налево, а?

— Нужны деньги, — осторожно сказал Самгин.

— Святое слово! Именно — нужны деньги.

— И — большие.

— Божественно! Именно — большие. Ну, я уже опоздал, ах, чорт! Надо отвезти гранки. Я ночую у тебя — ладно?

— Пожалуйста, — сказал Самгин. В прихожей, забивая ноги в тяжелые кожаные ботики, Дронов вдруг захохотал.

— Нет, сообрази — куда они зовут? Помнишь гимназию, молитву — как это? «Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу».

Размахивая шапкой, он произнес тоном мальчишки, который дразнит товарища:

— А я — человек без рода, без племени, и пользы никому, кроме себя, не желаю. С тем меня и возьмите...

Тихонько свистнул сквозь зубы и ушел. Клим Иванович Самгин встряхнулся, точно пудель, обрызганный водою дождевой лужи, перешагнул из сумрака прихожей в тепло и свет гостиной, остановился и, вынимая папиросу, подвел итог:

«Негодяй. Пошляк и жулик. Газета — вот все, что он мог выдумать. Была такая ничтожная газета «Копейка». Но он очень хорошо характеризовал себя, сказав: «Буду говорить прямо, хотя намерен говорить о себе».

Клим Иванович щелкнул пальцами, ощущая, что вместе с Дроновым исчезло все, что держало в напряжении самообороны. Являлось иное настроение, оно не искало слов, слова являлись очень легко и самовольно, хотя беспорядочно.

«Семь епископов отлучили Льва Толстого от церкви. Семеро интеллигентов осудили, отвергают традицию русской интеллигенции — ее критическое отношение к действительности, традицию интеллекта, его движущую силу».

Тут почему-то вспомнилась поговорка: «Один — с сошкой, семеро — с ложкой», сказка «О семи Семионах, родных братьях». Цифра семь разбудила десятки мелких мыслей, они надоедали, как мухи, и потребовалось значительное усилие, чтоб вернуться к «Вехам».

«Заменяют одну систему фраз другой, когда-то уже пытавшейся ограничить свободу моей мысли. Хотят, чтоб я верил, когда я хочу знать. Хотят отнять у меня право сомневаться».

Он бесшумно шагал по толстому ковру, голова его мелькала в старинном круглом зеркале, которое бронзовые амуры поддерживали на стене. Клим Иванович Самгин остановился пред зеркалом, внимательно рассматривая свое лицо. Это стало его привычкой — напоминать себе лицо свое в те минуты, когда являлись важные, решающие мысли. Он знал, что это лицо — сухое, мимически бедное, малоподвижное, каковы почти всегда лица близоруких, но он все чаще видел его внушительным лицом свободного мыслителя, который сосредоточен на изучении своей духовной жизни, на работе своего я. Он снял очки и, почти касаясь лбом стекла, погладил пальцем седоватые волосы висков, покрутил бородку, показал себе желтые мелкие зубы, закопченные дымом табака.

«Их мысли знакомы мне, возможно, что они мною рождены и посеяны», — не без гордости подумал Клим Иванович. Но тут он вспомнил «Переписку» Гоголя, политическую философию Константина Леонтьева, «Дневники» Достоевского, «Московский сборник» К. Победоносцева, брошюрку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером» и еще многое. В эту минуту явилась необходимость посетить уборную, она помещалась в конце коридора, за кухней, рядом с комнатой для прислуги. Самгин поискал в столовой свечу, не нашел и

отправился, держа коробку спичек в руках. В коридоре кто-то возился, сопел, и это было так неожиданно, что Самгин, уронив спички, крикнул:

— Кто это?

Ему ответили вполголоса, но густо:

— Это — я, Клим Иваныч, я, Миколай. Вспыхнула спичка, осветив щетинистое лицо, темную руку с жестяной лампой в ней.

— Лампу заправляю. Водопроводчики разбили стеклянную-то.

— Ах, это — вы? Я вас не узнал.

— Бороду обрил.

Сидя в уборной, Клим Иванович Самгин тревожно сообразил: «Свидетель безумных дней и невольного моего участия в безумии. Полиция возлагает на дворников обязанности шпионов, — наивно думать, что этот — исключение из правила. Он убил солдата. Меня он может шантажировать».

Когда Самгин вышел в коридор — на стене горела маленькая лампа, а Николай подметал веником белый сор на полу, он согнулся поперек коридора и заставил домохозяина остановиться.

— Снова в городе? — спросил Самгин.

— Да, вот — вернулся. В деревне, Клим Иваныч, тяжело стало жить, да и боязно.

— Почему же?

— Начальство очень обозлилось за пятый год. Травят мужиков. Брата двоюродного моего в каторгу на четыре года погнали, а шабра — умнейший, спокойный был мужик, — так его и вовсе повесили. С баб и то взыскивают, за старое-то, да! Разыгралось начальство прямо… до бесстыдства! А помещики-то новые, отрубники, хуторяне действуют вровень с полицией. Беднота говорит про них: «бывало — сами водили нас усадьбы жечь, господ сводить с земли, а теперь вот…»

В коридоре стоял душный запах керосина, известковой пыли, тяжелый голос дворника как бы сгущал духоту. Чтоб пройти в комнату, нужно, чтоб Николай посторонился, — он стоял посредине коридора, держа в руке веник, а пальцами другой безуспешно пытаясь застегнуть ворот рубахи. Лампа, возвышаясь над его плечом, освещала половину угловатого, костлявого лица. Без бороды лицо утратило прежнее деревянное равнодушие, на щеках и подбородке шевелились рыжеватые иглы, из-под нахмуренных бровей требовательно смотрели серые глаза, говорил он вполголоса, но как будто упрекая и готовясь кричать.

«Убийца», — напомнил себе Самгин.

— Живут мужики, как завоеванные, как в плену, ей-богу! Помоложе которые — уходят, кто куда, хоша теперь пачпорта трудно дают. А которые многосемейные да лошаденку имеют, ну, они стараются удержаться на своем горе.

«Возможно, что он считает меня виновником чего-то», — соображал Самгин.

— Фабричные, мастеровые, кто наделы сохранил, теперь продают их, — ломают деревню, как гнилое дерево! Продают землю как-то зря. Сосед мой, ткач, продал полторы десятины за четыреста восемьдесят целковых, сына обездолил, парень на крахмальный завод нанялся. А печник из села, против нас, за одну десятину взял четыреста…

— Вы давно здесь? — спросил Самгин.

— С весны. Варвара Кирилловна, спасибо ее душе, сразу взяли меня. Здесь,

конечно, нет-нет да и услышишь человечье слово, здесь люди памятливы, пятый год не забывают. Боялся я, соседи не вспомнили бы чего-нибудь про меня, да — нет, ничего будто. А полиция, в этом квартале, вся новая, из Петербурга. Она, конечно, требует сведениев от нас, дворников, да — ведать-то нечего, обыватель тихо живет. Акушеркин сын недавно явился, студент, помните? Девять месяцев сидел, да сослали, ну — мать отхлопотала. Недавно Лаврушку на улице встретил, одет жуликовато, в галстуке; сказал, что учится где-то. Похоже, что врет.

Понизив голос, Николай спросил:

— А не знаете, товарищ Яков — цел?

— Не знаю, — решительно ответил Самгин и, шагнув вперед, заставил Николая прижаться к стене.

«Или — шпион, или — считает меня… своим человеком», — соображал Клим Иванович, закурив папиросу, путешествуя по гостиной, меланхолически рассматривая вещи. Вещей было много, точно в магазине. На стенах приятно пестрели небольшие яркие этюды маслом, с одного из них смотрело, прищурясь, толстогубое бритое лицо, смотрело, как бы спрашивая о чем-то. На изящной полочке стояло десятка полтора красиво переплетенных в сафьян книжек: Миропольского, Коневского, стихи Блока, Сологуба, Бальмонта, Брюсова, Гиппиус, Вилье де-Лиль Адан, Бодлер, Верлен, Рихард Демель, «Афоризмы» Шопенгауэра.

«Да, — ответил Клим Иванович, — в Москве я не могу жить».

И — вздохнул, не без досады, — дом казался ему все более уютным, можно бы неплохо устроиться. Над широкой тахтой — копия с картины Франца Штука «Грех» — голая женщина в объятиях змеи, — Самгин усмехнулся, находя, что эта устрашающая картина вполне уместна над тахтой, забросанной множеством мягких подушек. Вспомнил чью-то фразу: «Женщины понимают только детали». Затем он подумал, что Варвара довольно широко, но не очень удачно тратила деньги на украшение своего жилища. Слишком много мелочи, вазочек, фигурок из фарфора, коробочек. Вот и традиционные семь слонов из кости, из черного дерева, один — из топаза. Самгин сел к маленькому столику с кривыми позолоченными ножками, взял в руки маленького топазового слона и вспомнил о семерке авторов сборника «Вехи».

«Конечно, эта смелая книга вызовет шум. Удар в колокол среди ночи. Социалисты будут яростно возражать. И не одни социалисты. «Свист и звон со всех сторон». На поверхности жизни вздуется еще десяток пузырей».

Этот ход мысли раздражал его, и, крепко поставив слона на его место к шестерым, Самгин снова начал путешествовать по комнате. Знакомым гостем явилось более острое, чем всегда, чувство протеста: почему он не может создать себе крупное имя?

«Прожито полжизни. Почему я не взялся за дело освещения в печати убийства Марины? Это, наверное, создало бы такой же шум, как полтавское дело братьев Критских, пензенское — генеральши Болдыревой, дело графа Роникер в Варшаве… «Таинственные преступления — острая приправа пресной жизни обывателей», — вспомнил он саркастическую фразу какой-то газеты.

«Газета? Возможно, что Дронов прав — нужна газета. Независимая газета. У нас еще нет демократии, которая понимала бы свое значение как значение класса самостоятельного, как средоточие сил науки, искусства, — класса, независимого от насилия капитала и пролетариата».

Клим Иванович Самгин присел на ручку кресла и почти вслух произнес:

«Вот моя идея!»

В столовой, при свете лампы, бесшумно, как по воздуху, двигалась Фелицата.

— Чай готов, — тихо сказала она. Самгин промолчал, прислушиваясь, как в нем зреет незнакомое, тихо и приятно волнующее чувство.

«Идея человечества так же наивна, как идея божества. Пыльников — болван. Никто не убедит меня, что мир делится на рабов и господ. Господа рождаются в среде рабов. Рабы враждуют между собой так же, как и владыки. Миром двигают силы ума, таланта».

В этот час мысли Клима Самгина летели необычно быстро, капризно, даже как будто бессвязно, от каждой оставалось и укреплялось сознание, что Клим Иванович Самгин значительно оригинальнее и умнее многих людей, в их числе и авторов сборника «Вехи».

Вдруг выскользнула посторонняя мысль:

«А может быть, Безбедова тоже убили, чтоб он молчал о том, что знает? Может быть, Тагильский затем и приезжал, чтобы устранить Безбедова? Но если мотив убийства — месть Безбедова, тогда дело теряет таинственность и сенсацию. Если б можно было доказать, что Безбедов действовал, подчиняясь чужой воле…»

«Нет, нужно отказаться от мысли возбудить это дело, — решил он. — Нужно попробовать написать рассказ. В духе Эдгара По. Или — Конан-Дойля».

Приятно волнующее чувство не исчезало, а как будто становилось все теплее, помогая думать смелее, живее, чем всегда. Самгин перешел в столовую, выпил стакан чаю, сочиняя план рассказа, который можно бы печатать в новой газете. Дронов не являлся. И, ложась спать, Клим Иванович удовлетворенно подумал, что истекший день его жизни чрезвычайно значителен.

«Это праздничный день, когда человек находит сам себя», — сказал он себе, закурив на сон грядущий последнюю папиросу.

Дронов явился после полудня, держа ежовую голову свою так неподвижно, точно боялся, что сейчас у него переломятся шейные позвонки. Суетливые глазки его были едва заметны на опухшем лице красно-бурого цвета, лиловые уши торчали смешно и неприглядно.

— Башка трещит, — хрипло сказал он и хозяйски грубовато зарычал:

— Цапля, вино какое-нибудь — есть? Давай, давай! Был вчера на именинах у одного жулика, пили до шести часов утра. Сорок рублей в карты проиграл — обида!

Но, выпив сразу два стакана вина, он заговорил менее хрипло и деловито. Цены на землю в Москве сильно растут, в центре города квадратная сажень доходит до трех тысяч. Потомок славянофилов, один из «отцов города» Хомяков, за ничтожный кусок незастроенной земли, необходимой городу для расширения панели, потребовал 120 или даже 200 тысяч, а когда ему не дали этих денег, загородил кусок железной решеткой, еще более стеснив движение.

— Вот тебе и отец города! — с восторгом и поучительно вскричал Дронов, потирая руки. — В этом участке таких цен, конечно, нет, — продолжал он. — Дом стоит гроши, стар, мал, бездоходен. За землю можно получить тысяч двадцать пять, тридцать. Покупатель — есть, продажу можно совершить в неделю. Дело делать надобно быстро, как из пистолета, — закончил Дронов и, выпив еще стакан вина, спросил: — Ну, как?

— Я решил продать.

— Правильно. Интеллигент-домовладелец — это уже не интеллигент, а — домовладелец, стало быть — ^ не нашего поля ягода.

Самгин нахмурил брови, желая сказать нечто, но — не успел придумать, что сказать и как? А Дронов продолжал оживленно, деловито и все горячее:

— Значит, сейчас позвоним и явится покупатель, нотариус Животовский, спекулянт, держи ухо остро! Но, сначала, Клим Иванович, на какого чорта тебе тысячи денег? Не надобно тебе денег, тебе газета нужна или — книгоиздательство. На газету — мало десятков тысяч, надо сотни полторы, две. Предлагаю: давай мне эти двадцать тысяч, и я тебе обещаю через год взогнать их до двухсот. Обещаю, но гарантировать — не могу, нечем. Векселя могу дать, а — чего они стоят?

— В карты играть будешь? — спросил Самгин, усмехаясь.

— На бирже будем играть, ты и я. У меня верная рука есть, человек неограниченных возможностей, будущий каторжник или — самоубийца. Он — честный, но сумасшедший. Он поможет нам сделать деньги.

Дронов встал, держась рукой за кромку стола. Раскалился он так, что коротенькие ноги дрожали, дрожала и рука, заставляя звенеть пустой стакан о бутылку. Самгин, отодвинув стакан, прекратил тонкий звон стекла.

— Деньги — будут. И будет газета, — говорил Дронов. Его лицо раздувалось, точно пузырь, краснело, глаза ослепленно мигали, точно он смотрел на огонь слишком яркий.

— Замечательная газета. Небывалая. Привлечем все светила науки, литературы, Леонида Андреева, объявим войну реалистам «Знания», — к чорту реализм! И — политику вместе с ним. Сто лет политиканили — устали, надоело. Все хотят романтики, лирики, метафизики, углубления в недра тайн, в кишки дьявола. Властители умов — Достоевский, Андреев, Конан-Дойль.

Самгин тихонько вздохнул, наполняя стакан белым вином, и подумал:

«Сколько в нем энергии».

А Дронов, поспешно схватив стакан, жадно выхлебнул из него половину, и толстые, мокрые губы его снова задрожали, выгоняя слова:

— Мы дадим новости науки, ее фантастику, дадим литературные споры, скандалы, поставим уголовную хронику, да так поставим, как европейцам и не снилось. Мы покажем преступление по-новому, возьмем его из глубины…

Держа стакан у подбородка, он замахал правой рукой, хватая воздух пальцами, сжимая и разжимая кулак.

— Культура и преступность — понимаешь?

— Это будет политика, — вставил Самгин.

— Нет! Это будет обоснование права мести, — сказал Дронов и даже притопнул ногой, но тотчас же как будто испугался чего-то, несколько секунд молчал, приоткрыв рот, мигая, затем торопливо и невнятно забормотал:

— Ну, это — потом! Это — программа. Что ты скажешь, а?

Протирая очки платком, Самгин не торопился ответить. Слово о мести выскочило так неожиданно и так резко вне связи со всем, что говорил Дронов, что явились вопросы: кто мстит, кому, за что?

«Он типичный авантюрист, энергичен, циник, смел. Его смелость — это, конечно, беспринципность, аморализм», — определял Самгин, предостерегая себя, — предостерегая потому, что Дронов уже чем-то нравился ему.

— В общем — это интересно. Но я думаю, что в стране, где существует представительное правление, газета без политики невозможна.

Дронов сел и удивленно повторил:

— Представительное...

Но тотчас же, тряхнув головой, продолжал:

— В нашей воле дать политику парламентариев в форме объективного рассказа или под соусом критики. Соус, конечно, будет политикой. Мораль — тоже. Но о том, что литераторы бьют друг друга, травят кошек собаками, тоже можно говорить без морали. Предоставим читателю забавляться ею.

После этого Дронов напористо спросил:

— Ты признал, что затея дельная, интересная, а — дальше?

И грубо добавил:

— Согласен дать деньги?

— Я должен подумать.

— Должен? Кому? Ведь не можешь же ты жалеть случайно полученные деньги?

«Какой нахал! Хам», — подумал Самгин, прикрыв глаза очками, — а Иван Дронов ожесточенно кричал:

— Вехисты — правы: интеллигент не любит денег, стыдится быть богатым, это, брат, традиция!

Он говорил еще долго и кончил советом Самгину: отобрать и свезти в склад вещи, которые он оставляет за собой, оценить все, что намерен продать, напечатать в газетах объявление о продаже или устроить аукцион. Ушел он, оставив домохозяина в состоянии приятной взволнованности, разбудив в нем желание мечтать. И первый раз в жизни Клим Иванович Самгин представил себя редактором большой газеты, человеком, который изучает, редактирует и корректирует все течения, все изгибы, всю игру мысли, современной ему. К его вескому слову прислушиваются политики всех партий, просветители, озабоченные культурным развитием низших слоев народа, литераторы, запутавшиеся в противоречиях критиков, критики, поверхностно знакомые с философией и плохо знакомые с действительной жизнью. Он — один из диктаторов интеллектуальной жизни страны. Он наиболее крупный и честный диктатор, ибо не связан с какой-то определенной программой, обладает широчайшим опытом и, в сущности, не имеет личных целей. Не честолюбив. Не жаден на славу, равнодушен к деньгам. Он действительно независимый человек.

«Практическую, хозяйственную часть газеты можно поручить Дронову. Да, Дронов — циник, он хамоват, груб, но его энергия — ценнейшее качество. В нем есть нечто симпатичное, какая-то черта, сродная мне. Она еще примитивна, ее следует развить. Я буду руководителем его, я сделаю его человеком, который будет дополнять меня. Нужно несколько изменить мое отношение к нему».

Самгин напомнил себе Ивана Дронова, каким знал его еще в детстве, и решил:

«Да, он, в сущности, оригинальный человек».

На другой день утром Дронов явился с покупателем. Это был маленький человечек, неопределенного возраста, лысоватый, жиденькие серые волосы зачесаны с висков на макушку, на тяжелом, красноватом носу дымчатое пенснэ, за стеклами его мутноватые, печальные глаза, личико густо расписано красными жилками, украшено острой французской бородкой и усами, воинственно закрученными в стрелку. Одет был в темносерый мохнатый костюм, очень ловко сокращавший действительные размеры его животика, круглого, точно арбуз. Он казался мягким, как плюшевая кукла медведя или обезьяны, сделанная из различных кусков, из остатков.

— Козьма Иванов Семидубов, — сказал он, крепко сжимая горячими пальцами руку Самгина. Самгин встречал людей такого облика, и почти всегда это были люди типа Дронова или Тагильского, очень подвижные, даже суетливые, веселые. Семидубов катился по земле не спеша, осторожно» говорил вполголоса, усталым тенорком, часто повторяя одно и то же слово.

— Дом — тогда дом, когда это доходный дом, — сообщил он, шлепая по стене кожаной, на меху, перчаткой. — Такие вот дома — несчастье Москвы, — продолжал он, вздохнув, поскрипывая снегом, растирая его подошвой огромного валяного ботинка. — Расползлись они по всей Москве, как плесень, из-за них трамваи, тысячи извозчиков, фонарей и вообще — огромнейшие городу Москве расходы.

Голос его звучал все жалобнее, ласковей.

— Против таких вот домов хоть Наполеона приглашай.

И снова вздохнул;

— Мелкой жизнью живем, государи мои, мелкой!

— Правильно, — одобрил Дронов. Расхаживая по двору, измеряя его шагами, Семидубов продолжал:

— Англичане говорят «мой дом — моя крепость», так англичане строят из камня, оттого и характер у них твердый. А из дерева — какая же крепость? Вы, государи мои, как оцениваете это поместье?

— Тридцать пять тысяч, — быстро сказал Дронов.

— Несерьезная цена. Деньги дороже стоят.

— А ваша цена?

— Половинку тридцати.

— Смеетесь.

— Тогда — до свидания, — грустно сказал Семидубов и пошел к воротам. Дронов сердито крякнул, прошипел! «Ж-жулик!» — и, отправился вслед за ним, а Самгин остался среди двора, чувствуя, что эта краткая сцена разбудила в нем какие-то неопределенные сомнения.

Вечером эти сомнения приняли характер вполне реальный, характер обидного, незаслуженного удара. Сидя за столом, Самгин составлял план повести о деле Марины, когда пришел Дронов, сбросил пальто на руки длинной Фелицаты, быстро прошел в столовую, забыв снять шапку, прислонился спиной к изразцам печки и спросил, угрюмо покашливая:

— Ты знал, что на это имущество существует закладная в двадцать тысяч? Не знал? Так — поздравляю! — существует. — Он снял шапку с головы, надел ее на колено и произнес удивленно, с негодованием: — Когда это Варвара ухитрилась заложить?

— Она была легкомысленна, — неожиданно для себя сказал Самгин, услышал, что сказалось слишком сердито, и напомнил себе, что у него нет права возмущаться действиями Варвары. Тогда он перенес возмущение на Дронова.

«Он говорит о Варваре, как о своей любовнице». А Дронов, поглаживая шапку, пробормотал:

— Замечательно ловко этот бык Стратонов женщин грабил.

Самгин сорвал очки с носа, спрашивая:

— Ты хочешь сказать…?

— Я уже сказал. Теперь он, как видишь, законодательствует, отечество любит. И уже не за пазухи, не под юбки руку запускает, а — в карман отечества: занят организацией банков, пассажирское пароходство на Волге объединяет, участвует в комиссии водного строительства. Н-да, чорт… Деятель!

Говорил Дронов, глядя в угол комнаты, косенькие глазки его искали там чего-то, он как будто дремал.

— Все-таки это полезное учреждение — Дума, то есть конституция, — отлично обнаруживает подлинные намерения и дела наиболее солидных граждан. А вот… не солидные, как мы с тобой…

И, прервав ворчливую речь, он заговорил деловито:

если земля и дом Варвары заложены за двадцать тысяч, значит, они стоят, наверное, вдвое дороже. Это надобно помнить. Цены на землю быстро растут. Он стал развивать какой-то сложный план залога под вторую закладную, но Самгин слушал его невнимательно, думая, как легко и катастрофически обидно разрушились его вчерашние мечты. Может быть, Иван жульничает вместе с этим Семидубовым? Эта догадка не могла утешить, а фамилия покупателя напомнила:

«Снова — семь».

Дронов посидел еще минут пять и вдруг исчез, даже не простясь.

«Дом надо продать», — напомнил себе Клим Иванович и, закрыв глаза, стал тихонько, сквозь зубы насвистывать романс «Я не сержусь», думая о Варваре и Стратонове:

«Свинство».

<Дронов> возился с продажей дома больше месяца, за это время Самгин успел утвердиться в правах наследства, ввестись во владение, закончить план повести и даже продать часть вещей, не нужных ему, костюмы Варвары, мебель. Дронов даже похудел. Почти каждый день он являлся пред Самгиным полупьяный, раздраженный, озлобленный, пил белое вино и рассказывал диковинные факты жульничества.

— Состязание жуликов. Не зря, брат, московские жулики славятся. Как Варвару нагрели с этой идиотской закладной, чорт их души возьми! Не брезглив я, не злой человек, а все-таки, будь моя власть, я бы половину московских жителей в Сибирь перевез, в Якутку, в Камчатку, вообще — в глухие места. Пускай там, сукины дети, жрут друг друга — оттуда в Европы никакой вопль не долетит.

Самгин слушал эту пьяную болтовню почти равнодушно. Он был уверен, что возмущение Ивана жуликами имеет целью подготовить его к примирению с жульничеством самого Дронова. Он очень удивился, когда Иван пришел красный, потный, встал пред ним и торжественно объявил:

— Сделано. За тридцать две. Имеешь двенадцать шестьсот — наличными и два векселя по три на полгода и на год. С мясом вырвал.

Он сел в кресло, вытирая платком потное лицо, отдуваясь.

— Жарко. Вот так март. Продал держателю закладной. Можно бы взять тысяч сорок и даже с половиной, но, вот, посмотри-ка копию закладной, какие в ней узелки завязаны.

Он бросил на стол какую-то бумагу, но обрадованный Самгин, поддев ее разрезным ножом, подал ему.

— Не надо. Не хочу.

Дронов прищурился, посмотрел на него и пробормотал:

— Жест — ничего, добропорядочный. Ну, ладно. А за эту возню ты мне дашь тысячу?

— Возьми хоть две.

— Вот как мы! — усмехнулся Дронов. — Мне, чудак, и тысячи — много, это я по дружбе хватил — тысячу. Значит — получим деньги и — домой? Я соскучился по Тоське. Ты попроси ее квартиру тебе найти и устроить, она любит гнезда вить. Неудачно вьет.

Он дважды чихнул и спросил сам себя!

— Простудился, что ли?

Чихая, он, видимо, спугнул свое оживление, лицо его скучно осунулось, крепко вытирая широкий нос, крякнул, затем продолжал, размышляя, оценивая:

— Очень помог мне Семидубов. Лег в больницу, аппендицит у него. Лежит и философствует в ожидании операции.

Философия Семидубова не интересовала Самгина, но, из любезности, он спросил, кто такой Семидубов.

Дронов вдруг стер ладонью скуку с лица, широко улыбаясь, сверкнул золотом клыков.

— Он — интересный. Как это у вас называется? Кандидат на судебные должности, что ли? Кончив университет, он тот же год сел на скамью подсудимых по обвинению в продаже водопроводных труб. Лежали на Театральной площади трубы, он видит, что лежат они бесполезно, ну и продал кому-то, кто нуждался в трубах. Замечательный. Посадили его. на полгода, что ли. Вышел — стал в карты играть. Играет счастливо, но не шулер. Я познакомился с ним года два тому назад, проиграл ему тысячу триста, все, что было. Конечно, расстроился. А он говорит: «Возьмите рублей пятьсот у меня, продолжим». — «Мне, говорю, платить нечем». — «А — зачем платить? Я играю для удовольствия. Человек я холостой, деньги меня любят, третьего дня в сорок две минуты семнадцать тысяч выиграл». Я, знаешь, взял. Отыгрался, даже шестьдесят пять рублей выиграл. Поблагодарил и теперь играю с ним только в преферанс да в винт по маленькой.

Рассказал Дронов с удовольствием, почти не угашая улыбку на скуластом лице, и Самгин должен был отметить, что эта улыбка делает топорное лицо нянькина внука мягче, приятней.

— Пестрая мы нация, Клим Иванович, чудаковатая нация, — продолжал Дронов, помолчав, потише, задумчивее, сняв шапку с колена, положил ее на стол и, задев лампу, едва не опрокинул ее. — Удивительные люди водятся у нас, и много их, и всем некуда себя сунуть, В революцию? Вот прошумела она, усмехнулась, да — и нет ее. Ты скажешь — будет! Не спорю. По всем видимостям — будет. Но мужичок очень напугал. Организаторов революции частью истребили, частью — припрятали в каторгу, а многие — сами спрятались. Он посмотрел на Самгина и — докончил:

— Впрочем — что я тебе говорю? Сам все знаешь. Самгин молча наклонил голову, а Иван, помолчав. сказал, как бы извиняясь:

— Конечно, Семидубов этот — фигура мутная. Чорт его знает — зачем нужны такие? Иной раз я себя спрашиваю: не похож ли на него?

Клим Иванович Самгин внутренне и брезгливо поморщился:

«Кажется — еще одна исповедь».

Но Дронов сказал:

— Меня Тоська научила думать о самом себе правдиво, без прикрас. И предложил:

— Поедем к «Яру»? Самгин отказался.

— Ну, в Художественный, сегодня «Дно»? Тоже не хочешь? А мне нравится эта наивнейшая штука. Барон там очень намекающий: рядился-рядился, а ни к чему не пригодился. Ну, я пошел.

Уходя, он неодобрительно отметил:

— Куришь ты — на страх врагам. Как головня дымишься.

Клим Иванович Самгин, поправив очки, взглянул на гостя подозрительно и даже озлобленно, а когда Дронов исчез — поставил его рядом с Лютовым, Тагильским.

«Такой же. Изломанный, двоедушный, хитрый. Бесчестный. Боится быть понятым и притворяется искренним. Метит в друзья. Но способен быть только слугой».

Покончив на этом с Дроновым, он вызвал мечту вчерашнего дня. Это легко было сделать — пред ним на столе лежал листок почтовой бумаги, и на нем, мелким, но четким почерком было написано:

«Заострить отношение Безбедова к Марине, сделать его менее идиотом, придав настроению вульгарную революционность. Развернуть его роман. Любимая им — хитрая, холодная к нему девчонка, он интересен ей как единственный наследник богатой тетки. Показать радение хлыстов?»

Пред ним встала дородная, обнаженная женщина, и еще раз Самгин сердито подумал, что, наверное, она хотела, чтоб он взял ее. В любовнице Дронова есть сходство с Мариной — такая же стройная, здоровая.

«Научила думать о самом себе правдиво». Что это значит? О себе человек всегда правдиво думает».

Покуривая, он снова стал читать план и нашел, что — нет, нельзя давать слишком много улик против Безбедова, но необходимо, чтоб он знал какие-то Маринины тайны, этим знанием и будет оправдано убийство Безбедова как свидетеля, способного указать людей, которым Марина мешала жить.

Уже после Парижа он, незаметно для себя, начал вспоминать о Марине враждебно, и враждебность постепенно становилась сильнее.

«Что внесла эта женщина в мою жизнь?» — нередко спрашивал он и находил, что она подорвала, пошатнула его представление о самом себе. Ее таинственная смерть не сделала его участником громкого уголовного процесса, это только потому, что умер Безбедов. Участие на суде в качестве свидетеля могло бы кончиться для него крайне печально. Обвинитель воспользовался бы его прошлым, а там — арест, тюрьма, участие в Московском восстании, конечно, известное департаменту полиции. Конечно, прокурор воспользовался бы случаем включить в уголовное дело интеллигента-политика, — это диктуется реакцией и общим озлоблением против левых. Думая об этом, Клим Иванович Самгин ощущал нервный холодок где-то в спине и жадно глотал одуряющий дым крепкого табака.

«Да, эта бабища внесла в мою жизнь какую-то темную путаницу. Более того — едва не погубила меня. Вот если б можно было ввести Бердникова… Да, написать повесть об этом убийстве — интересное дело. Писать надобно очень тонко, обдуманно, вот в такой тишине, в такой уютной, теплой комнате, среди вещей, приятных для глаз».

Петербург встретил его не очень ласково, в мутноватом небе нерешительно сияло белесое солнце, капризно и сердито порывами дул свежий ветер с моря, накануне или ночью выпал обильный дождь, по сырым улицам спешно шагали жители, одетые тепло, как осенью, от мостовой исходил запах гниющего дерева, дома были

величественно скучны. Тон газеты «Новое время» не совпадал с погодой, передовая по-весеннему ликовала, сообщая о росте вкладов в сберегательные кассы, далее рассказывалось, что количество деревенских домохозяев, укрепивших землю в собственность, достигло почти шестисот тысяч. Самгин, прочитав это, побарабанил по столу пальцами, посвистал.

«Надобно искать квартиру».

Пред вечером он пошел к Дронову и там, раздеваясь в прихожей, услышал голос чахоточного Юрина:

— Персы «низложили» шаха, турки султана, в Германии основан Союз Ганзы, союз фабрикантов для борьбы против «Союза сельских хозяев», правительство немцев отклонило предложение Англии о сокращении морских вооружений, среди нашей буржуазии заметен рост милитаризма… — ты думаешь, между этими фактами нет связи? Есть… и — явная…

— Подожди, кто-то пришел. О, это Клим Иванович! Самгину восклицание Таисьи показалось радостным, рукопожатие ее особенно крепким, Юрин, как всегда, полулежал в кресле, вытянув ноги под стол, опираясь затылком в спинку кресла, глядя в потолок, Таисья на стуле, рядом с ним, пред нею тетрадь, в ее руке — карандаш. Он протянул Самгину бессильную руку, не взглянув на него.

— Это хорошо, что вы пришли, будем чай пить, расскажите про Москву. А то Евгений все учит меня.

— Учение — свет, — не очень остроумно напомнил Самгин.

— Ему вредно говорить…

— Мне — все вредно, — откликнулся Юрин, двигая ногами, и все-таки были слышны его короткие, хриплые вздохи.

— Куда ты? — тревожно спросила женщина, он ответил:

— Играть.

Таисья помогла ему <встать> на ноги, и осторожно, как слепой, он ушел в гостиную.

— Умирает — видите? — шопотом сказала женщина. Самгин молча пожал плечами и сообразил! «Она была рада, что я прервал его поучение».

Мелькнули неоформленно, исчезли слова!

«Марксизм… Смерть…»

В гостиной фисгармония медленно и неладно начинала выпевать мелодию какой-то знакомой песни, Тося, тихонько отбивая такт карандашом по тетради, спросила вполголоса:

— Хотите, чтоб я вам помогла найти квартиру? — Стена за окном осветилась солнцем и как будто отодвинулась подальше.

— Можно бы даже сейчас сходить, тут, недалеко, в нашей улице, но…

Она указала карандашей в сторону гостиной, там песня не удалась и ее сменил чей-то хорал.

«Да, наверное, она очень легко доступна. И даже развращена», — подумал Самгин, присматриваясь к лицу и бюсту женщины.

— О чем вы думаете?

— Слушаю.

— Он всегда «грает скучное.

— Сколько вам лет? Это — нескромный вопрос?

— Почему — нескромный? Двадцать четыре. Но на вид я старше, да?

— Не нахожу.

В гостиной угрюмо выли басы.

— Все находят, что старше. Так и должно быть. На семнадцатом году у меня уже был ребенок. И я много работала. Отец ребенка — художник, теперь — говорят — почти знаменитый, он за границей где-то, а тогда мы питались чаем и хлебом. Первая моя любовь — самая голодная.

«Вот еще одна исповедь», — отметил Самгин, сочувственно покачав головой.

К басам фисгармонии присоединились альты, дисканта, выпевая что-то зловещее, карающее, звуки ползли в столовую, как дым, а дым папиросы, которую курил Самгин, был слишком крепок и невкусен. И вообще — все было неприятно.

— Иногда даже сахара не на что было купить. Но — бедный, он был хороший, веселый. Не шуми, Степанида Петровна. — Это было сказано старухе, которая принесла поднос с посудой.

— Петровна у меня вместо матери, любит меня, точно кошку. Очень умная и революционерка, — вам смешно? Однако это верно: терпеть не может богатых, царя, князей, попов. Она тоже монастырская, была послушницей, но накануне пострига у нее случился роман и выгнали ее из монастыря. Работала сиделкой в больнице, была санитаркой на японской войне, там получила медаль за спасение офицеров из горящего барака. Вы думаете, сколько ей лет — шестьдесят? А ей только сорок три года. Вот как живут!

Юрин играл, повторяя одни и те же аккорды, и от повторения сила их мрачности как будто росла, угнетая Самгина, вызывая в нем ощущение усталости. А Таисья ожесточенно упрекала:

— Ах, Клим Иванович, — почему литераторы так мало и плохо пишут о женских судьбах? Просто даже стыдно читать: все любовь, любовь…

— Но позвольте, любовь…

— Да, да, я знаю, это все говорят: смысл женской жизни! Наверное, даже коровы и лошади не думают так. Они вот любят раз в год.

Она — раздражала не тем, как говорила, а потому, что разрушала его представление о ней, ему было скучно и хотелось сказать ей что-нибудь обидное, разозлить еще больше.

— «Любовь и голод правят миром», — напомнил Самгин.

— Нет! Не верю, что это навсегда, — сказала женщина. Он отметил, что густой ее голос звучал грубо, малоподвижное лицо потемнело и неприятно расширились зрачки.

«Злится», — решил он.

— Вот — увидите, — говорила [она], — и голода не будет, и любовь будет редким счастьем, а не дурной привычкой, как теперь.

— Скучное будущее обещаете вы, — ответил он на ее смешное пророчество.

— Будет месяц любви, каждый год — месяц счастья. Май, праздник всех людей…

— Это кондитерская мечта, это от пирожного, — сказал Самгин, усмехаясь.

Таисья выпрямилась, точно готовясь кричать, но он продолжал:

— Вы сообразите: каково будет беременным работать на полях, жать хлеб.

Женщина встала, пересела на другой стул и, спрятав лицо за самоваром, сказала:

— Вот как? Вы не любите мечтать? Не верите, что будем жить лучше?

— «Хоть гирше, та инше», — сказал Дронов, появляясь в двери. — Это — бесспорно, до этого — дойдем. Прихрамывая на обе ноги по очереди, — сегодня на левую, завтра — на правую, но дойдем!

— Ты — как мышь, — встретила его Таисья и пошла в гостиную.

— Я в прихожей подслушивал, о чем вы тут… И осматривал карманы пальто. У меня перчатки вытащили и кастет. Кастет — уже второй. Вот и вооружайся. Оба раза кастеты в Думе украли, там в раздевалке, должно быть, осматривают карманы и лишнее — отбирают.

Юрин перестал играть, кашлял, Таисья что-то внушительно говорила ему, он ответил:

— Мне горячее вредно.

Дронов у буфета, доставая бутылки, позванивая стаканами, рассказывал что-то о недавно организованной фракции октябристов.

— Лидер у них Гололобов, будто бы автор весьма популярного в свое время рассказа, одобренного Толстым, — «Вор», изданного «Посредником». Рассказец едва ли автобиографический, хотя оный Гололобов был вице-губернатором.

Самгин нашел, что последняя фраза остроумна, и, усмехаясь, искоса посмотрел на Ивана, подумал:

«Злая дрянь».

— Н-да, — продолжал Дронов, садясь напротив Клима. — Правые — организуются, а у левых — деморализация. Эсеры взорваны Азефом, у эсдеков группа «Вперед», группочка Ленина, плехановцы издают «Дневник эсдека», меньшевики-ликвидаторы «Голос эсдека», да еще внефракционная группа Троцкого. Это — история или — кавардак?

Самгин слушал его невнимательно, его больше интересовала мягкая речь Таисьи в прихожей.

— Я тебя прошу — не приходи! Тебе надобно лежать. Хочешь, я завтра же перевезу тебе фисгармонию?

— Хорошо бы, — пробормотал Дронов. Самгин все яснее сознавал, что он ошибся в оценке этой женщины, и его досада на нее росла.

— Умирает, — сказала она, садясь к столу и разливая чай. Густые брови ее сдвинулись в одну черту, и лицо стало угрюмо, застыло. — Как это тяжело: погибает человек, а ты не можешь помочь ему.

— Погибать? — спросил Дронов, хлебнув вина.

— Не балагань, Иван.

— Да — нет, я — серьезно! Я ведь знаю твои… вкусы. Если б моя воля, я бы

специально для тебя устроил целую серию катастроф, войну, землетрясение, глад, мор, потоп — помогай людям, Тося!

Вздохнув, Таисья тихо сказала:

— Дурак.

— Нет, — возразил Дронов. — Дуракам — легко живется, а мне трудно.

— Не жадничай, легче будет.

— Спасибо за совет, хотя я не воспользуюсь им. И, подпрыгнув на стуле, точно уколотый гвоздем, он заговорил с патетической яростью:

— Клим Иванович — газету нужно! Большую де-мо-кра-ти-че-скую газету. Жив быть не хочу, а газета будет. Уговаривал Семидубова — наиграй мне двести тысяч — прославлю во всем мире. Он — мычит, чорт его дери. Но — чувствую — колеблется.

— Я бы в газете — корректоршей или конторщицей, — помечтала Тося.

А в общем было скучно, и Самгина тихонько грызли тягостные ощущения ненужности его присутствия в этой комнате с окнами в слепую каменную стену, глупости Дронова и его дамы.

«Почему я зависим от них?» Минут через пять он собрался уходить.

— Значит — завтра ищем квартиру? — уверенно сказала Таисья.

— Да, — ответил он.

Квартиру нашли сразу, три маленьких комнаты во втором этаже трехэтажного дома, рыжего, в серых пятнах; Самгин подумал, что такой расцветки бывают коровы. По бокам парадного крыльца медные и эмалированные дощечки извещали черными буквами, что в доме этом обитают люди странных фамилий: присяжный поверенный Я. Ассикритов, акушерка Интралигатина, учитель танцев Волков-Воловик, настройщик роялей и починка деревянных инструментов П. Е. Скромного, «Школа кулинарного искусства и готовые обеды на дом Т. П. Федькиной», «Переписка на машинке, 3-й этаж, кв. 6, Д. Ильке», а на двери одной из квартир второго этажа квадратик меди сообщал, что за дверью живет Павел Федорович Налим.

«Демократия», — поморщился Самгин, прочитав эти вывески.

Но комнаты были светлые, окнами на улицу, потолки высокие, паркетный пол, газовая кухня, и Самгин присоединил себя к демократии рыжего дома.

В заботах по устройству квартиры незаметно прошло несколько недель. Клим Иванович обставлял свое жилище одинокого человека не торопясь, осмотрительно и солидно: нужно иметь вокруг себя все необходимое и — чтобы не было ничего лишнего. Петербург — сырой город, но в доме центральное отопление, и зимою новая мебель, наверно, будет сохнуть, трещать по ночам, а кроме того, новая мебель не нравилась ему по формам. Для кабинета Самгин подобрал письменный стол, книжный шкаф и три тяжелых кресла под «черное дерево», — в восьмидесятых годах эта мебель была весьма популярной среди провинциальных юристов либерального настроения, и замечательный знаток деталей быта П. Д. Боборыкин в одном из своих романов назвал ее стилем разочарованных. Для гостиной пригодилась мебель из московского дома, в маленькой приемной он поставил круглый стол, полдюжины венских стульев, повесил чей-то рисунок пером с Гудонова Вольтера, гравюру Матэ, изображавшую сердитого Салтыкова-Щедрина, гравюрку Гаварни — французский адвокат произносит речь. Эта обстановка показалась ему достаточно оригинальной и вполне удовлетворила его.

Разыскивая мебель на Апраксином дворе и Александровском рынке, он искал адвоката, в помощники которому было бы удобно приписаться. Он не предполагал заниматься юридической практикой, но все-таки считал нужным поставить свой корабль в кильватер более опытным плавателям в море столичной жизни. Он поручил Ивану Дронову найти адвоката с большой практикой в гражданском процессе, дельца не очень громкого и — внепартийного.

— Понимаю! — догадался Дронов. — Не хочешь ходить под ручку с либералами и прочими жуликами из робких. Так. Найдем сурка. Животное не из редких.

Иван Дронов вертелся, точно кубарь. Самгин привык думать, что кнутик, который подхлестывает этого человека, — хамоватая жажда большого дела для завоевания больших денег. Но чем более он присматривался к нянькину внуку, тем чаще являлись подозрения, что Дронов каждый данный момент и во всех своих отношениях к людям — человечишка неискренний. Он не скрывает своей жадности, потому что прячет за нею что-то, может быть, гораздо худшее. Вспоминались- те подозрения, которые возбуждала Марина, вспоминался Евно Азеф. Самгин отталкивал эти подозрения и в то же время невольно пытался утвердить их.

Реорганизация жизни. Общее стремление преодолеть хаос, создать условия правовой закономерности, условия свободного развития связанных сил. Для многих действительность стала соблазнительней мечты. Таисья сказала о нем: мечтатель. Был, но превратился в практика. Не следует так часто встречаться с ним. Но Дронов был почти необходим. Он знал все, о чем говорят в «кулуарах» Государственной думы, внутри фракций, в министерствах, в редакциях газет, знал множество анекдотических глупостей о жизни царской семьи, он находил время читать текущую политическую литературу и, наскакивая на Самгина, спрашивал:

— Ты читал «Общественное движение» Мартова, Потресова? Нет? Вышла первая часть второго тома. Ты — погляди — посмеешься!

Самгин вспоминал себя в Москве, когда он тоже был осведомителем и оракулом, было досадно, что эта позиция занята, занята легко, мимоходом, и не ценится захватчиком. И крайне тягостно было слышать возражения Дронова, которые он всегда делал быстро, даже пренебрежительно.

Однажды Ногайцев, вообще не терпевший противоречий, спорил по поводу земельной реформы Столыпина с длинным, семинарской выправки землемером Хотяинцевым. Ногайцев — красный, вспотевший — кричал:

— Зверски ошибочно рассуждаете! Или мужик будет богат, или — погибнем «яко обри, их же несть ни племени, ни рода».

Обнажив крупные неровные зубы, Хотяинцев предлагал могучим, но неприятно сухим басом:

— Поезжайте в деревню, увидите, как там мироеды дуван дуванят.

Самгин, заметив, что Тося смотрит на него вопросительно, докторально сказал:

— Однако — создано пятьсот семьдесят девять тысяч новых земельных собственников, и, конечно, это лучшие из хозяев.

— Во-от! — подхватил Ногайцев. — Мы обязаны им великолепным урожаем прошлого года._

Тут и вмешался Дронов, перелистывая записную книжку; не глядя ни на кого, он сказал пронзительно:

— Ерунду плетешь, пан. На сей год число столыпинских помещиков сократилось до трехсот сорока двух тысяч! Сократилось потому, что сильные мужики скупают землю слабых и организуются действительно крупные помещики, это — раз! А во-

вторых: начались боевые выступления бедноты против отрубников, хутора — жгут! Это надобно знать, почтенные. Зря кричите. Лучше — выпейте! Провидение божие не каждый день посылает нам бенедиктин.

В пронзительном голосе Ивана Самгин ясно слышал нечто озлобленное, мстительное. Непонятно было, на кого направлено озлобление, и оно тревожило Клима Самгина. Но все же его тянуло к Дронову. Там, в непрерывном вихре разнообразных систем фраз, слухов, анекдотов, он хотел занять свое место организатора мысли, оракула и провидца. Ему казалось, что в молодости он очень хорошо играл эту роль, и он всегда верил, что создан именно для такой игры. Он думал:

«Я слишком увлекся наблюдением и ослабил свою волю к действию. К чему, в общем и глубоком смысле, можно свести основное действие человека, творца истории? К самоутверждению, к обороне против созданных им идей, к свободе толкования смысла фактов».

Самгин, мысленно повторив последнюю фразу, решил записать ее в тетрадь, где он коллекционировал свои «афоризмы и максимы».

В квартиру Дронова, как на сцену, влекла его и Тося. За несколько недель он внимательно присмотрелся к ней и нашел, что единственно неприятное в ней — ее сходство с Мариной, быть может, только внешнее сходство, — такая же рослая, здоровая, стройная. Неумна, непоколебимо спокойна. По глупости откровенна, почти до неприличия. Если ее не спрашивать ни о чем, она может молчать целый час, но говорит охотно и порою с забавной наивностью. О себе рассказывает безжалостно, как о чужом человеке, а вообще о людях — бесстрастно, с легонькой улыбочкой в глазах, улыбка эта не смягчала ее лица. Клим Иванович Самгин стал думать, что это существо было бы нелишним и очень удобным в его квартире. Она все обостряла его любопытство:

«Странная фигура. Глупа, но, кажется, не без хитрости».

И, сознавая, что влечение к этой женщине легко может расти, он настраивал свое отношение к ней иронически, полувраждебно,

Однажды, поздно вечером, он позвонил к Дронову. Дверь приоткрылась не так быстро, как всегда, и цепь, мешавшая вполне открыть ее, не была снята, а из щели раздался сердитый вопрос Таисьи:

— Кто это?

В прихожей надевал пальто человек с костлявым, аскетическим лицом, в черной бороде, пальто было узко ему. Согнувшись, он изгибался и покрякивал, тихонько чертыхаясь.

— Дайте помогу, — предложила Таисья.

— Спасибо. Готово, — ответил ей гость. — Вот черти… Прощайте.

Шляпу он надел так, будто не желал, чтоб Самгин видел его лицо.

— Я знаю этого человека, — сообщил Самгин.

— Да? — спросила Таисья.

— Его фамилия — Поярков. Таисья, помолчав, спросила:

— За границей познакомились?

— В Москве. Давно.

Таисья молча кивнула головой.

— Иван знаком с ним?

— Нет, — строго сказала Таисья, глядя в лицо его. — Я тоже не знаю — кто это. Его прислал Женя. Плохо Женьке. Но Ивану тоже не надо знать, что вы видели здесь какого-то Пожарского? Да?

— Пояркова.

— Не надо это знать Ивану, понимаете? Самгин молча кивнул головой, сообразив:

«Очевидно — нелегальный. Что он может делать теперь, здесь, в Петербурге? И вообще в России?»

Привычная упрощенность отношения Самгина к женщинам вызвала такую сцену: он вернулся с Тосей из магазина, где покупали посуду; день был жаркий, полулежа на диване, Тося, закрыв глаза, расстегнула верхние пуговицы блузки. Клим Иванович подсел к ней и пустил руку свою под блузку. Тося спросила;

— Что это вас интересует там?

Спросила она так убийственно спокойно и смешно, что Самгин невольно отнял руку и немножко засмеялся, — это он позволял себе очень редко, — засмеялся и сказал:

— Мне кажется, у вас есть комический талант.

— Если есть, так — не там, — ответила она. Самгин встал, отошел от нее, спросил:

— Вы не пробовали играть на сцене?

— Приглашали. Мой муж декорации писал, у нас актеры стаями бывали, ну и я — постоянно в театре, за кулисами. Не нравятся мне актеры, все — герои. И в трезвом виде и пьяные. По-моему, даже дети видят себя вернее, чем люди этого ремесла, а уж лучше детей никто не умеет мечтать о себе.

Самгин послушал, подумал, затем сказал:

— А наверное, вы очень горячая женщина.

— Охладили уже. Любила одного, а живу — с третьим. Вот вы сказали — «любовь и голод правят миром», нет, голод и любовью правит. Всякие романы есть, а о нищих романа не написано...

— Это очень метко, — признал Самгин.

Он заметил, что после его шаловливой попытки отношение Тоси к нему не изменилось: она все так же спокойно, не суетясь, заботилась о благоустройстве его квартиры.

Клим Иванович Самгин понимал, что столь заботливое отношение к нему внушено Таисье Дроновым, и находил ее заботы естественными.

«И любит гнезда вить», — вспомнил он слова Ивана о Таисье.

Она нашла ему прислугу, коренастую, рябую, остроглазую бабу, очень ловкую, чистоплотную, но несколько излишне и запоздало веселую: волосы на висках ее были седые.

Осенью Клим Иванович простудился: поднялась температура, болела голова, надоедал кашель, истязала тихонькая скука, и от скуки он спросил:

— Сколько вам лет, Агафья?

— Лета мои будто небольшие: тридцать четыре, — охотно ответила она.

— Рано завели седые волосы. Она усмехнулась и, облизав губы кончиком языка, не сказала ничего, но, видимо, ждала еще каких-то вопросов.

— Вы давно знаете Дронову?

— Давненько, лет семь-восемь, еще когда Таисья Романовна с живописцем жила. В одном доме жили. Они — на чердаке, а я с отцом в подвале.

Она стояла, опираясь плечом на косяк двери, сложив руки на груди, измеряя хозяина широко открытыми глазами.

Самгин лежал на диване, ему очень хотелось подробно расспросить Агафью о Таисье, но он подумал, что это надобно делать осторожно, и стал расспрашивать Агафью о ее жизни. Она сказала, что ее отец держал пивную, и, вспомнив, что ей нужно что-то делать в кухне, — быстро ушла, а Самгин почувствовал в ее бегстве нечто подозрительное.

При первой же встрече он поблагодарил Таисью:

— Славную прислугу нашли вы для меня.

— Ганька — очень хорошая, — подтвердила Таисья. И на вопрос — кто она? — Таисья очень оживленно рассказала: отец Агафьи был матросом военного флота, боцманом в «добровольном», затем открыл пивную и начал заниматься контрабандой. Торговал сигарами. Он вел себя так, что матросы считали его эсером. Кто-то донес на него, жандармы сделали обыск, нашли сигары, и оказалось, что у него большие тысячи в банке лежат. Арестовали старика.

Самгин отметил, что она рассказывает все веселее и с тем удовольствием, которое всегда звучит в рассказах людей о пороках и глупости знакомых.

— Я его помню: толстый, без шеи, голова прямо из плеч растет, лицо красное, как разрезанный арбуз, и точно татуировано, в черных пятнышках, он был обожжен, что-то взорвалось, сожгло ему брови. Усатый, зубастый, глаза — точно у кота, ручищи длинные, обезьяньи, и такой огромный живот, что руки некуда девать. Он все держал их за спиной. Наглый, грубый… Агафья с отцом не жила, он выдал ее замуж за старшего дворника, почти старика, но иногда муж заставлял ее торговать пивом в пивнухе тестя. Жила она очень несчастно, а я — голодно, и она немножко подкармливала меня с мужем моим, она — добрая! Она бегала к нам, на чердак. У нас бывало очень весело, молодые художники, студенты, Женя Юрин. Иногда мы с ней всю ночь до утра рассуждали: почему так скверно все? Но уже кое-что понимали.

— Когда Ганьку с ее стариком тоже арестовали за контрабанду, Женя попросил меня назваться (двоюродной) [сестрой] ее, ходить на свидание с ней и передавать записки политическим женщинам. Мы это наладили очень удачно, ни разу не попались. Через несколько месяцев ее выпустили, а отец помер в тюрьме. Дворника осудили. После тюрьмы Ганька вступила в кружок самообразования, сошлась там с матросом, жила с ним года два, что ли, был ребенок, мальчугашка. Мужа ее расстреляли в конце пятого года… До военной службы он был акробатом в цирке, такой гибкий, легкий, горячий. Очень грамотный. Веселый, точно скворец, танцор. После его смерти Ганька захворала, ее лечили в больнице Святого Николая, это — сумасшедший дом.

Самгин слушал рассказ молча и внутренне протестуя: никуда не уйдешь от этих историй! А когда Таисья кончила, он, вынудив себя улыбнуться, сказал:

— Значит, мне будет служить… в некотором роде политическая деятельница и притом — сумасшедшая?

Нахмурясь, сдвинув брови в одну линию, Таисья возразила:

— Напрасно усмехаетесь. Никакая она не деятельница, а просто —

революционерка, как все честные люди бедного сословия. Класса, — прибавила она. — И — не сумасшедшая, а… очень просто, если бы у вас убили любимого человека, так ведь вас это тоже ударило бы.

И, так как Самгин молчал, она сказала, точно утешая его:

— Зато около вас — человек, который не будет следить за вами, не побежит доносить в полицию.

— Это, конечно, весьма ценно. Попробую заняться контрабандой или печатать деньги, — пошутил Клим Иванович Самгин. Таисья, приподняв брови, взглянула на него.

— Рассердить меня хотите? Трудное дело.

— Нет, — поспешно сказал Самгин, — нет, я не хочу этого. Я шутил потому, что вы рассказывали о печальных фактах… без печали. Арест, тюрьма, человека расстреляли.

Она вопросительно посмотрела на него, ожидая еще каких-то слов, но не дождалась и объяснила:

— Что же печалиться? Отца Ганьки арестовали и осудили за воровство, она о делах отца и мужа ничего не знала, ей тюрьма оказалась на пользу. Второго мужа ее расстреляли не за грабеж, а за участие в революционной работе.

И, помахивая платком в лицо свое, она добавила:

— Я не одну такую историю знаю и очень люблю вспоминать о них. Они уж — из другой жизни.

Самгин догадался, что подразумевает она под другой жизнью.

— Вы верите, что революция не кончилась? — спросил Самгин; она погрозила ему пальцем, говоря:

— Дурочкой считаете меня, да? Я ведь знаю: вы — не меньшевик. Это Иван качается, мечтает о союзе мелкой буржуазии с рабочим классом. Но если завтра снова эсеры начнут террор, так Иван будет воображать себя террористом.

Она усмехнулась.

— Я вам говорила, что он все хочет прыгнуть выше своей головы. Он — вообще… Что ему книга последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет.

«Она очень легко может переехать на другую квартиру, — подумал Самгин и перестал мечтать о переводе ее к себе. — Большевичка. Наверное — не партийная, а из сочувствующих. Понимает ли это Иван?»

Открытие тем более неприятное, что оно раздражило интерес к этой женщине, как будто призванной заместить в его жизни Марину.

Как всегда, вечером собрались пестрые люди и, как всегда, начали словесный бой. Орехова восторженно заговорила о «Бытовом явлении» Короленко, а Хотяинцев, спрятав глаза за серыми стеклами очков, вставил:

— Три года молчал…

Орехова вскипела, замахала руками:

— Вы не имеете права сомневаться в искренности Короленко! Права не имеете.

— Да я — не сомневаюсь, только поздновато он почувствовал, что не может молчать. Впрочем, и Лев Толстой долго не мог, — гудел [он], те щадя свой бас.

— И вовсе неправда, что Короленко подражал Толстому, — никогда не подражал!

— Я не говорю, что подражал.

— Не говорите, но намекаете! Ах, какой вы озлобленный! Короленко защищал людей не меньше, чем ваш Толстой, такой… божественный путаник. И автор непростительной «Крейцеровой сонаты».

Спорили долго, пока не пришел сияющий Ногайцев и не объявил:

— Господа! Имею копию потрясающе интересного документа: письмо московского градоначальника Рейнбота генералу Богдановичу.

Замолчали, и тогда он прочитал:

— «В Москве у нас тихо, спокойно, К выборам в Думу ровно никакого интереса. Даже предвыборных собраний кадеты не устраивают. Попробовали устроить одно, — председатель позволил себе оскорбительные выражения по адресу чина полиции, за что тот собрание закрыл, а я оратора, для примера, посадил на три месяца. Революционеры собирались недавно на съезд, на котором тоже признали, что в Москве дела стоят очень плохо, но, к сожалению, считают, что в Петербурге — хорошо, а в Черниговской, Харьковской и Киевской губерниях — очень хорошо, а в остальных посредственно. Главным образом мне приходится теперь бороться с простым политическим хулиганством — так все измельчало в революционном лагере. Университет учится, сходки совершенно непопулярны: на первой было около 2500 (из 9 тысяч), на второй — 700, третьего дня — 150, а вчера, на трех назначенных, — около 100 человек».

— Наверно — хвастает, — заметил тощенький, остроносый студент Говорков, но вдруг вскочил и радостно закричал: — Подождите-ка! Да я же это письмо знаю. Оно к 907 году относится. Ну, конечно же. Оно еще в прошлом году ходило, читалось…

Начали спорить по поводу письма, дым папирос и слов тотчас стал гуще. На столе кипел самовар, струя серого вара вырывалась из-под его крышки горячей пылью. Чай разливала курсистка Роза Греймаы, смуглая, с огромными глазами в глубоких глазницах и ярким, точно накрашенным ртом.

Говорков, закинув вальцами черные пряди волос на затылок, подняв вверх надменное желтое лицо, предложил:

— Обратимся к фактам!

Обратились и — нашли, что Говорков — прав, а Хотяинцев утешительно сообщил, что для. суждения о спокойствии страны существуют более солидные факты: ассигновка на содержание тюрем увеличена до двадцати девяти миллионов, кредиты на секретные расходы правительства тоже увеличены.

— Как видите, о спокойствии нашем заботятся не только Рейнботы в прошлом, но и Столыпин в настоящем. Назначение махрового реакционера Кассо в министры народного просвещения…

Но его не слушали. Человек в сюртуке, похожий на военного, с холеным мягким лицом, с густыми светлыми усами, приятным баритоном, но странно и как бы нарочно заикаясь, упрекал Ногайцева:

— Где вы достаете все эти-те-те — ваши апокрифы и — фф-устрашающие бумажки, кого вы — пугаете и зачем?

— Я, Федор Васильевич, никаких апокрифов… И — никого…

— Н-нет, у вас тенденция заметна, вы именно испугать хотите меня.

— Я? Боже мой! Смешно слышать. Орехова, раскаленная докрасна, размахивая

белым платком, яростно внушала Келлеру и Хотяинцеву:

— Вы прочитайте Томаша Масарика, его «Философские и социологические основы марксизма».

— Милюкова «Очерки» читал и — ничего, жив! Даже Ле-Бона читал, — гудел Келлер.

— Марксизм — это не социализм, — настаивала Орехова и качалась, точно пол колебался под ее ногами.

— Нет, — упрямо, но не спеша твердил Федор Васильевич, мягко улыбаясь, поглаживая усы холеными пальцами, ногти их сияли, точно перламутр. — Нет, вы стремитесь компрометировать жизнь, вы ее опыливаете-те-те чепухой. А жизнь, батенька, надобно любить, именно — любить, как строгого, но мудрого учителя, да, да! В конце концов она все делает по-хорошему.

— Н-ничего подобного, — крикнула ему Орехова, — он прищурил в ее сторону ласковые, но несколько водянистые глаза и вполголоса сказал:

— Ах, эта добрая женщина… Какие глупые слова:

«ничего подобного!» Все подобно чему-нибудь.

И, снова повысив голос, продолжал проповедовать:

— Вы, батенька, слишком легко подчиняетесь фактам, в ущерб идее. А — надо знать: принятие или непринятие той или иной идеи оправдывается чисто теоретическими соображениями, а отнюдь не степенью пригодности или непригодности этой идеи для обоснования практической деятельности.

Орехова уже снова втиснулась в спор Келлера и Хотяинцева, убеждая их:

— Маркс — не свободен от влияния расовой мысли, от мысли народа, осужденного на страдание. Он — пессимист и мститель, Маркс. Но я не отрицаю: его право на месть европейскому человечеству слишком обосновано, слишком.

— Верная мысль.

— Совершенно согласен, — одобрил красавец мужчина. Приятный баритон его звучал все самоуверенней, в пустоватых глазах светилась легкая улыбочка, и казалось, что пышные усы растут, становятся еще пышней.

«Лицо счастливца», — отметил Клим Иванович Самгин.

В двери, точно кариатида, поддерживая шум или не пуская его в соседнюю комнату, где тоже покрикивали, стояла Тося с папиросой в зубах и, нахмурясь, отмахивая рукою дым от лица, вслушивалась в неторопливую, самоуверенную речь красивого мужчины.

Клим Иванович Самгин пил чай, заставляя себя беседовать с Розой Грейман о текущей литературе, вслушиваясь в крики спорящих, отмечал у них стремление задеть друг друга, соображал:

«Что же объединяет их?»

Явился Дронов, с кульками и пакетами под мышкой, в руках; стоя спиной к гостям, складывая покупки в углубление буфета, он сердито объявил:

— Лев Толстой скрылся из дома. Ищут — нигде нет.

Это было встречено с большим интересом, всех примирило, а Орехова даже прослезилась:

— Домучили!

Стали расспрашивать Дронова о подробностях, но он лаконически ответил:

— Все, что знаю, — сказал…

Дронов сел рядом с Самгиным, попросил:

— Ты мне вина, Роза! Белого. И глубоко вздохнул.

— Кто этот красавец?

— Шемякин, чорт его… После расскажу. И, глядя, как Грейман силится вытащить пробку из горлышка бутылки, он забормотал:

— Был на закрытом докладе Озерова. Думцы. Редактора. Папаша Суворин и прочие, иже во святых. Промышленники, по производствам, связанным с сельским хозяйством, — настроены празднично. А пшеница в экспорт идет по 91 копейке, в восьмом году продавали по рубль двадцать. — Он вытащил из кармана записную книжку и прочитал: — «В металлургии капитал банков 386 миллионов из общей суммы 439, в каменноугольной — 149 из 199». Как это понимать надо?

— Я — не экономист, — откликнулся Самгин и подумал, что сейчас Иван напоминает Тагильского, каким тот бывал у Прейса.

Дронов спрятал книжку, выпил вина, прислушался к путанице слов.

— Величайший из великих, — истерически кричал Ногайцев. — Величайший! Не уступлю, Федор Васильевич, нет!

— Докажите… Дайте мне понять, какую идею-силу воплощал он в себе, какие изменения в жизни вызвала эта идея? Вы с учением Гюйо знакомы, да?

— Да-а! Толстой… Не трогает он меня. Чужой дядя. Плохо? Молчишь…

— Так — кто же этот Шемякин?

— Побочный сын какого-то знатного лица, чорт его… Служил в таможенном ведомстве, лет пять тому назад получил огромное наследство. Меценат. За Тоськой ухаживает. Может быть, денег даст на газету. В театре познакомился с Тоськой, думал, она — из гулящих. Ногайцев тоже в таможне служил, давно знает его. Ногайцев и привел его сюда, жулик. Кстати: ты ему, Ногайцеву, о газете — ни слова!

«Можно подумать, что он пользуется любовницей, чтоб привлекать богатых», — подумал Самгин.

— Гюйо? — гудел Говорков. — Кто же теперь читает Гюйо?

— О, господи! — с отчаянием восклицал Ногайцев. — Как же это? Всем известно: толстовство было…

— Толстого им надолго хватит, — сказал Дронов.

— Шумные люди, — заметил Самгин, чтобы не молчать.

Дронов, держа стакан в руке, как палку, прихлебывая вино, поправил Самгина:

— Пустые — хотел ты сказать. Да, но вот эти люди — Орехова, Ногайцев — делают погоду. Именно потому, что — пустые, они с необыкновенной быстротой вмещают в себя все новое: идеи, программы, слухи, анекдоты, сплетни. Убеждены, что «сеют разумное, доброе, вечное». Если потребуется, они завтра будут оспаривать радости и печали, которые утверждают сегодня…

— Совсем как вы, — неожиданно, вполголоса сказала Роза Грейман.

— Нет, Розочка, не совсем так, — серьезно возразил Дронов.

— Так, — твердо и уже громко сказала она. — Вы тоже из тех, кто ищет, как приспособить себя к тому, что нужно радикально изменить. Вы все здесь суетливые мелкие буржуа и всю жизнь будете такими вот мелкими. Я — не умею сказать точно, но вы говорите только о городе, когда нужно говорить уже о мире.

Говорила она с акцентом, сближая слова тяжело и медленно. Ее лицо побледнело, от этого черные глаза ушли еще глубже, и у нее дрожал подбородок. Голос у нее был бесцветен, как у человека с больными легкими, и от этого слова казались еще тяжелей. Шемякин, сидя в углу рядом с Таисьей, взглянув на Розу, поморщился, пошевелил усами и что-то шепнул в ухо Таисье, она сердито нахмурилась, подняла руку, поправляя волосы над ухом.

Орехова крикливо спросила:

— Что значит — о мире?

— Вы — не знаете?

И Роза начала перечислять:

— О революции турок, о разгоне меджилиса в Персии, об уничтожении финляндской конституции, об аннексии Боснии, Герцеговины Австрией, Кореи — Японией, о том, что немцы отвергли предложение Англии о сокращении морского флота, а социал-демократы не реагировали на это. Вот это — мир!

— И — что же прикажете мне делать с ним? — шутливо спросил Ногайцев.

Не ответив ему, Грейман продолжала:

— И в Китае — движение. Вы говорите о Толстом. Что вы сказали о нем? У него — нехорошая жена, неудачные дети, и в нем много противоречивого между художником и мыслителем. Вот и все. А Толстой — человек мира, его читают все народы, — жизнь бесчеловечна, позорна, лжива, говорит он. Он еще не зарыт в землю, но вы уже торопитесь насыпать сора на его могилу. Это — возмутительно. Поймите: Толстой убеждает изменить мир, а вы? Вы стараетесь изолировать себя от жизни, ищете места над нею, в стороне от нее, да, да. Именно к этому сводится ваша критика.

Самгин еще в начале речи Грейман встал и отошел к двери в гостиную, откуда удобно было наблюдать за Таисьей и Шемякиным, — красавец, пошевеливая усами, был. похож на кота, готового прыгнуть. Таисья стояла боком к нему, слушая, что говорит ей Дронов. Увидав по лицам людей, что готовится взрыв нового спора, он решил, что на этот раз с него достаточно, незаметно вышел в прихожую, оделся, пошел домой.

Было уже очень поздно. [На] пустынной улице застыл холодный туман, не решаясь обратиться в снег или в дождь. В тумане висели пузыри фонарей, окруженные мутноватым радужным сиянием, оно тоже застыло. Кое-где среди черных окон поблескивали желтые пятна огней.

«Демократия, — соображал Клим Иванович Самгин, проходя мимо фантастически толстых фигур дворников у ворот каменных домов. — Заслуживают ли эти люди, чтоб я встал во главе их?» Речь Розы Грейман, Поярков, поведение Таисьи — все это само собою слагалось в нечто единое и нежелаемое. Вспомнились слова кадета, которые Самгин мимоходом поймал в вестибюле Государственной думы: «Признаки новой мобилизации сил, враждебных здравому смыслу».

«Да, — соображал Самгин. — Возможно, что где-то действует Кутузов. Если не арестован в Москве в числе «семерки» ЦК. Еврейка эта, видимо, злое существо.

Большевичка. Что такое Шемякин? Таисья, конечно, уйдет к нему. Если он позовет ее. Нет, будет полезнее, если я займусь литературой. Газета не уйдет. Когда я приобрету имя в литературе, — можно будет подумать и о газете. Без Дронова. Да, да, без него...»

Это было одно из многих его решений, с ним он и заснул.

Но поутру, лежа в постели, раскуривая первую папиросу, он подумал, что Дронов — полезное животное. Вот, например, он умеет доставать где-то замечательно вкусный табак. На новоселье подарил отличный пейзаж Крымова, и, вероятно, он же посоветовал Таисье подарить этюд Жуковского — сосны, голубые тени на снегу. Пышное лето, такая же пышная зима.

Сквозь занавесь окна светило солнце, в комнате свежо, за окном, должно быть, сверкает первый зимний день, ночью, должно быть, выпал снег. Вставать не хотелось. В соседней комнате мягко топала Агафья. Клим Иванович Самгин крикнул:

— Дайте кофе сюда. «Да, Дронов — полезен. Как Санчо Панса. Хотя я и не дон-Кихот. Он — неглуп, Иван».

Дронов заочно знакомил его с присяжным поверенным Антоном Сергеевичем Прозоровым:

— Светило не из крупных и — угасающее. Изъеден многими болезнями, и скоро они его доедят до конца. Обжора и бабник. Живет с последней из десятка. Взял ее с эстрады, внушил, что она должна играть в драме, а в драме она оказалась совершенно бездарной и теперь мстит ему за то, что он испортил ей карьеру: не помешай он ей — она была бы знаменита, как Иветт Гильбер. Ежегодно возит его в Париж, — без Парижа она не может жить. Дела у него — запутаны, и предупреждаю — репутация неважная: гонорары — берет, но дважды пропустил сроки апелляции, и в одном случае пришлось уплатить клиенту сумму его иска: совет, рассмотрев жалобу клиента, признал иск бесспорным.

Прозоров оказался мужчиной длинным, тонконогим, со вздутым животом, живот, выпирая из жилета и брюк, показывал белую полосу рубахи. Голова у него была не по росту большая, и в профиль он напоминал гвоздь, изогнутый посредине. На полуголом желтом черепе рассеяны седоватые остатки бывших кудрей ржавого цвета. Щеки украшала борода, ее прямые, редкие волосы на подбородке оканчивались острым клином. Измятое лицо, серые мешки оттягивали веки, обнажали выцветшие мокрые глаза. На переносье длинного, красноватого носа дрожало пенснэ, но Прозоров смотрел через него.

— Что же? Очень хорошо. Я — рад помочь коллеге. Иван Матвеич подробно рассказал мне... Я отберу дела, которые требуют... То есть несколько залежались... Пожалуйста.

Он смотрел на Самгина растерянно, даже как будто испуганно, выдувал воздух носом, вздыхал, вытирал глаза платком.

— Познакомил бы вас с женой, но она поехала в Новгород, там — какая-то церковь замечательная. Она у меня искусством увлекается, теперь искусство в моде... молодежь развлекаться хочет, устала от демонстраций, конституции, революции.

Он пугливо зашевелился в кресле, наморщил нос, сбросив с него пенснэ, и поспешно добавил:

— Я, конечно не отрицаю... Но «делу время, а потехе — час». Вот наступил час потехи. Это — нормально.

Было в нем, в костюме и в словах, что-то неряшливое, неуверенное, а вокруг его, в кабинете, неуютно, тесно, стоял запах бумажной пыли.

— Письмоводитель у меня — Миронов, юноша неглупый, милейший, хотя — бездельник. Вот-с.

Он устало вздохнул и посмотрел на Самгина так, что тот понял:

«Уйди. Надоел ты мне».

Когда Самгин пришел знакомиться с делами, его встретил франтовато одетый молодой человек, с длинными волосами и любезной улыбочкой на смуглом лице. Прищурив черные глаза, он сообщил, что патрон нездоров, не выйдет, затем, указав на две стопы бумаг в синих обложках с надписью «Дело», сказал:

— Это он предлагает вашему вниманию. Я вам не нужен?

— Нет.

Юноша шаркнул ногой по полу, исчез, а Самгин, развернув «Дело о взыскании крестьянами Уховыми Иваном и Пелагеей с пот. почет, гражданина Левашова убытков за увечье», углубился в изучение дела. Оказалось, что гражданин, проезжая на паре собственных лошадей, переломил крестьянину ногу, помял ребра и причинил сотрясение мозга, вследствие чего крестьянин Алексей Ухов, ломовой извозчик, — помер. Отец и жена умершего желают получить с гражданина 5000 рублей. Дело рассматривалось в окружном суде, в иске отказано, подана апелляция. Из полицейского протокола Самгин увидал, что иск — безнадежен. На обороте дела он прочитал подсчет гонорара, полученного Прозоровым: 140 р.

«Дело о нарушении контракта фабрикантом Келлер…»

За спиною Самгина открылась дверь и повеяло крепкими духами. Затем около него явилась женщина среднего роста, в пестром облаке шелка, кружев, в меховой накидке на плечах, в тяжелой чалме волос, окрашенных в рыжий цвет, румяная, с задорно вздернутым носом, синеватыми глазами, с веселой искрой в них. Ее накрашенный рот улыбался, обнажая мелкие мышиные зубы, вообще она была ослепительно ярка.

— Елена Викентьевна, — сказала она, протянув коротенькую пухлую ручку, и пригласила Самгина завтракать.

Завтракали очень разнообразно и вкусно. Пили водку пополам с «пикон», пили вино, и Клим Иванович Самгин с удовольствием узнал немал® интереснейших новостей из жизни высших сфер.

Первая из них: посланник Соединенных Штатов Америки в Париже заявил русскому послу Нелидову, что, так как жена графа Ностиц до замужества показывалась в Лондоне, в аквариуме какого-то мюзик-холла, голая, с рыбьим хвостом, — дипломатический корпус Парижа не может признать эту даму достойной быть принятой в его круге.

— Вы понимаете, какой скандал? Ностиц. Он, кажется, помощник посла. Вообще — персона важная. Нет — вы подумайте [о] нашем престиже за границей. Послы — женятся на дамах с рыбьими хвостами…

Она засмеялась звонко, «рассыпчатым» смехом, очень приятным, а затем сообщила, что у молодой царицы развивается истерия и — нарывы на ногах.

— Все это — последствия ее ненормальных отношений с Вырубовой. Не понимаю лесбианок, — сказала она, передернув плечами. — И там еще — этот беглый монах, Распутин. Хотя он, кажется, даже не монах, а простой деревенский мельник.

Она со вкусом, но и с оттенком пренебрежения произносила слова «придворные сферы», «наша аристократия», и можно было подумать, что она «вращалась» в этих сферах и среди аристократии. Подчеркнуто презрительно она говорила о

министрах:

— Все какие-то выскочки с мещанскими фамилиями — Щегловитов, Кассо… Вы не видали этого Кассо? У него изумительно безобразные уши, огромные, точно галоши. А Хвостов, нижегородский губернатор, которого тоже хотят сделать министром, так толст, что у него автомобиль на особенных рессорах.

Сидели в большой полутемной комнате, против ее трех окон возвышалась серая стена, тоже изрезанная окнами. По грязным стеклам, по балконам и железной лестнице, которая изломанной линией поднималась на крышу, ясно было, что это окна кухонь. В одном углу комнаты рояль, над ним черная картина с двумя желтыми пятнами, одно изображало щеку и солидный, толстый нос, другое — открытую ладонь. Другой угол занят был тяжелым, черным буфетом с инкрустацией перламутром, буфет похож на соединение пяти гробов.

В комнате было душновато, крепкие духи женщины не могли одолеть запаха пыли, нагретой центральным отоплением.

Завтрак продолжался часа два. Клим Иванович Самгин вкусно покушал, немножко выпил, настроился благодушно и, слушая звонкий голосок, частый смех женщины, любезно улыбался, думал:

«Глупа, но — забавная».

А она с восторгом говорила ему о могучей красоте фресок церкви Спаса Нередицы в Новгороде.

Отпуская его, она сказала:

— По субботам у меня бывают артисты, литераторы, музицируем, спорим, — заходите!

«Да, у нее нужно бывать», — решил Самгин, но второй раз увидеть ее ему не скоро удалось, обильные, но запутанные дела Прозорова требовали много времени, франтоватый письмоводитель был очень плохо осведомлен, бездельничал, мечтал о репортаже в «Петербургской газете». Да и сам Прозоров, все более раскисая, потирал лоб, дергал себя за бороду и явно терял память. Письмоводителя рассчитали. Дронов поставил на его место угрюмого паренька, в черной суконной косоворотке, скуластого, с оскаленными зубами, и уже внешний вид его действовал Самгину на нервы.

Умер Лев Толстой. Агафья была первым человеком, который сказал это Самгину утром, подавая ему газеты:

— Лёв-то Николаич скончался. Она сказала это вполголоса и пошла прочь, но, остановясь в двери, добавила:

— Слышите, как у всех в доме двери хлопают? Будто испугались люди-то.

— Вы читали Толстого? — спросил он.

— «Поликушку» читала, «Сказку о трех братьях», «Много ли человеку земли надо» — читала. У нас, на черной лестнице, вчера читали.

Как всегда, она подождала: не спросит ли барин еще о чем-нибудь. Барин — не спросил.

Он не слышал, что где-то в доме хлопают двери чаще или сильнее, чем всегда, и не чувствовал, что смерть Толстого его огорчила. В этот день утром он выступал в суде по делу о взыскании семи тысяч трехсот рублей, и ему показалось, что иск был признан правильным только потому, что его противник защищался слабо, а судьи слушали дело невнимательно, решили торопливо.

В комнате присяжных поверенных озабоченно беседовали о форме участия в

похоронах, посылать ли делегацию в Ясную Поляну или ограничиться посылкой венка. Кто-то солидно напомнил, что теперь не пятый год, что существует Щегловитов…

Довольный тем, что выиграл дело, Клим Иванович Самгин позвонил Прозорову, к телефону подошла Елена и, выслушав его сообщение, спросила:

— А вы знаете, что в университете беспокойно, студенты шумят, требуют отмены смертной казни…

«Дура, — мысленно обругал ее Самгин, тотчас повесив трубку. — Ведь знает, что разговоры по телефону слушает полиция». Но все-таки сообщил новость толстенькому румянощекому человеку во фраке, а тот, прищурив глаз, посмотрел в потолок, сказал:

— Что ж? Предлог — хороший. «Смертию смерть поправ». Только бы на улицу не вылезали…

Явились еще двое фрачников с портфелями, и один из них, черноволосый, высоколобый, с провалившимися внутрь черепа глазами и желчным лицом, сердито говорил:

— Я утверждаю: сознание необходимости социальной дисциплины, чувство солидарности классов возможны только при наличии правильно и единодушно понятой национальной идеи. Я всегда говорил это… И до той поры, пока этого не будет, наша молодежь…

— Позволь, позволь! Конституционные иллюзии года три-четыре держали молодежь в состоянии покоя…

— Но вот оказалось достаточно умереть Толстому, чтоб она снова полезла на стену. Румяный адвокат весело спросил:

— А где же это вы, Роман Осипович, наблюдали солидарность классов?

— Во Франции, друг мой, в Англии. В Германии, где организованный рабочий класс принимает деятельное участие в государственной работе. Все это — страны, в которых доминирует национальная идея…

— Это у вас — струвизм! Эрос в политике и прочее. Это романтика…

Самгин послушал спор еще минут пять и вышел на улицу под ветер, под брызги мелкого дождя. Ему казалось, что в обычном шуме города сегодня он различает какой-то особенный, глухой, тревожный гул. Люди обгоняли друг друга, выскакивали из дверей домов, магазинов, из-за углов улиц, и как будто все они искали, куда бы спрятаться от дождя, ветра. Мысли тоже суетились поспешно, бессвязно. Думалось о том, что адвокаты столицы относятся к нему холодно, с любезностью очень обидной. В сером, мокром сумраке вырастала фигура хмурого старика с растрепанной бородой.

«Уговаривал не противиться злу насилием, а в конце дней бежал от насилия жены, семьи. Снова начинаются волнения студентов».

Нанял извозчика, спрятался под кожу верха пролетки, закрыл глаза. Только что успел раздеться — вбежал Дронов, отирая платком мокрое лицо.

— Толстой-то, а? — заговорил он. — Студенты зашевелились, и будто бы на заводах сходки. Вот — штука! Чорт возьми…

Он почмокал губами и продолжал?

— Еду мимо, вижу — ты подъехал. Вот что: как думаешь — если выпустить сборник о Толстом, а? У меня есть кое-какие знакомства в литературе. Может — и ты попробуешь написать что-нибудь? Почти шесть десятков лет работал человек,

приобрел всемирную славу, а — покоя душе не мог заработать. Тема! Проповедовал: не противьтесь злому насилием, закричал: «Не могу молчать», — что это значит, а? Хотел молчать, но — не мог? Но — почему не мог?

— Сборник — это хорошая мысль, — сказал Самгин и, не желая углубляться в истоки моральной философии Толстого, деловито заговорило плане сборника.

Дронов минут пять слушал молча, потирая лоб и ежовые иглы на голове, потом вскочил:

— Еду в Думу. Хочешь?

— Нет.

Выдернув яз кармана какую-то газетку, он сунул ее Самгину:

— «Рабочая газета» Ленина, недавно — на-днях — вышла.

Исчез, но тотчас же, в пальто, в шапке, снова явился, пробормотал:

— Есть слушок: собираемся Персию аннексировать. Австрия — Боснию, Герцеговину схватила, а мы — Персию. Если англичане не накостыляют нам шею — поеду к персам ковры покупать. Дело — тихое, спокойное. Торговля персидскими коврами Ивана Дронова. Я хожу по ковру, ты ходишь пока врешь, они ходят пока врут, вообще все мы ходим пока врем. Газетку — сохрани.

Пробормотал и окончательно исчез, оставив Самгина в состоянии раздражения.

«Шут. Хитрый шут. Лживая натура».

Он уже не впервые замечал, что Иван, уходя, старается, как актер под занавес, сказать слова особенно раздражающие память и какие-то двусмысленные.

Грея спину около калорифера, Самгин развернул потрепанную, зачитанную газету. Она — не угашала его раздражения. Глядя на простые, резкие слова ее передовой статьи, он презрительно протестовал:

«Кого они хотят вести за собой в стране, где даже Лев Толстой оказался одиноким и бессильным…»

Вечером он пошел к Прозорову, старик вышел к нему в халате, с забинтованной шеей, двигался он хватаясь дрожащей рукой за спинки кресел, и сипел, как фагот, точно пьяный.

— «Печали и болезни вон полезли», как сказано у… этого, как его? «Бурса»? Вот, вот — Помяловский. Значит — выиграли мы? Очень приятно. Очень.

Говоря медленно, тягуче, он поглаживал левую сторону шеи и как будто подталкивал челюсть вверх, взгляд мутных глаз его искал чего-то вокруг Самгина, как будто не видя его.

— Теперь давайте, двигайте дело графини этой. Завтра напишем апелляцию… Это мы тоже выиграем. Ну, я, знаете, должен лежать, а вы к жене пожалуйте, она вас просила. Там у нее один… эдакий… Из этих, из модных… Искусство, философия и всякое прочее. Э-хе-хе…

Он махнул левой рукой, правую протянул Самгину и, схватив его руку, удержал ее:

— Толстой-то, а? В мое время… в годы юности, молодости моей, — Чернышевский, Добролюбов, Некрасов — впереди его были. Читали их, как отцов церкви, я ведь семинарист. Верования строились по глаголам их. Толстой незаметен был. Тогда учились думать о народе, а не о себе. Он — о себе начал. С него и пошло это… вращение человека вокруг себя самого. Каламбур тут возможен: вращение вокруг частности — отвращение от целого… Ну — до свидания… Ухо чего-то болит…

Прошу…

Он указал рукой на дверь в гостиную. Самгин приподнял тяжелую портьеру, открыл дверь, в гостиной никого не было, в углу горела маленькая лампа под голубым абажуром. Самгин брезгливо стер платком со своей руки ощущение теплого, клейкого пота.

Дверь в столовую была приоткрыта, там, за столом, сидели трое мужчин и Елена. В жизни Клима Ивановича Самгина неожиданные встречи были часты и уже не удивляли его, но каждая из них вызывала все более тягостное впечатление ограниченности жизни, ее узости и бедности.

В толстом рыжеволосом человеке, с надутым, синеватого цвета бритым лицом утопленника, с толстыми губами, он узнал своего учителя Степана Андреевича Томилина, против него, счастливо улыбаясь, сидел приват-доцент Пыльников.

— И замалчивают крик отчаяния, крик физиолога дю-Буа-Реймона, которым он закончил свою речь «О пределах наших знаний» — сиречь «Игнорабимус» — не узнаем! — строго, веско и как будто сквозь зубы говорил Томилин, держа у бритого подбородка ложку с вареньем.

— Сов-вершенно верно, — с радостью подтвердил Пыльников, и вслед за его словами торопливо раздался тонкий детский голосок:

— Так, интересы профессии одних, привычка к легкомыслию других ограничивают свободу мысли.

— Именно — это! — снова подтвердил Пыльников. — То есть сначала это, затем уже политика власти — самодержавной власти, разумеется…

— О! — вскричала Елена, встречая Самгина. — Вот прекрасно! Знакомьтесь: Аркадий Козьмич Пыльников, Юрий Николаевич Твердохлебов.

— Мы знакомы, — сказал Самгин, подходя к Томилину, — не вставая, облизывая губы, Степан Томилин поднял на Самгина рыжие зрачки, медленно и важно поднял руку и недоверчиво спросил:

— Знакомы? Где же я имел честь?..

Обиженный его важностью, Самгин сухо напомнил ему.

— Ага! Да, да, я вспоминаю. Был репетитором вашим, и еще там были мальчики. Один из них, кажется, потонул или что-то такое…

Он отвернул лицо от Самгина и снова взял варенья. Клим Иванович сел против Твердохлебова, это был маленький, размеров подростка, человечек- с личиком подвижным, как у мартышки, смуглое личико обросло темной бородкой, брови удивленно приподняты, темные глазки блестят тревожно. «Какой-то игрушечный, не настоящий», — определил Самгин, присматриваясь к Томилину неприязненно. Жесткие волосы учителя, должно быть, поредели, они лежали гладко, как чепчик, под глазами вздуты синеватые пузыри, бритые щеки тоже пузырились, он часто гладил щеки и нос пухлыми пальцами левой руки, а правая непрерывно подкосила к толстым губам варенье, бисквиты, конфекты. Вазочки с вареньем и бисквитами, коробки конфект были тесно сдвинуты в его сторону. Весь он стал какой-то пузырчатый, вздутый живот его, точно живот Бердникова, упирался в край стола, и когда учителю нужно было взять что-нибудь, он приподнимался на стуле, живот мешал рукам, укорачивал. Но, несмотря на то, что он так ненормально, нездорово растолстел, Самгин, присматриваясь к нему, не мог узнать в нем того полусонного, медлительного человека, каким Томилин жил в его памяти. Говорил он так уверенно и властно, что его уже нельзя было назвать «личностью неизвестного назначения», как называл его Варавка. И зрачки его глаз уже не казались наклеенными на белках, но как бы углубились в их молочное вещество, раскрашенное розоватыми жилками, — углубились, плавали в нем и светились как-

то зловеще.

«Страшное и противное лицо», — определил Самгин, слушая.

— В докладе моем «О соблазнах мнимого знания» я указал, что фантастические, невообразимые числа математиков — ирреальны, не способны дать физически ясного представления о вселенной, о нашей, земной, природе, и о жизни плоти человечий, что математика есть метафизика двадцатого столетия и эта наука влечется к схоластике средневековья, когда диавол чувствовался физически и считали количество чертей на конце иглы. Вопрос о достоверности знания, утверждаю я, должен быть поставлен вновь и строго философски. Надо проверить: не есть ли знание ловушка диавола, поставленная нам в наших поисках богопознания.

— Простите, что прерываю вашу многозначительную речь, — с холодной вежливостью сказал Самгин, — Но, помнится, вы учили понимать познание как инстинкт, третий инстинкт жизни…

— Учил, когда учился, и перестал учить, когда понял, что учил ошибочно, — ответил Томилин, развертывая конфекту и не взглянув на ученика, а Самгин почувствовал, что ему хочется говорить дерзости.

«Вот — хам!»

И, стараясь придать голосу своему ядовитость, произнес:

— Тогда разрешите поставить вопрос об ответственности учительства.

— Правильно. Вот и ставьте его пред Христом и Пирроном, пред блаженным Августином и Вольтером…

— Вот — удар! — вскричал Пыльников, обращаясь к Твердохлебову, а [Твердохлебов] тотчас же набросился на Самгина, крича:

— И вспомните о причине изгнания праотцев из рая! И о горьких плодах: мира сего. Розанова — читали? Томилин, разжевывая конфекту, докторально указал:

— Розанов — брехун, чувственник и еретик, здесь неуместен. Место ему уготовано в аду. — И, зло вспыхнувшими глазами покосясь в сторону Самгина, небрежно пробормотал:

— Есть две ответственности: пред богом и пред диаволом. Смешивать их в одну — преступно. Умолчу о том, что и неумно.

Он облизал губы, потом вытер их платком и обратился к Елене.

— Возвращаясь к Толстому — добавлю: он учил думать, если можно назвать учением его мысли вслух о себе самом. Но он никогда не учил жить, не учил этому даже и в так называемых произведениях художественных, в словесной игре, именуемой искусством… Высшее искусство — это искусство жить в, благолепии единства плоти и духа. Не отрывай чувства от ума, иначе жизнь твоя превратится в цепь неосмысленных случайностей и — погибнешь!

«Цепь неосмысленных случайностей» — это он взял у Льва Шестова», — отметил Самгин.

Клим Иванович не помнил себя раздраженным и озлобленным до такой степени, как был озлоблен в эти минуты. Раздражало и даже возбуждало брезгливость поглощение Томилиным сладостей, он почти непрерывно и как бы автоматически подавал их пухлыми пальцами в толстогубый рот, должно быть, эта равнодушная жвачка и заставляла вероучителя цедить слова сквозь зубы. Проповедь его звучала равнодушно, и в этом равнодушии, ясно для Самгина, звучало пренебрежительное отношение к нему. Смысл проповеди бывшего учителя не интересовал, не задевал

Самгина. Климу Ивановичу уже знакомо было нечто подобное, вопрос о достоверности знания, сдвиг мысли в сторону религии, метафизики — все это очень в моде. Но было что-то обидное в том, что Томилин оказался так резко не похожим на того, каким был в молодости. Обрывая краткие замечания и вставки Пыльникова, Твердохлебова, бывший репетитор не замечал Самгина, и похоже было, что он делает это нарочно.

«Он мстит мне? За что? — подумал Самгин, вспомнил, как этот рыжий сластоежка стоял на коленях пред его матерью, и решил: — Не может быть. Варавка любил издеваться над ним...»

— «Человек рождается на страдание, как искра, чтоб устремиться вверх», — с восторгом вскричал маленький Твердохлебов, и его личико сморщилось, стало еще меньше. Обнажая шоколадную конфекту, соскабливая с нее ногтем бумажку, Томилин погасил восторг этого человечка холодными словами:

— Не все в книге Иова мы должны понимать так прямолинейно, как написано, ибо эта книга иной расы и крови, — расы, непростительно согрешившей пред господом и еще милостиво наказанной...

Он встал и оказался похожим на бочку, облеченную в нечто темносерое, суконное, среднее между сюртуком и поддевкой. Выкатив глаза, он взглянул на стенные часы, крякнул, погладил ладонью щеку.

— Мне — пора. Надо немного подготовиться, в девять читаю в одном доме о судьбе, как ее понимает народ, и о предопределении, как о нем учит церковь.

Поцеловал руку хозяйки, остальным кивнул головой и пошел, тяжело шаркая ногами; хозяйка последовала за ним.

— Замечательно! — вполголоса сказал Твердохлебов.

— Весьма умный человек, — согласился Пыльников.

— А — какая эрудиция! Возвратилась хозяйка.

— Оригинален? — спросила она и сама ответила: — Очень.

А Пыльников сказал Самгину:

— У Елены Викентьевны удивительный дар находить и собирать вокруг себя людей исключительно интересных...

— Счастлив, что нахожусь в их среде, — озлобленно и не скрывая иронии произнес Самгин. Елена усмехнулась, глядя на него.

— Ого, вы кусаетесь?

— Нет, право же, он недюжинный, — примирительно заговорила она. — Я познакомилась с ним года два тому назад, в Нижнем, он там не привился. Город меркантильный и ежегодно полтора месяца сходит с ума: всё купцы, купцы, эдакие огромные, ярмарка, женщины, потрясающие кутежи. Он там сильно пил, нажил какую-то болезнь. Я научила его как можно больше кушать сладостей, это совершенно излечивает от пьянства. А то он, знаете, в ресторанах философствовал за угощение...

Самгин слушал ее с удовольствием, ее слова освежали и успокаивали его, а выслушав дальнейшее, он даже тихонько засмеялся.

— Можете себе представить: подходит к вам эдакий страшный и предлагает: не желаете ли, бытие божие докажу? И за полбутылки водки утверждал и отвергал, доказывал. Очень забавно. Его будто бы даже били, отправляли в полицию... Но, вот видите, оказалось, что он... что-то значит! Философ, да?

— Весьма оригинальный, — грустно сказал Пыльников, а Клим Иванович Самгин с удовольствием посмотрел на лица Пыльникова и Твердохлебова, они как будто несколько поблекли. Пыльников надул губы и слушал разочарованно, а маленький человечек, передернув плечами, пробормотал:

— Испытание! Я — про алкоголизм. Не согрешишь — не покаешься, не покаешься —»е спасешься.

— Мой муж — старый народник, — оживленно продолжала Елена, — Он любит все это: самородков, самоучек… Самоубийц, кажется, не любит. Самодержавие тоже не любит, это уж такая старинная будничная привычка, как чай пить. Я его понимаю: люди, отшлифованные гимназией, университетом, довольно однообразны, думают по книгам, а вот такие… храбрецы вламываются во все за свой страх. Варвары… Я — за варваров, с ними не скучно!

— Елена Викентьевна! — взвыл Твердохлебов, подскочив на стуле. — Это говорите вы, вы, в гостиной которой собирается цвет…

— Едена Викентьевна шутит, — объяснил Пыльников, но слова его звучали вопросительно.

— Вот какой догадливый, — сказала женщина, обращаясь к Самгину; он встал, протянул ей руку.

— Ой, нет! Не отпущу, у меня к вам есть дело… Те двое помяли, что они — лишние, поцеловали ее пухлую ручку с кольцами на розовых пальчиках и ушли. Елена несколько секунд пристально, с улыбкой в глазах рассматривала Самгина, затем скорчила рожицу в комически печальную гримасу и, вздохнув, спросила:

— Будем говорить о Толстом?

— Это — необязательно, — сказал Самгин.

— Спасибо. О Толстом я говорила уже четыре раза, не считая бесед по телефону. Дорогой Клим Иванович — в доме нет денег и довольно много мелких неоплаченных счетов. Нельзя ли поскорее получить гонорар за дело, выигранное вами?

— Я постараюсь.

— Пожалуйста, постарайтесь! Вот и все. Но это не значит, что вы должны уходить.

Она предложила перейти в гостиную. Ходила она легко и плавно, пружинистым танцующим шагом, одета она в платье оранжевого цвета, широкое, точно плащ. На ходу она смешно размахивала руками, оправляя платье, а казалось, что она отталкивает что-то.

«Приятная, — сказал себе Самгин и подумал: — она прячется в широкие платья, вероятно, потому, что у нее плохая фигура». Он был очень благодарен ей за то, что она рассказала о Томилине, и смотрел на нее ласково, насколько это было доступно ему.

Гостиная освещалась лампой, заключенной в фонарь ажурной персидской меди, и все в комнате было покрыто мелким узором теней. По стенам на маленьких полочках тускло блестели медные кувшины, чаши, вазы, и это обилие меди заставило Самгина подумать:

«Оригинальничает».

Елена полулежала на тахте, под большой картиной, картина изображала желтые бугры песка, караван верблюдов, две тощие пальмы в лохмотьях листьев, изорванных ветром.

— Муж заболевает, должно быть, серьезно, — говорила Елена.

Печали в словах ее Самгин не слышал. Он спросил: кто это — Твердохлебов?

— Так… бездельник, — сказала она полулежа на тахте, подняв руки и оправляя пышные волосы. Самгин отметил, что грудь у нее высокая. — Живет восторгами. Сын очень богатого отца, который что-то продает за границу. Дядя у него — член Думы. Они оба с Пыльниковым восторгами живут. Пыльников недавно привез из провинции жену, косую на правый глаз, и двадцать пять тысяч приданого. Вы бываете в Думе?

— Был, один раз, собираюсь на-днях.

— Идемте вместе. Там — забавно. Сидят и сочиняют законы очень знакомые люди, которых я видала пьяными у цыган, в кабинетах ресторанов.

Прищурясь, она спросила:

— Ведь вам Дронов, наверное, сказал, что я была эстрадной певицей? Ну, вот. В качестве таковой я имела весьма широкие знакомства среди лучших людей России, — сказала она, весело подмигнув. — И, разумеется, для того, чтоб хорошо одеться, приходилось совершенно раздеваться. Вас это шокирует?

— Ничуть, — поспешно сказал Самгин, а она, грозя пальцем, предупредила его:

— Но — не вздумайте сочувствовать, жалеть и тому подобное. И — не питайте амурных надежд, я уже достаточно устала от любви. И вообще от всякого свинства. Будем добрыми друзьями — хорошо?

— Очень хорошо. И очень благодарю вас за предложение, — говорил Самгин, думая: «Муж умирает, ей нужен заместитель, который продолжал бы дело мужа — работать на нее».

— Ну, вот. Я встречаюсь с вами четвертый раз, но… Одним словом: вы — нравитесь мне. Серьезный. Ничему не учите. Не любите учить? За это многие грехи простятся вам. От учителей я тоже устала. Мне — тридцать, можете думать, что два-три года я убавила, но мне по правде круглые тридцать и двадцать пять лет меня учили.

Самгин, любезно улыбаясь, слушал ее задорную болтовню и видел, что, когда эта женщина толкает пальцами, легкие слова ее тоже как будто металлически щелкают, точно маленькие ножницы, а веселая искра синих глаз вспыхивает ярче.

«Она интереснее Алины, — определял Самгин. — Характер более законченный. И — неглупа. Эта едва ли способна разыгрывать драмы. С ней необходимо держаться очень осторожно», — решил он.

Но он почти каждый день посещал Прозорова, когда старик чувствовал себя бодрее, работал с ним, а после этого оставался пить чай или обедать. За столом Прозоров немножко нудно, а все же интересно рассказывал о жизни интеллигентов семидесятых — восьмидесятых годов, он знавал почти всех крупных людей того времени и говорил о них, грустно покачивая головою, как о людях, которые мужественно принесли себя в жертву Ваалу истории.

— Надсон пел: «Верь, погибнет Ваал», но вот — не погиб. Насилие Европы все быстрее разрушает крестьянскую нашую страну, н-да! Вы, наверное, марксист, как все теперь… Даже этот нахал… Столыпин…

— Налить еще чаю? — спрашивала Елена, она сидела обычно с книжкой в руке, не вмешиваясь в лирические речи мужа, быстро перелистывая страницы, двигая бровями. Читала она французские романы, сборники «Шиповника», «Фиорды», восхищалась скандинавской литературой. Клим Иванович Самгин не заметил, как у него с нею образовались отношения легкой дружбы, которая, не налагая никаких неприятных обязательств, не угрожала принять характер отношений более

интимных и ответственных.

У Елены он отдыхал от впечатлений, которые угнетали его в квартире Дронова, куда, точно мутные ручьи дождя в яму, стекались слухи, мысли, факты, столь же неприятно разнообразные, как люди, которые приносили их. Количество людей непрерывно увеличивалось, они суетились, точно на вокзале, и очень трудно было понять, куда и зачем они едут?

Дронов вертелся, кипел, потел, он продолжал ожесточенно искать денег на издание газеты, а Тося, усмехаясь, говорила:

— Ищет сто тысяч, как иголку в стоге сена!

Но Иван был оптимистически уверен, что найдет иголку, и его оптимизм укреплял темные подозрения Самгина:

«На какие средства он живет?»

Гостеприимное жилище Ивана Самгин называл про себя «нелегальным рестораном», «бесплатным трактиром» и чувствовал, что ему не место в этом жилище. Он [видел], что все люди Ивана Дронова имеют какую-то черту, общую черту с Иваном, так же, как Иван, они встревожены чем-то и сеют тревогу. Видел, что эти люди гораздо более широко, чем он, Самгин, осведомлены о ходе событий текущей жизни, и оскорбленно убеждался, что они не слушают и даже не замечают его. Самгин привык быстро составлять для себя измерения, характеристики, оценки людей по их склонностям, насколько склонности выражались в словах, людей этих он разделил на организаторов и дезорганизаторов. Первую группу возглавлял сладкоречивый Ногайцев, возбуждаясь почти до слез, сложив пальцы правой руки щепотью, он потрясал ею пред своим лицом и убеждал:

— Пережив революцию, страна успокоилась, работает, богатеет — европеизируется. Столыпин действовал круто, но благодаря его аграрной реформе мы имеем отличный урожай хлеба…

— А также повешенных революционеров и обезземеленных крестьян, — густым басом, спокойно вставил Говорков.

— Правильно! — поддержал его только что изгнанный из университета Борис Депсамес, кудрявый брюнет, широкоплечий, стройный, в поношенной студенческой тужурке, металлические пуговицы на ней он заменил черными и серыми.

— Вы, Говорков, член партия, которая навсегда скомпрометировала себя моральной слепотой, — огрызнулся Ногайцев и, продолжая потрясать щепотью пальцев пред своим носом, точно нюхая их, снова лирически запел:

— Мы, народные социалисты, чистейшие демократы, не мыслим рост культуры без участия деревни. Мы — не слепы и приветствуем развитие металлургии, ибо деревне нужны сельскохозяйственные машины. Лично я приветствую разрешение правительства ввозить чугун из-за границы по тарифу пониженному, дабы преодолеть чугунный голод…

Дезорганизаторов возглавлял Тагильский, — сидя в темном углу, плохо видимый, он не торопясь и даже как будто лениво возражал:

— А может быть, чугун пойдет «Русскому обществу для изготовления снарядов» и другим фабрикам этого типа? У нас не хватает не только чугуна и железа, но также цемента, кирпича, и нам нужно очень много продать хлеба, чтоб купить все это.

Он сладострастно, с усмешечкой в глазах погружался в цифры, сдвигая миллионы рублей с десятками миллионов пудов.

— И не рано ли вы говорите об успокоении, имея налицо тысячи поджогов хуторов и прочих выступлений безземельного крестьянства против отрубников?

Вспоминая свое пристрастие к цифрам, Тагильский перечислял не спеша и солидно: 1 декабря в университете на сходку собралось около двух тысяч студентов, полицеймейстер Гессе ввел в университет двести пятьдесят полицейских, в Зерентуе и Вологде — тюремные бунты.

— К этому прибавьте две легальные газеты меньшевиков и большевистскую «Звезду» здесь. Это — что значит?

— Желают, чтоб социалисты сожрали друг друга, — сердито крикнул Хотяинцев.

За чайным столом Орехова, часто отирая платком красное, потное лицо, восхищалась деятельностью английских «суфражисток», восторженно рассказывала о своей встрече с Панкхерст, ее молча слушали Роза Грейман и Тося, Шемякин сидел рядом с Тосей, посматривая на ее бюст, покручивая левый ус, изредка вставлял барским тоном, вполголоса:

Говорили о господе Иисусе,О жареном гусе,О политике, поэзии,Затем — водку пить полезли

— это, кажется, из Чехова? Грейман сердито сказала:

— Чехов не писал стихов.

— Не писал? Напрасно.

Этот новорожденный барин особенно раздражал Самгина, и, если б Клим Иванович был способен ненавидеть, он ненавидел бы его. Раздражал он упорной и уверенной манерой ухаживать за Таисьей. Самгину было ясно, что сдобный этот мужчина достигнет желаемого. А Самгин, не сознаваясь себе в этом, посещал квартиру Дронова почти уже только для того, чтоб видеть эту спокойную, дородную, мягкую женщину. Никогда еще ни одна женщина не казалась ему такой удобной для сожительства с нею. Ему казалось, что она продолжает смотреть на него вопросительно, чего-то ожидая от него. Но каждый раз, когда он начинал говорить ей, что она ему приятна, — лицо ее становилось скучным, деревянным, и она молчала невозмутимо.

— Вам этот Шемякин нравится? — спросил он.

— Нет, — сказала она, и слово ее прозвучало правдиво.

— Что он делает?

Пожав плечами, она сказала;

— Богатый.

— А кроме этого?

— Не знаю. Да, — на скрипке играет.

— Вы слышали?

— Где же? У нас — не играл. Говорит — учился в консерватории, хотел концерты давать.

— Настойчиво ухаживает он за вами. Она снова пожала плечами.

— Богатый, — скучно. Когда все есть, — что делать? Наивные ее вопросы нравились Самгину, и почти всегда за вопросами ее он находил еще более детские мысли.

— Вам нравятся богатые люди?

— Конечно — нет.

— Почему?

— Ну — зачем они? Ведь им уж ничего не надо, все нашли, думать не о чем.

И, нахмурясь, она сказала:

— Вы всё дразните меня, как маленькую. Он стал говорить, что богачи возбуждают в бедных желание тоже разбогатеть, но Таисья, нахмурясь, остановила его:

— Перестаньте! А то я подумаю, что вам хочется сделать меня глупой.

Нет, этого он не хотел, женщина нужна ему, и не в его интересах, чтоб она была глупее, чем есть. И недавно был момент, когда он почувствовал, что Таисья играет опасную игру.

Он почти неделю не посещал Дронова и не знал, что Юрин помер, он встретил процессию на улице. Зимою похороны особенно грустны, а тут еще вспомнились похороны Варвары: день такой же враждебно холодный, шипел ветер, сеялся мелкий, колючий снег, точно так же навстречу катафалку и обгоняя его, но как бы не замечая, поспешно шагали равнодушные люди, явилась та же унылая мысль:

«Вот и меня тоже так...»

Провожали Юрина восемь человек — пятеро мужчин и три женщины: Таисья, Грейман и коротконогая старуха в толстой ватной кофте, окутанная шалью. Таисья шагала высоко подняв голову, сердито нахмурясь, и видно было, что ей неудобно идти шаг в шаг с маленькой Розой и старухой, она все порывалась вперед или, отставая, толкала мужчин. Из них только один, в каракулевой шапке, прятал бородатое лицо в поднятом воротнике мехового пальто, трое — видимо, рабочие, а пятый — пожилой человек, бритый, седоусый, шел сдвинув мохнатую папаху на затылок, открыв высокий лоб, тыкая в снег суковатой палкой. Самгин на какие-то секунды остановился и этим дал возможность Таисье заметить его, — она кивнула головой. Неловко было бы не подойти к ней.

— Вот — помер, — тихо сказала она и тотчас же заговорила громко, угрюмо:

— Двадцать девять лет. Шесть просидел в тюрьме. С семнадцати лет начал. Шпионишка послали провожать, вон — ползет!

Она кивнула на панель.

— Брось, Таисья Романовна, — хрипло сказал человек с палкой.

Самгин искоса взглянул на панель, но не мог определить, кто там шпион.

— Это — мать? — спросил он, указав глазами на ста-

руху.

— Квартирная хозяйка. У него родных — никого нет. Кроме вот этих.

И, взглянув на провожатых через плечо, спросила:

— Почему вас не видно?

Самгин сказал, что вечером придет, и пошел прочь.

«За внешней грубостью — добрая, мягкая душа. Тип Тани Куликовой, Любаши Сомовой, Анфимьевны. Тип человека, который чувствует себя созданным для того, чтоб служить, — определял он, поспешно шагая и невольно оглядываясь:

провожает его какой-нибудь субъект? — Служить — все равно кому. Митрофанов тоже человек этой категории. Не изжито древнее, рабское, христианское. Исааки, как говорил отец...»

Было немножко досадно, что приходится ставить Таисью в ряд таких мелких людей, но в то же время [это] укрепляло его желание извлечь ее из среды, куда она случайно попала. Он шел, поеживаясь от холода, и скандировал Некрасова:

Когда из мрака заблужденьяГорячим словом убежденьяЯ душу падшую извлек...

«Да, необходимо говорить с нею решительно...» Вечером он все-таки не очень охотно шагал к Дронову, — смущала возможность встречи с Тагильским. Он не мог забыть, что, увидав Тагильского у Дронова, постыдно испугался чего-то и несколько отвратительных секунд соображал: подойти к Тагильскому или не нужно? Но Тагильский сам подошел, кругленький, щеголевато одетый, с добродушной усмешкой на красной роже.

— Содом и Гоморра! — дурашливо поздоровался он, встряхнув руку Самгина, заглядывая под очки его. Настроенный весело, он в пять минут сообщил, что из прокуратуры его «попросили уйти» и что он теперь «свободный мальчик».

— Конституция замечательно успешно способствует росту банков, так я, в качестве любителя фокусов экономики, сочиняю разные доклады о перспективах и возможностях. Банки растут, как чирьи, сиречь — фурункулы.

Веселое его лицо, шутливый тон, несколько успокоив тревогу Самгина, все же не поколебали его убеждения, что Тагильский — человек темный, опасный.

«В деле Марины он обыграл меня, — угрюмо подумал Клим Иванович. — Обыграл».

К Дронову он пошел нарочно пораньше, надеясь застать Таисью одну, но там уже сидели за столом Хотяинцев и Говорков один против другого и наполняли комнату рычанием и визгом.

— Перестаньте защищать злостных банкротов, — гремел Хотяинцев, положив локти на стол и упираясь в него. — Партию вашу смазал дегтем Азеф, ее прикончили ликвидаторы группы «Почин» Авксентьев, Бунаков, Степа Слетов, бывший мой приятель и сожитель в ссылке, хороший парень, но не политик, а наивнейший романтик. Вон Егор Сазонов застрелился от стыда за вождей.

Ревущим голосом своим землемер владел очень легко, говорил он, точно читал, и сквозь его бас реплики, выкрики студента были не слышны. Первый раз Клим Иванович мог рассмотреть лица этих людей: у Хотяинцева лицо костлявое, длинное, некрасиво перерезано зубастым ртом, изрыто оспой, усеяно неряшливыми кустиками белобрысых волос, клочья таких же бесцветных волос встрепанно покрывали его череп, вытянутый вверх, похожий на дыню. Он сам называл себя человеком «неблагоустроенным», но €го лицо освещали очень красивые большие глаза синеватого цвета с неопределимой усмешечкой в глубине их. Говорков — среднего роста, стройный, смуглолицый, черноглазый, с толстыми усами и квадратной бородкой, темные, бритые щеки его нервно дрожат, говорит он высоким голосом, крикливо и как бы откусывая слова, курчавые волосы его лежат на голове гладко, поблескивают, как шелк, и в них немало седых. Он был преподавателем физики где-то в провинции и владельцем небольшой типографии, которой печаталась местная газета. В конце седьмого года газету закрыли, Говорков был арестован, но вскоре освобожден с «лишением права заниматься педагогической деятельностью». Он приехал в Петербург хлопотать о восстановлении его права учить, нашел работу в Думе и хотя прекратил хлопоты, но жаловался:

— Подумайте, как это варварски бессмысленно — отнять у человека право заниматься его любимым делом, лишить его жизнь смысла!

Нервный, вспыльчивый, он, подскакивая на стуле, кричал:

— Ложь! Сазонов застрелился не потому…

— Мне нужно бы поговорить с вами, — вполголоса сказал Самгин Таисье, она посмотрела на него очень пристально и ответила:

— Хорошо. Вот послушаю, как они…

— Я деревню знаю, знаю, что говорили ваши на выборах в Думу, — оглушительно гремел Хотяинцев. — Вы соображаете, почему у вас оказалось так много попов? Ага!

Тут явились Дронов и Шемякин, оба выпивши, и, как всегда, прокричали новости: министр Кассо разгромил московский университет, есть намерение изгнать из петербургского четыреста человек студентов, из варшавского — полтораста.

Хотяинцев, закусив длинные губы так, что подбородок высунулся — вперед и серое лицо его сморщилось, точно лицо старика, выслушал новости, шумно вздохнул и сказал мрачно:

— Ты, Ванечка, радуешься, как пожарный, который давно не гасил огня… Ей-богу!

— Молчи, мордвин! — кричал Дронов. — А — итало-турецкой войны — не хотите? Хо-хо-о! Все — на пользу… Итальянцы у нас больше хлеба купят…

Шемякин поставил пред Тосей большую коробку конфект и, наклонясь к лицу женщины, что-то сказал, — она отрицательно качнула головой.

— Нет, вы обратите внимание, — ревел Хотяинцев, взмахивая руками, точно утопающий. — В армии у нас командуют остзейские бароны Ренненкампфы, Штакель-берги, и везде сколько угодно этих бергов, кампфов. В средней школе — чехи. Донской уголь — французы завоевали. Теперь вот бессарабец-царанин пошел на нас: Кассо, Пуришкевич, Крушеван, Крупенский и — чорт их сосчитает! А мы, русские, — чего делаем? Лапти плетем, а?

— А вы — русский? — ядовито спросил Говорков.

— Я? — Хотяинцев удивленно посмотрел на него и обратился к Дронову: — Ваня, скажи ему, что Мордвин — псевдоним мой. Деточка, — жалобно глядя на Говоркова, продолжал он. — Русский я, русский, сын сельского учителя, внук попа.

Самгин, искоса следя за Шемякиным и Таисьей, думал:

«Продаст ее Дронов этому болвану».

Один за другим являлись люди, и каждый из них, как пчела взятку, приносил какую-нибудь новость: анекдот, факт, сплетню. Анекдоты отлично рассказывал только что исключенный студент Ерухимович, внук еврея-кантониста, юноша настолько волосатый, что, казалось, ему не меньше тридцати лет. В шапке черных и, должно быть, жестких волос с густосиними щеками и широкой синей полосой на месте усов, которые как бы заменялись толстыми бровями, он смотрел из-под нахмуренных бровей мрачно, тяжело вздыхал, его толстые яркокрасные [губы] смачно чмокали, и, спрятав руки за спину, не улыбаясь, звонким, но комически унылым голосом он рассказывал:

«Шли по Невскому два обывателя, и один другому сказал:

— Эх, дурак!

Подошел к ним полицейский:

— Пожалуйте в участок.

— За что?

— За оскорбление его величества.

— Да — ты, брат, с ума сошел? Это я приятеля обругал!

— Прошу не сопротивляться. Всем известно, кто у нас дурак!»

Это очень утешало людей, они охотно смеялись, просили:

— Ну, еще, Ерухимович! Еще, пожалуйста! Ах — как талантливо!

Ерухимович смотрел на всех неподвижным взглядом каменных глаз и рассказывал еще.

Самгину все анекдоты казались одинаково глупыми. Он видел, что сегодня ему не удастся побеседовать с Таисьей, и хотел уйти, но его заинтересовала речь Розы Грейман. Роза только что пришла и, должно быть, тоже принесла какую-то новость, встреченную недоверчиво. Сидя на стуле боком к его спинке, держась за нее одной рукой, а пальцем другой грозя Хотяинцеву и Говоркову, она говорила:

— Вы — как гимназисты. Вам кажется, что вы сделали революцию, получили эту смешную вашу Думу и — уже взрослые люди, уже европейцы, уже можете сжечь учебники, чтоб забыть, чему учились?

— Бей, Роза! — с натугой кричал Дронов, согнувшись, вытаскивая из бутылки пробку. — Бей, чтоб не зазнавались!

Она не требовала поощрений, ее не сильный, тонкий, но горячий голосок ввинчивался в шум, точно буравчик, и ворчливые, вполголоса, реплики Хотяинцева не заглушали его.

— Вы думаете: если вас не повесили, так вы победили? Да?

— Что вы хотите сказать? — закричал Говорков. Шемякин взглянул на него и болезненно сморщил свое лицо, похожее на огромное румяное яблоко.

— Вы возвращаетесь к самодовольству старых народников, — говорила Роза. — Воображаете себя своеобразной страной, которая живет по своим каким-то законам.

— Ну-у, это неверно, — сказал Хотяинцев с явным сожалением.

— Неверно? Нет, верно. До пятого года — даже начиная с восьмидесятых — вы больше обращали внимания на жизнь Европы и вообще мира. Теперь вас Европа и внешняя политика правительства не интересует. А это — преступная политика, преступная по ее глупости. Что значит посылка солдат в Персию? И темные затеи на Балканах?

И усиление националистической политики против Польши, Финляндии, против евреев? Вы об этом думаете?

Самгин незаметно, ни с кем не простясь, ушел. Несносно было видеть, как любезничает Шемякин, как масляно блестят его котовы глаза и как внимательно вслушивается Таисья в его речь.

«Дронов выпросит у этого кота денег на газету и уступит ему женщину, подлец, — окончательно решил он. Не хотелось сознаться, что это решение огорчает и возмущает его сильнее, чем можно было ожидать. Он тотчас же позаботился отойти в сторону от обидной неудачи. — А эта еврейка — права. Вопросами внешней политики надобно заняться. Да».

Затем он подумал, что у Елены гораздо приятнее бывать, чем у Дронова, но что вполне возможное- сожительство с Еленой было бы не так удобно, как с Таисьей.

«Избалована. Жизнь с ней была бы очень шумной, хаотической. Но — она неглупа.

И с ней — свободно…»

Дни, недели, месяцы текли с быстротой, которая как будто все усиливалась. Впечатление это создавалось, вероятно, потому, что здоровье Прозорова уже совершенно не позволяло ему работать, а у него была весьма обильная клиентура в провинции, и Клим Иванович часто выезжал в Новгород, Псков, Вологду. Провинция оставалась такой же, какой он наблюдал ее раньше: такие же осмотрительно либеральные адвокаты, такие же скучные клиенты, неумело услужливые лакеи в гостиницах, скучные, серые обыватели, в плену мелочей жизни, и так же, как раньше, как везде, извозчики округа петербургской судебной палаты жаловались на дороговизну овса.

Если исключить деревянный скрип и стук газеток «Союза русского народа», не заметно было, чтоб провинция, пережив события 905-7 годов, в чем-то изменилась, хотя, пожалуй, можно было отметить, что у людей еще более окрепло сознание их права обильно и разнообразно кушать.

Весной Елена повезла мужа за границу, а через семь недель Самгин. получил от нее телеграмму: «Антон скончался, хороню здесь». Через несколько дней она приехала, покрасив волосы на голове еще более ярко, это совершенно не совпадало с необычным для нее простеньким темным платьем, и Самгин подумал, что именно это раздражало ее. Но оказалось, что французское общество страхования жизни не уплатило ей деньги по полису Прозорова на ее имя.

— Чорт их знает, чего им нужно! — негодовала она. — Вот любят деньги эти милые французы. Со. мной духовное завещание, хлопотал консул — не платят!

Затем, более миролюбиво, она добавила:

— То есть они — платят, но требуют скидки в 50 тысяч франков, а я хочу получить все двести. И, уже счастливо улыбаясь:

— Да здесь получу 60 тысяч рублей. Можно жить, да? Затем она предложила Самгину взять все дела и па старым делам Прозорова платить ей четверть гонорара.

— Много — четверть? — спросила она, внимательно елядя в его лицо. Самгин получал половину и сказал, что четверть — достаточно.

Она засмеялась.

— Я пошутила, милый мой Клим Иванович. Ничего не надо мне. Я не жадная. Антона уговорила застраховаться в мою пользу, это — да! Но уж если продавать себя, так — недешево. Верно?

— Что вы называете продаваться? — спросил он, пожимая плечами, желая показать, что ее слова возмущают его, но она, усмехаясь, обвела руками вокруг себя, встряхнула юбки- и сказала:

— Вот это. Не любезничайте, милый человек, не фальшивьте, не надо! Я себе цену знаю.

Да, с ней было легко, просто. А вообще жизнь снова начала тревожить неожиданностями. В Киеве убили Столыпина. В квартире Дронова разгорелись чрезвычайно ожесточенные прения да тему — кто убил: охрана? или террористы партии эсеров? Ожесточенность спора удивила Самгина: он не слышал в ней радости, которую обычно возбуждали, акты террора, и ему- казалось, что все спорящие недовольны, даже огорчены казнью министра.

Эта настроение определил Тагильский; поглаживая пальцами щеточку волос на подбородке, он сказал:

— Известно, что не один только Азеф был представителем эсеров в охране и

представителем департамента полиции в партии. Есть слух, что стрелок — раскаявшийся провокатор, а также говорят, что на допросе он заявил: жизнь — не бессмысленна, но смысл ее сводится к поглощению отбивных котлет, и ведь неважно — съем я еще тысячу котлет или перестану поглощать их, потому что завтра меня повесят. Так как Сазоновы и Каляевы ничего подобного не говорили, — я разрешаю себе оценить поступок господина Богрова как небольшую аварию механизма департамента полиции.

Его маленькая речь, сказанная спокойно и пренебрежительно, охладила настроение, а Ногайцев с радостью, в которой Самгин всегда слышал фальшивые ноты, — заявил:

— Совершенно верно!.. Это — дельце явно внутриведомственное! Развал, да. Ведь поступок Лопухина тоже, знаете, не очень… похвален!

Сказав это, он смутился и тотчас закричал:

— А вот послушайте, что узнала Мария Ивановна о Распутине.

Орехова немедленно, с точностью очевидца начала рассказывать о кутеже сибирского мужика, о его хвастовстве близостью к семье царя, о силе его влияния на царицу.

— Все это не очень похоже на государство, нормально функционирующее, не правда ли? — спросил Тагильский Самгина, подходя к нему со стаканом чаю в одной руке, с печеньем в другой.

— Да, чепуха какая-то, — ответил Самгин.

— Но — увеличиваем армию, воссоздаем флот. А молодой человечек забавные стишки читает, — слышите?

Молодой человек, черноволосый, бледный, в черном костюме, с галстуком как будто из золотой парчи, нахмуря высокий лоб, напряженно возглашал:

Мы прячемся от страха жизниВ монастыри и кутежи,В служение своей отчизнеИ в утешенья книжной лжи.

— Сын, кажется, пермского губернатора, с польской четырехэтажной фамилией, или управляющего уделами. Вообще — какого-то крупного бюрократа. Дважды покушался на самоубийство. Мне и вам назначено заменить эдаких в жизни.

— Перспектива не из приятных, — осторожно сказал Самгин.

— Разве? А мне, знаете, хочется министром быть. Витте начал карьеру чем-то вроде стрелочника…

Поэт читал, полузакрыв глаза, покачиваясь на ногах, правую руку сунув в карман, левой ловя что-то в воздухе.

Нигде не находя приюта,Мы прячемся в тумане слов…

— Дурак, — вздохнул Тагильский, отходя прочь. Его поведение продолжало тревожить, и было в этом поведении даже нечто, обидно задевавшее самолюбие Самгина. Там, в провинции, он против воли Клима Ивановича устанавливал отношения, которые, очевидно, не хотел продолжать здесь. Почему не хотел?

«Там он исповедовался, либеральничал, а здесь довольствуется встречами у Дронова, не был у меня и не выражает желания быть. Положим, я не приглашал его. Но все-таки… — И особенно тревожило что-то недосказанное в темном деле убийства Марины. — Здесь он как будто даже избегает говорить со мной».

Новый, 912 год Самгин встретил у Елены. Собралось не менее полусотни человек. Были актрисы, адвокаты, молодые литераторы, два офицера саперного батальона,

был старичок с орденом на шее и с молодой женой, мягкой, румяной, точно оладья, преобладала молодежь, студенты, какие-то юноши мелкого роста, одетые франтовато. В трех комнатах было тесно и шумно, как в фойе театра во время антракта, но изредка, после длительных увещеваний хозяйки, одетой пестро и ярко, точно фазан, после криков: «Внимание! Силенциа! Тише! Слово искусству!» — публика неохотно закрывала рты, и выступали артисты, ораторы.

Маленькая, тощенькая актриса Краснохаткина, окутанная пурпуровым шелком, из-под которого смешно выскакивали козьи ножки в красных туфельках, подняв к потолку черные глазки и щупая руками воздух, точно слепая, грустно читала:

Мы — плененные звери, Голосим, как умеем.

Ей благодарно рукоплескали, она охотно, согласилась петь дуэт с Ерухимовичем, у него оказался приятный, гибкий баритон, и вдвоем с Краснохаткиной он безнадежно просил:

О, ночь! Поскорее укройПрозрачным твоим покрывалом,Целебным забвенья фиаломТомимую душу тоской,Как матерь дитя, успокой!

— Снова хлопали ладонями, но раздались и опротестующие голоса:

— Гос-спода! Почему так много грусти?

— Правильно! — крикнул аккомпаниатор, молодой, во сильно лысоватый человек во фраке, с крупным зеленым камнем к булавке галстука та. с такими же зелеными запонками.

— Долой уныние!

Старичок с орденом, держась за свою седую, остренькую бородку, внушал молодежи:

— Мы встречаем 12 год, год столетия победы нашей над Наполеоном и армиями Европы, встречаем седьмой год представительного правления — не так ли? Мы сделали замечательный шаг, и уж теперь…

— Правильно!

— Веселее, дети.

— Хор!

— Дружественные отношения — наши с Францией помешают нам достойно отметить знаменательную дату, — настойчиво говорил старичок, а молодежь потолкалась и, соединясь плотной кучей, грянула:

Из страны, страны далекой…

Ерухимович, не двигая ни единой чертою каменного лица, отчетливо выводил:

Р-ради славного труда,Р-ради вольности веселойСобралися мы сюда…

— Довольно! — крикнул, выскочив вперед хора, рыжеватый юноша в пенснэ на остром носу. — Долой безграмотные песни! Из какой далекой страны собрались мы? Мы все — русские, и мы в столице нашей русской страны.

— Пр-равильно!

— «Быстры, как волны» — аккомпаниатор!

— Просим волны!

Человек, украшенный зелеными камнями, взмахнув головой и руками, ударил по

клавишам, а <Ерухимович> начал соло, и Самгин подумал, не издевается ли он над людями, выпевая мрачные слова:

Что час, то корочеК могиле наш путь!

— Ну, знаете, — закричал кто-то из соседней комнаты, — встречать новый год такими песнями…

— «Более, чем оригинально» — как сказал царь Николай Второй, — поддержали его.

Но <Ерухимович> невозмутимо пел:

Умрешь — похоронят, как не жил на свете,Сгниешь — не восстанешь…

— Довольно! — закричали несколько человек сразу, и особенно резко выделились голоса женщин, и снова выскочил рыжеватый, худощавый человечек, в каком-то] странного покроя и глиняного цвета сюртучке с хлястиком на спине. Вертясь на ногах, как флюгер на шесте, обнаруживая акробатическую гибкость тела, размахивая руками, он возмущенно заговорил:

— Стыдно слушать! Три поколения молодежи пело эту глупую, бездарную песню. И — почему эта странная молодежь, принимая деятельное участие в политическом движении демократии, не создала ни одной боевой песни, кроме «Нагаечки» — песни битых?

— Браво!

— Замечательно сказано!

— Правильно-о, — подтвердил аккомпаниатор с явной радостью.

— Браво!

Оратору аплодировали, мешая говорить, но он кричал сквозь рыбий плеск ладоней.

Выделился голос Ерухимовича:

— Вот ты бы, Алябьев, и взял на себя роль Руже де-Лиля вместо того, чтоб в «Сатириконе» обывателя смешить…

— Довольно споров!

— Соединимы ли пессимизм и молодости?

— Да! — крикнули в ответ ему. — Большинство самоубийц — молодежь…

— Довольно!

— Давайте споем «Отречемся от старого мира»:

— Попробуй, отрекись, болван, — проворчал (Ерухимович), медные его глаза на вспотевшем лице смотрели в упор и точно отталкивая Самгина.

Нужно было сказать что-то этому человеку.

— У вас очень приятный голос, — сказал Самгин.

— А характер — неприятный, — ответил студент.

— Разве?

— Да.

«Груб и неумен», — решил Самгин, не пытаясь продолжать беседу.

«Марсельезу» не приняли, удовлетворились тем, что запели:

Слезы горькие льет молодецНа свой бархатный кафтан.

В комнате, где- работал письмоводитель Прозорова, был устроен буфет, оттуда приходили приятно возбужденные люди, прожевав закуску, облизав губы, они оживленно вступали в словесный бой.

Шум возрастал, образовалось несколько очагов, из которых слова вылетали, точно искры из костра. В соседней комнате кто-то почти истерически кричал:

— Долой проповедников духовной нищеты, ограничителей свободы, изуверов рационализма!

У рояля ораторствовал известный адвокат и стихотворец, мужчина высокого роста, барской осанки, седовласый, курчавый, с лицом человека пресыщенного, утомленного жизнью.

— Девятнадцатый век — век пессимизма, никогда еще в литературе и философии не было столько пессимистов, как в этом веке. Никто не пробовал поставить вопрос: в чем коренится причина этого явления? А она — совершенно очевидна: материализм! Да, именно — он! Материальная культура не создает счастья, не создает. Дух не удовлетворяется количеством вещей, хотя бы они были прекрасные. И вот здесь — пред учением Маркса встает неодолимая преграда.

<Ерухимович> рассказывал на украинском языке игривый анекдот о столкновении чрезмерной деликатности с излишней скромностью. Деликатностью обладал благовоспитанный человек либерального образа мысли, а скромностью Ерухимович наградил историю одной страны. История была дамой средних лет, по профессии — тетка дворянской семьи Романовых, любившая выпить, покушать, но честно вдовствовавшая. Суть отношений скромности и деликатности сводилась к бессилию одного и недостатку инициативы у другой. Кончилось тем, что явился некто третий и весьма дерзкий, изнасиловал тетку, оплодотворил и почувствовавшая себя исполнившей закон природы тетка сказала всем лишним людям:

— П-шли прочь, дураки!

Рядом с Климом Ивановичем покачивался на стуле длинный, тощий, гениально растрепанный литератор Орлов, «последний классик народничества», как он сам определил себя в анкете «Биржевых ведомостей». Глуховатым баском, поглаживая ладонью свое колено и дирижируя папиросой, он рассказывал молодой, скромно одетой и некрасивой актрисе на комические роли:

— Дураков выкармливают маком. Деревенской бабе некогда возиться с ребенком, кормить его грудью и вообще. Нажует маку, сделает из него соску, сунет ребенку в рот, он пососет и — заснул. Да. Мак — снотворное, из него делают опий, морфий. Наркотик.

— Все вы знаете, все! — вздыхая, восхищалась женщина.

— А — как же иначе? Вон они там о марксизме рассуждают, а спросите их, как баба живет? Не знают этого. Книжники. Фарисеи.

Книжники за спиною Самгина искали и находили сходство между «Многообразием религиозного опыта» Джемса и «Философией мистики» Дюпреля. У рояля сердился знаменитый адвокат:

— Позвольте-с! Англичане Шекспира выдумали, а у нас вот Леонид Андреев.

В соседней комнате кто-то очень веселый обещал:

— Подождите! Вздуют итальянцы турок, будут соседями нам в Черном море,

откроют Дарданеллы…

— Потом — мы вздуем их…

— А — что вы думаете? Возможно! К Самгину подошла Елена, спросила шепотком и улыбаясь:

— Не скучно?

— Нет.

— Это вы — искренно?

— Вполне.

Погрозив ему пальцем, она взглянула на часы.

— Пора садиться за стол.

Адвокат и стихотворец, ловко взяв ее под руку, внушительно говорил кому-то через плечо свое:

— События конца японской войны и 5–7 годов показали нам, что мы живем на вулкане, да-да, на вулкане-с!

Стол для ужина занимал всю длину столовой, продолжался в гостиной, и, кроме того, у стен стояло еще несколько столиков, каждый накрыт для четверых. Холодный огонь электрических лампочек был предусмотрительно смягчен розетками из бумаги красного и оранжевого цвета, от этого теплее блестело стекло и серебро на столе, а лица людей казались мягче, моложе. Прислуживали два старика лакея во фраках и горбоносая, похожая на цыганку горничная. Елена Прозорова, стоя на стуле, весело командовала:

— Дамы выбирают места и кавалеров.

— Несправедливо! На каждую приходится по два и даже, кажется, с лишком.

— А куда лишек?

— Найдется место.

— Под столом?

— Прислуги мало — призываю к самодеятельности, — кричала Елена, а Самгин соображал:

«Женщины — не уважают ее: певичка, любовница старика. Но она хорошо держится».

Металлический шум ножей и вилок, звон стекла как будто еще более оживил и заострил слова и фразы. Взмахивая рыжей головой, ораторствовал Алябьев:

— Представительное правление несовершенно, допустим. Но пример Германии, рост количества представителей рабочего класса в рейхстаге неопровержимо говорит нам о способности этой системы к развитию.

— Это — вне спора, — крикнул кто-то.

— Германия будет первым социалистическим государством мира.

В стеклах пенснэ Алябьева сверкали рыжие огоньки.

— Представительное правление освобождает молодежь от необходимости заниматься политикой. Политика делает Фаустов дон-Кихотами, а человек по существу своему — Фауст.

— Правильно, — сказал аккомпаниатор, сидевший против Самгина, тщательно намазывая кусок ветчины, — сказал и несколько раз одобрительно, с улыбкой на румяном лице, кивнул гладко причесанной головой.

Соседями аккомпаниатора сидели с левой руки — «последний классик» и комическая актриса, по правую — огромный толстый поэт. Самгин вспомнил, что этот тяжелый парень еще до 905 года одобрил в сонете известный, но никем до него не одобряемый, поступок Иуды из Кариота. Память механически подсказала Иудино дело Азефа и другие акты политического предательства. И так же механически подумалось, что в двадцатом веке Иуда весьма часто является героем поэзии и прозы, — героем, которого объясняют и оправдывают.

«Тор Гедбер, Леонид Андреев, Голованов, какая-то шведка, немец Драйзер», — думал он, потому что слушать споры было скучно, — думал и присматривался к людям.

Рядом с поэтом нервно подергивался, ковыряя вилкой сига и точно собираясь выскочить из-за стола, рыжий Алябьев, толкая солидную даму, туго зашитую в сиреневый шелк. Она уговаривала соседа:

— Не толкайтесь, Митя!

Чмокая губами, сосед Самгина раздумчиво говорил в ухо ему:

— В нашем поколении единомыслия больше было… Теперь люди стали… разнообразнее. Может быть, свободомысленней, а? Выпьемте английской горькой…

Пили горькую, пили еще какую-то хинную, и лысый сосед, тоже адвокат, с безразличным лицом, чернобровый, бритый, как актер, поучал:

— При диабете полезен коньяк, при расстройстве кишечника — черносмородиновая.

Ерухимович читал стихи, голос его звучал комически уныло, и когда он произнес со вздохом:

Велико, ваше величество,Вашей глупости количество!

половина стола отрадно захохотала.

«Не много нужно им», — соображал Самгин.

— Тише! — крикнул кто-то.

Часы над камином начали не торопясь и уныло похоронный звон истекшему году. Все встали, стараясь не очень шуметь. И, пока звучали двенадцать однообразных нот пружины, Самгин подумал, упрекая себя:

«Прошел еще год бесследно…»

Закричали ура, зазвенели бокалы, и люди, как будто действительно пережив тяжелую минуту, оживленно поздравляли друг друга с новым годом, кричали:

— Речь! Господа — просим Платона Александровича… Речь!

Известный адвокат долго не соглашался порадовать людей своим талантом оратора, но, наконец, встал, поправил левой рукой полуседые вихры, утвердил руку на жилете, против сердца, и, высоко подняв правую, с бокалом в ней, начал фразой на латинском языке, — она потонула в шуме, еще не прекращенном.

— …сказал Марк Аврелий. То же самое, но другими словами говорил Сенека, и оба они повторяли Зенона…

— Так ты бы с Зенона и начал, — пробормотал (Ерухимович).

Глаза Платона Александровича, большие, красивые, точно у женщины, замечательно красноречивы, он владел ими так же легко и ловко, как языком. Когда он молчал, глаза придавали холеному лицу его выражение разочарованности, а глядя на женщин, широко раскрывались и как бы просили о помощи человеку, чья душа устала, истерзана тайными страданиями. Он пользовался славой покорителя женщин, разрушителя семейного счастья, и, когда говорил о женщинах, лицо его сумрачно хмурилось, синеватые зрачки темнели и во взгляде являлось нечто роковое. Теперь, говоря [о] философах-моралистах, он прищурился и зажег в глазах надменную улыбочку, очень выгодно освещая ею покрасневшее лицо.

— Я прошу простить мне этот экскурс в область философии древнего мира. Я сделал это, чтоб напомнить о влиянии стоиков на организацию христианской морали.

Маленькая лекция по философии угрожала разрастись в солидную, Самгину стало скучно слушать и несколько неприятно следить за игрой лица оратора. Он обратил внимание свое на женщин, их было десятка полтора, и все они как бы застыли, очарованные голосом и многозначительной улыбочкой красноречивого Платона.

Все, кроме Елены. Буйно причесанные рыжие волосы, бойкие, острые глаза, яркий наряд выделял Елену, как чужую птицу, случайно залетевшую на обыкновенный птичий двор. Неслышно пощелкивая пальцами, улыбаясь и подмигивая, она шопотом рассказывала что-то бородатому толстому человеку, а он, слушая, вздувался от усилий сдержать смех, лицо его туго налилось кровью, и рот свой, спрятанный в бороде, он прикрывал салфеткой. Почти голый череп его блестел так, как будто смех пробивался сквозь кость и кожу.

«Не считается с модой. И — с людями», — одобрительно подумал Самгин.

— И вот, наконец, мы видим, что эти вековые попытки ограничить свободу роста души привели нас к социализму и угрожают нам страшной властью равенства. Господа! Мы все здесь — благодарение богу! — неравны. Я уверен, что никто из вас не желает повторить меня, так же как я не хочу повторять кого-либо из вас, хотя бы этот некто был гениален. Мы все разнообразны, как цветы, металлы, минералы, как все в природе, и каждый из нас скромен в своем своеобразии, каждому дорога его неповторимая индивидуальность. Мой новогодний тост за разнообразие индивидуальностей, за свободу развития духа.

— Аминь, — густо сказал Ерухимович, но ироническое восклицание его было погашено, хотя и не очень дружным, но громким — ура. Адвокат, выпив вина, вызывающе посматривал на Ерухимовича, ж» тот, подливая в бокал шампанского красное вино, был всецело занят этим делом. Вскочил Алябьев и быстро, звонко начал:

— Я приветствую прекрасную речь многоуважаемого учителя и коллеги, но, приветствуя, должен…

Осталось неизвестным, что именно и кому он должен, ибо все уже охмелели и всем хотелось говорить.

— Комиссаржевскую перехвалили…

— Боже мой! Вы говорите что-то ужасное… Ее — не поняли и — я вижу — всё еще не понимают…

— Жорес уверен, что немецкие рабочие не позволят воевать…

— А — рабочие уверены в этом?

— Комиссаржевская — актриса для романтической драмы и погибла, не досказав

себя, оттого что принуждена была тратить свой талант на реалистические пьесы. Маше искусство губит реализм.

— Ах, это верно! Это несчастие страны… Ерухимович, пронзая воздух вилкой, говорил, мрачно нахмурясь:

— В макрокосме — кометы, в микрокосме — бактерии, микробы, — как жить нам, людям? А? Я спрашиваю: как жить?

— Это — балагурство! — закричал ему Алябьев, а Ерухимович спросил, оглядываясь вокруг:

— Разве?

Вмешался старичок с орденом, почти крикнув командующим тоном:

— Это — верно, верно! Болезни растут, да, да! У нас в министерстве финансов — за истекший год умерло… Его дама напомнила:

— Но ведь все старики… И тотчас поправилась:

— Гораздо старше тебя.

Какой-то белобрысый молодой человек застонал, точно раненый заяц:

— Боже мой! До чего мы бедны идеями… Где у нас орлы?

И кто-то, высунув голову из-за портьеры, обиженно возразил:

— А — Мережковский? Лев Шестов? Василий Васильевич Розанов?

— Н-да, — медленно, как сквозь дремоту, бормотал сосед Самгина. — Личность. Двигатель истории.

— У англичан Шекспир, Байрон, Шелли, наконец — Киплинг, а у вас — Леонид Андреев и апология босяков, — внушал известный адвокат.

— Но — это от Достоевского, от его «униженных и оскорбленных»…

— Нагон литераторы не любят свою родину, ненавидят Россию…

Постепенно сквозь шум пробивался и преодолевал его плачущий, визгливый голос, он притекал с конца стола, от человека, который, накачиваясь, стоял рядом с хозяйкой, — тощий человек во фраке, с лысой головой в форме яйца, носатый, с острой серой бородкой, — и, потрясая рукой над ее крашеными волосами, размахивая салфеткой в другой руке, он кричал:

— Стыд и срам пред Европой! Какой-то проходимец, босяк, жулик Распутин хвастает письмом царицы к нему, а в письме она пишет, что» ей хорошо только тогда, когда она приклонится к его плечу. Царица России, я? Этот шарлатан называет семью царя — мои, а?

— О Распутине существуют разные мнения…

— Не одни русские цари приближали к себе шутов, чудаков, блаженных…

— Нет, подождите. За ним ухаживают придворные, его слушаются министры, — а?

Кричал он так раздраженно и плачевно, как будто Распутин обидел лично его, занял его место. На него уже шипели, кто-то крикнул:

— К чорту Распутина…

Но он все взвизгивал, выл. Самгин почувствовал, что его плеча коснулась чья-то рука. Это — Елена.

— Милый Клим Иванович, скажите что-нибудь. Вас мало знают и будут слушать. Нужно прекратить этот кавардак. Уберут столы, потанцуем… Да? Пожалуйста!

Самгин, незаметно для себя, выпил больше, чем всегда позволял себе. У него приятно шумело в голове, и еще более приятно было сознавать, что никто из этих людей не сказал больше, чем мог бы сказать он, никто не сказал ничего, что не было бы знакомо ему, продумано им. Он — богаче. Он — сильнее. И не требуется особенной храбрости, чтоб выступить пред ними. Над столом колебалось сизое облако табачного дыма, в дыму плавали разнообразные физиономии, светились мутноватые глаза, и все вокруг было туманно, мягко, подобно сновидению. Он встал, позвенел вилкой о бокал и, не ожидая, когда люди несколько успокоятся, начал говорить, как говорил на суде, сухо, деловито.

— Господа! Из всего, что было сказано здесь, самое значительное — это слова о Фаусте и дон-Кихоте. Тема — издавна знакомая нам, тема Тургенева. Но здесь ее поставили иначе — так, как давно следовало поставить. Да, нас воспитывают дон-Кихотами. Начиная с детства, в семье, в школе, в литературе нам внушают неизбежность жертвенного служения обществу, народу, государству, идеям права, справедливости. Единственная перспектива, которую вполне четко и ясно указывают нам, — это перспектива библейского юноши Исаака — жертва богам отцов, жертва их традициям…

Чувствуя, что шум становится все тише, Клим Иванович Самгин воодушевился и понизил голос, ибо он знал, что на высоких нотах слабоватый голос его звучит слишком сухо и трескуче. Сквозь пелену дыма он видел глаза, неподвижно остановившиеся на нем, измеряющие его. Он ощутил прилив смелости и первый раз за всю жизнь понял, как приятна смелость.

— Вы знаете, что Исаак был заменен бараном. В наши дни баранов не приносят в жертву богу, с них стригут шерсть или шьют из овчины полушубки. Но к старым идолам добавлен новый — рабочий класс, и вера в неизбежность человеческих жертвоприношений продолжает существовать. Я не ставлю и не решаю вопроса: осуществим ли социализм посредством диктатуры пролетариата, как учит Ленин. Этот вопрос вне моей компетенции, ибо я не дон-Кихот, но, разумеется, мне очень понятна мысль, чувство уважаемого и талантливейшего Платона Александровича, чувство, высказанное в словах о страшной власти равенства. Я говорю о том, что наш разум, орган пирронизма, орган Фауста, критически исследующего мир, — насильственно превращали в орган веры. Но вера, извлеченная из логики, лишенная опоры в чувстве, ведет к расколу в человеке, внутреннему раздвоению его. Именно отсюда, из этого раскола возникают качества, характерные для русской интеллигенции: шаткость, непрочность ее принципов, обилие разноречий, быстрая смена верований.

Клим Иванович Самгин был убежден, что говорит нечто очень оригинальное и глубоко свое, выдуманное, выношенное его цепким разумом за все время сознательной жизни. Ему казалось, что он излагает результат «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» красиво, с блеском. Увлекаясь своей смелостью, он терял привычную ему осторожность высказываний и в то же время испытывал наслаждение мести кому-то.

— Из этой шаткости основного критерия мы получаем такие факты, как смену марксизма Петра Струве его неославянофильским патриотизмом, смену его «Критических заметок» сборником «Вехи», разложение партии социал-демократов на две враждебные фракции, провокатора в центральном комитете партии террористов и вообще обилие политических провокаторов, обилие фактов предательства…

Он не мог продолжать речь свою, публика устала слушать, и уже все чаще раздавались хмельные восклицания:

— Ваш дон-Кихот и Фауст — бог и дьявол Достоевского…

— Правильно.

— В семидесятых годах признавали действующей силой истории — личность…

— А когда полсотни личностей было повешено…

— Вы говорите пошлости!

— Почему — пошлость?

— Через двадцать лет начали проповедовать, что спасение — в безличной воле масс…

— Правильно!

— Позвольте: что — правильно?

— Господа! Скажем спасибо оратору…

Десятка полтора мужчин и женщин во главе с хозяйкой дружно аплодировали Самгину, он кланялся, и ему казалось: он стал такой легкий, что рукоплескания, поднимая его на воздух, покачивают. Известный адвокат крепко жал его руку, ласково говорил:

— Я — восхищен. Такие зрелые мысли… Носатый человек во фраке дочти истерически кричал на аккомпаниатора:

— Вы пятьдесят раз провозглашали правильно, а — что?

Последнее, что Самгин помнил ясно: к нему подошла пьяненькая Елена и, взяв его под руку, сказала:

— Я в политике ни черта не смыслю, но вы, милый мой, превосходно отделали их… А этот Платон — вы ему не верьте. Он — дурак, но хитрый. И — сластоежка. Идемте, сейчас я буду развлекать публику.

Она стояла около рояля, аккомпаниатор играл что-то задорное, а она, еще более задорно, пела, сопровождая слова весьма рискованными жестами, подмигивая, изгибаясь, точно кошка, вскидывая маленькие ноги из-под ярких юбок.

Да, пожать умела я!Где ты, юность знойная?Ручка моя белая?Ножка моя стройная?

— Бр-раво-о! — кричала публика, заглушая звонкий, развеселый голосок.

Пиф-паф! РаздалсяРитурнель кадрили.Пиф-паф! Вдруг меняВсю воспламенили!

— Божественно-о! — рыдающим голосом крикнул кто-то.

Пиф-паф! Жизнь моя!Пиф-паф! Знаю яКой-кого немного,Да, немножко знаю я!

Старичок с орденом масляно хихикал и бормотал:

— Неувядаема! Ах, боже мой…

Франтику с картинкиЛюбо будет мнеКончиком ботинкиС носа сбить пенснэ, —

и нога ее взлетела в уровень плеча.

Под впечатление» этой специфически волнующей песенки Самгин шея домой и, проснувшись после полудня, тотчас же вспомнив ее.

Через день в кабинете Прозорова, где принимал клиентов и работал Самгин, Елена, полулежа с папиросой в руке на кожаном диване, рассказывала ему:

— А вы здорово клюкнули [на] встрече. Вы — очень… свежий. И — храбрый.

Он подошел к ней, присел на диван, сказал как мог ласково:

— Очень хорошо спели вы Беранже!

— Да? Приятно, что вам понравилось. Легла удобнее- и сказала, подмигнув, щелкая пальцами:

— Это у меня — вроде молитвы. Как это по-латински? Кредо квиа абсурдум, да? Антон терпеть не мог эту песню. Он был моралист, бедняга…

Затем произошло нечто, о тем, за несколько минут пред этим, Самгин не думал и чего не желал. Полежав некоторое время молча, с закрытыми глазами, женщина вздохнула и проговорила вполголоса, чуть-чуть приоткрыв глаза:

— Давайте отнесемся к факту просто. Он ни к чему не обязывает нас, ничем не стесняет, да? Захочется — повторим, не захочется — забудем? Идет?

— Прекрасно, — торопливо сказал Самгин.

— Поцелуйте, — приказала она.

Ее лаконизм очень понравился Климу Ивановичу и очень приподнял эту женщину в его глазах.

«Да, это не Алина. Просто, без теня фальши. Без истерики…»

Сознание, что союз с нею не может быть прочен, даже несколько огорчило его, вызвало досадное чувство, но эти чувства быстро исчезли, а тяготение к спокойной, крепкой Таисье не только не исчезло, но как будто стало сильнее. Но объясниться с Таисьей не удавалось, она стала почему-то молчаливее, нелюдимей. Самгин замечал, что она уже не смотрит на него спрашивающим взглядом и как будто избегает оставаться с ним вдвоем. Он был уверен, что она решает вопрос о переезде от Ивана Дронова к нему, Климу Самгину, и уже не очень торопился услышать ее решительное слово. Уверен был и в том, что слово сказано будет именно то, какого он ждет.

«Честная женщина», — думал он.

Он не замечал ничего, что могло бы изменить простое и ясное представление о Таисье: женщина чем-то обязана Дронову, благодарно служит ему, и ей неловко, трудно переменить хозяина, хотя она видит все его пороки и понимает, что жизнь с ним не обеспечивает ее будущего.

«Последние годы жизни Анфимьевны Варвара относилась к ней очень плохо, но Анфимьевна все-таки не ушла на другое место», — напомнил он себе и подумал, что Таисья могла бы научиться печатать на машинке Ремингтона.

Его беспокоил Шемякин, но он был совершенно уверен, что Дронов не помешает ему, и его нисколько не смущал интерес Таисьи к политике.

— Это — от скуки. По доброте сердца. И это уже несвоевременно.

Тем более поразил его Дронов, когда он явился к нему поздно вечером полупьяный и, ошеломленно мотая головой, пробормотал хриплым голосом:

— Тоська ушла. Понимаешь?

Самгин вздрогнул, почувствовав ожог злости. Он сидел за столом, читая запутанное дело о взыскании Готлибом Кунстлер с Федора Петлина 15000 рублей неустойки по договору, завтра нужно было выступать в суде, и в случае выигрыша дело это принесло бы солидный гонорар. Сердито и уверенно он спросил, взглянув на Ивана через очки:

— К Шемякину, да?

Дронов поставил пред собой кресло и, держась одной рукой за его спинку, другой молча бросил на стол измятый конверт, — Самгин защемил конверт концами ножниц, брезгливо взял его. Конверт был влажный.

— На улице сыро?

— Дождь, чорт его… Дождь, — бормотал Дронов, все качая головой и жмурясь.

«Иван, я ухожу от тебя, — читал Самгин написанное крупными буквами, чем-то похожими на цифры. — Мне надоели твои знакомые и вся эта болтовня и суета. Не понимаю, зачем это нужно тебе и вообще — зачем? Жулики, бездельники, и все больше их. Ты знаешь, что я относилась к тебе хорошо, очень дружественно и открыто, но вижу, что стала не нужна тебе и ты нисколько не уважаешь меня. Ты видишь, как Шемякин ухаживает за мной, а он — негодяй, и мне очень обидно, конечно, что тебе все равно, как негодяй обращается со мной. Конечно, я сама могла бы дать ему по роже, но я не знаю твоих дел с ним, и я вообще не хочу вмешиваться в твои дела, но они мне не нравятся. И ты все больше пьешь. Ты хороший, я знаю, что в корне — хороший, но мне стыдно, что я должна кормить, поить твоих гостей и в этом все для меня. Я думаю, что, может быть, гожусь для чего-то другого, я хочу жить серьезно. Прощай, Иван. Не сердись. Таисья».

Самгин прочитал письмо, швырнул его прочь и несколько секунд презрительно разглядывал Дронова. Иван тоже казался отсыревшим, обмякшим, он все держался за спинку кресла и посапывал носом, мигая, вздыхая.

«Дурак. Кажется, плакать готов», — подумал Самгин, а вслух сказал тоном судьи:

— Она — права. Ты устроил у себя какой-то трактир, вокзал. Клуб бездарнейших болтунов. Тебе кажется, что это — политический салон. Она — права…

— Кто не сволочь? — вдруг, не своим голосом, спросил Дронов, приподняв кресло и стукнув ножками его в пол. — Сначала ей нравилось это. Приходят разные люди, обо всем говорят…

— Ничего не понимая, — вставил Самгин.

— Это, брат, ты врешь, — возразил Иван, как будто трезвея. — Ошибаешься, — поправил он. — Все понимают, что им надо понять. Тараканы, мыши… мухи понимают, собаки, коровы. Люди — всё понимают. Дай мне выпить чего-нибудь, — попросил он, но, видя, что хозяин не спешит удовлетворить его просьбу, — не повторил ее, продолжая:

— Тоська все понимала.

— Очень хорошая женщина для тебя, — мстительно сказал Самгин Клим Иванович.

— Это я знаю, — согласился Дронов, потирая лоб. — Она, брат… Да. Она вместо матери была для меня.

Смешно? Нет, не смешно. Была, — пробормотал он и заговорил все трезвей: — Очень уважала тебя и ждала, что асы… что-то скажешь, объяснишь. Потом узнала, что ты, под Новый год, сказал какую-то речь»,

Дренов замолчал, ощупывая грудь, так, как будто убеждался в целости боковых карманов.

— Ну, и — что же? — негромко спросил Самгин.

— Что?

— Речь?

— Ах, да! Огорчилась. Все отращивала про тебя; разве он не большевик?

— А ты изобразил ей меня большевиком? Дроздов кивнул головой, вынул из кармана какую-то книжку.

— Речь передали ей, конечно, в искаженном виде, — заметил Самгин.

— Не знаю.

Дронов хлопнул книжкой по своей ладони и снова:

— Вот — сорок две тысячи в банке имею. Семнадцать выиграл в карты, девять — спекульнул кожей на ремни в армию, четырнадцать накопил во мелочам. Шемякин обещал двадцать пять. Мало, но все-таки… Семидубов дает. Газета — будет. Душу продам дьяволу, а газета будет Ерухимович — фельетонист. Он всех Дорошевичей в гроб уложит. Человек густого яда. Газета — будет, Самгин. А вот Тоська… эх, чорт… Пойдем, поужинаем где-нибудь, а?

Ужинать Самгин отказался, до — спросил, не без надежды:

— Может быть, она вернется?

— Н-нет, не жду. Я ведь знаю, куда она — Это — Роза направила ее, — бормотал Дронов, засовывая книжку в карман.

Он ушел, оставив Самгина неспособным заниматься делом Кунстлера и Петлина. Закурив папиросу, сердито барабаня пальцами по толстому «Делу», Клим Иванович закрыл глаза, чтобы лучше видеть стройную фигуру Таисьи, ее высокую грудь, ее спокойные, уверенные движения и хотя мало подвижное, но — красивое лицо, внимательные, вопрошающие глаза. Вспомнил, как, положив руку на грудь ее, он был обескуражен ее спокойным и смешным вопросом: «Что вас там интересует?» Вспомнил, как в другой раз она сама неожиданно взяла его руку и, посмотрев на ладонь, сказала:

— Долго будете жить, линия жизни длинная.

«Менее интересна, но почти так же красива, как Марина. Еврейка, наверное, пристроит ее к большевикам, а от них обеспечен путь только в тюрьму и ссылку. Кажется, Евгений Рихтер сказал, что если красивая женщина неглупа, она не позволяет себе веровать в социализм. Таисья — глупа».

Но это соображение не утешило.

«Все-таки я тоже дон-Кихот, мечтатель, склонен выдумывать жизнь. А она — не терпит выдумок, — не терпит», — убеждал он себя, продолжая думать о том, как спокойно и уютно можно бы устроить жизнь с Тосей.

Воображение Клима Ивановича Самгина было небогато, но, зная этот недостаток, он относил его к числу своих достоинств. После своего выступления под Новый год он признал себя обязанным читать социалистическую прессу и хотя с натугой, но более или менее аккуратно просматривал газеты: «Наша заря», «Дело жизни», «Звезда», «Правда». Две первые раздражали его тяжелым, неуклюжим языком и мелочной, схоластической полемикой с двумя вторыми, Самгину казалось, что эти газетки бессильны, не могут влиять на читателя так, как должны бы, форма их статей компрометирует идейную сущность полемики, дробит и распыляет материал, пафос гнева заменен в них мелкой, личной злобой против бывших единомышленников. Вообще это газетки группы интеллигентов, которые, хотя и понимают, что страна безграмотных мужиков нуждается в реформах, а не в революции, возможной только как «бунт, безжалостный и беспощадный», каким были все «политические движения русского народа», изображенные Даниилом Мордовцевым и другими народолюбцами, книги которых он читал в юности, но, понимая, не умеют говорить об этом просто, ясно, убедительно.

Клим Иванович Самгин был убежден, что все, что печатается в этих скучных газетках, он мог бы сказать внушительнее, ярче и острей.

Газеты большевиков раздражали его еще более сильно, раздражали и враждебно тревожили. В этих газетах он чувствовал явное намерение поссорить его с самим собою, (убедить его в) неправильности всех его оценок, всех навыков мысли. Они действовали иронией, насмешкой, возмущали грубостью языка, прямолинейностью мысли. Их материал освещался социальной философией, и это была «система фраз», которую он не в силах был оспорить.

Клим Иванович был мастер мелких мыслей, но все же он умел думать и понимал, что против этой «системы фраз» можно было поставить только одно свое:

«Не хочу!»

Каждый раз, когда он думал о большевиках, — большевизм олицетворялся пред ним в лице коренастого, спокойного Степана Кутузова. За границей существовал основоположник этого учения, но Самгин все еще продолжал называть учение это фантастической системой фраз, а Владимира Ленина мог представить себе только как интеллигента, книжника, озлобленного лишением права жить на родине, и скорее голосом, чем реальным человеком.

«Вероятно, что-то истерическое, вроде Гаршина или Глеба Успенского. Дон-Кихот, конечно».

Кутузов был величиной реальной, давно знакомой. Он где-то близко и действует как организатор. С каждой встречей он вызывает впечатление человека, который становится все более уверенным в своем значении, в своем праве учить, действовать.

Последняя встреча весьма усилила это впечатление.

Дня через два после выступления у Елены она, благосклонно улыбаясь, сказала:

— Вы знаете, Клим Иванович, ваша речь имела большой успех. Я в политике понимаю, наверно, не больше индюшки, о дон-Кихоте — знаю по смешным картинкам в толстой книге, Фауст для меня — глуповатый человек из оперы, но мне тоже понравилось, как вы говорили.

Она усмехнулась, подумала и определила:

— Точно мужичок, поживший в городе, <учил> деревенских, как надобно думать. Это вам не обидно?

— Напротив: весьма лестно, — откликнулся Самгин.

— У нас, на даче, был такой мужичок, он смешно говорил: «В городе все играют и каждый человек приспособлен к своей музыке».

Затем она сообщила:

— Вас приглашает Лаптев-Покатилов, — знаете, кто это? Он — дурачок, но очень интересный! Дворянин, домовладелец, богат, кажется, был здесь городским головой. Любит шансонеток, особенно — французских, всех знал: Отеро, Фужер, Иветт Гильбер, — всех знаменитых. У него интересный дом, потолок столовой вроде корыта и расписан узорами, он называет это «стиль бойяр». Целая комната фарфора, есть замечательно милые вещи.

— А зачем я нужен ему? — спросил Самгин, усмехаясь; женщина ответила:

— Ему нравятся оригинальные люди. Идемте? Я тоже приглашена, по старой памяти, — добавила она, подмигнув.

И вот Клим Иванович Самгин в большой комнате, под потолком в форме удлиненного купола, пестро расписанным старинным русским орнаментом.

В углу комнаты — за столом — сидят двое: известный профессор с фамилией,

похожей на греческую, — лекции его Самгин слушал, но трудную фамилию вспомнить не мог; рядом с ним длинный, сухолицый человек с баками, похожий на англичанина, из тех, какими изображают англичан карикатуристы. Держась одной рукой за стол, а другой за пуговицу пиджака, стоит небольшой растрепанный человечек и, покашливая, жидким голосом говорит:

— Итак, мы видим…

Лицо у него серое, измятое, как бы испуганное, и говорит он, точно жалуясь на кого-то.

Самгин знал, что промышленники, особенно москвичи, резко критикуют дворянскую политику Думы, что у Коновалова, у Рябушинских организованы беседы по вопросам экономики и внешней политики, выступали с докладами Петр Струве и какой-то безымянный, но крупный меньшевик. В этой комнате не заметно людей, похожих на купцов, на фабрикантов. Здесь собрались интеллигенты и немало фигур, знакомых лично или по иллюстрациям: профессора, не из крупных, литераторы, пощипывает бородку Леонид Андреев, с его красивым бледным лицом, в тяжелой шапке черных волос, унылый «последний классик народничества», редактор журнала «Современный мир», Ногайцев, Орехова, <Ерухимович>, Тагильский, Хотяинцев, Алябьев, какие-то шикарно одетые дамы, оригинально причесанные, у одной волосы лежали на ушах и на щеках так, что лицо казалось уродливо узеньким и острым. Все они среднего возраста, за тридцать, а одна старушка в очках, седая, с капризно надутыми губами и с записной книжкой в руке. — она действует книжкой, как веером, обмахивая темное маленькое личико. Елена исчезла куда-то.

В конце комнаты у стены — тесная группа людей, которые похожи на фабричных рабочих, преобладают солидные, бородатые, один — высокий, широкоплеч, почти юноша, даже усов не заметно на скуластом, подвижном лице, другой — по плечо ему, кудрявый, рыженький.

— В стране быстро развивается промышленность. Крупная буржуазия организует свою прессу: «Слово» — здесь, «Утро России» — в Москве. Москвичи, во главе с министром финансов, требуют изменения торговых договоров с иностранными государствами, прежде всего — с Германией, — жаловался испуганный человек и покашливал все сильнее.

Слушали его очень внимательно. Комната, где дышало не менее полусотни человек, наполнялась теплой духотой. Самгин невольно согнулся, наклонил голову, когда в тишине прозвучал знакомый голос Кутузова:

— Прибавьте к этому, что Дума поддерживает мероприятия правительства по увеличению флота и армии.

Затем Кутузов выдвинулся из группы рабочих и сказал:

— Так как почтенный оратор говорит не торопясь, но имеет, видимо, большой запас фактов, а факты эти всем известны, я же располагаю только пятью минутами и должен уйти отсюда, — так я прошу разрешить мне высказаться.

Самгин через плечо свое присмотрелся к нему, увидал, что Кутузов одет в шведскую кожаную тужурку, похож на железнодорожного рабочего и снова отрастил обширную бороду и стал как будто более узок в плечах, но выше ростом. Но лицо нимало не изменилось, все так же широко открыты серые глаза и в них знакомая усмешка.

«Все такой же. Удивительно, что сыщики не могут поймать его».

Затем отметил, что внешне, но костюму, Кутузов не выделяется из группы людей, окружающих его.

Кутузов курил, борода его дымилась, слова звучали внятно, четко.

— Есть факты другого порядка и не менее интересные, — говорил он, получив разрешение. — Какое участие принимало правительство в организации балканского союза? Какое отношение имеет к балканской войне, затеянной тотчас же после итало-турецкой и, должно быть, ставящей целью своей окончательный разгром Турции? Не хочет ли буржуазия угостить нас новой войной? С кем? И — зачем? Вот факты н вопросы, о которых следовало бы подумать интеллигенции.

Самгин сидел около почти незаметной двери, окрашенной, расписанной так же, как стена, потолок, — дверь была прикрыта неплотно, за нею кто-то ворковал:

— «Друг мой, говорю я ему, эти вещи нужно понимать до конца или не следует понимать, живи полузакрыв глаза». — «Но — позволь, возражает он, я же премьер-министр!» — «Тогда — совсем закрой глаза!»

— Ой, это хорошо! — вскричала Елена. Веселая беседа за дверью мешала Самгину слушать Кутузова, но он все-таки ловил куски его речи.

— Одно из основных качеств русской интеллигенции — она всегда опаздывает думать. После того, как рабочие Франции в тридцатых и семидесятых годах показали силу классового пролетарского самосознания, у нас все еще говорили и писали о том, как здоров труд крестьянина и как притупляет рост разума фабричный труд, — говорил Кутузов, а за дверью весело звучал голос Елены:

— Я его видела у одной подруги моей без штанов…

— Очевидно, он уже тогда готовился предстать пред лицо Юпитера Романова.

— Совсем недавно наши легальные марксисты и за ними — меньшевики оценили, как поучителен для них пример французских адвокатов, соблазнительный пример Брианов, Мильеранов, Вивиани и прочих родных по духу молодчиков из мелкой буржуазии, которые, погрозив крупной социализмом, предают пролетариат и становятся оруженосцами капиталистов…

Самгин подумал: не следовало бы человеку с бородой говорить в таком тоне.

— Клевета! — крикнул кто-то, вслед за ним два-три голоса повторили это слово, несколько человек, вскочив на ноги, закричали, размахивая руками в сторону Кутузова.

— Вы не смеете…

— Ложь!

— А — «Вехи»? «Вехи»?

— Ага!

— А определение демократии как «грядущего хама»?

— Как гуннов, от которых «хранители мысли и веры» должны бежать, прятаться в пещеры и катакомбы.

— В России нет катакомб!

— Неправда! Киевская лавра — катакомбы…

— В Одессе тоже катакомбы есть.

— Среди русской интеллигенции нет предателей.

— Сколько угодно!

— Начните со Льва Тихомирова…

— Героическая жизнь интеллигенции засвидетельствована историей…

— Позвольте! Он говорил не о всей интеллигенции в целом…

Кутузов смеялся, борода его тряслась, он тоже выкрикивал:

— Позвольте, я не кончил…

— И не надо.

— Знаем вас, ряженых!

Из маленькой двери вышла Елена, спрашивая:

— Что случилось?

За нею, подпрыгивая, точно резиновый мяч, выкатился кругленький человечек с румяным лицом и веселыми глазами счастливого.

Кутузов махнул рукой и пошел к дверям под аркой в толстой стене, за ним двинулось еще несколько человек, а крики возрастали, становясь горячее, обиженней, и все чаще, настойчивее пробивался сквозь шум знакомо звонкий голосок Тагильского.

Самгин тоже чувствовал себя задетым и даже угнетенным речью Кутузова. Особенно угнетало сознание, что он не решился бы спорить с Кутузовым. Этот человек едва ли поймет непримиримость Фауста с дон-Кихотом.

— Большевик. Большевики — не демократы, нет! Елена, прищурив глаза, посмотрела на потолок, на людей и спросила:

— Похоже на пирог с грибами — правда? Самгин, молча улыбаясь женщине, прислушивался к раздражающему голосу Тагильского:

— Оценки всех явлений жизни исходят от интеллигенции, и высокая оценка ее собственной роли, ее общественных заслуг принадлежит ей же. Но мы, интеллигенты, знаем, что человек стесняется плохо говорить о самом себе.

Вспыхнули сердитые восклицания:

— Неправда!

— Толстовщина!

— Демагогия какая-то!

Но голос Тагильского трудно было заглушить, он впивался в шум, как свист.

— Пожалуйста, не беспокойтесь! Я не намерен умалять чьих-либо заслуг, а собственных еще не имею. Я хочу сказать только то, что скажу: в первом поколении интеллигент являет собой нечто весьма неопределенное, текучее, неустойчивое в сравнении с мужиком, рабочим…

— Какое оригинальное открытие!

— Не тратьте иронию зря, у нас ее мало, — продолжал Тагильский, заставляя слушать его. — Я знаю: у нас — как во Франции — есть достаточное количество потомственных интеллигентов. Их деды — попы, мелкие торговцы, трактирщики, подрядчики, вообще — городское мещанство, но их отцы ходили в народ, судились по делу 193-х, сотнями сидели в тюрьмах, ссылались в Сибирь, их детей мы можем отметить среди эсеров, меньшевиков, но, разумеется, гораздо больше среди интеллигенции служилой, то есть так или иначе укрепляющей структуру государства, все еще самодержавного, которое в будущем году намерено праздновать трехсотлетие своего бытия.

— Короче! — приказал кто-то, а Тагильский спросил:

— Это приказание относится ко мне или к самодержавию?

Человека три засмеялось.

Кругленький Лаптев-Покатилов, стоя за спиной Елены и покуривая очень душистую папиросу, вынул <из> зубов янтарный мундштук и, наклонясь к плечу женщины, вполголоса сказал:

— Странно будет, если меня завтра не вызовут в жандармское управление.

— А вы не балуйте, папашка, — ответила Елена. — Я и подумать не могла, что у вас сегодня эдакое. Тагильский, не видимый Самгину, продолжал:

— Бородатый человек, которому здесь не дали говорить, — новый тип русского интеллигента...

— Были, были у нас такие!

— Не встречал. Большевизм имеет свои оригинальные черты.

— Какие? Интересно знать.

— Читайте «Правду», — посоветовал Тагильский. Тут сразу заговорили десятка два людей, Самгин выделил истерическое восклицание Алябьева:

— Совет невежды! В тот век, когда Бергсон начинает новую эру в истории философии...

— Митя сердится, — сказала Елена, усмехаясь, Лаптеву. Он тоже усмехнулся:

— Митя чувствует демос личным своим врагом. Мы, старые дворяне, гораздо более терпимы, чем современная молодежь...

Где-то близко жаловался Ногайцев:

— Что же это? Не хватает своего ума — немецко-еврейским жить решили? Боже мой...

Старушка в очках, грозно потрясая записной книжкой, кричала Тагильскому мужским, басовитым голосом;

— Этот ваш приятель, нарядившийся рабочим, пытается изобразить несуществующее, фантазию авантюристов. Я утверждаю: учение о классах — ложь, классов — нет, есть только люди, развращенные материализмом и атеизмом, наукой дьявола, тщеславием, честолюбием.

— Вот! Верно, — выкрикивал Ногайцев. — Старики Лафарги, дочь Маркса и зять его, кончили самоубийством — вот он, материализм!

Все-таки сквозь шум голосов просверливался, просачивался тонкий голосок Тагильского:

— Мой вопрос — вопрос интеллигентам вчерашнего дня: страна — в опасном положении. Массовое убийство рабочих на Ленских промыслах вновь вызвало волну политических стачек...

— Это — экономические стачки.

— Нет. В экономических участвовало не больше полутораста тысяч, в политических свыше полумиллиона».

Тагильский угрожал войной с Германией, ему возражали: в рейхстаге большинство

социалисты, председатель Шейдеман, — они не позволят буржуазии воевать.

— А если начнут французы?

— Вспомните манифестацию рабочих Берлина по поводу Агадира…

— Французы — не начнут!

— Сорок лет готовятся, а — не начнут? Шутите!

— К порядку, господа! Призываю к порядку, — кричал профессор, неслышно стуча карандашом но столу, и вслед за ним кто-то пронзительно, как утопающий, закричал, завыл:

— Никто из присутствующих здесь не произнес священное слово — отечество! И это ужасно, господа! Этим забвением отечества мы ставим себя вне его, сами изгоняемся из страны отцов наших.

— Не все отцы возбуждают любовь детей.

— Разве не по стопам отцов мы дошли туда, где находимся?

Но оратор, должно быть, оглушив себя истерическим криком своим, не слышал возражений.

— Господа, — взывал он. — Воздадим.

Было ясно, что люди уже устали. Они разбились на маленькие группки, говорили вполголоса, за спиною Самгин а кипел горячий шопот:

— Почти сто лет историю Франции делают адвокаты…

— Господа! Воздадим должное партии конституционалистов-демократов, ибо эта партия знает, что такое отечество, чувствует отечество, любит его.

— Милюковцы уже не демократы, — крикнул кто-то, ему тотчас возразили:

— Но еще не буржуа!

— Дойдут!

— Однако это скучно, — сказала Елена, сморщив лицо, Лаптев тотчас поддержал ее:

— И давно уже — скучно!

Было очень душно, а люди все сильнее горячились, хотя их стало заметно меньше. Самгин, не желая встретиться с Тагильским, постепенно продвигался к двери, и, выйдя на улицу, глубоко вздохнул.

Только что прошел обильный дождь, холодный ветер, предвестник осени, гнал клочья черных облаков, среди них ныряла ущербленная луна, освещая на секунды мостовую, жирно блестел булыжник, тускло, точно оловянные, поблескивали стекла окон, и все вокруг как будто подмигивало. Самгина обогнали два человека, один из них шел точно в хомуте, на плече его сверкала медная труба — бас, другой, согнувшись, сунув руки в карманы, прижимал под мышкой маленький черный ящик, толкнув Самгина, он пробормотал:

— Извиняюсь, — и затем добавил: — Ни чорта не будет! Так вот: подудим, поедим, попьем, поспим, помрем…

— А вот увидишь, — громко сказал человек с трубой.

«Да, что-то будет, — подумал Самгин. — Война? Едва ли. Но — лучше война.

Создалось бы единство настроения. Расширятся права Думы».

Как всегда, после пассивного участия в собраниях людей, он чувствовал себя как бы измятым словами, пестротою и обилием противоречий. И, как всегда, он вынес из собрания у Лаптева обычное пренебрежение к людям.

«Ни Фаусты, ни дон-Кихоты, — думал он и замедлил шаг, доставая папиросу, взвешивая слова Тагильского о Кутузове: — Новый тип русского интеллигента?»

Его настолько встревожила эта мысль, что он заставил себя не думать о Кутузове.

Остановился, закурил и, медленно шагая дальше, уговаривал себя:

«Таким типом, может быть, явился бы человек, гармонически соединяющий в себе дон-Кихота и Фауста. Тагильский… Чего хочет этот… иезуит? Тем, что он говорил, он, наверное, провоцировал. Хотел знать количество сторонников большевизма. Рабочие — если это были действительно рабочие — не высказались. Может быть, они — единственные большевики в… этой начинке пирога. Елена — остроумна».

И почти уже озлобленно он подумал:

«Тусклые, мелкие люди. А между тем жизнь снова угрожает событиями, которые потребуют сопротивления им. Потребуют, ибо они — грозят порабощением личности, еще более тяжким порабощением. Да, да — каждая мысль имеет право быть высказанной, каждая личность обладает неоспоримым правом мыслить свободно, независимо от насилия эпохи и среды», — это Клим Иванович Самгин твердо помнил. Он мог бы одинаково свободно и с равной силой повторить любую мысль, каждую фразу, сказанную любым человеком, но он чувствовал, что весь поток этих мыслей требует ограничения в единую норму, включения в берега, в русло. Он видел, что каждый из людей плавает на поверхности жизни, держась за какую-то свою соломинку, и видел, что бесплодность для него словесных дождей и вихрей усиливала привычное ему полупрезрительное отношение к людям, обостряло это отношение до сухой и острой злости. Он опасался выступать в больших собраниях, потому что видел: многие из людей владеют искусством эристики изощреннее его, знают больше фактов, прочитали больше книг. Существуют люди, более талантливые, чем он. Да, к сожалению, существуют такие. И Клим Иванович Самгин вспоминал горбатенькую девочку, которая смело, с глубокой уверенностью в своем праве крикнула взрослым:

«Да — что вы озорничаете? Не ваши детеныши-то!»

Снова начал капать дождь. Самгин взял извозчика, спрятался под кожаный верх пролетки. Лошадь бежала тихо, уродливо подпрыгивал ее круп, цокала какая-то развинченная железина, по коже над головой седока сердито барабанил дождь.

«Какая скудная жизнь!» — обиженно думал Клим Иванович.

Но это его настроение держалось недолго. Елена оказалась женщиной во всех отношениях более интересной, чем он предполагал. Искусная в технике любви, она легко возбуждала его чувственность, заставляя его переживать сладчайшие судороги не испытанной им силы, а он был в том возрасте, когда мужчина уже нуждается в подстрекательстве со стороны партнерши и благодарен женщине за ее инициативу.

— Я люблю любить, как угарная, — сказала она как-то после одной из схваток, изумившей Самгина. — Любить, друг мой, надо виртуозно, а не как животные или гвардейские офицеры.

Интересна была она своим знанием веселой жизни людей «большого света», офицеров гвардии, крупных бюрократов, банкиров. Она обладала неиссякаемым количеством фактов, анекдотов, сплетен и рассказывала все это с насмешливостью бывшей прислуги богатых господ, — прислуги, которая сама разбогатела и вспоминает о дураках.

Так как она любила читать и уже много читала, у нее была возможность сравнивать живых с умершими и настоящих с выдуманными.

— Ах, если б можно было написать про вас, мужчин, все, что я знаю, — говорила она, щелкая вальцами, и в ее глазах вспыхивали зеленоватые искры. Бойкая, настроенная всегда оживленно, окутав свое тело подростка в яркий китайский шелк, она, мягким шариком, бесшумно каталась из комнаты в комнату, напевая французские песенки, переставляя с места на место медные и бронзовые позолоченные вещи, и стрекотала, как сорока, — страсть к блестящему у нее была тоже сорочья, да и сама она вся пестро блестела.

К вещам она относилась почтительно, с любовью, ласково поглаживала их пальцами, предлагая Самгину:

— Посмотри, как ловко это сделано!

— Замечательно, — соглашался Клим Иванович, глядя сквозь очки на уродливого китайского божка и подозревая, что она его экзаменует, изучает его вкусы.

Устав бегать, она, с папиросой в зубах, ложилась на кушетку и очень хорошо рассказывала анекдоты, сопровождая звонкую игру голоса быстрым мельканием мелких гримас.

— Приезжает домой светская дама с гостьей и кричит на горничную: «Зачем это вы переставили мебель и вещи в гостиной так глупо, бессмысленно?» — «Это не я-с, это барышня приказали». Тогда мамаша говорит гостье:. «У моей дочери замечательно остроумная, фантазия».

Самгин любезно усмехался, находил анекдоты такого типа плоскими, вычитанными из юмористических журналов, и немедленно забывал их. Но нередко он слышал анекдоты другого рода:

— Кутили у «Медведя» в отдельном кабинете, и один уездный предводитель дворянства сказал, что он [за] полную передачу земли крестьянам. «Надобно отдать им землю даром!» — «А у вас есть земля?» — «Ну, а — как же? Но — заложена и перезаложена, так что банк продает ее с аукциона. А я могу сделать себе карьеру в Думе, я неплохой оратор». Смешно?

— Смешно, — соглашался Клим Иванович.

— А знаешь, что сказал министр Горемыкин Суворину: «Неплохо, что мужики усадьбы жгут. Надо встряхнуть дворянство, чтоб оно перестало либеральничать».

Самгин, не интересуясь, откуда ей известно мнение министра, спросил:

— Когда это было?

— В пятом году. В этот год очень сильно кутили. А старик Суворин милый и умный. Такой замечательный знаток театра. Но актеров — не любит. В нем есть что-то мужицкое, суровое, актеров и актрис он считает блаженными негодниками. «У актера своей молитвы нет, а надобно, чтоб у каждого человека была своя молитва», — вот как он говорил. Я встречала его довольно часто, хотелось попасть в театр к нему. Но он сказал: «Нет, Лена, вы — для оперетки, для водевиля, но оперетку — не люблю, водевилей у меня не играют». Он — странный. Впрочем, все русские — странные: нельзя понять, чего они хотят: республики или всемирного потопа?

Самгин, слушая такие рассказы и рассуждения, задумчиво и молча курил и думал, что все это не к лицу маленькой женщине, бывшей кокотке, не к лицу ей и чем-то немножко мешает ему. Но он все более убеждался, что из всех женщин, с которыми он жил, эта — самая легкая и удобная для него. И едва ли он много проиграл, потеряв Таисью.

Свою биографию Елена рассказала очень кратко и прерывая рассказ длинными паузами: бабушка ее Ивонна Данжеро была акробаткой в цирке, сломала ногу, а потом сошлась с тамбовским помещиком, родила дочь, помещик помер, бабушка открыла магазин мод в Тамбове. Мать училась в гимназии, кончила, в это время бабушка умерла, задавленная пожарной командой. Мать преподавала в гимназии французский и немецкий языки, а ее отдала в балетную школу, откуда она попала в руки старичка, директора какого-то департамента министерства финансов Василия Ивановича Ланена.

— А после него — дальше! — просто закончила она.

— А — мать? — спросил Самгин.

— Умерла в Крыму от чахотки. Отец, учитель физики, бросил ее, когда мне было пять или шесть лет.

Самгину казалось, что теперь Елена живет чистоплотно и хотя сохранила старые знакомства, но уже не принимает участия в кутежах и даже, как он заметил по отношению Лаптева к ней, пользуется дружелюбием кутил.

Он был с нею в Государственной думе в тот день, когда там слушали запрос об убийствах рабочих на Ленских промыслах.

— В ложе министров налево, крайний — премьер — Макаров, — знаешь? — шептала Елена. — Нет, подумай, — продолжала она шептать, — я этого гуся без штанов видела у одной подруги-француженки, а ему поручили Россией командовать... Вот это — анекдот!

Ее шопот досадно мешал Самгину сравнивать картину заседания парижского парламента с картиной, развернутой пред ним в этот час. Там, в Париже, сидели фигуры в большинстве однообразно тяжеловатые, коренастые, — сидели спокойно и свободно, как у себя дома, уверенные, что они воплощают в себе волю народа Франции. Среди них немало юристов, знатоков права, и юристы стоят во главе их, руководят ими. Эти люди живут на земле, которая не качается под ними. Они представляют давно организованные партии, каждая партия имеет свою историю, свои традиции.

Тут Самгину вспомнилось произнесенное на собрании слово — отечество.

«У этих людей с 789 года есть отечество. Они его завоевали».

— Вот уж кто умеет рассказывать анекдоты — это он, Макаров, — шептала Елена. — А посмотри, какая противная морда у Маркова. И этот бездарный паяц Пуришкевич. Вертится, точно его поджаривают. Не очень солидное сборище, а?

— Да, — согласился Самгин, напряженно рассматривая людей, которые хотят быть законодателями, и думая:

«Что может дать мне Ногайцев?»

Ногайцев извивался в кресле рядом с толстым, рыжебородым, лысоватым человеком в поддевке. Самгину казалось, что шея этого человека гораздо шире головы и голова не покоится на шее, а воткнута в нее и качается на ней, точно арбуз на блюде, которое толкает кто-то. Отечество этого человека, вероятно, ограничено пределами его уезда или губернии. Марков похож на провинциального дьякона, у него скулы инородца, мордовские скулы. Родзянко — на метр-д-отеля. Преобладают какие-то люди без лиц и, вероятно, без речей. Эти люди, заполняющие амфитеатр, слишком разнообразно одетые, ведут себя нервозно, точно школьники в классе, из которого ушел учитель. Перешептываются, наклоняясь друг к другу, подскакивая в креслах. Вот обернулся к депутату, сидящему сзади его, профессор Милюков, человек с круглой серебряной головкой, красным личиком новорожденного и плотным рядом острых блестящих зубов. Он улыбается, как бы готовясь укусить. Этот имеет представление об отечестве. Это —

величина. А — кто еще равен ему в разноплеменном сборище людей, которые перешептываются, оглядываются, слушая, как один из них, размахивая рукою, читает какую-то бумагу, прикрыв ею свое лицо? Впереди их, в большом ящике, блестят золоченые мундиры министров, и над одним мундиром трясется, должно быть, от смеха, седенькая бородка министра юстиции.

Клим Иванович Самгин был не настолько честолюбив, чтоб представить себя одним из депутатов или даже лидером партии, но он вспомнил мнение Лютова о нем и, нимало не напрягая воображение, вполне ясно увидел себя в ложе членов правительства.

Вот, наконец, произнесена фраза: «Так было, так будет». Она вызвала шум, сердитый, угрюмый, на левых скамьях, громкие рукоплескания монархистов. Особенно громко хлопая, стоя, широко размахивая руками, чело-вис в поддевке, встряхивая маленькой головкой, точно пытаясь сбросить ее с шеи, неестественно толстой. Ногайцев сидел, спрятав голову в плечи, согнув спину, положив руки на пюпитр и как будто собираясь прыгнуть. Все люди в зале шевелились, точно весь зал встряхнул чей-то толчок. Фразу сказал министр с лицом солидного лакея первоклассной гостиницы, он сказал ее нахмурив лицо и тоном пророка.

— Ах, болтун! Это он у Леонида Андреева взял, — прошептала Елена, чему-то радуясь, и даже толкнула Самгина локтем в бок.

Самгин вспомнил наслаждение смелостью, испытанное им на встрече Нового года, и подумал, что, наверное, этот министр сейчас испытал такое же наслаждение. Затем вспомнил, как укротитель Парижской коммуны, генерал Галифе, встреченный в парламенте криками:

«Убийца!» — сказал, топнув ногой: «Убийца? Здесь!» Ой, как закричали!

— Знал бы ты, какой он дурак, этот Макаров, — точно оса, жужжала Елена в ухо ему. — А вон этот, который наклонился к Набокову, Шура Протопопов, забавный человечек. Набоков очень элегантный мужчина. А вообще какие все неуклюжие, серые…

Клим Иванович согласно кивнул головой. Да, пожалуй, и не нужно обладать особенной смелостью для того, чтоб говорить с этими людями решительно, тоном горбатой девочки. Пред ним, одна за другой, мелькали, точно падая куда-то, полузабытые картины: полиция загоняет московских студентов в манеж, мужики и бабы срывают замок с двери хлебного «магазина», вот поднимают колокол на колокольню; криками ура встречают голубовато-серого царя тысячи обывателей Москвы, так же встречают его в Нижнем-Новгороде, тысяча людей всех сословий стоит на коленях пред Зимним дворцом, поет «Боже, царя храни», кричит ура. А этот царь, по общему мнению, — явное ничтожество, бездарный, безвольный человек, которым будто бы руководит немка-жена и какой-то проходимец, мужик из Сибири, может быть, потомок уголовного преступника. Вот, наконец, десятки тысяч москвичей идут под красными флагами за красным, в цветах, гробом революционера Николая Баумана, после чего их расстреливают.

«Здесь собрались представители тех, которые стояли на коленях, тех, кого расстреливали, и те, кто приказывает расстреливать. Люди, в массе, так же бездарны и безвольны, как этот их царь. Люди только тогда становятся силой, творящей историю, когда во главе их становится какой-нибудь смельчак, бывший поручик Наполеон Бонапарте. Да, — «так было, так будет».

Елена все шептала, называя имена депутатов, характеризуя их, Клим Иванович Самгин наклонил к лицу ее голову свою, подставил ухо, делая вид, что слушает, а сам быстро соображал:

«…Нужна смелость и — простой, ясный лозунг: Франция, отечество, страна отцов. Этот лозунг понятен только буржуазии, которая непрерывно, из рода в род, развивает промысла и торговлю своего отечества, командует его хозяйством,

заставляет работать на свое отечество африканцев, индусов, китайцев. На каждого англичанина работает пятеро индусов. Возможен ли лозунг — Россия, отечество в стране, где непрерывно развертывается драма раскола отцов и детей, где почти каждое десятилетие разрывает интеллигентов на шестидесятников, семидесятников, народников, народовольцев, марксистов, толстовцев, мистиков?..»

Клим Иванович чувствовал себя так, точно где-то внутри его прорвался нарыв, который мешал ему дышать легко. С этим настроением легкости, смелости он вышел из Государственной думы, и через несколько дней, в этом же настроении, он говорил в гостиной известного адвоката:

— Через несколько месяцев Романовы намерены устроить празднование трехсотлетия своей власти над Россией. Государственная дума ассигновала на этот праздник пятьсот тысяч рублей. Как отнесемся мы, интеллигенция, к этому праздничку? Не следует ли нам вспомнить, чем были наполнены эти три сотни лет?

Он старался говорить не очень громко, памятуя, что с годами суховатый голос его звучит на высоких нотах все более резко и неприятно. Он избегал пафоса, не позволял себе горячиться, а когда говорил то, что казалось ему особенно значительным, — понижал голос, заметив, что этим приемом усиливает напряжение внимания слушателей. Говорил он сняв очки, полагая, что блеск и выражение близоруких глаз весьма выгодно подчеркивает силу слов.

Он сделал краткий очерк генеалогии Романовых, указал, что последним членом этой русской фамилии была дочь Петра Первого Елизавета, а после ее престол империи российской занял немец, герцог Гольштейн-Готторпский. Он был уверен, что для некоторых слушателей этот исторический факт будет новостью, и ему показалось, что он не ошибся, некоторые из слушателей были явно удивлены. Оценив их невежество презрительной усмешкой, господин Самгин стал говорить смелее. Перечислил все народные восстания от Разина до Пугачева, не забыв и о бунте Кондрата Булавина, о котором он знал только то, что был донской казак Булавин и был бунт, а чего хотел донской казак и в каких формах выразилось организованное им движение, — об этом он знал столько же, как и все.

— Юноша Михаил Романов был выбран боярами в цари за глупость, — докторально сообщал Самгин слушателям. — Единственный умный царь из этой семьи — Петр Первый, и это было так неестественно, что черный народ признал помазанника божия антихристом, слугой Сатаны, а некоторые из бояр подозревали в нем сына патриарха Никона, согрешившего с царицей. — Кратко изобразив царствование цариц, Александра, Николая Первого и еще двух Александров, он сказал: — Весьма похоже, что ныне царствующий Николай Второй — родня Михаилу Романову только по глупости.

Тут он сделал перерыв, отхлебнул глоток чая, почесал правый висок ногтем мизинца и, глубоко вздохнув, продолжал:

— Итак, Россия, отечество наше, будет праздновать триста лет власти людей, о которых в высшей степени трудно сказать что-либо похвальное. Наш конституционный царь начал свое царствование Ходынкой, продолжил Кровавым воскресеньем 9 Января пятого года и недавними убийствами рабочих Ленских приисков.

— Вы забыли о войне с Москвой, — крикнул кто-то, не видимый из темного угла.

— Нет, не забыл, — откликнулся Самгин. — Я все помню, но останавливаюсь на деяниях самодержавия наиболее эффектных.

— Уж чего эффектнее!

— Московские события пятого года я хорошо знаю, но у меня по этому поводу есть свое мнение, и — будучи высказано мною сейчас, — оно отвело бы нас далеко в сторону от избранной мною темы.

— Просим не прерывать, — мрачно и угрожающе произнес высокий человек с длинной, узкой бородой и закрученными в кольца усами. Он сидел против Самгина и безуспешно пытался поймать ложкой чаинку в стакане чая, давно остывшего.

Клим Иванович Самгин продолжал говорить. Он выразил — в форме вопроса — опасение: не пойдет [ли] верноподданный народ, как в 904 году, на Дворцовую площадь и не встанет ли на колени пред дворцом царя по случаю трехсотлетия.

— Мы, русские, слишком охотно становимся на колени не только пред царями и пред губернаторами, но и пред учителями. Помните:

Учитель! Перед именем твоимПозволь смиренно преклонить колена.

— Неверно цитируете, — с удовольствием отметил человек из угла.

— Заметив, как легко мы преклоняем колена, — этой нашей склонностью воспользовалась Япония, а вслед за нею — немцы, заставив нас заключить с ними торговый договор, выгодный только для них. Срок действия этого договора истекает в четырнадцатом году. Правительство увеличивает армию, усиливает флот, поощряет промышленность, работающую на войну. Это — предусмотрительно. Балканские войны никогда еще не обходились без нашего участия...

— Мне кажется возможным, что самодержавие в год своего трехвекового юбилея предложит нам — в качестве подарка — войну.

— А даже маленькая победа может принести нам большой вред, — крикнул человек дз угла, бесцеремонно перебив речь Самгина, и заставил его сказать:

— Я — кончил.

Гости молчали, ожидая, что скажет хозяин. Величественный, точно индюк, хозяин встал, встряхнул полуседой курчавой головой артиста, погладил ладонью левой руки бритую щеку, голубоватого цвета, и, сбивая пальцем пепел папиросы в пепельницу, заговорил сдобным баритоном:

— Очень интересная речь. Разрешу себе подчеркнуть только один ее недостаток: чуть-чуть много истории. Ах, господа, история! — вполголоса н устало воскликнул он. — Кто знает ее? Она еще не написана, нет! Ее писали, как роман, для утешения людей, которые ищут и не находят смысла бытия, — я говорю не о временном смысле жизни, не о том, что диктует нам властное завтра, а о смысле бытия человечества, засеявшего плотью своей нашу планету так тесно. Историю пишут для оправдания и прославления деяний нации, расы, империи. В конце концов история — это памятная книга несчастий, страданий и вынужденных преступлений наших предков. И внимательное чтение истории внушает нам более убедительно, чем евангелие: будьте милостивы друг к другу.

Он устало прикрыл глаза, покачал головою, красивым движением кисти швырнул папиросу в пепельницу, — швырнул ее, как отыгранную карту, и, вздохнув глубоко, вскинув энергично красивую голову, продолжал:

— История жизни великих людей мира сего — вот подлинная история, которую необходимо знать всем, кто не хочет обольщаться иллюзиями, мечтами о возможности счастья всего человечества. Знаем ли мы среди величайших людей земли хоть одного, который был бы счастлив? Нет, не знаем... ^ утверждаю: не знаем и не можем знать, потому что даже при наших очень скромных представлениях о счастье — оно не было испытано никем из великих.

Лицо его приняло горестное выражение, и в сочном голосе тоже звучала горечь. Он играл голосом и словами с тонким, отлично разработанным искусством талантливого лицедея, удивляя обилием неожиданных интонаций, певучестью слов, которыми он красиво облекал иронию и печаль, тихий гнев и лирическое сознание безнадежности бытия. С чувством благоговения и обожания он

произносил имена — Леонардо Винчи, Джонатан Свифт, Верлен, Флобер, Шекспир, Байрон, Пушкин, Лермонтов, — бесконечное количество имен, — и называл всех носителей их великомучениками:

— Вот они, великомученики нашей церкви, церкви интеллектуалистов, великомученики духа, каких не знает и не имеет церковь Христа…

— Господа! — возгласил он с восторгом, искусно соединенным с печалью. — Чего можем требовать мы, люди, от жизни, если даже боги наши глубоко несчастны? Если даже религии в их большинстве — есть религии страдающих богов — Диониса, Будды, Христа?

Он замолчал, покачивая головой, поглаживая широкий лоб, правая рука его медленно опускалась, опустился на стул и весь он, точно растаяв. Ему все согласно аплодировали, а человек из угла сказал:

— Аминь! Но — чорт с ней, с истиной, я все-таки буду жить. Буду, наперекор всем истинам…

— Вы, по обыкновению, глумитесь, Харламов, — печально, однако как будто и сердито сказал хозяин. — Вы — запоздалый нигилист, вот кто вы, — добавил он н пригласил ужинать, но Елена отказалась. Самгин пошел провожать ее. Было уже поздно и пустынно, город глухо ворчал, засыпая. Нагретые за день дома, остывая, дышали тяжелыми запахами из каждых ворот. На одной улице луна освещала только верхние этажи домов на левой стороне, а в следующей улице только мостовую, и это раздражало Самгина.

— Ты послушал бы, как он читает монолог Гамлета или Антония. Первоклассный артист. Говорят, Суворин звал его в свой театр на любых условиях.

Самгин был недоволен собой, чувствуя, что этот красавец стер его речь, как стирают тряпкой надпись мелом на школьной доске. Казалось, что это понято и Еленой, отчего она и говорит так, как будто хочет утешить его, обиженного.

«Дура», — мысленно сказал он ей и спросил: — Это он часто играет в пессимизм?

Она охотно ответила:

— Нет, он вообще веселый, но дома выдерживает стиль. У него нелады с женой, он женат. Она очень богатая, дочь фабриканта. Говорят — она ему денег не дает, а он — ленив, делами занимается мало, стишки пишет, статейки в «Новом времени».

Самгин уже не слушал ее, думая, что во Франции такой тип, вероятно, не писал бы стихов, которых никто не знает, а сидел в парламенте…

«Мы ленивы, не любопытны», — вспомнил он и тотчас подумал: «Он — никого не цитировал. Это — признак самоуверенности. Игра в пессимизм — простенькая игра. Но красиво сказать — он умеет. Мне нужно взять себя в руки», — решил Клим Иванович Самгин, чувствуя, что время скользит мимо его с такой быстротой, как будто все, наполняющее его, катилось под гору. Но быстрая смена событий не совпадала с медленностью, которая делала Клима Ивановича заметной фигурой. С ним любезно здоровались крупные представители адвокатуры, его приглашали на различные собрания, когда он говорил, его слушали внимательно, все это — было, но не удовлетворяло. Он очень хорошо мог развивать чужие мысли, подкрепляя их множеством цитат, нередко оригинальных, запас его памяти был неисчерпаем. Но он чувствовал, что его знания не сгруппированы в стройную систему, не стиснуты какой-то единой идеей. Он издавна привык думать, что идея — это форма организации фактов, результат механической деятельности разума, и уверен был, что основное человеческое коренится в таинственном качестве, которое создает исключительно одаренных людей, каноника Джонатана Свифта, лорда Байрона, князя Кропоткина и других этого рода. Это качество скрыто глубоко в области эмоции, и оно обеспечивает человеку полную свободу, полную независимость мысли от насилия истории, эпохи, класса. Клим Иванович Самгин понимал, что это

уже — идея, хотя и не новая, но — его, продуманная, выношенная лично им. Но он был все-таки настолько умен, что видел: в его обладании эта идея бесплодна. Она тоже является как будто результатом поверхностной, механической деятельности разума и даже не способна к работе организации фактов в стройную систему фраз — фокусу, который легко доступен даже бездарным людям. Как все талантливые люди, биографии которых он знал, он был недоволен жизнью, недоволен людями, и он чувствовал, что в нем, как нарыв, образуется острое недовольство самим собою. Оно поставило пред ним тревожный вопрос:

«Неужели я эмоционально так беден, что останусь на всю жизнь таким, каков есть?»

Он вспоминал, как оценивали его в детстве, как заметен был он в юности, в первые годы жизни с Варварой. Это несколько утешало его.

Елена уехала с какой-то компанией на пароходе по Волге, затем она проедет в Кисловодск и там будет ждать его. Да, ему тоже нужно полечиться нарзаном, нужно отдохнуть, он устал. Но он не хотел особенно подчеркивать характер своих отношений с этой слишком популярной и богатой дамой, это может повредить ему. Ее прошлое не забыто, и она нимало не заботится о том, чтоб его забыли. И, телеграммами откладывая свой приезд, Самгин дождался, что Елена отправилась через Одессу в Александрию, а оттуда — через Марсель в Париж на осенний сезон. Тогда он поехал в Кисловодск, прожил там пять недель и, не торопясь, через Тифлис, Баку, по Каспию в Астрахань и [по] Волге поднялся до Нижнего, побывал на ярмарке, посмотрел, как город чистится, готовясь праздновать трехсотлетие самодержавия, с той же целью побывал в Костроме. Все это очень развлекло его. Он много работал, часто выезжал в провинцию, все еще не мог кончить дела, принятые от Прозорова, а у него уже явилась своя клиентура, он даже взял помощника Ивана Харламова, человека со странностями: он почти непрерывно посвистывал сквозь зубы и нередко начинал вполголоса разговаривать сам с собой очень ласковым тоном:

— Не чуешь, Ваня, где тут кассационный повод?

Он был широкоплечий, большеголовый, черные волосы зачесаны на затылок и лежат плотно, как склеенные, обнажая высокий лоб, густые брови и круглые, точно виши», темные глаза в глубоких глазницах. Кожа на костлявом лице его серовата», на девой щеке-бархатная родника, величиной с двадцатикопеечную монету, хрящеватый нос загнут вниз крючком, а губы толстые и яркие.

В числе его странностей был интерес к литературе контрреволюционной, он знал множество различных брошюр, романов и почему-то настойчиво просвещал патрона:

— Вот, Клим Иванович, примечательная штучка наших дней — «Чума», роман Лопатина. Весь читать — не надо, я отметил несколько страничек, — усмехнетесь!

Желая понять человека, Самгин читал:

«Старики фабричные, помнившие дни восстания на Пресне, устраивали пародии военно-волевого суда и расстреливали всякого человека, одетого в казенную форму».

— Послушайте, Харламов, это же ложь? — кричал Самгин в комнату, где, посвистывая, работал помощник.

— Так у него, у Лопатина, все — ложь.

— Почему вас интересуют такие книги?

— Учусь, — отвечал Харламов. — А вы читали «Наше преступление» Родионова, «Больную Россию» Мережковского, «Оправдание национализма» Локотя, «Речи» Столыпина?..

Харламов, как будто хвастаясь, называл десятки книг. Самгин лежал, курил, слушал и думал, что странностями обзаводятся люди пустые, ничтожные, для того, чтоб их заметили, подали им милостину внимания.

«Это Михайловский, Николай Константинович, сказал — милостина внимания».

Над повестью Самгин не работал, исписал семнадцать страниц почтовой бумаги большого формата заметками, характеристиками Марины, Безбедова, решил сделать Бердникова организатором убийства, Безбедова — фактическим исполнителем и поставить за ними таинственной фигурой Крэйтона, затем начал изображать город, но получилась сухая статейка, вроде таких, какие обычны в словаре Брокгауза.

Изредка являлся Дронов, почти всегда нетрезвый, возбужденный, неряшливо одетый, глаза — красные, веки опухли.

— Тоську в Буй выслали. Костромской губернии, — рассказывал он. — Туда как будто раньше и не ссылали, чорт его знает что за город, жителя в нем две тысячи триста человек. Одна там, только какой-то поляк угряз, опростился, пчеловодством занимается. Она — ничего, не скучает, книг просит. Послал все новинки — не угодил! Пишет: «Что ты смеешься надо мной?» Вот как... Должно быть, она серьезно втяпалась в политику...

Об издании газеты он уже ж говорил, а на вопрос Самгина пробормотал:

— Какая теперь газета, к чорту! Я, брат, махнул деньгами и промахнулся.

«Кажется — лжет», — подумал Самгин и осведомился:

— Проиграл в карты?

— Цемент купил, кирпич... Большой спрос на строительные материалы... Надеялся продать с барышом. Надули на цементе...

Когда он рассказывал о Таисье, Самгин заметил, что Агафья в столовой перестала шуметь чайной посудой, а когда Дронов ушел, Самгин спросил рябую женщину:

— Слышали о судьбе Тоси?

— Слышала.

Хозяин смотрел на нее, ожидая, что она еще скажет. А она, поняв его, бойко сказала:

— Что ж — везде жить можно, была бы душа жива... У меня землячок один в ссылку-то дошел еле грамотным, а вернулся — статейки печатает...

«Это — не Анфимьевна», — подумал Самгин.

В должности «одной прислуги» она работала безукоризненно: вкусно готовила, держала квартиру в чистоте и порядке и сама держалась умело, не мозоля глаз хозяина. Вообще она не давала повода заменить ее другой женщиной, а Самгин хотел бы сделать это — он чувствовал в жилище своем присутствие чужого человека, — очень чужого, неглупого и способного самостоятельно оценивать факты, слова.

Как-то вечером Дронов явился с Тагильским, оба выпивши. Тагильского Самгин не видел с полгода и был неприятно удивлен его визитом, но, когда присмотрелся к его фигуре, — почувствовал злорадное любопытство: Тагильский нехорошо, почти неузнаваемо изменился. Его округлая, плотная фигура потеряла свою упругость, легкость, серый, затейливого покроя костюм был слишком широк, обнаруживал незаметную раньше угловатость движений, круглое лицо похудело, оплыло, и широко открылись незнакомые Самгину жалкие, собачьи глаза. Он и раньше был внешне несколько похож на Дронова, такой же кругленький, крепкий, звонкий, но

раньше это сходство только подчеркивало неуклюжесть Ивана, а теперь Дронов казался пригляднее.

Чмокая губами, Тагильский нетрезво, с нелепыми паузами между слов рассказывал:

— В Киеве серьезно ставят дело об употреблении евреями христианской крови. — Тагильский захохотал, хлопая себя ладонями по коленам. — Это очень уместно накануне юбилея Романовых. Вы, Самгин, антисемит? Так нужно, чтоб вы заявили себя филосемитом, — понимаете? Дронов — анти, а вы — фило. А я — ни в тех, ни в сех или — глядя по обстоятельствам и — что выгоднее.

— Он думает, что это затеяно с целью создать в обществе еще одну трещину, — объяснил Дронов, раскачиваясь на стуле.

— Именно! — вскричал Тагильский. — Разобщить, разъединить. Глупо, общества — нет. Кого разъединять?

— Выпить — нечего? — спросил Дронов, а когда хозяин ответил утвердительно и строго: «Нечего!» — «Сейчас будет!..» — сказал Дронов. И ушел в кухню.

Самгин не успел протестовать против его самовольства, к тому же оно не явилось новостью. Иван не впервые посылал Агафью за своим любимым вином.

Чмокая, щурясь, раздувая дряблое лицо гримасами, Тагильский бормотал:

— Общество, народ — фикции! У нас — фикции. Вы знаете другую страну, где министры могли бы саботировать парламент — то есть народное представительство, а? У нас — саботируют. Уже несколько месяцев министры не посещают Думу. Эта наглость чиновников никого не возмущает. Никого. И вас не возмущает, а ведь вы…

Тагильский визгливо засмеялся, грозя пальцем Самгину; затем, отдуваясь, продолжал:

— А, знаете, я думал, что вы умный и потому прячете себя. Но вы прячетесь в сдержанном молчании, потому что не умный вы и боитесь обнаружить это. А я вот понял, какой вы…

— Поздравляю вас с этим, — сказал Самгин, не очень задетый пьяными словами.

— Вы — не обижайтесь, я тоже дурак. На деле Зотовой я мог бы одним ударом сделать карьеру.

— Каким образом? — спросил Самгин, невольно подвигаясь к нему и даже понизив голос.

— Мог бы. И цапнуть деньги, — говорил Тагильский, как в бреду.

— Вы узнали, кто убил?

Тагильский сидел опираясь руками о ручки кресла, наклонясь вперед, точно готовясь встать; облизав губы, он смотрел в лицо Самгина помутневшими глазами и бормотал.

— Я — знал, — сказал он, тряхнув головой. — Это — просто. Грабеж, как цель, исключен. Что остается? Ревность? Исключена. Еще что? Конкуренция. Надо было искать конкурента. Ясно?

— Да, но — кто же?

Самгин торопился услышать имя, соображая, что при Дронове Тагильский не станет говорить на эту тему.

— Фактический убийца, наверное, — Безбедов, которому обещана безнаказанность, вдохновитель — шайка мерзавцев, впрочем, людей вполне почтенных.

— Ты — про это дело? — (сказал) Дронов, входя, и вздохнул, садясь рядом с хозяином, потирая лоб. — Дельце это — заноза его, — сказал он, тыкая пальцем в плечо Тагильского, а тот говорил:

— Дом Безбедова купил судебный следователь. Подозрительно дешево купил. Рудоносная земля где-то за Уралом сдана в аренду или продана инженеру Попову, но это лицо подставное.

В памяти Клима Ивановича встала мягкая фигура Бердникова, прозвучал его жирный брызгающий смешок:

«П-фу-бу-бу-бу».

Вспомнить об этом человеке было естественно, но Самгин удивился: как далеко в прошлое отодвинулся Бердников, и как спокойно пренебрежительно, вспомнилось о нем. Самгин усмехнулся в отступил еще дальше от прошлого, подумав:

«И вся эта история с Мариной вовсе не так значительна, как я приучил себя думать о ней».

— Брось, — небрежно махнув, рукой, сказал Дронов. — Кому все это интересно? Жила одинокая, богатая вдова, ее за это укокали, выморочное имущество поступило в казну, казна его продает, вот и все, и — к чорту!

— Ты — глуп, Дронов, — возразил Тагильский, как будто трезвея, и, ударяя ладонью по ручке кресла, продолжал: — Если рядом со средневековым процессом об убийстве евреями воришки Ющннского, убитого наверняка воровкой Чеберяк, поставить на суде дело по убийству Зотовой и привлечь к нему сначала в. качестве свидетеля прокурора, зятя губернатора, — р-ручаюсь, что означенный свидетель превратился бы в обвиняемого…

— Сказка, — сквозь зубы выговорил Дронов, ожидающе поглядывая на дверь в столовую. — Фантазия, — добавил он.

— …в незаконном прекращении следствия, которое не могло быть прекращено за смертью подозреваемого, ибо в делопроизводстве имелись документы, определенно говорившие о лицах, заинтересованных в убийстве более глубоко, чем Безбедов…

— Да поди ты к чертям! — крикнул Дронов, вскочив на ноги. — Надоел… как гусь! Го-го-го… Воевать хотим — вот это преступление, да-а! Еще Извольский говорил Суворину в восьмом году, что нам необходима удачная война все равно с кем, а теперь это убеждение большинства министров, монархистов и прочих… нигилистов.

Коротенькими шагами быстро измеряя комнату, заглядывая в столовую, он говорил, сердито фыркая, потирая бедра руками:

— Тыл готовим, чорт… Трехсотлетие-то для чего празднуется? Напомнить верноподданным, сукиным детям, о великих заслугах царей. Всероссийская торгово-промышленная выставка в Киеве будет.

— Война? — И — прекрасно, — вяло сказал Тагильский. — Нужно нечто катастрофическое. Война или революция…

— Нет, революцию-то ты не предвещай! Это ведь неверно, что «от слова — не станется». Когда за словами — факты, так неизбежно «станется». Да… Ну-ка, приглашай, хозяин, вино пить…

— Я — чаю, — сказал Тагильский.

— Есть и чай, идем!

Тагильский пошевелился в кресле, но не встал, а Дронов, взяв хозяина под руку, отвел его в столовую, где лампа над столом освещала сердито кипевший, ярко начищенный самовар, золотистое вино в двух бутылках, стекло и фарфор посуды.

— Ты — извини, что я привел его и вообще распоряжаюсь, — тихонько говорил Дронов, разливая вино.

— Можешь не извиняться, — разрешил Клим Иванович.

— Важный ты стал, значительная персона, — вздохнул Дронов. — Нашел свою тропу… очевидно. А я вот все болтаюсь в своей петле. Покамест — широка, еще не давит. Однако беспокойно. «Ты на гору, а чорт — за ногу». Тоська не отвечает на письма — в чем дело? Ведь — не бежала же? Не умерла?

Самгин слушал его невнимательно, думая: конечно, хорошо бы увидеть Бердникова на скамье подсудимых в качестве подстрекателя к убийству! Думал о гостях, как легко подчиняются они толчкам жизни, влиянию фактов, идей. Насколько он выше и независимее, чем они и вообще — люди, воспринимающие идеи, факты ненормально, болезненно.

— «Мы переносим жизнь, как боль» — кто это сказал?

Дронов выглянул в соседнюю комнату и сказал, усмехаясь:

— Спит. Плохо он кончит, сопьется, вероятно. Испортил карьеру себе этим убийством.

— Испортил?

— Ну да. Ему даже судом пригрозили за какие-то служебные промахи. С банком тоже не вышло: кому-то на ногу или на язык наступил. А — жалко его, умный! Вот, все ко мне ходит душу отводить. Что — в других странах отводят душу или — нет?

— Не знаю.

— Пожалуй, это только у нас. Замечательно. «Душу отвести» — как буяна в полицию. Или — больную в лечебницу. Как будто даже смешно. Отвел человек куда-то душу свою и живет без души. Отдыхает от нее.

Говорил Дронов как будто в два голоса — и сердито и жалобно, щипал ногтями жесткие волосы коротко подстриженных усов, дергал пальцами ухо, глаза его растерянно скользили по столу, заглядывали в бокал вина.

— Был вчера на докладе о причинах будущей войны. Докладчик — какой-то безымянный человек, зубы у него крупные, но посажены наскоро, вкривь и вкось. Докладец… неопределенного назначения. Осведомительный, так сказать: вот вам факты, а выводы — сами сделайте. Рассказывалось о нашей политике в Персии, на Балканах, о Дарданеллах, Персидском заливе, о Монголии. По-моему, вывод подсказывался такой: ежели мы не хотим быть колонией Европы, должны усердно заняться расширением границ, то есть колониальной политикой. Н-да, чорт…

Держа одной рукой стакан вина пред лицом и отмахивая другой дым папиросы Самгина, он помолчал, вздохнул, выпил вино.

— Был там Гурко, настроен мрачно и озлобленно, предвещал катастрофу, говорил, точно кандидат в Наполеоны. После истории с Лидвалем и кражей овса ему, Гурко, конечно, жить не весело. Идиот этот, октябрист Стратонов, вторил ему, требовал: дайте нам сильного человека! Ногайцев вдруг заявил себя монархистом. Это называется: уверовал в бога перед праздником. Сволочь.

Налив вино мимо бокала, он выругался матерными словами и продолжал, все сильнее озлобляясь:

— Целую речь сказал: аристократия, говорит, богом создана, он отбирал благочестивейших людей и украшал их мудростью своей. А социализм выдуман буржуазией, торгашами для устрашения и обмана рабочих аристократов, и поэтому социализм — ложь. Кадеты были, Маклаков, — брат министра, на выхолощенного кота похож, Шингарев, Набоков. Гучков был. Скука была, в большом количестве. Потом, десятка два, ужинать поехали, а после ужина возгорелась битва литераторов, кошкодав Куприн с Леонидом Андреевым дрались, Муйжель плакал, и вообще был кавардак...

Он снова помолчал, затем вдруг подскочил на стуле и взвизгнул:

— Безмолвствуешь... столп и утверждение истины! Ну, что ты молчишь... Эх, Самгин... Поди ты к чорту...

— Опомнись! Ты — пьян, — строго сказал Клим Иванович.

— Поди ты к чорту, — повторил Дронов, отталкивая стул ногой и покачиваясь. — Ну да, я — пьян... А ты — трезв... Ну, и — будь трезв... чорт с тобой.

Он, хватаясь за спинки стульев, выбрался в соседнюю комнату и там закричал, дергая Тагильского:

— Идем... эй! Проснись... идем!

Самгин, крепко стиснув зубы, сидел за столом, ожидая, когда пьяные уйдут, а как только они, рыча, как два пса, исчезли, позвонил Агафье и приказал:

— Если Дронов придет в следующий раз, скажите, что я не желаю видеть его.

Лицо женщины, точно исклеванное птицами, как будто покраснело, брови, почти выщипанные оспой, дрогнули, широко открылись глаза, но губы она плотно сжала.

«Недовольна. Протестует», — понял Самгин Клим Иванович и строго спросил:

— Вы — слышали?

— Как же, слышала.

— Следовало ответить: слушаю или — хорошо.

— Слушаю, — не сразу ответила Агафья и ушла. «Да, ее нужно рассчитать, — решил Клим Иванович Самгин. — Вероятно, завтра этот негодяй придет извиняться. Он стал фамильярен более, чем это допустимо для Санчо».

Но Дронов не пришел, и прошло больше месяца времени, прежде чем Самгин увидел его в ресторане «Вена». Ресторан этот печатал в газетах объявление, которое извещало публику, что после театра всех известных писателей можно видеть в «Вене». Самгин давно собирался посетить этот крайне оригинальный ресторан, в нем показывали не шансонеток, плясунов, рассказчиков анекдотов и фокусников, а именно литераторов.

И вот он сидит в углу дымного зала за столиком, прикрытым тощей пальмой, сидит и наблюдает из-под широкого, вееpоподобного листа. Наблюдать — трудно, над столами колеблется пелена сизоватого дыма, и лица людей плохо различимы, они как бы плавают и тают в дыме, все глаза обесцвечены, тусклы. Но хорошо слышен шум голосов, четко выделяются громкие, для всех произносимые фразы, и, слушая их, Самгин вспоминает страницы ужина у банкира, написанные Бальзаком в его романе <Шагреневая кожа».

— Господа! Здесь утверждается ересь...

— Предлагаю выпить за Льва Толстого.

— Он — помер.

— Смертью смерть поправ.

— Утверждаю, что Куприн талантливее нашего дорогого…

— Брось! Ничего не поправила его смерть.

— А ты — не хвастайся невежеством: попрать — значит — победить, убить!

— Ой-ли? Вот — спасибо! А я не верил, что ты глуп.

— Еретикам — анафема — маранафа!

— Хорошо! Тогда за нашего дорогого Леонида…

— Долой тосты!

— Господа! Премудрость детей света — всегда против мудрости сынов века. Мы — дети света.

— Долой премудрость!

— Премудрость — это веселье!

— Возвеселимся!

— И воспоем славу заслужившим ее…

— Предлагаю выпить за Александра Блока!

— Заче-ем? Пускай он сам выпьет.

— Позволь! Наука…

— Полезна только как техника.

— Верно! Ученые — это иллюзионисты…

— В чем различие между мистикой и атомистикой? Ато!

— У нас в гимназии преподаватель физики не мог доказать, что в безвоздушном пространстве разновесные предметы падают с одинаковой скоростью.

— А бессилие медицины?

— Господа! Мы все — падшие ангелы, сосланные на поселение во Вселенную.

— Плохо! Долой!

— Прошу слова! Имею сказать нечто о любви…

— К папе, к маме?

— К чужой маме не старше тридцати лет. Струился горячий басок:

— Дело Бейлиса, так же, как дело Дрейфуса…

— Долой киевскую политику — своей сыты по горло.

— Сейте разумное, мелкое — вечное!

— Но — позвольте! Для чего же делали резолюцию?

— Чтоб очеловечить Калибана…

— Миллионы — не разумны.

— Правильно!

— Разумен — пятак, пятачок…

— Я не о деньгах, о людях.

— Внимание!

— Правильно, миллион сверхразумен.

— Великое — безумно.

— Браво-о!

— Как бог.

— Да! Великое безумно, как бог. Великое опьяняет. Разумно — что? Настоящее, да?

— Хо-хо-хо! К чорту настоящее.

— Оно — безумно. Его создают искусственно.

— Его делают министры в Думе.

— Не надо трогать министров.

— Сначала очеловечьте Калибана.

— Когда до них дотронутся, они падают.

— Германия становится социалистической страной.

— Господи! Пронеси мимо нас горькую чашу сию.

— Этим нельзя шутить!

— Мы не шутим, а молимся.

— Мы плачем…

— Долой политику!

— Господа! Если…

— Жизнь становится дороже…

— И все более нервозной…

— Вы — уничтожьте толпу! Уничтожьте это безличное, страшное нечто…

— Каллибана!

— А я утверждаю, что Комиссаржевская гениальна…

— Послушай, я заказал гуся, гуся! Го-го-го, — понял?

— Господа, — самая современная и трагическая песня: «Потеряла я колечко». Есть такое колечко, оно связывает меня, человека, с цепью подобных ему…

— Нужно поставить вопрос о повышении гонорара.

— Подожди! Ничего не разберешь, кричат, как на базаре.

— Я потерял колечко, я не вижу подобных мне… Рядом со столиком Самгина ядовито раскрашенная дама скандировала:

Мы — плененные звери,Голосим, как умеем.Глухо заперты двери…

— Не… надо, — просил ее растрепанный пьяненький юноша, черноглазый, с розовым лицом, — просил и гладил руку ее. — Не надо стихов! Будем говорить простыми, честными словами.

К даме величественно подошел высокий человек с лысой головой — он согнулся, пышная борода его легла на декольтированное плечо, дама откачнулась, а лысый отчетливо выговорил:

— Генерал Богданович написал в Ялту градоначальнику Думбадзе, чтоб Думбадзе утопил Распутина. Факт!

— Откуда это знаешь ты? — спросила дама, сильно подчеркнув ты.

— От самой генеральши…

— Ты снова был в этой трущобе?

— Но, милуша…

Юноша встал, не очень уверенно шаркая ногами, подошел к столу Самгина, зацепился встрепанными волосами за лист пальмы, улыбаясь, сказал Самгину:

— Извините.

А затем, нахмурясь, произнес:

— Нечего — меч его. Поэту в мире делать нечего — понимаете?

Он смотрел в лицо Самгина мокрыми глазами, слезы текли из глаз на румяные щеки, он пытался закурить папиросу, но сломал ее и, рассматривая, бормотал:

— Меч его. Меч, мяч. Мячом — мечем. Мечом — сечем. Слова уничтожают мысли. Это — Тютчев сказал.

Надо уничтожить мысли, истребить… Очиститься в безмыслии…

К столу за пальмой сел, спиной к Самгину, Дронов, а лицом — кудластый, рыжебородый, длиннорукий человек с тонким голосом.

— Марго, милый мой, бутылку, — приказал он лакею и спросил Дронова: — А — вы?

— «Грав», — белое.

— Так-то. И — быстро!

И снова обратился к Дронову:

— Это — для гимназиста, милый мой. Он берет время как мерило оплаты труда — так? Но вот я третий год собираю материалы о музыкантах восемнадцатого века, а столяр, при помощи машины, сделал за эти годы шестнадцать тысяч стульев. Столяр — богат, даже если ему пришлось по гривеннику со стула, а — я? А я — нищеброд, рецензийки для газет пишу. Надо за границу ехать — денег нет. Даже книг купить — не могу… Так-то, милый мой…

— Однако рабочий-то вопрос нужно решить, — хмуро сказал Дронов.

— Нужно? — Вот вы и решайте, — посоветовал рыжебородый. — Выпейте винца и — решите. Решаться, милый, надо в пьяном виде… или — закрыв глаза…

Дронов повернулся на стуле, оглядываясь, глаза его поймали очки Самгина, он встал, протянул старому приятелю руку, сказал добродушно, с явным удовольствием:

— Ба! Ты — здесь?

Самгин молча подал ему свою руку, а Дронов повернул свой стул, сел и спросил:

— Тагильский-то? Читал? Третьего дня в «Биржевке» было — застрелился.

— Умер?

— Ну, конечно! Жалко, несимпатичен был, а — умный. Умные-то вообще несимпатичны.

Самгин честно прислушался к себе: какое чувство пробудит, какие [мысли] вызовет в нем самоубийство Тагильского?

Он отметил только одно: навсегда исчез человек неприятный и даже — опасный чем-то. Это вовсе не плохо.

А Дронов еще более поднял его настроение, широко усмехаясь, он проговорил вполголоса:

— Ты вот тоже не очень симпатичен, а — умен очень. «Напрасно я рассердился на него, — думал Самгин, разглядывая Дронова. — Он — хам, но он — искренний. Это его искренность на каком-то уровне становится хамством. И — он был пьян… тогда…»

К рыжебородому подошел какой-то толстый и увел за собой. Пьяный юноша исчез, к даме подошел высокий, худощавый, носатый, с бледным лицом, с пенснэ, с прозрачной бородкой неопределенной окраски, он толкал в плечо румянощекую девушку, с толстой косой золотистых волос.

— Вот, милуша, разрешите представить. Горит и пылает в мечтах о сцене…

Его слова заглушил чей-то крик:

— «Ничтожный для времен — я вечен для себя» — это сказано Баратынским — прекрасным поэтом, которого вы не знаете. Поэтом, который, как никто до него, глубоко чувствовал трагическую поэзию умирания.

Дронов уже приступил к исполнению обязанностей Санчо, называя имена и титулы публики.

— Здесь — большинство «обозной сволочи», как назвал их в печати Андрей Белый. Но это именно они создают шум в литературе. Они, брат, здесь устанавливают репутации.

Говорил Дронов пренебрежительно, не очень охотно, как будто от скуки, и в словах его не чувствовалось озлобления против полупьяных шумных людей. Характеризовал он литераторов не своими словами, а их же мнениями друг о друге, высказанными в рецензиях, пародиях, эпиграммах, анекдотах.

Самгин слушал эти частью уже знакомые ему характеристики, слушал злорадно, ему все более приятно было видеть людей ничтожными, мелкими.

— Начнется война — они себя покажут! — хмуро выговорил Дронов.

— Почему ты уверен, что война неизбежна? — спросил Самгин, помолчав.

Дронов, взглянув на него, передернул плечи.

— Думаешь? немецкие эсдеки помешают? Конечно, они — сила. Да ведь не одни

немцы воевать-то хотят… а и французы и мы.„Демократия, — сказал он, усмехаясь.

— Помнишь, мы с тобой говорили о демократии?

— Да.

Он приподнялся на стуле, посмотрел кругом и раздраженно сказал:

— Расквакались, как лягушки в болоте. Заметил ты — вот уж который год главной темой литературных бесед служит смерть?

Самгин склонил голову, говорят

— Солидная тема.

Неприглядное лицо Дронова исказила резкая гримаса.

— Ну, что там — солидная! Жульничество. Смерть никаких обязанностей не налагает — живи, как хочешь! А жизнь — дама строгая: не угодно ли вам, сукины дети, подумать, как вы живете? Вот в чем дело.

— Смешно, что ты — моралист, — неприязненно заметил Самгин.

— Нельзя, значит, с суконным рылом в калачный ряд? — безобидно спросил Дронов и усмехнулся. — Эх ты… аристократ! Нет, меня эта игра со смертью — возмущает. Ей-богу — подлая игра. Андреевский, поэт, из адвокатов, недавно читал отрывки из своей «Книги о смерти» — целую книгу пишет, — подумай! Нашел дело. Изображает все похороны, какие видел. Столыпин, «вдовствующий брат» министра, слушал чтение, говорит — чепуха и пошлость. Клим Иванов, а что ты будешь делать, когда начнется война? — вдруг спросил он, и снова лицо его на какие-то две-три секунды уродливо вздулось, остановились глаза, он весь напрягся, оцепенел.

— Буду делать то, что начнут честные люди, — спокойно ответил Самгин.

— Да-а… Разумеется, — неопределенно промычал, но тотчас же и очень напористо продолжал: — Это — не ответ! Чорт знает что такое — честные люди? Я — честный? Ну, скажи!

— Разумеется, — успокоительно произнес Самгин, недовольный оборотом беседы и тем, что Дронов мешал ему ловить слова пьяных людей; их осталось немного, но они шумели сильнее, и чей-то резкий голос, покрывая шум, кричал:

— Помните пророчество Мережковского?

Непонятны наши речи.Мы на смерть осуждены,Слишком ранние предтечиСлишком медленной весны.

— Вот — слышишь? — спросил Дронов.

— Да. Но это — стихи, а смыслом стиха командуют ритм и рифма. Мне пора домой…

Дронов тоже молча встал и стоял опустив голову, перекладывая с места на место коробку спичек, потом сказал:

— Я еще посижу.

«Миниатюрное олицетворение Калибана, — думал Самгин, шагая по панели. — Выскочка. Не находит места себе, отсюда все эти его фокусы. Его роль — слесарь-водопроводчик. Ватерклозеты ремонтировать. Ну, наконец — приказчик в бакалейной лавке. А он желает играть в политику».

Прошел обильный дождь, и было очень приятно дышать освеженным воздухом,

дождь как будто уничтожил неестественный, но характерный для этого города запах гниения. Ярко светила луна, шелково блестели камни площади, между камней извивались, точно стеклянные черви, маленькие ручьи.

«Голубое серебро луны», — вспомнил Самгин и, замедлив шаг, снисходительно посмотрел на конную фигуру царя в золотом шлеме.

«Это не самая плохая из историй борьбы королей с дворянством. Король и дворянство, — повторил он, ища какой-то аналогии. — Завоевал трон, истребив лучших дворян. Тридцать лет царствовал. Держал в своих руках судьбу Пушкина».

Выслушав за час времени так много глупостей, он чувствовал себя мудрецом и был настроен необычно благодушно. Все размолотые в пыль идеи, о которых кричали в ресторане, были знакомы ему, и он чувствовал себя в центре всех идей, владыкой их. Он чувствовал, что глупость и пошлость возвышают его и утверждают за ним право не думать о судьбах людей. Он все охотнее посещал разные собрания и, воздерживаясь от споров, не вмешиваясь в разногласия, произносил краткие солидные речи, указывая, что, если за каждым человеком признается право на свободу мнения, — эта свобода вменяет каждому [в] обязанность уважать мнение противника.

«По отношению к действительности каждый из нас является истцом, каждый защищает интересы своего «я» от насилия над ним. В борьбе за материальные интересы люди иногда являются личными врагами, но ведь жизнь не сводится вся целиком к уголовному и гражданскому процессу, теория борьбы за существование не должна поглощать и не поглощает высших интересов духа, не угашает священного стремления человека познать самого себя».

Разнообразно варьируя эту мысль, украшая ее множеством цитат, он искусно скрывал словами ее изношенность, дряхлость, убеждался, что его слушают внимательно, относятся к нему с уважением. Он был «честен с собой», понимал, что платит за внимание, за уважение дешево, мелкой, медной монетой, от этого его отношение к людям, становясь еще более пренебрежительным, принимало оттенок благодушия, естественного человеку зрелому, взрослому в его беседах с подростками. В общем ему жилось весьма спокойно, уютно, и все, что в различной степени искренно тревожило людей, для него служило средством усиления роста его значительности, популярности.

В конце января приехала Елена и в первую же встречу, не скрывая удивления, сказала ему:

— Можешь представить — мне было скучно без тебя! Да, да. Ты у меня такой солененький… кисленький, освежающий, — говорила она, целуя его. — Притерпелся ко всем человечьим глупостям и очень умеешь не мешать, а я так не люблю, когда мне мешают.

«Умная», — предостерегающе и уже не впервые напомнил себе Клим Иванович; комплимент ее не показался ему особенно лестным, но он был рад видеть Елену. Одетая, по обыкновению, пестро, во что-то шерстяное, мягкое, ловкая, точно котенок. Полулежа на диване с папиросой в зубах, она оживленно рассказывала, прищелкивая пальцами правой руки:

— В Париже очень интересуются нами, но не одобряют! Не нравится этот глупый еврейский суд в Киеве. Коковцов в Берлине сказал, что Дума и печать вовсе еще не народ, и вообще осуждают отношение министров к Думе. Я там попала в круг политиков, моя старая подруга вышла замуж за адвоката, а он — в парламенте, страшный патриот, ненавидит немцев. Толстый, страшно легко злится, краснеет, так и ждешь, что сейчас его разорвет от злости. А она тоже такая тетёха, из Костромы, по-французски говорит, точно овца, муж хохочет, как сумасшедший. Жаловался мне: какой трудный и страшный русский язык. И рычал: кровь, кровля, кор-рова, кр-руглый, круг, кр-расиво, кроткий, кр-рыса, крепко. Отлично понимает по-русски. Очень хвалил, что у нас в Думе только тринадцать — чортова дюжина —

социалистов, да и те не ладят друг с другом, а все остальные — в Сибири или эмигранты.

— Говорят о войне? — спросил Самгин.

— Французы всегда говорят о войне, — уверенно ответила она и, усмехаясь, вплетая пальцы свои в сухие пальцы Самгина, объяснила: — Очень много адвокатов, а ваше ремесло нападать, защищать. А у француза, кроме обычной клиентуры, еще бель Франс, патри…

— Отечество — не шутка, — педагогически заметил Самгин.

Раскачивая руку его, как бы взвешивая тяжесть руки, она продолжала:

— Должно быть, есть люди, которым все равно, что защищать. До этой квартиры мы с мужем жили на Бассейной, в доме, где квартировала графиня или княгиня — я не помню ее фамилии, что-то вроде Мейендорф, Мейенберг, вообще — мейен. Так эта графиня защищала право своей собачки гадить на парадной лестнице…

Клим Иванович Самгин слушал ее веселую болтовню с удовольствием, но он не любил анекдотов, в которых легко можно найти смысл аллегорический. И поэтому он заставил женщину перейти от слов к делу, которое для нее, так же как для него, было всегда приятно.

Он понимал, что надвигаются какие-то новые и крупные события. Для него имел значение тот факт, что празднование трехсотлетнего юбилея царствующей династии в столицах прошло более чем скромно, праздновала провинция, наиболее активная участница событий 1613 года, — Ярославль, Кострома, Нижний-Новгород. Но [и] в провинции праздновали натянуто, неохотно, ограничиваясь молебнами, парадами и подчиняясь террору монархических союзов «Русского народа» и «Михаила Архангела», — было хорошо известно, что командующая роль в этих союзах принадлежит полиции, духовенству и кое-где — городским головам, в большинстве — крупным представителям торговой, а не промышленной буржуазии. Можно было думать, что «народ» правильно оценил бездарность Николая Второго и помнил главнейшие события его царствования — Ходынку, 9 Января, войну с Москвой, расстрел на Лене, бесчисленные массовые убийства крестьян и рабочих. Европейские короли, родственники Романовых, отнеслись к этому юбилею тоже очень осторожно, должно быть, считаясь с отношениями царя и Думы, представляющей интересы крупной буржуазии. В общем было ясно, что самодержавие отжило свой век не только политически и морально, но и физически, наследник престола неизлечимо болен болезнью дегенератов. И, очевидно, будет война, которая, окончательно уничтожив царизм, заменит его республикой.

Клим Иванович Самгин был недостаточно реалистичен для того, чтоб ясно представить себя в будущем. Он и не пытался делать это. Но он уже не один раз ставил пред собой вопрос: не пора ли включиться в партию. Но среди существующих партий он не видел ни одной, достаточно крепко организованной и способной обеспечить ему место, достойное его. Обеспечить — не может, но способна компрометировать каким-нибудь актом, вроде поездки ка-де в Выборг.

Он внимательно следил за жизнью Думы, посещал ее, и ему казалось, что все партии реорганизуются, подвигаясь в общем налево. Конференция ка-де признала необходимым: демократизировать избирательные права, реформировать Государственный совет, требовать ответственного министерства. Раскололись «октябристы» на «левых», «земцев» и «правых». «Октябрист» Гучков публично заявил, что «правительство ведет страну к катастрофе». Не меньшее значение имели съезды: приказчиков, десятидневный — учителей, городских деятелей и сельскохозяйственный. Дронов ликовал:

— Демократия пошевеливается!

Он становился все богаче, это явно было по разнообразию и добротности костюмов,

по осанке дельца, по рассказам его.

— У Тагильского оказалась жена, да — какая! — он закрыл один глаз и протяжно свистнул. — Стиль модерн, ни одного естественного движения, говорит голосом умирающей. Я попал к ней по объявлению: продаются книги. Книжки, брат, замечательные. Все наши классики, переплеты от Шелля или Шнелля, чорт его знает! Семьсот целковых содрала. Я сказал ей, что был знаком с ее мужем, а она спросила: «Да?» И — больше ни звука о нем, стерва!

— Тебе жениться надобно, — посоветовал Самгин. Дронов удивился:

— Как это? А — Тоська? Я, брат, ее выручу, скоро. Мне уже категорически обещали.

— Она к большевикам уйдет, — поддразнивал Самгин, не веря ему. Дронов, вопросительно глядя на него, помолчал и вдруг сказал:

— Ну так — что? И я тоже с ней. Литературу издавать будем. Толстую литературу.

Он недавно начал курить, и это очень не шло к нему, — коротенький, круглый, он, с папиросой в зубах, напоминал о самоваре. И в эту минуту, неловко закуривая, сморщив лицо, он продолжал:

— Я, знаешь, думаю, что у нас рабочие-то за Лениным пойдут, — уж очень соблазнительно ясно доказывает он необходимость диктатуры пролетариата…

Самгин предусмотрительно воздерживался от выявления своих мнений по острым вопросам, но Иван чем-то раздражал его, и, не стерпев, он произнес сквозь зубы:

— Против необходимости поставлена невозможность, — это очень полезно для воспитания здравого смысла…

Дронов снова вопросительно остановил на его лице беспокойные глаза свои, и Самгин, неожиданно для себя, дополнил свою мысль:

— Ленин осуждает свою фракцию на нелегальное существование.

— М-м, — промычал Дронов и, захлебнувшись дымом, начал кашлять, присвистывая.

О рабочем классе Клим Иванович Самгин думал почти так же мало, как о жизни различных племен, входивших в состав империи, — эти племена изредка напоминали о себе такими фактами, каково было «Андижанское восстание», о рабочих думалось, разумеется, чаще — каждый раз, когда их расстреливали. Эти думы обладали свойством мимолетности, они, проходя сквозь сознание, не возбуждали в нем идеи ответственности за жизнь, основанную на угнетении людей, на убийстве их. Но с той поры, как социал-демократия Германии получила большинство в рейхстаге и Шейдеман сел в кресло председателя, — Клим Иванович Самгин вспомнил, что он живет в эпоху, когда возможны фигуры Жореса, Вандервельде, Брантинга, Пабло Иглезиаса, Евгения Дебса, Бебеля и еще многих, чьи имена уже стали достоянием истории. Вспомнив об этом, он не ощутил желания поставить свое имя в ряд с этими, но почувствовал, что в суждениях о рабочем классе потребна осторожность, которая предусмотрена старинной моралью: «Не плюй в колодезь — пригодится воды напиться». Он понимал, что в этой пословице пропущено слово «самому» и что она не запрещает плевать в колодезь, из которого будут пить другие. Сказав Дронову о том, что Ленин осуждает революционный пролетариат на нелегальное бытие, он как бы намекнул о своей надежде и за это упрекнул себя в неосторожности.

К лету 14 года Клим Иванович Самгин был весьма заметным человеком среди людей, основным качеством которых являлось строго критическое отношение к действительности, текущей все более быстро и бурно. О нем весьма единодушно говорили:

— Умный человек.

Он понимал, что у этих людей под критикой скрывается желание ограничить или же ликвидировать все попытки и намерения свернуть шею действительности направо или налево, свернуть настолько круто, что критики останутся где-то в стороне, в пустоте, где не обитают надежды и нет места мечтам. Среда, в которой он вращался, адвокаты с большим самолюбием и нищенской практикой, педагоги средней школы, замученные и раздраженные своей практикой, сытые, но угнетаемые скукой жизни эстеты типа Шемякина, женщины, которые читали историю Французской революции, записки m-me Роллан и восхитительно путали политику с кокетством, молодые литераторы, еще не облаянные и не укушенные критикой, собакой славы, но уже с признаками бешенства в их отношении к вопросу о социальной ответственности искусства, представители так называемой «богемы», какие-то молчаливые депутаты Думы, причисленные к той или иной партии, но, видимо, не уверенные, что программы способны удовлетворить все разнообразие их желаний. Один из них, лобастый, худощавый, с лицом аскета, очень определенно выразил свое отношение к политике, заявив:

— В тех формах, как она есть, политика идет мимо коренных вопросов жизни. Ее основа — статистика, но статистика не может влиять, например, на отношения половые, на положение и воспитание детей при разводе родителей и вообще на вопросы семейного быта.

А почти все они обычно начинали речи свои словами:

«Мы, демократы… Мы, русская демократия…»

«Разночинец — выродился, — соображал Самгин. — Он был хорош рядом с дворянином, но не с купцом. Для того, чтоб достичь равенства с дворянином, необходимо иметь земельную собственность. Равенство с буржуа достижимо гораздо легче».

Среди них немалое количество неврастеников, они читали Фрейда и, убежденные, что уже «познали себя», особенно крепко были уверены в своей исключительности. Все эти люди желали встать над действительностью, почти все они были беспартийны, ибо опасались, что дисциплина партии и программы может пагубно отразиться на своеобразии их личной «духовной конституции». Социальная самооценка этих людей была выражена Алябьевым:

— Мы — последний резерв страны, — сказал он, и ему не возражали.

На одном из собраний этих людей Самгин вспомнил: в молодости, когда он коллекционировал нелегальные эпиграммы, карикатуры, запрещенные цензурой статьи, у него была гранка, на которой слово «соплеменники» было набрано сокращенно — «соплеки», а внимательный или иронически настроенный цензор, зачеркнув е, четко поставил над ним красное — я. Он стал замечать, что у него развивается пристрастие к смешному и желание еще более шаржировать смешное.

Зрелище ничтожества людей не огорчало Клима Ивановича Самгина, но и не радовало его, он давно уже внушил себе, что это зрелище — нормально. Не огорчился он и в июле, когда огромная толпа манифестантов густо текла по Невскому к Зимнему дворцу, чтоб выразить свое доверие царю и свое восхищение равнодушием его мужества, с которым он так щедро, на протяжении всего царствования, тратил кровь своих подданных. Тяжелый, дробный шаг тысяч людей по дереву невской мостовой создавал своеобразный шум, лишенный ритма, как будто в торцы проспекта забивали деревянные колья. Мостовая глухо гудела, над обнаженными головами людей вздымался разноголосый вой.

— «Спаси, господи, люди твоя…»

— Ур-ра-а-у-у!

— «Победы благоверному императору нашему…»

— Ур-ра-а-у-у!

Впереди толпы шагали, подняв в небо счастливо сияющие лица, знакомые фигуры депутатов Думы, люди в мундирах, расшитых золотом, красноногие генералы, длинноволосые попы, студенты в белых кителях с золочеными пуговицами, студенты в мундирах, нарядные женщины, подпрыгивали, точно резиновые, какие-то толстяки и, рядом с ними, бедно одетые, качались старые люди с палочками в руках, женщины в пестрых платочках, многие из них крестились и большинство шагало открыв рты, глядя куда-то через головы передних, наполняя воздух воплями и воем. В окнах домов и на балконах женщины, дети, они тоже кричат, размахивают руками, но, пожалуй, больше фотографируют.

«Morituri te salutant, — подумал Самгин и усумнился: — Нет, это не так».

— Вот оно, единение царя с народом, — сказал кто-то сзади его.

— Тоже едва ли так… Но совершенно ясно — это стихийное движение…

Елена что-то говорила вполголоса, но он не слушал ее и, только поймав слова: «Каждый привык защищать что-нибудь», — искоса взглянул на нее. Она стояла под руку с ним, и ее подкрашенное лицо было озабочено, покрыто тенью печали, как будто на нем осела серая пыль, поднятая толпой, колебавшаяся над нею прозрачным облаком.

— Ах, напрасно я не уехала в Париж, — вздохнула она. — Здесь теперь начнется чорт знает что…

— Это может сыграть роль оздоровляющей встряски, — докторально сказал Самгин. — Знаешь, как раствор, насыщенный солью; она не кристаллизуется, если ее не встряхнуть…

— Нет, я — не соль и не желаю, чтоб меня трясли, — с досадой сказала она.

Самгин замолчал, отмечая знакомых: почти бежит, толкая людей, Ногайцев, в пиджаке из чесунчи, с лицом, на котором сияют восторг и пот, нерешительно шагает длинный Иеронимов, держа себя пальцами левой руки за ухо, наклонив голову, идет Пыльников под руку с высокой дамой в белом и в необыкновенной шляпке, важно выступает Стратонов с толстой палкой в руке, рядом с ним дергается Пуришкевич, лысенький, с бесцветной бородкой, и шагает толсторожий Марков, похожий на празднично одетого бойца с мясной бойни. Очень заметны были группы рабочих.

«Не злопамятны», — подумал Самгин и затем иронически спросил кого-то: — «Пролетариат — не имеет отечества»?

Прошло человек тридцать каменщиков, которые воздвигали пятиэтажный дом в улице, где жил Самгин, почти против окон его квартиры, все они были, по Брюсову, «в фартуках белых». Он узнал их по фигуре артельного старосты, тощего старичка с голым черепом, с плюшевой мордочкой обезьяны и пронзительным голосом страдальца.

— Дармоеды-ы, — завывал он и матерно ругался, за это, по жалобе обывателей, его вызвали в полицию, но, просидев там трое суток, на четвертые рано утром, он снова пронзительно завыл. — Дармоеды-ы, — бесовы дети-и… — И снова понеслись в воздухе запретные слова.

Сзади его шагал тоже очень приметный каменщик, высокий, широкоплечий, в чалме курчавых золотого цвета волос, с большой, аккуратной бородой, с приятной, добродушной улыбкой на румяном лице, в прозрачных глазах голубого цвета, — он работал ближе других к окнам Самгина, и Самгин нередко любовался картинной его фигурой.

Мелко шагали мальчики и девочки в однообразных пепельно-серых костюмах,

должно быть сиротский приют, шли почтальоны, носильщики с вокзала, сиделки какой-то больницы, чиновники таможни, солдаты без оружия, и чем дальше двигалась толпа, тем очевиднее было, что в ее хвосте уже действовало начало, организующее стихию. С полной очевидностью оно выявилось в отряде конной полиции.

— Идем в «Медведь», — требовательно сказала Елена. — Я наглоталась пыли, но все-таки хочу есть.

В «Медведе» кричали ура, чокались, звенело стекло бокалов, хлопали пробки, извлекаемые из бутылок, и было похоже, что люди собрались на вокзале провожать кого-то. Самгин вслушался в торопливый шум, быстро снял очки и, протирая стекла, склонил голову над столом.

— Знакомый голос, — сказала Елена, щелкнув пальцами.

Самгину тоже знаком был пронзительный и сладковатый голосок, — это Захар Петрович Бердников сверлил его уши:

— Мы воюем человеколюбиво, побеждаем тем, что прикармливаем. Среднюю-то Азию всю завоевали сахарком да ситчиком…

Самгин сквозь очки исподлобья посмотрел в угол, там, среди лавров и пальм, возвышалась, как бы возносясь к потолку, незабвенная, шарообразная фигура, сиял красноватый пузырь лица, поблескивали остренькие глазки, в правой руке Бердникова — бокал вина, ладонью левой он шлепал в свою грудь, — удары звучали мягко, точно по тесту.

— Немец воюет железом, сталью, он — машиной и — главное — умом! Ум-мом!

— Вспомнила — Бердников. Делец, распутник, каких мало…

Самгин слушал не ее, а тихий диалог двух людей, сидевших за столиком, рядом с ним; один худощавый, лысый, с длинными усами, златозубый, другой — в синих очках на толстом носу, седобородый, высоколобый.

— Захар-то в петельку попал, — говорил златозубый.

— Вывернется. У него — связи.

— Ну, что там связи! У нас министры еженедельно меняются. А в Думе — завистники действуют.

— Ничего. Война торговлю не разоряет. Замолчали, а около Бердникова кто-то неистово крикнул:

— Удовлетворите мужика!

— Так полагаете: придержать? — спросил златозубый негромко, старик, глядя на часы, ответил еще тише:

— Торопиться некуда. Сейчас Митя должен приехать, послушаем, что он узнал.

— Почему ты такой рассеянный? — сердито спросила Елена.

— Слушаю, — объяснил Самгин и слышал?

— Гуманитарная, радикальная интеллигенция наша весь свой век пыталась забежать вперед истории, — язвительно покрикивал Бердников. — Историю делать училась она не у Карла Маркса, а у Емельки Пугачева…

— Закрыть Думу!.. — рявкнул кто-то.

— Уже напились, — решила Елена. — Нет, я не могу здесь — душно! Я хочу на

воздух, на острова, — капризно заявила она.

Самгину тоже хотелось уйти, его тревожила возможность встречи с Бердниковым, но Елена мешала ему. Раньше чем он успел изложить ей причины, почему не может ехать на острова, — к соседнему столу торопливо подошел светлокудрый, румянощекий юноша и вполголоса сказал что-то.

— Вот вам Захар, — похвально сказал старик. — Вы говорите — петля, а он уж заскочил вперед нас…

Златозубый человек побледнел, съежился, развел руками.

— Можно ли было представить…

— Да-с, это — удар! Тысяч триста возьмет, не меньше…

— Но — позвольте, Мирон Васильев, кто же мог сказать ему?..

— У него везде рука…

Златозубый человек вскочил со стула, крикнув:

— Ты сказал, подлец! Ты!

Он громко, матерно выругался, и от его ругательства по залу начала распространяться тишина.

— Идем же, — сказала Елена очень нетерпеливо.

На улице простились. Самгин пошел домой пешком. Быстро мчались лихачи, в экипажах сидели офицера, казалось, что все они сидят в той же позе, как сидел первый, замеченный им: голова гордо вскинута, сабля поставлена между колен, руки лежат на эфесе.

«Бердников, — думал Самгин, присоединяя к этой фигуре слова порицания: — Мерзавец, уголовный тип…»

Он заметил, что ругает толстяка механически и потому, что на обиду отвечают обидой. Но у него нет озлобления против Бердникова, осталось только чувство легкой брезгливости.

— Давно это было. И — очень похоже на анекдот. В стороне Исакиевской площади ухала и выла медь военного оркестра, туда поспешно шагали группы людей, проскакал отряд конных жандармов, бросалось в глаза обилие полицейских в белых мундирах, у Казанского собора толпился верноподданный народ, Самгин подошел к одной группе послушать, что говорят, но полицейский офицер хотя и вежливо, однако решительно посоветовал:

— Расходитесь, господа!

— Здра-ссите, — сказал Шемякин, прикасаясь к локтю Самгина и к панаме на своей голове. — Что ж, уйдем с этого пункта дурных воспоминаний? Вот вам война…

— Мне ее не нужно, — сухо сказал Самгин.

— Разве? Нет, я считаю войну очень своевременной, чрезвычайно полезной, — она индивидуализирует народы, объединяет их…

Шемякин говорил громко, сдобным голосом, и от него настолько сильно пахло духами, что и слова казались надушенными. На улице он казался еще более красивым, чем в комнате, но менее солидным, — слишком щеголеват был его костюм светлосиреневого цвета, лихо измятая дорогая панама, тросточка, с рукой из слоновой кости, в пальцах руки — черный камень.

— Война уничтожает сословные различия, — говорил он. — Люди недостаточно умны и героичны для того, чтобы мирно жить, но пред лицом врага должно вспыхнуть чувство дружбы, братства, сознание необходимости единства в игре с судьбой и для победы над нею.

За железной решеткой, в маленьком, пыльном садике, маршировала группа детей — мальчики и девочки — с лопатками и с палками на плечах, впереди их шагал, играя на губной гармонике, музыкант лег десяти, сбоку шла женщина в очках, в полосатой юбке.

— Сережа — такт! — кричала она. — Асе, два, асе, два!

— Немецкие социалисты — наши учителя, — ворковал Шемякин, — уже в прошлом году голосовали за новые налоги специально на вооружение…

Из переулка, точно дым из трубы, быстро, одна за другою, выкатывались группы людей с иконами в руках, с портретом царя, царицы, наследника, затем выехал, расталкивая людей лошадью, пугая взмахами плети, чернобородый офицер конной полиции, закричал:

— Вам сказано: отставить! Наза-ад! Марш назад!

— Зашевелилась Русь, — неугомонно объяснял Шемякин, притиснутый к стене людями в пиджаках, в ситцевых рубашках, один из них, седобородый, широкоплечий, с толстой палкой, обиженно говорил, разглядывая Самгина:

— Один — так, другой — эдак, понять нельзя ничего! А время — идет!

— Вы — куда собрались? — спросил Шемякин.

— То-то вот и не знаем.

— А кто вы?

— Разные.

— Городской парк — обоз, значит.

— Мостовщики.

— А какая причина войны, господин? — спросил Самгина старик с палкой.

— В манифесте сказано.

Самгин, пользуясь толкотней на панели, отодвинулся от Шемякина, а где-то близко посыпалась дробь барабанов, ядовито засвистела дудочка, и, вытесняя штатских людей из улицы, как поршень вытесняет пар, по булыжнику мостовой затопали рослые солдаты гвардии, сопровождая полковое знамя.

— Преображенцы, — почтительно сказал кто-то, другой голос:

— Семеновцы.

— Ребята! Православному… христолюбивому воинству — ур-ра!

На вызов этот ответило не более десятка голосов. Обгоняя Самгина, толкая его, женщина в сером халате, с повязкой «Красного Креста» на рукаве, громко сказала:

— В солдатах-то жиды, татары…

И тотчас же рядом с Самгиным коротконогий человек в белом переднике, в соломенной шляпе закричал вслед женщине:

— В гвардии все крещеные, дура!

— Сам — дурак! — откликнулась женщина, повернув к нему белое, мучнистое лицо. — Ты, что ли, крестил?

— Постой, постой! Ты как смеешь…

Самгин свернул в какой-то переулок, снял шляпу и, вытирая платком потные виски, подумал:

«Невежественные люди… Ради таких людей…»

Мысль не находила конца, ей мешало угрюмое раздражение.

Вспомнилось, как, недели за три до этого дня, полиция готовила улицу, на которой он квартировал, к проезду президента Французской республики. Были вызваны в полицию дворники со всей улицы, потом, дня два, полицейские ходили по домам, что-то проверяя, в трех домах произвели обыски, в одном арестовали какого-то студента, полицейский среди белого дня увел из мастерской, где чинились деревянные инструменты, приятеля Агафьи Беньковского, лысого, бритого человека неопределенных лет, очень похожего на католического попа. Рано утром выкрасили синеватой краской забор, ограждавший стройку, затем помыли улицу водой и нагнали в нее несколько десятков людей, прилично одетых, солидных, в большинстве — бородатых. Среди их оказались молодые, и они затеяли веселую игру: останавливая прохожих, прижимали их к забору, краска на нем еще не успела высохнуть, и прохожий пачкал одежду свою на боку или на спине.

Около полудня в конце улицы раздался тревожный свисток, и, как бы повинуясь ему, быстро проскользнул сияющий автомобиль, в нем сидел толстый человек с цилиндром на голове, против него — двое вызолоченных военных, третий — рядом с шофером. Часть охранников изобразила прохожих, часть — зевак, которые интересовались публикой в окнах домов, а Клим Иванович Самгин, глядя из-за косяка окна, подумал, что толстому господину Пуанкаре следовало бы приехать на год раньше — на юбилей Романовых.

В соседней комнате оказалась Агафья, и когда он в халате, в туфлях вышел туда, — она, сложив на груди руки, голые по локти, встретила его веселой улыбкой.

— Радуетесь, что видели главу Французской республики?

— Да у него и не видно головы-то, все только живот, начиная с цилиндра до сапог, — ответила женщина. — Смешно, что царь — штатский, вроде купца, — говорила она. — И черное ведро на голове — чего-нибудь другое надо бы для важности, хоть камилавку, как протопопы носят, а то у нас полицеймейстер красивее одет.

Самгин редко разрешал себе говорить с нею, а эта рябая становилась все фамильярнее, навязчивей. Но работала она все так же безукоризненно, не давая причины заменить ее. Он хотел бы застать в кухне мужчину, но, кроме Беньковского, не видел ни одного, хотя какие-то мужчины бывали: Агафья не курила, Беньковский — тоже, но в кухне всегда чувствовался запах табака.

Дня через два Елена показала ему карикатуру, грубо сделанную пером: в квадрате из сабель и штыков — бомба с лицом Пуанкаре, по углам квадрата, вверху — рубль с полустертым лицом Николая Романова, кабанья голова короля Англии, внизу — короли Бельгии и Румынии и подпись «Точка в квадрате», сиречь по-французски — Пуанкаре.

— Харламов дал посмотреть, — сказала она. — У него всегда есть какие-то интересные штучки.

— В молодости я тоже забавлялся, собирая подобные… — шалости пера и карандаша, — неодобрительно сказал Самгин, но не добавил, что теперь это озорство возбуждает в нем чувство почти враждебное к озорникам. Такое же чувство постепенно будил и Харламов его подчеркнутым интересом к различным

проявлениям обывательского консерватизма и контрреволюционных настроений. Его тихое посвистывание и беседы вполголоса с самим собою, даже его гладкий, черный, точно чугунный, чепчик волос на голове, весь он вызывал какие-то странные, даже нелепые подозрения: хотелось думать, что он красит волосы, живет по чужому паспорту, что он — эсер, террорист, максималист, бежавший из ссылки. Но Елена знала, что Харламов — двоюродный племянник Прозорова, что его отец — ветеринар, живет в Курске, а мать, арестованная в седьмом году, умерла в тюрьме.

За несколько дней до разгрома армии Самсонова Харламов предложил Самгину листок папиросной бумаги.

— Желаете поинтересоваться?

Самгин прочитал напечатанное рейнгтоном:

Отречемся, друзья, от марксизма,От доктрины великой, святой.Нам дороже кумир шовинизма,Нам не надо борьбы классовой!Вставай, поднимайся, эсдек-патриот,Иди на врага-иноземцаИ бей пролетария-немца. (Дважды.)Мы пойдем к нашим новеньким братьям,Мы к Гучкову пойдем в комитет,Что нам стоны людей и проклятья,Что нам Маркса великий завет?Вставай и т. д.Так кричит сам Георгий Плеханов,Шейдеман, Вандервельде и Гед,В Государственной думе БурьяновПовторяет с трибуны их бред.Вставай и т. д.Бросим красное знамя свободыИ трехцветное смело возьмем,И свои пролетарские взводыНа немецких рабочих пошлем.

— Плохо, — сказал Самгин.

— Уж — чего хуже! — откликнулся Харламов.

— Грубо, — добавил Самгин.

— Примитив, — пожав плечами, как будто извиняясь, объяснил Харламов.

«Издевается?» — спросил Клим Иванович сам себя и впервые отметил, что нижняя губа Харламова толще верхней, а это придает его лицу выражение брезгливое, а глаза у него мало подвижны и смотрят бесцеремонно прямо. Тотчас же вспомнилось, что фразы Харламова часто звучат двусмысленно.

О разгроме германского посольства он рассказывал так:

— Разрушали каменный дом, неприятного стиля. Могли бы разрушить и соседние дома. А — разреши полиция, так и Зимний дворец растрепали бы. Знакомый помощник частного пристава жаловался мне: «Война только что началась, а уж говорят о воровстве: сейчас задержали человека, который уверял публику, что ломают дом с разрешения начальства за то, что хозяин дома, интендант, сорок тысяч солдатских сапог украл и немцам продал». А когда с крыши посольства сбросили бронзовую группу, старичок какой-то заявил:

«Вот бы и с Аничкова моста медных-то голых парней убрать».

Самгин сухо спросил:

— Вы отрицаете в этом акте наличие народного гнева?

— Не заметил я гнева, — виновато ответил Харламов, уже неприкрыто издеваясь, и добавил: — Просто — забавляются люди с разрешения начальства.

— Это, разумеется, неверно, это — шарж! — заявил Самгин, а Харламов еще добавил:

— А вот газетчики — гневаются: запретили им публичное выражение ощущений, лишили дара слова, — даже благонамеренную сваху «Речь» — и ту прихлопнули.

Для Самгина было совершенно ясно, что всю страну охватил взрыв патриотических чувств, — в начале войны с японцами ничего подобного он не наблюдал. А вот теперь либеральная буржуазия единодушно приняла лозунг «единение царя с народом». Государственная дума торжественно зачеркнула все свои разногласия с правительством, патриотически манифестируют студенты, из провинций на имя царя летят сотни телеграмм, в них говорится о готовности к битве и уверенности в победе, газетами сообщаются факты «свирепости тевтонов», литераторы в прозе и в стихах угрожают немцам гибелью и всюду хвалебно говорят о героизме донского казака Козьмы Крючкова, который изрубил шашкой и пронзил пикой одиннадцать немецких кавалеристов.

— Десяток наверное прибавили для накаливания штатских людей воинской храбростью, — сказал Харламов.

«Играет роль скептика, потому что хочет подчеркнуть себя», — определил Самгин. Было неприятно, что Елена все более часто говорит о Харламове:

— Интересный. Забавный. Чудак.

— Чудаков у нас слишком много, от них устаешь, — заметил Самгин, а через несколько дней услыхал:

— Талантливый! Вчера читал мне что-то вроде оперетки — очень смешно! Там хор благочестивых банкиров уморительно поет:

О, какая благодатьКости ближнего глодать!

— В эти дни едва ли уместно балаганить, — сказал Самгин, а она твердо возразила:

— Нет, именно в такие дни нужно жить веселее, чем всегда! Кстати: ты понимаешь что-нибудь в биржевой игре? Я в четверг выиграла восемь тысяч, но предупреждают, что это — опасно и лучше покупать золото, золотые вещи…

— Да, конечно, золото, — равнодушно подтвердил Клим Иванович.

Действия этой женщины не интересовали его, ее похвалы Харламову не возбуждали ревности. Он был озабочен решением вопроса: какие перспективы и пути открывает пред ним война? Она поставила под ружье такое количество людей, что, конечно, продлится недолго, — не хватит средств воевать года. Разумеется, Антанта победит австро-германцев. Россия получит выход в Средиземное море, укрепится на Балканах. Все это — так, а — что выиграет он? Твердо, насколько мог, он решил: поставить себя на видное место. Давно пора.

— Я обязан сделать это из уважения к моему житейскому опыту. Это — ценность, которую я не имею права прятать от мира, от людей.

Но эти формулы не удовлетворяли его. Он чувствовал, что не от людей, а от самого себя пытается спрятать нечто, всю жизнь беспокоившее его. Он не считал себя честолюбивым и не чувствовал обязанным служить людям, он не был мизантропом, но видел большинство людей ничтожными, а некоторых — чувствовал органически враждебными. Поползли мрачные слухи о разгроме в Восточной Пруссии армии Самсонова, он упрекнул себя в торопливости решения. А через несколько дней Елена, щелкая пальцами, показала ему фотоснимок:

— Посмотри, какой курьез!

Снимок — мутный, не сразу можно было разобрать, что на нем — часть улицы, два каменных домика, рамы окон поломаны, стекла выбиты, с крыльца на каменную площадку высунулись чьи-то ноги, вся улица засорена изломанной мебелью, валяется пианино с оторванной крышкой, поперек улицы — срубленное дерево, клен или каштан, перед деревом — костер, из него торчит крышка пианино, а пред костром, в большом, вольтеровском кресле, поставив ноги на пишущую машинку, а винтовку между ног, сидит и смотрит в огонь русский солдат. На заднем фоне

расплывчато изображены еще двое солдат, они впрягают или распрягают бесформенную лошадь.

— Можно подписать: победитель — не правда ли? — спросила Елена, Самгин сердито сказал:

— Я уверен, что все это… безобразие устроено нарочно, для того чтоб снять. Какие-нибудь прапорщики, корреспонденты, — говорил Самгин. Елена возразила:

— Нет, это снял доктор Малиновский. У него есть другая фамилия — Богданов. Он — не практиковал, а, знаешь, такой — ученый. В первый год моей жизни с мужем он читал у нас какие-то лекции. Очень скромный и рассеянный.

Встряхнув плечами и грудью, щелкнув пальцами, она с удовольствием сказала:

— А — знаешь, это очень интересно — война, очень захватывает! Утром проснешься — думаешь: кто — кого? И газеты ждешь, как забавного знакомого.

— Для тех, кого бьют, это едва ли забавно, — докторально заметил Самгин, а Елена философски откликнулась:

— Пусть устроят так, чтоб не драться.

А через несколько дней она с удивлением сообщила:

— Представь — Харламов идет на войну добровольцем!

Непонятно было: почему в ее удивлении звучит радость?

Он спросил:

— Почему это приятно тебе? И получил ответ:

— Ты забываешь, что я немножко француженка, И было очень досадно: Самгин только что решил послать Харламова в один <из> уездов Новгородской губернии по делу о незаконном владении крестьянами села Песочного пахотной землей, а также лугами помещицы Левашевой. Помещица умерла, ее наследник, депутат Государственной думы Ногайцев, нашел какой-то старый план, поручил Прозорову предъявить его иск к обществу села. Прозоров предъявил иск, в окружном суде выиграл дело. Но палата отменила решение суда, и в то же время [иск] о праве на владение частью спорной земли по дарственной записи Левашевой предъявил монастырь, доказывая, что крестьяне в продолжение трех лет арендовали землю у него.

В довершение путаницы крестьянин Анисим Фроленков заявил, что луга, которые монастырь не оспаривает, Ногайцев продал ему тотчас же после решения окружного суда, а монастырь будто бы пользовался сеном этих лугов в уплату по векселю, выданному Фроленковым. Клим Иванович Самгин и раньше понимал, что это дело темное и что Прозоров, взявшись вести его, поступил неосторожно, а на-днях к нему явился Ногайцев и окончательно убедил его — дело это надо прекратить. Ногайцев был испуган и не скрывал этого.

— Признаю, дорогой мой, — поступил я сгоряча. Человек я не деловой да и [с] тонкостями законов не знаком. Неожиданное наследство, знаете, а я человек небогатый и — семейство! Семейство — обязывает… План меня смутил. Теперь я понимаю, что план — это еще… так сказать — гипотеза.

Он был как-то особенно чисто вымыт, выглажен, скромно одет, туго застегнут, как будто он час тому назад мылся в бане. Говоря, он поглаживал бороду, бедра, лацканы толстого пиджака, доброе лицо его выражало смущение, жалость, а в глазах жуликовато играла улыбочка.

Самгин сердито спросил: чего ж он хочет?

— Мира! — решительно и несколько визгливо заявил Ногайцев и густо покраснел. — Неудобно, знаете, несвоевременно депутату Думы воевать с мужиками в эти дни, когда… вы понимаете? И я вас убедительно прошу: поехать к мужичишкам, предложить им мировую. А то, знаете, узнают газеты, подхватят. А так — тихо, мирно…

«Это не плохое предложение, — сообразил Самгин. — И это последнее из дел, принятых мною от Прозорова».

Было очень приятно напомнить себе, что, закончив это дело, он освобождается от неизбежности частых встреч с Еленой, которая уже несколько тяготила своей близостью, а иногда и обижала слишком бесцеремонным, слишком фамильярным отношением к нему.

И вот он трясется в развинченной бричке, по избитой почтовой дороге от Боровичей на Устюжну. Сквозь туман иногда брызгает на колени мелкий, холодный дождь, кожаный верх брички трясется, задевает голову, Самгин выставил вперед и открыл зонтик, конец зонтика, при толчках, упирается в спину старика возничего, и старик хрипло вскрикивает:

— Но-о, пошел, пошел!

Конь был хороший, бежал бойко, в понуканиях не нуждался, и очень нелепо было видеть, что его заставили везти такой изношенный экипаж.

По бокам дороги в тумане плывут деревья, качаются черные ветки, оголенные осенним ветром, суетливо летают и трещат белобокие сороки, густой запах болотной гнили встречает и провожает гремучую бричку, сырость, всасываясь в кожу, вызывает тягостное уныние и необычные мысли. Как ничтожны делишки Ногайцевых, Фроленковых и крестьян села Песочного в сравнении с драмой, которая разыгрывается на севере Франции и угрожает гибелью Парижу — «Афинам мира»! Если немцы победят, французы не только снова будут ограблены экономически, но будут поставлены на колени пред народом менее талантливым, чем они. Да, это будет удар, который отразится на судьбах всей Европы и, конечно, на судьбе всего человечества. Возможно, что немцы, минуя революцию, создадут своего Наполеона и поставят целью завоевание всей Европы. А в это время Япония начнет покорение Азии. В дальнейшем человечеству угрожают столкновения и битвы рас. И если вспомнить, что все это совершается на маленькой планете, затерянной в безграничии вселенной, среди тысяч грандиозных созвездий, среди миллионов планет, в сравнении с которыми земля, быть может, единственная пылинка, где родился и живет человек, существо, которому отведено только пять-шесть десятков лет жизни…

Мысли этого порядка являлись у Самгина не часто и всегда от книг на темы «мировой скорби» о человеке в космосе, от системы фраз того или иного героя, который по причинам, ясным только создателю его, мыслил, как пессимист. Клим Иванович не любил эти мысли и остерегался останавливаться на них, чувствуя, что они могут подчинить его так же, как подчиняет людей всякое программное мышление. Но он держал их в резерве, признавая за ними весьма ценное качество — способность отводить человека далеко в сторону от действительности, ставить его над нею. Он хорошо видел, что люди кажутся друг другу умнее, когда они говорят о «теории относительности», о температуре внутри Солнца, о том, имеет ли Млечный Путь фигуру бесконечной спирали или дуги, и о том, сгорит Земля или замерзнет. Незаметно для себя, в какой-то момент, он раз навсегда определил ценность этих щеголеватых [мыслей] словами:

— Допустимо, что все это так, а может быть, и не так. Но можно жить и не решая эти вопросы.

В эти часы, в пузыре тумана, который нищенски ограничивал пространство, под визг и дребезг железа брички, Самгин впервые и очень охотно подумал о том, что бытие человека — загадочно и что эта загадочность весьма похожа на бессмыслие.

В состоянии физической усталости и уныния под вечер въехал в небольшой, тесно скученный городок, он казался прикрепленным к земле, точно гвоздями, колокольнями полутора десятков церквей. Молчаливый возница решительно гнал коня мимо каких-то маленьких кузниц, в темноте их пылали угли горнов, дробно стучали молотки, на берегу серой реки тоже шумела работа, пилили бревна, тесали топоры, что-то скрипело, и в быстром темпе торопливо звучало:

Эх, дубинушка — ухни!Эх, зеленая — сама идет!Подернем, подернемДа ухнем!

— Пошла, пошла, пошла! Бегом пошла, ух ты!

В сумраке десятка два людей тащили с берега на реку желтое, только что построенное судно — «тихвинку».

«Все еще старинная, примитивная жизнь, — думал Самгин. — Отстали от Европы. Мешаем ей жить. Пугаем обилием людей, возбуждаем зависть богатством».

Вспомнил солдата, в кресле, с ногами на пишущей машинке.

«Дикари. Дикари».

— В гостиницу, — сказал Самгин, несколько оживленный шумом. Возница спокойно ответил:

— Зачем? Я знаю — куда надо!

Он остановил коня пред. крыльцом двухэтажного дома, в пять окон на улицу, наличники украшены тонкой резьбой, голубые ставни разрисованы цветами и кажутся оклеенными обоями. На крыльцо вышел большой бородатый человек и, кланяясь, ласково сказал:

— Милости прошу! Устали, поди-ко? Олька! Живо... Человек — скрылся, явилась Олька, высокая, стройная девица, с толстой косой и лицом настолько румяным, что пышные губы ее были почти незаметны. Она оказалась тоже неразговорчивой и на вопрос: «Это чей дом?» — ответила:

— Хозяина.

И вот Клим Иванович Самгин сидит за столом в светлой, чистой комнате, обставленной гнутыми «венскими» стульями, оклеенной голубыми обоями с цветами, цветы очень похожи на грибы рыжики. У одной стены — «горка», стеклянный шкаф, верхняя его полка тесно заставлена чайной посудой, среди ее — стеклянный графин с церковью, искусно построенной в нем из раскрашенных лучинок. На задней стенке висят пасхальные яйца из сахара и огромное, красное, из дерева, обвязанное зеленой ленточкой. На двух остальных полках какие-то ящички, коробки, тарелки, блюда, пустые бутылки, одна — в форме медведя. На другой стене две литографии «Святое семейство» и царь Николай Второй с женой, наследником, дочерьми, — картинка, изданная в ознаменование 300-летнего царствования его фамилии. Между картинами в гробоподобном ящике красного дерева безмолвно раскачивался маятник старинных английских часов. В переднем углу пять штук икон, две в серебряных ризах и в киотах с виноградами. На столе кипел самовар, но никто не являлся налить чаю, и в доме было тихо, точно все спали.

Самгин — недоумевал: это не гостиница, что ж это значит?

Но вот снова явился этот большой человек с роскошнейшей, светловолосой густой бородищей, ей мог бы позавидовать Варавка.

— Пожалуйте чайку выпить, — предложил он звучным голосом, садясь к столу, против самовара.

— Простите, я не понимаю: почему меня привезли к вам? — спросил Самгин.

— Правильно привезли, по депеше, — успокоил его красавец. — Господин Ногайцев депешу дал, чтобы послать экипаж за вами и вообще оказать вам помощь. Места наши довольно глухие. Лошадей хороших на войну забрали. Зовут меня Анисим Ефимов Фроленков — для удобства вашего.

Говорил он легко, плавно, голос у него был альтовый, точно у женщины, но это очень шло к его красивой, статной фигуре и картинному лицу. Вмешательство Ногайцева возбудило у Самгина какие-то подозрения, но Фроленков погасил их.

— Судостроитель, мокшаны строю, тихвинки и вообще всякую мелкую посуду речную. Очень прошу прощения: жена поехала к родителям, как раз в Песочное, куда и нам завтра ехать. Она у меня — вторая, только весной женился. С матерью поехала с моей, со свекровью, значит. Один сын — на войну взят писарем, другой — тут помогает мне. Зять, учитель бывший, сидел в винопольке — его тоже на войну, ну и дочь с ним, сестрой, в Кресте Красном. Закрыли винопольку. А говорят — от нее казна полтора миллиарда дохода имела?

— Кажется — миллиард...

— Тоже — сумма... Война-то, наверно, больших денег будет стоить?

Не дождавшись ответа, он продолжал:

— Очень хорошо, что канительное дело это согласились прекратить, разоряло оно песоченских мужиков-то. Староста песоченский здесь, в тюрьме сидит, земский его закатал на месяц, нераспорядителен старик. Вы, ваше благородие, не беспокойтесь, я в Песочном — лицо известное.

«Какой приятный, — подумал Самгин. — И, видимо, неглупый...»

— Несколько непонятна политика нам, простецам. Как это: война расходы усиливает, а — доход сократили? И вообще, знаете, без вина — не та работа! Бывало, чуть люди устанут, посулишь им ведерко, они снова оживут. Ведь — победим, все убытки взыщем. Только бы скорее! Ударить разок, другой, да и потребовать: возместите протори-убытки, а то — еще раз стукнем.

Самгин напомнил о гибели армии Самсонова.

— Н-да, промахнулись. Ну — ничего, народа у нас хватит. — Подумал, мигнул: — Ну, все ж особо торопиться не следует. Война ведь тоже имеет свои качества. Уж это всегда так: в одну сторону — вред, в другую — польза.

— А — в чем видите пользу? — спросил Самгин.

— Да ведь сказать — трудно! Однако — как не скажешь? Народу у нас оказывается лишнего много, а землишки — мало. На сытую жизнь не хватает земли-то. В Сибирь крестьяне самовольно не идут, а силком Переселять у начальства... смелости нет, что ли? Вы простите! Говорю, как думаю.

— Пожалуйста, — оживленно и поощрительно сказал Самгин. — Чем искреннее, тем лучше.

— К тому же один на один беседуем, — продолжал Фроленков, широко улыбаясь. — Нами сказано, с нами и останется, так ведь?

— Именно, — согласился Самгин и подумал: «Очень умный».

Все нравилось ему в этом человеке: его прозрачные голубые глаза, широкая, мягкая улыбка, тугая, румяная кожа щек. Четыре неглубоких морщинки на лбу расположены аккуратно, как линейки нот.

«Вот что значит — открытое лицо», — решил он.

Нравилась пышная борода, выгодно оттененная синим сатином рубахи, нравилось,

что он пьет чай прямо из стакана, не наливая в блюдечко. Любуясь человеком, Клим Иванович Самгин чувствовал, как легко вздуваются пузырьки новых мыслей:

«Мужик-аристократ. Потомок старинных ушкуйников, землепроходцев. Садко. Василий Буслаев. Дежнев. Человек расы, которую тевтоны хотят поработить, уничтожить…»

— Я к тому, что крестьянство, от скудости своей, бунтует, за это его розгами порют, стреляют, в тюрьмы гонят. На это — смелость есть. А выселить лишок в Сибирь али в Азию — не хватает смелости! Вот это — нельзя понять! Как так? Бить не жалко, а переселить — не решаются? Тут, на мой мужицкий разум, политика шалит. Балует политика-то. Как скажете?

Глаза [Фроленкова] как будто сузились, потемнели.

— Мысль о принудительном переселении — весьма оригинальная мысль, — сказал Клим Иванович, торопясь слушать.

— Пятый год и мужика приучил думать, — с улыбочкой и поучительно заметил Фроленков. — Думать-то — научились, а поговорить — не с кем, и такой гость, как вы, конечно, для меня праздник. Городок у нас — издревле промысловой: суденышки строим, железо болотное добываем, гвоздь и всякую мелочь куем. плотниками славимся. — Он замолчал, вздохнул и, размахнув бороду обеими руками, точно желая снять ее с лица, добавил: — Вообще интерес для жизни — имеется. А — край глухой, болота, озера, речки, притоки Мологи — Чагодоща, Ковжа, Песь, леса кое-какие — все это, конечно, помаленьку кормит. Однако жить тесновато, а утеснение — оно и во храме и в бане одинаково. Душевно сказать — народ здесь дикой. Особо — молодежь. За границей, слыхать, молодых-то лишних отправляют к неграм, к индейцам, в Америку, а у нас — они дома толпятся… Теперь вот на войну отобрали их, ну, потише стало…

— А что — стачки были? — спросил Самгин.

— Нет, стачек у нас теперь не бывает, а — пьянство, драки, это вот путает дела!

Фроленков, расширив прозрачные глаза, взглянул на часы и встал, говоря:

— Прошу извинить! Вам требуется отдых с дороги, вот в соседней комнате все готово. Если что понадобится — вскричите Ольку.

И, усмехаясь широко, показав плотные желтые зубы, он сказал:

— Проповедник публичный прибыл к нам, братец Демид, — не слыхали о таком? Замечательный, говорят. Иду послушать.

Самгин, чувствуя себя отдохнувшим, спросил:

— А мне — можно?

— Да — сделайте милость! — ответил Фроленков с радостью. — Тут — близко, почти рядом!

Через несколько минут Самгин оказался в комнате, где собралось несколько десятков людей, человек тридцать сидели на стульях и скамьях, на подоконниках трех окон, остальные стояли плечо в плечо друг другу настолько тесно, что Фроленков с трудом протискался вперед, нашептывая строго, как человек власть имущий:

— Посторонись! Пропусти…

Комната служила, должно быть, какой-то канцелярией, две лампы висели под потолком, освещая головы людей, на стенах — <документы> в рамках, на задней стене [нрзб.], портрет царя.

Фроленков провел Самгина в первый ряд. Он пошептал в ухо лысому старичку, тот покорно освободил стул. Самгин сел, протер запотевшие очки, надел их и тотчас опустил голову. Прижатый к стене маленьким столом, опираясь на него руками и точно готовясь перепрыгнуть через стол, изогнулся седоволосый Диомидов в белой рубахе, с расстегнутым воротом, с черным крестом, вышитым на груди. Над столом покачивался, задевая узкую седую бороду, — она отросла еще длинней, — большой, вершков трех, золоченый или медный крест, висевший на серебряной шейной цепочке.

Глухим, бесцветным голосом он печально говорил:

— Люди Иисуса Христа, царя и бога нашего, миродавца, миролюбца, приявшего смерть за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна, и воскресшего…

Белизна рубахи резко оттеняла землистую кожу сухого, костлявого лица и круглую, черную дыру беззубого рта, подчеркнутого седыми волосами жиденьких усов. Голубые глаза проповедника потеряли былую ясность и казались маленькими, точно глаза подростка, но это, вероятно, потому, что они ушли глубоко в глазницы.

«Узнает?» — соображал Самгин, не желая, чтоб Диомидов узнал его, затем подумал, что этот человек, наверное, сознательно делает себя похожим на икону Василия Блаженного.

— И от Христа мы, рабы его, плутая в суете земной, оттолкнулись, отверглись. Что же понудило нас к этому?

Диомидов выпрямился и, потрясая руками, начал говорить о «жалких соблазнах мира сего», о «высокомерии разума», о «суемудрии науки», о позорном и смертельном торжестве плоти над духом. Речь его обильно украшалась словами молитв, стихами псалмов, цитатами из церковной литературы, но нередко и чуждо в ней звучали фразы светских проповедников церковной философии:

«Разум, убийца любви к ближнему»…

«Не считает ли слово за истину эхо свое?»

Самгин определил, что Диомидов говорит так же бесстрастно, ремесленно и привычно, как обвинители на суде произносят речи по мелким уголовным преступлениям.

«Все-таки он — верен сам себе. И богу своему», — подумал Самгин.

В комнате стоял тяжкий запах какой-то кислой сырости. Рядом с Самгиным сидел, полузакрыв глаза, большой толстый человек в поддевке, с красным лицом, почти после каждой фразы проповедника, сказанной повышенным тоном, он тихонько крякал и уже два раза пробормотал:

— А — скажи, пожалуйста…

Диомидов начал говорить, сердито взвизгивая:

— Немцы считаются самым ученым народом в мире. Изобретательные — ватерклозет выдумали. Христиане. И вот они объявили нам войну. За что? Никто этого не знает. Мы, русские, воюем только для защиты людей. У нас только Петр Первый воевал с христианами для расширения земли, но этот царь был врагом бога, и народ понимал его как антихриста. Наши цари всегда воевали с язычниками, с магометанами — татарами, турками…

Откуда-то из угла, из темноты, донесся веселый, звонкий голосок:

— Против народа — тоже…

Слушатели молча пошевелились, как бы ожидая еще чего-то, и — дождались:

угрюмый голос сказал:

— Однако и турок хочет спокойно жить. Некий третий человек напомнил:

— Ас японцами из-за чего драку начали? Толстый сосед Самгина встал и, махая рукой, тяжелым голосом, хрипло произнес:

— Тише, публика!

Но в углу уже покрикивали:

— Ну, и — что? Ну, сказал! Правду сказал…

— Кузнецы шумят, гвоздари, — сообщил Фроленков, появляясь сзади Самгина. — Может, желаете уйти?

— Да, хотел бы…

— Скушно говорит старец, — не стесняясь, произнес толстый человек и обратился к Диомидову, который стоял, воткнув руки в стол, покачиваясь, пережидая шум: — Я тебя, почтенный; во Пскове слушал, в третьем году, ну, тогда ты — ядовито говорил!

Диомидов искоса взглянул на него и, тряхнув бородой, обратился к женщинам, окружавшим его, и одна из них, высокая, тощая, крикливо упрашивала:

— Скажи-ко ты нам, отец, кто это там явился около царя, мужичок какой-то расторопный? В углу сердито выкрикивали:

— Заместо того, чтоб нас, дураков, учить, — шел бы на войну, под пули, уговаривать, чтоб не дрались…

— Верно!

— Всех лошадей хороших обобрали…

Самгин торопился уйти, показалось, что Диомидов присматривается к нему, узнает его. Но уйти не удавалось. Фроленкова окружали крупные бородатые люди, а Диомидов, помахивая какими-то бумажками, зажатыми в левой руке, протягивал ему правую и бормотал:

— Здравствуй, Клим. Ты еси Клим, и ты — сам? Каждый есть — сам, каждая — сама. Не-ет, меня не соблазнишь… нет!

Кто-то прокричал:

— По бумажкам проповедует, глядите-ко! Бумажки… Э-эх ты, пустосвят!

Широко улыбаясь, Фроленков обратился к Самгину:

— Разрешите познакомить: это — градской голова наш, скотовод, гусевод, Денисов, Василий Петров.

Втроем вышли на крыльцо, в приятный лунный холод, луна богато освещала бархатный блеск жирной грязи, тусклое стекло многочисленных луж, линию кирпичных домов в два этажа, пестро раскрашенную церковь. Денисов сжал руку Самгина широкой, мягкой и горячей ладонью и спросил:

— Скажите, пожалуйста — поужинать ко мне не согласитесь ли?

— Побеседовать, — поддержал Фроленков. Самгин согласился, тогда Денисов взял его под руку, передвинул толстую руку свою под мышку ему и, сообщив:

— Подмораживает! — повел гостя через улицу, почти поднимая над землей.

На улице Денисов оказался еще крупнее и заставил Самгина подумать:

«Из него вышло бы двое таких, как я». Фроленков шлепал подошвами по грязи и ворчал:

— А гвоздари опять на стену полезли! Что ты будешь делать с ними?

— Сделаем, — уверенно обещал голова. Потом минут десять сидели в полутемной комнате, нагруженной сундуками, шкафами с посудой. Денисов, заглянув в эту комнату, — крякнул и скрылся, а Фроленков, ласково глядя на гостя из столицы, говорил:

— Вот чем люди кормятся, между прочим. Очень много проповедующих у нас: братец Иванушка Чуриков, отец Иоанн Кронштадтский был…

И, поискав третьего, он осторожно добавил:

— Тоже и Лев Толстой. Теперь вот все говорят, Распутин Григорий будто бы, мужик сибирский, большая сила, — не слыхали?

— Значение Распутина — преувеличивается, — сказал Самгин и этим очень обрадовал красавца.

— Вот и мы здесь тоже думаем — врут! Любят это у нас — преувеличить правду. К примеру — гвоздари: жалуются на скудость жизни, а между тем — зарабатывают больше плотников. А плотники — на них ссылаются, дескать — кузнецы лучше нас живут. Союзы тайные заводят… Трудно, знаете, с рабочим народом. Надо бы за всякую работу единство цены установить…

В двери, заполнив всю ее, встал Денисов, приглашая:

— Пожалуйте!

Перешли в большую комнату, ее освещали белым огнем две спиртовые лампы, поставленные на стол среди многочисленных тарелок, блюд, бутылок. Денисов взял Самгина за плечо и подвинул к небольшой, толстенькой женщине в красном платье с черными бантиками на нем.

— Супруга моя, Марья Никаноровна, а это — дочь, Софья.

Дочь оказалась на голову выше матери и крупнее ее в плечах, пышная, с толстейшей косой, румянощекая, ее большие ласковые глаза напомнили Самгину горничную Сашу.

— Крестница моя, — объявил Фроленков и обратился к жене Денисова: — Ну-ко, кума, командуй!

Самгина посадили рядом с нею, и она тотчас спросила его:

— Вам понравился старец?

— Я не поклонник людей этой профессии.

— Я — тоже. И говорит он плохо. «Миродавец» — как будто Христос давил мир. У нас глаголы очень коварные: давать, давить…

— Нет, погоди, — сказал ей отец. — Сначала мы выпьем…

Но она не ждала, продолжая звучным, сдобным голосом:

— Ах, как замечательно говорят в Петербурге! Даже когда не все понимаешь, и то приятно слушать.

Родители и крестный отец, держа рюмки в руках, посматривали на гостя с

гордостью, но — недолго. Денисов решительно произнес:

— Нуте-ко, благословясь, положим основание травничком!

Травник оказался такой жгучей силы, что у Самгина перехватило дыхание и померкло в глазах. Оказалось, что травник этот необходимо закусывать маринованным стручковым перцем. Затем нужно было выпить «для осадки» рюмку простой водки с «рижским бальзамом» и закусить ее соловецкой селедкой.

— Нежнейшая сельдь, первая во всем мире по вкусу, — объяснил Денисов. — Есть у немцев селедка Бисмарк, — ну, она рядом с этой — лыко! А теперь обязательно отбить вкус английской горькой.

Выпили горькой. На столе явился суп с гусиными потрохами, Фроленков с наслаждением закачался, потирая колена ладонями, говоря:

— Любимое мое хлебово! А Денисов сказал:

— У нас, по стародавнему обычаю, ужин сытный, как обед. Кушаем не по нужде, а для удовольствия.

После трех, солидной вместимости, рюмок Самгин почувствовал некую благодушную печаль. Хотелось сказать что-то необычное, но память подсказывала странные, неопределенные слова.

«Да, вот оно…» И мешала девица Софья, спрашивая:

— Вы читали роман Мережковского об императоре Юлиане? А — «Ипатию» Кингслея? Я страшно люблю историческое: «Бен Гур», «Камо грядеши», «Последний день Помпеи»…

Это не мешало ей кушать, и Самгин подумал, что, если она так же легко и с таким вкусом читает, она действительно много читает. Ее мамаша кушала с таким увлечением, что было ясно: ее интересы, ее мысли на сей час не выходят за пределы тарелки. Фроленков и Денисов насыщались быстро, пили часто и перебрасывались фразами, и было ясно, что Денисов — жалуется, а Фроленков утешает:

— Солдат все съест.

— Гуся ему не дадут.

— И для гуся найдется брюхо.

Комнату наполняло ласковое, душистое тепло, медовый запах ласкал обоняние, и хотелось, чтоб вся кожа погрузилась в эту теплоту, подышала ею. Клим Иванович Самгин смотрел на крупных людей вокруг себя и вспоминал чьи-то славословия:

«Русь наша — страна силы неистощимой»… «Нет, не мы, книжники, мечтатели, пленники красивого слова, не мы вершим судьбы родины — есть иная, незримая сила, — сила простых сердцем и умом…»

Девица Денисова озабоченно спрашивала:

— Вы не знаете: есть в продаже копии с картины «Три богатыря»?

Самгин не успел ответить, — к нему обратился отец девицы:

— Мы вот на войну сетуем, жалобимся. Подрывает война делишки наши. У меня на декабрь поставка немцам, десять тысяч гусей…

— А у меня — забрали лошадей. Лес добыть нечем, а имею срочные заказы. Вот оно, дело-то какое, — сообщил Фроленков, радостно улыбаясь.

— Не угодные мы богу люди, — тяжко вздохнул Денисов. — Ты — на гору, а чорт — за ногу. Понять невозможно, к чему эта война затеяна?

— Понять — трудно, — согласился Фроленков. — Чего надобно немцам? Куда лезут? Ведь — вздуем. Торговали — хорошо. Свободы ему, немцу, у нас — сколько угодно! Он и генерал, и управляющий, и булочник, будь чем хошь, живи как любишь. Скажите нам: какая причина войны? Король царем недоволен, али что?

— Можно курить? — спросил Самгин хозяйку, за нее, и даже как будто с обидой, ответила дочь:

— Пожалуйста, мы не староверы.

— Просвещенные, — сказал Фроленков, улыбаясь. — Я, в молодости, тоже курил, да зубы начали гнить, — бросил.

На круглом, тоже красном, лице супруги Денисова стремительно мелькали острые, всевидящие глазки, синеватые, как лед. Коротенькие руки уверенно и быстро летали над столом, казалось, что они обладают вездесущностью, могут вытягиваться, как резиновые, на всю длину стола.

— Кушайте, пожалуйста, — убеждала она гостя вполголоса. — Кушайте, прошу вас!

Закурив, Самгин начал изъяснять причины войны. Он еще не успел серьезно подумать об этих причинах, но заговорил охотно.

— Немцы давно завидуют широте пространств нашей земли, обилию ее богатств…

— Да ведь какие же пространства-то? Болота да леса, — громко крякнув, вставил Денисов, кум весело поддержал его:

— А богатства нам самим нужны.

Пропустив эти фразы мимо ушей, Самгин заговорил об отношении германцев к славянам и, говоря, вдруг заметил, что в нем быстро разгорается враждебное чувство к немцам. Он никогда не испытывал такого чувства и был даже смущен тем, что оно пряталось, тлело где-то в нем и вот вдруг вспыхнуло.

— Их ученые, историки нередко заявляли, что славяне — это удобрение, грубо говоря — навоз для немцев, и что к нам можно относиться, как американцы относятся к неграм…

— Гляди-ко ты! — удивленно вскричал Фроленков, толкнув кума локтем. Денисов, крякнув, проворчал:

— Да ведь что же они, ученые-то…

— Нет! Мне это — обидно! Не согласен я.

Клим Иванович Самгин говорил и, слушая свою речь, убеждался, что он верует в то, что говорит, и, делая паузы, быстро соображал:

«Наступило время, когда необходимо верить, и я подчиняюсь необходимости? Нет, не так, не то, а — есть слова, которые не обладают тенью, не влекут за собою противоречий. Это — родина, отечество… Отечество в опасности».

Сквозь свои слова и мысли он слышал упрямое бормотанье Денисова:

— В торговле немец вражду не показывает, в торговле он — аккуратный.

— Экой ты, кум, несуразный! — возражал Фроленков, наполняя рюмки светложелтой настойкой медового запаха. — Тебе все бы торговать! Ты весь город продать готов…

— Города — не продаются, — угрюмо откликнулся Денисов, а дочь его доказывала Самгину, что Генрик Сенкевич историчен более, чем Дюма-отец.

После двух рюмок золотистой настойки Клим Иванович почувствовал, что у него отяжелел язык, ноги как будто отнялись, не двигаются.

«Как же я встану и пойду?» — соображал он, слушая настойчивый голосок:

— Дюма совершенно игнорирует пейзаж... Денисов глухо кричал:

— Сказано: «Не убей!»

— Кем сказано? — весело спрашивал Фроленков. — Ведь — вот он, вопрос-от, — кем сказано?

— Богом!

— Он — разнородно говорил. Он Исусу-то Навину иначе сказал: «Бей, я солнце в небе задержу».

— Ни-че-го подобного бог не говорил!

— Задержу солнце, чтоб тебе видно было — кого бить!

— Вы, крестный, путаете, — убеждала Софья. Затем все померкло, растаяло, исчезло. К сознательному бытию Клим Иванович Самгин возвратился разбуженный режущей болью в животе, можно было думать, что в кишках двигается и скрежещет битое стекло. Он лежал на мягчайшей, жаркой перине, утопая в ней, как в тесте, за окном сияло солнце, богато освещая деревья, украшенные инеем, а дом был наполнен непоколебимой тишиной, кроме боли — не слышно было ничего. Самгин застонал, — кроме боли, он испытывал еще и конфуз. Тотчас же в стене лопнули обои, отлетел в сторону квадратный их кусок, обнаружилась дверь, в комнату влез Денисов, сказал:

— Ага! — и этим положил начало нового трудного дня. Он проводил гостя в клозет, который имел право на чин ватерклозета, ибо унитаз промывался водой из бака. Рядом с этим учреждением оказалось не менее культурное — ванна, и вода в ней уже была заботливо согрета.

Большой, тяжелый человек оказался очень ловким, быстро наполнил ванну водою, принес простыни, полотенца, нижнее белье, попутно сообщил, что:

— Морозец ударил на одиннадцать градусов, слава богу!

И даже попытался успокоить сконфуженного гостя:

— Это — медовуха действует. Ешь — сколько хочешь, она как метлой чистит. Немцы больше четырех рюмок не поднимают ее, балдеют. Вообще медовуха — укрощает. Секрет жены, он у нее в роду лет сотню держится, а то и больше. Даже и я не знаю, в чем тут дело, кроме крепости, а крепость — не так уж велика, 65–70 градусов.

Когда Самгин вышел к чаю — у самовара оказался только один городской голова в синей рубахе, в рыжем шерстяном жилете, в широчайших шароварах черного сукна и в меховых туфлях. Красное лицо его, налитое жиром, не очень украшала жидкая серая борода, на шишковатом черепе волосы, тоже серые, росли скупо. Маленькие опухшие желтые глазки сияли благодушно.

— Ваши еще спят? — спросил Самгин.

— Мои-то? Не-ет, теперь ведь время позднее, одиннадцать скоро. Дочь — на лепетицию ушла, тут любители театра имеются, жена исправника командует. А мать где-нибудь дома, на той половине.

— Не представляю, как я с расстроенным желудком поеду в это село, — прискорбно сказал Самгин.

— А — и не надо ехать! Кум правильно сообразил: устали вы, куда вам ехать? Он лошадь послал за уполномоченными, к вечеру явятся. А вам бы пришлось ехать часов в шесть утра. Вы — как желаете: у меня останетесь или к Фроленкову перейдете?

Состояние желудка не позволяло Самгину путешествовать, он сказал, что предпочел бы остаться.

— Сделайте одолжение! За честь сочту, — с радостью откликнулся Денисов и даже, привстав со стула, поклонился гостю. А после этого начал:

— Непонятна некоторым нам здесь причина войны. Конечно, это — как вы вчерась говорили — немцы, русских не любят, да — ведь какие немцы-то? Торговцу, особенно оптовому, крупному… ведь ему это не надобно — любить. Ведь — извините наше понимание — торговец любит торговлю, фабрикант — фабрикацию. Кум Фроленков суда строить любит. У него вот имеется мысль построить баржу для мелкой воды, такую, чтоб она скользила по воде, не оседая в нее, — понимаете? Каждый должен любить свое дело… Да. Вот я, например, торгую гусем. Гусь мой живет — кормится у минчуков, у литваков, это — к немцам близко.

Говорил он с паузами, в паузах надувал щеки и, оттопыривая губы, шипел, выпускал длинную струю воздуха.

— Изжога мучает, — объяснил он шипение. Тяжелый, бесцветный голос его звучал напряженно, и казалось, что глава города надеется не на смысл слов, а только на силу голоса. — У нас тут говорят, что намерение царя — возместить немцам за ихнюю помеху в турецкой войне. Будто в ту пору дедушка его протянул руку, чтобы Константинополь взять, а немцы — не дали. Англичане тогда заодно с немцами были, а теперь вот против и царю сказано: бери Константинополь, мы — не против этого, только — немцев побей. И французы — тоже, французы — они уж прямо: что хошь бери, да — избавь от немцев…

Слушать Денисова было скучно, и Клим Иванович Самгин, изнывая, нетерпеливо ждал чего-то, что остановило бы тугую, тяжелую речь. Дом наполнен был непоколебимой, теплой тишиной, лишь однажды где-то красноречиво прозвучал голос женщины:

— Иди, скажи ему, сукину сыну…

— Жена воюет, — объяснил Денисов. — Беда с работниками, совсем беда!

И, тяжко вздохнув, добавил:

— Покойник отец учил меня: «Работник должен ходить пред тобой, как монах пред игуменом». Н-да… А теперь он, работник, — разбойник, все чтобы бить да ломать, а кроме того — жрать да спать.

Тут Самгин вспомнил, что у него есть хороший предлог спрятаться от хозяина, и сказал ему, что до приезда уполномоченных он должен кое-что прочитать в деле.

— Пожалуйста, пожалуйста, — торопливо откликнулся Денисов. — Чемоданчик ваш кум прислал сюда…

«Предусмотрительно», — подумал Самгин, осматриваясь в светлой комнате, с двумя окнами на двор и на улицу, с огромным фикусом в углу, с картиной Якобия, премией «Нивы», изображавшей царицу Екатерину Вторую и шведского принца. Картина висела над широким зеленым диваном, на окнах — клетки с птицами, в одной хлопотал важный красногрудый снегирь, в другой грустно сидела на жердочке аккуратненькая серая птичка.

«Соловей, должно быть», — решил Самгин.

Сел на диван, закурил и, прищурясь, задумался. Но желудок беспокоил, мешал думать, и мысль лениво одевалась в неопределенные слова:

«Да, вот они…»

Память показывала десятка два уездных городов, в которых он бывал. Таких городов — сотни. Людей, подобных Денисову и Фроленкову, наверное, сотни тысяч. Они же — большинство населения городов губернских. Люди невежественные, но умные, рабочие люди… В их руках — ремесла, мелкая торговля. Да и деревня в их руках, они снабжают ее товарами.

«Их, разумеется, значительно больше, чем фабрично-заводских рабочих. Это надобно точно узнать», — решил Клим Иванович, тревожно прислушиваясь, как что-то бурчит в животе, передразнивая гром. Унизительно было каждые полчаса бегать в уборную, прерывая ход важных дум. Но, когда он возвращался на диван, возвращались и мысли.

Он подумал, что гимназия, а особенно — университет лишают этих людей своеобразия, а ведь, в сущности, именно в этом своеобразии языка, мысли, быта, во всем, что еще сохраняет в себе отзвуки исторического прошлого, именно в этом подлинное лицо нации.

«Изображая отрицательные характеры и явления, наша литература прошла мимо этих людей. Это — главный грех критического, морализирующего искусства. Наше искусство — насквозь морально».

Явилась кругленькая хозяйка с подносом в руках и сказала сухим, свистящим сквозь зубы голосом, совершенно не совпадающим с ее фигурой, пышной, как оладья:

— Вот, выпейте-ко бульончику — обязательно закрепит!

Выпил и уже через десяток минут почувствовал себя менее тревожно, точно смазанным изнутри.

Уже смеркалось, когда явился веселый, румяный Фроленков и с ним трое мужиков: один — тоже высокий, широколобый, рыжий, на деревянной ноге, с палочкой в мохнатой лапе, суровое, носатое лицо окружено аккуратно подстриженной бородой, глаза спрятаны под густыми бровями, на его могучей фигуре синий кафтан; другой — пониже ростом, лысый, седобородый, курносый, в полукафтанье на вате, в сапогах из какой-то негнущейся кожи, точно из кровельного железа.

«Таких много», — определил Самгин, внимательно присматриваясь к третьему.

Третий — в женской кацавейке, подпоясанной шалью, свернутой жгутом, в серых валяных сапогах. На первый взгляд он показался ниже товарищей, но это потому, что был очень широк в плечах. Голова его в шапке седых курчавых волос, такими же волосами густо заросло лицо, в бороде торчал нос, большой и прямой, точно у дятла, блестели черные глаза. Начиная с головы, человек этот удивлял своей лохматостью, из дырявой кацавейки торчали клочья ваты, на животе — бахрома шали, — как будто его пытались обтесать, обстрогать, сделать не таким широким и угловатым, но обтесать не удалось, он так и остался весь в затесах, в стружках.

— Вот, значит, мы и здесь, — сообщил Фроленков. — Вот это вот и есть самые они — уполномоченные…

Черные глаза лохматого мужика побегали по лицу Самгина и, найдя его глаза, неприятно остановились на них, точно приклеенные.

— Это — герой японский Дудоров, Степан, это — мудрец наш Егерев, Михаиле Степанов…

— А я — Ловцов, Максим, — звучно сказал лохматый. — Эти двое уполномочены были дело вести, а меня общество уполномочило на мировую.

На товарищей своих он пренебрежительно махнул рукой: они стояли по обе стороны двери, как стража.

— Садитесь, — неохотно сказал им Денисов, они покорно сели, а Ловцов выступил шага на два вперед, пошаркал ногами по полу, как бы испытывая его прочность, и продолжал:

— И чтобы не мямлить, не хитрить, так я сразу…

— Ты погоди, — куда ты? — вскричал Фроленков.

— Сразу и требую: объявите — какие ваши условия?

— Ах ты, господи! — вскричал Фроленков.

— Ты, Анисим, — не поймана щука, ты не трепещи! Бери кума за пример — сидит, как чугунный памятник на кладбище.

— А тебе бы не задираться, Ловцов! — угрюмо посоветовал голова.

— Как это я задираюсь? Я — просто объяснил господину адвокату, зачем я послан…

На высоких нотах голос Ловцова срывался, всхрапывал. Стоял этот мужик «фертом», сунув ладони рук за опояску, за шаль, отведя локти в сторону. Волосы на лице его неприглядно шевелились, точно росли, пристальный взгляд раздражал Самгина.

— Доверитель мой предлагает: отказаться от предъявленного им иска к обществу крестьян села Песочного, а общество должно отказаться от встречного иска к нему, Ногайцеву.

— Тут и все? — спросил Ловцов.

— Да. Все.

— Дешево. А — как же убытки наши? Убытки-то кто возместит нам?

— Что вы называете убытками? — осведомился Самгин и немедленно получил подробное объяснение:

— Убытками называются цифры денег. Адвокат, который раньше вас тянул это дело три года с лишком и тоже прятал под очками бесстыжие глаза…

— Ведь вон как говорит, смутьян! — весело подчеркнул Фроленков.

— Он перебрал у нас цифру денег в 1160 рублей — раз! На 950 рублей у нас расписки его имеются.

— Он — помер, — напомнил Самгин.

— Наследников потревожим, — сообщил лохматый мужик. — Желаем получить сумму за четырехлетнее пользование лугами — два. Рендатель лугов — вот он!

Ловцов указал кивком головы в сторону Фроленкова, — веселый красавец вытянул в его сторону руку, сложив пальцы кукишем, но Ловцов только головой тряхнул, продолжая быстро и спокойно:

— У нас — все сосчитано.

— У меня — тоже, — сказал Фроленков.

— С господина Ногайцева желаем получить пятьсот целковых за расходы, за беззаконное его дело, за стачку с монахами, за фальшивые планы.

— Все это, все ваши требования… наивны, не имеют под собой оснований, — прервал его Самгин, чувствуя, что не может сдержать раздражения, которое вызывал у него упорный, непоколебимый взгляд черных глаз. — Ногайцев — гасит иск и готов уплатить вам двести рублей. Имейте в виду: он может и не платить…

— За-аплотит! — спокойно возразил Ловцов. — И Фроленков заплотит.

— Да — ну? — игриво спросил Фроленков.

— Обязательно заплотишь, Анисим! 1930 целковых. Хошь ты и с полицией сено отбирал у нас, а все-таки оно краденое…

— Вот — извольте видеть, как он говорит, — пожаловался Фроленков. — Эх ты, Максим, когда ты угомонишься, сумасшедший таракан?..

Самгин встал, сердито сказав, что дело сводится исключительно к прекращению иска Ногайцева, к уплате им двухсот рублей.

— Больше ни о чем я не могу и не буду говорить, — решительно заявил он.

— А вы — чего молчите? — строго крикнул Фроленков на хромого и Егерева.

— Да ведь мы — что же? Мы вроде как свидетели, — тихо ответил Егерев, а Дудоров — добавил:

— Нам — не верят, вот — Максима послали.

— Меня послали того ради, что вы — трусы, а мне бояться некого, уж достаточно пуган, — сказал Ловцов.

Денисов тоже попробовал встать, но только махнул рукой:

— Идите в кухню, Егерев, пейте чай. А Ловцов повернулся спиной к солидным людям и сказал:

— Вы — не можете? Понимаю: вы противоположная сторона. Мы против вас своего адвоката поставим.

Ушли. Фроленков плотно притворил за ними дверь и обратился к Самгину:

— Вот, не угодно ли? Но его речь угрюмо прервал Денисов.

— Напрасно ты, кум, ко мне привел их. У меня в этом деле интересу нет. Теперь станут говорить, что и я тоже в чепуху эту впутался…

— А ты будто не впутан? — спросил Фроленков, усмехаясь. — Вот, Клим Иваныч, видели, какой характерный мужичонка? Нет у него ни кола, ни двора, ничего ему не жалко, только бы смутьянить! И ведь почти в каждом селе имеется один-два подобных, бездушных. Этот даже и в тюрьмах сиживал, и по этапам гоняли его, теперь обязан полицией безвыездно жить на родине. А он жить вовсе не умеет, только вредит. Беда деревне от эдаких.

— Все пятый год нагрешил… Москва насорила, — хмуро вставил Денисов.

— Верно! — согласился Фроленков. — Много виновата Москва пред нами, пред Россией… ей-богу, право!

— Послушать бы, чего он там говорит, — предложил Денисов, грузно вставая на ноги, и осторожно вышел из комнаты, оставив за собой ворчливую жалобу:

— Ты все-таки, Анисим, напрасно привел их ко мне…

— Ну, ничего, потерпишь, — пробормотал красавец вслед ему и присел на диван рядом с Самгиным. — Н-да, Москва… В шестом году прибыл сюда слободской здешний мужик Постников, Сергей, три года жил в Москве в дворниках, а до того — тихой был работник, мягкой… И такие начал он тут дела развертывать, что схватили его, увезли в Новгород да там и повесили. Поспешно было сделано: в час дня осудили, а наутро — казнь. Я свидетелем в деле его был: сильно удивлялся! Стоит он, эдакой, непричесанный, а говорит судьям, как власть имущий.

Рассказывал Фроленков мягко, спокойно поглаживал бороду обеими руками, раскладывал ее по жилету, румяное лицо его благосклонно улыбалось.

«Поучает меня, как юношу», — отметил Самгин, тоже благосклонно.

— Конечно — Москва. Думу выспорила. Дума, конечно… может пользу принести. Все зависимо от людей. От нас в Думу Ногайцев попал. Его, в пятом году, потрепали мужики, испугался он, продал землишку Денисову, рощицу я купил. А теперь Ногайцева-то снова в помещики потянуло… И — напутал. Смиренномудрый, в графа Толстого верует, а — жаден. Так жаден, что нам даже и смешно, — жаден, а — неумелый.

Дверь тихонько приоткрылась, заглянул городской голова, поманил пальцами — Фроленков встал, улыбаясь, подмигнул Самгину.

— Приглашает. Идемте.

Вышли в коридор, остановились в углу около большого шкафа, высоко в стене было вырезано квадратное окно, из него на двери шкафа падал свет и отчетливо был слышен голос Ловцова:

— Ты, Егерев, старше меня на добрый десяток лет, а будто дураковатее. Может — это ты притворяешься для легкости жизни, а?

— Брось, Максим, речи твои нам известны…

— Разве мужик может верить им? Видел ты когда-нибудь с их стороны заботу об нас? Одна у них забота — шкуру драть с мужика. Какую выгоду себе получил? Нам от них — нет выгоды, есть только убыток силы.

Самгин понимал, что подслушивать под окном — дело не похвальное, но Фроленков прижал его широкой спиной своей в угол между стеной и шкафом. Слышно было, как схлебывали чай с блюдечек, шаркали ножом о кирпич, правя лезвие, старушечий голос ворчливо проговорил:

— А ты пей, пей, говорун! Гляди, опять в полицию отправят.

Жирные, удушливые кухонные запахи густо вытекали из окна.

— Вот Дудорову ногу отрезали «церкви и отечеству на славу», как ребятенки в школе поют. Вот снова начали мужикам головы, руки, ноги отрывать, а — для чего? Для чьей пользы войну затеяли? Для тебя, для Дудорова?

— Вот — собака! — радостно шепнул Фроленков. Клим Иванович Самгин выскользнул из-за его спины и, возвращаясь в комнату, подумал:

«Да, вредный мужичонка. В эти дни, когда снова поставлен вопрос: «славянские ручьи сольются ль в русском море, оно ль иссякнет…»

Посредине комнаты стоял Денисов, глядя в пол, сложив руки на животе, медленно вертя большие пальцы; взглянув на гостя, он тряхнул головой.

— Не будет толку — с Максимкой дела не свяжешь!

— Я думаю поехать в Песочное, поговорить с крестьянами непосредственно, — заявил Самгин. Денисов оживился, разнял руки и, поглаживая бедра свои,

уверенно сказал:

— Тоже не будет толку. Мужики закона не понимают, привыкли беззаконно жить. И напрасно Ногайцев беспокоил вас, ей-богу, напрасно! Сами судите, что значит — мириться? Это значит — продажа интереса. Вы, Клим Иванович, препоручите это дело мне да куму, мы найдем средство мира.

Явился Фроленков и, улыбаясь, сказал:

— Ругаются. Бутылочку выпили, и — пошла пылать словесность.

— Вот тоже и вино: запретили его — везде самогон начался, ханчу гонят, древесный спирт пьют, — сердито заговорил Денисов. Фроленков весело, но не без зависти дополнил:

— А монастырь тихо-тихо продает водочку по пятишнице склянку.

— Чай пить, чай пить! — пригласила франтовато разодетая Софья и, взяв Самгина под руку, озабоченно начала спрашивать:

— Вы согласны с тем, что поворот интеллигенции к религиозному мышлению освобождает ее из тумана философии Гегеля и Маркса, делает более патриотичной и что это заслуга Мережковского?

— И понять даже нельзя, о чем спрашивает! — с восхищением прорычал Денисов, шлепнув дочь ладонью по спине. Фроленков, поддержав его восхищение звучным смехом, прибавил:

— Иной раз соберутся они, молодежь, да и начнут козырять! Сидишь, слушаешь, и — верно! Все слова — русские, а смысел — не поймать!

Клим Иванович Самгин видел, что восторги отцов — плотского и духовного — не безразличны девице, румяное лицо ее самодовольно пылает, кругленькие глазки сладостно щурятся. Он не любил людей, которые много спрашивают. Ему не нравилась эта пышная девица, мягкая, точно пуховая подушка, и он был доволен, что отцы, помешав ему ответить, позволили Софье забыть ее вопрос, поставить другой:

— Вы знаете профессора Пыльникова? Да? Не правда ли — какой остроумный и талантливый? Осенью он приезжал к нам на охоту… тут у нас на озере масса диких гусей…

— Н-да, диких, — скептически вставил Денисов. Дочь рассказывала:

— Их было трое: один — поэт, огромный такой и любит покушать, другой — неизвестно кто.

— Известно, — сказал Фроленков. — Разжалованный чиновник какой-то. Тагильский фамилия.

«Однофамилец», — подумал Самгин, но все-таки спросил: — Каков он собой?

— Неприятный, — сказала девушка, наморщив переносье. Самгин невольно и утвердительно кивнул головою.

— Небольшой такой, хворый. Седой. Молчаливый, — добавил Фроленков к слову крестницы.

Девица снова начала ставить умные вопросы, и Самгин, достаточно раздраженный ею, произнес маленькую речь:

— Вас очень многое интересует, — начал он, стараясь говорить мягко. — Но мне кажется, что в наши дни интересы всех и каждого должны быть сосредоточены на войне. Воюем мы не очень удачно. Наш военный министр громогласно, в печати

заявлял о подготовленности к войне, но оказалось, что это — неправда. Отсюда следует, что министр не имел ясного представления о состоянии хозяйства, порученного ему. То же самое можно сказать о министре путей сообщения.

Указав на отсутствие согласованности дорожного строительства с целями военной обороны, он осторожно поговорил о деятельности министерства финансов.

— Живем — в долг, на займы у французских банкиров, задолжали уже около двадцати миллиардов франков.

Начал он свою речь для того, чтоб заткнуть рот просвещенной девицы, но быстро убедился, что он репетирует, и удачно. Убедило его в этом напряженное внимание Фроленкова и Денисова, кумовья сидели не шевелясь, застыв в неподвижности до того, что Фроленков, держа в одной руке чайную ложку с медом, а другой придерживая стакан, не решался отправить ложку в рот, мед таял и капал на скатерть, а когда безмолвная супруга что-то прошептала ему, он, в ответ ей, сердито оскалил зубы. Денисов сидел отвалясь на спинку стула, выкатив глаза, положив тяжелую руку на круглое плечо дочери, и вздыхал, посапывая. Внимание, так наглядно выраженное крупными жителями маленького, затерянного в болотах города, возбуждало красноречие и чем-то обнадеживало Клима Ивановича, наблюдая за ними, он попутно напомнил себе, что таких — миллионы, и продолжал говорить более смело, твердо.

— Прибавьте к этому, что у нас возможно нечто фантастическое, уродливое, недопустимое в Европе. Я имею в виду Распутина. Вероятно, половину всего, что говорится о его влиянии на царицу, царя, — половина этого — выдумки, сплетни. Но все же остается факт: в семье царя играет какую-то роль… темный человек, малограмотный, продажный. Вы слышали вчера проповедника, которого я знал юношей, когда он был столяром. Это человек… жалкий, человек, так сказать, засоренного ума. Но он — честный, искренно верующий в бога, возлюбивший людей. Распутин, по всей видимости, не таков.

Фроленков больше не мог молчать, он сунул ложку в стакан, схватив рукой бороду у подбородка, покачнулся, под ним заскрипел стул.

— Ведь вот ведь как правда-то звенит!..

— Что же делать-то? — прискорбно спросил Денисов. — Ах ты, господи…

— Надобно расширить круг внимания к жизни, — докторально посоветовал Клим Иванович. — Вы, жители многочисленных губерний, уездов, промысловых сел, вы — настоящая Русь… подлинные хозяева ее, вы — сила, вас миллионы. Не миллионеры, не чиновники, а именно вы должны бы править страной, вы, демократия… Вы должны посылать в Думу не Ногайцевых, вам самим надобно идти в нее.

— А — дела-то? Дела-то — как? — ноющим тоном спросил Фроленков.

— В делах — стеснение! — угрюмо зарычал Денисов. — Война эта… Покою нет! Дела спокоя требуют.

— Да, вот — мужики там, в кухне, — вспомнил Фроленков.

— Да пошли ты их к чортовой матери, — мрачно зарычал Денисов. — Пускай на постоялый идут. Завтра, скажи, завтра поговорим! Вы, Клим Иванович, предоставьте нам все это. Мы Ногайцеву скажем… напишем. Пустяковое дело. Вы — не беспокойтесь. Мужика мы насквозь знаем!

Фроленков послал к мужикам жену, а сам встал и, выходя в соседнюю комнату, позвал:

— Кум, поди-ко сюда!

Воспользовавшись уходом отцов, девица Софья тотчас спросила:

— Вы читали книгу Родионова «Наше преступление»?

— Нет, — сухо сказал Самгин.

Ей было жарко. Сильно подрумяненная теплом и чаем, она обмахивала толстенькое личико платком в кружевах, — пухлая ручка мелькала в глазах Самгина.

«Горничная», — определил он, а девица говорила бойко и торопясь:

— Замечательная. Он — земский начальник в Боровичах. Он так страшно описал своих мужиков, что профессор Пыльников — он тоже из Боровичей — сказал: «Все это — верно, но Родионов уже хочет восстановить крепостное право». Скажите: крепостное право нельзя уже возобновить?

— А — вам хочется, чтоб восстановили?

— Я не понимаю политики, не люблю. Но надо же что-нибудь делать с мужиками, если они такие… Выглянув из двери, Фроленков спросил:

— В стуколку не играете?

— Нет.

— А в рамс?

— Кажется — могу.

— Тогда — пожалуйте! До ужина схватимся, поиграем.

Клим Иванович был удовлетворен своим выступлением, кумовья все больше нравились ему, он охотно сел играть, играл счастливо, выиграл 83 рубля, и, когда прятал деньги, — у него даже мелькнуло подозрение:

«Точно взятку дали. Впрочем — за что? Я иногда бываю несправедлив к людям».

Потом сытно ужинали, крепко выпили. Самгин лег спать не помня себя и был разбужен Денисовым около полудня.

— Надо вставать, а то не поспеете к поезду, — предупредил он. — А то — может, поживете еще денечек с нами? Очень вы человек — по душе нам! На ужин мы бы собрали кое-кого, человек пяток-десяток, для разговора, ась?

Самгин сказал, что он тоже очень рад знакомству с такими почтенными людями, но остаться не может, надобно ехать в Ригу.

— Все по военным делам? Э-эх, война, война.

Часа три до Боровичей он качался в удобном, на мягких рессорах, тарантасе, в Боровичи попал как раз к поезду, а в Новгороде повторилось, но еще более сгущенно, испытанное им.

В буфете, занятом офицерами, маленький старичок-официант, бритый, с лицом католического монаха, нашел Самгину место в углу за столом, прикрытым лавровым деревом, две трети стола были заняты колонками тарелок, на свободном пространстве поставил прибор; делая это, он сказал, что поезд в Ригу опаздывает и неизвестно, когда придет, станция загромождена эшелонами сибирских солдат, спешно отправляемых на фронт, задержали два санитарных поезда в Петроград.

— А тут еще беженцы из Польши толкутся… «Знает, что говорит члену Союза

городов», — отметил Самгин и спросил:

— Беспорядок?

— Сами в себе запутались — тяжело глядеть, — сказал старичок.

Обычный шум мирной работы ножей и вилок звучал по-новому, включая в себя воинственный лязг ножен сабель. За окнами, на перроне, пела, ревела и крякала медь оркестра, музыку разрывали пронзительные свистки маневренных паровозов, тревожные сигналы стрелочников, где-то близко гудела солдатская песня. Офицерство, туго связанное ремнями портупей, вело себя размашисто и очень крикливо. Было много женщин и цветов, стреляли бутылки шампанского, за большим столом посредине ресторана стоял человек во фраке, с раздвоенной бородой, высоколобый, лысый, и, высоко, почти над головою, держа бокал вина, говорил что-то. До Самгина долетали только отдельные слова:

— Наша ошибка… Не следовало… И мы в 71 году могли… И вместо группы маленьких государств — получили Германию.

— Ус-спокойся, папаша! — кричал молодой, звонкий голос. — Воз-звратим пруссаков в первобытное состояние. За нашу армию — ур-ра!

Ура кричали охотно, хотя и нестройно. Кто-то предложил:

— Здоровье его величества…

— Отставить!

— Па-ачему?

— Кто это смел?

— В кабаке не место славить государя!

— Верно!

— Нет, позвольте…

Блаженно улыбаясь, к лавровому дереву подошел маленький, тощий офицер и начал отламывать ветку лавра. Весь он был новенький, на нем блестели ремни, пряжки. Сияли большие глаза. Смуглое, остроносое лицо с маленькой черной бородкой <заставило Самгина подумать):

«Д'Артаньян».

Он был сильно пьян, покачивался, руки его действовали неверно, ветка не отрывалась, — тогда он стал вытаскивать саблю из ножен. Самгин встал со стула, сообразив, что, если воин начнет пилить или рубить лавр… Самгин поспешно шагнул прочь, остановился у окна.

Подбежал старичок-официант:

— Позвольте — я ножичком…

Офицер, улыбаясь, посмотрел на него, пробормотал:

— Пшел прочь! — взмахнул саблей, покачнулся назад и рубнул дерево, — отлетело несколько листьев, сабля ударила по тарелкам на столе.

Сбоку Клима Ивановича что-то рявкнуло и зарычало, он взглянул в окно, отделенные от него только стеклами двойных рам, за окном корчились, страшно гримасничая, бородатые, зубастые лица. Сабля офицера не испугала его, но эти два лица заставили вздрогнуть. Вот их уже не два, а пять, десять и больше. Оскаливая зубы, невероятно быстро умножались они. Двое рассказывают,

взмахивая руками, возбуждают неслышный смех группы тесно прижавшихся друг к другу серых, точно булыжник, бесформенных людей. Они все плотнее наваливаются на окно, могут выдавить стекла, вломиться в ресторан.

Какие-то секунды Самгин чувствовал себя в состоянии, близком обмороку. Ему даже показалось, что он слышит ревущий нечеловеческий смех и что смех погасил медный вой и покрякивание труб оркестра, свист паровозов, сигналы стрелочников.

Два дородных жандарма вели рубаку, их сопровождал толстый офицер; старичок, собирая осколки тарелок, рассказывал ворчливо:

— Каждый день что-нибудь эдакое вытворяют. Это — второй сегодня, одного тоже отвели в комендатуру: забрался в дамскую уборную и начал женщинам показывать свою особенность.

— Кофе дайте мне, кофе, — попросил Самгин, искоса поглядывая на окно, стирая платком пот с лица и шеи.

За большим столом военные и штатские люди, мужчины и женщины, стоя, с бокалами в руках, запели «Боже, царя храни» отчаянно громко и оглушая друг друга, должно быть, не слыша, что поют неверно, фальшиво. Неистовое пение оборвалось на словах «сильной державы» — кто-то пронзительно закричал:

— Как вы смеете сомневаться в силе императорской армии?

— Следует занавешивать окна, — сказал Самгин, когда старик подал ему кофе.

— Занавеси взяли для госпиталя. А конечно, следует. Солдатам водки не дают, а офицера, извольте видеть… Ведь не одним шампанским питаются, употребляют напитки и покрепче…

Самгин искоса посматривал на окно. Солдат на перроне меньше, но человека три стояло вплоть к стеклам, теперь их неясные, расплывшиеся лица неподвижны, но все-таки сохраняют что-то жуткое от безмолвного смеха, только что искажавшего их.

«Собраны защищать отечество, — думал Самгин. — Как они представляют себе отечество?»

Этот интересный вопрос тотчас же и с небывалой остротой встал пред ним, обращаясь к нему, и Клим Иванович торопливо нашел ответ:

«Представление отечество недоступно человеку массы. <Мы — не русские, мы — самарские». Отечество — это понятие интеллектуальной силы. Если нет знания истории отечества, оно — не существует».

Людей в ресторане становилось все меньше, исчезали одна за другой женщины, но шум возрастал. Он сосредоточивался в отдаленном от Самгина углу, где собрались солидные штатские люди, три офицера и высокий, лысый человек в форме интенданта, с сигарой в зубах и с крестообразной черной наклейкой на левой щеке.

— Учиться нам следовало бы, учиться, а не драться, — гулким басом говорил он. — Драться мы умеем только с турками, да и тех не дают нам бить…

— Бисмарк сказал…

— И — помер.

— И все мы помрем…

«История — результат культурной деятельности интеллигенции. Конечно — так. Учение о роли классов в истории? Это — одна из бесплодных попыток

теоретического объяснения социальных противоречий. Не буржуа, не пролетарии пишут историю, а некто третий».

«Некто в сером?» — неуместно подсказала память. Он смотрел в маленький черный кружок кофе, ограниченный краями чашки, и все более торопливо пытался погасить вопрос, одновременно вылавливая из шума различные фразы.

— Для меня отечество — нечто, без чего я не могу жить полной жизнью.

— Господа! Разрешите напомнить: здесь не место для политических споров, — внушительно крикнул кто-то.

«И для споров с самим собою», — добавил Самгин, механически продолжая спор. «Неверно: в Париже интереснее, приятнее жить, чем в Петербурге…»

— Мы проиграли в Польше потому, что нас предают евреи. Об этом еще не пишут газеты, но об этом уже говорят.

— Газеты в руках евреев…

— Предательство этой расы, лишенной отечества богом, уже установлено, — резко кричал, взвизгивая на высоких нотах, человек с лысой головой в форме куриного яйца, с красным лицом, реденькой серой бородкой.

— Чорт возьми! Но позвольте же: имею я, землевладелец, право говорить об интересах моего хозяйства?

— Не имеете. Во дни войны все права граждан законно узурпирует государь император.

Пронзительно зазвенел колокольчик, и раздался крик.

— Поезд на Ригу подходит…

Суматошно заскрипели стулья и столы, двигаясь по полу, задребезжала посуда, кто-то истерически завопил:

— Господа! В этот роковой час…

— Почему — роковой, чорт возьми?

Через десяток минут Самгин сидел в вагоне второго класса. Вагон был старый, изъездился, скрипел, гремел и подпрыгивал до того сильно, как будто хотел соскочить с рельс. Треск и судороги его вызвали у Самгина впечатление легкости, ненадежности вагона, туго нагруженного людями. Три лампочки — по одной у дверей, одна в средине вагона — тускло освещали людей на диванах, на каждом по три фигуры, люди качались, и можно было подумать, что это они раскачивают вагон. Самгина толкала, наваливаясь «а его плечо, большая толстая женщина в рыжей кожаной куртке с красным крестом на груди, в рыжем берете на голове; держа на коленях обеими руками маленький чемодан, перекатывая голову по спинке дивана, посвистывая носом, она спала, ее грузное тело рыхло колебалось, прыжки вагона будили ее, и, просыпаясь, она жалобно вполголоса бормотала:

— Ах, боже мой, пардон…

У окна сидел и курил человек в поддевке, шелковой шапочке на голове, седая борода его дымилась, выпуклыми глазами он смотрел на человека против него, у этого человека лицо напоминает благородную морду датского дога — нижняя часть слишком высунулась вперед, а лоб опрокинут к затылку, рядом с ним дремали еще двое, один безмолвно, другой — чмокая с сожалением и сердито. Сумрак показывал всех людей уродливыми, и это очень совпадало с настроением Самгина, — он чувствовал себя усталым, разбитым, встревоженным и опускающимся в бессмыслицу Иеронима Босха. Грустно вспоминался маленький городок, прикрепленный к земле десятком церквей, теплый, ласковый дом

Денисова, умный красавец Фроленков.

Человек с лицом дога, окутанный клетчатым пледом, вполголоса говорил:

— Понимаешь — хозяин должен знать хозяйство, а он — невежда, ничего не знает. Закладывали казармы императорских стрелков, он, конечно, присутствовал. «Удивительное, говорит, дело: кладут в одно место всякую дрянь, поливают чем-то, и выходит крепко».

— Постой, погоди, — басом и с радостью негромко вскричал седобородый. — Это же — замечательно, это его представление о государстве!

— Ну, он едва ли способен на иронию!

«Это о царе говорят», — решил Самгин, закрывая глаза. В полной темноте звуки стали как бы отчетливей. Стало слышно, что впереди, на следующем диване, у двери, струится слабенький голосок, прерываемый сухим, негромким кашлем, — струится, выговаривая четко.

— Мы почти уже колония. Металлургия наша на 67 процентов в руках Франции, в деле судостроения французский капитал имеет 77 процентов. Основной капитал всех банков наших 585 миллионов, а иностранного капитала в них 434; в этой — последней — сумме 232 миллиона — французских.

«Вероятно, какой-нибудь нищий, — подумал Самгин. — Еще один Тагильский, помешанный на цифрах».

— Мы воюем потому, что господин Пуанкаре желает получить реванш за 1871 год, желает получить обратно рудоносную местность, отобранную немцами сорок три года тому назад. Наша армия играет роль наемной…

Негромкую речь прервал возмущенный возглас:

— Ах, вот в чем дело! Вы излагаете воззрения анархиста Ленина, да? Вы — так называемый большевик?

— Нет, я не большевик.

— О, полноте! Я — грамотен…

— Но Ленин — человек, который отлично умеет считать…

— Подожди, Игорь, — вмешался третий голос, а четвертый сказал басовито:

— Поспорить — успеем.

— Так, говорите, — Ленин?

— Считают у нас — плохо, — сказал седобородый, кивнув головой.

— Основная наша промышленность — текстиль — вся в наших руках!

— То есть в руках Второвых и Рябушинских.

— Ну, а — как же иначе?

Снова и сначала невнятно, сквозь оживленные голоса, пробился слабый голос, затем Самгин услышал:

— Если откинуть фантастическую идею диктатуры пролетариата — у Ленина многому могли бы поучиться наши министры, он экономист исключительных знаний и даровитости… Да, на мой взгляд, и диктатура рабочего класса…

Резко свистнул локомотив и тотчас же как будто наткнулся на что-то, загрохотали

вагоны, что-то лопнуло, как выстрел, заскрежетал тормоз, кожаная женщина с красным крестом вскочила на ноги, ударила Самгина чемоданом по плечу, закричала:

— Ой, боже мой, боже мой, — что это, что? Все люди проснулись, вскочили на ноги, толкая друг друга, побежали к дверям.

— Крушение, — сказал Самгин, плотно прижимаясь к спинке дивана, совершенно обессиленный встряской, треском, паникой людей. Кто-то уже успокаивал взволнованных.

— Перед самым входом на станцию — закрыли семафор. Машинист — молодчина…

— Вот видите? — упрекнула дама Самгина. — А вы кричите: крушение!

— Я не кричал.

— Ну, — как же это? Я слышала! Вы из Союза городов?

И она тотчас же возмущенно заговорила, что Союз городов — организация, не знающая, зачем она существует и что ей нужно делать, какие у нее права.

Самгин сердито заявил, что критика Союза преждевременна, он только что начинает работу, но женщина убежденно возразила:

— Вы уже мешаете нам, «Кресту», мешаете интендантству…

А человек с лицом дога небрежно вставил:

— Союзы, земский и городов, очень хорошо знают, чего хотят: они — резерв армии Милюкова, вот кто они. Закроют Думу — они явятся как организация политическая, да-с!

Самгин возражал неохотно, междометиями, пожиманием плеч, вопросами. Он сам не совсем ясно представлял себе цели Союза, и ему понравилась мысль о возможности широкого объединения демократии вне партий Думы. Тотчас же и помимо его воли память, развращенная и угодливая, иронически подсказала: «Кладут в одно место всякую дрянь, поливают чем-то, и выходит крепко»… Но спорить и думать о такой организации ему мешало неприятное, даже тягостное впечатление: он был уверен, что пять минут тому назад мимо его прошел Тагильский. Да, это был несомненно Тагильский, но уменьшенных размеров. Шел он медленно, глядя под ноги себе, его толкали, он покачивался, прижимаясь к стене вагона, и секунды стоял не поднимая головы, почти упираясь в грудь свою широким бритым подбородком.

Поезд стоял, голоса разбуженных людей звучали более внятно и почтя все раздраженно, сердито; слышнее струилась неторопливая речь Тагильского:

— Национальное имущество России исчисляется суммой 120 миллиардов, если не ошибаюсь. В это имущество надо включить изношенные заводы Урала и такие предметы, как, например, сверлильный станок 1845 [года] и паровой молот 1837 [года], работающие в екатеринбургских железнодорожных мастерских…

— Казенное, чиновничье хозяйство…

— В текстильном производстве у нас еще уцелели станки семидесятых годов. В национальное имущество надо включить деревянный рабочий инвентарь крестьянства — сохи, бороны…

«Все считает, считает… Странная цель жизни — считать», — раздраженно подумал Клим Иванович и перестал слушать сухой шорох слов Тагильского, они сыпались, точно песок. Кстати — локомотив коротко свистнул, дернул поезд, тихонько покатил его минуту, снова остановил, среди вагонов, в грохоте, скрежете, свисте, резко пропела какой-то сигнал труба горниста, долетел отчаянный крик:

— Смирно-о!

И еще раз напомнил сердитый голосок горбатенькой девочки:

«Да — что вы озорничаете? Не ваши детеныши-то!»

Вот локомотив снова свистнул и как будто озлобленно дернул вагоны, заставив кожаную даму схватить Самгина за колено, а седобородого пассажира — за плечо.

— Ах, боже мой… Пардон. Ужас, как у нас ездят машинисты, — сказала она и, подумав, объяснила: — Точно по проселочной дороге.

— Поезд отправляется через две минуты, — возгласил кондуктор, проходя но вагону.

Никогда еще минуты не казались Климу Ивановичу Самгину так истязающе длительными. Впоследствии он нередко вспоминал эту бессонную тревожную ночь, — ему казалось, что именно с этой ночи окончательно установилось его отношение к жизни, к людям.

Резкий толчок, рванув поезд, заставил его подумать о машинисте:

«Полуграмотному человеку, какому-нибудь слесарю, поручена жизнь сотен людей. Он везет их сотни верст. Он может сойти с ума, спрыгнуть на землю, убежать, умереть от паралича сердца. Может, не щадя своей жизни, со зла на людей устроить крушение. Его ответственность предо мной… пред людями — ничтожна. В пятом году машинист Николаевской дороги увез революционеров-рабочих на глазах карательного отряда…»

«Власть человека, власть единицы — это дано навсегда. В конце концов, миром все-таки двигают единицы. Массы пошли истреблять одна другую в интересах именно единиц. Таков мир. «Так было — так будет».

«Мне следует освободить память мою от засоренности книжной… пылью. Эта пыль радужно играет только в лучах моего ума. Не вся, конечно. В ней есть крупицы истинно прекрасного. Музыка слова — ценнее музыки звука, действующей на мое чувство механически, разнообразием комбинаций семи нот. Слово прежде всего — оружие самозащиты человека, его кольчуга, броня, его меч, шпага. Лишние фразы отягощают движение ума, его игру. Чужое слово гасит мою мысль, искажает мое чувство».

Ничего нового не было в этих мыслях, но они являлись в связи более крепкой и с большей уверенностью, чем когда-либо раньше.

На рассвете поезд медленно вкатился в снежную метель, в свист и вой ветра, в суматоху жизни города, тесно набитого солдатами. Они толпились на вокзале, ветер гонял их по улицам, группами и по одному, они шагали пешком, ехали верхом на лошадях и на зеленых телегах, везли пушки, и всюду в густой, холодно кипевшей снежной массе двигались, мелькали серые фигуры, безоружные и с винтовками на плече, горбатые, с мешками на спинах. Снег поднимался против них с мостовой, сыпался на головы с крыш домов, на скрещении улиц кружились и свистели вихри.

Клим Иванович Самгин был одет тепло, удобно и настроен мужественно, как и следовало человеку, призванному участвовать в историческом деле. Осыпанный снегом необыкновенный извозчик в синей шинели с капюшоном, в кожаной финской шапке, краснолицый, усатый, очень похожий на портрет какого-то исторического генерала, равнодушно, с акцентом латыша заявил Самгину, что в гостиницах нет свободных комнат.

Седые усы его росли вверх к ушам, он был очень большой, толстый, и экипаж был большой, а лошадь — маленькая, тощая, и бежала она мелким шагом, как

старушка. Извозчик свирепо выкрикивал:

— Оё, оё! — его крепко ругали, один солдат даже толкнул в бок лошади прикладом ружья.

В трех гостиницах места действительно не оказалось, в четвертой заявили, что дают каждую комнату на двоих. В комнате, отведенной Самгину, неряшливо разбросана была одежда военного, на столе лежала сабля и бинокль, в кресле — револьвер, привязанный к ремню, за ширмой кто-то всхрапывал, как ручная пила. Самгин постоял перед мутным зеркалом, приводя в порядок измятый костюм, растрепанные волосы, нашел, что лицо у него достаточно внушительно, и спустился в ресторан пить кофе. К нему тотчас же подошел высокий человек с подвязанной челюстью и сквозь зубы спросил: не он ли эвакуирует какой-то завод? А вместе с официантом, который принес кофе, явился и бесцеремонно сел к столу рыжеватый и, задумчиво рассматривая ногти свои, спросил скучным голосом:

— Что же вы намерены делать с вашим сахаром? Ой, извините, это — не вы. То есть вы — не тот… Вы — по какому поводу? Ага! Беженцы. Ну вот и я тоже. Командирован из Орла. Беженцев надо к нам направлять, вообще — в центр страны. Но — вагонов не дают, а пешком они, я думаю, перемерзнут, как гуси. Что же мы будем делать?

Говорил он так, что было ясно: думает не о том, что говорит. Самгин присмотрелся к его круглому лицу с бородавкой над правой бровью и подумал, что с таким лицом артисты в опере «Борис Годунов» поют роль Дмитрия.

Самгин отметил, что только он сидит за столом одиноко, все остальные по двое, по трое, и все говорят негромко, вполголоса, наклоняясь друг к другу через столы. У двери в биллиардную, где уже щелкали шары, за круглым столом завтракают пятеро военных, они, не стесняясь, смеются, смех вызывает дородный, чернобородый интендант в шелковой шапочке на голове, он рассказывает что-то, густой его бас звучит однотонно, выделяется только часто повторяемое:

— Я говрю: ваш прес-тво…

— Чудовищная путаница, — говорил человек с бородавкой. — Все что-то теряют, чего-то ищут. Из Ярославля в Орел прибыл вагон холста, немедленно был отправлен сюда, а немедленно здесь — исчез.

— Мыло, — сказал кто-то за спиной Самгина.

— Что? — небрежно спросил сосед Самгина, заглядывая через его плечо.

— Мыло тоже украли.

— Почему — украли?

— Почему воруют? Очевидно — спорт…

— Почему вы думаете, что украли?

— А как прикажете думать?

Клим Иванович Самгин был утомлен впечатлениями бессонной ночи. Равнодушно слушая пониженный говор людей, смотрел в окно, за стеклами пенился густой снег, мелькали в нем бесформенные серые фигуры, и казалось, что вот сейчас к стеклам прильнут, безмолвно смеясь, бородатые, зубастые рожи.

— Послушайте, — обратился он к официанту, — нельзя ли достать рюмку водки?

— Не надо, — дай две чашки, — сказал человек с бородавкой и вынул из-за пазухи плоскую флягу: — Коньяк, Мартель. А они вас денатуратом угостят.

— Благодарю, но…

— Ну, что там? Мы — на войне.

Затем, наливая коньяк в чашки, он назвал себя:

— Яков Петрович Пальцев. — Посмотрев в лицо Самгина тяжелым стесняющим взглядом мутноватых глаз неопределимого цвета, он взмахнул головой, опрокинул коньяк в рот и, сунув за щеку кусок сахара, болезненно наморщил толстый нос. Бесцеремонность Пальцева, его небрежная речь, безучастный взгляд мутных глаз — все это очень возбуждало любопытство Самгина; слушая скучный голос, он определял:

«Ему — лет сорок. Неудачник. Вероятно — «все равно, все наскучило давно».

— Здесь — множество спекулянтов и жуликов, — рассказывал Пальцев, закуривая папиросу с необыкновенно длинным мундштуком. — Некоторые одеты земгоргусарами, так же, как вы. Я не успел сшить форму. Человек, который сидел сзади вас, — Изаксон, Изаксон и Берман — техническая контора, импорт машин, станков, электроарматуры и прочее и тому подобное. Оба — мошенники, состоят под судом.

Он снова вынул флягу, налил коньяку в чашки, Самгин поблагодарил, выпил и почувствовал, что коньяк имеет что-то родственное с одеколоном. Поглаживая ладонью рыжие волосы, коротко остриженные и вихрастые, точно каракуль, двигая бровями, Пальцев предупреждал:

— Изаксон, конечно, предложит услужить вам, — это значит: обжулить. Меня уже нагрел на две тысячи.

— А как могут сделать это? — спросил Самгин.

— Уж они знают — как. В карты играете? Нет. Это — хорошо. А то вчера какой-то болван три вагона досок проиграл: привез в подарок «Красному Кресту», для гробов, и — проиграл…

Все время непрерывно в ресторане колебался приглушенный, озабоченный говорок, в биллиардной щелкали шары, в буфете торопливо дребезжала посуда, и вдруг весь этот шум одним взмахом смел звонко ликующий тенор:

— Ур-ра!

Эх, бузулукцы удалыеПомнят верные слова…

Десяток голосов дружно, на плясовой мотив подхватил:

Наша матушка РоссияВсему свету голова!

И по паркету в биллиардной дробно, под свист и рев голосов застучали каблуки.

— Должно быть — газеты, — пробормотал Пальцев, встал и ушел торопливо. Самгин отметил, что торопливость не совпадает с коренастой тяжелой фигурой и поведением этого человека. Клим Иванович упрекнул себя за то, что не успел спросить Пальцева, где расквартированы беженцы, каков порядок и техника их эвакуации, и вообще ознакомиться с приемами этой работы. Ему хотелось знать все это раньше, чем он встретит местных представителей Союза городов, хотелось явиться к ним человеком осведомленным и способным работать независимо от каких-то, наверное, подобных ему. Он посидел еще десяток минут, слушая, как в биллиардной яростно вьется, играет песня, а ее режет удалой свист, гремит смех, барабанят ноги плясунов, и уже неловко было сидеть одному, как бы демонстрируя против веселья героев. Хотелось взглянуть туда, но дверь была плотно заткнута, почти все, кто был в ресторане, сгрудились около нее.

Он встал, пошел к себе в комнату, но в вестибюле его остановил странный человек, в расстегнутом пальто на меху, с каракулевой шапкой в руке, на его большом

бугристом лице жадно вытаращились круглые, выпуклые глаза, на голове — клочья полуседой овечьей шерсти, голова — большая и сидит на плечах, шеи — не видно, человек кажется горбатым.

— Простите, — сказал он тихо, поспешно, с хрипотцой. — Меня зовут — Марк Изаксон, да! Лицо весьма известное в этом городе. Имею предупредить вас: с вами говорил мошенник, да. Местный парикмахер, Яшка Пальцев, да. Шулер, игрок. Спекулянт. Вообще — мерзавец, да! Вы здесь новый человек... Счел долгом... Вот моя карточка. Извините...

Он повернулся спиной к Самгину и хрипло спросил или сообщил кому-то:

— Готово.

На карточке Самгин прочитал знакомые слова:

«М. Изаксон и К. Берман, техническая контора».

«Этот — явный мошенник», — решил Клим Иванович. Через несколько минут он сидел в экипаже, щедро осыпаемый снегом. Вьюга бушевала все так же яростно, тучи снега казались тяжелее, гуще, может быть, потому, что день стал светлее. Сквозь быстро летевшие облака без конца, отряд за отрядом, шли солдаты, штыки расчесывали облака снега, как зубцы гребенки. Снег сыпался на них с крыш, бросался под ноги, налетал с боков, <а солдаты) шли и шли, утаптывая сугробы, шли безмолвно, неслышным шагом, в глубокой каменной канаве, между домов, бесчисленные окна которых ослеплены снегом. Было нечто очень жуткое, угнетающее в безмолвном движении тысяч серых фигур, плечи, спины солдат обросли белым мохом, и вьюга как будто старалась стереть красные пятна лиц. Самгину показалось, что никогда еще он не слышал, чтоб ветер свистел и выл так злобно, так непрерывно.

Затем Клим Иванович целый час сидел в теплом и солидно обставленном кабинете, слушая жалобы большого, рыхлого человека, с двойным подбородком, с благодушным лицом престарелой кормилицы. Холеное, голое лицо это, покрытое туго натянутой, лоснящейся, лайковой кожей, голубоватой на месте бороды, наполненное розовой кровью, с маленьким пухлым ртом, с верхней губой, капризно вздернутой к маленькому, мягкому носу, ласковые, синеватые глазки и седые, курчавые волосы да и весь облик этого человека вызывал совершенно определенное впечатление — это старая женщина в костюме мужчины.

Беспомощно разводя руками над столом, он говорил лирическим сопрано, кротко, хотя и обиженно:

— Все мои сочлены по Союзу — на фронте, а я, по силе обязанностей управляющего местным отделением Русско-Азиатского банка, отлучаться из города не могу, да к тому же и здоровье не позволяет. Эти беженцы сконцентрированы верст за сорок, в пустых дачах, а оказалось, что дачи эти сняты «Красным Крестом» для раненых, и «Крест» требует, чтоб мы немедленно освободили дачи.

Речь его текла гладко, спокойно, и было ясно, что ему нравится говорить.

— Совершенно невозможно понять — кто это направил сюда беженцев? А они, знаете, все евреи, бедняки и эдакие истерические, кричат. Масса детей у них, дети умирают, холодно, и кушать нечего! И затем какие-то плотники, их выписали в Брест-Литовск, а оттуда — выгнали, подрядчик у них сбежал, ничего не заплатив, и теперь они тоже волнуются, требуют денег, хлеба, рубят там деревья, топят печи, разобрали какие-то службы, делают гроба, торгуют — смертность среди беженцев высокая! И вообще — своевольничают. А латыши народ черствый, и эта рубка деревьев, порча надворных служб... это, конечно, и не латышу обидно! Так что вы, уважаемый Клим Иванович, пожалуйста, развяжите... этот... гордиев узел! Главное — плотники! Там у них есть эдакий ходатай, неприятнейший молодой человек, но — он знает всю эту историю. Телефонирую, чтоб он встретил вас. Его фамилия —

Лосев.

Покончив с этими жалобами, он в тоне гораздо более бодром заговорил о недостатке товаров, повышении цен на них, о падении цены рубля.

— Начали воевать — рубль стоил 80 копеек на золото, а сейчас уже 62 и обнаруживает тенденцию опуститься до полтинника. Конечно, «нет худа без добра», дешевый рубль тоже способен благотворно отразиться… но все-таки, знаете… Финансовая политика нашего министерства… не отличается особенной мудростью. Роль частных банков слишком стеснялась.

И, постепенно понижая голос, он вдруг воскликнул:

— А ведь мы встречались! Помните? Где-то в провинции — в Нижнем, в Самаре? Я тогда носил бороду, и меня интересовало сектантство…

— Кормилицын! — вспомнил Клим Самгин и вспомнил, что уже тогда человек этот показался ему похожим на женщину.

— Вот именно! — подтвердил финансист, обрадованно улыбаясь. — Но это мой псевдоним.

Для Самгина это была встреча не из тех, которые радуют, да и вообще он не знал таких встреч, которые радовали бы. Однако в этот час он определенно почувствовал, что, когда встречи с людями будили в нем что-то похожее на зависть, на обиду пред легкостью, с которой люди изменяли свои позиции, свои системы фраз, — это было его ошибкой.

«Неправильность самооценки, недостаток уверенности в себе. Факты эти не должны были смущать меня. Напротив: я имею право гордиться моей устойчивостью», — соображал он, сидя в вагоне дороги на Варшаву.

Вьюга все еще бесилась, можно было думать, что это она дергает и раскачивает вагон, пытается сорвать его с рельс. Локомотив, натужно посвистев, осторожно подтащил поезд к перрону дачного поселка. Самгин вышел из вагона в кипящую холодную пену, она тотчас залепила его очки, заставила снять их.

— Смир-рно! — взревел высокий военный, одной рукой отдавая честь, другой придерживая саблю, но тотчас же испуганно крикнул:

— Отставить!

Сзади его стояло десятка три солдат, вооруженных деревянными лопатами, пробежал кондуктор, командуя:

— Сажай, сажай! Вагон рядом с почтовым! Живо!

— Бегом — арш!

Солдаты исчезли, на перроне остались красноголовая фигура начальника станции и большой бородатый жандарм, из багажного вагона прыгали и падали неуклюжие мешки, все совершалось очень быстро, вьюга толкнула поезд, загремели сцепления вагонов, завизжали рельсы. Самгин стоял, защищая рукой в перчатке лицо от снега, ожидая какого-то молодого человека, ему казалось, что время ползет необыкновенно медленно и даже не ползет, а как бы кружится на одном месте. И он догадывался, что не имеет ясного представления о том, что должен делать здесь. К нему подошел начальник станции, спросил хриплым голосом:

— Вы от Союза к беженцам? Так — пожалуйте: они тут, сейчас же за вокзалом, серый дом.

— Меня должен был встретить некто Лосев.

— Локтев, вероятно. Михаил Иванов Локтев, — очень громко сказал начальник

станции, и неподвижно стоявший жандарм крупным, но неслышным шагом подошел к Самгину.

— Локтев временно выехал. В сером доме — русские есть, — сообщил жандарм и, махнув рукой на мешки, покрытые снегом, спросил: — Это ваш печеный хлеб?

— Нет. Вы проводите меня?

— Пожалуйста, — согласился жандарм и заворчал: — На тысячу триста человек прислали четыре мешка, а в них десять пудов, не больше. Деятели… Третьи сутки народ без хлеба.

Прошли сквозь вокзал, влезли в глубокие сугробы. «Локтев, — соображал Самгин, припоминая неприятного юношу, которому он любил делать выговоры. — Миша. Кажется, я знаком уже с половиной населения страны».

Явилась мысль очень странная и даже обидная: всюду на пути его расставлены знакомые люди, расставлены как бы для того, чтоб следить: куда он идет? Ветер сбросил с крыши на голову жандарма кучу снега, снег попал за ворот Клима Ивановича, набился в ботики. Фасад двухэтажного деревянного дома дымился белым дымом, в нем что-то выло, скрипело.

— Здесь — поляки и жиды, — сердито сказал жандарм. — У жидов помер кто-то. Всё — слышите — воют?

В комнате, кроме той двери, в которую вошел Самгин, было еще две, и в нее спускалась из второго этажа широкая лестница в два марша. Из обеих дверей выскочили, точно обожженные, подростки, девицы и юноши, расталкивая их, внушительно спустились с лестницы бородатые, тощие старики, в длинных одеждах, в ермолках и бархатных измятых картузах, с седыми локонами на щеках поверх бороды, старухи в салопах и бурнусах, все они бормотали, кричали, стонали, кланяясь, размахивая руками. В истерическом хаосе польских и еврейских слов Самгин ловил русские:

— И что делать с дэти?..

— Мы умираем.

— Дайте какой-нибудь хлеб!

— И где этот Мише, который понимает… С лестницы молодой голос звонко кричал:

— Носите очки, чтоб ничего не видеть.

Стиснутые в одно плотное, многоглавое тело, люди двигались всё ближе к Самгину, от них исходил густой, едкий запах соленой рыбы, детских пеленок, они кричали;

— Почему нас не пускают в город?

— Мы виноваты, что война?

— Нас грабят.

— Тут ничего нельзя купить…

— Мы бедные люди.

— Нам сказали: идите, и все будет…

— Нам гнали по шее…

— Учите сеять разумное, доброе и делаете войну, — кричал с лестницы молодой голос, и откуда-то из глубины дома через головы людей на лестнице изливалось

тягучее скорбное пение, напоминая вой деревенских женщин над умершим.

— Н-ну, знаете, это… чорт знает что! — пробормотал Клим Иванович, обращаясь к жандарму.

— Сумасшедший дом, — угрюмо откликнулся жандарм и упрекнул: — Плохо у вас в Союзе организовано.

— Но — куда же исчез этот болван, Локтев? Он должен был встретить меня, объяснить.

Жандарм, помолчав, очень тихо сказал:

— Локтев отправлен во Псков, по требованию тамошнего жандармского правления.

Сквозь мятежный шум голосов, озлобленные, рыдающие крики женщин упрямо пробивался глухой, но внятный бас:

— Уже седьмой человек умирает от ужаса глупости… Говорил очень высокий старик, с длинной остроконечной бородой, она опускалась с темного, костлявого лица, на котором сверкали круглые, черные глаза и вздрагивал острый нос.

— Мы просим: разрешите нам, кто имеет немножко гроши, ехать на Орел, на Украину. Здесь нас грабят, а мы уже разоренные.

Рядом с ним явился старичок, накрытый красным одеялом, поддерживая его одною рукой у ворота, другую он поднимал вверх, но рука бессильно падала. На сморщенном, мокром от слез лице его жалобно мигали мутные, точно закоптевшие глаза, а веки были красные, как будто обожжены.

Самгин старался не смотреть на него, но смотрел и ждал, что старичок скажет что-то необыкновенное, но он прерывисто, тихо и певуче бормотал еврейские слова, а красные веки его мелко дрожали. Были и еще старики, старухи с такими же обнаженными глазами. Маленькая женщина, натягивая черную сетку на растрепанные рыжие волосы одной рукой, другой размахивала пред лицом Самгина, кричала:

— За что страдают дети? За что-о? Старик ловил ее руку, отбрасывал в сторону и говорил:

— Нужно, чтоб дети забыли такие дни… Ша! — рявкнул он на женщину, и она, закрыв лицо руками, визгливо заплакала. Плакали многие. С лестницы тоже кричали, показывали кулаки, скрипело дерево перил, оступались ноги, удары каблуков и подошв по ступеням лестницы щелкали, точно выстрелы. Самгину казалось, что глаза и лица детей особенно озлобленны, никто из них не плакал, даже маленькие, плакали только грудные.

— Что же тут можно сделать? — осведомился Самгин. Жандарм искоса посмотрел на него и ответил:

— Отправлять на Орел, там разберут. Эти еще зажиточные, кушают каждый день, а вот в других дачах…

— Несчастный народ, — пробормотал Самгин.

— Контрабандисты и шпионы…

Крик и плач раздражали Самгина, запах, становясь все тяжелее, затруднял дыхание, но всего мучительнее было ощущать, как холод жжет ноги, пальцы сжимались, точно раскаленными клещами.

Он сказал об этом жандарму, тот посоветовал:

— Сойдите на двор, там в пекарне русские плотники тепло живут.

— А гостиницы — нет?

— Гостиницы — под раненых отведены. Обширная булочная-пекарня наполнена приятно кисловатой теплотой. Три квадратных окна, ослепленные снегом, немного пропускали света под низкий потолок, и в сероватом сумраке Самгину показалось, что пекарня тоже тесно набита людями. Но их было десятка два, пятеро играли в карты, сидя за большим рабочим столом, человек семь окружали игроков, две растрепанных головы торчали на краю приземистой печи, невидимый, в углу, тихонько, тенорком напевал заунывную песню, ему подыгрывала гармоника, на ларе для теста лежал, закинув руки под затылок, большой кудрявый человек, подсвистывая песне. В трубе печи шершаво вздыхал, гудел, посвистывал ветер. Картежники выкрикивали:

— А у меня — хлюст, с досадой!

— Фаля и две шлюхи!

— Бардадын десятками, чорт…

— Тише, — сказал старичок, сбрасывая с колен какую-то одежу, которую он чинил, и, воткнув иглу в желтую рубаху на груди, весело поздоровался:

— Приятный день, Семен Гаврилыч!

— Такой бы день на всю зиму, чтоб немцы перемерзли, — сердито заворчал жандарм и, оглянувшись, спросил:

— Переборку-то сожгли?

— Переборочку мы на гробики пустили.

— Придется ответить вам за истребление чужого имущества.

— Ответим. По этому очевидному вопросу ответить легко — война разрешает всякое истребление.

— Краснобай, вроде старосты у них, — угрюмо сказал жандарм. — Я отправляюсь на вокзал, — добавил он, глядя на часы. — Ежели нужда будет — пошлите за мной.

Сидя на скамье, Самгин пытался снять ботики, они как будто примерзли к ботинкам, а пальцы ног нестерпимо ломило. За его усилиями наблюдал, улыбаясь ласково, старичок в желтой рубахе. Сунув большие пальцы рук за пояс, кавказский ремень с серебряным набором, он стоял по-солдатски, «пятки — вместе, носки — врозь», весь гладенький, ласковый, с аккуратно подстриженной серой бородкой, остроносый, быстроглазый.

Картежники перестали играть, тоже глядя на возню Самгина, только голосок певца да гармоника согласно и скорбно ныли.

— Не слезают? — сочувственно спросил он. В этом вопросе Самгин услышал нечто издевательское, да и вообще старичок казался ему фальшивым, хитрым. Однако он принужден был пробормотать:

— Вы не могли бы помочь?

— Лексей, подь-ка сюда, — позвал старик. С ларя бесшумно соскочил на пол кудрявый, присел на корточки, дернул Клима Ивановича за ногу и, прихватив брюки, заставил его подпрыгнуть.

— Потише, Лексей, эдак ты ногу оторвешь, — сказал старичок все так же ласково и еще более раздражая Самгина. Ботики сняты, Самгин встал.

— Благодарю вас.

— На здоровье, — сказал Алексей трубным гласом; был он ростом вершков на двенадцать выше двух аршин, широкоплечий, с круглым, румяным лицом, кудрявый, точно ангел средневековых картин.

«Красавец какой», — неодобрительно отметил Самгин, шагая по цементному полу.

— Из Союза будете? — осведомился старик.

— Да.

— Четвертый, — сказал старик, обращаясь к своим, и даже показал четыре пальца левой руки. — В замещение Михаила Локтева посланы? Для беженцев, говорите? Так вот, мы — эти самые очевидные беженцы. И даже — того хуже.

Он легко подскочил, сел верхом на угол стола и заговорил очень легко, складно:

— Хуже, потому как над евреями допущено изгаляться, поляки — вроде пленные, а мы — русские, казенные люди.

Самгин шагал мимо его, ставил ногу на каблук, хлопал подошвой по полу, согревая ноги, и ощущал, что холод растекается по всему телу. Старик рассказывал: работали они в Польше на «Красный Крест», строили бараки, подрядчик — проворовался, бежал, их порядили продолжать работу поденно, полтора рубля в день.

— Дешево на своих-то харчах. Ну, нам предусмотрительно говорят — дескать, война, братья ваши, очевидно, сражаются, так уже не жадничайте. Ладно — где наше не пропадало?

Рядом с рассказчиком встал другой, выше его, глазастый, лысый, в толстой ватной куртке и серых валенках по колено, с длинным костлявым лицом в рыжеватой, выцветшей бороде. Аккуратный старичок воодушевленно действовал цифрами:

— Сорок три дня, 1225 рублей, а выдали нам на харчи за все время 305 рублей. И — командуют: поезжайте в Либаву, там получите расчет и работу. А в Либаве предусмотрительно взяли у нас денежный документ да, сосчитав беженцами, отправили сюда.

— Нехорошо сделали с нами, ваше благородие, — глухим басом сказал лысый старик, скрестив руки, положив широкие ладони на плечи свои, — тяжелый голос его вызвал разнообразное эхо; кто-то пробормотал:

— Обижают трудников, как пленных...

— Жалости нет к народу.

А чей-то визгливый голосок возгласил:

— Народ — картошка!

— Эй, вы, там! — рявкнул лысый, взмахнув правой рукой. — Помолчите, когда о деле говорят. И гармонье не зудеть бы.

Но его не послушали, среди плотников, сидевших за столом, быстро разгорался спор, визгливый голос настойчиво твердил:

— Народ — картошка, его все едят: и барин ест, и заяц ест.

— Заяц — не ест, червь ест.

— Сказывай! Грызет и заяц.

— Жук — тоже.

— Народ всех боле сам себя жрет.

Покуда аккуратный старичок рассказывал о злоключениях артели, Клим Иванович Самгин успел сообразить, что ведь не ради этих людей он терпит холод и всякие неудобства и не ради их он взял на себя обязанность помогать отечеству в его борьбе против сильного врага. В бойком рассказе старичка, в его явно фальшивой ласковости он отметил ноты едкие, частое повторение слов «очевидно» и «предусмотрительно» оценил как нечто наигранное, словно выхваченное из старинных народнических рассказов. Вот теперь эти люди начали какой-то дурацкий спор, он напоминает диалоги очерков Глеба Успенского.

«Подозрительный старичишка...»

Ноги согрелись, сыроватая теплота пекарни позволила расстегнуть пальто. Самгин сел на скамью и строго спросил:

— Что же вы делаете здесь? Почему не едете куда-нибудь работать?

Его вопросы тотчас оборвали спор, в тишине внятно и насмешливо прозвучал только один негромкий голос:

— Догадался спросить...

— Это я вам, ваше благородие, позволю объяснить, — заговорил аккуратный, подпрыгнув на столе, точно на коне. — Привыкшие ежедень кушать, заботимся, чтоб было чего. Службы разобрали в грех хозяйствах, сарайчики разные — на дрова. Деревья некоторые порубили. Дела наши очевидные беззаконные, как сказано жандармом. Однако тут детей много, и они от холода страдают, даже и кончаются иные, так мы им — гробики сколачиваем. Тем и кормимся. Предусмотрительно третьего дня женщина-полька не разродилась — померла, сегодня утром старичок скончался... Так, потихоньку, и живем.

Он говорил уже не скрывая издевательства, а Самгин чувствовал, что его лицо краснеет от негодования и что негодование согревает его. Он закурил папиросу и слушал, ожидая, когда наиболее удобно будет сурово воздать рассказчику за его красноречие. А старичок, передохнув, продолжал:

— А пребываем здесь потому, ваше благородие, как, будучи объявлены беженцами, не имеем возможности двигаться. Конечно, уехать можно бы, но для того надобно получить заработанные нами деньги. Сюда нас доставили бесплатно, а дальше, от Риги, начинается тайная торговля. За посадку в вагоны на Орел с нас требуют полсотни. Деньги — не малые, однако и пятак велик, ежели нет его.

— Этого не может быть, — строго сказал Самгин. — Беженцев возят бесплатно.

— Вот и предвестник ваш, Миша, так же думал, он даже в спор вступил по этому разногласию, так его жандармская полиция убрала, в погреб, что ли, посадила; а нам — допрос: бунтовал вас Михаил Локтев? Вот как предусмотрительно дело-то налажено...

— Вероятно, он говорил вам... какую-нибудь чепуху.

— Не заметили, — откликнулся старичок. Но могучий красавец Алексей напомнил упрекающим тоном:

— Он говорил, что война — всенародная глупость и что германе тоже дураки...

— Это, Алеша, приснилось тебе, — ласково сказал старичок. — Никто от него не слышал таких слов.

— Это парень предусмотрительно сам выдумал, — обратился он к Самгину, спрятав глаза в морщинах улыбки. — А Миша — достоверно деловой! Мы, стало быть, жалобу «Красному Кресту» втяпали — заплатите нам деньги, восемь сотен с

излишком. «Крест» требует: документы! Мы — согласились, а Миша: нет, можно дать только копии… Замечательно казенные хитрости понимает…

Бойкий голосок его не заглушал сердитого баса лысого старика:

— Ты бы, дурак, молчал, не путался в разговор старших-то. Война — не глупость. В пятом году она вон как народ расковыряла. И теперь, гляди, то же будет… Война — дело страшное…

Клим Иванович Самгин решил, что пора прекратить все это.

— Война — явление исторически неизбежное, — докторально начал он, сняв очки и протирая стекла платком. — Война свидетельствует о количественном и качественном росте народа. В основе войны лежит конкуренция. Каждый из вас хочет жить лучше, чем он живет, так же и каждое государство, каждый народ…

— Народ — картошка, — пробормотал визгливый голосок.

— Но бывает, что человек обманывается, ошибочно считая себя лучше, ценнее других, — продолжал Самгин, уверенный, что этим людям не много надобно для того, чтоб они приняли истину, доступную их разуму. — Немцы, к несчастию, принадлежат к людям, которые убеждены, что именно они лучшие люди мира, а мы, славяне, народ ничтожный и должны подчиняться им. Этот самообман сорок лет воспитывали в немцах их писатели, их царь, газеты…

— Газеты мы читаем, — вставил аккуратный старичок. — Конечно, газеты пишут предусмотрительно…

На сей раз старик говорил медленно, как будто устало или — нехотя. И сквозь его слова Самгин поймал чьи-то другие:

— Нет, этот очковый пожиже будет Локтева…

— Вы напрасно употребляете слова «предусмотрительно» и «очевидно», — с раздражением сказал Клим Иванович Самгин. — Значение их не совсем ясно вам.

— Что же — слова? — вздохнув, возразил старик. — Слово, как его ни скажи, оно так и останется словом.

А уж ежели мы, ваше благородие, от дела нашего откачнулись в сторону и время у вас до завтра много…

— Почему — до завтра? — беспокойно осведомился Самгин.

Старик объяснил ему, что поезд в Ригу только один, утром. Этим он как бы оглушил Самгина, уничтожил его желание поучать, вызвал ряд существенно важных вопросов:

— Где же я буду пить, есть, спать?

— Для спанья — не много места надобно, — успокоительно сказал старик. — Чайком можем угостить вас, ежели не побрезгуете. Олеша, Фома, — крикнул он, — нуте-ко, ставьте самовары, пора!

Он стоял пред Самгиным, почти прижимая его к печке, и, возбуждая негодование, внушая подозрения, рассказывал:

— Странствуем, как цыганы, а имеем весь хозяйственный снаряд- два самовара выработали у евреев, рухляди мягкой тоже… Беженцы эти имущество не ценят, только бы жизнь спасти…

Печь дышала в спину Клима Ивановича, окутывая его сухим и вкусным теплом, тепло настраивало дремотно, умиротворяло, примиряя с необходимостью остаться среди этих людей, возбуждало какие-то быстрые, скользкие мысли. Идти на вокзал

по колено в снегу, под толчками ветра — не хотелось, а на вокзале можно бы ночевать у кого-нибудь из служащих.

«Испытание различных неудобств входит в число обязанностей, взятых мною на себя», — подумал он, внутренно усмехаясь. И ко всему этому Осип раздражал его любопытство, будил желание подорвать авторитет ласкового старичка.

«Что может внести в жизнь вот такой хитренький, полуграмотный человечишка? Он — авторитет артели, он тоже своего рода «объясняющий господин». Строит дома для других, — интересно: есть ли у него свой дом? Вообще — «объясняющие господа» существуют для других в качестве «учителей жизни». Разумеется, это не всегда паразитизм, но всегда — насилие, ради какого-нибудь Христа, ради системы фраз».

В пекарне началось оживление, кудрявый Алеша и остролицый, худенький подросток Фома налаживали в приямке два самовара, выгребали угли из печи, в углу гремели эмалированные кружки, лысый старик резал каравай хлеба равновесными ломтями, вытирали стол, двигали скамейки, по асфальту пола звучно шлепали босые подошвы, с печки слезли два человека в розовых рубахах, без поясов, одинаково растрепанные, одновременно и как будто одними и теми же движениями надели сапоги, полушубки и — ушли в дверь на двор. Все это совершалось [в] синеватом сумраке, наполненном дымом махорки, сумрак становился гуще, а вздохи, вой и свист ветра в трубе печи — слышнее.

Самгин наблюдал шумную возню людей и думал, что для них существуют школы, церкви, больницы, работают учителя, священники, врачи. Изменяются к лучшему эти люди? Нет. Они такие же, какими были за двадцать, тридцать лег до этого года. Целый угол пекарни до потолка загроможден сундучками с инструментом плотников. Для них делают топоры, пилы, шерхебели, долота. Телеги, сельскохозяйственные машины, посуду, одежду. Варяг стекло. В конце концов, ведь и войны имеют целью дать этим людям землю и работу.

«Эта мысль, конечно, будет признана и наивной и еретической. Она — против всех либеральных и социалистических канонов. Но вполне допустимо, что эта мысль будет руководящей разумом интеллигенции. Иерархическая структура человеческого общества обоснована биологией. Даже черви — неодинаковы...»

Думалось неохотно, автоматически и сумрачно.

В сыроватой и сумрачной духоте, кроме крепкого дыма махорки, был слышен угарный запах древесного угля. Мысли не мешали Самгину представлять себя в комнате гостиницы, не мешали слушать говор плотников.

Сердито гудел глубокий бас лысого старика:

— Ты, Осип, балуешь словами, вот что! А он — правильно сказал: война — необходимая история, от бога посылается.

— Про бога — не говорилось, — возразил аккуратный.

— Мало ли чего не говорим, о чем думаем. Ты тоже не всякую правду скажешь, у всех она — для себя красненька, для других темненька. Народ...

— Картошка — народ! — взвизгнул голосок мужика средних лет с глазами совы, с круглым красным лицом в рыжей щетине.

— Да ну те к бесу! Заладил одно слово. Как сумасшедший ты, Семен! — озлобленно рявкнул лысый.

— Погоди, Григорий Иваныч, — попросил Осип.

— Чего это годить? Ты — слушай: господь что наказывал евреям? Истребляй врага до седьмого колена, вот что. Стало быть — всех, поголовно истреби. Истребляли.

Народов, про которые библия сказывает, — нет на земле…

— А все-таки, Григорий, картошка мы! Что хошь с нами, то и делай…

— Однако в пятом году народ-от…

— Лошадям хвосты резал.

— Ну, брось, Семен! Бунтовали здорово…

— Ты — бунтовал?

— Я? Нет, я тогда…

— Почему не бунтовал?

— Причина, значит, была…

— Ты в причину не прячься, ты прямо скажи: почему не бунтовал?

— Дай объяснить!

— Эх, картофелина!

В приямке у ног Самгина негромко беседовали Алексей и Фома.

— Кабы Миша, он бы объяснил…

А за столом продолжали покрикивать:

— Бунты и до пятого года в ходу были. Богатые мужики очень злобились на господ.

— Сами в господа лезли.

— Это вам Миша назудил про богатых…

— А — что, неверно?

— Нет, Миша достоверно говорил, — вмешался Осип, вытирая полотенцем синюю эмалированную кружку.

— Парень — тихий, а ум смелый…

— Н-да. Я, как слушал его, думал: «Тебе, шельме, два десятка лет и то — много, а мне сорок пять!»

— Грамота!

— То-то и есть. Он — понимает, а мы с тобой не удосужились о своей судьбе подумать…

— Опаздываем…

Плотники усаживались за стол, и ряд бородатых лиц напомнил Самгину о зубастых, бородатых рожах за стеклами окна в ресторане станции Новгород.

«Рассуждают при мне так смело, как будто не видят меня. А я одет, как военный…»

К нему подошел Осип и вежливо попросил:

— Пожалуйте к столу…

И даже ручкой повел в воздухе, как будто вел коня за узду. В движениях его статного тела, в жестах ловких рук Самгин наблюдал такую же мягкую вкрадчивость, как и в его гибком голосе, в ласковых речах, но, несмотря на это, он

все-таки напоминал чем-то грубого и резкого Ловцова и вообще людей дерзкой мысли.

— Угощайтесь на здоровье, — говорил Осип, ставя пред Самгиным кружку чая, положив два куска сахара и ломоть хлеба. — Мы привыкли на работе четыре раза кушать: утром, в полдни, а вот это вроде как паужин, а между семью-восемью часами — ужин.

Два самовара стояли на столе, извергая пар, около каждого мерцали стеариновые свечи, очень слабо освещая синеватый сумрак.

Лысый Григорий Иванович, показывая себя знатоком хлеба и воды, ворчал, что хлеб — кисел, а вода — солона, на противоположном конце стола буянил рыжий Семен, крикливо доказывая соседу, широкоплечему мужику с бельмом на правом глазе:

— В лаптях до рая не дойдешь, не-ет!

— Интересен мне, ваше благородие, вопрос — как вы думаете: кто человек на земле — гость али хозяин? — неожиданно и звонко спросил Осип. Вопрос этот сразу прекратил разговоры плотников, и Самгин, отметив, что на него ожидающе смотрит большинство плотников, понял, что это вопрос знакомый, интересный для них. Обняв ладонями кружку чая, он сказал:

— Жизнь человека на земле так кратковременна, что, разумеется, его надобно признать гостем на ней.

— Что? — торжествуя, рявкнул лысый Григорий. — Я те говорил…

— Постой, погоди! — веселым голосом попросил Осип, плавно поводя рукою в воздухе. — Ну, а если взять человека в пределах краткой жизни, тогда — как? Кто он будет? Вот некоторые достоверно говорят, что, дескать, люди — хозяева на земле…

— А они — гости до погоста, — вставил Григорий и обратился к Самгину: — Он, ваше благородие, к тому клонит, чтобы оправдать бунт, вот ведь что! Он, видите, вроде еретика, раскольник, что ли. Думает не божественно, а — от самого себя. Смутьян вроде… Он с нами недавно, месяца два всего.

— Дай ответ послушать, Григорий Иваныч! — мягко попросил Осип. — Так как же, кто будет человек в пределе жизни своей?

— Хозяин своей силы, — не сразу ответил Самгин и с удовольствием убедился, что этот ответ очень смутил философа, а лысого обрадовал.

— Ага? — рявкнул он и громогласно захохотал, указывая пальцем на Осипа. — Понял? Всяк человек сам себе хозяин, а над ним — царь да бог. То-то!

Все молчали. Осип шевелился так, как будто хотел встать со скамьи, но не мог.

— Значит — так, — негромко заговорил он. — Который силу свою может возвеличить, кто учен науками, тот — хозяин, а все прочие — гости.

Но тотчас же голос его заиграл звонко и напористо:

— Значит, я — гость. И все мы, братцы, гости. Так. Ну, а — какое же угощение нам? Гости — однако — не нищие, верно? Мы — нищие? Никогда! Сами подаем нищим, ежели копейка есть. Мы — рабочие, рабочая сила… Вот нас угощают войной…

Словами о науке Самгин почувствовал себя лично задетым.

— Неверно, что науки обогащают ученых. Подрядчики живут богаче профессоров, из малограмотного крестьянства выходят богатые фабриканты и так далее. Удача в жизни — дело способностей.

Осип шумно вздохнул и сказал:

— Нам, предусмотрительно скажу, конечно, не подобает спорить с вами. Мы, очевидные, неученые и, что верно, — думаем от себя…

— Что ты мычишь — мы, мы? — грозно закричал Григорий Иваныч. — Кто тут с тобой согласный? Где он?

— Вот я согласен, — ответил в конце стола человек маленького роста, он встал, чтоб его видно было; Самгину издали он показался подростком, но от его ушей к подбородку опускались не густо прямые волосы бороды, на подбородке она была плотной и, в сумраке, казалась тоже синеватой.

— Вот я при барине говорю: согласен с ним, с Осипом, а не с тобой. А тебя считаю вредным за твое кумовство с жандармом и за навет твой на Мишу… Эх, старый бес!

Высунув из-за самовара голову, визгливо закричал рыжий Семен:

— Я тоже скажу тебе, червь подлая…

Заворчали еще два-три голоса, кто-то сурово сказал:

— Тебя, Григорий, мы старостой не выбирали, а ты — командуешь…

— Осип-то Ковалев — грамотнее тебя и хозяйственной. Высокий, лысый старик согнулся над столом, схватил кружку пальцами обеих рук и, покачивая остробородой головой направо, налево, невнятно, сердито рычал, точно пес, у которого хотят отнять кость.

Ковалев встал, поднял руки жестом дирижера и звонко заговорил:

— Стойте, братцы! Достоверно говорю: я в начальство вам не лезу, этого мне не надо, у меня имеется другое направление… И давайте прекратим посторонний разговор. Возьмем дело в руки.

Он откачнулся от соседа — от Самгина — и, поклонясь ему, вежливо попросил:

— Ваше благородие, — содействуйте нам в получении денег с «Креста» и в освобождении отсюдова…

Все люди за столом сдвинулись теснее, некоторые встали, ожидающе глядя на его благородие. Клим Иванович Самгин уверенно и властно заявил, что завтра он сделает все, что возможно, а сейчас он хотел бы отдохнуть, он плохо спал ночь, и у него разбаливается голова.

— Здесь — угарно. И — душно.

— Нуте-ко, ребята, действуй! — предложил Осип Ковалев.

Через пяток минут Самгин лежал в углу, куда передвинули ларь для теста, на крышку ларя постлали полушубок, завернули в чистые полотенца какую-то мягкую рухлядь, образовалась подушка.

Клим Иванович был доволен тем, что очутился в стороне от этих людей, от их мелких забот и малограмотных споров.

«Жизнью большинства руководят надежды, которые возбуждаются обещаниями. Так всегда было, и трудно представить, что когда-то будет иначе», — думал он.

Лежать было жестко, крышка ларя поскрипывала, один из ее углов тихонько хлопал обо что-то.

«Вот как приходится жить», — думал он, жалея себя, обижаясь на кого-то и в то же время немножко гордясь тем, что испытывает неудобства, этой гордостью

смягчалось ощущение неудачи начала его службы отечеству.

В пекарне колебался приглушенный шумок, часть плотников укладывалась спать на полу, Григорий Иванович влез на печь, в приямке подогревали самовар, несколько человек сидело за столом, слушая сверлящий голос.

— Единодушность надобна, а картошка единодушность тогда показывает, когда ее, картошку, в землю закопают. У нас деревня шестьдесят три двора, а богато живет только Евсей Петров Кожин, бездонно брюхо, мужик длинной руки, охватистого ума. Имеются еще трое, ну, они вроде подручных ему, как ундера — полковнику. Он, Евсей, весной знает, что осенью будет, как жизнь пойдет и какая чему цена. Попросишь его: дай на семена! Он — дает...

— Эти фокусы — известны.

— То-то вот. Дяде моему восемьдесят семь лет, так он говорит: при крепостном праве, за барином, мужику легче жилось...

— Эдак многие старики говорят...

— Ну вот. Откуда же, Осип, единодушность явится? «Разумный мужик», — одобрил Самгин безнадежную речь.

Одну свечку погасили, другая освещала медную голову рыжего плотника, каменные лица слушающих его и маленькое, в серебряной бородке, лицо Осипа, оно выглядывало из-за самовара, освещенное огоньком свечи более ярко, чем остальные, Осип жевал хлеб, прихлебывая чай, шевелился, все другие сидели неподвижно. Самгин, посмотрев на него несколько секунд, закрыл глаза, но ему помешала дремать, разбудила негромкая четкая речь Осипа.

Не спалось, хотя Самгин чувствовал себя утомленным. В пекарне стоял застарелый запах квашеного теста, овчины, кишечного газа. Кто-то бормотал во сне, захлебываясь словами, кто-то храпел, подвывая, присвистывая, точно передразнивал вой в трубе, а неспавшие плотники беседовали вполголоса, и Самгин ловил заплутавшиеся слова:

— Закон... Добыча... Леший — не зверь. Звонкий голосок Осипа:

— Одному земля — нужна, а другому она — нужда...

— За ноги держит.

— Ну, да...

Кожу Самгина покалывало, и он подозревал, что это насекомые.

«Какое дело ему до этих плотников и евреев? Почему он должен тратить время и силы? Служение народу! Большевики!» [нрзб.]

Голова действительно была наполнена шумом, на языке чувствовалась металлическая кисловатая пыль.

— Я — старик не глубокий, всего пятьдесят один год, а седой не от времени — от жизни.

«Разве твоя жизнь шла вне времени?» — мысленно возразил Самгин.

— Отец — кузнецом был, крутого характера человек, неуживчивый, и его по приговору общества выслали в Сибирь, был такой порядок: не ладит мужик с миром — в Сибирь мужика как вредного. Ну, в Сибири отец и пропал навсегда. Когда высылали его, я уже в годах был, земскую школу кончил. Взяла меня к себе тетка и сплавила в Арзамас, в монастырь, там у нее подруга была, монашка. Из монастыря я предусмотрительно убежал, прополз, ужом, в Нижний и там пригвоздился к плотнику Асафу Андреичу, — великой мудрости был старик и

умелец в деле своем редкостный, хоша — заливной пьяница. Лет до семнадцати бил он меня так, что я даже предусмотрительно утопиться хотел, — вытащили, откачали. Побьет и утешает: «Это я не со зла, а для примера. Достоверно говорю тебе, Оська, кроме скорби, не имею средства для обучения твоего, а — должно быть средство, и ты сам ищи его». Был я глуп, как полагается, и глуп я был долго, работал, водку пил, с девками валандался, ни о чем не думал.

В пекарне становилось все тише, на печи кто-то уже храпел и выл, как бы вторя гулкому вою ветра в трубе. Семь человек за столом сдвинулись теснее, двое положили головы на стол, пузатый самовар возвышался над ними величественно и смешно. Вспыхивали красные огоньки папирос, освещая красивое лицо Алексея, медные щеки Семена, чей-то длинный, птичий нос.

— Думать я начал в Париже, нас туда восемьдесят семь человек предусмотрительно отправили на Всемирную выставку, русский отдел строить. Четверо даже померло там, от разных болезней, а главное — от вина. Человек пять осталось на постоянное житье. Париж, братцы, город достоверно прелестный, он затемняет все наши, даже и Петербург. Прежде всего он — веселый город, и рабочие люди в нем — тоже веселые. Редчайший город, наверное, первый на земле по красоте и огромности. И вот там приходил к нам человек один, русский, по фамилии Жан, придет и расспрашивает, как Россия живет. Я в ту пору даже слово павильон не мог правильно сказать, все говорил: поливьён. Так вот этот самый Жан. Он тоже, как отец мой, выслан был из России по закону начальства. Великий был знаток жизни!

Клим Иванович Самгин усмехнулся.

— После я встречал людей таких и у нас, на Руси, узнать их — просто: они про себя совсем не говорят, а только о судьбе рабочего народа.

— Иные картошку больше хлеба уважают…

— У них такая думка, чтоб всемирный народ, крестьянство и рабочие, взяли всю власть в свое руки. Все люди: французы, немцы, финлянцы…

— Это выдумка детская…

— Погоди, Семен Павлыч.

— Ну, — чего там годить? Даже — досадно. У каждой нации есть царь, король, своя земля, отечество… Ты в солдатах служил? присягу знаешь? А я — служил. С японцами воевать ездил, — опоздал, на мое счастье, воевать-то. Вот кабы все люди евреи были, у кого нет земли-отечества, тогда — другое дело. Люди, милый человек, по земле ходят, она их за ноги держит, от своей земли не уйдешь.

— Это — верно, — угрюмо сказал кто-то.

— Она и не твоя, не моя, а все-таки мы с тобой в ней — картошка…

«Какой умный», — снова и одобрительно подумал Самгин, засыпая, и последние слова, которые слышал он, — слова Осипа:

— Какое же это отечество, если это — каторга тебе? Спал Клим Иванович крепко и долго, проснулся бодрым, разбудил его Осип:

— Пора на вокзал. Вот я снежку припас вам, — умойтесь. И чаек готов. Я тоже с вами еду, у меня там дельце есть.

— Отлично, — сказал Самгин, потирая плечи и бока, намятые жестким ложем.

До Риги ехали в разных вагонах, а в Риге Самгин сделал внушительный доклад Кормилицыну, настращал его возможностью и даже неизбежностью разных скандалов, несчастий, убедил немедленно отправить беженцев на Орел, сдал на

руки ему Осипа и в тот же вечер выехал в Петроград, припоминая и взвешивая все, что дала ему эта поездка.

Из людей, которых он видел в эти дни, особенно выделялась монументальная фигура красавца Фроленкова. Приятно было вспоминать его ловкие, уверенные движения, на каждое из них человек этот тратил силы именно столько, сколько оно требовало. Многозначительно было пренебрежение, <с которым> Фроленков говорил о кузнецах, слушал дерзости Ловцова.

«Мужественный и умный человек. Во Франции он был бы в парламенте депутатом от своего города. Ловцов — деревенский хулиган. Хитрая деревня посылает его вперед, ставит на трудные места как человека, который ей не нужен, которого не жалко».

Память неуместно, противоречиво выдвинула сцену взлома дверей хлебного магазина, печника Кубасова; опасаясь, что рядом с печником встанут такие же фигуры, Клим Иванович «предусмотрительно» подумал:

«Едва ли в деревне есть люди, которых она жалеет… Может быть, она выдвигает людей вперед только для того, чтоб избавиться от них… Играет на их честолюбии. Сознательно и бессознательно играет». Утешительно вспомнились рассказы Чехова и Бунина о мужиках…

Но механическая работа перенасыщенной памяти продолжалась, выдвигая дворника Николая, аккуратного. хитренького Осипа, рыжего Семена, грузчиков на Сибирской пристани в Нижнем, десятки мимоходом отмеченных дерзких людей, вереницу их закончили бородатые, зубастые рожи солдат на перроне станции Новгород. И совершенно естественно было вспомнить мрачную книгу «Наше преступление». Все это расстраивало и даже озлобляло, а злиться Клим Самгин не любил.

«Жизнь обтекает меня, точно река — остров, обтекает, желая размыть», — грустно сказал он себе, и это было так неожиданно, как будто сказал не он, а шепнул кто-то извне. Люди, показанные памятью, стояли пред ним враждебно.

«Именно на таких людей рассчитывают Кутузов, Поярков, товарищ Яков… Брюсов назвал их — гуннами. Ленин — Аттила…»

Озлобление возрастало.

«Революция силами дикарей. Безумие, какого никогда не знало человечество. И пред лицом врага. Казацкая мечта. Разин, Пугачев — казаки, они шли против Москвы как государственной организации, которая стесняла их анархическое своеволие. Екатерина правильно догадалась уничтожить Запорожье», — быстро думал он и чувствовал, что эти мысли не могут утешить его.

Петроград встретил оттепелью, туманом, все на земле было окутано мокрой кисеей, она затрудняла дыхание, гасила мысли, вызывала ощущение бессилия. Дома ждала неприятность: Агафья, сложив, как всегда, руки на груди, заявила, что уходит работать в госпиталь сиделкой.

— Очень жаль, — с досадой пробормотал Самгин. Эта рябая женщина очень хорошо исполняла работу «одной прислуги», а деньги на стол тратила так скромно, что, должно быть, не воруя у него, довольствовалась только процентами с лавочников.

— Сколько там, в госпитале, платят? — спросил он. — Я могу заплатить вам столько же.

— Я — не из-за денег, — сказала Агафья усмехаясь, гладя ладонями плечи свои. — Ведь вы не за жалованье работаете на войну, — добавила она.

Захотелось сказать что-нибудь обидное в ее неглупое лицо, погасить улыбку

зеленоватых глаз. Он вспомнил Анфимьевну, и вспыхнула острая мысль:

«В данной общественной структуре должны быть люди, лишенные права личной инициативы, права самостоятельного действия».

— Я вам присмотрела девицу из кулинарной школы, — сказала Агафья, не переставая улыбаться.

Она ушла, оставив хозяина смущенным остротою его мысли. Нужно было истолковать ее, притупить.

«К чему сводится социальная роль домашней прислуги? Конечно — к освобождению нервно-мозговой энергии интеллекта от необходимости держать жилище в чистоте: уничтожать в нем пыль, сор, грязь. По смыслу своему это весьма почетное сотрудничество энергии физической…»

«Нужно создать некий социальный катехизис, книгу, которая просто и ясно рассказала бы о необходимости различных связей и ролей в процессе культуры, о неизбежности жертв. Каждый человек чем-нибудь жертвует…»

Но тут он вспомнил слова отца о жертвоприношении Авраама и сердито закурил папиросу.

Возвратилась Агафья со своей заместительницей. Девица оказалась толстенькой, румянощекой, курносой, круглые глаза — неясны, точно покрыты какой-то голубоватой пылью; говоря, она часто облизывала пухлые губы кончиком языка, голосок у нее тихий, мягкий. Она понравилась Самгину.

На другой день, в небольшом собрании на квартире одного из членов Союза, Клим Иванович докладывал о своей поездке. — В большой столовой со множеством фаянса на стенах Самгина слушало десятка два мужчин и дам, люди солидных объемов, только один из них, очень тощий, но с круглым, как глобус, брюшком стоял на длинных ногах, спрятав руки в карманах, покачивая черноволосой головою, сморщив бледное, пухлое лицо в широкой раме черной бороды. Он обращал на себя внимание еще и тем, что имел нечто общее с длинным, пузатым кувшином, который возвышался над его плечом.

За длинным столом, против Самгина, благодушно глядя на него, сидел Ногайцев, лаская пальцами свою бороду, рядом с ним положил на стол толстые локти и приподнял толстые плечи краснощекий человек с волосами дьякона и с нагловатым взглядом, — Самгину показалось, что он знает эти маленькие зрачки хорька и грязноватые белки в красных жилках.

Клим Иванович Самгин, деловито изобразив положение плотников, почувствовал, что это слишком ничтожный факт и следует углубить его значение.

— Справедливое их негодование уже пробовал разжечь какой-то юный пропагандист, его арестовали.

— Вероятно — прапорщик, — произнес сосед Ногайцева. — Все прапорщики — социалисты.

— Это — преувеличение! — решительно крикнула дама в очках. — Мой сын — прапорщик.

— Вы — кадетка, а дети интеллигентов — всегда левее отцов, и значит…

Длинный человек, похожий на кувшин, покачнулся и сказал глухим басом:

— Не будем прерывать докладчика…

Самгин начал рассказывать о беженцах-евреях и, полагаясь на свое не очень богатое воображение, об условиях их жизни в холодных дачах, с детями, стариками, без хлеба. Вспомнил старика с красными глазами, дряхлого старика,

который молча пытался и не мог поднять бессильную руку свою. Он тотчас же заметил, что его перестают слушать, это принудило его повысить тон речи, но через минуту-две человек с волосами дьякона, гулко крякнув, заявил:

— Филосемитом вы не сделаете меня.

Какой-то лысенький, с бородкой, неряшливо рассеянной по серому лицу, держа себя за ухо, торопливо и обиженно кислым голосом заговорил:

— Да, пожалуйста, не надо! Зачем же дразнить? С фронта идут тревожные слухи о них, о евреях.

— Шпионы, — басом сказала толстая дама.

— Да, вот видите? Нам нужно отказаться от либерального шаблона…

— До войны — контрабандисты, а теперь — шпионы. Наша мягкотелость — вовсе еще не Христова любовь к людям, — тревожно, поспешно и как-то масляно говорил лысоватый. — Ведь когда было сказано «несть ни эллина, ни иудея», так этим говорилось: все должны быть христианами…

— Дело Бейлиса доказало, какова сплоченность этих людей…

— А — дело Дрейфуса?

Самгина ошеломил этот неожиданный и разноголосый, но единодушный взрыв злости, и, кроме того, [он] понимал, что, не успев начать сражения, он уже проиграл его. Он стоял, глядя, как люди все более возбуждают друг друга, пальцы его играли карандашом, скрывая дрожь. Уже начинали кричать друг на друга, а курносый человек с глазами хорька так оглушительно шлепнул ладонью по столу, что в буфете зазвенело стекло бокалов.

Чей-то молодой голос резко крикнул:

— Вы сами изуродовали их чертой оседлости.

— В Риме было гетто-Люди продолжали спор, выбрасывая друг пред другом слова, точно козырей в игре.

— Азеф!

— Распутин!

— Гейне!

— Дизраели!

— Позор погромов…

— Погромы были и в Германии.

— Предлагаю прекратить эту… сумятицу, — звучно и властно заговорил человек, похожий на кувшин. Он покачнулся к столу, но тотчас же, вынув руки из карманов брюк, спрятал их за спину, выпрямился. — Мы собрались не для того, чтоб просмотреть наше отношение к еврейскому вопросу. Не время решать этот… вопрос, пред нами стоит другой, более значительный и трагический, это — наш вопрос, вопрос многострадальной родины нашей. Думая о нем, решая его, мы должны быть объективными… Конечно, среди евреев шпионы так же возможны, как среди русских. Допустим, что в процентном отношении к единокровной массе евреев-шпионов больше, чем русских, это можно объяснить географически — евреи живут на границе. Но я напомню саркастическую шутку Бодуэна-де-Куртене: когда русский украдет, говорят: «Украл вор», а когда украдет еврей, говорят: «Украл еврей».

Самгин услыхал чей-то шопот:

— Слышите? Сказалась примесь жидовской крови.

— У него? Может ли быть? Князь...

— Титул не гарантирует от заразы. Мать великого князя Александра Михайловича жила с евреем...

Где-то близко дребезжал звонок, мягко хлопала дверь, в столовую осторожно входили.

Спокойно и уверенно звучал голос длинного человека, все более напоминая жужжание шмеля,

— И надобно помнить, что у нас, в армии, вероятно, не один десяток тысяч евреев. Если неосторожные, бестактные слухи проникнут в печать, они могут вызвать в армии очень вредный резонанс.

— Ловко завернул...

— Либерал! Их тактика — пугать.

— Не следует забывать и о том, что, если пять депутатов-социалистов осуждены на каторжные работы, так это еще не значит, что зло вырвано с корнем. Учреждение, которое призвано к борьбе с внутренним врагом, хотя и позволило случаями Азефа и Богрова несколько скомпрометировать технические приемы своей работы. но все же достаточно осведомлено о движении и намерениях враждебных сил, а силы эти возбуждают протесты и забастовки рабочих, пропагандируют анархическую идею пораженчества. Я считаю весьма ценным сообщение докладчика о том, что среди беженцев тоже обнаружена пропаганда...

Клим Иванович Самгин почувствовал себя несколько смущенным.

«Об этом я мог бы умолчать. Но ведь я не назвал, пропагандиста».

И тотчас же спросил себя:

«А — почему следовало молчать?»

Искать ответа не было времени. За спиною Самгина, в углу комнаты, шептали:

— Ой, как пугает...

— Да-а... Однако все-таки, знаете... Оратор медленно вытащил руки свои из-за спины и скрестил их на груди, продолжая жужжащим голосом:

— Что же нам делать? Некоторые из присутствующих здесь уже знакомы с идеей, которую я прокламирую. Она очень проста. Союзы городов и земств должны строго объединиться как организация, на которую властью исторического момента возлагается обязанность замещать Государственную думу в течение сроков ее паралича. Этот единый союз прогрессивно настроенных людей имел бы пред Думой преимущество широты и, так сказать, всеобъемлемости. Он вовлекает в свои пределы все ценное, здравомыслящее, что осталось за дверями Думы. Одним словом — широко демократическое объединение, куда входят мелкие служащие, грамотные рабочие и так далее. Создав такую организацию, мы отнимаем почву у «ослов слева», как выразился Милюков, и получим широкую возможность произвести во всей стране отбор лучших людей.

— Значит — левых? — спросил толстый с глазами хорька. Оратор, не взглянув на него и не изменяя тона, спросил:

— Разве вы себя и товарищей по вашей партии включаете а число худших?

Он замолчал, но, когда человека два-три попробовали аплодировать, он поднял руку запрещающим жестом.

— Еще несколько слов. Очень хорошо известно, что евреи — искусные пропагандаторы. Поэтому расселение евреев черты оседлости должно иметь характер изоляции, то есть их нужно отправлять в местности с населением крестьянским и не густым.

— А что они будут делать там? — сердито спросил молодой голос.

— Они — найдут дело, — сказал курносый.

— Это — легенда, что евреи с голода умирают… Самгину очень понравилась идея длинного оратора и его манера говорить. В шмелином, озабоченном жужжании его чувствовалась твердая вера человека в то, что он исполняет трудную обязанность проповедника единой несокрушимой истины и что каждое его слово — ценнейший подарок людям. Клим Иванович даже пожалел, что внешность оратора не совпадает с его верой, ему бы огненно-рыжие волосы, аскетическое, бескровное лицо, горящие глаза, широкие жесты. Маслянистый, лысый старичок объявил перерыв, люди встали из-за стола и немедленно столкнулись в небольшие группочки. Самгин отметил, что количество их возросло почти вдвое. К нему подошел краснощекий толстяк.

— Не узнаете? Стратонов. Вы, батенька, тоже постарели. А я вот хвораю — диабет у меня.

Название болезни он произнес со вкусом, с важностью и облизал языком оттопыренные синеватые губы. Курносым он казался потому, что у него вспухли, туго надулись щеки и нос утонул среди них.

— Приятно было слышать, что и вы отказались от иллюзий пятого года, — говорил он, щупая лицо Самгина пристальным взглядом наглых, но уже мутноватых глаз. — Трезвеем. Спасибо немцам — бьют. Учат. О классовой революции мечтали, а про врага-соседа и забыли, а он вот напомнил.

Подошла дама в золотых очках, взяла его под руку и молча повела куда-то.

— Ну, куда ты, куда? — бормотал он, тяжело шагая. Следующая неприятная встреча — Тагильский. Досадно было видеть его в такой же форме военного чиновника, с золотыми погонами на плечах.

— А я читал в газетах, что вы…

— В каких газетах? — спросил Тагильский.

— Не помню.

— В петербургской было это напечатано только в одной. Поторопилась газета умертвить меня.

— Зачем это вы?

— По пьяному делу. Воюем, а? — спросил он, взмахнув стриженой, ежовой головой. — Кошмар! В двенадцатом году Ванновский говорил, что армия находится в положении бедственном: обмундирование плохое, и его недостаточно, ружья устарели, пушек — мало, пулеметов — нет, кормят солдат подрядчики, и — скверно, денег на улучшение продовольствия — не имеется, кредиты — запаздывают, полки — в долгах, И при всем этом — втюрились в драку ради защиты Франции от второго разгрома немцами.

Говоря довольно громко, Тагильский тыкал пальцем в ремень пояса Клима Ивановича и, заставляя его отступать, прижал к стене, где, шопотом и оба улыбаясь, беседовали масляный старичок с Ногайцевым.

Он сильно изменился в сравнении с тем, каким Самгин встретил его здесь в Петрограде: лицо у него как бы обтаяло, высохло, покрылось серой паутиной мелких морщин. Можно было думать, что у него повреждена шея, — голову он держал наклоня и повернув к левому плечу, точно прислушивался к чему-то, как встревоженная птица. Но острый блеск глаз и задорный, резкий голос напомнил Самгину Тагильского товарищем прокурора, которому поручено какое-[то] особенное расследование темного дела по убийству Марины Зотовой.

«Пытался он втиснуть меня в это дело и утопить в нем или — спасал?» — подумал Клим Иванович, слушая бесцеремонную речь.

— Помните Струве «Эрос в политике»? — спросил Тагильский и, сверкнув зубами, широким жестом показал на публику. — Эротоманы, а?

— Язычок у вас, Антон Никифорович, несправедливый, — вздыхая, сказал Ногайцев.

— Годится для сотрудничества в «Новом времени»? — спросил Тагильский, — маслянистый старичок, дважды качнув головой вверх и вниз, смерив Тагильского узенькими глазками, кротко сказал:

— В нашем органе социалисты не сотрудничают.

— Почему? Социализм — не страшен после того, как дал деньги на войну. Он особенно не страшен у нас, где Плеханов пошел в историю под ручку с Милюковым.

Старичок не спеша отклеился от стены и молча пошел прочь.

— Меньшиков, — назвал его Тагильский, усмехаясь. — Один из крупнейших в лагере мошенников пера и разбойников печати, как знаете, разумеется. В словаре Брокгауза о нем сказано, что, будучи нравственно чутким человеком, он одержим искренним стремлением познать истину.

Ногайцев, играя пальцами в бороде, благосклонно улыбаясь, сказал негромко:

— Лицемерие в нем заметно, фарисей!

— Толстовец, — добавил Тагильский. Ногайцев фыркнул в бороду и удалился, позволив Самгину отметить, что сапоги носит он бархатные, на мягкой подошве.

— Недавно в таком же вот собрании встретил Струве, — снова обратился Тагильский к Сангину. — Этот, сообразно своей натуре, продолжает быть слепым, как сыч днем. Осведомился у меня: как мыслю? Я сказал: «Если б можно было выкупать идеи, как лошадей, которые гуляли в — барском овсе, я бы дал вам до пятачку за те мои идеи, которыми воспользовался сборник «Вехи».

Давно уже заметив, что солидные люди посматривают на Тагильского хмуро, Клим Иванович Самгин сообразил, что ему тоже следует отойти прочь от этого человека. Он шагнул вперед, но Тагильский подхватил его под руку:

— Куда вы? Подождите, здесь ужинают, и очень вкусно. Холодный ужин и весьма неплохое вино. Хозяева этой старой посуды, — показал он широким жестом на пестрое украшение стен, — люди добрые и широких взглядов. Им безразлично, кто у них ест и что говорит, они достаточно богаты для того, чтоб участвовать в истории; войну они понимают как основной смысл истории, как фабрикацию героев и вообще как нечто очень украшающее жизнь.

Он возбуждал в Самгине не новые подозрения.

«Ведет себя нагло и, кажется, хочет вызвать скандал, потому что обозлен неудачами. А может быть, это его способ реабилитировать себя в глазах общества».

Но, рядом с этой догадкой и не устраняя [ее], ожила другая:

«Разведчик. Соглядатай. Делает карьеру радикала, для того чтоб играть роль Азефа. Но как бы то ни было, его насмешка над красивой жизнью — это насмешка хама, о котором писал Мережковский, это отрицание культуры сыном трактирщика и — содержателя публичного дома».

— Ага, явился наш мудрец, бесстрашный мудрец, послушаем неизреченное, — не понижая голоса, проговорил Тагильский.

Мудрецом назвал он маленького человечка с лицом в черной бородке, он сидел на стуле и, подскакивая, размахивая руками, ощупывая себя, торопливо и звонко выбрасывал слова:

— Но вдруг окажется, что спя — тот самый Иванушка-дурачок, Иван-царевич, которого издревле ласкала мечта народа о справедливом царе, — святая мечта?

Его лицо, слепленное из мелких черточек и густо покрытое черным волосом, его быстро бегающие глаза и судорожные движения тела придавали ему сходство с обезьяной «мартышкой», а говорил он так, как будто одновременно веровал, сомневался, испытывал страх, обжигающий его.

— «Глас народа — глас божий»? Нет, нет! Народ говорит только о вещественном, о материальном, но — таинственная мысль народа, мечта его о, царствии божием — да! Это святые мысль и мечта. Святость требует притворства — да, да! Святость требует маски. Разве мы не знаем святых, которые притворялись юродивыми Христа ради, блаженными, дурачками? Они делали это для того, чтоб мы не отвергли их, не осмеяли святость их пошлым смехом нашим…

Его молча слушали человек десять, слушали, искоса поглядывая друг на друга, ожидая, кто первый решится возразить, а он непрерывно говорил, подскакивая, дергаясь, умоляюще складывая ладони, разводя руки, обнимая воздух, черпая его маленькими горстями, и казалось, что черненькие его глазки прячутся в бороду, перекатываясь до ушей, опускаясь к ноздрям.

«В нем есть нечто от Босха, от гротеска», — нашел Самгин, внимательно слушая тревожный звон слов.

— И, может быть, все позорное, что мы слышим об этом сибирском мужичке, только юродство, только для того, чтоб мы преждевременно не разгадали его, не вовлекли его в наши жалкие споры, в наши партии, кружки, не утопили в омуте нашего безбожия… Господа, — творится легенда…

Хорошо поет, собака,Убедительно поет!

— сказал Тагильский, и в ту же секунду раздался жужжащий голос человека с брюшком на длинных ногах:

— Менее всего, дорогой и уважаемый, менее всего в наши дни уместна мистика сказок, как бы красивы ни были сказки. Разрешите напомнить вам, что с января Государственная дума решительно начала критику действий правительства, — действий, совершенно недопустимых в трагические дни нашей борьбы с врагом, сила коего грозит нашему национальному бытию, да, именно так!

Угрожает нам порабощением. Вы, конечно, знаете о росте злоупотреблений провинциальной администрации, — злоупотреблений, вызвавших, сенатские ревизии, о немецком погроме в Москве, о поведении Горемыкина, закрытии Вольно-экономического общества и других этого типа мероприятиях, которые еще более усиливают тягостное впечатление наших неудач на фронтах.

Говорил он все более сердито, и теперь голос его стал похож на холодное свистящее шипение водяной струи, когда она, под сильным давлением, вырывается из брандспойта.

— Вы знаете также, что нам, не без труда, удалось соединить шесть фракций Думы в единый прогрессивный блок и что назревает необходимость слияния Земского и Городского союзов в одну организацию. Деревня и город, помещик и фабрикант имеют пред собой одного и того же врага. Как патриоты, мы вправе надеяться, что все подлинно прогрессивные силы страны поймут значение этого блока. Мы не только вправе надеяться, но считаем себя вправе требовать. Поэтому я с глубоким огорчением выслушал вашу литературно остроумную, но политически, безусловно, вредную попытку как-то оправдать Распутина именно в то время, когда его гнусное, разрушающее влияние возрастает.

— Я те задам! — проворчал Тагильский, облизнул губы, сунул руки в карманы и осторожно, точно кот, охотясь за птицей, мелкими шагами пошел на оратора, а Самгин «предусмотрительно» направился к прихожей, чтоб, послушав Тагильского, в любой момент незаметно уйти. Но Тагильский не успел сказать ни слова, ибо толстая дама возгласила:

— Пожалуйте к столу, господа! Закусите чем бог послал…

Не только Тагильский ждал этого момента — публика очень единодушно двинулась в столовую. Самгин ушел домой, думая о прогрессивном блоке, пытаясь представить себе место в нем, думая о Тагильском и обо всем, что слышал в этот вечер. Все это нужно было примирить, уложить плотно одно к другому, извлечь крупицы полезного, забыть о том, что бесполезно.

Время шло с поразительной быстротой. Обнаруживая свою невещественность, оно бесследно исчезало в потоках горячих речей, в дыме слов, не оставляя по себе ни пепла, ни золы. Клим Иванович Самгин много видел, много слышал и пребывал самим собою как бы взвешенный в воздухе над широким течением событий. Факты проходили пред ним и сквозь него, задевали, оскорбляли, иногда — устрашали. Но — все проходило, а он непоколебимо оставался зрителем жизни. Он замечал, что чувство уважения к своей стойкости, сознание независимости все более крепнет в нем. Он не мог бы назвать себя человеком равнодушным, ибо все, что непосредственно касалось его личности, очень волновало его. Так, например, повторилось нечто пережитое им лет за десять до этого года.

По дороге на фронт около Пскова соскочил с расшатанных рельс товарный поезд, в составе его были три вагона сахара, гречневой крупы и подарков солдатам. Вагонов этих не оказалось среди разбитых, но не сохранилось и среди уцелевших от крушения. Климу Ивановичу Самгину предложили расследовать это чудо, потому что судебное следствие не отвечало на запросы Союза, который послал эти вагоны одному из полков ко дню столетнего юбилея его исторической жизни.

Следствие вел провинциальный чиновник, мудрец весьма оригинальной внешности, высокий, сутулый, с большой тяжелой головой, в клочьях седых волос, встрепанных, точно после драки, его высокий лоб, разлинованный морщинами, мрачно украшали густейшие серебряные брови, прикрывая глаза цвета ржавого железа, горбатый, ястребиный нос прятался в плотные и толстые, точно литые, усы, седой волос усов очень заметно пожелтел от дыма табака. Он похож был на военного в чине не ниже полковника.

— Евтихий Понормов, — отрекомендовался он, протянув Самгину руку как будто нехотя или нерешительно, а узнав, зачем приехал визитер, сказал: — Не могу вас порадовать: чорт их знает куда исчезли эти проклятые вагоны.

Голос у него был грубый, бесцветный, неопределенного тона, и говорил он с сожалением, как будто считал своей обязанностью именно радовать людей и был огорчен тем, что в данном случае не способен исполнить обязанность эту.

— Установлено, что крестьяне села, возле коего потерпел крушение поезд, грабили вагоны, даже избили кондуктора, проломили череп ему, кочегару по морде попало, но ведь вагоны-то не могли они украсть. Закатили их куда-то, к чорту лешему. Семь человек арестовано, из них — четыре бабы. Бабы, сударь мой, чрезвычайно

обозлены событиями! Это, знаете, очень… Не радует, так сказать.

Самгин спросил: солдаты сопровождали поезд?

— А — как же? Одиннадцать человек. Солдат арестовал военный следователь, установив, что они способствовали грабежу. Знаете: бабы, дело — ночное и так далее. Н-да. Воровство, всех форм, весьма процветает. Воровство и мошенничество.

Самгин видел, что этот человек, согбенный трудом обличения воров и мошенников, давно устал и относится к делу своему с глубоким равнодушием.

— Могу я ознакомиться с протоколами допросов?

— Вообще это не принято, но — война и ваше официальное положение… Я думаю — можно. — Он заговорил более оживленно: — Кстати: вы где остановились? Нигде еще — н-да! Чемодан на вокзале? Ага.

И уже с оттенком торжества в голосе он сообщил:

— Остановиться здесь — негде. Город натискан беженцами, ранеными, отдыхающими от военных трудов, спекулянтами, шулерами и всяким мародерством и дерьмом. Но могу вас обрадовать: тут все обыватели, даже и зажиточные, зарабатывают, сдавая комнаты. Ценные, мелкие вещи прячут, сами выселяются в сараи, бани, садовые беседки. Моя квартирохозяйка тоже из эдаких. Можете остановиться у нее, но в комнате, уже занятой одним военным; подпоручик, ранен и — дурак. С обедом, чаем или кофе, с ужином она взимает по двадцать пять рублей — деньги дешевы.

Когда Самгин сказал, что он согласен, следователь как будто удивился:

— Хотя, в сущности, что вы будете делать здесь? Впрочем — это меня не касается. Позовем хозяйку.

Передвинув языком папиросу из правого угла рта в левый, он снял телефонную трубку:

— Да. Сейчас же.

Явилась хозяйка, маленькая, ловкая, рыжеволосая, в зеленом переднике, с кукольным румяным личиком и наивными глазами серого цвета.

— Полина Петровна Витовт, — сказал о ней следователь.

Она очень ласково улыбнулась и отвела Самгина в комнату с окнами на двор, загроможденный бочками. Клим Иванович плохо спал ночь, поезд из Петрограда шел медленно, с препятствиями, долго стоял на станциях, почти на каждой толпились солдаты, бабы, мохнатые старики, отвратительно визжали гармошки, завывали песни, — звучал дробный стук пляски, и в окна купе заглядывали бородатые рожи запасных солдат. Утомительно было даже вспомнить этот день, весь в грохоте и скрежете железа, в свисте, воплях песен, криках, ругательствах, в надсадном однообразном вое гармоник. Клим Иванович, сняв френч, прилег на кушетку и почти немедленно уснул и проснулся от странного ощущения — какая-то сила хочет поставить его вверх ногами. Самгин приподнял голову и в ногах у себя увидел другую; черная, она была вставлена между офицерских погон на очень толстые, широкие плечи. Легко было понять, что офицер, приподнимая и встряхивая кушетку, трудится с явным намерением сбросить с нее человека. Самгин быстро подобрал свои ноги, спустив их на пол, и поспешно осведомился:

— Что вы делаете? Что вам угодно?

— Книга, тут должна быть книга, — громко чмокнув, объяснил офицер, выпрямляясь. Голос у него был сиплый, простуженный или сорванный; фигура — коренастая, широкогрудая, на груди его ползал беленький крестик, над низеньким

лбом щеткой стояли черные волосы.

— Подпоручик Валерий Николаев Петров, — сказал он, становясь против Самгина. Клим Иванович тоже назвал себя, протянул руку, но офицер взмахнул головой, добавил:

— Я не могу пожать вашу руку.

— Почему?

— Вы — сидите, я — стою. Допустимо ли, чтоб офицер стоял пред штатским с протянутой рукой?

— Я — близорук, да еще со сна, — миролюбиво объяснил Самгин, видя пред собой бритое, толстогубое лицо с монгольскими глазками и широким носом.

— Вам следовало объяснить мне это, — сказал офицер, спрятав руки свои за спину.

— Вот я и объясняю.

— Поздно. Вы дали мне право думать, что ваше поведение — это обычное поведение штатских либералов, социалистов и вообще этих, которые прячутся в Земском и Городском союзах, путаясь у нас в ногах...

Поднимая голос, он сипел и свистел все громче:

— Вы даже улыбнулись, подчеркнув этим неуважение к защитнику родины и чести армии, — неуважение, на которое я вправе ответить револьверной- пулей.

«Этот — может», — подумал Самгин и, стараясь подавить тревожное чувство, миролюбиво выговорил: — Да, армия в наши дни заслуживает...

Петров вкусно чмокнул.

— В наши дни? А в шестом-седьмом годах, уничтожая революционеров, — не заслуживала, нет?

— Разумеется, и тогда, — торопливо согласился Самгин.

— Рад слышать, — сказал поручик Петров. — Рад, — повторил он. — Иначе... Я — сторонник дуэлей. А — вы?

— Не приходилось решать этот вопрос, — осторожно ответил Самгин. — Но ведь, кажется, во время войны дуэли — запрещены?

— Да. А — почему? — настойчиво спросил поручик.

— О-очень понятно, — сказал Самгин, чувствуя, что у него вспотели виски. — Представьте, что штатский вызывает вас и вы... человек высокой ценности, становитесь под его пулю...

Поручик Петров ослепленно мигнул, чмокнул и, растянув толстые губы широкой улыбкой, протягивая Самгину руку с короткими пальцами, одобрительно, даже с радостью просипел:

— Браво! Вашу руку... Приятно встретить разумного человека... Мы — выпьем! Пива, да? Отличное пиво.

Он ткнул пальцем в стену, явилась толстая, белобрысая женщина.

— Бир, — сказал Петров, показывая ей два пальца. — Цвей бир! Ничего не понимает, корова. Черт их знает, кому они нужны, эти мелкие народы? Их надобно выселить в Сибирь, вот что! Вообще — Сибирь заселить инородцами. А то, знаете, живут они на границе, все эти латыши, эстонцы, чухонцы, и тяготеют к немцам. И

все — революционеры. Знаете, в пятом году, в Риге, унтер-офицерская школа отлично расчесала латышей, били их, как бешеных собак. Молодцы унтер-офицеры, отличные стрелки…

Кошмарное знакомство становилось все теснее и тяжелей. Поручик Петров сидел плечо в плечо с Климом Самгиным, хлопал его ладонью по колену, толкал его локтем, плечом, радовался чему-то, и Самгин убеждался, что рядом с ним — человек ненормальный, невменяемый. Его узенькие, монгольские глаза как-то неестественно прыгали в глазницах и сверкали, точно рыбья чешуя. Самгин вспомнил поручика Трифонова, тот был менее опасен, простодушнее этого.

«Тот был пьяница, неудачник, а этот — нервнобольной. Безумный. Герой».

Толстая женщина принесла пиво и вазочку соленых сухарей. Петров, гремя саблей, быстро снял портупею, мундир, остался в шелковой полосатой рубашке, засучил левый рукав и, показав бицепс, спросил Самгина:

— Утешительно? Пьем за армию! Ну, расскажите-ка, что там, в Петрограде? Что такое — Распутин и вообще все эти сплетни?

Но он не стал ждать рассказа, а, выдернув подол рубахи из брюк, обнажил левый бок и, щелкая пальцем по красному шраму, с гордостью объяснил:

— Штыком! Чтоб получить удар штыком, нужно подбежать вплоть ко врагу. Верно? Да, мы, на фронте, не щадим себя, а вы, в тылу… Вы — больше враги, чем немцы! — крикнул он, ударив дном стакана по столу, и матерно выругался, стоя пред Самгиным, размахивая короткими руками, точно пловец. — Вы, штатские, сделали тыл врагом армии. Да, вы это сделали. Что я защищаю? Тыл. Но, когда я веду людей в атаку, я помню, что могу получить пулю в затылок или штык в спину. Понимаете?

— Я слышал о случаях убийства офицеров солдатами, — начал Самгин, потому что поручик ждал ответа.,

— Ага, слышали?

— Да, но я не верю в это…

— Наивно не верить. Вы, вероятно, притворяетесь, фальшивите. А представьте, что среди солдат, которых офицер ведет на врага, четверо были выпороты этим офицером в 907 году. И почти в любой роте возможны родственники мужиков или рабочих, выпоротых или расстрелянных в годы революции.

Мысль о таких коварных возможностях была совершенно новой для Клима Ивановича, и она ошеломила его.

«Люди вроде Кутузова, конечно, вспомнили бы о Немезиде», — тотчас сообразил он и затем сказал:

— Никогда не думал об этом.

— Не думали? А теперь что думаете? Клим Иванович Самгин развел руками и вполне искренно выговорил:

— Это положение вдвое возвышает мужество и героизм офицерства. Защищать отечество…

— При условии — одна пуля в лоб, другая в затылок, — так? Да? Так?

— Да-а, — протяжно откликнулся Самгин в ответ на свистящий шопот.

Поручик Валерий Николаевич Петров заглянул в лицо его, положил руки на плечи ему и растроганно произнес:

— Дайте, я вас поцелую, голубчик!

Толстые губы его так плотно и длительно присосались, что Самгин почти задохнулся, — противное ощущение засасывания обострялось колющей болью, которую причиняли жесткие, подстриженные усы. Поручик выгонял мизинцем левой руки слезы из глаз, смеялся всхлипывающим смехом, чмокал и говорил:

— Спасибо, голубчик! Ситуация, чорт ее возьми, а? И при этом мой полк принимал весьма деятельное участие в борьбе с революцией пятого года — понимаете?

В правой руке он держал стакан, рука дрожала, выплескивая пиво, Самгин прятал ноги под стул и слушал сипящее кипение слов:

— Но полковник еще в Тамбове советовал нам, офицерству, выявить в ротах наличие и количество поротых и прочих политически неблагонадежных, — выявить и, в первую голову, употреблять их для разведки и вообще — ясно? Это, знаете, настоящий отец-командир! Войну он кончит наверняка командиром дивизии.

Он очень долго рассказывал о командире, о его жене, полковом адъютанте; приближался вечер, в открытое окно влетали, вместе с мухами, какие-то неопределенные звуки, где-то далеко оркестр играл «Кармен», а за грудой бочек на соседнем дворе сердитый человек учил солдат петь и яростно кричал:

— Болван! Слушай — такт! Ать, два, левой, левой! Делай — ать, два!

И визгливый тенорок выпевал:

Жизни тот один достоин,Кыто н-на смерть всегда готов.

— Хор — делай!

Хор громко, но не ладно делал на мотив «Было дело под Полтавой»:

Православный русский воин,Не считая, бьет врагов...Так громчей, музыка,Играй победу...

— Отставить, болваны!

— Я повел двести тридцать, осталось — шестьдесят два, — рассказывал поручик, притопывая ногой.

Самгин слушал его и пытался представить себе — скоро ли и чем кончится эта беседа.

— Сто восемьдесят шесть... семнадцать... — слышал он. — Войну мы ведем, младшее офицерьё. Мы — впереди мужиков, которые ненавидят нас, дворянство, впереди рабочих, которых вы, интеллигенты, настраиваете против царя, дворян и бога...

Он пошатнулся, точдо одна яога у него вдруг стала короче, крепко потер лоб, чмокнул, подумал.

— Я не персонально про вас, а — вообще о штатских, об интеллигентах. У меня двоюродная сестра была замужем за революционером. Студент-горняк, башковатый тип. В седьмом году сослали куда-то... к чорту на кулички. Слушайте: что вы думаете о царе? Об этом жулике Распутине, о царице? Что — вся эта чепуха — правда?

— Отчасти, видимо, правда...

— Отчасти, — проворчал Петров. — А — как велика часть?

— Трудно сказать.

Поручик Петров сел на кушетку, взял саблю, вынул до половины клинок из ножен и вложил его, сталь смачно чмокнула, он повторил и, получив еще более звучный чмок, отшвырнул саблю, сказав:

— Скучно все-таки. В карты играете? Ага! Этот тип, следователь, тоже играет. И жена его… Идемте к ним, они нас обыграют.

Самгин не решился отказаться да и не имел причины, — ему тоже было скучно. В карты играли долго и скучно, сначала в преферанс, а затем в стуколку. За все время игры следователь сказал только одну фразу:

— В конце концов — нельзя понять: ты играешь, или тобой карты играют?

— Так же и обстоятельства, — добавил поручик. Выиграв кучу почтовых марок и бумажных денег, рыженькая, смущенно улыбаясь, заявила:

— Больше — не могу.

— Тогда — давай еще пива, — сказал следователь. Она ушла, начали играть в девятку. Петров непрерывно глотал пиво, но не пьянел, а только урчал, мурлыкал:

Ж-жизни тот один достоин…Кто всегда, да-да-да-да…Ни туда и ни сюда, и никуда, —И ерунда…

Играл он равнодушно, нелепо рискуя, много проигрывая. Сидели посредине комнаты, обставленной тяжелой жесткой мебелью под красное дерево, на книжном шкафе, возвышаясь, почти достигая потолка, торчала гипсовая голова (Мицкевича), над широким ковровым диваном — гравюра: Ян Собесский под Веной. Одно из двух окон в сад было открыто, там едва заметно и беззвучно шевелились ветви липы, в комнату втекал ее аптечный запах, вползали неопределенные [шорохи?], заплутавшиеся в ночной темноте. Самгин отказался играть в девятку, курил и, наблюдая за малоподвижным лицом поручика, пробовал представить его в момент атаки: впереди — немцы, сзади — мужики, а он между ними один. Думалось о поручике грустно.

«Один между двух смертей и — остается жив».

— Скажите, — спросил он, — идя в атаку, вы обнажаете шашку, как это изображают баталисты?

— Обнажаю, обнажаю, — пробормотал поручик, считая деньги. — Шашку и Сашку, и Машку, да, да! И не иду, а — бегу. И — кричу. И размахиваю шашкой. Главное: надобно размахивать, двигаться надо! Я, знаете, замечательные слова поймал в окопе, солдат солдату эдак зверски крикнул: «Что ты, дурак, шевелишься, как живой?»

Поручик сипло захохотал, раскачиваясь на стуле:

— Хорошенькое бон мо? То-то! Вот как действуют обстоятельства…

Вторя его смеху своим густо охающим, следователь объявил:

— По банку. И сорвал банк.

Поручик Петров встал, потряс над столом руками, сказал:

— Всё.

Затем, тихонько свистнув сквозь зубы, отошел к дивану, сел, зевнул и свалился на бок.

— Вот так — вторую неделю, — полушепотом сказал следователь, собирая карты. — Отдыхает после госпиталя. Ранен и контужен.

Петров храпел.

— Домовладелец здешний, сын советника губернского правления, уважаемого человека. Семью отправил на Волгу, дом выгодно сдал военному ведомству. Из войны жив не вылезет — порок сердца нажил.

В свистящем храпе поручика было что-то жуткое, эту жуть усиливал полушепот следователя.

— Это — Мицкевич, — говорил он. — Жена у меня полька.

Уже светало. Самгин пожелал ему доброй ночи, ушел в свою комнату, разделся и лег, устало думая о чрезмерно словоохотливых и скучных людях, о людях одиноких, героически исполняющих свой долг в тесном окружении врагов, о себе самом, о себе думалось жалобно, с обидой на людей, которые бесцеремонно и даже как бы мстительно перебрасывают тяжести своих впечатлений на плечи друг друга. Он, Клим Иванович Самгин, никогда не позволяет себе жалоб на жизнь, откровенностей, интимностей. Даже с Мариной Зотовой не позволял. Он уже дремал, когда вошел Петров, вообще зевнул, не стесняясь шуметь, разделся а, сидя в ночном белье, почесывал обеими руками волосатую грудь. — Спите? — спросил он.

— Нет.

— А — между нами — жизнь-то, дорогой мой, — бессмысленна. Совершенно бессмысленна. Как бы мы ни- либеральничали. Да-да-да. Покойной ночи.

— Спасибо, — тихонько откликнулся Самгин, крайне удивленный фразой поручика о жизни, — фраза эта не совпадала с профессией героя, его настроением, внешностью, своей неожиданностью она вызывала такое впечатление, как будто удар в медь колокола дал деревянный звук. Клим Иванович с некоторого времени, изредка, в часы усталости, неудач, разрешал себе упрекнуть жизнь в неясности ее смысла, но это было похоже на преувеличенные упреки, которые он допускал в ссорах с Варварой, чтоб обидеть ее. С той норы как Тагильский определил его роль и место в жизни как роль имеете аристократа от демократии, он, Самгин, конечно, не мог уже серьезно думать, что его жизнь бессмысленна. А поручик думает так серьезно.

— Главное, голубчик мой, в том, что бога — нет! — бормотал поручик, закурив папиросу, тщательно, как бы удовлетворяя давнюю привычку, почесывая то грудь, то такие же мохнатые ноги. — Понимаете — нет бога. Не по Вольтеру или по этому… как его? Ну — чорт с ним! Я говорю: бога нет не по логике, не вследствие каких-то доказательств, а — по-настоящему нет, по ощущению, физически, физиологически и — как там еще? Одним словом… В детстве у меня сложилось эдакое крепкое верование: в Нижнем-Новгороде знаменитый монумент Минину — Пожарскому. Один — в Москве, другой, лучший, в Нижнем. Приехал я туда в кадетский корпус учиться, а памятника-то — нет! Был? И не было никогда… Вот так и бог.

Когда Самгин проснулся, разбуженный железным громом, поручика уже не было в комнате. Гремела артиллерия, проезжая рысью по булыжнику мостовой, с громом железа как будто спорил звон колоколов, настолько мощный, что казалось — он волнует воздух даже в комнате. За кофе следователь объяснил, что в городе назначен смотр артиллерии, прибывшей из Петрограда, а звонят, потому что — воскресенье, церкви зовут к поздней обедне.

— Жена ушла в костел, — ненужно сообщил он, а затем деловито рассказал, что пропавшие вагоны надобно искать не здесь, а ближе к фронту.

— Да, вероятно, и там не найдете, — равнодушно добавил он. — Пищевое довольствие воруют изумительно ловко, воруют спекулянты, интенданты, солдаты, вообще — все, кому это нравится.

Но все-таки он представил несколько соображений, из которых следовало, что вагоны загнали куда-нибудь в Литву. Самгину показалось, что у этого человека есть причины желать, чтоб он, Самгин, исчез. Но следователь подкрепил доводы в пользу поездки предложением дать письмо к брату его жены, ротмистру полевых жандармов.

— Он может сильно помочь вам.

Первая поездка по делам Союза вызвала у Самгина достаточно неприятное впечатление, но все же он считал долгом своим побывать ближе к фронту и, если возможно, посмотреть солдат в их деле, а бою.

И вот он сидит на груде старых шпал, в тени огромного дерева с мелкими листьями, светлозелеными с лицевой стороны, оловянного цвета с изнанки. Эти странные, легкие листья совершенно неподвижны, хотя все вокруг охвачено движением: в мутноватом небе ослепительно и жарко тает солнце, освещая широкую кочковатую равнину. Ее с одной стороны ограничивает невысокая песчаная насыпь железной дороги, с другой — густое мелколесье, еще недавно оно примыкало вплоть к насыпи, от него осталось множество пней- разной высоты, они торчат по всей равнине.

В сотне шагов от Самгина насыпь разрезана рекой, река перекрыта железной клеткой моста, из-под него быстро вытекает река, сверкая, точно ртуть, река не широкая, болотистая, один ее. берег густо зарос камышом, осокой, на другом размыт песок, и на всем видимом протяжении берега моются, ходят и плавают в воде солдаты, моют лошадей, в трех местах — ловят рыбу бреднем, натирают груди, ноги, спины друг другу теплым, жирным илом реки. Солдат еще больше, чем пней и кочек, их так много, что кажется: если они лягут на землю, земля станет невидимой под ними. В одном месте на песке идет борьба, как в цирке, в другом покрывают крышу барака зелеными ветвями, вдали, почти на опушке леса, разбирают барак, построенный из круглых жердей. Палатки, забросанные ветвями деревьев, зелеными и жухлыми, осенних красок, таких ветвей много, они втоптаны в сырую землю, ими выложены дорожки между пней и кочек. Дымят трубы полковых кухонь, дымят костры. Самгин насчитал восемь костров, затем — одиннадцать и перестал считать, были еще и маленькие костры, на них кипятились чайники, около них сидели солдаты по двое, трое. Они в белых и сероватых рубахах, очень много совсем нагих чинит белье. Заметно было, что многие солдаты бродят одиноко, как бы избегая общения. Дым, тяжело и медленно поднимаясь от земли, сливается с горячим, влажным воздухом, низко над людями висит серое облако, дым напитан запахами болота и человечьего навоза. Люди кричат, их невнятные крики образуют тоже как бы облако разнообразного шума, мерно прыгает солдатская маршевая песня, уныло тянется деревенская, металлически скрипят и повизгивают гармоники, стучат топоры, где-то учатся невидимые барабанщики, в трех десятках шагов от насыпи собралось толстое кольцо, в центре его двое пляшут, и хор отчаянно кричит старинную песню:

Деревенски мужики —Хамы, свиньи, дураки.Эх, — калина, эх, — малина.Пальцы режут, зубы рвут.В службу царскую нейдут.Не хочут! Калина, он — малина.

Дирижирует хором прапорщик Харламов. Самгин уже видел его, говорил с ним. Щеголеватый читатель контрреволюционной литературы и любитель остреньких неблагонадежных анекдотов очень похудел, вытянулся, оброс бородой неопределенной окраски, но не утратил своей склонности к шуточкам и клоунадам.

— Упражняюсь в патриотизме, — ответил он на вопрос: как чувствует себя?

— Воюете?

— В непосредственную близость с врагом не вступал. Сидим в длинной мокрой яме и сообщаемся посредством выстрелов из винтовок. Враг предпочитает пулеметы и более внушительные орудия истребления жизни. Он тоже не стремится на

героический бой штыками и прикладами, кулаками.

Говоря в таком глумливом и пошловатом тоне, он все время щурился, покусывал губы. Но иногда между плоских фраз его фельетонной речи неуместно, не в лад с ними, звучали фразы иного тона.

— Моя роль сводится к наблюдению за людями, чтоб они строго исполняли свои обязанности: не говорили глупостей, стреляли — когда следует, не дезертировали.

— А — дезертируют?

— Представьте — весьма охотно и зная, что за это расстреливают.

Он первый сказал Самгину, что дальше к фронту его не пустят.

— Происходит перегруппировка частей, для того чтоб выровнять фронт, вы, конечно, понимаете, что это значит. Участок фронта, где сидел мой полк, отодвигается ближе к тылу.

Широким взмахом руки он показал на равнину, где копошились солдаты.

— Это — тыл. Здесь — отдыхают. Батальон, в котором я служу, направлен сюда именно для отдыха, но похоже, что и нам вместе с другими отдыхающими тоже надо будет попятиться дальше в болота.

Самгин спросил: почему выбрано такое сырое, скучное место?

— Это — неизвестно мне. Как видите — по ту сторону насыпи сухо, песчаная почва, был хвойный лес, а за остатками леса — лазареты «Красного Креста» и всякое его хозяйство. На реке можно было видеть куски розоватой марли, тампоны и вообще некоторые интимности хирургов, но солдаты опротестовали столь оригинальное засорение реки, воду которой они пьют.

Помолчав несколько секунд, Харламов спросил:

— Вы не знаете некоего Антона Тагильского?

— Встречал.

— Он тоже имеет какое-то отношение к Земгору? Не знаете? Присвоенной формы не носит, имеет какое-то отношение к вопросам продовольствия и вообще что-то вроде негласного инспектора. Все знает, все считает.

— Он любит цифры, — сообщил Самгин.

— Вот — именно! Чрезвычайно интересный и умный человек. Офицерство — не терпит его и даже поговаривает, что он будто бы имеет отношение к департаменту полиции. Не похоже, судя по его беседам с солдатами.

— А разве такие беседы допускаются?

— Какие? — наивно спросил Харламов, но Клим Иванович понял, что наивность искусственна.

— Беседы со штатскими?

— Смотря по тому — о чем? — усмехаясь, сказал Харламов. — Например: о социализме — не велят беседовать. О царе — тоже.

— Ах, вот что! Он — об этом?

— Нет, — серьезно и быстро возразил Харламов. — Я не сказал, что именно об этих вопросах. Он — о различных мелочах жизни, интересных солдатам.

— А офицера относятся к нему отрицательно? — спросил Самгин.

— Да. Как вообще к штатским.

— Однако не каждого подозревают в шпионстве, — сухо сказал Самгин и — помимо желания — так же сухо добавил: — Я знал его, когда он был товарищем прокурора.

— Вот как! — вполголоса произнес Харламов. Через два часа после этой беседы Самгин видел, как Тагильского убили. Самгин пил чай в бараке — столовой офицеров. В длинном этом сарае их было человек десять, двое сосредоточенно играли в шахматы у окна, один писал письмо и, улыбаясь, поглядывал в потолок, еще двое в углу просматривали иллюстрированные журналы и газеты, за столом пил кофе толстый старик с орденами на шее и на груди, около него сидели остальные, и один из них, черноусенький, с таяиечьизд лицом, что-то вполголоса рассказывал, заставляя старика усмехаться. Он только что кончил беседовать с ротмистром Рущиц-Стрыйским, человеком такого богатырского объема, что невозможно было вообразить коня, верхом на котором мог бы ездить этот огромный, тяжелый человек. Череп его оброс густейшей массой седых курчавых волос, круглое, румяное лицо украшали овечьи глаза, красный нос и плотные, толстые, черные усы, красиво прошитые серебряной нитью. Выслушав Самгина, он сказал густейшим подземным голосом, добродушно и любезно:

— Бросьте, батенька! Это — дохлое дело. Еще раньше дня на три, ну, может быть… А теперь мы немножко танцуем назад, составы кормежных поездов гонят куда только возможно гнать, все перепуталось, и мы сами ничего не можем найти. Боеприпасы убирать надобно, вот что. Кое-что, пожалуй, надобно будет предать огню.

Именно в эту минуту явился Тагильский. Войдя в открытую дверь, он захлопнул ее за собою с такой силой, что тонкие стенки барака за спиною Самгина вздрогнули, в рамах заныли, задребезжали стекла, но дверь с такой же силой распахнулась, и вслед за Тагильским вошел высокий рыжий офицер со стеком в правой руке.

— Извольте ответить, — кричал он высоким голосом, топая ногами так, что даже сквозь шум в столовой, гулкой, точно бочка, был слышен звон его шпор.

— Прошу оставить меня в покое, — тоже крикнул Тагильский, садясь к столу, раздвигая руками посуду. Самгин заметил, что руки у него дрожат. Толстый офицер с седой бородкой на опухшем лице, с орденами на шее и на груди, строго сказал:

— Прошу не шуметь! В чем дело?

У рыжего офицера лицо было серое, с каким-то синеватым мертвенным оттенком, его искажали судорожные гримасы, он, как будто от боли, пытался закрыть глаза, но глаза выкатывались.

— Вчера этот господин убеждал нас, что сибирские маслоделы продают масло японцам, заведомо зная, что оно пойдет в Германию, — говорил он, похлестывая стеком по сапогу. — Сегодня он обвинил меня и капитана Загуляева в том, что мы осудили невинных…

— Да, — крикнул Тагильский, подскочив на стуле. — Вы расстреляли сумасшедших, а не дезертиров.

— Молчать! — свирепо крикнул толстый офицер. — Кто вам дал право…

— Таких дезертиров здесь — десятки, вон они ходят! Это — больные. Они — обезумели. Они не знают, куда…

Остались сидеть только шахматисты, все остальное офицерство, человек шесть, постепенно подходило к столу, становясь по другую сторону его против Тагильского, рядом с толстяком. Самгин заметил, что все они смотрят на

Тагильского хмуро, сердито, лишь один равнодушно ковыряет зубочисткой в зубах. Рыжий офицер стоял рядом с Тагильским, на полкорпуса возвышаясь над ним… Он что-то сказал — Тагильский ответил громко:

— Да. Я — юрист и отдаю себе отчет в том, что говорю. Именно так: убийство психически невменяемых…

Офицер взмахнул стеком, но Тагильский подскочил и, взвизгнув: «Не сметь!» — с большой силой толкнул его, офицер пошатнулся, стек хлопнул по столу, старик, вскочив, закричал, задыхаясь:

— Ротмистр Рущиц…

В эту секунду хлопнул выстрел. Самгин четко видел, как вздрогнуло и потеряло цвет лицо Тагильского, видел, как он грузно опустился на стул и вместе со стулом упал на пол, и в тишине, созданной выстрелом, заскрипела, сломалась ножка стула. Затем толстый негромко проговорил:

— Эх, капитан Вельяминов, всегда вы… Рыжий офицер положил на стол револьвер, расстегнул портупею, снял саблю и ее положил на стол, вполголоса сказав Рущицу:

— К вашим услугам, ротмистр…

— Как это вы не удержали! — негромко, но сердито спросил толстый.

— Виноват, — сказал Рущиц, тоже понизив голос, отчего он стал еще более гулким. Последнее, что осталось в памяти Самгина, — тело Тагильского в измятом костюме, с головой под столом, его желтое лицо с прихмуренными бровями…

Самгину казалось, что, если он попробует подняться со стула, так тоже упадет.

«Я не первый раз вижу, как убивают», — напомнил он себе, но это не помогло, и, согнувшись над столом, он глотал остывший, противный чай, слушая пониженные голоса.

— Разве к штатским применим военно-полевой суд?

— Что это вы, друг мой? А как судили революционеров в шестом, седьмом…

— Ах, да! Я забыл.

— Главное — огласка..

— Солдаты…

Самгин не заметил, как рядом с ним очутились двое офицеров и один из них сказал:

— Мы все, во главе с генералом, просим вас не разглашать этот печальный случай.

— Да. Я — понимаю.

Они заговорили в два голоса:

— По крайней мере — здесь.

— А особенно — среди нижних чинов.

— Я не общаюсь с солдатами, — сказал Самгин.

— Можно объяснить самоубийством, — ласково предложил один из офицеров, а другой спросил:

— Вы знали этого человека?

— Да, знал.

— Он ведь в одном Союзе с вами?

— Близко знали?

— Нет, не близко, — ответил Самгин и механически добавил: — Года за полтора, за два до этого он действительно покушался на самоубийство. Было в газетах.

— Это — замечательно! — с тихой радостью сказал один, а другой в таком же тоне прибавил:

— Великолепно! Не помните, какая газета, когда?

— Нет, не помню.

— Это — жалко! Итак — ваше слово?

— Да, да, — сказал Клим Иванович. Затем один из них сказал, шаркнув ногой:

— Честь имею!

Другой — тоже шаркнул, но молча, и оба очень быстро отошли к своему столу.

Самгин встал, вышел из барака, пошел по тропе вдоль рельс, отойдя версты полторы от станции, сел на шпалы и вот сидел, глядя на табор солдат, рассеянный по равнине. Затем встал не легкий для Клима Ивановича вопрос: кто более герой — поручик Петров или Антон Тагильский?

Убийство Тагильского потрясло и взволновало его как почти моментальное и устрашающее превращение живого, здорового человека в труп, но смерть сына трактирщика и содержателя публичного дома не возбуждала жалости к нему или каких-либо «добрых чувств». Клим Иванович хорошо помнил неприятнейшие часы бесед Тагильского в связи с убийством Марины.

«Он вел тогда какую-то очень темную и оскорбительную игру со мной. Он типичный авантюрист, но неудачник, и вполне естественно, что, в своем стремлении к позе героической, он погиб так нелепо».

Вспомнилось, как после разгрома армии Самсонова на небольшом собрании в квартире весьма известного литератора Тагильский говорил:

— Я принадлежу к числу интеллигентов, пролетаризированных более, чем любой рабочий. Обладая даже и не очень высокой технической квалификацией, мастеровой человек не только хозяин своей физической энергии, но и человек, который может ценить свои технические знания как некую правду, как явную полезность. Я квалифицирован как юрист, защитник общества против покушений на его социально-политический порядок, на собственность, на жизнь его членов. Но представьте, что у меня исчезло сознание необходимости защищать этот порядок, представьте, что я чувствую порядок этот враждебным мне? Уродующим меня?

— Ну — что ж? Значит, вы — анархист, — пренебрежительно сказал его оппонент, Алексей Гогин; такой же щеголь, каким был восемь лет тому назад, он сохранил веселый блеск быстрых глаз, но теперь в блеске этом было нечто надменное, ироническое, его красивый мягкий голос звучал самодовольно, решительно. Гогин заметно пополнел, и красиво прихмуренные брови делали холеное лицо его как-то особенно значительным.

— Возможно, что анархист, но не потому, что знаком с этой теорией, кстати, очень плоской, примитивной и даже пошловатой…

— Вот как? — недоверчиво удивился Гогин.

— Да, так. Вы — патриот, вы резко осуждаете пораженцев. Я вас очень понимаю: вы работаете в банке, вы — будущий директор и даже возможный министр финансов будущей российской республики. У вас — имеется что защищать. Я, как вам известно, сын трактирщика. Разумеется, так же как вы и всякий другой гражданин славного отечества нашего, я не лишен права открыть еще один трактир или дом терпимости. Но — я ничего не хочу открывать. Я — человек, который выпал из общества, — понимаете? Выпал из общества.

— Как молочный зуб у ребенка? Или? — спросил Гогин.

— Как вам угодно, — устало сказал Тагильский, а литератор, нахмуря брови красивого, но мало подвижного лица, осведомленно и пророчески произнес:

— В словах ваших слышен зов смерти, вы идете к самоубийству.

Тагильский молча пожал плечами.

«Нет, конечно, Тагильский — не герой, — решил Клим Иванович Самгин. — Его поступок — жест отчаяния. Покушался сам убить себя — не удалось, устроил так, чтоб его убили… Интеллигент в первом поколении — называл он себя. Интеллигент ли? Но — сколько людей убито было на моих глазах!» — вспомнил он и некоторое время сидел, бездумно взвешивая: с гордостью или только с удивлением вспомнил он об этом?

«Я имею право гордиться обширностью моего опыта», — думал он дальше, глядя на равнину, где непрерывно, неутомимо шевелились сотни серых фигур и над ними колебалось облако разноголосого, пестрого шума. Можно смотреть на эту бессмысленную возню, слушать ее звучание и — не видеть, не слышать ничего сквозь трепетную сетку своих мыслей, воспоминаний.

Он действительно не слышал, как подошел к нему высокий солдат в шинели, с палочкой в руке, подошел и спросил вполголоса:

— Ваше благородие — газетки почитать нету? Самгин торопливо оглянулся — вокруг никого не было, но в сотне шагов двигались медленно еще трое.

— Нет, — сухо ответил он.

Солдат шумно вздохнул и, ковыряя палкой гнилую шпалу, снова спросил:

— Вы — из Земсоюза будете?

— Да.

И, сознавая, что отвечает обидно кратко, спросил:

— Ранен?

— Ревматизма грызет. Она, в окопах, нещадно действует. Сырая тут область. Болотная, — пробормотал солдат, подождал еще вопроса, но не дождался и сочувственно сказал, взмахнув палкой:

— Давно гляжу на вас, оттуда вон, — сидит человек однолично, думает про наши несчастливые дела…

Самгин молчал. Длительно и еще более шумно солдат вздохнул еще раз и, тыкая палкой землю, пошел прочь, в сторону станции.

После него осталось глухое раздражение, а от раздражения зажглись, затлели странные мысли:

«Сколько ценнейших сил, упрямого учительства тратится на эту полудикую, полуграмотную массу людей. В сущности, они не столько помогают, как мешают жить».

Каким-то куском мозга Клим Иванович понимал комическую парадоксальность таких мыслей, но не мешал им, и они тлели в нем, как тлеет трут или сухие гнилушки, вызывая в памяти картины ограбления хлебного магазина, подъем колокола и множество подобных, вплоть до бородатых, зубастых на станции Новгород, вплоть до этой вот возни сотен солдат среди древесных, наскоро срубленных пней и затоптанного валежника.

Трое солдат подвигались все ближе. Самгин встал и быстро пошел вслед за солдатом, а тот, должно быть, подумав, что барин догоняет его, — остановился, ожидая. Тогда Клим Иванович, высмотрев наиболее удобное место, спустился с насыпи и пошел в город. По эту сторону насыпи пейзаж был более приличен и не так густо засорен людями: речка извивалась по холмистому дерновому полю, поле украшено небольшими группами берез, кое-где возвышаются бронзовые стволы сосен, под густой зеленью их крон — белые палатки, желтые бараки, штабеля каких-то ящиков, покрытые брезентами, всюду красные кресты, мелькают белые фигуры сестер милосердия, под окнами дощатого домика сидит священник в лиловой рясе — весьма приятное пятно. Дорога от станции к городу вымощена мелким булыжником, она идет по берегу реки против ее течения и прячется в густых зарослях кустарника или между тесных группочек берез. В полуверсте от города из кустарника вышел солдат в синей рубахе без пояса, с длинной, гибкой полосой железа на плече, вслед за ним — Харламов.

— Вы слышали? — вполголоса и тревожно сказал он Самгину. — Капитан Вельяминов застрелил Тагильского...

— Случайно? — спросил Клим Иванович, искоса взглянув на чумазое лицо солдата.

— Да — нет! Спорили...

Солдат, пошевелив усами, чуть заметно и отрицательно потряс головой.

«Яков, — вспомнил Самгин Москву, пятый год, баррикаду. — Товарищ Яков...»

А Харламов, упрекая кого-то, говорил:

— Тагильский правильно утверждал, что осудили и расстреляли больных, а не дезертиров, а этот Вельяминов был судьей.

— Вы... присутствовали при этом? — строго спросил Самгин.

Товарищ Яков тоже спросил Харламова:

— Можно идти, ваше благородие?

— Да, иди, иди...

Яков перешел дорогу, полоса железа как будто подгоняла его, раскачиваясь за спиной. Сняв фуражку, обмахивая ею лицо свое, Харламов говорил торопливо и подавленно, не похоже на себя:

— Почти каждый артиллерийский бой создает людей психически травматизированных, оглушенный человек идет куда глаза глядят, некоторые пробираются далеко, их ловят — дезертир! А он — ничего не понимает, даже толково говорить разучился, совершенно невменяем!

Самгин, слушая, сообразил: он дал офицерам слово не разглашать обстоятельств убийства, но вот это уже известно, и офицера могут подумать, что разглашает он.

— Вы давно знаете этого... солдата? — спросил он, чувствуя, как его сжимает сухая злость.

Не без удивления и вопросительно глядя в лицо Самгина, Харламов сказал, что знает Якова как слесаря, который руководит мастерской по ремонту обоза, полковых кухонь и прочего.

— Весьма толковый человек, грамотный. А — что?

— Удобно ли, что вы при нем рассказываете об этом… случае с Тагильским? — спросил Самгин и тотчас понял, что форма вопроса неудачна.

— Хор-рошенький случай! — воскликнул Харламов, вытаращив глаза. — Но — он знал об этом раньше, чем я, он там работает. Клим Иванович Самгин весьма строго произнес:

— Если он уже знал, тогда… другое дело! А вообще я думаю, что в эти дни, печальные для нас, мы не должны бы подрывать в глазах рядовых авторитет офицерства…

— Ага-а, — медленно и усмехаясь, протянул Харламов. — Вы — оборонец?

— Да, — мужественно сказал Самгин и тотчас же пожалел об этом.

— Тогда, это… действительно — другое дело! — выговорил Харламов, не скрывая иронии. — Но, видите ли: мне точно известно, что в 905 году капитан Вельяминов был подпоручиком Псковского полка и командовал ротой его, которая расстреливала людей у Александровского сквера. Псковский полк имеет еще одну историческую заслугу пред отечеством: в 831 году он укрощал польских повстанцев…

Клим Иванович Самгин прервал его рассказ вопросом:

— Что же из этого следует? Нужно разлагать армию, да?

Харламов с явным изумлением выкатил глаза, горбоносое лицо его густо покраснело, несколько секунд он молчал, облизывая губы, а затем обнаружил свою привычку к легкой клоунаде: шаркнул ногой по земле, растянул лицо уродливой усмешкой, поклонился и сказал:

— Не смею задерживать!

Круто повернулся спиною к Самгину и пошел прочь.

«Нахал, — молча проводил его Самгин. — Клоун. Опереточный клоун. Нигилист, конечно. Анархист».

Он смотрел вслед быстро уходящему, закуривая папиросу, и думал о том, что в то время, как «государству грозит разрушение под ударами врага и все должны единодушно, необоримой, гранитной стеной встать пред врагом», — в эти грозные дни такие безответственные люди, как этот хлыщ и Яковы, как плотник Осип или Тагильский, сеют среди людей разрушительные мысли, идеи. Вполне естественно было вспомнить о ротмистре Рущиц-Стрыйском, но тут Клим Иванович испугался, чувствуя себя в опасности.

Он мог бы сказать, что с некоторого времени действительность начала относиться к нему враждебно. Встряхивая его, как мешок, она приводила все, что он видел, помнил, в состояние пестрого и утомительно разноречивого хаоса. Ненадолго, на час, даже на десяток минут, он вдруг и тревожно ощущал бессвязность своего житейского опыта, отсутствие в нем скрепляющего единства мысли и цели, а за этим ощущением пряталась догадка о бессмысленности жизни. Многое казалось лишним, даже совершенно лишенным смысла, мешающим сложиться чему-то иному, более крепкому и ясному. Клим Иванович Самгин воздерживался от определений точных, но сознавал, что это новое, ясное требует настроения органически чуждого ему, требует решимости, которой он еще не обладает. Он понимал, что внезапно вспыхнувшее намерение сообщить ротмистру Рущиц-Стрыйскому о Харламове и Якове не многим отличается от сообщения Харламову о том, что Тагильский был товарищем прокурора. Такие мимолетные намерения являлись все чаще, они не объяснялись личной антипатией, у них должно быть

иное объяснение. Клим Иванович Самгин не находил его, потому что остерегался искать.

В тени группы молодых берез стояла на высоких ногах запряженная в крестьянскую телегу длинная лошадь с прогнутой спиной, шерсть ее когда-то была белой, но пропылилась, приобрела грязную сероватость и желтоватые пятна, большая, костлявая голова бессильно и низко опущена к земле, в провалившейся глазнице тускло блестит мутный, влажный глаз.

Самгин остановился, рассматривая карикатурную, но печальную фигуру животного, вспомнил «Холстомера» Л. Толстого, «Изумруд» Куприна и решил, что будет лучше, если он с ближайшим поездом уедет отсюда.

«Офицерство, наверное, подумает, что о случае с Тагильским я рассказал…»

Из-за стволов берез осторожно вышел старик, такой же карикатурный, как лошадь: высокий, сутулый, в холщовой, серой от пыли рубахе, в таких же портках, закатанных почти по колено, обнажавших ноги цвета заржавленного железа. Серые волосы бороды его — из толстых и странно прямых волос, они спускались с лица, точно нитки, глаза — почти невидимы под седыми бровями. Показывая Самгину большую трубку, он медленно и негромко, как бы нехотя, выговорил:

— Не маете спички, ваше благородье?

Взял коробку из рук Самгина, двумя спичками тщательно раскурил трубку, а коробку сунул в карман штанов.

— Возвратите спички, — предложил Самгин, — старик пощупал пальцами — в кармане ли они? — качнул головой:

— И вы подарите мне.

И, осмотрев Самгина с головы до ног, он вдруг сказал:

— А — не буде ни якого дела с войны этой… Не буде. Вот у нас, в Старом Ясене, хлеб сжали да весь и сожгли, так же и в Халомерах, и в Удрое, — весь! Чтоб немцу не досталось. Мужик плачет, баба — плачет. Что плакать? Слезой огонь не погасишь.

Говоря задумчиво, он смотрел в землю, под ноги Самгина, едкий зеленоватый дым облекал его слова.

— Лес рубят. Так беззаботно рубят, что уж будто никаких людей сто лет в краю этом не будет жить. Обижают землю, ваше благородье! Людей — убивают, землю обижают. Как это понять надо?

Надо было что-то сказать старику, и Самгин спросил:

— Вы что делаете тут?

— Я солому вожу раненым. Жду вот бабу свою, она деньги получает… А они уже и не нужны, деньги… Плохо, ваше благородие. Жалобно стало жить…

— Терпеть надо, — благоразумно посоветовал Самгин. — Всем трудно, — строго добавил он, а затем уверенно предрек: — Скоро все это кончится и снова заживем спокойно…

Притронулся пальцем к фуражке и пошел прочь, сердито возражая кому-то:

«Едва ли страна выиграет от того, что безграмотные люди начнут рассуждать».

Шел он торопливо, хотелось обернуться, взглянуть на старика, но — не взглянул, как бы опасаясь, что старик пойдет за ним. Мысли тоже торопливо являлись, исчезали, изгоняя одна другую.

«Харламов, вероятно, заботится о том, чтоб рассуждали. Из каких побуждений он делает это?»

«…Можно думать, что стремление заставить крестьянство и рабочих политически мыслить — это жест отчаяния честолюбивых людей. Проиграв одну ставку, хотят взять реванш».

Через час он ехал в санитарном поезде, стоя на площадке вагона, глядя на поля, уставленные палатками — белыми пузырями. Он чувствовал себя очень плохо, нервный шок вызвал физическую слабость, урчало в кишечнике, какой-то странный шум кипел в ушах, перед глазами мелькало удивленно вздрогнувшее лицо Тагильского, раздражало воспоминание о Харламове. Все это разрешилось обильным поносом, Самгин испугался, что начинается дизентерия, пять дней лежал в железнодорожной больнице какой-то станции, а возвратясь в Петроград, несколько недель не выходил из дома.

Неудачные поездки на фронт создали в нем глухое, угрюмое раздражение против бородатых солдат, плотников, евреев. В этом раздражении было нечто уже враждебное людям, как бы ни были одеты они — в рубахи защитного цвета или в холст и ситец. Раньше он к евреям относился равнодушно, дело Бейлиса было для него делом, которое компрометирует страну, а лицо страны — это ее интеллигенция. Он был уверен, что относится к антисемитизму правительства так же, как большинство интеллигентов, и что это — правильное отношение. Но, когда с фронта хлынула угарная, отравляющая волна животной ненависти к евреям, он — подумал:

«В самом деле: почему — евреи занимают такое видное место у нас?.. Почему не татары или грузины, армяне?»

Вспомнил, что грузины и армяне служат в армии, дослуживаются до генеральства. У нас нет генералов-семитов, а вот в Англии нередко евреи становятся лордами, даже один из вице-королей Индии был еврей.

В лице Христа еврейство является основоположником религии, которую исповедует вся Европа и [которая] проповедуется католической церковью во всем мире. В лице Карла Маркса еврейство сеет на земле сокрушительное учение о непримиримости интересов капитала и труда, о неизбежном росте классовой ненависти, о неустранимой социально-революционной катастрофе.

«В конце концов вопрос об истоках антисемитизма крайне темный вопрос, но я вовсе не обязан решать его. И — вообще: что значит социальная обязанность личности, где начало этой обязанности, чем ограничены ее пределы?»

В Петрограде он чувствовал себя гораздо <больше> на месте, в Петрограде жизнь кипела все более круто, тревожно, вздымая густую пену бешенства страстей человеческих и особенно яростно — страсть к наживе. В этой пене мелькал, кувыркался и плавал Иван Дронов, всегда полупьяный, видимо, не столько от вина, сколько от успехов своей деятельности. Самгин не встречался с ним несколько месяцев, даже не вспоминал о нем, но однажды, в фойе театра Грановской, во время антракта, Дронов наскочил на него, схватил за локоть, встряхнул руку и, веселыми глазами глядя под очки Самгина, выдыхая запах вина, быстро выразил радость встречи, рассказал, что утром приехал из Петрозаводска, занят поставками на Мурманскую дорогу.

— Работаю вчетвером: Ногайцев, Попов, инженер, — он тебя знает, — и Заусайлов, тоже инженер, «техническая контора Заусайлов и Попов». Люди — хоть куда! Эдакая, знаешь, богема промышленности, веселый народ! А ты — земгусар? Ну, как на фронте, а? Слушай, — идем ужинать! Поговорим, а?

Дронов был выпивши. Он обрил голову, уничтожил усы, красное лицо его опухло, раздулось, как пузырь, нос как будто стерся, почти незаметен, а толстые, мясистые губы высунулись вперед и жадно трепетали, показывая золото зубов, точно еще не

прожеванную, не проглоченную пищу. И под рыжими бровями блестели, перекатываясь, подпрыгивая, быстрые, косенькие глазки. Поговорить с ним было интересно. Пошли в «Европейскую» гостиницу. Там было тесно, крикливо, было много красивых, богато одетых женщин, играл небольшой струнный оркестр, между столов плутали две пары, и не сразу можно было понять, что они танцуют. Около эстрады стоял, с бокалом в руке, депутат Думы Валяй-Марков, прозванный Медным Всадником за его сходство с царем Петром, — стоял и, пронзая пальцем воздух над плечом своим, говорил что-то, но слышно было не его слова, а слова человечка, небольшого, рядом с Марковым.

— Мы презирали материальную культуру, — выкрикивал он, и казалось, что он повторяет беззвучные слова Маркова. — Нас гораздо больше забавляло создавать мировую литературу, анархические теории, неподражаемо великолепный балет, писать стихи, бросать бомбы. Не умея жить, мы научились забавляться… включив террор в число забав…

— Это, кажется, Шульгин, — нетерпеливо бормотал Дронов. — Говорят, он — умный… А — что значит быть умным в наши дни? Вот вопрос!

— Целое столетие мы боролись против самодержавия, — нетрезвым голосом прокричал кто-то, а женщина с неестественно длинной спиной, как бы лишенная ягодиц, громко, но неправильно цитировала:

Мы, дети страшных лет России, Рожденные в года глухие…

И вдруг Самгин поймал хорошо памятный высокий голосок Бердникова.

— Да — чепуха же это, чепуха-а! — выпевал он, уговаривая, успокаивая кого-то. — У нас есть дивизия, которую прозвали «беговым обществом», она — как раз — все бегает от немцев-то. Да — нет, какая же клевета? Спросите военных, — подтвердят!

— Вот это — волк! — почтительно сообщил Дронов. — Это — Бердников, знаменитость, совершенно уголовный тип, необыкновенного ума. С ним даже министры считаются.

Самгин, наклонясь над столом и приподняв плечи, слушал.

— Ну — чего ж вы хотите? С начала войны загнали целую армию в болото, сдали немцам в плен. Винтовок не хватает, пушек нет, аэропланов… Солдаты все это знают лучше нас…

— Предлагаю прекратить эти мерзостные речи, — свирепо закричал Марков.

— А — пожалуйста, — согласился Бердников, и Самгин, искоса глядя влево, увидал, как Бердников легко несет огромный живот свой, пробираясь между столов, подняв голову, освещая рыхлое лицо благожелательно сияющей улыбкой.

Высокий чернобородый человек в поддевке громко говорил Маркову через головы людей:

— Надобно знать правду! Солдаты — знают; чтобы убить одного немца, теряем троих наших…

— Ложь!

— Нервничают, — сказал Дронов, вздыхая. — А Бердников — видишь? — спокоен. Нужно четыре миллиона сапогов, а кожа в его руке. Я таких ненавижу, но — уважаю. А таких, как ты, — люблю, но — не уважаю. Как женщин. Ты не обижайся, я и себя не уважаю.

Самгин, строго взглянул в расплывшееся лицо, хотел сказать ему нечто отрезвляющее, но, вместо этого, спросил:

— А — Тося — где?

— Тосю я уважаю. Единственную. Она в Ростове-на-Дону. Недавно от нее посланец был с запиской, написала, чтоб я выдал ему деньжата ее, 130 рублей. Я дал 300. У меня много их, денег. А посланец эдакий… топор. Сушеная рыба. Ночевал у меня. Он и раньше бывал у Тоси. Какой-то Тырков, Толчков…

— Поярков, — машинально поправил Самгин.

— Может быть. Она прятала его от меня. Я даже подумал: старый любовник. Но он — сушеная рыба. Протопоп Аввакум.

Как всегда, Самгин напряженно слушал голоса людей — источник мудрости. Людей стало меньше, в зале — просторней, танцевали уже три пары, и, хотя вкрадчиво, нищенски назойливо ныли скрипки, виолончель, — голоса людей звучали все более сильно и горячо.

Самгин следил, как соблазнительно изгибается в руках офицера с черной повязкой на правой щеке тонкое тело высокой женщины с обнаженной до пояса спиной, смотрел и привычно ловил клочки мудрости человеческой. Он давно уже решил, что мудрость, схваченная непосредственно у истока ее, из уст людей, — правдивее, искренней той, которую предлагают книги и газеты. Он имел право думать, что особенно искренна мудрость пьяных, а за последнее время ему казалось, что все люди нетрезвы.

— Господа! — взывал маленький, круглолицый человечек с редкими, но длинными усами кота, в пенснэ, дрожавшем на горбатом носу. — Господа, — еще более убедительно возгласил он трепетным тенорком. — Мы ищем причину болезни и находим ее в одном из симптомов — Распутин! Но ведь это смешно, господа, это смешно! Распутин — маленький прыщ, ничтожное воспаление клетчатки.

— Это — пессимизм!

— Слышишь? — спросил Дронов. Клим Иванович утвердительно кивнул головой.

— Пред нами — дилемма: или сепаратный мир или полный разгром армии и революция, крестьянская революция, пугачевщина! — произнес оратор, понизив голос, и Тотчас же на него закричали двое:

— Ну, знаете, мир…

— Это — возмутительно!

— Нервничают, — снова сказал Дронов, усмехаясь, и поднял стакан вина к толстым губам своим. — А знаешь, о возможности революции многие догадываются! Факт. Ногайцев даже в Норвегию ездил, дом купил там на всякий случай. Ты — как считаешь: возможна?

— Нет, — строго и решительно ответил Самгин и предложил: — Не мешай слушать.

— А я, брат, выпью за революцию, — пробормотал Дронов. — Она — решение. Разрешение путаницы… Личной… И — вообще…

К маленькому оратору подошла высокая дама и, опираясь рукою о плечо, изящно согнула стан, прошептала что-то в ухо ему, он встал и, взяв ее под руку, пошел к офицеру. Дронов, мигая, посмотрев вслед ему, предложил:

— Поедем к девицам?

Самгин отказался, он ночевал у Елены, где почти каждый вечер собирались и кричали разнообразные люди, огорченные и утомленные событиями. Заметно возрастало количество таких, которые тоскливо говорили:

— Ох, когда же конец этой войне? Вертелся Ногайцев, щедро сеял ласковые слова,

улыбки и согласно говорил:

— Да, да! Пушки стреляют далеко, а конца войне — не видно. Вот вам и немецкая техника!

Ногайцев старался утешать, а приват-доцент Пыльников усиливал тревогу. Он служил на фронте цензором солдатской корреспонденции, приехал для операции аппендикса, с месяц лежал в больнице, сильно похудел, оброс благочестивой светлой бородкой, мягкое лицо его подсохло, отвердело, глаза открылись шире, и в них застыло нечто постное, унылое. Когда он молчал, он сжимал челюсти, и борода его около ушей непрерывно, неприятно шевелилась, но молчал, он мало, предпочитая говорить.

— Вы не можете представить себе, что такое письма солдат в деревню, письма деревни на фронт, — говорил он вполголоса, как бы сообщая секрет. Слушал его профессор-зоолог, угрюмый человек, смотревший на Елену хмурясь и с явным недоумением, точно он затруднялся определить ее место среди животных. Были еще двое знакомых Самгину — лысый, чистенький старичок, с орденом и длинной поповской фамилией, и пышная томная дама, актриса театра Суворина.

— Разумеется, о положении на фронте запрещено писать, и письма делятся приблизительно так: огромное большинство совершенно ни слова не говорит о войне, как будто авторы писем не участвуют в ней, остальные пишут так, что их письма уничтожаются…

— А некоторые, вероятно, приходится направлять прокуратуре? — прищурясь, уверенно спросил земгусар с длинным лицом и неровными зубами.

— Да, бывает и это, — подтвердил Пыльников и, еще более понизив голос, продолжал:

— Господа, наш народ — ужасен! Ужасно его равнодушие к судьбе страны, его прикованность к деревне, к земле и зоологическая, непоколебимая враждебность к барину, то есть культурному человеку. На этой вражде, конечно, играют, уже играют германофилы, пораженцы, большевики э цетера э цетера…

Пыльников выхватил из кармана пиджака записную книжку и, показав ее всем, попросил разрешения прочитать образцы солдатских писем.

— Просим, — сказал старичок тоненьким голоском и очень благосклонно.

— «Что дядю Егора упрятали в каторгу туда ему и дорога а как он стал лишенный права имущества ты не зевай», — читал Пыльников, предупредив, что в письме, кроме точек, нет других знаков препинания.

— «И хлопочи об наследстве по дедушке Василье, улещай его всяко, обласкивай покуда он жив и следи чтобы Сашка не украла чего. Дети оба поумирали на то скажу не наша воля, бог дал, бог взял, а ты первое дело сохраняй мельницу и обязательно поправь крылья к осени да не дранкой, а холстом. Пленику не потакай, коли он попал, так пусть работает сукин сын коли чорт его толкнул против нас». Вот! — сказал Пыльников, снова взмахнув книжкой.

— Не понимаю, что вас беспокоит, — сказал старичок, пожав плечами. — Это писал очень хозяйственный мужик.

— И очень простодушно, — подтвердила Елена, остальные выжидательно молчали, а Пыльников, подпрыгнув на стуле, печально усмехнулся.

— Автор — кашевар, обслуживает походную кухню. Но вот, в пандан, другое письмо рядового, — сказал он и начал читать повышенным тоном:

— «Война тянется, мы всё пятимся и к чему придем — это непонятно. Однако поговаривают, что солдаты сами должны кончить войну. В пленных есть такие, что

говорят по-русски. Один фабричный работал в Питере четыре года, он прямо доказывал, что другого средства кончить войну не имеется, ежели эту кончат, все едино другую начнут. Воевать выгодно, военным чины идут, штатские деньги наживают. И надо все власти обезоружить, чтобы утверждать жизнь всем народом согласно и своею собственной рукой».

Пыльников сунул книжку за пазуху, а старичок сказал, усмехаясь:

— Да, это... другой тон! С этим необходимо бороться. — И, грозя розовым кулачком с рубином на одном пальце, он добавил: — Но прежде всего нужно, чтоб Дума не раздражала государя.

— Ваше превосходительство, — взныл Пыльников, изобразив всем лицом и даже фигурой состояние человека, который случайно выпил рюмку уксуса. — Но как же германофильские тенденции его супруги и это грязное пятно, Распутин?..

— Профессор, вероятно, вы не верите в бытие бога и для вас бога — нет! — мягко произнес старичок и, остановив жестом возражение Пыльникова, спросил: — Вы попробуйте не верить в Распутина?..

— Замечательно сказано! — вскричала актриса, тотчас же прикрыв рот платком, глаза ее смеялись.

— Мы говорим о зле слишком много — и этим преувеличиваем силу зла, способствуем его росту.

Елена, полулежа в кресле, курила, ловко пуская в воздух колечки дыма. Пыльников стоял пред стариком, нетерпеливо слушая его медленную речь.

— Самодержавие имеет за собою трехсотлетнюю традицию. Не забывайте, что не истекло еще трех лет после того, как вся Россия единодушно праздновала этот юбилей, и что в Европе нет государства, которое могло бы похвастать стойкостью этой формы правления.

Самгин знал, что старичок играет крупную роль в министерстве финансов, Елена сообщила, что недавно он заработал большие деньги на какой-то операции с банками и предлагает ей поступить на содержание к нему.

— На содержание я — не пойду, но деньжонок около него поклюю немножко. Он любит ласку и хорошо платит...

Старичок напомнил Самгину эти ее слова, он поучительно говорил:

— Государь — одинок, друзей у него — нет, родственники относятся враждебно, а он — человек мягкий, он любит ласку...

Самгин, сидя рядом с Еленой, слушал и усмехался. Возвратясь домой, он нашел записку Елены: «Еду в компании смотреть Мурманскую дорогу, может быть, оттуда морем в Архангельск, Ярославль, Нижний — посмотреть хваленую Волгу. Татаринов, наконец, заплатил гонорар. Целую. Ел.».

Самгин поморщился и мысленно обругал ее:

«Жулик», — потому что, хотя деньги получены по делу, которое принято было ее мужем, но закончил его он, Самгин, и по условию полгонорара принадлежало ему, но он знал, что Елена не поделится с ним, как это уже неоднократно бывало.

Связь с этой женщиной и раньше уже тяготила его, а за время войны Елена стала возбуждать в нем определенно враждебное чувство, — в ней проснулась трепетная жадность к деньгам, она участвовала в каких-то крупных спекуляциях, нервничала, говорила дерзости, капризничала и — что особенно возбуждало Самгина — все более резко обнаруживала презрительное отношение ко всему русскому — к армии, правительству, интеллигенции, к своей прислуге — и все чаще, в разных

формах, выражала свою тревогу о судьбе Франции:

— Чорт их возьми, немцев, с их длинными пушками!

Если они разрушат Париж — где я буду жить? Ваша армия должна была немцев утопить в болоте вместо того, чтоб самой тонуть. Хороши у вас генералы, которые не знают, где сухо, где болото…

Самгин находил излишним возражать, но эти речи Елены отталкивали его. Но однажды он заметил:

— Что же, для тебя Франция — только Париж?

— Да, конечно. И кто не понимает этого, тот не понимает Францию. Это у вас возможны города, вот такие, пришитые сбоку, как этот. Я не понимаю: что выражает Петербург? Вы потому все такие растрепанные, что у вас нет центра, нет своего Парижа. Поэтому все у вас — неясно, запутано, бессвязно. Вот, например, — ты. Почему ты не депутат, не в Думе? Ты — умный, знающий, но — где, в чем твое честолюбие?

Это уже до того неприятно было слушать, что являлось враждебное чувство к Елене. Но бывать у нее он считал полезным, потому что у нее, вечерами, собиралось все больше людей, испуганных событиями на фронтах, тревога их росла, и постепенно к страху пред силою внешнего врага присоединялся страх пред возможностью революции. Среди этих людей Самгин чувствовал себя дьяволом — умнее, значительнее их. Откуда-то все больше появлялось иностранцев «сердечного согласия». Особенно много англичан, они всюду бывали, всех поучали, и вообще они вели себя как «старшие в доме». Самгин не удивился, встретив у Елены человека в форме английского офицера, в зубах его дымилась трубка, дым окутывал лицо голубоватой вуалью, не сразу можно было вспомнить, что это — мистер Крэйтон. Самгин помнил его лицо круглым, освещенным здоровым румянцем, теперь оно вытянулось, нижняя челюсть как будто стала тяжелей, нос — больше, кожа обветрела, побурела, а глаза, прежде спокойно внимательные, теперь освещались усталой, небрежной и иронической улыбкой. Держался он генеральски важно, говорил без жестов. Глядя на его стройную фигуру, Самгин подумал, что, вероятно, Крэйтон и до войны был офицером. Англичанин смотрел на него улыбаясь, но не подходил к нему, как бы ожидая, что подойти должен русский.

— Узнали? — повелительно спросил он, показывая среди крепких, плотных зубов два в коронках из платины, и, после неизбежных фраз о здоровье, погоде, войне, поставил — почему-то вполголоса — вопрос, которого ожидал Клим Иванович.

— Осталось неизвестно, кто убил госпожу Зотову? Плохо работает ваша полиция. Наш Скотланд-ярд узнал бы, ода! Замечательная была русская женщина, — одобрил он. — Несколько… как это говорится? — обре-ме-не-на знаниями, которые не имеют практического значения, но все-таки обладала сильным практическим умом. Это я замечаю у многих: русские как будто стыдятся практики и прячут ее, орнаментируют религией, философией, этикой…

Он говорил очень громко, говорил с уверенностью, что разнообразные люди, собранные в этой комнате для китайских идолов, никогда еще не слыхали речей настоящего европейца, старался произносить слова четко, следя за ударениями.

— Недавно я прочитал очень интересный труд «Философия хозяйства», это — любопытная и фантастическая попытка изложить учение Маркса теологически. Нормальный британец не станет тратить свой юмор на эту тему… Возможно, что тевтон соблазнится и задачей теологизации материализма, немцы иррациональны не менее русских, но привычка к философии не мешает им еще раз грабить французов. У них есть Кант, Гегель, но наиболее родственной им философией служит философия Фихте, Штирнера, Ницше. И они твердо знают: практика — это борьба за жизнь, за свободу жизни.

— Крайний европеец, — почтительно, вполголоса сказал Пыльников Елене. — Географически и интеллектуально крайний.

— Я не склонен преувеличивать заслуги Англии в истории Европы в прошлом, но теперь я говорю вполне уверенно: если б Англия не вступила в бой за Францию, немцы уже разбили бы ее, грабили, зверски мучили и то же самое делали бы у вас… с вами.

Он перестал развертывать мудрость свою потому, что пригласили к столу, но через некоторое время за столом снова зазвучал его внушительный голос, и в памяти легко укладывались его фразы.

Крэйтона слушали, не возражая ему, Самгин думал, что это делается из вежливости к союзнику и гостю. Англичанин настолько раздражал Самгина, что Клим Иванович, отказываясь от своей привычки не принимать участия в спорах, уже искал наиболее удобного момента, удобной формы для того, чтоб [ответить] Крэйтону. Но вдруг дерзко и насмешливо заговорила Елена:

— Вы считаете немцев — разбойниками, зверями, но ведь это ваше правительство помогало пруссакам разгромить Францию, вы поддерживали их против Австрии, поддерживали Бисмарка.

Наклонясь вперед, чуть-чуть прищурив глаза, отчего взгляд стал острее, она продолжала:

— У меня был знакомый араб-ученый; он сказал:

«Англичанин в Европе — лиса, в колониях — зверь, не имеющий имени…»

— Вы, мистер Крэйтон, не обижайтесь, вы ведь, конечно, знаете, что англичан не очень любят, и они это заслужили. Сто два года тому назад под Ватерлоо ваши солдаты окончательно погасили огонь французской революции. Вы гордитесь этой сомнительной заслугой пред Европой, которой вы помешали сделаться Соединенными Штатами, я верю, что Наполеон хотел этого. За сто лет вы, «аристократическая раса», люди компромисса, люди непревзойденного лицемерия и равнодушия к судьбам Европы, вы, комически чванные люди, сумели поработить столько народов, что, говорят, на каждого англичанина работает пятеро индусов, не считая других, порабощенных вами.

Самгин слушал изумленно, следя за игрой лица Елены. Подкрашенное лицо ее густо покраснело, до того густо, что обнаружился слой пудры, шея тоже налилась кровью, и кровь, видимо, душила Елену, она нервно и странно дергала головой, пальцы рук ее, блестя камнями колец, растягивали щипчики для сахара. Самгин никогда не видел ее до такой степени озлобленной, взволнованной и, сидя рядом с нею, согнулся, прятал голову свою в плечи, спрашивал себя:

«Чем это кончится?»

Кончилось молчанием. Крэйтон, готовясь закурить папиросу, вопросительно осматривал людей, видимо ожидая: кто возразит?

— Давайте прекратим разговор о политике, пока она еще не перессорила нас, — сказала Елена, утомленно вздохнув.

Крэйтон, качаясь вместе со стулом, смеялся. Пыльников смотрел на Елену с испугом, остальные пять-шесть человек ждали — что будет?

— Да, — сказала актриса, тяжело вздохнув. — Кто-то где-то что-то делает, и вдруг — начинают воевать! Ужасно. И, знаете, как будто уже не осталось ничего, о чем можно не спорить. Все везде обо всем спорят и — до ненависти друг к другу.

Самгин слышал эти грустные слова, точно сквозь сон. Искоса посматривая в подкрашенное лицо Елены, он соображал: как могло хвастовство Крэйтона задеть

ее, певичку, которая только потому не стала кокоткой, что предпочла пойти на содержание к старику? Он целовал ее, когда хотел, но никогда не слышал от нее суждений о политике иначе как в форме анекдота или сплетни. Он очень верил в свою изощренную способность наблюдать, верил в точность наблюдений своих, в правильность оценок. В Елене он чего-то недосмотрел, и было очень неприятно убедиться в этом: считая ее глуповатой, он, возможно, был с нею более откровенен, чем следовало. Наблюдая, как тщательно мистер Крэйтон выковыривает из трубки какой-то ложечкой пепел в пепельницу, слушал, как четко он говорит:

— В сущности, войну начали вы, русские. Если б в переговоры не вмешался ваш темперамент…

Фразы представителя «аристократической расы» не интересовали его. Крэйтон — чужой человек, случайный гость, если он примкнет к числу хозяев России, тогда его речи получат вес и значение, а сейчас нужно пересмотреть отношение к Елене: быть может, не следует прерывать связь с нею? Эта связь имеет неоспоримые удобства, она все более расширяет круг людей, которые со временем могут оказаться полезными. Она, оказывается, способна нападать и защищать.

Охотно посещая различные собрания, Самгин вылавливал из хаоса фраз те, которые казались ему наиболее разумными, и находил, что эти фразы слагаются у него в нечто стройное, крепкое. Он видел, что мрачные события на фронтах возбуждают все более мятежную тревогу в людях и они становятся все искреннее в своей трусости и наглости, в цинизме своем, в сознании ими невозможности влиять на события. Он чувствовал себя дьяволом среди них, но дьяволом, который желает и может помочь им жить. Как всегда, сдержанный, скупой на слова, он привычно вылавливал ходовые фразы, ловко находя удобный момент для выступлений своих, и суховато, докторально давал советы.

— Наши дни — не время для расширения понятий. Мы кружимся пред необходимостью точных формулировок, общезначимых, объективных. Разумеется, мы должны избегать опасности вульгаризировать понятия. Мы единодушны в сознании необходимости смены власти, эго уже — много. Но действительность требует еще более трудного — единства, ибо сумма данных обстоятельств повелевает нам отчислить и утвердить именно то, что способно объединить нас.

Такие заявления удовлетворяли, то есть успокаивали тревоги тех людей, которым необходимо было чувствовать, что, говоря, они делают нечто полезное и даже исторически необходимое. Изредка пред ним ставили вопрос:

— В чем же и как должно выразиться это единство?

— Вот это и есть тема, подлежащая нашему обсуждению, — отвечал он и, если видел, что совопросник не удовлетворен, вслед за этим, взглянув на часы, уходил.

На одном из собраний против него выступил высокий человек, с курчавой, в мелких колечках, бородой серого цвета, из-под его больших нахмуренных бровей строго смотрели прозрачные голубые глаза, на нем был сборный костюм, не по росту короткий и узкий, — клетчатые брюки, рыжие и черные, полосатый серый пиджак, синяя сатинетовая косоворотка. Было в этом человеке что-то смешное и наивное, располагающее к нему.

— Слушайте-ко, — заговорил он, — вот вы все толкуете насчет объединения интеллигентов, а с кем надо объединяться-то? Вот у нас большевики есть и меньшевики, одни с Лениным, другие — с Плехановым, с Мартовым, — так — с кем вы?

Самгин, почувствовав опасность, ответил не сразу. Он видел, что ответа ждет не один этот, с курчавой бородой, а все три или четыре десятка людей, стесненных в какой-то барской комнате, уставленной запертыми шкафами красного [дерева], похожей на гардероб, среди которого стоит длинный стол. Закурив не торопясь папиросу, Самгин сказал:

— Для меня лично корень вопроса этого, смысл его лежит в противоречии интернационализма и национализма. Вы знаете, что немецкая социал-демократия своим вотумом о кредитах на войну скомпрометировала интернациональный социализм, что Вандервельде усилил эту компрометацию и что еще раньше поведение таких социалистов, как Вивиани, Мильеран, Бриан э цетера, тоже обнаружили, как бессильна и как, в то же время, печально гибка этика социалистов. Не выяснено: эта гибкость — свойство людей или учения?

Практика судебного оратора достаточно хорошо научила Клима Ивановича Самгина обходить опасные места, удаляясь от них в сторону. Он был достаточно начитан для того, чтоб легко наполнять любой термин именно тем содержанием, которого требует день и минута. И, наконец, он твердо знал, что люди всегда безграмотнее тех мыслей и фраз, которыми они оперируют, — он знал это потому, что весьма часто сам чувствовал себя таким.

— Для того, чтоб говорить об интернационализме, следует сначала выяснить, каково содержание понятия — нация. Возьмем Англию. Англичане — наиболее отвечают понятию нация, это народ одной крови, крепко спаянный этим единством в некую монолитную силу, которая заставляет работать на нее сотни миллионов людей иной крови. Можно думать, что именно поэтому Англия — страна, где социализм прививается с трудом. Там есть социалисты-фабианцы, но о них можно и не упоминать, они взяли имя себе от римского полководца Фабия Кунктатора, то есть медлителя, о нем известно, что он был человеком тупым, вялым, консервативным и, предоставляя драться с врагами Рима другим полководцам, бил врага после того, как он истощит свои силы. По его примеру вели себя англичане в начале девятнадцатого столетия…

Человек с курчавой бородой смущенно посмотрел на внимательную публику и пробормотал:

— Вот уж я и не понимаю — зачем вы это рассказываете?

Самгину очень не нравился пристальный взгляд прозрачно-голубых глаз, — блеск взгляда напоминал синеватый огонь раскаленных углей, в бороде человека шевелилась неприятная подстерегающая улыбка.

— Американцы Соединенных Штатов еще не нация, — продолжал он. — Это механически соединенное и еще не спрессованное в единый конгломерат сборище англичан, немцев, евреев, итальянцев, славян и так далее. Между Америкой и Россией есть много общего, но Россия являет собою государство еще менее целостное, еще более резко и глубоко разобщенное. Население Соединенных Штатов — в огромном большинстве и за исключением негров — европейцы. Население нашей страны включает пятьдесят семь народностей, совершенно и ничем не связанных: поляки не понимают грузин, украинцы — башкир, киргиз, татары — мордву и так далее, и так далее. Нет ни одного государства, которое в такой степени нуждалось бы в культурной центральной власти, в наличии благожелательной, энергичной интеллектуальной силы…

— Ну вот теперь — понятно, — сказал курчавый, медленно вставая со стула. Он вынул из кармана пиджака измятый картуз, хлопнул им по колену и угрюмо сказал кому-то:

— Аида, Митя!

Встал какой-то небольшого роста плотный человек с круглым, добродушным лицом, с растрепанной головой, одетый в черную суконную рубаху, в сапогах до колен, — проходя мимо Самгина, он звонко оказал;

— Уже вы столько знаете, что…

— Слушать стыдно, — угрюмо дополнил курчавый.

— Да-а! Знаете — юного, а понимаете — мало! — сказал чернорубашечник, и оба

пошли к двери, топая по паркету, как лошади.

— Следовало бы послушать до конца, — сказал Самгин вслед им. Митя откликнулся:

— Слышали. Читаем.

— Я знаю их, — угрожающе заявил рыженький подпоручик Алябьев, постукивая палкой в пол, беленький крестик блестел на его рубахе защитного цвета, блестели новенькие погоны, золотые зубы, пряжка ремня, он весь был как бы пронизая блеском разных металлов, и даже голос его звучал металлически. Он встал, тяжело опираясь на палку, и, приведя в порядок медные, длинные усы, продолжал обвинительно: — Это — рабочие с Выборгской стороны, там все большевики, будь они прокляты!

— Рабочих не надо раздражать, — миролюбиво, но твердо вставила Марья Ивановна Орехова.

— Что? Не раздражать? Вот как? — закричал Алябьев, осматривая людей и как бы заранее определяя, кто решится возразить ему. — Их надо посылать на фронт, в передовые линии, — вот что надо. Под пули надо! Вот что-с! Довольно миндальничать, либеральничать и вообще играть словами. Слова строптивых не укрощают…

— Что ж кричать? — печально качая голым черепом и вздыхая тяжко, спросил адвокат Вишняков, театрал и шахматист. — Поздно кричать, — ответил он сам себе и широко развел руки. — Все разрушается, все! Клим Иванович замечательно правильно указал, что Русь — глиняный горшок, в котором кипят, но не могут свариться разнообразные, несоединимые…

— Колосс на глиняных ногах, — сообщила, как новость, Орехова, три дамы единодушно согласились с ней, а четвертая с явным страхом спросила:

— Что же, при республике все эти бурята, калмыки и дикари получат право жениться на русских? — Она была высокая, с длинным лицом, которое заканчивалось карикатурно острым подбородком, на ее хрящеватом носу дрожало пенснэ, на груди блестел шифр воспитанницы Смольного института.

Заговорили сразу человек десять. Алябьев кричал все более бешено, он вертелся, точно посаженный на кол, стучал палкой, двигал стул, встряхивая его, точно таскал человека за волосы, блестел металлами.

— Изуверство, аввакумовщина, — кричал он. Толстый человек в старомодном сюртуке, поддерживая руками живот, гудел глухим, жирным басом:

— Лапотное, соломенное государство ввязалось в драку с врагом, закованным в сталь, — а? Не глупо, а? За одно это правительство подлежит низвержению, хотя я вовсе не либерал. Ты, дурова голова, сначала избы каменные построй, железом их покрой, ну, тогда и воюй…

Кто-то кричал:

— Шевелимся, как живые, а — уже…

И, наконец, все крики покрыл пронзительный голос Алябьева:

— Я — не купец, я — дворянин, но я знаю: наше купечество оказалось вполне способным принять и продолжать культуру дворянства, традиции аристократии. Купцы начали поощрять искусство, коллекционировать, отлично издавать книги, строить красивые дома…

— Н-ну, знаете! Хомяков желал содрать с Москвы двести тысяч за его кусок земли в несколько сажен, — крикнул кто-то.

— Прошу не перебивать меня пустяками, — бешено заорал Алябьев, и, почувствовав возможность скандала, люди начали говорить тише, это заставило и Алябьева излагать мудрость свою спокойней.

— Социализм, по его идее, древняя, варварская форма угнетения личности. — Он кричал, подвывая на высоких нотах, взбрасывал голову, прямые пряди черных волос обнажали на секунду угловатый лоб, затем падали на уши, на щеки, лицо становилось узеньким, трепетали губы, дрожал подбородок, но все-таки Самгин видел в этой маленькой тощей фигурке нечто игрушечное и комическое.

— Социализм предполагает равенство прав, но это значит: признать всех людей равными по способностям, а мы знаем, что весь процесс европейской культуры коренится на различии способностей… Я приветствовал бы и социализм, если б он мог очеловечить, организовать наивного, ленивого, но жадного язычника, нашего крестьянина, но я не верю, что социализм применим в области аграрной, а особенно у нас.

Самгин, видя, что этот человек прочно занял его место, — ушел; для того, чтоб покинуть собрание, он — как ему казалось — всегда находил момент, который должен был вызвать в людях сожаление: вот уходит о г нас человек, не сказавший главного, что он знает. Он был вполне уверен, что растет в глазах людей, замечал, что они смотрят на него все более требовательно, слушают все внимательней. Эта уверенность, вызывая в нем чувство гордости, в то же время и все более ощутимо тревожила: нужно иметь это «главное», а оно все еще не слагалось из его пестрого опыта. Он все более часто чувствовал, что из массы сырого материала, накопленного [им], крайне трудно выжать единый смысл, придать ему своеобразную форму, явиться пред людями автором нового открытия, которое объединит все передовые силы страны. Недавно Дронов, растрепанный, небритый и, как всегда, полупьяный, жаловался ему:

— Обстрогали меня компаньоны на двести семьдесят восемь тысяч. Ногайцев — потомственный жулик, чорт с ним! Но — жалко Заусайлова и Попова, хорошие ребята, знаешь эдакие — разбойники. Заусайлов по Сологубу живет: жизнь — «закон моей игры». Попов — рохля, мякоть, несчастный игрок, но симпатичный пес. В общем — скучно. Главное, не знаю: что делать? Надобно иметь ясную, реальную цель. А у меня цели-то и нет. Деньги? Деньги — есть, но — деньги тают: сегодня рубль стоит сорок три копейки. Да и вообще деньги для меня — не цель. Если б Тоська была, я бы ее вызолотил и бриллиантами разгвоздил — гуляй!

— Она — большевичка? — спросил Самгин.

— Похоже, — ответил Дронов, готовясь выпить. Во внутреннем боковом кармане пиджака, где почтенные люди прячут бумажник, Дронов носил плоскую стеклянную флягу, украшенную серебряной сеткой, а в ней какой-то редкостный коньяк. Бережно отвинчивая стаканчик с горлышка фляги, он бормотал:

— Скляночку-то Тагильский подарил. Наврали газеты, что он застрелился, с месяц тому назад братишка Хотяинцева, офицер, рассказывал, что случайно погиб на фронте где-то. Интересный он был. Подсчитал, сколько стоит аппарат нашего самодержавия и французской республики, — оказалось: разница-то невелика, в этом деле франк от рубля не на много отстал. На респуб[лике] не сэкономишь.

«Рассказать? — спросил себя Самгин. — А зачем?» — Вторым вопросом первый был уничтожен, и вместе с ним исчезла память об Антоне Тагильском. Но вспыхнула [мысль]: «Дронов интеллигент] первого поколения».

При каждой встрече Дронов показывал Самгину бесчисленное количество мелкой чепухи, которую он черпал из глубины взболтанного житейского болота. Он стряхивал (ее) со своей плотной фигуры, точно пыль, но почти всегда в чепухе оказывалось нечто ценное для Самгина.

— Прислала мне Тося парня, студент одесского университета, юрист, исключен с

третьего курса за невзнос платы. Работал в порту грузчиком, купорил бутылки на пивном заводе, рыбу ловил под Очаковом. Умница, весельчак. Я его секретарем своим сделал.

Лаская флягу правой рукой, задумчиво почесывая пальцем бровь, он продолжал:

— Вот это — правоверный большевик! У него — цель. Гражданская война, бей буржуазию, делай социальную революцию в полном, парадном смысле слова, вот и все!

— Ты — что же, веришь в такую возможность? — равнодушно спросил Самгин.

— Я-то? Я — в людей верю. Не вообще в людей, а вот в таких, как этот Кантонистов. Я, изредка, встречаю большевиков. Они, брат, не шутят! Волнуются рабочие, есть уже стачки с лозунгами против войны, на Дону — шахтеры дрались с полицией, мужичок устал воевать, дезертирство растет, — большевикам есть с кем разговаривать.

Он вздохнул тяжко и вдруг встал, сердито говоря:

— Ты все выпытываешь меня, Клим Иванов! А, конечно, сам лучше, чем я, все знаешь. Чего же выпытывать? Насколько я дурак, я сам знаю, ты помоги мне понять; почему я дурак?

— Ты — пьян, — сказал Самгин.

Он обиделся и ушел, надув губы. Самгин, проводив его хмурым взглядом, даже бросил вслед ему окурок папиросы.

«Харламов тоже, наверное, большевик», — подумал он, потом вспомнил Хотяинцева, который недавно на собрании в одной редакции оглушительно проповедовал:

— Еще Сен-Симон предрекал, что властителями жизни будут банкиры. В каждом государстве они сметут в кошели свои все капиталы, затем сложат их в один кошель, далее они соединят во единый мешок концентрированные капиталы всех государств, всех наций и тогда великодушно организуют по всей земле производство и потребление на законе строжайшей и даже святой справедливости, как это предуказывают некие умнейшие немцы, за исключением безумных фантазеров — Карла Маркса и других, иже с ним. Итак: чего страшимся и почему трепещем? Не благоразумней ли будет уверенно и спокойно ожидать благостных результатов энергической деятельности банков, реформаторской работы банкиров? Наивно бояться, что банкир снимет с нас рубахи и штаны! Он снимет их — да! — но лишь на краткое время, для концентрации, монополизации, а затем он заставит нас организованно изготовлять обувь и одежду, хлеб и вино, и оденет и обует, напоит и накормит нас. К чему же нам заботиться о проливах из моря в море и о превращении балканских государств в русские губернии, к чему?

Климу Ивановичу Самгину казалось, что в грубом юморе этой речи скрыто некое здоровое зерно, но он не любил юмора, его отталкивала сатира, и ему особенно враждебны были типы людей, подобных Хотяинцеву, Харламову. Он видел их чудаками, озорниками, которые под своим словесным озорством скрывают нигилистическую страсть к разрушению. Харламов притворялся серьезно изучающим контрреволюционную литературу, поклонником Леонтьева, Каткова, Победоносцева. Хотяинцев играл роль чудака, которому нравится, не щадя себя, увеселять людей нелепостями, но с некоторого времени он все более настойчиво облекает в нелепейшие словесные формы очень серьезные мысли. Так же, как Харламов, он «пораженец», враг войны, человек равнодушный к судьбе своего отечества, а судьба эта решается на фронтах.

Наполненное шумом газет, спорами на собраниях, мрачными вестями с фронтов, слухами о том, что царица тайно хлопочет о мире с немцами, время шло стремительно, дни перескакивали через ночи с незаметной быстротой, все более

часто повторялись слова — отечество, родина, Россия, люди на улицах шагали поспешнее, тревожней, становились общительней, легко знакомились друг с другом, и все это очень и по-новому волновало Клима Ивановича Самгина. Он хорошо помнил, когда именно это незнакомое волнение вспыхнуло в нем.

Ночевал у Елены, она была выпивши, очень требовательна, капризна и утомила его, плохо и мало спал, проснулся с головной болью рано утром и пошел домой пешком.

Давно уже на улицах и площадях города с утра до вечера обучались солдаты, звучала команда:

— Смир-рно-о!

Он помнил эту команду с детства, когда она раздавалась в тишине провинциального города уверенно и властно, хотя долетала издали, с поля. Здесь, в городе, который командует всеми силами огромной страны, жизнью полутораста миллионов людей, возглас этот звучал раздраженно и безнадежно или уныло и бессильно, как просьба или же точно крик отчаяния.

Самгин встряхнул головой, не веря своему слуху, остановился. Пред ним по булыжнику улицы шагали мелкие люди в солдатской, гнилого цвета, одежде не по росту, а некоторые были еще в своем «цивильном» платье. Шагали они как будто нехотя и не веря, что для того, чтоб идти убивать, необходимо особенно четко топать по булыжнику или по гнилым торцам.

— Левой! Левой! — хрипло советовал им высокий солдат с крестом на груди, с нашивками на рукаве, он прихрамывал, опирался на толстую палку. Разнообразные лица мелких людей одинаково туго натянуты хмурой скукой, и одинаково пусты их разноцветные глаза.

— Смир-рно-о! — кричат на них солдаты, уставшие командовать живою, но неповоротливой кучкой людей, которые казались Самгину измятыми и пустыми, точно испорченные резиновые мячи. Над канавами улиц, над площадями висит болотное, кочковатое небо в разодранных облаках, где-то глубоко за облаками расплылось блеклое солнце, сея мутноватый свет.

— Смир-рно! — командуют офицера.

Город уже проснулся, трещит, с недостроенного дома снимают леса, возвращается с работы пожарная команда, измятые, мокрые гасители огня равнодушно смотрят на людей, которых учат ходить по земле плечо в плечо друг с другом, из-за угла выехал верхом на пестром коне офицер, за ним, перерезав дорогу пожарным, громыхая железом, поползли небольшие пушки, явились солдаты в железных шлемах и прошла небольшая толпа разнообразно одетых людей, впереди ее чернобородый великан нес икону, а рядом с ним подросток тащил на плече, как ружье, палку с национальным флагом.

Самгин стоял на панели, курил и наблюдал, ощущая, что все это не то что подавляет, но как-то стесняет его, вызывая чувство уныния, печали. Солдат с крестом и нашивками негромко скомандовал:

— Вольно! Закуривай…

Прихрамывая, тыкая палкой в торцы, он перешел с мостовой на панель, присел на каменную тумбу, достал из кармана газету и закрыл ею лицо свое. Самгин отметил, что солдат, взглянув на него, хотел отдать ему честь, но почему-то раздумал сделать это.

— Обучаете? — спросил он. Солдат, взглянув на него через газету, ответил вполголоса и неохотно:

— Да, вот… оболваниваю. Однако — в месяц человека солдатом не сделаешь. Сами

видите.

Самгин ушел, но после этого он, видя, как обучают солдат, останавливался на несколько минут, смотрел, прислушивался к замечаниям прохожих и таких же наблюдателей, как сам он, — замечания звучали насмешливо, сердито, уныло, угрюмо.

— Мелкокалиберный народ…

— Крупных-то, видно, всех перебили.

— Эдакие герои едва ли немцев побьют. Женщины вздыхали:

— Господи, когда же кончится это!

Наблюдения Клима Ивановича Самгина все более отчетливо и твердо слагались в краткие фразы:

«Обыватель относится к армии, к солдатам скептически». — «Страна, видимо, исчерпала весь запас отборной живой силы». — «Война — надоела, ее нужно окончить».

Слухи о попытках царицы заключить сепаратный мир с Германией утверждали его выводы» но еще более утверждались они фактами иного порядка. Заметно уменьшалось количество здоровых молодых людей, что особенно ясно видно было на солдатах, топавших ногами на всех площадях города. Крупными скоплениями мелких людей командовали, брезгливо гримасничая, истерически вскрикивая, офицера, побывавшие на войне, полубольные, должно быть, раненые, контуженые… Неуклюжесть, недогадливость рядовых болезненно раздражала их, они матерно ругались, негромко, оглядываясь на зрителей. Самгину казалось, что им хочется бить палками будущих солдат, и эти надорванные, изношенные люди возбуждали в нем сочувствие.

«Интеллигенция армии, — думал он. — Интеллигенция, организующая массу на защиту отечества».

Память показывала картину убийства Тагильского, эффектный жест капитана Вельяминова, — жест, которым он положил свою саблю на стол пред генералом.

С некоторого времени он мог, не выходя из своей квартиры, видеть, как делают солдат, — обучение происходило почти под окнами у него, и, открыв окно, он слышал:

— Смирно-о! Эй, ты, рябой, — подбери брюхо! Что ты — беременная баба? Носки, носки, чорт вас возьми! Сказано: пятки — вместе, носки — врозь. Харя чортова — как ты стоишь? Чего у тебя плечо плеча выше? Эх вы, обормоты, дураково племя. Смирно-о! Равнение налево, шагом… Куда тебя черти двигают, свинья тамбовская, куда? Смирно-о! Равнение направо, ша-агом… арш! Ать — два, ать — два, левой, левой… Стой! Ну — черти не нашего бога, ну что мне с вами делать, а?

Командовал большой, тяжелый солдат, широколицый, курносый, с рыжими усами и в черной повязке, закрывавшей его правый глаз. Часа два он учил шагистике, а после небольшого отдыха — бою на штыках. Со двора дома, напротив квартиры Самгина, выносили деревянное сооружение, в котором болтался куль, набитый соломой. Солдаты, один за другим, кричали «ура» и, подбегая, вытаращив глаза, тыкали в куль штыками — смотреть на это было неприятно и смешно. Самгин много слышал о мощности немецкой артиллерии, о силе ее заградительного огня, не представлял, как можно достать врага штыком, обучение бою на куле соломы казалось ему нелепостью постыдной. Он был уверен, что так же оценивают эти неуклюжие прыжки прохожие и обыватели, выглядывая из окон.

Сырым, после ночного дождя, осенним днем, во время отдыха, после нескольких минут тишины, на улице затренькала балалайка, зашелестел негромкий смех.

Самгин подошел к окну, выглянул: десяток солдат, плотно окружив фонарный столб, слушали, как поет, подыгрывая на балалайке, курчавый, смуглый, точно цыган, юноша в рубахе защитного цвета, в начищенных сапогах, тоненький, аккуратный. Пел он вполголоса, и трудно было (разобрать) слова бойкой плясовой песенки, мешала балалайка, шарканье ног, сдерживаемый смех. Но, прислушавшись, Самгин поймал двустишие:

Чем разнится, например,От собаки унтер-цер?

— Ух, ты-и, — вскричал один из слушателей и даже выбил дробь ногами. Будущие солдаты, негромко и оглядываясь, посмеивались, и в этот сдержанный смешок как бы ввинчивались веселые слова:

Мы друг друга бить умеем,А кто нас бьет — тех не смеем!

Самгин возмутился.

«Уши надрать мальчишке», — решил он. Ему, кстати, пора было идти в суд, он оделся, взял портфель и через две-три минуты стоял перед мальчиком, удивленный и уже несколько охлажденный, — на смуглом лице брюнета весело блестели странно знакомые голубые глаза. Мальчик стоял, опустив балалайку, держа ее за конец грифа и раскачивая, вблизи он оказался еще меньше ростом и тоньше. Так же, как солдаты, он смотрел на Самгина вопросительно, ожидающе.

— Можно узнать, почему вы одеты военным? — строго спросил Самгин. Мальчик звучно ответил:

— Доброволец, числюсь в команде музыкантов.

— Ах, вот что! Ваша фамилия?

— Спивак, Аркадий, — сказал мальчик и, нахмурясь, сам спросил: — А — зачем вам нужно знать, кто я? И какое у вас право спрашивать? Вы — земгусар?

— Земгусар, — механически повторил Самгин. — Ваша мать — Елизавета Львовна?

— Да.

— Она — здесь?

— Она умерла. Вы знали ее? — мягко спросил Спивак.

— Да, знал, — сказал Самгин и, шагнув еще ближе к нему, проговорил полушепотом:

— Я слышал, что вы поете. Вы очень рискуете…

— Разве? — шутливо и громко спросил Спивак, настраивая балалайку. Самгин заметил, что солдаты смотрят на него недружелюбно, как на человека, который мешает. И особенно пристально смотрели двое: коренастый, толстогубый, большеглазый солдат с подстриженными усами рыжего цвета, а рядом с ним прищурился и закусил губу человек в синей блузе с лицом еврейского типа. Коснувшись пальцем фуражки, Самгин пошел прочь, его проводил возглас:

— Гусар без шашки, одни бляшки.

Потом дважды негромко свистнули.

«Ему не больше шестнадцати лет. Глаза матери. Красивый мальчик», — соображал Самгин, пытаясь погасить чувство, острое, точно ожог.

«Что меня смутило? — размышлял он. — Почему я не сказал мальчишке того, что должен был сказать? Он, конечно, научен и подослан пораженцами, большевиками. Возможно, что им руководит и чувство личное — месть за его мать.

Проводится в жизнь лозунг Циммервальда: превратить войну с внешним врагом в гражданскую войну, внутри страны. Это значит: предать страну, разрушить ее... Конечно так. Мальчишка, полуребенок — ничтожество. Но дело не в человеке, а в слове. Что должен делать я и что могу делать?»

Ответа на этот вопрос он не стал искать, сознавая, что ответ потребовал бы от него действия, для которого он не имеет силы. Ускорив шаг, он повернул за угол.

«Но — до чего бессмысленна жизнь!» — мысленно воскликнул он. Это возмущенное восклицание успокоило его. он снова вспомнил, представил себе Аркадия среди солдат, веселую улыбку на смуглом лице и вдруг вспомнил:

«А этот, с веснушками, в синей блузе, это... московский — как его звали? Ученик медника? Да, это — он. Конечно. Неужели я должен снова встретить всех, кого знал когда-то? И — что значат вот эти встречи? Значат ли они, что эти люди так же редки, точно крупные звезды, или — многочисленны, как мелкие?»

Он полюбовался сочетанием десятка слов, в которые он включил мысль и образ. Ему преградила дорогу небольшая группа людей, она занимала всю панель, так же как другие прохожие, Самгин, обходя толпу, перешел на мостовую и остановился, слушая:

— Отступали из Галиции, и все время по дороге хлеб горел: мука, крупа, склады провианта горели, деревни — все горело! На полях хлеба вытоптали мы неисчислимо! Господи же боже наш! Какая причина разрушению жизни?

Самгин привстал на пальцах ног, вытянулся и через головы людей увидал: прислонясь к стене, стоит высокий солдат с забинтованной головой, с костылем под мышкой, рядом с ним — толстая сестра милосердия в темных очках на большом белом лице, она молчит, вытирая губы углом косынки.

— Господа мои, хорошие, — взывает солдат, дергая ворот шинели, обнажая острый кадык. — Надобно искать причину этого разрушительного дела, надо понять: какая причина ему? И что это значит: война?

Самгин поспешно двинулся дальше, думая: что, если люди, так или иначе пострадавшие от войны, увидят причину ее там, куда указывают большевики?

«В двадцатом столетии пугачевщина едва ли возможна, даже в нашей, крестьянской стране. Но всегда нужно ожидать худшего и торопиться с делом объединения всех передовых сил страны. Россия нуждается не в революции, а в реформах. Революцию нельзя понять иначе как болезнь, как воспаление общественного организма... Англия, родина представительного правления и социального компромисса, выросла без революции, завоевала полмира. Не новые мысли, но их плохо помнят. Роль английского либерализма в истории Европы за последние два столетия. Надобно сделать доклад на эту тему».

Здесь Клим Иванович Самгин предостерег себя:

«Я размышляю, как рядовой член партии конституционалистов-демократов».

Он знал, что его личный, житейский опыт формируется чужими словами, когда он был моложе, это обижало, тревожило его, но постепенно он привык не обращать внимания на это насилие слов, которые — казалось ему — опошляют подлинные его мысли, мешают им явиться в отличных формах, в оригинальной силе, своеобразном блеске. Он незаметно убедил себя, что, когда обстоятельства потребуют, он легко сбросит чужие словесные одежды со всего, что пережито, передумано им. Но вот наступили дни, когда он чувствовал, что пора уже освободить себя от груза, под которым таилось его настоящее, неповторимое.

«Я прожил полстолетия не для того, чтоб признать спасительность английского либерализма», — подумал он с угрюмой иронией. Шагал он быстро, ему казалось, что на ходу свободней являются мысли и легче остаются где-то позади. Улицы

наполняла ворчливая тревога, пред лавками съестных припасов толпились, раздраженно покрикивая, сердитые, растрепанные женщины, на углах небольшие группы мужчин, стоя плотно друг к другу, бормотали о чем-то, извозчик, сидя на козлах пролетки и сморщив волосатое лицо, читал газету, поглядывая в мутное небо, и всюду мелькали солдаты… Они шагали на ученье, поблескивая штыками, шли на вокзалы, сопровождаемые медным ревом оркестров, вереницы раненых тянулись куда-то в сопровождении сестер милосердия.

«Если я хочу быть искренним с самим собою — я должен признать себя плохим демократом, — соображал Самгин. — Демос — чернь, власть ее греки называли охлократией. Служить народу — значит руководить народом. Не иначе. Индивидуалист, я должен признать законным и естественным только иерархический, аристократический строй общества».

Было найдено кое-что свое, и, стоя у окружного суда, Клим Иванович Самгин посмотрел, нахмурясь, вдоль Литейного проспекта и за Неву, где нерешительно, негусто дымили трубы фабрик. В комнате присяжных поверенных кипел разноголосый спор, человек пять адвокатов, прижав в угол широколицего, бородатого, кричали в лицо ему:

— Договаривайте до конца!

— Да, да!

— Не-ет, это мысль опасная!

Из-под густых бровей, из широкой светлорусой бороды смущенно и ласково улыбались большие голубые глаза, высоким голосом, почти сопрано, бородач виновато говорил:

— Я ведь — в форме вопроса, я не утверждаю. Мне кажется, что со врагом организованным, как армия, бороться удобнее, чем, например, с партизанскими отрядами эсеров.

Солиднейший адвокат Вишняков, юрисконсульт одного из крупнейших банков, решительно, баритоном, заявил:

— Немцы навсегда скомпрометировали интернациональное начало учения Маркса, показав, что социал-демократы вполне могут быть хорошими патриотами…

— Однако — Циммервальд…

— Судорога…

За столом среди комнаты сидел рыхлый, расплывшийся старик в дымчатых очках и, почесывая под мышкой у себя, как бы вытаскивая медленные слова из бокового кармана, говорил, всхрапывая:

— Карено, герой трилогии Гамсуна, анархист, ницшеанец, последователь идей Ибсена, очень легко отказался от всего этого ради места в стортинге. И, знаете, тут не столько идеи, как примеры… Франция, батенька, Франция, где властвуют правоведы, юристы…

— И умеют одевать идеи, как женщин, — добавил его собеседник, носатый брюнет, причесанный под Гоголя; перестав шелестеть бумагами, он прижал их ладонью и, не слушая собеседника, заговорил гневно, громко:

— Нет, вы подумайте: девятнадцатый век мы начали Карамзиным, Пушкиным, Сперанским, а в двадцатом у нас — Гапон, Азеф, Распутин… Выродок из евреев разрушил сильнейшую и, так сказать, национальную политическую партию страны, выродок из мужиков, дурак деревенских сказок, разрушает трон…

— Ну — едва ли дурак…

Самгин, еще раз просматривая документы, приготовленные для судоговорения, прислушивался к нестройному говору, ловил фразы, которые казались ему наиболее ловко сделанными. Он все еще не утратил способности завидовать мастерам красивого слова и упрекнул себя: как это он не догадался поставить в ряд Гапона, Азефа, Распутина? Первые двое представляют возможность очень широких толкований…

Рыхлый старик сорвал очки с носа, размахивал ими в воздухе и, надуваясь, всхрапывая, выкрикивал:

— Нет, извините. Если Плеханов высмеивает пораженцев и Каутский и Вандервельде — тоже, так я говорю: пораженцев — брить! Да-с. Брить половину головы, как брили осужденным на каторгу! Чтоб я видел… чтоб все видели — пораженец, сиречь — враг! Да, да!

Кто-то засмеялся, тогда старик закричал еще более истерично:

— Нет, извините, это не смешно, это — прием обороны общества против внутреннего врага…

— Казимир Богданович — прав: люди эти должны быть отмечены какой-то каиновой печатью.

— Большевиков — депутатов Думы осудили в каторгу… но кого это удовлетворило?

— Только нарушен принцип неприкосновенности депутатов.

— Вчера — они, завтра — мы.

— Вспомните Выборг.

— Им нужно поражение России для того, чтоб повторить безумие парижан 871 года.

— Ну да, конечно! Они этого не скрывают…

— Нам — необходимо поражение самодержавия…

— Не — нам, а всему народу русскому!

— Интернационализм — учение людей, у которых атрофировано чувство родины, отечества…

Количество людей во фраках возрастало, уже десятка полтора кричало, окружая стол, — старик, раскинув руки над столом, двигал ими в воздухе, точно плавая, и кричал, подняв вверх багровое лицо:

— Я не купец, не дворянин, я вне сословий. Я делаю тяжелую работу, защищая права личности в государстве, которое все еще не понимает культурного значения широты этих прав.

— Социальная революция — утопия авантюристов.

— Русских, русских…

— И — евреев. Маркс — еврей.

— Ленин — русский. Европейские социалисты] о социальной] революции] не мечтают.

Не впервые Самгин слышал, что в голосах людей звучит чувство страха пред революцией, и еще вчера он мог бы сказать, что совершенно свободен от этого страха. Скептическое и даже враждебное отношение к человеческим массам у него сложилось давно. Разговоры и книги о несчастном, забитом, страдающем

народе надоели ему еще в юности. Он не однажды убеждался в бесплодности демонстраций и вообще массовых действий. Невольное участие в событиях 905 года привило ему скептическое отношение к силе масс. Московское восстание он давно оценил как любительский спектакль. Подчиняясь требованию эпохи, он, конечно, посмотрел в книги Маркса, читал Плеханова, Ленина. Он неохотно и [не] очень много затратил времени на этот труд, но затраченного оказалось вполне достаточно для того, чтоб решительно не согласиться с философией истории, по-новому изображающей процесс развития мировой культуры. Нет, историю двигают, конечно, не классы, не слепые скопища людей, а — единицы, герои, и англичанин Карлейль ближе к истине, чем немецкий еврей Маркс. Марксизм не только ограничивал, он почти уничтожал значение личности в истории. Это умонастроение слежалось у Клима Ивановича Самгина довольно плотно, прочно, и он свел задачу жизни своей к воспитанию в себе качеств вождя, героя, человека, не зависимого от насилий действительности.

Но вот уже более года он чувствовал смутную тревогу, причины которой не решался определить. А сегодня, в тревожном шуме речей коллег своих, он вдруг поймал себя на том, что, слушая отчаянные крики фрачников, он ведет счет новым личностям, которые неприемлемы для него, враждебны ему. Аркадий Спивак, товарищ Яков, Харламов — да, очевидно, и Харламов. Должно быть, и Тагильский тоже защитник угнетенного народа — такая изломанная фигура вроде Лютова. Макаров, бандит Иноков, Поярков, Тося. И еще многие. И — наконец, Кутузов, старый знакомый. Кутузов — тяжелый, подавляющий человек. Все это люди, которые верят в необходимость социальной революции, проповедуют ее на фабриках, вызывают политические стачки, проповедуют в армии, мечтают о гражданской войне.

«Историю делают герои… Безумство смелых… Харламов…»

К нему подошел в облаке крепких духов его противник по судебному процессу Нифонт Ермолов, красавец, богач, холеный, точно женщина, розовощекий, с томным взглядом карих глаз, с ласковой улыбочкой под закрученными усами и над остренькой седой эспаньолкой.

— Дорогой мой Клим Иванович, не можете ли вы сделать мне великое одолжение отложить дело, а? Сейчас я проведу одно маленькое, а затем у меня ответственнейшее заседание в консультации, — очень прошу вас!

Он протянул руку с розовыми полированными ногтями.

Самгин с удовольствием согласился, не чувствуя никакого желания защищать права своих клиентов. Он сунул в портфель свои бумаги и пошел домой. За время, которое он провел в суде, погода изменилась: с моря влетал сырой ветер, предвестник осени, гнал над крышами домов грязноватые облака, как бы стараясь затискать их в коридор Литейного проспекта, ветер толкал людей в груди, в лица, в спины, но люди, не обращая внимания на его хлопоты, быстро шли встречу друг другу, исчезали в дворах и воротах домов. Самгин обогнал десятка три арестантов, окруженных тюремным конвоем с обнаженными саблями, один из арестантов, маленький, шел на костылях, точно на ходулях. Он казался горбатым, ветер шелестел, посвистывал, как бы натачивая синеватые клинки сабель и нашептывая:

— Смирно-о!

Потом на проспект выдвинулась похоронная процесс сия, хоронили героя, медные трубы выпевали мелодию похоронного марша, медленно шагали черные лошади и солдаты, зеленоватые, точно болотные лягушки, размахивал кистями и бахромой катафалк, держась за него рукою, деревянно шагала высокая женщина, вся в черной кисее, кисея летала над нею, вокруг ее, ветер как будто разрывал женщину на куски или хотел подбросить ее к облакам. Люди поспешно, озабоченно идут к целям своего дня, не обращая внимания на похороны героя, на арестантов, друг на друга. Идет вереница раненых, во главе их большая, толстая сестра милосердия в золотых очках. Самгин уже когда-то видел ее.

«Харламов, — думал Клим Иванович Самгин, и в памяти его звучал» шутливые, иронические слова, которыми Харламов объяснял Елене намерения большевиков: «Все, что может гореть, — горит только тогда, когда нагрето до определенной температуры и лишь при условии достаточного притока кислорода. Исключив эти два условия, мы получим гниение, а не горение. Гниение — это, по Марксу, процесс, который рабочий класс должен превратить в горение, во всемирный пожар. В наши дни рабочие и крестьяне достаточно нагреты, роль кислорода отлично исполняют большевики, и поэтому рабочий народ должен вспыхнуть». — Он — не один таков, Харламов. Шутники, иронисты его типа, родственны большевикам. Он, вероятно, интеллигент в первом поколении, как Тагильский. Как Дронов. Люди без традиций, ничем, кроме школы, не связанные с историей своего отечества. «Случайные люди».

Он даже вспомнил министра Делянова, который не хотел допускать в гимназии «кухаркиных детей», но тут его несколько смутил слишком крутой поворот мысли, и, открывая дверь в квартиру свою, он попытался оправдаться:

«Я ведь встревожен не тем, что меня обгоняют нигилисты двадцатого столетия…»

Но мысль самосильно скользила по как бы наклонной плоскости:

«Рим погубили варвары, воспитанные римлянами».

Затем в десятый раз припомнились стихи Брюсова о «грядущих гуннах» и чьи-то слова по поводу осуждения на каторгу депутатов-социалистов:

«Пятерых — осудили в каторгу, пятьсот поймут этот приговор как вызов им…»

Сидя за столом, поддерживая голову ладонью, Самгин смотрел, как по зеленому сукну стелются голубые струйки дыма папиросы, если дохнуть на них — они исчезают. Его думы ползли одна за другой так же, как этот легкий дымок, и так же быстро исчезали, когда над ними являлись мысли другого порядка.

«Необходимо веретено, которое спрягало бы мысли в одну крепкую, ровную нить… Паук ткет свою паутинку, имея точно определенную цель».

Эти неприятные мысли прятали в себе некий обидный упрек, как бы подсказывая, что жизнь — бессмысленна, и Самгин быстро гасил их, как огонек спички, возвращаясь к думам о случайных людях.

«Гапон, Азеф, Распутин. Какой-то монах Илиодор. Кандидатом в министры внутренних дел называют Протопопова».

Он припомнил все, что говорилось о Протопопове: человек политически неопределенный и даже не очень грамотный, но ловкий, гибкий, бойкий, в его бойкости замечают что-то нездоровое. Провинциал, из мелких симбирских дворян, владелец суконной фабрики, наследовал ее после смерти жандармского генерала Сильверстова, убитого в Париже поляком-революционером Подлевским. В общем — человек мутный, ничтожный.

«Очевидно, страна израсходовала все свои здоровые силы… Партия Милюкова — это все, что оказалось накопленным в девятнадцатом веке и что пытается организовать буржуазию… Вступить в эту партию? Ограничить себя ее программой, подчиниться руководству дельцов, потерять в их среде свое лицо…»

О том, чтоб вступить в партию, он подумал впервые, неожиданно для себя, и это еще более усилило его тревожное настроение.

«Партии разрушаются, как всё вокруг», — решил он, ожесточенно тыкая окурком папиросы в пепельницу.

За последнее время, устраивая смотр мыслям своим, он все чаще встречал среди них такие отрезвляющие, каковы были мысли о веретене, о паутине, тогда он

чувствовал, что высота, на которую возвел себя, — шаткая высота и что для того, чтоб удержаться на этой позиции, нужно укрепить ее какими-то действиями. Нужно предъявить людям неоспоримые доказательства своей силы и права своего на их внимание. Но каждый раз, присутствуя на собраниях, он чувствовал, что раздраженные речи, сердитые споры людей изобличают почти в каждом из них такое же кипение тревоги, такой же страшок пред завтрашним днем, такие же намерения развернуть свои силы и отсутствие уверенности в них. Он видел вокруг себя людей, в большинстве беспартийных, видел, что эти люди так же, как он, гордились своей независимостью, подчеркивали свою непричастность политике и широко пользовались правом критиковать ее. Количество таких людей возрастало. Иногда ему казалось, что (таких людей) излишне много, но он легко убеждался, что является наиболее законченным и заметным среди них. Особенно характерно было недавнее собрание в квартире Леонида Андреева, куда его затащил Иван Дронов.

Иван Дронов — всегда немножко выпивший и всегда готовый выпить еще, одетый богато, но неряшливо, растрепанный, пестрый галстук сдвинут влево, рыжие волосы торчат, скуластое лицо содрогается. Настроение его колебалось неестественно резко, за последний год он стал еще более непоседлив, суетлив, но иногда являлся совершенно подавленным, унылым, опустошенным. Клим Иванович привык смотреть на него как на осведомителя, на измерителя тона событий, на аппарат, кот[орый] отмечает температуру текущей действительности, и видел, что Иван теряет эту способность, занятый судорожными попытками перепрыгнуть куда-то через препятствие, невидимое и непонятное для Самгина, и вообще был поглощен исключительно самим собою. В таком настроении он был тем более неприятен, что смотрел исподлобья, как бы укоряя в чем-то.

— С похмелья? — спрашивал Самгин.

— Н-нет, так… Устал.

Но иногда он являлся в состоянии как бы веселого ужаса, — если такой ужас возможен. Многоречивый, посмеиваясь и как-то юмористически ощипывая, одергивая себя, щелкая ногтями по пуговицам жилета, он высыпал новости, точно из мешка.

— Нет, Клим Иванович, ты подумай! — сладостно воет он, вертясь в комнате. — Когда это было, чтоб премьер-министр, у нас, затевал публичную говорильню, под руководством Гакебуша, с участием Леонида Андреева, Короленко, Горького? Гакебушу — сто тысяч, Андрееву — шестьдесят, кроме построчной, Короленке, Горькому — по рублю за строчку. Это тебе — не Европа! Это — мировой аттракцион и — масса смеха!

Затем он рассказал странную историю: у Леонида Андреева несколько дней прятался какой-то нелегальный большевик, он поссорился с хозяином, и Андреев стрелял в него из револьвера, тотчас же и без связи с предыдущим сообщил, что офицера-гвардейцы избили в модном кабаке Распутина и что ходят слухи о заговоре придворной знати, — она решила снять царя Николая с престола и посадить на его место — Михаила.

— Меня бы посадили! — весело сказал он и, пародируя Шаляпина, пропел фальшиво:

Я б им царство-то управил!Я б казны им поубавил!Пожил бы я всласть,Ведь на то и власть!..

— Чему ты рад? — спросил Самгин.

— Да я… не знаю! — сказал Дронов, втискивая себя в кресло, и заговорил несколько спокойней, вдумчивее: — Может — я не радуюсь, а боюсь. Знаешь, человек я пьяный и вообще ни к чорту не годный, и все-таки — не глуп. Это, брат, очень обидно — не дурак, а никуда не годен. Да. Так вот, знаешь, вижу я всяких

людей, одни делают политику, другие — подлости, воров развелось до того много, что придут немцы, а им грабить нечего] Немцев — не жаль, им так и надо, им в наказание — Наполеонов счастье. А Россию — жалко.

Он выскочил из кресла, точно мяч, и, наливая вино в стакан, сказал уверенно:

— Здоровенная будет у нас революция, Клим Иванович. Вот — начались рабочие стачки против войны — знаешь? Кушать трудно стало, весь хлеб армии скормили. Ох, все это кончится тем, что устроят европейцы мир промежду себя за наш счет, разрежут Русь на кусочки и начнут глодать с ее костей мясо.

Поговорив еще минуты три на эту тему, он предложил Самгину пойти на совещание по организации министерской газеты. Клим Иванович отказался, его утомляли эти почти ежедневные сборища, на которых люди торопливо и нервозно пытались избыть, погасить свою тревогу. Он видел, что источником тревоги этой служит общее всем им убеждение в своей политической дальнозоркости и предчувствие неизбежной и разрушительной катастрофы. Он отмечал, что по составу своему сборища становятся все пестрее, и его особенно удовлетворял тот факт, что к основному, беспартийному ядру таких собраний вое больше присоединялось членов реформаторских партий и все более часто, открыто выступали люди, настроенные революционно. Самгину казалось, что партии крошились, разрушались, происходит процесс какой-то самосильной организации. Появились меньшевики, которых Дронов называл «год-либерданами», а Харламов давно уже окрестил «скромными учениками немецких ортодоксов предательства», появлялись люди партии конституционалистов-демократов, появлялись даже октябристы — Стратонов, Алябьев, прятался в уголках профессор Платонов, мелькали серые фигуры Мякотяна, Пешехонова, покашливал, притворяясь больным, нововременец Меньшиков, и еще многие именитые фигуры. Царила полная свобода мнений. Провинциальный кадет Адвокатов поставил вопрос: «Есть ли у нас демократия в европейском смысле слова?» и в полчаса доказал, что демократии в России — нет. Его слушали так же внимательно, как всех, чувствовалось, что каждому хочется сказать или услышать нечто твердое, успокаивающее, найти какое-то историческое, объединяющее слово, а для Самгина в метелице речей, слов звучало простое солдатское:

«Смир-рно!»

Особенно тяжело памятной осталась для «его одна из таких бесед в квартире Леонида Андреева.

В большой комнате с окнами на Марсово поле собралось человек двадцать — интересные дамы, с волосами, начесанными на уши, шикарные молодые люди в костюмах, которые как бы рекламировали искусство портных, солидные адвокаты, литераторы. (Комната была неуютная, как будто в нее только что вселились и еще не успели наполнить вещами. Самгин сел у окна. За окнами — осенняя тьма и такая тишина, точно дом стоит в поле, далеко за городом. И, как всегда, для того, чтоб подчеркнуть тишину, (существовал) звук — поскрипывала проволока по железу водосточной трубы.

В пустоватой комнате голоса звучали неестественно громко и сердито, люди сидели вокруг стола, но разобщенно, разбитые на группки по два, по три человека. На столе в облаке пара большой самовар, слышен запах углей, чай порывисто, угловато разливает черноволосая женщина с большим жестким лицом, и кажется, что это от нее исходит запах углекислого газа.

Хозяин квартиры в бархатной куртке, с красивым, но мало подвижным лицом, воинственно встряхивая головой, положив одну руку на стол, другою забрасывая за ухо прядь длинных волос, говорил:

— Я не хочу быть чижом, который лгал и продолжает лгать. Только трусы или безумные могут проповедовать братство народов в ту ночь, когда враги подожгли их дом.

— Да ведь проповедуют это бездомные, — сказал сидевший в конце стола светловолосый человек, как бы прижатый углом его к стене под тяжелую раму какой-то темной картины).

Литератор поднимал и опускал густые темные брови, должно быть, стараясь оживить этим свое лицо.

— Отечество в опасности, — вот о чем нужно кричать с утра до вечера, — предложил он и продолжал говорить, легко находя интересные сочетания слов. — Отечество в опасности, потому что народ не любит его и не хочет защищать. Мы искусно писали о народе, задушевно говорили о нем, но мы плохо знали его и узнаём только сейчас, когда он мстит отечеству равнодушием к судьбе его.

— Чепуха какая, — невежливо сказал человек, прижатый в угол, — его слова тотчас заглушил вопрос знакомого Самгину адвоката:

— А что вы скажете о евреях, которые погибают на фронтах от любви к России, стране еврейских погромов?

— Меня не удивляет, что иноверцы, инородцы защищают интересы их поработителей, римляне завоевали мир силами рабов, так было, так есть, так будет! — очень докторально сказал литератор.

— Ой, не надо пророчеств! Поймите, еврей дерется за интересы человека, который считает его, еврея, расовым врагом.

Ему возразил редактор Иерусалимский, большой, склонный к тучности человек, с бледным лицом, украшенным нерешительной бородкой.

— Кричать, разумеется, следует, — вяло и скучно сказал он. — Начали с ура, теперь вот караул приходится кричать. А покуда мы кричим, немцы схватят нас за шиворот и поведут против союзников наших. Или союзники помирятся с немцами за наш счет, скажут:

«Возьмите Польшу, Украину, и — ну вас к чорту, в болото! А нас оставьте в покое».

Коренастый человек с шершавым лицом, тоже литератор, покрякивая, покашливая, растирая ладонью темя, покрытое серым пухом, сообщил:

— Летом уже велись переговоры с немцами о сепаратном мире.

Беседа тянулась медленно, неохотно, люди как будто осторожничали, сдерживались, может быть, они устали от необходимости повторять друг пред другом одни и те же мысли. Большинство людей притворялось, что они заинтересованы речами знаменитого литератора, который, утверждая правильность и глубину своей мысли, цитировал фразы из своих книг, причем выбирал цитаты всегда неудачно. Серенькая старушка вполголоса рассказывала высокой толстой женщине в пенснэ с волосами, начесанными на уши:

— Он у меня очень нервный. Ночей не спит, все думает, все сочиняет да крепкий чай пьет.

И лишь изредка, но все чаще и всегда в том углу, под темной картиной, вспыхивало раздражение, звучали недобрые голоса, колющие словечки и разматывался, точно шелковая лента, суховатый тенористый голосок:

— Ведь это, знаете, даже смешно, что для вас судьба стопятидесятимиллионного народа зависит от поведения единицы, да еще такой, как Гришка Распутин…

К таким голосам из углов Самгин прислушивался все внимательней, слышал их все более часто, но на сей раз мешал слушать хозяин квартиры, — размешивая сахар в стакане очень крепкого чая, он пророчески громко и уверенно говорил:

— Люди почувствуют себя братьями только тогда, когда поймут трагизм своего

бытия в космосе, почувствуют ужас одиночества своего во вселенной, соприкоснутся прутьям железной клетки неразрешимых тайн жизни, жизни, из которой один есть выход — в смерть.

Он хлебнул ложечку чая и, найдя, что он недостаточно горяч или не сладок, выплеснул половину влаги из стакана в полоскательную чашку, подвинул стакан свой под кран самовара, увещевая торжественно, мягко и вкрадчиво:

— Социалисты, большевики мечтают объединить людей на всеобщей сытости. Нет, нет! Это — наивно. Мы видим, что сытые враждуют друг с другом, вот они воюют! Всегда воевали и будут! Думать, что люди могут быть успокоены сытостью, — это оскорбительно для людей.

— Это, знаете, какая-то рыбья философия, ей-богу! — закричал человек из угла, — он встал, взмахнув рукой, приглаживая пальцами встрепанные рыжеватые волосы. — Это, знаете, даже смешно слушать...

— Разрешите мне кончить, — очень вежливо сказал литератор.

— Нет, уже кончать буду я... то есть не — я, а рабочий класс, — еще более громко и решительно заявил рыжеватый и, как бы отталкиваясь от людей, которые окружали его, стал подвигаться к хозяину, говоря:

— Вы уж — кончили! Ученая ваша, какая-то там литературная, что ли, квалификация дошла до конца концов, до смерти. Ставьте точку. Слово и дело дается вновь прибывшему в историю, да, да!

— Батюшки, неприятный какой, — забормотала серая старушка, обращаясь к Самгину. — А Леонидушка-то не любит, если спорят с ним. Он — очень нервный, ночей не спит, все сочиняет, все думает да крепкий чай пьет.

— Рабочий класс хочет быть сытым и хочет иметь право на квалификацию, а для этого, извините, он должен вырвать власть из рук сытых людей. Вырвать. С боем! Вот как. Довели до того, что равноценной человеку является грошовая бумажка, на которой напечатано, что она — рубль, а то и сто рублей. Даже марки почтовые как деньги ходят. Сказано: господство банков над промышленностью — это значит монополия финансового капитала, значит — вся работа превращается в деньги, в бессмысленность, в идиотство. Господствует банкир, миллионщик, чорт его душу возьми, разорвал трудовой народ на враждебные нация... вон какую войнищу затеял, а вы — чаек пьете и рыбью философию разводите... Как не стыдно!

На оратора смотрели сердито хмурясь, пренебрежительно улыбаясь, а сидевший впереди Самгина бритый и какой-то насквозь серый человек бормотал, точно окуня выудив:

— Ага, вот он, вот он...

Литератор откинулся пред ним на спинку стула, его красивое лицо нахмурилось, покрылось серой тенью, глаза как будто углубились, он закусил губу, и это сделало рот его кривым; он взял из коробки на столе папиросу, женщина у самовара вполголоса напомнила ему:

«Ты бросил курить!», тогда он, швырнув папиросу на мокрый медный поднос, взял другую и закурил, исподлобья и сквозь дым глядя на оратора. Оратор — небольшого роста, узкогрудый, в сереньком пиджаке поверх темной косоворотки, подпоясан широким ремнем, растрепанные, вихрастые волосы делают голову его не по росту большой, лицо его густо обрызгано веснушками. Самгин в несколько секунд узнал его:

«Лаврушка. Ученик медника».

— Вот ради спокоя и благоденствия жизни этих держателей денег, торговцев деньгами вы хотите, чтоб я залез куда-то в космос, в нутро вселенной, к чертовой

матери…

— Позвольте напомнить — здесь женщины, — обиженно заявила толстая дама с волосами, начесанными на уши.

— Я — вижу! А что?

— Нужно выражаться приличней…

— Ничего неприличного я не сказал и не собираюсь, — грубовато заявил оратор. — А если говорю смело, так, знаете, это так и надобно, теперь даже кадеты пробуют смело говорить, — добавил он, взмахнув левой рукой, большой палец правой он сунул за ремень, а остальные четыре пальца быстро шевелились, сжимаясь в кулак и разжимаясь, шевелились и маленькие медные усы на пестром лице.

— Я не своевольно пришел к вам, меня позвали умных речей послушать.

— Кто позвал, кто? — пробормотал человек со стесанным затылком.

— А вместо умных — безумные слышу, — извините! В классовом обществе о космосах и тайнах только для устрашения ума говорят, а другого повода — нет, потому что космосы и тайны прибылей буржуазии не наращивают. Космические вопросы эти мы будем решать после того, как разрешим социальные. И будут решать их не единицы, устрашенные сознанием одиночества своего, беззащитности своей, а миллионы умов, освобожденных от забот о добыче куска хлеба, — вот как! А о земном заточении, о том, что «смерть шатается по свету» и что мы под солнцем «плененные звери», — об этом, знаете, обо всем Федор Сологуб пишет красивее вас, однако так же неубедительно.

Он замолчал, облизнул нижнюю губу, снова взмахнул рукой и пошел к двери, сказав:

— Ну, и — прощайте!

До двери его проводили молчанием, только стесанный затылок, шумно вздохнув, прошептал:

— Ага, ушел.

Гости ждали, что скажет хозяин. Он поставил недокуренную папиросу на блюдечко, как свечку, и, наблюдая за струйкой дыма, произнес одобрительно, с небрежностью мудреца:

— Интересный малый. Из тех, которые мечтают сделать во всем мире одинаково приятную погоду…

Журналист, брат революционера, в свое время заподозренного в провокации, поддержал:

— …забывая о человеке из другого, более глубокого подполья, — о человеке, который признает за собою право дать пинка ногой благополучию, если оно ему наскучит.

— Да, — забывая о человеке Достоевского, о наиболее свободном человеке, которого осмелилась изобразить литература, — сказал литератор, покачивая красивой головой. — Но следует идти дальше Достоевского — к последней свободе, к той, которую дает только ощущение трагизма жизни… Что значит одиночество в Москве сравнительно с одиночеством во вселенной? В пустоте, где только вещество и нет бога?

Самгину казалось, что хозяина слушают из вежливости, невнимательно, тихонько рыча и мурлыкая. Хозяин тоже, должно быть, заметил это, встряхнув головой, он оборвал свою речь, и тогда вспыхнули раздраженные голоса.

— Каков? — спросил серый человек с квадратным затылком. — Бандит 906 года! Ага?

Особенно возмущались дамы, толстая говорила, болезненно сморщив лицо:

— А язык! Вы обратили внимание, какой вульгарный язык?

Ей вторила дама меньших объемов, приподняв плечи до ушей, она жаловалась:

— Отрава материализмом расширяется с удивительной быстротой…

Говорили все и, как всегда, невнимательно слушая, перебивая друг друга, стремясь обнародовать свои мысли. Брюнетка, туго зажатая в гладкое, как трико, платье красного цвета, толстогубая, в пенснэ на крупном носу, доказывала приятным грудным голосом:

— Мы обязаны этим реализму, он охладил жизнь, приплюснул людей к земле. Зеленая тоска и плесень всяких этих сборников реалистической литер[атуры] — сделала людей духовно нищими. Необходимо возвратить человека к самому себе, к источнику глубоких чувств, великих вдохновений…

Хозяин слушал, курил и в такт речи кивал головой.

Самгин не был удивлен появлением Лаврушки, он только вспомнил свое сравнение таких встреч со звездами:

«Мало их или много? Кажется — уже много…»

— Боже мой, — кто это, откуда? — с брезгливым недоумением, театрально спросила толстая дама. Шершавый литератор, покрякивая, покашливая, ответил:

— Поэт, стихи пишет, даже, кажется, печатает в большевистских газетках. Это я его привел — показать… Андреев утвердительно кивнул головою:

— Да, мне захотелось посмотреть: кто идет на смену нежному поэту Прекрасной Дамы, поэту «Нечаянной радости». И вот — видел. Но — не слышал. Не нашлось минуты заставить его читать стихи.

— Боже мой, боже! Куда мы идем? — драматически спросила дама.

Самгин, как всегда, слушал, курил и молчал, воздерживаясь даже от кратких реплик. По стеклам окна ползал дым папиросы, за окном, во тьме, прятались какие-то холодные огни, изредка вспыхивал новый огонек, скользил, исчезал, напоминая о кометах и о жизни уже не на окраине города, а на краю какой-то глубокой пропасти, неисчерпаемой тьмы. Самгин чувствовал себя как бы наполненным густой, теплой и кисловатой жидкостью, она колебалась, переливалась в нем, требуя выхода.

— Мы никуда не идем, — сказал он. — Мы смятенно топчемся на месте, а огромное, пестрое, тяжелое отечество наше неуклонно всей массой двигается по наклонной плоскости, скрипит, разрушается. Впереди — катастрофа.

Он замолчал, посмотрел — слушают ли? Слушали. Выступая редко, он говорил негромко, суховато, избегая цитат, ссылок на чужие мысли, он подавал эти мысли в других словах и был уверен, что всем этим заставляет слушателей признавать своеобразие его взглядов и мнений. Кажется, так это и было: Клима Ивановича Самгина слушали внимательно и почти не возражая.

— Мы, интеллигенты, аристократы духа, аристократия демоса, должны бы стоять впереди, у руля, единодушно, не разбиваясь на партии, а как единая культурно-политическая сила и, прежде всего, как сила культурная. Мы — не собственники, не корыстны, не гонимся за наживой…

— Крупной, — негромко вставил кто-то, но другой голос, погромче, тотчас же

строго произнес:

— Неправда!

Самгин продолжал, чувствуя, что он говорит более откровенно, чем всегда.

— Я не против собственности, нет! Собственность — основа индивидуализма, культура — результат индивидуального творчества, это утверждается всею силой положительных наук и всей красотой искусства. Не нужно быть большевиком, марксистом по-русски, анархо-марксистом для того, чтоб видеть: власть крупных собственников становится пагубной, разрушающей, а не творящей. Война показывает нам их безумие. Но есть другая группа собственников, их — большинство, они живут в непосредственной близости с народом, они знают, чего стоит превращение бесформенного вещества материи в предметы материальной культуры, в вещи, я говорю о мелком собственнике глухой нашей провинции, о скромных работниках наших уездных городов, вы знаете, что их у нас — сотни.

Он очертил фигуры и продолжал, подчиняясь чувству вражды:

— Литераторы наши, выходцы из этой здоровой среды, стремясь к славе, изображают провинциальную, уездную Русь легкомысленно, карикатурно…

— Там живут Тюхи, дикие рожи, кошмарные подобия людей, — неожиданно и очень сердито сказал <Андреев>. — Не уговаривайте меня идти на службу к ним — не пойду! «Человек рождается на страдание, как искра, чтоб устремляться вверх» — но я предпочитаю погибать с Наполеоном, который хотел быть императором всей Европы, а не с безграмотным Емелькой Пугачевым. — И, выговорив это, он выкрикнул латинское:

— Dixi!

Его слова развязали языки, люди как будто очнулись от дремоты, первым выступил редактор, он, растирая ладонью сероватую бородку, сказал:

— Это можно понять. Демократия как будто опоздала, да! Мы накануне столкновения] пролетария с капиталистом.

— Для нас, в нашей стране, это — преждевременно…

— Но как будто уже неизбежно…

Серый человек говорил наклонясь к литератору, схватив его за колено и собакой глядя в красивое, мрачно нахмуренное лицо:

— Вам, родимый мой, надобно познакомиться с умнейшим, с гениальнейшим…

Брюнетка в красном платье спорила с толстой дамой.

— Нам нужен вождь, — кричала брюнетка, а толстая, обмахивая красное лицо платком:

— Каждый должен быть вождем своих чувств и мыслей…

— Вот — именно: вождь! Захар Петрович Бердников…

— Я встречался с ним…

— Он сторонник союза с немцами, в соединении с ними мы бы взяли за горло всю Европу! Что надобно понять?

— Не нужно брать за горло…

— Нет — что нужно понять? Антанта имеет в наших банках свыше 60 процентов капитала, а немцы — только 37! Обидно, а?

Против Самгина стоял редактор и, дергая пуговицу жилета своего, говорил:

— Большевизм — жест отчаяния банкрота — социал-демократии. Вы знаете, что сказал Вандервельде?

— Пожалуйте кушать, что бог послал, — возгласила старушка. — Продукты теперь — ох, скудные стали! И — дорогие, дорогие…

Люди пошли в соседнюю комнату, а Самгин отказался кушать дорогие, но скудные продукты и, ни с кем не прощаясь, отправился домой. Он чувствовал себя нехорошо, обиженный тем, что ему помешали высказать мысли, которые он считал особенно ценными и очень своими. Помешали тогда, когда хотелось говорить вполне откровенно. Раньше бывало так, что, высказав свои мысли вслух, пропустив их пред собою, как на параде, он видел, какие из них возбуждают наиболее острое внимание, какие проходят неясными, незаметно, и это позволяло ему отсевать зерно от плевел. А на этот раз, прислушиваясь, он думал:

«Власть идей, очевидно, кончилась, настала очередь возмущенных чувств…»

Когда он вышел из дома на площадь, впечатление пустоты исчезло, сквозь тьму и окаменевшие в ней деревья Летнего сада видно было тусклое пятно белого здания, желтые пятна огней за Невой.

Город молчал, тоже как бы прислушиваясь к будущему. Ночь была холодная, сырая, шаги звучали глухо, белые огни фонарей вздрагивали и краснели, как бы собираясь погаснуть.

«Где чувства — там трагедии… Все эти люди бессильны, жалки. Что они могут сделать? Они — не для трагедий. Андреев — понимает трагизм бытия слишком физиологически, кожно; он вульгаризирует чувство трагического, уродливо опрощает его. Трагическое не может и не должно быть достоянием демократии, трагическое всегда было и будет достоянием исключительных людей». Он отводил Андрееву место в ряду «объясняющих господ», которые упрямо навязывают людям свои мысли и верования. Есть настроения, мысли, есть идеи, совершенно не нужные Ивану Дронову. И Тагильскому. Поставив Тагильского рядом с Дроновым, он даже замедлил шаг, чувствуя, что натолкнулся на некое открытие.

«Оба — интеллигенты в первом поколении. Так же и Кутузов…»

Среди «объясняющих господ» Кутузов был особенно враждебным. Он действует здесь, в Петрограде, и недавно Самгин слышал его речи. Это было у Шемякина, который затевал книгоиздательство и пригласил Самгина для составления договора с фабрикантом бумаги. Уже в прихожей, раздеваясь, услыхал знакомый голос, богатый ироническими интонациями. Кутузов говорил в приемной издателя, там стоял рояль, широкий ковровый диван, кожаные кресла и очень много горшков с геранью. Кутузов сидел у рояля, за его спиной оскалилась клавиатура, голова его четко выделялась на черной поднятой крышке, как будто замахнувшейся на него. Кроме его, в комнате находилось еще несколько человек.

— Наша армия уже разбита, и мы — накануне революции. Не нужно быть пророком, чтоб утверждать это, — нужно побывать на фабриках, в рабочих казармах. Не завтра — послезавтра революция вспыхнет. Пользуясь выступлением рабочих, буржуазия уничтожит самодержавие, и вот отсюда начнется нечто новенькое. Если буржуазия, при помощи военщины, генералов, сумеет организоваться — пролетариат будет иметь пред собой врага более опасного, чем царь и окружающие его.

Самгин, наклонясь над столом, следил исподлобья за оратором. В Кутузове его возмущало все: нелепая демократическая тужурка, застегнутая до горла, туго натянутая на плечах, на груди, придавала Кутузову сходство с машинистом паровоза, а густая, жесткая борода, коротко подстриженные волосы, большое, грубое обветренное лицо делало его похожим на прасола. Но особенно возмущали иронические глаза, в которых неугасимо светилась давно знакомая и обидная

улыбочка, и этот самоуверенный, крепкий голос, эти слова человека, которому все ясно, который считает себя вправе пророчествовать.

— У пролетариата — своя задача. Его передовые люди понимают, что рабочему классу буржуазные реформы ничего не могут дать, и его дело не в том, чтоб заменить оголтелое самодержавие — республикой для вящего удобства жизни сытеньких, жирненьких.

Он погладил одной ладонью бороду, другой провел по черепу со лба до затылка.

— Мне поставлен вопрос: что делать интеллигенции? Ясно: оставаться служащей капиталу, довольствуясь реформами, которые предоставят полную свободу слову и делу капиталистов. Так же ясно: идти с пролетариатом к революции социальной. Да или нет, третье решение логика исключает, но психология — допускает, и поэтому логически беззаконно существуют меньшевики, эсеры, даже какие-то народные социалисты.

Его слушали молча, и Самгин был уверен, что слушают враждебно. Жена издателя тихонько говорила:

— Просто — до ужаса… А говорят про него, что это — один из крупных большевиков… Вроде полковника у них. Муж сейчас приедет, — его ждут, я звонила ему, — сказала она ровным, бесцветным голосом, посмотрев на дверь в приемную мужа и, видимо, размышляя: закрыть дверь или не надо? Небольшого роста, но очень стройная, она казалась высокой, в красивом лице ее было что-то детски неопределенное, синеватые глаза смотрели вопросительно.

«Лет восемнадцать, — подумал Самгин, мысленно обругал Шемякина: — Скот».

— Почему интеллигенту будет легче жить с рабочим классом? — спросил кто-то вдруг и азартно. Кутузов ответил:

— Вот это — ясный, торговый постанов вопроса! Но я не думаю, что пролетариат будет кормить интеллигентов мармаладом. Но — вот что: уже даны технические условия, при наличии коих трудовая, производственная практика рабочего класса может быть развернута чрезвычайно широко и разнообразно. Классовый идиотизм буржуазии выражается, между прочим, в том, что капитал не заинтересован в развитии культуры, фабрикант создает товар, но нимало не заботится о культурном воспитании потребителя товаров у себя дома, для него идеальный потребитель — живет в колониях… Пролетариат-хозяин — особенно же наш пролетариат — должен будет развернуть широчайшую работу промышленно-технической организации своего огромнейшего хозяйства. Для этого дела потребуются десятки, даже сотни тысяч людей высокой, научной, интеллектуальной квалификации. Вопрос о мармаладе оставляю открытым.

— Мармалад? А, кажется, надобно говорить — мармелад, — пробормотала супруга издателя. — Хотите чаю? — предложила она.

Люди исчезали из приемной, переходя в другую комнату, исчезли, оставив за собой синюю пелену дыма. Самгин отказался от чая, спросил:

— Этот, который говорил, предлагает издать какие-то книги?

— Да, муж говорит: ходкие книги, кажется, уже купил… Распутин, большевики… бессарабские помещики, — говорила она, вопросительно глядя в лицо Самгина. — Все это поднимается, как будто из-под земли, этой… Как ее? Из чего лава?

— Магма?

— Да, магма. Ужасно странно все.

Она сидела положив нога на ногу, покачивая левой, курила тонкую папироску с длинным мундштуком, бесцветный ее голос звучал тихо и почти жалобно.

— Я всего второй год здесь, жила в Кишиневе, это тоже ужасно, Кишинев. Но здесь… Трудно привыкнуть. Такая противная, злая река. И всем хочется революции.

Пришел Шемякин. Он показался Самгину еще более красивым, холеным, его сопровождал Дронов, как бы для того, чтоб подчеркнуть парадность фигуры Шемякина. Снимая перчатки манерой премьера драмы, он весело говорил:

— Последняя новость: полное расстройство транспорта! Полнейшее, — прибавил он и взмахом руки начертил в воздухе крест. — Четверть всех локомотивов требует капитального ремонта, сорок процентов постоянно нуждаются в мелком.

Расправляя смятые в комок перчатки, жена смотрела на него, сдвинув брови, лоб ее разрезала глубокая морщина, и все лицо так изменилось, что Самгин подумал: ей, наверное, под тридцать.

— Там кто шумит? — приятельски спросил ее Дронов, она ответила:

— Писатели и еще один. — Она обратилась к мужу: — Этот, большевик…

— Ага! Ну — с ним ничего не выйдет. И вообще — ничего не будет! Типограф и бумажник сбесились, ставят такие смертные условия, что проще сразу отдать им все мои деньги, не ожидая, когда они вытянут их по сотне рублей. Нет, я, кажется, уеду в Японию.

— Поезжай, — одобрительно сказал Дронов. — Дай мне денег, я налажу издательство, а ты — удались и сибаритствуй. Налажу дело, приведу отечество в порядок — телеграфирую: возвращайся, все готово для сладкой жизни, чорт тебя дери!

— Шут, — сказал Шемякин, усмехаясь. — Итак, Клим Иванович, беседа о договорах с типографией и бумагой — откладывается…

— Пойдемте чай пить, — предложила жена. Самгин отказался, не желая встречи с Кутузовым, вышел на улицу, в сумрачный холод короткого зимнего дня. Раздраженный бесплодным визитом к богатому барину, он шагал быстро, пред ним вспыхивали фонари, как бы догоняя людей.

— От кого бежишь? — спросил Дронов, равняясь с ним, и, сняв котиковую шапку с головы своей, вытер ею лицо себе. — Зайдем в ресторан, выпьем чего-нибудь, поговорить надо! — требовательно предложил он и, не ожидая согласия, заговорил:

— В Японию собирается. Уедет и увезет большие деньги, бык! Стратонов наковырял денег и — на Алтай, будто бы лечиться, вероятно — тоже в Японию. Некоторые — в Швецию едут.

— Ты все о деньгах, — сердито заметил Самгин.

— Да, да, я все о них! Приятно звучат: донь-динь-дон-бо-омм — по башке. Кажется, опоздал я, — теряют силу деньги, если они не золото… Видел брата?

— Какого брата?

— Дмитрия? Не видел? Идем сюда…

Вошли в ресторан, сели за стол в уголке, Самгин терпеливо молчал, ожидая рассказа, соображая: сколько лет не видел он брата, каким увидит его? Дронов не торопясь выбрал вино, заказал сыру, потом спросил:

— Хочешь глинтвейна? Здесь его знаменито делают. Самгин, закуривая папиросу, кивнул головой, спросил, не вытерпев:

— Где ты видел Дмитрия?

— Ночевал у меня, Тося прислала. Сильно постарел, очень! Вы — не переписывались?

— Нет. Что он делает? Дронов усмехнулся.

— Не знаю, не спрашивал. В девятом году был арестован в Томске, выслан на три года, за попытку бежать дали еще два и — в Березов.

— Пробовал бежать? — спросил Самгин, попытка к бегству не совпадала с его представлением о брате.

— Ты — что: не веришь? Самгин промолчал.

— Спросил твой адрес, я — дал.

— Естественно.

— А Тося действует в Ярославле, — задумчиво произнес Дронов.

— С большевиками?

— Повидимому — да.

Беседа не разгоралась. Самгин не находил вопросов, чувствуя себя подавленным иронической непрерывностью встреч с прошлым.

«Дмитрий… Бесцветный, бездарный… Зачем? Брат. Мать».

Подумалось о том, как совершенно одинок человек: с возрастом даже родовые связи истлевают, теряют силу.

Дронов молча пил вино, иногда кривил губы, прищуривал глаза, усмехаясь, спрашивал вполголоса:

— Слышишь? Да, Самгин слышал:

— Я утверждаю: искусство только тогда выполнит свое провиденциальное назначение, когда оно начнет говорить языком непонятным, который будет способен вызывать такой же священный трепет пред тайной — какой вызывается у нас церковнославянским языком богослужений, у католиков — латинским.

Это говорил высоким, но тусклым голосом щегольски одетый человек небольшого роста, черные волосы его зачесаны на затылок, обнажая угловатый высокий лоб, темные глаза в глубоких глазницах, желтоватую кожу щек, тонкогубый рот с черненькими полосками сбритых усов и острый подбородок. Говорил он стоя, держась руками за спинку стула, раскачивая его и сам качаясь. Его слушали, сидя за двумя сдвинутыми столами, три девицы, два студента, юнкер, и широкоплечий атлет в форме ученика морского училища, и толстый, светловолосый юноша с румяным лицом и счастливой улыбкой в серых глазах. Слушали нервно, несогласно, прерывая его речь криками одобрения и протеста.

— Да, да — я утверждаю: искусство должно быть аристократично и отвлечённо, — настойчиво говорил оратор. — Мы должны понять, что реализм, позитивизм, рационализм — это маски одного и того же дьявола — материализма. Я приветствую футуризм — это все-таки прыжок в сторону от угнетающей пошлости прошлого. Отравленные ею, наши отцы не поняли символизма…

— И Тося где-нибудь тоже ораторствует, — пробормотал Дронов, встряхивая в бокале белое вино. — Завтра поеду к ней. Знаю, как найти, — сказал он, как будто угрожая. — Интересно рассказывал Дмитрий Иванов, — продолжал он, вздохнув и мешая Самгину слушать.

Самгин проглотил последние капли горячего вина, встал и ушел, молча кивнув головой Дронову.

Дмитрий явился в десятом часу утра, Клим Иванович еще не успел одеться. Одеваясь, он посмотрел в щель неприкрытой двери на фигуру брата. Держа руки за спиной, Дмитрий стоял пред книжным шкафом, на сутулых плечах висел длинный, до колен, синий пиджак, черные брюки заправлены за сапоги.

«Машинист. Сцепщик вагонов...»

Потребовалось усилие — хотя и небольшое — для того, чтоб подойти к брату. Ковер и мягкие зимние туфли заглушали шаги, и Дмитрий обернулся лишь тогда, когда брат произнес:

— Здравствуй!

Дмитрий порывисто обнял его, поцеловал в щеку и — оттолкнув, чихнул. Это вышло нелепо, серое лицо Дмитрия покраснело, он пробормотал:

— Извини... Одеколон. — Чихнул еще два раза и <сказал>: — Очень крепкий.

— Постарели мы! — сказал Клим Самгин, садясь к столу, зажигая спиртовку под кофейником.

— Ничего, поживем! — бодро ответил Дмитрий и похвалил, усмехаясь: <— А ты — молодец!>

Клим Самгин нашел, что такая встреча братьев знакома ему, описана в каком-то романе, хотя там не чихали, но там тоже было что-то нелепое, неловкое.

— Ну, рассказывай, — предложил он, присматриваясь к брату. Дмитрий, видимо, только что постригся, побрился, лицо у него простонародное, щетинистые седые усы делают его похожим на солдата, и лицо обветренное, какие бывают у солдат в конце лета, в лагерях. Грубоватое это лицо освещают глаза серовато-синего цвета, в детстве Клим называл их овечьими.

— Место — неуютное. Тоскливо. Смотришь вокруг, — говорил Дмитрий, — и возмущаешься идиотизмом власти, их дурацкими приемами гасить жизнь. Ну, а затем, присмотришься к этой пустынной земле, и как будто почувствуешь ее жажду человека, — право! И вроде как бы ветер шепчет тебе: «Ага, явился? Ну-ко, начинай...»

«Все еще фантазирует, поэтизирует», — подумал Клим. Говорил Дмитрий голосом очень гулким, но шепеляво, мятыми словами, точно у него язык болел.

— Как странно говоришь ты, — заметил он.

— Это — от зубов, — объяснил Дмитрий, — две протезы вставил в Ярославле, почти весь заработок истратил на эту реформу... Природные зубы цынга уничтожила. Там насчет овощей — слабо, и мясо — редкость, даже оленье. Все — рыба, рыба. И погода там рыбья, сухопутному человеку обидно: на земле — болота, сверху — дождь. И грибы, грибы... Речка Сосьва — это просто живорыбный садок. А в сорока верстах — Обь, тоже рыбье царство, — говорил Дмитрий, с явным наслаждением прихлебывая кофе и зачем-то крепко нажимая кулаком левой руки на крышку стола.

Он, кратко и точно топором вырубая фигуры, рассказал о сыне местного купца, капитане камского парохода, высланном на родину за связи с эсерами.

— Большой, волосатый, рыжий, горластый, как дьякон, с бородой почти до пояса, с глазами быка и такой же силой, эдакое, знаешь, сказочное существо. Поссорится с отцом, старичком пудов на семь, свяжет его полотенцами, втащит по лестнице на крышу и, развязав, посадит верхом на конек. Пьянствовал, разумеется. Однако — умеренно. Там все пьют, больше делать нечего. Из трех с лишком тысяч населения только пятеро были в Томске и лишь один знал, что такое театр, вот как!

Дмитрий замолчал, должно быть, вспомнив что-то волнующее, тень легла на его лицо, он опустил глаза, подвинул чашку свою брату.

«Заполняет выдумками пустые года жизни своей», — определил Клим, наливая кофе в чашку, и спросил:

— Ну, что же этот… богатырь?

— Его цынга сожрала, в полгода, — ответил брат.

— Странное дело, — продолжал он, недоуменно вздернув плечи, — но я замечал, что чем здоровее человек, тем более жестоко грызет его цынга, а слабые переносят ее легче. Вероятно, это не так, а вот сложилось такое впечатление. Прокаженные встречаются там, меряченье нередко… Вообще — край не из веселых. И все-таки, знаешь, Клим, — замечательный народ живет в государстве Романовых, чорт их возьми! Остяки, например, и особенно — вогулы…

Он долго и с жаром рассказывал о вогулах, о их племенном родстве с мадьярами, остяках, о ежегодной ярмарке, на которой местные торгаши нагло грабят инородцев.

— Грабить — умеют, да! Только этим уменьем они и возвышаются над туземцами. Но жадность у них коротенькая, мелкая — глупая и даже как-то — бесцельна. В конце концов кулачки эти — люди ни к чему, дрянцо. временно исполняющее должность людей.

Клим Иванович Самгин присматривался к брату все более внимательно. Под пиджаком Дмитрия, как латы, — жилет из оленьей или лосиной кожи, застегнутый до подбородка, виден синий воротник косоворотки. Ладони у него широкие, точно у гребца. И хотя волосы седые, но он напоминает студента, влюбленного в Марину и служившего для всех справочником по различным вопросам.

«Жил в пустом месте и вот наполняет его своими измышлениями», — настойчиво повторял Клим Самгин. слушая.

— Какие-то одноклеточные организмы без функции, — произнес Дмитрий и добродушно засмеялся. — Это, знаешь, мой титул, меня наградил им один товарищ в Полтаве, марксист. Я тогда был — помнишь? — настроен реформаторски, с большевизмом — не ладил. И как-то в споре он мне и сказал: «Знаете вы, Самгин, много, но это — бесплодное знание, оно у вас не функционирует. Материю на костюмчик приобрели хорошую, а сшить костюм — не умеете и вообще, говорит, вы — одноклеточный организм, без функции». Возражаю: «Нет организма без функции!» Не уступает: «Есть, и это — вы!» Насмешил он меня, но — я задумался, а потом серьезно взялся за Маркса и понял, что его философия истории совершенно устраняет все буржуазные социологии и прочие хитросплетения. Затем — Ленин, это, знаешь, крупнейший политический мыслитель…

Он замолчал, отмахиваясь от дыма, потом заметил:

— Много ты куришь! И спросил:

— Про тебя говорят — отошел от партии? Клим Самгин ответил вопросом:

— Кто это говорит?

— Тося, Антонида…

— Я никогда не был членом партии… какой-либо и о политике с этой дамой не беседовал.

— Ну, она — не дама, нет, — пробормотал Дмитрий, а Клим, чтоб избежать дальнейшей беседы на эту тему, спросил:

— Ты знаешь, что Марину убили?

— Да, знаю, как же! Степан сказал. Так и не известно — кто, за что?

— Нет.

— Любопытно, — вполголоса произнес Дмитрий, сунув руки в карманы пиджака и глядя поверх головы брата в окно, — за окном ветер, посвистывая, сорил снегом.

— Ты ведь — семейный? — спросил Клим.

— Нет, нет, — быстро ответил брат и даже отрицательно потряс головой.

— Но, кажется, ты говорил…

— Это — не вышло. У нее, то есть у жены, оказалось множество родственников, дядья — помещики, братья — чиновники, либералы, но и то потому, что сепаратисты, а я представитель угнетающей народности, так они на меня… как шмели, гудят, гудят! Ну и она тоже. В общем она — славная. Первое время даже грустные письма писала мне в Томск. Все-таки я почти три года жил с ней. Да. Ребят — жалко. У нее — мальчик и девочка, отличнейшие! Мальчугану теперь — пятнадцать, а Юле — уже семнадцать. Они со мной жили дружно…

Он выговорил все это очень быстро, а замолчав, еще раз подвинул чашку Климу и, наблюдая, как брат наливает кофе, сказал тише и — с удивлением или сожалением:

— А я, знаешь, привык думать о тебе как о партийце.

И когда, в пятом году, ты сказал мне, что не большевик, я решил: конспирируешь…

От дальнейшего спас Клима Дронов, — он вбежал в комнату так, как будто его сильно толкнули в спину, взмахнул шапкой и пронзительно объявил:

— Сегодня ночью Пуришкевич, князь Юсупов и князек из Романовых, Дмитрий Павлов, убили Распутина.

Несколько секунд все трое молчали, затем Дронов, глядя на братьев, стирая шапкой снег с пальто, потребовал:

— Ну — что скажете, а?

Довольный тем, что Иван явился в неприятную минуту да еще с такой новостью, Клим Иванович Самгин усмехнулся:

— Ты кричишь об этом, как о событии мирового значения.

— Любопытно, — Дмитрий и второй раз произнес это слово вполголоса, а Дронов, снимая пальто, обиженно пробормотал:

— А — что, это — финал оперетки? Ты — сообрази: вчера они Распутина, а завтра — царя Николая.

Дмитрий, махнув рукой, вынул из кармана брюк серебряные часы без цепочки и, глядя на циферблат, сказал медленно и скучно:

— Романовых — много, всех истребить не успеют, который-нибудь испугается и предложит Гучковым-Милюковым: сажайте меня на престол, я буду слушаться ваших указаний.

— Конечно, событие незаурядное, — примирительно заметил Клим, Дронов возбужденно потирал руки, подпрыгивал, играл глазами, как бы стараясь спрятать их, Самгин наблюдал за ним, не понимая; чем испуган или доволен Иван?

Дмитрий, протянув руку брату, сказал:

— Мне — пора.

Дронов пошел вслед за ним и дал Климу Самгину время подумать:

«Мне следовало сказать ему: заходи или что-нибудь в этом роде. Но — нелепо разрешать брату посещать брата. Мы не ссорились», — успокоил он себя, прислушиваясь к разговору в прихожей.

— Как же я найду ее? — спрашивал Дронов. Дмитрий неохотно ответил:

— Я же говорю вам: укажет доктор Изаксон.

— Ага...

Возвратясь, Дронов быстро спросил:

— Как ты его находишь, а?

И раньше, чем Самгин нашел, как следует ответить, Дронов, бегая от стены к стене, точно мышь в мышеловке, забормотал, потирая руки:

— Я его помню таким... скромным. Трещит все, ломается. Революция лезет изо всех щелей. Революция... мобилизует. Правые — левеют, замечаешь, как влиятелен становится прогрессивный блок?

Слепо наткнулся на кресло, сел и, хлопая ладонями по коленям своим, вопросительно и неприятно остановил глаза на лице Самгина, — этим он заставил Клима Ивановича напомнить ему:

— Городской и земский съезды разогнаны.

— А — обыватели? Рабочие?

— Обыватели революции не делают. Рабочие — на фронтах.

Дронов, тяжело вздохнув, чмокнул губами.

— На фронтах тоже неладно. Дмитрий Иванов почти всю ночь рассказывал мне. Признаки — грозные. И убийство Распутина — не шуточка! Нет...

— Чего ты боишься? — спросил Самгин, усмехаясь.

— А я — не знаю, — сказал Дронов. — Я, может быть, и не боюсь.

Он встал, оглянулся, взял с дивана шапку и, глядя внутрь ее, сообщил, приподняв плечи:

— Завтра поеду в Ярославль. Поглядеть на Тосю. Смешно?

— Не очень.

— Да. Первая и единственная. Жил я с ней... замечательно хорошо. Почти три года, а мне скоро пятьдесят. И лет сорок прожил я... унизительно.

— Не ожидал, что ты заговоришь в таком... плачевном тоне, — насмешливо и сухо заметил Самгин.

— Расстроил меня Дмитрий Иванов, — пробормотал Дронов, надевая пальто, и, крякнув, произнес более внятно: — А знаешь, Клим Иванов, не легкое дело найти в жизни смысл.

Наконец он ушел, оставив Самгина утомленным и настроенным сердито. Он перешел в кабинет, сел писать апелляцию по делу, проигранному им в окружном суде. но не работалось. За окном посвистывал ветер, он все гуще сорил снегом, снег шаркал по стеклам, как бы нашептывая холодные, тревожные думы.

«Да, найти в жизни смысл не легко... Пути к смыслу страшно засорены словами, сугробами слов. Искусство, наука, политика — Тримутри, Санкта Тринита — Святая Троица. Человек живет всегда для чего-то и не умеет жить для себя, никто не учил его этой мудрости». Он вспомнил, что на тему о человеке для себя интересно говорил Кумов: «Его я еще не встретил».

«Дмитрий нашел [смысл] в политике, в большевизме. Это — можно понять как последнее прибежище для людей его типа — бездарных людей. Для неудачников. Обилие неудачников — характерно для русской интеллигенции. Она всегда смотрела на оебя как на средство, никто не учил ее быть самоцелью, смотреть на себя как на ценнейшее явление мира».

Он сидел, курил, уставая сидеть — шагал из комнаты в комнату, подгоняя мысли одну к другой, так провел время до вечерних сумерек и пошел к Елене. На улицах было не холодно и тихо, мягкий снег заглушал звуки, слышен был только шорох, похожий на шопот. В разные концы быстро шли разнообразные люди, и казалось, что все они стараются как можно меньше говорить, тише топать.

У Елены, как всегда к вечернему чаю, гости: профессор Пыльников и какой-то высокий, тощий, с козлиной, серого цвета, бородкой на темном, точно закоптевшем лице. Елена встретила веселым восклицанием:

— Слышали о Распутине? Вот это — трюк! Знакомьтесь.

— Воинов, — глубоким басом, неохотно назвал себя лысый; пожимая его холодную жесткую руку, Самгин видел над своим лицом круглые, воловьи глаза, странные глаза, прикрытые синеватым туманом, тусклый взгляд их был сосредоточен на конце хрящеватого, длинного носа. Он согнулся пополам, сел и так осторожно вытянул длинные ноги, точно боялся, что они оторвутся. На узких его плечах френч, на ногах — галифе, толстые спортивные чулки и уродливые ботинки с толстой подошвой.

Пыльников в штатском костюме из мохнатой материи зеленоватого цвета как будто оброс древесным лишаем, он сильно похудел; размахивая черной, в серебре, записной книжкой, он тревожно говорил Елене:

— Я почти три года был цензором корреспонденции солдат, мне отлично известна эволюция настроения армии, и я утверждаю: армии у нас больше не существует.

— Лимона — нет, — сказала Елена, подвигая Самгину стакан чая, прищурив глаза, в зубах ее дымилась папироса. — Говорят, что лимонами торгует только итальянский посол. Итак?

Подскакивая на стуле, Пыльников торопливо продолжал:

— Василий Кириллович цензурует год и тоже может подтвердить: есть отдельные части, способные к бою, но армии как целого — нет!

— Да, — сказал Воинов, качнув головой, и, сунув палец за воротник френча, болезненно сморщил лицо.

— Они меня пугают, — бросив папиросу в полоскательницу, обратилась Елена к Самгину. — Пришли и говорят: солдаты ни о чем, кроме земли, не думают, воевать — не хотят, и у нас будет революция.

— Дорогая, вы — шаржируете!

— Нисколько. Я — уже испугана. Я не хочу революции, а хочу — в Париж. Но я не знаю, кому должна сказать: эй, вы, прошу не делать никаких революций, и — перестаньте воевать!

Она шутила, но Самгин знал, что она сердится, искусно раскрашенное лицо ее улыбалось, но глаза сверкали сухо, и маленькие уши как будто распухли, туго

налитые фиолетовой кровью.

Небольшая, ловкая, в странном платье из разномерных красных лоскутков, она напоминала какую-то редкую птицу.

— Вы очень мило шутите, — настойчиво прервал ее Пыльников, но она не дала ему говорить.

— Вам хочется, чтоб я говорила серьезно? Да будет! И, сжав пальцы рук в кулачок, положив его на край стола пред собой, она крепким голосом сказала:

— Насколько я знаю, — солдаты революции не делают. Когда французы шли на пруссаков, они пели:

Мы идем, идем, идем,Точно бараны на бойню.Нас перебьют, как крыс,Бисмарк будет смеяться!

Пересказав песню по-французски, она продолжала:

— Так это и случилось: пруссаки вздули их. Но, возвратясь в Париж, они немедленно перебили коммунаров. Вот — солдаты! Вероятно, так же будет и у вас. Будет или нет — увидим. А до той поры я дьявольски устала от этих почти ежедневных жалоб на солдат, от страха пред революцией, которым хотят заразить меня. Я — оптимистка или — как это называется? — фаталистка. Будет революция? Значит нужно, чтоб она была. И чтоб встряхнула вас. Заставила бы что-нибудь делать для революции, против революции — что больше нравится вам. Понятно?

Самгин бесшумно аплодировал ей, так что можно было думать — у него чешутся ладони.

«Это не Алина, не выдает себя жертвой и страдалицей…»

— Да, — уныло начал Пыльников, почесывая висок. — Но, видите ли…

Воинов подобрал ноги свои, согнул их, выпрямил, поднялся во весь рост и начал медленно, как бы заикаясь, выжимать из себя густые, тяжелые слова:

— Война жестоко обнаружила основное, непримиримое противоречие истории, которое нас учат понимать превратно. Существует меньшинство, творящее культуру, и большинство, которое играет в этом процессе роль подчиненную, механическую. Автоматы. Физическая сила. Но, в то же время, — Спартак. Стенька Разин. Почти непрерывный Разин. Дикарь, который хочет украсить себя и жену золотом. Только этого хочет. Да, этого. Ницше, гениальный мыслитель, Прометей конца девятнадцатого столетия, первый глубоко понял и указал нам ошибочность нашего понимания логики. И философии истории. Смысла жизни.

Воинов сунул за воротник френча указательные пальцы и, потянув воротник в разные стороны, на секунду закрыл глаза, он делал это, не прерывая натужную речь.

— Интеллигент-революционер считается героем. Прославлен и возвеличен. А по смыслу деятельности своей он — предатель культуры. По намерениям — он враг ее. Враг нации. Родины. Он, конечно, тоже утверждает себя как личность. Он чувствует: основа мира, Архимедова точка опоры — доминанта личности. Да. Но он мыслит ложно. Личность должна расти и возвышаться, не опираясь на массу, но попирая ее. Аристократия и демократия. Всегда — это. И — навсегда.

Он шагнул к Елене, согнулся и, опираясь о стол рукою, выдавил на нее строгие слова:

— Мы — накануне катастрофы. Шутить уже преступно…

— Даже преступно? — спросила женщина, усмехаясь.

— Даже. И преступно искусство, когда оно изображает мрачными красками жизнь демократии. Подлинное искусство — трагично. Трагическое создается насилием массы в жизни, но не чувствуется ею в искусстве. Калибану Шекспира трагедия не доступна. Искусство должно быть более аристократично и непонятно, чем религия. Точнее: чем богослужение. Это — хорошо, что народ не понимает латинского и церковнославянского языка. Искусство должно говорить языком непонятным и устрашающим. Я одобряю Леонида Андреева.

— Ну, а я терпеть не могу и не читаю его, — довольно резко заявила Елена. — И вообще все, что вы говорите, дьявольски премудро для меня. Я — не революционерка, не пишу романов, драм, я просто — люблю жить, вот и все.

— Я тоже не могу согласиться, — заявил Пыльников, но не очень решительно, и спросил: — А вы, Клим Иванович?

— Когда так часто говорят о Марксе, естественно вспомнить Ницше, — не сразу ответил Самгин и затем предложил: — Послушаем дальше.

Он не мог определить своего отношения к смыслу сказанного Воиновым, но он почувствовал, что в разное время и все чаще его мысли кружились близко к этому смыслу.

Он вспомнил мораль басни «Пустынник и медведь»:

«Услужливый дурак опаснее врага».

Воинов снова заставил слушать его, манера говорить у этого человека возбуждала надежду, что он, может быть, все-таки скажет нечто неслыханное, но покамест он угрюмо повторял уже сказанное. Пыльников, согласно кивая головой, вкрадчиво вмешивал в его тяжелые слова коротенькие реплики с ясным намерением пригладить угловатую речь, смягчить ее.

— Кто это? — тихонько спросил Самгин Елену, она, глядя на свое отражение в серебре самовара, приглаживая пальцем брови, ответила вполголоса:

— Кажется, земский начальник, написал или пишет книгу, новая звезда, как говорят о балете. Пыльников таскает всяких… эдаких ко мне, потому что жена не велит ему заниматься политикой, а он думает, что мне приятно терпеть у себя…

Оборвав слова усмешкой, она докончила фразу не очень остроумным, но крепким каламбуром на тему о домах терпимости и тотчас перешла к вопросу более важного характера:

— Послушайте, сударь, — что же будет с деньгами? Надобно покупать золото. Ты понимаешь что-нибудь в старинных золотых вещах?

Нет, Самгин не понимал, но сегодня Елена очень нравилась ему, и, желая сделать приятное ей, он сказал, что пришлет человека, который, наверно, поможет ей в этом случае.

— Иван Дронов, я пришлю его завтра, послезавтра.

Величественно, как на сцене театра, вошла дама, в костюме, отделанном мехом, следом за нею щеголеватый студент с бескровным лицом. Дама тотчас заговорила о недостатке съестных продуктов и о дороговизне тех, которые еще не съедены.

— Двенадцать рублей фунт! — с ужасом в красивых глазах выкрикивала она. — Восемнадцать рублей! И вообще покупать можно только у Елисеева, а еще лучше — в замечательном магазине офицеров гвардии…

Пыльников уже строго допрашивал студента:

— Кто ваши учителя жизни? Не персонально ваши… Студент кротко, высоким тенором отвечал:

— Наиболее охотно читаются: Розанов, Лев Шестов, Мережковский… Из иностранцев — Бергсон, мне кажется.

Воинов вытягивал слова о доминанте личности, снова напоминая Самгину речи Кумова, дама с восторгом рассказывала:

— Есть женщина, продающая вино и конфекты из запасов Зимнего дворца, вероятно, жена какого-нибудь дворцового лакея. Она ходит по квартирам с корзиной и — пожалуйте! Конфекты — дрянь, но вино — отличное! Бордо и бургонь. Я вам пришлю ее.

— Этот — Андронов? Антонов? — не очень жулик? — спросила Елена, — Самгин успокоительно сказал:

— Нет, нет. Воинов гудел:

— Социалисты прокламируют необходимость растворения личности в массе. Это — мистика. Алхимия.

В помощь ему и вслед за ним быстро бежал бойкий голосок Пыльникова:

— Возвращение человека назад, в первобытное состояние, превращение существа, тонко организованного веками культурной жизни, в органическое вещество, каким история культуры и социология показывает нам стада первобытных людей…

Клим Иванович Самгин чувствовал себя человеком, который знает все, что было сказано мудрыми книжниками всего мира и многократно в раздробленном виде повторяется Пыльниковыми, Воиновыми. Он был уверен, что знает и все то, что может быть сказано человеком в защиту от насилия жизни над ним, знает все, что сказали и способны сказать люди, которые утверждают, что человека может освободить только коренное изменение классовой структуры общества.

«Дмитрий Самгин, освободитель человечества», — подумал Клим Иванович Самгин в тон речам Воинова, Пыльникова и — усмехнулся, глядя, как студент, слушая речи мудрецов, повертывает неестественно белое лицо от одного к другому.

Ему казалось, что люди становятся все более мелкими, ничтожными, война подавила, расплющила их. В сравнении с любым человеком он чувствовал себя богачом, человеком огромного опыта, этот опыт требовал других условий, для того чтоб вспыхнуть и ярко осветить фигуру его носителя. Но бесполезно говорить с людями, которые не умеют слушать и сами — он видел это — говорят лучше его, смелее. Опыт тяготил, он истлевал бесплодно, и, несмотря на то, что жизнь была обильна событиями, — Самгину жилось скучно. Все знакомо, все надоело. Хотелось какого-то удара, набатного звона, тревоги, которая испугала бы людей, толкнула, перебросила в другое настроение. Хотелось конца неопределенности.

Конец как будто приближался, но неравномерно, прыжками, прыжок вперед и тотчас же назад. В конце ноября Дума выступила довольно единодушно оппозиционно, но тотчас же последовал раскол «прогрессивного блока», затем правительство разогнало Союзы городов и земств. Аппаратом, который отмечал колебания событий, служил для Самгина Иван Дронов. Жил он недалеко и почтя ежедневно, утром отправляясь на охоту за деньгами, являлся к Самгину и точно стрелял в него новостями, слухами, сплетнями. Однажды Самгин спросил его:

— В конце концов — что ты делаешь, Иван?

— Деньги.

— И — что же?

— Ничего.

— То есть?

— Ну что — то есть? — сердито откликнулся Дронов. — Ну, — спекуляю разной разностью. Сорву пяток-десяток тысяч, потом — с меня сорвут. Игра. Азарт. А что мне еще делать? Вполне приятно и это.

Он сильно старел» на скуластом лице, около ушей, на висках явились морщины, под глазами набухли сизые мешки, щеки, еще недавно толстые, тугие, — жидко тряслись. Из Ярославля он возвратился мрачный.

— Ну, рассказывай, как — Тося? Глядя в пол, Дронов сказал:

— Ходит в худых башмаках. Работает на фабрике махорку. Живет с подругой в лачуге у какой-то ведьмы.

Говорил он дергая пуговицы жилета, лацканы пиджака, как бы ощупываясь, и старался говорить смешно.

— Ведьма, на пятой минуте знакомства, строго спросила меня: «Что не делаете революцию, чего ждете?» И похвасталась, что муж у нее только в прошлом году вернулся из ссылки за седьмой год, прожил дома четыре месяца и скончался в одночасье, хоронила его большая тысяча рабочего народа. Часа два беседовала она со мной, я мычал разное, и казалось мне, что она меня изобьет, выгонит. Пришла Тося, она потемнела, стала как чугунная, а вообще — такая же, как была. Подруга — курчавая, носатая, должно быть — еврейка, интеллигентка. Вокруг них вращается на одной ноге ведьмин сын, весь — из костей, солдат, наступал, отступал, получил Георгия. Все — единодушны, намерены превратить просто войну в гражданскую войну, как заповедано в Циммервальде.

Он замолчал, раскачивая на золотой цепочке карманные часы. Самгин, подождав, спросил:

— Что же говорит Тося?

— Вероятно, то, что думает. — Дронов сунул часы в карман жилета, руки — в карманы брюк. — Тебе хочется знать, как она со мной? С глазу на глаз она не удостоила побеседовать. Рекомендовала меня своим как-то так: человек не совсем плохой, но совершенно бестолковый. Это очень понравилось ведьмину сыну, он чуть не задохнулся от хохота.

И, мигая в попытках остановить блуждающие глаза на лице Самгина, он заговорил тише:

— Кажется, ей жалко было меня, а мне — ее. Худые башмаки… У нее замечательно красивая ступня, пальчики эдакие аккуратные… каждый по-своему — молодец. И вся она — красивая, эх как! Будь кокоткой — нажила бы сотни тысяч, — неожиданно заключил он и даже сам, должно быть, удивился, — как это он сказал такую дрянь? Он посмотрел на Самгина, открыв рот, но Клим Иванович, нахмурясь, спросил:

— Алину Телепневу помнишь? Тоже красавица…

— Да. Где она?

— Не знаю. Была кокоткой, служила у Омона, сошлась с одним богатым… уродом, он застрелился…

— Чорт знает как это все, — пробормотал Дронов, крепко поглаживая выцветшие рыжие волосы на черепе. — Помню — нянька рассказывала жития разных преподобных отшельниц, великомучениц, они уходили из богатых семей, от любимых мужей, детей, потом римляне мучили их, травили зверями…

Клим Иванович Самгин вспомнил рассказанную ему отцом библейскую легенду о жертвоприношении Авраама, вспомнил себя дон-Кихотом, а Дронова — Санчо и

докторально сказал:

— Всегда были — и будут — люди, которые, чувствуя себя неспособными сопротивляться насилию над их внутренним миром, — сами идут встречу судьбе своей, сами отдают себя в жертву. Это имеет свой термин — мазохизм, и это создает садистов, людей, которым страдание других — приятно. В грубой схеме садисты и мазохисты — два основных типа людей.

Он замолчал, чувствуя, что сказанное двусмысленно и отводит его, Самгина, куда-то в сторону от самого себя. Но он тотчас же нашел выход к себе:

— Поставим вопрос: кто больше страдает? Разумеется, тот, кто страдает сильнее. Байрон, конечно, страдал глубже, сильнее, чем ткачи, в защиту которых он выступал в парламенте. Так же и Гауптман, когда он писал драму о ткачах.

Прихлебывая кофе, он продолжал:

— Необходимо различать жертвенность и героизм. Римлянин Курций прыгнул в пропасть, которая разверзлась среди Рима, — это наиболее прославленный акт героизма и совершенно оправданный акт самоубийства. Ничто не мешает мне думать, что Курция толкнул в пропасть страх, вызванный ощущением неизбежной гибели. Его могло бросить в пропасть и тщеславное желание погибнуть первому из римлян и брезгливое нежелание погибать вместе с толпой рабов.

— Н-да, — скучно сказал Дронов, — иной раз очень хочется прыгнуть куда-то…

«Ничего не понял», — с негодованием подумал Клим Иванович и осудительно сказал:

— Ты, кажется, уже излишне много прыгаешь и бегаешь.

Дронов, застегивая пуговицы пиджака, пробормотал уходя:

— В детстве — не доиграл. Благородные дети не принимали меня в свои игры. Вот и доигрываю…

«Что это он — обиделся?» — подумал Самгин и тотчас забыл о нем, как забывают о слуге, если он умело исполняет свои обязанности. Дронов существовал для него только в те часы, когда являлся пред ним и рассказывал о многообразных своих делах, о том, что выгодно купил и перепродал партию холста или книжной бумаги, он вообще покупал, продавал, а также устроил вместе с Ногайцевым в каком-то мрачном подвале театрик «сатиры и юмора», — заглянув в этот театр, Самгин убедился, что юмор сведен был к случаю с одним нотариусом, который на глазах своей жены обнаружил в портфеле у себя панталоны какой-то дамы. Театр, не просуществовав месяца, превратился в кафе-шантан. Самгин спросил Дронова:

— Что же — потерял ты на этом?

— Нет, — Ногайцев потерял. Это не первый раз он теряет. Он глуп и жаден, мне хочется разорить его, чтоб он, собачий сын, в кондуктора трамвая или в почтальоны пошел. Терпеть не могу толстовцев.

Дронов энергично и брезгливо потряс головой, а затем спросил:

— Тебе денег не надо?

— Зачем?

— Вообще. У меня много накопилось. Денег скоро много будет, хотят выпустить на миллиард или на два…

В деньгах Клим Самгин не нуждался, но очень ценил Дронова как осведомителя. Растрепанный, невыспавшийся, с воспаленными глазами, он являлся по утрам и сообщал:

— Вожаки прогрессивного блока разговаривают с «черной сотней», с «союзниками» о дворцовом перевороте, хотят царя Николая заменить другим. Враги становятся друзьями! Ты как думаешь об этом?

— Я в это не верю, — сказал Самгин, избрав самый простой ответ, но он знал, что все слухи, которые приносит Дронов, обычно оправдываются, — о переговорах министра внутренних дел Протопопова с представителем Германии о сепаратном мире Иван сообщил раньше, чем об этом заговорила Дума и пресса.

— Откуда ты знаешь это? — спросил он. Дронов, приподняв плечи к оттопыренным ушам своим, небрежно сказал:

— Дамы. Они мало понимают, но — им все известно.

Клим Иванович Самгин жил скучновато, но с каждым [днем] определеннее чувствовал, что уже скоро пред ним откроется широкая возможность другой жизни, более достойной его, человека исключительно своеобразного.

Недостаток продовольствия в городе принимал характер катастрофы, возбуждая рабочих, но в январе была арестована рабочая группа «Центрального военно-промышленного комитета», а выпущенная 6 февраля прокламация Петроградского комитета большевиков, призывавшая к забастовке и демонстрации на десятое число, в годовщину суда над социал-демократической фракцией Думы, — эта прокламация не имела успеха.

«Все идет правильно, работает логика истории, разрушая одно, укрепляя другое», — думал Клим Самгин.

Но 14 февраля, в день открытия Государственной думы, начались забастовки рабочих, а через десять дней — вспыхнула всеобщая забастовка и по улицам города бурно, как весенние воды реки, хлынули революционные демонстрации.

Клим Иванович Самгин мужественно ожидал и наблюдал. Не желая, чтоб темные волны демонстрантов, захлестнув его, всосали в свою густоту, он наблюдал издали, из-за углов. Не было смысла сливаться с этой грозно ревущей массой людей, — он очень хорошо помнил, каковы фигуры и лица рабочих, он достаточно много видел демонстраций в Москве, видел и здесь 9 января, в воскресенье, названное «кровавым».

Он смотрел, как мимо его течет стиснутая камнем глазастых стен бесконечная, необыкновенно плотная, серая, мохнатая толпа мужчин, женщин, подростков, и слышал стройное пение:

Вставай, проклятьем заклейменный,Весь мир голодных и рабов…

— Хлеба! Хлеба! — гулко кричали высокие голоса женщин. Иногда люди замедляли шаг, даже топтались на месте, преодолевая какие-то препятствия на пути своем, раздавался резкий свист, крики:

— Что там? Долой! Товарищи — смело!

Это будет последнийИ решительный бой…

Хор был велик, пел непрерывно. Самгин отметил, что, пожалуй, впервые демонстранты поют так стройно, согласно и так бесстрашно открывается имя грозный смысл рабочего гимна. В пятом году, 9 января, не пели. Вероятно, и не могли бы петь вот так. Однако не исключена возможность, что это Воскресенье будет повторено… Не исключена. От плоти демонстрантов отрывались, отскакивали отдельные куски, фигуры, смущенно усмехаясь или угрюмо хмурясь, шли мимо Самгина, но навстречу им бежали, вливались в массу десятки новых людей.

Самгин посматривал на тусклые стекла, но не видел за ними ничего, кроме

сизоватого тумана и каких-то бесформенных пятен в нем Наконец толпа исчезала, и было видно, как гладко притоптан ею снег на мостовой.

«Новая метла чисто метете — вспоминал Самгин. направляясь домой, и давал волю мыслям, наивность которых была ему понятна.

«Гораздо больше людей, которые мешают жить, чем людей необходимых и приятных мне. Легко избрать любую линию мысли, но трудно создать удовлетворительное окружение из ближних».

Дома его встречало праздничное лицо [девицы]. Она очень располнела, сладко улыбалась, губы у нее очень яркие, пухлые, и в глазах светилась неиссякаемо радость. Она была очень антипатична, становилась все более фамильярной, но — Клим Иванович терпел ее, — хорошая работница, неплохо и дешево готовит, держит комнаты в строгой чистоте. Изредка он спрашивал ее:

— Чему вы радуетесь?

— Очень интересно стало, Клим Иванович.

— Что — интересно? Война?

— Война прекратится скоро.

— Это кто же ее прекратит?

— Рабочие и мужики не хотят больше воевать.

— Вот как? А кто им позволит прекратить?

— Ну, уж они сами.

— Ах, вот как…

Говорить с ней было бесполезно. Самгин это видел, но «радость бытия» все острее раздражала его. И накануне 27 февраля, возвратясь с улицы к обеду, он, не утерпев, спросил:

— Ну, что скажете?

— Революция началась, Клим Иванович, — сказала она, но, облизнув губы кончиком языка, спросила: — Верно?

— Возможно. Но не менее возможно и то, что было в пятом году, 9 января. Вы знаете, что тогда было?

— Да, нам читали.

— Что — читали? Кто и где?

— Внизу в столовой, Аркаша, там газеты объясняет молодой человек, Аркаша…

— Давайте обедать, — строго сказал Самгин.

Он хорошо помнил опыт Москвы пятого года и не выходил на улицу в день 27 февраля. Один, в нетопленной комнате, освещенной жалким огоньком огарка стеариновой свечи, он стоял у окна и смотрел во тьму позднего вечера, она в двух местах зловеще, докрасна раскалена была заревами пожаров и как будто плавилась, зарева росли, растекались, угрожая раскалить весь воздух над городом. Где-то далеко не торопясь вползали вверх разноцветные огненные шарики ракет и так же медленно опускались за крыши домов.

Веселая [девица], приготовив утром кофе, — исчезла. Он целый день питался сардинами и сыром, съел все, что нашел в кухне, был голоден и обозлен.

Непривычная темнота в комнате усиливала впечатление оброшенности, темнота вздрагивала, точно пытаясь погасить огонь свечи, а ее и без того хватит не больше, как на четверть часа. «Чорт вас возьми…»

Прыжки осветительных ракет во тьму он воспринимал как нечто пошлое, но и зловещее. Ему казалось, что слышны выстрелы, — быть может, это хлопали двери. Сотрясая рамы окон, по улице с грохотом проехали два грузовых автомобиля, впереди — погруженный, должно быть, железом, его сопровождал грузовик, в котором стояло десятка два людей, некоторые из них с ружьями, тускло блеснули штыки.

«Кого арестуют?» — соображал Клим Иванович, давно сняв очки, но все еще протирая стекла замшей, напряженно прислушиваясь и недоумевая: почему не слышно выстрелов?

Клим Иванович был сильно расстроен: накануне, вечером, он крепко поссорился с Еленой; человек, которого указал Дронов, продал ей золотые монеты эпохи Римской империи, монеты оказались современной имитацией, а удостоверение о подлинности и древности их — фальшивым; какой-то старинный бокал был не золотым, а только позолоченным. Елена топала ногами, истерически кричала, утверждая, что Дронов действовал заодно с продавцом.

— У него лицо мошенника, у вашего друга! — кричала она и требовала, чтоб он привлек Дронова к суду. Она обнаружила такую ярость, что Самгин испугался.

«Если она затеет судебное дело, — не избежать мне участия в нем», — сообразил он, начал успокаивать ее, и тут Елена накричала на него столько и таких обидных слов, что он, похолодев от оскорблений, тоже крепко обругал ее и ушел.

Когда раздался торопливый стук в дверь, Самгин не сразу решил выйти в прихожую, он взял в руку подсвечник, прикрывая горстью встревоженный огонек, дождался, когда постучат еще раз, и успел подумать, что его не за что арестовать и что стучит, вероятно, Дро-нов, больше — некому. Так и было.

— Что ты — спал? — хрипло спросил Дронов, задыхаясь, кашляя; уродливо толстый, с выпученным животом, он, расстегивая пальто, опустив к ногам своим тяжелый пакет, начал вытаскивать из карманов какие-то свертки, совать их в руки Самгина. — Пища, — объяснил он, вешая пальто. — Мне эта твоя толстая дурында сказала, что у тебя ни зерна нет.

— Что делается в городе? — сердито спросил Самгин.

— Революция делается! — ответил Иван, стирая платком пот с лица, и ткнул пальцем в левую щеку свою.

— Павловский полк, да — говорят — и другие полки гарнизона перешли на сторону народа, то есть Думы. А народ — действует: полицейские участки разгромлены, горят, окружный суд, Литовский замок — тоже, министров арестуют, генералов…

Самгин стоял среди комнаты, слушал и не верил, а Дронов гладил ладонью щеку и не торопясь говорил:

— Кавардак и катавасия. Ко мне в квартиру влезли, с винтовками, спрашивают: «Это вы генерал Голембиовский?» — такого, наверно, и в природе нет.

— Полиция, жандармы? — спросил Самгин, пощипывая бородку и понимая, что скандал с Еленой погашен.

— Какая, к чорту, полиция? Полиция спряталась. Говорят, будто бы на чердаках сидит, готовится из пулеметов стрелять… Ты что — нездоров?

— Голова…

— Ну, головы у всех… кружатся. Я, брат, тоже… Я ночевать к тебе, а то, знаешь…

И, хлопнув себя ладонью по колену, Дронов огорченно сказал:

— Говоря без фокусов — я испугался. Пятеро человек — два студента, солдат, еще какой-то, баба с револьвером… Я там что-то сказал, пошутил, она меня — трах по роже!

Самгин сел, чувствуя, что происходит не то, чего он ожидал. С появлением Дронова в комнате стало холоднее, а за окнами темней.

— Арест министров — это понятно. Но — почему генералов, если войска… Что значит — на стороне народа? Войска признали власть Думы — так?

Дронов, склонив голову на плечо, взглянул на него одним глазом, другой почти прикрыт был опухолью.

— Завтра всё узнаем, — сказал он. — Смотри — свеча догорает, давай другую…

Он развертывал пакеты, раскладывал на столе хлеб, колбасу, копченую рыбу, заставил Самгина найти штопор, открыл бутылки, все время непрерывно говоря:

— В общем настроение добродушное, хотя люди голодны, но дышат легко, охотно смеются, мрачных ликов не видно, преобладают деловитые. Вообще начали… круто. Ораторы везде убеждают, что «отечество в опасности», «сила — в единении» — и даже покрикивают «долой царя!» Солдаты — раненые — выступают, говорят против войны, и весьма зажигательно. Весьма.

Самгин вставлял свечу в подсвечник, но это ему не удавалось, подсвечник был сильно нагрет, свеча обтаивала, падала. Дронов стал помогать ему, мешая друг другу, они долго и молча укрепляли свечу, потом Дронов сказал:

— Ну, будем ужинать. Я с утра не ел. И снова молча выпили коньяку, поели ветчины, сардин, сига. Самгин глотнул вина и сказал:

— Знакомое вино.

— Царских подвалов, — пробормотал Дронов. — Дама твоя познакомила меня с торговкой этим приятным товаром.

— Купил ты золота ей?

— Зачем я буду покупать? Послал антиквара.

— Он ее — обманул, — сообщил Самгин. Дронова это не удивило:

— Ну, а — как же? Антиквор… Дронов перестал есть, оттолкнул тарелку, выпил большую рюмку коньяка.

— Ну, вот, дожили мы до революции, — неприятно громко сказал он, — так громко, что даже оглянулся, точно не поверил, что это им сказано. — Мне революция — не нужна, но, разумеется, я и против ее даже пальца не подниму. Однако случилось так, что — может быть — первая пощечина революции попала моей роже. Подарочек не из тех, которыми гордятся. Знаешь, Клим Иванович, ушли они, эти… ловцы генералов, ушли, и, очень… прискорбно почувствовал я себя. Дурацкая жизнь. Ты жил во втором этаже, я — в полуподвале, в кухне. Вы, благородные дети, паршиво относились ко мне. Как будто я негр, еврей, китаец…

Память Клима Самгина подсказала ему слова Тагильского об интеллигенте в третьем поколении, затем о картинах жизни Парижа, как он наблюдал ее с высоты третьего этажа. Он усмехнулся и, чтоб скрыть усмешку от глаз Дронова, склонил голову, снял очки и начал протирать стекла.

— Только один человек почти за полсотни лет жизни — только одна Тося…

«Я мог бы рассказать ему о Марине, — подумал Самгин, не слушая Дронова. — А ведь возможно, что Марина тоже оказалась бы большевичкой. Как много людей, которые не вросли в жизнь, не имеют в ней строго определенного места».

А Иван Дронов жаловался, и уже ясно было, что он пьянеет.

— Дунаев, приятель мой, метранпаж, уговаривал меня: «Перестаньте канителиться, почитайте, поучитесь, займитесь делом рабочего класса, нашим большевистским делом».

— Не соблазнился? — спросил Самгин, чтоб сказать что-нибудь.

— Я — не соблазнился, да! А ты — уклонился… Почему?

— Подожди, — попросил Самгин, встал и подошел к окну. Было уже около полуночи, и обычно в этот час на улице, даже и днем тихой, укреплялась невозмутимая, провинциальная тишина. Но в эту ночь двойные рамы окон почти непрерывно пропускали в комнату приглушенные, мягкие звуки движения, шли группы людей, гудел автомобиль, проехала пожарная команда. Самгина заставил подойти к окну шум, необычно тяжелый, от него тонко заныли стекла в окнах и даже задребезжала посуда в буфете.

Самгин видел, что в темноте по мостовой медленно двигаются два чудовища кубической формы, их окружало разорванное кольцо вооруженных людей, колебались штыки, прокалывая, распарывая тьму.

«Броневики», — тотчас сообразил он. — Броневики едут, — полным голосом сказал он, согретый странной радостью.

— Ты думаешь — будут стрелять? — сонно пробормотал Дронов. — Не будут, надоело…

Броневики проехали. Дронов расплылся в кресле и бормотал:

— Ничего не будет. Дали Дронову Ивану по морде, и — кончено!

Самгин посмотрел на него, подумал:

«Сопьется».

Сходил в спальню, принес подушку и, бросив ее на диван, сказал:

— Ляг.

— Можно. Это — можно.

Он встал, шагнул к дивану, вытянув руки вперед, как слепой, бросился на него, точно в воду, лег и забормотал:

Вырыта заступом яма глубокая…Жизнь… бестолковая, жизнь одинокая…

Самгин, чьи стихи?

— Никитина.

— Чорт. Ты — всё знаешь. Всё.

Он заснул. Клим Иванович Самгин тоже чувствовал себя охмелевшим от сытости и вина, от событий. Закурил, постоял у окна, глядя вниз, в темноту, там, быстро и бесшумно, как рыбы, плавали грубо оформленные фигуры людей, заметные только потому, что они были темнее темноты.

«Итак — революция. Вторая на моем веку».

Он решил, что завтра, с утра, пойдет смотреть на революцию и определит свое место в ней.

Утром, сварив кофе, истребили остатки пищи и вышли на улицу. Было холодно, суетился ветер, разбрасывая мелкий, сухой снег, суетился порывисто минуту, две, подует и замрет, как будто понимай, что уже опоздал сеять снег.

Самгин шагал впереди Дронова, внимательно оглядываясь, стараясь уловить что-то необычное, но как будто уже знакомое. Дронов подсказал:

— Замечаешь, как обеднел город?

— Да, — согласился Самгин и вспомнил: вот так же было в Москве осенью пятого года, исчезли чиновники, извозчики, гимназисты, полицейские, исчезли солидные, прилично одетые люди, улицы засорились серым народом, но там трудно было понять, куда он шагает по кривым улицам, а здесь вполне очевидно, что большинство идет в одном направлении, идет поспешно и уверенно. Спешат темнолицые рабочие, безоружные солдаты, какие-то растрепанные женщины, — люди, одетые почище, идут не так быстро, нередко проходят маленькие отряды солдат с ружьями, но без офицеров, тяжело двигаются грузовые автомобили, наполненные солдатами и рабочими. Мелькают красные банты на груди, повязки на рукавах.

— Эй, эй — Князев, — закричал Дронов и побежал вслед велосипедисту, с большой бородой, которую он вез на левом плече. Самгин минуту подождал Ивана и пошел дальше.

Проехал воз, огромный, хитро нагруженный венскими стульями, связанные соломой, они возвышались почти до вторых этажей, толстая рыжая лошадь и краснорожий ломовой извозчик, в сравнении с величиной воза, были смешно маленькими, рядом с извозчиком шагал студент в расстегнутом пальто, в фуражке на затылке, размахивая руками, он кричит:

— Ты — подумай: народ…

— Мы на свой пай думаем, — басом, как дьякон, гудит извозчик. — Ты с хозяином моим потолкуй, он тебе все загадки разгадает. Он те и про народ наврет.

Ломовой счастливо захохотал, Клим Иванович пошел тише, желая послушать, что еще скажет извозчик. Но на панели пред витриной оружия стояло человек десять, из магазина вышел коренастый человек, с бритым лицом под бобровой шапкой, в пальто с обшлагами из меха, взмахнул рукой и, громко сказав: «В дантиста!» — выстрелил. В проходе во двор на белой эмалированной вывески исчезла буква а, стрелок, самодовольно улыбаясь, взглянул на публику, кто-то одобрил его:

— Метко!

А усатый человек в толстой замасленной куртке, протянув руку, попросил:

— Позвольте взглянуть!

Взглянул, определил: «Кольт!» — и, сунув оружие в карман куртки, пошел прочь.

— К-куда? — взревел стрелок, собираясь бежать за похитителем, но пред ним встали двое, один — лицом, другой спиною к нему.

— Вы — видели? — сердито спросил он.

— Зачем вам игрушка эта? — миролюбиво ответил ему молодой парень, а тот, который стоял спиной, крикнул:

— Гордеев, вернись! И обратился к стрелку:

— Вы, барин, идите-ка своей дорогой, вам тут делать нечего. А вы — что? —

спросил он Самгина, измеряя его взглядом голубоватых глаз. — Магазин не торгует, уходите.

Самгин покорно и охотно пошел прочь, его тотчас же догнал стрелок, говоря:

— Ничего не понимаю! Кто такие? Чорт их знает! Переходя на другую сторону улицы, он оглянулся, к магазину подъехал грузовик, люди, стоявшие у витрины, выносили из магазина ящики.

— Грабеж среди белого дня, — бормотал стрелок, Самгин промолчал, он не нуждался в собеседнике. Собеседник понял это и, дойдя до поворота в другую улицу, насмешливо выговорил:

— Вы, кажется, тоже… что-то такое…

После чего скрылся за углом.

Ближе к Таврическому саду люди шли негустой, но почти сплошной толпою, на Литейном, где-то около моста, а может быть, за мостом, на Выборгской, немножко похлопали выстрелы из ружей, догорал окружный суд, от него остались только стены, но в их огромной коробке все еще жадно хрустел огонь, догрызая дерево, изредка в огне что-то тяжело вздыхало, и тогда от него отрывались стайки мелких огоньков, они трепетно вылетали на воздух, точно бабочки или цветы, и быстро превращались в темносерый бумажный пепел. Против пожарища на панели собралось человек полсотни, почти все пожилые, много стариков, любуясь игрой огня, они беседовали равнодушно, как привычные зрители, которых уж ничем не удивишь.

— Воры подожгли.

— Ну конечно.

— И Литовский замок — они.

— А — кто же! И полицейские участки — их дело!

— Политические тоже, наверно, руку приложили…

— У тех заноза — жандармы.

— Департамент полиции…

— Не подожгли его.

— Подожгут.

Самгин свернул на Сергиевскую, пошел тише. Здесь, на этой улице, еще недавно, контуженые, раненые солдаты учили новобранцев, кричали:

«Смирно!»

Вдоль решетки Таврического сада шла группа людей, десятка два, в центре, под конвоем трех солдат, шагали двое: один без шапки, высокий, высоколобый, лысый, с широкой бородой медного блеска, борода встрепана, широкое лицо измазано кровью, глаза полуприкрыты, шел он, согнув шею, а рядом с ним прихрамывал, качался тоже очень рослый, в шапке, надвинутой на брови, в черном полушубке и валенках. Люди шли молча, серьезные, точно как на похоронах, а сзади, как бы конвоируя всех, подпрыгивая, мелко шагал человечек с двустволкой на плече, в потертом драповом пальто, туго подпоясанный красным кушаком, под финской шапкой пряталось маленькое глазастое личико, стиснутое темной рамкой бородки, негустой, но аккуратной. Самгин спросил: кого арестовали и за что?

— Который повыше — жандарм, второй — неизвестный. А забрали их — за стрельбу в народ, — громко, приятным голосом сказал человечек и, примеряя свой шаг к

шагу Самгина, добавил вразумительно: — Манера эта — в своих людей стрелять — теперь отменяется даже для войска.

— Куда же их ведут?

— В Государственную думу, на расчет. Конечно, знаете, что государь император пожаловал Думе власть для установления порядка, вот, значит, к ней и стекается… все хорошее-плохое, как я понимаю.

Самгин заглянул в лицо его — костистое, остроглазое, остроносое лицо приятно смягчали веселые морщинки.

— Вы — охотник? — спросил Самгин. Приятный человек шагал уже в ногу с ним, легонько поталкивая локтем.

— Нет, я имею ремесло — обойщик и драпировщик. Федор Прахов, лицо небезызвестное. Охота не ремесло, она — забава.

Клим Иванович Самгин не испытывал симпатии к людям, но ему нравились люди здравого смысла, вроде Митрофанова, ему казалось, что люди этого типа вполне отвечают характеристике великоросса, данной историком Ключевским. Он с удовольствием слушал словоохотливого спутника, а спутник говорил поучительно и легко, как нечто давно обдуманное:

— Охота — звериное действие, уничтожающее. Лиса — тетеревей и всякую птицу истребляет, волк — барашков, телят, и приносят нам убыток. Ну, тогда человек, ревнуя о себе, обязан волков истреблять, — так я понимаю…

У входа в ограду Таврического дворца толпа, оторвав Самгина от его спутника, вытерла его спиною каменный столб ворот, втиснула за ограду, затолкала в угол, тут было свободнее. Самгин отдышался, проверил целость пуговиц на своем пальто, оглянулся и отметил, что в пределах ограды толпа была не так густа, как на улице, она прижималась к стенам, оставляя перед крыльцом дворца свободное пространство, но люди с улицы все-таки не входили в ограду, как будто им мешало какое-то невидимое препятствие.

«А еще вчера как пусто и смирно было на улицах».

Его окружали люди, в большинстве одетые прилично, сзади его на каменном выступе ограды стояла толстенькая синеглазая дама в белой шапочке, из-под каракуля шапочки на розовый лоб выбивались черные кудри, рядом с Климом Ивановичем стоял высокий чернобровый старик в серой куртке, обшитой зеленым шнурком, в шляпе странной формы пирогом, с курчавой сероватой бородой. Протискался высокий человек в котиковой шапке, круглолицый, румяный, с веселыми усиками золотого цвета, и шипящими словами сказал даме:

— Совершенно верно: Шидловский, Шингарев, Шульгин, конечно — Милюков, Львов и твой дядя. Это и есть Бюро прогрессивного блока. Решили бороться с властью и принять все меры, чтобы армия спокойно дралась.

— Спокойно драться — нельзя! — заметил кто-то.

— Пардон! Было сказано: чтобы армия спокойно делала свое дело на фронте, а рабочие могли спокойно подавать снаряды.

— А кормить — чем? — спросил маленький желтолицый сосед Самгина.

— Дума берет борьбу на себя.

— А кормить солдат — чем? — громче, настойчивее спросил желтолицый; человек, расшитый шнурками, согнулся, шепнул что-то.

— Мне все равно — кто, сегодня это не считается, — заявил желтолицый и, сняв шапку, взмахнул ею над лысой головой.

Человека с веселыми усами слушали многие, а он говорил:

— Милюков… очень умно…

— Милюков — не солдат, а — санитар, да и то…

— Нужно, чтоб страна молчала, говорить за нее будем мы, Дума. Сейчас началось заседание старейшин с Родзянкой во главе…

Румяное лицо человека с усами побелело, он повернулся к лысому:

— Послушайте — что вам угодно, чорт вас возьми?

— Уйдем, уйдем, — торопливо сказала дама, спрыгнув на землю, она сильно толкнула Самгина и, не извиняясь, дергая усатенького за рукав, потащила его прочь ко входу во дворец.

— Кто это? — спросил Самгин старика, обшитого шнурками. Старик внушительно ответил:

— Господа. Его сиятельс… — старик не договорил слова, оно окончилось тихим удивленным свистом сквозь зубы. Хрипло, по-медвежьи рявкая, на двор вкатился грузовой автомобиль, за шофера сидел солдат с забинтованной шеей, в фуражке, сдвинутой на правое ухо, рядом с ним — студент, в автомобиле двое рабочих с винтовками в руках, штатский в шляпе, надвинутой на глаза, и толстый, седобородый генерал и еще студент. На улице стало более шумно, даже прокричали ура, а в ограде — тише.

— Это — что же значит? — тихонько спросил Самгина серый старик.

— Арестованы, — неуверенно ответил Клим Иванович и, глядя, как рабочие снимают штатского, добавил: — Штатский, кажется, — министр юстиции…

— Кто же… распоряжается?

— Дума, — громко сказал желтолицый. — Ее хотели закрыть, а она — вот…

Самгин наблюдал. Министр оказался легким, как пустой, он сам, быстро схватив протянутую ему руку студента, соскочил на землю, так же быстро вбежал по ступенькам, скрылся за колонной, с генералом возились долго, он — круглый, как бочка, — громко кряхтел, сидя на краю автомобиля, осторожно спускал ногу с красным лампасом, вздергивал ее, спускал другую, и наконец рабочий крикнул ему:

— Да — прыгайте смело! Ведь — не в море.

Рядом с Самгиным встал Дронов и, как будто заикаясь, покрякивая, вполголоса говорил:

— Толпа идет… тысяч двадцать… может, больше, ей-богу! Честное слово. Рабочие. Солдаты, с музыкой. Моряки. Девятый вал… чорт его… Кое-где постреливают — факт! С крыш…

Было ясно — Дронов испуган, у него даже плечи дрожали, он вертел головой, присматриваясь к людям, точно искал среди них знакомого, бормотал:

— А этот… Марков-Валяй, бурнопламенный дурак, говорят, ведет из Ораниенбаума пулеметный полк. Слушай — кто здесь сила?

— Вот и я тоже не могу понять, — вмешался старик, обшитый зелеными шнурками.

— Надобно идти во дворец, — сказал Самгин. Дронов немедленно согласился.

— Верно! Там, в случае ежели…

Он пошел впереди Самгина, бесцеремонно расталкивая людей, но на крыльце их остановил офицер и, заявив, что он начальник караула, охраняющего Думу, не пустил их во дворец. Но они все-таки остались у входа в вестибюль, за колоннами, отсюда, с высоты, было очень удобно наблюдать революцию. Рядом с ними оказался высокий старик.

— Ежели — караул есть, стало быть, власть имеется, — сказал успокаивающим тоном. Дронов покосился на него и спросил:

— Егерь?

— Так точно, двадцать семь лет его сиятельству Мекленбургу-Стрелицкому служил, и другим господам.

Он был явно рад, что на него обратили внимание, и, наклонясь над головой Дронова, перечислял:

— Граф Капнист или, например, Михаил Владимирович Родзянко…

Вдруг где-то, близко, медь оркестра мощно запела «Марсельезу», все люди в ограде, на улице пошевелились, точно под ними дрогнула земля, и кто-то истерически, с радостью или с отчаянием, закричал:

— Солдаты идут!

Самгин почувствовал нечто похожее на толчок в грудь и как будто пошевелились каменные плиты под ногами, — это было так нехорошо, что он попытался объяснить себе стыдное, малодушное ощущение физически и сказал Дронову:

— Тише, не толкай.

— Не я толкаю, — пробормотал Дронов, измятое похмельем лицо его вытянулось, полуоткрылся рот и дрожал подбородок. Самгин, отметив это, подумал:

«Должно быть, он тоже не считает исключенным повторение 9 Января».

На улице люди быстро разделились, большинство, не очень уверенно покрикивая ура, пошло встречу музыке, меньшинство быстро двинулось направо, прочь от дворца, а люди в ограде плотно прижались к стенам здания, освободив пред дворцом пространство, покрытое снегом, истоптанным в серую пыль.

Нахмурясь, Клим Иванович Самгин подумал, что эта небольшая пустота сделана как бы нарочно для того, чтоб он видел, как поспешно, молча, озабоченно переходят один за другим, по двое рядом, по трое, люди, которых безошибочно можно признать рабочими. На верхней ступеньке их останавливал офицер, солдаты преграждали дорогу, скрещивая штыки, но они называли себя депутатами от заводов, и, зябко пожимая плечом, он уступал им дорогу. Все громче звучала медная мелодия гимна Франции, в воздухе колебался ворчливый гул, и на него иронически ненужно ложились слова егеря:

— Настоящих господ по запаху узнаешь, у них запах теплый, собаки это понимают… Господа — от предков сотнями годов приспособлялись к наукам, чтобы причины понимать, и достигли понимания, и вот государь дал им Думу, а в нее набился народ недостойный.

Курчавая борода егеря была когда-то такой же черной, как его густейшие брови, теперь она была обескрашена сединой, точно осыпана крупной солью; голос его звучал громко, но однотонно, жестяно, и вся тусклосерая фигура егеря казалась отлитой из олова.

Егеря молча слушало человек шесть, один из них, в пальто на меху с поднятым воротником, в бобровой шапке, с красной тугой шеей, рукою в перчатке пригладил

усы, сказал, вздохнув:

— Эх, старина, опоздал ты…

— Вот я и сокрушаюсь… Студенты генерала арестуют, — разве это может быть?

Самгин слушал речи егеря и думал:

«Это похоже на голос здравого смысла». За оградой явилась необыкновенной плотности толпа людей, в центре первого ряда шагал с красным знаменем в руках высокий, широкоплечий, черноусый, в полушубке без шапки, с надорванным рукавом на правом плече. Это был, видимо, очень сильный человек: древко знамени толстое, длинное, в два человечьих роста, полотнище — бархатное, но человек держал его пред собой легко, точно свечку. По бокам его двое солдат с винтовками, сзади еще двое, первые ряды людей почти сплошь вооружены, даже Аркадий Спивак, маленький фланговой первой шеренги, несет на плече какое-то ружье без штыка. В одну минуту эта толпа заполнила улицу, влилась за ограду, человек со знаменем встал пред ступенями входа. Кто-то закричал:

— Не наклоняй знамя-то, эй, не наклоняй! Сквозь толпу, точно сквозь сито, протискивались солдаты, тащили на плечах пулеметы, какие-то жестяные коробки, ящики, кричали:

— Сторонись!

Никто не командовал ими, и, не обращая внимания на офицера, начальника караульного отряда, даже как бы не видя его, они входили в дверь дворца.

С приближением старости Клим Иванович Самгин утрачивал близорукость, зрение становилось почти нормальным, он уже носил очки не столько из нужды, как по привычке; всматриваясь сверху в лицо толпы, он достаточно хорошо видел над темносерой массой под измятыми картузами и шапками костлявые, чумазые, закоптевшие, мохнатые лица и пытался вылепить из них одно лицо. Это не удавалось и, раздражая, увлекало все больше. Неуместно вспомнился изломанный, разбитый мир Иеронима Босха, маски Леонардо да-Винчи, страшные рожи мудрецов вокруг Христа на картине Дюрера.

«Нет, все это — не так, не то. Стиснуть все лица — в одно, все головы в одну, на одной шее…»

Вспомнилось, что какой-то из императоров Рима желал этого, чтоб отрубить голову.

«Мизантропия, углубленная до безумия. Нет, — каким должен быть вождь, Наполеон этих людей? Людей, которые видят счастье жизни только в сытости?»

— Родзянко-о! — ревели сотни глоток. — Давай Род-зянку-у!

Клим Иванович Самгин так увлекся процессом создания фигуры вождя, что лишь механически отмечал происходящее вокруг его: вот из дверей дворца встречу солдатам выскочил похожий на кого-то адвокат Керенский и прокричал:

— Граждане солдаты! Поздравляю вас с высокой честью — охранять Государственную думу. Объявляю вас первым революционным караулом…

В толпе закричали ура, а молодой солдат, нагруженный жестяными коробками, крикнул Керенскому:

— Посторони-ись!

— Чего ж они пулеметы внутрь тащат? Из окошек стрелять хотят, что ли? — недоуменно спросил егерь.

— Не будут стрелять, старина, не будут, — сказал человек в перчатках и оторвал от

снятой с правой руки большой палец.

— Раззянка-а! — кричал Федор Прахов, он стоял у первой ступени лестницы, его толкали вперед, [он] поворачивался боком, спиной и ухитрялся оставаться на месте, покрикивая, подмигивая кому-то:

— Раззянка-а!

Из дверей дворца вышел большущий, толстый человек и зычным, оглушающим голосом, с яростью закричал:

— Гр-раждане!

Он был так велик, что Самгину показалось: человек этот, на близком от него расстоянии, не помещается в глазах, точно колокольня. В ограде пред дворцом и даже за оградой, на улице, становилось все тише, по мере того как Родзянко все более раздувался, толстое лицо его набухало кровью, и неистощимый жирный голос ревел:

— Хаос...

Два звука: а, о — слились в единый нечеловечий зык, в «трубный глас».

Самгину показалось, что обойщик Прахов даже присел, а люди, стоявшие почти вплоть к оратору, но на ступень ниже его, пошатнулись, а человек в перчатках приподнял воротник пальто, спрятал голову, и плечи его задрожали, точно он смеялся.

— Враг у врат града Петрова, — ревел Родзянко. — Надо спасать Россию, нашу родную, любимую, святую Русь. Спокойствие. Терпение... «Претерпевый до конца — спасется». Работать надо... Бороться. Не слушайте людей, которые говорят... Великий русский народ-Клим Иванович Самгин первый раз видел Родзянко, ему понравился большой, громогласный, отлично откормленный потомок запорожской казацкой знати. Должно быть, потому, что он говорил долго, у русского народа не хватило терпения слушать, тысячеустое ура заглушило зычную речь, оратор повернулся к великому народу спиной и красным затылком.

— Его, Родзянку, голым надо видеть, когда он купается, — удовлетворенно и как будто даже с гордостью сказал егерь. — Или, например, когда кушает, — тут он сам себе царь и бог.

«Неизбежная примесь глупости и пошлости», — определил Самгин спокойно и даже с чувством удовлетворения.

Человек в перчатках разорвал правую, резким движением вынул платок, вытер мокрое лицо и, пробираясь к дверям во дворец, полез на людей, как слепой. Он толкнул

Самгина плечом, но не извинился, лицо у него костистое, в темной бородке, он глубоко закусил нижнюю губу, а верхняя вздернулась, обнажив неровные, крупные зубы.

Свирепо рыча, гудя, стреляя, въезжали в гущу толпы грузовики, привозя генералов и штатских людей, бережливо выгружали их перед лестницей, и каждый такой груз как будто понижал настроение толпы, шум становился тише, лица людей задумчивее или сердитей, усмешливее, угрюмей. Самгин ловил негромкие слова:

— Чего же с ними делать будут?

— Нас не спросят.

— Спрячут до легких дней...

— Конечно. Потом — выпустят...

— Тогда они за беспокойство… возместят!

— В монастыри бы их, на сухой хлеб.

— Придумал.

— Выслать куда-нибудь…

— А то — отвезти в Ладожско озеро да и потопить, — сказал, окая, человек в изношенной финской шапке, в потертой черной кожаной куртке, шапка надвинута на брови, под нею вздулись синеватые щеки, истыканные седой щетиной; преодолевая одышку, человек повторял:

— Монастыри… У нас — третьего дня бабы собрались в Александро-Невску лавру хлеба просить для ребятишек, ребятишки совсем с голода дохнут, — терпения не хватает глядеть на них. Ну, так вот пошли. Там какой-то монах, начальник, даже обиделся, сукин сын:

«У нас, говорит, не лавочка, мы хлебом не торгуем». — «Ну, дайте даром, бога ради. Хоть мешок ржаной муки…» — «Что вы, говорит, женщины, мы, говорит, сами живем милостыней мирской». Вот — сволочь! А у них — склады! Понимаете? Склады. Сахар, мука, греча, картошка, масло подсолнечно и конопляно, рыба сушена — воза!.. Богу служат, а?

Его поддержали угрюмые голоса:

— Да-а, все богу служат, а человеку — никто!

— Ну, человеку-то мы служим, работаем…

— Путилов — человек все-таки.

— Парвиайнен…

— Много их…

— Народу — никто не служит, вот что! — громко сказала высокая, тощая женщина в мужском пальто. — Никто, кроме есеровской партии.

— А — большевики?

— Они сами — рабочие, большевики-то.

— Много ли их?

— Мальчишки, мелочь…

— Мелкое-то бывает крепко: перец, порох…

— Глядите — еще арестованных везут.

Когда арестованные, генерал и двое штатских, поднялись на ступени крыльца и следом за ними волною хлынули во дворец люди, — озябший Самгин отдал себя во власть толпы, тотчас же был втиснут в двери дворца, отброшен в сторону и ударил коленом в спину солдата, — солдат, сидя на полу, держал между ног пулемет и ковырял его каким-то инструментом.

— Простите, — сказал Самгин.

— Ничего, ничего — действуй! — откликнулся солдат, не оглядываясь. — Тесновато, брат, — бормотал он, скрежеща по железу сталью. — Ничего, последние деньки теснимся…

Пол вокруг солдата был завален пулеметами, лентами к ним, коробками лент,

ранцами, винтовками, связками амуниции, мешками, в которых спрятано что-то похожее на булыжники или арбузы. Среди этого хаоса вещей и на нем спали, скорчившись, солдаты, человек десять.

— Викентьев! — бормотал солдат, не переставая ковырять пулемет и толкая ногою в плечо спящего, — проснись, дьявол! Эй, где ключик?

Подошел рабочий в рыжем жилете поверх черной суконной рубахи, угловатый, с провалившимися глазами на закопченном лице, закашлялся, посмотрел, куда плюнуть, не найдя места, проглотил мокроту и сказал хрипло, негромко:

— Савёл, дай, брат, буханочку! Депутатам…

— Нет, не имею права, — сказал солдат, не взглянув на него.

— Чудак, депутатам фабрик, рабочим…

— Не имею…

Но тут реставратор пулемета что-то нашел и обрадовался:

— Ага, собачка? Так-так-так…

Он встал на колени, поднял круглое, веселое сероглазое лицо, украшенное редко рассеянным по щекам золотистым волосом, и — разрешил:

— Бери одну.

— А — две?

— А — вот?..

Он поднял длинную руку, на конце ее — большой, черный, масляный кулак. Рабочий развязал мешок, вынул буханку хлеба, сунул ее под мышку и сказал:

— Спрятать бы, завидовать будут.

— А требуешь — две! Держи газету, заверни… Клим Иванович Самгин поставил себя в непрерывный поток людей, втекавший в двери, и быстро поплыл вместе с ним внутрь дворца, в гулкий шум сотен голосов, двигался и ловил глазами наиболее приметные фигуры, лица, наиболее интересные слова. Он попал в какой-то бесконечный коридор, который, должно быть, разрезал весь корпус Думы. Здесь было свободней, и чем дальше, тем все более свободно, — по обе стороны коридора непрерывно хлопали двери, как бы выкусывая людей, одного за другим. Было как-то странно, что этот коридор оканчивался изящно обставленным рестораном, в нем собралось десятка три угрюмых, унылых, сердитых и среди них один веселый — Стратонов, в каком-то очень домашнем, помятом костюме, в мягких сапогах.

— О-о, здравствуйте! — сказал он Самгину, размахнув руками, точно желая обнять.

Самгин, отступя на шаг, поймал его руку, пожал ее, слушая оживленный, вполголоса, говорок Стратонова.

— А меня, батенька, привезли на грузовике, да-да! Арестовали, чорт возьми! Я говорю: «Послушайте, это… это нарушение закона, я, депутат, неприкосновенен». Какой-то студентик, мозгляк, засмеялся: «А вот мы, говорит, прикасаемся!» Не без юмора сказал, а? С ним — матрос, эдакая, знаете, морда: «Неприкосновенный? — кричит. — А наши депутаты, которых в каторгу закатали, — прикосновенны?» Ну, что ему ответишь? Он же — мужик, он ничего не понимает…

— Подошел солидный, тепло одетый, гладко причесанный и чрезвычайно, до блеска вымытый, даже полинявший человек с бесцветным и как будто стертым лицом, раздувая ноздри маленького носа, лениво двигая сизыми губами, он спросил мягким голосом:

— Что на улицах? Войска — идут?

— Нет, никаких войск! — крикнул маленький, позванивая чайной ложкой в пустом стакане. — Предали войска. Как вы не понимаете!

— Не верю! — сказал Стратонов, улыбаясь. — Не могу верить.

— Заставят… — [сказал] солидный, пожав толстыми плечами.

— Солдаты революции не делают.

— Нет армии! Я был на фронте… Армии нет!

— Вы — верите? — спросил Стратонов. Самгин оглянулся и сказал:

— Хлеба нет. Дайте хлеб — будет армия. Он тотчас же догадался, что ему не следовало говорить так, и неопределенно добавил:

— И все вообще… найдет свой естественный путь.

— Пулеметов надо, пулеметов, а не хлеба! — негромко, но четко сказал изящно одетый человек. Вошел еще кто-то и — утешил:

— Пулеметы — действуют! В Адмиралтействе какой-то генерал организовал сопротивление. Полиция и жандармы стреляют с крыш.

Откуда-то из угла бесшумно явился старичок, которого Самгин изредка встречал у Елены, но почему-то нетвердо помнил его фамилию: Лосев, Бросов, Барсов? Постучав набалдашником палки по столу, старичок обратил внимание на себя и поучительно сказал:

— Господа! Разрешите напомнить, что сегодня выражения наших личных симпатий и взглядов требуют особенно осторожной формы… — Он замолчал, постукал в пол резиновым наконечником палки и печально качнул седой головой. — Если мы не желаем, чтоб наше личное отразилось на оценке врагами программы партии нашей, на злостном искажении ее благородной, русской национальной цели. Я, разумеется, не советую «с волками жить — по-волчьи выть», как советует старинная и политически мудрая пословица. Но вы знаете, что изменить тон еще не значит изменить смысл и что отступление на словах не всегда вредит успехам дела.

Самгин, не желая дальнейшего общения со Стратоновым, быстро <ушел> из буфета, недовольный собою, намереваясь идти домой и там обдумать все, что видел, слышал.

По коридору шел Дронов в расстегнутом пальто, сунув шапку в карман, размахивая руками.

— Подожди, куда ты? — остановил он Самгина и тотчас начал: — Власть взял на себя Временный комитет Думы, и образовался — как в пятом году — Совет рабочих депутатов. Это — что же будет: двоевластие? — спросил он, пытаясь остановить на лице Самгина дрожащие глаза.

Самгин внушительно ответил:

— С какой стати? У Совета рабочих — свои профессиональные интересы…

[Отдельные заметки]

10 лет.

Когда впервые прошел слух о возможности приезда Владимира] Ильича в Р[оссию], человек один — сказал весьма ворчливо:

— Н-ну, этот начнет варить кашу.

Скороходов:

— Конечно — Ленин вполне наш и настоящий революционер. Только — доросли мы до настоящего-то революционера] или нет?

Мужик рядом с Кли[мом]

— Вот какой… прибыл. Кряжистый.

— Ну, — пускай ему бог поможет, а он — помог бы нам.

— Вид у него хозяйский.

— Пропустите! Дайте взглянуть.

А там, вокруг броневика, тесная, как единое тело…

— Да здравствует [социалистическая] революция! Негромко, но так, что слышно было на всей площади. Покачнулись.

— Ага? Слышал?

Толкался, лез вперед и кричал:

— Т[оварищ] Ленин, мы готовы. Мы понимаем, товарищ, — верно?

— Ильич! — Просто, — подошел и говорит: — Здорово, Ильич! А?

Ленин.

Он как-то врос в толпу, исчез, растаял в ней, но толпа стала еще более грозной и как бы выросла. Сам[гин] вспомнил Гапона.

Ленин.

Все, что он говорил, было очень просто и убедительно — тем более не хотелось соглашаться с ним.

В. И. Ленин — для Самгина:

Объясняющий господин, один из многих среди русских] интеллигентов] с[оциал-] демократов], толкователей Маркса и т. д.

Да, фигура, жесты, голос, дворянская картавость. «Что-то вроде Бакунина».

В дальнейшем: все более резкая критика реформизма меков, нападки на вождей II Инт[ернационала], явная к ним враждебность. «Что-то новое, то есть что-то самобытное, наше провинциальное, дикое».

Кутуз[ов]. Спивак.

Любаша? Любаша… померла. Скончалась. Не идет к ней — померла. Зря жила девушка. Рубашки эсерам шила и чинила, а ей надо бы на заводах, на фабр[иках] работать.

Ощущение: Л[енин] — личный враг.

Было странно и очень досадно вспомнить, что имя этого человека гремит, что к словам его прислушиваются тысячи людей.

Финал.

Широколицая женщина в клетчатой юбке, в черной кофте, перевязанной накрест красной лентой, в красном платке на рыжеватых волосах, шагая рядом с мужиком без шапки и лысоватым, счастливо улыбаясь, смотрела в его кругло открытый, ощетинившийся рот. Мужик грозно пел:

Отр[ечемся…]

Конец.

— Уйди! Уйди, с дороги, таракан. И — эх, тар-ракан! Он отставил ногу назад, размахнулся ею и ударил Самгина в живот… Ревел густым басом:

— Делай свое дело, делай!

— Порядок, товарищи, пор-рядок. Порядка хотите. Мешок костей.

С[амгин]

Грязный мешок, наполненный мелкими, угловатыми вещами.

Кровь текла из-под шапки и еще откуда-то, у ног его росла кровавая лужа, и казалось, что он тает.

Женщина наклонилась и попробовала пальцем прикрыть глаз, но ей не удалось это, тогда она взяла дощечку от разбитого снарядного ящика, положила ее на щеку.

Комментарии

Четвертая часть произведения «Жизнь Клима Самгина» не была закончена автором. Отрывок из этой части (начиная со слов: «Он стоял у окна…», стр. 61 настоящего издания, и кончая словами: «И звучал сырой булькающий смех», стр. 93 настоящего издания) под названием «Бердников. Из книги «Жизнь Клима Самгина» опубликован в альманахе «Год шестнадцатый», альманах второй, М. 1933. После смерти М. Горького, начиная с декабря 1936 года, отдельные отрывки из четвертой части в течение шести месяцев публиковались в центральных, республиканских и областных газетах. В 1937 году четвертая часть повести была напечатана отдельной книгой со следующим предисловием:

«В оставленном М. Горьким художественном литературном наследстве наибольшее значение имеет рукопись последней, четвертой, части «Жизни Клима Самгина». Всего в рукописи 164 четырехстраничных листа большого формата с широкими полями. К рукописи приложены отдельные заметки — о приезде Ленина в Россию и смерти Самгина. Этими сценами Алексей Максимович, видимо, хотел закончить работу над четвертой частью. Мы помещаем их в конце книги.

Первые 82 [стр. 7-93 данного тома. — Ред.] страницы настоящего издания окончательно отредактированы и в рукописи имеют надпись Алексея Максимовича: «Последняя редакция».

При подготовке книги к печати редакция встретилась с рядом недоработанных мест. Автор, недовольный изложением, зачеркивает иной раз часть текста, но не дает новой редакции его. В тех случаях, когда зачеркнутое является необходимым звеном изложения, оно восстанавливается нами в угловых скобках. Иногда Алексей Максимович пропускает отдельные слова. Эти пропуски восстанавливаются по смыслу текста и заключаются в прямые скобки. В рукописи изредка один и тот же персонаж имеет два-три разных имени. Для единообразия приходилось здесь руководствоваться редакцией последних частей рукописи или останавливаться на имени, написанном наибольшее количество раз.

В одном случае различие фамилий представило более серьезную трудность. В первых частях повести «Жизнь Клима Самгина» имеется персонаж Никонова, связанная с департаментом полиции. В четвертой части повести, при известии о взрыве дачи Столыпина, Самгин поражается тем фактом, что при взрыве погибает Любимова. По одной детали в дальнейшем изложении совершенно ясно, что речь идет о Никоновой, и хотя разъясняется, что Любимова — новая ее фамилия «по мужу», но появление ее для читателя все же остается неподготовленным. Дело осложняется тем, что, придав ей фамилию по мужу — Любимова, «по отцу» автор дает ей фамилию Истомина. Мы ограничиваемся здесь только указанием на это, оставляя без изменения фамилию Любимовой.

Встречается в четвертой часта повести условная сдвинутость времени, законная в художественном произведении, когда, например, исторические происшествия, имевшие место на протяжении двух лет, проходят в повести в течение одного года, и т. п. Но в одном случае эта сдвинутость времени обусловила хронологические противоречия, когда день нового 1912 года сближается несколькими днями с ленскими событиями (апрель 1912 года), а затем и с наступлением осени. Здесь приходится считаться с тем, что рукопись (стр. 82-459 настоящего издания) не является последней редакцией. [Речь идет о стр. 93-552 данного тома. — Ред.]

Четвертая часть повести начинается по времени действия с лета 1906 года, в то время как третья часть кончается событиями лета 1907 или даже 1908 года. Объясняется это тем, что автор предполагал переработать третью часть, перенеся в нее часть материала из четвертой.

В том месте четвертой части, где Самгин впервые едет на фронт, пропущены сцены, из которых было бы видно, что Самгин поступает на службу в Земгорсоюз, по командировке которого он и едет на фронт. Объясняется этот пропуск тем, что

Алексей Максимович, нуждаясь в каких-то дополнительных справках, отложил написание этих сцен, перейдя непосредственно к дальнейшему изложению. Этот пропуск на стр. 328 [стр. 393 данного тома. — Ред.] мы отмечаем однострочным пробелом.

Перечисленные недоработки по отношению к общему объему рукописи все же настолько несущественны, что ни в малой мере, как увидит читатель, не лишают четвертую часть повести «Жизнь Клима Самгина» художественной цельности.

Комиссия ЦК ВКП(б) и СНК СССР по приемке литературного наследства и переписки А. М. Горького».

К работе над четвертой частью «Жизни Клима Самгина» М. Горький приступил, повидимому, не позже начала 1931 года.

29 октября 1935 года М. Горький писал И. А. Груздеву, что предполагает окончить повесть зимой, не позднее февраля — марта 1936 года (Архив А. М. Горького).

В настоящем издании четвертая часть повести «Жизнь Клима Самгина» печатается по рукописи (Архив А. М. Горького) с учетом изменений, внесенных Комиссией ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Тексты, вычеркнутые М. Горьким и не замененные другим вариантом, воспроизводятся в угловых скобках в том случае, когда они необходимы для связности повествования. Грамматические особенности рукописного текста (мимо его, офицера, со врагом и т. п.) сохраняются. Случайно пропущенные автором слова, отсутствие которых затрудняет понимание текста, даны в прямых скобках.

1

«Человек, который смеется» *(франц.). — Ред.*

2

Начало арии «Сердце красавицы» из оперы Верди «Риголетто». — *Ред.*

3

Благодарю вас. Но — зачем? *(франц.). — Ред.*

4

Конец века (франц.). — Ред.

5

По-африкански знойно! *(нем.). — Ред.*

6

Тебе, дитя мое! *(франц). — Ред.*

7

Очень смешно *(нем.). — Ред.*

8

Ab ovo — букв. «от яйца» — с самого начала; o tempora, o mores! — о времена, о нравы! dixi — я сказал; testimonium paupertatis — букв. «свидетельство о бедности» (употребляется в значении скудоумия). — Ред.

9

Здравствуйте (фин.). — Ред.

10

Конец века (франц.). — Ред.

11

Для жизни (франц.). — Ред.

12

Довольно! Кончайте! (франц.). — Ред.

13

Моя дорогая… (франц.). — Ред.

14

Публичный дом (франц.) — Ред.

15

Всего доброго! (франц.) — Ред.

16

Бродяги! (франц.). — Ред.

17

Еще одну (нем.). — Ред.

18

Моя дорогая (франц.). — Ред.

19

Свобода, равенство (франц.). — Ред.

20

Под вашей белой юбкой

Сверкает бедро… (франц.). — Ред.

21

Женщина (искаж. франц). — Ред.

22

Тишина! (лат.). — Ред.

23

Верю, потому что это нелепо (искаж. лат.). — Ред.

24

Прекрасная Франция, отечество… (франц.) — Ред.

25

Пару пива! (нем.). — Ред.

26

Острое словцо (франц.). — Ред.

27

И тому подобные (лат.). — Ред.

28

Я сказал! — Ред.